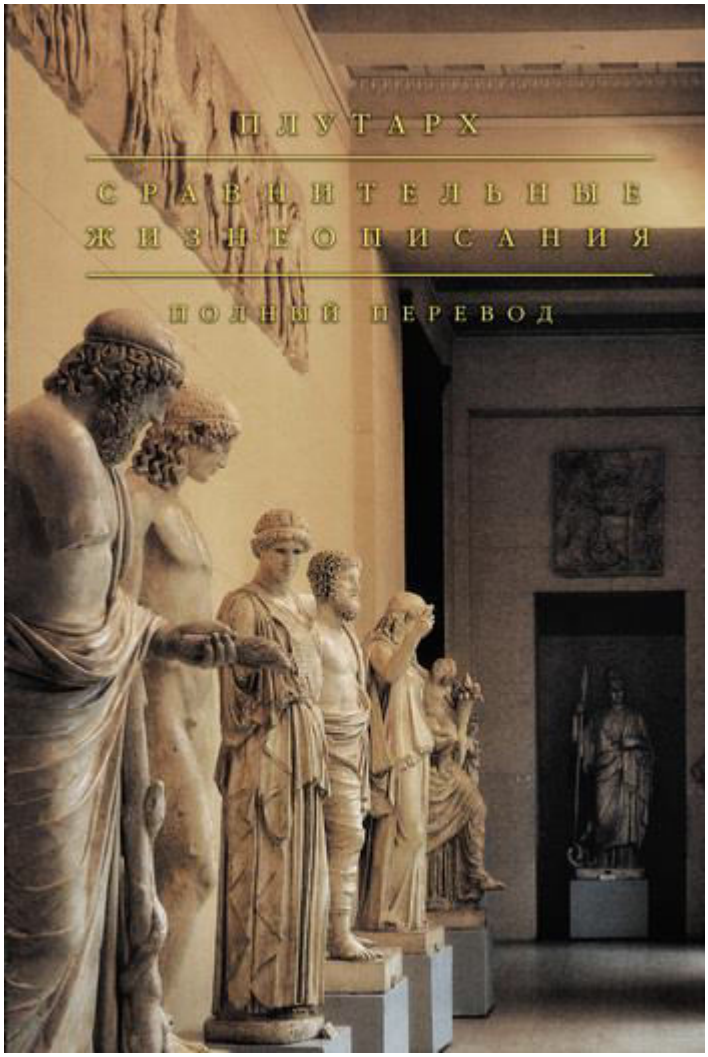
Плутарх
Сравнительные жизнеописания



http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2572425
«Сравнительные жизнеописания / Пер. с древнегреческого»:

Аннотация

«Жизнеописания» Плутарха не только в античную эпоху, но и в новое время стали излюбленным чтением образованных людей и оказали сильнейшее влияние на литературу. Его высоко ценили философы Монтень и Руссо, на основе биографий Плутарха Шекспир создал свои римские трагедии «Кориолан», «Юлий Цезарь» и «Антоний и Клеопатра». Корнель и Расин заимствовали у Плутарха сюжеты своих драм.

В России «Жизнеописания» Плутарха неоднократно издавались в различных составах. Данное издание воспроизводит именно первый полный перевод с древнегреческого, сделанный Спиридоном Дестунисом.

Плутарх
Сравнительные жизнеописания

Плутарх и его «Сравнительные жизнеописания»

«Genus scripturae leve et non satis dignum» – «Жанр легковесный и недостаточно почтенный» – так обобщил Корнелий Непот, римский писатель I века до н. э., отношение своих

соотечественников (и не только их одних) к жанру биографии. Да и сам автор этих слов, хотя и является составителем биографического сборника «О знаменитых мужах», по существу, не спорит с этим мнением, оправдывая свой жанровый выбор исключительно любопытством к мелочам быта разных народов. Возможно, отношение древних к жанру биографии так и не изменилось бы, а значит, до наших дней дошло бы еще меньше ее образцов, если бы не Плутарх.

На фоне многих античных писателей и поэтов, жизнь которых изобилует драматическими и трагическими событиями, а признание читателей далеко не всегда приходит при жизни, человеческая и писательская судьба Плутарха сложилась на удивление благополучно. Хотя античная традиция и не сохранила для нас ни одной его биографии, но сам Плутарх так охотно и много пишет о себе, своей семье и событиях своей жизни, что его жизнеописание легко восстанавливается по его же произведениям*.

Чтобы разобраться в творчестве писателя, надо очень хорошо представлять себе, где и когда он жил. Так вот, Плутарх жил в I–II веках н. э., в завершающую эпоху древнегреческой литературы, которую принято называть «периодом римского владычества». И высокая классика, с ее великими драматургами, ораторами и историками, и причудливый эллинизм, с его учеными поэтами-экспериментаторами и оригинальными философами, остались далеко позади. Конечно, и в римский период греческая литература имеет своих представителей (Арриан, Аппиан, Иосиф Флавий, Дион Кассий, Дион Хрисостом и др.), но ни они сами, ни потомки не могут поставить их вровень с Софоклом, Фукидидом или Каллимахом, да и литература сдает свои позиции как «наставница жизни» и выполняет в основном декоративно-развлекательные функции. На этом фоне еще ярче вырисовывается фигура нашего писателя.

Итак, Плутарх родился около 46 года н. э. в беотийском городе Херонее, некогда печально знаменитом событиями 338 года до н. э., когда Греция под натиском военной мощи Филиппа Македонского потеряла свою самостоятельность. Ко времени Плутарха Херонея превратилась в захолустный городок, а сама Греция еще раньше – в римскую провинцию Ахайя, к которой римляне относились несколько мягче, чем к другим завоеванным странам, отдавая дань уважения ее высокой культуре, что не мешало им называть население Греции пренебрежительным словечком *Graeculi* – «гречишки». В этом городке Плутарх и прожил почти всю свою жизнь. О своей привязанности к родному городу он с легкой шуткой сообщает во вступлении к биографии Демосфена, и едва ли хоть одна книга или статья о херонейском писателе обходится без этих слов – так они искренни и притягательны: «Правда, кто взялся за исторические изыскания, для которых требуется перечитать не только легкодоступные, отечественные, но и множество иноземных, рассеянных по чужим краям сочинений, тому действительно необходим «град знаменитый и славный», просвещенный и многолюдный: только там, имея в изобилии всевозможные книги… он сможет издать свой труд с наименьшим числом погрешностей и пробелов. *Что до меня, то я живу в небольшом городке и, чтобы не сделать его еще меньше, собираюсь в нем жить и дальше…»* (Перев. Э. Юнца). Эти слова сказаны в ту самую эпоху, когда греческие писатели избирали местом жительства крупные культурные центры, прежде всего, Рим или Афины, либо вели жизнь гастролирующих софистов, путешествуя по разным городам обширной Римской империи. Конечно, Плутарх, с его любознательностью, широтой интересов и живым характером, не мог всю жизнь безвыездно просидеть дома: он побывал во многих городах Греции, дважды был в Риме, посетил Александрию; в связи со своими научными изысканиями он нуждался в хороших библиотеках, в посещении мест исторических событий и памятников старины. Тем более замечательно, что он сохранил свою преданность Херонее и большую часть жизни провел в ней.

Из сочинений самого Плутарха мы узнаем, что семья его принадлежала к состоятельным кругам города и что его имущественное положение было не роскошным, но стабильным. Дома он получил обычное для представителей его круга грамматическое, риторическое и музыкальное образование, а для его завершения поехал в Афины, считавшиеся и во времена Плутарха культурным и просветительным центром. Там под руководством философа академической школы Аммония он совершенствовался в риторике, философии, естественных

науках и математике. Мы не знаем, как долго пробыл Плутарх в Афинах, известно лишь, что он был свидетелем посещения Греции римским императором Нероном в 66 году и иллюзорного «освобождения» этой провинции*.

По возвращении в Херонею Плутарх принимает деятельное участие в ее общественной жизни, возрождая не только в своих произведениях, но и на личном примере классический идеал полисной этики, предписывающей каждому гражданину практическое участие в жизни родного города. Будучи еще молодым человеком, он по поручению херонейцев отправляется к проконсулу провинции Ахайя, и это событие послужило началом той связи с Римом, которая оказалась важной и для жизни Плутарха, и для его литературной деятельности. В самом Риме, как уже говорилось, Плутарх побывал дважды, причем первый раз – послом от Херонеи по каким-то государственным делам. Там он выступает с публичными лекциями, участвует в философских беседах, завязывает дружбу с некоторыми образованными и влиятельными римлянами. Одному из них, Квинту Сосию Сенециону другу императора Траяна, он посвятил впоследствии много своих трудов (в том числе и «Сравнительные жизнеописания»). По-видимому, Плутарх был хорошо принят и при императорском дворе: Траян удостоил его звания консуляра и велел правителю Ахайи в сомнительных случаях прибегать к советам Плутарха. Не исключено, что при Адриане он и сам в течение трех лет был прокуратором Ахайи.

Нужно сказать, что при всей своей лояльности к Риму, отличавшей его от других оппозиционно настроенных писателей, Плутарх не питал политических иллюзий и ясно видел суть реальных взаимоотношений Греции и Рима: именно ему принадлежит знаменитое выражение о «римском сапоге, занесенном над головой каждого грека» («Наставления государственному мужу», 17). Вот почему все свое влияние Плутарх старался обратить на пользу родному городу и Греции в целом. Выражением этого влияния было получение им римского гражданства, о чем мы узнаем, вопреки обыкновению, не из собственных сочинений Плутарха, а из надписи об установке статуи пришедшего к власти императора Адриана, выполненной под руководством жреца *Местрия* Плутарха. Имя Местрий было дано Плутарху при получении римского гражданства: дело в том, что присвоение римского гражданства рассматривалось как адаптация каким-либо из римских родов и сопровождалось присвоением адаптируемому соответствующего родового имени. Плутарх, таким образом, стал представителем рода Местриев, к которому принадлежал его римский друг Луций Местрий Флор. Как и Сенецион, он часто выступает в качестве персонажа литературных сочинений Плутарха. Для гражданской позиции Плутарха чрезвычайно характерно то, что этот писатель, столь охотно рассказывающий о других, гораздо менее значительных, событиях своей жизни, нигде не упоминает о том, что стал римским гражданином: для себя самого, для читателей и для потомства он хочет остаться только жителем Херонеи, на благо которой были направлены все его помыслы.

В зрелые годы Плутарх собирает в своем доме молодежь и, обучая собственных сыновей, создает своего рода «частную академию», в которой играет роль наставника и лектора. В пятидесятилетнем возрасте он становится жрецом Аполлона в Дельфах, этом самом знаменитом святилище былых времен, без совета которого некогда не предпринималось ни одно важное дело – ни государственного, ни частного характера – и которое в эпоху Плутарха стремительно утрачивало свой авторитет. Отправляя обязанности жреца, Плутарх старается вернуть святилищу и оракулу его былое значение. Об уважении, которое он заслужил от своих соотечественников, пребывая на этом посту, свидетельствует надпись на постаменте статуи, найденном в Дельфах в 1877 году:

> Здесь Херонея и Дельфы совместно Плутарха воздвигли:
> Амфиктионы его так повелели почтить.
>
> ***(Перевод Я. М. Боровского)***

О годах глубокой старости, приведших Плутарха в большую политику, он говорит неохотно, и мы узнаем о них из поздних и не всегда надежных источников. Точная дата смерти Плутарха

неизвестна, вероятно, он скончалсяпосле 120 года.

Плутарх был весьма плодовитым писателем: до нас дошло более 150 его сочинений, но античность знала вдвое больше!

Все огромное литературное наследие Плутарха распадается на две группы: так называемые «Нравственные сочинения» *(Moralia)* и «Жизнеописания». Первой группы мы коснемся лишь потому, что знакомство с ней помогает пониманию личности Плутарха и философско-этической основы его биографического цикла.

Широта интересов Плутарха и невероятное тематическое разнообразие его «Нравственных сочинений» делают даже беглый их обзор делом весьма нелегким: не считая произведений, авторство которых считается сомнительным, эта часть наследия Плутарха составляет более 100 сочинений. С точки зрения литературной формы они представляют собой диалоги, диатрибы*, письма и собрания материалов. При этом лишь к ограниченному числу трактатов приложим термин *Moralia* в точном смысле. Это ранние сочинения о влиянии на человеческие поступки таких сил, как доблесть, добродетель, с одной стороны, и воля судьбы, случайность – с другой («О счастье или доблести Александра Великого», «О счастье римлян»), диатрибы, письма и диалоги о семейных добродетелях («О братской привязанности», «О любви к детям», «Брачные наставления», «О любви»), а также послания-утешения (например, «Утешение к жене», которое Плутарх написал, получив известие о смерти дочери). К «Моралиям» в собственном смысле примыкает ряд трактатов, в которых Плутарх разъяснят свою позицию по отношению к различным этическим учениям. Как и большинство позднеантичных мыслителей, Плутарх не был оригинальным философом, основателем новой философской школы, а, скорее, склонялся к эклектизму, отдавая предпочтение одним направлениям и полемизируя с другими. Так, полемический характер имеют многочисленные произведения, направленные против эпикурейцев («О невозможности жить счастливо, следуя Эпикуру», «Правильно ли изречение: “Живи незаметно”»?) и стоиков («Об общих понятиях», «О противоречиях стоиков»). Нередко свои философские предпочтения Плутарх излагает в виде толкований на сочинения Платона, к последователям которого он причислял себя сам, или в виде трактатов, посвященных отдельным философским проблемам («Платоновские изыскания»). Существенными для понимания мировоззрения Плутарха являются так называемые «Дельфийские диалоги» – сочинения, в которых писатель излагает свое представление о мире и его законах, о действующих в нем божественных и демонических силах, – а также трактат «Об Исиде и Осирисе», в котором Плутарх делает попытку связать собственные размышления о божестве и о мире с египетскими мифами и культами.

Наряду с этими сочинениями «Моралии» включают произведения, которые с современной точки зрения не имеют отношения к этическим проблемам. Они посвящены математике, астрономии, физике, медицине, музыке и филологии. Также в эту часть наследия Плутарха входят сочинения в форме описания пиров, затрагивающие вопросы литературы, истории, естествознания, грамматики, этики, эстетики и другие («Застольные беседы» в девяти книгах и «Пир семи мудрецов»*), собрание новелл «О доблестях женщин», весьма характерное для личности Плутарха, а также произведения историко-антикварного характера (например, «Древние обычаи спартанцев»), послужившие впоследствии материалом для «Жизнеописаний», и, наконец, не менее важные для понимания последних сочинения на политические темы («Политические наставления», «Должны ли старики участвовать в

государственной деятельности», «О монархии, демократии и олигархии»).

Само собой разумеется, что столь импозантное творческое наследие, даже без «Сравнительных жизнеописаний», могло бы прославить в веках херонейского писателя, однако европейским читателям, начиная с эпохи Возрождения, он стал известен именно и по преимуществу как автор биографического цикла. Что же касается «Моралий», то, оставаясь объектом внимания в основном для специалистов в области античной культуры, они тем не менее совершенно необходимы для понимания философско-этических и политических воззрений Плутарха-биографа.

Как уже говорилось, Плутарх был эклектиком, причем в этом направлении его подталкивали и господствующие умонастроения эпохи, допускавшие самые удивительные смешения идей, и собственная гибкость и восприимчивость. В его мировоззрении причудливо соединялись элементы этических систем как почитаемых им платоников и перипатетиков, так и оспариваемых им эпикурейцев и стоиков, учения которых он в некоторых случаях излагает в переработанном виде. По Плутарху, человек вместе со своей семьей и людьми, за которых он несет ответственность, имеет этические обязательства по отношению к двум системам: к своему родному городу, в котором он осознает себя наследником былого эллинского величия, и к значительно более универсальному образованию – Римской империи (в обоих случаях образцом безукоризненного исполнения этих обязательств был он сам). В то время как большинство греческих писателей относятся к Риму холодно и равнодушно, Плутарху Римская империя представляется как синтез двух начал – греческого и римского, и наиболее ярким выражением этого убеждения является основной принцип построения «Сравнительных жизнеописаний», с их постоянным методом сравнения выдающихся деятелей обоих народов.

Под углом зрения двойного обязательства человека по отношению к родному городу и к Римской империи Плутарх разбирает основные этические проблемы: самовоспитание, обязанности по отношению к родным, взаимоотношения с женой, с друзьями и т. д. Для Плутарха добродетель – нечто такое, чему можно обучить, поэтому не только «Нравственные сочинения» испещрены моральными предписаниями и советами, но и «Жизнеописания» проникнуты дидактизмом. При этом он весьма далек от идеализации, от желания сделать своих героев ходячими образцами чистой добродетели: здесь ему помогают здравый смысл и добродушная снисходительность.

Вообще особенностью Плутарховой этики является дружественно-снисходительное отношение к людям. Термин «филантропия», появляющийся в греческой литературе начиная с IV века до н. э., именно у него достигает полноты своего значения. У Плутарха в это понятие включается и дружественное отношение к людям, основанное на понимании присущих им слабостей и нужд, и осознание необходимости поддержки и действенной помощи бедным и слабым, и чувство гражданской солидарности, и доброта, и душевная чуткость, и даже просто вежливость.

Семейный идеал у Плутарха основан на своеобразном и почти исключительном для античной Греции отношении к женщине. Он очень далек и от пренебрежения интеллектуальными возможностями женщины, столь распространенного в архаической и классической Греции, и от поощрения эмансипации того типа, на который жалуется Ювенал и другие римские писатели. Плутарх видит в женщине союзницу и подругу мужа, стоящую отнюдь не ниже его, но имеющую собственный круг интересов и обязанностей.

Любопытно, что свои труды Плутарх в некоторых случаях адресует именно женщинам. Наконец, совсем уж необычным для представлений о традиционном греческом быте было перенесение всей поэзии любви именно в сферу семейных отношений. Отсюда – внимание Плутарха к брачным обычаям Спарты, и то, что, рассуждая о Менандре, он подчеркивает роль любовных переживаний в его комедиях, и, конечно, то, что, говоря о происхождении героев своих «Сравнительных жизнеописаний», он с таким почтением отзывается об их матерях, женах и дочерях (ср. «Гай Марций», «Цезарь», «Братья Гракхи», «Попликола»).

Переход от философско-этических трактатов к литературной биографии объясняется, по-видимому, тем, что рамки первых стали тесны для литературного таланта Плутарха, и он обратился к поиску других художественных форм для воплощения своих этических идей и своей картины мира. Подобное уже случалось в античной литературе: философ-стоик Сенека, автор трактатов и нравоучительных посланий, литературный дар которого также толкал его к поиску новых форм, в определенный момент избрал в качестве иллюстрации стоической доктрины драматический жанр и посредством мощных трагических образов продемонстрировал пагубность человеческих страстей. Оба великих писателя понимали, что воздействие художественных образов намного сильнее прямых наставлений и увещеваний.

Хронология Плутарховых сочинений до сих пор не выяснена до конца, однако очевидно, что к биографическому жанру он обратился уже вполне сложившимся писателем, завоевавшим себе имя своими этико-философскими сочинениями. Для греческой литературы биографический жанр был явлением относительно новым: если гомеровские поэмы – первые образцы эпоса – датируются VIII веком до н. э., то первые литературно оформленные биографии появляются только в IV веке до н. э., в период острого социального кризиса и усиления индивидуалистических тенденций в искусстве вообще и в литературе в частности. Именно жизнеописание отдельной личности – в противовес укоренившейся в греческой литературе веком раньше историографии – стало одним из признаков новой эпохи – эллинистической. К сожалению, образцы эллинистической биографии сохранились в лучшем случае в виде фрагментов, а в худшем – только в виде названий утерянных произведений, но даже по ним мы можем составить представление о том, кто находился в фокусе интереса древнейших биографов; это были по преимуществу монархи или профессиональные деятели культуры – философы, поэты, музыканты*. Сближение этих двух типов базируется на извечном интересе простых людей не столько к деятельности, сколько к частной жизни знаменитостей, вызывающих подчас самые разные эмоции – от восхищения до презрения. Поэтому над всей эллинистической биографией господствовал дух сенсации и любопытства, стимулировавший появление разного рода легенд и даже сплетен. В дальнейшем греческая биография в основном оставалась верной заданному направлению, передав впоследствии эстафету Риму. Достаточно бегло взглянуть на перечень биографических сборников поздней античности, чтобы понять, что этот жанр не брезговал никем: от весьма почтенных философов-чудотворцев (вроде Пифагора и Аполлония Тианского) до блудниц, чудаков (вроде легендарного человеконенавистника Тимона) и даже разбойников![1] Даже если в

[1] См.: *Аверинцев С. С.* Плутарх и античная биография. М., Наука, 1973. С. 165–174.

поле зрения позднеантичных биографов попадали просто «великие» люди (Перикл, Александр Македонский), то и из них старались сделать героев пикантных анекдотов или курьезных историй. Такова общая тенденция жанра. Конечно, не все биографы одинаковы, да и далеко не всех представителей этого жанра мы знаем. Были и вполне серьезные авторы, сочинявшие не только для того, чтобы потешить своих читателей новоиспеченной сплетней или придворным скандалом. Среди них младший современник Плутарха римский писатель Светоний, автор знаменитых «Жизнеописаний двенадцати цезарей»: в своем стремлении к объективности он превращает каждую из двенадцати биографий в каталог добродетелей и пороков соответствующего персонажа, объектом его внимания является прежде всего факт, а не сплетня или вымысел*. Но и для него, как видим, интересны прежде всего *цезари,* то есть монархи, носители единоличной власти. В этом отношении Светоний всецело находится в рамках традиционной греко-римской биографии.

Что касается Плутарха, то до знаменитых «Сравнительных жизнеописаний» он стал автором гораздо менее известных биографических циклов, дошедших до нас лишь в виде отдельных биографий*. В этих ранних биографиях наш писатель также не смог уйти от традиционной тематики, сделав своими героями римских цезарей от Августа до Вителлия, восточного деспота Артаксеркса, нескольких греческих поэтов и философа Кратета.

Совершенно иначе обстоит дело с тематикой «Сравнительных жизнеописаний», и именно в отборе героев, в первую очередь, проявилось новаторство Плутарха [2]. В этом цикле, как и в «Нравственных сочинениях», сказалась морализаторская и дидактическая установка автора: «Добродетель своими делами приводит людей тотчас же в такое настроение, что они в одно время и восхищаются делами ее, и желают подражать совершившим их… Прекрасное влечет к себе самым действием своим и тотчас вселяет в нас стремление действовать», – пишет он во вступлении к биографии Перикла («Перикл», 1–2. Перев. С. Соболевского). По этой же причине Плутарх, при всей своей учености, склонности к антикварным штудиям и любовании стариной, отдает предпочтение биографическому жанру перед историографией, о чем также недвусмысленно заявляет: «Мы пишем не историю, а жизнеописания, и не всегда в самых славных деяниях бывает видна добродетель или порочность, но часто какой-нибудь ничтожный поступок, слово или шутка лучше обнаруживают характер человека, чем битвы, в которых гибнут десятки тысяч, руководство огромными армиями или осады городов». («Александр», 1. Перев. М. Ботвинника и И. Перельмутера).

Итак, в своих героях Плутарх ищет прежде всего образцы для подражания, а в их поступках – примеры деяний, на которые следует ориентироваться, или же, наоборот, такие, которых следует избегать. Само собой разумеется, что среди них мы находим почти исключительно государственных людей, причем среди греческих мужей преобладают представители полисной классики, а среди римских – герои эпохи гражданских войн; это выдающиеся личности, творящие и изменяющие ход исторического процесса. Если в историографии жизнь человека вплетена в цепочку исторических событий, то в жизнеописаниях Плутарха

---

2 Там же. С. 176 сл.

исторические события концентрируются вокруг значительной личности.

Современному читателю может показаться странным отсутствие в этом сборнике людей творческих профессий, представителей культуры, у которых, казалось бы, также можно многому научиться. Но необходимо учитывать диаметрально противоположный взгляд на этих представителей общества в античную эпоху и в наши дни: почти через всю античность проходит пренебрежительное отношение к профессионализму, считавшемуся недостойным свободного человека, и к людям, занимающимся оплачиваемым трудом, будь то ремесло или искусство (кстати, в греческом языке эти понятия обозначались одним словом). Здесь Плутарх не является исключением: «Ни один юноша, благородный и одаренный, посмотрев на Зевса в Писе, не пожелает сделаться Фидием, или, посмотрев на Геру в Аргосе, – Поликлетом, а равно Анакреонтом, или Филемоном, или Архилохом, прельстившись их сочинениями; если произведение доставляет удовольствие, из этого еще не следует, чтобы автор его заслуживал подражания» («Перикл», 2. Перев. С. Соболевского). Поэты, музыканты и прочие деятели культуры, жизнь которых была достоянием эллинистической биографии, не находят места среди образцовых героев «Сравнительных жизнеописаний». Даже выдающиеся ораторы Демосфен и Цицерон рассматриваются Плутархом как политические деятели, об их литературном творчестве биограф сознательно умалчивает*.

Итак, выйдя за пределы традиционного для данного жанра круга героев, Плутарх нашел оригинальный и до него никем не применявшийся прием попарной группировки персонажей греческой и римской истории, и, как это естественно для Плутарха, формальная находка была поставлена на службу важной идее прославления греко-римского прошлого и сближения двух величайших народов в составе Римской империи. Писатель хотел показать своим соотечественникам, оппозиционно настроенным по отношению к Риму, что римляне не дикари, а последним, в свою очередь, напомнить о величии и достоинстве тех, кого они иногда пренебрежительно называли «гречишками». В результате у Плутарха получился законченный цикл из 46 жизнеописаний, включающий 21 диаду (пару) и одну тетраду (объединение 4 биографий: братья Тиберий и Гай Гракхи – Агис и Клеомен). Почти все диады сопровождаются общим вступлением, подчеркивающим сходство персонажей, и завершающим сопоставлением, в котором акцент, как правило, делается на их различии.

Критерии объединения героев в пары различны и не всегда лежат на поверхности – это может быть сходство характеров или психологических типов, сопоставимость исторической роли, общность жизненных ситуаций. Так, для Тесея и Ромула главным критерием было сходство исторической роли «основателя блестящих, знаменитых Афин» и отца «непобедимого, прославленного Рима», но, кроме этого, темное, полубожественное происхождение, соединение физической силы с выдающимся умом, сложности во взаимоотношениях с родственниками и согражданами и даже похищения женщин. Сходство Нумы и Ликурга выражается в их общих достоинствах: уме, благочестии, умении управлять, воспитывать других и внушать им мысль, что оба получили данные ими законы исключительно из рук богов. Солон и Попликола объединены на том основании, что жизнь второго оказалась практической реализацией того идеала, который Солон сформулировал в своих стихах и в своем знаменитом ответе Крезу.

Совершенно неожиданным, на первый взгляд, кажется

сопоставление сурового, прямодушного и даже грубого римлянина Кориолана с изысканным, образованным и при этом далеко не образцовым в нравственном отношении греком Алкивиадом: здесь Плутарх отталкивается от сходства жизненных ситуаций, показывая, как два совершенно непохожих, хотя и богато одаренных от природы характера из-за непомерного честолюбия дошли до измены отечеству. На таком же эффектном контрасте, оттененном частичным сходством, строится диада Аристид – Марк Катон, а также Филопемен – Тит Фламинин и Лисандр – Сулла.

Полководцы Никий и Красс оказываются в паре как участники трагических событий (сицилийской и парфянской катастроф), и только в таком контексте они интересны Плутарху. Такое же типологическое сходство ситуаций демонстрируют биографии Сертория и Эвмена: оба, будучи талантливыми полководцами, лишились родины и стали жертвами заговора со стороны тех, с кем одерживали победы над врагом. А вот Кимон и Лукулл объединены, скорее, по сходству характеров: оба воинственны в борьбе с врагами, но миролюбивы на гражданском поприще, обоих роднит широта натуры и та расточительность, с которой они задавали пиры и помогали друзьям.

Авантюризм и переменчивость судьбы роднит Пирра с Гаем Марием, а суровая непреклонность и преданность отживающим устоям – Фокиона и Катона Младшего. Соединение Александра и Цезаря вообще не требует специальных объяснений, настолько оно кажется естественным; лишний раз это подтверждает пересказанный Плутархом анекдот о том, как Цезарь, читая на досуге о деяниях Александра, прослезился, а когда удивленные друзья спросили его о причине, ответил: «Неужели вам кажется недостаточной причиной для печали то, что в моем возрасте Александр уже правил столькими народами, а я до сих пор еще не совершил ничего замечательного!» («Цезарь», 11. Перев. К. Лампсакова и Г. Стратановского).

Несколько необычной кажется мотивировка параллели Дион – Брут (один был учеником самого Платона, а другой воспитан на платоновских речениях), но и она становится понятной, если вспомнить, что сам Плутарх считал себя последователем этого философа; кроме того, автор вменяет обоим героям в заслугу ненависть к тиранам; наконец, трагический оттенок придает этой диаде еще одно совпадение: и Диону, и Бруту божество возвестило безвременную гибель.

В некоторых случаях общность характеров дополняется сходством ситуаций и судеб, и тогда биографический параллелизм оказывается как бы многоуровневым. Такова пара Демосфен – Цицерон, которых «божество, похоже, с самого начало лепило по одному образцу: не только характеру их оно придало множество сходных черт, таких, например, как честолюбие и преданность гражданским свободам, малодушие перед лицом войн и опасностей, но примешало к этому и немало случайных совпадений. Трудно найти других двух ораторов, которые, будучи людьми простыми и незнатными, добились славы и могущества, вступили в борьбу с царями и тиранами, лишились дочерей, были изгнаны из отечества, но с почестями вернулись, снова бежали, но были схвачены врагами и простились с жизнью тогда же, когда угасла свобода их сограждан» («Демосфен», 3. Перев. Э. Юнца).

Наконец, тетрада Тиберий и Гай Гракхи – Агис – Клеомен объединяет этих четырех героев как «демагогов, и притом благородных»: завоевав любовь сограждан, они будто бы стыдились остаться у них в долгу и постоянно стремились своими добрыми начинаниями превзойти оказанные им почести; но, пытаясь

возродить справедливый образ правления, они навлекли на себя ненависть влиятельных лиц, не желавших расставаться со своими привилегиями. Таким образом, и здесь налицо как сходство психологических типов, так и общность политической ситуации в Риме и Спарте.

Параллельное расположение биографий греческих и римских деятелей было, по меткому выражению С. С. Аверинцева[3], «актом культурной дипломатии» писателя и гражданина Херонеи, который, как мы помним, и в своей общественной деятельности неоднократно играл роль посредника между родным городом и Римом. Но нельзя не заметить, что между героями каждой пары происходит своего рода соревнование, являющееся отражением в миниатюре того грандиозного состязания, которое Греция и Рим вели на арене истории с тех пор, как Рим начал осознавать себя преемником и соперником Греции*. Превосходство греков в области образования и духовной культуры признавалось самими римлянами, лучшие представители которых ездили в Афины, чтобы совершенствоваться в философии, и на Родос, чтобы оттачивать свое ораторское мастерство. Это мнение, закрепленное высказываниями многих писателей и поэтов, нашло наиболее яркое выражение у Горация:

Греция, взятая в плен, победителей гордых пленила.

Что же касается римлян, то и они сами, и греки признавали их приоритет в умении управлять своим государством и другими народами. Тем важнее было для грека Плутарха доказать, что в политике, а равно и в военном искусстве его соотечественникам тоже есть, чем гордиться. К тому же, как последователь Платона, Плутарх считает политическое искусство одной из составляющих философского образования, а государственную деятельность – достойнейшей сферой его приложения. В таком случае все достижения римлян в этой области – это не что иное, как результат воспитательной системы, разработанной греками. Неслучайно поэтому, что Плутарх, где только можно, подчеркивает эту связь: Нума изображается учеником Пифагора, жизнь Попликолы оказывается осуществлением идеалов Солона, а Брут всем лучшим в себе обязан Платону. Так подводится философская база под идею тождества греко-римской доблести с духовным приоритетом греков.

Новаторство Плутарха сказалось не только в попарной группировке персонажей, но и в композиционной организации каждой биографии в отдельности. После выхода в свет известной монографии немецкого исследователя Ф. Лео о литературных формах греко-римской биографии[4] ее принято делить на три типа:

1) перипатетический (хронологическое повествование, в котором характер человека раскрывается через поступки), родоначальником его считается перипатетик Аристоксен Тарентский (IV в. до н. э.), а классиком – Плутарх; 2) александрийский (короткое историческое резюме, за которым следует систематическое исследование характера, а хронологический принцип не соблюдается), родоначальник – Гермипп из Смирны (III–II вв. до н. э.), самый яркий представитель – Светоний; 3) энкомий, родоначальником которого считается Исократ, а классиком – Тацит. Итак, по классификации Ф. Лео, «Сравнительные жизнеописания» Плутарха попадают в перипатетический (хронологический) тип. Однако, если внимательно проанализировать структуру отдельных биографий, становится очевидным, что хронологическая организация не является единственным принципом расположения материала,

---

[3] *Аверинцев С. С.* Плутарх и античная биография. С. 229.

[4] *Leo F.* Die griechisch-romische Biographie nach ihrer litterarischen Form. Leipzig, 1901. S. 315–323.

и вот почему. Почти для всего творчества Плутарха характерна интонация дружеской, непринужденной беседы с читателем, столь естественная для диатрибы. Именно ее Плутарх сделал достоянием биографического жанра. Эта интонация поддерживается при помощи свободных переходов от одной темы к другой, основанных на неожиданных ассоциациях, на введении эпизодов, которые пришлись «к слову», на припоминании высказываний, уместных для данного момента. В угоду этой непринужденности хронологический принцип нередко нарушается, но зато достигается плавная непрерывность повествования, связывающая события в рамках одной биографии, а иногда и целой диады.

Так, например, диаду «Кимон и Лукулл» Плутарх начинает издалека, с рассказа о херонейском прорицателе Перипольте и его дальнем потомке Дамоне, который прославился участием в заговоре против римлянина, тщетно домогавшегося взаимности этого красивого юноши и убитого в результате заговора. Далее выясняется, что это событие удостоилось внимания писателя лишь потому, что как раз в то время через Херонею проходил с воинами Луций Лукулл, расследовавший это дело и проявивший рассудительность и справедливость. Именно долг благодарности Лукуллу, выказавшему великодушие к соотечественникам нашего писателя (пусть даже за два века до этого), побуждает его написать биографию римского деятеля. А имя грека Кимона – между прочим, первого в диаде – появляется лишь в третьей главе, причем, по собственному признанию автора, в результате размышлений над тем, кого можно поставить рядом с Лукуллом. И только с четвертой главы Плутарх переходит к систематическому изложению событий жизни Кимона.

Такую же свободу от оков хронологии мы наблюдаем и в начале жизнеописания Цицерона: после краткой справки о родителях будущего оратора Плутарх переходит к рассуждениям об этимологии прозвища «Цицерон», происходящего от латинского «цицер» – «горох» и присвоенного дальнему предку оратора за особую форму носа. Позволив себе углубиться в эту тему, биограф забегает далеко вперед, во времена наместничества Цицерона на Сицилии, чтобы по ассоциации рассказать о шутливой подписи в виде двух первых имен «Марк Туллий» и горошины вместо третьего*, выгравированной на серебряном подношении богам. Лишь затем он возвращается к рассказу о рождении Цицерона, о призраке, возвестившем кормилице, что она вскармливает того, кто принесет великую пользу всем римлянам, и т. д.

Здесь, следуя Плутархову методу, мы хотим воспользоваться случаем и сделать отступление о его отношении к мифологическому преданию, предсказаниям, призракам и тому подобным вещам. Чаще всего Плутарх, как человек просвещенный, называет эти явления «сновидениями и вздором» («Цицерон», 2) но тем не менее не упускает возможности украсить ими свой рассказ – разумеется, с оговорками или ссылками на чужое мнение, – предоставляя читателю право самому решать, верить или не верить в подобный вымысел. Так, обосновывая переход к биографиям мифологических персонажей Тесея и Ромула, он высказывает пожелание, чтобы его произведение, «очищенное разумом от сказочного вымысла, приняло характер истории». Но там, где вымысел упорно борется со здравым смыслом, не хочет слиться с истиной, он рассчитывает на снисходительность читателей, которые не отнесутся сурово к преданиям далекой старины… («Тесей», 1). В соответствии с этой установкой Плутарх, где только может, рационализирует миф: так, происхождение Тесея от Посейдона, а Ромула от Марса он оставляет на совести их матерей Этры и Реи, однако в связи с внезапным исчезновением Ромула во время грозы и последующей легендой о его обожествлении писатель вынужден пуститься в пространный экскурс об исчезновениях других героев, в самом конце которого он пытается примирить историю с вымыслом: «Преступно и в высшей степени низко совершенно отнимать у добродетели ее божественное происхождение; но смешивать земное с небесным, кроме того, глупо» («Ромул», 28. Перев. В. Алексеева). Как последователь Платона, Плутарх завершает это отступление рассуждением о божественном происхождении душ, которые после смерти возвращаются к богам.

Итак, Плутарх сознательно прибегает к нарушению хронологического принципа ради интонации непринужденной, доверительной беседы с читателем, а она, в свою очередь, нужна Плутарху для того, чтобы заинтересовать, увлечь собеседника неожиданным поворотом повествования или даже самим его началом (здесь писатель проявляет невероятную изобретательность!). Вот несколько примеров. «Говорят, что однажды Цезарь увидел в Риме,

как какие-то богатые иностранцы носили за пазухой щенят и маленьких обезьян и ласкали их. Он спросил, разве у них женщины не родят детей?..» (Перев. С. Соболевского.) Этими словами и последующим рассуждением о том, что не следует тратить на животных нежность и ласку, причитающуюся людям, Плутарх начинает биографию… Перикла (а вовсе не Цезаря). Столь же неожиданно начало биографии Демосфена: «Сочинивший хвалебную песнь Алкивиаду по случаю его победы на колесничных бегах в Олимпии – был ли то Еврипид, как считает большинство, или кто-нибудь другой – утверждает, что для полного счастья необходимо прежде всего иметь отечеством «град знаменитый и славный…» (Перев. Э. Юнца).

Каким же видит Плутарх своих читателей, с которыми он беседует, делится сомнениями, которым посвящает плоды своих размышлений? Скорее всего, это те самые люди – близкие, друзья, члены семьи, – которые были адресатами или собеседниками писателя в его моралистических диалогах и диатрибах, те, в кругу которых он прожил жизнь. Это интеллектуалы, которые с воодушевлением отнеслись бы к его жанровым новациям, были бы снисходительны к хронологическим сбоям, но не простили бы ему педантизма, излишней дидактики, навязчивости и однообразия. Именно их Плутарх хотел увлечь, заинтересовать, поразить своим рассказом. То, что, преследуя моралистические цели, он не поступился увлекательностью, выдвинуло «Сравнительные жизнеописания» в первые ряды позднеантичной литературы и сделало одним из самых читаемых и востребованных произведений на века. Нет сомнений, что многие афоризмы, анекдоты, поучительные истории из жизни великих людей прошлого стали широко известны именно благодаря Плутарху, – это изречение Фемистокла о трофее Мильтиада, не дающем ему спать, слова Цезаря о том, что он предпочел бы быть первым в маленьком городе, чем вторым в Риме, и что жена Цезаря должна быть вне подозрений, заявление Александра Македонского, что если бы он не был Александром, то был бы Диогеном, рассказы о том, как Демосфен боролся с врожденными недостатками и тренировал себя, чтобы стать оратором, об укрощении Александром коня Буцефала, о смерти Архимеда и другие.

«Жизнеописания» Плутарха не только в античную эпоху, но и в новое время стали излюбленным чтение образованных людей и оказали сильнейшее влияние на литературу. Его высоко ценили философы Монтень и Руссо, на основе биографий Плутарха Шекспир создал свои римские трагедии «Кориолан», «Юлий Цезарь» и «Антоний и Клеопатра». Корнель и Расин заимствовали у Плутарха сюжеты своих драм. Плутарх был одним из любимых писателей Гёте, а у Шиллера в «Разбойниках» Карл Моор восклицает: «О, как мне становится гадок этот чернильный век, когда я читаю в моем Плутархе о великих людях!» У Герцена в романе «Кто виноват?» воспитатель молодого Бельтова женевец Жозеф в виде награды позволяет ему читать Плутарха. Произведения этого писателя были среди настольных книг декабристов. Огромное впечатление произвел Плутарх на В. Г. Белинского, который писал В. П. Боткину: «Книга эта свела меня с ума… Во мне развилась какая-то дикая, бешеная, фанатическая любовь к свободе и независимости человеческой личности… Я понял через Плутарха многое, чего не понимал. На почве Греции и Рима выросло новейшее человечество».

А. С. Пушкин, по свидетельству О. С. Павлищевой, «уже девяти лет любил читать Плутарха». Он познакомился со «Сравнительными жизнеописаниями» во французском переводе Жака Амио, издания 1783–1784 или 1801–1806 годов. В кругу чтения Пушкина-лицеиста был «Плутарх для юношества, или Жития славных мужей всех народов от древнейших времен и доныне с гравированными их портретами. Сочинение, могущее возвысить душу молодого человека и украсить сердце его добродетелями, изданное Петром Бланшардом» (перевод с французского, 2-е изд., СПб., 1814 г.). Однако, помимо этих изданий, Пушкин мог познакомиться с латинским текстом, а также с первым полным переводом «Жизнеописаний» Плутарха с древнегреческого языка на русский, выполненным в 1814–1821 годах Спиридоном Дестунисом* и носившим следующее название: «Плутарховы сравнительные жизнеописания славных мужей. Перевел с греческого Спиридон Дестунис, с историческими и критическими примечаниями, с географическими картами и изображениями славных мужей. Части 1–13». В произведениях Пушкина есть множество античных реминисценций, некоторыми из них, он, без сомнения, обязан Плутарху. Так, финальная ремарка драмы «Борис Годунов» («Народ безмолвствует»), скорее всего, навеяна

красноречивой сценой народного молчания, наступившего вслед за сообщением об убийстве Цезаря.

В России «Жизнеописания» Плутарха неоднократно издавались в различных составах. Данное издание воспроизводит именно первый полный перевод с древнегреческого, сделанный Спиридоном Дестунисом.

Е. В. Желтова, кандидат филологических наук

Сравнительные жизнеописания

Краткое известие о сочинениях и жизни Плутарха

В кругу просвещенных и благовоспитанных людей мало таких, которые бы не читали сочинений Плутарха или по крайней мере не имели бы достаточного о них понятия. От слабых начал просвещения новейших времен до величайшего распространения оного Плутарх был любимым писателем всех великих мужей, и чтение его сочинений равно услаждало Петрарку, Монтеня, Руссо. Многие из лучших писателей ссылаются на него как на беспристрастного историка, как на глубокомысленного мудреца, как на превосходного нравоучителя. Политики немало пользовались его мыслями; любители ученых разысканий находят в его сочинениях обильные запасы к умножению своих познаний. Семнадцать веков уже протекло после Плутарха; нравы, образ правления, народные мнения, сама религия народов претерпели важные перемены, между тем как Плутарх, кажется, писал для нас. Древность оставила нам много других великолепных и удивления достойных памятников философии в сочинениях великих писателей, но ни одного из них нет столь близкого к образу мыслей наших времен, сколь близки творения мудреца Херонейского. Можно сказать о них то, что сам Плутарх говорит о зданиях, воздвигнутых Периклом в Афинах и существовавших в его время: «Они тогда уже по красоте своей были древни, по прочности же своей новы и поныне».

Плутарх занимает почтенное место среди нравоучительных философов по причине множества своих наставительных рассуждений. Нет ни одного предмета из метафизики, политики, физики, словесности, которого бы он не коснулся с философской разборчивостью и глубокомыслием. Однако ничем столько не прославился и не заслужил уважения и благодарности потомства, как описанием жизни великих мужей, греческих и римских. Предмет сам по себе важный, великий – описать все то, что человеческая природа произвела удивительного и высокого в двух славнейших в свете народах. Его жизнеописания суть великолепная галерея, в которой изображены самые блистательные и достопримечательные деяния великих мужей, равно как все случаи, все выразительные черты, открывающие сокровенные пути их движения и побудительные причины действий, – словом, все то, что составляет нравственный характер человека. Слова великих мужей также не оставлены без внимания. «Свойства человека, – говорит сам Плутарх, – более открываются в словах и изречениях, нежели в самих деяниях. В них участвует судьба; но изречения и слова, необдуманно вырывающиеся в известных случаях – в страсти, даже в шутках и без предварительного размышления, как бы в зеркале изображают мысли и чувствования».

На этих прекрасных картинах более, нежели в каком-либо другом описании, любитель истории узнает о лицах, положивших начало величию Афин, Спарты, Рима, вознесших свои славы, или бывших причиной его упадка. Он еще более уверится в том, что один человек производит все и что великие люди подобны тем небесным телам, которые, находясь в средоточии планетной системы, приводят в движение все мелькающие окрест их тела и действуют на них своим могущественным влиянием.

Плутарх обладает даром рассказывать просто, но приятно и пленительно. Везде открывается в нем богатство мыслей, полнота сердца, непринужденность, и, что всего важнее, он всегда исполнен любви к человечеству, привязанности к добродетели и почтения к Богу. Его описания разительны, живы. Душа его возвышается при повествовании о важных

происшествиях и, если можно так сказать, переходит в предметы, им изображаемые. Великие дела внушают ему превосходные мысли, нередко потрясающие сердца читателя. Он не ищет цветов, но, находя их вблизи, умеет ими пользоваться. Возвещая подвиги добродетели, он восхищает читателя и, обнаруживая свое искусство в красноречии, становится сильным, богатым в выражениях, важным, высоким.

В описаниях нравов он превосходен. Нет ничего яснее нравственных его начертаний; везде открывается дух философского изыскания, который есть лучшее украшение исторических сочинений.

Память его обогащена мыслями великих философов и картинами поэтов, имена которых едва нам ныне известны. Плутарх нередко и весьма кстати употребляет их стихи, дабы своему слогу придать более разнообразия, живописи. Оттого сочинения его в подлиннике пленительны; но почти невозможно в переводе соблюсти всю их приятность. Скажем мимоходом, что немногие столько читали, сколько читал Плутарх, и немногие из чтения своего извлекали столько пользы для себя и для других, сколько этот ученый муж.

Плутарх не из числа тех пристрастных историков, которые насчет истины делаются то панегиристами, то хулителями своих героев, оказывая одному более благоволения, нежели другому. Для него, кажется, нет любимого героя; он всех судит с равным беспристрастием; яркими красками описывает хорошие их качества, но, как сам говорит, щадя слабость человеческой природы, не производящей ничего совершенного, он не описывает худых черт слишком точно и обстоятельно. При всем том некоторые обвиняют Плутарха в пристрастии к греческим героям – важный недостаток для историка, который должен быть свободен от ослепляющих предубеждений! Ежели в самом деле есть в Плутархе такой недостаток, то, вероятно, причиной этому то, что он историю своего народа знал лучше римской. Он сам признается, что не знал в совершенстве латинского языка и поздно начал его изучать. По моему мнению, это обвинение в пристрастии неосновательно. Должно только прочесть его суждения, чтобы увериться, сколь часто он вручает римскому герою пальмовый венок, когда тот его заслуживает.

Сравнения нравов и деяний героев этих двух народов придает Плутарховым жизнеописаниям более важности и совершенства. Эти краткие сравнения всегда приятны, нередко исполнены глубоких и важных рассуждений и в особенности весьма полезны для молодых читателей, которым опасно отдавать на собственное их суждение жизнеописание людей, нередко прославившихся блистательными поступками. Плутарх справедливо и строго судит в этих сравнениях нравы, склонности и деяния великих мужей; показывает между ними сходство и различие и учит читателя трудной науке рассуждать здраво и беспристрастно. К общему сожалению, потеряны *сравнения* славнейших мужей: Фемистокла с Камиллом, Пирра с Марием, Фокиона с Катоном, Александра с Цезарем. Тщетно некоторые ученые старались восполнить этот недостаток; труды их не могут наградить потери. Равным образом не загладима утрата жизнеописаний двух Сципионов, Эпаминонда и некоторых других.

Среди услуг, за которые Плутарху обязано потомство, немаловажно и то, что в его сочинениях любитель истории находит многие происшествия, которые без него были бы погребены во мрак забвения. Где Тит Ливий, Саллюстий и другие историки молчат, там Плутарх срывает завесу, и мы видим перед собой Гракхов, Мария, Суллу, Помпея – людей, столь много прославившихся в мире

Оказывая Плутарху справедливость во всем том, что в его сочинениях находим хорошего, не будем забывать и о его недостатках, которые немаловажны. Повествования его нередко беспорядочны, наполнены неуместными отступлениями. Предаваясь беспечно течению мыслей своих, Плутарх часто переменяет порядок происшествий, рассказывает о делах, не имеющих между собой никакого отношения, и, наконец, извиняется, говоря: об этом невовремя упомянул. Чтобы уничтожить это неудобство, стоило бы ему все отступления превратить в примечания, но в его время они не были в употреблении. Впрочем, отступления эти доказывают желание его учить нас, желание, без которого нравы и обычаи древних были бы нам еще менее известны.

Также обвиняют Плутарха в повторении одного и того же происшествия. Но при описании дел, в одно время бывших, можно ли избежать повторения, относя каждому герою ту

часть деяний, которые собственно ему принадлежат? Должно удивляться тому, что Плутарх не повторяет чаще одних и тех же происшествий.

Ученые заметили в нем некоторые неисправности в исторических исследованиях, некоторые противоречия самому себе – погрешности неизбежны у тех, кто много сочиняет.

Всего замечательнее в его сочинениях то, что слог его часто бывает неправилен, недовольно обработан, растянут; нередко запутан, темен. Причиной этому, между прочим, необходимое чтение многих писателей, которые могли испортить его слог; вероятно, их речи Плутарх во многих местах приводит слово в слово. Век, в котором он жил, век упадка греческой и латинской словесности, имел также немалое влияние на его красноречие. Как бы то ни было, в рассуждении чистоты слога он не может быть принят за образец, не сравнится с великими греческими писателями, каковы Фукидид, Ксенофонт и другие.

Почти все упрекают Плутарха в суеверии; он верит сверхъестественным явлениям, странным случаям, чудесам, сновидениям, гаданиям. Это заставило многих почитать легковерным мужа столь мудрого, одаренного обширным умом, украшенного всеми познаниями, какие только можно было получить в его время. Из многих его рассуждений явствует, что он признавал единого Бога и отвергал многобожие. При всем том он говорит о богах языческих так, как бы им верил. Уважать народные мнения есть долг здравомыслящего человека. Многие предрассудки смешны, но полезны. Опровергать то, что всеми принято, есть непозволительный цинизм. Впрочем, Плутарх в этом случае разделяет ошибки своего века. Всем известно, до какой степени древние были заражены верой в предзнаменования, в гадания, в прорицалища. Сократ, Платон, Ксенофонт им верили. Многие философы писали целые книги об этих предметах, которые ныне для нас столь смешны. Кто не удивится, что Цицерон, великий политик, великий оратор, великий философ, написал книгу о гадании?

Под именем *нравственных сочинений* Плутарха разумеются все неисторические его сочинения, метафизические, политические, физические и собственно так называемые нравственные. В этих творениях находим мы самую чистую нравственность, не строгую и сверхъестественную, подобно стоической, над которой довольно остро шутит Плутарх, но кроткую, снисходительную, основанную на природе человека, внушенную ему голосом здравого рассудка. Мысли его о Боге самые чистые и высокие. Он говорит, что Бог есть существо вечное, нетленное, исполненное всех благ, непричастное злу; что Он есть ум, виновник, вседержитель, отец всего. Понятие Плутарха о Нем столь совершенны, что он превзошел в том самого учителя своего Платона, который лучше всех древних говорит о Боге. Он, по-видимому, принадлежит к числу тех людей, которые родятся с живым чувством благоговения ко Всевышнему Существу.

Плутарх признавал бытие существ, связующих божественную природу с человеческой. Существа эти назывались у древних демонами, гениями. Невозможно, думал он, чтобы во всеобщем порядке творений не было связи, соединяющей смертное существо с бессмертным, – не было середины между двумя крайностями; тогда в природе была бы пустота. Он приемлет переход из одного состояния в другое, полагая, что добродетельные мужи по смерти превращаются в героев, из героев в гениев и, наконец, в богов. Из гениев этих одни управляют прорицалищами или предстательствуют судьбе человеческой, вспомоществуют добрым, наказывают злых и имеют сообщество с добродетельнейшими людьми. Должен признаться, что эта система возвышает человека и не противна рассудку.

В бессмертии души, в промысле Божием он не только совершенно уверен, но во многих местах силится утвердить эти полезные истины неоспоримыми доказательствами против учеников Эпикура. Эта вредная секта во времена Плутарха, равно как и в наши времена, имела многих последователей; но в каком была презрении у всех добродетельных людей, видно из сочинений Плутарха, Цицерона и подобных им истинных философов.

Сколь чисто было нравоучение Плутарха, видно из его понятий об удовольствиях. Душевные удовольствия он столько предпочитает телесным, что в рассуждении о том, что по Эпикуровой системе жить неприятно, говорит, между прочим, следующее, на что, конечно, ни один эпикуреец не согласится: «Кто в голоде и жажде лучше бы захотел вкусить яств феаков*, нежели прочесть описание Одиссеевых похождений у Гомера? Кто бы более занят был уединенной беседой с прекрасной женщиной, нежели чтением Ксенофонтовой повести о

Пантее, Аристобуловой о Тимоклее, Феопомповой о Фисбе?.. Каких наслаждений не чувствовал Евклид, занимаясь геометрией и астрономией, Филипп, доказывая вид Луны, Архимед, найдя диаметр Солнца?.. Когда он в бане открыл решение данной ему царем задачи, то в восторге, в исступлении, выбежав на улицу, кричал: “Я нашел!” Какой сластолюбец воскликнул бы с таким душевным удовольствием: “Я наелся!” Или любовник: “Я пресыщен любовью!”?»

Везде силится он уверить людей убедительными доказательствами в красоте, необходимости и пользе добродетели, в безобразии и вреде порока. «Порок, – говорит он, – повсюду за тобой следует; живет во внутренности твоей; ни днем ни ночью не отстает от тебя. В путешествиях, за столом, на ложе мучит тебя гордостью, невоздержанием, заботами, завистью, гневом… Какое в пороке благополучие, когда порочный не имеет ни покоя, ни довольства, ни спокойствия?.. Собирай богатство; строй чертоги; заводи гульбища, пусть дом твой наполнится рабами, город должниками, нет счастья для тебя, если ты во власти порока».

Мудрость Плутарха есть деятельная мудрость. Во всех сочинениях своих он побуждает человека быть полезным обществу и служить ему. Жить только для себя почитает он низким для разумного существа и свойственным единственно тому, кто предался совершенно поносным удовольствиям. «Такого рода жизнь, – говорит Плутарх, – имеет нужду во мраке – в забвении и неизвестности; но кто признает Бога, Провидение, чтит закон, общество, тому не должно скрывать себя. Недеятельная, в неизвестности и покое проведенная жизнь расслабляет не только тело, но и самую душу. Стоячая вода гниет; способности человека в бездействии увядают».

Во всех его сочинениях обнаруживается истинное человеколюбие и сострадание. Никогда в этих добродетелях не изменяет сам себе, подобно некоторым философам протекшего века, которые проповедывали человеколюбие одними пышными словами. Это божественное чувство было врожденное в Плутархе, но утвердилось в нем еще более учением Пифагора. Известно, что этот великий мудрец, дабы смягчить суровость человека и влить в сердце его жалось ко всем тварям, изобрел систему переселения душ. Плутарх принял эту систему, согласную с его чувствительностью. Укрощая свирепость человека к животным, он показывает ему сходство его с ними, унижает его гордость и возбуждает сострадание, устрашая его тем, что, может быть, будущее его существование будет состоянием твари низшей степени. Я не буду приводить здесь его слов о сыроядении; они сильны, разительны; нельзя их читать без особенного чувства. Но какая в том польза?.. Приведем лучше то место, в котором Плутарх осуждает Катона Старшего за то, что он без милосердия продавал старых рабов и волов своих. Место это заслуживает одобрения всякого чувствительного сердца. «По моему мнению, – говорит он, – изгонять рабов из дома, в старости продавать их, употребивши как скотов, – это обнаруживает душу неблагодарную, низкую, которая думает, что человек с человеком не может иметь другой связи, других отношений, кроме нужды и корысти. Мы знаем, что благость и человеколюбие занимают более места, нежели справедливость; мы созданы так, что законы и правосудие употребляем только с людьми; благодетельность и сострадание распространяем и на бессловесных животных, ибо свойства эти проистекают из кротости душевной, как из богатого и чистого источника. Добрый человек должен кормить лошадей, неспособных более к работе, и иметь попечение не только о щенках, но и о старых псах своих… Неприлично нам чувствующее употреблять так, как обувь или как вещи, которые бросаем, коль скоро износятся или испортятся от употребления… Что касается до меня, не продал бы я и быка, обрабатывавшего мою землю, по причине его старости; не удалил бы за деньги человека старого от себя, от места, где он жил, от родины, от обыкновенного рода жизни, когда он столько же бесполезен покупающим, как и продающим».

Я кончу это несовершенное начертание духа Плутарха изложением некоторых его мыслей о законе и власти. «Закон, – говорит он с Пиндаром, – есть царь бессмертных и смертных. Закон управляет владыками. Не заключается он в мертвых книгах, но живет в разуме государя и душу его никогда не оставляет без своего руководства; он внушает ей, что должно делать. Владыки, стараясь о благе человечества, служат Богу; они разделяют и охраняют блага, ниспосылаемые Богом. Нельзя ими наслаждаться, ни употреблять их без закона, без суда, без правителя. Суд есть конец закона; закон – дело правителя; правитель – образ бога, все устрашающего.

Божество возвышает того, кто подражает ему во благости и уподобляется ему в добродетелях и человеколюбии; оно делает его участником в своем правосудии, в своей истине, кротости, божественнее чего не может быть ни огонь, ни свет, ни тела небесные. Суд не восседает, как говорят, на одном престоле с Зевсом; сам Зевс есть суд и справедливость. Зевс сам есть древнейший и совершеннейший закон». Какой христианский мудрец имел о законе и власти лучшее понятие?

Подробно разбирать и исследовать все метафизические и нравственные мысли Плутарха было бы дело, требующее долгого времени и несовместное с краткостью сего предисловия. Скажем только, что все его рассуждения, несмотря на печать древности и на некоторые недостатки, писаны основательно, весьма полезны и назидательны. Приятность их умножают небольшие устранения, достопамятные изречения, частые уподобления и сравнения, придающие живость мыслям и служащие к утверждению предлагаемых истин.

Мы кратко опишем здесь жизнь сего почтенного мудреца.

Плутарх, познакомивший нас со многими великими мужами, мало нам известен по описанию других. Достойно удивления, что о нем ни слова не упоминают писатели, жившие в одно время с ним и в одном городе, каковы Персей, Асканий Педан, Лукан, Сенека, Силий Италик, Валерий Флакк, Плиний Младший, Марциал, Ювенал. Вернейшие – впрочем, краткие – известия, которые можно иметь о его жизни, почерпнуты из собственных его сочинений. Все то, что сказано о нем впоследствии, подвержено некоему сомнению.

Плутарх родился в Херонее* – малом городе Беотии. Эта тучная страна окружена со всех сторон горами и подвержена наводнениям, от которых воздух делается тяжелым. Это обстоятельство имело влияние на умы жителей. Все греки, особенно афиняне, много забавлялись насчет тупоумия беотийцев, которое вошло в пословицу. Они много ели и мало занимались образованием ума, что сам Плутарх замечает. Однако эта малая область произвела Эпаминонда, Пелопида, Пиндара и Плутарха. Явное доказательство, что гений не ограничивается местом и не зависит от особенного климата!

Год рождения нашего философа неизвестен. Полагают оный в пятидесятый год по Р. Х. – в конце Клавдиева или в начале Неронова царствования.

Он происходил от достаточного и весьма древнего рода. Предки его занимали первые должности в управлении отечества. Он упоминает о Никокле, своем прадеде, который рассказывал ему как очевидец о бедствии херонейских граждан во время Антония, воины которого, навьючив их своими запасами, заставили оные нести до самого моря. Ламприй, дед его, был красноречив, имел живое воображение и был известен в обществе, как веселый собеседник. Имя отца его неизвестно. Плутарх говорит о нем как об ученом и доброжелательном человеке и упоминает о следующем его благоразумном совете. «Некогда был я отправлен к проконсулу депутатом вместе с одним согражданином, который по какой-то причине остался позади, так что все дела кончены были одним мной. По возвращении моему, когда я приготовился дать отчет в своих действиях, отец мой советовал мне наедине не говорить гражданам “я поехал”, “я говорил”, но “мы поехали”, “мы говорили”».

У него было два брата, Тимон и Ламприй, которые были его товарищами в учении и в забавах. Плутарх говорит о них с нежностью. О Тимоне же пишет следующее: «Хотя судьба благоприятствовала мне во многом, однако ничем я ему столько не обязан, как любовью ко мне брата моего Тимона».

Учителем его был Аммоний, знаменитый философ. Плутарх в своих сочинениях часто говорит его устами; но вообще он мало нам известен.

Утверждают многие, что Плутарх путешествовал в Египет. Он сам нигде о том не упоминает, следовательно, это подвержено сомнению. Однако в сочинении своем «Об Исиде и Осирисе» он обнаруживает такие сведения, которых нельзя было ему иметь, не живя в Египте. Свойственная ему скромность не позволила бы написать того, о чем многие прежде его писали, если бы сам он не имел точнейших и вернейших сведений. Весьма достоверно, что он путешествовал по Греции, дабы видеть эту страну, в его время имевшую еще некоторые следы прежнего величия, и дабы собрать нужные для истории сведения. Более двух или трех раз ездил он в Рим во времена Вителлия, Веспасиана, или Тита. Это известно потому, что в числе его слушателей был и Арулен Рустик, умерщвленный после Домицианом.

Причина путешествия его в Рим не известна. Не отправился ли он туда в той надежде, что в этом средоточии величайшей империи, в этой столице тогдашнего мира удобнее, нежели где-либо, как сам говорит в жизнеописании Демосфена, мог найти все пособия к совершению своих ученых трудов? Не привлекла ли туда его служба отечества или дружба с знаменитыми особами, каков был Кв. Сосий Сенецион, столь уважаемый Траяном, удостоившийся быть четыре раза консулом, которому Плутарх посвятил «Сравнительные жизнеописания» свои* и «Застольные беседы»? Как бы то ни было, пребывание его в Риме послужило его славе. Все любители философии собирались к нему, дабы слушать его. Стечение их было столь велико, что Плутарх едва имел время чем-либо заниматься. Тогда-то сделались известными его нравственные рассуждения, которые все с жадностью читали.

Большую часть своей жизни провел он в малом своем отечестве, которое безмерно любил. «Я родился в этом малом городе и приятно мне жить в нем, дабы он не сделался еще меньше». Как из этих слов, обнаруживающих кротость и нежность души его, так и из многих других явствует, что Плутарх не был космополитом, будучи уверен, может быть, что космополитизм пагубен для общества.

Он был ревностный последователь Платоновой философии, произведшей великое множество мудрых. Однако не был до того ослеплен уважением к учителю своему, чтобы не отвергать того, что в нем ложно, и не заимствовать от других сект того, что казалось ему основательным. Он заимствовал от академиков скромность и осторожность во мнениях своих и оставил их скептицизм; принял их естественное богословие, но отказался от их метафизических тонкостей и энтузиазма. Весьма странно, что он нигде не упоминает о христианах, которые в то время были уже многочисленны. Вероятно, он вместе со многими другими не умел отличать христиан от иудеев, которых римляне и греки почитали самым суеверным народом. Молчание это о христианах тем удивительнее, что, по уверению митрополита Иоанна Евхаитского*, жившего в царствование Константина Мономаха и Комнинов, Платон и Плутарх были ближе всех языческих мудрецов к христианскому закону.

У перипатетиков научился он познанию естества и логики; но, довольствуясь теми практическими познаниями, какие мог у них заимствовать, отказался от гипотез, которые их много занимали.

Несмотря на явную войну с эпикурейцами, он заимствовал от Эпикура разумное понятие об удовольствии. В политических своих рассуждениях он более следует Аристиппу.

Плутарх был добрый и, по-видимому, счастливый супруг. Жена его Тимоксена была достойна столь кроткого и мудрого человека. Она происходила от добрых родителей; была хорошо воспитана, благоразумна и добродетельна. Счастливое супружество внушило ему те прекрасные брачные наставления, которые многим известны. В сочинении, в котором старался утешить свою жену, находясь в отсутствии, о смерти малолетней их дочери, Плутарх хвалит ее за то, что она не предалась безрассудно своей горести, не обезобразила себя по тогдашнему обыкновению, но перенесла этот удар судьбы с твердостью и великодушием. В этом самом сочинении описывает ее наилучшими красками. По свидетельству его она не имела обыкновенных слабостей ее пола и страсти к нарядам. Всякое излишество почитала достойным порицания, и все честолюбие ее состояло в том, чтобы исполнять свои обязанности. У него было от нее четыре сына: Ламприй, Автобул, Плутарх и Херон и дочь Эвридика. Всех их кормила сама мать, кроме одной дочери, которую не могла сама питать по причине болезни. Они наставлены родителями в своем доме. Философ Секст, наставник императора Марка Антонина, был племянником Плутарха.

По свидетельству Свиды, император Траян почтил Плутарха консульским достоинством и препоручил ему Иллирию. Говорят также, что он был прокуратором Греции. Если это справедливо, то Плутарх тем более заслуживает удивления, что после в своем малом отечестве с примерным старанием исполнял самые неважные должности. Он сам считал кирпичи и камни в общественных строениях Херонеи, над которыми имел надзор, и когда другие над сим смеялись, то он говаривал: «Философ Антисфен нес в руке соленую рыбу, купленную им на рынке, и говорил смеющимся над ним: я для себя ее несу. Я, напротив того, могу сказать тем, кто надо мной смеется, видя меня в таких занятиях: не для себя я это делаю, но для отечества». Заниматься этими мелочами из скупости – низко; заниматься ими для пользы отечества –

достохвально. Чем должность ниже, тем более потребно оказывать усердие. Плутарх, по-видимому, не довольствовался тем, чтобы прославлять великих мужей, но старался им подражать. «Жизнеописания великих мужей, – говорит он, – предпринял я из уважения к другим, но продолжаю уже оные для себя, стараясь в истории их, как бы в зеркале, украсить жизнь свою и приблизиться к их добродетелям».

Но когда Плутарх упоминает о неважных должностях, исправляемых им в своем отечестве, прошел бы он молчанием того, что был возведен в консульское достоинство и управлял Иллирией? Такое молчание с его стороны заставило господина Дасье почитать это обстоятельство сомнительным. Уважение, которым Плутарх пользовался у Траяна, не может доказать того, что он был возведен в это достоинство, ибо многие греческие философы имели слушателями императоров и были их наставниками. Также сомнению подвержено, чтобы он был наставником императора Траяна (или Адриана) – хотя, впрочем, это подтверждается общим мнением. Весьма вероятно, что он был любим и уважаем Траяном, которому посвятил собрание достопамятных изречений полководцев и царей*.

Можно думать, что Плутарх занялся жизнеописаниями по возвращении своем в Херонею после смерти императора Траяна. Столь важное занятие не могло отвлечь его от того, чтобы служить обществу. Он посвятил ему все свое время – как служитель богов, как правитель народный. Беспрестанно увещевал граждан к единодушию; дом его был открыт для всех, имевших в нем нужду; не довольствуясь тем, чтобы назначить несколько часов в день для отправления своей должности, он употреблял много времени для укрощения вражды между частными лицами, для успокоения домашних раздоров, для примирения поссорившихся друзей. Он почитал это важнейшей частью своей должности, ведая, что опаснейшие общественные крамолы были порождены частными неудовольствиями. «Пожары, – говорит он, – не всегда в публичных зданиях начинаются; но большей частью производятся какой-нибудь свечей, оставленной без присмотра в частном доме».

В старости лет своих Плутарх был жрецом Аполлона Пифейского. Время и обстоятельства его смерти нам неизвестны. Полагают, что он умер около 120 года по Р. Х.

Каким уважением пользовался Плутарх при жизни за свои высокие знания и за способности говорить, можно видеть из следующего происшествия, о котором сам пишет в рассуждении о любопытстве. «Некогда в Риме говорил я перед многими слушателями, в числе которых был и Рустик, которого впоследствии умертвил Домициан, завидуя его славе. Приходит воин и подает ему письмо от императора. Сделалась тишина, и я перестал говорить, дабы дать ему время прочесть письмо; однако Рустик сего не захотел и не прежде распечатал письмо, как по окончании беседы – все удивились его твердости!»

Римский сенат воздвиг ему по смерти кумир. Агафий, славный сочинитель надписей, сделал на одном следующую:

«Сыны Италии воздвигли тебе, Плутарх, кумир этот за то, что в описаниях своих сравнил со славнейшими греками храбрых римлян. Но ты сам не мог бы сделать сравнения своей жизни – тебе нет подобного».

Эта стихотворческая надпись не покажется надутой, когда мы узнаем, что многие знаменитые писатели, многие из святых отцов превозносили его великими похвалами.

Авл Геллий приписывает ему высокие познания в науках.

Тавр называет ученейшим и мудрым.

Евсевий ставит выше всех греческих философов.

Сардиан называет «божественным Плутархом», «украшением философии».

Петрарка в нравственных своих сочинениях многократно называет «великим Плутархом».

Ириген, Имерий, Кирилл, Феодорит, Свида, Фотий, Ксифилин, Иоанн Салисберийский, Викторий, Липсий, Скалигер, Сент-Эвремон, Монтескье упоминают о нем с великими похвалами.

Свидетельство Монтеня о Плутархе любопытно тем, что дает нам знать, какую великую перемену произвели его сочинения во Франции в XVI веке. Мы приведем его слова («Опыты». Кн. II, гл. 2):

«Среди всех французских писателей я отдаю пальму первенства – как мне кажется, с полным основанием – Жаку Амио… на протяжении всего его перевода смысл Плутарха

передан так превосходно и последовательно, что либо Амио в совершенстве понимал подлинный замысел автора, либо он настолько вживился в мысли Плутарха, сумел настолько отчетливо усвоить себе его общее умонастроение, что нигде по крайней мере он не приписывает ему ничего такого, что расходилось бы с ним или ему противоречило. Но главным образом я ему благодарен за находку и выбор книги, столь достойной и ценной, чтобы поднести ее в подарок моему отечеству. Мы, невежды, были бы обречены на прозябание, если бы эта книга не извлекла нас из тьмы невежества, в которой мы погрязли».

Посмотрим, что говорят о нем новейшие критики.

Лагарп пишет:

«Из всех биографов на свете более читается и более всех достоин чтения – Плутарх. Уже и сам план его сравнительных жизнеописаний есть изобретение великого ума относительно истории и нравственности – план, где представляются по два славных мужа из двух народов, римского и греческого, произведших наиболее образцов в мире. Но зато уже нигде история столько не нравоучительна, как в Плутархе… Он занимается более человеком, нежели вещами, главный предмет его есть человек, коего жизнь он описывает, и в этом отношении он исполняет дело свое с возможнейшим успехом, не собирая множества подробностей, как Светоний, но выбирая черты главные. А сравнения, которые суть следствия оных, – это совершенные статьи в своем роде: в них-то наиболее видно высокое достоинство Плутарха и как писателя, и как философа. Никто, никто из смертных не имел более права держать в руке своей весы, на которых вечная правда взвешивает людей и определяет их истинную цену. Никто более не остерегся от блестящих и ослепительных соблазнов, никто лучше не умел ловить полезное и выставлять его достоинство… Его рассуждения суть истинное сокровище мудрости и здравой политики: в них содержатся наилучшие наставления для тех, которые хотят жизнь свою, общественную и даже домашнюю, расположить по правилам честности и проч.».

Блер в «Риторике» своей говорит:

«Плутарх отличился в этом роде сочинений; ему большей частью мы обязаны всем тем, что знаем о славнейших мужах древности… Его сравнительные жизнеописания славных мужей останутся навсегда драгоценным запасом наставлений полезных. Из древних сочинителей мало есть равных Плутарху в человеколюбии и чувствительности, и проч.».

Феодор Газа, ученейший человек, один из тех греков, которые в пятнадцатом столетии воскресили в Европе словесность и науки, имел отличное уважение к Плутарху. Некогда спрашивали его, какого писателя захотел бы он сохранить при всеобщем истреблении всех книг? «Плутарха!» – отвечал он, почитая исторические и нравственные его сочинения весьма полезными для общества.

Сравнительные жизнеописания, которые до нас дошли и имеют быть изданы на русский язык, суть следующие:

– Тесей и Ромул
– Ликург и Нума
– Солон и Попликола
– Фемистокл и Камилл
– Перикл и Фабий Максим
– Алкивиад и Гай Марций
– Тимолеонт и Эмилий Павел
– Пелопид и Марцелл
– Аристид и Марк Катон
– Филопемен и Тит
– Пирр и Гай Марий
– Лисандр и Сулла
– Кимон и Лукулл
– Никий и Красс
– Серторий и Эвмен
– Агесилай и Помпей
– Александр и Цезарь

– Фокион и Катон
– Агис и Клеомен и Тиберий и Гай Гракхи
– Демосфен и Цицерон
– Деметрий и Антоний
– Дион и Брут
– Артаксеркс
– Арат
– Гальба
– Отон

Не дошли до нас жизнеописания:

Эпаминонда – Сципиона Африканского – Августа – Тиберия – Гая Цезаря – Вителлия – Геракла – Гесиода – Пиндара – Аристомена – Сократа и некоторых других.

Сочинения Плутарха переданы почти на все новейшие европейские языки. Первый перевод издан на французском языке при восстановлении наук Амио в царствование Генриха II, в 1558 году*. Этот перевод и поныне почитается прекрасным, несмотря на многие его погрешности и великую перемену в языке. Перевод господина Дасье, изданный после Амио через полтораста лет, когда язык французский достиг уже совершенства, не унизил нимало достоинства первого в глазах знатоков. Хотя перевод Дасье более читают, Амио заслуживает благодарность нашу не только как хороший переводчик, но, сверх того, как ученый-эллинист, исправивший во многих местах недостатки подлинника. Он ездил в Италию для отыскания рукописей, которые отличал с великим старанием. Никто из переводчиков прозаического автора не приобрел такой славы, какую приобрел Амио. Не должно забыть и того, что он перевел все сочинения Плутарха, Дасье перевел одни жизнеописания.

С перевода Амио Плутарх был переведен на английский язык в царствование королевы Елизаветы. До времен Драйдена не было другого перевода. Этот великий человек унизил себя тем, что несовершенному труду многих других переводчиков придал свое славное имя. Публика была обманута. Этот перевод был, однако, много раз переправлен и вновь издан по сличении с переводом Дасье в 1728 году. После того вновь был очищен от многих ошибок и издан в 1758 году. При всем том, жизнеописания Плутарховы были, можно сказать, изуродованы. Наконец, двое братьев, Джон и Уильям Лангорны, перевели жизнеописания с греческого подлинника. В 1805 году было девятое издание их перевода.

На немецком языке несколько переводов Плутарха. Особенное внимание заслуживает перевод Кальтвассера, изданный в 1799 году.

Русская словесность ежедневно обогащается полезнейшими книгами, переводимыми с разных языков. Кажется, настало то время, в которое все отстают от чтения бесполезных книг, дабы заняться теми, которые способствуют образованию человека. В этой эпохе, в которой Гомер, Вергилий, Тацит, Саллюстий и другие великие писатели, образцовые в своем роде, находят достойных переводчиков, удивительно, что забыт Плутарх, из всех, может быть, полезнейший, Плутарх, который прославил хорошего переводчика, когда только его имел. Не удостоился ли Амио хорошим своим переводом Плутарха быть в числе образователей французского языка? Причиной тому, что Плутарх не переведен на русский язык, должно полагать непростительное пренебрежение к греческому языку, которому русские менее всех просвещенных народов учатся. Может быть, многочисленность сочинений Плутарха устрашала любителей словесности, занятых важнейшими делами.

Я очень чувствую, что чем писатель славнее и известнее, тем более требуют от переводчика; чувствую и то, что при моем усердии и трудолюбии не могу надеяться на славу даже посредственного переводчика, ибо русский язык мне не родной, а приобретен мной постоянным и долговременным трудом. Однако, видя, сколь число посредственных переводчиков велико и что нередко публикой они терпимы по недостатку в лучших, я дерзнул вступить на опасное поприще. Сколь ни дурен мой перевод, думал я, однако он довольно верен, по возможности близок к оригиналу – достоинство немаловажное, особенно когда позволяется лучших авторов, древних и новых, переводить с французских, не всегда хороших переводов! Плутарх сам не избежал жесткого жребия – быть переведенным с французского перевода. Этот

перевод не приносит никому ни пользы, ни удовольствия, но мои труды помогут какому-нибудь искуснейшему переводчику перевести Плутарха исправнее. За четыре года я издал несколько избранных жизнеописаний для опыта. Оные были удостоены всемилостивейшего Его Императорского Величества воззрения, и многие особы, известные своею ученостью, не менее как и знаменитостью сана своего, уверили меня, что мой перевод был им не противен.

Ободренный этим благосклонным отзывом, я получил новые силы к продолжению долговременного и трудного занятия – я решился перевести как жизнеописания Плутарха, так и лучшие из других его сочинений. Я почитаю долгом благодарности трудиться для общества, которому обязан образованием. Но при всей своей охоте перевести сочинения Плутарха, находясь почти в конце своего подвига, признаюсь, что для славы сего великого человека, для пользы русской словесности, для большего удовольствия любителей чтения решился бы – после пятилетних трудов – отстать от своего предприятия, коль скоро бы удостоверился, что более искусный человек занимается таковым переводом.

Излишнее было бы говорить о трудностях, встречающихся в переводах с древних языков; оные многоразличны и касаются больше ученых. Важнейшая из них происходит от различия нравов, древних и наших. Хотя человек всегда человек, но в разные времена, при различных обстоятельствах понятия его о вещах, чувства и страсти подвержены разным изменениям, которые представляют сего хамелеона как бы в другом виде. От этого происходит, что сочинения других народов, и даже нашего народа, писанные за несколько веков, кажутся нам странными; мы находим в них выражения и мысли, нам неприятные потому только, что они не наши; мы говорим, что в них нет вкуса, чистоты во нравах, ибо самолюбие уверяет нас, что вкус наш есть самый лучший. Сколь были бы мы осторожнее в своих суждениях, когда бы каким-либо чудом могли предугадать, какое мнение будут иметь потомки о сочинениях, славящихся в наше время! Сколь многие писатели, удивлявшие своих современников, сделались посмешищем потомства! По этой причине мы должны умерять строгость, с какой судим о некоторых недостатках, открываемых в древних писателях, и, если можно, оставлять без внимания места, противные нашим понятиям. Такие места тем виднее, чем более нравы наши отстают от древних и чем менее нам известен образ их мыслей. Россияне, в отличие от тех, кто может получать тщательнейшее воспитание, мало занимаются древними языками, не полагая их основанием своей учености. И по этой причине сочинения древних на русском языке не всегда имеют успеха, хотя язык сам по себе способнее других новейших языков к таковым переводам.

Можно иногда смягчать выражения, слишком противные нашему уху, но преобразовывать своего автора, то прибавляя, то отсекая, не есть дело переводчика, который, по моему мнению, не должен скрывать и самих недостатков своего писателя, ибо верность есть первая его обязанность. Если всякий переводчик вздумает поправлять своего автора по-своему, то какое будет разнообразие в переводах! Сколько всякий перевод будет различен от подлинника! Не должно забывать и того, что иные любопытные читатели хотят иметь автора таковым, как он есть, дабы лучше узнать дух, господствовавший в том веке, в котором он писал.

Я должен нечто сказать об употреблении греческих и латинских имен. Россияне, приняв от греков веру, письмена и несколько понятий исторических, философских и прочих, сохранили во всех иностранных именах греческий выговор X века. Так, например, они говорят: «Авраам», а не «Абрагам»; «Феодосий», а не «Теодозий», «Киликия», а не «Цилиция». Латинские имена произносили по примеру греков, говоря «Кесарь», вместо «Цезарь», «Патрикий» вместо «Патриций». Так россияне употребляли эти имена до XVIII века, когда начали заимствовать многие понятия у европейцев, придерживающихся латинского выговора. Многие начали употреблять латинский, но другие следовали греческому по примеру славянских книг. Вскоре некоторые, не заботясь ни о греческом, ни о латинском, следовали выговору французскому; и они-то пишут: «Симон», «Эшиль» и проч. Кто в этом выговоре узнает «Кимона», или «Цимона», и «Эсхила»? Простительно ли портить имена и приводить в замешательство читателя, который может принять афинянина

Кимона за иудея Симона? Так случиться может, что в русской книге найдем: Сезарь, Тюсидид, Аристот, Амброаз – и не узнаем этих великих мужей. Что касается меня, то я

последовал выговору, прежде россиянами употребляемому, и отступал от него только в таких случаях, когда какое-либо имя не иначе могло быть узнано, как по латинскому выговору. Так например, пишу: «Тесей», «Аякс», и не «Фисей», «Эант», во всех других случаях наблюдая греческий выговор, хотя многим он уже кажется странным. Впрочем, те, кто хочет, чтобы мы писали: «Демостен», «Темистокл», «Лесвос», пусть сами начнут писать: «Атены», «Тебы» и т. д. вместо «Афины», «Фивы» и проч.

Желая сделать эту книгу полезнее для читателей, особенно для тех, кто не весьма знаком с древней историей, я обогатил ее замечаниями Дасье, Мезерая, Клавье, Рюальда, Корая, братьев Лангоры и некоторых других. Моих замечаний очень мало.

Можно предупредить некоторых читателей, чтобы они не судили о всех сочинениях Плутарха по двум первым жизнеописаниям, которые, будучи большей частью баснословны, не могут удовлетворить строгим любителям истины.

Спиридон Дестунис

Тесей и Ромул

Тесей

Как землеописатели, полагая неизвестные им страны на краях карт своих, делают обыкновенно замечания: «Далее безводные, песчаные степи, жилища диких зверей», или: «Непроходимые болота», или: «Скифские морозы», или: «Ледовитые моря», так и я, Сенецион!* В этих сравнительных жизнеописаниях, пройдя через времена, основывающиеся на вероятности и объемлемые историей, описывающей в связи все происшествия, мог бы сказать о делах отдаленнейших времен: далее сего – страна вымыслов и чудовищ, обладаемая стихотворцами и баснословами – нет в ней ни достоверности, ни света. Но по издании жизни Ликурга и Нумы думал я, что не неприлично будет взойти до Ромула, к временам которого приблизились мы повествованием. Рассматривая, как говорит Эсхил*:

Кто может с мужем сим сравниться?
Кто стать против него дерзнет и с ним сразиться?

Показалось мне, что основателя прекрасных и пресловутых Афин можно противоположить отцу непобедимого и славой гремящего Рима. Желали бы мы, чтобы это повествование, очищенное разумом от всякого баснословия, приняло вид истинной истории. Но там, где баснословие упорно противится вероятности и не согласуется с тем, что достоверно, мы имеем нужду в читателях снисходительных, которые принимали бы с кротостью описание столь отдаленной древности.

Тесей во многом сходен с Ромулом; оба они родились во мраке неизвестности; оба почитаются рожденными от богов:

Военной славой они блистали оба*,

и с храбростью сопрягали благоразумие. Один построил Рим, другой населил Афины – города, славнейшие в мире; и тот и другой похищали женщин; ни один не избежал домашних несчастий и вражды с родственниками; перед самой кончиной навлекли они на себя негодование своих сограждан – если в жизни их можно почесть истинным то, что менее странно и чудесно.

Тесей происходит со стороны отца от Эрехтея и от первых автохтонов; со стороны матери – от Пелопа*. Этот Пелоп был сильнейший из пелопоннесских царей – как по великому своему богатству, так и по множеству детей своих. Многих дочерей выдал он за самых знатных граждан, а сыновей поставил во главе городов. Из числа их Питфей, дед Тесея, основал небольшой город Трезена* и славился как человек самый мудрый и ученый в своем веке. Мудрость тогдашнего времени была подобна той, какой Гесиод* отличил себя в творении своем «Труды и дни», содержащем нравоучительные мысли. Говорят, что стихотворец этот

заимствовал у Питфея правило сие:

Обещанною мздой да будет друг доволен.

То же самое говорит и Аристотель*. Еврипид, называя Ипполита воспитанником непорочного и мудрого Питфея, показывает, какого о нем были мнения.

Эгей просил детей у богов. Пифия изрекла известное всем прорицание, которым повелевала ему не иметь связи ни с какой женщиной до прибытия в Афины. Но прорицание не было довольно для него ясно. Приехав в Трезену, сообщил он его Питфею, звучащее так:

Не смей развязывать ноги встающей меха,
Доколе, государь, в Афины не прибудешь.

Неизвестно, как Питфей понимал это изречение; однако убеждением или обманом склонил Эгея вступить в связь с Этрой. Эгей, узнав, что она была дочь Питфия, и уверясь в ее беременности, скрыл свой меч и обувь под большой, пустой внутри камень. Он объявил об этом одной только Этре и сказал при том, что если родится от него сын и, возмужав, будет в силах поднять камень и взять то, что под ним лежит, то она должна прислать его к нему самым тайным образом. Он страшился пятидесяти Паллантидов*, которые злоумышляли против него и презирали его за бездетство; после того отправился он в Афины.

Этра родила сына. По словам некоторых, назвали его Тесеем при самом рождении, от положения знаков под камень, а по мнению других, так назван он после в Афинах, когда Эгей признал его своим сыном*.

Тесей во время пребывания своего у Питфея имел наставником своим некоего Коннида, которому и поныне афиняне приносят в жертву овна за день до Тесеева праздника. Таким образом, они помнят и почитают его с большею справедливостью, нежели Силланиона и Паррасия*, которые сделали лишь изображения и кумиры Тесея.

В то время выходящие из отрочества юноши имели обычай отправляться в Дельфы и посвящать Аполлону свои волосы. Этому обычаю последовал и Тесей. Говорят, что место, именуемое Тесея, где происходил обряд этот, от него получило свое название; он остриг только переднюю часть головы, подобно абантам*, как говорит о них Гомер. Этот вид стрижки был назван «Тесеевым». Абанты первые стригли таким образом свои волосы, не переняв того ни у арабов, ни у мисийцев*, как некоторые уверяют, но, будучи воинственными и смелыми в сражениях, имели привычку хвататься руками за неприятелей, как свидетельствует о том Архилох*:

Нет вовсе стрел у них; луков не напрягают;
Из пращей на врагов каменьев не бросают.
Коль Марс возжет войну в бесстрашных их сердцах,
Они сражаются на острых лишь мечах.
Сим образом войны и славны и велики
Эвбеи храбрые и мощные владыки.

И так они стригли волосы свои, дабы неприятели за них не хватались. Из этих соображений Александр Великий приказал своим полководцам обрить македонянам бороды, за которые в сражениях могли хвататься неприятели.

Этра скрывала истинное происхождение Тесея. Питфей распустил слух, будто он рожден Посейдоном. Трезенцы особенно почитают сего бога. Он покровитель их города; ему приносят начатки плодов, а на монетах их изображен трезубец.

Достигая юношеских лет, при умножении сил телесных обнаруживал Тесей крепость и высокий дух, соединенные с благоразумием и твердостью; тогда Этра привела его к камню, объявила ему истинное его происхождение, велела достать из-под камня оставленные отцом его знаки и плыть в Афины. Тесей без труда поднял камень, но плыть морем отказался, невзирая ни на безопасность этой дороги, ни на просьбы матери и деда. Дорога в Афины сухим путем была

весьма опасна. Не было места спокойного и не занимаемого разбойниками и злодеями. Тот век, как говорят, произвел людей, проворством в руках, легкостью ног, телесной крепостью черезвычайных и неутомимых, которые, однако, не употребляли этих природных даров ни к чему полезному и похвальному. Они гордились надменными и дерзкими поступками, употребляли силу свою с лютостью и зверством, желая только покорять, насильничать, истреблять все, что им ни попадалось. Они верили, что скромность, справедливость, права, человеколюбие нисколько не нужны тому, кто других сильнее; что качества эти прославляются лишь теми, которые не имеют смелости обижать и сами боятся обиды. Геракл, объезжая землю, истребил и умертвил часть этих злодеев. Остальные скрывались в ужасе и были презираемы по причине своего унижения. Но после того как Геракл, убив, по несчастию, Ифита, удалился в Лидию и долгое время служил там Омфале, осудив себя на то самовольно за убийство своего друга*, Лидия наслаждалась ненарушимым спокойствием и тишиной, зато в Греции злодеяния вновь возникли и распространились по всей стране: не было никого, кто бы укротитил злодеев. По этой причине дорога сухим путем из Пелопоннеса в Афины была пагубна. Питфей, называя Тесею каждого из этих разбойников, описывая поступки их с иноземцами, уговаривал его ехать морем. Но Тесея давно уже волновала слава подвигов Геракла. Более всех уважал этого героя; с жадностью слушал повествовавших о его деяниях, особенно же тех, кто видел его и был свидетелем подвигов его и речей. Тесей испытывал те же самые чувства, какие много позже испытывал Фемистокл, признавшийся, что его лишает сна трофей Мильтиада. Подобным образом Тесею, удивлявшемуся доблести Геракла, ночью снились его подвиги; днем ревность воспламеняла его к произведению подобных. Более того, были они связаны между собой родством. Матери их были двоюродные сестры. Этра была дочь Питфея, Алкмена же дочь Лисидики. Лисидика и Питфей были дети Пелопа и Гипподамии.

Тесей почитал для себя постыдным избегать очевидных опасностей тогда, когда Геракл искал повсюду злодеев и от них очищал моря и земли. Он думал, что, отправясь морем, как бы избегая случая сразиться, бесславил того, кто, по общему мнению, был его отцом; между тем как настоящему отцу, дабы показать, кто он таков, приносил лишь обувь и меч, кровью не обагренный, – вместо того чтобы смелыми и похвальными трудами доказать ему благородство своего происхождения. С таким духом и намерением пустился он в путь; он решился никого не обижать, но наказать тех, кто против него употребил бы насилие.

В землях Эпидавра встретил он Перифета*, употреблявшего палицу вместо всякого другого оружия и по этой причине называвшегося Коринитом (палиценосцем). Перифет хотел его остановить. Тесей вступил в бой с ним и умертвил его. Эта палица столь ему понравилась, что носил ее всегда с собой так, как Геракл львиную шкуру. Одному шкура эта служила доказательством огромности умерщвленного им зверя; другой показывал, что побежденная им палица с ним будет непобедима.

На Коринфском перешейке наказал он Синиса Питиокампа, или сгибателя сосен*, той же смертью, какой Синис многих погубил. Тесей, не научившись сему искусству и не упражнявшись, показал, что доблесть превосходит всякое искусство и упражнение. У Синиса была дочь, прекрасная и высокого роста, по имени Перигуна. После убийства отца она бежала. Тесей долго искал ее. Она удалилась в место, заросшее дикой спаржею и тростником, и с великой простотой и невинностью просила эти растения, словно они умели чувствовать, скрыть и спасти ее, клятвенно обещая им никогда не ломать и не жечь. Когда же Тесей звал ее и уверял, что будет о ней заботиться и не обидит ее, она вышла. Впоследствии родила она от Тесея сына по имени Меланипп; потом выдана была Тесеем замуж за Деионея, сына Эврита, царя эхалийского. От Меланиппа родился сын Иокс, который вместе с Орнитом завел в Карии поселение. От него происходят иоксиды, которые сохранили обычай не рвать и не жечь тростника и дикой спаржи, но почитать их священными.

Кроммионская свинья, названная Фэей, была свирепым и воинственным зверем, которого победить было нелегко. Тесей мимоходом напал на него сам, дабы не казалось, что все делает по необходимости, – и умертвил. Он думал, что истинно мужественный не только должен сражаться со злыми, защищая себя, но прилично ему первому нападать на диких зверей и подвергать себя опасности в сражениях с ними. Некоторые говорят, что Фэя была разбойница, лютая и развращенная, жившая в Кроммионе*; что названа свиньей по причине ее злости и

дурного поведения и что умерщвлена Тесеем.

Скирона умертвил он около границ Мегариды, бросив его, по общему мнению, со скалы за то, что грабил прохожих. Другие говорят, что этот Скирон, исполненный надменности и жестокости, протягивал ноги свои чужестранцам, приказывал их мыть и тогда же толкал их и свергал в море. Мегарские писатели, противясь общему мнению и, как говорит Симонид, борясь с древностью, уверяют, что Скирон не был ни грабитель, ни злодей, но, напротив, он истреблял разбойников и был связан родством и дружбой со всеми добрыми и правдивыми мужами. Всем известно, говорят они, что Эак почитается беспорочнейшим человеком того времени, что Кихрей Саламинский* боготворим в Афинах, что Пилей и Теламон были весьма добродетельны; Скирон же был Кихрею зять, Эаку – тесть, Пилею и Теламону – дед, ибо они родились от Эндеиды, дочери Скирона и Харикло. Вероятно ли, чтобы добродетельнейшие мужи вступили в родство со злодеем, давая ему и приемля от него то, что всего драгоценнее и почтеннее среди людей? Эти писатели утверждают, что не в первом своем путешествии в Афины, но гораздо после Тесей умертвил Скирона, отнял у мегарян Элевсин и изгнал тамошнего правителя Диокла. Вот с какими противоречиями это повествуется!

В Элевсине боролся он с Керкионом Аркадянином и умертвил его. Далее, в Герме, умертвил Дамаста, прозванного Прокрустом*, сравнив его с длиной кровати, так как он сам поступал с другими. Тесей подражал этим Гераклу, который наказывал нападающих на него той же казнью, какую они ему приготовляли. Так принес он в жертву Бусириса, задушил Антея в борьбе, Кикна* победил в единоборстве, а Термеру раздробил голову – от чего произошла пословица: «Термерийская беда». Говорят, что Термер попадавшихся ему умертвлял, ударяя их своею головой. Тесей подвергал злодеев тем самым наказаниям; они претерпевали от него те мучения, которые других терпеть заставляли; изобретениями несправедливости справедливо были наказаны.

Продолжая путь свой, дошел он до Кефиса, на берегах которого встретился с мужами из рода Фиталидов* и принят был ими благосклонно. По его просьбе они очистили и освятили его по обрядам, принесли жертву для умилостивления богов и, наконец, угостили его в своем доме. До них не был он никем гостеприимно принят.

В Афины прибыл он в восьмой день месяца кронии, который ныне называется гекатомбеоном*. По прибытии своем нашел он общество, исполненное мятежей и раздоров, а дом Эгеев в великом неустройстве. Медея, убежавшая из Коринфа, обещав избавить Эгея от бездетности своими зельями, жила с ним. Она предчувствовала приход Тесея. Эгей, уже старый и всего боявшийся по причине крамол и мятежей, ничего не знал о нем. Медея убедила его отравить ядом Тесея, как чужестранца, на пиршестве, для него уготованном. Тесей, придя к столу, не хотел объявить, кто он таков: но, чтобы предоставить отцу возможность самому узнать его, обнажил свой нож, намереваясь резать мясо, перед ним стоявшее, и показал старику меч. Эгей тотчас узнал его, опрокинул чашу с ядом, призвал его к себе, обнял и, созвав граждан, признал его сыном своим. Все они приняли его с удовольствием по причине его доблести. Место, где сосуд был опрокинут, называемое ныне Дельфиний, обнесено стеной. Тут был двор Эгея. Изображение Гермеса, стоящее на восточной стороне храма, называется «Гермесом у Эгеевых врат».

Паллантиды до той поры надеялись, что царство достанется им, когда Эгей умрет бездетен. Но как скоро Тесей был признан наследником престола, то они, не терпя, чтобы после Эгея, который сам был усыновлен Пандионом и не имел никакого родства с родом Эрехтея, царствовал Тесей, пришелец и чужеземец, принялись за оружие. Они разделились на две части: одни явно шли против города во главе с Паллантом со стороны Сфетта; другие устроили засаду в Гаргетте*, чтобы с двух сторон напасть на противников. У них был вестником некто агнунтиец, по имени Леой, который открыл Тесею злоумышления паллантидов. Тесей напал неожиданно на бывших в засаде и полностью истребил их. Следовавшие за Паллантом рассеялись, как скоро узнали о поражении. С того времени, говорят, граждане из племени Паллена не вступают в брак с агнунтийцами, и глашатаи не кричат никогда, по обыкновению других жителей Аттики, слова: «Акуэте Леой»*. Им ненавистно имя Леой по причине его измены.

Тесей, не желавши жить в бездействии, дабы привлечь к себе любовь народа, пошел

против Марафонского вола, который немало беспокоил жителей Тетраполиса*. Он одолел его, провел живого через город и принес в жертву Аполлону Дельфинию.

Что касается Гекалы, которая приняла к себе и угостила Тесея, то, кажется, повествуемое о ней не совсем баснословно. Окрестные народы, сходясь, приносили гекалисийские жертвы Зевсу Гекальскому и оказывали почести Гекале, иначе называемой Гекалиной, уменьшительным именем, потому что и она, угощая Тесея, который был тогда очень молод, приветствовала его, ласкала и по обычаю старых людей называла его подобными уменьшительными именами. Когда Тесей отправлялся в поход, то она дала обет принести Зевсу жертву, если Тесей возвратится невредим, но умерла до его возвращения. По приказанию Тесея оказываемы ей были почести в награду за ее гостеприимство, как о том повествует Филохор*.

Вскоре после того прибыли из Крита в третий раз посланники царя Критского для взыскания подати, наложенной на афинян по следующему случаю: Андрогей, сын Миноса, был коварно убит в Аттике. Минос, мстя за смерть его афинянам, разорял область их. Казалось тогда, что сами боги опустошали землю; сделался неурожай и мор; осушились реки. Аполлон объявил афинянам, что гнев богов укротится и бедствия их кончатся тогда, когда они умилостивят Миноса и примирятся с ним. Афиняне отправили к нему послов, просили о мире и обязались по договору посылать к нему каждые девять лет* по семи юношей и по семи девиц – в чем большая часть писателей между собой согласны. Юноши и девы, привозимые на Крит, если поверить самому трагическому повествованию, были пожираемы Минотавром* в лабиринте; другие говорят, что, блуждая по нему и не находя выхода, там погибали.

О Минотавре говорит Еврипид:

Сие чудовище, смешение природы

и:

Сей получеловек и вкупе полувол…

Филохор пишет, что критяне опровергают это предание и говорят, что лабиринт был обычной темницей, из которой не могли убежать узники, и что они в нем не были подвержены никакому наказанию; что Минос устраивал игры в память сына своего Андрогея и награждал победителей молодыми афинянами, которые до того содержались в лабиринте. В первых играх одержал победу полководец Тавр, бывший при Миносе в великой силе, человек надменный и жестокий, который с афинскими юношами поступал презрительно и строго. Аристотель сам в сочинении «Государственное устройство Боттии»* не верит, что юноши были предаваемы смерти Миносом, но думает, что они проводили всю жизнь свою в рабстве. Также повествует он, что критяне, исполняя некоторый древний обет, некогда послали в Дельфы своих первородных детей, в числе которых были потомки этих афинских рабов, но не смогли сами прокормиться и отправились в Италию и поселились в Иапигии*; оттуда переселились во Фракию и прозваны боттийцами. По этой причине девы боттийские во время жертвоприношений припевают: «Пойдем в Афины!»

Впрочем, это доказывает, сколь опасно навлекать на себя ненависть города, имеющего, так сказать, голос и покровительствуемого Музами. Миноса неизменно поносили и ругали в афинских театрах. Не помогли ему ни Гесиод, называющий его «царственнейшим», ни Гомер, дающий ему имя «собеседника Крониона». Трагические стихотворцы превозмогли и с высоты сцены покрыли его поношением как насильственного и жестокого человека, хотя вообще говорят, что Минос есть царь и законодатель*, а Радамант – судья и страж установленных им законов.

Когда настало время послать в третий раз дань и имевшим взрослых детей отцам надлежало бросить жребий, то граждане вновь восставали на Эгея: они жаловались и негодовали, говоря, что только он не участвует в этом наказании, будучи виновником всего зла; что, предав царство сыну своему – чужеземцу, незаконнорожденному, взирает на них без жалости, лишенных законных своих детей и остающихся бездетными. Слова эти трогали Тесея. Почитая долгом своим участвовать в судьбе других граждан, захотел он и без жребия вступить

в число посылаемых на Крит юношей. Все удивились великости его духа и возлюбили его за привязанность к народу. Эгей истощил все старания и просьбы, дабы отклонить его от сего намерения; но, видя его твердым и непоколебимым в своих мыслях, выбрал по жребию других. Впрочем, Гелланик* уверяет, что на Крит посылали не избранных по жребию, но тех, кого сам Минос приезжал выбирать; что он взял Тесея прежде всех с условием, чтобы афиняне снабдили его судном, на котором бы отправиться ему с юношами, не имеющими при себе никакого оружия, и что смертью Минотавра пресекалась и эта дань. Прежде сего не было никакой надежды к спасению; по этой причине корабль отъезжал с черным парусом, как бы юноши отправлялись к неминуемой погибели. Но Тесей, обнадеживая отца своего и обещая умертвить Минотавра, ободрил его до того, что он дал кормчему корабля другой, белый парус с приказанием поднять его при возвращении, если Тесей спасется; в противном случае оставить черный, дабы издали известить его о своем несчастье. Симонид пишет, что данный Эгеем парус не был белый, но алый, выкрашенный соком цветов ветвистого дерева дуба*, и что был он знаком спасения их. Кормчий его был Ферекл, сын Амарсиада, по словам того же Симонида. Но Филохор говорит, что Тесей взял у Скира кормчего Навсифоя с Саламина; что правящий передней частью корабля был Феак, ибо в то время афиняне не занимались еще мореплаванием*. В числе юношей был и внук Скира Менест. Все это подтверждается еще малыми храмами, посвященными Тесеем Навсифою и Феаку, как героям, в Фалерах близ храма Скира. Праздник, называемый Кибернисий, или «кормческий», отправляется также в честь им.

По избрании всех юношей жребием Тесей взял их из пританея*, пошел с ними в Дельфиний и принес Аполлону за спасение их масляничную ветвь, или ветвь моления. То была ветвь из священного дерева, увитая белым льном. По принесении мольбы своей он сел на корабль шестого числа месяца мунихиона*, в память чего и поныне в день этот посылают афинских дев молиться в Дельфиний. Говорят, что дельфийский бог советовал Тесею принять Афродиту в свои предводители и просить ее быть ему спутницей; что он на берегу моря приносил ей в жертву козу, которая вдруг превратилась в козла; это подало повод назвать богиню Эпитрагией*.

По прибытии на Крит, как пишут историки согласно с поэтами, получил он от влюбившейся в него Ариадны нить, узнал, как можно вырваться из лабиринта, и умертвил Минотавра; потом отплыл, взяв с собой Ариадну и бывших с ним юношей. Ферекид* говорит, что Тесей проломил дно у всех критских кораблей, чтобы они не смогли его преследовать. Демон пишет, что Тавр, полководец минойцев, препятствоваший Тесею отплыть, был убит им на берегу моря.

Однако Филохор повествует, что при проведении игр Миносом все завидовали Тавру, не сомневаясь, что он снова над всеми одержит победу. Тавр был всеми нелюбим за свою надменность; его подозревали также в непозволительной связи с Пасифаей; и поэтому, когда Тесей захотел вступить с ним в бой, Минос дал ему на то позволение. На Крите не запрещали женщинам присутствовать при народных позорищах. Ариадна, тут находившаяся, приведена был в изумление красотой Тесея. Еще более восхищалась она им, когда он над всеми одержал победу. Минос столь был доволен победой Тесея над Тавром, что возвратил ему юношей и освободил Афины от дани.

Клидем, начав свою повесть издалека, говорит обо всем по-своему, утверждая, будто бы, по общему греков положению, запрещено было пускаться в море на судне, в котором могло поместиться более пяти человек, и что одному Ясону, управлявшему «Арго», позволено было разъезжать по морям с большим числом для истребления морских разбойников. Однако Дедал, убежав в Афины на корабле, был преследуем Миносом на длинных судах, несмотря на общее греков постановление. Минос занесен был бурею в Сицилию, где и умер. Сын его Девкалион, гневаясь на афинян, требовал от них Дедала, грозя им в противном случае умертвить афинских детей, которых Минос держал у себя заложниками. Тесей отвечал ему с кротостью, что не может выдать Дедала, который был ему близкий родственник, как сын Меропы, дочери Эрехтея. Между тем начал он строить корабли частью в местечке Тиметадах, далеко от большой дороги, частью в Трезене у Питфея, дабы скрыть свое предприятие. Когда все было готово, то он отплыл с морскими силами, имея при себе вожатыми Дедала и других изгнанников с Крита. Никто не был извещен о их приближении. Критяне думали, что то были

суда дружественные. Тесей завладел пристанью, вышел на берег, поспешил к Кноссу*, дал сражение перед воротами лабиринта, убил Девкалиона и его телохранителей. После того правление государства перешло к Ариадне, с которой Тесей вступил в переговоры, получил обратно афинских юношей и заключил мир между афинянами и критянами; обе стороны обязались клятвой никогда не возобновлять войны. Равным образом много повествуют о Тесее и Ариадне без всякой достоверности. Одни говорят, что Ариадна, брошенная Тесеем, с отчаяния удавилась; другие – что она перевезена была на остров Наксос и вышла замуж за Онара, жреца Диониса, будучи покинута Тесеем, который влюбился в другую, ибо тогда он, как говорит Гесиод:

Любовью пламенной горел к прекрасной Эгле.

Герей Мегарский говорит, что Писистрат исключил стих этот из сочинений Гесиода и что, желая угождать афинянам, включил в Гомерово «Заклинание мертвых»* следующий стих:

Тесей и Пирифой, сыны богов преславны.

Некоторые уверяют, что Ариадна родила от Тесея Энопиона и Стафила. О первом упоминает хиосец Ион*, говоря об отечестве своем:

Сей град Энопион, Тесеев сын, построил.

Впрочем, достовернейшее из этих баснословных повествований у всех на языке. Но Пеон, родом из Амафунта*, повествует все это другим образом. Он говорит, что Тесей занесен был бурей на Кипр. Ариадна была беременна и от непогоды сошла на берег. Тесей же пустился в море на помощь своему кораблю. Тамошние женщины приняли Ариадну человеколюбиво, старались утешить ее в одиночестве ее, приносили ей подложные письма от Тесея, оказывали ей помощь и сострадание в родах. Она умерла, не разрешась от бремени, и кипрские женщины похоронили ее. Тесей возвратился в то самое время; горесть его была безмерна; он оставил тамошним жителям денег и препоручил приносить Ариадне жертвы. В память любви своей воздвиг он ей два малых кумира, серебряный и медный. В жертвах, приносимых второго числа месяца горпиея*, молодой человек должен лечь на постель и подражать голосу и движениям мучащейся родами женщины. Амафунтяне называют рощу, в которой показывают ее гроб, рощей Ариадны-Афродиты.

Некоторые писатели с Наксоса утверждают, что было два Миноса и две Ариадны. Одна из них была женой Диониса на острове Наксос и родила Стафила. Младшая, похищенная и оставленная Тесеем, приплыла к тому же острову со своею кормилицей Коркиной, чью гробницу показывают и поныне. Эта Ариадна умерла на Наксосе, но не оказываются ей почести такие, как первой. Праздники в честь старшей отправляются с весельем и играми, праздники последней смешаны с печалью и унынием*.

Тесей, отправясь с Крита, пристал к Делосу*. Он принес жертвы Аполлону, посвятил Афродите кумир, полученный им от Ариадны, и вместе с юношами завел пляску, которая и поныне в употреблении у жителей Делоса; эта пляска представляет разные извороты лабиринта: производятся мерные движения то в одну сторону, то в другую. Этот танец делосцы называют «журавль», как пишет Дикеарх. Тесей также плясал во круге жертвенника Кератона*, которой составлен из левых рогов животных. Говорят, что в Делосе устроил он игры, в которых победители получали от него пальмовую ветвь.

Приближаясь к Аттике, Тесей и его кормчий от великой радости своей забыли поднять белый парус, которым надлежало возвестить Эгею о своем спасении. Эгей с отчаяния бросился со скалы и погиб. Между тем Тесей, пристав к Фалерам, принес богам жертвы по своему обету и послал в город вестника, чтобы уведомить о своем возвращении. Направляясь в город, вестник встретился со многими гражданами, одни из которых оплакивали кончину своего царя; другие, радуясь, были готовы принять его и украсить венками из цветов за спасение юношей. Вестник принял венки и украсил ими только свой жезл; он возвратился на берег моря прежде,

нежели Тесей совершил приношение, и остался вне храма, дабы не смутить жертвы. По совершении жертвоприношений объявил он Тесею о смерти отца его. Тесей и его сопутники с плачем и шумом спешили к городу. По этой причине и ныне, в праздник Осхофорий, или ветвей, украшают венками не вестника, а его жезл, и по окончании жертвы все присутствующие кричат: «Элелеу! Иу-иу!» Первый их них – крик спешащих и поющих победную песнь; второй означает изумление и смущение.

Похоронив отца своего, Тесей принес Аполлону обеты свои – седьмого числа пианепсиона, в которое возвратился в Афины. Касательно обычая варить земляные овощи говорят, что он произошел от того, что спасшиеся с Тесеем, собрав вместе оставшиеся у них припасы, сварили их в одном котле и ели за общим столом. Другой обычай – выносить иресиону, масличную ветвь, увитую льном и обвешенную разными молодыми плодами, – произошел от того, что тогда кончилось бесплодие в Аттике. В то самое время поют следующие стихи:

Иресиона, ветвь божественна! С собой
Несешь нам смоквы, хлеб, в сосуде мед златой.
Обильною струей ты масло изливаешь,
И сладостным вином печали утоляешь.

Однако некоторые уверяют, что этот обряд введен в память Гераклидов*, которых несколько времени содержали афиняне. Но большая часть держится того, что нами здесь описано.

Корабль, на котором отправился и возвратился Тесей, был тридцативесельный; афиняне хранили его в целости до времен Деметрия Фалерского*. Старые доски снимали, на место их клали новые так, что корабль этот служил философам примером в прении о понятиях возрастания, ибо одни говорили, что корабль этот всегда был один и тот же, другие утверждали тому противное.

Праздник Осхофорий*, или ветвей, также установлен Тесеем. Говорят, что он взял с собой на Крит не всех девиц, которым надлежало по жребию с ним ехать, но избрал из числа молодых людей двух своих приятелей, с виду женоподобных и нежных, душой же мужественных и бодрых. Он заставил их мыться в теплых банях, вести жизнь изнеженную в тени, употреблять разные притирания, придающие гладкость и цвет коже, убирать свои волосы, наряжаться, голосом, видом и походкой совершенно уподобляться девицам. Он включил их в число девиц так скрытно, что никто не знал того. По возвращении своем вел в торжественном шествии юношей, одетых так, как ныне одеваются осхофоры. Носят же их в честь Диониса и Ариадны, следуя тому, что выше нами упомянуто, или потому, что возвратились они в то время, когда собираются плоды.

Так называемые дипнофоры, или женщины, приносящие ужин, участвуют в торжественных обрядах, доставляя матерей этих юношей, которые приносили им разные кушанья. Они рассказывают повести, потому что матери рассказывали тогда сказки своим детям, утешая и ободряя их. Все это повествует и Демон. Тесею был посвящен удел земли. Он велел тем семействам, что платили прежде дань Миносу, вносить сбор по жертвоприношению, а ведать за этим священнодействием поручил фиталидам в награду за их гостеприимство.

После кончины Эгея предпринял он великое и достохвальное дело. Он собрал всех населивших Аттику жителей в один город и составил из них один народ. До того времени жили они рассеянно и с трудом собирались тогда, когда надлежало советоваться о благе общем. Происходившие между ними раздоры нередко доходили до брани. Тесей переходил из селения в селение, из семейства в семейство, уговаривал и увещевал их. Простые и бедного состояния люди принимали охотно его советы; сильным обещал он правление демократическое, а не самодержавное, предоставляя себе право предводительствовать на войне и быть хранителем законов; всем другим надлежало иметь равные права. Одни были убеждены его представлениями; другие, боясь великой его силы и смелости, предпочли исполнить его волю, повинуясь более его словам, нежели принуждаясь силой. Он уничтожил разные пританеи, советы и судилища и построил один, для всех общий пританей и совет на том месте, где стоит и

поныне*. Весь город назвал Афинами и учредил общее жертвоприношение, которое называется Панафинеи*. Сверх того установил Метэкии*, или праздник переселения, и жертвы, которые и поныне приносят в шестнадцатый день месяца гекатомбеона. После того сложил он царскую власть так, как обещал народу, и начал устраивать правление, посоветовавшись наперед с богами. Дельфийское прорицалище дало ему о городе следующий ответ:

Тесей, Эгеев сын! Познай, что мой отец
Судьбу и счастие градов и весей многих с твоим соединил.
Излишно ты своей не утруждай души. Покоен будь, надежен.
Подобно воздухом надутому меху,
Средь бурей и валов град невредим пребудет.

Спустя долгое время после того Сивилла также прорекла городу:

Надутый мех хоть в воду погрузится,
Но не утонет никогда*.

Чтобы более умножить число жителей, Тесей давал всем равные права. Известное общенародное провозглашение: «Сюда придите все народы!» установлено Тесеем, который учредил некоторым образом всеобщее гражданство. Однако не оставил демократии беспорядочной, смешанной из стекшегося отовсюду народа, без всякого различия состояний. Он первый разделил народ на эвпатридов (благородных), на геоморов (землевладельцев) и на демиургов (ремесленников). Эвпатридам дал право выбирать начальствующих, быть наставниками в законах, истолкователями всего, касающегося до богослужения и священных обрядов, и таким образом ввел между всеми равновесие, ибо эвпатриды превосходили других достоинством, геоморы – пользой и демиурги множеством своим. Мнение Аристотеля, что Тесей прежде всех склонился к народоправлению и отказался от самовластия, подтверждает и Гомер, который, исчисляя корабли греческие, одних афинян называет «демос» (народ). Тесей выбил монету, на которой изобразил вола, знаменуя тем или вола Марафонского, или полководца Миносова, или желая побудить граждан к земледелию. Отсюда, как говорят, произошли выражения «ценой сто быков», «ценой десять быков».

Присоединив Мегариду к Аттике, воздвигнул он в Истме столь известный всем столп*, на котором надписал два стиха, показывающие пределы двух областей. На восточной части было написано:

Иония здесь, не Пелопоннес.

На западной:

Здесь Пелопоннес, а не Иония.

Подражая Гераклу, учредил он игры Истмийские, желая, чтобы греки торжествовали эти установленные им игры в честь Посейдону, так как Олимпийские, установленные Гераклом, в честь Зевса*. Игры, отправляемые прежде на месте этом в память Меликерту*, происходили ночью и более были подобны священным обрядам, нежели позорищам, или торжествам. Другие говорят, что он установил Истмии для очищения себя от убийства Скирона, родственника своего, который был сын Канета и Гениохи, дочери

Питфея. Другие утверждают, что он установил эти игры в память умерщвления Синиса. Он определил, чтобы коринфяне уступали председательство афинянам, присутствующим на Истмиях, и столько места, сколько может занять распростертый парус корабля, именуемого феорида, как о том повествуют Гелланик и Андрон Галикарнасский*.

Тесей отправился в Эвксин, как Филохор и некоторые другие уверяют, соратоборствуя Гераклу в предприятии против амазонок*, и в награду за храбрость свою получил Антиопу; но большая часть историков, в числе которых Ферекид, Гелланик и Геродор*, утверждают, что

Тесей отплыл после Геракла на собственных своих кораблях и взял Антиопу в плен. Мнение это достовернее, ибо нигде не писано, чтобы кто-либо другой из соратовавших ему взял в полон какую-нибудь амазонку. Бион говорит, что Тесей похитил Антиопу обманом и удалился. По словам его, амазонки, будучи склонны к любви, не только не убежали от Тесея, приставшего к берегам их, но еще прислали ему подарки. Тесей просил войти на корабль амазонку, принесшую их, и тотчас отплыл, взяв ее с собой.

Но некто по имени Менекрат, издавший историю о вифинском городе Никея, уверяет, что Тесей пробыл несколько времени в стране этой с амазонкой Антиопой; что из Афин сопутствовали ему трое юношей, родных братьев, имена которых Эвней, Фоант и Солоэнт. Последний из них, влюбившись в Антиопу, скрывал страсть свою от своих братьев, но открыл ее одному из друзей своих, который не преминул о том объявить Антиопе. Амазонка отвергла его любовь, но признание это перенесла кротко и благоразумно и не дала знать о том Тесею. Солоэнт с отчаяния от любви бросился в реку и утонул. Тесей узнал причину смерти юноши и был ею тронут. В печали своей вспомнил об изречении пифии, которая ему повелела, если в чужой земле почувствует великую горесть, то построить на том месте город и оставить начальником одного из друзей своих. Тесей, следуя прорицанию, построил город и назвал его Пифополем по имени Пифии, а ближайшей реке дал имя Солоэнт – в честь юноши. Братьев его оставил в том городе правителями и хранителями законов и вместе с ними Герма, благородного афинянина, по имени которого пифополитанцы одно место в городе называют домом Гермеса и из-за неправильного произношения приписывают богу Гермесу ту славу, которая принадлежит герою.

Похищение Антиопы было поводом к войне амазонской, которую нельзя почесть делом маловажным и женским. Амазонки не расположили бы стана своего в самом городе, не дали бы сражения близ Пникса и Мусея*, когда бы не напали на сам город, овладев наперед всею областью. Трудно поверить свидетельству Гелланика, который говорит, будто бы они прошли Боспор Киммерийский* по льду; но что они стояли лагерем в самом городе, то подтверждается как именами мест, так и гробницами падших на сражении.

Долгое время обе стороны колебались недоумением и были в нерешимости. Наконец Тесей, следуя некоему прорицанию, принес жертву Ужасу и вступил в бой. Сражение это дано было в месяце боэдромионе, в который афиняне и поныне отправляют торжество Боэдромий*. Клидем, описывая все подробно, говорит, что левое крыло амазонок обращено было к месту, называемому ныне Амазония; правое достигало до Пникса, к стороне Хрисы; что афиняне сражались против этого крыла, напав на него со стороны Мусея; что гробницы падших находятся на улице, ведущей к воротам, которые ныне называются Пирейскими, близ храма героя Халкодонта, где афиняне были разбиты и принуждены отступить перед сими женщинами до храма Эвменид; что, учинив на них нападение из Палладия, Ардетта* и Ликея разбили правое их крыло, прогнали до стана и многих умертвили; что в четвертый месяц заключен мир посредством Ипполиты – так называет он жену Тесея, а не Антиопой. Некоторые говорят, что она, сражаясь подле Тесея, пронзена была копьем Молпадии и что близ храма Геи Олимпийской* воздвигнут над нею памятник. Впрочем, нимало не удивительно, что повествование об этих древних происшествиях столь малодостоверно. Пишут также, что раненые амазонки посланы тайно Антиопой в Халкиду* для излечения и некоторые из них погребены там на месте, называемом Амазонием. То, что война эта кончилась миром, об этом свидетельствуют как место близ храма Тесея, называемое Горкомосией, или местом клятвы, так и жертва, приносимая амазонкам незадолго до Тесеева празднества. Мегаряне также показывают у себя могилу амазонок на месте, называемом Рус (то есть «Поток»), идучи с площади, где находится здание, имеющее вид ромбоида. Некоторые также уверяют, что иные пали при Херонее и погребены близ ручейка, который древле назывался Фермодонт, а ныне Гемон, как сказано в жизнеописании Демосфена. Амазонки прошли не без трудностей через Фессалию. И поныне показывают гробы их при Скотуссе и Киноскефалах.

Вот что кажется мне достопамятнейшим в истории амазонок! Касательно возмущения их, описанного автором «Тесеиды», который уверяет, что Антиопа с амазонками мстила Тесею за брак его с Федрой и что Геракл умертвил их, то все это баснословно и выдумано. Тесей женился на Федре по смерти Антиопы, от которой имел сына Ипполита*, а по уверению

Пиндара – Демофонта. Должно полагать, что бедствия его жены и сына, поскольку в оных историки с трагиками не разногласны, случились так, как всеми описываются.

Много еще говорят о браках Тесея, которые не были предметом трагедии. Эти браки не имели ни похвального начала, ни счастливого конца. Уверяют, что он похитил некоторую Анаксо из Трезены; что, умертвив Синиса и Керкиона, употребил насилие против дочерей их; что женился на Перибее, матери Аякса, потом на Феребее и на Иопе, дочери Ификла; что, влюбившись в Эглу, дочь Панопея, как писано выше, оставил Ариадну – поступок, противный чести и справедливости. Всего более поносят похищение Елены, которое наполнило Аттику бедствиями войны и было причиной изгнания его и погибели, о чем будем говорить позже.

В то время храбрые мужи Греции ознаменовали себя великими подвигами; но Геродор уверяет, что ни в котором из них не участвовал Тесей, кроме сражения лапифов с кентаврами. Другие, напротив того, говорят, что он был в Колхиде с Ясоном и что способствовал Мелеагру в убиении вепря, от чего произошла пословица: «Не без Тесея»*; что он без помощи других произвел дела великие и прекрасные так, что о нем говорили: это другой Геракл. Известно, что он способствовал Адрасту в получении тел убитых в Кадмее воинов, не победив в сражение фиванцев, как Еврипид пишет в своей трагедии, но склонив их заключить с ним мир – в чем большая часть писателей согласна. Филохор пишет, что то был первый договор, заключенный о выдаче мертвых тел. Однако Геракл первый возвратил тела эти неприятелю, как сказано нами в его жизнеописании*. Гробницы простых воинов показываются в Элевферах*, а полководцев в Элевсине, ибо Тесей позволил погребсти их там, уважив просьбу Адраста. То, что писано Еврипидом в трагедии «Просительницы», опровергается Эсхиловой трагедией под названием «Элевсинцы», в которой Тесей повествует о тех событиях, что нами здесь описаны.

Дружба его с Пирифоем* началась следующим образом. Когда слава о великой силе и храбрости Тесея всюду распространилась, то Пирифой, желая ее испытать, похитил волов его, пасшихся на Марафоне. Узнав, что Тесей, вооруженный, преследует его, он не предался бегству, но обратился против него. Взглянув один на другого, удивились они красоте друг друга, уважили взаимную смелость и удержались от сражения. Пирифой первый простер руку, просил Тесея быть самому судьей в этом похищении, обещаясь добровольно подвергнуться такому наказанию, какое на него наложит. Тесей простил его и предложил союз и дружбу, которую они утвердили клятвой.

Пирифой, женившись на Деидамии, просил Тесея обозреть его область и пробыть несколько времени среди лапифов*. Он звал на пиршество и кентавров, наглые поступки которых и насилие, употребленное против женщин в пьянстве, принудили лапифов защитить их. Одних умертвили и, победив других, принудили при помощи Тесея оставить свою землю. Геродор повествует все это иначе. Он говорит, что в самом начале войны Тесей поспешил на помощь к лапифам, что тогда только лично узнал он Геракла, что он имел с ним свидание в Трахине* тогда, как этот покоился после своих путешествий и подвигов; что это свидание произошло между ними со взаимными знаками почтения и дружбы. Однако, скорее, можно поверить словам тех, кто утверждает, что они виделись много раз прежде; что Геракл был посвящен в таинства заботами Тесея и его же заботами был очищен от некоторых непроизвольных преступлений, которыми себя осквернил.

Тесею было пятьдесят лет, как говорит Гелланик, когда он похитил Елену, еще не достигшую брачного возраста. Некоторые, желая скрыть это великое преступление, утверждают, что Елена похищена не им, но Идасом и Линкеем, которые поручили ее Тесею. Он хранил ее и не хотел возвратить братьям ее Диоскурам, которые требовали ее обратно. Уверяют также, что сам Тиндар передал ему дочь, боясь Энарефора, сына Гиппокоонта, пытавщегося похитить Елену еще во младенчестве.

Что всего вероятнее и подкрепляется большим числом свидетельств, есть следующее: Тесей и Пирифой, приехав в Спарту, похитили Елену, когда она плясала в храме Артемиды Орфии*, и бежали. Посланные за ними в погоню преследовали их не далее Тегеи*. Похитители, будучи в безопасности и пересекши свободно Пелопоннес, заключили между собой условие, чтобы Елена была женой того, кому она достанется по жребию, и что этот обязан помочь своему товарищу в похищении себе другой жены. Они бросили жребий, и Елена досталась Тесею, который отвез ее в город Афидны, приставил к ней свою мать и поручил ее другу

своему Афидну с приказанием беречь ее и хранить в тайне. Дабы оказать Пирифою взаимную услугу, отправился с ним в Эпир* для похищения дочери Аидонея, царя молоссов, который называл жену Персефоной, дочь – Девой*, а пса своего – Кербером. Он заставлял сражаться с ним всех женихов своей дочери, обещаясь выдать ее за победителя. Известившись, что Пирифой с Тесеем прибыли не с тем намерением, чтобы просить дочери в замужество, но чтобы похитить ее, он поймал их. Пирифоя тотчас предал Керберу, а Тесея держал в оковах.

В то самое время Менесфей, сын Петеоя, внук Орнея и правнук Эрехтея, первый из людей, как говорят, начал угождать народу и привлекать его на свою сторону льстивыми словами. Он старался возмутить сильнейших афинян против Тесея, на которого они давно уже негодовали, быв уверены, что он отнял у них всю власть и силу, какую имели в разных племенах, и, заключив их в стенах одного города, сделал подданными и рабами своими. Простолюдинов возбуждал к мятежу, представляя им, что они пользуются лишь мечтательной свободой и что в самом деле лишены своих отчизн и священных обрядов и вместо многих добрых и законных владык должны повиноваться одному – пришельцу и чужеземцу. Между тем как Менесфей это производил, нашествие тиндаридов* на Аттику войной придало великий перевес его намерениям. Некоторые говорят, что сам он призвал тиндаридов вступить в Аттику. Сперва они никого не беспокоили и требовали только сестры своей. Когда же афиняне отвечали, что у них нет ее и что не знают, где она, то тиндариды прибегли к оружию. Академ, узнав неизвестно каким образом, что Елена скрывается в Афиднах, объявил о том ее братьям. По этой причине тиндариды оказали ему при жизни великие почести и впоследствии, когда лакедемоняне вступали многократно в Аттику и разоряли ее, щадили Академию* из уважения к Академу. Дикеарх говорит, что Эхедим и Мараф из Аркадии были союзниками тогда тиндаридов и что от имени первого нынешняя Академия названа Эхедемией; от второго же получило свое название племя Марафонское – за то, что вследствие изречения оракула предал он себя на произвольное заклание перед войском.

Двинувшись в Афидны и одержав победу, тиндариды завладели этим местом. Тут пал и Галик, сын Скирона, который воевал тогда вместе с тиндаридами. По имени его названо Галиком некоторое место в Мегарской области, на котором он погребен. Герей повествует, что Галик пал близ Афидн от руки самого Тесея – о чем свидетельствуют следующие стихи:

Тесеевой рукой пал мужественный Галик,
На Афиднских полях, сражаясь за Елену.

Впрочем, невероятно, чтобы в присутствии Тесеевом неприятели взяли Афидны и захватили в плен его мать.

Покорение Афидн произвело страх в жителях главного города. Менесфей склонил народ принять дружественно тиндаридов. Он представлял ему, что они ведут войну единственно против Тесея, который оскорбил их первый, но что их почитают благодетелями и защитниками человеков. Поступки их подтвердили слова его. Тиндариды, завладев всем, не захотели ничего другого, как быть посвященными в таинства, поскольку они были связаны родством с городом не менее Геракла. Желание их было исполнено: Афидн усыновил их так, как Пилий усыновил Геракла*. Их удостоили божественных почестей и назвали Анактами – или от заключения перемирия (*anochai),* или от старания их, чтобы граждане не претерпели никакого зла от великого числа бывших в городе воинов, ибо слова «анакос эхейн» означают «сохранение» или «старание». Может быть, по этой самой причине царей называют «анактас». Некоторые говорят, что Диоскуры названы Анактами от явления звезд*, ибо афиняне вместо «ано» («на верху») говорят «анекасс» и вместо «анотен» («сверху») «анекатен».

Говорят, что Этра, мать Тесея, была взята в плен и увезена в Лакедемон, а оттуда в Трою с Еленой, о чем свидетельствует Гомер, говоря о тех, кто за Еленой последовал:

Климена с Эфрою, Питфеевою дщерью*.

Некоторые почитают стих этот подложным, равно как и басню о Мунихе, которого родила тайно Лаодика от Демофонта и который воспитан Этрой в Илионе. Историк Истр* в тридцатой

книге «Истории Аттики» рассказывает об Этре нечто, весьма различное от других. Он говорит, что Александр-Парис побежден Ахиллом и Патроклом в Фессалии, при реке Сперхей, что Гектор взял и ограбил Трезену и увез с собой Этру, которая там была оставлена; но все это нимало не основательно.

Аидоней Молосский угощал у себя Геракла. Он упомянул нечаянно о дерзком покушении Тесея и Пирифоя и о наказании, какое они претерпели, будучи от него пойманы. Геракл с великим прискорбием услышал, что один погиб бесславно, другой страждет в оковах. Он почел бесполезным уже упрекать его в смерти Пирифоя, но просил его освободить Тесея из любви к нему. Аидоней освободил его. Тесей возвратился в Афины тогда, как приверженные к нему не были еще совсем рассеяны. Все уделы земли, подаренные ему прежде городом, он посвятил Гераклу и назвал их Гераклеями; до того времени они назывались Тесеями; себе оставил он только четыре удела, как говорит Филохор.

Он желал по-прежнему начальствовать и управлять гражданами, но всюду встречал лишь мятежи и возмущение. Ненавидевшие его прежде, во время отсутствия его, к ненависти присоединили презрение власти его. Народ, быв развращен, вместо того чтобы в безмолвии исполнять повелеваемое, хотел, чтобы ему льстили и угождали. Тесей предпринял употребить насилие, но противники были сильнее его. Наконец, не имея более надежды управлять по воле своей, выслал детей своих на Эвбею к Элефенору, сыну Халкодонта, и сам, произнеся на афинян проклятие в Гаргетте, на месте, называемом ныне Аратерий, отплыл на Скирос*, надеясь на дружбу, которою был он связан с тамошними жителями и имея на острове родовое имение. На Скиросе царствовал тогда Ликомед. Тесей, прибыв к нему, требовал возвращения принадлежащих ему полей, чтобы тут поселиться. Другие говорят, что он просил у него помощи против афинян. Ликомед, или опасаясь славы сего мужа, или угождая Менесфею, привел Тесея на некоторое возвышенное место, чтобы оттуда показать ему поля его, низверг его с горы и умертвил. Некоторые говорят, что Тесей поскользнулся и сам упал, прохаживаясь после ужина, по своему обыкновению.

В то время на смерть его не обращено никакого внимания. Менесфей царствовал над афинянами, а сыновья Тесея в качестве простых граждан последовали за Элефенором под Трою. После гибели Менесфея они возвратились в Афины и получили царство. Во времена, гораздо более поздние, разные обстоятельства заставили афинян почитать Тесея героем; многие из сражавшихся на марафонском поле мнили видеть призрак Тесея вооруженный и носящийся перед ними против варваров.

После войны с мидянами, при архонте Федоне*, Пифия повелела вопрошавшим ее афинянам взять кости Тесея и хранить их у себя с честью. Трудно было найти гробницу и взять его кости из-за дикого и замкнутого нрава обитавших на Скиросе варваров*. Несмотря на все это, Кимон, как сказано в его жизнеописании, завладев этим островом, искал гроб афинского героя. Он увидел орла, который носом и когтями разрывал некоторое гористое место, и, по божественному внушению, приказал копать. Нашли гроб великорослого человека, стальное острие копья и меч. Все это перевезено было Кимоном в Афины на корабле. Афиняне приняли его торжественно и великолепно и были столь обрадованы, что приносили жертвы, как будто бы сам Тесей возвратился в их город. Кости его положены в средине города, близ нынешнего гимнасия. Место это служит убежищем невольникам и всем несчастным, боящимся сильных; Тесей сам в жизни был защитником и помощником угнетенных и принимал благосклонно прощения от людей низкого происхождения. Ему приносят великие жертвы восьмого пианепсиона, в день возвращения его с Крита с юношами. Однако приносят великие жертвы восьмого числа каждого месяца или потому, что он из

Трезены прибыл в город их восьмого гекатомбеона, как пишет Диодор Путешественник, или почитая это число приличнейшим ему, как рожденному, по общему мнению, от Посейдона, которому приносят жертвы в восьмой день каждого месяца. Восьмерка – это куб первого из четных чисел и удвоенный первый квадрат; по этой причине достойным образом знаменует твердость и непоколебимость, свойственные могуществу бога, которого называем мы Неколебимым и Земледержцем.

Ромул

Величественное имя Рима, разнесенное славой по всем народам, от кого и почему дано было городу, в том писатели между собой не согласны. Одни утверждают, что пеласги, странствуя по разным странам света и покорив многие народы, поселились в этом месте и назвали город этим именем в ознаменование силы своего оружия*. Другие думают, что после взятия Трои некоторые убежавшие троянцы* нашли по случаю суда, на которых пустились в море; ветрами брошены были к берегам Тиррении* и пристали к реке Тибр. Бывшие с ними женщины странствованием уже наскучили и не могли долее переносить опасностей моря. Одна из них, по имени Рома, родом и умом других превосходившая, решилась сжечь суда. Она исполнила свое намерение; мужчины сперва досадовали; но наконец, по нужде, поселились вокруг горы Паллантий*. В короткое время благоденствие их превзошло всю надежду, ибо земля их была плодородна и природные жители приняли их благосклонно. Они оказывали Роме великие почести и город свой назвали именем ее, как главной причины их поселения. С того времени остался у римлянок обычай целовать в уста своих родственников и мужей*, ибо по сожжении кораблей женщины целовали и ласкали мужей своих, стараясь укротить их гнев.

Одни говорят, что город получил свое имя от Ромы, дочери Левкарии и Итала (или Телефа, сына Геракла); которая была женой Энея (или Аскания, сына Энея). Другие пишут, что город основан Романом, сыном Одиссея и Кирки, или Ромом, сыном Эматиона, посланным из Трои от Диомеда; по мнению же других – Ромисом, царем латинским, который выгнал тирренцев, переселившихся из Фессалии в Лидию, а из Лидии в Италию.

Те, кто Ромулу по справедливости приписывает название города, не согласуются в его происхождении. Одни утверждают, что он был сын Энея и Дексифеи и что привезен в Италию вместе со своим братом Ремом; что при разлитии Тибра потонули все другие суда; лишь то, в котором находились дети, было тихо занесено на ровный берег; это место, на котором сверх ожидания спаслись они, названо Римом. Другие сказывают, что Рома, дочь троянки Дексифеи, вышла замуж за Латина, сына Телемаха, и родила Ромула. Иные – что Эмилия, дочь Энея и Лавинии, родила его от Ареса. Некоторые рассказывают рождение их весьма баснословно. Они говорят, что Тархетий, царь альбанов, человек беззаконный и весьма жестокий, увидел в своем доме явление, будто бы из средины очага его поднялся фаллос и не исчезал многие дни; что в Тиррении было тогда прорицание Тефий, которое повелело Тархетию соединить с сим призраком деву, ибо от нее родится сын знаменитейший, который доблестью, счастьем и телесной красотой превзойдет всех. Терхетий объявил прорицание одной из дочерей своих и повелел его исполнить. Она не послушалась и вместо себя послала одну из своих служанок. Тархетий, узнав об этом, был разражен до того, что хотел их обеих предать смерти. Но Веста явилась ему во сне и воспретила умертвить их. Тархетий сковал их и заставил ткать полотно, обещав по окончании работы выдать их замуж. Они ткали целые дни, а рабыни, по приказанию Тархетия, ночью распускали их работу. Служанка родила близнецов. Тархетий отдал их умертвить Тератию, который положил их на берег реки. Волчица приходила кормить их своими сосцами, и разные птицы приносили пищу и клали им в рот. Один пастух, увидя это чудо и изумившись, решился подойти и взять их. Так дети были спасены. Возмужав, они напали на Тархетия и победили его. Все это описано некоторым Промафионом в своей «Истории Италии».

Самая достоверная и большим числом писателей подтверждаемая версия в главных ее чертах издана у греков Диоклом с Пепарефоса, которому во многом следовал Фабий Пиктор*. Хотя между ними имеется некоторое разногласие, но общее содержание их рассказов сводится к следующему.

Наследие царей альбских, происходивших от Энея, дошло до двух братьев, Нумитора и Амулия*. Амулий разделил отцовское наследство на две части и дал Нумитору на выбор: царство или деньги и золото, привезенные некогда из Трои. Нумитор предпочел царство. Амулий, имея деньги и будучи сильнее своего брата, вскоре лишил его престола. Боясь, чтобы дочь Нумитора не родила детей, он сделал ее жрицею Весты, дабы она провела весь свой век в безбрачном и девственном состоянии. Одни называют ее Илией, другие Реей или Сильвией. Вскоре оказалось, что она была беременна – против постановлений весталок. Анто, дочь царя Амулия, упросила отца не предавать ее казни; однако она была заключена в темницу и вела

жизнь в совершенном уединении, дабы не могла родить тайно от Амулия.

Она родила двух сыновей черезвычайного роста и редкой красоты. Амулий, еще более сим устрашенный, повелел слуге взять и бросить их. Слугу некоторые называют Фаустулом; другие говорят, что это имя человека, спасшего мальчиков. Следуя повелению Амулия, слуга положил детей в корыто и пошел бросить их в реку; но, увидев, что она высоко поднялась и волновалась весьма быстро, не отважился близко подойти; положил корыто на берег и удалился. Река, прибывая и разливаясь, подняла его и спокойно принесла на ровное место, которое ныне называется Кермал, в древности же Герман, ибо родные братья по-латыни называются германами*.

Близ того места стояла дикая смоковница, которую называли Руминальской, как многие думают – от Ромула, или оттого, что под тенью ее покоились стада во время жары, жуя корм, или, справедливее, потому, что дети были под нею вскормлены. Древние латиняне румами называли сосцы. И поныне называют Руминой* некоторую богиню, пекущуюся, по их мнению, о вскормлении детей. Ей приносят жертвы без вина и изливают перед нею молоко. На этом месте и лежали дети. Волчица, как говорят, приходила их кормить своими сосцами, а дятел приносил им корм и стерег их. Эти животные посвящены Марсу; дятел у латинян в великом уважении. Это обстоятельство немало способствовало к утверждению слов матери их, которая уверяла, что Марс отец ее детям. Однако некоторые говорят, что Сильвия сама была обманута Амулием, который явился ей вооруженным, похитил ее и лишил девства. Другие утверждают, что имя кормилицы их по причине его двузнаменательности подало повод к сему вымыслу. Ибо латиняне называют «лупами» волчиц и блудниц – какова была жена Фаустула, которая вскормила детей и которой настоящее имя было Акка Ларентия. Римляне приносят ей жертвы; жрец Марса в апреле месяце делает в ее честь надгробные излияния. Этот праздник называется Ларентами*.

Римляне почитают еще одну Ларентию, по следующей причине: служитель храма Геракла, не зная, чем себя развлечь, предложил богу от скуки играть с ним в кости с тем уговором, что если выиграет, то получит от Геракла что-нибудь хорошее; а если проиграет, то поставит ему хороший ужин и приведет прекрасную женщину. По заключении этого условия бросил он кости за Геракла, потом за себя – Геракл выиграл. Служитель, желая исполнить свое обещание, изготовил ему ужин, нанял Ларентию, которая была прекрасна, но еще мало известна, угостил ее в самом храме, уготовил ложе и после ужина запер ее там. Говорят, будто Геракл в самом деле приходил к ней и повелел ей утром выйти на площадь, поцеловать первого, которого она встретит, и сделать его своим другом. Тот, кто встретился с нею первый, был человек очень старый и довольно богатый, проведший всю жизнь свою бездетным и безбрачным, по имени Тарутий. Он принял к себе Ларентию, полюбил ее и, умирая, отказал ей свое имение, которого большую часть она подарила народу по своему завещанию. Она была уже знаменита и почиталась любимицей богов, когда исчезла на том самом месте, на котором погребена первая Ларентия. Место это называется Велабр* потому, что во время разлития реки переправлялись через оную на лодках, если надлежало идти на площадь. Переправу такого рода римляне называют «велатурой». Другие уверяют, что, начиная с этого места, дорога от площади до цирка была устилаема парусами. Римляне называют парус «велоном». Вот причина почтения римлян ко второй Ларентии!

Фаустул, пастух Амулия, тайно подобрал детей. Некоторые с большей достоверностью думают, что сделал он то с ведома Нумитора, который скрытно помогал ему растить младенцев. Уверяют также, что эти дети были посланы в Габии* и там учились грамоте и всему тому, что прилично знать благородным людям. Имена Ромула и Рема даны им потому, что нашли их сосущими волчицу.

С самого младенчества величавость и красота тел их обнаруживали природные их свойства. Мужество и пылкость их возрастали с летами. Они были неустрашимы во всех видимых опасностях; смелость их была непоколебима. Ромул более своего брата отличался умом и более оказывал политического благоразумия. В собраниях соседей по делам, до пастьбы скота и охоты касающимся, заставлял он всех думать о себе, что более способен начальствовать, нежели повиноваться. Оба они были к единоплеменным своим и к людям низшего состояния благосклонны; но содержателей царских стад и других смотрителей, как

людей, не превосходивших их нимало храбростью, они презирали, несмотря ни на гнев их, ни на угрозы. Занятия их и образ жизни были благородны; похвальным почитали они не праздность или бездействие, но телесные упражнения, охоту, беганье, истребление разбойников, преследование воров, защиту угнетаемых от сильных. Сами поступками прославились они среди окрестных жителей.

Некогда произошла ссора между пастухами Нумитора и Амулия. Пастухи первого отогнали у других стада. Ромул и Рем, не стерпев этого, напали на них, обратили в бегство и отняли большую часть добычи. Нумитор на это негодовал. Они, пренебрегая гневом его, начали собирать и принимать к себе всех неимущих, всех беглых рабов, исполняя их дерзостью и склонностью к возмущению.

Однажды, когда Ромул был занят жертвоприношением – и был искусен в гадании, – пастухи Нумитора, напав на Рема, который был сопровождаем немногими, вступили с ним в сражение. С обеих сторон наносимы были удары, и некоторые были ранены. Пастухи Нумитора одержали верх и поймали Рема живым. Они привели его к Нумитору и приносили на него жалобы, Нумитор не наказал его, боясь жестокости своего брата; он пошел к царю и просил у него, как у брата, правосудия в обидах, наносимых от служителей его. Жители Альбы жалели о претерпеваемой им обиде, столь неприличной его достоинству. Амулий, тронутый его жалобами, предал Рема во власть его. Он взял его и привел к себе. Наружность юноши, который от других отличался ростом и крепостью, лицо его, на котором изображались смелость и твердость души, непокорной и неустрашимой среди бедствий, привели его в удивление. Повествуемые о нем дела были согласны с тем, что видел он своими глазами; более всего – может быть, по внушению бога, управляющего началами великих событий, – своим рассудком или случайно постигнув истину, начал его расспрашивать, кто он таков и от кого родился, тихим голосом и кротким взором ободряя и обнадеживая его. Рем смело отвечал: «Я ничего от тебя не скрою, ибо вижу, что ты более Амулия царствовать достоин. Ты расспрашиваешь и слушаешь прежде, нежели казнишь, он без суда выдает обвиняемых. Я и брат мой, мы близнецы; прежде почитали себя сынами царских служителей Фаустула и Ларентии. С тех пор как обвинены, оклеветаны перед тобой, находясь в крайней опасности, мы много важного о себе слышим; справедливо ли то или нет, нынешняя опасность докажет. Рождение наше, говорят, таинственно; во младенчестве воскормление и воспитание чудесны – птицы и звери, которым преданы мы были на съедение, вскормили нас. Волчица питала нас своими сосцами, дятел приносил нам корм, когда лежали мы в корыте близ большой реки. Корыто это и поныне хранится с медными полосами, на которых изображены неясные слова – бесполезные знаки для наших родителей, если мы теперь погибнем!» По этим словам и по виду его Нумитор, судя о времени, не отверг льстящей ему надежды; но искал только случая поговорить наедине с дочерью, которая была в крепком заключении.

Фаустул, узнав, что Рем пойман и предан Нумитору, увещевал Ромула спешить к нему на помощь и тогда только в первый раз объявил ему истинное его рождение. Прежде говорил об этом загадками, открывая Ромулу и Рему столько, сколько нужно было для внушения им высоких о себе мыслей. Он взял корыто и поспешил к Нумитору, исполненный страха по причине опасности, в которой Рем находился. Царские стражи, при вратах Альбы стоявшие, возымели к нему подозрение; он смутился от вопросов их и не мог скрыть корыто, которое нес под епанчей. Случилось, что среди стражей был один из тех, кому препоручено было бросить детей. Увидя это корыто и узнав его по надписи и по виду, догадался он о происходящем. Без замедления объявил о том государю и представил к допросу Фаустула. Среди многих и великих мук Фаустул не сохранил себя совершенно непоколебимым; однако принуждение не исторгло от него во всем признания. Он объявил, что дети спасены и что пасут стада далеко от Альбы; что он нес это корыто к Илии, которая много раз желала видеть его и коснуться его руками своими, дабы удостовериться в жизни детей своих. С Амулием случилось тогда то, что бывает с людьми встревоженными, которые действуют по страху или гневу. Он послал к Нумитору добродетельного человека и ему друга, дабы от него узнать: дошел ли до него слух, что сыновья дочери его живы? Человек этот, придя к Нумитору и застав его обнимающим Рема и оказывающим ему ласки, утвердил еще более его надежду и советовал ему спешить к приведению в действо своих намерений. Он остался с ними и содействовал им в их

предприятии.

Обстоятельства не позволяли им медлить, когда бы они того хотели. Ромул был уже близко. К нему выбегали многие из граждан, которые ненавидели Амулия и страшились его. Ромул вел с собой силу, разделенную на сотни. Каждой сотней предводительствовал один начальник, который носил на шесте пук сена. Латиняне называют таковой пук «маниплом» *(maniplus).* С того времени и доныне в войске «манипляриями» именуются воины одной роты. Между тем как Рем в городе побуждал граждан восстать против Амулия, а Ромул нападал на оный со всею силой, тиранн в недоумении и страхе, ничего не сделав и ни на что не решась, был пойман и умертвлен. Это происшествие, описанное Фабием и Диоклом с Пепарефоса (который первый, кажется, издал книгу о построении Рима), многими почитается сомнительным и выдуманным потому только, что оно странно; однако не должно совсем отвергать его, видя, какие удивительные дела производит счастье, и рассуждая, что Рим не достиг бы такого величия, когда бы не получил некоторого божественного начала, великого и чудесного.

По смерти Амулия, когда все успокоилось в Альбе, Ромул и Рем не захотели ни жить в этом городе не управляя, ни управлять при жизни своего деда. Они отдали всю власть ему, оказали матери должное уважение, решились поселиться особливо и построить город в тех местах, в которых они были воспитаны. Вот благовиднейшая причина, заставившая их удалиться из Альбы. Но, может быть, это было необходимо – такое множество рабов и мятежников; им надлежало или распустить их и через то лишиться всей власти своей, или поселиться вместе с ними на новом месте. Что жители Альбы не хотели принять к себе этих мятежников и признать своими гражданами, доказывается, во-первых, похищением сабинянок, произведенным не для поругания, но по нужде, за неимением жен, ибо, похитив их, римляне оказывали им отличное уважение. Во-вторых, основав город свой, они воздвигли храм, служивший убежищем всем беглым, который назван храмом бога Асила*. Они принимали к себе всех, не возвращая ни господину раба, ни должника заимодавцу, ни правителям убийцу, но утверждая, будто повелением Дельфийского прорицалища основали для всех таковое убежище; и так в короткое время город их наполнился жителями. С самого же начала число домов не простиралось далее тысячи – о чем сказано будет после.

Когда они решились построить город, то между ними произошла распря о выборе места. Ромул построил так называемый Четвероугольный Рим *(Roma quadrata)* и хотел тут поселиться. Рем выбрал крепкое место на горе Авентине, которое и названо Реморией, ныне же называется Ригнарием*. Они условились между собой решить спор по полету птиц и для того сели порознь на открытом воздухе. Рем увидел шесть коршунов; Ромул прежде его двенадцать. Другие говорят, что Рем видел их в самом деле; что Ромул употребил ложь и что видел их только тогда, как Рем пришел к нему. Как бы то ни было, от сего происходит, что римляне и поныне в своих гаданиях наблюдают полет коршунов. Геродор Понтийский повествует, что Геракл был весьма доволен, когда при некотором предприятии явился ему коршун. Эта птица есть самая безвредная; она не портит ничего того, что люди сеют или садят, а питается мертвыми телами; не убивает и не губит ничего живого; мертвых птиц вовсе не касается по причине сродства с ними. Напротив того, орлы, совы и ястребы терзают и умерщвляют даже тех, которые одного с ними рода. В самом деле, как говорит Эсхил:

Чиста ли птица та, что птицу пожирает?

Другие птицы всегда попадаются нам пред глаза; но коршун есть птица редко видимая, а птенцов его нелегко найти можно. Редкое явление коршуна заставило некоторых думать, хотя и несправедливо, что они прилетают к нам из других земель. Гадатели также почитают все то, что не обыкновенно и не само собой происходит, за знамение, ниспосылаемое богами.

Рем негодовал, узнав обман своего брата, и, видя его копающего ров, которым хотел окружить стены, частью насмехался над его работой и частью препятствовал ей. Наконец он перескочил через ров и был убит на месте*, по мнению одних, самим Ромулом, а по мнению других, одним из Ромуловых людей, который назывался Целером. В этой драке пали Фаустул и брат его Плистин, способствовавший ему в воспитании Ромула и Рема. Целер убежал в

Тиррению. С тех пор по имени его римляне быстрых и легких на ногах называют «келерами». Народ прозвал келером Квинта Метелла, удивляясь скорости, с какой приготовил он позорище гладиаторов по смерти отца своего.

Ромул похоронил на Ремории Рема вместе с воспитавшими его и начал строить город. Он вызвал из Тиррении нескольких мужей, которые научили его все производить с некоторыми обрядами, правилами и писаниями, как бы то было некое священнодействие. Около так называемого ныне Комития выкопали круглый ров и в оный клали начатки всего того, что в употреблении считается позволительным, а по природе необходимым. Наконец, каждый всыпал в оный горсть той земли, с которой пришел, и смешали все вместе*. Ров назвали тем же именем, каким называют и мир, то есть «мундус». Потом около этого как бы средоточия начертили окружность города. Основатель, приставив медный сошник к плугу и впрягши в оный быка и корову*, проводит глубокую бразду по начертанной окружности. Идущие за ним должны складывать земляные глыбы, поднятые плугом, на стороне города, не оставляя ни одной, обращенной в противоположную сторону*. Эта борозда означает окружность стены города и называется – вместо «постмерий» – померием, то есть «за стеной». В том месте, где хотели поставить врата, снимали сошник и, подняв плуг, оставляли некоторый промежуток. По этой причине вся стена, кроме врат, почитается священной; если бы и врата почитались священными, то было бы непозволительным привозить в город и вывозить из него вещи как необходимые, так и нечистые.

Основание Рима, по свидетельству многих, случилось в одиннадцатый день до майских календ*. Римляне празднуют этот день, называя его днем рождения отечества. Говорят, что в самом начале не приносили в жертву ничего одушевленного, ибо думали, что день, в который торжествовали рождение отечества, надлежало хранить чистым, без пролития крови. Еще до построения их города, в этот же самый день отправляли они пастушеский праздник, который называли Парилии*. Ныне начало римских месяцев нимало не соответствует греческому; однако уверяют, что день, в который Ромул основал город, был по греческому счислению тридцатый, и в этот день было солнечное затмение, замеченное, как говорят, Антимахом Теосским, стихотворцем, в третий год шестой олимпиады*. Во время философа Варрона, мужа среди римлян весьма сведущего в истории, жил Тарутий*, приятель его, философ и великий математик, который занимался притом для своего удовольствия гаданием по течению звезд и в том почитался весьма искусным. Варрон предложил ему некогда найти день и час рождения Ромула и сделать о них заключение по известным случаям его жизни, как решать геометрические задачи; ибо, говорил он, есть одно и то же – по данному времени рождения человека предсказать жизнь его или по данной жизни узнать время его рождения. Тарутий то исполнил и, рассмотрев деяния Ромула и выпавшие на его долю бедствия, продолжение его жизни и род смерти, все это сообразив, решительно и смело заключил, что Ромул зачат в первом году второй олимпиады, в двадцать третий день египетского месяца хеака (декабря), в третьем часу, когда солнце совершенно затмилось; что родился двадцать первого числа месяца тоита (сентября) на восходе солнца; что Рим основан им девятого числа месяца фармути (апреля), между вторым и третьим часом. Эти гадатели уверяют, что судьба города (равно как и человека) имеет свое определенное время, которое узнается созерцанием положения звезд в минуту основания его. Таковые и сим подобные дела более нравятся читателю своею странностью и новостью, нежели приносят неудовольствие по своей невероятности.

По основании города Ромул разделил всех способных носить оружие людей на военные сонмища. Каждое из них состояло из трех тысяч пеших и трехсот конных и называлось легионом, ибо набирали в него самых воинственных*. Остальные составляли гражданское общество. Весь народ назвал он «популус» *(populus).* Он избрал сто советников, самых отличных людей, и почтил их именем «патрициев» *(patricii*); собрание их назвал «сенатом» *(senatus),* что значит «совет старейшин». Советники названы патрициями* потому, что они имели родных детей; или, вероятнее, потому, что они могли показать отцов (*patres*) своих, чего не многие из этих стекшихся пришельцев могли тогда сделать. Некоторые полагают, что это название происходит от слова «патроний», что и теперь означает покровительство или защиту, уверяя, что некто, по имени Патрон, из числа последовавших за Эвандром, по причине попечительности своей и помощи, оказываемой нуждавшимся, дал свое имя самому действию.

Вероятнее всего, что Ромул дал им это название для того, дабы первейшие и сильнейшие в народе пеклись о бедных с отеческим старанием и заботливостью, научая в то самое время простолюдинов не страшиться знатных и не огорчаться оказываемыми им почестями, но любить их, почитать и называть отцами. Поныне иностранцы называют сенаторов государями, сами же римляне называют их отцами – именем, по своей важности и достоинстве величайшим и вкупе никакой зависти не возбуждающим. Сперва называли их просто отцами. Впоследствии, когда число сенаторов было приумножено, стали называть их «отцами, внесенными в списки» *(patres conscripti)*.* Это было самое почтенное имя, которым отличил он сенаторов от народа.

Кроме того, Ромул разделил высших от низших другими именами; одних назвал «патронами», то есть покровителями; других «клиентами», или покровительствуемыми*. Этим он произвел между ними удивительную связь, из которой проистекали взаимные их обязанности. Патроны объясняли своим клиентам законы, ходатайствовали за них в судах, давали им советы и защищали их; клиенты, со своей стороны, уважали своих патронов; не только оказывали им почтение, но еще выдавали дочерей их замуж, когда они были бедны, и платили их долги*. Никакой закон, никакой судья не принуждали клиента свидетельствовать против своего патрона, ни патрона против своего клиента*. Впоследствии, хотя все взаимные обязанности оставались в силе, однако получать деньги знатным от людей низшего состояния сочтено неблагородным и подлым.

В четвертом месяце по создании Рима (как говорит Фабий) римляне дерзнули на похищение сабинянок. Некоторые уверяют, что Ромул, как человек к войне от природы склонный и убежденный некоторыми прорицаниями, что Риму предназначено судьбой соделаться великим, содержаться и возрастать посредством браней, этой обидой подал повод к войне. По этой причине, уверяют они, похитил он только тридцать дев, как будто бы он более имел нужды в войне, нежели в женщинах. Однако это невероятно. Город его наполнился вскоре жителями, из которых не многие имели жен; большая же часть их, как сборище бедных и неизвестных людей, были презираемы. Ромул не мог надеяться, чтобы они остались навсегда в этом новом состоянии. Думая при том, что этот обидный поступок подаст некоторым образом начало к соединению и сообщению между сабинянами и римлянами, если бы удалось им укротить женщин, приступил он к делу следующим образом: сперва разгласил, будто нашел под землею жертвенник некоего бога, которого назвали Консом. Неизвестно, бог ли это Совета – латиняне «совет» называют «консилий» (*consilium),* а первых чиновников республики «консулами», то есть «советниками», – или Посейдон-Конник, ибо этот жертвенник стоит в Большом цирке и видим только во время ристаний. Некоторые думают, что, поскольку намерение было тайно и от всех сокрыто, то прилично было, чтобы и жертвенник этот был сокрыт под землею. Едва он показался, как Ромул возвестил повсюду о великолепных жертвоприношениях с играми и позорищами, которые совершить намеревался.

На это обнародование стеклось великое множество народа. Ромул, в багряной одежде, сидел на первом месте, окруженный знаменитейшими гражданами. Знаком к нападению было то, чтобы ему встать, раскрыть одежду свою и вновь накинуть на себя. Многие из его граждан, вооруженные мечами, смотрели на него пристально. При данном знаке обнажили они мечи, устремились с криком, похищали сабинских дочерей, но самим сабинянам позволяли свободно предаваться бегству. Некоторые говорят, что похищено было только тридцать, по имени которых названы были римские курии.

Но Валерий Антиат полагает их пятьсот двадцать семь, и Юба* – шестьсот восемьдесят три. Все они был девы – и это самое служит к оправданию Ромула. Из замужних женщин похищена только одна, по имени Герсилия, и то по ошибке, ибо римляне не для того похищали дев, чтобы оскорбить и обесчестить их, но единственно по желанию свести два народа и соединить их теснейшими узами. Эта Герсилия вышла замуж, по мнению одних, за Гостилия, знаменитейшего римлянина; по мнению же других, за самого Ромула, который имел от нее двоих детей, дочь, названную Примой, по первородству, и сына, прозванного Аоллием*, по причине собранных отовсюду граждан; но который после переименован в Авиллия. Все это, повествуемое Зинодотом Трезенским, многими опровергается.

Случилось, что среди похитителей были какие-то граждане низкого состояния, которые увели одну девицу, красотой и ростом от всех других отличавшуюся. Их встретили некоторые

знатнейшие граждане и хотели отнять ее; похитители кричали, что ведут ее к Таласию, молодому человеку, доброму и всеми уважаемому. Услышав его имя, в знак одобрения они плескали руками, желали ему счастья, а некоторые и последовали за ведущими ее из любви и уважения к Таласию, произнося с восклицаниями его имя. С того времени римляне в бракосочетаниях воспевают Таласия, как греки Гименея, ибо говорят, что Таласий был весьма счастлив со своей женой. Однако Секстий Сулла из Карфагена, муж, равно любимый Музами и Харитами, уверял меня, что это имя «Таласий» дано было Ромулом в знак похищения. Все, уносящие дев, кричали: «Таласий!» Отчего и поныне остался в свадьбах этот обычай. Большая часть писателей, между прочими и Юба, думают, что это слово есть увещание и поощрение к трудолюбию и к пряже льна ***(talasia).*** Тогда еще италийские слова не вмешивались в греческий язык. Если то правда, что римляне тогда принимали слово «таласиа» в том значении, в каком мы его принимаем, то можно найти другую достовернейшую причину этому обычаю. Когда сабиняне после войны заключили мир с римлянами, сделано было о женщинах следующее постановление: чтобы они не оказывали мужьям своим другой услуги, кроме той, чтобы для них прясть. От этого и в последующее время в бракосочетаниях выдающие дочерей, сопровождающие их или только присутствующие, кричат в шутку: «Таласий!», как бы напоминая тем, что пряжа есть единственная услуга, для которой новобрачная ведется в дом. И поныне хранится еще обычай, что невеста не перешагивает через порог, дабы войти в дом своего мужа; но вносят ее на руках, ибо и в то время введены они были насильственно, а не вошли сами в дома мужей своих. Некоторые говорят, что волосы новобрачной отделяются острием копья в знак того, что первый брак совершен был со сражением и воинственно. Об этом пространнее описано нами в книге «О причинах римских обычаев».

Похищение это произошло восемнадцатого числа месяца, называвшегося тогда секстилием, ныне же августом, и в которое отправляется праздник Консуалий*.

Сабиняне были народом многочисленным и воинственным. Они жили в селениях, которые не были обнесены стенами; как поселенцы лакедемонские, гордились своим происхождением и никого не страшились. Но тогда, быв связаны драгоценнейшим залогом и боясь за дочерей своих, они отправили в Рим послов с самыми кроткими и умеренными предложениями. Они требовали от Ромула, чтобы он возвратил дочерей их; чтобы отказался от насильственного поступка и чтобы потом два народа соединились дружбой и родством по взаимному согласию и законными средствами. Ромул отвечал, что не возвращает им дочерей, но просит их утвердить родство и мириться с ним. После такого ответа сабиняне проводили время в советованиях и приготовлениях. Но Акрон, царь ценинский, человек стремительный и искусный в войне, которому и прежде были подозрительны смелые предприятия Ромула, думая, что после этого похищения будет он для всех ужасен и несносен, если оставят его без наказания, первый пошел против римлян войной с многочисленной силой. Ромул выступил против него. Находясь на таком между собой расстоянии, что могли видеть друг друга, они вызвали один другого на бой, между тем как их войска с оружием в руках оставались в бездействии. Ромул дал обет – посвятить Юпитеру доспехи своего противника, если победит его. Он убил его; одержав над ним победу, дал сражение войску, разбил его и взял город; остававшимся в нем гражданам не сделал он никакой обиды, но приказал им срыть свои дома и последовать за ним в Рим, обещав дать им равные права с гражданами. Ничто столь не способствовало росту Рима, как присоединение и присовокупление к нему побежденных.

Ромул, рассуждая в стане своем, каким бы образом соделать приношение обета своего угоднейшим Юпитеру, а гражданам зрелище торжества приятнейшим, срубил огромный дуб, дал ему вид трофея и повесил на нем все оружие и доспехи Акроновы, разделив их приличнейшим образом; потом надел порфиру и, нося на распущенных власах своих лавровый венок, поднял на правое плечо этот трофей и держал его прямо. Воспевая победную песнь, шел он впереди войска своего, которое следовало за ним с оружием, между тем как граждане встречали и принимали его с удивлением и радостью. Это торжественное шествие послужило началом и примером к введенным впоследствии триумфам, а трофей назван приношением Юпитеру-Феретрию. По-латыни «ферире» ***(ferire)*** значит «поражать». Ромул молил Юпитера поразить и умертвить своего противника. Снятые с неприятеля доспехи называются по-латыни, как говорит Варрон, «опимиа» ***(opimia);*** «богатство» обозначается словом «опес» ***(opes).***

Вероятнее же – можно было бы связать «опимиа» с «опус» ***(opus),*** что значит действие, подвиг; посвящение же богу «опимиа» позволяется лишь полководцу*, своей рукой умертвившему предводителя неприятельского. Этой чести удостоились только три римских полководца. Во-первых, Ромул, убивший Акрона, царя ценинского; во-вторых, Корнелий Косс, умертвивший Толумния, тосканского полководца, и наконец, Клавдий Марцелл, поразивший галльского царя Британомарта. Но Косс и Марцелл въехали в Рим на колеснице, четырьмя конями запряженной, и неся свой трофей. Дионисий говорит, что и Ромул въехал в Рим на колеснице; однако это не справедливо, ибо Тарквиний, сын Демарата, первый из царей придал триумфу такую важность и великолепие. Другие говорят, что Попликола первый имел триумфальный въезд на колеснице. В Риме все Ромуловы истуканы, несущие трофей, представляют его пешим.

По покорении Ценины, между тем как другие сабиняне проводили время в приготовлениях, жители Фиден, Крустумерия и Антемны заключили между собой союз против римлян. Дано было сражение. Они также были побеждены, предали города свои Ромулу, который разделил их землю и переселил их в Рим. При разделении земли между согражданами он не тронул лишь те поля, которыми владели отцы похищенных девушек.

Другие сабиняне, раздраженные этим, избрали своим полководцем Татия и пошли на Рим. Приступ к сему городу был весьма труден. Нынешний Капитолий служил ему крепостью, в которой было охранное войско под начальством Тарпея, а не девицы Тарпеи, как утверждают некоторые, представляя Ромула столь безрассудным. Тарпея была дочь начальствующего над крепостью; она предала ее сабинянам изменой, прельстясь золотыми нарукавниками их. В награду за предательство требовала она тех, кого сабиняне носили на левых руках своих; Татий на то согласился. Тарпея ночью отворила одни врата и впустила сабинян. По-видимому, не один Антигон* сказал, что любит изменяющих, но ненавидит изменивших, и не один Цезарь, который о фракийце Риметалке говорил: «Я люблю измену, но ненавижу изменника». Кажется, что все имеющие нужду в злодеях, питают к ним те же самые чувства. Они пользуются ими точно так, как желчью или ядом некоторых зверей. Любят их, когда имеют в них нужду; достигнув цели своей, они ненавидят их. Одушевленный подобным чувством к Тарпее, Татий велел сабинянам исполнить данное обещание и не жалеть украшений, бывших у них на левой руке. Он первый снял с руки своей нарукавник, бросил его на Тарпею, а за ним и щит свой. Все последовали его примеру; она была завалена золотом и щитами, под бременем которых погибла*. Юба говорит, что, по словам Сульпиция Гальбы*, Тарпей также был изобличен в предательстве и Ромулом изгнан. Повествуемое некоторыми, между прочими и Антигоном*, будто Тарпея, дочь Татия, полководца сабинского, была женой Ромула против своей воли и что отец с ней так жестоко поступил, весьма невероятно. Стихотворец Симил обманывается, когда утверждает, что Тарпея предала Капитолий не сабинянам, но галлам, влюбившись в царя их. Он говорит:

Близ Капитолийской высокой скалы
Тарпея жила, губительница Рима.
К кельтийскому царю любовию горя,
Отеческих домов она не сохранила.
О ее смерти говорит он:
Но галлов, бойев полки несчетны, храбры,
На Падовых брегах ее не погребли.
Власов своих у ней не стригли на могиле.
Руками мощными тяжелые щиты
На ненавистную сию бросали деву
И памятник из них воздвигнули на ней.

Тарпея тут погребена, и холм этот назывался Тарпейским до тех пор, как Тарквиний посвятил Юпитеру это место. Прах ее был перенесен оттуда, после чего имя ее было забыто. Но и поныне на Капитолии называется Тарпейской та скала, с которой бросали преступников.

Сабиняне владели уже Капитолием. Ромул в ярости вызывал их к битве. Татий принял ее смело, ведая, что в случае неудачи имел крепкое к отступлению место. Пространство, на

котором надлежало им сразиться, было окружено многими холмами. По неудобности положения казалось, что для обеих сторон битва долженствовала быть жестока и опасна, ибо теснота места не позволяла ни отступать, ни преследовать далеко неприятеля. Случилось, что за несколько дней прежде река разлилась и оставила по себе на низких местах, где ныне площадь, глубокий, но неприметный ил, которого видеть и избежать было невозможно. Сабиняне по неведению неслись к сему месту. К счастью их, некто по имени Курций, человек знаменитый, отличный славою и храбростью своей, сидя на коне, ехал далеко впереди всех. Он был завезен в эту топь, в которой увяз конь его; несколько времени бил он его и понуждал оттуда выйти; но так как это было невозможно, то сошел с него и спасся один. Это место и поныне называется «Курциево болото» ***(Lacus Curtius).***

Этот случай заставил сабинян избегать того места. Они сражались отчаянно; победа была сомнительна. Многие пали на месте; меж прочими и Гостилий, которого почитают мужем Георсилии и дедом Гостилия, воцарившегося после Нумы. Битвы продолжались несколько дней сряду. Достопамятнее всех последняя, в которой Ромул был ранен в голову и едва не упал. Он не мог долее противостоять сабинянам; римляне принуждены были им уступить. Они бежали к горе Палатинской, быв прогнаны с равнин. Ромул наконец, пришед в себя, хотел идти с оружием в руках навстречу бегущим. Громко кричал им, чтобы остановились и возвратились к сражению. Но видя, что все было в великом расстройстве и никто не смел противостоять неприятелю, воздев руки к небу, просил Юпитера удержать войско от бегства, восстановить силы римлян и отвратить от них погибель. Едва он окончил мольбу свою, как многие устыдились царя своего; бегущие вдруг ободрились, сперва остановились они на том месте, где ныне храм Юпитера Статора, что значит «Останавливающий»; потом стали в строй, отразили сабинян и прогнали до того места, где ныне дворец Регии* и храм Весты.

Здесь приготовлялись они к возобновлению сражения с прежнею яростью, как вдруг зрелище необыкновенное, которого никакими чертами изобразить неможно, остановило их. Похищенные дочери сабинян, сбегаясь отовсюду с криком и воплем, сквозь оружия и по телам мертвым, как бы одушевленные божеством, стремились к мужьям и к отцам своим. Одни с малыми детьми в своих объятиях, другие с растрепанными волосами называли то сабинян, то римлян нежнейшими именами; и те и другие смягчились и дали им место среди самого ополчения. Рыдания их всем были слышны; все тронуты были жалостью от сего зрелища, а еще более от их слов, которые начинались сильными и справедливыми жалобами и кончились самыми убедительными просьбами и молением. «Чем оскорбили мы вас, чем виновны мы перед вами, – говорили они, – за что мы от вас претерпели жесточайшие горести и ныне претерпеваем? Мы похищены насильственно и беззаконно теми, кому ныне принадлежим. По похищении нашем, оставленные, забытые отцами, братьями, родственниками, на долгое время мы принуждены были неразрывными узами соединиться с теми, кто для нас был всего ненавистнее; мы доведены до того, что должны страшиться за оскорбивших нас, за похитителей наших, когда они сражаются, и оплакивать их, когда они погибают. Не тогда пришли вы избавить нас и за нас отмстить, когда были мы еще в девстве; ныне у мужей вы отнимаете жен, сынов лишаете матерей. Помощь, ныне вами оказываемая несчастным, горше забвения и предательства вашего. Такова любовь их к нам! Такова жалось к нам ваша! Когда бы за что-либо другое вы между собой сражались, то не надлежало бы вам, сделавшись через нас отцами, дедами, родственниками, прекратить войну? Если война эта предпринята ради нас, унесите нас с зятьями и детьми, возвратите нам отцов и родственников, не отнимайте мужей и детей; заклинаем вас: не соделайте нас вторично пленницами». Таковы были представления Герсилии; другие женщины присоединили к ней просьбы свои. Заключено было перемирие, и полководцы сошлись для переговоров. Между тем женщины приводили к отцам и братьям мужей и детей своих, приносили пищу и питье имевшим в том нужду; пеклись о раненых и относили их в свои дома. Показывали им, что они управляли домом; что мужья уважали их и обходились с ними с почтением и любовию. Наконец был заключен мир на следующих условиях: чтобы сабинянки, желающие оставаться с мужьями своими, были освобождены от всякой другой работы, кроме пряжи, как выше сказано; чтобы римляне и сабиняне жили в одном городе; чтобы город назывался Римом, по имени Ромула, а чтобы все жители назывались «квиритами»* по имени отечества Татия; чтобы Ромул и Татий царствовали и

предводительствовали войсками вместе. Место, на котором заключены договоры, называется поныне Комитием* от латинского слова «комире» (***comire***) – «сходиться».

Таким образом, число граждан удвоилось. Сто сабинян причислены были к патрициям; легионы состояли уже из шести тысяч пеших и шестисот конных*. Все жители разделены были на три племени; принадлежащие Ромулу названы Рамны; Татию – Татии; третье племя названо Лукеры от слова «лукос» ***(lucus)*** – «роща», ибо в ней многие находили себе безопасное убежище и получали права на гражданство. Разделение народа на три части доказывается тем, что римляне называют племя трибами; начальники племен называются трибунами. Каждое племя разделено было на десять курий, которые, как говорят, названы были именами похищенных сабинянок, но это, кажется, ложно, ибо многие из них получили свое название от мест.

Римляне почтили женщин еще другими преимуществами, каковы суть следующие: мужчины уступали им дорогу, когда с ними встречались; не позволяли себе говорить перед ними ничего неблагопристойного и показываться нагими; когда они были обвиняемы в смертоубийстве, то не принуждали их являться пред судьей; дети их носили на шее украшение, называемое «буллой», по сходству его с водяным пузырем, и одежду с пурпуровой обшивкой*.

Цари рассуждали между собой о делах государственных, посоветовавшись наперед с своими сенаторами; после того собирали всех воедино. Татий жил там, где ныне храм богини Монеты*; Ромул – близ места, называемого «ступенями прекрасного берега», подле спуска с горы Палатинской в Большой цирк. На этом месте, как говорят, росло священное кизиловое дерево. Повествуют, что Ромул, желая некогда испытать свои силы, бросил с горы Аветинской копье, которое было из этого дерева. Конец копья столь далеко вошел в землю, что никто не мог его вытащить, хотя многие пытались; дерево укоренилось в плодородной земле, пустило ветви и поднялось высоко. Потомки Ромула окружили его стеной, стерегли и почитали как нечто священнейшее. Когда кто примечал, что оное не цвело, не зеленело и как бы увядало, кричал о том всем тем, кто ему попадался навстречу. Слышащие его, как бы на пожаре, просили воды; отовсюду сбегались люди, неся сосуды с водой. Говорят, что когда Гай Цезарь* строил ступени, работники, копая близ этого дерева землю, повредили его коренья, и оно засохло.

Сабиняне приняли месяцы римские. В жизнеописании Нумы говорится подробнее то, что более замечательно в них. Ромул ввел в употребление сабинские щиты, переменил оружия свои и у воинов, которые прежде носили щиты аргосские*. Праздники и жертвоприношения были между ними общи; оба народа удержали свои древние торжества и установили новые, из числа которых есть праздники Матроналий и Карменталий*. Первый учрежден в честь женщин за прекращение ими брани. Богиня Кармента, которая, по мнению некоторых, есть Мойра, или Судьба, предстательствующая при рождении людей, была особенно почитаема матерями. Другие уверяют, что жена аркадянина Эвандра, пророчица, издававшая свои провещания в стихах, прозвана Карментой от слова «кармена» ***(carmina)*** – «стихи»; настоящее же ее имя было Никострата. Многие держатся мнения, что слово «кармента» значит «лишенная ума» – по причине исступлений, которым по вдохновению была подвержена: от слов «карере» (***career***) – «лишаться» и «ментем» (***mens***) – «ум». О Парилиях упомянуто выше.

Праздник Луперкалий, судя по времени, в которое отправляется, кажется, есть праздник очищения, ибо происходит во дни, почитаемые несчастливыми*, месяца февраля, который можно перевесть очистительным. Самый же день празднования назывался в древности Фебрата. Название «Луперкалии» значит, собственно, «волчий»; по этой причине почитается весьма древним постановлением аркадян, переселившихся с Эвандром в Италию. Вероятно, имя это происходит от «волчицы», ибо мы видим, что луперки, или жрецы Пановы, начинают свой бег с того места, куда Ромул был выброшен. Трудно найти причины тому, что происходит на сих празднествах. Жрецы закалывают коз; к ним приносят двух отроков благородного происхождения. Одни касаются их чела окровавленным мечом; другие отирают их волной, омоченной в молоке. После сего обряда отроки должны смеяться. Разрезавши кожи закланных коз, бегают они нагие, опоясавшись кожей, и бьют ремнями всех, встречающихся с ними. Молодые женщины не убегают от этих ударов, ибо верят, что они могут способствовать к плодородию и счастливому разрешению от бремени. В этом празднике отлично то, что луперки приносят в жертву собаку. Некий Бутас, описавший в своих элегиях баснословные причины

некоторых римских обрядов, говорит, что Ромул, одержав победу над Амулием, побежал с восхищением к тому месту, в котором волчица кормила его с Ремом во младенчестве; что праздник Луперкалий есть подражание тогдашнему беганью и что благородного происхождения юноши бегают и бьют всех, кто с ними встретится, так же как в то время Ромул и Рем бежали из Альбы с обнаженными мечами. При том говорит, что окровавленный меч прикладывается к челу в знак тогдашнего убийства и крайней их опасности; обтирают же молоком – в память их вскормления. Гай Ацилий* повествует, что до создания Рима Ромул и Рем потеряли стада свои; что они, помолившись Фавну, сняли одежду, дабы легче им было бежать и не потеть. По этой причине и луперки бегают нагие. Если эта жертва есть очистительная, то заклание собаки служит, может быть, к очищению. Греки в очищениях закалывают щенят и употребляют обряд, называемый «перискилакисм»*. Но если жертва эта есть жертва благодарственная волчице за спасение и вскормление Ромула, то не без причины закалывается собака. Их умертвляют за то, что они беспокоят луперков во время беганья.

Уверяют, что Ромул первый установил хранение священного огня и определил священных дев, называемых весталками. Другие приписывают это учреждение Нуме. Впрочем, известно, что Ромул был богопочтителен и сведущ в гаданиях. Он носил всегда в руках прорицательный жезл, называемый «литюон» ***(lituus).*** Это есть загнутая трость, которой авгуры, или наблюдатели полета птиц, начертывают на небе нужное им пространство*. Она хранилась в Палатине и исчезла во время галльских браней при взятии города.

По изгнании варваров найдена под глубоким пеплом без всякого от огня повреждения, хотя все прочее было пожрано огнем.

Ромул издал некоторые законы; самый строгий из них есть тот, которым запрещается жене разводиться с мужем, но позволяется мужу отсылать от себя жену за отравление ядом, за подмену детей, за нарушение супружеской верности. Когда кто по другим каким-нибудь причинам разводился с женой, то имения его одна часть отдавалась ей, другая посвящалась Церере. Отсылающий от себя жену обязан был приносить жертву богам подземным. К собственным его законам принадлежит и то, что он не положил никакого наказания за отцеубийство; но под именем отцеубийства разумеет всякое смертоубийство, почитая одно ненавистным, другое невозможным. Долгое время почиталось правильным мнение его об этом злодеянии. В продолжение шестисот лет не случилось в Риме ни одного отцеубийства. Только после войны с Ганнибалом Луций Гостий первый сделался отцеубийцей; но об этом довольно.

В пятый год царствования Татия некоторые родственники сего царя встретили на дороге посланников, шедших из Лаврента* в Рим; напали на них, хотели ограбить и, по причине их сопротивления, умертвили их. По свершении этого злодеяния Ромул хотел наказать преступников; но Татий колебался и отлагал наказание. В этом только случае примечен был между ними явный разрыв. В прочее время они управляли делами согласно и единодушно. Родственники убиенных, не получая законного удовлетворения потому, что Татий защищал виновных, умертвили его в Лавинии, когда он приносил вместе с Ромулом жертву, а Ромула, как государя правосудного, провожали с похвалами. Ромул похоронил тело Татия с честью на горе Авентинской, близ места, называемого Армилустрия*; но нимало не думал мстить за его убиение. Некоторые писатели свидетельствуют, что лаврентияне, страшась его гнева, выдали ему убийц и что Ромул, отпустив их, сказал: «Убийство убийством заглажено». Это подало повод подозревать его. Многие думали, что для него было приятно лишиться соправителя. Однако это не произвело никакого возмущения. Сабиняне пребыли спокойны. Одни были привержены к нему; другие страшились его силы; многие, почитая его божеством, были исполнены к нему почтения. Не только подданные его, но многие иноплеменные народы удивлялись Ромулу и чтили его. Древние латиняне* заключили с ним союз и соединились дружбой.

Ромул завладел соседственным городом Фиденами, послав туда, как говорят, неожиданно конницу, которой велел отломить петли городских ворот; вскоре приспел туда и сам. Другие говорят, что фиденцы первые напали на его землю, грабили и разоряли предместья города и что Ромул, поставив засаду, многих умертвил и завладел их городом. Он не разрушил его; но сделал римским поселением и послал туда две тысячи пятьсот жителей в апрельские иды.

Вскоре после того Рим заражен был язвой; люди умирали внезапно без всякой болезни.

Самая земля не приносила плодов, и животные не рождали. В городе выпал кровавый дождь. И так к стольким бедствиям присовокупился еще страх гнева богов. То же самое происходило и в Лавренте. Это заставило всех думать, что боги наказывают оба города за то, что не отомстили за умерщвление Татия и посланников. Когда с обеих сторон убийцы были выданы и наказаны, бедствия городов явно уменьшились. Ромул очистил их обрядами, которые, как говорят, и поныне совершаются у Ферентинских ворот*. Еще до прекращения этой язвы камерийцы напали на римлян и пробежали страну их, полагая, что они, в толикой слабости, противостоять им не могут. Ромул вышел против них, разбил в сражении и умертвил их шесть тысяч. Завладев их городом, половину жителей переселил в Рим и в секстильские календы перевел туда из Рима вдвое жителей против того, что там оставалось. Вот какое множество было у него граждан, хотя Рим существовал еще не более шестнадцати лет! Сверх других добыч привез он из Камерии медную, о четырех конях колесницу, которую и поставил в храме Вулкана с кумиром, представляющим себя, венчаемого победой.

Между тем как Рим усиливался, слабевшие соседи покорялись, довольствуясь тем, что могли жить в покое; но сильнейшие, страшась римлян и завидуя им, думали, что не должно оставлять Ромула без внимания; что надлежало противиться всеми силами его возвышению. Первые из тосканских народов – вейенты*, владевшие обширной страной и населявшие город многолюдный, начали войну тем, что требовали назад Фидены как город, им принадлежавший. Это было не только несправедливо, но и посмеяния достойно, ибо когда фиденцы находились в опасности и римляне нападали на них, они не подали им ни малейшей помощи, оставили их в их бедственной участи и требовали земли и домов их тогда, как ими владели другие. Ромул отвечал им на эти требования с ругательством. Тогда они, разделясь на две части, одной пошли против Федины, другой – навстречу Ромулу. При Фиденах одержали они победу и положили на месте две тысячи римлян. Другие, быв побеждены Ромулом, потеряли более восьми тысяч человек. После того дано было при Фиденах другое сражение, в котором, по признанию всех, величайшие подвиги произведены самим Ромулом, который оказал искусство, соединенное с смелостью, силу и быстроту сверхъестественные. Повествуемое многими, будто бы из четырнадцати тысяч падших неприятелей большая половина умерщвлена была рукой самого Ромула, не заслуживает ни малейшей вероятности, ибо и мессинян обвиняют в хвастовстве, по словам которых Аристомен* принес богам трижды гекатомфонию, или триста жертв за убиение им столького же числа лакедемонян. Разбив вейентов, Ромул позволил им предаваться бегству, а сам устремился на города их. После такого поражения они не могли устоять против римлян, просили мира, заключили союз на сто лет, уступили Ромулу часть области своей – так называемый Семптемпагий (то есть Семь селений) и находящиеся при реке соленые озера, а также дали ему в залог пятьдесят знаменитого рода граждан. Он имел торжественное шествие в идах октябрьских. За ним следовало великое множество пленных и предводитель вейентов, человек старый, который вел войну безрассудно и неприлично летам его. По этот причине хранится и поныне обычай, когда приносят победительные жертвы, проводить на Капитолий через площадь старика, одетого в пурпуровую одежду, с золотым на шее убором, называемым буллой, которую носят отроки. Глашатай кричит: «Продаются сардийцы!»* Говорят, что тосканцы суть поселенцы из Сард; Вейи же суть город тосканский.

Это была последняя война Ромула. Впоследствии не избег он того, что случается со многими – почти со всеми теми, которые велики и необыкновенным благоприятством счастья восходят на верх могущества и славы. Вознесенный своими подвигами, обнаруживал он надменность и гордость, какой прежде в нем не примечали; снисходительность и благосклонность его к народу превратилась в тягостное и ненавистное единоначалие. Оно оскорбляло взоры граждан самой одеждой его. Ромул носил алого цвета исподнее платье, а сверху пурпуром обшитую тогу*; делами занимался на троне; был всегда окружен молодыми людьми, называемыми «келерами» по причине быстроты их в услужении. Перед ним ходили другие, которые останавливали народ палками; они опоясаны были ремнями, дабы связать тотчас тех, кого он прикажет. Эти провожавшие его воины назывались «ликторы», от древнего слова «лигаре» ***(ligare),*** что ныне говорят: «аллигаре» ***(alligare***) – «связывать». Ликторские палки называют «бакила» (***bacillum***). Может быть, что к этому слову прибавлена буква «к» и что прежде назывались они «литоры», от греческого слова «литургос» – «служитель народа».

Греки и ныне называют народ «леитон», а чернь – «лаон».

После кончины деда его Нумитора в Альбе это царство принадлежало Ромулу; но он, угождая народу, представил альбанцам управляться самими собой и ежегодно посылал к ним начальника. Таким образом научил он сильнейших в Риме желать правления независимого и не единовластного, желать быть управляемыми и управлять в свою очередь. Уже патриции не участвовали нимало в правлении. Они имели лишь почтенное имя, отличались от других наружностью; но в совет собирались более по обычаю, нежели для подачи своего мнения. Они безмолвно внимали его повелениям, и единственное их преимущество состояло в том, что прежде других узнавали то, что было им постановлено. Все это было еще сносно, но когда он разделил сам от себя завоеванную землю воинам; когда вейетам возвратил заложников без согласия и совета сенаторов, то казалось уже, что он явно ругается над сенатом. Все это навело подозрение на сенат, когда Ромул вскоре после того исчез, что случилось в ноны июля (по-тогдашнему, квинтилия). О смерти его, кроме времени, ничего основательного и достоверного сказать нельзя. Поныне в этот самый день исполняются многие обряды, представляющие тогдашнее происшествие. Впрочем, не должно удивляться неизвестности о его смерти, вспомнив, что и Сципион Африканский*, отужинав в своем доме, умер; и о причине и роде смерти его никаких признаков не найдено. Одни говорят, что он умер скоропостижно, будучи больным и слабым от природы; другие – что он отравил себя ядом. Многие того мнения, что неприятели его напали на него ночью и задушили; однако Сципион лежал мертвый; все могли видеть его тело и догадаться о причине смерти. Ромул внезапно исчез и после него не найдено ни одной части его тела, ни куска его платья. Некоторые подозревали, что сенаторы напали на него в храме Вулкана, умертвили, разделили между собой его тело, и каждый из них вынес часть под своим платьем. Иные утверждают, что не в храме Вулкана и не в присутствии одних сенаторов исчез он, но за городом, близ болота, называемого Козьим, где случилось, что собрался народ. Вдруг произошли на воздухе удивительные и черезвычайные перемены. Солнце затмилось*; земля покрылась мраком, сопровождаемым страшными громами, порывистыми ветрами и бурей, со всех сторон угрожавшей. Народ рассеялся и предался бегству; но патриции собрались вместе. Когда гроза миновала, Солнце воссияло и народ начал сходиться, стали искать царя, желали его видеть; но патриции не допустили их искать его и долее любопытствовать. Они велели всем оказывать почтение Ромулу, как похищенному богами, которому назначено из доброго государя быть для них благосклонным божеством. Народ поверил словам их и, поклоняясь ему, удалился, исполненный радости и приятнейшей надежды. Были и такие, которые, разыскивая истину сего происшествия, с досадой и неудовольствием наводили на патрициев страх, обвиняли их в том, что они умертвили царя и старались уверить народ в нелепых рассказах.

Между тем как все было в беспокойстве и смятении, Юлий Прокул, патриций из переселенцев альбских, знаменитейший родом и нравами отличнейший человек, верный Ромулу и пользовавшийся его благосклонностью, предстал перед народом и клялся всем, что есть священно, что Ромул явился ему на дороге прекраснее и величественнее, нежели был когда-либо, в блистательных и огнем горящих доспехах; что, изумленный этим явлением, он сказал ему: «За какую вину нашу, государь, и с каким намерением оставил ты нас, несправедливо обвиняемых в преступлении, – весь город сирым и погруженным в бесконечной печали?» Ромул на это ответствовал: «Прокул! Богам угодно было, чтобы, пробыв столько времени среди людей и основав город, которому предназначено быть величайшим силой и славой, потом я вознесся на небо, с которого низошел. Но ты будь счастлив и скажи римлянам, что мужеством и благоразумием они достигнут величайшей силы среди людей. Я, бог Квирин, буду покровителем вашим». Римляне поверили словам этим по причине клятвы и нравов говорящего. Кажется, что нечто божественное овладело тогда их чувствами, как бы они были в исступлении. Никто из них не противоречил ему; оставя все подозрения и обвинения, начали молиться Квирину как богу и просить его покровительства. Все это кажется подобно тому, что повествуется греками об Аристее Приконнесском* и Клеомеде Астипалейском. О первом они говорят, что умер в некоей красильне и что тело его сделалось невидимо, когда друзья его пришли его искать. В то самое время прибывшие в город путешественники уверяли, что они встретили Аристея, шедшего по Кротонской дороге.

Касательно Клеомеда* повествуется, что при необыкновенной силе и величине тела был он уродлив и неистов и поступал во многом весьма насильственно. Войдя некогда в училище, в котором учились дети, ударил рукой столб, на коем потолок опирался, и сломил его; верх обрушился и передавил всех. Будучи за то преследуем, он бросился в большой сундук и держал крышку столь крепко, что многие соединенными силами не могли ее поднять. Наконец разломали сундук, но не нашли в нем Клеомеда – ни живого, ни мертвого. Удивленные этим случаем, жители послали в Дельфы вопросить пифию. Она дала им следующий ответ:

Последний Клеомед в полубогах-героях.

Повествуют также, что тело Алкмены исчезло при погребении ее и что на одре увидели вместо ее камень.

Вообще многие писатели рассказывают, подобно сему, баснословные случаи, не заслуживающие вероятия; они равняют с божеством то, что по природе своей смертно. Не признавать божественности добродетели нечестиво и неблагородно; но глупо и смешно смешивать небо с землею. И так мы, держась осторожности, скажем с Пиндаром;

Добыча смерти, разрушенья
Всех земнородных суть тела.
Ты образ вечности нетленья,
Душа! По смерти ты жива.
Едина от богов имеешь
Свое начало, бытие…

Она от них идет и к ним возвращается – не вместе с телом, но лишь тогда, когда от тела освободится, отделится от него, сделается совершенно чистой, бесплотной, святой. Ибо, по словам Гераклита, сухая душа есть лучшая*. Как молния пролетает тучу, так душа эта пролетает тело. Но душа, смешанная с телом и, так сказать, исполненная тела, подобно испарению тяжелому и мрачному, нелегко возгорается и с трудом возносится на высоту. Итак, неприлично возносить против природы на небо тела доблестных мужей вместе с душами их; но надлежит думать, что добродетелями украшенные души по природе своей и по справедливости божией из человеков делаются героями, из героев гениями, из гениев наконец, если совершенно очистятся и освятятся, как бы посредством таинственных обрядов, скинув с себя все смертное и страдательное, возносятся к богам не гражданским постановлением, но по истине, по справедливости, приемля конец прекраснейший и блаженнейший.

Что касается до прозвания Квирина, данного Ромулу, то это, по мнению одних, значит то же, что «Марс», а по мнению других, «гражданин», ибо граждане римские назывались «квиритами». Некоторые уверяют, что острие, или копье, древними называлось «квирис», и Юнона, кумир которой стоит на острие, называется Юнона Квиритида. Копье, посвященное в Регии, называется Марсом; отличившимся в битвах дается в награду копье. Может быть, Ромул назван Квирином для означения того, что он есть бог воинственный. Ему посвящен храм на холме, который по его имени назван Квиринальским.

День, в который Ромул исчез, называется бегством народа и нонами Капратинскими, ибо выходят из города и приносят жертву на так называемом Козьем болоте. «Коза» по-латыни называется «капра». Идучи к этому месту, произносят с криком разные собственные имена, как-то: Марк, Луций, Гай, – подражая таким образом тогдашнему их беганью, когда друг друга призывали в страхе и смущении. Некоторые уверяют, что это есть подражание не бегству, но увещанию и ободрению, и дают сему следующую причину. После того как галлы, обладавшие Римом, были из него изгнаны Камиллом и ослабшие римляне с трудом возобновляли свои силы, многие латинские народы ратоборствовали на них под предводительством Ливия Постума. Этот полководец, став станом недалеко от Рима, послал вестника с объявлением, что латиняне желают возобновить древнюю дружбу и родство, ослабшие от времени, и соединить новыми браками два народа: что если пришлют к ним довольное число девиц и безмужних жен, то заключать с ними мир и союз – так, как они сами в подобном случае заключили прежде

дружбу с сабинянами. Римляне боялись войны; но выдачу жен почитали столь же позорной, как и самое рабство. Они находились в недоумении, когда некоторая рабыня по имени Филотида, а по свидетельству других – Тутола, советовала им не делать ни того ни другого, но, употребив выдуманную ею хитрость, избегнуть тем и войны, и выдачи женщин. Хитрость эта состояла в том, чтобы Филотиду и с нею других лицом пригожих рабынь, одетых в платье, приличное свободным женщинам, послать в стан неприятельский. Ночью Филотида должна была дать знак свечой, дабы римляне наступили вооруженные на спящих неприятелей и умертвили бы их. Латиняне поверили им – и предначертание исполнилось. Филотида подала знак с дикой смоковницы; она протянула завесы и покрывала, дабы от неприятеля сокрыть свет, который был видим только римлянам. Когда они увидели знак этот, то вышли поспешно из города и для большего понуждения называли друг друга по имени. Они напали неожиданно на неприятелей и разбили их. Эту одержанную тогда победу празднуют и поныне. Ноны эти называются Капратинскими от дикой смоковницы, которую римляне называют словом «капрификон» ***(caprificus).*** Женщин угощают вне города под тенью смоковичных ветвей. Рабыни, ходя взад и вперед, собирают деньги и шутят; потом бьют одна другую и мечут каменьями в память того, что и в то время пристали к сражавшимся римлянам и помогали им. Но это не всеми писателями принято. Обыкновение кликать друг друга по имени и выходить на Козье болото для принесения жертвы, кажется, более утверждает первое мнение. Может быть и то, что эти приключения случились в разные времена, но в один день. Ромул сделался невидим в пятьдесят четвертый год своей жизни. И в тридцать восьмой своего царствования.

Сравнение Тесея с Ромулом

Вот что я мог узнать достопамятнейшего в жизни Ромула и Тесея.

При самом начале находим мы, что один, не быв никем принуждаем, тогда как мог царствовать спокойно в Трезене, получив в наследство немалозначащее государство, предпринял сам великие подвиги; другой, напротив того, для изображения рабства и наказания, ему угрожавшего, сделавшись, как говорит Платон, храбр от страха и боясь подвергнуться крайней опасности, приступил по нужде к великим предприятиям. Величайшее дело сего было погубление одного тиранна Альбского. Скирон, Синис, Прокруст, Коринет были первые опыты и, так сказать, посторонние подвиги Тесеевы; умертвляя и наказывая их, освобождал он Грецию от жестоких тираннов прежде, нежели спасенные им могли узнать, кто он таков. Тесей мог спокойно ехать водой, без всякой обиды со стороны разбойников; но Ромулу было невозможно при жизни Амулия жить спокойно. Доказательством этому служит то, что Тесей, не будучи прежде обижен, нападал на злодеев для защиты других; а Ромул и Рем позволяли тиранну всех угнетать до тех пор, пока сами от него не были оскорблены. Впрочем, если в Ромуле почитают великим то, что он был ранен в сражении с сабинянами, что умертвил Акрона и покорил войной многих врагов, то делам этим можно противоположить битву с кентаврами и войну с амазонками.

Смелое предприятие Тесея – избавить отечество от дани, платимой критянам, когда он самовольно отплыл с девами и отроками, дабы предать себя на съедение какому-либо зверю, или на заклание над гробом Андрогея, или, наконец (что легче всего этого), на бесславное и поносное служение людям враждебным и безжалостным, – есть дело столь великой смелости, толикого великодушия, толикой справедливости к обществу, любви к славе и добродетели, что невозможно его описать во всей его важности. Мне кажется, что философы недурно определяют любовь, говоря, что она есть помощь, богами ниспосылаемая к исправлению и спасению юношей. Подлинно любовь к нему Ариадны была не что иное, как дело некоего бога, который хотел через нее спасти сего мужа. Не только не прилично порочить Ариадниной любви, но, напротив того, должно удивляться, что не все почувствовали к нему такой же склонности. Если же она одна пленилась им, то можно сказать, что она достойно заслужила любовь Вакха за то, что воспламенялась любовью к добродетели, к мужеству и к доблестным мужам.

Хотя Ромул и Тесей были созданы управлять, однако ни один не сохранил приличных царю качеств. И тот и другой преступили пределы царского достоинства. Один склонился к

народоправлению, другой к самовластию;

оба погрешили в одном, но поддавшись различным страстями. Первый долг управляющего есть сохранение самой власти. Она сохраняется, удерживаясь от непристойного, не менее как наблюдая то, что пристойно. Тот, кто преступает пределы строгости или снисхождения, не остается более царем или правителем, но делается либо демагогом, либо деспотом и производит к себе в управляемых ненависть или презрение. Однако первое есть проступок кротости и человеколюбия; второе – самолюбия и жестокости.

Если не должно вовсе приписывать року все наши несчастия, но надлежит искать их причины в разности страстей и нравов, то нельзя оправдать безрассудного гнева, стремительной и необузданной ярости Ромула к брату, ни Тесея к сыну. Начало, побудившее к гневу, более извиняет того, кто должен был уступить важнейшей причине, как бы жесточайшему удару. Если Ромул имел спор с братом о пользе общей с намерением и рассуждением, то нельзя поверить, чтобы рассудком его овладела внезапно такая ярость. То, что вооружило Тесея против сына, было любовь, ревность, женские клеветы – побуждения, которых немногие могли преодолеть. Всего важнее то, что гнев увлек Ромула к совершению дела, которого последствия были пагубны; но гнев Тесея обнаружился одними словами, упреками, старческим проклятием. Впрочем, несчастья сего юноши более приписать должно судьбе. Вот что можно сказать в пользу Тесея!

В Ромуле, однако, во-первых, велико то, что он возвысился до такой степени от начала, самого малозначащего. Называясь рабами, сынами пастухов, эти два брата, прежде нежели сделались вольными, освободили всех почти латинян и одним разом приобрели славнейшие названия – победителей врагов, спасителей родственников, царей народов, основателей городов, а не переселителей, подобно Тесею, который хотя составил и основал один город, однако уничтожил многие города, имевшие названия древних героев и царей. Ромул делал то же самое после; он принуждал неприятелей оставлять и разорять свои обиталища и присоединяться к победителям. Всего важнее то, что он не населил и не увеличил города, прежде существовавшего; но основал город новый там, где не было никакого, приобретая себе вкупе область, отечество, царство, племя, супружество, родство. Никого не умерщвлял и не губил; напротив того, сделался благотворителем тех, кто из беглецов и бродяг, не имевших постоянного жилища, хотел составить народ и быть гражданином. Он не истреблял разбойников и злодеев, но покорял войной народы, брал города, торжествовал над царями и полководцами.

Касательно убиения Рема писатели между собой не согласны. Многие обвиняют в этом большей частью других, а не Ромула. Однако всем известно, что он избавил мать свою от погибели, а деда, поносно и бесчестно служившего другому, посадил на престол Энеев. Он оказывал ему многие услуги по своей охоте и даже неумышленно не причинил ему неудовольствия. Но Тесея за пренебрежение и забвение отцовского повеления о перемене паруса едва ли можно оправдать в отцеубийстве, даже с великими извинениями и перед самыми снисходительными судьями. По этот причине некий афинский писатель, заметив, сколь трудно оправдать его в этом случае, пишет, будто Эгей, сведав о приближении корабля, побежал поспешно на Акрополь, дабы его увидеть, и, поскользнувшись, упал как будто бы Эгей никого не имел при себе или, идучи к морю, оставлен был без всякой помощи от своих служителей!

Касательно несправедливого похищения женщин: нет сомнения, что Тесей не может в том найти благовидного оправдания, во-первых, потому, что он похищал несколько раз. Он похитил Ариадну, Антиону и Анаксо из Трезены; наконец, в старости, Елену – еще младенчествующую, не созревшую для брака, будучи сам в таких летах, когда было бы прилично и от законного воздержаться супружества. Во-вторых, причина, к тому его побудившая, достойна порицания, ибо женщины из рода Эрехтея и Кекропа в Афинах были способны рождать детей не хуже трезенянок, спартанок и амазонок, которые не были с ним обручены. Все это заставляет подозревать, что эти похищения суть следствия сладострастия и невоздержания. Ромул, напротив того, похитив без малого восемьсот женщин, оставил себе только одну Герсилию, а всех других роздал лучшим гражданам. Уважение, любовь и справедливость, оказываемые этим женщинам, послужили доказательством того, что это насильственное и несправедливое похищение было прекраснейшее дело, произведенное в действо с политическим благоразумием

для соединения народов. Через него два народа совокупились и связались теснейшими узами; оно было источником силы и величия государства и взаимной между двумя народами благосклонности. Впрочем, время свидетельствует, какую скромность, какое постоянство и дружбу ввел Ромул в супружество. В течение двухсот тридцати лет ни один муж не осмелился покинуть жены своей*, ни одна жена своего мужа. Подобно как в Греции ученые знают по имени первого отцеубийцу или матереубийцу, так всем римлянам известно, что Карвилий Спурий первый развелся с женой и то по причине бесплодия ее*. Свидетельство времен подтверждается самими происшествиями. Власть сделалась общей между двумя царями, права гражданства общими между обоими народами – по причине сего брачного союза. Браки Тесея не принесли афинянам ни дружбы, ни союза с другими народами; напротив того, были причиной вражды, браней, убиения граждан и потери Афидн. Милосердию неприятелей своих, которым они поклонялись, которых называли богами, обязаны они тем, что не подверглись участи, постигшей Трою за вину Париса. Что касается до матери Тесея, не только была она в опасности, но претерпела страдания Гекубы, будучи оставлена и предана своим сыном, – повествуемое о ее плене и все прочее не есть одна выдумка. Желательно, чтобы как это, так и многое другое было выдумано и ложно. Наконец, повествуемое о божественном их происхождении полагает великое между ними различие. Ромул был спасен по рождении единственно благостью богов; но прорицание, данное Эгею, не касаться женщин в чужой земле доказывает, что Тесеево рождение воле богов было противно.

Ликург и Нума

Ликург

О законодателе Ликурге не можем сказать вообще ничего, что бы не было подвержено сомнению*. Род его, удаление из отечества, кончина, а более всего законы и образ установленного им правления различно описаны. Менее всего писатели согласны во времени, в которое он жил. Одни говорят, что он был современник Ифита* и вместе с ним установил наблюдаемое в продолжение Олимпийских игр перемирие. Этого мнения держится и философ Аристотель; он приводит в доказательство находящийся в Олимпийском храме диск, на котором написано имя Ликурга. Считающие время, подобно Эратосфену и Аполлодору*, по порядку царей спартанских полагают, что он жил гораздо прежде первой олимпиады. Поскольку в Спарте было два Ликурга в разные времена, то Тимей* думает, что дела обоих приписаны одному по причине большей его славы; что старший из этих Ликургов жил не прежде Гомера и, как некоторые полагают, имел с ним свидание. Ксенофонт также подтверждает мнение о древности его, замечая, что он жил во времена Гераклидов. Однако и последние цари спартанские были родом Гераклиды; но этот писатель, кажется, называет Гераклидами первых царей, близких к Гераклу. Несмотря на это между историками разногласие, мы постараемся описать жизнь этого мужа, следуя тому, с чем менее находится противоречий и что утверждается достовернейшими свидетелями.

Стихотворец Симонид называет отца Ликурга не Эвномом, но Пританидом*. Большая часть писателей иначе описывают родословие Ликурга и Эвнома. Они говорят, что от Прокла, сына Аристодема, родился Сой, от Соя – Эврипонт; от последнего – Пританей; от Пританея – Эвном, у которого от первой жены был Полидект, а от второй, Дианассы, – Ликург. По свидетельству Диэвхида*, Ликург есть шестой после Прокла и одиннадцатый после Геракла. Из предков Ликурговых более прославился Сой, в царствование которого спартанцы поработили илотов* и отняли у аркадян великие земли.

Повествуют, что этот самый Сой, быв осажден клейторянами на месте, весьма крепком и безводном, обещал возвратить им отнятую у них землю, когда он и все его воины напьются воды из ближнего источника. Клейторяне на то согласились; с обеих сторон учинена была присяга. Сой собрал своих воинов и обещал уступить царство тому, кто не будет пить воды. Ни один не мог воздержаться; все пили. Сой пришел после всех, умылся водой в присутствии самих неприятелей, удалился, не возвративши земли по обещанию под тем предлогом, что не

все пили. Хотя лакедемоняне за это отлично его почитали, однако его потомков – не от него самого, но от его сына – назвали эврипонтидами, ибо Эврипонт, по-видимому, первый из угождения к народу ослабил великую власть царскую. По причине этого послабления народ сделался наглым и дерзким. Последовавшие цари частью употребляли насилие и были ненавидимы, частью терпели наглость народа из угождения ему или из слабости, отчего своевольство и беспорядки через долгое время господствовали в Спарте. В этих неустройствах окончил жизнь свою царь, отец Ликурга, который желал разнять драку, был поражен поварским ножом и, умирая, оставил царство первородному сыну своему Полидекту.

Вскоре после того умер и Полидект. Все думали, что надлежало царствовать Ликургу. И действительно царствовал он, доколе не открылось, что жена брата его была беременна. После сего вскоре Ликург объявил, что царство принадлежит младенцу, если он будет мужеского пола. Сам он управлял царством в качестве опекуна. Лакедемоняне называют «продиками» опекунов царских детей. Между тем вдова Полидекта тайно послала сказать Ликургу, что она готова погубить плод свой и выйти за него замуж, когда он будет царем в Спарте. Ликург вознегодовал на жестокость этой женщины; однако нимало не противился ее предложению; показывая, будто одобряет ее мысли и соглашается на ее желание, объявил он ей, чтобы она береглась повредить себя и подвергнуть опасности жизнь свою принятием лекарства и что он постарается погубить младенца, как скоро он родится. Таким образом, обманывая эту женщину во время ее беременности, узнал наконец, что она мучается родами; он приставил к ней свидетелей и стражей, повелел им, если родится дочь, отдать ее женщинам; если же сын – принести к нему, где бы он ни находился. Ликург ужинал с главными начальниками Спарты, когда родился младенец; служители принесли его к нему; он взял его на руки и сказал присутствовавшим: «Вот царь ваш, спартанцы!» Потом положил отрока на царское место и назвал его Харилаем* потому, что все радовались и восхваляли величие его души и справедливость. Ликург царствовал восемь месяцев. Граждане оказывали ему великое почтение; многие обращали на него свои взоры и охотно исполняли его приказания из уважения к его добродетелям; другие повиновались ему как опекуну царскому, имевшему верховную власть в руках своих. Однако у него были и завистники, старавшиеся противиться его возвышению во время молодости*. Особенно вооружены были против него родственники и друзья царевой матери, которая почитала себя им обиженной. Брат ее Леонид однажды, ругая его с великой наглостью, сказал, что знает наверняка, что Ликург будет царем. Этим хотел он заранее возбудить против него клевету и подозрение в злоумышлении, если бы младому Харилаю приключилось какое-либо несчастье. Подобные слухи рассевала и царица. Это оскорбило Ликурга; он боялся неизвестности будущего. Для этого вознамерился удалением своим из отечества истребить подозрения и путешествовать до тех пор, доколе племянник его не получит наследника.

Он отправился сперва на Крит, обозрел в нем разные роды правления и пользовался беседой с знаменитейшими критянами. Многие их законы показались ему превосходными; он принял их и ввел в свое отечество; некоторые, впрочем, отвергнул. Он склонил дружбой или просьбой Фалеса, одного из них* – мудрецов и политиков, отправиться в Спарту. Этот Фалес, казалось, был творцом лирических песен; но стихами своими производил то, к чему стремятся лучшие законодатели. Песнопения его заключали в себе наставления, побуждающие к повиновению и единодушию; сладкогласие и размеры его стихов были исполнены важности и силы, укрощающей страсти; нечувствительно смягчали нравы слушателей, вдыхали в них любовь к добродетели и заставляли забыть водворившиеся тогда между ними раздоры и ненависть. Таким образом, стихотворец этот проложил отчасти Ликурга путь к исправлению граждан.

С Крита Ликург отплыл в Азию, желая, как говорят, подобно врачу, сравнивающему здоровые тела со слабыми и больными, сличить простой и строгий образ жизни критян с роскошью ионян* – и видеть разность в их жизни и правлении. Там, по-видимому, нашел он стихотворения Гомера, сохраняемые потомками Креофила*. Усмотрев, что нравоучение и политические наставления, в них рассеянные, заслуживают внимания не менее увеселительных и забавных повестей, содержащихся в них, Ликург собрал и списал их для перенесения в Грецию. Греки уже имели некоторое темное понятие о этих стихотворениях; были у немногих

одни только отрывки, ибо стихи эти переходили из рук в руки по частям и без всякой связи*. Ликург первый сделал их известными в целости.

Египтяне уверяют, что Ликург был и у них; и так как более всего понравилось ему то, что у них военное состояние отделено было от других, то учредил он то же самое в Спарте и, отделив ремесленников и работников, составил общество совершенно чистое, без всякой примеси*. Некоторые из греческих писателей говорят о том согласно с египтянами; но, сколько нам известно, кроме спартанца Аристократа, сына Гиппарха*, никто не говорит, чтобы Ликург был в Ливии и в Иберии и чтобы доходил до Индии, где беседовал с гимнософистами.

Между тем лакедемоняне желали его возвращения; часто посылали звать его. Они видели, что цари их имели только одно имя и наружные почести, но более ничем не отличались от других. В одном Ликурге видели они душу, могущую управлять государством, и способность привлекать людей. Самые цари желали его возвращения, надеясь, что присутствием его укротится наглость народа и что удобнее можно будет им управлять. Так расположены были все, когда Ликург возвратился в Спарту! Вскоре он решился переменить все и ввести новый образ правления, рассуждая, что постановление частных законов будет бесполезно и недействительно и что в теле слабом и зараженном болезнями должно истребить зло, переменить лекарствами его расположение и предписать ему совершенно новую диету.

Приняв это намерение, Ликург сперва отправился в Дельфы, вопросил прорицалище, принес Аполлону жертвы и возвратился в Спарту с тем славным прорицанием, в котором пифия называет его другом богов, более богом, нежели человеком. Касательно же лучшего рода правления прорицалище ответствовало, что Аполлон благосклонно приемлет его моление и дает стране его правление, имеющее превзойти все прочие. Ободренный этим ответом, сообщил он свое намерение знаменитейшим гражданам и увещевал их приняться за это дело. Когда настало время приступить к действию, Ликург велел тридцати первым мужам на заре прийти на площадь в полном вооружении, дабы тем изумить противников и внушить им страх. Гермипп* перечислил имена двадцати знаменитейших. Но того, кто более прочих принимал участие во всех предприятиях Ликурговых и помогал ему ввести новые законы, называли Артмиадом. При начале сего беспокойства царь Харилай устрашился, думая, что против него заговор; он убежал в храм Афины Меднодомной*, но, поверивши клятвам, оставил свое убежище и принял участие в Ликурговом предприятии. Он был от природы нрава столь кроткого, что царствовавший с ним Архелай сказал некогда хвалившим молодого Харилая за добродушие: «Как ему не быть добрым, когда он и против злых не может быть жестоким?»

Из числа новых перемен, введенных Ликургом, первая и главнейшая есть учреждение геронтов*. Это самое учреждение, по словам Платона, умеряя излишество власти царей и сделавшись ей равносильным, было виной спасения и успокоения государства, которое, находясь всегда в волнении, склонялось то на сторону царей, делая власть их насильственной, то на сторону народа и народоправления. Власть геронтов, будучи поставлена в середине и, подобно некоей тяжести, содержа обе стороны в равновесии, сохраняла порядок в безопасном и незыблемом состоянии. Геронты присоединялись к стороне царей сколько нужно было, дабы противиться восстающей демократии, и подкрепляли народ, дабы правление не сделалось тираническим. По свидетельству Аристотеля, число геронтов простиралось до двадцати восьми, ибо из тридцати человек, сперва приставших к стороне Ликурга, двое по робости своей отказались от сего предприятия. Сфер* уверяет, что участвовавших в этом деле с самого начала было именно столько. Может быть, предпочел Ликург это число как состоящее из семи четырьмя умноженных, ибо оно есть совершенное после числа шести, так как равно сумме своих множителей*. Мне кажется, что он избрал двадцать восемь геронтов, дабы совет состоял из тридцати человек, считая двоих царей.

Ликург столько заботился об этом сословии, что привез из Дельф прорицание, называемое «ретрой», касательно этого постановления, и которое есть следующее: «Построив храм Зевсу Силланийскому и Афине Силланийской*, разделив народ по коленам, составить Совет из тридцати геронтов, придав к ним царей; по временам будешь собирать народ меж Бабикой и Кнакионом; здесь будут предлагаемы народу дела и отбираемы мнения; народу дана будет власть утверждать или отвергать предлагаемое». Приказ «разделить» относится к народу, а колена и обы – названия частей и групп, на которые следовало его разделить. «Вожди» суть

цари. «Аппеладзейн» значит «собирать народ», ибо Ликург приписывает Аполлону Пифийскому начало и причину установленного им правления. Бабика и Кнакион называются ныне[5] <…> и Энунтом. Аристотель уверяет, что Кнакион есть река*, а Бабика означает мост. На этом месте были собрания у лакедемонян. Не было здесь ни портиков, ни других каких-либо зданий. Ликург думал, что все это не только не способствует к поданию благих советов, но более вредит, наполняя пустыми и бесполезными мыслями души присутствующих и развлекая внимание их, когда будут взирать на кумиры и живопись, на украшения театра или на искусно обделанные потолки совещалища. Во всенародном собрании никому не позволялось предлагать своего мнения; народ имел только власть принимать или отвергать то, что было предлагаемо царями и геронтами. Когда впоследствии народ начал то прибавлять к их мнениям, то ограничивать и тем превращал и портил оные, тогда цари Полидор и Феопомп прибавили к ретре следующее: «Если народ изберет худшее, то старейшины и цари могут отстать от собрания», то есть не утверждать принятого народом мнения и распустить собрание народа, превращающего и отвергающего лучшие советы. Они убедили согласиться на это сограждан своих, представляя им, что Аполлон это повелевает; о чем упоминает и Тиртей* в следующих стихах своих:

Сам ныне Аполлон чрез пифию вещает:
Цари, которых честь божественна венчает,
Которые милуют страну сию и град,
И старцы мудрые совет да учредят
И первенствуют в нем; храня повиновенье,
Народ да внемлет им и утверждает мненье.

Хотя Ликург таким образом составил правление, однако после него олигархия казалась еще весьма неумеренной, неограниченной и необузданной, и потому, говорит Платон, наложили на нее, как узду, власть эфоров. Около ста тридцати лет после Ликурга избран был первым эфором* Элат в царствование Феопомпа. Жена укоряла этого государя в том, что он передает сынам своим власть меньшую, нежели какую принял сам. «Напротив того, – отвечал Феопомп, – тем она больше, чем долговременнее». В самом деле, власть спартанских царей, потеряв все излишество, вместе с завистью, ее сопровождающей, освободилась от всякой опасности. По этот причине его потомки не подверглись участи аргивянских и мессенских царей, которые не захотели умерить своей власти и несколько уступить народу. Мудрость и прозорливость Ликурга будут ощутительнее для того, кто рассмотрит дурное правление мессенцев и аргивян, этих соседственных, родством с спартанцами соединенных народов, и раздоры их с царями. Хотя они с самого начала были равны спартанцам и обладали лучшими землями*, однако благоденствие их не было продолжительно. Надменность царей и неповиновение народов ниспровергли порядок вещей и этим доказали то, что образовавший и умеривший спартанское правление подлинно есть благо, спартанцам свыше ниспосланное. Но это случилось в позднейшее время.

Второе Ликургово постановление, самое отважное, есть разделение земель. Неравенство состояний было черезвычайное. Город наполнен был людьми недостаточными, не имевшими никакой собственности, между тем как все богатство стекалось к немногим гражданам. Ликург, желая изгнать надменность, зависть, обман, роскошь и гораздо древнейшие и большие недуги, каковы суть богатство и бедность*, склонил сограждан учинить свои земли общими, снова разделить их и жить в равенстве состояний между собой, отдавая преимущество лишь добродетелям, не полагая другой разности и другого несходства между людьми, кроме того, что отличает хулу за гнусные дела от похвалы за великие подвиги. Вскоре начал он производить это в действо. Одну часть лаконской земли разделил между окрестными жителями на тридцать тысяч долей; другую, принадлежавшую городу, на десять тысяч, ибо такое число было в Спарте граждан. Некоторые говорят, что Ликург разделил землю на шесть тысяч частей, а три тысячи

5 Текст в оригинале испорчен.

прибавил потом царь Полидор. Иные же уверяют, что одна половина из девяти тысяч разделена была Ликургом, а другая присовокуплена тем же царем. Каждый участок земли мог приносить семьдесят медимнов ячменю мужчине, двенадцать – женщине и соразмерную сему часть жидких продуктов*. Он думал, что этого количества было довольно для их прокормления, для сохранения здравия и силы телесной и что в большем они не имели нужды. Говорят, что несколько времени после этого раздела Ликург, возвращаясь из путешествия, когда уже колосья были пожаты, и видя скирды все ровными, в одинаковом расстоянии, улыбнулся и сказал предстоявшим: «Вся Лакония представляется наследством многих братьев, недавно разделившихся между собой»*.

Ликург предпринял намерение разделить и движимое имение, дабы во всем истребить неравенство и несходство; но, видя, сколь трудно было явно склонить на то спартанцев, употребил другой способ и тем обманул их любостяжание. Во-первых, уничтожил он все золотые и серебряные деньги, приказал употреблять одни железные; но сделал их, при весьма низкой цене, столь большими и тяжелыми, что для перевозу десяти мин надлежало запрягать в телегу пару волов и для сохранения иметь особую кладовую в доме. Введением этих денег изгнаны были из Лакедемона многие злодеяния. Кто бы захотел принимать дары, обманывать, грабить или красть то, чего скрыть было невозможно, приобрести – незавидно и разломать для употребления – бесполезно? Говорят, что Ликург велел закалять железо, омокая его в уксусе, чем делал негодным к работе и отнимал у него силу.

После того он изгнал все бесполезные и излишние искусства. Но хотя бы он их и не изгнал, большая часть должна была уничтожиться сама, вместе с прежней монетой. Некому было подавать свою работу, ибо железных денег нельзя было перевести к другим грекам, у которых они не имели никакой цены и были осмеиваемы. Невозможно уже было покупать никаких иноземных ненужных вещей; никакой торговый корабль не приставал к берегам Лаконии; никакой хитрословный мудрец, никакой гадатель-обманщик, ни содержатель прелестниц или художник серебряных и золотых украшений не вступал в эту область – не было уже денег. Таким образом, роскошь, лишившись всего того, что согревает и питает ее, сама собою увядала. Богатые не пользовались никакими выгодами; не имели способов выказать своего богатства, которое пребывало в бездействии, как будто было заключено и застроено без употребления. Это было причиной того, что самые употребительные, домашние вещи, как-то: постели, столы, стулья работали у спартанцев весьма искусно; так называемый котон, или лакедемонская чаша, был в славе, особливо во время походов, как говорит Критий; ибо когда надлежало пить по нужде воду нечистую и противную взору, то цвет этой чаши скрывал дурной вид воды; а наклоненные края удерживали грязь и пропускали в рот одну чистую воду. Законодатель был и сему причиной, ибо ремесленники, освободившись от бесполезных работ, оказывали свое искусство в вещах самых нежных.

Ликург, желая еще более истребить роскошь и даже искоренить желание к богатству, ввел третье прекрасное учреждение – общественные столы. Гражданам надлежало всем есть вместе* общественное и законом определенное кушанье; запрещено им было есть дома, возлежа на великолепных постелях, за роскошными столами и, подобно обжорливым животным, жиреть во мраке, из рук поваров и продавцев сластей, погубляя вместе с нравами здравие тела, ибо оно, предавшись всяким прихотям и невоздержанию, имеет нужду в долговременном сне, в теплых банях, во всегдашнем успокоении и как бы во вседневном врачевании. Велик был этот подвиг; но всего важнее то, что учреждением общественных столов и простотой кушанья соделал он богатство, как говорит Феофраст, незавидным и бесполезным. Можно ли было употреблять великолепие, наслаждаться им, показывать его и гордиться его блеском там, где богатый шел к одному столу с бедным? Подлинно из всех под солнцем городов в одной лишь Спарте Плутос (бог богатства) был, как говорят, слеп*, ибо лежал не подымаясь, подобно неподвижному и бездушному изображению. Никто не смел, наевшись у себя, ходить к общественному столу, ибо другие прилежно наблюдали за тем, кто не ел и не пил с ними, и порицали его как невоздержанного, по изнеженности своей оставляющего общественный стол.

Говорят, что богатым это постановление более всего было неприятно; они собирались вместе, кричали против Ликурга, негодовали на него. Некогда они преследовали его с каменьями, и он едва спасся бегством от ярости их в некоторый храм. Алкандр, молодой

человек, стремительный и пылкий, но недурных свойств, не переставал гнаться за ним и в то время, как Ликург оглянулся назад, ударил его палкой и вышиб глаз. Ликург, не теряя бодрости при этом несчастии, обратился к гражданам и показал им окровавленное лицо. Стыд и уныние охватили всех; предали Алкандра ему и проводили его до дому, оказывая соболезнование и негодуя на происшедшее. Ликург благодарил их и отпустил; Алкандра же оставил у себя, не сказав и не сделав ему ничего дурного; но, уволив своих служителей, велел Алкандру служить себе. Этот юноша, будучи не низкого сердца, исполнял в молчании его приказания. Живши вместе с ним, будучи свидетелем кротких чувствований его души, строгого образа жизни, неутомимости в трудах, прилепился к нему сильнейшею любовью и говорил приятелям своим, что Ликург нимало не жесток и не горд; что он один кроток и снисходителен к другим. Таким образом исправился Алкандр и такое получил наказание! Из необузданного и наглого юноши сделался человеком скромным и благоразумным. В память сего несчастия Ликург воздвигнул храм Афине, которую нарек Оптилетидой; тамошние доряне глаз называют «оптилос». Диоскорид*, издавший описание спартанского правления, с некоторыми другими уверяет, что Ликург был ранен, но не лишился глаза и что храм соорудил Минерве в благодарность за свое исцеление. С тех пор спартанцы перестали носить палки во время Народного собрания.

Что касается до общенародных столов, то критяне называют их «андриями», лакедемоняне же «фидитиями», от слова «филия» (дружба), с переменой буквы «л» на «д», – поскольку эти общественные столы рождают дружбу и взаимную приязнь или оттого что приучают к простоте и бережливости, которая по-гречески называется «фидо». Может быть еще, что первая буква прибавлена и что названы фидитии вместо эдитии от слова «питание», или «пища».

К каждому столу собирались пятнадцать человек, несколько больше или меньше. Каждый доставлял ежемесячно один медимн муки, восемь мер вина, пять фунтов сыру, два с половиной фунта смоквы и весьма немного денег для покупки мяса. Сверх того, кто приносил богам начатки плодов или был счастлив на охоте, посылал всегда часть жертвы или дичи к общественному столу. Позволено было ужинать дома тому, кто приносил жертву или возвращался поздно с охоты; впрочем, другим надлежало быть при его ужине. Это установление общественных столов существовало долгое время. Царь Агис, возвратившись из похода по одержании победы над афинянами, желая ужинать у своей супруги, послал просить свою часть* от общественного стола; полемархи* ему отказали. Агис, будучи этим раздражен, не принес на другой день обыкновенной благодарственной жертвы. За это они наложили на него пеню.

К общественным столам приходили и дети – как бы в школу мудрости и воздержания*. Они слушали там разговоры о правлении, видели свободных наставников*, научались шутить, осмеивать без грубости и не сердиться за шутки. Сносить равнодушно насмешки почиталось свойством, достойным лакедемонянина; когда же осмеиваемый не мог снести насмешек, то просил перестать, и насмехавшийся тотчас переставал. При входе каждого в столовую старший, показывая ему на двери, говорил: «Ни одно слово не выходит ими». Когда кто хотел быть участником стола, то узнавали мысли сотоварищей следующим образом: каждый из них брал в руку из хлеба шарик* и, не говоря ничего, бросал его в сосуд, который нес на голове служитель. Соглашающийся на принятие нового товарища бросал шарик, не изменяя его вида, а несоглашающийся сжимал его пальцами. Это было знаком осуждения или отвержения. Если один шарик находили сжатым, то не принимали просящего, ибо хотели, чтобы все были взаимно довольными между собой. Отвержение такого роду выражаемо было особенным словом – от имени сосуда, в который бросали шарики и который назывался «каддихос».

Лучшим кушаньем у них почиталась так называемая черная похлебка. Старики оставляли молодым мясо и ели сию похлебку, сидя все на одной стороне. Говорят, что один из понтийских царей* купил для изготовления этой похлебки повара – лакедемонянина; но, отведавши, оказал свое неудовольствие повару, который сказал ему: «Государь! Должно есть это кушанье не прежде, как искупавшись в Эвроте».

По окончании умеренного стола все возвращаются домой без свечек. Ни в каком случае не позволялось ходить с огнем, дабы приучались ночью впотьмах ходить смело и безбоязненно. Таков-то был порядок их столов!

Ликург не оставил письменно ни одного закона. Это определено одной из так называемых его ретр, или словесных постановлений. По его мнению, то, что всего выше и важнее, что более всего способствует благоденствию гражданства и приобретению добродетели, тогда бывает постоянно и непоколебимо, когда основано и впечатлено во нравах и образе жизни граждан. Узами, сильнейшими самой необходимости, почитал он волю, которую в молодых людях производит воспитание и которая в них имеет силу законодателя. Что касается до маловажных и к собственности относящихся условий, которые всегда переменяются по нужде, не рассудил он постановлений и ограничился неизменными обрядами. Он оставил на произвол мудрым прибавлять к ним или убавлять по временам то, что найдут полезным. Главной целью его законодательства было воспитание, и потому, как сказано выше, одной ретрой запрещалось иметь написанные законы.

Другая ретра сделана им в рассуждении роскоши; в ней предписывалось, чтобы потолок каждого дома был сделан одним топором, а двери пилой, без помощи других орудий. Эпаминонд сказал в позднейшее время о своем столе: такой обед не может вместить измены. Ликург задолго до него думал, что такой дом не может вместить неги и великолепия. В самом деле, кто столь необразован и безрассуден, чтобы в дом простой и бедный захотел внести ложе с серебряными ножками, пурпуровые ковры, золотые чаши и все следующее за этим великолепие? Нужно, чтобы дому соответствовало ложе, ложу – ковры и завесы, а им – вся прочая обстановка. Эта привычка заставила древнего Леотихида*, который, ужиная в Коринфе, смотрел на потолок дома, обделанный с искусством и великолепием, спросить хозяина: «Неужели деревья в земле вашей растут четырехугольные?»

Третья Ликургова ретра запрещала часто воевать с одними и теми же неприятелями, дабы они, приучаясь часто обороняться, не сделались от того воинственными. Впоследствии упрекали царя Агесилая более всего тем, что он частыми походами и нападениями на Беотию соделал фиванцев в военном искусстве столько же опытными, сколько опытны сами лакедемоняне. Анталкид, увидевши, что он ранен в сражении с ними, сказал ему: «Прекрасно платят тебе фиванцы за то, что ты научил их воевать тогда, как они не хотели и не умели». Ликург назвал узаконения эти ретрами*, как будто бы они были изречения прорицалища, утвержденные богами.

Почитая воспитание главнейшим и славнейшим делом законодателя, Ликург начал оное с самых оснований. Он обратил внимание на браки и рождение детей. Не должно верить Аристотелю, который пишет, что Ликург хотел исправить женщин, но оставил свое предприятие, не будучи в состоянии укротить их вольности и власти над мужьями, которые по причине частых походов принуждены были давать им полную волю, оказывать более уважения, нежели сколько должно, и называть их государынями*. Вопреки этому Ликург имел и о них надлежащее попечение. Тела девиц укреплял он беганьем, борьбой, метанием диска и копий, дабы зарождающийся в них плод, будучи при самом начале крепким в теле крепком и здоровом, возрастал с большею силой и дабы они, по причине телесной твердости, легче и безопаснее рождали. Он изгнал женскую изнеженность и утонченность в образе жизни и приучал девиц, по примеру отроков, быть нагими в известных торжественных ходах, также на некоторых празднествах, в этом виде плясать и петь песни в присутствии юношей. Нередко девы шутками с пользой язвили преступавших свою должность. Достойных юношей превозносили в песнях похвалами и сим возбуждали в них честолюбие и соревнование. Воспетый за свою доблесть и сделавшийся славным в кругу девиц, возвращаясь домой, гордился такими почестями. Колкость шуток и насмешек была столь же действительной для других, как самые важные наставления, тем более что это случалось в присутствии всех граждан, геронтов и царей. Нагота девиц не имела в себе ничего неблагопристойного; стыдливость сопровождала их всюду*; невоздержание в Спарте было неизвестно. Нагота эта приучала их к простоте, рождала в них желание соделать свое тело гибким и крепким и позволяла слабейшему полу участвовать в мужестве и величии духа, ибо женщины не менее мужчин способны к приобретению доблести и славы. Это-то мужественное воспитание рождало в них те высокие мысли и речи, которые обнаруживаются в ответах Торга, жены Леонида. Одна иностранка сказала ей: «Вы, лакедемонянки, одни повелеваете мужьями». – «Ибо мы одни рождаем мужей», – она ответствовала.

Шествие дев, нагота, борьба в присутствии юношей, привлекаемых, по словам Платона, необходимостью эротической, а не геометрической* – все это было побуждением к браку. Сверх того Ликург подверг неженатых известному поношению. Им было запрещено быть зрителями при гимнопедиях (борьба между нагими девицами). В холодное время правители заставляли их ходить нагими вокруг площади. Они ходили и пели сочиненные для этого случая песни, в которых изъясняли, что достойно наказываются за неисполнение законов. Их лишали уважения, оказываемого молодыми людьми старшим. По этой причине никто не порицал грубости, сделанной Деркиллиду, хотя, впрочем, славному полководцу. При входе его в Собрание какой-то юноша не хотел уступить ему места, говоря: «Ты еще никого не родил, кто бы мог и мне уступить некогда место»*.

Лакедемоняне похищали невест для себя не малолетних и не зрелых, но бывших в полном и совершенном возрасте. Невесту принимала так называемая подружка, или приставленная к браку женщина, которая стригла у ней коротко волосы, одевала и обувала по-мужскому и клала одну в темном месте на соломенник. Новобрачный, не будучи ни пьяным, ни расслабленным негой, но, по обыкновению, трезв, как человек, ужинавший за общественным столом, пришедши к ней, развязывал пояс и переносил ее на постель. Пробыв с нею немного времени, скромно возвращался к молодым людям, дабы провести с ними ночь по-прежнему. Таким образом, он проводил обыкновенно дни и ночи со своими товарищами, а к жене ходил с великой осторожностью и стыдливостью, опасаясь, дабы кто-нибудь это не приметил. Новобрачная с своей стороны ухищрялась и выдумывала всякие средства иметь тайно свидание с мужем. Это продолжалось немалое время. Случалось, что некоторые приживали детей, не видавши ни однажды днем жен своих. Такие свидания не только приучали их к воздержанию и целомудрию, но способствовали плодородию и сохраняли всегда новую и живую их страсть, ибо они никогда не пресыщались и не утомлялись невоздержанным и беспрестанным между собой сообщением, а, расставаясь, всегда питали пылающий огонь взаимной любви и вожделения.

Введя такую скромность и такой порядок в рассуждении браков, Ликург истребил также пустую и женам одним приличную ревность. Он почел нужным удалить от браков насилие и беспорядок и произвести то, чтобы достойные граждане могли родить детей общих. Он смеялся над теми, кто почитает брак как собственность, не терпящую разделения, и мстят войной и кровопролитием. Ежели старику, у которого была молодая жена, нравился храбрый, прекрасный юноша, то он мог его ввести к ней в опочивальню и признать своим младенца, от такого сообщения рожденного. С другой стороны, человек благородный, полюбив чужую жену, целомудренную и рождающую прекрасных детей, мог убедить ее мужа уступить ему права свои на получение от нее – как от плодородного поля плодов прекрасных – детей здоровых и добрых, которые были бы единокровны с другими столь же хорошими и здоровыми детьми. Ликург думал, что дети принадлежат обществу, а не родителям. По этот причине от желал, чтобы его граждане происходили от лучших, а не от каких-либо случайных людей. Ему казались глупыми и странными постановления других законодателей, которые, не щадя ни денег, ни забот, для заведения хороших псов и коней достают лучших жеребцов и кобелей, а женщин запирают и стерегут в домах, требуя, чтобы они от одних рождали детей, хотя бы они были глупы, дряхлы, нездоровы; как будто слабые дети, происшедшие от слабых родителей, не причиняют неудовольствия более всего тем, кто имеет их и воспитывает, а получившие от крепких здоровое и крепкое сложение тела не составляют их радости. Эти введенные Ликургом обычаи, согласные с природой и гражданским постановлением, столь далеки были от своевольства, которым упрекали спартанок впоследствии, что прелюбодейство было у них неслыханное дело. Всем известен ответ одного древнего спартанца по имени Герад. Некий чужестранец спросил его: «Какому наказанию подвержены в Спарте прелюбодеи?» – «У нас нет их!» – отвечал ему Герад. «Но если найдется кто?» – продолжал чужестранец. «Тот, – сказал Герад, – должен поставить в наказание вола, который бы, протянувши с вершины Таигета* шею, мог напиться воды в Эвроте». Чужестранец, удивляясь этому, спросил: «Как найти вола такой величины?» Герад, улыбаясь, сказал: «Как же найти и в Спарте прелюбодея?» Вот что рассказывают о браках спартанских!

Родители не имели власти воспитывать детей своих. Отец приносил младенца вскоре по

рождении на место, именуемое «лесха», где сидели всех колен старейшины, которые его тут осматривали. Если находили его крепкими и здоровым, то приказывали кормить и уделяли ему одну из десяти тысяч частей земли. Если же он был слаб и безобразен, то отсылали его в так называемые Апофеты, место, исполненное пропастей, близ Таигета. Они думали, что родившийся слабым и нездоровым не может быть полезным ни себе, ни обществу. По этой причине женщины омывали новорожденного в вине, а не в воде, некоторым образом испытывая этим его сложение. Говорят, что дети слабые и подверженные падучим болезням от цельного вина еще больше слабеют и погибают; напротив того, крепкие и здоровые получают от сего более твердости и сложение их укрепляется. Кормилицы употребляли великое старание и искусство на то, чтобы воспитывать детей не пеленавши, дабы их члены и их вид сделать свободными. Приучали их также не бояться темноты или уединения, не иметь низкого своенравия и не быть плаксивыми. Это заставляло иностранцев покупать кормилиц в Лакедемоне. Алкивиадова кормилица по имени Амикла была лакедемонянка, но Зопир, его наставник, избранный Периклом, по свидетельству Платона, был раб, ничем от других не отличный*. Ликург препоручал детей спартанцев наставникам не наемным и не купленным. Никому не позволялось по собственному желанию воспитывать сына своего. Как скоро мальчики достигали семи лет, он брал их, разделял по агелам (отрядам) или заставлял повиноваться общим законам, питаться общим кушаньем; приучал их вместе играть и учиться. Превосходивший других умом и оказавший более мужества в битвах был избираем в начальника агелы. Все изъявляли ему почтение, слушались его, принимали с терпением его наказания, так что лакедемонское воспитание состояло в том, чтобы научаться повиновению. Старцы смотрели на игры детей; часто возжигали нарочно между ними ссоры и раздор, дабы тем самым узнать каждого свойство и видеть, имеет ли он столько духа, чтобы мог противостоять неприятелям и не избегать опасностей в битвах.

Наукам учились они столько, сколько им было нужно. Все их учение клонилось к тому, чтобы быть послушными, сносить труды, побеждать в сражениях. По мере возраста образ учения их становился суровее; волосы у них стригли до самой кожи, приучали ходить без обуви, заставляли играть нагих. На тринадцатом году снимали с них хитон* и давали им один плащ на целый год. Они были нечисты, не пользовались банями, не мазались маслом; только немного раз в году позволяли им это удовольствие. Они ложились все, разделясь на илы и агелы, на циновках, сделанных их собственными руками из тростника, растущего на Эвроте. Они должны были ломать его без ножа. Зимой подстилали под себя так называемые ликофоны* и смешивали с тростником. Они думали, что это растение содержит в себе некоторое тепло.

По вступлении в этот возраст отличные из них имели своих любителей. Старейшие присматривали за их поступками еще более; часто ходили в гимнасий (место, где упражнялись в борьбе); надзирали над упражнениями; слушали, как они друг друга язвили острыми словами, не мимоходом и для препровождения времени, но почитая обязанностью быть отцами, наставниками, начальниками всех и каждого. Таким образом, дети никогда и нигде не оставались одни, без такого человека, который бы мог исправить и наказать преступившего свою должность. Приставляли к ним еще особливого начальника, называвшегося педоном, из числа добродетельнейших мужей. Во всякой агеле избирали сами мужественнейшего и благоразумнейшего из иренов; этим именем называют спартанцы тех, кому минуло два года по выходе из отрочества; меллиренами же – «будущими иренами» – называли старших среди отроков. Ирен этот в двадцать лет начальствует в битвах своею дружиной; дома же употребляет он своих подчиненных как служителей – для изготовления ужина, старшим приказывает носить дрова, а младшим зелень. Одни уносят все это тайно из садов; другие от стола мужей, к которому подкрадываются с великой хитростью и осторожностью. Кто из них бывал пойман, того больно секли бичом за то, что крал неискусно и непроворно. Также уносили они всякие другие кушанья и научались искусно нападать на спящих или нерадиво стерегущих. Пойманных наказывали побоями и лишали стола. Ужин их был всегда недостаточен для того, чтобы они сами находили способы удовлетворять своим нуждам и таким образом привыкали к смелости и проворству. Вот главная причина, для которой давали им мало пищи! Другая причина та, чтобы они лучше росли. Жизненные духи, не будучи удерживаемы и отвлекаемы множеством пищи, которая своей тяжестью давит их вниз или заставляет идти в ширину,

стремятся вверх своею легкостью, отчего тело поднимается свободно, беспрепятственно и растет в длину*. Это самое способствует красоте тела, ибо тела тонкие и сухие удобнее уступают действию природы, нежели тучные и жирные, которые ей сопротивляются своей тяжестью. Так дети, рожденные от матерей, очищенных во время беременности слабительными, бывают худы, однако красивы и приятны, ибо на легкое вещество сильнее действует образующая сила. Исследовать причину этого предоставляем другим.

Отроки крадут с великой осторожностью. Рассказывают, что один из них, укравши молодую лисицу, спрятал ее под одежду; зверь рвал у него брюхо зубами и когтями; но, дабы не быть замеченным, он переносил жестокую боль до того, что упал мертвым на месте. Этого не должно считать невероятным, судя по нынешним отрокам, ибо мы видели много в Спарте детей, умирающих под ударами на жертвеннике Артемиды, прозванной Орфией*.

После ужина ирен, лежа, одному из детей повелевает спеть песню; другому предлагает вопрос, требующий рассудительного ответа, как, например, «кто добродетельнее всех в городе?» или «как ты думаешь о таком-то деле?». Таким образом заранее учатся они судить о добродетелях и узнавать граждан. Если отрок при вопросе, кто, по его мнению, лучший гражданин, кто худший, медлил отвечать, то это почитали знаком души ленивой и к добродетели несклонной. Надлежало в ответе заключаться причине и доказательству в кратких словах. У отвечавшего неправильно ирен кусал в наказание большой палец руки. Нередко в присутствии старейшин и правителей ирен наказывал отроков, дабы показать, справедливо ли и так ли, как должно, он их наказывает. Ему не препятствовали наказывать. Но коль скоро дети уходили, то подвергали его самого наказанию, если обнаруживалось, что он наказывал слишком строго или слишком слабо.

Любители отроков участвовали в славе или бесчестии того, кого они любили. Когда во время борьбы один отрок издал крик, означавший робость, правители наложили пеню на его любителя. Эта любовь между ними была в таком уважении, что добродетельные женщины любили девиц. Она не рождала ревности; напротив того, любовь к одной и той же особе была началом дружбы между соперниками, которые, объеденившись, старались сделать любимый объект лучше и добродетельнее.

Притом научали детей употреблять речи, имеющие колкость, соединенную с приятностью, и содержащие глубокий смысл в кратких словах. Ликург хотел, чтобы железная монета была тяжела и вместе малоценна; напротив того, чтобы монета речи в немногих и простых словах заключала сильную и важную мысль. Приучая детей к молчанию, производил он то, что их ответы были остры и разумны. Как развращенные и невоздержанные люди не способны к браку и бесплодны, так речи необузданного языка пусты и безрассудны. Один афинянин, смеясь над короткими лакедемонскими мечами, говорил, что чудодеи удобно глотают их на театре. «Однако, – отвечал царь Агис, – этими-то мечами настигаем неприятелей». По моему мнению, лакедемонская речь, при всей своей краткости, весьма удачно достигает своей цели и действует на сердца слушателей.

Сам Ликург, кажется, был весьма остр и краток в речах, если судить по достопамятным его изречениям. Таков следующий ответ его о правлении: некто советовал ему в Спарте учредить народоправление. «Учреди оное прежде сам в своем доме», – сказал Ликург. Когда спрашивали его, для чего установил он столь бедные и малоценные жертвы, он отвечал: «Дабы мы никогда не переставали чтить богов». О состязаниях он говорил: «Я не запретил подвизаться в тех видах борьбы, в которых рук не протягивают»*. Сохранились и письменные его ответы своим гражданам. На вопрос: «Как отклонить нам нападение неприятелей?» отвечал: «Если останетесь бедными и никто не пожелает иметь более другого». О городских стенах он писал: «Не без стен город, ограждаемый мужами, а не кирпичами». Впрочем, этих писем нельзя ни принять, ни отвергнуть.

А что спартанцы не любили длинных речей, то видно из их достопамятных изречений. Некто совсем некстати говорил о немаловажных делах; царь Леонид ему сказал: «Друг мой! Ты не употребляешь должного, когда должно». Спрашивали Харилая, Ликургова племянника, для чего Ликург постановил столь мало законов. «Употребляющие мало слов не имеют нужды во многих законах», – сказал Харилай. Некоторые порицали софиста Гекатея за то, что он, бывши за общественным столом, не сказал ни одного слова во весь ужин. Архидамид сказал: «Кто

умеет говорить, тот знает и время, в которое должно говорить».

Я сказал, что не без приятности даже колкие их ответы; таковы суть следующие. Один дурных свойств человек беспокоил Демарата* докучливыми вопросами. Он несколько раз спрашивал у него: «Кто лучший из спартанцев?» «Кто меньше всех на тебя походит», – отвечал Демарат. Некоторые хвалили илиян за то, что они хорошо и справедливо судят об Олимпийских играх. «Что тут удивительного, – сказал Агис, – если илияне в четыре года один день оказывают справедливость?» Один чужестранец, желая доказать свое усердие к Феопомпу, говорил ему, что соотечественники его называют филолаконом (любителем лакедемонян). «Друг мой! Лучше бы они называли тебя филополитом (любящим сограждан)», – сказал ему Феопомп. Плистоанакт, сын Павсания, сказал некоему афинскому оратору, называвшему лакедемонян неучеными: «Это правда – мы одни из греков ничему дурному у вас не научились». Некто спрашивал у Архидамида: «Сколько всего лакедемонян?» «Столько, – отвечал он, – что можем отражать злых». Из самых шуток можно видеть, что они не приучались никогда употреблять бесполезных речей, ни издавать голоса, не имеющего смысла, но достойного замечания. Одного звали послушать человека, подражающего голосом соловью: «Я слышал самого соловья», – отвечал он. Некто, прочитавши надгробную надпись: «Храбрые мужи, погасившие тираннию в отечестве своем, были жертвой Ареса и погибли перед вратами Селинунта*», заметил: «Достойно они погибли! Надлежало бы дать тираннии всей сгореть, а не гасить ее». Некто обещал дать молодому человеку петухов, умирающих во время драки. «На что мне они? – отвечал он. – Дай мне лучше убивающих во время драки». Другой, увидевши людей в носилках, сказал: «Да не попустят боги сидеть мне на таком месте, с которого нельзя встать перед старшим!» Таковы были их изречения! Не без причины говорят некоторые, что можно более подражать лакедемонянам любомудрием, нежели телесными упражнениями.

Искусство сочинять стихи и песни столь же важно было при воспитании, как сила и чистота речей. Их песни исполнены были огня, воспламеняющего души, приводящего в восторг и устремляющего к великим подвигам. Слог их был прост, силен, приличен важным и наставительным предметам. Вообще песни эти содержали похвалу умершим в боях за Спарту, которых почитали блаженными, или порицания робким, как провождающим жизнь злополучную и горестную. Некоторые содержали обещание и удостоверение в доблести, так как было прилично каждому возрасту. Небесполезно будет привести одну из этих песен для примера. Во время празднеств составляемы были три хора из трех возрастов. Хор старцев начинал петь таким образом:

Отважны воины во младости мы были.

Хор юношей отвечал:

Теперь мы таковы, коль хочешь, испытай.

Хор отроков продолжал:

А мы со временем храбрее всех вас будем.

Вообще если рачительно рассмотреть лаконические стихотворения, из которых некоторые дошли до нас, и обратить внимание на походный голос, наигрываемый свирелью при нападении на неприятеля, то увидишь, что не напрасно Терпандр и Пиндар* сопрягали музыку с мужеством. Первый из сих стихотворцев говорит о Спарте:

Там юноши цветут, копьем своим ужасны;
Там мусикийские орудия согласны;
Там справедливости превознесен престол.

Пиндар же пишет:

Советы старцев тамо мудрых;
Там храбрых юношей мечи;
Там хоры, пения и пляски,
Забавы, радости цветут.

Таким образом, оба стихотворца доказывают, что лакедемоняне были воинственны и весьма склонны к музыке. Лакедемонский же стихотворец говорит*:

Прилично ратнику играть на лире стройно.

Перед сражениями цари всегда приносили жертву Музам в намерении, по-видимому, напомнить воинам данное воспитание и отечественные законы, дабы они готовили себя ко всем опасностям и к знаменитым подвигам.

В подобных случаях они умеряли обыкновенную строгость, позволяя молодым людям убирать волосы, украшаться оружием и разным платьем; им приятно было смотреть на этих юношей, подобных коням, исполненным жара и стремящимся к бою. Хотя молодые люди при выходе из детства старались о своих волосах; но в день сражения еще более их убирали, разделяли и умащали, помня Ликурговы слова: «Прекрасных делают волосы еще более любезными, а безобразных более страшными». В продолжение походов упражнения их были легче обыкновенных и самый образ жизни не был ни столько суров, ни столько подвержен взысканию, как в мирное время. Почему в целом свете одни спартанцы могли почитать войну отдохновением после военного учения.

Когда полки стояли в боевом порядке в виду неприятелей, тогда царь приносил в жертву козу и в то же время повелевал воинам надевать на голову венки, сплетенные из цветов, а свирельщикам играть Касторову песню*. Сам одновременно начинал петь походный пеан. Зрелище важное и купно ужасное! Воины шли без душевного смущения, при звуке свирелей, не расстраивая рядов. Они кротко и с веселыми лицами приближались к опасностям с пением. Люди с такими расположениями долженствовали быть свободны от страха и излишнего гнева. Мужество, питаемое надеждой и смелостью, сопутствовало им, подобно некоему божеству. Царь шел против неприятелей, имея всегда при себе увенчанного на торжественных всенародных играх победителя. Говорят, что одному борцу предлагаемо было на Олимпийских играх великое количество денег с тем, чтобы он не вступал в борьбу. Этот отверг деньги и с великим трудом низложил своего противника, который ему сказал: «Какая для тебя выгода, лакон, от этой победы?» – «Находясь в строю перед царем, – отвечал он, – буду сражаться с неприятелями».

Победивши и обративши в бегство врагов, преследовали их столько, сколько нужно было для утверждения за собой победы; потом отступали, думая, что ни славно, ни достойно греческого народа поражать и убивать людей, уступающих и бегущих. Это было не только похвально и великодушно, но и полезно. Неприятели их, зная, что одних противостоящих им побивали, уступающих же щадили, предпочитали бегство упорному сопротивлению.

Софист Гиппий уверяет, что Ликург был человек самый воинственный и весьма опытный полководец*. Филостефан* приписывает Ликургу разделение конницы на уламы. Улам, по его описанию, состоит из пятидесяти конных воинов, устроенных четвероугольником. Напротив того, Димитрий Фалерский уверяет, что Ликург никогда не вел никакой войны и что устроил правление в самое мирное время. Мысль установить перемирие на то время, в которое бывают Олимпийские игры, показывает в нем человека кроткого и расположенного к спокойствию. По Гермиппову свидетельству, некоторые пишут, что Ликург сначала не участвовал в предприятиях Ифита, но, бывши в Олимпии зрителем, услышал за собой голос – как бы человека, изъявляющего удивление и укоряющего его тем, что он не побуждал граждан своих участвовать в этом торжественном собрании. Он оборотился, но, не видя никого, почел этот голос божественным и для того присоединился к Ифиту, учреждал с ними обряды и сделал торжество блистательнейшим и прочнейшим.

Воспитание лакедемонян продолжалось до взрослых лет. Никому не позволялось жить так, как хотелось. Находясь в городе, как бы среди военного стана, они вели определенный

образ жизни, занимались общественными делами и были уверены, что принадлежат обществу, а не себе. Когда не имели других предписаний от начальства, тогда они смотрели за поведением детей, учили их чему-нибудь полезному или сами учились в кругу старейших. Одно из лучших и величайших благ, доставленных Ликургом спартанцам, было изобилие праздности; им не позволялось заниматься никаким ремеслом. Приобретение богатства, столь трудное и соединенное с такими заботами, было для них бесполезно, ибо деньги были не нужны и презрительны. Землю возделывали илоты, платя определенную подать. Некоторый лакедемонянин был в Афинах во время судопроизводства. Узнав, что один афинянин, осужденный на пеню за праздность, с печалью возвращался домой в сопровождении своих приятелей, соболезновавших о его несчастии и изъявлявших неудовольствие, он просил присутствующих показать ему человека, осужденного за столь благородный образ жизни. Столько-то почитали спартанцы низким заниматься ремеслами и работать для приобретения денег!

С деньгами вместе изгнаны и тяжбы. Не было ни богатства, ни бедности там, где все имели равный достаток; где по причине умеренности и простого образа жизни легко было удовлетворить своим нуждам. Пляски, пиршества, забавы, празднества, ловли зверей, телесные упражнения, беседы во всякое время занимали их, если они не были в походе. Младшие из них, которым еще не было тридцати лет, не приходили на площадь, но посредством родственников и приверженных к ним исправляли все домашние дела. Старейшие стыдились часто этим заниматься; большую часть дня проводили они в гимнасиях и в так называемых «лесхах», или беседах. Собираясь сюда, они с удовольствием проводили время в разговорах между собой, не упоминая никогда ни о способах обогатиться, ни о делах торговых. Главное их занятие состояло в том, чтобы хвалить прекрасное или хулить дурное в шутках и смехе, служившем неприметным образом к наставлению и исправлению. Ликург сам не совершенно был суров. По свидетельству Сосибия*, он посвятил маленький кумир Смеху; он ввел в надлежащее время шутки в разные собрания и столы как приправу кушанья и тяжких их трудов.

Вообще приучил он сограждан своих не желать и не уметь жить честно; но, подобно пчелам, иметь в виду всегда лишь общество, беспрестанно виться вокруг своих начальников; быть как бы вне себя от восторга и любви к славе и всем принадлежать отечеству. Некоторые слова их обнаруживают таковое чувство. Педарит не был избран в число трехсот мужей*. Домой возвратился он с чувством радости от той мысли, что в отечестве триста человек лучше его. Полистратид, отправленный посланником вместе с другими к полководцам царя персидского, на вопрос, сами ли собой прибыли или посланы республикой, отвечал: «Если успеем, то присланы республикой; если же нет, то прибыли сами». Брасидова мать Аргилеонида спрашивала у неких, прибывших к ней амфиполитян, славно ли и достойно ли Спарты умер Брасид*. Они начали превозносить его дела и прибавили: «Нет подобного ему в Спарте!» – «Не говорите этого, друзья мои, – сказала она. – Правда, что Брасид был добродетелен и мужествен, но в Лакедемоне много лучше его».

Ликург, как выше сказано, составил сперва совет геронтов из мужей, участвовавших в его предприятии. Впоследствии он определил, чтобы место умершего заступал гражданин, почитаемый добродетельнейшим из числа тех, кому было более шестидесяти лет. Достижение сего достоинства почиталось величайшим в свете подвигом и высшей степенью славы. Надлежало показать себя не скорейшим среди скорых, не сильнейшим среди сильных, но добродетельнейшим и благоразумнейшим из добродетельных и благоразумных граждан и в награду за добродетель целой жизни приобрести, так сказать, всю силу республики, власть над жизнью и честью – одним словом, над тем, что всего в свете выше и дороже. Избрание геронта происходило следующим образом: народ собирался на площадь; некоторые избранные мужи были запираемы в ближайший дом, из которого нельзя ни видеть, ни быть видимым, но только можно слышать крик, издаваемый собранным народом. Народ при этом случае, равно как при других, криком изъявлял свое согласие. Назначенные к выбору в глубоком молчании проходили Собрание не все вместе, но один после другого, как по жребию доставалось. Запертые держали таблицы, на которых замечали, сколь велик был шум, не зная, однако же, кого он касался. Они замечали только порядок, по которому каждый из них был введен в Собрание, как-то: первый, второй, третий и так далее. Тот, в чью пользу восклицания были

самые громкие и многочисленные, был избираем в геронты. Он надевал на голову венок из цветов, ходил в храмы богов в сопровождении великого множества юношей, его прославляющих, и женщин, превозносящих его добродетели в песнях и благословляющих жизнь его. Каждый из его родственников приглашал его к ужину, говоря: «Город чтит тебя этим столом». После этих пиршеств шел он к общественному столу, где все происходило по обыкновению. Он оставлял у себя вторую долю кушанья, при этом случае даваемую. Когда его родственницы приходили к дверям, то, призвавши из них ту, которую он более всех почитал, отдавал эту часть, говоря: «Я даю тебе долю, полученную мной в знак отличия». Другие женщины прославляли и провожали ее с честью до самого дома.

Ликург учредил все, касающееся до погребения, с великим благоразумием. Во-первых, для истребления суеверия не запретил погребать мертвых в городе и воздвигать памятников близ храмов. Он хотел, чтобы молодые люди имели беспрестанно эти зрелища перед глазами, привыкали бы к ним, не смущались и не страшились смерти, не верили бы тому, будто прикасающиеся к мертвому телу или проходящие мимо гробниц оскверняются. Он не позволил чего-либо погребать вместе с мертвым, но повелел обвертывать его красным покрывалом и масличными листьями*. На гробницах позволялось надписывать только имена мужей, убиенных в сражениях, и священных жен. Он сократил время плача, назначив для сего только одиннадцать дней. В двенадцатый день, по принесении жертвы Деметре, надлежало положить конец сетованию. Ничего не оставил он праздным и без пользы. Похвала за добродетель или презрение за порок всегда сопровождали граждан во всех важнейших случаях жизни. Город наполнен был великим множеством образцов. Воспитанные среди них и всегда имеющие их перед своими глазами долженствовали необходимо быть обращены и влекомы к добродетели.

По этой причине Ликург не позволил всякому выезжать из своего отечества, бродить по разным странам, перенимать чужие обычаи, подражать необразованным нравам и различным родам правления. Он выгонял из города чужестранцев, без пользы приезжающих*, не для того, как думает Фукидид, чтобы они не стали подражать его правлению или перенимать что-либо полезное и к добродетели ведущее, но единственно для того, дабы они не научили сограждан его чему-нибудь дурному. Нельзя сомневаться, чтобы вместе с иностранцами не входили в город иностранные речи. Новые речи вводят новые суждения*, рождающие многие страсти и прихоти, противные установленному правлению, которые, подобно разногласным в музыке звукам, разрушают согласие оного. По этот причине Ликург думал, что более должно предохранять город от испорченных нравов, нежели от зараженных тел, извне в оный входящих.

Во всех этих распоряжениях нет ни малейшего следа несправедливости и властолюбия, в которых многие упрекают Ликурговы законы, говоря, что они могут вдыхать мужество, но бессильны приводить к справедливости. Одна так называемая у лакедемонян криптия (если такое постановление должно приписать Ликургу, как уверяет Аристотель), могла подать столь худое понятие Платону о Ликурге и его законах*. Криптия состояла в следующем: начальники посылали по временам в разные стороны области разумнейших из молодых людей, которые брали с собой только кинжалы и съестные припасы. Рассеявшись по разным местам, во время дня скрывались и покоились. При наступлении ночи выбегали на большие дороги и поражали илотов, им попадающихся; нередко, ходя по полям, убивали из них сильнейших и храбрейших. Так Фукидид в «Истории Пелопоннесской войны» повествует, что лакедемоняне отличившимся храбростью илотам дали свободу, украсили их венками и водили в храмы богов; но вскоре после того все они, числом более двух тысяч человек, исчезли. Ни тогда, ни после никто не знал, каким образом они погибли. Аристотель в особенности уверяет, что эфоры в начале правления своего объявляют войну илотам, дабы убиение их не почиталось беззаконным. Вообще поступали с ними весьма сурово и жестоко. Заставляли их более надлежащего пить вина, приводили к общественным столам и показывали юношам, сколь постыдно пьянство. Приказывали им петь песни и плясать позорным и смешным образом, но запрещали петь и плясать так, как прилично свободным людям. Повествуют, что долгое время спустя после Ликурга фиванцы в походе своем в Лаконию заставляли пойманных илотов петь песни Терпандра, Алкмана и Спендонта; они отговаривались тем, что им запрещено это их господами. Кажется, хорошо понимают различие состояний те, которые говорят, что в Спарте свободные

весьма свободны, а невольники весьма невольны. Я думаю, что спартанцы сделались столько свирепыми после великого землетрясения*, во время которого илоты напали на них с мессенцами; разоряли область и довели город до величайшей опасности. Я никогда не припишу Ликургу столь нечестивого постановления, как криптия, составивши себе понятие о его свойствах, самим божеством засвидетельствованных.

Главнейшие законы его уже напечатаны были во нравах сограждан, образ правления довольно укрепился и мог держаться сам собою. Как бог, по выражению Платона, возвеселился, видя созданный им мир и первое его движение, – так Ликург возрадовался и возлюбил красоту и величие своего законодательства, которое уже приведено было в действие и шло само собой. Он пожелал соделать оное вечным и незыблемым в будущем, сколько это от человеческого благоразумия зависело. Собрав народ, он говорил ему, что все прочее, кажется, так установлено, что может способствовать их благополучию и добродетели; но то, что всего важнее и выше, откроет им, когда и как вопросить о этом богов; что должно им исполнять непременно постановленные законы и ничего не переменять, доколь он не возвратится из Дельф; по возвращении же исполнить то, что бог ему повелит. Все на то согласились и просили его предпринять это путешествие. Цари, геронты и весь народ поклялись свято хранить установленный им образ правления, доколе он не возвратится.

По прибытии в Дельфы принес он жертву Аполлону и вопросил сего бога, способны ли и достаточны ли его законы учинить спартанцев благополучными и добродетельными. Прорицалище ответствовало, что законы его хороши и Спарта, их исполняя, пребудет славнейшим городом. Ликург написал этот ответ и послал в Спарту. Потом принес вновь богу жертву, обнял друзей и сына и решился, не освобождая граждан от данной ему присяги, окончить добровольно жизнь свою, достигнув уже тех лет*, в коих жить или умереть – все равно, в особенности когда в делах своих был он довольно счастлив. Он умер, воздержавшись от пищи, будучи уверен, что и самая смерть великих политиков не должна быть без особенной цели, без некоторого действия, но соединена с пользой и услугой обществу. Он думал, что смерть в отношении к нему, после прекраснейших дел, была действительно довершением его блаженства; в отношении же к согражданам, поклявшимся следовать его законам до его возвращения, – утверждением тех великих благ, которых был он виновником в продолжении всей жизни своей. Он не обманулся в своем чаянии. Спарта, исполняя их в течение пятисот лет, первенствовала в Греции славой и благоустройством. В продолжение правления четырнадцати царей после него до Агиса, сына Архидама, никто не сделал в них ни малейшей перемены. Учреждение эфоров не только не ослабило, но, напротив того, придало более твердости учрежденному Ликургом правлению. Хотя, по-видимому, эфоры постановлены были в пользу народа, однако они более усилили аристократию. Но в царствование Агисово в первый раз наводнили Спарту деньги; с ними вместе – любостяжание и страсть к богатству. Деньги введены были Лисандром, который, не быв сам побежден и развращен ими, наполнил город сребролюбием и негой*. Он привез после войны большое количество золота и серебра, чем ниспроверг

Ликурговы законы. Доколе они во всей силе своей существовали, Спарта представляла не только картину благоустроенного правления, но образ жизни мудрого и добродетельного человека; или, лучше сказать, как Геракл, по описанию стихотворцев, покрытый львиной шкурою и с палицей в руках, проходил вселенную, наказывая беззаконных и свирепых тиранов, так Лакедемон с помощью скиталы* и епанчи управлял Грецией, добровольно ей покорившейся, ниспровергал насильственные власти и тираннию в обществах, прекращал войну, укрощал раздоры – часто без помощи, посредством одного посланника. Все повиновались ему, и, подобно пчелам при появлении их царицы, все стекались к нему и наблюдали порядок. Вот какое почтение вдыхали во всех благоустройство и справедливость Спарты!

Я удивляюсь тем, кто мог сказать, будто лакедемоняне умели повиноваться, но не умели управлять и хвалить слова царя Феопомпа. Некто сказал перед ним, что Лакедемон обязан своим спасением царям, умеющим повелевать. «Скажи лучше, гражданам своим, умеющим повиноваться», – отвечал Феопомп. Люди не повинуются тем, кто не умеет повелевать. Начальник учит послушанию. Кто хорошо предводительствует, тот заставит следовать за собой.

Совершенство искусства конюшего состоит в том, чтобы сделать коня кротким и послушным. Совершенство науки царствовать состоит в том, чтобы производить повиновение. Лакедемоняне не рождали послушания в других народах, но заставляли их желать быть под их начальством и им повиноваться. Не просили они у спартанцев ни кораблей, ни денег, ни воинов, но одного начальника. Когда получали его, оказывали ему почтение и боялись его. Так повиновались сицилийцы Гилиппу, халкидяне – Брасиду, все народы, обитавшие в Азии – Лисандру, Калликратиду и Агесилаю. Спартанских начальников называли исправителями и преобразователями народов и начальствующих; на самую же Спарту взирали как на наставника и учителя благонравия и благоустроенного правления. Кажется, к этому относятся в шутку сказанные слова Стратоника*. Он говорил, что афинянам повелевает торжествовать таинства и священные годы; элейцам – учреждать народные игры, в которых они весьма искусны; когда же в чем погрешат, сечь за то лакедемонян*. Это сказано для смеху. Эсхин же, ученик Сократа, видя, что фиванцы гордятся победой, одержанной при Левктрах, сказал: «Нет никакого различия между ними и детьми, хвалившимися тем, что побили своего наставника».

Однако не то было главное намерение Ликурга, чтобы Спарта над многими начальствовала. Быв уверен, что блаженство целого общества, равно как и одного человека, зависит от добродетели и согласия с самим собой; он устроил Спарту таким образом, чтобы граждане как можно долее были свободны и добродетельны. Это послужило основанием республики Платоновой, Диогеновой, Зеноновой и всех тех, кто предпринял нечто сказать об этом предмете и заслужили похвалу, оставивши одни сочинения и речи. Ликург, напротив того, не оставил ни сочинений, ни речей, но на самом деле произведя, так сказать, на свет неподражаемую республику, опроверг мнение тех, кто не верит в существование истинного мудреца, каким философы его описывают. Ликург показал целый город любомудрствующим и тем по справедливости превысил славой всех греков, когда-либо устроивших правление. По этой причине Аристотель говорит, что ему оказывается менее почестей, нежели как должно. Впрочем, он получил самые высокие отличия: ему посвящен храм, в котором ежегодно, как богу, приносят жертвы. Говорят, что тогда, как перенесен был в Спарту его прах, молния упала на гроб его*, чего не случалось ни с кем из знаменитых мужей, исключая Еврипида, который умер и погребен в Македонии, близ Аретусы*. Это оправдывает почитателей этого стихотворца, которому после смерти приключилось то же самое, что прежде того со священнейшим и богам любезнейшим человеком.

Некоторые говорят, что Ликург умер в городе Кирре*; Аполлофемид же уверяет, что он был перенесен в Элиду. Тимей и Аристоксен* повествуют, что он окончил дни свои на Крите. Последний говорит, что критяне показывают его гробницу в Пергаме, близ большой дороги. Он оставил одного сына по имени Антиор, смертью которого пресекся его род. Друзья и родственники в честь его учредили общество, которое весьма долго существовало; дни, в которые они собирались, называемы были «Ликургидами». Аристократ, сын Гиппарха, пишет, что приятели Ликурга, у которых он жил на Крите, сожгли тело его и прах рассеяли в море, как он просил их, боясь, чтобы, по принесении праха его в Спарту, лакедемоняне не подумали, что он возвратился, и этим освободясь от данной ему клятвы, не переменили бы правления.

Вот что мы знаем о Ликурге.

Нума

О времени, в которое жил Нума, происходят также великие споры. Хотя некоторые родословия весьма точно до него простираются, однако некто по имени Клодий в книге своей «Исследование времен» уверяет, что древние письменные доказательства истреблены во время разорения Рима галлами, ныне же существующие неверно составлены льстецами особ, желавших насильственно вступить в первые поколения и в знаменитейшие дома, хотя к ним совсем не принадлежат. Вообще полагают, что Нума был слушатель Пифагора; однако некоторые утверждают, что он вовсе не учился греческой философии либо потому, что от природы был одарен свойствами, потребными для достижения добродетели, либо потому, что образован каким-нибудь иноплеменным философом, мудростью греческого превосходящим. Иные уверяют, что Пифагор родился около пяти поколений* после Нумы; что другой Пифагор,

спартанец, одержавший победу на Олимпийских играх в третьем году шестнадцатой олимпиады, когда Нума был избран царем, странствуя по Италии, имел свидание с Нумой и вспомоществовал ему в устроении государства*. По этому самому многие лаконские постановления введены в Рим по совету сего Пифагора. Впрочем, всем известно, что Нума родом сабинянин; сабиняне же почитали себя лакедемонскими переселенцами*. Весьма трудно означить с точностью годы, особливо следуя числу олимпиоников (победителей на Олимпийских играх), список которых долгое время спустя издан элейцем Гиппием, который в удостоверение не представил никаких точных доказательств. Мы опишем то, что знаем достопамятнейшего о жизни Нумы, сделав пристойное к тому начало*.

Тридцать семь лет уже существовал Рим под правлением Ромула. В пятый день месяца июля*, называемый ныне Капратинскими нонами ***(Nonae Capratinae),*** Ромул приносил всенародную жертву вне города, на месте, называемом Козьим болотом, в присутствии сената и большей части граждан. Вдруг произошла в воздухе великая перемена; туча, сопровождаемая сильным ветром и бурею, ниспустилась на землю. Толпа народа в ужасе разбежалась и рассеялась; Ромул исчез; не нашли его ни живого, ни мертвого. Большое подозрение падало на патрициев. Разнесся в народе слух, что они, давно уже наскуча царской властью, желали присвоить себе всю силу и для этого умертвили Ромула, ибо он с некоторого времени поступал с ними строже и самовластнее прежнего. Патриции старались рассеять эти подозрения, оказывая Ромулу почести, приличные богам, как будто он не умер, но удостоился высшей участи. Прокул, знаменитый человек, клялся перед народом, что он видел, как Ромул во всеоружии возносился на небеса, и слышал его голос, повелевавший впредь называть себя Квирином.

Однако в городе восстали новые возмущения и раздоры касательно избрания наследника Ромулу. Новые граждане еще не были тесно соединены с прежними. Народ еще волновался; патриции, в раздоре и несогласии между собой, подозревали друг друга. Однако все были согласны в том, чтобы иметь царя над собой. Они спорили и были противных мыслей не только о том, кого избрать в цари, но еще и о народе, из которого избрать его надлежало. Первые населившие с Ромулом город не терпели, чтобы сабиняне, сделавшиеся участниками города и области, начальствовали над теми самыми, которые их к себе приняли. Но и требования сабинян имели свои основания. Они представляли, что по смерти царя их Татия не возмутились против Ромула, но позволили ему одному править. По этой причине имели право избрать царя из своего народа, ибо они не присоединились к ним, как слабейшие к сильнейшим, но, составив одно тело с римлянами, числом своим усилили их и возвысили своим союзом до такого могущества. Такого рода были их распри! Дабы несогласие не произвело мятежа, во время сего безначалия, при колеблющемся состоянии республики, патриции, число которых было сто пятьдесят человек, определили, чтобы каждый из них по очереди в царской одежде приносил богам узаконенные жертвы и творил суд именем Квирина и Татия шесть часов дня и шесть часов ночи*. Такое разделение времени почитали правители весьма полезным для равенства между собой; перемена же власти, по их мнению, уничтожала зависть народа, видевшего в тот же день и в ту же ночь одного и того же человека, делающегося из царя простым гражданином. Этот образ правления назван римлянами ***interregnum –*** междуцарствием.

Хотя, по-видимому, правили они кротко и благоразумно, но подозрения и ропот их преследовали. Они обвиняемы были в том, что превращают правление в малоначалие; что, присвоивши себе всю власть, не хотели быть управляемы царями. Наконец, обе стороны согласились между собой в том, чтобы один народ избрал царя из другого. Они думали, что только сим способом прекратятся раздоры и избранный царь равно будет благосклонен к тем и другим, любя одних, как избравших его, других – как своих единоплеменных. Сабиняне уступили право выбора римлянам, которые лучше захотели иметь царем сабинянина, ими самими избранного, нежели римлянина, избранного сабинянами. После советований своих римляне избрали Нуму Помпилия, сабинянина не из числа переселившихся в Рим, но столь всем известного по своим добродетелям, что сабиняне, услышавши одно это имя, приняли его охотнее тех самых, которые его избрали. Объявив народу свой выбор, отправили к Нуме посланниками знаменитейших граждан из обоих народов, дабы просить его прибыть к ним и принять царское достоинство*.

Нума родился в Курах*, главном сабинском городе, от которого римляне назвали себя Квиритами, вместе с сабинянами, к ним присоединившимися. Он был сыном Помпония, мужа знаменитого, младшим из четырех братьев. По некоему божественному определению родился он в тот самый день, в который Ромул основал Рим, двадцать первого числа апреля. Будучи от природы способен ко всем добродетелям, он образовал себя еще более учением, терпением и любомудрием; укротил в себе не только всеми порицаемые страсти, но, полагая истинное мужество в обуздании рассудком своих желаний, удалил от себя все свойства, столь много варварами уважаемые, каковы суть насилие и любостяжание. Вследствие этого он изгнал из своего дома всякую негу и пышность, готов был услуживать каждому согражданину или иноземцу как справедливый судья, как искренний советник. Сам, пользуясь душевной свободой, проводил время не в забавах, не в приобретении богатства, но в поклонении богам и в умственном созерцании их свойств и могущества. Таким образом он достиг столь громкой славы, что соцарствовавший в Риме Ромулу Татий сделал его зятем своим, выдав за него единородную дочь свою Татию. Однако это супружество не родило в нем гордого желания переселиться в Рим к тестю; он оставался всегда в земле сабинской, оказывая старому отцу своему потребную помощь. Сама Татия предпочла спокойствие мужа, живущего в неизвестности, почестям и славе, которыми она могла пользоваться в Риме при отце своем. Уверяют, что она умерла на тринадцатом году замужества своего.

Нума, оставив городскую жизнь, большей частью проводил время на полях; с удовольствием блуждал один по лугам и по рощам, посвященным богам, по местам, уединенным и пустынным. От этого распространился слух о собеседовании его с некоторой богинею. Все говорили, что Нума оставил сообщество людей не от печали душевной и от помешательства ума; но оттого, что наслаждается тесной связью с высшим существом, удостоился брака божественного и вместе с нимфой Эгерией*, любившею его, проводил жизнь в совершенном блаженстве и приобрел от нее познания о всех божественных делах.

Все это очень походит на те весьма древние басни, которые с удовольствием повествуют фригийцы об Атисе, вифинцы о Геродоте, аркадяне об Эндимионе* и о многих других, удостоившихся высшего блаженства и божеской любви. Не противно разуму, что бог, любя человека более, нежели четвероногих или птиц, охотно пребывает с людьми, отличными по своим добродетелям, и не гнушается собеседованием с человеком благочестивым и мудрым. Но чтобы тело человеческое и красота могли прельстить какого-либо бога или гения и склонить его к сообщению с человеком – в этом увериться трудно. Довольно правдоподобно мнение египтян, которые говорят, что не невозможно женщине зачать наитием духа божия; но что между смертным и божеством не может быть никакой связи, никакого телесного совокупления. Они не знают, что существо, соединяющееся с другим, сообщает ему равным образом свое бытие. Прилично верить, что боги имеют к человеку дружбу, которая есть нечто похожее на любовь, цель которой состоит в исправлении нравов и в обращении его на стезю добродетели. Не ошибаются те, которые повествуют, что Форбант, Гиакинф и Адмет были любимы Аполлоном, равно как и Ипполит Сикионский*. Каждый раз, как этот молодой человек переезжал из Сикиона в Кирру, то Аполлон, как бы чувствуя это и радуясь, влагал в уста пифии следующий стих:

Любезный Ипполит преходит моря волны.

Говорят также, что Пан любил Пиндара и его стихотворения*; что божество из уважения к Музам удостоило Архилоха и Гесиода великих почестей по их смерти*; что Софокл при жизни принял у себя и угостил Асклепия (Эскулапа). Это подтверждается многими еще ныне существующими доказательствами. Говорят также, что другой бог по его смерти имел попечение о погребении*. Если примем это, то можно ли подумать, что божество не являлось Залевку*, Миносу, Зороастру, Нуме, Ликургу – этим особам, которые управляли государствами и учредили правление? Не беседуют ли боги с ними о важных предметах для научения их и для ободрения в делах похвальных и полезных, а стихотворцев и лириков, бряцающих на лире (если действительно снисходят к ним), употребляют к забаве своей? Кто думает иначе, тому, как говорит Вакхилид*, «широка дорога». Впрочем, есть и другое о Нуме, Ликурге и подобных им,

недурное мнение, то есть что они, укрощая дикие и грубые народы и вводя великие в правление перемены, приписывали себе божескую власть, спасительную для тех самых, для коих ее себе присваивали.

Нуме было уже сорок лет, когда прибыли из Рима посланники для призвания его на царство. Прокул и Велес говорили ему речи. Одного из них народ прежде был склонен избрать в цари. Граждане Ромула более благоприятствовали Прокулу, Татия – Велесу. Речи их были кратки; они думали, что Нума будет обрадован сим счастьем. Но, против чаяния, им стоило великих трудов, многих речей и молений убедить человека, проведшего жизнь свою в тишине и мире, сделаться главой города, некоторым образом родившегося и взросшего в бранях. Нума в присутствии отца своего и Марция, одного из своих родственников, говорил посланникам, что всякая перемена в человеческой жизни опасна; что одна лишь безрассудность может заставить переменить обыкновенный образ жизни того, кто не имеет недостатка в нужном, ни причины жаловаться на настоящее; что состояние его, если не другим чем, по крайней мере постоянством своим предпочтительнее неизвестности будущего; напротив того, не безызвестны ему опасности царского сана, судя по тому, что случилось с Ромулом; какое жестокое падало на него подозрение в убиении соначальствующего Татия; сколь было сильно подозрение на сенаторов по его смерти: как будто он убит ими, несмотря на то что они прославляют Ромула сыном богов, уверяют, что он воспитан богами и чудесным образом ими спасен во младенчестве. «Но вам известно, – продолжал он, – что я происхожу от смертных; воспитан, образован людьми, которых вы знаете. Все, что в жизни моей заслуживает внимания – тихая, спокойная жизнь, беспечное упражнение в науках, – суть свойства человека, не сотворенного для царствования. Велика во мне любовь к миру, вместе со мной возросшая, любовь ко всему невоинственному, к этим людям, которые собираются единственно для поклонения богам и для дружеского угощения, в прочее же время обрабатывают землю или пасут стада. Но Ромул оставил вам, может быть, многие непроизвольные брани, и, чтобы вести их, государство имеет нужду в царе пылких свойств и цветущих лет. Самое счастье произвело в народе склонность к войне. Всем известно, что римляне хотят распространить власть свою и обладать другими. Служа богами, научая город, которому более нужен полководец, нежели царь, чтить справедливость, ненавидеть войну и насилие, я бы подвергся лишь посмеянию!»

Таким образом, Нума отказывался от царства. Римляне употребили все усилия, просили его, заклинали не ввергнуть их в новые мятежи и междоусобную войну, ибо нет ни одного человека, к которому бы обе стороны равно были склонны. По удалении их отец его и Марций приступили к Нуме, увещевая его принять этот великий и божественный дар. «Хотя ты, – говорили они, – не имеешь нужды в богатстве, довольствуясь своим состоянием; хотя не прельщает тебя слава власти и могущества, обладая славой добродетели, все прочее превышающей; но управление царством должен ты почитать служением богу, который возносит толикую справедливость, какова твоя, и не оставляет ее в бездейственном усыплении. Не убегай, не отвергай власти. Для мудрого она есть поле к произведению великих и прекрасных подвигов. На этом-то поприще можешь ты с должным великолепием почтить богов, смягчить к богопочитанию сердца людей – они скоро и легко переменяются властителем. Эти самые люди полюбили Татия, хотя иноплеменного владетеля, и памяти Ромуловой оказывают божественные почести. Кто знает, может быть, этот победоносный народ пресыщен уже войной; может быть, обремененный триумфами и добычей, желает иметь над собой правителя кроткого, друга справедливости, для введения благоустройства и утверждения мира. Но если они объяты совершенно неистовой и яростной к войне страстью, то не лучше ли обратить в другую сторону стремление их, приняв в руки бразды правления, и соединить отечество и сабинский народ узами благосклонности и дружбы с городом воинственным и могущественным?» К представлениям их, как повествуют, присоединились благие предзнаменования; старание и просьбы сограждан, которые, узнавши об этом посольстве, умоляли Нуму идти в Рим и принять правление, дабы ввести согласие и теснейший союз между двумя народами.

Нума наконец решился. Принес жертвы богам и отправился в путь. Сенат и народ римский, исполненные черезвычайной к нему любви, вышли во сретение. Женщины принимали его с благословениями; в храмах приносимы были жертвы; все радовались, как будто бы город

принял не царя, но царство. По прибытии их на площадь интеррекс (временный царь) тех часов Спурий Веттий начал собирать голоса граждан; все единодушно подали в пользу Нумы. Принесены были царские украшения. Нума велел остановиться, ибо нужно было, говорил он, чтобы и божество утвердило его избрание на царство. Взяв с собой прорицателей и священников, взошел на Капитолий, который в то время римляне называли Тарпейской скалой. Там первенствующий среди авгуров обратил Нуму к югу и, покрыв лицо его, стал позади его и положил правую руку ему на голову. Он приносил молитвы богам и обращал повсюду взоры свои, дабы узреть то, что было предъявляемо полетом птиц или другими знамениями. Невероятная тишина простерлась по площади, покрытой великим множеством народа. Всех мысли к нему обращены были; все колебались сомнением о будущем. Наконец благовестные птицы явились на правой стороне и подтвердили избрание. Нума облекся в царскую одежду* и сошел с Тарпейской скалы на площадь. Народ принял его с громкими восклицаниями и осыпал радостными приветствиями, как благочестивейшего и богам любезнейшего человека.

При самом начале царствования Нума уничтожил отряд, состоявший из трехсот телохранителей, которые всегда окружали Ромула и назывались «келерами», то есть «быстрыми». Он не хотел ни оказывать недоверчивости к тем, кто ему верил, ни царствовать над теми, кто не имел к нему доверенности. Во-вторых, к двум жрецам Юпитера и Марса придал еще третьего, которого назвал «фламином Квирина» ***(Flamen Quirinalis).*** Римляне называли фламинами прежних жрецов от греческого названия остроконечной шляпы*. В ту пору греческие слова более теперешнего вмешивались в латинские. По свидетельству Юбы, лены, или епанчи, которые носили цари, то же, что греческое слово «хлены». Служащего в Юпитеровом храме отрока, отец и мать которого были живы, называли они «камиллом»*, и этим именем некоторые из греков называют Гермеса по той причине, что он служит богам.

Постановив это в угождение народа и для приобретения любви его, Нума тотчас предпринял намерение соделать город, твердостью своей подобный железу, из воинственного и дикого кротким и более справедливым. Тогда Рим в самом деле был то, что Платон называет – гражданством в воспалении. С самого начала составился он смелостью и отчаянной дерзостью отважных и воинственнейших людей, со всех сторон туда стекавшихся. Многие походы и частые брани послужили к пище и утверждению силы их; самые опасности укрепили их и усилили – так воткнутые в землю сваи от частых колебаний становятся тверже. Нума видел, что укротить и привести к миролюбию народ, столь надменный, – весьма трудное дело; по этой причине призвал он на помощь богов. Установленными им и совершаемыми жертвами, торжественными ходами и плясаниями, соединяющими с важностью приятность и кроткие забавы, большей частью он смягчал и укрощал стремительность их и браннолюбие. Нередко, угрожая их гневом богов, возвещая виденные им странные явления и слышанные неблаговестные гласы, ввергал их в ужас и делал покорными суеверием.

Все это заставило думать, что Нума, судя по его воспитанию и мудрости, был, конечно, слушателем Пифагора. Известно, что большей частью философия последнего, равно как и политика первого, состояли в священных обрядах и в поклонении богам. Говорят также, что Нума употреблял наружную важность и святость, в которую облекся, с таким же намерением, как и Пифагор. Этот философ так приучил к себе орла, что некоторыми словами мог остановить его парение и заставить спуститься к нему, а на Олимпийских играх показал золотое бедро свое, идучи через собрание всего народа. Повествуют о нем многие другие черезвычайные изобретения и искусства. По этому поводу Тимон Флиунтский* пишет о Пифагоре:

Желает волшебством мудрец себя прославить;
Словами пышными умеет уловлять.

Равным образом и Нума выдумал басню о любви к нему некоторой богини, или горней нимфы, о таинственном с нею сообщении, о беседовании с Музами. Большую часть прорицаний приписывал он Музам и научил римлян более всех чтить одну из них, которую назвал он Такитой, то есть «молчаливой», или «немой», как бы тем напоминал пифагорейское молчание и почитал его.

Предписания его у кумирах совершенно сходны со мнениями этого философа, который

учил, что первое начало вещей не есть чувственное, или изменению подтвержденное, но невидимое, нетленное и одним умом постигаемое. Нума же запретил римлянам представлять бога под видом человека или животного. Прежде не было у римлян ни в изваяниях ни в живописи изображений богов. В первые сто семьдесят лет строили они храмы и другие священные здания, однако не ставили в них никаких изображений. Непозволительным они почитали уподоблять высшее низшему и постигать божество иначе, нежели умом. Равным образом установленные Нумой жертвоприношения весьма сходны с Пифагоровым учением о богах. Оные были бескровны и состояли большей частью из муки*, излияний и самых обыкновенных вещей.

Кроме этого, приводят еще и другие примеры те, которые стараются доказать сношения этих двух мужей. Во-первых, что римляне дали Пифагору право гражданства, как свидетельствует Эпихарм*, весьма древний комический стихотворец, последователь Пифагорова учения, в сочинении своем к Антенору. Во-вторых, что одного из своих четырех сыновей Нума назвал Мамерком, по имени сына Пифагора. (От Мамерка происходит род Эмилиев, из числа патрициев. Нума дал Мамерку имя Эмилия, желая показать приятность и сладость его речей*.) Мы сами слышали многих в Риме, повествующих, что некогда прорицалище велело римлянам поставить в своем городе кумиры мудрейшему и храбрейшему из греков, и они поставили на площади два медных кумира – Пифагору и Алкивиаду*. Все это подвержено столь многим сомнениям, что далее о том рассуждать с намерением доказать или опровергнуть – значит заводить детские споры.

Нуме приписывают учреждение и начало первосвященников, которых римляне называют «понтификами», уверяя притом, что он был первым из них*. Название свое они получили, как некоторые говорят, от того, что служат всемогущим и вседержавным богам, а «могущественный» по-латыни – «потенс» ***(potens).*** Другие утверждают, что имя это заключает условие «если можно», как будто законодатель повелевал жрецам приносить возможные жертвы, и что препятствие или невозможность совершить их не поставится им в вину. Многие весьма одобряют известное смешное произведение сего слова, будто оно значит «мостостроители», по причине священнодействий весьма почтенных и древних, на мосту совершаемых: жертвы приносят подле моста; а мост по-латыни «понт» ***(pons).*** Самый присмотр за мостами и починка их, как будто неприкосновенный и священнейший обряд, принадлежат жрецам*. Римляне почитают преступником и предают проклятию дерзнувшего разломить деревянный мост. Оный построен из одного дерева без железа, по велению некоего прорицания*. Каменный мост построен гораздо после, во время квестуры Эмилия*. Однако и деревянный построен* после Нумы в царствование Анка Марция, его внука. Верховный жрец, или Великий понтифик ***(Pontifex Maximus),*** есть толкователь и прорицатель или, лучше сказать, надзиратель всего священнослужения. Он имеет надзор не только над священнодействиями, всенародно совершаемыми, но и над частными жертвоприношениями; препятствует преступать отечественные обряды и научать каждого тому, чем должно чтить или умилостивлять богов.

Верховный жрец был попечителем священных дев, называемых весталками. Установление их также приписывается Нуме, равно как обряды и служение, совершаемое в честь бессмертного огня, сими девами охраняемого. Нума препоручил им либо из-за их непорочности и нерастленности, огонь, вещество самое чистое и нетленное; либо потому что находил сходство между девством и бесплодием этой стихии. В тех местах Греции, где хранится неугасимый огонь, как-то: в Дельфах и в Афинах, – имеют о нем попечение не девы, но женщины, которые по летам своим не могут уже выйти замуж. Если огонь этот погаснет (так, как в Афинах во время тираннства Аристона* потух священный светильник; в Дельфах при сожжении мидянами Аполлонова храма и в продолжение митридатских браней и междоусобной войны римлян, когда исчез огонь вместе с жертвенником), то не позволялось разводить его другим огнем, но было предписано заимствовать от солнца пламя чистое и неосквернное. Огонь этот разводят вогнутыми сосудами, пустота которых образуется прямоугольными равнобедренными треугольниками, обращенными из окружности к одному средоточию*. Их ставят против солнца, лучи которого, со всех сторон преломляясь, собираются и соединяются в одну точку, разделяют разрежающийся воздух и зажигают мгновенно перед

ними лежащие сухие и тонкие вещества, ибо лучи отражением приобретают силу и действие огня. Вообще уверяют, что священные девы ничего другого не стерегут, кроме этого неугасимого огня; другие, напротив того, утверждают, что тут скрываются тайны, другим неведомые. В жизнеописании Камилла говорили мы о них то, что позволено знать и говорить.

Нума сначала посвятил только двух дев: Геганию и Верению; потом прибавил Канулею и Тарпею. Сервий впоследствии умножил число их двумя – и оно осталось непременным до настоящего времени. Нума определил этим девам тридцатилетнее девство. В первые десять лет они научаются тому, что делать надлежит; в другие десять лет исполняют то, чему научились; а в последние десять лет сами научают других. По прошествии этого времени позволяется им выходить замуж и вступать в другой род жизни, оставя священничество. Не многие, однако же, воспользовались этой свободой. Те, кто принял ее, провели остаток дней своих в раскаянии и унынии и тем поселили в других такой ужас, что все до самой смерти остаются в девстве.

Царь дал им великие преимущества. Между прочим, было им позволено делать завещание при жизни родителей, располагать своим именем без попечителя, подобно женщинам, родившим троих детей*. Если они куда-нибудь выходили, то сопровождали их ликторы*. Когда нечаянно встречались с преступником, ведомым на казнь, то его освобождали от смерти; надлежало только весталке клятвой подтвердить*, что встреча эта была случайна и без всякого намерения. Кто проходил под носилками, в которых они сидели, тот подвергался смертной казни. Верховный жрец наказывает за вины весталок розгами, нередко нагих, в темном месте под покрывалом. Посрамившую девство свое живую зарывали в яму при воротах Коллинских. Близ этого места внутри города есть некое продолговатое возвышение земли, называемое по-латыни ***agger,*** то есть «насыпь». Здесь под землей делали небольшое жилище, в которое входили сверху; в нем ставили постель, зажженный светильник, малое количество нужных для пропитания припасов, как-то: хлеба, воды, масла и молока – как бы почитали преступлением умертвить голодом особу, освященную важнейшими обрядами. Виновную сажали на носилки, закрывали снаружи, увязывали ремнями, чтобы и голосу ее не было слышно, и несли через площадь. Все встают перед ней в молчании и провождают безмолвно с великим унынием. Нет для города ужаснее сего зрелища, нет для него плачевнее сего дня. По прибытии в назначенное место служители развязывают ремни. Начальник жрецов, совершивши тайные молитвы, с воздетыми руками к небу перед исполнением наказания выводит закрытую преступницу, ставит на лестницу, ведущую в подземелье, и удаляется с другими жрецами. Как скоро весталка сойдет, тотчас снимают лестницу, а отверстие засыпают великим количеством земли, так что все место сравнивают с прочим возвышением. Таким образом наказывают весталок, преступивших свою должность!

Уверяют также, что Нума воздвиг Весте* круглый храм, в котором хранился неугасимый огонь, изображая тем не землю (как бы она была Веста), но вид всего мира, в средоточии которого пифагорейцы полагают огонь, называя оный Вестой, или Монадой. По их мнению, Земля не есть неподвижна и не находится в средине мира, но возвращается вокруг огня и не может почесться важнейшей и превосходнейшей частью вселенной*. Именно такое мнение о Земле в старости принял и Платон; он думал, что средняя, важнейшая часть уступлена лучшему телу и что Земля занимает совсем другое место.

Понтифики наставляют в обрядах погребения тех, кто имеет в том нужду. Нума научил их не почитать сего занятия нечистым и настоял в жертвах, назначенных подземным богам, яко приемлющим к себе лучшую часть существа нашего. В особенности же почитают они богиню, именуемую Либитиной, имеющую надзор над обрядами, касающимися погребения*. Богиня эта есть или Персефона, или, как ученейшие из римлян рассуждают, Афродита*, не почитая неприличным приписывать действию одного божества вину рождения и смерти нашей. Нума положил срок сетованию по умершим, соответственно их летам. Запретил оплакивать младенца, не достигшего трехлетия; прешедшего же этот возраст позволил оплакивать столько месяцев, сколько лет он жил; но этот срок оканчивался десятым годом. Более сего времени не позволил никого оплакивать. Итак, должайшее сетование простиралось до десяти месяцев. Столько же времени продолжалось и вдовство женщин. Которая из них прежде сего времени выходила замуж, приносила в жертву по законам Нумы стельную корову.

Сверх этого Нума учредил многие другие роды священства. Я буду говорить о салиях и о

фециалах, назначение которых более всего доказывает набожность сего мужа. Фециалы суть как бы мирохранители. Название свое получили, как я думаю, от своей должности*. Они старались пресекать раздоры словами и не прежде позволяли начинать военные действия, как по прекращении всякой надежды к получению законного удовлетворения. Под словом «мир» греки разумеют то состояние, когда две стороны словами, а не силой прекращают взаимные распри. Римские фециалы часто ходили к народу*, который наносил обиду, и старались склонить его к дружелюбию. Если в том не успевали, то призывали во свидетели богов, предавали ужасному проклятью себя и свое отечество в том случае, когда бы нападали несправедливо; потом объявляли войну. Без согласия их и одобрения не было позволено ни простому воину, ни царю поднять оружие на неприятеля. Правителю надлежало от них узнать, справедливо ли начинается война, потом принять потребные к войне меры. Говорят, что бедствие, постигшее Рим во время нашествия галлов, произошло от того, что преступили эти законы. Известно, что галлы осаждали город Клузий. В стан их послан был Фабий Амбуст для примирения их с осажденными. Получив от галлов гордый ответ и полагая, что этим его посольство кончилось, с юношеской безрассудностью принял оружие за клузийцев и вызвал на единоборство храбрейшего из варваров. В бою был он столько счастлив, что убил противоборника и снял с него оружие. Галлы, узнав об этом, отправили вестника в Рим и обвиняли Фабия в том, что он, не объявив войну, ведет с ними брань против договоров, против всех прав. Фециалы советовали сенату выдать Фабия галлам; но Фабий обратился к народу и, пользуясь его благорасположением, избег наказания. Вскоре после того галлы напали на римлян и опустошили весь город, кроме Капитолия. Но об этом подробнее в жизнеописании Камилла.

Что касается до салиев, то учреждение их имело следующую причину. В восьмое лето царствования Нумы язва, распространявшаяся по Италии, опустошила наконец самый Рим. Жители были погружены в величайшее уныние. Повествуют, что в это время медный щит, несшийся с неба, упал в руки Нумы. Об этом щите царь рассказывал чудеса, о которых он узнал от Эгерии и Муз. Он уверял, что этот щит ниспослан небом для спасения города; что надлежало его беречь и сделать одиннадцать других – совершенно одинакового вида и величины, дабы никакому вору невозможно было отличить от прочих того, который упал с неба; что место, в котором он храниться будет, надлежит посвятить Музам, равно как и окрестные луга, куда они часто приходят провождать с ним время; что должно было уступить весталкам источник, орошающий это место, дабы они, черпая из оного воду, ежедневно очищали и окропляли храм. Пресекшаяся немедленно зараза оправдала его слова. После того как царь показал мастерам щит и предложил провести соревнование в сходстве, все отказались, кроме Ветурия Мамурия, превосходного художника, который сделал щиты столь похожие один на другой, что сам царь не мог отличить своего. Хранителями их и смотрителями определил он жрецов-салиев. Они названы салиями не от имени некоего Салия, самофракийца или мантинейца, который будто научил их пляске с оружием в руках, как говорят некоторые, но от самого рода пляски, которую совершают с прыганьем*. В марте месяце берут они священные щиты и с пляской носят по городу; они одеты в багряное короткое платье, препоясаны медными широкими поясами, имеют на головах медные шлемы* и ударяют о щиты короткими ножами. Все прочие движения производятся ногами. Эти движения приятны для глаз. Салии делают многие обороты и извития размером скорым и частым с силой и проворством. Щиты их называются «анкилиа» по причине их вида. Они не совершенно круглы, ниже подобны греческому щиту пельте, у которой вид полумесяца, но имеют выемки извивающейся черты, края, загибаясь и обращаясь один к другому, образуют кривой вид*, по-гречески называемый «анкилон». Может быть, оное название происходит от слова «анкон» – «локоть», на котором их держат. Так говорит Юба, желая доказать, что слово «анцилия» есть греческое. Может быть, название это происходит от того, что щит упал сверху, что по-гречески «анекафен», или от исцеления больных – «акесис», или от прекращения засухи – «авхмос», или, наконец, от удержания бедствий – «анаехиси»; почему афиняне называют Диоскуров (Кастора и Поллукса) Анаками – если должно дать сему слову греческое происхождение. В награду Мамурию за искусство салии упоминают о нем в песне, которую поют во время этот военной пляски. Некоторые говорят, что воспевают они не Вентурия Мамурия, но ***veterem memoriam*** , то есть «древнее воспоминание».

Нума, учредив таким образом священничество, построил близ храма Весты так называемую Регию – царское обиталище. Здесь проводил он большую часть времени в священнодействиях, или в учении жрецов, или в беседах с ними о священных делах. У него был другой дом – на холме Квирина, это место и ныне показывают. При всех торжествах и священных ходах жрецов шли впереди провозглашатели, повелевавшие всем оставлять занятия и работу. Пифагорейцы запрещают поклоняться и молиться богам, так сказать, мимоходом. Они учат выходить из дому, настроивши прежде душу к молитве. Равным образом Нума заботился о том, чтобы граждане не смотрели ни на какое священнодействие с нерадением и без внимания; будучи свободны от занятий, они долженствовали обращать все мысли на богослужение, как на важнейшее дело. Для этого он хотел, чтобы в продолжение священнодействия на улицах не было ни шума, ни крика, ни стенаний, сопровождающих обыкновенно трудные ремесленные работы. И доныне сохранились некоторые следы этих постановлений. Когда начальствующий наблюдает полет птицы или совершает жертвоприношение, то кричит: ***«Hoc age!»,*** то есть: «Делай это!», желая сам напомнить присутствующим, что должно обращать внимание на совершаемое действие.

Многие другие его наставления сходствуют с пифагорейскими. Философы этой секты советовали не садиться на хиникс; не мешать огня ножом; отправляясь в путь, не оглядываться назад; приносить жертвы небесным богам числом неровные, а подземным – ровные*. Они скрывали от других истинный смысл этих предписаний. Равным образом таинственны некоторые постановления Нумы, как-то: не совершать излияний богам из необрезанной виноградной лозы; не приносить жертвы без муки; кланяться богам, обращаясь во все стороны, и после сего садиться*. Первые два обряда, кажется, научают обрабатыванию земли как части богослужения. Кругообращение же молящихся почитается подражанием кругообращению мира. Но, быть может, это изъясняется тем, что вход в храм на восточной стороне; посему молящийся, вступая в него, поворачивается спиной к Солнцу, но, переменяя положение, обращается к сему богу и описывает таким образом круг, принося между тем молитву обоим богам*. Или перемена положения имеет некоторое сходство с египетскими колесами и, подобно им, научает, что нет ничего постоянного в человеческих действиях и что надлежит охотно и без роптания принимать все перемены и превратности, которым бог подвергает жизнь нашу. Что касается сидения после молитвы, то, как говорят, это можно почесть предзнаменованием того, что моления богам будут услышаны и блага, ими ниспосылаемые, будут постоянны. Также говорят, что как успокоение есть предел деяний, то, окончив одно дело, садятся перед богами – как бы для получения от них начала другому. Может быть, это сходствуется с тем, что сказано выше, а именно, что законодатель заставляет нас молиться богам не в то время, когда мы развлечены другими делами, не мимоходом и с поспешностью, но когда свободны и ничем не заняты.

Наставляя таким образом граждан в богопочитании, Нума сделал их столь себе покорными и внушил толикое почтение и страх к своей силе, что они верили словам, которые своею странностью походили на басни. Они думали, что не было для него ничего невозможного. Говорят, что Нума, признавши некогда к столу немалое число граждан, поставил перед ними самые простые кушанья и бедные приборы. Лишь только начали они есть, Нума сказал им, что идет к нему богиня, с которой он беседует, и в одно мгновение комната наполнилась богатыми сосудами, столы покрылись многоразличными яствами и великолепными приборами.

Но разговор Нумы с Юпитером все превосходит своею странностью. Баснословят, что два демона*, Пик и Фавн, во всем сходные с сатирами, часто приходили на холм Авентинский, который тогда, не составляя части города, не был еще населен и имел обильные источники и тенистые дубравы. Говорят, что они, бродя по Италии, силой лекарств и искусством в волшебных таинствах творили многие чудеса, чем прославились у греков, так называемые дактили с горы Иды*. Нума, вливши вина с медом в источник, из которого они обыкновенно пили, привлек их к себе и поймал. Будучи схвачены, они оставили природный свой образ, принимая различные виды, показываясь ему странными и ужасными страшилищами. Наконец, чувствуя, что они пойманы без всякой надежды освободиться, поведали ему многое о будущем и научили его делать очищение, отвращающее громовые удары, что совершается и поныне

посредством лука, волос и маленьких рыб. Некоторые говорят, что они не научали его такому очищению, но волшебной силой свели с неба Юпитера; что этот бог, гневаясь за то на Нуму, повелевал ему произвести это очищение головами. Нума возразил: «Луковыми?» «Человеческими…» – отвечал Юпитер. Нума, отвращая столь жестокое повеление, переспросил: «Волосами?» «Живыми…» – отвечал Юпитер. «Сардинами?» – возразил Нума. Этому научила его Эгерия. Юпитер, укротясь, удалился на небо; место, где это происходило, названо Иликием, от греческого слова*, которое значит «благоприятный», «милостивый»; очищение же производится по желанию Нумы. Эти смешные и баснословные повествования доказывают, какие чувства к божеству внушили людям введенные тогда обычаи. Сам Нума, как повествуют, до того был вознесен надеждой на бога, что, когда возвестили ему: «Неприятели приближаются», он, улыбнувшись, сказал: «А я приношу жертву!»

Нума первый воздвиг храм Верности и Термина, научил римлян клясться верностью, как важнейшею клятвой, что и поныне они соблюдают. Термин – бог границ. Ему приносят всенародные и частные, на полевых межах, одушевленные жертвы*. В прежнее время жертвы эти были бескровны. Нума рассуждал, что предельный бог, как хранитель мира и свидетель правды, должен быть чист от крови. Кажется, этот царь означил и пределы римской земли. Ромул не хотел этого сделать, опасаясь показать сим, сколько он отнял земли у других, ибо пределы, когда их уважают, суть ограничение силы; в противном случае служат доказательством несправедливости. Известно, что Рим сначала не имел довольно земли; Ромул большую часть приобрел оружием. Землю эту Нума разделил недостаточным гражданам, дабы истребить бедность, как побудительную причину к несправедливости, и обратить к земледелию народ, который при обрабатывании полей терял свою дикость. Никакой другой род жизни не производил столь живой и скорой любви к миру, как земледельческий. В нем существует и хранится военная смелость, нужная к защищению собственности; склонность к насилию и алчности истребляется. По этой причине Нума заставил граждан упражняться в земледелии, почитая оное единственным побуждением к миру. Он любил этот род жизни более потому, что исправляет нравы, нежели потому, что умножает богатство. Страну всю разделил он на части, которые назвал «пагами» (***pagus***)*. Над каждым пагом поставил надзирателя и стража ***(Magistri Pagorum).*** Нередко сам обозревал поля и, по трудам граждан судя о нравах их, прилежных отличал почестями и наградами, нерадивых исправлял выговорами и наказанием.

Из всех других его постановлений весьма уважается учиненное им разделение народа по ремеслам. Город, как сказано выше, состоял из двух народов, или, лучше сказать, был разделен на два народа и никаким образом не мог быть одним. Невозможно было истребить раздоров, несогласия, беспрестанной борьбы и распрей обеих сторон. Нума, рассуждая, что тела самые твердые и к соединению по свойству своему неспособные, будучи разделены и раздроблены на части, удобнее смешиваются по причине малости своей, решился разделить весь народ на многие малые части и введением в оный новых различий истребить то первое и великое разделение, которому надлежало исчезнуть во множестве малых. Он разделил народ по ремеслам, как-то: на свирельщиков, золотарей, плотников, красильщиков, сапожников, кожевников, кузнецов, скудельников и прочих. Другие искусства он совокупил и сделал изо всех один состав. Каждое отделение составляло особенное общество, которое имело свои собрания, свой образ богослужения. Таким способом изгнал он из города обыкновение, по которому одни называли себя сабинянами, другие – римлянами, одни Татиевыми гражданами, другие – Ромуловыми; и такое разделение было в самом деле соглашение и смешение всех со всеми.

Хвалят также среди гражданских его постановлений ограничение закона, которым позволялось продавать детей своих*. Нума исключил из сего закона женатых, когда женитьба была с согласия отца, зная, сколь жестоко женщине, вышедшей за вольного, быть после сожительницей раба.

Нума занялся учением о небесных телах, хотя несовершенно, но с довольными знаниями. В царствование Ромула месяцы разделены были весьма неправильно. Одни состояли из двадцати дней, другие из тридцати пяти и более. Не имея понятия о разности между течением луны и солнца, римляне заботились только о том, чтобы год состоял из трехсот шестидесяти дней. Нума заметил, что разность состояла только в одиннадцати днях; что лунный год имеет

триста пятьдесят четыре дня, солнечный же триста шестьдесят пять; он удвоил число одиннадцать и ввел дополнительный после февраля месяц, называемый римлянами мерцедин, который состоял из двадцати двух дней. Однако все это имело нужду со временем еще в больших исправлениях*. Нума переменил и порядок месяцев. Март, который был первым, сделал он третьим и поставил на место его январь, бывший одиннадцатым во время Ромула; февраль, бывший двенадцатым и последним, стал вторым. Многие уверяют, что месяцы январь и февраль прибавлены Нумой и что прежде год у римлян состоял из десяти месяцев. У некоторых варварских народов год состоял из трех месяцев. Из греческих народов у аркадян год был четырехмесячный, а у акарнанцев шестимесячный. У египтян, как уверяют, год состоял из одного месяца, впоследствии же из четырех. По этой причине, хотя они обитают на новой земле, однако кажутся весьма древним народом. В родословиях своих считают невероятное множество лет, ибо полагают вместо годов месяцы.

Что римляне считали в году только одиннадцать месяцев, а не двенадцать, то доказывает название последнего, который и поныне называется «десятым». Месяц март был первый; пятый месяц от него назывался квинтилис, шестой – секстилис и так далее; но если бы январь и февраль предшествовали тогда марту, то означенный пятый месяц надлежало бы считать седьмым. Весьма вероятно, что месяц марций, посвященный Марсу, был первый; апрель же был второй, и получил название свое от Афродиты. В этом месяце приносят жертвы этой богине, и в календах его женщины купаются с миртовыми на головах венками. Некоторые говорят, что апрель получил свое название не от Афродиты, но от слова ***aperire,*** «открывать», ибо весна тогда находится во всей силе своей, все цветы произрастают и раскрываются. Из следующих за ним месяцев один назван маем, от имени Майи, матери Меркурия, которому месяц этот посвящен; другой – июнем, от имени Юноны*. Некоторые утверждают, что эти месяцы получили свое название от возрастов, ибо старшие называются «майорес» ***(major),*** а младшие – «юниорес» ***(iunior)*.*** Прочие месяцы назывались по порядку, как-то: квинтилис, секстилис, септембер, октобер, новембер, децембер. Пятый месяц, или квинтилис, назван июлем от имени Юлия Цезаря, победившего Помпея. Шестой, или сестилис, назван августом, в честь Августа, второго императора. Домициан дал двум следующим месяцам свои имена*; но это недолго продолжалось. По умерщвлении его месяцы были называемы прежними именами. Последние два месяца сохранили по порядку названия, которые даны им с самого начала. Из месяцев, прибавленных или перемещенных Нумой, февраль есть месяц очищения, как самое имя это доказывает. В этом месяце приносят жертвы по умершим и отправляют Луперкалии – праздник, который весьма походит на очищение. Январь назван так от Януса. Я думаю, что Нума лишил председательства месяц март, названный так по имени Марса, желая, чтобы во всем военной силе предпочитаема была гражданская. Этот Янус, бог или царь некий в глубочайшей древности, любил сообщества людей и ввел гражданские постановления. Он переменил дикий и зверский образ жизни тогдашних людей. Изображают его двуличным, потому что он дал тогдашним людям другой вид и другие склонности. В Риме сооружен ему храм о двух дверях, которые названы Вратами брани. В военное время отворяют его, а в мирное затворяют – что нелегко и весьма редко бывает, ибо империя, по причине пространства своего, находится в непрерывной войне, противоборствуя варварским народам, вокруг владений ее рассеянным. Храм этот заперт был во время Августа*, победившего Антония, а еще прежде во время консульства Марка Атилия и Тита Манлия*, но ненадолго. Война настала, и двери были отворены. В царствование же Нумы храм ни разу не был растворен в продолжение сорока трех лет. На столько-то он умел изгнать войну из всех стран своего царства! Не только народ римский смягчился и облагородился, тронутый справедливостью и кротостью государя, но и во всех окрестных городах, как бы из Рима веял чистый и благорастворенный ветер, началась полезная перемена. Все одушевлены были любовью к благоустройству и миру, желали спокойно обрабатывать свою землю, воспитывать детей, поклоняться богам. В Италии видны были одни празднества, веселье, взаимные угощения; безбоязненно посещал один другого; все с радостью принимали друг друга. Мудрость Нумы, подобно источнику, изливала справедливость и добродетель, и тишина, его окружавшая, распространялась на всех, так что спокойствие того времени превосходит велеречие и гиперболы самых стихотворцев:

Издельем пауков покрыты Железны, тяжкие щиты;
Снедает ржавчина и копья и мечи.
Не слышны более труб медных громки звуки,
Приятный, тихий сон не гонит от очей*.

Не пишут, чтобы в царствование Нумы случилась война или мятеж, или перемена в правлении. Не было ни зависти, ни вражды против него, ни заговоров, ни злоумышлений из желания царствовать. Из уважения ли к богам, которые, по-видимому, стерегли сего мужа, из почтения ли к добродетели или действием божеского счастья, сохранявшего жизнь его неприкосновенной от всякой злобы, Нума представил собой пример и доказательство того, что Платон немалое время после Нумы осмелился произнести о правлении, говоря, что одно лишь от бед успокоение, одно спасение людям, если по воле богов царская власть в соединении с умом любомудрым окажет добродетель торжествующею и превознесенной над пороками. Поистине блажен мудрый сам! Блаженны внимающие словам, из уст мудрого исходящим! Не должно ему употреблять ни принуждения, ни угроз для обращения подвластных на стезю добродетели. Они, видя живой ее образ в жизни своего правителя, по воле делаются добродетельными и при дружестве, при взаимном согласии, при справедливости и умеренности удобно обращаются к лучшей и счастливейшей жизни. Вот главная, достойная цель царя! Тот достойнее всех владычествовать над людьми, кто может направить своих подданных к таковым расположениям, к такому образу жизни. Нума, кажется, лучше всех познал сию истину.

В рассуждении его детей и брака историки не согласны. Одни говорят, что он не был женат на другой, кроме Татии, и не имел других детей, кроме одной дочери Помпилии. Другие утверждают, что у него было сверх того четыре сына: Помпон, Пин, Кальп и Мамерк, из которых каждый оставил по себе потомство и был главой особого поколения; что от Помпона происходят Помпонии, от Пина Пинарии, от Кальпа Кальпурнии, от Мамерка Мамерции, прозванные по этой причине «Рексами»*, то есть «Цари». Другие, обвиняя таковых писателей как желавших угождать этим племенам в ложном произведении их от Нумы, уверяют, что Помпилия родилась не от Татии, но от другой жены по имени Лукреция, на которой женился Нума, бывши уже царем. Все в том согласны, что Помпилия вышла замуж за Марция, сына того Марция, который убедил Нуму принять царство; он переселился в Рим вместе с ним, почтен был достоинством сенатора и после кончины Нуминой был соперником Тулла Гостилия, домогавшегося царской власти, но, будучи принужден уступить ему, умертвил себя. Сын его Марций, женившийся на Помпилии, оставался в Риме и произвел в свет Анка Марция, вступившего на престол после Тулла Гостилия.

Ему было пять лет, когда Нума кончил жизнь свою смертью не скоропостижной, или неожиданной, но увядая мало-помалу от старости и изнеможения, как пишет о том Пизон. Жизнь его продолжалась немного более восьмидесяти лет. Союзные и дружественные народы почтили его в самом гробе. Они притекли на его погребение с общественными дарами и венцами; патриции подняли одр; все жрецы присутствовали и сопровождали его. Толпа жен и детей следовала за ними с воплем и рыданиями, как бы погребали не царя старого и немощного, но любезнейшего человека, кончившего жизнь в самом цвете лет. Тело его не было предано огню*, он сам сего не хотел; сделаны были два каменные гроба и зарыты под Яникулом. В один из них положено его тело, в другой священные книги, писанные им, подобно греческим законодателями, на таблицах. Еще при жизни своей научил он жрецов тому, что эти книги содержали, истолковал силу их и смысл и приказал погрести их с собой, почитая непристойным, чтобы важные тайны содержимы были в мертвых письменах. По этой самой причине и пифагорейцы не предали писанию своих мыслей, но впечатлевали оные в памяти достойнейших и приучали к тому словесно. Когда некоторое сочинение, содержащее тайные геометрические задачи, было сообщено одному недостойному человеку, то пифагорейцы говорили, что божество накажет за это преступление и нечестие каким-либо великим и необыкновенным бедствием. Все это заставляет извинить тех, кто, при стольких сходствах, старается доказать, что Пифагор и Нума имели некогда свидание между собой.

Валерий Антиат пишет, что двенадцать книг о священнодействиях и двенадцать книг философских, на греческом языке писанных, положены были в гроб. По прошествии

четырехсот лет, во время консульства Публия Корнелия и Марка Бебия*, большие дожди, смыв землю, открыли эти гробы. По вскрытии их один найден совершенно пустым, без малейшего остатка тела. В другом обретены писания, которые прочтены были тогдашним претором Петилием. Он объявил сенату, что не почитает позволенным издать в народ эти книги, и по его представлению они были сожжены в Комитии.

Всех правдивых и добрых людей хвалят обыкновенно более по смерти; зависть переживает их ненадолго; она нередко прежде их умирает. Славе этого государя придает больше блеска несчастный жребий последовавших царей. Из пяти, после него бывших, последний был лишен престола и состарился в изгнании. Ни один их четырех других не умер своею смертью. Трое последних умертвлены злоумышленным образом. Тулл Гостилий, преемник Нумы, издевавшийся над лучшими его учреждениями, особенно же над свойством бездейственным и женоподобным, обратил граждан к брани. Но недолго пребыл в этих буйных мыслях. Опасная и странная болезнь заставила его перемениться во мнении и ввергла в суеверие, нимало не похожее на благочестие Нумы. Он укоренил в других это заблуждение, когда гром, как говорят, поразил его*.

Сравнение Ликурга с Нумой

Описав жизнь Нумы и Ликурга, постараемся представить, несмотря на все затруднения, примечаемое между ними различие. Общие их черты показываются из их качеств, каковы суть мудрость, благочестие, способность управлять и наставлять народы, равно как и то, что они оба получили от богов начала своего законодательства. Касательно особенных хороших свойств, в них примечательно, во-первых, в Нуме – получение власти, в Ликурге – уступка оной. Один получил ее, не искавши; другой отдал ее, имев в своих руках. Один из частного лица и чужестранца избран был чужим народом в государи, другой сделал сам себя из царя частным лицом. Великое дело приобрести царство правотой, еще большее предпочесть правоту царству. Добродетель сделала одного столь славным, что он был удостоен царской власти; другого – столь великим, что он пренебрег этой самой властью.

Во-вторых, подобно как гармонию лиры, один в Спарте превратил из сладострастной и изнеженной в важную; другой в Риме смягчил ее суровость и грубость. Трудность подвига на стороне Ликурга. Он убедил граждан своих не броню снять и не мечи оставлять, но отказаться от золота и серебра, изгнать великолепные столы и мягкие ложа. Не заставил их отстать от военных действий, отправлять празднества и приносить жертвы; но научил, оставив пиршества и забавы, заниматься оружием и упражняться в телесных подвигах. Вот почему один все делал при помощи одного убеждения, пользуясь почтением и приверженностью граждан; другой едва достиг своей цели, подвергнувши опасностям жизнь и получивши рану. Муза Нума кротка и человеколюбива; она смягчила стремительные и пламенные свойства граждан и обратила их к миру и справедливости. Если кто нас принудит включить в число Ликурговых узаконений постановление об илотах, самое жестокое и беззаконное, то мы должны будем тогда признаться, что Нума более заслуживает звания греческого законодателя. Он позволил и настоящим рабам вкусить сладость свободы, введши в обыкновение на Сатурновых празднествах садиться им за одним столом с своими господами.

Говорят, что это есть одно из постановлений Нумы, который хотел, чтобы годовыми плодами наслаждались и участвовавшие в полевых работах. Некоторые уверяют, что этот обычай есть остаток равенства Сатурновых времен*, когда не было ни слуг, ни господ, но все почитали себя равными и родственниками.

Оба эти законодателя равно ведут народы к довольству и умеренности; но изо всех добродетелей один, кажется, более возлюбил доблесть, другой правосудие. Может быть, разность нравов и правления обоих народов причиной тому, что надлежало употребить способы и средства различные. Нума не по робости понудил римлян оставить войну, но по желанию отвлечь их от неправосудия; и Ликург не для того сделал спартанцев воинственными, чтобы они обижали других, но чтобы их не обижали. Таким образом, оба они, истребляя излишество и дополняя недостатки в гражданах, принуждены были ввести величайшие перемены.

Касательно разделения состояний граждан: кажется, распоряжения Нумы слишком

благоприятствуют простому народу и демократии. Он составил народ весьма разнообразный, смешанный из золотарей, кожевников, сверлильщиков и проч.; напротив того, Ликурговы распоряжения строги и приличны аристократии. Все ремесла предоставил он рабам и пришельцам; самых граждан ограничил щитом и копьем; сделал их, так сказать, ремесленниками брани и служителями Марса; единственное их значение и упражнение состояло в том, чтобы повиноваться начальниками и покорять врагов. Он не позволил вольным (дабы они в самом деле и всегда были вольны!) накоплять богатства. Это попечение было уделом илотов и других рабов, равно как приготовление кушанья и прислуга. Нума не сделал никакого подобного различия. Он укротил страсть к войне, но не уничтожил корыстолюбия. Не только не истребил неравенства, но позволил умножать богатство до бесконечности; он пренебрегал возрастающей и умножающейся в городе бедностью. Ему надлежало при самом начале, когда неравенство было не столько ощутительно и велико и состояния были между собой в равновесии, восстать против жадности к богатству, подобно Ликургу, и предупредить бедствия, от оной происходящие, которые были немаловажны. Они-то были корнем и началом всех великих зол и несчастий, которые впоследствии обрушились на главу Рима.

Касательно земли не должно осуждать ни Ликурга за то, что он разделил ее, ни Нуму за то, что ее не делил. Одному послужило равенство раздела основанием и утверждением устанавливаемого им правления; другой, по причине незадолго перед тем учиненного раздела, не имел нужды делать нового, ибо прежний, конечно, оставался еще в силе.

Оба они благоразумно хотели истребить ревность, введши общие супружества и общих детей; но не употребили одинаковых средств. Римлянин, имевший довольно детей, быв убежден согражданином, желающим также иметь их, уступал жену свою. От него зависело отдать ее навсегда или взять обратно. Лакедемонянин, напротив того, оставляя жену при себе и сохраняя права супружеского союза, делал другого участником своего ложа для получения детей. Многие, как сказано прежде, сами вводили к себе тех, от которых надеялись иметь здоровых и прекрасных детей. Какая же разность между этими постановлениями? Не показывается ли в лакедемонском обычае великое и неограниченное равнодушие к жене, ко всему тому, что большую часть людей мучит и заставляет жить в печали и жестокой ревности? В римском же – некоторая стыдливая скромность, которая употребляет брачное обязательство, как завесу, изъявляя, сколь для нее жестоко и несносно это соучастие.

Нума также предписал строгое смотрение за девицами, дабы они жили благопристойно, свойственно своему полу. Напротив того, Ликург дал им свободу, каковая неприлична женщинам, и тем навлек на них посмеяния стихотворцев. Они называют их с Ивиком «феномиридами», то есть «обнажающими бедра», а с Еврипидом «андроманами», или «страстными к мужчинам». Этот стихотворец пишет о них:

Родительски дома пустыми оставляют;
Их всюду юношей толпы сопровождают.
Наги суть бедра их; одежды распущены.

В самом деле, края девической одежды не были снизу зашиты, но во время шествия раскрывались и обнажали все бедро – что ясно доказывается следующими стихами Софокла:

Раскрытая одежда
Вкруг нежного вьется
Младой Гермионы
Прекрасного бедра.

По этот причине были они, как говорят, дерзки и против мужей своих слишком смелы, ибо управление домом зависело от них совершенно, а в общественных важнейших делах подавали свои мнения и имели свободу говорить. Нума сохранил честь и уважение, которыми со времени Ромула пользовались жены от мужей своих, которые старались им угождать, дабы загладить воспоминание о их похищении. Однако оградил их стыдливостью, отнял любопытство, приучил к трезвости и молчанию. Они совершенно воздерживались от вина*, не

смели говорить общенародно о самых необходимых делах. Однажды некоторая женщина говорила речь в Собрании о своем деле. Сенат отправил посланников к прорицалищу, дабы узнать, что предзнаменовало это республике. Доказательством покорности и кротости римских женщин есть то, что сохранены имена тех, кто этими свойствами не отличался. Подобно как наши бытописатели предают памяти имена людей, которые первые возбудили войну междоусобную, вооружились против братьев своих, умертвили отца или мать, так римские упоминают о том, что Спурий Карвилий первый развелся с женой; в продолжение же двухсот тридцати лет по основании Рима ничего подобного этому не случалось; и что Талия, Пинариева жена, в царствование Тарквиния Гордого первая поссорилась с своею свекровью. Столь счастливо и пристойно законодатель учредил супружество!

Воспитание девиц продолжалось до того времени, в которое их выдавали замуж. Ликург повелел выдавать их в цветущих и пылких летах, дабы связь эта, сделанная по требованию природы, положила начало взаимной привязанности и дружбе, а не страху или ненависти, как то бывает, коль скоро принуждают природу. При том же в этих летах они могут уже переносить беременность и роды, ибо Ликург рождение детей полагал единственной целью брака. Напротив того, римляне выдавали замуж девиц двенадцати лет и моложе, дабы они предаваемы были мужьям своим чистыми и непорочными как телом, так и нравами. Учреждение первого – согласие с природой и способствует рождению детей; второго же – нравственнее и более благоприятствует сожительству.

Что касается до попечения о детях, до их собраний, до образа воспитания, до сообщества, до учреждения столов, телесных их упражнений и забав, то Ликург доказал, что Нума в этом не превосходит самого обыкновенного законодателя. Этот позволил отцам воспитывать детей своих по своему желанию или по своей нужде. Отец мог сделать своего сына либо земледельцем, либо плотником, либо кузнецом, либо свирельщиком, как будто бы не нужно было всем стремиться к одной общей цели и достигать оной своими поступками. Оттого они походили на путешественников, которые собрались на один корабль с разными намерениями и нуждами и только при наступающей опасности, когда каждый стремится за себя, соединяются для блага общего; без этого каждый думает только о себе. В недостатках постановления можно извинить законодателей обыкновенных по причине их невежества, или слабости; но человеку мудрому, восприявшему царскую власть над народом, незадолго перед тем собравшимся и не противившимся ему ни в чем, на что надлежало бы прежде всего обратить внимание, как не на воспитание детей и на учение юношей, дабы они не получили разных нравов, не сделались беспокойными, но были бы с самого начала, так сказать, вылиты в одну форму добродетели и одинаково образованы? Именно это способствовало Ликургу во многом, более же всего – к сохранению его уставов. Страх клятвы, ему данной, был бы недействителен, если бы воспитание и наставления не напечатлели законов во нравах юношей и вместе с пищей не вложили в них любви к гражданским его постановлениям. По этой причине важнейшие и главнейшие его законы имели всю силу более пятисот лет, подобно краскам, твердо и глубоко вошедшим в полотно. Учреждения Нумы, имевшие целью то, чтобы Рим пребыл в мире и спокойствии, исчезли вместе с ним. По кончине его Храм Брани, при нем всегда затворенный (как бы в самом деле брань была им заключена и укрощена), был отворен с обеих сторон и вся Италия обагрилась кровью и покрылась трупами*. Прекрасные и справедливейшие его постановления существовали только самое короткое время, ибо недоставало лучшей подпоры – воспитания. Но, скажет иной, не войной ли возвысилась Римская держава? Такой вопрос требует долгого ответа, особенно когда говорить должно с людьми, которые благополучие государства ставят более в богатстве, в роскоши, в обширности владений, нежели в безопасности, в спокойствии, в довольстве, соединенном со справедливостью. Однако к славе Ликурга может послужить и то, что римляне, оставивши учреждения Нумы, достигли высочайшей степени славы, а лакедемоняне, едва лишь преступили Ликурговы постановления, пали с высоты своей, потеряли всю власть над Грецией и были на краю совершенной погибели. Подлинно, велико и божественно в Нуме то, что он, бывши чужестранцем, призванными на царство, мог все переменить одним убеждением; что управлял обществом, еще не соединившимся с самим собой, не употребив ни оружия, ни насилия, подобно Ликургу, вооружившему вельмож против народа, и что, наконец, он все соединил и устроил силой своей

мудрости и справедливости.

Солон и Попликола

Солон

Грамматик Дидим в возражении своем Асклепиаду о законах Солоновых приводит слова некоторого Филокла*, который отца Солона называет Эвфорионом, вопреки мнению всех других, упоминающих о Солоне, называющих единогласно отца его Эксекестидом. Он был человек посредственного состояния, но знаменитейшего рода и происходил от Кодра*. Его мать, по свидетельству Гераклида Понтийского*, была двоюродная сестра матери Писистрата.

Солон и Писистрат сначала были соединены теснейшей дружбой по причине своего родства. Притом красота и дарования Писистрата привлекали к себе любовь Солона. Это, кажется, было причиной, что в раздоре, происшедшем впоследствии между ними о правлении, вражда их не произвела жестокой и свирепой ненависти. В душах их остались неразрывными первые связи и, подобно яркой искре сильного огня, сохранили неизменными память и приятность первой их дружбы.

Впрочем, Солон не был тверд против красоты и не имел довольно силы, подобно «искусному бойцу»*, бодро стоять против любви. Это видно как из его стихотворений, так и из закона, им установленного, которым запрещалось рабам тереться сухой мазью* и любить прекрасных. Он ставит это в число пристойных и похвальных занятий и некоторым образом призывает достойных к тому, что возбраняет недостойным. Говорят, что Писистрат любил Харма и что поставил в Академии кумир Эрота в том месте, где зажигали священные факелы при беге во время торжеств*.

Отец Солона, как повествует Гермипп, уменьшил свое имение щедростью и деяниями человеколюбивыми. Хотя много было таких, которые охотно желали помочь Солону, но он, происходя от рода, привыкшего помогать другим, стыдился получить от других помощь и еще в молодости своей вступил в торг. Некоторые говорят, что Солон странствовал не для обогащения своего, но для снискания большей опытности и познаний. Все согласны в том, что он любил мудрость и в глубокой старости говорил, что стареет, но всегда многому еще учится. Он не ценил богатства и в «Элегиях» своих говорит:

Богат, кто множество сребра имеет, злата;
Обильной жатвою покрытые поля;
На чьих лугах стада волов пасутся тучных
И кони быстрые – богат. Богат и тот,
Кто только сыт, одет, спокойно спать ложится.
Но сколь счастливее, блаженней он стократ,
Подруга коль его млада, мила, прекрасна.

В другом месте пишет:

Люблю богатство я и золотом прельщаюсь;
Несправедливостью стяжать его гнушаюсь.
Напрасно тщишься ты неправдой пробресть:
Несправедливого богов постигнет месть.

В самом деле, честному человеку, занимающемуся управлением государства, ничто не препятствует приобретать излишнего или пренебрегать употреблением того, что нужно и полезно. В те времена, чтобы употребить слова Гесиода*, в работе не было стыда, и никакое звание не делало различия между людьми. Торговля была в почтении, ибо она доставляет нам произведения иностранных народов, рождает союзы между царями и дает нам многоразличные познания. Некоторые купцы сделались основателями великих городов, подобно Протису,

построившему Массалию, который приобрел любовь кельтов, обитавших по реке Родан*. Говорят, что торговлей занимались мудрый Фалес и математик Гиппократ; а Платон путешествовал по Египту с деньгами, полученными там от продажи масла.

Впрочем, торговую жизнь полагают причиною расточительности Солоновой, склонности его к неге и неприличной философу в стихах его вольности, с какою говорит он об удовольствиях. Торговая жизнь, будучи сопряжена со многими и великими опасностями, требует некоторого наслаждения, некоторых забав. Что Солон, однако, полагает себя более в число бедных, нежели богатых, то видно из следующих его стихов:

Сколь часто в роскоши, богатстве злой живет,
А добрый в нищете страдает, слезы льет;
Но злато с доблестью не может быть сравненно.
Сия в век не умрет – оно проходит, тленно.

Вначале упражнялся он в стихотворстве без важного намерения – для одной забавы и приятного препровождения праздного времени. Впоследствии излагал в стихах своих философические мысли и поместил в них многое, касающееся до управления – не для истории и предания памяти, но для оправдания поступков своих. В стихах его также содержатся увещания, советы и упреки, делаемые афинянам. Некоторые говорят, что он хотел написать законы свои стихами и приводит начало их, которое есть следующее:

Тебя, отца богов, царя всея вселенной,
Мы молим, чтоб закон, днесь нами утвержденный,
Ты славой увенчал и счастием благим.

Подобно мудрецам того времени, возлюбил он ту часть нравственной философии, которая касается политики. В физике он слишком прост и ограничен в знаниях своих, как видно из следующих стихов:

Из хладных облаков родится снег и град;
Блестяща молния удар рождает грома;
Неистовством ветров волнуются моря,
Коль волны их ничем извне не возмутятся,
Спокойнее морей ничто не может быть.

Вообще кажется, что в то время только одна Фалесова мудрость превысила умозрением обыкновенные понятия тогдашних людей; другие назывались мудрецами только по причине искусства их в политике.

Говорят, что эти мудрецы сошлись некогда в Дельфах, потом в Коринфе, куда Периандр* созвал их и угостил. Еще более важности и славы придала им пересылка треножника от одного к другому, когда каждый с великой скромностью принять его отказывался. Повествуют, что рыбаки острова Косс* закинули сеть, за что заплатили некоторые милетские жители. Вытащив ее, нашли золотой треножник, брошенный некогда в то место возвращавшеюся из Трои Еленой, которая вспомнила некое древнее прорицание. Между рыбаками и чужеземцами произошел спор о треножнике; города их приняли в том участие и дело дошло до войны. Пифия повелела отдать этот треножник мудрейшему. Сперва отослали его к Фалесу в Милет; косские граждане дарили по своей воле одному Фалесу то, что оспоривали у всех милетян вместе. Фалес, признавая Бианта умнее себя, отослал треножник к нему. Биант переслал его к другому, яко мудрейшему. Таким образом, переходя из рук в руки, вторично прислан был к Фалесу, наконец отнесен в Фивы и посвящен Аполлону Исменскому. Но Феофраст говорит, что треножник был сперва послан в Приену* к Бианту, который передал его Фалесу, и таким образом, переходя от одного к другому, возвращен был Бианту и наконец отослан в Дельфы. Это происшествие большей частью так повествуется, выключая того, что, по уверению некоторых, то был не треножник, а кубок, посланный Крезом; по другим же – чаша, оставленная Бафиклом*.

Повествуют также о частном разговоре и свидании Солона с Анахарсисом*, потом и с Фалесом. Анахарсис по прибытии своем в Афины, придя к дому Солона, постучал и сказал, что, будучи чужеземец, пришел завести с Солоном дружбу и взаимное гостеприимство. Солон отвечал: «Лучше заводить дружбу у себя дома». – «Но ты дома, у себя, – отвечал Анахарсис, – и так заключи со мною союз дружбы и гостеприимства». Солону столько понравилось остроумие его, что принял его дружелюбно и несколько времени держал в своем доме. В тогдашнее время Солон управлял общественными делами и сочинял законы. Анахарсис, узнав о том, смеялся над предприятием Солона, который надеялся удержать граждан от несправедливости и любостяжания написанными законами. «Эти писания, – говорил он, – подобны паутине; слабые и мелкие, в нее попавшиеся, увязнут; сильные и богатые удобно ее прорвут». Солон на это отвечал, что люди соблюдают установленные между ними договоры, когда в нарушении их некоторая сторона не находит пользы своей; что он так приноравливает законы к гражданам, чтобы все уверились, что полезнее исполнять законы, нежели нарушать их. Но последствия оправдали мнение Анахарсиса и обманули надежду Солона. Анахарсис, будучи некогда в Народном собрании, сказал: «Для меня удивительно, что среди греков говорят мудрые, а судят невежды».

Солон, приехав в Милет к Фалесу, удивлялся тому, что сей мудрец не хотел никогда жениться и иметь детей. В тогдашнее время Фалес на это не отвечал ничего; но по прошествии немногих дней подвел чужестранца, который сказывал, будто за десять перед тем дней выехал из Афин. Солон спрашивал у него: «Нет ли в Афинах чего нового?» Чужеземец, будучи подучен Фалесом, сказал, что нового ничего не случилось – кроме смерти одного юноши, на похоронах которого находился весь город, ибо, как говорили ему, то был сын мужа славного и добродетелями знаменитого среди граждан, давно отправившегося в чужие земли. «Несчастный отец! – сказал Солон. – Но как его называли?» – «Я слышал его имя, – продолжал незнакомец, – но оно вышло у меня из памяти; я помню лишь то, что много говорили об его мудрости и справедливости». При каждом слове страх Солона умножался; наконец, исполненный смущения, сам сказал чужестранцу свое имя и спросил его: «Не Солонов ли был сын умерший юноша?» Чужестранец подтвердил это, и Солон начал бить себя в голову, говорить и делать то, чем обыкновенно изъявляют великую горесть. Фалес, взяв его тогда за руку и усмехнувшись, сказал: «Вот, Солон, что удерживает меня от брака и от желания иметь детей, – то самое, что и тебя, твердейшего человека, повергает на землю. Но ободрись, все это выдумано, что ты теперь слышал». Это повествует, по свидетельству Гермиппа, Патек*, который уверял, что Эзопова душа жила в нем.

Впрочем, тот безрассуден и малодушен, кто не хочет приобретать нужного, опасаясь оного лишиться. Таким образом, никто бы не захотел ни славы, ни богатства, ни мудрости, потому что может все это потерять. Мы видим, что и добродетель, которой стяжание всего выше и сладостнее, от болезни и яду гибнет и теряется. Фалес, и не женившись, не сделался нимало безопаснее; разве он не хотел иметь ни друзей, ни родных, ни отечество? Однако ж говорят, что он усыновил сына сестры своей Кибисфа. Душа имеет в себе природную склонность к любви; она столь же способна чувствовать, рассуждать, помнить, как и любить. Не имея ничего собственного, она прилепляется к чужому. Посторонние и, так сказать, побочные, угождая человеку чувствительному, вкрадываются в его сердце, обладают им как бы домом или поместьем, не имеющим законных наследников, и, внушая ему любовь к себе, заставляют его о себе заботиться и страшиться их потери. Нередко видим, что люди, изъявляющие отвращение от брака и детей, бывают мучимы горестью, испускают недостойные благоразумного вопли, когда дети их рабынь или наложниц впадают в болезнь и умирают. Некоторые смертью собак и лошадей были доведены до постыдной печали и не хотели более жить, между тем как другие, потеряв достойных детей, не предали себя печали, не сделали ничего непристойного и остаток дней своих провели с твердостью и благоразумием. Не любовь, но слабость наводит бесконечные печали и страхи людям, которых рассудок не утвердил против ударов рока, которые не могут наслаждаться настоящим желаемым благом, ибо страх лишиться его в будущем всегда ввергает их в уныние, в ужас. Но не должно предавать себя нищете из страха лишиться имения; быть нечувствительным к дружбе, боясь потерять друзей своих; жить бездетным потому, что дети могут умереть. Рассудок должно противополагать

всему. Но этого уже слишком много в сочинении такого рода.

Афиняне, утомленные долгой и разорительной против мегарян войной за остров Саламин, наконец утвердили законом, чтобы никто не делал предложения и не говорил более о завоевании Саламина – под смертною казнью. Солон, не терпя сего бесславия и приметив, что молодые люди желали возобновить войны, но, боясь закона, не смели предложить о том народу, притворился сумасшедшим. Из дома его по всему городу распространился слух, что Солон лишился ума. Между тем он сочинил элегическое стихотворение и, вытвердив наизусть, дабы говорить оное перед народом, внезапно выбежал на площадь с покрытой головою*. Народ окружил его. Солон стал на камень провозвестника и воспевая произнес элегию, которая начинается так:

Сам прибыл вестником, несомый я волнами,
Из Саламина днесь прекрасный, и пред вами
Я песнь произнесу, а не простую речь.

Это стихотворение, называемое «Саламин», состоит из ста прекрасных стихов. Друзья Солона начали хвалить оное, и Писистрат в особенности увещевал и побуждал граждан слушаться слов Солоновых. Закон был уничтожен; предпринята война, и поручено вести ее Солону.

О войне сей обыкновенно рассказывают следующее: Солон отправился вместе с Писистратом к мысу Колиада*, где все афинские женщины приносили по установленным законам жертвы Деметре. Он послал в Саламин верного человека, который, притворяясь беглецом, уверил мегарян, что они могут поймать жен знаменитейших афинян, если поспешат за ним к Колиаде. Мегаряне, убежденные его словами, выслали войнов на корабле. Солон, увидя отплывавший от Саламина корабль их, велел женщинам удалиться, а молодых и еще безбородых людей нарядил в женское платье, в женские головные уборы и обувь и, спрятав кинжалы под одеждою их, велел играть и плясать на берегу морском, пока неприятели выйдут из судна и афиняне завладеют ими. Между тем как это происходило, мегаряне приблизились, пристали к берегу, вышли из судна и наперерыв спешили ловить женщин. Никто из них не спасся; все погибли; афиняне отплыли немедленно к Саламину и овладели островом.

Другие повествуют, что Солон не таким образом завладел Саламином, но что Дельфийский бог сперва дал ему следующий ответ:

Ты жертвой успокой вождей той страны,
Героев, чьи тела на берегах Асопа*
На заходящие лучи взирают солнца.

Солон отправился ночью к острову, принес жертву героям Перифему и Кихрею; потом взял пятьсот афинян, добровольно за ним последовавших и, утвердив законом предать им управление Саламина, если им завладеют, отплыл на многих рыбачьих лодках, за которыми следовала тридцативесельная триера, и пристал к Саламинской губе, обращенный к Эвбее. Находившиеся на Саламине мегаряне, получив неверные о том сведения, в беспорядке бросились у оружию и между тем отправили для осмотра неприятелей судно, которое приблизилось к афинскому и было перехвачено. Солон велел связать бывших на нем мегарян, посадил вместо них отважнейших афинян и приказал им плыть к городу, скрывая себя как можно больше. В то же время, взяв с собою других афинян, устремился сухим путем на мегарян. Сражение началось; между тем посаженные на судне успели завладеть городом. Это предание подтверждается некоторым древним обыкновением, а именно: афинское судно подвигалось к острову сперва в молчании, потом приближалось к берегу с шумом и восклицаниями. Вооруженный воин сходил на землю и с громким криком нападал у мыса Скирадия на идущих против него с твердой земли. Близ этого места сооружен Солоном храм Эниалию, ибо здесь разбил он мегарян. Оставшихся после сражения отпустил по договору.

Однако мегаряне упорствовали в намерении возвратить сей остров. Они причиняли афинянам много зла и взаимно от них претерпевали. Наконец обе стороны согласились избрать

судьями и посредниками лакедемонян. Многие говорят, что слава Гомера вспомоществовала в том случае Солону.

К описанию греческих кораблей, сделанному этим стихотворцем, прибавил он один стих, который читал перед судьями в пользу афинян.

Двенадцать вел судов Аякс из Саламина
И подле воинов стал Афины премудрой*.

Афиняне почитают все это пустословием. По их словам, Солон доказал судьям, что Филей и Эврисак, сыны Аякса*, были приняты в число граждан и предали остров сей афинянам; один из них поселился в Бравроне, другой в Мелите. От Филея получило название племя Филаидов, от которого происходит Писистрат. Он доказал еще неспрведливость требования мегарян, ссылаясь на то, что в Саламине погребают мертвых по обычаю афинян, а не по обычаю мегарян. Первые хоронят мертвого, обратив его к западу, другие обратив к востоку. Однако мегарянин Герей отвергает это тем, что и мегаряне хоронят мертвых, обращая тела их к западу. Важнейшее же доказательство против Солона то, что каждый афинянин имеет свою могилу; а у мегарян в одной могиле лежат по три и по четыре человека. Впрочем, говорят, что Солону в сем деле помогли и некоторые пифийские прорицания, в которых Саламин назван островом Ионийским*. Судьями в оном были спартанцы Критолаид, Амомфарет, Гипсихид, Анаксилай и Клеомен.

Столь счастливый успех прославил и возвеличил Солона; но более возвысился он и приобрел уважение греков своей речью о дельфийском храме. В ней доказал он, что должно подать помощь прорицалищу и не допустить кирреян* ругаться над ним; что ради дельфийского Аполлона надлежит защитить и дельфов. Убежденные Солоном амфиктионы объявили кирреянам войну, как свидетельствуют многие, среди других и Аристотель, который в сочинении своем «Список победителей на Пифийских играх» приписывает Солону это предложение. Однако не был он избран полководцем в войне этой, как, по свидетельству Гермиппа, говорит Эванф Самосский. Оратор Эсхин не говорит о том, и в записках дельфийских Алкмеон, а не Солон показан полководцем афинским.

Уже с давнего времени месть богов преследовала афинян за то, что прибегших к храму Минервы сообщников Килона* архонт Мегакл убедил предстать перед судом. Они привязали нитку к кумиру богини и держались за нее. Но едва приблизились таким образом к храму Эвменид, как нитка оборвалась сама собою; Мегакл и его товарищи схватили их под предлогом, что богиня отвергла их моления. Пойманные вне храма были закиданы каменьями; прибегшие к жертвенникам были умерщвлены при их подножии. Спаслись только те, кто прибег к женам правителей. Архонты за это злодеяние называемы были «проклятыми» и всеми были ненавидимы. Оставшиеся Килоновы сообщники со временем усилились и всегда были в раздоре с Мегакловыми. В тогдашнее время раздор достиг последней степени, и народ разделился на две части. Солон был уже в великой славе; он предстал перед народом со знаменитейшими афинянами, просил и увещевал тех, кто почитался «проклятым», предаться суду трехсот знаменитых мужей. Мирон из Флии обвинял их. Живые были осуждены и изгнаны; кости прежде умерших были вырыты и выброшены за границы Аттики.

В этих беспокойствах мегаряне напали на афинян, отняли Нисею* и возвратили Саламин. Между тем Афины были возмущаемы суеверным страхом и разными призраками. Прорицатели объявляли по принесенным жертвам, что город осквернен злодеянием и что надлежало очистить его. Призван был с Крита Эпименид из Феста*, которого полагают седьмым мудрецом те, которые не признают таковым Периандра. Этот муж почитался боголюбивым и весьма сведущим в мудрости энтузиастической и мистической. По этой причине называем был тогдашними людьми сыном нимфы Бласты и новым куретом*. По прибытии своем в Афины Эпименид соединился дружбой с Солоном, вспомоществовал ему и проложил дорогу к введению его законодательства. Он уменьшил расходы афинян при жертвоприношениях, заставил их в сетованиях по умерших быть спокойнее* и, присоединив к погребениям некоторые жертвы, отменил жестокие и варварские обыкновения, которым при таких случаях следовали женщины. Но всего важнее то, что умилостивительными жертвами, очищениями,

сооружением жертвенников очистил и осветил город, заставил граждан быть послушными справедливости и более склонными к единодушию. Говорят, что Эпименид, увидя пристань Мунихию, долго смотрел на нее и сказал предстоявшим: «Как слеп человек в отношении к будущему! Если бы афиняне предвидели зло, имеющее произойти от этого места, то сгрызли бы оное своими зубами»*. Уверяют, что Фалес предвидел нечто подобное. Он велел похоронить себя в Милете на месте самом дурном и презренном, предсказав при том, что оно будет некогда форумом милетян. Эпименид приобрел почтение и удивление афинян; они хотели оказать ему великие почести и принести много даров. Он не принял ничего, только просил у них одной ветви из священного масличного древа* и, получив ее, возвратился в свое отечество.

По укрощении Килонова мятежа и изгнании «проклятых» афиняне впали в прежние раздоры о правлении республики. Город был разделен на столько разных сторон, сколько область имела разных местоположений. Диакрии, или жители нагорные, весьма были склонные к народоправлению. Педиэи, или полевые, желали одного правления вельмож. Паралы, приморские, требуя правления среднего и смышленого, препятствовали и тем и другим господствовать. Неравенство между бедными и богатыми тогда дошло до крайности. В этом опасном состоянии города, казалось, не было другого средства укротить раздоры и восстановить спокойствие, как прибегнуть к единоначалию. Весь простой народ был должником богатых. То обрабатывая земли их, бедные платили им шестую часть произведений и оттого назывались «гектеморами» («шестидольными») и наемниками; то брали у них деньги, закладывая себя, – и заимодавцы превращали их в рабов, заставляя работать на себя, или продавали их в чужой земле. Многие принуждены были продавать детей своих. Никакой закон того не возбранял. Они должны были оставлять город, дабы избегнуть жестокости заимодавцев. Но большая часть из отважнейших из них собрались, увещевали друг друга не терпеть долее этой жестокости, но избрать верного человека в предводители, освободить всех тех, кто не мог в срок заплатить долгов, сделать новое разделение земли и преобразить совершенно правление.

Тогда благоразумнейшие из афинян, ведая, что Солон один не участвовал в проступках ни одной стороны, не будучи сообщником богатых в несправедливости, ни угнетенным нуждою, как бедные, просили его принять на себя правление и укротить раздор. Фаний Лесбосский* повествует, что Солон сам употребил обман против обеих сторон для спасения республики, обещав бедным новое разделение земли, богатым же – утверждение долгов. Однако Солон говорит, что сперва не мог решиться принять правление республики, боясь любостяжания одних, а наглости – других. Он избран был архонтом после Филомброта и вместе с тем общим примирителем и законодателем. Богатые охотно приняли его как богатого, бедные – как добродетельного. Говорят также, что прежде разнесшиеся его слова, будто равенство не производит войны, нравились богатым и бедным. Одни ожидали получить равенство достоинством и добродетелью, другие числом своим и мерою. Обе стороны были в великой надежде; предводители их приступали к Солону, побуждая его соделаться самодержавным, и советовали ему действовать с большею смелостью, имея уже всю власть в своих руках. Даже многие из неприставших ни к одной стороне, видя, сколь было трудно произвести перемену здравым рассудком и законами, склонны были к тому, чтобы вручить верховную власть одному, самому справедливому и благоразумному. Некоторые говорят, что Солон получил и от Аполлона следующие прорицания:

Прими кормило ты и прави кораблем;
Найдешь помощников в сем подвиге своем.

Более всех упрекали его друзья, что он страшился имени «тираннии», как будто эта власть добродетелью правителя не превращается в царскую, как то и случилось прежде в Эвбее и в его время – в Митилене. На первом острове Тиннонд, а в другом – Питтак* избраны были тираннами. Но ничто не поколебало Солона; он сказал друзьям своим, что тиранния есть прекрасная страна, но не имеющая выходов. Фоку писал он следующее:

Что я отчество драгое пощадил,

Отверг тираннску власть, насильство кровожадно
И славе прежней я своей не изменил?
Я не стыжусь сего! Горжуся тем стократно.
И в том уверен я, что славою своей
Превысил ныне всех в подсолнечной людей.

Из этого явствует, что и до издания законов слава его была велика. Касательно же того, что многие смеялись его отвращению от верховной власти, Солон пишет сам о себе так:

Не должно мудрым счесть Солона, ни великим.
Бесценный дар богов отрекся он принять.
Корысть богатая хоть в сеть ему попалась,
Но вытащить ее на берег он не смог.
Я лучше бы хотел, стяжав богатства многи,
В Афинах царствовать хотя б единый час.
Пусть бы от сего весь род пропал бы мой;
Пусть в поношении, мучениях и сраме
Окончил бы потом свои несчастны дни.

Вот что заставляет он говорить о себе народ и низких людей! Однако, отвергнув насильственную власть, он не употреблял в правлении средств излишне кротких, не уступал с покорностию сильным и не составлял законов в угождение избравшим его. То, что было хорошо, оставил он по-преженему, не употребив врачевания, не сделав никакой перемены, опасаясь, что, смешав все и расстроив, он не будет после в состоянии паки устроить и привесть в лучшее состояние. Он вводил те только перемены, к которым надеялся склонить сограждан словами или принудить властью, соединив, как говорит сам, правосудие силою. Когда впоследствии спросили его: «Лучшие ли данные им афинянам законы?», Солон отвечал: «Лучшие из тех, какие они могли принять».

Афиняне, как замечают некоторые из новейших, неблагопристойность и жесткость многих вещей прикрывают с тонкостью именами снисходительными и приятными; так, например, распутных женщин называют приятельницами; налоги – вспоможением; охранное войско – стражею; темницы – покоями. Это изобретено, по-видимому, Солоном, который уничтожение долгов назвал облегчением, отвержением тяжести, сисахфией*.

Первым своим постановлением он уничтожил настоящие долги и запретил впредь закладывать себя. Однако некоторые, среди которых и Андротион*, пишут, что уменьшением лихвы, а не уничтожением долгов бедные были довольны и назвали облегчением человеколюбивое это постановление – равно как и увеличение мер и возвышение монеты, ибо мина, стоившая прежде семьдесят три драхмы, оценена им во сто, так что, платя числом столько же, но ценою менее, должники получали великую выгоду, а заимодавцы ничего не теряли.

Но большинство писателей утверждает, что облегчение это было уничтожением всех долгов, что согласнее с стихотворениями Солона. Он хвалится в них тем, что «снял поставленные всюду знаки заложенных полей; оные до того находились в неволе, и он сделал их свободными; из заложенных граждан одних возвратил в отечество из страны чуждые, забывших уже природный язык свой, блуждавших по разным землям; другим, в отечестве своем преданным жестокой участи рабства, возвратил свободу».

Повествует, что случилось с ним нечто весьма неприятное при издании этого закона, когда решился он уничтожить долги, между тем как изыскивая пристойные этому речи и приличное начало, сообщил свое намерение тем из друзей своих, которым более доверял и советы которых принимал, каковы были Конон, Клиний и Гиппоник; он объявил им, что не переменит ничего в разделе земель, но намерен уничтожить долги. Они предупредили обнародование закона, заняли у богатых много денег и купили обширные поля. Когда закон был обнародован, они пользовались землями, но не возвращали денег заимодавцам, так что многие возлагали на Солона эту вину и клеветали на него, как будто бы он сам не был ими

обманут, но обманывал вместе с ними народ. Но это обвинение скоро было уничтожено, ибо первый он отпустил по закону пять талантов, которые ему были должны. Некоторые, среди них и Полизел Родосский, полагают долг этот в пятнадцати талантах. Друзей его с того времени называли хреокопидами*.

Однако постановления его ни одной из сторон не были приятны. Богатых огорчил он уничтожением долгов; бедных еще более тем, что не разделил полей по их ожиданию и, подобно Ликургу, совершенно не уравнил состояний. Но сей законодатель, будучи одиннадцатым после Геракла и царствовав несколько лет в Лакедемоне, имел великую важность и силу и многих друзей; все это содействовало ему при введении того, что он почитал полезным; при всем том, употребив более насильственные меры, нежели убеждение, с потерею одного глаза совершил величайшее, к спасению республики и к единодушию способнейшее дело – то, что среди граждан не было ни богатых ни бедных. Но Солон не мог этого сделать; будучи не важного рода и посредственного состояния, не произвел ничего ниже власти своей, которая основанием своим имела лишь мудрость его и доверенность к нему сограждан. Он сам говорит, что огорчил их, ибо они другого от него ожидали, как видно из следующих его стихов:

Сколь радостно тогда взирали на меня!
Теперь, как на врага, вращают взоры гневны!
Но кто бы из других, такую власть, как я,
Имев в руках своих, не возмутил народа
И тучного млека не выжал из него?

Однако афиняне вскоре познали всю пользу его постановлений, оставили взаимные неудовольствия, принесли жертву общественную, которую называли облегчением, или сисахфией, и Солона признали исправителем правления и законодателем своим, дали ему силу неограниченную, препоручили не часть правления, но все власти, Народное собрание, суды, Совет. Он мог определять имение каждого из составлявших оные, число всех, продолжение их должности, уничтожать и утверждать по своему благоусмотрению все прежде принятые постановления.

Во-первых, он уничтожил все законы Драконта*, кроме тех, которые касались убийства, по причине великости и жестокости наказаний, ибо за все проступки назначено было почти одно наказание – смерть; так что и уличаемые в праздности были умерщвляемы и укравшие травы или каких-либо плодов были наказываемы одинаковым образом с человекоубийцами и святотатцами. По этой причине справедливо сказал впоследствии оратор Демад*, что законы Драконта «писаны были кровью, не чернилами». Когда спросили Драконта, для чего определил он смертную казнь за большую часть преступлений, он отвечал: «Для того, что малые преступления я почитал достойными сего наказания; для важных же не нашел большего».

Во-вторых, Солон, желая богатым по-прежнему предоставить все власти и сделать смешанным правление, в котором народ прежде не участвовал, учинил оценку имению всех граждан. Получавшие пятьсот мер сухих и жидких произведений, были поставлены им на первую степень и названы пентакосиомедимнами*. Вторую степень составляли те, кто получал триста мер и мог содержать коня для войны – эти называемы были «принадлежащими к всадникам». Третьей степени граждане назывались «зевгитами» и получали двести мер доходу. Все прочие названы были «фетами», то есть наемники или ремесленники; они не имели никакой власти и участвовали в правлении только подачей голосов в Собрании и в судопроизводстве – что вначале почитали ничего не значащим, но впоследствии оказалось чрезвычайно важным, ибо большей частью тяжбы переходили на суд народа. Всякое дело, которое решено было в судах, позволялось переносить к нему. Говорят, что Солон написал законы несколько неясно и двусмысленно и тем возвысил важность судилищ. Так как распри не могли быть решены законами, то спорящие стороны имели нужду в судьях и при всяком недоразумении должны были относиться к ним, ибо они некоторым образом обладали законами. Солон хвалится введенным равенством, говоря в стихах своих:

Народу дал я столько власти,

Довольно сколько для него.
Ему не придал лишней части;
Не отнял силы ничего.
И тех, кто знатностью блистали
И всех богатством превышали,
Я от беды предохранил.
Покрыл тех и других щитами;
Друг друга попирать ногами
И угнетать я возбранил.

Дабы еще более подкрепить слабость народа, позволил он каждому гражданину вступаться за того, кому наносили обиду. Когда кто был ранен, бит или поруган, то другой, если мог или хотел, преследовал судом и доносил на обидчика. Законодатель таким образом благоразумно приучал граждан к взаимному соучастию и состраданию, так как бы они были части одного тела. С этим законом согласны и слова Солона. Его спрашивали: «Какой народ бывает лучше управляем?» – «Тот, – отвечал Солон, – в котором необиженные, равно как и обиженные, преследуют и наказывают обидчика».

Солон составил совет Ареопага* из числа тех, кто прежде был архонтом; он сам в нем участвовал, будучи прежде возведен на это достоинство. Приметя в народе надменность и гордость по причине уничтожения долгов, составил он другой совет, избрав из каждого колена, которых было четыре*, по сто человек, и определил, чтобы никакое дело не было предложено в Народном собрании без предварительного рассмотрения в этом совете. Верховному же совету предоставил надзор надо всем и охранение законов – в той надежде, что республика двумя советами, как двумя надежными якорями, утвержденная, менее будет колеблема и народ более успокоится. Большинство согласны в том, что Ареопаг составлен Солоном; их мнение подтверждается еще тем, что Драконт не говорит об этом и нигде о них не упоминает, а всегда обращается к эфетам* в делах уголовных. Но в тринадцатой таблице Солона, в восьмом законе сказано: «Объявленным бесчестными до управления Солонова будет возвращена честь, кроме тех, кто Ареопагом, эфетами или царями в пританее осужден за смертоубийство или за искание неограниченной власти и был в изгнании при постановлении этого закона». Это доказывает, что Ареопаг существовал еще до власти и законодательства Солонова, ибо кто мог быть осужден Ареопагом прежде Солона, если Солон первый дал сему совету право судить? Может быть, подлинник неясен или недостаточен, и мысль закона такова: изобличенные в тех преступлениях, которые судят ареопагиты, эфеты и пританы, при постановлении этого закона должны оставаться бесчестными, а другим возвратится честь. Такова была и мысль Солонова.

Из других его законов весьма странен и собственно ему принадлежит тот, который объявляет бесчестным гражданина, не пристающего ни к которой стороне во время междоусобного мятежа. По-видимому, хочет он, чтобы гражданин не был равнодушен и нечувствителен к общим несчастиям и, приведши в безопасность свое состояние, не гордился тем, что не участвует в бедствиях и страданиях отечества. Он заставляет его предать себя той стороне, которая поступает справедливее и мыслит полезнее, подвергаться опасностям вместе с ней и помогать ей, не ожидая спокойно, которая из двух одержит победу*. Но весьма безрассуден и посмеяния достоин, по моему мнению, закон, позволяющий единственной богатой наследнице, если муж ее не способен к браку, иметь связь с ближайшим родственником своего мужа. Некоторые говорят, защищая закон этот, что он уставлен против тех, кто, не будучи способен к браку, из корыстолюбия женится на богатых наследницах и по праву закона* делает насилие природе. Такие, зная, что жены их могут иметь связь с кем хотят, или отвергнут брак, или будут терпеть, к стыду своему, поведение жен своих, принимая достойное наказание за свое любостяжание. По мнению защитников этого закона, хорошо в нем и то, что жена может выбирать только из числа мужниных родственников, дабы прижитые дети были, по крайней мере, одного рода и одной с мужем крови.

Сообразно этому молодых супругов запирают одних; они едят вместе квитовое яблоко*. Муж такой наследницы должен иметь с женой свидание по крайней мере три раза в месяц. Хотя бы от того не было детей, но внимание и благосклонность, мужем целомудренной жене

оказываемые, всегда служат к погашению вседневно случающихся неудовольствий и препятствуют несогласию произвесть совершенное одного к другому отвращение.

Солон в других браках уничтожил приданое и постановил, чтобы невеста приносила мужу три платья и небольшое недвижимое имение. Он не хотел, чтобы брак заключаем был из корысти или покупаем, но чтобы целью этого союза были произведение детей, приятность и взаимная любовь.

Дионисий, тиранн сиракузский, отвечал матери своей, которая просила выдать ее замуж за одного из граждан, что он мог испровергнуть законы республики для получения верховной власти, но не в состоянии нарушить законов природы, сочетая браком неравных летами. В самом деле, такое злоупотребление не должно быть терпимо в обществе; не должно оставлять без внимания этих неприличных и никакой приятности не имеющих соединений, в которых нет любви и цели брачной. Благоразумный правитель или законодатель скажет старику, который хочет жениться на молодой, то же самое, что в трагедии сказано Филоктету: «Тебе ль, несчастный, в брак вступить!»* Равным образом, видя и молодого человека в покоях богатой старухи, подобно самцам куропаток, жиреющего от любви, заставить его перейти к молодой девице и жениться на ней. Но об этом довольно.

Хвалят также закон Солона, запрещающий говорить дурно об умерших. По благочестию, мертвые должны быть для нас нечто священное; справедливость требует щадить тех, которые более не существуют, а политика должна стараться, чтобы вражда не была вечна. Запретил он бранить и живых – в храмах, в судах, в советах, на позорищах – под страхом наказания платить три драхмы обиженному и две в народную казну. В самом деле, не уметь ни в каком случае умерять гнев свой есть свойство человека необразованного и необузданного; владеть собой везде – трудно и многим невозможно. Законодателю надлежит предписывать законом лишь то, что возможно, если хочет наказывать малое число с пользой, а не многих без пользы.

Солоновы законы о завещаниях также заслужили одобрение. До него не позволялось завещать ничего чужому; имение и дом умирающего оставались всегда в его роде. Солон, позволив бездетным отказывать свое имение кому хотели, предпочел таким образом дружбу – родству, благосклонность – необходимости и соделал имение в самом деле собственностью. Однако эти завещания не были совершенно неограниченны и произвольны. Недействительными почитались те, которые были сделаны в болезни, от принятия отравы, в оковах, по принуждению, по убеждению женщины. Солон благоразумно полагал, что обольщение от принуждения ничем не различествует, ибо обман и необходимость, боль и наслаждение равно способны лишить человека рассудка.

Он постановил еще законы касательно выездов женщин, сетования по умершим и празднеств их и тем укротил беспорядки и своевольство. Запретил им при выезде из города брать с собою более трех платьев, иметь кушанье или питье, которое бы стоило более обола, кошницу больше локтя; выезжать ночью иначе как в колеснице, при свете факела. Окровавлять ногтями лицо, рыдать притворно, издавать вопли при чужих похоронах совсем запретил. Не позволил он приносить быка в жертву усопшим, класть с умершим более трех платьев, ходить к чужим гробам* по совершении погребения – что все и нашими законами запрещается. Сверх того, по нашим постановлениям, гинекономы, или имеющие надзор над поведением женщин, налагают пеню на самих мужчин, которые при таких случаях предали себя скорби, женоподобной и мужу неприличной.

Солон, видя, что город наполнен людьми, стекающимися отовсюду в Аттику по причине безопасной и спокойной жизни, что большая часть страны этой бесплодна, а производящие морскую торговлю ничего не привозили к тем, кто взаимно не мог дать им ничего, заставил граждан приняться за ремесла. Он издал закон, по которому сын, никакому ремеслу от отца не наученный, не был обязан кормить его в старости.

Ликург, живший в городе, очищенном от толпы иностранцев, обладавший для многочисленного народа пространною землею, могущей содержать, по словам Еврипида, вдвое более того жителей, Ликург, видевший великое множество илотов, рассеянных по Лаконии, которых надлежало не оставлять в бездействии, но беспрестанной работой уничижать и угнетать, поступил хорошо, освободив граждан от многотрудных и подлых работ и заставив их заниматься только оружием, этому искусству одному научаться и упражняться только в нем. Но

Солон, который более приноровлял законы к обстоятельствам, нежели обстоятельства к законам, ведая, что земля с трудом производила столько, сколько нужно было для прокормления обрабатывающих ее, и нимало не была удобна содержать многочисленный народ, праздный и ленивый, придал важность ремеслам и препоручил Ареопагу надзирать, какими средствами каждый гражданин доставлял себе пропитание, и наказывать праздных*.

Но несколько уже строг закон, который позволяет детям, рожденным от любовниц, не кормить отцов своих, как свидетельствует Гераклид Понтийский. Солон думал, что тот, кто в браке презирает благопристойность и имеет сообщение с женщиной для одного наслаждения, а не для того, чтобы прижить детей, уже награжден и не может ничего требовать от детей своих, для которых самое рождение соделал он поношением.

Вообще Солоновы законы, касающиеся до женщин, весьма странны. Он позволил умерщвлять прелюбодея* тому, кто его поймает; но похитивший и изнасиловавший женщину свободного состояния повинен был заплатить пени только сто драхм; если служил посредником другому – двадцать драхм. Это не касалось женщин, которые явно продают себя, ибо они сами приходят к платящим им. Он запретил продавать дочерей и сестер своих*, исключая пойманных в преступлении до замужества. Но один и тот же проступок наказывать то слишком строго и сурово, то легко и кротко и как бы шутя определять какую-нибудь денежную пеню – безрассудно. Может быть, деньги были тогда редки в Афинах и трудность находить их делала наказания эти тяжкими. Это видно из того, что в постановлении о ценах жертв баран и медимн пшеницы оценены им в одну драхму; победителю на Истмийских играх определил он сто драхм награды; на Олимпийских – пятьсот*. Приносящему волка давали пять драхм; волчонка – одну. По свидетельству Деметрия Фалерского, первая была цена быку, вторая – барану. Цены чрезвычайных и великих жертвоприношений, означенные в одиннадцатой таблице, были гораздо более, но и те в сравнении с нынешними жертвоприношениями весьма дешевы. Впрочем, афиняне издревле вели войну с волками, населяя землю, более способную к скотоводству, нежели к землепашеству.

Некоторые уверяют, что четыре колена афинских сперва получили имена свои не от сыновей Иона*, но от рода жизни, который они избрали. Вступившие в военное состояние названы гоплитами, то есть ратниками; посвятившие себя искуствам – эргадами, то есть рабочими; гелеонтами названы земледельцы, а эгикореями – занимавшиеся скотоводством.

Поскольку в Аттике нет ни рек, постоянно текущих*, ни довольно озер или источников, но большей частью довольствуются водой из вырытых кладезей, то Солон позволил брать воду из колодцев общественных всем тем, кто жил в четырех стадиях от оных; отдаленнейшим же предписал искать воды самим у себя; если же, вырыв яму в десять саженей глубины, воды не находили, то позволялось им брать у соседа воды дважды в день по одному сосуду, мерою в шесть кружек. Намерение его было то, чтобы пособлять нужде, а не питать леность.

Весьма благоразумно определил он расстояние, которое должно наблюдать при посадке деревьев. Надлежало садить их не ближе пяти футов от соседнего поля; но оливы и фиги – не ближе девяти: корни этих деревьев простираются далее и близость их не всегда безвредна для других деревьев, ибо они отнимают у них соки и испарения их для некоторых опасны. Он велел, чтобы вырываемые ямы и рвы отстояли от чужого поля на столько, сколько были глубоки; чтобы пчел заводили не менее трехсот футов расстоянием от того, который завел их прежде.

Изо всех произведений Аттики позволил он продавать иностранным только масло; все другие произведения вывозить запретил. Архонт был обязан предавать проклятию тех, кто вывозил их, или самому платить в народную казну сто драхм. Закон этот содержится в первой таблице. Не невероятно и то, что в прежние времена, как говорят, запрещено было вывозить из Аттики смоквы. По этой причине показатель или доносчик на тех, кто вывозил оную, назван сикофантейном*. Между прочим Солон написал закон о вреде, производимом четвероногими. Укусившую кого-нибудь собаку повелевает выдавать ему привязанною к шесту в четыре локтя длиной*. Полезная выдумка для предохранения от угрызений собак!

Закон его касательно принятия иностранных в число граждан приводит в недоумение. Он дает право гражданства только тем, кто навсегда изгнан из своего отечества и тем, кто переселяется всем домом в Афины, дабы там жить ремеслом своим. Говорят, что такой закон

издал он не столько для отвращения чужеземцев, сколько для привлечения их в Афины, подавая им несомненную надежду в принятии их в гражданство и почитая верными гражданами тех, кто потерял отечество свое по необходимости или оставил его по своей воле.

Собственно к Солону относится учреждение общественного стола, что называет он «параситейн»*. Не позволяет он часто ходить к оному, однако наказывает того, кто отказывается быть за ним в свою очередь. Первое почитал он признаком невоздержания, второе – пренебрежением общества.

Солон установил, чтобы законы его имели силу в течение ста лет. Они написаны были на деревянных таблицах, называемых аксонами, вставленных в продолговатые рамы, в которых те вертелись. И доныне хранятся еще малые остатки в пританее. По свидетельству Аристотеля назывались они кирбами. Кратин*, комический стихотворец, говорит об этом:

Клянуся в том Солоном и Драконтом,
Чьих кирбами теперь варят у нас горох.

Некоторые, однако ж, говорят, что кирбами называются лишь те, которые содержат уставы о священных делах и жертвоприношениях, и что другие известны под именем аксонов. Совет присягал всем обществом утвердить Солоновы законы. Но из фесмофетов*, или хранителей уставов, каждый особо присягал на площади у камня, обещаясь посвятить в Дельфах кумир свой, вылитый из золота и равной с собою тяжести, если преступит какой-нибудь из этих законов.

Солон, приметя неравенство месяцев, видя, что движение луны не сходно ни с восхождением, ни с захождением солнца, но что часто в один и тот же день достигает и опереживает его, определил называть такой день «старая и новая луна». Часть дня, до соединения луны с солнцем, принадлежала истекающему месяцу; остальная же – начинающемуся. Первый он, по-видимому, понял истинный смысл стиха Гомера:

В тот день, когда один месяц кончится и начинается другой*.

Следующий день назвал он новолунием. После двадцатого числа месяца числа назывались убывающими, так что не прибавляя к двадцати, но вычитая, подобно уменьшающемуся свету луны, считали до тридцатого числа*.

По обнародовании этих законов многие приходили беспрестанно к Солону, то хвалили, то порицали их, то советовали прибавить к ним или убавить то, что приходило им в голову. Большая часть спрашивали обо всем, требовали, чтобы он научил их и объяснил, в каком смысле должно принять такой-то закон, с каким намерением издал его. Солон, ведая, что не исполнить их требования было бы непристойно, а исполнить опасно, для избежания всех недоумений и избавления себя от неудовольствия и жалоб своих сограждан, ибо, как сам говорит:

В делах великих всем не можно угодить, –

прикрыв свое путешествие видом морской торговли, испросил у афинян позволения отлучиться на десять лет и отплыл из Афин. Он надеялся, что за это время афиняне могут привыкнуть к его законам*.

Сначала отправился он в Египет и прибыл, как сам говорит:

При устье Ниловом, близ брега Канобидова*,

где несколько времени провел он в ученом обществе Псенофиса из Гелиополя и Сонхиса из Саиса*, мудрейших из жрецов. От них, по уверению Платона, услышал он повесть об Атлантиде*, которую предпринял передать грекам в стихах своих.

Потом отправился он на Кипр, где приобрел любовь Филокипра, одного их тамошних царей, который обладал небольшим городом, основанным Демофонтом, сыном Тесея, на берегу

реки Клария, в местоположении крепком, но неудобном и бесплодном. Солон советовал царю перевести столицу свою на приятную долину, лежащую под городом, и построить город обширнее и лучше. Он сам присутствовал и помогал при построении нового города, устроил его прекрасно и сделал способным к безопасной и спокойной жизни. Вскоре стеклось к Филокипру великое множество народа, так что другие цари завидовали ему. Филокипр переименовал сей город, называвшийся прежде Эпеей («Высоким»), Солами, воздавая всю честь Солону, который упоминает о населении города в стихах своих и, приветствовав Филокипра, говорит:

Да в Солах царствуешь на многие ты годы;
Да будут счастливы твои тобой народы.
Богиня ж радостей, Киприда, мать любви,
На быстром корабле, к брегам моей земли
Да в безопасности меня сопровождает;
Да счастием дарит, успехами венчает
За град, кой основал и посвятил я ей.

Касательно свидания его с Крезом: некоторые опровергают оное как вымышленное, основываясь на летосчислении. Но я не должен пропустить повести знаменитой, многими утвержденной и, что всего важнее, достойной нравов, высокости духа и мудрости Солона по причине несходства с хронологическими таблицами, которые и ныне многие стараются исправить, но не могут согласить встречающихся в них противоречий.

Повествуют, что Солон прибыл в Сарды, куда призван был Крезом. С ним случилось то же самое, что и с человеком, рожденным посреди твердой земли, который хотел видеть море; всякую реку, ему попадавшуюся, почитал он морем. Так Солон, придя ко двору и видя многих вельмож в богатом убранстве, идущих с важностью среди толпы тех, кто их провожал и охранял, каждого из них принимал за Креза до тех пор, пока приведен был к самому Крезу. Этот государь, желая показать Солону зрелище самое великолепное и привлекательное, надел все то, что у него было прекраснее, превосходнее и удивительнее, и явился в драгоценных камнях, блистательных одеждах, золотых уборах. Солон предстал, но не был поражен этим зрелищем; ничего не сказал такого, чего ожидал Крез. Здравомыслящие могли заметить, что он явно презирал его безрассудность и суетность. Крез велел открыть ему свои сокровища и показать великолепные уборы и пышность двора своего, хотя в том не было нужды; довольно было Солону его одного, чтобы иметь понятие о его образе мыслей. Солон, обозрев все, был приведен опять к Крезу, который спросил у него, видал ли он человека благополучнее его. Солон отвечал, что видел Телла, согражданина своего, и рассказал Крезу, что сей Телл был человек добродетельный и оставил по себе хороших детей; что во всю жизнь свою не имел ни в чем недостатка и умер со славой, сражаясь за отечество. Солон казался уже Крезу человеком странным и грубым за то, что блаженство жизни не измерял золотом и серебром и жизнь и смерть простого и неизвестного человека предпочитал громадной власти и могуществу. Однако еще спросил его, знает ли другого, после Телла, благополучнее его. Солон опять отвечал, что знает Клеобиса и Битона, известных по беспримерной своей друг к другу и к матери любви, ибо некогда в праздничный день, как замедлили привести ожидаемых волов, сами впряглись в колесницу и везли к храму Геры мать свою, веселящуюся и благословляемую гражданами; они принесли жертву, повеселились на пиршестве, легли спать и более не пробуждались – умерли спокойною и беспечальной смертью среди великой славы. «А меня, – сказал тогда Крез с гневом, – меня не полагаешь в число благополучных?» Солон, не желая льстить царю, ни возбуждать его более к гневу, сказал: «Царь Лидийский! Бог наделил нас, греков, умеренно всеми благами своими; он дал нам и некоторую мудрость, смелую и простую, не царскую и блистательную, которая, показывая нам, сколь многоразличным переменам подвержена жизнь наша, не допускает нас гордиться настоящими благами, ни удивляться благоденствию, которое может со временем разрушиться. Неведомое будущее бывает сопровождаемо многими и великими переменами. Мы почитаем благополучным только того, кому бог с жизнью продлил благоденствие. Прославлять блаженным человека еще живого и всем ударам судьбы

подверженного столько же ненадежно и сомнительно, как прославлять и увенчевать того, который еще борется». Сказав сие, Солон удалился; он оскорбил, но не исправил Креза.

Тогда находился в Сардах баснотворец Эзоп, призванный ко двору Крезом и много им почитаемый. Ему неприятно было, что Солону там не оказали никакой ласки и почести. Он сказал Солону в наставление: «Друг мой! Или совсем не говорить с царями, или говорить им то, что для них приятно». «Скажи лучше – отвечал Солон, – или совсем не говорить с ними, или говорить то, что для них полезно».

Таким образом, Крез тогда пренебрег Солоном; но впоследствии, дав сражение и будучи побежден Киром, потерял столицу свою, был пойман живой и определен на сожжение; костер был уже готов; Крез, связанный, взведен был на него в присутствии всех персов и самого Кира. Тогда, собрав все силы свои, трижды восклиннул он громким голосом: «О Солон!» Кир, удивясь сему, велел у него спросить, какой человек или бог Солон сей, которого одного в крайнем бедствии своем призывает. Крез, ничего не скрывая, сказал: «Солон есть один из греческих мудрецов; я призвал его к себе не для того, чтобы я желал его послушать и научиться от него чему-либо полезному; но дабы он был зрителем моего богатства и возвратился в свое отечество, будучи свидетелем блаженства, которого потеря более приносит горести, нежели обладание приносило утешения. Все блага его были мечтательны, существовали только на словах; превратность же ввергает меня в ужасные бедствия, в страдания нестерпимы. Именно это предугадывая тогда, оный муж по прежним моим поступкам напоминал мне, дабы взирал я на конец дней моих и не гордился бы, полагаясь дерзостно на то, что не имело никакого основания». Когда слова эти были пересказаны Киру, то сей государь, будучи разумнее Креза и видя из того, что пред глазами его происходило, всю силу слов Солоновых, не только освободил Креза, но во всю жизнь свою оказывал ему почтение. Солон приобрел себе тем сугубую славу, что одною речью одного царя спас, а другого вразумил.

Между тем в отсутствие Солона афиняне были в раздоре. Ликург был начальником полевых жителей; Мегакл, сын Алкмеона, – приморских, а Писистрат – нагорных, к которым присоединились бедные, жившие работой и ненавидевшие богатых. Республика, правда, управлялась еще Солоновыми законами, но всякая сторона желала новых перемен и была склонна к другому образу правления – не потому, чтобы хотели равенства в правах, но надеясь этой переменой совершенно одержать верх над своими противниками. Дела находились в таковом положении, когда Солон возвратился в Афины. Все граждане уважали и почитали его; но, будучи уже стар, не имел он более ни живости, ни силы действовать и говорить в Собрании. Он имел частые свидания с начальниками этих трех сторон, старался прекратить их раздоры и примирить их, тем более что Писистрат, по-видимому, охотно слушал его. Этот гражданин имел нечто привлекательное и сладостное в своих разговорах; бедным оказывал помощь, во вражде был умерен и кроток. Он умел так хорошо показывать и те добрые свойства, в которых природа ему отказала, что все полагали их в нем более, нежели в тех, кто их действительно имел. Народ почитал его человеком благоразумным и скромным, всего более любящим справедливость, ненавидящим новые перемены и все то, что стремилось к испровержению настоящего состояния республики. Этим обманывал он только народ; но Солон вскоре открыл истинные его свойства и первый узнал его замыслы. Однако не возненавидел его, старался его укротить и исправить, говаривал ему самому и другим, что когда бы можно было истребить из сердца его любоначалие и исцелить страсть к неограниченной власти, то не было человека способнее его к добродетели, ни лучшего в Афинах гражданина.

В это время Феспид* начал преобразовывать трагедию и новостию изобретения привлекал народ. Тогда еще не назначали награды стихотворцам, отличившимся в этом роде сочинения. Солон, будучи от природы любопытен и охотник учиться, и в старости своей предавшись беспечности и забавам и утешая себя пиршествами и музыкою, захотел быть зрителем Феспида, который представлял сам, по обыкновению древних. По окончании представления Солон спросил у него: «Не стыдно ли тебе так лгать в присутствии такого множества людей?» Феспид отвечал, что нет ничего дурного в том, чтобы говорить и действовать таким образом для забавы. «Да! – сказал Солон, ударив сильно в землю палкою. – Но мы, похваляя и уважая сию, вскоре найдем ее в условиях и в делах наших».

Вскоре Писистрат, покрыв сам себя ранами, приехал на форум в колеснице и возбудил

гнев народа, представляя ему, что это претерпевает от своих неприятелей за любовь свою к республике. Многие при этом зрелище досадовали и кричали. Солон, приблизившись к Писистрату, сказал: «Сын Гиппократа, ты худо представляешь гомеровского Одиссея*; ты окровавляешь себя, дабы обмануть сограждан своих той хитростью, какою обманул он неприятелей». Многие хотели уже защитить Писистрата. Народ собрался на площади. Аристон предлагал дать Писистрату пятьдесят палиценосцев для его безопасности. Солон, восстав, противился сему предложению; он много говорил подобного тому, что в стихах своих пишет, как-то:

Прельщают вас слова приятны и прелестны;
Вам истинны дела нимало не известны.
Лисице хитростью подобен всяк из вас;
Для пользы общей все вы без ума, без глаз.

Приметя, что бедные шумели и были благосклонны к Писистрату, богатые робели и предавались бегству, Солон оставил Собрание, сказав, что он разумнее одних и мужественнее других: разумнее не знающих того, что происходит; мужественнее знающих и страшащихся противиться самовластию.

Народ утвердил предложение Аристона и не заботился уже о числе писистратовых палиценосцев, но позволил ему набирать и содержать их столько, сколько хотел*, до тех пор пока он занял крепость. Как скоро это случилось, город был возмущен; Мегакл и другие алкемеониды убежали. Солон был уже весьма стар и не имел помощников; однако, придя на площадь, говорил гражданам; то упрекал их в робости и безрассудстве, то побуждал и ободрял их не предавать вольности. При этом сказал он эти столь известные слова, что укротить тираннию при самом начале ее было им легче, но теперь несравненно блистательнее и славнее низложить и искоренить ее, когда она уже возросла и укрепилась. Однако страх овладел ими, они не внимали словам его. Солон, придя домой, взял свои оружия, вынес их на улицу перед своим домом, сказав при том: «Я защищал отечество и законы столько, сколько было возможно!» После того пребыл он спокойным. Друзья его советовали удалиться из отечества; он не слушался их, но писал стихи, в которых поносил афинян:

Вы страждете теперь за вашу подлость, робость;
Но не вините в том вы праведных богов.
Властителям своим вы сами дали замок,
За то вы преданы и рабству, и стыду

Многие говорили ему, что Писистрат его умертвит за столь дерзкие речи, и спрашивали его, на что надеясь, он говорит так смело. «На старость», – отвечал Солон.

Однако Писистрат, покорив себе все, оказывал Солону столько уважения, почестей и благосклонности, что привлек его к себе. Солон сделался его советником и одобрял многие из его деяний. Писистрат сохранил все законы Солоновы, исполнял их сам и заставлял своих друзей исполнять их. Имея уже в руках своих неограниченную власть, был он обвиняем пред Ареопагом в смертоубийстве, предстал скромно для своего оправдания; но истец отказался от своего доноса.

Писистрат издал сам некоторые законы, среди прочих и тот, чтобы изувеченные на войне содержимы были обществом. Гераклид пишет, что он подражал в том Солону, который сделал это самое постановление в пользу изувеченного Ферсиппа. Феофраст уверяет, что закон против праздности издан также Писистратом, который этим произвел то, что город стал спокойнее, а поля лучше были возделываемы.

Солон предпринял важный труд – написать слышанную им от саисских мудрецов об Атлантиде повесть или басню, которая была занимательна для афинян*, но отстав от своего намерения не столько по другим занятиям, как говорит Платон, сколько от старости, устрашившись великости сего дела. Что имел он много свободного времени, о том свидетельствуют разные стихи его, как-то:

Состареваяся, я многому учусь –

и следующие:

Киприда, Музы, Вакх владеют ныне мною;
Они для смертных всех суть радостей виною.

Впоследствии Платон, завладев этим предметом, как плодоносным, но необработанным полем, принадлежащим ему по родству*, желая соорудить и украсить Атлантиду*, воздвигнул величественный вход, соделал ограду и дворы великолепные, каких ни одно другое сочинение, басня или стихотворение никогда не имели; но он начал поздно и до совершения сего дела окончил дни свои. Чем более услаждает читателя писанное, тем более огорчает его то, чего недостает в нем. Как афиняне храм Зевса Олимпийского, так Платонова мудрость сочинение об Атлантиде, одно из прекрасных его творений, оставила недоконченным.

Солон умер, как повествует Гераклид Понтийский, довольно долго после похищения Писистратом верховной власти; по свидетельству же Фания, через два года после того Писистрат начал править во время архонства Комия, а Солон умер при Гегестрате*, который начальствовал после Комия. Касательно того, будто прах его был рассеян по Саламину, то это происшествие по странности своей недостоверно и баснословно; однако повествуют о том многие из знаменитейших писателей, среди прочих и философ Аристотель.

Попликола

Таков был Солон! Мы противопоставим ему Попликолу, которому название это дано было после римским народом из почтения; прежде назывался Публием Валерием. Он происходил от того древнего Валерия*, который более всех был виной тому, что римляне и сабиняне, примирившись, из неприятелей составили один народ, ибо он убедил царей сойтись и приступить к мирному договору. Публий Валерий, происходя от такого предка, как говорят, еще в то время, когда Рим управлялся царями, был знаменит богатством своим и красноречием. Смело и справедливо употреблял одно в защиту правого дела; щедро и человеколюбиво другим оказывал помощь нуждающимся. Легко можно было предвидеть, что при перемене правления он будет первым человеком в республике.

Тарквиний Гордый, достигший престола средствами беззаконными и нечестивыми и употреблявший власть свою не так, как царь*, но как надменный и насильственный властелин, был уже несносен и ненавистен народу. Бедственная кончина Лукреции, которая умертвила сама себя*, будучи изнасилована сыном Тарквиния, подала народу повод к возмущению. Луций Брут, приступая к произведению перемены в правлении, прежде всех обратился к Валерию и при ревностнейшей его помощи изгнал Тарквиниев. Казалось сначала, что народ вместо царя изберет одного полководца. По этой причине Валерий пребывал спокоен и уступал Бруту, думая, что было приличнее начальствовать ему как главному виновнику народоправления.

Но имя единоначалия было неприятно народу, которому разделяемая власть казалась сноснее. Он предлагал и требовал избрать двух начальников. Валерий надеялся быть избранным вместе с Брутом, но обманулся. Против воли Брута избран был вместо Валерия Тарквиний Коллатин*, муж Лукреции, не превышавший Валерия добродетелями; но вельможи, боясь царей, извне употреблявших все средства и старавшихся успокоить народ, желали иметь начальником своим самого непримиримого и жестокого врага их.

Валерий, оскорбленный подозрением, будто не во всем действует для пользы отечества, ибо не претерпел лично от сената никакого зла, не ходил более в Народное собрание и совершенно оставил дела общественные. Такой поступок заставил многих бояться, чтобы Валерий не принял стороны царей и не испровергнул республики, еще колеблющейся. Брут подозревал и некоторых других; он определил, чтобы сенат дал присягу при жертвоприношении, и назначил на то день. Тогда Валерий с веселым лицом вышел на площадь и первый обязался присягой: не принимать никакого от Тарквиния предложения, не уступать

ему ни в чем, но всеми силами защищать свободу. Это было весьма приятно сенату и ободрило консулов*. Вскоре утвердил он делами присягу свою.

От Тарквиния прибыли посланники с письмами, льстившими народу, и с предложениями кроткими, которыми надеялись привлечь его на свою сторону, как бы царь оставил уже гордость и обнаруживал умеренные и справедливые требования. Консулы думали, что должно представить их народу, но Валерий не допустил их. Он воспротивился тому, дабы не подать повода и начала к новым переменам людям, отягощенным бедностью и страшившимся войны более самого тираннства.

После этого прибыли другие посланники с объявлением, что Тарквиний отрекается от царства и не намерен более продолжать войны; но только требует имения своего и своих друзей и родственников, дабы можно было содержать себя в изгнании. Многие смягчались; Коллатин более всех был на то склонен; но Брут, человек непреклонный и жестокий во гневе своем, выбежал на площадь*, называл товарища своего предателем; говорил, что он подает помощь к продолжению войны и к достижению верховной власти тем самым, которым в самом деле не надлежало бы давать ничего на пропитание в изгнании их. Между тем собирались граждане; Гай Минуций, лицо частное, первый начал говорить и увещевал Брута и римлян принять меры, чтобы это имение осталось у них и более содействовало им против тираннов, нежели тираннам против них. Однако римляне думали, что, пользуясь свободою, за которую воевали, не должно было отвергать мира для имения, но вместе с Тарквинием выбросить из города и принадлежащее ему имущество.

Впрочем, Тарквиний менее всего помышлял о нем. Требованием этим он хотел испытать народ и в то самое время приготовить измену. Это-то и производили посланники, которые как бы для сего только имения оставались в городе под предлогом, что продавали, берегли или отсылали его до тех пор, пока успели развратить первейшие в Риме дома Аквилиев и Вителлиев. Из первого трое, из второго двое были членами сената. Все они по матери были племянниками консула Коллатина. Вителлии были связаны ближайшим родством с Брутом, который был женат на их сестре и имел от нее многих детей*. Двух взрослых из них, с которыми Вителлии сверх родства соединены были дружбой, привлекли они на свою сторону и убедили быть участниками в измене; они подавали им надежду соединиться тесными узами с могущественным родом Тарквиниев, заставляли простирать виды свои на самое царство и внушали им отвращение к жестокости и глупости отца их. Они называли жестокостью неумолимую строгость его к злым; что касается до глупости, долгое время он употреблял ее притворно, как щит для безопасности своей от тираннов; однако впоследствии не избавился от этого прозвания*.

Когда юноши на все согласились и вступили в переговоры с Аквилиями, рассудили за благо утвердить союз свой самой страшной клятвой, совершив возлияние кровью убитого ими человека и коснувшись его внутренностей. Они собрались для произведения сего в дом Аквилиев, который был пуст и темен, как прилично этому делу. Неприметно от них скрывался в доме том один невольник, по имени Виндиций, не из злоумышления или подозрения о происходившем, но находясь тут прежде и убоявшись показаться им. В то время как они шли с поспешностью, спрятался за большой ящик и таким образом видел все, что они делали, и узнал о всех их намерениях. Они согласились между собою умертвить консулов, написали о том Тарквинию письма и отдали посланникам, ибо эти жили в доме Аквилиев и находились при этом заговоре. По совершении сего удалились. Виндиций, выйдя тайно из дому, не знал, как поступить в том деле, и колебался в недоумении; опасно ему казалось донести на детей отцу их, Бруту, на племянников – дяде их Коллатину о столь ужасном преступлении; а частному лицу в Риме не мог решиться открыть столь важной тайны. Не находя нигде покоя, смущаемый своею совестью, прибегнул он к Валерию, будучи более всего прельщен кроткими и человеколюбивыми поступками сего мужа, столь удобоприступного всем нуждающимся в нем, дом которого был всем открыт днем и ночью и который не отказывал ни в советах, ни в помощи никакому простолюдину.

Виндиций пришел к нему и объявил все в присутствии только жены и брата его Марка. Валерий ужаснулся и приведен был в изумление от слов его, запер невольника в своем доме под присмотром жены своей; брату же своему велел обступить царский дом и, если можно,

отнять у посланников письма и стеречь их служителей. Сам с многочисленной толпой своих клиентов и друзей, которые всегда его окружали, и со многими служителями пошел в дом Аквилиев, в котором никого не было. Он входит туда беспрепятственно и находит письма в комнате у посланников. Между тем Аквилии прибегают; встречаются с ним при дверях, бросаются на него и стараются вырвать письма. Валерий защищался с сопровождавшими его; они накидывают платье им на шеи и с великим усилием, отражая и будучи отражаемы, влекут их разными улицами до самой площади.

В то же время около царского двора происходило нечто подобное. Марк нашел другие письма между вещами, которые укладывали, и многих Тарквиниевых служителей, сколько мог, тащил на площадь. Когда консулы успокоили шум и по приказанию Валерия приведен был из дому его Виндиций, начался суд, прочтены были письма. Никто из обвиняемых не дерзнул противоречить им. Все присутствующие погружены были в безмолвие и уныние. Некоторые, желая угодить Бруту, упомянули об изгнании. Коллатиновы слезы и безмолвие Валерия подавали им некоторую надежду. Брут, называя детей своих по имени, сказал: «Тит, и ты, Валерий, для чего вы не защищаетесь против сего обвинения?» Троекратно вопрошает их таким образом; они ничего не отвечают. Тогда, обратившись к ликторам, сказал: «Прочее – ваше дело!» Ликторы тотчас берут юношей, срывают с них платье, связывают руки назад, окровавляют тела их палочными ударами. Никто не имел столько силы и твердости, чтобы взирать на это позорище. Один отец, как говорят, не отвратил от них взоров своих; жалость не смягчила суровости и гнева, на челе его изображенного. Свирепо смотрел он на казнь детей своих до тех пор, как ликторы, повергши их на землю, отсекли им головы секирой. Предав других виновных своему соправителю, встал и удалился, совершив дело, которого не можно ни достойно похвалить, ни довольно порицать. Или величие добродетели восторгло душу его до бесстрастия, или сила страсти довела его до бесчувствия; ни то ни другое не обыкновенное, не человеческое, но или божественное, или зверское. Впрочем, справедливость требует лучше последовать в суждении этом славе сего мужа, нежели не верить его добродетели по причине нашей слабости. Римляне сами думают, что не столько было трудно Ромулу построить город их, сколько Бруту основать и учредить республику.

По удалении Брута с форума изумление о произошедшем, ужас и безмолвие долгое время обладали всеми. Аквилии, ободренные снисхождением и медленностью Коллатина, стали просить времени для своего оправдания; требовали, чтобы Виндиций выдан был им, как раб, которому не надлежало быть в руках обвинителей. Коллатин хотел уже исполнить их просьбы и распустить Собрание. Но Валерий не соглашался ни выдать им человека, который находился в числе окружающих его, ни допустить народа разойтись, отпустив изменников. Наконец сам наложив на них руки, призывал Брута; кричал, что Коллатин поступает недостойным образом, ибо, доведши своего товарища до необходимости быть чадоубийцей, теперь почитает нужным, из угождения женщинам, освободить изменников и врагов отечества. Консул, вознегодовав, велел отнять Виндиция. Ликторы разогнали толпу, схватили человека сего и били тех, кто его у них отнимал. Друзья Валерия пристали к нему и защищали его. Народ кричал и звал Брута; он возвратился в Собрание. Шум утих, и Брут сказал народу, что он над детьми своими произнес приговор как настоящий судья, но прочих виновных оставляет суду народа, уже свободного. «Итак, – продолжал он, – пусть говорит, кто хочет, и убеждает граждан». Но в речах не было нужды; все голоса были против них. Виновным отсечены были головы.

Еще прежде падало на Коллатина некоторое подозрение по причине родства его с царским родом; второе имя его было народу неприятно по ненависти к Тарквинию. После этого происшествия, навлекши на себя неудовольствие народа, Коллатин сам сложил с себя консульство и удалился из города. Граждане собрались вновь для избрания консула – и Валерий торжественно получил это достоинство как пристойную награду за свою ревность. Почитая Виндиция достойным участвовать в оной, Валерий определил, чтобы первый сей отпущенник был объявлен гражданином римским, с правом подавать голос свой в той трибе, к которой желал он быть причислен. Другим отпущенникам, спустя долгое время после этого, Аппий*, угрожая народу, позволил подавать голоса свои. Совершенное освобождение и поныне называется «виндикта», по имени того Виндиция*.

После того имение Тарквиния дано на расхищение народу; дома и дачи его разрушены до

основания. Лучшая часть Марсова поля принадлежала ему. Римляне посвятили ее Марсу*. В то время хлеб был уже пожат и снопы еще лежали в поле. Поскольку место это посвящено было Марсу, то почли непристойным молоть и употреблять пожатый на нем хлеб. Все граждане, собравшись, носили снопы в реку; также рубили деревья и бросали их туда же; таким образом, посвятили богу сему вовсе пустую и гладкую землю. Так как все это было навалено вдруг и в великом множестве, то недалеко унесено течением реки; утвердилось там, где первые кучи стали на мели. Поскольку то, что было бросаемо после, не имело свободного прохода, то соединялось с тем, что брошено прежде, и составляло одно тело, которое более укреплялось от течения реки. Река наносила много ила, от которого груда сия получала как бы пищу и сцепление. Удары воды, не производя сильного колебания, сжимали все части и связывали их между собою. Величина и твердость этой кучи способствовала к распространению ее, ибо удерживала большую часть того, что река сносила. Из этого составился близ города нынешний остров, почитаемый священным*. На нем находятся храмы богов и портики. На латинском языке называют его островом ***Inter duos pontes*** («Между двумя мостами»*). Некоторые утверждают, что это случилось не тогда, когда поле Тарквиниево посвящено было Марсу, но по прошествии нескольких лет, когда Тарквиния посвятила этому богу другое поле, смежное с первым. Эта Тарквиния была девица из числа весталок. За это посвящение оказаны были ей великие почести, между прочим и та, чтобы свидетельство ее одной изо всех женщин было принимаемо в судах; позволено было ей выйти замуж; однако она этого не захотела. Вот как все это повествуется.

Тарквиний лишился уже всякой надежды вступить опять на престол изменою. Тирренцы приняли его охотно и с великою силою препроводили под Рим. Консулы вывели римлян и построили на местах священных*, из которых одно называется Арсийской рощей, другое Анзуйским лесом. При самом начале сражения Аррунт, сын Тарквиния, и консул Брут встретились не столько по случаю, сколько потому, что искали друг друга; пылая гневом и яростью, устремились они: один – как на тиранна и врага своего отечества, другой – желая мстить за изгнание. Предавшись более ярости своей, нежели рассудку, не щадя себя, оба упали мертвыми на месте. Конец этого сражения был столь же ужасен, как и самое начало. Оба войска, сделавши друг другу равное зло, разошлись по причине случившейся бури. Валерий находился в смущении и тревоге, не ведая о последствиях битвы, но видя воинов своих частью унывающих о своих убитых, частью же ободренных потерею неприятеля. Столько-то трудно было знать о множестве падших в сражении по причине равного их с обеих сторон числа! И те и другие, зная лучше свою потерю, более верили своему поражению, нежели победе, заключая лишь по догадкам о потере неприятельской. По наступлении ночи, какая может быть после такого сражения, и при глубокой тишине, в которой оба стана пребывали, говорят, что священная роща потряслась и из оной раздался громкий глас, изъявляющий, что у тирренцев в сражении пал один человек лишний перед римлянами. Конечно, некое божество издало этот голос*, ибо с этого мгновения римляне ободрились духом и наполнили воздух восклицаниями. Тирренцы в страхе и смятении оставили стан свой; большая часть из них разбежались. Римляне напали на оставшихся, числом менее пяти тысяч, взяли их в полон и ограбили стан их. Пересчитав мертвых, нашли, что со стороны тирренцев пало одиннадцать тысяч триста человек; с римской – одним человеком меньше. Это сражение дано было за день до мартовских календ.

Валерию определен был триумф. Он первый из консулов въехал в Рим на колеснице, везомой четырьмя конями. Зрелище это, важное и величественное, не навлекло на Валерия зависть и неудовольствие зрителей, как некоторые уверяют, в таком случае не было бы оно предметом желания и честолюбивых помыслов в продолжение многих веков. Римлянам приятны были почести, оказанные Валерием товарищу его при выносе и погребении его тела. Он говорил над ним надгробную речь, которая так понравилась римлянам, что с того времени в честь всем великим и добродетельным людям по смерти их знаменитейшие граждане говорили похвальные речи. Уверяют, что эта надгробная речь древнее всех греческих надгробных речей; если Солон, по свидетельству оратора Анаксимена, не был оных изобретателем*.

Однако народу было досадно и неприятно, что Валерий управлял один, когда Брут, которого почитали отцом свободы, не захотел один начальствовать, но избрал дважды себе

товарища. «Валерий, – говорили они, – присваивая всю власть себе, не есть приемник Брутов в консульстве, но Тарквиниев в тираннстве. Какая польза словами хвалить Брута, а делами подражать Тарквинию, и выходя на площадь один в сопровождении такого множества ликторских связок и секир* из дому, который огромнее им же срытого прежде царского дворца!» В самом деле, Валерий жил в доме слишком возвышенном, на Велии*, и как бы висевшим над площадью, с которого по причине высоты места видно было все на ней происходившее. Всход к нему был труден по причине крутизны, и Валерий, сходящий сверху, показывал вид надменный и пышность, более царю приличную. При таком случае явил он собой, сколь полезно начальнику, управляющему великими делами, иметь слух внимательный более к смелым представлениям, к истинным речам, нежели к лести. Как скоро узнал он от друзей своих, что народ не одобряет его поступков, он не стал противоречить им, не оказал нималого неудовольствия, но, собрав ночью много работников, с поспешностию разрушил дом свой – срыл его до основания. На рассвете дня римляне, собираясь на площадь и видя это, удивлялись ему, хвалили великость души его, жалели – как о любимом человеке – о доме столь прекрасном и огромном, разоренном несправедливо завистью; печалясь о начальнике своем, который жил в чужом доме, как не имеющий своего крова. Приятели Валерия принимали его в свои дома, доколе народ не дал ему место, на котором построил дом меньше прежнего, где ныне храм Победы, называемый Вика Пота*.

Дабы не только себя, но и самое начальство сделать народу приятным и снисходительным из страшного и грозного, Валерий снял с ликторских связок секиры и самые палки, когда приходил в Народное собрание, преклонял пред народом, умножая тем величие народоправления. Это и поныне наблюдается консулами. Граждане не приметили тогда, что Валерий этим поступком не унижал себя, как они думали, но умеренностью своей украшал и уменьшал зависть; что он распространял тем более свое могущество, чем более уменьшал власть свою. Народ с удовольствием ему покорялся, охотно терпел его и назвал Попликолой – что означает народопочитателя или друга народа. Это прозвание одержало верх над прежними его временами, и мы впредь оное употреблять будем, описывая жизнь его. Он позволил всем искать и получать консульское достоинство*. Но до избрания другого консула Валерий, не ведая, что впредь произойти может, и боясь сопротивления от зависти или неведения будущего соправителя, употребил свое единоначалие для произведения полезнейших и величайших перемен в республике.

Во-первых, умножил он уменьшившееся число сенаторов; многие из них умерщвлены были Тарквинием; иные пали в последнем сражении. Число вновь избранных в сенаторы простиралось до ста шестидесяти четырех человек. Потом выдал законы, из которых более всех утвердил власть народа тот, которым позволил каждому осужденному переносить свое дело от консулов к суду народному. Вторым законом осуждается к смертной казни принявший начальство без согласия народа. Третьим, в пользу бедных утвержденным, освободил граждан от податей и заставил их всех охотнее заниматься ремеслами. Тот самой закон, который писан против ослушников консульских постановлений, был столько же благоприятен народу, как и прочие, и более угождал бедным, нежели богатым и сильным. Пеня, которую платили такие ослушники, состояла в пяти быках и двух баранах. Баран тогда стоил десять оболов, а бык сто. Римляне в тогдашнее время не употребляли много денег; все богатство их состояло в скоте. По этой причине и доныне имение называется «пекулиа»*. На древнейших их деньгах изображались баран, бык или свинья, и детям своим давали имена, взятые от имен сих животных, ибо называли их Суиллиями, Порциями, Капрариями и Бубульками. Капрами называют коз, порками – свиней и проч.

Хотя Попликола был столь народолюбивый и умеренный в наказаниях законодатель, однако в важном преступлении весьма много усилил наказание. Он позволил законом умерщвлять без суда покушающегося на получение верховной власти. Убийца его объявляем был невинным, как скоро мог доказать умысел убитого им. Невозможно, чтобы стремящийся на таковое предприятие мог обмануть всех; но не невозможно, чтобы по открытии его намерения не предупредил он суд и не завладел всем. По этой причине закон позволяет всякому, кто только может, наказывать без суда того преступника, который мог бы уничтожить самый суд совершением своего злоумышления.

Попликола заслужил еще похвалу законом о сохранении казны общественной. Поскольку для продолжения войны гражданам надлежало вносить часть своих доходов, то Попликола, не желая управлять общественной казной сам, ни вверить ее своим приятелям, ни ввесть в частный дом, сделал казнохранилищем храм Сатурна, в котором и поныне хранятся общественные доходы, и позволил народу избирать двух квесторов*, или казнохранителей, из молодых. Первыми квесторами избраны Публий Ветурий и Минуций Марк. Собрано было великое количество денег. При поголовном исчислении оказалось сто тридцать тысяч граждан, платящих подати, не считая сирот и вдов.

Устроив таким образом все дела, Попликола выбрал себе в товарищи Лукреция, отца Лукреции, которому как старейшему уступал первое место и ликторов, – честь, которая и по это время оказывается старейшим. Лукреций умер через несколько дней, и народ избрал в консулы Марка Горация, который правил с Попликолой до истечения года.

Между тем как Тарквиний возбуждал в Тиррении вторую против римлян войну, говорят, случилось некоторое великое знамение. Когда сей государь еще царствовал, то соорудил храм Юпитеру Капитолийскому. Строительство подходило к концу. По приказанию ли прорицалища или по собственному желанию Тарквиний повелел некоторым художникам тирренским и вейским поставить на вершине храма земляную колесницу; но вскоре лишен был престола. Тирренцы, сделав колесницу, поставили в печь. С ней не случилось того, что обыкновенно бывает с землей в огне, то есть сгущения и сжимания от испарения влаги; она вздулась, сделалась столь великой и вместе столь твердой, что с трудом можно было оную вынуть, разломав крышку и стены печи. Прорицатели думали, что знамение это было божественное, обещавшее счастье и могущество тем, у кого будет сия колесница. Вейенты решились не уступать ее требовавшим ее римлянам, говоря, что она принадлежала Тарквинию, а не изгнавшим Тарквиния. Через несколько дней у вейентов происходило ристание на колесницах с обыкновенным торжеством и великолепием. Увенчанный возница выводил тихо из ристалища победоносных коней. Вдруг они, испугавшись, без всякой видимой причины, по случаю или по некоторому божескому внушению, помчались к Риму, везя и возницу. Тщетно силившись удержать их вожжами или укротить голосом, он дал им волю бежать, был ими увезен до Капитолия и опрокинут близ ворот, называемых ныне Ратуменскими. Вейенты, удивленные происшествием, велели художникам отдать римлянам колесницу.

Храм Юпитеру Капитолийскому обещался посвятить Тарквиний, сын Димарата, во время войны с сабинянами. Тарквиний Гордый, сын или внук его, соорудил этот храм, но не успел посвятить, будучи изгнан из Рима незадолго до совершения оного. Когда же здание это приведено было к концу с приличными украшениями, Попликола желал чести посвятить его. Многие из сильных в республике тому завидовали; они менее оскорблялись другими почестями, ему оказываемыми как полководцу и законодателю, но чести посвящения, как ему не принадлежащей, уступить ему не захотели и побуждали Горация искать ее себе*. Попликола был принужден идти в поход. Противная сторона утвердила постановление, чтобы Гораций посвятил храм. Немедля проводили его до Капитолия, прибывая в уверенности, что в присутствии Попликолы не удалось бы восторжествовать над ним. Некоторые говорят, что по жребию военачальство досталось одному против его желания, а посвящение – другому. Можно заключить, как дело это происходило, по тому, что случилось при посвящении храма в сентябрьских идах, в самое полнолуние месяца метагитниона по афинскому счислению. Все собрались на Капитолии и пребывали в глубоком молчании. Гораций, по совершении всех обрядов, держась за дверь, по обычаю произносил установленные при посвящении молитвы. Марк, брат Попликолы, стоявший долго при дверях храма в ожидании этого мига, закричал ему: «Консул! Сын твой умер от болезни в военном стане!» Эти слова были неприятны всем тем, кто слышал их. Но Гораций, нимало не смутившись, сказал только: «Бросьте мертвого куда хотите; я не приемлю в печали участия»*, – и продолжал до конца посвящение. Это известие было ложно. Марк выдумал его, желая остановить Горация. Или он приметил вдруг обман, или, поверив столь жестокому известию, не был им поражен, – в обоих случаях твердость духа его удивительна.

При посвящении второго храма случилось почти то же самое. Первый храм, сооруженный Тарквинием и посвященный Горацием, сгорел во время междоусобных войн. Второй

воздвигнут Суллой, но посвящен Катуллом по смерти Суллы*. Храм этот также сгорел во время возмущения Вителлия, и Веспасиан сверх других благополучных успехов имел счастье видеть окончание этого храма, снова им построенного*, но не быть зрителем вскоре последовавшего его разрушения. Он столько превзошел счастьем своим Суллу, что тот умер до посвящения, а он до разрушения его, ибо при самой смерти Веспасиана Капитолий сгорел. Домициан построил его и посвятил в четвертый раз*.

Говорят, что Тарквиний издержал на одно основание сорок тысяч литр серебра. Что же касается до нынешнего храма, то самого большого богатства частного лица в Риме недостаточно для одной его позолоты, которая стоила более двенадцати тысяч талантов. Столпы его из пентельского мрамора*; толщина их весьма соразмерна с длиной. Мы видели их в Афинах; но в Риме, желая их вновь отделать и выгладить, не столько придали им блеска, сколько испортили их соразмерность, ибо сделали их тоньше, нежели сколько должно, и тем лишили полноты красоты их. Кто же удивится великолепию Капитолия, если бы увидел во дворце Домициана одну галерею, одну базилику, или баню, или покой наложниц, то, подобно стихотворцу Эпихарму, который говорит некоему расточителю:

Нет! Ты не добр, не щедр, ты болен и имеешь
Лишь страсть – дарить…

– подобно этому, сказал бы он Домициану: «Нет! Ты не благочестив, не честолюбив, это болезнь; ты только имеешь страсть строиться и, как древний Мидас, хочешь, чтобы все превращалось пред тобою в золото и мрамор». Но довольно об этом.

Тарквиний после великой битвы, во время которой убит сын его, сразившийся с Брутом, убежал в Клузий* к Ларсу Порсене, который был сильнейший из италийских царей и славился как человек справедливый и честолюбивый. Порсена обещал ему свою помощь. Сначала послал он к римлянам и увещевал их принять Тарквиния. Римляне ему отказали; он объявил им войну и притом уведомил их о времени, в которое пойдет против них, и о месте, на которое намерен был напасть. Он приближался с великими силами. Попликола избран был в другой раз консулом в отсутствие свое вместе с Титом Лукрецием. По возвращении своем в Рим, желая превзойти Порсену отважностью, начал строить город Сигнурию*, несмотря на его приближение. Укрепив стены с великими издержками, переселил в него семьсот граждан – показывая тем, что война для него нимало не тягостна. Однако Порсена напал на это укрепление и сбил стражу, которая убежала в Рим; едва с нею не ворвались в город преследующие ее неприятели. Попликола поспешил на помощь к самым воротам; дано было сражение на берегу Тибра. Он противостоял великому множеству наступавших неприятелей до тех пор, как, покрытый тяжкими ранами, был вынесен с поля сражения. Товарищ его равный ему имел жребий. Римляне впали в уныние. Они искали спасение в бегстве.

Неприятели гнались за ними деревянным мостом и едва совершенно не овладели Римом. Но первый Гораций Коклес, а с ним двое из знаменитейших граждан, Германий и Ларций, противостали им на деревянном мосту. Гораций* прозван Коклесом потому, что лишился в сражении одного глаза, а как другие говорят, потому, что был курнос и верхняя часть его носа так глубоко вдалась внутрь, что глаза его ничем не разделялись и брови слились. Народ хотел назвать его Киклопом, но по дурному выговору назвал Коклесом. Став перед мостом, он противился неприятелям, между тем как другие римляне разрушили мост позади его. Потом во всеоружии бросился в реку, переплыл ее, присоединился к своим на другом берегу, невзирая на то что был ранен тирренским копьем в ногу. Попликола, удивляясь его неустрашимости, определил, чтобы каждый из римлян дал ему столько, сколько издерживал в день на пищу, собрав все вместе, и чтобы ему уделили столько земли, сколько сам он мог вспахать в один день. Сверх того поставили ему в храме Вулкана медный кумир, вознаграждая этой почестью хромоту его, происшедшую от полученной раны.

Между тем как Порсена обложил Рим и граждане начинали уже чувствовать голод, другое войско тирренское вступило в римскую область. Попликола, в третий раз избранный консулом*, решился в отношении к Порсене пребыть в покое, охраняя только город от его нападений; но против других тирренцев вышел тайно, дал им сражение, рассеял их и взял пять

тысяч в плен.

Славное дело Муция повествуется многими различно. Мы опишем его, как нам кажется вероятнее. Муций был человек, одаренный всеми добродетелями, в особенности же военными. Он принял намерение умертвить Порсену; надел тирренское платье и, зная язык тирренский, вступил в неприятельский стан. Он приблизился к месту, где сидел царь, не зная его и не отваживаясь спросить других о нем, обнажил меч и пронзил того из сидевших с царем, которого почел за царя. Его схватили тотчас и начали допрашивать. Случилось, что в одной жаровне горел огонь, ибо Порсена готовился принести жертву. Муций положил в огонь правую свою руку. Между тем как горело мясо его, стоял он, взирая на Порсену лицом суровым и неизменным до тех пор, как государь сей, изумленный его твердостию, велел отпустить его и сам с престола дал ему меч, который принял Муций левой рукой. По этой причине, как говорят, дано ему прозвание Сцевола*, что значит «Левша». Тогда сказал он Порсене: «Я победил страх к тебе, но побежден твоею добродетелью. Из благодарности объявляю тебе то, чего никакие мучения меня бы объявить не принудили. Знай, что триста римлян, имея такое же, как и я, намерение, скрываются в твоем стане и ищут удобного времени. Мне первому по жребию досталось приступить к сему делу; не жалуюсь на судьбу, что не удалось мне совершить свое намерение над человеком великодушным, которому пристало быть другом, нежели врагом римского народа». Порсена поверил словам его и сделался склоннее к примирению, не столько, как я думаю, устрашившись оных трехсот человек, сколько удивившись великости души и доблести римлян. Муция, которого все называют и Сцеволой, Афинодор*, сын Сандона, в книге своей, посвященной Октавии, сестре Цезаря, называет еще «Поздно родившийся».

Попликола сам, чувствуя, что вражда Порсены не столь опасна, сколько дружба и союз с ним полезны римлянам, хотел, чтобы он был судьей между ним и Тарквинием, которого многократно призывал к суду Порсены, обещаясь доказать, что он несправедливый человек и законно лишен престола. Тарквиний на это отвечал гордо, что никого не признает судьей над собой, а Порсену еще менее, если он, будучи его союзником, изменяет своему обещанию. Порсена, негодуя на это и получив дурные о нем мысли, будучи притом побужден просьбами сына своего Аррунта, который благоприятствовал римлянам, положил войне конец. Римляне возвратили тирренцам отнятую у них землю; пленники и переметчики были выданы с обеих сторон. Римляне дали в залог Порсене десять благородных юношей и столько же девиц, среди которых была и Валерия, дочь Попликолы.

Между тем как это происходило, Порсена, полагаясь на договор, отпустил вперед большую часть своего войска. Девицы, бывшие в залоге, вознамерились купаться и пошли на реку, в такое место, где берег, образуя полукружие, сохранял спокойствие и тишину от волн. Не видя ни стражей, ни проходящих или преплывающих, возымели желание переплыть реку, невзирая на быстрое течение и на глубокие водовороты. Некоторые говорят, что одна из них, по имени Клелия, переплыла реку на лошади, уговаривая и ободряя других, вплавь следовавших за нею. Переправившись благополучно, пришли они к Попликоле, который не удивился их поступку и не похвалил их. Ему было неприятно казаться ниже Порсены в сохранении верности слов; боясь, чтобы смелый поступок девиц не навел на римлян подозрения в вероломстве, взял их и отослал обратно к Порсене. Тарквиний, получив о том известие, поставил в засаду воинов, которые на переправе, будучи многочисленней, напали на тех, кто сопровождал девушек. Однако римляне защищались. Дочь Попликолы, Валерия, устремившись сквозь сражавшихся, убежала; трое невольников последовали за ней и спасли ее. Другие, не без великой опасности, оставались среди сражавшихся. Но Аррунт, сын Порсены, узнав о происходящем, поспешил им на помощь, рассеял Тарквиниевых воинов и освободил римлян. Девицы приведены были к Порсене. Он хотел знать, которая из них подала другим пример к бегству и ободряла их. Узнав, что то была Клелия, взглянул на нее с видом милостивым и приятным, велел привесть богато украшенную лошадь из числа царских и подарил ей. На этом основываются те, которые говорят, что одна Клелия переплыла реку верхом. Другие уверяют, что тирренский государь хотел почтить этим подарком ее мужество. Доныне виден на Священной улице, которая ведет к горе Палатин, кумир той девы на коне*. Некоторые говорят, что это кумир Валерии, а не Клелии.

Порсена, заключив мир с римлянами, сверх многих других опытов великодушия,

оказанных Риму, велел своим воинам не выносить из стана ничего, кроме оружия. Он оставил оный наполненным съестными припасами и богатством и предал римлянам. По этой причине и в наше время при продаже общественного имущества в первом объявлении провозглашают, что продается имущество Порсены, сохраняя тем в памяти народа вечную благодарность к нему за его благодеяния*. Воздвигнут также ему медный возле сената истукан древней и грубой работы.

В следующий год сабиняне вступили войною в римские владения. Консулами избраны были Марк Валерий, брат Попликолы, и Постумий Туберт. Важнейшие дела производились по совести Попликолы и в его присутствии. Марк одержал победу на двух больших сражениях. В последнем, не потеряв ни одного человека из своих, положил на месте тридцать тысяч неприятелей. В награду за его храбрость сверх почестей триумфа построен был для него на горе Палатинской дом общественным иждивением. В тогдашнее время двери домов отворялись на улицу*. Этим отличием хотели показать, что он каждый раз, как отворял двери свои, принимал что-нибудь от общества. Говорят, что в древности все двери домов в Греции отворялись таким же образом, что доказывается из комедий, в которых желающие выйти на улицу прежде стучат в двери, дабы мимоходящие или стоящие вблизи остерегались и не были ушиблены отворяющейся в улицу дверью.

После Марка избран был консулом Попликола в четвертый раз. Сабиняне заключили союз с латинянами, и римляне ожидали войны. Некоторый суеверный страх овладел гражданами, ибо все беременные женщины выкидывали детей уродливых и ни одна не рождала в обыкновенное время. Попликола, следуя Сивиллиным книгам, принес умилостивительные жертвы Плутону, возобновил некоторые игры, предписанные Аполлоном Пифийским, и, одушевив граждан надеждою на бога, обратил внимание на то, что угрожало им со стороны людей, ибо приготовления и союз неприятелей были действительно страшны.

Среди сабинян был некто по имени Аппий Клавз, человек, могущественный богатством своим, знаменитый в бранях по телесной своей крепости, более же всего отличный славою своих добродетелей и убедительностью красноречия. Он не избежал обыкновенного жребия всех великих людей; зависть преследовала его. Завистники его обвиняли в том, что, отвращая войну, он умножает силу римлян для порабощения отечества и для покорения его своему самовластию. Ведая, что слухи эти были народу приятны и что он был ненавидим теми, кто желал войны, боялся он предстать на суд. Он имел великое число друзей и родственников, готовых защищать его, усилился ими и произвел мятеж. Это одно заставило сабинян медлить и не начинать войны.

Попликола, почитая нужным не только осведомляться о происходящем, но еще более возбуждать и воспламенять раздор, имел при Клавзе вернуть людей, которые говорили ему, что Попликола, почитая его добрым и справедливым человеком, не думает, чтобы он был склонен мстить отечеству, хотя претерпевать от него гонение; что если он хочет спасти себя и освободиться от ненавидящих его, то Попликола примет его общенародно и частно так, как прилично добродетели его и славе римского народа. Клавз, часто помышляя о том, нашел, что это было вернейшее средство к безопасности. Он склонил своих друзей, которые убедили со своей стороны других; и, таким образом, пять тысяч семейств*, состоявших из сабинян самых спокойных, кротких и безмятежных, с женами и детьми своими пошли в Рим. Попликола был об этом предуведомлен, принял их дружелюбно и усердно и дал им право гражданства; каждому уделил две десятины земли по реке Аниена*. Клавзу дал двадцать пять десятин и причисли его к сенату. Клавз приняв с самого начала участие в правлении и, поступая благоразумно, достиг первых достоинств в республике, получил великую силу и оставил по себе род Клавдиев, не уступающий в знатности ни одному из римских домов*.

Сабиняне и после сего переселения не были оставлены в покое своими народоправителями. Они говорили, что Клавз, убежав и сделавшись врагом их, произведет то, чего не мог произвесть, находясь между ними, и воспрепятствует им наказать римлян за понесенные от них обиды. Сабиняне собрали многочисленное войско, вышли и расположили стан свой при Фиденах. Они скрыли две тысячи воинов в местах лесистых и в расщелинах и намеревались выслать на рассвете следующего дня немногих конных воинов для расхищения. Им велено было приближаться к Риму, потом отступить и завести преследующих в

приготовленную засаду. Попликола, тогда же узнав о том через беглецов, сделал нужные ко всему приготовления и разделил свои силы. Постумий Альб, зять его, с тремя тысячами воинов ввечеру занял высоты, под которыми стояли сабиняне в засаде. Другой консул, Лукреций, с легкими и отважнейшими воинами приготовился напасть на конницу, уносящую добычу. Сам Попликола с остальным войском обошел неприятеля. К счастью римлян, поутру густой туман покрыл землю; Постумий с высот напал на скрывавшихся с великим шумом, Лукреций пустился на конницу, уносившую добычу, а Попликола вступил в сражение с неприятелями, стоявшими в стане. Сабиняне во всех местах претерпевают поражение и погибают. Те, кто обращался в бегство, нимало не обороняясь, были биты римлянами, которым они попадались. Самая надежда послужила к совершенной их гибели. Одни, полагая, что другие в безопасности, нимало не думали сражаться и противостоять неприятелю. Бывшие в стане бегали к тем, кто скрывался в засаде; эти, напротив того, бегали в стан и, встречаясь с бегущими, попадали в руки тем, от кого убегали, и находили нуждающимися в помощи тех самых, от кого оной надеялись. Близость города Фиден была причиной, что сабиняне не все погибли, но некоторые и спаслись, особенно из тех, кто убежал из стана тогда, как римляне им завладели. Не достигшие города были побиты или взяты в плен.

Хотя римляне все великие подвиги свои приписывают богам, однако эту победу почли делом одного своего полководца. Все бывшие в сражении говорили, что Попликола предал мечу их неприятелей, хромых и слепых и почти скованных. Народ получил много денег от добычи и от пленных. Попликола, вновь почтенный триумфом, предал правление преемникам своим* и вскоре умер. Он окончил дни свои, достигши, сколько человеку позволено, всего того, что почитается прекрасным и благополучнейшим. Народ римский как бы не оказал ему при жизни никакой достойной благодарности, но был обязан ему всем, определил, чтобы тело его было погребено общественным иждивением. Каждый из римлян в честь ему приносил по одному квадранту*. Женщины, сами согласившись между собой, носили по нем печальную одежду целый год, в знак отличного к нему уважения. Он был погребен по решению граждан внутри города близ так называемой Велии. Это место назначено быть кладбищем всего рода его. Но ныне тут никого не погребают, а только приносят туда мертвое тело; один из присутствующих подставляет под ним зажженный факел; потом уносят мертвого, доказывая тем, что по праву погребение тут позволено роду сему, но что оный отказывается от такой чести добровольно. После чего уносят тело для погребения*.

Сравнение Солона с Попликолой

Сравнение это имеет нечто особенное, чего не найдем в другом из сделанных нами сравнений, а именно что один был подражателем, другой свидетелем того, с кем сравнивается. В самом деле кажется, что мнение Солона о благополучии, объявленное Крезу, приличнее Попликоле, нежели Теллу. Хотя Солон назвал блаженнейшим Телла по причине его благосостояния, добродетели и хороших детей, однако в стихотворениях своих нигде не упоминает о нем как о славном муже; ни начальство его, ни дети не были знамениты. Но Попликола и при жизни своей славой и могуществом был первый из римлян по своим добродетелям, и по смерти его происшедшие от него Попликолы, Мессалы* и Валерии по это время почитаются знаменитейшими родами и после шестисот лет к нему относят свое благородство. Телл, оставаясь в строю и сражаясь как храбрый воин, был убит неприятелями. Но Попликола, поразив врагов отечества – что счастливее, нежели умереть за отечество, – и видя его победоносным под своим начальством и предводительством, получив достойные почести, удостоившись триумфа, имел конец, которого Солон желает и который он почитает счастливым. О благополучии Попликолы свидетельствует и то, что Солон говорит в споре своем к Мимнерму о продолжении жизни:

Да прах мой жалости слезою орошат –
Друзья мои по мне да стонут и скорбят.

Попликола смертью своей не только в друзьях и родственниках, но и во всем городе, во

многих тысячах людей произвел слезы, печаль и уныние. Римские жены оплакивали его как сына, как брата, как отца общего. Касательно богатства, Солон желает иметь его, но, боясь мщения богов, не хочет приобретать неправдой. Попликола не только не обогащался несправедливо, но еще делал добро другим, великодушно издерживал свое имущество. Итак, если Солон был мудрейший из людей, то Попликола был благополучнейший, ибо то, что Солон желал иметь, как прекраснейшее и величайшее благо, Попликола приобрел и сохранил до конца своей жизни.

Таким образом, Солон прославил Попликолу и Попликола взаимно Солона, подражая ему как образцу совершеннейшему, которому должен следовать всяк учреждающий республику. Он отменил надменную важность в консульстве и сделал эту власть приятной и кроткой. Он принял многие законы Солона, дал народу право избирать себе начальников, позволил обвиняемым переносить дела к народу, как Солон – к судьям. Подобно Солону, Попликола не составил нового сената, но умножил и почти удвоил прежний. Учреждение квесторов сделано для того, чтобы эта часть правления не отвлекала начальника от дел важнейших, если он добродетелен; в противном случае – чтобы он был лишен способов более вредить, имея в руках своих и власть, и деньги.

Ненависть к тираннам в Попликоле сильнее, нежели в Солоне. Один повелевает наказывать изобличенного в искании тираннии, другой позволяет наказывать его прежде суда. Солон справедливо гордится тем, что отказался от самовластия тогда, как сами обстоятельства давали ему оное и гражданам было не противно. Не менее славно в Попликоле то, что умерил неограниченную власть, ему доставшуюся, и не употреблял ее, хотя имел на то право. Это самое, кажется, прежде познал Солон и потому говорит, что тот народ повинуется лучше правителю, который не будет ни слишком угнетаем, ни иметь много воли.

Собственное дело Солона есть уничтожение долгов, которым более всего утвердил свободу граждан. Бесполезны законы, дающие равные права, когда долги лишают бедных этих прав. В таком случае, где народ кажется свободнейшим, там более всего порабощен богатыми – в судах, в начальстве, в общенародных речах – и исполняет их повеления. Всего удивительнее то, что хотя за уничтожением долгов всегда следует мятеж, однако Солон этим самым уничтожением укротил раздоры, употребив оное во время как лекарство, хотя сомнительное, но крепкое, и своей славой и добродетелью препобедил клевету и бесславие, следующие за этим предприятием.

Если рассмотреть их правление вообще, мы найдем, что Солоново начало блистательнее. Он предшествовал, а не последовал другим и произвел величайшие и важнейшие перемены сам, без помощи других. Конец Попликолы счастливее и завиднее. Солон видел сам разрушение Солоновых постановлений, но постановления Попликолы сохранили в республике порядок до самых междоусобных браней. Один, издав свои законы, оставил их на деревянных таблицах и в писаниях без всякой защиты и выехал из Афин. Другой, оставаясь в городе, начальствуя и управляя, утвердил республику и сделал ее незыблемой. Солон предвидел намерения и замыслы Писистратовы, но не мог их остановить; он был побежден тираннией при самом его начале. Но Попликола, уничтожив власть, многими годами утвержденную и могущественную, и изгнав Тарквиниев, обнаружил добродетель и желания, равные Солону, пользуясь, при добродетели, счастьем и силой к исполнению своих намерений.

Касательно военных их подвигов: платеец Даимах не приписывает Солону и тех предприятий против мегарян, которые нами описаны. Но Попликола, сражаясь как воин и как предводитель войска, одержал победы в самых важных битвах. В гражданских делах открываем между ними ту разность, что Солон шуткой и притворившись сумасшедшим, предстал народу, дабы говорить ему о Саламине. Попликола с самого начала, подвергши себя величайшим опасностям, восстал против Тарквиния, открыл заговор и был главной причиной, что злоумышленники не убежали, но получили достойное наказание. Этим он не только изгнал из Рима самих Тарквиниев, но разрушил и всю надежду их. Будучи деятелен и тверд в делах трудных, требующих бодрости, сильного духа и сопротивления, еще лучше умел он поступать в делах, в которых нужно было употребить мирные переговоры и убедительное уверение. Именно этим склонил он на свою сторону и сделал другом римлян Порсену, человека на войне непобедимого и страшного.

Может быть, скажут, что Солон возвратил Саламин, который афиняне потеряли, и что Попликола отдал назад земли, которыми владели римляне; однако должно судить о деяниях смотря по обстоятельствам. Управляющий государством, переменяясь с временем, должен употреблять дела так, как для него полезнее. Нередко, жертвуя малой частью, спасает целое и, уступая мало, получает больше. Таким образом Попликола в то время, отстав от чужой земли, сохранил всю свою, и те, которые почитали великим счастьем спасти свой город, благоразумием его приобрели сам стан осаждавшего их. Избрав врага своего судьей между собой и Тарквинием, одержал верх и получил все то, что охотно бы сам отдал, чтобы только победить. Порсена положил войне конец и оставил римлянам военное снаряжение, поверив в добродетель и справедливость всего народа, веру же эту ему внушил консул.

Фемистокл и Камилл

Фемистокл

Род Фемистокла не столь знаменит, чтобы мог служить к его славе. Отец его был Неокл, из числа незначащих афинян колена Леонтидского из местечка Фреарры*. По матери он был незаконнорожденным, как видно из следующих стихов*:

Абротонон зовусь и родом фракиянка,
Но грекам мной рожден великий Фемистокл.

Фаний уверяет, что мать Фемистокла была из Карии, а не из Фракии и что называлась Эвтерпой, а не Абротонон. Неанф* к этому прибавляет, что она была из карийского города Галикарнасс. Как незаконнорожденные собирались в Киносарге* (гимнасии за городскими воротами, посвященной Гераклу, ибо и он среди богов не был совершенно законного происхождения, будучи рожден от матери смертной), то Фемистокл убедил некоторых из благородных юношей ходить в Киносарг и вместе с ним упражняться. Этой хитростью успел он уничтожить различие, бывшее между настоящими гражданами и незаконнорожденными. Нет сомнения, что он связан был родством с Ликомидами, ибо возобновил во Флии храм, общий всем Ликомидам*, который был сожжен варварами, и украсил оный живописью, как свидетельствует Симонид.

Еще в отроческих летах был он, по признанию всех, исполнен жара, от природы разумен, склонен к великим предприятиям, способен к управлению. Во время отдохновения и свободы от учения он не играл, не пребывал в бездействии, подобно другим детям; его находили всегда размышляющим и сочиняющим речи, содержащие обвинение или защищение других детей. По этой причине учитель обыкновенно ему говорил: «Из тебя, мое дитя, не будет ничего посредственного; ты будешь или великое добро, или великое зло». Он не имел склонности и не был прилежен к наукам, служащим к образованию нравов, к удовольствию или приятности; однако не по летам своим любил те, которые служат к просвещению ума и к деятельной жизни, как бы уже полагался на свои дарования. Впоследствии, находясь в беседах среди людей образованных и вежливых, будучи осмеиван теми, кто казался более благовоспитанным, принужден был защищаться с некоторой надменностью, говоря, что он не искусен играть на лире и псалтири; но если поручить ему город неславный и малый, может сделать его великим и славным. Стесимброт, правда, уверяет, что Фемистокл был слушателем Анаксагора и учился у естествоиспытателя Мелисса*; однако он ошибся во времени, ибо Мелисс защищал Самос против осаждавшего его Перикла, который жил гораздо позже Фемистокла, Анаксагор же был современником. Лучше верить тем, кто говорит, что Фемистокл был последователем Мнесифила Фреарского, который не был ни преподавателем красноречия, ни из числа философов, называемых физиками; но занимался так называемой тогда «мудростью», которая состояла в науке правления и деятельном благоразумии. Это учение Мнесифил сохранил как бы по наследству от Солона*. Впоследствии смешавшие ее с судебной наукой и принесшие от деяний к словам были названы софистами. Фемистокл сблизился с этим философом, начав уже

заниматься общественными делами.

В пору первых порывов юности был он непостоянен и неровных свойств. Без науки и образования следовал природе своей, которая вела его к великим и весьма противным одна другой переменам; часто обращала его ко злу, как сам он впоследствии признавался, говоря притом, что самые дикие жеребцы бывают лучшими конями, если будут хорошо обучены и укрощены. К этому присовокупляют некоторые, будто бы он был отвержен отцом своим и что мать сама себя умертвила от горести, произведенной в ней бесчестием ее сына; я это почитаю ложным. Напротив того, другие уверяют, что отец, желая отвлечь его от дел общественных, показывал ему на старые корабли, оставленные на берегу и презренные всеми, давая тем ему заметить, что народ таким же образом бывает расположен к своим правителям, когда они соделаются для него бесполезными.

Фемистокл рано и смело вступил в общественные дела. Стремление к славе сильно им обладало. Желая с самого начала первенствовать, с дерзостью навлекал на себя вражду сильнейших и славнейших в республике мужей, особливо же Аристида, сына Лисима, который всегда шел противной ему дорогой. Кажется, вражда Фемистокла к нему имела самое детское начало. Оба они любили прекрасного Стесилая, родом из Кеоса, как повествует философ Аристон*. Вражда перешла и в самое управление общества. Несходство в образе их жизни и в свойствах умножило их раздоры. Аристид, будучи от природы кроток и добродетелен, управляя обществом, не думая об угождении народу, не для приобретения славы, но для благополучия граждан, с осторожностью и справедливостью, принужден был противиться Фемистоклу, который возбуждал народ к многим предприятиям, вводил великие перемены и препятствовал его возвышению. Говорят, что Фемистокл был столь стремителен и жаден до славы и по честолюбию своему до того пристрастен к великим делам, что, будучи еще молод, когда после сражения с варварами на Марафонском поле предводительство Мильтиада громко было прославляемо, казался всегда погруженным в глубокою задумчивость; целые ночи не спал и оставил обыкновенные пиршества. Многие удивлялись перемене в образе его жизни, желали знать тому причину; он говорил им, что Мильтиадов трофей лишает его сна. Поражение варваров при Марафоне всеми было почитаемо окончанием войны; Фемистокл, напротив того, почитал оное началом больших подвигов, к которым всегда приготовлял себя и сограждан своих, издалека предусматривая будущее*.

Афиняне имели обыкновение разделять между собой так называемый лаврийский доход*, получаемый от серебряных рудников. Он один осмелился представить гражданам, что надлежало прекратить раздел и на эти деньги построить корабли, дабы воевать против эгинян*. Война с ними была тогда во всей силе своей, ибо эгиняне обладали морем, имея множество судов. Тем легче было Фемистоклу склонить к этому сограждан, не грозя им ни Дарием, ни персами; они были далеко, и страх нападения от них был не совсем основателен; но он благовременно употребил ревность и гнев афинян против эгинян для приготовления их к войне с персами*. Афиняне построили на эти деньги сто триер, с которыми впоследствии воевали против Ксеркса.

Таким образом, Фемистокл мало-помалу обращал и приводил к морю граждан своих, будучи уверен, что сухопутными силами едва были они в состоянии воевать с соседственными народами, но морскими могли защищаться против варваров и начальствовать над Грецией. Как говорит Платон, из твердых пеших он сделал их гребцами и мореходами*. Его обвиняли в том, что, отняв у сограждан своих копье и щит, приковал к скамье и веслу народ афинский. По свидетельству Стесимброта, мнение его было принято, несмотря на усилия противоречащего ему Мильтиада. Повредил ли он этой переменой чистоту и твердость правления своего отечества или нет, этот вопрос требует глубоких размышлений. А что греки спасением своим в тогдашнее время обязаны морским силам и что те самые суда восстановили Афины, о том свидетельствует как все прочие, так и сам Ксеркс, ибо по разбитии его флота, хотя сухопутные его войска были еще целы, он убежал, как бы не мог уже сражаться, и оставил Мардония не столько, по моему мнению, для покорения греков, сколько для того, чтобы препятствовать за ним гнаться. Фемистокл прилагал великое старание к приобретению богатства, как некоторые говорят, по своей щедрости, ибо он любил приносить торжественные жертвы, блистательно угощать иностранных – что все требовало великих издержек. Напротив того, другие обвиняют

его в низкой и мелочной скупости – до того, что будто бы продавал съестные припасы, которые ему дарили. Некогда просил он жеребца у Филида, заводчика лошадей, и получил отказ. Фемистокл грозил превратить вскоре дом его в деревянного коня*. Этой загадкой давал он заметить, что возбудит против него ссоры с родственниками его и тяжбы с друзьями.

Честолюбием и желанием прославиться превзошел он всех. Будучи еще молод и неизвестен, упросил Эпикла, уроженца города Гермион*, кифариста, уважаемого афинянами, заниматься игрой в его доме, желая, чтобы многие приходили к нему и искали его дома. Приехав в Олимпию, хотел он великолепием шатров, пиршеств и других приготовлений сравниться с Кимоном; но грекам это было неприятно. Они думали, что это можно было позволить Кимону, как человеку молодому знатного происхождения; но Фемистокл, еще неизвестный, возносившийся несообразно с своим состоянием и родом, почитаем был за надменного и тщеславного человека. Он сделал издержки для представления трагедии и в прении одержал верх. Этот род прения был тогда в великом уважении и многие в том полагали всю свою славу*. В знак этой победы посвятил доску с следующей надписью: «Фемистокл фреарриец был хорегом; Фриних сочинил трагедию; Адимант был архонтом*».

Он был приятен народу – как потому, что называл по имени каждого из граждан, так и потому, что оказывал себя беспристрастным судьей во всех делах. Симонид Кеосский* просил у него чего-то несправедливого во время его начальства; Фемистокл сказал ему: «Ни ты не можешь быть хорошим стихотворцем, сочиняя стихи без размера, ни я хорошим правителем, из угождения преступая законы». В другой раз, смеясь над Симонидом, называл его человеком безумным за то, что он ругал коринфян, которые обитали в большом городе, и заставлял делать свои изображения, хотя был лицом весьма дурен. Между тем сила его возрастала; будучи любим народом, возрастал он против Аристида и успел изгнать его из города остракизмом*.

Во время нашествия персов на Грецию афиняне советовались между собой об избрании полководца. Все добровольно отказывались от военачальства, страшась сопряженных с ним опасностей. Один Эпикид, сын Эвфимида, народный оратор, весьма искусный, но душою слабый и против денег нетвердый, оказывал желание получить начальство и, по-видимому, надеялся одержать верх подачей всех голосов в его пользу. Фемистокл, боясь, чтобы дела не расстроились совершенно, когда бы Эпикид получил верховное начальство, потушил деньгами его честолюбие. Хвалят поступок его с переводчиком, посланным от царя персидского для истребования земли и воды. По народному постановлению Фемистокл поймал и умертвил его за то, что повелениями варвара осмелился осквернить греческий язык*; равномерно одобряется и то, что по его представлению объявлены бесчестными Артмий из Зелии, дети и весь род его за то, что он перенес к грекам персидское золото.

Всего важнее то, что он прекратил все брани между греками, примирил между собой города, убедил их отложить вражду по причине войны – к чему, как говорят, много способствовал ему Хилей из Аркадии.

Получив верховное начальство, Фемистокл предпринял посадить на суда своих сограждан, убедить их оставить город и как можно далее от Греции, на море, встретить варваров. Многие этому сопротивлялись. Фемистокл вместе с лакедемонянами вывел на Темпейские поля* многочиленное войско, дабы прикрыть Фессалию, которая еще не пристала к персам. Но они возвратились оттуда безуспешны; фессалийцы приняли сторону царя, и все области, до самой Беотии, к нему присоединились. Тогда-то афиняне более обращали внимания на слова Фемистокла относительно к морю и послали его на кораблях к Артемисию, дабы охранять узкий проход*. Здесь соединенные греки хотели, чтобы ими предводительствовали Эврибиад и лакедемоняне; но афиняне не соглашались быть под предводительством других, ибо числом своих кораблей они одни превышали все другие народы*. Фемистокл, предусматривая бедствие, которым угрожал этот раздор, сам уступил Эврибиаду начальство и успокоил афинян, обещаясь заставить всех греков повиноваться им добровольно во всем, если только будут мужественно сражаться. По этой причине Фемистокла должно почитать первейшим виновником спасения Греции и особенно возвышения афинян, которые победили своим мужеством неприятелей, а кротостью своей – союзников. Неприятельский флот пристал к Афетам. Эврибиад, устрашенный множеством устроившихся против него кораблей и узнав, что еще двести плавают около Скиафоса*, хотел поспешно возвратиться внутрь Греции,

пристать к Пелопоннесу и усилиться сухопутным войском, почитая силу царя персидского на море вовсе непобедимой. Эвбейцы, боясь, чтобы греки не предали их персам, послали тайно к Фемистоклу для переговоров Пелагонта с великим числом денег. Фемистокл принял деньги, как Геродот повествует, и отдал Эврибиаду*. Более всех афинян противился ему Архитель, триерарх священного корабля*; не имея денег для содержания мореходов, спешил отплыть назад. Фемистокл так раздражил против него граждан, что они отняли у него ужин. Архитель от всего этого унывал и сердился; Фемистокл послал ему в корзине на ужин хлеба и мяса, под которые положил серебряный талант, советовал ему теперь ужинать спокойно, а на другой день иметь попечение о своих товарищах; в противном случае грозил обвинить его перед гражданами в получении денег от неприятелей. Так повествует о том Фаний Лесбосский.

Происходившие тогда с кораблями варваров битвы* в узком месте не были решительны в целом, но служили весьма полезным опытом для греков, которые самым делом среди опасностей удостоверились, что ни множество кораблей, ни блеск и богатство украшений, ни надменные восклицания, ни песни варварские не должны быть страшны для тех, кто умеет нападать на неприятелей, дерзает сражаться; что не следует обращать внимания на это, а хватать их и с ними бороться.

Кажется Пиндар хорошо знал об этом и потому говорил о битве при Артемисии*:

Здесь славное начало афинские сыны
Свободы положили.

В самом деле – смелость есть начало победы. Артемисием называется берег Эвбеи, выше Гестиэи*, простирающийся к северу, против Олизона, лежащего в стране, которая обладаема была некогда Филоктитом. Там находится небольший храм Артемиды, именуемой Восточной. Вокруг него растут деревья и поставлены столпы из белого камня. Если камень потереть рукой, то издает запах шафрана и принимает его цвет. На одном из этих столпов надписаны следующие стихи:

Азийских дальних стран, племен различных, многих
Афинские сыны здесь, сокрушив суда
В морском сражении, эти столпы воздвигли
Тебе, о дева Артемида, в знак победы!

На морском берегу показывают место, где в большой куче песка, из глубины достается золистая черная пыль, как бы пережженая. Полагают, что обломки судов и мертвые тела сожжены на этом месте.

Когда возвещено было в Артемисии о том, что произошло в Фермопилах*, когда узнали, что Леонид пал на месте, а Ксеркс завладел всеми проходами на сухом пути, то морские силы возвратились внутрь Греции, афиняне шли сторожевым строем и по причине своей доблести гордились своими подвигами. Фемистокл, проходя места, которым необходимо надлежало престать неприятелям, вырезал на камнях, которые или по случаю где находились, или сам ставил в удобных для стоянок и для получения воды местах, большими буквами увещания ионянам, дабы склонить их, если можно, перейти к стороне афинян*, отцов своих, сражающихся за их вольность, или по крайней мере вредить варварам во время битвы и приводить в расстройство. Этими объявлениями надеялся он или привлечь к себе ионян, или произвести неустройство, сделав их подозрительными варварам.

Между тем Ксеркс шел через Дориду в Фокиду и жег фокейские города. Греки* их не защищали; тщетно афиняне их просили идти навстречу варварам в Беотию для прикрытия Аттики, так как они на море помогли им при Артемисии; никто не внимал словам их. Всех умы обращены были к Пелопоннесу; все хотели собрать силы внутрь оного, заградить Истм стеною от одного моря до другого. Афиняне негодовали за это предательство и, оставаясь одни, впали в уныние и отчаяние. Они не могли и помышлять о сражении против стольких тысяч неприятелей. Не было другого средства в тогдашних обстоятельствах, как оставить город и сесть всем на суда; но это было неприятно народу, который не мечтал о победе, не чаял себе

спасения, покинув храмы богов и гробницы отцов своих.

Фемистокл, не надеясь более человеческими советами склонить народ к своему намерению, поднял машину, как говорится в трагедиях*, – прибегнул к сверхъестественным знамениям и прорицаниям. Он употребил в свою пользу то, что змей в эти дни оставил храм и сделался невидим*. Жрецы находили целыми поставляемые для него ежедневно приношения и возвестили о том народу, объявляя, по изъяснению Фемистокла, что богиня оставила город и показывала им путь к морю. Прорицание пифийское также употреблял он, дабы склонить народ на свое предложение, ибо под словами «деревянная стена» разумелось, по его мнению, не другое что как корабли, и Саламин в том прорицании назван божественным, а не злополучным и несчастным*, как бы этим прилагательным предвещая грекам великое благополучие. Мнение его было принято; он предложил принять постановление следующего содержания: «Предать город защите Афины, покровительницы афинян; всем взрослым сесть на суда, и всякому, по возможности, стараться о спасении жены, детей и рабов своих». Постановление было утверждено. Большая часть афинян выслали отцов и жен в Трезену. Трезенцы приняли их дружески, определили содержать их общественным иждивением, назначив каждому по два обола* в день; позволили детям брать везде плоды и платили за них жалованье учителям. Это постановление написано Никагором.

В общественной казне афинян не было денег. Аристотель говорит, что Ареопаг дал каждому гражданину, отправляющемуся в поход, по восьми драхм, это было главным пособием к вооружению судов. Клидем, напротив того, приписывает и это хитрости Фемистокла, ибо между тем как афиняне сходили в Пирей, говорят, что исчезла голова Горгоны от кумира богини*. Фемистокл, притворяясь, будто ее ищет, все осматривая, нашел великое количество денег, сокрытых в обозах. Эти деньги были обращены на общественное употребление, и воины, отправлявшиеся на судах, запасались в изобилии всем нужным.

Таким образом, целый город, так сказать, садился на суда. Трогательное зрелище, в одних производившее сострадание, в других изумление от такой смелости! Одни высылали родителей своих; другие переправлялись на остров Саламин, не трогаясь ни воплем и слезами жен, ни лобзаниями детей своих. Многие из граждан по причине глубокой старости принуждены были остаться в городе и возбуждали к себе жалость. Самые домашние животные, с жалобными криками провождавшие отъезжающих своих питателей, трогали душу и приводили ее к чувствительности. Между прочим, собака Ксанфиппа, отца Перикла, не стерпя разлуки с господином своим, бросилась в море, плыла за кораблем его, достигла берега Саламина и, от усталости павши, тотчас умерла. Так называемая Киноссема, или «Собачья могила», есть то место, в котором, как сказывают, погребли ее.

Велики эти дела Фемистокловы, но не меньше велико и то, что, приметя, сколько граждане желали возвращения изгнанного Аристида и страшились, чтобы он из гнева не пристал к варварам и не погубил вконец Греции, ибо он был изгнан до начала войны происками Фемистокла, он написал постановление, которым позволялось всем, на время изгнанным согражданам, возвращаться, говорить и делать с прочими гражданами, что покажется им полезно к спасению Греции.

Главным начальником морской силы был Эврибиад, по причине достоинства спартанцев; но он был человек немужественный в опасностях и хотел возвратиться к Истму, где собраны были сухопутные силы пелопоннесцев. Фемистокл противился его намерению. В этом случае произнесены были известные достопамятные слова. Эврибиад сказал* ему: «Фемистокл! Тех бьют, кто бежит раньше времени на всенародных играх». «Да! – отвечал Фемистокл. – Но не венчают тех, кто остается позади». Эврибиад поднял трость, как бы хотел его ударить, а Фемистокл сказал: «Бей, но слушай!» Эврибиад, удивляясь его кротости, позволил ему говорить, и Фемистокл обратил его к своему предложению. При этом некто сказал, что человеку, не имеющему города, неприлично учить других оставить и предать свои отечества. «Несчастный! – сказал Фемистокл, обратив к нему речь. – Мы оставили одни дома и стены, не желая рабствовать для бесчувственных вещей. Наш город больше всех греческих городов – это суть двести триер, которые здесь готовы подать вам помощь, если вы хотите спастись. Если же вы удалитесь снова и предадите нас, то скоро иные греки услышат, что афиняне нашли и город вольный*, и область не хуже той, которую потеряли». Эти слова Фемистокловы исполнили

Эврибиада подозрения и страха, чтобы афиняне не отстали от них и не удалились. Некий эретрийский* военачальник хотел говорить против него. Фемистокл сказал ему: «Ужели и вы можете рассуждать о войне? Вы, которые, подобно сепии*, имеете меч, но не имеете сердца?»

Некоторые повествуют, что Фемистокл говорил о том на палубе корабля, и в то самое время узрели сову*, которая летела по правой стороне кораблей и села на снасти. Это знамение заставило всех согласиться на мнение Фемистокла и приготовиться к сражению. Но, когда неприятельский флот, несясь к Аттике, у фалерской пристани закрыл все окрестные берега, царь, сам с сухопутным войском пришедший к морю, вдруг явился им и все силы его были собраны вместе – слова Фемистокла были забыты греками; пелопоннесцы в ужасе опять обращали взоры к Истму и негодовали, когда кто представлял им что-либо тому противное. Они решили отступить ночью; всем начальникам кораблей приказано было приготовиться. Прискорбно было Фемистоклу, что греки оставляли выгоды, доставляемые им местоположением и теснными проливами, и намеревались разойтись по городам своим. Он выдумал хитрость, произведенную им в действо через Сикинна. Этот Сикинн был родом перс*, пленник, но преданный Фемистоклу, детей которого был он дядькой. Фемистокл послал его тайно к Ксерксу с объявлением, что афинский полководец Фемистокл, приставая к его стороне, первый ему возвещает, что греки уже бегут, что советует воспрепятствовать их отступлению и, пока они в смятении и отделены от сухопутных войск, напасть на них и истребить морские их силы. Ксеркс обрадовался этому известию, почитая его знаком преданности к себе Фемистокла. Он велел тотчас начальникам кораблей спокойно готовить другие к сражению, а с двумястами занять немедленно все окрестные острова, дабы ни один из неприятелей не ушел.

Между тем как это производилось, Аристид, сын Лисима, приметив то первым, прибыл к шатру Фемистокла*, которого не был он другом (быв прежде изгнан им, как нами уже сказано), и, когда Фемистокл вышел, он объявил ему, что они окружены со всех сторон неприятелем. Фемистокл, зная добродетель этого мужа и радуясь его присутствию, открыл ему все то, что он сделал через Сикинна, и просил его содействовать ему и ободрить греков, которые к нему имели большую доверенность, сражаясь в проливах. Аристид похвалил Фемистокла, ходил ко всем полководцам и начальникам кораблей, увещевал и побуждал их к битве. Они еще не верили, что окружены со всех сторон неприятелем, как теносское судно под начальством Панетия, убежав от неприятелей, перешло к ним и подтвердило известие. Таким образом, гнев при необходимости двинул греков к сражению.

На рассвете дня Ксеркс, обозревая флот и ополчение, стал на возвышенное место, как Фанодем* пишет, выше капища Гераклова, где остров Саламин узким проливом отделяется от Аттики; а по свидетельству Акестодора, на границе мегарской, выше так называемых Керат*. Он сидел на золотом троне*; вокруг него было много писцов, которых должность состояла в том, чтобы описывать то, что происходило во время битвы.

Между тем как Фемистокл приносил жертвы на главном корабле, приведены были к нему три пленника, прекрасные видом, в великолепной золотой одежде. Их почитали сынами Сандаки, сестры царя, и Артаикта. Прорицатель Эвфрантид взглянул на них и, как в то же время от жертв воссиял великий и яркий свет и с правой стороны некто чихнул*, то он, взяв за руку Фемистокла, повелел ему посвятить этих юношей и принести всех в жертву Дионису Оместу («Свирепому»)*, уверяя, что это доставит грекам спасение и победу. Фемистокл был поражен столь чрезвычайным и страшным прорицанием; но народ, как обыкновенно случается в великих опасностях и трудных делах, полагая свое спасение более в том, что странно и необычайно, нежели в том, что согласно с рассудком, призывая громким криком все вместе бога, привел к жертвеннику пленников и принудил совершить жертву так, как приказал прорицатель. Об этом повествует Фаний Лесбосский, мудрец, весьма сведущий в истории.

О множестве варварских кораблей стихотворец Эсхил в трагедии своей, именуемой «Персы», говорит уверительно, как совершенно знающий о том*, следующее:

Приплыла тысяча за Ксерксом кораблей!
Я знаю точно то! По быстроте своей
Две сотни кораблей их всех превосходили.

Афинских кораблей всех было сто восемьдесят; на каждом из них было восемнадцать человек, которые сражались на палубе; из них четверо были стрелки; прочие же – тяжеловооруженные.

Кажется, Фемистокл воспользовался временем столь же хорошо, как и местом. Не прежде на неприятеля он обратил корабли свои, как по наступлении обыкновенного часа, когда сильный ветер поднимается с моря и гонит валы в пролив. Этот ветр нимало не вредил греческим судам, которые были низки – почти наравне с морем; но варварские, с поднятыми кормами и высокими палубами, будучи тяжелы, были вращаемы ветром и представляли бока свои грекам, которые быстро на них неслись и обращали внимание к Фемистоклу, как человеку, лучше всех знавшему то, что было им полезно. На него напал начальник персидских кораблей Ариамен, человек храбрый, лучший и справедливейший из братьев царских, имевший большой корабль, с которого, как со стены замка, метал копья и стрелы. Аминий из Декелеи* и Сокл из Педиэи, плывшие на одном судне, когда корабли устремились один на другой, сцепились с ним крючьями. Ариамен вскочил к ним в судно; они устояли твердо против него и, поражая копьями, наконец бросили в море. Мертвое тело его, несомое с обломками кораблей, узнала Артемисия*, подняла и принесла к Ксерксу.

Между тем как битва таким образом происходила, говорят, что свет великий воссиял от Элевсина; по Фриасийской долине до самого моря раздался звук и голос, как будто бы великое множество людей вместе выносили таинственного Иакха*. Из этой толпы говорящих понемногу поднималась с земли туча, которая потом стала опускаться и упала на суда. Некоторым явились призраки в виде вооруженных людей, которые простирают руки от Эгины перед триерами, как бы эакиды, призванные на помощь молениями перед началом сражения*.

Ликомед, афинянин, корабленачальник, первый овладел неприятельским судном, снял с него все украшения и посвятил их Аполлону Лавроносцу. Другие греки, поравнявшись строем с неприятельскими судами, которые в тесном месте не все вдруг, но по частям вступали в бой и сталкивались между собою, сражаясь с ними упорно до самого вечера, одержали, как говорит Симонид, прекрасную и знаменитую победу*, блистательнее которой ничего не произвели на море ни варвары, ни греки и которая была плодом мужества и общих усилий соединенно сразившихся народов, благоразумия и искусства Фемистокла.

По окончании битвы Ксеркс, еще сражаясь духом против неудачи, предпринял перевести пехоту в Саламин, соединив этот остров с твердой землей и оградив пролив, для нападения на греков. Фемистокл, испытывая Аристида, предлагал идти в Геллеспонт и разломать наведенный Ксерксом на судах мост, дабы, говорил он, поймать Азию в Европе. Аристиду* не нравилось это предложение, и он сказал: «Теперь мы воевали с варваром, преданным неге и роскоши; но если заключим в Греции и страхом доведем до последней крайности государя, властителя таких сил, то он не будет более смотреть спокойно на битву, сидя под золотым балдахином; но дерзнет на все, будет сам везде присутствовать по причине опасности, исправит упущенное и последует лучшим советам для спасения целого. Итак, – продолжал он, – по моему мнению, не только не должно нам разломать наведенного им моста, но, если бы можно было, навесть еще и другой, дабы скорее выбросить его из Европы». «Если это кажется полезнее, – отвечал Фемистокл, – то время подумать всем нам и употребить все средства, чтобы принудить его в скорости оставить Грецию».

Предложение это было принято. Фемистокл тотчас послал к Ксерксу найденного им среди пленных евнуха по имени Арнака, с повелением сказать царю, что греки, одержав победу морскими силами, решились идти к Геллеспонту и развести мост; что Фемистокл, имея о нем попечение, советует ему поспешить к своему морю и перейти в Азию; между тем как он займет союзников и постарается задержать их от погони. Ксеркс, услышав это, объятый страхом, отступил назад с великой скоростью. Благоразумие Фемистокла и Аристида оправдано впоследствии битвой с Мардонием при Платеях, где греки, сражавшись с ничтожной частью Ксерксовых сил, были в опасности всего лишиться*.

По свидетельству Геродота, граждане Эгина более всех отличились; Фемистоклу же все дали первую награду, хотя и против воли, по причине своей к нему зависти. По отступлении в Истм полководцы брали дощечку с жертвенника*, и каждый из них записывал на ней первым себя по доблести, а вторым – Фемистокла. Лакедемоняне привели его в Спарту и дали в награду

Эврибиаду – за храбрость, а Фемистоклу – за благоразумие венок масличной ветви; они подарили ему лучшую в городе колесницу и выслали с ним триста юношей*, которые проводили его до самых границ. Говорят, что при отправлении следующих* Олимпийских игр как Фемистокл показался на ристалище, то все зрители, не обращая внимания на участников состязаний, целый день на него одного смотрели, показывали его иностранцам с рукоплесканием и изъявлением величайшего к нему уважения. Фемистоклу было это весьма приятно; он признался друзьям своим, что собрал плоды трудов, за Грецию понесенных.

В самом деле, он был от природы честолюбив, если судить по достопамятным его деяниям и изречениям. Будучи некогда избран начальником республики, никакого дела ни частного, ни общественного не приводил к концу по частям, но все отлагал до того дня, в который надлежало ему отплыть, дабы вдруг, занимаясь многими делами и обращаясь со многими разного звания людьми, казаться великим и могущественным.

Некогда смотрел он на выброшенные морем мертвые тела; увидя на многих из них золотые ожерелья и другие украшения, прошел мимо, а идущему за ним приятелю своему, показав их, сказал: «Возьми себе – ты не Фемистокл».

Некто из прекраснейших юношей по имени Антифат обходился с ним сперва весьма гордо, а во время его славы стал оказывать ему почтение. «Молодой человек, – сказал ему Фемистокл, – хотя поздно, но оба вместе мы образумились».

Обыкновенно говаривал он, что афиняне не любят и не почитают его, но поступают с ним как с платаном: во время бури и опасности под ним укрываются, а в хорошую погоду – щиплют и обсекают его ветви.

Некто с острова Сериф* сказал ему, что он не сам по себе славен, но по своему отечеству. «Ты правду говоришь, – сказал ему Фемистокл, – ни я не прославился бы, будучи уроженцем Серифа, ни ты, будучи афинянином».

Один из военачальников, оказав республике некоторую услугу, гордился пред Фемистоклом и сравнивал с его делами свои дела; Фемистокл сказал ему: «Некогда спорил с праздником следующий за ним день и говорил ему: “Нет тебе ни малейшего отдыха; ты отягчен работой и трудами, а во мне люди наслаждаются спокойно всем готовым”. “Это правда, – отвечал на то праздник, – но когда бы меня не было, не было бы и тебя”. Итак, – продолжал Фемистокл, – когда бы меня не было, где бы теперь вы были?»

Сын его управлял совершенно своей матерью, а через мать и им самим. Фемистокл в шутках утверждал, что сын его властью превышал всех греков, ибо афиняне, говорил он, управляют греками, я – афинянами, мною – его мать, матерью же он.

Желая во всем быть от других отличным, продавая некогда одно из своих поместий, приказал объявлять, что оно имеет и хорошего соседа.

Из женихов своей дочери доброго предпочел он богатому, говоря при том, что ищет более человека, имеющего нужду в деньгах, нежели денег, имеющих нужду в человеке.

Таковы суть достопамятные его изречения*.

По окончании упомянутых великих подвигов он предпринял возобновить Афины* и обнести их стенами, склонив эфоров, как пишет Феопомп, деньгами, дабы в том ему не препятствовали, а как другие говорят, обманув их. Под предлогом посольства он прибыл в Спарту*. Спартанцы жаловались, что афиняне укрепляют свой город, и Полиарх, посланный нарочно из Эгины, свидетельствовал и предлагал им для осмотра отправить в Афины посланников, желая, с одной стороны, выиграть довольно времени для постройки стен, а с другой – чтобы афиняне могли удержать спартанских посланников в залоге вместо себя. Это так и случилось. Лакедемоняне, узнав истину, не оказали никакого ему оскорбления, но отпустили его, скрывая свою досаду.

Потом начал он строить Пирей, приметив удобность и хорошее положение пристани. Он хотел весь город обратить к морю. В этом поступал он некоторым образом против политики древних афинских царей, которые, как известно, желая отклонить граждан от моря и приучить их жить земледелием без мореплавания, выдумали басню, что Посейдон и Афина спорили между собою о том, кому быть покровителем страны Аттической; Афина одержала победу, показав судьям масличное дерево*. Фемистокл не «приклеил Пирей» к городу, как говорит комической стихотворец Аристофан*, но соединил город с Пиреем и землю с морем. Это

усилило народ против аристократов и исполнило его дерзостью, ибо вся сила республики перешла в руки к мореходам, начальникам гребцов и кормчим. По этой причине трибуну на Пниксе, которая смотрела на море, обратили впоследствии так называемые тридцать тираннов к твердой земле*, будучи уверены, что владычество над морем производит народоправление и что земледельцы менее ненавидят олигархию или малоначалие.

Фемистокл возымел еще большие намерения о морской силе. По отступлении Ксеркса греческий флот пристал к Пагасам*, дабы там зимовать. Фемистокл в Народном собрании афинян сказал, что знает нечто весьма выгодное и полезное для них, но которое должно держать в тайне от народа. Афиняне велели ему сообщить о том одному Аристиду и привести в исполнение, если он то одобрит. Фемистокл открыл Аристиду, что мысль его была та, чтобы сжечь греческий флот. Аристид, представ пред народом, объявил, что нет ничего полезнее и вкупе несправедливее того, что Фемистокл произвести намеревается; афиняне запретили ему более предлагать о том.

Лакедемоняне в собрании амфиктионов предлагали исключить из сего собрания все города, которые не содействовали грекам против персов. Фемистокл, боясь, чтобы по удалении фессалийцев, фивян и аргосцев спартанцы не завладели совершенно голосами и не делали всего по своей воле, высказался в пользу этих городов и переменил мнение пилагоров*. Он представил им, что только тридцать один город участвовал в войне и что большая их часть весьма маловажна; что, выключив из этого союза всю Грецию, должно опасаться, чтобы совет амфиктионов не был во власти двух или трех больших городов. Этим более всего навлек он на себя ненависть лакедемонян; по этой причине старались они о возвышении Кимона, противополагая его в правлении республики Фемистоклу.

Фемистокл был ненавистен и другим союзникам, ибо объезжал острова и собирал с них деньги. Геродот сохранил нам слова, сказанные им жителям Андроса, у которых он требовал денег, и ответы их на оные. Фемистокл сказал им: «Я прибыл к вам с двумя могущественными богами – с убеждением и насилием». Андросцы ответствовали: «И мы имеем у себя двух великих богов: бедность и недостаток, которые нам запрещают выдать требуемые деньги». Тимокреонт, родосский стихотворец, в одной песне язвительно нападает на Фемистокла за то, что других изгнанников за деньги возвратил в отечество их, а его, приятеля своего, с которым был связан гостеприимством, предал для денег. Он говорит следующее:

Коль хочешь ты, хвали Павсания, Левтихида,
Ксанфиппа храброго*; хвалю я Аристида.
В Афинах не было правдивее его.
Тобою же мерзит, о Фемистокл, Латона;
Предатель, лжец, злодей! Не ты ль Тимокреонта,
Гостеприимника и друга своего
Отечества лишил, корыстно покоренный?
Тремя талантами сребра обогащенный,
Ты поднял паруса! О! Если б глубина
Сокрыла и его, и все его дела!
Одних неправедно он возвращал во грады;
Других неправедно лишал домов, отрады.
Иных же умерщвлял – и деньги собирал!
На Истме он потом народ весь угощает,
Холодное гостям там мясо предлагает;
Спокойно каждый ел и от души желал,
Хозяину сему, чтоб не прожить и года.

Тимокреон с большей колкостью и явною дерзостью поносит Фемистокла по изгнании его и осуждении в песни своей, которая так начинается:

Муза! Прославь песню эту в Греции –
то прилично и справедливо.

Говорят, что Тимокреонт был изгнан за мидизм* и что в осуждении Фемистокл подал голос против него. Когда же и Фемистокла обвиняли в мидизме, то Тимокреонт писал следующее:

Тимокреонт один не входит в дружбу с мидом.
Не я один с пятном: есть много и других;
Довольно в Греции, довольно есть лисиц.

Уже афиняне из зависти к Фемистоклу охотно принимали клеветы, на него взносимые; а Фемистокл, принужденный часто напоминать им о делах своих и заслугах, причинял им неудовольствие. Он говорил тем, кто изъявлял на то досаду: «Разве вам тягостно от одних и тех же часто принимать благодеяния?»

Народу было также неприятно и то, что он воздвиг храм Артемиде, которую назвал «Благосоветной», как бы этим показывая, что он дал афинянам и всем грекам лучшие советы. Храм этот построил он близ своего дома в Мелите, куда ныне палачи кидают тела казненных и куда относят платье и веревки удавленных и убиенных. Еще в наше время было в храме Благосоветной малое изображение Фемистокла. Видно, что Фемистокл был лицом столько же героический, как и духом.

Афиняне изгнали его остракизмом для унижения его важности и могущества – так они обыкновенно поступали со всеми теми, сила которых была им тягостна и несообразна с демократическим равенством. В самом деле, остракизм был не наказанием, но утешением и облегчением зависти, которая радовалась тому, что унижала превознесенных над другими. В этом бесчестии она истощала свою злобу.

Фемистокл по изгнании из Афин жил в Аргосе. Случившееся тогда с Павсанием* дало повод неприятелям его к обвинению. Леобот, сын Алкмеона из Агравлы, вместе со спартанцами обвинял Фемистокла в предательстве. Когда Павсаний производил в исполнение задуманный план измены, то сперва скрывался от Фемистокла, хотя он и был ему другом. Но как скоро увидел его изгнанным из своего отечества и огорченным, то осмелился предложить ему принять участие в его намерении, показал полученные от персидского государя письма и возбуждал его против греков, называя их несправедливыми и неблагодарными. Хотя Фемистокл отвергнул его предложение и отказался от участия в этом деле, однако никому о том не говорил и не объявил злоумышления, или думая, что Павсаний переменит мысли, или надеясь, что другим каким-либо образом он обнаружится, предприняв дело дерзкое и опасное без всякого рассудка. По умерщвлении Павсания* нашлись касательно этой измены письма, которые навели на Фемистокла подозрение. Лакедемоняне кричали против него; завистливые граждане его обвиняли. Фемистокл, удаленный от своего отечества, только через письма старался оправдать себя. Оклеветанный своими неприятелями, писал он к согражданам, что всегда желал начальствовать, что не рожден повиноваться и не хочет того и потому никогда не имел в мыслях своих предать варварам и врагам себя вместе с Грецией. Однако народ, убежденный доносчиками, послал нарочных с приказанием поймать его и представить грекам для произведения над ним суда.

Фемистокл это предвидел и отправился в Керкиру; этому городу оказал он некогда услугу*. Будучи назначен судьей в распре керкирян с коринфянами, он примирил их, осудил коринфян заплатить двадцать талантов и сообща с керкирянами владеть Левкадой*, которая является поселением обоих народов. Оттуда убежал он в Эпир. Преследуемый афинянами и лакедемонянами, предался он весьма сомнительной и опасной надежде – прибег к Адмету, царю молосскому*. Этот государь просил некогда помощи у афинян и, получив презрительный отказ от Фемистокла, который имел тогда в республике великую силу, питал против него вражду и не скрывал того, что намерен был его наказать, когда бы он попался к нему в руки. Но Фемистокл в тогдашнем изгнании, страшась новой зависти своих единоплеменников больше, чем древнего царского гнева, сам предал ему себя, соделался просителем Адмета странным и необыкновенным образом*. Держа малолетнего сына царя, припал он к домашнему жертвеннику; моление такого рода молоссы почитают важнейшим и одно оно ими не

отвергаемо. Некоторые говорят, что супруга Адмета по имени Фтия научила Фемистокла молению такого рода и посадила сына своего вместе с ним на жертвенник. Есть и такие, которые уверяют, что Адмет сам был участником в этом театральном представлении и изобрел это средство, дабы освятить причину, ради которой не выдавал Фемистокла гонителям его. Туда отправлены были к нему жена и дети его, которых Эпикрат-ахарнянин увез из Афин тайно; за что Кимон впоследствии приговорил его к смерти, как свидетельствует Стесимброт. Но потом историк каким-то образом сам ли забыл об этом или заставил Фемистокла забыться, говорит, что он отправился в Сицилию и просил тамошнего царя Гиерона выдать за него замуж дочь свою, обещаясь сделать ему подвластными греков. Гиерон ему отказал, и Фемистокл отправился в Азию.

Однако невероятно, чтобы это так происходило, ибо Феофраст в книге своей «О царстве» повествует, что Гиерон послал некогда в Олимпию коней для ристания и велел там раскинуть шатер; что Фемистокл говорил грекам, что должно расхитить шатер тиранна и не допустить коней его к ристанию. Фукидид притом пишет, что Фемистокл, придя к Эгейскому морю, сел на корабль в Пидне*. Никто из мореходов не знал, кто он таков до того времени, как ветром судно занесено было к острову Наксос, осаждаемому тогда афинянами. Фемистокл, страшась их, открылся начальнику корабля и кормчему и, то употребляя просьбы, то грозя обвинить их перед афинянами, что они не по неведению, но за деньги приняли его на свое судно, заставил их проехать мимо и пристать к Азии.

Большую часть его богатства приятели его скрыли и переслали тайно к нему в Азию. Найдено и отобрано в народную казну, по уверению Феопомпа, сто талантов, а по мнению Феофраста – восемьдесят; хотя все имение его до вступления в правление республики не стоило и трех талантов.

По прибытии своем в Киму* приметил он, что многие приморские жители подстерегали его и хотели поймать, особенно же Эрготель и Пифодор. Добыча эта была весьма выгодна для тех, которые от всего желают получать себе прибыль, ибо царь персидский обещал двести талантов тому, кто приведет Фемистокла. Он убежал в Эги*, городок эолийский, где его никто не знал, кроме приятеля Никогена, богатейшего человека изо всех эолян, который имел знакомства с вельможами двора. Фемистокл пробыл несколько дней, скрываясь в его доме. Некогда по принесении жертвы после ужина Ольбий, учитель детей Никогена, как бы в ступлении и по вдохновению свыше воскликнул с размером:

Дай ночи глас, совет, дай ночи ты победу!*

Фемистокл после этого предался сну. Ему привиделось, что змей обвивался вокруг его утробы и приполз к его шее, потом, коснувшись лица его, превратился в орла, который поднял и унес в дальнее место; вдруг явился золотой жезл, на который поставил его безопасно, и он освободился от великого страха и смятения, которым был объят. Вскоре Никоген отправил его от себя, употребив следующую хитрость. Все варварские народы, особенно же персы, весьма свирепы и злы в ревности своей к женщинам; не только жен своих, но рабынь и наложниц содержат они строго, чтобы никто из посторонних не видал их. Они живут в домах взаперти, а в дороге возят их на колесницах под закрытыми отовсюду завесами. Никоген сделал такую колесницу для Фемистокла, в которую он и сел; провожавшие его говорили тем, кто попадался им навстречу и спрашивали, кто в колеснице, что они везут из Ионии молодую гречанку к одному из вельмож царских дверей*.

Фукидид и Харон из Лампсака* повествуют, что в то время умер Ксеркс и Фемистокл представился сыну его Артаксерксу*. Но Эфор, Динон, Клитарх, Гераклид и многие другие уверяют, что Фемистокл прибыл к самому Ксерксу. Кажется, что Фукидид более всех согласен с летосчислением, хотя и оно не составлено с точностью.

Фемистокл наконец в самый решительный момент явился сперва к Артабану*, тысяченачальнику, сказал ему, что он грек и хочет говорить с царем о весьма важных делах, о которых сам царь наиболее заботится. «Чужестранец! – сказал ему Артабан. – Законы и обычаи народов различны, что прекрасно у одних, то у других таковым не признается. Прилично лишь всем хранить и чтить отечественные обычаи. Вы, как говорят, более всего уважаете вольность и

равенство; напротив того, у нас среди множества прекрасных постановлений самое лучшее то, которое нам повелевает чтить царя и поклоняться в нем образу бога, все сохраняющего. Если ты согласно с нашими обыкновениями хочешь пасть пред царем, то позволено тебе будет видеть его и говорить с ним. Если же мыслишь иначе, то должно будет тебе отнестись к нему через других. Царь не может слушать того, который не падет пред ним». Фемистокл, услышав это, сказал: «Артабан! Я для того сюда прибыл, чтобы умножить славу и силу великого царя. Не только сам я буду повиноваться вашим законам, поскольку такова есть воля бога, вознесшего царство персидское; но через меня более, чем теперь, народов будут покланяться царю. Итак, да не будет это мне препятствием говорить с ним». – «Но кто ты и как тебя назвать? – спросил Артабан. – По-видимому, ты человек необыкновенный». – «Никто прежде царя самого этого не узнает», – отвечал ему Фемистокл.

Так повествует Фаний. Но Эратосфен в книге «О богатстве» добавляет, что Фемистоклу, чтобы быть представленным Артабану, помогла женщина родом из Эретрии, с которой тысяченачальник жил.

Фемистокл был введен к царю, поклонился ему по персидскому обычаю и стоял в молчании. Царь повелел переводчику спросить его, кто он таков. На этот вопрос он отвечал: «Государь! Я прибыл к тебе – Фемистокл, афинянин, изгнанник, греками преследуемый. Я причинил много зла персам, но еще более добра, удержав греков от преследования тогда, когда Греция была уже безопасна и спасенное отечество позволяло оказать и вам некоторую услугу. Прилично все теперешнему моему несчастью, и я здесь готов принять твои благодеяния, если великодушно со мною примиришься или укротишь гнев твой, если еще он продолжается. Но ты прими самих врагов моих во свидетели того, какие персам оказал я услуги, и воспользуйся бедствиями моими более к изъявлению твоей добродетели, нежели к удовлетворению гнева твоего. Спасая меня, спасешь человека, прибегавшего под защиту твою; губя, ты погубишь неприятеля греков». После этих слов Фемистокл, дабы более убедить царя свидетельством свыше, рассказал сон, виденный им у Никогена и оракула Зевса Додонского, который повелел ему искать защиты у соименного ему бога, что подало ему мысль отправиться к царю, ибо тот и другой могущественны и оба называются царями. Царь на это не отвечал ни слова, хотя удивился духу его и великой смелости. Он поздравил себя перед своими приближенными с этим событием, как бы с великим для себя счастьем, и просил Аримана* всегда внушать неприятелям мысль изгонять от себя лучших мужей. Потом приносил он жертвы богам, сделал пиршество и ночью во сне трижды воскликнул в радости: «Афинянин Фемистокл в моих руках!»

На другой день, созвав приближенных своих, велел представить Фемистокла, который ничего доброго не ожидал, приметя, что придворные, едва узнали его имя, оказывали к нему неблагорасположение и поносили его. Сверх того, когда шел мимо тысяченачальника Роксана, то тот в присутствии сидящего государя и других вельмож, безмолвно пребывающих, вздохнув тихо, сказал: «Греческий змий разноцветный! Гений-хранитель царя тебя сюда привел!» Фемистокл был представлен царю и снова поклонился; царь принял его милостиво, приветствовал и сказал, что уже должен ему двести талантов, ибо за то, что он сам себя привел, по справедливости надлежит ему получить вознаграждение, обещанное тому, кто привел бы его. Он обещал ему еще более, ободрил его и велел ему говорить свободно то, что он думал о греческих делах. Фемистокл отвечал ему, что слово человеческое подобно коврам разноцветным, которые открываясь и развиваясь, показывают виды, на них изображенные, а будучи свернуты, сокрывают и портят их. По этой причине просил он срока.

Царю понравилось это уподобление и позволил ему назначить срок: Фемистокл просил сроку на год. В это время, научившись довольно персидскому языку, говорил сам с царем. Удаленные от двора думали, что они говорят о греческих делах. Но так как при дворе и среди царских приближенных в то время произошли важные перемены, то вельможи завидовали ему, подозревая, что он осмелился и о них откровенно говорить с государем. Почести, оказываемые ему царем, нимало не были сходны с теми, какими пользовались другие иностранцы.

Он участвовал в царской охоте и в домашних забавах царя до того, что введен был к его матери и имел к ней свободный доступ; также, по повелению царя, был он наставлен в учении магов*.

Демарат, бывший царем спартанским, получил позволение от царя требовать себе какой-либо милости; он просил проехать на коне через город Сарды, с кидаром на голове, подобно царям*. Митропавст, двоюродный брат Демарата, сказал ему: «Этот кидар не имеет мозга, который бы он покрыл; и ты не будешь Зевсом, хотя бы держал молнию в руках своих». Царь настолько вознегодовал на просьбу Демарата, что казался неукротимым; однако Фемистокл просил царя о нем и исходатайствовал ему прощение. Известно, что при последовавших царях, под которыми дела персов более смешивались с греческими, когда они имели нужду в каком-нибудь из греков, писали к нему и обещали, что он будет при них больше и важнее Фемистокла. Сам он, будучи уже знаменит и многими почитаем, некогда за столом, великолепно приготовленным, сказал детям своим: «Дети! Мы бы погибли, если б не погибли».

Многие писатели уверяют, что ему даны были три города – Магнесия, Лампсак и Миунт на хлеб, на вино и на рыбу*. Неанф из Кизика и Фаний прибавляют города Перкоту и Палескепсис – на одеяние и постель.

Фемистокл отправился в приморские области по делам, касающимся Греции. Один перс, по имени Эпексий, сатрап Верхней Фригии, злоумышляя на его жизнь, задолго до этого подговорил нескольких писидийцев для его умерщвления, когда тому надлежало остановиться на ночь в городе Леонтокефале (то есть «Львиная голова»). Фемистокл отдыхал в полдень, когда Мать богов* явилась ему во сне, и сказала: «Фемистокл! Избегай головы львиной, чтобы не попасться льву. За это требую от тебя в служительницы Мнесиптолему». Фемистокл, устрашенный этим явлением, помолился богине, оставил большую дорогу и продолжал путь другой, минул означенное место и остановился в открытом поле при наступлении уже ночи. Случилось, что один из вьючных скотов, везших шатер, упал в реку; служители Фемистокла раскрыли смокшие завесы и сушили их. Писидийцы, вооруженные мечами, устремившись сюда, не могли точно распознать при свете луны, что такое сушили; они почли то шатром Фемистокла и думали, что его найдут внутри спящим. Когда они приближились и поднимали завесы, служители, которые оные стерегли, напали на них и переловили. Таким образом, Фемистокл избег опасности и, удивясь явлению богини, соорудил в Магнесии храм Диндимены* и сделал в нем жрицей дочь свою Мнесиптолему.

По прибытии своем в Сарды, будучи без занятия, осматривал он великолепные храмы и множество даров, богам посвященных. Он увидел в храме Матери богов медный кумир девы, называемую «водоносною», в два локтя вышиной. Когда он был в Афинах надзирателем над водами, открывши тех, кто отнимал общественную воду, отвращая ее течение, соорудил кумир этот на деньги, собранные с наложенной на них пени. Почуствовав ли сострадание, видя этот кумир в плену или желая показать афинянам, сколь велика была его сила при царе и в каком уважении у него находился, он просил лидийского сатрапа отослать оный в Афины. Варвар на это негодовал и грозил Фемистоклу отписать о том царю. Фемистокл, устрашенный его словами, прибег к женам сатрапа и, одарив их деньгами, укротил гнев его. С тех пор вел себя с большей осторожностью, боясь уже и зависти варваров. Он не разъезжал по Азии, как Феопомп уверяет, но пребывал в Магнесии, пользуясь великими подарками и уважаемый наравне с знаменитейшими персами. Долго жил он в покое. Царь не обращал внимания на Грецию, будучи занят делами в Верхней Азии. Но когда Египет возмутился при помощи афинян, греческие корабли плавали до Кипра и Киликии, и Кимон, обладая морями, заставил его противодействавать грекам и препятствовать увеличению их могущества к вреду его; когда уже и силы царские были в движении и полководцы отправлялись, то к Фемистоклу посылаемы были в Магнесию от царя приказания – приступить к делу против греков и исполнить данные обещания. Но он не пылал гневом против сограждан своих; такие великие почести и власть также не влекли его к войне. Может быть также, что дело это почитал он невозможным, потому что Греция имела тогда великих полководцев и Кимон славился блистательными успехами. Более же всего, уважая славу собственных своих подвигов и прежних трофеев, принял благоразумное намерение украсить жизнь свою приличным концом. Он принес жертвы богам, собрал своих друзей, обнял их и – как большая часть писателей уверяет – выпив воловью кровь, а по мнению некоторых – приняв скородействующий яд*, окончил жизнь свою в Магнесии, прожив шестьдесят пять лет, большую часть которых провел в управлении республики и в военачальстве. Царь, узнав о причине и способе его смерти, как говорят, еще более ему

удивился и продолжал поступать милостиво с друзьями его и родственниками.

Фемистокл оставил по себе от Архиппы, дочери Лисандра, Архептолиса, Полиевкта и Клеофанта, о котором Платон-философ упоминает как о хорошем всаднике, но без всяких других достоинств. Из старших его детей Неокл умер еще в отрочестве от укуса лошади; Диокла же усыновил дед его Лисандр. Он имел многих дочерей. Мнесиптолема, рожденная от второй жены, вышла замуж за Архептолиса, неродного своего брата; на Италии женился хиосец Панфид, на Сибарис – афинянин Никомед; Никомаха братьями была выдана за племянника Фемистокла Фрасикла, который поехал в Магнесию по смерти отца ее; он же воспитал младшую из всех детей его – Асию.

Магнесияне сохраняют и поныне на площади великолепную его гробницу. Касательно праха его не должно верить Андокиду*, который в сочинении своем «К друзьям» говорит, что афиняне похитили и рассыпали его; это ложь, которою хочет возбудить против народа приверженных к малоначалию. Филарх*, употребляя в истории, как в трагедии, необычайные явления, выводит на позор неких Неокла и Демополиса, сыновей Фемистокла, желая тем возбудить ужас и сострадание. Однако и самый неученый человек может понять, что то выдумка*. Диодор Землеописатель в сочинении своем «О памятниках» говорит, скорее догадываясь, нежели зная наверняка, что близ Пирейской пристани, со стороны мыса Алкима, выдается в море острый конец наподобие локтя; если обогнуть его с внутренней стороны, то в месте, где море бывает спокойно, есть пространная площадка и на ней наподобие жертвенника стоит Фемистоклова гробница. Он думает, что и комический стихотворец Платон подтверждает его мнение, когда говорит:

В прекрасном месте там твой гроб стоит спокойно;
Отвсюду странники приветствуют тебя;
В моря ль пловцы текут иль к пристани стремятся,
Ты узришь их – и твой возвеселится дух,
Сраженье кораблей коль пред тобой предстанет.

Потомкам Фемистокла и до наших времен оказываются в Магнесии некоторые почести, которыми пользовался афинянин Фемистокл, с которым мы свели знакомство и дружбу у философа Аммония*.

Камилл

О Фурии Камилле говорят много достойного примечания; но наиболее странно и необычно то, что этот человек, многократно командовавший войсками и одержавший важнейшие победы, пять раз избиравшийся диктатором, удостаивавшийся торжественных почестей черыре раза, человек, называемый «вторым созидателем Рима», ни разу не был консулом. Причина этого – тогдашнее состояние республики*. Народ в раздоре с сенатом отвергал избрание консулов и избирал военных трибунов для управления республикой*. Хотя в их руках находилась высшая власть и они обладали консульской силой, однако могущество их казалось не столь тягостным – по причине числа их. Ненавидящие малоначалие утешались тем, что шесть человек – вместо двух – управляли делами. В это-то время Камилл процветал славою и подвигами; он не захотел быть консулом против воли народа, хотя в продолжение этого времени много раз происходили избрания консульские. Во всех различных и многочисленных должностях, которые он исправлял, вел себя так, что, когда начальствовал один, власть его была общая; когда же главенство принадлежало нескольким лицам, вся слава принадлежала ему одному. Причиной первого – скромность его, не возбуждавшая зависти; причиной другого – великие его способности, которыми, по общему признанию, он всех превышал.

В то время дом Фуриев не был еще весьма знаменит*. Камилл* сам себя первый прославил в большом сражении против эквов и вольсков, ратоборствуя под начальством диктатора Постумия Туберта. Ехав верхом впереди всего войска, он был ранен в бедро; однако не оставил битвы; вытащил дротик из раны, вступил в бой с самыми храбрыми из неприятелей и обратил их в бегство. За этот подвиг сверх других почестей получил он цензорство –

достоинство, бывшее в те времена в великом почтении*. Говорят, что в звании цензора произвел он два дела; одно похвальное – убедив холостых словами и грозя им наложением пени, вступить в брак со вдовицами, которых в то время было много по причине частых браней. Другое, по необходимости им произведенное, есть то, что он наложил подать на сирот, которые до того не платили никакой. Причиной тому – частые походы, которые требовали больших издержек. Осада города Вейи принуждала к тому римлян.

Этот город был красою Этрурии; множеством оружий и числом ратоборцев не уступал самому Риму. Гордясь богатством, негою, роскошью и великолепием, жители его совершили многие блистательные подвиги, оспоривали у римлян славу и владычество. Но в тогдашнее время униженные важными поражениями, они оставили честолюбие. Воздвигнув высокие и твердые стены, снабдив оружием, стрелами, хлебом и всякими потребностями город свой, бесстрашно выдерживали осаду, слишком долговременную и равно для самих осаждающих трудную и тягостную. Римляне тогда имели обычай недолго и в летнее только время воевать вне своей области, а зиму провождать в своих домах. В первый тогда раз принуждены были военными трибунами построить укрепления, обнести валом стан свой и в неприятельской земле проводить зиму и лето*. Меж тем война продолжалась почти семь лет. Римляне обвиняли в том предводителей* и лишили их начальства, ибо казалось, что осаду они производили недеятельно. К продолжению войны назначены были другие; в числе их был и Камилл, вторично избранный в военные трибуны. При осаде города в то время он не произвел ничего, ибо по жребию досталось ему идти войною на Фалерии и Капену*. Между тем как римляне были заняты осадой, эти народы грабили их области и беспокоили их во все продолжение войны с этрусками. Камилл победил их и принудил после великой потери запереться в стенах своих.

В самом жару войны случилось на Альбанском озере явление, своей странностью не уступающее самым невероятным чудесам и устрашившее всех по незнанию обыкновенных причин, оное объясняющих. Уже наступала осень после лета, в которое не приметили ни великих дождей, ни сильных полуденных ветров. Хотя Италия обилует озерами, реками и источниками, но тогда в одних совсем не было воды, другие едва устояли от действия засухи. Все реки, как обыкновенно бывает летом, были низки и мелки. Альбанское озеро, которое в себе самом имеет свое начало и конец свой и окружено плодоносными горами, без всякой причины, разве по содействию свыше, заметно возвысилось, начало подниматься к подошвам гор и достигло мало-помалу вершины их без сильного колебания и волнения. Этому явлению сперва удивлялись окрестные пастухи. Но когда ограда, подобно перешейку препятствовавшая озеру разливаться и затоплять низкие места, прорвалась от множества и силы воды, которая великим потоком устремилась по обработанным полям к морю, то не одни римляне приведены были этим в изумление – всем жителям Италии казалось это предзнаменованием важных событий. Много говорили об этом случае в стане, осаждавшем Вейи, так что и осажденные о том узнали.

Как бывает в осаде долговременной, в которой случаются сношения и свидания между обеими сторонами, так и здесь некоторый римлянин свел короткое знакомство с одним из осажденных, человеком сведующим в древних прорицаниях, который казался искуснее других в науке гадания*. Римлянин, заметив, что вейет был весьма доволен, услышав о разлитии озера, и смеялся над осадой, сказал ему: «Не одно это чудо произошло в нынешнее время; римлянам явились знамения страшнее его; хочу о них поговорить с тобою, дабы в общем бедствии, если можно, лучше устроить дела свои». Вейет охотно согласился слушать его и вступил в разговор в надежде узнать что-либо тайное. Римлянин, продолжая с ним разговаривать, завел его мало-помалу как можно было дальше от ворот. Потом, будучи сильнее, схватывает и с помощью многих, прибежавших из стана, уносит его и передает полководцам. Очутившись в такой крайности и ведая, конечно, что определения рока неизбежны, объявил тайные предсказания об участи своего отечества, будто не может быть взято, пока разлившиеся и новыми дорогами стремящиеся воды Альбанского озера не будут обращены назад неприятелем и разлиты так, чтобы они не могли соединиться с морем. Сенат, известившись о том и находясь в недоумении, почел нужным отправить в Дельфы посланников и вопросить тамошнего бога. Посланы были Косс Лициний, Валерий Потит и Фабий Амбуст, мужи знаменитые и славные.

Пользуясь благоприятным плаванием и получив ответ от бога, возвратились они с разными прорицаниями, которые напоминали римлянам некоторые пренебреженные ими обряды при совершении так называемых Латинских празднеств* и повелевали отвращать, сколько можно, альбанские воды от моря, обратить их к прежнему вместилищу, а если то невозможно, рвами и каналами разлить их по полям так, чтобы они исчезли. Вследствие этого жрецы занялись приношением нужных жертв, а народ приступил к работе, дабы отклонить стремящиеся к морю воды.

В десятый год осады Вей сенат уничтожил все другие начальства и избрал диктатором Камилла, который назначил предводителем конницы Корнелия Сципиона. Во-первых, он сделал богам обет: если окончит войну со славой, совершить великие игры и соорудить храм богине, которую римляне называют Матерью Матутой*. По обрядам, в честь совершаемым, можно бы заключить, что она есть тоже, что и Левкофея, ибо в храм вводят служительницу, которую бьют по щекам и потом выгоняют; вместо своих детей носят на руках детей своих сестер. В жертвоприношениях совершают нечто подобное тому, что случилось с кормилицами Диониса и что претерпела Ино от наложницы своего мужа*.

По принесении обетов Камилл вступил в землю фалисков, победил в большем сражении их и жителей Капены, пришедших к ним на помощь. Потом, обратившись к осаде Вей и видя, что приступом взять город было трудно и опасно, начал делать подкопы. Окрестные места весьма были способны к рытью и к произведению работы в глубину, дабы сокрыть ее от неприятелей. Дело это шло с желаемым успехом; Камилл напал на город, вызывая на стены неприятелей; между тем другие подземным ходом дошли тайно до замка к храму Геры, самому большему в городе и весьма почитаемому жителями. Говорят, что по случаю в то самое время предводитель тирренский приносил богам жертвы; прорицатель, рассмотрев внутренность закланных животных, громко воскликнул, что бог дарует победу тому, кто довершит это жертвоприношение. Римляне, бывшие в подземном ходе, услышали слова эти, поспешно разломали пол, вырвались с громким криком при звуке оружий. Присутствовавшие, будучи приведены в ужас, разбежались; римляне похитили внутренность жертвы и принесли ее к Камиллу. Но, может быть, это более походит на басни, нежели на историю.

По взятии города силой, между тем как воины расхищали и увозили бесчисленное его богатство, Камилл, смотря с замка на происходившее, прослезился; и когда присутствовавшие превозносили настоящее его благополучие, то он, подняв руки к небу, молился богам, произнося следующие слова: «Великий Юпитер и вы, боги, свидетели добрых и злых деяний! Вы ведаете, что мы, римляне, не против законов, но, защищаясь, по необходимости наказываем этот город злобных и вероломных людей. Но если и мы взаимно должны претерпеть несчастье за это наше благополучие, то молю вас, пусть за город и за войско римлян на меня одного обратится оно с наименьшею тяжестью!» Сказав это*, Камилл по обычаю римлян, которые после молитвы и поклонения обращаются направо, хотел обратиться и упал. Бывшие близ него приведены были в смущение. Камилл встал и сказал им, что моление его услышано, ибо с ним случилось малое несчастье после великого благополучия*.

По расхищении города Камилл хотел перевести в Рим кумир Геры по своему обету. Работники были уже собраны; он приносил жертвы и просил богиню не отвергнуть усердия римлян, но быть благосклонной собеседницей богам, которые в удел получили Рим. Говорят, что кумир издал тогда тихий голос и сказал, что хочет этого и соглашается. Но Ливий пишет, что Камилл молился, держась за кумир и просил богиню; и что некоторые из присутствовавших отвечали, что богиня хочет, соглашается и охотно последует за ними*. Те, кто утверждает это чудо и старается защищать его, имеют на своей стороне счастье Рима, которому невозможно было от малого и презрительного начала достигнуть такой славы и силы без помощи некоторого бога, содействовавшего ему многими и великими явлениями во всех случаях. Они приводят многие другие подобные этому доказательства, как-то: пот, выступавший много раз из кумиров; стенания, которые нередко были слышимы; отвращение и мигание глазами, о которых многие из древних свидетьствуют. Слышали мы и от наших современников много таковых, удивления достойных происшествий, которыми трудно пренебречь. Впрочем, совершенно верить тому или вовсе не верить равно опасно по причине слабости человеческой, которая не имеет пределов и не умеет владеть собою, но слепо стремится то к суеверию и к

надменности, то к забвению и презрению богов. Осторожность и умеренность лучше всего.

Камилл, гордясь ли величием подвига своего по покорению осаждаемого десять лет города, соперничествующего Риму, или прославлявшими его вознесенный к высокомерию и к чувствам, неприличным гражданской и законной его власти, торжествовал с великой надменностью и въехал в Рим на колеснице, везомой четырьмя белыми конями – чего никто ни прежде его, ни после не осмелился сделать. Римляне почитают таковую колесницу священной и присвоенной царю и отцу богов. Согражданам его, не привыкшим терпеть гордыню и высокомерие, было то неприятно; он навлек на себя неудовольствие их и тем, что противился закону о разделении города. Трибуны предлагали разделить народ и сенат на две части; одной остаться в Риме, другой – кому по жребию достанется, переселиться в покоренный город, предполагая, что от сего будут богаче и, обладая двумя великими и прекрасными городами, удобнее могут хранить область свою и благосостояние. Народ, умножившись уже и обеднев, одобрил это мнение и, часто производя шум вокруг трибуны, требовал утверждения оного. Сенат и лучшие граждане негодовали на это предложение трибунов, почитая такое дело уничтожением, а не разделением Рима. Они прибегли к Камиллу.

Но он, страшась прений и ссор, всегда находил отговорки и затруднения, которыми отлагал предложение закона. Этим сделался он ненавистен народу; к самому же явному и сильному против него неудовольствию подала повод десятая часть добычи; причина тому, хотя не совсем справедливая, была, однако, не без основания. Отправляясь в поход против Вей, дал он обет богам: если покорит город, посвятить им десятую долю добычи. Город был покорен и ограблен; но Камилл, или не желая беспокоить граждан, или забыв обет по причине множества забот своих, оставил воинам полученную ими прибыль. После некоторого времени и сложив уже с себя начальство, донес сенату о своем обете; прорицатели объявили, что на жертвах обнаруживается гнев богов, требующий умилостивления и благодарственных приношений.

Сенат определил не разделять снова добычу, ибо это было трудно; но чтобы каждый, получивший свою часть, вернул под клятвой государству десятую часть. Дабы привести это в исполнение, надлежало употребить насилие и неприятные меры против воинов, людей бедных и много трудившихся, принуждаемых приносить важную часть приобретенной и уже издержанной ими добычи. Они беспокоили своими жалобами Камилла, который, не имея лучшего оправдания, должен был прибегнуть к самому непристойному; он признался, что забыл обет свой. Воины негодовали и говорили, что, обещавшись прежде принести десятую часть имущества неприятеля, теперь взимает он десятую часть с сограждан своих. При всем их неудовольствии всякий принес столько, сколько должно было. Определили сделать золотой сосуд и отослать его в Дельфы. В городе мало было золота; правители рассуждали, откуда бы достать его. Женщины, согласившись между собою, принесли свои золотые украшения для вылития сего сосуда. Это составило восемь талантов золота. Сенат, воздавая римским женам должную благодарность*, определил, чтобы по смерти их, также как и по смерти мужчин, говорены были в честь их подобающие похвальные речи*. Посланниками были избраны трое знаменитейших мужей, которых отправили на большом с хорошими мореходами корабле, украшенном прилично торжественному случаю. Не только буря, но и самая тишина моря бывает страшна. Так и с ними случилось тогда приблизиться к гибели своей и неожиданно избегнуть опасности. Липарские триеры напали на них, как на морских разбойников в тихую погоду близ Эоловых островов*. Видя, что римляне умоляли их и простирали к ним руки, они удержались от насилия, но, привязав их корабль к своему, привели в свою пристань и продавали вещи и их самих, как бы они были морские разбойники. С великим трудом убеждены были добродетелью и властью Тимесифея, правителя своего, отпустить их. Тимесифей на своих судах проводил их и помогал в посвящении сосуда. За эту услугу пользовался он в Риме приличными почестями.

Народные трибуны хотели возобновить предложение о переселении народа; но война против фалисков, благовременно возникшая, позволила патрициям производить выборы по своей воле и избрать Камилла военным трибуном* вместе с пятью другими; обстоятельства требовали полководца, имеющего важность, силу и опытность; народ подал в пользу его свои голоса. Камилл с войском вступил в область фалисков. Он осадил Фалерии, город крепкий и снабженный всем нужным для выдержания осады. Он знал, что это дело было трудное и

требовало долгого времени; однако хотел занимать сограждан своих, дабы они в бездействии, сидя дома, не внимали речам своих трибунов и не предавались крамолам. Патриции всегда прибегали с успехом к этому средству, подобно врачам изгоняя из государства недуги бунта и возмущения.

Фалерийцы столько презирали осаду, полагаясь на окружающие город их укрепления, что кроме тех, кто стерег стены, все в городе ходили в обыкновенном платье. Дети их продолжали учиться и вместе с учителем прогуливались вокруг городских стен и упражнялись по обыкновению. Фалерийцы, подобно грекам, имели общего учителя, дабы дети их с младенчества вместе были воспитываемы и образовываемы к общежитию*. Этот учитель злоумышлял на фалерийцев посредством детей, водил их ежедневно за стены города, сперва недалеко и скоро возвращаясь назад после такового их упражнения. Таким образом, мало-помалу отводя их далее, приучил быть спокойными, как бы не было никакой опасности со стороны неприятелей. Наконец в один день со всеми приблизился к римской передовой страже и предал их с приказанием отвести к Камиллу. Будучи приведен к нему, объявил, что он учитель этих детей и что, предпочитая его благосклонность исполнению своей должности, в их лице предает ему город. Камилл ужаснулся от такого поступка; обратясь к предстоявшим, сказал: «Война сама по себе есть зло; она совершается великой несправедливостью и насильственными поступками; но добрые и храбрые мужи в самой войне соблюдают некоторые законы. Победой не должно прельщаться до того, чтобы не отвергать выгод, приобретаемых подлыми и нечестивыми делами. Более на собственное мужество полагаясь, нежели на злодейство других, великий полководец должен вести войну». Потом велел служителям разодрать платье на учителе, связать ему руки за спиной, дать детям палки и бичи, дабы они, наказывая предателя, гнали обратно в город.

Между тем фалерийцы заметили предательство учителя. Город при таком несчастии исполнился плача и рыдания; благороднейшие мужчины и женщины в исступлении стремились к стенам и вратам градским. В то же время увидели детей, гнавших нагого и связанного своего учителя, Камилла же называвших спасителем, богом, отцом своим. Такой поступок возбудил удивление и любовь к справедливости Камилла не только в родителях этих отроков, но и во всех других гражданах, бывших зрителями сего. Они собрали совет тотчас и отправили посланников, дабы совершенно предаться ему. Камилл отослал их в Рим; будучи представлены сенату, они говорили, что римляне, предпочитая справедливость победе, научили их лучше желать им повиноваться, нежели быть свободными – не потому, чтобы они почитали себя слабее римлян, но потому, что признавали себя побежденными их добродетелью. Сенат поручил Камиллу распорядить все, как ему заблагорассудится. Камилл взял от фалерийцев деньги, заключил союз со всеми фалисками и отступил.

Воины его надеялись ограбить Фалерии; но, возвратившись в Рим с пустыми руками, обвиняли Камилла перед другими согражданами, называли его ненавистником народа, говорили, что он из зависти не хотел, чтобы бедные граждане обогатили себя. Трибуны вновь предлагали закон о переселении граждан и призывали народ к утверждению оного. Камилл, презирая ненависть народа и говоря смело против этого закона, более всех явился противником стороне народной. Они отвергли закон против воли, но Камилла возненавидели до того, что, несмотря на приключившееся с ним домашнее несчастье (он лишился одного из двоих своих сынов, который умер от болезни), из жалости нимало не укротили своего гнева. Добродетельный и кроткий муж сей был поражен столь неумеренной скорбью от этого несчастья, что хотя назначили ему день явиться в суд, но он, удрученный горем, остался дома, запершись среди женщин.

Обвинителем его был Луций Апулей; он обвинял Камилла в утаении этрурских денег; уверяли притом, что в его доме видели медные двери, отнятые у неприятелей. Народ был раздражен и явно показывал, что против него подаст голоса свои под каким бы то ни было предлогом. Камилл, собрав своих друзей, товарищей в военачальстве и походах, которых число было немалое, просил их не предать его, обвиняемого несправедливо в столь бесчестных делах, и не допустить неприятелей его ругаться над ним. Друзья его, посоветовавшись между собою, отвечали, что не имели никакой надежды помочь ему в судопроизводстве, но что заплатят вместе с ним пеню, которая на него будет наложена. Камилл, не стерпя стыда, решился в гневе

своем самовольным изгнанием оставить Рим. Обняв жену и сына, вышел из своего дома и в безмолвии шел к городским вратам; здесь остановился, обратился назад, простер руки к Капитолию и молил богов, что если он несправедливо, одною завистью и наглостью народа преследуемый, идет в заточение, то да вскоре раскаются римляне и да узрят все люди, что сограждане имеют нужду в Камилле и желают его!

Таким образом, Камилл, подобно Ахиллу, произнес на сограждан своих проклятия и оставил город, не явившись в суд для оправдания. Он был осужден на выплату пятнадцати тысяч ассов пени, или тысячи пятисот драхм (греческими деньгами)*. Асс составляет десятую часть серебряной монеты; десять медных денег назывались денарием. Впрочем, нет ни одного римлянина, который бы не верил, что моления Камилла вскоре были исполнены богиней Дике* и что оказанная ему обида получила наказание примерное и достопамятное, хотя нимало для него не приятное и даже поразившее его чувствительнейшей скорбью. Сколь ужасен гнев богов, излившийся на Рим! Какие беды, какую пагубу, с посрамлением сопряженные, навело на него наставшее время! Случай ли это произвел, или кто-либо из богов печется о добродетели, гонимой неблагодарностью.

Первым предзнаменованием наступающего великого бедствия была смерть цензора Гая Юлия*. Должность эта у римлян в большем уважении и почитается священною. Второе случилось до изгнания Камилла. Некто по имени Марк Цедиций, человек не знатный и не из патрициев, но честный и добрый, донес военным трибунам о деле, заслуживавшем того, чтобы над ним призадуматься. Он сказал им, что в прошедшую ночь, идучи по улице, называемой Новою, услышал, что некто его кликал громко; оглянувшись, не видал никого, но услышал голос громче человеческого, который сказал ему следующее: «Марк Цедиций! Спеши на рассвете дня уведомить правителей, чтобы они вскоре ожидали галлов». Военные трибуны смеялись и шутили над этим известием. Вскоре после этого случилось несчастье с Камиллом.

Галлы, народ кельтский*, будучи весьма многочисленны, оставили страну свою, которая не могла всех их содержать, и пустились искать другую. Их было много тысяч молодых и воинственных людей, за которыми следовали еще в большем числе женщины и дети; одни, перевалив Рипейские горы*, обратились к Северному Океану и заняли крайные области Европы; другие населили страну между Пиренейскими и Альпийскими горами, близ сенонов и битуригов*, где пробыли долгое время. Впоследствии, вкусив привезенного к ним из Италии вина, столько им прельстились, новость удовольствия привела их в такое исступление, что подняли оружие, взяли отцов своих и устремились к Альпам, ища земли, которая производила такой плод, всякую другую почитая бесплодной и дикой.

Первый, которых ввел у них вино и поощрял их вступить в Италию, был некий тирренец по имени Аррунт, человек знатный и от природы несклонный к тому следующему несчастью. Он был опекуном молодого сироты, первенствующего богатством среди сограждан своими и видом прекраснейшего, который назывался Лукумоном. С малолетства воспитывался он у Аррунта и, достигши юношеских лет, не оставил его дома, показывая, что ему было приятно жить вместе с ним. Долго сокрыто было от Аррунта, что он обольстил жену его или сам ею был обольщен. Но наконец взаимная их страсть достигла до такой степени, что они не могли более ни преодолеть ее, ни скрываться. Юноша вознамерился отнять явно у мужа эту женщину. Муж прибег к суду; но Лукумон одержал над ним вверх – по множеству друзей своих и по причине великого богатства. Аррунт оставил свое отечество и, услышав о галлах, поехал к ним и соделался их путеводителем в Италию.

Галлы, вступив в Италию, завладели всей страной, которую в древнее время занимали тирренцы и которая простирается от Альпийских гор до обоих морей – что доказывается названием их, ибо северное море Италии называется Адриатическим от тирренского города Адрия; южное же называется Тирренским, или Тосканским. Вся страна усажена деревьями, изобилует тучными пастбищами и орошается многими реками. Здесь было восемнадцать прекрасных и больших городов, хорошо устроенных как для торговли и промышленности, так и для приятностей жизни. Галлы, изгнав тирренцев, сами поселились в них. Но это случилось гораздо прежде времен Камилловых.

В это время галлы ратоборствовали против тирренского города Клузия и осаждали его. Клузийцы прибегли к римлянам, просили их отправить к варварам своих послов и письма.

Отправлены были три посланника из рода Фабиев, люди знаменитые, достигшие важнейших в Риме степеней. Галлы приняли их с честью – по причине великого имени римлян, прекратили военные действия и вступили с ними в переговоры. Когда же посланники спросили: «Какую обиду оказали вам клузийцы, что вы нападаете на их город?», то Бренн, царь галлов, усмехнувшись, ответствовал: «Обижают нас клузийцы; они хотят владеть пространством и землей, хотя весьма малую часть оной могут обрабатывать. Мы чужестранцы, бедны и многочисленны; однако не дают нам нимало в ней участвовать. И вас, римляне, таким же образом обижали прежде альбанцы, фиденаты и ардейцы, ныне же жители Вей и Капены, многие из фалисков и вольсков. За то вы идете на них войною, и если они не уступят вам части своего имущества, то влечете их в неволю, опустошаете их область, разрушаете города. Но и вы тем не делаете ничего странного и несправедливого; вы следуете древнейшему из всех законов, который дает сильному то, что принадлежит слабым, начиная от бога и до самых зверей, ибо по внушению природы сильнейшие из них хотят иметь более слабейших. Перестаньте жалеть об осаждаемых клузийцах, дабы не научить галлов быть в свою очередь сострадательными к тем, кого обижают римляне».

Эти слова уверили римских посланников, что Бренн нимало не был склонен к примирению. Они вошли в Клузий, ободряли осажденных, побуждали их сделать вылазку вместе с ними или для испытания храбрости варваров, или для показания им своей собственной. Клузийцы сделали вылазку; дано было сражение под стенами города. Один из Фабиев, по имени Квинт Амбуст, устремился на коне против взрослого и прекрасного галла, который ехал впереди далеко ото всех. Сперва галлы не узнали его как по причине скорости нападения, так и потому, что блеск доспехов помрачил их зрение. Но когда римлянин победил своего противника, поверг его и снял с него доспехи, то Бренн, узнав его, призывал богов в свидетели, что римлянин этот нарушает священные и всеми людьми уважаемые права и законы, ибо, прибыв как посланник, поступает как неприятель. Он прекратил немедленно сражение, оставил Клузий и повел войско свое против Рима. Но, дабы не казалось, что галлы как бы радовались этой обиде и что желали только благовидной причины, чтобы напасть на римлян, Бренн послал истребовать Фабия для наказания; между тем продолжал спокойно свой путь.

В Риме собрался совет: многие обвиняли Фабиев, особенно жрецы, называемые фециалами. Они, представляя дело это как противное богам, требовали, чтобы сенат обратил наказание за преступление на одного виновника и тем отвратил от других мест богов. Фециалы эти установлены Нумой, правосуднейшим из царей, дабы быть хранителями мира, судьями и утвердителями причин, за которые начинается справедливая война. Сенат предоставил это дело на рассмотрение народу. Жрецы не переставали обвинять Фабия. Но народ оказал столько презрения к священным обрядам и до того ругался над ними, что избрал Фабия и братьев его военными трибунами. Галлы узнали о том и исполнились негодования. Уже ничто не останавливает их; они идут к Риму со всевозможной поспешностью. Их множество, блеск оружий, сила и стремление приводили в ужас народы, через землю которых они проходили; все ожидали, что опустошат уже всю страну, разорят города; однако, против чаяния, они никого не обижали, ничего не грабили с полей и, проходя близ городов, громко кричали, что на Рим идут, что против одних римлян ведут войну, а всех других почитают друзьями.

Между тем как варвары быстро неслись к Риму, военные трибуны вывели против них римлян. Числом внушительным: их было до сорока тысяч пехоты*, но по большой части все неопытные и только тогда в первый раз действовавшие оружием. Притом пренебрегли они обрядами богопочитания; не принесли узаконенных жертв; не вопросили прорицателей, как им должно было перед сражением и опасными предприятиями. Многоначалие более всего приводило в беспорядок дела, хотя прежде в обстоятельствах не столь важных много раз избирали они единовластных начальников, которых называли диктаторами, ведая, сколь полезно во времена смутные и опасные быть одушевленными одними чувствами и покорствовать одному неограниченному начальнику, имеющему всю власть в своих руках.

Самая несправедливость, оказанная Камиллу, немало послужила к погибели римлян после его несчастья: казалось страшно управлять народом, не угождая и не потворствуя ему во всем. Вышедши из города, остановились они за девяносто стадиев от него, на реке Аллии, недалеко от того места, где река впадает в Тибр. Здесь напали на них варвары. Римляне по причине

своего неустройства сразились бесславно и были разбиты. Левое крыло их было опрокинуто в реку и истреблено галлами; правое менее потерпело поражения, уклонившись от нападения с равнин на холмы. Большая часть воинов убежали в Рим. Все те, которым пресыщенные убийством неприятели позволили спастись, ночью бежали к вейетам, полагая, что Рим уже погиб и что все жители его преданы были мечу.

Сражение это дано было во время летнего солнцеворота в полнолуние – в тот самый день, в который прежде случилось великое бедствие Фабиев*: триста человек из сего рода изрублены были тирренцами. Этот день со второго поражения сохранил поныне название «аллийского», по названию реки.

Что касается до того, действительно ли некоторые дни несчастны, или праведно Гераклит порицает Гесиода, почитающего одни дни благополучными, другие – дурными, как бы он не знал, что существо дня всегда одно и то же, – о том рассуждали мы на другом месте*. Может быть, здесь, было бы не лишне упомянуть о нескольких примерах. Беотийцы в пятый день месяца гипподромия, а по счислению афинскому – гекатомбеона одержали две знаменитые победы, которыми освободили греков; первую при Левктрах, вторую при Кереccе*, более ста лет до первой, когда победили Латтамия и фессалийцев. С другой стороны, персы в шестой день месяца боэдромиона побеждены были греками при Марафоне, в третий при Платеях и в то самое время при Микале; в двадцать пятый – при Арбелах*. Афиняне одержали морскую победу при Наксосе, под предводительством Хабрия, во время полнолуния боэдромиона*; при Саламине же – около двадцатого числа, как показано нами в сочинении «О днях». Равномерно и месяц фаргелион навел несчастья на варваров. Александр разбил при Гранике полководцев царских в месяце фаргелионе*; карфагеняне в Сицилии побеждены Тимолеонтом двадцать третьего числа того же месяца – в тот самый день, когда, кажется, взята и Троя, как повествуют Эфор, Каллисфен, Дамаст* и Малак. Напротив того, метагитнион, который беотийцы называют панемом, был грекам неблагоприятен. Седьмого числа этого месяца греки, будучи побеждены Антипатром при Кранноне, погибли окончательно; и прежде того, сразившись с Филиппом при Херонее, были также несчастны*. Того же числа, месяца и года переправившиеся с Архидамом* в Италию погибли от тамошних варваров. Карфагеняне берегутся двадцать второго числа метагитниона, как всегда приносящего им весьма многие и великие бедствия. Мне известно, что во время Элевсинских таинств Фивы разорены были Александром* и что после того афиняне приняли македонское охраненное войско двадцатого числа боэдромиона, в которое выносят таинственного

Иакха. Равномерно и римляне в одно число прежде под предводительством Цепиона были разбиты кимврами*, впоследствии же под предводительством Лукулла победили Тиграна и армян. Царь Аттал и Помпей Великий кончили жизнь свою в то самое число, в которое родились. Вообще можно доказать, что многие были счастливы и несчастны в одни и те же периоды времени. Однако римляне означенный день почитают одним из несчастных и следующие за ним два дня каждого месяца, поскольку случай этот, как всегда бывает, умножил страх и суеверие. Мы писали о том подробнее в сочинении «Римские вопросы».

Если бы галлы после той решительной битвы немедленно преследовали бегущих, то не нашли бы никакого препятствия овладеть Римом и все в нем оставшиеся погибли бы неизбежно. Такой страх наводили бегущие на тех, кто принимал их, и такого смущения и изумления их исполнили! Но варвары, как потому, что не осознали величия победы своей, так и потому, что от радости предались наслаждению и занялись разделом доставшихся им в стане корыстей, дали время вырвавшемуся из города народу бежать; а оставшимся в нем – получить некоторую надежду и приготовиться к обороне. Они оставили весь город, укрепили Капитолий и снабдили себя оружием. Прежде всего некоторые из священных вещей перенесли на Капитолий; но огонь Весты похитили весталки и с другими священными вещами убежали. Иные писатели уверяют, что эти девы ничего другого не стерегут, кроме сего неугасаемого огня, который, по постановлению Нумы, чтут как начало всего. В природе нет ничего деятельнее огня. Рождение же есть движение или по крайней мере с движением сопряжено. Все другие частицы вещества, лишенные теплоты, лежат в бездействии, как мертвые, и требуют силы огня, как жизни и души. Едва огонь прикоснется к ним, то начинают действовать или страдать. По этой причине Нума, человек весьма сведущий и, как говорят, за мудрость свою

удостоившийся собеседования с Музами, посвятил сей огонь и велел сохранять оный неугасимым, как образ той вечной силы, которая устрояет вселенную. Другие думают, что огонь сей горит перед храмами по обычаю греков для очищения и что во внутренности их скрываются другие тайны, невидимые для всех и известные одним лишь священным девам, называемым весталками. Многие уверяют, что тут хранится троянский палладий*, перевезенный в Италию Энеем. По мнению некоторых, самофракийские кумиры привезены были в Трою Дарданом*, который посвятил их, построивши сей город; Эней же унес их тайно во время взятия оного греками и хранил их до того, как поселился в Италии. Те, которые почитают себя более сведущими в этих делах, говорят, что там хранятся две небольшие бочки, из которых одна открыта и пуста, другая полна и запечатана: и ту и другую могут видеть одни священные девы. Другие думают, что они обманываются и что ошибка их произошла оттого, что весталки собрали тогда священнейшие вещи в две бочки и зарыли их в храме Квирина, отчего это место и поныне называется «Бочки».

Весталки, взяв, таким образом, важнейшие из священных вещей, бежали вдоль берега реки. Случилось, что среди бегущих из Рима был некий плебей по имени Луций Альбиний, который вез на телеге жену и малых детей своих вместе с нужнейшими пожитками. Увидя весталок, несших на руках священные вещи, утружденных и лишенных всякого пособия, ссадил жену и детей с телеги, снял свое имущество и посадил их, дабы они могли убежать в какой-нибудь из греческих городов*. Было бы непристойно не упомянуть о набожности и благочестии Альбиния, которые сделались явными в самых трудных обстоятельствах.

Что касается до жрецов, до старцев, удостоившихся консульства и почестей триумфа, то они не хотели оставить города. Облекшись в священные и блистательные одежды, принесли богам моления по наставлению первосвященника Фабия, как будто бы предавали себя в жертву богам за отечество, и сели на свои седалища на форуме, ожидая будущей участи своей.

В третий день после сражения прибыл Бренн со всем своим войском. Найдя врата отверстыми, стены без стражей, сначала почел то засадою и обманом. Он не верил, чтобы римляне предались совершенно отчаянию. Но, узнав истину, вступил в город Коллинскими воротами и завладел им, не многим более трехсот шестидесяти лет после его основания – если можно поверить, что сохранена некоторая точность в летоисчислении, которого беспорядок сделал сомнительными и новейшие происшествия. Некоторый неверный слух о бедствии римлян и взятии города их тотчас распространился по Греции. Гераклид Понтийский, живший вскоре после этого происшествия, в сочинении своем «О душе» говорит, что с запада получено известие, что войско извне, от гиперборейских стран пришедшее, завладело греческим городом Римом, который построен где-то на Великом море. Я не удивлюсь, что писатель столь баснословный и охотник до выдумок воспользовался истинным о взятии Рима слухом, дабы упомянуть с надутостью о гипербореях и о Великом море*. Нет сомнения, что философ Аристотель имел точное известие о покорении города кельтами; спасителя же Рима называет Луцием; но Камилл назывался Марком, а не Луцием; все это сказано наугад.

Бренн, завладев городом, оставил перед Капитолием часть своего войска; сам же, идучи по площади, приведен был в изумление при виде мужей, во всех украшениях своих и в глубоком молчании сидевших. Ни один из них не встал при наступлении неприятелей, не изменился в лице; опершись на свои трости, спокойно и безбоязненно взирали они друг на друга. Странность этого зрелища поразила галлов; долгое время колебались они и не отваживались к ним приблизиться, почитая их высшими существами. Когда же один из них осмелился подойти к Манию Папирию, простер руку и тихо схватил его за длинную бороду, то Папирий ударил его по голове тростью и ранил, а варвар извлек меч и умертвил его. Галлы тотчас начали на других нападать и умерщвлять их; всех поражали, кто им ни попадался, и грабили дома их. Расхищение продолжалось несколько дней кряду. Потом сожгли город и все разрушили, досадуя на тех, кто, занимая Капитолий, не только не хотел им покориться, но приступающих поражал, защищаясь в своих укреплениях. Зато галлы разоряли город, попадающихся им в руки равно умерщвляли без пощады – мужчин и женщин, стариков и детей.

Осада Капитолия была продолжительна, галлы чувствовали недостаток в съестных припасах. Они разделили свое войско; одни остались при царе, осаждая Капитолий; другие грабили область, нападали на селения и опустошали их не все вместе, но отрядами и по частям.

Они рассеивались без всякой осторожности, ибо великие успехи исполнили их высокомерия и заставили ничего не бояться. Большая часть из них и лучше устроенная обратилась к Ардее*, где находился Камилл. Хотя по изгнании своем проводил он жизнь частную, ничем не занимаясь, однако мысли и надежды его клонились не к тому, чтобы бежать и скрыться от неприятелей, но как бы в удобное время напасть на них. Он знал, что ардейцы были довольно многочисленны; но не доставало им бодрости по причине недействительности и неопытности их полководцев. Он начал представлять сперва юношам, что поражение римлян не должно приписывать храбрости галлов; что претерпенное ими по безрассудности своей несчастье должно почитаться делом не тех, кто нимало не имел участия в победе, но волею судьбы, обнаружившей тем свое могущество; что похвально подвергнуться опасности, дабы удалить от себя иноплеменную и варварскую войну, конец которой, подобно опустошениям огня, – совершенное истребление побежденных; что если они будут усердны и бодры духом, то он в свое время доставит им победу без малейшей опасности. Юноши охотно приняли его предложения, и Камилл обратился к начальникам и правителям ардейцев. Он склонил их к принятию предлагаемых им мер, вооружил молодых людей и удерживал их внутри города, дабы неприятели, недалеко бывшие, ничего не знали о его предприятии. Галлы, объехав всю область, обремененные множеством добычи, расположились станом без порядка и осторожности. Ночь застала их погруженными в пьянство; тишина царствовала в их стане. Камилл, получив о том известие от лазутчиков, вывел ардейцев. В глубоком безмолвии прошел все пространство, отделявшее город от неприятелей, и в самую полночь прибыл к стану их. Он велел своим издавать громкие крики и звучать в трубы со всех сторон, дабы тем привести в расстройство галлов, которые с трудом могли опомниться от сна и пьянства среди такого смятения. Не многие из них, протрезвев от страха, приготовились к обороне; они легли на месте, сражаясь с Камиллом; большая часть из них, еще пьяные и сонные, были умерщвлены безоружные. Некоторые убежали ночью из стана; днем конница нагнала их, рассеянных по полю, и истребила.

Слух об этом происшествии вскоре распространился по окрестным городам и многих из молодых людей привлек к Камиллу, в особенности же римлян, которые после сражения при Аллии находились у вейетов, теперь оплакивая свое несчастье, говорили между собою: «Какого вождя неблагоприятная судьба отняла у римлян, дабы ардейцев украсить Камилловыми подвигами! Отечество, родившее и воспитавшее сего знаменитого мужа, уже разрушено и погибло. Мы, не имея предводителя, сидим в ограждении стен чуждых, предав Италию варварам. Не лучше ли послать просить у ардейцев полководца своего или поднять оружие и самим идти к нему? Он уже не изгнанник; мы уже не граждане; нет у нас отечества! Оно во власти неприятелей». Так и порешили. Они послали к Камиллу гонцов и просили его принять начальство. Камилл отвечал им, что не примет его, пока граждане, находящиеся на Капитолии, не утвердят избрания по законам; что пока они существуют, то их почитать будет республикой и что будет им охотно повиноваться во всем том, что они ему прикажут; а против воли их ничего не предпримет. Все удивились добродетели и умеренности Камилла. Они не знали, кого послать на Капитолий для извещения о том. Казалось даже невозможным, чтобы какой-нибудь вестник мог войти в крепость, когда неприятели обладали городом.

Однако некий молодой человек по имени Понтий Коминий, из числа граждан среднего состояния, но жадный к чести и славе, вызвался произвольно на сей подвиг. Он не взял с собою никаких писем к тем, кто стерег Капитолий, боясь, чтобы неприятели, поймав его, не узнали через оные намерений Камилла. Надев дурное платье и под ним спрятав куски пробковой коры, большую часть дороги прошел днем без всякой опасности. Было уже темно, когда он приблизился к городу. Поскольку невозможно было пройти моста, охраняемого варварами, то Коминий, обвернув голову епанчой, которая была легка и неширока, бросился в реку и с помощью пробки, которая облегчала его, переплыл ее и вышел на другой берег. Избегая всегда стерегущих, о присутствии которых судил он по огням и по шуму, ими производимому, шел он к воротам Карменты, где было очень тихо; с той стороны Капитолийский холм был самым крутым и окружен дикими скалами. По ним вполз он, не будучи никем примечен, и с великим трудом и опасностью достиг стены, вскарабкавшись по самому неприступному месту. Приветствовал стерегущих, объявил им свое имя, был ими впущен и отведен к

начальствующим. Вскоре собран был совет. Коминий возвестил им победу, одержанную Камиллом, о которой они ничего не знали, объявил желание войска и просил их утвердить Камилла в звании полководца, ибо ему одному повиновались все вне города находившиеся граждане. Сенаторы, услышав это и посоветовавшись между собою, объявили Камилла диктатором. Понтий был отправлен назад той же дорогой; он прошел ее также счастливо, как и прежде, и, не будучи никем примечен, принес гражданам постановление сената, которое приняли они с великой радостью.

Камилл по прибытии к ним нашел уже двадцать тысяч с оружием в руках. Он собрал еще большое число из союзников и приготовился к нападению варваров. Таким образом избран он диктатором в другой раз. Он пошел в Вейи, собирал войско и повел его на галлов. Между тем некоторые из варваров в Риме пришли по случаю к тому месту, по которому Понтий взобрался на Капитолий. Они усмотрели следы его рук и ног во многих местах, за которые он хватался. Где-то измята была трава, на скале растущая, где-то оторваны куски земли. Дано было знать о том царю, который пришел сам на место и рассматривал эти знаки. Тогда он ничего не сказал, но вечером собрал самых легких из своих воинов и самых искусных лазить по горам и сказал им: «Неприятели сами показывают нам дорогу, ведущую к ним, которая была нам неизвестна; она не есть неприступна и непроходима. Стыдно нам после такого начала не дожидаться конца и оставить это место, как неприступное, тогда, когда сами неприятели учат нас, с которой стороны можно взять его. Где одному взойти легко, там нетрудно и многим поодиночке; напротив того, многим удобнее, ибо могут друг другу помогать и пособлять. Дары и почести будут соответствовать мужеству каждого».

После этих слов царя своего галлы приступают к делу с усердием. К ночи многие из них вместе в тишине полезли вверх; они взбирались по местам крутым и стремнистым, которые, однако, показались им приступнее и удобнее, нежели сколько они себе воображали. Уже передовые из них достигли вершины, приготовлялись завладеть укреплением и умертвить спящих стражей. Ни люди, ни собаки не почувствовали их приближения. Но в храме Юноны были посвященные гуси*, которым в другое время давали пищу в изобилии, а тогда, по недостатку в припасах, были они пренебрегаемы и находились в дурном положении. Это животное от природы чутко и пугливо. Гуси, сделавшись от голода бессонны и беспокойны, вскоре почувствовали приближение галлов и, несясь к ним быстро с криком, разбудили всех. Уже и варвары, приметя, что римляне знают о приближении их, не удерживались от криков и с большим стремлением наступали. Римляне, в поспешности взяв оружие какое кто мог, шли навстречу неприятелям. Впереди всех Манлий, муж, удостоившийся консульства, телом сильный и бодростью духа знаменитый, встретив двух неприятелей вместе, одному, поднимающему на него секиру, успел отрубить мечом правую руку; другого ударил щитом в лицо и столкнул назад в пропасть. Он приступил к стене с теми, которые шли к нему на помощь и сражались подле него, и заставил других галлов обратиться назад; взлезших на стену было немного; они не произвели ничего, достойного смелого их предприятия. Римляне, освободившись от угрожавшей им опасности, на рассвете дня бросили к неприятелям по скале начальника стражи. Манлию за подвиг определили награду, более к чести, нежели к пользе его служащую; каждый принес ему столько, сколько получал ежедневно для своего прокормления, а именно: полфунта хлеба и четвертую долю греческой котилы вина.

После такой неудачи галлы потеряли бодрость. Недостаток в нужных припасах увеличивался; боясь Камилла, они не смели выступить из города для снискания пищи. Сверх того, свирепствовала между ними зараза, ибо они жили в развалинах среди множества мертвых тел. Глубокий пепел, издавая пары от ветров и зноя, портящие воздух своей сухостью и остротою, заражал тела, дышащие им. Более всего была пагубна для них перемена обыкновенного образа жизни, ибо из мест тенистых, имеющих летом приятные и прохладные убежища, вступили они в землю низкую и нездоровую, особенно осенью. Осада Капитолия продолжалась слишком долго; шел седьмой месяц осады. В войске умирало очень много, так что уже не погребали мертвых по причине их великого числа.

При всем том дела осажденных находились не в лучшем состоянии. Голод усиливался час от часу более; неизвестность о Камилле приводила их в уныние. Никто не приходил к ним от него, ибо галлы стерегли город прилежно. Находясь в таком состоянии, обе стороны решились

вступить в переговоры. Начало к оным сделано было передовыми стражами, которые могли разговаривать между собой. Наконец по постановлению управляющих, военный трибун Сульпиций имел с Бренном свидание, в котором положено, чтобы римляне заплатили тысячу фунтов золота и чтобы галлы, взявши оное, вышли немедленно из города и изо всей области. Учинена была с обеих сторон присяга; принесено золото. Галлы сперва скрытно обманули римлян в весе; потом и явно наклоняли весы в свою пользу. Римляне на это негодовали. Бренн – как бы в насмешку и ругаясь над ними – снял с себя меч с поясом и положил на весы. «Что это значит?» – спросил у него Сульпиций. «Что другое, – отвечал Бренн, – как не горе побежденным?» Этот ответ потом вошел в пословицу. Одни из римлян негодовали, хотели тотчас удалиться, взяв с собою золото, и выдерживать осаду; другие советовали терпеть столь малую обиду, не почитать бесчестием лишь то, что больше дают, ибо эта плата сама по себе постыдна, но необходима по причине дурных обстоятельств.

Между тем как римляне и галлы таким образом спорили, Камилл с войском прибыл к воротам Рима. Узнав о происходящем, велел войску строем и медленно следовать за собой; сам, спеша, с отборнейшими воинами пошел тотчас к римлянам. Они дали место, приняли, как диктатора, почтительно и в глубоком молчании. Камилл, сняв золото с весов, отдал его служителям, а галлам приказал взять весы и гири и удалиться, сказав: «Римляне обыкновенно не золотом, но железом спасают отечество». Бренн на это негодовал; говорил, что он обижен нарушением договоров. Камилл ответствовал, что договор сделан против законов и не может быть действителен; что он уже избран диктатором; что, кроме него, нет другого законного начальника; что Бренн договорился с людьми, не имевшими никакой власти. «Теперь, – продолжал он, – вы можете говорить, чего вы хотите; я прибыл с законной властью – или простить тех, кто прибегнет к просьбе, или наказать виновных, если не раскаются в своих проступках». Бренн воспылал яростью от этих слов; он начинает драку; с обеих сторон извлекают мечи, толкают друг друга, смешавшись между собой, как легко можно понять, когда войска находятся между домами, в тесных улицах, в месте, где невозможно встать в боевой порядок. Бренн, скоро опомнившись, отвел воинов своих в стан. Их пало не много. В ту же ночь оставил он город со всем войском и, пройдя шестьдесят стадиев, расположился близ Габинийской дороги. С натуплением дня предстал Камилл в блистательном ополчении, предводительствуя римлянами, исполненными уже бодрости и надежды. Дано было жестокое сражение, которое происходило долгое время. Галлы были разбиты с большим уроном*. Стан их достался римлянам; бегущих тотчас преследовали и умерщвляли; большую часть рассеявшихся из них убивали выбегающие из окрестных городов и селений жители.

Вот как странно Рим был взят и еще страннее спасен, пробыв семь месяцев во власти варваров! Они вступили в него немного после квинтильских ид и были выгнаны около ид февраля. Камилл удостоился почестей триумфа, как прилично спасителю падшего отечества и возвращающему республику самой себе. При его вступлении в город возвращались с женами и детьми своими граждане, бывшие вне Рима; осажденные на Капитолии, едва не погибшие от голода, встречали их, обнимали друг друга, проливали слезы, не веря настоящему своему счастью. Жрецы и служители богов приносили назад спасенные ими священные вещи, которые они или тут спрятали, или унесли с собой, и показывали их гражданам, радостно приемлющим столь вожделенное зрелище – как будто бы сами боги возвращались с ними вновь в город их! Камилл, принесши благодарственные богам жертвы и очистив город, следуя совету искусных в том людей, возобновил прежние храмы и вновь соорудил храм Молве и Слуху*, отыскав то место, в котором Марк Цедиций услышал ночью божественный голос, возвещавший нашествие варваров. Нелегко, однако, находили места прежних храмов – при всей ревности Камилла и при всех трудах жрецов.

Но когда надлежало выстроить и весь город, разрушенный совершенно, то это приводило граждан в уныние. Они медлили приступать к делу потому, что всего лишились, и в то время, после стольких бедствий, более всего им нужно покоиться и отдыхать, чем утруждать и мучить себя, не имея ни сил телесных, ни денег. Таким образом, обращаясь опять к Вейям, городу, устроенному весьма удобно и состоящему в хорошем положении, подали они повод говорить тем, кто привык угождать словами народу. Народ слушал с удовольствием возмутительные их против Камилла речи, в которых уверяли они, что он из честолюбия и для славы собственной

лишает их города совсем готового, принуждает жить среди развалин и заставляет воздвигать разрушенный огнем город, дабы называться не только начальником и полководцем Рима, но и создателем его, отняв у Ромула это принадлежащее ему название. Сенаторы, страшась возмущения, не допустили Камилла сложить полномочия, как он намеревался, – до истечения года, хотя никакой другой диктатор более шести месяцев не удерживал сего достоинства. Они старались утешать и укрощать народ словами и ласками; то показывали памятники и гробницы отцов; то напоминали о святых местах и храмах, посвященных богам Ромулом, Нумой или другим из царей и оставленных им в залог. Более же всего говорили они о голове, найденной еще свежей при основании Капитолия*, как бы богами было предопределено тому месту быть главой Италии; об огне Весты, который после войны был возжен священными девами и который опять надлежало, к стыду своему, погасить, оставляя город, хотя бы они увидели его населенным пришлецами и иноплеменными или бы он остался пуст и превратился в пастбище стад. Много раз повторяли они слова эти, то частно, то всенародно, в трогательных выражениях; но сами были смягчаемы состоянием граждан, которые оплакивали свою настоящую бедность и просили сенат не принуждать их, спасшихся нагими и убогими, как бы после кораблекрушения, складывать остатки разоренного города, когда у них в готовности другой.

Камилл почел нужным собрать Совет. Много говорил он в пользу отечества, много говорили и другие. Наконец, Камилл велел прежде всех говорить Луцию Лукрецию, который обыкновенно первый подавал свое мнение, потом другим по порядку. Когда все умолкли и Лукреций хотел говорить, то случилось, что центурион (сотник), который вел дневную стражу, шел мимо того места и громким голосом сказал первому знаменосцу: «Остановись и поставь знамя; здесь самое лучшее место остановиться». При этих словах, произнесенных соответственно времени, рассуждению и неизвестности о будущем, Лукреций, поклонившись богам, сказал, что мнение его согласно с этим знамением. Все другие последовали его примеру. Удивительная перемена произошла вдруг и в мыслях всего народа; друг друга они увещевали и побуждали к работе, занимали места не по порядку или по размеру, но как кто мог или хотел. По этой причине в воздвигнутом с такой поспешностью городе улицы были узки и запутанны и дома перемешаны. Говорят, что до прошествия одного года Рим восстал вновь с новыми стенами и частными домами.

Определенные Камиллом к отысканию и означению священных мест, при всеобщем неустройстве обойдя Палатинский холм, пришли к малому храму Марса и нашли его, как и все прочие, разрушенным и сожженным варварами. Перекапывая и очищая это место, сыскали они под глубоким пеплом прорицательский жезл Ромула. Этот жезл с обеих концов загнут и называется «литюон». Употребляют его для ограничения на небе пространства, на коем авгуры наблюдают полет птиц. Ромул сам, как весьма опытный прорицатель, всегда употреблял его в подобных случаях. Но когда государь исчез, то жрецы, взяв жезл его как нечто священное, сохраняли неприкосновенным. Найдя его неповрежденным, хотя все прочее было уничтожено, возымели лучшую надежду о Риме, как бы это знамение уверяло в бесконечном его существовании.

Еще не совсем отстроили они свой город, как постигла их новая война. Эквы вместе с вольсками и латинянами вступили в область их, а тирренцы осаждали Сутрий, город союзный Риму. Военные трибуны, предводительствовавшие войском, стали у Мецийской горы*, но были обступлены латинянами и находились в опасности погибнуть. Они послали в Рим просить о помощи. Тогда Камилл избран диктатором в третий раз.

О войне этой говорят двояко. Я расскажу наперед баснословное о ней повествование. Латиняне, желая ли найти предлог к войне или в самом деле намереваясь вновь соединиться с римским народом узами родства, послали просить у римлян себе в жены девиц свободного состояния. Римляне не знали на что решиться. Они страшились войны, ибо еще не успокоились и не оправились после претерпенных бедствий. С другой стороны, подозревали, что латиняне хотели взять девиц в залог и что прикрывали свое намерение названием брачного союза. В этом недоумении молодая рабыня по имени Тутула, а по словам других – Филотида, советовала начальствующим послать к латинянам ее и с нею других рабынь, самых прекрасных и видом похожих на свободных девиц, украсив их как благородных невест, прочее предоставить ее

попечению. Правители, убедившись ее словами, избирали тех рабынь, которых Тутула почла способными к исполнению ее намерений, украсили их богатым платьем и золотыми уборами и предали латинянам, недалеко от Рима стоявшим. Ночью они спрятали мечи неприятелей, а Тутула, или Филотида, взобралась на высокую дикую смоковницу и, растянув плащ за спиною, подняла зажженный факел, знак, о котором условилась она с правителями и которого никто из других граждан не знал. По этой причине выступление воинов из города произошло в великом беспорядке; понуждаемые начальниками, они призывали друг друга и с трудом устроивались. Наконец пришли они к окопам неприятелей, которые спали, не ожидая нападения, завладели станом и большую часть из них умертвили. Это случилось в ноны июля, по-тогдашнему – квинтилия. Говорят, что справляемое в этот день торжество есть воспоминание тогдашнего происшествия. Прежде всего выходящие вдруг в городские ворота граждане произносят громким голосом обыкновенные имена, как-то: Гай, Марк, Луций и им подобные, подражая воинам, которые в то время выходили в поспешности и призывали друг друга. Потом рабыни, великолепно украшенные, ходят вокруг, шутя и издеваясь над теми, которые им попадаются. Между ними происходит некоторая драка в память того, что и тогда имели они участие в битве с латинянами. Они обедают, сидя под тенью смоковничных ветвей. День этот назван «Капратинскими нонами», как некоторые думают, от дикой смоковницы, с которой рабыня подняла факел и которая называется «капрификон». Другие утверждают, что все это делается в тот день, когда Ромул исчез за городскими воротами при наступившей внезапно тьме с вихрем; а как некоторые думают, при солнечном затмении; что сей день назван Капратинскими нонами от «капра», то есть «коза», ибо Ромул сделался невидим, говоря речь народу близ места, называемого Козьим болотом, как говорили мы в его жизнеописании.

Второе повествование об этой войне, утверждаемое большей частью писателей, есть следующее: Камилл в третий раз получил власть диктаторскую. Узнав, что римское войско под предводительством военных трибунов было обступлено латинянами и вольсками, по нужде вооружил и старых граждан, которые были увольняемы от военной службы законом. Он обошел длинной дорогой Мецийскую гору скрытно от неприятелей, стал позади их и, разложив великие огни, дал знать о прибытии своем. Осажденные ободрились, намеревались выступить из своих окопов и дать сражение с неприятелем. Латиняне и вольски заперлись в своих окопах, обвели палисадом и со всех сторон оградили стан свой, находясь меж двумя неприятельскими войсками. Они решились дожидаться подкрепления из своей области и в то же время полагались на вспоможение тирренцев. Камилл, узнав о том и боясь, чтобы самому не быть доведену до такого состояния, до какого довел он неприятелей, окружив их со всех сторон, спешил предупредить их временем. Заметив, что укрепления неприятельские были деревянные и что на рассвете дня дул с гор сильный ветер, он приготовил много огней и наутро вывел свое войско. Части оного приказал с другой стороны бросать стрелы и громко кричать; сам, предводительствуя теми, которым надлежало бросать огонь, стал на той стороне, откуда ветер обыкновенно дул на стан неприятельский, и ожидал способного к тому времени. Едва началось сражение, как солнце взошло и поднялся сильный ветер; по данному Камиллом знаку к нападению неприятельские укрепления осыпаны были множеством горючих веществ. Огонь, получая пищу в палисаде и других деревянных укреплениях, распространился во все стороны. Латиняне, не будучи снабжены никакими пособиями к потушению пламени, уже весь стан их объявшего, сжались в узком месте и, будучи принуждаемы выходить из стана, попадали прямо на вооруженных и устроенных перед окопами их неприятелей. Немногие из них спаслись; оставшиеся в стане соделались жертвой огня, который наконец погасили римляне и собрали добычу.

По совершении сего подвига Камилл оставил в стане сына своего Луция для хранения пленных и добычи, а сам вступил в область неприятельскую. Он завладел городом эквов, покорил вольсков и тотчас повел войско к осажденному Сутрию. Не имея никакого известия о том, что там случилось, спешил к союзникам на помощь, полагая, что находятся они в опасности и еще их осаждают тирренцы. Но сутрийцы уже сдали город свой неприятелям, сами же, лишенные всего, в одной только одежде, с детьми и женами своими попались навстречу Камиллу, оплакивая свое злополучие. Камилл был тронут сим зрелищем. Видя, что сутрийцы, обнимая римлян, извлекали из глаз их слезы и возбуждали в них жалость, решился не

откладывать своего мщения, но в тот же день идти на Сутрий, полагая, что люди, недавно покорившие город богатый, ни одного неприятеля в нем не оставившие и никого не ожидающие извне, совершенно беспечны и что застанет их в беспорядке. Он не обманулся в своем суждении. Не только вступил в эту область, но приблизился к самым воротам города и завладел стенами, не будучи никем примечен. Никто не стерег их; все были рассеяны по домам, предавшись пиршествам и забавам. Они почувствовали наконец, что неприятели уже завладели городом; пьяные и обремененные пищей, многие из них не были в состоянии искать спасения в бегстве, но, оставаясь в домах, постыднейшим образом позволяли себя умерщвлять или предавали сами себя неприятелю. Таким образом, Сутрий в один день был взят два раза; завладевшие им потеряли его, а лишившиеся оного вновь получили храбростью и благоразумием Камилла.

Триумф, которым почтили его за эти подвиги, принес ему славы и чести не менее двух первых триумфов. Самые завистники его, которые думали, что более счастьем, нежели мужеством и благоразумием производил столь великие подвиги, принуждены были этими деяниями приписывать всю славу деятельности его и великим способностям. Из числа противников его и завидовавших его славе знаменитейший был Марк Манлий, первый отразивший галлов от Капитолия во время ночного их нападения и потому названный Капитолином. Желая быть первым в Риме гражданином и не могши превзойти Камилла похвальными делами, предпринял достигнуть самовластия обыкновенными и простыми способами. Он старался привлечь на свою сторону народ, особенно людей, обремененных долгами. Одних защищал от заимодавцев и вступался за них в суде; других насильственно освобождал и препятствовал поступить с ними по законам, – так что вскоре обступили его многие из недостаточных людей, которые своей наглостью и производимым на форуме шумом наводили страх на отличнейших граждан. В этих обстоятельствах избран был Квинт Капитолин*, который заключил Манлия в темницу. Тогда народ надел печальную одежду, что бывает только в великих и общенародных напастях. Сенат, боясь мятежа, велел выпустить Манлия. Однако, освободившись, не только он не исправился, но с большей дерзостью производил мятежи и беспокоил республику. Камилл опять избран был военным трибуном*. Манлия начали судить; но поражающие взор предметы причиняли великий вред тем, кто на него доносил. Место на Капитолии, где Манлий ночью сражался с галлами, видно было с форума и возбуждало в зрителях сострадание. Сам Манлий, туда простирая руки свои, со слезами приводил на память свои подвиги. Судьи были в недоумении и часто откладывали решение. Они не хотели оправдать его, изобличенного несомненными доводами в преступлении; но не могли также действовать по силе закона в таком месте, где его подвиг был у всех перед глазами. Камилл, приметя, какое действие вид сей производил над ними, перевел суд за город, в Петелийскую рощу, откуда не видно было Капитолия. Здесь обвинители предъявили все доказательства; память о прошедших делах Манлия не препятствовала более судьям исполниться праведного гнева против настоящих его злоумышлений. Манлий был взят, проведен на Капитолий и брошен со скалы – одно и то же место послужило памятником счастливейших подвигов и величайшего злополучия*. Римляне, разрушив его дом, соорудили храм богине, которую именуют Монетой, и определили, чтобы впредь никто из патрициев не обитал в замке.

Камилла призывали в шестой раз к достоинству военного трибуна*; но он отказывался – как по старости своей, так и потому, что боялся зависти и неблагоприятной перемены счастья в такой славе и таких успехах. Самой явной причиной было состояние его здоровья, ибо в те дни был он болен. Народ не допустил его отказаться от трибунства и кричал, что не было нужды, чтобы Камилл сражался верхом или пеший; но чтобы он давал советы и повеления. Таким образом принудили его принять предводительство над войском и вместе с Луцием Фурием, одним из соначальствующих, вести тотчас войско против неприятелей. То были пренестинцы и вольски, которые с великими силами опустошали область, союзную с Римом. Камилл вывел свое войско и, расположась против неприятелей, хотел длить войну и, если бы потребовала необходимость, вступить в бой по совершенном выздоровлении. Но Луций, его товарищ, желая приобресть славу, стремился к опасностям необузданно и внушал свои чувства подчиненным ему предводителям. Камилл, боясь, дабы не подумали, что из зависти препятствует

любочестию и подвигам молодых людей, против воли своей позволил ему поставить войско в боевой порядок, а сам по своей болезни остался в стане с небольшим числом воинов*. Луций, вступив в бой дерзостно и безрассудно, претерпел поражение. Видя в бегство обращенных римлян, Камилл не мог более удержать себя; он вскочил с постели своей, с оставшимися воинами шел навстречу к воротам стана, пробираясь сквозь бегущих к преследующим. Одни тотчас обращались и следовали за ним; другие, извне бегущие, останавливались перед ним и строились в ряды, увещевая друг друга не отставать от своего полководца. Таким образом неприятели тогда были отражены. На другой день Камилл выводит свое войско, дает сражение с неприятелем, побеждает его совершенно, врывается в стан вместе с бегущими и берет его, умертвив большую часть из них. В то самое время узнал он, что город Сатрия* взят тирренцами и что жители, которые были все римляне, убиты. Он отослал в Рим большую и тяжелую часть своего войска, взяв самых бодрых и усердных из воинов, напал на тирренцев, обладавших Сатрией, победил их; одних изгнал, других умертвил.

Камилл возвратился в Рим, обремененный добычами. Он доказал, что те весьма были благоразумны, которые не убоялись старости и слабости полководца мужественного и против его воли избрали его самого, а не кого-нибудь другого, цветущего летами и желавшего начальства. По этой причине, когда получено было известие, что тускуланцы отпали от римлян, то велели ему выступить против них, взяв с собою одного из своих товарищей. Хотя всяк из них хотел того и просил Камилла, однако он, оставя всех других, против общего ожидания взял с собою Фурия Луция, того самого, который незадолго перед тем вступил в бой против его воли и претерпел поражение. По-видимому, он предпочел его другим, желая сокрыть приключившееся несчастье и избавить его от посрамления. Как скоро тускуланцы услышали о приближении Камилла, то употребили хитрость для поправления своей ошибки. Поля покрыли людьми, которые обрабатывали землю и пасли стада, как бы в мирное время; городские ворота были отперты; дети учились в школах; ремесленники в лавках занимались работой; лучшие граждане ходили по площади в тогах, а начальники их спешили к римлянам, приготовляя им дома, как бы ничего дурного не ожидали и в мыслях не имели. Хотя Камилл не мог сомневаться в измене их, однако расскаяние их склонило его к жалости; он велел им явиться в сенат и просить себе помилования. Они то исполнили, и Камилл содействовал и помогал им, дабы проступок их предан был забвению и дабы они пользовались правами римского гражданства*. Это были достопамятнейшие его деяния в продолжение шестого его трибунства.

По некотором времени Лициний Столон начал производить в республике великие беспокойства. Народ в раздоре с сенатом требовал, чтобы из двоих консулов один был плебей, а не оба из патрициев. Избраны были народные трибуны; народ не допустил совершить избрания консулов. Дела от безначалия приходили в больший беспорядок. В этих обстоятельствах сенат избрал Камилла диктатором в четвертый раз – против воли народа и его самого. Он не хотел противиться людям, которые по причине великих и многих трудов своих могли ему говорить свободно, что он больше произвел в походах с ними, нежели в гражданском управлении с патрициями; притом знал он, что патриции по зависти избирали его в диктаторы или для того, чтобы он, одержав верх, укротил народную сторону, или, будучи от нее побежденным, сам бы погиб. Однако, стараясь найти способ к укрощению мятежа и узнав день, в который трибуны намеревались утвердить закон, назначил в тот самый день набор воинский и призывал народ с площади на Марсово поле, угрожая тяжкой пеней ослушникам. Трибуны, со своей стороны, противились ему с угрозами и клялись, что наложат на него пятьдесят тысяч драхм серебра пени, если не перестанет противиться утверждению закона и подаче голосов. Камилл, то ли боясь вторичного изгнания и осуждения, неприличного старцу и человеку, столь много подвигов совершившему, то ли почитая, что силу народа не превозмочь, удалился в дом свой, а в следующие дни под предлогом болезни отказался от начальства. Сенат назначил диктатором другого, который избрал начальником конницы самого зачинщика возмущений Столона и допустил утвердить закон, самый оскорбительный для патрициев. Законом этим запрещалось всякому приобретать земли более пятисот югеров*. Столон тогда прославился тем, что одержал верх при подачи голосов; но вскоре после того сам был изобличен в приобретении большего пространства земли, нежели сколько другим иметь позволил, и был осужден по закону, им самим введенному.

Еще оставался спор об избрании консулов, самый важный в сем возмущении, начавшийся прежде других и причинявший великое беспокойство сенату в раздоре с народом, когда получены были достоверные известия, что галлы, поднявшись с Адриатического моря с многочисленным войском, идут на Рим. Вместе с этим известием обнаружились и обыкновенные следствия войны. Область была опустошаема, и жители, которым трудно было найти прибежище в Риме, рассеивались по горам. Наведенный неприятелем страх прекратил междоусобный раздор. Знаменитые граждане с простолюдинами, сенат с народом, согласившись единодушно, избрали диктатором пятый раз Камилла*. Он был уже очень стар и почти восьмидесяти лет; но видя нужду и опасность отечества, не употребив по-прежнему ни отговорки, ни предлога, принял военачальство и собирал ратников. Он знал, что вся сила неприятелей состояла в мечах, которыми, поражая без искусства по обычаю варваров, они разрубали руки и головы. Камилл велел сделать воинам шлемы железные и снаружи гладкие, дабы мечи скользили по ним или ломались. Щиты обложил кругом стальной полосой, ибо одно дерево не могло выдержать их ударов. Он научил воинов своих употреблять длинные дроты, которые подставляли под мечи неприятельские и принимали их удары.

Уже галлы были на берегах Аниена, обремененные великим количеством добычи. Камилл вывел свое войско и поставил его на холме не весьма крутом, имеющем многие лощины, так что большая часть войска его была закрыта; видимая же часть – как бы от страха – казалось, теснилась на высотах. Дабы еще более утвердить в сем мнении неприятелей, Камилл не препятствовал им разорять перед его глазами области; но окопался в своем стане и стоял спокойно до тех пор, как увидел, что одни из галлов рассеялись по полям для собирания корма; а другие, оставаясь в стане, и днем и ночью предавались пьянству и обжорству. Еще ночью выслал он легкую пехоту, дабы препятствовать варварам построиться в боевой порядок и беспокоить их при выходе из стана, а на рассвете дня спустился с холма и расположил пехоту, которая была многочисленна и исполнена мужества, а не слабая и робкая, как думали варвары. Это первое движение унизило высокие мысли галлов; они почитали бесчестием себе, что римляне предупредили их. Вскоре легкая пехота напала на них и, прежде нежели они вооружились и устроились, беспокоила их, теснила, принуждала сражаться в беспорядке. Наконец Камилл наступил на них с пехотой. Галлы, подняв мечи, стремятся напасть; римляне встречают их дротами, подставляют их ударам тела, железом покрытые, отчего мечи галлов, будучи мягко закалены и тонко выкованы, гнулись и загибались, а щиты, будучи пробиваемы дротами, становились тяжелы, когда римляне их вытаскивали. Это заставило их кинуть свои собственные оружия, обратиться к неприятелям, хвататься руками за дроты, стараться отнимать оные у них. Римляне, видя их безоружными, начали уже действовать мечами. В первых рядах пало великое множество галлов; другие обратились в бегство в разные стороны поля, ибо холмы и возвышенные места заняты были прежде Камиллом; они ведали притом, что стан их нетрудно было взять, ибо оставили его неукрепленным, полагаясь на свое мужество. Сражение это, как говорят, дано было тринадцать лет по взятии галлами Рима*. Оно римлянам внушило твердую бодрость против галлов; до того времени чрезвычайно страшились их, полагая, что прежде побеждены были они болезнями, их постигшими, и необыкновенными случаями, а не мужеством своим. Ужас их был столь велик, что определили некогда законом: уволить жрецов от походов, исключая войны с галлами.

Этот был последний из воинских подвигов Камилла. Взятие города Велитры было следствием того похода. Оный сдался ему без сопротивления. Но оставался еще величайший из гражданских подвигов и самый трудный – против народа, который возвратился сильным после одержанной победы и хотел против установленных законов избрать одного консула из числа плебеев. Сенат противился предприятиям народа и не допускал Камилла сложить начальство, надеясь, что он великой и сильной своей властью лучше будет в состоянии защитить аристократию. Но когда служитель, посланный трибунами, предстал перед Камиллом, сидевшим на площади и занимавшимся делами, когда тот велел ему следовать за собой и положил на него руку, как бы желая увести его, то вся площадь наполнилась шумом и беспокойством, какого еще не бывало на форуме; окружавшие Камилла толкали трибунского служителя с трибуны, между тем как народ кричал, чтобы взяли его. Камилл, будучи в недоумении от этого происшествия, не сложил с себя диктатуры, но, взяв с собой сенаторов,

пошел в сенат. До вступления своего в оный, обратившись к Капитолию, просил богов направить к лучшему концу настоящие обстоятельства и принес обет воздвигнуть по укрощении раздора храм Согласия. В сенате произошел великий спор по причине противоположных мнений; однако сторона самая кроткая, уступавшая народу и позволявшая ему избрать одного консула из числа плебеев, превозмогла. Диктатор объявил народу согласие сената. Тотчас народ, восхищенный радостью, примирился с сенатом и провожал Камилла до самого дома с плеском и восклицаниями. На другой день было Собрание; определили, по обету Камилла, соорудить храм Согласия на месте, которое бы видно было с площади и Собрания, в память сего происшествия; прибавить еще день к празднествам латинским, которые прежде продолжались три дня, и всем римлянам приносить жертвы и носить венки.

Камилл председательствовал в избраниях; консулами избраны были из патрициев Марк Эмилий, а из плебеев первый Луций Секстий; это было последнее деяние Камилла.

В следующий год постигла Рим зараза, которая погубила несчетное множество из простого народа и большую часть начальствовавших. Умер также и Камилл*. Хотя жизнь его была долголетна и достигла той зрелости, до какой только человек достигнуть может, однако римляне огорчены были сильнее кончиной его, нежели всех в то время умерших граждан.

Перикл и Фабий Максим

Перикл

Цезарь, увидя в Риме некоторых богатых иноземцев, которые на руках своих носили маленьких обезьян и щенков и ласкали их с нежностью, спросил: «Уже ли женщины у них не рождают детей?» Важно и как владыке прилично сим наставил он тех, кто природную в нас любовь и горячность, людям принадлежащие, расточает зверям. Поскольку душа наша имеет от природы склонность к познанию и созерцанию, то не должно ли по справедливости порицать тех, кто употребляет ее во зло, слушая и созерцая то, что не заслуживает внимания, пренебрегая прекрасным и полезным? Чувства, останавливаясь на предметах, случайно их поражающих, должны, может быть, необходимо рассматривать все представляющееся им, хотя бы то было полезно или бесполезно. Но всяк, кто хочет употреблять ум свой, может всегда переменять себя и легко обращать внимание к тому, что он почитает хорошим. По этой причине должно искать лучшего, дабы душа, не только созерцала, но и питалась бы созерцанием. Как та краска более глазам нравится, блеск и приятность которой прельщают и укрепляют зрение: так ум свой надлежит направлять на те предметы, которые увеселяя его, влекут к добру, ему свойственному. Предметы эти должны быть дела добродетельные, которые воспламеняют соревнованием и жаром к подражанию души рассматривающих оные. В других делах – за удивлением какому-либо действию не тотчас следует стремление к соделанию подобного; напротив того, часто случается, что мы, прельщаясь какою-либо работой, презираем ремесленника. Так, например, мы любим благовонные мази, пурпуровые одежды, но красильщиков и продавцов благовонных мазей почитаем неблагородными и низкими ремесленниками. Антисфен*, услышав, что Исмений был превосходный флейтист, очень хорошо сказал: «Так он, конечно, дурной человек, иначе не был бы превосходным флейтистом». Когда Александр за пиршеством спел песню весьма приятно и искусно, то Филипп сказал ему: «Ужели не стыдно тебе так хорошо петь?» В самом деле, довольно того, если государь имеет время слушать поющих; он уже много жертвует Музам, когда склоняет взор свой на занимающихся сими искусствами людей.

Упражняющийся в делах маловажных и низких доказывает нерадение свое о хорошем трудами, употребляемыми на приобретение бесполезного. Ни один юноша с отличными способностями не пожелал бы быть Фидием или Поликлетом, узрев Зевса в Писе или Геру в Аргосе, равно как и Анакреонтом, Филемоном* или Архилохом, прельстившись их сочинениями. Хотя бы произведение веселило своей красотой, однако нет нужды почитать виновника оного достойным уважения. Все то, что в зрителе не возбуждает рвения к подражанию, не сообщает ему стремления и страсти, влекущей к уподоблению, не приносит

ему никакой пользы. Но добродетель делами тотчас производит в нас такое расположение, что мы в одно время и удивляемся содеянному, и желаем уподобиться соделавшему. Мы желаем обладания и наслаждения благами судьбы; в благах добродетели мы любим действия. Первые мы хотим получать от других, вторые чтобы другие от нас получали, ибо то, что прекрасно, деятельной силой влечет к себе, и деятельное в миг производит стремление, не подражанием образуя душу зрителя, но созерцанием самого дела возбуждая в ней волю. Это побудило нас продолжать жизнеописания славных мужей. Это есть десятая книга* сего сочинения, содержащая в себе жизни Перикла и Фабия Максима, который вел войну против Ганнибала – мужей, друг другу подобных всеми добродетелями, особенно кротостью и справедливостью, и тем, что, терпя равнодушно обиды от народа и от соначальствующих с ними, принесли отечествам своим величайшую пользу. Самое изложение их дел докажет, правильно ли наше о них суждение.

Перикл был колена Акамантийского из местечка Холарга. Как по отцу, так и по матери происходил от знаменитейшего рода. Ксанфипп, победивший при Микале* персидских полководцев, женился на Агаристе, племяннице того Клисфена*, который изгнал Писистратидов, уничтожил смело тираннию, дал афинянам законы и устроил правление лучшим образом к единодушию граждан и сохранению общества. Агаристе привиделось во сне, что она родила льва, и через несколько дней родила Перикла. Тело его не имело никакого недостатка; только голова несколько была продолговата и несоразмерна. По этой причине в изображениях представлен он всегда со шлемом – по-видимому, художники не хотели обнаружить сего безобразия. Но аттические стихотворцы называли его «схинокефалом» (или «имеющим голову, подобную луковице»). Морская луковица называется еще «схиной». Из комических стихотворцев Кратин в комедии «Хирон» говорит:

Со древним Кроном, прю соединившим браком,
Тиранна мощного произвели на свет.
Бессмертными прозван он «Кефалегерет»*.

В «Немесиде» говорит он же:

Гостеприимства, Зевс! Защитник,
О длинноглавый Зевс!..

Телеклид пишет, что Перикл «то в недоумении от множества дел сидит в городе с отягченной головой, то из огромной головы своей поднимает великий шум». Эвполид в комедии «Демы», спрашивая о каждом демагоге*, исходящем из ада, когда назвали последнего – Перикла, восклицает:

Почто выводишь ты главу подземна царства?

Учителем музыки у Перикла был, как многие говорят, Дамон (первый слог сего имени должно выговаривать кратко). Аристотель уверяет, что музыке учил его Пифоклид. Дамон был великим софистом* и под предлогом музыки скрывал от народа свои великие способности. Он беседовал с Периклом, готовя его к гражданскому поприщу, как учитель гимнастики – бойца. Однако под завесою лиры не укрылся он от взоров народа; но, как человек, помышляющий о великих предприятиях и приверженный к самовластию, был изгнан остракизмом и заставил комиков шутить на свой счет. Платон представляет одно лицо* вопрошающим его:

Скажи, во-первых, мне – не ты ли, о Хирон,
Перикла воспитал, как говорят в народе?

Перикл был слушателем и Зенона* из Элеи, который, подобно Пармениду, занимался рассматриванием природы и приобрел великое искусство опровергать мысли других и посредством противоречия приводить в недоумение. Тимон из Флиунта* говорит о нем:

«Непобедимый в речи, двуязычный, но не обманчивый Зенон, все порицающий…» Но более всех имел тесное обхождение с Периклом, вдохнул в него важность, дух твердый и сильный к управлению народом и в особенности возвысил достоинство его нрава – Анаксагор из Клазомен*. Современники называли его Нус («Ум»), или удивляясь великой и необыкновенной его мудрости в испытании природы, или потому, что он первый положил началом всеобщего устройства не случай или необходимость, но ум чистый, невещественный, отделяющий однородные частицы от всех смешанных между собой вещей.

Перикл, исполненный величайшего к сему мужу почтения и напоенный учением его о делах небесных и выспренных, не только приобрел чувства возвышенные, речь высокую, очищенную от простонародных и принужденных выражений, но еще постоянный вид лица, не смягчающийся смехом, спокойную поступь, скромность и важность в одеянии, неизменяемые самою сильною страстью в продолжении его речи; образование голоса всегда ровное, ничем не возмущаемое. Как эти свойства, так и другие им подобные поражали удивлением взирающих на него. Некогда один из подлых и наглых людей целый день поносил и ругал его; Перикл в молчании сносил его ругательства и занимался на форуме весьма нужными делами. Ввечеру пошел домой спокойно, между тем как ругавший преследовал его и не переставал осыпать оскорбительными словами. Наконец, при наступлении ночи, Перикл, вступая в дом свой, приказал служителю взять свечу и проводить домой этого человека.

Стихотворец Ион говорит, что Перикл в обхождении был горд и надут, что самохвальство его было сопряжено с надменностью и презрением к другим. Он хвалит разговор Кимона, как учтивый, ласковый и искусный в оборотах. Но мы оставим Иона, который хочет, чтобы добродетель, как трагическое представление, имела некоторую сатирическую часть*. Тем, кто важность Перикла называл надутостью и хвастовством, Зенон советовал стараться быть и им таковыми, уверяя, что самое притворство такого рода может нечувствительно произвести некоторую привычку и ревность к добру.

Перикл не одно это приобрел от беседы с Анаксагором; он был еще выше суеверного страха, внушаемого явлениями природы в тех, кому причины их неизвестны и кто по своей неопытности ужасается божественных дел и живет в беспокойстве, тогда как наука о природе, освобождая нас от сего, вместо мучительного и устрашающего суеверия производит спокойное благочестие, с благими надеждами соединенное.

Говорят, что некогда принесли Периклу из его поместья голову однорогого барана. Прорицатель Лампон, увидя, что рог был тверд и крепок и выходил из самой средины лба, объявил, что из двух существующих в городе противных сторон, Фукидидовой и Перикловой, вся власть перейдет к той, у которой найдено это чудо. Когда разрезали череп, то Анаксагор показал, что мозг не наполнял основания, но что, подобно яйцу острый и со всего сосуда обратился концом к тому месту, откуда корень рога имел свое начало. Тогда все присутствующие удивлялись Анаксагору, но вскоре после того удивлялись и Лампону, ибо сила Фукидидова была низложена и управление всеми народными делами перешло в руки Перикла.

По моему мнению, и физик, и прорицатель могли достигнуть своей цели; один хорошо понял причину, другой следствие; одному надлежало рассмотреть, от чего и как сделалось; другому – предсказать, к чему и что означает это явление. Те, которые открытие причины почитают уничтожением знамения, не понимают, что этим рассуждением вместе с божественными уничтожают и искусственные знаки, каковы суть звук дисков, свет маяков, тени часов солнечных, из которых каждый, по известной причине и по своему устроению, служит знамением чего-нибудь. Но все это относится более к другому роду сочинений.

Перикл в молодости своей весьма боялся народа. Видом был он очень похож на тиранна Писистрата; его приятный голос, легкость и быстрота языка приводили в изумление самых старых людей по причине замечаемого ими сходства. Знаменитый богатством и родом своим, имея друзей, которые были в силе, боялся он остракизма и потому не занимался общественными делами; но в походах был мужествен и искал опасностей. После того как Аристид умер, Фемистокл был изгнан и Кимон находился большей частью в походах вне Греции, Перикл вступил в общественные дела. Он принял сторону народа и бедных – вместо богатых и немногих – против свойства своего, которое нимало не было демократическое. По-видимому, боясь подозрения в искании верховной власти и видя Кимона приверженным к

аристократии и отлично любимым лучшими гражданами, пристал он к стороне народной, дабы привести себя в безопасность и усилиться против Кимона.

В то же время переменил он обыкновенный образ жизни*. В городе не видали его идущим лишь по одной дороге, ведущей на площадь или в Совет. Он отказывался от приглашений на пиршества, от всех удовольствий и обществ такого рода. Во все время его управления, которое довольно продолжалось, он не ужинал ни у кого из своих приятелей, исключая родственника Эвриптолема, у которого был на свадьбе, прибыл до возлияний и немедленно удалился. Дружеское обхождение легко уничтожает важность; величие в приятельской беседе с трудом сохраняется. В истинной добродетели то всего прекраснее, что более явно; и в добродетельных людях удаленные от них ничему столько не удивляются, сколько приближенные – их ежедневному образу их жизни. Перикл, избегая часто казаться народу и, так сказать, пресыщать его собою, являлся ему только по временам; не во всяком случае он говорил и не всегда приходил в Собрание; он употреблял себя, по словам Критолая, как Саламинский корабль*, только в делах важных; все прочее производил через своих друзей и через приверженных к нему ораторов. Из числа их был и Эфиальт, который уменьшил силу Ареопага и, по словам Платона, упоил граждан великой и ничем не умеряемой вольностью. Оттого народ, подобно необузданному коню, как говорят комики, не хотел более повиноваться, но начал кусать Эвбею и кидаться на острова.

Перикл, настраивая речь, как орудие, приличное таковому роду жизни и величию духа, часто употреблял Анаксагора, придавая ораторству новую силу и крепость посредством естественной философии. От этого учения, как говорит божественный Платон, приобрел он, при природных своих дарованиях, высокость мыслей и всепроизводящую силу, извлек из него все полезное для науки слова и всех далеко превзошел красноречием. Его назвали «Олимпийцем» от силы речей его. Некоторые думают, что так назван от зданий, которыми украсил город; другие же – от могущества его в гражданских и военных делах. Ничто не мешает думать, что многие великие свойства его споспешествовали к его славе. Комические стихотворцы того времени в своих комедиях, много говоря о нем как в правду, так и к осмеянию, доказывают, что прозвище дано ему более за силу речей его; они пишут, что он гремит, бросает молнию, когда говорит к народу, и что на языке носит страшный перун. Упоминаются еще слова Фукидида*, сына Милесия, сказанные в шутку касательно силы речи Перикловой. Фукидид, как известно, держался стороны лучших граждан и долгое время был противником Перикла в правлении. Архидам, царь Лакедемонский, спрашивал у него некогда, кто искуснее в борьбе – он или Перикл. Фукидид на это отвечал: «Когда я, борясь с ним, повергну его на землю, то он говорит, что не упал, побеждает и заставляет зрителей тому верить».

Однако Перикл был всегда осторожен в словах своих и, прежде нежели говорить перед народом, просил богов, чтобы никакое слово, не приличное настоящему предмету, не вырвалось из уст его против воли. Он не оставил нам ничего письменного, кроме народных постановлений. Весьма немногие известны из достопамятных слов его, каковы суть: «Должно истребить Эгину, как гной с глаз Пирея»*; также: «Я вижу войну, приближающуюся от Пелопоннеса». Некогда Софокл, вместе с которым начальствовал он в морском предприятии, хвалил прекрасную особу. «Не только руки, – сказал ему Перикл, – должно полководцу иметь чистыми, но и самое зрение». Стесимброт говорит, что в надгробной речи, произнесенной в честь воинов, умерших в самосской войне, Перикл сказал между прочим: «Подобно богам, храбрые эти сделались бессмертными. Мы не видим богов, но по оказываемым им почестям, по благам, ниспосылаемым ими, заключаем, что они бессмертны. Все это имеют и те, которые за отечество положили жизнь свою».

Фукидид представляет Периклово правление аристократическим; он говорит, что народоправление существовало только по имени; в самом же деле то было начальство одного первенствующего человека. Многие другие уверяют, что он первый ввел в употребление раздел земли, раздачу жалованья и денег на зрелища; что народ, получив дурную привычку, сделался в управление того времени из воздержного и трудолюбивого необузданным и роскошным. Итак, должно судить о причине сей перемены по самым делам.

Во-первых, Перикл, как уже сказано, сделавшись соперником Кимоновой славе, старался

приобрести благосклонность народа. Имуществом и деньгами был он ниже Кимона, который мог облегчать участь бедных, ежедневно давал ужин недостаточным гражданам, одевал старцев, снимал ограды с полей своих, дабы всяк, кто хотел, мог брать с них плоды. Будучи побеждаем преимуществами Кимона, Перикл прибегнул к раздаче общественных денег, по совету Дамонида из Эи, как свидетельствует Аристотель. Жалованьем за присутствие в театрах и судах*, другими награждениями и раздачами денег развратив народ, употреблял его против Ареопага, в котором он не присутствовал потому, что не был ни архонтом, ни фесмофетом, ни царем, ни полемархом*. На все эти власти издревле избираемы были граждане по жребию; одни испытанные в чинах сих вступали в Ареопаг. Перикл, усилившись в народе, унизил совет сей. С одной стороны, отнял от него ведение большей части судебных дел посредством Эфиальта; с другой – успел изгнать Кимона, как приверженного к лакедемонцам и противника стороне народной – Кимона полководца, который богатством и знаменитым происхождением никому не уступал, который одержал над варварами славнейшие победы и наполнил деньгами и добычами город, как сказано в его жизнеописании. Такова была сила Перикла в народе!

Остракизм был изгнание, по закону десять лет продолжавшееся. Между тем лакедемоняне с многочисленным войском напали на Танагрскую область*. Афиняне выступили немедленно против них. Кимон, возвратившись из своего изгнания, пристал с оружием к единоплеменным* своим и делами хотел опровергнуть обвинение в лаконизме, подвергаясь опасности вместе с согражданами. Но приятели Перикла соединились между собою и удалили его, как изгнанника. Это, кажется, было причиной, что Перикл сражался с величайшим мужеством в той битве и, не щадя жизни своей, более всех отличился. Пали в битве той все друзья Кимона, которых Перикл обвинял в приверженности к лакедемонянам.

Афиняне сильно раскаялись в своем поступке; они желали возвращения Кимона, ибо в пределах Аттики претерпели поражение и с наступлением весны ожидали тяжкой брани. Перикл, приметив это, не замедлил угодить народу. Он написал сам постановление и призвал его обратно. Кимон возвратился и восстановил мир между республиками. Лакедемоняне были столько преданы ему, сколько ненавидели Перикла и других демагогов. Некоторые говорят, что Перикл написал постановление о возвращении Кимона лишь тогда, когда заключил с ним тайные условия посредством Эльпиники, сестры Кимона. Оные состояли в том, чтобы Кимон вышел с двумястами кораблей и управлял внешними силами, опустошал царские области*; а Перикл имел бы всю власть в городе. Уверяют, что и прежде Эльпиника сделала его снисходительнее к Кимону, когда над ним производили уголовный суд. Перикл был назначен народом в числе доносчиков. Эльпиника пришла к нему и просила его о брате. «Эльпиника, – сказал ей Перикл, улыбаясь, – ты стара, слишком стара, чтобы вмешиваться в такие дела». При всем том он только однажды говорил в том деле против Кимона, единственно по должности своей, и оставил обвинение, менее всех причинив вреда Кимону.

Итак, можно ли верить Идоменею*, который обвиняет Перикла в коварном умерщвлении оратора Эфиальта, друга своего, который держался одних мыслей с ним в управлении республикой, из ревности и зависти к его славе? Не известно мне, откуда заимствовав сию клевету, излил он как бы желчь на мужа, который, хотя не во всем, может быть, невинен, имел, однако, чувства благородные и душу честолюбивую, в которых не поселяются страсти столь свирепые и зверские. По свидетельству Аристотеля, злоумыслили против Эфиальта враги его и умертвили его тайно посредством Аристодика из Танагры, ибо он был весьма страшен стороне олигархов и неумолим в требовании отчетов и преследовании тех, кто обижал народ. Кимон умер на Кипре, предводительствуя войском.

Приверженные к аристократии, видя уже, до какой степени над гражданами возвысился Перикл, и желая, чтобы кто-нибудь в республике противоборствовал ему и умерял его силу, дабы правление не было совершенно единовластным, противопоставили ему Фукидида из Алопеки*, мужа благоразумного, родственника Кимона. Фукидид, будучи не таким славным полководцем, как Кимон, но способнее его к общественным и гражданским делам, пребывая всегда в городе и в Собрании споря с Периклом, скоро восстановил в республике равновесие. Он не допускал более так называемых «отличных» граждан как прежде рассеиваться и смешиваться с народом, от которого достоинство их было помрачаемо. Он отделил их от народного множества и собрал воедино; общая сила их сделалась от того важнее и произвела,

как бы на весах, перевес. Еще прежде было некоторое скрытное разделение, как трещина в железе, которое едва обнаруживало различие между демократической и аристократической сторонами. Но тогдашнее соперничество и честолюбие сих мужей, сделав весьма глубокий прорез, произвели то, что одна часть республики называлась народом, другая часть – немногими (или вельможами). Это заставило Перикла ослабить узду народа и управлять им к угождению его. Он учреждал в городе то зрелища торжественные, то общественные пиршества, то праздники и занимал граждан благородными удовольствиями; каждый год высылал до шестидесяти триер, в которых многие граждане в продолжении восьми месяцев находились и получали жалованье и в то же время упражнялись в искусстве мореплавания. Кроме того, отправил он тысячу поселенцев в Херсонес; пятьсот – на Наксос; на Андрос половину этого числа; во Фракию тысячу – для поселения вместе с бизальтами; других отправил в Италию при возобновлении Сибариса, который переименован в Фурии*. Цель его была та, чтобы облегчить город от праздной и потому беспокойной толпы народа, чтобы помочь бедности его и сими поселенцами внушить страх союзникам и отвратить их от новых предприятий, приставив к ним как бы стражей.

Но что более придало приятности и красоты Афинам, что другим народам внушает величайшее изумление и что, наконец, свидетельствует, что Афины – сила Греции и древнее ее благоденствие не суть пустые басни, – это сооружение величественных зданий. И за это самое более всего неприятели Перикловы осуждали его. Они обвиняли его в Собрании; кричали, что народ бесчестит себя и навлекает на себя порицание тем, что общую казну греков перевел из Делоса к себе*; что Перикл опроверг благовидный предлог, которым народ себя оправдывал, будто бы, боясь варваров, перенес оттуда общественные деньги и хранит в укрепленном месте; что Греция тем поругана и терпит явное притеснение, видя, что внесенными по необходимости деньгами для продолжения войны мы позлащаем свой город и украшаем его кумирами и храмами, стоящими тысячу талантов, как бы горделивую женщину драгоценными каменьями.

Перикл, в противность сему, представлял народу: «Афиняне не обязаны давать союзникам отчета в деньгах, ибо воюют за них и удерживают варваров, тогда как союзники не дают ни конницы, ни пехоты, ни кораблей, но платят только деньги; что деньги эти принадлежат уже не дающим их, но приемлющим, если эти исполняют условия, с которыми их получают; что когда город их достаточно снабжен всем тем, что нужно к войне, то должно обратить излишество на такие дела, которые по совершении своем принесут вечную славу, а при совершении производят общее благосостояние, ибо к тому нужны всякого роду работа и различные потребности, которые все художества одушевляют, всех руками движут, дают жалованье почти всему городу, который сам вкупе украшается и питается». В самом деле – взрослые и здоровые граждане, находясь в походах, получали хорошее содержание от общества. Перикл, желая, чтобы рабочий народ, в войне не употребляемый, не был лишен участия в выдаче денег от общественной казны, однако не получал бы их в бездействии и праздности, завел великое строение и дела, требующие многих искусств и долгого времени, дабы остающиеся в городе граждане – не менее тех, кто служил на кораблях, стерег крепости и ратоборствовал, – имели случаи пользоваться общественными деньгами и участвовали в них. Потребные вещества были: камни, медь, золото, слоновая кость, эбен, кипарис; были и ремесленники, обрабатывающие все это: плотники, столяры, ковачи, каменщики, красильщики, мастера золотых дел, ваятели, живописцы, маляры, золотошвеи, токари; везущие и отправляющие на море купцы, мореходы, кормчие, а на твердой земле тележники, содержатели лошадей, извозчики, веревочники, ткачи, кожевники, исправители дорог, рудокопы. Каждое искусство, подобно полководцу, имело как бы собственное свое войско, состоящее из всего простого и рабочего народа, который сделался орудием и телом к произведению дела. Таким образом, все это занятие во всяком возрасте во всякое состояние разливали обилие и достаток.

Уже возвышались эти здания – величиною знаменитые, видом и красотою неподражаемые, ибо художники соревновались между собою превзойти друг друга изяществом искусства. Всего более должно удивляться скорости их сооружения. Хотя, казалось, для совершения каждого из них едва довольно будет нескольких поколений и веков, однако они были кончены в правление одного человека. Правда, что когда живописец Агафарх* хвастал тем, что скоро и легко производил свою работу, то Зевксид, услыша это, сказал: «А я очень

долго!» В самом деле, легкость и скорость в произведении не придает делу ни долговременной прочности, ни полной красоты. Время, употребленное на совершение какого-либо дела, вознаграждается прочностью и долговечностью.

Тем более должно удивляться зданиям Перикловым, которые в короткое время созданы были надолго. По красоте своей каждое из них тогда уже было древним, по прочности же и ныне еще ново, как бы только теперь было кончено. Они всегда цветут некоторой свежестью, которая сохраняет их вид неприкосновенным от руки времени, как бы имели в себе вечно юный дух, несостарившуюся душу.

Надо всеми сими строениями главным надзирателем был Фидий, хотя в деле употребляемы были великие зодчие и искусные художники. Парфенон Гекатомпедон* строили Калликрат и Иктин; Кориб предпринял строение храма для совершения тайн в Элевсине. Он поставил колонны внизу и соединил с эпистилями (архитравом). По смерти его Метаген из Ксипеты сделал фриз и верхние колонны. Ксенокл из Холарга сделал отверстие на вершине святилища. Длинная стена*, о которой говорит Сократ, что сам слышал предлагающего народу Перикла, начата была Калликратом. Кратин осмеивает сию работу по причине ее медленности, говоря:

Уже давно Перикл сию возносит стену,
Но только на словах, а делом ни на шаг.

Одеон (музыкальная зала) внутри имеет многие ряды стульев и колонн; кровля его, покатистая и отлогая кругом, образует острый конец (конус). Говорят, что оный построен наподобие шатра царя персидского, также под ведением Перикла. По этой причине Кратин в комедии, именуемой «Фракиянки», шутит над ним:

Вон к нам идет Перикл. Зевес Схиноголовый!
Одеон носит он на темени своем –
Острака более, как прежде, не боится.

Перикл приложил ревностное старание, чтобы на Панафинейском празднестве установлено было музыкальное состязание, и, будучи избран афлофетом (подвигоположником, или судьей состязания)*, сам установил правила игры на флейте и на лире. Как тогда, так и в последующее время музыкальные состязания происходили уже в Одеоне.

Пропилеи*, или вход в акрополь, совершены были в пять лет зодчим Мнесиклем. Удивительное происшествие, случившееся при строении оных, показало, что богиня не только не противилась сему делу, но еще споспешествовала и пособляла оному. Самый деятельный и усерднейший из мастеров, споткнувшись, упал с высоты и ушибся так, что врачи отчаивались в его спасении. Перикл был этим весьма огорчен; богиня явилась ему ночью и показала ему лекарство, которое он употребил, чем скоро и легко исцелил сего человека. По этому случаю воздвиг он в замке медный кумир Афине Гигии, то есть «Врачующей», близ жертвенника, который, как уверяют, существовал еще прежде.

Фидий работал над золотым кумиром богини. Надпись на основании доказывает, что он был художником оного. Как уже упомянуто, он имел попечение о всех зданиях и надзор над всеми мастерами по дружбе своей к Периклу. Но это самое вооружило зависть против одного и злословие против другого. Неприятели их говорили, что Фидий, угождая Периклу, принимал к себе благородных женщин, приходивших под предлогом видеть его работу. Комические стихотворцы воспользовались слухом и обвиняли Перикла в великом невоздержании, в связи с женою Мениппа, друга его и наместника в войске; также шутили над птичьим заводом Периламна, друга его, которого обвиняли в том, что дарил павлинов женщинам, которых Перикл любил. Должно ли удивляться, что люди, которых ремесло есть сатира, приносят в жертву зависти народа, как бы злобному демону, злословие и хулу на лучших мужей, когда Стесимброт Фасосский дерзнул обвинить Перикла в преступной связи с женою своего сына? Столько-то трудно и почти невозможно открывать истину через историю! Время затемняет потомкам познание происшествий; история же современных деяний и людей то по зависти и

неблагоприятству, то по лести и угождению закрывает и безобразит истину.

Приверженные к стороне Фукидида ораторы кричали в Собрании, что Перикл расточает деньги и уничтожает доходы республики. Перикл спросил народ: «Ужели, по вашему мнению, много издержал?» – «Очень много!» – отвечали афиняне. «Итак, пусть все будет на мой счет, а не на ваш, – продолжал Перикл, – я напишу собственное свое имя на сих зданиях»*. Едва это выговорил он, как афиняне, или удивляясь высокости его духа, или соревнуя ему в славе таких дел, кричали, чтобы все издержки были сделаны от казны общественной и чтобы он не щадил ничего. Наконец раздор его с Фукидидом дошел до того, что одному из двух надлежало подвергнуться остракизму. Он одержал над ним вверх, изгнал его из города и низложил противную сторону.

По окончании раздора республика сделалась единой и успокоилась. Перикл перевел, так сказать, к себе Афины; принял во власть свою все от афинян зависящие доходы, войско, корабли, острова, море, великую силу и владычество, которое имели над греками и варварами, утвержденное покоренными народами, союзами и дружбой с царями и с владельцами. Уже не вел он себя по-прежнему; не столько был покорен народу, нелегко угождал ему, не уступал его желаниям, как корабль дуновению ветра. Он переменил слабое и к угождению народа во многом склонное правление, как бы мягкую и изнеженную гармонию, в аристократическое и почти царское и, действуя им к лучшему благоразумию и беспорочно, по большей части водил народом по его воле, убеждая и наставляя его; нередко употребляя принуждение и насильственные меры, заставлял повиноваться и следовать против воли тому, что было для отечества полезно. Он подражал врачу, который в болезни долговременной и подверженной различным припадкам то позволяет больному безвредные удовольствия, то дает крепкие и неприятные, но спасительные для него лекарства.

В народе, имеющем столь великую власть, возникают по необходимости многоразличные страсти. Перикл один умел искусно ими управлять, надеждой и страхом, как бы уздою, то укрощая их дерзость, то ободряя и одушевляя их в унынии. Он доказал тем, что ораторство, как говорит Платон, есть искусство управлять душами и что главное его действие то, чтобы двигать склонностями и страстями, как бы струнами души, требующими весьма искусного прикосновения и удара. Виной этому была не одна сила речей его, но, как пишет Фукидид, слава его жизни, доверенность народа к мужу, самому бескорыстному и непобедимому деньгами. Хотя он город из великого и богатого сделал величайшим и богатейшим, хотя могуществом превысил многих царей и владельцев, из которых многие оставили детям своим в наследство свое владение, но он ни одной драхмой не умножил оставленного ему от отца имения.

Фукидид описывает с точностью его могущество, а комические стихотворцы, представляя оное с дурной стороны, называют друзей его новыми писистратидами* и заставляют его самого клясться в том, что не будет искать верховной власти, намекая тем, что его могущество было несообразно с демократической вольностью и имело слишком великий перевес. Телеклид говорит, что афиняне дали ему власть:

Доходами градов, градами управлять;
Одни оковывать, другие разрешать;
То рушить, то воздвигать их каменные стены.
Власть, силы, мир, война, богатство, все владение,
Все счастье Афин – в его распоряжение.

И это было не на малое время, не в продолжение благоприятных обстоятельств и блеска краткоцветущего правления. Целые сорок лет первенствовал он среди таких мужей, как Эфиальты, Леократы, Мирониды, Кимоны, Толмиды и Фукидиды, а после падения Фукидида и изгнания его остракизмом управлял не менее пятнадцати лет и приобрел силу и могущество, каких не имели обыкновенные одногодные власти республики. Не был никогда прельщен деньгами; однако не вовсе пренебрегал своими доходами. Отеческое богатство, законно ему доставшееся, устроил он так, как почитал удобнее и порядочнее, дабы оно не уменьшалось от нерадения, не наводило ему беспокойства или не отвлекало его от дел. Годовые произведения

полей своих он продавал все вдруг, а все нужное для своего дома покупал потом на рынке поодиночке. Это было неприятно взрослым детям его, равно и женщинам, которым мало давал на содержание и которые жаловались на эти слишком точные и днями ограниченные расходы. Ничего не было лишнего, как бывает в больших домах и при великом имуществе. Все расходы и приходы были сочтены и измерены. За всеми подробностями смотрел служитель его по имени Эвангел, человек, от природы способнейший к хозяйству или самим Периклом в том наставленный. Правда, что это несогласно с мудростью Анаксагора, который, по вдохновению и величию духа, оставил дом свой пустым, поля – без обработки. Но, по моему мнению, жизнь умозрительного философа и государственного человека не одинакова. Один устремляет к прекрасному ум свой, свободный от внешнего вещества и не имеющий нужды в орудиях; для другого, который посвящает добродетель свою пользе человечества, богатство во многих случаях не только должно считать необходимым, но и прекрасным приобретением. Таково оно было для Перикла, который помогал многим бедным.

Касательно же Анаксагора говорят, что Перикл от множества дел своих забыл его. Анаксагор, покрыв голову платьем*, лежал уже в старости лет своих и хотел окончить жизнь свою голодом. Едва Перикл узнал о том, в испуге бежит к Анаксагору – просить, умолять его переменить намерение, оплакивая не его, но себя, лишающегося столь мудрого в правлении советника. Анаксагор, подняв покрывало, сказал ему: «Перикл! Кто имеет нужду в светильнике, тот подливает в него масла».

Уже лакедемоняне начинали завидовать умножению могущества Афин. Перикл, желая более возвысить дух афинян и воспламенить их к великим предприятиям, написал постановление, которым все греки, в Европе и Азии обитавшие, все города, большие и малые, призываемы были отправить в Афины посланников для совещания о возобновлении греческих храмов, сожженных богам за спасение Греции тогда, как воевали против варваров; о свободном и безопасном плавании по морям и о мире между собою. С этими предложениями отправились двадцать человек, которым было более пятидесяти лет от роду. Пять из них призывали ионян и дорян, живущих в Азии, и островитян до Лесбоса и Родоса; пять других отправились в Геллеспонт и Фракию до Византия; столько же послано в Беотию, Фокиду и Пелопоннес; оттуда через Локриду к смежному Эпиру до Акарнании и Амбракии; остальные пять через Эвбею пошли к жителям Эты к Малийскому заливу, к ахейцам во Фтиотиде* и фессалийцам, призывая их быть участниками в совещаниях о мире и общих делах Греции. Но эти посольства остались безуспешны; города не собирались, ибо лакедемоняне, как говорят, противились тому. В Пелопоннесе уничтожены были первые их покушения. Я упомянул об этом, желая показать высокие чувства и великие намерения Перикла.

В военачальстве отличался он более своей осторожностью. Никогда не вступал добровольно в сражение, которого последствия были неизвестны и соединены с опасностью; не подражал тем полководцам, которые в дерзостных предприятиях имели блистательные успехи и потому считаются великими. Он всегда говорил согражданам своим, что, сколько от него зависело, они останутся навсегда бессмертными.

Толмид, сын Толмея, полагаясь на прежние удачи* и на отличное уважение, оказываемое ему за его военные подвиги, приготовлялся невовремя вступить в Беотию. Он убедил уже храбрейших и честолюбивейших юношей в числе тысячи человек ратоборствовать с ним по своей охоте отдельно от другого войска. Перикл старался укротить его стремление и, увещевая его в Народном собрании, сказал ему известные слова: «Если ты не хочешь слушаться Перикла, то не ошибешься, когда подождешь благоразумнейшего советника – времени!» Слова эти не были тогда довольно одобрены; но через несколько дней, по получении известия, что Толмид был побежден и убит при Коронее* и что пали многие из храбрейших граждан, слава Перикла и любовь сограждан к нему более умножились; все почли его благоразумным человеком и другом народа.

Более всех походов его хвалили поход в Херсонес* как спасительный для греков. Не только привел он с собою для поселения тысячу афинян, которыми усилил тамошние города, но оградил перешеек стеной и укреплениями от одного моря до другого и остановил набеги фракийцев, обитавших вокруг Херсонеса. Он отвратил тем войну тяжкую и беспрерывную, которой эта область была подвержена во всякое время по причине близко населенных

варварских народов и разбоев соседних и внутренних, которыми она была наполнена.

Более всего прославился Перикл среди иностранцев тем, что, отправившись из Пег в Мегариде с сотнею кораблей, обошел Пелопоннес; не только разорял приморские города, как Толмид прежде него, но, вступив во внутренность земли с сухопутными силами, заставил тамошних жителей, устрашившихся его нашествия, запереться в стенах своих. Одни сикионцы в Немее* вышли против него и вступили в сражение. Перикл разбил их совершенно и воздвигнул трофей. Из Ахайи*, союзной афинянам области, взяв еще воинов на суда, отправился в противоположную сторону Греции, прошел мимо Ахелоя, опустошил Акарнанию, запер эниадцев в стенах города и, разорив землю их, отправился в свое отечество, показавшись неприятелям страшным, гражданам – осторожным и вместе предприимчивым. Ни малейшего несчастья, ниже случайного, не приключилось с теми, которые под его начальством ратоборствовали.

Он вступил в Понт* с многочисленным флотом, великолепно украшенным, исполнил просьбы тамошних греческих городов и поступал с ними благосклонно; окрестным же варварским народам, царям и владельцам их показал великую силу республики, смелость и неустрашимость афинян, плававших беспрепятственно повсюду и покоривших себе все моря. Он оставил жителям Синопы* тринадцать кораблей и воинов под начальством Ламаха, дабы действовать против тиранна их Тимесилея. По изгнании его и всех к нему приверженных Перикл определил послать в Синоп шестьсот афинян по их охоте для поселения вместе с синопцами в городе и для раздачи им домов и земель, которыми владели их тиранны. Впрочем, он не уступал стремлению афинян и не был увлечен ими, когда они, возгордившись таким могуществом и благоприятством счастья, хотели вновь завоевать Египет* и беспокоить царские приморские области. Еще тогда многие одержимы были той несчастной и гибельной страстью к Сицилии, которую впоследствии воспалили преданные Алкивиаду ораторы. Некоторым также мечтались, как бы во сне, Этрурия и Карфаген. Надежды их не были совсем без основания – по причине пространства их владений и содействующего им во всем счастья.

Однако Перикл обуздывал их стремление и укрощал склонность к новым предприятиям. Большую часть сил республики обращал он более к сохранению и утверждению того, что имели, почитая весьма важным удерживать лакедемонян в своих пределах. Он противился им всегда; это показал во многих случаях, особенно же в так называемой священной войне. Лакедемоняне, придя в Дельфы с войском, изгнали фокейцев, владевших храмом, и возвратили его дельфийцам. Но едва они удалились, как Перикл, вступив туда с войском, возвратил оный фокейцам. Лакедемоняне вырезали на лбу медного волка* данное им Дальфами предпочтение – вопрошать прорицалище первым. Перикл, получив в пользу афинян подобное предпочтение, вырезал оное на правом боку того волка.

Сколь благоразумно поступал он, удерживая силы афинян в Греции, то доказали самые происшествия. Во-первых, отпали от афинян эвбейцы, и Перикл перешел к ним с войском. Вскоре за сим получено известие, что мегаряне готовятся к войне; что неприятельское войско на границах Аттики, под предводительством Плистоанакта, царя спартанского. Перикл с Эвбеи поспешно обратился к войне, угрожавшей Аттике. Он не осмелился вступить в бой с великим множеством храбрых воинов, вызывавших его к сражению. Ведая, что Плистоанакт, будучи очень молодым, более всех советников слушался Клеандрида, которого эфоры, по причине возраста Плистоанакта, назначили стражем и наставникм. Перикл вступил в тайные с ним отношения, подкупил его и убедил вывести пелопоннесцев из Аттики. Когда войско удалилось и разошлось по городам, лакедемоняне, негодуя на сие, наложили важную денежную пеню на царя своего, который, не будучи в состоянии ее заплатить, удалился из Лакедемона. Клеандрид спасся бегством и был приговорен к смерти.

Клеандрид был отцом того Гилиппа, который победил афинян в Сицилии, но был от природы заражен сребролюбием как семейственной болезнью. Он был также изобличен в подлых поступках и изгнан из Спарты. Обо всем этом мы говорили в жизнеописании Лисандра.

Перикл, отдавая отчет в своем походе, между прочим написал, что издержал на нужные дела десять талантов. Это одобрено было народом, который не полюбопытствовал узнать, на что, и не разведал сей тайны. Повествуют некоторые, между прочими и философ Феофраст, что Перикл ежегодно посылал в Спарту десять талантов, которыми, подкупая правителей, отклонял

войну. Он не покупал тем мира, но времени, в которое приготовлялся, дабы впоследствии с лучшим успехом вести войну.

Вскоре обратился он к отпавшим эвбейцам с пятьюдесятью кораблями и пятью тысячами тяжелой пехоты и покорил города. В Халкиде изгнал он одних, так называемых гиппоботов, или содержателей коней, которые превышали других силой и богатством; но жителей Гестиеи всех принудил оставить свою область и на место их поселил афинян. Против них одних оказал он себя жестоким за то, что они прежде взяли афинское судно и умертвили бывших на нем людей.

Наконец между афинянами и лакедемонянами заключен мир на тридцать лет.

Перикл предложил тогда войну против жителей Самоса под предлогом, что они не послушались приказания афинян кончить войну с Милетом. Поскольку думают, что война против самосцев предпринята была из угождения к Аспасии, то здесь может быть прилично рассмотреть, каким искусством, какими способностями будучи одарена, эта женщина покорила себе мужей, первенствующих в правлении, и философов заставила о себе говорить столь много и к славе своей.

Известно, что она была родом из Милета*, дочерью Аксиоха. Говорят, что она, приняв за образец некоторую древнюю ионянку, по имени Фаргелия, старалась покорять себе знаменитейших людей. Фаргелия была прекрасна и исполнена прелестей и ума; со многими из греков имела связь и всех их привлекала на сторону персидского государя; через них посеяла в городах семя мидизма – по причине силы и знатности ее приятелей. Касательно же Аспасии: одни говорят, что Перикл полюбил ее за ум и за способности к управлению, ибо сам Сократ нередко ходил к ней со своими приятелями и ее знакомые приводили к ней жен своих, дабы быть ее слушательницами – хотя ремесло, которым она занималась, не было ни пристойно, ни похвально, ибо она содержала у себя прелестниц. Эсхин говорит, что Лисикл, торговавший прежде рогатым скотом, вступив в связь с Аспасией по смерти Перикла, сделался в Афинах знаменитым человеком, хотя прежде был свойств неблагородных и низких. В Платоновом «Менексене», в котором начало несколько забавно, однако много содержит в себе исторического, писано между прочим, что эта женщина прославилась и тем, что многие афиняне беседовали с нею для образования себя в красноречии. Тем не менее очевидно, что привязанность Перикла к Аспасии основывалась более на страстной любви. Он был женат на своей родственнице, бывшей прежде замужем за Гиппоником, от которого родила сына Калия, «Богатого»; с Периклом же прижила Ксанфиппа и Парала. Поскольку сожительство было им неприятно, то Перикл выдал ее замуж за другого по воле ее, а сам женился на Аспасии, которую любил нежно. Говорят, что он ежедневно, выходя из дому и возвращаясь в оный, обнимал и целовал ее. В комедиях называют ее новой Омфалой, Деянирой*, иногда Герой. Кратин явно называет ее блудницей в следующих стихах:

И родила ему Аспасию Геру,
Бесчестну блудницу с бесстыдными глазами.

Кажется также, что Перикл имел от нее незаконнорожденного сына, о котором Эвполид в комедии «Демы» заставляет его спрашивать следующим образом:

Мой сын побочный жив?

Миронид отвечает:

Давно бы он мужем был;
Бесчестной матери пример его стращает.

Аспасия была столь славна и знаменита, что Кир*, воевавший с Артаксерксом за царство Персидское, назвал Аспасией любимейшую из своих наложниц, которая называлась прежде Мильто. Она была родом из Фокеи*, дочь Гермотима. После того как Кир погиб в сражении, приведена была к царю и была им весьма уважаема. Я не почел приличным пропустить сих

обстоятельств, которые возобновились в памяти моей при описании сих происшествий.

Обвиняют Перикла в объявлении войны самосцам за милетян по просьбе Аспасии. Самос и Милет воевали прежде между собой за город Приену*. Самосцы остались победителями. Афиняне велели им прекратить военные действия и представить это дело на рассмотрение к ним, но они отказались. Перикл отправился против них с флотом; уничтожил олигархическое правление; взял пятьдесят из первых граждан и столько же отроков в залог и послал их в Лемнос, несмотря на то что, по уверению некоторых писателей, каждый из них давал ему за себя по одному таланту; много также давали ему и те, которые не желали в городе своем народоправления. Равным образом перс Писсуфн*, благоприятствуя самосцам, послал к нему десять тысяч золотых монет для избавления города. Перикл не принял ничего; он поступил с самосцами так, как прежде намеревался; установил народоправление и возвратился в Афины. Но самосцы тотчас возмутились против афинян и, получив заложников посредством Писсуфна, уведшего их тайно, приготовлялись к войне.

Перикл опять к ним обратился и нашел их не в праздности или унынии напротив того, они решились твердо оспаривать у него море. Дано было жестокое сражение при острове, называемом Трагиями. Перикл одержал знаменитую победу. Имея сорок четыре корабля, разбил флот их, состоявший из семидесяти, в числе которых двадцать были с сухопутными войсками.

Преследуя побежденных, Перикл завладел их пристанью и осадил город, которого жители делали еще смелые вылазки и сражались под своими стенами. Когда из Афин прибыл другой флот, многочисленнее первого, и самосцы со всех сторон были окружены, то Перикл, взяв шестьдесят триер, отплыл в Средиземное море. Намеревался он, по словам многих писателей, идти навстречу финикийским кораблям, шедшим на помощь к Самосу, и как можно было далее от оного сразиться с ними. По мнению Стесимброта, он отправился на Кипр; но это невероятно. Какое бы ни было его намерение – в этом сделал ошибку. Едва удалился он, как философ Мелисс, сын Ифагена, предводительствовавший в то время самосцами, презрев малое число афинских кораблей или неопытность их полководцев, убедил своих сограждан напасть на них. Дано было сражение; самосцы одержали победу; взяли в плен много неприятелей; потопили много кораблей; завладели морем и запаслись нужным к продолжению войны, чего прежде не имели. Аристотель уверяет, что сам Перикл был прежде сего побежден Мелиссом в морском сражении.

Самосцы, ругаясь взаимно над афинскими пленниками, клеймили у них на лбах знак совы*, ибо афиняне ставили пленникам самосским «самену». Самена есть род судна, которого передняя, загнутая часть имеет вид свиного рыла; в средине же широка и кругла. Она может поднимать большой груз и ходить весьма скоро. Название свое получила оттого, что в первый раз построена на Самосе тиранном Поликратом. На эти знаки, говорят, намекает Аристофан следующим стихом:

Народ самосский впрямь великий грамотей!*

Перикл, получив известие о поражении войска, поспешил к нему на помощь. Мелисс построился против него; но был разбит и обращен в бегство. Перикл осадил город и обвел его стеной, желая более издержками и временем, нежели кровью и опасностью граждан взять оный. Однако трудно было удержать афинян, которые не любили медленности и горели желанием сразиться. Перикл разделил свое войско на восемь частей и заставил их кидать жребий; те, кому доставался белый боб, могли быть в бездействии и веселиться, между тем как другие сражались. Поэтому при проведении какого-либо дня в забавах и удовольствиях говорят, что день для них белый – по причине белого боба. Эфор уверяет, что Перикл употребил при осаде машины*, которые по своей новости привели его в удивление. Они составлены Артемоном-механиком, который по причине хромоты своей был носим на стуле туда, где его присутствие было нужно для работы. По этой причине назван Перифоретом, то есть «Носимый вокруг». Но Гераклид Понтийский опровергает это стихами Анакреонта, в которых упоминается об Артемоне Перифорете за несколько поколений до самосской войны и осады. Артемон этот был человек изнеженный, столь слабый и робкий, что большую часть жизни

своей проводил дома; два служителя держали над его головой медный щит, дабы сверху ничего на него не упало. Когда же был принужден оставить дом свой, то носили его на висячем до самой земли ложе; и потому получил название Перифорета.

Наконец самосцы сдались после девятимесячной осады. Перикл разрушил стены их, взял корабли и наложил на них большую денежную пеню. Часть ее самосцы внесли тогда же; другую обещались заплатить в срок и дали в обеспечение заложников.

Дурис Самосский* к этому прибавляет трагические описания, обвиняя афинян и Перикла в жестокостях, о которых не говорят ничего ни Фукидид, ни Эфор, ни Аристотель. Также нимало не вероятно и то, будто бы Перикл привел на площадь Милета начальников самосских триер и морских воинов, держал их прикованными к доскам в продолжение десяти дней и потом, когда доведены были до жалостнейшего состояния, велел их умертвить ударами по голове и тела их бросить без погребения. Но Дурис и там, где у него нет никакого частного интереса, не умеет сохранять исторической верности. Здесь, кажется, он увеличил бедствия своего отечества, дабы навлечь на афинян больше ненависти.

Перикл, по покорении Самоса возвратившись в Афины, учредил великолепные похороны в честь убитых на войне и по обыкновению произнес при погребении их ту речь*, которая приобрела ему всеобщее удивление. Когда сходил он с кафедры, все женщины приветствовали его, украшали венками и повязками, как победителя на всенародных играх; но Эльпиника, приблизившись к нему, сказала: «Подлинно, Перикл, достохвальны и достойны венков твои подвиги! Ты погубил столько храбрых граждан, не сразившись ни с финикиянами, ни с мидянами, подобно брату моему Кимону, но ниспровергнув город, нам единоплеменный и союзный». Перикл, улыбнувшись, спокойно сказал ей следующий стих Архилоха:

Старуха, перестань ты мазью притираться!

Стихотворец Ион говорит, что по завоевании Самоса Перикл чрезвычайно гордился тем, что в девять месяцев покорил первенствующих и сильнейших ионян, а Агамемнон в десять лет покорил один варварский город. Его притязания не были неосновательны. Война эта была действительно опасна и сомнительна, ибо едва самосцы, по свидетельству Фукидида, не отняли у афинян могущества над морем.

Вскоре после того возгорелась Пелопоннесская война*. Керкиряне претерпевали нападение от коринфян*. Перикл склонил народ послать им на помощь войско и привязать к себе остров, столь сильный на море*, предсказывая афинянам, что вскоре должны ожидать нападения со стороны пелопоннесцев. Народ определил отправить к керкирянам корабли. Перикл послал только десять под предводительством Лакедемония, сына Кимона, как бы ругаясь над ним, ибо между домом Кимоновым и лакедемонянами существовала тесная дружба и взаимное благоприятство. Назначив Лакедемония предводителем против его желания и выслав с малым числом кораблей, намерение Перикла было то, чтобы еще более его обвиняли в преданности к Спарте, если бы он в предводительстве не произвел ничего великого и блистательного*. Вообще он противился возвышению сынов Кимоновых, как бы они были иноземцы, а не природные афиняне, доказывая то именами их, ибо один из них назывался Лакедемонием, другой Фессалом, третий Элеем; их мать была аркадянка.

Эти десять кораблей – малая помощь для тех, кто просил ее, – навлекли на Перикла порицание и подали неприятелям его повод клеветать его. Он послал к керкирянам большее число кораблей, которые, однако, прибыли после сражения*.

Коринфяне, негодуя на афинян, жаловались на них в Спарте; к ним присоединились и мегаряне, обвинявшие афинян в том, что не допускают их ни в какие пристани, ни в какие торжища, от них зависящие, против всех прав и постановлений, всеми греками утвержденных. Эгиняне, претерпевая обиды и насилия от афинян, не смея обвинять их явно, жаловались лакедемонянам тайно. Между тем Потидея*, город, подвластный афинянам, но поселение коринфское, возмутилась против них. Афиняне осадили ее, и это ускорило объявление войны.

Однако отправлено было в Афины посольство. Царь спартанский Архидам старался прекратить все раздоры мирными переговорами и укрощал союзников. Вероятно, что все другие причины не возжгли бы войны против афинян, когда бы они решились уничтожить

постановление против мегарян и с ними примириться. Перикл особенно противился, подстрекал народ не прекращать вражды с мегарянами – и потому один он почитается виновником войны.

Говорят, что, когда посольство из Спарты прибыло в Афины*, Перикл представлял некоторый закон, запрещающий снять таблицу, на которой было написано народное постановление. Тогда один из посланников по имени Полиалк сказал: «Так не снимай ее, но только переверни; закон сего не запрещает». Слова эти показались остроумными; однако Перикл остался непреклонен. Кажется, он имел частную вражду против мегарян; но дабы сделать ее общественною, ставил им в вину то, что они засеяли священную землю*; он предложил отправить одного и того же вестника к ним и к лакедемонянам для обвинения мегарян. Это постановление Перикла содержит в себе жалобы справедливые и кроткие. Но как посланный вестником Анфемокрит умер и на мегарян падало подозрение в убиении его, то Харин написал постановление следующего содержания: быть непримиримой и вечной вражде с мегарянами; наказывать смертью всякого мегарянина, который вступит в Аттику, и когда полководцы будут присягать по обычаю, то заставлять их клясться; дважды в год чинить нападение на мегарскую землю. Вестника Анфемокрита постановили похоронить у Фриасийских ворот, называемых ныне Дипилон – «Двойные ворота». Мегаряне, защищаясь в убийстве Анфемокрита*, всю вину обращают на Аспасию и Перикла, доказывая то следующими известными стихами из Аристофановой комедии «Ахарняне»:

Афинские молодцы, упившиеся вином,
Блудницу из Мегар Симету похищают.
Обида жестока! Мегарцы в гневе злом,
Им мстя, у Аспасии двух блудниц отнимают*.

Нелегко узнать истинное начало войны. Но все согласно полагают Перикла виновником того, что постановление против мегарян не было уничтожено. Однако одни говорят, что он по величию духа, соединенному с благоразумием, противился миру для пользы республики, будучи уверен, что требование лакедемонян было испытанием уступчивости и что снисхождение было бы сочтено признанием слабости. Другие, напротив, утверждают, что он презрел предложения лакедемонян по упрямству и гордости, для показания своего могущества.

Самая низкая причина, которую, однако, многие утверждают, есть следующая. Ваятель Фидий занимался сооружением кумира. Он был друг Перикла и пользовался великой при нем силой. Одни были неприятелями его из зависти; другие, желая испытать над ним расположение народа к Периклу, подговорили Менона, одного из сотрудников Фидия, предстать перед народом в виде просителя и требовать его защиты в обвинении и доносе на Фидия. Народ принял его благосклонно. В Собрании исследовали дело, и никакого похищения не оказалось, ибо золото с самого начала так было приделано Фидием к кумиру, по совету Перикла, что легко можно было снять его и поверить вес. Это-то Перикл приказал сделать тогдашним обвинителям Фидия; но зависть преследовала Фидия за славу его произведений, особенно когда он, вырезав на щите сражение с амазонками, изобразил себя самого в виде плешивого старца, подъемлющего обеими руками камень, и прекрасно представил Перикла сражающимся с амазонкой. Рука Перикла, поднятая с копьем перед самим лицом его, сделана с великим искусством и как бы хочет прикрыть сходство, которое, однако, с обеих сторон выказывается.

Фидий заключен был в темницу*, где умер от болезни, а как другие говорят, будучи отравлен неприятелями Перикла, дабы тем оклеветать Перикла самого. Народ освободил от всяких податей доносчика Менона по предложению Гликона и приказал полководцам заботиться о его безопасности.

В это самое время Аспасия была обвиняема в безбожии Гермиппом, комическим стихотворцем. Сверх того доносил он на нее, что она принимала к себе свободных женщин, приходивших к Периклу. Диопиф предложил постановление, чтобы донесено было против тех, кто не признавал богов или толковал о небесных явлениях, желая этим навести подозрение на Перикла по причине связи его с Анаксагором*. Поскольку народ охотно принимал эти доносы, то по предложению Драконтида было утверждено постановление, которым повелевалось

Периклу представить счеты издержанным деньгам на рассмотрение пританам, и чтобы судьи решили это дело в городе, взяв шары с жертвенника. Но Гагнон исключил последнюю статью постановления; он предложил, чтобы дело это было рассмотрено судьями в числе тысячи пятисот человек, хотя бы обвинение состояло в похищении и дароприятии или просто в несправедливости.

Аспасия была спасена Периклом, который, как свидетельствует Эсхин, пролил в суде обильные за нее слезы и просил судей. Страшась за Анаксагора, выслал его из города и сам провожал его. Когда же в деле Фидия сделался он народу неприятным, то, боясь суда, воспламенил войну, еще не совсем разгоревшуюся и, так сказать, кроющуюся под пеплом, надеясь тем рассеять клеветы и низложить зависть, ибо в делах великих и в крайних опасностях республика ему одному предавала себя и всю власть по причине его могущества и важности. Таковы суть предполагаемые причины, по которым не допустил он народа уступить лакедемонянам; истина же неизвестна.

Лакедемоняне знали, что по низвержении Перикла афиняне будут во всем им уступчивее. По этой причине советовали они им изгнать из республики мерзость, в которой участвовал с материнской стороны Перикл, как Фукидид повествует. Однако последствия были совсем противны их ожиданию. Вместо подозрения и клеветы Перикл пользовался большей доверенностью и почестями у своих сограждан, которые удостоверились, что неприятели более все его боялись и ненавидели. До вступления в Аттику Архидама с пелопоннесским войском Перикл наперед объявил афинянам, что если Архидам, все прочее опустошая, пощадит одни его земли по причине существующей между ним и Архидамом связи гостеприимства или с намерением подать его неприятелям повод к оклеветанию, то уступает республике свои поместья и загородные дома.

Лакедемоняне с многочисленным войском вступили в Аттику вместе со своими союзниками под предводительством царя Архидама*. Опустошая область, дошли они до Ахарн* и расположились станом, предполагая, что афиняне не стерпят сего нашествия; но по внушению гнева и высокомерия захотят сразиться с ними. Периклу казалось опасным вступить в сражение с шестьюдесятью тысячами (таково было их число) хорошо вооруженных пелопоннесцев и беотийцев за свой город. Он укрощал тех, кто хотел непременно сразиться и негодовал на происходящее, говоря им, что срубленные и поверженные деревья скоро вырастают, но трудно заменить умерщвленных мужей.

Перикл не собирал народа, боясь, чтобы не принудили его поступить против предпринятых им намерений. Как кормчий на море при восстании бури, приведя все в порядок и имея все в готовности, действует по правилам своего искусства, пренебрегая слезами и просьбами мореходов, трепещущих и страждущих от морской болезни, так Перикл, заперши город и поставив всюду стражей для безопасности, действовал умом своим, мало заботясь о тех, кто кричал против него и негодовал; хотя многие из друзей его приступали к нему с просьбами, многие из неприятелей его грозили и обвиняли его, многие также пели песни и сатиры, ругаясь и шутя над его военачальством, которое называли робким и предающим все неприятелю.

На него нападал и Клеон*, который, пользуясь негодованием народа на Перикла, вошел в его доверие; как видно из следующих стихов Гермиппа:

Сатиров царь!* Почто не хочешь
С копьем в руке на бой идти?
Ты говоришь о брани смело;
Ты храбрый на словах Телет.
Но ты трепещешь и бледнеешь,
Едва услышишь, как острят
Железо на оселке твердом;
И страшен для тебя Клеон!

Однако ничто не поколебало Перикла; кротко и спокойно сносил ругательства и неудовольствие народа. Выслав сто кораблей против Пелопоннеса, сам не предводительствовал

ими, но оставался в городе, сохраняя его и управляя им, доколе не удалились пелопоннесцы. Дабы успокоить народ, недовольный войной, он облегчил его раздачей денег и некоторого количества земли. Жители Эгины были им изгнаны все со своего острова и земля их разделена по жребию между афинянами. Бедствия, претерпеваемые неприятелями, служили также к утешению афинского народа, ибо флот его, объезжая Пелопоннес, опустошил пространную область, деревни и малые города. Сам Перикл, вступив сухим путем в мегарскую область, разорил ее совершенно. Таким образом, неприятели наносили афинянам много зла и сами много претерпевали от них со стороны моря, и потому казалось несомненным, что война прекратится скоро и что воюющие стороны в короткое время утомятся, как предсказал Перикл, если бы некая божественная сила не ниспровергла предположений человеческих. Пагубная моровая язва в первый раз обнаружилась в городе*, истребив цветущую часть народа. Афиняне, томимые болезнью и унывая духом, ожесточились против Перикла. Как одержимые горячкой восстают на врача или отца своего, так они восставали на Перикла. К этому их побуждали его неприятели, которые уверяли, что стечение в городе великого числа народа из предместий произвело болезнь сию, ибо в летнее время все они без различия принуждены были в домах тесных, под шатрами низкими проводить жизнь сидячую и праздную, привыкши прежде жить на чистом и открытом воздухе. Этому виной тот, говорили они, кто войной принудил изо всей области стекаться в город такое множество людей, которых ни к чему не употребляет; но, держа их взаперти подобно скотам, заставляет сообщать друг другу заразу, не переменяя их участи, не подавая им никакого облегчения.

Перикл, желая помочь и причинить некоторый вред неприятелям, вооружил сто пятьдесят кораблей* хорошей пехотой и конницей и готовился пуститься в море. Столь многочисленная сила внушала великую надежду гражданам, а неприятелям ужас. Уже войска сели на суда; Перикл сам взошел на свою триеру, как вдруг сделалось солнечное затмение, и земля покрылась мраком; все приведены были в смятение, почитая это важным знамением. Перикл, видя кормчего в страхе и недоумении, поднял свой плащ и, закрыв ему лицо, спросил: «Ужели это несчастье или предзнаменование какого-нибудь несчастия?» Кормчий отвечал, что нет. «Какая же разница, – сказал Перикл, – между одним и другим, как не та, что произведшее сию темноту тело больше плаща?» Но об этом рассуждают в училищах философов.

Перикл, отправившись с флотом, не произвел ничего достойного столь великих приготовлений. Он осадил священный Эпидавр* и имел надежду овладеть им, но болезнь ему препятствовала*. Болезнью заразилось войско и все те, которые имели к нему какое-либо отношение. Он старался утешать и ободрять афинян, которые были раздражены против него; однако не укротил их ярости; они не успокоились, пока подачей голосов не присвоили себе всей власти, не лишили его военачальства и не наложили на него денежной пени, минимальный размер которой полагают в пятнадцать, максимальный же – в пятьдесят талантов. Доносчиком, по Идоменееву свидетельству, был Клеон; по Феофрастову – Симмий; а Гераклид Понтийский называет его Лакратидом.

Общественному неудовольствию надлежало скоро прекратиться, ибо народ оставил гнев свой, как пчела оставляет жало в произведенной ею ране. Но Перикл был несчастен в доме своем; он потерял от язвы немалое число друзей своих, а семейственный раздор уже давно беспокоил его. Старший из сынов его, Ксанфипп, будучи от природы расточителен, женился на дочери Тисандра, сына Эпилика, женщине молодой и также любящей великолепие. Ему неприятна была бережливость отца своего, который давал ему денег неохотно и по малым количествам. Он занял денег у некоторого из своих приятелей на имя отца своего. Когда заимодавец требовал их назад, то Перикл не только не заплатил их, но подал на него в суд. Молодой Ксанфипп, огорченный таковым поступком, ругался над отцом своим и осмеивал домашние его беседы и разговоры с софистами. Он говорил, что когда некоторый пентатл* умертвил ненарочно Эпитима из Фарсала ударом дротика, то Перикл целый день провел с Протагором*, рассуждая, кого должно почесть в самом деле виновником сей беды: дротик ли, бросившего ли его или подвигоположников? Стесимброт сверх того говорит, что сам Ксанфипп рассеял слух о связи Перикла с его женой и что по самую смерть продолжалась непримиримая ненависть сына к отцу. Ксанфипп умер от язвы, от которой Перикл потерял тогда сестру, большую часть своих друзей и родственников, самых полезных в управлении. Однако это не

ввергло его в отчаяние; он не изменил в бедствиях величию и твердости души своей: не проливал слез; не видали его ни на похоронах, ни над гробами своих родственников, пока не лишился Парала, последнего из своих законных детей. Смерть эта поколебала его душу; он силился устоять в своей важности и сохранить твердость духа; но, налагая венок на мертвого, был побежден горестью при сем виде; он возрыдал и залился слезами, хотя прежде во всю жизнь его не случилось с ним ничего подобного.

Между тем афиняне испытывали других полководцев и ораторов; но никто из них не имел в себе важности и достоинства, соответствующего такой власти. Все желали Перикла; все звали его к гражданскому управлению и военачальству. Перикл, погруженный в уныние и горесть, не выходил из своего дома; но Алкивиад и другие приятели склонили его предстать перед народом.

Граждане старались оправдаться перед ним в своей к нему несправедливости. Перикл вступил опять в правление республикой, был избран полководцем и предложил народу уничтожить закон, им самим введенный, о незаконнорожденных, дабы род и имя его не исчезли за неимением наследника.

Закон состоял в следующем. Перикл задолго до этого, имея в республике величайшую власть, будучи окружен многими законными детьми, как выше сказано, предложил постановление, по которому настоящими афинянами надлежало почитать единственно тех, кто родился от афинянина и афинянки. Когда же египетский царь* послал в подарок афинскому народу сорок тысяч медимнов пшеницы, которые надлежало разделить между гражданами, то это было причиной, что многих обвиняли в незаконном рождении, о которых прежде не думали и которые были пренебрегаемы. Многие из граждан были запутаны клеветниками. Около пяти тысяч граждан оказались незаконнорожденными и были проданы. Оставшихся в гражданстве и признанных настоящими афинянами было всех четырнадцать тысяч сорок человек. Казалось странным, чтобы закон, против такого множества людей утвержденный, был опять уничтожен, и по представлению того самого, который предложил его. Однако тогдашние семейные несчастья Перикла, которыми был он наказан за свою гордость и высокомерие, склонили афинян к жалости. Они думали, что Перикл жестоко угнетен судьбой; что требование его достойно снисхождения, и позволили ему включить сына своего в число фратриев (причислить к своему племени) и дать ему свое имя. Этот молодой человек впоследствии одержал победу при Аргинусских островах над флотом пелопоннесцев и был умертвлен со своими товарищами по приговору народа*.

Вскоре Перикл сам был заражен чумой, не столь острой и сильной, как другие, но тихой и медленной, с различными переменами, мало-помалу убивающей тело и ослаблявшей высокие способности его души. Феофраст, в своих «Нравственных сочинениях» рассуждая, может ли свойство человека измениться обстоятельствами и потрясаемое страстями тело отстать от добродетелей, пишет, что Перикл показал одному из своих друзей, пришедшему его навестить, талисман, который надели ему на шею женщины, давая тем ему заметить, что он тяжко болен, когда и такую глупость может терпеть.

Уже близок был конец его жизни. Вокруг него сидели лучшие граждане и остающиеся друзья его, разговаривая о его добродетели и великой власти; исчисляли его подвиги и множество его трофеев, которых воздвиг он до девяти, военачальствуя и побеждая. Они говорили это между собою, как бы

Перикл ничего не понимал и был лишен чувств. Но он внимательно слушал их разговор и, прервав его, сказал им: «Я удивляюсь, что вы хвалите дела, в которых участвует счастье, которые многими произведены полководцами; а лучшее и прекраснейшее забываете – то, что никто из афинян не надел от меня печального платья».

Должно удивляться в Перикле не только снисходительности и кротости, которую сохранил он в столь великих делах и при всей ненависти своих противников; но благородству души его, когда он лучшим из славных дел своих почитал лишь то, что в своем могуществе умел владеть завистью и гневом и ни к кому не имел вражды непримиримой. По моему мнению, жизнь среди такой власти, проведенная в чистоте и невинности, может одна оправдать смешное и гордое прозвание «Олимпиец» и сделать ему оное приличным. Мы верим, что боги, будучи виновники всех благ, непричастны злу, достойно владеют и царствуют над вселенной,

не так, как говорят стихотворцы, возмущающие нас ложными понятиями и сами себе противоречащие в своих сочинениях. Они называют то место, где, по мнению их, пребывают боги, жилищем твердым и непоколебимым, где нет ни бурь, ни туч; где царствует приятная тишина; где всегда блистает чистый свет, ибо существу блаженному и бессмертному таковое пребывание есть самое приличное; а между тем представляют нам самих богов, исполненных беспокойства, гнева, вражды и других страстей, которые непристойны и человеку, имеющему рассудок. Но эти рассуждения относятся, может быть, к другому роду сочинений.

Вскоре обстоятельства заставили афинян чувствовать потерю Перикла и жалеть о нем. Те самые, для которых при жизни власть его была тягостна, ибо затмевала их, по смерти его, испытывая других полководцев и ораторов, принуждены были признаться, что не было человека умереннее его во власти, ни важнее в кротости. Могущество, которому столь много завидовали, которое называли единоначалием и тираннией, впоследствии оказалось спасительным оплотом для республики. По смерти его вскоре разврат и злоба наводнили республику; Перикл, укрощая и ослабляя эти страсти, старался сокрыть их и препятствовал им распространить пагубную власть свою.

Фабий Максим

Таков был Перикл в достопамятных деяниях, нами описанных! Теперь обратим повесть свою к Фабию.

Говорят, что какая-то нимфа, а по мнению других, смертная женщина, пленила Геракла и родила от него на берегах Тибра Фабия, от которого в Риме произошел многочисленный и знаменитый род Фабиев*. Другие уверяют, что некоторые из этого рода первые начали ловить зверей в ямах, отчего в древние времена названы были Фодиями; и поныне римляне называют ямы «фоссы» ***(fossa).*** А рыть землю по-латыни значит «фодере» (***fodere***). Впоследствии переменою двух букв Фодии названы Фабиями*.

Этот дом произвел многих великих мужей. Начиная от Рулла*, которого римляне назвали Максимом, то есть Величайшим; Фабий Максим, которого жизнь здесь описываем, есть четвертый. Он прозван Веррукозом по причине небольшой бородавки ***(verruca),*** которую имел на своей губе. Прозвание Овикула, что значит «Овечка», дано было ему по причине кротости и важности его нрава, еще в отроческих летах. Тихость его и молчаливость, робость в самых детских забавах, медленность и трудность, с которыми перенимал преподаваемое, равно как угодливость его и покорность товарищам – все это не знающих его близко заставляло подозревать, что он глуп и тупоумен. Не много было таких, которые бы усмотрели, что эта как бы тяжесть происходила от глубокого ума, и которые бы познали в нраве его величие души и твердость львиную. Впоследствии общественные дела пробудили ум его; он доказал всем, что недеятельность его была не что иное, как спокойствие души; робость – рассудительность, а медленность его и неподвижность – были твердость во всем и постоянство.

Видя величие республики и многие войны, которые она вела, он приготовлял тело свое против неприятелей как оружие природное человеку, а слово – как орудие, служащее к убеждению народа, образуя его прилично избранному им образу жизни. В его речах нет украшений, ни пустых приятностей, служащих к угождению народа. В них открывается глубокий ум, свойственная ему основательность, обилующая важными мнениями, которыми речи его весьма похожи на Фукидидовы. И теперь существует речь*, им произнесенная перед народом в похвалу своему сыну, умершему после консульства.

Фабий был пять раз избран консулом. В первом своем консульстве удостоился триумфа за победу над лигурийцами*. Претерпев поражение и потеряв великое число воинов, эти народы удалились к Альпам и перестали беспокоить и грабить окрестные страны Италии.

По прошествии нескольких лет Ганнибал вступил в Италию. Он одержал победу при реке Требии* и двинулся через Этрурию, опустошая страну и наводя на Рим страх и ужас. Кроме обыкновенных явлений, каковы суть молнии и громы, римлянам явились другие – необыкновенные и весьма чудные предзнаменования. Говорили тогда, что щиты сами собою покрылись кровью, что в Антии жали колосья окровавленные, что с воздуха падали воспаленные, горящие камни, что над Фалериями небо разверзлось и выпали разные записки,

на одной из которых написано было слово в слово: «Марс потрясает своим оружием»*. Но ни одно из этих явлений не поколебало консула Гая Фламиния*, человека, от природы честолюбивого и стремительного и притом гордившегося удачными своими подвигами, в которых счастье ему благоприятствовало против всякого чаяния, ибо он напал на галлов и разбил их, хотя сенат его отзывал и военачальствующий с ним противился его предприятию.

Эти знамения многих устрашали, но мало беспокоили Фабия по своей нелепости. Ведая, что неприятели были в малом числе и в деньгах имели недостаток, советовал римлянам помедлить и не вступать в сражение с человеком, имеющим войско, многими подвигами приученное к битвам, но посылать помощь союзникам и держать во власти своей города, оставляя силу Ганнибала иссякать саму по себе, подобно пламени, возгорающемуся от легких и скоро сжигаемых веществ.

Слова не убедили Фламиния; он сказал, что не стерпит того, чтобы война подвигнулась к самому Риму, и не захочет, подобно древнему Камиллу, сразиться за город в самом городе. Он велел трибунам вывести войско; сам уже хотел сесть на лошадь, как вдруг, без всякой видимой причины, она испугалась, вздрогнула – и Фламиний упал стремглав на землю; однако это происшествие не отвратило его от предприятия. Он пошел навстречу Ганнибалу, следуя своему предначертанию, и расположился против него у Тразименского озера в Этрурии. Едва войска вступили в бой, как сделалось землетрясение, от которого разрушилось несколько городов, многие реки переменили свое течение, многие скалы растреснулись. Но при всем сильном движении земли никто из сражавшихся его не почувствовал. Фламиний, оказав в сражении великую отважность и силу, пал с храбрейшими из своего войска. Другие, обратясь в бегство, были поражаемы неприятелем. На месте осталось пятнадцать тысяч римлян; такое же число взято в плен. Ганнибал искал тело Фламиния, желая похоронить его с честью, достойной его храбрости; однако не нашел его между трупами мертвых; никто не знал, куда оно делось.

Что касается до поражения при Требии, то ни консул, писавший об оном*, ни вестник, посланный с известием, не объявили дела так, как оно происходило; они обманули народ, сказав, что победа была с обеих сторон сомнительна. Но претор Помпоний, получив известие о сем поражении, собрал народ* и без всяких отговорок и обмана прямо сказал ему: «Римляне! Мы побеждены в великом сражении – войско наше истреблено; консул Фламиний погиб; подумайте о своем спасении и безопасности». Слова эти, пущенные в народ, подобно сильному ветру на море, произвели в нем великое волнение. Изумление не позволяло им ни на чем остановиться и принять какие-либо меры. Наконец, все согласились в том, что обстоятельства требовали неограниченного единоначалия, которое называют они диктатурой, и мужа, способного управлять сею властью твердо и безбоязненно; что Фабий Максим один таков, имея дух и важность, равные величию этой власти, и находясь в таких летах, в которых сила телесная споспешествует еще предначертаниям души и отважность умеряется благоразумием.

Мнение это было принято. Фабий избран диктатором*. Он назначил начальником конницы Луция Минуция* и прежде всего просил у сената позволения в походе сидеть на лошади. По некоторому древнему закону это запрещалось диктатору; может быть, потому, что всю силу войска полагали в пехоте и для того желали, чтобы полководец всегда находился при фаланге и не оставлял ее; или – поскольку сила диктаторской власти столь велика и неограниченна – хотели показать, что диктатор имеет нужду в народе. Фабий с самого начала желая показать величие и важность власти своей, дабы граждане были покорнее и послушнее его повелениям, предстал народу в сопровождении двадцати четырех ликторов. Один из консулов* вышел к нему навстречу. Фабий, послав ликтора, велел ему распустить своих ликторов, сложить знаки своего достоинства и встретить его в качестве частного лица.

Он начал свое управление самым прекрасным образом – обращением к богам, научая народ, что полководцем оказанное неуважение и презрение к божеству, а не малодушие сразившихся были причиной поражения их; он увещевал граждан не страшиться неприятелей, но чтить богов и сделать их себе благосклонными. Этим не хотел он внушить воинам суеверия; но благочестием одушевить их храбрость, утешая их надеждой на богов и уменьшая страх, произведенный неприятелями. В то самое время рассмотрены были многие тайные и пророческие книги, которые римляне называют Сивиллиными*; говорят, что некоторые из содержащихся в них прорицаний весьма соответствовали тогдашним обстоятельствам и

деяниям; но не было позволено их обнаруживать. Диктатор, представ перед народом, обещал принести богам к концу весны в жертву весь приплод коз, овец, быков и свиней*, которые питаются на горах, полях, реках и лугах Италии; учредить мусические и театральные зрелища* в триста тридцать три сестерция и триста тридцать три денария и одной трети, что все составляет восемьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят три драхмы и два обола*. Трудно найти причину точности и разделения сего количества, разве захочет кто прославлять силу троицы*, которая от природы есть число совершенное, первое из нечетных и начало множества*; оно заключает в себе первые разности и начала всех чисел, которые соединяет и совокупляет.

Таким образом, Фабий возвысил к богу мысли народа и внушил ему лучшую надежду на будущее. Сам же, полагаясь на себя одного в надежде, что бог дарует хорошие успехи добродетели и благоразумию, обращается к Ганнибалу не с тем, чтобы сразиться, но чтобы мало-помалу ослаблять и истощать его жар долговременностью, его недостаток – обилием, его малое число воинов – многолюдством. Вследствие этого он всегда останавливался на местах возвышенных и гористых, удаляясь от его конницы*. Он пребывал в покое, когда неприятели стояли; когда они двигались, то высотами обходил их и показывался им в таком расстоянии, чтобы не быть принужденным сразиться с ними против воли и дабы медлительностью наводить на них страх, что хочет с ними сразиться. Таким образом длил он время, но за то всеми был презираем; в войске поносили его; самые неприятели почитали его человеком робким и ничего не значащим.

Один Ганнибал был противоположного о нем мнения. Он один познал его глубокомыслие и способ, которым намеревался вести войну, и решился какою бы то ни было хитростью и силой принудить его дать сражение, без чего, как был он уверен, карфагеняне совершенно бы погибли, ибо не могли действовать теми оружиями, в которых они были сильнее, а в том, в чем они были слабее – в людях и деньгах, – чувствовали они ежедневно уменьшение и истощение. Употребляя всевозможные военные хитрости, все виды борьбы; подобно искусному бойцу, ища места его схватить, нападал на него, беспокоил, заставлял переменять место, дабы принудить его отстать от своей предосторожности. Фабий, будучи уверен в пользе своих предначертаний, пребывал в них тверд и непреклонен. Но Минуций, начальник конницы, беспокоил его. Желая сразиться не вовремя, оказывал великую дерзость и старался приобрести благосклонность войска, исполненного им самим неистового стремления и суетных надежд. Воины смеялись над Фабием, презирали его и называли «дядькой Ганнибала»; Минуция одного почитали они и великим человеком, и полководцем, достойным Рима. Это еще более умножало дерзость и высокомерие Минуция, который шутил над расположением станов на высотах, говоря, что диктатор всегда готовит для них прекрасные позорища, дабы они могли видеть опустошаемую и пожигаемую Италию. Он спрашивал у друзей Фабия: «Неужели он, отчаявшись владеть землею, хочет поднять войска на небо или, скрываясь в тучах и туманах, бежать от неприятелей?» Эти слова пересказаны были Фабию его друзьями, которые уговаривали его дать сражение и тем рассеять бесславие. «Тогда-то, – отвечал он, – был бы я малодушнее, нежели теперь им кажусь, когда бы, страшась посмеяния и хулы, отстал от своих предначертаний. Робость за отечество не постыдна; страшиться мнения, клеветы и порицания других прилично не мужу, достойному власти, но человеку, служащему тем самым, которыми он повелевает и которых должен укрощать, если они дурно рассуждают».

После того Ганнибал сделал грубую ошибку. Желая отвести свое войско как можно далее от Фабия и стать на лугах, обилующих кормом, велел проводникам своим тотчас после ужина вести войска к Казину*. Они, не поняв его слов по причине варварского выговора, привели все силы на границы Кампании, в город Казилин, через который протекает река Лотрон, называемая римлянами Волтурном. Эта страна со всех сторон окружена горами; только к морю простирается узкая долина, куда болота по разлитии рек имеют исход. Здесь составляются высокие песчаные бугры и оканчиваются берегом моря, бурного и опасного. В долину спускался Ганнибал, когда Фабий, которому известны были дороги, обошел его и занял выход из одной четырьмя тысячами воинов. Остальное войско расположил он выгоднейшим образом на высотах и с самыми легкими и смелыми воинами напал с тылу на неприятелей, привел тем все войско в беспорядок и умертвил до восьмисот человек. Ганнибал хотел отступить, как узнал

ошибку в рассуждении места и опасность, в которой находился; он распял проводников своих, но не имел надежды вытеснить неприятеля, который владел высотами. Все войско погружено было в страх и уныние от мысли, что ни с которой стороны не было им свободного выхода. Ганнибал принял намерение обмануть неприятелей следующею хитростью. Он велел взять две тысячи из похищенных быков и привязать к каждому их рогу факел или связку сухих сучьев; после чего ночью, при данном знаке, зажегши оные, вести быков на высоты к узким проходам и к самой страже неприятельской. Между тем как исполняемы были его приказания, Ганнибал, поднявшись с войском, шел медленно с наступлением темноты. Пока огонь был мал и жег одни сучья, то быки шли спокойно к горам, куда гнали их. Пастухи и волопасы с удивлением смотрели с высот на эти огни, блистающие на рогах, как бы то было войско, идущее строем при свете многих факелов. Когда же раскаленные по самой корень рога передали до мяса жар и быки, от боли шевеля и потрясая сильно головами, друг друга покрыли великим пламенем, то не оставались более в прежнем порядке, но устрашенные и вне себя от боли неслись стремительно к горам с воспламененными хвостами и головами, зажигая лес, которым они проходили. Страшное то было зрелище для римлян, стерегущих высоты, ибо огни эти походили на пламенники, несомые бегающими людьми. Объятые ужасом и смятением, думая, что неприятели с разных сторон на них нападают и отовсюду ими окружены, они не смели их дожидаться, но, оставив узкие места, удалились к главному войску. Между тем приблизилась легкая пехота Ганнибала и заняла оные; другое войско его прошло в безопасности, таща с собой многочисленную и тяжелую добычу.

Фабий еще ночью узнал хитрость Ганнибала, ибо несколько быков, шедших рассеянно, попались к нему в руки; но, боясь в темноте засады, стоял спокойно с оружием в руках. С наступлением дня, преследуя неприятеля, напал он на его тыл. В тесных местах происходили сшибки; смятение было велико, пока посланные Ганнибалом иберийцы, легкие и в лазке по горам искусные, напали на тяжеловооруженных римлян, немалое число их умертвили и принудили Фабия отступить. Этот случай умножил негодование и презрение воинов к своему полководцу. Отказавшись от военной смелости, казалось, хотел он одолеть Ганнибала благоразумием и прозорливостью; однако сам был им обманут и побежден. Дабы возжечь еще более против него гнев римлян, Ганнибал, прибыв к полям, принадлежавшим Фабию, велел все вокруг их опустошать и предавать огню; но запретил касаться одного его имения и приставил к оному стражу, которая препятствовала грабить его и причинять какой-либо вред.

По известии об этом в Риме обвинения против Фабия умножались. Трибуны кричали против него в Народном собрании, побуждаемые и поджигаемые Метилием, который не имел личной вражды к Фабию, но, будучи родственником Минуция, предводителя конницы, думал, что чем более унижен будет Фабий, тем более возрастет слава Минуция. Фабий навлек притом на себя неудовольствие сената, который в особенности не одобрил заключенного им условия с Ганнибалом о размене военнопленных. Они уговорились разменять человека на человека; если же у одних будет больше, нежели у других, то за выкуп каждого пленника надлежало платить по двести пятьдесят драхм. Когда же по размене человека на человека найдено у Ганнибала лишних двести сорок человек римлян, то сенат не только отказывался платить за них выкуп, но выговаривал Фабию за то, что против достоинства римлян и без всякой выгоды выкупал воинов, которые по робости своей сделались добычей неприятелей. Фабий, известившись о том, с кротостью сносил гнев сограждан; он не имел денег, но не хотел преступить своего слова и предать плененных граждан; по этой причине послал в Рим своего сына с приказанием продать земли свои, а вырученные деньги принести немедленно к нему в стан. Молодой Фабий продал землю и поспешно возвратился с деньгами к отцу, который отослал их Ганнибалу и получил военнопленных. Многие из них впоследствии хотели ему возвратить эти деньги; Фабий ни от кого не принял, но всем подарил их.

После того Фабий, будучи призван в Рим жрецами для принесения некоторых жертв, препоручил Минуцию войско. Не только как полководец запретил ему сражаться или вступать в какое-либо дело с неприятелями, но употребил притом просьбы и увещания. Минуций, нимало их не уважив, тотчас наступил на неприятеля. Однажды узнал он время, в которое Ганнибал распустил большую часть войска для снискания корма, напал на оставшихся, прорвался в стан, немалое число неприятелей умертвил и всех их заставил страшиться от него

осады в самом их стане. Когда силы Ганнибаловы начали собираться в стан, то он отступил в безопасности, исполнив себя крайнего высокомерия, а воинов своих – дерзости*.

Слух об этом деле, сильно приукрашенный, вскоре распространился в Риме. Фабий, услышав о том, сказал, что теперь еще более страшится – по причине успеха Минуция. Однако народ, восхищенный выгодой, стекался на форум. Трибун Метилий, став на трибуну, в речи своей к народу величал Минуция и обвинял Фабия – уже не в слабости или робости, но в измене. В обвинение свое замешал он и других сильнейших и важнейших в городе мужей, уверяя, что они с самого начала повели войну с намерением уничтожить власть народа и возобновить в городе неограниченное единоначалие, которое медленностью в действиях дает Ганнибалу время утвердиться в Италии и, обладая ею, получать из Африки новые силы.

Фабий предстал и нимало не думал оправдаться перед трибуном. Он сказал только, что скоро священные обряды совершатся; после чего отправится в стан для наказания Минуция за то, что вступил в сражение с неприятелем, несмотря на его запрещение. Эти слова произвели в народе великое беспокойство; все страшились за жизнь Минуция, ибо диктатор имеет власть без суда заключать в темницу и казнить. Сверх того они думали, что Фабий, выйдя из свойственного ему терпения и кротости, будет жесток и неумолим в гневе своем. По этой причине другие все оробели и пребыли спокойными; но Метилий, пользуясь правами трибунства (которое и после избрания диктатора не теряет своей власти, но удерживает ее, хотя все другие начальства уничтожаются), возбуждал народ с жаром и просил его не предавать Минуция и не позволять, чтобы поступили с ним так, как с сыном своим поступил Манлий Торкват*, который отрубил ему голову тогда, когда он выиграл сражение и получил венок за победу. Он представлял им, что должно отнять у Фабия неограниченную власть и вручить силу тому, кто хочет и может спасти республику.

Граждане, увлеченные его словами, хотя не осмелились принудить Фабия сложить с себя верховную власть, несмотря на то что был обесславлен, однако определили, чтобы Минуций разделил с ним военачальство и чтобы он вел войну с властью, равною диктаторской, чего никогда прежде в Риме не случалось, но вскоре было повторено после поражения при Каннах. Диктатором при войсках был тогда Марк Юний; надлежало дополнить в Риме число сенаторов, ибо многие из них погибли на сражении; для этого избрали другого диктатора – Фабия Бутеона. Он явился народу, избрал сенаторов, дополнил сенат и в тот же самый день отпустил от себя ликторов, вырвался из толпы сопровождавших его и, вмешавшись в народ, начал заниматься своими делами, ходя по площади как частное лицо.

Римляне, дав Минуцию столько же власти, как и диктатору, думали тем ослабить сего и совершенно его унизить; но они худо его знали. Фабий не почитал своим бедствием это безумие своих сограждан. Как некто сказал мудрому Диогену: «Эти люди насмехаются над тобой», то он отвечал: «Но я не бываю осмеиваем», почитая лишь тех осмеиваемыми, которые бывают чувствительны к насмешкам, огорчаются ими. Подобно ему, Фабий равнодушно и спокойно сносил все, до него касающееся, подтверждая собой мнение тех философов*, которые уверяют, что добродетельный и мудрый не может быть ни обруган, ни обесчещен. Беспокоила его, в рассуждении общественных дел, одна безрассудность народа, который позволил вступать в сражение человеку, буйным честолюбием одержимому. Боясь, чтобы Минуций в исступлении тщеславия и надменности не предупредил его и не сделал какого-либо зла, вышел из города тайно. По прибытии своем в стан нашел он, что Минуций сделался уже неукротим, был исполнен гордости и тщеславия и хотел начальствовать войском по очереди. Фабий на это не согласился*. Он разделил с ним войско, почитая полезнейшим, чтобы Минуций начальствовал всегда над частью войска, нежели надо всеми силами повременно. Первый и четвертый легион оставил он себе; второй и третий уступил Минуцию. Равным образом разделили они между собой и союзные войска.

Минуций гордился оказанным ему предпочтением; он радовался тому, что величие высочайшей в республике власти для него унижено и обесчещено. Но Фабий напоминал ему, что «если он благоразумен, то должен не с Фабием, но с Ганнибалом сражаться; что если он оспаривает начальство у своего товарища, то должен беречься, чтобы граждане не уверились, что тот, кто ими уважен, кому они дали первенство, думает о спасении их и безопасности менее того, кто ими обруган и унижен». Но Минуций все это почитал старческою насмешкою. Он

взял доставшуюся ему силу и стал станом отдельно от Фабия.

Ганнибалу известно было все происходящее. Он смотрел на все их движения. Между войском его и Минуциевым был холм, который занять было нетрудно и который для занимающего его войска мог быть положением крепким и по всем отношениям выгодным. Окрестное поле смотрящему издалека казалось ровно и гладко, ибо было совсем голо; однако усеяно было небольшими рвами и другими впадинами. Ганнибал мог весьма легко захватить холм, но предпочел оставить его незанятым, дабы оный был поводом к сражению.

Как скоро заметил он, что Минуций отделился от Фабия, то ночью рассеял по рвам и ямам несколько воинов, а на рассвете дня в виду неприятеля отрядил небольшую часть войска для занятия холма, дабы тем заманить Минуция вступить с ним в сражение за место. Это так и случилось. Минуций послал вперед легкое войско, потом конницу* и наконец, увидя Ганнибала, шедшего на помощь к тем, кто был на холме, спустился к нему в боевом порядке со своей силою. Он вступил в жаркое дело с теми, которые сражались с холма, и продолжал идти вперед до того, как Ганнибал, увидя, что Минуций вдался в обман и обратил тыл свой без обороны стоявшим в засаде воинам, дает им знак; они вдруг встают со многих сторон, стремятся с криком на римлян и поражают задние ряды. Невозможно описать смятение и страх, объявшие римское войско. Самого Минуция дерзость упала; он робко взирал то на одного, то на другого из полководцев; никто не смел остаться на месте; все теснились, предавались бегству, которое нимало не служило к спасению их, ибо нумидийцы, как победители, обступили все поле и умертвляли рассеянных и бегущих.

Таково было бедственное положение римлян! Опасность их не была сокрыта от взоров Фабия, который, как бы предвидя последствия, держал всю силу свою с оружием в руках и хотел знать об успехе дела не через вестников, но сам смотря на происходящее с вала стана. Едва увидел он, что войско было обступаемо и приходило в беспорядок, когда услышал крики не защищающихся уже воинов, но устрашенных и в бегство обращенных, ударив себя по бедру и вздохнув из глубины сердца, сказал предстоявшим: «Боги! Итак, погубил себя Минуций ранее, нежели я ожидал, и позже, нежели спешил он сам!» Он приказал вынести поспешно знамена и всему войску за ним следовать и громко воскликнул: «Воины! Вспомните Марка Минуция и поспешайте! Он человек знаменитый; он любит отечество. Если он проступился, спеша изгнать неприятеля, то мы упрекнем его за то в другое время». При первом наступлении Фабий рассеял нумидийцев, занимавших поле; потом обратился к тем, кто нападал на римлян с тыла, и поражал всех, кто ему попадался. Неприятели бегут, оставя поле сражения, дабы самим не быть отрезанными и окруженными так, как они сами прежде окружили римлян. При такой перемене счастья Ганнибал, увидя Фабия, не по летам своим бодро пробирающегося сквозь сражавшихся к Минуцию на холм, остановил битву, дал знак трубою к отступлению и отвел карфагенян в стан. Римляне также охотно отступили. Говорят, что Ганнибал, удаляясь, сказал приятелям своим в шутку следующее: «Не говорил ли я вам, что возлегающая на высотах туча когда-нибудь извергнет дождь с бурею и вихрем?»

После битвы Фабий снял добычу с убиенных неприятелей и удалился, не сказав ничего надменного или неприятного о своем товарище. Но Минуций, собрав свое войско, говорил следующее: «Соратники! Не проступаться нимало в делах важных и великих есть дело, превышающее силы человека; проступившись же, употреблять впредь свои ошибки к исправлению своему – вот долг человека храброго и благоразумного! Признаюсь в том, что я более должен благодарить свое счастье, нежели жаловаться на оное. В малую часть дня я научился тому, что долгое время не знал: я уверился, что не имею способности начальствовать над другими, но сам имею нужду в начальнике и что не должно полагать славы своей в том, чтобы побеждать тех, от которых славнее быть побежденным. Отныне диктатор будет полным начальником вашим; я буду вам предводителем только для изъявления ему своей благодарности. Я первый буду ему покорствовать и исполнять его приказания». Сказав это, велел он поднять орлов и всем следовать за собою; привел их к стану Фабия и, вступив в оный, шел к шатру полководца. Все смотрели на него с удивлением, не зная, что бы это значило. Как скоро Фабий вышел из шатра, то Минуций, поставя перед ним знамена, громогласно назвал его отцом своим. Воины же его Фабиевых воинов называли патронами – этим именем отпущенники называют отпустивших их на волю. Когда шум утих, то Минуций сказал:

«Диктатор! Сегодня одержал ты две победы: мужеством ты победил Ганнибала, благоразумием и добротой соначальствующего – одною ты нас спас, другою наставил. Победа неприятеля над нами была для нас постыдна; победа твоя прекрасна и спасительна. Я называю тебя добрым отцом своим, не находя почтеннее названия. Благодеяние, тобою мне оказанное, превосходит родительское. Отцу обязан жизнью я один; тобою же спасен я со всем войском». После этих слов он обнял и целовал Фабия. То же самое делали и воины: они друг друга обнимали, целовали, так что весь стан исполнен был радости и сладостных слез.

Вскоре после того Фабий сложил с себя начальство. Вновь избраны были консулы. Первые из них последовали мыслям Фабия к продолжению войны: они избегали сражения с Ганнибалом, помогали союзникам и держали города в повиновении. Теренций Варрон, человек низкого рода*, но сильный своей наглостью и ласкательством народу, достигши консульского достоинства, явно показывал, что по неопытности и дерзости своей подвергнет республику величайшей опасности. В Собрании он кричал, что война до тех пор продолжится, доколе республика будет иметь Фабиев своими полководцами; что увидеть и победить неприятеля для него будет дело одного дня. С этими словами начал он собирать такие силы, каких никогда римляне не выставляли на поле против какого-либо неприятеля, ибо тогда набрано было восемьдесят восемь тысяч воинов*. Фабий и все здравомыслящие римляне были в великом страхе; они думали, что Риму не останется никакого способа восстать, если погибнет такое множество цветущих юношей. Фабий не переставал убеждать товарища Варронова Эмилия Павла*, мужа, искусившегося во многих бранях, но неприятного народу и сделавшегося робким после того, как от народа было присуждено ему заплатить пеню; он побуждал и ободрял его укрощать неистовство Варрона, доказывая, что ему надлежит подвизаться за отечество не столько против Ганнибала, сколько против самого Варрона. «И тот и другой, – продолжал Фабий, – поспешат дать сражение – один потому, что не знает сил своих; другой потому, что знает свою слабость. Мне более, нежели Варрону, должно верить, Эмилий, в том, что до Ганнибала касается. Будь уверен, что если нынешний год никто с ним не сразится, то или погибнет, оставаясь здесь, или принужден будет бежать из Италии. Хотя, по-видимому, он остается победителем и обладает всем, однако никто еще из неприятеля к нему не пристал; а из приведенного им из Африки войска едва третья часть остается». На это Эмилий дал следующий ответ: «Что касается до меня, то, рассматривая свое положение, предпочитаю лучше пасть от мечей неприятеля, нежели вновь подвергнуться суду моих сограждан. Но поскольку таковы обстоятельства, то я лучше соглашусь показаться хорошим полководцем тебе, нежели всем другим, которые меня принудят согласиться на противное твоему мнение». С таковым расположением Павел Эмилий вышел против неприятеля.

Но Варрон хотел непременно начальствовать по очереди через день. Он стал супротив Ганнибала на реке Ауфида, близ местечка, называемого Канны*, и на рассвете дня выставил знамя сражения. Это был красный плащ, поднятый над шатром полководца. Карфагеняне сперва были приведены в смятение, видя смелость полководца и многочисленность его войска*, которого они не составляли и половины. Ганнибал, приказав им вооружиться, поехал верхом с немногими на некоторое возвышение для обозрения неприятелей, которые уже строились в боевые ряды. Некто из сопровождавших его, человек, в достоинстве ему равный, по имени Гискон, сказал при случае, что число неприятелей кажется ему удивительным. Ганнибал, нахмурившись, сказал ему: «Однако, Гискон, ты не заметил того, что гораздо сего удивительнее». – «Что такое?» – спросил Гискон. «То, – продолжал Ганнибал, – что в таком множестве народа нет ни одного человека, которого бы звали Гисконом». Никто не ожидал такой шутки; все начали смеяться и, сходя с холма, рассказывали всякому, кто им ни попадался, это забавное замечание, так что смех был всеобщий, и окружавшие Ганнибала не могли удержаться от хохота. Этот случай внушил бодрость всем карфагенянам: они были уверены, что презрение полководца их к неприятелю было столь велико, что он перед самой опасностью мог еще смеяться и шутить.

В самом сражении Ганнибал употребил две хитрости: во-первых, воспользовался местоположением, обратившись спиной к ветру, который дул сильно, подобно палящему вихрю, и, поднимая тяжелую пыль с песчаных и открытых полей, устремлял ее выше карфагенской фаланги на римлян, и, ударяя им в лица, заставлял их отворачиваться и

расстраиваться; во-вторых, устроил войско следующим порядком: отборнейших и храбрейших воинов поставил по обеим сторонам центра; а центр составил из самых дурных воинов и дал ему вид клина, который выдавался далеко впереди ополчения. Обоим крылам дано было приказание: когда римляне опрокинут центр и, устремясь на отступающих, ворвутся в фалангу, между тем как строй вдался бы внутрь и составил некоторую впадину, то быстрым движением напасть с боков, обступить их и запереть сзади. Это-то было причиной величайшего поражения римлян*. Как скоро центр отступил и преследующие римляне вступили в средину, Ганнибалова фаланга, переменив положение, приняла вид полумесяца, и предводители отборных войск, поворотив быстро одни направо, другие налево, напали на их невооруженные бока и всех, не успевших спастись бегством до обступления, изрубили и истребили.

Говорят, что с римской конницей случилось нечто весьма странное. Павел Эмилий был свержен с лошади, которая, по-видимому, получила рану. Окружавшие его, один после другого, слезали с лошадей и защищали его пешие. Конные, увидя это, как будто бы дан был всем знак, соскочили с лошадей и пешие сражались с неприятелями. Ганнибал сказал при этом: «Этого-то мне больше хотелось, нежели всех их взять пленными». Писатели пространнейших историй описывают все это обстоятельнее.

Что касается до консулов, то Варрон с немногими убежал в город Венусию*; Павел Эмилий в тесноте и вихре бегущих, имея тело, наполненное многими стрелами, вонзенными в ранах, и душу, обремененную глубочайшей горестью, сидел на камне, ожидая последнего удара от руки неприятелей. Не многие могли узнать его по причине крови, обагрявшей голову и лицо его. Самые друзья и служители прошли мимо, не распознав его. Один Корнелий Лентул, молодой благородный человек, увидел, узнал его, соскочил с лошади и, подведя ее к нему, просил его сесть и спасти себя для сограждан своих, которые тогда больше, нежели когда-либо, имели нужду в хорошем полководце. Павел отвергнул просьбу и принудил юношу со слезами сесть на лошадь; потом подал ему руку и, приподнявшись, сказал ему: «Возвести, Лентул, Фабию Максиму и сам будь свидетелем того, что Павел Эмилий до самого конца пребыл тверд в его намерениях и нимало не преступил данного ему обещания; но побежден прежде Варроном, а потом Ганнибалом». После этих слов он отпустил Лентула; сам бросился в толпу убиваемых и кончил жизнь свою. Говорят, что в сражении пало пятьдесят тысяч римлян; в плен взято четыре тысячи. После сражения в обоих станах поймано не менее десяти тысяч*.

По одержании столь великой победы друзья Ганнибала побуждали его следовать за счастьем и вместе с бегущими неприятелями ворваться в самый город. Они уверяли его, что в пятый день после победы тот может ужинать на Капитолии. Трудно сказать, какая мысль отклонила его от этого предприятия. Кажется, эта медленность, эта робость Ганнибалова есть дело какого-нибудь бога или гения, который ему воспротивился. Это заставило карфагенянина Барку сказать Ганнибалу с гневом: «Ты умеешь побеждать, но пользоваться победой не умеешь!»*

При всем том победа произвела великую перемену в делах его; до сражения не владел он в Италии ни городом, ни пристанью, ни торжищем; с трудом мог содержать войско одним грабежом; не имел ничего верного для продолжения войны, но, употребляя войско как многочисленную шайку разбойников, блуждал по разным странам Италии. По одержании победы почти вся Италия ему покорилась; многие из сильнейших народов пристали к нему по воле; и Капуя, город после Рима первый по своему богатству, сдался ему и был им занят. Не только друзей испытать, как говорит Еврипид, есть немалое несчастье, но и благоразумных полководцев. Так называемая до сражения робость и холодность Фабия тотчас после сражения была почитаема не рассуждением человеческим, но божественным внушением и прозорливостью, предвидящею задолго те бедствия, которым едва верили претерпевающие их. На него Рим возложил тогда всю надежду свою, прибег к его благоразумию как к некоему храму или жертвеннику, и спасительным его советам более всего обязан тем, что весь народ остался дома и рассеялся так, как во время войны с галлами. Тот, кто казался робким, не имеющим твердой надежды во времена, по-видимому, безопасные, теперь, когда все повергли себя в безмерные напасти, в смятение и отчаяние, один он ходил по городу с твердой поступью, со спокойным лицом; кротко всех приветствовал, укрощал жалобы и вопли женщин, препятствовал гражданам собираться на форуме, дабы оплакивать общие свои бедствия. Он

заставил сенат собраться, ободрял правителей; в нем была вся сила и крепость всех начальств; взоры всех на него одного обращены были.

К воротам города приставил он стражу, которая не позволяла рассеиваться народу и выходить из города; означил время и место сетования, приказав каждому оплакивать кого хотел в недре своего семейства в продолжение тридцати дней, после которых надлежало прервать всю печаль и очистить город от оной. В те самые дни настал праздник Цереры; правители за благо рассудили совсем пропустить жертвы и все торжества, нежели обнаружить великость несчастья малочисленностью и унынием стекающихся граждан, ибо приятны божеству поклонения только счастливых людей*. Между тем производили все предписываемые прорицателями обряды, служащие к умилостивлению богов и к отвращению дурных знамений. В Дельфы послан был Пиктор, родственник Фабия, дабы просить совета у прорицалища. Найдены были две весталки, преступившие обет свой: одну зарыли, по обычаю, живой; другая сама себя умертвила. Но ничто столько не заслуживает удивления, как твердость и кротость римлян, когда консул Варрон возвратился из бегства, униженный, погруженный в уныние после самого несчастного и постыдного дела. Сенат и народ вышли к нему навстречу к воротам города.

Правители и знаменитейшие сенаторы, среди которых был и Фабий, когда шум утих, хвалили его за то, что он не отчаялся о спасении республики после такого бедствия, но предстал, дабы принять начальство, действовать законами и гражданами в надежде, что они могут еще восстановить себя*.

Когда римляне известились, что Ганнибал после сражения обратился к другим областям Италии, то, ободрившись, выслали военачальников и войско. Знаменитейшие из них были Фабий Максим и Клавдий Марцелл, равно уважаемые, хотя были почти противоположных свойств. Марцелл, как сказано в его жизнеописании, был человек блистательной и стремительной храбрости, крепкий на руку и по природе подобный тем, кого Гомер называет «бранелюбивыми» и «горделивыми»; он вступал в сражение отчаянным и неустрашимым образом, противополагая смелому Ганнибалу равную смелость. Но Фабий, держась первых своих мыслей, надеялся, что, не сражаясь с Ганнибалом и не раздражая его, приведет его в слабость; что он исчезнет от войны вскоре, потеряв свои силы, подобно бойцу, изнуренному великими напряжениями, чрезмерными трудами. По этой причине, как говорит Посидоний*, римляне Фабия называли Щитом, а Марцелла Мечом своим, ибо постоянство и осторожность Фабия, смешанная с жаром Марцелла, были причиной спасения римского народа. Ганнибал встречался часто с одним, как с быстрым потоком, который потрясал его и отрывал часть его сил; однако не заметил того, который, подобно реке, тихо и без шуму протекающей и беспрестанно расширяющейся, подрывал его и истощал его силы. Наконец доведен был он до такой крайности, что с Марцеллом сражаться устал и боялся Фабия, который с ним не сражался. Большую часть времени вел он войну с одними сими полководцами, которые были избираемы то преторами, то проконсулами, то консулами. Каждый из них был консулом по пять раз. Однако Марцелл, будучи в пятый раз консулом, был убит Ганнибалом в засаде. Этот полководец употреблял против Фабия всевозможные хитрости и все искусство свое, однако без всякого успеха; только один раз едва было не обманул его. Написав подложные письма, послал их Фабию от имени первейших граждан Метапонта*, которые будто бы были готовы предать ему свой город, если он к ним прибудет, уверяя, что производящие это ожидали только его появления. Эти письма убедили Фабия, который с некоторой частью войска хотел прийти к ним ночью; но неблагоприятные птицегадания отвратили его от этого предприятия. Вскоре узнал он, что письма эти сочинены Ганнибалом, чтобы обмануть его, и что он стоял в засаде близ оного города. Но все это должно приписать, может быть, благоприятству богов.

Фабий думал, что надлежало кротостью и снисхождением удерживать города от возмущения и препятствовать измене союзников, не исследуя всех подозрений и не оказывая большой строгости к подозреваемым. Однажды узнал он, что некий воин* из племени марсов, знаменитый храбростью и родом своим между союзниками, увещевал некоторых в войске отстать от римлян; Фабий за то не прогневался, но, призвав его к себе, говорил ему: «Я не знал, что ты забыт не по твоим заслугам; теперь я в том виню твоих начальников, которые раздают награды не по достоинству, но по пристрастию; впредь тебя одного я обвинять буду, если не

будешь ко мне обращаться и объявлять о своих нуждах». После этих слов подарил ему военного коня, почтил другими знаками отличия, так что с того времени сделал его усерднейшим и вернейшим человеком. Фабию казалось странным, что охотники до лошадей и собак более старанием, ласкою и кормом, нежели бичом и ошейником заставляют животных забыть свою дикость, ярость и непокорность, между тем как управляющий людьми не употребляет ласки и кротости к исправлению их, но поступает с ними жестче и насильственнее, нежели с дикими деревьями садовники, которые, делая их, так сказать, ручными и нежными, превращают в оливы, груши и смоквы.

Некогда известили его, что другой воин, родом луканец, уходил из стана и нередко оставлял назначенное ему место. Фабий спросил: «Каков, впрочем, был сей воин?» Все свидетельствовали, что нелегко найти другого подобного ему воина, и между тем рассказали разные его подвиги и храбрые дела. Фабий, отыскивая причины беспорядка, обнаружил наконец, что воин пристрастился к молодой девушке, с великой для себя опасностью каждый день ходил к ней весьма далеко от стана. Он велел привести ее к себе без ведома воина, спрятал ее в шатре и, призвав к себе луканца, наедине сказал ему: «Мне известно, что ты в противность обычаям и законам римским часто проводишь ночи вне стана; небезызвестно и то, что прежде был ты хорошего поведения. За заслуги твои предадим забвению твои проступки; однако впредь приставлю к тебе другую стражу». Эти слова привели воина в удивление. Тогда Фабий вывел из шатра девушку и, отдавая ему, сказал: «Она ручается за тебя, что ты не будешь от нас отлучаться; ты же самым делом докажешь, что не другое какое дурное намерение тебя побуждало отлучаться из стана и что любовь и она не были только пустым предлогом». Так все это описывается.

Город Тарент*, преданный изменою Ганнибалу, Фабий возвратил римлянам следующим образом. В войске его находился молодой тарентинец, имевший в Таренте сестру, которая нежно его любила. Некий бруттиец* из числа тех, кому Ганнибал поручил начальство над охранным войском, влюбился в нее. Молодой тарентинец возымел надежду воспользоваться этим случаем, чтобы произвести что-либо полезное. С ведома Фабия он ушел в город, распустив слух, что убежал к сестре. Несколько дней бруттиец оставался дома, думая, что ее брат не знал об их связи. Но по прошествии некоторого времени молодой тарентинец сказал сестре своей: «Когда я находился в стане, говорили много о связи твоей с одним из важнейших людей; скажи мне, кто он таков? Если подлинно, как говорят, это человек отличный и храбрый, то война, которая все смешивает, нимало не смотрит на породу. Нет бесчестия в том, что делается по необходимости; напротив того, тогда, как правосудие недействительно, должно почитать счастьем, если претерпеваемое насилие есть самое кроткое и сносное». Эти слова убедили сестру его послать за бруттийцем, с которым познакомила брата своего. Молодой тарентинец, содействуя его желаниям и, по-видимому, сделав сестру свою благосклоннее к нему, нежели как она была прежде, приобрел его доверие. Нетрудно было ему переменить мысли влюбленного и притом наемного человека, прельстив его надеждою получить от Фабия богатые подарки. Так большей частью описывают этот случай. Другие же говорят, что обольстившая бруттийца женщина была родом бруттийка, а не тарентинка и что Фабий ее любил; она узнала, что начальник бруттийцев в Таренте был ей соотечественник и знаком, сказала о том Фабию, нашла способ с ним говорить под стенами Тарента и убедила его предаться Фабию.

Между тем как это происходило, Фабий, стараясь хитростью отвлечь Ганнибала от города, послал приказание находившемуся в Регии войску – опустошить Бруттий и завладеть Кавлонией приступом. Это войско, в числе восьми тысяч человек, составляли большей частью беглецы, самые бесполезные из тех обесчещенных воинов, которых Марцелл привел из Сицилии* и которых истребление не причинило бы в республике ни большего вреда, ни чувствительной потери. Фабий надеялся, что, предав их Ганнибалу и привлекши его этой приманкою, отведет от Тарента, что и случилось. Ганнибал своей силой тотчас на них устремился. Уже Фабий шесть дней осаждал Тарент, как молодой человек, уговорившись наперед с бруттийцем через свою сестру, пришел к нему ночью, узнав и обозрев прилежно то место, которое стерег бруттиец и в которое хотел впустить приступающих римлян. Однако Фабий не положился в предприятии на одну лишь измену; придя сам к назначенному месту с

частью войска, стоял спокойно, между тем как остальное войско приступало к городу с моря и с твердой земли, издавая громкие крики и производя великий шум; большая часть тарентинцев бросились туда и сражались с теми, которые нападали на стены. Тогда бруттиец дал знак Фабию, который, приставив лестницы, взошел в город и завладел им. В этом случае, кажется, побежден он честолюбием. Он велел умертвить первых бруттийцев, дабы не сделалось известным, что завладел городом изменой. Однако был обманут в своем чаянии: ибо, кроме того, что это было узнано, обвиняли его в вероломстве и жестокости*.

Умертвлено было и тарентинцев великое множество; продано их было тридцать тысяч; город их предан грабежу. В народную казну внесено три тысячи талантов*. Между тем как воины все грабили и расхищали, говорят, что писец Фабия спросил его: «Как прикажет поступить с богами?», разумея живописные изображения и кумиры. На это Фабий ответствовал: «Оставим тарентинцам разгневанных их богов!»* При всем том взял он из Тарента колосс Гераклов и поставил его в Капитолии, а близ него свой медный конный кумир. В этом случае он показал себя не таким знатоком, как Марцелл*, или, лучше сказать, своими поступками доказал, какого удивления достоин Марцелл за кротость и человеколюбие, так, как сказано нами в его жизнеописании.

Ганнибал тогда спешил обратно к Таренту и находился от него только за сорок стадиев. Узнав, что оный уже взят, он сказал громко: «Так и у римлян есть Ганнибал! Мы потеряли Тарент так, как приобрели его». Тогда же в первый раз признался он тайно друзьям своим, что давно уже видел, сколь трудно владеть Италией с имеющимися у него силами, но что теперь уверился в невозможности сего предприятия.

Фабий был вторично почтен триумфом, который был блистательнее первого, ибо он подвизался мужественно против Ганнибала и легко разрушал его предприятия, подобно искусному бойцу, вырывающемуся из рук схватывающего его противника, не имеющего уже прежней крепости. Ганнибалово войско частью ослабло от богатства и неги, частью как бы истощилось и сокрушилось от беспрерывных трудов.

Марк Ливий, который начальствовал в Таренте, когда Ганнибал завладел городом, однако удержался в крепости и сохранил ее до тех пор, пока римляне вновь покорили оный, завидовал почестям, оказываемым Фабию, и, увлеченный ревностью и честолюбием, сказал некогда в сенате, что он, а не Фабий причиной тому, что Тарент взят*. «Ты правду говоришь, – отвечал Фабий, смеясь, – я бы не завоевал этого города, когда бы ты не потерял его».

Римляне оказали Фабию блистательные почести. Они избрали в консулы сына его*. Однажды, получив начальство, молодой Фабий занимался некоторыми делами, связанными с войною, отец его то ли по слабости и старости своей, то ли желая испытать своего сына сел на лошадь и пробирался к нему сквозь толпу окружавших его. Юноша, увидя его издали, не стерпел сего поступка, но, послав ликтора, велел отцу сойти с лошади и подойти к нему пешком, если имеет нужду поговорить с консулом. Такое приказание произвело неудовольствие на всех присутствовавших. В молчании обратили они взоры свои на Фабия, как бы сие оскорбление было недостойно его славы. Но он тотчас сошел с лошади, скорыми шагами побежал к своему сыну, обнял, поцеловал его и сказал: «Сын мой! Ты хорошо мыслишь и поступаешь; ты чувствуешь, над кем начальствуешь, и сколь велика власть, которую держишь в руке своей. Так мы, так праотцы наши возвысили Рим, детям своим и родителям всегда предпочитая благо отечества»*. В самом деле говорят, что прадед Фабия достиг в Риме величайшей славы и могущества; что он пять раз был избран консулом и удостоился самых блистательных триумфов после величайших браней. Он в качестве легата или наместника провожал на войну консула – сына своего*. Сын, удостоившись триумфа, въехал в городе на колеснице, везомой четырьмя конями, между тем как отец верхом с другими следовал за ним и гордился тем, что, будучи владыкой своего сына и величайшим из сограждан своих по существу и по прозвищу, ставил себя ниже законов и начальствующего. Но не одним этим поступком оный Фабий достоин удивления.

Что касается до молодого Фабия, то он умер прежде отца своего, который перенес великодушно это несчастье, как человек благоразумный и добрый отец. Сам говорил на форуме речь, какую на похоронах знаменитых мужей говорят их ближайшие родственники, и издал оную письменно.

В то самое время Корнелий Сципион*, посланный в Иберию римлянами, очистив оную от карфагенян, над которыми во многих сражениях одержал победы, покорил многие народы, завоевал большие города и приобрел республике несчетное богатство. Он возвратился в отечество, пользуясь благосклонностью сограждан и славой больше всякого другого, и был избран в консулы. Видя, что народ ожидал и требовал от него какого-либо великого подвига, почитая уже слишком обыкновенным и старинным делом драться с Ганнибалом, решился перенести войну из Италии в Ливию и Карфаген и опустошить их, наводнив римскими войсками. К этому великому предприятию всеми силами он старался возбудить народ римский. Тогда-то Фабий, исполняя всеми средствами страхом сограждан своих, как будто бы они от человека молодого и несмышленого повергаемы были в крайние беды и в неминуемую погибель, не щадил ни слов, ни поступков, могущих отвратить их от предприятия. Он успел убедить сенат; но народ думал, что Фабий препятствовал этому намерению, завидуя счастью Сципиона, боясь, чтобы он не произвел чего-либо великого и блистательного и, прекратив совершенно войну или выведя оную из Италии, не доказал тем, что Фабий был недеятелен и медлителен, ибо, воевавши долгое время, не окончил войны. Кажется, сперва Фабий противоречил ему по великой осторожности и благоразумию, устрашась столь великой опасности; однако был увлечен честолюбием и упрямством и простер оное слишком далеко, препятствуя возвышению Сципиона. Он дошел до того, что уговаривал Красса, товарища Сципиона в консульстве, не уступать ему военачальства, переправиться к карфагенянам. Он не допустил даже, чтобы ему даны были деньги к продолжению войны. Сципион был принужден доставать деньги самолично; он собирал их с этрурских городов, которые часто были к нему хорошо расположены и охотно ему услуживали. Что касается до Красса, то он пребывал в покое как потому, что был свойств нечестолюбивых и тихих, так и по священным законам, ибо у него были обязанности верховного жреца*.

Фабий после того шел против Сципиона другой стезей. Он удерживал молодых людей соратовать ему и кричал в Совете и Народном собрании, что не один Сципион бежит от Ганнибала, но уводит с собой из Италии все силы республики, прельщая молодых людей пустыми надеждами, убеждая их оставить родителей, жен и город, пред вратами которого стоит враг могущественный и непобедимый. Слова эти устрашили римлян. Определили, чтобы Сципион взял лишь находившиеся в Сицилии войска и триста человек из бывших с ним в Иберии, которые были ему вернее всех*. До сих пор, кажется, Фабий поступал сходственно с своим нравом.

Но когда Сципион переправился в Ливию и в Риме вскоре возвещено было об удивительных его подвигах, о деяниях, блеском и величием своим знаменитейших; когда множество последовавших затем добыч подтвердило истину этих слухов; когда получено известие о взятии в плен нумидийского царя, о сожжении в одно время двух станов*; о гибели великого множества людей, коней и оружий, вместе соделавшихся жертвой пламени; об отзыве Ганнибала назад карфагенянами, которые повелевали ему оставить тщетные надежды свои и спешить на помощь отечеству; когда все в Риме ни о чем более не говорили, как о подвигах Сципионовых, – тогда Фабий настоял, чтобы послан был Сципиону преемник, не имея другого предлога, кроме известного правила, что опасно предавать счастью одного человека столь великие дела, ибо трудно, чтобы один и тот же человек был всегда счастлив. Слова эти были столь неприятны народу, что все почитали его человеком завистливым и странным или от старости потерявшим уже всю смелость и надежду и страшащимся Ганнибала более, нежели сколько должно было. И тогда, как полководец со всеми силами отплыл из Италии*, не оставил он радости и покоя граждан без страха и беспокойства. Он уверял всех, что тогда-то дела республики были в самом сомнительном положении; что она подвержена крайней опасности; что Ганнибал в Ливии, под стенами Карфагена, нападет на римлян с большей яростью и что Сципион будет иметь дело с войском, еще горящим кровью многих диктаторов и консулов. Слова эти вновь приводили в смятение граждан, которые думали, что, хотя война перенесена в Африку, однако опасность и страх были ближе прежнего к Риму.

Но вскоре Сципион, одержав совершенную победу над самим Ганнибалом, унизив и поправ гордость поверженного Карфагена, произвел в согражданах своих радость, превышавшую все надежды их, – и Римскую державу

Восставил, бурею жестокой потрясенный.

Фабий Максим не дожил до конца войны; не слыхал о поражении Ганнибала; не видал великого и твердого благополучия отечества. Он умер от болезни в то время, когда Ганнибал оставил Италию.

Известно, что фиванцы похоронили Эпаминонда общественным иждивением по причине его бедности, ибо по смерти его не нашли у него в доме ничего, кроме малого железного вертела. Римляне не погребли Фабия общественным иждивением; но каждый из них приносил частно по мелкой монете – не для того, чтобы помочь его бедности, но дабы похоронить его как отца народа. Таким образом, и смерть его была славна и почтенна соответственно всей его жизни.

Сравнение Перикла с Фабием Максимом

Таково повествование о деяниях мужей сих! Поскольку же они оба явили многие прекрасные примеры гражданских и военных добродетелей, то мы в военных их деяниях заметим первое: что Перикл управлял народом в счастливейшем его состоянии, народом, который был велик и находился во всем цвете силы своей; и так можно думать, что благосостояние и сила общества были причиной верных и удачных успехов во всех его предприятиях. Напротив того, дела Фабия, принявшего на себя правление во времена несчастнейшие и бедственные, не сохранили республики в счастливом ее положении, но из самого дурного перевели ее в лучшее. Успехи Кимона, трофеи Миронида и Леократа, великие и многочисленные подвиги Толмида предали управлению Перикла город более для того, чтобы совершать в нем ликования и празднества, нежели чтобы сохранять его или приобретать что-либо войной. Фабий, будучи свидетелем многих поражений и несчастий, смертей и убиений полководцев и консулов; видя озера, поля и леса, наполненные телами мертвых; реки, до самого моря обагренные римской кровью; одним постоянством своим и твердостью духа поддерживая и подпирая республику, не допустил, чтобы она разрушилась до основания от ошибок своих предшественников. Впрочем, кажется, не столь трудно управлять обществом, которое унижено многими несчастьями и по нужде готово повиноваться советам благоразумия, как обуздать надменность и дерзость народа, вознесенного счастьем и гордящегося великими успехами; и в таких-то обстоятельствах Перикл сделался властителем афинян. Однако великость и множество зол, постигших тогда народ римский, доказывают, сколь велик и тверд в намерениях своих был муж, который ничем не был приведен в смущение и не поколебался в своих предначертаниях.

Покорению Самоса Периклом можно противоположить взятие Тарента*; завоеванию Эвбеи – возвращение республике кампанских городов. Что касается до Капуи, она была взята консулами Фульвием и Аппием. В правильном сражении, кажется, Фабий не одержал другой победы, кроме той, за которую удостоился первого триумфа. Перикл, напротив того, воздвиг девять трофеев над побежденными врагами на море и на суше; однако не упоминается, чтобы он сделал что-либо подобное тому делу, которым Фабий исторг Минуция из рук Ганнибала и спас целое римское войско. Подвиг сей прекрасен; в нем равно обнаруживаются храбрость, благоразумие, доброта. Равномерно не находим в Перикле такой ошибки, какую сделал Фабий, обманутый хитростью Ганнибала посредством волов. Поймав в узких проходах неприятеля, который случайно и сам туда зашел, пустил его вырваться оттуда ночью, так что на другой день скорым движением Ганнибал предупредил его, медлящего, и победил того, кто прежде его запер.

Если великому полководцу надлежит не только настоящим уметь пользоваться, но и о будущем судить правильно, то война у афинян кончилась так, как Перикл предвидел и предсказал. Предпринимая много, они потеряли свое могущество. Римляне же, выслав Сципиона против карфагенян, хотя Фабий тому противоречил, все покорили – не случайно, но мудростью и храбростью полководца, победившего совершенно неприятеля. Таким образом, несчастья, которым подпало отечество одного, подтвердили правильность его суждений;

счастливые успехи отечества другого доказали, что он во всем обманулся. Попадает ли в беду неожиданную, по недоверчивости ли пропускает благоприятный случай – полководец равно ошибается. По моему мнению, одна неопытность и рождает смелость и лишает бодрости. Но довольно о военных их подвигах.

Что касается до управления республикой, то война наводит на Перикла великое порицание, ибо говорят, что он был ее виновником, не захотев уступить лакедемонянам. Я уверен, что и Фабий Максим не уступил бы ни в чем карфагенянам, но великодушно подверг бы себя опасности за владычество и славу отечества. Кротость и доброта Фабия к Минуцию сильно изобличает Перикла в ненависти к Кимону и Фукидиду – мужам добродетельным, приверженным к аристократии, которые были им удалены и изгнаны из отечества остракизмом. Но сила и власть Перикла выше Фабиевой. Он не допустил ни одного из полководцев нанести республике вред своею безрассудностью. Один Толмид, вырвавшийся насильственно из-под надзора его, напал на беотийцев, к гибели своей. Все другие присоединились к нему и следовали его мнениям по причине великой его силы. Но Фабий, сохраняя осторожность и не сделав сам никакой ошибки, кажется ниже Перикла тем, что не имел силы удерживать других от ошибок. Римляне не впали бы в такие бедствия, когда бы Фабий был столько же силен, как у афинян Перикл. Величие души в рассуждении бескорыстия оба они доказали тем, что первый ничего не принял от тех, кто ему давал; другой уступил свое имевшим в том нужду и выкупил своими деньгами пленных. Впрочем, число употребленных им денег не столь важно; оно простиралось до шести талантов*. Но сказать невозможно, какие случаи имел Перикл обогащаться и получать деньги от союзных республик и царей по причине великой его силы; однако сохранил себя чистым и непричастным дароприятию.

Касательно величия и красоты храмов и общественных зданий, которыми Перикл украсил Афины, то с ними не могут сравниться все вместе взятые здания Рима, до Цезарей бывшие. Важность и великолепие их превосходны и несравненны в отношении к римским.

Алкивиад и Гай Марций

Алкивиад

Алкивиад имел, как говорят, со стороны отца родоначальником Эврисака*, сына Аянта, со стороны матери – Диномаху, дочь Мегакла; был он из рода Алкмеонидов. Отец его, Клиний, славно сразился при Артемисии на своем собственном корабле и умер после при Коронее в сражении с беотийцами*. Опекунами у Алкивиада были родственники его: Перикл и Арифрон*, сыновья Ксанфиппа. Говорят, и с довольной справедливостью, что благосклонность и дружба к нему Сократа немало споспешествовали к его славе. В самом деле, неизвестны имена матерей Никия, Демосфена, Ламаха, Формиона, Фрасибула и Ферамена, прославившихся в то время мужей; но мы знаем и кормилицу Алкивиада, родом лакедемонянку, по имени Амикла, и дядьку его Зопира. О первой упоминает Антисфен*, о втором – Платон.

Лишнее дело было бы говорить о красоте Алкивиада. Довольно, если скажем, что она соделывала его любезным и приятным в детстве, в юношестве и в совершенных летах и цвела во всех возрастах его жизни. Не у всех прекрасных, как говорит Еврипид, прекрасна и осень; но она была прекрасна у Алкивиада и немногих других по причине крепости и хорошего от природы сложения их тела. Говорят, что и картавость очень пристала ему и придавала его болтливости приятность и прелесть. О ней упоминает Аристофан в стихах, в которых осмеивает Феора*:

Картавя, мне сказал Алкивиад тогда:
«Ты зришь – это Феор, воронья голова».
Какую истину сказал он нам, картавя!

Архипп*, смеясь над Алкивиадовым сыном, говорит:

Как нежно ходит он, волочит епанчу!*
Старается во всем подобным быть отцу.
И, шею изогнув, картавит так, как он.

Во нравах его обнаружились – как это бывает в важных обстоятельствах и при различном счастье – многие несходства и перемены. Он имел от природы многие и сильные страсти, но честолюбие и желание быть первым были сильнейшие, как видно из достопамятных слов его детства. Некогда он боролся с одним мальчиком, который уже сильно наступал на него; дабы не быть поверженным, Алкивиад поднял к своему рту руки противника и хотел искусать их. Борец пустил его, сказав: «Алкивиад! Ты кусаешься, как женщина!» – «Не как женщина, но как лев», – отвечал Алкивиад. Будучи еще очень мал, он играл некогда в кости в узкой улице. Пришла его очередь бросать, как наехал воз с грузом. Алкивиад сперва просил возницу подождать несколько, ибо удар падал прямо на то место, куда должно было проехать возу. Возница по грубости ничего не слушал и продолжал свою дорогу; другие дети расступились; но Алкивиад повергся на землю лицом поперек дороги перед самым возом и велел вознице проехать, если хочет; возница, испугавшись, попятил волов назад, а зрители изумились и с криком побежали к нему.

Начав учиться, слушался он всех учителей с покорностью; только игры на флейте избегал, как неблагородной и низкой. «Употребление плектра* и лиры, – говорил он, – не портит вида и телоположения, приличного свободному человеку; но лицо того, кто дует в флейту ртом, едва могут узнать самые короткие знакомые; притом играющий на лире может сопровождать голосом и пением ее звуки, между тем как флейта, закрывая рот, заграждает голос и не позволяет говорить. Пусть играют на флейте дети фиванцев: они говорить не умеют; а нам, афинянам, как отцы наши говорят, предводительница Афина и покровитель Аполлон; первая бросила флейту, а другой и кожу содрал с флейтиста*». Таким образом Алкивиад, мешая шутки с важными замечаниями, сам отстал от сей игры и других отвлек от ней. Слух распространился между молодыми людьми, что Алкивиад хорошо делает, отвращаясь от игры на флейте и насмехаясь над играющими. Флейта была совершенно презрена и совсем исключена из числа благородных упражнений*.

Антифонт* в своих ругательных сочинениях пишет, что Алкивиад, будучи еще очень молод, убежал из своего дома к некоему Демократу, одному из своих любовников; что Арифрон хотел объявить об этом публично, но Перикл не допустил, сказав, что если мальчик умер, то посредством сего обнародования о его смерти узнают на день раньше, но если он жив – вся его дальнейшая жизнь будет несчастна. Тот же Антифонт говорит, что Алкивиад умертвил в палестре Сибиртия, одного из своих рабов, ударив его палкой. Но, может быть, все это недостоверно, ибо писано таким человеком, который сам признавался, что поносил Алкивиада из ненависти.

Уже многие знатные мужи толпились вокруг Алкивиада со всею услужливостью. Все они, как ясно было видно, прельщены были блеском его красоты; они ему льстили; но Сократова любовь есть великое доказательство отличных его дарований и добродетели. Сократ, видя ее, в его чертах выказывающуюся и как бы сияющую сквозь самое лицо его, и страшась богатства, знатности и великого числа с лестью и услужливостью привлекавших его к себе сограждан, приезжих и союзников, имел о нем попечение, старался охранять его и не оставлять, подобно как растение в цвете своем теряет и губит плод свой. В самом деле счастье никому столько не благоприятствовало и никого столько, как Алкивиада, не обступало так называемыми благами жизни, чтобы сделать его неприступным к философии, глухим к наставлениям, имеющим в себе вольность и силу. С самого начала испорченный негою и увлекаемый угождавшими ему во всем, не мог он внимать словам наставлявшего и образовавшего его душу; однако, благодаря своим врожденным качествам, он узнал Сократа, сблизился с ним и удалил от себя богатых и знатных любовников. Вскоре сделал его своим другом и услышал от него речи не любовника, жаждущего недостойных удовольствий, но человека, изобличающего испорченность его души и низлагающего его пустую и безрассудную гордость; по словам некоторого стихотворца:

Как петел, вздрогнул он и крылья опустил.

Он почитал связь с Сократом помощью, действительно ниспосланною богами к наставлению и спасению юношей. Презирая сам себя, удивляясь ему, дорожа дружбой его, благоговея перед добродетелью, нечувствительно приобрел он кумир любви, как Платон говорит, «вместо любви». Все удивлялись, видя Алкивиада, ужинающего вместе с Сократом, борющегося с ним в палестрах, живущего в походах под одним шатром; между тем как другим любителям своим показывал себя строгим и непреклонным, к некоторым даже был чрезвычайно суров, как то к Аниту, сыну Антемиона. Этот любил Алкивиада; однажды угощая некоторых приезжих, звал и его на ужин. Алкивиад отказался; но, напившись допьяна дома со своими приятелями, пришел к Аниту в сопровождении их с шумом*. Он остановился у дверей столовой и увидя столы, покрытые золотыми и серебряными чашами, велел своим служителям взять из них половину и нести к нему домой. После чего ушел и даже не захотел войти к Аниту*. Все гости изъявили неудовольствие и говорили, что Алкивиад поступил с Анитом гордо и презрительно. «Напротив того, – сказал Анит, – он поступил кротко и учтиво; он оставил нам половину, хотя мог взять все».

Таким же образом он поступал с другими влюбленными, исключая одного поселившегося в Афинах иностранца*. Он был человек небогатый, продал все свое имение и собранные от того сто статеров* принес к нему и просил его принять их. Алкивиад усмехнулся и, прельстившись его поступком, пригласил его к себе на ужин. Угостив и обласкав его, он возвратил ему деньги и велел на другой день в народных торгах прибавлять цену против тех, кто брал на откуп общественные поборы. Этот человек отговаривался тем, что откуп состоял во многих талантах; но Алкивиад погрозил высечь его, если не послушается. Он имел некоторую тайную досаду на откупщиков. Иностранец пришел поутру в Народное собрание и прибавил к откупу один талант. Откупщики, негодуя на него и посоветовавшись между собой, велели ему представить за себя поруку: в той надежде, что он не найдет никого; бедный человек смутился и хотел удалиться; но Алкивиад, стоя вдали, закричал архонтам: «Меня запишите! Он мне друг, я ручаюсь за него!» Откупщики, услышав сие, приведены были в недоумение, ибо, привыкши всегда при вторых откупах платить за первые, не знали, как выйти из затруднения. Они приставали к этому человеку, просили его и давали деньги; но Алкивиад не позволил ему взять менее одного таланта; откупщики на то согласились, и Алкивиад велел ему взять его и отстать. Таким образом он принес ему пользу.

Любовь Сократа имела многих и знаменитых соперников. Иногда он одерживал верх над Алкивиадом по причине хороших качеств юноши, которого душу трогали слова его, сердце обращали к добру, из глаз извлекали слезы. Но иногда, предаваясь льстецам, которые манили его многими наслаждениями, вырывался из рук Сократа, жил как бы в бегах и был им всюду преследуем; его одного Алкивиад стыдился и боялся, а всех других презирал. Клеанф* говорил, что он держит за уши своего любимца, но что оставляет соперникам многие части, за которые могут они ухватиться и которые для него неприкосновенны, разумея под этим желудок, горло и прочее. Алкивиад, правда, был очень склонен к удовольствиям. Так называемый Фукидидом беспорядок в образе его жизни подает нам к тому подозрение. Но развращавшие его, возбуждая более его честолюбие и любославие, ввергли его не вовремя в великие предприятия, уверяя его, что, если он вступит в общественные дела, то не только тотчас помрачит других полководцев и правителей народных, но между греками превзойдет силу и славу самого Перикла. Подобно как железо, умягченное огнем, от холода твердеет и сжимается – так Алкивиада, изнеженного и исполненного тщеславия, Сократ, когда только удавалось ему поймать его, обуздывал и укрощал словами, делал его скромным и робким, научая его, сколь много ему недоставало и сколь он был несовершенен к приобретению добродетели.

При выходе его из детских лет пришел к некоему учителю и просил у него какую-нибудь книгу Гомера. Учитель сказал, что у него нет никакого Гомерова сочинения; Алкивиад дал ему пощечину и ушел. Другой сказал, что у него есть Гомер, исправленный им. «Ты учишь только читать, когда может исправлять Гомера? Почему не наставляешь юношей?» – воскликнул Алкивиад.

Однажды пришел он к Периклу и хотел видеться с ним. Ему сказали, что он занят и думает, каким образом дать отчет афинянам. Алкивиад, уходя, сказал: «Не лучше ли бы было

подумать о том, как бы не давать афинянам никакого отчета?»

В молодости своей был в походе против Потидеи* и жил под одним шатром с Сократом, который был его сподвижником. Дано было жестокое сражение, в котором оба они отличились; Алкивиад получил рану; Сократ стал перед ним, защищал его и, очевидно, спас ему жизнь со всем оружием. По всей справедливости награда за отличие принадлежала Сократу; но военачальники, из уважения к роду Алкивиада, изъявили желание приписать всю славу ему. Сократ, желая возбудить честолюбие юноши к великим подвигам, первый подал голос в его пользу, просил увенчать его и дать ему всеоружие. В сражении при Дилии*, когда афиняне обращены были в бегство, Алкивиад сидел на коне и, видя Сократа пешего, отступавшего с немногими другими, не оставил его, но провожал и защищал от неприятелей, которые теснили их и многих убивали. Это случилось несколько после.

Алкивиад дал однажды пощечину Гиппонику, отцу Каллия, человеку, имевшему великую славу и силу по своему богатству и по знаменитому роду, не будучи на то побужден ни гневном, ни ссорой, но единственно для смеху, бившись об заклад со своими приятелями. Столь наглый поступок разнесся по всему городу; все на него негодовали. На другой день поутру Алкивиад пришел к дому Гиппоника, постучался у дверей и, представ пред ним, сложил с себя епанчу, предал себя ему и велел сечь и наказывать по своей воле. Гиппоник простил его, забыл гнев свой, и Каллий, сын его, выдал за Алкивиада сестру Гиппарету, с десятью талантами приданого. Когда она родила, Алкивиад требовал от него еще столько же под предлогом, что такой заключили уговор, если у нее будут дети. Но Каллий, боясь злоумышления со стороны его, предстал перед народом и подарил ему имение и дом свой*, если умрет, не оставя по себе детей. Гиппарета была женщина хорошего поведения и любила своего мужа, но, огорченная связью его с многими развращенными женщинами, иностранными и единоплеменными, оставила его дом и ушла к брату своему. Алкивиад о сем не заботился и продолжал жить в свое удовольствие. Супруге надо было подать архонту письмо о разводе не через другого, а лично самой. Она предстала, дабы исполнить закон; но Алкивиад явился к суду, схватил ее и понес через площадь домой; никто не осмелился ему противиться, ни отнимать ее. Она осталась с ним до гроба. Вскоре после того умерла по отплытии Алкивиада в Эфес. Таковое насилие не показалось ни беззаконным, ни бесчеловечным; по-видимому, закон для того и заставляет разводящуюся женщину явиться к суду, чтобы мужу подать случай с нею примириться и удержать ее.

У Алкивиада была удивительная по росту своему и красоте собака, купленная им за семьдесят мин. Он отрубил ей прекрасный хвост. Друзья ему за то выговаривали, уверяя, что все его бранят и ругают за такой поступок. «Итак, – отвечал он с усмешкою, – сбылось то, чего я желал! Мне хочется, чтобы афиняне говорили об этом, дабы не говорили обо мне чего-либо хуже».

Первое его появление в Народном собрании, как говорят, произошло случайным образом, без всякого его намерения. Он шел мимо площади, когда народ шумел, спросил о причине шума и, узнав, что вносят деньги для республики, пошел туда и сделал то же, что и другие. Народ рукоплескал и издавал громкие крики; Алкивиад от удовольствия забыл о перепеле*, который был у него за платьем. Птица испугалась и улетела. Афиняне еще более кричали; многие встали и ловили птицу; Антиох, кормчий, поймал ее и отдал Алкивиаду; и с тех пор был для него весьма любезен*.

Род его, богатство, отличная храбрость в сражениях, великое число друзей и родственников открыли ему свободный доступ ко всем достоинствам республики; но он ничем столько не желал быть силен в народе, как приятностью слова. Что он был красноречив, о том свидетельствуют как комические писатели, так и сильнейший из всех ораторов, который в своей против Мидия речи говорит между прочим, что Алкивиад был красноречивейший человек. Если верить Феофрасту, мужу любопытному в исследовании истории больше всякого философа, Алкивиад был весьма способен изобретать и выдумывать то, что было нужно. Ища же не только то, что должно говорить, но еще как должно самыми приличными словами и выражениями, и не находя их скоро, часто был в недоумении, в самой средине речи останавливался, несколько времени молчал, размышляя и стараясь вспомнить приличное слово, которое его избегало.

Конские заводы его были славны множеством колесниц. Ни одно частное лицо и никакой государь не послал в Олимпию в одно время семи колесниц, кроме одного Алкивиада. На Олимпийских играх победил он и получил вторую и четвертую, как говорит Фукидид, а как Еврипид уверяет, и третью награду, каковая победа блеском и славою выше всякого в подобных вещах честолюбия. Еврипид в песне говорит: «Я воспою тебя, сын Клиния! Прекрасна победа; но всего прекраснее вступить в ристалище на колеснице первым, вторым и третьим и пробежать оное без труда*, трижды увенчаться оливою и вестником быть провозглашен победителем – никто из греков того не удостоился».

Славу эту сделало еще блистательнее соревнование городов. Эфесяне поставили для него шатер, великолепно украшенный; хиосцы кормили его коней и доставляли множество жертвенных животных; лесбосцы снабжали вином и всем потребным для гостей, которых у него было много*. Некоторая клевета или употребленная им хитрость к удовлетворению честолюбия более подали повод о нем говорить. В Афинах был некто по имени Диомед, человек не дурных свойств, друг Алкивиада, желавший получить в Олимпийских играх победу. Услышав, что у жителей Аргоса была общественная колесница, и ведая, что Алкивиад имел в Аргосе великую силу и многих друзей, просил его купить сию колесницу для него; Алкивиад купил, но оставил ее для себя, нимало не заботясь о Диомеде, который изъявил великое неудовольствие и призывал в свидетели богов и людей. Кажется, произошла тяжба; во всяком случае, есть речь об упряжке в защиту сына Алкивиада; в ней, однако, показан истцом не Диомед, но Тисий.

Алкивиад, будучи еще весьма молод, вступил в общественные дела и тотчас унизил прочих демагогов; только Феак, сын Эрасистрата, и Никий, сын Никирата, стояли твердо против него. Последний был уже в летах и почитался лучшим полководцем; а Феак тогда, подобно Алкивиаду, начинал возрастать; он был отпрыском знаменитого рода, но казался ниже своего противника как другими преимуществами, так и красноречием, ибо он был способнее приятно разговаривать и нравиться в частной беседе, нежели выдерживать споры в Собрании; как говорит Эвполид, он был

Искусный говорун, слабейший всех вития.

Есть речь, писанная Феаком, против Алкивиада, в которой между прочим писано, что Алкивиад ежедневно употреблял как свои многие золотые и серебряные сосуды, принадлежавшие городу и служившие к украшению торжественных шествий.

В Афинах был тогда некто по имени Гипербол, из Перитеды*, о котором упоминает и Фукидид как о дурном человеке и который занимал собою почти всех тогдашних комиков как всегдашний предмет посмеяния на театрах. Брани, которыми его осыпали, не трогали его; он был к ним нечувствителен, по презрению к славе – свойству, которое многие называют благородною смелостью и твердостью, но в самом деле не что иное, как бесстыдство и безрассудная дерзость. Он никому не нравился; но народ часто его употреблял, дабы через него ругаться над важнейшими в республике мужами и клеветать их. Убежденные Гиперболом в то время афиняне были готовы употребить остракизм, которым они уменьшали славу и силу отличнейших из граждан и изгоняли их, более тем утешая свою зависть, нежели облегчая страх. Не было никакого сомнения, что на одного из трех соперников надлежало пасть остракизму. Алкивиад собрал воедино все разномыслящие стороны и, согласившись с Никием, обратил остракизм на самого Гипербола. Иные уверяют, что по уговору с Феаком, а не с Никием он присоединил его друзей к своим и изгнал Гипербола, который нимало того не ожидал, ибо ни один дурной или бесславный человек не был подвержен сему наказанию. Так говорит и Платон, комический писатель, упоминая о Гиперболе:

За свойства хоть его наказан он достойно,
Но подлости его бесславью непристойны:
Не ради таковых был найден остракизм.

Но все это в другом месте пространнее мы описали.

Уважение неприятелей республики к Никию, не менее как и почтение к нему сограждан, причиняли Алкивиаду неудовольствие. Никий был лакедемонянским поверенным, или проксеном*, и оказал пособие к взятым в плен при Пилосе воинам. Когда же лакедемоняне через Никия достигли мира и получили обратно своих пленных, то изъявляли ему великую любовь и во всей Греции говорили, что Перикл возжег войну между афинянами и лакедемонянами, а Никий прекратил ее; многие заключенный мир называли Никиевым*. Все это немало беспокоило Алкивиада, который из зависти к Никию вознамерился разрушить договор. Во-первых, приметив, что аргосцы ненавидели и боялись спартанцев и искали случая отстать от них, тайно их обнадеживал, что афиняне заключат с ними союз. Вступив в переговоры с предводителями народа в Аргосе, он ободрил их не бояться лакедемонян и не уступать им, но прибегнуть к афинянам, которые, если только они несколько подождут, раскаются в заключенном мире и нарушат его. Когда же лакедемоняне заключили союз с беотийцами, город Панакт* возвратили афинянам не в целости, как они обязались, но разорив укрепления, то Алкивиад, приметив досаду афинян, еще более воспламенял их гнев.

Он нападал на Никия, довольно справедливо обвиняя его, что, когда предводительствовал войскам сам, не хотел взять запертых на Сфактерии неприятелей*; что по взятии их другими полководцами он отпустил их и возвратил лакедемонянам из приверженности к ним; однако при всей дружбе с ними не мог убедить их не заключить союза с беотийцами и коринфянами; а между тем отвлекал от афинян тех греков, которые хотели быть союзниками и друзьями их, когда это лакедемонянам было неприятно.

Между тем как Никий находился от того в дурном положении, прибыли по случаю из Спарты посланники с умеренными предложениями, объявляя притом, что имеют полную власть заключить мир на справедливых условиях. Сенат их принял; надлежало на другой день собраться народу. Алкивиад в страхе и тревоге постарался встретиться с ними. Они сошлись, и Алкивиад сказал им следующее: «Что с вами сделалось, спартанцы? Ужели вы не ведаете, что намерения сената всегда умеренны и кротки относительно к тем, кто к нему обратится, а народ всегда высокомерен и с обширными видами? Если скажете, что вы прибыли с полною властью, он употребит это во зло и будет вам предписывать законы. Оставьте свою простоту; и если хотите, чтобы афиняне были умеренны в своих требованиях и чтобы вы не были принуждены поступить против своих намерений, то объявите в переговорах, что вы не имеете полномочий. Я со своей стороны буду содействовать вам, угождая лакедемонянам». Сказав это, он подтвердил клятвой свое обещание и совершенно отвлек их от Никия. Они поверили ему совершенно, удивляясь уму и искусству, которые обнаруживали человека необыкновенного. На другой день собрался народ; посланники предстали. Алкивиад с кротостью спрашивает их, с какими предложениями прибыли. Они объявили, что не имеют полной власти. Тогда Алкивиад начал кричать и шуметь, как бы не он обижал, но ими был обижен; называл их неверными, коварными, прибывшими без всякого намерения сказать или произвести что-либо полезное. Сенат также негодовал; народ сердился; Никий был изумлен и огорчен такой переменой посланников, не подозревая нисколько обмана и хитрости.

Таким образом, лакедемоняне удалились, Алкивиад был избран полководцем и заключил тотчас союз с аргосцами, мантинейцами и элейцами*.

Никто не хвалил средства, которым он это произвел; однако он сделал великое дело: потряс почти весь Пелопоннес; отделил его от лакедемонян; в один день поднял против них при Мантинее великое число воинов; заставил их дать как можно далее от Афин опасное сражение, в котором победа, ими одержанная, не доставила им никакой значительной пользы; в случае же поражения Лакедемону было бы трудно спасти себя*.

После этого сражения так называемая Тысяча мужей* хотела уничтожить в Аргосе власть народа и покорить себе город; прибывшие лакедемоняне уничтожили народоправление. Но вскоре народ восстал против них с оружием и одержал верх. Алкивиад приспел к тому времени, утвердил победу на стороне народа и убедил его построить длинные стены и соединить город с морем, дабы совершенно сблизить его с афинскими силами*. Он привел из Афин каменщиков и других рабочих людей и оказывал всевозможное усердие, чем приобрел себе, не менее как и самому отечеству своему, любовь и силу. Равным образом склонил он и патрейцев* соединить свой город с морем длинными стенами. Некто сказал патрейцам: «Когда-нибудь афиняне

проглотят вас, патрейцы!» – «Может быть, – отвечал Алкивиад, – только мало-помалу и начиная с ног; а лакедемоняне проглотят их с головы – и одним разом». Он советовал, однако, афинянам держаться и твердой земли и самым делом исполнять клятву, которую заставляют давать юношей в храме Аграулы*. Этой клятвою обязываются они почитать границами Аттики: пшеницу, овес, виноград, оливы. Этим они научились всякую землю плодоносную и обработанную почитать своей собственностью.

При таких его подвигах и словах, при таком благоразумии и прозорливости обнаруживал он, с другой стороны, великую роскошь в образе жизни, разврат в питье и любви, горделивую пышность и женоподобность, влача багряную епанчу по площади. Чтобы мягче было спать, вырезывал палубы галер, дабы постель его висела на ремнях, а не лежала на досках. Щит его был весь из золота; на нем вместо отеческих знаков* представлен был Эрот, держащий молнию. Знаменитейшие люди в городе не только смотрели на эти поступки с омерзением и негодованием, но страшились его беспорядков и презрения к законам, как ведущих к самовластью. Чувства народа к нему довольно хорошо выражает Аристофан следующими словами*:

И любит он его, и вместе ненавидит,
Однако без него не может обойтись.

Еще лучше – в виде иносказания:

Во граде льва кормить не должно.
Коль кормишь ты его, к нему приноровляйся!

Но его щедроты, великолепные зрелища, дары городу, в которых никто его не мог превзойти, слава его предков, сила речей, красота тела, крепость, соединенная с опытностью в войне и отличной храбростью, – все это заставляло афинян прочее прощать и терпеть, давая самым проступкам его снисходительные наименования шутки и приятности нрава. Таков был, например, поступок его с живописцем Агафархом*, которого запер у себя и, когда он украсил своим искусством его дом, отпустил с подарками; и с Тавреем, которому дал пощечину, когда тот, будучи его соперником по хорегии, старался превзойти его своим великолепием; равно и то, что он взял одну из плененных в Мелосе женщин*, прижил с нею сына и воспитал его. Это называли они человеколюбивым поступком; впрочем, его более всех обвиняют в том, что все молодые люди мелосские были умертвлены, ибо он защищал бесчеловечное народа постановление касательно их. Живописец Аристофонт написал Немею, держащую в объятиях ее сидящего Алкивиада; все бегали и смотрели с удовольствием на картину; однако старейшие и на это взирали с негодованием, как на поступок беззаконный и обнаруживавший тиранна. Кажется, Архестрат* довольно справедливо говорил, что Греция не вынесла бы двух Алкивиадов.

В один день, когда он заслужил всеобще удивление и народ торжественно провожал его из Собрания, Тимон-человеконенавистник не уклонился от него, как обыкновенно делал с другими, но пошел к нему навстречу и, взяв его за руку, сказал ему: «Хорошо делаешь, сын мой, что возрастаешь; ты вырастешь великим злом для всех этих!» Одни смеялись, другие ругали Тимона; но иных очень беспокоили слова его. Вот насколько мнения о нем были различны и переменчивы по причине неравности его нрава!

Еще при жизни Перикла афиняне простирали желания свои на Сицилию. По смерти его они приступили уже к делу, посылая при всяком случае к обижаемым сиракузянами так называемые союзнические пособия*, как бы пролагая через то дорогу к важнейшему предприятию. До высочайшей же степени воспалил это желание Алкивиад, который убедил их не исподволь и не мало-помалу, но с многочисленным флотом предпринять покорить остров сей. Он внушил народу великую надежду, желая приобрести себе еще большую славу. Сицилию почитал он началом дальнейших предприятий, о которых помышлял, а не окончанием оных, подобно другим; Никию покорение Сиракуз казалось весьма трудным делом, и он всячески отвлекал от этого предприятия афинян; но Алкивиад, мечтая о Карфагене и Ливии, а

по их покорении – об Италии и Пелопоннесе, полагал Сицилию некоторым образом пособием и средством к продолжению войны. Он восхитил сими надеждами молодых людей, слушавших слова стариков, которые рассказывали много чудесного о предприятии, так что многие, сидя в палестрах и полукружиях, чертили вид Сицилии, положение Ливии и Карфагена. Только философ Сократ и астроном Метон, как многие уверяют, ничего хорошего не надеялись для республики от этого предприятия. Первому, может быть, предсказал это демоний, или гений, беседовавший с ним; Метон же, или страшась будущего из благоразумия, или предвидя что-либо посредством прорицательного искусства, притворился сумасшедшим и, взяв зажженный факел, хотел сжечь дом свой. Некоторые говорят, что он нимало не притворялся сумасшедшим и, взяв зажженный факел, хотел сжечь дом свой. Иные говорят, что он нимало не притворялся неистовым, но просто ночью сжег свой дом, а поутру пришел в Собрание, просил убедительно уволить сына его от похода из уважения к случившемуся с ним великому несчастью. Он достиг своей цели, обманув сограждан.

Никий, который избегал начальства более всего по причине соначальствующего с ним, был избран полководцем против воли. Казалось афинянам, что военные действия будут иметь счастливейший успех, если не одному Алкивиаду предадут все управление войсками, но его смелость будет умеряема осторожностью Никия, ибо третий полководец, Ламах, хотя уже был в летах, однако не менее Алкивиада был горяч и дерзок в сражениях.

Когда начали рассуждать о множестве и роде приготовлений, то Никий еще восстал против похода и хотел оный остановить. Но Алкивиад говорил против него и одержал верх. Демострат, один из ораторов, предложил постановление, чтобы полководцы имели полную власть в приготовлениях и во всей войне. Народ утвердил оное. Вскоре все было готово пуститься в море; но самый тогдашний праздник не служил хорошим предзнаменованием. В те дни наступали Адонии*, в которые женщины, выставляя во многих местах изображения, подобные выносимым мертвым телам, представляют похороны, бьют себя в грудь и воспевают жалобные песни. Искажение герм*, которых лица в одну ночь были повреждены, встревожило многих даже из тех, кто к таковым знамениям не имеет никакого уважения. Говорили тогда, что Сиракузы* посредством коринфян, которых они были поселенцы, произвели сие, дабы такими знамениями заставить афинян отложить предприятие или переменить мысли о войне. Народу не нравилось ни это объяснение, ни мнение тех, кто не полагал в этом никакого страшного предзнаменования, но почитал это произведением развращенных молодых людей, которые в пьянстве обыкновенно переходят от шуток к ругательствам и дерзким поступкам. Со страхом и гневом узнав о случившемся, как бы это было действием заговорщиков, отваживающихся на величайшие перемены, народ и сенат разбирали всякое подозрение с великой строгостью, и в течение немногих дней было несколько собраний.

В это время демагог Андрокл представил некоторых рабов и поселенцев, которые обвиняли Алкивиада и его друзей в отсечении частей других кумиров и в подражании таинствам в пьянстве; они утверждали, что некто по имени Феодор, при подражании представлял глашатая, Политион – факелоносца, а Алкивиад – гиерофанта*; что другие его приятели при сем присутствовали, как бы вводимы были в тайны, и называли себя мистами. Все это написано в жалобе Фессала, сына Кимона, обвинявшего Алкивиада в нечестии в отношении к богиням. Народ, воспаленный гневом, негодовал на Алкивиада; Андрокл, величайший из врагов Алкивиада, усиливал всеобщее негодование.

Алкивиад сначала приведен был в смятение; но, чувствуя, что мореходы, отправлявшиеся вместе с ним в Сицилию, равно как и все войско, ему благоприятствовали, и слыша, что аргосцы и мантинейцы, в числе тысячи человек тяжелой пехоты, явно говорили, что только для Алкивиада они предпринимают отдаленный поход за море и что тотчас отстанут, если ему будет оказано какое-либо оскорбление, – ободрился и предстал к назначенному дню в суд для своего оправдания. Неприятели его опять потеряли надежду, боясь, чтобы народ ради предстоящей в нем нужды не был слишком к нему снисходителен при разбирании сего дела. Дабы тому воспрепятствовать, употребили они хитрость – подучили ораторов, которые не показывали себя неприятелями Алкивиада, но в самом деле ненавидели его не менее явных его врагов, представить народу, что когда уже Алкивиад назначен полномочным военачальником над такой силой, когда уже собраны войска и союзники, то безрассудно было бы, собирая судей

и измеряя часы водою*, терять время без пользы. «Да отправится он в добрый час, – говорили они, – и по благополучном окончании войны да предстанет и оправдает себя по законам». Не укрылся от взоров Алкивиада умысел их при отложении сего дела. Он предстал перед народом и говорил, что было бы жестоко, оставя по себе столько обвинений и наветов, быть высылаему предводителем громадного войска с беспокойной душою; что ему предстоит смерть, если не будет в состоянии оправдать себя; но когда оправдается и окажется невинным, тогда может спокойно обратиться против неприятеля, не боясь клеветников.

Однако он не успел убедить народ; ему велено было отправиться; он вышел со своими товарищами*, имея около ста сорока триер, пять тысяч сто человек тяжелой пехоты и тысячу триста пращников, стрелков и других легковооруженных воинов. Все другие приготовления были также важны. Он пристал к берегам Италии, взял город Регий и предложил свое мнение о том, как вести войну. Никий ему противоречил; но Ламах был с ним согласен; он приплыл к Сицилии и овладел городом Катана; более не сделал ничего, будучи отозван назад афинянами к произведению над ним суда.

Как выше сказано, сначала взводимы были на Алкивиада некоторые слабые подозрения и доносы от рабов и поселенцев. Во время же его отсутствия неприятели его, нападая на него сильнее и смешивая представление таинственных обрядов с обруганными кумирами Гермеса, как бы и то и другое было произведено одними заговорщиками для перемены правления, всех сколько-нибудь обвиняемых в том сажали без суда в темницу и жалели, что тогда не призвали к суду Алкивиада и не судили его при столь важных обвиняемых. Всякий, кто им ни попадался при такой их ярости на Алкивиада, друг, свойственник, или знакомый его, испытывал всю их жестокость. Фукидид не означил имен доносчиков его; некоторые называют одного Диоклидом, другого Тевкром, так как и комик Фриних в следующих стихах:

– Гермес, любезный друг! Ты худо бережешься.
Смотри, не упади; а то, как ушибешься,
К доносам повод тем подашь, и Диоклид
Какой-нибудь, всегда охотник зло творить,
Рад будет случаю.
– Охоты не имею,
Чтоб Тевкру, пришлецу, известному злодею,
Награда за доносы бы была через меня.
Не бойся, более беречься буду я.

Впрочем, доносчики не могли показать ничего основательного и достоверного. Один из них при вопросе, каким образом он узнал лица искажавших Гермесовы кумиры, отвечал: «При лунном свете». В чем он совершенно просчитался, ибо это случилось в новолуние. Такое свидетельство поразило благоразумных людей; но народ и от того не сделался мягче и недоверчивее к доносам; как начал, так и продолжал заключать в темницу всякого обвиненного в преступлении.

В числе скованных и заключенных для дальнейших разысканий был и оратор Андокид, которого писатель Гелланик почитает одним из потомков Одиссея. Он, казалось, был ненавистником народоправления и любителем олигархии; но более всего наводила на него подозрение в искажении кумиров огромная герма, стоявшая близ его дома, воздвигнутая Эгеидским коленом. Из числа немногих славнейших Гермесовых кумиров, пожалуй, лишь этот остался невредим; и потому поныне все называют его Андокидовым, хотя надпись противоречит сему названию. Случилось, что Андокид в темнице свел короткое знакомство с одним из заключенных за ту же вину по имени Тимей, человеком не столь знаменитым, как он, но разумом и смелостью отличным. Он уговорил Андокида донести на себя самого и других нескольких человек, представляя ему, что по решению народа признавшийся в преступлении получает прощение; что следствия суда никому не известны, но для сильных ужасны; что лучше спасти жизнь свою посредством лжи, нежели умереть поносно с таким обвинением; что имея в предмете только общественное благо, полезнее принести в жертву немногих и подозрительных и избавить от ярости народа многих хороших граждан. Этими словами и

представлениями Тимей убедил Андокида. Он сделался доносчиком на себя и на немногих других и сам получил свободу, обещанную постановлением народным. Все названные им, кроме убежавших, погибли. Для большого уверения Андокид придал к ним некоторых из рабов своих.

Однако тем еще вся ярость народа не укротилась; но, напротив, отделавшись от гермокопидов (то есть искажавших Гермесовы кумиры) – как бы гнев его не имел другого предмета – весь излился на Алкивиада. За ним было послано Саламинское судно*; однако с благоразумным повелением – не употреблять с ним насилия, не налагать на него рук, но умеренными представлениями уговорить его предстать пред народом и доказать свою невинность. Афиняне боялись возмущения войска в стране неприятельской и мятежа, который легко мог бы произвести Алкивиад, если бы только захотел. В самом деле, войско по отъезде его впало в уныние, предвидя, с какой медленностью и с каким бездействием продолжится война под предводительством Никия, как бы при производстве дел не было уже пружины, приводившей все в движение. Ламах, правда, был воинственен и мужественен, но не имел важности и силы по причине своей бедности.

Алкивиад тотчас отправился и тем лишил афинян Мессены. В городе были люди, готовые его предать; Алкивиад хорошо знал их, объявил их имена сторонникам сиракузян и испортил все дело. Он пристал к Фуриям и, сойдя с триеры, скрылся так, что искавшие его не могли его найти. Некто его узнал и сказал ему: «Уже ли ты, Алкивиад, не веришь своему отечеству?» – «Во всем верю, – отвечал Алкивиад, – но что касается до моей жизни, не верю и матери своей, боясь, чтобы она, по неведению, вместо белого шарика не взяла черный». Когда узнал впоследствии, что афиняне определили ему смерть, сказал: «Я им докажу, что я жив!»

Донос, против него учиненный, был, как говорят, такого содержания: «Фессал, сын Кимона из Лакиады, обвиняет Алкивиада, сына Клиния из Скамбониды*, в преступлении относительно богинь Деметры и Коры (Персефоны), ибо он представлял таинственные их обряды* и показывал оные в своем доме приятелям своим в той одежде, какую носит гиерофант, когда показывает священные утвари; называя себя гиерофантом, Политиона – факелоносцем, а Феодора из Фигей – глашатаем; других же друзей своих мистами и эпоптами – вопреки законам и постановлениям Эвмолпидов*, глашатаев и жрецов элевсинских». За неявку в суд приговорили его к смерти; имение его отобрано в казну; сверх того определено, чтобы все жрецы и жрицы прокляли его. Только одна из них, Феано, дочь Менона из Агравлы, воспротивилась этому решению, говоря, что она жрица для благословения, а не для проклятий.

Между тем как делаемы были в Афинах эти решения и приговоры, Алкивиад находился в Аргосе, ибо, убежав из Фурий, приехал сперва в Пелопоннес. Но боясь своих неприятелей и потеряв вовсе надежду возвратиться в свое отечество, он послал в Спарту просить покровительства и защиты, обещаясь принести более пользы и услуг, нежели сколько причинил прежде вреда как неприятель. Спартанцы согласились и приняли его к себе. Он прибыл с радостью в Спарту. Первое дело его было возбудить и убедить спартанцев, медлящих и отлагающих, отправить помощь сиракузянам, выслать к ним полководца Гилиппа с войском и сокрушить тамошние афинские силы; второе – то, что он заставил их двинуться войною на Афины с своей стороны; третье и главнейшее – присоветовал им укрепить Декелею*; чем он всего более причинил зло афинянам и нанес их силе жесточайший удар.

Он приобрел уважение спартанцев в общественных делах и не менее возбудил их удивление частной жизнью. Сообразясь лакедемонскому образу жизни, прельстил и очаровал народ до того, что видевшие, как он был острижен до самой кожи, купался в холодной воде, употреблял охотно их ячменные лепешки и вкушал с удовольствием черную похлебку, не верили, что у него был когда-либо повар, что он видал когда-либо продавца благовонных мазей или носил на себе милетскую епанчу*. Говорят, что сверх многих способностей, которыми он был одарен, обладал искусством весьма действительным – к улавливанию людей: искусством сообразоваться со склонностями, нравами и образом жизни других и совершенно им уподобляться, переменяя виды, скорее, хамелеона. Однако это животное, как говорят, не может принять одного лишь цвета – белого; но Алкивиад мог подражать всему и равно приноравливаться к хорошему и дурному. В Спарте он любил телесные упражнения, был прост, суров; в Ионии – изнежен, забавен, празднолюбив; во Фракии проводил время в пьянстве, в

Фессалии – в верховой езде; находясь при сатрапе Тиссаферне, пышностью и роскошью превзошел самое персидское великолепие. Правда, что он переходил нелегко от одного образа жизни к другому; его нрав не принимал всякой перемены; но ведая, что его природные свойства могли быть неприятными для тех, с которыми имел дело, он облекался всегда во всяком виде и образе, дабы с ними быть схожим. В Спарте можно бы сказать об его наружности: «Это не сын Ахиллов, это Ахилл сам, каковым Ликург воспитал его!» Но смотря на его истинные страсти, на его деяния, можно бы воскликнуть: «Это та же женщина!»* В самом деле, он до того обольстил Тимею, супругу царя Агиса, во время его отсутствия, что она была от него беременна и не скрывалась в том. Она родила сына, которого везде называли Леотихидом, а внутри дома сама мать, шепча с приятельницами и служительницами, давала ему имя Алкивиада. Столь сильна была любовь, обладавшая ею! Алкивиад, гордясь этим, говорил, что он прельстил царицу не из желания бесчестить царя или из склонности к сластолюбию, но дабы над лакедемонянами царствовали его дети. Это многими представлено было Агису, который в том удостоверился всего более по расчислению времени, ибо при случившемся землетрясении, испугавшись, выбежал он из чертогов своей супруги и не был у нее в продолжение десяти месяцев; после этого срока и родился Леотихид, которого он не признал своим сыном. По этой причине Леотихид впоследствии потерял права на царство.

После несчастья, претерпенного афинянами в Сицилии, отправили своих посланников в Спарту хиосцы, лесбосцы и кизикийцы, предлагая отстать от афинян; лесбосцам благоприятствовали беотийцы, кизикийцам – Фарнабаз; но по совету Алкивиада спартанцы положили прежде всех помочь хиосцам. Сам Алкивиад вышел с их флотом, возмутил почти всю Ионию и причинил большой вред афинянам, действуя вместе с спартанскими полководцами. Но Агис, оскорбленный связью Алкивиада с его женой, был ему врагом; он ненавидел его и за славу, им приобретенную, ибо все говорили, что все делается и получает успех посредством Алкивиада. Сильнейшие и честолюбивейшие между спартанцами уже не терпели его из зависти. Они имели столько силы и произвели то, что заставили правителя республики послать в Ионию умертвить его.

Алкивиад тайно узнал о приказании и, боясь за жизнь свою, во всех делах по-прежнему имел сношение с лакедемонянами, но всегда избегал случая попасть им в руки. Для безопасности своей он предал себя Тиссаферну, царскому сатрапу, и вскоре сделался первым и сильнейшим его любимцем. Этот перс, будучи не прост, но коварен и любитель хитрых, полюбил его за гибкость его нрава и чрезвычайные дарования. Впрочем, никакой нрав не мог устоять и никакое свойство не могло быть не тронуто приятностью ежедневного с ним обращения и беседы. И боящиеся его, и завидующие ему чувствовали удовольствие и благорасположение к нему при обхождении с ним и воззрении на него. Хотя Тиссаферн был суров и более всех персов ненавидел греков, но так обольщен был лестью Алкивиада, что превзошел и его своей любезностью. Один из садов своих*, прекраснейший по водам и приятным лугам, по местам для отдохновения и прогулки, отделанным с редким искусством, назвал он Алкивиадом – и все давали ему это имя.

Алкивиад не полагался более на спартанцев, как на людей неверных, и, боясь Агиса, старался ему вредить и сделать его подозрительным в глазах Тиссаферна; он советовал ему не давать достаточного пособия спартанцам и не ниспровергать Афин; но, помогая им понемногу, мало-помалу разорять и истощать спартанцев, сделать нечувствительно и тех и других покорными царю, ослабляя одних посредством других. Тиссаферн охотно последовал его советам; он при всех показывал ему любовь и почтение, так что Алкивиад был уважаем обеими греческими сторонами, и афиняне, претерпевая великие бедствия, раскаивались в своих против него поступках. Сам Алкивиад жалел о них и боялся, чтобы Афины не погибли и чтобы самому не попасть в руки лакедемонянам, его ненавидевшим.

Почти все силы афинские в то время находились на Самосе. Оттуда афиняне на своих кораблях иные из отпавших городов опять покоряли, другие оберегали, будучи еще несколько страшны неприятелю на море. Но они боялись Тиссаферна и полутораста финикийских кораблей, которые, как слух носился, находились уже весьма близко и по прибытии которых республике не оставалось более ни малейшей надежды к спасению. Алкивиад, получив о том известие, посылает тайно на Самос гонца к знатнейшим афинянам и дает им надежду в том, что

он может сделать им Тиссаферна другом, не из приверженности своей или доверия к народу, но из любви к отличнейшим гражданам, если эти будут иметь смелость и дух укротить наглость народа и собственными руками спасти отечество от погибели. Все охотно принимали эти предложения; только один из полководцев, Фриних из Дирады*, противился этому, подозревая Алкивиада не без причины в том, что тот столь же мало заботился об олигархии, как и о демократии, и что намерение его состояло только в том, чтобы возвратиться в отечество; что он, обвиняя народ, знатнейшим в республике льстил и тем входил в их доверие. Но мнение других превозмогло над мнением Фриниха, который, сделавшись уже явным врагом Алкивиаду, тайно уведомил обо всем Астиоха, начальника неприятельских кораблей, советуя ему беречься Алкивиада и поймать его, как не приставшего ни к одной из сторон. Однако предатель не знал, что имел дело с предателем. Астиох, боясь Тиссаферна и видя Алкивиада в великой при нем силе, дал последнему знать о поступках Фриниха против него. Алкивиад, не теряя времени, отправил на Самос друзей своих для обвинения Фриниха. Все вознегодовали и соединились против него; Фриних, не находя другого спасения в настоящей беде, предпринял исправить зло злом гораздо большим. Он опять писал Астиоху, бранил его за то, что открыл учиненные ему предложения, и в то же время обещал предать ему и войско и корабли афинские. Однако измена Фриниха не сделала афинянам никакого вреда по причине подобной измены Астиоха, который и это предложение Фриниха открыл Алкивиаду. Фриних, предвидя это и ожидая другого обвинения со стороны Алкивиада, предупредил его и уверил афинян, что неприятели скоро на них нападут. Он заставил их быть при кораблях своих и укрепить свой лагерь. Между тем в разгар работ получены были другие письма от Алкивиада, в которых он советовал им беречься Фриниха, как намеревающегося предать неприятелям весь флот. Афиняне не поверили его словам в той мысли, что Алкивиад, ведая о приготовлениях и намерениях неприятелей, воспользовался этим случаем для оклеветания Фриниха но в том ошибались. Вскоре после того Гермон, один из младших воинов, поразил на площади Фриниха кинжалом. При разбирании дела афиняне объявили мертвого Фриниха виновным в измене, а Гермона и его сообщников наградили венками.

Друзья Алкивиада на Самосе одержали тогда верх и послали в Афины Писандра – для преобразования республики и для возбуждения сильнейших завладеть правлением и уничтожить демократию, уверяя, что Алкивиад за это сделает им Тиссаферна другом и союзником, – таков был предлог, которым оправдывали себя восстановители олигархии. Когда усилились и всем завладели так называемые «пять тысяч», которых в самом деле было только четыреста*, то не стали более обращать на Алкивиада внимания и войну вели весьма слабо, частью не доверяя гражданам, недовольным воспоследовавшею переменою, частью надеясь, что лакедемоняне, всегда благоприятствовавшие олигархии, будут к ним снисходительнее. Народ, в городе находившийся, из страха пребывал поневоле спокойным, ибо немалое число погибло из тех, кто явно противился четыремстам правителям. Но те, кто обретался на Самосе, узнав о происходившем и негодуя, решились тотчас плыть прямо в Пирей, призвали Алкивиада, сделали его полководцем, велели ему предводительствовать самому и уничтожить власть тираннов. С Алкивиадом не случилось в это время того, что бывает со многими из тех, кто благоприятством народа вдруг делается великим; он не почитал приличным тотчас уступать во всем и нимало не прекословить людям, которые из изгнанника, туда и сюда блуждавшего, сделали его вождем и начальником многих кораблей и сильного войска; но, как прилично великому полководцу, удержал стремление их ярости, воспрепятствовал им совершить ошибку и тем явно спас республику от погибели. Если бы афиняне из Самоса устремились в свой город, то неприятели завладели бы немедленно и без малейшего препятствия Ионией, Геллеспонтом и островами; афиняне стали бы воевать против афинян и войну обратили бы на самый свой город. Алкивиад один всех более удержал их; он не только уговаривал и увещевал весь народ, но употреблял то просьбы, то угрозы против каждого из граждан поодиночке. Ему содействовал во всем Фрасибул из Стирия, который при нем всегда находился и говорил громко к народу, ибо изо всех афинян он был, сказывают, наиболее голосистым.

Другое прекрасное дело Алкивиада было следующее: обещав афинянам либо присоединить к ним финикийские корабли, которых лакедемоняне ожидали к себе по приказанию персидского царя, либо произвести то, чтобы и к лакедемонянам оные не пристали,

он вышел поспешно в море. Корабли показались при Аспенде*; но Тиссаферн не допустил их соединиться и обманул ожидания лакедемонян. Как те, так и другие приписывали Алкивиаду удержание кораблей; лакедемоняне в особенности порицали его за то, что он научил варвара спокойно ждать, пока греки сами от себя погибнут. Не было в том никакого сомнения, что такая сила, пристав к одной стороне, отняла бы у другой владычество над морем.

Вскоре после того уничтожена была в Афинах власть четырехсот правителей, ибо друзья Алкивиада ревностно помогали тем, кто был привержен к стороне народной. Граждане желали, чтобы Алкивиад прибыл в Афины, и звали его; но он решился возвратиться со славой, а не с пустыми руками, ничего великого не произведши, как бы из одной милости и жалости народа. По этой причине он, во-первых, с немногими кораблями плавал к Книду и Косу*. Там узнал он, что Миндар, спартанский предводитель, отправляется со всем флотом в Геллеспонт и что афиняне преследуют его*. Алкивиад поспешил на помощь полководцам их. К счастью, прибыл он к ним с восемнадцатью триерами в то самое время, когда обе стороны, сошедшись при Абидосе* всеми силами, жестоко сражались и, в одной части побеждая, в другой будучи побеждаемы, не переставали биться до вечера. Едва он показался, как в обеих сторонах произвел со всем противные чаяния. Неприятели были ободрены, а афиняне приведены были в смятение. Но Алкивиад, подняв тотчас на главном корабле дружественное знамя, устремился на побеждающих и преследующих пелопоннесцев. Он обратил их в бегство, теснил к берегу и, крепко нападая на них, разбивал их суда, поражал выплывающих на берег воинов, хотя Фарнабаз своей пехотой помогал им и защищал корабли у самого моря. Наконец афиняне поймали тридцать кораблей неприятельских, взяли обратно свои собственные и воздвигли трофей.

После столь блистательного успеха Алкивиад, из честолюбия желая показаться Тиссаферну во всем блеске своего достоинства, приготовил дары и, имея при себе пристойную полководцу услугу, отправился к нему. Однако не был им принят так, как он ожидал. Тиссаферн еще прежде был обвиняем лакедемонянами в измене и, боясь, чтобы тем не навлечь на себя гнева царя, думал, что Алкивиад прибыл к нему вовремя; задержал его, посадил в Сардах в темницу, дабы этой несправедливостью оправдать себя в обвинениях лакедемонян.

По прошествии тридцати дней Алкивиад достал себе коня, неизвестно каким образом обманул стражей и убежал в город Клазомены*. Дабы на Тиссаферна навести еще большее подозрение, он разгласил, что им самим был выпущен из темницы. Он прибыл в афинский стан и, узнав, что Миндар и Фарнабаз находились вместе в Кизике, представлял воинам, что им необходимо должно сразиться и против флота, и против пехоты, и даже против стен неприятельских; что у них не будет ни денег, ни пособий, если всюду не победят. Он посадил войско на корабли и пристал к Проконнесу, где велел малым судам стать в средине больших и всячески стараться о том, чтобы неприятели ниоткуда никакого известия не получили о его приближении. К счастью, внезапно наступившая тогда гроза с дождем и громом и последовавший мрак содействовали его намерению и сокрыли его приготовления от неприятелей. Он обманул не только их, но и самых афинян, которым велел сесть на корабли, когда они того нимало не ожидали, и тотчас пустился в море. Вскоре мрак исчез, и афиняне увидели корабли пелопоннесские, стоявшие на открытом море, перед кизикской пристанью. Алкивиад, боясь, чтобы неприятель не испугался великого числа его кораблей и не ушел на твердую землю, велел предводителям плыть медленнее и несколько отстать; сам же, имея сорок кораблей, явился лакедемонянам и вызвал их к сражению. Они были обмануты его хитростью; пренебрегая малым числом афинян, как бы их не было больше, приблизились к ним и вступили в сражение. Между тем афиняне, оставшиеся назади, спешили к своим на помощь. Неприятель, устрашенный, обратился в бегство. Алкивиад с двадцатью лучшими кораблями прорвался сквозь него, пристал к берегу, высадил войско, напал на бегущих из кораблей и умертвил великое множество. Он победил Миндара и Фарнабаза, которые вышли на помощь неприятелю; Фарнабаз спасся бегством. Великое число мертвых и оружий осталось во власть победителей, которые завладели и всеми кораблями. Они взяли Кизик и по удалении Фарнабаза и поражении пелопоннесцев не только имели во власти своей Геллеспонт, но даже из других морей совершенно выгнали лакедемонян. Перехвачены были тогда же письма, с лаконическою краткостью объявлявшие эфорам о случившемся несчастье в следующих словах: «Все хорошее

пропало. Миндар погиб. Люди голодают. Мы не знаем, что делать».

Ратоборствовавшие с Алкивиадом до того возгордились и возмечтали о себе, что, как непобедимые, почитали для себя низким смешиваться с другими воинами, которые несколько раз были побеждены, ибо незадолго перед тем Фрасилл при Эфесе был разбит, и эфесяны, к стыду афинян, воздвигли медный трофей*. Алкивиадовы воины упрекали тем ратников Фрасилла, превознося себя и своего полководца, и не хотели иметь с ними ни общих упражнений, ни общего стана. Но когда Фарнабаз с великим числом конницы и пехоты при вступлении их во владение абидосцев напал на них, то Алкивиад поспешил к ним на помощь, обратил в бегство неприятеля и гнался за ним вместе с Фрасиллом до самой ночи. С того времени войска соединились, оказывали друг другу приязнь и радостно возвратились вместе в стан. На другой день Алкивиад воздвигнул трофей и начал грабить Фарнабазову область. Никто не осмелился показаться для защищения оной. Он взял в полон нескольких жрецов и жриц, но отпустил их без выкупа.

Готовясь напасть на Халкедон*, жители которого расторгли союз с афинянами и приняли к себе лакедемонского правителя и охранное войско, он узнал, что они собрали со всей области свои стада и отослали оные для хранения к вифинцам, своим союзникам. Алкивиад привел свое войско к пределам вифинцев и послал к ним вестника, который жаловался на сей поступок. Вифинцы, устрашась его, выдали ему стада и заключили с ним союз.

Между тем как обносил Халкедон стеною, простиравшеюся от моря до моря, Фарнабаз пришел с войском и хотел принудить его снять осаду, а Гиппократ, лакедемонский правитель города, собрав всю свою силу, сделал вылазку на афинян, Алкивиад, построившись против них обоих, принудил Фарнабаза со стыдом предаться бегству; побежденный Гиппократ был им умертвлен с великим множеством своих воинов.

По одержании победы Алкивиад отплыл в Геллеспонт и собирал деньги. Он завладел Селимбрией*, нелепым образом подвергши опасности свою жизнь. Те, кто хотел предать ему город, уговорились с ним дать ему знать в полночь зажженным факелом; но, устрашенные скорой переменой одного из своих единомышленников, были принуждены дать знак прежде времени. Знак был дан тогда, когда войско еще не было в готовности. Алкивиад, взяв около тридцати воинов, пошел поспешно к стенам, приказав другим следовать за собою со всевозможной скоростью. Отворены были ему ворота; к тридцати воинам присоединились еще двадцать легковооруженных. Алкивиад вступил в город, но вдруг увидел, что селимбрийцы шли против него с оружием в руках. Он не предвидел никакого спасения и не надеялся устоять против них, но, будучи до того дня непобедимым в военных подвигах, из упрямого честолюбия не хотел предаться бегству. Предписав молчание трубой, приказал одному из своих возвестить, что афиняне не против селимбрийцев поднимают оружие*. Таковое возвещение у одних отняло охоту сражаться, ибо они думали, что уже все афинское войско находится внутри города; другим подавало надежду к скорому примирению. Между тем как они, сошедшись, советовались между собой, прибыло войско к Алкивиаду, который, приметив, что селимбрийцы были склонны к миру, в чем и не ошибался, и боясь, чтобы не ограбили города фракийцы, из которых многие охотно ратоборствовали под его начальством из одной приверженности к нему, всех их выслал из города. Он не сделал никакой обиды селимбрийцам, просившим его снисхождения, но взял с них только деньги* и удалился, оставив в городе охранное войско.

Между тем полководцы, осаждавшие Халкедон, заключили мир с Фарнабазом на следующих условиях: чтобы Фарнабаз заплатил афинянам известное число денег; халкедонцы опять были бы подвластны афинянам; афиняне не беспокоили бы более области Фарнабазовой, а Фарнабаз доставил бы провожатых и безопасность афинским посланникам, отправляющимся к царю. По возвращении Алкивиада Фарнабаз требовал, чтобы и он клятвенно утвердил условия; но Алкивиад отказывался утвердить оные прежде него.

По учинении клятв с обеих сторон он пошел на отпадших византийцев и обнес их город стеною. Анаксилай, Ликург и некоторые другие согласились между собой предать ему город с тем, чтобы оному не было оказано никакого вреда. Алкивиад, со своей стороны распустив слух, будто бы новые беспокойства, возникшие в Ионии, заставляют его снять осаду, днем удалился со всеми кораблями, а ночью опять возвратился, вышел на берег с тяжелой пехотой и спокойно приступил к стенам. Между тем корабли приплыли к пристани и, пробираясь с великим криком

и шумом, привели в изумление византийцев неожиданным нападением, а приверженным к афинянам дали время впустить в город Алкивиада, ибо все граждане обратились к пристани. Однако дело не кончилось без кровопролития. Обретавшиеся в городе пелопоннесцы, беотийцы и мегаряне отразили выходивших из кораблей и принудили вновь сесть на суда; чувствуя же, что афиняне с другой стороны вступили уже в город, собрались в одно место и вместе на них устремлялись. Сражение было кровопролитное; Алкивиад с правым крылом и Ферамен с левым одержали верх. Остальные неприятели в числе трехсот человек были пойманы живыми. После сражения никто из византийцев не был убит или изгнан*, ибо предавшие Алкивиаду город таковое с ним заключили условие, не выговоривши себе собственно никаких выгод. По этой причине Анаксилай, впоследствии будучи в Лакедемоне обвиняем в предательстве, оправдывая себя, не посрамил словами своего дела. Он говорил, что, будучи не лакедемонянином, но византийцем; видя в опасности не Спарту, но Византий, который был осажден и ничего извне не получал; видя, что хлеб, в нем находившийся, ели пелопоннесцы и беотийцы, между тем как византийцы с женами и детьми своими претерпевали голод, решился не выдавать города неприятелям, но избавить его от войны и предстоявших бедствий, подражая в том славнейшим лакедемонянам, которые почитают хорошим и справедливым лишь то, что полезно отечеству. Лакедемоняне, услышав эти слова, уважали оные и освободили мужей.

Алкивиад, желая уже видеть свое отечество и еще более показаться гражданам по одержании таких над неприятелем побед, возвратился в Афины*. Триеры его были украшены вокруг множеством щитов и добычей; он вел за собою много кораблей, взятых у неприятеля, и выставлял украшения еще большего числа судов, побежденных им и потопленных, которых всех было не менее двухсот. Самосец Дурис, почитающийся потомком Алкивиада, прибавляет, что Хрисогон, победитель на Пифийских играх, играл гребцам на флейте песню, а управлял гребцами Каллипид, трагический актер в длинной епанче и в великолепном платье, какое носят во время игры на театре, и что главный корабль вошел в гавань с пурпуровыми парусами – как бы он шел в пьянственном торжестве. Но о том не пишут ни Феопомп, ни Эфор, ни Ксенофонт; да и неприлично было Алкивиаду, возвращающемуся в отечество после изгнания и стольких бедствий, так издеваться над афинянами. Напротив того, он приближался в Афины со страхом и, пристав к берегу, не вышел из триеры прежде чем увидел с палубы Эвриптолема, своего родственника, и многих друзей и знакомых, которые шли к нему навстречу и призывали его. Когда же он вышел, то сограждане, встречающие его, казалось, не видали других полководцев; все бежали к нему; издавали радостные крики, приветствовали его, сопровождали торжественно и, приближаясь, украшали венками; не могшие приблизиться смотрели с удовольствием на него издали; старцы показывали его юношам. Радость граждан была смешана со многими слезами. Настоящее благополучие приводило им на память прежние бедствия; они рассуждали, что покушения их на Сицилию не остались бы безуспешны, что не лишились бы ничего того, что надеялись приобрести, если бы позволили Алкивиаду управлять тогдашними действиями и силами, когда в это время, приняв на себя управление республикою, которая была лишена власти над морем, а на твердой земле едва удерживала свои предместья и была в раздоре сама с собою, он воскресил малые и печальные ее остатки; не только возвратил ей владычество над морем, но и на сухом пути везде явил ее победительницей над неприятелем.

Постановление о его возвращении, писанное Критием*, сыном Каллесхра, было утверждено еще прежде, как сам Критий пишет в «Элегиях» своих, напоминая Алкивиаду о своей услуге следующими словами:

Не я ли предложил тогда народу мнение,
Тебе позволено которым возвращенье?
Печать уст моих на нем положена…

Однако тогда был собран народ. Алкивиад предстал перед ним. Он оплакивал свои несчастья, слегка и умеренно упрекал народ; но более приписывал все злой судьбе своей и враждующему духу. Долго говорил он о надежде граждан и внушил им бодрость. Народ увенчал его золотым венцом и избрал полководцем с неограниченною властью над морскими и сухопутными силами. Определено было возвратить ему имение и чтобы Эвмолпиды и керики

разрешили его от проклятий, которые произнесли на него по приказанию народа. Все это исполнили, а гиерофант Феодор сказал: «Я его и не проклинал, если он не сделал никакого зла республике».

Столь блистательно было счастье Алкивиада! Однако многих беспокоило время приезда его. Он прибыл в Афины в тот самый день, когда отправляются Плинтерии* в честь богинь. Эти таинственные обряды совершаются жрицами, именуемыми праксиэргидами, месяца фаргелиона двадцать пятого числа: они снимают все украшения с кумира богини и закрывают его. По этой причине афиняне почитают этот день злополучнейшим и ничего в нем не предпринимают. Казалось, что богиня, не принимая милостиво и благосклонно Алкивиада, закрывала себя и как бы его от себя удаляла.

Между тем все производилось по желанию Алкивиада; приготовлено уже было сто триер, которым вскоре надлежало отправиться, если бы некоторое благородное честолюбие не удержало его до времени совершения тайн. С тех пор как была укреплена Декелея и неприятели занимали все дороги, ведущие в Элевсин, празднество, отправляемое морем, не имело никакого великолепия, ибо, по необходимости, не производились некоторые жертвоприношения, пляски и многие священные обряды, совершаемые дорогою при выносе Иакха*. Алкивиаду казалось приличным для показания почтения к богам и для получения славы от людей возвратить этим священным действиям древнюю их важность, провожая торжество сухим путем и защищая оное от нападения неприятелей. Он надеялся притом или усмирить и унизить Агиса*, когда бы он спокойно стал смотреть на оное торжество, или, в противном случае, перед лицом отечества, имея всех граждан свидетелями своей храбрости, дать сражение священное и богоугодное в защиту того, что всего выше и святее.

Приняв таковое намерение и объявив о том Эвмолпидам и глашатаям, он поставил на высотах стражей и при наступлении дня выслал вперед нескольких легких воинов. Потом, взяв жрецов, мистов и мистагогов* и окружив оружиями, вел их в торжестве и в безмолвии. Он явил сей военный подвиг зрелищем важным и боголепным, которое не завидующие ему называли гиерофантией и мистагогией. Никто из неприятелей не дерзнул напасть на него; он безопасно провел торжество назад в Афины, отчего сам возгордился духом и возвысил дух воинов своих до того, что они почитали себя непобедимыми под его предводительством. Подлых и бедных в народе очаровал он так, что они изъявляли чрезвычайное желание иметь его верховным властителем; некоторые приступали к нему и явно говорили, побуждая его презреть зависть, уничтожить народные постановления и законы и удалить вздорных говорунов, губящих республику, дабы одному управлять общественными делами и действовать по своей воле, не опасаясь клеветников.

Какие имел он мысли о верховной власти, то неизвестно. Сильнейшие же в республике, боясь его, поспешили выслать из Афин, определили все по его желанию и дали ему в товарищи тех, кого он сам выбрал.

Он вышел с флотом, состоявшим из ста кораблей. Напал на Андрос и победил в сражении и жителей острова, и находившихся на нем лакедемонян; но не взял город. Это было первое из общих обвинений, на него взнесенных его врагами. Если кто-либо низвержен собственной своей славой, то это, конечно, Алкивиад. Она была столь велика и, по причине дел, им произведенных, афиняне имели такое понятие о его смелости и благоразумии, что при всякой неудаче подозревали его в нерадении, не веря, чтобы он не мог чего-либо произвести, думая, что при его старании не было для него ничего невозможного. Они надеялись получить известие, что и хиосцы покорены, и вся Иония во власти их, и для того изъявляли неудовольствие, когда узнавали, что не так скоро и не так легко все производилось, как они хотели. Они не рассуждали, с каким недостатком в деньгах вел он войну против тех, кому все пособия доставляемы были великим царем; по этой причине часто принужден был отплывать и оставлять войско для собирания денег и запасов. На этом-то и основывалось последнее на него взнесенное обвинение. Лисандр, будучи поставлен лакедемонянами начальником флота, давал каждому мореходу вместо трех оболов по четыре, получив от Кира великое количество денег. Алкивиад, который уже едва мог давать своим и по три, отправился в Карию, чтобы собрать деньги. Оставшийся на его месте начальником Антиох, хотя, впрочем, хороший правитель корабля, был безрассуден и хвастлив. Несмотря на предписание Алкивиада не вступать с

лакедемонянами в сражение, хотя бы они к нему приближались, он столько был дерзок, что презрел его приказание, вооружил свою триеру и, взяв еще одну, приплыл к Эфесу. Разъезжая перед неприятельским кораблями, он вызывал их на сражение поступками и словами неблагопристойными и наглыми. Лисандр сперва вышел против него и погнался за ним с немногими кораблями, когда же афиняне поспешили на помощь к своим, то Лисандр устремился на них со всем флотом, победил их, умертвил Антиоха, взял много кораблей и воинов и воздвиг трофей. Когда Алкивиад получил известие о происшедшем, возвратился на Самос, вышел со всеми кораблями и вызвал к сражению Лисандра, который, довольствуясь одержанной победой, не хотел выступить против него.

Между тем Фрасибул, сын Фрасона, один из ненавидевших в стане Алкивиада, отправился в Афины для обвинения его. Возбуждая народ против него, он представлял, что Алкивиад все дело испортил; что он погубил корабли; что во зло употребляет вверенное ему начальство и предает управление войском людям, которые пьянством и свойственным состоянию их сквернословием приобрели все его доверие, дабы ему объезжать на свободе окрестные берега и собирать деньги, ведя жизнь развратную в постыдном пьянстве и в сообществе абидосских и ионийских прелестниц, между тем как неприятели близко от него. Обвиняли его также в построении крепости во Фракии, близ Бисанты*, – убежища себе на случай, если бы не мог или не хотел жить в своем отечестве. Афиняне избрали других полководцев, изъявляя тем свой гнев и неудовольствие на него.

Алкивиад, известившись о том и боясь афинян, оставил афинский стан, собрал нескольких иноплеменных воинов и вел войну сам* с теми фракийцами, которые не управляются царями. Он получил много денег от добычи, а обитавшим в стране сей грекам доставил безопасность от набегов варварских.

Избранные афинянами полководцы Тидей, Менандр и Адимант собрали при Эгоспотамах* все корабли, сколько тогда было у афинян. На рассвете дня они приближались к Лисандру, стоявшему на якоре при Лампасаке, вызывали его к сражению и опять назад возвращались и проводили остаток дня в беспорядке и нерадении, как бы пренебрегая неприятелем. Алкивиад, будучи недалеко оттуда, не оставил сего без внимания. Приехав к полководцам верхом, представлял им, что они невыгодно пристали к местам, не имеющим ни пристани, ни города, но получали издалека, из Сеста, все нужное и давали волю воинам выходить на твердую землю, бродить кому где угодно и всюду рассеиваться, между тем как против них стоит флот, привыкший в безмолвии исполнять приказание одного начальника.

Алкивиад говорил таким образом и советовал полководцам перевести флот свой к Сесту; но они не обращали на его слова никакого внимания. Тидей, один из них, с ругательством велел ему удалиться, говоря, что уже не он, а другие начальствуют. Алкивиад, заметя в них и некоторую склонность к измене, удалился и между тем говорил провожавшим его из стана приятелям своим, что когда бы полководцы не поступили с ним столь нагло, то через несколько дней принудил бы лакедемонян или против воли своей сразиться с ними, или оставить корабли. Некоторым казались слова эти хвастовством; другие их находили вероятными, когда бы он привел довольно фракийских стрелков и конных с твердой земли, стал бы сражаться с лакедемонянами и тем бы привел их стан в расстройство. Вскоре самые дела доказали, что он хорошо познал ошибки афинян. Лисандр напал на них вдруг и неожиданно. Только восемь триер спаслись с Кононом; другие, в числе почти двухсот, достались неприятелю; в плен попались три тысяч воинов, которых Лисандр велел умертвить. Вскоре завладел он Афинами, сжег корабли, срыл длинные стены.

Алкивиад, устрашась лакедемонян, обладавших уже морем и твердой землей, переправился в Вифинию, имея при себе великое богатство и оставив еще большее в своей крепости. В Вифинии лишился он немалой части своего богатства от разбойников фракийских. Это подало ему мысль отправиться к Артаксерксу в надежде, что царь при свидании с ним оценит его не ниже Фемистокла, имея притом благороднейшее к тому побуждение, ибо не та была его цель, чтобы, подобно Фемистоклу, возбудить царя против сограждан своих, но оказать им услугу и просить царской помощи против их неприятелей. Думая, что Фарнабаз доставит ему удобность и безопасность в путешествии, он отправился к нему во Фригию и жил у него, льстя ему и будучи им уважаем.

Афинянам было несносно лишение прежнего их могущества; но когда Лисандр отнял у них самую вольность и город предал во власть тридцати тиранов, когда уже все погибло, тогда приходило им на мысль то, чего они не употребили в то время, пока могли еще спастись; они оплакивали свои бедствия и исчисляли свои ошибки и безрассудства. Самым же большим почитали они последний гнев свой на Алкивиада, который был отвержен ими, хотя не причинил им ни малейшего зла; а они, негодуя на подчиненного, безумно потерявшего немного кораблей, еще безумнее лишили республику храбрейшего и искуснейшего в военных делах полководца.

Однако слабый луч надежды оживлял их в настоящем положении: они думали, что не все погибло, пока Алкивиад еще жив; что он и в первом изгнании не любил жить в бездействии и покое и теперь, если только в состоянии, не снесет надменности лакедемонян, ни несправедливости тридцати тиранов. Небезрассудно, таким образом, мечтал народ, когда и тридцать тиранов не переставали заботиться и расспрашивать тщательно о том, что Алкивиад делал и предпринимал. Наконец, Критий представил Лисандру, что лакедемоняне не могут безопасно начальствовать над Грецией, пока в Афинах народоправление; что хотя афиняне охотно покорятся олигархии, однако же, пока Алкивиад жив, не оставит их в покое при настоящем положении. Лисандр, однако, согласился с этими доводами не прежде как по получении от правителей Спарты скиталы, в которой повелевали ему погубить Алкивиада, или боясь великого и предприимчивого духа сего мужа, или угождая Агису.

Лисандр писал Фарнабазу исполнить приказание Спарты. Этот сатрап препоручил исполнение сего дела Багею, своему брату, и дяде Сузамитре. Алкивиад остановился тогда в некотором местечке во Фригии вместе с гетерой Тимандрой. Ему представилось во сне, что надел платье своей любовницы и что она держала голову его в объятиях своих, убирала его, румянила и белила, как женщину. Другие говорят, что он видел во сне, будто отсек у него голову Багей и что тело его было сожжено. Это сновидение случилось незадолго перед его смертью.

Посланные умертвить его не осмелились войти к нему в дом, но обступили оный и зажгли. Алкивиад, приметив пожар, собрал большую часть платьев и ковров и бросил их в огонь. Обернув левую руку епанчой, а правой держа меч, вырвался невредим сквозь огонь, прежде нежели платье сгорело, и, показавшись варварам, рассеял их. Никто из них не снес его вида; никто не осмелился напасть на него; они отступили и издали бросали на него дротики и стрелы. Он пал; варвары удалились. Тимандра подняла мертвое тело и, обвернувши в свое платье, сколько положение ее позволяло, похоронила великолепным образом*.

Говорят, что дочерью Тимандры была Лаида, прозванная Коринфянкой, которая взята в плен в Гиккарах*, сицилийском городке.

Некоторые писатели, хотя и согласны во всем этом касательно смерти Алкивиада, но только уверяют, что не Фарнабаз и не Лисандр и лакедемоняне были тому причиной, но сам он, обольстив девушку некоторых своих знакомых и держа ее у себя. Братья ее не стерпели обиды, зажгли ночью дом, в котором Алкивиад остановился, и умертвили его, как сказано, когда он выскочил из огня*.

Гай Марций

Патрицианский род Марциев в Риме произвел многих славных мужей. От него произошел Анк Марций*, внук Нумы, царствовавший после Тулла Гостилия. Марциева рода были Публий и Квинт, проведшие в Рим прекрасную воду в большем количестве, и Цензорин, дважды римским народом избранный цензором* и потом сам убедивший его утвердить законом, чтобы впредь никому не было позволено искать дважды цензорского достоинства.

Гай Марций, которого жизнь здесь описывается, потеряв отца, был воспитан вдовой матерью и собой показал, что хотя сиротство сопряжено со многими бедствиями, однако нимало не препятствует сделаться хорошим и отличным человеком, и что люди недостойные ложно и неосновательно жалуются на оное как на причину своей испорченности – за неимением надзора. Равным образом он же утвердил собою мнение тех, кто думает, что лучшие и благороднейшие свойства, не будучи образованы, вместе с хорошим производят много

дурного, подобно плодоносной земле, не обработанной земледельцем с надлежащим старанием. Твердость и неколебимость его души рождали в нем великие и деятельные порывы к славным подвигам; с другой стороны, предавшись неукротимому гневу и непреклонному упорству, был он неприятен в общежитии и не способен примениться к другим. Удивляясь его терпению в трудах, равнодушию к наслаждениям и богатству и называя эти его качества воздержанием, справедливостью, доблестью, не терпели его в гражданских делах как неприятного, ненавистного и властолюбивого. В самом деле, самая большая польза, которую род человеческий приобретает от благосклонности Муз, есть та, что они смягчают словесностью и учением дикую природу; через них она получает умеренность и очищается от всякого излишества.

Вообще в те времена Рим прославлял более всего те добродетели, которые относятся к войне и военным деяниям. Это доказывается тем, что добродетель и храбрость называли римляне одним и тем же именем и что слово, означающее добродетель вообще, было одно и то же с тем, которым называется храбрость в особенности.

Марций, пристрастившись более всякого к военным упражнениям, с самого малолетства начал действовать оружием. Но, почитая приобретенные оружия бесполезными для тех, кто не старается изощрять и усовершенствовать своего природного и врожденного оружия, он приготовил свое тело ко всякому роду сражения и борьбы. Он приобрел привычку бегать с великой легкостью; в схватке и борьбе мог обнаруживать непреодолимую силу. Состязающиеся с ним в твердости духа и храбрости приписывали телесной его крепости, непреоборимой и все труды переносить способной, те преимущества, в которых долженствовали ему уступать.

Будучи еще очень молод, ратоборствовал он в первый раз, когда Тарквиний, царствовавший в Риме, потом сверженный с престола, после многих битв и поражений решился в последний раз испытать свое счастье*. К нему присоединились многие из латинян и других италийцев, которые двинулись против Рима не столько из привязанности своей к Тарквинию, сколько из страха и зависти к возникающему счастью римлян, желая оное ниспровергнуть. В битве, которая с обеих сторон имела различные перемены счастья, Марций, сражаясь с великой смелостью перед глазами диктатора*, увидел римлянина, падшего подле себя; он не оставил его без помощи, но, став пред ним, защищал его и убил устремившегося на него неприятеля. По одержании победы полководец наградил его первого из отличнейших дубовым венком; по закону таковой венок определен тому, кто спасет на войне жизнь гражданина. Это предпочтение оказывается дубу или из уважения к аркадянам, названными прорицалищем желудоедами*, или потому, что дубовый венок, посвященный Зевсу, покровителю городов, есть приличная награда за спасение жизни гражданина. Дуб изо всех диких деревьев дает лучший плод; из домашних это самое крепкое дерево. В древние времена люди получали от него в пищу желуди, в питье – мед. Дуб доставлял им мясо разных животных и птиц, производя клей, – это орудие, столь полезное в охоте.

Уверяют, что в оном сражении показались и Диоскуры и что вскоре после того они были видимы на конях, покрытых потом, на форуме, возвещая победу, на том месте, где теперь, подле источника, стоит их храм. По этой причине этот день, победный в июльских идах, посвящен Диоскурам*.

Кажется, почести и отличия, получаемые молодыми людьми слишком рано, в душах малочестолюбивых вскоре погашают жажду к славе и производят в них пресыщение. Но души высокие и постоянные еще более возбуждаются и воспламеняются почестями, как устремленные вихрем к тому, что кажется им похвальным. Как будто бы не получали награды, но сами давали залог, они стыдятся изменить своей славе и не превзойти ее большими подвигами. Такими чувствами был одушевлен и Марций. Он поставил себя соперником себе самому в великих предприятиях и, желая проявлять себя в новых деяниях, к славным подвигам присоединял славнейшие; к корыстям прибавлял корысти; последние его начальники спорили всегда с прежними в оказывании ему почестей, старались превзойти друг друга засвидетельствованием о его храбрости. В тогдашнее время римляне вели частые войны и давали многие сражения; Марция ни с одного не возвращался, не получив венка, или иной какой-нибудь награды. Цель храбрости других юношей была слава; цель славы Марция – материнская радость; чтобы мать слышала, как его хвалили, видела, как его венчали, и

обнимала его с радостными слезами, это было для него величайшей славой, верховным блаженством. В подобных чувствах признавался, конечно, и Эпаминонд; он почитал величайшим для себя счастьем то, что его отец и мать были еще живы, видели его поход и победу, одержанную им при Левктрах. Эпаминонд наслаждался тем счастьем, что отец и мать разделяли с ним его радости и благополучие. Но Марций, почитая себя обязанным оказывать матери благодарность, которую должен был отцу, не мог насытиться, производя в ней радость и оказывая ей почтение. Он женился по ее просьбе и желанию и, прижив детей, жил всегда с матерью в одном доме*.

Он имел уже в Риме великую славу и силу по причине храбрости своей, когда сенат, защищая богатых, был в раздоре с народом, который, казалось, претерпевал от заимодавцев жестокие притеснения. Те, кто имел какое-нибудь состояние, лишались всего закладами и публичной продажей; совершенно же не имеющие были сами влекомы и заключаемы в темницы, несмотря на раны их и труды, за отечество понесенные в походах; особенно в последнем походе против сабинян. Богатые тогда обещались умерить свои требования от народа, и сенат определил, чтобы Маний Валерий*, диктатор, поручился в том. Народ сражался с отличной храбростью и победил неприятеля. Но заимодавцы не сделались мягкосерднее в своих изысканиях, а сенат притворялся, что забыл данное обещание и не обращал никакого внимания к должникам, которых заимодавцы влекли в темницы или держали вместо залога. В городе происходили жестокие беспокойства и мятежи. Неприятели республики, от которых не укрылся раздор народа, вступили в римскую область и опустошали ее огнем и мечом. Консулы призывали к оружию взрослых молодых людей, но никто не повиновался. Мнения правителей вновь разделились; одни думали, что должно уступить бедным и смягчить в рассуждении их такое жестокосердие и суровость; другие тому противоречили. В числе последних был и Марций; хотя он не полагал великой важности в деньгах, однако советовал сенаторам, если они благоразумны, укротить при самом начале и при первых покушениях надменность и дерзость народа, восстающего против законов.

Сенат по сему случаю много раз собирался за короткое время, но ничего не решил. Вдруг собрались бедные и, увещевая друг друга, оставили город; заняв гору, называемую ныне Священной, стали они при реке Аниена. Они не производили никакого насилия и мятежа, но только кричали, что давно изгнаны из города богатыми; что Италия везде доставит им воздух, воду и место для погребения; что, живши в Риме и сражаясь за богатых, они более ничего не получали, кроме ран и смерти. Сенат, от того устрашенный, выслал к ним снисходительнейших и более приверженных к народу старцев*. Менений Агриппа первый начал говорить, просил народ, защищал смело сенат и кончил речь следующей известной басней: все части человеческого тела возмутились однажды против желудка и обвиняли его в том, что он один в теле находился без дела, ничего не платя, между тем как они, для удовлетворения его прихотей, работают и претерпевают великие хлопоты. Желудок смеялся их глупости и незнанию того, что, хотя он в себя принимает всю пищу, но возвращает ее назад и распределяет между остальными. «Таков и сенат в отношении к вам, граждане, – продолжал он, – дела и предприятия, с надлежащим благоразумием им управляемые, наделяют вас всем тем, что нужно и полезно».

Речь эта склонила народ к примирению. Он требовал от сената позволения избрать предстателями для беспомощных граждан пять человек, которых теперь называют народными трибунами*. Сенат на то согласился. Народ избрал первыми трибунами тех, кто был его предводителями в том возмущении, Юния Брута* и Сициния Беллута. По прекращении раздора народ тотчас принялся за оружие и охотно следовал за своими начальниками на войну. Марций, будучи недоволен возрастающей силой народа и уступкой аристократов и зная притом, что многие патриции были одного с ним мнения, увещевал их не уступать народу в трудах, за отечество предприемлемых, и более храбростью, нежели могуществом, отличаться перед народом.

В то время римляне вели войну против вольсков, которых знатнейший город был Кориолы. Консул Коминий окружил его войском. Другие вольски, боясь, чтобы город не был взят римлянами, отовсюду спешили к нему на помощь, дабы под его стенами дать сражение и напасть на римлян с двух сторон. Коминий разделил свое войско; сам пошел навстречу

вольскам, на него наступившим извне; а Тита Ларция, храбрейшего из римлян, оставил при осаде. Кориолане, пренебрегши этим оставшимся войском, сделали вылазку и, сражаясь, сначала побеждали и гнали римлян в окопы; но Марций с небольшим числом воинов вышел из стана, поразил первых вольсков, вступивших с ним в бой, других стремление остановил и громогласно призывал римлян возвратиться к сражению. Он имел все то, чего требует Катон от воина; руку крепкую, удар тяжелый, голос и вид лица, страшные и нестерпимые для неприятеля. Многие воины собирались, толпились вокруг него; устрашенные неприятели отступали; но Марций, не довольствуясь этим, погнался за ними и преследовал их до самых ворот города, когда они бежали уже опрометью. Здесь, видя, что римляне удерживаются от погони, ибо стрелы сыпались со стен на них градом, а ворваться вместе с бегущими в город, наполненный храбрыми воинами и держащими в руках оружие, никто не дерзал, – Марций остановился, просил и ободрял их, крича, что город отворен, по счастью, более для преследующих, нежели для бегущих. Не многие хотели за ним последовать; Марций, пробравшись сквозь неприятелей, бросился в ворота и ворвался в город вместе с жителями. Сперва никто не смел противиться ему или устоять против него; но после, видя, что внутри города римлян было не много, кориолане стекались на помощь к своим и сражались с неприятелем. Тогда-то, говорят, Марций среди смешанной толпы своих сограждан и неприятелей оказал в самом городе невероятную храбрость крепостью руки, быстротой ног и смелостью духа; все ниспровергал, на что ни устремлялся; одних прогнал на край города, других принудил сложить оружие и сдаться и тем дал время Ларцию, из стана ведущему войско, вступить в город.

Таким образом, город Кориолы был взят, большая часть воинов занялась расхищением и грабежом. Марций негодовал, кричал, называл недостойным делом, что воины грабили и расхищали город в то самое время, когда, может быть, консул и при нем находящиеся граждане где-нибудь вступают в бой и сражаются с неприятелем. Однако не многие ему внимали. Марций, взяв с собою тех, кто охотно хотел следовать за ним, шел той дорогой, которой, казалось ему, шло войско. Между тем он то ободрял воинов и просил не ослабевать духом, то молил богов, чтобы ему не опоздать, но прийти вовремя, дабы сразиться и разделить опасности вместе со своими согражданами.

Римляне в то время имели обыкновение, встав в строй и готовясь взяться за оружие, препоясать тогу, делать завещания изустные при трех или четырех свидетелях и назначать по себе наследника. Марций застал уже войско в таком занятии в виду неприятеля. Сначала некоторые приведены были в смятение, видя, что он, покрытый потом и кровью, шел с малым числом воинов. Когда же он прибежал к консулу в чрезмерной радости, простер к нему руку, возвестил о взятии города и Коминий обнял и облобызал его; когда одни узнали о сем великом подвиге, другие о том догадывались, то получили новую бодрость и с шумом требовали, чтобы их вели против неприятеля. Марций спросил Коминия, как расположены неприятельские силы и где стоят лучшие их войска. Консул отвечал, что, как ему кажется, средние полки состоят из антийцев, народа воинственного и никому в храбрости не уступающего. «Итак, прошу тебя, – отвечал тогда Марций, – поставь нас против этих самых воинов». Консул исполнил его желание, удивляясь такому рвению. При первом ударе копьями Марций устремился впереди всех с такой силой, что против него стоявшие вольски не выдержали такого нападения. Он разорял ту часть строя, на которую ударил. Но неприятели обратились с обеих сторон и обошли его. Консул, заботясь о жизни его, отрядил к нему на помощь отборнейших своих воинов. Битва вокруг Марция была самая жестокая; в короткое время пало с обеих сторон великое число воинов. Римляне, сильно нападая, теснили неприятелей, обратили в бегство и погнались за ним, прося ослабшего от ран и трудов Марция удалиться в стан. Но он сказал им: «Побеждающие не могут уставать» – и преследовал бегущих. Неприятельское войско было разбито и в других местах; число убитых и взятых в плен было велико.

На другой день Ларций пришел к консулу, вокруг которого собралось все войско; тогда Коминий, взойдя на трибуну и воздав должную богам благодарность за столь великую победу, обратился к Марцию. Во-первых, он превознес его удивительными похвалами, ибо иных из его деяний был в сражении сам свидетелем, о других свидетельствовал Ларций. Потом велел ему из великого числа людей и лошадей, взятых у неприятеля, выбрать себе десятую долю, прежде

нежели добыча разделена будет между воинами. Сверх того он подарил ему за отличие богато убранного коня. Римляне одобрили решение консула. Марций выступил вперед и говорил, что приемлет коня и радуется, заслужив такую похвалу начальника; но что, почитая все прочее более платой, нежели почестью, отказывается от того, довольствуясь равной с другими частью. «Одной только милости прошу у тебя, – продолжал Марций, – и неотступно требую. Среди вольсков был у меня знакомый и друг, человек добрый и честный. Он попался ныне в плен и из богатого и счастливого сделался невольником. Из стольких зол, его угнетающих, по крайней мере избавьте от одного – от продажи». В ответ на эту речь войско наполнило воздух громкими восклицаниями. Более было таких, которые удивлялись его бескорыстию, нежели великой храбрости в сражениях. Даже питавшие некоторую ревность и зависть за оказываемые ему отличия почести, находили его достойным большей награды за то, что он не принял ничего; они более уважали добродетель, пренебрегшую богатством, нежели заслужившую оное. В самом деле, славнее хорошо употреблять богатство, нежели хорошо действовать оружием, и выше самого лучшего употребления богатства то, чтобы не иметь в нем нужды.

Когда крики и шум воинов прекратились, то Коминий начал опять говорить: «Соратники! Вы не можете принудить Марция принять даров, которых он не хочет и не приемлет; но мы дадим ему награду, которой он отвергнуть не может. Определим, чтобы он назывался Кориоланом, если самый его подвиг уже прежде нас не дал ему этого прозвища». С тех пор Марций назывался третьим именем – Кориолан. Отсюда ясно видно, что его собственное имя было Гай; второе, Марций, было общее семейству, или роду; третье, которое он после принял, знаменует или подвиг, или вид, или счастье, или отличные свойства. Так и у греков давались прозвания по деяниям, как-то: Сотер (спаситель), Каллиник (победитель); по виду: Фискон, Грип (востроносый); по добродетели: Эвергет (благодетель), Филадельф (братолюб); по счастью: Эвдемон (благополучный) (так назван второй из Баттов). Некоторым государям даны прозвания на смех: Антигон Досон, Птолемей Лафир (горох)*. Такого рода прозвания более еще в употреблении у римлян. Они назвали Диадематом, то есть носящим диадему, одного из Метеллов, который долгое время по причине раны ходил с перевязанной головой. Другого назвали Целером, то есть «скорым», за то, что после смерти отца своего поспешил почтить погребение его зрелищем гладиаторов, так что скорости и поспешности сего приготовления все удивились. Некоторым и поныне дают прозвания по случаю рождения. Родившегося в отсутствие отца называют Проклом; по смерти отца – Постумом. Близнеца, пережившего своего брата, называют Вописком. Также дают прозвания по телесным недостаткам. Не только называют Суллой (рябым), Нигром (черным), Руфом (рыжим), но еще Цеком (слепым) и Клодием (хромым). Этим они благоразумно научают не почитать стыдом или бесчестием ни слепоты, ни другого телесного недостатка, но слышать оные равнодушно, как собственные имена. Однако это принадлежит к другому роду сочинений.

По окончании войны демагоги вскоре возобновили беспокойства. Они не имели к тому никакой новой причины или справедливого предлога, но только приписывали патрициям бедствия, которые были необходимым следствием прежних мятежей их и раздоров. Большая часть земли осталась незасеянной и необработанной, а во время войны обстоятельства не позволили запастись хлебом из чужой страны*. Недостаток был весьма чувствителен. Трибуны, видя, что не было хлеба в продаже, да хотя и был, народ не имел денег, чтобы купить его, рассеивали вредные слухи и клеветы на богатых, будто бы они были причиной голода в народе по злобе своей к нему.

Между тем прибыло посольство от велитрийцев*, которые предлагали предать римлянам свой город и просили, чтобы к ним отправлены были поселенцы, ибо зараза истребила столь много людей, что едва оставалась десятая часть из всего народа. Благоразумнейшие в республике думали, что к счастью их и кстати случилось у велитрийцев такая нужда, ибо по недостатку в хлебе потребно было городу облегчение; притом надеялись они, что укротится раздор, если город очистится от беспокойной и вместе с демагогами бунтующей толпы, как от излишних вредных и заразительных соков. Консулы записывали таковых граждан и назначали к переселению; других готовились послать в поход против вольсков, желая укротить междоусобные мятежи и надеясь, что бедные и богатые, простолюдины и патриции, принявшись за оружие, имея один стан, подвергаясь общим опасностям, сделаются спокойнее и

одни к другим будут благосклоннее.

Но трибуны Сициний и Брут восстали против такого решения; они кричали, что консулы дело самое жестокое называют приятным именем переселения; что бедных людей ввергают как бы в бездну, посылая их в город, зараженный чумой и наполненный непогребенными телами, дабы жить вместе с чужим, враждебным духом; и не довольствуясь тем, что одних губят голодом, других предают чуме, они еще возбуждают против них войну произвольную, дабы гражданам не недоставало никакого бедствия за то, что не хотели более рабствовать богатым. При таких словах возмущенный народ не хотел идти на войну и оказывал отвращение от переселения.

Сенат был в недоумении. Марций, исполненный уже надменности, вознесенный духом и привлекая к себе уважение отличнейших мужей, более всех восставал против народных возмутителей. Те, кому по жребию досталось идти на поселение, были принуждены выступить из города посредством строгих наказаний. Но другая часть народа совершенно отреклась от похода. Тогда Марций, взяв с собой своих клиентов и сколько мог других, вторгся во владения антийцев. Он нашел великое количество хлеба и пшена и получил в добычу много людей и скота. Себе ничего из того не оставил, но привел обратно в Рим воинов своих, обремененных добычей. Другие раскаивались, завидовали обогатившимся в походе, досадовали на Марция и не терпели его силы и славы, как возрастающих к вреду народа.

По прошествии краткого времени Марций домогался консульства. Большая часть граждан склонялась на его требование. Народ стыдился обидеть отказом мужа, первого по роду и храбрости, и унизить его после стольких заслуг. В тогдашнее время было в обыкновении, чтобы домогающиеся власти просили и брали за руку граждан, ходя по площади в тоге, без нижней одежды (туники), или для того, чтобы придать себе более смиренный вид, или для показания рубцов от ран, у кого оные были, как явных знаков своей храбрости. Народ хотел, чтобы проситель был не опоясан и без туники не потому, что он мог его подозревать в раздаче денег и покупке голосов. Таковая продажа и покупка обнаружились в народе только в позднейшие времена, и деньги в Народном собрании стали иметь влияние на подачу голосов. Дароприятие от площади проникло в суды и станы и превратило народоправление в единоначалие, поработивши оружие деньгами. Итак, справедливо рассуждал тот, кто сказал, что первый погубил свободу народа, тот кто первый угощал его и раздавал ему деньги. Кажется, это зло вкрадывалось неприметно и мало-помалу и не вдруг сделалось в Риме явным. Нам не известен тот, кто первый в Риме подкупил судей или народ. Но в Афинах первый, подкупивший деньгами судей, был Анит*, сын Антемиона, судимый за предательство Пилоса перед окончанием Пелопоннесской войны, когда еще золотой и неиспорченный век царствовал на римском форуме.

Марций показывал народу многие раны, полученные им во многих сражениях, в которых он отличился, бывши семнадцать лет беспрестанно в походах. Граждане, уважая его храбрость, давали друг другу слово избрать его консулом. Когда настал день, в который надлежало подать голоса, Марций пришел в Собрание торжественно, сопровождаемый сенатом. Все патриции, окружавшие его, явно показывали, что никогда ни о ком они столько не прилагали старания. Это обстоятельство лишило его благосклонности народа, которого любовь превратилась в зависть и вражду. К этим чувствам присоединилось еще третье – страх, чтобы муж сей, так приверженный к аристократии, столь много уважаемый патрициями, приняв в руки консульскую власть, не отнял совершенно вольности у народа. Рассуждая таким образом, граждане отвергнули Марция и избрали консулами других.

Все это было неприятно сенату, который почитал более оскорбленным себя, нежели Марция. Сам Марций был чрезвычайно огорчен сим случаем и не мог того перенести равнодушно, ибо он более всего предавался гневу и упорству души, как свойствам, имеющим в себе величие и высокость; твердость его не была посредством учения и образования соединена с кротостью – в чем преимущественно состоит гражданская добродетель; он не знал, что тот, кто имеет дело с людьми и занимается общественными делами, должен более всего избегать упрямства, по словам Платона, спутника уединения*; что надлежит ему любить терпеливость, столь много некоторыми осмеиваемую. Но Марций, будучи всегда суров и непреклонен; думая, что побеждать и превозмогать все и во всяком случае есть дело мужества, а не слабости,

которая в болезнующей и страждущей душе производит гнев, как некоторую опухоль, – удалился от Собрания в великом негодовании и злобе против народа. Молодые патриции и все те, кто в городе гордился благородством своим и всегда показывал сему мужу чрезвычайную приверженность, в то время к вреду его к нему присоединялись; печалясь с ним и принимая участие в его неудовольствии, еще более воспламеняли его гнев. В походах был он их вождем и в военном искусстве снисходительным наставником; он умел производить в них соревнование в славных делах, не возбуждая зависти одного к другому.

В это время получено в Риме великое количество пшеницы, частью купленной в Италии, частью же посланной из Сиракуз в подарок республике от царя Гелона. Большая часть граждан льстились надеждой, что вместе с недостатком хлеба пресекутся и раздоры, возмущавшие республику. Сенаторы собрались для совещания. Народ обступил сенат и ожидал окончания дела, надеясь, что хлеб продан будет за умеренную цену и что он без платы получит то, что прислано в подарок от Гелона, как и в самом сенате многие думали. Тогда Марций встал и сильно говорил против угождающих народу; он называл их демагогами и предателями аристократии, утверждая, что они питали против себя самих посеянные в народе пагубные семена наглости и надменности, которые благоразумие требовало бы подавить при самом зародыше, не позволяя народу усилиться полученной властью; что он уже страшен и потому, что получает все, чего хочет; не делает ничего против своей воли; не повинуется консулам, но, пребывая в безначалии, называет начальниками собственных своих предводителей. «Если вы, – говорил он, – будете советоваться о раздаче народу хлеба, как в греческих совершенно демократически управляемых городах, то вы будете тем самым питать, к общей погибели, его непокорность. Граждане не скажут, что получают хлеб за походы, в которые они отреклись идти; за возмущение, которым предали свое отечество; за клеветы на сенат, которые охотно слушают; но, мечтая, что мы уступаем им из робости, что даем все из лести, они никогда не ограничат своей непокорности и не перестанут производить мятежи и беспокойства. Не безрассудно ли поступать таким образом? Если мы благоразумны, то должны отнять у них трибунат, ниспровергающий консульство, поселяющий раздор в республике, которая уже не одна, как была прежде, но претерпевает разрыв, не допускающий нас ни соединиться, ни мыслить одно, ни перестать страдать внутренней болезнью и быть терзаемыми друг другом».

Марций долго еще говорил в том же духе, молодые люди и почти все богачи восторженно кричали, что в республике он один непобедим и чужд лести. Однако некоторые из старейших противоречили ему, боясь последствий. В самом деле, ничего хорошего не воспоследовало. Присутствующие в сенате трибуны*, видя, что Марциево мнение превозмогло, выбежали с великим криком к народу, повелевая ему собираться и помогать им. Граждане собрались с шумом; трибуны объявили им речи Марция; народ, воспалясь яростью, едва не ворвался в сенат. Трибуны обвиняли во всем одного Марция и послали взять его с тем, чтобы он оправдал себя; но Марций выгнал с ругательством присланных служителей. Тогда трибуны сами пришли к нему с эдилами*, чтобы насильно взять его. Уже налагали на него руки; но патриции, соединившись, отразили трибунов и побили эдилов. Наступающий вечер прекратил смятение.

На рассвете следующего дня консулы, видя, что народ свирепствовал и стекался отовсюду на площадь, страшась о судьбе города, собрали сенат. Они предлагали рассмотреть, какими умеренными представлениями и полезными постановлениями можно было бы укротить и успокоить народ; говорили, что теперь не время спорить о честолюбии, состязаться о достоинстве; что обстоятельства опасны и требуют управления благоразумного и снисходительного. Большая часть на то согласилась. Консулы предстали пред народом, говорили ему со всей кротостью и старались его успокоить; они отвергали с умеренностью клеветы, употребляли наставления и выговоры не жестокие, уверяя, что в цене и покупке хлеба между сенатом и народом не будет разногласия.

Народ большей частью уступал им. Тишина и спокойствие, с которыми слушал их, явно доказывали, что он был доволен и что речи консулов были ему приятны. Тогда восстали трибуны; они говорили, что народ будет повиноваться благоразумию сената во всем хорошем и полезном; но требовали, чтобы Марций оправдался. Не к ниспровержению ли правления и уничтожению народной свободы, говорили они, возбуждал он сенат и не повиновался, когда мы его призывали? Наконец, ударив и обругав на площади эдилов, не хотел ли он, сколько от него

зависело, произвести междоусобную войну и заставить граждан поднять друг на друга оружие? Они говорили таким образом, желая или унизить Марция, когда бы он стал, вопреки своей гордости, льстить народу, или когда бы он последовал влечению своих природных свойств, то сделать против него неукротимым гнев сограждан. Они более надеялись последнего, зная хорошо его качества.

Марций предстал как будто бы для оправдания себя. Народ умолк и успокоился; все ожидали, что Марций будет просить у народа извинения. Когда ж он начал говорить не только с неприятной вольностью и с обвинениями, превышающими самую сию вольность; но звуком голоса и видом лица показывая неустрашимость, столь близкую к небрежению и презрению, то народ ожесточился, явно показывал свое неудовольствие и не мог удержать своего негодования. Сициний, самый наглый из трибунов, поговорив несколько с товарищами своими, объявил пред народом, что трибуны осуждают Марция на смерть, и тотчас приказал эдилам привести его на вершину Тарпейской скалы и с оной немедленно низвергнуть его в пропасть. Эдилы хотели уже его взять. Такой поступок показался ужасным и наглым самому народу. Патриции в исступлении и в ужасе бросились с криком на помощь Марцию. Одни удерживали желавших захватить его и стерегли, составив круг около него; другие, простирая руки, упрашивали тем народ, ибо слова и голос были бесполезны при таком бесчинстве и мятеже. Наконец приятели и родственники трибунов, рассудив, что без великого убийства патрициев невозможно отнять у них и наказать Марция, уговорили их смягчить странность и жестокость этого наказания, не убивать его насильственно и без суда, но предать суду народа. Сициний, сделавшись спокойнее, спрашивал у патрициев: «По какой причине отнимаете вы Марция у народа, хотящего его наказать?» Патриции, напротив того, спрашивали: «С каким намерением и по какой причине хотите вы без суда предать наказанию беззаконному и жестокому одного из знаменитейших граждан римских?» – «Не полагайте это предлогом для ваших раздоров и разногласий с народом, – отвечал Сициний, – вашему требованию народ уступает; гражданина этого будут судить. Тебе же, Марций, – продолжал он, – объявляем: в третье Народное собрание предстать перед народом и убедить в своей невинности граждан, которые произведут над тобой суд».

Патрициям было то приятно; они разошлись с удовольствием, взяв с собой Марция. В продолжение до третьего Народного собрания (которое бывает у римлян каждый девятый день и называется нундинами) случившийся поход против антийцев* подавал патрициям надежду к отсрочке. Они думали, что война будет продолжительна, что между тем народ укротится и ярость его утихнет или даже совсем погаснет среди военных занятий. Но с антийцами скоро был заключен мир, и граждане возвратились в город. Патриции, будучи в страхе, много раз собирались и советовались между собой, каким бы образом не предавать Марция, а трибунам не подать повода возмутить народ. Аппий Клавдий, известный по своей великой ненависти к плебеям, говорил в сильных выражениях, что они уничтожат сенат и совершенно предадут республику, если допустят народ господствовать в подаче голосов против патрициев. Но старейшие и более приверженные к народу, напротив того, утверждали, что народ от уступаемого ему права не будет жесток, но кроток и снисходителен; что он не презирает сенат, но, почитая себя презираемым от него, приимет суд сей за честь и утешение, ему изъявляемое, и что с позволением подавать голоса свои он оставит весь свой гнев.

Марций, видя, что сенат находится в недоумении между благосклонностью к нему и страхом к народу, спросил трибунов, в чем обвиняют его и за что представляют его суду народа. Они отвечали, что обвиняют его в искании самодержавной власти и докажут, что он промышляет о достижении оной. Услышав это, Марций встал и заявил, что уже он сам предстанет пред народом для своего оправдания; что не откажется ни от какого суда и, если будет изобличен, – от любого наказания. «Но только в этом обвините меня, – продолжал он, – и не обманите сенат!» Они обещали и с этим уговором начали производить суд.

Народ уже собрался, и трибуны, во-первых, насильственно произвели то, что голоса были подаваемы не по центуриям, а по трибам; дабы бедный, беспокойный, ни о чем похвальном не помышляющий народ имел перевес над богатыми, знатными и военными*. Потом, оставя обвинение в искании верховной власти*, которого доказать не могли, опять они стали напоминать о том, что прежде говорил Марций в сенате, не допуская продавать дешевле хлеба

и советуя уничтожить народное трибунство. Они выдумали еще новое обвинение – раздел выбранной в Антийской области добычи, которую он не внес в общественную казну, но роздал между теми, которые с ним были в походе. Это обвинение более всего смутило Марция, ибо он не был к тому предуготовлен и не мог тотчас прилично отвечать. Он начал хвалить тех, кто провожал его в походе, отчего зашумели те, кто за ним тогда не последовал и которых было гораздо больше. Наконец, трибы стали подавать голоса. Осудивших было три; он был приговорен на вечное изгнание*.

По объявлении решения народ разошелся с такою гордостью и радостью, каких не оказывал никогда по одержании победы над неприятелем. Сенат был погружен в горесть и уныние; он раскаивался и жалел, что не решился испытать все средства и все претерпеть, прежде нежели допустить народ ругаться над собой и обнаруживать такую власть. Не было нужды в то время в одежде или других знаках, чтобы распознать патриция и простолюдина; радующийся был простолюдин, печалящийся – патриций.

Лишь один Марций, непоколебимый, не униженный, с твердым видом, лицом и поступью, между всеми жалеющими о нем, сам о себе не жалел, не был тронут. Но это не происходило от силы рассудка, или кротости сердца, или от того, чтобы он терпеливо сносил происшедшее, но от того, что предался ярости и негодованию. Многие не ведают того, что это состояние души есть печаль. Когда она, как бы воспалившись, превратится в гнев, то теряет свою слабость и недеятельность. От этого то разгневанный кажется деятельным, так, как больной горячкой – огненным, потому что душа его воспалена, напряжена и приведена в волнение. Такое состояние души Марций тогда же обнаружил своими поступками. Он пришел домой, обнял мать и жену, плачущих и рыдающих, увещевал их сносить терпеливо случившееся* и тотчас удалился, направил стопы свои к городским воротам, куда все почти патриции провожали его. Он ничего с собой не взял, ничего ни у кого не просил; вышел из Рима, имея при себе трех из своих клиентов. Несколько дней провел он один в поместьях своих, волнуемый разными мыслями, какие внушала ему ярость. Она не вела его ни к чему хорошему и полезному; но устремляла единственно к тому, чтобы наказать римлян и возбудить против них жестокую войну, с каким-либо из соседственных народов. Он решился прежде испытать вольсков, ведая о богатстве их и крепости войск и полагая, что прежние их поражения не столько уменьшили их силы, сколько умножили ревность их и ярость против римлян.

Среди вольсков в то время имел власть почти царскую, по причине богатства, храбрости и знатного рода своего, некто по имени Тулл Аттий. Марций знал, что Тулл ненавидел его более всякого другого римлянина. Много раз в сражениях, грозя один другому, вызывали к бою друг друга, как обыкновенно бывает у молодых воинов, одушевленных славолюбием и соревнованием; к народной вражде они еще присоединили один к другому вражду частную. При всем том Марций приметил в Тулле некоторую высокость духа; знал также, что Тулл более всех вольсков желает сделать римлянам зло и ищет к тому случая. Марций подтвердил мнение того, кто сказал:

> Как трудно укротить свой гнев! Он жизнью покупает то, чего желает!

Он надел платье, в котором нельзя было его узнать, и, подобно Одиссею, по словам Гомера:

> Вступил во град мужей враждебных*.

Это было вечером; многие встречались с ним, но никто его не узнал. Он пошел прямо в дом Тулла и, вступив в оный, вдруг сел спокойно у очага*, покрыл голову и был в безмолвии. Домашние тому удивлялись, но не смели заставить его встать, ибо в его виде и в самом молчании видно было некоторое величие. Они возвестили о странном случае Туллу, который тогда ужинал. Тулл встал, пошел к нему и спросил у него, кто он и чего хочет. Тогда Марций открыл голову и, несколько помолчав, сказал: «Тулл! Если ты еще не узнаешь меня и, видя меня, не веришь глазам своим, то мне должно быть самому на себя доносчиком. Я Гай Марций,

вольскам столь много зла причинивший и носящий название, не позволяющее мне от него отрекаться, – название Кориолана. За все свои труды и опасности я не приобрел другой награды, как это имя, знаменующее мою к вам ненависть, и оно одно остается у меня неотъемлемым. Все прочее я потерял по причине зависти и гордости народа, робости и предательства управляющих и мне равных. Я изгнан; прибегаю как умоляющий к твоему домашнему жертвеннику не ради безопасности, не ради спасения жизни своей – для чего бы идти сюда, если бы боялся смерти? – но для наказания гонителей моих; я уже наказываю их тем самым, что тебя делаю над собой начальником. Если ты столько смел, что можешь предпринять что-либо против неприятелей, великодушный человек, воспользуйся моими напастями! Сделай мое несчастье общим благом для вольсков. Я буду воевать в пользу вашу с большим успехом, нежели против вас: несравненно лучше ведет войну тот, кому известно, что происходит у неприятелей, нежели тот, кто этого совсем не знает. Но если ты не осмеливаешься начать войну, я не хочу более жить, и тебе неприлично спасать человека, издавна тебе враждебного, а теперь для тебя ненужного и бесполезного».

Тулл, услыша такие слова, чрезвычайно был обрадован. Он простер к нему руку, говоря: «Встань, Марций, и ободрись! Великое для нас счастье то, что ты к нам пришел и предал себя! Надейся большей помощи от вольсков». После того дружески угостил Марция; в следующие дни они советовались о войне между собой.

В то самое время неудовольствие патрициев к народу, происходившее особенно от осуждения Марция, возмущало Рим. Прорицатели, жрецы и частные лица говорили о предзнаменованиях, достойных особенного внимания. Одно из таковых было и следующее. Некто по имени Тит Латиний, человек незнатный, провождавший спокойную и честную жизнь, нимало не преданный суеверию, а еще менее тщеславию, видел во сне, будто Юпитер явился ему и велел сказать сенату, что послали ему пред священным шествием дурного и весьма неприятного плясуна. Тит, как сам говорил, в первый раз не обратил большого внимания на это видение. Когда же он оставил оное без уважения в другой и третий раз, то увидел смерть достойного любви сына, и собственное его тело так вдруг ослабло, что он не мог им более владеть. Он объявил о том сенату, будучи принесен туда на носилках. Как скоро все рассказал, то, говорят, почувствовал он возобновляющуюся крепость своего тела, встал и самостоятельно пошел домой.

Сенаторы были поражены и учинили великие разыскания в этом деле. Вот в чем оно состояло. Некто предал своего невольника другим невольникам с приказанием гнать его бичом через всю площадь, потом умертвить. Они исполнили его приказание и били несчастного, который между тем от боли вертелся, кривлялся и делал движения, обнаруживавшие претерпеваемые им муки. По случаю следовало за ними священное торжество. Многие из присутствующих показывали свое неудовольствие, не видя приятного лица и приличных торжеству движений; однако никто не воспрепятствовал мучителям бить его; только бранили и проклинали того, кто столь жестокое предписал наказание. В то время господа обходились весьма милостиво с рабами своими, ибо сами работали и сходство в образе жизни делало их ласковее к ним и снисходительнее. Самое большое наказание для провинившегося раба было то, чтобы заставить его поднять ту часть телеги, на которую опирается дышло, и ходить с нею по околотку. К рабу, наказанному таким образом перед глазами товарищей и соседей, никто не имел более никакого доверия; его называли фуркифером; «фурка» у римлян значит «подпорка» или «вилы».

Когда Латиний возвестил видение и сенаторы не могли понять, кто был этот неприятный и дурной плясун, предшествовавший торжеству, то некоторые вспомнили, по причине странности приключения, о наказании того невольника, которого били бичами, гоня через площадь, потом умертвили. Жрецы были согласны с таким мнением; господин невольника был наказан; торжественное шествие и зрелище вновь были совершаемы.

Нума, столь мудрый учредитель священных обрядов, для утверждения богопочитания между прочим сделал и следующее прекрасное постановление. Когда правители или жрецы совершают что-либо священное, то вестник предшествует им и кричит громким голосом: «Хок аге!», то есть «Делай это!». Этим он повелевает обращать все внимание на священное действие, не прерывая оного никаким посторонним делом или занятием, ибо он знал, что большая часть

человеческих деяний происходит по принуждению и необходимости. У римлян есть обычай – не только по такой важной причине, но и по самой малозначащей – возобновлять жертвоприношения, священные шествия и зрелища. Некогда один из коней, везших так называемые тенсы*, или священные ложа, споткнулся или возница взял узду в левую руку; по одной из этих причин определили начать шествие в другой раз. В последние времена одно жертвоприношение тридцать раз было начинаемо, ибо, казалось, каждый раз встречали какой-нибудь недостаток или ошибку. Таково было почитание римлян к богам!

Марций и Тулл в Антии тайно советовались с сильнейшими гражданами и побуждали их начать войну, пока еще римляне были между собой в раздоре. Но они противились этому, ссылаясь, что заключили мир и договор на два года. Между тем римляне сами подали повод к нарушению оного, приказав во время торжественных зрелищ и игр, по подозрению ли или клевете, выйти всем вольскам из Рима до захода солнца. Некоторые говорят, что это произошло обманом и хитростью Марция, который послал в Рим к правителям вестника с ложным известием, что будто вольски во время зрелищ умыслили напасть на римлян и сжечь город. Такое приказание о выходе из города вольскам внушило всем им еще больше неудовольствия на римлян. Тулл, увеличивая более обиду и воспламеняя вольсков, наконец уговорил их отправить в Рим посланников с требованием возвращения области и городов, отнятых у них римлянами войной. Римляне, выслушав посланников, вознегодовали и дали ответ в следующих словах: «Вольски первые поднимают оружие, а римляне последние его положат». После такого ответа Тулл собрал весь народ; определено было начать войну; он советовал вольскам призвать Марция, не быть к нему злопамятными, но доверять ему, ибо он, действуя на вольсков, принесет им столько же пользы, сколько причинил вреда, воюя против них.

Народ призвал Марция; он предстал и говорил речь, из которой показался столько же красноречивым, сколько и воинственным, равно отличным благоразумием и смелостью своею. Он был избран вместе с Туллом верховным полководцем. Боясь, чтобы военные приготовления не были продолжительны и не отняли бы благоприятного времени действовать, он велел начальствующим и сильным в городах собирать все нужное, а сам, уговорив ревностнейших граждан следовать за ним по доброй воле, вдруг вступил в римскую область, когда никто этого не ожидал. Он набрал столько добычи, что вольски в стане пользовались в изобилии всем нужным и не могли всего везти за собой. Но это изобилие и разорение области было малейшее зло, им произведенное. Главная цель его была та, чтобы патрициев привести в подозрение у народа; и потому, все опустошая и истребляя, он щадил с великим старанием поместья патрициев, не допускал наносить им вред, ни брать чего-либо у них. Это умножило подозрения, взаимные обвинения и раздоры между ними. Патриции обвиняли народ в несправедливом изгнании сильного и мужественного человека, а народ обвинял патрициев в том, что они по злобе своей наслали на него Марция; и между тем как народ претерпевает от неприятеля нападение, они сидят спокойными зрителями, ибо настоящая брань не иное, как стража их имения и богатства. Марций, произведши эти подвиги и доставив великую пользу вольскам тем, что внушил им бодрость и презрение к неприятелю, возвратился назад в безопасности.

Вскоре и с великим рвением собралась вся вольская сила. Она была многочисленна, и для того положено было: одной части остаться в городах для охранения их, другой идти на римлян. Марций дал Туллу на выбор предводительствовать – по желанию – одной из этих частей. Тулл объявил, что Марций ничем не уступает ему в храбрости; что счастье во всех сражениях благоприятствовало более Марцию, нежели ему; и по этой причине предложил ему начальство над войском, идущим за пределы вольские; сам остался для охранения городов и для доставления всего потребного находившемуся в походе войску.

Марций, усилившись еще более, пошел сперва против города Цирцеи*, римского поселения. Город сдался без сопротивления, и Марций не сделал ему никакого вреда. После того он разорял землю латинскую в надежде, что римляне вступятся за латинян, которые были их союзниками и неоднократно просили помощи. Но народ не оказывал ни малейшего к тому желания; консулам оставалось управлять еще недолго, и в это время они не хотели подвергнуться опасности; по этой причине они отпустили латинян восвояси. Марций обратился к самым городам латинским; взял приступом Толерий, Лабики, Пед и Болу*, которые ему противились; жители их были проданы как невольники; имение расхищено. Впрочем, он

прилагал старание, чтобы покоряющиеся добровольно города не претерпевали никакой обиды; по этой причине он становился станом как можно было далее от них, не касаясь их области.

Когда же он покорил и Бовиллы, город, находившийся от Рима не более чем на сто стадиев, получил великую добычу и умертвил почти всех молодых людей, тогда вольски, которым было назначено остаться в городах, не могли более удержаться, но все стремились с оружием к Марцию, говоря, что его одного признавали полководцем и вождем своим. Тогда слава имени его распространилась по всей Италии; все удивлялись храбрости, произведшей столь странную перемену в обстоятельствах перенесением лишь одного человека из одной области в другую.

В то самое время у римлян дела были в величайшем беспорядке; они не смели выступить в поле; были ежедневно в раздоре между собою и порицали друг друга до тех пор, как получено было известие, что неприятели осудил Лавиний, в котором римляне имели храмы отчих богов и от которого получили свое происхождение, ибо Эней построил первый сей город, такое известие произвело в мыслях народа перемену внезапную и удивительную; в мыслях патрициев странную и безрассудную. Народ хотел отменить приговор против Марция и призвать его в город; а сенат, в Собрании рассуждая о таком предложении, не принял его и препятствовал поступить по оному* или по упрямству и склонности сопротивляться во всем народной воле, или желая, чтобы Марций не был обязан своим возвращением благосклонности народа, или уже негодуя на Марция самого за то, что он делал зло всем, хотя претерпел он оскорбление не от всех граждан, и объявил себя врагом всего отечества, в котором, как он знал, лучшая и отличнейшая часть сострадала ему и почитала себя обиженной вместе с ним. Постановление сената было объявлено народу, который не имел власти что-либо произвести подачей голосов и утвердить закон без согласия сената.

Марций, известившись о том, еще более ожесточился, оставил осаду Лавиния* и в ярости своей шел прямо к Риму; он стал у так называемых Клелиевых рвов, в расстоянии на сорок стадиев от города. Присутствие его произвело страх и великое беспокойство, но укротило на время раздоры. Никто уже из правителей и сенаторов не смел противоречить народу в возвращении Марция. Видя, что женщины бегали по городу, старцы со слезами и молением стекались в храмы богов, что ни в ком не было смелости, никто не мог подать спасительных советов, – все признавались, что предложение народа примириться с Марцием было благоразумно и что сенат, напротив того, сделал важную ошибку, начав свой гнев и свою злобу тогда, когда надлежало бы им прекратиться. Положено было всеми отправить к Марцию посланников* с предложением о свободном его возвращении в отечество и с просьбами о прекращении войны. Посланные от сената были приятели и родственники Марция и ожидали при первой встрече дружеского от него приема по своим с ним связям; но были обмануты в своем ожидании; они приведены были через стан неприятельский к Марцию и представлены ему, между тем как он сидел с великой пышностью и с нестерпимой гордостью. Вокруг его были главнейшие вольские предводители; он велел посланникам объявить о причине их прибытия. Они говорили прилично их положению речи кроткие и умеренные. Когда перестали говорить, то Марций от собственного имени говорил с суровостью и гневом о том, что от них претерпел; в отношении же к вольскам, как полководец, требовал, чтобы римляне возвратили и область и города, которые у вольсков отняли войной, и чтобы дали им права, равные тем, которыми пользовались прочие латиняне, ибо война не иначе может быть прекращена, как по договору, основанному на равных и справедливых условиях. Для надлежащего рассуждения назначил он им тридцатидневный срок. Посланные возвратились, и Марций удалился из римской области.

Вот первая причина, по которой обвиняли Марция те, кто завидовал его могуществу и не терпел его! В числе их был и сам Тулл, не получивший, впрочем, от Марция никакой личной обиды, но, будучи побужден свойственною человеку страстью, он досадовал на него за то, что им совершенно затмилась его слава и потому был у вольсков в презрении. Один Марций составлял все для них; они хотели, чтобы другие полководцы довольствовались властью, Марцием им уделяемой. Итак, завистники его начали тайно рассеивать первые обвинения. Собираясь вместе, они показывали свое негодование; отступление называли изменой и отдачей не стен или войска, но времени, от которого все сохраняется или погибает; говорили, что он дал

им тридцатидневный срок, ибо в меньшее время не могут в войне произойти великие перемены.

Однако Марций не бездействовал в течение этого срока. Он грабил и разорял союзников неприятельских и взял семь больших и многолюдных городов. Римляне не смели выступить к ним на помощь. Души их объяты были робостью; к войне они были расположены подобно телам, в усыплении и расслаблении находящимся. По прошествии означенного срока Марций возвратился снова со всем войском; римляне опять отправили к нему посольство*, чтобы упросить его умерить свой гнев, вывести вольсков из области и потом говорить и делать то, что для обеих сторон почитает полезным. Посланники представляли, что римляне из страха ничего не уступят; но если он думает, что вольскам надлежит получить от них какую-либо выгоду, то на все согласятся, когда неприятели их положат оружие. Марций объявил им, что, как полководец вольский, ничего им не отвечает; как гражданин римский, и советует им и увещевает их оказывать более умеренности к справедливым требованиям и, утвердив то, что он предлагал, через три дня возвратиться к нему. В противном случае пусть они знают, что им не будет позволено в другой раз приходить в его стан с пустыми словами.

По возвращении посланников сенат, услышав сей отзыв, как бы республика находилась в ужасной буре и треволнении, бросил, как говорится, священный якорь* – употребил последнее средство. Определено было, чтобы все жрецы – служители, или хранители таинств, или владеющие с древних лет отечественной наукой гадания по птицам, в одеждах, какие носят по законам при совершении священнодействий, пошли к Марцию и просили его прекратить войну и потом вступить в переговоры с гражданами о вольсках. Марций принял жрецов в свой стан, однако не говорил и не поступал умереннее прежнего; он хотел, чтобы римляне или заключили мир на предложенных прежде условиях, или приняли войну.

Когда священники возвратились с ответом, то римляне решились остаться в городе спокойно, стеречь стены и отражать нападения неприятеля, всю надежду свою полагая на время и на странные перемены счастья, ибо они не были способны самостоятельно предпринять что-либо к своему спасению; смятение, боязнь и дурные предзнаменования наполняли город, пока не случилось нечто, подобное тому, о чем Гомер часто упоминает, хотя оно многим кажется невероятным. Этот стихотворец при великих и чрезвычайных происшествиях говорит:

Голубоокая Афина ему то в мысли вложила*.

Или:

Но применил их мысли неведомо кто из бессмертных;
В ум народа внушил*.

Также и следующее:

Вообразил ли то сам, иль боги так повелели*.

Многие презирают слова стихотворца, как бы он невозможными делами и невероятными баснями уничтожал мысли каждого и волю. Но Гомер не имеет такого намерения; все обыкновенное, правдоподобное и по рассудку исполняемое относит к нашему выбору. Говорит во многих местах:

Тако в своей душе размышлял я великой*.

Также:

Рек он – и сими словами досаду влил в сына Пелея;
Сердце в могучей груди противна мысль волновала*.

В другом месте:

Но не уверила храброго, доблестного Беллерофонта*.

Но в случаях чрезвычайных и странных, требующих сверхъестественного стремления и вдохновения, он представляет бога не уничтожающим свободной воли, но побуждающим ее; не направляющим нас, но рождающим мысли, заставляющие нас решиться; такими мыслями не производит он действия по принуждению, но дает воле начало и вливает в нее бодрость и надежду. В самом деле, если совсем должно отнять у богов причины и начала наших действий, то каким образом будут они помогать людям и им содействовать? Боги не преобразуют тела нашего; не направляют на что-либо рук и ног; они только возбуждают деятельную способность и свободную волю души некоторыми началами, мечтаниями и внушениями или, напротив того, отвращают ее и останавливают.

При тогдашних обстоятельствах женщины в Риме прибегали в храмы богов. Большая часть и знатнейшие из них молились перед жертвенниками

Юпитера Капитолийского. Между ними находилась и Валерия, сестра Попликолы, столь многие и великие услуги оказавшего народу в войне и в управлении республики. Попликола умер еще прежде*, как видно из повествования его жизнеописания. Валерия была в славе и в великом у всех почтении, ибо поведением своим не унизила знатного рода своего. Внезапно побужденная тем стремлением, о котором говорил я выше, и внушением, конечно божественным, постигнув полезнейшее, она встала, заставила встать других женщин и пошла с ними в дом Волумнии, Марциевой матери. Она застала ее сидящей вместе с невесткой и держащей в объятиях детей Марция, поставила вокруг нее женщин, которые ее сопровождали, и говорила следующее: «Волумния, и ты, Вергилия! Мы по воле своей пришли к вам, как женщины к женщинам, без решения сената, без приказания начальствующих. Сам бог, кажется, услышав молитвы наши, внушил нам мысль к вам обратиться и просить вас о том, что даст спасение нам самим и всем гражданам, а вам, если только вы не воспротивитесь, принесет славу выше той, какую приобрели сабинянки, превратив в дружбу и мир войну между отцами и мужьями своими. Идите с нами к Марцию, коснитесь с нами ветви моления и подтвердите пред ним то справедливое и неложное свидетельство, что отечество, столь много от него страждущее, не сделало вам ничего дурного, не определило против вас ничего в гневе своем, но возвращает вас ему, хотя бы от него никакого снисхождения себе не ожидало». Все женщины присоединили вопли свои к словам Валерии. Волумния ответствовала: «И мы, о женщины, равное принимаем участие в бедствиях своего отечества; мы сами обременены горестью, лишась славы и добродетели Марция, видя его более подстерегаемым, нежели спасаемым, оружиями неприятелей. Величайшее для нас несчастье то, что отечество наше дошло до такого бессилия, что на нас полагает надежду свою. Мне не известно, уважит ли он нас, когда не уважил отечества, которое предпочитал и матери, и жене, и детям своим; однако употребите нас, как хотите; ведите к нему. Если не сделаем ничего полезного, по крайней мере до последнего издыхания можем просить за отечество».

Волумния подняла детей и Вергилию и вместе с другими женщинами пошла к вольскому стану. Это трогательное зрелище возбудило почтение в самих неприятелях и произвело молчание. Марций сидел тогда в совете вместе с другими полководцами. Он удивился, увидя приближающихся женщин. Узнав свою мать, идущую впереди всех, он хотел пребыть в своих непреклонных и жестоких намерениях, но был побежден своими чувствами; он смутился, не мог усидеть, когда они приближались к нему. Поспешно сошел с своего места, стремился к ним навстречу; обнял и долго держал в своих объятиях сперва мать, потом жену и детей, проливая слезы, расточая всю свою нежность и совершенно предавшись, как бы потоку, стремлению чувств своих.

По изъявлении им всей любви своей, приметя, что мать хотела с ним говорить, окружил он себя вольскими вождями и услышал от Волумнии следующее: «Ты видишь, сын мой, по нашей одежде, по нашему горестному виду, хотя бы мы ничего не говорили, сколь уединенную жизнь заставило нас проводить твое изгнание. Помысли теперь, что мы несчастнее всех здесь предстоящих женщин; судьба сделала для нас ужаснейшим приятнейшее зрелище – видеть мне сына, а ей мужа своего, стоящего станом пред стенами отечества! Мольба богам, служащая для других утешением в несчастиях и напастях, приводит нас в крайнее недоумение; нам не

позволено в одно время просить у богов и отечеству победы, и тебе спасения. Моления наши заключают в себе проклятия, которые изрекают на нас наши неприятели. Жена и дети твои или отечества, или тебя лишиться должны, ибо я не дождусь того, чтобы счастье решило сию войну при моей жизни. Если тебя не склоню превратить раздор и бедствия в дружбу и союз, сделаться лучше благодетелем обоих народов, нежели губителем одного из них, то знай и приготовь себя: не иначе ты взойдешь на стены отечества своего как по трупу родившей тебя. Мне не должно ожидать того дня, в который увижу или сына моего, побежденного согражданами, или отечество, побежденное моим сыном. Если бы я тебя просила, сын мой, спасти отечество, погубив вольсков, то моя просьба показалась бы тебе несправедливой и трудной к исполнению; не похвально тебе погубить сограждан твоих; несправедливо изменить тем, кто удостоил тебя своего доверия. Мы требуем ныне от тебя только освобождения от бед, равно спасительного для обоих народов, для вольсков тем более славного и похвального, что они, побеждая, даруют нам величайшие блага, мир и союз, принимая их взаимно от нас. Если это исполнится, то ты один будешь тому виновником; если нет, одного тебя будут винить обе стороны. Следствия войны неизвестны; известно лишь то, что, одержав победу, будешь губителем своего отечества; а будучи побежденным, будешь обвиняем в том, что ты, движим будучи гневом, нанес величайшие бедствия своим друзьям и благодетелям».

Волумния говорила таким образом; Марций слушал ее и ничего не отвечал. По окончании ее речи он долго хранил молчание; Волумния продолжала: «Почто молчишь, сын мой! Ужели похвально позволять все своему гневу и мщению, а неприлично ни в чем уступать матери, просящей о столь важном деле? Или великому человеку можно помнить только претерпенные обиды, а уважать и чтить благодеяния, какие дети от родителей получают, несвойственно великому и доброму человеку? Но кому должно хранить более благодарность, как не тебе, столь жестоко наказывающему неблагодарность? Ты уже отечеству отмстил; матери не оказал ни малейшей благодарности. Однако не священная ли обязанность исполнять без принуждения просьбу матери в столь справедливом и добром деле? Но если я не могу тебя убедить – почто не употребляю того, в чем полагаю последнюю надежду?» Сказав это, она упала к ногам Марция с женою его и детьми.

Марций воскликнул: «О мать моя! Что ты делаешь со мною!» Он поднял ее и крепко прижал ее руку. «Ты одержала победу, – сказал он, – счастливую для отечества, пагубную для меня. Я удаляюсь, тобой единою побежденный!» После этих слов он недолго говорил с матерью и женою наедине и по их желанию отпустил обратно в Рим. По прошествии ночи он отвел от города вольсков, которых расположения к нему были различны; одни порицали и Марция и его поступок; другие ни того ни другого, будучи склоннее к миру и к прекращению войны. Некоторые, хотя и были недовольны происшествием, однако Марция не почитали дурным человеком, но охотно прощали ему, как увлеченному столь сильными побуждениями. Никто не противоречил ему; все за ним последовали более из уважения к его добродетели, нежели к власти.

Римский народ по окончании войны еще более показал, в каком страхе и опасности находился в продолжение оной. Едва граждане узрели со стен удаляющихся вольсков, то отворили все храмы и, как бы по одержании победы, приносили жертвы, украшались венками. Радость города обнаружилась еще более любовью и почестями, оказываемыми женщинам народом и сенатом; все почитали и называли их единственными виновницами спасения республики. Сенат определил, чтобы консулы дали им награду, какой бы они ни потребовали, и все, что могло служить к славе их*. Но они другого ничего себе не просили, как позволения соорудить храм Женскому Счастью. Они собрали сами деньги, потребные к сооружению оного, но жертвоприношения и все, касающееся до великолепия, приличного богам, республика приняла на себя. Сенат похвалил их честолюбие, но храм и кумир сделаны были общественным иждивением. Женщины тем не менее собрали деньги и сделали другой кумир, который в то время, как его ставили в храме*, по уверению римлян, изрек нечто подобное следующему: «Женщины! Вы посвятили меня по боголюбивому решению».

Римляне также уверяют, что сей голос дважды был слышан, и хотят нас убедить в делах, подобных басням и которым трудно поверить. Не невозможно то, чтобы некоторые кумиры покрывались потом, проливая слезы, и испускали некоторые кровавые капли. Часто камни и

дерево, покрывшись плесенью, производимой влажностью, дают из себя разные краски и принимают цвет из окружающего их воздуха. Кажется, ничто не мешает, чтобы боги что-либо этим знаменовали. Возможно и то, чтобы кумиры издавали звук, подобный ропоту или стенанию, когда во внутренности их произойдет быстрое некоторое разделение частей. Но чтобы голос образованный и речи столь ясные, столь точные и понятные произошли от бездушной вещи, это совершенно невозможно. Душа и сам бог, без тела устроенного и снабженного потребными к произношению слова членами, не издают звука и не говорят. Когда ж история многими и достоверными свидетельствами принуждает нас тому верить, то должно думать, что воображательной способности души представилось нечто похожее на мечту, как то и во сне кажется нам, что мы слышим и видим, не слыша и не видя*. Однако те, любовь которых и приверженность к божеству весьма сильны и которые не могут ничего подобного отвергать или отрицать, основывают свою веру на удивительном и несравненно силы наши превышающем могуществе божием. Божество ни в чем нимало не сходствует с человеком, ни в существе, ни в действиях, ни в силе, и если производит что-либо, превышающее силы наши и для нас невозможное, то это нимало не странно. Отличаясь от нас всем, еще более отличается делами своими. Впрочем, как говорит Гераклит, во многом, касающемся до божественных дел, причиной нашего незнания есть неверие.

По возвращении Марция в Антий, Тулл, который, боясь его, не терпел и ненавидел, искал способов тотчас умертвить. Он думал, что если Марций теперь избегнет его козней, то не подаст ему другого случая погубить его. Собрав и настроив многих против него, объявил ему, что он должен сложить начальство и дать отчет вольскам. Марций, который боялся сделаться частным лицом тогда, когда Тулл был полководцем и имел великую власть среди своих сограждан, ответствовал, что он сложит начальство, когда вольски то определят, ибо по общему их требованию оное принял; что и теперь не отказывается отдать отчет тем антийцам, которые того потребуют.

Когда собрался народ, то приготовленные демагоги возбуждали его против Марция. Он встал, и та самая толпа, которая более шумела, из уважения к нему успокоилась и дала ему говорить свободно. Лучшие антийские граждане, более желавшие мира, явно показывали, что расположены слушать его благосклонно и судить со всей справедливостью. Тулл боялся оправдания Марция, ибо он имел великую способность говорить; сверх того, прежние его заслуги перевешивали последнюю вину, и то самое, в чем его обвиняли, свидетельствовало о великости его подвига. Вольски не имели бы причины на него жаловаться, что не покорили Рима, если бы не были близки покорить его посредством Марция. Итак, Туллу показалось, что не должно было долее медлить и преклонять народ на свою сторону. Самые наглые из заговорщиков начали кричать, что вольскам не должно слушать и терпеть изменника, самовластно начальствующего над ними и не слагающего своей власти. С этими словами, напав все вместе, умертвили его*. Никто из предстоявших не оказал ему помощи. Что это случилось против желания большей части народа, то обнаружилось впоследствии, ибо со всех городов жители стекались к его телу, похоронили его с честью и украсили гроб его добычами и оружиями, как храброго воина и великого полководца.

Римляне, узнав о его смерти, не показали к нему никакого знака почтения или гнева*. По требованию женщин позволено было им оплакивать его десять месяцев, как обыкновенно оплакивали отца, брата или сына. Такой срок самому долгому сетованию определен Нумой, как сказано в его жизнеописании.

Вскоре дела вольсков возымели нужду в Марции. Сперва они поссорились с эквами, своими друзьями и союзниками, за верховное начальство над войсками. Ссора их дошла до битвы и кровопролития*. Потом они были побеждены римлянами в сражении, в котором Тулл убит и лучшая часть их воинов погибла; они принуждены были согласиться на позорный мир, покориться римлянам и обязаться исполнять их повеления.

Сравнение Алкивиада с Гаем Марцием

В жизнеописаниях этих мужей мы изложили те деяния, которые показались нам достопамятнее; оные открывают, что военными подвигами один не имеет перевеса над другим.

Оба оказали великие опыты храбрости на поле брани, равно как искусство и прозорливость, предводительствуя войсками. Разве потому должно почесть Алкивиада совершеннейшим полководцем, что он и на море и на суше во многих битвах был победителем и свершил великие подвиги. Общее между ними то, что присутствием своим и начальством ощутимо воздействовали на дела своего отечества и еще более причиняли ему вред, когда переходили к стороне неприятельской.

Что касается до управления общественными делами, то благоразумные люди чувствовали отвращение к Алкивиаду по слишком развратному поведению, дерзости его и сквернословию, чем он хотел нравиться народу; напротив того, Марциево гордое поведение, лишенное всякой приятности и к олигархии склонное, было ненавистно для римского народа. В этом ни тот ни другой не заслуживает похвалы. Однако угождающие народу и старающиеся ему нравиться не столько заслуживают укоризны, как те, которые ругаются над ним, дабы не казаться его льстецами. Постыдно льстить народу, чтобы тем приобрести силу; но постыдно и вместе несправедливо приобретать силу, делаясь страшным, угнетая и унижая его.

Что Марций был нравом прост и правдолюбив, Алкивиад лжив и хитер в управлении республикою, то это очевидно. Более всего порицают его за коварство и хитрость, которою обманул лакедемонских посланников, как повествует Фукидид, и тем нарушил мир. Но хотя этим поступком вовлек республику в войну, однако сделал ее сильной и страшной союзом мантинейцев и аргосцев, которого он был виновником. И Марций, как Дионисий свидетельствует, обманом, возжег войну между римлянами и вольсками, оклеветав тех, кто стекался в Рим, дабы быть зрителями народных игр. Побудительная причина делает этот поступок постыднее. Марций, единственно удовлетворяя своему гневу, страсти, по словам Диона, самой неблагодарной, а не увлекаемый честолюбием или гражданской ссорой и раздором, как Алкивиад, потряс многие области Италии, погубил много городов, не сделавших ему никакого зла, из ярости к своему отечеству.

И Алкивиад из гнева сделался виновником великих бедствий для своих сограждан; но, узнав об их раскаянии, умилился. Будучи и в другой раз ими отвергнут, он не стерпел ошибок полководцев и не презрел их, когда они находились в опасности по своему безрассудству. Он поступил с сими полководцами, врагами своими, так, как с Фемистоклом Аристид, заслуживший тем великую похвалу. Алкивиад прибыл к ним и напомнил о том, как они должны были действовать. Но Марций, во-первых, делал зло всему Риму, хотя не от всего Рима пострадал тогда, когда лучшая часть оного почитала себя обиженной в его лице и разделяла печаль его. Во-вторых, не будучи тронут, ни умилостивлен посольствами и молениями, которыми старались укротить гнев и неудовольствие его одного, он тем показал, что воспламенил ужасную и непримиримую войну для разорения и погибели отечества, а не для возвращения своего в оное. Можно сказать, что между ними та разность, что Алкивиад, по причине злоумышления спартанцев, боясь и ненавидя их, перешел к афинянам; но Марций не имел законной причины оставить вольсков, которые оказывали ему всю справедливость. Они сделали его полководцем своим, имели к нему величайшую доверенность и дали ему верховную власть. Напротив того, лакедемоняне употребили Алкивиада более во зло, нежели в добро; сперва он влачился у них по городу, потом по стану и, наконец, предал себя Тиссаферну; он льстил ему, желая, конечно, возвратиться в Афины, дабы не допустить их совершенно погибнуть.

Что касается до денег, известно, что Алкивиад брал много раз подарки непохвальным образом и употреблял их к неге и роскоши своей. Напротив того, полководцы не могли склонить Марция принять того, что они из чести ему давали. Но тем более был он неприятен народу в споре о долгах, ибо народ видел, что Марций не из корыстолюбия, но из презрения и ругаясь над бедными угнетал их. Антипатр в одном письме своем, упоминая о смерти философа Аристотеля, пишет, что сей муж, сверх других дарований, обладал обаянием. Деяния и добродетели Марция, не имея такого дара, были неприятны даже облагодетельствованным от него, которые не терпели его своенравия – спутника уединения, по словам Платона. Алкивиад, напротив того, умел быть любезным и обходительным с людьми, с которыми имел дело, и потому неудивительно, что его счастливые подвиги увенчаны славой, сопровождаемые благосклонностью и почтением, когда даже некоторые недостатки его и слабости имели иногда

какую-то приятность и прелесть. По этой причине, хотя он навлек на свое отечество многие и великие бедствия, однако часто был избираем вождем и полководцем. Марций, напротив того, после великих подвигов храбрости просил следующего ему консульства и не получил. Таким образом, первый не был ненавидим и тогда, когда от него претерпевали зло, другой, возбуждая к себе удивление, не мог быть любим согражданами.

Марций, предводительствуя войсками своего отечества, не произвел ничего важного для Рима – только для неприятелей, в ущерб отчеству. Но Алкивиад, и сражаясь как простой воин, и предводительствуя войском, много раз приносил афинянам пользу. Присутствием своим он всегда одерживал верх над своими врагами и только в его отсутствие наветы на него увеличивались. Марций, напротив того, в присутствии своем был осужден римлянами, вольсками же умертвлен, хотя несправедливым и злодейским образом. Он сам подал им благовидный предлог тем, что общенародно и явно не принял предложения о примирении; потом, убежденный одними женщинами, не погасил вражды, но оставил войну во всей силе своей и потерял к тому благоприятнейшее время. Ему надлежало бы отступить, убедивши тех, кто доверил ему себя, если более всего уважал их права. Если же он о вольсках нимало не заботился, но единственно для удовлетворения своего гнева возжег войну и потом прекратил ее, то не было похвально для матери щадить отечество; ему надлежало бы вместе с отечеством щадить и мать, ибо мать и жена были только малые части осаждаемого им отечества. Отвергнуть столь сурово общенародные прощения, просьбы посланников, моления жрецов и для угождения матери снять осаду значило делать не матери честь, но бесчестие отечеству, которое из жалости и сострадания к одной женщине получило спасение, как будто бы само собою не было оного достойным. Самое это угождение было ненавистно, сурово, неприятно и ни от которой стороны не заслужило благодарности. Марций отступил не потому, что был убежден осажденными, и не потому, что убедил собою соратующих. Виной всему – не терпящий сообщества и суровый нрав его, гордость, упрямство, которые сами по себе ненавистны народу, но, соединены будучи с честолюбием, делаются совсем дики и неукротимы. Люди с такими свойствами не угождают народу, как бы не искали от него никаких почестей, потом негодуют, когда оных не получают. Правда, ни Метелл*, ни Аристид, ни Эпаминонд не льстили и не угождали народу; но они действительно презирали то, что народ может дать и отнять; они часто были изгоняемы, лишаемы своих достоинств, осуждаемы; однако не имели злобы к неблагодарным согражданам, а возвращали им свою любовь, как скоро видели их раскаяние, и мирились с ними, когда они их призывали. Кто не хочет льстить народу, тот не должен мстить ему, ибо досада, происходящая от неполучения почестей, показывает сильное желание их получить.

Алкивиад откровенно признавался, что почтение народа было ему приятно, а презрение несносно, и по этой причине старался всем нравиться и быть приятным. Гордость не допускала Марция угождать тем, кто мог дать ему почести и умножить его славу; когда же они пренебрегали им, то честолюбие рождало в нем гнев и огорчение. Вот в чем можно обвинить сего мужа. Все прочее в нем славно и блистательно. По воздержанности своей и бескорыстию он достоин сравниться со знаменитейшими и непорочнейшими из греков, а не с Алкивиадом, крайне бесстыдным и пренебрегавшим всякой благопристойностью.

Тимолеонт и Эмилий Павел

Тимолеонт

Дела сиракузян до отправления Тимолеонта в Сицилию находились в следующем положении. Дион изгнал тиранна Дионисия и сам был вскоре умертвлен изменническим образом*; освободившие вместе с ним сиракузян разделились между собою. Перемена одного тиранна за другим едва не причинила опустения в городе, несчастьями угнетаемом. Прочие области Сицилии уже были разорены и лишены жителей по причине браней; большая часть городов была занимаема разными варварами и воинами, не получающими жалованья, которые нисколько не возражали против перемены в правлении. В десятый год изгнания своего

Дионисий, собрав иноземное войско, изгнал Нисея*, обладавшего тогда Сиракузами, опять принял правление и вновь сделался тиранном Сиракуз. Странным образом лишила его малочисленная сила величайшего из тогдашних владений, и еще страннее он вскоре из слабого изгнанника учинился властителем его изгнавших. Сиракузяне, оставшиеся в городе, повиновались тиранну, от природы нимало не кроткому, а в то время от претерпенных несчастий душой совершенно освирепевшему. Самые лучшие и знаменитейшие граждане обратились к Гикету, леонтинскому владетелю, предались ему и избрали его вождем своим не потому, что он был лучшим из известных тираннов, но за неимением другого средства к спасению они вверились ему как сиракузянину родом и имевшему достаточную силу против тиранна.

Между тем карфагеняне со многочисленным флотом пристали к Сицилии и усиливались в ней. Устрашенные сицилийцы решились отправить в Грецию посольство и просить помощи у коринфян не только по причине родства их с ними* или потому, что уже несколько раз были ими облагодетельствованы, но ведая, что коринфяне всегда любили свободу и ненавидели власть насильственную; что вели частые и великие брани не для распространения владений или для приобретения верховного владычества, но за независимость греков. Гикет, цель полководства которого было похищение верховной власти, а не освобождение сиракузян, имел тайные сношения с карфагенянами, хотя по наружности хвалил намерение сиракузян и вместе с их посланниками отправил в Грецию своих. Он нимало не желал, чтобы из Коринфа прибыло вспомогательное войско, но надеялся, как то было и вероятно, что, если коринфяне откажут в помощи по причине раздоров и занятий своих с другими греками, тем передаться с большею удобностью карфагенянам и иметь их помощниками и союзниками против сиракузян либо против Дионисия. Эти замыслы вскоре после этого обнаружились.

Сиракузские посланники прибыли в Пелопоннес. Коринфяне, имея всегдашним правилом своим печься о всех своих поселениях, особенно же о Сиракузах, и, по счастью, не будучи тогда никем обеспокоиваемы со стороны греков, но пребывая в мире и бездействии, охотно постановили помочь им. В Народном собрании рассуждаемо было о выборе полководца; правители предлагали тех, кто старался отличиться и прославиться. Один из простого народа, восстав, назвал Тимолеонта, сына Тимодема, гражданина, который более не принимал никакого участия в делах общественных и не имел уже к тому ни желания, ни надежды: казалось, некое божество внушило такую мысль этому человеку. Столь очевидно, что при самом его избрании воссиял луч счастья и столь неизменно успехи сопровождали его деяния, придавая вящий блеск его доблести!

Тимолеонт происходил от знаменитейших в республике родителей, от Тимодема и Демариста. Он любил безмерно свое отечество; был чрезвычайно кроток во всем, но не в ненависти своей к тираннам и к дурным людям. К военным делам был он от природы столь счастливо сотворен, что оказывал величайшее благоразумие в молодости и не меньшую храбрость в старых летах. Но старший брат его, по имени Тимофан, не имел с ним никакого сходства. Он был человек буйный, одержимый страстью к верховной власти, внушенной ему дурными друзьями и толпой иноземных воинов, всегда его окружавших; впрочем, в бранях был отважен и храбр. Этими качествами приобрел он уважение сограждан, которые поручали ему начальство над войском, как человеку воинственному и деятельному. Тимолеонт в этом содействовал ему, скрывал или уменьшал его пороки, хорошие же его природные качества старался украшать и возвышать.

В войне коринфян с аргивянами и клеонийцами* Тимолеонт сражался в пехоте в то самое время, как Тимофан, предводительствовавший конницей, был подвержен величайшей опасности. Лошадь его, будучи ранена, сбросила его с себя в средину неприятелей. Большая часть приятелей его от страха разбежалась; оставшиеся при нем, сражаясь с превосходнейшим числом врагов, с трудом противостояли. Как скоро Тимолеонт осведомился о сем, бросился к нему на помощь, оградив его, лежащего на земле, щитом своим, получил множество ударов в доспехи в самое тело копьями и мечами и, наконец, с великим трудом отразил неприятелей и спас своего брата.

Впоследствии коринфяне, боясь подвергнуться опасности, которой прежде подверглись, когда союзники овладели их городом, определили содержать четыреста иноземных воинов.

Начальником над ними поставили Тимофана, который, презрев долг свой и справедливость, начал тотчас помышлять о средствах, как покорить республику. Он умертвил без суда многих из знатнейших граждан и объявил сам себя самовластным правителем. Тимолеонт с горестью взирал на поступки своего брата. Злодейство его почитал он своим злополучием. Он старался словами убедить его, просил оставить сие неистовство, сие пагубное желание и искать средства оправдаться перед согражданами в своих преступлениях. Но Тимофан отверг с презрением его советы. Тимолеонт, взяв из числа родственников Эсхила, шурина Тимофана, из друзей же своих – прорицателя, которого Феопомп называет Сатиром, а Эфор и Тимей – Орфагором, через несколько дней опять возвратился к брату. Все трое обступили его, умоляли послушаться наконец рассудка и переменить свои мысли. Тимофан сперва смеялся над ними, потом начал сердиться и негодовать. Тимолеонт несколько отступил и, покрыв голову свою, заливался слезами, между тем как другие обнажили мечи и вскоре умертвили Тимофана*.

Слух об этом происшествии разнесся вскоре по всему городу. Лучшие коринфяне хвалили ненависть к злым и твердость души Тимолеонта, ибо он, будучи кроток и любя род свой, предпочел, однако, отечество – семейству, долг и справедливость – собственной пользе; спас брата своего тогда, когда он отличился на войне, защищая отечество, но умертвил его, когда он злоумышлял против отечества и поработил его. Но не могшие жить под народным правлением и привыкшие быть в зависимости у властителей, хотя притворно радовались смерти тиранна, но порицали Тимолеонта, называли поступок его нечестивым и богоненавистным и тем ввергли его в уныние. Он узнал, что мать его была в отчаянии, издавала жалобные крики, произносила на него ужаснейшие проклятия, пошел утешить ее, но она не могла снести его вида и заперла ему двери своего дома. Тогда-то печаль совершенно овладела душой его; ум его помрачился; он решился умереть голодом, но друзья помешали его намерению; они употребили все просьбы и все средства, чтобы примирить его с жизнью. Тимолеонт принял намерение жить, но в удалении от общества и оставил все дела общественные; в первые годы никогда не приходил в город; погруженный в мрачную горесть, проводил он жизнь свою, блуждая по самым уединенным полям.

Вот как суждения наши, не получив твердости и силы от рассудка и любомудрия при совершении дела, колеблются, бывают легко увлечены случайными похвалами или порицаниями и, так сказать, выведены из собственных своих предначертаний. По-видимому, не довольно, чтобы деяние было похвально и справедливо; потребно еще, чтобы самое мнение, от которого проистекает, было твердо и незыблемо, дабы мы действовали только по надлежащем испытании. Сладострастные с алчностью пожирают лакомые яства; насытившись же, чувствуют к ним отвращение. Подобно этим людям, не должно нам по слабости сокрушаться о своем поступке, когда померкнет блеск воображаемой в нем красоты. Раскаяние соделывает дурным и то, что в самом деле похвально. Но воля, основанная на разуме и совершенном знании, и тогда не может перемениться, когда бы дела, от нее последовавшие, были неудачны. Афинянин Фокион противился всегда предприятиям Леосфена*. Когда Леосфен получал в них успех и афиняне приносили жертвы, торжествовали, гордились одержанной победой, то Фокион говорил: «Я бы сам желал делать это, но не хотел бы отстать от прежних мыслей». Еще сильнее сказанное локрийцем Аристидом, одним из друзей Плата. Дионисий Старший требовал в супружество одну из дочерей его; он отвечал, что лучше хочет видеть дочь свою мертвой, нежели супругой тиранна. Вскоре после того Дионисий умертвил его детей и спросил его на смех: прежнего ли он мнения о выдаче дочерей своих. Аристид ответствовал: «Я печалюсь о происшедшем, но не раскаиваюсь в сказанном». Такое поведение свидетельствует о высшей и совершеннейшей добродетели.

Тимолеонтовы муки – было ли то сожаление по умершему или стыд перед матерью – так обессилили и расстроили душевные способности его, что в течение двадцати лет не занялся он никаким важным общественным делом. Когда в Собрании напомнили о нем и народ принял и утвердил его единодушно, то Телеклид, гражданин по славе и могуществу своему знаменитейший, восстав, увещевал Тимолеонта поступать мужественно и великодушно. «Если ты будешь действовать хорошо, – говорил он, – то мы станем тебя почитать убийцей тиранна; если же худо – убийцей брата».

Между тем как Тимолеонт приготовлялся к отплытию и собирал воинов, получены были в

Коринфе письма от Гикета, извещавшие о перемене его и предательстве. Как скоро выслал он посланников к коринфянам, то явно пристал к стороне карфагенян, действовал обще с ними, дабы изгнать Дионисия из Сицилии и самому господствовать над ней. Боясь, чтобы прежде не прибыл из Коринфа полководец со вспомогательным войском и не разрушил его предприятий, он послал письмо к коринфянам, извещая их, что нимало не нужно беспокоиться, делать столько издержек, посылать флот в Сицилию и подвергаться опасностям – особливо когда карфагеняне запрещают сие и с многочисленным флотом подстерегают корабли их, что по причине медленности их он был принужден заключить союз с карфагенянами против тиранна. По прочтении писем Гикета все коринфяне, даже те из них, кто прежде мало был к войне склонен, столь воспламенились гневом против Гикета, что охотно снабдили Тимолеонта всем нужным и поспешно приготовили все к его отъезду.

Когда суда были уже готовы и воины получили все нужное, жрицы Персефоны увидели во сне богинь*, которые как бы собирались в путь и говорили, что хотят плыть в Сицилию вместе с Тимолеонтом. Это заставило коринфян построить священную триеру и назвать ее триерой богинь. Что касается до Тимолеонта, то он отправился в Дельфы и принес жертвы Аполлону. В то самое время, когда он сходил в прорицалище, случилось следующее знамение: из висевших в храме священных по обетам приношений оторвалась повязка, на которой были вышиты венцы и изображения Победы, и упала на голову Тимолеонту. Казалось, он, увенчанный богами, высылаем был к предприятию.

Наконец, он отправился, имея семь кораблей коринфских, два керкирских и один левкадийский. Он пустился в море ночью при благоприятном ветре. Внезапно показалось ему, что небо разверзлось над кораблем и излило великий и яркий огонь, от которого поднялся пламенник, подобный тем, какие носят при священных таинствах, и, идучи тем же путем, опустился на то место Италии, к которому кормчие направляли свой бег*. Прорицатели объявили, что сие явление подтверждает то, что видели во сне жрицы и что богини ниспослали сияние с неба, покровительствуя сему предприятию, ибо Сицилия посвящена Персефоне. Там, как повествуют, была она похищена, и остров дан ей на свадьбе как брачный подарок*.

Таким образом знамения богов ободряли войско, которое поспешно стремилось к Италии. Но известия, из Сицилии получаемые, приводили Тимолеонта в великое недоумение и воинов ввергали в уныние. Гикет, одержав над Дионисием в сражении победу и заняв большую часть Сиракуз, запер его в крепости на так называемом Острове*, осаждал его и обносил стеной. Он велел карфагенянам не допускать Тимолеонта высадить в Сицилию войско, уверяя их, что, прогнавши коринфян, он с ними спокойно разделит остров. Карфагеняне отправили в Регий двадцать триер, на которых находились посланники от Гикета к Тимолеонту; объяснения их сходны были с тем, что происходило. То были речи благовидные и обманчивые, которыми прикрывали свои коварные замыслы. Посланники требовали, чтобы Тимолеонт, если угодно, прибыл к Гикету как советник и принял участие в делах, столь счастливо им произведенных, но чтобы корабли и войско отослал обратно в Коринф, ибо война почти кончена; что, впрочем, карфагеняне не допустят его переехать в Сицилию с войском и готовы с ним сразиться, если он предпримет сие, употребивши насилие. По прибытии своем в Регий коринфяне застали этих посланников и увидели карфагенские корабли, недалеко оттоле стоявшие. Они негодовали за оказываемое им оскорбление. Все пылали яростью к Гикету и страшились за Сицилию, на которую они взирали как на награду, назначенную предательству Гикета и насильственной власти карфагенян. Они почитали невозможным одержать верх над варварскими тут находившимися судами, которых было вдвое больше, и над Гикетовым в Сиракузах войском, которым они думали предводительствовать по своем прибытии.

Несмотря на то, Тимолеонт имел свидание с посланниками и с начальниками карфагенян; сказал им с кротостью, что он повинуется их приказанию, да и мог ли что-либо произвести, противясь им? Что, однако, желает слышать эти самые речи и дать им ответ на оные в присутствии граждан Регия, города греческого и обеим сторонам равно дружелюбного, и потом удалиться; что это нужно ему для собственной безопасности и что они сами будут тверже соблюдать то, что обещают в пользу сиракузян, когда народ Регия будет свидетелем их условий. Цель предложения была та, чтобы обмануть их и перевести войско в Сицилию. Намерениям его содействовали все правители Регия, которые, боясь соседства с варварами,

желали, чтобы коринфяне усилились в Сицилии. По этой причине собрали народ и заперли городские ворота будто бы для того, чтобы внимание граждан ничем развлечено не было. Они предстали перед народом и говорили ему весьма длинные речи – все на одну и ту же тему – единственно с тем, чтобы продлить время, в которое коринфские суда могли пуститься в море. Таким образом занимали они карфагенян, которые ничего не подозревали, тем более что Тимолеонт тут находился и показывал, что он скоро встанет и будет говорить. Наконец, когда и ему тайно дали знать, что все суда удалились, кроме одного, которое ожидало его, то он пробрался сквозь толпу народа, между тем как регийцы нарочно толпились вокруг трибуны, чтобы его сокрыть; сошел на берег и отплыл с поспешностью. Он пристал к сицилийскому городу Тавромению*, владетель которого Андромах, давно уже призывавший коринфян, принял его к себе дружелюбно. Этот Андромах, отец историка Тимея, был лучший из тогдашних сицилийских владетелей; гражданами управлял справедливо и по законам; к тираннам оказывал явное неблагорасположение и вражду. Он позволил Тимолеонту сделать город его сборным местом коринфских сил, заставил граждан содействовать коринфянам и вместе с ними освобождать Сицилию.

Как скоро Тимолеонт отплыл и Народное собрание было распущено, карфагеняне, бывшие в Регии, негодуя на сей обман, подали региянам повод шутить над ними и спрашивать их: «Неужели вам, как финикийцам*, неприятно то, что произведено хитростью и обманом?» Они отправили на корабль в Тавромений посланника, который долго говорил с Андромахом и стращал его варварскими и надменными угрозами в случае, если он тотчас не выгонит коринфян; наконец, показал ему открытую руку и, перевернув ее, сказал: «И город твой таким же образом будет превращен». Андромах, рассмеявшись, не отвечал более ничего, но, показав ему открытую же руку свою и так же перевернув ее, велел отправиться, если не хочет, чтобы его корабль также был перевернут.

Между тем Гикет, получив известие о прибытии Тимолеонта и страшась его, призвал к себе на помощь множество кораблей карфагенских. Тогда-то сиракузяне отчаялись совершенно в своем спасении, видя, что карфагеняне занимали их пристань*, что Гикет господствовал в городе, а Дионисий владел крепостью, между тем как Тимолеонт в малом городе Тавромении держался, так сказать, за край Сицилии со слабой надеждой и с малыми силами. Кроме тысячи воинов и нужных запасов к содержанию их, он более ничего не имел. Города, угнетаемые бедствиями, не имели к нему доверенности; они были ожесточены против всех предводителей войска, более всего по причине вероломства и измены Калиппа и Фарака. Первый из них был афинянин, другой лакедемонянин; оба уверяли сицилийцев, что прибыли к ним для защиты их свободы, для истребления тираннов, но доказали своими поступками, что бедствия, от тираннства проистекавшие, были, так сказать, золото в сравнении с тем, что претерпели от них; они заставили думать, что окончившие жизнь свою в рабстве были гораздо блаженнее тех, кто узрел дни свободы.

Сицилийцы, полагая, что и коринфский полководец будет не лучше их и что он прибыл к ним с таким же ухищрением и обманом, дабы лестной надеждой и приятными обещаниями склонить их к перемене властителя, не доверяли ему и отвергали призывания коринфян. Одни адраниты, жители малого города, посвященного Адрану*, некоему богу, отлично почитаемому во всей Сицилии, были между собою в раздоре: одна сторона призывала на помощь Гикета и карфагенян, другая обратилась к Тимолеонту. Случайным образом Гикет и Тимолеонт в одно и то же время спешили к адранитам и оба вместе прибыли к ним. Гикет привел с собой пять тысяч воинов; у Тимолеонта было всего не более тысячи двухсот. Он выступил из Тавромения, отстоящего от Адрана на триста сорок стадиев, в первый день прошел малую часть дороги и остановился для отдохновения, но на другой день ускорил свой поход, прошел трудные дороги и уже на закате солнца узнал, что Гикет несколько прежде прибыл в город и расположился близ него станом. Предводители остановили передовую часть войска, думая, что воины, подкрепившись пищей, после отдыха будут действовать с большей бодростью. Тимолеонт, придя к ним, просил их не останавливаться, но вести воинов как можно скорее, дабы напасть на неприятелей, не устроенных в боевой порядок, в то время, когда они, вероятно, отдыхали после перехода, расставляли шатры свои, занимались приготовлением пищи. С этими словами взял он щит и пошел вперед, как будто бы вел воинов к верной победе. Одушевленные бодростью, они

все за ним последовали; пространство, отделявшее их от неприятелей, было менее тридцати стадиев. Пройдя оное, коринфяне напали на неприятеля, который, как скоро почувствовал их приближение, приведен был в расстройство и обратился в бегство; по этой причине на месте положено было более трехсот человек; живых взято вдвое против сего числа; стан также достался победителю. После того адраниты отворили свои ворота, присоединились к Тимолеонту и с ужасом и изумлением возвещали, что в самом начале сражения священные врата храма сами отверзлись, острие копья бога их колебалось, а пот лился с лица его.

По-видимому, это предвещало не только ту победу, но и последовавшие успехи, которым битва была счастливым началом. Вскоре многие города отправили к Тимолеонту посланников и присоединились к нему. Мамерк, тиранн Катаны, человек воинственный и обладавший многими сокровищами, вступил с ним в союз. Но всего важнее то, что Дионисий, лишенный уже всей надежды к сопротивлению и доведенный до крайности сдаться, презрел Гикета, столь постыдное претерпевшего поражение, и, уважая Тимолеонта, послал к нему, предавая себя и крепость во власть его и коринфян. Тимолеонт с радостью принял столь неожиданное счастье, послал к нему в крепость двух коринфян, Евклида и Телемаха, и четыреста воинов, не всех вместе и не явно (это было невозможно, ибо неприятели обладали пристанью), но тайно и понемногу. Воины заняли крепость, дворец и дома тиранна со всеми припасами и нужными к войне снарядами. Они нашли немалое число лошадей, разных родов машины, великое множество стрел. В оружейной хранилось семьдесят тысяч оружий, с давних лет припасенных. Сверх того у Дионисия было две тысячи воинов, которых он вместе со всем прочим предал Тимолеонту. Этот тиранн взял несколько денег и немногих из преданных ему людей и отплыл тайно, так что Гикет не мог этого приметить. Он прибыл в стан Тимолеонта и в первый раз явился как лицо частное и униженное. На одном корабле, с немногим имуществом был послан в Коринф тот, кто родился и воспитан на лоне блистательной и величайшей власти, кто в течение десяти лет пользовался ею спокойно, а после предприятия против него Диона двенадцать лет провел в трудах и войнах*. Претерпенные им напасти превзошли нанесенные им бедствия во время его насильственного правления. Он увидел при жизни своей убиение девственных дочерей. Сестра и вместе жена его была предана необузданным и поноснейшим желаниям и своевольству неприятелей, претерпела насильственную смерть с детьми своими и была брошена в море*. Обо всем это сказано подробно в жизнеописании Диона.

По прибытии Дионисия в Коринф не было ни одного грека, который бы не пожелал видеть его и говорить с ним. Одни, радуясь его несчастьям, из ненависти к нему приходили смотреть на него, как бы для того, чтобы попрать его, поверженного роком. Другие, переменясь в отношении к нему с переменой его счастья и жалея о нем, с удивлением взирали на влияние неизвестных причин и силы богов на человеческую видимую слабость. Ни природа, ни искусство не являли ничего подобного тому, что сотворила судьба: человек, недолго перед тем обладающий Сицилией, проводил время на торжище или сидел в лавках благовонных духов; пил вино, продаваемое в питейных домах; ругался при всех с женщинами, торгующими своими прелестями; обучал певиц пению и спорил с ними о театральных песнях и гармонии*. Одни полагали, что Дионисий вел такой образ жизни от скуки, будучи от природы ленив и склонен к постыдным увеселениям. Другие же думают, что то было умышленно, что он притворялся таковым и показывал великую глупость в своих занятиях, дабы коринфяне, пренебрегая им, не страшились и не подозревали, что он скучает переменой судьбы и имеет желания к новым предприятиям.

Однако упоминаются некоторые его слова, показывающие, что он переносил свое состояние с довольным великодушием. Пристав к Левкаде, жители которого, подобно Сиракузам, были поселенцы коринфские, он сказал, что с ним делается то же самое, что с молодыми людьми, впавшими в какие-либо прегрешения. Они с удовольствием проводят время с братьями, но бегут от своих родителей, стыдясь их. Равным образом и он охотно пробыл бы с левкадцами, стыдясь показаться в главном городе.

В Коринфе некто из чужеземцев шутил несколько грубо над философскими беседами, которыми Дионисий забавлял себя во время своего царствования, и наконец спросил его: «Какую же пользу ты приобрел от Платоновой мудрости?» – «Ужели ты думаешь, – отвечал Дионисий, – что я мало получил пользы от Платона, когда так равнодушно переношу перемену

счастья?»

Музыкант Аристоксен и некоторые другие спрашивали его, какая была причина его негодования на Платона. Дионисий ответствовал: «Насильственная власть сопряжена со многими бедствиями; самое же большее в ней то, что никто из называющих себя друзьями тиранна не говорит смело и откровенно, и эти-то друзья лишили меня Платоновой дружбы».

Один из тех, кто желал казаться остроумным, входя к Дионисию, дабы над ним пошутить, оттряхивал свой плащ*, как будто он входил к тиранну. Дионисий, платя ему такой же шуткой, советовал ему делать то же самое, когда он будет от него выходить, дабы чего-нибудь не унес с собой под плащом.

Филипп Македонский* за пиршеством говорил с насмешкой о стихах и трагедиях, оставленных Дионисием Старшим*, и показывал удивление: когда он имел время этим заниматься? Дионисий на то довольно колко отвечал следующее: «Когда ты и я и все мнимые счастливцы сидим за стаканами».

Платон не успел видеть Дионисия в Коринфе; его уже на свете не было. Но Диоген Синопский*, встретившись с ним в первый раз, сказал: «Сколь недостойную жизнь проводишь, Дионисий!» Он остановился и сказал ему: «Благодарю тебя, Диоген, за то, что ты жалеешь обо мне в несчастиях моих». «Как! – отвечал Диоген. – Ужели ты думаешь, что я о тебе жалею? Нет! Я негодую только за то, что такой презрительный, как ты, человек, способный состариться и умереть в тираннической власти, подобно отцу своему, проводит здесь жизнь вместе с нами в забавах и удовольствиях».

Если я сравню со словами Дионисия Филистовы* восклицания, плач его о дочерях Лептина, которые от верховной власти, как будто бы великого счастья, перешли в низкое состояние, то, мне кажется, я слышу вопли и жалобы слабой женщины, рыдающей о потере своих сосудов с благовониями, пурпуровых одежд и золотых украшений. Эти подробности, думаю, не чужды предмета жизнеописаний, и я уверен, что не покажутся бесполезными для тех, кто занимается чтением спокойно и в свободное время.

Сколь ни необычайны были бедствия Дионисия, но счастье Тимолеонта не менее удивительно. В пятьдесят дней по прибытии своем в Сицилию завладел он крепостью Сиракуз и выслал в Пелопоннес Дионисия. Коринфяне, ободренные успехами, усилили его двумя тысячами пехоты и двумястами конницы. Эти воины вышли на берег в Фуриях*, но, почитая невозможным переправиться в Сицилию морем, которое было занимаемо многочисленными карфагенскими кораблями, были принуждены до удобного случая остаться в бездействии и между тем употребили свободное свое время самым лучшим образом. Граждане Фурий предприняли поход против бруттиев. Коринфяне вступили в их город, охраняли его столь верно и с таким порядком, как собственное отечество.

Между тем Гикет осаждал сиракузскую крепость и препятствовал ввозу припасов к коринфянам. Он склонил двух иностранных воинов и подослал их в Адран, дабы умертвить изменнически Тимолеонта. Этот полководец и прежде не имел обыкновения окружать себя стражами, но в то время, полагаясь на покровительство бога Адрана, жил между адранитами без всякой предосторожности и без подозрения. Подосланные убийцы узнали по случаю, что он намеревался приносить жертву; они пришли в храм, скрывая под платьем короткие мечи, вмешались в толпу окружающих жертвенник граждан и мало-помалу пробирались ближе к Тимолеонту; они друг друга уже ободряли к совершению злодеяния, как некто из народа поразил мечом в голову одного из них. Он пал, но ни поразивший, ни товарищ пораженного не остались на месте. Первый с мечом в руке убежал и влез на высокий утес; другой обнял жертвенник и просил у Тимолеонта помилования, с тем чтобы все обнаружить. Получив в том обещание, объявил, что он и умертвленный были подосланы убить его. В то самое время привели того, который убежал на утес. Он кричал, что не сделал никакого преступления, но что справедливо убил человека, умертвившего отца его прежде в Леонтинах. Некоторые из присутствовавших подтверждали истину слов его, удивляясь в то же время чудесному искусству счастья, которое, производя одно действие посредством другого, приготовляя все издали, связывая между собою самые противные, ничего общего между собою не имеющие случаи, употребляет их так, чтобы конец одного был началом другому. Коринфяне дали в награду сему человеку десять мин за то, что справедливой местью своей послужил орудием

гению-хранителю Тимолеонта и по особенным причинам давно питаемый гнев свой удовлетворил в такое время, когда счастье употребило его к спасению Тимолеонта. Этот счастливый случай наполнил сердца надеждой на будущее; взирая на Тимолеонта как на человека священного, пришедшего волею бога для освобождения Сицилии, все чтили и хранили его.

Не получив успеха в предприятии умертвить Тимолеонта и видя, что многие к нему собирались, Гикет негодовал сам на себя, что употреблял, как бы со стыдом и мало-помалу, близ стоявшие великие силы карфагенян, впуская в город пособие скрытно и украдкой. Он призвал к себе их начальника Магона со всем его флотом. Магон прибыл, страстный множеством сил своих; занял пристань флотом изо ста пятидесяти кораблей состоявшим, высадил на берег шестьдесят тысяч пехоты и расположился в самых Сиракузах. Все думали, что настал уже давно предсказанный и ожидаемый час совершенного покорения Сицилии варварами; до того времени никогда не удавалось карфагенянам занять Сиракузы, хотя вели в Сицилии многократные брани. Но тогда Гикет впустил их в город, предал его во власть их, так что оный сделался станом варваров. Занимавшие крепость коринфяне были в трудном и опасном положении; они претерпевали недостаток в припасах, ибо пристани были охраняемы неприятелем; между тем находились в беспрерывных подвигах и трудах на стенах своих и разделяли свои силы, защищаясь против разного рода машин и нападений со стороны осаждающих.

Однако Тимолеонт не оставлял их без помощи. Он посылал им из Катаны хлеб на малых рыбачьих лодках, которые, пользуясь непогодой, проплывали между кораблями карфагенскими, стоявшими по причине бури и волнения далеко один от другого. Магон и Гикет, заметив это, решились взять Катану, отколе осажденные получали запасы. С храбрейшими своими войсками они вышли из Сиракуз. Между тем коринфянин Неон, начальник осажденных, приметив с крепости, что оставшиеся карфагеняне стерегли небрежно и недеятельно, вдруг напал на них рассеянных; одних побил, других прогнал и завладел так называемой Ахрадиной, самой крепкой и менее поврежденной частью Сиракуз, состоявших как бы из многих городов. Найдя в оной довольно хлеба и денег, он не оставил его места неприятелю, не удалился опять в крепость, но стерег сего, укрепив окружность и соединив его укреплениями с крепостью. Уже Магон и Гикет находились близ Катаны, как гонец из Сиракуз, прибывши к ним, известил о взятии Ахрадины. Это привело их в такое смятение, что они поспешно удалились, не взяв того, чего хотели, и не сохранив того, чем владели прежде.

Этот успех оставляют еще в недоумении, прозорливости ли и храбрости Тимолеонта или счастью должно все приписать. Но следующий случай кажется совершенно делом счастья. Коринфские воины, пребывавшие в Фуриях, страшась карфагенских кораблей, которые стерегли их под предводительством Аннона, видя море несколько дней сразу обуреваемое сильным ветром, решились идти сухим путем в Регий через Бруттий. Употребив против варваров то убеждение, то насилие, они прибыли наконец в Регий, тогда как море, было еще в большом волнении. В то самое время начальник карфагенского флота, не ожидая нимало коринфян и думая, что напрасно тут находился, уверив себя, что изобрел нечто весьма искусное и хитрое для обману неприятелей, дал приказание своим пловцам надеть венки, украсил корабли свои щитами греческими и карфагенскими и отплыл к Сиракузам. Находясь близ крепости, он велел стучать сильно веслами, поднять шум и громкий смех, кричать, что разбили и взяли в плен коринфян при переправе их в Сицилию. Он надеялся привести осажденных в уныние. Но в то самое время, как он бесстыдно лгал и обманывал их, коринфяне, пришедшие в Регий через земли бруттиев, нашедши пролив никем не охраняемый и видя, что ветер утих неожиданно, так что море было совершенно спокойно и ровно, сели поспешно на малые челноки и рыбачьи лодки, которые тут нашли. Они пустились в море и переправились в Сицилию столь безопасно и при такой тишине моря, что лошади, которых держали за повода, плавали подле них.

Выйдя на берег, присоединились они все к Тимолеонту, который тотчас занял Мессену и потом в порядке пошел на Сиракузы, более полагаясь на благоприятство счастья и на благополучные успехи свои, нежели на силы. При нем было не более четырех тысяч человек. Магон, который и прежде был в смятении и беспокойстве, узнав о его приближении, возымел к

Гикету еще большее подозрение по следующей причине: окружающие город болота* принимают в себя много пресной воды из многих рудников и озер и из рек, впадающих в море. В этих болотах находится множество угрей, которых всегда можно ловить в изобилии. В праздное время наемные воины с обеих сторон занимались рыбной ловлей. Они были греки и не имели никакой частной причины к взаимной вражде; в битвах сражались они мужественно, но в перемириях сходились и разговаривали между собою. Некогда, занимаясь одним делом, ловлей угрей, они вступили в разговоры, любуясь выгодами тамошнего моря и приятным положением окрестностей. При этом один из воинов коринфских сказал другим: «И этот столь великий город, обилующий столькими приятностями и выгодами, вы, хотя и греки, стараетесь предать варварам! Вы хотите поселить близ нас этих злобных и кровожадных карфагенян, когда надлежало бы желать, чтобы между ними и Грецией было несколько Сицилий! Ужели вы думаете, что для утверждения власти Гикета подвергаются они таким опасностям и привели сюда многочисленные силы от столпов Геракловых и с Атлантического моря? Когда бы сей тиранн был одарен приличным полководцу благоразумием, то не изгнал бы отселе отцов и основателей города; не навел бы на отечество его врагов, но, согласившись с Тимолеонтом и коринфянами, получил бы от них приличные почести и силу». Эти слова разнесены были в войске наемными ратниками и внушили Магону подозрение, что Гикет ему изменяет. Давно уже искал он благовидного предлога к отплытию. Хотя Гикет просил его оставаться и представлял ему превосходство сил своих над неприятельскими, однако Магон, уверясь, что счастьем и доблестью более уступал Тимолеонту, нежели множеством сил превышал его, поднял якоря и отплыл в Ливию, постыднейшим образом и против всякого человеческого чаяния выпустив из рук Сицилию.

На другой день предстал Тимолеонт с войском в боевом порядке. Коринфяне, узнав о побеге карфагенян и не видя в пристани ни одного корабля, не могли не смеяться над трусостью Магона. Ходя вокруг города, они возвещали, что дадут награду тому, кто скажет, куда скрылся от них флот карфагенский. Несмотря на отплытие Магона, Гикет еще дерзал противоборствовать. Он не хотел оставить город и укреплялся в занимаемых им местах, которые были тверды и неприступны. Тимолеонт разделил силу свою на три части: с одной, которой предводительствовал сам, устремился к ручью Анап, месту самому опасному; другой, под начальством коринфянина Исия, велел учинить нападение на Ахрадины; третью же вели к Эпиполам Динарх и Демарет, приведшие последнюю из Коринфа помощь. В одно и то же время произведено было нападение со всех сторон. Войско Гикета было разбито и обращено в бегство. Что город был взят и скоро покорился по изгнании неприятелей, то это по справедливости приписать должно мужеству сражавшихся и искусству полководца, но что ни один коринфянин не был убит или ранен, то счастье Тимолеонта признает это собственным своим произведением. Оно, кажется, спорило с доблестью мужа сего, желая ее превзойти, дабы внимающие повествованию о нем удивлялись счастливым его деяниям более, нежели достохвальным. Не только по всей Сицилии и Италии распространилось вскоре известие об этом великом подвиге, но через несколько дней достигло самой Греции, и коринфяне, кто еще не верил, что корабли их пришли в Сицилию, в одно время узнали и о прибытии туда войска, и о победе, им одержанной. Столько-то действия его были успешны; и такую быстроту придало счастье красоте его подвигов!

Завладев крепостью, Тимолеонт не последовал примеру Диона: он не пощадил места сего из уважения к красоте и великолепию зданий, воздвигнутых на нем. Избегая подозрения, которое пало на Диона и, наконец, его погубило, Тимолеонт обнародовал, чтобы всякий, кто хотел, из сиракузян, пришел в крепость с железными орудиями, дабы принять участие в ниспровержении твердыни тираннов. Все туда устремились; объявление Тимолеонтово и день этот почли они вернейшим началом своей свободы. Они разорили и срыли до основания не только крепость, но даже дома и памятники тираннов. Сравняв почву, Тимолеонт определил построить судебные места, желая из угождения гражданам показать, что он дает преимущество законной власти над самовластием.

Тимолеонт взял город, но в нем не было граждан. Одни из них погибли в войнах и мятежах; другие убежали от тираннства. Площадь сиракузская по причине малолюдства заросла столь высокой и густой травой, что на ней паслись лошади и лежали конюхи. Почти все

города, кроме немногих, были наполнены оленями и вепрями. В предместьях городов и около стен праздные люди часто занимались охотой. Живущие в укрепленных местах и крепостях не хотели переселяться в города, ни приходить в оные. Народная площадь, народоправление, трибуна, от которых возродилась между ними большая часть тираннов, производили в них ужас и отвращение. Это побудило Тимолеонта и сиракузян писать в Коринф, чтобы из Греции присланы были жители в Сиракузы, без чего вся область осталась бы пустою. При том угрожаемы были тяжкой войной со стороны Африки, ибо получено было известие, что карфагеняне распяли тело убившего себя Магона, будучи недовольны его управлением, и набирали великие силы, дабы с наступлением весны переправиться в Сицилию.

Вместе с письмами Тимолеонта прибыли в Коринф сиракузские посланники, которые просили коринфян иметь попечение об их городе и сделаться вновь его населителями. Коринфяне нимало не воспользовались этим обстоятельством для распространения своей власти и для покорения себе города. Во-первых, велели через провозгласителей обнародовать на всех священных играх Греции и в великих торжественных собраниях, что коринфяне, уничтожив в Сиракузах тираннию и изгнав тиранна, призывают сиракузян и всех других сицилийцев, кто желает, поселиться в городе, дабы жить в свободе и независимости и разделить землю между собою на равных правах. Во-вторых, посылая вестников в Азию и на острова, где узнавали, что находилось большее число рассеянных граждан, они призывали их в Коринф, обещаясь перевести их в Сиракузы безопасно на своем иждивении, доставляя им корабли и предводителей. Между тем как это объявление было обнародовано, Коринф приобретал от всех самую справедливую и лестную похвалу за то, что область эту освобождал от тираннов, спасал от врагов и возвращал ее жителям.

Число сиракузян, собравшихся в Коринф, было невелико; и потому они просили, чтобы им даны были из Коринфа и другой Греции поселенцы. Собралось не менее десяти тысяч человек, которые отправились в Сиракузы. Из Италии и других частей Сицилии многие собирались к Тимолеонту, так что число всех простиралось до шестидесяти тысяч человек, как говорит Афанид*. Тимолеонт разделил им землю, а дома продал за тысячу талантов. Таким образом, он сохранил прежним хозяевам право выкупать свои дома и в то же время старался обогатить казну народа, который терпел во всем такой недостаток (особенно же для продолжения войны), что продал и кумиры тираннов. Над каждым из них, собирая голоса граждан, производили суд, как будто бы над людьми, дающими отчет в своих поступках. Все кумиры были осуждены, но кумир Гелона*, древнего своего владельца, сиракузяне сохранили, уважая сего мужа за победу, одержанную над карфагенянами при Гимере.

Таким образом, город оживал и наполнялся жителями. Граждане со всех сторон стекались в оный. Тимолеонт, желая освободить и другие города и совершенно изгнать изо всей Сицилии тираннов, вступил с войском в их области. Он принудил Гикета отстать от карфагенян, обязаться срыть свои крепости и жить в Леонтинах* как частное лицо. Лептин, тиранн Аполлонии* и многих других городов, находясь в опасности быть пойманным, предал сам себя Тимолеонту, который пощадил его и послал в Коринф, почитая славным, чтобы в этом главном городе, перед глазами всей Греции, жили как изгнанники эти жестокие тиранны Сицилии в низком и презренном состоянии. Он возвратился в Сиракузы, дабы заняться учреждением правления и вместе с присланными из Коринфа законодателями Кефалом и Дионисием ввести лучшие и важнейшие постановления. Дабы наемное войско не оставалось в бездействии, но получало какую-либо выгоду от земли неприятельской, Тимолеонт выслал его в область карфагенскую под предводительством Динарха и Демарета. Они отняли многие города у варваров и не только жили в изобилии, но получили сверх того в добычу много денег для дальнейшего ведения войны.

Между тем карфагеняне пристают к Лилибею* в числе семидесяти тысяч человек на двухстах триерах, на тысяче перевозных судов, на которых везены были машины, военные колесницы, великое множество хлеба и всех других приготовлений, с намерением вести войну не частную, но изо всей Сицилии изгнать греков. Сила их была достаточна к покорению Сицилии и тогда, когда бы этот остров не страдал от междоусобных браней и не был ими истощен. Узнав, что область их была разоряема, карфагеняне под предводительством Гасдрубала и Гамилькара устремились с яростью прямо на коринфян. Вскоре получено было в

Сиракузах известие о прибытии их. Эта многочисленная сила привела сиракузян в такой ужас, что из такого множества народа едва три тысячи осмелились поднять оружие и присоединиться к Тимолеонту. Наемного войска было до четырех тысяч, но в походе около тысячи человек оробели и отступили; им казалось, что Тимолеонт, вопреки здравому рассудку и от старости сойдя с ума, шел против семидесяти тысяч неприятелей с пятью тысячами пехоты и тысячей конницы, удалившись на восемь дней пути от Сиракуз, так что и предавшимся бегству спастись и падшим удостоиться погребения казалось уже невозможным. Тимолеонт почитал выгодой то, что до сражения обнаружили себя эти робкие души; ободрив остальных, продолжал он поспешно свой путь к реке Кримис, куда, как он узнал, и карфагеняне уже прибыли.

Восходя на гору, с вершины которой можно было видеть войско и силы неприятельские, коринфяне встретили лошаков, навьюченных сельдереями. Воинам показалась эта встреча неблагоприятным предзнаменованием, ибо мы имеем обыкновение украшать этой травой гробницы умерших, от чего произошла и пословица об отчаянно больном человеке: ему нужны сельдереи. Дабы освободить воинов от страха, суеверием внушенного, и одушевить надеждой, Тимолеонт остановился на том месте; говорил им речь, приличную обстоятельствам, и сказал в заключение, что венец победы сам собою готовится для них. Коринфяне венчают сельдереем победителей на Истмийских играх, почитая венок из этой травы священным с древних времен. Тогда еще венком из сельдерея украшали победителей на Истмийских играх, как ныне на Немейских. Сосновый венок введен в употребление недавно. По окончании речи своей Тимолеонт, взяв сельдереи, первый ими украсил голову, а за ним предводители и все войско. Прорицатели указали воинам на двух орлов, летевших к ним, из которых один держал в когтях змия, им растерзанного, а другой парил за ним с громким и радостным криком. После чего все войско обратилось к молитве и призывало богов на помощь.

В то время начиналось лето, в последних числах месяца фаргелиона, и уже близился солнцеворот. Из реки подымались густые пары; поле было сперва покрыто мглою, так что на нем никакой части неприятельского войска не было видно; только смешанный и глухой шум простирался вверх по холму от восстающего издали многочисленного войска. Коринфяне, взойдя на вершину холма, остановились и, положив щиты свои, отдыхали. Уже солнце на высоте своей поднимало испарения, и мрачный туман, собравшись на высотах, сгущался и обложил облаками вершины холмов; низменные места очистились; река Кримис* показалась, и коринфяне увидели переправлявшегося через нее неприятеля. Сперва переехали военные четырьмя конями запряженные колесницы со страшными приготовлениями; за ними следовали десять тысяч пехоты с белыми щитами. По блистательным их оружиям, по медленности и стройному шествию коринфяне почли их за природных карфагенян. За ними текли другие народы и переправлялись с шумом и в беспорядке. Тимолеонт, видя, что река давала ему на волю сражаться с таким числом неприятелей, с каким ему хотелось, и показав воинам своим неприятельскую фалангу, расстроенную и разделенную, ибо часть неприятелей уже переправилась, другая готовилась к переправе, – велел Демарету напасть на карфагенян с конницей и смешать их ряды, прежде нежели они успели бы выстроиться. Он спустился с высот и поставил на крылах других сицилийцев, присоединив к ним немногих иноземных воинов. Сам стал в средине войска с сиракузянами и храбрейшими наемными войсками и несколько подождал, дабы видеть успех движения конницы. Приметив, что она не могла вступить с карфагенянами в бой по причине ристающих перед их строем колесниц, но была принуждена часто отступать, дабы не быть расстроенной, и повторять часто нападения, Тимолеонт взял щит свой и кричал пехоте, чтобы следовала за ним смело. Крик его показался сверхъестественным и громче обыкновенного или от того, что при такой опасности, в исступлении страсти, был одушевлен новой силою, или от того, как многим тогда представилось, что некое божество присоединило к его голосу голос свой. Воины ответствовали ему таковым же криком и побуждали вести их немедленно. Он дал знак коннице удалиться в сторону, вне ополчения колесниц, и напасть на неприятеля сбоку. Потом, сомкнув первые ряды щитами, велел затрубить в трубы и ударил на карфагенян.

Твердо выдержали они первое нападение; будучи ограждены железными нагрудниками и медными шлемами и защищаясь большими щитами, легко отражали удары неприятельских копий. Но как скоро дошло дело до мечей, в чем надлежало показать искусство не менее, как и

крепость, вдруг ударили с гор страшные громы с палящими молниями. Туман, покрывавший холмы и высокие места, спустился долу на место сражения с дождем, градом и вихрем, который дул грекам сзади, но варварам ударял прямо в лицо. Их зрение помрачали как порывистый и влажный ветер, так и пламя, часто с облаков ударяющее. Все это беспокоило неприятелей, особливо же неопытных. Беспорядок еще более умножили громы, стук оружий, поражаемых сильным дождем и градом, препятствовавший слышать повеления полководцев. Карфагеняне, имея доспехи не легкие, но, как выше сказано, будучи покрыты железом и медью, не могли действовать на месте, которое было глинисто. Пазухи их одежд были наполнены водой, которая делала их тяжелыми и неповоротливыми в битве, так что греки их легко повергали на землю. Упав, они не могли опять встать с глины с оружием. Река Кримис, надувшись уже от больших дождей, разлилась от множества переправлявшегося через нее войска; равнина, вокруг нее лежащая, была усеяна ямами и рытвинами, которые наполнились водой от стремящихся всюду потоков; карфагеняне в них попадали и только с великим трудом спасались. Наконец, истерзанные грозой греки опрокинули первый ряд неприятелей, состоявший из четырехсот человек, и многочисленная толпа обратилась в бегство. Многих карфагенян ловили в поле и умертвляли; многие из них, сталкиваясь с теми, кто еще переправлялся, были уносимы и потопляемы рекой, большая часть стремилась на холмы, но легкая пехота их настигала и побивала. Из десяти тысяч убитых неприятелей три тысячи были карфагеняне*. Скорбь отечества по них была неописанна. Не было знаменитее их ни родом, ни богатством, ни славою; не упоминается нигде, чтобы прежде в одном сражении пало такое число настоящих карфагенян: большей частью пользовались услугами наемников – ливийцев, иберов и нумидийцев, – они расплачивались за свои поражения чужою бедой.

Доказательством знаменитости падших карфагенян служили грекам корысти их. Собирающие оные ни во что не ставили железные и медные оружия – столь много было тут золота и серебра! Переправившись через реку, они завладели станом неприятельским и обозом. Воины скрыли большую часть пленников; обществу же представлено было их пять тысяч. Военных колесниц взято было до двухсот. Тимолеонтов шатер представлял взорам прекраснейшее и великолепнейшее зрелище, будучи взгроможден многоразличными корыстями. Перед ними стояли тысяча броней, отличных отделкою и красотой, и десять тысяч щитов. Победители, будучи малочисленные, снимая корысти с великого числа неприятелей и получив великую от того прибыль, только на третий день после сражения воздвигли трофей.

Вместе с известием об одержанной победе Тимолеонт послал в Коринф прекраснейшие оружия, полученные в добычу, дабы удивлялись отечеству его все народы и видели, что изо всех греческих городов в нем одном знаменитейшие храмы не были украшены корыстями, у греков же взятыми, ни приношениями, обагренными кровью родных и единоплеменных, сохраняющими неприятные воспоминания, но корыстями, отнятыми у варваров, означающими прекрасными надписями вместе и храбрость и справедливость победителей. Надписи были следующего содержания: «Коринфяне и полководец Тимолеонт, освободившие греков, населяющих Сицилию, от карфагенян, посвятили сие в благодарность богам».

Он оставил наемное войско опустошать и разорять карфагенские области и возвратился в Сиракузы. Тысяча воинов, которые оставили его до сражения, получили от него повеление выйти из Сиракуз до захода солнца и изгнаны им совершенно из Сицилии. Они переправились в Италию и погибли все вероломством бруттиев. Таким-то образом была богами наказана измена их Тимолеонту!

Однако Мамерк, тиранн Катаны, и Гикет, завидуя великим подвигам Тимолеонта или боясь его, как непримиримого и всегдашнего врага тираннов, заключили союз с карфагенянами и советовали им послать военные силы и полководца, если не хотят быть совершенно изгнанными из Сицилии. Они отправили с флотом, состоявшим из семидесяти кораблей, Гискона; у него было и греческое наемное войско. До того времени никогда карфагеняне не употребляли в войне греков, но тогда взирали на них как на самых мужественных и непобедимых людей. Они все вместе соединились в Мессене и умертвили около четырехсот из посланных туда на помощь Тимолеонтом наемных воинов. В самой области карфагенской, близ так называемого Иета, изрубили наемное войско, бывшее под предводительством левкадийца Эвфима, против которого поставили засаду. Но и этот случай прославил еще более

благополучие Тимолеонта. Это были те самые воины, которые вместе с фокейцем Филомелом и Ономархом завладели Дельфами и участвовали с ними в святотатстве*. Все их ненавидели и отвращались, как людей, преданных проклятию. Они блуждали по Пелопоннесу и были приняты Тимолеонтом, когда он имел недостаток в других воинах. По прибытии в Сицилию одержали они победу во всех сражениях, которые даны были под его предводительством. При окончании большей части величайших подвигов, будучи посылаемы Тимолеонтом на помощь другим, они погибли – не все вместе, но мало-помалу. Нет сомнения, что правосудие наказало их так, как было сообразнее с счастьем Тимолеонтовым, дабы добрые и храбрые не претерпели никакого вреда от наказания, определенного злым. Благоприятству богов к Тимолеонту надлежало удивляться в неудачах столько же, как и в счастливейших подвигах.

Между тем сиракузяне негодовали, претерпевая поругания от тираннов. Мамерк, гордясь способностью сочинять стихи и трагедии, хвастал одержанной над наемными войсками победой и посвятил богам щиты, надписав со следующими ругательными стихами:

Щитами малыми мы взяли те щиты*,
Блестящи янтарем, слоновой костью, златом.

Когда Тимолеонт вступил в Калаврию*, то Гикет напал на сиракузскую область, разорил и ограбил ее, взял много добычи и удалился к самой Калаврии, как бы презирая Тимолеонта, у которого было мало воинов. Тимолеонт дал ему пройти, потом пустился за ним с конницей и легковооруженными воинами. Гикет, приметя это, переправился через реку Дамирий и остановился на берегу ее в боевом порядке. Надежду его умножали трудность переправы через реку и кремнистые с обеих сторон берега. Между тем соревнование и необыкновенный спор, происходивший между предводителями Тимолеонтовой конницы, заставляли их медлить. Ни один из них не хотел переправиться после другого; каждый просил, чтобы ему позволено было напасть первому. Переправа происходила без всякого порядка; они толкали друг друга и старались опередить. Тимолеонт решился кинуть жребий; он взял у каждого перстень, потом, собрав все в своей хламиде и смешав, вынул первый, на котором по случаю вырезан был трофей. Едва увидели это молодые воины, подняли радостные крики; не ожидали более, чтобы он вынул других жеребьев, но все с возможной быстротой пустились переправляться и вступали в бой. Неприятели не выдержали стремления их; они убежали; все лишились своих оружий; умертвлено было до тысячи человек.

Скоро после того Тимолеонт вступил в землю леонтийцев и поймал живых Гикета, сына его Эвполема и начальника конницы Эвфима, которых воины их связали и предали ему. Гикет и сын его, как тиранны и предатели, были казнены смертью. Эвфим, хотя был человек мужественный в битвах и отличный смелостью своею, однако не возбудил к себе сострадания, потому что обвиняли его в ругательствах против коринфян. Говорят, что когда коринфяне выступили против них, то Эвфим, в речи своей к леонтийцам, сказал, что нет ничего страшного или опасного, если

Коринфянки уже выходят из домов*.

Вот как большая часть людей более оскорбляется от ругательных слов, нежели от неприятельских поступков! Они скорее снесут вред, нежели оскорбление. Защищаться на деле позволяется противникам, как необходимость, но ругательства почитаются произведением излишества ненависти и злобы.

По возвращении Тимолеонта сиракузяне позвали жен и дочерей Гикета к суду в Народное собрание и приговорили их к смерти. Изо всех Тимолеонтовых деяний это есть самое дурное, ибо эти несчастные не были бы преданы таким образом смерти, если бы он тому противился. Кажется, что он презрел их и предал ярости народа, который мстил за Диона, изгнавшего прежде Дионисия, ибо Гикет велел утопить живых жену Диона Арету, сестру Аристомаху и малолетнего сына, как мною сказано в жизнеописании Диона.

Затем Тимолеонт пошел в Катану против Мамерка, который ожидал его в боевом порядке на берегу потока Абол*. Тимолеонт разбил его, обратив в бегство, и положил на месте более

двух тысяч человек; немалая часть из них были финикийцы, посланные Гесконом к ним на помощь. Карфагеняне после сего поражения просили мира, который и был заключен с тем, чтобы земля за рекою Лик* осталась в их владении; чтобы каждый из жителей ее мог свободно переселяться в область сиракузскую с имением и с семейством и чтобы они прервали союз с тираннами. Мамерк, лишенный надежды, отплыл в Италию, дабы склонить луканов поднять оружие на Тимолеонта и на сиракузян. Но бывшие с ним поворотили назад свои корабли, прибыли в Сицилию и предали Тимолеонту Катану. Мамерк был принужден убежать в Мессену, где правил тиранн Гиппон.

Тимолеонт, придя туда, осадил город с моря и с твердой земли. Гиппон хотел убежать на корабле, но был пойман мессенцами; они привели его в театр, куда созвали детей своих из училищ для показания им, как бы прекраснейшего зрелища, наказания тиранна, которого предали мучительной смерти. Мамерк сам предался Тимолеонту – с уговором, чтобы быть судимым сиракузянами и чтобы Тимолеонт не обвинял его. Будучи приведен в Сиракузы, предстал перед народом и хотел говорить речь, гораздо прежде им сочиненную. Но народ шумел и волновался. Мамерк, видя, что все были озлоблены против него, сбросил свое платье, побежал через театр и, спускаясь быстро по ступенькам, с намерением ударил об оные головой, дабы умертвить себя. Однако не удалось ему умереть сею смертью; он был взят живой и претерпел наказание, определенное разбойникам.

Вот как Тимолеонт искоренил в Сицилии тираннов и прекратил войны! Принявши остров от великих бедствий, так сказать, одичавшим, ненавидимым самыми его жителями, до того укротил в нем дикость и свирепость и сделал его столь любезным всем, что чужие стекались поселяться туда, откуда настоящие жители прежде убегали. Города Акрагант и Гела*, прежде столь многолюдные, разрушенные карфагенянами после войны афинской, тогда были вновь заселены, один Мегеллом и Феристом из Элеи, а другой – Горгом, урожденцем острова Кеос*, который приплыл туда и собрал древних жителей. Тимолеонт не только доставил им спокойствие и безопасность после жестокой войны при поселении их, но помогал им и споспешествовал столь усердно, что города любили его как своего основателя. Не одни эти города, но и все другие такую имели к нему любовь и доверенность, что ни заключение мира, ни постановление законов, ни население какой-либо области, ни учреждение правления не казались совершенными, если Тимолеонт не касался оного и не устраивал, подобно зодчему при окончании здания, придавая ему некоторое приличное и богам приятное украшение.

В то время в Греции прославляемы были многие великие мужи, произведшие великие дела, как, например, Тимофей, Агесилай, Пелопид и, наконец, Эпаминонд, которого Тимолеонт более всех принял себе в образец. Но блеск подвигов их был смешан с трудностями и принуждением, так что некоторые деяния их сопровождаемы были и порицанием, и раскаянием. Но при каждом из дел Тимолеонта, если исключить поступок его с братом, прилично было бы восклицать, как говорит Тимей, Софокловы стихи:

Не ты ль, приятностей богиня,
Или Эрот, сын милый твой,
Все украшающей рукой
Сих знаменитых дел коснулись?

Стихотворения Антимаха Колофонского и картины его земляка Дионисия при всей силе их и выразительности кажутся принужденными и полными мучительных усилий, но, напротив того, картины Никомаха* и стихи Гомера, сверх силы и красоты, в них блистающей, кажется, произведены легко и без всякого принуждения. Равным образом, сравнивая многотрудные и с великим напряжением произведенные Эпаминонда и Агесилая подвиги с деяниями Тимолеонта, в которых красота соединена с легкостью, всякий здравомыслящий беспристрастно усмотрит, что оные не суть произведение счастья, но счастливой доблести.

Впрочем, Тимолеонт сам приписывал счастью все свои успехи. В письмах к друзьям своим в Коринф и в речах к народу сиракузскому часто говорил, что он благодарит бога, который, определивши спасти Сицилию, употребил на то его имя. Он посвятил в доме своем храм богине Автоматии* и приносил ей жертвы. Сам дом свой посвятил Священному Гению.

Он жил в доме, подаренном ему сиракузянами в награду за его военачальство вместе с приятнейшим и прекраснейшим полем, где проводил большую часть года с женой и детьми, которых призвал из Коринф. Он не согласился возвратиться в Коринфе; не принял участия в беспокойствах Греции; не подверг себя зависти сограждан, которую навлекли на себя многие другие полководцы из жадности к почестям и власти. Он остался тут, наслаждаясь благами, им самим произведенными; величайшее из них было видеть столько тысяч людей и столько городов, через него блаженствующих.

Но как должно, по словам Симонида, каждому жаворонку иметь свой холм и каждому народоправлению – сикофантов, или клеветников, то и против Тимолеонта восстали демагоги Лафистий и Деменет. Первый из них назначил ему срок явиться к суду. Тимолеонт не допустил граждан шуметь и препятствовать доносу, сказавши, что он для того добровольно перенес столько трудов и подвергался таким опасностям, дабы каждый сиракузянин мог свободно пользоваться законами. Деменет в Народном собрании порицал его военачальство. Тимолеонт нимало ему не противоречил, но сказал только: «Я благодарю богов за исполнение молений моих – видеть сиракузян, пользующихся своими законными правами».

Таким-то образом Тимолеонт между тогдашними греками произвел, по признанию всех, величайшие и прекраснейшие дела. Он один ознаменовал себя теми подвигами, к которым софисты призывали греков речами, произнесенными в торжествах народных. Счастье наперед вывело его чистым и не оскверненным кровью из тех зол, которыми Древняя Греция была обуреваема. Тираннам и варварам показал он свое искусство и храбрость; грекам и друзьям своим – справедливость и кротость. Большая часть его трофеев не стоили гражданам ни слез, ни печали. Менее нежели в восемь лет возвратил он Сицилию жителям ее очищенной от бедствий, всегда сопряженных с нею.

Наконец, в старости лет притупилось его зрение, и вскоре он его совершенно лишился. Виной этому не были ни он, ни завистливое счастье, но, вероятнее всего, наследственная болезнь, умноженная летами, ибо говорят, что многие из родственников его потеряли зрение, достигши старости. Афанид пишет, что в походе против Гиппона и Мамерка в Милах* показалось у него на глазу бельмо, и слепота его обнаружилась. При всем том, он не отстал от осады, но продолжал ее и поймал тираннов. По возвращении в Сиракузы сложил немедленно власть свою, получив на то позволение от своих сограждан, ибо предприятия его были уже увенчаны счастливейшим концом.

Не стоит особенно удивляться, что Тимолеонт равнодушно перенес это несчастье, но достойно уважать почтение и благодарность, оказанные ему сиракузянами в самой слепоте его. Они приходили к нему в дом и на дачу, приводили с собой приезжающих к ним иностранцев, дабы показать им своего благодетеля; радовались и гордились тем, что он избрал город их своим местопребыванием и не захотел возвратиться в Грецию, презрев сделанные к принятию его блистательные приготовления. После счастливых его деяний из многих важных постановлений и поступков сиракузского народа, служащих к его славе, достойно внимания и то, которым было постановлено: «При всякой войне с иноземными приглашать коринфского полководца». Прекрасно было видеть то, что происходило в Народном собрании для оказания ему почести. Сиракузяне решали сами все обыкновенные дела, но в важнейших обстоятельствах призывали его. Он проезжал через площадь к театру на колеснице. Как скоро останавливалась колесница, на которой он сидел, народ приветствовал его одним всеобщим восклицанием. Тимолеонт ответствовал на приветствие; мало времени уступал хвалам и благословению народа, потом, выслушав предлагаемое, объявлял о том свое мнение. Оно было одобряемо народом, и служители уводили назад колесницу через театр, между тем как граждане с восклицаниями и плеском провожали его, после чего занимались общественными делами самостоятельно.

Такие почести, с любовью соединенные, оказываемы были ему, как общему отцу. Он кончил дни свои от легкой болезни, достигнув глубокой старости. Назначены были дни, дабы сиракузяне могли сделать потребные приготовления к погребению его и дабы окрестные жители и иностранцы могли собраться в город. Похороны его были великолепны. Украшенный одр его несли избранные по жребию юноши по срытым уже Дионисиевым дворцам. Многие тысячи мужчин и женщин шли вперед в убранстве, сему торжеству приличном. На всех видны

были венки из цветов и чистейшие одежды; слезы и крики их, смешанные с благословениями и похвалами, были знаками не наружной печали или оказываемого по необходимости долга, но справедливой скорби и истинной благодарности, соединенной с любовью. Наконец тело его было положено на костер; и Деметрий, велегласнейший из тогдашних провозвестников, читал следующее объявление: «Народ сиракузский определил на погребение сего Тимолеонта, Тимодемова сына, коринфянина, двести мин и почтил его отныне впредь мусическими, конными и гимнастическими играми* за то, что изгнал тираннов, победил варваров, населил самые большие из опустошенных городов и возвратил сицилийцам законы». Прах его был погребен на площади; впоследствии гроб его окружили портиками, пристроили палестры и назначили быть здесь для молодых людей гимназии под названием «Тимолеонтий». Под правлением, им учрежденным, повинуясь установленным от него законам, сиракузяне долгое время наслаждались совершенным благоденствием.

Эмилий Павел

Работу над жизнеописаниями начал я из угождения к другим, но уже продолжаю ее и пребываю тверд в своем предприятии для себя самого, стараясь в истории, как в зеркале, некоторым образом исправить жизнь свою и образоваться добродетелями описываемых славных мужей. Это занятие совершенно походит на сожитие и тесное обхождение с кем-либо, когда, как бы угощая каждого из тех мужей по очереди, принимаю к себе через историю, рассматриваю «сколь был велик он и каких свойств»* и таким образом почерпаю из деяний его то, что в них превосходнее и к познанию полезнее.

С какою радостью сия сравнится радость?

Какое средство сильнее способствует исправлению нравов? Демокрит утверждает*, что должно просить богов, чтобы мы встречали виды или образы благоприятные и чтобы с окружающего нас воздуха поражали наше зрение предметы более хорошие и с нашей природой сообразные, нежели странные и вредные. Этим вводит он в философию мнение ложное, ввергающее в безмерное суеверие. Что касается до меня, то чтением истории и жизнеописаниями, приемля в себя беспрестанно воспоминание об отличнейших и достойнейших мужах, приготовляю себя отвергать и изгонять от себя все дурное, порочное и низкое, которое необходимо врывается в душу от обыкновенного сообщества с другими, и обращать ум свой, спокойный и безмятежный, к прекраснейшим примерам.

По этой причине предпринял я ныне описать тебе* жизни Тимолеонта Коринфского и Павла Эмилия, мужей, которые в равных предприятиях пользовались равным благоприятством судьбы и которые заставляют нас быть в нерешимости, случаем ли более или благоразумием совершили блистательнейшие свои подвиги.

Род Эмилиев в Риме, по признанию большей части писателей, есть из числа благороднейших и древнейших. Те, кто приписывает Пифагору образование царя Нумы, уверяют притом, что первый из Эмилиев, оставивший сие название потомкам своим, был Мамерк, сын мудрого Пифагора, прозванный Эмилием по причине приятности его речей.

Большая часть прославившихся из сего рода мужей были благополучны, пребывая тверды в добродетели*. Несчастье Луция Павла при Каннах доказало свету благоразумие его и доблесть. Он удерживал от сражения своего товарища* и, убедившись, что отговорить его от битвы невозможно, участвовал в деле против воли своей, но не принял участия в побеге. Начавший битву удалился от опасности, но Луций оставался на поле брани и погиб, сражаясь с неприятелями.

Дочь Луция Павла по имени Эмилия была замужем за Сципионом Африканским. Сын его есть Павел Эмилий, о котором здесь пишем. Он возмужал в то время, которое процветало славою и добродетелями знаменитейших и величайших мужей*, и ознаменовал себя перед прочими, хотя не следовал примеру отличных тогдашних юношей и с самого начала шел не одной с ними стезей. Он не старался усовершенствовать себя в судебном красноречии и нимало не употреблял приветствий и благосклонных рукопожатий, чем многие приобретают

благосклонность народа. Причиной этому была не природная неспособность, но желание ознаменовать себя храбростью, справедливостью, верностью – качествами, превышающими все другие и которыми он превосходил всех своих сверстников.

Первая из важных должностей, которую он просил у народа, есть должность эдила. Ему дано было предпочтение пред двенадцатью другими искателями, которые, говорят, впоследствии все возведены были на консульское достоинство. После того был он жрецом из числа так называемых авгуров*, которых римляне постановляют попечителями и надзирателями над гаданиями по птицам и небесным знамениям. Эмилий, соблюдая отечественные обычаи с величайшей точностью и вникнув в благочестие древних, доказал тем, что священство, которое почитали некоторой почестью и искали для оной славы*, есть одна из самых высоких наук и тем утвердил мнение тех философов, которые определили благочестие как науку служения богам. Все совершаемо было им с великим искусством и старанием. Занимаясь священнодействиями, не был он отвлекаем ничем другим. Ничего не пропускал, не вводил никакой новости; спорил всегда с другими жрецами о малейших делах, касающихся священных обрядов. Он научал их, что, хотя бы думал кто, что божество снисходительно и оставляет без внимания такое небрежение, однако должно почитать злом для общества всякое пропущение и неисполнение священнодействия. Никто не начинает великим злодеянием возмущать общество. Не наблюдающие точности в малых делах уничтожают хранение всего важнейшего. С равным вниманием соблюдал он и сохранял военные постановления и древние обычаи. Предводительствуя войсками, он не старался угождать подчиненным и, подобно многим тогдашним полководцам, не домогался будущего начальства заранее, потакая воинам и показывая им снисхождение. Точно он был искусный жрец другого рода оргий – военных обрядов, научая и наставляя воинов, был страшен непокорным и преступающим должность свою. Этим способом он восстановил отечество, почитая победу над неприятелями делом посторонним; главным же – исправление и образование граждан.

Между тем как война между римлянами и Антиохом Великим* была начата и опытнейшие полководцы обратились к нему*, на западе возгоралась новая брань. В Иберии происходили великие движения. Эмилий послан был в сане претора, имея двенадцать ликторов, а не шесть, подобно другим преторам, так что достоинство власти его было консульское. Он победил тамошних варваров в двух сражениях* и убил около тринадцати тысяч из них. Столь блистательный подвиг должно приписать полководцу, который, пользуясь выгодами местоположения и переправой неприятелей через реку, дал все способы воинам к одержанию победы. Он покорил при том двести пятьдесят городов, которые добровольно в себя его приняли. Он оставил область, водворивши в ней мир и верность, и возвратился в Рим, не сделавшись ни одной драхмою богаче от своего военачальства. Вообще он мало заботился об умножении своего имущества; был щедр и расточителен, хотя состояние его было неважное. По смерти его едва нашли оное достаточным к выплате следующего жене его приданого.

Он был женат на Папирии, дочери Мазона*, удостоившегося консульства. Проживши с нею несколько лет, он развелся, хотя она сделала его отцом знаменитых детей; она родила ему славного Сципиона и Фабия Максима. Причина этого разрыва не дошла до нас письменно. Касательно разводов супружеств, кажется, весьма справедливы слова некоего римлянина, который отсылал от себя жену. Друзья его увещевали, говорили ему: «Не хорошего ли она поведения? Не пригожа ли она? Не рождает ли детей?» Он показал им свою обувь (которую римляне называют «кальтий») и сказал им: «Не красива ли она? Не нова ли? Но никто из вас не знает, в котором месте жмет у меня ногу». В самом деле – иногда важные проступки, сделавшись гласными, не отрывают иных жен от мужей своих, но нередко малые и часто повторяющиеся ссоры, происходящие от неприятных друг другу поступков и несходства в нравах, хотя от других сокрыты, однако производят неисцелимое отчуждение и отвращение одного супруга к другому. Эмилий, разведясь с Папирией, женился на другой, от которой имел двух сыновей. Он оставил их в своем роде; рожденных же от первой жены ввел в знаменитейшие римские дома. Старший усыновлен сыном Фабия Максима, удостоившегося до пяти раз триумфа; а младший – сыном Сципиона Африканского*, которого был он племянником, и назван от него Сципионом. Из дочерей Эмилия одна была за сыном Катона*, другая – за Элием Тубероном, человеком отличной добродетели, который благородно и

великодушнее всех римлян сносил бедность свою. Всех Элиев было шестнадцать человек; они имели самый тесный домик; одно маленькое поле было для них достаточно*; они жили под одним кровом вместе со многими детьми и женами. В числе их была и дочь Эмилия, дважды удостоившегося и консульства и триумфа. Она не стыдилась бедности своего мужа; напротив того, она удивлялась его добродетели, ради которой был он беден. Так жили Элии. Но в нынешнее время братья и родственники, если оградами, реками, целыми областями и величайшими пространствами не разделят своих поместьев, не отделятся одни от других, то не перестают ссориться и быть в раздоре между собою. Вот примеры, историей предлагаемые на рассмотрение и рассуждение тем, кто хочет ими пользоваться!

Эмилий, будучи избран в консулы, выступил против живших у подножья Альп лигуров, которых называют еще лигустинцами*. Это народ воинственный и пылкий, который, по соседству с римлянами, приобрел опытность в войне. Смешавшись с галлами и приморскими иберийцами, они населяют края Италии, примыкающие к Альпам, и ту часть Альп, которая омывается Тирренским морем и лежит насупротив Ливии. В то время занялись они мореплаванием на разбойничьих судах, беспокоили торговлю и грабили купцов, простирая свои плавания до столпов Геркулесовых*. Узнав о приближении Эмилия, они готовились принять его и собрали сорок тысяч человек. У Эмилия было не более восьми тысяч воинов; он напал на них, хотя их было впятеро более, победил, запер в укреплениях их и предложил им мир на выгодных условиях. Римляне не хотели совсем истребить народ лигурийский, почитая его оградою и как бы передовым укреплением против движения галлов, всегда стремившихся на Италию. Лигуры приняли предложения Эмилия, предали ему города и корабли свои. Он не сделал другого вреда городам, как только срыл их стены и возвратил их лигурийцам, но корабли все отнял и не оставил им других судов, кроме трехвесельных. Он освободил и всех пойманных лигурийцами на морях и на твердой земле римлян и других иностранных. Вот какие подвиги ознаменовали первое консульство Эмилия.

По прошествии некоторого времени несколько раз обнаружил он желание получить вновь консульство; однажды и просил его, но не имел в том удачи. С тех пор пребывал он в покое, занимался священнодействиями и воспитывал детей своих по римскому обычаю – так, как сам был воспитан; сверх того, учил он их греческим наукам с великим старанием. Приставлены были к ним из греков не только грамматики, философы и риторы, ваятели и живописцы, но и конюхи, псари и учители ловли. Эмилий, когда только общественные дела ему не препятствовали, находился всегда при занятиях их, будучи самый чадолюбивый отец из всех римлян.

Что касается до дел общественных, то в то время римляне воевали с македонским царем Персеем и были недовольны полководцами своими*, ибо они, по неопытности и малодушию ведя войну постыдным и смешным образом, не только не причиняли неприятелю никакого зла, но еще более от него претерпевали. Незадолго до этого Антиох, прозванный Великим, уступил римлянам Азию, был ими прогнан за Тавр и заключен в Сирии. Он довольствовался тем, что мог купить мир за пятнадцать тысяч талантов. Незадолго до того разбили они в Фессалии Филиппа, освободили греков от македонян и, что всего важнее, победили Ганнибала*, с которым ни один государь не мог сравниться в смелости и могуществе. По этой причине римлянам казалось несносным быть запутанными в войне с Персеем, как будто бы он мог быть достойным совместником Риму тогда, когда с давнего времени вел против них войну, так сказать, с остатками поражения отца своего. Однако римляне не знали, что Филипп, будучи побежден, умножил силы македонян и сделал их воинственнее. Я опишу это вкратце, начав свое повествование несколько раньше.

Антигон, сильнейший из наследников и полководцев Александровых, приобретший и себе и роду своему царское достоинство, имел сына по имени Деметрий, от которого родился Антигон, прозванный Гонат*; сын его был другой Деметрий, который царствовал недолго и умер, оставив по себе в отроческих летах сына по имени Филипп. Македонские вельможи, боясь следствий безначалия, призвали Антигона*, племянника умершего государя, и женили его на матери Филиппа. Сперва сделали его опекуном царским и полководцем своим, но впоследствии, видя его благоразумие и кротость, провозгласили его царем своим. Прозван он был Досоном, то есть «собирающийся дать», за то, что много обещал, но не исполнял своих

обещаний. После него царствовал Филипп; еще в молодости был славнейшим тогдашнего века государем и подавал надежду, что возведет Македонию на прежнюю степень славы и что он один может положить пределы римской силе, надо всеми уже возносящейся. Однако при Скотуссе был побежден в большом сражении Титом Фламинином, лишился бодрости, предал все во власть римлянам и был доволен наложенной на него умеренной денежной пеней*. Но по прошествии некоторого времени, не терпя такого унижения и думая, что царствовать по милости римлян было более прилично рабу, любящему негу, нежели мужу, имеющему дух и возвышенные чувства, обратил все мысли к войне и начал приготовляться тайно и с великой хитростью. Он совершенно пренебрег приморскими и на больших дорогах лежащими городами, разоренными уже и опустошенными войной; собирал большие силы в верхних областях; крепости и города, внутри государства лежащие, снабжал оружием, деньгами, молодыми воинами и умножал силы свои, держа войну как бы заключенной тайно в своем государстве. У него было в запасе тридцать тысяч оружий; восемь миллионов мер пшена лежали в укрепленных местах; денег собрано столько, что достаточно их было для содержания в десять лет десяти тысяч наемного войска, которое бы защищало государство. Однако Филипп не успел начать и произвести в действо свое намерение, но умер от печали*, узнав, что умертвил несправедливо сына своего Деметрия по клевете другого недостойного сына своего, Персея.

Оставшийся сын его Персей унаследовал вместе с царством ненависть к римлянам, но не имел довольно силы, чтобы поднять такое бремя по причине низости и подлости души, в которой гнездились многоразличные страсти и пороки, над которыми первенствовала скупость. Говорят, что он не был законнорожденный, но что супруга Филиппа взяла его при самом рождении у некоторой аргосской швеи по имени Гнафения и подложила его тайно. Это-то, кажется, и побудило его погубить Деметрия. Он боялся, чтобы не открылось его низкое происхождение, как скоро дом царский имел бы законного наследника.

При всей подлости души своей Персей, полагаясь на столь великие силы и приготовления, предпринял войну и долго противоборствовал римлянам; отражал римских консульских полководцев, многочисленные войска и флоты, а над некоторыми одержал и победу. В конном сражении разбил Публия Лициния*, который вступил в Македонию первый, умертвил две тысячи пятьсот храбрых воинов и в полон взял шестьсот. В другой раз напал неожиданно своими кораблями на флот римский, приставший к Орею*, взял двадцать нагруженных судов, а другие, также нагруженные пшеном, потопил и притом завладел четырьмя триерами о пяти рядах весел. В другом сражении на твердой земле отразил консула Гостилия, который ворвался в Элимию*, и когда он тайно через Фессалию вступил в Македонию, то Персей вызывал его к сражению и устрашил его. В самое продолжение войны, как будто бы он пренебрегал римлянами и не имел другого занятия, обратился к дарданам*, умертвил их десять тысяч и получил великую добычу. Он старался возбудить против римлян живущих на Истре галлов, называемых бастарнами*, народ воинственный и сильный в коннице; равным образом призывал иллирийцев, посредством царя их Гентия, к принятию участия в этой войне. Слух распространился, что варвары согласились за деньги ворваться в Италию* через нижнюю Галлию – вдоль по Адриатическому морю.

Когда римляне известились о том, то почли нужным пренебречь домогательства и благосклонность при избрании новых полководцев и возвести на степень полководца мужа разумного, умеющего управлять великими делами; и таким человеком был Павел Эмилий. Он был уже несколько стар; ему было около шестидесяти лет от роду, но крепким телом, и был окружен зятьями и сыновьями в цветущих летах, множеством друзей и родственников, имевших в народе великую силу. Все они уговаривали его откликнуться на зов народа, призывавшему его к принятию консульства. Но Эмилий, напустив на себя строгость, сначала отверг старания и просьбы народа, как бы не имел нужды в начальстве. Когда же граждане ежедневно собирались к дверям дома его и с громким криком просили, чтобы он пошел на площадь народную, то он склонился на их требования и явился в числе тех, кто искал консульского достоинства. Всем казалось уже, что Эмилий пришел не получить начальство, но принести гражданам победу и торжество. С такими надеждами, с такой радостью приняли его все и избрали в консулы! Граждане не допустили кинуть жребий о провинциях, как

обыкновенно делалось, но тотчас определили: вручить ему предводительство в Македонской войне*.

Говорят, что когда провозглашен был полководцем в войне против Персея и весь народ торжественно провожал его до дома, то нашел он прослезившейся свою еще малолетнюю дочь Терцию; он ласкал ее и спрашивал о причине ее печали; Терция обняла, поцеловала его и сказала ему: «Разве ты не знаешь, батюшка, что Персей у нас умер?» Она разумела комнатную собачку, носившую кличку Персей. «Добрый знак, дочь моя! – отвечал Эмилий. – Я принимаю сие счастливое предзнаменование!» Об этом упоминает Цицерон в книге «О гадании».

Избираемые в консулы народом граждане обыкновенно приносили ему свою благодарность и говорили речь в лестных выражениях. Эмилий, собрав граждан на площади, говорил им, что он искал первого консульства, имея сам нужду в начальстве; второго же потому, что они имеют в начальнике нужду; по этой причине не почитал он себя обязанным им никакой благодарностью, и если они думают, что кто-нибудь другой лучше его может вести войну, то он охотно отказывается от полководства. Когда ж они вверяют ему себя, то они должны не вмешиваться в дела полководца своего, не говорить о делах, но готовить все, что нужно к войне, без всякого противоречия, ибо если вздумают начальствовать над начальником, то они теперь в походах будут еще смешнее, чем прежде. Этими словами не только внушил он гражданам великое к себе уважение, но исполнил их великими ожиданиями на будущее. Они радовались, что пренебрегли всеми льстецами и предпочли им полководца смелого, имеющего дух возвышенный. Таким образом, народ римский, дабы победить другие народы и быть выше всех, был покорен добродетели и чести.

Что Эмилий, выступив в поход, совершил благополучно и легко свое плавание и прибыл в стан скоро и безопасно, я приписываю благоприятствующей ему судьбе. Но в военных предприятиях, видя во всем успех, частью от мудрых предначертаний, частью от ревностного усердия друзей его, частью от бодрости и от способности его принимать полезнейшие меры в тесных обстоятельствах, не могу приписать никакого знаменитого и великого подвига одному благополучию его, как это бывает с другими полководцами; разве кто скажет, что к счастью Эмилия послужило сребролюбие Персея, который, пожалев несколько денег, сокрушил и ниспровергнул надежды македонян, основывавшиеся на столь великих и блистательных приготовлениях. По требованию самого Персея прибыло к нему наемное войско из бастарнов, состоявшее из десяти тысяч конницы и стольких же тысяч так называемых параватов*. Народ этот не упражняется ни в земледелии, ни в мореплавании и не имеет стад для содержания себя; все искусство его и занятие состоят в том, чтобы сражаться и побеждать противников. Став станом в Медике* и присоединившись к некоторой части войска македонского, эти воины, высокие ростом, удивительные по искусству своему в брани, хвастливые и страшные угрозами, против врагов употребляемыми, внушили македонянам бодрость и заставили думать, что римляне не дождутся их нападения, но устрашатся странного их вида и необыкновенных оборотов. Такую надежду Персей внушил воинам своим и такой бодростью одушевил их! Но когда на каждого из союзных военачальников потребовано было у него по тысяче золотых монет*, то душа его помрачилась от такого множества золота; скупость лишила его рассудка. Он отказался от союза с ними и отпустил их, как будто бы он копил для римлян, а не воевал против них! Как будто бы ему надлежало дать подробный отчет в издержках, употребленных в войне, тем самым, с которыми он вел войну! Однако учителями своими имел он тех, у кого сверх других приготовлений собрано было сто тысяч войска, которое всегда могли употребить в дело. Персей же, выступая против таких сил и начиная страшную войну, для которой неприятели содержали столько народа, считал лишь свои деньги и запирал свое золото, боясь коснуться его, как бы оно было чужое. Он поступал таким образом, хотя не происходил ни от лидийцев, ни от финикийцев, но присваивал себе, по связи родства, добродетели Филиппа и Александра, которые одержали над всеми верх, покупая победу деньгами, а не победою деньги. О Филиппе говорили, что греческие города брал не он, но золото его; известно, что Александр, предпринимая поход в Индию, видя, что македоняне с великим трудом тащили за собою большое богатство, добытое ими в Персии, сперва велел сжечь царские обозы, потом уговорил других то же самое сделать, дабы, освободясь от излишней тяжести, быть легкими к продолжению войны. Персей, утопая в золоте сам с детьми своими и всем царством, не захотел

жертвовать малой части оного и тем спасти себя – и богатый пленник был со всеми сокровищами привезен в Рим, для показания римлянам того богатства, которое он копил и берег для них!

Не одних галлов обманул он и отпустил. Он возбудил и царя иллирийского Гентия за триста талантов принять участие в войне, сосчитал деньги, показал их его посланникам и велел их запечатать. Когда Гентий думал уже, что получил то, чего желал, то решился на дело гнусное и вероломное; велел поймать и сковать римских посланников, приехавших к нему*. Персей думал, что уже не было нужды в деньгах, дабы заставить Гентия воевать против римлян, когда он дал столь верный залог своей к ним вражды и несправедливым поступком вовлек себя в войну; он не заплатил несчастному государю трехсот талантов и после некоторого времени пренебрег им, с женою и детьми выгнанным, как бы из гнезда, из своего царства Луцием Аницием, посланным против него с военными силами.

На такого-то противоборника и двинулся Эмилий! Хотя он презирал его, но удивлялся его приготовлениям и силам, ибо у него было четыре тысячи конницы и около сорока тысяч пехоты в фаланге. Он стоял на берегу моря, у подножья горы Олимп, на местах, со всех сторон неприступных, укрепленных им отовсюду деревянными оградами. И пребывая сам в совершенной безопасности, надеялся долготой времени и большими издержками утомить Эмилия. Но тот действовал умом своим, употреблял все средства и старания к достижению цели своей. Видя, что воины его, привыкшие к своевольству, изъявляли нетерпение и вмешивались в дела полководца, указывая ему на то, чего произвести было невозможно; он делал им в том упреки и советовал не заботиться о чужих делах, но думать лишь о том, как бы иметь в готовности тело и доспехи свои, дабы действовать мечом так, как прилично римлянам, когда к тому подаст полководец удобный случай. Ночным стражам велел он караулить без копий*, полагая, что они лучше смогут противиться сну и сделаются осторожнее, не имея способов обороняться против нападения неприятелей.

Между тем войско его терпело недостаток в воде, которая в малом количестве и дурная текла у самого моря. Эмилий, смотря на возвышающийся над ним Олимп, гору высокую и покрытую лесом, и заключив по свежести растущих на ней деревьев, что скрываются внутри ее родники, текущие под землей, велел у подножья ее вырыть многие ямы и колодцы. Они тотчас наполнились чистой водой, ибо влажность, будучи стесняема, стремится с силой туда, где находит пустоту.

Касательно сего предмета уверяют некоторые, что нет сокрытых родников и вод, собранных в местах, из которых они вытекают; что истекание воды не есть ни открытие, ни извержение, но рождение и составление, ибо тут вещество превращается в жидкость; влажные же пары в жидкость превращаются, сгущаясь и охлаждаясь, когда в глубине земли бывают сжимаемы и делаются текучими. Сосцы женщин, говорят они, подобно сосудам, не наполнены натекающих готовым молоком, но перерабатывая в себе пищу, вырабатывают молоко и дают ему проход; равным образом прохладные и родниками наполненные места земли не имеют в себе воды сокрытой, ни вместилищ, извергающих из своих запасов потоки и глубокие реки, но давлением и сгущением превращают в воду пары и воздух. Места, в которых вырываются ямы, наполняются водой от этого самого действия, как сосцы наполняются молоком от сосания, ибо в них пары сгущаются и превращаются в текучее вещество. Напротив того, земли, лежащие в бездействии и как бы закрытые, не способны к произведению воды, ибо нет в них того движения, которое рождает влагу.

Защитники этого мнения подают повод тем, кто во всем любит сомневаться, заключать, что и в животных нет крови, но что она родится от получаемых ран и как бы составляется превращением в жидкость жизненного духа или плоти – или растоплением их. Это опровергается еще тем, что работающие в рудниках и делающие подкопы находят в глубине земли реки, которых воды не мало-помалу скапливаются (чему надлежало бы быть, когда бы вода возрождалась от передвигаемой земли), но льются обильным потоком. Случается также, что гора или скала, получивши удар, вдруг извергает ток воды быстрой и вскоре иссякает. Но довольно об этом.

Эмилий несколько дней пробыл в покое. Говорят, что никогда не случалось, чтобы два многочисленных войска, стоящие одно столь близко от другого, пребывали в такой тишине.

Между тем, употребляя все старания, изыскивая все способы к нападению, открыл он наконец, что оставался еще без охранения один проход, ведущий через Перребию в Пифий* и к Петрам. Более надеясь на то, что проход остается без стражей, нежели боясь трудного и неприступного его положения, ради которого оный оставался без внимания, Эмилий собрал совет. Назика, прозванный Сципионом, зять Сципиона Африканского, тот самый, который после имел великую в сенате силу, первый из предстоявших вызывался быть предводителем в обходе. Второй после него изъявил охоту свою Фабий Максим, старший из Эмилиевых детей, тогда бывший еще в первой молодости. Эмилий, довольный их усердием, дал им воинов – не то число, о котором говорит Полибий, но то, о котором сам Назика пишет в письме своем к некоему царю, описывая все происшествия. Союзных италийских воинов, входящих в легион, взято ими три тысячи, а из левого крыла пять тысяч.

К ним Назика присоединил сто двадцать человек конницы и около двухсот человек из фракийско-критского отряда Гарпала. Он пошел дорогой, ведущей к морю, и остановился близ Гераклия, как будто бы хотел объехать на кораблях неприятельские войска*. Когда воины отужинали и настала темнота, то он открыл предводителям истинное свое намерение и повел их ночью в противную от моря сторону. Он остановился под Пифием и дал войску отдохнуть.

В том месте Олимп имеет в вышину более десяти стадиев, как явствует из следующей надписи, сочиненной измерившим ее: «На вершине Олимпийской храм Аполлона Пифийца стоит на высоте в десять стадиев и один плефр без четырех футов, как испытано отвесом. Ксенагор, сын Эвмела, измерил ее. Но ты, царь Аполлон! Радуйся и дай мне блага». Хотя, по уверению математиков, нет горы выше, ни моря глубже десяти стадиев, однако Ксенагор не поверхностно, а по правилам и с математическим орудиями сделал свои измерения.

Там Назика провел ночь. Персей, видя, что в стане Эмилия все было спокойно, нимало не подозревал того, что происходило, как прибыл к нему критянин-перебежчик с известием, что римляне обходят его. Персей смутился, однако не переменил своего положения; он повелел Милону взять десять тысяч наемного войска и две тысячи македонян и с величайшей поспешностью занять проходы на горах. Полибий говорит, что воины еще спали, когда римляне напали на них, но Назика уверяет, что на самой высоте происходила жаркая и опасная битва; что он сам поразил в грудь дротиком и поверг на землю фракийского наемника, который напал на него, и что неприятель был вытеснен, Милон постыдно предался бегству без доспехов, в одном нижнем платье; что он преследовал его без всякой опасности и пустился с горы с воинами.

После этого происшествия Персей немедленно поднялся с войском и отступил назад. Исполненный страха и лишенный надежды, он колебался недоумением и не мог решиться: либо остановиться у Пидны и испытать счастье, либо, разделив войско по городам, впустить в пределы свои неприятеля, который, единожды ворвавшись в области, не мог уже выступить без великого пролития крови и убиения людей*. Приближенные его говорили ему, что они превосходят римлян числом, что войско будет одушевлено усердием, защищая детей и жен своих, сражаясь пред глазами государя, который подает им пример мужеством своим и сам подвергается опасности. Такие представления придали ему бодрости. Он поставил стан свой, приготовлялся к сражению, обозревал местоположения и раздавал приказания военачальникам, как бы хотел сам напасть на римлян. Что касается до местоположения, оно было частью поле ровное, способное к движениям фаланги, которая имеет нужду в гладком и открытом месте, частью же усеяно было холмами, один за другим стоящими, на которые войско легко могло отступать и обходить неприятеля. Речки Эсон и Левк, протекающие посредине, хотя в ту пору имели мало воды – тогда был уже конец лета*, – казалось, несколько препятствовали движениям римлян.

Эмилий, соединившись с Назикой, шел в боевом порядке на неприятелей, но, увидев их устройство и великое число, приведен был в удивление. Он остановил войско и задумался. Молодые военачальники горели желанием сразиться; они приступали к нему, просили не откладывать более битвы. Всех более побуждал его Сципион Назика, ободренный успехами своими на Олимпе, но Эмилий сказал ему, улыбаясь: «Я бы сделал то же, когда бы я был в таких летах, как ты, но многие победы объясняют мне ошибки побежденных, запрещают мне с войском, от дороги уставшим, напасть на устроенную в боевом порядке фалангу». После того

выстроил он переднюю часть войска в виду неприятелей, между тем как задним дал приказание: обернувшись, делать укрепления и становиться в стане. Ближайшие к тылу, одни после других, последовали их примеру. Наконец, неприметным образом, ополчение распущено все и войско вступило в стан без шума и беспокойства.

При наступлении ночи, когда воины после ужина хотели предаться сну и отдохновению, вдруг луна, которая была во всей полноте своей и на самой высоте неба, начала помрачаться. Свет ее исчезал; она переменила несколько раз свой цвет и, наконец, сделалась невидимой. Римляне по своему обычаю стали стучать в медные сосуды, призывали свет ее, поднимали к небу множество головень и факелов, между тем как македоняне пребывали в глубокой тишине; они были объяты ужасом и страхом; между ними мало-помалу распространился слух, что это явление предвещает затмение царя.

Эмилий не совсем был неучен и несведущ в эклиптических аномалиях, по которым луна в обращении своем и в известные периоды попадает в тень Земли и скрывается в ней до тех пор, пока не перейдет покрытое мраком пространство и вновь заблестит, став против солнца*. При всем том он относил все к божеству; любя жертвоприношения и будучи искусен в прорицаниях, едва увидел луну, очищающуюся от темноты, заклал ей в жертву одиннадцать тельцов. На рассвете дня приносил он Гераклу в жертву волов, но не получал благоприятного знамения до двадцатого вола. Едва он заклал двадцать первого, как увидел благоприятное знамение, обещавшее победу обороняющемуся. Он дал обет принести сему богу сто волов и учредить священные игры; потом велел военачальникам поставить войско в боевой порядок. Он ожидал, чтобы солнце несколько склонилось к западу, дабы лучи его с востока не поражали прямо в лицо сражающихся воинов его. Он сидел в своем шатре, открытом со стороны поля, где стояло войско неприятельское.

Бой начался до наступления вечера. Одни говорят, что нападение начато неприятелями, ибо, по умыслам Эмилия, римляне выпустили незанузданную лошадь, которая подала повод к сражению, когда македоняне стали за нею гоняться. Другие уверяют, что фракийцы, предводимые Александром, напали на некоторых римлян, везших корм для конницы, и что против них выступили стремительно до семисот лигурийцев. К тем и другим выбегали на помощь воины в большом числе – и, таким образом, сражение сделалось общее. Эмилий, подобно искусному кормчему, предусматривая по тогдашнему волнению и движениям войск великость имеющей последовать битвы, вышел из шатра и, обходя ряды тяжелой пехоты, ободрял войско. Назика, выехав верхом к тому месту, где происходила впереди перестрелка, увидел, что неприятели почти все были в действии. Впереди шли фракийцы, видом своим более других устрашающие его, как он сам признавался. Эти воины, высокие ростом, с белыми блестящими щитами и поножами, были одеты в черное платье, держали прямо на правых плечах тяжелые железные дроты. За фракийцами следовало наемное войско в различных доспехах, смешанное с пеонийцами*. За ним шла третья избраннейшая рать, состоявшая из македонян, отличнейших доблестью и летами, блистающая позолоченными оружиями и красными, новыми платьями. Когда они построились, то фаланга халкаспидов («меднощитных»), выказываясь за ними с валу, покрыла все поле сиянием лучей, отражаемых железными и медными их доспехами; крик и шум их, ободряющих друг друга, раздавался в окрестных горах. Первое нападение сделано с такою быстротой и отважностью, что первые убитые пали не более чем в двух стадиях от римского стана.

Как скоро началась битва, появился Эмилий. Он увидел, как уже передовые македоняне утвердили острия своих копий на щиты римлян и не допускали их настигнуть себя мечами. Когда же и другие македоняне, сняв свои щиты с плеч, копьями, по одному знаку наклоненными, остановили нападение римских щитоносцев, то крепость и твердость ограды сомкнутых щитов и страшный ряд копий поразили Эмилия изумлением и ужасом; никогда не видал он ничего страшнее этого; впоследствии воспоминал он о тогдашнем ужасе своем и об этом зрелище. Но в то время, приняв вид веселый и спокойный, без шлема и брони объезжал верхом ряды воинов. Напротив того, царь македонский, по свидетельству Полибия, при самом начале битвы устрашившись, ускакал в город под предлогом принесения жертвы Гераклу, богу, не приемлющему жалких жертв от жалких трусов и не внимающему молениям безрассудных, ибо неразумно требовать, чтобы не мечущий – попадал в цель; чтобы не выдерживающий

нападения – побеждал; чтобы бездейственный – имел успех; чтобы порочный – блаженствовал. Но бог этот внимал молениям Эмилия, ибо он, держа в руках копье, просил себе победы и, сражаясь, призывал Геракла в союзники.

Однако некто по имени Посидоний*, живший, по словам его, в то самое время и сочинивший историю Персея во многих книгах, говорит, что не от робости или под видом принесения жертвы удалился Персей, но за день до сражения лошадь ударила его в ногу копытом; что, несмотря на чувствуемую им боль и на увещание друзей своих, велел он подать себе обозную лошадь и без нагрудника пустился в середину сражавшихся. Стрелы сыпались на него с обеих сторон; железный дротик упал на него – и хотя не пробил его острием, но вкось пробежал по его боку и стремлением своего движения разорвал его платье и ударил его так сильно, что знак от того оставался долгое время. Вот как Посидоний старается оправдать Персея.

Римляне, при всех своих усилиях, не могли прорвать фалангу; Салий, предводитель пелигнов, схватив знамя своих подчиненных, бросил в средину неприятелей. Италийцы почитают постыдным и беззаконным покинуть свое знамя; и потому пелигны устремились к тому месту, куда знамя было брошено. Здесь происходили с обеих сторон чрезвычайные дела и страшная сеча. Одни силились отбить копья мечами, отразить щитами и, хватаясь руками за оный, отклонять их; другие, держа копья крепко обеими руками, поражали нападающих сквозь доспехи, ибо ни нагрудники, ни щиты их не выдерживали удара македонской сариссы. Македоняне повергали на землю тела пелигнов и марруцинов*, которые в исступлении, со зверской яростью бросались на их копья, стремились на очевидную смерть. Таким образом, пали первые ряды; стоявшие же за ними были отражены; они не предались бегству, но отступили к горе Олокр. Тогда Эмилий, по уверению Посидония, в горести разодрал свою одежду, ибо те воины были отражены, а другие римляне не смели приступить к фаланге, которая противостояла им всюду густым рядом длинных копий, как твердый вал, и казалась неприступной. Эмилий, заметив, что по причине неровности места и длины строя фаланга не сохраняла всюду плотного сомкнутия щитов, но местами расступалась и оставляла промежутки – как обыкновенно бывает в многочисленном войске при многоразличных движениях сражающихся, когда часть выдается вперед, часть вдается внутрь, – пришел туда поспешно, разделил войско на отряды и велел им врываться в эти промежутки и отверстия неприятельского ополчения, не нападать на одно место и одним стремлением, но производить многие отдельные по разным местам битвы. Как скоро Эмилий дал это приказание военачальникам, а они передали оное воинам, то римляне врываются в средину неприятельского ополчения, нападают с боков и с тылу – во все места невооруженные; фаланга разорвалась, и крепость ее, состоящая в действии совокупными силами, тотчас исчезла. В сражениях одного с одним и между малым числом воинов македоняне, ударяя короткими мечами о твердые и до ног покрытые щиты римлян и только легкими и малыми щитами с трудом защищаясь от мечей их, которые тяжестью своей и силой удара прорубали доспехи и доходили до тела, принуждены были уступить.

Здесь с обеих сторон происходила сильная сеча. Здесь и Марк, сын Катона и зять Эмилия, оказав величайшую храбрость, потерял свой меч. Как молодой человек, образованный с великим тщанием, почитающий себя обязанным дать великому отцу своему великие доказательства о своем мужестве, решился он лучше умереть, чем живой предать неприятелю в корысть свой меч. Пробежав ратное поле, рассказывал он попадающимся ему друзьям своим и знакомым случившееся с ним и просил их помощи. Они собрались в довольном числе, исполненные мужества, одним устремлением пробрались сквозь толпу, предводимые Марком, и ворвались в средину неприятелей. Прогнав их после жестокой битвы и великого кровопролития, заняли они пустое место, начали искать меч и наконец нашли его после многих усилий под грудой оружия и тел мертвых. Они обрадовались находке, воспели песнь победы и с большей уже яростью устремились на противящихся еще неприятелей. Наконец три тысячи отборных македонских воинов, оставаясь в рядах своих и сражаясь крепко, все до одного были изрублены; другие предались бегству и были убиваемы в большом числе – так, что поле и подножье горы были покрыты трупами мертвых, а воды реки Левк были смешаны с кровью еще на другой день, когда римляне через нее переправлялись. Говорят, что осталось на месте до

двадцати пяти тысяч человек неприятелей; римлян пало, как говорит Посидоний, сто, а по свидетельству Назики, восемьдесят человек*.

Это великое сражение решено чрезвычайно скоро. Оно началось в девять часов и победа одержана до десяти*. Воины провели остаток дня в преследовании бегущих; гнали их на сто двадцать стадиев и уже в поздний вечер возвратились в стан. Служители встречали победителей с факелами, провожали с радостными восклицаниями к шатрам, которые были освещены и украшены венками из плюща и лавра. Между тем полководец один был погружен в глубокую печаль. Из двух детей его, бывших при нем в походе, нигде не видно было младшего, которого он более любил и который свойствами души далеко превосходил своих братьев. Он был от природы честолюбив, пылок и еще в самой нежной молодости*; и потому Эмилий думал, что он погиб, бросившись, по своей неопытности, в средину сражавшихся неприятелей. Все войско узнало о беспокойстве и горести полководца. Римляне оставили ужин, вскочили и с факелами побежали одни к шатру полководца, другие за вал и искали между первыми мертвыми сына его. Стан был погружен в безмолвное уныние; в поле раздавались крики призывающих Сципиона. Он был всеми уважаем, ибо более всех его сверстников обнаруживал с самого начала способности предводительствовать войсками и управлять делами республики. Было уже поздно и к отысканию его вся надежда была потеряна, как увидели его – возвращающегося из погони с двумя или тремя товарищами, покрытого кровью неприятелей. В жару радости был он увлечен победой слишком далеко, подобно бодрому псу за ловлей. Это тот самый Сципион, который впоследствии срыл Карфаген и Нумантию, далеко превзошел своей доблестью современных ему римлян и в республике имел великую силу. Так судьба, отложив до другого времени зависть свою* к подвигам Эмилия, позволила ему в то время наслаждаться в полной мере победой.

Между тем бегущий Персей из Пидны удалялся в Пеллу, сопровождаемый конницей, которая почти вся уцелела от битвы. Когда разбитая пехота догнала ее и укоряла в робости, называла воинов предателями, свергла с лошадей и ранила, то Персей, устрашенный беспокойством, поворотил свою лошадь с дороги, снял с себя порфиру, чтобы не быть отличаемым от других, сложил ее перед собой, а диадему нес в руке. Дабы ему было можно, продолжая свой путь, разговаривать со своими друзьями, сошел он с лошади и вел ее за собой. Из малого числа сопровождавших его – один притворился, что починяет свою обувь; другой – что поит свою лошадь; третий – что сам хочет пить. Таким образом мало-помалу они отставали от него и убегали, боясь не столько неприятелей, сколько строптивости Персея, который, будучи ожесточен несчастием, хотел обратить от себя на других вину своего поражения. Он вступил в Пеллу*. Эвкт и Эвлей, хранители его казны, встретили его; они несколько выговаривали ему за происшедшее; не вовремя делали смелые представления и подавали ему советы, чем возжгли гнев его до того, что он своею рукой умертвил их обоих, поразив ножом, после чего никто при нем не остался, кроме критянина Эвандра, этолийца Архедама и беотийца Неона. Из воинов одни критяне за ним последовали, не из особенной к нему привязанности, но будучи прельщены его деньгами, как пчелы медом. При нем было великое богатство. Он позволил критянам расхитить чаши и другие вещи золотые и серебряные, ценой в пятьдесят талантов. По прибытии своем в Амфиполь, а после того в Галепс*, когда страх несколько успокоился, снова впал он во врожденную старинную свою болезнь – мелочную скупость. Он жаловался своим приятелям, что по неведению передал критянам некоторые сосуды, принадлежавшие некогда Александру Великому. Он просил со слезами новых владельцев уступить их ему за деньги. Те, кто его достаточно хорошо знал, приметили, что хочет поступить с критянами по-критски*. Некоторые ему поверили, возвратили их – и потеряли; он им ничего не заплатил. Покорыстовавшись отнятыми у приятелей своих тридцатью талантами, которым определено было вскоре достаться неприятелю, отплыл он с ними на Самофракию и прибегнул в храм Диоскуров как проситель.

Македоняне, как известно по истории, были всегда верны и привержены царям своим. Но в то время как бы разрушилась поддерживавшая их подпора и все вместе упали, предали они себя Эмилию и в два дня сделали его властителем всей Македонии. Это оправдывает мнение тех, кто все деяния Эмилия приписывает некоему особенному благополучию. Происшедшее при жертвоприношении, без сомнения, должно быть почитаемо божественным знамением.

Эмилий приносил в Амфиполе жертву; все было уже заклано; как вдруг молния ударила в жертвенник, опалила и освятила приношение. Распространившийся слух о победе превышает сами божественные явления и благоприятство счастья. В четвертый день после одержанной при Пидне над Персеем победы народ в Риме смотрел на конские ристания. Вдруг распространился слух в первой части театра, что Эмилий в большом сражении победил Персея и покоряет всю Македонию. Весть эта вскоре разлилась в народе, которого радость обнаружилась восклицаниями и рукоплесканиями, наполнявшими город весь день. Но поскольку источник слухов обнаружить не удалось и оказалось, что они переходят из уст в уста без всякого основания, то через некоторое время перестали уже говорить о том. По прошествии немногих дней, получив верные о том сведения, римляне дивились предшествовавшей им молве, которая при своей лживости была истинная.

Говорят, что известие о данном италийцами сражении при Сагре* получено было в Пелопоннесе в тот же самый день; равным образом известие о разбитии персидского флота при Микале получено в один день в Платеях. Когда римляне победили Тарквиниев, воевавших против них вместе с латинянами, то вскоре после того прибыли в Рим из войска два вестника, великие ростом и прекрасные собою. Думали, что это были Диоскуры; встретившийся с ними на площади перед источником, где они освежали своих лошадей, покрытых потом, услышав от них весть о победе, показывал о том удивление. Диоскуры со спокойной улыбкой коснулись руками его бороды, которая из черной превратилась вдруг в рыжую – и тем заставили верить их словам, а его называть Агенобарбом, то есть Меднобородым. Происшествия, бывшие и в наше время, делают достоверными эти повествования. Когда Антоний* восстал против Домициана, римляне со стороны Германии ожидали тяжкой войны и были в беспокойстве; вдруг, без всякой причины, народ стал говорить о победе, и в городе разнесся слух, что Антоний убит, что войско его разбито и ни малейшей части его не осталось*. Весть распространилась с такой скоростью и достоверностью, что многие из управляющих начали приносить жертвы. Когда же стали отыскивать того, кто первый принес это известие, то не нашли никого; один ссылался на другого и, наконец, весть пропала в многочисленном народе, подобно как бы в море необозримом. Из чего заключили, что она не имела ни малейшего основания; молва вскоре исчезла. Домициан уже с войсками выступил в поход и на дороге встретил вестников с письмами, возвещающими ему победу. Слух о ней распространился в Риме в тот самый день, в который происходило сражение расстоянием от Рима на двадцать тысяч стадиев. Нет никого из наших современников, кому бы не было известно это происшествие.

Гней Октавий, начальник флота Эмилия, пристал кораблями своими к Самофракии, но из уважения к богам он не тронул Персея в его убежище, а только препятствовал ему бежать. Несмотря на то что Персей тайно склонил некоего критянина по имени Ороанд принять его на свое судно вместе с его богатством, но Ороанд, взяв деньги, поступил с ним по-критски: велел ему прийти ночью в пристань при храме Деметры с детьми и нужными служителями, но с вечера пустился в море и отплыл. Персей находился в жалком положении. Ему должно было пролезть сквозь узкое окошко, с женою и детьми, которые до того не знали трудов и беспокойств. Сколь тяжкий испустил он вздох, когда некто сказал ему, между тем как он бродил на берегу моря, что видел вдали на открытом море плывущего Ороанда! Уже начинало рассветать; лишенный всякой надежды, хотел бежать обратно к стене; он был уже замечен римлянами, но не схвачен. Детей же своих вручил он сам Иону, который был некогда его любимцем, но тогда, сделавшись его предателем и изменником, был важнейшей причиной, побудившей сего несчастного человека – подобно зверю, у которого отнимают его щенят, – сдаться и вручить себя тем, кто имел уже во своей власти детей его.

Персей более всех имел доверие к Назике и призывал его, но Назики тут не было, и Персей, оплакивая свою судьбу и покорствуя необходимости, предал себя Октавию, и тогда-то обнаружил всему свету, что в нем гнездился еще другой порок, подлее самой скупости – любовь к жизни. Слабость эта лишила его того, что и самое счастье не может отнять у побежденных, – жалости и сострадания к себе других. Он просил быть представленным Эмилию*. Полководец, встав с своего места, в сопровождении своих друзей со слезами в глазах вышел навстречу к нему, как человек знаменитому, низверженному с высоты славы злобствующим против него роком. Но Персей, представляя из себя позорное зрелище, бросился

пред ним на землю, обнял его колена, умолял его и произносил слова столь низкие, что Эмилий не вытерпел и не дослушал их, но, взглянув на него с унылым лицом, сказал ему: «Несчастный! На что оправдываешь величайшую вину рока, показывая поступками своими, что ты стоишь своего несчастия, что ты достоин теперешней, а не прежней твоей участи? Почто унижаешь мою победу, уменьшаешь славу моего подвига, обнаруживая себя столь малодушным и недостойным противоборником римлян? Твердость духа побежденного приобретает ему уважение самых врагов его; малодушие римлянами более всего презирается, хотя бы оно блаженствовало!»

Однако Эмилий поднял его, взял за руку и велел Туберону иметь о нем попечение. После того, собрав в шатер своих сынов, зятей и военачальников, в особенности младших, долгое время сидел в безмолвии, погруженный в задумчивость, чем привел всех в удивление. Наконец он начал рассуждать о счастье и о делах человеческих следующим образом: «Позволено ли человеку, существу слабому, гордиться настоящим благополучием и думать о себе много, покорив какой-либо народ, завоевав город или государство? Не должен ли он страшиться превратности счастья, которое, показывая завоевателю пример общей всем слабости, научает его ничего не почитать твердым и постоянным? В какое время может человек на что-либо твердо полагаться, если он тогда наиболее должен страшиться счастья, когда обладает другими? Если самую радость превращает в печаль мысль о непостоянном движении рока, ныне одному, завтра другому расточающего дары свои? Ужели вы, в один миг повергнув к ногам вашим наследие Александра, вознесшегося до высочайшей степени могущества, распространившего более всех владык державу свою; видя царей, незадолго пред тем огражденных многими мириадами пехоты и конницы, ныне из рук неприятелей своих приемлющих поденно пищу и питье, – ужели можете думать после того, что и наша держава останется непоколебимой, что мы можем положиться на постоянное и непрерывное продолжение счастья? Юноши! Укротите пустую надменность и горделивую радость, победою вам внушаемую! Смиритесь, страшитесь будущего, ожидая всегда того бедствия, которым завистливая судьба заменит каждому настоящее благополучие». После этих рассуждений Эмилий отпустил молодых людей, исправив, точно уздою, гордость их и высокомерие.

После того позволил он войску предаваться спокойствию, между тем как сам обратился к обозрению Греции, занимаясь делами, славными для себя и полезными для других. Объезжая области, он облегчал участь народов, восстановлял правление, дарил из царских хранилищ одним пшено, другим масло. Говорят, что найдено в запасе того и другого столько, что, скорее, недостало просящих и получающих, нежели истощалось его количество. В Дельфах увидел он большую четвероугольную колонну, из белых камней составленную, на которую хотели поставить золотой кумир Персея. Эмилий приказал поставить на нее свой, говоря, что побежденные должны уступать место победителям. В Олимпии, увидев кумир Зевса, сказал он те столь часто упоминаемые слова: «Фидий точно изобразил Гомерова Зевса!»*

Наконец из Рима прибыли десять посланных от сената чиновников*. Эмилий возвратил македонянам их область и города с позволением жить свободно и независимо, платя римлянам по сто талантов каждый год, хотя они платили царям своим вдвое против этого и более. Он устраивал многоразличные игры, приносил жертвы богам, учреждал пиры и угощения, пользуясь в изобилии царскими сокровищами. В порядке, в устройстве, в принятии каждого с надлежащей и пристойной честью он оказывал такое старание и такую точность, что греки удивлялись*, видя, что и самой забавы он не оставлял без особенного внимания; но, произведши величайшие дела, и в самых малых думал о приличии. Эмилий радовался тому, что среди многих и великолепных приготовлений сам он был для предстоящих важнейшим предметом наслаждения и удивления. Он говорил тем, кто удивлялся его вниманию к не важным делам, что одной и той же душе свойственно устраивать ополчение и учреждать пиршество так, чтобы одно было самое ужасное врагам, другое же самое приятное собеседникам.

Но всего более хвалили его щедрость и великодушие. Он не захотел видеть великого множества золота и серебра, собранного из царской казны, но предал все квесторам для внесения в общественную сокровищницу. Одни книги царские позволил он детям своим выбрать себе, по охоте их к учению. Раздавая награды воинам, отличившимся в сражении, он

подарил зятю своему Элию Туберону серебряную чашу весом в пять литров. Это тот самый Туберон, который, как упомянуто выше, сам шестнадцатый жил со своими родными, которые все содержали себя малой своей землею. Подаренная ему чаша была первая серебряная вещь, которая вошла в дом Элиев, и то в честь и награду за храбрость. Прежде него ни мужья, ни жены их не имели у себя ничего золотого, ни серебряного.

Устроивши все дела лучшим образом*, он простился с греками и увещевал македонян не забывать дарованной им римлянами свободы, но сохранять ее благоустройством и согласием*. После того вступил он в Эпир, имея приказание от сената предать на расхищение тамошние города воинам, которые были с ним в походе против Персея. Эмилий, желая, чтобы нападение было исполнено всеми в одно время и неожиданно, чтобы никто не ожидал, призвал к себе по десяти первейших из каждого города граждан и велел им представить к назначенному дню все золото и серебро, находящееся в храмах и домах их. Он послал с ними некоторое число воинов с чиновником под тем предлогом, что ему надлежало требовать и принять золото. Как скоро настал назначенный день, воины в одно и то же время вместе устремились на расхищение и грабеж городов: в один час полтораста тысяч человек превращены в невольников, семьдесят городов было разграблено*. Из всеобщей гибели и разорения каждому воину досталось не более одиннадцати драхм*. Все ужаснулись, видя по окончании войны, что целый народ разделен и, так сказать, изрублен на мелкие части, дабы каждому воину досталась столь малая выгода.

Эмилий, совершив дело, противное чувствам своим, ибо от природы был кроток и добр, сошел в Орик*, откуда переправился в Италию с войском и вступил в Тибр на корабле царя Персея, имевшем шестнадцать рядов весел, украшенном великолепно оружиями и пурпуровыми коврами, отнятыми у побежденных. Празднующие римляне заранее наслаждались его триумфом, выступая навстречу кораблю, с медленностью приближающемуся. Но воины Эмилия взирали на Персеевы богатства жадными глазами и, не получив столько, сколько они надеялись, тайно за то сердились и были дурно расположены к Эмилию. Они обвиняли его явно в излишней против них строгости и самовластии и не оказывали большего усердия к доставлению ему триумфа.

Между тем Сервий Гальба, враг Эмилия, один из бывших под начальством его трибунов, приметя досаду воинов, осмелился сказать явно, что не должно дать Эмилию триумфа. Он посеял между воинами многие клеветы против их полководца, еще более воспалил их ярость и просил народных трибунов отсрочить дело до другого дня, ибо в тот день было мало времени к изложению обвинений – осталось только четыре часа. Трибуны позволили ему говорить, и Гальба начал длинную и различными ругательствами наполненную речь, которая продолжалась целый день. При наступлении ночи трибуны распустили народ, а воины, сделавшись смелее, прибежали к Гальбе и, согласившись между собою, на заре заняли Капитолий, где трибуны назначили собраться народу.

Поутру рано начали собирать голоса – первый триб не назначил триумфа Эмилию; между тем слух об этом дошел до прочего народа и до сената. Народ чрезвычайно печалился, что таким образом ругались над Эмилием, и издавал напрасные крики. Знаменитейшие сенаторы говорили, что сей поступок ужасен; ободряли друг друга к обузданию дерзости и своевольства, которое может дойти до всякого насильственного и беззаконного поступка, если никто не воспрепятствует воинам лишить Павла Эмилия победных почестей. Они растолкали народ и выразили желание, чтобы трибуны остановили подачу голосов, пока они не объявят народу того, чего хотят. Все остановились и умолкли. Тогда Марк Сервилий, муж, удостоившийся консульства, убивший в единоборстве до двадцати трех неприятелей, выступив в Собрание, сказал: «Теперь то познано совершенно, что Павел Эмилий – великий полководец, видя, что с войском столь непослушным и своевольным он совершил славные и великие дела. Для меня странно, римляне: вы столь много радовались триумфам, которыми почтили победы над иллирийцами и лигурами, а отказываете сами себе в удовольствии видеть македонского царя живого и всю славу Александра и Филиппа, в плен римским оружием влекомых. Не достойно ли удивления то, что, когда прежде распространился в городе неверный слух о победе, вы приносили богам жертвы, умоляли их в скором времени видеть глазами то, о чем вы тогда только слышали, а теперь, когда уже полководец предстал с верной победой, вы не воздаете

богам подобающей им чести, вы сами себя лишаете веселья, как будто бы вы боялись смотреть на величие победы! Как будто бы щадили царя врага вашего! Однако похвальнее было бы отменить триумф из жалости к нему, нежели из зависти к полководцу. Но злоба получает через вас такую силу, что человек, не блистающий свежестью лица и воспитанный в неге, смеет говорить о военачальстве и триумфе пред вами, кто ранами своими приобрел опытность судить о достоинствах и недостатках полководцев». При этих словах раскрыл он свою одежду и показал народу невероятное множество ран на груди своей. Потом, повернувшись, обнажил части тела, которые благопристойность велит скрывать. «Ты смеешься, – сказал он Гальбе, обратившись к нему, – но я горжусь тем пред моими согражданами, ибо за них вот что я приобрел, денно и нощно сидя беспрестанно на коне! Но ты веди их к подаче голосов; я пойду позади всех и узнаю дурных и неблагодарных воинов, которые лучше хотят, чтобы в походах им льстили, нежели ими предводительствовали с надлежащим порядком».

Слова эти столь сильно подействовали на воинов и столько укротили их дерзость, что все трибы подали голоса свои в пользу Эмилия. Порядок торжественного шествия был следующий: во всех конских ристалищах, которые римляне называют цирками, на площади, во всех местах, по которым торжеству надлежало пройти, построены были места для зрителей. Граждане смотрели на торжество в лучших платьях. Все храмы были отверсты и украшены венками; во всех курился фимиам. Множество городских служителей и ликторов разгоняли тех, кто стекался в средину улицы беспорядочно, запрещали бегать взад и вперед, дабы улицы были чисты и свободны. Торжественное шествие разделено было на три дня. Целый первый день едва был достаточен к показанию народу взятых в добычу кумиров, изображений и колоссов, которые везены были на двухстах пятидесяти возах. На другой день везли самые прекрасные и богатые македонские доспехи, блистающие новошлифованным железом и медью. Оные сложены были с искусством и соразмерностью, хотя казалось, были завалены случайно, без всякого порядка. Шлемы лежали на щитах; нагрудники – на поножах; критские пельты, фракийские герры, колчаны были перемешаны с конскими уздами; обнаженные мечи и воткнутые копья, сквозь них выказывающиеся, – все это было расставлено в таком друг от друга расстоянии, что от движения возов стуча одни об другие, производило ужасный шум, так что на оружия побежденных нельзя было смотреть без страха. За возами с оружиями следовали три тысячи человек; они несли серебряные деньги в сосудах, число которых простиралось до семисот пятидесяти*; каждый из оных весил три таланта и был несом четырьмя человеками. Потом другие несли множество серебряных чаш, кубков, ковшов, рогов, служащих к питью. Все оные были прекрасно расположены для глаз и отличались величиной и массивностью чеканки.

На третий день поутру шествие открылось трубачами, которые играли на трубах песнь – не ту, которая употребляется в торжественных шествиях, но ту, которой римляне одушевляют к сражению воинов. За ними шли сто двадцать упитанных, с позлащенными рогами тельцов, украшенных венками и повязками. Их вели юноши, носящие прекрасно вышитые передники, и были готовы к приношению жертвы. За ними мальчики несли золотые и серебряные сосуды, к жертвоприношению служащие. После них несли с золотыми деньгами сосуды; каждый из них весил три таланта. Деньги были разделены в сосудах, как прежние; сосудов же всех было семьдесят семь. Следовали за ними те, кто нес священную чашу, стоившую десяти талантов золота; она была украшена драгоценными каменьями и посвящена Эмилием богам*; потом несомы были чаши, называемые антигонидами, селевкидами и фериклиями*, и весь столовый прибор Персея. Следовала Персеева колесница и оружия его, на которых была его диадема. В некотором расстоянии вели пленных детей царских, сопровождаемых множеством дядек, учителей и наставников, которые все в слезах простирали руки к зрителям и научали детей также просить и умолять их. Детей было трое; два мальчика и одна девица; по нежному возрасту своему они нимало не чувствовали великости своих бедствий и этим самым бесчувствием к перемене счастья еще более возбудили в зрителях жалость, так что едва не прошел мимо Персей без всякого со стороны их замечания. С таким-то участием и состраданием обратили римляне взоры на этих детей! Многие, смотря на них, проливали слезы; у всех удовольствие было смешано с горестью, пока дети шли мимо их.

За детьми и за окружавшими их следовал сам Персей, одетый в черной одежде, в

македонской обуви. По великости бедствий своих, казалось, все приводило его в изумление; он был вне себя. Толпа друзей и приближенных его сопровождала с поникшими от горести главами; они беспрестанно смотрели на Персея, проливали слезы и как бы зрителям давали заметить, что они оплакивали его одного участь, а о себе нимало не заботились. До триумфа Персей послал просить Эмилия, чтобы освободили его от сего позора, но Эмилий, шутя, может быть, над его малодушием и привязанностью к жизни, сказал: «Это и прежде от него зависело и теперь от него зависит, если только он захочет». Эмилий намекал, что Персей мог освободиться от стыда – смертью. Но несчастный не имел столько твердости на то решиться; обманутый некоторой надеждой, он ослаб духом – и сделался сам частью похищенной у него добычи.

Вслед за ними несли четыреста золотых венцов, которые присланы были к Эмилию от разных городов с посольствами, как бы в награду за одержанную им победу. Потом, сидя на колеснице, великолепно украшенной, явился Эмилий сам – муж, который и без такой пышности мог обратить на себя взоры всех; он был облечен в пурпуровую одежду, вышитую золотом; правой рукой держал лавровую ветвь. Воины его все также держали лавровые ветви, следовали стройно и отрядами за колесницей полководца, воспевая то старинные песни, в которых обсмеивали его, то победные пеаны и похвалы подвигам Эмилия. Все взирали на него с удивлением и почтительностью; никто не чувствовал зависти к его счастью. Но есть, конечно, какое-либо злобное божество, которому досталось в удел умалять великое и необыкновенное благополучие и смешивать случаи человеческой жизни, дабы ни одного человека жизнь не была свободна и не помрачена от бедствий; но, по словам Гомера, дабы те лишь счастливыми почитались, которых счастье и несчастье в равной мере следует одно за другим*.

У Эмилия было четыре сына, из которых двое, Сципион и Фабий, как выше сказано, вступили усыновлением в другие дома; два сына, родившиеся от другой матери и еще малолетние, оставались у него. Один из них, которому было четырнадцать лет, умер пять дней перед триумфом Эмилия; другой, двенадцатилетний, последовал за братом во гроб через три дня после сего триумфа. Не было ни одного римлянина, который бы не был тронут столь горестным случаем; все ужаснулись жестокости судьбы, которая в сей дом, исполненный радости, празднества и жертвоприношений, не устыдилась ввести такую печаль и с песнями победы и триумфа смешать плач и рыдание.

Эмилий, рассуждая благоразумно, что мужество и твердость духа нужны человеку не против одних мечей и копий, но и против всех ударов судьбы, так рассудительно все устроил и так соединил между собою эти разные случаи, что дурное помрачено хорошим, а домашняя горесть исчезла в общественной радости. Он не унизил величия, не посрамил важности победы. Похоронив старшего сына, как сказано, тотчас учредил триумф; а когда после торжества умер и другой, то Эмилий, собрав на площади народ римский, говорил ему речь не так, как человек, имеющий нужду в утешении, но как утешающий граждан, которые печалились о случившемся с ним несчастии. Он сказал им, что никогда ничего человеческого не боялся; что из божественных сил счастье, как нечто переменчивое и непостоянное, для него всегда было страшно, особенно же в последней войне, когда оно, как попутный ветр, сопровождало его дела; и потому он ожидал беспрестанно какой-либо перемены или отлива счастья. «За один день, – продолжал он, – пересек я Ионийское море и из Брундизия прибыл в Керкиру. Через пять дней уже приносил я жертвы в Дельфах тамошнему богу; по прошествии еще пяти я принял в Македонии начальство над нашим войском; очистил его жертвами по обыкновению*, приступил немедленно к делу и по прошествии пятнадцати дней положил прекраснейший конец сей войне. Не доверяя счастью по причине великого успеха во всех предприятиях, когда уже не было никакой опасности со стороны неприятелей, я страшился переменчивости счастья при переправе через море с войском, одержавшим победу с таким благополучием, ведшим с собою корысти и плененных царей. Прибыв к вам благополучно и увидя город наполненным весельем, изъявлением радости и жертвоприношениями, я еще подозревал счастье, будучи уверен, что оно ничего великого не дарит людям без дурного умысла и без зависти. Душа моя, погруженная в уныние и взирающая на будущее с некоторым подозрением, не прежде освободилась от страха о республике как после приключившегося со мною столь великого домашнего несчастья – лишения лучших детей, которых одних я оставлял своими наследниками; я похоронил их одного после другого, и в столь священные дни! Теперь я вне

опасности касательно того, что всего важнее; я уверен и надеюсь, что счастье пребудет с вами постоянно и не причинит никакого вреда. Оно довольно истощило всю злобу и зависть свою за столь великие подвиги на меня и на детей моих, оно представило победителя не менее самого побежденного примером слабости человечества – с той только разностью, что Персей и побежденный имеет детей, а Эмилий, одержавший победу, – своих лишился».

Вот какую речь, исполненную великодушия и высоких мыслей, произнес Эмилий перед народом с откровенностью и без притворства! Что касается до Персея, хотя Эмилий жалел о нем и усердно старался ему помочь, однако не мог для него ничего сделать*. Он облегчил только участь его тем, что из так называемого карцера, или темницы, был перенесен в место чистое, где поступали с ним с большею кротостью. Здесь был он стерегом неусыпно и наконец, как писатели большей частью уверяют, уморил себя голодом. Некоторые повествуют, что он умер следующим странным образом: стерегущие его воины имели некоторую причину на него жаловаться и сердиться, но не находя другого способа его беспокоить и мучить, вздумали не давать ему спать; как скоро замечали, что он смыкал свои глаза, то будили его и всеми способами старались держать его неусыпленным. Таким образом силы его истощались от бдения, и наконец он умер. Умерли также двое из его детей; третий из них, по имени Александр, был, говорят, искусен в токарной мелкой работе. Он выучился римскому языку, умел хорошо писать и служил писарем при правителях, будучи найден человеком, способным и искусным в сем деле.

Сверх этих подвигов Эмилия в Македонии приписывают ему другую важную пользу, принесенную им народу; в общественную казну было им внесено толикое число денег, что гражданам не было нужды платить никакого налога до времени Гирция и Пансы, которые были консулами около первой войны Антония с Цезарем. В Эмилии особенно также отлично то, что, хотя он был любим и чрезвычайно почитаем народом, был всегда приверженцем аристократии и ничего не сделал и не сказал к приобретению благосклонности народа, но при решении любого вопроса государственной важности неизменно присоединялся к самым знатным и могущественным. Впоследствии это дало Аппию повод бросить резкий упрек Сципиону Африканскому. Оба они в ту пору пользовались в Риме наибольшим влиянием, и оба притязали на должность цензора. Один имел на своей стороне аристократию и сенат (которым с давних времен хранил верность род Аппиев), а другой, хотя был велик и могуществен сам по себе, во всех обстоятельствах полагался на любовь и поддержку народа. Как-то раз Сципион явился на форум в сопровождении нескольких вольноотпущенников и людей темного происхождения, но горластых площадных крикунов, легко увлекающих за собой толпу и потому способных коварством и насилием достигнуть чего угодно. Увидев его, Аппий громко воскликнул: «Ах, Эмилий Павел, как не застонать тебе в подземном царстве, видя, что твоего сына ведут к цензуре глашатай Эмилий и Лициний Филоник!»

Сципион пользовался благосклонностью народа за то, что безмерно его возвеличивал; но и к Эмилию, несмотря на его приверженность аристократии, простой народ питал чувства не менее горячие, нежели к самому усердному искателю расположения толпы, готовому во всем ей угождать. Это явствует из того, что, кроме всех остальных почестей римляне удостоили его и цензуры – должности, которая считается самой высокой из всех и облекает огромной властью, между прочим властью вершить надзор за нравами граждан. Цензоры изгоняют из сената тех, кто ведет неподобающую жизнь, объявляют самого достойного первым в сенатском списке. Они имеют надзор за оценкой имущества и за податными списками. При Эмилии в них значилось триста тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят два гражданина. Председателем сената сделал он Марка Эмилия Лепида, который в четвертый уже раз возведен был в сие достоинство. Из сената исключил трех, не самых прославившихся сенаторов. При осмотре всадников также не оказал себя слишком строгим ни он, ни товарищ его, Марций Филипп.

Учредивши таким образом важнейшие и величайшие дела, впал он в болезнь, которая сперва была сомнительна, но со временем оказалась неопасной; однако была она трудна и неизлечима. По совету врачей отправился он в италийский город Элею, где жил долгое время в приморском и весьма спокойном поместье. Но римляне тосковали по нему; много раз на позорищах и в торжествах криком своим изъявляли желание его видеть. Наконец, по случаю некоего необходимого священнодействия, возвратился он в Рим, чувствуя себя довольно

здоровым. Он принес жертву вместе с другими священнослужителями, к великой радости обступившего его народа. На другой день принес он опять жертву богам в благодарность за свое выздоровление. По совершении оной, возвратившись домой, прилег отдохнуть и, прежде нежели почувствовать в себе какую-либо перемену, впал в беспамятство и помешался в уме. На третий день после того умер, обладая всем тем, что почитается нужным к совершенному блаженству человека.

Вынос тела был самый торжественный, великолепный и приличный добродетелям сего мужа. Это великолепие не состояло ни в золоте, ни в слоновой кости, ни в дорогих и пышных приготовлениях, то было почтение, любовь и усердие, оказываемые ему не одними только гражданами, но и самыми врагами. Все по случаю тогда бывшие в Риме иберийцы, лигуры и македоняне собрались; молодые и сильные из них подняли и понесли одр его; старейшие за ними следовали, называя Эмилия благодетелем и спасителем отечеств их*. Не только во время победы своей вел он себя кротко и человеколюбиво, но во все продолжение своей жизни всегда оказывал благодеяния и покровительствовал им, как друзьям и родственникам.

Все имение его, говорят, не превышало трехсот семидесяти тысяч драхм. Наследниками своими оставил он двух сыновей своих, но Сципион, младший из них, уступил брату своему свою долю, вступив в гораздо богатейший дом Сципиона Африканского.

Такова жизнь Павла Эмилия.

Сравнение Тимолеонта с Павлом Эмилием

Изложив истории сих мужей, мы не находим в сравнении одного с другим ни многих разностей, ни большого несходства. Оба они вели войны с знаменитыми противниками. Один – с македонянами, другой – с карфагенянами. Славны были одержанные ими победы; Эмилий завладел Македонией; им пресечена Антигонова династия в лице седьмого царя. Тимолеонт уничтожил в Сицилии все тираннии и освободил ее от рабства. Может быть, в пользу Эмилия скажет кто-либо, что он поразил Персея, бывшего в силе своей и одержавшего над римлянами победу; Тимолеонт, напротив того, напал на Дионисия уже совсем обессиленного и лишенного всякой надежды. Однако к славе Тимолеонта служит то, что многих тираннов и великие карфагенские силы одолел он с самым незначащим числом войска, с наемниками, ратниками, не знавшими порядка, привыкшими служить по своей воле; а Эмилий, напротив того, вел войну с опытными в брани и наученными повиновению воинами. В равных действиях, произведенных с неравными силами, честь принадлежит одному полководцу.

Оба они в поступках своих были бескорыстны и справедливы. Эмилий имел с самого начала сии добродетели, будучи образован законами и нравами своего отечества. Тимолеонт же сам явил эти добродетели. Доказательством этому служит то, что римляне все без исключения в то время исполняли свои обязанности, были покорны отечественным обычаям, уважали законы и самых сограждан своих. Но нет ни одного из греческих полководцев, которой бы не испортился, коснувшись в то время Сицилии, если исключить одного Диона. Однако и его многие подозревали в том, будто бы он желал единоначалия и мечтал об учреждении царского правления, подобного лакедемонскому. Тимей пишет, что сиракузяне отослали с бесславием и поношением Гилиппа, открывши в нем великую жадность и ненасытность к богатству. Беззаконные и вероломные поступки спартанца Фарака и афинянина Каллиппа, покушавшихся завладеть Сицилией, описаны многими. Но надобно знать, какого они были состояния и сколько имели пособий, приступивши к сему отважному делу. Один из них служил Дионисию, изгнанному уже из Сиракуз; другой, Каллипп, был один из начальников Дионовых наемных войск. Тимолеонт, будучи послан полномочным полководцем к требовавшим и просившим его сиракузянам и долженствуя не просить войск, а принять начальство над теми, которые они давали ему добровольно, положил конец своему военачальству и великой власти по низложении беззаконных владетелей.

В Эмилии удивления достойно то, что, ниспровергнув столь великое царство, не умножил своего имущества ни одной драхмой. Он не видал, не прикоснулся денег, хотя много их дарил другим; не говорю, чтобы Тимолеонт заслуживал порицание за то, что принял прекрасный дом и дачу: получить все это после таких услуг не есть постыдно, но ничего не получить – славнее.

В последнем есть некоторая роскошь и совершенство добродетели, которая показывает, что не имеет нужды в том, что могла бы себе присвоить справедливым образом.

Как то тело, которое может переносить или один жар, или один холод, не столь крепко, как то, которое может переносить все возможные перемены, так и душа та совершенно тверда и сильна, которую счастье не ослабевает и не надмевает, а несчастья не унижают. В этом отношении Эмилий кажется совершеннее Тимолеонта, ибо, когда жестокая судьба лишением детей поразила чувствительно его сердце, он не показал себя ни более великим, ни менее почтенным и твердым, как и в самом благополучии. Тимолеонт, напротив того, поступив против брата с твердостью, не мог, однако ж, рассудком противиться чувствам своим; раскаяние и горесть до того унизили дух его, что в продолжение двадцати лет не мог он видеть Народного собрания. Должно избегать и стеречься того, что бесчестно, но страшиться всякого бесславия свойственно душе кроткой и простосердечной, но не имеющей в себе величия.

Пелопид и Марцелл

Пелопид

Катон Старший сказал тем, кто хвалил человека, безрассудно смелого и дерзкого в военных действиях: «Ценить высоко мужество и нимало не ценить жизни – две вещи, между собою разные». Замечание его весьма справедливо. В войске Антигона был воин слабого и испорченного здоровья, который в битвах сражался с отчаянной храбростью. Царь спросил его о причине бледности лица его, и воин объявил ему, что он страдает некой тайной болезнью. Антигон приказал врачам употребить все старание, чтобы его исцелить, если только возможно. Храбрый воин скоро выздоровел, но с тех пор уже не пренебрегал опасностью и не был стремителен в битвах. Антигон удивился этой перемене и выговаривал за то воину, который не стал скрывать причины. «Государь! – сказал он ему. – Ты сделал меня робким, ибо ты освободил меня от тех зол, которые заставляли меня пренебрегать жизнью». На то же самое намекал и некий сибарит*, который говорил о спартанцах, что нимало не важно, если они в сражениях умирают охотно, желая избавиться от столь трудной и суровой жизни. Неудивительно, если истлевшие от неги и роскоши сибариты думают, что те ненавидят жизнь, которые по любви к славе и к долгу не боятся смерти; что касается до лакедемонян, то доблесть делала их способными и жить и умирать с удовольствием, как доказывает следующая надгробная надпись:

Ни жизнь, ни смерть прекрасной не считали:
Но жить и умирать со славою желали.

Бежать от смерти – недостойно порицания, когда кто желает жить не бесчестно; искать ее не славно, если сие происходит от презрения к жизни. По этой причине Гомер выводит на поле брани самых воинственных и храбрых своих героев всегда хорошо вооруженными. Греческие законодатели определили наказание тому, кто в сражении потеряет щит, а не меч или копье, желая тем указать, что надлежит каждому, особенно же правителю государства или полководцу, думать прежде о том, чтобы самому не пострадать, нежели причинить вред неприятелю.

Если справедливо рассуждал Ификрат, уподобляя легкую пехоту рукам, конницу – ногам, тяжелую пехоту – груди, а полководца – голове, то полководец, действуя безрассудно и дерзко, не только не щадит себя самого, но и тех, кого спасение от него зависит, – и наоборот. По этой причине Калликратид*, хоть и великий полководец, дал неблагоразумный ответ прорицателю, который советовал ему беречься, ибо жертвы предзнаменовали ему смерть. «Благополучие Спарты, – сказал он, – не в одном человеке состоит». Конечно, Калликратид был «одним человеком», сражаясь на море или на твердой земле, но военачальствуя, он соединял в одном себе силу всех. Тот не «один», вместе с кем множество людей погибает. Мнение старого Антигона справедливее. Когда он хотел дать при Андросе* сражение и некто заметил, что у

неприятеля гораздо больше кораблей, то Антигон сказал ему: «А меня одного за много ли кораблей считаешь?» Он тем достойно возвысил важность военачальства, когда оно сопряжено с опытностью и мужеством. Первый долг военачальства – спасать того, кто все прочее спасает. Когда Харет показывал афинянам рубцы ран на теле своем и щит, проколотый копьем, то Тимофей* сказал: «Что до меня касается, мне было стыдно, когда при осаде Самоса стрела упала близ меня; мне показалось, что я веду себя как молодой и безрассудный человек, а не так, как полководец и предводитель многочисленной силы». Конечно, в таком случае, когда опасность полководца может дать великий перевес всему делу, надлежит и рукой, и всем телом действовать и жертвовать собою, не уважая тех, кто говорит, что хорошему полководцу должно умереть от старости или, по крайней мере, в старости. Но там, где выгода, происходящая от успеха в предприятии, маловажна, а все может погибнуть от неудачи, никто не требует от полководца подвигов простого воина, совершаемых с опасностью для жизни его.

Вот что почел я нужным наперед заметить, приступая к жизнеописаниям Пелопида и Марцелла – великих мужей, которые погибли по своей дерзости. Они были храбры и мужественны в боях; оба прославили свои отечества знаменитейшими подвигами и одержали верх над сильнейшими противоборниками. Марцелл победил первый, говорят, непобедимого дотоле Ганнибала; Пелопид разбил в сражении лакедемонян тогда, когда они обладали морем и сушей. Но не щадя себя, погубили они жизнь свою безрассудно в то время, когда граждане их имели величайшую нужду, чтобы они были живы и начальствовали. По причине этого сходства между ними я противополагаю их одного другому.

Пелопид, сын Гиппокла, был, подобно Эпаминонду, знаменитого рода среди фиванцев. Воспитанный в богатстве и обладая еще в молодости великим имуществом, он принял за правило оказывать помощь людям достойным, терпящим нужду; он хотел быть действительно господином, а не рабом своего богатства. В самом деле, как говорит Аристотель, одни не употребляют богатства от скупости; другие употребляют его во зло, по расточительности своей; одни суть всегда рабы удовольствий, другие – забот своих. Приятели Пелопида с признательностью пользовались его щедростью и человеколюбием; одного Эпаминонда не мог он принудить быть участником в богатстве его; за то он сам участвовал в бедности своего друга, подражая скромности его в одеянии, простоте в пище, постоянству в трудах, откровенности и праводушию в управлении, будучи подобен Капанею* Еврипида, который:

Богатством обладал, но им он не гордился.

Пелопид стыдился издерживать на себя более самого бедного фиванца. Эпаминонд, которому бедность была, так сказать, привычна и наследственна, облегчал ее и делал сноснее философскими рассуждениями. С самого начала он вел жизнь простую и единообразную. Пелопид избрал жену из знаменитого рода и прижил с нею много детей, но мало заботился об умножении своего богатства и, посвящая свое время единственно делам общественным, он уменьшил свое имение. Когда его приятели представляли ему, что он пренебрегает самой нужной вещью – богатством, то он отвечал: «Правда, самой нужной, но разве что вон для того Никодема», – показав им одного слепого и хромого.

Они были равно способны ко всем добродетелям, но Пелопид любил более телесные упражнения, а Эпаминонд – умственные. Свободное время один провождал в палестрах и на охоте; другой – в беседе с мудрыми и в учении. Хотя многие знаменитые дела, произведенные ими, служили к славе их обоих, однако здравомыслящие люди ничему в них столько не удивлялись, сколько неизменяемой одного к другому дружбе и взаимной благосклонности, которую постоянно сохранили с начала до самого конца в продолжении многих походов, долговременного предводительства войсками и управления республики. Если рассмотрим, какими раздорами, завистью и ревностью сопровождаемо было управление Аристида и Фемистокла, Кимона и Перикла, Никия и Алкивиада и потом обратим внимание на взаимное уважение и дружбу Пелопида с Эпаминондом, то мы, конечно, этих двоих справедливее назовем истинными соправителями и соначальниками, а не тех, кто больше старался низложить друг друга, нежели победить общего неприятеля. Истинная тому причина – добродетель их. Они делами своими не искали ни богатства, ни славы, к которым прививается злобная и

сварливая зависть. С самого начала воспламенились они божественной любовью видеть свое отечество возведенным посредством их на верх величия и славы, и в этом отношении каждый из них успехи другого почитал своими.

Но, по мнению многих писателей, тесная дружба их началась со времени сражения при Мантинее*, когда фиванцы послали войско на помощь лакедемонянам, бывшим тогда их союзниками. Пелопид и Эпаминонд стояли близко один от другого в тяжелой пехоте и сражались с аркадянами. Когда лакедемонское крыло, в котором они находились, было разбито и обращено в бегство, то они, сомкнувшись щитами, твердо выдерживали нападение неприятелей. Пелопид получил семь ран и упал на груду мертвых тел, вместе лежащих, – неприятелей и своих. Хотя Эпаминонд не надеялся, чтобы Пелопид был жив, однако стоял за тело его и оружие и с великой для себя опасностью один сражался со многими, решившись лучше умереть, нежели оставить лежащего Пелопида. Уже он сам находился в дурном состоянии, получив раны копьем в грудь и мечом в руку, когда с другого крыла поспешил на помощь к ним спартанский царь Агесиполид* и вопреки всем ожиданиям спас их.

После сражения спартанцы показывали себя внешне друзьями и союзниками фиванцев*, на самом же деле взирали с завистью на дух их и умножающуюся силу республики. Всего более была им неприятна сторона Исмения и Андроклида, к которой пристал и Пелопид по причине приверженности ее к свободе и народоправлению. Но Архий, Леонтид и Филипп, граждане богатые, склонные к малоначалию, исполненные неумеренного честолюбия, убедили спартанца Фебида, который с войском проходил через Беотию, неожиданно занять Кадмею*, изгнать их противников, предать правление немногим гражданам и подчинить оное лакедемонянам. Фебид согласился, приступил к делу во время празднования Фесмофорий*, когда фиванцы нимало того не ожидали, и завладел крепостью. Исмений был пойман, увезен в Лакедемон и после некоторого времени умертвлен. Пелопид, Ферeник и Андроклид со многими другими убежали и были объявлены изгнанниками. Эпаминонд один остался в городе; им пренебрегали, как недеятельным, по причине склонности его к учению, и как бессильным, по причине его бедности.

Лакедемоняне лишили, правда, начальства Фебида за его вероломный поступок, наложили на него сто тысяч драхм пени, но между тем продолжали занимать Кадмею. Вся Греция удивлялась странному поступку лакедемонян*: виновника злодеяния наказывали, а злодеяние одобряли. Фиванцы, лишенные древнего своего правления и порабощенные Архием и Леонтидом, не смели надеяться уже освободиться от тираннства, которое было поддерживаемо спартанским владычеством и не могло быть уничтожено, пока спартанцы господствуют на море и на твердой земле. При всем том Леонтид, узнав, что фиванские изгнанники находились в Афинах, что были приятны народу и уважаемы лучшими гражданами, тайно злоумышлял против них. Он подослал неизвестных людей, которые умертвили Андроклида изменою, но не имел успех против других. Между тем афиняне получили письма из Лакедемона с приказанием не принимать к себе изгнанников и не подкреплять их, но выслать от себя, ибо союзниками они объявлены общими врагами Греции. Но афиняне по свойственному и врожденному им человеколюбию не сделали изгнанникам никакого зла; напротив того, они желали оказать свою благодарность фиванцам, которые сделались прежде того виновниками восстановления народной власти, и утвердили следующее постановление: «Если кто из афинян провезет через Беотию оружие против афинских тираннов, то никто из фиванцев не показывает, что видит и слышит это».

Пелопид был из числа младших изгнанников, но старался ободрять каждого из них в особенности и всех их вообще; он представлял, что им постыдно и непозволительно терпеть, чтобы отечество было порабощено и охраняемо чуждыми воинами, между тем как они, довольствуясь тем, что сами спаслись и живут спокойно, находятся в зависимости от афинских народных постановлений и льстят тем, кто красноречием своим может управлять народом; что им должно дерзнуть на все опасности для освобождения того, что всего в жизни дороже; что, приняв в пример смелость и доблесть Фрасибула, который некогда, выйдя из Фив, низложил афинских тираннов, надлежало им равным образом устремиться из Афин и освободить Фивы. В конце концов доводы Пелопида убедили их. Они послали тайно в Фивы людей для извещения о своем намерении оставшихся в городе приятелей своих, которыми было одобрено.

Знаменитейший из них, по имени Харон, обещал дать им дом свой; а Филлиду удалось сделаться писцом при полемархах* Архии и Филиппе. Эпаминонд еще прежде старался одушевлять мужеством молодых людей. В палестрах заставлял он их хвататься и бороться с лакедемонянами. Видя, что молодые фиванцы одолевали их и потом гордились победой, он упрекал их, говоря, что им надлежало бы стыдиться того, что из робости покорствуют тем, кого они столь много превосходят телесной крепостью.

Между тем изгнанники назначили день для произведения в действо своего предприятия. Они положили, чтобы Ференик, собрав всех, дожидался в Фриасии, чтобы несколько человек из младших дерзнули наперед вступить в город. Дано им было обещание, что ни дети их, ни родители не останутся беспомощными и не будут терпеть никакой нужды, когда бы они пострадали от своих неприятелей. Прежде всех вызвался Пелопид, потом Мелон, Дамоклид, Феопомп, мужи первейших родов, связанные вернейшей дружбой между собою и всегда состязавшиеся в славе и храбрости. Всех было двенадцать человек; они обняли остальных и, дав наперед знать Харону о своем намерении, пустились в Фивы в коротеньких плащах, с охотничьими собаками, держа колья, на которых расставляют тенета, дабы никто из попадающихся им на дороге не возымел подозрения, но дабы казалось, что они блуждают по полям для своего удовольствия, занимаясь охотой. Посланный от них прибыл к Харону и объявил ему, что они уже на дороге. Харон, несмотря на наступающую опасность, нимало в своем намерении не изменился, он пребыл тверд в слове и предал им дом свой. Но некто по имени Гиппосфенид, человек, впрочем, недурной, любивший свое отечество и благоприятствовавший изгнанникам, не имел той решительности, какой требовала краткость времени и важность предприятия. Как будто бы тогда душа его помрачилась, взирая на великое дело, которое приближалось к развязке; как будто бы тогда только понял он, что сообщники некоторым образом хотели потрясти державу и ниспровергнуть могущество лакедемонян, основываясь на нетвердых надеждах и на толпе изгнанников; он пришел домой в безмолвии и немедленно отправил одного из приятелей своих к Мелону и Пелопиду, советуя им отложить в теперешнее время свое предприятие, ожидать другого лучшего случая и опять возвратиться в Афины. Человек, которого он послал к заговорщикам и который назывался Хлидон, придя домой поспешно, вывел свою лошадь и искал узды. Жена, не знавши, где она была, не могла ее отыскать и сказала, что отдала ее одному из соседей. Сперва между мужем и женой началась ссора; потом последовали проклятия; жена пожелала несчастья в пути как ему, так и тем, кто посылал его. Таким образом Хлидон, проведя большую часть дня в досаде и почитая происшедшее дурным для себя предзнаменованием, в гневе своем раздумал пуститься в путь и занялся своим делом. Вот как это прекрасное и великое предприятие при самом его начале едва не было уничтожено!

Между тем Пелопид и товарищи его, переодевшись земледельцами, разделились и разными дорогами вошли в разные части города около вечера. Тогда начиналась зима; погода была ветреная, и шел снег; тем удобнее могли они скрыться, ибо жители большей частью по причине стужи разошлись по домам. Но те, кому следовало обращать внимание на них, принимали приходящих заговорщиков и приводили немедленно в дом Харона. Число тех, кто собрался вместе с изгнанниками, простиралось до сорока восьми человек.

Что касается до тираннов, то они находились в следующем положении: Филлид, как сказано выше, имел с изгнанниками сношение и содействовал предприятию их. За несколько времени перед тем обещал он Архию и его товарищам дать пир в тот самый день и привести к ним женщин. Он употреблял все средства, чтобы обессилить их наслаждениями, погрузить в пьянство и таким образом предать в руки заговорщиков. Немного недоставало пиршествующим напиться пьяными, как дошел до них слух, хотя не ложный, однако неверный и запутанный, что изгнанники скрываются в Фивах. Филлид старался переменить разговор, но Архий послал к Харону одного из служителей с приказанием, чтобы он пришел к нему немедленно. Уже был вечер. Заговорщики приготовлялись к нападению; они надели уже брони; принялись за мечи. Вдруг стукнули в двери; один из них пошел узнать, кто стучался. Узнав, что служитель звал Харона к полемархам, возвратился к заговорщикам с этим известием в великом смятении. Всем представилось уже, что заговор открыт и что они погибнут, не произведши ничего достойного своего мужества. При всем том положили, чтобы Харон повиновался полемархам и что он

явился к ним, не показывая никакого подозрения. Хотя он был человек мужественный, бодрый и непоколебимый в несчастьях, но в то время заботился о них и боялся, чтобы не пало на него подозрение в измене, если погибнут столь многие и знаменитые граждане. Когда он хотел идти, то, взяв в женских покоях сына своего, еще малолетнего, но красотою и крепостью тела превосходившего всех сверстников своих, предал его Пелопиду и другим, сказав, что они могут поступить с ним как с неприятелем, без малейшей пощады, если узнают, что отец его изменил или обманул их. Многие из заговорщиков не могли удержаться от слез, видя горесть и великий дух Харона. Мысль, что он мог кого-либо из них почитать столь робким и до того переменившимся от обстоятельств, чтобы его подозревать в измене или в чем-либо винить, была для них оскорбительна. Они просили его не оставлять у них сына своего, но удалить от опасности, дабы воспитывать в нем мстителя за отечество и за друзей, когда он спасется и вырвется из рук тираннов. Но Харон объявил, что не удалит от них сына своего. «Какая жизнь, – говорил он, – какое спасение может быть славнее смерти, не подверженной поруганию, общей с отцом и друзьями?» Помолившись богам, обнял он всех, ободрил и ушел, обращая внимание на себя самого, образуя вид лица и звук голоса так, чтобы своей наружностью не открывать того, что в нем происходило.

Он пришел в дом Филлида. Архий вышел к нему и сказал: «Я слышал, Харон, что какие-то изгнанники пришли в город и скрываются в нем и что некоторые из граждан им помогают». Харон сперва был приведен в смятение от этих слов, но, оправившись, спросил: «Какие это люди и кто их скрывает?» Видя, что Архий не имел точного сведения о происходившем, и заключив из того, что никто из участвовавших в этом деле не сделал ему доноса, сказал: «Берегитесь, чтобы вас не беспокоили пустые слухи, впрочем, постараюсь о том узнать; может быть, не должно пренебрегать ничем». Филлид, который тут находился, одобрил слова Харона. Он отвел Архия, опять погрузил его в пьянство и между тем занимал его надеждой, что скоро приведут к ним женщин.

Харон, возвратившись домой, нашел друзей своих не в таком расположении, чтобы они желали победы или спасения, но с твердым намерением погибнуть со славой, умертвив многих из своих противников. Он открыл все Пелопиду, но от других скрыл истину, выдумав слова, ему сказанные будто бы Архием касательно другого дела*.

Первая буря миновала, но судьба воздвигла против них другую. Из Афин прибыл к Архию служитель соименитого ему гиерофанта Архия, с которым был он связан узами дружбы и гостеприимства. Он принес к нему письмо, содержавшее не выдуманное и не пустое подозрение, но, как после оказалось, подробное известие о заговоре. Служитель был приведен к Архию, уже опьяневшему, и, подав ему письмо, сказал: «Тот, кто меня послал, просит тебя прочесть письмо тотчас; в нем содержатся весьма важные дела». – «Важные дела – завтра!» – сказал Архий смеясь, принял письмо, положил под подушку и продолжал говорить с Филлидом о прежних предметах. Слова его «важные дела – завтра» вошли в пословицу и поныне сохраняются греками.

Заговорщикам казалось уже, что время к совершению их намерения наступило. Они разделились на две части; одни с Пелопидом и Дамоклидом пошли к Леонтиду и Гипату*, которые жили близко один от другого; Харон и Мелон обратились к Архию и Филиппу; на брони свои надели они женское платье; на голову наложили большие венки, еловые и сосновые, которыми осеняли свои лица так, что при первом появлении их к дверям столовой поднялся шум и рукоплескание, ибо все думали, что пришли давно ожидаемые ими женщины. Заговорщики, обозрев кругом всех собеседников и заметя, где кто лежит, обнажили мечи и, устремившись через расставленные столы на Архия и Филиппа, показали, кто они были. Филлид успел убедить немногих из собеседников оставаться в покое, но те из них, кто хотел защищаться вместе с полемархами, будучи пьяными, без труда умертвлены заговорщиками.

Пелопид и Дамоклид встретили больше затруднений в своем предприятии; они шли на Леонтида, человека трезвого и смелого; дом его был заперт; он уже спал. Долго стучались они, наконец, служитель, который с трудом услышал их, пришел и снял запор; едва успел открыть двери, как они ворвались толпой, свалили с ног служителя и устремились в покои. По шуму, ими произведенному, и по стремлению их Леонтид понял, что сие значило; он встал, схватил кинжал, но забыл погасить свечу; когда бы он ее погасил, то заговорщики в темноте могли бы

умертвить друг друга. Но покой его был освещен; он встретил их у самых дверей; Кефисодор попался ему первый; Леонтид поразил его и поверг мертвого на землю; за сим вступил он в бой с Пелопидом. Узкие двери и лежащее перед ними тело Кефисодора делали борьбу трудной, но Пелопид одержал верх; он умертвил Леонтида и вместе с другими немедленно обратился к Гипату; они ворвались в дом его таким же образом. Гипат, заметив тотчас намерение их, убежал к соседям, но заговорщики погнались за ним, поймали и подвергли той же участи.

Совершив таким образом подвиг сей, они сошлись с Мелоном и его товарищами и немедленно послали в Аттику человека к оставшимся там изгнанникам, потом начали призывать граждан к свободе, вооружили пристающих к ним, взяв из портиков находившееся там оружие, разломав окружавшие дом лавки оружейных мастеров. Между тем присоединились к ним Эпаминонд и Горгид, вооруженные, с немалым числом избранных ими юношей и лучших старцев. Уже весь город был в беспокойстве; всюду был слышан величайший шум; во всех домах горели огни, граждане бегали одни к другим. Но народ еще не собирался; в изумлении от происшедшего и ничего верного не зная, он ожидал рассвета. Лакедемонские начальники сделали важную ошибку, что тотчас не устремились и не напали на заговорщиков. Охранное их войско состояло из тысячи пятисот человек; к ним стекались многие из города. Но крики и огни и народ, бегающий всюду толпами, внушили им такой страх, что они оставались в покое, довольствуясь тем, что занимали Кадмею. На рассвете дня прибыли из Аттики вооруженные изгнанники. Народ собирался на площадь. Эпаминонд и Горгид представили в Народное собрание Пелопида и его сообщников, огражденных священниками, которые держали в руках посвященные венки и увещевали граждан вспомоществовать отечеству и богам. При этом зрелище граждане восстали с плеском и восклицаниями, принимая сих мужей как благодетелей и спасителей своих.

Пелопид был избран беотархом вместе с Мелоном и Хароном; он осадил крепость, делал приступы со всех сторон, дабы изгнать спартанцев и освободить Кадмею до прибытия новой силы из Лакедемона*. Он успел ее предупредить. Спартанцы были отпущены с условием и по прибытии своем в Мегары встретили Клеомброта, который шел на Фивы с сильным войском. Из трех гармостов, или правителей, правивших Фивами, первых двух – Гериппида и Аркисса – спартанцы приговорили к смерти; на третьего, по имени Лисанорид, наложили большую денежную пеню; Лисанорид удалился из Пелопоннеса.

Это дело, столь важное по доблести заговорщиков, по опасностям и трудам, с которыми было сопряжено, столь похожее на Фрасибулово* и подобно тому равным успехом от счастья увенчанное, названо греками «братом» Фрасибулова подвига. В самом деле, нелегко найти других, которые, будучи малочисленнее, напали бы на многих, будучи слабее, напали на сильнейших и, одержав верх смелостью и мужеством, сделались бы виновниками больших благ для своего отечества. Перемена обстоятельств придала делу этому еще более знаменитости. Война, которая унизила спартанцев и ограничила могущество их на море и на суше, началась с той ночи, в которую Пелопид, не взяв ни охранного поста, ни крепости, ни укрепления, но сам двенадцатый войдя в один дом, разорвал, если должно сказать правду метафорой, узы лакедемонского владычества, которые прежде казались неразрывными, неразрешимыми.

Лакедемоняне с многочисленным войском вступили в Беотию и тем привели афинян в такой страх, что они отказали фиванцам в союзе, а тех из своих сограждан, кто держался стороны беотийцев, предали суду; одних умертвили, других изгнали или наказали наложением пени. Казалось уже, что дела фиванцев находились в дурном положении; они не имели никого помощником. Беотархами тогда были Пелопид и Горгид. Умышляя произвести опять между афинянами и лакедемонянами разрыв, они употребили следующую хитрость: спартанец Сфодрий, человек знаменитый, отличившийся военными подвигами, но несколько легкомысленный, исполненный пустых надежд и безрассудного честолюбия, оставался в Феспиях с войском, дабы принимать к себе тех, кто отставал от фиванцев, и помогать им. К этому-то военачальнику подослал Пелопид одного знакомого ему купца*, который деньгами, а еще более словами убедил его предпринять важнейшее дело – занять Пирей, напав на оный неожиданно, когда афиняне того нимало не подозревали; он уверил его, что ничто не может быть приятнее для лакедемонян, как завладеть Афинами, и что фиванцы не окажут им никакой помощи, имея причину на них сердиться и называя их предателями. Сфодрий был убежден; он

взял ночью воинов своих и вступил в Аттику. Он дошел до Элевсина, но тут воины его оробели; движение его было замечено*; он отступил в Феспии, запутав спартанцев в тяжкой и трудной войне.

После этого поступка афиняне охотно заключили вновь с фиванцами союз, заняли море своими кораблями и, объезжая Грецию, привлекали на свою сторону города, которые были склонны к возмущению против спартанцев. Фиванцы, воюя ежедневно с лакедемонянами одни и сражаясь с ними в частых, хотя небольших, сшибках, приобретали способность и искусство в военном деле; они воспламенялись духом; их тела укреплялись; этими трудами получали они опытность и бодрость вместе с привычкой сражаться. Это-то заставило спартанца Анталкида сказать Агесилаю, когда он раненый возвратился из Беотии: «Хорошо тебе платят фиванцы за твои уроки; ты научил их воевать, когда они того не хотели». Впрочем, истинным учителем их в войне был не Агесилай, но те, кто вовремя и с рассудком, наводя их искусно, как молодых и бодрых псов, на неприятелей и заставляя их вкусить плоды мужества и победы, отводили их назад в безопасность. Пелопиду более всех принадлежит слава за эти успехи. С того времени как в первый раз фиванцы избрали его предводителем своим, не перестали ни одного года поручать ему важные начальства; до смерти своей был он то вождем священного отряда, то беотархом.

Лакедемоняне были разбиты и обращены в бегство в Платеях и при Феспиях; здесь умер и Фивид, занявший Кадмею. Пелопид победил лакедемонян и при Танагре, где умертвил гармоста их Панфоида. Эти сражения, конечно, возвысили мужество и смелость победителей; однако не совсем унизили дух побежденных. До того времени обе стороны не сошлись стройным ополчением и не дали открытого сражения по правилам искусства. Большей частью фиванцы производили удачные набеги, то отступали, то преследовали и, сражаясь таким образом, одерживали над неприятелем верх.

Но сражение под Тегирами, бывшее некоторым образом предготовлением к Левктрам, вознесло славу Пелопида до высочайшей степени. Товарищи его в полководстве не могли оспаривать у него честь победы; неприятелям же не оставил он никакого предлога к сокрытию своего поражения. Пелопид искал всегда удобного случая напасть на Орхомен*, граждане которого пристали к спартанцам и приняли к себе две спартанские моры для своей безопасности. Он узнал, что охранное войско выступило в Локриду. Полагая, что Орхомен остался без стражей, вышел он против него со священным отрядом и с малым числом конницы. Будучи недалеко от него, открыл он, что войско из Лакедемона шло на смену выступившим из Орхомена воинам. По этой причине отвел свою силу назад через Тегиры, той дорогой, которой одной можно было пройти обходом вдоль по подгорью. Все в средине лежащие места были непроходимы, ибо река Мелан, разливаясь близ самого истока своего, составляет болота и озера судоходные.

В недальнем расстоянии ниже болота есть храм Аполлона Тегирского и прорицалище, незадолго пришедшее в упадок. Оно было в цветущем состоянии до времен Персидских войн, когда прорицателем в нем был Эхекрат. Говорят, что в этом месте родился Аполлон. Ближайшая гора называется Делос; у подножья ее оканчивается разлитие реки Мелан. Позади храма бьют два ключа, которых вода удивительна по своему приятному вкусу, обилию и свежести; и поныне один называется Фиником, другой – Оливой. Известно, впрочем, что Латона родила не посреди двух деревьев, но посреди двух ключей. Близ этого места есть Птой*, отколе вышла она, испуганная внезапным появлением вепря. Эти места приводят на память вместе с рождением оного бога повествование о Пифоне и Титии*. Я пропускаю другие доказательства касательно этого, ибо древнее предание наше не ставит Аполлона в число богов, которые родились смертными и сделались бессмертными переменой существа своего, подобно Дионису и Гераклу, которые своими добродетелями очистились от всего того, что имели в себе смертного и страстного. Он есть один из богов вечных и нерожденных – если в этом случае должно полагаться на слова самых мудрых древних мужей.

Между тем как фиванцы отступали из Орхомена в Тегиры, встретились с лакедемонянами, которые с противной стороны возвращались из Локриды. Как скоро показались они при выходе из узкого прохода, то некто прибежал к Пелопиду и сказал ему: «Попались мы неприятелю!» – «Почему же мы ему, а не он нам попался?» – отвечал Пелопид и

немедленно повелел коннице, стоявшей в тылу, выдаться вперед, дабы начать нападение первой. Пехоту, которая состояла из трехсот человек, собрал он на малом пространстве, надеясь, что она прорвет неприятеля в том месте, на которое устремится, при всем превосходстве его силы. У лакедемонян было две моры – каждая мора, по свидетельству Эфора*, состояла из пятисот человек; Каллисфен говорит: из семисот; Полибий, согласно с некоторыми другими, – из девятисот. Начальники спартанские Горголеон и Феопомп смело устремились на фиванцев; сшибка с обеих сторон началась с яростью и быстротой на том месте, где стояли обеих сторон предводители; лакедемонские военачальники, ударившие на Пелопида, пали, окружавшие их были поражаемы и умертвляемы, отчего вскоре все неприятельское войско приведено было в страх. Оно расступилось, дабы дать место пройти фиванцам, как будто бы они хотели только прорваться и убежать. Когда же Пелопид, презрев даваемый ему свободный проход, вел свое войско на тех, кто стоял в боевом порядке, и, пробегая их ряды, поражал и убивал их, то неприятель стремглав обратился в бегство; фиванцы преследовали его не весьма далеко, боясь жителей Орхомена, которые были поблизости, и войска, прибывшего из Спарты на смену. Они теснили их до того, как утвердили совершенно победу и пробились сквозь все побежденное войско. Потом воздвигли трофей, сняли доспехи с убиенных и продолжали путь свой в Фивы, гордясь славным своим подвигом.

Хотя лакедемоняне дали весьма много сражений как грекам, так и варварам, однако никогда, будучи многочисленнее, не были побеждены меньшим числом, даже будучи равны неприятелю в силе, не были разбиты. По этой причине надменность их была нестерпима; одна слава их была достаточна к приведению в ужас своих противников, которые и сами не имели смелости с равными силами противостать им, когда они вступали в бой. Это сражение уверило и других греков, что не Эврот и не пространство, лежащее между Бабиками и Кнакионом, производит мужественных и твердых воинов*, но что та страна, где родятся юноши, стыдящиеся бесчестия, где жертвуют жизнью за то, что похвально, где бегут поношения более опасности, – чрезвычайно грозный противник.

Что касается до священного отряда, то оный, как говорят, сначала составлен Горгидом из трехсот избранных мужей, которые были содержимы обществом в Кадмее, где имели свое пребывание. Отряд назывался городским, без сомнения по той причине, что в то время крепости называемы были городами. Другие говорят, что он составлен был из людей, любивших друг друга. Известно забавное изречение Паммена*, который уверял, что Нестор у Гомера не есть искусный тактик, ибо велит войско греков расположить по племенам и по народам:

Пусть народу народ да содействует, племени племя*.

Надлежало бы лучше, говорит он, ставить любителя близ любимого предмета, ибо в опасностях немногие заботятся о своих единоземцах и единоплеменных; войско, напротив того, состоящее из нежных друзей, не может быть разбито и побеждено; взаимная любовь и уважение, существующие между воинами, заставят их твердо стоять в опасностях друг за друга. Это нимало не удивительно, ибо любящиеся более стыдятся отсутствующих своих друзей, нежели других присутствующих. Это подтверждается примером поверженного в сражении воина, который умолял неприятеля, поднявшего меч, к умертвлению его, чтобы он ударил его в грудь, дабы другу моему, говорил он, не стыдно было смотреть на меня мертвого, если буду ранен в спину. Говорят также, что Иолай*, любимец Геракла, участвовал в его подвигах и подле него сражался. Аристотель пишет, что еще в его время друзья клялись друг другу в верности на гробнице Иолая. По этой причине весьма прилично называть отряд сей «священным» – ибо Платон любовника называет «другом боговдохновенным»*. Отряд оставался непобежденным до самого сражения при Херонее*. По окончании битвы Филипп, осматривая поле сражения, остановился на том месте, где триста воинов, грудью шедшие на македонские сариссы, лежали один подле другого в доспехах. Он был поражен этим зрелищем и, узнав, что это отряд любовников и возлюбленных, прослезился и сказал: «Погибни тот, кто в связи их подозревает что-либо постыдное и бесчестное!»

Вообще связь между любящими не началась в Фивах, как уверяют стихотворцы, со

времени бесчестного поступка Лая*, но законодатели, желая с самого детства укрощать и умерять природную стремительность и пылкость юношей, вмешали во все их занятия и забавы употребление флейты, оказывая ей особенное предпочтение. Они поселили любовь и дружбу в палестрах их и тем смягчали нравы. Не без причины посвятили они город свой богине*, которая, по преданию, произошла от Ареса и Афродиты, ибо там, где воинственные свойства и храбрость сочетаются с приятностями и даром привлекать и убеждать, – там все поспешествует к составлению по правилам гармонии самого благоустроенного и образованного правления.

Что касается до священного отряда, то Горгид сперва разделял его в первых рядах и вдоль целого строя тяжелой пехоты, и потому мужество составлявших его воинов не могло обнаружиться. Объединенная сила их не служила к пользе общей, ибо они были разделены и смешаны с другими, худшими воинами. Но когда доблесть их воссияла близ Тегир, где они сражались на глазах Пелопида, то он уже больше не разделял отряда, но использовал его как одно целое и посылал их на величайшие опасности. Подобно как кони, будучи впряжены в колесницу, несутся быстрее, нежели когда бегут поодиночке, не потому, чтобы им удобнее было множеством своим рассекать воздух, но потому, что они воспламеняются соревнованием и взаимным примером: так храбрые люди, думал он, внушая один другому соревнование в славных делах, бывают самыми усердными, самыми полезными для общества.

Лакедемоняне после того, заключив мир со всеми греческими народами, объявили войну одним фиванцам. Их царь Клеомброт вступил в Беотию с войском, состоявшим из десяти тысяч пехоты и тысячи человек конницы. Опасность, предстоявшая фиванцам, была гораздо страшнее прежней. Лакедемоняне явно грозили им конечной гибелью. Никогда Беотия не была в таком страхе. Когда Пелопид выходил из своего дома для отправления в поход, то жена его провожала со слезами и просила, чтобы он себя берег. «Друг мой, – отвечал он ей, – это добрый совет для простых воинов, но полководцу надлежит думать о том, как сберечь других». По прибытии своем в стан нашел он, что беотархи были между собою не согласны. Он первый разделил мнение Эпаминонда, который советовал напасть на неприятелей. Пелопид тогда не был беотархом, но предводительствовал священным полком и пользовался великой доверенностью, какую по всей справедливости заслужил, подав отечеству великие залоги любви своей к его независимости.

Когда уже решено было дать сражение и фиванцы стали при Левктрах в виду лакедемонян, то Пелопид увидел сон, который привел его в великое беспокойство. На левктрийском поле стояли гробницы дочерей Скидаса, которые тут погребены и названы Левктридами по имени места. Они умертвили себя, будучи изнасилованы спартанскими чужеземцами. По совершении этого жестокого и беззаконного поступка отец их, не получив в Спарте удовлетворения и правосудия, изрек на спартанцев ужасные проклятия и заколол сам себя на гробах дочерей своих. Разные прорицания всегда напоминали спартанцам беречься левктрийского мщения. Но они, не зная в точности места, были в недоумении, ибо и в Лаконии есть малый город на берегу морском, называемый Левктрами, и близ Мегалополя в Аркадии есть место того же имени; происшествие же, о котором здесь упомянуто, гораздо древнее сражения при Левктрах.

Пелопид некогда отдыхал в стане; ему приснилось, что видел дочерей Скидаса, рыдающих на гробницах и проклинающих спартанцев, и что Скидас сам повелевал ему заколоть на гробах их русоволосую девицу, если хочет одержать победу над неприятелем. Это приказание показалось Пелопиду ужасным; он встал и рассказал сон свой прорицателям и военачальникам. Некоторые из них советовали ему не пренебрегать этим явлением и не быть ослушником; они приводили в пример из древних Менекея, сына Креонта, и Макарию, дочь Геракла; из позднейших – мудрого Ферекида*, которого умертвили лакедемоняне и которого кожу стерегут цари их по совету некоторого прорицалища; Леонида, который, повинуясь прорицанию, принес себя некоторым образом в жертву за спасение Греции; также упоминали они о тех, кто Фемистоклом принесен в жертву Дионису Свирепому накануне Саламинского сражения. Успехи, увенчавшие эти предприятия, доказывали, по их мнению, что те жертвы были богам угодны. С другой стороны, представляли они Агесилая, который отправлялся против тех же неприятелей и из того же самого места, из которого прежде отправился Агамемнон; богиня явилась ему во сне в Авлиде* и потребовала в жертву его дочь; он ее не дал

по слабости, отчего предприятие его кончилось бесславно и не имело счастливого успеха. Другие вопреки этому утверждали, что варварские и беззаконные жертвы не могут быть благоугодны существам, превышающим нас, ибо вселенной владеют не гиганты и тифоны, но отец всех богов и людей; что верить существованию таких богов, которые веселятся кровью и убиением людей, может быть, безрассудно; что когда бы подлинно боги были таковы, то надлежало пренебрегать ими, как бессильными, ибо только в слабых и порочных душах возрождаются и гнездятся дурные и низкие желания.

Так рассуждали между собою предводители войска. Пелопид находился в недоумении, как вдруг молодая кобылица, убежав из табуна, неслась мимо всего стана и на самом бегу остановилась перед ними. Все смотрели с удовольствием на блистательный и яркий цвет гривы ее, дивились гордому и стройному ее стану и громкому ржанию. Прорицатель Феокрит несколько задумался и, наконец, воскликнул: «Пелопид! Жертва в руках твоих! Другой девы ожидать нам не должно; прими и принеси в жертву ту, которую сам бог дает тебе». Немедленно поймали кобылицу, привели к гробницам дев, украсили венками и, помолившись богам, принесли в жертву с великой радостью. Между тем объявили всему войску о видении Пелопида и о жертвоприношении.

В самом сражении Эпаминонд дал фаланге на левом крыле косвенное направление, дабы правое крыло спартанцев удалить как можно более от других союзников их и вдруг всеми силами напасть на Клеомброта сбоку и разбить его. Неприятель, догадавшись о его намерении, начал переменять боевой порядок. Он протянул правое крыло свое и шел в обход, желая обойти множеством своих сил войско Эпаминонда. Но в то самое время Пелопид устремился на него с отрядом своим, прежде нежели Клеомброт мог вытянуть свое крыло или же его собрать по-прежнему и сомкнуть ряды, напал на лакедемонян, которые этим движением были расстроены и приведены в смятение. Спартанцы, как совершенно искусные в военных действиях, ни к чему столько не приучали себя, как к тому, чтобы не теряться и не смущаться при расстройстве их боевого порядка. У них все ратники могли заступить место предводителей при наступлении опасности, когда было нужно устроиваться и сражаться одному подле другого. Но в тогдашнем деле Эпаминонд с фалангой устремился на них одних, мимо других войск; Пелопид со смелостью и быстротой невероятной на них же ударил и тем привел в смятение, расстроил их и уничтожил искусность и уверенность до того, что все они предались бегству, претерпевая поражение, какого никогда с ними не случалось*. По этой причине Пелопид, не будучи беотархом, но предводительствуя малейшей частью войска, прославляется за эту победу наравне с Эпаминондом, который был правителем Беотии и вождем всего войска.

Впоследствии будучи беотархами оба, они вступили в Пелопоннес*. К ним присоединилась большая часть народов его. От лакедемонян отделили они Элиду, Аргос, всю Аркадию, большую часть самой Лаконии. Тогда наступала зима; не много оставалось дней до окончания последнего месяца года. С наступлением первого месяца начальство надлежало передать другим. Нарушающие этот порядок подвергались смертной казни, и беотархи, страшась закона и боясь зимы, спешили отвести назад войско. Но Пелопид, подав первый свое согласие на мнение Эпаминонда и ободрив своих сограждан, вел войско прямо против Спарты, переправился через реку Эврот, взял многие неприятельские города*, опустошил область до самого моря, предводительствуя семьюдесятью тысячами греческого войска, которого едва двенадцатая часть состояла из настоящих фиванцев. Но слава мужей этих заставляла союзников без постановлений и приказаний народных быть покорными и следовать за ними. По первому закону природы, истинный начальник над беспомощным и имеющим нужду в спасении есть тот, который может подать ему помощь и спасти его. Подобно как мореходы в тихую, им безопасную погоду или, стоя спокойно в пристани, пренебрегают своими кормчими и ругаются над ними, но с наступлением бури и опасности на них обращают взоры свои, на них полагают свою надежду, – так аргивяне, элейцы и аркадяне* в собраниях и советах оспаривали фиванцам предводительство, но в войне и в трудных обстоятельствах повиновались им по своей воле и следовали за ними как за предводителями.

В том походе беотархи соединили под одну власть Аркадию; отняли у спартанцев Мессению*, которою они издревле владели, и, призвав прежних жителей страны, построили и населили вновь Ифому. Возвращаясь в свою область через Кенхрей*, они разбили афинян,

которые дали им сражение в узких местах и хотели препятствовать их проходу.

Доблесть этих двух мужей была любезна другим народам, которые все удивлялись счастью их. Но зависть их единоплеменных и сограждан, возрастая вместе со славой их, приготовляла им неприятный и подвигам их неприличный прием. По возвращении своем они осуждены были на смерть за то, что вопреки закону, который повелевал в первый месяц года, называемый на их наречии букатием, передать другим правление Беотией, они продолжали начальствовать еще четыре месяца, в которые совершили столь важные дела в Мессении, Аркадии и Лаконии. Пелопид введен был в суд первый; по этой причине был он подвержен большей опасности. Впрочем, оба они были разрешены.

Эпаминонд снес с кротостью обвинение*, ибо непамятозлобие почитал он в политических делах важной частью твердости и великодушия. Но Пелопид, будучи от природы пылких свойств, побуждаемый друзьями отмстить своим неприятелям, нашел следующий благоприятный случай. Оратор Менеклид был один из заговорщиков, которые вместе с Пелопидом и Мелоном пришли в дом Харона. При всей своей способности красноречиво говорить был он дурных и развращенных свойств, и потому фиванцы не оказывали ему равного с другими уважения. По этой причине употреблял он свои дарования к тому, чтобы клеветать и унижать отличнейших мужей. Он не переставал нападать на них и после суда, о котором здесь упомянуто. Ему удалось исключить Эпаминонда из числа беотархов, и долго противился его предприятиям в гражданских делах. Не могши оклеветать пред народом Пелопида, предпринял он поссорить его с Хароном. Завистливые, не будучи в состоянии превзойти отличных людей, находят утешение в том, чтобы показывать их ниже других. Менеклид не переставал хвалить пред народом дела Харона, походы его и победы, им одержанные. Он вознамерился воздвигнуть памятник в честь победы, одержанной при Платеях под предводительством Харона незадолго до сражения при Левктрах, и приступил к тому следующим образом. Город поручил живописцу Андроклиду, уроженцу кизикийскому, представить в картине некоторую битву. Андроклид производил работу свою в Фивах. В то самое время произошло возмущение фиванцев против спартанцев, началась война, и эта картина осталась у фиванцев немного недоконченной. Менеклид убедил граждан посвятить ее, надписав на ней имя Харона, чтобы помрачить славу Пелопида и Эпаминонда. Смешное и глупое желание – предпочитать многим и великим подвигам одну не важную победу, в которой пали сорок спартанцев и какой-то Герад, человек совсем неизвестный! Пелопид восстал против этого предложения и доказал, что оно беззаконно, ибо у фиванцев не было обычая оказывать почестей одному человеку за одержанную победу, но славу ее приписывать всему отечеству. В продолжение суда не переставал он превозносить великими похвалами Харона, но Менеклида представил человеком завистливым и злым и, наконец, спросил фиванцев: неужели они не произвели никакого славного дела? Менеклид после того приговорен к денежной пени. Не будучи в состоянии заплатить ее, предпринял он впоследствии произвести в республике новые перемены. Я думаю, что эти подробности могут быть полезные к познанию свойств человека.

Александр Ферский вел явную войну со многими фессалийцами и тайно против всех их злоумышлял*. Города фессалийские отправили в Фивы посланников, просили полководца и вспомогательное войско. Видя, что Эпаминонд управлял делами, касающимися Пелопоннеса, Пелопид сам себя посвятил службе фессалийцев; он не хотел оставлять в бездействии искусство и способности свои. Будучи уверен, что там, где находился Эпаминонд, не было нужды в другом полководце, он вступил с войском в Фессалию и занял немедленно Лариссу. Александр прибыл к нему с покорностью и просьбами. Пелопид всеми средствами старался его исправить и из насильственного властителя сделать кротким и законным государем фессалийцев. Но Александр, человек жестокий и свирепый, был не способен к исправлению. Его обвиняли перед Пелопидом в жестокостях, разврате, хищничестве, ненасытной жадности. Пелопид обнаруживал ему свое негодование. Тиранн, устрашась гнева его, убежал со своими телохранителями. Пелопид, приведши в безопасность фессалийцев со стороны тиранна и восстановив между ними согласие, отправился в Македонию. В это время Птолемей воевал с Александром, царствовавшим в Македонии*. Как тот, так и другой призывали Пелопида как примирителя, как судью в их споре, как союзника и помощника тому, кто почитал себя обиженным. Пелопид по прибытии своем примирил их, возвратил изгнанников и, взяв в залог

Филиппа, царского брата, и тридцать юношей знаменитого роду, привел их в Фивы, дабы греческим народам показать, сколь далеко простиралось могущество фиванцев как по славе оружия их, так и по доверенности других народов к их справедливости. Филипп, здесь упомянутый, есть тот самый, который после воевал с греками, дабы лишить их свободы. Тогда был он очень молод и жил в доме Паммена. Это заставило думать, что он принял себе в образец Эпаминонда. Он перенял у него, может быть, быстроту и деятельность его в военных действиях, но это малейшая часть добродетелей Эпаминонда. Что касается до воздержания, справедливости, великодушия, кротости, которыми в самом деле Эпаминонд был велик, то Филипп ни природными свойствами, ни подражанием на него не походит.

Вскоре после того фессалийцы принесли жалобу фиванцам на Александра Ферского, который беспокоил города их. Пелопид отправлен был к ним как посланник вместе с Исмением. Он прибыл в Фессалию без войска и совсем не думал о войне, но был принужден употребить самых фессалийцев в делах, которые требовали скорой помощи. В Македонии открылись опять беспокойства. Птолемей умертвил царя и завладел царством. Преданные умершему государю призывали Пелопида в Македонию. Пелопид почел нужным показаться там. Не имея своего войска, собрал он в сей области несколько наемных воинов и с ними немедленно пошел против Птолемея. Уже они были недалеко друг от друга. Птолемей, подкупив деньгами наемных воинов, склонил их перейти к нему, но, страшась славы и имени Пелопида, встретил его с честью как победителя, употребил просьбы и заключил с ним союз на следующих условиях: царскую власть хранить в пользу братьев умершего государя; почитать союзниками и неприятелями союзников и неприятелей Фив. Он дал в залог сына своего и пятьдесят детей приближенных своих, которых Пелопид отослал в Фивы. Негодуя на измену наемных воинов и узнав, что большая часть их имущества, также жены и дети их, оставались в Фарсале, Пелопид надеялся, что, завладев ими, довольно накажет наемников за обиду, ему нанесенную. Он собрал несколько фессалийцев и пошел в Фарсал.

Вскоре по прибытии его показался и Александр с своим войском. Пелопид думал, что он идет для оправдания себя; он вышел к нему навстречу с Исмением; им известна была злодейская и кровожадная душа его; однако не ожидали от него зла по причине могущества Фив, собственной своей славы и достоинства. Но тиранн, видя, что они были одни и безоружны, тотчас поймал их, а Фарсал занял своими войсками. Все подвластные его объяты были страхом и ужасом; они думали, что после сего насильственного наглого дела никого уже не пощадит, но будет поступать со всеми и во всех обстоятельствах как человек, совершенно уже отчаявшийся в жизни своей.

Известие об этом происшествии погрузило фиванцев в великую печаль. Они немедленно выслали войско, но, по некоему неудовольствию на Эпаминонда*, предводителями оного назначили не его, а других. Между тем тиранн отвел Пелопида в Феры. Сперва он позволял всякому с ним говорить, думая, что несчастье усмирит Пелопида и унизит дух его. Но Пелопид, напротив того, ободрял ферейцев, которые оплакивали свои бедствия, уверяя их, что теперь-то тиранн получит достойное наказание за свои злодейства; а к нему посылал сказать, что поступает безрассудно, ежедневно мучая и убивая несчастных граждан, которые не оказали ему никакого оскорбления, между тем щадит того, который, как сам знает, если вырвется из рук его, не оставит его без наказания. Александр, будучи приведен в изумление твердостью духа и бесстрашием его, сказал: «Для чего Пелопид так спешит умереть?» Пелопид, узнав об этом, велел ему сказать: «Дабы ты тем скорее погиб, сделавшись богам ненавистнее, чем теперь». С тех пор тиранн запретил своим подвластным иметь с ним свидание. Александрова супруга по имени Фива, дочь Ясона, узнав через стражей о твердости Пелопида и великодушии его, возымела желание видеть его и говорить с ним. Придя к нему, она, как женщина, не заметила с первого взгляда величия души его в столь бедственном состоянии; но по платью его, волосам и дурной жизни полагая, что он много претерпевает и поступают с ним не так, как прилично достоинству его, начала плакать. Пелопид сперва приведен был в удивление, не зная, кто была та женщина, но, узнав ее, приветствовал как дочь Ясона, своего приятеля. «Как мне жаль жены твоей!» – сказала она ему. «Как мне жаль тебя, – отвечал ей Пелопид, – что терпишь Александра, имея руки несвязанными!» Эти слова подействовали на женщину; ей были несносны жестокость и развратная жизнь тиранна, который, утопая в самых гнусных пороках,

не щадил и младшего ее брата. По этой причине она часто посещала Пелопида, открывала ему то, что претерпевала от мужа своего, и была одушевляема твердостью, гневом и ненавистью к нему.

Фиванские полководцы, вступившие в Фессалию, не произвели ничего: то ли по неопытности ли своей, то ли по неудаче они со стыдом отступили назад*. Фиванцы осудили каждого из них к выплате десяти тысяч драхм пени и выслали с войском Эпаминонда. Фессалийцы тотчас начали двигаться; слава полководца одушевляла их; дела тиранна в то время были в дурном положении; малейшее потрясение могло низринуть его в пропасть. Столь велик был страх и столь сильно отчаяние, объявшие приближенных его и военачальников! Столь велико было стремление подвластных его к возмущению! Они радовались, надеялись, что вскоре тиранн получит достойное наказание за свои злодейства. Но Эпаминонд, предпочитая спасение Пелопида собственной славе и боясь, чтобы при всеобщем возмущении тиранн в отчаянии, подобно лютому зверю, не обратился на Пелопида, длил войну, обступал его и медленностью приготовлений держал в таком положении, чтобы не совсем унижать дерзость его и надменность, а свирепости и злобы его более не раздражать. Ему известна была жестокость его, пренебрежение чести и справедливости; известно ему было, как он зарывал в землю людей живых; как, надевши на других кожи кабанов и медведей, напускал на них охотничьих собак, которые их терзали, или сам поражал их метательным копьем; в этом находил он свою забаву. В Мелибее и Скотуссе*, городах, с которыми был он в союзе и в дружественной связи, некогда окружил он своими телохранителями граждан, собравшихся на площади для совещания, и умертвил всех молодых людей. Он поставил в храме копье, которым убил дядю своего Полифрона, украшал оное венками, приносил ему жертвы, как богу, и прозвал Тихоном, то есть «удачным», или «счастливым». Некогда находился он при представлении «Троянок», Еврипидовой трагедии, но, не дождавшись конца, вышел, приказав сказать играющему, чтобы он был покоен и тем не менее продолжал играть с равным старанием; что он уходит не потому, что пренебрегал его игрою, но потому, что ему было бы стыдно, если граждане увидели его плачущим о несчастиях Гекубы и Андромахи, когда он ни одного разу не сжалился ни над кем из тех, кого убивал. Однако тиранн устрашился именем, славой и достоинством Эпаминонда:

Склонив к земле крыло, как петел побежденный.

Он немедленно отправил к нему посланников для оправдания себя. Эпаминонд почитал низким для фиванцев утвердить мир и союз с таким злодеем; он заключил с ним тридцатидневное перемирие и, взяв Пелопида и Исмения, удалился.

Вскоре после того фиванцы узнали, что афиняне и лакедемоняне отправляют к великому царю посланников для заключения с ним союза. Они решились послать с своей стороны Пелопида. По причине великой славы его не могли они сделать лучшего выбора. Во всех областях, которыми он проезжал, был уже известен и славен. Молва о подвигах его против лакедемонян не тихо и не мало-помалу распространилась по Азии. После первого пронесшегося слуха о сражении при Левктрах он прибавлял к подвигам новые подвиги, и потому слава его, более и более возрастая, достигла до отдаленнейших пределов. Когда он явился к сатрапам, полководцам и правителям, бывшим при дворе, то возбудил их удивление и заставил их говорить: «Вот человек, лишивший лакедемонян владычества над морем и твердой землей; ограничивший Таигетом и Эвротом ту самую Спарту, которая совсем недавно посредством Агесилая заставила персов и великого царя сражаться за Сузы и Экбатаны!» Артаксеркс радовался успехам Пелопида. Он удивлялся его славе и старался еще более возвысить его оказанием ему разных почестей. Ему приятно было показывать, что величайшие в свете мужи изъявляли ему почтение и почитали счастливейшим царем. Когда же он имел свидание с Пелопидом и услышал его предложения, которые были основательнее афинских и проще лакедемонских, то еще более возлюбил его. По свойственной царям страсти не сокрыл он уважения своего к нему; другие посланники не могли не заметить, что он оказывает Пелопиду более чести, нежели им. Более всех других греков царь персидский почтил лакедемонянина Анталкида*, ибо, сняв с головы венок, который носил за пиршеством, и омочив его в

благовонных духах, послал к нему в подарок. Он не оказал Пелопиду такого отличия, но послал к нему великолепнейшие и славные дары и утвердил требования его, чтобы все греческие народы были независимы; чтобы Мессена была населена и чтобы фиванцы почитались старинными друзьями царя. Пелопид отправился назад с такими ответами, отвергши все дары, кроме тех, что были знаками царской к нему дружбы и благосклонности.

Поступок его навлек клевету на посланников других народов. Афиняне произвели над Тимагором суд и умертвили его*, и справедливо, если они наказали его за принятие многих подарков от царя персидского. Тимагор взял не только много золота и серебра, но сверх того великолепное ложе и рабов, которые бы его стлали, как будто бы греки того не умели делать; он принял притом восемьдесят коров с пастухами, имея будто бы нужду в коровьем молоке по причине своей болезни. Наконец, он совершил путь до моря на носилках. Несшим его заплачено было от царя четыре таланта. Впрочем, кажется, не за дароприятие его афиняне на него гневались, ибо они не могли удержаться от смеха, когда некий Эпикрат, по прозвищу Щитоносец, не только не отрицал принятия от царя подарков, а говорил еще, что намерен предложить народу на утверждение: чтобы вместо девяти архонтов назначаемы было ежегодно из самых бедных граждан девять посланников для отправления их к царю, дабы они обогащались получаемыми от него подарками. Народ афинский негодовал на Тимагора за то, что фиванцы успели во всех своих намерениях; однако они не рассуждали, сколь Пелопидова слава была выше и действительнее красных речей перед лицом государя, который всегда уважал сильнейшего в оружиях.

Это посольство немало умножило благосклонность и любовь граждан к Пелопиду после возвращения его, по причине восстановления Мессены и независимости других греческих народов. Александр Ферский обратился опять к природным свойствам своим. Он разорил несколько фессалийских городов, а в областях фтиотидских ахейцев и в Магнесии оставил охранное войско. Когда эти народы уведомились о возвращении Пелопида, то немедленно послали в Фивы посланников, прося вспомогательного войска и полководцем Пелопида. Фиванцы охотно согласились на их требование; в скором времени все было готово; полководец хотел уже выступить, как вдруг сделалось солнечное затмение и среди дня мрак покрыл весь город. Пелопид, видя, что от этого явления все были приведены в смятение, рассудил за благо не принуждать их в таком страхе и с малой надеждой следовать за собой и не хотел подвергаться опасности с семью тысячами граждан. Он предал себя одного фессалийцам, взял триста человек фиванской конницы и тех наемников, которые по своей воле за ним последовали, и выступил в поход, хотя прорицатели тому противились и граждане неохотно на это взирали. Явление это на небе почитали они важным предзнаменованием, касающимся какого-нибудь знаменитого человека. Но Пелопид пылал гневом против Александра за понесенные от него обиды; притом надеялся он найти в семействе его неустройство и беспорядок, судя по разговорам своим с Фивой. В особенности прельщала его красота сего подвига, ибо в то самое время, как лакедемоняне посылали на помощь тиранну Дионисию Сицилийскому войско и полководцев своих, а афиняне получали от Александра награждение и воздвигли ему, как своему благодетелю, медный кумир, Пелопид хотел показать всей Греции, что одни фиванцы воевали за тех, кто были угнетаемы тираннами, и что они уничтожали между греками беззаконные и насильственные власти.

По прибытии своем в Фарсал он собирал войска и спешил напасть на Александра. Но тот, видя, что у Пелопида было немного фиванцев, а сам имел вдвое более его тяжеловооруженных фессалийцев, встретил его близ Фетиды. Некто сказал Пелопиду, что тиранн идет с многочисленным войском. «Тем лучше! – отвечал он. – Мы большее число их побьем». На пространстве, отделяющем оба войска у так называемых Киноскефал*, простирались холмы покатистые и высокие, которые спешили занять обе стороны пехотой. Пелопид пустил свою конницу, которая была мужественна и многочисленна, на конницу неприятельскую. В то самое время как она одерживала верх и за бегущими стремилась на равнину, Александр уже успел завладеть высотами. Он напал на фессалийскую пехоту Пелопида, которая опоздала занять холм и с трудом пробиралась и поднималась на места высокие и крутые, умертвил многих из передовых; другие, получая раны, ничего не могли произвести. Пелопид, приметив это, отозвал назад конницу и велел учинить нападение на устроенных в боевой порядок неприятелей, а сам,

взяв немедленно щит свой, побежал на помощь к тем, кто сражался на высотах. Пробравшись вперед сквозь задние ряды, он одушевил своих воинов такой бодростью и силою, что самим неприятелям показалось, будто это были уже новые и, так сказать, иные телом и духом люди. Два или три раза отражали они их нападение, но, видя, что и фессалийцы напирают крепко и что конница возвращается от погони, они начали медленно отступать. Пелопид, увидя с высоты, что неприятельское войско, хотя не было обращено еще в бегство, но уже все в беспорядке и неустройстве, остановился и, несколько времени озираясь, искал глазами самого Александра. Увидя его на правой стороне ободряющего и устраивающего наемное войско, он не мог удержать рассудком гнева своего, но, воспламенившись зрелищем и предав ярости своей и жизнь свою, и воинство, вырвался далеко вперед, кричал и вызывал тиранна к единоборству. Александр, не дождавшись нападения его, убежал к телохранителям своим и скрылся между ими. Первые ряды наемного войска, вступившие в сражение, были изрублены Пелопидом; другие получили раны и остались на месте, но большая часть из них, издали бросая на него дроты свои, прокололи доспехи его и ранили, до тех пор как фессалийцы, тронутые этим зрелищем, не побежали к нему с холмов. Уже Пелопид лежал*. Конница его наступала и опрокинула неприятеля, гналась за ним на дальнее расстояние и усеяла все поле мертвыми. Неприятелей было убито более трех тысяч.

Что находившиеся тут фиванцы были ввержены в горесть и уныние смертью Пелопида, которого называли они отцом своим, спасителем, творцом величайших благ, этому не должно удивляться. Фессалийцы и все союзники своими постановлениями касательно его превзошли все почести, приличные человеческой добродетели, и изъявлением чувствований своих еще более обнаружили свою к нему благодарность. Те, кто находился при том деле, узнав о кончине его, не сняли доспехов своих, не разнуздали коней, не перевязывали ран своих, но, еще вооруженные и горящие от сражения, шли к мертвому и, как бы он имел еще чувства, громоздили вокруг его тела корысти, отнятые у неприятелей, стригли свои волосы и гривы коней своих. Многие разошлись по шатрам; не разводили огня; не вкушали никакой пищи; молчание и печаль объяли стан их, как бы они не одержали блистательнейшей и величайшей победы, но были побеждены и порабощены тиранном. Когда окрестные города узнали о происшествии, то правители их с юношами, с детьми, с жрецами выходили навстречу телу его, неся ему трофеи, венки и золотые всеоружия. При поднятии тела его старейшие из фессалийцев просили фиванцев, чтобы позволено было им погрести мертвого. Один из них говорил следующее: «Союзники! Мы просим у вас одной милости, которая в таком несчастье нашем принесет нам честь и утешение. Фессалийцы не живого будут провожать Пелопида; не чувствующему окажут достойные почести. Если мы удостоимся, по крайней мере, того, чтобы коснуться тела его, украсить его и предать земле, то этим надеемся вас уверить, что это несчастье чувствительнее для фессалийцев, нежели для фиванцев. Вы лишились только великого полководца; мы лишаемся и полководца, и вольности. Осмелимся ли мы просить у вас другого вождя, когда не возвратили вам Пелопида?» Фиванцы исполнили их требование.

Не было никогда погребения блистательнее Пелопидова – если истинный блеск состоит не в слоновой кости, не в золоте и не в порфире, как полагал его Филист*, удивляясь похоронам Дионисия и превознося их, хотя оные были пышным заключением великой трагедии – самовластительного правления его. Александр Великий по смерти Гефестиона не только велел стричь лошаков и лошадей, но срыл и башни городов, дабы казалось, что самые города печалятся, приняв вместо прежнего великолепия вид унылый и униженный. Но эти почести, совершаемые по приказанию властителей, сопровождаемые насилием, завистью к удостоившимся их, ненавистью к употребляющим насильство, суть знаки не любви или душевного уважения, но варварского хвастовства, роскоши и надменности людей, которые расточают свое богатство на пустые и низкие дела. Но когда человек простой, умерший в чужой земле, далеко от жены, от детей, от родственников, сопровождается жителями многих городов, наперерыв старающимися оказывать ему почести, украшать, венчать его без всякого принуждения или просьбы, то это, без сомнения, есть достижение совершеннейшего блаженства. Смерть человека счастливого не есть самая горестная, как говорит Эзоп, но самая блаженная; она приводит в безопасность его благополучие и не позволяет счастью опровергнуть оное. По этой причине я почитаю лучшими слова, сказанные некоторым

спартанцем Диагору, бывшему некогда победителем в Олимпии и увидевшему сынов своих и внуков увенчанных на тех самых играх*. «Умри, Диагор! – сказал он ему, приветствуя его. – Ты не взойдешь на небо». Однако никто, я думаю, не захотел бы сравнить все, вместе взятые, пифийские и олимпийские подвиги с одной из побед Пелопида, столь многих и столь удачно совершенных. Большую часть жизни своей провел он в славе и почестях; в тринадцатый раз был он беотархом, одержал знаменитую победу и, стремясь умертвить тиранна, пал за вольность фессалийцев.

Смерть его причинила великую печаль союзникам, но принесла им большую пользу. Как скоро фиванцы известились о смерти Пелопида, то, не отлагая наказания за его убиение, поспешно выслали семь тысяч пехоты и семьсот конных под предводительством Малкита и Диогитона. Они нашли Александра униженным и лишенным сил и принудили его возвратить фессалийцам отнятые у них города, оставить свободными магнесийцев и фтиотидских ахейцев, вывести из областей их охранное войско, обязаться клятвой следовать всюду за фиванцами и исполнять их повеления.

Фиванцы довольствовались этим. Я расскажу, каким образом вскоре после того боги наказали Александра за поступок его с Пелопидом. Как сказано выше, Пелопид научил жену его Фиву не страшиться наружного блеска и силы, несмотря на то что она была окружена оружием и стражами. Боясь вероломства своего мужа и ненавидя его жестокость, согласилась она с тремя братьями своими, Тисифоном, Пифолаем и Ликофроном, умертвить его, употребив следующий способ. Дом тиранна был занимаем воинами, стерегущими его во всю ночь. Покой, где он спал, был на самом верху дома; к дверям спальни его была привязана собака, страшная для всех, ибо кроме Александра, Фивы и одного служителя, который ее кормил, никого более не знала. Фива, назначив время к совершению умысла, еще днем ввела братьев своих в дом и спрятала в одной близкой горнице. Она взошла по обыкновению своему одна к Александру, уже спящему; вскоре опять вышла и велела служителю отвести собаку, ибо государь, сказала она, хочет спать покойно. Лестницу, по которой юношам надлежало взойти, устлала она льном, боясь, чтобы она не заскрипела. Таким образом, привела она братьев своих с мечами, поставила их у дверей, взошла в горницу и, взяв меч, над головой Александра висящий, дала тем знать, что он погружен в глубокий сон. Но молодые люди были приведены в ужас; они не смели решиться на такое дело. Фива выговаривала им, называла их робкими, и, наконец, поклялась, что разбудит сама Александра и объявит ему их намерение. Стыд и страх подействовали на них; она ввела их в покой, привела к постели и принесла огонь. Один из них взял Александра крепко за ноги, другой захватил за волосы, третий поразил мечом и умертвил. Он умер слишком скоро, нежели как заслуживал своими злодеяниями. Тем только, что первый из тираннов погиб от собственной жены своей и по умертвлении тело его было выброшено на улицу и растоптано ферейцами, получил он достойное наказание за свои беззакония*.

Марцелл

Марк Клавдий, пять раз удостоившийся консульства, был сыном Марка и первый из своего рода получил прозвание Марцелл*, что, по уверению Посидония, значит «воинственный». Он был в военных действиях искусен, телом крепок; руку имел сильную и врожденную склонность к войне. По этой причине в битвах казался он весьма грозным и надменным, но, впрочем, был скромен и кроток, любил греческую ученость и словесность, уважал и ценил тех, кто в оной отличался; однако, по множеству своих занятий, не сделал он успехов в науках при всей охоте своей упражняться в них. Если бог кому-нибудь велел, по словам Гомера*:

От юных лет до старости глубокой
Военные труды и брани совершать, –

то, конечно, это были тогдашние знаменитые римляне. В молодости они сражались в Сицилии с карфагенянами, в зрелых летах – с галлами в самой Италии, а в старости опять были заняты карфагенянами и Ганнибалом. Не имели они, подобно простолюдинам, права за

старостью быть увольняемы от походов, но по благородству своему и мужеству были призываемы к военачальству и к предводительству войсками.

Не было никакого рода борьбы, в котором бы Марцелл не отличался и не имел опытности, но в единоборстве превосходил он сам себя. Он не отказывался никогда от сделанного ему вызова; вызвавшие же его все были им умертвлены. В Сицилии спас он брата своего Отацилия, который, сражаясь, находился в крайней опасности; Марцелл покрыл его щитом своим и убил нападавших на него неприятелей. За эти подвиги еще в самой молодости получил он венки и знаки отличия от своих полководцев. Слава его возрастала более и более, и граждане избрали его эдилом высшей степени, а жрецы – авгуром. Это род священников, которым по законам преимущественно поручен надзор и хранение гаданий по полету птиц. Во время эдильства своего принужден он был начать тяжбу. У него был молодой, чрезвычайной красоты сын, который отличался между гражданами как хорошим поведением, так и образованностью; он назывался так же – Марцеллом. Капитолин, товарищ Марцелла в эдильстве, человек наглый и бесстыдный, старался его развратить. Молодой Марцелл был принужден объявить о том отцу своему, который, негодуя на Капитолина, донес на него сенату. Капитолин употреблял разные способы и увертки, чтобы отсрочить суд; он прибегнул к трибунам, но они отказали ему в просьбе; Капитолин принял намерение отпереться от поступка, в котором его обвиняли. Поскольку не было в том деле свидетелей, то сенат положил призвать сына Марцелла в Собрание. Когда он предстал и сенаторы видели краску на лице его, слезы его, стыдливость, соединенную с неукротимой яростью, то не требовали более других доказательств; они осудили Капитолина и наложили на него денежную пеню. Из той суммы Марцелл сделал серебряные жертвенные чаши, которые посвятил богам.

Едва прекратилась первая с карфагенянами война*, двадцать два года продолжавшаяся, как Риму вновь надлежало начать новые брани с галлами. Инсубры*, народ кельтский, обитавший в Италии у подножья Альпийских гор, будучи и сами сильны, собирали войска и призывали к себе на помощь галльских наемников, так называемых гезатов*, которые за деньги охотно вступали на службу других народов. Казалось удивительным и весьма счастливым для римлян происшествием, что Галльская война не столкнулась, так сказать, с Пунической. Галлы, как будто бы были зрителями войны римлян с карфагенянами, сохраняли мир верно и честно; когда же римляне одержали победу и никем уже не были заняты, тогда-то они готовились к бою. Римляне были в великом страхе как по причине близости неприятельской страны, ибо им надлежало воевать с сопредельным и смежным народом, так и по причине древней славы галлов. Римляне страшились их более всех народов, ибо галлы некогда отняли у них самый город их, и с того времени установлено было законом, чтобы священники были уволены от походов во всех войнах, исключая войны с галлами. Страх их обнаруживали как приготовления к войне (говорят, что ни прежде, ни впоследствии столько тысяч римлян не было в оружиях*), так и принесенные тогда новые и необыкновенные жертвы. Они прежде не приносили жертв варварских и бесчеловечных; мнения их касательно богов были кротки и подобны греческим. Но в то время постигшая их война заставила повиноваться некоторым прорицаниям, найденным в книгах Сивиллиных, и зарыть в землю живых в месте, называемом рынком Волов, двух греков и двух галлов, по мужчине и женщине в обоих случаях*. В честь их поныне в ноябре месяце совершаются тайные, грекам и галлам невидимые священнодействия.

В первых битвах римляне одержали великие победы и претерпели важные уроны, которые, однако, не имели решительных следствий. При выступлении консулов Фламиния* и Фурия с многочисленным войском в походе против инсубров река, протекающая через землю пиценов*, показалась смешанной с кровью; говорили тогда, что в городе Аримине показались три луны*. Авгуры, наблюдавшие полет птиц при избрании консулов, утверждали, что сей выбор был несчастен и совершен с дурными предзнаменованиями. Сенат послал немедленно в стан письма, которыми отзывал консулов обратно, дабы они, возвратившись, сложили начальство как можно скорее и в своем звании не успели ничего предпринять против неприятелей. Фламиний получил письма, но не распечатал их до тех пор, как не дал сражения, в котором разбил варваров и разорил их область*. Он возвратился с богатой добычей. Однако народ не вышел к нему навстречу и едва не отказал ему в триумфе за то, что консул тотчас не повиновался данным ему повелениям и пренебрег письмами сената. Хотя граждане и удостоили

его почестей триумфа, но принудили сложить консульское достоинство и обратиться к состоянию частного лица вместе с товарищем своим.

До такой-то степени римляне все к божеству относили! В величайших успехах они не пренебрегали прорицаниями и древними постановлениями; к спасению республики почитали они нужнее, чтобы начальствующие благоговели перед богами, нежели побеждали неприятелей.

Тиберий Семпроний*, муж, горячо любимый римлянами за храбрость его и добродетели, будучи консулом, назначил преемниками после себя Сципиона Назику и Гая Марция. Новые консулы вступили уже в управление провинций и войск, когда Тиберий, читая некоторые священнические книги, нашел, что по неведению не исполнил некоторого древнего обряда. Он состоял в следующем: если консул, находясь вне города* в нанятом доме или в шатре для наблюдения за полетом птиц, по какой-либо причине будет принужден возвратиться в город, прежде нежели получит верные знамения, то надлежит ему оставить тот дом или шатер и нанять другой, дабы в нем снова начать наблюдение. По-видимому, Тиберию не было известно об этом постановлении, и, будучи два раза в одном и том же доме для наблюдений, он назначил консулами Назику и Марция*. Впоследствии обнаружил он свою ошибку и донес о том сенату, который не оставил без замечания столь маловажного пропущения, но писал о том консулам; они оставили провинции, вскоре возвратились в Рим и сложили власть свою. Но это случилось позже. Однако около того же времени двое из знаменитейших жрецов, Корнелий Цетег и Квинт Сульпиций, были лишены священнства; первый за то, что отдал внутренность жертвы не в надлежащем порядке; другой за то, что во время жертвоприношения опала с головы его остроконечная шляпа, которую носят жрецы, называемые фламинами. Диктатор Минуций назначил начальником конницы Гая Фламиния, но в то же время послышался шорох мыши, которую римляне называют «сорика» ***(sorex).*** Народ отрешил того и другого и избрал других. Соблюдая точность в малых делах, они не впадали в суеверие, ибо старались сохранять непреложными отечественные обычаи, нимало не преступая их.

Как скоро консул Фламиний сложил свою власть, то так называемые интеррексы* избрали консулом Марцелла. По принятии начальства назначил он соправителем своим Гнея Корнелия. Говорят, что галлы предлагали мирные условия, что сенат был склонен к миру, но что Марцелл возбуждал народ к продолжению войны; и хотя мир был тогда заключен, однако, по-видимому, гезаты, прошедшие Альпы, подали повод к возобновлению военных действий. Их было тридцать тысяч человек; они заставили подняться инсубров, которые были в несколько раз многочисленнее их. Гордясь своими силами, устремились они к Ацеррам*, городу, лежащему на реке Пад. Оттуда царь Британомарт с десятью тысячами гезатов опустошал места, лежащие вдоль Пада.

Марцелл, известившись о том, оставил при Ацеррах своего товарища* со всей тяжелой пехотой и третью частью конницы, а с остальной конницей и легкой пехотой, состоявшею из шестисот человек, шел поспешно на неприятеля. Ни днем ни ночью не останавливался он на дороге до тех пор, как догнал десять тысяч гезатов у Кластидия*, местечка галльского, незадолго до того покорившегося римлянам. Он не имел времени дать отдыха своему войску, ибо варвары вскоре узнали о прибытии его, но они его презрели; пехоты у него было весьма мало, а конницу римскую галлы ни во что не ставили. Будучи весьма искусны в конных сражениях и превосходя в том все народы, в настоящем случае числом своим они далеко превосходили силы Марцелла. Мгновенно устремились они на него с великим жаром и страшными угрозами, как будто бы хотели всех захватить; царь их ехал впереди всех. Дабы неприятели не успели обойти и окружить со всех сторон отряд его, составлявший малейшую часть силы их, Марцелл вытянул эскадроны конницы, сравнял длину своего строя с неприятельским и дал своему войску самую малую ширину. В то самое время, как Марцелл находился в малом расстоянии от неприятеля и хотел начать нападение, лошадь его, испугавшись шума и крика неприятельского, отворотилась и повезла его назад. Полководец, боясь, чтобы, по суеверным замечаниям, это происшествие не произвело в римлянах беспокойства, потянув лошадь уздою налево, поворотил ее кругом к неприятелю и поклонился Солнцу – дабы показать воинам, что не случайно, но с намерением поворотил кругом лошадь, ибо римляне имеют обычай поклоняться богам, поворачиваясь кругом. После того Марцелл при

нападении на неприятелей молился Юпитеру Феретрию и дал обет посвятить ему прекраснейшие доспехи неприятелей.

Царь галлов увидел Марцелла и, по знакам достоинства его заключив, что он начальник римский, опередил далеко свое войско, поскакал к нему навстречу и, потрясая копьем, с грозным криком вызвал его к единоборству. Он был человек, величиной тела превосходивший всех галлов, покрытый доспехами, блистающими золотом и серебром, испещренными разновидными красками и, подобно сверкающей молнии, отличавшийся от всех. Марцелл, осмотревши флангу и заметя, что доспехи галла были прекраснейшие, уверился, что на них совершится обет его Юпитеру; он устремился на галльского царя, пробил копьем броню его и с чрезвычайной быстротой ударил на него, свергнул на землю живого, дал ему другой и третий удар и умертвил; потом соскочил с лошади, схватил обеими руками доспехи мертвого и, смотря на небо, сказал: «О ты, взирающий в боях и сражениях на подвиги военачальников и вождей, Юпитер Феретрий! Тобою свидетельствуюсь, что я третий римский начальник и полководец, своей рукою умертвивший третьего начальника и царя неприятельского и приносящий тебе первые и прекраснейшие корысти. Но ты даруй нам, молящим тебя, подобное счастье и во все продолжение войны сей». После этого конница римская сошлась с конницей неприятельской, которая сражалась не отдельно, но вместе с пехотой, и одержала победу блистательную и необыкновенную, ибо говорят, что конница столь малочисленная одна никогда, ни прежде, ни после того сражения, не побеждала конницы вместе с пехотой столь многочисленных.

Марцелл, изрубив большую часть неприятелей, завладел их доспехами и обозом и возвратился к своему товарищу, с великим трудом сражавшемуся с галлами за обширнейший и многолюднейший из галльских городов, который называется Медиолан. Цизальпинские галлы почитают оный своей столицей; по этой причине они защищали его с великой отважностью и некоторым образом держали самого Корнелия в осаде. Но когда Марцелл туда прибыл и гезаты известились о своей потере и об умертвлении царя своего, то они удалились, и Медиолан был взят; галлы в других городах сами покорялись римлянам и предавали им свою судьбу. Римляне даровали им мир на умеренных условиях.

Сенат определил триумф Марцеллу одному. Шествие его в городе по великолепию своему и богатству, по множеству корыстей, по огромным телам пленников возбуждало необыкновенное удовольствие. Но в нем самый чрезвычайный и привлекательный предмет был Марцелл сам, несший богу всеоружие неприятельского полководца. Он срубил большую и прямую ветвь дуба и, составив из нее некоторый трофей, развесил вокруг взятые доспехи. Когда торжественное шествие началось, поднял он на плечо ветвь, взошел на колесницу, запряженную четырьмя конями, и нес на себе по всему городу это прекрасное и славнейшее украшение триумфа. За ним следовало войско, блистающее прекрасными оружиями и воспевающее победные и торжественные песни в честь богам и полководцу. Пристав в таком порядке к храму Юпитера Феретрия, Марцелл поставил и посвятил этот знак победы – третий и до наших дней последний из таких даров. Первый, посвятивший дары такого рода, был Ромул, умертвивший Акрона, царя ценинского; второй после него – Корнелий Косс, снявший доспехи с тосканца Толумния, и, наконец, Марцелл, сразивший Британомарта, царя галльского, а после Марцелла никого не было.

Бог, которому приносятся эти дары, называется Юпитером Феретрием; это название ему дано, как одни говорят, от греческого слова «феретреуомай», то есть «трофей носят на носилках», ибо в то время многие слова греческие входили в латинский язык; по мнению других, это прозвание означает Зевса-громовержца, ибо латинское слово «ферире» ***(ferire)*** значит «разить». Некоторые думают, что оное происходит от ударов во время битвы, ибо поныне в сражениях воины, преследуя неприятеля, часто кричат друг другу: «Фери!» ***(fen),*** то есть «Рази!» Дары называются вообще «сполиа», но дары, о которых идет речь у нас, называются «сполиа опимиа». Впрочем, некоторые уверяют, что Нума Помпилий в записках своих упоминает о «сполиах опимиах» трех родов, из которых первые должны быть посвящаемы Юпитеру Феретрию, вторые – Марсу, третьи – Квирину; награда, определенная за первые, суть триста, за вторые – двести, а за третьи – сто ассов. Однако общепринятое мнение есть то, что «сполиа опимиа» суть дары, захваченные прежде других и снятые полководцем с убитого в поединке полководца. Но довольно касательно этого предмета.

Победа и окончание войны были римлянам столь приятны, что в знак благодарности своей послали они в Дельфы, в храм Аполлона Пифийского, золотую чашу весом <…>[6] футов, послали в подарок богатые дары союзным городам, особенно сиракузскому царю Гиерону, бывшему тогда другом и союзником республики.

Вскоре после того Ганнибал вступил в Италию*, Марцелл отправился в Сицилию с флотом. После проигранного сражения при Каннах, в котором легли многие тысячи римлян, немногие из них спаслись и вместе убежали в Канузий; все ожидали, что Ганнибал, разбивший лучшие силы римлян, пойдет немедленно на Рим. Марцелл в то время отрядил из флота в защиту города тысячу пятьсот человек, но вскоре, получив повеление сената, прибыл сам в Канузий, принял начальство над собранными там гражданами и вывел их из укреплений, решившись не предавать области неприятелю.

Способнейшие к предводительству и отличнейшие римляне большей частью пали в прежних сражениях. Фабий Максим пользовался великим уважением за свое праводушие и благоразумие; однако римляне порицали излишнюю его осторожность из страха попасть в беду, как свойство робкого и недеятельного человека. Почитая его вождем, способным к сохранению безопасности отечества, но не к отражению неприятеля, граждане прибегали к Марцеллу. Совокупляя и умеряя смелость и деятельность одного с осторожностью и рассудительностью другого, римляне то избирали их в консулы вместе, то одного высылали в достоинстве консула, а другого в достоинстве проконсула. Посидоний говорит, что Фабия называли они Щитом, а Марцелла – Мечом. Сам Ганнибал говорил, что Фабия боялся как наставника, а Марцелла как противоборника, ибо первый препятствовал ему вредить, а другой вредил ему сам.

Марцелл, заметя, что одержанные победы сделали Ганнибаловых воинов дерзкими и своевольными, нападал на тех, кто рассеивался по разным местам и грабил область, рубил их и тем уменьшал силы неприятельские. Вскоре поспешил он на помощь Неаполю и Ноле и утвердил жителей первого из этих городов в верности к римлянам, к которым они были привержены; вступив в Нолу, он нашел, что сенат этого города был в раздоре с народом, не мог укротить его и отвлечь от приверженности к Ганнибалу. В городе находился человек, первенствующий родом своим и знаменитый храбростью, который назывался Бандием. В битве, бывшей при Каннах, он сражался с отличной храбростью, умертвил великое число карфагенян и, наконец, был найден среди мертвых, пораженный многими стрелами. Ганнибал, уважив его, не только отпустил без выкупа, но одарил его, сделал себе другом и соединился с ним узами гостеприимства. Бандий из благодарности пристал к стороне тех, кто был привержен к Ганнибалу и, будучи силен в городе, побуждал народ отпасть от римлян. Марцеллу казалось беззаконным умертвить мужа столь знаменитого по своему состоянию, который участвовал в величайших опасностях римлян. При природной кротости имел он дар убеждать словами и привязывать к себе человека честолюбивых свойств. Когда в один день Бандий приветствовал его, то Марцелл спросил, кто он такой. Он знал его давно, но этим вопросом искал повода и случая вступить с ним в разговор. При ответе того, что он Луций Бандий, Марцелл, будто бы радуясь и удивляясь, сказал: «Ужели ты тот Бандий, о котором в Риме говорили так много те, кто сразился при Каннах, уверяя при том, что он один не покинул полководца своего Павла Эмилия, но оградил его телом своим и принял на себя большую часть пущенных в него стрел?» Бандий подтвердил, что это он, и показал некоторые раны на теле. «И ты, – продолжал Марцелл, – нося такие знаки твоей к нам дружбы, не явился к нам тотчас? Ужели почитаешь нас неблагодарными и неспособными награждать добродетель тех из наших друзей, которые снискали честь и уважение у врагов?» Обласкав его таким образом, он подарил ему военного коня и пятьсот драхм серебра.

С того времени Бандий был вернейший защитник и поборник Марцелла и жесточайший доносчик на тех, кто держался противной стороны. Их было много; они помышляли расхитить обоз римский, как скоро римляне выступили бы против неприятеля. По этой причине Марцелл, выстроивши в боевой порядок всю силу свою внутри города, поставил свой обоз у самых ворот и через вестников запретил жителям приближаться к стенам. Ганнибал, видя оные без стражей,

---

[6] Текст в оригинале испорчен.

заключил, что в городе происходит междоусобие; это заставило его подойти к оному несколько беспорядочно. Вдруг, по приказанию Марцелла, отворяются ворота, близ которых он стоял; он устремляется из города с храбрейшей конницей, нападает на неприятеля спереди и вступает с ним в бой. Несколько спустя другими воротами поспешно выступает пехота, издавая громкие крики. Между тем как Ганнибал отделял часть своей силы против нее, открылись третьи ворота, которыми вышло остальное войско, – так что римляне со всех сторон напали на неприятеля, который был устрашен этой неожиданностью и с трудом оборонялся против тех, кто с ними уже дрался, по причине нападения последних. В тот день Ганнибаловы войска в первый раз уступили место сражения римлянам и были прогнаны в стан с великим уроном и кровопролитием. Говорят, что умертвлено в том деле более пяти тысяч карфагенян; римлян пало не более пятисот. Ливий, однако, уверяет, что потеря их не столь была важна и что число убитых не столь велико, но что битва принесла великую славу Марцеллу, а римлянам внушила чрезвычайную бодрость после многих бедствий, как бы тогда только удостоверились они, что борются с подвижником, который не совсем был непобедим и неуязвим, но которому отчасти можно было нанести сильный удар.

Успехи стали причиной, что по смерти одного из консулов* народ призывал к консульству Марцелла и против воли правителей отложил выборы до прибытия его из стана в Рим. Марцелл был избран в консулы единогласно. Но в самое время избрания его загремел гром; жрецы почли это неблагоприятным знамением; однако, боясь народа, они не смели явно уничтожить выбор его. Марцелл сам сложил с себя власть*, но, несмотря на то, не был уволен от похода. Будучи избран проконсулом, он возвратился опять в Нолу и наказал тех, кто принял сторону карфагенян. Ганнибал поспешил на помощь к своим приверженцам и вызывал к сражению Марцелла, который, однако, не решился принять его вызова*. Когда же Ганнибал обратил большую часть войск своих на расхищение области, не ожидая уже никакого нападения, то и Марцелл выступил против него. Он дал своим воинам длинные копья, какие употребляются в морских сражениях, и научил их издали поражать карфагенян, которые не были искусны метать дроты, но дрались короткими копьями с руки. Это было причиной, что воины, вступившие тогда в битву с римлянами, были принуждены предаться позорному бегству, потеряв мертвыми до пяти тысяч человек*; притом убито у них четыре слона да два отнято живых. Всего же важнее то, что в третий день после сражения более трехсот человек иберийской и нумидийской конницы перешло к римлянам. До того времени никогда не случалось ничего подобного с Ганнибалом, который долгое время умел сохранять единодушие в варварском войске, составленном из многоразличных и нравами разделенных народов. Конница эта осталась верной навсегда как самому Марцеллу, так и преемникам его в военачальстве.

Марцелл был избран консулом в третий раз* и отплыл в Сицилию. Успехи Ганнибаловы в войне возбудили в карфагенянах желание вновь завладеть островом, тем более что по смерти царя Гиерона в Сиракузах происходили беспокойства*. Это заставило римлян еще прежде послать туда военную силу под предводительством Аппия*. Едва Марцелл принял начальство над оною, то приступили к нему многие римляне и просили его помощи в их несчастии, которое состояло в следующем. Из тех воинов, кто при Каннах сразился с Ганнибалом, одни убежали, другие были взяты в плен – и в таком множестве, что, по-видимому, не оставалось уже у римлян более людей, которые бы могли защищать стены их. Однако в правителях было столько духу и твердости, что, когда Ганнибал предлагал возвратить им пленных за малую цену, то они отвергли это предложение и равнодушно смотрели, как одни из пленников были убиваемы, другие же продаваемы в Италии. Великое число из тех, кто спасся бегством, было отослано в Сицилию с приказанием не вступать в Италию до того времени, пока римляне будут вести войну с Ганнибалом. Эти-то воины все вместе прибегли к Марцеллу по его прибытии в Сицилию, пали пред ним на землю с рыданием и слезами, просили себе возвращения места в войске и чести, обещаясь делами своими доказать, что прежнее поражение более было произведением противной судьбы, нежели их малодушия. Марцелл, сжалясь над ними, писал сенату и просил, чтобы ему было позволено дополнять ими убывающее число своих воинов. В сенате долго было о том рассуждаемо, и наконец сделано такое постановление: римляне для общественной службы не имеют никакой нужды в малодушных людях; что Марцелл может их

употребить, но что они не должны надеяться получить от полководца венков и знаков отличия, которыми награждается храбрость. Это постановление огорчило Марцелла. Возвратившись в Рим по окончании войны в Сицилии, он жаловался сенату за то, что в награду великих и многих трудов его он не позволил ему облегчить участь такого числа граждан.

Между тем Марцелл был оскорбляем Гиппократом*, полководцем сиракузским, который, угождая карфагенянам и стараясь приобрести себе верховную власть, умертвил великое число римлян при городе Леонтины. Марцелл покорил город. Он не сделал зла жителям, но пойманных в городе беглых велел сечь и убивать. Гиппократ, распустив наперед ложный слух между сиракузянами, будто бы Марцелл умертвил всех молодых людей леонтинских, напал потом на Сиракузы и занял город в то время, когда жители были в великом страхе и замешательстве. Марцелл, поднявшись всем своим войском, пошел к Сиракузам. Он стал станом близ города и послал известить жителей о том, что в самом деле происходило в Леонтинах. Но старания его были безуспешны; сиракузяне нимало не верили словам его, ибо, приверженные к Гиппократу, имели великую силу в городе. Марцелл делал приступы с моря и с твердой земли. Аппий нападал с пехотой, а Марцелл действовал против города с шестьюдесятью пентерами (галерами о пяти рядах весел), снабженными разными орудиями и стрелами. На восемь связанных между собой кораблей поставил он машину и с нею подступал к стене, полагаясь на множество и великость правлений и на собственную славу свою. Но все это было ничто для Архимеда и Архимедовых машин.

Сей муж еще прежде занимался составлением машин как игрушек и забав геометрических, а не потому, чтобы почитал их достойными своего внимания. Царь Гиерон упросил его обратить отчасти геометрию от умозрительных предметов к вещественным, приноровить ее посредством чувств к вещам, к употреблению служащим, и тем сделать пользу ее ощутительнее и понятнее для обыкновенных людей. Славную и всеми уважаемую науку – двигать разными орудиями – первые начали вводить в употребление Эвдокс и Архит*, желая придать геометрии приятность и разнообразие и чувствительными механическими опытами подкреплять задачи, которые трудно было решить умозрительными геометрическими доказательствами. Таким образом, задачу о двух средних пропорциональных линиях, служащую основанием во многих математических действиях, решили они механическими средствами с помощью так называемого месографа, проводя кривые линии и делая сечения. Платон негодовал, упрекая их в том, что они уничтожают важность геометрии, которая таким способом от предметов бестелесных и умственных переходит к чувственным и действует опять посредством тела, требующего трудную и низкую работу. Таким образом, механика отделилась от геометрии, долгое время была философией пренебрегаема и наконец сделалась одним из искусств, относящихся к войне.

Архимед писал царю Гиерону, родственником и другом которого он был, что данной силою можно поднять любую данную тяжесть. Сила собственного доказательства, как говорят, подала Архимеду такую смелость, что он утверждал: «Когда бы я имел другую землю, на которую бы мог перейти, то сдвинул бы эту землю с места». Гиерон, удивляясь тому, просил его доказать эту задачу на самом деле и малой силою привести в движение какое-нибудь большое тело. Архимед взял царское грузовое судно, которое с большим трудом и помощью многих рук вытащено было на берег, посадил на нем множество людей, нагрузил его по обыкновению и, сидя спокойно вдали, без малейшего усилия и двигая только рукой конец некой многосложной машины, тащил судно к себе так ровно и беспрепятственно, как бы оно плавало по морю. Царь был этим приведен в удивление и, поняв всю важность искусства, убедил Архимеда построить для него машины, служащие как к обороне, так и к нападению при какой бы то ни было осаде. Гиерон не имел нужды употреблять их; большую часть жизни своей провел он в мире и веселье, но в то время приготовления эти были для сиракузян весьма полезны, а вместе с ними и изобретатель их.

Когда римляне с двух сторон приступили к городу, то жители были этим приведены в смятение; страх заставил их быть спокойными, не надеясь нимало устоять против такой силы и смелости. Тогда-то Архимед привел в действие свои машины. Вдруг пущенные им разного рода стрелы и огромные камни, с великим шумом и невероятной быстротой несясь на неприятельскую пехоту, опрокидывали все, что им ни попадалось, и расстраивали ряды. Ничто

не могло устоять против тяжести их удара. Со стороны моря – внезапно со стен поднимающиеся над кораблями бревна на одни ударяли сверху и тяжестью своей прибивали их к морскому дну; другие же железными руками или носами, сделанными наподобие журавлиных, схвативши за переднюю часть и подняв прямо на высоту, погружали кормою в воду; нередко корабль, внутри завязанными и натянутыми в противные стороны веревками будучи перевертываем и кружась в воздухе, ударял о скалы и камни, под стенами города стоящие, и сокрушался с пагубою всех находившихся на нем людей. В другое время, будучи поднят высоко от поверхности моря и вися на воздухе, к ужасу смотрящих, качался туда и сюда до тех пор, как все люди были стрясены и сброшены; наконец, сам корабль, уже пустой, был повергаем на стены или, будучи пущен, падал в глубину*.

Машина, поставленная на нескольких кораблях, которую Марцелл подводил к стене, называлась самбукой* по сходству вида ее с музыкальным орудием того же имени; она была еще в некотором расстоянии от стены, к которой ее направляли, как вырвавшийся оттуда камень, весом десять талантов*, а за ним другой и третий, упав на нее с шумом и вихрем, сокрушили ее основание, разорвали связи и отделили один от другого корабли, на которых была утверждена.

Марцелл, находясь в недоумении и не зная, что противоположить этим машинам, отплыл поспешно на кораблях своих и велел отступить пехоте. В военном совете было постановлено, что если будет можно, приступить к стенам ночью; римляне думали, что машины, которыми Архимед действовал, имели великую силу бросать стрелы далеко, но что вблизи останутся без всякого действия, ибо удар не имел надлежащего пространства. Но Архимед, кажется, был приготовлен и к тому. У него были на запасе орудия, которых действия были соразмерны с каким бы то ни было расстоянием; он имел короткие стрелы и небольшие бревна. Так называемые скорпионы, из многих, рядом сделанных, отверстий стены, простирая недалеко свои действия, поражали вблизи неприятеля, которому были невидимы.

Римляне приблизились к стенам, думая, что никто их не примечает, но когда высылаемы к ним были многие стрелы и дроты; когда прямо им на головы падали камни, как будто бы перпендикулярно; когда со всех сторон стены встречали они удары, – то начали отступать; они были уже в некотором расстоянии, но и тогда стрелы на них летели и достигали в самом отступлении – так что великое множество пехоты погибло, многие корабли были разбиты, между тем как римляне не могли сделать никакого вреда городу, ибо орудия большей частью были устраиваемые Архимедом за стенами. Казалось, что римляне сражались с богами; столько-то бед на них сыпалось невидимо!

Однако Марцелл избежал тогда опасности; он шутил над своими механиками и говорил им: «Не перестать ли нам сражаться с этим геометрическим Бриареем*, который черпает море нашими кораблями, как чашами; играючи погрузил со стыдом нашу самбуку в глубину и превосходит сторуких баснословных гигантов, бросая на нас вдруг такое множество стрел?» В самом деле: весь город Сиракузы был как бы телом Архимедовых машин. Архимед один был душою, все приводящею в движение, все вращающею. Другие оружия тогда лежали в бездействии; одни оружия Архимедовы были употребляемы городом против неприятеля к обороне и спасению своему. Наконец, римляне были столько напуганы, что когда только видели на стене показывающимся полено или кусок веревки, то кричали, что Архимед на них направляет какую-нибудь машину, отступали и предавались бегству. По этой причине Марцелл совсем уже отстал от сражений и приступов, надеясь покорить город долговременной осадой.

Что касается до Архимеда, то он имел душу столь великую и возвышенную и обладал таким богатством теоретических познаний, что не захотел оставить по себе никакого сочинения о таком предмете, который приобрел ему славу мудрости не человеческой, но почти божественной. Упражнение в механике и всякое искусство, соединенное с нуждой, почитая неблагородным и низким ремеслом, обратил он все внимание на науки, которых красота и превосходство не смешаны с нуждой и употреблением. Эти науки ни с чем не сравненны и заставляют некоторым образом вещество и доказательство состязаться между собою; одно представляет величие и красоту машин; другое – убедительную точность и непреоборимую силу. В геометрии нельзя найти задач мудренее и запутаннее, которые бы были изложены простейшими и яснейшими основаниями, как в сочинениях Архимеда. Одни приписывают это

остроте ума его; по мнению других, неутомимый труд причиной тому, что все, кажется, произведено без усилия и с величайшей легкостью. Если захочешь собственными силами решить иную задачу, то не найдешь доказательства, но, приняв в помощь Архимеда, подумаешь, что мог бы сам оную решить. Столько-то коротка и гладка дорога, по которой он ведет к тому, что желает доказывать! Итак, нельзя отвергать того, что говорят о нем: будто бы был всегда очарован сиреной, которая вместе с ним обитала. Он забывал пищу, питье и всякое попечение о своем теле, нередко насильно влекли его в баню и к мазанию маслом – но в то же время в бане, на очаге, он изображал геометрические фигуры и по своему телу, намазанному маслом, водил пальцем линии. Столько-то от душевного наслаждения был он вне себя и подлинно восторжен музами! Хотя сделал он многие превосходные открытия, однако говорят, что просил друзей своих и родственников только о том, чтобы после смерти изобразили на гробнице его цилиндр, содержащий в себе шар, и надписали соотношение их объемов*.

Таким образом, Архимед великим умом своим сохранил себя и город, сколько от него зависело, непобедимым.

Между тем Марцелл в продолжении осады Сиракуз завладел Мегарами, древнейшим из сицилийских городов, разбил войско Гиппократа при Акриллах* и умертвил более восьми тысяч человек, напав на них в то время, когда укреплялись окопами. Он пробежал большую часть Сицилии; многие города отвлек от союза с карфагенянами и во всех сражениях победил тех, кто осмелился ему противостоять.

По прошествии некоторого времени попался ему в полон некоторый спартанец, по имени Дамипп, отплывший из Сиракуз. Сиракузяне хотели его получить обратно за деньги. Марцелл, вступая многократно с ними в переговоры касательно этого человека, заметил, что одна башня, хотя была охраняема с надлежащим старанием*, однако в нее могли бы тайно вступить несколько человек, ибо стена близ оной была приступна. Приближаясь часто к башне для переговоров, рассмотрел он ее тщательно и велел приготовить лестницы, ожидая дня, в который сиракузяне стали бы отправлять праздник Артемиды и предавались пьянству и веселью. Не только успел он тайно занять эту башню своими воинами, но еще до рассвета завладел вокруг всей стеной и проломал ворота, называемые Гексапилы*. Почувствовав это, сиракузяне начали двигаться и волноваться. Марцелл велел со всех сторон затрубить в трубы, чем произвел в них великий страх и заставил предаться бегству, ибо они думали, что уже не осталась ни одной части стены, которая бы не была занята; однако оставалась еще самая большая, лучше укрепленная и приятнейшая часть города, которая называется Ахрадина; оная была отделена стеной от внешнего города, которого одна часть называется Неаполь, другая Тихэ.

Завладев этими частями, Марцелл на рассвете дня вступил в город* через Гексапилы среди поздравлений других военачальников. Говорят, что, взглянув на город с высоты и видя обширность и красоту его, долго плакал, жалея о предстоящей ему участи, чувствуя, что вскоре переменится вид и красота помрачится, ибо надлежало ему быть разграблену войском. Ни один из полководцев не смел противиться воинам, которые требовали, чтобы город был предан им на расхищение; многие из них даже хотели, чтобы он был сожжен и разорен до основания. Но это требование было отвергнуто Марцеллом, который совершенно против воли своей и по нужде позволил им расхищать имение и брать невольников, но запретил касаться вольных граждан, убивать, бесчестить или брать в полон кого-либо из них. При всем том, что он смягчил таким образом несчастье сиракузян, однако почитал участь их жестокою; соучастие и соболезнование его выказывалось сквозь великую радость души его, когда он воображал, что в короткое время исчезнет блаженство и великолепие сего града. Говорят, что расхищенное в Сиракузах богатство было не менее того, какое увезено было после из Карфагена, ибо остальная часть города вскоре была предана ему изменой и воины настояли, чтобы все было предано грабежу; одни царские сокровища были внесены в общественную казну.

Но ничто столько не огорчило Марцелла, как участь Архимеда. Геометр занимался рассматриванием некоторой математической фигуры. Вперив ум свой и зрение к созерцанию ее, он не чувствовал беганья воинов, ни взятия города. Вдруг предстал к нему воин и велел немедленно следовать за ним к Марцеллу. Архимед отказался следовать за ним, пока не решит задачу, которой занимался; воин осердился, обнажил меч и умертвил его. Другие говорят, что

на Архимеда напал римлянин с мечом в руке, чтобы его умертвить, и что Архимед, увидя его, умолял подождать на короткое время, дабы задача не осталась недоконченной и нерешенной, но воин не уважил его просьбы и лишил его жизни. Еще говорят, что Архимед нес к Марцеллу разные математические орудия, как-то: солнечные часы, шары и квадранты, которыми измерял глазом величину Солнца, и что попались ему навстречу воины, которые, воображая, что в ящике было золото, умертвили его. В том, однако же, нет никакого сомнения, что Марцелл был огорчен его смертью, что отыскал родственников его, оказал им отличное уважение, а от убийцы его отвратился как от человека, осквернённого злодеянием.

До того времени римляне почитались другими народами искусными лишь в войне и ужасными в битвах; они не явили примеров человеколюбия и снисхождения и вообще гражданских добродетелей. Марцелл первый доказал грекам, что римляне превышали их справедливостью. Он так вел себя с теми, которые имели с ним дело; столько городов и частных лиц облагодетельствовал, что все зло, сделанное жителям Энны*, Мегар и Сиракуз, казалось действием более претерпевших оное, нежели причинивших. Я упомяну, из числа многих, только об одном случае.

В Сицилии есть небольшой, но весьма древний город, называемый Энгий*, славный явлением в нем богинь, называемых «Матери». Говорят, что храм их сооружен критянами. В нем показывали копья и шлемы медные, одни с надписями Мериона, другие – Улисса, то есть Одиссея, посвятивших оные богиням. Жители города имели чрезвычайную приверженность к карфагенянам. Никий, первенствующий в оном гражданин, увещевал своих сограждан пристать к римлянам; он говорил о том явно в Народном собрании, изобличая безрассудность тех, кто держался стороны противника. Неприятели его, страшась его силы и влияния, хотели его похитить и предать карфагенянам. Никий, зная, что его тайно подстерегают, дабы поймать, употребил следующую хитрость; начал говорить явно речи неприличные о богинях-Матерях; показывал, что презирает их и не верит рассказам о явлении их и силе. Неприятели его обрадовались уже, что он сам подает сильнейший повод, чтобы с ним было поступлено так, как они желали. В тот день, в который все было готово, чтобы его поймать, происходило собрание всенародное; Никий говорил перед гражданами, подавал некоторые советы – и вдруг опустил себя на землю. После краткого времени, в которое сделалось в народе глубокое молчание, соединенное с изумлением, он поднял несколько голову и обратил ее в разные стороны, издавая дрожащий, слабый голос, который мало-помалу возвышался и становился громче. Видя, что все зрители были объяты ужасом и погружены в молчание, Никий скинул с себя плащ, разодрал хитон и, полунагой, пустился бежать к выходу театра, крича, что богини-Матери преследуют и мучают его. Никто не смел его ни тронуть, ни идти к нему навстречу из суеверного страха к богиням; все от него отворачивались; он побежал к городским воротам, издавая крики и делая телодвижения, какие только можно делать, дабы более походить на беснующегося, или сумасшедшего. Жена, зная намерение его и содействуя ему во всем, взяла детей своих, сперва пришла в храм богинь и поверглась пред их кумирами; потом, притворясь, что ищет блуждающего мужа своего, вышла из города безопасно, не встретив никакого препятствия. Таким образом, все семейство убежало в Сиракузы к Марцеллу. Когда же впоследствии полководец сковал всех жителей города Энгиона, дабы наказать их за дурные и наглые против него поступки, то Никий, проливая пред ним слезы и обняв колена его, просил о помиловании граждан, начиная с врагов своих. Марцелл, тронутый просьбами его, отпустил всех и не сделал никакого вреда городу, а Никию дал, сверх других подарков, большое поле. Это происшествие описано философом Посидонием.

Между тем римляне призывали Марцелла к войне, которая происходила на собственной их земле и близ самого города. Он отправился в Рим*, взяв с собою из Сиракуз большую часть прекраснейших художественных произведений, дабы украсить ими свой триумф и дабы потом оные служили украшением городу. До того времени римляне не имели у себя и даже не знали никаких изящных и великолепных произведений художества. Не было в Риме ничего прекрасного, любезного и прелестного; он был наполнен варварскими оружиями и добычами окровавленными, увенчан трофеями и памятниками триумфов – зрелище невеселое и страшное, которого не могли бы снесть взоры робких и негу любящих людей! Эпаминонд называл Беотийское поле орхестрой Ареса*; Ксенофонт Эфес – оружейною; и тогдашний Рим словами

Пиндара можно бы назвать «храмом бранелюбивого Ареса». По этой причине Марцелл был приятен народу тем, что украсил город произведениями греческого вкуса, которых разнообразие приносило удовольствие. Но Фабий Максим более нравился старейшим, ибо, покорив город Тарент, ничего подобного не коснулся; он вывез из оного все деньги и богатство, а оставил кумиры и живописи, сказав известные слова: «Оставим тарентинцам этих разгневанных богов». Марцелла же обвиняли, во-первых, в том, что на город их навлек зависть других народов, ибо не только люди, но, казалось, и самые боги влекомы были в оный плен и несомы в триумф*; во-вторых, в том, что народ римский, который прежде умел только воевать или обрабатывать землю и совсем не знал неги и роскоши, подобно Еврипидову Гераклу:

Необразован, прост, к делам великим склонен,

– исполнил он праздности и многословия, ибо граждане начали толковать о художествах и художниках и провождать в том большую часть дня. Марцелл, однако, гордился перед самыми греками тем, что научил римлян любить славные и прекрасные греческие произведения, которых они прежде не знали, и удивляться им.

Неприятели Марцелла противились его триумфу под тем предлогом, что в Сицилии некоторые дела были не докончены; сверх того третий триумф возбуждал против него зависть. Марцелл согласился торжествовать на Альбанской горе полный и больший триумф, а в город вступить с малым, который греками назван «эва», а римлянами – «овация». В том триумфе победитель не сидит на колеснице, везомой четверкою; не носит лаврового венка; звук труб не раздается вокруг него; он идет пешком в простой обуви, при шуме многих флейт с миртовым на голове венком – как бы он был не военный, более приятный, нежели страшный взору. Это, по моему мнению, служит несомненным доказательством того, что в древние времена триумфы назначаемы были не по великости подвигов, но по образу, по которому оные произведены были. Победивший противников в сражении с кровопролитием был удостоиваем оного воинственного и страшного триумфа; воины и оружия его были увенчаны обильно лаврами, как обыкновенно бывает при осмотре войска и очищения его разными обрядами. Полководцам же, не имевшим нужды дать сражение, но договором, убедительностью и силою речи все хорошо устроившим, закон определяет не воинственное, мирное и без победного пения сопровождаемое торжество. Флейта есть орудие мира; мирт есть растение, посвященное Афродите, которая более всех богов отвращается насильства и брани. Что касается до слова «овация», то оно не происходит от греческого слова «эвасмос», как многие думают, ибо и большой триумф сопровождается восклицанием и пением; греки неправильно приноровили это слово к своим понятиям, воображая, что в торжестве этом нечто относится и к Дионису, которого мы называем Эвием и Фриамбом, но это несправедливо. В большом триумфе полководцы, по древним обычаям, приносили в жертву быка, а в малом овцу. Это животное называется по-латыни «ова» ***(oves),*** и от того триумф назван овацией. Достойно замечания, что лакедемонский законодатель определил жертвоприношения в противность римским. В Спарте, если предводительствовавший войском в предприятии своем получит успех хитростью или убеждением, то приносит в жертву быка; а если силою – петуха. Хотя лакедемоняне были народ самый воинственный, однако более почитали достойным человека и более уважали дело, совершившееся убедительностью и благоразумием, нежели насилием и храбростью. Пусть читатель судит, что должно о том думать.

В четвертое консульство Марцелла неприятели его подучили сиракузян послать в Рим некоторых граждан и принести на него сенату жалобу в том, что он будто бы поступил с ними жестоко и против договоров. Случилось, что Марцелл находился на Капитолии, где приносил жертву. Заседание сената продолжалось еще, как сиракузяне пришли в оный, бросились к ногам сенаторов и просили, чтобы им позволено было приносить жалобу. Другой консул их к тому не допускал и оказывал свое неудовольствие в том, что они жалуются на Марцелла в его отсутствие. Марцелл, узнав о происходящем, тотчас пришел в сенат. Сперва сел на свое седалище и занимался делами по званию консула. По окончании дел он сошел с своего места, стал как частное лицо на месте, с которого говорили судимые, и позволил сиракузянам начать жалобу*. Достоинство и самонадеянность сего мужа привели сиракузян в сильное смятение; его

неодолимость, прежде явившая себя в оружиях, показалась им страшнее и грознее, облаченная в консульскую пурпуровую мантию. Однако, будучи ободряемы противниками Марцелла, начали донос и говорили длинную речь, наполненную жалобами. Главное обвинение состояло в том, что, хотя они были союзники и приятели римские, Марцелл поступил с ними так, как другие полководцы не позволили бы поступить с иными неприятелями*. Марцелл отвечал, что за многие и дурные против римлян поступки сиракузяне претерпели лишь то, от чего освободить невозможно город, взятый приступом и покоренный вооруженной рукой; что они должны себя винить в том, что покорены таким образом и не захотели повиноваться, несмотря на многократные его увещания; что не тиранны их принудили воевать с римлянами, но они сами избрали тираннов для того, чтобы воевать. По окончании речей сиракузяне вышли из сената, по обыкновению; вместе с ними вышел и Марцелл, уступив свое место в сенате товарищу. Он стоял у дверей в сенат*. Ни страх доноса, ни гнев на сиракузян не переменили обыкновенного вида его; он ожидал окончания суда с совершенным спокойствием и сохраняя свое достоинство. Наконец сенат объявил свое мнение; Марцелл был оправдан; тогда сиракузяне падают к ногам его; умоляют со слезами, чтобы он излил весь гнев свой на них и помиловал город их, всегда ему благодарный и помнящий его благодеяния. Марцелл был тронут; он простил их и впредь не переставал оказывать сиракузянам благодеяния. Сенат утвердил дарованную Марцеллом сиракузянам вольность, равно как законы их и оставшееся у них имение. За это сиракузяне оказали ему великие почести и наконец поставили законом, что каждый раз как Марцелл или кто-нибудь из потомков его приедет в Сицилию, то сиракузянам всем надевать венки и приносить богам жертвы.

Марцелл вскоре обратился к Ганнибалу. Почти все тогдашние консулы и полководцы после сражения при Каннах употребляли одну и ту же военную хитрость против Ганнибала: избегали битвы; никто не смел встретиться с ним и вступить в сражение. Марцелл шел противной им стезей; он думал, что от продолжения времени, которое, как полагали, одно могло истощить Ганнибаловы силы, неприметным образом истощалась и разорялась сама Италия; что Фабий, всегда заботящийся о безопасности, худо исцелял ее раны, ожидая, что вместе с увядающей силой отечества погашена будет война; подобно врачам, робким и боязливым в подании помощи, которые истощение сил больного почитают уменьшением болезни.

Марцелл напал, во-первых, на отпавшие большие самнитские города и покорил их. Он нашел у них в запасе много хлеба и денег и поймал охранявших оные Ганнибаловых воинов в числе трех тысяч человек. Когда Ганнибал умертвил проконсула Гнея Фульвия в Апулии с одиннадцатью трибунами и изрубил большую часть войска его, то Марцелл писал в Рим и увещевал граждан, чтобы они не унывали, ибо он уже идет на Ганнибала, дабы лишить его радости от полученного успеха. Однако письма, будучи получены в Риме, как говорит Тит Ливий, не только не уменьшили печали граждан, но умножили страх; они думали, что настоящая опасность тем страшнее прежней беды, чем более Марцелл превышал Фульвия. Марцелл, идя вслед за Ганнибалом, как о том писал, вступил в Луканию и застал его близ города Нумистрона, стоящего на высотах, укрепленных природой. Сам остановился на равнине. На другой день он первый построил свое войско в боевой порядок. Ганнибал сошел с холмов. Дано было сражение, продолжительное и жаркое, которое, однако, не было решительно; битва началась в три часа, и сражавшиеся едва разошлись с наступлением темноты. На рассвете следующего дня Марцелл выступает из своего стана, устраивается снова среди мертвых тел и вызывает Ганнибала решить сражением, на чьей стороне победа. Но Ганнибал отступил. Марцелл, сняв корысти с умертвленных неприятелей, похоронил своих мертвых и пошел вслед за неприятелем. Ганнибал несколько раз ставил ему засады, в которые Марцелл ни однажды не попал; во всех стычках и малых сражениях одерживал он верх и тем приобрел великую славу.

По этой причине, когда вскоре после того наступило время Комитий, или консульских выборов, сенат лучше захотел вызвать из Сицилии другого консула, нежели отвлечь Марцелла от предприятий его против Ганнибала. По прибытии консула сенат повелел ему назначить диктатором Квинта Фульвия. Известно, что диктатор не избирается ни народом, ни сенатом, но один из консулов или преторов, представ перед народом, объявляет диктатором того, кого сочтет нужным. По этой причине избираемый называется диктатором, от латинского слова

«дикере» ***(dicere),*** значащего «говорить», «называть». По мнению других, диктатор назван этим именем по той причине, что он не управляет по постановлениям народа или по большинству голосов, но дает приказания по своему произволению. Приказание управляющих называется по-гречески «диатагмата» ***(diatagmata),*** по-латыни – «эдикт» ***(edictum).***

Призванный из Сицилии соправитель Марцелла не хотел назначить диктатором того, которого сенат предлагал. Дабы не быть принужденным против своей воли назначить диктатора, он отправился ночью в Сицилию*. После чего народ избрал диктатором Квинта Фульвия, а сенат в то же время писал Марцеллу, повелевая ему утвердить сей выбор. Марцелл повиновался, исполнил желание народное и был сам избран проконсулом и на следующий год. Согласившись с Фабием Максимом, чтобы одному осаждать Тарент, а другому занимать Ганнибала, отвлекать его и не допускать подать помощи осажденному городу, Марцелл пошел к Канузию*. Ганнибал всегда переменял место и избегал сражения, но Марцелл являлся ему со всех сторон. Наконец напал он на Ганнибала в то время, когда тот окопался, и, бросая издали стрелы, заставил его подняться. Ганнибал хотел вступить в бой – Марцелл принял его, но ночь прекратила их движения. На рассвете другого дня Марцелл вновь явился вооруженным и построился в боевой порядок. Ганнибал был до того огорчен смелостью Марцелла, что, собрав карфагенян, просил их сразиться за все прежние победы. «Вы видите, – говорил он, – что после таких нами одержанных побед не позволено нам отдохнуть; что и побеждая не можем насладиться покоем, пока не отразим сего человека». Вскоре войска сошлись; началась битва. Кажется, что Марцелл был разбит, сделав во время сражения некоторое движение некстати*. Увидев, что правое крыло находилось в дурном положении, дал он приказание одному легиону выступить вперед. Эта не вовремя произведенная перемена расстроила сражавшихся воинов. И вручила победу неприятелю. Более двух тысяч семисот римлян легло на месте. Марцелл отступил в свой стан, собрал своих воинов и говорил им, что видит пред собою римские оружия и тела, но ни одного римлянина. Когда воины просили у него прощения, то Марцелл отвечал им: «Нет вам прощения, пока вы побежденные; только тогда я прощу вас, когда победите; завтра вы опять будете сражаться, дабы ваши сограждане скорее узнали вашу победу, нежели поражение». Сказав сие, он приказал отмерять ячмень вместо пшена тем когортам, которые были разбиты*. Слова его произвели в воинах сильное действие. Хотя многие из них были в дурном и опасном положении, но не было ни одного, которого бы упреки Марцелла не мучили более собственных ран.

На рассвете другого дня был выставлен красный плащ, который был обыкновенно знаком будущего сражения. Обесчещенным когортам по прошению их позволено стать в первом ряду. Трибуны выстроили за ними остальное войско. Когда об этом возвещено было Ганнибалу, то он воскликнул: «Боги! Что делать с человеком, который не может перенесть ни хорошего, ни дурного счастья! Один он, побеждая, не дает покоя другим и, будучи побежден, – себе. Ужели вечно с ним должно сражаться? Бодрость, когда он счастлив, стыд, когда бывает побежден, заставляют его дерзать на все». Уже оба войска сошлись; выгоды с обеих сторон были равны; Ганнибал приказывает поставить слонов перед строем и вести их на римлян. Этим средством произвел он в первых рядах неустройство и беспорядок, но один из трибунов, по имени Флавий, выхватив знамя одной роты, пошел к слонам, ударил нижним острием копья в первого и отворотил его; слон отвернулся назад, упал на того, который следовал за ним, и тем привел их всех в беспорядок. Марцелл, приметя это, приказал коннице всеми силами напасть на то место, в котором происходил беспорядок, и тем еще более расстроить неприятеля. Конница напала с великим жаром на карфагенян и поражала их, преследуя до самого стана. Убиваемые и падающие слоны были причиной величайшей потери неприятеля. Говорят, что со стороны карфагенян пало в том сражении более восьми тысяч человек; со стороны римлян – три тысячи, но не было между ними ни одного, который бы не получил раны. Это позволило Ганнибалу в следующую ночь выступить из своего стана и в тишине удалиться. Марцелл не был в состоянии преследовать его по причине великого множества раненых воинов. Он отступил медленно в Кампанию и провел лето в городе Синуессе для успокоения своего войска*.

Ганнибал, вырвавшись у Марцелла и действуя своим войском так, как бы оно было в полной свободе, опустошал беспрепятственно огнем окрестные области Италии. По этой причине в Риме неприятели Марцелла порицали его и возбудили к доносу против него

народного трибуна Публиция Бибула, человека стремительного и искусного говорить. Он несколько раз созывал народ и убеждал его вручить другому полководцу войско, ибо Марцелл, говорил он, поборовшись немного с Ганнибалом, с поля сражения, как бы из палестры, пошел в теплые бани, дабы принять попечение о своем теле. Марцелл, уведомившись о том, оставил войско своим наместниками и возвратился в Рим, дабы оправдаться перед согражданами. Он нашел, что по доносам неприятелей его надлежало произвести над ним суд. Уже был назначен к тому день; народ собрался в Фламинийском цирке; Бибул взошел на трибуну и обвинял Марцелла. Марцелл оправдался просто и кратко, но первенствующие и отличнейшие граждане сильно и свободно говорили в его пользу; они напомнили гражданам, что было бы неприлично показывать себя в рассуждении Марцелла судьями хуже неприятеля и обвинять в малодушии полководца, которого одного Ганнибала удалялся, избегая случая с ним сразиться, с таким же старанием, с каким, напротив того, искал оного, дабы сразиться с другими. После представлений доносчик увидел себя совершенно обманутым в своем чаянии подвергнуть суду Марцелла, который не только был оправдан во всех обвинениях, но в пятый раз избран консулом на следующий год.

Приняв начальство в Этрурии, присутствием своим укротил он великое движение, клонившееся к возмущению против римлян, и успокоил тамошние города. После того хотел он посвятить храм Славе и Доблести, сооруженный им из полученных в Сицилии корыстей, но жрецы тому воспрепятствовали, почитая непристойным заключить двух богов в одном и том же храме*. Он снова начал пристраивать храм Доблести, досадуя на сделанное ему препятствие и почитая оное дурным для себя предзнаменованием*. Сверх того, многие другие знамения смущали его; молнии ударили на некоторые храмы; мыши сгрызли золото в Юпитеровом храме; также говорили тогда, что вол заговорил по-человечески; что дитя родилось с головой слона и что оно жило; жрецы не находили благоприятными никаких жертв, принесенных богам к отвращению бедствий. По этой причине они удерживали Марцелла в Риме, несмотря на стремление его и горячее желание идти на войну. Никто не был одержим столь сильной любовью к какому-либо предмету, сколько Марцелл к тому, чтобы дать Ганнибалу решительное сражение. Это только видел он во сне; о том говорил с соправителями и друзьями; богам молился лишь о том, чтобы застать Ганнибала в боевом порядке. Я думаю, что он бы еще с большим удовольствием сразился с ним в таком месте, в котором оба войска были бы обведены окопами или стеной. Если бы он не приобрел великой славы прежде, если бы более всех других полководцев не оказал опытов своего искусства и прозорливости, то сказал бы я, что он увлечен юношеской и слишком честолюбивой страстью далее, нежели пристойно старцу, ибо ему уже было за шестьдесят лет, когда в пятый раз был избран консулом.

Однако по совершении жертв и очищений, предписанных жрецами, выступил он в поход с соправителем своим и, став между двух городов – Бантии и Венусии*, старался заманить Ганнибала к сражению. Но полководец всячески его избегал; узнав, что римляне посылают войска к Локрам Эпизефирийским, поставил он засаду близ холма Петелия* и умертвил две тысячи пятьсот человек. Этот случай еще сильнее воспламенил гнев Марцелла и желание его дать сражение; он поднялся со всей силой и приблизился к Ганнибалу. Между двух войск был холм, довольно укрепленный природой и обросший разнородным лесом; по обеим сторонам его были покатистые возвышения, с которых видно было далеко; близ них били ключи и источники. Римляне удивлялись тому, что Ганнибал, нашед первый столь выгодное место, не занял его своими войсками, но предал неприятелю. Ганнибал, конечно, знал, что это место было весьма способно для стана, но полагал, что оно еще способнее для засады. Он решился употребить его более для последней. Вследствие этого он наполнил лес и впадины воинами, вооруженными копьями и дротиками, надеясь, что само это место привлечет к себе римлян своим выгодным положением. Он не ошибся в своем чаянии. В римском стане много говорили о том, что надлежало занять это место; все рассуждали о выгодах, какие будут иметь над неприятелем, став станом на холме или, по крайней мере, укрепив его. Марцелл рассудил ехать сам на холм с немногими всадниками для обозрения его. Он принес жертву богам. По заклании первой жертвы прорицатель показал ему печенку без головки. Заклана была вторая – и в печенке найдена головка необыкновенной величины; следующие знамения явились чрезвычайно благополучными; казалось, что страх от прежней жертвы был уничтожен, но

прорицатели уверяли, что само обстоятельство стращало и смущало их, ибо слишком веселые знамения после печальных и несчастных рождают подозрение, – по причине странности перемены. Но, как говорит Пиндар: «Ни огонь, ни медная стена определения судьбы не остановят».

Марцелл взял с собою своего товарища Криспина, сына своего, который был трибуном, и не более двухсот двадцати человек конницы; в числе их не было ни одного римлянина; сорок человек из них были фрегеллийцы*, которые во многих случаях дали Марцеллу опыты своей любви и верности; остальные все были этруски. Холм, как выше сказано, был покрыт густым лесом. Стражи, сидя на высоком месте и не будучи римлянами видимы, могли видеть их войско. Они дали знать воинам, которые скрывались в засаде, обо всем, что происходило. Эти воины, допустив Марцелла приблизиться к холму, внезапно поднялись, рассеялись в разные стороны и в одно время метали дроты, поражали, гнали бегущих, сражались с теми, кто осмеливался им противостать. Это были сорок фрегеллийцев. Этруски при самом начале оробели, но фрегеллийцы, сомкнувшись, защищали консулов. Криспин, раненный двумя дротиками, поворотил лошадь назад и убежал. Один из неприятелей пронзил насквозь Марцелла в бок широким копьем, которое римляне называют «ланцея» ***(lancea).*** Остальные фрегеллийцы, которых было весьма немного, оставя его уже лежащего, захватили раненого сына его и убежали в стан. Мертвых пало не многим более сорока человек; в полон взято пять ликторов и восемнадцать конных. Криспин жил немного дней после него и умер от полученных ран*. Никогда прежде не случалось, чтобы оба консула умерли в одной битве.

Ганнибал мало заботился о других убиенных, но, узнав, что убит Марцелл, побежал к тому месту и, найдя его мертвого, долго стоял и смотрел на вид его и на крепость тела; он не произнес надменных слов; на лице его не обнаружилась радость об умертвлении столь страшного и опасного неприятеля. Он оказал удивление к странной смерти его, снял с него перстень*, украсил тело его приличным образом и с честью предал на сожжение. Он собрал прах его в серебряную урну, наложил на нее золотой венец и послал ее сыну Марцелла*. Случилось, что нумидийцы попались навстречу тем, кто вез прах; они захотели отнять урну, но как везшие ее не уступали, то началась драка. Отнимая урну одни у других, они рассыпали прах Марцелла. Когда это дошло до Ганнибала, то он сказал присутствующим: «Ничто не может произойти без божьей воли!» Он наказал нумидийцев, но не приложил никакого старания собрать прах и отослать к сыну, полагая, что странная смерть его и рассеяние праха случились по воле некоего бога. Так повествуют происшествие Корнелий Непот и Валерий Максим. Но Ливий и Цезарь Август пишут, что урна была доставлена сыну его, который торжественно погреб прах отца своего.

Сверх зданий, посвященных богам в Риме, Марцелл посвятил им в сицилийском городе Катане гимнасий. Несколько кумиров и картин, взятых им в Сиракузах, посвящены на Самофракии богам, называемым Кабирами, и в Линде*, в храме Афины. Там же надписаны на собственном кумире его следующие стихи, как свидетельствует Посидоний:

Отечества звезду, спасителя зрить Рима,
Марцелла Клавдия, славнейших род отцов.
Семь раз среди войны он консульства достигнул;
На поле брани был он ужасом врагов.

Сочинитель надписи придает к пяти консульствам проконсульское достоинство, на которое он дважды был возведен. Род его продолжался со славой до времен Марцелла, сына Гая Марцелла и Октавии, сестры Цезаря. Этот Марцелл был эдилом и умер в молодых летах вскоре после брака с дочерью Августа*. В честь и память о нем Октавия, его мать, соорудила книгохранилище*, а Цезарь – театр, который прозван Марцелловым.

Сравнение Пелопида с Марцеллом

Вот что показалось мне достойным в жизнеописании Марцелла и Пелопида! Свойствами и нравами они были весьма похожи один на другого: оба были храбры, трудолюбивы, пылки,

высокого духа. Между ними та только разность, что Марцелл в некоторых покоренных им городах многих наказал смертью; напротив того, Эпаминонд и Пелопид, одержав победу, никого не убивали и жителей покоренных городов не превращали в невольников. Вероятно, что фиванцы в присутствии полководцев не поступили бы жестоко с орхоменийцами*.

Касательно подвигов их – Марцелловы против галлов чрезвычайны и велики; он разбил многочисленную конницу и пехоту с таким малым отрядом конницы, что трудно найти в истории другого полководца, который бы произвел подобное дело. Он умертвил и начальника неприятельского. Пелопид таким же образом устремился на неприятеля, но пал, предупрежденный ударом тиранна, и пострадал прежде, нежели что-либо произвесть. Но с этою победою Марцелла можно сравнить оказанные Пелопидом при Левктрах и Тегирах знаменитейшие и величайшие подвиги. В Марцелле мы не находим дела, произведенного столь тайно и с такою хитростью, какое произвел Пелопид для возвращения своего в отечество и для истребления тираннов в Фивах. Из всех дел, произведенных обманом и среди мрака, это дело, кажется, есть превосходнейшее.

Ганнибал наступал на римлян, будучи силен и страшен; так лакедемоняне наступали тогда на фиванцев. Что при Левктрах и Тегирах они принуждены были уступить Пелопиду, в том нет никакого сомнения. Однако, по свидетельству Полибия, Марцелл ни одного разу не победил Ганнибала, который, кажется, был непобедим до времен Сципиона. Мы, впрочем, принимаем свидетельство Ливия, Цезаря и Непота, а из греческих писателей царя Юбы, которые уверяют, что Ганнибаловы войска претерпели некоторые поражения от Марцелла. Но эти выгоды не имели в делах большого перевеса. Кажется, что потери ливийца были притворные и что он хотел лишь заманить римлян в сеть. Как бы то ни было, по справедливости заслужило удивление то, что, по многократном разбитии войск, по умертвлении многих полководцев и потрясении всей римской державы римляне имели еще довольно бодрости, чтобы противостать неприятелю. Тот, кто в войско, перед тем устрашенное и унывавшее, влил опять соревнование и охоту сразиться с неприятелем; кто научил и ободрил его нелегко уступать ему победу, но всеми силами оспаривать ее и крепко с ним сражаться, – то был только один Марцелл. Многие бедствия заставили римлян довольствоваться и тем, что богатством могли спасаться от Ганнибала. Марцелл научил их стыдиться своего спасения, когда оно было соединено с поражением; почитать бесчестием для себя малейшую уступку, сделанную неприятелю; печалиться, когда над ним не одерживали победы.

Поскольку же Пелопид, военачальствуя, не был побежден ни разу, а Марцелл более всех своих современников одержал побед, то из этого можно бы заключить, что тот, кого победить было трудно, множеством своих побед может сравниться с тем, кто был непобедим. Впрочем, Марцелл покорил Сиракузы, а Пелопиду не удалось завладеть Спартой. Но, по моему мнению, приблизиться к Спарте и первому из человеков перейти Эврот вооруженной рукой труднее, чем покорить Сицилию. Может быть, это дело более должно приписать Эпаминонду, нежели Пелопиду, равно как и победу, одержанную при Левктрах. Никто не участвует в славе подвигов, произведенных Марцеллом. Он один взял Сиракузы; победил галлов без своего товарища; дал Ганнибалу сражение без помощи других, в то время когда все ему отсоветовали, переменил вид войны и первый научил римлян быть смелыми.

Я не хвалю кончины ни одного, ни другого, но жалею о них и досадую на странность их участи. Удивляюсь, что в сражениях, которые исчисляя можно устать, Ганнибал не был ни разу ранен; уважаю упоминаемого в «Воспитании Кира» Хрисанфа, который поднял уже меч и хотел поразить неприятеля, но, услышав звук трубы, к отступлению зовущей, оставил его и спокойно удалился в лучшем порядке. Впрочем, Пелопид извинителен тем, что, находясь в пылу сражения, был увлечен гневом своим к отмщению не неблагородным образом. Славно для полководца, побеждая, спасать жизнь свою, но если ему умереть должно, то должно кончить жизнь с доблестью, как говорит Еврипид. Смерть того, кто так умирает, не есть страдание, но действие. Сверх ярости, увлекавшей Пелопида, он видел совершение победы в падении тиранна и потому не совсем безрассудно предался своему стремлению. Можно ли к ознаменованию себя найти подвиг, которого цель была бы прекраснее и блистательнее этой? Напротив того, Марцелл, не будучи побуждаем никакою важною нуждою, не будучи в исступлении, которое нередко среди бедствий лишает человека рассудка, бросился, закрыв глаза, в опасность и пал не

так, как прилично полководцу, но как свойственно соглядатаю или обыкновенному передовому воину. Честь пяти консульств, трех триумфов, многих корыстей и трофеев над царями – предана иберам и нумидийцам, продающим за деньги жизнь свою карфагенянам. Самые неприятели негодовали на успех свой, видя, что отличнейший из римлян по мужеству, величайший по силе, знаменитейший славой погиб среди фрегеллийских воинов, обозревающих местоположение.

Мои рассуждения не должно почитать порицанием, но упреком и жалобой, приносимой им на них самих и на их храбрость, которой принесли они в жертву другие свои добродетели, не щадя ни сил своих, ни жизни, – как будто бы погибли они только за себя, а не за свою родину, за друзей, за союзников.

Пелопид по смерти своей погребен союзниками, за которых он умер; Марцелл – неприятелями, которыми убит. Участь первого завидна и блаженна; однако выше и славнее, когда самая вражда, а не дружба благодарная чтит доблесть, ее унижающую. В одном случае вся честь оказывается доблести; в другом – польза уважается более доблести самой.

Аристид и Марк Катон

Аристид

Аристид, сын Лисима, был колена Антиохийского, из местечка Алопеки. О состоянии его мнения различны. Некоторые уверяют, что он провел жизнь в нищете и по смерти оставил двух дочерей, которые по причине своей бедности долго не выходили замуж. Но Деметрий Фалерский*, опровергая многими принятое мнение в своем сочинении, называемом «Сократ», говорит, что в Фалере знал принадлежавшее Аристиду место, в котором он и погребен. Доказательствами же достаточного его состояния полагает он, во-первых, то, что Аристид был архонтом-эпонимом*, получив эту должность по жребию, – как принадлежащую тем домам, которые обладали большим имением и потому называемы были пентакосиомедимнами*. Другим доказательством почитает он остракизм, ибо изгнанию были подвержены не бедного состояния граждане, но те, кто происходил от великого рода, возбуждавшего против себя знаменитостью своею зависть. Третьим и последним – то, что Аристид посвятил, как хорег, в Дионисовом храме в знак победы треножники, которые и поныне показываются и на которых есть следующая надпись: «Антиохийское колено получило награду в прении; Аристид был хорегом, Архестрат сочинил комедию». Хотя это доказательство, по-видимому, важнее других, но в самом деле оно самое слабое, ибо и Эпаминонд, который, как всем вообще известно, был воспитан и жил в крайней бедности, и философ Платон приняли на себя издержки немало стоящих хоров и дали награды: один – свирельщикам, другой – отрокам, составившим клики. Но Платону дал на то деньги Дион Сиракузский, а Эпаминонду – Пелопид. Добродетельные не ведут войны бесконечной, непримиримой против дружеских подарков. Почитая подлыми и низкими только дары, приемлемые из корыстолюбия и для сбережения, они не отвергают тех, кто может употребить с бескорыстием для чести и славы своей. Впрочем, Панетий* доказывает, что в рассуждении треножника Деметрий был обманут сходством имен, ибо со времени Персидской войны до конца Пелопоннесской только два Аристида известны по запискам как хореги, получившие награду, но ни один из них не есть сын Лисимаха. Один был сын Ксенофила, другой жил гораздо после, как то доказывают письмена, введенные в употребление после Евклида*, равно как и приписанное имя Архестрата, о котором никто не писал во время Персидских браней, но во время войны Пелопоннесской многие упоминают о нем как о содержателе хоров. Впрочем, мнение Панетия требует точнейшего исследования.

Касательно остракизма, то этому наказанию были подвержены все те, кто славой своей, родом и силой красноречия превышал других, ибо и Дамон, учитель Перикла, отличавшийся от других умом своим, был изгнан остракизмом. Идоменей* притом свидетельствует, что Аристид получил достоинство архонта не по жребию, но по выбору афинян. Если же он начальствовал и после сражения при Платеях, как пишет сам Деметрий, то весьма вероятно, что при такой славе и по совершении стольких подвигов он удостоился за доблесть свою той почести, которую

другие получали через богатство. Как бы то ни было, Деметрий явно старается вывести из бедного состояния, как бы из великой беды, не одного Аристида, но и Сократа, уверяя, что последний не только имел свое поместье, но и семьдесят мин денег, которые получал от Критона в рост.

Аристид был приверженцем того Клисфена, который по изгнании тиранов* устроил афинское правление. Удивляясь более всех государственных мужей Ликургу, лакедемонскому законодателю, и следуя примеру его, он прилепился к аристократическому образу правления. Противником его был Фемистокл, сын Неокла, который держался стороны народа. Некоторые уверяют, что в самом детстве, когда они вместе воспитывались, как в важных занятиях, так в играх своих были всегда в ссоре и что тогда же, в распрях, обнаруживались их свойства. Один был гибок, дерзок, хитер, предприимчив и стремился с жаром ко всему; другой, опираясь на твердый свой нрав, непоколебимый в справедливости, не умел и в шутках употребить лжи, обмана, неблагопристойности. Аристон Кеосский уверяет, что причиной их вражды, столь далеко простиравшейся, была любовь к Стесилаю, уроженцу кеосскому, который красотой своей превосходил своих сверстников. Ревность их не прекратилась с исчезнувшей его красотой, но, как будто бы они получили через то навык и упражнение, в жару страсти и раздора устремились в гражданское поприще. Фемистокл окружил себя друзьями, которые служили ему оградой и давали немаловажную в республике силу. Некто сказал ему, что тогда хорошо управит Афинами, когда будет ко всем равен и беспристрастен; Фемистокл отвечал: «Да никогда не воссяду на то седалище, перед которым друзья мои не будут иметь никакого преимущества перед чужими!» Аристид, напротив того, шел один, как бы собственным путем, в управлении республики. Он не хотел участвовать в несправедливостях своих друзей или быть им неприятным, не угождая им. Притом видя, что могущество, происходящее от друзей, многих поощряло к несправедливым поступкам, он остерегался их, будучи того мнения, что добродетельный гражданин должен полагать силу свою только в том, чтобы действовать и говорить по всей справедливости и согласно с долгом своим.

Когда же Фемистокл, вдаваясь во многие дерзкие предприятия, восставал всегда против Аристида и препятствовал всем его намерениям, то и Аристид, частью защищаясь, частью уменьшая силу Фемистокла, от благосклонности народной возраставшую, был принужден супротивиться его предприятиям. Он думал, что лучше было бы отвергнуть некоторые полезные народу предложения Фемистокла, нежели допустить его сделаться во всем сильным тем, что успевал во всех намерениях своих. Наконец, некогда Фемистокл предложил нечто полезное для республики, Аристид восстал против него и одержал над ним верх, но, оставляя Народное собрание, он не мог удержаться, чтобы не сказать, что афиняне не должны ожидать себе спасения, пока и Фемистокла, и его не бросят в Варафрон*. В другой раз Аристид предлагал народу некоторое мнение. Многие противоречили ему и спорили, но он одержал верх. Председатель хотел уже собирать голоса народа, но Аристид, приметя из говоренных речей, сколь вредно было предложение его, отстал от него сам. Нередко предлагал он мнения свои посредством других, дабы Фемистокл из ревности к нему не препятствовал полезным его намерениям.

Всего удивительнее казалось в Аристиде постоянство при переменах, происходивших в правлении. Он не возносился почестями, ему оказываемыми, кротко и спокойно переносил неприятности и неудачи, почитая долгом вести себя всегда одинаково и служить отечеству совершенно бескорыстно и, так сказать, даром, не требуя в награду не только богатства, но даже славы. По этой причине, когда однажды представляли на театре Эсхилову трагедию*, в которой говорится об Амфиарае:

Он справедливым быть, а не казаться хочет;
Глубокую бразду ума он пожинает,
Которая мудрые советы возвращает,

– все зрители обратили к Аристиду взоры свои, как бы ему преимущественно перед другими эта приличествовала похвала.

Он имел твердость для справедливости не только противиться дружбе и благосклонности,

но забывать гнев и вражду. В один день обвинял он одного неприятеля своего пред судом. По принесении на него жалобы судьи хотели немедленно произнести приговор над обвиненным, отказываясь слушать его оправдания. Аристид, встав с места своего, вместе с обвиняемым начал просить судей, чтобы они выслушали его и оказали ему законное удовлетворение. В другой раз Аристид судил двух частных лиц; один из них говорил, что противник его во многом обижал Аристида. «Говори лучше, обидел ли он тебя, – отвечал Аристид, – я здесь сужу твое дело, а не свое».

Поручено ему было управление доходами республики. Он показал народу, что много похищено общественных денег не только управлявшими в его время, но и прежде его, особенно же Фемистоклом, который:

Хотя был мудрый муж, руками не владел.

По этой причине, когда Аристиду надлежало дать отчет в своем управлении, Фемистокл, собрав многих против него, обвинял в похищении общественных доходов и, как свидетельствует Идоменей, произвел то, что он был осужден, но первенствующие и лучшие люди в республике изъявили свое негодование. Аристид не только был освобожден от платежа пени, но сверх того управление доходами опять поручено ему. После того притворяясь, что раскаялся в прежнем управлении своем, не наблюдая равной строгости, он сделался приятен тем, кто похищал общественные доходы, ибо он не изобличал их и не требовал во всем подробных отчетов. Эти люди, пресыщаясь народными деньгами, превозносили похвалами Аристида, просили за него народ и всеми силами старались, чтобы поручено было ему вновь то самое управление. Народ готов был избрать его, и тогда-то Аристид упрекал афинян, говоря им: «Когда я управлял общественными доходами тщательно и верно, то был вами поруган, теперь, когда много их предал хищникам, кажусь вам отменным гражданином; я более стыжусь оказываемой мне ныне чести, нежели прежнего осуждения. Жалею о вас, у которых более приносит славы угождать бесчестным людям, нежели сберегать общественные доходы». Сказав это, он изобличил в похищении доходов тех самых, которые его превозносили и говорили в его пользу, заставил их молчать и приобрел искреннюю и справедливую похвалу со стороны лучших граждан.

Между тем Датис, посланный в Грецию Дарием под тем предлогом, чтобы наказать афинян за сожжение Сард*, на самом же деле – для покорения греков, пристал всем флотом* к Марафону и опустошал окрестные области. Афиняне избрали в войне десять полководцев, между которыми первым по важности был Мильтиад, вторым по силе и славе своей Аристид. Присоединяясь к Мильтиадову мнению о сражении*, придал он ему немалый перевес. Каждый из полководцев начальствовал поочередно по одному дню. Когда начальство досталось Аристиду, то он уступил оное Мильтиаду, наставляя тем соначальствующих, что повиноваться разумнейшим и следовать им нимало не бесчестно, но славно и спасительно. Укротив таким образом ревность и убедив других полководцев повиноваться одному лучшему совету, подкрепил он Мильтиада, который сделался сильным властью, ни с кем не разделяемою. Все вожди отказались уже начальствовать по очереди и охотно повиновались Мильтиаду.

В сражении более всех претерпел центр афинского войска. Персы долгое время сюда устремляли свои усилия против колен Леонтиды и Антиохиды*. Здесь оказали в битве блистательные подвиги Фемистокл и Аристид, устроившиеся один подле другого, первый принадлежал Леонтиде, другой Антиохиде. Когда неприятели обращены были в бегство и принуждены сесть на корабли, то афиняне, видя, что персы не плыли к островам, но ветром и волнами теснимы были во внутренность Аттики, боясь, чтобы они не застали города без защитников, с девятью коленами обратились с поспешностью в Афины, куда и прибыли в тот самый день*. На Марафонском поле оставлен был Аристид с антиохийским коленом для охранения пленников и добычи. В этом случае он не изменил славе своей. Золото и серебро было рассыпано по всему стану, в шатрах и взятых судах находилось несчетное множество разного платья и всякого богатства, но Аристид ни сам не возжелал коснуться до них, ни других не допустил к тому; разве иные тайно от него воспользовались. Из числа их был факелоносец Каллий*. К нему прибегнул некто из варваров, почитая его царем по причине

длинных его волос и повязки на голове*. Он повергся пред Каллием, взял его правую руку и показал ему великое количество золота, закрытого в одной яме. Но Каллий, человек жесточайший и беззаконнейший, взял золото себе, а перса умертвил, дабы он никому о том не объявил. По этой причине комические стихотворцы назвали потомков его «Златокопателями», намекая с насмешкою на место, в котором Каллий нашел богатство.

После сражения Аристид получил достоинство архонта-эпонима. Впрочем, Деметрий Фалерский пишет, что Аристид был архонтом незадолго перед смертью, после Платейского сражения. В общественных записках мы не находим после Ксанфиппида, при котором Мардоний побежден при Платеях, ни одного имени какого-либо Аристида. Но Аристид показан архонтом тотчас после Фаниппа*; во время же архонства последнего дано было сражение Марафонское.

Изо всех добродетелей, украшавших Аристида, справедливость была ощутительнее всех для народа, поскольку польза, от нее происходящая, самая продолжительная, самая обширная. Итак, человек бедный, из простого народа приобрел прозвание самое божественное, самое приличное царям – прозвание Справедливого, которого не желал иметь ни один из владык и царей. Им весьма приятны наименования Полиоркетов, Никаторов, Керавнов, а некоторым из них прозвания Орлов и Ястребов*; по-видимому, они более прельщаются славой, происходящею от насилия и могущества, нежели от добродетели. Но божество, которому они подражать и уподобляться желают, тремя существенными свойствами отличается, а именно: нетленностью, могуществом, добродетелью. Добродетель выше и божественнее других свойств, ибо пустое пространство и стихии не подвержены тленности; землетрясения, молнии, порывы ветров, разлитье вод имеют великую силу; бог справедлив и правосуден, потому что умствует и рассуждает. Того ради и человек обыкновенно изъявляет к божеству три различных чувствования: удивление, страх и благоговение. Он ему удивляется и ублажает его за его нетленность и бессмертие, боится и страшится за его могущество и власть беспредельную, любит, чтит и благоговеет перед ним за его правосудие. Хотя чувствования людей таковы, однако они желают бессмертия, к которому природа наша не способна, и могущества, которое большей частью основывается на счастье; добродетель же, единственное божественное благо, от нас зависящее, полагают они ниже всех, не ведая, что жизнь людей в могуществе, в великом счастье и власти справедливость делают божественной, несправедливость – зверской.

Однако участь Аристида была такова, что прозвание Справедливого, за которое был столько любим, впоследствии возбудило против него зависть. Фемистокл более всех рассеивал в народе слухи, будто Аристид уничтожает все судилища, ибо судит все дела и управляет всем один, и, наконец, нечувствительно составил единовластие без телохранителей. Уже народ, гордясь своей победой и почитая себя достойным величайшей власти, не любил тех, кто славой и великим именем превышал простых граждан. Афиняне, собравшись в городе со всех сторон, определили остракизм Аристиду, называя зависть к его славе – страхом тираннии. Остракизм не почитался наказанием за дурные дела, его называли только благовидным именем укрощения гордости и ограничения силы, слишком обременительной для народа. В самом же деле то было некоторое легкое утешение зависти, которой недоброхотство удовлетворялось без жестоких средств, одним только десятилетним удалением оскорбляющего ее предмета. Когда же некоторые начали подвергать этому наказанию людей подлых и бесчестных и наконец изгнали остракизмом Гипербола, то афиняне перестали оное употреблять. Изгнание Гипербола, говорят, произошло по следующей причине. Алкивиад и Никий, имевшие в республике великую силу, были между собой в раздоре. Народ хотел уже прибегнуть к остракизму; не было сомнения, что одному из них надлежало быть изгнанным. Тогда Алкивиад и Никий, уговорившись между собой и соединив своих приверженных, устроили все так, что изгнан был Гипербол. Народ негодовал и, видя, что тем важность наказания унижена и обесчещена, уничтожил остракизм навсегда.

Чтобы дать некоторое понятие об остракизме, мы опишем, как оный происходил. Каждый гражданин брал черепицу, на которой означал имя того, кому хотел определить изгнание, и приносил ее в место на форуме, огражденное со всех сторон деревянным забором. Архонты считали все вместе собранные черепицы, и если число определивших изгнание было менее шести тысяч, то остракизм почитался недействительным. Потом отделяли порознь имена,

написанные на черепицах. Того, с чьим именем было более черепиц, объявляли изгнаным на десять лет, с позволением пользоваться своим имением.

Рассказывают, что, когда афиняне подавали черепицы против Аристида, один из безграмотных и самых грубых граждан, встретившись с самим Аристидом, дал ему как обыкновенному гражданину черепицу, прося его написать на ней имя Аристида. Аристид в удивлении спросил у него, не сделал ли ему Аристид какого-либо зла. «Никакого, – отвечал он, – я даже не знаю этого человека, но мне досадно слышать, что его везде называют справедливым». Аристид, услышав это, не произнес ни слова, написал свое имя и возвратил черепицу. Удаляясь же из города, поднял он руки свои к небу и произнес молитву, совсем противоположную Ахилловой*; он просил богов, чтобы никакой случай не принудил народ афинский вспомнить об Аристиде.

По прошествии трех лет, когда Ксеркс, пробираясь через Фессалию и Беотию, хотел напасть на Аттику*, афиняне уничтожили постановление и позволили изгнанным возвратиться в отечество. Более всего боялись они, чтобы Аристид не присоединился к неприятелю и не убедил многих граждан передаться ему. Они худо знали Аристида; еще до этого постановления он не преставал побуждать и увещевать греков к защите вольности своей; и после оного, когда Фемистокл избран был верховным вождем всех военных сил республики, он ему содействовал во всем, давал ему советы свои и для спасения общего делал славнейшим человека, ему враждебнейшего. Когда Эврибиад и другие начальники хотели оставить Саламин и неприятельские суда ночью, обступив их, заняли вокруг все проходы и острова, чего никто не предвидел, то Аристид, пробравшись сквозь неприятельские корабли с необыкновенной смелостью и ночью придя к шатру Фемистокла, вызвал его одного и сказал ему: «Если мы благоразумны, Фемистокл, то должны уже оставить пустой и ребяческий наш раздор и начать между собою прение спасительное и достохвальное, соревнуя один другому для освобождения Греции. Ты будешь начальствовать и предводительствовать войсками, я буду тебе помогать и давать советы. Мне известно, что в настоящем положении дела ты один постигаешь полезнейшие меры, советуя как можно скорее дать сражение в узких проходах. Союзники тебе противятся, но неприятели, кажется, в том тебе содействуют. Все море вокруг нас и за нами покрыто уже неприятельскими кораблями, так что и не хотящие по необходимости должны будут сразиться и оказаться мужественными. К бегству не остается уже никакой дороги». Фемистокл на это отвечал: «Аристид! Я бы не хотел, чтобы ты в этом одержал верх надо мною, однако буду стараться, соревнуя столь прекрасному, сделанному тобою началу, делами своими превзойти тебя». Потом Фемистокл открыл ему хитрость, которую употребил, чтобы обмануть варваров, и просил Аристида представить Эврибиаду и ему, что невозможно спастись, не сразившись. Эврибиад имел более доверия к Аристиду, нежели к нему. Когда в совете полководцев коринфянин Клеокрит сказал Фемистоклу, что его мнения не одобряет и Аристид, который здесь присутствует и молчит, то Аристид возразил, что не молчал бы он, если бы Фемистокл не предлагал совета самого полезного, что теперь не говорит ни слова не из уважения к Фемистоклу, но одобряя его мнение.

Начальники морских сил таким образом советовались между собою. Аристид заметил, что небольшой остров Пситталия*, лежащий перед Саламином в самом проливе, наполнен был неприятельскими войсками; он посадил на мелкие суда отважнейших и храбрейших ратников, пристал к Пситталии, дал сражение находившимся варварам и всех умертвил, кроме знаменитейших из них, которые попались ему в плен. В числе их были три сына Сандаки, сестры персидского царя, Аристид послал их к Фемистоклу. Говорят, что оные, по некоему изречению, были принесены в жертву Дионису Свирепому так, как советовал прорицатель Эвфрантид. Аристид занял со всех сторон малый остров воинами и смотрел на приближающихся к оному, так что ни один из союзников не погибал и ни один из неприятелей не мог уйти от него. Самое сильное сталкивание судов и упорнейшая битва происходили около того места; по этой причине на острове воздвигнут был трофей.

После великой битвы Фемистокл, желая испытать Аристида, говорил ему, что произведенное ими дело хорошо, однако оставалось еще важнейшее – поймать Азию в Европе; по этой причине надлежало поспешить скорее к Геллеспонту и сорвать наведенный персами мост. При этих словах Аристид издал громкий крик, он советовал Фемистоклу предать

забвению намерение и лучше искать средства, как бы скорее выбросить Ксеркса из Греции, дабы он, не находя дороги бежать и будучи как бы заперт с столь великими силами, не был принужден по необходимости обратиться к сильной обороне. Фемистокл после этих слов Аристида опять отправил одного из пленников, евнуха Арнака, с повелением сказать царю тайно, что Фемистокл, желая его спасти, отвратил греков от предпринятого ими намерения идти к мосту*.

Ксеркс, устрашенный таким известием, поспешил к Геллеспонту. В Греции оставался Мардоний с храбрейшим войском, состоявшим из трехсот тысяч человек. Этот полководец, страшный столь великой силою, имея надежду на свою пехоту, писал грекам с угрозами следующее: «Вы победили морскими судами сухопутных воинов, неискусных действовать веслами. Но ныне Фессалия пространна! На Беотийской равнине могут сражаться храбрая конница и пехота!» В особенности же писал он афинянам письма и обещал им именем царя воздвигнуть их город, обогатить их и сделать властителями над другими греками*, если согласятся не принимать участия в войне. Лакедемоняне, известившись о том, были устрашены; они отправили в Афины посланников с требованием, чтобы афиняне послали в Спарту жен и детей своих, обязываясь содержать их стариков, ибо народ афинский находился тогда в крайней нужде, будучи лишен города и области своей. По выслушании посланников афиняне дали им, по предложению Аристида, следующий, достойный удивления ответ: что они прощают варварам, если они думают, что можно все купить за золото и деньги, которых лучше они ничего не знают, но что негодуют на лакедемонян за то, что они видят только настоящую бедность и недостаток афинян, а забывают их мужество и честолюбие и призывают их защищать Грецию за съестные припасы. Аристид, написав сие постановление, привел посланников в Народное собрание и велел объявить лакедемонянам, что нет такого множества золота ни на земле, ни под землей, за которое бы афиняне согласились предать свободу Греции. Потом, показав Солнце Мардониевым посланникам, сказал им: «Доколе светило будет идти тем же путем – дотоле афиняне будут воевать с персами за разоренную их область, за осквернные и сожженные храмы». Сверх того написал постановление, чтобы жрецы прокляли того, кто вступит с персами в переговоры или оставит союз с греками.

Вскоре Мардоний вступил вторично в Аттику, и афиняне вновь вторично переправились на Саламин. Аристид, будучи послан в Лакедемон, выговаривал спартанцам за медленность их и нерадение, которыми вновь предали варварам Афины; он возбуждал их поспешить на помощь тем странам Греции, которые еще не были заняты. Эфоры, услышав его речи, казалось, нимало о них не заботились; днем занимались забавами и празднествами (тогда они отправляли гиакинфии); а ночью, набрав пять тысяч спартанцев, из которых каждый имел при себе семь илотов, выслали их из города без ведома афинян*. Аристид вновь приступил к ним с упреками, но эфоры, смеясь, говорили ему, что он бредит или спит, ибо войско уже в Орестии* и идет против иноземных (так они называли персов). Но Аристид отвечал им, что они шутят не вовремя, обманывая друзей вместо того, чтобы обманывать врагов. Так повествует о том Идоменей. Но в постановлении, предложенном Аристидом, означены посланниками не он, но Кимон, Ксанфипп и Миронид.

Аристид был избран в предстоящей войне полномочным полководцем. Взяв восемь тысяч тяжеловооруженных афинян, отправился он в Платеи, где присоединился к нему со спартанцами Павсаний, предводитель всех греческих войск. Сюда же стекались и другие силы греков. Все войско неприятеля тянулось вдоль по реке Асоп и по причине великого пространства, им занимаемого, казалось, оно не имело пределов. Только обоз и важнейшие места обведены были валом, составлявшим четвероугольник, которого каждый бок имел в длину десять стадиев. Прорицатель Тисамен*, родом из Элеи, предрек Павсанию и другим грекам победу, если они будут действовать оборонительно и не нападут первыми. Аристид послал в Дельфы вопросить прорицалище. Дельфийский бог ответствовал, что афиняне превозмогут врагов, если будут молиться Зевсу, Гере Киферонской, Пану и сфрагидийским нимфам и приносить жертвы героям – Андрократу, Левкону, Писандру, Дамократу, Гипсиону, Актеону, Полииду и если дерзнут на сражение на собственной земле, на поле Деметры Элевсинской и Персефоны. Такой ответ привел Аристида в недоумение. Герои, которым надлежало принести жертвы, были родоначальники платейские; пещера сфрагитийских нимф

находилась на одной вершине Киферона и обращена к летнему захождению Солнца. В оной пещере было прежде, как говорят, прорицалище; многие из тамошних жителей были вдохновенные и назывались нимфолептами, или «нимфами одержимые». Но поле Элевсинской Деметры и обещание афинянам дать победу, если будут сражаться на собственной земле своей, призывало афинян думать о переносе военных действий в Аттику. В это же время приснилось Аримнесту, полководцу платейскому, что Зевс Спаситель вопросил его, что решились предпринять греки? Аримнест отвечал: «Владыко! Мы завтра отведем войско к Элевсину и там будем сражаться с варварами, следуя прорицанию пифийскому». Но Зевс будто бы сказал ему, что они во всем ошибаются, что тут, в области платейской, находятся места, означенные прорицалищем, и что обретут их, если только будут искать. Это видение было столь явственно, что Аримнест, проснувшись, призвал тотчас к себе искуснейших и старейших сограждан, с которыми разговаривая и делая разыскания наконец открыл, что близ Гисий, под горой Киферон, есть весьма древний храм Деметры Элевсинской и Персефоны.

Немедленно взял он с собою Аристида и привел его к тому месту, которое было весьма удобно к устроению в боевой порядок фаланги при недостатке конницы, ибо подгорье Киферона делало края равнины, простирающейся до храма, не способными к движению конницы. Близ этого места был и храм героя Андрократа, окруженный рощей, состоящей из частых и тенистых дерев. Но дабы в прорицании ничего не мешало к внушению надежды о победе, платейцы по предложению Аримнеста решились уничтожить границы платейской области со стороны Аттики и для спасения Греции уступить землю свою афинянам, дабы они, по предписанию прорицалища, сражались на своей земле. Великодушный поступок платейцев сделался столь славен и знаменит, что долго после того Александр, обладавший уже Азией, велел воздвигнуть стены платейские и обнародовать через глашатаев на Олимпийских празднествах, что царь то делает в благодарность платейцам за храбрость их и великодушие, оказанное ими добровольной уступкой грекам своей земли во время войны с персами, и за изъявленную ими величайшую ревность.

При расположении войск тегейцы спорили с афинянами о месте, которое надлежало им занять во время сражения. Тегейцы, превознося похвалами своих предков, хотели предводительствовать, как всегда, левым крылом, поскольку лакедемоняне предводительствовали правым. Афиняне негодовали; Аристид, выступив вперед, сказал: «Настоящее время не позволяет нам спорить с тегейцами в благородстве и храбрости. Вам, спартанцы и прочие греки, объявляем, что место не дает и не отымает доблести. Какое вы нам место ни назначите, мы постараемся защитить его, прославить и не посрамить прежних подвигов своих. Мы здесь – не для того, чтобы ссориться с союзниками, но чтобы сражаться с врагами, не для того, чтобы хвалить отцов своих, но чтобы самим оказать себя в защиту Греции достойными и храбрыми мужами. Это сражение покажет, чего заслуживает от греков каждый город, каждый полководец, каждый воин». После этой речи полководцы и другие члены совета решили дело в пользу афинян и дали им левое крыло.

При таком колеблющемся состоянии Греции, когда дела афинян были в столь дурном положении, несколько богатых и знатного рода граждан, которые от войны обеднели, видя, что вместе с богатством лишаются силы своей и славы, между тем как другие начальствовали и были почтены народом, собрались тайно в одном доме в Платеях, сделали заговор уничтожить народоправление и, если в том не успеют, все погубить и предать Грецию варварам. Между тем как они производили в действо свои замыслы и в стане многих уже развращали, Аристид получил известие о заговоре. Боясь настоящих обстоятельств, решился он не оставлять без внимания столь важного дела и не до конца его расследовать, ибо было неизвестно, сколько откроется заговорщиков при расследовании оного. Принимая в уважение более справедливость, нежели пользу общественную, он поймал только восьмерых из числа многих. Лампториец Эсхин и ахарнянин Агасий*, над которыми первыми суд производился и на которых падала вина более всех, убежали из стана; другие были отпущены Аристидом, который подавал способ раскаяться и ободриться тем из заговорщиков, кто думал, что злоумышление их еще не открыто; он сказал притом: «Сражение есть судилище, пред которым они могут оправдаться, действуя и мысля соответственно пользе отечества».

В это время Мардоний, желая испытать греков теми силами, которыми, казалось, он их

превосходил, пустил на них всю свою конницу. Греки стояли у подножья горы Киферон, в местоположении крепком и каменистом; одни мегаряне в числе трех тысяч поставили стан свой на равнине и потому много претерпевали от неприятельской конницы, которая на них нападала и со всех сторон могла их беспокоить. Они послали поспешно вестника к Павсанию и просили помощи, ибо сами не были в состоянии выдержать нападение столь великого множества варваров. Павсаний, слыша это, в то же время видел, что мегарский стан уже был сокрыт тучей дротиков и стрел неприятельских, что мегаряне были стеснены и занимали малое пространство, но сам был в невозможности своей тяжелой фалангою, состоящей из спартанцев, защитить их от конницы. Он старался возбудить между греческими полководцами, окружавшими его, соревнование в храбрости и честолюбии, дабы кто-нибудь по своей воле дерзнул на первый подвиг и поспешил на помощь мегарянам. Никто не решался. Аристид вызвался на сие дело со стороны афинян; он выслал Олимпиодора, храбрейшего из своих военачальников, с тремястами отборными воинами и несколькими стрельцами, перемешанными с ними. Скоро были они уже готовы и быстро устремились на неприятеля. Масистий, начальник неприятельской конницы, человек необыкновенной телесной силы, отменной величины и красоты, как скоро их увидел, поворотил своего коня и устремился на них. Афиняне выдержали нападение и вступили с ним в бой. Битва была жаркая, как будто бы от нее зависел успех всего дела. Но конь Масистия, будучи поражен стрелою, свергнул его с себя; он упал и по причине тяжести своих доспехов не мог уже подняться; афиняне, нападавшие и поражавшие его, не могли его умертвить, ибо не только грудь и голова, но руки и ноги были покрыты золотом, медью и железом. Наконец, некто, ударяя его задним концом копья в то место шлема, сквозь которое виден глаз, умертвил. Персы, оставив мертвого, предались бегству*. Сколь важно было сие дело, греки узнали потом не по множеству мертвых, ибо в самом деле их было не много, но по печали варваров. Они стригли волосы свои, гривы своих лошадей и лошаков, наполнили равнину жалобами и рыданиями, как бы потеряли мужа, который храбростью и крепостью был первейший после Мардония.

После сражения обе стороны пребывали спокойными, ибо гадатели равно предсказали и грекам, и персам победу, если они будут обороняться, поражение и потерю, если будут наступать. Наконец Мардоний, видя, что у него оставалось запасов только на немногие дни и что между тем число греков умножалось стекавшимися к ним войсками, не желая долее медлить и оставаться в одном положении, решился на рассвете дня переправиться через Асоп и напасть на греков неожиданно. С вечера дал другим полководцам потребные на то приказания. В самую полночь человек верхом приблизился спокойно к греческому стану, встретил стражу и велел призвать к себе афинянина Аристида. Вскоре Аристид явился, незнакомец говорит ему: «Я Александр, царь Македонский, из благорасположения к вам я подвергаю себя величайшей опасности; я приехал вас известить о намерении неприятеля, дабы неожиданность нападения его вас не устрашила и вы не стали бы сражаться с меньшей храбростью. Знайте, что Мардоний завтра будет с вами сражаться не потому, чтобы имел хорошие надежды или что-либо его ободряло, но претерпевая недостаток в нужных припасах. Гадатели удерживают его от сражения жертвами и прорицаниями неблагоприятными; войско его объято унынием и робостью, но необходимость заставляет Мардония или дерзнуть испытать счастье, или, оставаясь на одном месте, быть доведенному до крайнего недостатка в припасах». Сказав это, Александр просил Аристида помнить об этом и ведать ему одному, а никому более не сказывать. «Однако неприлично, – отвечал Аристид, – скрывать это от Павсания, ибо ему поручено главное предводительство, но прежде сражения можно сие держать в тайне от других. Если победит Греция, то ни от кого не будет сокрыто твое усердие и твое великодушие». После этих слов царь македонян удалился. Аристид, придя в шатер Павсания, пересказал ему разговор с Александром. Они призвали к себе других полководцев и велели содержать в готовности войско, ибо дано будет сражение.

Между тем Павсаний, как повествует Геродот, предлагал Аристиду перевести афинян в правое крыло и противоположить их персам, ибо афиняне, по его мнению, стали бы лучше сражаться, сделавшись опытны в битве с ними и полагаясь на себя по причине одержанной прежде победы; он требовал себе левое крыло, на которое долженствовали учинить нападение греки*, принявшие сторону персов. Полководцы афинские роптали на Павсания и почитали его

человеком неблагоразумным и беспокойным, ибо, оставляя в покое другое войско, их одних переводит туда и сюда, как илотов, и противопоставляет их отборнейшим войскам*. Но Аристид доказал им, что они совершенно в том ошибаются. «Прежде, – говорил он, – споря с тегейцами за левое крыло, гордились оказанным вам предпочтением, ужели теперь, когда лакедемоняне по своей воле уступают вам правое и некоторым образом предают верховное начальство, не приемлете сей чести и не почитаете выгодою сражаться лучше с варварами, природными врагами своими, нежели со своими единоплеменными и единокровными». Слова эти заставили афинян охотно поменяться положением с лакедемонянами. Они ободряли друг друга, напоминали один другому, что враги, на них наступающие, не имеют ни лучше оружия, ни душ храбрее тех воинов, которые сражались с ними на поле Марафонском, что у них такие же стрелы, такие же пестрые одежды; и, наконец, такие же золотые уборы покрывают тела слабые и души робкие. «И у нас, – говорили они, – то же оружие, та же сила телесная, но больше бодрости и смелости по причине одержанных нами побед. Нам предстоит подвиг не только за область свою и за город свой, как прежде, но за марафонские и саламинские трофеи, дабы оные не были почитаемы произведением Мильтиада и Судьбы, но делом афинского народа». Таким образом, они спешили переменить положение. Фиванцы, узнав о своей перемене от беглецов, известили Мардония, который в то же время перевел персов на правое крыло или из страха к афинянам, или из честолюбия и желания сразиться со спартанцами; греков же, у него бывших, велел поставить против афинян. Когда перемещение сделалось явным, то Павсаний опять перешел на правое крыло, Мардоний по-прежнему на левое и стал против лакедемонян. Таким образом, день проведен был в бездействии. Между тем греки решились перевести далее свой стан и занять положение, в котором была в изобилии вода, ибо все ручьи и ключи, близ их текущие, были испорчены и осквернены неприятельской конницей*.

С наступлением ночи полководцы вели войско к назначенному стану. Но воины неохотно за ними следовали и с трудом оставались вместе. Выходя из прежних окопов, многие из них стремились к Платеям, рассыпались там с шумом и ставили шатры свои без всякого порядка. Случилось, что лакедемоняне против воли своей одни остались позади, ибо Амомфарет, человек пылкий и не страшащийся никаких опасностей, который давно уже жаждал сражения и скучал от частых отлагательств и замедлений, тогда громко называл перемену места настоящим отступлением и бегством, говорил, что не переменит положения, но хочет тут оставаться со своим отрядом и противостоять Мардонию. Когда Павсаний, придя к нему, представлял, что мера принята и утверждена общим согласованием и подачей голосов всех греков, то Амомфарет, подняв обеими руками огромный камень, бросил оный к ногам Павсания, говоря: «Вот мой голос о сражении! Робкими советами и постановлениями других я пренебрегаю и о них не забочусь». Павсаний, находясь в недоумении от сего случая, велел отступившим уже афинянам помедлить, чтобы идти вместе с ним; сам же вел свое войско к Платеям, дабы принудить Амомфарета оставить свое положение*.

Уже наступило утро; Мардоний, от которого не было сокрыто, что греки оставили стан свой, имея устроенными свои силы, пустился на лакедемонян. Варвары издавали громкие крики, производили страшный шум, они думали, что им не надлежало сражаться, а только захватить бегущих греков – и это едва не случилось. Павсаний, видя их движение, остановился и велел каждому занять свое место. Но по гневу ли своему на Амомфарета или по изумлению, произведенному в нем скорым нападением неприятеля, он забыл дать войскам сигнал к сражению; по этой причине они не тотчас и не все вдруг, но мало-помалу и по частям шли к нему на помощь, когда сражение было уже начато.

Между тем Павсаний приносил жертвы, но, находя их неблагоприятными, велел лакедемонянам сложить щиты у ног своих и сидеть спокойно, ожидая его приказания, нимало не обороняясь от неприятелей. Он приносил жертву вновь; уже конница наступала; уже стрелы долетали и некоторые из спартанцев были ранены. В это время и Калликрат, который, как говорят, был прекраснее и ростом выше всех греков, составлявших войско, был поражен стрелою, и умирая, сказал: «Я не жалею о том, что погибаю, ибо умереть за Грецию пришел я сюда из своего дома, жалею только о том, что умираю, ничего не произведши». Положение спартанцев было ужасно, но твердость удивительна. Они не оборонялись от наступавших

неприятелей, но ожидая терпеливо благоприятного мановения богов и своего начальника, они сносили раны и самую смерть в рядах своих. Некоторые говорят, что несколько лидийцев напали внезапно на Павсания, который вне строя приносил жертву и молился богам, похитили и разбросали все то, что было приготовлено к жертвоприношению; Павсаний и окружавшие его, будучи безоружны, били их палками и бичами. В память этого набега ныне в Спарте секут молодых людей недалеко от жертвенника и отправляют так называемое лидийское торжество.

Павсаний был погружен в горести от всего происходящего. Между тем как жрец закалывал одно жертвенное животное за другим, он обратил исполненные слез глаза свои к храму Геры и, подняв руку, молился Киферонской Гере и другим богам, покровителям платейской земли: если грекам не определено судьбою победить, по крайней мере да погибнут они, произведши что-либо достойное себя и показав неприятелям на деле, что они напали на людей храбрых и опытных в войне. Так молился Павсаний, и вместе с молением жертвы явились благоприятными, и гадатели возвестили победу. Едва дано было приказание устроиться против неприятеля, как фаланга внезапно приняла вид как бы одного раздраженного, поднимающего щетину зверя, бросающегося на своего противника. Тогда-то персы помыслили, что имеют дело с мужами, готовыми биться до последнего дыхания. Наглухо закрывшись обтянутыми кожей щитами, пускали стрелы в спартанцев. А спартанцы с щитами, тесно сомкнутыми, наступали, устремлялись на персов, разрывали их щиты, поражали их копьями в лицо, в грудь и многих повергали на землю.

Неприятели падали, но с упорством и храбро сражаясь, ибо голыми руками хватались за копья и большей частью ломали, потом обнажали быстро свои мечи, действовали кинжалами и секирами, срывали их щиты, схватывались с ними и противоборствовали долгое время.

Афиняне пребывали между тем спокойными, ожидая лакедемонян; когда же слышны стали им громкие крики сражавшихся и вестник от Павсания уведомил их о происходящем, то они устремились поспешно на помощь своим союзникам. Несясь по равнине к тому месту, откуда слышен был крик, встретили они греков, союзных с персами, которые были обращены на них. Как скоро Аристид увидел их, то выступил далеко вперед, и громким криком, призывая в свидетели богов, покровителей Греции, заклинал противников удержаться от битвы, не препятствовать им спешить на помощь тем, кто прежде всех подвергает жизнь свою опасности за Грецию. Видя, что они не обращали внимания на слова его, но устроились к битве, не могши более идти на помощь лакедемонянам, вступил в сражение с греками, которых было около пятидесяти тысяч. Но большая часть их вскоре отступила и удалилась, ибо и персы были уже обращены в бегство. Говорят, что сильнейшая битва произошла с фиванцами, которых главные и сильнейшие граждане приняли сторону персов и заставили народ, которым они управляли, идти к сражению против своей воли.

Таким образом, битва происходила в двух местах. Лакедемоняне прежде всех обратили в бегство персов, и какой-то спартанец, по имени Аимнест, умертвил Мардония, ударив его камнем в голову, как предсказано ему было Амфиарайским прорицалищем*. Мардоний послал в оное некоего лидянина, а в Трифонийскую пещеру – одного человека, родом из Карии. Последнему прорицатель Трифонийский дал ответ на карийском языке. Лидянин же, уснув в капище Амфиарейском, во сне увидел, будто бы некий служитель бога предстал и повелел ему уйти, а как он ему не повиновался, то служитель бросил ему на голову большой камень, и лидянину показалось, что он умер от этого удара. Так об этом повествуют.

Лакедемоняне прогнали бегущих варваров до самой их деревянной ограды. Вскоре после того афиняне разбили фиванцев и умертвили в самой битве трехсот знаменитейших из них. Как скоро фиванцы обратились в бегство, то прибыл вестник с известием, что войско неприятелей заперто и осаждается в его стане. Афиняне оставили бегущих фиванцев искать себе спасения и обратились на помощь к осаждающим стены. Лакедемоняне были недеятельны и неискусны при осаде укреплений, но афиняне по своем прибытии вскоре завладели станом и умертвили великое множество варваров. Говорят, что из трехсот тысяч человек едва сорок тысяч убежали с Артабазом*. Из греков, сражавшихся за отечество, пало всего тысяча триста шестьдесят человек*. Из них пятьдесят два человека были афиняне, все из колена Эантиды, которое сражалось с отличной храбростью, как свидетельствует Клидем. По этой причине колено Эантиды, по повелению Аполлона, приносило сфрагидийским нимфам жертву за победу,

получая издержки из казны общественной. Лакедемонян пало девяносто один; тегейцев – одиннадцать. Я удивляюсь тому, что Геродот повествует, будто бы эти народы одни участвовали в сражении, а из других греков никто. Множество падших в том сражении и памятники их доказывают, что подвиг был общий; если бы только три города участвовали в битве, между тем как другие пребывали бы спокойными, то на жертвеннике не вырезали бы следующей надписи:

Победу одержав на Марсовых полях,
Душевной бодростью наведши персам страх
И за пределы их полки прогнав смятенны,
Зевес Избавитель! Алтарь воздвигли сей
От рабства эллины, тобой освобожденны,
Как общий памятник Элладе вольной всей!

Это сражение дано было четвертого числа первого десятка месяца боэдромиона – по счислению афинскому, а по беотийскому – четвертого числа последнего десятка панема. В этот день бывает ежегодно в Платеях собрание эллинское, и платейцы приносят жертвы Зевсу Избавителю в благодарность за победу. Не должно удивляться сей разности в числах, ибо в наше время, когда астрономия более усовершенствована, начало и конец месяца у разных народов различны.

По одержании победы афиняне не хотели уступить спартанцам награду за храбрость, ни воздвигнуть трофей, от чего едва не расстроились дела греков, которые разделились с оружием в руках, если бы Аристид, увещевая и наставляя соначальствующих, особенно же Леократа и Миронида, не укротил их и не убедил предать сие дело суду других греков. Между тем как греки советовались о том между собой, мегарец Феогитон сказал, что надлежало уступить награду другому какому-либо народу, если не хотят возбудить междоусобной брани. За ним восстал коринфянин Клеокрит и заставил думать, что он хотел требовать эту награду для коринфян, ибо после Спарты и Афин Коринф был знаменитейший город. Но он сказал речь, которая всем была приятна и всеми одобрена, – в пользу платейцев; советовал пресечь раздоры и уступить награду им, ибо, говорил он, таким образом ни одна сторона не будет огорчена честью, им оказываемой. После сей речи Аристид первый уступил награду со стороны афинян, потом Павсаний – со стороны спартанцев. Помирившись таким образом, они отделили платейцам восемьдесят талантов, которыми платейцы соорудили храм Афины, поставили ей кумир и украсили стены живописью, которая и поныне в целости сохраняется. Потом воздвигли трофеи, лакедемоняне один и афиняне особо от них другой. Они вопросили Дельфийское прорицалище: какую жертву надлежало принести богам? Аполлон повелел воздвигнуть жертвенник Зевсу Избавителю, но жертвы не приносить до тех пор, пока по всей стране не будет погашен огонь, осквернённый варварами, и зажжен в Дельфах огонь чистый из общего жертвенника. Начальники греков, обходя страну, заставляли гасить огонь, у кого оный был. Платеец Эвхид дал обещание доставить как можно скорее им огня из Дельфийского жертвенника. Он прибыл в Дельфы, очистил себя, окропил водою, увенчался лавром и, взяв огня с жертвенника, бегом пустился к Платеям, пробежал в один день тысячу стадиев, прибыл в Платеи перед заходом Солнца. Обняв своих сограждан, вручил им огонь – тотчас упал и вскоре испустил дух. Платейцы подняли его, похоронили в храме Артемиды Эвклии и сделали ему следующую надпись: «Эвхид в один день пробежал путь в Дельфы и обратно». Богиню Эвклию, о которой здесь упоминается, многие почитают и называют Артемидой; некоторые говорят, что она была дочь Геракла и Мирто, дочери Менетия и сестры Патрокла. Она умерла девой и удостоена божественных почестей от беотийцев и локрийцев. В каждом городе на площади обретаются кумир и жертвенник ее; женихи и невесты приносят ей жертвы перед своим браком.

После того происходило общее собрание греков. Аристид предложил, чтобы каждый год собирались в Платеях пробулы и феоры* греческих народов и каждые пять лет отправлялись бы Элевферии – «Игры Освобождения»; чтобы составилось греческое ополчение из десяти тысяч пехоты, одной тысячи конницы и ста кораблей для продолжения войны против варваров;

чтобы платейцы почитаемы были неприкосновенными и посвященными богу и имели обязанность приносить жертвы богам за Грецию. Предложение его было принято и утверждено. Платейцы приняли на себя обязанность чтить каждый год жертвами память греков, падших и похороненных в их стране. Это и поныне совершается следующим образом: шестнадцатого числа месяца мемактериона*, который фиванцами называется алалкомений, начинается на заре торжественное шествие; ему предшествует трубач, играющий походную песню; следуют возы, нагруженные миртами и венками; за ними идет черный вол; юноши несут кружки с маслом и миром, а в сосудах вино и молоко для возлияний. Все юноши суть состояния вольного; никакому рабу не позволено участвовать в сем обряде, ибо оные мужи пали за вольность Греции. После всех идет архонт Платей, которому в другое время не позволено дотронуться до железа, ни носить другого платья, кроме белого; теперь, облаченный в красную одежду, держа сосуд, взятый из общественного хранилища бумаг, с мечом в руке, идет к гробницам через весь город. Потом черпает воды из источника, сам моет памятники и мажет их миррой. Он убивает вола на костре, приносит моления свои Зевсу и Гермесу Подземному* и призывает к ужину и кровавому возлиянию храбрых мужей, умерших в Греции. После того наполняет чашу вином и, выливая его, говорит: «Пью в память мужей, умерших за вольность греков». Эти обряды наблюдаются платейцами и поныне.

По возвращении афинян в город свой Аристид заметил, что они желали восстановить народоправление. С одной стороны, почитая народ ради его доблести достойным уважения; с другой – видя трудность удержать его от такого намерения тогда, когда он усилился оружиями и гордился победами, – Аристид предложил, чтобы правление было общее и архонты избирались из афинян всякого состояния.

Некогда Фемистокл объявил народу, что намерен предложить нечто весьма полезное и спасительное для республики, но которое должно держать в тайне. Народ велел Аристиду узнать о том одному и сказать свое мнение. Фемистокл тогда сообщил Аристиду, что он намеревался сжечь весь греческий флот*; через что афиняне сделались бы сильнее всех греческих народов и надо всеми получили бы владычество. Аристид, представ перед народом, сказал: «Нет ничего полезнее и ничего несправедливее того, что Фемистокл намеревается произвести». Афиняне, услышав это, запретили Фемистоклу более о том предлагать. Вот насколько этот народ был справедлив! Вот какое имел к Аристиду доверие и столь много на него полагался!

Вскоре он был отправлен вместе с Кимоном для продолжения войны против персов. Аристид приметил, что Павсаний и другие спартанские полководцы поступали с союзниками надменно и сурово. Обходясь с ними кротко и дружелюбно, заставляя Кимона быть ко всем благосклонным и снисходительным, нечувствительно отнял он у лакедемонян верховное начальство не пехотой, не конницей, не кораблями – но ласковостью своей и благоразумием. Все греки любили афинян по причине справедливости Аристида и снисходительности Кимона; жадность и надменность Павсания еще более привязала их к афинянам. Полководец обходился всегда грубо и сурово с начальниками союзников; простых воинов наказывал побоями или принуждал стоять целый день, держа железный на плечах якорь. Не было позволено никому ни косить травы, ни набирать соломы или приближаться к источнику для черпанья прежде спартанцев; служители прогоняли бичами всякого, кто туда приближался. Аристид хотел некогда представить ему о сих злоупотреблениях и выговорить ему, но Павсаний, наморщив лоб, сказал, что не имеет времени, и не выслушал его.

По этой причине греческие полководцы и корабленачальники, в особенности же хиосцы, самосцы и лесбосцы, приступили к Аристиду и просили его принять верховное начальство и присоединить к себе союзников, давно уже желающих отстать от спартанцев и пристать к афинянам. Аристид ответствовал им, что из слов их видит необходимость и справедливость их требования, но если они хотят приобрести его доверие, то должны сделать какое-либо дело, которое не допустит уже воинов их перемениться вновь. После того самосец Улиад и хиосец Антагор, соединившись клятвой, устремились близ Византия на Павсаниеву триеру, шедшую впереди других кораблей. Павсаний, видя это, восстав, грозил им и с гневом говорил: «Вскоре докажу вам, что вы не на корабль мой учинили нападение, но на собственные свои отечества». Они советовали ему удалиться и благодарить соратоборствовавшее ему на платейских полях

счастье, что греки из уважения к оному не воздают ему достойного наказания за его поступки. После того союзники присоединились к афинянам, отстав от спартанцев. В этом случае великодушие Спарты показалось во всем блеске своем. Спартанцы, приметив, что полководцы их портились от великой власти, по своей воле уступили верховное начальство и перестали посылать на войну начальников, желая лучше иметь граждан добродетельных и твердых в нравах своих, нежели начальствовать над всей Грецией.

Греки, будучи предводимы спартанцами, платили некоторую подать для продолжения войны. Желая, чтобы каждый город вносил подать по справедливости, просили они у афинян Аристида и препоручили ему, рассмотрев их области и доходы, определить, сколько кому вносить денег – по возможности своей. Аристид, имея такую силу в руках своих, когда, некоторым образом, Греция все свои дела ему одному препоручила, – бедный вышел из своего отечества, беднее в оное возвратился. Он сделал расписание не только по всей точности и справедливости, но притом весьма соразмерно и к угождению всех. Как древние, воспевавшие век Крона, так афинские союзники прославляли налоги, определенные Аристидом, называя его управление «блаженным временем Греции», особливо вскоре после того, как оные были удвоены и потом утроены. Подать, назначенная Аристидом, простиралась до четырехсот шестидесяти талантов. Перикл увеличил это количество на треть. Ибо в начале войны Пелопоннесской, по свидетельству Фукидида, афиняне получали от союзников шестьсот талантов. По смерти же Перикла народные правители, мало-помалу прибавляя, довели это количество до тысячи трехсот талантов – не столько потому, чтобы продолжительная война и переменчивое счастье требовали великих издержек, сколько от того, что не приучили народ к раздаче денег, к зрелищам и к сооружению храмов и кумиров.

Таким образом, Аристид приобрел великое имя и уважение хорошим устройством налогов. Фемистокл, смеясь над ним, говорил некогда, что похвала не столько прилична человеку, сколько ящику, служащему к хранению золота. Он говорил это, желая мстить Аристиду, хотя не с равной силой, за его смелый о Фемистокле отзыв. Ибо, как некогда Фемистокл сказал, что он почитает великим достоинством в полководце то, чтобы узнать и предугадывать намерение своих неприятелей, то Аристид отвечал: «Это необходимо, Фемистокл! Однако поистине прекрасно и полководцу прилично уметь владеть руками своими».

Аристид заставил союзников присягнуть в верности к союзу, присягнул сам за афинян и за произношением клятвы бросил в море раскаленные железные куски*. Но как после того обстоятельства, по-видимому, побуждали афинян управлять с большей властью, то Аристид советовал им обратить на него клятвопреступление и действовать в свою пользу. Феофраст говорит, что Аристид вообще был чрезвычайно справедлив в делах, касающихся до него и относительно к своим согражданам, но в делах общественных большей частью обращал внимание на то, что было полезно отечеству, как бы часто оно имело нужду в несправедливых поступках. Тот же историк свидетельствует, что когда по представлению самосцев рассуждаемо было о том, чтобы перевести в Афины, против договоров, деньги, хранящиеся в Делосе, то Аристид сказал, что это несправедливо, но полезно. Возвысив таким образом Афины до такой степени могущества. Аристид остался в своем бедном состоянии; он любил до конца славу, происходящую от бедности, не менее той, какую приобрел своими победами.

Это видно из следующего обстоятельства. Факелоносец Каллий*, родственник Аристида, был преследуем судом своими неприятелями, которые обвиняли его в уголовных преступлениях. Изложив достаточно то, в чем его обвиняли, они говорили, наконец, перед судьями следующее, хотя не относящееся к настоящему предмету: «Известен вам Аристид, сын Лисимаха, столь много уважаемый греками. Что вы думаете о его домашних обстоятельствах, видя его показывающимся на площади в таком старом и изношенном плаще? Не вероятно ли, что тот, кто при всех дрожит от холода, в доме своем терпит и голод и недостаток во всем потребном? При всем том Каллий, богатейший из афинян, которому Аристид есть ближний родственник, оставляет его в такой нужде с женой и детьми, хотя Аристид во многом услужил ему, хотя от вашей к Аристиду благосклонности он получил великие выгоды». Каллий, видя, что судьи от этих слов более шумели и негодовали, нежели от других обвинений, призывал Аристида и просил свидетельствовать перед судьями, сколько раз давал ему и просил его

принять пособие, но он всегда отказывался, отвечая, что ему пристало более гордиться своею бедностью, нежели Каллию богатством; что можно найти многих, которые употребляют хорошо и дурно свое богатство, но нелегко найдется человек, который бы великодушно терпел бедность; что только те стыдятся бедности, кто беден против своей воли. Аристид подтвердил слова эти; не было никого из слушателей, который бы, оставляя Собрание, не хотел лучше быть бедным, как Аристид, нежели богатым, как Каллий. Так пишет о том Эсхин, ученик Сократа. Изо всех почитавшихся в Афинах великими и знаменитыми Платон одного этого мужа считал достойным уважениями, ибо Фемистокл, Кимон и Перикл наполнили Афины великолепными зданиями, деньгами и другими ненужными предметами; Аристид один в управлении своем имел целью добродетель.

Великим доказательством кротости его есть поступок его с Фемистоклом. Тот был ему врагом во все время своего управления; через него Аристид был изгнан. Когда Фемистокл, преследуемый народом, подал ему случай к отмщению, то Аристид не вспомнил причиненного ему зла. Алкмеон, Кимон и многие другие гнали и хотели погубить Фемистокла; один Аристид не сказал и не сделал против него ничего; он столь же мало веселился несчастьем своего врага, сколь прежде завидовал ему в счастье.

Касательно смерти Аристида: одни говорят, что он умер в Понте, куда отплыл по делам республики; другие же – в Афинах, в старости лет, почитаемый и обожаемый согражданами. Македонянин Кратер о смерти его говорил следующее: по изгнании Фемистокла возникло в народе, сделавшемся уже надменным, множество ябедников, которые, преследуя лучших и сильнейших мужей, подвергали их зависти народа, упоенного своим счастьем и силой. Между прочими и Аристид был изобличен во взяточничестве Диофантом из дема Амфитропа, который обвинял его в получении денег от ионийцев, когда он собирал подати. Не будучи в состоянии заплатить пеню, состоящую из пятидесяти мин, Аристид оставил Афины и окончил дни свои в Ионии. Но Кратер* в доказательство этого не приводит ничего писанного – ни решения суда, ни постановления народа, хотя он обо всем подобном имеет обыкновение говорить с осторожностью и представлять свидетельства писателей. Все те, кто описал нам поступки афинского народа к полководцам своим, как-то: изгнание Фемистокла, оковы Мильтиада, пеню на Перикла, смерть Пахета*, который умертвил сам себя в суде, будучи приговорен к смерти, – и кто собрал и предал потомству подобные сему случаи, упоминают и об остракизме Аристида, но нигде не говорят о наложенной на него пене*.

Притом показывается в Фалерах и гробница его, сделанная общественным иждивением, ибо Аристид не оставил денег по смерти себя похоронить. О дочерях его говорят, что они выданы замуж государством, что город обязался сделать издержки и определить каждой в приданое три тысячи драхм. Лисимаху, сыну его, народ дал сто мин серебра и столько же плефров земли, усаженной деревьями; сверх того, по предложению Алкивиада, определил ему по четыре драхмы на день*. Каллисфен говорит, что оставшейся после Лисимаха дочери его Поликрите народ определил давать на содержание то же самое, что победителям на Олимпийских играх*. Деметрий Фалерский, Иероним Родосский, музыкант Аристоксен и Аристотель (если книгу «О благородстве» должно полагать в числе настоящих его сочинений) повествуют, что Миртол, внучка Аристида, жила в доме Сократа, который имел другую жену, но взял ее к себе, ибо она, будучи вдовою, претерпевала крайнюю бедность и недостаток. Панетий достаточно опровергает все их мнения в книге своей о Сократе.

Деметрий Фалерский в своей книге под названием «Сократ» говорит, что помнит некоего Лисимаха, внука Аристида по дочери, человека весьма бедного, который, сидя при храме Иакха, содержал себя толкованием снов на некоторых таблицах. Он предложил народу и убедил его назначить матери его и сестре ее по три обола в день. Известно также, что Деметрий, составляя законы, определил давать каждой из них по одной драхме. Впрочем, нимало не удивительно, что народ так заботился о тех, кто был в самом городе, ибо, узнав некогда, что одна из внучек Аристогитона находилась в Лемносе в бедном состоянии и по причине своей нищеты не выходила замуж, вызвал ее в Афины, выдал замуж за одного из лучших граждан и дал в приданое поместье в Потаме. Афины и в наши времена показали многие примеры человеколюбия и благодетельности, чем приобрели ото всех достойную славу и удивление.

Марк Катон

Марк Катон был, как говорят, родом из Тускула. До вступления своего в военное и гражданское поприще он проводил жизнь свою в отцовских поместьях в области сабинской. Хотя его предки, по-видимому, были люди неизвестные, однако Катон сам прославляет Марка, отца своего, как человека доброго и храброго воина; а о прадеде своем Катон говорит, что не раз был удостоен награждения за храбрость, что, потеряв в сражениях пять военных коней, получил плату из казны общественной за свою доблесть. Римляне обыкновенно называют «новыми людьми»* тех, кто не славен родом своим, но начинает быть известным благодаря собственным заслугам. Так они называли и Катона, но Катон говорил, что он нов в начальстве и славе, делами же и добродетелями праотцов своих был весьма древен. Сперва назывался он третьим именем своим – Приском*, а не Катоном; впоследствии прозвание Катона дано ему за его прозорливость, ибо римляне называют Катусом человека многоопытного. Что касается до его вида, то он был рыжеват, с серыми глазами; довольно удачно доказывает это сочинивший следующую эпиграмму:

И мертвого Катона,
Власами рыжего и серого глазами,
Который всех колол обидными словами,
Не хочет в ад принять царица Персефона.

Приучив себя с детства к телесным трудам, к воздержанию и к походам, Катон имел сложение тела ко всему способное, крепкое и здоровое в равной мере. Дар слова – как второе тело, как орудие, необходимое в похвальных намерениях человеку, который желает жить не в низком состоянии и в бездействии, – образовал он и предуготовлял, говоря всегда в окрестных городах и селениях в пользу тех, кто просил его помощи. Сначала казался он ревностным только защитником в судах; впоследствии явил себя искусным оратором. Те, кто имел с ним дело, вскоре открыли в нраве его некоторую важность и величие духа, способные к делам великим и к государственному управлению. Не только сохранял он себя чистым от мздоимства в судах и тяжбах, но, казалось, не почитал важной и саму славу, происходящую от подобных занятий. Желая более всего ознаменовать себя походами и битвами с неприятелями республики, еще в отроческих летах имел все тело, покрытое ранами, полученными от неприятелей. По собственному уверению его, будучи семнадцати лет*, в первый раз находился он в походе, в то время когда Ганнибал, торжествуя, опустошал и поджигал Италию. В сражениях рука его была сильна; ноги тверды и непоколебимы; лицо страшно. Против врагов он употреблял грозные речи и суровый голос; он был уверен и научал в том других, что эти действия более меча поражают ужасом противников. В походах он ходил пешком, неся сам свои оружия; за ним следовал с запасами один служитель. Говорят, что никогда он не бранил его и не был на него в досаде за обед или ужин, им ему предлагаемый; что сам ему помогал и большей частью вместе с ним готовил кушанье по окончании военных упражнений. Находясь в войске, он не пил ничего, кроме воды, – только в жажде просил уксусу* или, при уменьшении сил от трудов, немного вина.

Недалеко от поместья его был сельский дом Мания Курия*, трижды удостоившегося триумфа. Катон часто туда ходил, смотрел на малое пространство места, на простоту дома и размышлял о сем муже, который, будучи величайшим из римлян, покорив самые воинственные народы и выгнав из Италии Пирра, сам копал малую землю и жил в тесном доме после трех триумфов. Здесь посланники самнитские нашли его, когда он, сидя пред огнем, жарил репу, и предлагали ему великое количество золота. Курий отослал их, сказав: «Кто может довольствоваться сим ужином, тот не имеет нужды в золоте. Мне кажется, славнее побеждать тех, кто имеет золото, чем самому его иметь». Раздумывая обо всем этом, Катон возвращался домой, вновь осматривал свой дом, свои поля, своих служителей и свой образ жизни и еще более предавался работе и уменьшал излишества.

Когда Фабий Максим покорил город Тарент, то Катон, будучи еще очень молод,

находился под его начальством. Он остановился в доме некоего пифагорейца Неарха и приложил старание узнать учение его. Услышав от него речи, какие употребляет и Платон, называя удовольствие величайшей приманкой зла, тело – первым бедствием души, которая освобождается и очищается только размышлением, отделяющим и отвлекающим от нее все страсти телесные, Катон еще более от слов его прилепился к простоте и воздержанию. Впрочем, говорят, что он греческую ученость узнал очень поздно и только достигнув старости начал читать греческие книги, что получил некоторую пользу от Фукидида, но еще более от Демосфена, которые послужили к усовершенствованию его в красноречии. Все сочинения его украшены мнениями и примерами, почерпнутыми из означенных книг; многое переведено им слово в слово в его изречениях и нравственных мыслях.

Валерий Флакк, один из благороднейших и сильнейших в республике мужей, был человек, способный познавать возникающую добродетель, склонный питать ее и руководствовать к славе. Его земли были смежные с землями Катона. Узнав через служителей о его трудолюбии и простой жизни, к удивлению своему, он услышал от них, что Катон поутру шел на форум и предстательствовал в судах тем, кто в нем имел нужду; что, возвратившись в свое поместье, в зимнее время надев эксомиду*, а в летнее без нее обрабатывал землю со своими работниками и за одним столом с ними ел того же хлеба и пил того же вина. Они говорили ему о его снисходительности и умеренности, пересказывали ему некоторые острые слова его. Валерий велел звать его к ужину. С этого времени он начал с ним обращаться дружески и открыл в нем свойства кроткие и приятные, подобно растению, требующие старания и открытого места, побудил и уговорил его ехать в Рим и вступить в общественные дела. Катон отправился туда и речами своими в судах сам приобрел много почитателей и друзей, между тем как Валерий помогал ему в достижении почестей и силы; он сделан был сперва трибуном, потом квестором. Таким образом, сделавшись уже славным и знаменитым, он домогался уже вместе с Валерием величайших достоинств; вместе с ним возведен был в консулы, а потом и в цензоры.

Катон сблизился с Максимом Фабием, который был из числа старейших граждан, мужем знаменитейшим и имевшим великую силу; жизнь и нравы его он поставил лучшим образцом для себя. По этой причине не усомнился он объявить себя противником Сципиону Старшему, который был тогда еще молод, но противодействовал силе Фабия, завидовавшего, казалось, его славе. Катон, будучи определен квестором при Сципионе во время войны в Ливии, видя, что полководец жил с обыкновенным великолепием и щедро раздавал деньги воинам, смело его обличал; он говорил, что «не деньги важны, но важно то, что Сципион развращает отечественную простоту воинов, которые, имея денег больше, нежели сколько им было нужно, предаются неге и наслаждениям». Сципион отвечал, что не имеет нужды в квесторе, столь исправном, будучи несом к воинам на вздутых парусах, и что обязан дать отчет республике в деяниях своих, а не в деньгах. Катон после того оставил Сицилию и вместе с Фабием кричал в сенате, что Сципион расточает несчетное количество денег и ребячески проводит время в палестрах и театрах, как будто бы отправлял празднества, а не предводительствовал войском. Этим произвел он то, что посланы были трибуны для приведения Сципиона в Рим, если обвинения оказались бы справедливыми. Но Сципион, показав им верную победу в великих военных приготовлениях, дал им заметить, что ему приятно на досуге провождать время со своими друзьями и что забавы и удовольствия не производили в нем небрежения к важным и великим занятиям. После этого отплыл он в Ливию.

Между тем сила Катона, происходящая от его красноречия, более и более возрастала; многие уже называли его римским Демосфеном, но образ жизни его был еще славнее и знаменитее. В то время красноречие было общим предметом стараний и честолюбия молодых римлян. Те, кто обрабатывал бы своими руками землю по примеру отцов своих, кто любил бы умеренный ужин, завтрак, приготовленный без огня, простую одежду и жилище незавидное, кто более считал, что достойнее не иметь нужды в лишнем, нежели иметь лишнее, – те были уже весьма редки. Тогда республика по причине своей великости не сохраняла уже прежней чистоты в нравах, управляя великими делами и многими народами, она смешивалась с разными нравами и обычаями и принимала многоразличные примеры. По этой причине справедливо все удивлялись Катону, видя, как другие утомлялись от трудов и изнеживались от наслаждений,

между тем как он пребывал тверд в трудолюбии и непобедим наслаждениями не только в молодых летах своих и в жару честолюбия, но в самой старости и в сединах, после консульства и триумфа, подобно победоносному подвижнику, который не оставляет обыкновенного порядка своих упражнений и сохраняет оный до конца своей жизни. Катон говорит, что никогда не носил платья дороже ста драхм; что, будучи квестором и консулом, пил то самое вино, какое пили его работники; что к ужину покупал на рынке мяса на тридцать ассов, – и все это делал из любви к республике, дабы тело его было крепко и способно к походам; что доставшееся ему в наследство многоцветное покрывало вавилонской работы тотчас велел продать; что ни один из сельских домов его не был отштукатурен; что никогда не купил раба дороже тысячи пятисот драхм, не желая иметь рабов нежных и красивых, но крепких и рабочих, дабы они пеклись о его лошадях и волах. Когда они состаривались, то, по его мнению, надлежало их продавать и не кормить без пользы*. Вообще он думал, что все излишнее не должно почитать дешево купленным и что за все то дорого заплачено, в чем не имеет нужды, хотя бы стоило один ассарий. Он приобретал охотнее земли, на которых можно сеять хлеб и пасти скот, нежели те, которые должно орошать и очищать*.

Одни почитали все это мелочностью; другие полагали, что он ограничивал себя таким образом в пример другим и для исправления их. Только, по моему мнению, изгонять в старости рабов из дому, продавать их, извлекши из них всю пользу и употребив как скотов, – это обнаруживает душу жестокую и суровую, которая думает, что человек с человеком не может иметь другой связи, других отношений, кроме нужды и выгоды. Напротив того, мы видим, что благость и милосердие занимают место пространнее, нежели справедливость. Мы созданы так, что законы и справедливость употребляем только с человеками; кротость душевная, как бы богатый источник человеколюбия, разливается благодеяниями и благодарностью иногда и на самых бессловесных животных. Добрый человек обязан кормить лошадей, которые не способны более к работе, и иметь попечение не только о щенках, но и о старых псах своих. Народ афинский, соорудив храм, названный Гекатомпед, освободил от работы и послал пастись всех лошаков, в которых примечена особенная терпеливость и трудолюбие. Один из лошаков сам приходил к работе, бегал вместе с другими лошаками, везшими на акрополь телеги, шел всегда впереди их, как будто бы поощрял и побуждал их к работе. За это определено было содержать его до самого конца на общественном иждивении. Близ памятника Кимона есть гроб коня, который трижды победил на Олимпийских играх. Многие погребли псов, которых воспитали и держали при себе; между прочими и знаменитый Ксанфипп похоронил на мысе, который и поныне называется Киноссема, или «Песий памятник», собаку, которая плавала в Саламин за кораблем в то время, когда афиняне оставили город свой при наступлении персов. Неприлично нам употреблять то, что имеет чувство, как обувь или как вещи, которые бросаем, как скоро износятся или изотрутся от частого употребления. Если не для чего-то другого, то, по крайней мере, в интересах человеколюбия должно обходиться с ними кротко и милосердно. Что касается до меня – не продал бы я за старостью и быка, работавшего на моей земле, не то что человека старого прогнать от себя, удалить от места, где он жил, и от привычного рода жизни, – и то за малое количество денег! – тогда, когда он будет столь же бесполезен покупающим, как и продающим. Однако Катон как будто бы гордился этими поступками, говорит, что оставил в Иберии и коня своего, на котором он ездил верхом в походах во время своего начальства, дабы республике не ставить в счет платы за перевоз оного из Иберии в Италию морем. Великодушию ли приписать сие должно или низости – пусть о том всякий судит по внушению своего рассудка.

Впрочем, за воздержание свое этот муж достоин чрезвычайного удивления. Во время претуры своей получал он для себя и для своих служителей на месяц пшена не более трех аттических медимнов, а на день для своих лошадей – менее трех полумедимнов овса. Ему досталось по жребию управление Сардинии. Предшественники его имели обыкновение получать шатры, ложа и платья от городов и обременяли жителей многочисленной прислугой, множеством друзей, большими издержками на пиршества и другие приготовления. Напротив того, Катон своею простотой явил невероятную перемену; он не требовал ни на что никаких общественных издержек; в города приходил пешком без колесницы, сопровождаемый только одним общественным служителем, который носил одежду и чашу для возлияний при

жертвоприношениях. Хотя показывал он себя таким образом столь простым и невзыскательным к подчиненным своим, но в других случаях заставлял их чувствовать свою важность и строгость. Он был неумолим в оказании правосудия, тверд и точен в исполнении приказаний республики, так что для жителей Сардинии римское владычество не было никогда страшнее, ни любезнее, как при Катоне.

Кажется, сама речь его имела такое свойство: он был вместе приятен и силен, сладостен и разителен, шутлив и суров, исполнен важных мыслей и способен к беседе и прению. Так Платон говорит, что Сократ казался на первый взгляд грубым, насмешливым и колким, но в самом деле был исполнен мудрых мыслей и наставлений, которые извлекали слезы из глаз и смягчали сердца слушателей. По этой причине не понимаю, для чего некоторые уподобляют слог Катона Лисиевому. Но это пусть разбирают те, кто лучше может чувствовать слог в римских писателях, а я приведу здесь несколько кратких достопамятных изречений Катона; по моему мнению, из слов гораздо более, нежели по лицу, как некоторые думают, можно узнать свойство человека.

Катон, желая некогда отклонить народ римский от требуемой им не вовремя раздачи пшена, начал речь свою следующими словами: «Граждане! Тяжело говорить желудку, не имеющему ушей».

Некогда в речи против роскоши сказал: «Нелегко спастись городу, в котором одна рыба продается дороже быка*».

В другой раз он уподоблял римлян овцам. «Как овцы, – говорил он, – не повинуются порознь, а все вместе следуют за пастухом, так и вы, когда все вместе, то бываете управляемы такими людьми, которых часто не захотели бы вы иметь своими советниками».

Рассуждая о власти женщин над римлянами, он сказал: «Все люди управляют женщинами; всеми людьми управляем мы; а нами управляют женщины». Но это изречение кажется заимствовано из достопамятных слов Фемистокла. Когда сын его давал ему многие приказания посредством своей матери, то Фемистокл сказал ей: «Я управляю Афинами; ты мною; тобою же сын наш; итак, пусть он умеренно употребляет власть свою, по которой при всей своей глупости он могущественнее всех греков».

Катон уверял, что не только разным родам пурпура дают цену римляне, но и различным искусствам и знаниям. «Как красильщики, – говорил он, – ту краску употребляют, которая более нравится, так и молодые люди стараются научиться тому, что может приобрести вашу благосклонность».

Увещевая римлян, часто говаривал: «Если вы добродетелью и воздержанием сделались великими, то не перерождайтесь в худшее; если же пороками и невоздержанием вы достигли такого величия, то переменитесь к лучшему, ибо уже довольно вы велики».

О тех, кто часто старался получать новые достоинства, говорил Катон, что они, как бы не зная дороги, всегда хотят иметь перед собою ликторов, дабы не заблудиться. Он порицал народ за то, что одних и тех же людей часто избирали начальниками. «Вы тем доказываете, – говорил он, – или что мало уважаете начальство, или что немногих почитаете достойными начальства».

Говоря об одном из своих неприятелей, который проводил жизнь постыдную и бесчестную, Катон сказал: «Его мать почитает проклятием, а не благословением оставить его на земле по себе».

Некто продал отцовское имение, лежавшее при море; Катон, показывая его, притворно удивлялся ему, как бы почитал его могущественнее самого моря. «Ибо, – говорил, – что море с трудом наводняло, то этот легко проглотил».

Когда Эвмен, царь пергамский, приехал в Рим*, то сенат принял его с великими почестями и первые граждане наперерыв старались изъявить ему свое уважение. Катон явно подозревал и остерегался его. Некто сказал ему, что государь добр и любит римлян. «Пусть так, – отвечал Катон, – но царь есть животное, от природы своей плотоядное». Также говорил он, что ни один из славнейших царей не может сравниться ни с Эпаминондом, ни с Периклом, ни с Фемистоклом, ни с Манием Курием, ни с Гамилькаром, прозванным Баркой.

Он говаривал, что неприятели его завидуют ему за то, что встает ежедневно перед рассветом и, не радея о собственных делах своих, занимается общественными; что для него лучше не получать награды за хорошее дело, нежели не быть наказану за дурное; что всем

другим прощает вины, кроме себя.

Римляне избрали трех посланников для отправления их в Вифинию; из них один страдал подагрой; у другого была впадина в голове, ибо череп был у него трепанирован; а третий почитался глупым. Катон, смеясь над ними, говорил, что римляне отправили посольство, не имеющее ни ног, ни головы, ни сердца.

Сципион из уважения к Полибию просил его принять сторону изгнанных ахейских граждан*. В сенате долго было рассуждаемо об этом деле; одни позволяли им возвратиться в свое отечество, другие тому противились. Катон восстал и сказал: «Как будто бы мы не имели другого дела, сидим целый день, рассуждая о том, нашими или ахейскими могильщиками будут зарыты в землю несколько греческих стариков». Когда изгнанникам позволено было возвратиться в свое отечество, то по прошествии нескольких дней Полибий прилагал старание опять войти в сенат и испросить для изгнанников тех же самых достоинств, какие имели прежде. Он желал узнать о том мысли Катона, но тот, усмехнувшись, сказал: «Полибий, ты не следуешь примеру Одиссея, но хочешь опять войти в пещеру Полифема, забыв в оной шляпу и пояс!»

Катон говаривал, что благоразумные более получают пользы от безрассудных, нежели безрассудные от благоразумных, ибо благоразумные стараются избегать погрешностей безрассудных, безрассудные же не хотят следовать хорошим их деяниям.

Говорил он также, что более любит юношей краснеющих, нежели бледнеющих, что не имеет нужды в воине, который двигает руками, когда ходит, ногами – когда сражается, и громче храпит, нежели кричит при нападении.

Издеваясь некогда над весьма тучным человеком, сказал: «Какую пользу может принести отечеству тело, которое от горла до низа занимается брюхом?»

Некто из сластолюбивых людей искал его знакомства. Катон отказал ему, говоря, что не может жить с человеком, которого нёбо чувствительнее сердца.

Он говорил, что душа влюбленного обитает в чужом теле.

Он признавался, что три раза в жизнь свою имел случай раскаиваться: во-первых, что поверил тайну жене своей, во-вторых, что ездил морем там, где можно ехать сухим путем, и, наконец, что пропустил один день для составления завещания.

Некогда сказал он старику дурных свойств: «Друг мой! Старость сама по себе имеет много безобразного, не прибавляй к ней безобразия порока».

Некоторый трибун, который был обвиняем в отравлении ядом человека, предлагал дурной закон и хотел утвердить его насильственно. «Молодой человек, – сказал ему Катон, – не знаю, что хуже: пить ли то, что подносишь, или утверждать то, что предлагаешь».

Будучи хулим человеком, проводившим жизнь беспутную и порочную, Катон сказал ему: «Между нами битва неравная – ты слышишь хулы равнодушно и произносишь их легко; мне и хулить неприятно, и слышать хулы необычно».

Вот какого свойства суть достопамятные его изречения!

Катон был избран в консулы вместе с другом своим Валерием Флакком и получил по жребию ту область, которую римляне называют «Испанией по эту сторону»*. Между тем как многие народы он покорял оружием или привязывал к себе силой слов своих, был неожиданно окружен многочисленным войском варваров и находился в опасности позорного отступления. По этой причине Катон просил помощи соседственных кельтиберов*. Они требовали за вспоможение двести талантов. Всем казалось несносным, чтобы римляне обещали варварам награду за вспоможение. Но Катон сказал, что в том нет ничего постыдного, ибо, одержав победу, заплатят им деньгами не своими, но отнятыми у побежденных; а если потерпят поражение, некому будет платить и некому требовать платы. Он одержал в том сражении* совершенную победу и во всем имел блистательные успехи. Полибий пишет, что Катон велел в один день срыть стены всех городов, находившихся по эту сторону реки Бетис*; их было великое число; все наполнены были воинственными людьми. Катон сам говорит, что покорил более городов, нежели провел дней в Иберии. Это не хвастовство, если подлинно их было четыреста.

Хотя воины его много приобрели в том походе, однако он дал сверх того каждому по фунту серебра, сказав, что лучше многим римлянам возвратиться домой с серебром, нежели

немногим с золотом. О себе говорит, что из добычи ничего ему не досталось, кроме того, что съел или выпил. «Впрочем, я не порицаю тех, – говорил он, – которые хотят пользоваться в таких случаях, но я лучше хочу состязаться с добродетельными в добродетели, нежели с богатыми в богатстве и с сребролюбивыми в сребролюбии». Не только себя, но и приближенных своих удерживал от взяток. В походе имел он при себе пять служителей; один из них, по имени Паккий, купил трех мальчиков из числа пленных. Когда это дошло до сведения Катона, то Паккий повесился прежде, нежели предстал перед ним. Катон продал мальчиков и внес полученные деньги в общественную казну.

Он находился еще в Иберии, как Сципион Старший, будучи его неприятелем и желая остановить его успехи и взять командование в свои руки в войне иберийской, достиг наконец того, что был избран преемником Катона в управлении той области. Он отправился туда как можно скорее, дабы отнять власть у Катона. Но тот, взяв пять когорт тяжелой пехоты и пятьсот конных вожатаями, покорил племя лацетанов* и умертвил шестьсот пойманных беглых. Когда Сципион резко упрекнул его, то Катон ответил с некоторой колкостью, что Рим тогда будет могуществен, когда знаменитые и великие граждане не будут уступать незначащим людям награды за храбрость и если простолюдины, каков он, будут состязаться в храбрости с теми, которые родом и славою превышают их. Поскольку же сенат определил не делать никакой перемены во всем том, что Катон учредил в сей области, то начальство унизило славу более Сципиона, нежели Катона, так как время оного проведено было Сципионом в совершенном бездействии и без всяких предприятий. Катон, получив почести триумфа, не ослаб в добродетели и не умалил оной, подобно тем, кто не столько состязается в добродетели, сколько в славе и кто, достигнувши величайших почестей, получив консульство и триумф, проводит уже остальную жизнь в бездействии и забавах и удаляется от дел общественных. Подобно тем, кто в первый раз приступает к делам, жаждет почестей и славы, Катон был готов услужить друзьям и согражданам своим и не отказывал им в помощи ни в походах, ни в тяжебных делах.

Когда консул Тиберий Семпроний начальствовал во Фракии и на Истре*, то Катон находился при нем в звании легата. Будучи трибуном, он отправился в Грецию с Манием Ацилием против Антиоха Великого, который после Ганнибала устрашил римлян более всех. Антиох завладел почти всеми областями Азии, какие имел Селевк Никатор*, покорил себе многие и воинственные варварские народы и в упоении гордости своей стремился вступить в бой с римлянами, почитая уже их одних противниками, достойными себя. Под благовидным предлогом – возвратить вольность грекам, которые не имели в ней нужды, ибо сделаны были незадолго пред тем вольными и независимыми от Филиппа и македонян по благодеянию римлян, – Антиох вступил в Грецию с войском. Греция волновалась и была в недоумении, обольщенная демагогами надеждою на царя Антиоха.

Маний послал посланников в разные города. Тит Фламинин*, как сказано в его жизнеописании, без шума укротил народы и удержал их от новых перемен. Катон утвердил в союзе с римлянами коринфян, патрейцев и эгийцев*. В Афинах пробыл он очень долго. Говорят, что существует речь, произнесенная им перед народом афинским на греческом языке, в которой он превозносит добродетели древних афинян и говорит, что с великим удовольствием увидел красоту и обширность их города. Но это ложно; он говорил с афинянами через переводчика, хотя мог сам изъясниться на греческом языке, но, пребывая тверд в отечественных обычаях, смеялся над теми, которые любили и уважали все греческое. Он шутил над Постумием Альбином, который написал «Историю» на греческом языке и просил у читателей своих извинения. Катон сказал: «Должно извинить его, если он был принужден написать оную по приговору амфиктионов». Уверяют, что афиняне удивлялись быстроте и краткости его речи; то, что он говорил в кратких словах, переводчик объяснял долго и пространно. Вообще он полагал, что слова у греков исходят из уст, а у римлян – из сердца.

Антиох, заняв Фермопильский проход своим войском и оградив валами и стенами места, природой укрепленные, стоял спокойно, думая, что отклонил оттоле войну к другим местам. Римляне не имели никакой надежды вытеснить его спереди. Но Катон, приведши себе на память, как некогда персы обошли узкий проход и обступили греков*, отправился ночью из стана с отрядом войска. Едва поднялись они на высоты, как пленник, который служил им провожатым, потеряв дорогу, заблудился в местах скалистых и непроходимых. Воины впали в

уныние и страх. Катон, находясь в опасном положении, велел им остаться на месте и ожидать его; взяв же с собою некоего Луция Манлия, человека, весьма искусного лазить по горам, в глубокую безлунную ночь шел далее с великою смелостью и многими трудами, ибо дикие оливы и высокие скалы ставили преграды зрению и умножали темноту. Наконец нашли тропинку, которая, как они думали, вела вниз к стану неприятельскому; они поставили некоторые знаки на скалах, которые виднее других возвышаются на горе Каллидром*; потом возвратились назад; взяли воинов, привели их к поставленным знакам и, достигши тропинки, шли по оной. Не успели несколько пройти, как тропинка исчезла, и они нашли перед собою пропасть. Недоумение и страх вновь ими овладели. Они не могли ни видеть, ни знать, что находились близко от неприятелей. Между тем день рассветал; показалось одному из воинов, что он слышал некоторый голос, а вскоре потом – что видел греческий вал и передовую стражу под скалой. Катон велел войску тут остановиться и призвал к себе одних фирмийцев*, на верность которых и усердие всегда полагался. Они все вкупе прибежали, окружили его, и Катон сказал им: «Мне нужно поймать живого одного из неприятелей и узнать, кто эти передовые стражи, сколь велико их число, каково их расположение, устройство, приготовления, с которыми нас ожидают. Ваше дело – захватить его со скоростью и смелостью, полагаясь на которые и львы, хотя безоружные, нападают на робких зверей». Едва Катон произнес эти слова, как фирмийцы устремились вниз по горам и неожиданно напали на стражей, привели их в расстройство, рассеяли и, схватив одного воина с оружиями, привели его к Катону. Он узнал от него, что прочее войско занимает проход вместе с царем и что только шестьсот отборных этолийцев охраняют высоты. Тогда Катон, презрев малое число и неосторожность их, первый обнажил меч свой и повел на неприятеля воинов своих при звуке труб и при громких восклицаниях. Как скоро этолийцы увидели, что они несутся по скалам, то убежали к большему войску и исполнили всех смятения и страха.

Между тем Маний с другой стороны нападал на укрепления и пробирался сквозь узкий проход со всей своей силою. Антиох, получив в рот удар камнем, который вышиб ему зубы, поворотил назад свою лошадь по причине сильной боли. Ни одна часть войска его не выдержала нападения римлян. Хотя непроходимые и неприступные места затрудняли бегство, ибо воины, скользя, падали в глубокие болота и на крутые скалы, однако, рассыпаясь на оные через узкие проходы и толкая друг друга, сами были причиной своей погибели, страшась ударов неприятельского меча. Катон был всегда, по-видимому, не скуп на похвалы самому себе. Он не воздерживался от явного самохваления, почитая оное следствием великих деяний. Но о событиях того дня говорил всегда в самых пышных выражениях, уверяя, что увидевшие, как он преследовал и поражал неприятелей, признавались, что Катон ничем столько не был обязан народу, сколько Катону народ; что сам консул Маний, горящий еще от сражений, обнял его, также горящего, долго держал в объятиях своих и в радости своей кричал, что ни он, ни весь народ римский не могут воздать Катону наград, достойных его заслуг. Тотчас по окончании сражения послан он был в Рим самовестником своих подвигов*. Он переправился счастливо в Брундизий; отсюда в Тарент добрался за один день; по четырехдневном путешествии в пятый день прибыл от моря в Рим и первый возвестил о победе. Город исполнился радости и жертвоприношений, а граждане высоких о себе мыслей, ибо они видели, что могли уже обладать спокойно морем и землей.

Вот почти все отличнейшие из военных дел Катона. Касательно внутреннего управления республики: кажется, что изобличать перед судом и обвинять дурных людей почитал он делом достойным немалого внимания. Многих он сам преследовал судом и помогал многим, преследовавшим других. Так он содействовал Петилию, нападавшему на Сципиона*. Но Сципион, полагаясь на знаменитость своего рода и на истинное свое величие, попирал ногами все обвинения. Катон, не успев осудить его на смерть, более его не беспокоил, но вместе с другими доносчиками обратился на брата его Луция, осудил его к внесению денежной пени в общественную казну. Луций, не будучи в состоянии заплатить, находясь в опасности быть скованным, с трудом освободился, лишь обратившись к трибунам*. Говорят, что Катон некогда встретил молодого человека, который шел с форума по окончании тяжбы, успев предать бесчестью неприятеля умершего отца своего. Он обнял его и сказал: «Вот какие жертвы надлежит приносить теням умерших родителей своих! Не агнцев и козлят, но слезы врагов и

осуждение!»

Впрочем, и он в управлении не был свободен от обвинений. Неприятели его не пропускали случая, чтобы не нападать на него и не преследовать судом. Говорят, что до пятидесяти раз был он обвиняем судом и что было ему уже восемьдесят шесть лет, когда подана на него последняя жалоба. При этом сказал он известное слово, что, проживши век свой с одними людьми, тяжело оправдывать себя перед другими.

Впрочем – этим не кончились его судебные прения, ибо по прошествии еще четырех лет он преследовал судом Сервия Гальбу*; ему было тогда девяносто лет; и так он, подобно Нестору, почти дожил до третьего поколения людей, проведши всю жизнь в общественных делах; как нами сказано, Катон во многом противился Сципиону Великому в управлении и дожил до времен Сципиона Младшего, который был усыновленный внук старшего и сын Павла Эмилия, победившего Персея и завоевавшего Македонию.

Катон искал цензорства по прошествии десяти лет после консульства своего. Цензорское достоинство есть верх всех достоинств и некоторым образом совершение всего гражданского поприща. Сверх власти, какой пользуются цензоры, они имеют надзор над нравами и поведением сограждан. Римляне были уверены, что не должно оставлять без рассмотрения и внимания, на произвол каждому и по его желанию ни брака, ни рождения детей, ни образа жизни, ни самых пиршеств. Они думали, что во всех случаях более, нежели в открытых народных делах, видны свойства человека. Дабы никто не был увлечен удовольствиями, не преступал отечественных нравов и обыкновенного рода жизни, избирали они блюстителями нравов, исправителями и наставниками граждан – двух так называемых цензоров, одного из патрициев, другого из плебеев. Они имели власть лишать всадника коня и исключать из сената того, кто жил невоздержанно и непристойно, имели надзор над имениями граждан, оценивали оные и составляли описи гражданам, различая род и состояние каждого. Сверх того с достоинством этим сопряжена великая сила.

По этой причине исканию Катона противились почти все известнейшие и знаменитейшие сенаторы. С одной стороны, патриции были мучимы завистью, видя, что люди, сначала неизвестные, восходили на верх почестей и силы, – они почитали то совершенным оскорблением своего благородства; с другой – те, кто чувствовал дурноту своего поведения и от отечественных нравов уклонение, страшились строгости сего мужа, которая, будучи сопряжена с властью, долженствовала быть сурова и неумолима. Итак, согласившись между собой, они противостояли Катону в искании этого достоинства – семь соперников, которые льстили народу и подавали ему «добрые» надежды, как будто бы нужно ему было управление кроткое, к угождению его клонящееся. Напротив того, Катон, не оказывая ни малейшего снисхождения, грозя злым явно с трибуны, кричал, что город имеет крайнюю нужду в великом очищении; представлял гражданам, что если они благоразумны, то должны избрать врача не самого снисходительного, но самого строгого, каков он, а из патрициев один Валерий Флакк, с которым только он мог надеяться произвести что-либо полезное, сразить и пожечь, как гидру*, изнеженность и роскошь. Он говорил при том, что каждый из его соперников спешит получить дурными средствами сию власть, боясь тех, кои стали бы управлять хорошо и справедливо. Народ римский был поистине столь велик и столь достоин иметь великих правителей, что не убоялся суровости и строгости сего мужа. Отвергши тех, кто был слишком снисходителен и хотел во всем поступать к угождению его, избрал он Флакка вместе с Катоном и повиновался ему не так, как человеку, ищущему начальства, но как начальствующему и повелевающему им.

Катон назначил председателем сената* друга и товарища своего Луция Валерия Флакка; из сената же выключил многих, между прочими и Луция Квинтия, который за семь лет перед тем был консулом; славнее же самого консульства было то, что Тит Фламинин, победивший Филиппа, был ему брат. Причиной изгнания было следующее. Луций взял к себе одного отрока по причине красоты его, имел всегда при себе и в самых походах оказывал ему столько почестей и давал столько власти, каких не имел при нем ни один из первых его друзей и родственников. Во время управления своего консульской провинцией отрок сей, лежа по обыкновению за пиршественным столом, осыпал его ласкательствами, которые охотно слушал предавшийся вину Луций; между прочим отрок сказал ему: «Я столь сильно люблю тебя, что хотя в Риме давали гладиаторское зрелище, которого прежде я не видал, однако поспешил к

тебе приехать, несмотря на желание видеть убиваемого человека». Луций, оказывая ему взаимные ласки, отвечал: «Не печалься, находясь со мною, я помогу этому». Он велел привести к пиршеству одного из осужденных на смерть и ликтора с секирой и спросил вновь у своего любимца, хочет ли видеть убиваемого человека. Отрок объявил свое желание, и Луций велел отрубить голову осужденному. Вот как многие рассказывают об этом происшествии, и Цицерон в разговоре о старости заставляет Катона таким же образом оное рассказывать. Но Ливий говорит, что умерщвленный был беглец из галлов, что Луций не другому велел умертвить его, но сам собственными руками отрубил ему голову и что так об этом описано в речи Катоновой.

По исключении Луция из сената Катоном брат Луция, не стерпя такого бесчестия, прибегнул к народу и требовал от Катона, чтобы он объявил причину, для чего исключил его. Катон описал перед народом упомянутое пиршество Луция; Луций хотел отпереться; когда же Катон призывал его поклясться, то тот отказался. Все почли изгнание из сената Луция наказанием, достойным его преступления. По прошествии некоторого времени Луций в театре, пройдя мимо места, назначенного для тех, кто были консулами, сел на другое место, далеко от первого, и тем склонил к жалости народ, который кричал и принудил его пересесть на прежнее место, утешая его и облегчая по своей возможности случившееся с ним несчастье. Катон исключил из сената и Манилия – мужа, который надеялся вскоре получить консульство, – за то, что он поцеловал жену свою в присутствии дочери. Касательно себя Катон уверял, что жена никогда не обнимала его, как только во время грозы. «Я блаженствую, – говорил он шутя, – когда гремит Юпитер».

Впрочем, Катон был порицаем и за то, что лишил коня Луция – мужа, удостоившегося триумфа, Сципионова брата. Казалось, что поступком этим он ругался над Сципионом Африканским.

Но более всего он огорчил многих других тем, что уменьшил роскошь. Прямо искоренить ее было невозможно, ибо число ею зараженных и испорченных было уже весьма велико. Катон употребил постороннее средство: платья, колесницы, женские убранства, домашние вещи, стоившие выше пятисот драхм, заставлял он ценить вдесятеро более, дабы чем дороже были оценены вещи, тем более платили с них пошлин. С каждой тысячи денариев назначил он взимать по три асса, дабы склонные к роскоши расставались с ней, будучи обременяемы налогами и видя, что те, кто вел жизнь простую и умеренную, платили в казну менее, хотя имели столько же доходов. Итак, на него досадовали те, кто был обременен этими налогами по причине своей роскоши; досадовали и те, кто отказался от нее по причине налогов. Обыкновенно большая часть людей почитает лишением богатства препятствие выказывать оное. Они выказывают богатство не теми вещами, которые необходимы, но теми, которые излишни. Философ Аристон справедливо удивляется тому, что почитаются блаженными более те, кто владеет излишним, нежели те, кто имеет изобилие в необходимом и полезном. Когда некто из друзей фессалийца Скопада* просил у него чего-то не весьма нужного для него, говоря, что не просит у него ничего полезного и необходимого, то Скопад отвечал: «Однако этими-то – бесполезными и лишними – вещами я счастлив и богат». Вот как желание богатства не сопряжено ни с какою природною страстью, а придано нам извне от простонародных и ложных мнений.

Катон, нимало не внемля ничьим жалобам, становился еще строже. Он уничтожил трубы, которыми общественную воду отводили в дома и сады частных лиц; разрушал частные здания, которые выдавались в улицы; ограничил плату за строения, предприемлемые на иждивении общественном, и возвысил общественные откупы до самых крайних цен. Все это произвело к нему великую ненависть. Тит Фламинин и его сообщники восстали против него и в сенате уничтожили, как бесполезные, все условия, заключенные им для восстановления священных и общественных зданий, побудили самых дерзких трибунов призвать Катона перед народ и взыскать с него два таланта пени. Они весьма много противились сооружению базилики, которую он предпринял построить общественным иждивением на форуме под сенатом и которую назвал он Порциевой базиликой*.

Но народ, кажется, отлично одобрил распоряжения, учиненные им во время цензорского его достоинства, ибо, воздвигши ему кумир в храме богини Здоровья, не означил на нем ни полководства, ни триумфа Катона, но вырезал надпись следующего содержания: «Катон,

будучи цензором, исправил и восстановил Римскую республику, клонящуюся к падению и к худшему, хорошими постановлениями, мудрыми учреждениями и наставлениями». Катон прежде смеялся над теми, которые любили подобные почести; он говорил, что они не примечают того, что всю славу свою полагают в произведениях живописцев и ваятелей, но что граждане носят в душах своих впечатленные прекраснейшие его изображения. Когда некто удивлялся тому, что многим неславным людям воздвигнуты были кумиры, а ему нет, то Катон сказал: «Для меня приятнее, чтобы спрашивали, для чего мне не воздвигнули кумира, нежели для чего воздвигнули». Вообще он не хотел, чтобы добрый гражданин терпел похвалы, если то не сопряжено с пользой обществу. Однако никто столько себя не хвалил, как он, и когда порицали кого-нибудь за его поступки, то Катон обыкновенно говаривал: «Не должно его бранить, ибо он не Катон». Тех, кто старался подражать ему в некоторых деяниях, но подражал неискусно, называл он левыми, то есть «неловкими Катонами». Он говорил, что сенат в смутные времена смотрел на него, как мореходы во время плавания на кормчего, что нередко в отсутствие его самые важные дела были отлагаемы. Это свидетельствуется и другими: он имел в республике великую важность по причине образа жизни, способности говорить и своей старости.

Он был хорошим отцом, добрым супругом и недурным хозяином и почитал домоводство немаловажным и непрезрительным делом, которым не надлежало заниматься только мимоходом. По этой причине почитаю нужным говорить здесь о том, что стоит быть упомянуто. Он женился на женщине более благородной, нежели богатой, ибо думал, что благородные и богатые равно горды и высокомерны; но что первые, стыдясь того, что бесчестно, более повинуются мужьям своим во всем том, что прекрасно и благопристойно. Он говаривал, что кто бьет жену или детей своих, тот наносит руку на то, что всего в свете священнее, что он более полагал славы в том, чтобы быть добрым мужем, нежели великим сенатором, что ничему не удивлялся в древнем Сократе столько, сколько тому, что тот, имея злую жену и безрассудных детей, обходился с ними всегда кротко и снисходительно.

Когда родился у него сын, то никакое нужное занятие, кроме общественного, не удерживало его, чтобы не быть при жене своей, когда она мыла и пеленала ребенка. Мать кормила его сама. Часто она давала свою грудь детям своих рабов, дабы произвести в них к своему сыну привязанность тем, что одним молоком с ним были вскормлены. Когда дитя начинало уже понимать, то Катон учил его грамоте сам, хотя имел раба весьма образованного и ученого, по имени Хилон, который учил многих других детей. Но Катон, как сам говорит, не хотел, чтобы раб бранил его сына или драл за уши под тем предлогом, что он худо учился, ни быть обязанным рабу за столь важное учение. Сам учил его грамматике, законам, упражнениям телесным. Не только он учил его метать копье, сражаться в оружиях, ездить верхом, но еще драться на кулаках, терпеть жар и холод, переплывать реку там, где она быстрее и стремительнее. Он говорит, что сочинил и написал сам своею рукой, большими буквами историю, дабы дитя еще дома приобрело опытность, познакомившись с древними отечественными происшествиями. Он так остерегался произносить непристойные слова перед своим сыном, как перед священными девами, называемыми весталками. Никогда не купался вместе с ним – это было общее обыкновение римлян, у которых тесть с зятем никогда не купались вместе, стыдясь наготы. Римляне в свою очередь научили греков впоследствии мыться нагими вместе с женщинами. Таким образом Катон учил и образовал в добродетелях сына своего. Он не находил в нем нималого недостатка в усердии, душа молодого Катона повиновалась во всем по причине хороших ее свойств, но тело его не столько было способно к перенесению трудов. Катон несколько смягчил строгость и суровость в образе его жизни. Несмотря, однако, на телесную слабость, сын его был храбр и славно отличился в сражении с Персеем под предводительством Павла Эмилия. Когда ж выпал из руки его меч, как от удара неприятельского, так и оттого, что рука его была мокра, то молодой Катон в великой горести прибегнул к друзьям своим, собрал их и тотчас напал на неприятелей. После великих трудов и усилий, осветив место сражения, с трудом нашел меч свой под грудами оружий и тел мертвых, своих и неприятельских. Павел Эмилий весьма уважил поступок юноши. Есть и письмо Катона к сыну своему. В нем Катон чрезвычайно выхваляет его честолюбие и старание об отыскании меча. Впоследствии юноша женился на Терции, дочери Павла и сестре Сципиона; он

удостоился такого родства за добродетели свои не менее как и за отцовские. Таким образом, попечение Катона об образовании своего сына имело последствия, какие заслуживало.

Катон обыкновенно покупал много пленников, особенно же малолетних, которые, подобно щенкам и молодым коням, были способнее получить воспитание и учение, какое он хотел им дать. Никто из них не ходил в чужой дом, не будучи послан Катоном самим или его женою. Когда их спрашивали, что делает Катон, то рабы отвечали только: «Не знаем». Рабу в доме надлежало или работать, или спать. Катон любил тех, кто спал, ибо думал, что они смирнее и тише тех, которые не спали, и что ко всему можно употребить лучше тех, кто выспался, нежели тех, которые хотят спать. Зная, что рабы делают дурные дела из любви к женщинам, он позволил им за известное количество денег иметь связь с домашними рабынями, но запретил знаться с чужими.

В начале, пока был он беден и служил в походах, не делал затруднения употреблять в пищу что попало и почитал постыдным бранить служителей ради утробы. Но впоследствии, при умножающемся благосостоянии, угощая друзей своих и товарищей в управлении, после стола немедленно наказывал ремнем рабов, которые были нерадивы в исполнении своего дела. Он всегда старался, чтобы между служителями был некоторый раздор и ссора, боясь их согласия, как подозрительного. Когда кто-нибудь из них проступком своим заслуживал смертную казнь, то Катон хотел, чтобы он был судим и по изобличении казнен в присутствии других рабов.

Занявшись весьма тщательно приумножением доходов своих, почитал он земледелие более забавою, нежели прибыточным упражнением. Он употреблял деньги свои на то, что приносило верный доход: приобретал озера, теплые воды, места, нужные валяльщикам, плодородную землю с пастбищами и лесами. Все это приносило ему много денег, и сам Юпитер, как говорил он, не мог им вредить. Он занимался и самым ненавистным лихоимством, называемым «морское», которое производил следующим образом. Занимающие должны были составлять товарищество с многими другими. Когда число товарищей простиралось до пятидесяти и имели такое же число кораблей, то Катон брал одну часть посредством Квинктиона, отпущенника своего, который отправлялся с заемщиками и торговал вместе с ними. Этим средством он подвергал опасности не все, но малую часть своих денег и получал великие выгоды. Он давал денег в долг и рабам своим. Они покупали мальчиков, обучали их его же издержками и продавали по прошествии одного года. Многих из них оставлял Катон у себя, платя самую большую цену, какую за них давали другие. Для побуждения сына своего к занятиям такого рода он говорил ему, что одним вдовам, а не мужчинам прилично уменьшать свое имение. Но то уже слишком сильно, что он осмелился назвать удивительным и божественным того человека, который к доставшемуся ему имуществу прибавил более того, что получил.

Катон был уже стар, когда из Афин прибыли в Рим посланниками платоник Карнеад и стоик Диоген, дабы упросить римлян освободить народ афинский от пятидесяти талантов пени, которая наложена была на него постановлением сикионян за неявку к суду по жалобе граждан Оропа*. Молодые люди, любившие учение, ходили к этим мужам, слушали их и удивлялись им. Всего более Карнеад, которого приятность соединена была с силой и которого слава не уступала самой силе, имея слушателями многих знаменитых и добродетельных римлян, подобно вихрю наполнил город слухом о себе; всюду говорили, что грек, одаренный удивительным и чрезвычайным умом, все прельщая и покоряя себе, влил в души молодых людей сильную любовь к познаниям, которая заставляла их бросать все другие удовольствия и забавы и с исступлением прилепляться к любомудрию. Это нравилось другим римлянам; они с удовольствием взирали, что молодые люди предавали себя познаниям, в которых греки отличались, и искали сообщества с людьми, заслужившими общее уважение. Но Катон оказывал свое неудовольствие с самого начала, как эта охота к учению распространилась в городе; он боялся, чтобы честолюбие юношей не обратилось к сему предмету и чтобы они не предпочли славы, происходящей от силы речей, той, которая приобретается делами и походами. Между тем слава мужей возрастала в Риме. Когда же первые речи в сенате их перевел на латинский язык знаменитый сенатор Гай Ацилий, сам изъявив желание и испросив на то позволение, то Катон решился наконец под благовидным предлогом, выпроводить всех

философов из города. Придя в сенат, он выговаривал правителям в том, что посольство, состоящее из людей, которые во всем, чего захотят, могут убедить, пребывает столь долго в Риме без всякой нужды, что должно немедленно сделать решение и постановление о них, дабы они, обратившись к своим училищам, разговаривали с сынами греков, а римские юноши по-прежнему слушали законы и управляющих.

Он поступил таким образом не из ненависти к Карнеаду, как говорят некоторые, но будучи врагом философии и полагая свое честолюбие в том, чтобы презирать греческих муз и греческую ученость. Он говорил, что Сократ не что иное, как пустой говорун и беспокойный человек, старавшийся какими бы то ни было средствами сделаться тиранном своего отечества, ниспровергая отечественные постановления, обращая граждан к мнениям, противным законам. Шутя над долговременным учением Исократа, он говорил, что ученики состаривались при нем, как будто бы в царстве мертвых перед Миносом надлежало им употребить свое знание и говорить судебные речи. Дабы сыну своему внушить отвращение к греческой учености, голосом громким и более грозным, нежели как его лета позволяли, как будто бы вдохновенный богом и пророчествуя, говорил: «Погибнет могущество римлян, как скоро они предадутся греческим наукам!» Но время доказало недействительность зловещего предсказания, ибо республика достигла высочайшей степени могущества тогда, когда римляне предались греческим наукам и всякому роду учености. Катон не только ненавидел греческих философов, но и самих врачей греческих, находившихся в Риме, почитал подозрительными. Он знал, по-видимому, ответ, данный Гиппократом царю персидскому, который призывал его к себе, обещая много золота, – что никогда не предаст себя варварам, воюющим с греками. Катон уверял, что подобную клятву произносят все врачи, и советовал сыну беречься всех их. Он говорил, что сочинил записки, как лечить и содержать больных в доме; что никого из них не оставлял никогда долго без пищи, но кормил зеленью, мясом утиным, или заячьим, или дикого голубя, ибо все это легко и полезно для больных, но только причиняет много снов тем, кто оное ест, что употребляя такой способ лечения и такую диету, был сам всегда здоров и своих сохранял здоровыми.

Впрочем, касательно последнего: хвастовство его не осталось без наказания, ибо лечением своим потерял он и жену и сына. Сам он, будучи от природы сложения крепкого и здорового, содержал себя долго в хорошем состоянии, так что и в глубокой старости любил женщин. Он соединился браком с девицей, которая была не по его летам, по следующей причине. По смерти жены своей он женил сына на дочери Павла и сестре Сципиона. Сам, будучи вдов, допускал к себе рабыню, которая тайно к нему приходила. В малом доме, в котором была молодая супруга, это не могло быть долго сокрыто. Однажды случилось, что служанка прошла с некоторой дерзостью мимо комнаты молодого Катона. Он не сказал ничего, но взглянул с неудовольствием и отвернулся. Не укрылось от взоров Катона это движение. Узнав, что молодые супруги негодовали по этому поводу, он не жаловался, не упрекал им, но, идучи поутру на площадь, по обыкновению окруженный толпою друзей, призывает некоего Салония, бывшего при нем некогда писцом, который находился в числе провожавших его, и спрашивает у него громко, не обручал ли кому дочери своей. Салоний отвечал, что о том и не подумает, не просивши прежде его совета. «Но я нашел тебе хорошего зятя, – продолжал Катон, – лишь бы дочери не был противен по причине возраста его. В нем нет ничего дурного, да слишком уже стар». Салоний просил Катона иметь о дочери попечение и выдать ее за кого ему угодно, ибо она под его покровительством и имеет нужду в его благосклонности. Катон без дальнего отлагательства объявил ему, что он требует дочери его себе. Такое предложение сперва, как легко понять можно, изумило Салония, который думал, что Катон столь же далек от брака, сколь он сам от соединения родством с домом, удостоившимся консульства и триумфа. Но видя, что Катон требовал этого, он принял предложение, потом они пришли на площадь и дали тотчас слово друг другу. Между тем как делаемы были приготовления к браку, молодой Катон пришел к отцу своему с родственниками и спросил у него, не досада или неудовольствие на него заставляет дать ему мачеху. Катон громким голосом сказал: «Боже сохрани, сын мой! Все поступки твои мне приятны и ничем упрекать тебя не могу, но я желаю иметь более детей и оставить отечеству больше граждан таких, как ты». Известно, что еще прежде Писистрат, тиранн афинский, сказал то же самое, когда, имея взрослых детей, женился на аргивянке

Тимонассе, которая родила ему Иофонта и Фессала.

Катон от второй жены имел сына, которого прозвал Салонием в честь матери. Старший сын его умер претором. Катон часто упоминает в книгах своих о нем как о человеке весьма добром. Говорят, что он перенес несчастье спокойно, с философской твердостью и что от того нимало не охладел жар его к общественным делам. Почитая долгом своим служить всегда отечеству, не уставал он от исполнения обязанности по причине старости, подобно как впоследствии Луций Лукулл и Метелл Пий или как прежде Сципион Африканский, который, возненавидя народ по причине зависти, восставшей против славы его, переменил образ жизни и дни свои окончил в бездействии. Как некто советовал Дионисию почитать тираннию лучшим украшением при своем погребении*, так Катон почитал лучшим занятием старости общественные дела; свободные же минуты посвящал отдохновению и забавам, сочинению книг и земледелию.

Он написал книги о разных предметах и сочинения исторические*. Будучи еще молод, занимался земледелием по нужде, ибо, как сам говорит, не имел он тогда других доходов, кроме земледелия и бережливости. Но в старости сельскими делами занимался он для препровождения времени для опытов. Он сочинил книгу о земледелии, в которой, между прочим, дает наставление, как печь пироги и как беречь плоды на весь год, желая во всем быть сведущим и отличным от других. Обыкновенно за городом стол его был обильнее. Он звал всегда на ужин соседних и окрестных знакомых и весело проводил с ними время. Обхождение его было приятно и занимательно не только для сверстников его, но и для молодых людей – как по причине великой его опытности во многих делах, так и потому, что сам видел и от других слышал много любопытного и достойного примечания. Он думал, что стол есть одно из лучших средств, могущих связать дружбой людей. За столом его превозносимы были отличные и храбрые граждане; дурные и бесчестные предавались забвению. Катон ни хулою, ни похвалою не подавал случая упоминать о них за столом.

Последнее из государственных дел его, как думают, есть разрушение Карфагена. По самой истине делу этому положил конец Сципион Младший, но война начата по мнению и совету Катона. Поводом к оной было следующее.

Катон послан был к карфагенянам и нумидийскому царю Масиниссе*, воевавшим между собой, дабы разобрать причины их раздора, ибо Масинисса с самого начала был другом римского народа, карфагеняне же тогда были в мире с ним после победы, одержанной над ними Сципионом, который унизил их уменьшением их могущества и обременительным налогом*. Катон нашел Карфаген не так разоренным и не в такой крайности, как полагали римляне; но, напротив того, в хорошем состоянии по причине великого множества юношей, исполненным несчетного богатства, разного рода оружий и военных приготовлений и немало гордящихся ими. Все это заставило Катона думать, что не время разбирать и устраивать дела нумидийцев и Масиниссы и что, если заблаговременно не завладеть городом, издавна враждебным и злобствующим, который возвысился до невероятности, то римляне вновь будут находиться в равных опасностях. Он возвратился немедленно и представил сенату, что прежние поражения и бедствия карфагенян не столько уменьшили их силу, сколько их безрассудность и что римляне сделали их, может быть, не бессильнее, но опытнее в войне, что нумидийская война есть приготовление к сражениям с римлянами, что ожидают удобного к тому случая, называя миром и договорами лишь отсрочку войны.

Говорят также, что Катон, развернув тогу, нарочно вывалил из нее в сенате ливийские фиги; все удивлялись прекрасному виду их и величине, и Катон сказал им: «Земля, производящая такие плоды, не более трех дней плавания отстоит от Рима!» Но то уже слишком сильно, что он каждый раз, как предлагал о чем-либо свое мнение, приговаривал: «Притом я мню, что Карфаген истребить должно!» Напротив того, Публий Сципион, прозванный Назикой, всегда оканчивал свои мнения, говоря и утверждая: «Мне кажется, что Карфаген оставить должно». Кажется, что Сципион, – видя народ, впадающий в великие погрешности по причине надменности своей, видя, что счастье и высокомерие делали его непокорным сенату и необузданным, что силой своею он наклонял всю республику туда, куда увлекало его стремление, – Сципион хотел страхом карфагенян, как уздою, укрощать наглость народа. Он думал, что карфагеняне не столь сильны, чтобы одержать верх над римлянами, и не столь

слабы, чтобы быть презираемы. Это самое беспокоило Катона, что над народом, исступленным от великого счастья и по причине своей власти делающим ошибку за ошибкой, висел, так сказать, город, всегда могущественный, в настоящее же время отрезвленный и исправленный несчастьями. По его мнению, надлежало сперва уничтожить внешние опасности и страх республики, дабы потом исцелить внутренние ее раны. Этими представлениями, говорят, Катон произвел третью и последнюю Пуническую войну.

Катон умер в самом начале войны. Предсказав, как бы по вдохновению, о муже, которому надлежало положить войне конец. Тогда он был еще молод и, служа трибуном при войске, оказывал в военных действиях отличную прозорливость и смелость. Когда о том получено было в Риме известие, то Катон сказал:

Вскоре Сципион* своими делами доказал справедливость этого предсказания.

Катон оставил по себе сына, прозванного Салонием, от последней жены и одного внука от первого сына. Салоний умер претором, а сын его удостоен был консульства*. Салоний* был дедом философа Катона, мужа, добродетелью и славою превосходившего всех своих современников.

Сравнение Аристида с Марком Катоном

Описав то, что всего достопамятнее в этих двух мужах, когда сравним всю жизнь одного со всей жизнью другого, то нелегко найдем разностей, ибо они теряются во многих и великих сходствах. Если сравним одного с другим по частям, как поэму или живопись, кажется, что общее между обоими то, что добродетелью и способностями своими достигли они высочайшей силы и власти и без других предварительных средств.

Однако мы находим, что Аристид сделался знаменит тогда, когда Афины не были столь могущественны, а народные вожди и полководцы были состояния посредственного и равного, ибо первое отделение граждан состояло из людей, получавших пятьсот медимнов пшена, второе – из всадников, получавших триста, третье и последнее – из получавших двести, которые назывались зевгиты. Но Катон, уроженец малого города, из сельской жизни, пустил себя, как в беспредельное море – в управление, которое не было уже делом Куриев, Фабрициев и Атилиев, когда республика не допускала, чтобы правители ее и начальники, бедные, сами возделывавшие землю, оставя соху и заступ, всходили на трибуну; когда уже привыкла с удовольствием смотреть на знаменитые роды, на богатства, на раздачи денег, на честолюбивые домогательства сограждан, ибо народ по причине высокомерия и силы своей охотно унижал тех, кто просил начальства. Не равно было иметь соперником Фемистокла, родом не знатного и состояния умеренного (ибо говорят, что имение его состояло в трех или пяти талантах, когда он в первый раз вступил в управление республики), – и состязаться о первенстве со Сципионами Африканскими, Сервиями Гальбами, Квинтиями Фламининами, не имея другой себе подпоры, кроме голоса, смело защищающего правду.

Сверх того Аристид во время Марафонского, впоследствии же и Платейского сражений был избран десятым полководцем, но Катон был избран вторым консулом, хотя многие искали сего достоинства, и вторым цензором, одержав верх над семью знаменитейшими главными соперниками. Аристид притом не был первым ни в котором славном деле; Мильтиад имел первенство в Марафонском сражении, Фемистокл в Саламинском, и, как Геродот говорит, в Платейском Павсаний одержал славную победу. У Аристида же оспаривают и второе место всякие Софаны, Аминии, Каллимахи и

Кинегиры, славно отличившиеся в оных подвигах. Но Катон не только во время консульства своего был первым в Иберийской брани как разумом, так и храбростью, но, будучи трибуном при Фермопилах под предводительством другого, приобрел себе всю славу победы, открыв широкие врата римлянам для нападения на Антиоха; и между тем как царь видел войну перед собою, Катон перевел ее в тыл. Эта победа – блистательное произведение Катона – из Европы прогнала Азию и дала Сципиону возможность перейти в Малую Азию.

В сражениях оба они были непобедимы, но в гражданском управлении Аристид побежден – будучи изгнан происками Фемистокла. Катон имел противоборцами своими почти всех сильнейших и величайших из римлян и, до самой старости препираясь с ними, подобно атлету,

сохранил себя непоколебимым. Он многократно был обвинен перед народом и всегда оправдывал себя; многих обвинил сам и иных изобличил, имея силу слова в качестве действенного оружия защиты и нападения; и этому дару справедливее, нежели счастью или гению-хранителю, можно приписать то, что он ничего не претерпел против своего достоинства. Так Антипатр, говоря о философе Аристотеле после его смерти, свидетельствует, что сверх других достоинств он обладал даром убеждать.

Все согласны в том, что человек не может приобрести добродетели выше политической. Немаловажной частью оной полагают многие экономику, ибо город или общество, будучи собранием домов или семейств, укрепляется и возрастает в силе частным благосостоянием граждан. И Ликург, изгнавший золото и серебро из Спарты и введший монету из железа, испорченного огнем, не освободил граждан от домоводства – он отсек излишество богатства, как часть в теле распухшую и гниющую, и тем самым лучше всякого другого законодателя заботился, чтобы граждане имели в изобилии все нужное и полезное. В общественной жизни более боялся он гражданина бедного и недостаточного, нежели богатого и напыщенного своим имуществом.

Из этого явствует, что Катон не хуже управлял домом своим, как и республикой. Он сам умножил свое имение, сделался для других наставником в домоводстве и земледелии, собрав много полезного об этом предмете. Но Аристид бедностью своею заставил обвинять справедливость, как свойство, разорительное для дома и доводящее до нищеты, полезное более всем другим, нежели тому, кто оное приобрел. Однако Гесиод*, побуждая в одно и то же время к домоводству и справедливости, много о том говорит и порицает бездействие и праздность – начало всякой несправедливости. Прекрасно сказал Гомер*:

Не милы мне пруды, не мило домоводство,
Питает что детей и чем они цветут.
Люблю лишь корабли, что бурны волны рвут,
Приятны битвы мне, и копия, и стрелы.

Из этих слов явствует, что не радеющие о домашнем хозяйстве наживаются несправедливостью. Масло, по уверению врачей, весьма полезно в наружных болезнях и весьма вредно во внутренних; справедливый человек не должен, подобно этому, быть полезным другим, а о себе и о делах своих не радеть. Поэтому кажется, что поведение Аристида недостаточно – особливо если то правда, как многие уверяют, что он не позаботился оставить по себе ни дочерям своим приданого, ни довольно денег, чтобы похоронить себя. Следствием стараний Катона было то, что дом его давал республике консулов и преторов до четвертого колена, ибо Катоновы внуки и дети их достигли высших достоинств. Но крайняя бедность потомков Аристида, первенствовавшего славою между греками, заставила одних быть гадателями и толкователями снов, других – простирать руки и просить милостыни; никому из них не позволила она предпринять что-либо великое и достойное этого великого человека.

Может быть, это подаст повод к распре: бедность постыдна отнюдь не сама по себе; разве тогда, когда есть следствием лености, невоздержания, расточительности, безрассудства. Но когда она сопровождает мужа целомудренного, трудолюбивого, правдивого, храброго, управляющего гражданством всеми добродетелями – она есть знак великодушия и высокого духа. Невозможно производить великие дела, заботясь о малых, ни оказывать помощи многим нуждающимся, имея сам нужду во многом. В управлении служит великим пособием не богатство, но самодовольство; человек, не имеющий нужды в лишнем, не отвлекается нимало от занятия делами общественными. Бог один ни в чем не имеет нужды; совершенство же человеческой добродетели состоит в том, чтобы как можно более ограничивать нужды свои. Подобно как тело крепкого сложения не имеет нужды в лишнем платье и в лишней пище, так мудрый человек и здравомыслящее семейство довольствуются малым. Приобретение должно быть соразмерно употреблению; кто много собирает и мало пользуется, тот не может назваться довольным; он суетен, если будет заботиться о приобретении того, чего не желает; или он несчастлив, когда желает оного и из скупости не пользуется им. Я охотно бы спросил у Катона: «Если богатство должно употреблять, на что же гордиться тем, что, приобретши много,

довольствуешься малым?» И если похвально – и в самом деле таково! – употреблять хлеб, какой попадется, и пить вино, какое пьют работники и служители, не иметь нужды в пурпуровой мантии и выштукатуренном доме, то ни Аристид, ни Эпаминонд, ни Маний Курий, ни Гай Фабриций не преступали должности своей, не желая приобретения того, которого употребления они отвергали. Было ли необходимо человеку, которого лучшее кушанье составляли репы, им самим печеные, между тем как жена его сама месила хлеб, шуметь столько из-за одного асса и писать о том, какими занятиями можно себя скорее обогатить? Простота и самодовольство есть нечто великое и в одно время избавляют от желания и от заботы приобретать лишнее. И потому, как говорят, в судопроизводстве над Каллием Аристид сказал, что тем должно бедности своей стыдиться, которые бедны против воли, но те должны гордиться ею, кто подобен ему, беден по своей воле. В самом деле – было бы смешно бедность Аристида приписывать лености, когда мог он, не сделав ничего бесчестного, но сняв корысти с одного варвара или присвоивши себе один шатер, соделаться богатым. Но довольно об этом.

Полководство Катона не придало ничего великому могуществу римлян, которое было уже велико, но во время начальства Аристида произведены славнейшие, блистательнейшие и первые дела греческие – Марафон, Саламин, Платеи! Нельзя сравнить ни Антиоха с Ксерксом, ни разрушенные иберийских городов стены с такими тысячами на море и на суше погибших врагов. Во всех этих подвигах Аристид никому не уступал делами своими; славу и венцы, равно как богатство и деньги, оставил тем, кто больше, нежели он, имел в них нужду, ибо он во всем превосходил их. Я не порицаю Катона за то, что величал сам себя и ставил выше всех; хотя в одной речи своей говорит, что хвалить себя и поносить – равно непристойно. Но, по моему мнению, кто не имеет нужды, чтобы другие его хвалили, в добродетели совершеннее того, кто часто сам себя хвалит. Равнодушие к власти немало способствует к тому, чтобы быть кротким в управлении. Властолюбие, напротив того, ненавистно и рождает зависть, которой один совершенно избежал, а другой слишком на себя навлек. Аристид, содействуя Фемистоклу в важнейших предприятиях и сделавшись некоторым образом его телохранителем, восстановил Афины. Но Катон, противясь во всем Сципиону, едва не удержал и не уничтожил предприятия его против карфагенян, в котором он сокрушил силы непобедимого Ганнибала. Наконец, возбуждая против него подозрения и клеветы, он заставил его удалиться из Рима, а брата его Луция обвинил в позорном казнокрадстве.

Что касается до воздержания, которое Катон столько превозносит многими и прекраснейшими похвалами, – Аристид истинно сохранил его в совершенной чистоте. Но брак Катона, не приличный ни летам его, ни достоинству, наводит на него справедливое и немалое подозрение в неисполнении оного. Старику в таких летах, имевшему взрослого сына и невестку, жениться на дочери писца, служащего обществу наемником, вовсе непростительно. Но если он то сделал для удовольствия своего или в досаде мстил своему сыну из-за наложницы своей, то как предлог, так и самое дело, равно постыдны. Слова, которыми оправдывает себя, шутя над сыном своим, несправедливы. Когда бы он хотел родить таких же хороших детей, надлежало бы ему жениться ранее на женщине благородной, а не довольствоваться связью с женщиной бесстыдною, пока никто того не знал, а когда связь его обнаружилась, жениться на дочери не такого человека, с которым родство было бы похвально, но того, которого удобнее мог склонить к такому родству.

Филопемен и Тит

Филопемен

Клеандр, уроженец Мантинеи, человек первейшего роду и весьма сильный между своими согражданами, будучи принужден по случившимся с ним несчастьям оставить свое отечество, переселился в Мегалополь. К тому его побуждала более всего связь с Кравгисом, отцом Филопемена, мужем по всем отношениям знаменитым, который был его другом. При жизни Кравгиса Клеандр получал от него всякое пособие; по смерти его в благодарность за гостеприимство он воспитал сироту, сына его. Так Ахилл, по словам Гомера, воспитан

Фениксом. Филопемен, получив от него с самого начала благороднейшее и царское образование, имел успех во всем хорошем. Выйдя из детского возраста, был он предан попечению Экдема и Демофана, граждан мегалопольских, которые в Академии свели тесное знакомство с Аркесилаем* и более всех своих современников перенесли философию в деятельную жизнь и в управление общества. Они освободили свое отечество от насильственной власти Аристодема*, настроив тайно убийц к умерщвлению его; изгнали сикионского тиранна Никокла, подавши помощь Арату и, отправившись сами к киренцам, которых республика была в волнении и в беспокойствах, по просьбе ее граждан устроили ее лучшим образом и постановили хорошие законы. Они, между прочим, и занимались воспитанием Филопемена, образуя в нем с помощью философии общего благотворителя Греции. Как родители сына, рожденного в преклонных их летах, так Греция, произведши Филопемена после древних великих полководцев своих, возлюбила его более всех и с умножением славы его умножила и его силу. Некто из римлян, хваля Филопемена, назвал его последним из греков, ибо после него Греция не произвела ни одного человека, великого и достойного ее*.

Филопемен не был безобразен, как некоторые думают. Мы видим изображение его, и поныне хранящееся в Дельфах. То, что мегарская хозяйка, как рассказывают, не узнала его, произошло это от простоты его в одеянии и в обхождении. Женщина, известившись, что идет ахейский полководец, хлопотала и беспокоилась, приготовляя ужин, когда, по случаю, мужа ее не было дома. Приходит Филопемен, одетый в дурной плащ. Хозяйка думала, что это кто-либо из служителей его помогает ей в работе; Филопемен скинул плащ и стал рубить дрова. Между тем вошел муж и увидел его в таком занятии. «Что это значит, Филопемен?» – воскликнул он. «Ничего более, как то, что я получаю наказание за свой дурной вид*», – отвечал Филопемен дорическим наречием. Тит Фламинин, шутя над сложением тела его, сказал ему некогда: «У тебя, Филопемен, руки и ноги хороши, а брюха нет!» В самом деле – был он очень тонок в пояснице. Однако сею шуткою Фламинин намекал более на войско Филопемена, ибо он имел хорошую конницу и пехоту, но часто терпел недостаток в деньгах. Вот что рассказывают о Филопемене в ученых беседах.

Что касается до его свойств, то честолюбие его было не совсем очищено от распрей и гнева. Хотя принял он в образец себе более всех Эпаминонда и совершенно подражал ему в деятельности, благоразумии, равнодушии к богатству, но по причине упрямства и склонности к гневу не мог он сохранить в политических прениях кротости, терпения и снисходительности Эпаминонда и потому, казалось, был он способнее к военным, нежели к гражданским добродетелям. С самого детства показывал он любовь к военному состоянию и охотно учился всему тому, что полезно к войне, как-то: ездить верхом и сражаться вооруженным. Некоторые приятели его и наставники заметили в нем способность к борьбе и советовали ему заняться атлетикой. Филопемен спросил у них: не вредят ли сколько-нибудь атлетические упражнения военным? Они подтвердили, что тело борца и воина, равно как и образ их, во всем различны, что атлеты употребляют другую пищу и другие упражнения, нежели воины, что одни стараются умножить и сохранить крепость телесную долговременным сном, всегдашним пресыщением, движением и отдохновением в определенное время, что малейшая перемена, малейшее отступление от обыкновенного рода жизни для них опасно, что, напротив того, военному человеку надлежит быть знакомым с разными переменами и неправильностями в образе жизни и, что всего более, должно легко переносить голод и преодолевать сон. Филопемен, услышав это, не только отказался от атлетики и насмехался над нею, но впоследствии, будучи полководцем, оказывал к ней презрение и бесславил ее, сколько от него зависело, дабы вывести из употребления, как искусство, которое делало бесполезными к необходимым трудам самые крепкие тела.

Освободившись от учителей и наставников, находился он в походах, предпринимаемых гражданами его для грабежа и разорения Лаконии. Он первый всегда выступал в поход и последний возвращался. В свободное время укреплял он тело свое охотой или земледельческими трудами, стараясь придавать ему силу и ловкость. Он имел в двадцати стадиях от города прекрасное поместье, куда ходил каждый день после завтрака или ужина, бросался на какую ни попало постель, как простой работник, и отдыхал. Вставши поутру рано, работал вместе с другими в виноградных садах или орал землю плугом, потом возвращался в

город, где с друзьями и правителями занимался делами общественными. Получаемые в походах деньги употреблял он на лошадей, на оружие и на выкуп пленников, а имение свое старался приумножить земледелием – самым справедливым средством к обогащению! Он не только не почитал земледелия делом посторонним, но, напротив того, думал, что, кто не хочет брать чужого, тот должен приобретать свое собственное. Он охотно слушал философов и читал их сочинения, не все, но большей частью те, от которых мог извлечь пользу к приобретению добродетели. В Гомеровых сочинениях обращал он внимание на те места, кои возбуждают в душе храбрость. В особенности же он прилепился к сочинениям Эвангела* о тактике и истории об Александре Великом. Он думал, что учение должно обращать к делам, если не хотим учиться для препровождения времени или для бесплодного многословия. Занимаясь теорией тактики, он мало обращал внимания на чертежи, в книгах находящиеся, но испытывал правила тактики на местах. В походах он сам рассматривал и показывал своим товарищам наклонение мест, неровности полей, замечая, какие виды принимает фаланга и каким переменам подвержена при ручьях, или лощинах, или узких проходах, когда она должна разделиться и опять соединиться. Вообще кажется, что сей муж, более нежели сколько нужно было, пристрастился к военным действиям и войну почитал обширнейшим полем к обнаружению своей добродетели, неискусных же в оной презирал, как бесполезных.

Ему было тридцать лет, как Клеомен, царь лакедемонский, ночью напал неожиданно на Мегалополь*, вытеснил стражей, ворвался во внутренность города и занял площадь. Филопемен поспешил на помощь согражданам своим. Он сражался с отличным мужеством и смелостью, но не мог выгнать из города неприятеля, однако, некоторым образом, вывел из оного граждан. Сражаясь с преследующими его неприятелями, навлекая на себя Клеомена, он отступил после всех с великим трудом, лишившись коня и получив многие раны. Жители Мегалополя удалились в Мессену. Клеомен послал к ним вестника с объявлением, что он возвращает им область и город с имением. Граждане охотно принимали предложения и спешили возвратиться в город свой, но Филопемен противился их намерению и доказал им, что Клеомен не возвращает им города, но хочет себе приобрести, сверх города, граждан, дабы тем вернее владеть им, что он не в состоянии хранить необитаемые дома и стены и что безлюдье города принудит его из оного выйти. Этими представлениями отвратил он граждан от их намерения, а Клеомену подал повод разрушить и разорить большую часть города, взять богатую добычу и удалиться.

Царь Антигон*, выступив на помощь ахейцам против Клеомена, занявшего высоты при Селласии и все узкие проходы*, выстроился близ него с намерением на него напасть и вытеснить с позиции. Филопемен вместе со своими согражданами стоял в коннице, при которой была многочисленная пехота воинственных иллирийцев, которыми замыкалось ополчение. Им дано было приказание стоять спокойно до тех пор, пока с другого крыла, где находился царь, поднят будет на копье красный плащ. Но когда предводители предприняли иллирийцами вытеснить лакедемонян из их положения, между тем как ахейцы сохраняли свое место, так как им было приказано, то Евклид, брат Клеомена, приметя промежуток, оставшийся в неприятельском ополчении, послал поспешно самых легких воинов своих в обход, с приказанием напасть на иллирийцев с тыла и отрезать со всех сторон сей отряд, оставленный без конницы. Это было исполнено. Легковооруженные воины беспокоили и расстраивали иллирийцев; Филопемен, заметя, что нетрудно было напасть на них и что само обстоятельство указывало ему произвести этот маневр, сперва говорил о том царским военачальникам, но не мог их убедить; они даже презрели его, как человека безрассудного, ибо он еще не имел великой славы и столько у них доверия, дабы склонить их к сему важному делу. Филопемен, взяв своих сограждан, сам напал на неприятеля; легковооруженные воины сперва приведены были в расстройство, потом обратились в бегство с великой потерею. Желая еще более ободрить царских воинов и напасть со всевозможной скоростью на неприятеля, приведенного в страх, он сошел с лошади и пеший шел местами крутыми, пресекаемыми потоками и оврагами, в тяжелых доспехах, в броне, какую носят всадники, и сражался с великими усилиями и трудами. Он был поражен сквозь оба бедра метательным копьем. Рана была тяжела, хотя и несмертельна, острие копья прошло сквозь оба бедра. Филопемен, как будто бы скованный, сперва не знал, что делать; ремень, привязанный к метательному копью, чрезвычайно затруднял

извлечение его из раны. Присутствовавшие не смели коснуться его; между тем решительная минута сражения наступала; Филопемен пылал яростью и желанием сражаться; он начал шевелить и передвигать свои бедра с такою силой, что переломил дротик пополам и велел выдернуть куски порознь. Таким образом освободившись, он обнажил меч и сквозь первые ряды устремился на неприятелей. Он одушевил этим поступком храбрость сражавшихся и возбудил в них соревнование. Антигон, одержав победу*, спрашивал у своих македонян, для чего они двинули конницу без его приказания. Они оправдывали себя тем, что против воли своей принуждены были вступить в бой с неприятелем, ибо некий мальчишка из Мегалополя прежде сделал нападение. Антигон смеясь сказал: «Этот молодой человек произвел дело, достойное великого полководца!»

Этот случай, как можно было ожидать, приобрел великую славу Филопемену. Антигон желал иметь его в своей службе, предлагал ему военачальство и деньги; Филопемен отказался от всего потому наиболее, что чувствовал себя неспособным быть под начальством другого. Между тем, не желая провождать время в бездействии, он отплыл на Крит* для упражнения себя в военных делах. Долгое время занимался он там ратными действиями с людьми воинственными, искусными во всяком роде сражений, притом воздержными и привыкшими к строгому образу жизни. Он возвратился к ахейцам со славой и вскоре был назначен начальником всей конницы.

При вступлении в должность нашел он, что всадники имели лошадей дурных, какие только им попадались, и то когда надлежало идти в поход; что сами избегали походов и вместо себя посылали других; что они были равно неопытны и немужественны; что правители на это не обращали внимания по той причине, что всадники у ахейцев были в великой силе и большей частью во власти их были награды и наказания. Но Филопемен не убоялся их и не отстал от своего предприятия. Он объезжал города, возбуждал честолюбие в каждом из молодых людей порознь и наказывал тех, кои имели нужду в принуждении; частыми упражнениями, смотрами, ристаниями в местах, в которых более было зрителей, в короткое время влил в них чрезвычайную силу и бодрость и, что всего более в тактике, сделал легкими и быстрыми, приучил их не только поодиночке делать разные обороты и движения, но и целым отрядом, так что по удобности, с которой оный производил свои обороты, казался подобным одному телу, самопроизвольным побуждением движущемуся. Вскоре ахейцы на реке Лариссе* вступили в жаркое сражение с этолийцами и элейцами. Дамофант, начальник элейской конницы, выбежал впереди строя против Филопемена, который принял нападение, предупредил его, поразил копьем и поверг мертвого на землю. Как скоро Дамофант пал, то неприятели обратились в бегство. Филопемен славился уже тем, что силой руки не уступал никому из молодых, а благоразумием – никому из старейших полководцев; он равно был искусен и сражаться как простой воин, и предводительствовать войском.

Известно, что Арат первый возвысил и усилил Ахейский союз*, до того времени бывший в низком и презрительном состоянии. Он соединил города, прежде разделенные, и устроил правление кроткое и достойное греков. Подобно как в воде, если какие-либо малые тела начнут останавливаться, то уже другие, к ним идущие, будучи удерживаемы первыми, укрепляются и таким образом взаимно придают друг другу твердость и силу, так в то время, когда Греция была бессильна и города разделены одни от других, ахейцы, соединившись первые, частью помогая окрестным городам и освобождая их от тираннов, частью привлекая их к своему союзу своим согласием и образом правления, старались составить из всего Пелопоннеса одно политическое тело и одну силу. Пока еще Арат был жив, они укрывались под македонским оружием, искали милости Птолемея*, потом Антигона и Филиппа, которые вмешивались во все дела греческие. Но по вступлении в предводительство Филопемена ахейцы, будучи уже сами по себе столь сильны, что могли противостать могущественнейшим соперникам, перестали иметь чужих покровителей. Арат, будучи медлителен в действиях военных, произвел полезнейшие дела убеждением, кротостью своей, дружбой с царями, как сказано в его жизнеописании. Но Филопемен, будучи хороший воин, искусный действовать оружием, получив блистательные успехи и совершив славные подвиги в самых первых битвах, вместе с силой возвысил и дух ахейцев, которые привыкли с ним побеждать и иметь удачу почти во всех предприятиях.

Во-первых, он ввел новые перемены в военное устройство и в оружия, которые у ахейцев

были неудобны. Щиты их были весьма легкие по причине своей тонкости и так узки, что не покрывали тела, копья их были гораздо короче македонских сарисс. По своей легкости оные способны были поражать неприятелей издали, но, сошедшись с неприятелями, воины не могли действовать ими успешно. Ахейцы не умели выстраиваться отделенными отрядами, но действовали только фалангой, которая не выставляла ряда копий и не составляла ограды сомкнутых щитов, подобно македонской, и потому легко была расстраиваема и разбиваема. Филопемен научил и убедил их вместо легких и длинных щитов и коротких дротов употреблять щиты большие и македонскую длинную сариссу; покрывать себя шлемами, бронями и поножами и, отстав от действий беглых, требующих одной легкости и проворства, вступать в сражение с твердостью и постоянством. Убедив молодых людей вооружиться таким образом, во-первых, он одушевил их надеждой, что таким образом сделаются непобедимыми; потом дал лучшее направление роскоши и пышности их. Вовсе истребить суетную и безрассудную охоту, которой издавна они были заражены, к богатым одеждам, пурпуровым постелям и роскошным обедам, было уже невозможно. Филопемен начал обращать склонность их к нарядам, от бесполезных предметов к полезным и похвальным; он вскоре убедил всех ограничить ежедневные издержки, служащие к украшению тела и употреблять их к тому, чтобы показываться блистательнее и прекраснее в нарядах военных. Вскоре оружейные лавки наполнились золотыми и серебряными чашами и другими сосудами, назначенными в ломку; щитами, бронями, уздами коней, которые были вызолачиваемы и высеребриваемы. Ристалища были покрыты обучаемыми коням и молодыми людьми, которые упражнялись в верховой езде, нося военные доспехи; в руках женщин были видны шлемы и перья, которые они красили; всаднические и воинские плащи, которые они вышивали. Зрелище это, умножая бодрость, воспламеняло дух юношей, возбуждало смелость и презрение опасностей. Пышность и великолепие в других случаях склоняют к неге и приводят душу в расслабление, ибо чувства, как будто бы приятным щекотаньем, лишают рассудок своей силы. Но великолепие во всем, касающемся до войны, укрепляет и возвышает душу. Так Гомер изображает нам Ахилла* при воззрении на представленные очам его новые доспехи и оружия – пылающим от желания и нетерпения действовать ими. Украсив таким образом молодых людей, Филопемен заставлял их упражняться в военных движениях, они слушали его охотно и с усердием.

Им нравился военный строй, ибо, казалось им, ряды оного составляли ограду плотную, которую нелегко можно было разрушить. Оружия от привычки делались для них легкими и удобными; они носили и держали их с удовольствием по причине блеска и красоты их и горели желанием как можно скорее сразиться и показать неприятелям свою силу.

Ахейцы в то время вели войну с Маханидом*, тиранном лакедемонским, который, имея великие силы, злоумышлял против всего Пелопоннеса. Как скоро получено было известие, что он ворвался в Мантинею, то Филопемен выступил поспешно против него с войском. Обе стороны выстроились близ города, имея при себе многочисленное наемное войско и все свои собственные силы. Битва началась, и наемное войско Маханида разбило устроенных впереди ахейских стрельцов и тарентинцев*; но вместо того чтобы идти прямо на ахейцев и разбить тех, кто крепко еще стоял, он преследовал бегущих слишком далеко и прошел мимо ахейцев, которые сохраняли свое положение. Хотя Филопемен видел несчастье, при самом начале случившееся, хотя, казалось, все уже погибло и не было никакой надежды, однако притворялся, что пренебрегает этим и не почитает отчаянным свое положение. Между тем, заметив, что Маханид сделал ошибку, преследуя бегущих, что он отделился от фаланги и оставил пустое место позади себя, Филопемен не пошел к нему навстречу и не удержал его, устремленного на бегущих стрельцов, но дал ему пройти, и когда между ним и войском его был уже большой промежуток, то он повел своих воинов на лакедемонян, которых фаланга оставалась как бы открытой отовсюду. Он напал на нее сбоку, в такое время, когда она была без начальника и нимало не ожидала нападения, ибо лакедемоняне, видя Маханида преследующим легкое войско, думали, что совсем уже победили. Филопемен опрокинул их с великим кровопролитием; говорят, что на месте осталось более четырех тысяч человек; потом обратился он на Маханида, который возвращался из погони с наемным войском. Между ним и Маханидом был большой и глубокий ров, который отделял одного от другого; они оба туда стремились; один, чтобы перейти и убежать; другой – желая ему воспрепятствовать. Они не являли вида

сражающихся полководцев. Филопемен представлял искусного охотника, преследующего зверя, который по необходимости обратился к обороне своей. Наконец конь Маханида, который был силен и горяч, будучи с обеих сторон до крови шпорами исколот, хотел перескочить ров и, выставив вперед грудь, силился достать передними ногами другого края рва. Между тем Симмий и Полиен, которые в сражениях всегда находились при Филопемене и покрывали его щитами, прискакали к нему с обращенными на неприятеля копьями; однако Филопемен, предупредив их, подъехал к Маханиду и, видя, что его конь, поднимая голову, покрывал тело противника, несколько отклонил своего, схватил дрот, бросил его изо всей силы и пронзил насквозь тиранна, который упал с лошади. Ахейцы в память сего происшествия соорудили в Дельфийском храме медный кумир, представляющий Филопемена в этом положении. Они удивились как подвигу его, так и прозорливости и уму его в сражении.

Говорят, что во время Немейского торжества Филопемен был полководцем во второй раз. Он незадолго перед тем одержал победу в битве при Мантинее. Не будучи ни в чем занят по причине празднества, он показал собравшимся грекам свою фалангу убранною, производящую обыкновенные движения свои с быстротой и силой. После того он пришел в театр, где происходило мусикийское прение между играющими на гитаре, имея при себе молодых людей в воинских хламидах и пурпуровых нижних платьях; все они были сверстники и во цвете лет своих; к начальнику они оказывали великое уважение и являли юношескую бодрость и смелый дух после великих и славных подвигов, ими произведенных. В то самое время, как Филопемен вошел в театр с ними, певец Пилад, игравший на лире сочинение Тимофея «Персы», начал петь следующее:

Я вольностью-венцом Элладу украшаю.

Прекрасный голос певца, соответствовавший важности стиха, произвел то, что зрители со всех сторон обратили взоры свои на Филопемена и в великой радости плескали руками; казалось, что греки тогда надеждой вознеслись к древнему достоинству своему и доверенностью, их одушевлявшею, приблизились к прежнему величию духа.

Подобно коням, которые беспокоятся и мечутся, когда несут чужих, желая обыкновенных седоков, так войско ахейское в сражениях и опасностях унывало, когда предводительствовал ими другой, обращало взоры свои к Филопемену; при первом появлении его уже было бодро и деятельно и одушевлялось доверенностью к нему, ведая, что самые неприятели одному этому полководцу не смели смотреть прямо в лицо, но страшились славы его и великого имени. Самые дела доказали истину этого мнения. Филипп, царь македонский, будучи уверен, что как скоро Филопемена не будет в живых, то ахейцы опять будут ему покорны, послал тайно в Аргос людей для умерщвления его, но злоумышление его было открыто и Филипп навлек на себя негодование и ненависть греков. Беотийцев осаждали Мегары и надеялись вскоре покорить этот город; вдруг пронесся слух, впрочем ложный, что Филопемен близко и спешит на помощь осажденным; они оставили лестницы, уже к стенам приставленные, и убежали. Набис, после Маханида насильственно царствовавший над лакедемонянами, внезапно занял Мессену. Филопемен жил тогда частным лицом и не управлял никакими военными силами. Он всячески старался убедить Лисиппа, тогдашнего ахейского полководца, идти на помощь мессенцам, но Лисипп отказывался, говоря, что город уже погиб совершенно, ибо неприятель находился внутри его. Филопемен поспешил на помощь городу со своими согражданами, которые не дождались ни законного постановления, ни избрания полководца по постановлениям, но, повинуясь закону природы, последовали, как всегдашнему начальнику, тому, кто всех других превосходил разумом. Он уже находился недалеко от Мессены, как Набис, известившись о приходе его, хотя занимал город своими войсками, выступил другими воротами, не дождавшись его прибытия, и поспешно удалился со всей силой, почитая и то счастьем, когда б удалось ему убежать. Он в самом деле убежал, и Мессена была освобождена.

Таковы прекраснейшие дела Филопемена; что касается до вторичного отбытия его на Крит по просьбе гортинцев*, которые желали иметь его полководцем своим, то оное было осуждаемо, ибо он удалился от своего отечества в то время, когда оно претерпевало нападение от Набиса, или избегая битвы, или некстати желая приобрести славу в битвах с

иноплеменными. Однако в то время мегалополитанцы столько были войной притесняемы, что не выходили из стен своих и хлеб сеяли на улицах, ибо область их была вокруг опустошаема и неприятели стояли станом почти у самых ворот Мегалополя. При таких обстоятельствах Филопемен, переплыв море и предводительствуя критянами, подавал неприятелям своим повод к порицанию его за то, что избегал войны за отечество. Некоторые говорят, что ахейцы избрали полководцами других, а Филопемен, оставшись без должности, употребил свое свободное время в пользу гортинцев, которые просили его быть полководцем. Он не мог жить в бездействии и хотел, чтобы воинские и полководческие способности его, так, как и все другие, были всегда в употреблении и в действии, что доказал отзывом своим о царе Птолемее. Некоторые хвалили сего государя за то, что каждый день учил свое войско, упражнял свое тело и приучал к военным трудам. «Можно ли удивляться царю, – сказал Филопемен, – который в таких летах еще упражняется, а не показывает своего знания?» Мегалополитанцы негодовали на отбытие Филопемена, почитая себя оставленными и преданными им, они хотели лишить его прав гражданства, но этому воспрепятствовали ахейцы, пославшие в Мегалополь Аристенета, полководца своего, который, хотя был разного с Филопеменом мнения касательно дел республики, однако же не допустил, чтобы осуждение было исполнено. Филопемен, будучи пренебрегаем своими согражданами, отделил от них многие из окрестных селений и научил жителей говорить, что они сначала не платили податей Мегалополю и не зависели от него. Он содействовал им явно, когда они о том говорили перед ахейцами, и помогал им угнетать город, но это случилось позже.

Филопемен, находясь на Крите, воевал вместе с гортинцами не так, как пелопоннесец или аркадянин, откровенно и благородно. Приняв нравы критян и действуя их хитростями, обманами и засадами против них самих, вскоре доказал им, что они были дети, употребляющие ухищрения глупые и пустые в сравнении с истинным искусством.

Снискав уважение и славу тамошних народов своими делами, возвратился он в Пелопоннес и нашел, что Филипп уже был совершенно побежден Титом, а ахейцы и римляне воевали с Набисом. Вскоре был он избран военачальником против него и дерзнул на морское с ним сражение. Но с ним случилось то же, что с Эпаминондом, ибо, сразившись неудачно, он уменьшил понятие, какое имели о его храбрости и славе. Впрочем, многие говорят, что Эпаминонд не хотел, чтобы его граждане вкусили выгод, от мореходства происходящих, дабы они нечувствительно, по выражению Платона, не превратились в мореплавателей из твердых пеших и не развратились; по этой причине он ничего не произвел и оставил острова и Азию по воле своей. Филопемен, думая, что знание его в сухопутных военных действиях достаточно к тому, чтобы со славой вести войну на море, познал, сколь много храбрость зависит от упражнения и какой перевес придает оно тем, кто к чему-либо привыкли. Не только был он побежден по причине своей неопытности, но, пустив в море старый и некогда славный корабль, который лет сорок не был в употреблении, посадил на оный многих из сограждан своих и подверг их опасности погибнуть, ибо вода в него втекала. Филопемен знал, что неприятели им пренебрегают, полагая, что он совсем от моря удалился, и, упоенные гордостью, осаждали Гифий*. Филопемен приплыл к ним, когда они его не ожидали и по причине одержанной победы не наблюдали никакого порядка, высадил ночью своих воинов, приблизился к стану, пустил огонь в шатры, зажег стан и умертвил множество неприятелей. По прошествии немногих дней вдруг Набис появился ахейцам на пути в местах непроходимых и устрашил их; они не имели надежды выйти из трудных мест, которыми обладали неприятели. Филопемен приостановился на малое время, обнял глазами положение места и тогда же доказал, что тактика есть верх военной науки. Он заставил фалангу сделать малое движение, дал ей вид, приличный местоположению, и весьма легко и спокойно одолел все трудности, напал на неприятелей и разбил их совершенно. Видя же, что они не бегут к городу, но рассеивались в разные места, которые были пересекаемы лесами и холмами, и по причине потоков и лощин были неспособны к действию конницей, он удержал своих от погони и поставил стан до наступления темноты. Рассудив, что неприятели в бегстве своем по одному и по два будут входить в город, пользуясь темнотой ночи, поставил он в засаду ахейцев с кинжалами при потоках и холмах, близ города находящихся. Таким-то образом погибли большей частью Набисовы воины. Поскольку они отступали не все вместе, но так, как каждому в бегстве

удавалось, то они, впадая в сети неприятелей своих, подобно птицам, были уловляемы вокруг города.

Все греки оказывали Филопемену за эти подвиги отличную любовь и уважение. Это оскорбило тайно Тита Фламинина, человека честолюбивого. Как римский консул, он желал, чтобы ахейцы более имели уважения к нему, нежели к простому аркадянину; он думал, что оказанными грекам благодеяниями немало превосходил его, ибо одним провозглашением освободил все греческие города, порабощенные Филиппу и македонянам. Вскоре Тит положил конец войне с Набисом. Набис умер, будучи коварно убит этолийцами*.

Спарта была в волнении – Филопемен, воспользовавшись временем, напал на оную и заставил граждан – частью силой, частью убеждением – пристать к Ахейскому союзу. Произведши сие, заслужил он отличное уважение ахейцев тем, что присоединил к ним столь великий и сильный город. Немаловажное было дело сделать Спарту частью Ахайи. Филопемен привлек на свою сторону и знаменитейших лакедемонян, которые надеялись, что он будет хранителем их вольности. По этой причине, когда дом и имение Набиса были проданы, вырученные от того деньги, которых число простиралось до ста двадцати талантов серебра, было определено принести ему в подарок и отправить с этой целью посольство. Тут со всей ясностью обнаружилось, что Филопемен не только казался, но в самом деле был добродетельным. Сперва никто из спартанцев не дерзал предлагать такому мужу о дароприятии; они боялись, отказывались от этого препоручения и, наконец, возложили дело на Тимолая, с которым Филопемен был связан узами гостеприимства. По прибытии своем в Мегалополь Тимолай был угощен Филопеменом и, узнав вблизи важность в обхождении, простоту в образе жизни и строгие его нравы, деньгам нимало не приступные, – умолчал о подарке. Выдумал другую причину своему приезду и отправился обратно в Спарту. Будучи послан в другой раз, он почувствовал к нему то же уважение; наконец в третьем путешествии своем с великим трудом решился объявить ему желание Спарты. Филопемен выслушал его с удовольствием; он приехал сам в Спарту и советовал гражданам не подкупать подарками своих друзей, которых добродетелью они могли пользоваться безвозмездно. «Подкупайте лучше, – говорил он, – дурных людей и тех, которые в советах возмущают город; пусть уста их заградятся деньгами, дабы они менее вас тревожили; лучше унимать язык своих врагов, нежели друзей своих». Столько Филопемен был велик бескорыстием своим.

Вскоре после того ахейский полководец Диофан, узнав, что лакедемоняне были снова склонны к переменам, хотел наказать их. Лакедемоняне приготовлялись также к войне и возмущали Пелопоннес. Филопемен старался успокоить Диофана и укротить гнев его, представляя ему, что в таких обстоятельствах, когда царь Антиох и римляне имеют в средине Греции многочисленные войска, правителю ахейцев надлежало к ним обращать все внимание свое, домашние дела оставлять в покое и на иные поступки смотреть сквозь пальцы. Диофан не послушался его, но вступил в Лаконию вместе с Фламинином и шел прямо на Спарту. Филопемен, вознегодовав на это, дерзнул на дело, конечно, незаконное и не одобряемое строгой справедливостью, однако великое и с великим духом произведенное. Он прибыл в Лакедемон и, будучи частным лицом, не допустил войти в оный ахейского полководца и римского консула, укротил внутренние мятежи граждан и по-прежнему привязал их к Ахейскому союзу.

По прошествии малого времени, быв полководцем ахейским, Филопемен, по некоторому неудовольствию на лакедемонян, заставил их призвать обратно изгнанников и умертвил, по свидетельству Полибия, восемьдесят спартанцев, а по свидетельству Аристократа – триста пятьдесят. Он срыл стены города их и великую часть земли их отнял и присоединил к Мегалополю. Он переселил тех, кому тиранны лакедемонские дали право гражданства в Спарте, перевел их в Ахайю, исключая трех тысяч. Поскольку же они не повиновались и не хотели оставить Лакедемон, то он продал их; потом, как будто бы ругался над спартанцами, он соорудил в Мегалополе от полученных денег портик. Дабы насытить ярость свою против лакедемонян и попрать их совершенно в их горестном положении, он предпринял в отношении к их правлению дело самое жестокое и беззаконное: уничтожил и превратил Ликургом установленное воспитание и заставил отроков и юношей вместо прежнего образования получать ахейское, будучи уверен, что пока лакедемоняне будут следовать Ликурговым

законам, никогда не будут унижены духом. В то время лакедемоняне, удрученные бедствиями, позволили Филопемену, так сказать, перерезать жилы их республики, унизились и сделались покорными. Но по прошествии некоторого времени выпросили у римлян позволение отстать от Ахейского союза. Они приняли прежние свои учреждения столько, сколько было можно после жестокой битвы и стольких бедствий.

В продолжение войны, которую вели римляне в Греции против Антиоха*, Филопемен был частным лицом. Видя, что Антиох сидит спокойно в Халкиде и не по летам своим занимался любовью и торжествовал брак с молодою девицею, между тем как сирийцы в великом беспорядке и без предводителя бродили по городам, утопая в роскоши и неге, Филопемен досадовал, что он не был тогда полководцем ахейским. Он говорил римлянам, что завидует их победе. «Когда бы я был полководцем, – говорил он, – то перерезал бы их всех в питейных домах». Римляне, одержав победу над Антиохом*, еще более вмешивались в дела Греции и могуществом своим обступали ахейцев, которых правители держались их стороны. Сила и владычество их при покровительстве богов уже далеко простирались; близка была цель, которой вскоре надлежало достигнуть колеблющемуся счастьем. Филопемен, подобно благоразумному кормчему, сражающемуся с волнами, был принужден уступать и покровительствовать обстоятельствам, но большей частью, противоборствуя им, старался обратить к вольности и независимости тех, кто имел силу говорить и действовать в народе. Когда мегалополитанец Аристен, человек, имевший большую силу между ахейцами и всегда льстивший римлянам, говорил в совете, что не должно противиться римлянам, ни показываться перед ними неблагодарными, то Филопемен слушал его с безмолвием и негодованием; наконец, не могши удержать свой гнев, сказал Аристену: «Друг мой! Для чего спешить видеть роковой день Греции?» Когда римский консул Маний, победивший Антиоха, просил ахейцев, чтобы позволено было лакедемонским изгнанникам возвратиться в Спарту и Тит Фламинин ходатайствовал о том же, то Филопемен воспрепятствовал исполнению сего требования не для того, чтобы он питал вражду против изгнанников, но желая только, чтобы они ему и ахейцам, а не Титу и римлянам были обязаны своим возвращением. Впоследствии, будучи избран полководцем, он сам позволил изгнанникам возвратиться в свое отечество. Вот как по великости духа своего был он несколько упрям и сварлив в отношении к могуществу!

Уже ему было семьдесят лет от роду; он был избран ахейцами полководцем в восьмой раз и надеялся, что обстоятельства позволят ему не только время своего управления провести без войны, но и остаток жизни прожить в покое. Как болезни, по-видимому, ослабевают вместе с телесной крепостью, так в греческих городах с истощением их сил уменьшались и раздоры. Но богиня, наказывающая гордость, при конце жизни низложила Филопемена, подобно подвижнику, совершающему со славой свое течение. Говорят, что когда в Собрании некоторые хвалили человека, которого почитали весьма искусным полководцем, то Филопемен сказал: «Можно ли так величать человека, который неприятелем пойман живой?» По прошествии немногих дней мессенец Динократ, который был в ссоре с Филопеменом и всем был ненавистен по причине дурных его свойств и распутства, отторг Мессену от Ахейского союза. Получено было известие, что он готовился занять селение Колониду*. Филопемен, одержимый лихорадкой, находился в Аргосе. Узнав о происходившем, он отправился с такой поспешностью в Мегалополь, что пробежал в один день более четырехсот стадиев. Взяв конницу, состоявшую из знаменитейших, но очень молодых граждан, которые из любви и почтения к Филопемену по своей охоте за ним последовали, он спешил к Мессене. Он напал на Динократа, который шел к нему навстречу, близ холма, называемого Эвандровым, и обратил его в бегство. Вдруг устремились на отряд Филопемена пятьсот воинов, охранявших Мессенскую область. Те, кто прежде предался бегству, видя их, опять стали собираться на высотах; Филопемен, боясь, чтобы неприятели его не обступили и щадя своих всадников, начал отступать местами крутыми, сам находился в тылу, часто обращался к преследовавшим его неприятелям и навлекал их на себя. Они не смели напасть на него прямо, но издали бегали вокруг него и издавали громкие крики. Таким образом, часто отставая, дабы дать время молодым всадникам своим идти далее и каждого из них приводя в безопасность, нечувствительным образом остался один среди многих неприятелей. Никто из них не осмелился вступить с ним в ручной бой; они бросали стрелы на него издали и принуждали отступать к

местам каменистым и крутым, в которых с трудом управлял лошадью, которую сильно управлял шпорами. Несмотря на свои лета, он был легок по причине частых его упражнений; старость не была бы препятствием ему спасти себя, но в то время тело его было ослаблено болезнью и утомлено трудами похода. Он был уже тяжел и насилу двигался, лошадь его споткнулась и свергла его с себя. Падение было сильное; он ушиб себе голову и долго лежал безгласен. Неприятели сами думали, что он умер, и, приблизившись к нему, начали его переворачивать и скидывать с него доспехи. Когда же он поднял голову и оглянулся, то они бросились на него толпою, своротили руки назад, связали их и повели с посрамлением и ругательством мужа, который и во сне не мог бы ожидать, чтобы от Динократа претерпеть подобное поругание.

Граждане мессенские, восхищенные этим известием, толпились у городских ворот; но когда увидели влекомого не по достоинству славы, прежних подвигов и побед Филопемена, они тронуты были жалостью, соболезновали о нем до того, что проливали слезы, представляя себе, сколь человеческое величие тленно, сколь оно неверно и ничтожно; мало-помалу распространялись в народе человеколюбивые речи, что надлежало вспомнить прежние его благодеяния и вольность, которую он им возвратил, освободивши их от тиранна Набиса. Только немногие, желая угодить Динократу, предлагали его мучить и умертвить, как неприятеля страшного и неукротимого, который будет ужаснее для самого Динократа, если уйдет, претерпев от него такое поругание и сделавшись его пленником. Наконец, они привели его в подземное место, называемое Фисаврос*, в которое не приходили извне ни воздух, ни свет и которое не имело дверей, но отверстие, закрывавшееся огромным камнем, который на оное надвигали. Здесь они положили Филопемена, надвинули камень и приставили вокруг вооруженных воинов.

Ахейская конница, собравшись после бегства и не видя нигде Филопемена, остановилась долгое время, призывала его, подозревая, что он убит; воины говорили друг другу, что спасение их позорно и несправедливо, ибо предали неприятелям своего полководца, который не щадил жизни своей для них. Идучи вперед вместе и расспрашивая о нем, узнали наконец, что он пойман, и объявили о том союзным городам. Ахейцы, почитая случившееся для себя величайшим несчастьем, определили потребовать его от мессенцев через посланников; между тем приготовлялись к походу.

Но Динократ, более всего боясь времени, которое одно могло спасти Филопемена, решился предупредить ахейцев; с наступлением ночи, когда народная толпа мессенцев разошлась, он открыл темницу и послал туда городского служителя с ядом, приказав ему поднести его Филопемену и не отходить от него, доколе он не выпьет оного. Филопемен, погруженный в горести и беспокойство, лежал тогда на своем плаще. Он не спал; видя свет и стоявшего близ себя человека, державшего чашу с ядом, собрав силы свои с трудом по причине слабости своей, сел, принял чашу и спросил его, не знает ли он чего-либо о коннице, особенно же о Ликорте. Когда служитель отвечал ему, что большая часть их спаслась бегством, то Филопемен кивнул головой, взглянул на него кротко и сказал: «Это хорошо! Я не совсем несчастен!» Он не произнес более ни одного слова, не издал ни малейшего крика, принял яд и опять лег. Отрава не умедлила произвести над ним свое действие; он погас скоро по причине слабости.

Когда слух о смерти его распространился между ахейцами, то все города впали в уныние и горесть. Все молодые люди и пробулы, собравшись в Мегалополе, ни на короткое время не отложили своего мщения; они избрали Ликорта полководцем своим, вступили в Мессенскую область и опустошали ее до тех пор, пока мессенцы по соглашению между собою не впустили в город свой ахейцев. Динократ успел умертвить сам себя, равным образом все те, кто подавал свое мнение умертвить Филопемена, сами себя умертвили. Но Ликорт ловил тех, кто хотел, чтобы он был предан мучениям, дабы предать их участи, какой они присуждали Филопемена. Ахейцы, предав огню тело своего полководца, собрали прах его в урну, возвратились назад, – не в беспорядке или как попало, но совокупив победное шествие с погребальным, ибо они были украшены венками и в то же время проливали слезы; за собою вели в плен окованных врагов и урну, которая едва была видна от множества венков и повязок; она несома была сыном ахейского полководца Полибием*, вокруг которого шли знаменитейшие ахейцы. Потом

следовали вооруженные воины на конях, великолепно украшенных; они не обнаруживали печали в таком бедствии и не гордились одержанной победой. Жители всех городов и селений, выходя им навстречу, как будто бы принимали Филопемена, возвращающегося из походов, касались урны его с почтением и сопровождали его до Мегалополя. К ним присоединились старцы с женщинами и малыми детьми; жалобные вопли их раздались по войску до самого Мегалополя, который был погружен в горести, почитая потерю сего мужа лишением первенства своего над ахейцами. Он погребен с подобающею ему честью. Вокруг гробницы его побиты камнями мессенские пленники; в честь его воздвигнуты многие кумиры; определено было городами воздавать памяти его великие почести. Некоторый римлянин, пользуясь бедственными для Греции обстоятельствами, при взятии и сожжении Коринфа* предпринял уничтожить все почести и преследовал Филопемена судом, как бы он был еще жив, доказывая, будто бы Филопемен был противник римлян и злоумышлял против них. Полибий противоречил доносчику и защищал Филопемена. Ни Муммий, ни посланные сенатом* не утерпели, чтобы уничтожены были почести, определенные мужу славному, хотя он во многом противился Фламинину и Манию. Они, по-видимому, отличали выгоду от добродетели и полезное от достохвального, рассуждая правильно и справедливо, что оказавшим услуги обязаны наградой и благодарностью те, кто ими облагодетельствован, но что добродетельные всегда должны изъявлять добродетельным честь и уважение. Вот что мы знаем о Филопемене!

Тит

С Филопеменом мы сравним Тита Квинкция Фламинина*. Каков был он по наружности, можно видеть из медного кумира, воздвигнутого ему в Риме близ великого Аполлона, который привезен из Карфагена и стоит против цирка с греческою надписью. Что касается до его свойств, то, как говорят, был он скор и к гневу и к оказанию услуги, но не в равной степени, ибо в наказаниях был кроток и незлопамятен, благодеяния же, им оказанные, были полны и совершенны; он всегда любил как своих благодетелей, тех, кто получили от него благодеяние, охотно пекся о людях, обязанных ему, и покровительствовал им, почитая их драгоценнейшим приобретением. Будучи чрезмерно честолюбив и славолюбив, хотел он производить сам отличнейшие и величайшие деяния. Более любил тех, кто имел нужду в его помощи и благодеяниях, нежели тех, кто мог ему благодетельствовать. Одних почитал он средством к изъявлению своей добродетели; других – соперниками в славе. Он получил образование воинское в то время, когда Рим вел многие великие войны и молодые люди с самого начала научались искусству предводительствовать войсками среди самых походов. В войне с Ганнибалом был он военным трибуном под предводительством консула Марцелла, который погиб, попавшись в засаду. Тит по вторичном покорении Тарента и Тарентийской области сделан был предводителем оной и знаменовал себя своею справедливостью не менее как и подвигами военными. По этой причине, когда посылаемы были поселения в Нарнию и Коссу*, то он избран был их предводителем и основателем.

Это обстоятельство наиболее внушило ему мысль перешагнуть обыкновенные средние чины, даваемые молодым людям, каковы трибунство, претура и эдильство, и прямо просить себе консульства. Пользуясь ревностью и усердием жителей тех поселений, он сошел на форум, но трибуны Фульвий и Маний противились ему, представляя народу – как неприличное и опасное – дело, чтобы молодой человек, вопреки законам, дерзал на высшее в республике достоинство, не будучи еще введен, так сказать, в первые священнодействия и в тайны управления. Сенат предал это дело решению народа; народ вместе с Секстом Элием избрал в консулы Тита, хотя ему не было еще и тридцати лет. По жребию досталось ему вести войну с Филиппом и македонянами*. К счастью римлян, поручено было ему управление людьми, имевшими нужду в полководце, который бы не во всем употреблял войну и насилие, но более действовал убеждением и кроткими словами. Македонская держава давала Филиппу довольно воинов для сражений с римлянами, но всю силу, нужную к продолжительной войне, все пособия и убежища и вообще все оружие фаланги доставляемы ему были Грецией. Когда бы она не была оторвана от Филиппа, то война с ним не кончилась бы одним сражением. Греция еще не была знакома с римлянами. Тогда в первый раз она вступила с ними в сношение. Если

бы полководец римский не был от природы кротких свойств и не действовал более словами, нежели оружием, если бы его поступки не были сопровождаемы убеждением и кротостью; если бы он не защищал всегда справедливости с великой твердостью, то Греция не так легко предпочла бы чуждую власть той, к которой она привыкла. Это явствует из самих происшествий.

Тит чувствовал, что предшествовавшие ему полководцы, как Сульпиций, так и Публий, вступили в Македонию в позднее время года, войну вели медленно, истощали войска свои в малых сражениях и стычках с Филиппом при местоположениях, переходах или отнятии запасов. Он думал, что, подобно упомянутым полководцам, которые целый год провели в Риме среди почестей и дел общественных, а только на другой год своего правления выступали в поход, не надлежало ему, дабы выиграть в начальстве один год, провести его в консульстве, а следующий в военачальстве. Напротив того, его честолюбие состояло в том, чтобы свое консульство ознаменовать военными действиями; и потому отказался он от председательства и почестей, которыми пользовался в Риме. Он просил сенат, чтобы брат его Луций сделан был начальником над кораблями, назначенными к отправлению с ним; из числа тех, кто со Сципионом разбил в Иберии Гасдрубала, а в Ливии самого Ганнибала, взял он с собою три тысячи еще бодрых и усердных воинов, которые составляли всю крепость его войска, и переправился с ними безопасно в Эпир. По прибытии своем застал он Публия, который с войском своим уже слишком долго стоял против Филиппа, защищавшего узкие проходы и переправы при реке Апсос*, и по причине крепости местоположения ничего не мог предпринять. Тит принял войско, отослал Публия и начал осматривать окрестные места. Оные укреплены природою не менее окрестностей Темпы, но не имеют таких прекрасных дерев, такой зелени и лесов, таких приятных мест для прогулки и таких цветущих лугов, как темпейские. Высокие и крутые горы с обеих сторон составляют глубокую и длинную равнину, по которой протекает река Апсос, видом и быстротой уподобляющаяся Пенею. Он покрывает все подножье горы и оставляет только узкую по крутизнам близ самого течения иссеченную тропинку, которою нелегко можно пройти войску и которая совершенно непроходима, когда охраняется неприятелем.

Некоторые советовали Титу обойти это место и вести войско через Дассаретиду, мимо Лика*, дорогой удобной и широкой. Но полководец, боясь претерпеть недостаток в припасах, вступивши в земли бедные и нехлебородные вдали от моря, между тем как Филипп стал бы избегать сражения, и дабы не быть потом принужденным, подобно своему предшественнику, вновь отступать к морю, ничего не произведши, решился сделать жаркое нападение на Филиппа и через горы силою открыть себе дорогу. Филипп занимал горы фалангой; на римлян сыпались с боков дротики и стрелы; в разных местах происходили жаркие стычки; многие с обеих сторон были поражаемы и падали мертвые, но это не могло решить сражения. Между тем пришли к Титу некоторые из тамошних пастухов и объявили ему, что есть проход, пренебрегаемый неприятелем; они обещали провести его этим проходом и на третий день поставить на высоты. Поручителем в истине своего показания и в верности своей они представили Харопа, сына Махата, человека, первенствующего в Эпире*, приверженного к римлянам и тайно им содействующего из страха к Филиппу. Тит, поверив ему, выслал одного трибуна с четырьмя тысячами пехоты и тремястами конницы. Им указывали дорогу связанные по рукам пастухи. Днем они отдыхали, скрываясь в местах лесистых и ямистых, а ночью продолжали путь свой при свете луны, которая была во всей полноте своей. Тит, отправив отряд, дал всему войску отдых, сколько можно было, и только незначительными перестрелками занимал внимание неприятеля, а в день, когда отряженным в обходе воинам надлежало показаться на высотах, начал он на рассвете дня приводить в движение все свое войско, как тяжелое, так и легкое. Он разделил силу свою на три части; сам вел когорты вдоль реки прямо к узкому проходу, будучи между тем поражаем стрелами македонян и вступая в бой с теми, кто на крутизнах попадались ему навстречу; равным образом другие два отряда с обеих сторон сражались и поднимались с жаром на высоты. Уже солнце всходило, и легкий дым, подобный густому туману, вдали поднимался к небу и был видим римлянам, но скрывался от взоров неприятеля, будучи за его плечами; высоты уже были заняты. Римляне, находясь среди опасностей и трудов, еще недоумевали и были только склонны надеяться, что дым был знаком того, чего они желали.

Когда же дым более усиливался, потемнел воздух и, сгущаясь, поднимался выше, то римляне уверились наконец, что это был знак, о котором они условились между собою. Они издали громкие восклицания, наступали крепко и теснили неприятелей к самым крутым местам. Другие воины позади неприятеля отвечали им с высот такими же восклицаниями.

Вскоре неприятели начали предаваться бегству; их пало не более двух тысяч, ибо местоположение не позволяло за ними гнаться. Римлянам досталось множество денег, шатров и невольников; они заняли узкие проходы и продолжали путь свой в Эпир с таким благоустройством и воздержанием, что хотя были они далеко от моря и кораблей, хотя не было им роздано месячное количество хлеба и не могли оного доставать, однако не коснулись области, которая изобиловала всеми благами. Узнав, что Филипп проходил Фессалию подобно бегущему, заставлял жителей городов удаляться на горы, города сжигал, а остальное богатство по причине множества или тяжести его предавал воинам на разграбление, как будто бы уступал уже область римлянам, – Тит из честолюбия увещевал воинов своих проходить эту землю, заботясь о ней как о своей собственности и как уступленной им неприятелем. Римляне вскоре почувствовали следствия соблюдаемого ими порядка. Едва они вступили в Фессалию, как греческие города предавали им себя; за Фермопилами обитающие греки желали пристать к Титу и духом к нему устремлялись. Ахейцы, прервав союз с Филиппом, определили вести войну с римлянами против него*. Хотя этолийцы с большим усердием вспомоществовали тогда римлянам, однако когда они хотели принять и охранять город Опунт, то жители оного*, не внимая нимало предложениям их, призвали Тита, предали себя и вверили ему свою участь. Говорят, что когда Пирр с возвышенного места увидел в первый раз устроенное римское войско, то сказал: «Не варварским кажется мне устройство сих варваров». Те, кои в первый раз говорили с Титом Фламинином, были принуждены издавать подобные сему восклицания. Греки слышали от македонян, что предводитель варварского войска вступает в их земли, все покоряет и порабощает оружием; когда же они видели в нем человека, молодого летами, лицом кроткого, говорящего их языком как природный грек и находили в нем любителя истинной славы, то они были тем очарованы и, возвращаясь в свои города, внушали им благорасположение к нему. Все жители почитали уже его защитником своей свободы. Когда же Тит, сошедшись с Филиппом*, изъявившим склонность к заключению договора, предлагал мир и дружбу с условием, чтобы греки оставались независимы и чтобы из городов их он вывел охранное войско, но Филипп на это не соглашался, то самые те, кто привержен был к стороне Филиппа, тогда уверились, что римляне пришли воевать не против греков, но за греков против македонян.

Таким образом, другие области Греции присоединились к Титу. Он проходил Беотию мирно; навстречу к нему вышли первенствующие фиванцы, которые, по влиянию Брахилла*, держались стороны Филиппа. Они принимали и приветствовали Тита, как будто бы существовал мир между обеими сторонами. Тит обошелся с ними дружелюбно и ласково и продолжал путь свой спокойно вместе с ними, то расспрашивая их, то рассказывая что-нибудь; он занимал их нарочно, пока воины его отдохнули после похода. Таким образом вошел он в город вместе с фиванцами, которым то не весьма было приятно; однако же они не смели ему воспрепятствовать, ибо число провожавших его воинов было велико. При всем том он предстал перед Собранием, и, как бы не владел их городом, увещевал фиванцев принять сторону римлян. Царь Аттал содействовал ему и настоятельно побуждал к тому фиванцев. Но, по-видимому, желая показать себя Титу как можно более красноречивым, нежели старость ему позволяла, в то самое время, как он говорил, от случившегося с ним кружения головы или удара неожиданно лишился чувств и упал. Вскоре после того был он перевезен в Азию, где и умер. Беотийцы присоединились к римлянам.

Когда Филипп отправил в Рим посланников, то Тит также послал своих поверенных*, домогаясь, чтобы сенат продлил время его управления, если война будет продолжаться; в противном случае – чтобы мир был заключен им. Будучи чрезмерно честолюбив, боялся он, чтобы другой полководец не был назначен вести войну и не лишил его славы. Друзья его успели произвести то, что Филипп не получил того, чего требовал, и предводительство войсками оставлено было Титу. Тит получил постановление сената и, одушевленный надеждой, устремился немедленно в Фессалию на Филиппа; войско его состояло из двадцати шести тысяч воинов, из числа которых шесть тысяч пехоты и четыреста человек конницы доставлены были

этолийцами. Войско Филиппово было числом равное римскому. Идучи один на другого, приблизились они к городу Скотусса, где намеревались дать решительное сражение. Как предводители, так и войска нимало не страшились приближения одного к другому, напротив того, они еще более были понуждаемы честолюбием и горели желанием сразиться. Римляне надеялись одержать победу над македонянами, которых слава была между ними велика по причине храбрости и могущества Александра; македоняне, давая римлянам преимущество над персами, мечтали, что, победивши их, сделают Филиппа славнее самого Александра. Между тем Тит ободрял воинов своих и увещевал сражаться мужественно и отважно, представляя, что предстоит им подвизаться с славнейшими противниками, на знаменитейшем театре, перед глазами всей Греции. Филипп, действием ли случая или поспешности, взойдя по неведению на стоявшее за валом возвышение, которое было памятник убиенных, начал, как прилично перед сражением, говорить своим воинам речь и ободрять их; но, будучи встревожен унынием, в которое войско его впало от неблагоприятного ознаменования, он в тот день удержался от всякого предприятия.

На другой день на заре после ночи сырой и дождливой облака превратились в туманы; все поле покрылось глубоким мраком, и на пространство, отделявшее оба стана, спустилась с высоты густая мгла, которая скрывала все утро окрестные места. Посланные с обеих сторон для засады и обозрения местоположения, встретившись неожиданно на малом пространстве, начали сражаться у так называемых Киноскефал, которые суть остроконечные, частые и параллельные холмы, получившие свое название от некоторого сходства с собачьей головой. Успех битвы, как можно было ожидать на этих крутых местах, был различен. Как одни, так и другие то преследовали, то были преследуемы. От обоих войск была беспрестанно посылаема помощь к тем, кто был тесним и отступал. Наконец воздух совсем очистился; обе стороны, видя то, что происходило, двинулись всеми силами. На правом крыле имел верх Филипп; он ударил всей фалангой на римлян и погнал их вниз по склону холма, они не могли выдержать тяжести тесно сомкнутых щитов и сильного удара выставленных копий*. Но на левом крыле фаланга по причине неровности холмов должна была разорваться и разделиться. Тит кинул крыло, которое было уже разбито, быстро обратился к другому и напал на македонян, которые по причине неровности и крутизны местоположения не могли построить фалангу и сгустить во всю глубину ряды – в чем состояла вся сила их ополчения; сражаться же поодиночке им было невозможно по причине их доспехов, тяжелых и неудобных. Фалангу можно уподобить одному животному: она неуязвима, пока составляет одно тело и сохраняет устройство сомкнутых щитов, но коль скоро она будет разделена, то воины, составляющие ее, теряют крепость свою как по причине рода их вооружения, так и потому, что пока они образуют одно целое, то каждый имеет силу более от взаимного с другими соединения, нежели от себя самого. Когда македоняне были разбиты, часть римлян преследовала тех, кто обратился в бегство; другие, нападая с боков на сражавшихся македонян, поражали их так, что в скором времени и те, кто побеждал, расстроившись и бросая оружия свои, начали предаваться бегству. Македонян пало не менее восьми тысяч человек; в плен взято пять тысяч. Что Филипп спасся бегством, в том винили этолийцев*, которые занялись грабежом стана, между тем как римляне гнались за бегущими, так что по возвращении своем римляне не нашли более ничего.

Тогда начались между этолийцами и римлянами упреки и ругательства. Впоследствии этолийцы еще более оскорбляли Тита; они приписывали себе победу, распространили о том слух по Греции, так что их прежде воспевали и ставили впереди как стихотворцы, так и все те, кто описывал эту победу. Более всего была на языке у всех следующая надпись:

Без слез, без похорон, о странник, средь полей
Фессальских три лежат тьмы падших здесь мужей,
Мечом этолян пораженных, и латинян, из тибрских берегов,
Отважным Титом приведенных на пагубу Гиматии* сынов.
Филиппов гордый дух к спасенью устремился.
Быстрее легких серн он из виду сокрылся.

Эти строки сочинил Алкей*, ругаясь над Филиппом и неверно показав число убитых. Но

как везде и многими она была повторяема, то более причиняла неудовольствия Титу, нежели Филиппу, который, шутя над Алкеем, составил следующую пародию его стихов:

Без листьев, без коры, высока, средь полей,
Там виселица есть и ждет тебя, Алкей.

Но Тит, которого честолюбие состояло в том, чтобы приобрести уважение греков, немало был тем оскорблен. В дальнейшем производил он все дела самостоятельно, нимало не заботясь об этолийцах. Те досадовали, и когда Тит принял отправленное от Филиппа к нему посольство с мирными предложениями, то этолийцы, ходя по городам, кричали, что мир продается Филиппу тогда, когда можно было одним разом пресечь войну и уничтожить державу, которая первая поработила Грецию. Этими жалобами этолийцы возмущали союзников. Но Филипп, сам приехав в Темпу, вступил с Титом в переговоры и уничтожил все подозрения, предав свою судьбу ему и римлянам. Таким образом Тит положил конец этой войне. Он оставил Филиппу Македонское царство с условием, чтобы он отказался от владычества над Грецией; наложил на него тысячу талантов пени; отнял у него все корабли и оставил только десять. Он взял в залог Деметрия, одного из сыновей Филиппа, и отправил его в Рим*. Он весьма благоразумно воспользовался сложившимися обстоятельствами, предвидя будущее, ибо карфагенянин Ганнибал, непримиримый враг римлян, будучи изгнан из своего отечества, находился тогда при царе Антиохе и побуждал его следовать далее за своим счастьем, которое ему во всем благоприятствовало. Антиох, произведши уже великие дела, за которые наименован Великим, простирал сам свои мысли на всемирное господство и хотел более всего противостоять римлянам. Когда бы Тит, предвидя это своей прозорливостью, не сделался уступчивее, пойдя на заключение мира*, когда бы война с Антиохом застала в Греции неожиданно войну с Филиппом, когда бы сильнейшие и величайшие тогдашнего времени цари по общим причинам восстали вместе против Рима, то республике снова бы надлежало превозмогать труды и опасности не меньше тех, которым была подвержена при Ганнибале. Но Тит, поставив вовремя мир как преграду между обеими бранями и прервав настоящую, прежде нежели началась будущая, отнял у одной последнюю, у другой – первую ее надежду.

Когда десять посланников, отправленных сенатом к Титу, советовали ему сделать независимыми всех греков, а в Коринфе, Деметриаде и Халкиде* оставить охранное войско для безопасности в войне против Антиоха, то этолийцы стали открыто побуждать народы к возмущению. Они требовали от Тита, чтобы он снял кандалы с Греции (так Филипп называл обыкновенно означенные выше города), а греков между тем спрашивали: неужели они, нося ныне ошейник тяжелее первого, утешаются лишь тем, что он глаже, и Тита почитают благодетелем своим за то, что, сняв у Греции цепи с ног, надел их на шею? Этими речами они оскорбляли и огорчали Тита, который своими просьбами убедил сенат освободить и эти города от охранного войска, дабы оказанное им грекам благодеяние было совершенно. Вскоре начались Истмийские игры. В стадии было собрано несчетное множество людей, которые были зрителями происходивших подвигов. По прекращении долговременных браней Греция отправляла торжество с надеждой насладиться вольностью и миром. Как скоро глас трубный предписал всем молчание, то провозгласитель, став в средину, возвестил, что сенат римский и Тит Квинтий, консул и полководец, победив Филиппа и македонян, оставляют независимыми, свободными от охранного войска и от всех податей, с правом управляться своими законами коринфян, локрийцев, фокейцев, эвбейцев, ахейцев, жителей Фтии, Магнесии, Фессалии и Перребии. Сперва не все и не довольно ясно слышали сие провозглашение; на стадии происходило движение неровное и шумное; все были удивлены, спрашивали друг друга, требовали, чтобы оно было опять повторено. Когда вновь все утихло, то провозгласитель, подняв голос, громче прежнего повторил народу сие возвещение. Оно распространилось всюду – и восклицание, до невероятности громкое по причине великой радости народа, раздалось до моря; все встали с мест своих, никто не обращал внимания на подвизавшихся, все спешили, стремились обнять и приветствовать спасителя и поборника Греции. В то время случилось то, что часто упоминается как пример чрезвычайно громкого крика, а именно: вороны, летавшие над народом, упали на место Собрания. Причиной этому должно полагать разрыв воздуха, ибо

когда голос раздастся сильно и громко, то воздух, приведенный тем в волнение, не поддерживает летающих птиц, они падают, как будто бы летали в пустом пространстве. Однако, может быть, птицы падают и умирают, пораженные ударом голоса, как бы стрелой. Может быть также, что это есть круговращение воздуха, который, подобно морю во время бури, волнуется и вращается кругообразно.

Когда бы Тит вскоре по окончании зрелищ не удалился, избегая стремления к нему народа, то не вырвался бы живой из сей бесчисленной толпы, со всех сторон обтекавшей его. Зрители утомились, издавая крики вокруг шатра его; наконец, с наступлением ночи, встречаясь друзья с друзьями и граждане с гражданами, обнимали и целовали друг друга и обращались вместе к пиршествам и утехам. Предаваясь радости еще более, рассуждали они между собою и напоминали друг другу, какие брани содеяла Греция для своей вольности; однако никогда вернее и сладостнее не пользовалась ею, как тогда, когда другие за нее сражались; когда прекраснейшее и завиднейшее приобретение не стоило ей почти ни слез, ни одной капли крови. Редки между людьми благоразумие и мужество, но нет благ реже справедливости. Агесилаи, Лисандры, Никии, Алкивиады умели хорошо вести войну, выигрывать сражения на море и на суше, но употреблять подвиги свои к благу других и к оказанию благородной услуги – вот чего они не умели. Если исключить Марафонскую битву, сражения при Саламине, Платеях и Фермопилах, подвиги Кимона на берегах Эвримедонта и близ Кипра, то можно сказать, что во всех других случаях Греция сражалась против себя самой и для собственного своего порабощения; каждый ее трофей к собственному бедствию и сраму ее был воздвигнут; она низвержена злобой и властолюбием ее предводителей. А народ иноплеменный, едва сохраняющий малые остатки и связь древнего родства, народ, от доброго совета и благоразумия которого было бы удивительно ожидать даже малейшей пользы для Греции, – сей народ ныне с великими опасностями и трудами освобождает Грецию от жестоких властелинов и тираннов.

Вот что грекам приходило тогда на мысль. Следствия соответствовали объявлениям Фламинина, ибо в то же время Тит отправил в Азию Лентула для освобождения Баргилияма*, Стертиния во Фракию, дабы вывести из тамошних городов охранные Филипповы войска. Публий Виллий отплыл к Антиоху для переговоров с ним, касательно независимости греков, ему подвластных. Сам Тит прибыл в Халкиду, оттуда отправляясь в Магнесию, выводил охранные войска и возвращал народам независимое правление. Избраннный в Аргосе распорядителем Немейских игр, он учредил лучшим образом это торжество и здесь вновь через провозгласителей обнародовал грекам свободу. Он объезжал греческие города и старался о восстановлении законов и правосудия, согласия и тишины между согражданами; укрощал мятежи, возвращал в города изгнанников; ему столь же приятно было успокаивать и мирить греков, как побеждать македонян, так что вольность, которою они наслаждались, казалась им меньшим из благодеяний его. Говорят, что когда оратор Ликург вырвал философа Ксенократа* из рук сборщиков податей, ведших его в темницу, и наказал их за наглость, то Ксенократ, встретив Ликурговых детей, сказал им: «Я хорошо отплачиваю отцу вашему за оказанное мне одолжение; все его хвалят за хороший его поступок». Так и за оказанные грекам благодеяния не только превозносили Тита и римлян все народы, но возымели к ним более доверия, и сила их от того более возрастала. Не только они принимали присылаемых к ним полководцев, но призывали их и предавали им себя. Не одни народы и города, но и самые цари, другими царями обижаемые, прибегали к римлянам и в короткое время – может быть, при содействии бога – все им покорилось.

Тит сам гордился тем, что возвратил грекам свободу; он посвятил в Дельфах серебряные щиты и свой собственный со следующей надписью:

О Зевсовы сыны, герои вознесенны,
Спартанские цари, которых веселит
Бег скачущих коней! Вам дар сей драгоценный
Приносит римский вождь, Энея племя, Тит,
Свободы возвратив день грекам вожделенный.

Он посвятил Аполлону золотой венец со следующей надписью:

На амброзийские власы, о сын Латоны!
Златосияющий венец сей возложил
Великий римский вождь, Энеева потомства.
Ты ж Титу, Феб, даруй и силу, и успех.

В Коринфе дважды случилось с греками одно и то же происшествие. В то время Тит, а в наше Нерон, также на Истмийских играх, объявили в оном городе греков свободными и независимыми; первый через провозгласителя, как о том сказано выше, а другой, взойдя на трибуну, сам говорил о том народу.

Тит начал после того войну самую справедливую и похвальную – против Набиса, пагубнейшего и беззаконнейшего тиранна лакедемонского, однако обманул надежду Греции. Он мог его поймать, но того не захотел, заключил с ним мир и оставил Спарту в рабстве, недостойном ее. Может быть, боялся он, что война эта будет продолжительна, или из Рима придет другой полководец и отнимет у него принадлежащую ему славу; может быть, также причиной этому были ревность и зависть к почестям, оказываемым Филопемену*. Этот знаменитый между тогдашними греками муж, который оказал в той войне дела удивительной храбрости и искусства, был прославляем ахейцами наравне с Титом; оказывая ему знаки великого уважения в театрах, они оскорбляли тем Тита, который почитал недостойным себя, что греки уважали одного аркадянина, полководца в малых и соседственных войнах, наравне с ним, римским консулом и воюющим за Грецию. Впрочем, Тит касательно мира оправдывался тем, что войну кончил, видя, что не было можно погубить тиранна без великой гибели самих спартанцев.

Ахейцы определили Титу великие почести, однако ничто не могло сравниться с благодеяниями его, как следующий подарок, который более всего был ему приятен. Римляне, претерпевшие несчастья в войне с Ганнибалом, были проданы в разных странах и оставались в рабстве. В Греции их было до тысячи двухсот человек. Состояние их всегда было жалко, в тогдашнее же время более, нежели когда-либо, ибо одни встречали сыновей своих, другие братьев и знакомых – невольники вольных, пленники побеждающих. Хотя состояние их трогало Тита, однако он не отнял их у господ, которые их имели. Ахейцы, заплатив за каждого по пять мин, выкупили их, собрали всех и предали Титу, который уже готовился к отплытию. Таким образом, отплыл он с великой радостью, получив за прекрасные и великие дела свои награду, достойную мужа великого и любящего своих граждан. Это составляло блистательнейшее украшение триумфа его. Выбрив себе волосы и нося шляпы, по обычаю освобожденных невольников, следовали они за триумфом Тита.

Везенная в торжестве военная добыча была еще прекраснее, то были греческие шлемы, македонские щиты и копья. Количество денег было немалое. Тудитан пишет, что везено было три тысячи семьсот тринадцать литров литого золота и сорок три тысячи двести литров серебра, четырнадцать тысяч пятьсот четырнадцать золотых монет с изображением Филиппа, сверх тысячи талантов, которые остался должным Филипп. Но римляне впоследствии, убежденные Титом, оставили долг Филиппу, заключили с ним союз и отпустили сына его, бывшего у них заложником.

После некоторого времени Антиох с великим множеством кораблей и многочисленным войском перешел в Грецию, возмущал города и отторгал от союза с римлянами при содействии этолийцев, которые издавна питали вражду против римлян. Предлогом их к войне было освобождение греков, хотя греки в том не имели нужды, ибо были свободны. Но этолийцы, не имея благовиднейшей причины, научили Антиоха употреблять к оправданию своему самую лучшую. Возмущение городов и великая сила и слава Антиоха приводили римлян в беспокойство; они выслали против него консула Мания Ацилия, а наместником его назначили Тита по причине уважения к нему греков*. Едва он появился, как одних утвердил в верности к римлянам; других, кто начинал колебаться, удержал от проступков, употребляя благорасположение их к нему как лекарство, вовремя им приносимое. Вырвались у него только немногие, кто был уже совсем предупрежден и испорчен этолийцами. Хотя он был раздражен против них, однако после сражения не лишил их своего покровительства. Антиох, будучи

побежден при Фермопилах, убежал и немедленно переправился в Азию. После того консул Маний одних этолийцев сам осаждал в городах, а других предал на жертву Филиппу. Между тем как македоняне разоряли и грабили долопов и магнесейцев, афаманов и аперантов, Маний, по разрушении Гераклеи, осаждал Навпакт*, занимаемый этолийцами. Тит, жалея о греках, приехал к консулу из Пелопоннеса. Он сперва выговаривал ему за то, что, одержав победу, сам позволил Филиппу пожинать плоды войны и бесполезно терял время, осаждая один город в удовлетворение своего гнева, между тем как македоняне покоряют многие народы и многих царей. Когда осажденные увидели его со стен своих, то призывали к себе, простирали к нему свои руки, просили его; Тит тогда ничего не сказал; он отвернулся, заплакал и ушел, но вскоре после того поговорил с Манием, укротил гнев его и произвел то, что с этолийцами заключено перемирие и дано было им время отправить в Рим посольство для испрошения себе каких-либо выгодных условий.

Великого труда стоило выпросить у Мания прощения для халкидян, против которых он чрезвычайно был озлоблен по той причине, что Антиох женился в их городе: государь, в самом начале войны, не вовремя и не по летам своим, влюбился, будучи уже стар, в молодую девицу, дочь Клеоптолема, которая была прекраснейшая из своего пола. Это побудило халкидян с большим усердием прилепиться к стороне Антиоха и предать ему город свой как крепость и сборное место в военное время. Антиох, предавшись скорому бегству после сражения, прибыл в Халкиду, взял молодую супругу свою, деньги и друзей своих и отправился в Азию. Маний в гневе тотчас обратился против халкидян, но Тит, следуя за ним, старался смягчить ярость его и наконец просьбами своими успел склонить к помилованию Мания и сильнейших римлян. Халкидяне, избавившись таким образом от опасности, посвятили Титу самые большие и прекрасные здания, на которых и поныне можно видеть следующие надписи: «Народ Титу и Гераклу гимнасий»; в другом месте: «Народ Титу и Аполлону Дельфиний». Еще в наше время посвящают жреца в честь Тита, приносят ему жертвы и после возлияния воспевают пеан, в честь ему сочиненный. Мы пропустим его для краткости, а приведем только то, что они поют по окончании песни:

Мы чтим верность Рима,
Клянемся хранить ее;
Воспойте, девы великого Зевса,
Воспойте Рим и Тита и римскую верность.
Аполлон Пеан исцелитель! Тит избавитель!

Другие греки оказывали ему также приличные почести и по причине кротости его нрава имели к нему чрезвычайную любовь, которая одна может удостоверить в искренности оказываемого уважения. Хотя с некоторыми, как например с Филопеменом и Диофаном, полководцами ахейскими, по обстоятельствам или из честолюбия был он в ссоре, однако не имел к ним злобы, и гнев его не доходил до действия, но всегда кончался в словах, заключавших в себе некоторую благородную смелость и откровенность. Ни против кого не был он злопамятен, но многим казался вспыльчивым и стремительным. Впрочем, он был весьма приятен в обращении и говорил остро и приятно. Когда ахейцы присвоили себе остров Закинф*, то Тит ответствовал им, говоря, что для них опасно высунуть голову свою, подобно черепахе, далее Пелопоннеса. При первом свидании с Филиппом для переговоров о мире государь заметил, что он приехал один, а Тит в сопровождении многих. Тит отвечал ему: «Ты сам себя сделал одиноким, погубив друзей своих и родственников». Мессенец Динократ, находясь в Риме, напился допьяна некогда за пиршеством, надел женское платье и плясал, а на другой день просил Тита помочь ему в принятом намерении оторвать Мессену от Ахейского союза. Тит сказал ему, что об этом подумает, но между тем для него весьма удивительно то, что Динократ, помышляя о таких важных делах, может петь и плясать за пиршеством. Когда Антиоховы посланники исчисляли перед ахейцами множество царских войск и давали им разные названия, то Тит сказал следующее: «Ужиная некогда у одного из своих приятелей, я бранил его за великое множество яств и оказывал удивление, как он мог достать столь много различного мяса; на что приятель мне отвечал, что все это свинина и что кушанья различны

между собою только приготовлением и приправой. Итак, – продолжал он, – ахейцы! Не удивляйтесь силам Антиоховым, слыша различные наименования копейщиков, дротиконосцев, и пеших, и прочих: все они – сирийцы и только оружиями различны одни от других».

По окончании греческих дел и войны с Антиохом* Тит сделан был цензором – это есть высочайшее достоинство в республике и некоторым образом довершение гражданского поприща. Товарищем его в сем достоинстве был сын Марцелла, пять раз возведенного на консульское достоинство. Они выключили из сената четырех не самых знаменитых сенаторов и приняли в число граждан всех тех, кто родился от вольных родителей. К этому принуждены они были трибуном Теренцием Кулеоном, который склонил народ к утверждению сего постановления, ругаясь над приверженными к аристократии.

В то время были в раздоре между собою известнейшие и знаменитейшие мужи Сципион Африканский и Марк Катон. Тит сделал первого председателем сената, как лучшего и превосходнейшего человека, Катону же был врагом по следующей причине. У Тита был брат Луций Фламинин, нимало на него не похожий, но преданный рабски всем удовольствиям и вовсе не заботящийся о благопристойности. Он всегда имел при себе одного отрока, находясь в походах и управляя провинциями. Некогда за пиршеством этот отрок, льстя Луцию, сказал ему: «Я столько тебя люблю, что более хотел тебе сделать удовольствие, нежели себе; я оставил гладиаторское зрелище, хотя никогда еще не видал убиваемого человека». Луций был столь доволен сими словами его, что отвечал ему: «Не беспокойся об этом; я удовольствую твоему желанию». Он велел привести из темницы одного из осужденных на смерть, призвал ликтора и в самом пиршестве велел отрубить голову узнику. Валерий Антиат уверял, что Луций сделал это из угождения к своей любовнице. По словам Ливия, в речи Катоновой писано, что то был галлбеглец, который пришел к дверям Луция с женой и детьми, и что он, впустив его в столовую, умертвил собственной рукой из угождения к своему любимцу. Вероятно, что Катон преувеличил, дабы усилить обвинение. Многие другие, между ними Цицерон в книге своей «О старости», заставляют говорить Катона, что умерщвленный был узник, а не прибегший к Луцию галл.

Катон, будучи избран цензором и очищая сенат, исключил из оного Луция, хотя он был консульского достоинства. Катон, казалось, бесчестил тем и брата его. Тит и Луций в униженном виде и в слезах предстали перед народом; требования их были умеренны; они просили у своих сограждан, чтобы Катон объявил причину, ради которой покрыл таким поношением знаменитый дом. Катон не отказался; он явился вместе с товарищем своим и спросил Тита, известно ли ему оное пиршество? Тит отвечал, что ничего не знает; Катон описал все происшествие и призывал Луция к присяге, если в объявлении его было что-либо ложное. Луций умолк; народ признал справедливым бесчестие, ему оказанное, и с торжеством проводил с трибуны Катона. Тит, тронутый несчастьем брата своего, пристал к тем, кто издавна ненавидел Катона, и уничтожил все им заключенные договоры об откупах, наймах и подрядах, одержав над ним верх в сенате, и возбудил против него великие и тяжелые тяжбы. Не знаю, было ли прилично и согласно с политикой за родственника своего, – но человека недостойного и справедливо наказанного объявить непримиримую вражду законному правителю и лучшему гражданину. После некоторого времени народ собирался в театре, между тем как сенат занимал, по обыкновению, почетнейшее место. Граждане увидели Луция, сидящего где-то на краю в унижении и презрении; они сжалились над ним и не могли вынести печального вида его; они до тех пор кричали ему, чтобы он перешел на прежнее свое место, пока он не перешел; сенаторы, удостоившиеся консульства, дали ему место близ себя.

Пока честолюбие Тита имело себе довольно пищи и занятия в описанных войнах, то оно было одобряемо. После консульства был он военным трибуном, хотя к тому никто его не принуждал. В старости лет своих, когда он уже отстал от управления, был порицаем за то, что в этом остатке жизни, в котором можно быть свободным от дел, не мог он удержать стремления своего к славе и юноше приличную страсть. Она была причиной гонения его против Ганнибала, чем сделался он для многих неприятным. Ганнибал, убежав из Карфагена, находился при Антиохе. Когда после сражения, данного во Фригии, Антиох принял охотно мир, то Ганнибал, убежав вновь, блуждал по разным странам и, наконец, прибыл в Вифинию к царю Прусию. Это было известно всем римлянам, но они пренебрегали Ганнибалом – по причине бессилия и

старости его и как человека, совершенно оставленного счастьем. Но Тит, будучи отправлен посланником к Прусию по некоторым другим делам, видя при дворе его Ганнибала, досадовал, что он был еще жив. Несмотря на просьбы Прусия о муже, которого он почитал своим другом и принял к себе как приятеля, Тит не отстал от своего требования.

Касательно смерти Ганнибала было следующее давнишнее прорицание:

Ливийская земля покроет тело Ганнибала.

Сам Ганнибал считал, что здесь говорится о Ливии, думая, что окончит дни свои в Карфагене. Однако в Вифинии было песчаное место близ моря, с небольшим селением, которое называлось Ливисса. Здесь было тогда пребывание Ганнибала. Не доверяя слабости Прусия и боясь римлян, Ганнибал еще прежде провел из дома, где он жил, семь подземных ходов, которые обращены были в разные стороны и далеко в неизвестных местах имели выход. Узнав о требовании Тита, он хотел бежать подземными ходами, однако показался царским стражам и решился прекратить жизнь свою. Одни говорят, что он, обернув шею платьем, велел служителю, припирая коленом ему в спину, скручивать оное и тянуть назад с силой до тех пор, пока задушит его; другие уверяют, что, по примеру Фемистокла и Мидаса, он выпил воловьей крови. Ливий пишет, что он имел при себе яд и что, приняв чашу в руки, сказал: «Наконец я успокою великую заботу римлян, которым показалось долго и тяжело дожидаться смерти ненавидимого ими старца. Но победа Тита незавидна; она недостойна предков его, которые послали сказать Пирру, воевавшему против них и побеждавшему их, чтобы он берегся приготовляемой для него отравы». Таков, говорят, был конец Ганнибала.

Когда дошло сие до сведения сената, то многие изъявили свое неудовольствие на Тита и почли его человеком слишком жестоким, ибо, не получив ни от кого приказания, умертвил Ганнибала из одного славолюбия, дабы сделаться известным смертью несчастного полководца, которому позволяли жить как неопасному и, так сказать ручному, подобному птице, от старости лишенной перьев и сил. Они превозносили великодушие и кротость Сципиона Африканского, которому теперь еще более удивлялись, ибо, победив в Ливии дотоле непобедимого и страшного Ганнибала, он не изгнал его и не потребовал этого от сограждан его, но до сражения имел с ним свидание, принял его благосклонно и после сражения, заключив с ним мир, ничего не предпринял против него и не ругался над его несчастьем. Говорят, что Ганнибал опять увиделся со Сципионом в Эфесе и, прогуливаясь с ним, занимал всегда почетнейшее место, принадлежавшее Сципиону по причине его достоинства. Однако Сципион стерпел это и ходил с ним, не показав никакого неудовольствия. Между прочим начали они говорить о разных полководцах, Ганнибал утверждал, что величайшим из полководцев был Александр, после него Пирр, а третий он сам. Сципион, спокойно улыбнувшись, спросил его: «А если бы я тебя не победил?» – «Сципион, – отвечал Ганнибал, – тогда бы я не почитал себя третьим, но первым из полководцев». Удивляясь поступкам Сципиона, многие порицали Фламинина, как бы он наложил руки на чужое мертвое тело.

Однако были и такие, которые хвалили его поступок, почитая Ганнибала, пока был еще в живых, огнем, которому недоставало только быть раздуваемым, чтобы произвести пожар; они говорили, что римляне в цветущих летах Ганнибала не страшились тела его и тяжести его руки, но великого ума и опытности вместе с врожденной к ним злобой и ненавистью, которых старость нимало не уменьшает, ибо природные свойства неизменны; что счастье не всегда одинаково, что оно переменчиво и, внушая надежду, возбуждает к новым предприятиям тех, кто всегда ведет против нас войну по своей к нам ненависти. Последствия некоторым образом оправдали Тита. С одной стороны, Аристоник*, сын кифариста, пользуясь славою Эвмена, исполнил всю Азию возмущений и браней; с другой – Митридат после сражений с Суллой и Фимбрием, после такой пагубы войск и полководцев вновь с моря и с твердой земли восстал на Лукулла с великими силами. Ганнибал никогда не был в таком унижении, в каком находился Марий, ибо он пользовался дружбой царя, вел спокойную жизнь и имел в своем управлении корабли, конницу и войско. Над участью Мария, бродившего в нищете по Ливии, римляне смеялись и вскоре после того, будучи им убиваемы и сечены, поклонялись ему. Вот как настоящее положение не может почесть ни малым, ни великим в отношении к будущему!

Только с прекращением бытия прекращаются и превратности, которым человек подвержен. Некоторые говорят, что Тит поступил таким образом не по своей воле, что он был послан к Прусию с Луцием Сципионом и что целью посольства их было не другое что, как смерть Ганнибала. Поскольку далее мы не находим, чтобы Тит произвел какое-либо дело в гражданском или военном поприще, а конец жизни его был мирен, то обратимся к сравнению.

Сравнение Филопемена с Титом

Великостью благодеяний, оказанных грекам, не можно сравнить с Титом ни Филопемена, ни многих других, превосходящих его мужей. Они, будучи греки, воевали против греков; Тит, не будучи греком, воевал за греков. Когда Филопемен, не в силах будучи защитить своих сограждан, утесняемых войною, отправился на Крит, в то самое время Тит, одержав в средине Греции над Филиппом победу, освобождал города и народы. Если рассмотрим брани одного и другого, то мы найдем, что Филопемен, начальствуя над ахейцами, умертвил более греков, нежели Тит македонян, помогая грекам.

Проступки одного происходили от честолюбия, другого – от упорства. Один был к гневу склонен, другой в гневе неукротим. Тит оставил Филиппу царский сан, а этолийцам простил вины их; Филопемен из гнева отнял у своего отечества окрестные селения, платившие ему дань. Кроме того, один был тверд в дружбе к тем, кому оказал благодеяние, другой из гнева скоро разрывал все связи дружбы. Будучи прежде благодетелем лакедемонян, впоследствии он разрушил стены их, отнял у них часть их области и самый образ правления их превратил и испортил. Кажется, что он лишился самой жизни по гневу своему и упорству, вступив в Мессену не вовремя, прежде нежели должно было. В предприятиях своих не употреблял он, подобно Титу, для своей безопасности все силы своего рассудка.

Рассматривая множество браней Филопемена и воздвигнутые им трофеи, мы находим, что опытность Филопемена основательнее. Тит только дважды вступал в сражение с Филиппом. Филопемен одерживал победы в бесчисленных сражениях, и нет ни малейшего сомнения в том, что не позволил судьбе оспаривать способности свои. Кроме того, один пользовался римской славой, бывшей тогда во цвете своем, другой приобрел славу в то время, когда Греция клонилась к падению, следовательно, дела одного принадлежат собственно ему, дела другого принадлежали обществу. Один начальствовал над мужественнейшими, другой, будучи начальником, творил мужественных. И то, что Филопемен войну вел с греками, служит печальным, однако сильным доказательством превосходных дарований его. При равных средствах победу одерживает тот, который превосходит доблестью. Филопемен, ведя войну с воинственнейшими народами Греции, каковы критяне и лакедемоняне, победил хитрейших обманом, а храбрейших смелостью. Тит побеждал, имея все готовое, употребляя оружие и военное устройство, какое было в употреблении прежде. Но Филопемен переменил и ввел сам в употребление новые оружия и новое устройство. То, что всего более поспешествует к победе, одним изобретено, у другого было прежде и пособляло ему.

Что касается до дел, требующих личной храбрости, то Филопеменовы – многочисленны и велики, но Тит не оказал ни одного. Некто из этолийцев, по имени Архедем, насмехаясь над ним, говорил, что когда сам с обнаженным мечом устремлялся на македонян, которые сражались и сопротивлялись, то Тит, подняв руки к небу, молился.

Тит имел счастливый успех как в военачальстве, так и в посольстве. Филопемен, будучи частным лицом, действовал и был полезен ахейцам столько же, как предводительствуя ими. Будучи полководцем, он изгнал Набиса из Мессены и освободил мессенцев; будучи частным лицом, воспрепятствовал Титу и Диофану завладеть Спартой и тем спас лакедемонян. Имея все способности управлять, он не только по законам, но и над законами умел начальствовать к пользе общей. Он не имел нужды принимать начальство от тех, которыми надлежало ему управлять, но употреблял их тогда, когда время этого требовало, почитая истинным полководцем более того, кто о них заботился, нежели того, кого они избирали. Поступки Тита по отношению к грекам показывают кротость и человеколюбие; поступки Филопемена по отношению к римлянам обнаруживают твердость его и любовь к вольности. Оказывать благодеяние нуждающимся легче, нежели оскорблять сильнейших, действуя против них.

Рассматривая их таким образом, нетрудно найти между ними разность; может быть, суждение наше не покажется дурным, если мы греку дадим венец военного искусства и военачальства, римлянину – венец справедливости и благотворительности.

Пирр и Гай Марий

Пирр

Над феспротами и молоссами, как повествуют, после потопа царствовал первый Фаэтонт, один из тех, кто прибыл в Эпир* вместе с Пеласгом. Другие говорят, что Девкалион и Пирра, воздвигнув храм при Додоне*, поселились тут среди молоссов. По прошествии долгого времени Неоптолем, сын Ахилла, привел людей, захватил страну и оставил по себе царское поколение так называемых Пирридов, ибо Неоптолем в детстве был прозван Пирром, и один из законных детей его, рожденных от Ланассы, дочери Клеодема, сына Гилла*, назван был также Пирром. С того времени и Ахиллу в Эпире оказывали почести, равные богам, и на тамошнем природном языке называли его Аспетом. После первых царей, последовавшие за ними впали в варварство; как сила их, так и жизнь сделались неизвестны. Таррип*, первый, как повествуют, ознаменовал себя тем, что греческими нравами, письменами и кроткими законами образовал жителей городов. У Таррипа был сын Алкет*, от которого родился Арибб, от Арибба и Троады произошел Эакид. Тот женился на Фтии, дочери фессалийца Менона, мужа, отличившегося во время Ламийской войны*, имевшего между союзниками великую власть после Леосфена. Фтия родила от Эакида двух дочерей, Деидамию и Троаду, и сына Пирра.

Когда молоссы, возмутившись против Эакида*, изгнали его и призвали детей Неоптолема, то в этом случае приятели Эакида были пойманы и умерщвлены, а Пирр, который был еще младенцем и которого искали противники, унесен был Андроклидом и Ангелом. Они убежали, имея при себе по необходимости немногих служителей и женщин, которые пеклись о младенце и кормили его. По этой причине бегство их происходило с трудом и медленно; находясь в опасности быть пойманными, они предали младенца Андроклиону, Гиппию и Неандру, молодым людям, сильным и верным, приказав им бежать скорее и продолжать путь в Мегары, македонский город. Сами же они, частью употребляя просьбы, частью сражаясь с преследовавшими, препятствовали им до вечера идти далее. Когда же те наконец отстали, то поспешили догнать своих спутников, которые несли Пирра.

По захождении солнца, будучи уже близки к своей цели, вдруг лишились надежды своей. Они встретили реку, близ города текущую, быструю и бурную, которую переплыть оказалось невозможным по причине выпавших дождей; мутные волны ее неслись с шумом; мрак ночи делал все сие ужасным. Они потеряли всю надежду перейти сами реку, неся младенца и женщин, кормивших его. Приметив на другом берегу несколько из тамошних жителей, просили их с жалостными криками пособить в переправе и показывали им Пирра. Но шум и стремление реки не позволяли ничего слышать. Долгое время оставались они в этом положении; одни кричали, другие не понимали. Наконец один из них догадался снять кору с дуба и написал на ней шпеньком пряжки нужду и участь младенца. Потом, привязав к ней камень и придав ей тяжесть для метания, пустил на другой берег. Другие говорят, что воткнули кору на дротик и бросили его. Когда бывшие на другой стороне люди прочли письмо и поняли, сколь нужна была скорая помощь, то тотчас нарубили деревья, составили плот и переправились на другую сторону. Тот, кто из них переправился первый, по случаю назывался Ахиллом, он перевез Пирра, между тем как другие, как кто мог, перевозили других.

Таким образом они спаслись и убежали от преследующих. Они пришли к иллирийцам и прибегли к царю их Главкию. Найдя его сидящим дома вместе со своей супругой*, положили они дитя на пол посреди чертога. Главкий был в недоумении; он боялся Кассандра, который был врагом Эакиду, и долго размышлял в молчании. Между тем младенец Пирр приполз к Главкию, схватил ручонками его за платье, встал на ноги у колен его, чем сперва произвел смех, потом возбудил жалость, как будто бы он умолял и плакал в виде просителя. Другие уверяют, что он не прибег к Главкию, но дошедши до некоего жертвенника богов, стал перед

ним и обнял руками. Это показалось Главкию божественным знамением. Он вручил тотчас Пирра жене своей, велел воспитывать его вместе с детьми их. Вскоре после того неприятели требовали его назад, и Кассандр давал за него двести талантов, но Главкий его не выдал. Когда ж Пирру было двенадцать лет, то он привел его в Эпир с войском и поставил царем.

У Пирра на лице было некоторое величие, более страшное, нежели важное. Вместо ряда зубов была у него в верхней челюсти одна цельная кость, на которой как бы слегка означались промежутки зубов. Говорят, что он имел дар лечить страждущих болью в селезенке; он приносил богам в жертву белого петуха и правой ногой давил слегка селезенку больного, который лежал навзничь. Не было столь бедного и неизвестного человека, которого бы он не исполнил просьбы и не исцелил таким образом. Он всегда брал принесенного петуха в жертву и сия награда была ему весьма приятна. Говорят также, что большой палец правой ноги его имел некоторую сверхъестественную силу, так что по смерти его, когда остальное тело его сгорело на погребальном огне, этот палец был найден целым и невредимым от огня. Но это случилось позже.

Он достиг уже семнадцатилетнего возраста; власть его казалась довольно утвержденною. Он находился вне своего государства по случаю бракосочетания одного из Главкиевых детей, с которым воспитывался. Молоссы опять возмутились, изгнали друзей его, расхитили имение и предали себя Неоптолему*. Таким образом, Пирр, потеряв престол и будучи оставлен всеми, отправился к Деметрию, сыну Антигона, женившемуся на сестре его Деидамии. В малолетстве называлась она супругой Александра, сына Роксаны*; когда же сей дом впал в несчастье, то Деметрий женился на ней, уже созревшей для брака. В великой битве при Ипсе*, где сражались все цари, Пирр, будучи еще молод, находился в войске Деметриевом, опрокинул все, что ему ни попалось и приобрел блистательную славу между сражавшимися. Хотя Деметрий потерял сражение, но Пирр его не оставил. Он сохранил Деметрию вверенные ему греческие города; когда же между Деметрием и Птолемеем заключен был мирный договор, то Пирр отправился в Египет, дабы быть заложником со стороны Деметрия. На охоте и в гимнастических упражнениях он показывал Птолемею опыты своей силы и твердости. Видя, что Береника имела над ним великую власть и превосходила других жен Птолемеевых умом своим и добродетелью, Пирр старался обратить на себя ее внимание. Он был весьма искусен для пользы своей вкрадываться в благорасположение сильнейших, но пренебрегал низшими. Он был благонравен и воздержан в образе жизни, и потому оказано ему предпочтение перед другими царского же рода юношами для получения руки Антигоны, одной из дочерей Береники, которая родила ее от Филиппа до вступления в супружество с Птолемеем*.

После брака Пирр сделался еще более знаменитым. Имея в Антигоне добрую жену, успел он склонить Птолемея к тому, чтобы даны были ему деньги и войско для отправления в Эпирское царство. Он прибыл в Эпир* к удовольствию многих жителей, ненавидевших Неоптолема, который правил жестоко и самовластно. Боясь однако, чтобы Неоптолем не прибегнул к кому-либо из других царей, Пирр вступил с ним в переговоры и заключил условие, чтобы им царствовать вместе. По прошествии некоторого времени беспокойные люди тайно их раздражали и приводили в подозрение одного у другого. Причина, побудившая более всего восстать против Неоптолема, была, как говорят, следующая: цари, по принесении Аресу и Зевсу жертвы в Пассароне*, молосском месте, имели обыкновение клясться перед народом в том, что они будут управлять по законам, и заставляли народ клясться в том, что он будет хранить царскую власть также по законам. Это происходило в присутствии обоих царей, которые были тут вместе со своими приближенными, давали и принимали многие подарки. В то время некто по имени Гелон, человек, преданный Неоптолему, принял и угостил в доме своем Пирра и подарил ему две пары рабочих волов. Миртил, царский виночерпий, будучи тут, просил их у Пирра, который ему отказал и подарил их другому. Миртилу было то досадно, и это не скрылось от Гелона, который, призвав Миртила к ужину и угощая его, предлагал ему и убеждал его принять сторону Неоптолема и отравить ядом Пирра. Миртил принял предложение его, притворно оное одобрил и согласился, но объявил обо всем Пирру. По повелению его Миртил свел с Гелоном главного виночерпия Алексикрата, который будто бы желал участвовать в том деле, ибо Пирр хотел как можно большим числом свидетелей обнаружить злоумышление. Таким образом Гелон был обманут, и вместе с ним и Неоптолемом, который, думая, что

злоумышление идет уже, так сказать, своим путем, не мог удержаться от радости, чтобы не объявить о том приближенным своим. Ужиная некогда у сестры своей Кадмеи, он все выболтал ей, думая, что никто его не подслушивает. В комнате не было никого, кроме Фенареты, жены Самона, попечителя Неоптолемовых стад. Она сидела на ложе, обратившись к стене и казалась спящей. Она слышала все, не будучи никем примечена, и на другой день пришла к Пирровой жене Антигоне и пересказала ей все объявленное Неоптолемом сестре своей касательно Пирра. Узнав о том, он тогда пребыл спокоен, но при некотором жертвоприношении призвал Неоптолема к ужину и умертвил его. Он знал, что лучшие эпирцы были преданы ему и увещевали его освободиться от Неоптолема и не довольствоваться малою частицею царства, но действуя своими способностями, обратиться к большим предприятиям. Эти представления и подозрение, которое он возымел на Неоптолема, заставили Пирра предупредить и умертвить его.

Пирр, помня, чем был обязан Беренике и Птолемею, назвал рожденного Антигоной сына Птолемеем и, основав город в Эпирском полуострове, дал ему название Береникида.

Помышляя о многих и великих предприятиях и преимущественно объемля надеждой сперва соседственные области, нашел он случай вмешаться в македонские дела по следующей причине: Антипатр, старший из Кассандровых детей, умертвил свою мать Фессалонику и изгнал брата Александра. Этот послал к Деметрию, просил у него помощи и призывал к себе Пирра. Деметрий медлил, будучи занят другими делами. Пирр прибыл к нему с войском и в награду за оказываемую помощь требовал Стимфею, приморскую часть Македонии* и из покоренных областей Амбракию, Акарнанию и Амфилохию. Молодой Александр на это согласился. Пирр завладел этими областями и занял их своим войском; другие приобретал он для своего союзника, отнимая оные у Антипатра. Между тем царь Лисимах желал помочь Антипатру, но не был тогда в состоянии. Ведая, что Пирр из благодарности ни в чем не откажет Птолемею, послал к нему от имени Птолемея подложное письмо, в котором повелевал ему прекратить войну, взяв от Антипатра триста талантов. По распечатании письма Пирр понял тотчас хитрость Лисимаха, ибо письмо не начиналось обыкновенным приветствием: «Отец сыну радости желает», но: «Царь Птолемей царю Пирру здравия желает».

Пирр произнес за то на Лисимаха ругательные речи, однако приступил к заключению мира. Цари сошлись, дабы утвердить договор клятвой с жертвоприношением. Приведены были вепрь, вол и баран. Случилось, что баран умер сам; все тому смеялись, но прорицатель Феодот не допустил Пирра произнести клятву, объявив, что бог предзнаменует этим смерть одному из трех царей. По этой причине Пирр отстал от заключения мира. Дела Александра находились уже в хорошем состоянии; однако Деметрий прибыл к нему, хотя в присутствии его не было никакой нужды – и тем навлек на Александра страх. Несколько дней были они вместе, но, не доверяя друг другу, строили один другому козни. Деметрий нашел удобный случай, успел умертвить молодого Александра и объявил себя царем Македонии.

Еще прежде он имел причины жаловаться на Пирра, который делал набеги на Фессалию. Сверх того врожденные властителям страсти, любостяжание и желание распространять свое владычество, делали соседство их опасным и внушали недоверие, которое усилилось по смерти Деидамии. Когда же каждый из них занял часть Македонии и они, так сказать, столкнулись, и раздоры их получили большую пищу, то Деметрий вступил с войском в Этолию и, одержав верх, оставил тут Пантавха с великой силой, а сам обратился к Пирру. Пирр, узнав его намерение, шел на него; однако, по ошибке, они не встретились на дороге. Деметрий вступил в Эпир и разграбил его, а Пирр, встретившись с Пантавхом, решился дать ему сражение. Войска сошлись; борьба была жаркая, в особенности вокруг вождей. Пантавх, по общему признанию, превосходивший в храбрости всех Деметриевых полководцев, отличный крепостью тела и тяжестью мышцы, исполненный предприимчивости и великого духа, вызывал Пирра к единоборству; Пирр, никому из царей не уступавший в мужестве, желая присвоить себе Ахиллову славу более по собственной доблести, нежели по своему с ним родству, стремился прямо на Пантавха сквозь первые ряды сражавшихся. Сперва они бросали друг на друга дротики, потом вступили в ручной бой, действовали мечами с искусством и силою. Пирр получил одну рану и дал две своему противнику, одну в бедро, другую близ затылка, поверг его на землю, но не умертвил. Он был вырван у него приятелями Пантавха. Эпирцы, вознесенные

победой царя своего и удивляясь его мужеству, опрокинули македонскую фалангу и, преследуя бегущих, многих умертвили и в плен взяли до пяти тысяч живых.

Это славное дело не столько возбудило в македонцах гнева за свое поражение и ненависти к Пирру, сколько внушило им великое о нем понятие и удивление к доблести его; все, видевшие его и сразившиеся с ним, говорили только о нем. Им казалось, что он взором, быстротой и движением походил на Александра Великого; что они видели некоторую тень и подобие стремления его и жара в боях. Между тем как другие цари подражали Александру ношением порфиры, множеством окружающих копьеносцев, наклоном головы и надменностью речей*, один только Пирр своим оружием и крепостью руки своей показывал в себе Александра. Об устройстве войска, искусстве и способности его предводительствовать войсками можно заключить по сочинениям его касательно сего предмета. Говорят также, что когда спросили Антигона, кто лучший из полководцев, то он отвечал: «Пирр, если он состарится», – разумея под этим только своих современников. Ганнибал давал преимущество в опытности и искусстве перед всеми полководцами Пирру, вторым после него считал он Сципиона, а третьим себя, как в жизнеописании Сципионовом сказано*. Вообще Пирр почитал военное искусство приличнейшим царю занятием и упражнялся всегда в оном. Все другие искусства почитал он недостойными своего внимания. Говорят, что за пиршеством спрашивали его: «Который свирельщик лучше играет, Пифон или Кафисий?» – «Полководец Полисперхонт!*» – отвечал Пирр – как будто бы только военное искусство надлежало царю знать и только им заниматься. Впрочем, был он милостив к друзьям своим, в гневе кроток, скор и усерден в оказании благодеяний. Когда Аэроп умер, то Пирр изъявил чрезвычайную горесть; он говорил, что Аэропа постиг конец, которому все смертные подвержены, но бранил и порицал сам себя за то, что, всегда медля и откладывая до другого времени, не успел оказать ему благодарности своей. Долги можно заплатить наследникам заимодавцев, но добрый и правдивый человек печалится, когда не может воздать награды за благодеяние благотворителю своему, пока он еще в живых. Когда некоторые советовали ему выслать из Амбракии одного человека, который его злословил, то Пирр отвечал: «Пусть лучше тут останется и бранит меня в присутствии немногих, чем ему ходить по разным землям и злословить перед всеми людьми». Некогда привели к нему несколько людей, которых изобличали в том, что они произносили на него ругательства за пиршеством. Пирр спросил: «Подлинно ли вы это говорили?» – «Так, государь! – отвечал один из юношей, – мы все это говорили, но сказали бы еще более, когда бы у нас больше было вина». Пирр рассмеялся и отпустил их.

По смерти Антигоны сочетался браком со многими женами – с намерением умножить тем силы свои и власть. Он женился на дочери Автолеонта, царя пэонийского; на Биркенне, дочери царя иллирийского Бардиллия; на Ланассе, дочери Агафокла Сиракузского, тиранна, которая принесла ему в приданое город Керкиру, покоренный Агафоклом. Антигона родила ему Птолемея, Ланасса – Александра, Биркенна – Гелена, самого младшего. Он воспитал их так, чтобы они были храбры и отважны в войне, и с самого рождения к тому приучал их. Говорят, что один из них, будучи еще ребенком, спрашивал его, кому он оставит царство. «Тому, – отвечал Пирр, – у кого меч острее». Эти слова нимало не различествуют от отцовского проклятия в трагедии:

Железа острием два брата меж собою
Наследство разделят*.

Столько то властолюбие свирепо и не терпит соучастников!

После описанного нами сражения Пирр возвратился со славой в свое царство, исполненный радости и надменности. Эпирцы давали ему название Орла. «С вами я орел! – говорил им Пирр. – Да и как иначе, когда вашими оружиями, как бы крыльями, возношусь!» Вскоре после того, узнав, что Деметрий был опасно болен, он ворвался неожиданно в Македонию для набегов и грабежей, чуть было он не занял всю страну и не покорил целое царство, не дав ни одного сражения. Он дошел до Эдессы* – никто не защищал области; многие из македонян приставали к нему и следовали за ним в поход. Угрожающая опасность побудила Деметрия подняться при всей своей слабости. Друзья его и предводители в короткое время

набрали многочисленное войско и устремились на Пирра с отважностью и жаром. Пирр, который пришел более с намерением грабить, нежели сражаться, не дождался их, но предаваясь бегству, потерял часть своего войска, ибо македоняне нападали на него в отступлении. Деметрий, изгнав столь скоро и легко Пирра из областей своих, не пренебрегал им. Решившись предпринять важнейшие дела и вновь приобрести принадлежавшие отцу его владения, при помощи ста тысяч войска и пятисот кораблей, не хотел быть с Пирром в ссоре и оставить македонянам беспокойного и опасного соседа. Он не имел времени с ним воевать, рассудил заключить мир и потом обратиться на других царей.

По заключении мирного договора, когда вместе с великим приготовлением обнаружилось и намерение Деметрия, цари, страшась его силы, отправили к Пирру вестников и письма. Они изъявляли ему свое удивление, что он, пропуская благоприятное для себя время, ждет, пока Деметрию будет свободнее воевать; почему не воспользуется возможностью изгнать его из Македонии, пока он занят делами и тесним со всех сторон, почему медлит, пока тот не развяжет себе руки и не усилится настолько, что молоссам придется сражаться на своей земле за храмы богов и гробы отцов своих – хотя незадолго перед тем он у него отнял Керкиру и жену. В самом деле Ланасса, будучи в неудовольствии на Пирра за то, что более оказывал уважения другим варварского происхождения женам своим, нежели ей, удалилась в Керкиру и, желая вступить в брак с каким-либо из царей, призвала Деметрия, зная, что он более всех их склонен был сочетаться браком. Деметрий, приехав в Керкиру, женился на Ланассе и в городе оставил охранное войско.

Такого содержания были письма царей к Пирру. Между тем они сами начали беспокоить области Деметрия, который еще медлил и приготовлялся. Птолемей, приплыв в Грецию с многочисленным флотом, возмущал против Деметрия греческие города. Лисимах, со стороны Фракии, вступил в Верхнюю Македонию и опустошал ее, а Пирр, вместе с ними поднявшись против Деметрия, шел на Беррою*, предполагая – в чем и не ошибся, – что Деметрий обратится к Лисимаху и оставит Нижнюю Македонию без защиты. Перед отъездом его ночью приснилось ему, что Александр Великий звал его к себе; что он пришел к нему и нашел его, лежащего на постели; что Александр говорил ему ласково, показывал к нему благосклонность и обещал охотно помочь. Пирр осмелился ему сказать: «Государь! Как ты можешь мне помочь, будучи болен?» «Я помогу тебе именем своим!» – сказал ему Александр и, сев на нисейского коня*, пустился вперед. Это сновидение умножило бодрость Пирра. Он поспешил с отъездом, пробежал с великой скоростью всю область, занял Берою и оставил тут большую часть своего войска, между тем как его полководцы покоряли другие области. Деметрий, узнав о том и заметя господствовавшее в стане между македонянами беспокойство, не решился идти далее. Он боялся, что воины его, приблизившись к Лисимаху, царю македонского происхождения и славному своими делами, не перешли к нему. По этой причине обратился на Пирра, как на государя иноплеменного и ненавидимого македонянами. Он расположил стан свой недалеко от него. Многие из Берои приходили в стан, превозносили похвалами Пирра, как мужа славного и на войне непобедимого, поступающего кротко и человеколюбивого с теми, кто ему покорялся. Из числа этих людей некоторые подосланы были самим Пирром. Они притворялись македонянами, говорили всем, что ныне настало время освободиться от Деметриевой жестокости и передаться Пирру, государю снисходительному и любящему своих воинов. Эти речи поколебали большую часть войска. Воины начали всюду искать Пирра глазами. Случилось, что он был тогда без шлема; заметив, что искали его, надел шлем, и македоняне тотчас узнали его по блеску перьев и по рогам, стоящим на нем*. Одни бегали к нему и просили условного знака, как от полководца своего; другие покрывали голову дубовым венком, по той причине, что многие приближенные Пирра такими же венками были украшены. Уже некоторые осмеливались говорить самому Деметрию, что он благоразумно поступит, если откажется от управления и передаст все Пирру. Деметрий, видя, что движение воинов его было сообразно со словами их, устрашился, убежал тайно из стана, обвернувшись в простой плащ и покрыв голову македонской шляпой. Пирр, придя в стан македонский, завладел им без кровопролития и был провозглашен царем македонским. Вскоре явился Лисимах. Почитая изгнание Деметрия общим их обоих делом, он предлагал, чтобы Македония была разделена между ними. Пирр, не весьма доверяя македонянам и не полагаясь на верность их, принял предложение Лисимаха. Они

разделили между собою всю область и города.

Это было полезно на некоторое время и остановило войну между ними, но вскоре они познали, что раздел власти не стал уничтожением вражды, а лишь началом раздоров и взаимных жалоб. Могут ли те, для чьего любостяжания не служат пределом ни море, ни горы, ни необитаемая степь, чьи желания не ограничивает пространство, отделяющее Европу от Азии, могут ли они, не обижая друг друга, быть спокойными и довольствоваться своим, когда владения их смежны и касаются друг друга? Нет! Они всегда воюют между собой; обман и зависть врожденны им; слова «мир» и «война», как монету, употребляют они по обстоятельствам, смотря более на свои выгоды, нежели на справедливость. Они тогда еще похвальнее, когда ведут войну открытую, нежели когда под именем дружбы и справедливости скрывают праздную и недействующую несправедливость. Пирр служит тому доказательством. Противясь вновь возрастающей силе Деметрия* и препятствуя ей, как бы после тяжкой болезни восстающей, он содействовал грекам против него. Он прибыл в Афины, взошел на акрополь, принес богине жертвы и в тот же день сошел в город, сказав, что ему весьма приятны благорасположение и доверенность к нему афинского народа; что впрочем, если они благоразумны, то никакого государя не впустят более в свой город и не отворят ему ворот своих*. После того заключил он мир с Деметрием, но когда тот отправился в Азию, то Пирр, по внушению Лисимаха, опять вступил в Фессалию, отторгал тамошние города от Деметрия и вел войну с греческим войском, охранявшим их, ибо македоняне были ему покорнее в военное, нежели в мирное время; впрочем он и сам не был создан оставаться долго в покое. Наконец, Деметрий был в Сирии побежден, и Лисимах, освободясь от всякой опасности, тотчас обратился к Пирру. Тот находился тогда в Эдессе. Лисимах напал на везомые к нему запасы, отнял их, и, во-первых, заставил его терпеть с войском голод; потом письмами и словами обольстил первенствующих македонян, порицая их за то, что избрали над собой царем чужестранца, предки которого всегда были подвластны македонянам, а между тем вытесняют из Македонии друзей и приближенных Великого Александра. Эти речи многих убедили. Пирр, устрашенный этим, удалился с эпирскими и союзническими войсками – потеряв Македонию таким же образом, как ее приобрел. И так цари не могут винить народ, если он для пользы своей переменяет мысли; он поступает таким образом, подражая им, как наставникам в неверности и вероломстве, ибо они думают, что наиболее получает себе выгод тот, кто меньше соблюдает справедливость.

Таким образом, Пирр лишился Македонии и удалился в Эпир*. Судьба позволяла ему пользоваться спокойно тем, что у него было, и жить в мире, управляя своим царством. Но не причинять другим зла и самому не претерпевать зла от других было для него скучно и несносно. Подобно Ахиллу, не терпел он спокойствия.

Там, оставаясь в покое, сердцем любезным томился,
Битвы и ратного шума желал*.

Он искал новых занятий и нашел их. К тому подало повод следующее происшествие.

Римляне воевали с тарентинцами*. Не будучи в состоянии ни продолжать войны, ни кончить оной по наглости и безрассудству своих демагогов, они решились сделать Пирра предводителем своим и призвать его к войне, зная, что он был свободнее всех других царей и искуснейший полководец. Те из старейших и здравомыслящих граждан, кто противился явно сему намерению, были принуждены молчать от криков и насильства склонных к войне граждан и уйти с Народного собрания; другие, видя это, удалились сами. С наступлением дня, в который надлежало утвердить постановление, в то самое время, когда граждане заняли места свои, один из хороших граждан, по имени Метон, надев на голову из увядших цветков венок и взяв в руку малую свечу, шел в виде пьяного за играющей на флейте женщиной в Народное собрание. Видевшие это, одни плескали руками, другие смеялись, как бывает в народном, худо устроенном правлении. Никто ему не препятствовал; многие желали, чтобы он шел вперед и пел, и чтобы женщина играла на флейте. Казалось, Метон хотел исполнить их желание, и когда все умолкли, то он сказал им: «Сограждане! Вы хорошо делаете, что не запрещаете кому угодно играть и веселиться, пока можно; если вы благоразумны, то пользуйтесь еще своей свободой,

ибо когда Пирр приедет к нам в город, то будут у вас другие дела, другого роду упражнения и другой образ жизни». Эти речи произвели своей действие на многих тарентинцев; в Собрании распространился шум; начали говорить, что это совершенная правда, но те, кто боялся по заключении мира, быть выданными римлянам, порицали народ за то, что терпел равнодушно подобные неприличные насмешки. Они составили толпу и выгнали из собрания Метона. Таким образом постановление утверждено; отправлены были в Эпир посланники, не только от них, но и от других италийских городов; они несли Пирру дары и объявили ему, что имеют нужду в искусном и отличном полководце и что у них будут собраны многочисленные силы; что тарентинцы, луканцы, мессапы и самниты поставят до двадцати тысяч конницы и до трехсот пятидесяти тысяч пехоты. Эти обещания не только Пирру внушили великие надежды, но и в других эпирцах возбудили желание и склонность к этому предприятию.

При Пирре находился некий фессалиец, по имени Киней, человек отличного благоразумия, который был слушателем Демосфена и, казалось, один из всех тогдашних ораторов сохранил некоторое подобие силы и великих способностей афинского оратора. Будучи употребляем Пирром и посылаем в разные города, он подтвердил Еврипидово мнение*: «Речи могут произвести то же, что сила и оружие». Пирр говаривал, что более городов покорено словами Кинея, нежели его оружием. По этой причине он имел великое к нему уважение. Киней, видя тогда Пирра в готовности устремиться на Италию, завел с ним, в свободное время, следующий разговор: «Говорят, Пирр, что римляне весьма воинственны и обладают многими храбрыми народами. Если бог поможет, и мы покорим их, то какую выгоду получим от этой победы?» – «Ты спрашиваешь, Киней, о деле очевидном. По покорении римлян ни один из тамошних греческих и варварских городов не будет в состоянии нам противостать. Тогда будет в руках наших вся Италия, коей пространство и силу, равно как и храбрость ее жителей, может не знать кто-нибудь другой, но не ты». Киней, несколько позадумавшись: «Государь, а что мы будем делать, покорив Италию?» Пирр, не догадавшись еще о его намерении, отвечал ему: «Близка от нас Сицилия; сей счастливый и многолюдный остров простирает к нам руки – это самая легкая добыча! После смерти Агафокла* везде царствует мятеж, безначалие в городах и неистовство демагогов». – «Это правда, – сказал Киней, – но с покорением Сицилии будет ли конец нашему походу?» – «Дай лишь бог успех и победу в предприятиях наших! – отвечал Пирр, – все это только приступ к великим делам. Кто возможет удержаться от завоевания Ливии и Карфагена, который так близок? Ты знаешь, что Агафокл, выйдя из Сиракуз скрытно и с немногими кораблями переплыв море, едва их не покорил. Впрочем, что нужды сказывать, что по покорении нами всего этого никто из презирающих нас ныне врагов не осмелится нам противоречить?» – «Без сомнения, никто, – отвечал Киней, – разумеется, что с такими силами можно взять опять Македонию и спокойно обладать Грецией, но когда все это будет в нашей власти, что тогда будем делать?» – «Тогда, – сказал Пирр усмехнувшись, – тогда, друг мой, мы ничего не будем делать; будем пить всякий день, веселиться и утешаться приятными беседами». Когда Киней привел Пирра на то, чего он хотел, то сказал ему: «Кто же мешает нам, государь, если только мы того хотим, теперь же пить и веселиться и наслаждаться покоем? У нас все это есть, и мы можем спокойно пользоваться тем, к чему стремимся с пролитием крови, с великими трудами и опасностями, делая другим великое зло и сами претерпевая великие бедствия». Этими словами Киней причинил неудовольствие Пирру, но не переменил его мыслей. Хотя он знал, какое счастье покидает, но не мог оставить прельщавшей его надежды.

Во-первых, он послал в Тарент Кинея с тремя тысячами воинов; потом, когда из Тарента прибыли разные суда, назначенные к перевозу войск, он посадил на оные двадцать слонов, три тысячи конницы, двадцать тысяч пехоты, две тысячи стрельцов и пятьсот пращников. Все было уже готово; Пирр сел на корабль и отплыл. Корабли находились уже в середине Ионического моря, но в необыкновенное время года поднявшийся северный ветер унес их далеко. При великих усилиях и искусстве кормчих и мореходцев, корабль его устоял и после многих трудов и опасностей приблизился к земле. Все другие корабли рассеялись; одни удалены были от Италии и увлечены бурей до Ливийского и Сицилийского морей; другие не могли миновать Япигский мыс*; с наступлением ночи бурным и волнующимся морем прибиты были к скалам и мелям и все потоплены; только царский корабль, по причине величины своей и крепости, мог

противостать ударяющим в бок волнам и спастись от ярости моря, но когда ветер переменился и начал дуть с твердой земли, то корабль, идучи против сильной бури, находился в опасности быть разрушенным; предаться же опять разъяренному морю и ветрам, беспрестанно переменяющимся, казалось ужаснее всех предстоявших бед. Пирр решился броситься в море; друзья и стражи его наперерыв оказывали ему свое усердие, но мрак ночи и волны, со страшным ревом и стремлением отражаемые землею, препятствовали подать ему пособие. Наконец едва на рассвете дня, когда ветер несколько утих, был он выброшен на берег. Телесные силы его были вовсе истощены, но смелостью и душевной крепостью он противоборствовал сему несчастью. Между тем и мессапы, на берега которых был он выброшен, прибежали к нему, оказывая помощь с великим усердием; некоторые из спасшихся судов неслись к берегам; на них было весьма мало конницы, около двух тысяч пехоты и два слона.

Пирр, взяв их, отправился в Тарент*. Киней, узнав о его приближении, вышел к нему навстречу с воинами. По вступлении в город Пирр не употреблял насилия и не делал ничего против воли тарентинцев до тех пор, как спаслись корабли его и собралась большая часть войска. Тогда, видя, что граждане тарентские без великого принуждения не могли ни себя спасти, ни другим помочь, а между тем, как он стал бы сражаться, они сидели бы спокойно в городе и проводили бы время в банях и в беседах, велел затворить гимназии и гульбища, в которых они, провожая время в праздности, только словами управляли войском и вели войну; пресек безвременные пиршества, забавы и веселые общества; призывал граждан к оружию; был неумолим и строг в наборе ратников до того, что многие из граждан оставили город, не имея привычки быть подвластными; жить не для своего удовольствия называли они рабством.

Вскоре возвещено было ему, что римский консул Левин идет против него с многочисленным войском, опустошая Луканию. Союзники еще не были собраны. Пирр, не терпя долее оставаться в покое, при наступлении неприятеля вышел из Тарента с войском, послав наперед к римлянам вестника с объявлением, не будет ли им приятнее, без войны, разобрать дружелюбно свои распри с италийскими городами, приняв его судьей и посредником? Левин на это отвечал, что римляне не приемлют Пирра как посредника и не боятся как врага. После этого ответа Пирр поставил лагерь свой на равнине, простирающейся между городами Пандосией и Гераклеей.

Узнав, что римляне стояли недалеко за рекой Сирисом, поехал он к реке, дабы осмотреть стан их. Увидя устройство и положение оного и порядок стражей, он был приведен в удивление и обратясь к ближайшему из друзей своих: «Мегакл, – сказал ему, – порядок в войсках варваров не есть варварский; впрочем, самое дело докажет!» Заботясь уже о будущем, решился он дождаться союзников, а дабы римляне не предприняли прежде переправы через реку, поставил он на берегу оной войско для удержания их. Римляне, спеша предупредить то, чего он ожидал, начали переправляться. Пехота прошла вброд в одном месте, а конница в разных местах. Боясь быть окруженными, греки отступили от реки. Пирр, узнав об этом, смутился; предводителям пехоты велел немедленно выстроиться и быть в готовности с оружием в руках; сам он, предводительствуя тремя тысячами конницы, устремился на римлян, надеясь застать их еще при переправе, разделенными и неустроенными. Видя же множество блистающих на берегу щитов и конницу, выступающую против него в лучшем устройстве, сомкнув ряды, первый на них устремился. По красоте оружий, блеску их и богатым украшениям все узнавали его. Он своим делами доказывал, что приобретенная им слава не уступала его храбрости. Действуя рукою и всем телом в битве, защищаясь мужественно против нападающих на него, он не смущался и не терял присутствия духа, но управлял войском с таким хладнокровием, как будто бы смотрел на битву со стороны, между тем как являлся всюду и помогал тем, кого теснил неприятель. В той битве один македонянин Леонат, заметив одного италийца, который всегда обращал внимание на Пирра, направлял свою лошадь на него, всегда соображал свои движения с его движениями, сказал Пирру: «Государь! Видишь ли того варвара, на черной белоногой лошади? Кажется, у него на уме нечто великое и пагубное. Он всегда на тебя смотрит; против тебя устраивается, исполненный ярости и бодрости, а всех других оставляет без внимания. Берегись его!» Пирр на это ответствовал: «Определения судьбы неизбежны. Однако ни этот воин, ни другой кто из италийцев, к своему счастью, не сойдется со мною». Они еще говорили

таким образом, как италиец, схватив копье, поворотил коня и устремился на Пирра. В одно и то же время он поражает копьем царского коня, а Леонат поражает коня его; кони обоих пали; друзья Пирра обступают и похищают его, а италийца сражающегося умерщвляют. Он был уроженец френтанский, начальник эскадрона по имени Оплак.

Этот случай научил Пирра быть осторожнее. Увидя, что конница его отступает, он придвинул фалангу и выстроил ее. Хламиду и доспехи свои передал Мегаклу, одному из друзей своих, некоторым образом скрылся под одеждой его и напал на римлян. Они приняли его нападение; началась битва; долгое время сражение оставалось нерешенным; семь раз, как говорят, обе стороны обращены были в бегство и семь раз преследовали своих противников. Перемена оружий, которая для Пирра в другое время была спасительная, едва не испортила всего дела и не вырвала из рук его победы. Многие преследовали Мегакла; некто по имени Дексий, который первый поразил его и умертвил, сорвал с него шлем и хламиду, поскакал к Левину, показывая их и крича, что он умертвил Пирра. Эти украшения были носимы по рядам и показываемы всем. Такое зрелище возбудило в римлянах радость и восклицания; в греках уныние и смущение. Пирр, узнав о происшедшем, явился воинам с непокрытой головой, простирал к ним свою десницу и голосом показывал себя. Наконец, когда слоны начали теснить римлян и лошади их, еще не приблизившись к ним, испугались и уносили всадников, то Пирр обратил фессалийскую конницу на неприятеля, приведенного в беспорядок, и разбил с великим кровопролитием. Дионисий говорит, что римлян пало около пятнадцати тысяч; Иероним* уверяет, что погибло только семь. Пирр, по свидетельству Дионисия, потерял тринадцать тысяч, а по-Иеронимову – менее четырех. Но он лишился храбрейших и лучших друзей своих и полководцев, которых более употреблял и на которых более полагался. Он завладел римским станом по отступлении римлян; отторгнул от союза с ними многие города и опустошал пространные области. Продолжая идти вперед, он отстоял от Рима не более трехсот стадиев. После сражения пристали к нему луканцы и самниты. Он жаловался на них за то, что поздно к нему пришли, но был весьма доволен и гордился тем, что с одним своим войском и с тарентинцами одержал победу над огромными силами римлян.

Несмотря на то, римляне не лишили начальства Левина, хотя Гай Фабриций говорил, что не эпирцы победили римлян, а Пирр Левина, почитая эту победу делом искусства полководца, а не войска. Они дополняли полки свои, набирая вновь поспешно воинов; говорили о войне в выражениях смелых и горделивых, чем привели Пирра в изумление. Он решился отправить в Рим посланников и испытать: не склонны ли они к миру? Завладеть их городом и совершенно их покорить казалось ему весьма трудным делом, которое не мог бы произвести с бывшими у него тогда силами; заключить дружбу и мир с римлянами после одержанной над ними победы почитал он для себя весьма славным. Киней был отправлен в Рим; он имел свидание с знатнейшими гражданами и принес им и женам их дары от своего государя. Никто их не принял; все, как мужчины, так и женщины, отвечали, что когда будет заключен мир общественный, тогда и они будут к царю дружественны и благосклонны. Киней говорил в сенате речи приятные и кроткие, но римляне не оказали внимания к словам его, ни готовности к предложениям, хотя Пирр возвращал им без выкупа попавших в плен римлян и обещал помогать им в покорении Италии. За это ничего другого не требовал, как мира себе, а тарентинцам безопасности. Многие из них были склонны к миру, ибо потеряли большое сражение и ожидали нового, против больших сил, как скоро к Пирру пристали бы другие народы Италии.

Как скоро предложения Пирра сделались известны и слух разнесся, что сенат намерен утвердить с ним мир, то Аппий Клавдий, муж знаменитейший, по причине старости лет и слепоты отставший от управления и живший в покое, не утерпел сего. Он велел своим служителям нести себя на носилках в сенат. Когда принесли его к дверям, то дети и зятья его окружили его, подняли и ввели в сенат; все умолкли и приняли его с почтением. Клавдий, заняв свое место, сказал: «Римляне! Прежде роптал я на судьбу, лишившую меня зрения; ныне жалею, что я, будучи слеп, не лишен и слуха, дабы не слышать недостойных советов и постановлений, ниспровергающих славу Рима. Где наши слова, по всем народам всегда носившиеся, что если бы и сам великий Александр переправился в Италию, вступил бы в бой с нами, когда мы еще были молоды, и с отцами нашими, пока они были во цвете силы своей, то

не славился бы он ныне, как непобедимый, но, предавшись бегству или пав мертв где-нибудь, еще более возвысил бы славу Рима? Итак, слова сии были пустая кичливость и самохвальство! Вы боитесь хаонов и молоссов, всегдашнюю добычу македонян! Вы страшитесь Пирра, который служил и повиновался одному из телохранителей Александровых, который не столько для оказания помощи здешним грекам, сколько для избежания в своей земле браней бродит по Италии! Но он обещает нам над Италией владычество теми силами, которые не были достаточны сохранить ему малую часть Македонии. Не думайте, что, заключив с ним мир, вы освободитесь от него; напротив того, вы навлечете на себя союзников его; они презрят вас и сочтут, что всяк может вас удобно покорить, если Пирр не только оставит Италию без наказания обиды, но и получит ту награду, что тарентинцы и самниты могут насмехаться над вами». Эти слова Клавдия произвели то, что сенат решился продолжать войну. Киней был отослан с ответом, что, когда Пирр из Италии выступит, тогда, если хочет, может предлагать о мире и союзе, но пока будет находиться в Италии с оружием в руках, то римляне будут с ним воевать всеми силами, хотя бы он, сражаясь, победил еще тысячи Левинов. Говорят, что Киней, в продолжение переговоров, приложил старание узнать нравы и свойства римлян и устройство их правления. Он беседовал с первейшими гражданами и, возвратившись к Пирру, сказал ему, что сенат показался ему собранием многих царей. О множестве же народа говорил: «Боюсь, что нам надлежит сразиться с Лернейской гидрой!», ибо тогда собрано было воинов вдвое больше против тех, кто сражался прежде под предводительством консула, а число остальных римлян, способных носить оружие, показалось ему в несколько раз больше тех и других.

После этого отправлены были к Пирру посланники для переговоров о пленных. В числе посланников был Гай Фабриций, который, по уверению Кинея, римлянами был отлично почитаем, как человек добродетельный и искусный воин, хотя был крайне беден. Пирр оказывал ему особенное уважение и предлагал ему некоторое количество золота, называя сие знаком дружбы и гостеприимной связи, без всякой дурной цели. Фабриций отвергнул дары его, и Пирр пробыл тогда в покое, но на другой день, желая испугать Фабриция, который никогда не видал слонов, велел величайшего из зверей поставить за занавесом там, где они между собою разговаривали. Приказание его было исполнено, по данному знаку занавес был снят: слон вдруг поднял хобот над головою Фабриция и издал крик страшный и пронзительный. Фабриций, обратившись спокойно, улыбнулся и сказал Пирру: «Ни вчера твое золото, ни сегодня твой зверь меня не поколебали». За ужином говорено было о разных предметах, особенно о Греции и мудрецах ее. Киней по случаю завел речь об Эпикуре и объяснял мнение его о богах и о гражданском правлении. Он говорил, что все счастье жизни полагают эпикурейцы в наслаждении; что общественных дел избегают, почитая их вредными и возмутительными для блаженства человеческого; что, по их мнению, божество, не чувствуя ни любви ни гнева, нимало не заботится об нас и проводит жизнь в бездействии, утопая в наслаждениях. Он продолжал говорить, как Фабриций воскликнул: «О боги! Пусть следуют этим правилам Пирр и самниты, пока они с нами воюют!» Пирр, удивляясь величию духа римлянина, еще более желал заключить мир с республикой и прекратить войну. Он просил в особенности Фабриция, по заключении мира, последовать за ним и быть при нем, обещая почитать его первым из своих друзей и полководцев. Фабриций отвечал на это спокойно: «Государь! Это не будет тебе полезно! Те, которые ныне тебя уважают и тебе удивляются, когда меня узнают, лучше захотят иметь меня, нежели тебя царем своим». Таков был Фабриций! Эти слова не возбудили в Пирре гнева; он не оказал свойственного тиранну негодования; напротив того, заставлял друзей своих замечать великодушие Фабриция. Одному ему он поверил пленных, с тем что, если сенат не примет мирных предложений, то они, повидавшись с своими родственниками и справив в Риме Сатурналии, будут отосланы обратно к нему. Они в самом деле были отосланы после праздника; сенат определил смерть тому из них, кто останется в Риме.

После того Фабриций избран был консулом. В стан к нему прибыл человек с письмом от царского врача, который обещал отравить ядом Пирра, если римляне ему будут благодарны; что он тем положит войне конец без всякой для них опасности. Фабриций ужаснулся от сего злодеяния и внушил своему товарищу те же чувства; он послал немедленно письмо к Пирру, советуя ему беречься злоумышлений своего врача. Содержание письма было следующее: «Гай Фабриций и Квинт Эмилий, римские консулы*, царю Пирру радости желают. Ты, по-видимому,

худо умеешь познавать друзей и врагов своих. Прочитав присланное к нам письмо, увидишь ты, что воюешь с добрыми и справедливыми людьми, а доверяешь несправедливым и злым; мы уведомляем тебя о том не из благорасположения к тебе, но дабы твоя смерть не навела на нас клеветы и дабы никто не подумал, что мы употребили против тебя козни, не будучи в состоянии кончить войну мужеством». Получив письмо и изобличив злоумышление, Пирр наказал врача, а в знак благодарности к Фабрицию возвратил римлянам пленников без выкупа и опять послал Кинея для заключения мира. Римляне не захотели даром принять пленников, как благодеяние от неприятеля или как награду за то, что против него не употребили несправедливости; они отпустили к нему равное число пленных тарентинцев и самнитов, но о дружбе и мире не позволяли и говорить прежде, нежели Пирр не поднимется из Италии с войском и не отправится в Эпир на тех же кораблях, на которых он прибыл.

Итак, обстоятельства требовали, чтобы дано было другое сражение. Пирр, успокоив свое войско, шел вперед и вступил с римлянами в сражение при городе Аскулуме*. Он пробирался местами, неспособными к действиям конницы и болотистыми берегами реки быстрой, где не было довольно пространства для присоединения слонов к фаланге. После важной с обеих сторон потери убитыми и ранеными, Пирр, сражавшись до самой ночи, отступил. На другой день, употребляя все способы, чтобы дать сражение на ровном и открытом месте, дабы впустить слонов в средину неприятелей, он занял трудные проходы и, поставив между слонами многих копьеносцев и стрельцов, вел с жаром и быстротой сомкнутую и в боевом порядке устроенную фалангу. Римляне, не владея более местами, которые способствовали им отступать и опять нападать, принуждены были идти ровным местом прямо на ряды неприятельские. Спеша опрокинуть пехоту до наступления слонов, они выказывали удивительную храбрость, сражаясь мечами против длинных копей; не щадили себя, смотрели только, как бы поразить неприятеля, ни во что не ставили смерть. После долгой битвы начали они отступать на том месте, где Пирр делал сильный напор на тех, кто против него стоял. К поражению их более всего послужили сила и стремление слонов. Мужество римлян в битве той было бесполезно; они были принуждены уступить слонам, как стремлению волн или разрушительному землетрясению, дабы не умереть без действия и без всякой для своих пользы, претерпевая все ужасы смерти. Бегство их было непродолжительно, по причине близости стана. Иероним говорит, что римлян пало шесть тысяч. В записках царских писано, что Пирр потерял три тысячи пятьсот человек. Дионисий не упоминает, чтобы при Аскуломе даны были два сражения и чтобы римляне были решительно побеждены. Он говорит, что римляне сражались однажды до захождения солнца; что войска с трудом разошлись; что Пирр получил удар в руку дротиком; что обоз его расхитили самниты; что с обеих сторон пало более пятнадцати тысяч человек. Когда войска разошлись и некто поздравлял Пирра с победой, то он сказал: «Мы погибли, если еще один раз одержим победу над римлянами!» В самом деле, он лишился великой части собственного войска и всех своих друзей и полководцев, кроме немногих. Он не мог привести свежих войск; тамошние союзники уже не оказывали прежней ревности. Между тем у римлян дополнялось войско легко и скоро, как будто бы из изобильного источника; они не теряли бодрости от поражений; гнев воспламенял их новой силой и честолюбием к продолжению войны.

В таких тесных обстоятельствах снова был он прельщен пустыми надеждами и предприятиями, которые держали его в недоумении и нерешимости. В одно и то же время прибыли к нему из Сицилии послы, предлагая предать ему Акрагант, Сиракузы и Леонтины и прося его действовать с ними для изгнания карфагенян и избавления острова от других тираннов; из Греции же возвещено было ему, что Птолемей, прозванный Керавном*, погиб в сражении с галатами со всем своим войском и что присутствие его было бы весьма полезно в такое время, когда македоняне имели нужду в царе. Пирр жаловался на судьбу, что в одно и то же время представляла ему два случая к великим предприятиям. Он думал, что из двух надлежало потерять один; долгое время рассуждал о том сам с собою; казалось ему, что обстоятельства Сицилии приведут его к важнейшим делам, по близости ее с Ливией. По этой причине обратился он туда, послав наперед, по своему обыкновению, Кинея, для переговоров с тамошними городами. Он оставил в Таренте охранное войско, несмотря на неудовольствие тарентинцев и на представления их либо исполнить то, за чем приехал к ним – воевать вместе с

ними против римлян, либо оставить область их и предать им город в таком положении, в каком он его принял. Пирр, не дав никакого кроткого ответа, велел им быть спокойными и дожидаться, пока ему будет свободно. После чего пустился в море. По прибытии своем на остров все надежды его получили желаемый успех. Города присоединялись к нему охотно. Где надлежало употребить оружие и силу, там на первых порах ничто не сопротивлялось ему. Имея тридцать тысяч пехоты, две тысячи пятьсот конницы и двести кораблей, нападал он на карфагенян, изгонял их и покорял себе принадлежащую им область. Самое крепкое их место был Эрик*, защищаемое великим числом неприятелей. Пирр решился взять оное приступом. Войско уже было в готовности; он надел доспехи свои и сделал обет Гераклу принести ему жертвы и учредить игры, если удастся ему доказать себя грекам, обитавшим в Сицилии, воителем, достойным предков и настоящих сил своих. Он дает знак трубой, рассеивает стрелами варваров, приставляет лестницы и первый всходит на стену. Многие толпятся против него. Пирр, обороняясь, прогоняет и низвергает их на обе стороны стены и, действуя мечом, окружил себя грудами мертвых. Однако с ним ничего дурного не случилось; неприятелям показался ужасным и тем доказал, сколь справедливы и на опыте основаны слова Гомера, который утверждает, что изо всех доблестей одна храбрость часто сопряжена с восторгом и исступлением. По взятии города принес он Гераклу великолепные жертвы и учредил торжественные разных родов зрелища.

Занимавшие Мессену варвары, называемые мамертинцы, беспокоили тамошних греков и некоторых принудили платить себе дань. Они были многочисленны и храбры; по этой причине дано им название, которое на латинском языке значит «воинственные». Пирр поймал их сборщиков податей и умертвил, самих мамертинцев победил в сражении и многие крепости у них отнял.

Карфагеняне оказывали склонность к миру; предлагали ему, по заключении с ним дружеских сношений, дать деньги и корабли. Пирр, простирая далее виды свои, отвечал на это, что тогда только заключит с ними мир и дружбу, когда они оставят всю Сицилию и Ливийское море будет границей между ними и греками. Вознесенный настоящими успехами и силой своей и гоняясь за надеждами, которые с самого начала прельщали его, он обращал желания свои прежде всего на Ливию. Он имел много кораблей, но терпел недостаток в людях. По этой причине начал набирать гребцов в городах. Он производил сие не с кротостью и снисхождением, но самовластно и жестоко, употребляя насилие и наказания. Он не был таким с самого начала; напротив того, более других царей был склонен угождать жителям, во всем на них полагался и ни в чем не беспокоил. Но впоследствии сделался тиранном из народного угодника; кроме жестокости, порицали его за неблагодарность и вероломство. При всем неудовольствии своем, сицилийцы исполняли все это, как необходимое. Но когда начал он подозревать Фенона и Сострата, главных сиракузских полководцев, которые первые склонили его переправиться в Сицилию и по прибытии его тотчас предали ему город и подкрепляли его во всех предприятиях, когда он не хотел ни взять их с собою, ни оставить в городе; когда Сострат, страшась его, отстал от него, а Фенона, которого он обвинял в одном с Состратом намерении, умертвил, то уже сицилийцы не мало-помалу и не по одному начали от него отставать; все города исполнились столь сильной к нему ненависти, что одни пристали к стороне карфагенян, другие звали к себе мамертинцев. Пирр видел везде мятежи, перевороты и возмущения против себя, а между тем получил письмо от самнитов и тарентинцев, которые уже в городах своих едва держались против неприятеля, были лишены всей своей области и звали его к себе на помощь. Это было благовидным предлогом, чтобы отплытие его из Сицилии не было сочтено бегством или не было приписано невозможности исправить тамошние дела. В самом же деле, не будучи в состоянии владеть Сицилией, как кораблем, бурею волнуемым, ища только выхода себе, он опять бросился на Италию. Говорят, что отплывая уже, взглянул на Сицилию и сказал окружающим его: «Друзья мои! Какое прекрасное поприще оставляем мы карфагенянам и римлянам!» Догадка его сбылась после того в скором времени*.

Варвары соединились против него при самом его отплытии. Он дал сражение карфагенянам в проливе; потерял много кораблей и с остальными убежал в Италию. Мамертинцы, числом не менее десяти тысяч, переправились прежде него на другую сторону; они не осмелились дать ему сражения, но, заняв узкие места, нападали на войско его и

причинили ему великий вред. Здесь пало двое слонов; воины в тылу были побиваемы. Пирр, перейдя к ним из первых рядов, защищал их и ввергался во все опасности, сражаясь с людьми, искусными в войне и исполненными мужества, но, будучи поражен в голову мечом, несколько отступил и тем умножил бодрость неприятелей. Один из них, высокий ростом и блистающий доспехами, выбежал вперед и громким и гордым голосом кричал ему, чтобы он выступил вперед, если еще жив. Пирр, раздраженный этим, поворотил назад быстро со своими щитоносцами и, весь покрытый кровью, страшный лицом, устремился с яростью сквозь них, предупредил варвара и дал ему в голову удар, который, силою руки и крепостью стали, рассек его до самого низу, так что в одно время распались в разные стороны две части его тела. Это удержало от погони варваров, которым Пирр показался существом сверхъестественным и внушил великий страх.

Итак, он, продолжая путь свой безопасно, прибыл в Тарент с двадцатью тысячами пехоты и тремя тысячами конницы. Взяв храбрейших тарентинцев, вел их в область Самнитскую, где римляне находились. Дела самнитов были тогда в дурном положении; они были унижены духом, потеряв несколько сражений против римлян. Сверх того негодовали они на отплытие Пирра в Сицилию, и потому не многие из них к нему присоединились. Пирр разделил все свое войско на две части; одну послал в Луканию, дабы не допустить бывшего там консула прийти на помощь своему товарищу, другую вел сам на Мания Курия*, который, заняв крепкое положение при Беневенте, ожидал помощи из Лукании. Он сидел спокойно, частью потому, что прорицатели отвлекали его от сражения предзнаменованиями и жертвами неблагоприятными. Пирр спешил напасть на него до прибытия ожидаемой им помощи, взял храбрейших воинов и лучших слонов и ночью направил путь к стану неприятельскому. Но как надлежало обойти оный длинной и лесистой дорогой, то, по недостатку в факелах, воины его заблудились; произошла остановка; между тем ночь прошла, и римляне на заре увидели его войско, которое спускалось с гор. Это произвело среди них великий шум и беспокойство. Между тем Маний получил благоприятные знамения, обстоятельства принуждали его напасть на неприятеля; он вышел из стана и вступил в бой с теми, кто первые ему попался, разбил их и тем навел на всех великий страх. На месте пало немалое число Пирровых воинов; неприятелю досталось несколько слонов. Эта победа заставила Мания сойти на равнину, дабы дать открытое сражение. Он разбил одно крыло неприятеля, но на другом был опрокинут слонами и принужден отступить к своему стану; он призвал на помощь стоящих на валу вооруженных и свежих воинов, которых было много; они вышли из своих укреплений и, пуская стрелы в зверей, принудили их поворотиться назад и, отступая через свое войско, приводить его в беспорядок и замешательство*. Это вручило римлянам победу, а вскоре державу и владычество. Этими подвигами они вознеслись духом; умножили силы свои; своей храбростью приобрели ту славу, что они непобедимы. Немедленно покорили Италию и вскоре после того заняли Сицилию.

Таким образом, Пирр потерял надежду завладеть Италией и Сицилией. Шесть лет провел он в тамошних бранях. Силы его истощились, но мужество его в самых поражениях осталось непобедимым. По искусству его в войне, по силе мышц, по отважности духа был он почитаем первейшим из современных ему царей, но то, что приобретал подвигами, терял пустыми надеждами, и, желая того, чего у него не было, не умел сохранить то, чем уже владел. По этой причине Антигон сравнивал его с игроком в кости, который мечет удачно и счастливо, но не умеет пользоваться своей удачей.

Он возвратился в Эпир* с восьмью тысячами пехоты и пятьюстами конницы. Не имея денег, искал он войны, дабы содержать свое войско. Несколько галатов пристали к нему, и Пирр вступил в Македонию для грабежа и получения добычи в царствование Антигона*, сына Деметрия. Он покорил несколько городов; две тысячи македонских воинов к нему присоединились. Надеявшись чего-то большего, обратился он к самому Антигону, напал на него в узких проходах и привел войско его в беспорядок. Галаты, служившие Антигону и составлявшие тыл его войска, будучи довольно многочисленны, выдержали нападение Пирра с великой смелостью. Сражение между ими и Пирром было жаркое; большая часть их была изрублена, а ведущие слонов, будучи настигнуты Пирром, предали ему себя и зверей своих. Пирр после этого успеха, более полагаясь на судьбу, нежели действуя рассудком, направил свое

войско на македонскую фалангу, которая была в волнении и страхе от нанесенного ей урона; по этой причине она удерживалась от нападения и не была склонна к сражению; он простирал к македонянам руки, называл по имени военачальников и предводителей и этим произвел то, что вся пехота Антигонова перешла к нему. Антигон предался бегству и удержал за собой только некоторые приморские города. Пирр, для которого все сложилось успешно, почитал победу над галатами славнейшим своим подвигом. Он посвятил прекраснейшую и богатейшую добычу в храме Афины Итонийской* со следующей надписью: «Пирр, царь молосский, посвящает Афине Итонийской эти щиты, отнятые им у надменных галатов и лишив Антигона всего войска. Это неудивительно; как прежде, так и теперь Эакиды* воинственны».

После сражения он начал покорять города. Завладев городом Эги, он поступил с жителями строго и оставил в городе стражу, состоявшую из галатов, которые служили в его войске. Галаты, народ самый хищный и ненасытный к деньгам, начали рыть могилы погребенных в этом городе царей, расхищали найденные там дорогие вещи и, ругаясь над мертвыми, раскидали их кости. Пирр не обратил никакого внимания на это преступление, потому ли, что, будучи тогда занят, отложил наказание до другого времени; или предал оное забвению, боясь наказать варваров. Как бы то ни было, македоняне за то поносили его.

Дела его не были еще устроены и не имели твердого основания; однако духом он стремился к новым предприятиям. Он ругался над Антигоном и называл его бесстыдным за то, что еще носит порфиру и не надевает простого плаща. Между тем прибыл к нему спартанец Клеоним, который уговаривал его вступить в Лакедемон, и Пирр охотно на это согласился.

Этот Клеоним был царского рода, но за насильственный и самовластный его нрав был ненавидим спартанцами, которые к нему не имели никакого доверия. Вместо него царствовал в Спарте Арей*. Клеоним издавна имел причины жаловаться на всех своих сограждан. Будучи уже в летах, женился он на Хилониде, дочери Леотихида, девице прекрасной, происходящей от царской крови. Но Хилонида, горя страстной любовью к Арееву сыну Акротату, прекраснейшему юноше, который был тогда в самых цветущих летах, соделала брак сей горестным и бесславным для любящего жену свою спартанца, который бы не знал, что он презираем ею. Таким образом, домашние неудовольствия присоединились к общественным. Клеоним, пылая яростью и негодованием, побудил Пирра вступить в Лакедемон с двадцатью пятью тысячами пехоты, двумя тысячами конницы и двадцатью четырьмя слонами. Великость приготовлений явно доказывала, что он хотел не Клеониму приобрести Спарту, но себе весь Пелопоннес, хотя объявил пришедшим к нему в Мегалополь лакедемонским посланникам, что он сего намерения не имел, а прибыл только для того, чтобы освободить подвластные Антигону города, а детей своих, если ничто не препятствует, отправить в Лакедемон для воспитания по тамошним нравам, желая, чтобы они в этом имели преимущество надо всеми другими царями. Притворяясь таким образом и обманывая тех, кто с ним встречался на дороге, он вступил в Лаконию и тотчас начал производить грабежи. Посланники жаловались, что он, не объявив им войны, открыл военные действия. «Мы знаем, – сказал им Пирр, – что и вы не говорите никому наперед того, что хотите делать». Один из предстоявших, по имени Мандроклид, сказал лаконическим наречием: «Если ты бог, то не сделаешь нам зла, ибо мы тебя не обидели; если ты человек, то сыщется кто-нибудь могущественнее тебя».

Таким образом Пирр приблизился к Лакедемону. Клеоним советовал ему сделать к оному приступ. Пирр, как говорят, боясь, чтобы воины его, ворвавшись в город ночью, не разграбили оного, удержался, сказав, что то же самое сделает днем. Лакедемоняне были малочисленны и, по причине неожиданности нападения, не были приготовлены к войне. Арея не было в городе; он находился на Крите, куда он отправился на помощь гортинцам. Это обстоятельство спасло Спарту, которой неприятель пренебрег по причине ее малолюдства и слабости. Пирр, думая, что не было никого, кто бы захотел сразиться за город, расположил стан свой близ него, между тем как друзья и илоты Клеонима делали приготовления и убирали дом его, как будто бы Пирру надлежало в оном ужинать. По наступлении ночи лакедемоняне советовались между собою об отправлении жен своих на Крит, но они противились этому; Архидамия* с мечом в руке вступила в сенат, приносила жалобу со стороны всех женщин и наконец спрашивала сенаторов: «Ужели они думают, что они могут жить, если Спарта погибнет?» После того положено было сделать ров, параллельный неприятельскому стану, и по обеим его сторонам поставить телеги,

зарыв их колеса до половины в земле, дабы с трудом можно было их сдвинуть и дабы оные препятствовали слонам пройти далее. Когда граждане начали работу, то пристали к ним девы и женщины, одни в мантиях, подпоясавши хитоны; другие в одних хитонах, дабы помогать старейшим в работе. Тем, кому надлежало сразиться, велели они отдыхать, и, измерив длину рва, одни вырыли третью часть оного. Ширина его была в шесть локтей, глубина в четыре, а длина, по свидетельству Филарха, восемь плефров, а по Иеронимову, несколько меньше. На рассвете дня, когда неприятели начали двигаться, они вручили молодым людям оружие, предали им ров, велели оборонять и хранить его, представляя им, что побеждать перед глазами отечества сладостно, но умирать в объятиях жен и матерей, оказавшись достойными сынами Спарты, достохвально и славно. Хилонида, удалившись в уединение, привязала себе петлю на шею, дабы не попасть в руки Клеониму, когда бы город был взят.

Пирр с тяжелой пехотой двинулся на спартанцев, устроенных и сомкнувшихся щитами на другой стороне рва, который не легко было перейти; сражавшиеся не могли по оному твердо ступать, по причине мягкости земли. Птолемей, сын Пирра, с двумя тысячами галатов и с отборнейшими хаонами, пробежав длину рва, силился пробраться сквозь поставленные спартанцами телеги, которые, будучи глубоко зарыты и стоя плотно одна подле другой, не только препятствовали нападению неприятелей, но самим спартанцам затрудняли способы подавать помощь. Галаты хватались за колеса и тащили телеги в реку. Молодой Акротат, увидя предстоявшую опасность, пробежал город с тремястами воинов и обошел Птолемея, который, по причине покатистых мест, не мог его видеть. Он напал на тыл его, принудил галатов обратиться к нему и защищаться, между тем как они, пришед в беспорядок, друг друга толкали, падали в ров и вокруг телег. Наконец, после великого поражения, с трудом они могли отступить. В это время старцы и великое множество спартанок взирали на подвиги Акротата. Когда он опять возвращался городом к своему месту, покрытый кровью, но с радостью на лице и вознесенный победой, то спартанкам показался он прекраснее и больше чем прежде; они завидовали любви Хилониды, и некоторые старцы, провожая его, кричали ему вслед: «Спеши, Акротат, обнять Хилониду, производя храбрых детей Спарте!» Вокруг Пирра происходила сильная битва. Многие из спартанцев славно сражались. Филлий долгое время противился неприятелям и многих из нападавших умертвил; наконец, чувствуя силы свои многими ранами истощенные, уступил свое место другому из бывших с ним воинов и бросился в середину своих сограждан, дабы мертвое его тело не досталось неприятелям.

Наступившая ночь положила конец сражению. Пирр лег спать и увидел следующий сон. Казалось ему, что он поражает Лакедемон молниями, что оный весь горел и что он радуется этому. Воспрянув от сна в великой радости, дал полководцам приказание вооружить войско и друзьям своим рассказывал сон, надеясь, что оный знаменовал совершенное покорение города. Все были согласны с ним, но Лисимаху сие видение не нравилось; он говорил, что поскольку места, на которые гром ударил, делаются священными и по ним не ходят, то боги предзнаменуют этим Пирру, что город для него неприступен. Пирр отвечал, что об этом можно толковать только между собирающейся на площади чернью; что в том нет ничего верного; что они с оружием в руках должны только помнить, что

Знаменье то лишь благое, чтобы сражаться за Пирра*.

С этими словами встал с наступлением дня и повел свое войско к городу. Лакедемоняне сражались с храбростью и твердостью, превышающею силы их. Женщины находились при них, подавали им стрелы, приносили пищу и питье тем, кто имел в оных нужду, поднимали раненых. Македоняне силились завалить ров, несли множество всяких веществ, которыми засыпали и скрывали оружия и тела умерщвленных. Лакедемоняне препятствовали им всеми силами. Они увидели Пирра, который промеж рва и телег пробирался к городу верхом. Стоявшие на том месте воины издали громкий крик; женщины в ужасе бегали с воплем взад и вперед, но в то самое время, как Пирр перешел и устремился на стоявших против него, критская стрела поразила в брюхо его лошадь, которая понесла его и, умирая от сильной боли, сбросила его с себя в места покатистые и скользкие. Приближенные его в беспокойстве спешили на помощь к нему, а спартанцы между тем, нападая на них и поражая стрелами, всех вытеснили. После этого

Пирр велел прекратить бой, думая, что лакедемоняне несколько ему уступят, ибо все почти были ранены и многие из них пали. Но счастливая судьба города то ли испытавала мужество его жителей, то ли желала доказать, какую оно имеет силу в самых трудных обстоятельствах, в то самое время, когда лакедемоняне теряли всякую надежду, привела к ним на помощь из Коринфа наемное войско под предводительством фокейца Аминия, одного из Антигоновых военачальников. Едва он вступил в город, как с Крита прибыл и сам царь Арей с двумя тысячами воинов. Женщины тотчас разошлись по домам и более не вмешивались в военные действия. Старые люди, по нужде принявшиеся за оружие, были распущены, и место их заступили новые воины.

Мужество и честолюбие Пирра побуждали его завладеть городом наиболее потому, что оный получил подкрепление; не имев же в том успеха и получив многие раны, он отступил и разорял область, намереваясь провести тут зиму. Но рок его был неизбежен. В Аргосе Аристей был в раздоре с Аристиппом. Последнему покровительствовал Антигон; Аристей предупредил своего противника и звал в Аргос Пирра. Этот государь, который вращался всегда из надежды в надежду, употребляя успехи как средства к новым действиям, а неудачи свои желая исправить новыми подвигами, ни поражения, ни одержанных побед не полагал пределом тому, чтобы более не беспокоить себя и других. Он отправился тотчас в Аргос. Арей поставил ему многие на пути засады и, заняв труднейшие проходы, отрезал галатов и молоссов, которые защищали тыл. Пирру предсказано было от прорицателя, который нашел печенки жертв недостаточными, что сие предзнаменовало лишение вещи, весьма ему близкой. Однако в то время среди шума и беспокойства, забывшись, велел сыну своему Птолемею взять своих товарищей и идти к ним на помощь, между тем как он сам поспешно выводил все войско из узких проходов. Битва вокруг Птолемея была жестокая; с ним сражался Эвалк, предводительствовавший отборнейшими лакедемонскими воинами. В самом сражении некоторый критянин из Аптеры*, по имени Оресс, человек необыкновенной силы в руках и быстрый на ногах, прибежав с боку, поразил Птолемея, сражавшегося с великой храбростью, и поверг на землю. По умерщвлении Птолемея воины его обратились в бегство; лакедемоняне преследовали их и необдуманно выскочили на равнину, отделившись от своей тяжелой пехоты. Пирр, который теперь узнал о смерти сына своего, в исступлении горести велел коннице молосской поворотить; он первый бросился на лакедемонян и пресыщался убийством; он всегда казался ужасным и непобедимым в боях, но в то время отважностью и силою превзошел прежние свои подвиги. Наконец он устремился на Эвалка, который бросился в сторону, и едва мечом не отрубил ему руки, которою держал повод; однако перерезал только повод. Пирр быстро пронзил его копьем, в тот же миг соскочил с коня и уже пеший умерщвлял над Эвалком сражавшихся с ним отборнейших воинов. Честолюбие предводителей было причиной бессмысленных потерь спартанцев, когда война была уже кончена.

Пирр, принеся в жертву сыну своему такое множество врагов и некоторым образом почтивши его гробницу блистательными подвигами, облегчил свою горесть яростью своей над неприятелями и продолжал путь свой в Аргос. Узнав, что Антигон занимает возвышенные над равниной места, он остановился при Навплии*. На другой день послал вестника к Антигону, называл его человеком недостойным и вызывал сойти на равнину, дабы сразиться за царство. Антигон на это отвечал, что он ведет войну, полагаясь более на благоприятное время, нежели на силу оружия, и что если Пирру наскучила жизнь, то к смерти многие дороги ему отверсты. Жители Аргоса послали к обоим послов, прося их отступить от их города и оставить его независимым и обеим сторонам равно преданным. Антигон согласился на это требование; он отдал в залог своего сына. Пирр обещал отступить, но не дал никого в залог, и потому был аргосцами подозреваем. Между тем в стане Пирра видимо было великое знамение. Головы закланных быков, отделенные уже от туловищ, казалось, что высунули языки и облизывали собственную кровь. В самом Аргосе Аполлонида, прорицательница Ликейского бога, выбежала из храма, крича, что видит город исполненным мертвых и плавающим в крови, видит орла, стремящегося на брань, но скоро исчезающего.

С наступлением глубокой темноты Пирр подступил к городу и нашел отворенными ему Аристеем врата, называемые Диамперес («Проход»). Пока галаты его вступали в город и занимали площадь, то никем не было примечено их движение. Так как слоны не могли пройти в

ворота, то служители начали снимать с их спин башни; потом в темноте с шумом на них налагали оные; отчего произошла остановка. Аргосцы, узнав о происходящем, побежали к Аспиде* и к укрепленным местам и послали к Антигону просить вспоможения. Антигон, приблизившись к городу, остановился, дабы замечать происходившее, а полководцев своих и сына своего послал в оный с достаточным пособием. Между тем прибыл и Арей, ведя с собою тысячу критян и легкое спартанское войско. Все они напали на галатов и привели их в великое смятение. Пирр вступил в город со стороны Киларабиса с шумом и восклицаниями; галаты отвечали ему такими же восклицаниями; однако он заметил, что восклицания их не были бодры и надменны, но такие, какие издают люди, беспокоящиеся и находящиеся в худом положении. Он шел весьма поспешно и теснил конницу, идущую перед ним с великими трудом и опасностью, по причине каналов, которыми город пресекается. Никто не знал, что делается и что приказывается, как бывает в ночном сражении. Воины заблуждались и отставали от своих в узких улицах; мрак ночи, смешанный крик, теснота места не позволяли полководцам употребить никаких военных оборотов; с обеих сторон медлили, ожидая наступления дня. Едва показался свет, Пирр, увидя Аспиду, наполненную неприятельскими оружиями, был приведен в изумление. Он еще более смутился, заметив на площади, между многими там стоявшими произведениями искусства, волка и вола, из меди сделанных и борющихся между собою. Ему пришло на память древнее прорицание, по которому предопределено было ему умереть, когда увидит волка, борющегося с волом. Аргосцы рассказывают, что это есть памятник древнего происшествия: когда Данай вступил в землю их у Пирамий в Фиреатиде и шел к Аргосу, то увидел волка, борющегося с волом. Данай, предположив, что волк есть он сам (ибо сей зверь, подобно ему, нападал на туземцев), смотрел на сражение. Волк победил вола, и Данай, помолясь Аполлону Ликейскому (то есть волчьему), приступил к своему предприятию, в котором имел удачу, ибо Геланор, который царствовал тогда в Аргосе, был изгнан возмутившимся народом. Вот что подало повод к сооружению этого памятника.

Пирр был приведен в уныние как этим зрелищем, так и тем, что был обманут в своем ожидании. Он намеревался отступить, но боясь тесноты ворот, послал приказание сыну своему Гелену, оставленному с большей силой вне города, ломать стену и защищать отступающее войско, если неприятель будет его беспокоить. Вестник от поспешности и тревоги пересказал повеление весьма темно; Гелен, по ошибке взяв остальных слонов и отборнейших воинов, вступил в город воротами, с намерением подать отцу своему помощь. Пирр уже отступал. Пока на площади пространство позволяло ему поворачиваться и сражаться, он отражал наступавших неприятелей. Но, будучи с площади вытеснен в узкую улицу, ведущую к воротам, он сходился с теми, кто шел к нему на помощь с противной стороны; он приказывал им отступить, но одни его не слушали, а другие, хотя охотно бы сие исполнили, однако не пропускали их те, кто за ними шел в ворота; сверх того самый больший из слонов упал поперек ворот, рыкал страшно и препятствовал пройти отступавшим. Другой слон из тех, кто вошел прежде и которого называли Никоном, искал своего вожатого, который упал от полученных ран, дабы поднять его, и, несясь в противную отступающим сторону, опрокидывал равно как своих, так и неприятелей, которые падали одни на других; наконец он нашел вожатого своего мертвым, поднял его хоботом и, держа его на клыках, поворотил назад и, придя от того в бешенство, опрокидывал и убивал тех, кто ему попадался. Таким образом, все теснились и давили друг друга; никто не мог действовать поодиночке, но как будто бы все множество составляло одно связанное тело, наклонялось то в одну, то в другую сторону. Воины мало сражались с теми, кто их удерживал или настигал сзади; они сами себе причиняли великий вред. Извлекши однажды меч или наклонив копье, не было более возможности ни меча вложить в ножны, ни копья поднять; оружие поражало кого придется. Таким образом, люди гибли от руки своих товарищей.

В такой тревоге, в таком ужасном волнении Пирр снял с шлема своего венец, которым оный был украшен, и дал его одному из своих друзей, а сам, полагаясь на крепость коня своего, устремился на преследовавших его неприятелей. Получив рану не смертельную, но тяжкую, дротиком сквозь броню, поворотил он коня своего на того, кто нанес ему удар. То был аргосец, не из числа известных граждан, сын бедной и старой женщины. Она, подобно другим женщинам, смотрела на битву, стоя на кровле; увидя, что сын ее вступил с Пирром в сражение, будучи вне себя от опасности, в которой он находился, подняла обеими руками черепицу и

пустила ее на Пирра. Черепица упала ему на голову по шлему и сломила позвонки затылка на самом его основании. Зрение его помрачилось; руки пустили повод; он упал с коня близ гробницы Ликимния*, почти никем не узнанный. Некто по имени Зопир, из числа Антигоновых воинов, и еще два или три человека прибежали к тому месту, узнали Пирра и потащили его к некоему преддверию, в то время когда он начинал приходить в себя. Зопир извлек иллирийский нож, чтобы отсечь ему голову, но Пирр взглянул на него столь грозно, что привел его в ужас; руки его задрожали; исполненный смятения и беспокойства, он силился довершить свое намерение, ударил не прямо в горло, но близ рта, отрезал подбородок и с великим трудом и медленностью отделил голову от туловища. Это происшествие вскоре сделалось известно многим; Алкионей прибежал и потребовал голову у Зопира, дабы рассмотреть, точно ли она Пиррова, и взяв ее, поскакал к отцу своему, который сидел спокойно со своими приближенными. Антигон взглянул на нее, узнал Пирра и прогнал своего сына, ударив его палкой и называя варваром, нечестивцем. Сам, покрыв лицо хламидой, прослезился, вспомнив участь Антигона и Деметрия, деда и отца своего, как примеров непостоянства счастья, бывших в самом его доме. Он украсил голову и тело Пирра и предал их огню. Когда после того Алкионей нашел Гелена в унижении, покрытого дурным платьем, то принял его человеколюбиво и привел к отцу своему. Антигон, увидя его, сказал Алкионею: «Сын мой! Теперешний поступок лучше прежнего; однако не совсем еще хорош; ты не снял с него платья, которое более срамит нас, которые считаем себя победителями». Он обнял Гелена, надел на него приличное платье и отослал в Эпир. Завладев станом и силами Пирра, обошелся весьма кротко и человеколюбиво со всеми его друзьями*.

Гай Марий

Нам неизвестно третье имя Гая Мария, равно как и Квинта Сертория, управлявшего Иберией, и Луция Муммия, завоевавшего Коринф. За подвиги свои прозваны: Муммий – Ахейским, Сципион – Африканским, а Метелл –

Македонским. Этими примерами более всего Посидоний силится опровергнуть мнение тех, кто третье прозвание у римлян* почитает именем собственным, как, например, Камилл, Марцелл, Катон. Он говорит, что имеющие только два имени должны быть почитаемы безыменными. Однако он не заметил, что, рассуждая таким образом, сам делает безыменными всех женщин, ибо ни одной женщине не дается первое из имен, которое Посидоний собственно почитает именем. Что касается других имен, то одно из них – общее для всего рода, например Помпеи, Манлии, Корнелии, а у греков: Гераклиды, Пелопиды; другое же – прозвище, определяющее нрав человека или деяние или наружность с ее недостатками; таковы имена Макрин, Торкват, Сулла, подобно греческим Мнемон, Грип, Каллиник. Впрочем, разность в обычае и в употреблении этих названий подает повод к разным изъяснениям.

Что касается до наружности Мария, то виденный мною в галльском городе Равенне мраморный его истукан весьма хорошо выражает описываемую строптивость и суровость его нрава. Будучи от природы мужествен и склонен к войне, получив образование более военное, нежели гражданское, он не мог, сделавшись сильным, обуздывать своей пылкости. Говорят также, что он не учился греческому языку и не употреблял сего языка ни в каком важном деле, почитая смешным учиться наукам у учителей, которые сами были в рабстве у других. После второго триумфа своего, при посвящении одного храма давал он народу греческие зрелища. Он пришел в театр, сел и вскоре удалился. Когда бы кто, подобно Платону, который советовал несколько суровому Ксенократу приносить жертвы Харитам, когда бы кто убедил Мария приносить жертвы греческим Музам и Харитам, то его преславные военные подвиги не завершились бы столь неприлично, и в старости лет он не впал бы в дикость и свирепость от гнева, от безвременного любоначалия и ненасытной жадности; что все можно видеть из повествования о его деяниях.

Он произошел от родителей совсем неизвестных, бедных и работой себя содержавших. Отец его назвался также Марием, а мать Фульцинией. Он поздно увидел город и испытал городскую жизнь. Все свое время проводил в местечке Цереаты в Арпинской области*, ведя жизнь, в сравнении с городской, образованной жизнью, несколько грубую, но целомудренную,

воздержанную и более сходную с древним римским воспитанием. В первой раз был он в походе против кельтиберов, когда Сципион Африканский осаждал Нуманцию*. От полководца сего не укрылось, что Марий превосходил других юношей храбростью; что с великой легкостью привыкал к тому строгому образу жизни, который он ввел в войска, испорченные негою и роскошью. Говорят также, что Марий перед глазами полководца умертвил в единоборстве одного неприятеля. По этой причине Сципион старался возвышать его разными почестями. Некогда, после стола, между прочим говорили о полководцах. Некто из собеседников, в самом ли деле, будучи в недоумении или льстя Сципиону, спросил его, кого народ римский после него будет иметь вождем и защитником. Сципион, ударив тихо по плечу Мария, ниже его возлежавшего, сказал: «Может быть, этого!» Оба они были столь богато одарены природой, что один мог казаться великим с юношеских лет, а другой – по началу предугадать конец.

Марий, возбужденный словами Сципиона, как бы гласом божественным, с твердой надеждой вступил в гражданское поприще и получил достоинство народного трибуна, по старанию Цецилия Метелла, ибо как он, так и отец его искали покровительства Метеллова дома. Будучи трибуном, предложил он закон о подаче голосов и этим законом, казалось, в избраниях чиновников ограничивал власть сильнейших граждан. Консул Котта восстал против него и убедил сенат отвергнуть новый закон, а Мария призвать к оправданию себя в оном. Предложение было утверждено; Марий, войдя в сенат, не смутился и не потерял себя, как молодой человек, который только что достиг важного места в управлении без предварительных блистательных подвигов, но, позволяя себе ту надменность, которую могли бы внушать ему одни последующие его деяния, он грозил Котте заключением в темницу, если не уничтожит вынесенного решения. Котта обратился к Метеллу и требовал его мнения. Метелл встал и говорил в пользу консула, но Марий велел ликтору вести в темницу самого Метелла, который призывал на помощь других трибунов, но никто не помогал ему. Сенат уступил Марию и уничтожил решение. Марий с торжеством вышел из сената, предстал перед народом и утвердил свой закон, показавшись через то человеком неколебимым от страха, непреклонным из уважения к кому-либо, могущим восставать против сената и управляющим делами в угождение народу. Но вскоре после того он заставил граждан переменить о себе мнение, поступая в правлении совсем другим образом. Когда предлагаемо было о раздаче народу пшена, то Марий с великими упорством противился тому, одержал верх и привел себя в равное у обеих сторон почтение, уверивши всех, что он никому не угождал вопреки пользе общественной.

После трибунства искал он высшего эдильства. Это достоинство разделяется на два рода: одно пользуется креслом с изогнутыми ножками*, на котором эдилы сидят, занимаясь делами общественными; другое, которое ниже первого, называется эдильством плебейским. По избрании почетнейших эдилов народ приступает к избранию низших. Марий, заметив, что он исключен из первого, немедленно начал домогаться другого, но этим поступком обнаружил свою дерзость и надменность. Он не имел и в этом успеха. В один день получив два отказа, чего ни с кем другим не случалось, он нимало не унизил своего высокомерия. Вскоре после того искал он претуры, но и в том едва не получил отказа. Наконец он был избран после всех и был обвиняем в том, что подкупил деньгами многих граждан. Подозрение более всего умножил служитель Кассия Сабакона, которого увидели внутри ограды, среди тех, кто подавал голоса. Этот Сабакон был близкий друг

Марию; он был призван к суду и объявил, что от жару захотелось ему пить, и просил воды; что служитель его пришел к нему с чашей и тотчас ушел, как скоро он напился. Сабакон был выключен из сената избранными впоследствии цензорами; он заслужил наказание либо за лжесвидетельство, либо за невоздержание. Свидетелем против Мария был приведен и Гай Геренний, который однако же объявил, что по римским обычаям не позволено представлять свидетельство против своих клиентов, и что закон увольняет от того патронов – так римляне называют покровителей, – а Мариевы предки и сам Марий были с самого начала клиентами дома Геренниев. Судьи признали законным отказ Геренния в свидетельстве. Но Марий против этого отвечал, что, получив в республике важное достоинство, он уже вышел из звания клиента. Это не совсем было справедливо, ибо не всякое достоинство освобождает получившего оное и род его от патронства, но закон дает это право лишь тем, кто удостоился почетного кресла*. Хотя в первые дни, в которые происходил суд, Марию было очень худо и мнения судей были

против него, однако в последний день, вопреки всем ожиданиям, был он разрушен, ибо голоса как в его пользу, так и против него, были числом равны.

Будучи претором, он заслужил некоторую похвалу. После претуры досталась ему по жребию Внешняя Иберия*. Говорят, что он очистил от разбоев сию провинцию, находившуюся еще в диком и варварском состоянии; иберийцы тогда почитали разбой благороднейшим занятием. При вступлении в дела общественные, Марий не обладал ни богатством, ни красноречием, посредством которых управляли республикой люди, в то время отличаемые гражданами; однако надменность его, постоянство в трудах, простота в образе жизни были еще несколько уважаемы народом, и Марий оказываемыми ему почестями достиг такой силы, что вступил в брак с Юлией из знаменитого рода Цезарей. Племянником ее был Цезарь, который впоследствии сделался величайшим из римлян и по родству, отчасти подражал Марию, как сказано в его жизнеописании. Марию приписывают при том твердость души, которой доказательством служит сделанная над ним операция. Оба бедра его покрыты были распухшими жилами. Не терпя такого безобразия, решился он предать себя врачу. Он подставил ему одну ногу и, не будучи связан, не сделав никакого движения, не издав ни малейшего вздоха, с покойным лицом и с молчанием перенес чрезвычайные муки, причиненные ему резаньем. Когда врач хотел приступить к другой ноге, то Марий не утерпел, сказав: «Я вижу, что исцеление не стоит такой боли».

Цецилий Метелл*, будучи избран консулом и полководцем в войне против Югурты, взял с собой Мария в качестве легата или наместника. Марий имел случай оказывать великие дела и знаменитые подвиги, но оставя заботу стараться, подобно другим, об умножении славы Метелла и трудиться для него, он уверил себя, что не Метеллом призван в легаты, но судьбою в благоприятнейшее время поставлен на поприще славы. Он всегда обнаруживал отличную храбрость и мужество. Эта война была сопряжена со многими затруднениями. Марий не страшился величайших трудов и не презирал самых малых. Равных себе в достоинстве превосходил благоразумием и прозорливостью; с последними воинами спорил о воздержании, твердости духа и перенесении трудов, чем приобрел великую от них благосклонность. Вообще кажется, что трудящемуся утешением бывает то, когда другие разделяют с ним труды добровольно, ибо, по-видимому, они через то как бы отнимают необходимость и принужденность, сопряженные с работой. Для римского воина самое приятное зрелище есть видеть полководца, едящего в присутствии всех простой хлеб, или лежащего на соломенной постели, или вместе с ним работающего при копании рвов и укреплений стана. Воины не столько уважают того полководца, который расточает им почести и деньги, сколько того, который участвует в трудах и опасностях их; они более любят того, который с ними, нежели того, который не заставляет ничего делать. Марий, поступая таким образом и привлекая к себе войско, вскоре наполнил Ливию и самый Рим славой своего имени. Из стана воины писали к своим родственникам, что война с варваром дотоле не прекратится, пока Гай Марий не будет избран консулом. Метелл явно показывал, что он тем оскорбляется, но более всего огорчила его участь Турпилия. Этот Турпилий издревле был соединен узами гостеприимства с домом Метелла, при котором он находился начальником над работниками*. Он охранял большой город Багу*, не обижал нимало жителей, вел себя кротко и снисходительно и имел к ним доверие. Однако же горожане предали его тайно неприятелю; но приняв к себе Югурту, выпросили у него Турпилия, освободили, не сделав ему никакого оскорбления. По этой причине был он обвиняем в предательстве*. Марий находился в числе судей и не только сам нападал на него, но и настраивал против него других, так что Метелл принужден был против воли своей осудить на смерть Турпилия. Вскоре обвинение оказалось ложным; все принимали участие в печали Метелла. Марий один тому радовался, приписывал себе одному это дело, не стыдился говорить, что он пустил мстящую фурию на Метелла, как на убийцу человека, с которым связан был узами гостеприимства. Это было причиной явного между ними разрыва. Некогда Метелл, ругаясь над Марием, сказал ему: «Так, значит, ты, славный воин, намерен отправиться в Рим и домогаться консульства? Ужели не захочешь лучше быть консулом вместе вот с этим моим сыном?» (Сын Метелла был тогда еще очень молод*.)

Однако Марий настоятельно требовал отпуска. Метелл многократно делал отсрочки; оставалось только двенадцать дней до консульских выборов, как Метелл отпустил его*. Марий

в два дня и одну ночь проехал длинную дорогу от стана до моря, прибыл в Утику и принес жертвы до отплытия своего. Говорят, будто бы прорицатель объявил Марию, что боги предзнаменуют ему невероятно великое и выше всякой надежды благополучие. Одушевленный этим предсказанием, Марий отплыл и, пользуясь попутным ветром, в четыре дня переправился через море и явился народу, который желал его видеть. Один из трибунов представил его Собранию, перед которым Марий во многом винил Метелла и просил себе консульства, обещая либо умертвить, либо живого поймать Югурту. Народ избрал его торжественно; Марий немедленно начал собирать войско и, против законов и обычаев, брал в военную службу многих из неимущих граждан и рабов. Прежние полководцы всегда таковых отвергали. Они вручали оружие как некоторое отличие, достойным оное носить по своему достатку; принимающий оружие, казалось, давал в залог свое имущество. Однако не это было главной причиной ненависти к Марию; дерзкие речи его, исполненные высокомерия и ругательства, оскорбляли первейших в республике мужей. Он кричал, что консульское достоинство, им полученное, есть добыча, отнятая у неги и малодушия благородных и богатых; что ему можно хвастать перед народом собственными ранами, а не памятниками умерших и чуждыми изображениями*. Упоминая часто о полководцах, которые в Ливии не имели успеха в войне, каковы Бестия и Альбин*, мужи знаменитейшего рода, но несчастные в своих предприятиях, называя их неискусными в брани, утверждая, что они не могли дать удачных сражений по своей неопытности, спрашивал он у предстоявших, ужели предки сих полководцев не захотели бы лучше оставить потомков, похожих на него, поскольку они сами не рождением своим, но доблестью и достохвальными делами сделались знамениты? Он говорил это не напрасно, не для хвастовства и не для того, чтобы навлечь на себя без пользы ненависть сильнейших. Народ, которому были приятны ругательства над сенатом и который всегда измеряет величие духа надутостью речей, побуждал его не щадить важнейших особ и угождать народной толпе.

По возвращении Мария в Ливию Метелл, будучи побежден завистью, негодовал на то, что когда уже война была им кончена и ничего более не оставалось, как поймать Югурту, Марий, достигший почестей своей к нему неблагодарностью, прибыл для получения победного венца и должного ему одному триумфа. Он не мог сносить свидания с ним, но удалился, а Рутилий, бывший при нем наместником, вручил войско Марию. Однако Марий, при совершении своих подвигов, получил достойное за то наказание: Сулла отнял у него принадлежащую ему славу, так как он сам отнял ее у Метелла. Я скажу здесь вкратце, как это происходило; в жизнеописании же Суллы все обстоятельства изложены подробнее. Бокх, царь верхней Нумидии, был тестем Югурты. Пока тот воевал с римлянами, Бокх не оказывал ему важной помощи, ненавидя его за вероломство и страшась умножения его сил. Когда же Югурта, предавшись бегству и блуждая по разным странам, наконец прибегнул по необходимости к нему, как последней надежды своей, то Бокх принял его как просителя, более из стыда, нежели из благосклонности, и держал его у себя. Он притворялся, что просил за него Мария; писал ему, что его не выдаст и говорил о том с некоторой смелостью, но тайно умышлял предать его. Он звал к себе Луция Суллу, который был квестором при Марии и оказал Бокху в этом походе некоторые услуги. Сулла положился на его слова и отправился к нему. Сперва нумидийский владетель раскаялся и переменил мысли; несколько дней рассуждал сам с собою и был в недоумении: выдать ли Югурту или не отпускать и Суллы самого? Наконец он утвердился в прежних мыслях и предал Сулле Югурту живого. Это было первое семя того жестокого и непримиримого между Марием и Суллой раздора, который едва не испровергнул римской державы. Многие, завидуя Марию, говорили, что вся сила принадлежит Сулле; сам Сулла велел изобразить на печати Югурту, предаваемого ему Бокхом, и эту печать всегда носил с собой и употреблял во всех случаях. Таким образом раздражал он Мария, человека честолюбивого, сварливого и ни с кем делиться славой не умеющего. К этому побуждали его Мариевы неприятели, которые приписывали первые и важнейшие действия войны Метеллу, а окончание оной Сулле, дабы народ перестал более всех уважать Мария и обращать на него большее внимание.

Однако зависть, ненависть и клеветы на Мария были вскоре укрощены и рассеяны опасностью, которая угрожала Италии с запада. Республика имела нужду в великом полководце; она искала взорами кормчего, дабы себя ему предать и спастись среди бури столь

жестокой брани. Ни один гражданин знаменитого рода или богатого состояния не домогался консульства во время тогдашних выборов. Марий, хотя отсутствующий, избирается всеми в консулы. С получением в Риме известия о захвате Югурты разнесся и слух о приближении кимвров и тевтонов. Сперва не верили многочисленности и силе наступающих войск; впоследствии оказалось, что молва о том была ниже самой истины. Вперед шло военных людей с оружиями до трехсот тысяч; за собой они вели многочисленнейшие толпы детей и женщин; они искали земли, которые бы могли питать такое множество, и городов, в которых бы им поселиться, подобно кельтам, которые, как им было известно, некогда заняли лучшую часть Италии, отняв ее у этрусков. По причине несообщительности их с другими народами и великого пространства земель, из которых они вышли, не было известно, какие они были люди, и откуда устремившись, подобно туче, нашли на Галлию и Италию. Полагали, что то были народы германские, из живших близ Северного океана, судя как по величине их тела и по голубым глазам, так и по тому, что германцы кимврами называют разбойников. Некоторые уверяют, что кельтская земля так велика и обширна, что от Внешнего моря* и северных областей обращается к востоку до Мэотиды и касается Скифии Понтийской; от чего произошло смешение этих народов. Они не все вдруг и не беспрерывно выходили, но каждый год, с наступлением весны, все продвигались вперед и в несколько лет пробежали войной всю обширную землю*. Хотя они по частям имели разные прозвания; однако войско их называлось общим именем кельто-скифов. Другие говорят, что киммерийцы*, известные древнейшим грекам, составляли небольшую часть всего народа и что от мятежа, между ними происшедшего, будучи принуждены скифами бежать, перешли в Азию через Мэотиду под предводительством Лигдамида. Большее и воинственнейшее их число, обитавшее на краю твердой земли при Внешнем океане, занимало земли лесистые и мало освещаемые Солнцем, по причине обширности и густоты дубрав, которые простираются до Герцинских лесов*. Они живут под таким небом, где полюс имеет большую высоту, по причине наклонения параллельных кругов, и мало отстоит от созвездия, над головой их возвышающегося; дни, долготой и краткостью равные ночам, разделяют время на две половины. Этим воспользовался Гомер в рассказе о киммерийцах в «Вызывании теней»*. Из этих-то мест устремились на Италию варвары, которые сперва называемы были киммерийцами, а в то время по справедливости названы кимврами*. Но все сказанное здесь нами более есть догадка, нежели основательное повествование. Что касается до их числа, то оное многими представлено более, а не менее того, которое выше показано. Будучи непреоборимы по ярости и смелости своей, быстротой и стремлением своим в военных действиях уподобляясь огню, они распространялись, и никто не мог устоять перед ними. Народы, через которые они проходили, были ими влекомы, как добыча за победителем. Многие римские войска, многие полководцы, защищавшие Заальпийскую Галлию, были ими захвачены и бесславно погибли*; сразившись с ними неудачно, они только направили на Рим их стремление. Варвары, победив всех, кто им ни попался навстречу, завладели бесчисленными сокровищами и решились нигде не поселяться, доколе не разрушат Рима и не опустошат Италию.

Римляне, получив с разных сторон известие о намерении их, звали Мария, дабы вручить ему предводительство над войсками. Он избран в другой раз консулом, хотя закон не позволяет избирать вновь консулом того, кто не находится в Риме, и до истечения определенного времени после первого консульства. Но народ выгнал из собрания тех, кто тому противоречил; он полагал, что не в первый ныне раз закон уступал пользе общественной; что настоящая причина не была маловажнее той, для которой против законов избран в консулы Сципион, хотя в то время римляне не боялись потерять свою страну, но желали только разорить Карфагенскую. Избрание было утверждено, и Марий из Ливии возвратился в Рим с войском к январским календам, в которые римляне начинают новый год. Он принял консульство и получил почести триумфа, показав римлянам зрелище, которого они не надеялись видеть, – плененного Югурту, над которым никто не думал, чтобы можно было одержать победу, пока будет в живых. Столько-то он был способен пользоваться всеми обстоятельствами, столько-то пылкость его нрава была сопряжена с величайшим пронырством! Уверяют, что в продолжение триумфа Югурта лишился ума; после оного был брошен в темницу. Когда одни содрали с него платье, другие, спеша вынуть из ушей золотые серьги, оторвали у него конец уха и столкнули в

глубокую яму нагого, то он, исполненный страха, но горестно улыбаясь, сказал: «Геракл! Как холодна ваша баня!» Шесть дней боролся он в темнице с голодом и до последнего мгновения питался желанием и надеждой на продолжение жизни. Наконец он получил достойное злодействам своим наказание. Во время торжественного шествия Мария везено было три тысячи семь литров золота, пять тысяч семьсот семьдесят пять литров серебра и двести восемьдесят семь тысяч драхм наличными деньгами. После триумфа Марий собрал сенат на Капитолии. Забывшись ли или с грубостью пользуясь своим счастьем, вступил он в сенат в триумфальной одежде. Заметя неудовольствие сенаторов, он вышел, надел тогу с пурпуровой обшивкой и возвратился в сенат.

В походе Марий обучал свое войско, упражняя его в беге, в долговременной ходьбе и заставляя воинов носить на себе разные тяжести и самим готовить кушанье. По этой причине с тех пор трудолюбивых людей, с безмолвием исполняющих повеления, называют «Мариевыми лошаками». Некоторые приводят тому другую причину. Когда Сципион осаждал Нуманцию, то захотел осмотреть не только оружия и коней, но лошаков и возы, дабы у всех было все в готовности и в порядке. Марий представил свою хорошо откормленную лошадь и лошака, более всех других сильного, видного и ручного. Полководцу понравились Мариевы животные; он часто упоминал о них, и это подало повод в шутку называть всякого трудолюбивого и постоянного человека, хваля его, «Мариевым лошаком»*.

С Марием, кажется, случилось следующее великое счастье: варвары, стремящиеся на Италию, как неким отливом, потекли к Иберии, и это подало время Марию обучать воинов, души их вооружить бодростью и, что всего важнее, сделаться им известным. Когда воины приучились ни в чем не проступаться и не оказывать неповиновения, то суровость его и неумолимость в наказаниях показались им не только справедливы, но и спасительны. Жестокость его гнева, грубый голос, дикость лица, к которым мало-помалу привыкли, почитали они страшными не для себя, но для неприятелей. Более всего нравилось воинам его беспристрастие, о котором рассказывают следующий пример. Гай Лузий, племянник Мария, служил в войске. Он был недурной человек, но нетверд против красоты. Под его начальством был некоторый молодой человек, по имени Трибоний. Лузий много раз старался его развратить, но, не имев в том успеха, в одну ночь послал служителя звать его к себе. Трибоний пришел, ибо законом запрещено не повиноваться призыву начальника. Он был введен в шатер и когда Лузий хотел насильно склонить его к своим желаниям, то Трибоний извлек меч и умертвил его. Это случилось во время отсутствия Мария, который, по прибытии своем, предал Трибония суду. Многие его обвиняли, никто не защищал. Трибоний смело предстал перед судьей; сам рассказал все происшедшее, представил свидетелей, видевших всегдашние покушения Лузия и богатые подарки, которыми хотел его обольстить. Марий уважил его, был доволен его поступком, велел подать венок, служивший римлянам наградой за отличие, и взяв его, украсил им Трибония, как человека оказавшего прекраснейшее дело в такое время, в которое были нужны хорошие примеры. Когда поступок сей возвещен был в Риме, то он немало способствовал ему к получению консульства в третий раз*, а как с наступлением весны ожидали нападения варваров, то воины не хотели вступить в сражение с варварами под предводительством другого. Впрочем неприятель не явился так скоро, как его ожидали, и время консульства Мария проведено было опять в бездействии.

Настало новое избрание; другой консул, товарищ Мария, умер. Марий, оставя при войске Мания Аквилия, приехал сам в Рим. Многие из лучших граждан искали консульства. Луций Сатурнин, трибун, который управлял более других народом и которого Марий привлек на свою сторону, говорил народу и побуждал его избрать Мария в консулы. Марий с притворным равнодушием отказывался от начальства, говоря, что не имеет в оном надобности. Сатурнин кричал, что он, избегая военачальства, изменяет отечеству, в такой его опасности. Явно было, что он неискусно помогал Марию играть сие театральное представление. Однако народ, видя, что обстоятельства имели нужду в искусном и счастливом полководце, в четвертый раз избрал Мария консулом и соправителем ему дал Лутация Катула, человека, уважаемого знатными и не противного народу.

Марий, получив известие, что неприятели уже близко, поспешно перешел Альпы, укрепил стан свой при реке Родан и собирал в оном припасы в великом изобилии, чтобы никогда не

быть принуждену, по недостатку в необходимом, дать сражение тогда, когда в том не видел явной пользы. Доставка съестных припасов морем была долговременной и стоила дорого. Марий сделал оное скорым и дешевым. Река Родан при впадении в море, будучи отражаема волнами во время прилива, принимала в себя много ила и песку, смешанных с грязью, отчего вступление в реку судов с припасами было трудно, медленно и опасно. Марий обратил к этому месту воинов, которые ничем не были заняты, заставил их рыть большой канал, пустил в него великую часть воды, которую привел к способному месту берега; здесь вода впадала в море устьем глубоким и удобным к принятию больших судов, и притом спокойным и безопасным от морских волн. Канал этот и поныне называется его именем*.

Между тем варвары разделились на две части. Кимврам досталось по жребию идти сверху через Норик* на Катула и ворваться в Италию. Тевтоны и амброны шли на Мария вдоль Лигурийского побережья. Кимвры встретили большое затруднение и остановились, но тевтоны и амброны, поднявшись скоро и пройдя страну, отделявшую их от Мария, появились перед его войском, числом несчетны, видом ужасны, языком и криками ни с кем не сходны. Они заняли великое пространство поля, и поставя стан свой, вызывали Мария к сражению. Этот полководец мало о том заботился; он удерживал в стане воинов; укорял жестоко тех, которые не могли обуздать своей ярости и непременно хотели сразиться. Он представлял всем, что честолюбие их не в том состояло, чтобы получить триумф и воздвигнуть трофей, но чтобы эту страшную тучу, эту грозу войны отразить и спасти Италию. Это говорил он частно другим предводителям и начальникам. Воинов же ставил на валу по очереди, приказывал им смотреть на неприятелей, приучая их таким образом к их виду и крикам, которые были необыкновенны и зверски. Он хотел, чтобы воины замечали их движения и приготовления, дабы со временем то, что представлялось воображению ужасным, сделалось в глазах их обыкновенным и не странным. Он был уверен, что все новое придает страшным предметам такие свойства, которых они не имеют; что привычка делает вовсе нестрашными те вещи, которые по существу своему ужасны. Смотря на варваров ежедневно, воины не только переставали мало-помалу изумляться, но воспламенялись яростью и желанием сразиться с неприятелями, которых угрозы и самохвальство были нестерпимы, ибо они не только разоряли и опустошали окрестности, но делали приступы к самому стану с великой наглостью и дерзостью, так что воины роптали и громко жаловались на Мария, до которого доходили их речи. «Ужели Марий, – говорили они, – заметивши в нас робость и малодушие, запрещает нам сразиться и держит нас, как слабых женщин, за замком и под стражей? Пойдем с смелостью, приличной свободным людям, и спросим его: ужели он ожидает, чтобы другие пришли сражаться за Италию, а нас намерен употреблять всегда как работников, когда понадобится рыть каналы, чистить грязь, переменять течение какой-нибудь реки? Для этого, по-видимому, упражнял он нас многими трудами! И эти-то дела, произведенные им в продолжении консульств, хочет показать гражданам по своем возвращении! Или страшит его участь Карбона и Цепиона, которых победили неприятели? Но они далеко отстояли от Мариевой доблести и славы; они предводительствовали войском гораздо худшим. При всем том похвальнее, произведши что-либо, подобно им, пострадать, нежели сидеть спокойными зрителями разорения союзников наших».

Марий слышал эти речи с удовольствием; он успокаивал воинов, уверяя их, что доверяет им, но что, по некоторым прорицаниям, ожидает времени и места победы. Он имел при себе сириянку, называемую Марфой, которая почитаема была прорицательницей и которую носили всюду весьма пышно на носилках. Марий приносил жертвы только тогда, когда она приказывала. Еще прежде того она хотела предстать перед сенатом и предрекать будущее, но была им отвергнута. Получив свободный вход к женщинам, она показала опыты своего дара им, особенно же Мариевой жене, у ног которой, сидя в амфитеатре, удачно предсказывала ей, который из гладиаторов победит. Жена Мария послала ее к своему супругу, который возымел к ней великое уважение. Большей частью она носима была на носилках, но когда надлежало приносить жертвы, то она сходила с носилок в двойной пурпуровой мантии, застегнутой на плече, держа в руке копье, украшенное повязками и венками. Это театральное представление приводило в недоумение: подлинно ли Марий уверен был в ее прорицаниях или притворялся и, действуя с нею заодно, показывал ее всем? То, что Александр Миндский пишет о коршунах, достойно удивления*. Два коршуна всегда показывались в войске перед совершением

каких-либо подвигов и следовали за ним. Все их узнавали по медным их ошейникам. Воины, поймав их, надели им оные, потом выпустили. Они знали коршунов и ласкали их; когда показывались при выступлении их из стана, то все радовались и надеялись произвести что-либо хорошее.

В то время видимы были различные знамения, в которых однако ж не было ничего отличного и необыкновенного. Но из Америи и Тудертии*, городов италийских, возвещено было, что ночью видимы были на небе пламенно образные копья и щиты, которые сперва носились в разные стороны, потом сталкивались и делали движения и обороты, какие производят сражающиеся воины. Наконец одни начали уклоняться, другие наступать, и таким образом все исчезли на западе. Примерно в то же время прибыл из Пессинунта* Батак, жрец Великой Матери богов, возвещая, что богиня из святилища своего изрекла: «Римляне одержат победу и окончат войну со славою». Сенат поверил его словам и положил соорудить богине храм в благодарность за победу. Но когда Батак предстал пред народом и хотел говорить о том же, то трибун Авл Помпей не позволил ему, называя его обманщиком, и с ругательством удалил от трибуны. Это самое обстоятельство послужило к утверждению слов жреца. Авл, по окончании собрания, не успел возвратиться в свой дом, как впал в столь сильную горячку, что о ней во всем городе говорили, и по прошествии семи дней умер.

Тевтоны, видя, что Марий стоит спокойно, предприняли осадить стан. Но они встретили со стана пущенные римлянами во множестве стрелы, потеряли несколько человек и потому решились идти далее, надеясь перейти Альпы свободно. Приготовившись к походу, начали они проходить мимо римского стана. Тогда-то обнаружилось несчетное их число. Говорят, что целые шесть дней продолжалось беспрерывное их шествие мимо стана Мариева. Они шли близко от оного и спрашивали у римлян со смехом: «Не пошлете ли чего к женам своим? Мы скоро у них будем».

Когда варвары прошли таким образом и продолжали путь свой вперед, то Марий, поднявшись с войском, шел за ними вслед. Он останавливался всегда близко от них, но избирал местоположения крепкие и окапывался, дабы провести ночь в безопасности. Таким образом идучи далее, пришли они к месту, называемому Аквами Секстиевыми*, в недальнем от Альп расстоянии. По этой причине Марий готовился здесь дать сражение. Он занял станом своим местоположение крепкое, но в котором не было довольно воды, желая, как говорят, этим недостатком воспламенить ярость воинов. Когда многие их них на то роптали, замечая, что будут терпеть жажду, то Марий, показав рукою на реку, протекающую перед валом варваров, сказал: «Вот откуда должно брать воду, ценою крови своей!» – «Что же ты нас скорее не ведешь на них, пока кровь еще течет в нас?» – говорили воины. Марий спокойно отвечал: «Прежде должно нам укрепить стан». При всем неудовольствии своем, воины повиновались. Между тем многие служители войска, не имев воды ни для себя, ни для скотов, пошли толпой к реке, одни с секирами, а другие с мечами и копьями, взяв с собою кружки, дабы почерпнуть воды. Они решились сразиться с неприятелем, когда бы то потребно было. Сперва противились им немногие из варваров, после купанья; иные же еще купались. В этом месте текут источники теплых вод. Римляне застали варваров в такое время, когда они нежились и пировали, удивляясь красоте местоположения. На крики их многие к ним сбежались. Марию трудно было уже удержать воинов своих, которые заботились о спасении своих служителей. Между тем амброны, храбрейшие из варваров, которые прежде побеждали римлян, бывших под начальством Манлия и Цепиона, и которых было тридцать тысяч, поднялись и спешили надеть доспехи. Тела их обременены были пищей, но духом они были надменны и горды, бодры и веселы от вина; они устремились на римлян в беспорядке и с неистовством; не издавали шумных и нестройных криво, но ударяя своими оружиями с размером, выступали вместе, часто произнося свое собственное прозвание: «Амброны!» Они делали сие либо для ободрения себя, либо для объявления наперед своего имени противникам, думая тем устрашить их. Прежде всех италийских войск вышли против них лигурийцы, которые, услыша крик и поняв оный, отвечали им таким же криком, называя себя тем же именем, ибо лигурийцы издревле дают себе название амбронов. Это имя часто было обеими сторонами повторяемо перед начатием сражения. Предводители обеих сторон издавали тот же крик, стараясь одни других превзойти звуком голоса – чем дух воинов был более возбужден и воспламенен к битве.

Амброны, которым пресекала дорогу река, были принуждены переправляться через нее в неустройстве и не успели стать в боевой порядок, ибо лигурийцы напали на первых с великим стремлением и начали бой. Римляне спешили на помощь лигурийцам; они неслись на варваров с высот, опрокинули их и принудили отступить. Большая часть из них на самом берегу толкали и поражали друг друга; река наполнилась кровью и мертвыми телами. Те, кто перешел и не смел обратиться назад, были римлянами умерщвляемы и преследуемы до самого стана и до обоза. Здесь встречали их женщины, вооруженные мечами и секирами, издавшие пронзительные и неистовые вопли; они равно гнали тех, кто бежал к ним, и тех, кто их преследовал; одних как предателей, других как врагов. Они вмешались в толпу сражавшихся, голыми руками вырвали у римлян щиты, хватались за мечи их, терпели раны и отсечение частей тела, пребывая духом непобедимы до последнего дыхания. Таким образом, говорят, дано было на берегу реки сие сражение, более по случаю, нежели по предначертанию полководца.

Когда римляне, истребив столь много неприятелей, отступили назад и темнота покрыла землю, то, как обыкновенно бывает после блистательного успеха, не были они встречены ни победными пеанами, ни пирами и веселыми угощениями в шатрах, и, что всего сладостнее для ратников, счастливо сражавшихся, они не могли предаться спокойствию и сну; напротив того, провели ночь в беспокойстве и ужасе; стан их не был ни укреплен, ни обведен валом; еще многие сотни тысяч варваров оставались непобежденными. Убежавшие амброны к ним присоединились; все вместе издавали они жалобные вопли, подобные не плачу и стенанию человеческому, но вою и рыканию зверей, смешанному с угрозами и жалобами, которые, будучи произнесены таким множеством народа, раздавались в окрестных горах и между берегов реки. Вся равнина была наполнена ужасным шумом; сердца римлян были объяты страхом; сам Марий – изумлением; они ожидали в ночи сражения нестройного и беспорядочного. Однако варвары не вышли из стана своего ни ночью, ни на другой день; они употребили это время на приготовление себя к битве и приведение всего в устройство.

Между тем Марий выслал Клавдия Марцелла с тремя тысячами тяжело вооруженной пехоты в наклоненные дебри и покрытые деревьями лощины, простиравшиеся над станом варваров; он приказал ему стоять в засаде и как скоро неприятели вступят в сражение, то показатели вступят в сражение, то показаться позади их. Другие воины ужинали рано и легли спать. С наступлением дня Марий вывел их из стана и поставил в строй, а конницу выслал вперед на равнину. Тевтоны, увидя движение, не утерпели, чтобы римляне сошли на поле и сразились с ними; имея равные выгоды, они вооружились с великой поспешностью и яростью и устремились на холм. Марий, посылая в разные стороны военачальников, приказывал воинам стоять спокойно на своих местах и с терпением ожидать того времени, когда неприятели подойдут так близко, что можно будет достигать их; тогда пускать в них дротики, потом действовать мечами, а щитами теснить и опрокидывать; он думал, что, по причине скользкого места, удары неприятелей долженствовали быть бессильны и ограда их щитов не могла иметь твердости, ибо тела их, по неровности места, стали бы колебаться и находились как бы во всегдашнем волнении. Таким образом Марий увещевал воинов и собою подавал им пример, ибо в искусстве действовать оружием не уступал никому из них, а смелостью духа всех превосходил.

Наконец римляне восстали, напали на варваров и удержали их стремление вверх. Те, будучи теснимы, начали мало-помалу отступать в равнину; передние ряды их выстроились на ровном месте, но задние были в расстройстве и производили великий шум. Марцелл не пропустил сего благоприятного времени. Едва крик неприятелей простерся на холмы, как он, поднявшись со своим отрядом, напал на варваров с великим стремлением, издавал громкие восклицания и поражал их с тылу. Неприятели, теснимые Марцеллом, принуждая передние ряды обратиться и сражаться с ними, вскоре привели все войско в беспорядок. Недолго варвары, с двух сторон поражаемые, могли устоять против римлян; они пришли в расстройство и предались бегству. Римляне преследовали их. Более ста тысяч варваров были частью пойманы живые, частью умерщвлены*. Достались римлянам их шатры, обозы, деньги; все то, что не было расхищено, положили уступить Марию. При всем том, что он получил славную награду, однако никто не думал, чтобы сей полководец достойно был награжден за оказанные им услуги по причине предстоявшей отечеству великой опасности. Некоторые историки иначе

повествуют, как о полученной Марием добыче, так и о числе погибших. Говорят, что массалийцы из костей убиенных сделали заборы вокруг своих виноградников и что поля, на которых мертвые тела сгнили, после зимних дождей так утучнели от вступившей в них глубоко гнилости, что произвели весной невероятное множество плодов. Это подтверждает справедливость слов Архилоха, который уверяет, что поля более всего тучнеют от убиенных тел. Некоторые замечают, что после больших сражений падают проливные дожди; от того ли, что бог какой-нибудь падающими с неба чистыми дождями очищает и омывает землю, или от того, что кровь и гнилость издают сырые и тяжелые испарины и сгущают воздух, который легко и от малейшей причины подвержен бывает великим переменам.

После сражения Марий выбрал из варварских оружий и полученных корыстей самые блистательные и сохранившиеся в целости, которые могли придать большую красоту триумфу, а все другие собрал в кучу на огромном костре и принес из них великолепную жертву. Все войско стояло вокруг в оружиях и венках; сам Марий, препоясавшись по римскому обычаю, и в мантии, обшитой пурпуром, взял зажженный факел, поднял его к небу обеими руками и хотел пустить в костер, как в то самое время быстро прискакали к нему верхом некоторые из приятелей его. Все стояли в безмолвии и ожидании, наконец они приблизились, соскочили с коней, взяли Мария за руку, возвестили ему, что он в пятый раз избран консулом, и вручили ему письма, касательно его избрания. Радость войска от приятного извещения, полученного во время победного торжества, была неописанная. Воины производили оружиями своими шум и стук, издавали веселые крики, а военачальники украшали Мария лавровыми венками. Он зажег костер и совершил жертвоприношение.

Но то существо, которое не оставляет никакому необыкновенному благополучию чистой и совершенной радости, но смешением благ и зол возмущает жизнь человеческую – судьбой ли должно его назвать, или негодованием богов, или необходимостью вещей – по прошествии немногих дней довело до слуха Мария известие о том, что случилось с соправителем его Катулом. Это известие, подобно туче, поднимающейся во время тихой и ясной погоды, навело на Рим страх и смятение. Катул, стоявший против кимвров, решился не охранять более проходов Альпийских гор, опасаясь сделаться слабее, когда бы принужден был разделять силы свои на многие части. Он спустился в Италию, стал за рекой Натизон, укрепил с обеих сторон переправы твердым валом и навел мост через реку, дабы можно было подавать помощь стоявшему за рекой войску, когда бы варвары, пробравшись сквозь узкие проходы, захотели напасть на тамошние укрепления. Эти народы были исполнены такой дерзости и такого презрения к своему неприятелю, что, более для показания им своей крепости и смелости, нежели для произведения чего-либо полезного, ходили голые в снежную погоду по льду и по глубоким снегам, взбирались на высоты гор, подкладывали под себя свои широкие щиты, спускались на них сверху и неслись по крутизнам гладким и скользким в глубокие пропасти. Наконец они поставили стан свой близ римского, осмотрели переправу и решились засыпать реку. Они срывали окрестные холмы; подобно гигантам, бросали в реку вырванные с корнями деревья, оторванные куски скал и груды земли и обращали вспять ее течение. Они пускали в подпоры, поддерживающие мост, великие тяжести, которые, несясь по воде, ударяли в него и потрясали его основания. Большая часть воинов приведена была от того в такой страх, что оставила большой стан и отступила. В этом случае Катул доказал, как достойному и совершенному полководцу прилично, что он собственную славу ставил ниже славы сограждан своих. Не могши убедить воинов оставаться, видя, что они отступали с робостью, велел он поднять знамя, пошел бегом вперед сам и первый предводительствовал отступающими, дабы бесчестие падало на него одного, а не на отечество, желая показать тем, что воины не бегут, но отступают, следуя за полководцем своим. После этого неприятели заняли стоявшее на той стороне Натизона укрепление. Защищавших оное римлян, храбрейших мужей, и достославно за отечество жертвовавших жизнью, они уважили и отпустили, заставив их поклясться перед медным волом*, который впоследствии был у них отнят и перенесен в дом Катулов, как первенец победы, – варвары нашли область без всякой защиты, рассеялись по оной и опустошали ее.

Между тем Марий призван был в Рим. Он приехал; все думали, что он вступит с триумфом; сенат охотно определил ему оный, но Марий от того отказался, или потому, что не

хотел лишить этой чести воинов и сподвижников своих, или потому, что желал ободрить унывавший в тогдашних обстоятельствах народ, оставляя в залог Риму славу первых дел своих и надеясь еще более возвеличить оную последующими подвигами. Он говорил народу речь, приличную обстоятельствам, отправился к Катулу, ободрил его и воинов своих вызвал из Галлии. По прибытии их, Марий переправился через реку Эридан* и принимал меры для удержания неприятеля от вступления внутрь Италии. Эти варвары отлагали сражение, говоря, что ожидали к себе тевтонов, и удивлялись медленности их, или в самом деле не зная, что они истреблены, или притворяясь, что не верят этому, ибо жестоко секли тех, кто приходил к ним с этим известием. Наконец они послали к Марию, требуя себе и братьям своим земли и городов для жительства. Марий спросил посланных, кого они разумеют под именем братьев. «Тевтонов», – отвечали посланники. Все засмеялись, и Марий, шутя над ними, сказал: «Оставьте братьев своих – у них есть земля, и они вечно иметь ее будут; они же от нас ее получили!» Посланники поняли насмешку и ругали Мария, грозя ему, что будет наказан теперь кимврами, а потом тевтонами, когда к ним придут. «Да они здесь, – сказал Марий, – не хорошо вам уйти, не обнявши прежде своих братьев». Сказав это, он велел привести в оковах царей тевтонских, которые были пойманы в Альпах секванами*. Когда об этом возвестили кимврам, то они немедленно двинулись на Мария, который стоял спокойно в стане и охранял его.

Говорят, что перед этим сражением в первый раз введена Марием перемена в дротиках. Кончик древка, входящий в железо, сперва был прикреплен двумя железными гвоздями. Марий велел один гвоздь оставить по-прежнему, а другой вынув, вставить вместо его деревянный тонкий гвоздь. Намерение его было то, чтобы дротик, воткнувшийся в щит неприятельский, не торчал прямо на нем, но чтобы наклонился к железу, как скоро бы деревянный гвоздь переломился, а древко, которое держалось крепко на другом гвозде, тащилось бы по земле, по причине согнутия железа.

Бойориг, царь кимвров, приблизившись к стану на коне с немногими воинами, вызывал Мария и предлагал ему назначить день и место, на котором бы могли оба войска сразиться и решить судьбу области. Марий отвечал, что у римлян никогда не было в обычае просить совета у врагов своих касательно сражений; однако он в этом хочет угодить кимврам. Назначен был третий после того день, а месту сражения положили быть равнине близ Верцелл*. Место это было выгодно и для римлян, которые могли действовать конницей, и для кимвров, которые могли растянуть многочисленное свое войско. Настал назначенный день, и обе стороны устроились. У Катула было двадцать тысяч триста человек, а у Мария тридцать две тысячи. Он разделил свою силу по обеим сторонам, а Катула поставил в середину, как пишет Сулла*, который находился в этом сражении. Он говорит, что Марий положил таким образом свою силу по крылам, надеясь напасть сбоку на неприятельские фаланги, дабы победа была приписана одним его воинам, а Катул вовсе не участвовал в этом деле и даже не дрался с неприятелем, ибо центр, как обыкновенно бывает в длинном строю, составил некоторую впадину, а крылья вытянулись вперед. Катул сам, как говорят, оправдываясь в своих движениях, упрекал Мария в злоумышлении против себя. Кимврская пехота выступила спокойно из укреплений своих. Она составляла четвероугольник, равный в длину и ширину; каждый бок ее строя занимал пространство тридцати стадиев. Конница, состоявшая из пятнадцати тысяч, появилась с великим блеском. На шлемах всадников изображены были страшные звери с ужасными пастьями и странными видами; над ними возвышались длинные перья, подобно крыльям; отчего они казались выше, нежели они были в самом деле; они были покрыты железными бронями и блистали белыми щитами. Каждый из них имел при себе по два дротика, а сошедшись с неприятелем, они действовали большими и тяжелыми саблями.

Однако в то время не напали они на римлян спереди, но, отклонившись несколько вправо, продолжали идти вперед, дабы поставить их между собой и пехотой, на левой стороне устроенной. Римские полководцы поняли их умысел, но не успели удержать своих воинов. Один из них вскричал, что неприятели бегут, и все пустились преследовать их. Между тем пехота варваров наступала, двигаясь подобно беспредельному морю. Тогда Марий, умыв руки, поднял их к небу и сделал обет принести богам гекатомбу. Равномерно и Катул, подняв руки, молился и обещал праздновать Счастье того дня. Говорят, что по принесении жертв, когда Марию показаны были закланные животные, то он воскликнул: «Победа моя!» Когда

двинулись к нападению, то, как повествует Сулла, с Марием случилось несчастье, которое должно почитать наказанием богов. Поднялась столь густая пыль, что сокрыла оба войска, и Марий, устремившись к преследованию неприятеля, не попал на него, но прошел мимо его фаланги, долго блуждал по полю. Между тем Катул случайно сошелся с варварами; сражение производилось им и воинами его, в числе коих находился и Сулла, как он сам о том пишет. Римлянам содействовали зной и солнце, прямо ударявшее на кимвров. Будучи крепки к перенесению холода, воспитанные, как сказано выше, в местах тенистых и холодных, они не могли снести жар. Пот лился с них, они запыхались и закрывали щитами лица свои. Сражение дано было после летнего поворота солнца, по римскому счислению, три дня перед новолунием месяца секстилия, который ныне называется августом. К ободрению римлян послужила и пыль, сокрывшая от них неприятелей, ибо они не могли видеть несчетного числа войска их. Сделав стремительное нападение, всякий римлянин бился с теми, кто ему попадался, не будучи наперед устрашен их видом. Римляне столько были привычны ко всем трудам и работам, что ни один из них не вспотел и не утомился, хотя жар был несносный и нападение учинено бегом. Катул об этом сам повествует*, превознося похвалами воинов своих.

Самая большая и самая храбрая часть неприятелей в этом месте изрублена. Дабы ряды их не расстроились и не были прорваны, передовые воины варваров были соединены между собой длинными цепями, которые были привязаны к их поясам. Римляне преследовали бегущих в их стан, где были зрителями ужаснейших происшествий. Женщины, стоя на телегах в черном платье, убивали одни мужей, другие братьев или отцов своих; они душили малых детей своими руками, бросали их под колеса и под ноги возовых скотов и сами себя умерщвляли. Говорят, что одна из них повесила себя на краю дышла, а дети ее висели на веревке с обеих ее ног. Мужчины, по недостатку в деревьях, привязывали шеи свои к рогам или бедрам волов; потом кололи их рожнами; волы бежали, тащили их и топтали ногами. Вот каким образом они истреблялись! Несмотря на то, что они погибали такими средствами, поймано было живых более шестидесяти тысяч. Говорят, что число умерших вдвое более*.

Мариевы воины расхитили все богатство, но корысти, знамена и трубы принесены были в стан Катула, чем он наиболее доказывал, что победа одержана им. Между воинами, как легко можно понять, также происходили прения о победе, для прекращения которых избраны были, как бы судьями, пармские посланники, там находившиеся. Катуловы воины водили их по мертвым телам неприятелей и показывали им, что они были пронзены их дротиками, которые можно было узнать по имени Катула, вырезанного на древке. При всем том весь подвиг был приписан Марию, по причине первой победы и по важности его достоинства. В особенности народ называл его третьим основателем Рима*, ибо он отразил опасность, которая была не менее галльской. Все они, веселясь в домах своих с детьми и женами, приносили Марию, равно как и богам, начатки ужина и возлияний. Они изъявляли желание, чтобы он один имел почести триумфа два раза; однако он этого не сделал, но отправил триумф вместе с Катулом*, желая и в счастии казаться умеренным. Может быть, боялся он и воинов Катула, которые были готовы воспрепятствовать его триумфу, когда бы их начальник не имел участия в этой почести.

Он был возведен в пятый раз на консульское достоинство. Никто столь сильно не желал быть консулом в первый раз, как Марий в шестой. По этой причине ласкал он народу, старался ему угождать, поступая, таким образом, не только против важности достоинства своего, но против собственных свойств; он хотел казаться кротким, снисходительным и благосклонным к народу, не будучи нимало рожден таковым. Говорят, что в общественных делах и в народных беспокойствах он был самый робкий человек, по причине великого его честолюбия. Твердость его духа и непоколебимость среди военных опасностей оставляли его в Народном собрании; он терялся от малейшей похвалы или хулы. Говорят однако, что некогда он включил в число римских граждан тысячу камерийцев*, которые с отличным мужеством действовали в сражении, хотя это казалось противозаконным. Когда некоторые его в том упрекали, то Марий сказал, что звук оружий мешал ему слышать гласа закона. При всем том, кажется, он более всего боялся и приходил в робость от криков Народного собрания. Находясь при войске, он имел великую важность и силу, по причине нужды, которую имели в нем, но в гражданском управлении другие отнимали у него первенство, и потому он искал, для защиты своей, благосклонности и любви народной. Желая быть сильнейшим, он не заботился о том, чтобы

быть самым лучшим.

Он навлек на себя ненависть всех аристократов. Более всех он страшился Метелла, против которого оказался неблагодарным, и который, по природе своей и по истинной любви к добродетели, противился тем, кто непозволительными средствами вступал в доверие народа и льстил ему. Марий вознамерился изгнать его из города. Привязав к себе Главция и Сатурнина, самых наглых людей, имевших в своем распоряжении множество неимущего и беспокойного народа, он с помощью их ввел разные законы.

Он привел в Рим воинов, смешивал их с гражданами и успел одержать верх над Метеллом. Повествует Рутилий, человек правдолюбивый и добрый, но личный неприятель Мария, что тот достиг в шестой раз консульства*, раздав между трибами великое количество денег, которыми лишил власти Метелла. Валерия Флакка принял он более как служителя, нежели как товарища в консульстве. Кроме Валерия Корвина*, никто прежде его не был столько раз возведен на консульское достоинство, но от первого консульства Корвина до последнего прошло, как говорят, сорок пять лет, а Марий после первого консульства получил еще пять как единый дар судьбы. В последнем консульстве навлек он на себя неудовольствие граждан тем, что содействовал и покровительствовал Сатурнину в дурных его делах, из которых одно есть умерщвление Нония. Этот был соперником Сатурнину в искании трибунства, и был убит им.

Сатурнин, сделавшись трибуном, предложил закон о раздаче земли*. Этим законом постановлено: чтобы сенат обязался клятвой принять то, что народом будет утверждено, и ни в чем не прекословить. Марий притворился в сенате, что отвергает эту статью; он говорил, что не примет клятвы, и что, по мнению его, ни один из здравомыслящих людей на то не согласится; что хотя бы предлагаемый закон не был вреден, однако было бы постыдно для сената принимать насильственно то, что ему следовало бы принять свободно и непринужденно. Он говорил так, но мыслил иначе; он хотел только завести Метелла в неизбежные сети. Почитая ложь и обман частью добродетели и великих способностей, он имел намерение нимало не заботиться о том, что обещал перед сенатом; зная же Метелла как человека твердого, почитающего истину, как говорит Пиндар, началом великой добродетели, он хотел его связать своим отречением перед сенатом, а когда бы Метелл не принял клятвы, то он намеревался возбудить против него непримиримую вражду народа. Ожидание его исполнилось. Метелл объявил, что не примет клятвы, и сенат тогда разошелся. По прошествии нескольких дней Сатурнин призвал сенат к трибуне и принуждал его принять клятву. Марий предстал; все умолкли и обратили на него внимание. Но Марий предал забвению то, что объявил прежде в сенате с такой смелостью. Он говорил, что у него не так толста шея*, чтобы всегда держаться того мнения, которое однажды объявил о столь важном деле; что он готов клясться и повиноваться закону, если это закон. Он прибавил это премудрое заключение как будто бы для прикрытия стыда своего. Народ, радуясь, что Марий произнес клятву, восплескал руками и превозносил его. Но лучшие граждане были объяты унынием и чувствовали ненависть к Марию за его перемену. Боясь народа, они все поклялись по очереди, до Метелла. Но Метелл, несмотря на усиленные просьбы своих друзей, чтобы он клялся и не подвергал себя тяжкому наказанию, каким Сатурнин грозил тем, кто не принял бы клятвы, нимало не унизился духом и не произнес клятвы. Пребывая твердым в своих мыслях, он был готов все снести, дабы не сделать ничего постыдного, и вышел из Народного собрания. Он говорил друзьям своим, что делать зло дурно; поступать хорошо, без всякой для себя опасности, дело обыкновенное, но что одному добродетельному человеку свойственно поступать так, как должно с опасностью для себя. Сатурнин тотчас предложил, чтобы консулы объявили Метелла лишенным огня, воды и крова. Самая низкая часть народа была в готовности умертвить его. Лучшие граждане страшились за Метелла, прибежали к нему и окружили его. Метелл не позволил, чтобы граждане за него производили мятеж, в чем поступил весьма благоразумно. Он говорил: либо дела поправятся, народ раскается в своих поступках и я возвращусь, будучи им призван; либо дела останутся в таком же положении, и тогда лучше быть далее от Рима. В жизнеописании Метелла будет сказано, какое уважение и какую благосклонность приобрел он у всех в своем изгнании и каким образом любомудрствуя, провел жизнь свою в Родосе.

Марий, будучи принужден за услугу, оказанную ему Сатурнином, смотрел равнодушно,

как он наглыми и насильственными поступками дерзал на все, не чувствовал, сколь тяжкий республике нанес удар тем, что дал ему волю стремиться явно, посредством оружий и убийств, к самовластью и к ниспровержению правления*. Стыдясь лучших граждан, угождая народной толпе, он сделал наконец поступок чрезвычайно низкий, обнаруживающий двуличного человека. Когда первейшие мужи в республике пришли к нему ночью и просили присоединиться к ним против Сатурнина, то Марий в то же самое время впустил Сатурнина к себе другими дверьми, без их ведома. Потом объявил как одной, так и другой стороне, что он одержим некоторой болезнью, бегал попеременно то к Сатурнину, то к вельможам, поощряя и воспламеняя еще более друг против друга. Однако сенат и римские всадники, негодуя на происходящее, соединились между собою. Марий привел на площадь вооруженных людей и преследовал мятежников до Капитолия. По недостатку в воде, они принуждены были к сдаче, ибо Марий отрезал каналы, которыми получали воду. Не в силах долее держаться, они звали Мария и сдались ему, полагаясь на так называемую общественную Верность. Марий употребил все средства, чтобы спасти их, но все старания его были бесполезны; едва пришли они на площадь, как были умерщвлены народом. С этого времени сделался он ненавистным и знатным и простому народу. Вскоре настало время избрания цензоров; Марий не искал этого достоинства, как все того ожидали. Он допустил других низших граждан искать его, боясь получить в том отказ. Между тем притворно говорил, что не хотел многих огорчить строгим исследованием их нравов и образа жизни.

Когда предложено было о возвращении Метелла в отечество, то Марий, и словом и делом тщетно силившись этому препятствовать, наконец перестал противоречить. Народ принял охотно это решение*, и Марий, не стерпя видеть возвращения Метелла, отплыл в Галатию и Каппадокию, под предлогом принести Матери богов обещанные ей жертвы, но истинная причина его отъезда была другая, сокрытая от народа. Будучи неспособен к мирной жизни, неискусен в гражданских делах и обязан своим возвышением одной войне, он видел, что от бездействия и мира уменьшалась сила его и увядала слава. По этой причине он искал случая к новым предприятиям, надеясь возмутить царей, возбудить к войне Митридата, который был к тому склонен, наполнить Рим новыми триумфами, а дом свой – понтийской добычей и царским богатством. Хотя Митридат принял его дружелюбно и с отличным уважением, однако Марий не смягчил своей надменности и нимало не сделался снисходительным. Он сказал Митридату: «Царь! Либо постарайся быть могущественнее римлян, либо исполняй безмолвно их приказания». Этими словами привел в изумление Митридата, которому только по слуху известна была смелость римлян, а тогда в первый раз видел ее сам.

По возвращении своем в Рим Марий построил дом близ площади, или не желая, как сам говорил, чтобы ищущие его благосклонности беспокоились и ходили далеко, или почитая отдаление причиной тому, что не многие ходили к нему в дом и не искали его покровительства, подобно как искали в других. Но в этом ошибался. Он уступал другим в способности говорить приятно, не имел потребных в гражданских делах сведений и потому был пренебрегаем, как военное оружие в мирное время. Не столько досадовал он, когда другие одерживали над ним верх и более были уважаемы, сколько печалил его Сулла, возвышавшийся по ненависти сильных к нему и почитавший раздор свой с Марием основанием своего счастья. Когда же Бокх, царь нумидийский, будучи объявлен союзником римского народа, поставил на Капитолии статуи Победы, держащие трофеи, а близ их, в золотых изображениях, Югурту, передаваемого от него Сулле, то Марий был вне себя от ярости и честолюбия; ему казалось, что Сулла присваивает себе славу его дел; он готовился силой ниспровергнуть эти памятники. Сулла противился ему всеми средствами; едва не вспыхнул мятеж, если бы союзническая война, постигшая неожиданно Рим, не укротила его. Самые воинственные и многолюдные народы Италии составили союз против Рима и едва не разрушили его владычества*. Столько-то они были сильны, не только числом оружий и мужеством воинов, но смелостью и искусством их полководцев, не уступающих римским! Война эта была подвержена разнообразным переменам и переворотам счастья; она придала Сулле столько славы и могущества, сколько лишила оных Мария. Этот полководец показался медлительным в предприятиях, нерешительным, недеятельным – от того ли, что старость погасила в нем бодрость и жар (тогда ему было более шестидесяти пяти лет) или, как сам говорил, оттого, что ослабли его нервы, что не мог владеть

телом своим, и из одного стыда, не по силам, предпринял сей поход. Несмотря на то, и в этом состоянии одержал он знаменитую победу и умертвил шесть тысяч неприятелей. Он не допустил их получить никакой над собой выгоды и с равнодушием смотрел, как они обвели его валом, смеялись над ним, вызывали к сражению. Марий этим нимало не был тронут. Помпедий Силон, который среди италийцев имел великую важность и силу, говорил ему: «Если ты, Марий, великий полководец, то выходи и сражайся с нами!» Марий отвечал: «Если ты великий полководец, то принуди меня сражаться тогда, когда я того не хочу!» Некогда неприятели подали ему удобный случай напасть на них, но римляне оробели. Когда обе стороны разошлись, то Марий собрал воинов своих и сказал им: «Я в недоумении – кто трусливее, неприятели или вы. Они не могли видеть хребта вашего, а вы их затылка». Наконец он сложил с себя предводительство по причине телесной слабости.

Война в Италии клонилась уже к окончанию; многие в Риме искали предводительства в войне против Митридата посредством народных ораторов. Против ожидания всех, трибун Сульпиций, человек самый наглый, выставил Мария и предлагал избрать его проконсулом против Митридата. Народ разделился; одни держались стороны Мариевой, другие призывали Суллу, а Марию советовали ехать в Байи* к теплым водам и лечиться, ибо, по признанию его самого, он ослаб от старости и ревматизма. В Байях близ Мизен имел он великолепный дом, где проводил жизнь столь роскошную и изнеженную, что она более была прилична женщинам, нежели мужу, совершившему столько походов и бывшему в столь многих сражениях. Говорят, что Корнелия* купила дом сей за семьдесят пять тысяч драхм, а по прошествии недолгого времени Луций Лукулл дал за него два миллиона пятьсот тысяч драхм. Столько-то быстро возросла пышность, и до такой степени нега усилилась среди римлян! Марий, побуждаемый честолюбием, более приличным молодому человеку, стараясь превозмочь старость и слабость свою, ежедневно ходил на Марсово поле и, упражняясь вместе с юношами, показывал, что и в оружиях был легок телом; что твердо сидел на коне, хотя, по старости своей, был он неповоротлив, толст и дебел. Многим нравились его поступки; приходя на Марсово поле, некоторые с удовольствием взирали на его честолюбие и на соревнование в подвигах с юношами, но лучшие граждане не могли не жалеть о жадности и славолюбии его, ибо, сделавшись из человека бедного богатейшим, из незначащего величайшим, не знал он пределов своему счастью. Не довольствуясь тем, что был всеми уважаем и что спокойно наслаждался настоящим, он как будто бы во всем терпел недостаток и после таких триумфов, после такой славы, в глубокой старости своей увлекался желанием ехать в Каппадокию и к Эвксинскому Понту, дабы сразиться с Архелаем и Неоптолемом, царскими сатрапами. Причина, которую Марий приводил к своему оправданию, казалась совсем неосновательной; он говорил, что хотел учить военному искусству сына своего, находясь сам при войске.

Вот что обнаружили скрывавшиеся с давнего времени в теле республики недуги и болезни, когда Марий употребил наглость Сульпиция, как приличнейшее к погибели общества орудие. Этот трибун, будучи почитателем Сатурнина и ревнуя ему, обвинял его только в том, что он был не смел и не решителен в делах. Что касается до него, то он, нимало не отлагая своих намерений, собрал шестьсот римских всадников, служивших ему телохранителями, и назвал их антисенатом. С вооруженной толпой прибыл он в Народное собрание, созванное консулами. Один из консулов убежал; Сульпиций поймал его сына и умертвил. Другой консул, Сулла, будучи ими преследуем близ Мариева дома, неожиданно для всех вбежал в оный. Гонители, не заметя этого, пробежали мимо. Говорят, что Марий сам выпустил его безопасно другими воротами и что он не убежал в дом Мария, но был туда приведен насильно для совещания о том, что против воли его предлагал на утверждение Сульпиций; что этот трибун окружил его воинами с обнаженными мечами и в таком состоянии провожал до Мариева дома; что, наконец, оттуда вышел на площадь и, по желанию своих противников, объявил постановления свои недействительными. После этого Сульпиций, одержав уже верх, заставил избрать Мария полководцем. Марий готовился выступить в поход. Он выслал двух военных трибунов для принятия войска Суллы. Но Сулла успел возбудить к гневу воинов, которых число простиралось до тридцати пяти тысяч пехоты, и повел их прямо на Рим. Воины напали на военных трибунов, посланных Марием, и умертвили их. Марий с своей стороны умертвил в Риме многих друзей Суллы и объявил вольность рабам, которые бы пристали к нему. Однако

явилось только не более трех человек. Марий сделал малое сопротивление вступавшему в Рим Сулле, был принужден уступить ему и убежал. Как скоро вышел из города, то единомышленники его рассеялись; с наступлением темноты он удалился в Солоний, одно из поместий своих. Он послал сына своего взять все нужное из поместья тестя своего Муция, бывшего не в дальнем оттоле расстоянии. Между тем, не дождавшись его, имея при себе Грания, своего пасынка, сошел в Остию, где Нумерий, один из его друзей, приготовил для него корабль, на котором и отплыл. Молодой Марий, пришед в Муциевы поместья, собрал все нужное и приготовился к отъезду, но день его застал, и он не мог со всем скрыться от своих неприятелей. Несколько конных приехали к тому месту, подозревая, что он там находился. Смотритель над полями увидел их издали, спрятал молодого Мария в телеге, везущей бобы, и, запрягши волов, ехал навстречу конным, направляя путь свой к городу. Таким образом молодой Марий, будучи привезен в дом жены своей, взял то, в чем имел нужду, ночью прибыл на берег моря, сел на корабль, отправлявшийся в Ливию, и пустился в море.

Старый Марий был несом попутным ветром вдоль берегов Италии. Боясь сильнейшего из жителей города Таррацины*, по имени Геминия, который был ему врагом, он велел мореплавателям удаляться от пристани города. Они хотели исполнить его желание, но ветер начал дуть со стороны моря; поднялась сильная буря, и малое судно не могло противиться ярости волн. Марий страдал от морской болезни; пловцы с великими усилиями достигают берега близ Цирцей. Между тем непогода усиливалась; припасы уменьшались. Они вышли на берег и бродили без всякой цели, как случается в великой крайности, когда человек бежит от настоящего, как самого тяжелого, а всю надежду свою полагает на неизвестное. Страшна была для них земля; страшно море; ужасно встретиться с людьми, ужасно не встретиться с ними, по причине крайнего во всем недостатка. Было уже довольно поздно, как попалось им навстречу несколько пастухов. Эти ничего у себя не имели, но, узнав Мария, советовали ему немедленно удалиться, ибо видели многих искавших его конных, которые только что проехали. Дошедши до последней крайности и видя своих спутников изнемогающих от голода, Марий удалился с дороги, вошел в густой лес, где провел ночь самую беспокойную. На другой день, собравшись с силами, будучи понуждаем голодом и желая действовать еще телом своим прежде, нежели дойти до совершенного изнеможения, он пошел к берегу, ободрял спутников своих, просил их не терять бодрости, не лишаться последней надежды, которою он сам льстится, полагаясь на древние предсказания. Он рассказал им, что, будучи еще очень молод и живя в деревне, он однажды полою плаща подхватил орлиное гнездо, в котором было семь птенцов; что родители его, придя от того в удивление, спрашивали о том прорицателей, которые объявили, что Марий будет славнейшим человеком и что определено ему семь раз получить величайшую в республике власть. Одни говорят, что это в самом деле случилось с Марием; другие уверяют, что спутники его в то время и в продолжение бегства слышали от него эти рассказы и поверили происшествию, совершенно ложному, ибо известно, что орел не рождает более двух птенцов. Мусей обманывается, говоря, будто бы орел сносит три яйца, высиживает двух птенцов и выкармливает одного. Впрочем, все в том согласны, что Марий во время бегства своего и в самых крайностях говорил, что будет консулом в седьмой раз.

Уже были они не более двадцати стадиев от Минтурн*, италийского города, как увидели отряд конницы, издали скачущей к ним. По счастью, в то время два грузовые судна плыли близ того места. Марий и его спутники побежали изо всей силы к берегу, бросились в воду и плыли к судам. Граний приплыл к одному из них и переехал на остров, лежащий против берега, называемый Энарией*. Марий по причине своей тяжести и неповоротливости, был поднят двумя служителями с великим трудом и посажен на другой корабль. Между тем конница наступала и с берегу приказывала мореходам или пристать к земле, или выбросить Мария в море и продолжать, куда хотят, путь свой. Марий просил и умолял со слезами корабельщиков, которые в короткое время несколько раз переменяли мысли и намерение; наконец отвечали они конным, что не выдадут Мария. Конные удалились с угрозами, а мореходы, снова переменив мысли, пристали к земле. Они бросили якорь близ реки Лирис, которая, при впадении своем в море, составляет болото, и просили Мария выйти на берег для принятия пищи и успокоения утрудженного тела своего, пока настанет благоприятная погода. Они уверяли его, что это происходит в определенное время, когда морской ветер утихнет и с болот начинает дуть ветер

довольно сильный. Марий поверил им; служители вывели его на землю; он лег на траву, нимало не помышляя о том, что его ожидало. Мореходы взошли на судно, подняли якорь и пустились в море, почитая непристойным выдать Мария и небезопасным спасать его. Таким образом Марий один, оставленный всеми, долго лежал на берегу моря безгласен. Собрав наконец силы свои, шел он далее с великим трудом местами непроходимыми. Перейдя глубокие болота, рвы, наполненные водой и глиной, наконец достиг хижины старика, который тут работал, пал перед ним и просил быть ему спасителем, помочь человеку, который, избегши настоящего бедствия, воздаст ему награду, превышающую все его надежды. Старик, узнавши ли его или судя по его виду, что он человек необыкновенный, отвечал ему, что если хочет отдохнуть, то на это довольно его хижины; если же он скитается, избегая кого-либо, то может спрятать его в другом безопаснейшем месте. Марий просил его это сделать, и старик привел его в болото, велел ему прижаться к одной яме близ реки, навалил на него тростнику и других ветвей самых легких, которые могли его скрывать, не причиняя ему вреда. По прошествии краткого времени послышался Марию шум и стук, исходивший со стороны хижины. Геминий из Террацины послал людей искать его. Некоторые из них пришли случайно к тому месту, стращали старика, кричали на него и говорили, что он принял к себе и скрывает врага римского народа. Марий встал с того места и, раздевшись, вошел в болото, где вода была самая густая и грязная. И это было причиной, что он был открыт искавшими его. Они вытащили его из болота нагого, покрытого грязью, увели в Минтурны и предали городским правителям. По всем городам разослано уже было объявление искать везде Мария*; поймавшим же его повелевалось умертвить. Однако правители Минтурны рассудили наперед между собою посоветоваться. Они велели содержать Мария в доме некоторой женщины, по имени Фанния, которая, казалось, не доброхотствовала ему по некоей старой причине. Эта Фанния была в замужестве за Тиннием. Она с ним развелась и требовала обратно своего приданого, которое было весьма важно. Тинний обвинял ее в несохранении супружеской верности. Марий, будучи консулом в шестой раз, судил это дело, при производстве которого оказалось, что Фанния была дурного поведения, а муж ее, зная то, женился на ней и долго жил с нею. Марий, негодуя на обоих, велел мужу возвратить приданое жене, а ее в знак бесчестия приговорил к выплате четырех медных монет*. Однако Фанния тогда не возымела к нему чувств женщины оскорбленной; не только не питала к нему злобы, но старалась по возможности покоить и ободрять его. Марий с своей стороны хвалил ее великодушие и уверял ее, что он покоен и ничего не боится, ибо увидел хорошее знамение; оно было следующее: когда приводили его к дому Фаннии, и ворота были отворены, то выбежал осел, чтобы напиться в близтекущем источнике; осел взглянул на него быстро и весело, сперва остановился против него, потом издал громкий крик и в радости вспрыгнул перед ним. Марий заключил из сего, что боги предзнаменовали ему спасение более через море, нежели через землю, ибо осел, оставя сухую пищу, обратился от него к воде. Он разговаривал о том с Фаннией и лег отдохнуть, приказав запереть дверь покоя.

Между тем правители Минтурны, советуясь между собою, положили без отлагательства времени умертвить Мария. Никто из граждан не мог на это решиться. Один всадник, родом галл, или, как другие говорят, кимвр, взял меч и пошел в его покой. В той стороне, где Марий лежал, было несколько темно. Воину, говорят, показалось, что из глаз Мария изливалось большее пламя и послышался исходящий из темного места громкий голос: «Несчастный! Дерзнешь ли ты умертвить Гая Мария?» Варвар тотчас вышел из покоя бегом, бросил меч и, уходя из дому кричал: «Нет! Я не в состоянии умертвить Гая Мария!» Все приведены были в изумление; жалость и раскаяние заступили место прежних мыслей; граждане упрекали себя в принятии намерения беззаконного и неблагодарного против мужа, спасшего некогда Италию; им казалось жестоким отказать ему в помощи: «Пусть он убежит, куда хочет, – говорили они, – пусть в другом месте совершится над ним определение судьбы; мы только молим богов, да не прогневаются на нас за то, что изгоняем из своего города нагого и убогого Мария». Эти рассуждения заставили всех собраться к Марию и окружить его; граждане провожали его до моря. Всякий старался оказать ему какую-либо услугу; все спешили; однако от сего самого произошла некоторая медленность. Роща так называемой Марики*, к которой жители имеют великое почтение, стоит на дороге, ведущей к морю; из оной не позволено выносить то, что однажды в нее внесено; обойти же рощу было далеко. Наконец один из старейших вскричал,

что нет никакой дороги неприступной и непроходимой, когда через нее должно спасти Мария; он первый взял некоторые вещи из тех, которые несли на корабль, и пошел через рощу. Все нужное было ему скоро доставлено с великим усердием; некий гражданин по имени Белей дал ему свой корабль, на котором он и отправился. Впоследствии Марий велел изобразить это происшествие в картине, которую поставил в храм Марики.

Он отправился, пользуясь в плавании попутным ветром. Случайным образом был занесен к острову Энарию, где нашел Грания и других друзей своих, с которыми отправился в Ливию. Недостаток в воде принудил их пристать к берегам Сицилии у Эрика. В то время охранял места эти римский квестор, который едва не поймал вышедшего на берег Мария. Он успел умертвить шестнадцать человек, которые черпали воду; Марий поспешно отправился, переплыл море и пристал к острову Менинг*, где в первый раз получил известие, что сын его спасся с Цетегом и что идет к нумидийскому царю Гиемпсалу, дабы просить у него помощи. Марий несколько отдохнул; он осмелился из острова сего перейти в Карфаген. Претором Ливии был тогда Секстилий, римлянин, которому Марий не оказал ни добра, ни зла. Марий ожидал, что он по крайней мере из сострадания окажет ему пособие. Но едва вышел на берег со своими друзьями, как посланный от Секстилия служитель предстал перед ним и сказал: «Претор Секстилий запрещает тебе, Марий, выходить на берег ливийский; в противном случае он, исполняя постановления сената, поступит с тобою, как с врагом римлян». Марий, услышав это, впал в такую горесть и смятение, что не находил слов отвечать ему. Долгое время пробыл он в покое, бросая на служителя суровые взоры. Когда он спросил его, какой ответ прикажет дать претору, то Марий, с тяжким вздохом, отвечал: «Скажи, что ты видел Гая Мария изгнанником, сидящим на развалинах Карфагена!» Этим ответом весьма прилично представил он участь того города и превратности своей жизни в пример и наставление другим.

Между тем нумидийский царь Гиемпсал был в нерешимости; он оказывал уважение молодому Марию, но когда тот хотел от него ехать, то под разными предлогами его удерживал. Можно было догадаться, что он отлагал отъезд его не с добрым намерением. Однако к спасению его послужило некоторое обыкновенное происшествие. Молодой Марий, который был лицом прекрасен, возбудил сострадание своим несчастным положением в одной из царских наложниц. Сострадание было началом страстной любви. Сперва Марий отвергнул предложение ее, но, не видя другого средства к своему спасению и уверившись, что любовь этой женщины не клонилась к удовлетворению только ее страсти, но имела важнейшую цель, принял знаки ее благосклонности. Она подала ему способ убежать вместе со своими друзьями и отправиться к отцу. Наконец отец с сыном сошлись, обняли друг друга и направили путь к морю. На дороге увидели двух сражавшихся скорпионов; это показалось Марию весьма неблагоприятным знамением. Они сели тотчас на рыбачью лодку и переправились на остров Керкина*, отстоявший недалеко от твердой земли. Не успели выйти на берег, как увидели царскую конницу, которая прискакала к тому месту, откуда они отправились. Опасность, которой тогда избежал Марий, была не менее всех других.

Между тем в Риме получено было известие, что Сулла ведет войну в Беотии с Митридатовыми полководцами. Консулы были в раздоре между собою и принялись за оружия*. Они сразились, и Октавий, одержав верх, изгнал Цинну, который хотел управлять самовластно, и вместо его сделал консулом Корнелия Мерулу. Цинна собрал в разных областях Италии войско* и вел с Октавием войну. Марий, узнав о том, взял из Ливии некоторое число мавританской конницы и убежавших из Италии граждан, всего не более тысячи человек, и пустился в море. Он пристал к тосканскому городу Теламону и обещал вольность рабам. Он убедил присоединиться к нему сильнейших из тамошних земледельцев и пастухов, людей свободных, которые стекались к нему на берег, будучи привлечены славой его имени. Через несколько дней он набрал многочисленное войско и вооружил сорок кораблей. Зная, что Октавий был лучший человек и хотел управлять республикой справедливейшим образом, что Цинна был Сулле подозрителен, и настоящему образу правления противником, Марий решился передать ему себя со всею своей силою. Он послал сказать ему, что готов исполнить его приказания, как консула. Цинна принял охотно это предложение, дал ему название проконсула и послал к нему ликторов и знаки достоинства. Но Марий сказал, что эти украшения не приличествовали его положению. Он носил дурное платье и с самого дня его бегства не стриг

волос и не брил бороды. Ему тогда было за семьдесят лет; он ходил медленными шагами, желая тем показать себя достойным сострадания. Но с жалостной наружностью смешана была свойственная ему суровость, и он еще более казался страшным. Печаль обнаруживала ярость его, не униженную и успокоенную, но более освирепевшую от несчастий.

По прибытии своем к Цинне он приветствовал его, говорил речь воинам, приступил к делу немедленно и произвел великую во всем перемену. Во-первых, судами своими пресекал привоз в Рим хлеба, грабил купцов и завладел всеми припасами; потом, плавая вдоль берега, покорял приморские города. Наконец взял он и Остию посредством измены, предал ее грабежу и многих жителей умертвил. Он навел мост через реку и тем совершенно отрезал врагам своим подвоз с моря припасов. Потом, поднявшись с войском, шел он прямо на Рим и занял холм, называемый Яникул. Октавий не столько вреда приносил обществу своим неведением, сколько строгим исполнением законов, ибо через то оставлял в бездействии лучшие меры. Когда многие советовали призвать рабов и объявить их вольными, то он отвечал, что не сделает рабов членами отечества, из которого, защищая законы, изгнал Гая Мария. В то время прибыл в Рим Метелл, сын Метелла, предводившего войском в Ливии и изгнанного из Рима происками Мария. Он превосходил Октавия военным искусством. Воины, оставя Октавия, перешли к Метеллу; они просили его принять на себя начальство и спасать республику; они уверяли, что будут сражаться храбро и одержат победу, если только будут иметь искусного и деятельного полководца. Метелл вознегодовал на них и велел им возвратиться к своему консулу; воины перешли к неприятелю и передались ему. Метелл, отчаявшись в спасении отечества, оставил тайно Рим. Октавия удерживали в Риме некоторые халдейские гадатели и толкователи сивиллиных книг, уверявшие его, что все хорошо будет. Кажется, что сей муж, хотя благоразумнейший из римлян, неуловляемый лестью и сохранивший важность консульства во всей силе отечественных законов и обычаев, как неизменных образцов, имел слабость быть преданным суеверию и более времени провождал с гадателями, нежели с людьми опытными в гражданских и военных делах. До вступления в Рим Мария посланными наперед воинами был он свержен с трибуны и умерщвлен*. Говорят, что по убиении его найдена у него под платьем халдейская таблица. Странный случай! Из двух знаменитых полководцев Мария спасло, а Октавия погубило великое внимание к гаданию.

Дела уже в таком состоянии находились, когда сенат, собравшись, отправил к Цинне и Марию посланников с прошением вступить в город и щадить граждан. Цинна, как консул, сидя на креслах, занимался делами и дал посланникам кроткий и благосклонный ответ. Марий стоял подле него; он ничего не говорил, но суровость его лица и зверские взоры доказывали, что он наполнит Рим убийствами. Наконец они поднялись и шли к городу. Цинна вступил, окруженный хранителями, а Марий, остановившись у городских ворот, с насмешкой, исполненною гнева, говорил, что он изгнанник; что законы запрещают ему вступать в отечество; что если оно имеет нужду в его присутствии, то надлежит новым постановлением уничтожить прежнее. Как будто бы он был человек, покорный законам, и вступал в город свободный! Он созвал народ. Три или четыре трибы не успели еще подать свои голоса, как он, оставив притворство и изгнаннику приличное оправдание, вступил в город, сопровождаемый отборнейшими воинами из числа приставших к нему рабов, которых назвал «бардиеями»*. Эти воины, по одному его слову или мановению, начали убивать граждан. Наконец, когда Марий встретился с сенатором Анхарием, бывшим претором, и не приветствовал его, то воины повергли Анхария перед ним и поражали мечами. После того каждый раз, когда Марий не отвечал на приветствия и поздравление кого-либо, то это было знаком к умерщвлению его немедленно среди улицы. По этой причине самые друзья его со страхом и трепетом приближались к нему, дабы приветствовать его. По умерщвлении великого множества людей Цинна, пресыщенный убийством, успокоился. Но ярость Мариева была во всей силе и, алкая новых жертв, ежедневно постигала всех тех, которые сколько-нибудь были ему подозрительны. Все дороги, все города были наполнены воинами, которые преследовали и искали бегущих и скрывавшихся. Тогда обнаружилось явно, что верность дружбы и гостеприимства не тверда против перемен счастья. Весьма не много было людей, не изменивших тем, кто искал у них убежища. Тем более удивления и почтения заслуживают служители Корнута, которые спрятали дома господина своего и, взяв тело одного из умерщвленных, повесили его за шею, надели ему

золотой перстень и показывали Мариевым воинам. Они украсили его и хоронили, как бы то был настоящий их господин. Никто не возымел никакого подозрения, и Корнут был отвезен служителями своими в Галлию.

Марк Антоний, славный оратор*, не был столь счастлив, как Корнут, хотя имел доброго друга. Этот друг был человек бедный, простого звания. Приняв в дом свой знаменитейшего гражданина и желая угостить его по возможности лучше, он послал служителя своего купить вина у одного из ближайших продавцов. Служитель выбирал вино с большим старанием и велел продавцу отпустить ему лучшего. Это побудило продавца спросить: по какой причине не покупает он, по своему обыкновению, дешевого и молодого вина, но лучшего и дорогого? Служитель простосердечно отвечал ему, как человеку коротко знакомому, что господин его угощает Марка Антония, которого скрывает у себя. Как скоро служитель удалился, то продавец, человек нечестивый и злобный, сам пошел поспешно к Марию, который тогда ужинал, был ему представлен и объявил, что предает ему Марка. Услыша это, Марий от радости громко вскричал, плескал руками, едва сам не вскочил и не побежал к тому месту, но был удержан друзьями своими. Он послал Аннния с воинами с приказанием принести голову Антония. Придя к тому дому, Анний остановился у дверей, а воины по лестницам взошли в комнату, где находился Антоний. Увидя его, никто не мог решиться убить его; один другого побуждал к исполнению данного им приказания. Столь волшебны и сладостны были слова мужа сего, что когда он начал говорить и просить их не лишать его жизни, то никто не осмелился коснуться его, ни прямо на него взглянуть. Все они наклонили головы и проливали слезы. Медленность их заставила и Аннния взойти; он видит Антония говорящего; воинов, изумленных и очарованных речами его, бранит их, бросается на Антония и сам отсекает ему голову.

Лутаций Катул, тот самый, который был консулом вместе с Марием и одержал над кимврами победу, узнавши, что Марий сказал просившим за него только эти слова: «Он должен умереть!», затворился в своей комнате, зажег в ней множество угольев и задушил себя дымом.

Обезглавленные тела убиенных были выбрасываемы на улицы и попираемы ногами*; не было в сердцах жалости; ужас и трепет обнимали души всех при воззрении на эти позорища. Более всего оскорбляло народ неистовство так называемых бардиеев. Они в домах умерщвляли хозяев, насиловали жен, срамили детей; ничто не могло остановить их грабежа и убийства. Наконец Цинна и Серторий, согласившись между собою, напали на них, спящих в стане, и всех умертвили.

В то самое время, как будто бы ветер переменился, со всех сторон получаемы были известия, что Сулла, окончив с Митридатом войну и взяв обратно отнятые им провинции, возвращается в Рим с многочисленной силой. Этот слух на короткое время остановил и облегчил неизреченные бедствия римлян, ибо они ожидали скорой войны. Марий избран консулом в седьмой раз в январские календы в первый день нового года. По избрании своем, показавшись народу, велел он свергнуть с Тарпейской скалы некоего Секста Лициния. Это показалось приверженцам его и всему городу верным предзнаменованием зол, имеющих их постигнуть. Марий сам, изнемогая от трудов, имея утружденную и обессиленную заботами душу, которая трепетала при помышлении о новых бранях, новых трудах и опасностях по испытании уже столь многих бедствий и ужасов, терял бодрость. Он знал, что надлежало бороться уже не с Октавием и Мерулой, предводителями беспокойных скопищ и мятежной толпы; что идет на него тот самый Сулла, который прежде изгнал его из отечества и который ныне Митридата оттеснил к Понту Эвксинскому. Будучи мучим мыслями, имея всегда перед глазами долговременное свое скитание, бегство, опасности, на море и на суше претерпенные, он впадал в ужас; ночные страхи, грозные сновидения не давали ему покоя; казалось ему, что он слышал всегда эти слова:

Ужасно логово львиное, хотя и нет в нем льва.

Более всего боялся он бессонницы и потому предался пьянству не по летам своим, дабы сном удалить от себя заботы. Получаемые с моря известия ввергали его в новый ужас. С одной стороны, страх о будущем, с другой – бремя и горесть настоящих бед были причиной, что

малейшее потрясение могло причинить ему болезнь. Он страдал колотьем в боках, как пишет философ Посидоний, который уверяет, что был к нему впущен во время его болезни и говорил с ним о делах, касающихся его посольства. Но историк Гай Пизон* повествует, что Марий некогда после ужина прогуливался с друзьями своими, с которыми разговаривал о том, что с самого начала с ним случилось. Рассказав им о разных превратностях своего счастья, он прибавил наконец, что благоразумному человеку неприлично полагаться долее на счастье. После этих слов простился он со всеми, с ним бывшими, лег на постель и, пролежав семь дней сряду, умер. Некоторые говорят, что в самой болезни совершенно обнаружилось его честолюбие. Он впал в странное помешательство ума; ему казалось, что ведет войну с Митридатом; делал разные телодвижения и обороты, издавал частые крики и восклицания так, как делал во время самой битвы. Столько-то, из честолюбия и ревности, глубоко и неизгладимо вкоренились в его сердце желание и страсть иметь предводительство в войне! Проживший семьдесят лет, будучи возведен в консульское достоинство семь раз, чего ни с одним человеком до него не случилось, обладая имением и богатством, которые были достаточны для многих царей вместе, оплакивал он участь свою и жалел, что умирает не удовлетворившим своему желанию!

Сколь различен конец Платона! Когда приблизилась смерть его, он благодарил благого Гения и судьбу свою за то, что он создан человеком, а не зверем; что родился греком, а не варваром; и что, наконец, случилось ему родиться во времена Сократа. Говорят, что и Антипатр Тарсский, исчисляя перед смертью все счастливые происшествия своей жизни, не забыл и благополучного плавания из отечества своего в Афины; он считал великим благом всякое деяние судьбы, как доброго друга, и сохранял оное до конца дней в своей памяти, которая служит человеку вернейшим хранилищем благ. Но неблагодарные и неразумные люди со временем теряют воспоминание о том, что с ними было. Не сберегая и не оставляя у себя ничего, оскудевая всегда в земных благах, но питаясь надеждой, они взирают только на будущее, а настоящим пренебрегают. Хотя первому судьба может воспрепятствовать, а все другое от нас неотъемлемо, – при всем том, отвергая от себя блага судьбы, как чуждые, они мечтают только о неизвестном и тем получают достойное наказание. Они собирают и копят внешние блага прежде, нежели положено им твердое основание рассудком и благоразумным образованием, и потому не могут насытить алчности души своей.

Марий умер в семнадцатый день своего седьмого консульства. Римляне чрезвычайно обрадовались и ободрились, как бы освободясь от жестокого тираннства. Не много дней прошло, и они почувствовали, что на место старого тиранна заступил тиранн молодой, во всем цвете лет своих. Сын Мария явил подобную жестокость и зверство, умерщвляя лучших и отличнейших граждан. Сперва оказал он смелость и неустрашимость против неприятелей и потому прозван был сыном Ареса, но вскоре делами своими обнаружил совсем другие свойства и по этой причине переименован сыном Афродиты. Впоследствии он был заперт Суллой в Пренесте, где тщетно применял все средства к спасению своей жизни. Наконец, видя, что город подпадал неизбежному плену, он сам себя умертвил*.

Лисандр и Сулла

Лисандр

В Дельфийском храме на сокровищнице аканфийцев* есть следующая надпись: «Брасид и аканфийцы принесли в дар добычу афинскую». По этой причине многие думают, что мраморный кумир, внутри храмины у дверей стоящий, представляет Брасида, но в самом деле это кумир Лисандра. Он представлен во весь рост, с длинными на голове волосами и с важной бородой, по древнему обычаю. Некоторые говорят, что аргивяне после великого поражения остригли себе волосы для изъявления тем своей печали, а спартанцы, в противность им, веселясь своими победами, начали их отращивать. По мнению других, убежавшие из Коринфа в Лакедемон бакхиады*, остригши свои волосы, показались столь безобразными и невидными спартанцам, что те с того времени приняли намерение отращивать их, но это неправда.

Сохранение волос установлено Ликургом, который говаривал, что волосы прекрасных делают благообразнее, а дурных еще страшнее.

Отец Лисандра, по имени Аристокрит, не происходил от царского рода, но связан был родством с Гераклидами. Лисандр воспитан в бедности и более всякого другого оказывал повиновение отечественным постановлениям, был мужествен и презирал все удовольствия, кроме тех, которыми наслаждаются совершающие славные подвиги и тем приобретающие от всех уважение. В Спарте не постыдно для молодых людей предаваться таким наслаждениям. Спартанцы хотят, чтобы дети их с самого начала были чувствительны к славе, чтобы они хулениями огорчались, а похвалами гордились. Нечувствительный человек, которого не трогает ни то ни другое, навлекает на себя их презрение, как недеятельный и не склонный к добродетели.

Честолюбие и любоначалие Лисандра были следствием лакедемонского воспитания, и в том не должно обвинять его. Однако он, по природе своей, был искателен более, нежели как прилично спартанцу, и умел для видов своих легко сносить надменность тех, кто имел власть; что некоторыми почитается не малой частью искусства управления. Аристотель, доказывая*, что великие души суть склонны к меланхолии, приводит в пример Сократа, Платона и Геракла; при том уверяют, что и Лисандр впал в меланхолию не в молодых летах, но уже в старости. Отличное в Лисандре есть то, что, хотя он сносил бедность с равнодушием, хотя никогда не был обольщаем деньгами, однако наполнил свое отечество богатством, ввел в него любостяжание, и с того времени народы перестали удивляться презрению Спарты к богатству. После войны с афинянами Лисандр привез в Спарту множество золота и серебра, из которого не оставил себе ни одной драхмы. Когда тиранн Дионисий послал в подарок дочерям его великолепные сицилийские одежды, то Лисандр не принял их, сказав: «Я боюсь, чтобы в них не показались они дурнее». Но по прошествии малого времени он был отправлен из отечества посланником к тому же тиранну. Дионисий послал к нему две одежды с предложением выбрать одну из них для своей дочери. Лисандр, сказав, что она сама лучше выберет, взял обе одежды и уехал.

Пелопоннесская война была слишком продолжительна. Афиняне, после претерпенных в Сицилии поражений, казалось, должны были лишиться владычества над морем и вскоре вовсе от оного отказаться. Но Алкивиад, возвратясь из изгнания, вступил в управление делами, произвел великую в них перемену и сделал афинян равносильными неприятелю. На морских сражениях лакедемоняне вновь приведены были в страх, и желание их продолжать войну возобновилось. Они чувствовали, что предстоит нужда в искусном полководце и в сильнейших приготовлениях, и выслали Лисандра для принятия начальства над морскими силами*. По прибытии своем в Эфес он нашел, что жители города были привержены к нему и к лакедемонянам, но были в дурном состоянии и в опасности впасть в варварство от смешения с персидскими нравами, ибо город их окружен Лидией и большей частью в нем жили царские полководцы. Лисандр поставил свой стан близ города, велел туда приводить со всех сторон все купеческие суда и устроил верфь для военных кораблей. Он оживил эфесские пристани торговлей, исполнил работою торжища, жителям и ремесленникам дал способы к обогащению себя. С того времени город, стараниями Лисандра, возымел надежду достигнуть той степени богатства и великолепия, в котором ныне видим его.

Получив известие о прибытии в Сарды Кира*, сына царя персидского, Лисандр отправился туда, дабы с ним переговорить. Он обвинял Тиссаферна в том, что, имея приказание от государя своего помогать лакедемонянам, для отнятия у афинян владычества над морями, он оказывал к тому мало ревности, из уважения к Алкивиаду; что давал нужное пособие бережно и с трудом и тем расстраивал морские силы лакедемонян. Киру было приятно слышать жалобы на Тиссаферна, человека дурных свойств, с которым он имел частную вражду. Как по этим причинам, так и по обращению с ним, Лисандр приобрел к себе дружбу Кира, которого он умел уловить ласкательством своим и утвердил в намерении продолжать войну. Кир, угощая Лисандра перед отъездом, просил его не отвергать знаков своей к себе дружбы, но требовать у него, чего желал, уверяя, что ни в чем ему не откажет: «Если таково твое желание, Кир, – отвечал ему Лисандр, – то я прошу тебя об одной только той милости, чтобы ты прибавил по одному оболу к жалованью каждого из мореходцев, и чтобы они, вместо трех оболов, получали

четыре». Киру весьма понравилось честолюбие Лисандра; он дал ему тысячу дариков*. Лисандр прибавил мореходам по одному оболу и благодаря щедрости в короткое время произвел то, что неприятельские корабли опустели. Большая часть мореходов переходила к тем, кто давал больше. Те, кто еще оставался у афинян, сделались неусердными, непокорными и ежедневно причиняли начальникам великие беспокойства. Таким образом, хотя Лисандр уменьшил силы неприятеля и причинил ему весьма много вреда, однако боялся вступить в бой с Алкивиадом, полководцем искуснейшим, превосходившим его числом кораблей и оказавшим себя тогда непобедимым во всех сражениях на море и на суше.

Когда же Алкивиад отплыл с Самоса в Фокею* и вручил, в свое отсутствие, управление флотом кормчему Антиоху, то сей наместник его, как будто бы ругаясь над Лисандром, для показания ему своей смелости, приблизился с двумя триерами в Эфесскую гавань и с шумом, с хохотом проплыл гордо мимо кораблей лакедемонских. Лисандр, негодуя, пустился в море и сперва с немногими кораблями погнался за Антиохом, но видя, что афиняне ему помогали, вывел он и другие корабли; наконец флоты сошлись, и сражение началось. Лисандр одержал победу, взял пятнадцать триер и воздвиг трофей. Народ афинский, разгневавшись за это поражение на Алкивиада, лишил его военачальства. Воины, бывшие на Самосе, поносили его и оказывали ему презрение. Алкивиад оставил стан и отплыл в Херсонес. Хотя это сражение само по себе неважно; однако счастье сделало оное славным, по причине изгнания Алкивиада из отечества.

Лисандр, призывая к себе в Эфес из разных городов тех граждан, которые превышали других смелостью и духом своим, поощрял их к введению новых перемен и того малоначалия, которое установлено им впоследствии. Он увещевал их объединяться в тайные общества, обращать внимание на общественные дела, уверяя, что, с низложением афинского владычества, они освободятся от народоправления и будут иметь в отечествах своих верховную власть; он показал им на деле истину слов своих. Всех, сделавшихся его друзьями, он возводил к могуществу, к почестям, к полководству; потворствовал им, принимал участие в их несправедливостях и проступках. Таким образом все они были к нему привержены, уважали его, старались ему угождать, надеясь, что пока он будет начальствовать, то все их желания исполнятся. По этой причине с самого начала было им неприятно прибытие Калликратида*, назначенного преемником Лисандру в предводительстве над флотом. Даже и впоследствии, когда по данным от Калликратида опытам, видели в нем лучшего и справедливейшего человека, не были они довольны его управлением, которое было просто, справедливо и отправляемо так, как свойственно дорийцу. Они удивлялись его добродетелям так, как удивляются красоте кумира, представляющего героя, но желали ревности и усердия Лисандра к друзьям и пользы, от него получаемой, так что при отправлении его они по нем унывали и плакали.

Лисандр еще более старался усилить в них неудовольствие к Калликратиду. Оставшееся количество денег, данных ему от Кира на содержание флота, отослал он обратно в Сарды, сказав Калликратиду, чтобы он сам, если хочет, выпросил у Кира деньги и принял меры свои к содержанию воинов. Наконец, отправляясь из Эфеса, объявил ему при всех, что он предает ему флот спартанский, обладающий морями. Дабы обнаружить столь пустое и надменное честолюбие Лисандра, Калликратид отвечал ему: «Когда это так, то поворотни налево к Самосу, направь путь свой к Милету и там сдай мне начальство над флотом. Если мы владеем морями, то нечего нам бояться неприятелей, проезжая мимо Самоса». Лисандр ответил на это, что уже начальствует не он, а Калликратид, и отплыл в Пелопоннес, оставя его в великом недоумении. Калликратид не привез с собою денег из отечества и не мог решиться наложить подати и употреблять насилие против городов, которые и без того были в дурном состоянии. Оставалось ему отправиться к дверям царских сатрапов и, подобно Лисандру, просить их помощи. Но к этому был совершенно неспособен сей благородный и высоких чувств исполненный муж, который думал, что грекам приличнее сто раз быть побежденными от греков, нежели прибегать к варварам и льстить тем, у которых только много золота, а более ничего хорошего. Однако недостаток в деньгах заставил его ехать в Лидию. По прибытии своем в Сарды пошел он прямо в дом Кира и велел ему сказать, что Калликратид, начальник флота, хочет с ним говорить. Некто из стражей сказал ему: «Киру теперь некогда, чужестранец; он пьет». На это

Калликратид с великим простосердечием отвечал ему: «Нет нужды, я подожду здесь, пока он допьет». Этот ответ заставил предстоявших почесть его простаком. Он был ими осмеян и удалился. Придя в другой раз и не будучи впущен, осердился и отправился обратно в Эфес, проклиная тех, кто первыми претерпели от варваров унижение и приучили их гордиться своим богатством. Он клялся в присутствии предстоявших употребить, по возвращении своем в Спарту, все средства к примирению греков между собой, дабы они сами сделались варварам страшными и перестали иметь нужду в чужой силе, которую употребляли одни против других.

Таковы были Калликратидовы намерения, достойные Лакедемона! Сравнившись с величайшими мужами Греции справедливостью, великодушием и мужеством, вскоре после того он погиб, претерпев поражение в морском бою при Аргинусах.

Дела приходили в дурное состояние, и союзные города отправили в Спарту посольство с прошением, чтобы начальство над войском поручено было Лисандру, обещая со своей стороны оказать большое усердие и ревность, если он будет предводительствовать. Кир требовал того же самого. Но так как законом не позволялось, чтобы один и тот же человек мог два раза начальствовать, а лакедемоняне же хотели исполнить желание союзников, то дали некоему Араку имя предводителя, а Лисандра выслали под именем наместника, в самом же деле полномочным начальником надо всеми. Управлявшие городами и имевшие в них силу давно этого желали и приняли Лисандра с великой радостью. Они надеялись с помощью его еще более усилиться и совершенно уничтожить власть народную. Но те, кто в полководцах любил благородную простоту и прямодушие, сравнивая Лисандра с Калликратидом, находил, что он был пронырлив, хитер и что употреблял в войне разнообразные обманы. Он превозносил справедливость, когда находил в ней пользу; в противном же случае почитал позволительным и приличным все то, в чем находил свои выгоды. Он думал, что истина не по существу своему предпочтительнее лжи, но полагал ей цену смотря по пользе, какую из нее извлечь можно. Он смеялся над теми, кто твердил, что не прилично Геракловым потомкам в войне употреблять обман, и отвечал, что когда львиной кожи недостает, должно пришивать к ней лисью.

Поступки его в Милете соответствуют этим правилам. Когда друзья его, которым обещал уничтожить народное правление и изгнать из города противников их, переменили мысли и примирились с теми, с которыми были в раздоре, то Лисандр явно притворялся, что это для него было весьма приятно и старался, будто бы сам их примирит, а в то самое время тайно их порицал, называл робкими и побуждал напасть на народ. Заметя, что возмущение уже начиналось, он поспешал к ним на помощь, вошел в город, грозил словами первым, попадавшимся ему навстречу возмутителям и изъявлял им гнев, как бы он хотел их наказать. Между тем других ободрял, уверял их, что нечего опасаться в его присутствии. Он притворялся и употреблял хитрость, желая, чтобы более приверженные к народу и сильнейшие жители не убежали, но остались бы в городе и были преданы смерти. Это в самом деле и случилось. Все те, кто ему поверил, были умерщвлены*. Андроклид упоминает о словах Лисандра, которые показывают, как легко он давал клятвы. По его мнению, детей должно обманывать бросаньем костей, а взрослых клятвами. Лисандру, как полководцу, было непристойно следовать тиранну Поликрату Самосскому*. Притом лакедемонянам несвойственно поступать с богами как с неприятелями, и даже презрительнее того, ибо кто, преступая свою клятву, обманывает, тот признается, что боится своего неприятеля, а бога презирает.

Кир, призвав Лисандра в Сарды, дал ему много денег, многое обещал ему и с юношеской пылкостью объявил, что если отец его ничего ему не даст, то издержит свое собственное имение из уважения к Лисандру; и когда ничего более у него не останется, то велит перелить престол свой, состоящий из золота и серебра, на котором он сидя занимался делами. Наконец, отправляясь к отцу своему в Мидию*, велел он ему собирать налоги с городов и вверил ему власть над своей областью. Он обнял его и просил не сражаться с афинянами до приезда своего, ибо приведет с собою многие корабли из Финикии и Киликии. После того он отправился к царю. Между тем Лисандр, не будучи в состоянии сразиться на море с равносильным флотом неприятелей и не желая быть в бездействии с таким множеством кораблей, взял их несколько, покорил некоторые острова, напал на Эгину и Саламин и опустошил их. Он сделал высадку в Аттику, приветствовал Агиса, который сошел к нему из Декелеи, и показал ему в присутствии сухопутных войск свои морские силы, как бы он обладал морем и плавал свободно, куда хотел.

Однако когда афиняне погнались за ним, то он убежал в Азию другим путем, плавая между островами. Он занял Геллеспонт, найдя его без защиты; с моря на кораблях приступил к Лампсаку, а между тем Форак с сухопутными силами прибыл туда же и приблизился к стенам с другой стороны. Он взял город приступом и предал его воинам на расхищение.

Афинский флот, состоявший из ста восьмидесяти триер, находился тогда в Элеунте* на Херсонесе. Но предводители оного, узнав о гибели Лампсака, отплыли тотчас в Сест, запаслись всем нужным, оттуда зашли в Эгоспотамы по другой стороне того места, где стояли неприятели, находившиеся еще в Лампсаке. У афинян было много предводителей; в числе их находился и Филокл, который некогда предложил народу на утверждение закон: отрубать у всех неприятелей, взятых ими в плен, большой палец правой руки для того, чтобы они могли действовать веслом, но не были в состоянии держать копье.

В то время афиняне предались покою, надеясь, что будут сражаться на другой день. Лисандр имел другое намерение. Он, как будто бы намерен был на рассвете следующего дня дать сражение, велел своим кормчим и мореходам вступать в суда и сидеть в них, исполняя в безмолвии и благоустройстве приказания начальников. Также велел он устроенной пехоте стоять спокойно на берегу. Солнце взошло, и афиняне выступили всеми силами в боевом порядке и вызывали лакедемонян к сражению. Хотя Лисандр обратил к ним свои корабли, приготовившиеся к бою еще ночью, однако не трогался с места: он посылал к стоявшим впереди кораблям ладьи с повелениями стоять спокойно, сохранять устройство, не производить шуму и не выступать против афинян. К вечеру афиняне отплыли назад, но Лисандр позволил войску выйти из кораблей не прежде, как по прибытии второго и третьего судов, посланных им для наблюдения за неприятелем. Триеры вернулись с известием, что враги высадились на берег.

На другой день происходило то же самое, равно на третий и на четвертый. Это внушило Афинам великую смелость и презрение к неприятелю. Они думали, что он их боялся и не дерзал против них выступить. Между тем Алкивиад, который жил в своей крепости в Херсонесе, приехав верхом в афинский стан, упрекал предводителей: во-первых, в том, что они остановились в невыгодном и небезопасном положении, на берегах, которые были со всех сторон открыты и неспособны к пристанию кораблей; во-вторых, доказывал он им, что они сделали ту ошибку, что получали припасы из такого далекого места, как Сест. Он советовал им отплыть несколько назад, пристать к гавани и к городу Сесту, дабы быть далее от неприятелей, которых войско управляемо одним верховным начальником и с великой скоростью, со страхом исполняло данные ему по одному мановению приказания. Но афинские полководцы не внимали его советам. Тидей при том отвечал ему с ругательством, что уже не он, а другие начальствуют.

Алкивиад после этого удалился, подозревая их несколько в измене*. В пятый день афиняне вновь выступили против Лисандра и по обыкновению возвращались назад без всякой осторожности, презирая неприятеля. Лисандр, выслав триеры, назначенные к наблюдению за ними, велел начальникам их, как скоро увидят, что афиняне вышли из судов, возвратиться назад со всевозможною поспешностью и на половине дороги поднять медный щит на передней части корабля – в знак нападения. Между тем сам, приплывая на своем корабле к кормчим и правителям разных кораблей, призывал к себе, увещевал каждого держать ратников и мореходов в порядке и при данном знаке устремиться быстро и бодро на неприятелей. Как скоро щит был поднят на предводительском корабле, то затрубили трубы в знак отплытия; корабли двинулись вперед, и в тоже время пехота берегами спешила к мысу. Пространство, отделяющее в этом месте Азию от Европы, составляет не более пятнадцати стадиев; при усилиях и усердии гребцов корабли протекли его весьма скоро. Конон, афинский полководец, первый увидел с берега корабли, устремившиеся против них, и вдруг повелел своим воинам вступить на суда. Исполненный отчаяния, одних призывал, других просил, иных принуждал вступать в оные. Но старания его были бесполезны, ибо люди уже разошлись. Высадившись и не ожидая нападения, они тотчас стали покупать то, что им было нужно, блуждали по полю, спали под шатрами, готовили себе обед, не думая нимало о будущем, по причине неспособности своих предводителей. Неприятели приближались уже с шумной греблей, издавая крики. Конон, с восьмью кораблями вырвавшись тайно от неприятелей, убежал на Кипр к царю Эвагору*. Пелопоннесцы напали на оставшиеся суда; пустые из них они брали к себе и ударяли на те, на которые садились воины. Афиняне, безоружные и с разных сторон рассеянно

идущие на помощь кораблям, умирали при них или, предавшись бегству, были умерщвляемы вышедшими на берег неприятелями. Лисандр взял в плен три тысячи воинов и полководцев их; ему достались все афинские корабли, кроме «Парала»* и тех, кто убежал с Кононом. Привязав корабли и овладев станом, возвратился он в Лампсак при звуке свирелей и пении пеанов, произведши с весьма малым усилием величайшее дело. В один час прекратил он войну самую долговременную, подверженную многоразличным переменам, самую странную напастями и превратностями*. Эта война, которая приняла тысячу разных видов и оборотов и погубила столько полководцев, сколько все до того бывшие в Греции брани не погубили, получила конец от искусства и прозорливости одного мужа. По этой причине многие думали, что дело это совершено при содействии богов.

Некоторые уверяли, что над кораблем Лисандра, при отплытии его для нападения на неприятеля, увидели по обеим сторонам блистающих Диоскуров, в виде звезд. Другие уверяют, что камень, тогда упавший с неба, был знамением поражения. По мнению многих тогда упал с неба в Эгоспотамы чрезвычайной величины камень, который и поныне показывается и между жителями Херсонеса находится в великом почтении. Повествуют, что Анаксагор предсказал, что если случится какое-либо сильное потрясение или колебание, то отторгнется и упадет одно из тел, вращающихся на небе, ибо, по мнению его, всякая звезда не в том месте находится, в котором быть кажется; что звезды, будучи каменной породы и тяжелы, блистают лишь отражением и преломлением эфира и будучи связаны вместе вихрем и стремлением кругообращения, влекутся силой, которая с самого начала их удержала и не допустила пасть на землю, когда холодные и тяжелые вещества отделились от других существ. Однако есть мнение вероятнее этого, а именно, что падающие звезды не суть истечение, или распространение эфирного огня, погашающегося на воздухе, при самом зажигании, ниже возжжение и воспаление воздуха, во множестве разлившегося в вышних странах мира, но падающие небесные тела, которые некоторым послаблением напряжения или уклонившимся движением бывают оттрясываемы и несутся не всегда в обитаемые страны земли, но большей частью вне оных в великое море, а потому нам оные и неизвестны. Впрочем, мнение Анаксагора подтверждается свидетельством Даимаха*, который в сочинении своем «О благочестии» повествует, что прежде нежели камень упал, семьдесят пять дней сряду видимо было на небе огромное огненное тело, подобное пламенному облаку, которое не стояло в одном месте, но двигалось разнообразным и извивающимся движением; от колебания же его и движения отторгавшиеся огненные куски неслись во все стороны и блистали, подобно падающим звездам. Когда ж тело воткнулось в землю и окрестные жители, после страха и изумления, собрались, дабы его видеть, то не нашли ни малейшего действия, ни следа огня, а только простой камень, хотя огромный, однако составлявший малейшую часть того огненного тела. Что Даимах имеет нужду в снисхождении читателей, то это очевидно; однако если слова его истинны, то совершенно опровергают мнения тех, кто говорит, что оный камень, будучи оторван и унесен с некоей высоты сильной бурей и вихрем, подобно кубарю, наконец опустился и пал на то место, на котором ослабла и уничтожилась причина, произведшая сие круговращающееся движение. Может быть и то, что видимое в продолжение нескольких дней было в самом деле огонь, и что погашение оного произвело в воздухе сильные ветры и бури, которыми случайно и был сброшен камень. Но об этом надлежит рассуждать подробнее в другом роде сочинения.

Когда три тысячи афинян, взятых в плен, были приговорены к смерти советом, то Лисандр, призвав к себе афинского полководца Филокла, спросил его: «Какое наказание определяешь себе ты, который советовал своим согражданам поступать столь жестоко с греками?*» Филокл, не унизившись духом в этом несчастье, отвечал ему: «Не обвиняй тех, у кого нет судьи; ты победитель и поступай так, как поступили бы с тобою, когда бы ты был побежден». После того умывшись, надел блистательную хламиду и первый шел на заклание впереди своих сограждан, как повествует о том Феофраст.

Лисандр, объезжая города после победы, приказывал всем попадающимся ему афинянами удаляться в Афины, грозя без пощады умерщвлять всех тех, кого поймает вне города. Он поступал таким образом и гнал всех в город, желая в оном вскоре произвести голод, дабы жители не были в состоянии сделать ему долгое сопротивление. Он уничтожал везде народные

и других родов правления и оставлял в каждом городе одного лакедемонского гармоста и десять начальников из членов обществ, составленных им в городах. Поступая таким образом как в неприятельских, так и союзнических городах, плыл он медленно и некоторым образом устроил себе владычество над всей Грецией. При избрании начальников не взирал он ни на богатство, ни на состояние; все дела и управление поручал тем, кто связан был с ним узами дружбы и гостеприимства, отдавая им власть награждать и наказывать. Будучи участником в умерщвлении и изгнании многих граждан, врагов друзей своих, являл он грекам неприятный опыт лакедемонского правления. Феопомп*, комический стихотворец, неприлично уподобляет лакедемонян трактирщикам, ибо они, по его мнению, дав грекам вкусить сладкого питься свободы, потом влили в оное уксус. Это питье было горько и неприятно с самого начала; Лисандр отнимал у нардов всю власть и предавал города немногим самым дерзким и беспокойным гражданам.

Он занялся этими делами недолгое время и послал предуведомить лакедемонян, что шел вперед с двумястами кораблей. Он имел свидание в Аттике с царями Агисом и Павсанием, в надежде скоро завладеть Афинами. Но афиняне оказали ему сильное сопротивление. Лисандр со всеми кораблями опять отправился в Азию*. Во всех городах уничтожал народоправление и учреждал десятиначалие, и между тем в каждом из них многие были умерщвляемы и изгоняемы. Одних самосцев лишил земли и предал город изгнанникам*. Отняв у афинян занимаемый ими город Сест, он не позволил природным жителями в нем пребывать, но город и всю область отдал во владение бывшим под его начальством кормчим и начальникам гребцов. Первый поступок не был одобрен лакедемонянами; они возвратили жителям Сеста их землю. Впрочем, для всех греков было весьма приятно, что Лисандр возвратил эгинцам город их, которого они долгое время были лишены; что поселил вместе мелосцев и скионеев*, изгнав афинян из земель, принадлежавших этим народам, и возвратил им оные.

Между тем он получил известие, что Афины находились уже в дурном положении от недостатка в припасах. Он приплыл в Пирей и принудил афинян принять те условия, которые он им предписал. Лакедемоняне уверяют, что Лисандр писал эфорам следующее: «Афины взяты»; и что эфоры отвечали ему: «Довольно того, что они взяты». Однако это выдумано для представления дела в лучшем виде; истинное же распоряжение эфоров было следующее: «Правители лакедемонские определили: разрушить Пирей и длинные стены; афинянам выйти изо всех городов и остаться при своей земле. Заключить с ними мир, когда они сие исполнят и позволят изгнанникам возвратиться в отечество. Касательно множества кораблей сделать то, что сочтено будет лучшим». Афиняне по совету Ферамена, Гагнонова сына, приняли эти предложения*. Клеомен, один из молодых демагогов, спросил его в то время: «Смеет ли он действовать и говорить против мыслей Фемистокла, предавая лакедемонянам стены, которые он воздвигнул против воли их?» – «Молодой человек! – отвечал Ферамен, – я не поступаю против мыслей Фемистокла; стены, воздвигнутые им к спасению города, к спасению же его мы разрушим. Когда бы стены составляли благосостояние городов, то Спарта, которая их не имеет, должна быть несчастнейшим в свете городом».

Лисандр отнял у афинян все корабли, кроме двенадцати, и завладел стенами их в шестнадцатый день месяца мунихиона, в тот самый, в который афиняне при Саламине одержали над варварами победу в морском сражении. После того немедленно решился он переменить образ правления. Гражданам было это неприятно; они слушали о том с негодованием. Лисандр послал объявить народу, что город преступает условия, ибо городские стены его стоят, хотя уже прошел срок, в котором следовало бы их сломать; по этой причине он вновь предложить совету другие меры в рассуждении их, как не исполнивших условий. Некоторые уверяют, что в самом деле было предложено в совете союзников превратить жителей в невольников. Фиванец Эриант в то же время подавал мнение разрушить город до основания и всю область оставить необитаемой в пастбище стадам. Однако когда в собрании полководцев за пиршеством один фокеец спел начало хора из Еврипидовой «Электры»*:

Агамемнона дщерь, Электра!
Мы днесь в твой сельский дом пришли…

то все присутствующие были тронуты и объявили, что было жестоко разрушить и уничтожить город столь славный и таких мужей производящий*.

Наконец, когда афиняне на все согласились, то Лисандр, призвав из города многих флейтисток и собрав всех тех, кто был в стане, начал рушить стены и жечь корабли при звуке флейт, при восклицаниях радующихся и украшенных венками союзников, как бы тот день был началом их независимости. Вскоре Лисандр переменил и образ правления: он учредил в городе тридцать правителей*, а в Пирее – десять. На Акрополе поставил охранное войско и гармостом Каллибия. Этот спартанец поднял некогда палку на атлета Автолика (о котором Ксенофонт сочинил свой «Пир») и хотел его ударить, но Автолик схватил его за ноги, поднял и опрокинул на землю. Лисандр не оказал гнева, но порицал Каллибия за его поступок, сказав притом, что он не умеет управлять свободными людьми. Однако упомянутые тридцать правителей, угождая Каллибию, впоследствии умертвили Автолика.

Покончив с этим, Лисандр отплыл во Фракию, а все деньги, которые у него оставались*, равно и все полученные им венки или дары, которых без сомнения много ему приносили, как сильнейшему человеку и некоторым образом властителю Греции, послал их в Лакедемон с Гилиппом, тем самым, который некогда предводительствовал лакедемонянами в Сицилии*. Говорят, что Гилипп распорол мешки снизу, вынул из каждого довольно денег* и опять зашил оные, не зная, что в каждом из них была записка с означением количества денег. По приезде своем в Спарту он сокрыл под черепицами своего дома украденные деньги, а мешки отдал эфорам, показав им в целости печати. Эфоры открыли мешки, сосчитали деньги и найдя, что их число не было такое, какое означено в записке, пришли в великое недоумение. Наконец слуга Гилиппа донес им загадочно, что у Гилиппа в Керамике водится много сов*, ибо в то время на монетах большей частью был знак совы, по причине могущества афинян.

Гилипп, учинивши дело столь низкое и подлое после великих и блистательных подвигов, оставил Лакедемон. Благоразумнейшие из спартанцев после этого происшествия, страшась еще более действия денег, которое покоряло себе и самых отличных граждан, порицали Лисандра и увещевали эфоров отослать назад все золото и серебро, как заразу, извне к ним принесенную. Эфоры предложили это дело на рассуждение. По словам Феопомпа, Скирафид (а по сообщению Эфора, Флогид) утверждал, что не должно принимать в город золотых и серебряных денег, но употреблять отечественные; оные делались из железа, которое, раскалив, погружали в уксус, дабы сделать его неспособным к ковке, слабым и хрупким. Сверх того, железные их деньги были весьма тяжелы и неудобны к перенесению с места на место и по причине веса их и величины имели весьма малую цену. Кажется, что и все монеты древних были таковы. Вместо денег употребляли они прутья (обелиски) железные или медные, от чего осталось еще и ныне в обычае несколько мелких денег называть оболом, а шесть оболов драхмой, ибо такое число можно обхватить рукой*. Однако приятели Лисандра стали противиться и употребили все старание, чтобы деньги остались в городе. Решено было, чтобы оные имели ход в делах государственных, но в то же время постановлено: казнить смертью всякого частного человека, который бы владел этими деньгами, как будто бы Ликург боялся монеты, а не происходящего от денег сребролюбия и любостяжания! Эта страсть искоренялась от запрещения частным людям иметь золото, но усиливалась тем, что государство позволяло себе оное приобретать, ибо употребление придавало деньгам достоинство и важность и возбуждало охоту к приобретению их. Можно ли было частно презирать, как бесполезное, то, что общественно было уважаемо? Можно ли было почитать в доме своем ничтожною вещью ту, которая целым обществом была любима и одобряема? Гораздо скорее от общественных распоряжений вливаются в частную жизнь разные обычаи, нежели частных людей ошибки и страсти исполняют общества пороками. Естественно, что когда целое обратится к худшему, то и все части его вместе с ним портятся. Напротив того, повреждение какой-либо части может быть остановлено и исправлено теми, кто еще находится, в отношении к целому, в здравом состоянии. Однако тогдашние правители Спарты, приставив страх и закон стражами к дверям частных домов, дабы в оные не входили деньги, не умели сохранить и самые души граждан неприступными к деньгам и не прельщающимися ими, но возбудили во всех охоту и страсть к обогащению, как бы богатство было нечто весьма важное и великое. Мы и в другом месте укоряли в том лакедемонян.

Лисандр поставил из полученных корыстей в Дельфийском храме медный кумир свой и каждого из корабленачальников; также посвятил Диоскурам золотые звезды, которые исчезли еще до сражения при Левктрах*. В сокровищнице Брасида и аканфийцев хранилась триера в два локтя длиной, сделанная из золота и слоновой кости, которая прислана ему Киром в дар за одержанную победу. Дельфиец Александрид* повествует, что там для хранения находились один талант и пятьдесят две мины серебра, да сверх того одиннадцать статеров, принадлежавшие Лисандру, но это не согласуется с известной всем бедностью мужа сего. Хотя в то время Лисандр пользовался такой в Греции властью, какой до него никто из греков не имел, однако надменность его и высокомерие были выше его могущества. Ему первому, как повествует Дурис, города греческие воздвигали жертвенники и приносили жертвы, как некоему божеству; первому ему воспеты были пеаны; один из них начинается следующими словами:

Эллады славной вождя мы воспоем,
Могучей Спарты сына,
Ио, Пеан!

Самосцы определили, чтобы отправляемые ими празднества в честь Геры назывались впредь Лисандриями. Он имел всегда при себе одного стихотворца, по имени Херил*, желая, чтобы он украсил дела его стихотворством. Антилоху, сочинившему в честь его несколько посредственных стихов, которые ему понравились, дал шляпу, наполненную серебряными деньгами. Антимах из Колофона и некий Никерат из Гераклеи сочинили в честь его песни, называемые «Лисандрии», и перед ним состязались о награде. Лисандр дал предпочтение последнему и украсил его венком. Антимах осердился и истребил свое сочинение. Платон, который был тогда молод, но имел великое уважение к Антимаху за его стихотворческие дарования, старался утешить горесть его об оказанном сопернику его предпочтении, говоря ему, что невежество для незнающих такое же зло, как слепота для незрячих. Кифарист Аристоной, получивший шесть раз награду в Пифийских играх, говорил Лисандру из лести, что если еще раз одержит верх над своими соперниками, то он объявит себя Лисандровым… «Не рабом ли?» – спросил Лисандр.

Честолюбие Лисандра было ненавистно лишь первенствующим чиновникам и равным ему во власти. Но когда вместе с честолюбием возбуждены были в душе его надменность и суровость теми, кто искал его благосклонности, то не знал он более меры ни наказаниям, ни наградам. Дружба и гостеприимство награждаемы были неограниченной в городах властью, не подверженной никакой ответственности. Удовлетворять гневу можно было единственно погублением ненавистного предмета. Не было позволено спасаться бегством из своего отечества. Боясь, чтобы народные начальники милетов не убежали, и желая поймать тех, кто скрылся, Лисандр обещал клятвенно не делать им зла. Они поверили, обнаружили себя – и Лисандр предал их олигархам, чтобы их умертвить. Всех их было не менее восьмисот человек. В других городах также были убиваемы в великом множестве все приверженные к демократии, ибо Лисандр предавал смерти не только по своему собственному к ним нерасположению, но угождая вражде и алчности многих своих приятелей, которым содействовал во всем. По этой причине весьма было одобрено сказанное лакедемонянином Этеоклом, что Греция не вынесла бы двух Лисандров. Феофраст уверяет, что Архестрат сказал то же самое и об Алкивиаде. Но в этом последнем были более всего неприятны разврат и нега, соединенные с самохвальством, а сила Лисандрова становилась ужасной и несносной по причине суровости его нрава.

Лакедемоняне мало обращали внимания на тех, кто доносил на него. Но когда Фарнабаз посредством своих посланников жаловался в Спарте на обиды, причиняемые ему от Лисандра, который грабил и разорял его область, то эфоры, вознегодовав, поймали Форака, одного из друзей и товарищей его в военачальстве, и умертвили за то, что нашли у него в доме деньги; Лисандру же послали скиталу с приказанием возвратиться в Лакедемон. Скитала есть следующее: когда эфоры посылают кого-нибудь полководцем или начальником морских сил, то делают две круглые палки, толщиной и величиной совершенно равные, так что одну к другой можно приноровить концами. Одну оставляют у себя, другую дают тому, кого отправляют с властью. Эти палки называются скиталами. Когда нужно сообщить ему какую-либо важную

тайну, то, срезав длинную и узкую с дерева кору, наподобие ремня, обвивают ею палку, которую у себя имеют, таким образом, чтобы не осталось ни малейшего промежутка, но вся поверхность палки кругом была покрыта корой. После того записывают на ней, так как она обвита, то, что им нужно; написавши же снимают ее, и посылают к полководцу без палки. По получении ее он не иначе может читать изображенные на ней письмена, которые не имеют между собою никакой связи, как обтянув находящуюся у него палку обрезком древесной коры. Обвивая оный таким же образом, каким был обвит прежде, и приноравливая один край к другому, читатель водит глазами вокруг и находит связь. Сама кора называется «скиталой», равно как и палка; так как именем того, чем меряют, называется то, что меряется.

Лисандр был приведен в изумление, получив скиталу в Геллеспонте, где он находился. Боясь более всего жалоб Фарнабаза, он употребил старание, чтобы с ним сойтись и примириться. Он имел с ним свидание, просил его писать эфорам другое письмо с объявлением, что он Лисандром не обижен и не имеет причины на него жаловаться. Однако он, по-видимому, не знал, что Фарнабаз, как пословица говорит, «с критянином поступал по-критски». Обещав сделать все по его желанию, Фарнабаз написал письмо такое, какое желал Лисандр, но имел при себе тайно другое, противного тому содержания. Когда надлежало приложить печать, то он, подменив письмо другим, совершенно похожим на первое, дал Лисандру письмо, тайно от него написанное.

Лисандр, приехав в Лакедемон, предстал по обыкновению перед эфорами и подал им письмо от Фарнабаза, надеясь тем уничтожить главнейший против него донос. Фарнабаз был любим лакедемонянами, потому что более всех царских полководцев оказал ревности к продолжению войны. Эфоры прочитали письмо и показали его Лисандру, который тогда понял, что «не один Одиссей хитер». Он тогда удалился в тревоге, но после немногих дней представил правителям, что ему надлежало отправиться в храм Амона для принесения жертв, обещанных перед началом военных действий. Некоторые говорят, что он, в самом деле осаждая во Фракии город афитейцев*, увидел во сне Аммона; после чего он снял осаду, как бы сей бог ему то повелел, и дал знать афитейцам, чтобы они приносили Аммону жертвы, и что сам хотел ехать в Ливию, дабы умилостивить сего бога. Однако большая часть лакедемонян были уверены, что это был только предлог и что Лисандр, боясь эфоров и не поклоняясь в отечестве своем под начальство других, желал странствовать и переезжать с места на место, подобно коню, пригнанному к обыкновенным работам и в конюшню с лугов и полей, на которых пасся свободно. Эфор приводит другую причину отъезда его, которую я опишу впоследствии.

Лисандр с великим трудом выпросил у эфоров позволение выехать из Спарты. После отъезда его спартанские цари, заметив, что Лисандр имел в своей власти все города через установленные в них общества, что он всеми делами управлял один и был некоторым образом владыкой Греции, предприняли произвести то, чтобы правление в городах передано было народу, а друзья его из оных были изгнаны. Уже вновь начинались возмущения; афиняне прежде всех напали из Филы на Тридцать тираннов и одержали над ними верх*. Лисандр поспешно возвратился в Спарту и убедил лакедемонян помогать олигархиям и укрощать народы. Послано было первым тридцати тираннам сто талантов для продолжения войн, и полководцем назначен Лисандр. Цари этому завидовали. Боясь, чтобы он не завладел опять Афинами, они положили, чтобы один из них выступил в поход. Отправлен был Павсаний под предлогом подать помощь тридцати тираннам против народа; в самом же деле для прекращения войны, дабы Лисандр опять не сделался властителем Афин посредством своих друзей. Павсанию легко удалось это исполнить; он примирил афинян, успокоил возмущение и отнял у Лисандра случай удовлетворить своему честолюбию. Вскоре после того афиняне возмутились против спартанцев, и Павсаний обвиняем был в том, что он дал волю народу, обуздываемому прежде олигархией, поступать столь дерзко и производить возмущения; напротив того Лисандр был прославляем как муж, который всегда управлял не к угождению других и не для наружного блеску, но единственно для выгод одной Спарты.

Впрочем Лисандр был дерзок на слова и суров для тех, кто ему противоречили. Аргивяне спорили с ним о границах земли и уверяли, что их требования справедливее лакедемонских. Лисандр, показав им свой меч, сказал им: «Кто им владеет, тот лучше может доказать свои границы». Как-то один мегарянин говорил с ним очень смело. «Друг мой! – сказал ему

Лисандр. – Слова твои имеют нужду в могущественном государстве». Ботийцы не могли решиться, к которой стороне пристать. Лисандр спросил у них, как они хотят, чтобы он прошел через землю их: с поднятыми или с опущенными копьями? Когда Коринф отстал от лакедемонян, то Лисандр приблизился к нему с войском, но заметил, что воины не решались делать приступа; в то же время увидел он зайца, который перескочил через ров. Лисандр сказал воинам: «Не стыдно ли вам бояться таких неприятелей, в стенах которых гнездятся зайцы по причине их бездействия?»

Царь Агис по смерти своей* оставил брата Агесилая и Леотихида, который почитался сыном его. Лисандр любил Агесилая и советовал ему требовать царства, как настоящему Гераклиду, ибо подозревали, что Леотихид был сын Алкивиада, который имел тайную связь с Тимеей, супругой Агиса, в то время, когда он, убежав из Афин, жил в Спарте. Говорят, что Агис исчислением времени уверился, что Леотихид не от него родился, и потому при жизни своей не оказывал ему любви и не признавал его своим сыном. Однако перед самой кончиной, будучи перенесен в Герею*, тронулся просьбами как самого юноши, так и друзей своих, признал его своим сыном в присутствии многих и просил их свидетельствовать о том перед лакедемонянами. После того он умер. Находившиеся при Агисе во время его смерти свидетельствовали в пользу Леотихида. Хотя Агесилай был славен между согражданами и имел помощником Лисандра, но встретил препятствие в Диопифе, который был уважаем за искусство в истолковании прорицаний и который приводил следующее изречение оракула касательно хромоты Агесилая:

О Спарта! Славою пребудешь вознесенной,
Пока на двух ногах ты зришься утвержденна.
Хромого царствия, как пагубы, берегись;
Чтоб бури бедствия тебя не обступили
И волны ярые войны не наводнили.

Это прорицание* отклоняло многих от Агесилая и заставляло обращаться к Леотихиду. Но Лисандр утверждал, что Диопиф неправильно понимает смысл прорицания; что не будет неприятно богу, если кто, будучи хром, управляет лакедемонянами; что только тогда царство можно назвать хромым, когда незаконнорожденные будут царствовать над Гераклидами. Этими словами и великой своей силой он всех убедил, и на престол был возведен Агесилай.

Лисандр немедленно начал его побуждать к предпринятию похода в Азию, подавая ему надежду, что может разрушить царство Персидское и сделаться сильнейшим в свете человеком. Между тем писал он приятелям своим в Азию, чтобы они просили у лакедемонян Агесилая в полководцы в войне с варварами; они исполнили его желание и отправили посланников к спартанцам, прося у них Агесилая. Эта услуга, оказанная Лисандром Агесилаю, не менее той, которую он сделал ему, возведши его на царство. Люди честолюбивого свойства, хотя способны начальствовать, но из славолюбия завидуют равным себе, и этот порок есть немалое препятствие к совершению славных их подвигов. Они делают противниками тех, кого могли бы употребить как своих помощников. Агесилай принял Лисандра в число тридцати советников*, с намерением иметь его при себе как первого и полезнейшего друга. По приезде его в Азию тамошние жители, не привыкши к Агесилаю, мало и редко к нему обращались. Напротив того, зная Лисандра по прежнему долговременному с ним обращению, все стекались к нему и всюду за ним следовали, друзья его по своей к нему приверженности, неблагорасположенные же к нему из страха. Как в театральных представлениях часто случается, что роль вестника или служителя есть важнейшая, и играющий ее заслуживает ободрение, между тем как тот, кто держит скипетр и носит диадему, ничего не говорит, так и здесь советник имел всю важность царской власти, а царю оставалось одно имя, лишенное всякой силы.

Конечно, следовало бы каким-нибудь образом обуздать сие честолюбие, выходящее из границ, и заставить Лисандра быть вторым по себе, но вовсе отвергнуть и посрамить, для славы своей, благодетеля и друга есть дело, недостойное Агесилая. Он начал с того, что не давал Лисандру случая ничего произвести и не поручал ему никакого начальства. Потом замечал тех, в чью пользу Лисандр старался и кому благоприятствовал. Агесилай отсылал таковых всегда с

отказом, удовлетворяя им менее, нежели обыкновенным просителям; таким образом мало-помалу ослаблял он и уничтожал силу Лисандра! Этот полководец, не видя успеха ни в каком деле, понял, что самое его домогательство о друзьях своих было им препятствием; он перестал им помогать и просил их не ходить к нему и не оказывать ему почтения, но говорить о делах с самим царем и с теми, кто в тогдашнее время более могли помогать почитателям своим. Его приятели после того перестали его беспокоить о делах, однако не перестали оказывать ему почтения; они всегда толпились вокруг него в гимнасиях и гульбищах и тем более, нежели прежде, причиняли неудовольствие Агесилаю, возбуждая в нем зависть к славе Лисандровой. Многим воинам Агесилай препоручал начальства и управление городами, а Лисандру дал должность раздавателя мяса* и, ругаясь над ионийцами, говорил: «Пусть они теперь, если хотят, ищут покровительства у моего раздавателя мяса». Лисандр решился говорить ему о том прямо. Разговор между ними был краткий и лаконический: «Ты хорошо умеешь, Агесилай, унижать друзей своих!» – «Если они хотят быть сильнее меня, но кто мою силу умножает, тот имеет право в ней участвовать». – «Но государь! Может быть, тебе более сказали, нежели я сделал, и так прошу тебя, из уважения к посторонним, которые на нас взирают, – дай мне под твоим начальством такое место, в котором, по твоему мнению, я мог бы быть менее тебе неприятным и более полезным».

Лисандр после того отправлен наместником в Геллеспонт и, хотя сердился на Агесилая, однако исполнял в точности свой долг. Он успел возмутить против персов некоего перса Спифридата, человека храброго, имевшего под начальством своим войско и бывшего врагом Фарнабазу, и привести его к Агесилаю. Впрочем Лисандр не был им употреблен в войне и после некоторого времени возвратился в Спарту с бесславием, гневаясь на Агесилая и ненавидя, более чем прежде, образ правления своего отечества.

Он решился теперь, не откладывая более времени, привести в исполнение прежние свои начертания и мысли о перемене правления и о введении новых учреждений. Намерение его состояло в следующем. Геракловы потомки*, смешавшиеся с дорийцами и поселившиеся в Пелопоннесе, умножились в Спарте и были весьма знамениты. Однако не всякий из них мог иметь право быть наследником престола. Этим преимуществом пользовались только два дома, известные под названием эврипонтидов и агиадов. Все другие, невзирая на благородное свое происхождение, не имели никакого отличия в правлении. Путь к почестям, приобретаемым отличными заслугами, был открыт для всех граждан. Лисандр был из числа их. Прославившись своими подвигами, имея многих друзей и великую силу, взирал он с неудовольствием, что над Спартой, которую он возвысил делами своими, царствовали другие, не превосходившие его родом своим. Его намерение было то, чтобы всех Гераклидов сделать участниками в праве получать царское достоинство, отняв оное у двух домов. Другие уверяют, что он хотел это право распространить не на Гераклидов, но на всех спартанцев, дабы царское достоинство было наградой не одним Геракловым потомкам, но всем, подобно Гераклу, прославившимся доблестью, которая и самого Геракла сделала достойным божественных почестей. Он надеялся, что когда бы стали судить таким образом о царском достоинстве, то ни один спартанец не был бы предпочтен ему.

Сперва вознамерился он убедить в своей правоте сограждан и твердил наизусть речь об этом предмете, сочиненную Клеоном Галикарнасским. Но видя, что столь необычайная и великая перемена имеет нужду в сильнейшей помощи, поднял, как говорят в трагедии, машину против своих сограждан, начал составлять и сочинять прорицания и пифийские предсказания. Он был уверен, что красноречие Клеона не принесет ему никакой пользы, если не предуготовить своих сограждан, не сделает их наперед покорными и не поразит их души страхом к богам и суеверием. Эфор пишет, что он хотел подкупить пифию и склонить додонских жриц к своим мыслям через Ферекла, но не имел в том успеха. После того отправился в храм Аммона и давал тамошним прорицателям много денег, но они отвергли с негодованием его подарки и отправили в Спарту посланников для принесения жалобы на Лисандра. Однако он был разрешен. Ливийские посланники, удаляясь из Спарты, сказали: «Спартанцы! Мы лучше вас будем судить, когда вы будете переселяться к нам в Ливию». (По некоему древнему прорицанию, они полагали, что лакедемоняне должны будут переселиться в Ливию.)

Я опишу здесь употребленные Лисандром к достижению цели своей замыслы и хитрые выдумки, которые не были маловажны и обыкновенны, но имели многие, твердые основания, подобно геометрической задаче, идущей к заключению трудными и запутанными доводами. Я последую повествованию знаменитого историка и философа.

В Понте была женщина, о которой говорили, что она беременна от Аполлона. Многие тому не верили; другие однако не пренебрегали этим слухом. Когда она родила мальчика, то некоторые из известных людей имели о нем попечение и старались о его воспитании. Ребенку по некой причине дано имя Силен. Лисандр принял за основу своих намерений это происшествие и на нем утверждал свои замыслы при помощи многих довольно значащих людей, которые содействовали ему в этой выдумке; они старались доказать истинным слух о происхождении младенца, не возбуждая подозрения о цели своей. Ими было принесено и распущено в Спарте из Дельфов другое изречение: будто бы в тайных книгах хранятся у жрецов весьма древние прорицания, которые не было позволено читать как только тому, кто в течение времени родится от Аполлона, подаст жрецам верные знаки своего рождения и получит от них книги, содержащие прорицания. Так было все предуготовлено. Надлежало уже, чтобы Силен прибыл в Дельфы и потребовал, как сын Аполлона, тайные прорицания. Содействующие жрецы должны были делать подробные о его происхождении разыскания и наконец, как бы уверившись в истине, показать ему писания, как сыну Аполлона. Силен тогда стал бы читать, в присутствии многих, прорицания, между прочими и то, для кого это было выдумано, касательно царского правления в Спарте; что для Лакедемона лучше и полезнее выбирать царей из числа многих отличнейших граждан. Уже Силен достиг известного возраста и приступил к делу, как Лисандр принужден был сойти со сцены; все дело испортила робость одного из действовавших лиц, которое, при самой развязке дела, потеряло бодрость и отступило от предприятия. Однако при жизни Лисандра ничего не обнаружилось; только после его смерти узнаны были его замыслы.

Он умер до возвращения из Азии Агесилая, бросившись в Беотийскую войну, или лучше сказать, ввергнув в оную Грецию, ибо дело это двояким образом описывается. Вину войны одни возлагают на него, другие на фиванцев, иные и на него и на них. Фиванцев обвиняют в том, что они в Авлиде раскидали с алтаря жертву*, и что Андроклид и Амфитей, будучи подкуплены деньгами царя персидского*, дабы возжечь в Греции войну против лакедемонян*, напали на фокейцев и ограбили их область. Касательно же Лисандра говорят, что он имел причину сердиться на фиванцев, которые одни из всех союзников присвоили себе десятую часть добычи, тогда как другие союзники ничего не требовали, и оказывали неудовольствие за то, что Лисандр послал деньги в Спарту. Более же всего Лисандр негодовал на фиванцев за то, что они первые подали афинянам помощь для освобождения себя от тридцати тираннов, которых поставил Лисандр, а лакедемоняне, дабы придать им силу и внушить к себе страх, определили, чтобы изгнанные афиняне были всюду захватываемы и приводимы к тридцати тираннам, и что объявляются врагами Спарты все те, кто будет удерживать приводящих их. Фиванцы напротив того сделали постановления весьма сходные и соответственные с поступками единоземцев своих Геракла и Диониса*; они объявили, что во всей Беотии всякий город и всякий дом будет открыт для афинян, имеющих нужду в защите, а кто афинскому изгнаннику, влекомому против воли его, не подаст помощи, тот должен платить пени один талант; что если кто через Беотию везет в Афины против тираннов оружия, то никому из фиванцев этого не видеть и не слышать. Не одни постановления их были столь человеколюбивые и просвещенному народу приличные; самые их поступки соответствовали сим постановлениям. Фрасибул и сообщники его, занявшие Филы, устремились из Фив, получив от фиванцев оружия и деньги и все пособия, нужные к сокрытию и приведению в действо своего предприятия. Таковы были причины, раздражившие Лисандра против фиванцев.

Будучи уже весьма склонен к гневу, по причине меланхолии, усиливавшейся в нем по мере приближения к старости, он поощрял эфоров послать против Фив войско, над которым сам принял начальство и выступил в поход; за ним выслан был и царь Павсаний с войском. Но Павсанию надлежало идти обходом через Киферон и вступить в Беотию. Лисандр с многочисленным войском шел к нему навстречу через Фокиду. Он завладел Орхоменом, которого жители предались ему добровольно, вступил в Ливадию и разграбил ее. Он послал к

Павсанию письмо, чтобы он шел из Платеи для соединения с ним в Галиарте*, извещая его, что на рассвете дня он сам приступит к стенам Галиарта. Письмо это было передано фиванцам, ибо несший его было захвачен лазутчиками. Между тем афиняне пришли к ним на помощь; фиванцы поверили им хранение своего города, сами выступили в начале ночи и прибыли в Ариверт, предупредив несколько Лисандра, и частью вступили в город. Лисандр сперва хотел поставить войска на холме и дожидаться Павсания. Но с наступлением дня, не желая оставаться в бездействии, поднялся с войском, увещевал союзников и вел прямо на город фалангу свою, составляющую продолговатый четвероугольник. Фиванцы, остававшиеся вне города, обошли Галиарт слева и напали на тыл неприятеля при источнике, называемом Киссусой, в котором, как повествуют баснословы, кормилицы мыли Диониса после его рождения, ибо вода имеет цвет вина, хотя прозрачна и весьма приятна для вкуса; близ того места растут критские тростники. Жители Галиарта почитают все это доказательством пребывания в этом месте Радаманта и показывают его гроб, который называют гробом Алея. Памятник Алкмене* также стоит близ сего места. Говорят, что она была погребена здесь и что после смерти Амфитриона вышла замуж за Радаманта.

Фиванцы, находясь внутри города, были готовы к нападению вместе с галиартцами и пребывали вместе с галиартцами и пребывали спокойны. Но увидев Лисандра, приближающегося к стенам с передовым войском, вдруг отворили ворота городские, напали на него и умертвили вместе с прорицателем и другими немногими. Все другие большей частью отступили поспешно к фаланге. Но фиванцы преследовали их, напали на войско, разбили его и заставили бежать к холмам; неприятелей пало до тысячи человек. Из фиванцев погибли триста человек, которые погнались за неприятелями на крутые и крепкие места. Все они были обвиняемы в приверженности к лакедемонянам: желая оправдаться перед своими согражданами в падающем на них подозрении, не щадили они себя, преследуя неприятеля, и погибли.

Павсаний получил известие об этом поражении в то самое время, как он шел из Платеи в Феспии. Он построился в боевой порядок и пошел к Галиарту. Туда же прибыл и Фрасибул из Фив, предводительствуя афинянами. Павсаний хотел предложить о перемирии, дабы похоронить мертвых, но старейшим спартанцам это было неприятно; они негодовали на то между собою, потом, приступая к царю, представляли, что надлежало взять Лисандра не перемирием, но оружиями, сражаясь за его тело, и одержав победу, похоронить его; если же будут побеждены, то они почитали славным для себя пасть вместе со своим полководцем. Таковы были представления старейших, но Павсаний, видя, сколь было трудно превозмочь фиванцев, незадолго перед тем одержавшим победу, и рассуждая, что Лисандр пал у самых стен и, следственно, взять тело без перемирия было бы трудно и тогда, когда бы он победил, послал вестника к фиванцам, заключил с ними перемирие и отступил. Тело Лисандра, по вынесении его из границ Беотии, было похоронено на земле дружественного и союзного города Панопея*, где ныне стоит памятник на дороге, ведущей из Дельфов в Херонею. Здесь остановилось все войско. Один фокеец рассказывал другому, который в битве находился, что неприятели напали на них в то время, когда Лисандр перешел уже Гоплит. Когда тот изъявлял свое удивление, то какой-то спартанец, друг Лисандров, услышав это, спросил его: «Какое это место? Я его не знаю». «Однако, – отвечал фокеец, – на том месте неприятели умертвили первых из наших; ручей, текущий перед городом, называется Гоплитом». Спартанец, услышав эти слова, заплакал и сказал, что человек не может избежать определений рока. Лисандру некогда дано было следующее прорицание:

Гоплита шумного беречься завещаю.
Беги дракона ты, земли коварного сына,
Который по твоим идет вослед стопам.

Некоторые уверяют, что Гоплит не протекает у Галиарта, но что это поток близ Коронеи, вливающий свои воды в реку Филар близ города. Оный в древнее время называли Гоплией, а ныне Исомантом. Галиартский же гражданин, по имени Неохор, умертвивший Лисандра, имел на своем щите изображение дракона, и это, по-видимому, означало прорицание. Говорят, что в Пелопоннесской войне дано было фиванцам при Исмении прорицание, предвещавшее как

сражение при Делии, так и при Галиарте*, которое дано спустя тридцать лет после первого. Это прорицание есть следующее:

Берегись пределов ты, взнося на волков дроты,
Орхалидской горы, лисицы пребыванья.

Место около Делия названо «Краем», ибо здесь Беотия граничит с Аттикой. Холм Орхалида, называемый ныне Лисьим, стоит близ Галиарта к стороне Геликона.

Спартанцы столько были огорчены неожиданной кончиной Лисандра, что хотели произвести над царем уголовный суд. Но он, не дождавшись решения, убежал в Тегею, где провел свою жизнь, как проситель, в храме Афины*. Бедность Лисандра, обнаружившаяся после смерти, сделала добродетели его явственнее, ибо, несмотря на богатство и на власть, которые имел в своих руках, по уважению к нему городов и великого царя, он нимало не умножил блеска своего дома со стороны имущества, как говорит Феопомп*, которого похвалам более можно верить, нежели порицаниям, ибо он охотнее порицает, нежели хвалит.

Эфор повествует, что по прошествии малого времени спартанцы вступили в спор с союзниками. Нужно было пересмотреть бумаги, которые оставались при Лисандре. Агесилай пришел в дом его и нашел книгу, в которой была написана речь о перемене правления и об отнятии у эврипонтидов и агиадов исключительного права на престол, дабы сделать оное общим, избирая царей из числа достойнейших. Агесилай хотел обнародовать речь, дабы показать гражданам, каким был Лисандр на самом деле. Но Лакратид, человек благоразумный, тогдашний председатель эфоров, удержал Агесилая, сказав ему: «Не надлежит вырывать Лисандра, но должно зарывать с ним и речь сию. Столько-то она была убедительно и ясно сочинена!» Лисандру по смерти оказаны были приличные почести. Спартанцы наложили пеню на тех, кто при жизни его хотел жениться на его дочерях, но по смерти его, когда обнаружилась бедность его, от этого отказались, ибо они домогались связи с ним тогда, когда почитали его богатым, а уверившись в его бедности, справедливости и добродетели, отстали. Известно, что в Спарте наказывали и безбрачных, и женившихся поздно, и женившихся неприлично. Этому наказанию подвергались те, кто искал бракосочетания более с дочерьми богатых, нежели добрых граждан, и тех, с которыми были связаны родством.

Вот что я мог собрать о Лисандре.

Сулла

Луций Корнелий Сулла был происхождения патрикийского, то есть благородного. Руфин, один из предков его*, был возведен на консульское достоинство, но известен не оказанной ему честью, сколько бесчестием, которым себя покрыл, ибо обнаружилось, что он, вопреки закону, имел у себя более десяти фунтов серебряной посуды. За это был выключен из сената. Потомки его жили уже в низком состоянии. Сам Сулла не был воспитан в изобилии и богатстве. В молодых летах он нанимал чужой дом за малую цену – в чем упрекали ему впоследствии, когда он разбогател более, нежели как должно было. После ливийского похода Сулла вел себя гордо и говорил с великой надменностью; один из лучших людей сказал ему: «Можешь ли ты быть честным человеком, ты, который приобрел такое имение, не получив ничего от своего отца?» Хотя сограждане его уже не хранили прежней правоты и чистоты в нравах, но отклонились от оной и предавались неге и роскоши, однако равно почитали бесчестными и тех, кто полученное от отца имение расточал, и тех, кто не пребыл в отцовской бедности. Когда в последствии времени Сулла получил верховную власть и лишил жизни многих граждан, то некоторый человек, отец которого был отпущенником, и которого Сулла приказал свергнуть с Тарпейской скалы по подозрению, что он скрывал у себя одного из проскриптов, напоминал Сулле, что долго с ним жил в одном доме, что он платил за верхнюю часть две тысячи нуммов, а Сулла за нижнюю три тысячи, так что между состояниями их разность была в тысячу нуммов*; это составляет двести пятьдесят аттических драхм. Вот что повествуют о прежнем состоянии Суллы.

Наружность Суллы можно видеть на его изображениях. Что касается до глаз его, их серый

цвет, чрезвычайно неприятный и яркий, казался страшнее от краски лица его. Оно испещрено было рдеющимися угрями, меж которыми рассеяны были белые пятна. По этой причине, говорят, дано ему было имя Суллы* как прилагательное к цвету лица. В Афинах некоторый насмешник сказал о нем в стихе: «Сулла есть шелковичная ягода, усыпанная мукой»*. Простительно употреблять такие подобия, говоря о человеке, от природы самом насмешливом, который, будучи еще молод и неизвестен, проводил жизнь свою в сообществе мимов и шутов и с ними предавался всем распутствам, а когда получил верховную власть, то собирая ежедневно самых наглых и бесстыдных комедиантов, пил и ел с ними, стараясь их превзойти самыми дерзкими шутками. Он поступал таким образом неприлично летам своим и унижая достоинство власти, а между тем не радел о делах, требовавших его внимания. Как скоро находился он за ужином, то не было возможно занять его ничем важным. Хотя во все прочее время был он деятелен и угрюм, но предавшись удовольствиям беседы и стола, вдруг переменялся до того, что был покорен мимам, музыкантам и плясунам и охотно исполнял всякую просьбу. Этот вольный род жизни возродил в нем склонность к разврату и не воздержанию в наслаждениях, от которых в самой старости не мог отстать. Эта склонность утвердилась в нем навсегда. Он влюбился сперва в одну женщину дурного поведения, но богатую, по имени Никопола. Он перешел на положение ее любимца (в силу привычки и приятности его молодости) и, по смерти ее, остался наследником ее имения. Сверх того он получил в наследство имение своей мачехи, которая любила его, как сына. Этими наследствами несколько поправил свое состояние.

Будучи избран в квесторы при Марии, во время первого консульства полководца*, Сулла отправился с ним в Ливию, дабы вести войну против Югурты. Находясь при войске, оказывал он во всем опытность и искусство, и, воспользовавшись благоприятным случаем, свел дружбу с Бокхом, царем нумидийским*. Посланники сего государя, вырвавшись из рук нумидийских разбойников, были приняты Суллой, который их одарил и отослал обратно, дав проводников для безопасности. Бокх уже с давнего времени ненавидел и боялся Югурты, который, однако, был ему зятем. Когда же Югурта, побежденный римлянами, искал убежища у Бокха, то тот, злоумышляя против него, призвал к себе Суллу, желая показать, что Югурта был пойман Суллой, а не им. Сулла, сообщив о том Марию и взяв немного воинов, дерзнул на величайшую опасность. Чтобы поймать Югурту, он поверил жизнь свою варвару, который не хранил веры и к тем, с которыми был связан теснейшими узами родства. Бокх, имея во власти своей обоих и доведши себя до необходимости быть вероломным против одного, долго колебался; наконец решился на первое предательство и выдал Сулле Югурту. За этот успех Марий удостоен был почестей триумфа, но завистники всю славу подвига приписывали Сулле, что тайно оскорбляло Мария. Сам Сулла, будучи от природы хвастлив и тогда в первый раз сделавшись несколько известным, вкушая сладость славы, дошел до такого высокомерия, что велел вырезать сие происшествие на перстне, который всегда носил и употреблял во всех случаях. На нем изображен был Бокх, передающий, а Сулла принимающий Югурту.

Все это причиняло Марию неудовольствие. Однако, не почитая еще Суллу предметом, достойным зависти, он употреблял его в походах. Во втором его консульстве Сулла был при нем в качестве легата, или наместника; в третьем был военным трибуном; через него Марий производил многие важные дела. Сулла, будучи наместником его, поймал вождя тектосагов по имени Копилла; будучи трибуном, убедил марсов*, народ великий и многочисленный, сделаться друзьями и союзниками римлян. Однако, заметив, что Марий был к нему неблагорасположен, неохотно давал ему способы отличаться, но противился его возвышению, перешел он к Катулу, Мариеву соначальнику, человеку доброму, но несколько недеятельному и медленному в военных действиях. Катул препоручал ему важнейшие предприятия, отчего Сулла приобретал не только славу, но и могущество. Он покорил оружием большую часть варваров, живущих в Альпах, и когда у римлян был недостаток в съестных припасах, то Сулла взял на себя должность снабжать войско ими и произвел такое в них изобилие, что не только удовольствовал ими воинов Катуловых, но наделил и Мариевых. Это, как сам он уверяет, причинило Марию великое неудовольствие. Раздор их, столь малозначащий и презрительный в своем начале, впоследствии, сопровождаемый пролитием гражданской крови и ужасными мятежами, стремился к самовластию и к ниспровержению гражданского благоустройства, и тем доказал, сколь мудр был Еврипид, и сколь опытен в гражданских недугах, когда советует

беречься честолюбия, как злобнейшего демона и пагубнейшего для тех, кто ему предается*.

Сулла, думая уже, что слава, приобретенная им военными предприятиями, была достаточна для того, чтобы проложить ему путь к достоинствам гражданским, от походов обратился к поиску народной благосклонности и домогался городской претуры, но обманулся в своих надеждах. В этом винил он простой народ. По словам его, граждане, которым была известна его дружба с Бокхом, думали, что сделавшись эдилом*, прежде нежели претором, покажет им великолепную звериную охоту и сражение ливийских зверей. И для того избрали они преторами других, дабы принудить его искать эдильства. Но, кажется, самое дело изобличает Суллу в том, что он скрыл истинную причину неудачи, ибо, по прошествии одного года, получил он претуру, склонив народ в свою пользу, частью лестью, частью и деньгами. По этой причине, когда он, будучи претором, грозил Цезарю*, что употребит против него свою собственную власть, то Цезарь, усмехнувшись, сказал: «Справедливо ты называешь власть своей собственною; она твоя потому, что ты ее купил».

По окончании претуры был он отправлен в Каппадокию с войском. Явным предлогом к походу было возвращение Ариобарзану царства его; истинная же причина та, чтобы удержать Митридата*, который далеко простирал виды свои и приобрел силу и владения не менее тех, какие были у него прежде. У Суллы не много было своего войска; однако воспользовавшись ревностью и усердием союзников, он умертвил великое множество каппадокийцев и еще больше армян, которые пришли к ним на помощь, изгнал Гордия и вновь посадил на престол Ариобарзана.

Сулла находился на берегах Евфрата, когда прибыл к нему парфянин Оробаз, посланник царя Арсака*. Никогда прежде эти два народа, римский и парфянский, не имели между собою никаких сношений. Доказательством великого счастья Суллы служит и то, что парфяне к нему первому из римлян отнеслись для заключения союза и дружественных связей с римским народом. Говорят, что Сулла при свидании с ним велел поставить три стула, один для Оробаза, другой для Ариобарзана, а третий для себя, и что, сидя посреди их, говорил с ними. За то царь парфянский впоследствии умертвил Оробаза. Одни хвалили Суллу за то, что таким образом унижал гордость варваров; другие порицали его как надменного и не вовремя честолюбивого. Повествуют, что некто из сопровождавших Оробаза, родом халдей*, смотрел пристально в лицо Сулле, наблюдал с великим вниманием движения его духа и тела и, судя о его свойствах по предположениям своей науки, сказал: «Необходимо определенно сему мужу быть величайшим, и я удивляюсь, как он доселе терпит еще не быть первым изо всех».

По возвращении своем в Рим Сулла был обвиняем Цензорином в дароприятии, ибо, вопреки закону, принял много денег от царства, союзного и дружественного Риму. Однако дело сие не дошло до суда; Цензорин сам отказался от доноса.

Между тем раздор Суллы с Марием вновь воспламенялся и получал новую пищу от честолюбия царя Бокха, который, в одно время льстя римскому народу и угождая Сулле, поставил на Капитолии кумиры Победы, несущие трофеи, и подле них золотой кумир Югурты, предаваемого им Сулле. Марий на это негодовал; он хотел силой снять эти изображения; многие готовились помогать Сулле; весь город был в огне от междоусобия, как война союзническая, издавна скрывавшаяся под пеплом, вдруг возгорелась и, осветив Рим пламенем своим, остановила в то время внутреннее возмущение. В войне этой, самой жестокой, подверженной разным переворотам счастья, причинившей римлянам великие бедствия и доведшей их до крайности, Марий не был в состоянии явить какой-либо важный подвиг и тем доказал, что военная доблесть имеет нужду в силе и крепости телесной. Напротив того, Сулла, произведя многие знаменитые дела, приобрел у граждан славу полководца великого, у друзей своих величайшего, а у неприятелей благополучнейшего.

Однако же Сулла избежал участи Тимофея*, сына Конона, который сердился и несколько грубо изъявлял свою досаду на своих неприятелей, приписывавших Счастью подвиги его. Они представили его на картине спящим, между тем как Счастье расставляло сети и улавливало города. Тимофей думал, что неприятели его отнимали у него всю славу подвигов его, и некогда, возвратившись из похода, в котором имел он успех, сказал народу: «Афиняне! В этом походе Счастье не имело никакого участия». Однако, говорят, завистливый демон оказал над Тимофеем свою силу и наказал неумеренное его честолюбие; с того времени он ничего не

произвел отличного, ни в чем не имел успеха и, сделавшись неприятным народу, наконец был изгнан из Афин. Напротив того Сулле не только было приятно, чтобы превозносили его счастье и ублажали его, но сам, возвеличивая свои деяния и признавая в них содействие высшее, приписывал все Счастью или из хвастовства, или потому, что таково в самом деле было мнение его об этом божестве. В записках своих пишет он, что те дела, на которые дерзал он случайно и без размышления, удавались ему лучше тех, которые, по его мнению, были им хорошо обдуманы; притом, когда говорит, что он рожден больше для счастья, нежели для войны, то этим, кажется, более приписывает счастью, нежели доблести. Вообще он почитает себя любимцем божества, и самое согласие с Метеллом*, тестем своим, человеком равного с ним достоинства, он относит к некоему божественному Счастью. Он боялся, что Метелл причинит ему много неудовольствий; однако нашел в нем самого кроткого и смирного товарища во власти. В записках своих, которые посвятил он Лукуллу, советует ему ничего не почитать столько верным, как то, что ночью божество откроет ему в сновидении. Он пишет, что во время союзнической войны был в походе с войском, когда близ Лаверны* разверзлась земля, и пропасть извергла много огня, яркое пламя которого простиралось до неба. Прорицатели объяснили сие таким образом, что некоторый храбрый муж, чрезвычайно прекрасный лицом, приняв верховное начальство, освободит республику от настоящих беспокойств. Сулла говорил, что это есть он сам; что отличную красоту лицу его придавали русые волосы его, а что касается до храбрости, он не стыдится себе оную присваивать после стольких прекрасных и знаменитых деяний. Вот как он думал о божестве.

В рассуждении свойств его, он, кажется, был неравен и не всегда одинаков. Много похищать, еще более дарить; оказывать уважение без причины, и без причины бесчестить; льстить тем, в ком он нуждался, быть надменным против тех, кто в нем нуждался до того, что нельзя было решить, что было более свойственно его натуре – высокомерие или угодливость. В рассуждении неровности в наказаниях, известно, что он малозначащую вину наказывал смертью, а самые тяжкие обиды переносил с кротостью; легко прощал жесточайшие оскорбления; за малые и бездельные ошибки наказывал убийством или лишением имения. Это происходило оттого, что он от природы был гневлив и мстителен, но рассуждением смягчал суровость свою, для своей пользы. Во время той же союзнической брани воины его убили поленьями и камнями одного из его легатов, по имени Альбина, бывшего некогда претором. Сулла оставил сие без внимания и не наказал столь важного преступления. Напротив того, он говорил, что воины его тем усерднее будут повиноваться ему и сражаться, надеясь изгладить проступок свой своими подвигами. Он мало заботился о том, что его за то порицали. Приняв намерение низвергнуть Мария и получить главное начальство в войне против Митридата – ибо война союзническая приближалась уже к концу своему – он старался только о приобретении себе любви войска.

По возвращении своем в Рим был он избран в консулы* вместе с Квинтом Помпеем. Сулле тогда было пятьдесят лет. Он вступил в знаменитейший брак, женившись на Цецилии, дочери первосвященника Метелла. Простой народ пел насчет этого брака песни; многие из знаменитейших граждан на это досадовали, не почитая достойным сей девицы того, кого они почли достойным консульства, как замечает Тит Ливий. Цецилия не была первой женой его. Сулла, будучи молод, женился на Илии, которая родила ему одну дочь, потом на Элии. Третья жена его была Клелия, которую он отослал от себя по причине ее бесплодия, но с честью, с похвалой и с большими подарками. Через несколько дней после того женился он на Метелле; чем доказал, что предлог его о разводе с Клелией был несправедлив. Впрочем, к Метелле оказывал он всегда великое уважение, так что народ римский, когда хотел, чтобы позволено было возвратиться изгнанным Мариевым сообщникам, и Сулла в том ему отказывал, то призывал громким голосом на помощь Метеллу и просил ее заступления. Кажется, что Сулла, по покорении Афин, для того поступил жестоко с жителями, что они со стен ругались над Метеллой, как после описано будет.

В то же время, почитая консульство малозначащим в сравнении с будущими надеждами, Сулла стремился духом к войне с Митридатом. Против него восстал Марий, пылая еще честолюбием и неистовой любовью к славе, этими несостаривающимися страстями – человек, по тяжести тела и по старости лет, отказавшийся незадолго перед тем от похода и военных

действий, но тогда желавший вести войну в отдаленных, за морем лежащих странах. Между тем как Сулла находился в войске для приведения к окончанию остальных дел своих, Марий, пребывая в Риме, устроил тот гибельный мятеж, который один причинил республике более вреда, нежели все вкупе взятые брани, как и само божество многими знамениями это предвещало. На копьях, имеющих на себе знамена, появился сам собою яркий огонь, который едва погасили. Три ворона принесли птенцов на дорогу и пожрали их, а остатки опять отнесли в гнездо. Мыши сгрызли в одном храме посвященное богам золото; служители храма поймали в мышеловке одну самку; она родила пятерых и троих из них съела. Всего страшнее было то, что при безоблачном и ясном небе слышна была труба, издававшая столь острый и печальный звук, что все приведены были в исступление и ужас от сего страшного шума. Ученейшие прорицатели этрурские объявили, что сии знамения предвещали перемену в человеческом роде и новое устройство мира. Они уверяют, что всего существует восемь родов и что различествуют между собою образом, жизнью и нравами; что каждому определено известное число лет, которое от бога совершается периодом великого года. При окончании одного периода и при начале другого приходит из земли или с неба какое-нибудь удивительное знамение, чтобы тщательно все сие наблюдающие и понимающие тотчас открыли, что люди, после того родящиеся, имеют другой образ жизни и другие нравы, и что боги пекутся о них больше или меньше, нежели о прежних. Они утверждают, что среди прочего претерпевает при чередовании поколений важные перемены и сама наука прорицания: то приобретает более уважения, и предсказания его исполняются, поскольку бог ниспосылает явственные и чистые знамения, то – при новом поколении – приходит в упадок и бывает пренебрегаема, ибо основывается на догадках и постигает будущее темными и неявственными средствами. Вот что толковали тогда умнейшие этруски, которые, казалось, более других были сведущи. Сенат и прорицатели, собравшись в храме Беллоны, рассуждали об этих происшествиях. Вдруг влетел в храм воробей в присутствии всех, неся носом кузнечика; часть его отвалилась; воробей, оставив ее тут, улетел с другою. Наблюдатели знамений боялись мятежа и раздора между достаточными деревенскими помещиками и чернью, ибо городские жители суть крикуны, как воробьи, а деревенские помещики живут всегда на полях, подобно кузнечикам.

Между тем Марий заключает связь с Сульпицием, человеком, который в величайших злодеяниях никому не уступал; нельзя было спросить, кого был он порочнее, но в чем он был порочнее сам себе. По его жестокости, дерзости и алчности для него не было ничего бесчестного; он был способен ко всему дурному. Он продавал явно право римского гражданства отпущенникам и переселенцам, а получаемые от того деньги считал на столе, стоявшем на самой площади. Он содержал три тысячи вооруженных людей и толпу молодых римских всадников, которые будучи на все готовы, окружали его и были им называемы антисенатом. Предложенным от него законом запрещено было сенаторам брать взаймы более двух тысяч драхм, а по смерти своей он оставил долгу до трех миллионов драхм. Этот Сульпиций был пущен в среду народа Марием и возмутил республику. Он вводил насилием и железом самые вредные законы, а между прочими и тот, чтобы Марию дано было предводительство в войне против Митридата. В таком неустройстве консулы остановили все дела. Сульпиций, собрав толпу народа, напал на них во время собрания в храме Кастора и Поллукса и умертвил многих, в числе их и молодого сына консула Помпея. Сам же Помпей тайно убежал. Сулла, будучи преследуем до самого дома Мария, был принужден прийти на площадь и отменить решение о неприсутственных днях. По этой причине Сульпиций, лишив консульства Помпея, оставил оное Сулле, но предводительство войском назначено было Марию, который отправил немедленно военных трибунов в Нолу, для принятия и приведения к нему войска.

Но Сулла предупредил его и убежал в стан; воины, узнав о происшедшем в Риме, побили камнями военных трибунов; между тем в Риме Марий, с своей стороны, умерщвлял друзей Суллы и расхищал их имение. Это произвело переход и бегство одних из стана в Рим, а других из Рима в стан. Сенат, управляемый приказаниями Мария и Сульпиция, не имел свободы; получив сведение, что Сулла идет на Рим, послал преторов Брута и Сервилия, дабы запретить ему идти далее. Преторы объявили приказание Сулле несколько надменно; воины его бросились на них и хотели их умертвить; однако изломали только ликторские розги, сняли с

них обшитые пурпуром тоги и отослали их обратно с бесчестием. Граждане впали в великое уныние, когда увидели преторов, лишенных знаков своего достоинства, и узнали от них, что возмущение уже невозможно удержать и что оно неукротимо. Марий начал приготовляться. Между тем Сулла с шестью полными легионами вместе с товарищем своим двинулся от Нолы; хотя видел он желание войска идти прямо на Рим, но сам колебался недоумением и боялся опасности. Прорицатель Постумий, по заклании жертв, рассмотрев оные, протянул обе руки к Сулле и просил себя связать и держать до самого сражения, дабы быть преданным жесточайшему наказанию, если все не будет иметь скорого и счастливого успеха. Говорят также, что Сулла сам увидел во сне богиню, которой римляне поклоняются, приняв ее от каппадокийцев*, и которая есть то ли Луна, то ли Минерва, то ли Беллона. Она предстала ему, вручила молнию и, называя поименно каждого из его неприятелей, повелевала бросать в них молнию; они, будучи ею поражаемы, падали и исчезали. Ободренный этим видением, поутру объявил оное своему товарищу и повел войско свое на Рим. У Пикт встретило его другое посольство и просило повременить, уверяя его, что он получит удовлетворение в справедливых своих требованиях по постановлению сената. Сулла обещал остановиться здесь же и в то самое время велел предводителям сделать промеры, по обыкновению, для расположения стана. Послы, поверив ему, удалились, но Сулла послал немедленно Луция Базилла и Гая Муммия для захвата городских ворот и стен у Эсквилинского холма, а сам с великой поспешностью шел за ними. Между тем Базилл с воинами своими ворвался в город и завладел воротами; граждане, будучи безоружны, кидали на них черепицы и камни, препятствуя идти далее и удерживая их у самых стен. В то самое время явился Сулла и, видя происходящее, кричал своим воинам, чтобы они зажигали дома; сам взял зажженный факел, шел вперед, а стрельцам своим велел действовать каленными стрелами и пущать их на кровли домов. В страсти и в совершенном безрассудстве позволив ярости своей управлять настоящими делами, он видел перед собой одних врагов, а о друзьях и родственниках не заботясь и не жалея, нес пламень, который не разбирал, кто виноват и кто невинен. Таким образом Марий был прогнан к храму Земли*; он объявил свободу невольникам, которые к нему пристали. Но неприятели напали на него, теснили и принудили убежать из города.

Сулла собрал сенат и осудил на смерть как самого Мария, так и немногих других, в числе которых был и трибун Сульпиций, который, однако, убил себя, будучи предан своим рабом. Сулла сперва дал рабу свободу, а потом велел свергнуть его со скалы. Он обещал денежную награду за голову Мария – поступок бесчеловечный и неблагоразумный, ибо незадолго перед тем, предав себя в руки Марию в его доме, был им безопасно отпущен. Когда бы Марий не выпустил тогда Суллу, когда бы он предал его в руки Сульпиция для умерщвления, то он мог бы овладеть республикой; при всем том он пощадил его. Через несколько дней Марий находился в подобных обстоятельствах, но не получил подобного снисхождения. Этот поступок произвел в сенате тайное неудовольствие. Неблагорасположение и ненависть народа к Сулле обнаруживались на деле. Когда Ноний, племянник его, и Сервий искали через него достоинства, то граждане отказали им с поруганием и избрали других, которым оказывая уважение, думали тем досадить Сулле.

Но Сулла притворялся, что это было ему приятно, как бы народ через него получил свободу делать то, что хотел. Дабы смягчить ненависть к нему народа, он возвел в консулы Луция Цинну, хотя и противной ему стороны, обязав его клятвой и проклятиями благоприятствовать его предприятиям. Цинна взошел на Капитолий, держа в руке камень, и клялся Сулле в верности в присутствии многих особ, примолвив при том, чтобы ему быть выброшену из города, подобно выбрасываемому рукою его камню, если верности не сохранить – и с этими словами бросил камень на землю. Однако едва получил консульство, как предпринял все испровергнуть. Он хотел предать суду Суллу и настроил Виргиния, одного из трибунов, доносить на него. Но Сулла, не заботясь ни о нем, ни о суде, отправился против Митридата*.

Говорят, что в те самые дни, в которые Сулла готовился к отплытию с флотом из Италии, Митридат, находясь в Пергаме, видел разные неблагоприятные знамения, из которых примечательнейшее есть следующее. Изображение победы с венцом в руках, которую пергамцы некоторыми махинами спускали сверху на Митридата, в ту самую минуту, как она

почти касалась головы его, раздробилась, а венец выпал и, катясь по театру, рассыпался в куски. Этот случай произвел в народе ужас, а в Митридате великое уныние, хотя в то время успехи его превосходили всю его надежду. Азию он отнял у римлян, Вифинию и Каппадокию у царей их*. Он имел пребывание свое в Пергаме, раздавая друзьям своим богатства, власти и царства. Один из сыновей его, не будучи никем обеспокоиваем, управлял в Понте и Боспоре* древними достояниями предков своих, простиравшимися до необитаемых стран за Мэотидой; другой же, Ариарат, покорял Фракию и Македонию с многочисленным войском. Полководцы его завоевали разные страны, имея великие силы. Главнейший из них, Архелай, обладая почти всем морем множеством кораблей своих, поработил Киклады и другие острова, расположенные по эту сторону мыса Малеи*, и саму Эвбею. Выступив из Афин, он отделил от римлян до самой Фессалии греческие народы. Он претерпел некоторый урон при Херонее, где встретил его Бруттий Сура, наместник Сентия, претора македонского, человек, отличный смелостью и умом. Этот Бруттий остановил стремление Архелая, наподобие быстрого потока несущегося через Беотию, и в трех сражениях при Херонее принудил его отступить и ограничиться обладанием моря. Когда ж Лукулл велел Бруцию уступить все приближающемуся Сулле, которому определено народом вести войну, то он оставил немедленно Беотию и удалился к претору своему Сентию, хотя дела его были выше всякой надежды удачны, и Греция была готова к перемене властителя, по причине хороших его свойств. Таковы были блистательнейшие дела, произведенные Бруттием!

Сулла по прибытии своем в Грецию получил во власть свою города, которые отправляли к нему посольства, но Афины были принуждены тиранном их Аристионом держаться стороны Митридатовой. Сулла подступил к городу со всеми силами. Он обступил и осадил Пирей, действовал против Афин разного рода машинами и всячески на них нападал, хотя и мог, подождав несколько времени, взять без всякой потери Верхний город*, который, по недостатку в припасах, доходил до последней крайности. Но спеша возвратиться в Рим и боясь тамошних переворотов, силился окончить войну, пренебрегая опасностями, давая сражения и не щадя издержек. Сверх прочих приготовлений все нужное к строению машин доставляемо было ежедневно на десяти тысячах пар лошаков, которых использовали к работе. Когда у него недоставало леса, ибо многие машины разрушались от собственной их тяжести, а другие были часто сжигаемы пущенным от неприятеля огнем, то Сулла поднял секиру на священные рощи. Он срубил деревья в Академии, обилующем ими предместии; то же сделал и в Ликее*.

Имея нужду в деньгах для продолжения войны, он коснулся священнейших храмов Греции. Из Эпидавра и Олимпии* велел привозить лучшие и великолепнейшие вещи, богам посвященные. Он писал в Дельфы амфиктионам, что лучше будет, если сокровища тамошнего бога будут к нему доставлены, ибо он либо сохранит их в безопасности, либо, употребивши их, возвратит равное количество оных. Он отправил фокейца Кафиса, своего друга, с приказанием брать каждую вещь весом. Кафис, по прибытии своем в Дельфы, не решался коснуться священных вещей; амфиктионы умоляли его убедительно, и Кафис плакал, находясь в такой жестокой необходимости. Некоторые сказали, что послышался им звук кифары, находящейся в святилище. Кафис, поверивший этому, или желая внушить Сулле страх к богам, писал ему об этом происшествии. Но Сулла отвечал насмешливо, что он удивляется, как Кафис не понимает, что на лире играет не тот, кто сердится, но кто веселится; по этой причине велит ему брать вещи со спокойным духом, ибо сие богу приятно. Немногим грекам было известно, что вещи эти были высылаемы Сулле, но когда амфиктионам надлежало изломать в куски серебряную бочку, которая одна оставалась из царских подарков*, сделанных храму, и которую, по причине ее тяжести и величины, не могли вести вьючные скоты, то греки вспоминали то о Тите Фламинине, то о Мании Ацилии, то о Эмилии Павле, из которых один изгнал из Греции Антиоха, а другие, победив царей македонских, не только не коснулись греческих храмов, но умножили дары их, придали им более чести и важности. Эти мужи предводительствуя по законам, воинами неиспорченными, привыкшими с безмолвием исполнять повеления начальства, имея душу царскую, но ведя жизнь простую, делали только умеренные и определенные издержки. Льстить воинам своим было для них постыднее, нежели страшиться врагов. Тогдашние же полководцы, похищая первенство насилием, а не доблестью, и более имея нужду в войске один против другого, нежели против неприятелей, предводительствуя им,

принуждены были льстить и потворствовать воинам своим; покупали труды деньгами, которые издерживали к удовлетворению их прихотей, нечувствительно сделали все отечество продажным, а самих себя рабами подлейших людей, из желания начальствовать над лучшими гражданами. Вот что произвело изгнание Мария и возвращение его против Суллы, убиение Октавия Цинной, а Флакка Фимбрией*. Сулла подал первые тому примеры, и дабы развратить и переманить на свою сторону тех, кто был под начальством другого, сыпал деньгами перед своими подвластными и расточал им свое имение. Таким образом, приучая чужих воинов к измене, своих к развратной жизни, имел он великую нужду в деньгах, особенно для продолжения осады Афин.

Желание его взять Афины было весьма сильно и неисцелимо. Неизвестно, сражался ли он по тщеславию с призраком древней славы города или был раздражен насмешками и хулами, которыми со стен осыпал самого его и Метеллу тиранн Аристион*. Этот тиранн, душа которого была составлена из распутства и свирепости; который восприял в себя стекшиеся к нему мерзостнейшие страсти и склонности Митридата, как смертоносная язва пристала в последние годы к этому городу, уцелевшему до того от многих браней и избегшему многих мятежей и тираннической власти. В то время, когда в городе мера пшена продавалась по тысяче драхм и люди питались растущей вокруг акрополя травой*, ели жареную обувь и кожаные масличные сосуды, Аристион предавался ежедневно пьянству и пиршествам, только шутил и насмехался над неприятелем. Он дал погаснуть священной богининой лампаде по недостатку в масле, а верховной жрице, просившей у него полмерки пшена, послал столько же перцу. Сенаторы и жрецы просили его помиловать город и вступить с Суллой в переговоры; тиранн рассеял их, стреляя по них из лука. Уже поздно и с великими трудом склонился он послать к Сулле двух или трех из товарищей своих в пьянстве. Прийдя к Сулле, они не говорили ничего пристойного к спасению города, но упоминали с важностью только о Тесее и Эвмолпе и о Персидской войне. На эти речи Сулла отвечал им: «Ступайте домой, милейшие, и берите с собою ваши речи; я послан в Афины римлянами не для того, чтобы учиться, но для того, чтобы покорить мятежников».

Говорят, что некто подслушал в Керамике* разговор: старики разговаривали между собою, бранили тиранна за то, что не стережет стены при Гептахалке*, месте удобоприступном, по которому одному неприятели могли легко войти в город. Слова эти были пересказаны Сулле, который ими не пренебрег, но прийдя ночью к тому месту и видя, сколько было удобно занять оное, приступил к делу. Сулла сам в записках своих говорит, что прежде всех взошел на стену Марк Атей и встретился с одним неприятелем. Марк обрушил такой удар, что меч переломился о его шлем, однако при всем том он не отступил, но удержал свое место. Город был взят с этой стороны, как старики предполагали. Сулла, срыв стену и сравнив все пространство, лежащее между вратами Пирейскими и Священными, в самую полночь вступил в город, сопровождаемый ужасом, при звуке многих труб и рогов, среди восклицаний и криков воинов, которые устремлены были на грабеж и убиение и неслись с обнаженными мечами по всем улицам. По этой причине число убиенных неизвестно; о множестве же их и поныне судят по месту, по которому текла кровь. Кроме тех, кто погиб в других частях города, кровь, пролитая близ площади, покрывала всю Керамику по самые Двойные ворота*. Многие говорят, что кровь протекла за городские ворота и наводнила предместье. Хотя велико было число умерщвленных таким образом граждан, но не меньше было умертвивших самих себя, из жалости и сострадания к отечеству, которое почитали погибшим. Все лучшие граждане были в страхе и отчаялись в спасении своем, не надеясь найти ни малейшего снисхождения и милости в Сулле. Наконец частью моления Мидия и Каллифонта, афинских изгнанников, которые пали к его ногам, частью просьбы сенаторов, находившихся при нем в походе и просивших его о пощаде, были причиной, что он, насытив уже свое мщение, примолвил нечто в похвалу древних афинян и объявил, что дарует немногих многим, милуя живых ради умерших.

В записках своих он пишет, что Афины взяты им в мартовские календы. Это число соответствует новолунию месяца анфестириона. В этот самый день отправляются некоторые обряды в память бывшего некогда от великих дождей вреда и тогдашней гибели, ибо полагают, что около того времени случился потоп*.

По взятии города, тиранн убежал в Акрополь, где и был осажден. Осада препоручена была

Куриону. Тиранн выдержал оную несколько времени, но наконец, томимый жаждой, предал сам себя Сулле. Божество явило в то же время великое знамение. В тот самый день и час, в который Курион привел его в город, вдруг небо, которое было ясно, покрылось тучами, пошел сильный в великом количестве дождь, и Акрополь наполнился водою. Вскоре Сулла взял и Пирей и предал огню большую часть зданий, в числе которых была оружейная, удивительное здание, воздвигнутое Филоном*.

Между тем Таксил, полководец Митридата, выступил из Фракии и Македонии, имея сто тысяч пехоты, десять тысяч конницы и девяносто колесниц, серпами вооруженных и запряженных четырьмя конями. Он звал в себе Архелая, который, находясь всегда с флотом при Мунихии, не хотел удалиться от моря и не имел довольно бодрости сражаться с римлянами. Намерение Архелая было продлить войну как можно далее и отнять у неприятелей способы к продовольствию. Сулла, предвидев это гораздо лучше Архелая, оставил места бесплодные, которые и во время мирное не могли бы продовольствовать пищей войско его, и вступил в Беотию. Многие думали, что он поступил безрассудно, оставив Аттику, страну каменистую, в которой трудно может действовать конница, и вступил в равнины и в открытые поля Беотии, когда он видел, что неприятельская сила состояла в коннице и колесницах. Но Сулла, как сказано, избегая голода и недостатка, принужден был искать опасностей, со сражением сопряженных. Сверх того, был он в беспокойстве за Гортензия, опытного и честолюбивого полководца, который вел к нему из Фессалии войско, но был подстерегаем неприятелями в узких проходах. Вот что было причиной вступления Суллы в Беотию. Что касается до Гортензия, то некто из наших единоземцев, по имени Кафис, обманув варваров, провел его совсем другими дорогами через Парнас к самой Титоре*, город, который не был тогда таким, как ныне, но малой крепостью на утесистой скале, на которую в древние времена удалились и спаслись бежавшие от нашествия Ксеркса фокейцы. На этом месте остановился Гортензий; днем отразил натиск неприятеля, а ночью трудными дорогами сошел к Петрониде и вместе с войском своим присоединился к Сулле.

После соединения заняли они плодовитое и пространное возвышение, стоявшее на самой средине Элатийской равнины*, у подножия которого текла вода. Это возвышение называется Филобеот. Сулла чрезвычайно хвалит свойства его и положение. Когда они поставили стан, то неприятелям показались весьма малочисленными. Конницы было у них не более полуторы тысячи, а пехоты менее пятнадцати тысяч. По этой причине неприятельские полководцы, против воли Архелая, поставили в боевой порядок свое войско и все поле покрыли конницей и разного рода колесницами и щитами. Воздух едва мог вместить крики и шум, производимые таким множеством народа, в одно время строившимся в боевой порядок. Надменность их и горделивая пышность не были бездейственны и немало способствовали к внушению изумления. Блеск оружий, великолепно украшенных золотом и серебром, яркие краски мидийских и скифских хитонов, смешанные с блистающим железом и медью, представляли при колебании воинов и переходе их с места на место, зрелище огневидное и ужасное. Римляне ограничивались своим станом, и Сулла, никакими представлениями не могши их освободить от ужаса, не желая насильно принудить их к сражению, оставался в покое и терпел с негодованием и досадой ругающихся с хвастовством и смеющихся над ним варваров. Однако именно это обстоятельство помогло ему более всего. Неприятели, пренебрегая им, предались величайшему беспорядку; они и без того не были послушны полководцам своим, по причине многоначалия. Немногие из них оставались в стане; большая часть, прельстясь грабежом, рассеялась по разным местам на несколько дней пути от стана. Говорят, что они разрушили город Панопей, разграбили Лебадию, расхитили прорицалище без приказания какого-либо из полководцев их. Сулла, видя своими глазами опустошенные города, печалился и досадовал; он не позволял воинам своим предаваться бездействию, но занимал их работой, заставлял переменять течение Кефиса и выкапывать рвы. Никому не давал отдыха; нерадивых наказывал с неумолимой строгостью, дабы воины, наскучив работой, предпочли трудам опасности битвы.

Это и воспоследовало. На третий день их работы, когда Сулла прошел мимо их, они просили с громким криком, чтобы он вел их на неприятеля. Сулла отвечал им, что речи их обнаруживают не желание сражаться, но желание не работать; однако, если они твердо решились вступить в бой, то приказывает им идти с оружием туда – указав на бывший акрополь

Парапотамиев*, которой тогда, по разрушении города, был только холм каменистый и окруженный скалами. Он отделяется от горы Гедилия только рекою Асс, которая потом, сливаясь с Кефисом у самого подножия горы, и получая тем большую быстроту, делает возвышение природным укреплением, подходящим для стана. Сулла, видя, что неприятельские воины, вооруженные медными щитами, стремились на эту высоту, хотел их предупредить и занять место. И он занял его, пользуясь тогдашним усердием воинов своих. Архелай, будучи вытесненным оттуда, устремился на Херонею. Те из херонейцев, кто находился при войске Суллы, просили его не предавать их города неприятелю. Сулла выслал Габиния, одного из трибунов, с одним легионом. Он отпустил и херонейцев, которые хотели, но не могли опередить Габиния. Столько-то муж сей был добр и более имел желание спасать, нежели другие быть спасенными! Впрочем, Юба говорит, что был послан не Габиний, а Эриций. Вот каким образом наш город спасся, будучи столь близко от своей погибели!

Между тем из Лебадии и Трофонийской пещеры римляне получили благие вести и прорицания, предвещавшие им победу. Тамошние жители много о них говорят. Сулла в десятой книге своих записок упоминает, что Квинт Титий, один из известнейших купцов греческих, пришел к нему уже по одержании победы при Херонее, с известием, что он, по предзнаменованиям Трофония, на том же месте вскоре даст другое сражение и вновь одержит победу. После Тития, некоторый из воинов его, по имени Сальвиен, принес ему ответ от бога, касательно того, какой конец будут иметь италийские дела. Оба говорили то же самое о священных прорицаниях. Они уверяли, что Трофоний, по величине и красоте своей, показался им весьма похожим на Зевса Олимпийского.

Сулла, переправившись через реку Асс и прийдя к подножию Гедилия, расположил стан свой против Архелая, который оградил себя крепким валом посреди Аконтия и Гедилия. Место, где стояли его шатры, и поныне называется Архелаем, по имени его. По прошествии одного дня Сулла оставил тут Мурену с легионом и двумя когортами, дабы беспокоить устраивающегося неприятеля, а сам, по принесении жертвы на берегах Кефиса, шел к Херонее, дабы взять находившиеся там силы и обозреть Фурий, местоположение, прежде того занятое неприятелем. Это крутая вершина горы, имеющая вид кедровой шишки, которую называют Орфопагом. Под горой находится речка Мол и храм Аполлона Фурийского. Этот бог назван так по имени Фурол, матери Херона, которого почитают основателем Херонеи. Некоторые говорят, что здесь явилась Кадму корова, данная ему пифием в указательницы дороги. Место это названо Фурий, ибо на финикийском языке «фор» значит корову.

Сулла находился уже близко от Херонеи, как бывший в этом городе трибун, ведя с собою вооруженных воинов, вышел к нему навстречу, неся лавровый венок. Сулла принял его, приветствовал воинов и увещевал их мужественно сражаться. В то самое время два херонейца, Гомолоих и Анаксидам, пришли к нему и обещали выгнать из Фурия занявших оный неприятелей, если получат от него малое число воинов, ибо они знали тропинку, не известную варварам, которая от места, называемого Петраха, близ храма Муз, вела к самой вершине Фурия. Они уверяли, что когда бы пошли сим местом, то удобно могли бы учинить нападение на неприятеля сверху, побить каменьями или вытеснить в поле. Габиний свидетельствовал о храбрости и верности этих людей, и Сулла велел им произвести в действо свое намерение. В то самое время поставил он войско в боевой порядок; конницу расположил по обоим крылам; правым предводительствовал сам, а левое отдал Мурене. Гальба и Гортензий, наместники его, стояли с когортами в тылу на высотах, для охранения войска от обходов, ибо примечено было, что неприятели великим множеством конницы и легкой пехоты устраивали свое крыло так, чтобы оно способно было к обходу, дабы вытянуть его далеко и обступить римлян.

Между тем херонейцы, с данным им от Суллы начальником Эрицием, обошли Фурий скрытно и явились неожиданно на высоте. Это стало причиной тревоги, бегства и поражения друг от друга варваров; они, не останавливаясь, неслись вниз горы, падали одни на копья других и, тесня один другого, свергались со скалы, между тем как неприятели сверху на них нападали, поражали с тылу в обнаженные места, так что вокруг Фурия пало более трех тысяч человек. Мурена, уже стоявший в боевом порядке, отрезал дорогу одной части бегущих и поражал тех, кто ему попадался; другая их часть, устремившись к своему войску и бросившись в беспорядке в фалангу, исполнила ее страха и неустройства и произвела в полководцах

нерешимость, которая причинила им величайший вред, ибо Сулла быстро на них напал в таком их беспорядке, пройдя с великой скоростью пространство, лежавшее между ими, и через то лишил всего действия вооруженные серпами колесницы. Сила колесниц умножается по мере долготы их течения, которое сообщает им, при самом движении, быстроту и крепость. Напротив того, будучи пущены на малое пространство, они производят слабое действие, или вовсе не имеют никакого, подобно стрелам, пущенным не из напряженного лука. Это тогда и случилось. Первые колесницы, выезжая медленно и нападая слабо, были отражены римлянами, которые с шумом и смехом требовали, чтобы им подали другие, как бывает в ристаниях в римском цирке. Между тем пехотные силы сошлись. Неприятели выставили длинные копья, сомкнулись щитами и старались сохранить в порядке фалангу, но римляне, бросая на землю дротики, обнажали мечи, отбивали ими копья неприятелей, дабы в ярости своей скорее подойти к ним. Перед ополчением неприятелей нашли они построенными пятнадцать тысяч рабов, которым царские полководцы в городах дали свободу всенародным объявлением, и разместили их в тяжелой пехоте. Некоторый римский сотник сделал тогда замечание, что он только на Сатурналиях видал рабов, имеющих право говорить свободно. Густота и глубина их ополчения препятствовали римской пехоте вытеснить их скоро; они осмеливались, против свойства своего, удерживать свое положение, но зажигательные стрелы и дротики, пущенные во множестве римлянами, сзади стоявшими, заставляли их отворачиваться и расстраиваться.

Архелай вытянул правое крыло, дабы обойти римлян; Гортензий пустил когорты, которые быстро устремились, дабы ударить на него сбоку. Но Архелай поворотил поспешно свою конницу, из двух тысяч состоявшую, и Гортензий, теснимый великим числом неприятелей, отступал к гористым местам, будучи мало-помалу отрезываем от фаланги и обступаем неприятелем. Сулла, узнав о происходившем с правого крыла, еще не вступавшего в сражение, спешил к нему на помощь. Архелай, по поднявшейся пыли, судя об этом движении, не заботясь более о Гортензии, направил силы свои к правому крылу, Суллой оставленному, надеясь застать оное без вождя. В то самое время Таксил обратил на Мурену меднощитых своих воинов. Сулла, слыша поднимающийся с обеих сторон крик, повторяемый горами, остановился и был в недоумении, к которой стороне лучше обратиться. Он рассудил принять свое прежнее положение; послал на помощь Мурене Гортензия с четырьмя когортами, сам приказав пятой следовать за собою, и спешил к правому крылу, которое, будучи само уже довольно сильно, могло устоять против Архелая. При появлении же Суллы войска, там находившиеся, совершенно разбили неприятеля и преследовали его в беспорядочном его бегстве до самой реки и до горы Аконтия. Сулла однако не забыл Мурены, который находился в опасности. Он устремился на помощь к его войску, но найдя его побеждающим, участвовал в преследовании неприятеля. Великое число варваров было умерщвлено на равнине; еще большее было побиваемо при приближении их к валу. Только десять тысяч из всего многочисленного войска спаслись бегством в Халкиду. Сулла говорит, что он из своих воинов искал только четырнадцать человек, из которых, однако, двое явились под вечер. По этой причине он написал на своих трофеях имена

Марса, Победы и Венеры, разумея, что искусством и силой, не менее как и счастьем, совершен им сей подвиг. Трофей воздвигнут на поле сражения, на том месте, где войско Архелая начало отступать до ручья Мола. Другой трофей воздвигнут на вершине Фурия, в память об окружении варваров, с греческою надписью, означающей, что Гомолоих и Анаксидам ознаменовали себя в этом сражении.

Победное торжество отпраздновал он в Фивах, построив театр у Эдипова источника. Судьями поставлены были греки, из других городов вызванные, ибо Сулла был непримиримый враг фиванцам. Он отнял у них половину земли и посвятил ее Аполлону Пифийскому и Зевсу Олимпийскому, приказав, чтобы с доходов с этих земель были возмещены богам те деньги, которые он отнял.

По получении известия, что Флакк, избранный в консулы стороной противника, переплывал с войском Ионийское море, под предлогом идти на Митридата, но в самом деле с намерением напасть на него, Сулла устремился в Фессалию, дабы его встретить. По прибытии своем в город Мелитию*, получил он с разных сторон известия, что оставленные за ним области опустошались новой царской силой, которая была не малочисленнее первой. В самом

деле Дорилай пристал в Халкиду со многими кораблями, на которых было восемьдесят тысяч человек лучшим образом обученного и устроенного Митридатова войска. Он высадил его на берег, вступил в Беотию и занял всю область, желая привлечь к сражению Суллу. Он мало обращал внимания на представления Архелая, который ему запрещал сражаться; напротив того, говорил о прежнем сражении, что не без измены погибло столь многочисленное войско. Сулла поспешно обратился назад и доказал Дорилаю, что Архелай был благоразумен и совершенно знал храбрость римлян. Этот полководец, слегка сразившись с Суллой у Тилфоссия*, был уже первый из тех, кто утверждал, что не надлежало вступать с ним в бой, но издержками и временем длить войну. Однако местоположение, занимаемое ими при Орхомене, придало несколько бодрости Архелаю. Оно есть самое выгодное к сражению для войска, главную силу которого составляет конница. Из беотийских полей это есть самое пространное и прекрасное, и от города Орхомена одно простирается без деревьев до болот, в которых теряется река Мелан, изливающая обильные воды из-под самого Орхомена. Она одна из всех греческих рек в самом истоке своем судоходна. В летний поворот солнца воды ее прибывают, подобно водам Нила; на берегах ее растут те же растения, какие растут и на берегах Нила; однако оные бесплодны и не так высоко поднимаются. Но течение ее непродолжительно; большая часть вод ее теряется в бездонных и илистых болотах; некоторая же часть сливается с Кефисом в том месте, где болото производит тростник, употребляемый для свирелей.

Оба войска остановились не в дальнем расстоянии одно от другого. Архелай пребывал в бездействии; Сулла с обеих сторон рыл ямы, стараясь, буде можно, отрезать неприятелей от твердых и к действиям конницы способных мест, и вытеснить его в болота. Неприятельские воины, не терпя этого и получив от полководцев своих позволение, устремились на работавших римлян с такой силою, что не только рассеяли их, но большую часть закрывавшего их войска привели в беспорядок и обратили в бегство. При виде том, Сулла соскочил с коня, схватил знамя и, пробираясь сквозь бегущих воинов к неприятелям, кричал: «Римляне! Мне здесь умереть славно; когда же вас спросят, где вы предали полководца своего, не забудьте говорить: “В Орхомене!”» Эти слова заставили их обратиться к неприятелю; две когорты с правого крыла пришли к нему на помощь; он напал с ними на неприятеля и принудил его отступить. После этого отвел свое войско назад, дал ему завтракать и вновь начал рыть ямы вокруг стана неприятельского. Варвары вновь выступили против него в лучшем порядке, нежели прежде. Диоген, сын жены Архелая, отлично сражавшийся на правом крыле, пал мертвым в виду всех. Стрельцы, будучи теснимы римлянами и не имея пространства, потребного к стрелянию из луков, схватив пуки стрел, ими, как мечами, поражали и отражали их, но наконец, будучи заперты в окопах, провели ночь в беспокойстве от ран и поражения. С наступлением дня Сулла вновь вывел воинов своих на поле и продолжал работу. Неприятели в великом числе вышли, в намерении с ним сразиться. Сулла вступил с ними в бой и разбил их. Неприятели столько были объяты страхом, что никто из них не смел стоять против него; он завладел их станом. Болота были наполнены кровью, а озеро трупами мертвых*. До сих пор находят в болоте варварские луки, шлемы, мечи и отломки железных панцирей, погруженные в иле, хотя прошло двести лет после этого сражения. Таковы-то были подвиги Суллы при Херонее и Орхомене!

В то самое время Цинна и Карбон* в Риме поступали насильственно и беззаконно со знаменитейшими мужами, из которых многие, избегая их самовластия, стекались в стан Суллы, как в безопасное пристанище. Метелла с великим трудом спасла себя и детей своих и прибыла к нему с известием, что дом и поместья их были сожжены его неприятелями. Она просила его поспешить в Рим на помощь своим приятелям. Сулла находился в недоумении; с одной стороны не решался оставить отечество страждущее, а с другой не хотел удалиться, не довершив столь важного дела – войны с Митридатом. В этой его нерешимости прибыл к нему делосский купец, по имени Архелай, с тайными предложениями царского полководца Архелая, которые подавали ему хорошие надежды. Сулле столь были приятны его слова, что он сам поспешил иметь свидание с Архелаем. Они сошлись на берегу морском близ Делия, где находится храм Аполлона. Архелай говорил первый; он представлял Сулле, что ему должно оставить Азию* и Понт и отправиться в Рим, взяв от Митридата деньги, корабли и столько силы, сколько ему хотелось. Сулла, вместо ответа, советовал Архелаю отстать от Митридата и самому царствовать, сделаться союзником римлян и предать все корабли ему. Архелай отверг

измену с негодованием – и Сулла продолжал: «Ты, Архелай, будучи каппадокийцем и варварского царя рабом и, если угодно, другом, не хочешь сделать бесчестного дела для приобретения таких великих благ, а со мною, с римским полководцем, с Суллой, смеешь говорить о предательстве? Как будто бы не ты тот Архелай, который убежал из Херонеи с малым числом воинов, имев прежде сто двадцать тысяч, который два дня скрывался в Орхоменских болотах и всю Беотию оставил непроходимой от множества трупов». Эти слова заставили Архелая перемениться; он поклонился Сулле, просил его о прекращении войны и примирении с Митридатом. Сулла изъявил свое согласие, и мир был заключен на следующих условиях: Митридату отстать от Азии и Пафлагонии; возвратить Вифинию Никомеду, а Каппадокию Ариобарзану; заплатить римлянам две тысячи талантов и дать им семьдесят военных кораблей со всеми снарядами. Сулла с своей стороны утвердил за ним все прочие его владения и признал его союзником римлян.

По заключении договора Сулла обратился назад и шел через Фессалию и Македонию к Геллеспонту, имея при себе Архелая, которому он оказывал уважение. Во время опасной болезни его в Лариссе, Сулла остановился и имел о нем попечение, как о подчиненном или равном ему полководце. Это подало повод подозревать, что в деле, бывшем при Херонее, Архелай действовал злонамеренно. Сверх того Сулла освободил всех Митридатовых приятелей, бывших у него в плену, но тиранна Аристиона, который с Архелаем был в ссоре, отравил ядом. Более всего умножили подозрение данные Архелаю на Эвбее десять тысяч префров земли, равно и то, что Сулла объявил его другом и союзником римлян. Но во всех обвинениях Сулла сам оправдывает его в записках своих.

Между тем прибыли от Митридата посланники с объявлением, что он принимает все прочие условия; только просили, чтобы Пафлагония не была отнята у Митридата; касательно же статьи о кораблях, вовсе ее отвергали. Сулла с гневом сказал им: «Что вы говорите? Ужели Митридат присваивает себе Пафлагонию и отказывается выдать корабли? Митридат, о котором думал я, что поклонится мне, если оставлю ему правую руку, которою столь много умертвил римлян? Иначе он будет говорить, если я переведу в Азию. Пусть теперь он, сидя спокойно в Пергаме, управляет войною, которой никогда не видал!» Посланники, устрашенные словами его, ничего не говорили. Архелай же просил Суллу и старался укротить гнев его, брал правую руку его и плакал. Наконец он уговорил Суллу отправить его к Митридату для заключения мира на тех условиях, каких Сулла желает, решась в противном случае умертвить самого себя. Сулла отпустил его, а между тем сам вступил в страну медов*, опустошал ее и прибыл опять в Македонию. Архелай, по возвращении своем, застал его в Филиппах* и уведомил, что все хорошо идет и что Митридат желает непременно иметь с ним свидание. Причиной этому был Фимбрия, который умертвил Флакка, полководца противной стороны, и победив Митридатовых военачальников, шел на него самого. Митридат, страшась его, тем более хотел иметь Суллу другом.

Они сошлись в городе Дардане, что в Троаде. Митридат имел при себе двести гребных судов, двадцать тысяч пехоты, шесть тысяч конницы и много серпоносных колесниц. У Суллы было только четыре когорты и двести всадников. Митридат вышел навстречу и простер к нему руку, но Сулла спросил его, заключает ли мир на тех условиях, на которые согласился Архелай? Митридат молчал. «Просителям пристало, – сказал Сулла, – говорить первым, а для победителей довольно, если они молчат». Митридат начал оправдывать себя, вину брани частью возлагал на богов, частью же на самих римлян. Сулла, прервав его, сказал: «Я давно от других слышал и ныне сам узнаю, что Митридат весьма искусен в красноречии; у него нет недостатка в благовидных словах для оправдания самых дурных и беззаконных деяний». Потом изобличил его в бесчестных поступках, обвинил его во всем и опять спросил: принимает ли условия, заключенные с Архелаем? Когда Митридат объявил на то свое согласие, то Сулла обнял и поцеловал его, потом привел царей Никомеда и Ариобарзана и примирил их с ним. Таким образом Митридат, уступив Сулле семьдесят кораблей и пятьсот стрельцов, отплыл в Понт. Сулле известно было, что воины его роптали на него за то, что он заключил мир; они почитали постыдным для себя, что враждебнейший из царей, который в один день устроил в Азии пагубу ста пятидесяти тысячам римлян, ныне, обремененный богатством и добычами, выезжает из Азии, которую ограбил и с которой собирал налоги в продолжение четырех лет.

Сулла говорил в защиту себе, что не был бы в состоянии воевать в одно время с Фимбрией и Митридатом, когда бы они соединились против него.

Двинувшись на Фимбрию, стоявшего при Фиатирах*, Сулла остановился далеко от него и окопался в своем стане. Воины Фимбрии, выходя из стана своего в одном платье, обнимали воинов Суллы, охотно помогали им работать. Фимбрия, видя такую в них перемену и боясь Суллы, как врага непримиримого, сам себя умертвил в своем стане*.

Сулла наложил на всю Азию вообще двадцать тысяч талантов пени*, но частно разорял жителей, предав их алчности и своевольству пребывающих в оных воинов. Хозяин обязан был платить стоявшему у него воину ежедневно по четыре тетрадрахма, давать обед ему и друзьям его, сколько бы их он не позвал. Начальник роты получал ежедневно пятьдесят драхм и два платья, одно домашнее, другое для выхода из дома.

Сулла отправился из Эфеса со всеми кораблями и на третий день пристал к Пирею. Он введен был во священные тайны и забрал себе книгохранилище теосца Апелликона, в котором находились большей частью сочинения Аристотеля и Феофраста, которые тогда не были довольно известны. Говорят, что это собрание книг было привезено в Рим и исправлено грамматиком Тираннионом*. От него родосец Андроник, получив подлинные списки, издал их в свет и составил таблицы, находящиеся ныне у всех в руках. Хотя древние перипатетики были люди образованные и любители учености, однако имели не многие сочинения Аристотеля и Феофраста и не самые верные, ибо наследство скепсийца* Нелея, которому оставил их Феофраст, досталось в руки невежам, не умевшим его ценить.

Во время пребывания Суллы в Афинах чувствовал он в ногах легкую боль и тяжесть, которую Страбон называет «детским лепетом подагры». Он отплыл в Эдепс* и пользовался тамошними теплыми водами, проводя жизнь веселую и беспечную в сообществе актеров. Некогда прохаживался он по морскому берегу; рыбаки принесли ему прекраснейшую рыбу. Он был весьма доволен их подарком и, узнав, что они были родом из Галеи, спросил: «Неужели кто-нибудь из галейцев жив еще?» Когда он одержал при Орхомене победу, то, преследуя неприятеля, разрушил три беотийские города – Анфедон, Ларимну и Галеи. Галейцы при этих словах сделались от ужаса безмолвными; Сулла, улыбнувшись, сказал им: «Ступайте домой спокойно, ибо вы пришли ко мне с достойными уважения посредниками». Говорят, что галейцы, осмелев, опять начали собираться и населять город свой.

Пройдя Фессалию и Македонию, Сулла прибыл на морской берег и готовился с тысячью двумястами кораблей переправиться из Диррахия в Брундизий. Неподалеку от Диррахия есть город Аполлония, и подле него Нимфей, где среди зелени лесов и лугов исходят огненные источники, по разным местам текущие беспрерывно. Говорят, что здесь был тогда пойман спящий сатир, подобный тем, кого представляют нам живописцы и ваятели. Он был приведен к Сулле, который посредством многих переводчиков спрашивал его, кто он такой. Сатир не говорил ничего внятного; он издал только пронзительный голос, подобный ржанию коней и крику козлиному; от чего Сулла приведен был в изумление и велел его удалить от себя, как ужасное чудовище.

При переправе своей в Италию, опасаясь, чтобы воины, выйдя на берег, не рассеялись каждый в свой город, он обязал их клятвой оставаться при нем и по своей воле не причинять никакого вреда Италии. Воины, видя, что он нуждается в деньгах, приходили к нему и всяк приносил столько денег, сколько мог по своему достатку. Сулла не принял сего приношения; он похвалил их за усердие, увещевал их и переправился в Италию против пятнадцати, как сам говорит, противной стороны полководцев, имевших под начальством своим четыреста пятьдесят когорт*. Но божество предвозвестило ему победу самыми явственными знамениями. По приезде своем в Тарент, он принес немедленно жертвы и увидел на головке печенки изображение лаврового венка и двух висящих повязок. Незадолго перед его приплытием в Кампании, у горы Тифаты*, видны были два огромных борющихся козла, которые действовали так, как в подобных случаях действуют сражающиеся люди. Но это было только явление, которое, мало-помалу поднимаясь от земли, рассеивалось по разным сторонам воздуха, подобно неясным призракам, и потом исчезло. По прошествии некоторого времени младший Марий и консул Норбан* привели к этому самому месту многочисленное войско. Сулла, прежде нежели успел устроить свое войско и назначить места своим воинам, пользуясь

крепостью общего усердия и стремлением их смелости, разбил неприятелей, умертвил их до семи тысяч и запер в Капуе Норбана. Это происшествие было, говорят, причиной того, что воины его не рассеялись по городам, но остались вместе и начали пренебрегать противниками, невзирая на то, что они числом несколько раз были более их. Говорят, что в Сильвии попался ему один служитель Понтия, вдохновенный богами; он возвещал ему именем Беллоны победу и окончание войны, но уверял его, что если не поспешит, то Капитолий будет сожжен. Сожжение действительно случилось в тот самый день, в который этот человек предрекал, а именно, накануне квинтилийских нон, которые ныне называем июльскими.

Марк Лукулл, один из полководцев, подчиненных Сулле, предводительствуя шестнадцатью когортами, устроился при Фиденции* против пятидесяти неприятельских когорт. Он был уверен в отважности своих воинов, но как большая часть их была безоружна, то он медлил напасть на противников. Между тем как он размышлял, что ему делать, с ближайшего луга повеял приятный ветерок, несший на войско множество цветов, которыми осыпал их. Цветы сами собою падали и останавливались на бронях и щитах воинов, так что они неприятелям казались увенчанными. Это обстоятельство умножило их храбрость. Они напали на противников, победили, умертвили восемнадцать тысяч их и завладели станом. Этот Лукулл есть брат того, который в последствии победил Митридата и Тиграна.

Сулла, видя себя окруженным со всех сторон многими и многочисленными неприятельскими войсками, употреблял против них то силу, то обман. Он предложил Сципиону, одному из консулов, вступить с ним в переговоры. Сципион на то согласился. Они несколько раз имели свидание и переговоры. Сулла всегда находил разные отговорки и предлоги, а между тем посредством воинов своих, которые во всяких хитростях и обманах были столько же искусны, как и полководцы их, развратил войско Сципиона. Они вступали в стан противников, смешивались с ними; одних привлекали тотчас деньгами, других обещаниями; иных уловляли лестью и убеждением; и так, наконец, Сулла с двадцатью когортами приблизился к ним, и воины его приветствовали Сципионовых, те ответствовали на их приветствие и пошли к ним, а Сципион остался один в своем шатре, но был потом отпущен. Таким образом, Сулла двадцатью когортами, как ручными птицами, переманив в свои сети сорок когорт, погнал всех в свой стан. По этой причине Карбон говаривал, что, сражаясь со львом и с лисицей, гнездящимися в душе Суллы, более претерпевал от лисицы.

После этого происшествия Марий, имевший под начальством своим при Сигнии восемьдесят пять когорт*, вызывал Суллу к сражению. Этот полководец чрезвычайно желал в тот день сразиться, ибо увидел во сне следующее: казалось ему, что старший Марий, задолго перед тем умерший, советовал сыну своему Марию беречься наступающего дня, который нанесет ему величайшее несчастье. Это сновидение умножило бодрость Суллы. Он звал к себе Долабеллу, который имел свой стан в некотором от него отдалении. Неприятели заняли дороги и препятствовали их соединению. Воины Суллы, сражаясь с ними и пролагая себе с боем путь, приведены были в изнеможение. Сильный дождь, во время работы их продолжавшийся, еще более изнурил их. Начальники рот приступали к Сулле и просили его отложить битву и в то самое время показывали ему воинов, бросившихся на землю от усталости и отдыхавших на щитах своих. Сулла, против желания своего, позволил им отдохнуть и дал приказание остановиться. Едва начали они окапываться, как Марий верхом, впереди войска, выступил горделиво, с надеждой рассеять их, нападая на них в таком беспорядке и тревоге. Тогда-то божество совершило ночное видение Суллы. Воины его воспылали гневом против Мария. Они оставили свою работу, воткнули копья в вал, обнажили мечи, воскликнули все вместе – и вступили в бой. Недолго неприятели могли выдержать их стремление. Они были разбиты с великим кровопролитием. Марий убежал в Пренесте*, но нашел городские ворота запертыми. Со стены спущена была веревка, которой он обвязал себя и был поднят вверх. Однако некоторые, между прочими и Фенестелла*, уверяют, что Марий не знал о происходившем сражении, но что, отягченный трудами и долгим бодрствованием, лег на землю под тенью, когда дан был к битве знак, позволил сну обладать собою и насилу проснулся тогда, когда уже войско его бежало. Сулла говорит, что в этом сражении он потерял только двадцать три человека; что умертвил двадцать тысяч неприятелей и в плен взял восемь тысяч. Другие полководцы, как-то: Помпей, Красс, Метелл и Сервилий, имели такие же успехи. С малыми

трудами, или без всякого труда, истребили они многочисленные силы своих противников до того, что Карбон, начальник стороны противников, ночью убежал из своего войска и отплыл в Ливию*.

Но в последнем деле самнит Телезин, подобно свежему борцу, нападающему на борца изнеможенного, едва не опрокинул Суллы и не поверг на землю перед воротами самого Рима. Телезин спешил к Пренесте вместе с луканцем Лампонием, дабы вырвать Мария из осады. Узнав, что Сулла идет на него спереди, а Помпей преследует его с тылу, не будучи в состоянии идти ни вперед ни назад, сей великий и опытный в великих военных действиях воитель, поднявшись ночью со всею своей силою, пошел прямо к Риму и едва не ворвался в оный, найдя его без стражей. Он поставил стан свой за десять стадиев от Коллинских ворот, возносясь надеждой и гордясь тем, что обманул многих и великих полководцев. На рассвете дня выступила против него конница, состоявшая из знаменитейших юношей. Телезин умертвил многих, и между прочими Аппия Клавдия, благородного и храброго человека. Город был в тревоге, женщины издавали жалобные крики, все бегали взад и вперед, как будто бы Рим был взят приступом; вдруг увидели опрометью скачущего Бальба, посланного Суллой на помощь городу с семьюстами человек конницы. Бальб остановился, дабы дать время отдохнуть своим лошадям, и потом, взнуздав их, поспешно устремился на неприятеля. Между тем показался и Сулла. Он приказал передовым своим завтракать; потом устроил их в боевой порядок. Долабелла и Торкват всеми средствами старались удержать Суллу от нападения и не допускали его, с утомленным войском, подвергаться крайней опасности; они представляли ему, что с ним воюют не Карбон и Марий, но самниты и луканцы, племена самые воинственные и враждебные Риму. Сулла отверг их советы, велел затрубить в трубы, в знак нападения. Тогда уже было около десяти часов. Сражение было самое жестокое. Правое крыло, предводимое Крассом, одержало блистательную победу, но левое находилось в опасном и трудном состоянии. Сулла поспешил ему на помощь на белой лошади, быстрой и горячей. По ней два ратника противной стороны узнали Суллу, и уже подняли руки, чтобы пустить на него свои копья. Сулла сего не приметил, но его конюший ударил плетью лошадь, которая отскочила на столько, что копья упали близ хвоста ее и воткнулись в землю. Говорят, что Сулла имел всегда при себе малый золотой кумир Аполлона из Дельф, который в сражениях носил всегда за пазухой. В то время целовал он сей кумир, говоря: «О, Аполлон Пифийский! Ужели ты, подняв такими подвигами на высоту величия и славы счастливого Суллу Корнелия, здесь, перед вратами отечества, куда ты привел его, покинешь, дабы он со стыдом погиб вместе со своими согражданами?» Принеся сие моление, одних из воинов просил, другим грозил, иных стыдил. Но наконец левое крыло было разбито, и Сулла, смешавшись в толпу бегущих, ускакал в свой стан, потеряв многих из друзей своих. Немалое число жителей, вышедших из города, дабы быть зрителями битвы, были растоптаны и погибли. Рим почитал судьбу свою решенной. Осада Пренесты не была снята. Многие побежали с места сражения к осаждавшим и советовали Лукрецию Офелле, который держал город в осаде, отступить немедленно, ибо Сулладе погиб и неприятели завладели Римом.

Однако в самую глубокую ночь пришли в стан Суллы воины Красса, которые просили ужина для него и для его воинов. Красс, победив неприятеля, преследовал его до Антемны* и там остановился. Сулла, узнав это и известившись, что большая часть неприятелей погибла, пришел на рассвете дня в Антемну. Три тысячи неприятельских воинов послали просить у него пощады. Сулла обещал им безопасность, если они придут к нему, сделав его неприятелям какое-либо зло. Они поверили обещанию и напали на других воинов. В сражении пало много тех и других. Несмотря на это, Сулла как этих воинов, так и других оставшихся, до шести тысяч человек, собрал в цирке, а сам созвал сенаторов на заседание в храм Беллоны. И в то самое время, как он начала говорить речь, приставленные от него воины умерщвляли этих шести тысяч. Жалобный крик такого множества поражаемых в тесном месте, как легко понять можно, простирался до храма. Сенаторы приведены были в изумление. Но Сулла со спокойным лицом просил их слушать с вниманием слова его и не любопытствовать о том, что вне происходит, ибо по его приказанию проучивают некоторых дурных людей*.

Эти слова заставили самых ограниченных римлян понять, что все происшедшее было не что иное, как перемена тираннии, а не избавление от оной. Марий, будучи с самого начала

суров, не переменил в самовластии природных свойств, он только усугубил свою жестокость. Сулла же, сперва умеренно и благоразумно пользовавшийся своим счастьем, приобретший славу приверженного к аристократии и народу полезного полководца, с молодых лет любивший смех и заботы, столь склонный к жалости, что легко давал волю слезам. Он по справедливости навлек на великую власть тот упрек, что она переменяет нравы и не позволяет им оставаться в первоначальном состоянии, но производит в них надменность, невоздержание, свирепость. Изменение ли то природных свойств, счастьем произведенное, или обнаружение при власти сокрытых пороков, это следует рассматривать в другом роде сочинении.

Уже Сулла, предавшись убийствам, исполнил Рим мертвыми телами; им не было ни числа, ни границ; умерщвляемы были и по частной вражде многие из тех, которые не имели никакого дела с Суллой. Он позволял убийства, угождая своим любимцам. Гай Метелл, молодой человек, осмелился спросить его в сенате, какой предел будет бедам и какой степени достигши, надлежало ожидать конца сим происшествиям? «Мы не просим тебя, – говорил он, – избавить от казни тех, кого ты решился умертвить, но избавить от сомнения тех, кого спасти намерен». Сулла отвечал, что он еще не знает, кого спасти. «По крайней мере объяви, – сказал Метелл, – кого ты думаешь покарать». Сулла обещал исполнить это. Некоторые уверяют, что последние слова сказаны каким-то Фуфидием* из числа любимцев Суллы, а не Метеллом. Сулла тотчас составил проскрипцию (то есть по-латыни «список») из восьмидесяти граждан, не сообщив о том никому из правителей республики. Все на то негодовали; через день назначил он еще двести двадцать человек, на третий день не менее того. Говоря о том в речи своей народу, он объявил, что назначает к проскрипции тех, кого он помнит, а кого забыл, назначит после. Принимающему в свой дом и спасающему проскрипта, в наказание за человеколюбие его, назначаема была смерть, не исключая ни брата, ни сына, ни родителей. Умертвившему проскрипта он назначил награды два таланта, хотя бы то был невольник, умертвивший господина, или сын отца! Всего несправедливее то, что он объявил бесчестными и сынов, и внуков проскриптов, и забрал имение всех их.

Не только в Риме производились проскрипции, но и во всяком городе Италии. Ни храм богов, ни жертвенник, ни гостеприимство, ни дом отцовский не остались не осквернеными убийством. Умерщвляемы были мужья в объятиях жен, дети в объятиях матерей; число умерщвляемых из гнева и вражды было не менее числа тех, кто умерщвляемы были за их имение. Убийцы могли говорить, что одного убил огромный дом, другого сад, третьего теплые воды, ему принадлежавшие. Квинт Аврелий, человек, не входивший ни в какие дела, который думал, что в бедствиях своих сограждан участвует лишь соболезнованием об них, придя на площадь, читал имена проскриптов; в числе их нашел и себя. «Горе мне несчастному! – сказал он. – Поместье в Альбане меня губит». Он отошел несколько шагов и был убит человеком, гнавшимся за ним*.

Между тем Марий-младший, чтобы избежать плена, умертвил сам себя*. Сулла приехал в Пренесту. Сперва судил он каждого порознь и предавал наказанию; потом, как бы не имел довольно на то времени, собрал воедино всех жителей, которых было около двенадцати тысяч человек, и велел их убивать, освободив от участи только лишь хозяина дома, где остановился. Но этот благородный человек, сказав, что никогда не будет обязан благодарностью за свое спасение губителю своего отечества, бросился в толпу убиваемых по своей воле и вместе с другими согражданами своими погиб. Поступок Луция Катилины* замечателен по своей странности. Прежде нежели участь войны была решена, он убил брата своего, а когда Сулла одержал верх, то он просил его вписать имя убиенного в число проскриптов, как будто бы он был жив. Желание его было исполнено. В знак благодарности к Сулле убил он Марка Мария*, гражданина противной стороны, и принес голову его Сулле, когда он сидел на площади; потом побежал к близстоявшей Аполлоновой кропильнице и умыл в ней руки свои*.

Помимо этих убийств, многие другие поступки Суллы тоже оскорбляли граждан. Он провозгласил себя диктатором, возобновив это достоинство после ста двадцати лет. Решением народным предано было забвению все прошедшее, а на будущее время давалась ему власть казнить смертью, отбирать имение, населять, строить и разрушать города, отнимать и давать царства по своему произволу.

Он продавал отобранные имущества, сидя на трибуне, с такою гордостью и самовластием,

что раздача оных казалась ненавистнее самого похищения, ибо он дарил целые области народов и доходы с городов красивым женщинам, музыкантам, мимам и извергам-отпущенникам. Многих заставил жениться на женщинах против воли их. Желая привязать к себе Помпея Великого, велел ему развестись с женой, а за него выдал Эмилию, дочь Метеллы от Скавра, первого ее мужа, вырвав ее беременную из объятий Глабриона. Эта молодая женщина умерла в родах в доме Помпея.

Лукреций Офелла, осадивший Пренесту и поймавший Мария, просил консульства. Сулла сперва ему запретил оного искать; когда же Офелла пришел на площадь с великим числом своих приятелей, то Сулла послал одного из своих центурионов для умерщвления Офеллы, между тем как сам, сидя при храме Диоскуров на трибуне, смотрел сверху на это убийство. Окружавшие Офеллу схватили центуриона и привели его к трибуне. Сулла велел молчать тем, кто шумел, и отпустить центуриона, объявив, что это сделано по его приказанию.

Триумф его был пышен по своему богатству и необыкновенной добычи, отнятой у Митридата*, но лучшим украшением его и прекраснейшим зрелищем были изгнанники, знаменитейшие и сильнейшие граждане, следовавшие за ним, увенчанные цветами; они называли Суллу отцом и спасителем своим, ибо благодаря ему возвращены им были отечество, жены и дети.

По окончании торжества, отдавая народу отчет в собрании, исчислял он счастливые свои деяния с таким же удовольствием, как и храбрые свои подвиги и наконец велел себя называть Феликсом ***(Felix),*** то есть Счастливым. Когда он писал к грекам или занимался с ними делами, то называл себя Эпафродитом, то есть Любимый Афродитой. В нашей области на трофеях его есть следующая надпись: «Луций Корнелий Сулла Эпафродит». Когда Метелла родила ему двойню, то Сулла назвал мальчика Фавстом, а девочку Фавстой. Слово «фавстон» (***faustum***) на языке римлян значит «счастливое», «благоприятное», таким образом, Сулла не столько полагался на свои деяния, сколько на свое благополучие. Хотя убито им столь много граждан, хотя в республике произведена столь важная перемена, однако он сложил свою власть и дал народу свободу избирать консулов по своей воле. Он не принимал участия в избрании, но, как частный человек, ходил по площади, предавая себя во власть того, который бы захотел требовать от него отчета в поступках его. Некто Марк Лепид, человек дерзкий и неприятель Сулле, против воли его был избран народом в консулы*, не из уважения к нему, но из любви к Помпею, который ему покровительствовал и просил за него народ. Помпей радовался одержанной победе. Сулла, увидя его удаляющимся из собрания, призвал к себе и сказал: «Похвальны дела твои, молодой человек! Ты заставил избрать Лепида прежде Катула – самого дерзкого и неистового человека, прежде самого доброго. Однако ж теперь, смотри, не дремать. Ты сделал сильным своего противника против самого себя». Слова Суллы были пророчественные. Лепид вскоре дошел до такой наглости, что объявил себя противником Помпею.

Сулла посвятил Геркулесу десятину всего своего имущества и угостил великолепно народ. Приготовления были столь обильны, что ежедневно бросали в реку великое множество кушанья. Вино, которое пили в этом случае, было сорокалетнее и старее того. Во время пиршества, которое продолжалось несколько дней, Метелла, жена его, издыхала от болезни. Жрецы не позволяли ему ни приблизиться к ней, ни дом свой осквернить похоронами. Сулла написал разводную тогда, когда Метелла была еще жива, и велел перенести ее в другой дом. По суеверию своему, он сохранил сей обряд в точности, но преступил им самим введенный закон, ограничивающий издержки погребения, не пощадив никаких. Он преступил и учреждения свои об умеренности стола, утешая себя в горести беседами и пирами в неге и невоздержании. По прошествии нескольких месяцев в Риме давали зрелище единоборцев; тогда еще места в театре не были отделены, но мужчины и женщины сидели вместе без разбора. Случилось, что близ Суллы сидела женщина, прекрасная лицом и знаменитого рода, то была Валерия, дочь Мессалы, сестра оратора Гортензия. Незадолго перед тем она развелась с мужем. Проходя позади Суллы, она коснулась его рукою и, сняв с платья его пушок, пошла к своему месту. Сулла взглянул на нее и удивился ее поступку. «Ничего особенного, император, – сказала она ему, – я просто хочу получить малый участок в твоем благополучии». Сулла слушал эти слова с удовольствием и не скрыл того, что был ими прельщен. Он начал разведывать о ее имени, роде

и образе жизни. Они кидали друг на друга взгляды; часто обращались друг к другу и улыбались взаимно. Наконец вступили в условие о браке, который, в отношении к Валерии, может быть, не заслуживает порицания. Но хотя бы она была самая целомудренная и благородная женщина, однако побуждение Суллы к сему браку не похвально и не благоразумно. Подобно молодому человеку, он был уловлен взглядом женщины и сладострастием, от которого возникают самые постыдные и позорные страсти.

Несмотря на то, что Сулла имел у себя жену, он продолжал связь свою с мимами, с музыкантами и с комедиантами, с которыми предавался питью с утра до вечера, сидя на соломеннике. В то время сильнейшими при нем особами были комедиант Росций, первый мим Сорик и лисиод* Метробий, который всегда был любим Суллой. Эта развратная жизнь умножила болезнь, которая долгое время не давала о себе знать. Долгое время не знал он, что имел во внутренности своей язву, от которой испортилась плоть его до того, что вся превратилась во вши. Хотя несколько человек днем и ночью счищали их с него; однако то, что снимали, было малейшей частью того, что вновь возрождалось; платье его, баня, вода, в которой купался, и самое кушанье были наполнены сим потоком смрада. До такой степени он размножился! По несколько раз в день входил он в воду, дабы умыться и очистить себя – но без всякой пользы. Превращение происходило с великой скоростью, и все старание об очищении должно было уступить множеству насекомых.

Говорят, что в глубокой древности Акаст, сын Пелия, был одержан сею болезнью, а в последующие времена стихотворец Алкман, богослов Ферекид, Каллисфен Олинфский, которого содержали в темнице, равно и законоискусник Муций*. Если должно упомянуть и о тех, кто ничем хорошим не прославился, но почему-нибудь стали известны, то можно сказать, что беглец, начавший в Сицилии невольническую войну, который назывался Эвном, будучи пойман и приведен в Рим, умер от такой же болезни.

Сулла не только предчувствовал смерть свою, но и писал о ней. Он перестал писать двадцать вторую книгу записок своих за два дни перед кончиной. Он пишет, что по предсказанию халдеев надлежало ему провести благополучно жизнь свою и умереть среди величайшего благополучия. Также говорит, что сын его, умерший незадолго до Метеллы, явился ему во сне, одетый в дурном платье, и просил отца своего не беспокоиться более и вместе с ним идти к матери его Метелле, дабы жить с нею спокойно и беззаботно. При всем том он не переставал заниматься общественными делами. За десять дней до смерти своей примирил дикеархийцев*, которые были между собою в раздоре, и написал правила, по которым надлежало им впредь управляться. За день до кончины своей, узнав, что градоправитель Граний не платил долга своего в общественную казну, но ожидает его смерти, он призвал его к себе в покой и велел служителям окружить его и душить. Крик и сильное движение Суллы были причиной, что лопнул гнойник его; он потерял много крови и впал в изнеможение, провел беспокойно следующую ночь – и умер. От Метеллы оставил он двух малолетних детей. По смерти его Валерия родила дочь, которая названа Постумой. Это имя римляне дают детям, рожденным по смерти отцов.

По смерти Суллы, многие обратились к Лепиду и соединились с ним, дабы лишить тело его установленных при погребении почестей. Однако Помпей, который имел причину жаловаться на Суллу, ибо его одного изо всех друзей своих пропустил в своем завещании – успел, частью просьбами и лаской, а частью угрозами, разогнать их. Он сам провожал тело его до Рима, доставляя погребению безопасность и оказывая приличные умершему почести. Говорят, что женщины принесли телу его такое множество ароматов, что, сверх того количества, которое несено было в двухстах десяти ношах, составлен был большой кумир Суллы и ликтора, из дорогого фимиама и киннамона. День погребения по утру был сумрачен; все полагали, что будет дождь, и едва в девять часов подняли тело, сильный ветер подул на костер и воздвиг великий пламень, которым сожжено его тело. Костер уже догорал, огонь стал погасать, как пролился сильный дождь, который продолжался до самой ночи, так что, казалось, счастье сопровождало Суллу до самого гроба. Памятник его сооружен на Марсовом поле, с надписью, которая составлена им самим, и которой содержание есть то, что никто из друзей в оказании добра и никто из врагов в соделании зла его не превзошел.

Сравнение Лисандра с Суллой

Описав жизнь Суллы, приступим уже к сравнению его с Лисандром. Общее между ними то, что оба сделались великими, положив сами начало своему величию, но в Лисандре особенно то, что все власти, какие он имел, получил по воле своих сограждан, еще не развратившихся; что ни к чему их не принуждал насильственно и не был могуществен вопреки законам. Но в междоусобии, как говорит Гомер, и самый дурной человек достигает почестей. В Риме, в то время, при всеобщем разврате народа, при испорченном правлении, то в одной, то в другой стороне восставали властелины. Неудивительно, что Сулла господствовал там, где Главции и Сатурнины изгоняли из города Метеллов; где в Народном собрании убивали консульских детей; где военные силы приобретаемы были золотом и серебром; где ратники подкупаемы были; где огнем и мечом постановляли законы и принуждали противящихся им принять оные насильственно. Не порицаю того, кто в таких обстоятельствах мог достигнуть верховной власти, но не почитаю признаком добродетели сделаться первым при столь дурном положении республики. Но тот, кто Спартой, еще благоустроенной и благоразумно управляемой, высылаем был к принятию верховного предводительства, кому поручали важнейшие дела, должно думать, почитаем был лучшим из лучших и первым из первых. Это было причиной, что один многократно возвращал власть своим согражданам и снова получал ее от них. Уважение всегда сопровождало его, ибо по своей доблести он имел первенство над другими. Но Сулла, будучи избран единожды предводителем войска, в продолжении десяти лет беспрерывно не выпустил из рук оружия, делал себя то консулом, то проконсулом, то диктатором и всегда оставался тиранном.

И Лисандр, как нами замечено, предпринял переменить правление, но с большей кротостью и справедливостью, нежели Сулла, ибо не оружием и не все разом испровергая, подобно Сулле, но убеждением и уверением хотел исправить постановление о царях. И подлинно казалось бы по естеству справедливым, чтобы лучший начальствовал в городе, управлявшем всей Греций, единственно по доблести, а не по благородству. Как охотник ищет не щенков от пса, но пса самого, а всадник не потомство, что от коня происходит, но коня доброго, ибо какая ему польза в лошаке? Так и политик ошибается, если в правителе будет искать не того, что он есть в самом деле, но того, от кого он происходит. Сами спартанцы лишили власти некоторых царей своих за то, что они были люди ничтожные и не имели способностей, нужных царю. Порок бесчестен и в благорожденном человеке. Добродетель сама по себе почтенна, но не в силу благородства происхождения.

Один делал несправедливости из уважения к друзьям своим; другой простирал их и на друзей своих. Известно, что Лисандр, из уважения к ним, сделал много дурного и для утверждения господства их и самовластия произвел многие убийства. Но Сулла из зависти отнял войско у Помпея; дав Долабелле начальство над флотом, хотел лишить его оного; Лукреция Офеллу, искавшего консульства как награды за многие важные услуги, велел умертвить перед глазами своими в намерении внушить всем страх и ужас убиением самых любезных ему особ.

Склонность к удовольствиям и жадность к деньгам обнаруживают в Сулле душу самовластную. Свойства Лисандра показывают человека, способного к управлению. При всей своей неограниченной власти и могуществе не явил он себя невоздержанным и слабым, но более всякого другого опроверг известную пословицу: «У себя львы, у чужих лисицы»*. Образ жизни его был целомудренный, воздержанный, истинно лакедемонский. Напротив того ни бедность молодости, ни старость лет не умеряли прихотей Суллы. Он устанавливал для сограждан своих законы о браках и воздержании; между тем как сам предавался распутству и противозаконным связям, как пишет Саллюстий. Он сделал город столь бедным и истощил его до того, что продавал за деньги дружественным и союзным городам вольность и независимость, хотя ежедневно отбирал и присваивал себе имущество богатейших и величайших домов. Нельзя счесть всего того, что он бросал и дарил льстецам. Какое могло быть рассуждение или какая бережливость в дарах человека, который расточал оные в пьяных беседах, который, в присутствии целого народа, явно некогда продавая с публичного торга великое имущество за малую цену, велел стукнуть молотком в пользу одного из друзей своих, и когда некто надбавил

цену и оценщик объявил ее, то Сулла, сердясь на то, сказал народу: «Любезные граждане! Как я обижен и какое насилие я должен терпеть! Я не могу располагать, как хочу, своей добычей!» Лисандр, напротив того, и дары, ему принесенные, отдал своим согражданам. Я не хвалю его за то. Может быть, более вреда принес Спарте Лисандр уступкой ей богатства, нежели Сулла отнятием его. Однако это служит доказательством бескорыстия его.

С каждым из них случилось нечто особенное, относительно к республике. Сулла, будучи невоздержан и расточителен, исправлял сограждан своих; Лисандр наполнил город теми пороками, от которых сам воздерживался; проступки одного состояли в том, что он был хуже постановляемых им законов, а другого в том, что он делал граждан хуже себя, ибо он научил Спарту нуждаться в том, в чем сам научился не иметь нужды. Таковы они были в отношении к делам общественным.

Сулла несравнен по военным подвигам, по делам стратегическим, по множеству трофеев, по великости опасностей, в которых находился. Лисандр одержал на море две победы; прибавим к ним осаду Афин, дело само по себе не столь уж важное, но превознесенное молвой. Неудачи его в Беотии и Галиарте были, может быть, произведением несчастья; однако кажутся следствием неблагоразумия, ибо он не дождался многочисленной силы, шедшей уже к нему из Платеи с царем, но увеличенный гневом и любочестием, устремился на стены не в надлежащее время. Самые обыкновенные воины, выйдя из города, против всякого ожидания, умертвили его; он получил смертельный удар, не так как Клеомброт при Левктрах, противясь наступающему неприятелю; или Кир и Эпаминонд, удерживая отступающих и утверждая за собою победу. Эти мужи умирали смертью, достойною царей и полководцев. Лисандр, напротив того, пожертвовав собою бесславно, как простой воин, доказал, что древние спартанцы благоразумно избегали сражений под стенами, в которых храбрейший полководец может погибнуть не только от всякого обыкновенного человека, но и от руки женщины или ребенка. Так Ахилл, говорят, умерщвлен Парисом у ворот Трои. Трудно исчислять, сколько побед одержал Сулла в открытых сражениях, сколько сот тысяч неприятелей истребил. Он взял Рим дважды и завладел Пиреем, не принудив его к сдаче голодом, подобно Лисандру, но лишив Архелая моря и твердой земли, многими и важными победами.

Не должно оставить без замечания полководцев, с которыми они воевали. Можно бы было для забавы воевать с Антиохом, кормчим Алкивиада, или обманывать Филокла, афинского демагога, который:

Бесславен был; язык имел, как острый меч.

Митридат не захотел бы поставить их наряду со своими конюшими, а Марий – с каким-либо из своих ликторов. Несколько владельцев, консулов, полководцев, ораторов восстали против Суллы! Оставя других, кто был страшнее Мария? Какой царь могущественнее Митридата? Кто отважнее Лампония и Телезина? Однако Сулла одного изгнал, другого покорил, а двух последних умертвил.

Важнее всего, по моему мнению, то, что Лисандр совершал свои дела с помощью своего отечества; напротив того, Сулла, изгнанник, преследуемый своими неприятелями, в то самое время, как жена его была изгоняема, дом разоряем, друзья умерщвляемы, сам находясь в Беотии, устраивался против бесчисленных врагов, подвергался опасности за отечество и воздвигал трофей. Когда Митридат предлагал ему союз, давал силы против врагов его, то он нимало не сделался снисходительнее, не оказал ему никакой ласки, не приветствовал его, не простер к нему руки, пока не узнал от него самого, что соглашается оставить Азию, предает ему корабли, уступает царям области их – Вифинию и Каппадокию. Кажется, Сулла ничего не произвел прекраснее дела сего и с большим духом. Он предпочел благо общественное своему собственному и, подобно бодрому псу, не прежде выпустил пойманную добычу, как низложивши ее совершенно, и после того обратился к отмщению за оказанные ему частные обиды.

Кроме этих дел, поступки их, относительно Афин, могут служить к сравнению их нравов. Сулла, взяв город, сопротивлявшийся ему за могущество Митридата, возвратил ему вольность и независимость. Лисандр, напротив того, не возымел никакой жалости к Афинам, ниспадшим с

высоты могущества; уничтожил в них народоправление и предал их власти лютейших и беззаконных тираннов.

Основываясь на этих рассуждениях, мы недалеко уклонимся от истинны, если скажем, что Сулла больше произвел, а Лисандр меньше проступался, и потому одному дадим первенство за воздержание и умеренность, а другому – за искусство в предводительстве и за храбрость.

Кимон и Лукулл

Кимон

Прорицатель Перипольт, приведший царя Офельта и покоренные ему народы из Фессалии в Беотию, оставил по себе род, пребывший многие годы в цветущем состоянии. Большая часть потомков его поселились в Херонее, первом городе, которым они завладели, изгнав из оного варваров. Будучи от природы воинственны и храбры, они охотно подвергались опасностям и погибли во время нашествия мидян и в сражениях с галлами*. Оставался только один отрок, сирота, по имени Дамон, прозванием Перипольт, красотою тела и смелостью духа превосходивший всех своих сверстников, но нравом суровый и необразованный. Некоторый римлянин, начальник когорты, зимовавшей в Херонее, полюбил его тогда, когда он вышел уже из детского возраста. Не могший склонить его к себе ни стараниями, ни подарками, он явно показывал, что употребит насилие, тем более что отечество наше находилось тогда в дурном состоянии и по причине унижения и бедности своей было презираемо. Дамон боялся этого; исполненный уже гнева к римлянину за его покушения и злоумышляя против него, он соединился с некоторыми из своих сверстников, но с немногими, дабы тем удобнее сокрыть свое предприятие. Молодые люди, в числе шестнадцати, намазав лица сажей, напились вина и на рассвете дня напали на римлянина, который в то время приносил жертву на площади, убили его и многих из окружавших его и убежали. В городе сделалась тревога; сенат Херонеи собрался и осудил убийц на смерть, желая тем оправдать город перед римлянами. Вечером, когда правители по обыкновению ужинали вместе, Дамон и сообщники его ворвались в дом собрания, убили правителей и опять убежали из города.

Случилось, что в те самые дни Луций Лукулл шел с войском через Херонею. Он остановился в городе, разведал обо всем том, что недавно произошло и уверившись, что город не только нимало не был виновен в убиении римлян, но, напротив того, сам был очень оскорблен, взял с собою оставшихся там воинов и увел их. Дамона, который разбоями и набегами разорял область и нападал на город, граждане склонили кроткими представлениями и сделанными в пользу его постановлениями возвратиться в оный. Дамон возвратился, и его избрали начальником гимнасия, но вскоре убили в парильне, когда он мазал себя маслом. Долгое время, как уверяют отцы наши, на этом месте долго были видны тени и слышны стенания, так что граждане забили двери бани. Но и поныне живущим по соседству людям мерещутся призраки и шумные возгласы. Оставшиеся из рода его живут еще подле Стирея* в Фокиде и названы на эолийском наречии асволомены, то есть «замаранные сажей», ибо Дамон и его сообщники намазались сажей, когда устремились на убиение римлянина.

После некоторого времени орхоменцы, народ, соседственный херонейцам и бывший с ними в раздоре, подкупили римского ябедника, который доносил на целый город, как на одного человека и обвинял его в смерти римлян, убиенных Дамоном. Дело было представлено македонскому претору, ибо тогда еще римляне не посылали в Грецию преторов. Защищавшие Херонею призывали в свидетельство истину. Таким образом город избавился осуждения, находившись в величайшей опасности.

Спасенные в то время граждане воздвигли мраморный кумир Лукуллу на форуме, подле кумира Диониса. Мы, хотя многими поколениями отделены от оного времени, однако думаем, что благодеяние Лукулла простирается и на нас*, уверены мы также и в том, что изображение, показывающее нравы и свойства, гораздо прекраснее изображения, представляющего тело и лицо; и для того в этих сравнительных описаниях включаем деяния сего мужа, рассказывая всю истину. Довольно будет для него одного воспоминания его благодеяний, ибо он сам не захотел

бы, чтобы истинное свидетельство его было награждено ложным и вымышленным о нем повествованием. Когда живописец пишет черты особы прекрасной и исполненной приятности, мы требуем, если в ней найдется какое-либо малое безобразие, чтобы он не совсем оное пропустил, но и не выразил со всей точностью, ибо одно делает образ дурным, другое несходным. Равным образом, поскольку трудно и, может быть, невозможно, представить чью-либо жизнь совершенной и непорочной, то мы обязаны сохранить истину, как подобие и сходство, во всем том, что в ней прекрасно, почитая более недостатками нашей добродетели, нежели злоумышлениями порока. Погрешности и проступки, вкравшиеся в деяния мужей великих, по страсти ли какой-нибудь или по политической необходимости, мы не должны слишком охотно и подробно изображать оные в истории, но отчасти щадить человеческую природу, которая не производит ничего прекрасного совершенным, и, в отношении к добродетели, никакого свойства неподверженным порицанию.

Когда я рассуждал, с кем сравнить Лукулла, то мне показалось, что должно сравнить его с Кимоном. Оба они были воинственны; оба ознаменовали себя мужеством в сражениях с варварами; в управлении были кротки и доставили своему отечеству успокоение от междоусобных раздоров. И тот и другой воздвигли трофеи и одержали славнейшие победы. Ни один из греков до Кимона, ни один из римлян до Лукулла не достиг столь отдаленных стран с оружием в руках, если исключим Геракла и Диониса, и если какой-либо подвиг Ясона или Персея в землях эфиопов, мидян и армян, сохраненный до нас преданиями прежних веков, можно почесть достоверным*. Общее между ними еще то, что они не довершили своих походов, оба они сокрушили силы неприятеля, но ни один из них не истребил его. В особенности же можно заметить великое сходство между ними в щедрости и благосклонности, с которой принимали приятелей своих и угощали их, в приятности и неге их образа жизни. Мы пропускаем здесь некоторые другие сходства, которые нетрудно собрать из самого повествования.

Кимон был сыном Мильтиада и фракиянки Гегесипилы, дочери царя Олора, как видно из стихотворений Архелая и Меланфия, в честь Кимона сочиненных*. Историк Фукидид, связанный родством с Кимоном, был сыном Олора, который имел одно название со своими предками и владел во Фракии золотыми рудами. Говорят также, что он кончил жизнь свою во фракийском местечке, называемом Скаптесила (то есть «вырытый лес»), где его убили. Прах его перевезен в Аттику, и памятник виден между гробницами рода Кимонова, подле гроба Эльпиники, сестры Кимона. Впрочем, Фукидид был из местечка Галимунта, а Мильтиад – из Лакиады.

Мильтиад умер в темнице, в которой был заключен за то, что не был в состоянии заплатить пятьдесят талантов пени, в которой его осудили*. Кимон остался очень молод после отца своего, с молодой и незамужней сестрой. Сначала он заслужил самое дурное имя; его порицали за беспорядочную жизнь и за пьянство и почитали во всем похожим на его деда Кимона, которому дано прозвание Коалем, или Глупый, по причине его малоумия. Стесимброт с Фасоса, живший почти в одно время с Кимоном, говорит, что Кимон не учился ни музыке, ни другой какой-либо свободной науке, какие в употреблении у греков; что он вовсе не имел приятности и красноречия аттического, но был характера весьма благородного и правдивого, и свойствами души более походил на пелопоннесца. Он был, подобно Еврипидову Гераклу, необразован, прост, способен к великим делам; и вот что можно прибавить к описанию его, сделанному Стесимбротом.

Кимон в молодости своей был обвиняем в непозволительной связи с сестрою. Эльпиника сама, как говорят, не была хорошего поведения и преступила правила чести с Полигнотом. По этой причине этот живописец, изображая в галерее, называемой тогда Писианактовой, а ныне Расписной, плененных троянок, представил Эльпинику в лице Лаодики*. Что касается Полигнота, то он не был простым живописцем и не для платы украшал своей работой общественные здания, но все делал даром и для славы своей. Так свидетельствуют историки, а поэт Меланфий говорит о нем следующее:

Искусный Полигнот, издержками своими,
Кекропов здания и храмы украшал,

Героев подвиги на них изображал.

Многие утверждают, что Кимон не тайно жил с Эльпиникой, но явно сочетался с ней браком*, ибо она, по причине бедности своей, не находила себе жениха, достойного своего знаменитого рода. Когда же Каллий, один из богатейших афинян, влюбился в нее и предлагал заплатить в общественную казну пеню, на которую был осужден ее отец, то она склонилась выйти за него замуж, и Кимон соединил ее с Каллием. Вообще кажется, Кимон был весьма пристрастен к женщинам. Поэт Меланфий, шутя в своих элегических сочинениях, упоминает об Астерии, саламинянке, и о некой Мнестре, которым Кимон старался угождать. Известно также, сколь страстно он любил Исодику, дочь Эвриптолема, сына Мегакла, соединившуюся с ним законным браком, сколь был огорчен ее смертью – если должно заключить о том по элегиям, которые писаны к утешению его в горести и которых творцом философ Панетий, судя по времени с довольной вероятностью, почитает физика Архелая.

Все прочее в Кимоне превосходно и благородно. Он не уступал Мильтиаду в смелости, Фемистоклу в благоразумии, а был их обоих справедливее. Военными способностями он нимало им не уступал; гражданскими же он даже их превосходил в высшей степени тогда, когда был еще молод и в военном деле неискусен. Когда при нашествии персов в Грецию Фемистокл советовал народу оставить область и город, стать перед Саламином с кораблями и дать сражение на море; когда народ был изумлен этим дерзким предложением, то Кимон первый со спокойным и веселым видом через Керамик взошел на Акрополь со своими приятелями, неся конскую узду для посвящения оной богине, показывая этим, что город в то время имел нужду не в коннице, но в морской силе. Посвятив узду, он взял один из повешенных на стене храма щитов, помолился богине, сошел к морю и первый примером своим внушил бодрость многим в народе. Он был видом не дурен, как говорит поэт Ион, велик и осанист; голову его покрывали густые и кудрявые волосы.

В сражении показался он столь блистательным и мужественным, что вскоре приобрел великую славу и отличную благосклонность своих сограждан. Многие толпились вокруг его и увещевали помышлять уже о важнейших трудах и предпринимать подвиги, достойные Марафона. Когда он вступил в управление республики, то народ принял его с удовольствием, и, пресытившись уже Фемистоклом, возводил Кимона на высшие степени почестей и власти, ибо он был приятен и любезен гражданам по причине своей кротости и простоты в обхождении. Немало способствовал к его возвышению Аристид, сын Лисимаха, приметя хорошие его свойства и создавая в нем противоборника силе и смелости Фемистоклова.

По изгнании персов из Греции Кимон послан был начальником морских сил тогда, когда афиняне не имели еще верховного на море предводительства, но были под начальством Павсания и других лакедемонских полководцев. Кимон, во-первых, произвел то, что воины в походах вели себя с удивительным порядком и отличились перед всеми своим усердием. Во-вторых, когда Павсаний начал иметь сношения с варварами и, помышляя уже об измене, писал письмо царю персидскому, а с союзниками вел себя сурово, нагло и ругался над ними, ради великой своей власти и безрассудной гордости, то Кимон, принимая ласково обиженных и обходясь с ними кротко, неприметным образом предал афинянам верховное начальство над греческим ополчением не силой или оружием, но приятностью своих речей и любезностью нрава. Большая часть союзников, не терпя жестокости и надменности Павсания, приставала к Кимону и к Аристиду. А те привлекали их на свою сторону и в тоже время писали эфорам, чтобы они отозвали назад Павсания, ибо он наносит Спарте бесславие и возмущает всю Грецию. Говорят, что Павсаний, находясь в Византии, послал за одной девицей, дочерью благородных родителей, по имени Клеоника, для удовлетворения своих гнусных желаний. Родители ее из страха предали ее Павсанию. Прежде вступления своего в спальню, она просила, чтобы погашен был огонь. Идучи к Павсаниевой постели тихо, впотьмах, когда он уже спал, нечаянно наткнулась она на подсвечник и опрокинула его. Павсаний проснулся; испугавшись шуму и думая, что идут его убить, схватил кинжал, бывший подле него, и поразил несчастную Клеонику. Она умерла от удара, но не давала покоя убийце; тень ее представлялась ему во сне ночью и с гневом говорила ему следующий стих:

Предстань скорей на суд! – злодейство гибель носит!

Союзники чрезвычайно негодовали на столь бесчеловечный поступок и вместе с Кимоном осадили Павсаниян. Он вырвался из Византия и, всюду преследуемый призраком, прибегнул к гераклейскому прорицалищу мертвых. Там он вызвал душу Клеоники и старался укротить гнев ее. Уверяют, что она явилась ему и сказала, что по прибытии в Спарту он избавится от всех своих бедствий. По-видимому, этим она давала ему знать о смерти, там его ожидавшей*. Об этом повествуется многими историками.

Союзники присоединились к Кимону, который предводительствуя ими, отплыл во Фракию. Он узнал, что некоторые знатные персы, родственники царские, занимали город Эион*, лежащий на реке Стримон, и беспокоили греков, поблизости того города поселенных. Сперва он победил персов на сражении и запер их в городе; потом прогнал живущих за Стримоном фракийцев, от которых персы доставали хлеб; наконец, занял их область и довел осажденных до такого недостатка в припасах, что царский полководец Бут, потеряв всю надежду освободиться от осады, зажег город и предал себя пламени со своими богатствами и друзьями. Кимон, взяв город, не приобрел значительной выгоды, ибо варвары большей частью сожгли себя. Но так как страна плодоносна и прекрасна, то он дал ее для поселения афинянам. Народ за эту заслугу позволил ему поставить в городе три герма из мрамора. На первом была следующая надпись:

Должны быть храбры те, что Мидии сынов,
В стенах Эйона, у Стримонских брегов,
Войною лютою и гладом сокрушили,
В огне конца бедам искать их побудили.

На втором:

Услуги важные, вождей деяния громки
Вот как афиняне умеют награждать!
Пусть зрят сей памятник и поздние потомки,
И их усердию стремятся подражать!

На третьем:

Из города сего Троянским ко стенам
Пустился Менесфей, Атридов по следам.
Гомер об нем речет: меж греческих героев
Он учредителем искуснейшим был боев.
Не должно ль афинян сим именем почтить?
Кто в брани их храбрей, искусней может быть?

Хотя в этих стихах не означено имя Кимона, но в то время такая честь почиталась чрезвычайной; ни Фемистокл, ни Мильтиад не удостоились подобной. Этот последний просил себе венка из оливковой ветви, но Сохан из Декелии восстал против него и сказал следующие слова, исполненные неблагодарности, но приятные народу: «Когда ты, Мильтиад, один будешь сражаться с варварами и победишь их, тогда требуй почестей одному себе!». Но почему дела Кимона столь приятны были афинянам? Не потому ли, что они под предводительством других оборонялись только от неприятелей, а под начальством Кимона могли сами им делать зло, нападали на их собственные земли, приобретали области и населили Эион и Амфиполь?

Афиняне в это время населили и Скирос, которым завладел Кимон следующим образом. Остров населяем был долопами*, народом, не искусным в земледелии и с древних времен занимавшимся разбоями на морях. Они дошли до того, что не щадили приставших к берегам их и полагавшихся на их гостеприимство. Они ограбили и посадили в темницу некоторых фессалийских купцов, приставших к Ктесию. Эти люди, найдя случай вырваться из оков,

обвинили город перед амфиктионами. Граждане Скироса не хотели удовлетворить купцов, а требовали, чтобы пеня взыскана была с тех, кто ограбил купцов и имел деньги их у себя. Грабители боялись, чтобы силой их к тому не принудили; они писали Кимону и звали его к себе с кораблями, обещаясь предать ему город. Кимон завладел островом, выгнал долопов и очистил Эгейское море от их разбоев. Узнав, что древний Тесей, сын Эгея, убежавший из Афин в Скирос, изменнически был убит на этом острове царем оного Ликомедом, который его боялся, Кимон старался отыскать гроб его, ибо незадолго перед тем афиняне получили от прорицалища приказание перевезти кости Тесея в свой город и воздавать ему почести, приличные герою. Место погребения его было неизвестно, ибо жители Скироса не объявили оного и не позволяли искать. Наконец после многих усилий гробница отыскана. Кимон перенес кости Тесея на свой корабль и, украсив их великолепно, отвез в отечество, почти через восемьсот лет после его смерти*; сие принесло народу великое удовольствие.

В воспоминание его славе учрежден известный славный суд поэтов-трагиков. Тогда играли первую пьесу Софокла, который был еще очень молод*. Архонт Апсефион*, приметя, что зрители были не согласны и разделены на две стороны, не избрал по жребию судей в этом стихотворческом прении. Когда же Кимон вместе с другими полководцами вступил в театр и принес божеству, покровителю сего места, узаконенные возлияния, то архонт не позволил им выйти, но обязав их клятвой, заставил сесть и быть судьями в этом деле. Их было десять, по одному из каждого колена. Важность судей возбуждала до чрезвычайности честолюбие исполнителей. Софокл признан победителем. Эсхил, говорят, был столь опечален и до того досадовал, что недолго пробыл в Афинах. В гневе своем он удалился в Сицилию, где умер и похоронен близ Гелы.

Поэт Ион повествует, что он, будучи очень молодым, приехал из Хиоса в Афины и ужинал вместе с Кимоном у Лаомедонта. По совершении возлияний гости просили Кимона петь. Он пел с такой приятностью, что присутствовавшие хвалили его и давали ему преимущество перед Фемистоклом в образовании, ибо Фемистокл говорил, что он не учился ни петь, ни играть на лире, но умел сделать малый и бедный город великим и богатым. После этого, как бывает обыкновенно за пиршеством, разговор обратился к подвигам Кимона. Многие рассказывали прекраснейшие из них; и Кимон рассказал одно из дел своих, которое казалось ему самым хитрым. Союзники захватили великое множество пленных из Сеста и Византия и поручили Кимону учинить раздел. Он на одной стороне поставил пленников, а на другой уборы их. Союзники жаловались на это разделение, как на неровное, но Кимон предлагал им взять одну из частей, уверяя, что афиняне будут довольны тою, которую им оставят. Самосец Герофит присоветовал союзникам лучше взять персидские уборы, нежели персов. Союзники послушались его и оставили афинянам пленных. Все тогда смеялись над Кимоном как над несмышленым, ибо союзники получили золотые цепи, ожерелья, богатые платья и пурпуровые мантии, а афиняне голые тела, мало способные к работе. Но вскоре после того друзья и родственники пленных приезжали из Фригии и Ликии и выкупали каждого из них великим количеством денег, так что Кимон четыре месяца содержал флот полученными от продажи их деньгами и притом республике доставил немалое количество золота.

Кимон, сделавшись уже богатым, похвальным образом употреблял в пользу сограждан свои сокровища, отнятые у варваров. Он велел снять с своих полей ограды, дабы иностранцы и нуждающиеся сограждане могли беспрепятственно доставать плоды. Ежедневно давал у себя стол, простой, но для многих сытный, к которому могли приходить все бедные и, будучи обеспечены в своем пропитании, заниматься свободно одними общественными делами. Но Аристотель говорит, что Кимон готовил стол не для всех афинян без различия, а для единоплеменных своих Лакиадов. Часто шли за ним хорошо одетые молодые люди, и каждый из них, когда попадался Кимону старый гражданин, одетый бедно, переменялся с ним плащом. Поступок сей почитался благородным. Эти самые молодые люди несли с собою достаточное количество денег, приближались к недостаточным порядочным людям на площади и, не говоря ничего, пускали им в руки несколько монет.

На это, кажется, намекает Кратин, комический поэт, говоря в своем представлении «Архилохов»:

И я, писец Митробий, чаял
С божественным и славным мужем,
Гостеприимнейшим из всех,
С Кимоном, первым из героев,
Что годы старости своей
В веселье проведу, счастливо.
Но ах! Оставил он меня
И прежде к мертвым удалился!

Леонтиец Горгий справедливо говорит, что Кимон приобретал богатство для того, чтобы употреблять его, а употреблял для того, чтобы заслужить почтение. Критий, один из тридцати тиранов, в элегиях своих желает себе: «Богатства Скопадов*, щедрости Кимона и побед Аркесила».

Спартанец Лих сделался известным среди греков только тем, что угощал иностранных во время гимнопедий*. Но щедрость Кимона превзошла древнее гостеприимство и человеколюбие афинян, которые по справедливости гордятся тем, что они распространили среди греков зерна, служащие к пище*, и научили людей употреблять для нужд своих ключевую воду и разводить огонь. Сделав дом свой общей для всех граждан гостиницей, позволив иностранным беспрепятственно брать в своих поместьях и первые зрелые плоды, и все то, что производят приятного разные времена года, Кимон некоторым образом ввел вновь в человеческую жизнь прославленное баснословием при Сатурне состояние, когда все было общее. Мнение людей, обвиняющих Кимона в том, будто бы он льстил народу, для привлечения его на свою сторону, и называющих поведение его демагогическим, опровергается образом мыслей сего мужа, преданного аристократии и лакедемонскому роду правления. Он вместе с Аристидом восставал на Фемистокла, слишком много возвышавшего силу народа, и впоследствии был в раздоре с Эфиальтом, который, из угождения к народу, хотел унизить Ареопаг. Все, управлявшие в то время республикой, кроме Аристида и Эфиальта, обогатили себя, грабя общественную казну, но Кимон всегда оказал себя в управлении непричастным дароприятию и до самого конца поступал и говорил бескорыстно. Говорят, что перс Ройсак, отложившись от своего государя, убежал с великими сокровищами в Афины, где клеветники не переставали мучить его. По этой причине он прибежал к Кимону и поставил у дверей его два сосуда, наполненные один серебряными, а другой золотыми дариками. Кимон, увидев их, усмехнулся и спросил у Ройсака: «Что ты хочешь иметь в Кимоне? Наемника или друга?» – «Друга!» – отвечал он. «Итак, – продолжал Кимон, – возвратись домой и возьми назад свои деньги, а я, сделавшись другом твоим, употреблю их, когда буду в них иметь нужду».

Хотя союзники афинян вносили деньги для продолжения войны, но не давали им ни кораблей, ни ратников и отказывались от походов, думая, что не имели более нужды воевать. Они желали только жить спокойно и обрабатывать поля свои, ибо варвары уже отступили и их не беспокоили. Афинские полководцы воинов и кораблей судили и наказывали не исполняющих свои обязанности и тем делали тягостной и ненавистной союзникам власть афинскую. Кимон шел противоположной им стезей: ни с кем из греков не поступал насильственным образом, а от тех, кто не желали идти с ним в поход, принимал деньги и пустые корабли, оставлял их, прельщенных спокойствием, заниматься домашними делами и из храбрых и отважных воинов, изнеженных жизнью и безрассудством своим, превращаться в земледельцев и робких купцов. Наполняя корабли афинянами по очереди и приучая их к военным трудам, Кимон, полученными от союзников деньгами, в короткое время сделал своих сограждан владетелями тех самых, кто давал им пособия. Поскольку афиняне были часто на море, имели всегда оружие в руках, от самых походов питались и учились воевать, то союзные народы привыкли их бояться и льстить им и мало-помалу превратились в данников их и подданных.

Ни один полководец столько не унизил и не обуздал гордости великого царя, как Кимон. Он не позволил ему свободно вырваться из Греции, но, преследуя его прежде, нежели варвары отдохнули и восстановили свои силы, иные области его разорял и покорял, другие возмущал против него и заставлял присоединяться к грекам, так что вся Азия, от Ионии до Памфилии,

была совершенно очищена от персидских войск. Узнав, что персидские полководцы, с многочисленным войском и великим флотом, грозили

Памфилии, он предпринял устрашить их так, чтобы они не осмелились уже пускаться в море, лежащее по эту сторону Хелидонских островов. Он вышел из Книда и Триопия* с флотом, состоявшим из трехсот триер. Эти триеры построены были Фемистоклом, с самого начала были легки на ходу и подвижны. Кимон несколько расширил их и соединил палубы мостками, дабы с большим числом воинов и с большей смелостью можно было нападать на неприятелей. Он направил путь к городу фаселитов*, которые были греки, но не хотели ни пустить к себе флота, ни отстать от персидского государя. Кимон разорял их землю и приступал к стенам их. Но хиосцы, воевавшие вместе с ним, будучи издревле связаны дружбой с фаселитами, старались укротить его и между тем, пуская в город стрелы, к которым привязаны были письма, извещали жителей о намерении Кимона. Наконец успели примирить их. Фаселиты обязались заплатить десять талантов, следовать за ним и воевать против персов.

Эфор пишет, что Тифравст был тогда начальником царского флота, а Ферендат* – предводителем сухопутного войска. Но Каллисфен свидетельствует, что Ариоманд, сын Гобрия, имея верховную власть над всеми войсками, пристал флотом к реке Эвримедонту и не хотел дать сражение, ожидая восьмидесяти финикийских кораблей, которые плыли к нему с Кипра. Дабы предупредить их, Кимон приближался к персам с твердым намерением принудить их к битве, хотя бы они того и не хотели. Персы, не желая быть принужденными к сражению, вошли в реку. Когда же афиняне их преследовали, то они обратились к ним, по свидетельству Фанодема, с флотом, состоявшим из шестисот кораблей, а по словам Эфора – из трехсот пятидесяти*. Столь великая сила не произвела на море ничего достойного себя, но вскоре обратилась к твердой земле. Передние воины достигали берега и убегали к близстоявшему сухопутному войску; другие, будучи настигнуты, погибали вместе с кораблями. Многочисленность неприятельских судов доказывается тем, что хотя многие убежали, многие сокрушились и потонули, но афинянам досталось в руки двести судов.

После этого неприятельские сухопутные войска приблизились к берегу. Кимону казалось трудным сделать высадку в виду неприятеля с немногими утомленными греками и напасть на многочисленное свежее войско неприятелей, но, видя бодрость своих воинов, гордящихся своей крепостью и одержанной победой и желающих напасть на варваров, он высадил пехоту, еще пылающую от морского сражения. Быстро и с великим криком устремилась она на неприятелей. Персы устояли и твердо выдержали нападение. Началось жаркое сражение. Многие из афинян, отличные храбростью и достоинствами своими, пали на месте. Наконец после великих усилий греки, обратив в бегство варваров, убивали их, брали в плен, получали в добычу шатры их, наполненные сокровищами*. Таким образом, Кимон, как искусный подвижник, в один день дал два сражения и превзошел победу при Саламине тем, что дал сражение на твердой земле, и победу при Платеях тем, что дал сражение морское, и к этим двум победам присовокупил третью. Узнав, что финикийские корабли, не приспевшие к сражению, пристали к Гидру, Кимон поспешно выступил против них. Предводители неприятельские не знали ничего верного о том, что случилось с большими силами, они не доверяли и терялись в недоумении. Более всего устрашило их неожиданное нападение; они потеряли все корабли свои; воины большей частью погибли.

Это торжество Кимона столь много унизило высокое о себе мнение персидского царя, что он принужден был заключить оный славный договор, которым обязался отстать навсегда от греческого моря на столько пространства, сколько может конь пробежать в один день, и не содержать ни одного длинного медноносого корабля в морях, простирающихся от Кианейских скал* до Хелидонских островов. Каллисфен уверяет, что персидский царь сохранял договор не потому, что обязался, но будучи устрашен претерпенным поражением, так далеко отстал от греческих областей, что, когда Перикл с пятьюдесятью, а Эфиальт с тридцатью кораблями простерли свое плавание далее островов Хелидонских, то не встретили никаких варварских морских сил. Но в постановлениях народных, собранных Кратером, находится копия договора, как будто бы оный в самом деле заключен был. Говорят также, что по этому случаю афиняне соорудили жертвенник Миру и оказали отличные почести Каллию, отправившемуся послом к персидскому царю.

По продаже взятой добычи город получил способы к разным предприятиям и пристроил южную сторону крепости. Говорят, что Длинные стены, так называемые «Бедра», достроены были впоследствии, а первое основание их сделано издержками Кимона. При строении этих стен встретились места болотистые и топкие; почему он утвердил их безопасно, засыпав болото мелкими камешками и пустил в оное тяжелые камни. Кимон первый украсил город теми приятными местами, которые служили гражданам к препровождению времени и впоследствии были им весьма любезны. Площадь обсадил он платанами, а Академию, место сухое и безводное, превратил в рощу, орошаемую источниками, с тенистыми аллеями и чистыми местами для ристалища.

Фракийский Херсонес был еще занимаем некоторыми персами; они не хотели его оставить, но звали к себе на помощь фракийцев из внутренних областей, презирая Кимона, который с малым числом триер отправился из Пирея. Кимон напал на них с четырьмя кораблями и завладел четырнадцатью их судами, выгнал персов, победил фракийцев и весь Херсонес покорил афинянам. Потом победил в морском сражении фасосцев, которые отпали от афинян, взял у них тридцать два корабля, осадил и завоевал их город, завладел золотыми рудами, которые фасосцы имели на противоположном берегу, и всю их землю. Оттуда ему легко было переправиться в Македонию и отнять у македонян большую часть их земли. Он не сделал того, и потому обвиняли его в получении даров от царя Александра. Его неприятели соединились и сделали на него донос. Он защищался перед судьями своими и между прочим сказал, что он не связан дружбой с ионянами и фессалийцами, народами богатыми, подобно другим полководцам, которые желали только, чтобы им льстили и приносили подарки, но соединен дружбой с лакедемонянами, любя в их образе жизни простоту и умеренность, которые предпочитал всем сокровищам света; и что он радовался только тогда, когда обогащал город добычами, взятыми у неприятелей. Стесимброт, упоминая об этом суде, говорит, что Эльпиника пришла к Периклу и просила его о Кимоне, ибо он был сильнейший из обвинителей. Перикл, усмехнувшись, сказал ей: «Ты стара, Эльпиника, слишком стара, чтобы участвовать в таких делах». Но в суде Перикл оказал себя самым снисходительным из обвинителей и против него говорил только однажды, и то по своей должности.

Кимон был совершенно оправдан. Во время управления своего, находясь в городе, всегда удерживал и укрощал народ, наступавший на право знати и присвоивший себе всю силу и власть в правлении. Когда же опять он выступил в поход, то народ, чувствуя себя вовсе свободным, нарушил установленный в республике порядок и отечественные узаконения, и, водимый Эфиальтом, отнял у Ареопага ведение над судами, кроме немногих, завладел судилищами и вверг город в совершенную демократию в то время, когда уже Перикл имел большую силу и благоприятствовал стороне народной. Кимон, по возвращении своем, негодовал, видя униженную важность Ареопага, старался опять перенести к нему судейскую власть и восстановить аристократию, утвержденную во время Клисфена. Противники его кричали, возмущали народ против него, напоминали о связи его с сестрой и обвиняли его в лаконизме. К тому относятся и следующие известные стихи Эвполида, в которых он говорит о Кимоне:

Не злой он человек, но только любит пить;
В беспечности драгой спокойно любит жить;
Он в Лакедемоне нередко засыпает;
Эльпинику одну несчастной оставляет.

Пусть он предавался пьянству, пусть ни о чем не радел, но когда покорил столько городов, когда одержал столько побед, то нет сомнения, что никакой трезвый, никакой бдительный греческий полководец, ни прежде, ни после него живший, не может с ним сравниться.

Правда, что с самого начала он привержен был к лакедемонянам и одного из сыновей-близнецов своих, рожденных от жены его клейторянки*, назвал Лакедемонянином, а другого – Элейцем, как повествует Стесимброт. По этой причине Перикл часто упрекал им происхождением их со стороны матери. Но Диодор Землеописатель говорил, что как эти

сыновья Кимона, так и третий, по имени Фессал, родились от Исидоки, дочери Эвриптолема, сына Мегакла. Впрочем, лакедемоняне возвысили Кимона, противясь уже Фемистоклу, они хотели, чтобы Кимон, который был еще молод, более его имел силы и власти в Афинах. Сначала афиняне смотрели на это с удовольствием, ибо, по благосклонности лакедемонян к Кимону, они получали немалые выгоды. Сперва, когда они возвышались и входили в дела союзников, лакедемоняне, из любви и уважения к Кимону, не оказывали за то неудовольствия. Он управлял большей частью делами Греции потому, что вел себя кротко с союзниками и старался угождать лакедемонянам. Впоследствии афиняне, сделавшись могущественнее и видя, что Кимон привержен был к лакедемонянам, негодовали на него, ибо при всяком случае он величал лакедемонян перед афинянами, в особенности же когда хотел упрекать их чем-либо или поощрял к чему, то обыкновенно говаривал им: «Не таковы лакедемоняне!» Этим он возбуждал против себя зависть и некоторое неудовольствие со стороны сограждан. Но клевета, которая против него столь много усилилась, имела следующее начало.

В четвертый год царствования Архидама, сына Зевксидама, случилось землетрясение, сильнейшее изо всех до того времени бывших*. Земля Лакедемонская провалилась во многих местах, Таигетские горы всколебались, и некоторые вершины гор оторвались. Весь город разрушился, осталось только пять домов, все прочие пали. Говорят, что молодые люди и мальчики занимались гимнастическими упражнениями в одном портике. За несколько минут до землетрясения показался заяц. Все мальчики, будучи уже намазаны маслом, из резвости выбежали и гнались за зайцем. В портике остались одни юноши; здание разрушилось, и все погибли под его развалинами. Гробницу их и поныне называют Воздвигнутой землетрясением. Архидам, поняв, какая опасность угрожает государству, и приметя, что граждане старались спасти из домов своих драгоценнейшие вещи, велел трубой дать знать о нашествии неприятелей, дабы они скорее собрались к нему с оружием. Это одно спасло в оное время Спарту, ибо илоты стекались от всех сторон с полей, чтобы истребить оставшихся от землетрясения спартанцев, но, найдя их вооруженными и устроенными в боевом порядке, удалились в другие города и явно вели войну, убедив к тому многих из жителей окрестных городов. В то самое время и мессенцы напали на Спарту. В крайности спартанцы послали Периклида в Афины и просили у афинян помощи. Поэт Аристофан, комически описывая посланника, говорит, что он, бледный, в красном плаще, сидя у жертвенника, просил вспомогательного войска.

Эфиальт противился этому, утверждая, что не должно вспомоществовать лакедемонянам и восстанавливать город, противоборствующий афинянам, что должно оставить гордость Спарты, поверженной и растоптанной ногами. Но Кимон, как говорит Критий, предпочел пользу Спарты приращению своего отечества, склонил народ на помощь спартанцам и сам выступил к ним с многочисленным войском. Ион сохранил и слова, которыми Кимон больше всего тронул афинян. Он просил их не оставить Грецию хромой и не допустить, чтобы город их был без пары.

Оказав помощь лакедемонянам, Кимон возвращался с войском через Коринф. Лахарт, начальник города, порицал его за то, что он ввел в оный войско, не испросив позволения у граждан. «Когда кто постучится у чужих дверей, – говорил Лахарт, – то не прежде входит, как по получении от хозяина позволения». – «Но вы, Лахарт, – отвечал Кимон, – не только не постучались у дверей клеонян и мегарян, но, разломав оные, ворвались в город с оружием, полагая, что везде отворено тому, кто больше имеет силы». Таким образом, он дал смелый ответ коринфянину в надлежащее время и продолжал путь с войском своим. Лакедемоняне призывали опять афинян к себе на помощь против ифомских мессенцев и илотов. Афиняне пришли, но лакедемоняне, боясь их смелости и блистательной славы, их одних изо всех союзников отослали назад, как людей беспокойных*. Афиняне удалились с гневом, явно негодуя на приверженных к Лакедемону граждан. Под маловажным предлогом они изгнали Кимона на десять лет, ибо такое время назначено для изгоняемых остракизмом.

Лакедемоняне, возвращаясь из похода, в котором избавили Дельфы от фокейцев, остановились лагерем у Танагры. Афиняне вышли против них, и Кимон с оружием присоединился к своему колену Энеиде, желая сразиться против лакедемонян вместе с согражданами своими. Но так называемый Совет пятисот, узнав о том, и боясь, как кричали его

противники, чтобы он не расстроил фаланги и не привел в город лакедемонян, запретил полководцам принимать его. Кимон удалился, но просил Эвтиппа из Анафлиста* и всех друзей своих, которых наиболее обвиняли в лаконизме, крепко сражаться с неприятелем и самым делом опровергнуть подозрение своих сограждан. Друзья его, в числе ста человек, взяв его доспехи, положили их посреди своего строя и, соединившись в одно, сражались со всевозможной храбростью. Все пали на месте, оставив афинянам великое о себе сожаление и раскаяние в несправедливом на них подозрении. По этой причине и гнев афинян против Кимона не был продолжителен, как потому, что они помнили его заслуги, так и по тогдашним обстоятельствам, ибо они потеряли великое сражение при Танагре, а к лету ожидали нашествие пелопоннесцов на свою землю. Они вызвали Кимона из изгнания; он возвратился, по решению народному, писанному самим Периклом. Столько-то ссоры тогда были благородны, вражда умеренна и легко исчезающая, когда дело шло о пользе общественной! И честолюбие, управляющее всеми другими страстями, уступало пользе отечества, когда обстоятельства того требовали!

Кимон вскоре, по своем возвращении, прекратил войну и примирил республики. По заключении мира*, видя, что афиняне не могли быть в покое, но желали быть в беспрестанном движении и превращать свою силу военными предприятиями, дабы они не беспокоили греков, или, плавая флотом своим вокруг островов и Пелопоннеса, не подавали повода к междоусобным браням и на республику не навлекали жалоб со стороны союзников, он посадил войска на двести триер с намерением напасть вновь на Кипр и Египет. Он хотел, чтобы афиняне в одно и то же время упражнялись в войнах против варваров и справедливым образом получали себе выгоды, привозя в Грецию богатства своих природных неприятелей. Все было уже готово, и войско стояло на берегу, как Кимон увидел сон. Ему казалось, что сердитая собака лаяла на него и вместе с лаем, испустив голос, смешанный с человеческим, сказала: «Приди! Ты любезен мне и моим детям!» Трудно было объяснить это сновидение, но посидониец* Астифил, прорицатель и друг Кимона, сказал ему, что сие видение предзнаменует ему смерть. Он толковал его следующим образом: собака, лающая на человека, враг ему; врагу своему не иначе приятным быть можно, как умирая. Смешение голоса показывало, что враг есть перс, ибо войско персидское смешено из греков и варваров. После этого видения Кимон приносил жертвы Дионису, а жрец заклал животное. Сгустившуюся кровь его муравьи в великом числе принимали, помалу приносили к Кимону и мазали большой палец ноги его. Долгое время никто того не примечал, но лишь Кимон увидел это, как жрец предстал к нему, показывая, что печенка была без перепонки. При всем том, как ему нельзя уже было распустить войско, он вышел в море, шестьдесят кораблей отправил в Египет; с другими опять поплыл к тем же берегам. Он разбил царский флот, состоявший из кораблей финикийских и киликийских, покорял окрестные города и искал случая напасть на Египет*. Намерения его были велики, он хотел разрушить всю Персидскую державу, по той причине, что знал, в какой силе и славе находился у варваров Фемистокл, который принимал на себя предводительство над войсками царя, хотевшего действовать против греков. Но Фемистокл, как говорят, прекратил дни свои по своей воле потому, что не надеялся одержать верх над греками и превозмочь счастье и доблесть Кимона. Уже Кимон хотел предпринять великие подвиги, весь флот его был собран на Кипре. Он послал в Аммоново капище людей, чтобы спросить о чем-то тайном; зачем были он посланы, никому не известно. Аммон не дал посланным никакого ответа, но едва они прибыли, как велел им удалиться, ибо Кимон находился уже при нем. Посланные, услышав это, отправились к морю. Едва они пришли в греческое войско, которое тогда находилось в Египте, как узнали, что прорицалище разумело его кончину, сказав, что он был уже с богами.

Он умер, как многие уверяют, от болезни, во время осады Кития; иные говорят, от раны, полученной в сражении с варварами. Умирая, он велел своим приближенным отплыть тотчас и утаить его смерть. И так случилось, что ни варвары, ни союзники не знали о его смерти, и, как говорит Фанодем, афинский флот пристал к берегам своим безопасно, предводимый Кимоном, за тридцать дней до того времени умершим.

По смерти Кимона греческие полководцы не произвели ничего блистательного над варварами. Греки, обращенные на самих себя от демагогов сварливых, устремились к войне, не будучи никем удерживаемы. Дела персидского царя восстановились, и сила греческая им

несказанно умалена. Спустя долгое время после Кимона Агесилай, царь спартанский, вступивший с оружием в Азию, вел недолго войну с полководцами царскими, начальствовавшими при море. Он не успел произвести ничего блистательного и великого; междоусобия и мятежи, восставшие между греками, заставили его возвратиться и оставить персидских сборщиков податей среди союзнических и дружеских городов. Но тогда, когда начальствовал Кимон, не видно было ни одного гонца с письмами со стороны персов, ни одного всадника их на берегу морском и на четыреста стадиев от оного.

Что прах Кимонов перевезен в Афины, о том свидетельствуют гробницы, и поныне называемые Кимоновыми. Но у китийцев находится в великом уважении некоторая гробница Кимона; оратор Навсикрат пишет, что во время голода и неурожая бог велел им не забывать Кимона, но почитать его существом высшим.

Лукулл

Дед Лукулла* достигнул некогда консульского достоинства, а Метелл, прозванный Нумидийским, был ему дядя со стороны матери. Что же касается до его родителей, то отец был изобличен в похищении общественной казны, а мать Цецилия обесславила себя дурным поведением. Лукулл в молодости своей до вступления еще в общественные дела и до принятия на себя какой-либо должности отличил себя тем, что противозаконные поступки авгура Сервилия, доносившего на отца своего, судом преследовал. Этот поступок Лукулла казался римлянам превосходным; все говорили о судопроизводстве как о славном подвиге, ибо доносить на кого-либо почиталось у римлян благородным делом. Им приятно было видеть юношей, нападающих на несправедливых людей, как добрых псов на зверей хищных. При производстве оного суда произошли великие распри; некоторые были ранены и убиты; Сервилий был оправдан.

Лукулл приобрел способность искусно говорить на двух языках: латинском и греческом. По этой причине Сулла, сочинив записки о делах своих, посвятил оные ему как умеющему лучше его сочинять и приводить в порядок историю. Красноречие его не было образованно и способно только к обыкновенным делам, подобно красноречию того, который Собранием движет так,

Как пораженный тун вращает моря бездну,

а как скоро выйдет из собрания, то «и сух, и мертв своим незнаньем». Лукулл в юности своей тщательно образовал и украсил себя свободными и изящными науками. В старости, после многих и трудных подвигов, он дал волю своему разуму покоиться и отдыхать в философии, возбудив созерцательные способности души и вовремя укротив свое честолюбие, после ссоры своей с Помпеем. Сверх того, об учености его рассказывают следующее. Будучи еще не больших лет, сперва в шутках, потом и вправду бился он об заклад с оратором Гортензием и историком Сизенной* в том, что он мог описать Марсийскую войну прозой или стихами, на греческом или на латинском языке, как по жребию ему достанется. По-видимому, жребий пал на греческую прозу, ибо существует и поныне на греческом языке история сей войны.

Хотя Лукулл изъявил брату своему Марку многие опыты редкой братней своей любви, но римляне более всего упоминают о следующем: Лукулл, будучи старше своего брата, не захотел прежде него получить место в правлении; он дождался вступления его в законный возраст и этим поступком прельстил народ до того, что был избран в эдилы вместе со своим братом во время своего отсутствия.

Во время Марсийской войны, в молодых летах, он оказал многие опыты смелости и благоразумия. Сулла более всего полюбил его за постоянство и кротость, привлек его к себе и с самого начала употреблял его во всех важных делах, между прочим и надзор за монетным делом. Большая часть денег была выбита в Пелопоннесе, во время войны с Митридатом, под надзором Лукулла. Эта монета названа «Лукулловой» и долгое время употреблялась у воинов во время войны, ибо легко ее разменивали.

Сулла, находясь в Афинах, владел сушей, но неприятели, обладая морем, отрезывали ему

подвоз запасов. Он послал Лукулла в Египет и в Ливию, для приведения оттуда судов. В самую глубокую зиму Лукулл вышел в обширное море с тремя греческими легкими судами и с таким же числом родосских судов, имеющих по два ряда весел, и дерзостно нападал на неприятельские корабли, которые морем неслись отовсюду в великом множестве. Несмотря на то, Лукулл пристал к Криту и склонил жителей оного на свою сторону. Застав киренцев в расстройстве от многих тираннов и частых сражений, он восстановил спокойствие, устроил их республику, напомнил им слова Платона, сказанные им, как бы с некоторым вдохновением. Когда киренцы просили сего мудреца написать им законы и дать народу мудрый образ правления, то он отвечал им: «Трудно дать законы киренцам при таком их благоденствии». В самом деле, ничем нельзя так трудно управлять, как человеком, которому счастье благоприятствует; равным образом никто не принимает удобнее наставлений, как человек, которого счастье угнетает. И вот что сделало тогда киренцев послушными Лукуллу, дающему им законы.

Из Киринеи он отправился в Египет и потерял большую часть судов своих, при нападении на него морских разбойников. Сам он спасся и вступил торжественно в Александрию. На встречу его вышел весь флот, великолепно украшенный, как обыкновенно бывает, когда царь возвращается морем.

Молодой Птолемей* оказывал ему чрезвычайные ласки, дал ему комнаты и угощал в своем дворце: честь, которой до того времени не было оказано ни одному чужеземному полководцу. Издержки, определенные на его содержание, были не такие, какие давались обыкновенно другим, но вчетверо больше, хотя Лукулл ничего не принимал, кроме необходимого. Он также отказался от даров, которые царь к нему прислал, хотя оные стоили восемьдесят талантов. Говорят, что он не захотел ехать в Мемфис или осмотреть что-либо из удивительных и славных египетских достопамятностей. Он говорил, что сие есть занятие человека свободного и странствующего для своего удовольствия, а не того, который, подобно ему, оставил полководца под шатром на открытом поле перед самыми окопами неприятелей.

Птолемей, боясь войны, не вступил в союз с римлянами, но дал Лукуллу корабли для провожания его до Кипра. При самом отплытии царь, прощаясь с ним, обнял его и подарил ему богатейший смарагд, оправленный золотом. Лукулл сперва не хотел принять его, но когда царь показал ему вырезанный на нем образ свой, то Лукулл принял его, боясь, чтобы отказ не был сочтен знаком совершенной вражды и чтобы на море не покусились на жизнь его.

При самом плавании Лукулл собрал много кораблей от приморских городов, исключая тех, которые участвовали в морских разбоях. Переплавляясь на Кипр, известился он, что неприятельские корабли стояли на якоре и на мысах и подстерегали его. Он велел вытащить суда свои на берег и писал во все города о приготовлении припасов, как будто бы намеревался тут дожидаться весны. Но при первой благоприятной погоде неожиданно пустил суда свои в море и отправился в путь. Днем он спускал паруса, а ночью поднимал их, и таким образом благополучно достиг Родоса. Родосцы дали ему корабли; граждан Коса и Книда уговорил он отстать от Митридата и напасть на самосцев. Из Хиоса сам выгнал царских воинов, а колофонян освободил, поймав Эпигона, их тиранна.

В то самое время Митридат уже оставил Пергам и заперся в Питане*. Здесь Фимбрия окружил и осадил его со стороны твердой земли. Митридат, обращая свое внимание только на море, собирал к себе и призывал со всех сторон свои флоты, не дерзая вступить в сражение с Фимбрией, мужем смелым и победившим уже его. Фимбрия приметил его намерение, не имея морских сил, писал Лукуллу, просил его поспешить с флотом своим для совершенного вместе с ним поражения враждебнейшего им и опаснейшего из царей, дабы великая и многими трудами и усилиями преследуемая добыча – Митридат, попавшись в сети и будучи пойман, не успел вырваться из рук их. Фимбрия представлял ему, что никто столько славы не приобретет в этом деле, как тот, кто помешает его побегу и захватить бегущего, и что дело сие припишется им обоим, ибо один свергает его с твердой земли, а другой удерживает на море, и таким образом прославленные подвиги Суллы у Орхомена и под Херонеей не будут иметь для римлян никакой цены.

Слова Фимбрии были не без основания; всякому известно, что если бы тогда Лукулл послушался его, привел бы туда свои корабли, будучи недалеко, и оградил бы гавань флотом,

то война была бы кончена и все избавились бы многочисленных бедствий. Но Лукулл, предпочитая ли долг свой к Сулле своей собственной и своего отечества пользе или ненавидя Фимбрию, как злодея, за то, что он из любоначальства сделался убийцей друга своего и полководца*, или по некоему божественному определению щадя в Митридате будущего своего противоборника, не последовал его представлениям, но дал Митридату время отплыть и посмеяться силе Фимбрии. Несмотря на это, Лукулл после того, во-первых, разбил Митридатовы корабли, показавшиеся при Лекте* Троадском; потом увидя при Тенедосе стоявшего с великим силами на якоре Неоптолема, выступил против него и плавал впереди всех на родосской пентере, управляемой Дамагором, человеком, приверженным к римлянам и искуснейшим в морских битвах. Неоптолем, устремясь на него с сильной греблей, велел своему кормчему ударить на корабль римский. Дамагор, боясь тяжести неприятельского корабля, вооруженного медным носом, не осмелился идти на оный прямо, но приказал быстро отвернуться и нажимать корму. Корабль, опустившись в той стороне, принял удар в подводные части свои, и потому оный не причинил ему никакого вреда. Между тем приспели его товарищи. Лукулл велел обратиться против неприятеля и, оказав в этом случае подвиги достопамятные, обратил в бегство и преследовал Неоптолема.

После того присоединясь к Сулле, который находился в Херсонесе и хотел переправиться на другую сторону, Лукулл обезопасил его переправу и оказал ему в том помощь. По заключении мира Митридат удалился в Эвксин*. Сулла наложил на Азию двенадцать тысяч талантов пени, приказал Лукуллу взыскать деньги и чеканить из них римскую монету. При такой суровости Суллы Лукулл был некоторым утешением для городов; он вел себя не только правдиво и бескорыстно, но еще кротко и человеколюбиво в препоручении, столь ненавистном и жестоком.

Когда митиленцы* явно отстали от Суллы, то Лукулл желал, чтобы они образумились и за приверженность свою к Марию легко были наказаны. Но видя, что они были тверды в своем упорстве, он прибыл к ним, победил в сражении, запер в городе и осадил их. Потом явно среди дня удалился в Элею, но возвратившись тайно, стал спокойно близ города в засаде. Митиленцы, считая римский стан оставленным, в беспорядке и с великой дерзостью устремились на разграбление оного. Лукулл напал на них; многих поймал живых, убил пятьсот человек, которые защищались, взял шесть тысяч невольников и получил добычу бесчисленную.

По некоторому неисповедимому счастью, Лукулл, занимаясь долговременно своим делами в Азии, сделался непричастным тем бесчисленным и многоразличным бедствиям, которыми в Италии Марий и Сулла отягчали род человеческий. При всем том он не менее прочих друзей Суллы пользовался его уважением. Сулла, как выше сказано, посвятил ему свои записки и из одной любви и, умирая, назначил его опекуном над своим сыном, миновав Помпея. Это, кажется, было первой причиной ссоры их и ревности друг к другу, когда они еще были молоды и горели страстью к славе.

Спустя несколько времени по смерти Суллы Лукулл был консулом вместе с Марком Коттой во время сто семьдесят шестой олимпиады. Многие хотели возобновить войну с Митридатом*, и Котта сам говорил, что война «не пресечена, но только усыплена». По этой причине Лукулл был весьма недоволен тем, что ему досталась по жребию Галлия, лежащая внутри Альпийских гор, в которой не открывалось поля ни к каким великим подвигам. Более всего беспокоили его успехи Помпея в Иберии; можно было предвидеть, что по окончании Иберийской войны не другой кто, как Помпей, будет избран полководцем против Митридата. По этой причине, когда Помпей требовал денег и писал, что ежели их не получит, то оставит Иберию и Сертория и возвратится в Италию с войском, то Лукулл всеми силами старался исполнить его требования, дабы во время консульства его Помпей не имел никакого предлога возвратиться в Италию. Лукулл знал, что вся республика покорится Помпею, если он только явится с войском, столь многочисленным. Сверх того, Цетег*, имевший тогда в республике величайшую силу, ибо все его слова и поступки клонились к угождению народу, был враг Лукуллу, который гнушался образом жизни его, исполненной разврата, наглости и пороков. Против него Лукулл вел явную войну. Но Луция Квинта, другого трибуна, восставшего против постановлений Суллы и старавшегося переменить настоящий образ правления, Лукулл успел отклонить от сего предприятия. Он успокоил его честолюбие частными и общенародными

увещеваниями, управляя началом страшного политического недуга с великим искусством, к спасению республики.

В это время получено было известие о смерти Октавия, управлявшего Киликией. Многие с жадностью желали получить эту область и льстили Цетегу, который, по великой силе своей, мог оную доставить, кому бы он ни захотел. Лукулл не дорого ценил эту провинцию, но, думая, что когда ее получит, то, по близости оной к Каппадокии, граждане никому другому не поручать вести войну с Митридатом, он употребил все средства, чтобы оная не досталась другому. Наконец, против своего свойства и по необходимости, сделал он дело нечестное и непохвальное, но полезное к достижению своей цели. Оно было следующее. В Риме была женщина по имени Преция; она славилась между прочими красотой и наглостью, хотя поведением своим не была лучше явных прелестниц. Будучи искусна пользоваться властью тех, которые были с нею в связи, для содействия своим друзьям в их искательствах и честолюбивых намерениях, она к своим приятностям присоединила еще в глазах многих и то преимущество, что покровительствовала своим друзьям, что была деятельна и искусна в делах, отчего приобрела еще большую силу. Когда же она пленила Цетега, который был тогда во цвете славы своей и управлял народом по своей воле, когда он был прельщен ею и она соответствовала любви его, то вся сила республики перешла в ее руки. Ничего не производилось общенародно без старания Цетега, ничего не делал Цетег без приказания Преции. Эту-то женщину подкупил Лукулл подарками и прельстил ласкательствами. Кроме того, показывать себя покровительницей Лукулла в его домогательствах – какая великая награда для женщины надменной и честолюбивой! Цетег вскоре начал превозносить похвалами Лукулла и просить для него Киликию. Получив ее единожды, он не имел уже нужды более в помощи Преции и Цетега. Все единогласно препоручили ему Митридатскую войну, как полководцу, лучше которого никто не мог ее вести, ибо Помпей тогда воевал еще против Сертория, а Метелл* отказывался от военных предприятий по причине старости своей. Этих только двух полководцев можно было противопоставить Лукуллу как достойных его противоподвижников. Со всем тем Котта, товарищ Лукулла в консульстве, убедив сенат своими просьбами, был отправлен на кораблях, чтобы охранять Пропонтиду* и защищать Вифинию.

Лукулл, с набранным в Риме легионом, переехал в Азию и принял начальство над войсками. Все они были давно уже испорчены негой и корыстолюбием, а так называемые фимбрианцы, привыкшие к безначалию, были к повиновению не способны. Эти-то воины, наглые и беззаконные, но храбрые, могущие переносить все трудности и весьма искусные в войне, с Фимбрией убили Флакка, консула и полководца своего, а потом самого Фимбрию предали Сулле. Но Лукулл в короткое время наглость одних укротил, а других исправил. Тогда в первый раз, по-видимому, они узнали, что есть истинный начальник и полководец, ибо дотоле они привыкли быть ласкаемы и служить так, как им было угодно.

Дела неприятелей находились в следующем положении. Митридат, подобно большей части софистов, сначала гордо и надменно восстав против римлян с войском слабым и неспособным к войне, но с виду блистательным и пышным, наконец, к стыду своему, упал. Наставленный несчастиями, когда он в другой раз хотел предпринять войну, то ограничил свои силы приготовлениями истинными и нужными к войне. Он изгнал из своих войск разнородные толпы, многоязычные крики и угрозы варваров; оставил позлащенные и драгоценными камнями украшенные оружия, как добычу, достающуюся победителям и не придающую никакой крепости, оные носящим. Он велел ковать мечи по римскому обычаю, составить щиты тяжелые и крепкие; собрал коней, более приученных к войне, нежели богато украшенных, образовал пехоту, наподобие римской фаланги, из ста двадцати тысяч воинов, и конницу из шестнадцати тысяч, не считая, в том числе, вооруженных серпами колесниц, возимых четырьмя конями, коих было до ста. Он приготовил корабли без позлащенных шатров, без бань для наложниц, без женских комнат, роскошных и богато убранных; он наполнил оные оружиями, стрелами и деньгами и напал на Вифинию. Города принимали его с удовольствием; не только эта провинция, но и вся Азия впала в прежние недуги и претерпевала несносные тягости от римских заимодавцев и сборщиков податей. Этих-то грабителей, подобно гарпиям похищающих у жителей пищу, Лукулл впоследствии изгнал из Азии совершенно, но тогда наставлениями своими старался сделать их умереннее и укрощал мятежи народов, из которых

никто не хотел остаться спокойным.

Между тем как Лукулл занимался такими делами, Котта, думая, что нашел благоприятное для себя время, приготовлялся воевать с Митридатом. Получив от многих известие, что наступающий Лукулл уже находится во Фригии, и думая, что триумф уже в его руках, дабы Лукулл не имел в нем участия, поспешил дать сражение, но пораженный в одно время на море и на суше, он потерял шестьдесят судов со всеми людьми и четыре тысячи пехоты, сам был заперт неприятелями и осажден в Халкедоне и только от Лукулла ожидал спасения. Многие советовали полководцу пренебречь Котту и идти далее, уверяя его, что он займет все царство Митридатово, которое было без защиты. Воины в особенности были такого мнения и негодовали на Котту, который не только себя и своих подчиненных погубил своим безрассудством, но еще препятствовал и им, тогда как они могли победить, не сражавшись. Лукулл в речи своей объявил им, что лучше хочет вырвать одного римлянина из рук неприятелей, нежели завладеть всеми их сокровищами. Когда Архелай*, который в Беотии предводительствовал войском Митридата, а потом, отстав от него, присоединился к римлянам, старался уверить его, что стоит только ему показаться в Понте, дабы все покорить, то Лукулл отвечал: «Я не должен быть трусливее обыкновенных охотников, не должен проходить мимо зверей и входить в пустые их норы». После этих слов обратился он на Митридата с войском, состоявшим из тридцати тысяч пехотинцев и двух тысяч конников. Став в виду неприятелей, он был поражен их множеством и решился не давать сражения, а длить только войну.

Когда же полководец Марий, посланный Серторием к Митридату с войском, встретился с Лукуллом и хотел с ним сразиться, то Лукулл стал в боевой порядок. Оба войска уже сходились одно с другим, как без всякой явной перемены вдруг раздался воздух и явилось некоторое пламенновидное тело, нисходящее в средину двух войск. Видом оно походило на бочку, а цветом на растопленное серебро. Обе стороны, устрашась сего явления, расступились. Это происшествие случилось, как говорят, во Фригии, при месте, называемом Офрия. Лукулл, рассудив, что никакие человеческие приготовления и никакие богатства не могут содержать долгое время, особенно же в виду неприятеля, столько тысяч войска, сколько имел Митридат, велел привести к себе одного из пленников. Он расспрашивал у него, во-первых, много ли было с ним под одним шатром воинов? Потом: много ли оставалось в шатрах припасов? Получив от него ответы, он велел ему удалиться и разведывал о том же у другого и третьего; потом сличил количество заготовленных запасов с числом питающихся и заключил, что через три или четыре дня неприятель не будет иметь припасов. По этой причине он тем более утвердился в мыслях своих длить войну и собирал множество припасов в свой стан, дабы, находясь в изобилии, свободнее ожидать благоприятного случая, когда неприятель совершенно оскудеет.

В то время Митридат злоумышлял против кизикийцев, уже пораженных в сражении при Халкедоне. Они потеряли тогда три тысячи человек и десять кораблей. Чтобы сокрыть от Лукулла свое предприятие, он пошел на них тотчас после ужина, во время ночи темной и дождливой, на рассвете был он уже перед городом и поставил стан свой на горе Адрастии*. Лукулл узнал о том и погнался за ним, будучи доволен тем, что ночью в беспорядке не пошел на неприятелей, и остановился при селении, именуемом Фракия, в весьма выгодном положении, в рассуждении дорог и мест, через которые по необходимости Митридатовы войска получали запасы. По своей прозорливости предвидя будущее, он не скрыл этого от своих воинов, и лишь только поставили стан и перестали работать, он, собравши всех, с гордостью говорил им, что после немногих дней без пролития крови вручит им победу.

Митридат обступил кизикийцев с твердой земли войсками, в десяти отделениях расположенными, а с моря оградил своим кораблями пролив, отделяющий город от твердой земли, и таким образом с двух сторон осаждал город*, жители которого стояли твердо против всех опасностей и были в готовности претерпеть для римлян все крайности, но тревожились неведением, где Лукулл находился, не имея о нем никакого известия. Хотя стан его был в виду их, но они были обмануты неприятелем, который, указывая им римлян, стоявших на высотах, говорил: «Видите? Это войско армян и мидян, присланное Тиграном на помощь Митридату». Кизикийцы были изумлены, видя себя окруженных со всех сторон столь страшными силами, и отчаивались в помощи даже и тогда, когда бы Лукулл к ним прибыл. Демонакт, посланный к ним от Архелая, первый известил их о присутствии Лукулла. Они не верили словам его, думая,

что все выдумано для утешения их. В то самое время явился к ним мальчик, убежавший из плена неприятельского. Они спрашивали у него, не слышно ли, где Лукулл находится? Мальчик смеялся при таком вопросе, думая, что с ним шутят. Но, приметя, что они говорили без шуток, он указал рукой на римские окопы, и жители ободрились духом.

Недалеко от Кизика есть озеро, называемое Даскилийским*, по которому можно плавать на довольно больших лодках. Лукулл взял из них самую большую, перевез ее на колесах в море и посади на нее воинов столько, сколько в ней можно было поместить. Ночью они переправились, не будучи примечены, и вступили в город.

Кажется, само божество, уважая мужество и твердость кизикийцев, ободрило их многими явственными знамениями. Тогда настало время празднества Персефоне*. Жители, не имея черной коровы для принесения в жертву богине, сделали животное из теста и поставили перед жертвенником. Но посвященная и питаемая для богини корова, которая с другими стадами кизикийцев паслась на другой стороне моря, в тот самый день отделилась от своего стада, одна переплыла море, пришла в город и стала перед жертвенником. Богиня сама явилась во сне городскому писцу Аристагору и сказала ему: «Я веду ливийского флейтиста на понтийского трубача*. Скажи гражданам, чтобы они были благонадежны». Кизикийцы удивлялись таким речам. При наступлении дня начал дуть сильный ветер, море чрезвычайно волновалось. Стоявшие у самых стен городских царские машины, удивительные произведения фессалийца Никонида, треском и шумом своим предвещали будущее. Тогда восстал южный ветер невероятной силы; сокрушил все машины в самое короткое время, потряс и низверг деревянную башню, имевшую сто локтей вышины. Повествуют также, что многим жителям Илиона явилась во сне Афина, облитая потом. Она, показывая разодранную часть своего покрывала, вещала им, что она идет для принесения помощи кизикийцам. Илионцы показывают столп с надписями и постановлениями, относящимися к этому происшествию.

Доселе Митридат, обманутый своими полководцами, не ведал о голоде своего войска и только печалился о том, что кизикийцы избегали осады. Но вскоре гордость его и упрямство исчезли, когда почувствовал, в какой нужде были его воины, питавшиеся уже человеческим мясом, ибо Лукулл не вел с ним войны только для виду, но сильно наступал на него самым делом и все средства употреблял к отнятию у него запасов. По этой причине, когда Лукулл занялся осадой одной крепости, Митридат поспешил воспользоваться временем, выслал в Вифинию почти всю конницу с возовым скотом и ненужную пехоту. Лукулл, узнав о том, прибыл ночью в стан и поутру в самую дурную погоду, взял десять когорт и конницу, погнался за ним, несмотря на снег и на все трудности дороги. Многие из его воинов, по причине холода, не могли следовать за ним и отставали позади. С теми, кто был при нем, догнал он неприятеля на реке Риндака, поразил его и обратил в бегство, так что женщины из Аполлонии* выходили за стены отнимать обозы и грабить убиенных. Убито было великое число неприятелей, в плен взято шесть тысяч коней, несчетное множество скота и пятнадцать тысяч воинов. Лукулл, ведя их за собою, прошел мимо неприятельского стана. Я удивляюсь Саллюстию, который говорит, что римляне тогда в первый раз увидели верблюдов. Ужели он думает, что победившие прежде Антиоха под предводительством Сципиона и незадолго перед тем сражавшиеся под Орхоменом и при Херонее не имели случая видеть это животное?

Митридат вдруг обратился в бегство. Дабы отвлечь Лукулла от преследования и занять его позади себя, он послал корабленачальника Аристоника в Греческое море, но тот не успел отплыть, как изменой был предан в руки Лукулла, с десятью тысячами золотых монет, которыми хотел некоторых подкупить в римском войске. Митридат убежал через море, а полководцы его вели войско сухим путем. Лукулл напал на них при реке Граника*; великое число взял в плен; на месте положено двадцать тысяч; всех же, как говорят, ратников и служителей сего многочисленного войска погибло, как полагают, без малого триста тысяч человек.

Лукулл, вступив в Кизик, был принят с отличными почестями и любовью*. Потом, идучи по берегам Геллеспонта, собирал флот, прибыл в Троаду и остановился ночевать в храме Афродиты. Когда он уснул, то ночью предстала ему богиня и молвила:

Бодрый лев! Почто дремлешь? Серны от тебя недалеко!

Проснувшись, он позвал своих друзей и рассказал им сон. Тогда была еще ночь. В то самое время прибывшие из Илиона люди известили его, что в Ахейской пристани* появилось тридцать царских судов, плывущих на Лемнос. Лукулл тотчас устремился на них, взял их и убил Исидора, их начальника. Потом поспешил напасть и на других правителей судов. В то время они стояли на якоре, но, увидев его, начали вытаскивать суда свои на землю и сражались с палубы. Они поражали многих Лукулловых воинов, ибо место не позволяло римлянам ни обойти их, ни вытеснить спереди своими кораблями, морем колеблемыми, корабли неприятельские, опиравшиеся о берег и твердо стоявшие. Но Лукулл нашел, хотя с трудом, на острове место, к которому мог пристать, и высадил отборнейших своих воинов, которые напали с тылу на неприятелей; одних убивали, других принуждали рубить канаты и, пускаясь в море, ударяться кораблями о корабли и попадать под суда Лукулла. Неприятелей убито было великое множество. В числе пленников найден и полководец Марий, посланный Серторием к Митридату. Он был одноглазый; по этой причине Лукулл приказал воинам своим при самом нападении не убивать никого одноглазого, дабы Марий, попавшись ему, умер с поношением и ругательством.

По окончании подвига Лукулл спешил вслед за бегущим Митридатом. Он надеялся, что застанет его в Вифинии, запертого Воконием, которого он послал в Никомедию с кораблями, для удержания бегущего Митридата. Но Вокоций, занимаясь самофракийскими священными таинствами и торжествами, замедлил исполнить его повеления. Между тем Митридат с флотом своим до возвращения Лукулла спешил вступить в Понт, но страшная буря, постигшая его, частью потопила корабли его. Все берега несколько дней кряду были покрыты корабельными обломками, выбрасываемыми бурей. Сам Митридат, находясь на грузовом судне, которое, при всем усилии кормчих, среди сильного волнения, не могло ни приблизиться к земле, по причине величины его, ни держаться долго на море, по своей тяжести и по множеству вступившей в него воды, бросился в разбойничье судно и, предав себя морским разбойникам, против всякой надежды, спасся бегством в Гераклею Понтийскую, претерпев великие опасности.

Итак, гордое представление Лукулла сенату не навлекло на него гнева богов, ибо когда сенат для продолжения войны хотел назначить три тысячи талантов на снаряжение флота, то Лукулл в письмах своих, употребляя выражения высокомерные, уверял, что без таких издержек и приготовлений, с одними кораблями союзников принудит Митридата оставить море. Ему это удалось при помощи самих богов, ибо говорят, что гневом Артемиды Приапской* постигла понтийцев оная буря за то, что они ограбили храм ее и похитили кумир.

Многие советовали тогда Лукуллу отложить войну, но он, не слушаясь их, через Вифинию и Галатию вступил в области Митридата. Сначала терпел он недостаток в запасах. Тридцать тысяч галатов следовали за войском, неся на плечах по медимну пшеницы. Но идучи далее и все покоряя, он имел такое изобилие в своем стане, что быка продавали по одной драхме, а невольника по четыре драхмы. Другой добычи ни во что не ставя, одни не брали, другие истребляли; некому было ее продавать, ибо у всех было всего много. Но для разорения области они простирали свои набеги до Фемискиры* и до полей Фермодонта. Несмотря на то, воины жаловались на Лукулла за то, что он брал все города мирным путем и не давал им случая обогатиться расхищением оных. «Хотя не великого труда стоит, – говорили они, – взять теперь Амис, город цветущий и богатый, если только усилить осаду, но мы оставляем его. Лукулл ведет нас к степям Тибаренским и Халдейским, дабы там сражаться с Митридатом». Лукулл, надеясь, что все это не доведет воинов до такого безумия, какое оказалось впоследствии, не заботился о них и не уважал их ропота. Перед теми же, которые обвиняли его в том, что он теряет время вокруг местечек и маловажных городов и между тем позволяет Митридату умножать свои силы, он оправдывал себя, говоря: «Я этого-то и желаю и медлю с умыслом, чтобы государь сделался опять великими и собрал многочисленное войско, чтобы он мог устоять против нас, когда нападем на него, и не предался бы бегству. Не видите ли, что позади его беспредельная, необозримая пустыня; вблизи Кавказ, многие и далеко простирающиеся горы, могущие вместить и сокрыть в себе тысячи царей, избегающих битвы; что путь от Кабиры* до Армении недалек и что государством обладает Тигран*, царь царей, имеющий великую силу, которой отрезает парфян от Азии, переселяет в Мидию греческие города, держит

во власти своей Сирию и Палестину, умерщвляет царей, наследников Селевка, влечет в плен жен и дочерей их? Этот царь, союзник и зять Митридата, не презрит его, когда он попросит у него помощи, но начнет войну против нас. Таким образом, желая изгнать Митридата, мы подвергнемся опасности вооружить против себя Тиграна, который давно ищет причины восстать на нас и для которого благовиднейшим предлогом будет то, чтобы оказать помощь царю и другу в несчастии. Для чего нам добиваться этого, для чего научать Митридата, с кем против нас ему воевать должно, когда он того не знает; для чего принуждать его предать себя Тиграну, когда он того не хочет, когда считает себе бесчестием просить у него помощи? Не полезнее ли дать ему время отдохнуть и собрать силы в областях своих? Не лучше ли нам воевать с колхами и тибаренами, которых многократно мы побеждали, нежели с мидянами и армянами?»

Рассуждая таким образом, Лукулл провел долгое время вокруг Амиса*, который осаждал слабо. По прошествии зимы он поручил Мурене продолжать осаду города, а сам пошел на Митридата, находившегося в Кабирах с войском, состоящим из сорока тысяч пехоты и трех тысяч конницы, на которую более всего полагался. Митридат решился твердо стоять против римлян. Он переправился через реку Лик и вызывал их на равнину. В сражении с конницей римляне обратились в бегство. Помпоний, муж довольно знаменитый, взят был израненный и приведен к Митридату, в самом опасном положении от полученных ран. Митридат спросил его, сделается ли он ему другом, когда спасет ему жизнь? «Да! – отвечал ему Помпоний. – Когда примиришься с римлянами, а если нет, я твой враг!» Митридат, удивясь его твердости, не сделал ему никакого зла.

Между тем Лукулл боялся пуститься на равнины, по причине множества неприятельской конницы, и не решался идти далее горами, по которым дорога была длинна, лесиста и трудна. По счастью, привели к нему некоторых греков, убежавших в одну пещеру. Старший из них, по имени Артемидор, обещал Лукуллу привести его и поставить на безопасном для стана месте, в котором есть крепость, висящая, так сказать, над Кабирами. Лукулл поверил ему. При наступлении ночи развел он огни и пустился в путь. Пройдя безопасно узкие проходы, он занял укрепление, днем явился над самыми неприятелями, поставил стан на местах, с которых удобно было напасть на неприятеля, когда бы он захотел сражаться, и которые равно доставляли ему безопасность, если бы он решился остаться спокойным.

В это время ни одна из сторон не имела намерения испытать сил своих. Но случилось так, что царские воины погнались за оленем, а римляне вышли к ним навстречу, дабы их отрезать. Они сошлись, началось сражение, число воинов с обеих сторон умножалось, наконец, воины Митридата остались победителями. Римляне, видя с окопов обращение ратников своих в бегство, негодовали, прибегали к Лукуллу, просили его вести их против неприятеля и подать знак к сражению. Лукулл, желая им показать, сколь важны в сражениях и опасностях присутствие и явление разумного полководца, велел им остаться в покое; сам сошел на равнину и, встретив первых из бегущих, приказал им остановиться и вместе с ним обратиться к сражению. Одни повиновались, другие, следуя примеру их, возвратились назад, соединились и, разбив неприятелей, гнались за ними до самого стана. По возвращении своем в стан Лукулл наказал бежавших от сражения положенным бесчестием. Он велел им в туниках неопоясанных рыть окопы в двенадцать футов в присутствии других воинов.

В стане Митридата находился тогда некоторый дандарийский правитель, варварского народа, обитающего на Мэотиде, по имени Олтак, человек, отличный телесной крепостью и смелостью в военных действиях, способный давать советы в важнейших обстоятельствах, при том приятный в обхождении, услужливый и умеющий угождать. И вот он, завидуя одному из своих единоплеменных правителей, которому оказывали предпочтение, обещал Митридату важную услугу: умертвить Лукулла. Царь одобрил намерение его и сделал ему нарочно некоторые обиды, для возбуждения притворного негодования его. Олтак убежал к Лукуллу, который принял его благосклонно, ибо о нем много говорили в римском войске. Вскоре Лукулл узнал его лучше, еще более полюбил за остроумие и приятность в обращении и делал его иногда участником стола своего и совещаний. Когда дандарий думал, что уже настало благоприятное время к исполнению намерения его, то велел он служителям своим вывести из стана коня своего, сам же в полдень, когда воины отдыхали, пошел к шатру Лукулла, надеясь,

что никто не воспретит ему войти, как другу полководца, и уверяя, что имеет сообщить ему нечто важное. Он вошел бы беспрепятственно, когда бы сон, который столь много вождей погубил, не спас в этом случае Лукулла. Он отдыхал тогда, и один из служителей его по имени Менедем, стоявший у дверей, говорил Олтаку, что он пришел не вовремя, что Лукулл только что предался покою и заснул после долгого бдения и великих трудов. Олтак не хотел удалиться и сказал, что войдет, хотя бы он ему не позволил, ибо хочет говорить с Лукуллом о весьма нужном и важном деле. Менедем с досадой сказал, что нет ничего важнее спокойствия самого Лукулла, и вытолкнул его обеими руками. Олтак устрашился, вышел из стана, сел на коня своего и возвратился к Митридату, ничего не произведши. Вот как случай придает действиям, равно как и лекарствам, силы то гибельные, то спасительные!

После некоторого времени Лукулл отправил Сорнатия с десятью когортами, для привоза припасов. Менандр, один из полководцев Митридата, погнался за ним, но Сорнатий дал ему сражение и разбил его с великим кровопролитием. Вскоре после того послан был Адриан с войском и в том же намерении, дабы воинам доставить всевозможное изобилие в припасах. Митридат не оставил этого без внимания; он выслал против него Менемаха и Мирона с великим числом конницы и пехоты. Все, кроме двух, изрублены были римлянами. Митридат старался скрыть важность этого поражения, разглашал, что оно малозначащее, и произошло более всего от неопытности начальников. Но Адриан с торжеством прошел мимо его стана, ведя за собою великое число возов, наполненных запасами и добычей. Этот случай привел Митридата в отчаяние, воины его впали в смятение и ужас. Решено уже было не оставаться там далее. Царские приближенные начали вывозить тайно свои имущества, между тем как другим воинам это было запрещено. Они толпились при выходе из стана и, будучи исполнены ярости, начали грабить имущество своих начальников и умерщвлять их. Здесь Дорилай, полководец царский, погиб за одну багряницу, которую он носил на себе. Жрец Гермий был растоптан у самых ворот. Сам Митридат без последователей, без конюшего, в толпе смешенных ратников, вырвался из стана, не имея даже коня царского. Спустя долгое время после того евнух Птолемей, увидев его, несомого потоком бегущих, соскочил с лошади своей и отдал ее Митридату. Уже римляне наступали, почти держали его в руках своих, едва не настигли его, уже были от него близко, как постыдное любостяжание воинов исторгло из рук римлян эту, столь долго и с такими опасностями преследуемую добычу, и лишило венца победоносного Лукулла. Конь Митридата мог уже быть пойман воинами, как один из лошаков, везущих царское золото, стал между царем и ними. Случайно ли сие случилось, или царь сам пустил его с намерением к преследующим, того не известно; воины остановились, чтобы разграбить золото, и ссорясь между собою, дали ему время убежать. Корыстолюбие воинов было причиной не одной только этой великой потери, но еще другой, весьма важной. Лукулл взял в плен Каллистрата, царского тайного поверенного, и велел некоторым воинам отвести его, но они, приметя у него в поясе пятьсот золотых монет, умертвили его. При всем том Лукулл предал грабежу стан неприятельский.

По покорении города Кабир и большей части других крепостей, Лукулл нашел в них великие сокровища. В темницах было заключено много греков и царских родственников, которые почитали себя давно уже для света умершими и для которых освобождение, получаемое от милости Лукулла, было, можно сказать, воскресением и возрождением. Там найдена была к своему спасению и Нисса, сестра Митридата, ибо другие сестры и жены Митридата, находившиеся далеко от опасности и почитавшие себя спокойными в Фарнакии*, погибли все от руки евнуха Бакхида, посланного к ним от Митридата после побега. В числе этих женщин были сестры царевы: Роксана и Статира, девицы, бывшие уже около сорока пяти лет, и две жены его, родом ионянки – Береника из Хиоса и Монима из Милета. Эта последняя прославилась в Греции тем, что царь влюбился в нее и, дабы склонить ее к взаимной любви, послал ей пятнадцать тысяч золотых монет. Она их отвергла и была непреклонной до тех пор, пока он не заключил с нею брачного договора и не прислал к ней диадемы, провозгласив ее царицей. Эта несчастная царица еще прежде провождала дни свои в горести, оплакивая пагубную красоту, которая дала ей вместо супруга – властелина, вместо брачного ложа и чертога – темницу, стрегомую варварами. Будучи далеко от Греции, она только в мечтании наслаждалась благами, которых надеялась, и лишилась благ истинных, существенных. Когда

евнух Бакхид предстал перед ними и велел им умереть той смертью, какая каждой покажется удобнее и легче, то Монима, сорвав с головы своей диадему, обернула ею шею и повесилась на ней. Но вдруг диадема сорвалась, и несчастная Монима воскликнула: «Проклятый лоскут! И к этому ты мне бесполезен»! Она бросила ее, плюнула на нее и отдала на волю Бакхиду умертвить себя. Береника хотела принять чашу с ядом прежде матери, но та упросила ее дать ей часть оного. Обе выпили из смертной чаши, но отравы было достаточно для произведения своего действия над слабейшим телом матери, но не для Береники, которая выпила меньше, чем было нужно. Она терзалась мучениями смерти и не могла умереть, пока не поспешил задушить ее Бакхид. Незамужние сестры Митридата приняли яд. Роксана проклинала и ругала его; напротив того, Статира не только не произнесла на него никакого хуления, никаких слов, которые бы изъявляли ее малодушие, но еще хвалила брата за то, что он, в такой своей опасности, не пренебрег ими и имел попечение о том, дабы они кончили дни свои свободными и неподверженными поношению. Эти происшествия огорчили Лукулла, от природы доброго и человеколюбивого.

Преследуя Митридата, он дошел до Талавр, но возвратился назад, когда узнал, что за четыре дня до его прибытия Митридат опередил его и убежал в Армению к Тиграну. Лукулл покорил халдеев, тибаренов и Малую Армению, взял много городов и крепостей и послал к Тиграну Аппия, требуя от него Митридата, а сам отправился к Амису, осада которого еще продолжалась. Причиной такой долговременной осады был начальник города Каллимах, который искусством своим в созидании машин и в изобретении военных хитростей, сколько осада может позволить, причинял римлянам великий вред, за что после был ими наказан. Лукулл был хитрее его, он внезапно напал на город в тот самый час, в котором обыкновенно отступал от него для успокоения воинов, и завладел частью стены. Каллимах зажег город и ушел из него, или не желая, чтобы римляне им пользовались, или стараясь таким образом удобнее спасти себя, ибо никто не обращал внимания на то, что он на судах предался бегству. Сильное пламя скоро распространилось и объяло стены, воины готовились к расхищению. Лукулл, жалея о погибающем городе, извне старался подать ему помощь и велел гасить огонь, но никто не повиновался ему; воины требовали предать им город на расхищение и с великим криком производили стук своими оружиями. Лукулл был принужден дать им позволение грабить, думая, что таким образом избавит город от пожара. Но они сделали совсем противное ожиданию его. Простершись повсюду с факелами и внося огонь во внутренность всех домов, сами они превратили в пепел большую часть их. Когда на другой день Лукулл вступил в город, то со слезами говорил друзьям своим: «Я всегда почитал Суллу счастливейшим человеком, а в нынешний день еще более удивляюсь его счастью. Он хотел избавить Афины от погибели и избавил, а мне, когда я желал быть его подражателем, злой гений предоставил славу Муммия*». Между тем он старался, сколько можно было, о восстановлении города. Дожди, падая, по неисповедимому некоему счастью, в изобилии, погасили пламень. По взятии города Лукулл, в своем присутствии, воздвиг большую часть разрушившихся зданий; убежавших жителей Амиса принял благосклонно, позволил всем грекам, кто хотел, поселяться в городе, которому отделил земли на сто двадцать стадиев. Город был основан афинянами* в то время, когда сила их республики процветала и имела владычество над морем. По этой причине некоторые граждане, убежавшие от тираннии Аристиона и приплывшие к этим берегам, поселились в городе и имели участие в правлении, но избавившись от отечественных бедствий, должны были принять участие в чужих бедствиях. Тех, кто спасся, Лукулл прилично одел, дал каждому по двести драхм и отослал их в отечество.

В это время грамматик Тираннион был взят в плен. Мурена выпросил его у Лукулла и отпустил на волю, употребив дар сей неблагородно. Лукулл не хотел, чтобы муж, столь уважаемый за свою ученость, прежде сделался рабом, а потом отпущенником, ибо возвращение мнимой вольности значило отнятие настоящей. Впрочем, Мурена не в этом одном случае показал, сколь много уступал он сему полководцу в великодушии.

Лукулл обратился к другим городам Азии. Освободившись от забот военных, он хотел заняться судом и расправой; долго продолжавшийся в том недостаток вверг провинцию его в невероятные и неизреченные бедствия. Сборщики податей и заимодавцы грабили и превращали в рабов ее жителей. Эти принуждаемы были частно продавать прекрасных сыновей и

девственных дочерей своих, а общественно дары, посвященные храмам, картины и священные кумиры богов своих. Наконец, и сами делались невольниками за долги свои. Мучения, предшествующие рабству, были ужаснее самого рабства. Надобно было вынести удары вервием, заключение в темнице, стоять на открытом воздухе, во время зноя, перед солнцем, а в холодное время быть погруженным в грязи, или в воде, так что рабство можно было считать некоторым облегчением и успокоением. Лукулл, найдя в городах такие бедствия, в короткое время избавил их от притеснителей. Во-первых, он велел считать не более одного процента с ссуды; во-вторых, уничтожил лихвы, превышающие долг; в-третьих, что всего важнее, определил, чтобы заимодавец пользовался только четвертой долей доходов должника, а кто прикладывал лихвы к капиталу, тот всего лишался. Таким образом, менее, нежели в четыре года, все долги были уплачены, имущества освобождены и возвращены хозяевам. Этот общий долг происходил от тех двадцати тысяч талантов пени, которую Сулла наложил на Азию. Заимодавцам заплачено уже было вдвое больше того, нежели сколько у них было занято, а долгу наросло лихвами до ста двадцати тысяч талантов. Ненасытные заимодавцы вопияли в Риме против Лукулла, как будто бы от него претерпевали величайшие убытки. Деньгами они вооружили против него некоторых демагогов. Эти демагоги имели в Риме великую силу, и многие из занимавших места в правлении были их должниками. Но Лукулл был любим не одними им облаготворенными народами, и другие провинции желали иметь его начальником своим, почитая счастливыми тех, кому судьба даровала подобного правителя.

Аппий Клодий*, брат тогдашней жены Лукулла, посланный к Тиграну, был ведом царскими проводниками через верхние области кружным путем, с отступлениями и бесполезными объездами. Узнав от одного вольноотпущенника-сирийца прямую дорогу, он оставил длинную и обманчивую и расстался со своими варварскими проводниками. После немногих дней он переправился через Евфрат и прибыл в Антиохию «при Дафне»*. Он получил приказание дожидаться там Тиграна, который тогда находился в Финикии и покорял некоторые города. Между тем Клодий приобрел дружбу многих правителей, принужденно повиновавшихся Тиграну, в числе которых находился и Зарбиен, царь Гордиены*. Многие из порабощенных городов посылали к Клодию своих поверенных тайно, и он обещал им помощь со стороны Лукулла, советуя оставаться между тем в покое. Власть армян была грекам тягостна и несносна. Гордость Тиграна сделалась безмерной и чрезвычайной от великого счастья. Он думал, что все то, чего люди желают и что уважают, не только принадлежало ему, но и произведено для него. Имел начало маловажное и незначащее, в последствии он покорил многие народы и усмирил парфян более всякого другого. Месопотамию наполнил греками, которых множество переселил туда насильственно из Киликии и Каппадокии, преобразил нравы арабов, кочующих в шатрах, и, переселив их, заставил иметь жительство не в дальнем от себя расстоянии для пользы торговли. Около него было много царей, прислуживавших ему, а четверо из них в особенности были всегда при нем, как последователи или стражи, и бегали за ним в коротких платьях, когда он ездил верхом; когда же сидел и занимался делами, то стояли вокруг него, переплетшись руками. Такое положение более всякого другого изъявляет признание в своем рабстве, ибо человек, принимающий такой вид, некоторым образом отказывается от своей вольности и предает господину свое тело, в готовности более сносить и терпеть, нежели действовать.

Клодий нимало не устрашился и не был изумлен этими пышными представлениями, при первом свидании смело сказал Тиграну, что он прибыл для того, чтобы взять с собою Митридата, принадлежащего Лукулловым триумфам, или объявить Тиграну войну. Тигран, хотя и принуждал себя слушать его слова с веселым лицом и притворной улыбкой, но не мог сокрыть от других перемены, в нем происходившей, от смелых слов юноши. В течении двадцати пяти лет он в первый раз услышал речи откровенные и свободные, ибо такое число лет он царствовал, или, лучше сказать, угнетал народы. Он отвечал Клодию, что не предаст Митридата и что будет защищаться против римлян, начинающих войну. Негодуя на Лукулла, который в письме своем назвал его просто «царем», а не «царем царей», в ответе своем на оное не назвал его императором. К Клодию послал богатые подарки, а когда тот не принял оных, то Тигран прибавил к ним еще новые. Дабы показать, что не из вражды и ненависти к нему отвергает их, Клодий принял одну только чашу, а прочее отослал назад и поспешно возвратился

к Лукуллу.

Тигран до сего времени не хотел ни видеть прибегшего к нему Митридата, ни говорить с ним, как с родственником, лишившимся столь великого царства. Он, оказывая к нему презрение, бесчестно и надменно держал его далеко от себя и как бы стерег в местах болотистых и нездоровых. Но после того призвал его ко двору своему с великой дружбой и знаками почестей. Они говорили тайно между собою и старались истребить взаимные подозрения, к погибели своих друзей и приближенных, ибо на них обращали всю вину. В числе их друзей был и Метродор из Скепсия, муж весьма ученый и говоривший весьма приятно. Он был в такой силе при Митридате, что называли его «отцом царским». Некогда Митридат отправил его посланником к Тиграну для испрошения помощи против римлян. Тигран спросил у него: «Ты, Метродор, как советуешь мне поступить в этом деле?» Метродор для пользы ли Тиграновой или не желая, чтобы Митридат был спасен, отвечал ему: «Как посланник, советую помочь Митридату, а как советник не советую сего делать». Тигран объявил тогда Митридату совет Метродора, надеясь, что он не сделает ему никакого зла. Но Митридат тотчас умертвил его, и Тигран раскаялся в своей откровенности. Впрочем, не одно сие признание Тиграна было причиной несчастья Метродора; оно только придало некоторый перевес гневу Митридата, который давно имел против него неудовольствие. Это открылось из перехваченных тайных его бумаг, в которых между прочим была определена смерть Метродору. Тигран устроил ему великолепное погребение и, предавши его живого, ничего не пощадил для мертвого.

При Тигране умер и ритор Амфикрат, если должно упомянуть о нем из уважения к Афинам, его отечеству. Говорят, что он убежал в Селевкию, что на реке Тигр. Когда в этом городе просили его учить красноречию, то он горделиво отвечал: «Малый сосуд не может вместить в себе дельфина!»* Он перешел к Клеопатре, дочери Митридата и Тиграновой супруге, и вскоре был оклеветан. Ему было запрещено всякое сообщение с греками. Это так огорчило его, что он уморил себя голодом. Он погребен с честью от Клеопатры на месте, называемом Сафа*.

Лукулл, водворив в Азии правосудие и спокойствие, не забыл и того, что служит к удовольствию и забав. Находясь в Эфесе, он занимал города Азии великолепными торжествами, победными празднествами, борьбой атлетов и единоборцев. Города со своей стороны, в доказательство своей благодарности, учредили в честь него так называемые Лукулловы игры и показывали к нему истинную любовь, которая приятнее всех почестей.

По возвращении Клодия решено было идти войной на Тиграна. Лукулл спешил в Понт с войском и осадил город Синопу, или лучше сказать, владевших им от имени царя киликийцев, которые тогда, убив многих граждан Синопы и зажегши город, убежали ночью. Лукулл, узнав о том, вступил в город и из оставшихся киликийцев восемьсот человек предал смерти, а гражданам возвратил все то, что им принадлежало, и имел великое о городе попечение, в особенности по следующей причине. Ему приснилось, будто бы кто-то предстал пред ним и сказал: «Лукулл! Автолик пришел и желает видеться с тобой». Лукулл проснулся и не мог понять, что значило сие сновидение. В тот же самый день овладел он городом, и преследуя бежавших на судах киликийцев, увидел лежащий на берегу кумир, который они несли и не успели положить на судно. Этот кумир был одним из прекрасных произведений Сфенида*. Некто сказал Лукуллу, что это кумир Автолика, основателя Синопа. Говорят, что сей Автолик, сын Деимаха, был из числа тех, которые из Фессалии последовали за Гераклом в походе против амазонок. Возвращаясь из похода вместе с Демолеонтом и Флогием, он лишился своего корабля, который разбился в Херсонесе на месте, именуемом Педалия; сам он, спасшись со своими оружиями и товарищами в Синопе, отнял город у занимавших его сирийцев, которые, как говорят, происходят от Сира, сына Апполона и Синопы, дочери Асопа. Лукулл, узнав о всем том, вспомнил о совете Суллы, который в своих записках говорил ему, что нет ничего достовернее и несомненнее, как то, что знаменуемо бывает сновидением.

Между тем он получил известие, что Митридат и Тигран были в готовности ворваться со своими силами в Ликаонию и Киликию, дабы прежде занять Азию. Лукулл удивлялся тому, что армянский государь, имея намерение вести войну с римлянами, не воспользовался начатием оной с Митридатом, когда он был во всей силе своей, и не присоединился к нему, когда государство его было в целости, но когда он все потерял и силы его сокрушились, что с самыми

слабыми надеждами предпринимал войну и соединялся с теми, кто сам восстать не мог.

В это время Махар, сын Митридата, владевший Боспором*, прислал к Лукуллу золотой венец в тысячу золотых монет, прося признать его другом и союзником римлян. Лукулл, почитая первую войну конченной, оставил тут Сорнатия с шестью тысячами войска, для охранения области Понта, а сам с двадцатью двумя тысячами пехоты и без малого с тремя тысячами конницы обратился ко второй войне. Казалось всем, что только по одной дерзости без спасительных рассуждений он ввергается в средину народов воинственных, в многочисленные толпы конных, в страну необозримую, окруженную со всех сторон глубокими реками и высокими горами, всегда покрытыми снегом. Воины его, которые и без того были довольно непокорны, следовали за ним против воли. В Риме демагоги кричали против него, представляя народу, что Лукулл выводит из войны войну тогда, когда республика не имеет в том нужды, что он никогда не хочет положить оружия, желая продолжить свое военачальство и обогатить себя среди опасностей, которым подвергает республику. Этими представлениями они со временем достигли своей цели.

Между тем Лукулл продолжал поспешно поход свой к Евфрату и нашел реку высокой и мутной от последовавших проливных дождей. Это неприятно ему было, ибо через то он полагал встретить замедление и затруднение, когда бы надлежало собирать лодки и соединять плоты, но вода с вечера начала упадать, ночью довольно уменьшилась и при наступлении дня была уже весьма низка. Окрестные жители, увидев в реке малые острова, выказывающиеся из-под воды, и вокруг их как бы стоячую воду, поклонялись Лукуллу как богу, ибо прежде такое редко случалось; им казалось, что река сама уступает ему с покорностью и дает свободу переправляться скоро и без труда. Лукулл воспользовался случаем. При самой переправе войска видимо было следующее благоприятное знамение. На берегах Евфрата пасутся коровы, посвященные персидской Артемиде, которая более всех богинь уважаема варварами, живущими на другой стороне реки. Их употребляют только в жертвоприношениях. Они блуждают свободно и имеют на себе клеймо зажженного факела, как знак богини. Трудно бывает поймать какую-нибудь из них, когда надобно. По переправе войска одна из них подошла к камню, почитаемому посвященным богине, стала на него и, преклонив голову, подобно тем, кого наклоняют веревками, предала себя на заклание Лукуллу. Он и Евфрату принес в жертву быка, из благодарности за счастливую переправу. Этот день провел он на том же месте; в следующие дни шел он через область Софену, не нанося обид никому из покоряющихся его оружию и принимающих войско дружелюбно. Когда воины его хотели взять крепость, в которой, по-видимому, хранились великие сокровища, то Лукулл, указав им вдали видимые горы Тавра*, сказал: «Вот какую крепость должно вам брать; все прочее достанется победителям». Ускорив поход, переправился через Тигр и вступил в Армению.

Первому, кто возвестил Тиграну о приближении Лукулла, вместо награды была отрублена голова*; после того никто не дерзал говорить о Лукулле. Ничего не ведая о происходящем, Тигран сидел спокойно, объятый уже пламенем войны. Он внимал только словам лести к своему удовольствию. Льстецы ему твердили, что Лукулл явит себя весьма великим полководцем, если только дождется Тиграна в Эфесе, если не убежит вдруг и не оставит Азии, когда увидит множество его воинов. Столько-то справедливо, что как не всякое тело имеет силу выдерживать великое количество вина, не опьяневши, так не всякая обыкновенная душа может, при великом счастье, пребыть в твердом и здравом рассудке! Митробарзан, первый из приближенных к Тиграну, осмелился открыть ему истину, и его смелость не самую лучшую получила награду. Он тотчас был выслан против Лукулла с тремя тысячами конницы и с великим множеством пехоты. Ему было предписано привести живого полководца, а всех других растоптать ногами. Часть Лукулловых войск уже остановилась лагерем; другая приблизилась тогда, когда передовая стража известила его о наступлении варваров. Он боялся, чтобы неприятель не напал на его воинов, разделенных и еще не устроившихся, и не привел бы их в замешательство. Он принял на себя укрепления стана и послал наместника своего Секстилия с тысячью шестьюстами конных и почти с таким же числом тяжелой и легкой пехоты, приказав приблизиться к неприятелю и остановиться, пока узнает, что все войско вступило уже в стан. Секстилий хотел исполнить его приказание, но был принужден дерзостно нападавшим Митробарзаном вступить с ним в бой. Битва началась. Митробарзан пал в

сражении; все прочие, кроме немногих, в бегстве своем погибли.

После этого происшествия Тигран оставил Тигранокерт, город обширный, построенный им самим, отступил к реке Тигр и сюда со всех сторон собирал свои войска. Лукулл не дал ему времени долго приготовляться. Он послал Мурену беспокоить собиравшиеся к Тиграну войска и препятствовать их соединению, а Секстилию препоручил оставлять многочисленные толпы арабов, шедших на помощь к царю армянскому. Секстилий напал на арабов, когда они расположились станом, и большую часть их истребил, а Мурена следовал за Тиграном, между тем как тот шел по долине, узкой и неудобной для прохода многочисленного войска; пользуясь этим обстоятельством, напал на него. Тигран спасся бегством, обозы его достались римлянам, много армян побито, еще более взято в плен.

Между тем как они продолжали свои победы, Лукулл, поднявшись с войском, пошел к Тигранокерту и окружил оный. В этом городе жили многие греки, принужденно переселенные из Киликии, равно как и многие варвары, претерпевшие подобное насилие, то были адиабенцы*, ассирийцы, гордиенцы и каппадокийцы. Тигран разорил их отечества, перевел их и принудил там поселиться. Город был наполнен богатствами и приношениями богам; частные люди и владельцы из угождения к царю соревновались друг с другом в приращении и украшении города. По этой причине Лукулл производил осаду с великим напряжением, думая, что Тигран не стерпит сего, но в ярости своей и вопреки своему намерению придет и захочет с ним сразиться. И он рассчитал верно. Митридат советовал Тиграну, посылая вестников и письма, не вступать в сражение, но конницей отрезать Лукуллу доставление съестных припасов. Равным образом Таксил*, посланный им к царю и бывший в войске Тиграна, просил его беречь себя и избегать битвы, ибо римское оружие непобедимо. Сначала Тигран слушал с кротостью, но когда собрались к нему со всеми своими силами армяне и гордиенцы, когда присоединились цари мидийские и адиабенские, когда прибыли с берегов Вавилонского моря множество арабов, а с берегов Каспийского – альбаны и сопредельные им иберы, когда многие из живущих около Аракса народов, неуправляемых царями, пристали к нему, частью из дружбы, частью прельщенные подарками, то царские пиршества и царские советы были исполнены великих надежд, тщеславия и угроз. Таксил был в опасности лишиться жизни, противясь мнению тех, кто хотел сразиться. Тиграну казалось, что и Митридат, завидуя его славе, отклонял его от этого предприятия. По этой причине, не дождавшись его и дабы он не принял участия в его славе, Тигран шел к Лукуллу со всем войском, оказывал, как говорят, перед друзьями своими неудовольствие, что он должен сразиться с одним только Лукуллом, а не со всеми римскими полководцами сразу. Его дерзость не была совершенно неистова и безрассудна, ибо он видел такое число народов и царей, за ним следующих, видел многочисленные полчища пехоты и великое множество конницы. Стрелков и пращников при нем было двадцать тысяч, конницы пятьдесят тысяч, из которых семнадцать тысяч носили железные латы*, полтораста тысяч тяжеловооруженной пехоты, расположенной фалангами и когортами, работников, которые пролагали дороги, наводили мосты, очищали реки, рубили леса и занимались разными другими работами, было до тридцати пяти тысяч; они, становясь в строй позади ратоборцев, возвышали вид и красоту всего войска.

Когда Тигран перешел Тавр, вдруг все его ополчение сделалось видимым; он узрел римское войско, обступившее Тигранокерт. Тогда варвары, находившиеся в городе, с шумом и рукоплесканием обнаруживали свою радость и, угрожая римлянам с высоких стен, указывали им на армянское войско. Лукулл собрал совет. Одни советовали ему оставить осаду и идти против Тиграна, другие утверждали, что не должно оставлять позади себя такое число врагов и снимать осаду города. Лукулл сказал, что ни одно из их мнений само по себе не хорошо, но оба вместе могут быть полезны, и разделил свое войско. Мурену с шестью тысячами пеших оставил при осаде, а сам, взяв двадцать четыре когорты, в которых было не более десяти тысяч пехоты, всю конницу и около тысячи пращников и стрелков, подвинулся вперед и остановился при реке на обширной равнине. Тиграну показалось его войско весьма малочисленным; это дало повод льстецам его забавляться и шутить над Лукуллом. Одни насмехались над ним; другие в шутках бросали жребии о добыче. Каждый из полководцев и царей приходил с просьбой к Тиграну, чтобы ему одному было препоручено дело и чтобы он сам был только спокойным зрителем. Тигран, желая показаться забавным и остроумным, сказал всем известные слова: «Если они

идут, как посланники, то их слишком много, а если как ратники, то слишком мало». Таким образом они провели тот день в шутках и насмешках.

С наступлением другого дня Лукулл вывел вооруженные свои войска. Неприятели стояли на восточном берегу реки, а как течение ее обращается к западу, где было место, самое удобное к переправе, то Лукулл поспешно поворотил к тому месту, так что Тиграну показалось, будто бы он отступает. Царь призвал Таксила и говорил ему со смехом: «Смотри, как непобедимая римская пехота бежит». Таксил на это ответствовал: «Желал бы я, государь, чтобы твое счастье произвело что-либо чудесное, но эти воины не надевают блистательной одежды, когда идут в путь, не вычищают тогда своих щитов, не имеют, как теперь, шлемов непокрытых и не снимают кожаных чехлов с оружий своих. Видимый блеск и сияние в войске их показывают, что они хотят сражаться и идут на неприятеля». Таксил говорил еще, как вдруг первый орел обратился направо по приказанию Лукулла, когорты разделились, чтобы повзводно переправиться через реку. Тогда-то Тигран как бы пришел в себя после упоения, дважды или трижды воскликнул: «Они на нас идут!» После этого с великим беспокойством приказал приводить войско в порядок. Тигран предводительствовал средними полками, левое крыло дал он адиабенскому царю, а правое – мидийскому, при котором находилась и большая часть конницы, вооруженной латами.

Некоторые предводители советовали Лукуллу при самой переправе войска беречься того дня, ибо он был из числа тех несчастных дней, которые римляне называются черными. Они представляли ему, что в этот же день погибло войско Цепиона*, вступившее в сражение с кимврами. Лукулл отвечал достопамятными словами: «Я сделаю и этот день для римлян благополучным!» Это был канун октябрьских нон.

Сказав это и ободрив воинов, он переправился через реку и сам вел воинов своих на неприятеля. Он носил железную чешуйчатую броню, отражающую сияние солнца, и верхнее платье, обшитое бахромой. В руке держал обнаженный меч, в знак того, что надлежало вступить в ручной бой с неприятелем, привыкшим сражаться, стреляя издали, и что скоростью нападения должно было лишить его пространства, потребного для стреляния из лука. Когда же он увидел, что вооруженная железными латами конница, на которую неприятель полагался, устроена была под одним холмом, вершина которого была ровна и широка, а дорога к нему в четырех стадиях не весьма трудна, то приказал находившимся при нем фракийцам и галатам наступать на нее с боку и отбивать мечами их копья. Вся сила конницы состоит в копьях, другого ничего не может она употребить ни себе в защиту, ни неприятелям во вред, по причине тяжести и крепости своих доспехов, но кажется как бы пристроенной к стене. Сам Лукулл взял две когорты, устремился на холм, воины следовали за ним бодро, ибо видели его, что он первый шел пешком с оружием в руках, сносил все труды и разделял с ними опасности. Взойдя на высоту холма, он стал на месте видном и открытом и громким голосом воскликнул: «Победили мы, победили, соратники!» – и с этими словами повел их на конницу, покрытую латами. Он не велел действовать дротиками, но, настигнув неприятеля, мечом поражать в бедра и в ноги, ибо эти части тела одни были не покрыты латами. Но не было нужды употреблять такой род сражения: конница не приняла наступавших римлян, но с великим криком и шумом постыдно предалась бегству и смешала себя и своих тяжелых коней между пехотой, прежде чем та начала сражение. Так побеждено было многочисленное войско, без нанесения ран, без пролития крови. Самое большое поражение их происходило тогда, когда они бежали, или, лучше сказать, когда хотели бежать, ибо они не могли того сделать, но сами себе препятствовали, по причине густоты и толщины их строев. Тигран при самом начале нападения предался бегству с немногими. Видя сына своего участником бедствия, он сорвал с головы своей диадему, отдал ему ее со слезами и приказал спасать себя другой дорогой, как только может. Юноша не осмелился надеть ее, но отдал для сохранения вернейшему из своих служителей. Этот служитель был пойман и приведен к Лукуллу, которому таким образом, между другими пленными и добычей, досталась и Тигранова диадема. Говорят, что в этом сражении погибло более ста тысяч пехоты и что конных спаслось очень мало. Из римлян ранено сто человек, убито пять.

Философ Антиох, в сочинении своем «О богах» упоминая об этой битве, говорит, что солнце никогда не видало подобной. Страбон*, другой философ, в «Исторических записках»

говорит, что сами римляне стыдились и над собою смеялись, что употребили оружие против сих подлых рабов. Ливий утверждает, что никогда римляне, будучи столь малы числом в сравнении с неприятелями, не вступали в бой, ибо победители составляли менее двадцатой части побежденных. Лучшие из римских вождей и опытнейшие в военном деле более всего хвалили Лукулла за то, что он победил двух величайших и славнейших царей двумя совершенно противными средствами – скоростью и медленностью. Митридата, бывшего в полной его силе, истощал он продолжением времени и отлагательством, а Тиграновы силы сокрушил скоростью нападения. Немногие из бывших когда-либо полководцев употребили деятельную медленность и смелость, обеспечивающую безопасность.

По этой причине Митридат не спешил к сражению, а шел спокойно к Тиграну, думая, что Лукулл будет вести войну с обыкновенной своей осторожностью и медлительностью. Встретившись сначала на дороге с некоторыми армянами, отступающими в страхе, он стал догадываться о происшедшем бедствии; потом, как еще более попадалось ему безоружных и раненых, узнал о поражении Тиграна и начал его искать. Найдя его всеми оставленного, униженного, он не ругался над ним, но сошел с лошади, начал оплакивать с ним общее свое злополучие, дал ему своих служителей и ободрил надеждой на будущее; потом вместе стали они собирать новые войска.

Между тем жившие в Тигранокерте греки возмутились против варваров и хотели предать город Лукуллу, который учинил нападение и взял его. Он завладел царскими сокровищами, а город предал на расхищение*. В нем найдено, кроме других богатств, денег восемь тысяч талантов серебряных. Сверх того Лукулл разделил воинам, из полученной добычи, по восьмисот драхм на человека. Узнав, что в городе находилось великое число актеров, которых собрал Тигран отовсюду, для посвящения построенного им театра, Лукулл употребил их в играх и зрелищах, которыми торжествовал свои победы. Греков, поселенных в городе, снабдив на дорогу деньгами, возвратил в их отечества, равно как и варваров, принужденно в том городе живших. Таким образом разрушением одного города восстановлены многие, которым возвращены их жители и которые любили Лукулла, как благодетеля и основателя своего.

Лукулл имел во всем успехи, достойные человека, который более прельщался похвалами, получаемыми за правосудные и человеколюбивые деяния, нежели за военные подвиги, ибо в последних в немалой степени участвовало войско и еще более – судьба, но первые обнаруживали его кроткую и образованную душу, и именно этими качествами Лукулл без оружия покорял себе варварские народы. К нему пришли цари арабские, предавая ему свои царства. Софенцы покорились ему; гордиенцы так были привержены к Лукуллу, что хотели оставить свои города и последовать за ним всюду вместе с женами и детьми своими. Причина тому была следующая. Зарбиен, царь гордиенский, как уже сказано, имел с Лукуллом тайные переговоры о союзе посредством Клодия, не терпя суровой власти Тиграна, но намерение его открылось Тиграну, и Зарбиен был убит; вместе с ним погибли жена и дети его до вступления римлян в Армению. Лукулл не забыл их, но, вступив в область гордиенцев, сделал Зарбиену приличные похороны: воздвигнул костер, украшенный одеждами, золотом царским и добычами, взятыми у Тиграна, сам зажег оный и принес тени Зарбиена возлияния вместе с друзьями и приближенными усопшего, называя его другом и союзником римского народа. Он приказал воздвигнуть ему дорогой памятник, ибо во дворце Зарбиена найдено великое количество золота и серебра и три миллиона медимнов пшена. Таким образом воины обогатились, и Лукулл заслужил удивление тем, что, не получая ни одной драхмы из общественной казны, продолжал войну самой войною.

В это время прибыло к нему посольство от парфянского государя, который предлагал ему дружбу и союз. Лукуллу было очень лестно, он отправил со своей стороны сему государю посольство, которое успело уличить того в предательстве: он требовал от Тиграна тайно в награду Месопотамию за оказание ему союзнической помощи*. Лукулл, узнав о том, решился пропустить Тиграна и Митридата, как противоподвижников, отказывающихся от борьбы, идти прямо на парфян и испытать силы их, почитая за дело славное и блистательное одним походом, подобно искусному борцу, поразить трех царей, одного за другим, и пробежать с победами и торжеством три величайшие под солнцем державы. Он велел Сорнатию и другим полководцам, находившимся в Понте, привести к нему бывшие там войска, ибо его намерение было

выступить из Гордиены против парфян. Тогда начальники понтийских войск, которые и прежде с трудом управляли непокорными и беспокойными своими воинами, явно узрели в них все их своевольство; невозможно было ни убеждением, ни силою склонить их к послушанию. Воины громко говорили, что в Понте не хотят остановиться и уйдут, оставив область без защиты. Такие мысли, дошедшие до тех воинов, что были при Лукулле, испортили их. Они сделались уже тяжелы к походам от великого богатства и роскоши и требовали спокойствия. Когда они узнали о дерзости понтийских войск, то хвалили их, называли истинными мужами, говорили, что должно им подражать и что такие подвиги, ими произведенные, заслуживают, чтобы они успокоились и отдохнули после великих трудностей.

Лукулл, слыша подобные и еще худшие речи, оставил предпринятый им поход против парфян и опять обратился на Тиграна в самой средине лета. Он поднялся на Тавр и весьма опечалился, что поля еще зеленые* – настолько времена года отстают на высотах по причине холодного воздуха! Он сошел с гор и рассеял армян, несколько раз покушавшихся напасть на него, разорял беспрепятственно селения. Отнимая запасы, приготовленные для Тиграна, довел неприятелей до того недостатка, которого сам опасался. Он часто вызывал их сражаться, то обводя окопами их стан, то разоряя область у них на глазах их, но они оставались неподвижны после того, как столько раз наносил им поражение. По этой причине он пошел к столице Тиграна Артаксате*, где находились малые дети и жены государя в той надежде, что Тигран не предаст их римлянам, не сразившись.

Говорят, что Ганнибал после поражения римлянами Антиоха перешел к Артаксу Армянскому и научил его многому полезному. Он нашел в его областях место прекрасное и весьма плодоносное, лежащее впусте и без употребления, предначертал на нем город и, приведя Артакса, показал ему это место и уговорил населить его. Царь, будучи тем весьма доволен, просил его принять на себя надзор над строительством, и Ганнибал воздвигнул город обширный и прекрасный, которому царь дал свое имя и сделал столицей Армении.

Против этого города и обратился тогда Лукулл; Тигран этого не стерпел. Он поднялся со всей своей силою и в четвертый день поставил стан свой против римлян. Река Арсаний, через которую римляне, шедшие к Артаксате, должны были переправиться, отделяла войска. Лукулл принес богам жертвы, как бы победа была уже в руках его, переправился через реку, имея двенадцать когорт впереди, а другие позади, дабы неприятели не обошли его. Многочисленная конница и отборнейшие воины ожидали его в боевом порядке; перед всеми стояли мардийские конные стрелки* и иберийские копьеносцы, на которых, более нежели на других иноплеменных, полагался Тигран, почитая их всех более воинственными. Но стрелки не произвели ничего славного. После небольшой сшибки с римской конницей они не вытерпели наступления пехоты и обратились в бегство на две разные стороны. Римская конница погналась за ними, но лишь только она рассыпалась, как Тигран со своими конными на нее пустился. Лукулл устрашился, увидев множество их и блеск оружий. Он велел коннице удержаться от преследования и первый пошел против атропатенцев, устроенных против него с отборнейшими войсками. Но дело не дошло до битвы; он устрашил их и обратил в бегство. Из трех царей, устроившихся тогда против него, Митридат убежал постыднее всех; он не вынес и крика римского войска. Долго продолжалось преследование. Римляне утомились, умерщвляя во всю ночь неприятелей, повергая их в плен и собирая богатые добычи. Ливий пишет, что в первом сражении пало больше воинов, но во втором погибло, или взято в плен, больше знаменитых неприятелей.

Вознесенный победой и ободренный надеждой, Лукулл намеревался идти далее и совершенно поразить неприятеля. Но неожиданно, во время осеннего равноденствия, восстала суровая погода и посыпался на землю снег, а при ясном небе являлись морозы и иней. Лошади с трудом могли пить чрезвычайно холодную воду. Переправы сделались неудобны; лед ломался и своей твердостью резал у лошадей в ногах жилы. Большая часть этой области покрыта лесом и имеет трудные проходы. Воины беспрерывно покрыты были водой; снег падал на них в переходах; ночи проводили они самые беспокойные в местах влажных. Спустя немного дней после сражения они следовали за Лукуллом. Вскоре начали ему противиться. Сперва просили Лукулла, посылали к нему своих трибунов, потом, собираясь с шумом ночью, кричали в шатрах громко: это есть знак бунтующего войска. Лукулл просил их, увещевал вооружиться

твердостью и терпением, доколе не завладеют «армянским Карфагеном», доколе не испровергнут произведение враждебнейшего им человека Ганнибала, но все было бесполезно. Они оставались упорными. Лукулл отвел их назад и перешел Тавр другими вершинами и спустился в страну весьма плодоносную и теплую, называемую Мигдонией, в которой был город пространный и многолюдный; варвары называют его Нисибидой*, а греки Антиохией Мигдонийской. Этим городом управляли два человека: по важности своей – Гур, брат Тиграна, а по опытности и искусству в механике – тот самый Каллимах, который столь много препятствовал Лукуллу в покорении Амиса. Лукулл поставил близ города свой стан и, употребив всевозможные приемы осадного искусства, приступом завладел Нисибидой в короткое время*. С Гуром, который себя ему предал, поступил он человеколюбиво, но Каллимаха, несмотря на его обещание открыть место, где скрывались великие сокровища, велел сковать и привести к себе для наказания за то, что огнем разорил Амис и тем отнял у него случай показать великодушие и милость к жившим в оном грекам.

Доселе счастье, можно сказать, сопутствующее Лукуллу, соратоборствовало ему, но отныне он как бы лишился благоприятного ветра, все делал с великим усилием и напряжением и везде находил препятствия. Он не переставал показывать твердость и мужество, достойные великого полководца, но его деяния не имели уже никакой славы и превосходства. Среди неудачных своих предприятий, среди бесполезных ссор со своими воинами он едва не потерял прежде приобретенной им славы. Немалую причину к тому подал сам, не будучи ласков и приветлив к воинам своим и почитая началом унижения и бесчестия власти все то, что делается к угождению подчиненных*. Всего хуже было то, что он не умел приноравливаться к сильным и равным себе, но всех презирал и почитал недостойными с ним сравниться. Вот дурные его качества среди великого числа прекраснейших! Впрочем он был статен, пригож, красноречив и совершенно благоразумен в Народных собраниях и в управлении войском. Саллюстий говорит, что воины стали быть худо к нему расположенными с самого начала войны при Кизике, а потом при Амисе, когда две зимы сряду заставил он их провести в своих окопах. Следующие зимы были им равно неприятны, ибо они проводили их или в стране неприятельской, или стояли станом на открытом воздухе в земле союзнической. Ни один раз не вступил Лукулл с войском в какой-либо греческий и дружественный город. Неблагорасположенность воинов к Лукуллу еще более увеличилась от римских демагогов, завидовавших его успехам. Они обвиняли его за то, что он, единственно из любоначалия и ненасытности к богатству, длит войну; что имеет во власти своей Киликию, Азию, Вифинию, Понт, Армению и всю страну до самого Фасиса; что недавно расхитил царские дворцы Тиграна, как будто бы послан был грабить царей, а не покорять их войною. Таковые речи говорены были народу претором Луцием Квинтием, который убедил его избрать преемников Лукуллу для управления провинциями; определено было также уволить от походов многих воинов, бывших под его начальством.

К этим несчастьям присоединилось еще обстоятельство, которое всего более повредило Лукуллу. Публий Клодий, человек развращенный, исполненный дерзости и бесстыдства, брат жены Лукулла (распутнейшей женщины, которую обвиняли в непозволительной с братом связи), находился при нем, но не в таком уважении, какого он почитал себя достойным. Клодий хотел быть первым, но был ниже других по причине дурного своего поведения. Он подговаривал фимбрианских воинов и поджигал их против Лукулла льстивыми словами, которые были не неприятны людям, привыкшим, чтобы начальники им льстили. Эти воины были те самые, которых прежде Фимбрия уговорил убить консула Флакка и избрать его своим полководцем. Они принимали с удовольствием Клодия и называли его «другом воинов» за притворное негодование, которое он показывал к тому, кто обижал их. «Ужели, – говорил он, – никогда не будет конца таким трудам и сражениям? Ужели мы должны проводить жизнь свою, сражаясь с каждым народом, скитаясь по всем странам? За все труды и предприятия ужели не получим достойной награды, но только будем провожать возы Лукулла и верблюдов, навьюченных золотыми чашами, драгоценными камнями украшенными? Между тем войска, предводительствуемые Помпеем, превратившись в спокойных граждан, с женами и детьми своими населяют страну счастливую и живут в городах, не гоняясь за Митридатом по необитаемым, обширным пустыням и не ниспровергая азийских царств, но предприняв войну только в Иберии с изгнанниками и в Италии с беглыми рабами. Итак, если никогда не должно

переставать сражаться, то не лучше ли нам сохранить оставшиеся тела и души наши такому полководцу, который почитает лучшим себе украшением обогащение своих воинов?»

Обольщенное такими словами войско Лукулла не захотело уже вести войну ни с Тиграном, ни с Митридатом, который из Армении выступил в Понт и начал вновь утверждать власть свою. Воины под предлогом зимнего времени оставались в Гордиене, ожидая Помпея или другого из полководцев, назначенных в преемники Лукуллу.

Получив известие, что Митридат победил Фабия и идет на Сорнатия и Триария*, они устыдились и последовали за Лукуллом. Триарий, из пустого честолюбия желая приобрести победу, которую почитал верной до прибытия Лукулла, бывшего уже близко, претерпел великое поражение. Говорят, что тогда легло на месте более семи тысяч римлян, в числе которых полагают сто пятьдесят сотников и двадцать четыре тысячника. Весь стан достался Митридату. Через несколько дней прибыл Лукулл и скрыл Триария, которого искали умертвить разъяренные воины. Не могши принудить к сражению Митридата, который ожидал Тиграна, шедшего к нему с великими силами, Лукулл решился до соединения их идти на встречу к последнему и дать ему сражение. Но дорогой фимбрианцы возмутились и оставили ряды, говоря, что они уволены от похода постановлением народным и что Лукуллу не должно начальствовать тогда, когда другой назначен правителем провинций. Тогда Лукулл прибегнул ко всем возможным средствам для приведения их к повиновению. Он ходил по шатрам, просил каждого порознь униженно и со слезами, некоторых брал за руки, но они отвергали сии знаки моления его и бросали пустые кошельки свои, говоря, чтобы он один сражался с врагами, от которых один умел обогащаться. Другие воины просьбами своими принудили фимбрианцев служить в продолжение лета с условием, что они будут уволены, если за это время никто не придет с ними сразиться. Лукулл был должен или на это согласиться, или всю область предать неприятелю. Он держал их при себе, не принуждая более и не ведя на неприятеля, желая только, чтобы они при нем остались, он предал Каппадокию на разграбление Тиграну и позволил ругаться над собою Митридату, о котором сенату писал, что он поражен уже совершенно. По этому известию отправлено было от сената несколько мужей для распоряжения в Понте делами, как в провинции совсем покоренной. Они прибыли и нашли, что Лукулл не был властен не только над Понтом, но даже над самим собою и что пренебрегают им и ругаются над ним самые воины его. Их дерзость против своего полководца дошла до того, что они, по окончании лета, надев свои доспехи и обнажив мечи, вызывали к сражению неприятелей, которых совсем там не было и которые уже удалились. Они произвели обыкновенный перед сражением крик, сделали притворное сражение и оставили стан, объявив, что уже кончился срок службы, обещанный ими Лукуллу. Между тем Помпей своими письмами звал других на свою сторону. Он уже был назначен полководцем в войне против Тиграна и Митридата, по благоприятству к нему народа и по лести демагогов. Но сенату и знатнейшим в республике казалось, что несправедливо поступают с Лукуллом, которому дают преемника не в войне, но в триумфах; что его принуждают оставить не военачальство, но должную за то награду, и уступить ее другому.

Таковой поступок против Лукулла показался всем, там бывшим, тем более ненавистным, что Лукулл не имел уже власти ни раздавать награды своим воинам, ни наказывать их. Помпей не пускал к нему никого, не позволял обращать никакого внимания на то, что он определял и учреждал вместе с десятью легатами сената, но препятствовал исполнению, издав письменные приказания, и был страшен тем, что имел большую власть. Между тем друзья их за благо рассудили их свести в одно место. Они имели свидание в одной деревне Галатии, дружески приветствовали друг друга и поздравляли с совершением великих дел. Лукулл был старше, но Помпей превышал его достоинством, ибо несколько раз больше был полководцем и дважды почтен триумфом. Обоим предшествовали ликторы, лавроносные в знак побед, ими одержанных. Но так как Помпей шел длинной дорогой, местами безводными и сухими, то лавры, которыми были увиты палки ликторов его, засохли. Заметив это, ликторы Лукулла, в знак приязни своей, дали Помпеевым ликторам от своих лавров, которые были свежи и зелены. Помпеевы друзья почли это благополучнейшим для него знамением. В самом деле деяния Лукулла украсили Помпеево военачальство.

Но свидание полководцев не произвело ничего хорошего; они разлучились, еще более

чуждаясь один другого. Помпей уничтожил распоряжения Лукулла, отнял у него все войска, оставив ему только тысячу шестьсот человек для украшения триумфа, но и те не весьма неохотно за ним последовали. Столько-то Лукулл был несчастен или неспособен к приобретению того, что всего выше и нужнее в военачальстве! Если бы, при таких прекрасных добродетелях его, при его храбрости, старательности, мудрости, правосудии имел он и это счастливое свойство, то не Евфрат был бы пределом римских владений в Азии, но концы вселенной и Гирканское море. Все другие народы были уже прежде побеждены Тиграном; сила парфянская при Лукулле не была такова, какова впоследствии оказалась при Крассе; она не была еще так соединена, но по причине междоусобных и соседственных браней не могла отражать обижающих их армян. По этой причине, кажется мне, что Лукулл больше вреда сделал своему отечеству через других, нежели сам принес ему пользы, ибо победы, одержанные им в Армении, столь близко от парфян, взятие Тигранокерта и Нисибиды, великие богатства, из оных в Рим привезенные, Тигранова диадема, посланная с торжеством – все это возбудило жадность Красса и привлекло его в Азию. Он почитал варваров не другим чем, как верной и нетрудной добычей. Но вскоре, попав на стрелы парфянские, доказал собственным поражением, что Лукулл одержал верх над варварами не по причине робости их и безрассудства, но своей смелостью и искусством, как впоследствии будет сказано.

Лукулл возвратился в Рим* в то время, когда брат его Марк обвиняем был Гаем Меммием за все то, что он сделал, будучи квестором, по приказанию Суллы. Марк был оправдан, и Меммий начал возбуждать народ против Лукулла; он убедил его отказать Лукуллу в триумфе за то, что присвоил себе много похищенных богатств и длил войну. Лукулл находился в трудных обстоятельствах, когда знаменитейшие и сильнейшие в республике, смешавшись в трибы народные, с великими просьбами и стараниями насилу могли склонить народ определить ему триумф*.

Торжество Лукулла не отличалось так, как некоторых других, ни своим продолжением, ни множеством везомых вещей, не изумляло и не наводило скуки. Он украсил Фламиев цирк взятыми у неприятелей в чрезвычайном множестве оружиями и царскими машинами. Это зрелище само собою было разительно. В этом торжестве шествовали несколько конных, одетых в латы, десять колесниц, вооруженных серпами, шестьдесят любимцев и полководцев царских. Потом везли сто десять длинных судов с медными носами, Митридатов колосс, вылитый из золота, вышиной в шесть футов. Щит его, украшенный драгоценными каменьями, двадцать носилок с серебряными сосудами и тридцать две с золотыми чашами, оружиями и монетами несли носильщики. Восемь лошаков везли золотые ложа, пятьдесят шесть везли слитки серебра, еще сто семь были навьючены серебряной монетой без малого на два миллиона семьсот тысяч драхм. В книгах содержались счета деньгам, доставленным Помпею в войне против морских разбойников и внесенным в общественную казну. Сверх того каждый ратник получил девятьсот пятьдесят драхм. Он дал великолепное пиршество городу и окрестным селам, которые римляне называют «виками».

Лукулл развелся с Клодией, которая была распутна и зла, и женился на Сервилии, сестре Катона. Но и этот брак не был счастлив. Сервилия имела все пороки Клодии, если только исключить непозволительную связь с братом; она была равно невоздержна и развращенна. Лукулл терпел ее из уважения к Катону, но, наконец, и с нею развелся.

Сенат много полагался на Лукулла и надеялся, что найдет в нем и перевес в самовластии Помпея, и поборника аристократии, по причине великой славы и силы, им приобретенной, но Лукулл оставил общественные дела, или потому, что почитал невозможным восстановить республику и исцелить ее раны, или, как иные думают, потому, что будучи уже пресыщен славой, после великих подвигов и трудов, не получивших счастливого конца, он захотел вести жизнь приятную и спокойную. Одни хвалят такую перемену, говоря, что он не претерпел бедствий Мария, который после побед над кимврами, после великих и прекрасных подвигов, не захотел предаться покою, хотя и был окружен великой славой, но по ненасытности к славе и власти, будучи стар, противодействовал молодым людям в управлении республикой, и это повергло его в самые тягостные бедствия. Говорят, что хорошо было бы и Цицерону, если бы он удалился с поприща по низвержении Катилины; и Сципиону, если бы он успокоился, присоединив покоренную Нуманцию к Карфагену; и политический период* имеет свои

пределы. В политических подвигах, так же как в подвигах атлетов, приметно умаление силы и крепости. Между тем Красс и Помпей смеялись над Лукуллом, предавшимся удовольствиям и роскоши, как будто бы людям в его летах менее прилично провождать жизнь в неге и забавах, нежели заниматься общественными делами и предводительствовать войском.

Жизнь Лукулла можно сравнить с древней комедией. Сначала представляются в ней общественные дела и военные предприятия; потом пиршества, великолепные ужины, даже шумные беседы, гулянья при свете факелов и все роды забав. По моему мнению, забавой можно почесть и великолепные здания, и заведения гульбищ, баней, а еще более картины, кумиры и всю охоту к художествам, произведения которых Лукулл собирал с великими издержками, расточая бесчисленные богатства, собранные в походах. И в наше время, когда роскошь возросла до величайшей степени, Лукулловы сады почитаются еще великолепнейшими из царских садов. Стоик Туберон*, увидя Лукулловы здания на берегу моря и в Неаполе, прокопанные и как бы на воздухе висящие горы, прорытые каналы, в которые проходила вода с моря и обтекала его жилище и в которых кормили рыб, огромные дома, построенные посреди самого моря, и удивляясь его богатству, назвал его «Ксерксом в тоге»*. Лукулл имел в Тускуле* загородные дома, возвышенные здания с открытыми со всех сторон видами, обширные комнаты и гульбища. Помпей некогда посетил в них Лукулла и порицал его за то, что он для лета расположил дом свой прекрасно, а для зимы сделал его необитаемым. Лукулл усмехнулся и сказал ему: «Неужели ты думаешь, что у меня меньше ума, чем у журавлей и аистов? Неужели я не умею переменять жилище с переменой годового времени?» Один претор, хотевший дать народу зрелище, просил у Лукулла пурпуровых хламид для украшения хоров. Лукулл отвечал, что он даст их, ежели у него есть. На другой день спросил он у претора, много ли ему нужно, претор отвечал, что довольно будет сотни. «Можешь взять вдвое больше», – сказал ему Лукулл. По этому случаю поэт Гораций говорит, что нет там богатства, где все то, что презирается и скрывается от взоров хозяина, не бывает больше того, что ему известно.

Ежедневные Лукулловы ужины показывали в нем человека, недавно разбогатевшего. Кроме пурпуровых ковров, драгоценными каменьями украшенных, чаш, хоров и музыки, он хотел отличить себя перед простыми людьми приготовлением различных яств, искусно и с великим издержками сделанных пирожных. Слова Помпея, сказанные им в болезни, заслужили от всех похвалу. Врач велел ему съесть дрозда. Служители объявили, что в летнее время нигде нельзя найти дроздов, как только у Лукулла, который кормит их. Помпей не велел просить у Лукулла дроздов и, сказав врачу: «Неужели без Лукулловой роскоши нельзя жить Помпею?», просил его о назначении такого кушанья, которое легко найти можно. Катон, друг и родственник Лукулла, столько не любил образа жизни его, что когда один молодой человек говорил в сенате не вовремя длинную и скучную речь о простоте и воздержании, то он, встав с своего места, сказал: «Перестанешь ли ты нас учить, ты, который богат, как Красс, живешь, как Лукулл, а говоришь, как Катон?» Некоторые утверждают, что эти самые слова сказаны другим, а не Катоном.

Лукулл, кажется, не только находил удовольствие в роскоши, но даже гордился ею, как видно из достопамятных слов его. Говорят, что несколько дней сряду угощал он некоторых греков, приехавших в Рим. Эти люди, имея истинно греческое чувство, посовестились и отказались от его приглашения, полагая, что для них ежедневно делаются великие расходы. Лукулл сказал им, усмехнувшись: «Правда, друзья мои, нечто делается и для вас, но большая часть приготовлений делается для Лукулла». Некогда он ужинал один, поставили ему стол и умеренный ужин. Лукулл, призвав приставленного к столу служителя, изъявил ему свое неудовольствие. Служитель в оправдание свое говорил, что как нет званных гостей, то он думал, что Лукулл не захочет ничего великолепного. «Как! – отвечал Лукулл. – Разве ты не знаешь, что сегодня Лукулл ужинает у Лукулла?» В городе много говорили о его пышности и роскоши. Цицерон и Помпей пристали к нему на форуме, когда он не был ничем занят. Первый был ему близкий друг, а со вторым хотя он имел вражду, происходившую от военачальства, но нередко с ним беседовал и обращался учтиво. После обыкновенных приветствий Цицерон спросил Лукулла, приятно ли ему будет их посещение; Лукулл отвечал, что оно будет чрезвычайно приятно, и просил их к себе. «Но мы хотим, – продолжал Цицерон, – ужинать сегодня у тебя так, как для тебя приготовлено». Лукулл, как будто бы затрудняясь, просил их

отложить до другого дня; они на то не соглашались и даже не пускали его говорить со служителями своими, дабы он не велел приготовить более того, что для него одного было приготовлено. Они только согласились по его просьбе на то, чтобы он в присутствии их сказал одному из служителей, что сегодня намерен ужинать в «Аполлоне». Этим именем называлась одна из великолепных его зал. Этой хитростью он обманул их так, что они того не заметили, ибо, смотря по столовой, назначены были и издержки приготовления и самые приборы. Таким образом, когда служители услышали, где он хотел ужинать, то уже и знали, сколько должно и какой наблюдать порядок. Ужин в «Аполлоне» обыкновенно стоил пятьдесят тысяч драхм. Столько же было издержано и в этом случае. Цицерон и Помпей, помимо величине издержек, удивились еще более скорости приготовления. С таким презрением он употреблял богатство, им плененное и варварское!

Издержки его на книги похвальнее и достойнее уважения. Он собирал весьма многие из них и прекрасно писанные. Употребление, какое он делал из них, похвальнее самого их приобретения. Книгохранилища были для всех открыты; беспрепятственно пускали в галереи и учебные комнаты, их окружающие, всех греков, как бы в некое убежище Муз. Они туда часто ходили и провождали время в беседах между собою, освободясь от других дел. Сам Лукулл часто приходил в галерею, беседовал с ученейшими людьми и по просьбе их оказывал свою помощь тем, кто занимался общественными делами. Дом его был пристанищем и убежищем для всех приезжающих в Рим греков. Он любил философию и ко всякой системе был склонен, но с самого начала отменно был привязан к Академии, но не к Новой, которая тогда процветала сочинениями Карнеада посредством Филона*, но к Древней, имевшей тогда защитником своим Антиоха Асколонского, мужа, способного хорошо говорить и убеждать. Лукулл употребил все старание, чтобы сделать его своим другом и иметь его в своем доме. Он противополагал его слушателем Филона, в числе которых был и Цицерон, сочинивший прекрасную книгу об этой философской школе. В книге он заставляет Лукулла защищать мнение о возможности познания, а сам защищает тому противоположное. Книга известна под названием «Лукулл»*. Цицерон и Лукулл, эти два друга, держались одной стороны в республике, ибо Лукулл не совсем отстал от общественных дел, но уступил с самого начала Крассу и Катону честолюбивое старание и соревнование быть великими и сильнейшими в республике как сопряженное с опасностями и большими неудовольствиями. Эти люди сделались предстателями в сенате за тех, кто страшились силы Помпея, когда Лукулл отказался от первенства. Лукулл приходил на форум только для своих друзей, а в сенате бывал тогда, когда надлежало разрушать честолюбивые виды Помпея и восставать против его домогательств. Он уничтожал победы, одержанные Помпеем над царями, и при содействии Катона препятствовал сделанному им распоряжению о разделе земли воинам. Это принудило Помпея прибегнуть к дружбе, или лучше сказать, к заговору с Крассом и Цезарем. Помпей наполнил город оружием и воинами и насильственно утвердил свои требования, вытеснив из Собрания Лукулла и Катона. Знаменитейшие в республике негодовали на такие происшествия, и тогда помпеянцы представили некоего Веттия, которого, как они говорили, поймали умышляющим на жизнь Помпея. При допросе в сенате он обвинял некоторых других, а перед народом назвал Лукулла, будто бы им был подговорен к умертвлению Помпея, но никто этому не поверил; все ясно усмотрели, что сей человек был подучен к оклеветанию и несправедливому доносу. Подозрение еще более утвердилось после нескольких дней, когда доносчик был выброшен мертвый из темницы; хотя говорили, что он умер скоропостижно, но знаки удушения и побоев доказали всем, что он был убит теми самыми, которые его к тому доносу побудили.

Эти обстоятельства еще более отвлекли Лукулла от дел общественных; наконец он оставил их совершенно, по изгнании Цицерона из города и по отправлении Катона на Кипр. Говорят, что перед смертью разум его ослабел и увядал мало-помалу. Корнелий Непот пишет, что не от старости и не от болезни он лишился ума, но получил повреждение в нем от лекарств Каллисфена, отпущенника своего. Хотя Каллисфен давал ему лекарства для того, чтобы более привязать его к себе, думая, что они имели такую силу, но вместо того они произвели в нем безумие, так что еще при его жизни брат управлял его имением. Когда он умер, то, как бы это случилось во время его военачальства и управления республикой, народ показал великую печаль и собрался в его доме. Тело его вынесено было на площадь благороднейшими юношами.

Хотели похоронить его на Марсовом поле, где был погребен и Сулла, но как смерть приключилась ему неожиданно и нелегко можно было сделать нужные к погребению приготовления, то брат его убедил народ позволить похоронить его на даче, которую Лукулл имел в Тускуле, где все было готово к погребению. Недолго и Марк жил после Лукулла. Он как годами и славою, так и продолжением жизни, мало отстал от него, отличившись нежной любовью к брату.

Сравнение Кимона с Лукуллом

Лукулла можно почесть блаженным более всего по причине его кончины. Он умер до перемены правления, которую рок междоусобными бранями приготовлял уже республике; умер в то время, когда отечество, хотя страждущее, было еще свободно. Это обстоятельство есть самое общее между ним и Кимоном. Последний окончил жизнь свою тогда, когда Греция была еще не возмущена, но находилась в полной своей силе. Но Кимон умер в военном стане и военачальствуя, не отказавшись от военных предприятий, не проводя в праздности дней своих и не увенчав военных своих подвигов, славных дел и трофеев пиршествами и забавами, подобно Орфеевым последователям, над которыми шутит Платон* и которые полагают, что в награду проведшим добродетельно жизнь свою в Аиде предстоит пьянство. Справедливо, что покойная, тихая жизнь и упражнение в тех науках, которые, занимая душу, приносят удовольствие, есть утешение, приличнейшее человеку в зрелых летах, оставившему военные предприятия и гражданское управление. Но целью прекрасных подвигов своих ставить наслаждение, после великих браней и походов посвятить себя празднествам Афродиты, предаваться забавам и неге – все это достойно не прекрасной Академии и последователя Ксенократа, но того, кто более склонен к Эпикуру. Удивительно, что один в молодости был невоздержан и благоразумен. Но тот лучше, кто переменяется к лучшему, ибо та природа превосходнее, в которой худшее состаревается, а прекрасное и благородное хранится во всей своей силе.

Оба они равным образом разбогатели, но не равно употребляли свое богатство. Можно ли поставить наряду с южной стеной крепостью, воздвигнутой деньгами Кимона, неапольские возвышенные чертоги, омываемые морем, жилище, которое выстроил Лукулл на деньги, отнятые у варваров? Можно ли сравнить с простым и человеколюбивым столом Кимона пышный и сатрапу приличный стол Лукулла? Стол Кимона, с немногими издержками, питал ежедневно великое множество нуждающихся; обед Лукулла приготовляем был с величайшими расходами для немногих роскошествующих. Может быть, эта разность происходит от разности времен и обстоятельств. Кто знает, когда бы Кимон, после великих дел своих и походов, в старости лет стал вести жизнь невоинственную и свободную от гражданских занятий, может быть, и он предался бы пышной и к наслаждению клонящейся жизни, ибо он также любил пиршества, вино и женщин, будучи обвиняем за излишнюю преданность к последним. Счастливые успехи в великих делах и предприятиях приносят с собою совсем другого рода наслаждения, заставляют души, от природы честолюбивые и способные править государствами, забывать низкие забавы и не терять на них времени. Итак, если бы Лукулл кончил жизнь свою в походах и военачальстве, то, мне кажется, человек, самый злоречивый и любящий порицать, не нашел бы случая упрекнуть ему. Довольно об этом в рассуждении их образа жизни.

В рассуждении военных действий, всем известно, что оба они были великие вожди на море и на суше, но как тех борцов, которые в один день увенчали себя победой в борьбе и в панкратии, обыкновенно называют «чрезвычайными победителями», так и Кимону, в один день на море и на суше увенчавшему Грецию двумя трофеями, по справедливости принадлежит первенство между полководцами. Сверх того Лукуллу отечество дало предводительство, а Кимон дал его своему отечеству. Один завоевал неприятельские области тогда, когда отечество имело предводительство над союзниками; другой, приняв военачальство тогда, когда отечество находилось под предводительством других, дал последнему верховную власть над союзниками и победу над неприятелем; персов принудил оставить море силою, а лакедемонян добровольно.

Если великое достоинство в полководце заставлять подчиненных повиноваться себе из любви и приверженности, то можно сказать, что Лукулл был презрен своими воинами, а Кимон

заслужил уважение самых союзных воинов. От Лукулла войско перешло к другому; к Кимону перешло от других. Один возвратился в отечество, оставленный теми самыми ратниками, с которыми вышел из оного; другой возвратился назад, повелевая теми, с которыми он был выслан, для исполнения приказаний других и оказал своему отечеству три самые важные услуги: с неприятелями заключил мир, над союзниками дал верховную власть, с лакедемонянами вступил в согласие.

Оба они предприняли ниспровергнуть великие государства и завоевать Азию, но ни которому не удалось исполнить своих намерений: Кимону, единственно по случаю, ибо он умер, предводительствуя войском и среди своих успехов, а Лукулла нельзя совершенно оправдать в его поступках, ибо он не знал или не старался укротить жалоб и неудовольствий, которые возбудили против него такую ненависть. Не общее ли им и то, что и Кимона сограждане призвали к суду и наконец изгнали из города, дабы десять лет, как говорит Платон, не слышать его голоса? Обыкновенно души высокие и склонные к аристократии весьма мало умеют обходиться с народом и угождать ему. Они, употребляя большей частью насилие, причиняют неудовольствие тем, кто проступки хочет исправить. Они подобны перевязкам врачей, приводящим к природному положению вывихнутые члены. Но, может быть, и того и другого должно освободить от сего обвинения.

Лукулл простер свои завоевания далее Кимона. Он первый из римлян перешел Тавр с войском, переправился через Тигр, сжег азийские столицы – Тигранокерты и Кабиры, Синопу и Нисибиду – на глазах царей их. Он покорил римлянам земли, лежащие к северу до Фасиса, к востоку до Мидии, к югу до областей, прилежащих к Красному морю, при помощи арабских царей. Он сокрушил силы азийских государей; оставалось только поймать их, как зверей, убегающих в пустыни, в леса непроходимые. Важность его завоеваний доказывается тем, что персы, как бы ничего не претерпели от Кимона, тотчас вооружились против греков и великие их силы в Египте победили и истребили. Но после Лукулла Митридат и Тигран не произвели ничего важного; Митридат, уже ослабший и многократно пораженный в первых сражениях, ни одного раза не осмелился показать Помпею сил своих вне окопов, но убежал в Боспор и там окончил дни свои, а Тигран, безоружный, пришел к Помпею, повергся перед него и снял с головы свою диадему, положил оную к его ногам, льстя ему победой, не им, но Лукуллом одержанной. Тигран был доволен тем, что получил царские украшения от Помпея, как бы их прежде лишился. Итак тот полководец и тот борец выше, который предает преемнику своему слабейшего противника. Можно еще заметить, что при Кимоне силы царские были сокрушены и персидская гордость низложена великими и беспрестанными поражениями после побед, одержанных Фемистоклом, Павсанием и Леотихидом. Кимон нанес им удары и победил легко тела их, ибо дух их был уже побежден и низложен. Но Лукулл сразился с Тиграном, дотоле непобежденным и исполненным гордости после великих успехов. Что касается до числа неприятелей, то неприлично сравнивать силы побежденных Кимоном с теми, кто соединился против Лукулла.

Таким образом все соображая, не знаешь, которому отдать предпочтение. Божество, кажется, им обоим благоприятствовало, предвещая одному то, что должно было делать, а другому то, чего следовало беречься. Из этого видно, что сами боги подают свой голос в пользу их и признают их природу добровольной и божественной.

Никий и Красс

Никий

Поскольку я почел приличным сравнить Никия с Крассом и парфянские бедствия с сицилийскими, то нахожу нужным оправдаться наперед перед читателями. Я прошу их, да не думают, что в тех повествованиях, которые Фукидид описал неподражаемо и в которых превзошел сам себя в трогательности, в силе, в разнообразии, со мной случилось то же, что с Тимеем*. Этот писатель, возмечтав, что он может превзойти в красноречии Фукидида и показать, что Филист лишен всяких сведений и всякой приятности, устремился повествованием

в битвы, морские и сухопутные, столь превосходными писателями описанные, пустился писать речи, перед народом произнесенные. Я не скажу о нем, употребляя слова Пиндара:

За скачущею колесницей он, пешеход, свой бег стремит.

Но, кажется мне, он вовсе необразован и в повествованиях обнаруживает ребячество; можно сказать с Дифилом*:

Он толст, наполнен он сицилианским жиром.

Во многих местах виден в нем дух Ксенарха, как то, например, когда уверяет, будто бы для афинян было дурным предзнаменованием то, что полководец Никий, имя которого происходит от слова «победа», не хотел принять начальства; будто бы искажением герм божество предзнаменовало великие бедствия, которые надлежало им претерпеть в войне от Гермократа, сына Гермона; наконец, надлежало ожидать, что Геракл будто бы поможет сиракузянам ради Коры*, от которой получил Кербера, и будет гневен на афинян за то, что они спасли граждан Эгесты*, потомков троянских, когда Геракл сам был обижен Лаомедонтом* и разрушил его город. Может быть, заставила Тимея писать все это та самая изящность, с которой исправлял он Филиста, осуждал Аристотеля и Платона. Что касается до меня, то я думаю, что соревнование к другим и завистливое желание превзойти их в слоге есть дело низкое и софистическое, и если при том оно имеет предметом своим сочинения неподражаемые, то означает совершенное безумие и глупость.

Поскольку же нельзя пропустить описанных Фукидидом и Филистом деяний, в которых заключаются нравы и склонности Никия, скрывающиеся под множеством великих несчастий, то я, в краткости изобразив нужнейшие черты, дабы не казаться вовсе нерадивым и праздным, попытаюсь собрать все то, что немногим известно и другими повествуется рассеянно, или что найдено мною в древних народных постановлениях и памятниках, ибо цель моя не та, чтобы собирать историю бесполезную, но такую, которая бы служила к познанию нравов и свойств человека.

Описывая жизнь Никия, заметить можно, как пишет Аристотель, во-первых, что в Афинах было тогда трое отличнейших граждан, которые имели к народу наследственную любовь и благорасположение, а именно: Никий, сын Никерата, Фукидид, сын Мелесия, и Ферамен, сын Гагнона, но последний менее других был уважаем, ибо упрекали его неблагодарным происхождением, как чужестранца, уроженца Коса; непостоянство же его и всегдашнее непостоянство в правлении республикой заставили дать ему название Котурна*. Старший из них, Фукидид, возглавлял сторонников аристократии и во многом противился Периклу, который желал угождать народу. Никий, хотя был моложе Фукидида, но еще при жизни Перикла имел несколько в республике влияний. Это видно из того, что он предводительствовал войском вместе с Периклом, а многократно начальствовал и один. По смерти Перикла, он немедленно возведен был на верх достоинств и более всего богатыми отличнейшими гражданами, которые хотели иметь в нем оплот против дерзости и бесстыдства Клеона. Сам народ был к нему благорасположен и содействовал его возвышению. Хотя Клеон весьма силен был тем, что приносил удовольствие народу и давал ему случай получать деньги, но несмотря на это, те самые, которым старался он угождать, видя его корыстолюбие, дерзость и наглость, большей частью приставали к Никию. Важность сего мужа не была сурова и неприятна, но смешена с некоторой осторожностью; казалось, что он боялся народа и тем самым ему нравился. Будучи от природы малодушен и нерешителен в военных действиях, он прикрывал робость свою блистательными успехами, ибо предводительствуя войском, имел всегда удачу. Но боязливость его в гражданских делах, робость и страх к клеветникам казались свойствами скромного, простого человека и приобретали ему немалую силу в народе, который боится тех, кто его презирает, и возвышает тех, кто его боится. Он думал, что знатные оказывают ему великую честь, если не презирают его.

Перикл в управлении афинянами, обладая истинно высокими свойствами и силой красноречия, не имел нужды употреблять притворство и искусство нравиться народу. Напротив

того, Никий, уступая ему в дарованиях, превосходил его богатством и этим-то средством старался приобрести благосклонность народную. Не будучи способен противополагать Клеону ту дерзость и то потворство, которыми сей демагог привлекал к себе афинян, Никий угождал им представлением на своем иждивении трагедий, гимнастическим состязаниями и щедрыми издержками на все подобное, так что великолепием и вкусом во всех этих забавах превзошел как предшественников, так и современников своих. Из числа его приношений и поныне находится статуя Паллады на Акрополе, с которой сошла уже позолота, и в Дионисовом храме – малый храмик* для треножников, которые получали в награду хореги-победители. Никий, будучи хорегом, многократно получал награду* и никогда не был побежден. Говорят, что во время некоторого представления хора выступил в средину один из его рабов, высокий ростом и прекрасный лицом молодой человек, без бороды, одетый наподобие Диониса. Афинянам чрезвычайно понравилось это зрелище; они долго рукоплескали. Тогда Никий встал со своего места, сказал, что почитает беззаконным, чтобы человек, некоторым образом посвященный богу, был рабом, тотчас отпустил юношу на волю. Повествуют, что поступки его на Делосе равно блистательны и богам приличны. Посылаемые на остров из разных городов хоры для пения в честь Аполлона* приставали к берегу без всякого порядка; народ встречал их у кораблях и заставлял их начинать пение; хоры в одно и то же время спешили выйти из кораблей без всякого порядка, украшали себя венками, облекали в приличные одежды. Когда же Никию надлежало вести на Делос священное посольство, то он высадил как хор, так и жертвы с утварью на Ренею*, а ночью навел мост, сделанный им в Афинах по размеру, украшенный позолотой, разными цветами, венками и коврами, и соединил им Ренею с Делосом. Пространство, отделяющее два острова, невелико. С наступлением дня он сам торжественно привез на Делос через мост хор, великолепно убранный и поющий песни. По окончании жертв, игр и пиршества он поставил в храм медную пальму, как приношение богу, которому посвятил и место, купленное им за десять тысяч драхм. Из получаемых от него доходов делосцы должны были приносить жертвы Аполлону, учреждать пиршества и молить богов об излиянии на Никия всех благ. Это желание его было вырезано на столпе, который поставил он на Делосе как памятник сего приношения. Что касается до пальмы, то она была сломана ветром, упала на великий кумир, поставленный жителями Наксоса, и опрокинула его.

Нет сомнения, что с этими поступками Никия сопряжено честолюбие, искание славы и желание нравиться народу; но, судя по другим свойствам сего мужа, можно поверить, что дела, столь приятные народу, были следствием его благочестия. Он был, как свидетельствует Фукидид, из числа тех людей, которые одержимы суеверным ужасом к богам и весьма преданны богопочитанию.

В одном из Пасифонтовых диалогов* писано, что он ежедневно приносил богам жертвы и что имел в доме своем прорицателя; притворялся, что рассуждает с ним о делах общественных, но большей частью рассуждал о своих собственных делах, особенно же о своих серебряных рудниках. Он имел в Лавриотике многие богатые руды*, из которых получал великий доход, но разработка их была не без опасности. Он содержал множество невольников, и большая часть богатства его состояла в деньгах. По этой причине число тех, кто у него просил денег и получал их, было не малое. Он давал как тем, кто мог ему вредить, так и тем, кто достоен был его благодеяний; одним словом, для злых людей выгодна была его робость, а для добрых – его человеколюбие. Это доказывает между прочим и свидетельства комиков. Телеклид пишет об одном доносчике следующее:

Харикл ему дал мину, конечно, дал не даром;
Прося, чтобы ябедник не говорил лихой,
Что он у матери сын первый, покупной!*
Но Никий дал пять: едва поверить можно!
Зачем дал Никий? Хоть знаю то неложно,
Однако не скажу. Он мне хороший друг.
Он добрый гражданин…

Равным образом ябедник, представляемый на театре Эвполидом в комедии «Марикант»*,

выводит одного из бедных и простых граждан и спрашивает:

– Давно ли с Никием не говорил? Скажи!
– Недавно видел лишь в Народном я собрании.
– А! Видел он его! Вот вам уж и признание!
Не отпирается, что знает он его.
Зачем бы видеться? Конечно, для того,
Чтоб голос свой продать. Друзья! Мы все открыли,
И Никия мы уже изобличили.
– Безумцы! Вам ли, вам его изобличать,
И мужа лучшего проступком упрекать?

Клеон у Аристофана грозит*:

Как всех ораторов за горло ухвачу,
То Никия тем я в ужас приведу.

Фриних показывает робость и пугливость Никия в следующих стихах своих:

Он добрый гражданин, и это справедливо.
Он так, как Никий, не ходит боязливо.

Никий, боясь до крайности клеветников, никогда не обедал вместе с другими гражданами, не бывал в беседах и не проводил времени в обществах. Он избегал всех увеселений. Будучи архонтом, он оставался в стратегии до самой ночи. Первый приходил в Совет и последний уходил. Когда он не занимался делами вне дома, то был неприступен; видеть его было нелегко; он сидел дома взаперти. Друзья его выходили к тем, кто желал с ним видеться и просили их извинить его, под предлогом, что он тогда занимался нужными общественными делами. Более всех помогал ему играть эту важную роль и старался придать ему величие и славу Гиерон, человек, выросший в доме Никия, который сам его учил словесности и музыке. Он выдавал себя за сына Дионисия, прозванного Медным*, который оставил после себя несколько стихотворений, был предводителем поселенцев, отправленных в Италию, и построил город Фурии. Этот Гиерона устраивал Никию тайные совещания с прорицателями и между тем рассеивал слухи, что Никий ведет жизнь тягостную и без всякого удовольствия, заботясь единственно о делах республики; что и за столом, и в бане надлежало ему заниматься чем-либо общественным; что он, не радея о собственных своих делах, печется только о делах республики и едва ложится спать тогда, когда другие уже спят глубоким сном; что от этого здоровье его расстроилось, а для друзей своих сделался он неприятным и неприступным; что, управляя республикой, он терял их вместе со своим имуществом, между тем как другие, приобретая друзей и обогащаясь в должностях своих, веселятся и как бы играют делами республики. Такова, в самом деле, была жизнь Никия, так что он говорил о себе то же, что и Агамемнон в Еврипидовой трагедии «Ифигения в Авлиде»:

Нас окружает блеск, но мы рабы народа.

Никий знал, что народ пользовался иногда знаниями людей, сильных красноречием и отличных умом, но всегда остерегался их, подозревал и старался унизить дух их и славу. Примерами тому имел он осуждение Перикла, изгнание Дамона, недоверчивость народа к Антифонту из Рамнунта*, а более всего несчастный конец завоевавшего Лесбоса Пахета, который, подавая отчет в своем военачальстве, в самом суде обнажил меч и умертвил себя. По этой причине Никий отказывался от принятия начальства в предприятиях дальних и трудных. Предводительствуя войском, он был чрезвычайно осторожен и потому имел во всем успех. Впрочем деяния свои не приписывал он ни уму своему, ни искусству, ни отличным способностям; все относил к счастью и, укрываясь под кров божества, приносил в жертву

зависти свою славу. Об этом свидетельствуют сами события. В то время республика претерпела многие важные уроны. Никий ни в одном из них не имел участия. Во Фракии афиняне, под предводительством Каллия и Ксенофонта, разбиты были халкидянами. В Этолии они имели неудачу под начальством Демосфена; тысячу человек потеряли на Делосе, где предводительствовал Гиппократ*. Вину заражения моровой язвой афиняне возлагали более всего на Перикла, который во время войны заключил в городе сельский народ, непривычный к такой перемене места и образа жизни.

Ни в одом из этих бедствий нельзя было винить Никия. Предводительствуя войсками, взял он Киферу*, остров, которого положение было выгодно, дабы действовать против Лаконии, и жители которого были лакедемоняне. Он привел в повиновение многие фракийские города, отпавшие от афинян. Заперши мегарян в их городе, вскоре занял остров Миною. Потом, выступив оттуда, покорил Нисею*. Он вышел на берег в Коринф, победил коринфян и многих из них умертвил; в числе убитых был и полководец их Ликофрон. Случилось, что Никий оставил на поле сражения тела двух убитых воинов своих, которые не были примечены при снятии других. Как скоро он узнал о том, остановил флот и послал к неприятелю вестника, прося позволения взять их. По некоему закону и древнему обычаю та сторона, которая просила позволения взять мертвые тела, отрекалась некоторым образом от победы; ей не позволялось воздвигнуть трофея, ибо те почитаются победителями, во власти которых остаются тела, а те, кто просит о выдаче их, не почитаются таковыми, поскольку не могут взять их. Несмотря на то, Никий лучше хотел лишиться своей славы и уступить победу, нежели оставить двух граждан непогребенными. Он разорял приморские области Лаконии, разбил лакедемонское войско, вышедшее против него, взял Фирею, которую занимали эгинцы, и привел пойманных живых в Афины*.

По укреплении Пилоса* Демосфеном пелопоннесцы выступили против него с морскими и сухопутными силами. Дано было сражение, и на острове Сфактирии осталось около четырехсот спартанцев. Взятие их афиняне почитали весьма важным делом, как то и было в самом деле, но осада была сопряжена с великими затруднениями в местах безводных; доставление запасов летом стоило дорого и было продолжительно по причине великого обхода, а зимой соединено с опасностями и почти невозможно. Афиняне печалились и жалели, что отослали посольство, пришедшее к ним из Спарты для переговоров и заключения мира. Виновником такого поступка был Клеон, который противился принять мирные предложения, более всего в досаду Никию. Будучи его врагом и видя, что Никий помогал лакедемонянам в заключении мира, он убедил народ отвергнуть мирные предложения, но долговременность осады и трудное положение, в котором находилось их войско, заставляли их негодовать на Клеона. Клеон слагал всю вину на Никия и обвинял его в том, что он по робости своей и малодушию выпускает из их рук лакедемонян; что, если бы он, Клеон, принял начальство над войском, то они не могли бы столь долго держаться. Афиняне тогда сказали ему: «Что же ты не едешь сам против них»? Никий, встав с своего места, уступил ему предводительство в походе против Пилоса, советовал ему взять столько сил, сколько хотел, не быть смелым на словах, в которых нет никакой опасности, но оказать городу какую-нибудь отличную услугу. Клеон сперва отказывался; он пришел в смущение от сего предложения, которого не ожидал, но афиняне его принуждали. Никий кричал, и Клеон, воспламенившись честолюбием, принял начальство и обещал назначить двадцатидневный срок после отплытия своего, либо там умертвить на месте осажденных лакедемонян, либо живых привести в Афины. Афиняне более были склонны смеяться над ним, нежели ему верить. Они имели привычку забавляться его легкомыслием и дурачествами и слушать его для забавы. Говорят, что народ некогда, собравшись на площади, долго сидел, дожидаясь его. Клеон, украшенный венком, пришел очень поздно и просил народ отложить собрание до следующего дня: «Я занят сегодня, граждане! Я приносил жертву богам и должен угостить некоторых иноземцев». Афиняне засмеялись, встали, и собрание разошлось.

Но в то время, пользуясь благоприятством счастья и вместе с Демосфеном предводительствуя войском с благоразумием, он сдержал слово. До прошествия двадцати дней те спартанцы, кто не пал в сражении, сдались ему с оружием и привезены были в Афины. Этот подвиг Клеона причинил великое бесславие Никию. Из робости отказаться от предводительства по воле своей, отдать противнику своему такой подвиг, сложить самому начальство казалось

афинянам постыднее и хуже, нежели бросить щит. Аристофан в комедии своей «Птицы» шутит над ним говоря:

Ну время ль нам теперь покоиться, дремать,
И так, как Никий, все думать да гадать?

В комедии же «Земледельцы» пишет:

– Работать землю я хочу да жить свободно.
– Пожалуй, ты живи так, как тебе угодно.
Мешает кто тебе?
– Увольте, вас прошу,
От всех начальств меня; за то вам поднесу
Одну драхм тысячу.
– Давай сюда тотчас;
Так с Никиевой их будет две у нас.

Немалый вред причинил республике Никий тем, что допустил Клеона приобрести такую славу и силу, которая внушала ему великую надменность и необузданное высокомерие, и это возродило великие для республики бедствия, которых немалая часть пала и на самого Никия. Клеон с того времени пренебрег всякой благопристойностью; он первый в продолжение речи своей народу начал кричать, поднимать одежду свою, ударять себя в бедро, говорить и бегать в одно время и этим подал людям, занимающимся гражданскими делами, пример того своевольства и того пренебрежения к приличию, которое потом все смешало и расстроило.

Между тем начинал показываться и Алкивиад, новый демагог, хотя не столько, как Клеон, невоздержанный и дерзкий. Свойства Алкивиада, подобно египетской земле, производящей, по причине своей тучности, как целебные, так и пагубные зелья, обращались стремительно к добру и к злу и толкали к великим переменам. Никий, освободившись от Клеона, не успел успокоить и устроить республику во всем совершенстве. Он обратил дела на прямой и спасительный путь, но должен был отстать от своего предприятия и был снова ввержен в войну силою и стремительностью Алкивиадова честолюбия, что случилось следующим образом.

Противниками мира между греческими народами были Клеон и Брасид. Война пороки одного скрывала, а добродетели другого украшала; одному подавал случай к несправедливейшим поступкам, другому к блистательным подвигам. Как тот, так и другой пали при Амфиполе в одной и той же битве*. Никию известно было, что спартанцы давно желали мира, что афиняне не полагались уже на войну и что обе стороны, слабые и изнеможенные, опускали, так сказать, руки по своей воле. Он старался сблизить дружбою обе республики, примирив других греков, и освободив их от всех бедствий, утвердить счастье их в будущем на непоколебимом основании. Все богатые люди, старики, все земледельческое сословие были склонны к миру; частными разговорами, многими наставлениями и увещеваниями он прохладил жар их к войне и, таким образом, подав хорошую надежду спартацам, призывал их приступить к миру. Спартанцы верили ему, как по причине известной кротости его, так и потому, что он имел попечение о плененных в Пилосе и скованных, оказывал им человеколюбивое пособие и тем облегчал тяжкую их участь. Обе стороны начали с того, что заключили перемирие на год*. В это время сходились граждане с обеих сторон, вкушали опять сладости свободы и спокойствия, провождали время в приятном сообществе с друзьями и желали тихой и мирной жизни, не оскверняемой пролитием крови. Они с удовольствием слушали хоры поющих:

Почий, мое копье, почий ты на стене!
Пусть вокруг тебя вьются изделия пауков!

Приятно было им повторять известные слова, что в мирное время людей пробуждают от сна петухи, а не трубы; бранили тех, кто говорил, что войне предопределено продолжаться

трижды девять лет*; вступили в переговоры и заключили мир. Все думали, что бедствия уже кончились; говорили о Никии с почтением, называли его человеком, любимым богами, который за свое благочестие удостоился той славы, что первейшее и важнейшее в свете благо, мир, назван по его имени. В самом деле все почитали мир делом Никия, а войну – делом Перикла. Один вверг греков в величайшие бедствия за маловажные причины; другой заставил их примириться и забыть величайшие неприятности. По этой причине тот мир и поныне называют Никиевым*.

В договоре положено было, чтобы каждая сторона взаимно сдала города, места и пленных, отнятых у другой. Жребий назначал, кому наперед сдача всего того достанется. Никий деньгами произвел то, что лакедемонянам досталось первым сдать оные, как повествует о том Феофраст. Поскольку же коринфяне и беотийцы не были довольны миром, но разными требованиями своими и жалобами, казалось, вновь хотели воспламенить войну, то Никий склонил афинян и лакедемонян придать миру крепость и силу заключением между собою союза. Этим способом мир между ними был бы прочнее и они сделались бы страшнее для тех, кто от него отставал.

Между тем Алкивиад, не будучи способен жить в покое и видя внимание и приверженность лакедемонян к Никию, раздражался против них гневом; между тем как его не уважали и презирали, он с самого начала противился заключения мира, но не имел в том успеха. Вскоре после того узрел он, что афиняне по-прежнему не были довольны лакедемонянами, которые, казалось, обижали их, ибо с беотийцами заключили союз, а Панакт* и Амфиполь не возвратили им в целости. Пользуясь настроением сограждан, Алкивиад начал раздражать и подстрекать народ. Наконец он заставил аргивян прислать в Афины посольство и хлопотал о заключении с ними союза. Между тем прибыли из Лакедемона полномочные послы, которые были представлены сенату; предложения их показались самыми справедливыми. Алкивиад, боясь, чтобы эти предложения не убедили народ к принятию мира, обольстил послов ложными клятвами и обещаниями и уверил, что он во всем им будет содействовать, если они не объявят, что прибыли с полномочием, ибо в таком только случае достигнут того, чего хотят. Послы поверили его словам, пристали к нему и отпали от Никия. На другой день он представил их собравшемуся народу и спросил перед всеми, имеют ли они полномочие для переговоров о всех делах. Они объявили, что не имеют его. Тогда Алкивиад, против ожидания их переменив тон, призывал сенат во свидетели их лживости, увещевал народ не обращать к ним никакого внимания и не верить людям, которые лгут явно и которые о том же деле прежде говорили одно, а теперь другое. Послы были в изумлении; Никий не знал, что сказать, но был поражен удивлением и печалью; народ хотел тотчас призвать аргивян и заключить с ними союз. Случившееся тогда землетрясение принесло Никию ту пользу, что собрание было распущено. На другой день народ опять собрался. Много трудов стоило Никию остановить союз с аргивянами; он испросил у афинян позволение отправиться в Лакедемон, уверяя, что все будет кончено к их удовольствию. По прибытии своем в Спарту, он был принят лакедемонянами с честью, какую заслуживали добродетели его и приверженность к ним, но не имел в этом деле успеха. Сторона тех, кто хотел союза с беотийцами, превозмогла. Он возвратился бесславно, заслужив порицание сограждан. Он боялся афинян, которые жалели и негодовали на то, что его послушались и возвратили лакедемонянам столь многих граждан их, ибо взятые афинянами в Пилосе спартанцы были из первейших домов и связаны дружбой и родством с сильнейшими в Спарте гражданами, но афиняне в гневе своем не причинили Никию никакой обиды. Они избрали в полководцы Алкивиада, заключили союз с аргивянами, равно как и с мантинейцами и элейцами, отпавшими от лакедемонян, и послали в Пилос войско для разграбления Лаконии. Так война вновь возгорелась.

Раздор Никия с Алкивиадом был во всей своей силе, когда настало время остракизма. Афиняне имели обыкновение употреблять по временам это средство против какого-нибудь из подозрительных для них граждан или против тех, кто славою или богатством навлекал на себя зависть их; они удаляли таковых из Афин на десять лет. В то время как Никий, так и Алкивиад, были в страхе и опасались, что одному из них надлежало непременно подпасть остракизму. Афиняне гнушались образом жизни Алкивиада и страшились его дерзости, как сказано в его жизнеописании, а Никий своим богатством привлекал на себя зависть; важность его и

необходительность, склонность к олигархии и отвращение от народа были им неприятны. Противясь прихотям их, поступая против мыслей их и принуждая принимать лучшие меры, он причинял народу неудовольствие. Тогда молодые и войну любящие граждане спорили с миролюбивыми и старыми; одни хотели обратить остракизм на Алкивиада, другие на Никия, но

В междоусобиях и злой почтен бывает.

Раздор, господствовавший в Афинах, открыл путь к действиям самым дерзким и коварным гражданам. Из числа их был и Гипербол из Перитед*, человек, которому не сила или власть какая-либо придавала дерзость, но дерзость придавала силу, и который наносил республике бесчестие, получая от нее почести и силу. Этот-то Гипербол, в то время почитая себя безопасным от остракизма, ибо был достойнее кандалов, и надеясь, что если один из тех двух мужей будет изгнан из Афин, то он сделается противоборником остающемуся, явно радовался раздору их и возбуждал народ против обоих. Никий и Алкивиад, поняв его замыслы, тайно сошлись, условились между собою и, соединив своих приверженных, произвели то, что остракизм пал не на них, а на Гипербола. Сначала это приятно было гражданам; они смеялись над Гиперболом, но впоследствии негодовали, почитая остракизм униженным оттого, что подпал ему недостойный человек, ибо в самых наказаниях есть некоторое достоинство; остракизм был, по их мнению, наказанием для Фукидида, для Аристида и им подобных, но для Гипербола оный служил честью; он мог бы гордиться тем, что за подлость свою наказан наравне с лучшими гражданами. Это заставило Платона, комического стихотворца, сказать о нем:

За качества его наказан он достойно,
Но подлости его – бесчестно непристойно:
Не ради таковых уставлен остракизм.

С тех пор никого уже не изгоняли остракизмом; Гипербол был последний, а первым был Гиппарх из Холарга, родственник тираннов*.

Но судьба есть существо неверное и уму непостижимое. Когда бы Никий подвергнул остракизму себя или Алкивиада, то, или одержав верх, изгнал его из Афин и стал бы сам жить в них спокойно; или, будучи им побежден, сам бы вышел из города, не претерпел бы крайних бедствий и сохранил славу хорошего полководца. Феофраст повествует, что Гипербол изгнан по раздору Алкивиада с Феаком, а не с Никием, но историки большей частью описывают это происшествие так, как мною описано.

Когда прибывшие посольства Леонтин и Эгесты уговаривали афинян идти войной на Сицилию, то Никий противился этому предприятию; между тем Алкивиад замыслами своими и честолюбием одержал верх над ним, ибо еще прежде Народного собрания он, расточая пышные слова и поселяя в гражданах великие надежды, настолько овладел их умами, что юноши в палестрах и старики в лавках и на полукружных скамьях, сидя вместе, чертили вид Сицилии, описывали омывающие ее моря, пристани и положение их в отношении к Ливии. Наградой войны не почитали они Сицилию; она была бы для них сборным местом и пристанью, откуда они могли воевать с карфагенянами, завладеть вместе с Ливией всем морем, простирающимся до Геракловых столпов. Между тем, как мысли афинян устремлены были на это предприятие, Никий противоречил им, но не имел на своей стороне ни многих, ни сильных поборников. Богатые, против ожидания, молчали. Они боялись, чтобы народ не подозревал их в том, что избегают службы и издержек на снаряжение кораблей. Несмотря на это, Никий не переставал противиться и даже после того, как определено было народом предпринять войну и избрать его первым полководцем вместе с Алкивиадом и Ламахом, при вторичном собрании народа он опять восстал и говорил об уничтожении похода. Он кончил речь свою, обвиняя Алкивиада в том, что он, для собственных видов и для удовлетворения своему честолюбию, ввергает отечество в опасную войну за пределами своего моря. Усилия его были тщетны; по опытности своей он почитаем был искуснейшим полководцем; все были уверены, что дела будут управляемы безопасно, если смелость Алкивиада и пылкость Ламаха будут умеряемы

осторожностью Никия. Это рассуждение еще более заставило утвердить избрание их. Демострат, один из народных вожаков, который всех более побуждал афинян к войне, восстав, сказал, что он заставит Никия перестать искать отговорок. Он предложил народу дать полководцам полную власть, и в отечестве, и вне оного советоваться и действовать. Этим убедил народ к утверждению его предложения.

Говорят, что и жрецы приводили многие препятствия к предприятию, но Алкивиад, имея других прорицателей, выводил из некоторых древних прорицаний, что афиняне приобретут от Сицилии величайшую славу. Из Аполлонова храма прибыли к нему посланники с прорицанием, что афиняне возьмут всех сиракузян. Противные знамения были умалчиваемы, дабы граждане не впали в уныние. Самые явные и очевидные не могли их отвратить, как то: искажение в одну ночь всех герм, кроме одной, называемой Андокида, которая сооружена племенем Эгеиды и стоит перед домом, тогда принадлежавшем Андокиду; странное происшествие, случившееся при жертвеннике двенадцати богов, на которой вспрыгнул вдруг один человек, растянул ноги и оскопился камнем. В Дельфах поставлено было афинянами на медной пальме золотое изображение Паллады. В продолжении нескольких дней прилетали на нее вороны, клевали его, а золотые плоды грызли до того, что повалили их на землю. Афиняне говорили, что это были басни дельфийцев, подкупленных сиракузянами. Некое прорицание повелевало им привести из Клазомена в Афины жрицу. Она была действительно привезена и называлась Гесихией, то есть Тишиной. Вероятно, что божество давало знать афинянам, что им надлежало пребывать в мире. Астролог Метон, начальник части войска, устрашенный ли этими знамениями или человеческим рассуждением предвидя опасность похода, притворился сумасшедшим и зажег дом свой. Некоторые говорят, что он не притворился таковым, но, сжегши ночью дом свой, на другой день предстал перед народом в униженном виде и просил граждан, из уважения к случившемуся с ним несчастью, уволить от похода сына его, которому следовало ехать в Сицилию и управлять триерой. Гений возвестил мудрому Сократу, посредством знамений, обыкновенно ему даваемых, что поход предпринимаем был к погибели республики. Сократ говорил о том приятелям своим, и слова его дошли до ушей многих. Некоторые приведены были в уныние, когда им приходило на мысль, в какие дни флот пускался в море. Женщины тогда справляли праздник Адониса. По этой причине в разных местах города они выносили и погребали кумиры с воплями и рыданиями. Те, кто не презирал подобных знамений, были огорчены; они страшились, чтобы все приготовления и вся столь великая и блистательная сила вскоре не исчезла.

То, что Никий противился Народному собранию, что он твердо стоял на своем, не прельстясь надеждами, не восхитившись величием власти, это показывало человека добродетельного и благоразумного. Но когда он не смог ни отвлечь народа от войны, ни освободить себя от военачальства; когда народ, подняв его, так сказать насильственно, поставил полководцем над военными силами, тогда уже время не позволяло быть слишком осторожным и нерешительным и, подобно младенцу с корабля, все смотреть назад, мыслить и твердить беспрестанно, что против воли принужден принять начальство. Этими поступками он не только лишил соначальствующих ему бодрости, но и потерял удобнейшее к действию время. Ему бы следовало быстро напасть на неприятеля и на поле брани испытать счастье. Но Никий, не слушаясь ни советов Ламаха, который хотел плыть прямо к Сиракузам и дать сражение близ самого города, ни представлений Алкивиада, который предлагал возмутить города против сиракузян и потом идти на Сиракузы, противореча им во всем, был такого мнения, что надлежало плавать спокойно около берегов Сицилии, показывать оружия свои и корабли, потом возвратиться в Афины, оставя только малую часть войска у Эгесты, и тем разрушил их предначертания и унизил дух. Вскоре после того Алкивиад был отозван назад афинянами для произведения над ним суда. Никий, оставшись по имени вторым полководцем, но будучи в самом деле по своей силе единственным, не переставал быть в бездействии, объезжать Сицилию, советоваться, пока наконец сила надежды в воинах его ослабла, а в неприятелях исчезли изумление и страх, внушенные им при первом появлении сил афинских. До отплытия Алкивиада афиняне приплыли к Сиракузам на шестидесяти судах. Они стали вне сиракузской пристани и десять из них послали внутрь оной для осмотра. Эти суда объявили через вестника леонтинцам, чтобы они возвратились в свое отечество. Между тем поймали неприятельское

судно, везшее таблицы, на которых написаны были по коленам имена сиракузских граждан. Эти таблицы лежали далеко от города в храме Зевса Олимпийского; в то время привозили их в город для смотра и описи годных носить оружие граждан. Когда таблицы были привезены к афинским полководцам, и они увидели число и все имена сиракузян, то прорицатели оказали великое неудовольствие, боясь, чтобы не исполнилось изречение оракула, что афиняне возьмут всех сиракузян. Впрочем, некоторые говорят, что прорицание сбылось в другое время, когда афинянин Калипп убил Диона и завладел Сиракузами.

По отплытии Алкивиада из Сицилии власть перешла уже к Никию. Ламах был человек мужественный, справедливый и, в сражениях действуя с отличной храбростью, не щадил жизни, но был настолько беден и простодушен, что каждый раз после похода ставил в счет афинянам и малое количество денег, издержанное им на платье и обувь. Сила Никия была велика как по другим причинам, так и по богатству и славе его. Говорят, что некогда в общем собрании военачальников он велел сказать свое мнение стихотворцу Софоклу, как старейшему изо всех. Софокл сказал ему: «Ты, Никий, старейший; я – древнейший». Никий, имея тогда под своим начальством Ламаха, способнейшего полководца, действовал всегда робко и медлительно. Объезжая Сицилию как можно далее от неприятелей, он внушил через то им бодрость; он напал на малый город Гиблу, но отступил, не завладев им, и навлек на себя со стороны их явное презрение. Наконец он прибыл в Катану, не произведши ничего другого, как покорив местечко Гиккары*, населенное варварами. Известная гетера Лаида, которая была еще очень молода, тогда же была продана в числе гиккарских пленных и привезена в Пелопоннес.

По прошествии лета узнал он, что сиракузяне, уже ободрившись, хотели первые учинить нападение на афинян. Конные их осмеливались уже приближаться к стану его и спрашивать с насмешкой, не за тем ли афиняне прибыли, чтобы вместе с катанцами поселиться или чтобы леонтинцев возвратить в прежнее их жилище. Эти насмешки насилу заставили Никия идти на Сиракузы. Дабы спокойно и безопасно поставить стан свой, он подослал из Катаны к сиракузянам человека с ложным известием, что они могут взять афинский стан и оружие, никем не охраняемое, если выступят в Катану со всем войском в известный день; что афиняне проводят большей частью время в городе; что приверженные к сиракузянам решились, как скоро они узнают о их приближении, в одно и то же время занять ворота и сжечь флот афинский; что число заговорщиков уже велико, и что они ожидают только их прибытия. Это было искуснейшее дело Никия в Сицилии. Он принудил выйти в поле все войско неприятельское, не оставил в городе ни одного из своих воинов и, отправясь из Катаны всем флотом, завладел сиракузскими пристанями. Он занял для стана такое место, с которого надеялся действовать беспрепятственно против неприятеля теми силами, на которые последний полагался, не претерпевая ни малейшего вреда от тех неприятельских сил, в которых должен был уступать сиракузянам*. Сиракузяне, возвратившись из Катаны, стали перед городом в боевом порядке; Никий вывел свое войско против них и одержал победу. Убито неприятелей немного*, ибо конница препятствовала их преследовать; между тем Никий разрушил мосты, наведенные через реку. Это подало случай Гермократу ободрить сограждан своих; он говорил им, что Никий очень смешон тем, что старается всеми средствами избегать сражения, как будто бы он прибыл в Сицилию не для того, чтобы сразиться. Невзирая на это, Никий навел на сиракузян такой страх и ужас, что они вместо пятнадцати полководцев избрали трех и клятвенно обещались позволить им управление с неограниченной властью.

Афиняне хотели занять храм Зевса Олимпийского, недалеко от них стоявший, в котором хранилось много золотых и серебряных приношений. Никий, отлагая нарочно это предприятие, пропустил время и смотрел с равнодушием, что в оный вошло сиракузское войско для охранения. Он думал, что если воины его расхитят богатства храма, то республика не получит от того пользы, а вина за нечестивый поступок падет на него.

Победа, им одержанная, была славная, но он не извлек из нее никакой выгоды, а по прошествии немногих дней удалился в Наксос*, где и провел зиму. Содержание столь многочисленного войска стоило дорого, но он производил весьма неважные дела с некоторыми сицилийцами, к нему приставшими. Сиракузяне опять ободрились; они выступили против него близ Катаны, опустошили область и сожгли афинский стан. Хотя все порицали Никия за то, что медлительностью, долгим размышлением и излишней осторожностью терял время,

благоприятное к действиям, но ни в чем не можно было порицать самых действий его. Он был смел и деятелен в исполнении, но медлителен и робок, когда надлежало решиться.

Он повел опять войско на Сиракузы, употребив такое искусство и действуя вкупе с такой быстротой и осторожностью, что пристал к Тапсу*, высадил войско и занял Эпиполы прежде, нежели сиракузяне это заметили. Они послали против него отборнейшее войско; Никий победил его, захватил триста человек живых, разбил даже конницу неприятельскую, которая почиталась непобедимой. Всего более изумило сицилийцев и грекам казалось невероятным то, что он в короткое время обнес стеной Сиракузы, город, который пространством был не менее Афин, и который, по причине неровности местоположения, близости моря и окружавших его болот, труднее обнести стеною, нежели Афины. Едва совсем не достроил он столь длинной стены; при таких заботах и беспокойствах не пользовался он и телесным здоровьем, но страдал каменной болезнью; эта болезнь, без сомнения, была препятствием к окончанию строения стены. Я не могу не удивляться как прилежанию полководца, так и храбрости воинов в великих подвигах. Еврипид, после их поражения и совершенной погибели, сочинил в честь им надгробные стихи, в которых говорит:

Сии воины одержали над сиракузянами восемь побед,
Пока боги оказывали обоим сторонам равную помощь.

Между тем находим, что сиракузяне побеждены ими более восьми раз, пока боги или судьба не восстали против афинян, которых могущество достигало высочайшей степени.

Никий, превозмогая немощи своего тела, находился почти во всех сражениях. Некогда, при усилившейся болезни, он лежал в стане с немногими служителями, а Ламах, предводительствуя войском, сражался с сиракузянами, которые со своей стороны строили стену, простиравшуюся от города до стены афинян, дабы тем остановить их работу.

Афиняне, одерживая верх над ними, преследовали их беспорядочно. Случилось, что Ламах остался один и должен был выдержать нападение сиракузской конницы. Предводителем ее был Калликрат, человек отважный и стремительный. Ламах был вызван им на единоборство, вступил в бой, получил от противника рану, потом сам поразил его, упал и вместе с Калликратом умер. Сиракузяне, получив верх, взяли тело его с оружиями и быстро устремились к афинской стене, где лежал Никий без всякой помощи. Необходимость заставила его встать. Видя опасность, он велел служителям принести огонь и зажечь как весь лес, перед стеною находившийся для составления машин, так и сами машины. Это удержало сиракузян и спасло Никия, стены и обоз афинский. Неприятель, видя великое пламя, восставшее вдруг между ним и стеною, решился отступить.

После этого происшествия Никий остался один предводителем; он имел великие надежды на счастливый успех; многие города присоединились к нему; суда, нагруженные хлебом, со всех сторон неслись к его стану; пока благоприятствовало счастье, все к нему приставали. Уже и сиракузяне, не имея надежды обороняться с успехом, делали ему некоторые предложения о мире. Сам Гилипп, который из Лакедемона спешил к ним на помощь, узнав на пути, что Сиракузы обнесены стеною и находятся в крайности, продолжал путь свой в уверении, что Сицилия уже покорена. Он намеревался защитить только италийские города, когда бы ему и это удалось, ибо молва всюду распространилась, что афиняне во всем имеют успех и что полководец их непобедим, по своему благоразумию и счастью.

Эти успехи и великие силы внушили Никию бодрость и смелость, которых не было в его характере. Полагаясь на тех, кто к нему из города был посылаем и вел тайные с ним переговоры, надеясь, что скоро Сиракузы будут ему сданы на условиях, он нимало не заботился о приближении Гилиппа и не поставил никаких стражей. Гилипп, совершенно им пренебрегаемый, тайно пристал к берегу на малой лодке, вышел на берег весьма далеко от Сиракуз и начал собирать многочисленное войско. Сиракузяне не ожидали его и не знали, что он находился в Сицилии. По этой причине назначено было Народное собрание для совещания об условиях, какие надлежало заключить с Никием, и уже некоторые из граждан собрались, думая, что надлежало заключить с ним мир, не ожидая, чтобы город был совершенно обойден стеною; достроить же ее оставалось весьма немного, все вещи, к строению нужные, были уже

готовы и стояли на месте.

В этом положении дел и в такой опасности прибыл в Сиракузы Гонгил на одной триере. Все граждане стеклись к нему и узнали, что скоро приедет Гилипп и что посланы к ним будут на помощь корабли. Они еще не совсем верили словам Гонгила, как пришедший от Гилиппа вестник объявил им, чтобы они выступили к нему навстречу. Они ободрились, начали вооружаться. Гилипп, выстроивши свое войско, повел его на Никия. Никий также поставил своих воинов в боевой порядок. Тогда Гилипп, сложив оружие, послал к Никию вестника с объявлением, что он позволяет афинянам выйти из Сицилии. Никий не удостоил его ответом; воины смеялись и спрашивали: «Неужели присутствие одного плаща и одной палки лакедемонской до того вдруг усилило сиракузян, что они могут презирать афинян, которые выдали спартанцам в оковах триста воинов, бывших во власти их и телесной крепостью и длиной власов* далеко превосходивших Гилиппа?» Тимей говорит, что и сицилийцы нимало не уважали Гилиппа, что при первом появлении его шутили над его плащом и длинными волосами; впоследствии еще более его презирали, узнав низкое его корыстолюбие. Но он же говорит, что едва Гилипп показался, что многие охотно принялись за оружие и стекались к нему, как птицы слетаются к сове. Это известие справедливее первого. В плаще и в палке Гилиппа сицилийцы видели образ и достоинство Спарты и по этой причине собирались к нему. Что Гилипп один все произвел, о том свидетельствует не только Фукидид, но и сиракузянин Филист, очевидный свидетель всех этих событий.

В первом сражении афиняне одержали победу и умертвили несколько сиракузян, в числе их и коринфянина Гонгила. Но на другой день Гилипп показал, что значат опытность и искусство полководца. Употребив те же оружия, ту же конницу, на том же самом месте, но не таким образом, он победил афинян, переменив только порядок войска. Афиняне убежали в стан. Гилипп заставил сиракузян продолжать начатую стену, теми камнями и тем лесом, которые собраны были афинянами, и перерезал стену афинскую так, что афиняне не получили бы от того никакой выгоды, даже одержав победу. Сиракузяне, ободрившись от этого успеха, снаряжали суда, а с конницей своей и союзническою выступили в поле и брали в плен многих неприятелей. Гилипп, объезжая города, понуждал всех к поднятию оружия, составлял войска; все охотно ему повиновались и помогали. Никий, вновь обращаясь к прежним мыслям и видя такую в обстоятельствах перемену, терял бодрость и писал афинянам, чтобы они или прислали новое войско или вызвали бы из Сицилии первое. Как в одном, так и в другом случае он настоятельно просил увольнения от начальства, ссылаясь на болезнь.

Афиняне еще прежде хотели послать в Сицилию новые силы, но вельможи, по зависти к такому счастью Никия, находили многие отлагательства и при всем том поспешили тогда отправлением пособий. Демосфену назначено было с многочисленным флотом отплыть по окончании зимы. Эвримедонт отплыл еще зимой. Он вез деньги и назначение об избрании полководцами Эвфидема и Менандра, находившихся при Никии.

Между тем Никий вдруг претерпел нападение с моря и с земли. В морском сражении сперва был принужден уступить, но потом отразил неприятеля; многие корабли его потопил, но не успел прийти на помощь пехоте. Гилипп напал неожиданно и взял Племмирий*, где хранилось множество корабельных снарядов и денег, немалое число афинян умертвил и взял в плен. Всего важнее было то, что он отнял у Никия средство получать припасы. Пока афиняне владели этим местом, доставление оных было безопасно и скоро; с потерей же его сделалось оно весьма трудным, ибо надлежало сражаться с неприятелями, корабли которых стояли на якоре. Сиракузяне при том чувствовали, что причиной их урона был беспорядок, с которым гнались за неприятелем, а не силы неприятельские. Они начали снаряжать свой флот с большим блеском. Никий не хотел дать морского сражения; он говорил, что было бы безрассудно дерзнуть на битву с малочисленными и дурно содержимыми силами, когда спешил к ним на помощь многочисленный флот и свежее войско под предводительством Демосфена, но Менандр и Эвфидем, незадолго перед тем определенные в полководцы, по честолюбию своему и по ревности к двум другим полководцам желали, до прибытия Демосфена, произвести что-либо славное, а Никия превзойти своими деяниями. Под тем предлогом, что слава отечества совершенно помрачится и погибнет, если бы они стали бояться наступающих сиракузян, они принудили его дать сражение, но искусством коринфского кормчего Аристона*, по уверению

Фукидида, левое крыло их было совершенно разбито; они потеряли много людей. Никий находился в крайнем унынии, ибо, предводительствуя один, претерпел он великие труды, а управляя с другими, был увлекаем ими в важные ошибки.

Между тем показался Демосфен за пристанью; флот его был блистателен своими приготовлениями и страшен неприятелям. На семидесяти трех кораблях посажено было пять тысяч пехоты и около трех тысяч стрельцов, пращников и метателей копий. Красота оружий, знаки на кораблях, множество флейтистов и начальников над гребцами представляли великолепное зрелище, устроенное к ужасу противников. Сиракузяне находились опять в великой опасности; они не видели конца бедствиям, не имели надежды освободиться от них; казалось им, что трудились тщетно и погибали без пользы. Никий недолго радовался прибытию нового войска. Демосфен, при первом с ним свидании, советовал ему немедленно напасть на неприятеля и быстрее дать решающий бой, взять Сиракузы и возвратиться в Афины. Никий, устрашенный стремительностью и смелостью Демосфена, просил его ничего не предпринимать отчаянно и безрассудно; говорил ему, что медлительность обратится к пагубе неприятелей, которые не имели уже денег и вскоре остались бы без союзников; представлял ему, что они, претерпевая недостаток, вскоре возобновят прежние с ним переговоры. В самом деле многие из сиракузских граждан имели тайные с ним сношения; они ему советовали несколько подождать, ибо жители изнемогали под бременем войны и были недовольны Гилиппом; они уверяли его, что если нужда еще немного усилится, то жители вовсе потеряют бодрость. Никий, не желая обнаружить явно сих обстоятельств и только слегка намекая, заставил своих товарищей винить его в робости. Они говорили тогда, что опять началась прежняя медленность, отсрочки, излишняя осторожность, среди которых он потерял много благоприятнейшего времени, нападая на неприятелей не во цвете силы своей, но тогда уже, когда она как был увяла и сделалась презрительной. Они пристали все к Демосфену, и Никий с трудом принужден был принять их предложение.

Демосфен с пехотой ночью приступил к Эпиполам. Прежде нежели неприятели заметили его приближение, он некоторых убил, а тех, кто еще защищался, обратил в бегство. Одержав верх, он не остановился на том месте, но шел вперед до тех пор, пока не встретил беотийцев; первые они построились и устремились на афинян с обращенными против них копьями, издавая громкие крики, и многих положили на месте. Афиняне вдруг исполнились страха и смятения; побеждающие из них смешались с теми, кто уже предавался бегству; несущиеся вперед были опрокидываемы устрашенными воинами; они нападали друг на друга, думали, что бегущие их преследуют, и своих принимали за неприятелей. В беспорядочном смешении людей, исполненных страха и неизвестности, при неверности зрения среди ночи, в которой не было ни совершенной темноты, ни довольно ясного света, но такой, какой бывает при закате луны, закрываемой телами и оружиями движущихся воинов, невозможно было различать предметов; ужас, внушенный неприятелями, заставлял бояться и своих. Положение афинян становилось крайне сомнительным и опасным. К несчастью, луна светила им сзади; они бросали тень одни на других и тем скрывали от неприятелей множество блестящих оружий своих; между тем как свет луны, отражаясь на щитах неприятельских, показывал их многочисленнее и блистательнее. При отступлении они были окружены со всех сторон наступающими неприятелями; одни бегали от них, другие умирали, поражая друг друга, иные свергались со скал. Многие рассыпались и блуждали, с наступлением дня конница ловила их и умерщвляла. Убито было до двух тысяч человек, из тех, которые спаслись, не многие возвратились с оружием.

Никий, пораженный этим*, хотя не неожиданным ударом, винил Демосфена за его дерзость. Этот полководец, приводя всевозможные оправдания, советовал Никию оставить Сицилию как можно скорее, ибо других сил они не могли ожидать, а с оставшимся у них войском не в состоянии были одержать верх над неприятелем, но даже если бы они и победили, им надлежало бы оставить это место, которое, как он слышал, всегда было нездорово и тяжело для войска, а в то время, как сами они видели, было совершенно гибельно. Тогда уже начиналась осень, в войске много было больных, и все унывали. Никий с неудовольствием слушал речи об отплытии и об отступлении не потому, чтобы он не боялся сицилийцев, но потому, что еще более боялся афинян, их суда и клеветы. Он сказал Демосфену, что не предвидит никаких бедствий, а ежели какое и случится, то лучше хотел умереть от рук

неприятелей, нежели от рук своих сограждан. Сколь мысли его далеки от мыслей Леонта Византийского*, который сказал некогда своим гражданам: «Я хочу лучше умереть от вас, нежели с вами!» Впрочем, в рассуждении места, куда надлежало перевести войско, Никий объявил, что посоветуется на досуге. Таковы были мысли Никия. Демосфен не имел успеха в прежних своих предначинаниях, перестал принуждать его, а другие полководцы уверились, что Никий чего-то ожидал от сиракузян и, полагаясь на них, столь твердо противился отплытию. По этой причине во всем согласились с ним. Но когда сиракузяне получили новое подкрепление, когда болезни в афинском стане более распространялись, то и Никий решился оставить Сицилию и приказал воинам готовиться к отплытию.

Уже все было готово, а неприятели, ни о чем не подозревавшие, не стерегли их, но вдруг ночью сделалось лунное затмение. Никий и все те, кто по невежеству или суеверию, боятся подобных явлений, были объяты ужасом. Многие знали, что в тридцатое число месяца бывает затмение солнца от соединения его с луною, но трудно было понять, с чем луна, соединяясь, вдруг, во всей полноте своей, лишалась своего сияния и принимала разные цвета. Это явление было для них чрезвычайным; все почитали его знамением, ниспосланным от богов, для предвещания великих бедствий. Анаксагор, первый мудрец, предавший письму яснее и смелее всех других рассуждение об освещении и затмении луны, был тогда еще не древний писатель; сочинение его не было известно, но почиталось тайным и переходило из рук в руки с великой осторожностью между немногими по доверенности. Так называемые физики и метеоролесхи* в то время не были еще терпимы, ибо считалось, что они унижают силу божества, приписывая действия природы неразумным причинам, силам без промысла и необходимым случаям. Протагор* был изгнан, Анаксагор заключен в темницу, и едва смог Перикл освободить его. Сам Сократ пострадал за философию, хотя эти предметы не входили в учение его. Через долгое время после того воссияла слава Платона, который, как по добродетельной жизни своей, так и потому, что подчинял естественные, необходимые действия божественным и высшим началам, освободил философию от нарекания и открыл всем дорогу к математике. Когда Дион, друг Платона, готов был отплыть с Закинфа для нападения на Дионисия, тогда случилось лунное затмение, но он, нимало не испугавшись этого явления, пустился в путь, пристал к Сиракузам и изгнал тиранна.

К несчастью Никия, в то время не имел он при себе и искусного прорицателя. Стилбид, который всегда ему сопутствовал и который уменьшал суеверный страх его, незадолго перед тем умер. Тогдашнее знамение, по уверению Филохора, не только не предвещало отъезжающим худых последствий, но напротив того было весьма благоприятно, ибо дело, производимое в страхе, имеет нужду в темноте; свет ему противен. Впрочем, как Автоклид пишет в своих «Толкованиях», после лунного или солнечного затмения в продолжении трех дней ничего предпринимаемо не было, но Никий хотел дождаться нового лунного оборота, ибо ему показалось, что луна очистилась, как скоро миновала темное место, на которое земля бросала тень свою.

Никий оставил все дела свои и проводил время в жертвоприношениях и прорицаниях. Между тем неприятель с твердой земли осадил пехотой стену и стан его, а с моря окружил пристань кораблями. Не только триеры неприятельские нападали на него, но и малые дети, приближаясь к афинянам на рыбачьих лодках и челноках, вызывали их к сражению и дразнили их. Один из них, по имени Гераклид, сын известных родителей, выступив вперед на лодке, был преследуем афинским судном и находился в опасности быть пойманным. Поллих, дядя его, боясь, чтобы он не попал в руки неприятелей, обратился на них с десятью триерами, которыми он начальствовал; другие, боясь Поллиха, двинулись туда же. Началось жаркое сражение, в котором одержали верх сиракузяне; они умертвили многих афинян, в числе которых был и Эвримедонт.

После этого поражения афиняне не могли сносить продолжения войны; они кричали и требовали от своих полководцев, чтобы отвели их сухим путем в отечество, ибо сиракузяне, по одержании победы, немедленно заперли и оградили пристани. Никий не мог на это решиться; для него было постыдно бросить перевозные суда и триеры, которых число простиралось до двухсот. Он посадил лучшую пехоту и искуснейших стрельцов на сто десяти триерах, ибо у других не было весел; прочую часть своего войска поставил у моря, покинув большой стан и

стены, соединяющиеся с Гераклионом. В то же время жрецы и полководцы сиракузские взошли на оный и принесли Гераклу обычные жертвы, которые долгое время не приносились.

Между тем афиняне на судах отправлялись в путь. Прорицатели предсказали сиракузянам славу и победу, если они, не начиная сражения, будут только защищаться, ибо Геракл карал своих врагов, обороняясь и претерпевая от них нападение. Сражение было самое жаркое. Смотревшие на оное войска были объяты таким же страхом и смятением, как и те, кто был в действии; они могли видеть все дело, которое на малом пространстве принимало многообразные и неожиданные перевороты, приготовления и оружия афинян вредили им, не менее самих неприятелей. Они сражались тяжелыми и соединенно действующими судами против легких неприятельских судов, с разных сторон на них нападавших; будучи поражаемы отовсюду каменьями, они мешали копья и стрелы, которые, по причине колебания моря, не были бросаемы прямо и в цель не попадали. Коринфский кормчий Аристон научил сиракузян сражаться таким образом. Он и сам сражался с великой храбростью и пал уже в то время, когда сиракузяне побеждали.

Афиняне были разбиты и претерпели великое поражение; следствием этого было то, что отступление морем для них пресеклось. Они видели, что спасаться сухим путем также было трудно; они уже не препятствовали неприятелям приближаться и брать суда их; не просили позволения снять и погребсти мертвые тела. Больные и раненые, оставляемые ими, в собственных глазах их были для них достойнее жалости, нежели непогребенные мертвые; они почитали себя злополучнее их, чувствуя, что по претерпении величайших бедствий, ельзя будет им миновать той же участи.

Они решились отступить ночью. Гилипп, видя, что сиракузяне после одержанной победы и ради настоящего праздника предавались веселью, приносили жертвы и пиршествовали, не надеялся ни убедить, ни принудить их выступить в поле и преследовать отступающих. Гермократ выдумал следующую хитрость, дабы обмануть Никия: он подослал к нему некоторых друзей своих с объявлением, будто бы они присланы от тех граждан, с которыми прежде Никий имел тайные сношения, и будто эти граждане советуют ему не отступать ночью, ибо сиракузяне поставили засады и заняли все проходы. Обман имел желаемый успех, и Никий должен был претерпеть действительно от неприятелей то, чего ложно опасался. Неприятели выступили на рассвете дня, заняли узкие проходы, укрепили переправы через реки, сломали мосты, на ровных открытых местах поставили конницу, дабы не осталось афинянам никакого места, по которому бы могли пройти, не сражаясь. Они остались еще один день и в следующую ночь начали, как будто бы удалялись от отечества, а не от земли неприятельской, как по причине крайнего недостатка во всем нужном, так и потому, что оставляли без помощи друзей и знакомых. При всем том настоящие бедствия почитали они весьма легкими в сравнении с теми, которых ожидали.

Хотя в войске много было горестных явлений, но не было зрелища жалостнее самого Никия. Изнуренный болезнью, принужденный довольствоваться, не по достоинству своему, самым необходимым к содержанию жизни и самыми малыми пособиями к подкреплению тела, хотя состояние здоровья его много требовало, он делал и сносил, при всей своей слабости, и то, что едва ли сносить могли многие из самых здоровых людей, тогда как все знали, что он не для себя и не для спасения жизни своей переносил такие труды, но единственно для сограждан своих не терял надежды. Между тем как другие от страха и печали рыдали и плакали, Никий, хотя иногда и принужден был предаться своей горести, но явно показывал, что это происходило единственно оттого, что он сравнивал позор и бесславие настоящего положения со славой и великими подвигами, которые надеялся совершить. Смотря на лицо его, а еще более вспоминая слова его и увещания, которыми старался отклонить афинян от этого предприятия, воины чувствовали, что он не заслуживал подобного несчастья. Самая надежда на богов оставила их при мысли, что сей муж, столь боголюбивый, показавший великие опыты своего благочестия к богам, претерпевал участь столь же горестную, как самый последний человек в войске.

Невзирая на все бедствия, Никий старался видом, голосом, приветствиями казаться выше всех зол. В продолжение восьмидневного пути, ежедневно получая от неприятелей раны, он сохранил войско свое непобедимым до тех пор, пока Демосфен, который сражался при селении Полизеле, со всем его отрядом не был отрезан, окружен и пойман неприятелем. Он обнажил

меч, поразил себя, но не умер, ибо неприятели бросились на него и схватили*. Когда сиракузяне возвестили Никию о пленении отряда и когда полководец, послав несколько всадников, удостоверился в том, то он решился вступить с Гилиппом в переговоры. Он предложил ему позволить афинянам выйти из Сицилии, оставив заложников до возмещения сиракузянам убытков, но те отвергли эти условия. Ругаясь на афинян, грозя им с гневом и понося их, они не преставали поражать их. Никий терпел уже совершенный во всем недостаток, но во всю ночь выдерживал нападение неприятеля. Поутру продолжал он путь свой к реке Асинар*, беспрестанно поражаемый неприятелем. Здесь воины его частью были опрокинуты в ручей от стеснения неприятелей, частью, томимые жаждой, сами бросались в воду, и на этом-то месте произошло величайшее и ужаснейшее избиение. Воины в одно время в реке пили и были умерщвляемы, пока наконец Никий, бросившись к ногам Гилиппа, сказал: «Сжальтесь не надо мной, который такими несчастиями приобрел великое имя и славу, но над афинянами; вспомните, что счастье войны общее и что афиняне, среди успехов своих, поступили с вами кротко и снисходительно». Эти слова и зрелище имели некоторое действие над Гилиппом. Ему было известно, что Никий оказал помощь лакедемонянам при заключении мира. При том почитал он славным для себя взять живыми полководцев противника. Он поднял Никия и ободрил его, а других велел ловить живых, но как приказание его разнесено медленно, то и число спасшихся было гораздо менее умерщвленных, хотя воины многих пленников скрывали. Наконец сиракузяне собрали всех тех, кто явно были пойманы. Они повесили взятые оружия и доспехи на самых больших деревах близ реки, надели на головы венки, украсили великолепно своих лошадей, остригли гривы у неприятельских и возвратились в свой город, окончив славнейшую войну, какую когда-либо вели греки против греков, и одержав совершеннейшую победу с великими напряжениями, силой усердия и доблести.

В общем собрании народа сиракузского и его союзников демагог Диокл* предложил почитать священным тот день, в который пойман Никий, приносить богам жертвы и не производить работы, праздник же наименовать по имени реки, Асинарией (это был двадцать шестой день месяца карнея, который афиняне называют метагитнионом), рабов афинских продать, равно и союзников их, а самих афинян и союзных им сицилийцев заставить работать в каменоломнях*, исключая полководцев, которых предать смерти. Сиракузяне утвердили его утверждение. Когда Гермократ сказал, что хорошее употребление победы лучше самой победы, то они подняли страшный против него шум. Гилипп требовал, чтобы афинские полководцы живые приведены были в Спарту*, но сиракузяне, гордясь уже счастьем своим, ругали его, не терпя и прежде, во время войны, суровости его и строгости лакедемонского начальства. По свидетельству Тимея, они обвиняли его в мелочном и низком сребролюбии, страсти в нем наследственной. И Клеандрит, отец его, изобличенный в дароприятии, был изгнан из отечества; и сам Гилипп впоследствии, взяв тридцать талантов из числа тысячи, которую Лисандр послал в Спарту, спрятал их под кровлей дома своего, был изобличен и постыдным образом оставил Спарту; о чем подробнее сказано в жизнеописании Лисандра.

Впрочем, Тимей говорит, что Демосфен и Никий не были закиданы каменьями, как пишут Филист и Фукидид, и что еще в продолжение Народного собрания Гермократ послал к ним человека, который был впущен стражей и объявил им решение народа; после чего они сами себя умертвили. Тела их были выброшены за ворота на позор всем тем, кто хотел их видеть. Я слышал, что и поныне в Сиракузах в некотором храме показывают щит, который называют Никиевым; и что золото и пурпур соединены на нем с великим искусством.

Что касается до других афинян, то они большей частью погибли в каменоломнях от болезней и худой жизни, ибо они получали в день только две котилы ячменя и одну котилу воды*. Многие из сокрывшихся, или спрятанных воинами, были проданы, как невольники. Их продавали с клеймом на лбу, представляющим лошадь. Многие из них, сверх неволи, претерпевали и это бесчестие. Благопристойное и хорошее поведение многим помогло в их бедственном положении; они частью скоро получали свободу, частью оставались охотно у своих господ, заслужив их почтение. Многим спас жизнь Еврипид. Сицилийцы более других, вне Греции обитающих греков, любили творения сего стихотворца. Они заимствовали у приезжающих к ним некоторые места и отрывки из его сочинений и с удовольствием сообщали оные один другому. Говорят, что в то время многие из возвратившихся в свое отечество афинян

обнимали и благодарили Еврипида; одни рассказывали, что, будучи в неволе, получили свободу, научив сицилийцев тому, что сами помнили из его сочинений; другие, что после сражения, скитаясь туда и сюда, получали пищу и питье с помощью его стихотворений. Этому не должно удивляться, если вспомнить, что некогда жители Кавна не хотели впустить в свою пристань судно, преследуемое морскими разбойниками, но уверясь, что мореходы знали Еврипидовы стихи, позволили им вступить в пристань и приняли их благосклонно.

Говорят, что афиняне не поверили вести о несчастье главным образом потому, что вестник, принесший известие, показался им недостоверным. Он был чужестранец, который вышел в Пирей и, сидя в лавке брадобрея, говорил о случившимся так, как будто бы оное было известно уже афинянам. Брадобрей, услышав о них прежде, нежели кто-нибудь другой, побежал поспешно в город и нашел правителей на площади, объявил им это известие; все приведены были в смятение и ужас. Правители собрали народ и представили ему брадобрея. Спросили его, от кого он узнал об этом. Не могши сказать ничего верного, он показался всем пустым рассказчиком, который хотел только смутить народ; его приковали к колесу и долго мучили, пока наконец прибыли люди с верным известием об этом несчастии. Лишь тогда афиняне поверили, что Никий претерпел те бедствия, которые он многократно им предсказывал.

Красс

Марк Красс был сыном римлянина, достигшего цензорства и удостоившегося триумфа. Он воспитан в небольшом доме с двумя братьями, которые при жизни еще родителей своих были женаты; все семейство обедало за одним столом. Это обстоятельство, по-видимому, немало способствовало к соделанию его воздержанным и умеренным в образе жизни. По смерти одного из братьев своих он принял к себе жену его и содержал детей. Таким образом он и в отношении к добропорядочной жизни не уступал ни одному римлянину, хотя в зрелых летах обвиняли его в непозволительной связи с весталкой Лицинией. Донос на нее учинен некоторым Плотином. У нее была прекрасная загородная дача*. Красс, желая получить оную за малую цену, оказывал всегда приверженность и уважение к сей женщине и тем навлек на себя подозрение. Страсть его к богатству служила ему некоторым извинением в этом случае, и он судом был оправдан, но не отстал от Лицинии прежде, нежели завладел поместьем.

Римляне уверяют, что жажда наживы, единственный порок Красса, омрачало многие его добродетели, но, по моему мнению, сей порок, будучи сильнее других его пороков, сделал все остальные менее заметными. Неоспоримым доказательством корыстолюбия его служит как способ, каким он обогащался, так и великое его состояние. В начале обладал он имуществом, не стоившим более трехсот талантов, но потом, во время своего управления, принесши Геркулесу десятину своего имения, угостил народ и подарил каждому римлянину на три месяца пшена. Когда перед началом парфянской войны оценил он для себя свое имение, то нашел, что оное стоило семь тысяч сто талантов. Если должно сказать правду, хотя к осуждению его, то большую часть своего богатства нажил он огнем и войной, употребив общественные бедствия в свою пользу. Когда Сулла, завладев Римом, продавал имущества умерщвленных им граждан, почитая и называя оные своей добычей и желая сделать участниками в своих преступлениях большое число из сильнейших граждан, то Красс не переставал брать у него даром и покупать имения. Видя при том, что всегдашняя и обыкновенная участь Рима была та, чтобы быть подверженным пожарам и разрушению, по причине множества и огромности зданий, Красс покупал рабов, которые были зодчими и домостроителями. Их у него было до пятисот человек. Он покупал горевшие дома и смежные с ними; хозяева уступали оные ему за малую цену из страха и неизвестности перед будущим. Таким образом завладел он большей частью Рима. Впрочем, имея великое число работников, сам ничего не построил, кроме своего собственного дома; при том он говаривал, что охотники строиться сами себя разоряют без содействия противников и врагов. Хотя обладал он многими серебряными рудниками, доходными поместьями и великим числом обрабатывавших оные земледельцев, но все это ничто в сравнении со стоимость его рабов – столь велико было их число и столь они были искусны! То были чтецы, писцы, пробирщики серебра, домоправители и буфетчики. Их учили в его

присутствии; он обращал внимание на их успехи, сам учил их, почитая обязанностью господина иметь попечение о своих рабах, как об одушевленных хозяйственных орудиях. Мнение его справедливо, если, как сам он говаривал, должно управлять всеми делами через своих служителей, а служителями управлять самому. Умение вести хозяйство, которое в отношении к неодушевленным вещам есть искусство умножать свои доходы, в отношении к людям переменяется в политику. Но то уже нехорошо в Крассе, что он не почитал и не называл богатым того, кто не мог содержать своими доходами войска, ибо война, как говорил Архидам*, не имеет определенного продовольствия; следственно, и богатство, потребное для войны, неограниченно. Сколь различно мнение его от мнения Мария! Когда сей полководец отделил по четырнадцати плефров земли на человека и узнал, что воины хотели еще больше, то сказал: «Ни один римлянин не должен почитать малым того пространства, которое достаточно к его прокормлению».

Красс принимал иностранцев с удовольствием. Дом его для всех был открыт. Приятелям своим давал он деньги взаймы без лихвы, но по окончании срока требовал оные назад без отговорки, так что снисхождение его становилось тягостнее, нежели самая большая лихва. К ужину звал он простых людей без разбора. При опрятности стола, приветливости хозяина простота кушанья была приятнее всякой пышности. В отношении к учению, он образовал себя в красноречии и в искусстве быть полезным народу. Он, будучи от природы способнейшим мастером красноречия среди римлян, старанием и трудами превзошел ораторов с отличнейшими дарованиями. Сколь бы ни было маловажно дело, о котором надлежало говорить ему, он никогда не приходил в Собрание без приготовления. Нередко случалось, что когда Помпей, Цезарь или Цицерон колебались и медлили говорить, то Красс принимал на себя защиту дела. Этим приобрел он благорасположение сограждан своих и заслужил славу человека старательного, и охотно другим помогающего. Ни один римлянин, какого бы он состояния ни был, никогда не поклонялся ему без того, чтобы Красс не отвечал на приветствие его, называя его по имени. Говорят, что он был весьма сведущ в истории, что занимался немного философией и что прилежал к чтению сочинений Аристотеля. Учителем его был некто по имени Александр, человек, которого кротость и умеренность доказываются самою связью с Крассом, ибо трудно решить, когда он сделался беднее, став учителем Красса или после того. Он один из друзей Красса сопутствовал ему всегда в странствованиях; за то ему давали шляпу*, которую при возвращении требовали назад. Какое терпение в человеке, по правилам которого есть различие между бедностью и богатством!* Но это относится к позднейшему времени.

Как скоро Цинна и Марий одержали уже верх*, то не было сомнения, что они вступят в Рим, не к благу отечества, но к погибели и совершенному истреблению лучших граждан. Те из них, кто оставался в городе, преданы были смерти; в числе их отец и брат Красса. Сам Красс, будучи еще очень молод, избегнул тогда смерти, но, видя себя со всех сторон преследуемым и обступаемым отовсюду тираннами, взял трех друзей и десять служителей и с необычайною скоростью убежал в Иберию, где он прежде провел несколько времени при отце своем, бывшем там претором и приобрел многих друзей. Красс нашел всех в страхе; они трепетали пред свирепствами Мария, как будто бы он находился среди них. По этой причине Красс не осмелился никому себя открыть, но обратился к поместьям Вибия Пациана, лежащим близ моря, где была обширная пещера, в которой спрятался, а к Вибию послал служителя, дабы испытать его. Между тем он и спутники его начинали чувствовать недостаток в запасах. Вибий, узнав, что Красс жив, весьма обрадовался, разведал о числе спутников его и местопребывании. Вибий не захотел с ним видеться, но, призвав немедленно управителя того поместья, приказал ему ежедневно приносить готовый обед, класть его на камень и удаляться в безмолвии, не разведывая и не любопытствуя знать, для кого это делается. Он обещал сему управителю вольность за верное исполнение его приказаний и грозил смертью, когда бы он стал любопытствовать.

Пещера стояла недалеко от моря; скалы, вокруг нее сходясь, образуют дорогу узкую и едва приметную, которая ведет внутрь ее. Вступая в пещеру, находишь, что она чрезвычайно расширяется в высоту и содержит в окружности своей обширные впадины, которые сообщаются одна с другой. Тут нет недостатка в воде и свете. У самой скалы течет источник прекрасной воды; самородные трещины скалы пропускают извне дневной свет, достаточный

для освещения этого места. Воздух внутри пещеры сух и чист, ибо толщина скалы отделяет от себя влагу и сырость, которую обращает к близ текущему источнику.

В этом месте скрывался Красс, и раб Вибия приносил туда ежедневно все нужное к содержанию его, не видя и не зная тех, кто там находился, но они его видели, знали и подстерегали. Приготовляемое для Красса кушанье не только достаточно к удовлетворению нужд его, но было еще изобильно и приятно. Вибий хотел оказать ему все опыты своей к нему дружбы. Ему пришел на мысль возраст Красса, который был еще очень молод, и он решился быть снисходительным к слабостям лет его, ибо удовлетворять только нуждам значило бы служить более по необходимости, нежели из усердия. Итак, взяв двух красивых рабынь, повел их к морскому берегу и, показав им ведущую вверх дорогу, велел идти вперед, ничего не страшась. Красс, увидя их, боялся, чтобы его убежище не сделалось известным. Он спросил у них, чего они хотят и кто такие? Они отвечали, по наставлению Вибия, что ищут скрывающегося тут господина своего. Красс понял шутку и благорасположение к нему Вибия. Рабыни с того времени оставались у него; через них он открывал Вибию то, в чем имел нужду. Фенестелла говорит, что видел одну из них, когда та была уже стара, и много раз слышал, как она сама рассказывала об этом происшествии.

Красс пробыл в этом убежище восемь месяцев и обнаружил себя только по получении известия о смерти Цинны*. К нему стеклось немалое число преданных ему людей. Он выбрал две тысячи пятьсот человек и с ними объезжал города. Некоторые пишут, что он разграбил один из этих городов – Малаку*, но Красс от того отрекается и этот слух опровергает.

Собрав несколько судов, переправился он в Ливию и присоединился к Метеллу Пию, мужу знаменитому, который предводительствовал немаловажными силами, но недолго у него пробыл. Он поссорился с ним, перешел к Сулле и находился при нем, пользуясь великим уважением. Сулла, по прибытии своем в Италию, хотел, чтобы бывшие с ним молодые люди оказывали величайшую деятельность. Он препоручил им разные дела. Красс между прочим получил приказание ехать в область марсов с некоторым военным препоручением. Он просил у Суллы провожатых для безопасности, ибо ему надлежало пройти дорогу, занимаемую неприятельским войском.

Сулла отвечал ему с гневом: «Я даю тебе в провожатые твоего отца, брата, друзей и родственников, преданных смерти; тех, кто умертвил их, я преследую с оружием в руках». Красс был тронут и раздражен этими словами. Он отправился немедленно, прошел отважно сквозь войско неприятельское, набрал довольно ратников и ревностно помогал Сулле во всех его предприятиях. Говорят, что в делах тогдашнего времени честолюбие возродило в нем соревнование к Помпею. Этот полководец, будучи моложе Красса, происходя от отца, обесславленного в Риме и до крайности ненавистного всем гражданам*, в тогдашних обстоятельствах прославился и явился столь великим, что Сулла вставал, когда он к нему подходил, обнажал голову и называл его императором – такой почести редко оказывал Сулла равным себе и старейшим полководцам. Все это воспламеняло завистью и раздражало Красса, который по справедливости был унижаем. Он не имел довольно опыта в военном деле, а корыстолюбие и мелочная расчетливость, эти свойственные ему пороки, помрачали блеск деяний его. Завладев умбрийским городом Тудертией, он присвоил себе большую часть денег, и был в том обвинен перед Суллой. Но в данном близ Рима сражении, последнем и важнейшем, когда Сулла был побежден и войско его было разбито и частью истреблено, Красс, предводительствуя правым крылом, одержал верх и до самой ночи преследовал неприятеля. После того он послал сказать Сулле о своих успехах и требовал у него пищи для воинов.

Когда начались казни и конфискации, то Красс вновь порицаем был за то, что покупал за малую цену богатейшие имения или просил оные себе в дар. Уверяют также, что он, без ведома Суллы, из одной жадности к богатству, включил в проскрипции некоего бруттийского гражданина. Это дошло до сведения Суллы, который более не употреблял Красса в делах общественных, хотя он был весьма способен уловлять лестью людей и сам также легко попадал в сети, расставляемые ему лестью. Особенное же от других в нем свойство то, что будучи сам корыстолюбивейшим человеком, чрезвычайно ненавидел и ругал тех, кто был ему подобен.

Более всего было ему неприятно то, что Помпей был столь счастлив в предводительстве, что удостоился почестей триумфа, не будучи еще сенатором; и что прозван от граждан Магном,

или Великим. Когда некто сказал в присутствии Красса, что Помпей Великий приближается, то он, усмехнувшись, спросил, насколько тот велик. Красс, потеряв надежду сравниться с ним в военных делах, вступил в гражданское поприще. Ценой больших усилий и речами судебной защиты, ссужая деньгами и осуществляя всякого рода поддержку тем, кто искал чего-либо в народе, приобретал он силу и славу, равную той, какую Помпей стяжал многими и великими военными подвигами. С ними случилось нечто необыкновенное. Помпей, будучи вне Рима, имел большую важность и силу по причине своих военных предприятий, а находясь в городе, часто должен был уступать Крассу. Желая сохранить свое достоинство и важность, Помпей избегал Народного собрания, скрывался от народа, не многим оказывал помощь и то без большого усердия, дабы его влияние было тем действительнее, когда бы он стал просить за себя. Красс, напротив того, был всегда услужлив, всем доступен, являлся в народе, находился в средине всех дел и снисходительным, кротким поведением своим одерживал верх над важностью Помпея. Что касается до наружной сановитости, убедительности в речах, привлекательности и приятности лица, то эти качества в обоих были в равной степени.

Но ревность Красса не возродила в нем вражды или злоумышления против Помпея. Ему было равно неприятно, когда Помпей и Цезарь были более его уважаемы, но честолюбие его не было сопряжено со злобой и коварством. При всем том Цезарь, попавшись в руки разбойников в Азии и находясь под стражей, воскликнул: «Как ты обрадуешься, Красс, узнав о моем положении»! Впрочем, впоследствии они обходились дружески между собою, и когда Цезарь отправлялся в Иберию претором, когда не имея денег, терпел притеснение от заимодавцев, которые хотели захватить обоз его, то Красс не оставил его без помощи; он освободил его, поручась за него восьмьюстами тридцатью талантами.

Рим вообще был разделен тогда на три стороны; начальником одной был Помпей, другой Цезарь, третьей Красс. Что касается до Катона, то слава его превосходила его силу, его более уважали, нежели ему следовали. Граждане, здравомыслящие и любящие благоустройство, были привержены к Помпею, беспокойные и предприимчивые следовали за великими надеждами Цезаря; Красс находился между ними, употреблял в свою пользу то одну сторону, то другую. Многократно переменял он мысли касательно образа правления, не был ни верным другом, ни непримиримым врагом, он забывал любовь и ненависть, смотря потому, как было для него выгоднее, так что в короткое время показывал себя то защитником, то противником одних и тех же людей, одних и тех же законов. Он приобрел великую силу благосклонностью к себе народа и страхом, который умел внушать, но последним более, нежели первой. Однажды спросили Сициния*, того самого, который беспокоил тогдашних правителей и демагогов республики, почему он одного Красса не трогает и оставляет в покое. Сициний отвечал: «У него сено на рогах»*. Римляне имеют обычай привязывать сено к рогам быка, который бодается, для предостережения подходящих к нему людей.

Восстание гладиаторов, которое многими называется Спартаковой войной, и разорение Италии, от того происшедшее, получили свое начало от следующих причин.

Некто, по имени Лентул Батиат, содержал в Капуе школу гладиаторов, большей частью из галлов и фракийцев, которые не были виновны ни в каком преступлении, но по несправедливости купившего их были заключены и принуждены поневоле заняться этим ремеслом. Двести человек из них согласились бежать, но намерение их обнаружилось; но около восьмидесяти из них, захватив в поварне ножи и вертелы, выбежали из города. Дорогой попались им телеги, на которых везли гладиаторские орудия из одного города в другой, они расхитили оные и вооружились. Заняв некоторое крепкое положение, избрали они трех начальников, из которых первый был Спартак, из племени кочующих фракийцев, человек, который не только имел великий дух и отличную телесную крепость, но и превышал свое состояние благоразумием и кротостью, а свой народ греческим просвещением. Говорят, что когда впервые привезен был он в Рим для продажи, то увидели змею, которая обвилась вокруг его лица, между тем как он спал. Жена его, одного с ним племени, будучи прорицательницей, посвященной в Дионисовы таинства, сказала ему, что это есть предзнаменование великого и страшного могущества, конец которого не будет благополучен. Эта женщина жила с ним и сопутствовала ему в бегстве.

Прежде всего гладиаторы отразили вышедшее из Капуи против них войско, отняли у него

оружия, разделили их между собою и бросили гладиаторские орудия, как бесчестные и варварские. После этого был выслан из Рима против Спартака претор Клавдий с тремя тысячами воинами. Он осаждал Спартака на горе, к которой вела лишь одна трудная и узкая дорога, которую стерег Клавдий. Все окрестности ее были окружены скалами и утесами, а поверхность была покрыта множеством дикого винограда. Гладиаторы рубили лозы, сплели крепкие и длинные лестницы, которые, будучи привязаны сверху, простирались по скалам до равнины. По этим лестницам безопасно сошли они все, кроме одного, который остался, дабы бросать им оружия и, кончив это дело, сам спасся. Римляне этого вовсе не знали. Гладиаторы обошли их, неожиданным нападением привели в ужас, заставили бежать и завладели их станом. Многие из тамошних пастухов, люди крепкие и быстрые, пристали к ним. Гладиаторы одних вооружили тяжелыми доспехами, других употребляли вместо передовых и легких воинов.

После того вместо Клавдия послан был против них другой претор, Публий Вариний. Сначала гладиаторы разбили наместника его Фурия, у которого было две тысячи человек; затем советника его и товарища Коссиния, отправленного с великой силою. Спартак, подстерегая его, едва не поймал в то время, когда он купался близ Салин*. Коссиний убежал с великим трудом, но Спартак завладел его обозом, гнался за ним по пятам, поражая его жестоко, и завладел его станом, причем сам Коссиний был умерщвлен. Спартак одержал многократно решительные победы над полководцем Публием и, наконец, захватил ликторов его и лошадь.

Этими подвигами Спартак был уже знаменит и страшен. При всем том он, рассуждая весьма здраво и не надеясь нимало преодолеть могущество римское, вел войско свое к Альпам с намерением перейти оные и возвратиться в прежние свои жилища, но воины его, полагаясь на свою многочисленность и гордясь своим успехами, не слушались его. Они, пробегая Италию, грабили ее.

Уж не только низний и недостойный характер восстания беспокоил сенат; боясь Спартака и почитая себя в опасности, как будто бы от войны трудной и страшной, сенаторы выслали против него обоих консулов*. Один из них, Геллий, напал неожиданно на отряд германцев, которые по дерзости и гордости своей отделились от войска Спартака, и всех истребил. Товарищ его Лентул окружил Спартака многочисленными войсками, но последний напал всеми силами на его наместников, дал им сражение, победил их и взял весь обоз их. Между тем как он стремился к Альпам, Кассий, претор лежащей по реке Паду части Галлии, встретил его с десятью тысячами воинами. Дано было жестокое сражение; Кассий был разбит, потерял множество людей и едва сам избегнул смерти*.

Сенат, получив о том известие и негодуя на консулов, повелел им не предпринимать ничего более и избрал полководцем Красса. Многие знаменитые люди последовали за ним в поход*, как по своей к нему дружбе, так и по причине славы его. Красс остановился у границы Пицена, дабы встретить устремившегося туда Спартака, а Муммия, своего наместника, с двумя легионами послал в обход, с приказанием ему следовать за неприятелем, но отнюдь не вступать с ним в сражение и не иметь с ним стычек, но Муммий, возымев с самого начала некоторую надежду победить неприятеля, дал сражение и был разбит. Многие из воинов его пали на месте; многие спаслись бегством, бросив оружия. Красс принял Муммия с гневом; он раздавал воинам оружия, требуя от них поручителей в том, что они будут их беречь, но пятьсот человек из передовых, которые скорее всех предались бегству, разделил он на пятьдесят десятков и из каждого десятка казнил по одному человеку, на которого падал жребий. Этот род наказания в древности был в употреблении у римлян и после многих лет возобновлен Крассом. Казнь воина сопряжена с посрамлением; до произведения оной, в присутствии всего войска, совершаются обряды, весьма мрачные и ужасные.

После того Красс обратил своих воинов на неприятеля, который через Луканию отступал к морю. Спартак нашел в проливе киликийские разбойничьи суда, хотел на них переехать в Сицилию; он переправил две тысячи воинов, дабы вновь возжечь невольническую войну*, незадолго перед тем погасшую, к воспламенению которой требовалось небольшой искры. Киликийцы согласились его перевезти, взяли дары, но обманули его и отплыли. Спартак был принужден удалиться от моря и остановиться на Регийском полуострове*. Красс приблизился к тому месту, положение которого показало ему, что надлежало предпринимать; он решился застроить перешеек, дабы через то не оставлять воинов своих в праздности, а неприятелей

лишить средства получать запасы. Это трудное и великое предприятие совершено им неожиданно в краткое время. Он вырыл во весь перешеек, от моря и до моря, ров длиной в триста стадиев, глубиной и шириной в пятьдесят футов; за рвом построил стену, которая вышиной и крепостью возбуждала удивление. Спартак сперва взирал с презрением на эту работу, но, чувствуя уже недостаток в запасах и будучи принужден идти далее, увидел он себя обнесенным стеною и вне возможности получить что-либо на полуострове. Воспользовавшись туманной ночью и сильным ветром, он завалил небольшую часть рва землей, лесом и сучьями и таким образом пробрался с третьей частью своего войска.

Красс был в страхе, чтобы Спартак не вздумал идти прямо на Рим. Он успокоился, узнав, что многие из Спартаковых воинов, поссорившись с ним, от него отстали и отдельно от него остановились близ Луканского озера*, вода которого, как говорят, по временам меняет вкус и бывает то пресная, то соленая и неспособная к питью. Красс напал на отряд, вытеснил его за озеро, но не мог его преследовать и истребить, ибо Спартак показался быстро и удержал его. Он писал прежде сенату, что должно вызвать и Лукулла из Фракии*, и Помпея из Иберии, но после раскаялся в том и спешил с окончанием войны до прибытия этих полководцев, зная, что всю честь подвига получил бы не он, а тот, кто придет к нему на помощь. Итак, он решился предупредить их и напасть на неприятелей, отделившихся от Спартака под предводительством Гая Канниция и Каста. Он послал шесть тысяч человек для занятия одного холма, с приказанием произвести все самым скрытным образом. Они старались скрываться от взоров неприятеля, покрывая свои шлемы, но вдруг примечены были двумя женщинами, которые приносили жертвы перед войском неприятельским и были уже в великой опасности, когда бы Красс не поспешил к ним на помощь и не дал сражения, которое было самое ужасное. Он положил на месте двенадцать тысяч триста неприятелей и в таком множестве только двух нашел он раненными в спину; все другие умерли, стоя в рядах и сражаясь с римлянами.

После этого поражения Спартак удалился к Пентелийским горам, будучи преследуем римлянами, под начальством наместников Крассовых: легата Квинтия и квестора Скрофы. Спартак обратился на них и привел их в такое расстройство, что они насилу могли взять раненого квестора и спастись бегством. Этот успех был причиной погибели Спартака. Беглецы возмечтали о себе слишком много. Они уже не хотели отступить, не повиновались предводителям своим, но, окружив их на самом пути с оружием в руках, принудили их вести войско назад на римлян через Луканию, куда и Красс уже спешил, ибо получено было известие, что Помпей приближался. При выборах народных многие утверждали, что Помпею предназначено одержать победу и что он, получив начальство, даст сражение и прекратит войну. И так Красс, желая вступить в дело, приближался к неприятелю. Он начал копать ров. Невольники вскакивали в него и сражались с теми, кто тут работал. С обеих сторон шли к ним на помощь воины. Спартак, видя необходимость сразиться, двинулся всем войском. Когда к нему приведена была лошадь его, то он, обнажив меч, вонзил его в нее, говоря, что, одержав победу, будет иметь хороших лошадей, отнятых у неприятелей, а, будучи побежден, не будет иметь и в этой нужды. После того, пробираясь сквозь неприятелей и получая раны, устремился он на самого Красса, но не попал в него, умертвив только двух сотников, которые с ним сошлись. Наконец, когда все воины его разбежались, он остался один, был окружен великим числом неприятелей и, сражаясь с ними, был изрублен.

Хотя Красс пользовался счастьем благоразумно, чрезвычайно хорошо предводительствовал войском и подвергал себя всем опасностям, но успехи его послужили к умножению славы Помпея. Те из неприятелей, кто убежал в последней битве, попались Помпею и были им истреблены совершенно. Он писал в сенат, что Красс победил беглых невольников в открытом сражении, а он вырвал самый корень войны. Помпей удостоился триумфа за победы, одержанные над Серторием и за иберийские подвиги. Красс не осмелился просить себе большого триумфа. Пеший триумф, называемый овацией, казалось, был ниже его достоинства и не приличествовал ему за окончание войны с беглыми невольниками. Чем разнится последний триумф от первого, и от чего он получил свое название, о том сказано мною в жизнеописании Марцелла.

После этих подвигов Помпей был призываем на консульство. Хотя Красс имел надежду быть товарищем Помпею в консульстве, но не отказался просить его помощи. Помпей принял с

удовольствием его просьбу, желая некоторым образом, чтобы Красс чем-нибудь был ему обязан. Он помог ему с усердием. В заключение речи, произнесенной народу, сказал, он, что благодарит граждан за своего товарища не менее, как и за самое начальство. Но по получении консульства* приязнь их недолго продолжалась; они почти ни в чем не были согласны, обо всем спорили, ни в чем не уступали друг другу, так что консульство их проведено в бездействии и ничем не ознаменовано, кроме того, что Красс принес великие жертвы Гераклу, угостил народ на десяти тысячах столах и дал каждому гражданину пшеницы на три месяца. Уже начальство их приходило к концу, как в Народном собрании Гай Аврелий, римский всадник, человек мало известный, проводивший жизнь вне города, не занимавшийся делами общественными, взошел на трибуну, рассказал народу виденный им сон: «Юпитер, – говорил он, – явился мне в сновидении и велел сказать вам, граждане, чтобы вы не позволяли консулам слагать начальство прежде, нежели они примирятся». Как скоро это было произнесено, то народ велел консулами мириться. Помпей стоял спокойно; Красс простер к нему руку и сказал народу: «Граждане! Я думаю, что не поступаю низко и недостойно себя, предлагая первый дружбу и приязнь Помпею, которого вы назвали Великим тогда, когда он был еще без бороды, которому вы определили триумф прежде, нежели он заседал в сенате».

Вот все, что есть достопамятного в консульстве Красса. Что касается до его цензорства*, то оное проведено им в совершенном бездействии. Он не делал ни испытания сенату, ни смотра всадникам, ни описи гражданам, ни оценки имениям, хотя товарищ его, Лутаций Катул, был человек самый смирный. Говорят, что Красс принял насильственное и жестокое намерение покорить римлянам Египет и что Катул противился ему с великой твердостью. Отсюда произошел между ними разрыв, и оба они добровольно сложили свои достоинства.

Когда Катилина предпринял важные дела, от которых Рим едва не был ниспровержен, то некоторое подозрение падало и на Красса. Некто из заговорщиков объявил, что Красс принадлежит к числу их, но никто этому не поверил. Цицерон в одной речи своей явно наводит подозрение на Красса и Цезаря. Впрочем, речь эта издана по смерти обоих. Цицерон в речи «О консульстве» говорит, что Красс пришел к нему некогда ночью, принес относящееся до Катилины письмо, в котором делалось разыскание и доказывался заговор. Это было причиной всегдашнего негодования Красса против Цицерона, но Публий, сын Красса, препятствовал отцу своему наносить явно вред Цицерону. Любя словесность и науки, Публий столько привязан был к Цицерону, что когда тот был судим, то он не только сам переменил вместе с ним одежду, но и других молодых людей заставил следовать своему примеру. Наконец удалось ему примирить отца своего с Цицероном.

Цезарь, возвратившись из провинции, готовился искать консульства. Видя, что Красс и Помпей между собою были в раздоре, он не хотел сделать одного из них врагом себе, просивши помощи у другого, и не надеялся достигнуть своей цели без помощи одного из них. Итак, решился их примирить, приступал то к одному, то к другому, представляя им, что они один другого уменьшают силу, между тем как возвышают Цицеронов, Катулов и Катонов, людей, которые на республику не будут иметь никакого влияния, если они соединят своих друзей и приверженных и будут управлять ею соединенными силами и по одному предначертанию. Он убедил их, примирил и составил из троих одну непреоборимую силу, которая испровергла власть сената и народа, между тем как Цезарь не усилил одного через другого, но через обоих сделал сильнейшим одного себя. Содействием их он торжественно возведен был на консульское достоинство. Как скоро Цезарь достигнул консульства, то они поручили ему предводительство над войсками и управление Галлией и таким образом, засадив его таким образом как бы в крепость, надеялись разделить между собою все правление, по утверждении за ним доставшейся ему по жребию провинции. К этому поступку Помпей побужден был безмерным властолюбием, что касается до Красса, то к древней болезни его – корыстолюбию – присоединилась новая страсть к триумфам и победам, возженная в нем завистью к знаменитым подвигам Цезаря, дабы ими одними не быть ниже того, о котором думал, что превышал его в других отношениях. Он не отстал и не успокоился до тех пор, пока не подверг жизни своей бесславной смерти, а отечество великому несчастью.

Когда Цезарь прибыл из Галлии в город Луку*, то многие римляне стеклись туда. Между прочими Помпей и Красс имели с ним тайные переговоры; они положили приступить к делу

сильнее и покорить себе совершенно республику. Цезарю надлежало оставаться по-прежнему вооруженным, а между тем Крассу и Помпею брать другие провинции и войска. К достижению этого было только одно средство: получить вторичное консульство. Положено было им искать его, а Цезарю им содействовать. Он обещал писать друзьям своим и посылать в Рим многих воинов для подачи голосов при выборах народных.

По возвращении их в Рим они возбуждали во всех подозрение; все говорили, что не к добру республики клонилось свидание их. В сенате Марцеллин и Домиций спрашивали Помпея, намерен ли он просить консульства. Он отвечал, что, может быть, будет просить, а может быть, и нет. При вторичном вопросе он сказал, что будет просить оного в пользу добрых граждан, а не дурных. Эти ответы Помпея показались всем гордыми и надменными. Красс отвечал с большей умеренностью, что будет искать консульства, если то республике полезно, в противном случае он от того откажется. Эти слова ободрили некоторых искать консульства, в числе их был и Домиций; когда же они оба явились в числе кандидатов, то все другие устрашились их и от искательства отстали, но Катон увещевал и убеждал родственника и друга своего Домиция не терять надежды, но быть поборником общей вольности. Он представлял ему, что Помпей и Красс домогаются не консульства, но самовластия; и что поступки их обнаруживают не желание начальства, но похищение провинций и войск. Этими словами и рассуждениями Катон вывел Домиция на площадь почти поневоле; многие пристали к ним, многие изъявляли свое удивление, говоря: «Зачем они ищут вторично консульства? Зачем опять вместе? Зачем не с другими? Много у нас других мужей, не недостойных быть товарищами Крассу или Помпею в консульстве». Эти речи устрашили Помпея и его приверженных; они решились на все непристойные и насильственные поступки. Оставя другие, упомянем только о следующем: они поставили засаду на месте, мимо которого шел на площадь еще ночью Домиций с друзьями, умертвили того, кто нес перед ним факел и ранили многих, среди прочих и Катона. Таким образом, прогнав их и заперши в доме, они избрали сами себя в консулы. Вскоре после того обступили трибуну, вытеснили из площади Катона, умертвили тех, кто хотел им противиться, и Цезарю определили начальство еще на пять лет, а себе назначили Сирию и обе Иберии. Они бросили жребий; Крассу досталась Сирия, а Помпею Иберия.

Жребием этим все были довольны. Граждане вообще желали, чтобы Помпей был недалеко от Рима, а Помпей, любя страстно свою жену*, хотел большую часть времени проводить в Риме. Как скоро Сирия досталась Крассу, то он изъявил такое удовольствие, что, казалось, в жизни своей не получал успеха, блистательнее тогдашнего; насилу он мог скрыть свою радость при чужих и при многочисленном собрании, но в присутствии своих приятелей обнаружил он ее такими пустыми и ребяческими выражениями, которые не приличествовали ни летам его, ни природным свойствам. Он нимало не было хвастлив и высокомерен, но тогда в исступлении своем мечтал, что Сирия и парфяне не будут пределами его счастливых успехов; он мнил доказать, что подвиги Лукулла против Тиграна и Помпея против Митридата были детские игры, и надеждами своими парил до земель бактрийцев и индийцев и до внешнего моря. Хотя в народном постановлении о Крассе* не упоминается о войне с парфянами, но все знали, что он горел желанием начать оную. Цезарь писал ему из Галлии, хвалил его намерение и поджигал его к началу войны. Но трибун Атей готовился препятствовать выходу его из Рима. К Атею пристали многие граждане, которые почитали весьма несправедливым, чтобы кто-либо вел войну с народом, не оказавшим никакой обиды римлянам, и с которым были заключены договоры. Красс, устрашенный их выражениями, призвал на помощь Помпея и просил его быть провожатым при выезде из Рима. Помпей пользовался великим уважением среди граждан. В то время множество народа было готово остановить Красса и кричать против него, но, увидев Помпея, идущего впереди Красса со спокойным и веселым видом, все укротились и в безмолвии пропустили его. Но трибун Атей пошел к нему навстречу и сперва голосом и заклинаниями своим запрещал ему идти далее, потом велел ликтору схватить Красса и удержать его. Другие трибуны этому препятствовали, а ликтор пустил его. Атей, побежав к воротам, положил жаровню с огнем. Между тем как Красс приближался к воротам, Атей, вместе с курением и возлияниями, произносил страшные проклятия, призывая поименно каких-то ужасных и странных богов. Римляне говорят, что эти древние и таинственные проклятия имеют великую силу и что не избежал их действия ни один из тех, на кого были

произнесены. Они уверяют при том, что и произносящий оные навлекает на себя несчастье. По этой причине оные немногими и не в обыкновенных случаях были употребляемы. Многие тогда порицали Атея за то, что произносил эти проклятия и ввергал в ужас город, за спасение которого он вооружался против Красса.

Красс прибыл в Брундизий. По прошествии зимы, хотя море еще не успокоилось, но он, не дожидаясь благоприятной погоды, пустился в море и потерял множество кораблей. Собрав все свои силы, он шел поспешно через Галатию. Здесь он нашел царя Дейотара, который, будучи уже весьма стар, строил новый город. Красс, шутя над ним, сказал: «Государь! В двенадцатом часу* ты начинаешь строиться!» Галатский царь, улыбнувшись, отвечал: «И ты, император, как я вижу, не очень рано поднялся против парфян!» Тогда Крассу было более шестидесяти лет, но с виду он казался еще старше своих лет.

По прибытии его к назначенному месту, обстоятельства сперва соответствовали великим его надеждам. Он без труда навел мост на Евфрате, безопасно провел по оному войско, занял в Месопотамии многие города, которые добровольно сдались ему. В одном городе, которым владел некто по имени Аполлоний, убиты были сто римских воинов. Красс пошел против этого города с войском, завладел им, разграбил его и всех жителей продал. Город называли греки Зенодотией*. По взятии города он принял от своих воинов название императора. Эта малая выгода, приведшая его в такое восхищение, навлекла на него порицание и показала в нем человека, не имеющего ни величия души, ни надежды к произведению чего-либо важного. Он оставил в городах охранное войско, состоявшее из семи тысяч пехоты и тысячи человек конницы, и отступил в Сирию для проведения там зимнего времени и для принятия своего сына, прибывшего из Галлии, где он служил под начальством Цезаря. Молодой Красс был украшен знаками отличий и вел с собою тысячу человек отборной конницы.

Первая ошибка Красса, по предпринятии похода, который должно почитать величайшей ошибкой, была следующая: вместо того, чтобы идти вперед и занять Вавилон и Селевкию*, города, всегда враждебные парфянам, он дал время неприятелю приготовиться. Занятия его в Сирии всеми порицаемы были, ибо оные были более экономические, нежели стратегические. Он не занимался смотрами войска и оружия, не заставлял воинов упражняться в воинских движениях, а считал только доходы городов и несколько дней подряд в Иераполе* мерил богатство тамошней богини; сперва назначил городам и владениям ставить ратников; потом увольнял от службы тех, кто приносил деньги, и через то обесславил себя и был всеми презираем. Первое неблагоприятное знамение показано ему богиней, которую одни называют Афродитой, другие Герой, а иные почитают природой или той причиной, которая порождает все существа из влаги, дает им начало и открывает людям источник всех благ. При выходе из храма, у самых врат, упал молодой Красс, а на него и отец его*.

Уже Красс собирал войско из зимних жилищ, как пришли к нему от Арсака* посланники с короткими изъяснениями. Они говорили, что если войско послано против парфян римлянами, то война будет жестокая и непримиримая; если же Красс против воли отечества, как у них слышно, для собственных своих выгод подъемлет оружие на парфян и не покоряет их области, то Арсак будет снисходительнее и, из жалости к летам его, отпустит римлянам воинов, которых он более сам блюдет, нежели они блюдут города. Красс высокомерно сказал, что ответ на это даст в Селевкии. Старейший из посланников, по имени Вагиз, засмеялся. И показав ладонь своей руки, сказал: «Красс! Скорее тут вырастут волосы, чем ты увидишь Селевкию». Посланники возвратились к царю с объявлением, что война неизбежна.

Между тем некоторые воины, насилу вырвавшись из городов, римлянами занимаемых в Месопотамии, принесли известия, весьма озабочивающие римлян; эти воины были очевидными свидетелями как множества неприятелей, так и битв, ими данных при нападении на города. По обыкновению все было возвещаемо в страшнейшем виде; говорили, что неприятель, когда он преследует, неизбежен; что когда он бежит, то невозможно догнать его; что перед ним летят нового рода стрелы, которые поражают все, что им ни попадется, прежде, нежели можно видеть оные или пустившего их; что оружия покрытой латами конницы сделаны так, что все разрубают, а доспехи всему противятся. От этих известий бодрость воинов упадала. Они прежде воображали, что парфяне ничем не различествуют от армян и каппадокийцев, которых, разоряя и покоряя, Лукулл утомился. Полагая прежде, что труднее всего в этом походе долгая

дорога и преследование неприятеля, который, по мнению их, не осмелится вступить с ними в бой, теперь, вопреки надеждам, они ожидали войны, сопряженной с великими опасностями. Важнейшие в войске чиновники думали, что надлежало бы Крассу остановиться и снова составить совет о настоящем предприятии. В числе их был и квестор Кассий*. Жрецы также давали знать тайно, что в жертвах всегда являлись Крассу неблагоприятные знамения, но Красс никого не слушал, а следовал только тем, кто советовал ему идти вперед с поспешностью.

Немного бодрости придал ему Артабаз*, царь армянский, прибывший в римский стан с шестью тысячами конницы, то были хранители и проводники царские. Артабаз обещал привести десять тысяч латами покрытой конницы и тридцать тысяч пехоты на собственном содержании. Он советовал Крассу вступить в Парфию через Армению, уверяя, что не только войско не будет ни в чем нуждаться, получая в изобилии от него припасы, но движение его будет безопасно, ибо таким образом Красс был бы защищаем цепью гор и холмов, местами, на которых коннице, единственной силе парфян, не было возможно действовать. Усердие государя и важное его подкрепление приятно было Крассу, но он сказал, что пойдет через Месопотамию, где были оставлены многие храбрые римляне. После того армянский царь от него отделился.

В то самое время, как Красс переводил войско свое через реку у Зевгмы*, загремели страшные громы; частые молнии, сверкая, ударяли в глаза войску; вихрь, сопровождаемый тучей и палящими громовыми стрелами, ударил в мост, сорвал и частью сокрушил его. На место, где намерены были поставить лагерь, дважды ударил гром. Одна из лошадей полководца, богато убранная, понесла конюха, бросилась в реку и исчезла. Говорят также, что первый орел, поднявшись сам, обратился назад. К этим знамениям присоединилось и следующее: когда после переправы стали раздавать воинам припасы, то прежде всего, по случаю, дали им чечевицы и соли; вещи эти ставятся перед мертвецами и от римлян почитаются печальными. Когда Красс говорил войску речь, то вырвалось у него несколько слов, которые привели всех в смущение. Он сказал, что хотел сорвать мост, дабы никто из них не возвратился назад. Ему надлежало бы почувствовать непристойность этого выражения, оправиться и объяснить свою мысль для ободрения оробевших, но он пренебрег этим по своей надменности. Наконец, по принесении обыкновенной жертвы очищения прорицатель дал ему внутренности животного; они выпали из рук его. Красс, видя, что присутствующие были этим опечалены, и сказал, улыбаясь: «Вот какова старость! Но оружие не выпадет из рук моих!»

После того Красс вел далее войско вдоль реки, имея семь легионов пехоты, без малого четыре тысячи конницы и столько же легкой пехоты. Некоторые из передовых стражей, осмотревши страну, возвратились с известием, что вся она бесплодна и что между тем открыли они следы многочисленной конницы, как бы отступающей назад. Эти слова внушили Крассу более надежды; воины начали уже вовсе пренебрегать парфянами, думая, что они не смеют вступить в бой с ними. Несмотря на то, Кассий советовал опять Крассу или остановиться в каком-либо из городов, охраняемых римлянами, пока не получит верных о неприятеле сведений, или идти прямо в Селевкию, следуя вдоль по реке. В таком случае они получали бы на судах в изобилии все припасы; река служила бы им оградой, чтобы неприятельские силы их не обошли; и римляне были бы в состоянии сражаться с ними, имея равные выгоды.

Красс еще был в нерешимости и рассуждал сам с собою, как прибыл к нему вождь арабского племени, по имени Абгар*, человек коварный и лукавый, соделавшийся для Красса и его войска самым великим и решающим злом из всех, какие судьба в нем совокупила к погибели римлян. Некоторые из тех, кто сопутствовал в походе Помпею, знали, что Абгар получил в то время знаки благорасположения от полководца и показывал себя другом римлян, но теперь, с согласия полководцев парфянских, передался он Крассу, с намерением завести его, как можно, далее от реки и гористой страны и пустить его в необитаемые равнины, в которых он мог быть окружен со всех сторон. Они изыскивали все средства к тому, чтобы не вступить с римлянами в сражение. По прибытии своем Абгар, который имел дар говорить приятно, начал прославлять Помпея как благодетеля своего, превозносил силы Красса, но порицал медленность, с которой производил всегда приготовления, как будто бы он имел нужду в оружиях, а не в быстроте ног и деятельности рук против людей, которые давно уже собираются с тем, что всего для них драгоценнее и любезнее, убежать к скифам и гирканам. «Если ты намерен сражаться, – говорил он, – то надлежит спешить, прежде нежели царь парфянский,

ободрившись, соберет воедино все свои силы. Против вас посланы вперед Сурена и Силлак, дабы на себя обратить стремление ваше, но царя самого нигде не видно».

Все это было ложно. Гирод* с самого начала разделил силы свои на две части: с одной сам разорял Армению, мстя Артабазу, а другую, под начальством Сурены, пустил на римлян; не из высокомерия и презрения, как некоторые уверяют, ибо не сообразно было бы с рассудком, почитая Красса, первейшего римлянина, противоборником, недостойным себя, вести войну с Артабазом и разорять армянские области. По всему видно, что он, чувствуя всю опасность, стоял, как в засаде, ожидая будущих происшествий, а Сурену послал вперед, дабы занять неприятеля и испытать в сражении с ним свои силы. Сурена не был из числа незначащих людей, богатством, родом и славой, по царе, он был второй в государстве, а по храбрости и по способностям, был первый из парфян своего времени; сверх того ростом и телесной красотой никто не превосходил его. Он всегда выступал в поле с тысячью верблюдами, везшими его обоз, и двумястами колесниц для своих наложниц. Его сопровождали всегда до тысячи конных, покрытых латами, а легкоконных еще того более. Вся его конница составляла не менее десяти тысяч подданных его и служителей. По своему роду, он имел право налагать венец на нового царя парфянского. Он привел к парфянам самого Гирода, который был изгнан подданными и завладел, в пользу его, великой Селевкией. Он первый взошел на стены города и своей рукой поверг неприятелей, ему противившихся. В то время не было ему еще тридцати лет, но он был уже весьма славен своим благоразумием и прозорливостью. Ими-то, главным образом, погубил он Красса, который, сперва по самонадеянности своей и высокомерию, а впоследствии от страха и от свалившихся на него бедствий, легко попадал в расставленные им сети.

Абгар, склонив Красса к своим намерениям, удалил его от реки и вел равнинами, сперва по дороге гладкой и покойной, но такой, которая оказалась впоследствии весьма трудной, ибо римляне встречали уже глубокие пески, безлесные и безводные степи, пространству которых ни в какой стороне не видно было пределов. Не только жажда и трудность дороги томили и мучили воинов, но и самые виды природы не приносили им никакого утешения и ввергали их в уныние. Они не видели ни растения, ни ручья; не находили ни возвышающейся горы, ни зеленеющей травы; отовсюду окружены были беспредельными, морю подобными, песчаными пустынями. Это навлекло уже некоторое подозрение на Абгара в его вероломстве. Между тем прибыли вестники от армянского царя с известием, что он окружен многочисленным войском устремленного на него Гирода; что не может послать Крассу никакой помощи; и что советует ему обратиться к Армении и, соединившись с ним, воевать против Гирода или, по крайней мере, идти вперед, приближаясь всегда к горам, избегая ровных мест, на которых способно действовать конницей, но Красс, в гневе и в безрассудстве своем, не дал ему и письменного ответа, а только велел сказать, что теперь ему некогда заниматься Арменией; и что после пойдет туда, для наказания Артабаза за его предательство.

Кассий негодовал; он перестал давать советы Крассу, которому наставления его были неприятны. Между тем наедине ругал он варвара. «Какой злой демон, – говорил он ему, – привел к нам тебя, коварный человек! Какими отравами, какими чародействами заставил ты Красса ввергнуть войско в сию беспредельную степь, в сию бездну и следовать дорогой, приличной более начальнику кочующих разбойников, нежели полководцу римскому?» Но Абгар, как человек хитрый, старался его ободрять и с унижением просил его еще немного потерпеть. Хотя вместе с воинами и оказывая им помощь, он говорил им со смехом: «Вы воображаете, что идете по Кампании, и потому желаете находить всюду источники, ручьи, тени, гостиницы и бани; вы забываете, что проходите пределы ассирийцев и арабов». Этими словами варвар утешал римлян, и, прежде нежели открылся обман его, он ускакал, не без ведома Красса, которого уверил он, что идет для произведения беспокойства и тревоги в неприятельском войске.

Говорят, что в тот день Красс предстал войску в черном, а не в красном плаще, по обыкновению римских полководцев, но опомнившись, тотчас переменил его. Знаменосцы насилу могли поднять некоторые знамена, так плотно утвердились они в земле! Красс тому смеялся и спешил идти вперед, заставляя пехоту следовать за конницей. Наконец несколько воинов, из числа посланных вперед для наблюдения за неприятелем, возвратились с известием, что часть их погибла от руки неприятелей, что сами они с трудом убежали, и что неприятели,

исполненные смелости и в великом множестве, идут с намерением сразиться. От этих слов все приведены были в волнение. Красс был как бы вне себя, он начал устраивать фалангу поспешно и с беспокойным духом. Сперва, следуя совету Кассия, растянул он пехоту, сколько было можно, далее в поле, для избежания объездов, а конницу расставил по обоим крылам, но вскоре переменил мысли, собрал фалангу и дал ей вид продолговатого четвероугольника так, чтобы она могла действовать на все стороны. Двенадцать когорт составляли каждый бок четвероугольника. При каждой когорте поставил он по отряду конных, дабы ни одна часть фаланги не оставалась без прикрытия конницы, но со всех сторон была совершенно ограждена. Одно крыло дал он Кассию, другое своему сыну, а сам предводительствовал центром.

В таком устройстве войско, следуя вперед, наконец пришло к ручью, который называют Баллисом. Этот ручей был небольшой и необильный водою, но показался воинам весьма приятен после того, как они с великими трудами прошли безводную степь в знойную и сухую погоду. Большая часть военачальников была такого мнения, что тут надлежало остановиться, провести ночь и, узнав, сколько можно, число и устройство неприятелей, на рассвете идти на них, но Красс, побуждаемый сыном своим и бывшими у него конными, которые советовали идти вперед и вступить в бой с неприятелем, дал приказание, чтобы кто хотел из воинов, ел и пил, стоя в строю. Прежде нежели все воины это исполнили, он повел их не шагом и не давая им отдыха так, как должно бы поступать, идучи к сражению, но с великою поспешностью и с напряжением, до тех пор, пока не увидели неприятеля. Он показался римлянам, против ожидания их, и немногочисленным, и нестрашным, ибо Сурена закрыл передовыми многочисленность своего войска, а воинов заставил держать плащи перед оружиями, дабы скрыть их блеск. Как скоро они приблизились к римлянам, и полководец дал знак, то по всему полю раздался глухой гул и ужасный шум. Парфяне не одушевляют себя к сражению трубами и рогами, но с разных сторон вдруг ударяют в пустые сосуды, покрытые кожами и обвешанные медными гремушками. Эти издают глухой и ужасный звук, смешанный как бы с ревом зверей и треском громов. Они знают, что слух пугливее других чувств, скорее возбуждает страсти души и приводит человека вне себя.

Римляне были поражены этим шумом, как вдруг парфяне, снявши то, что скрывало их оружие, показались как бы в огне; шлемы их и брони, сделанные из маргианского* железа, заблистали ярким лучом; кони были покрыты медными и железными листами. Явился Сурена, великий ростом, прекрасный собою; женообразная красота его не соответствовала его храбрости, ибо, по обыкновению мидян, он употреблял притирания* и разделял волосы пробором, хотя другие парфяне, по примеру скифов, поднимали оные на лбу, дабы казаться страшнее. Сперва неприятели хотели ворваться с дротиками в римскую фалангу и опрокинуть передовых, но, видя глубину и плотность сомкнутого их строя, твердость и неколебимость воинов, отступили назад. Казалось, что они уже рассеялись и что рушилось их устройство, но между тем неприметным образом окружали они римское войско. Красс велел выбежать легким воинам; немного они пошли вперед, тучи стрел посыпались на них, поражали их и принудили вновь укрыться в фалангу. Укрывающиеся воины произвели страх и неустройство в других воинах, видевших, как тяжело поражали стрелы, которые ломали оружия и насквозь пробивали мягкие и твердые доспехи. Парфяне, разделившись, начали со всех сторон бросать издали на римлян стрелы; они не имели нужды метить; по причине густоты и плотности римского войска невозможно было, чтобы стрела не попала в кого-нибудь, хотя бы пустивший оную того не хотел. Удары их были сильны и действенны по причине великих и твердых луков, из которых пускали стрелы тем с большим усилием, чем круче были загибаемы. Римляне были уже в невыгодном положении; оставаясь в строю, они были поражаемы; пытаясь идти вперед вместе, подвержены были той же участи, не будучи в состоянии нанести равный вред неприятелю, ибо парфяне, поразив их, немедленно убегали. В этом образе войны они, после скифов, весьма искусны. В самом деле, этот способ весьма выгоден: спасать себя, сражаясь, и таким образом прикрывать позор своего бегства.

Римляне, надеясь, что неприятель, истощив стрелы свои, или прекратит сражение, или вступит в ручной бой, сносили терпеливо свое несчастье, но когда узнали, что у него было множество верблюдов, навьюченных стрелами, и что передовые, объезжая их, брали стрелы, то Красс, не видя конца бедствиям, стал впадать в уныние. Он послал сказать своему сыну, чтобы

он употребил все способы принудить неприятеля к сражению прежде, нежели их обступить, ибо неприятель устремился наиболее к его стороне и обходил крыло, дабы зайти с тылу. Молодой Красс, взяв тысячу триста конных, (из которых тысяча присланы были Цезарем), пятьсот стрельцов и восемь когорт из близ стоявших щитоносцев, пошел к неприятелю, чтобы на него ударить. Обступающие парфяне, встретив ли на дороге болото или умышляя заманить Красса как можно далее от войска, поворотили назад и ускакали. Молодой Красс кричал своим, что неприятель не выдерживает их нападения, и пустился преследовать его вместе с Мегабакхом и Цензорином, из которых первый отличался отважностью и крепостью, а другой был сенаторского достоинства и искусный оратор. Оба они были друзья его и почти одних с ним лет. Пехота, исполненная усердия и радостной надежды, не отставала от преследующей конницы; они думали, что побеждают и гонятся за неприятелем и только тогда почувствовали обман, когда были очень далеко от войска, когда те, кто, казалось, бежал, поворотил на них, и когда число наступающих умножалось более и более. Римляне остановились, надеясь, что неприятель вступит с ними в бой, по причине их малого числа. Парфяне тогда поставили впереди против римлян латами покрытых воинов, между тем как легкая их конница, без всякого устройства разъезжая вокруг них по равнине, переворачивала песчаные кучи и подняла такую страшную пыль, что римляне с трудом могли видеть и говорить; будучи стеснены в малом месте и сталкиваясь друг с другом, были поражаемы стрелами; они не умирали скорой и легкой смертью, но от ужасной боли и мук приходили в отчаяние, вращались на земле со стрелами, в них вонзенными, ломали оные в ранах и когда пытались силой вытащить из тела своего загнутые в крюк острия, которые втыкались в жилы их, то растравляли свои раны и тем сами себе вредили. Многие таким образом умирали; живые не были в состоянии действовать и защищаться. Когда Публий увещевал их напасть на тяжелую конницу, то они показывали ему свои руки, приколотые к щитам стрелами, и ноги, пригвожденные ими к земле, так что они не были способны ни бежать, ни защищаться. И так Публий, ободрив конницу, сам устремился с отважностью на неприятеля. Он вступил с ним в бой, который был неравный, как в отношении к ударам, так и к средствам, служащим к обороне. Воины его ударяли слабыми и короткими дротиками в брони железные, обтянутые сырой кожей; между тем как галлы, легковооруженные и не покрытые доспехами, были поражаемы копьями. При всем том Публий на них полагал всю надежду и с ними оказал чудеса храбрости. Галлы хватались руками за копья, обвивались вокруг неприятелей и свергали их с лошадей, ибо тяжесть их доспехов делала их неповоротливыми. Многие слезали со своих лошадей, бросались под лошадь неприятеля и поражали их в брюхо. Лошади от боли вспрыгивали, попирали ногами в одно время и всадника и неприятеля, вместе лежащих, и умирали. Более всего томили галлов жар и жажда, ибо ни к тому, ни к другому они не были привычны. Большая часть лишилась своих лошадей, устремясь на неприятельские копья. И так они принуждены были отступить к тяжелой пехоте тогда, когда уже Публий от полученных ран находился в опасном положении. Видя близ себя песчаный холм, они устремились на оный, собрали в средину лошадей, извне сомкнулись щитами и надеялись в таком состоянии лучше защищаться от варваров, но оказалось совершенно противное тому. На ровном месте передовые сколько-нибудь ограждают задних, но тогда, по неровности места, один был выше другого; задние постепенно возвышались над передними, и потому никто не мог избегнуть ран; все были равно поражаемы, оплакивая бесславную и бездейственную смерть свою.

При Публии находилось двое греков: Иероним и Никомах, жители тамошнего города Карры; они советовали ему убежать тайно с ними в Ихны*, город, недалеко от того места лежащий, жители которого держались римской стороны, но Публий сказал им, что нет столь жестокой смерти, которая могла бы устрашить Публия до того, чтобы кинуть воинов, за него погибающих. Он приказал им искать себе спасения, обнял их и отпустил. Не будучи в состоянии действовать рукой, которая была прострелена, он велел оруженосцу своему поразить его мечом и открыл ему бок свой. Такой же смертью, говорят, умер и Цензорин. Мегабакх убил сам себя; примеру его последовали все отличнейшие мужи. Парфяне въезжали на холм и поражали копьями тех, кто еще оставался жив, а живых поймано было не более пятисот человек. Они отрезали голову Публия и понесли ее для показания Крассу, положение которого было следующее.

После того, как он приказал сыну своему напасть на парфян, получил известие, что неприятель обратился в бегство и сильно преследуем на дальнем расстоянии. Видя, что и те, кто против него стоял, не нападали с равной смелостью, ибо большая часть их обратилась к другой стороне, он несколько ободрился, собрал свое войско и поставил его плотно на возвышении, дожидаясь возвращения сына от погони. Посланные к нему Публием с извещением об опасности, в которой он находился, первые погибли, попавшись в руки варваров, а последние спаслись с великим трудом и возвестили ему, что погибнет Публий, если не получит скорого и сильного от него подкрепления. Красс, волнуемый в одно время разными страстями, ни на что уже не смотрел с холодным рассудком; будучи с одной стороны в страхе за всех, а с другой влеком любовью к вспомоществованию своему сыну, наконец решился идти вперед со всеми силами. Но в то самое время неприятели на него обратились, будучи уже страшнее прежнего; они издавали громкие крики и победные песни; барабаны их вновь заревели вокруг римлян, которые ожидали нового сражения. Те, кто нес воткнутую на острие копья голову Публия, приблизившись к ним, показывали войску и в насмешку спрашивали, какого он рода и кто отец его. «Невозможно, – говорили они, – чтобы Красс, подлейший и злейший из людей, родил столь храброго и добродетельного сына». Это зрелище более всех других бедствий поразило римлян и ослабило душевные их силы; оно не воспламенило их яростью к отмщению, как можно было ожидать, но внушило всем ужас и трепет. Красс, при всей душевной горести, в то время превзошел сам себя великодушием; он обходил ряды римлян и восклицал к ним: «Римляне! Меня одного касается злополучие; великое счастье и слава Рима пребудут незыблемы и непобедимы, когда вы спасетесь. Если вы тронуты жалостью ко мне, лишенному лучшего сына, то докажите это яростью против варваров, лишите их радости, накажите свирепость; да не унизит духа вашего случившееся несчастье;

надлежит что-либо претерпеть, предприняв великие подвиги. Не без пролития крови Лукулл победил Тиграна, Сципион Антиоха; предки наши в Сицилии потеряли тысячу кораблей, а в самой Италии много полководцев и военачальников. Поражение их не воспрепятствовало нашим победить своих победителей. Рим не возвысился счастьем; постоянство и мужество среди бедствий вознесли его на такую степень славы».

Так говорил Красс, стараясь ободрить воинов, но не многие охотно повиновались ему. Он велел им издать обыкновенный перед сражением крик, но слабость его и неровность обнаружили только уныние войска. Между тем варвары издавали громкие и смелые восклицания; они начали действовать. Конные стрельцы, объезжая сбоку римлян, бросали стрелы, а передовые, действуя копьями, заставляли их тесниться на малом пространстве; только некоторые, желая избегнуть смерти, наносимой им стрелами, дерзали бросаться на неприятелей отчаянно и, причиняя им некоторый вред, находили смерть скорую, получая тяжкие и смертельные раны, ибо копья пробивали их насквозь тяжелым острием, а нередко по своей силе пронзали вдруг по два человека. Сражение продолжалось таким образом до самой ночи; с наступлением ее неприятели удалились, объявив, что они даруют Крассу одну ночь для оплакивания сына, если он, рассуждая благоразумнее о своем положении, не захочет лучше прийти по своей воле к Арсаку, нежели быть приведенным к нему.

Парфяне расположились недалеко от римлян, исполненные великих надежд. Ночь для римлян была ужасна; никто не помышлял ни о погребении умерших, ни о лечении раненых и умирающих; всякий оплакивал только себя. Они не чаяли спасения, когда бы остались тут до утра или когда бы в ночь пошли назад по беспредельной равнине. Немало беспокойства причиняли им раненые, ибо, будучи увозимы, они препятствовали бы скорости отступления, а оставаясь назади, криком своим обнаружили бы движение войска. Хотя все почитали Красса виновников всех несчастий, но желали видеть его и слышать его голос. Он лежал один в темноте, покрывшись плащом и представляя собою для многих пример превратности счастья, а для здравомыслящих – безрассудства и ненасытного честолюбия, ибо он, не довольствуясь тем, что был первым и могущественнейшим среди многих миллионов людей, почитал себя лишенным всего потому только, что был ниже двух человек. Легат Октавий и Кассий хотели поднять и ободрить его, но, видя его лишенным всякой надежды, они созвали на совещание полковых и ротных начальников; все были согласны в том, чтобы далее там не оставаться. Они подняли войско без звука труб и в глубокой тишине. Раненые едва приметили, что их

оставляют, как вдруг наполнили воздух воплями и стенаниями; от этого в стане произошли беспорядок и смятение. Те, кто несколько отошел вперед, были в беспокойстве и ужасе, как будто бы неприятель их преследовал, то продолжали они путь свой, то устраивались, то поднимали раненых, следовавших за ними, то опять опускали их и таким образом потеряли много времени. Только триста человек конных, под предводительством Эгнатия, убежали к Каррам в полночь. Эгнатий звал стражей на латинском языке и велел им сказать начальнику отряда Копонию, что между Крассом и парфянами дано было жестокое сражение. Более ничего не сказал, не объявил, кто он таков, и продолжал дорогу свою к Зевгме. Таким образом, он спас своих воинов, но был порицаем за то, что покинул полководца. Впрочем, данное Копонию известие принесло некоторую пользу Крассу. По поспешности вестника и по неясным словам его Копоний заключил, что полученное известие не содержало в себе ничего доброго; он велел воинам своим вооружиться и как скоро уверился в приближении Красса, то вышел к нему навстречу, оказал войску пособие и проводил его в город.

Неприятели заметили ночью, что римляне удалялись, но не преследовали их. Поутру, прийдя на оставленное место, умертвили всех тех, кто тут оставался, числом не менее четырех тысяч человек. Конница их ловила тех, кто блуждал по полям. Легат Варгунтей еще ночью отделился от войска с четырьмя когортами и сбился с дороги. Неприятели окружили его на некотором холме и изрубили всех защищавшихся воинов, кроме двадцати человек, мужество которых привело их в изумление; эти воины пробирались сквозь них с обнаженными мечами; неприятель дал им дорогу, и они спокойно продолжали путь свой до города Карры.

Между тем до Сурены дошло ложное известие, что Красс с отличнейшими римлянами убежал и что стекшиеся в Карры воины были из числа тех, кто не заслуживал их внимания. Сурена, думая, что из-за этого потеряна награда за победу его, и находясь еще в сомнении, хотел знать истину, дабы потом решиться, либо остаться тут и осадить Карры, либо преследовать Красса, не заботясь о каррийцах. Он подослал к стенам города человека, знающего оба языка, с приказанием звать на латинском языке самого Красса или Кассия и объявить, что Сурена желает вступить с ним в переговоры. Это было возвещено Крассу, который охотно принял предложение. Вскоре прибыли к нему со стороны варваров арабы, которые, будучи до сражения в римском стане, хорошо знали лица как его, так и Кассия. Увидев на стене последнего, говорили они ему, что Сурена заключает с ними мир и позволяет им, как приятелям царя его, удалиться в безопасности, оставив Месопотамию, полагая, что такое условие будет для обеих сторон полезным, прежде нежели дойдут они до последней крайности. Кассий на то согласился; он предложил, чтобы назначено было место и время для свидания Красса с Суреной. Они обещались все исполнить и ускакали.

Вот как Сурена, к удовольствию своему, удостоверился, что и они в числе осажденных. На другой день он повел к городу парфян, которые ругались над римлянами и объявляли им, что если те хотят получить мир, то должны выдать им Красса и Кассия в оковах. Римляне негодовали на такой обман, советовали Крассу оставить пустые и дальние надежды на армян и предаться бегству. Положено было скрывать это намерение от жителей Карр, но Андромах, самый вероломный из них, не только узнал о том от Красса, но и получил от него должность указателя дороги войску. И так от парфян не было ничего сокрыто, ибо Андромах давал им знать обо всем, но так как парфяне не имеют обычая сражаться ночью, что было бы для них неудобно, и поскольку Красс решился выступить в поход ночью, то дабы парфяне не слишком отстали от преследования, изменник Андромах употребил хитрость, водил их то по одной, то по другой дороге; и, наконец, завел их на дорогу, исполненную глубоких болот и рвов, с намерением сделать путь как можно более трудным и продолжительным для тех, кто за ним следовали. Некоторые, догадавшись, что не с добрым намерением Андромах водил их взад и вперед, не захотели за ним следовать. Кассий возвратился опять в Карры. Проводники его, которые были арабами, советовали ему дожидаться, пока луна пройдет через созвездие Скорпиона. «Но я более того боюсь Стрельца», – отвечал Кассий и выступил в Сирию с пятьюстами конных*. Некоторые отряды, имевшие верных проводников, достигли гористых мест, называемых Синнаками*, и до рассвета были уже в безопасности. Всех было до пяти тысяч человек под предводительством храброго Октавия. Красс при наступлении дня, по злоумышлениям Андромаха, находился еще среди болот и мест непроходимых. У него было

четыре когорты щитоносцев, весьма малое число конницы и пять ликторов. После многих трудов едва вышли они на дорогу, будучи уже настигаемы неприятелем; им оставалось пройти двенадцать стадиев, чтобы соединиться с Октавием. Красс убежал на холм, положение которого было некрепко и неприступно для конницы. Этот холм стоял под Синнаками, с которыми соединялся длинным хребтом гор, простирающимся до них по полю. Октавий видел своими глазами, в какой опасности находился Красс. Он первый бросился с высот с немногими воинами на помощь к нему. Воины последовали его примеру, укоряя сами себя. Они напали на неприятелей, вытеснили их с холма, обступили Красса, оградили его щитами своими и говорили смело, что ни одна стрела парфянская не коснется тела полководца их, пока все они не погибнут, сражаясь за него.

Сурена, заметив, что парфяне уже не нападали с прежним жаром, и полагая, что если наступит ночь и римляне достигнут горы, то невозможно ему будет их поймать, опять употребил хитрость. Он отпустил несколько пленных, которые слышали, как варвары говорили нарочно между собою, что царь не намерен вести войны непримиримой с римлянами, но хочет возобновить с ними мир, оказать им некоторое удовольствие и поступить с Крассом снисходительно. Парфяне удержались от нападения, и Сурена, спокойно приблизившись к холму с важнейшими чиновниками, опускает лук, протягивает руку, зовет Красса к заключению условий и говорит: «Вы испытали силу и храбрость царя против воли его; ныне он по своей воле изъявляет вам кротость свою и дружелюбие; он хочет заключить мир с вами при вашем отступлении и дать вам способы удалиться безопасно». Эти предложения были приятны римлянам, они все радовались, но Крассу, который многократно впадал в их сети, казалась странной столь внезапная перемена; он не слушался их и рассуждал сам с собою. Воины кричали, настаивали, потом поносили его, называли трусом за то, что хотел заставить их сразиться с теми, с кем не дерзал он вступить в переговоры, хотя они были безоружны. Сперва он хотел их упросить, представляя им, что они, проведши остаток дня на этих гористых и неровных местах, ночью могут идти далее; он показывал им дорогу и просил их не терять надежды тогда, когда спасение их было близко, но воины негодовали, стучали оружиями и грозили. Устрашенный Красс выступил вперед и, обратившись к воинам, сказал только эти слова: «Октавий и Петроний и все здесь присутствующие римские военачальники! Вы видите, что я вынужден идти; видите, насколько недостойно и насильственно поступают со мной; когда вы спасетесь, то говорите всем, что Красс погиб, обманутый неприятелем, а не преданный согражданами».

Октавий не покинул его, но сошел с холма вместе с ним. Красс велел удалиться ликторам, которые за ним следовали. Сначала встретили его двое греков из тамошних поселенцев; они соскочили с лошадей, поклонились Крассу, приветствовали его на греческом языке и просили послать вперед людей своих, которым Сурена покажет, что он и сопровождающие его были все без оружий и без железа. Красс отвечал, что если бы хоть мало дорожил он жизнью, то никогда не предался бы в руки их, но послал двух братьев Росциев узнать о числе ожидавших его и об условиях встречи. Сурена поймал их и задержал; после того прискакав верхом с важнейшими чиновниками, сказал: «Что это значит? Римский император идет пешком, а мы на конях». Он велел немедленно привести ему лошадь. Красс отвечал, что ни Сурена, ни он не поступают непристойно, если каждый из них приходит к свиданию по обычаю своей земли. Сурена объявил ему, что между царем Гиродом и римлянами уже существует мир и дружба, но что касается до договора, то надлежит оный написать, доехав до реки. «Ибо вы, римляне, – примолвил он, – скоро забываете договоры». Он подал ему руку. Когда Красс велел привести свою лошадь, то Сурена сказал, что нет в ней нужды, царь тебе дарит эту, и в то самое время приведена была лошадь с золотой уздой. Красс был поднят и посажен на нее; служители следовали за ним, понукая лошадь ударом. Первый Октавий, а за ним трибун Петроний схватились за узду, потом обступили его другие, стараясь удержать лошадь и удалить тех, кто с обеих сторон вокруг Красса теснился; отчего начались толканье, шум и, наконец, драка. Октавий вырывает меч у одного из варваров и умерщвляет конюшего; другой конюший убивает Октавия, поразив его сзади. У Петрония не было оружия; он получил удар в броню и соскочил с лошади невредим. Тут парфянин Эксатр убивает Красса. Некоторые говорят, что убил его другой и что Эксатр отрубил только ему голову и правую руку, когда уже Красс лежал на

земле. Впрочем, должно полагать, что об этом скорее догадываются, нежели знают верно*, ибо из сопровождавших

Красса одни, сражаясь вокруг него, погибли, а другие убежали немедленно на холм. После этого парфяне, приблизившись к римлянам, говорили, что Красс получил достойное делам своим наказание и что Сурена приказывает им сойти с холма, ничего не опасаясь. Одни послушались и предали себя парфянам; некоторые ночью рассеялись; немногие спаслись, ибо арабы ловили их и умерщвляли. Говорят, что погибло всех до двадцати тысяч человек и что десять тысяч поймано живых.

Голову и руку Красса Сурена послал в Армению к Гироду, но между тем распустил слух, что везет в Селевкию Красса живого, и приготовлял некоторое смешное торжество. Одного из пленников, по имени Гай Пакциан, человека, весьма похожего на Красса, одели в платье варварской женщины, велели ему отвечать тем, кто будет называть его императором Крассом, и посадили на лошадь; перед ним на верблюдах сидели трубачи и несколько ликторов. С палок их свисали кошельки*, а на секиры воткнуты были недавно отрубленные головы римлян. За ними везены были селевкийские гетеры-певицы, которые пели смешные и неблагопристойные песни, в поругание женоподобной трусливости и подлости Красса. Весь народ был зрителем этого смешного торжества. Сурена, собрав сенат селевкийский, представил ему неблагопристойные книги Аристида, содержащие в себе так называемые «Милетские повести»*. Это было не выдумано: книги эти действительно были найдены в обозе Рустия и подали повод Сурене ругаться и насмехаться над римлянами, которые и в военное время не могли воздержаться от чтения и совершения постыдных дел. Сколь мудрым показался Эзоп селевкийцам, когда они видели Сурену, который нес впереди суму* с непристойными милетскими книгами, между тем как за собою вел целый парфянский Сибарис и на колесницах множество наложниц! Он уподобился таким образом ехиднам и скиталам*. Видимая передовая часть его фаланги была страшна и ужасна, выставляя копия, дроты и конницу; между тем как тыл ее составляли бесстыдные женщины, неблагопристойные песни, музыка и всеночные с ними бдения. Достоин порицания Рустий, но бесстыдны порицавшие его парфяне, над которыми царствовали Арсакиды, родившиеся от милетских и ионийских гетер.

Между тем как это происходило, Гирод заключил мир с Артабазом Армянским, царем, который сестру свою обручил за сына его Пакора. Они проводили время в пиршествах и забавах, в продолжении которых даваемы были греческие представления. Гирод довольно хорошо знал греческий язык и греческую словесность, а Артабаз сочинял трагедии, повести и истории, некоторые из них и поныне существуют. Когда прислана была Крассова голова, то столы уже были сняты и актер, по имени Ясон из Тралл*, представлял лицо Агавы в Еврипидовой трагедии «Вакханки». Зрители изъявляли ему одобрение. Силлак вошел в столовую, поклонился и показал Крассову голову. Парфяне изъявляли радость свою громкими криками и рукоплесканиями; служители, по приказанию царя, посадили Силлака, а Ясон, передав одному из плясателей наряд Пенфея, взял ее и в исступлении и восторге пел песню*:

Зверь драгоценный,
Горню ловитву
Ныне влечем мы в чертог.

Игра эта веселила зрителей; когда же петы были следующие стихи, в которых один хор вопрошает, а другой отвечает:

«Кем пораженный?»
«Подвиг то мой!» –

то Эксатр, который был в числе пиршествовавших, вскочил и вырвал у Ясона голову, как бы эту песню приличнее было петь ему, нежели другому. Царь был в восхищении, он сделал Эксатру подарок, по обычаям своей земли, а Ясону дал талант. Эта была последняя сцена Крассова похода, столь похожего на трагедию.

Зверство Гирода и клятвопреступление Сурены получили достойное наказание. По

прошествии малого времени Гирод умертвил Сурену, завидуя славе его. Он потерял сына своего Пакора*, побежденного римлянами в сражении, и впал в болезнь, перешедшую в водянку; Фраат*, другой сын его, дал ему аканиту, но так как болезнь приняла в себя яд, который вместе с водой отделился от тела, и Гирод получил от того облегчение, то Фраат употребил кратчайший способ, он удушил его.

Сравнение Никия с Крассом

Сравнивая, во-первых, богатство Никия с богатством Красса, мы находим, что средства, которыми первый приобретал его, невиннее, хотя, впрочем, нельзя одобрить копания руд, которое большей частью производится работниками, осужденными за свои злодеяния, или варварами, скованными и погибающими в подземельях от заразительного и зловредного воздуха, но если сравнить этот способ обогащения с покупкой отобранных и проданных Суллой имуществ и с барышами, получаемыми от пожаров, то первый способ позволительнее. Красс занимался явно этим родом промысла, как будто бы земледелием, или отдачей денег в рост. В проступках, в которых он был изобличен и в которых должен был оправдываться, а именно в том, будто бы он за деньги говорил речи в сенате, грабил союзников, заискивал перед женщинами и скрывал порочных людей: в этих проступках Никий и ложно не был обвиняем. Он был только осмеиваем за то, что расточал из робости деньги свои доносчикам, поступок, который конечно не был бы приличен Периклу или Алкивиаду, но необходимый для него по причине природного его малодушия. Ликург, народный оратор, впоследствии подобным поступком гордился еще перед афинянами. Когда обвиняли его в подкуплении одного доносчика, то он сказал: «Я рад, что управляя столько лет делами республики, прежде изобличен в том, что даю, нежели в том, что беру».

Что касается до издержек, то издержки Никия обнаруживают более политическое благоразумие, которое оказывал он, украшая приношениями храмы, управляя гимнасиями, давая народу зрелища, но все имущество Никия и все то, что он издержал, составляло малую только часть того, что Красс употребил, угостив столько тысяч человек вместе, которым потом дал на некоторое время хлеб. Кто не знает, что порок есть некоторая неправильность, некоторая несообразность в нравах, тот, без сомнения, удивится, видя, что те, кто непохвально приобретает богатство, расточает его без всякой пользы.

Обратимся к гражданскому их управлению. В Никие не замечаем мы ни пронырства, ни несправедливости, ни насильства, ни дерзких поступков; он был обманываем Алкивиадом и являлся народу с робостью, но Красса слишком обвиняют в низких поступках и в неверности по причине непостоянства его как в дружбе, так и во вражде. Он сам признавался, что достиг консульства насильственными поступками, наняв людей, которым надлежало нанести убийственные руки на Катона и на Домиция. При собрании голосов о назначении провинций, многие в народе были ранены и четыре человека убито; сам Красс, ударив кулаком в лицо Луция Анния, сенатора, который ему противился, выгнал его из собрания окровавленного. Поступки эти, без сомнения, насильственны и своевольны. С другой стороны, пугливость Никия, робость, уступчивость бесчестнейшим людям достойны величайшего порицания. В подобных случаях Красс имел высокий и смелый дух, хотя надлежало ему состязаться не с Клеонами и не с Гиперболами, но со славою Цезаря и с тремя Помпеевыми триумфами; он не уступал им, но поднялся наравне с ними и достоинством цензорской власти превзошел и Помпея. В великих делах должно смотреть не на то, что может возбудить зависть, но на то, что приносит славу, и величием могущества подавляет зависть. Если же всего более любить безопасность и спокойствие; если боишься на форуме Алкивиада, в Пилосе – лакедемонян, Пердикку – во Фракии, то много мест спокойных, где можешь жить, далеко от шума и забот, сплетая себе венец спокойствия, как говорят некоторые мудрецы. Подлинно любовь к миру была страсть божественная, а пресечение войны, поступок, достойный просвещеннейшего грека. В этом отношении нельзя сравнить Никия с Крассом, хотя бы тот Каспийское море или Индийский океан поставил пределами римской державы.

Управляющий республикой, хранящей еще чувства добродетели, превышающий других силой не должен давать места дурным людям; ни власти тем, кто не имеет к тому способности;

ни веры тем, кому никто не верит. Никий сделал в том ошибку и ничего не значащего Клеона, площадного и бесстыдного крикуна, возвысил до военачальства. Я не хвалю Красса, который в войне со Спартаком спешил сразиться скорее, нежели сколько требовало благоразумие, страшась из честолюбия, чтобы приближавшийся Помпей не отнял у него славы так, как Муммий отнял Коринф у Метелла, но поступок Никия вовсе странен и непростителен. Он не уступил противнику своему чести и власти, с которыми были сопряжены верные надежды и легкие успехи, но, предвидя в предводительстве великие опасности, дабы себя привести в безопасность, он изменил общественной пользе. Напротив того, Фемистокл, во время войны с персами боясь, чтобы человек неспособный и безрассудный не получил начальства и не погубил республики, склонил его деньгами отказаться от предводительства; и Катон, видя Рим обуреваемым и отечество в великой опасности, для его спасения домогался трибунства. Но тот, кто бережет свое военное искусство для борьбы лишь против Минои, против Киферы и против несчастных мелосцев, а когда надлежит сражаться с лакедемонянами, снимает доспехи и вручает наглому, неопытному Клеону корабли, оружия, войско и предводительство, требующее великого искусства, тот губит не славу свою, но безопасность и спасение отечества. И для того Никий впоследствии принужден был воевать с сиракузянами, ибо всем казалось, что он лишает Афин важного завоевания из лени и слабости, а не потому, чтобы он это почитал бесполезным для общества.

Впрочем, доказательством великих его достоинств может служить то, что, хотя он не желал вести войну, хотя избегал военачальства, но афиняне не переставали его выбирать, как искуснейшего и отличнейшего полководца. Крассу, напротив того, при всегдашнем его желании военачальствовать, не удалось вести другой войны, кроме так называемой невольнической, и то по необходимости, в отсутствии Помпея, Метелла и двух Лукуллов, несмотря на то, что он в то время был в великом у всех уважении и имел великую силу, но, по-видимому, и почитатели его думали о нем, как говорит комик, что он ко всему способен, но только не к оружиям. Но это способность ко всему не помогла римлянам; властолюбие и честолюбие его одержали верх над ними. Афиняне выслали Никия в поход против его воли, а Красс вывел на поле брани римлян против их воли. Один вверг в беду республику; другой ею ввержен в погибель.

В этих поступках Никий более достоин похвалы, нежели Красс порицания. Один, действуя с опытностью и благоразумием истинного полководца, не был обманут надеждами сограждан своих; он отказался от покорения Сицилии и отверг это предприятие, другой, устремившись к войне парфянской как делу легкому, проступился, предприняв великие подвиги. В то время, когда Цезарь на западе покорял кельтов, германцев и Британию, он обратился к востоку, желая дойти до Индийского моря и довершить покорение Азии, к чему стремился Помпей и чего искал Лукулл, мужи, которых все почитали добрыми и благомыслящими, хотя они вступили в то же поприще, в какое вступил Красс, и имели то же намерение. Сенат также противился, когда Помпею дано было военачальство в Азии и когда Цезарь разбил триста тысяч германцев. Тогда Катон советовал римлянам выдать этого полководца побежденным и на него обратить гнев богов за клятвопреступный его поступок, но народ, не внимая Катону, приносил жертвы в продолжении пятнадцати дней за эту победу и предавался веселью. Сколь велика была бы радость его и сколько дней стал бы он приносить жертвы, когда бы Красс писал из Вавилона, что он одержал победу, и когда бы потом прошел Мидию, Персиду, Гирканию, Сузы, Бактры, сделал их римскими провинциями! Если должно тебе делать зло, говорит Еврипид, если не можешь быть покойным и не умеешь пользоваться настоящими благами*, то не разоряй Скандию и Менду*, но лови бегущих эгинцев, которые, подобно птицам, оставив свое жилище, скрывались в чужой земле; цени высоко несправедливость; нелегко и не за малые выгоды изменяй справедливости. Те, кто хвалит поход Александра и осуждают предприятие Красса, поступают несправедливо, судят о начале по одним только последствиям.

В самых действиях военных Никий оказал знаменитые подвиги; во многих сражениях победил он врагов и едва не овладел Сиракузами. Не ему одному должно приписать неудачу: зараза и самая зависть его сограждан были отчасти виной оной. Но Красс сделал столько ошибок, что не позволил и счастью оказать ему какую-либо услугу. Должно удивляться

безрассудству его; оно не было побеждено парфянскою силою; оно победило самое счастье римлян. Поскольку же один никогда не пренебрегал прорицаниями, а другой все презирал, и оба равно погибли, то трудно решить, что вернее и безопаснее. Впрочем, простительно ошибаться из осторожности и уважения к древним мнениям и обычаям, нежели из дерзости и пренебрежения к ним.

Наконец, смерть Красса не столь достойна порицания; он не предал себя, не был связан, не был обманут, но уступил просьбе друзей своих и клятве врагов, но Никий, надеясь на постыдное и бесславное спасение, предал себя врагам и сделал смерть свою еще более постыдной.

Серторий и Эвмен

Серторий

Неудивительно, может быть, что в бесконечном пространстве времен при многообразных переворотах счастья случай часто производит одни и те же происшествия. Определено ли количество предметов? Счастье в обилии общества находит богатый источник к произведению одинаковых действий. Из определенного ли какого-либо числа сплетены происшествия? Необходимо нужно, чтобы часто случались одни и те же, ибо проистекают от одинаковых причин. Некоторые охотно делают эти замечания и собирают из истории или из преданий те случайные происшествия, которые кажутся произведением рассудка и намерения. Так, например: двое было известных Аттисов, один сириец, а другой аркадянин*, и оба умерщвлены вепрями. Двое было Актеонов, и оба растерзаны, один своим псами, а другой приятелями*. Двое было Сципионов: один победил карфагенян, а другой совершенно истребил их. Илион взят в первый раз Гераклом посредством Лаомедонтовых коней; во второй раз Агамемноном, посредством так называемого деревянного коня, и, наконец, в третий раз Харидемом, когда конь ворвался в этот город и жители не успели запереть городские ворота. Два города имеют имена благовонных растений: Хиос и Смирна*; в одном, говорят, Гомер родился, а в другом умер. К этим замечаниям прибавим и следующее: самые воинственные полководцы, произведшие великие дела хитростью и силой ума своего, были одноокие. Таковы Филипп, Антигон, Ганнибал и Серторий, жизнь которого описываю. Он был воздержнее Филиппа в отношении к женщинам, вернее Антигона к друзьям, снисходительнее Ганнибала к неприятелям; разумом не уступал никому из них, но превзошел всех их своими несчастьями, ибо судьба преследовала его более явных врагов. Но он сравнялся военной опытностью с Метеллом, смелостью – с Помпеем, а удачливостью – с Суллой. Будучи изгнанником и пришельцем, предводительствуя варварами, он противополагал силу свою могуществу Рима.

С ним можно сравнить, в особенности из греческих полководцев, Эвмена Кардийского. И тот и другой имели способности начальствовать и воинские хитрости; оба они изгнаны были из своих отечеств и предводительствовали иноплеменными; обоих смерть была насильственна; оба убиты вероломством тех, с кем побеждали врагов.

Квинт Серторий, уроженец сабинского города Нурсия*, был не низкого происхождения. Лишившись отца, он получил пристойное воспитание от матери своей, оставшейся вдовой, и потому имел к ней чрезвычайную любовь. Она звалась Реей. Серторий довольно упражнялся в судебном красноречии, которое еще в молодости его доставляло уже ему в городе некоторую силу, но блистательные дела его и успехи на войне обратили к этому предмету все его честолюбие.

При вторжении в Галлию кимвров и тевтонов Серторий находился в войске под предводительством Цепиона*. Римляне тогда сразились неудачно и были разбиты; под Серторием убита лошадь; он был изранен, но переплыл Родан в броне и со щитом, несмотря на быстроту этой реки. Столько был он крепок телом и столько приучил себя переносить труды упражнениями. При вторичном нашествии на Галлию тех же народов с великими силами и страшными угрозами, когда почиталось весьма трудным заставить воинов не покидать своих мест и повиноваться полководцу, Марий предводительствовал войском, а Серторий был

соглядатаем. Он запасся галльским платьем, выучил самые употребляющиеся слова галльского языка, дабы при случае можно было ему несколько говорить, и вмешался в войско варваров. Увидев своими глазами и разведав от других все то, в чем имел нужду, он возвратился к Марию и получил от него должную награду. Во все продолжение этой войны он оказал во многих случаях благоразумие и смелость, которыми приобрел славу и заслужил доверие полководца.

По окончании войны с кимврами и тевтонами он послан был в Иберию военным трибуном при преторе Дидии и остановился зимовать в кельтиберийском городе Кастулоне*. Воины, живя в роскоши, проводили время в пьянстве и поступали нагло с жителями, варвары пренебрегали ими и, послав ночью просить подкрепления у соседей своих истургийцев, вступили в дома римлян и многих умертвили. Серторий, вырвавшись с немногими и собирая тех, кто выбегал из домов, обошел город. Он нашел отворенными ворота, в которые тайно вступили варвары. Он не оставил этих ворот в таковом положении, но приставил к ним стражу, занял город со всех сторон и предал смерти всех взрослых жителей. После того велел воинам, вместо своего платья и оружия, надеть платье и взять оружие варваров и идти к городу, откуда были высланы те, кто ночью напал на римлян. Варвары, видя эти оружия, были обмануты. Серторий поймал многих жителей, которые вышли в надежде встретить друзей и сограждан своих после благополучного успеха. По этой причине большая часть из них на месте умерщвлена была римлянами; другие предали себя победителю и были им проданы.

Эти события прославили Сертория в Иберии. По возвращении своем в Рим он был назначен квестором Галлии, лежащей при реке Паду, и это было очень кстати. Уже начиналась Марсийская война*; Серторию дано было приказание набирать воинов и готовить оружия. Старание его и скорость в исполнении препоручения, в сравнении с медленностью и нерадением других молодых людей, приобрели ему славу человека, подающего надежду на его будущую деятельность. Достигнув достоинства полководца, он не оставил смелость, приличную простому воину. Он производил удивительные дела собственными руками; подвергал себя великим опасностям, не щадя жизни своей, и это было причиной того, что он лишился одного глаза. Этой потерей он гордился и говорил: «Другие не всегда могут носить на себе знаки отличных дел своих; они должны слагать венцы, брони и копья; знаки моей храбрости всегда при мне; кто видит мою потерю, тот в то же время видит и мое мужество». Народ римский оказал ему приличные почести. При вступлении его в театр он принят был с такими рукоплесканиями и похвалами, каких нескоро удостаивались старейшие и славнейшие полководцы, но когда он домогался трибунства, то не имел в том удачи из-за происков Суллы, вот причина ненависти его к Сулле.

Когда Марий, побежденный Суллой, предался бегству, и когда Сулла отправился на войну против Митридата, то один из консулов, Октавий, оставался твердым в привязанности к Сулле, а другой консул, Цинна, возбуждая новые беспокойства, хотел возвысить сторону Мария, которая была угнетена. Серторий пристал к последнему, видя, что Октавий действовал слабо и притом не доверял прежним друзьям Мария. Между двумя консулами произошло на форуме жаркое сражение. Октавий одержал верх; Цинна и Серторий убежали, потеряв не менее десяти тысяч человек. Невзирая на это, они успели склонить на свою сторону большую часть войск, рассеянных по Италии, и вскоре имели достаточные силы, с которыми могли сражаться с Октавием.

Между тем Марий прибыл из Ливии и хотел пристать к Цинне, как частное лицо к консулу. Все были согласны принять его, но Серторий тому противился, или думая, что Цинна менее станет уважать его, когда будет при нем находиться важнейший полководец, или боясь суровости Мария, который мог бы все расстроить и который по одержании победы воспылал бы беспредельной яростью. Серторий представлял Цинне, что при таких успехах им не много произвести оставалось, а если примут к себе Мария, то он всю славу и могущество присвоит себе, будучи человеком вероломным и таким, который неохотно разделяет с другими начальство. Цинна говорил Серторию: «Ты рассуждаешь основательно, но я стыжусь и не знаю средства, как удалить Мария, которого я сам призвал, дабы сделать его участником в своих действиях». – «Я думал, – сказал тогда Серторий, – что Марий сам прибыл в Италию, и потому я обращал внимание только на то, что для нас выгоднее, но тебе не прилично уже рассуждать, когда прибыл тот, кого ты сам призвал; тебе должно его принять и употребить; верность слова

не оставляет места никаким рассуждениям». После этих слов Цинна принял к себе Мария. Войско было разделено на три части, которыми предводительствовали эти три мужа.

По окончании войны Цинна и Марий, удовлетворяя своей алчности и жестокости, доказывали римлянам, что бедствия войны были еще, так сказать, золото в сравнении с теми бедствиями, которые за войной следовали. Один Серторий, как говорят, не умертвил никого из гнева, не ругался ни над кем из побежденных. Он негодовал на Мария и старался смягчить суровость Цинны просьбами и частыми представлениями. Наконец, когда невольники, собранные Марием вместо воинов и употребляемые как телохранители его насильственной власти, сделались сильны и многочисленны и когда они частью злодействовали по приказанию Мария, частью сами поступали жестоко со своими господами, осрамляли их жен и детей, то Серторий, не могши уже сносить таковых насилий, велел всех их в одно время поразить в стане копьями. Число их простиралось до четырех тысяч.

Наконец Марий умер; вскоре был умерщвлен и Цинна*. Молодой Марий принял консульство против воли Сертория и вопреки законам. Карбоны, Норбаны, Сципионы не были в состоянии противостать наступающему Сулле. С одной стороны, малодушие и нерадение полководцев, а с другой – предательство были причиной беспорядка. Серторий чувствовал, что при таком расстройстве дел и при худых мерах, приемлемых могущественнейшими гражданами, его присутствие было бесполезно. Тогда Сулла, расположившись станом близ Сципиона, лаская и обнадеживая его в заключении мира, развратил и отделил от него войско так, как Серторий предсказывал Сципиону. Итак, Серторий, отчаявшись спасти Рим, поспешно удалился в Иберию, с намерением там утвердиться заблаговременно и приготовить убежище приятелям своим, из отечества изгоняемым. Суровая погода, постигшая его в местах гористых, принудила его платить пошлины и давать награждения варварам для свободного прохода. Спутники его негодовали и возмущались, что римский проконсул платил дань презренным варварам, но Серторий, не считая это унижением, говорил, что он покупает у варваров время, которое всего дороже для человека, стремящегося к делам важным. Он удовлетворил варваров деньгами и, продолжая поспешно путь свой, прибыл в Иберию. Он принял начальство над народами, сильными своим великим числом и множеством молодых людей, но не приверженными к республике по причине жадности и горделивых поступков посылаемых к ним преторов. Он привлекал к себе сильнейших ласковым обхождением, а простой народ уменьшением налогов. Он приобрел любовь их наиболее тем, что освободил их от постоев. Он заставил своих воинов построить шалаши на зиму в предместьях городов, и первый сам подавал к тому пример, живя в таком же шалаше. Впрочем, он не полагал своей надежды на приверженность к нему тамошних народов. Он вооружил молодых людей из римлян, переселившихся в Иберию, предпринял сооружение разного рода машин и строение кораблей и таким образом держал города в повиновении, показываясь кротким в мирных делах и страшным приготовлениями своими против неприятелей.

Получив известие, что Сулла овладел Римом и что сообщники Мария и Карбона разбиты, он ожидал, что послан будет и против него полководец с войсками. По этой причине он отрядил Ливия Салинатора с шестью тысячами пехоты для занятия Пиренейских гор. Вскоре был выслан Суллой Гай Анний, который, находя Ливия в неприступном положении, остановился у подножья гор, не зная, что предпринять, но некто Кальпурний, прозванием Ланарий, коварно умертвил Ливия; воины его оставили вершины Пиренеев, и Анний прошел свободно с многочисленными силами, обращая в бегство все то, что ему противилось. Серторий, не имея достаточных сил, убежал в Новый Карфаген* с тремя тысячами воинов; оттуда переправился через моря и пристал к берегам Ливии при Мавритании. Тамошние варвары напали на его воинов в то время, когда без всякой предосторожности они черпали воду, и многих побили; после того Серторий опять отплыл в Иберию, но, будучи оттуда отброшен, посадил он воинов своих на киликийские разбойничьи суда, пристал к острову Пифиуса, вышел на берег и прогнал охранное войско Анния. Вскоре прибыл туда и Анний со многими кораблями и пятью тысячами пехоты. Серторий решился дать ему сражение на море, хотя суда его были легки, более способны к быстрому плаванию, нежели к битвам. В то самое время поднялся сильный западный ветер, который, взволновав море, бросал суда его боками к каменистым берегам, по причине их легкости. Немного осталось у него судов; непогода не позволяла ему пуститься в

море, а неприятели – пристать к земле; десять дней с великими усилиями боролся он со встречными ветрами и с волнующимся морем.

Когда наконец буря утихла, то он пристал к некоторым рассеянным безводным островам и несколько времени на них пробыл. Оттуда, пустившись в море, проплыл Гадесский пролив* и, поворотив направо, пристал к внешним странам Иберии несколько выше устьем реки Бетис, которая впадает в Атлантическое море и дает свое имя орошаемым ею областям Иберии.

Здесь нашел он несколько мореходов, недавно отправившихся с Атлантических островов. Этих островов только два; один от другого отделяется весьма узким проливом; они отстоят от Ливии на десять тысяч стадиев и называются Островами блаженных*. Редко они окропляются умеренными дождями, но более освежаются тихими ветрами и обильными росами; от чего почва земли не только тучна и способна к земледелию, но и приносит самородные плоды, столь приятные и в таком изобилии, что они могут продовольствовать народ праздный без труда и без забот. Острова эти пользуются воздухом, всегда приятным по причине благорастворенности годовых времен, перемены которых едва приметны. Рожденные в наших странах северные и восточные ветры, ввергаясь, так сказать, в пространство безмерное, по причине великого расстояния рассеиваются и теряют свою силу, прежде нежели достигнут тех островов. Южные и западные ветры, обтекающие острова с моря, наводят оттуда малые и редкие дожди и, слегка освежая влагой землю, питают все растения. Эти выгоды заставили и варваров верить несомненно, что на этих островах должно полагать Елисейские поля и обитель блаженных, воспетые Гомером.

Серторий, услышав это, возымел сильное желание поселиться на этих островах и жить в покое, свободным от тираннства и в удалении от военного шума. Киликийцы, которые заметили его расположение, ненавидя мир и тишину и жаждая богатства и добычи, отплыли в Ливию, дабы возвратить Аскалида, сына Ифта, на мавританский престол*, но Серторий не потерял бодрости. Он решился подкрепить тех, кто воевал против Аскалида, дабы одушевить новыми надеждами свое войско, подать ему повод к каким-либо действиям и через то не позволить ему рассеяться от недостатка и нужды. Мавританцы приняли охотно его помощь, Серторий начал действовать; он разбил Аскалида, запер его и осадил. Между тем Сулла послал на помощь Аскалиду войско под предводительством Пакциана. Серторий вступил с ним в сражение, умертвил его, а разбитое войско привлек на свою сторону. Он осадил и взял город Тингис*, куда Аскалид убежал со своими братьями. Ливийцы уверяют, что здесь лежит Антей*. Серторий, не веря рассказам варваров о его росте, разрыл могилу его и, обнаружив тело длиной, как говорят, в шестьдесят локтей, изумился, принес жертву и засыпал могилу исполина, чем умножил славу его и воздаваемые ему почести. Тингиты в своих преданиях рассказывают, что по смерти Антея вдова его Тингис вступила в брак с Гераклом, что рожденный от них Софак царствовал этой страной и построил город, который назвал именем своей матери. У Софака был сын Диодор, которому многие ливийские народы покорились; у него было греческое войско, состоящее из ольвийцев и микенцев*, переселенных в ту страну Гераклом. Мы упомянули об этом из уважения к Юбе, лучшему историку среди царей, ибо говорят, что предки его происходили от Диодора и Софака.

Серторий, завладев всей областью, не сделал никакой обиды тем, которые призвали его к себе и вверили себя ему; он передал им и деньги, и города, и всю власть, довольствуясь только тем, что они ему дали по своей воле.

Он раздумывал, в которую сторону обратиться, как лузитанцы через посланников просили его быть полководцем их. Боясь римлян, они имели великую нужду в полководце опытном и имеющем от всех великое уважение. Ему одному они предавали себя, узнав его свойства от тех, кто некогда при нем находился.

Говорят, что Серторий не был обладаем ни наслаждениями, ни страхом. Имея от природы непоколебимость духа среди бедствий, он был умерен в благополучии. В открытом сражении он не уступал в смелости никому из современных полководцев; в тех военных действиях, в которых должно употребить обман, или получить какие-либо выгоды от крепкого положения, или предупредить неприятеля скорым переходом, он был искуснейшим изобретателем хитростей и уловок. Будучи щедр в раздаче почестей, оказываемых за отличные подвиги, он умеренно наказывал проступки. Впрочем, свирепый и бесчеловечный поступок его в старости

лет с заложниками доказал, что кротость не была природным его свойством и что он получал оную от силы рассудка по нужде. По моему мнению, никакие перевороты счастья не могут заставить истинную и на разуме основанную добродетель переродиться, но случается, что души, одаренные лучшими склонностями и добрыми свойствами, претерпевши, не по достоинству своему, великие бедствия, переменяются вместе с счастьем. Это самое случилось, кажется, с Серторием, когда счастье начинало оставлять его, когда он, будучи ожесточен обстоятельствами, сделался зол против тех, кто поступал с ним вероломно.

Серторий, призываемый лузитанцами, отплыл из Ливии. Как верховный полководец, он собрал войско и начал покорять окрестные области Иберии. Народы большей частью по своей воле к нему присоединялись, будучи привлечены наиболее кротостью его и деятельностью. Но иногда он прибегал к хитростям, чтобы прельстить и обмануть варваров, из которых главнейшей была лань. О ней повествуют следующее. Один простолюдин, деревенский житель, по имени Спан, встретил лань, недавно родившую, которая вместе с детенышем бежала от охотников. Он не мог ее поймать, но погнался за олененком, который привлек его внимание странностью своего цвета – он был весь белый, и он поймал его. По случаю, Серторий находился тогда в тех окрестностях. Он принимал с удовольствием всякую дичь или произведение земледелия, которое приносили к нему, и щедро одаривал тех, кто оказывали ему внимание. Спан принес ему олененка. Серторий был рад подарку и впоследствии сделал лань столь ручной и привязал к себе до того, что она приходила, когда он ее звал, следовала за ним всюду и привыкла не бояться множества и шума воинов. Мало-помалу он некоторым образом освятил ее, уверяя, что она подарена ему Дианой и что она открывала ему многие тайны, ибо он знал, сколь суеверны варварские народы. Он придумал еще следующие хитрости: получив тайное известие, что неприятели ворвались в какую-либо часть подвластной ему страны или заняли какой-либо город, он говорил, будто бы лань объявила ему во сне, что надлежит держать в готовности войско. Равным образом узнав, что кто-либо из полководцев его одержал победу, он скрывал вестника, выводил лань, увенчанную цветами в знак благополучной вести, и советовал всем радоваться и приносить жертвы богам, уверяя, что вскоре узнают нечто приятное.

Сделав, таким образом, эти народы себе послушными, он тем удобнее мог ими управлять, ибо они думали, что ими предводительствует не чужеземец, но как будто бы какое божество. Самые обстоятельства утвердили их в этом мнении, ибо они видели умножающееся могущество Сертория. С двумя тысячами шестьюстами воинов, которых называл римлянами, с семьюстами разнородных ливийцев, которые последовали за ним в Лузитанию, и с присоединившимися к ним из лузитанцев с четырьмя тысячами легкой пехоты и семьюстами конницы вел он войну против четырех римских полководцев, которые имели под начальством своим сто двадцать тысяч пехоты, шесть тысяч конницы, две тысячи стрельцов и пращников и во власти своей несчетное множество городов, между тем как в его власти не было более двадцати городов. Несмотря на столь малое и слабое начало, он не только покорил великие народы и завладел многими городами, но одержал морскую победу над полководцем Коттой в проливе у Менарии*; разбил при Бетисе Фуфидия, правителя Бетики, изрубил две тысячи римлян, умертвил Домиция, бывшего проконсулом другой Иберии*, которого разбил квестор его, равно и полководца Тория, посланных против него Метеллом. Сам Метелл, величайший и знаменитейший из тогдашних римских полководцев, претерпел от него столько уронов и доведен был до такой крайности, что Луций Манлий должен был прийти к нему на помощь из Нарбонской Галлии*, а Помпей Великий поспешно выслан из Рима с войском. Метелл не знал, как вести войну с человеком смелым, который избегал открытого сражения и принимал разные виды по причине легкости и быстроты иберийского войска. Метелл был воитель, искусившийся в битвах, правильных и открытых, вождь тяжелой и твердой фаланги, превосходно обученный к тому, чтобы отражать и разбивать вступившего с ним в бой неприятеля, но влезать на горы, гоняться беспрестанно за бегущим неприятелем, терпеть голод, жить всегда на открытом воздухе, без крова, без огня, подобно воинам Сертория, он не имел способности.

Метелл был уже стар и предался наслаждениям и изнеженной жизни после многих и великих трудов. Он должен был теперь воевать с Серторием, исполненным юношеской бодрости, одаренным от природы удивительной телесной крепостью, быстротой и

воздержанием. Серторий сохранял трезвость и тогда, когда ничем не был занят; довольствуясь малой и невкусной пищей, он привык переносить великие труды, долгие переходы, частое бодрствование. Он всегда блуждал по полям, в свободное время занимался охотой; отчего все проходимые и непроходимые местоположения сделались ему известными. Он знал, откуда вырваться, когда был преследуем, как обойти неприятеля, преследуя его. По этой причине Метелл, не вступая в сражение, терпел такие потери, каким подвергаются побежденные; между тем как Серторий, предаваясь бегству, пользовался всеми выгодами победителя. Он отрезал неприятелей от воды и не допускал их собирать запасы. Двигались ли они – он препятствовал им идти вперед. Останавливались ли – он принуждал их двинуться с места. Осаждали ли они других – он приводил их в осадное состояние, заставляя терпеть недостаток в необходимом. Воины Метелла были утомлены от трудов, и когда Серторий вызывал Метелла к единоборству, то они шумели и требовали, чтобы полководец сразился с полководцем, римлянин с римлянином. Они ругали его, когда он от того отказался. Метелл смеялся над ними, и хорошо делал, ибо полководец, как говорит Феофраст, должен умирать смертью полководца, а не простого воина.

Метелл знал, что лангобригийцы оказывали Серторию великую помощь и что город их можно было взять за неимением в нем воды, ибо в нем был только один колодец, а вода за стенами и в предместьях находилась во власти осаждающего. Он приступил к городу, полагая, что безводие заставит жителей сдаться после двухдневной осады. В этой надежде велел он воинам запастись хлебом не более, как на пять дней. Серторий быстро поспешил на помощь городу; он приказал наполнить водою две тысячи мехов, обещав довольно денег за каждый мех, доставленный жителям. Многие иберы и мавританцы к тому вызвались. Серторий, выбрав из них самых сильных и проворных, послал их горами в город с приказанием вручить жителям воду и вывести из города всех бесполезных людей, дабы вода достала надолго тем, кому надлежало защищать оный. Метелл узнал об этой хитрости Сертория и был весьма огорчен, ибо воины его истощили все свои припасы. Он послал Аквина с шестью тысячами войска для собирания запасов. Серторий, получив о том сведение, успел поставить засаду на дороге; Аквин уже возвращался, как вдруг с одной лесистой рытвины восстают три тысячи человек; Серторий сам нападает на Аквина спереди, обращает его в бегство, часть отряда его предает смерти, а другую берет в плен. Аквин, потеряв и оружия свои, и лошадь, возвратился к Метеллу, который должен был с позором отступить под насмешки иберов.

Серторий, возбуждая к себе удивление этими делами, приобрел любовь варваров тем, что римскими доспехами и устройством смягчил дикость и буйство их храбрости и превратил силу их из многочисленной разбойнической шайки в правильное войско. Употребляя с расточительностью золото и серебро, он украшал шлемы воинов, испещрял щиты, научил их носить цветные хламиды и хитоны и привязывал к себе, даря им уборы и способствуя исполнению их желаний. Более всего он приобрел их любовь своим отношением к детям. Он собрал детей знаменитейших людей разных народов в город Оску* и приставил к ним учителей, которые преподавали им греческую и римскую словесность. По существу эти дети были у него заложниками, а по видимости он старался их образовать, дабы они, достигши взрослых лет, приняли участие в правлении и военачальстве. Отцам было приятно видеть, что дети их ходили благопристойно в училища в плащах, обшитых пурпуром, что Серторий платил за них жалованье, часто наведывался об их успехах, раздавал награды достойнейшим и дарил им золотые ожерелья, которые римляне называют «буллы».

У иберов есть обычай, чтобы люди, окружающие полководца, умирали вместе с ним, когда он падет в сражении. Они называли таковую связь «Посвящением»*. Не многие из оруженосцев или друзей сопровождали других полководцев; за Серторием следовали многие тысячи людей, которые соединились с ним посвящением. Говорят, что когда при некотором городе Серторий был разбит и неприятели теснили его, то иберы, не радея о собственной жизни, думали только о спасении Сертория. Они поднимали его на свои плечи, передавали один другому; таким образом он внесен был на стену, и иберы только тогда начала разбегаться, когда полководец их был уже вне опасности.

Не только иберы, но и все военные люди, приезжавшие из Италии, были привержены к Серторию. Перперна Вентон, державшийся одной с ним стороны, прибыл в Иберию с великим

богатством и важными силами, но решился вести войну с Метеллом самостоятельно. Воины его были весьма этим недовольны; они в стане говорили только о Сертории, к великой досаде Перперны, напыщенного родом своим и гордившегося великим богатством. Когда же получено было известие, что Помпей прошел Пиренейские горы, то воины Перперны взяли свои оружия, схватили знамена легионов и с великим шумом требовали от Перперны, чтобы он вел их к Серторию; в противном случае грозили оставить его и обратиться к человеку, который мог спасать и себя, и других. Перперна должен был им уступить; он присоединился к Серторию с пятьюдесятью тремя когортами.

Все народы, живущие за рекой Ибер*, присоединялись к нему; силы его был велики, ибо со всех сторон и беспрерывно стекались к нему воины. При всем том тревожили его неустройство и дерзость варваров, которые требовали, чтобы он вступил в сражение с неприятелем, и не терпели дальнейшей медленности. Серторий старался укротить их словами, но видя, что они были в неудовольствии и принуждали его сразиться не вовремя, дал им позволение вступить в дело с неприятелем. Он надеялся, что они, будучи не совсем поражены, но несколько побиты, будут впредь ему более послушными. Так и случилось. Серторий поспешил к ним на помощь, прикрыл их отступление и привел безопасно в стан. Между тем, желая несколько рассеять их уныние, по прошествии немногих дней собрал весь народ и велел привести двух лошадей, одну весьма слабую и старую, другую большую и сильную, у которой был прекрасный и густой хвост; к слабой приставил он великорослого и крепкого человека; к другой – человека малого роста и видом незначащего. По данному знаку великорослый схватил обеими руками хвост и тянул изо всей силы, как будто бы хотел его оторвать, между тем малорослый, стоя у крепкой лошади, вырывал волосы поодиночке. Первый, трудившись долго и бесполезно, возбудил всеобщий смех и наконец отстал от своего предприятия, а другой в короткое время и без малейшего усилия вырвал из хвоста все волосы. Тогда Серторий встал и сказал: «Союзники! Вы видите, что постоянство действеннее силы. Многие дела, которые нельзя произвести одним разом, уступают повторенному действию, ибо беспрерывное действие непреоборимо; с помощью его время превозмогает и сокрушает все силы; время вернейший союзник тех, кто выжидает удобного случая с благоразумием, и жесточайший враг тех, кто спешит произвести что-либо необдуманно». Этими выдумками Серторий часто утешал варваров и укрощал их в ожидании удобного времени.

Средство, которым он покорил харикитан*, заслужило удивление более других военных подвигов его. Народ поселен за рекою Тагон и не имеет ни городов, ни селений. Местом пребывания служит ему большая и высокая гора со многими пещерами и впадинами в скалах, обращенными к северу. Лежащая под горой страна состоит из земли глинистой и рыхлой, на которой не может утвердиться нога и которая, будучи несколько потоптана, рассыпается в прах, как пепел или известь. Жители этой горы при малейшей военной опасности скрывались в своих пещерах, собрав внутрь их свое имущество, и пребывали спокойными, почитая себя в них безопасными от всякого нападения. Некогда Серторий, отступая от Метелла, стал близ этой горы. Жители оказывали ему презрение, как побежденному. Серторий, будучи побужден гневом или желая показать, что не бежит от Метелла, рано поутру подъехали к горе и осмотрел оную. Найдя ее со всех сторон неприступной и будучи в унынии, он употреблял против жителей только пустые угрозы. Между тем заметил он, что ветер поднимал с земли большую пыль и нес ее вверх прямо к жителям горы. Пещеры, как я уже сказал, обращены к северу, а с севера дующий ветер, который называют кекием, восставая с влажных равнин и со снежных гор, бывает продолжительнее и сильнее других ветров того края. Это было в самой средине лета; ветер дул сильно; хотя питался он тающими северными льдами, но был весьма приятен и освещал днем жителей горы и стада их. Серторий, рассуждая сам с собою и слыша о том от жителей окрестных мест, приказал воинам своим отрывать рыхлую и золистую землю, свозить ее в одно место против горы и делать насыпь. Горные жители, думая, что насыпь делается вместо вала, дабы напасть на них, шутили и насмехались над римлянами. Серторий занял воинов работой до самой ночи и потом вернул их в лагерь. С наступлением следующего дня начал дуть тихий ветер, который поднимал тончайшую часть наваленной земли, рассыпавшейся подобно легкой соломинке. По восхождении солнца северный ветер подул сильнее; холмы покрылись уже пылью; воины Сертория переворачивали земляную насыпь – всю до глубины и

дробили илистые комья; иные на лошадях, разъезжая сверху вниз и снизу вверх по насыпи, поднимали сыпучую землю и предавали ее действию ветра. Таким образом ветер уносил эти сыплющиеся и вверх несущиеся частицы, разносил оные прямо к жилищам варваров, открытым кекию. Поскольку пещеры их имели только одно отверстие, в которое воздух проходил и через которое люди могли дышать, то вскоре зрение их было помрачено, дыхание становилось тяжелым; они задыхались, вбирая в себя воздух густой и смешанный с пылью; они терпели два дня; на третий сдались Серторию и не столько умножили силу его, сколько славу, ибо все видели, что он разумом совершил то, чего оружием произвести невозможно было.

Пока Серторий воевал с одним Метеллом, казалось, он одерживал верх по причине старости и природной медленности Метелла, который не мог с успехом вести войны с воителем смелым, предводителем более толпы разбойнической, нежели устроенного войска. Когда же Помпей прошел Пиренейские горы, и Серторий расположился близ него станом; когда начали они показывать друг дугу всевозможные опыты военачальнического искусства; когда Серторий, противопоставляя хитрости хитрость и действуя с осторожностью, более получал выгод, то до самого Рима распространилось, что он в военном искусстве был способнейший из тогдашних полководцев. Слава Помпея была уже велика и во всем цвете своем после отличных деяний его в пользу Суллы, за которые получил от него название Великого и удостоился почестей триумфа в то время, когда был еще без бороды. По этой причине многие города, подвластные Серторию, обратились мыслями к Помпею и имели склонность пристать к нему, но они вскоре успокоились, узнав, какая неожиданная участь постигла Лаврон*. Серторий осаждал этот город, и Помпей со всеми силами пришел к лавронцам на помощь. Один хотел занять наперед возвышение, с которого мог выгодно действовать против города; другой спешил этому воспрепятствовать. Серторий предупредил Помпея, который остановил свое войско и радовался сему случаю, ибо думал, что Серторий зажат между городом и его войском. Он послал сказать лавронцам, чтобы они были спокойны и со стен смотрели на осаждаемого им Сертория. Тот, узнав об этом, засмеялся и сказал: «Я научу “ученика Суллы” (так называл он Помпея в насмешку), что полководцу надлежит более смотреть назад, нежели вперед». В то же время показал он осажденным шесть тысяч тяжелой пехоты, оставленной им в первом стане, с которого поднялся, для занятия возвышения, дабы они напали с тылу на Помпея, когда он против него обратится. Поздно заметил это Помпей, он не смел ничего предпринять, боясь окружения, но стыдился оставить в опасности людей, ему преданных. Он стоял тут и своими глазами принужден был видеть, как они погибали, ибо они, потеряв надежду, предали себя неприятелю. Серторий не лишил никого жизни, всех отпустил, а город сжег, но не из гнева и свирепости – он менее всех полководцев был увлекаем гневом, но к стыду и к унижению тех, кто прославлял Помпея, дабы между варварами разнеслось, что он тут находился, и, почти греясь от пожара союзного города, не защищал его.

Серторий тоже претерпевал важные уроны. Хотя он сохранял себя и свою силу непобедимыми, но часто были побиваемы его военачальники; за то он способностями своими умел поправлять ошибки других и восстановлять свои дела. И он был более уважаем, нежели побеждающие его противоборники. Так было в сражении его с Помпеем при Сукроне*, с ним же и с Метеллом при Сегунтии. Говорят, что при Сукроне Помпей поспешил дать сражение, дабы Метелл не принял участия в его победе. Серторий также хотел вступить в дело с Помпеем до прибытия Метелла. Дождавшись вечера, Помпей учинил нападение, рассуждая, что темнота ночи будет препятствовать неприятелям как отступать, так и преследовать, ибо они, как иностранные, не знали хорошо местоположения. Войска уже сошлись; Серторий, по случаю, стоял сначала не против Помпея, но против Афрания, который предводительствовал левым крылом, а сам он находился на правом. Он получил известие, что часть войска его, которая дралась с Помпеем, была им разбита и принуждена уступить его напору. Он сдал правое крыло другим полководцам, устремился к тому, которое было разбито, собрал и ободрил тех, кто еще стоял на месте, возобновил сражение с преследовавшим его Помпеем и обратил его в бегство. Помпей, весь израненный, едва не был убит, и лишь чудом спас жизнь свою; ливийцы, бывшие у Сертория, поймали Помпееву лошадь, украшенную золотом, покрытую великолепными уборами, стали разделять оные между собою, начали ссориться и удержались от преследования. Как скоро Серторий перешел на подкрепление к другому крылу, то Афраний разбил тех, кто

противостоял ему, и опрокинул до самого стана, ворвался в оный и начал грабить. Тогда было уже темно. Он не знал о поражении Помпея и не мог удержать воинов от грабежа. Между тем Серторий, победивший другое крыло, поворотил назад, напал на войско Афрания, которое было в смятении по причине его беспорядка, и многих побил. Поутру он вооружил вновь воинов своих и хотел вступить в сражение, но, узнав, что Метелл уже близко, он распустил строй и удалился, сказав: «Когда бы не было здесь этой старухи, я бы проучил этого мальчишку и отправил бы обратно в Рим».

Серторий был весьма печален, не видя нигде своей лани. Потеряв ее, он лишился прекрасного способа управлять варварами, которые тогда особенно имели нужду в утешении, но некоторые воины, скитавшиеся ночью с другим намерением, встретили ее, узнали по цвету и поймали. Серторий, известившись о том, обещал им много денег, если никому об этом не объявят. Он спрятал ее; по прошествии нескольких дней показался перед Собранием с веселым лицом и рассказал начальникам варваров, что бог возвещает ему во сне какое-то великое благо. Потом взошел на трибуну и занялся делами. Вдруг лань, выпущенная теми, кто ее стерег, прибежала к Серторию с радостью, положила голову свою к нему на колени, лизала руки его, как привыкла всегда делать. Серторий оказывал ей взаимные ласки и даже заплакал. Все зрители были сперва изумлены, потом, издавая радостные восклицания, с рукоплесканием провожали Сертория до его дома, как человека необыкновенного и богам любезного, и предались веселью и благим надеждам.

Серторий запер неприятелей на Сегунтийской равнине* и довел их до последней крайности. Он был принужден вступить с ними в сражение, когда они выходили для грабежа и собрания запасов. Обе стороны сражались с отличной храбростью. Меммий, искуснейший из Помпеевых полководцев, пал там, где происходила самая жестокая битва; уже победа была на стороне Сертория, который, умерщвляя множество воинов, ему сопротивлявшихся, пробирался к самому Метеллу. Этот полководец выдержал нападение с бодростью, превышавшею лета его, и, мужественно сражаясь, поражен был копьем. Те из римлян, кто видел сие собственными глазами, и те, кто узнал о том от других, устыдились, оставшись без помощи своего полководца, и вдруг воспламенились яростью против неприятелей. Оградив Метелла щитами, они совокупно выступили вперед с отважностью и отразили иберов. Победа перешла на противную сторону. Дабы обезопасить отступление своих воинов и дабы в спокойствии собрать новые силы, Серторий убежал в город, крепкий по своему гористому положению; там поправлял стены и заграждал ворота, хотя менее всего думал выдержать осаду; он хотел через то обмануть только неприятелей; они стояли спокойно перед городом; надеясь без труда овладеть им, они не только позволяли варварам бежать беспрепятственно, но и пренебрегали собиравшимися опять к Серторию силами. Эти силы собираемы были посылаемыми Серторием в города военачальниками, которым он дал приказание известить его, как скоро у них будет набрано достаточно большое число. По получении известия, он без всякого труда пробился сквозь неприятелей и присоединился к своим. Вскоре двинулся он на неприятелей с многочисленными силами; со стороны твердой земли отрезал им засадами возможности получения запасов, обступил их и делал на них с разных сторон быстрые нападения. Со стороны моря он занимал берега разбойничьими судами. Этими движениями он принудил полководцев разойтись. Один пошел в Галлию, Помпей зимовал у вакцеев*, претерпевая нужду по неимению денег; он писал в сенат, что отведет назад войско, если не получит денежного вспоможения, и что он, сражаясь за Италию, истощил собственное свое имение. В Риме много говорили, что Серторий скорее Помпея прибудет в Италию. Вот до чего довели первейших и могущественных в то время полководцев искусство и разум Сертория!

Метелл явно показал, до какой степени его боялся и сколь высокое имел о нем понятие, объявив, что кто из римлян убьет его, тому даст сто талантов и двадцать тысяч префров земли, а если убьет его изгнанник, то таковой возвращен будет в Рим. Не имея надежды явно против него обороняться, он хотел купить его смерть предательством. Одержав некогда над Серторием победу, он до того возгордился и так радовался благополучию, что принял название императора. Города, в которые он приезжал, приносили жертвы и воздвигали жертвенники. Он позволял привязывать к голове своей венцы, угощать себя весьма пышными ужинами, за которыми пил и веселился, одетый в триумфальное платье; кумиры победы, спускаемые

разными машинами сверху, приносили трофеи и венцы; хоры отроков и дев воспевали ему победные песни. Он, конечно, был достоин посмеяния за эти поступки, ибо, называя Сертория беглецом Суллы и остатком разрушенной стороны Карбона, возносился и радовался, получив некоторые выгоды над Серторием при его отступлении.

Напротив того, возвышенные чувства Сертория обнаруживались, во-первых, тем, что он составил сенат из тех сенаторов, которые убежали из Рима и находились при нем. Собрание их объявил он сенатом. Он назначал их квесторами и преторами и все устраивал по законам отечественным. Действуя силами, казной и пособиями городов иберийских, он не сделал их участниками верховной власти даже для вида, но ставил над ними правителями и полководцами одних римлян, как бы стараясь римлянам возвратить свободу, а не иберов возвысить, к вреду римлян. Серторий безмерно любил свое отечество и имел сильное желание возвратиться в Рим. В несчастьях он был тверд и немало не унижал себя перед неприятелями; по одержании победы он посылал к Метеллу и Помпею и объявлял им, что он готов сложить оружие и, получив позволение возвратиться в отечество, жить как частное лицо, желая лучше быть в Риме самым неважным гражданином, нежели в изгнании от отечества владыкой над всеми другими землями. Он желал жить в отечестве своем более всего по привязанности к матери своей, которой воспитан в сиротстве и которую нежно любил. Он получил известие о смерти ее в то время, когда приятели призывали его в Иберию для принятия начальства, и столько огорчен был этим известием, что едва не лишился жизни. В продолжение семи дней он не давал приказов, не видал ни одного из друзей своих, но лежал в своем шатре до тех пор, пока другие полководцы и равные ему чиновники не обступили шатра и не принудили его выйти поговорить с воинами и заняться делами, которые шли благоуспешно. Многие были уверены, что он от природы был кроток и склонен к мирной жизни, но по нужде и против воли своей предводительствовал войсками; и что гонения неприятелей заставляли его прибегать к оружию и по необходимости делать войну, так сказать, стражей своей жизни.

Отношения его к Митридату также обнаруживают высокий дух его. Этот государь, после претерпенного от Суллы поражения, восставал вновь к битвам и предпринял покорить Азию. Великая слава Сертория со всех сторон до него доходила. Плывущие с запада наполнили Понт известями о нем, словно иностранными товарами. Митридат решился послать к нему посольство, будучи вознесен более всего гордыми словами льстецов, которые, уподобляя Сертория Ганнибалу, а Митридата – Пирру, уверили его, что римляне не будут в состоянии сопротивляться великим способностям и силам тех, кто с двух сторон нападет на них, когда искуснейший полководец соединится с величайшим из царей. Он отправил в Иберию посланников с письмами, обещая Серторию денег и кораблей для продолжения войны, и только хотел, чтобы он утвердил за ним Азию, которую уступил римлянам по договору, заключенному с Суллой. Серторий собрал совет, который называл он сенатом; все были согласны принять эти предложения, ибо Митридат требовал от них только одного имени и пустого письма, касательно того, чего не было в их власти, а взамен давал им то, в чем более они имели нужду. Но Серторий не стерпел сего. Он сказал, что не запрещает Митридату владеть Вифинией и Каппадокией, жители которых привыкли покорствовать царя и не принадлежали римлянам, но что касается до провинции, которую римляне приобрели справедливейшим образом, которую Митридат у них отнял и занимал, но, воюя с Фимбрием, потерял, а потом уступил Сулле по договору, то он не потерпит, чтобы она сделалась ему подвластной. «Я хочу, – говорил он, – возвышать моими победами Рим, а не побеждать к унижению отечества. Человек с благородными чувствами должен желать победы, сопряженной с честью; с бесчестием же не должен желать и жизни».

Митридат был приведен в изумление от такого ответа. «Какие законы, – сказал он своим приближенным, – предпишет нам Серторий, когда будет сидеть на Палатинском холме*, если теперь, вытесненный к берегам Атлантического моря, ставит границы нашему царству и грозит войной, если покусимся покорить Азию?» При всем том заключен был между ними договор на следующих условиях: чтобы Митридат владел Вифинией и Каппадокией, чтобы Серторий прислал к нему полководца и войско и чтобы он получил от Митридата три тысячи талантов и сорок кораблей. Серторий отправил к нему полководцем Марка Мария, одного из прибегнувших к нему сенатором. Митридат покорил с ним несколько городов Азии, и когда

Марий вступал в оные с ликторами и секирами, то Митридат за ним следовал, представляя второе лицо, и добровольно вид принимал последователя. Марий иным городам возвращал свободу, другие увольнял от налогов, объявляя им, что сим должны быть благодарны Серторию. Азия, угнетенная вновь сборщиками податей, обремененная ненасытностью и надменностью воинов, в ней пребывавших, одушевилась некоторой надеждой и желала ожидаемой ею перемены владычества.

Между тем в самой Иберии сенаторы и другие знаменитые римляне, как скоро миновался страх, и они видели, что имели достаточные против врагов силы, воспламенились завистью и безрассудной ревностью к могуществу Сертория. Перперна, гордясь благородством своим и, по легкомыслию, надеясь получить верховное начальство, тайно поджигал друзей своих коварными словами. «Какой злобный демон, – говорил он, – из худого состояния ведет нас к худшему? Мы почитаем недостойным себя, оставаясь в своем отечестве, покорствовать Сулле, обладателю всей земли и моря. Несчастье завело нас сюда, где надеялись жить свободными, а мы рабствуем по воле своей, охраняя изгнанного Сертория. Мы называем себя именем, осмеиваемым всеми слушающими его, именем сената, а между тем не менее иберов и лузитанцев переносим поругания, претерпеваем труды, повинуемся повелениям». Эти слова имели на многих желаемое действие; они явно не отставали от Сертория, боясь его силы, но тайно старались вредить ему в подвигах его. Они угнетали жителей, наказывали их жестоко, обременяли налогами, поступая таким образом как будто бы по приказанию Сертория. От этого происходили в городах мятежи и возмущения. Посылаемые для укрощения их и для успокоения жителей, возвращались, возжегши более браней и усиливши существующую непокорность. Эти обстоятельства до того переменили природную кротость и человеколюбие Сертория, что он совершил злодеяние над детьми иберов, воспитавшимися в Оске; некоторых из них умертвил, а других продал.

Перперна имел уже на своей стороне много заговорщиков к исполнению своего злоумышления. Он привлек к себе среди прочих и одного из военачальников, по имени Манлий, который по любви своей к одному молодому человеку дал ему знать о предпринимаемом злоумышлении, увещевая его отстать от других приятелей и оказывать более внимания ему, ибо по прошествии немногих дней он сам будет важным человеком. Молодой человек пересказал все слышанное Авфидию, к которому был он привержен более, нежели к Манлию. Авфидий изумился, услышав это; он сам был из числа заговорщиков, но не знал, что и Манлий участвовал в заговоре. Изумление его увеличилось, когда молодой человек назвал Перперну, Грецина и многих других, о которых знал, что участвовали в заговоре. Он старался уверить своего приятеля, что это дело пустое, и просил его презреть Манлия, как человека безрассудного и хвастливого. Между тем пошел он к Перперне, объявил ему, в какой опасности они находятся, и увещевал его приступить к делу немедленно. Они согласились между собою и послали к Серторию человека с письмами, в которых извещаемо было ему о победе, одержанной над неприятелями одним из его полководцев, с великим их поражением. Серторий, радуясь столь приятной вести, приносил богам жертвы. Перперна пригласил к ужину как его, так и присутствовавших приятелей, которые все были участниками, в заговоре, и убедил их многими просьбами прийти к нему. В присутствии Сертория за столом обыкновенно соблюдаемы были благопристойность и приличие; он не терпел ни видеть, ни слышать чего-либо бесстыдного, приучая всех тех, с которыми обходился, довольствоваться пристойными шутками и приятельской беседой, но в тот раз среди пиршества, ища повода к драке, они нарочно употребляли самые непристойные речи и, притворяясь пьяными, предавались бесстыдным поступкам, дабы его раздражать. Серторий, либо досадуя на неблагопристойность их, либо догадавшись об их намерении по медленности их речей и по небрежению, к нему оказываемому, переменил свое положение и лег ниц лицом, как бы не обращал никакого внимания к словам их и ничего не слушал. Наконец Перперна, взяв чашу с цельным вином, между тем как из нее пил, выпустил ее из рук и произвел стук, что было знаком к нападению. Антоний, возлежавший выше Сертория, поражает его мечом. Серторий, получив удар, обратился к нему, хотел встать, но Антоний, бросившись на грудь, схватил его обеими руками. Итак, Серторий был умерщвлен ударами многих, не могши защищаться*.

По смерти его иберы тотчас удалились, отправили посланников к Помпею и Метеллу и

изъявили покорность. Перперна собрал тех, кто еще при нем оставался, и хотел нечто предпринять. Он употребил сделанные Серторием приготовления только для того, чтобы посрамить себя и показать свету, что он не умел ни начальствовать, ни повиноваться; он напал на Помпея, но вскоре был им разбит в сражении и взят в плен. Он не вынес и последнего бедствия так, как прилично полководцу, но, овладев прежде бумагами Сертория, обещал Помпею показать собственноручные письма важнейших и сильнейших в Риме граждан, которые, будучи недовольны настоящим правлением, призывали Сертория в Италию и хотели произвести перемену. Помпей в таком случае поступал так, как прилично не молодому уму, но самому основательному и опытному, избавив Рим от больших страхов и беспокойств. Он собрал все бумаги и письма Сертория и сжег их, не прочитав сам и не позволив никому их читать, а Перперну немедленно предал смерти, боясь, чтобы какие-либо имена не сделались известными и оттого не произошли бы новые мятежи и возмущения.

Из участвовавших в убиении Сертория одни приведены были к Помпею и умерщвлены, другие убежали в Ливию и были поражены стрелами мавританцев. Никто из них не спасся, исключая Авфидия, который или оттого, что скрывался, или оттого, что не обратил на себя внимания, состарился в одной варварской деревне в нищете, всеми ненавидимый.

Эвмен

По свидетельству историка Дуриса кардиец* Эвмен был сыном человека, который в Херсонесе по бедности своей содержал себя извозом. При всем том Эвмен получил образование, приличное благородному человеку, как в словесности, так и в телесных упражнениях. Он был еще очень молод, когда Филипп, находясь в Кардии без занятия, смотрел на подвиги юношей и на борьбу детей. Эвмен отличался среди них, показавшись Филиппу разумным и храбрым, понравился ему, и Филипп взял его с собой, но кажется мне правдоподобнее свидетельство тех, кто уверяет, что Филипп возвысил Эвмена более всего потому, что был связан с отцом его узами дружбы и гостеприимства*.

По смерти Филиппа Эвмен как умом своим, так и верностью не уступал никому из тех, кто находился при Александре. Он имел звание верховного писца, но пользовался уважением Александра наравне с друзьями его и любимцами. Он был послан им в Индию военачальником и получил под свое управление область Пердикки, когда тот по смерти Гефестиона занял его место. По этой причине, когда по кончине Александра Неоптолем, начальник щитоносцев, говорил, что он шел со щитом и копьем, и Эвмен следовал с палочкой для письма и табличкой, то македоняне смеялись; они знали, что Эвмен, сверх других почестей, полученных от Александра, удостоился и родства с ним через бракосочетание. Барсина, дочь Артабаза, была первой женщиной, которую Александр познал в Азии; она родила ему сына Геракла. Сестры ее, Апама и Артонида, выданы были, первая за Птолемея, а другая за Эвмена, в то время, когда Александр женил друзей своих на персиянках*.

При всем том нередко он попадал в немилость у Александра и находился в опасности; тому причиной был Гефестион. Некогда Гефестион отвел флейтисту Эвию дом, который наперед заняли служители для Эвмена. Эвмен, увлеченный гневом, пришел к Александру в сопровождении Ментора* и кричал, что гораздо выгоднее играть на флейте и быть актером и что надлежит бросить из рук оружие. Александр негодовал на Гефестиона за такой поступок и делал ему упреки, но, вскоре переменившись, сердился на Эвмена, почитая поступок его более дерзким против себя, нежели откровенным в отношении к Гефестиону. Впоследствии отправляя Неарха с флотом во Внешнее море*, Александр просил у друзей своих денег, которых в казне у него не было. От Эвмена потребовал он триста талантов. Эвмен дал ему только сто, уверяя при том, что и это количество с трудом мог собрать через своих поверенных. Александр не объявил ему своего неудовольствия, не принял их, а велел служителям тайно пустить огонь в шатер Эвмена; он хотел в то время, как стали бы выносить деньги, изобличить во лжи на самом деле Эвмена. Шатер был совершенно сожжен; Александр раскаялся и жалел, что сгорели бумаги; впрочем, найдено слитого от огня золота и серебра более нежели на тысячу талантов. Он не взял ничего; писал сатрапам и полководцам о доставлении списков со всех сгоревших бумаг, а Эвмену велел принимать оные. В другой раз произошел между Эвменом и

Гефестионом жаркий спор из-за какого-то подарка; они ругали друг друга с грубостью, но Эвмен тем не навлек на себя неудовольствия Александра. Вскоре после того Гефестион умер*. Государь был погружен в глубокую печаль; он обходился сурово и гневно с теми, кто при жизни завидовал Гефестиону и радовался смерти его. Более всех подозревал он Эвмена и часто говорил о раздоре его с Гефестионом, напоминал о ругательствах, на него произнесенных. Эвмен, будучи хитер и гибок, решился спасти себя тем, из-за чего был в опасности погибнуть. Он прибегнул к любви и ревности Александра к Гефестиону; изыскивал почести, которыми надлежало украсить умершего, и с большим усердием и щедростью приносил деньги на сооружение гробницы его.

По смерти Александра пехота отделилась от друзей, или этеров его*. Эвмен духом предан был последним, но на словах показывал себя равно приверженным к тем и другим, как человек посторонний и иностранный, которому не следовало вмешиваться в распри македонян. Когда все полководцы удалились из Вавилона, то он оставался в городе, старался успокоить пехоту и сделал ее склонной к примирению. Наконец полководцы съехались и, по успокоении прежних беспокойств, разделили между собою сатрапии и полководства. Эвмен получил Каппадокию, Пафлагонию и земли вдоль Понта Эвксинского до Трапезунта*. Тогда эта страна не была во власти македонян, но царствовал над нею Ариарат. Надлежало Леоннату и Антигону привести туда Эвмена с многочисленным войском и объявить его сатрапом оной.

Но Антигон не уважил того, о чем Пердикка писал ему, ибо Антигон мечтал уже о великих делах и презирал других полководцев. Леоннат сошел во Фригию, приняв на себя этот поход из любви к Эвмену. Гекатей, кардийский тиранн, имел с ним свидание и просил его оказать помощь Антипатру и осаждаемым в Ламии македонянам*. Леоннат, решившись переехать в Европу, звал Эвмена с собою и хотел примирить его с Гекатеем; между ними существовала наследственная вражда, происшедшая от несогласия в политических делах. Эвмен много раз обвинял явно Гекатея в тираннстве перед Александром, которого просил возвратить вольность кардийцам. По этой причине он отказывался быть в походе против греков под предлогом, что он боится Антипатра, который, угождая Гекатею и ненавидя его самого издавна, мог бы его умертвить. Леоннат, доверяя ему, не скрыл от него самых тайных своих предначертаний; под предлогом оказать помощь Антипатру имел он намерение, переправившись в Европу, завладеть Македонией. Он показал Эвмену письма Клеопатры*, которая призывала его в Пеллу и обещала выйти за него замуж. Эвмен, боясь ли Антипатра или думая, что Леоннат, человек безрассудный, исполненный дерзости и легкомыслия, устремится к своей погибели, удалился от него ночью с обозом своим; у него было триста человек конницы, двести вооруженных служителей и золота на пять тысяч талантов, считая оные серебром. Он убежал к Пердикке, открыл ему намерение Леонната, приобрел его доверие и сделался членом совета его.

Вскоре после того приведен он был в Каппадокию с войском, которым предводительствовал сам Пердикка. Ариарат был взят в плен; вся область его покорена и Эвмен сделан над ней сатрапом. Он предал друзьям своим города, сделал их начальниками крепостей, поставил судьями и правителями тех, кого хотел, ибо Пердикка не входил нимало в его распоряжения. Эвмен отправился в путь вместе с ним, оказывая ему преданность и не желая от царей удаляться*.

Пердикка надеялся привести в исполнение свои предначертания собственными силами*, но, имея нужду в верном и деятельном страже в тех землях, которые он оставлял позади себя, выслал Эвмена из Киликии под тем предлогом, чтобы он был в своей сатрапии; в самом же деле для того, чтобы удерживать в повиновении смежную с Каппадокией Армению, которая была возмущена Неоптолемом. Эвмен старался кроткими словами успокоить сего полководца, хотя испорченного высокомерием и упоенного пустой гордостью. Найдя македонскую фалангу исполненной медленности и наглости, Эвмен начал составлять конницу, которую бы мог противоположить фаланге. Он освобождал от налогов и податей тамошних жителей, способных к верховой езде, а своим приближенным, которым более доверял, раздавал покупных лошадей, оказывал почести, осыпал подарками, старался возбудить в душе их честолюбие, а тела укрепить телодвижением и упражнениями. Этим произвел он то, что одни из македонян были приведены в удивление, другие одушевились бодростью, видя, что Эвмен в короткое время

собрал не менее шести тысяч трехсот человек конницы.

Когда Кратер и Антипатр, победив греков, переправлялись в Азию, дабы ниспровергнуть власть Пердикка, и когда было получено известие, что они хотели вступить в Каппадокию, то Пердикка пошел сам против Птолемея, а Эвмена назначил верховным вождем сил, находившихся в Армении и Каппадокии; он писал Алкету* и Неоптолему, приказывая им повиноваться во всем Эвмену, которому дал власть действовать так, как за благо рассудит. Алкет отказался явно от похода под тем предлогом, что бывшие под начальством его македоняне стыдились вести войну с Антипатром, а Кратера, по своей к нему приверженности, готовы были принять как своего полководца. Неоптолем строил козни Эвмену, но предательство его обнаружилось. Будучи призываем к Эвмену, он не повиновался его приказаниям, но готовился к сражению.

Тогда-то в первый раз Эвмен пожал плоды своей предусмотрительности и своих приготовлений. Пехота его была уже разбита, но он победил Неоптолема конницей, взял его обоз, напал всеми силами на фалангу, которая рассеялась; преследуя пехоту, принудил ее сложить оружие, клясться ему в верности и следовать за ним в поход.

Неоптолем, собрав после поражения несколько воинов, убежал к Кратеру и Антипатру. Эти полководцы отправили к Эвмену посланников и предлагали ему перейти на их сторону с тем, чтобы он пользовался уступленными ему сатрапиями, обещаясь притом дать ему еще войско и область от себя, если он из неприятеля сделается Антипатру приятелем и если не объявит себя врагом Кратеру, которому прежде был другом. Эвмен ответствовал, что он, будучи издавна неприятелем Антипатру, не сделается его другом ныне, когда видит, что он с друзьями поступает, как с неприятелями; что, впрочем, он готов примирить Кратера с Пердиккой и согласить их на равных и справедливых условиях, что если кто из них первый начнет несправедливую войну, то он будет помогать обижаемому, пока в нем будет дыхание; и что, наконец, скорее предаст он тело и жизнь, нежели изменит верности.

Антипатр и приятели его, узнав о намерении Эвмена, рассуждали спокойно о делах своих. Неоптолем, после поражения присоединившись к ним, объявил о битве и просил о помощи их обоих, в особенности же Кратера; он уверял его, что македоняне были чрезвычайно к нему привержены и что если только увидят его кавсию* и услышат голос, то побегут к нему с оружием. В самом деле, велика была слава Кратера в войске; по смерти Александра многие желали иметь его верховным предводителем, вспоминая, что он за македонян много раз навлекал на себя гнев Александра, ибо он противился наклонности царя к персидской пышности и защищал отечественные обычаи, уже пренебрегаемые, по причине надменности и неги, которым Александр себя предавал. Кратер послал тогда Антипатра в Киликию, а сам с большей частью сил своих пошел с Неоптолемом на Эвмена*. Он надеялся, что нападет на него неожиданно и что после недавно одержанной победы застанет войско его в беспорядке и нападет на оное среди пиршества.

В том, что Эвмен предусмотрел его нападение и был в готовности принять его, была видна военачальническая бдительность, но не чрезвычайное искусство, а то, что он не только от неприятелей скрыл то, чего не следовало им знать, но еще обратил на Кратера воинов своих тогда, когда они не знали, с кем сражаются, и утаил от них неприятельского полководца, сие есть дело, единственно этому полководцу принадлежащее. Он распустил слух среди своих, что Неоптолем и Пигрет вновь нападут на него с конницей, состоящей из каппадокийцев и пафлагонцев. Между тем, намереваясь подняться с войском ночью, он заснул и увидел странный сон. Ему казалось, что видит двух Александров, которые готовились друг с другом сразиться, что каждый предводительствовал одной фалангой, что к одному пришла на помощь Афина, а к другому Деметра, что дано было жаркое сражение, в котором побежден тот, кому покровительствовала Афина; и что Деметра, нарвав колосьев, сплела победителю венок. Он заключил, что сие видение было в его пользу, ибо он сражался за плодоносную землю, покрытую тогда обильным и прекрасно околосившимся хлебом. Она была вся обработана и засеяна и представляла вид, приличный мирному времени; поля цвели во всем своем блеске. Бодрость его еще более умножилась, когда он узнал, что паролем у неприятелей было: «Афина и Александр». Он объявил тогда, что его паролем будет «Деметра и Александр», и велел всем увенчивать главы и украшать оружия свои колосьями; несколько раз намеревался объявить

другим военачальникам, с кем надлежало им сразиться, не хотел уже скрывать тайны, не хотел оставлять их в неведении, но утвердился в прежнем намерении и среди опасности поручил себя своим мыслям.

Эвмен не поставил против Кратера ни одного македонянина, но дал приказание двум отрядам иностранной конницы, состоящим под начальством Фарнабаза, сына Артабаза, и Феникса с Тенедоса, как скоро неприятель покажется, устремиться на него поспешно и вступить в бой, не давая ему времени отступить и не приемля от него ни слов, ни вестника. Он страшился, чтобы македоняне, узнав Кратера, не перешли на его сторону. Из отборнейших трехсот конных составил он отряд и стал на правом крыле с намерением напасть на Неоптолема.

Когда войско Эвмена прошло лежавший в средине холм, когда явилось неприятелю и устремилось сильно и быстро к нападению, то Кратер, изумленный этим, осыпал укоризнами Неоптолема, почитая себя обманутым касательно предполагаемой перемены македонян. Он увещевал военачальников сражаться мужественно и пошел навстречу неприятелю. Первая сшибка была самая сильная; копья вмиг сокрушились, и сражение продолжалось уже мечами. Кратер не посрамил Александра; многих поверг на землю, многократно отражал противостоявших ему неприятелей, но наконец получил удар от одного фракийца, подъехавшего к нему сбоку, и упал с лошади. Многие проехали мимо, не зная его, но Горгий, один из военачальников Эвмена, узнал его, слез с лошади и приставил к нему стражу. Кратер был в опасном положении и кончил жизнь в мучениях.

Между тем Неоптолем и Эвмен сошлись. Ненавидя издавна друг друга и кипя яростью, они два раза учинили нападение, не узнав один другого, но в третий раз узнали, устремились и с криком обнажили кинжалы. Лошади их сшиблись с великой силой, подобно двум кораблям, устремленным друг на друга. Полководцы опустили повода, схватились руками, срывали друг с друга шлемы, сдирали с плеч брони. Между тем как они терзали друг друга, лошади их в одно время из-под них вырвались; они упали на землю и, лежа друг на друге, обхватились и боролись. Неоптолем встал с земли прежде Эвмена; последний подрезал ему тогда подколенок и сам успел встать на ноги. Неоптолем, не могши стоять на ногах и опершись на одно колено, храбро защищался снизу, но не мог нанести смертельного удара противнику. Получив удар в горло, он пал и на земле простерся, но когда Эвмен в ярости своей и по древней к нему ненависти срывал с него доспехи и ругал его, то Неоптолем, держа еще меч, поразил его неприметно под броней, где она несколько касается паха. Удар больше устрашил Эвмена, ежели причинил ему вреда, ибо по слабости противника рана была легкая. Он снял с мертвого доспехи, но был ранен в бедра и в руки и находился сам в худом положении. Несмотря на то, он посажен был на лошадь и поскакал к другому крылу, думая, что неприятели еще выдерживают сражение. Он получил известие о смерти Кратера, прискакал к нему, нашел его еще дышащим и понимающим, сошел с лошади и, проливая слезы, простер к нему руку. Он проклинал Неоптолема, жалел об участи Кратера и о предстоявшей ему необходимости или быть виновником смерти близкого друга, или принять за него смерть.

Эвмен одержал эту победу через десять дней после первой. Слава его чрезвычайно возросла, ибо он обязан был этим успехом как прозорливости своей, так и храбрости. Ему завидовали, его ненавидели не только противники, но и самые союзники; им неприятно было, что пришелец и иностранец, действуя оружиями и руками македонян, умертвил первого и знаменитейшего среди них мужа. Когда бы Пердикка дожил до известия о смерти Кратера, то никто другой не сделался бы первенствующим среди македонян, но по умерщвлении Пердикки в египетском мятеже* известие об этой победе получено было в стане двумя днями после. Македоняне в гневе определили смерть Эвмену. Антигон и Антипатр избраны были полководцами в войне против него.

Эвмен нашел у подножия Иды царские конные табуны, взял, сколько ему нужно было, лошадей и послал к надзирателям расписку. Антипатр, говорят, засмеялся, узнав о том, и сказал, что удивляется предусмотрительности Эвмена, который надеялся дать им или потребовать от них отчет в царских вещах. Эвмен хотел дать сражение при Сардах на Лидийских равнинах, превосходя противников своих конницей, и в то же время желал показать Клеопатре силу свою, но по ее просьбе (она боялась навлечь на себя обвинение от Антипатра)

выступил он в Верхнюю Фригию и провел зиму в Келенах*. Здесь Алкет, Полемон и Доким*, побуждаемые честолюбием, спорили с ним о верховном начальстве; и Эвмен сказал им: «Сбылось по пословице – “О погибели своей ни слова!”».

Обещав выдать воинам жалованье через три дня, Эвмен продавал им поместья и крепости, лежащие в этой области, в которых было много невольников и скота. Купивший их начальник, если предводитель отряда наемного войска, получал от Эвмена орудия и машины, приступал и осаждал оные. Воины делили между собою добычу, смотря по должному каждому из них жалованью. Этим поступком Эвмен опять приобрел любовь воинов, и как некогда найдены были в стане брошенные неприятельскими полководцами письма, в которых обещали сто талантов и разные почести тому, кто убьет Эвмена, то македоняне, будучи этим раздражены, определили, чтобы тысяча человек из командиров всегда его окружали и охраняли по очереди и в самой ночи. Командиры эти повиновались новому назначению и принимали с удовольствием от него те дары, какие от царей получают их приближенные. Эвмен имел право давать им пурпуровые шляпы и хламиды: это были почетнейшие дары, даваемые македонянам их царями.

Благополучие возвышает чувства и самых низких от природы людей. В них открывается тогда величие и важность, ибо бывают видимы на возвышенном и блистательно месте. Но тот, кто действительно тверд и велик духом, тогда более являет себя, когда поднимает главу из среды бед и несчастий. Таковым показал себя Эвмен! В Каппадокии при Оркиниях, по причине предательства*, будучи разбит и преследуем Антигоном, он, отступая, не позволил изменнику перебежать к неприятелю, но поймал и повесил его. В самом отступлении поворотил назад, шел дорогой, противной той, по которой шли преследовавшие его, прошел стороной мимо них неприметно и прибыл к тому месту, где дано было сражение. Он остановился тут, собрал мертвые тела, выломал двери в окрестных селениях и ими сжег порознь тела чиновников и простых воинов, насыпал курганы и потом удалился. Антигон, возвратившись к тому же месту после него, не мог не удивляться смелости его и постоянству.

После этого Эвмену попался обоз Антигона; он мог взять весьма легко великое число людей, вольных и рабов, и богатство, собранное таким расхищением и войнами, но боялся, чтобы его воины, обременившись богатой добычей, не сделались тяжелее к отступлению и слабее в перенесении трудов похода, а через то не потеряли бы времени, на которое полагался, в надежде принудить Антипатра отстать от преследования. Поскольку же весьма было трудно удержать македонян, когда деньги были почти в их руках, то велел им отдохнуть, покормить лошадей своих и потом обратиться на неприятеля. Между тем послал тайно человека к Менандру, начальнику неприятельского обоза, советуя ему как бывшему знакомому и другу быть осторожным, немедленно отступить с нижних мест, подверженных нападению, к ближайшему подгорью, которое было неприступно для конницы и не могло быть обойдено. Менандр, поняв опасность, в какой он находился, тотчас удалился. Между тем Эвмен посылал соглядатаев и давал приказание воинам вооружаться и взнуздывать лошадей, дабы напасть на неприятеля. Соглядатаи возвратились с известием, что Менандр удалился в неприступные места и что нельзя его поймать. Эвмен, притворясь, что раздосадован, тотчас отвел свое войско. Менандр известил Антигона о происшествии, и когда македоняне хвалили Эвмена и начали быть к нему благосклоннее за то, что он пощадил их детей и жен и позволил им удалиться, хотя во власти его было взять их в плен и обесчестить, то Антигон сказал: «Друзья мои! Не о вас заботясь, он позволил им уйти; он боялся, чтобы в бегстве своем не наложил оков на себя самого».

Эвмен, блуждая по разным местам и избегая Антигона, уговорил большую часть воинов своих удалиться, заботясь об их безопасности или не желая влачить их за собой, ибо их было слишком мало, чтобы с ними сразиться, и слишком много, чтобы с ними скрываться. Он убежал в Норы*, местечко, лежащее между Каппадокией и Ликаонией, оставив только при себе пятьсот человек конницы и двести тяжелой пехоты. Всех тех из приятелей своих, которые, не терпя суровости места и нужды, просили его об увольнении, Эвмен обнял и дружески отослал от себя. Антигон приблизился к Норам и прежде, нежели начал осаду, предложил Эвмену о свидании. Эвмен отвечал, что у Антигона много друзей и полководцев, которые могут заступить место после него, а у тех, за кого он сражается, не остается после него никого. Он требовал, чтобы Антигон прислал к нему заложников, если хочет с ним иметь свидание.

Антигон советовал ему говорить с ним как с человеком выше себя. «Я никого не считаю выше себя, пока я владею этим мечом», – отвечал Эвмен. Когда же Антигон послал своего племянника Птолемея в Норы, как требовал Эвмен, то он вышел для свидания с Антигоном. Они дружески обнялись, приветствовали друг друга, как старинные знакомые, имевшие долгое время тесные между собою связи. Долго они разговаривали. Эвмен не о безопасности своей, не о примирении заботился; он требовал, чтобы утверждены были ему сатрапии и возвращены данные награды, к изумлению всех присутствовавших, которые удивлялись духу и смелости его. Многие из македонян стекались, желая видеть, каков был Эвмен, ибо ни о каком полководце после смерти Кратера не говорили в войске столько, сколько об Эвмене. Антигон, заботясь об его безопасности и боясь, чтобы не употребили с Эвменом насилия, сперва запрещал к нему приближаться, кричал, бросал каменья на тех, кто приступал к ним, наконец, обнял Эвмена обеими руками и, удерживая народ телохранителями, с трудом вывел его в безопасносное место.

Потом Антигон обвел стеной Норы, оставил осадное войско и удалился. Эвмен выдерживал осаду в занимаемом им месте; у него было много хлеба, воды и соли, а больше ничего. Но он, чем только мог, старался сделать приятной жизнь тех, кто при нем находился. Он звал всех к своему столу по очереди и услаждал беседу забавными разговорами и ласковым обхождением. Он был приятен лицом и нимало не походил на человека военного, огрубевшего среди звука оружия. Напротив того, был пригож, молод и так строен, что все его члены были между собой в совершенной соразмерности, точно у статуи, выполненной по всем правилам искусства. Он не был красноречив, но разговор его был прелестен и занимателен, как можно заключить по его письмам.

Более всего беспокоила воинов его теснота места. Они были принуждены жить в малых домиках и ходить по месту, которое не имело в окружности более двух стадиев. Они принимали пищу, не делая телесного движения; подавали корм лошадям своим, стоявшим в бездействии. Намереваясь не только освободить их от скуки, в которой увядали они от бездействия, но и некоторым образом сделать их способными к бегству при благоприятном случае, Эвмен назначил им местом прогулки самый большой дом в местечке, длиной в четырнадцать локтей, приказывая им мало-помалу усиливать свое движение. Он велел обвязывать у каждой лошади шею длинным к потолку прицепленным ремнем, на котором приподнимали ее посредством блоков, так что лошадь упиралась на землю задними ногами, а передними чуть касалась оной. Между тем как лошадь была таким образом приподнята, конюхи криком и ударом раздражали ее; отчего она, исполненная ярости и жара, вспрыгивала и ударяла задними ногами; передними же и поднятыми, стараясь достать землю, ударяла ее, напрягала свои силы, обливаясь потом, и издавала стенание. Этим упражнением лошади приучаемы были к быстроте и получали новые силы. Их кормили при том ячменем очищенным, дабы скорее и лучше варился он в желудке.

Осада была еще продолжительна*, как Антигон получил известие, что Антипатр умер в Македонии, что все было в тревоге и что Кассандр с Полисперхонтом были в ссоре*. Мечтая уже не о малых делах и объемля мыслями своими всю державу, он хотел иметь Эвмена другом и сподвижником в своих предприятиях. Он послал к нему Иеронима*, хотел с ним примириться и предложил клятву. Эвмен, исправив ее, требовал, чтобы осаждавшие его македоняне решили, которая клятва справедливее. Антигон, в начале клятвы упомянув только для вида о царях, всю клятву обращал к себе самому, но Эвмен после царей поставил в клятве имя Олимпиады; потом клялся быть приверженным не только Антигону, но и Олимпиаде и царям, и иметь с ними одних друзей и врагов. Македоняне нашли его предложения более справедливыми; они заставили Эвмена произнести клятву, сняли осаду и писали Антигону, чтобы и он со своей стороны поклялся Эвмену.

Между тем Эвмен возвращал бывших у него в Норах в залоге каппадокийцев и в замену получил лошадей, возовой скот и шатры от тех, кто их принимал; собрал рассеянных и блуждавших по всей стране, после проигранного сражения, воинов, так что у него в скором времени было не многим менее тысячи человек конницы, с которыми вышел он из Норы и убежал, боясь по справедливости Антигона. В самом деле этот полководец не только велел вновь осаждать и стеречь Эвмена, но и простер свой гнев на македонян за то, что они приняли исправленную Эвменом клятву.

Эвмен, предаваясь бегству, получил из Македонии письма от тех, кто страшился возвышения Антигона. Олимпиада предлагала Эвмену под свою защиту и воспитать сына Александра, которому строили козни. Полисперхонт и царь Филипп повелевали Эвмену вести войну против Антигона, предводительствуя бывшими в Каппадокии силами; они позволяли ему взять пятьсот талантов из числа тех, которые хранились в Квиндах*, для исправления собственных дел своих и употреблять из них на войну столько, сколько хотел. Они дали о том знать Антигону и Тевтаму, предводителям аргираспидов*. Получив письма, они на словах приняли Эвмена дружелюбно*, но были исполнены к нему зависти и по честолюбию своему не хотели быть вторыми после него. Эвмен потушил зависть их тем, что не брал назначенных денег, показывая, что не имеет в них нужды. Зная, что эти полководцы не были способны начальствовать и не хотели повиноваться, по причине честолюбия и любоначалия своего, он прибегнул к силе суеверия. Он сказал им, что Александр явился ему во сне, показал ему шатер, убранный по-царски, в котором стоял престол, и сказал ему, что сам тут будет присутствовать в то время, когда они будут сидеть вместе и заниматься делами, что будет содействовать им во всех делах и советах, если будут начинать с него. Этими словами он легко убедил Антигона и Тевтама, ибо они не хотели идти к нему, равномерно и Эвмен не хотел, чтобы его видели идущим к дверям других. Они поставили шатер царский и престол, посвященный имени Александра, и сходились в оном для совещания о важнейших делах.

Продолжая путь свой к верхним областям*, встретил он вместе с другими полководцами Певкеста, который был его другом и который к нему присоединился. Многочисленность войска и блеск приготовления внушили македонянам бодрость, но эти полководцы, по смерти Александра, необузданные властью, преданные неге, принесли с собою тираннские чувства, возбужденные надменностью, свойственной варварам; они были один к другому враждебны, не имели между собою согласия. Они наперерыв льстили македонянам, издерживали деньги на пиршества и жертвоприношения и в короткое время сделали стан обиталищем распутства и невоздержания и воинов превратили в демократическую чернь, которые льстят и угождают при выборах начальников, как бывает в республиках. Эвмен, видя, что они презирали друг друга, а его боялись и искали удобного случая умертвить, притворился, что имел нужду в деньгах. Он занял их очень много*, особенно у тех, кто ненавидел его более других, дабы они, доверяя ему и заботясь о своих деньгах, воздержались от всякого на жизнь его покушения. И так случилось, что чужое богатство было хранителем его жизни, и тогда, когда многие дают деньги, чтобы спасти себя, он один приобретал себе безопасность тем, что у других занимал их.

Между тем македоняне, не имея занятий и будучи развращаемы подарками, оказывали внимание только тем, кто окружал себя толпой последователей и искал военачальства. Когда же Антигон с великими силами расположился станом близ них, и дела сами за себя говорили достаточно красноречиво, – тогда понадобился истинный полководец, и тут не только простые воины обратились к Эвмену, но даже все те, кто только в мирное время и в роскоши казался великим мужем, уступили ему; каждый из них покорялся и спокойно занимал место, ему назначенное. Когда Антигон предпринял перейти реку Паситигр*, то все те, кто стерег переправы, этого не заметили. Один Эвмен противостал ему, дал сражение, многих неприятелей умертвил, завалил ими реку, а в плен взял четыре тысячи. Во время приключившейся с ним болезни македоняне явно обнаружили мысли свои как о нем, так и о других; они были уверены, что другие полководцы могли угощать их и давать великолепные празднества, но он один был способен начальствовать и вести войну. Певкест угостил воинов пышным обедом в Персиде, роздал каждому по барану для принесения жертвы и думал после того, что он весьма велик среди них. По прошествии немногих дней войско двинулось на неприятеля. Эвмен после опасной болезни был носим на носилках в стороне от войска, дабы ему покойнее было по причине бессонницы. Войско прошло некоторое пространство, как вдруг увидело неприятеля, который перешел высоты и опустился на равнину. Как скоро с высот блеснули пред солнцем позлащенные оружия стройно идущего войска; как скоро македоняне увидели башни на слонах и пурпуровые покрывала, которыми их украшали, когда вели к сражению, то передние ряды их остановились, кричали, призывали Эвмена; они говорили, что не пойдут вперед, если Эвмен не будет предводительствовать ими. Они поставили оружия свои в землю, увещевали друг друга остановиться, а предводителям своим советовали пребывать в

спокойствии, без Эвмена не сражаться и не ввергаться в опасность. Эвмен, услышав это, велел поспешно нести себя к ним, поднял с обеих сторон занавесы носилок и простирал к ним руку с веселым лицом. Воины, увидев его, приветствовали македонским наречием, подняли свои щиты, ударили об оные сариссами, издавали радостные клики и вызывали неприятеля к битве, ибо их полководец был уже при них.

Антигон, который был извещен пленными, что Эвмен болен и что носят его на носилках по причине его слабости, почитал делом весьма нетрудным в болезни его разбить других полководцев, почему и спешил вступить с ними в дело. Когда неприятели стали в боевой порядок, и Антигон, приблизившись, увидел их распоряжение и устройство, то изумился и несколько времени стоял в одном положении. Потом увидев носилки, несомые с одного крыла на другое, он рассмеялся громко, по своему обыкновению, и сказал своим приближенным: «Знать, эти-то носилки и выстроились против нас!» Немедленно отвел он свое войско и занял стан*.

Македоняне, отдохнув немного, вновь начали быть управляемы лестью; оказывая презрение своим начальникам, они разделили почти всю Габиену себе на зимние жилища, так что передовые от задних отстояли почти на тысячу стадиев*. Антигон, узнав о том, принял намерение обратиться на них внезапно, дорогой безводной и трудной, но короткой и гористой, надеясь, что если успеет напасть на них, рассеянных в зимних жилищах, то полководцы нескоро успеют собрать войско. Итак, он вступил в землю ненаселенную; сильные ветры и великий холод препятствовали движению его войска, которому надлежало переносить великие трудности. Воины были принуждены разводить многие огни, и это не сокрылось от неприятелей. Варвары, обитавшие на горах, обращенных к ненаселенной стороне, были приведены в удивление множеством огней и послали вестников на дромадерах объявить о том Певкесту. При этом известии Певкест был вне себя от страха; видя, что и другие были также объяты ужасом, предался бегству, увлекая и воинов, которые попадались ему на дороге. Эвмен старался успокоить беспокойство и уменьшить страх, обещая им остановить быстроту неприятеля так, что он будет тремя днями позже, нежели как его ожидали. Ему удалось уверить их; он рассылал вестников с приказанием войску собираться поспешно из зимних жилищ своих, между тем сам с другими полководцами, выступив в поле, занял место открытое и видимое издали тем, которые шли со стороны степи. Он размерил оное, велел разводить многие огни в некотором расстоянии одни от других, как будто бы они были расположены станом. После того как это было исполнено и неприятели увидели с гористой стороны огни, то Антигон впал в уныние, думая, что неприятели давно заметили его движение и выступили к нему навстречу. Дабы войско его, утружденное и обессиленное походом, не было принуждено вступить в сражение с воинами, готовыми его принять и проведшими покойно зиму, оставил он кратчайшую дорогу, по которой были города и селения, давая время ему отдыхать. Не находя нигде препятствия, какое бывает, когда неприятельское войско противодействует, и узнав от окрестных жителей, что хотя они не видали тут никакого войска, но все места наполнены остатками огней, Антигон понял тогда, что он обманут Эвменом и в гневе своем шел вперед, спеша дать ему открытое сражение.

Между тем большая часть войска уже была собрана к Эвмену; воины удивлялись его прозорливости и хотели, чтобы он один ими предводительствовал. Антиген и Тевтам, начальники аргираспидов, завидовали ему и в досаде своей злоумышляли на жизнь его. Они собрали большую часть сатрапов и полководцев и рассуждали между собою, как и когда умертвить Эвмена. Все согласились в том, чтобы употребить его в сражении, а после того тотчас убить. Эвдам, начальник над слонами, и Федим объявили тайно Эвмену о злоумышлении не из благоприятства или усердия, а потому, что боялись лишиться денег, которые отдали ему взаймы. Эвмен поблагодарил их и, придя в свой шатер, объявил о том своим приятелям, говоря, что он находится среди скопища лютых зверей; потом написал завещание. Он разодрал и истребил все бумаги, дабы по смерти его содержащиеся в них секретные сведения не дали повод для обвинений и доносов на тех, кто ему о чем-либо писал.

Приведя таким образом все в порядок, он размышлял, вручить ли победу неприятелю или, убежав через Мидию и Армению, вступить в Каппадокию. Он ни на что не решился в присутствии друзей своих, но, долго колеблясь различными мыслями в столь горестном

положении, выстроил войско. Он увещевал греков и варваров, а фаланга и аргираспиды, ободряя его самого, говорили ему, что неприятель не выдержит их нападения. Это были старейшие воины Филиппа и Александра, искуснейшие подвижники в брани, до того времени непобежденные и никогда не уступавшие неприятелю. Многим из них было по семидесяти лет, но не было ни одного моложе шестидесяти. По этой причине они, наступая на воинов Антигона, кричали им: «Негодяи! Вы поднимаете оружие на отцов своих!» Они устремились с гневом на них и вдруг расстроили всю фалангу; никто не выдержал их нападения; большая часть погибла в ручном бою.

Здесь Антигон совершенно разбит был, но конницей одерживал верх над противниками, ибо Певкест сражался весьма слабо*. Антигон отнял у него весь обоз, действуя среди опасности с великим благоразумием и пользуясь выгодами местоположения. То была равнина весьма обширная, не совсем гладкая и твердая, песчаная, исполненная сухой земляной соли, которая, будучи истоптана и взрыта движением такого множества коней и людей, подняла во время сражения подобную извести пыль, которая сгущала воздух и омрачала взоры. Поэтому Антигон с легкостью завладел тайно обозом неприятельским.

По прекращении битвы Тевтам немедленно послал просить обратно обоза. Антигон обещал аргираспидам возвратить обоз и со всеми поступить снисходительно, если только они выдадут ему Эвмена. Тогда аргираспиды решились на поступок жестокий и бесчеловечный: предать Эвмена живого неприятелю. Сперва они приближались к нему, не подавая никакого подозрения, и стерегли его; между тем одни из них оплакивали обоз, другие просили Эвмена, одержавшего победу, не беспокоиться о том; иные же обвиняли в потере обоза других полководцев. Потом вдруг напали на него, вырвали нож и связали ему руки назад поясом. Когда послан был от Антигона Никанор, дабы его взять, Эвмен, будучи водим среди македонян, требовал позволения говорить, не потому, чтобы он хотел просить их о пощаде, но для объявления им того, что считал для них полезным. Последовало молчание; Эвмен стал на возвышенное место и, простирая к ним связанные руки, говорил следующее: «О вы, презреннейшие из македонян! Какой трофей желал бы Антигон воздвигнуть вам, как не тот, который вы сами себе воздвигаете, выдавая пленником ему полководца своего? Не бесчестно ли для вас и то, что вы, побеждая, признаете себя побежденными по отнятии у вас одного только обоза, как будто бы победа состоит в деньгах, а не в оружиях? Но вы и полководца посылаете на выкуп за обоз! Я, будучи непобедим, победив неприятеля, влекусь в плен, погубляемый союзниками! Заклинаю вас Зевсом, предстателем ратных сил, заклинаю богами, покровителями клятв, умертвите меня здесь сами! И там убитый, все вами же погублен буду. Антигон не будет за то на вас жаловаться. Он имеет нужду в мертвом, а не в живом Эвмене. Если не хотите осквернить рук ваших, то развяжите одну из моих; она послужит мне к совершению своего дела. Если вы не вверяете мне меча, то бросьте меня связанного диким зверям. После этого я освобожу вас от всякой ответственности, как бы вы были воины самые праведные и безвинные в отношении к своему полководцу».

Между тем как Эвмен говорил это, войско было объято горестью; все плакали. Одни аргираспиды кричали, чтобы его вели и не слушали его пустословия, что нет в том беды, если погибнет этот опасный херсонесец, многократно вооружавший македонян против македонян; и что непристойно будет, когда отборнейшие воины Александра и Филиппа, после таких трудов, в старых летах своих лишатся приобретенной награды и будут получать от других пищу, между тем как жены их спят уже третий день с неприятелями. С этими словами они повлекли его поспешно. Антигон, увидев многочисленную толпу, устрашился (ибо в стане не осталось ни одного человека) и послал десять отборнейших слонов и многих копьеносцев из парфян и мидян, чтобы рассеять ее. Он не захотел видеть Эвмена по причине прежде бывшей с ним дружбы и связи. Когда те, кому Эвмен был предан, спросили Антигона: «Как его стеречь?» То он отвечал: «Как слона!» Но вскоре сжалился, велел снять с него тяжкие оковы и приставить к нему служителя, для мазания его маслом. Сверх того он позволил друзьям его, кто хотел, проводить с ним время и приносить ему все нужное. Несколько дней Антигон рассуждал сам с собой, как с Эвменом поступить. Он был склонен слушаться слов и увещаний критянина Неарха и сына своего Деметрия, которые желали спасти Эвмена, но все другие тому противились и подавали мнение умертвить его. Говорят, что Эвмен спросил стерегущего его

Ономарха, для чего Антигон, имея во власти своей неприятеля и противника своего, ни предает его тотчас смерти, ни освобождает его великодушно? Ономарх, с обидой для Эвмена, отвечал ему, что не ныне, а в сражении надлежало бы ему быть равнодушным к смерти. «Я и тогда был таков, – возразил Эвмен, – спроси тех, кто со мной сражался; я не нашел никого храбрее и сильнее себя». «Но теперь, – отвечал Ономарх, – ты нашел того, кто сильнее тебя; для чего же ты не дожидаешься спокойно его решения?»

Когда Антигон решился умертвить Эвмена, то не велел давать ему пищи. Эвмен два дня или три дня приближался, таким образом, к концу своему. Неожиданно дано было приказание выступить в поход и в то же время посланы люди, которые его умертвили. Мертвое тело предал Антигон друзьям его с приказанием сжечь, а прах его, собрав, положить в серебряную урну, чтобы вручить его жене и детям.

Так умер Эвмен! Божество не позволило другому наказать предавших его полководцев и воинов. Сам Антигон, ненавидя аргираспидов как людей свирепых и беззаконных, предал их Сибиртию, который управлял Арахосией*, с приказанием стараться всячески их истребить и уничтожить, так, чтобы никто из них не ушел в Македонию и не увидел Греческого моря.

Сравнение Эвмена с Серторием

Вот достопамятнейшие происшествия, которые мы получили об Эвмене и Сертории. Сравнивая одного с другим, находим между ними то общее, что они, будучи иноземцы и изгнанники, управляли разными народами, храбрыми войсками и великими силами. Особенное же в Сертории то, что все союзники уступали ему верховную власть по причине его важности; в Эвмене то, что он своими деяниями получал первенство среди многих полководцев, оспаривавших у него оное. Одному повиновались, желая быть управляемыми; другому были послушны, для пользы своей, не будучи сами способны управлять. Один, будучи римлянином, предводительствовал иберами и лузитанцами; другой, будучи херсонесцем, военачальствовал над македонянами, но одни издревле были подвластны римлянам, а другие в тогдашнее время всех себе поработили. Один приобрел предводительство, будучи уважаем как сенатор и полководец; другой сделался вождем великих сил, несмотря на пренебрежение, какое оказываемо было ему как человеку, занимавшемуся всегда письменными делами. Этот последний не только имел меньше средств к приобретению власти в самом начале, но и при возвышении своем встречал гораздо большие препятствия. Многие явно восставали против него, многие тайно злоумышляли; против Сертория никто не восставал явно, впоследствии же, и то немногие из союзников, вооружились против него. По этой причине один, побеждая неприятелей, преодолевал опасности; другой, имея завистников, производил для себя опасности своими победами.

Что касается до их военных деяний, то оные равны и подобны, но в остальном они отличались. Эвмен был склонен к распрям и любил войну; Серторий был кроток и любил спокойствие. Один мог бы жить безопасно и с честью, удаляясь дел, но провел жизнь свою во всегдашних опасностях, противоборствуя первейшим мужам. Другой, не имея желания заниматься бедами, принужден был, за безопасность своей жизни, вести войну с теми, которые не хотели оставить его в покое. Когда бы Эвмен отстал от желания первенствовать и удовольствовался быть вторым по Антигоне, то этот охотно бы употребил его, но Серторию Помпей не позволял даже и жить в покое. По этой причине Эвмену случилось сражаться по своей воле за предводительство, а Серторий должен был начальствовать поневоле, ибо против него поднимали войну. Итак, можно назвать браннолюбивым того, кто предпочитает власть спокойствию, а воинственным того, кто войной приобретает себе безопасность.

Что касается до смерти их, то один убит, нимало не предвидя своего жребия, другой ожидал его. Жребий первого доказывает его доброту: он думал, что вверялся друзьям своим; смерть другого показывает слабость: он был пойман тогда, когда намеревался убежать. Смерть одного не посрамила его жизни; союзники поступили с ним так, как не поступал никто из неприятелей. Другой не мог бежать прежде, нежели попал в плен, и тогда еще желая жизни, не отвратил от себя смерти, не претерпел ее с похвалой; он просил, умолял об освобождении себя и тем сделал неприятеля владыкой над своей душой, тогда как враг, казалось, владел только его

телом.

Агесилай и Помпей

Агесилай

Архидам*, сын Зевксидама, царствовавший над лакедемонянами с большой славой, оставил по себе двух сыновей: Агиса от Лампидо*, женщины весьма почтенной, и младшего – Агесилая от Эвполии, дочери Мелессипида. По законам царство принадлежало Агису. Агесилай, казалось, должен был жить в частном состоянии, и потому получил обыкновенное лакедемонское воспитание, суровое и многотрудное, но научающее граждан повиновению. По этой причине стихотворец Симонид назвал Спарту «Покорительницей мужей», ибо она в особенности заставляла граждан быть по привычке покорными и послушными законам, подобно коням, с самого начала обучаемым. Закон освобождает от этого принуждения детей, воспитываемых для царства. В Агесилае было отлично то, что он получил власть, научившись прежде повиноваться, а потому лучше всех царей умел жить в согласии со своими поданными, ибо он к природной царской важности, к природному его величию присоединял снисходительность и приятность нрава, приобретенные воспитанием.

В собраниях молодых людей, вместе воспитывавшихся, которые назывались агелами*, Агесилай привлек к себе любовь Лисандра, который прельстился более всего скромным и благопристойным его поведением. Будучи упорнее и пламеннее всех юношей, имея непреоборимое желание во всем первенствовать, он сохранял в себе такую покорность, такую кротость, что не из страха, но из уважения исполнял все приказания, и более печалился от выговоров, нежели обременялся трудами. Красота его в цветущих летах скрывала хромоту его; немалым облегчением от тяжкого недостатка было ему и то, что он сносил его весело и с равнодушием, первый смеялся и шутил над самим собой. Хромота усиливала его честолюбие, ибо не было труда или предприятия, от которого бы он отказался под предлогом этого недостатка. Мы не имеем никакого изображения его; он сам того не хотел, и умирая запретил делать какое-либо изображение своего тела, живописное или ваятельное. Говорят, что он был ростом мал и видом не важен. Приятный нрав, всегдашняя веселость и шутливость, не имеющая в себе ничего неприятного и жестокого ни в голосе, ни в виде, соделывали его и в старости любезнее самых пригожих юношей. Феофраст повествует, что эфоры наложили на Архидама пеню за то, что он женился на малорослой женщине. «Не царей родит нам она, – говорили они, – но царьков».

В царствование Агиса прибыл из Сицилии в Спарту Алкивиад*, изгнанный из отечества. Вскоре по прибытии своем, он обвиняем был в тайной связи с царицей Тимеей. Рожденного от нее сына Агис* не признавал своим, но утверждал, что Алкивиад отец его. Тимея, как говорит Дурис, сносила это равнодушно и внутри своего дома, говоря тихо с рабынями, называла сына своего Алкивиадом, а не Леотихидом. Сам Алкивиад признавался, что вступил в связь с Тимеей не из любострастия, но из любочестия, дабы над спартанцами царствовали его потомки. Впрочем, это было причиной, что Алкивиад, страшась Агиса, удалился из Спарты. Агис всегда был в сомнении о Леотихиде и никогда не почитал его своим сыном. Во время его болезни Леотихид со слезами пал пред ним и в присутствии многих упросил признать его за своего сына. Но по смерти Агиса Лисандр, победив уже афинян на море и имея великую силу в Спарте, старался возвести Агесилая на царство, не принадлежащее Леотихиду, как незаконнорожденному. Многие из других граждан, уважая великие качества Агесилая, возраст и будучи воспитаны вместе с ним, помогали и содействовали ему со всевозможным усердием. В то время находился в Спарте Диопиф, знавший великое множество древних предсказаний, почитавшийся мудрым и отлично сведущим в делах, касающихся богов. Он утверждал, что беззаконно быть хромому царем в Лакедемоне, и читал в суде следующее прорицание:

Хотя ты славою, о Спарта, вознесенна,
Доколь на двух ногах ты будешь утвержденной;

Хромого царствия ты пагубы берегись,
Чтоб бури, бедствия тебя не обступили,
И волны бурные войны не потопили.

Лисандр против этого говорил, что если спартанцы страшатся прорицания, то должны беречься Леотихида, ибо божеству не может быть противен тот, кто царствует с поврежденной ногой, но под хромым царством, разумеется царство того, кто достигнет оного, будучи рожден незаконно и не происходя от Геракла. Агесилай утверждал, что сам Нептун свидетельствовал о незаконном рождении Леотихида, заставив землетрясением Агиса выбежать из чертога своей супруги; по прошествии же десяти месяцев и более родился Леотихид.

Таким образом, Агесилай, возведенный на царство, получил и все имущество, лишив оного Леотихида, как незаконнорожденного, но видя, что родственники его матери, которые были люди добрые, находились в крайней бедности, он разделил между ними половину имения, приобретая этим наследством любовь и славу вместо зависти и ненависти.

По словам Ксенофона, Агесилай, повинуясь отечеству, тем более имел силы и делал, что хотел. В то время власть эфоров и геронтов* была в республике величайшая. Правление первых продолжается только один год; геронты всю жизнь имеют это достоинство. И те, и другие установлены для ограничения царской власти, как сказано в Ликурговом жизнеописании. По этой причине с древних времен цари спартанские, при самом вступлении на престол, начинали иметь с ними распри и несогласия, которые переходили в потомство. Агесилай шел противоположной дорогой. Вместо того, чтобы с ними ссориться и им противиться, он старался им угождать и не предпринимал никакого дела без их совета. Когда он был призываем в их собрание, то шел к ним немедленно. Когда сидел на царском престоле, занимаясь делами, то всегда вставал при приближении эфоров. Всякому избранному в геронты он посылал всегда в подарок плащ и быка. Таким образом, оказывая честь сему достоинству и их властью возвышаясь нечувствительным образом, он умножал свою силу и придавал царскому сану величие и могущество, которое уступали ему из благосклонности.

В рассуждении поступков и обхождения его с другими гражданами можно сказать, что он был невиннее во вражде, нежели в дружбе, ибо врагам своим не делал зла несправедливо, а друзьям содействовал и в несправедливых делах. Он стыдился не уважать врагов своих за их славные подвиги, но не был в состоянии выговаривать своим друзьям, когда они проступались; ему было приятно и в том помогать им, и делать проступки вместе с ними, не считая никакого дружеского вспоможения постыдным. Тем, кто был с ним в раздоре и впадал в несчастье, он первый соболезновал, ревностно оказывал им свою помощь, когда они его просили, и через то всем нравился, всех к себе привязывал. Эфоры, замечая это и боясь его могущества, наложили на него пеню под тем предлогом, что он делает своими граждан, принадлежащих обществу. Ибо подобно тому, как физики полагают, что если бы распри и раздор были отняты от вселенной, то небесные тела остановились бы, не было бы ни рождения, ни движения, по причине совершенного между всеми согласия, так, по-видимому, лакедемонский законодатель в общество, им образованное, вложил любочестие и любоначалие, как средства, воспламеняющие добродетель, желая, чтобы между лучшими согражданами было некоторое несогласие и соревнование. Угодливость, взаимно уступающая без разбора и прекословия, как свойство не деятельное и не противодействующее, несправедливо называется согласием. Гомер, как многие полагают, был того же мнения; в противном случае он не представил бы Агамемнона веселящимся тому, что Одиссей и Ахилл дошли до укоризны в самых жестоких словах, если бы взаимную ревность и распри между отличнейшими мужами не почитал великим благом для общества. Впрочем, нельзя этого допустить просто без исключения, ибо раздоры, достигающие крайней степени, вредны для обществ и сопряжены с величайшими для них опасностями.

Едва Агесилай вступил на престол, как в Спарте получено известие, что царь персидский с многочисленным флотом приготовлялся лишить лакедемонян владычества над морем. Лисандр желал опять быть посланным в Азию на помощь своим приятелям, которых оставил правителями и властителями городов, и которые, употребляя во зло власть свою, были изгоняемы и умерщвляемы гражданами. Он убедил Агесилая предпринять этот поход, вести

войну как можно далее от Греции и предупредить приготовления персов. В то самое время он писал приятелям своим в Азию, чтобы они отправили в Лакедемон посланников и требовали Агесилая себе в полководцы. Агесилай, представ перед народом, объявил, что предпримет войну, если дано будет ему тридцать военачальников и советников спартанских, две тысячи отборных воинов из вновь вступивших в гражданство* и шесть тысяч из союзников. Все требования Агесилая были одобрены, по старанию Лисандра. Царь вскоре отправился, имея при себе тридцать спартанцев, среди которых Лисандр был первый, не только по собственной своей славе и силе, но и по приязни к нему Агесилая, который за это предводительство, более нежели за самое царство, почитал себя обязанным Лисандру.

Между тем как силы его собирались в Гересте*, он прибыл в Авлиду со своими друзьями и провел там ночь. Ему приснилось, что некто говорил ему следующее: «Царь лакедемонский! Тебе известно, что никто не сделался вождем всей вообще Греции, кроме Агамемнона, а после него никто, кроме тебя. Поскольку ты теми же предводительствуешь, кем предводительствовал и он; с теми же ведешь войну и от тех же мест отправляешься, то должен ты принести богине ту самую жертву, которую принес Агамемнон перед отплытием своим отсюда». Агесилаю пришло тогда на мысль жертвоприношение девы, которую заклал сам отец, убежденный словами прорицателей, но это сновидение не смутило его. Он встал, рассказал друзьям своим сон и присовокупил, что он почтит богиню тем, чем прилично ей веселиться, но не будет подражать невежеству тогдашнего вождя. Он украсил оленя и велел своему прорицателю принести животное в жертву, но не по тому обряду, который был назначен беотийцами. Беотархи, узнав об этом и будучи движимы гневом, послали служителей своих запретить Агесилаю приносить жертвы против законов и древних обычаев беотийцев. Служители не только возвестили ему это, но еще сбросили жертвы с жертвенника. Агесилай отплыл в великом неудовольствии, гневаясь на фиванцев; это неблагоприятное предзнаменование повергло его в отчаяние и заставило думать, что подвиги его будут несовершенны и предприятие не достигнет предполагаемой цели.

По прибытии своем в Эфес он с неудовольствием видел великую силу и важность Лисандра; множество народа толпилось ежедневно у дверей его; все за ним следовали, оказывали ему уважение, как будто бы Агесилай имел только по закону название и вид полководца, а в самом деле Лисандр имел все могущество и власть и всем управлял по своей воле. Ни один из полководцев, посланных в Азию, не был страшнее и могущественнее Лисандра; никто не сделал столько добра друзьям своим, столько зла своим неприятелям, сколько он сделал. Все его деяния еще были свежи в памяти тамошних жителей, которые, видя простоту в обращении и снисходительность Агесилая, а в Лисандре прежнюю жестокость нрава, гордость и краткословие, преклонялись перед ним и одному ему оказывали все внимание. Сначала это возбуждало неудовольствие в прочих спартанцах, ибо они казались более прислужниками Лисандра, нежели советниками царскими. Вскоре сам Агесилай, чрезмерно честолюбивый и упорный, хотя независтливый и не досадовавший на уважение, оказываемое другим, стал бояться того, что если бы он произвел что-либо блистательное, то вся честь принадлежать будет Лисандру по причине великой его славы. Итак, Агесилай начал поступать с ним следующим образом: сперва отвергал его советы, оставлял без уважения и пренебрегал всем тем, что Лисандр предлагал и о чем старался; делал ему совсем противное; потом всех просителей, которые, сколько ему было известно, полагались на Лисандра, отсылал от себя, не исполняя их просьбы. Равным образом в судах, кому Лисандр более хотел вредить, тому должно было выиграть; и напротив того, в пользу кого он явно старался, тому трудно было избегнуть пени. Так как все это делалось не по случаю, а с намерением и беспрестанно, то Лисандр, чувствуя сему причину, не скрывался от своих друзей; он говорил им, что ради его они претерпевают бесчестие, и советовал им обращаться к царю и к тем, кто больше имел силы, с изъяснением своего почтения.

Агесилай, чувствуя, что Лисандр говорил и поступал таким образом для возбуждения против него ненависти и желая еще более унизить его, дал ему должность раздавателя мяса*, сказав притом в присутствии многих: «Пусть теперь они идут и оказывают уважение моему раздавателю мяса». Лисандр, огорченный должностью, сказал ему: «Ты хорошо умеешь, Агесилай, унижать друзей своих». – «Я умею унижать тех, кто хотят быть могущественнее

меня», – отвечал Агесилай. «Но, может быть, государь, – продолжал Лисандр, – тебе сказали больше, нежели я сделал. Итак, дай мне должность и место, где, не оскорбляя тебя, мог бы я тебе быть полезным». Агесилай после того отправил его в Геллеспонт. Вскоре Лисандр привел к нему перса Спифридата из сатрапии Фарнабаза с большим богатством и двумястами воинами, но гнев его еще не укротился; негодуя на оказанное ему унижение, он намеревался лишить два рода исключительного права на царство и предоставить оное всем спартанцам. Он произвел бы великое беспокойство этим раздором, если бы не кончил жизнь свою во время похода в Беотию. Вот как честолюбивые души, не сохраняя умеренности в управлении, производят более зла, нежели добра. Если Лисандр был высокомерен и не знал меры в своем честолюбии, то Агесилай, без сомнения, знал другие не столь унизительные средства к исправлению ошибок столь славного и честолюбивого мужа, но, кажется, оба они были одержимы одной страстью: один не признавал власти начальника, другой не терпел безрассудства своего друга.

В начале войны Тиссаферн*, боясь Агесилая, заключил с ним договор, которым царь персидский обязывался возвратить независимость греческим городам, находящимся в Азии; вскоре после того, думая, что у него есть достаточные силы, он начал войну, и Агесилай принялся за нее охотно*, ибо он ожидал чего-то великого от этого похода и почитал бесчестием для себя, что десять тысяч греков, под предводительством Ксенофонта, дошли до моря*, победив царские войска столько раз, сколько сами хотели, а между тем, чтобы он, предводительствуя лакедемонянами, обладающими морем и землей, не оказал в глазах греков никакого достопамятного подвига. Итак, вскоре позволительным обманом он отомстил за клятвопреступление Тиссаферну. Он притворился, будто хочет вступить в Карию. Тиссаферн собрал там свои силы, а Агесилай напал на Фригию. Он взял несколько городов, завладел великим богатством и показал друзьям своим, что нарушение клятвы и договора значит презрение к богам, а обманывать своих неприятелей не только простительно, но и славно, и польза, от того происходящая, сопряжена с удовольствием.

Поскольку неприятель одержал над ним верх конницей и жертвы оказались неблагоприятными, то он удалился в Эфес и собирал всадников. Он объявил богатым, что кто из них не хочет идти на войну, то может за себя поставить коня и воина. Таковых было великое число. Вскоре Агесилай собрал множество храбрых всадников вместо робких и богатых. Те, кто не хотел идти в поход, ни служить в коннице, нанимал за себя людей, которые охотно на это согласились. Он полагал, что Агамемнон благоразумно поступил*, когда, взяв хорошей породы кобылицу, уволил от похода человека богатого и робкого. По приказанию Агесилая приставленные к добыче чиновники продавали пленных, раздевши их донага. Многие покупали их платье, но смеялись, смотря на белые и нежные тела их, как людей воспитанных в неге и роскоши; их почитали бесполезными и ничего не значащими. Агесилай подошел к ним, сказал воинам: «Вот с кем вы воюете, и вот за что воюете!», указывая на богатые их одежды.

Когда настало время вступить вновь в неприятельскую землю, то Агесилай сказал наперед, что пойдет на Лидию; он не обманывал Тиссаферна, но Тиссаферн, обманутый прежде Агесилаем, не веря уже ему, обманул сам себя. Он думал, что Агесилай, имея в коннице великий недостаток, намеревался вступить теперь в Карию, в которой неспособно действовать оной, но когда

Агесилай, как он говорил ранее, прибыл на равнины, окружающие Сарды, то Тиссаферн принужден был поспешить к городу на помощь, напал конницей на неприятелей, рассеянных для грабежа на равнине, и победил многих. Агесилай, приметив, что неприятель не имеет при себе пехоты и что у него все силы собраны, поспешил дать сражение. Он смешал легкую пехоту с конницей и приказал им со всевозможной поспешностью идти вперед и учинить нападение на неприятеля, на которого скоро вел он сам тяжелую пехоту. Варвары были разбиты. Греки их преследовали, овладели их станом и многих умертвили. После этой битвы они не только могли безбоязненно грабить и разорять царские области, но видели наказанным Тиссаферна, человека злого и всем грекам враждебнейшего, ибо персидский царь вскоре послал от себя Тифравста, который после того отрубил ему голову*, а Агесилаю предложил заключить мир и отправиться в отечество; притом он послал ему деньги. Агесилай отвечал, что мир заключить имеет власть одна только республика, что для него приятнее обогащать воинов своих, нежели самому быть богатым; и что сверх того греки почитают славным от врагов получать добычу, а не подарки.

Но из уважения к Тифравсту, наказавшему Тиссаферна, общего врага грекам, он отступил во Фригию, взяв от него тридцать талантов на содержание войска.

В самом отступлении Агесилай получил от правительства скиталу с повелением принять начальство над морскими силами. Одному Агесилаю отечество вручило столь великую власть; он без сомнения был, как говорит и Феопомп, величайший и знаменитейший из всех людей того времени, но надлежало ему, как подтверждает этот писатель, гордиться более добродетелью, нежели могуществом. Тогда Агесилай назначил Писандра начальником морских сил и ошибся*, ибо многие были старее и способнее Писандра, но Агесилай, невзирая на пользу своего отечества, а уважая только дружбу и угождая жене своей, которой Писандр приходился братом, поручил ему власть над морскими силами.

Остановившись с войском своим в области, управляемой Фарнабазом, Агесилай не только имел в изобилии все нужное, но и собрал великое множество денег. Он дошел до Пафлагонии и заключил союз с царем Котием, который желал дружбы Агесилаевой, уважая доблесть его и верность слова. Спифридат, отпавший от Фарнабаза, присоединился к Агесилаю и всюду следовал за ним во всех его странствованиях и походах. Он имел прекрасного сына по имени Мегабат, которого весьма любил Агесилай, и дочь, также прекрасную и взрослую, на которой Агесилай убедил жениться Котия. Спифридат принял от Агесилая тысячу человек конницы и две тысячи легковооруженной пехоты. Опять возвратился во Фригию и разорял области Фарнабаза. Этот правитель никогда не выдерживал его нападения, не полагался на крепость стен своих, но имея при себе все свои сокровища и драгоценности, удалялся и убегал от него, переменяя беспрестанно местопребывание. Наконец Спифридат подстерег его и с помощью спартанца Гериппида завладел станом и получил в добычу все богатство его, но Гериппид строгим разысканием украденной добычи, принуждая варваров возвращать то, что они взяли, все рассматривая и обыскивая, до того раздражал Спифридата, что он тотчас убежал в Сарды вместе с пафлагонцами. Говорят, что для Агесилая ничего не было горестнее этой потери. С одной стороны жалел он, что лишился столь храброго человека, каков был Спифридат, и с ним немалой силы, а с другой боялся упрека в мелочной и низкой скупости, от которой не только старался предохранить себя, но и самое свое отечество. Кроме этих важных причин, мучила его любовь к юноше, хотя в присутствии его, по собственному своему упрямству, употреблял он все свои усилия к побеждению своей страсти. Некогда даже уклонился он от Мегабата, который приближался к нему, чтобы обнять и поцеловать его. Мегабат устыдился отказа и с того времени приветствовал его издали. Огорченный Агесилай, раскаясь в своем поступке, показал удивление, что Мегабат не приветствовал уже его дружеским поцелуем. «Ты сам, государь, тому виной, – отвечали ему приятели его, – ты не принял приветствия прекрасного юноши, устрашившись его. Если он опять согласится подойти к тебе и приветствовать, то берегись, чтобы не оробеть в другой раз!» Агесилай несколько времени пребывал в размышлении и безмолвии, наконец, сказал им: «Не старайтесь склонять его; для меня будет приятнее преодолеть себя в другой раз, нежели видеть все то, что предо мной, превращенным в золото». Так думал Агесилай, пока Мегабат был при нем, но когда он лишился его, то был столь опечален, что трудно сказать, имел ли бы он силы отказаться от приветствия его, когда бы он возвратился и предстал пред ним.

По прошествии некоторого времени Фарнабаз изъявил желание видеться и переговорить с Агесилаем. Их свел кизикиец Аполлофан, связанный с обоими гостеприимством. Агесилай со своими друзьями первый пришел к назначенному месту, бросился на высокую траву под тенью и ожидал Фарнабаза. Этот пришел; хотя посланы были для него мягкие кожи и разноцветные ковры, но он из уважения к Агесилаю, лежавшему таким образом, лег так же, как попало, на траву, несмотря на то, что носил платье удивительно тонкое и прекрасного цвета. Они приветствовали друг друга. Фарнабаз не имел недостатка в справедливых жалобах на лакедемонян, ибо он оказал им великую помощь в войне против афинян, а ныне от них претерпевал разорение. Агесилай видел, что спартанцы, окружавшие его, были поражены словами его, потупляли глаза в землю от стыда и не знали, что отвечать, ибо видели Фарнабаза обиженным. Агесилай сказал ему: «Фарнабаз! Будучи прежде друзьями царя, мы поступали дружески со всем тем, что ему принадлежало; сделавшись его неприятелями, мы поступаем неприятельски. Видя, что и ты желаешь быть его принадлежностью, делая тебе зло, мы вредим

ему, но с того дня, как ты скорее захочешь быть другом и союзником греков, нежели рабом царским, будь уверен, что эта фаланга, эти оружия, эти корабли и все мы будем хранителями твоих имуществ и вольности, без которой для смертных нет ничего прекрасного, нет ничего привлекательного». Тогда Фарнабаз открыл ему свои мысли. «Если царь, – говорил он, – назначит другого полководца, то я соединюсь с вами, но если мне поручит начальство, то не будет во мне недостатка в усердии для защиты областей его и в причинении вам вреда для пользы его». Агесилаю приятно было это слышать; он встал в одно время с ним и, взяв его за руку, сказал: «О, если бы ты, будучи таким человеком, лучше захотел быть нашим другом, нежели врагом!»

Между тем как Фарнабаз с друзьями своими удалялся, сын его, отстав от него, прибежал к Агесилаю и сказал ему, улыбаясь: «Агесилай! Я заключаю с тобой союз гостеприимства». С этими словами он дал ему метательное копье, которое было у него в руке. Агесилай принял оное и, прельстясь видом и лаской молодого юноши, смотрел вокруг себя на предстоявших, не имеет ли кто, чем бы отдарить прекрасного и благородного юношу. Увидев у писца своего Идея коня с богатым убором, снял оный с поспешностью и отдал юноше. Он не переставал вспоминать о нем. Спустя долгое время после того, когда этот юноша, изгнанный братьями из своего дома, убежал в Пелопоннес, Агесилай имел великое о нем попечение и даже оказал помощь другу его. Молодой перс был связан дружбой с афинским бойцом, который, будучи уже велик и силен, был в опасности быть исключенным из Олимпийских игр*. Тогда перс прибегнул к Агесилаю и просил его о своем друге. Агесилай, желая и в этом случае услужить ему, с великим трудом достиг того, чего хотел. Он был во всем справедлив и точный исполнитель законов, но в том, что касалось до его друзей, излишнюю справедливость почитал отговоркой. После него осталось краткое письмо его к карийцу Гидриею*, в следующих словах: «Если Никий невинен, то отпусти его; если виновен, отпусти его для меня; как бы то ни было, отпусти его». Таков большей частью был Агесилай в рассуждении друзей своих! При всем том он часто пользовался обстоятельствами к общей пользе, что показал следующим поступком. Некогда должно было ему поспешно снять стан в беспорядке и оставить в болезни своего любимца. Больной просил и звал его, но он, обратясь к нему, сказал: «Как тяжко сострадать и рассуждать!» Об этом повествует философ Иероним.

Уже два года предводительствовал он войсками; слух о нем простерся до верхней Азии и наполнил ее славой о воздержании, простоте и умеренности его. В походах обыкновенно он останавливался в священнейших храмах, дабы боги были свидетелями и зрителями тех деяний, которые мы не многим позволяем видеть. Среди многих тысяч воинов трудно было найти такого, у которого был бы тюфяк хуже и проще того, нежели какой Агесилай имел. Он так нечувствителен был к холоду и жару, что, казалось, один был создан переносить различные времена года, так как боги оные смешивают.

Сколь приятное зрелище было для греков, обитавших в Азии, видеть сатрапов и полководцев, прежде столь надменных, несносных и утопающих в богатстве и роскоши, а ныне с покорностью льстящих человеку, ходящему в простом платье, приноравливающих себя к нему и преобразующихся по одному его краткому, лаконическому слову! Многим тогда приходили на мысль стихи Тимофея*:

Днесь Арес царствует; не страшно грекам злато.

Вся Азия волновалась, области были готовы к возмущению. Агесилай, устроив тамошние города, учредив во всех правление и приличный порядок без убийств, без изгнания граждан, хотел идти далее перенести войну от греческого моря в внутренность Персии, заставить царя сразиться за себя и за блаженство, которым он наслаждается в Экбатане и Сузах*, дабы он, сидя спокойно на своем престоле, не имел времени награждать греков за войны, возбуждаемые им, ни подкупать их демагогов.

Но в это самое время прибыл к нему спартанец Эпикидит с известием, что Спарте угрожает страшная война с греками, что эфоры отзывают его назад и приказывают спешить на помощь отечеству.

Несчастные греки! Сколь варварские бедствия вы изобрели для самих себя!*

Ибо каким другим именем назвать можно тогдашнюю зависть, возмущение и союз греков против греков? Они своими руками удержали парящее вверх счастье; оружия, поднятые на варваров, и войну, далеко от Греции переселенную, вновь на самих себя обратили. Я не могу быть одного мнения с коринфянином Демаратом, который сказал, что великого удовольствия лишились греки, не видавшие Александра на престоле Дария. Напротив того, они должны бы, кажется, пролить слезы, рассудив, какую славу оставили Александру и македонянам те, кто при Левктре, при Коринфе и в Аркадии истребил лучших греческих полководцев. Агесилай не сделал ничего прекраснее и славнее сего отступления; не было никогда лучшего примера покорности и справедливости. Ганнибал, уже находившийся в невыгодном положении и вытесняемый из Италии, с трудом повиновался приказу призывавших его к войне, которая угрожала отечеству. Александр даже смеялся, узнав о сражении Антипатра с Агисом, и сказал предстоящим: «Кажется мне, друзья мои, что когда мы здесь побеждали Дария, там в Аркадии происходила война между мышами». Не должно ли почитать Спарту блаженной за почтение, которое к ней оказывал Агесилай, за благоговение к ее законам? Едва он получил скиталу, как вдруг оставил такое счастье, всю власть свою и великие надежды, которые им водили, и тотчас отплыл назад, не совершивши своих подвигов, оставив в союзниках великое по себе сожаление. Приятностью своего обхождения он опроверг сказанное Эрасистратом, сыном Феака, будто бы лакедемоняне были лучше в общественной, а афиняне в частной жизни. Показав себя превосходным царем и полководцем, Агесилай был еще лучше и приятнее для тех, кто пользовался часто дружбой его и знакомством.

Поскольку на персидской монете изображен был стрелец, то Агесилай, при отступлении своем, сказал, что царь десятью тысячами стрельцов изгоняет его из Азии, ибо такое число привезено в Афины и в Фивы и роздано демагогам, возбудившим эти народы к войне против Спарты*.

Переправившись через Геллеспонт, Агесилай шел Фракией; он не просил у варваров на то позволения, но, посылая к ним, спрашивал, как ему перейти через их области, дружески или неприятельски. Все приняли его дружески и сопровождали с честью, как только кто мог. Одни трохалы*, которым и Ксеркс, как говорят, послал дары для свободного проезда через их земли, требовали от Агесилая ста талантов серебра и столько же женщин. Агесилай спросил у них с колкостью: «Для чего они не пришли тотчас взять их?» Он продолжал свою дорогу, напал на них, устроившихся в боевом порядке, победил и многих оставил на месте. Подобный отзыв сделал он и царю македонскому, который отвечал, что о том подумает. «Пусть он думает, – сказал Агесилай, – а мы теперь же пойдем». Царь, удивившись смелости его и страшась ее, просил его пройти дружески.

Агесилай разорил область фессалийцев, союзных с неприятелями Спарты. В Лариссу послал Ксенокла и Скифа с мирными от Спарты предложениями. Эти посланники был задержаны и заключены в тюрьму в Лариссе. Спартанцы, раздраженные этим поступком, желали, чтобы Агесилай осадил и взял этот город, но он сказал, что не хочет завладеть и всею Фессалией, если то будет стоить жизни хотя одного из этих мужей. Он получил их обратно по договору. Таковой поступок не удивителен в Агесилае, ибо вскоре после того, узнав, что при Коринфе дано было великое сражение*, в котором погибли в короткое время знаменитейшие мужи, и что убито весьма мало спартанцев и великое множество неприятелей, он не только этим не возгордился и не показал ни малейшей радости, но, тяжко вздохнув, воскликнул: «Горе тебе, Греция! Ты своими руками погубила множество мужей, которые, будучи живы и сражаясь за тебя, победили бы всех варваров».

Во время его прохождения фарсальцы наступили на него и беспокоили войско. Предводительствуя сам пятьюстами конными, он напал на них, обратил в бегство и воздвигнул трофей у Нарфакия*. Эта победа была для него приятнее всех других потому, что лишь конницей он победил тех, кто своей конницей весьма много славился.

Сюда прибыл к нему из Спарты эфор Дифрид, с приказанием вступить немедленно в Беотию. Агесилай, намереваясь сделать нападение после того с большими силами, считал, что

не надлежало ни в чем не оказывать неповиновения властям. Объявив своим воинам, что уже приближается тот день, для которого они вызваны из Азии, велел двум морам* из войска, стоявшего близ Коринфа, присоединиться к нему. Лакедемоняне для показания своего к нему уважения обнародовали, чтобы все молодые люди, которые желают идти на помощь царю, записывали имена свои. Все записались с великим усердием, но власти выбрали только пятьдесят храбрейших и сильнейших юношей и отправили к нему.

Между тем Агесилай прошел Фермопилы и Фокиду, область союзническую, вступил в Беотию и стал на Херонейской равнине. В то самое мгновение, когда он увидел затмевающееся солнце и принимающее вид луны, получил известие о смерти Писандра, побежденного при Книде на море Фарнабазом и Кононом*. Это известие было для него горестно; он жалел о потере сего мужа и о своем отечестве, но дабы страх и уныние не объяли сердца воинов, идущих сразиться, Агесилай велел тем, кто приезжал со стороны моря, разглашать, что спартанцы одержали на море победу. Сам он, цветами увенчанный, предстал пред войском, приносил жертву богам за приятное будто бы известие и раздавал друзьям своим части закланных жертв.

Идучи далее, прибыл он в Коронею, где увидел неприятельское войско, и стал в боевой порядок. Орхоменцев поставил на левом крыле, а сам предводительствовал правым. У неприятелей на правом крыле стояли фиванцы, а на левом аргивяне. Ксенофонт говорит, что это сражение было ужаснее всех когда-либо бывших. Он сам тут находился и сражался подле Агесилая по возвращении своем из Азии. Первое столкновение не было ни упорным, ни жарким. Фиванцы вскоре разбили орхоменцев, а Агесилай опрокинул аргивян. Когда сражающиеся узнали, что левые стороны были теснимы и опрокинуты, то возвратились назад. Победа была бы тогда на стороне Агесилая без малейшей опасности, если бы он вместо того, чтобы напасть на фиванцев спереди, дал им место пройти и ударил бы на них с тылу, он в гневе своем и в упорном честолюбии пошел к ним навстречу, чтобы опрокинуть силою. Они приняли его с неменьшим мужеством. Во всех местах происходило жаркое сражение; еще жарче было оно подле самого Агесилая, сражавшегося среди пятидесяти юношей. Их честолюбие было в этом случае для царя полезно и спасительно. Они бились со всевозможным жаром, ввергались в опасности в глазах его, и хотя не могли сохранить его совсем невредимым, ибо он получил многие раны от копий и мечей, даже сквозь доспехи, но с великими усилиями вырвали его живого из рук неприятелей, и оградив собою, многих били и сами в великом числе падали. Наконец лакедемоняне, видя невозможность отразить фиванцев, принуждены были сделать то, чего сначала не хотели. Они расступились, открыли фалангу, и, между тем как фиванцы проходили в большем беспорядке, следовали за ними и поражали с тылу и с боков, но при всем том не обратили их в бегство. Фиванцы отступили к Геликону, гордясь этим сражением, в котором они остались непобедимыми.

Хотя Агесилай был в опасном положении от полученных ран, но не прежде удалился в шатер свой, как тогда, когда, будучи принесен в фалангу, увидел мертвых, снесенных на щитах в средину войска. Он велел освободить всех неприятелей, которые прибегли в близлежащий храм Афины Итонийской. Перед этим храмом стоит трофей, который некогда воздвигли беотийцы, под предводительством Спартона, победив афинян и умертвив полководца их Толмида*. В следующее утро Агесилай, желая узнать, осмелятся ли фиванцы сразиться с ним, велел воинам своим увенчаться цветами и при звуке флейт воздвигать и украшать трофеи в знак одержанной ими будто бы победы. Когда же неприятели послали к нему и просили позволения взять своих мертвых, то он заключил с ними перемирие, утвердил тем свою победу и отправился в Дельфы. Тогда празднуемы были Пифийские игры. Агесилай сопровождал торжество празднуемого бога и посвятил ему десятину добычи, захваченной им в Азии, которая состояла в сотне талантов.

По возвращении в Спарту* Агесилай явился любезным для всех граждан и славился образом жизни и своими нравами. Он не возвратился в свое отечество, подобно другим полководцам, с новыми обычаями; не был побежден нравами иноплеменных, не показывал неудовольствия и сопротивления ко всему отечественному. Подобно тем гражданам, которые никогда не были на другой стороне Эврота, он любил существующие постановления, не переменил ни обеда своего, ни бани, ни образа жизни жены своей, ни украшения оружия, ни

домашнего хозяйства, но оставил в прежнем положении и двери своего дома, которые так обветшали, что, казалось, были те самые, которые построил Аристодем*. И канатр дочери его, говорит Ксенофонт, не был лучше других канатров. Канатром называют изображения грифов и трагелафов, на которых носят девочек в торжественные дни*. Ксенофонт не упоминает имени дочери Агесилая. Дикеарх досадует, что нам неизвестны имена дочери Агесилая и матери Эпаминонда, но мы находим в спартанских записках, что жена Агесилая называлась Клеорой, а из дочерей одна Эвполией, а другая Ипполитой. Еще и поныне можно видеть в Спарте его копье, которое нимало не отлично от других копий.

Агесилай, видя, что некоторые граждане гордились конскими своими заводами и полагали в том великую славу, уговорил сестру свою Киниску послать колесницу на Олимпийские игры* и состязаться с другими о награде. Этим он хотел показать грекам, что такая победа не зависит от мужества или отличных способностей, но от богатства и великих издержек. Он имел при себе Ксенофонта, которого он весьма много уважал и убедил его призвать детей своих в Лакедемон для воспитания, ибо там они могли научиться лучшей науке: уметь повиноваться и начальствовать.

По смерти Лисандра Агесилай открыл великий заговор, составленный против него Лисандром вскоре по возвращении из Азии. Агесилай хотел обнаружить перед согражданами своими, каков был Лисандр при жизни. Он читал одну оставшуюся в книге речь, которую сочинил Клеон Галикарнасский, а Лисандр, выучив ее наизусть, намеревался говорить к народу относительно перемен в правлении и новых постановлений. Он хотел ее обнародовать, но некто из геронтов, прочитав речь эту и боясь силы и искусства, с которым она была сочинена, советовал Агесилаю не вырывать Лисандра, но вместе с ним зарыть и речь сию. Агесилай послушался его и успокоился. Он не вредил неприятелям своим прямо, но, стараясь, чтобы некоторые из них посылаемы были в звании полководцев и правителей, изобличал их несправедливость и алчность во время управления; потом, когда они были судимы, он помогал им, старался об их избавлении. Таким образом из неприятелей делал их себе друзьями и привлекал их на свою сторону, так что не имел никого себе противником. Другой царь Спарты, Агесиполид, сын изгнанника, будучи еще молод и от природы кроток и скромен, мало занимался общественными делами. Агесилай и его привлек на свою сторону. Поскольку цари спартанские, находясь в городе, всегда обедают вместе за одним столом, то Агесилай, ведая, что молодой царь был, подобно ему, склонен к любви, всегда с ним заводил речи о лучших юношах и побуждал его любить тех, кого он любил, и в том ему содействовал. Известно, что лакедемонская любовь не имела в себе ничего постыдного и бесчестного; напротив того, она сопряжена со стыдливостью, честолюбием и ревностью к добродетели, как сказано в жизнеописании Ликурга.

Пользуясь в республике великой силой, Агесилай сделал начальником флота родного по матери брата своего Телевтия. Сам предпринял поход против Коринфа и взял Длинные стены* со стороны твердой земли, между тем как Телевтий содействовал ему со стороны моря. Тогда Коринф находился в руках аргивян, которые торжествовали Истмийские игры. Агесилай явился неожиданно, выгнал их после принесения жертвы и принудил оставить все приготовления. Находившиеся при нем изгнанные коринфяне просили его учредить игры, но он отказался; когда же они сами их учредили и отправили торжество, то Агесилай при них находился, обеспечивая им безопасность. По удалении его аргивяне снова начали Истмийские игры. На этих играх одни во второй раз победили, а другие, победившие прежде, означены были побежденными. Тогда Агесилай говорил, что аргивяне сами себя изобличают в великой робости, ибо, почитая эти игры делом важным и великим, не осмелились за оные сразиться*. Он думал, что в играх и тому подобных действиях надлежит наблюдать умеренность. В Спарте он устраивал всегда хоры и общественные игры; присутствовал при них, исполненный ревности и старания; не оставлял борьбы ни юношей, ни дев, в которой бы не присутствовал, но иногда, казалось, не знал и не замечал того, что производило удивление в других. Некогда Каллипид, трагический актер, приобревший среди греков великую славу и уважаемый всеми, встретился с ним, приветствовал его с важностью, вмешался в толпу провожавших Агесилая и выказывал себя в надежде, что он первому ему окажет какую-нибудь ласку. Наконец, выйдя из терпения, сказал: «Ужели ты не узнаешь меня, государь!» Агесилай, взглянув на него, отвечал: «Как не

знать!

Разве не ты Каллипид, дикеликт?» Этим именем лакедемонцы называют скоморохов. В другой раз некто звал его слушать человека, который свистом подражал соловью; Агесилай отказался, сказав: «Я слышал самого соловья». Врач Менекрат, который имел успех в некоторых безнадежных болезнях и по этой причине был прозван Зевсом, употреблял это прозвище с таким бесстыдством, что некогда осмелился писать Агесилаю письмо, которое начиналось следующими словами: «Менекрат-Зевс царю Агесилаю радоваться желает». Агесилай отвечал ему: «Царь Агесилай Менекрату желает здравого рассудка».

Во время пребывания его в Коринфской области, по взятии Герея*, Агесилай смотрел на воинов, которые вели и несли все то, что они взяли в плен, и в то же время прибыли послы из Фив с мирными предложениями. Агесилай, всегда ненавидевший этот город и почитавший полезным по тогдашним обстоятельствам ругаться над ним, притворялся, что не видит посланников и не слышит, что они ему говорили. Этим надменным поступком навлек он на себя наказание богов. Не успели фиванцы от него удалиться, как он получил известие, что лакедемонская мора была изрублена в куски Ификратом*. Столь великое бедствие с давнего времени не постигало спартанцев; они лишились множества храбрых воинов, а что постыднее, тяжеловооруженные побеждены легковооруженными и лакедемоняне – наемниками. Агесилай тотчас воспрянул, хотел поспешить на помощь, но, узнав, что уже все кончилось, возвратился в Герей и, призвав к себе беотийцев, хотел их слушать. Тогда и они, оказывая ему равное презрение, нимало не упоминали о мире, но только просили отпустить их в Коринф. Агесилай с гневом сказал им: «Если хотите видеть друзей своих, гордящихся своим счастьем, то завтра можете сделать сие в безопасности». На другой день он взял их с собой, начал разорять Коринфскую область и приступил к самому городу. Доказав таким образом, что коринфяне не смеют противиться ему, он отпустил посланников. Потом собрал оставшихся после побитого полка воинов и отступал в Лакедемон. Он поднимался с места до рассвета и только с наступлением ночной темноты останавливался, дабы аркадяне, ненавидевшие спартанцев, не радовались их несчастью.

Вскоре после того, в угодность ахейцам, переправился он с ними в Акарнанию с войском, собрал великую добычу и победил в сражении акарнейцев. Ахейцы просили его провести тут всю зиму, дабы не допустить неприятелей посеять семена на землю, но Агесилай сказал, что сделает совсем тому противное, ибо акарнейцы будут больше бояться войны, если весной поля их будут засеяны, что и воспоследовало. При новом на них нашествии они примирились с ахейцами.

Конон и Фарнабаз, имея во власти своей царский флот, обладали морем и опустошали берега Лаконии; Афины обнесены были стенами на данные Фарнабазом деньги. Тогда лакедемоняне решились заключить с царем мир*.

Они отправили к Тирибазу Анталкида, постыднейшим и беззаконнейшим образом предали царю тех самых в Азии обитавших греков, за которых воевал Агесилай, но этот государь в таковом бесславии не имел ни малейшего участия. Анталкид был ему противником и всеми силами старался о мире, ибо война возвышала Агесилая и делала его великим и славным. При всем том, когда некто сказал при Агесилае, что уже и лакедемоняне приняли сторону мидов, то он отвечал: «Скажи лучше, что миды приняли сторону лакедемонян». Тех, кто не хотел принять мира, угрозами и объявлением войны принуждал он подчиниться тем требованиям, которые утвердил царь персидский, имея целью в особенности то, чтобы ослабить фиванцев, которые по договору должны были оставить беотийцев независимыми.

Это обнаружил он последующими своими поступками. Когда Фебид сделал беззаконное дело, в мирное время завладев Кадмеей*; когда все греки негодовали, и самим спартанцам было это противно; когда противники Агесилая с гневом спрашивали у Фебида, кто велел ему поступать таким образом, обращая подозрение на Агесилая, то он не замедлил содействовать Фебиду и говорил явно, что должно смотреть, есть ли что полезное в этом поступке, ибо все то, что выгодно Лакедемону, позволено всякому исполнять самому, не получив ни от кого повеления. Впрочем, на словах при всяком случае представлял справедливость первой из добродетелей. Он говорил, что в храбрости нет никакой пользы, когда она не соединена со справедливостью, что если бы все были справедливы, то не было бы тогда нужды в храбрости.

Когда ему говорили, что так угодно великому царю, то Агесилай сказал: «Почему же он больше меня, если несправедливее?» Таким образом, правильно и хорошо судил он, что справедливостью, как бы царской мерой, должно измерять преимущество того, кто выше другого. Когда по заключении мира царь персидский, желая завести с ним дружбу и гостеприимство, прислал к нему о том письмо, то Агесилай не принял его, говоря, что довольно одной общественной дружбы и что пока она существует, нет никакой нужды в частной дружбе.

Впрочем, в делах и поступках своих Агесилай не всегда держался этих правил. Будучи увлекаем честолюбием и упорством во многих случаях, а особенно против фиванцев, он не только спас Фебида*, но и заставил республику утвердить несправедливый поступок, удержать за собой Кадмею и вручить главное начальство и управление над фиванцами Архию и Леонтиду, посредством которых Фебид вступил в город и завладел крепостью.

Это заставило подозревать, что случившееся было произведено Фебидом по умыслу Агесилая. Последовавшие происшествия утвердили это обвинение. Как скоро фиванцы изгнали охранное войско и освободили город, то Агесилай, укоряя их в убийстве Архия и Леонтида, которые назывались правителями, но в самом деле были тираннами, объявил фиванцам войну. Царствующий Клеомброт после умершего Агесиполида был послан с войском в Беотию. Агесилай, который по законам мог не участвовать в походах, не принял начальства над войсками, стыдясь того, что незадолго перед тем воевал он с флиунтцами* из-за изгнанников, а ныне стал бы вновь вредить фиванцам за тираннов.

Некий лакедемонянин, по имени Сфодрий, державшийся стороны, противной Агесилаю, человек смелый и честолюбивый, но исполненный более великих надежд, нежели здравого рассудка, находился в Феспиях правителем со стороны Спарты. Желая приобрести великое имя и думая, что Фебид сделался уже славным и знаменитым отважностью своего поступка при Фивах, он вздумал, что если сам завладеет Пиреем и, напав неожиданно на Афины с твердой земли, отнимет у них сообщение с морем, то совершит славнейшее и блистательнейшее дело. Говорят, что произведено это было умыслами беотархов Пелопида и Мелона; они подослали к Сфодрию людей, которые притворялись друзьями лакедемонян, и начали хвалить и превозносить его, уверяя, что он один способен произвести такой подвиг. Таковые слова довели его до того, что он решился на дело, столь же, как и прежде, несправедливое и беззаконное, но для совершения его не доставало ему ни прежнего счастья, ни прежней смелости. День застал его на Фриасийском поле, хотя надеялся он прибыть в Пирей еще ночью. Говорят, что воины его увидели свет на некоторых храмах со стороны Элевсины и тем приведены были в страх и ужас. Собственная дерзость его исчезла, когда он уже не мог скрыться; он удовольствовался малым грабежом и со стыдом и бесславием отступил в Феспии. После этого афиняне отправили в Спарту посланников с жалобой на Сфодрия; они нашли, что правителям республики не было нужды в доносе на него; еще прежде определили предать его уголовному суду. Сфодрий не осмелился предстать в суд, боясь гнева сограждан своих, которые стыдились афинян и хотели показать, что сами обижены поступком его, дабы не казалось, что они обижают.

У Сфодрия был прекрасный сын Клеоним, который был еще в отроческих летах и которого любил Архидам, сын Агесилая. Архидам, как можно понять, принял участие в печали своего друга, который был в опасности лишиться отца, но не мог содействовать и помогать ему явно, ибо Сфодрий был из числа противников Агесилая. Наконец Клеоним пришел к Архидаму и со слезами просил его склонить на свою сторону Агесилая, который всех более был для них страшен. Архидам, стыдясь и боясь отца своего, три или четыре дня следовал за ним в молчании; наконец, когда приближалось решение суда, он осмелился сказать Агесилаю, что Клеоним просил его об отце своем. Агесилай ведал и прежде связь сына своего с Клеонимом, но не старался его отвлечь от оной, ибо Клеоним с детства подавал надежду, что будет выдающимся человеком. Агесилай ничего не обещал своему сыну; он не показал ему снисхождения, но оставил его, сказав только, что подумает, как лучше и пристойнее поступить в этом случае. Архидам, стыдясь столь малого успеха, перестал видеться с Клеонимом, хотя прежде по несколько раз в день обыкновенно имел с ним свидание. Это еще более заставило сторону Сфодрия терять надежду в спасении его. Наконец Этимокл, один из друзей Агесилая, в некотором изъяснении с друзьями Сфодрия, открыл им мысли Агесилая. Он сказал им, что Агесилай весьма порицает поступок Сфодрия; впрочем, почитает его храбрым мужем и видит,

что Спарта имеет нужду в подобных ему воинах. Агесилай при всяком случае изъяснялся, таким образом, касательно этого дела из угождения к своему сыну. Вскоре Клеоним увидел попечение о нем Архидама, и друзья Сфодрия с большей надеждой ему помогали. Вообще Агесилай был чрезмерно чадолюбивым отцом. О нем, например, рассказывают, что он, играя дома с маленькими детьми своими, ездил верхом на палочке. Один из его друзей застал его в таком положении, и Агесилай просил его никому о том не говорить, пока тот сам не станет отцом.

Сфодрий был прощен, и афиняне, узнав о том, хотели войны. Тогда все порицали Агесилая, который, по-видимому, из безрассудной и детской прихоти препятствовал справедливому приговору и в глазах греков сделал Спарту участницей в столь беззаконных поступках. Агесилай, видя, что другой царь Клеомброт не имел охоты воевать с фиванцами, оставив закон, который его увольнял от похода, и которым прежде пользовался*, сам вступил в Беотию, причинял фиванцам и от них претерпевал великий вред. Некогда он был ранен, причем Анталкид сказал ему: «Хорошую награду получаешь от фиванцев за то, что ты научил их сражаться, когда они того не хотели и не умели!» Уверяют, что, в самом деле, фиванцы тогда сделались воинственнейшим народом от частых на них походов лакедемонян, как бы они через то получили навык и охоту к войне. По этой причине древний Ликург в трех так называемых ретрах запрещает часто ходить войной на одних и тех же неприятелей, дабы они не научились воевать. Впрочем, Агесилай был неприятелем и союзникам спартанским, ибо хотел погубить фиванцев, не по какому-либо их общественному преступлению, но по гневу своему на них и по упрямству. Союзники жаловались, что погибают без нужды, следуя каждый год туда и сюда за малым числом спартанцев, будучи сами столь многочисленны. Тогда Агесилай, желая показать им настоящее их число, употребил следующую хитрость. Он велел всем союзникам вместе сесть без разбора на одной стороне, а лакедемонянам на другой; потом велел возвестить, чтобы, во-первых, встали гончары, и они встали; во-вторых, кузнецы, потом плотники, каменщики и другие ремесленники. Встали почти все союзники, но в числе их не было ни одного лакедемонянина, ибо им запрещено было заниматься каким-либо низким ремеслом. Тогда Агесилай, смеясь, сказал союзникам: «Вы видите, что мы одни ставим больше воинов, нежели вы все».

По возвращении своем из Фив, находясь в Мегарах и идучи в дом правительства, находившийся на акрополе, почувствовал он в здоровой ноге судороги и сильную боль. Вскоре нога распухла, надулась кровью, и сделалось в ней сильное воспаление. Один сиракузский врач открыл ему жилу под лодыжкой, и боль перестала, но кровь лилась ручьями и нельзя было удержать ее. Он упал в обморок и долго находился в великой опасности. Наконец кровь унялась; он был перевезен в Лакедемон, где очень долго был слаб и не мог предпринять похода.

За это время спартанцы претерпели многие уроны на море и на суше. Величайший из них был при Левктрах, где они в первый раз были побеждены фиванцами в открытом сражении. Все народы тогда были преклонные к всеобщему миру; со всей Греции собрались в Лакедемон посланники для переговоров. В числе их был и Эпаминонд, муж, славнейший своей ученостью и философией, но не оказавший еще никакого опыта в военном искусстве. Видя всех других преклоняющихся пред Агесилаем, Эпаминонд один явил дух смелый и свободный и говорил речь не в пользу Фив одних, но всей Греции вообще. Он доказывал, что война, от которой страждут все греческие народы, увеличивает могущество одной Спарты. Он советовал заключить мир, основанный на равенстве и справедливости, утверждая, что тогда только оный будет прочен, когда будет между всеми равновесие.

Агесилай, приметив, что все греки слушали слова Эпаминонда с великим удовольствием и были к нему внимательны, спросил у него: «Признаешь ли ты справедливым, чтобы Беотия была независима?» Эпаминонд скоро и смело также спросил у него: «Признаешь ли ты справедливым, чтобы Лакония была независима?» Тогда Агесилай, вскочив с гневом, велел ему говорить ясно, оставляет ли он Беотию вольной. Эпаминонд опять сделал Агесилаю тот же самый вопрос, оставляет ли он вольной Лаконию. Агесилай так воспалился гневом и с таким удовольствием принял удобный предлог, что в ту минуту вычеркнул фиванцев из договора о мире и объявил им войну. По заключении мира он велел всем другим греческим посланникам возвратиться в свои отечества, и некоторые дела окончил посредством переговоров, а другие

предоставил войне, ибо очистить и разрешить все сомнения было весьма трудно.

Случилось, что в то время Клеомброт находился в Фокиде с войском. Эфоры тотчас дали ему приказание вести войско против фиванцев. Они начали собирать союзников. Хотя эти нимало не были склонны к войне, но не смели противоречить лакедемонянам. Война началась при многих неблагоприятных предзнаменованиях, как сказано в жизнеописании Эпаминонда. Лакедемонянин Профой противился этому походу, но Агесилай не отстал от своего намерения. Он произвел войну в надежде, что когда Греция вся будет независима, а фиванцы одни исключены из мирного договора, то это будет благоприятнейшим случаем к их наказанию. То, что эта война предпринята более по страсти, нежели по рассудку, доказывает само время, ибо четырнадцатого скирофориона* заключены договоры в Спарте, а пятого гекатомбеона лакедемоняне побеждены при Левктрах, то есть по прошествии только двадцати дней. В том сражении пала тысяча лакедемонян*, царь Клеомброт и вокруг его лучшие из спартанцев, в числе которых был прекрасный Клеоним, сын Сфодрия, который, сражаясь с фиванцами, троекратно падал пред царем, троекратно восставал и наконец был убит фиванцами.

Хотя неожиданно спартанцы претерпели поражение, а фиванцы одержали славную победу, какой не одерживал никогда ни один из греческих народов, сражаясь с греками, но должно уважать твердость Спарты и удивляться побежденному городу не менее, как и победившему. Ксенофонт говорит*, что слова и разговоры великих мужей, даже те, которые произнесены ими в пиршестве и среди забав, имеют в себе нечто достопамятное. Это справедливо, но еще более достойно замечания и созерцания то, что они говорят и делают в несчастии, сохраняя все свое достоинство. В Спарте тогда отправлялось празднество; город наполнен был иностранцами, ибо происходили гимнопедии*, и в театре подвизались хоры. Из Левктров прибыли вестники с известием о случившемся несчастье. Хотя не было сомнения, что все погибло и что республика потеряла верховную власть, но эфоры не позволяли ни хору выйти из собрания, ни городу переменить вид празднества, но, разослав по домам имена убиенных к родственникам их, продолжали зрелища и хоры до самого конца. На другой день, когда спасшиеся и убитые были всем известны, родители, родственники и друзья убитых приходили на площадь, поздравляли друг друга с веселыми лицами, исполненные твердости и радости; напротив того, родители и родственники спасшихся как бы находились в печали и сидели дома с женщинами. Если кто-то из них по необходимости выходил из дома, то видом, голосом и взором казался униженным и унылым. В женщинах сия перемена была еще более заметна. Те, которые встречали возвращающегося из сражения, были унылы и безмолвны; получившие же известие, что сыны их пали, спешили тотчас в храмы богов и приветствовали друг друга, радуясь и гордясь своей славой.

Но когда союзники начали отделяться, и Эпаминонд, победитель, исполненный великих намерений, ожидаем был в Пелопоннесе, то народ лакедемонский, вспоминая об изречении оракула относительно хромоты Агесилая, впал в великое уныние и начал страшиться наказания богов. Спартанцы думали, что республика от того находится в худом положении, что они, лишив престола царя с целыми ногами, избрали хромого и калеку, хотя боги изрекли беречься хромоты более всего. Впрочем, по причине знаменитости его добродетелей и славы, они не только в военных делах имели его, как царя и полководца, но и в политических недоумениях слушали его, как врача и судью, подвергнув его суждению тех, кто из сражения бежал и которых они называли «предавшимися бегству». Эти последние были многочисленны и сильны. Правители, боясь, чтобы они не произвели в республике какого-либо беспокойства, не смели наложить на них наказания, предписанного законом. Таковых обыкновенно исключали из всякого начальства; бесчестно было выдавать за них дочерей своих или на дочерях их жениться. Всякий, кто с ними встретится, может их бить; они должны были все терпеть, ходить униженно, одеваться бедно и неопрятно, носить плащ, сшитый из лоскутьев разных цветов, брить только часть бороды, а другую часть отращивать. Страшно было иметь в городе столь много обесчещенных граждан тогда, когда недостаток в воинах был столь велик! Агесилай избран был законодателем в настоящих обстоятельствах. Он ничего не прибавил, не убавил и не переменил в законах Ликурга, но, придя в собрание лакедемонян, сказал: «На этот день должно оставить в покое законы, отныне они будут иметь опять свою силу». Этими словами он сохранил республике законы и многим гражданам честь.

Дабы ободрить молодых людей и рассеять их уныние, он напал на Аркадию, всячески избегая вступить в сражение с неприятелями; взял малый город близ Мантинеи, пробежал всю область их и тем одушевил и утешил республику, подав ей надежду, что состояние ее не вовсе отчаянно.

Вскоре после того Эпаминонд вступил в Лаконию вместе с союзниками, имея не менее сорока тысяч тяжело вооруженных воинов. За ним следовало множество легковооруженных и даже безоружных, из одного желания грабить, так что число вступивших в Лакедемонскую область простиралось до семидесяти тысяч человек. Не менее шестисот лет прошло с того времени, как доряне поселились в Лакедемоне, и во все это время тогда в первый раз неприятели вступили в их страну, в которую перед тем никто вступить не осмеливался. Они грабили все и жгли область, дотоле не ограбленную и неприкосновенную неприятелям, и доходили до Эврота и до самого города, но никто не выходил против них. Агесилай не пускал лакедемонян сразиться (как говорит Феопомп) против такого потока и бури военной. Он занял воинам в центре города важные места и спокойно сносил угрозы и хвастливые слова фиванцев, которые называли его по имени, приказывали ему сразиться за свою область, как виновнику всех зол, возжегшему сию войну. Не менее того огорчали Агесилая шум, крик, жалобы и беганье по городу стариков, негодующих на происходящее, и женщин, которые не могли быть в покое, но были как бы вне себя от восклицания и огня неприятелей. Собственная слава также его мучила, ибо, приняв город великим и могущественнейшим, теперь он видел уменьшенным его достоинство и униженным то высокомерие, которое сам он многократно поддерживал, говоря, что никогда лакедемонянки не видали дыма неприятельского. Говорят также, что когда некоторый афинянин спорил с Анталкидом о храбрости и сказал ему: «Мы много раз прогоняли вас от Кефиса», то Анталкид отвечал: «А мы никогда не прогоняли вас от Эврота». Такой же ответ дал одному аргивянину один из простых лакедемонян. Первый сказал: «Много ваших лежит в Арголиде!» – «Но никто из ваших не лежит в Лаконии!» – возразил другой.

Некоторые уверяют, что Анталкид, будучи тогда эфором, выслал на Киферу своих детей, страшась, чтобы Спарта не была взята. Между тем, как неприятель хотел переправиться через реку и пробраться в город, Агесилай, оставив все другие положения, поставил войско перед центральными, возвышенными частями города. Тогда в Эвроте от выпавших снегов вода больше обыкновенного была высока и быстра. Переправа была весьма трудна для фиванцев, больше по причине холода, нежели быстроты воды. Некоторые показали Агесилаю Эпаминонда, идущего перед фалангой. Агесилай, как говорят, долго смотрел на него, провожал глазами и сказал только эти слова: «Какой предприимчивый человек!» Эпаминонд хотел из честолюбия в самом городе дать сражение и воздвигнуть трофеи, но не успел вызвать Агесилая и заставить его переменить свое положение. Он отступил назад и вновь начал разорять область.

Между тем в Лакедемоне двести злоумышленных и беспокойных граждан, соединившись, заняли Иссорий*, место крепкое и неприступное, где находится храм Артемиды. Лакедемоняне тотчас хотели напасть на них, но Агесилай, боясь новых мятежей, велел успокоиться и сам в плаще, с одним только служителем, приблизившись к тому месту, кричал им: «Вы не так поняли мое приказание, я не тут велел вам собраться и не всем вместе, но одним там, другим в той части города» (указывая на другое место). Услышав это, они обрадовались, думая, что не открылось их злоумышление; они разделились и пошли к местам, которые он назначил. Агесилай тотчас послал других занять Иссорий; ночью поймал пятнадцать из этих заговорщиков и умертвил. Вскоре возвещено было ему о другом заговоре и сборище некоторых спартанцев, сходившихся тайно в одном доме для произведения переговоров. Опасно было судить их при таких беспокойствах, но еще опаснее позволять им строить козни отечеству. Агесилай, посоветовавшись с эфорами, умертвил и их без суда, хотя до того времени ни один спартанец без суда не был предан смерти. Поскольку многие из поселенных вокруг Спарты илотов, которые записаны были в войске, бежали из города к неприятелю и тем больше умножали уныние граждан, то Агесилай велел служителям на рассвете осматривать постели, брать оружия убежавших и скрывать их, дабы число их не было известно.

Фиванцы отступили из Лаконии, как иные говорят, по причине наступившей холодной зимы, когда аркадяне начали уходить и рассыпаться беспорядочно; другие уверяют, что они оставались всего целые три месяца и разоряли большую часть области. Феопомп пишет, что

беотархи решились уже удалиться, как пришел к ним спартанец, по имени Фрикс, и принес им десять талантов от Агесилая в награду за их отступление. Таким образом, они, исполняя свое намерение, получили от своих неприятелей и путевые издержки. Я не знаю, почему об этом другим историкам не было известно, а Феопомп один знал. Впрочем, все единогласно утверждают, что один Агесилай был тогда виновником спасения Спарты, и что, отстав от своих врожденных страстей, честолюбия и упрямства, он управлял делами единственно к безопасности отечества. При всем том он не мог восстановить силы и славы республики. С ней случилось то же, что со здоровым телом, употребляющим во все время слишком точную и правильную диету; одна ошибка, одно малое обстоятельство испровергало благоденствие ее. Этому надлежало быть так. Правление Спарты было прекрасно, устроено для мира, для добродетели, для согласия; вводя к оным насильственную власть и завоевания, в которых, по мнению Ликурга, республика для своего благосостояния не имеет никакой нужды, спартанцы, наконец, пали.

Агесилай уже отказался от походов по причине старости своей. Сын его Архидам, имея войска, присланные из Сицилии от тамошнего владетеля*, одержал над аркадянами так называемую «Бесслезную победу», ибо из его воинов ни один не погиб, хотя великое множество пало неприятелей, но эта самая победа обнаружила слабость республики. Прежде спартанцы почитали так обычным и так свойственным им побеждать неприятелей, что по одержании победы ничего не приносили в жертву богам, кроме одного петуха; сразившиеся нимало не хвастали своей победой; извещенные о ней не показывали излишней радости. После Мантинейского сражения*, описанного Фукидидом, первому вестнику победы правителя прислали в награду мясо с общественного стола, а более ничего, но теперь, когда возвещено было им о победе и о приближении Архидама, никто не утерпел, чтобы не идти к нему навстречу. Отец его первый вышел к нему с радостными слезами; за ним следовали все чины республики; множество старцев и жен сходили на берег реки, простирая руки к небу и благодаря богов, как будто бы Спарта уже рассеяла посрамление и позор, недостойные ее, и как будто бы она видела уже снова блистательный свет славы. До того времени, говорят, мужья не смели взглянуть на жен своих; столько-то они стыдились своих поражений!

Между тем Эпаминонд начал заселять Мессену*, и все прежние граждане города стекались туда со всех сторон. Спартанцы не смели ни сражаться, ни препятствовать им. Они оказывали только неудовольствие свое на Агесилая за то, что в его царствование потеряли землю, которой обладали столько времени, которая пространством была не менее Лаконии и своей добротой была лучше всех греческих областей. По этой причине Агесилай не принял мира, предложенного ему фиванцами. Дабы неприятелю не уступить словами той земли, которою он обладал в самом деле, споря с ним с упорством, он не получил обратно этой страны, но едва не потерял и самой Спарты, обманутый военной хитростью неприятеля. Когда мантинейцы отстали вновь от фиванцев и призывали спартанцев, Эпаминонд, ведая, что Агесилай выступил к ним на помощь с войском и был уже недалеко, тайно от мантинейцев ночью отступил от Тегеи и повел войско свое прямо на лакедемонян не той дорогой, которой шел Агесилай, так что едва не завладел городом, застав его пустым и беззащитным, но, по свидетельству Каллисфена, феспиец Эвфин, а по свидетельству Ксенофонта – какой-то критянин дал знать о том Агесилаю, который послал наперед гонца для извещения в Спарту, куда и сам вскоре прибыл. Недолго после него фиванцы начали переправляться через Эврот и напали на город*. Агесилай крепко и не по летам своим защищал город. Тогда он видел, что не время по-прежнему думать только о безопасности и быть острожным, но напротив того надлежало употребить отчаянную дерзость, которой прежде никогда себя не вверял и которой одной в то время отразил опасности, вырвал город из рук Эпаминонда, воздвигнул трофей и доказал детям и женам, сколь достойную лакедемоняне воздают награду отечеству за воспитание, от него полученное. Впереди всех Архидам, сын его, смело сражаясь с отличной бодростью духа и легкостью тела, быстро бросался сквозь улицы в тесноту сражавшихся и всюду с немногими упорно противился неприятелю. Исад, сын Фебида, не только для сограждан своих, но и для самых неприятелей был прекрасным и удивительным зрелищем. Он был прекрасен собою, высок ростом и в таком возрасте, в котором приятнее всего цветет человек, переходя из детства в юношеские лета. Он не имел никаких оборонительных оружий;

был без платья; намазав тело маслом, одной рукой держа копье, другою меч, вырвался из своего дома и, пробравшись сквозь сражавшихся, вращался в средине неприятеля, ударял и повергал всех, кто ему ни попадался. Он не получил ни одной раны или потому, что боги хранили его, любя его доблесть, или потому, что он явился неприятелям существом выше и больше человеческого. За то, как говорят, эфоры определили ему венок; потом наложили на него пеню в тысячу драхм за то, что он осмелился подвергнуться опасности без доспехов.

Несколько дней после того последовало сражение при Мантинее. Эпаминонд, испровергший первые ряды лакедемонян, наступал на них сильнее и спешил преследованием, как вдруг лаконянин Антикрат, остановившись, поразил его мечом или, как Диоскорид* повествует, – копьем. Лакедемоняне и поныне называют Махерионами или мечниками потомков Антикрата, в том мнении, что он поразил его мечом. Живой Эпаминонд столь страшен был лакедемонянам и они сочли этот подвиг столь великим и важным, что определили Антикрату почести и награды, и весь род его навсегда освободили от налогов. Этой свободой пользуется и поныне Калликрат, один из Антикратовых потомков. После этого сражения, после смерти Эпаминонда греческие народы заключили между собой мир. Агесилай хотел исключить из клятвенного договора мессенцев под предлогом, что они не имели города, но все греки хотели их включить в оный и принять от них клятву. Лакедемоняне, не соглашаясь на то, отделились от других и хотели войны, надеясь взять обратно Мессению. Агесилай показался всем человеком стремительным, упрямым и ненасытно браннолюбивым, ибо с одной стороны он подрывал и отдалял общий мир, а с другой, имея недостаток в деньгах, принужден был беспокоить находящихся в городе друзей своих, занимать и собирать деньги, хотя надлежало только освободить отечество от всех зол войны, нашел к тому способное время, и не беспокоиться о владениях и доходах, из Мессении получаемых, после того как он выпустил из рук власть, до такой степени возросшую, и столько городов, владычествовавших над морем и над твердой землей.

Еще более обесславил он себя тем, что предался Таху, египетскому полководцу*. Всем показалось недостойным делом то, что человек, почитаемый в Греции, чья слава распространилась по всему миру, мог предоставить себя к услугам варвара, возмутившегося против своего государя, продать за деньги свое имя и славу, служить наемником и собирателем наемных войск*. Если бы он, будучи уже старее восьмидесяти лет, имея все тело израненное, предпринял опять прекрасный и достославный подвиг за вольность Греции, то и тогда его стремление к честолюбию не было бы без порицания. Все прекрасное должно быть произведено в определенное и подходящее время, или лучше сказать: хорошее от дурного более всего различествует умеренностью, но Агесилай нимало о том не заботился. Никакой общественной службы не почитал он противной своему достоинству. Недостойным казалось ему жить в городе в бездействии и сидеть спокойно, ожидая смерти. Итак, он, собрав наемников деньгами, присланными ему от Таха, и снарядив суда, отплыл, имея при себе, как прежде, совет, состоящий из тридцати спартанцев.

По прибытии своем в Египет первейшие из царских наместников и полководцев пришли к нему на корабль для изъявления ему почтения. Все египтяне показывали великое уважение к Агесилаю и много ожидали от имени и славы его. Все поспешали видеть его, но не находя в нем ни малейшего блеска, ни пышности, какой они ожидали, видя человека старого, просто лежащего на траве близ моря, телом малого и невидного, покрытого грубым и простым плащом, они не могли удержаться от шуток и насмешек над ним; они говорили, что сбылась пословица: «Гора мучилась в родах и родила мышь». Еще более удивились его странности, когда присланы были к нему разные подарки; он принял муку, телят и гусей, а пироги, лакомства и мази благовония отослал назад. Но как принуждали и просили его принять и все прочее, то он велел раздать оные илотам. Феофраст говорит, что ему понравилась древесная кора, из которой делают венки, весьма простые, и что он выпросил у царя великое множество оной, когда отправлялся из Египта.

По прибытии своем он соединился с Тахом, который приготовлялся к походу. Однако не было дано Агесилаю начальство над всеми силами, но только над одними наемными войсками. Афинянин Хабрий управлял флотом, а всеми вообще предводительствовал Тах. Это огорчило Агесилая, но он принужден был сносить надменность и тщеславие египтян. Он, уступив Таху

вопреки достоинству и доблестям своим и терпя унижение до удобного случая, отправился с ним против финикийцев. Нектанебид, племянник Таха, начальствовавший над частью войск, отстал от него, египтяне провозгласили его царем своим; он послал к Агесилаю и просил у Хабрия, обещая обоим великие дары. Тах, узнав о том, прибегнул к просьбам. Хабрий старался утвердить Агесилая в дружбе с Тахом своими убеждениями и обещаниями, но Агесилай отвечал ему: «Ты, Хабрий, прибыл сюда по собственному желанию и можешь во всем проступать по своим мыслям; я от отечества сделался полководцем египтян. Мне нельзя воевать против тех, к кому и послан союзником, если опять не получу на то от отечества приказания». После этого он отправил в Спарту несколько человек, которые должны были приносить жалобы на Таха и хвалить Нектанебида. Как тот, так и другой, также послали в Спарту просить помощи у лакедемонян: первый, как давнишний союзник и друг; другой – как человек, расположенный быть доброжелателем и усерднейшим другом республики. Лакедемоняне, услышав представление обеих сторон, ответствовали, что все сие поручено Агесилаю. В то же время писали они ему, чтобы он сделал все, что почтет полезным для Спарты. Итак, Агесилай с наемным войском от Таха перешел к Нектанебиду и под личиной пользы отечества скрыл самый странный и неприличный поступок, ибо если этот предлог уничтожить, то пристойнейшее имя этому деянию есть не иное, как предательство, но лакедемоняне полагают, что польза отечества есть первейшая часть добра; они почитают справедливым только то, что может возвысить и возвеличить Спарту.

Тах, лишенный помощи наемного войска, убежал*. Между тем другой житель Мендеса* возмутился против Нектанебида, провозгласил себя царем, собрал сто тысяч войска и шел против него. Нектанебид, ободряя Агесилая, говорил ему, что хотя число противников велико, но все они суть не что иное, как скопище ремесленников, неопытных в военном искусстве, и потому не заслуживающих внимания. «Не множества их боюсь, – отвечал ему Агесилай, – но этой самой неопытности и незнания, которое обмануть трудно. Обманами приводятся в изумление те, кто всегда в чем-либо подозревает, догадывается и ожидает. Тот, кто ничего не ожидает и ни в чем не подозревает, не дает умышляющему против него способа к уловлению себя; подобно как и тот, кто стоит недвижимо, не позволяет борющемуся с ним повергнуть его на землю». Между тем мендесец послал к Агесилаю своих людей, дабы испытать его. Нектанебид был тем устрашен и, когда Агесилай советовал ему как можно скорее сражаться и не вести долго войны с людьми неопытными в сражениях, но множеством своим могущими их обступить, обвести рвами, во многом их предупредить, то Нектанебид, возымев еще большее подозрение и страх, удалился в большой и укрепленный город. Агесилай досадовал, что ему не доверяли, и терпел с неудовольствием, но стыдясь вновь перейти к другому и наконец возвратиться, не сделав ничего, последовал за Нектанебидом и вместе с ним вступил в город.

Когда же неприятели приступили к городу и обводили оный рвом, то египтянин, боясь уже осады, хотел сразиться. Греки весьма были склонны к тому, ибо в городе терпели недостаток в хлебе. Один Агесилай противился и не допускал их сражаться; по этой причине египтяне более прежнего ругали его и называли изменником царевым. Он сносил уже с большей кротостью все обвинения и ждал только времени к произведению в действо следующей хитрости. Неприятели обводили глубоким рвом город, чтобы заключить их в оном совершенно. Когда края рва, обступающего город вокруг, были уже близки и почти сходились, то Агесилай, дождавшись вечера, велел грекам вооружиться и пришел к Нектанебиду, говорил ему следующее: «Молодой человек! Время спасения настало! Я не открыл его тебе прежде, боясь через то лишиться оного. Неприятели сами руками своими сделали нас безопасными, выкопав ров между нами и собою. То, что ими вырыто, мешает их множеству действовать; промежуток дает нам способ сражаться с ними равными силами. Итак, ободрись! Будь храбрым мужем и, устремясь вместе с нами, спаси себя и войско. Устроившиеся против нас неприятели не выдержат нашего нападения; другие с боков не могут вредить нам, ибо ров будет им препятствовать». Нектанебид удивился искусству Агесилая; он стал в средине греческого войска, устремился на неприятелей и легко опрокинул всех, противившихся ему. Агесилай, сделав однажды его себе послушным, тотчас употребил против неприятелей ту же самую хитрость, подобно бойцу, повторяющему ту же уловку. То отступал, то идучи вперед, то обходя, он завел их наконец в такое место, где на каждом боку был глубокий канал,

наполненный водой. Оградив средину и заняв ее передней частью фаланги, он сравнялся таким образом с множеством неприятелей, которые не могли зайти с тылу и обступить его. Недолго могли они противостоять; они были побеждены. Много их пало на месте, убежавшие рассеялись.

С того времени дела Нектанебида были в хорошем и безопасном положении*. Он любил и ласкал Агесилая, просил его провести зиму в Египте, но Агесилай спешил в свое отечество, где возгорелась вновь война, ведая, что оно имело нужду в деньгах и содержало наемные войска. Нектанебид проводил его с честью и великолепием; кроме других почестей и даров, он дал ему двести тридцать талантов серебра для продолжения войны в отечестве. Непогода принудила Агесилая держаться кораблями своими твердой земли и пристать в Ливии к пустому месту, которое называют пристанью Менелая*. Здесь он кончил дни свои. Он жил восемьдесят четыре года, царствовал над Спартой сорок один год; более тридцати лет был величайшим и сильнейшим человеком; почитался полководцем и царем всей Греции до сражения при Левктрах. Лакедемоняне имели обычай тела умерших в чужой земле погребать там, где они умирали, но тела царей своих привозили в отечество. Итак, находившиеся при нем, по недостатку меда, облили его всего воском и увезли в Лакедемон. Сын его Архидам был преемником царской его власти*; она осталась в роде его до Агиса, который, будучи пятым после Агесилая и желая восстановить отечественные законы, умерщвлен Леонидом.

Помпей

Римский народ имел, кажется, к Помпею с самого начала те чувства, какие Прометей в Эсхиловой трагедии* изъявляет к спасшему его Гераклу, говоря:

Враждебного отца любезнейшее чадо!

В самом деле, римляне ни к одному другому полководцу не показали столь сильной и свирепой ненависти, как к Страбону, отцу Помпея*. Пока он был жив, то боялись силы его оружия, ибо он был самый воинственный человек; а когда он умер, то сорвали с одра выносимое тело его и ругались над ним. С другой стороны, ни к кому из римлян, как к Помпею, народ не имел столь сильной любви; ни к кому так рано она не началась; ни к кому столько не возросла в счастье и не пребывала постоянной в несчастьях. Причина ненависти к отцу была только одна: ненасытная жадность к деньгам. Причины любви к сыну были многие: воздержание в образе жизни, упражнение в военном деле, убедительность в словах, приятность в обхождении. Никто менее не отягощал своими просьбами, никто не услуживал с большей приятностью просителю, как Помпей. Он оказывал услуги без гордости, принимал их с достоинством.

В юности наружность его немало способствовала к тому, чтобы пленять и предупреждать в его пользу прежде, нежели он говорил. Любезность его была сопряжена со снисходительной важностью; сквозь юность и цветущий возраст блистало нечто достопочтенное и некоторое величие характера. Несколько набросанные назад волосы, огонь и живость во взоре делали его похожим на Александра Великого, но сходство более было на словах, нежели видимо в изображениях сего государя. Многие сперва давали Помпею имя Александра, и ему не было то неприятно; некоторые уже и в шутку называли его этим именем. Луций Филипп*, муж, имевший консульское достоинство, в речи своей за Помпея сказал при том, что нет ничего странного в том, что Филипп любит Александра. Говорят, что гетера Флора уже старухой всегда воспоминала о связи своей с Помпеем; она говорила, что с ним никогда не разлучалась без великой горести. Рассказывала еще, что некто из друзей Помпея, по имени Геминий, влюбился в нее и много беспокоил, ища ее благосклонности. Она сказала ему, что из уважения к Помпею не хочет иметь с ним никакой связи. Помпей позволил Геминию, по его просьбе, вступить в связь с Флорой, но после того не видался более с ней, хотя казалось, что всегда ее любил. Такого разрыва Флора не смогла перенести по обыкновению ей подобных; она долго была больна от горести и любви. Впрочем, Флора была в такой славе, что Цецилий Метелл, украшая кумирами и живописными изображениями храм Кастора и Поллукса, поставил среди

других ее изображение, по причине превосходной красоты ее. Помпей с женой отпущенника своего Деметрия, который был при нем в великой силе и оставил на четыре тысячи талантов имения, обходился против своего обыкновения неблагосклонно и грубо, боясь редкой и славной ее красоты, дабы не почитали его побежденным ею. Однако, несмотря на великую его в этих делах осмотрительность и осторожность, он не избегнул порицания своих неприятелей, которые клеветали его связью с замужними женщинами, из угождения которым не радел об общественных делах и оставлял их без внимания.

Касательно простоты его в выборе пищи рассказывают следующее. Во время болезни, в которой он имел отвращение ко всякому кушанью, врач велел ему съесть дрозда. Тогда не было сезона для этих птиц; сколько ни искали, однако не могли найти ни одной в продаже. Некто сказал, что только у Лукулла можно найти дроздов, ибо он во весь год содержал их. «Ужели, – сказал Помпей, – без роскоши Лукулловой не может жить Помпей?» Он пренебрег предписанием врача и употребил самое простое и обыкновенное кушанье, но этот случай относится к последующему времени.

Будучи еще очень молод и находясь в походе с отцом своим, который действовал против Цинны, Помпей имел приятелем некоего Луция Теренция, с которым жил под одним шатром. Этот человек, подкупленный деньгами Цинны, склонился убить Помпея; в то самое время другие сообщники его должны были зажечь шатер полководца. Помпей получил известие о злоумышлении во время ужина; он нимало не смутился, но, выпив больше обыкновенного и оказав ласки Теренцию, в то самое время, когда надлежало ему ложиться, украдкой вышел из своего шатра, окружил стражей шатер отца своего и стоял спокойно. Теренций, думая, что уже время настало, встал, обнажил меч, приблизился к ложу Помпея и, не сомневаясь, что тот лежит на оном, наносил многие удары по ложу. Между тем войско было в великом волнении по ненависти к полководцу; воины стремились передать себя неприятелю; уже снимали шатры, брали свои оружия. Полководец, устрашенный шумом, не выходил из шатра своего; Помпей, находясь в средине возмутившихся воинов, просил их со слезами не покидать отца. Наконец он, повергшись ниц лицом пред воротами стана, препятствовал им выходить и, рыдая, велел выходящим попирать его ногами. Этим средством он внушил им стыд; каждый отступал; все, кроме восьмисот воинов, изменили свое намерение и примирились с полководцем.

После смерти отца своего Помпей был обвиняем за него перед судом в похищении народных денег, но он открыл, что отпущенник Александр похитил большую часть оных и изобличил его перед судьями. Еще донесли на него, что у него были охотничьи сети и книги, взятые в Аскуле*. Он в самом деле получил оные от отца своего при взятии сего города, но потерял, когда, по возвращении его в Рим, воины Цинны ворвались в его дом и расхитили оный. До решения суда он имел с доносчиком великие споры, в которых, оказав остроту и твердость не по летам, приобрел великую славу и любовь от всех граждан, так что Антистий, который был тогда претором и судил оное дело, полюбил Помпея, хотел выдать свою дочь за него замуж и говорил о том друзьям своим. Помпей принял предложение; между ними происходили тайные условия; однако дело не укрылось от многих, по причине стараний Антистия в пользу Помпея. Наконец, когда Антистий объявил мнение судей, оправдавших его, то весь народ, как бы сговорясь, вскричал: «Таласию! Таласию!»* Происхождение этого древнего обычая следущее. Когда отличнейшие по храбрости своей римляне похищали себе в жены сабинских дочерей, пришедших в Рим, чтобы быть зрительницами на играх, то некоторые из простых людей и пастухов, взяв одну девицу взрослую и прекрасную, уносили ее, но, боясь, чтобы кто-нибудь из знатнейших, попавший им навстречу, не отнял ее, то они бегая кричали: «Таласию! Таласию!» Этот Таласий был один из самых отличных и известных мужей; все, слышавшие его имя, плескали руками, кричали, радовались вместе с ними, хвалили их. Поскольку же Таласий был весьма счастлив браком своим, то это восклицание вошло в употребление при бракосочетаниях в шутку. Вот что достовернее всего того, что говорят о Таласии.

По прошествии немногих после того дней Помпей женился на Антистии. Потом он отправился к Цинне в стане, откуда вскоре тайно удалился, боясь клеветы со стороны сего полководца. Когда его не видно стало более и в стане разнесся слух, что Цинна умертвил юношу, то ненавидевшие и не терпевшие издавна сего полководца возмутились против него.

Цинна убежал, но какой-то начальник когорты, погнавшись за ним с обнаженным мечом, поймал его. Цинна упал к ногам его и предлагал ему печать свою, весьма драгоценную; однако начальник когорты, ругаясь над ним, отвечал: «Не условие пришел я утвердить печатью, я хочу наказать нечестивого и беззаконного тиранна», и с этими словами умертвил его. По убиении Цинны принял начальство Карбон – тиранн еще более ужаснейший, чем Цинна. Уже наступал и Сулла, которого в настоящих бедствиях многие ожидали. Римляне в то время почитали немалым счастьем перемену властителя над собою. До такой крайности бедствия довели республику, что она, отчаявшись сохранить вольность свою, искала только умеренного рабства.

Помпей тогда находился в Пицене, области италийской; он имел там свои поместья, но ему были приятны более всего города этой области, по причине привязанности их и дружбы, которую имели еще к отцу его. Видя, что знаменитейшие и лучшие граждане оставляли свои дома, отовсюду стекались в стан Суллы, как бы в безопасную пристань, Помпей не почел достойным себя, подобно беглецу бесполезному, имеющему нужду в помощи, прибегнуть к Сулле, но оказав ему наперед некоторую услугу, прийти к нему в стан с честью и с войском. Он начал испытывать пиценцев и возбуждать к принятию оружия. Они охотно слушали его и не обращали внимания к словам посланных от Карбона. Один из них, по имени Ведий, сказал пиценцам: «Помпей только что вырвался из училища, а уже он вами управляет!» Они так осердились на него, что в то мгновение напали на него и умертвили. Помпею было тогда двадцать три года*; никто не провозгласил его полководцем; он дал начальство сам себе; поставил в Ауксиме*, большом городе Пицены, среди площади трибунал, приказал двум братьям Вентидиям, которые были первенствующие из жителей и держались стороны Карбона, выйти из города и начал набирать воинов. Назначив начальников и предводителей над ними и устроив их, он объезжал окрестные города, поступая таким же образом. Карбоновы единомышленники удалились; другие охотно к нему приставали. В короткое время он собрал три легиона, снабдил их запасами, возовым скотом, возами и всеми другими снарядами и вел их к Сулле. Он не спешил, не хотел скрываться, но всюду останавливался на дороге, дабы как можно более вредить противникам, и старался отклонить от Карбона те области Италии, через которые он проходил.

Против него восстали три неприятельских полководца – Каринна, Целий и Брут. Они шли к нему не навстречу и не все вместе, но обступали его с разных сторон тремя войсками, дабы его поймать. Помпей нимало не устрашился; собрав воедино все силы свои, поставил впереди всю конницу, которою сам предводительствовал, и устремился на войско Брута. Против его конницы выступила конница неприятельская, которая состояла из галлов. Помпей предупредил ударом дротика и поверг предводителя на землю, который казался быть всех сильнее. Другие, обратясь в бегство, привели в беспорядок пехоту, так что бегство было всеобщее. Это происшествие произвело несогласие между неприятельскими полководцами, которые один от другого отстали и разошлись. Города стали переходить на сторону Помпея, думая, что страх рассеял его противников. Вскоре наступил на него консул Сципион. Прежде нежели оба войска начали бросать друг на друга дротики, воины Сципиона, приветствовав воинов Помпея, перешли на их сторону; Сципион убежал. Наконец, когда сам Карбон выслал против него многие отряды конницы при реке Эзии*, то Помпей выдержал твердо нападение, разбил их, преследовал и завел всех в места крутые, в которых трудно было действовать конницей. Отчаявшись в своем спасении, сия конница предала себя Помпею с оружием.

Сулла не имел никакого известия о происходившем. При первом известии и по разнесшимся слухам о Помпее, заботясь о нем, окруженном столь многими и сильными неприятельскими полководцами, спешил к нему на помощь. Помпей, узнав о приближении Суллы, велел начальникам войска вооружить и устроить войско, дабы оное показалось полководцу прекраснейшим и блистательнейшим. Он ожидал великие от него почести и получил больше, нежели чаял. Сулла, увидев его, приближавшегося со всем войском своим, которое состояло из прекрасных и отборных воинов, гордящихся и веселящихся своими подвигами, соскочил с лошади и, когда Помпей приветствовал его императором, то и Сулла тем самым названием приветствовал Помпея. Никто не ожидал, чтобы Сулла сделал участником в достоинстве, за которое воевал против Сципионов и Мариев, молодого человека, который еще не заседал в сенате. Впоследствии обхождение его с Помпеем соответствовало первым

приветствиям; он всегда вставал, когда Помпей приближался, и обнажал голову. Эти почести не часто оказывал другому, хотя вокруг него было великое множество знаменитейших мужей.

Почести эти не сделали тщеславным Помпея. Когда Сулла хотел отправить его в Галлию, где Метелл во время своего управления не произвел ничего достойного предводительствуемых им сил, то Помпей сказал, что не пристойно лишить военачальства мужа старого и превышающего его славой, но что, если Метелл хочет того, то он готов воевать вместе с ним и быть ему помощником. Метелл принял это предложение и взял Помпея к себе. Он вступил в Галлию и не только сам производил великие дела, но вновь возбуждал и воспламенял воинский дух и смелость Метелла, от старости погасшие. Так раскаленная, текучая медь, как говорят, будучи вылита на твердую и холодную, мягчит и расплавляет ее более самого огня. Но как юношеские победы бойца, отличавшегося среди храбрых в возмужалых летах и со славой одержавшего победу во всех народных играх, не уважаются и предаются забвению, так и тогдашние Помпеевы деяния, хотя сами по себе удивительны и чрезвычайны, однако, будучи как бы завалены множеством и величием последующих подвигов и браней, мной пройдены молчанием, дабы, занявшись долго описанием первых, не пропустить повествования величайших дел и случаев жизни сего мужа, более обнаруживающих свойства его нрава.

Сулла наконец завладел Италией и был провозглашен диктатором. Он награждал всех военачальников и полководцев, обогащал их, давал им высшие начальства, дарил щедро и охотно все то, чего они требовали. Уважая Помпеевы добродетели и почитая его твердейшей подпорой своего правления, он употребил все средства, чтобы привязать его к себе родством. Согласно с желанием жены своей Метеллы, он уговорил Помпея развестись с Антистией и жениться на падчерице его Эмилии, рожденной от Метеллы и Скавра. Эмилия была тогда замужем и беременна. Этот брак был самый насильственный и тираннический, более приличный временам Суллы, нежели жизни и свойствам Помпея. Эмилию беременную ведут от одного мужа к другому. Антистия бесчестно и безжалостно изгоняется, хотя незадолго перед тем из-за мужа лишилась она отца, который был умерщвлен в сенате, показавшись приверженным Сулле из уважения к Помпею, зятю своему. Мать ее, пережившая эти бедствия, предала сама себя смерти, и этот несчастный случай был эпизодом сего трагического брака. Вскоре и сама Эмилия умерла в родах в доме Помпея.

В скором времени получено известие, что Перперна усиливается в Сицилии и сделал этот остров убежищем оставшихся приверженцев враждебной Сулле стороны, что Карбон пристал туда с морскими силами*, что Домиций бросился в Африку, куда стремились и многие другие знаменитые изгнанники, которые успели избежать проскрипции. Помпей с большим войском выслан был против них. Перперна немедленно уступил ему Сицилию; Помпей восстановил разоренные города и поступал человеколюбиво со всеми, исключая мамертинцев, живущих в Мессене. Они отказывались признать его судьей и исполнять его постановления, основываясь на некий старый римский закон, который от того их увольнял; на что Помпей ответствовал: «Перестанете ли вы говорить нам о законах, нам, препоясанным мечами?» Кажется также, что он ругался слишком бесчеловечно над действиями Карбона. Если было необходимо, как в самом деле может быть и было, умертвить его, то надлежало бы сие исполнить тотчас, как скоро он был пойман, и вся вина упала бы на того, кто дал приказание. Но Помпей велел привести пред свое судилище в оковах римлянина, трижды возведенного на консульское достоинство, и, сидя, судил его сам, при всем неудовольствии и негодовании присутствующих; потом велел отвести его и умертвить. Говорят, что когда он был отведен и увидел извлекаемый уже меч, просил о позволении устраниться на короткое время для естественной нужды. Гай Оппий*, друг Цезаря, говорит, что Помпей поступил бесчеловечно и с Квинтом Валерием. Узнав, что Валерий был человек весьма ученый и что немногие могли с ним сравняться в познаниях, он велел привести его к себе, отвел в сторону, ходил с ним несколько времени, расспросил и узнал от него то, чего хотел, а потом велел служителям взять и умертвить его. Впрочем, должно с великой осторожностью верить Оппию, когда он говорит о неприятелях или друзьях Цезаря.

Помпей по необходимости наказывал пойманных им явно знаменитейших врагов Суллы, но всех других, которые скрывались, сколько можно было, оставлял без изыскания и некоторым сам давал возможность уйти. Он хотел наказать город гимерцев, который держался

стороны противников, когда народный оратор Сфенний, испросив позволения говорить, сказал, что Помпей несправедливо поступит, если оставит виновного и накажет невинных. «Кто этот виновный?» – спросил Помпей. «Я, – ответствовал Сфенний. – Я убедил друзей и принудил врагов своих к возмущению». Помпей уважил смелость и твердый дух сего мужа, простил его первого, потом и всех других. Узнав, что воины его в дороге бесчинствовали, он положил печать на их мечи и наказывал тех, кто не хранил оную в целости.

Между тем как он, таким образом, управлял Сицилией, получил постановление сената и письма от Суллы, повелевающие ему переправиться в Ливию и со всеми силами вести войну против Домиция*. Этот полководец собрал войско многочисленнее того, какое имел Марий незадолго перед тем*, переправился из Ливии в Сицилию, завладел римским правлением и из беглеца сделался тиранном. Помпей в скорости сделал все нужные приготовления; оставил правителем Сицилии Меммия, зятя своего, и отправился в Ливию, имея при себе сто двадцать военных кораблей и восемьсот грузных судов с пшеном, стрелами, деньгами и машинами. Как скоро одна часть оных пристала к Утике, а другая к Карфагену, то семь тысяч неприятельских воинов присоединились к нему. Помпей уже предводительствовал шестью полными легионами. Повествуют, что здесь случилось с ним нечто смешное. Некоторые воины нашли клад; каждому из них досталось от того великое число денег. Когда слух о том разнесся среди других воинов, то все почли, что это место наполнено деньгами, которые тут зарыли карфагеняне во время бедствий своих. Несколько дней Помпей не мог ни во что употребить своих воинов, который искали сокровища. Он только ходил вокруг и смеялся, смотря, как несколько тысяч людей рылись и переворачивали землю до тех пор, пока наконец, утомившись от напрасного труда и потеряв всю надежду, просили Помпея, чтобы он вел их куда хочет, ибо довольно уже наказаны за свое легкомыслие.

Домиций стал строем против Помпея. Он был отделен от него рытвиной, которую перейти было весьма трудно, тем более, что в тот день шел с самого утра дождь и дул весьма сильный ветер. Домиций, не желая тогда сразиться, велел отступить; Помпей, почитая сие обстоятельство себе полезным, с великой поспешностью двинулся и перешел рытвину. Воины Домиция, будучи в беспорядке и неустройстве, встретили его не все вместе и неравным строем. При этом ветер переменился и ударил им прямо в лицо; однако буря причинила много вреда и римлянам, которые не могли друг друга ясно видеть. Сам Помпей едва не был убит, не ответив скоро воину, который его не узнал и спрашивал пароль. Наконец неприятель был разбит и претерпел великий урон, ибо из двадцати тысяч, как говорят, спаслись только три. Воины Помпея поздравили его тогда императором, но он сказал им, что до тех пор не примет сего названия, пока стан неприятельский будет стоять на месте; и что если почитают его достойным этого почетного титула, они должны сначала разрушить стан. Воины тотчас устремились на неприятельский вал. Помпей сражался без шлема, боясь подвергнуться прежней опасности. Стан неприятельский был взят; Домиций умертвил себя. Многие города тотчас покорились по своей воле; другие силою принуждены были сдаться.

В плен среди прочих попался и царь Иарб, союзник Домиция, царство которого Помпей отдал Гиемпсалу. Пользуясь успехом и мужеством своего войска, Помпей вступил в Нумидию, прошел несколько дней дороги, покорил все, что ему ни попалось, и вновь восстановил и распространил ужас римского оружия, который варвары уже забыли. Он сказал при том, что и звери, населяющие Ливию, должны почувствовать мужество и счастье римского народа, и провел несколько дней в ловле слонов и львов. В продолжение сорока дней, как говорят, разбил он неприятелей, покорил Ливию, привел в порядок дела царей, имея от роду только двадцать четыре года.

По возвращении своем в Утику получил он от Суллы письма с повелением распустить все войско, а самому, с одним только легионом, дожидаться полководца, который заступит его место. Помпей тайно был огорчен этим повелением, а воины явно негодовали. Когда Помпей просил их отправиться в Италию, то они бранили Суллу, говорили, что не оставят Помпея без себя и не допускали его вериться тирану. Сначала Помпей старался успокоить и утешить их, но не могши убедить словами, сошел с трибунала и пошел в шатер свой со слезами. Воины, взяв его, опять посадили на трибунал, и большая часть дня прошла в том, что воины просили его оставаться и начальствовать, а он просил их покориться и не производить мятежа, но так

как они продолжали просить его и кричать, то он клялся умертвить себя, ежели они употребят насилие. Этими словами насилу он успел их успокоить.

Сулле возвещено было сначала, что Помпей против него восстал. Он говорил друзьям своим, что в старости лет судьба ему определила бороться с отроками, ибо и Марий, будучи еще очень молодым, причинил ему великие беспокойства и довел его до самой крайней опасности, но впоследствии, когда он узнал всю истину, и видел, что граждане стремились принять Помпея со всеми знаками почтения и любви, то он спешил превзойти в том всех. Он вышел к нему навстречу, обнял его с любовью, громким голосом провозгласил его «Магном», или «Великим», и всем велел так называть его. Некоторые говорят, что это прозвание сперва дано ему в Ливии единогласным восклицанием войска, но что оно получило силу утверждением Суллы. Что касается до Помпея, то он после всех и по прошествии долгого времени, когда был послан в Иберию проконсулом против Сертория, начал писаться в письмах и распоряжениях Магном, ибо это прозвание сделалось уже обыкновенным и ни в ком не возбуждало зависти. При этом должно поистине удивляться древним римлянам, которые этими прозваниями не одни только воинские подвиги награждали, но украшали ими и гражданские дела и добродетели. Народ назвал «Максимами», или «Великими» двоих: Валерия за то, что он примирил его с сенатом, с которым был в ссоре, и Фабия Рулла* за то, что он выключил из сената некоторых сыновей отпущенников, которые богатствами своими достигли сенаторского достоинства.

Помпей, по прибытии своем в Рим, требовал триумфа. Сулла противился его требованию. Он представлял, что по закону сия честь дается только претору и консулу, а более никому, что и Сципион первый, победив в Иберии карфагенян в больших и важнейших сражениях, не требовал триумфа, ибо он не был тогда ни консулом, ни претором, что если Помпей, который еще почти без бороды и который, по молодости лет, не имеет права заседать в сенате, вступить с триумфом в город, то власть его (Суллы) и честь, оказанная Помпею, будут равно ненавистны. Это говорил Сулла, дабы показать, что он не допустит Помпея получить почести триумфа и что может унизить честолюбие его, если он не будет ему повиноваться. Помпей нимало не устрашился; он велел Сулле вспомнить, что более людей поклоняются восходящему, нежели заходящему солнцу, разумея под этими словами, что власть его возрастает, а власть Суллы увядает и уменьшается. Сулла, не расслушав его слов, но видя удивление, изображенное на лицах и в телодвижениях слушателей, спросил, что сказал Помпей. Когда он узнал, то, изумленный смелостью Помпея, воскликнул дважды: «Да торжествует!» Поскольку многие из зависти негодовали на Помпея, то он, делая причинить им более досады, хотел въехать в Рим на колеснице, везомой четырьмя слонами; он привез их из Ливии великое множество, отняв у побежденных царей, но как городские ворота были несколько узки, то он переменил намерение и был везом четырьмя конями. Воины его, не получив столько, сколько они ожидали, намеревались суматохой расстроить его триумф; Помпей сказал, что нимало о том не заботится и что скорее откажется от триумфа, нежели унизится до того, чтобы им льстить. При этом Сервилий, муж знаменитый, более всех противившийся триумфу Помпея, сказал: «Теперь вижу я, что Помпей велик и достоин триумфа!» Нет сомнения, что Помпей мог тогда легко получить и сенаторское достоинство, но он нимало о том не старался, ибо, как говорят, искал он славы в том, что было чрезвычайно и необыкновенно. Не было бы удивительно, если бы Помпей прежде законных лет получил место в сенате, но то блистательно и славно, что, не заседая в сенате, он удостоился триумфа. Это немало способствовало ему к приобретению благорасположения народа, ибо гражданам было приятно видеть его после триумфа, представшего на смотр вместе с другими всадниками.

Сулла, напротив того, весьма печалился, видя, на какую степень могущества и славы восходил Помпей, но, стыдясь препятствовать ему, пребывал в спокойствии до тех пор, пока насильственно и против его воли Помпей возвел Лепида на консульское достоинство*, действуя в пользу его в комициях и сделав к нему благосклонным народ, приверженный к себе. Сулла, увидев его с великим множеством народа, идущего домой с площади: «Я вижу, молодой человек, – сказал ему, – что ты рад своей победе. Подлинно славно и прекрасно приготовить так народ, чтобы прежде Катула, добрейшего человека, сделать консулом Лепида, злейшего из людей! Но берегись дремать! Будь осторожен во всем! Ибо ты сделал сильнейшим против себя

своего противоподвижника». Сулла более всего завещанием своим показал неблагоприятство свое к Помпею. Другим друзьям своим отказал дары, имение и назначил их опекуна своего сына; о Помпее совсем ничего не упомянул. Помпей перенес это равнодушно и благоразумно; и когда Лепид и некоторые другие противились торжественному выносу тела его и погребению на Марсовом поле, то Помпей поспешил на помощь, доставил безопасность похоронам и умножил их великолепие.

Вскоре по смерти Суллы открылась истина его предсказания. Лепид, желая присвоить себе его власть, явно и без всяких предлогов принялся за оружие; вновь возбуждал слабые остатки прежних крамол, скрывавшиеся от взоров Суллы, и укрепил себя ими. Консул Катул, соуправляющий с ним, к которому обращено было внимание чистой и здравомыслящей части сената и народа, хотя был уважаем за свое благоразумие и справедливость и почитался величайшим из тогдашних римлян, однако, казалось, имел более способности к управлению гражданскому, нежели к предводительству войск. Обстоятельства сами собою требовали Помпея. Он не долго думал, куда ему обратиться. Пристал к стороне лучших граждан и был избран полководцем против Лепида, который покорил многие страны Италии и занимал войсками Брута Галлию, по эту сторону Альпов лежащую. Помпей напал на неприятелей и скоро победил их, но стоял очень долго перед Мутиной, городом галльским, защищаемым Брутом*. Между тем Лепид, устремясь на Рим и обступив его, требовал вторично быть избранным в консулы, устрашая граждан многочисленными полками. Римляне освободились от страха, получив от Помпея письмо, извещающее их, что он без сражения привел войну к окончанию. Брут, или предав свою силу сам, или будучи предан возмутившимся против него войском, вручил себя Помпею и, получив от него некоторое число конных для провожания, удалился в какой-то город на реке Паде, где через день умертвил его Геминий, насланный Помпеем. Этот поступок Помпея навлек на него порицание. Вначале он писал в сенат, что Брут сдался по своей воле; потом вскоре в письмах своих обвинял сего мужа, которого он велел умертвить. Этот Брут был отец того Брута, который вместе с Кассием умертвил Цезаря. Однако сын не воевал и не умер подобно отцу своему, как видно из его жизнеописания.

Лепид, вырвавшись из Италии, убежал в Сардинию, где заболел и умер от горести, не по причине дурных своих обстоятельств, как уверяют, но узнав по письму, попавшемуся ему в руки, о развращенном поведении жены своей.

Между тем Серторий, полководец, нимало не похожий на Лепида, обладал Иберией и был римлянинам страшен. Казалось, что междоусобные раздоры стеклись к сему полководцу, как к последней тяжкой болезни. Он умертвил уже многих неважных полководцев и тогда воевал с Метеллом Пием, мужем знаменитым и воинственным, который по своей старости, казалось, несколько медленно пользовался обстоятельствами войны и терял все выгоды, которые вырывал из рук его Серторий скоростью и быстротой своих действий. Серторий наступал на него дерзко, более как начальник разбойников, нежели как настоящий полководец, и обеспокоивал засадами и обходами сего мужа, привыкшего, подобно подвижнику, к правильным битвам и управляющего войском, твердым и тяжелым в действиях. Помпей, имея войско в своем управлении, домогался быть посланным на помощь Метеллу. Хотя Катул приказывал ему распустить своих воинов; однако он не повиновался, под разными предлогами был всегда с оружием в руках в окружностях города, до тех пор, как дали ему начальство, по представлению Луция Филиппа. Когда о том рассуждали в сенате, то некто спросил с удивлением у Филиппа, неужели он почитает нужным отправить Помпея проконсулом. «Не проконсулом, – отвечал Филипп, – но вместо консулов»*, желая показать неспособность тогдашних консулов.

Едва Помпей прибыл в Иберию, то, как обыкновенно бывает при появлении нового, знаменитого полководца, переменил мысли людей новыми надеждами. Народы, нетвердо к Серторию привязанные, волновались и отделялись от него. Серторий рассеивал против него весьма гордые речи и, насмехаясь над ним, говорил, что употребил бы розги и плеть против сего мальчишки, если бы не боялся оной старухи (так он называл Метелла). Таковы были слова его, но в самом деле крайне остерегаясь и боясь Помпея, действовал с большей осторожностью, ибо Метелл, вопреки всем ожиданиям, вел жизнь изнеженную и роскошную и явно предал себя наслаждениям и забавам. В нем оказалась вдруг великая склонность к пышности и

великолепию. Это обстоятельство умножило приверженность и любовь к Помпею, вместе со славой его. Хотя образ жизни его был самый простой, однако он старался пресечь малейшие излишества, будучи от природы воздержен и умерен в своих желаниях.

Счастье войны было переменчиво. Всего более огорчило Помпея взятие Лаврона Серторием. Он думал, что уже обступил сего полководца; сказал о том нечто высокомерное, и в то самое время вдруг оказалось, что сам обступлен им со всех сторон. По этой причине, боясь тронуться с места, он увидел, как город этот пред его глазами превращен был в пепел. Однако ему удалось победить при Валентии Геренния и Перперну, мужей знаменитых из числа тех, кто прибегнул к Серторию и вместе с ним предводивших войском, и убил у них более десяти тысяч людей.

Гордясь победой, устремился на самого Сертория, дабы Метелл не был участником в победе. Они сошлись силами своими на реке Сукроне перед наступлением ночи. Оба боялись прибытия Метелла, так как Помпей желал сразиться один, а Серторий – с одним. Победа была сомнительна с обеих сторон; в обеих сторонах одно крыло одержало верх. Но из полководцев более отличился Серторий; он обратил в бегство крыло вражеского войска, стоявшее против него. На Помпея, сидящего на коне, устремился пеший воин чрезвычайной величины. Они сошлись, бились, и удары мечей их поразили руки у обоих, но не равно, ибо Помпей был только ранен, а сам отрубил руку противнику. Великое множество неприятелей стекалось к Помпею; воины его были уже разбиты; он спас жизнь свою, вопреки ожиданию, предав неприятелям лошадь свою, украшенную золотом и драгоценным убором. В то самое время, как они разделяли между собою богатство и за оное сражались, Помпей вырвался из рук их. С наступлением дня обе стороны приготовились к битве для утверждения победы. Между тем приближался Метелл; Серторий распустил и рассеял свое войско. Оно в минуту рассыпалось и собиралось, так что Серторий иногда бродил один, а иногда наступал вдруг с силой, из ста пятидесяти тысяч воинов состоящей, подобно потоку, внезапно наполняющемуся стекающимися водами.

Помпей после этого сражения шел навстречу Метеллу. Когда они были друг от друга недалеко, то Помпей велел ликторам преклонить пуки палок перед Метеллом, отдавая честь ему, как превышающему его в достоинстве, но Метелл не принял этой почести, всегда вел себя учтиво против Помпея, и, как консул и старший, ничего более себе не присваивал, как только право давать пароль войскам, когда оные вместе стояли станом, по большей же части станы их были в разных местах. Их противник многообразностью своих действий отрезал их и удалял друг от друга. Он имел искусство в короткое время показываться в разных местах и переносить битву из одного места в другое. Наконец, пресекая им дороги к получению помощи, разоряя всю область и завладев морем, он вытеснил их обоих совершенно из подвластной ему Иберии и принудил убежать в другие области из-за недостатка в припасах.

Помпей, издержав большую часть своего имения в этой войне, требовал от сената денег, объявив, что он возвратится в Италию с войском, если их не получит. Консулом тогда был Лукулл. Он ускорил отправление денег к Помпею, так как, желая получить предводительство в войне с Митридатом, боялся дать Помпею повод оставить Сертория и обратиться к Митридату, якобы противоподвижнику славнейшему, но которого победить казалось нетрудно.

Между тем Серторий изменнически был убит своими приближенными. Главный из них, Перперна предпринял идти по его следам; он имел те же силы и те же пособия, но не имел разума, равно способного употребить их. Помпей немедленно выступил против него; узнав, что Перперна находился в недоумении и нерешимости, пустил ему, как прикорм, десять когорт в поле и велел им рассеяться. Перперна напал на них и погнался за ними. Вмиг явился Помпей, вступил с ним в сражение и разбил его совершенно. Большая часть полководцев остались на месте сражения. Сам Перперна был взят в плен и приведен к Помпею, который велел его умертвить не потому, что он был неблагодарен или забыл услуги, полученные от него в Сицилии*, как некоторые его обвиняют, но из великого благоразумия и в спасительном для республики намерении. Ибо Перперна завладел бумагами Сертория и показывал письма сильнейших в Риме мужей, которые намеревались возмутить республику, переменить настоящее правление и призывали Сертория в Италию. Помпей, дабы не возжечь мятежей больше тех, которые были усмирены, умертвил Перперну и сжег письма, не прочитавши.

После того пробыл он еще несколько времени в Иберии, чтобы прекратить беспокойства и совершенно погасить все то, что могло произнести возмущение. Он отвел в Италию войско в то самое время, когда, по случаю, война против рабов была во всей силе своей. По этой причине Красс, который предводительствовал войском против них, поспешил дать сражение с великой дерзостью. Ему удалось умертвить из них двенадцать тысяч триста человек; однако счастье само хотело некоторым образом сделать Помпея участником в сем подвиге. Пять тысяч убежавших из сражения рабов попались ему навстречу и все до одного были им побиты. Он писал немедленно в сенат, что Красс разбил гладиаторов в открытом сражении, а он вырвал войну с корнем. Римляне из любви к нему выслушивали и говорили о том с удовольствием. Не было никого, кто, хотя бы в шутку, сказал, что победы в Иберии и над Серторием были дела другого, а не Помпея.

При всем уважении, какое римляне имели к нему, при всей надежде на него, были, однако, некоторое подозрение и боязнь, что он не распустит войска и что с оружием в руках прямо устремится к единоначалию и к верховной власти по примеру Суллы. По этой причине число тех, кто шел к нему из страха, было не менее тех, кто стекался к нему из любви и усердия и приветствовали на дороге. Помпей уничтожил это подозрение, объявив, что распустит войско после триумфа, но завистникам оставался еще повод обвинять его в том, что он более был предан народу, нежели сенату и хотел добиться народного расположения восстановлением власти народных трибунов, которую отменил Сулла. Это было справедливо. Ни к чему народ римский с таким неистовством не стремился, ничего так не желал, как видеть возобновленной власть сию*. Помпей почитал эти обстоятельства великим для себя счастьем к произведению этой перемены, будучи уверен, что не найдет другого случая наградить привязанность к себе римлян, если бы настоящим воспользовался другой.

Он был почтен во второй раз триумфом и возведен на консульское достоинство*; однако не по тому почитаем он был римлянами как человек чрезвычайный и знаменитый. Доказательством его славы почитали то, что Красс, богатейший, красноречивейший и знатнейший изо всех занимающихся тогда гражданскими делами, презирающий и Помпея, и всех других, не осмелился искать консульского достоинства прежде, нежели просить помощи Помпеевой. Это тем более приятно было Помпею, что он давно искал случая услужить ему и завести с ним связь. Итак, он ревностно о том старался и просил народ, объявляя, что он столь же будет обязан народу за избрание Красса ему в товарищи, как и за самое консульство.

Несмотря на то, они, будучи избраны консулами вместе, были различных мнений и всегда в раздоре между собою. Красс имел более силы в сенате; власть Помпея в народе была величайшая. Он возвратил ему трибунство; при нем право судить было перенесено законом к римским всадникам.

Приятнейшее зрелище для народа было видеть Помпея, просящего увольнения от походов. Римские всадники имеют обычай, выслужив определенное законом время, приводить коня своего на площадь к двум мужам, называемым цензорами, исчислить полководцев и предводителей, под которыми они служили и, отдав отчет в своей службе, получить увольнение. Тогда всякому воздаются почести или бесчестие, какое он заслужил своим поведением. В то время цензорами были Геллий и Лентул; они сидели со всеми украшениями своего сана; перед ними проходили всадники, долженствующие дать отчет. Наконец увидели Помпея, сходящего на площадь со всеми знаками своего достоинства, но ведущего под уздцы коня своего. Приблизившись к судилищу, велел он ликторам разделиться и представил цензорам своего коня. Народ, изумленный, пребывал в глубоком молчании; на лицах цензоров изображалась радость, соединенная с почтением. Старший из них вопросил: «Помпей Великий! Я спрашиваю тебя, был ли ты во всех походах, предписанных законом?» Помпей громким голосом ответствовал: «Был во всех и всегда под предводительством самого себя!» При этих словах народ поднял крик, которого от радости не мог удержать. Цензоры встали, проводили Помпея до его дома к удовольствию граждан, которые следовали за ним и плескали руками.

Конец консульства Помпея приближался, но ссора его с Крассом умножалась более и более. Некто Гай Аврелий, из числа всадников, ведший жизнь, удаленную от гражданских дел, во время Народного собрания взошел на трибуну и говорил к народу: «Юпитер явился ему во сне и велел сказать консулам: не прежде сложить свое достоинство, как сделавшись друзьями».

После этих слов Помпей стоял в молчании. Красс первый взял за руку его, приветствовал его и говорил народу следующее: «Граждане! Кажется мне, я не поступаю низко и неблагородно, если первый уступаю Помпею, которого вы почтили прозванием “Великий” в то время, когда он был еще без бороды, и которому вы определили два триумфа прежде, нежели он был сенатором». После чего они примирились и сложили консульское достоинство.

Красс продолжал обыкновенный образ жизни, который вел с самого начала, но Помпей начал избегать случая говорить к народу; мало-помалу отстал от Народного собрания; показывался народу редко, всегда окруженный многочисленной толпой. Нелегко уже было видеть его и говорить с ним, как посреди великого множества; ему приятно было показываться среди толпы клиентов своих, как бы сим видом облекаясь в важность и величие. Он хотел сохранить свое достоинство неприкосновенным и неуниженным от короткого обхождения и знакомства со многими. Гражданская жизнь скользка для людей, которые возвысились оружиями, важность которых не совместна с равенством народным. Они в опасности лишиться своей славы, желая первенствовать в гражданском управлении, как и в войске; но те, кто в войне ниже их, не терпят, чтобы не быть выше их в гражданском управлении. По этой причине, когда попадется им в Народном собрании человек, прославившийся войной и триумфами, то они стараются покорить его себе и унизить его славу. Если же он откажется от всего и уступит им гражданские почести и власть, то они не завидуют его славе. Обстоятельства впоследствии утвердили это мнение.

Могущество пиратов или морских разбойников возродилось в Киликии. Сначала предприятия их были дерзки и скрытны, но в продолжении Митридатовой войны они получили смелость и предприимчивость, оказав сему государю некоторые услуги. Во время междоусобных раздоров, когда римляне перед вратами самого Рима сражались, море, будучи без стражей, мало-помалу привлекало их и подавало средство простираться далее. Они стали уже нападать не на одних мореходов, но грабили острова и приморские города. Уже люди, отличные богатством, знаменитые родом и превосходящие других разумом своим, вступали в разбойничьи суда и участвовали в предприятиях разбойников, как будто бы это приносило им некоторую славу и удовлетворяло честолюбию. Были у них во многих местах пристани, укрепленные обзорища или башни, для послания известий посредством огней; флоты их были лучшим образом снаряжены отборными воинами, искусными кормчими, легкими и быстрыми судами, способными ко всем оборотам; богатство и пышность их оскорбляла более, нежели приготовления их устрашали. Имея золотые мачты для флагов, пурпурные ковры, высеребренные весла, они как бы гордились и хвастали своими злодеяниями. На каждом берегу были видны накрытые столы, и вокруг их пиршествующие и пьянствующие с музыкой и песнями. Города были расхищаемы и платили им дани; знаменитые люди были влекомы в плен, к стыду римского могущества. У них было более тысячи триер; более четырехсот городов было ими занято. Дерзость их не щадила и храмов, дотоле священных и неприкосновенных. Они разрушили и ограбили храмы – дидимский, кларосский, самофракийский; храм Хтонии в Гермионе, Асклепия в Эпидавре, Посейдона на Истме, на мысе Тенаре и на острове Калаврии; Аполлона в Акции и на острове Левкаде; Геры на Самосе, в Аргосе и на мысе Лакинии*. Пираты приносили в Олимпе* странные жертвы и совершали некоторые сокровенные обряды; из них до сих пор сохранены таинства Митры, впервые введенные ими.

Оказав такое презрение римлянам на море, они дерзнули выйти на твердую землю, нападали на большие дороги, грабили и умерщвляли проезжих и разрушали загородные дома. Они захватили двух преторов, Секстилия и Беллина, одетых в пурпурные плащи, со служителями их и ликторами, несущими пуки палок, и увели всех в плен; поймали дочь Антония*, который удостоился триумфа, когда она ездила в свой загородный дом, и принудили ее заплатить большое количество денег за выкуп. Всего хуже было то, что когда попадался им кто-нибудь, который кричал, что он римский гражданин, и объявлял свое имя, то они, притворяясь удивленными и испуганными, ударяли себя, падали на колени и просили прощения. Пленник, видя их в таком унижении и смущении умоляющих его, верил им, тем более что одни надевали ему обувь, другие облекали в тогу, будто бы для того, чтобы не ошибиться насчет его. Обманывая его несколько времени и забавляясь над ним, наконец, на открытом море спускали лестницу и предлагали ему выступить из корабля и идти

благополучно, куда хочет. Когда он отказывался, то они сталкивали его и бросали в воду.

Могущество их распространилось над всем Средиземным морем так, что не было уже мореплавания и торговли. Это было первой причиной, побудившей римлян, которые уже чувствовали недостаток в припасах и боялись голода, послать Помпея для отнятия у них владычества над морями. Габиний*, один из друзей Помпея, написал законопроект, которым давалось ему не корабленачальство, но совершенное единовластие и могущество над всеми без обязанности давать кому-либо отчет. По этому законопроекту власть его простиралась над морем внутри столпов Геркулесовых и над твердой землей на пространстве четырехсот стадиев от моря. Немногие области римского владычества находились вне этой меры; знаменитейшие варварские народы и могущественнейшие цари были объяты ею. Сверх того позволено ему было выбрать в сенате пятнадцать наместников для управления под его начальством; брать от казначейств и сборщиков податей столько денег, сколько ему нужно; составить флот из двухсот кораблей; число и набор воинов, мореходов и гребцов зависело от него.

Закон был прочтен пред народом, который принял оный с великим удовольствием, но величайшие и сильнейшие в сенате думали, что это неопределенное и неограниченное могущество более возбуждало страха, нежели зависти. По этой причине противились его утверждению. Цезарь один дал на то свое согласие. Он менее всего заботился о Помпее, но желал вкрасться с самого начала в доверие народа и привлечь его благосклонность. Все другие сильно упрекали Помпея. Один из консулов* осмелился сказать ему, что, подражая честолюбию Ромула, он не избежит и конца его, и за эти слова был в опасности быть убитым народом. Катул предстал, чтобы противоречить сему закону. Народ из уважения к нему умолк. Он много говорил, без малейшего знака зависти, к чести Помпея; советовал щадить сего мужа и не ввергать его в беспрерывные опасности и брани. «Кто останется у вас, – продолжал он, – если его потеряете?» Все одним голосом воскликнули: «Ты сам!» Катул после того удалился, не могши их убедить. Росций* хотел говорить, но никто его не слушал; однако он пальцами давал знать гражданам, чтобы они избрали Помпея не одного, но вместе с другим. Говорят, что народ в неудовольствии закричал так громко, что ворон, летавший над Собранием, закружился и упал среди толпы народной. Из сего видно, что не разделением воздуха, приведенного в сильное колебание, падают иногда птицы, но будучи поражаемы сильным ударом голоса, который, несясь с великой силою, производит волнение и зыбь в воздухе.

Собрание тогда было распущено. В тот день, когда надлежало подать свои голоса, Помпей тайно выехал из города. Услышав же, что закон принят, вступил в Рим ночью, боясь, чтобы встреча народа и великое стечение не произвели еще большей зависти. При наступлении дня он вышел из дома и приносил богам жертвы. Потом собрал народ и сверх того, что определено было ему дать, он получил еще более, так, что приготовления были почти удвоены. Снаряжено было для него пятьсот кораблей; собрано сто двадцать тысяч тяжелой пехоты и пять тысяч конных. Из сената выбрал он двадцать четыре человека как полководцев и преторов; при нем находилось двое квесторов. Цены продажных вещей тотчас упали, и это подало повод радующемуся народу говорить, что одно имя Помпеево полагало войне конец.

Он разделил все пространство Средиземного моря на тринадцать отделений и в каждом назначил известное число кораблей с начальником. Рассеяв вдруг эти силы всюду и, обступив все вместе разбойничьи суда, он ловил оные и приводил в пристани. Те, кто успел разойтись от других и убежать, со всех сторон неслись в Киликию, как пчелы в улей. Помпей сам приготовился идти против них, имея шестьдесят лучших кораблей; однако не прежде выступил, как очистив совершенно от разбоев моря: Тирренское (Тосканское), Ливийское, Сардинское, Корсиканское и Сицилийское, что ему и удалось произвести в сорок дней, в которых обнаружил всю неутомимость своего духа при усердном содействии других полководцев.

Между тем в Риме консул Пизон, из ярости и зависти к Помпею, разрушал все делаемые приготовления и распускал гребцов. Помпей велел морской силе собраться в Брундизии, а сам через Тиррению поехал в Рим. Едва о том проведали, как все бросились на дорогу и встречали его так, как будто бы не за несколько дней пред тем провожали. Причиной радости их была неожиданная, скорая перемена, произведшая на рынках великое изобилие в припасах. Пизон был в опасности лишиться консульства; у Габиния уже был писан о том проект закона, но Помпей препятствовал предложить оное народу и во всех делах обнаруживал кротость и

умеренность. Он получил все то, в чем имел нужду, вскоре поехал в Брундизий и выступил со всей своей силою. Хотя время понуждало его и хотя переплывал он с великой поспешностью города, однако не пропустил Афин. В городе принес богам жертвы, говорил речь народу, а затем сразу вернулся на корабль. При выходе из Афин читал одностишия, писанные в честь ему. На внутренней стороне городских ворот писано было: «Чем более признаешь ты себя человеком, тем более ты бог»; на наружной стороне: «Мы ожидали, поклонились, видели, провожаем с благоговением».

Некоторые из тех пиратов, которые еще вместе блуждали по морям, просили у него пощады и были им приняты снисходительно; предав себя и корабли свои власти его, они не претерпели ничего дурного. Прочие пираты, надеясь подобного от него приема, всех других полководцев избегали, а предавали сами себя ему вместе с женами и детьми своими. Помпей всех щадил и через них старался отыскать тех, кто еще скрывался; они сами чувствовали всю важность своих преступлений. Поймав их, он предавал последних наказанию.

Большая часть и сильнейшая из них, оставив жен и детей своих, имущества и бесполезные вещи в крепостях и укрепленных городах, при горе Тавре лежащих, и, снарядив корабли свои в Коракесии*, городе киликийском, вышли навстречу Помпею, который наступал на них. Они вступили с ним в сражение, были побеждены и осаждены им. Наконец просили пощады и предали победителю себя, острова свои и города, которые занимали, укрепив их, и которые трудно было взять и даже к ним приступить. Итак, война кончилась; разбои, во всех морях происходившие, были прекращены, не более как в три месяца. Помпей получил множество кораблей; девяносто из них имели медные носы. Плененных пиратов было у него более двадцати тысяч. Он не думал их умертвить; однако не почитал благоразумным и то, чтобы отпустить столь великое множество неимущих и воинственных людей и дать им волю рассыпаться или собираться по-прежнему. Он рассудил, что человек, по природе своей, не есть животное неукротимое и дикое, что хотя предав себя пороку, против природы портится и развращается; однако укрощается гражданскими постановлениями, переменой места и образом жизни; даже лютые звери при мягком обращении делаются ручными и оставляют свою свирепость. Итак, он решился перевести этих людей из моря на твердую землю, заставить их вкусить спокойный род жизни, приучить жить в городах и обрабатывать землю. Некоторые из них приняты были охотно малыми и почти опустевшими городами Киликии, которым придан был добавочный надел земли. Многих из них поселил Помпей в Солах*, не задолго перед тем опустошенном армянским царем Тиграном, и восстановил оный; большей же части дал для поселения город Диму в Ахайе*, который был тогда без жителей и имел прекрасную и обширную землю.

Все было осуждаемо завистниками, но поступок его с Метеллом* на Крите был неприятен и тем, кто его чрезвычайно любил. Этот Метелл был родственник того, который начальствовал в Иберии вместе с Помпеем. Еще до избрания Помпея он был послан претором против пиратов на Крит, который был вторым источником разбоев, после киликийского. Метелл многих поймал и истребил. Остальные, будучи им осаждаемы, послали к Помпею просительное посольство, призывая его на этот остров, как принадлежащий его управлению и находящийся на том пространстве, которое ему представлено. Он принял благосклонно их просьбу и писал Метеллу, запрещая ему против них воевать. Писал также и к городам не повиноваться Метеллу и послал к ним Луция Октавия, одного из своих полководцев, который вступил в город к осажденным и, сражаясь за них, делал Помпея перед глазами всех не только неприятным и ненавистным, но при том смешным, потому что он из зависти и ревности к Метеллу дал свое имя людям беззаконным и нечестивым и прилагал к ним свою славу, как некоторое предохранительное средство. Все говорили тогда, что и Ахилл поступил недостойно великого мужа, но как малое дитя, приведенное в исступление жадностью к славе, когда он, как пишет Гомер*, дает знак не бросать стрел в Гектора:

> Кто-либо, поразив его, не приобрел этой славы, а он не был вторым.

Помпей не только спасает общего врага, но и сражается за него, дабы отнять триумф у

полководца, столь много трудившегося. Однако Метелл не отстал от своего предприятия, завладел городом пиратов и наказал их, а Октавия, обругав среди своего стана, отпустил к Помпею.

Когда в Риме возвещено было, что война с пиратами кончена и что Помпей, будучи свободен от военных предприятий, разъезжает по городам, то Манлий, один из трибунов, предложил следующий закон: «Принять всю страну и все силы, над которыми начальствует Лукулл, присоединив к ним Вифинию, которой управлял Глабрион, и вести войну с царями Митридатом и Тиграном, имея во власти своей морские силы и начальство, которое дано ему было с самого начала». Это значило всю римскую державу вместе покорить одному, ибо все области, которые не содержались в первом законе, как-то: Фригия, Ликаония, Галатия, Каппадокия, Верхняя Колхида и Армения приданы были к оному с теми войсками, которыми Лукулл сразил Митридата и Тиграна. Приверженные к аристократии мало заботились о Лукулле, лишенном славы своих подвигов, которому давали преемника не столько в войне, сколько в триумфе; хотя они чувствовали, что с Лукуллом поступлено было несправедливо и неблагородно. Всего несноснее было для них могущество Помпея, на которое взирали, как на некое самовластие. Они частью увещевали и возбуждали друг друга остановить закон, чтобы не потерять свободы. Настал день утверждения оного; все прочие, боясь народа, потеряли бодрость и не произнесли ни одного слова. Катул один говорил долго против этого закона, но, не убеждая никого в народе, обратился к сенаторам и многократно кричал с трибуны: «Ищите гору, подобно праотцам нашим, ищите скалу, куда бы убежать и спасти вольность республики!» Однако закон был утвержден голосами всех трибов, и Помпею отсутствующему дана почти та же верховная власть, какую получил Сулла, покорив Рим оружием и войной.

Когда Помпей получил письма и узнал постановление народа, то в присутствии сорадующихся друзей своих, наморщив брови и ударив рукой в бедро, как бы отягощаясь им, скучая начальством, воскликнул: «Боги! Сколько бесконечных трудов! Не лучше ли бы мне быть неизвестным и простым человеком? Ужели никогда не буду уволен от походов, и, убежав преследующей меня зависти, жить в деревне со своей женой!» При этих словах и самые приятели его не стерпели притворства его. Им было известно, что ссора его с Лукуллом, возжигая еще более природное властолюбие его, производила в нем чрезмерную радость.

Последующие обстоятельства вскоре обнаружили его. Изданными всюду объявлениями он призывал к себе воинов и повелевал подвластным республике владельцам и царям являться к нему. Вступив в вверенные ему области, ничего из установленного Лукуллом не оставлял в том же положении. Иных освободил от определенного им наказания, у других отнял данные им награды и вообще поступал во всем так, как бы желая показать тем, кто уважал Лукулла и был к нему привержен, что он уже не имеет ни малейшей власти. Лукулл жаловался на то посредством друзей своих. Они решились иметь свидание и сошлись в Галатии. Поскольку они были великие полководцы и прославились блистательными подвигами, то ликторы, их сопровождавшие, имели пуки палок, увитые лаврами. Лукулл шел из мест злачных и тенистых, а Помпей прошел страну безлесную и сухую. Лукулловы ликторы, видя лавры Помпеевых ликторов, несвежие и совсем увядшие, уделили им часть своих лавров, которые еще были зелены, и украсили ими их палки. Это показалось предзнаменованием, что Помпей идет отнять у Лукулла славу и награды, должные победам его.

Лукулл по консульству и по летам был старший, но Помпей был важнее его двумя триумфами. Первое свидание их было учтиво и дружественно. Они возвеличили взаимно свои дела и приветствовали друг друга с совершением таких подвигов, но, вступив в разговоры, не сохранили уже ни умеренности, ни скромности. Они даже бранили друг друга. Помпей упрекал Лукулла сребролюбием, а Лукулл Помпея любоначалием. Наконец друзья их с трудом их развели. Лукулл в Галатии раздавал земли покоренной им области и дары, кому хотел, а Помпей, поставив стан недалеко от него, запрещал повиноваться ему, отнял у него всех воинов, кроме тысячи шестисот человек, которых считал, по причине их непокорности себе, бесполезными, а для Лукулла – опасными. Сверх того Помпей насмехался явно над делами его и говорил, что Лукулл воевал против пышности и театральных ополчений царских, а ему остается сразиться с настоящей и наставленной в войне силою, и что Митридат только теперь прибегнул к щитам, мечам и коннице. Лукулл с своей стороны, защищая себя, говорил, что

Помпей идет сражаться против одного призрака и тени войны, что он, подобно ленивой птице, привык слетать на чужие труды и пожирать останки войны, что таким же образом присвоил себе подвиги над Серторием, Лепидом и Спартаком, совершенные Крассом, Метеллом и Катулом; и что, наконец, неудивительно, если человек, употребивший все усилия, чтобы сколько-нибудь участвовать в триумфе над беглыми рабами, теперь всячески старается присвоить себе славу армянской и понтийской браней.

Вскоре Лукулл удалился. Помпей, обняв для безопасности всем флотом пространство моря от Боспора для Финикии, вышел против Митридата. У государя сего было тогда тридцать тысяч пехоты и две тысячи конницы; однако он не смел сражаться. Сначала стоял он в стане на крепкой и неприступной горе, которую вскоре оставил, как безводную*. Помпей занял эту самую гору, и рассудив, по роду на ней растущих трав и по разным ущельями и впадинам, что сие место должно иметь ключи, приказал всюду вырыть колодцы. Вскоре войско имело в воде великое изобилие, и Помпей удивлялся, как Митридату во все время это было неизвестно. После сего Помпей обошел его и обвел рвом. Митридат был осаждаем сорок пять дней и наконец скрытно убежал с лучшими своими войсками, умертвив наперед бесполезных и больных.

Помпей настиг его на Евфрате и поставил стан свой подле него. Боясь, чтобы он не успел переправиться через реку, в самую полночь повел на него вооруженное войско. В то самое время, говорят, Митридат увидел сон, предзнаменовавший ему будущее; казалось ему, что он плавал по Понтийскому морю попутным ветром, что видел уже Боспор и поздравлял спутников своих, как бы радуясь верному спасению, но вдруг остался один и был несом волнами на малой ладье. При таком видении и страхе вошли приближенные его и разбудили с известием о наступлении Помпея. Ему надлежало по необходимости сразиться за стан. Полководцы привели войско и поставили в боевом порядке. Помпей, видя их приготовления, не решался в темноте ночной подвергнуться опасности; он хотел только обойти неприятелей, дабы они не убежали, и напасть на них днем, хотя их было больше, но старейшие начальники когорт представлениями и просьбами побудили его к нападению. Не совсем было темно; склоняющаяся луна изливала еще столько света, что можно было видеть и различать предметы, но это обмануло Митридатовых полководцев. Римляне, нападая, имели луну сзади, и как свет ее уже уклонялся к своему захождению, то тела бросали далеко тень, которая доходила до неприятелей. Эти не могли распознать точно расстояния и, думая, что нападающие были очень близки, пускали на них свои стрелы и дротики, но втуне, ибо никого ими не достигали. Римляне, приметив это, с громким криком устремились на них; неприятели не осмелились их ожидать; в страхе предались они бегству и были убиваемы. На месте осталось их более десяти тысяч; весь стан достался победителю.

Сам Митридат с восьмьюстами конных в самом начале битвы прорвался сквозь римлян и убежал, но эти конные вскоре разбежались; при нем осталось только трое, в числе которых была и Гипсикратия, его наложница, женщина мужественная, чрезвычайно смелая. Митридат называл ее Гипсикратом. Тогда она была одета по-персидски и ехала верхом; не утомилась от столь дальней дороги и не переставала услуживать царю и иметь попечение о коне его до самого прибытия его в Синору*, местечко, где хранились царские сокровища и драгоценности. Здесь Митридат роздал богатые одежды стекающимся к нему после поражения; каждому же из своих друзей дал он смертоносный яд, чтобы носить при себе, дабы никому из них против воли своей не попасть в руки неприятелям. После того обратился он к Тиграну в Армению, но сей государь не только отказался принять его, но положил цену за его голову сто талантов. Митридат прошел истоки Евфрата и бежал через Колхиду.

Между тем Помпей вступил в Армению, призванный туда молодым Тиграном*, который отстал от отца своего. Он встретил Помпея на реке Аракс, которая истекает из тех же мест, из которых и Евфрат, но отклоняясь к востоку, впадает в Каспийское море. Они шли вперед и в то же время покоряли города. Царь Тигран, еще незадолго перед тем совершенно разбитый Лукуллом, узнав, что Помпей кроток нравом и человеколюбив, принял в свою столицу охранное войско римское и, взяв своих друзей и родственников, отправился к Помпею, чтобы предать ему себя. Он прибыл к стану верхом; двое из Помпеевых ликторов, подойдя к нему, велели сойти с лошади и вступить в стан пешком. «Поскольку, – говорили они, – никогда в

римском стане не было видно человека верхом». Тигран сему повиновался; он снял при этом свой меч и отдал его ликторам. Наконец, когда он пришел к Помпею, то сложил свою китару, хотел ее поставить у ног полководца и, что всего постыднее, перед ним повергнуться и обнять колена его. Помпей перехватил его руку, привел в свой шатер, посадил его возле себя, а сына его на другую сторону, и говорил ему: «В первых твоих потерях ты должен винить Лукулла, ибо им отняты у тебя Сирия, Финикия, Киликия, Галатия и Софена. Отныне ты будешь владеть тем, что до ныне у тебя остается, заплатив пени шесть тысяч талантов за оскорбления, нанесенные римлянам. Сын твой будет царем Софены*». Тигран принял с удовольствием эти предложения, и когда римляне провозгласили его царем, то он в радости своей обещал выдать каждому воину по полмине, сотнику по десять мин, а тысяченачальнику по одному таланту, но сын его был тем недоволен и, будучи зван на ужин, отвечал, что не имеет нужды в таких почестях Помпея; и что он найдет себе другого римлянина. За этот ответ он был связан и стрегом для украшения триумфа Помпея. Вскоре после того Фраат, царь парфянский, требовал освобождения сего юноши, который был ему зятем, и предлагал считать Евфрат пределом обеих держав. Помпей ответствовал, что молодой Тигран более принадлежит отцу, нежели тестю, а пределы обеих держав должны быть поставлены справедливостью.

Помпей оставил Афрания хранителем Армении и через земли разных народов, вокруг Кавказа обитающие, шел на Митридата. Многочисленнейшие из этих народов суть альбаны и иберы. Иберы простираются до Мосхийских гор* и Эвксинского Понта, а альбаны живут к востоку до Каспийского моря. Сперва они позволили Помпею, по его требованию, пройти через их область, но так как зима настигла войско в стране этой и наступали Сатурновы празднества, то они, в числе сорока тысяч, хотели напасть на римлян, переправившись через реку Кирн*, который истекая с Иберийских гор и приняв в себя реку Аракс, истекающую из Армения, впадает в Каспийское море двенадцатью устьями. Некоторые говорят, что эта река не смешивается с Араксом, но течет сама по себе и впадает в море недалеко от Аракса.

Хотя Помпей мог препятствовать переправе неприятелей, однако спокойно смотрел на переправу; потом напал на них, разбил их и положил на месте великое множество. Царь их просил прощения через своих посланников. Помпей простил обиду, заключил с ним мир и шел против иберов, которые числом будучи не меньше, а храбростью превышая других, твердо решились оказать услугу Митридату и отразить Помпея. Этот народ никогда не был покорен ни персам, ни мидам; они избежали и македонской власти, ибо Александр поспешно удалился из Гиркании. Помпей в большом сражении разбил их, умертвил девять тысяч, взял в плен более десяти и вступил в Колхиду. На реке Фасис встретил его Сервилий с кораблями, которыми охранял Эвксинский Понт.

Преследование Митридата, сокрывшегося среди народов, обитающими вокруг Боспора и Мэотиды, подвержено было великим затруднениям. Получено было известие, что альбаны вновь возмутились против римлян. Помпей в гневе своем возвратился к реке Кирн и с великими трудом и опасностью опять переправился на другой берег, который варвары в великом пространстве укрепили палисадами. Поскольку должно было ему пройти дорогу безводную и трудную, то он наполнил водой десять тысяч мехов, продолжал свой путь и настиг неприятелей, при реке Абанта устроенных; число их простиралось до шестидесяти тысяч пехоты и двенадцати тысяч конницы. Они все были дурно вооружены и большей частью покрыты звериными кожами. Ими предводительствовал брат царя их, по имени Косис. Когда войска сошлись, то он устремился на Помпея самого и ударил его дротиком в самый сгиб брони, но Помпей, пронзив дротиком, умертвил его. Говорят, что в этом сражении вместе с варварами сражались и амазонки, сошедшие с гор, около реки Фермодонт* находящихся. После битвы римляне, собирая добычу, нашли щиты и обувь амазонские, но не видали ни одного женского трупа. Они живут на той части Кавказских гор, которые простираются к Гирканскому морю и не смежные с альбанами; страну, между ними лежащую, населяют гелы и леги*. Они проводят с ними по два месяца в году на берегах Фермодонта; потом удаляются в свою страну и живут одни.

После этого сражения Помпей хотел идти в Гирканию и к Каспийскому морю*, но великое множество ядовитых пресмыкающихся принудило его возвратиться назад, хотя уже прошел три дня дороги. Он вступил в Малую Армению, где принял посланников от царей

элимеев* и мидийцев и отвечал дружелюбно. На царя парфянского, который вступил в Гордиену* и разорял области, состоящие под властью Тиграна, послал с войском Афрания, который прогнал его до Арбелитиды*.

Помпей не свиделся ни с одной из наложниц Митридата, которые приведены были к нему, и всех отослал к их родителям. Большая часть из них были дочери и жены владетелей и полководцев, но Стратоника, которая была всех важнее и стерегла крепость, где хранилось великое количество золота, была дочь певчего, небогатого и старого. Она так прельстила за столом Митридата пением своим, что он оставил ее у себя, а старика отослал, недовольного тем, что его не удостоили даже ласкового слова. Когда же он поутру проснулся и увидел у себя столы, покрытые золотыми и серебряными чашами, толпу служителей, евнухов и мальчиков, приносящих к нему великолепные одежды, а у дверей богато убранного коня, на каком обыкновенно ездили верхом царские любимцы, то, почитая все сие шуткой и насмешкой, хотел убежать из своего дома, но служители удержали его, говоря, что царь дарит ему большой дом, принадлежавший незадолго перед тем умершему богачу, что все это только слабое начало и малый опыт других богатств и имений, которое ему назначены. Итак, поверив сему с трудом, он надел пурпуровую одежду, вскочил на коня и, разъезжая по всему городу, кричал: «Все это мое!» Смеющимся над ним он говорил, что то удивительно, как от радости не сходит с ума и не бросает на всех каменья. Такого-то была происхождения Стратоника!* Она сдала Помпею крепость и принесла ему многие дары. Помпей принял только те, которые могли служить к украшению храмов и умножить блеск триумфа, а прочие возвратил Стратонике, чтобы она пользовалась ими. Он также не принял ложа, стола и трона, все из золота, которые царь иберийский прислал к нему и просил их взять, но отдал все квесторам для внесения в народную казну.

В крепости, называемой Новой*, Помпей нашел тайные бумаги Митридата и прочел оные с удовольствием; из них можно было весьма хорошо узнать о характере сего государя. Это были записки, из которых открылось, что он многих, а среди них и сына своего Ариарита отравил ядом, равно как и Алкея из Сард за то, что он одержал над ним верх в конском ристании. В них находились толкования на сны, виденные самим Митридатом и некоторыми из его жен. Он нашел и неблагопристойные письма от Монимы* к нему и от него к Мониме. Феофан* говорит, что найдена была и Рутилиева речь, которая побуждала его к умерщвлению находившихся в Азии римлян, но это, как справедливо думают, есть злоумышление Феофана, ненавидевшего Рутилия за то, что он ни в чем на него не походил, а, может быть, и из угождения к Помпею, отца которого Рутилий в истории своей представил дурнейшим человеком.

Из Малой Армении Помпей прибыл в Амис, где, побужденный честолюбием, сделал поступок, навлекший ему порицание. Он прежде смеялся над Лукуллом за то, что раздавал награды и почести, как победитель по совершенном окончании войны, хотя она еще продолжалась во всей силе своей; но сам в то время, когда Митридат владел еще Боспором и собирал важные силы, как будто бы все было уже кончено, делал то же, что и Лукулл, учреждал провинции и раздавал награды. Многие князья, владельцы и двенадцать варварских царей прибыли к нему. По этой причине из угождения к ним, в письме своем к парфянскому государю, не удостоил его названия «царя царей», которое обыкновенно ему давали другие.

Будучи одержим сильным желанием приобрести Сирию и через Аравию пройти до Красного моря, дабы, побеждая, достигнуть Океана, со всех сторон обтекающего вселенную, ибо и в Ливии он первый, побеждая, дошел до Внешнего моря, и в Иберии вновь положил Атлантический океан пределом римской державы, и незадолго перед тем, преследуя альбанов, едва не дошел до Гирканского моря. Он решился совершить круг своего похода Красным морем; сверх того он видел, что Митридата нельзя поймать оружием, и что он опаснее, когда бежит, нежели когда сражается. Сказав, что позади себя оставит Митридату неприятеля гораздо сильнее чем он сам – голод, Помпей поставил корабли, дабы препятствовать купцам вступить в Боспор, определив смерть тем, кто был бы пойман.

Собрав большую часть своих войск, он предпринял поход. Дорогой нашел еще не погребенные тела воинов, несчастно с Митридатом сразившихся под предводительством Триария* и павших на месте. Он похоронил оные с блеском и честью. Забвение долга было

причиной немалой ненависти воинов к Лукуллу. После покорения Афранием арабов, живущих около Амана*, Помпей пошел в Сирию. Она не имела собственных царей, и Помпей превратил ее в провинцию и приобретение римского народа. Потом покорил Иудею*, взял в полон царя оной Аристобула; построил несколько городов; некоторые города освободил, наказывая их тираннов. Большую часть времени употреблял на то, чтобы оказывать суд и решать ссоры народов и царей; он посылал своих друзей туда, где не мог быть сам. Таким же образом послал он трех судей и примирителей к парфянам и армянам, дабы судить бывший между ними раздор о некоторой области. Слава о его могуществе была велика; не менее того была велика и слава о его добродетели и кротости. Ими он закрывал проступки своих друзей и приближенных, не будучи способен препятствовать дурным их делам или наказывать их за оные; сам же обращался со всеми с таким снисхождением, что они забывали жадность его друзей и претерпеваемые от них притеснения.

В большой при нем силе находился вольноотпущенник Деметрий, молодой человек, не без ума, но слишком много пользовавшийся своим счастьем. О нем говорят между прочим и следующее. Философ Катон, будучи еще молод, но, имея уже великую славу по причине высокого духа своего, хотел осмотреть Антиохию в то время, когда не было там Помпея. Он, по своему обыкновению, шел пешком, а его друзья сопутствовали ему верхом. Приближаясь к городу, увидел он перед воротами толпу людей в белых одеждах; на одной стороне дороги стояли ряды юношей, на другой отроков. Думая, что эта встреча и почести были приготовлены для него, ему было то неприятно, ибо он ничего такого не требовал. Он велел друзьям своим сойти с коней и идти вместе с ним. Когда приблизились к толпе, то распорядитель и учредитель торжественной встречи, с венцом на голове и жезлом в руке, подошел к ним, спросил, где оставили Деметрия и когда он будет. Друзья Катона не могли удержаться от смеха, а Катон сказал только: «О несчастный город!», прошел далее и не отвечал ничего. Впрочем, Помпей поведением своим производил то, что менее ненавидели любимца его, ибо он сам терпел от него великие грубости и неприятности, не оказывая на то досады. Часто случалось, что во время угощения, когда Помпей сам еще ожидал и принимал званых гостей, Деметрий лежал уже гордо за пиршественным столом, подняв на голову платье за ушами. До возвращения своего в Италию он купил приятнейшие предместья Рима и прекраснейшие места для прогулки. У него были также великолепные сады, называемые Деметриевыми. Напротив того, Помпей сам занимал весьма простой и посредственный дом до третьего триумфа, но после того, воздвигнув римлянам прекрасный и славный театр*, прозванный его именем, он придал к нему дом, великолепнее прежнего, но и этот не возбуждал зависти, так, что тот, кому оный достался после Помпея, вошел в него, с удивлением спросил: «Где же столовая Помпея Великого?» Это так повествуется.

Царь арабов, обитающих вокруг так называемой Петры*, дотоле нимало не уважал силы римской, но тогда, будучи приведен в великий страх, он писал Помпею, уверяя, что готов во всем ему повиноваться и все исполнять. Помпей, дабы увериться в его намерениях, пошел прямо к Петре. Этот поход многими был порицаем, ибо думали, что он тем избегает преследования Митридата, и требовали, чтобы он со своими силами обратился против этого древнего врага Рима, который вновь делал приготовления, и как слышно было, через Скифию и Пэонию* пробирался в Италию с войском, но Помпей думал, что скорее может разбить силы его в сражении, нежели, преследуя, поймать его. По этой причине он не хотел тратить времени в его преследовании, между тем положил продлить время и употребить в других предприятиях. Но судьба решила все сомнения. Помпей был от Петры недалеко и в тот день расположился станом, перед которым упражнялся в конной езде, как прискакали гонцы с Понта с счастливым известием. Это можно было узнать по остриям копий их, лаврами увитых. Воины, увидев их, стекались к Помпею; он прежде хотел окончить свое упражнение, но как воины кричали и просили его, то он соскочил с коня, принял письма и вступил в стан. Так как у них не было трибуны, а военной еще воздвигнуть не успели, (ее составляют обыкновенно из больших кусков земли, складывая один на другой), то воины из поспешности и усердия собрали седла возовых скотов и составили груду. Помпей взошел на оную, объявил им, что Митридат умер, что он умертвил себя по причине возмущения сына его Фарнака, что Фарнак завладел царством и пишет, что принял все во власть свою и римскую.

При этом известии все войско предалось радости, приносило богам жертвы и учреждало пиршества, как бы в одном Митридате погибло бесчисленное множество врагов. Помпей, таким образом положив деяниям своим и походам конец, не столь легко ожидаемый, отступил тотчас из Аравии и прошел поспешно области, лежащие на дороге, возвратился в Амис, где нашел присланные от Фарнака великолепные дары и тела многих убиенных царских родственников. Между ними было и тело Митридата, которого нельзя уже было с лица распознать (ибо бальзамировавшие его забыли вынуть из головы мозг), но те, кто желал видеть сие зрелище, узнали его по рубцам, бывшим у него на теле. Помпей не захотел видеть его труп, страшась навлечь на себя мщение богов, и отослал его в Синопу. Он удивлялся великолепию одежды его, величине и блеску оружий его. Перевязь его, которая стоила четыреста талантов, украл некто по имени Публий и продал Ариарату, а Гай, который был воспитан вместе с Митридатом, передал тайно китару удивительной работы Фавсту, сыну Суллы, который его у него выпросил. Помпей не знал ничего об этих похищениях, но Фарнак впоследствии открыл их и наказал похитителей.

Устроив и учредив тамошние области, Помпей совершил обратный поход с великим торжеством. Он прибыл в Митилену, дал городу вольность из уважения к Феофану и присутствовал при обыкновенном состязании стихотворцев; содержание их сочинения было одно и то же: подвиги Помпеевы. Ему так понравился тамошний театр, что он велел снять его план с намерением построить такой же в Риме, но только больше и великолепнее митиленского. Приехав на Родос, он был слушателем всех софистов и каждому подарил по таланту. Посидоний оставил нам речь, которую произнес в присутствии Помпея, в опровержение мнения ритора Гермагора, об изобретении вообще*. В Афинах он также оказал щедрость свою философам и при том подарил городу пятьдесят талантов для восстановления.

Он надеялся, что вступит в Италию с большим блеском, нежели кто-либо другой из смертных; желал видеться со своими домашними, нетерпеливо его ожидавшими. Однако тот демон, который всегда заботится о том, чтобы вмешивать в великие и блистательные блага некоторую часть зла, уже давно его подстерегал, приготовляя для него неприятное возвращение. Муция*, жена его, во время его отсутствия обесславила себя дурным поведением. Помпей, будучи далеко, пренебрегал всеми слухами, но приближаясь к Италии и рассудив обо всем слышанном свободнее, послал ей разводную, не объявив ни письменно, ни словесно причины сего поступка. Причина показана в Цицероновых письмах.

Между тем в Риме носились о Помпее различные слухи. Все были в беспокойстве, ожидая, что он поведет в город войско и что утвердит себя в единоначалии. Красс вышел тайно из Рима со своими детьми и деньгами, или, как казалось, чтобы более утвердить клевету и возбудить против него большую зависть, но Помпей, выступив в Италию, созвал воинов своих, говорил им речь, приличную обстоятельствам, благодарил их за усердие, велел разойтись по городам в свои дома с тем, чтобы возвратиться к нему для украшения триумфа. Таким образом, войско разошлось. Когда все о том узнали, то случилось весьма удивительное происшествие. Города, видя Великого Помпея, идущего безоружным, в сопровождении немногих друзей своих, как бы возвращающегося из какого-либо обыкновенного путешествия, стекались навстречу из одной приверженности к нему и сопровождали его до Рима в таком множестве, что он не имел в войске никакой нужды, когда бы захотел совершить государственный переворот.

Поскольку законом не позволялось вступать в город до триумфа, то Помпей послал просить сенат оказать ему милость, отложить выборы консульские, дабы он мог быть при них и стараться об избрании в консулы Пизона*. Катон восстал против этой просьбы, и желание Помпея не исполнилось. Помпей, удивляясь смелости и твердости духа, с которыми Катон один явно говорил в защиту справедливости, желал приобрести его дружбу каким-нибудь другим образом. Катон имел двух племянниц; Помпей хотел жениться на одной, а на другой женить своего сына, но Катон, подозревая его намерение и поняв, что этим родством хотел его уловить и как бы подкупить, не принял его, хотя сестре и жене его было весьма неприятно, что он отвергнул родство с Великим Помпеем. Между тем Помпей хотел сделать консулом Афрания и расточал за него в трибах деньги, которые граждане приходили получать в садах Помпеевых. Это разнеслось по всему городу; его порицали за то, что достоинство, которое сам заслужил

своими подвигами, как величайшее, делает продажным для тех, кто не в состоянии приобрести оное добродетелями своими. Тогда-то Катон говорил жене и сестре своей, что и они участвовали бы в этих порицаниях, если бы вступили в родство с Великим Помпеем; они признавались, что он лучше их рассуждает о том, что прилично.

Хотя триумф* был разделен на два дня, однако и этого времени было недостаточно, и многие приготовления, сделанные для сего торжества, остались в бездействии, хотя оные были бы достаточны к украшению другого триумфа. Впереди носимы были написанные на таблицах имена областей и народов, над которыми Помпей торжествовал; оные были следующие: Понт, Армения, Каппадокия, Пафлагония, Мидия, Колхида, иберы, альбаны, Сирия, Киликия, Месопотамия, племена Финикии и Палестины, Иудея, Аравия, а также все пираты, покоренные на море и суше. При том взято было крепостей не менее тысячи; городов девятьсот без малого; пиратских кораблей восемьсот; вновь населено городов тридцать девять. Еще написано было, что республика имела доходу пятьдесят миллионов драхм, а завоеваниями Помпея получила восемьдесят пять миллионов, что в народную казну внесено деньгами и вещами двадцать тысяч талантов золота и серебра, кроме того, что роздано воинам, из которых каждый получил по крайней мере тысячу пятьсот драхм. Триумф его сопровождали, кроме начальников пиратских, сын армянского царя Тиграна вместе с женой и дочерью, жена самого Тиграна, Зосима, царь Иудеи Аристобул, сестра Митридата, пятеро его детей*, жены скифские; заложники альбанов, иберов и коммагенского царя*; так же многие трофеи, равные в числе тем сражениям, в которых или он сам, или кто из подчиненных ему полководцев одержали победу. Что более всего служило к его славе и ни с кем из римлян никогда не случалось, было то, что он третий триумф получил за подвиги, оказанные в третьей части света. Трижды почтены были триумфами и другие, но Помпей первый триумф получил за подвиги ливийские, второй – за европейские, а третий и последний – за азийские; казалось, этими тремя триумфами он покорил вселенную.

Уподобляющие его во всем Александру и сравнивающие его с ним полагают, что ему было тогда менее тридцати четырех лет, но в самом деле ему было около сорока*. Сколь счастлив бы он был, если бы жизнь его прекратилась в то время, пока он имел благополучие Александра! Последующее время приносило либо успехи, возбуждавшие зависть, либо несчастья нестерпимые. Он употреблял несправедливо в пользу других ту силу, которую приобрел в республике средствами справедливыми; так, чем более придавал важности другим, тем более уменьшал свою славу и неприметным образом собственным могуществом и величием силы был низвержен. Подобно как в городах крепчайшая часть, приняв в себя неприятелей, передает им всю свою силу – так могуществом Помпея поднятый на высоту Цезарь низложил и поверг долу того самого человека, от которого заимствовал всю силу против своих сограждан. Случилось это следующим образом.

Когда из Азии возвратился Лукулл, столь много поруганный Помпеем, то сенат принял его с величайшими почестями и по возвращении Помпея старался еще более возбудить его честолюбие в управлении, но Лукуллова бодрость была усыплена и деятельность охладела. Он предался приятности покоя и наслаждению своим богатством. Когда же он устремился наконец на Помпея, схватил его крепко и имел над ним верх в деле об уничтожении распоряжений его и в сенате, при помощи Катона, одержал победу.

Помпей, со всех сторон претерпевая нападение, принужден был прибегнуть к трибунам, быть от них в зависимости и привязывать к себе молодых дерзких людей. Клодий, подлейший и наглейший из них, завладел Помпеем, покорил его народу, влачил против его достоинства по площади и употреблял его как утвердителя всего того, что он говорил и писал, угождая и льстя народу. Кроме того, – словно Клодий не бесчестил его, но еще благодетельствовал ему, – требовал от Помпея награды, которую и получил впоследствии, и чтобы он предал ему Цицерона, друга своего, столь много ему содействовавшего в делах. В самом деле, когда Цицерон находился в опасности и просил помощи у Помпея, то он не только не вышел к нему, но запер двери своего дома тем, кто шел просить за него, и вышел другими. Цицерон, боясь суда, убежал из Рима.

В это время Цезарь, возвратившийся из похода*, предпринял дело, которое тогда привлекло любовь к нему народа, впоследствии приобрело ему великую славу, но которое было

чрезвычайно вредно и Помпею, и республике. Он искал консульства в первый раз. Видя, что Красс с Помпеем в раздоре, и рассудив, что, приступивши к одному из них, будет иметь врагом другого, он решился примирить их между собою. Предприятие прекрасное и полезное, но с дурным намерением, весьма искусно и коварно выдуманное. Тогда-то разделенная сила, сохранявшая в республике равновесие, подобно как на корабле, собравшись воедино и сделавшись, так сказать, одной силою, произвела тот всепреодолевающий и непреоборимый перевес, который возмутил все и ниспровергнул республику. Катон говорил, что те ошибались, кто думал, что республику погубил раздор, в последующее время возникший между Цезарем и Помпеем; они, таким образом, возлагали вину на последствие. Не раздор и не вражда, но соединение и согласие их ввергли республику в первые и величайшие бедствия.

Цезарь был избран консулом и немедленно начал угождать бедным и неимущим; писал законопроекты о населении городов и разделении полей, и, выступая из важности своего достоинства, некоторым образом консульство превратил в трибунат*. Товарищ его Бибул противился ему, и Катон был готов всеми силами подкреплять Бибула. Тогда Цезарь, приведши Помпея на трибуну, спросил у него: «Одобряешь ли ты предлагаемые мной законы?» Помпей показал на то свое согласие. «Итак, – продолжал Цезарь, – если кто препятствовать будет их исполнению, то не поспешишь ли на помощь народу?» – «Поспешу, – отвечал Помпей, – и против угрожающих мечами вместе с мечом принесу и щит». До того дня Помпей не говорил и не делал ничего столь жестокого и насильственного; самые друзья его старались оправдать эти слова, говоря, что они вырвались из уст его вдруг и без размышления. Последующие его поступки доказали явно, что он совершенно предал себя на волю Цезаря. Вопреки всем ожиданиям, он женился на Юлии, Цезаревой дочери, которая несколькими днями прежде была обручена с Цепионом. Чтобы смягчить гнев Цепиона, Помпей дал ему свою дочь, обещанную Фавсту, сыну Суллы; сам Цезарь женился на Кальпурнии, дочери Пизона.

После этого Помпей наполнил воинами город и насильственно завладел всеми делами. Эти воины вдруг напали на консула Бибула, шедшего в Народное собрание с Лукуллом и Катоном, и переломили палки его ликторов; один из них опрокинул на голову ему корзину с навозом; двое из сопровождавших их трибунов были ранены. Таким образом, очистив площадь от всех противников, утвердили закон о разделе полей. Народ, соблазненный этим законом, был уже во всем им послушен и покорен, не противоречил им и безмолвно утверждал все их предложения. Приняты были распоряжения Помпея, против которых спорил Лукулл. Цезарю дано было правление над внешней и внутренней Галлией и над иллирийцами, а также четыре полных легионов сроком на пять лет; на следующий год избраны были консулами Пизон, тесть Цезаря, и Габиний, бесстыднейший из льстецов Помпея. Между тем как это происходило, Бибул, запершись в доме своем, восемь месяцев консульства своего не показывался в народе; он издавал только объявления к народу, исполненные ругательств и обвинений на Помпея и Цезаря. Катон, как бы вдохновенный и исполненный божеством, предсказывал в сенате все то, чему надлежало случиться с республикой и с Помпеем. Лукулл, потеряв всю надежду, жил в бездействии, не будучи уже способен к делам по старости лет своих. Хотя Помпей сказал ему некогда, что старику не столь прилично проводить время в неге, как заниматься общественными делами; однако же и он вскоре смягчился любовью к молодой жене своей, занимался по большей части ею, проводил дни свои в поместьях и садах и не радел о том, что происходило в Собрании.

Уже и Клодий, который тогда был трибуном, презирал его и пустился на самые дерзкие предприятия. Изгнав Цицерона, выслав Катона на Кипр под предлогом военачальства, а по выезде Цезаря в Галлию, видя народ к себе благосклонным потому, что он во всем ему льстил и угождал, Клодий предпринял немедленно уничтожить некоторые из распоряжений Помпея. Он имел при себе пленного Тиграна, похитив его, и нападал на друзей Помпея, как бы испытывая над ними могущество его. Наконец в один день, когда Помпей присутствовал в некотором судопроизводстве, Клодий, имея при себе толпу развратных и наглых людей, стал на возвышенное место и делал следующие вопросы: «Кто полководец невоздержанный? Какой человек ищет человека? Кто одним пальцем чешет себе голову?» И его последователи, как бы составляя хор, один другому соответствующий, всякий раз как он потрясал своей тогой, громко восклицали: «Помпей!»*

Это вызвало великое неудовольствие у Помпея, который не привык слушать ругательства и не был опытен в войне такого рода. Еще более печалило его то, что сенат радовался, видя его поруганным, осмеиваемым и наказываемым за предательство Цицерона. Когда же дело на площади дошло до драки и ран и пойман был служитель Клодия с мечом, подкравшийся к Помпею через толпу народа, то Помпей, пользуясь предлогом и притом боясь наглости и поруганий Клодия, более не являлся в Народном собрании во все продолжение его трибунства, но сидя дома, советовался со своими друзьями, каким способом укротить гнев сената и лучших граждан против себя. Куллеон советовал ему развестись с Юлией, оставить Цезаря и перейти на сторону сената. Помпей не обращал внимания на его советы, но послушался тех, кто советовал вызвать назад Цицерона, заклятого врага Клодия и весьма любезного сенату. Он сам привел на форум Цицеронова брата, просящего о нем перед многочисленной толпой. На площади произошла драка; некоторые были ранены, иные убиты. Помпей одержал верх над Клодием. Цицерон был возвращен законным порядком*, и он тотчас примирил сенат с Помпеем и, защищая закон о хлебе, некоторым образом опять сделал Помпея властителем моря и твердой земли, которыми римляне обладали*. Под управлением его были гавани, торговые города, продажа плодов, одним словом, все то, что касается до мореплавания и земледелия. Клодий громко кричал, что это постановление не сделано по недостатку в хлебе, но недостаток в хлебе произведен для этого постановления, дабы ослабшее, как бы от обморока, могущество его новою властью оживить и восстановить. Некоторые почитают это умыслом консула Спинтера, который высокой властью как бы очертил Помпея, дабы самому быть посланным на помощь к царю Птолемею*. Несмотря на то, что трибун Каниний предложил, чтобы Помпей без войск, а только с двумя ликторами примирил александрийцев с их государем, казалось, это предложение не было противно Помпею, но сенат отвергнул оное под благовидным предлогом, что заботится о жизни Помпея. На площади и близ сената найдены были подкинутые письма такого содержания, что сам Птолемей просит, чтобы ему назначен был Помпей вместо Спинтера. Впрочем, Тимаген* пишет, что Птолемей без всякой нужды оставил Египет по внушению Феофана, который старался доставить тем случай Помпею обогатиться и вновь получить военачальство, но коварство Феофана не столько делает сие вероятным, сколько характер Помпея делает ничтожным, ибо честолюбие его не употребляло средств злобных и подлых.

Помпей, получив надзор над управлением и собиранием хлеба, рассылал всюду легатов и друзей своих; сам отплыл в Сицилию, Сардинию и Ливию и собирал хлеб. В ту самую минуту, когда он хотел сесть на корабль, в море поднялась буря; кормчий не хотел отправиться, но Помпей первый взошел на корабль и приказал снять якорь, сказав: «Плыть необходимо, жить не необходимо!» Употребляя такую смелость и ревность при благоприятствующем счастье, он покрыл кораблями моря, наполнил торговые города хлебом, так что и вне Рима живущие довольствовались избытком городских запасов, которые, как бы из источника, разливались на всех в изобилии.

В это самое время Галльская война возвышала Цезаря. Казалось, в столь дальнем расстоянии от Рима занимался он только белгами, свевами и британцами; между тем как с величайшим искусством, среди народа и в важнейших делах, он неприметным образом унижал и разрушал могущество Помпея. Воинскую силу употреблял он как живое тело, приучал к трудам не для того, чтобы она сражалась с варварами, но в сражениях с ними, как будто бы на охоте и ловле зверей, сделалась страшной и непобедимой. Золото, серебро, разные добычи и все богатство, полученные войной в великом множестве, он посылал в Рим, испытывая подарками и подкупая эдилов, преторов, консулов и жен их, чем многих привлек на свою сторону. Когда он прошел Альпийский горы и провел зиму в Луке, то число мужчин и женщин, из Рима стекавшихся к нему наперерыв, было весьма велико; среди них было двести сенаторов, в числе их Помпей и Красс; у дверей его дома было видно сто двадцать ликторов с пуками палок разных проконсулов и преторов. Цезарь всех их исполнил великих надежд, дал им много денег и отослал назад. Красс и Помпей заключили с ним условие, что они будут добиваться консульства. Цезарь будет помогать им, посылая в великом множестве воинов своих для подавания голосов в пользу их. Как только совершится их избрание в консулы, они немедленно разделят начальство над провинциями и войсками, а за Цезарем будут вновь утверждены его

провинции еще на пять лет.

Когда это условие сделалось известным в Риме, то в гражданах произвело великое негодование. Консул Марцеллин, представ перед народом, спросил Красса и Помпея, в самом ли деле они ищут консульства. Народ требовал, чтобы они отвечали. Помпей первый говорил, что, может быть, он будет искать консульства, а может быть, и нет. Красс благоразумнее отвечал: «Я сделаю то, что почту полезнейшим республике». Марцеллин продолжал приступать к Помпею и говорил против него так резко, что Помпей сказал наконец: «Марцеллин самый несправедливый человек и не знает благодарности, ибо через меня он сделался из безгласного многоречивым, из голодного же столько пресыщенным, что его уже рвет».

Между тем все прочие отступили от искания консульства. Катон убедил только Луция Домиция не отказываться, представляя ему, что дело теперь идет не о начальстве, но о вольности республики против тираннов. Помпей, боясь, чтобы твердость Катона с помощью всего сената не переменила здравомыслящей части народа и не отторгла от него, не допустил Домиция прийти на площадь, но послал против него несколько вооруженных людей, которые убили идущего перед ним факелоносца, а других разогнали. Катон удалился после всех, получив рану в правый локоть, защищая Домиция.

Достигнув такими средствами консульства*, они не поступали пристойнее и при других случаях. Во-первых, когда народ хотел избрать Катона в преторы и подавал уже голоса, то Помпей распустил Собрание под предлогом неблагоприятного знамения. Подкупив деньгами трибы, они избрали преторами Антия и Ватиния. Потом, посредством трибуна Требония, предложили народу оставить Цезаря еще на пять лет при прежней его власти, как между ними было соглашено; Крассу поручить Сирию и поход против парфян, а Помпею всю Ливию, обе Иберии и четыре легиона, из которых два он уступил Цезарю для продолжения войны в Галлии. Красс, по окончании консульства своего, отправился в провинцию, ему назначенную. Помпей, посвятив свой театр, дал народу гимнастические и мусические игры и борьбу зверей, в которых умерщвлено было пятьсот львов; наконец, самое страшное зрелище: сражение слонов.

Все это возбудило удивление и умножило привязанность народа к Помпею, но вскоре восстала против него не меньшая зависть за то, что он, предав войска и провинции своим легатам и любимцам, проводил время в приятнейших местах Италии, переезжая с места на место со своею женой, с которой не мог расстаться, или любя ее страстно, или будучи ею страстно любим, ибо и об этом говорили, и всем была известна страсть этой молодой женщины, которая любила Помпея не по летам его. Причиной этому было, кажется, целомудрие мужа, который не знал другой женщины, кроме своей, и при всей его важности, прелесть его разговора, которая была весьма способна пленять женщин, если не будем обвинять гетеру Флору в ложном свидетельстве.

Случилось некогда, что при избрании эдилов в Народном собрании произошла ссора. Вокруг Помпея убито было несколько человек. Он сам был покрыт кровью и переменил платье. Служители, принесшие оное в дом, произвели шум и тревогу. Жена его тогда была беременна; увидев окровавленную тогу, она упала в обморок и с трудом пришла в себя. Но от сильного страха и беспокойства у нее начались преждевременные роды. По этой причине те самые, которые столь много обвиняли дружбу Помпея с Цезарем, не порицали любви жены его. Юлия еще после того была беременна, родила дочь и умерла в родах. Дитя немногими днями ее пережило. Помпей хотел похоронить ее в Альбании*, но народ принес насильно ее тело на Марсово поле, более из жалости к молодой женщине, нежели из угождения к Помпею и Цезарю; и самых этих почестей большую часть, казалось, народ более относил к отсутствующему Цезарю, нежели к присутствующему Помпею.

По смерти Юлии город начал волноваться; все было в тревоге, везде говорили о разрыве, ибо уже уничтожилась связь, которая прежде более прикрывала, нежели удерживала любоначалие Цезаря и Помпея. Вскоре получено известие, что Красс погиб в парфянском походе*, и этим снято было важное препятствие, препятствовавшее междоусобной брани. Обе стороны, боясь его, некоторым образом оставались в своих границах, но когда уже судьба отняла того, который взирал на их бой, дабы из него вывести свою пользу, то, как говорит комический поэт, они мажутся маслом, обсыпают песком свои руки, горя желанием бороться. Сколь счастье мало, бессильно перед природой! Никогда не может оно насытить ее желаний.

Столь пространное владычество, столь обширные области не могли ограничить двух человек! Хотя они слышали и читали, что

Боги бессмертные весь мир разделили трояко,
И каждый часть получил…*,

однако думали, что для них двух была недостаточна римская держава.

Впрочем, Помпей сказал тогда в речи своей к народу: «Всякую власть получал я прежде, нежели сам ожидал, и слагал скорее, нежели вы ожидали». В самом деле о том всегда свидетельствовало распущение войска после похода. Но тогда видя, что Цезарь не имел намерения сложить своей власти, он старался укрепить себя против него первейшими достоинствами. Он не вводил никакой новой перемены; не хотел показать, что не доверяет Цезарю; напротив того, старался показать, что пренебрегает им и презирает его.

Когда же Помпей стал замечать, что граждане подкупаются и достоинства даются не по его мыслям, он дал свободу безначалию водвориться в городе. Вскоре начали много говорить об избрании диктатора. В Собрании трибун Луцилий первый осмелился представить о том народу и увещевал его избрать диктатором Помпея. Катон восстал сильно против него, и Луцилий был в опасности лишиться трибунства. Многие из друзей Помпея, тут находившиеся, оправдывали его, говоря, что он не просил сего достоинства и его не хочет. Катон хвалил Помпея за его умеренность и советовал ему стараться о сохранении благоустройства и порядка. Помпей, устыдившись тогда, приложил к тому свое старание, и консулами избраны были Домиций и Мессала.

Но вскоре вновь возникло безначалие*. Многие уже с большей дерзостью предлагали избрание диктатора. Катонова сторона, боясь насилия, решилась уступить Помпею некоторую власть законную, дабы его отклонить от поиска неограниченной и насильственной. Бибул, хотя был враг Помпею, однако первый объявил свое мнение в сенате об избрании консулом одного Помпея; ибо, говорил он, или республика избавится предстоящего неустройства, или будет подвластна лучшему и способнейшему человеку. Всем показались странные слова эти в устах Бибула. Катон восстал. Все ожидали, что он намерен противоречить, но когда все умолкли, то он сказал: «Я сам никогда бы не предложил сего мнения, но когда оно уже предложено другим, то советую ему следовать; всякую власть предпочитаю и безначалию, и, по моему мнению, никто лучше Помпея не может управлять в столь великих беспокойствах». Сенат принял его совет и определил, чтобы Помпей был избран консулом и начальствовал один; если же сам возымеет нужду в товарище, то по испытании может избрать, кого хочет, но не прежде двух месяцев. Таким образом, Помпей один избран был и провозглашен консулом от Сульпиция, который был интеррексом. Помпей дружески приветствовал Катона; говорил, что ему много обязан, и просил его давать ему частно советы в управлении. Катон отвечал на это, что Помпей не должен быть ему обязанным, ибо он все говорил не в его пользу, но в пользу республики, что он будет давать ему частно советы, когда у него их попросит, а если нет, то всенародно будет говорить ему свои мысли. Таков во всем был Катон!

Помпей, вступив в город, женился на Корнелии, дочери Метелла Сципиона; она осталась вдовой после Публия, Крассова сына, за которого первого вышла замуж и который умер в парфянском походе. Сверх приятностей, которые происходят от красоты и молодости, эта женщина обладала многими другими; она была образована в словесности и играла на лире, знала геометрию и привыкла с пользой слушать философские беседы. При этих совершенствах нрав ее не имел той гордости, какую молодым женщинам внушает ученость. Хотя род отца ее и собственную его славу нельзя было порицать, однако брак этот многим не нравился по причине несоразмерности в летах, ибо Корнелия была в таком возрасте, что лучше могла быть женой сыну Помпея. Отличнейшие люди думали, что Помпей не радел о пользе республики, которая находилась в столь бедственном состоянии, что избрала его врачом своим и предала себя одному ему, а он между тем украшает себя венком и торжествует брак тогда, когда должно бы ему было самое консульство почитать несчастьем, ибо не получил бы его столь противозаконным образом, если бы отечество благоденствовало.

Обратив внимание на судопроизводство, касательно дароприимства и подкупов, Помпей

издал законы, по которым суды производились, и вообще управляя с достоинством и бескорыстием, доставлял судилищам безопасность, благоустройство и спокойствие, присутствуя в них с оружием, но когда надлежало судить тестя его Сципиона, то Помпей, призвав к себе в дом триста шестьдесят судей, просил их помочь обвиненному. Доносчик отстал от доноса, когда увидел Сципиона, шедшего с площади в сопровождении судей. Помпей был за то осуждаем. Еще более навлек на себя порицание тем, что, запретив законом говорить хвалы о подсудимых, сам выступил вперед, дабы хвалить Планка*. Катон, находясь в числе судей, закрыл уши руками и сказал, что не надлежало ему слышать хвалы вопреки закону. Катон был исключен прежде подачи голоса своего; однако Планк, к стыду Помпея, был обвинен голосами других. По прошествии нескольких дней Гипсей, один из домогавшихся консульства, будучи обвиняем за некоторое преступление, подстерег Помпея, шедшего к ужину после бани; пал к его ногам и просил о заступлении. Помпей с надменностью прошел мимо его, сказал ему, что он только портит его ужин, а более ничего не производит. Таким образом, Помпей, показывая неровный нрав, был осуждаем всеми; однако во всем прочем он восстановил порядок. На последние пять месяцев управления своего избрал он товарищем себе тестя своего. Определено ему было управлять теми же провинциями еще на четыре года и получать ежегодно по тысяче талантов на содержание войска.

Основываясь на том, друзья Цезаря просили народ уважить несколько и Цезаря, подъемлющего столько трудов для распространения римской державы, что он заслуживает, или чтобы в другой раз быть избранным консулом, или чтобы продолжено было время его военачальства, дабы другой кто пришел к нему на смену, не отнял славы, такими трудами приобретенной, а начальствовал бы и был почтен тот, кто совершил такие подвиги. Это подало повод к спорам. Помпей, как будто бы желая из дружбы отвратить от

Цезаря восстающую против него зависть, сказал, что он получил письма от Цезаря, который извещает его, что просит преемника в управлении провинций и хочет сложить военачальство, но что пристойно, хотя и в отсутствии, позволить ему искать консульства. Катон сему противоречил; он требовал, чтобы Цезарь сделался частным лицом, сложил оружие и тогда просил у сограждан своих награды за свои заслуги. Помпей более тому не противился, как будто бы убежденный этими представлениями, и тем более заставил подозревать, каких он был о Цезаре мыслей. Он потребовал от него назад данные ему легионы под предлогом войны с парфянами. Хотя Цезарь знал, с каким намерением Помпей требовал у него воинов, однако отослал, одарив их щедро*.

Вскоре после того Помпей в Неаполе впал в опасную болезнь. Когда он начал оправляться, то неаполитанцы, по убеждению Праксагора, приносили за его спасение благодарственные жертвы. Окрестные жители подражали им; пример их переходил от одного народа к другому по всей Италии, так что все города, большие и малые, несколько дней сряду праздновали. Места не были довольно обширны, чтобы вместить народ, шедший к нему со всех сторон навстречу; дороги, села и пристани были наполнены толпами празднующих и приносящих жертвы. Многие, увенчанные венками, встречали и провожали его с факелами, между тем как другие на него сыпали цветы так, что его шествие было прекраснейшим и блистательнейшим зрелищем.

Говорят, что из всех причин, побудивших Помпея к войне, эта была не последняя. В душу его вкралось высокомерие, которое, вместе с великой радостью, отвлекло разум его от рассмотрения предстоявших обстоятельств. Он забыл осторожность, которая дотоле приводила в безопасность его успехи и действия, впал в неумеренную дерзость и презирал могущество Цезаря, думая, что против него не нужно употребить ни оружий, ни стараний, сопряженных с трудами, и что он мог унизить его с большей скоростью, нежели прежде возвысил. В это время прибыл Аппий, ведя с собою из Галлии те легионы, которые прежде дал Цезарю Помпей. Он весьма уничтожал тамошние деяния Цезаря, поносил его и говорил, что Помпей не чувствует силы своей и славы, когда другими оружиями ограждается против Цезаря, которого может победить собственными его войсками, если только явится им; до такой-то степени они ненавидят Цезаря и любят Помпея! От таковых слов столь много возгордился Помпей, и по причине великой надеянности на себя сделался столь беззаботным, что смеялся над теми, которые боялись войны. Когда они говорили, что если Цезарь на Рим устремится, они не видят

войск, которые бы удержали его, то Помпей улыбался и с веселым лицом отвечал им: «Не заботьтесь! В какой части Италии ни топну в землю ногою, везде восстанут пешие и конные силы!»

Между тем Цезарь приступал к делу с большим напряжением. Он уже не удалялся более от Италии, и всегда посылал в Рим своих воинов, дабы они были при выборах. Он подкупал деньгами многих из знатнейших людей. В числе их были консул Павел, который за тысячу пятьсот талантов принял его сторону; трибун Курион, который был им освобожден от непомерного множества долгов*, и Марк Антоний, который по дружбе своей к Куриону участвовал в оных. Говорили тогда, что один из прибывших от Цезаря военных чиновников, стоя близ сената и узнав, что сенаторы не соглашаются продлить Цезарю время управления провинциями, ударив рукой о меч свой, сказал: «Вот кто даст!» Все поступки и приготовления Цезаря к тому устремлены были.

Впрочем просьбы и требования Куриона в пользу его казались умеренными. Он хотел одно из двух: или чтобы у Помпея отнять войско, или не отнимать его у Цезаря. Таким образом, по мнению его, они бы успокоились, вступив в частное состояние на справедливых условиях, или, оставшись с оружием в руках соперниками, довольствовались тем, что имеют, а кто ослабляет одного из них, тот удваивает силу, которой страшится. При этом консул Марцелл, называя Цезаря разбойником, требовал, чтобы он был объявлен врагом отечества, если не сложит оружия, но Курион с помощью Антония и Пизона заставил сенат обнаружить свои мысли: он просил пересесть тех, кто хотел, чтобы Цезарь один сложил оружие и Помпей начальствовал; и большая часть сенаторов пересела. Потом велел, чтобы вновь пересели все те, кто желал, чтобы они оба сложили оружие и никто не начальствовал. В пользу Помпея осталось только двадцать два, а все прочие были на стороне Куриона. Этот трибун, как бы одержав победу над Помпеем, с великой радостью выбежал к народу, который принял его с рукоплесканием и осыпал венками и цветами.

Тогда не было в сенате Помпея, ибо предводительствующим войсками не позволяется вступать в город. Марцелл восстал и сказал, что не будет слушать одних слов, сидя спокойно, но видя уже десять легионов, показывающихся на вершинах Альпийских и идущих к Риму, он сам вышлет против них того, кто противостанет им за отечество. После того в Риме переменили одежды, как будто бы все были в печали. Марцелл, сопровождаемый сенатом, пошел к Помпею через площадь и, став против него, сказал ему: «Повелеваю тебе, Помпей! Помочь отечеству, употребить имеющиеся в готовности войска и набирать другие». То же самое говорил Лентул, один из избранных на следующий год консулов.

Помпей начал собирать воинов; однако же одни не повиновались, другие в малом числе с трудом и неусердно собирались. Большая часть громко требовала переговоров, ибо Антоний, против воли сената, читал в Народном собрании письмо льстивыми для народа предложениями. Он предлагал, чтобы как Помпей, так и Цезарь, вышел из своих провинций и, распустив войска, предстали перед народом и отдали отчет в своих деяниях; однако Лентул, который уже вступил в консульское достоинство, не собирал сената. Цицерон, прибывший недавно из Киликии, старался о примирении обеих сторон таким образом, чтобы Цезарю выступить из Галлии, распустить войска и только с двумя легионами, начальствуя одной Иллирией, дожидаться второго консульства. Помпей был тем недоволен. Друзья Цезаря уже соглашались, чтобы Цезарь остался только с одним легионом, но так как Лентул сему противился, и Катон кричал, что Помпей ошибается и вдается в обман, то переговоры не имели успеха.

Вскоре получено было известие, что Цезарь завладел Аримином, большим италийским городом, и что идет прямо к Риму со всей своей силою. То было ложно; он имел при себе не более трехсот конных и пяти тысяч тяжеловооруженных воинов. Он не дождался других сил, находившихся за Альпийскими горами, ибо лучше хотел напасть на своих противников, в беспорядке находившихся и не ожидавших его, нежели дать им время приготовиться к сражению. Прибыв к реке Рубикон*, которая была границей данной ему провинции, он остановился в безмолвии, медлил с переправой, размышляя сам с собою о великости и дерзости такого предприятия; потом подобно тем, которые с какой-нибудь вершины ввергаются в бездонную пропасть, он закрыл глаза своего рассудка, чтобы не видеть предстоящей опасности, и громко сказал к предстоящим на греческом языке только эти слова: «Бросим жребий!» И

начал переправляться.

При первом разнесшемся о том слухе смятение и ужас, соединенные с изумлением, какого никогда в Риме дотоле не чувствовали, объяли сердца всех. Сенат стекается немедленно к Помпею; все начальства республики приходят к нему. Тулл спрашивает его о числе войск и о его силе. Помпей с некоторой медленностью и несмело отвечал, что уже готовы войска, которые пришли к нему от Цезаря, и что надеется вскоре соединить прежде набранных воинов, числом тридцать тысяч. При этих словах Тулл громко воскликнул: «Ты обманул нас, Помпей!» – и советовал отправить к Цезарю посланников. Некто по имени Фавоний, человек недурной, но который думал, что гордостью и дерзостью подражает смелости Катона, советовал Помпею топнуть ногой и вызвать обещанные ополчения. Помпей перенес эту насмешку с кротостью. Катон напоминал ему все то, что с самого начала предсказывал ему о Цезаре. Помпей отвечал, что Катон говорил, как прорицатель, а он поступал, как друг и добрый человек. Катон советовал избрать Помпея полководцем с полной властью, сказав при этом, что одни и те же способны и причинять великие бедствия, и исцелять их. После того Катон отправился в Сицилию, управление которой досталось ему по жребию; все другие также разъехались по своим провинциям.

Италия почти вся была возмущена; все были в недоумении; бегущие со всех сторон извне стекались в Рим, между тем как жители Рима сами бегали и оставляли город, ибо при такой буре и тревоге люди, полезные республике, были слабы; лишь мятежные и непокорные правителям были сильны. Невозможно было успокоить страх, объявший души всех; не позволяли Помпею пользоваться своими рассуждениями. Какой бы ни был кто страстью возмущен: страхом ли, печалью ли или недоумением, приходя к Помпею, сообщал ему оную. В один и тот же день принимаемы были самые противоположные меры. Нельзя было ему узнать ничего верного о неприятеле; многие возвещали ему все, что ни слышали, и когда он им не верил, то были недовольны. Наконец, обнародовав, что он во всем видит беспорядок, велел всем сенаторам следовать за собою, сказав при том, что кто из них останется в Риме, того почтет приверженным Цезарю. Около вечера он оставил город. Консулы также предались бегству, не принесши даже жертвы, установленные законами перед началом войны. Однако при самых бедствиях участь Помпея была завидная по причине благосклонности к нему граждан. Хотя многие порицали сию войну, однако никто не ненавидел полководца. Больше можно было найти таких, которые не желали оставить Помпея, нежели таких, которые убежали с ним из любви к вольности.

Несколько дней после того Цезарь вступил в Рим и занял оный. Со всеми он вел себя кротко и всех успокоил, но когда Метелл, один из трибунов, препятствовал ему взять деньги из казны народной, то Цезарь грозил ему смертью, прибавив при том слово, которое жестче самой угрозы, что для него труднее то сказать, нежели сделать. Таким образом, он прогнал Метелла, взял денег сколько хотел и поспешил за Помпеем, дабы выгнать его из Италии до прибытия к нему из Иберии подмоги.

Помпей между тем занял Брундизий и нашел довольно судов, посадил на них консулов и тридцать когорт и переправил их в Диррахий*. Сципиона, тестя своего, и сына Гнея отправил в Сирию для составления морской силы. Потом он запер городские ворота, поставил на стенах легковооруженных воинов, а жителям велел сидеть спокойно в домах своих. Внутри города вырыл всюду рвы и оградил улицы рогатками, кроме двух, которыми сам пошел к морю. На третий день, посадив беспрепятственно на суда остальных воинов своих, вдруг дал знак стерегущим стены; они вскорости прибежали к нему и отправились вместе с ним. Цезарь, усмотря оставленные стражами стены, узнал о бегстве их и, гонясь за ними, едва не попал во рвы и на острия рогатины, когда бы брундизийцы его не предупредили. Остерегаясь идти городом и обходя оный, он нашел, что уже отправились; застал только два судна с немногими воинами.

Многие полагают отплытие Помпея в числе лучших военных хитростей; однако Цезарю казалось странным, что Помпей оставил и предал ему Италию тогда, когда имел в руках своих укрепленный город, ожидал из Иберии военной силы и владел морями. Цицерон также обвиняет Помпея в том, что он более подражал поступками Фемистокла, нежели Перикла*, хотя обстоятельства более сходствовали с обстоятельствами последнего, нежели первого.

Цезарь самым делом доказал, что он боялся продолжения войны, ибо поймав Нумерия, Помпеева друга, послал его в Брундизий для предложения мира на выгодных условиях; однако Нумерий отправился вместе с Помпеем. Цезарь в шестьдесят дней сделался обладателем всей Италии без пролития крови. Он хотел погнаться за Помпеем, но, не имея судов, обратился к Иберии, дабы склонить тамошнее войско на свою сторону.

Между тем Помпей собрал многочисленные силы. Морская сила его была непреоборима: он имел пятьсот военных кораблей и бесчисленное множество легких и сторожевых судов. Конницу его, простиравшуюся до семи тысяч человек, составлял отборнейший цвет римлян и итальянцев, отличных родом, богатством и духом. Пехота его была набрана из разных народов и требовала упражнения; он обучал ее, находясь в Берое*, где не был праздным, но оказывал деятельность самого молодого человека. Все были одушевлены надеждой, видя Великого Помпея, которому шел пятьдесят восьмой год, состязающегося то с оружиями пешком, то верхом во весь опор, извлекающего меч и вкладывающего оный в ножны с великой скоростью; в бросании дротиком показывал он не только искусство, но и силу, ибо бросал их так далеко, что многие юноши не могли его в том превзойти.

Многие цари и владетели присоединились также к Помпею*. Число знаменитых римлян, при нем находившихся, составляло полный сенат. К нему пристали Лабиен*, отпавший от Цезаря, которому он был другом и которому сопутствовал в галльских походах; Брут, сын того Брута, который умерщвлен в Галлии, человек высокой души, который никогда прежде не приветствовал Помпея и не говорил с ним, почитая его убийцей своего отца, но который тогда покорился ему, как избавителю Рима; Цицерон, который, хотя другое писал и других был мыслей, однако же устыдился не быть в числе тех, кто за отечество подвергался опасности. В Македонии прибыл к Помпею и Тидий Секстий, человек бывший в глубочайшей старости, одна нога которого была повреждена. Все смеялись и шутили над ним, но Помпей, увидя его, встал со своего места, побежал к нему навстречу, почитая свидетельством справедливости его предприятия то, что люди, пережившие век свой и лишенные сил, предпочитали с ним опасности собственному спокойствию.

После того, как в сенате определено было, по предложению Катона, никого из римлян не лишать жизни вне сражения и не расхищать никакого подвластного римлянам города, то сторона Помпея еще более сделалась любимою. Те самые, кто не принимал участия в войне, потому что жили в местах отдаленных или по причине слабости своей были забыты, желаниями своими к ним присоединялись, защищали правду речами и почитали врагом богов и людей того, кто не желал победы Помпею. Между тем Цезарь, побеждая, оказывал себя благосклонным и милостивым. Разбив военные Помпеевы силы в Иберии, взял к себе воинов и отпустил полководцев. Перешел опять Альпийские горы, пробежал Италию и прибыл в Брундизий к зимнему повороту солнца. Переправившись через море, он пристал к Орику и отправил к Помпею друга его Вибиллия, который был у него в полоне и находился при нем, предлагая Помпею сойтись им обоим воедино, в третий день распустить все войска. И сделавшись друзьями и обязавшись клятвой, возвратиться в Италию. Но Помпей почитал все сие обманом. Он поспешил к морю, занял места и положения самые крепкие и способные к поставлению пехоты, имеющие пристани и берега, к которым удобно было приставать тем, кто плавал по морю, так что ветер, с какой стороны ни дул, приносил Помпею хлеба, воинов или денег. Напротив того, Цезарь, будучи и с моря, и с твердой земли окружен неудобными и тесными местами, должен был по нужде сражаться, нападать на укрепленные места своих неприятелей и вызывать их к сражению. Хотя по большой части он одерживал верх в этих стычках, однако однажды едва не претерпел совершенного поражения и не лишился силы своей. Помпей сражался с отличным мужеством, разбил войско его, положил две тысячи их на месте; однако не мог или не осмелился погнаться за ним и ворваться в стан. Поэтому Цезарь сказал друзьям своим: «Сегодня победа была бы на стороне неприятелей, если бы они имели вождя, умеющего побеждать».

Помпеева сторона, возгордившись этим успехом, желала скорее решить все сражением. Помпей писал уже отсутствующим царям, полководцам и разным городам, как победитель; однако он боялся опасности сражения и надеялся продолжением времени и недостатком запасов преодолеть воинов, оружием непобедимых и столь долго привыкших побеждать, когда

они вместе сражались. Он знал, что они, будучи большей частью стары, не были в состоянии переносить трудности войны, долгие походы, переходы с места на место, вырытие рвов и строение стен. По этой причине желали они, чтобы скорее сойтись с неприятелем и чтобы дело дошло до рук. Этими рассуждениями сначала Помпей несколько заставлял своих успокоиться, но когда Цезарь после сражения, понуждаемый недостатком в запасах, вступил в Фессалию через землю афаманов*, то не было Помпею возможности обуздать стремления своих воинов. Они кричали, что Цезарь бежит; одни советовали преследовать его, другие возвратиться в Италию. Некоторые посылали в Рим служителей своих и друзей, чтобы занять заранее дома близ площади, надеясь вскоре искать новых достоинств. Многие по своей воле отплыли к Корнелии в Лесбос, куда Помпей ее послал, с радостным известием, что война уже кончилась.

Собран был совет. Афраний был такого мнения, что надлежало занять Италию, ибо она была главнейшей наградой этой войны, что к победителю тотчас присоединятся: Сицилия, Сардиния, Корсика, Иберия и Галлия, что не прилично было оставить отечество, первейшую цель их трудов, порабощенное служителями и льстецами тираннов и поругаемое ими, когда оно близко от них и простирает к Помпею руки. Но Помпей говорил, что не почитает ни славным для себя бежать в другой раз от Цезаря и быть преследуемым, ни справедливым оставить Сципиона и других знаменитых мужей, в Греции и Фессалии находившихся, сделаться подвластными Цезарю с многочисленными силами и деньгами, что те еще более о Риме пекутся, которые как можно далее от него сражаются, дабы он, пребывая непричастным в бедствиях войны и даже не слыша военного шума, в спокойствии ожидал победителя.

Приняв это мнение, он преследовал Цезаря с намерением не вступать с ним в сражение, а только осаждать и уменьшать его силы недостатком запасов, идучи за ним вблизи. Это самое почитал он полезным и для себя, ибо дошли до него речи некоторых римских всадников, которые говорили, что должно скорее разбить Цезаря, а там и его самого власть уничтожить. Некоторые говорят, что он по этой самой причине не употребил Катона ни в каких важных делах, а когда он преследовал Цезаря, то оставил его у моря при обозе, боясь, чтобы тот, по низложении Цезаря, не принудил и его сложить с себя начальство немедленно. Между тем как он спокойно следовал за противником, все кричали против него и обвиняли в том, что не против Цезаря войну ведет, но против отечества и сената, желая всегда начальствовать и иметь при себе служителями своими и стражами тех, кто называл себя властителями вселенной. Домиций Агенобарб возбуждал еще более против него зависть, называя его Агамемноном и царем царей. Равным образом Фавоний своими шутками трогал его не менее тех, кто говорил ему с вольностью. «Друзья, – кричал он, – неужели и в нынешний год не удастся нам поесть тускульских фиг?»* Луций Афраний, тот самый, который потерял войско в Иберии и был обвиняем в измене, видя тогда Помпея, избегающего сражения, говорил, что он удивляется своим обвинителям, для чего не идут сами сражаться с тем, которого называют торговцем провинций.

Таковыми и подобными словами побудили Помпея, человека ставящего славу и уважение своих друзей выше всего, последовать надеждам и стремлению их и пренебречь полезнейшие рассуждения; чему не надлежало бы случиться и с кормчим малого корабля, не говоря уже о полновластном полководце таких народов и войск. Он сам хвалил тех врачей, которые никогда не удовлетворяют прихотям своих больных, а между тем уступил болезненной части своего войска, боясь, чтобы не быть им неприятным, действуя для их спасения. И можно ли назвать здравомыслящими тех, из которых иные, ходя по стану, домогались уже себе консульства и претуры? Другие, такие как Спинтер, Домиций и Сципион спорили между собою, кому получить первосвященническое достоинство Цезаря, и всякой просил его себе, как бы против их стоял с войском Тигран, царь армянский, или царь набатеев, а не Цезарь и сила его, которая завоевала тысячу городов и покорила более трехсот народов; которая, под его предводительством, осталась непобедимой в сражениях, которых и счесть невозможно, взяла в плен миллион народа и миллион умертвила, одержав над ними победу в открытом сражении.

Несмотря на это, приступая к Помпею и беспокоя его, когда они сошли на Фарсальское поле, принудили составить совет, в котором Лабиен, начальник конницы, первый восстал и клялся не прежде оставить поле битвы, как по обращении неприятелей в бегство. В том клялись и все прочие.

В ночи Помпею привиделось во сне, будто бы он входил в театр и народ принимал его с рукоплесканием, между тем как он многими добычами украшал храм Венеры Победоносной. Это видение частью ободряло его, частью же колебало твердость его. Он страшился, чтобы сам не был причиной блеска и славы Цезаря, род которого происходил от этой богини*. Некоторый распространившийся в стане панический страх разбудил его. Поутру на заре над станом Цезаря, который пребывал в глубокой тишине, воссиял свет великий, от которого зажженный пламеновидный факел опустился на стан Помпея. Цезарь уверяет, что он сам это видел, осматривая на заре стражей. На рассвете, когда он намеревался идти на Скотуссу и когда воины складывали уже и посылали вперед обозы и служителей, прибыли лазутчики с известием, что на валу неприятельском видели они много оружий, носимых туда и сюда, и приметили движение и шум воинов, выходивших к сражению. После того прибыли другие с известием, что передовые неприятели уже стали в строй. Цезарь, сказав своим, что уже настал ожидаемый день, в который будут сражаться не против голода и недостатка, но против мужей, велел поспешно выставить перед шатром красный плащ, что у римлян есть знак сражения. Воины, увидев оный, оставили шатры и с радостными восклицаниями спешили к оружию; каждый из начальников вел своих в назначенное место, без помешательства, спокойно, подобно хору на театре.

Помпей, предводительствуя сам правым крылом, построился против Антония; в центре он поставил тестя своего Сципиона против Луция Кальвина; левое крыло, которым предводительствовал Луций Домиций, подкреплено было великим множество конницы. Едва ли не все бросились сюда, желая напасть на Цезаря и изрубить в куски десятый легион, который почитали храбрейшим и воинственнейшим и с которым сам Цезарь, предводительствуя, обыкновенно сражался. Увидя левое крыло, огражденное таким множеством конницы, и устрашившись блеска их оружий, Цезарь перевел шесть когорт из сторожевых и поставил позади десятого легиона. Он приказал им стоять спокойно так, чтобы неприятелям были невидимы, а когда их конница приблизится, то выступить из средины передовых, но не тотчас бросать дротики, как обыкновенно делают храбрые, спеша настигнуть неприятеля мечом, а бить вверх и разить неприятелей в глаза им и лицо, будучи уверен, что эти пригожие и цветущие плясуны, щадя свою красоту, не осмелятся и взглянуть на железо, которое блеснет пред глазами их. Таковы были распоряжения Цезаря.

Помпей, верхом осматривая войско, увидел неприятелей, спокойно и в лучшем устройстве ожидающих времени сражения, между тем как его воины большей частью беспокоились и волновались по неопытности в военном деле. Боясь, чтобы при самом начале битвы ряды их не были прорваны, он дал приказание передовым стоять в оборонительном положении и ожидать с твердостью нападения. Цезарь осуждает этот способ воевать. Он полагал, что Помпей ослабил тем силу, которую удар получает от нападения, и отнял у воинов то стремление, которое более всего наполняет их исступлением в сражении с противником, и которое, вместе с криком и беганьем, умножает ярость их. Он сковал своих воинов и охладил их своим распоряжением. У Цезаря было двадцать две тысячи человек; у Помпея – вдвое более того.

Уже знак к сражению был дан с обеих сторон; трубный глас одушевлял воинов к битве; всякой обратил внимание на себя самого; только немногие из знаменитейших римлян и несколько греков, вне сражения находившихся, при наступлении бедственной минуты рассуждали о том, до чего алчность и любоначалие довели римскую державу. Они видели, как те же оружия, равное расположение битв, общие знамена, одного и того же города многочисленные и цветущие силы против самих себя обращались и тем служили примером, сколь слепа и неистова бывает в страсти человеческая природа! Когда бы они захотели в спокойствии начальствовать и наслаждаться плодами своих побед, то большая и лучшая часть земель и морей была им подвластна. Захотели ли бы, напротив того, удовлетворить своей склонности к трофеям и триумфам? Они могли бы насытить свою жажду войной с парфянами и германцами. Много бы трудов стоили им обширная Скифия и Индия, жадность их притом имела бы достославный предлог просветить варварские народы. Какая скифская конница, какие стрелы парфянские или богатства индийские могли бы остановить семьдесят тысяч римлян, идущих вооруженной рукою под предводительством Помпея и Цезаря, имена которых узнали эти народы прежде самого имени римлян? Столько народов многоразличных, диких и зверских

покорили они оружием! А теперь, сошедшись вооруженные один против другого, не желают о славе своей, за которую не щадили отечества, будучи названы дотоле непобедимыми. Итак, прежнее родство, прелести Юлии и самый брак были только обманчивые и подозрительные залоги связи, для пользы составленной, в которой не имела никакого участия истинная дружба!

Уже Фарсальское поле покрылось воинами, конями и оружиями. Первый из Цезаревой фаланги выбежал Гай Крассиан с ротой, состоящею из ста двадцати воинов. Он дал великое обещание Цезарю. Этот полководец, увидев его первого поутру, выходя из стана, приветствовал его и спросил, что он думает о предстоящем сражении. Крассиан, простерши к нему руку, воскликнул: «Ты славно победишь, Цезарь! И сегодня или мертвого, или живого меня похвалишь!» Он помнил данное слово, устремился в средину неприятелей, увлекши с собою великое число воинов. Сражение началось тотчас мечами; многие падали на месте; и между тем, как он шел вперед и прорвал первый ряд, один из неприятелей, ожидая его с твердостью, ударил мечом в рот с такою силой, что острие прошло в самый затылок. По умерщвлении Крассиана* сражение здесь происходило с равным для обеих сторон успехом.

Помпей не спешил напасть с правым крылом, но, смотря на ту и на другую сторону, ожидал в бездействии, что произведет конница. Уже она вытягивалась, чтобы обойти Цезаря и устроенных впереди конных, которых было немного, и опрокинуть к фаланге, как вдруг по данному от Цезаря знаку конница его разделилась, и когорты, состоящие из трех тысяч человек, поставленных за нею, чтобы помешать окружению, стремятся навстречу неприятелям, и став близ лошадей их, поднимают вверх свои дротики и метят прямо в лицо, как им было приказано. Эти конные, будучи неопытны в сражениях, не ожидали и не имели понятия о нападении такого рода. Они лишились смелости и не могли вынести ударов, наносимых им в лицо и в глаза, но отворачивая лицо или закрываясь руками, бесстыдно предавались бегству. Между тем, как они бежали, Цезаревы воины, пренебрегая ими, обратились к пехоте в то место крыла, которое можно было обступить и окружить по недостатку в коннице. Они напали сбоку, между тем как десятый легион вступал в сражение спереди. Она не выдержала и не устояла против их нападения, но увидев себя окруженной в то время, когда надеялась сама окружить неприятеля, предалась бегству. Помпей, увидев подымающуюся пыль, догадался о поражении конницы*. Трудно изъяснить, что тогда происходило в душе его. Подобно человеку, лишенному рассудка, забыв, что он Великий Помпей, не обратив ни к кому речи, шел тихими стопами к стану, в таком положении, в каком ему весьма приличны стихи Гомера*:

Но страх отец богов Аяксу в сердце влил.
Он в изумлении тогда остановился;
Щит бросил на спину, трепеща, удалился
От битвы грозной, свой вокруг вращая взор.

В таком виде Помпей пришел к своему шатру и сидел в безмолвии до тех пор, пока многие из неприятелей ворвались в стан, преследуя бегущих. Тогда Помпей произнес только эти слова: «Ужели и в моем стане!» Он не сказал более ничего, встал, надел платье, приличное настоящим обстоятельствам, и ушел тайно. Все прочие легионы обратились в бегство. В стане умерщвлено великое множество стражей и служителей. Азиний Поллион*, сразившийся в тот день с Цезарем, говорит, что пало тогда только шесть тысяч воинов.

Все шатры были увенчаны миртами и украшены коврами из цветов; столы были покрыты сосудами и чашами, наполненными вином. Приготовления и украшения более показывали людей, приносивших жертвы и праздновавших, нежели вооружившихся к сражению. Вот как они, обуянные великими надеждами и исполненные безрассудной дерзости, готовились к битве!

Помпей вышел из стана и в некотором расстоянии оставил своего коня. Весьма немногие его сопровождали. Видя, что никто его не преследует, он удалился тихо в таких мыслях, какие только может иметь человек, привыкший тридцать четыре года воевать и всех побеждать, и тогда в первый раз, в старости своей, испытывающий, что такое поражение и бегство. Он приводил себе на память свою славу, умноженную такими подвигами и битвами, которой в один миг лишился; силу, незадолго перед тем его окружавшую, состоявшую в пехоте, коннице

и флотах, а теперь видел себя так малым и униженным до того, что ищущие его неприятели не могли узнать его.

Миновав Лариссу, пришел он в Темпейскую долину. Чувствуя большую жажду, простерся ниц лицом и испил воды из реки. Потом шел Темпейскими долинами до самого моря. Остаток ночи провел тут в рыбачьей хижине, а на заре сел на лодку, взял с собою одних вольных людей, которые за ним последовали, а рабам велел возвратиться к Цезарю и ничего не бояться. Плавая вдоль берега, он увидел большой величины нагруженное судно, готовое к отплытию. Начальник оного был римлянин по имени Петиций, не коротко знакомый с Помпеем, однако знающий его в лицо. Случилось ему в прошедшую ночь видеть во сне Помпея, не таким, каким несколько раз его видел, но униженным и унылым, разговаривающим с ним. Он рассказывал сон спутникам своим, как обыкновенно делают в подобных обстоятельствах люди, ничем не занятые. Вдруг один из мореходов увидел лодку, которая плыла со стороны земли и в которой люди махали платьями и поднимали к ним руки. Петиций остановился и тотчас узнал Помпея в том виде, в каком увидел его во сне. Он ударил себя в голову, велел пловцам спустить ботики и, простирая правую руку, призывал Помпея, догадываясь уже по виду о перемене счастья сего полководца. Он не дожидался ни просьб, ни слов Помпея, взял его на свое судно вместе с теми, кого захотел при себе оставить (это были оба Лентула и Фавоний), и продолжал свой путь. Вскоре увидели на твердой земле царя Дейотара*, который с великим трудом силился догнать их, и также его приняли.

Когда настал час ужина и начальник корабля приготовлял, что у него было, то Фавоний, видя Помпея, по неимению служителей готовящегося разуться, прибежал к нему, разул его и помазал маслом. С того времени он также продолжал во всем ему услуживать, как слуга господину, даже мыл ему ноги и готовил ужин так, что, видя благородство, простоту и беспритворство его услуги, можно бы воскликнуть:

Как все прекрасно в душах благородных!*

Помпей прибыл в Амфиполь, оттуда переправился в Митилену, дабы взять Корнелию и своего сына. Пристав к берегу, он послал человека с известием не таким, какого Корнелия ожидала. Она надеялась, по полученным приятным известиям и письмам, что война решена при Диррахии и что оставалось только погнаться за Цезарем. В таких она была мыслях, когда вестник прибыл к ней и не приветствовал ее; более слезами, нежели словами дал ей знать о великих этих бедствиях и побуждал ее поспешить, если хочет видеть Помпея на одном, и то чужом судне. При этом известии Корнелия упала на землю и долго лежала в беспамятстве и безмолвии. Едва пришла в себя, чувствуя, что не время уже плакать и рыдать, она встала и побежала через город к морю. Помпей встретил ее и принял в свои объятия, в которые она бросилась в бессилии. Она говорила следующее: «Я вижу, супруг мой, что твои бедствия суть дело судьбы моей, а не твоей. Ты брошен теперь в одно малое судно, ты, который до брака с Корнелией пробежал сие самое с пятьюстами кораблей! Почто не предал злой судьбе своей ту, которая и тебя исполнила такими бедствиями? Сколь бы я была счастлива, когда бы умерла прежде, нежели узнала, что Публий, мой первый муж, лег среди парфян! Сколь была бы благоразумна, когда бы последовала за ним во гроб, так как было мое намерение! Тогда бы я не сделалась виновницей бедствий Помпея Великого!»

Так, уверяют, говорила она. Помпей ответствовал: «Корнелия! Ты доселе не знала другого счастья, кроме хорошего. Оно, может быть, обмануло тебя тем, что долее обыкновенного пребывало со мной; однако должно сносить и настоящее, ибо мы люди; попытаем еще счастья! Тот может надеяться возвратиться из теперешнего в прежнее состояние, кто из оного впал в настоящие бедствия». После того Корнелия послала взять из города имение и служителей. Митиленцы приветствовали Помпея и просили вступить в горд их, но он отказался и советовал им повиноваться победителю и быть благонадежными, ибо Цезарь кроток и милостив. Потом, обратясь к философу Кратиппу*, который пришел из города, дабы увидеть его, он жаловался несколько на провидение и объявил ему свои о том сомнения. Кратипп уступил его рассуждениям, дабы не огорчить его безвременным противоречием, и старался внушить ему надежду о лучшем счастье; на жалобы же провидения философ мог бы ему сказать, что

обстоятельства требовали единоначалия по причине дурного правления республики. Он мог бы спросить у него: «Каким доказательством, Помпей, убедил бы нас, что ты, одержав победу, лучше Цезаря употребил бы свое счастье?». Но все это оставим так, как боги определили.

Помпей взял жену и друзей своих и пустился в море. Он приставал по нужде к берегам, где была вода или продовольствие. Первый город, в который он вступил, был Атталия в Памфилии; здесь попалось ему несколько кораблей, идущих из Киликии; начали собираться к нему воины, и шестьдесят сенаторов вновь присоединились к нему. Узнав, что морская сила еще соединена и Катон с великим числом воинов переправился в Ливию, он горько жаловался на себя и упрекал тем, что сразились с одними только сухопутными войсками, а ни во что не употребил тех сил, которыми несравненно превосходил своего противника. Он даже не велел флоту собраться в такое место, где, в случае неудачи на твердой земле, мог иметь другую многочисленную силу в готовности противоборствовать неприятелю на море. В самом деле самая большая ошибка Помпея и самая тонкая хитрость Цезаря была та, что дано было сражение в столь дальнем расстоянии от морской силы.

Между тем Помпей, будучи принужден что-либо предпринять и произвести в настоящем положении, посылал к разным городам, а в иные сам ездил, требовал денег и снаряжал корабли, но зная быстроту и скорость в действиях своего противника, он боялся чтобы Цезарь не настиг его прежде, нежели успеть собрать довольное число войск. По этой причине он искал места, куда бы удалиться и найти убежище в настоящее время. Когда о том было рассуждаемо, то ни одна из провинций не казалась удобной к защите. Помпей думал, что из чужеземных царств одно только парфянское было в состоянии принять его в настоящее время и защитить при таком его бессилии, а впоследствии помочь ему и подкрепить довольной силою, но другие советовали прибегнуть в Ливии к Юбе. Феофану Лесбосскому казалось безрассудным оставить Египет (от которого находились не более, как на три дня пути) и царя Птолемея*, который тогда выходил из детства и был обязан Помпею за дружбу и услуги, оказанные им отцу его, и предать себя парфянам, самому вероломному народу. Когда Помпей, говорил он, не хочет быть вторым после римлянина, прежнего его родственника, и первым перед другими, но отказывается испытать его снисхождение, то прилично ли предать себя под власть того самого Арсака*, который не мог взять под власть свою и Красса, пока он был жив? Прилично ли вести молодую супругу из рода Сципиона к варварам, которые силу свою измеряют наглостью и невоздержанием? Хотя бы она никакой обиды не претерпела, но одно подозрение ужасно, когда она будет находиться между такими, которые могут оскорбить ее. Одно это обстоятельство, как говорят, отвратило Помпея от дороги к Евфрату, а не злобный демон направил его на другую дорогу.

Итак, мнение убежать в Египет одержало верх над другими. Он отправился с Кипра с женой на селевкийской триере. Другие сопутствовали ему: одни на боевых, другие на грузовых судах. Он переправился благополучно. Узнав, что Птолемей вел войну против сестры своей и находился с войском в Пелусии*, Помпей тут остановился и отправил наперед к царю одного из своих друзей с известием о своем прибытии и с просьбой о принятии его. Птолемей был еще очень молод. Потин, который всем тогда управлял, собрал совет из важнейших людей; они имели столько важности и силы, сколько Потин им уделял. Он велел им сказать свое мнение. Какое недостойное зрелище! О судьбе Помпея Великого рассуждали евнух Потин, хиосец Феодот, который принят к царю для учения его риторике из жалованья, и египтянин Ахилла. Из всех дядек и комнатных служителей эти были главнейшие советники. От такого-то совета Помпей ожидал решения, стоя на якоре далеко от города, Помпей, который не почитал достойным себя быть обязанным Цезарю спасением своим!

Мнения этих советников были различны; одни советовали выгнать Помпея, другие звать и принять его, но Феодот, желая показать искусство свое в красноречии и способности говорить, сказал, что ни которое из этих мнений не может быть безопасно, ибо, приняв Помпея, Цезарь будет им врагом, а Помпей властелином; отогнав его, и Помпей будет негодовать на них, что его не приняли, и Цезарь, что его не удержали. По этой причине он почитал полезнейшим послать умертвить Помпея, ибо этим средством можно было угодить Цезарю и не бояться Помпея. «Поскольку, – прибавил он, улыбаясь, – как говорят, мертвый не кусается».

Мнение его принято было всеми. Препоручено было Ахилле исполнить оное. Сей, взяв с

собою Септимия, бывшего некогда начальником роты при Помпее, сотника Сальвия и трех или четырех служителей, отплыл к Помпееву кораблю. В это время случилось, что знаменитейшие спутники Помпея находились при нем и ожидали последствий сего дела. Когда увидели неблистательную и нецарскую встречу, нимало не соответствующую ожиданиям Феофана, но на рыбачьей лодке немного людей, приплывающих к ним, то они начали подозревать, сколько их презирают. Они советовали Помпею стать далее на море, где бы неприятельские стрелы не могли достичь их. Между тем лодка приблизилась. Септимий встал прежде всех и приветствовал Помпея на римском языке, называя его императором. Ахилла приветствовал его на греческом, просил пересесть в рыбачью лодку, ибо вода так мелка и море наполнено такими мелями, что не может принять большого судна. Между тем видно было, что снаряжалось несколько царских кораблей; берег покрыт был воинами, так что уже казалось невозможным убежать, хотя бы и захотели, а показание недоверчивости подало бы повод убийцам к оправданию своей несправедливости. Помпей обнял Корнелию, оплакивающую наперед его кончину, велел войти прежде двум сотникам своим, отпущеннику своему Филиппу и невольнику по имени Скиф; и в то самое время, когда Ахилла и спутники его принимали его в лодку, обращаясь к жене и сыну, произнес следующие Софокловы стихи:

К тиранну кто идет, хотя б свободным был,
Тот раб уже его.

Сказав эти последние слова к своим, он вступил в лодку. Расстояние от корабля до твердой земли было немалое, но во все время плавания ни один из спутников его не обратил к нему дружеской речи. Помпей, взглянув на Септимия: «Если не ошибаюсь, – сказал ему, – я в тебе узнаю моего сослуживца». Септимий кивнул только головою, но не сказал ему ни одного слова и не оказал ни малейшего приветствия. Глубокое молчание началось опять. Помпей, имея в малом свитке речь, писанную им на греческом языке, которую он приготовил говорить Птолемею, читал оную. Между тем, как они приближались к земле, Корнелия в великом беспокойстве с его друзьями смотрела на происходящее и была ободряема, видя многих царских чиновников, идущих к Помпею при его выходе из лодки, как будто бы для принятия его и оказания ему чести. В то самое время, когда Помпей взял за руку Филиппа, чтобы удобнее встать, Септимий сзади пронзил его мечом; за ним Сальвий и Ахилла обнажили мечи. Помпей, накинув обеими руками свою тогу на лицо, не произнес и не сделал ничего недостойного себя; он только вздохнул и вытерпел все наносимые удары. Ему было тогда пятьдесят девять лет; жизнь свою окончил он одним днем после дня своего рождения.

Находившиеся на корабле, видя его убиение, издали вопль, слышимый до самого берега, и, подняв поспешно якоря, пустились в море. Сильный ветер споспешествовал их бегу на открытом море, так что египтяне отложили намерение за ними гнаться.

Убийцы отсекли голову Помпею, выбросили голое туловище из лодки, оставили его на позор тем, кто хотел его видеть. Филипп был при нем, доколе все насытились этим зрелищем. Потом обмыл его в морской воде, окутал малым своим платьем, не имея ничего лучшего, и осматривая вокруг себя берег, нашел старые остатки малой лодки, но достаточные к сожжению по нужде нагого и нецелого тела. Между тем как он собирал и складывал оные, приблизился к нему какой-то старый римлянин, который в молодости первые походы свои совершил под предводительством Помпея, и сказал ему: «Кто ты, человек, намеревающийся погребсти Великого Помпея?» – «Вольноотпущенник», – отвечал он. «Не один ты учинишь сие доброе деяние, – сказал ему старец, – прими и меня соучастником в твоем деле, как бы в священной находке, да не совсем жалуюсь я на отсуждение и удаление от отечества, но после многих несчастий да утешусь по крайней мере тем, что коснулся и обнял своими руками величайшего римского полководца!» Таким образом они оказали Помпею последний долг.

На другой день прибыл с Кипра Луций Лентул и, не ведая ничего о происшедшем, приблизился к берегу. Увидев костер и при нем стоящего Филиппа, которого еще не мог распознать, говорил он сам с собою: «Кто успокоился здесь, окончив дни свои?» Потом несколько помолчав, вздохнул и сказал: «Неужели ты, Помпей Великий?» После того он вышел на берег, был пойман и умерщвлен. Таков конец Великого Помпея.

Немного спустя прибыл и Цезарь в Египет и нашел оный в беспокойстве. Он отвратился с ужасом от того, кто принес к нему Помпееву голову, как от изверга, но принял печать Помпея и прослезился. На ней иссечен был лев, держащий меч. Он велел умертвить Потина и Ахиллу. Сам царь был разбит в сражении и утонул в реке. Мщение Цезаря не постигло софиста Феодота, ибо он убежал из Египта и скитался по разным странам, ведя жалкую жизнь, всеми ненавидимый; когда же Брут, по умерщвлении Цезаря, одержал верх, то нашел Феодота в Азии, предал всем мучениям и наконец умертвил.

Прах Помпея доставлен был Корнелии, которая приняла его и поставила в Альбане.

Сравнение Агесилая с Помпеем

Изложив жизнь двух великих полководцев, пробежим вкратце находящиеся между ними разности и сравним их. Разности суть следующие.

Во-первых, Помпей самым справедливым образом достигнул такой силы и власти, положив по собственному почину начало своему величию и оказав величайшее пособие Сулле, освобождающему Италию от тираннов, но Агесилай, кажется, достигнул царской власти средствами, достойными порицания богов и людей, ибо он объявил незаконнорожденным Леотихида, которого брат его признал законным своим сыном, и дал смешной смысл прорицанию о хромоте.

Во-вторых, Помпей оказывал уважение к Сулле при его жизни, после смерти похоронил тело его с честью, вопреки Лепиду, а за сына его Фавста выдал дочь свою; Агесилай же из маловажной причины отверг от себя Лисандра и обесчестил его, хотя Сулла получил от Помпея столько же услуг, сколько Помпей от Суллы, но Лисандр сделал Агесилая царем Спарты и полководцем Греции.

В-третьих, Помпей в гражданском управлении преступал законы ради родства; важнейшие его ошибки были сделаны в пользу Цезаря и Сципиона, родственников своих, но Агесилай, снисходя к связи своего сына, избавил Сфодрия от смерти, которую он заслужил за учиненные афинянам обиды; он всеми силами защищал Фебида, который преступил заключенный с фиванцами договор. Вообще столько же вреда причинил римлянам Помпей из уважения к своим друзьям или по незнанию, сколько Агесилай лакедемонянам, единственно из гнева и упрямства, возжегши войну с фиванцами.

Если проступки этих двух мужей должно отчасти приписать судьбе, то можно заметить, что Помпеевы были для римлян неожидаемы, но Агесилай не допустил лакедемонян беречься хромого царствования, хотя они слышали и знали наперед, какими бедствиями оное им угрожало; и когда бы Леотихид еще тысячу раз был изобличен в том, что он незаконнорожден и чужд, то эврипонтидам не трудно было бы дать Спарте человека, который бы был законным и не хромым царем, если бы Лисандр не затемнил смысла оракула для пользы Агесилая. Подобного политического благоразумия, какое употребил Агесилай, когда он после несчастного сражения при Левктрах, при недоумении лакедемонян, как поступить с бежавшими, советовал им оставить на тот день законы в покое, мы не находим другого и не можем с оным сравнить никакой политической хитрости Помпея. Напротив того, Помпей думал, что мог не исполнять и тех законов, которые сам вводил, желая тем показать друзьям своим, сколь велика была сила его. Агесилай, будучи в необходимости нарушить законы, чтобы спасти граждан, нашел способ, по которому оные не могли вредить гражданам, и сами не были нарушены тем, что не причинили вреда. К политической добродетели Агесилая должен я отнести и тот неподражаемый поступок, когда он, получив скиталу, оставил все свои подвиги в Азии. Не приносил он отечеству пользы, подобно Помпею, одними только теми деяниями, которые и его самого делали великим, но имея целью своею одну пользу отечества, он отказался от такого могущества и славы, которых никто не имел ни прежде, ни после, кроме Александра.

Рассматривая этих полководцев со стороны их предприятий и военных подвигов, мы открываем, что с числом трофеев Помпея, с великостью сил, которыми предводительствовал, со сражениями, в которых одержал победы, не может сравнить его с Агесилаем и сам Ксенофонт, которому за его добродетели позволено, как в награду, писать и говорить то, что хочет, об этом

государе*.

Кажется, что кротостью и милосердием к неприятелям они различаются также между собою. Один, желая поработить Фивы и Мессену превратить в пустыню, хотя последняя была наследие отечества его, а первые колыбелью его рода, едва не потерял и самой Спарты; однако лишился владычества над Грецией. Другой дал города на поселение самым разбойникам, которые переменили род жизни, и сделал союзником Риму Тиграна, царя армянского, хотя мог бы взять его в полон и украсить им триумф свой, сказав при этом, что предпочитает вечность одному дню.

Но если преимущества в добродетели получаются великими и решительные последствия имеющими делами и мыслями, то лакедемонянин гораздо далеко по себе оставил римлянина. Во-первых, он не предал и не оставил Спарты, хотя неприятели приступали с семьюдесятью тысячами ратников. Несмотря на то, что у него было немного тяжеловооруженных воинов, побежденных перед тем в сражении при Левктрах. Напротив того, едва Цезарь с пятью тысячами и тремястами воинов занял один италийский город, то Помпей из страха оставил Рим, или малодушно уступив столь малому числу неприятелей, или воображая ложно, что их гораздо более. Он взял жену и детей своих, а жен и детей других сограждан оставил без всякой защиты, и убежал тогда, когда должно было или победить, сражаясь за отечество, или принять условия, предлагаемые сильнейшим, который был его согражданин и родственник. Следствием этого было то, что тот, кому Помпей почитал несносным продолжить время управления провинциями и определить консульство, завладел Римом и мог сказать Метеллу, что и его, и всех других почитает военнопленными.

Если искусство хорошего полководца состоит особенно в том, чтобы заставить сразиться, будучи его сильнее, и не быть принуждену вступить с ним в сражение, будучи его слабее, то Агесилай, действуя таким образом, сохранил всегда себя непобедимым. Цезарь там, где имел менее сил, нежели Помпей, избегал сражения, дабы не претерпеть поражения; когда же имел их более, принудил его одной пехотой решить все дело, разбил его и в то же время завладел деньгами, запасами и морем, что все осталось бы во власти Помпея, когда бы он умел продлить войну, не сражаясь. Оправдание его касательно столь важного дела есть уже преступление для великого полководца. Простительно, если молодой полководец, приведенный в смущение и робость беспокойством и роптаниями, оставит лучшие и безопаснейшие предначертания, но кто бы утерпел, чтобы тот, стан которого римляне почитали отечеством, шатер – сенатом, называя отступниками и изменниками управлявших тогда Римом консулов и преторов, тот, который, как они знали, не служил под предводительством другого, кто все походы со славою совершил как верховный вождь, одним словом, чтобы Великий Помпей принужден был подвергнуть опасности вольность и владычество Рима из шуток Домиция и Фавония и дабы не быть называемому Агамемноном? Когда бы он взирал на такое бесславие одного дня, то надлежало бы с самого начала противостать неприятелю и сразиться с ним за сам Рим, а не убежище, называя это бегство Фемистокловой стратегемой, а не после того почитать постыдным отлагательство битвы в Фессалии. Не Фарсальское поле назначено было богами театром и поприщем битвы, дабы решить судьбу римской державы, и не туда провозгласитель повелевал ему идти и сразиться или уступить другому венец. Обладание морем доставляло ему средства выбрать другие равнины, тысячу городов и всю землю, когда бы он хотел последовать примеру Фабия Максима, Мария, Лукулла и самого Агесилая. Этот полководец претерпел не менее беспокойств в Спарте, когда граждане хотели, чтобы он сразился за область, и в Египте многие клеветы и обвинения, по безрассудству царя, когда советовал ему быть спокойным и не вступать в сражение. Пребывая твердым в своих полезных намерениях, он не только спас египтян, против воли их, не только сохранил Спарту в целости, при таком волнении, но в самом городе своем воздвигнул трофей над фиванцами и подал случай согражданам своим вновь одержать победы, не могши принудить его прежде сразиться и тем погубить себя. По этой причине Агесилай был похваляем теми, кого спас, заставив их повиноваться. Помпей, напротив того, погрешив ради других, обвинителями своими имел тех, кого он послушался.

Многие говорят, что он был обманут тестем своим Сципионом, который, желая присвоить себе большую часть денег, привезенных им из Азии, утаил оные и ускорил сражением, как бы не было уже денег. Хотя бы это было истинно, но полководцу не надлежало вдаваться в обман

и столь легкомысленно подвергнуть опасности то, что всего выше. Вот какое различие находим между одним и другим.

Касательно путешествия их в Египет, один убежал туда по нужде; другой поехал без нужды и против чести, для одной корысти, дабы можно было ему вести войну против греков деньгами, приобретенными в службе варваров. Наконец египтяне обвиняют Агесилая в том самом, в чем обвиняем мы их, в рассуждении Помпея. Сей полководец вверил себя им и был обманут. Они вверили себя Агесилаю, но он их оставил и перешел к тем самым, против которых приехал в Египет.

Александр и Цезарь

Александр

Приступая в этой книге к описанию жизни Александра и жизни Цезаря, низложившего Помпея, по причине множества предлежащих деяний, я не сделаю никакого предисловия, а прошу только читателей не вменять мне в преступление, если повествую не все преславные их подвиги и не каждый порознь с надлежащей подробностью, но большей частью сокращаю оные. Я не сочиняю истории, а только описываю жизни. Не всегда в знаменитейших деяниях обнаруживается добродетель или порок; или одна шутка более обнаруживает характер человека, нежели сражения, в которых пала тьма людей, нежели величайшие военные действия и осады городов. Как живописцы стараются с точностью изобразить сходство лица и черты глаз, в которых являются свойства человека, мало заботясь о других частях; так и мне да будет позволено более изыскивать внутренние черты душевные и в них представлять жизнь каждого, предоставляя другим описывать великие дела и славные брани.

Весьма достоверным почитается, что Александр был родом со стороны отца Гераклид, происходя от Карана*, а со стороны матери – Эакид, происходя от Неоптолема. Говорят, что Филипп еще в молодости своей был введен в тайны на острове Самофракии вместе с Олимпиадой, которая была также весьма молода и сирота, влюбился в нее и вступил в брак с нею по согласию брата ее Ариббы*. До той ночи, в которую молодым супругам надлежало вступить в брачный чертог, показалось невесте, что сделалась гроза и что в утробу ее ударил перун; от удара вспыхнул сильный огонь, который разделился на пламя, несущееся в разные места, и наконец исчез. Филипп же вскоре после брака увидел во сне, что полагает печать на утробу своей супруги; казалось ему, что на печати вырезан был лев. Прорицатели почли сие сновидение дурным, полагая, что Филиппу надлежало смотреть весьма тщательно за поведением супруги своей, но Аристандр из Тельмесса* объявил, что Олимпиада беременна, ибо ничего порожнего не запечатывают, что она родит сына огненных и львиных свойств. Некогда увидели дракона, который лежал, распростершись подле спящей Олимпиады. Этот случай, как говорят, охладил любовь и нежность Филиппа, который с тех пор уже не часто приходил к ней спать, либо потому, что боялся чародейства и отравы со стороны своей супруги, либо почитая непозволительным жить с нею как имеющей сообщество с существом высшим. Это происшествие повествуется еще иначе. Все женщины этой страны издревле участвуют в орфических таинствах и оргиях в честь Диониса; по этой причине они называются клодонками и мималлонками и совершают многие обряды, подобно эдонянкам, а также фракиянкам, живущим близ горы Гемос (от чего происходит и слово «фрэскэуэйн», выражающее слишком точное, суеверное священнодействие). Олимпиада, любя вдохновения, более других предаваясь своим восторгам, отчасти по примеру варварских жен; во время торжественных шествий она несла больших ручных змей, которые, выползая иногда из-под плаща и священных корзинок и обвиваясь вокруг тирсов* и венков этих жен, поражали мужчин ужасом.

После помянутого явления Филипп послал в Дельфы мегалополитанца Херона, который привез к нему от тамошнего бога прорицание, повелевающее ему приносить жертвы Аммону и сего бога более других чтить. Он лишился того глаза*, который приставил к дверной щели и увидел бога в виде змея, лежащего с царицей. Эратосфен пишет, что Олимпиада, провожая Александра при отправлении его в поход, ему одному будто бы объявила тайну его рождения и

напоминала ему мыслить достойно своего происхождения. Другие, напротив того, уверяют, что она отвергала этот слух, как нечестивый, и говорила: «Когда перестанет Александр оговаривать меня перед Герой?»

Александр родился в шестой день первого десятка месяца гекатомбеона*, называемого македонянами лоем, в тот самый день, когда сгорел храм Артемиды Эфесской. По этому случаю Гегесий* из Магнесии сделал замечание, которого холодность могла бы, я думаю, погасить тот пожар. Он сказал, что неудивительно, если сгорел храм, ибо Артемида, как повивальная бабка, была занята принятием новорожденного Александра. Многие, бывшие в то время в Эфесе, почитая сие бедствие предзнаменованием других бедствий, бегали по городу, били себя в лицо и кричали, что тот день произвел на свет великую пагубу и несчастье для Азии. Филипп, покоривший уже Потидею*, в одно и то же время получил три известия, что иллирийцы разбиты Парменионом в большом сражении, что он одержал победу в Олимпии на конском ристании, и наконец, что родился Александр. Он радовался тому, и прорицатели умножали его радость, объявляя, что сын его, родившись при получении трех побед, будет непобедим*.

Что касается до наружности его, то кумиры Лисипповой работы представляют его всех лучше. Александр хотел, чтобы один Лисипп представлял его; художник сохранил в точности живость его взора и наклон шеи, склоняющейся слегка на левую сторону; этому впоследствии многие из преемников его и друзей подражали. Апеллес, изображая его в виде громодержца, не представил его настоящего цвета, но сделал его несколько смуглее и темнее. Хотя Александр, как известно, был бел, и белизна эта на лице и на груди превращалась в румянец. Что от него пахло весьма приятно, и от рта его и всего тела исходило благовоние, которое переходило в его одежду, – об этом читаем мы в записках Аристоксена. Причиной этому может быть его телосложение, которое было горячее и огненное. Благовоние, по мнению Феофраста, происходит от воздействия теплоты на влагу. Оттого сухие и жаркие места земли производят ароматы лучшего вида и в большом количестве, ибо солнце извлекает находящуюся на поверхности тел влажность, как вещество, производящее гнилость. Этот жар тела, по-видимому, делал Александра склонным к питью и к гневу.

Еще в молодых летах обнаруживалось его воздержание, ибо хотя был он горяч и стремителен во всех своих действиях, но был тверд против наслаждений телесных и предавался им с великой умеренностью. Честолюбие же его было сопряжено с духом гордым и возвышенным, превышавшим его возраст. Он не любил всякого рода славу без разбора, подобно Филиппу, который хвастал искусством своим в красноречии подобно софисту и вырезывал на монетах победы, одержанные его колесницами в Олимпии. Напротив того, когда приятели Александра спрашивали его, не хочет ли он пробежать поприще в Олимпии, ибо он был весьма быстр на ногах, то он отвечал: «Да, если только буду иметь царей соперниками!» Вообще, кажется, имел он отвращение к атлетам всякого рода. Хотя он много раз полагал награды не только для актеров, флейтистов и кифаредов, но и даже для рапсодов*, равно как для охоты всякого рода и для сражения на палках; однако никогда не определял он с важностью награды ни для кулачного боя, ни для панкратия.

Некогда в отсутствии Филиппа, он принял и угостил послов царя персидского и, познакомившись с ними коротко, до того прельстил их дружеским обхождением и тем, что не задал им никакого детского и маловажного вопроса, что они были приведены в удивление и почли способности, которыми славился Филипп, за ничто в сравнении с пылкостью, великим предприимчивым духом сына его, ибо он расспрашивал их только о том, сколь длинны дороги, каким образом можно путешествовать в Верхней Азии; так же, каков царь их в отношении к неприятелям, в чем состояла сила и могущество персов. Всякий раз, когда возвещаемо было или о покорении Филиппом важного города, или об одержании славной победы, Александр слушал сие не с веселым лицом; он говорил сверстникам: «Друзья мои! Отец мой все покорит, а мне с вами не оставит произвести никакого славного и великого дела». Жаждая не наслаждения и богатства, но доблести и славы, он думал, что чем больше получит от отца своего, тем менее останется ему произвести что-либо самостоятельно. Воображая, что с возвышающимся могуществом отец его совершит все дела, он хотел получить в наследство власть, сопряженную с трудностями, военными предприятиями и трудами, а не с богатством, негою и наслаждением.

К образованию его, как прилично, были приставлены многие воспитатели, педагоги и учители. Надо всеми имел надзор Леонид, родственник Олимпиады, человек нрава строгого. Он не избегал названия педагога, предмет которого почетен и прекрасен; однако был называем другими, по причине его достоинства и родства с царем, воспитателем и наставником Александра. Место же педагога и самое название принимал на себя Лисимах, родом акарнанец, который впрочем, не имел в себе ничего отличного, но был любим потому, что себя называл Фениксом, Александра – Ахиллом, а Филиппа – Пелеем*; он занимал второе место после Леонида.

Некогда фессалиец Филоник привел к Филиппу для продажи Букефала, за которого требовал тринадцать талантов; Филипп, в сопровождении Александра, сошел на равнину, дабы испытать сию лошадь. Она казалась неукротимой и вовсе негодной к употреблению; не допускала к себе седока, не терпела голоса ни одного из тех, кто был с Филиппом, но перед всеми становилась на дыбы. Филиппу это не понравилось. Он приказал отвести лошадь, как вовсе дикую и необузданную. Александр, который тут находился, сказал: «Какую лошадь теряют, не имея способности и твердости сладить с нею». Сперва Филипп замолчал, но как Александр несколько раз повторял одно и то же и чрезвычайно жалел о лошади, то, наконец, сказал ему: «Ты укоряешь старших себя, как будто бы ты знал что-нибудь больше их, или мог лучше обходиться с лошадью?» – «С этой могу лучше иного сладить», – отвечал Александр. «А если нет, – возразил Филипп, – то какому наказанию подвергнешь себя за твою дерзость?» – «Клянусь Зевсом, заплачу то, чего лошадь стоит», – сказал он. При этих словах начали все смеяться, отец с сыном бились об заклад, и Александр прибежал к лошади, взял ее за повод и обратил к солнцу. По-видимому, он догадался, что лошадь пугалась своей тени, которая падала перед нею и колебалась. После того он побежал с нею, держа ее за повод, поглаживал ее и, видя, что она наполнилась ярости и огня, сбросил с себя тихо свою хламиду, поднялся и сел на нее твердо. Сначала взяв повод покороче, он удерживал лошадь, не ударял и не понуждал ее; наконец, приметив, что она оставила свою ярость, но стремилась к бегу, ослабил повод, погнал ее, понуждая уже смелым голосом и ударом ноги. Сперва Филипп беспокоился о нем и молчал, но когда Александр поворотил назад и прискакал к нему, исполненный гордости и веселья, и все издали восклицания, то отец, как говорят, от радости не мог удержать слез. Когда Александр сошел, то Филипп поцеловав его в голову, сказал ему: «Сын мой, ищи царства себе равного, ибо Македония не вместит тебя!».

Филипп, заметя свойство его непреклонное и упорное, когда употребляли с ним принуждение, но между тем рассудком легко обращаемое к должности, старался сам более его убеждать, нежели ему приказывать. Не доверяя учителям музыки и наук попечения о нем и образования его, как дела, сопряженного с большими трудностями и, по выражению Софокла, требующего многих узд и кормил – он вызвал славнейшего и ученейшего из философов Аристотеля, которому он дал за его наставление самую лучшую и приличную награду, а именно: он опять восстановил город Стагиры*, отечество Аристотеля, прежде им разоренный, и возвратил в оный жителей, разбежавшихся или бывших в неволе. Местом беседы и учения он назначил рощу Нимф при Миезе*, где и поныне показывают каменное седалище Аристотеля и тенистые аллеи. Нет сомнения, что не только преподано было Александру учение о нравственности и политике, но что он участвовал в тайном и глубоком учении, которое перипатетики называют собственно акроаматическим и эпоптейским* и о которых они сообщают немногим. Впоследствии, когда Александр предпринял уже в Азию поход, узнав, что Аристотель издал в свет некоторые книги об этих предметах, он писал ему письмо, в котором упрекает ему за то именем философии и с которого имеем следующий текст: «Александр Аристотелю желает благополучия. Ты нехорошо поступил, издав в свет акроаматическое учение. Чем я буду от других отличен, если учение известно будет всем, по которому я образовался; я бы, конечно, лучше хотел превосходить других знанием важнейших предметов, нежели могуществом. Будь здоров». Аристотель, утешая таковое его честолюбие, оправдывается перед ним, уверяя, что это учение издано и не издано. В самом деле, книги Аристотеля, следующие за его «Физикой», не содержат в себе ничего полезного к учению или преподаванию, а служат только вспоможением для тех, кто с самого начала наставлен в его учении.

Я думаю, что Аристотель в особенности внушал Александру охоту к врачеванию. Не только любил он теорию врачебной науки, но сам лечил больных друзей своих, предписывал лекарства и диету, как можно видеть из его писем. Вообще, был он от природы любитель словесности, познаний и охотник до чтения. «Илиаду» почитал и называл он руководством к военному искусству. Он имел при себе список, исправленный Аристотелем и известный под названием «список из ларца». Он всегда был под его изголовьем вместе с кинжалом, как повествует Онесикрит*. Находясь в глубине Азии, он чувствовал недостаток в книгах и велел Гарпалу* присылать их к нему. Гарпал доставил ему сочинения Филиста, многие трагедии Еврипида, Софокла и Эсхила и дифирамбы Телеста и Филоксена*. Сначала Александр отлично уважал Аристотеля и любил его, как сам говорил, не менее отца, уверяя, что отцу своему был он обязан жизнью, а Аристотелю знанием, что живет хорошо; однако впоследствии возымел к нему подозрение, и хотя оно не побудило его к оказанию Аристотелю какого-либо зла, но в связи их не было более прежней горячности и дружбы, и это было знаком взаимного неудовольствия. Впрочем, врожденная в нем и с самого начала вместе с ним возросшая сильная любовь к философии не изгладилась из души его. Это доказывается уважением его к Анаксарху, посланными Ксенократу в подарок пятьюдесятью талантами* и почестями, оказанными Дандамису и Калану.

При отправлении Филиппа в поход против византийцев* Александр, которому было шестнадцать лет, оставлен был правителем Македонии с полной властью; он имел в своих руках и печать. Он покорил медов, отпавших от македонян, взял их город, изгнал из него варваров, заселил его разнонародными людьми и назвал Александрополем. Он участвовал в сражении, данном грекам при Херонеи, и первый, говорят, ворвался в священный отряд фиванцев. Еще в наше время показывали древний при Кесифе дуб, называемый Александровым, при котором он раскинул свой шатер; недалеко, неподалеку есть курган падших македонян. Эти дела умножили любовь Филиппа к своему сыну; он даже радовался тому, что македоняне назвали Александра царем своим, а его своим полководцем.

Но домашние беспокойства, происшедшие от его браков и любовных связей, от которых царство некоторым образом страдало вместе с брачным чертогом, произвели между ними многие неудовольствия и великие раздоры. Олимпиада, женщина ревнивая, мстительная и злобная, усиливала оные, раздражала Александра. Но самый явный повод к ссоре подал Аттал во время брака Филиппа с молодой Клеопатрой, в которую он влюбился, несмотря на свои лета, и на которой он наконец женился. Аттал, дядя этой девицы, напившись допьяна за столом, увещевал македонян молить богов, да родится от Филиппа и Клеопатры законный царства наследник. Александр, раздраженный этими словами, сказал ему: «Негодяй! Разве я незаконнорожденный?» И с этими словами пустил в него стакан. Филипп извлек меч и поднял на него; к счастью обоих, от сильного гнева и питья он споткнулся и упал. Александр, ругаясь над ним, сказал: «Посмотрите, друзья мои! Тот, кто готовился из Европы переправиться в Азию*, растянулся на полу, перешагивая с ложа на ложе!» После жестокого оскорбления Александр взял Олимпиаду, привез ее в Эпир, а сам имел пребывание в Иллирии. Между тем коринфянин Демарат, который был связан узами гостеприимства с домом их и мог говорить с ними свободно, прибыл в Македонию к Филиппу. После первых дружеских приветствий и поздравлений Филипп спросил Демарата, согласно ли живут греки между собою. «Пристало ли тебе, Филипп, – отвечал он, – заботиться о греках, ты, который собственный дом свой исполнил таких раздоров и зол». Эти слова заставили Филиппа опомниться; он писал Александру и убедил его посредством Демарата возвратиться в Македонию.

Вскоре после того Пиксодар, сатрап Карии, умышляя вступить в союз с Филиппом посредством родства, хотел выдать старшую из своих дочерей за Арридея*, сына Филиппа, и послал в Македонию Аристократа с этим препоручением. Тогда мать и приятели Александра опять начали внушать ему подозрения и сеяли клеветы под тем предлогом, что Филипп возводит Арридея на престол посредством брака и связи с могущественным домом. Эти представления встревожили Александра. Он послал в Карию Фессала, трагического актера, для переговоров с Пиксодаром; Фессалу было препоручено отклонить Пиксодара от незаконнорожденного и притом тупоумного сына Филиппа и убедить его выдать свою дочь за Александра. Это предложение понравилось Пиксодару гораздо более прежнего. Филипп,

получив о том известие, пришел в комнату Александра вместе с Филотом, сыном Пармениона, близким его другом, жестоко укорял и бранил его, как человека низкого духа и недостойного той власти, которая ему назначена, ибо унижался до того, чтобы быть зятем карийца, рабствующего варварскому царю. Между тем он писал коринфянам, чтобы они прислали к нему Фессала в оковах. Он выслал притом из Македонии и других приятелей Александра, как-то Гарпала и Неарха, также Эригия и Птолемея. Александр впоследствии возвратил их и оказывал им великое уважение.

Когда Павсаний, будучи жестоко оскорблен наветами Аттала и Клеопатры и не получая удовлетворения, умертвил Филиппа*, то в этом убийстве большей частью обвиняли Олимпиаду, ибо она поощряла молодого человека, воспламененного уже гневом, к совершению оного. Некоторое подозрение касалось и Александра; ибо, когда Павсаний, после полученного оскорбления, обратился к нему и жаловался горько, то Александр, как говорят, вместо ответа произнес следующий стих из трагедии «Медея»:

Невесту, жениха и тестя вместе с ними*.

Впрочем, он отыскал всех сообщников заговора и наказал их, а когда в отсутствии его Олипиада жестоко расправилась с Клеопатрой, то он изъявил великое на то неудовольствие.

Александру было двадцать лет, когда он получил царство, которому со всех сторон угрожали великие опасности по причине жестокой ненависти и зависти соседей. Смежные варварские народы не терпели порабощения, но желали собственных царей; Греция была побеждена оружием Филиппа, но этот царь не имел времени ее успокоить и приучить к ярму. Он только все расстроил и возмутил и оставил дела при смерти своей в сильном волнении, ибо никто не привык к настоящему положению. Эти обстоятельства беспокоили македонян. Они думали, что Александру надлежало вовсе отстать от греческих дел и не употреблять мер насильственных, а варваров, отпавших от него, привлечь к себе кротостью и удерживать умеренными средствами попытки к переворотам. Александр был противоположного мнения. Он хотел приобрести безопасность и спасти свое владычество смелостью и твердостью духа, будучи уверен, что если бы он оказал хотя бы малейшую уступчивость и снисхождение, то все народы восстали бы против него. С великой быстротой он укротил движения варваров и кончил брани в тамошних странах, которые пробежал с войском и достигнул Истра; в этом походе он победил в великом сражении Сирма, царя трибаллов*. Получив известие, что фиванцы от него отпали и что афиняне были с ними в союзе, он прошел немедленно Фермопилы с войском, сказав: «Демосфен называл меня отроком, пока я находился среди трибаллов и иллирийцев, и юношей, когда я был в Фессалии; итак, я хочу показать ему себя совершенным мужем перед стенами афинскими». Он приблизился к Фивам, давал жителям время раскаяться в своих проступках, требовал выдачи Феника и Протита и обнародовал полную безопасность тем, кто к нему пристанет. Фиванцы со своей стороны требовали у него выдачи Филота* и Антипатра и призвали тех, кто хочет вместе с ними освободить Грецию, присоединиться к ним. После того Александр устремил македонян к нападению. Фиванцы обнаружили дух и мужество, превышавшее их силы, вступив в сражение с неприятелем, силы которого в несколько крат были многочисленнее. Когда охранное войско македонское сделало вылазку из Кадмеи и напало на них с тылу, то фиванцы, будучи отовсюду окружены, большей частью легли на поле брани. Город был взят, разграблен и разрушен. Александр надеялся, что греки, изумленные бедствием, постигшим Фивы, будут приведены в страх и останутся в покое; при всем том в свое оправдание говорил он, что разорением Фив хотел угодить союзникам своим, ибо фокейцы и платейцы имели важные жалобы на фиванцев*. За исключением жрецов, всех тех, кто с македонянами были сопряжены правом гостеприимства, также потомков Пиндара и тех, кто противился решению народа о возмущении против македонян, все другие, число которых простиралось до тридцати тысяч, были проданы. В сражении пало более шести тысяч фиванцев.

В продолжение ужасов и бедствий, в которые погружены были Фивы, некоторые фракийцы, вломившись в дом Тимоклеи, знаменитой и целомудренной женщины, расхищали ее имение, между тем как начальник их, посрамив ее насильственно, спрашивал наконец, нет ли у нее спрятанного где-либо золота или серебра. Она сказала, что есть, и повела его одного в сад и,

показав ему колодец, объявила, что тут она скрыла драгоценнейшие свои вещи в то время, когда брали город. Между тем как фракиец наклонился и рассматривал внутренность колодца, Тимоклея, став позади его, столкнула в колодец и, бросая в оный камни в великом множестве, умертвила его. Она была приведена фракийцами скованная к Александру; в виде ее и поступках обнаруживалась важность и высокий дух; она следовала за ведшими ее воинами без смущения и страха. Когда царь спросил, кто она такая, отвечала: «Я сестра полководца Феагена, который сражался против Филиппа за вольность греков и пал в Херонее». Александр удивился как ответу ее, так и поступку, и велел ее освободить вместе с детьми ее.

Он заключил мир с афинянами, несмотря на то, что они изъявили великую печаль за бедственную участь Фив. Хотя в те дни наступал праздник таинств, однако афиняне оного не отправляли, будучи погружены в уныние. Они приняли весьма человеколюбиво тех фиванцев, которые прибегли к ним. Александр, насытив ли уже, подобно львам, ярость свою или желая противоположить самому жестокому и ненавистному поступку поведение кроткое, не только не жаловался и не изъявил неудовольствие на эти поступки афинян, но, напротив того, велел им обращать внимание на то, что происходило вокруг них, ибо им надлежало начальствовать в Греции, если случится с ним какое-либо несчастье. Говорят, что впоследствии воспоминание жестокой участи фиванцев ввергло его в горесть и это было причиной тому, что он со многими другими поступал уже с большей кротостью. Вообще Александр думал, что как умерщвление Клита, совершенное им в пьянстве, так и робость македонян, при предприятии похода на индийцев, робость, из-за которой подвиги и слава его оставались несовершенными, надлежало приписать гневу и мщению Диониса*. Из оставшихся живыми фиванцев не было ни одного, который впоследствии просил бы у Александра чего-либо и не получил бы того, чего желал. Таковы поступки его в отношении Фив.

При всеобщем собрании греков в Истме определено идти войной на персов, и Александр объявлен верховным их полководцем. Многие из государственных мужей и философов приходили к нему с поздравлением. Александр надеялся, что и Диоген Синопский, бывший тогда в Коринфе, последует их примеру. Но так как Диоген, нимало не заботясь об Александре, жил спокойно в Крании*, то Александр сам пошел к нему. Диоген тогда лежал на солнце. Он несколько привстал, увидя множество шедших к нему людей, и взглянул пристально на Александра. Этот, приветствовав его, спросил, не может ли оказать ему какую-нибудь пользу. «Несколько посторонись от солнца», – сказал ему Диоген. Эти слова возбудили такие чувства в Александре, он настолько был поражен величием души и высокомерием Диогена, несмотря на оказанное ему пренебрежение, что, удаляясь от него, сказал сопровождавшим его, которые смеялись и шутили над Диогеном: «Когда бы я не был Александром, то желал бы быть Диогеном».

Желая вопросить прорицалище касательно предпринимаемого похода, прибыл он в Дельфы. По случаю те дни почитались несчастными; в продолжение их запрещено издавать прорицания. Сперва Александр послал к прорицательнице и звал ее; она отказывалась, отговариваясь законом; тогда Александр взошел сам и насильственно повлек ее в храм. Она, как бы не могла устоять против силы его, сказала: «Ты непобедим, сын мой!» Александр, услышав это, сказал, что не имеет нужды в другом прорицании, и что получил от нее тайный ответ, которого он желал.

При выступлении его в поход боги явили многие знамения. Меж прочими замечено, что кипарисный кумир Орфея, бывший в Либетрах*, пустил от себя в те дни сильный пот. Всем казалось это знамение страшным, но Аристандр старался успокоить их, ибо по его мнению это значило, что Александр совершит деяния столь славные и достопамятные, что заставят много трудиться и потеть стихотворцев и музыкантов, прославляющих оные.

Касательно числа войск его самое меньшее полагают в тридцати тысячах пехоты и пяти тысячах конницы, а самое большее в тридцати четырех тысячах пехоты и четырех тысячах конницы. Аристобул* пишет, что на содержание войска было у него не более семидесяти талантов; Дурис говорит, что у него было запасов не более, как на тридцать дней, а Онесикрит уверяет, что на нем было еще долгу двести талантов. Несмотря на столь малые и ограниченные пособия, не прежде он сел на корабль, как по рассмотрении состояния своих друзей. Иному назначил земли, другому село, третьему доход с местечка или пристани. Когда были истощены

и расписаны почти все царские имущества, то Пердикка спросил его, что же себе государь оставляет. «Надежду!» – отвечал Александр. «Так и мы, вместе с тобою ратующие, хотим иметь в ней участие», – сказал Пердикка и отказался от назначенного ему имения. Многие из друзей его последовали его примеру. Александр, однако, охотно дарил тех, кто брал и просил у него чего-либо. Таким образом раздарил он большую часть своих имуществ в Македонии.

С такой решимостью и с таким расположением души переправился он через Геллеспонт! Он вышел в Илион, принес Афине жертву, а героям возлияние. Он намазался маслом и, обежав памятник Ахилла вместе со своими друзьями нагим, по обычаю, наложил на него венок, ублажая Ахилла за то, что он при жизни нашел верного друга, а по смерти великого глашатая славных дел своих*. Когда обходил Илион и осматривал его достопамятности, то некто спросил его, не желает ли видеть лиру Александра*. «Мне до ней дела нет, – отвечал Александр, – я ищу лиру Ахилла, на которой он воспевал славу и подвиги храбрых мужей»*.

Между тем Дариевы полководцы собрали многочисленную силу и выстроились на реке Гранике, дабы препятствовать переправе его. Надлежало уже сражаться как бы перед вратами Азии, за вступление в оную и за начало предприятия. Большая часть македонских военачальников страшились глубины реки, неровности и крутизны противоположного берега, на который надлежало им выступить, сражаясь. Некоторые притом напоминали, что не надлежало преступать предписанных македонских обычаев в отношении месяца. Македонские цари в месяц десий не выводят на поле войска. Александр исправил последнее неудобство тем, что приказал называть месяц десий* вторым артемисием. Парменион не советовал ему предпринять столь опасное дело в такое позднее время. Но Александр сказал, что он устыдился бы Геллеспонта, через который переправился, если будет бояться Граника. Он пустился в реку с тринадцатью эскадронами конницы, и казалось, что, предводительствуя более неистово и отчаянно, нежели с рассуждением, шел он на стрелы неприятельские, к местам скалистым, покрытым пехотой и конницей, через реку, которая уносила и топила воинов его. Несмотря на то, он продолжал переправу с великим упорством и достигнул, хотя насилу и с великим трудом, берега, который от ила был влажен и скользок. Он был принужден сражаться беспорядочно, вступать в бой поодиночке с наступающими неприятелями, прежде нежели мог привести в какое-либо устройство переправившихся воинов своих. Неприятели сильно наступали с криком, противоставляли коней коням, действовали дротиками и мечами, после того как копья их переломались. Многие теснились к нему; он отличался от других своим щитом и конским на шлеме гребнем, у которого по обеим сторонам было по перу, белизны и величины чрезвычайной. Он получил удар дротиком под сгибом брони, но не был ранен. Полководцы Ресак и Спифридат* вместе на него устремились; от одного он уклонился, а Ресака, одетого в броню, ударил копьем; оно переломилось, и Александр схватился за кинжал. Между тем как они сошлись, Спифридат, ставши сбоку и приподнявшись с великой скоростью, нанес ему удар персидской секирой; он сорвал гребень с одним пером; шлем едва выдержал удар, так что секира коснулась верхних волос его; Спифридат вторично поднимал руку, дабы нанести ему удар, но Клит, прозванный Черным, успел пронзить его насквозь дротом; в то же время пал и Ресак, пораженный мечом Александра.

Между тем как конница находилась в жаркой и опасной битве, переправилась македонская фаланга, и собирались пехотные силы. Недолго и неупорно выдерживали неприятели нападение. Они все обратились в бегство, кроме греческого наемного войска, которое, выстроившись плотно на холме, хотело сдаться с условием. Но Александр, управляемый более яростью, нежели рассудком, напал на них первый; под ним убили лошадь, которая поражена в бока мечом. Лошадь эта была не Букефал, но другая. Здесь пало и было ранено большое число воинов его, ибо они вступили в бой с храбрыми и отчаянными людьми. Говорят, что со стороны персов пало двадцать тысяч пехоты и две тысячи конницы. Со стороны Александра, по уверению Аристобула, пало всего тридцать четыре воина, из которых девять были пешие. Александр велел соорудить им медные кумиры*, которые изваяны Лисиппом. Он делал участниками в победе своей всех греков, но афинянам в особенности послал триста щитов из отнятых у неприятелей; на остальной же добыче велел сделать надпись, служащую к чести всех их: «Александр, сын Филиппа, и греки, исключая лакедемонян, отняли у варваров, обитающих в Азии». Чаши, пурпуровые покрывала и подобные персидские вещи, кроме

немногих, отослал все к матери своей.

Это сражение произвело тотчас в делах Александра полезный оборот. Он взял после того Сарды – главную твердыню приморских стран персидской державы; другие области к нему приставали. Только города Галикарнасс и Милет оказали ему сопротивление. Он взял оные приступом и покорил окрестные области. Между тем был он в нерешимости касательно дальнейших предприятий, то стремился идти навстречу Дарию и одним сражением решить все дело, то думал сперва приучить свою силу к трудам и укрепить пособиями и деньгами, доставляемыми ему приморскими областями, и потом обратиться в Верхнюю Азию на Дария.

В Ликии, недалеко от города Ксанфа, есть источник, который в то время, говорят, сам переменил свое течение и, выступив из своих пределов, выбросил со дна медный лист, на котором древними письменами было изображено, что владычество персов будет испровергнуто греками. Вознесясь тем более духом от этого прорицания, он спешил очистить от неприятелей приморские области до Финикии и Киликии*. Прохождение его через Памфилию подало многим историкам материю к живописным и великолепным рассказам, внушающим изумление. Они уверяют, что море, по некому божественному счастью, отступило перед Александром, хотя в прочем оно всегда ударяет с великой силой в берега и редко обнажает выдающиеся мелкие скалы, лежащие под хребтом крутых и утесистых гор этой земли*. Менандр в комедии, шутя над странностью происшествия, говорит:

По-Александровски дела мои идут.
Ищу ли я кого? – Он сам собой уж тут.
Проехать должно ли мне куда-либо чрез море?
Оно расступится – и дно явит мне вскоре.

Но Александр в письмах своих ничего не упоминает об этих чудесах; он говорит только, что прошел так называемую «Лестницу»*, спустившись из Фаселиды. По этой причине в этом городе провел он несколько дней, в продолжение которых увидел на площади стоящий кумир умершего Феодекта*, который был родом из Фаселиды. После ужина, составив веселое вакхическое торжество, он бросил на кумир множество венков – оказывая шутками почесть мужу, с которым познакомился посредством Аристотеля и философии.

После того он покорил противившихся ему писидян, занял Фригию и взял город Гордий*, в котором древний Мидас имел, говорят, свое пребывание. Здесь увидел он известную телегу, связанную корой кизилового дерева, и от тамошних жителей услышал касательно оной слова, которым они верили, будто бы судьбой определено сделаться царем вселенной тому, кто развяжет узел. Писатели большей частью говорят, что концы узлов были спрятаны и переплетались многими оборотами, так что Александр, не будучи в состоянии развязать узел, разрубил оный мечом, от чего обнаружилось множество концов. Но Аристобул говорит, что он развязал узел весьма легко, вынув из оглобли затычку, которая держала ремень или гуж. И таким образом вытащил ярмо из телеги.

После того покорил он пафлогонцев и каппадокийцев и получил известие о смерти Мемнона*, который, предводительствуя войсками Дария на приморских областях, подавал надежду, что причинит Александру многие препятствия, остановки и затруднения в предприятии его. Этот случай более утвердил его в намерении обратиться к Верхней Азии.

Уже и Дарий шел из Суз, полагаясь на множество своих сил: он имел шестьсот тысяч воинов. Один виденный им сон, который маги толковали так, чтобы ему угодить, нежели как было правдоподобно, внушал ему большую бодрость. Ему приснилось, что македонская фаланга была вся в огне, что Александр, нося одежду, которую прежде носил сам Дарий, будучи царским астандом*, служил ему; потом Александр вошел в храм Бела и исчез. Этим, вероятно, бог знаменовал, что дела македонян будут блистательны и славны, что Александр завладеет Азией, подобно как завладел оной Дарий, сделавшийся царем из астанда, и что вскоре во славе кончит жизнь.

Бодрость Дария еще более умножилась от долгого пребывания Александра в Киликии. Он приписывал это робости. Но причина оного была болезнь, которая приключилась с царем, по уверению одних, от трудов, а по уверению других – от купания в водах замерзшей реки Кидн*.

Никто из врачей не отважился ему помочь; они почитали опасность сильнее всех лекарств и боялись обвинения со стороны македонян в случае неудачи. Врач Филипп, акарнанец, хотя и видел трудное свое положение, однако, доверяя дружбе Александра к себе и почитая непростительным при такой опасности его не подвергнуться опасности самому и не оказать ему помощи до последней крайности, жертвуя собою, решился лечить его. Он убедил его принять лекарство немедленно, если он желал себя укрепить к продолжению похода. Между тем Парменион, находившийся при войске, писал Александру письмо, в котором советовал ему беречься Филиппа, будто бы Дарий подкупил великими дарами и обещанием выдать за него свою дочь за умерщвление Александра. Александр прочитал письмо, не показал его никому из своих друзей и положил под изголовье. Вскоре в назначенное время вошел к нему Филипп с приближенными, неся в чаше лекарство. Александр подал ему письмо, и сам принял лекарство охотно и без подозрения. Зрелище было разительно и трогательно! Один принимал лекарство, другой читал письмо; оба взглянули друг на друга, но не с равными чувствами. Александр спокойным и веселым лицом изъявлял Филиппу доверенность и благосклонность; Филипп, приведенный в изумление клеветой, то призывал в свидетели богов, простирая руки к небу, то падал на ложе Александра и заклинал его быть покойным и полагаться на него. Лекарство сначала имело сильное действие на тело больного и сжало в самой глубине всю силу жизни, так что Александр от случившегося с ним обморока лежал без голоса; едва приметны были в нем слабые знаки чувства. Однако вскоре Филипп поднял его; Александр укрепился и показался македонянам, которые были погружены в уныние, пока его не увидели.

В Дариевом войске находился македонянин по имени Аминт*, который убежал из своего отечества и довольно знал характер Александра. Видя, что Дарий намеревался идти на него в узкие горные проходы, советовал ему остаться лучше на месте, дабы на равнинах, пространных и открытых, дать сражение неприятелю, силы которого в сравнении с Дариевыми были весьма малы. Дарий отвечал ему, что он боялся, чтобы неприятели не успели уйти и чтобы Александр не убежал. «Этого можешь не опасаться, государь! – сказал ему Аминт. – Он сам пойдет на тебя и уже, наверное, идет». Представления Аминта не убедили Дария, который направил путь к Киликии; в то самое время, как Александр шел против него в Сирию. В темноте ночи они разъехались и поворотили назад. Александр радовался сему случаю и спешил на встречу Дарию в узких проходах; между тем Дарий желал занять первое положение и вывести войско из узких проходов, ибо уже понял он, что против выгод своих вступил в страну, неспособную к действиям конницы, ибо в разных местах пресекали ее море, горы и река Пинар, протекающая посреди ее. Напротив того, служила выгодным положением неприятелю по причине малого числа его. Счастью обязан Александр столь выгодным положением; однако сделанные им распоряжения содействовали ему к одержанию победы более самого счастья. Хотя неприятели были в несколько раз многочисленнее его, но он не допустил их окружить себя и правым крылом обошел их левое, напал на них сбоку и обратил в бегство тех, кто против него действовали, сражаясь сам впереди своего войска. По этой причине был он ранен мечом в бедро, по свидетельству Харета*, самим Дарием, с которым будто бы схватился. Но Александр в письме своем к Антипатру о сражении не говорит, кто ударил его, а только пишет, что он ранен в бедро кинжалом, но что рана не имела никаких важных последствий.

Он одержал славнейшую победу, положил на месте более ста десяти тысяч неприятелей, но не поймал Дария, который в бегстве своем опередил его четырьмя или пятью стадиями. Впрочем достались ему колесница и лук Дария, с которыми возвратился к войску. Он застал македонян, которые из стана неприятельского вывозили несчетное богатство, несмотря на то, что неприятели, будучи, так сказать, налегке и в готовности дать сражение, большую часть обоза оставили в Дамаске. Македоняне выбрали для Александра Дариев шатер с великолепной прислугой, наполненный драгоценными уборами и великим богатством. Александр немедленно скинул доспехи и пошел в баню, сказав: «Пойдем смыть с себя пот сражения в Дариевой бане». Некто из приближенных его сказал: «Не в Дариевой, но в Александровой! Ибо собственность побежденного должна принадлежать победителю и называться его именем». Он нашел в бане множество золотых сосудов, черпал, чаш для мира, отделанных весьма искусно. В комнате разливались превосходные благовония ароматов и благовонных духов; Александр вошел в шатер, который высотой и обширностью, также великолепием лож, столов и столовых

приборов был чрезвычайный; он взглянул на своих приближенных и сказал им: «Это, по-видимому, и называется царствовать!»

В то самое время, как он хотел ужинать, принесено ему было известие, что среди плененных ведут мать, жену и двух дочерей Дария, которые, увидя колесницу и лук его, рыдали и били себя, почитая его погибшим. Александр несколько времени размышлял сам с собою и, чувствуя более их положение, нежели свое, послал Леонната для возвещения им, что Дарий не умер и что им не должно бояться Александра, что он воюет с Дарием за владычество, но что между тем они будут пользоваться всем тем, что получали тогда, когда царствовал Дарий. Слова эти показались женщинам кротки и милостивы, но поступки его с ними обнаружили еще большее человеколюбие. Он позволил им похоронить кого они хотели из убитых персов, употребив на то одежды и уборы, полученные в добычу. Он нимало не убавил ни услуги, ни почестей, которые они прежде имели; доходов же теперь получали более чем прежде. Но прекраснейшая и самая царская милость для добродетельных и знаменитых женщин, попавшихся в плен, была та, что они не слышали, не могли ни подозревать, ни бояться со стороны его ничего неблагопристойного, как бы они не находились среди неприятельского стана, но были охраняемы в священной и неприступной обители дев; они проводили жизнь уединенную, будучи никем невидимы. Хотя жена Дария была прекраснейшая из всех цариц, как и сам Дарий был прекрасен и великоросл, а дочери их были похожи на родителей, но Александр, по-видимому, почитая приличным царю более владеть собой, нежели побеждать врагов, не только не коснулся этих женщин*, но не познал никакой другой женщины прежде брака, исключая Барсины. По смерти Мемнона она осталась вдовою и была поймана в Дамаске. Она была образованна по греческому воспитанию; нрава была кроткого, притом отцом ее был Артабаз, сын царской дочери. Итак, Александр обратил к ней любовь свою, как говорит Аристобул, по совету Пармениона, который убедил Александра оставить себе сию прекрасную и благородную женщину. Александр, взирая на других пленниц, отличных ростом и красотой, шутя говаривал, что вид персиянок мучителен для глаз. Противополагая же прелестям их наружности изящность воздержания и целомудрия своего, он отсылал от себя как бездушные прекрасные кумиры.

Некогда Филоксен, военачальник приморских областей, писал ему, что некто тарентинец Феодор, находившийся при нем, имел для продажи двух отроков чрезвычайной красоты и спрашивал Александра, не хочет ли он их купить, то Александр, сильно на сие негодуя, кричал много раз и говорил друзьям своим, неужели Филоксен заметил в нем что-либо постыдного и делает ему такие срамные предложения. Он писал письмо, наполненное ругательствами, к Филоксену и велел ему отправить Феодора с товаром его к погибели. Он выговорил равно и Гагнону, который писал ему, что хочет купить и привести к нему мальчика Кробила, который славился в Коринфе красотою. Получив известие, что македоняне Дамон и Тимофей, бывшие под начальством Пармениона, обесчестили жен каких-то наемных ратников, он писал к Пармениону, что если эти воины будут изобличены в сем преступлении, то предать их смерти, как любых зверей, рожденных на гибель людей. В том же письме пишет он о самом себе следующие слова: «Что до меня касается, я не только не видел жены Дария или не желал ее видеть, но и не позволил никому говорить мне о красоте ее». Он говорил, что сон и любовные наслаждения заставляли его чувствовать, что он смертен, ибо как утомление, так и наслаждение равно происходят от слабости природы нашей.

Он был весьма воздержен и в пище. Это доказывал он как многими опытами, так в особенности тем, что он сказал Аде*, которую называл матерью и сделал царицей Карии. В знак любви своей она посылала к нему ежедневно разные кушанья и лакомства и наконец послала к нему лучших поваров и пекарей. Александр сказал, что не имеет в них нужды, ибо у него есть лучшие повара, полученные им от воспитателя своего Леонида, а именно: ночной переход для завтрака и умеренный завтрак для ужина. «Леонид, – говорил Александр, – осматривая мою комнату, открывал ящики, где была моя постель и одеяло, дабы видеть, не поставила ли мне мать чего-либо лакомого и излишнего».

Самая склонность его к вину не столь была велика, как вообще думают. Это доказывается протяженностью времени, которое он более проводил в разговорах, нежели в питье, и при каждой чаше всегда начинал длинную речь. Обед был продолжителен только тогда, когда

Александр был свободен от дел. Когда надлежало действовать, то ни пиршество, ни сон, ни забавы, ни брак, ни зрелище не могли остановить его, как некоторых других полководцев. Вся жизнь его служит тому доказательством, ибо несмотря на ее краткость, она преисполнена величайших и славных деяний. Когда он не был занят делами, то встав сперва приносил жертву богам, а затем завтракал, сидя; после того весь день проводил в охоте, в сочинении, в рассматривании дел между воинами или в чтении. Когда путешествовал не к спеху, то дорогой учился или стрелять из лука, или всходить на бегущую колесницу, или соскакивать с нее. Часто он для забавы ловил лисиц или птиц, как можно видеть из дневных записок. Останавливаясь на ночлег, он мылся в бане или мазался маслом и между тем расспрашивал надзирателей за товарами, все ли пристойно изготовлено к ужину. Ужин начинался уже поздно и с наступлением темноты. Достойны замечания старание его и заботливость касательно стола; он хотел, чтобы все угощаемы были с равным вниманием и без всякого небрежения. Как уже сказано, он проводил долгое время за питьем по причине говорливости своей. Он был самый любезный из царей в дружеской беседе; и не был лишен никакой приятности. Но впоследствии он сделался неприятным по причине своей хвастливости и слишком походил на простого воина, будучи уже склонен к надменности и предаваясь льстецам, которые удаляли от него присутствующих умных людей, не хотевших ни состязаться с ними в лести, ни казаться ниже их в похвалах, воздаваемых Александру, ибо одно почитали они постыдным, другое – опасным. После питья он умывался в бане, потом предавался сну и спал нередко до полудня; иногда и целый день. Он был столько равнодушен к вкусным кушаньям, что часто посылал к друзьям своим самые редкие рыбы и другие произведения, привозимые к нему с моря, и нередко ничего себе не оставлял. Впрочем ужин его был всегда великолепен; вместе с успехами умножились и расходы на стол, которые дошли до десяти тысяч драхм и на том остановились; такое количество определено было издерживать и тем, кто угощал у себя Александра.

После сражения, данного при Иссе, Александр послал взять в Дамаске деньги и обозы, также детей и жен персидских. При этом фессалийская конница получила великую прибыль. Она чрезвычайно отличалась в сражении и потому Александр нарочно послал ее туда, желая, чтобы она тем воспользовалась. Стан Александра наполнился богатством; в первый раз тогда получили македоняне во власть свою золото и серебро и женщин, вкусили варварский образ жизни и спешили, подобно ловчим псам, ищущим следов зверя, отыскивать персидское богатство.

Между тем Александр почел нужным утвердиться в приморских областях. Цари кипрские немедленно предали себя ему, Финикия вся покорилась, кроме Тира. Он осаждал этот город в течение семи месяцев, поднял валы, поставил машины, а со стороны моря окружил его двумястами триерами. Во сне он увидел Геракла, который со стены простирал к нему руку и призывал его. Многим жителям Тира приснилось, что Аполлон говорил им: «Я уйду к Александру, ибо мне не нравится то, что делается в городе». За это тирийцы поступили с богом, как с пойманным при переходе к неприятелю беглецом; они связали его кумир цепями, пригвоздили к основанию и называли его александристом*. Александр увидел еще следующий сон: показался ему сатир, который будто бы шутил с ним издалека; когда он хотел его поймать, то сатир вырвался. Александр бегал вокруг него и убедительно просил его не убегать, тогда сатир дал себя поймать. Прорицатели, раздробляя слово «сатир», довольно вероятно говорили, что оно значит: «Са», то есть «твой», и «Тир». Показывают еще теперь источник, близ которого он увидел во сне сатира.

Осада еще продолжалась, когда Александр предпринял поход против арабов, живущих при Антиливане*. Он находился в опасности потерять жизнь за воспитателя своего Лисимаха, который хотел провождать Александра, говоря, что он не был хуже, ни старее Феникса. Приблизившись к гористой стране, Александр оставил лошадей и шел пешком, воины далеко опередили его; между тем, как он при наступлении уже ночи, находясь недалеко от неприятелей, не хотел оставить уставшего и изнеможенного Лисимаха, но старался облегчить его и помогать ему. Таким образом, с немногими воинами отстал он неприметно от войска и должен был провести ночь в опасном месте, в темноте и при сильном холоде. Он увидел вдали горящие рассеянно огни неприятельские. Полагаясь на легкость своего тела и имея привычку всегда утешать македонян в трудных обстоятельствах принятием участия в трудах их, побежал

он к тем неприятелям, которые ближе других развели огонь и сидели около него, поразил двух кинжалом, схватил головню и принес ее к своим воинам. Они развели большой огонь и тем до того устрашили варваров, что они убежали. Македоняне обращали в бегство тех, кто напал на них; и таким образом провели ночь безопасно. Это повествуется Харетом.

Что касается до осады Тира, то она кончилась следующим образом. Александр давал отдых своему войску после многих прежних трудов и только часть оного приводил к стенам города, дабы держать неприятелей в тревоге. Между тем Аристандр, прорицатель, приносил жертву и рассматривал знамения во внутренности ее, смелее обыкновенного обнадежил предстоявших, что в тот месяц, без сомнения, город будет взят. Это произвело всеобщий смех, ибо то был последний день месяца. Царь, увидя Аристандра в недоумении и стараясь всегда поддерживать сколько мог прорицания, велел считать тот день третьим кончающегося месяца, а не тридцатым. Он велел затрубить в трубы и приступил к стенам с большей силою, нежели как с самого начала думал. Приступ был силен; войска, отдыхавшие в стане, не утерпели быть в бездействии; они прибежали и помогали своим. Жители были приведены в отчаяние, и город в тот день был взят*.

После того он осаждал Газу, самый большой город в Сирии. Одна птица пустила сверху глыбу земли, которая пала к нему на плечо. Птица сия потом села на одну из машин и неприметным образом впуталась в жилистых сетках, которые употребляли при оборачивания веревок. Это знамение исполнилось так, как предсказано было Аристандром. Александр был ранен в плечо, но завладел городом.

Он послал значительную часть добычи Олимпиаде, Клеопатре* и друзьям своим, а Леониду, своему воспитателю, послал ладану на пятьсот талантов, да мирры на сто, вспомнив надежду, которую возымел в своем ребячестве, по следующей причине. Некогда во время жертвы схватил он обеими руками фимиама и бросил в огонь. Леонид сказал ему: «Когда ты, Александр, завладеешь страной, приносящей ароматы, тогда приноси курения столь расточительно, а теперь употребляй бережливо то, что у нас есть». По этой причине Леониду писал он следующее: «Я посылаю тебе ладана и мирры в изобилии, дабы ты перестал скупо приносить оные богам».

Те, кто принимал богатство и обозы Дария, принесли к нему ларец, великолепнее которого, по словам их, они ничего не видали. Александр спрашивал у друзей своих, какую дорогую вещь, по их мнению, надлежало хранить в нем? Мнения их были различны, и Александр сказал, что в него положит и будет беречь «Илиаду». О том свидетельствуют многие из достоверных писателей. Если справедливо то, что говорят александрийцы, полагаясь на свидетельство Гераклида, то Гомер был хороший Александру товарищ и советник в военных делах.

Завладев Египтом*, он вознамерился построить великий и многолюдный греками населенный город и назвать оный своим именем. По совету архитекторов он измерил уже некоторое место и хотел обвести его стеной, как ночью во сне увидел странное явление: муж, весьма седой и видом почтенный, казалось, предстал к нему и сказал следующие стихи*:

Остров средь бурного моря стоит пред страною Египта.
Зовут оный Фаросом…

Александр встал немедленно и пошел к Фаросу, который тогда еще был островом, несколько выше Коновского устья, но ныне насыпью соединен с твердой землей. Найдя место это чрезвычайно выгодным и способным (это была полоса, похожая на перешеек довольной ширины и отделяющий большое озеро от моря, которое оканчивается обширным пристанищем), Александр сказал, что Гомер во всем удивительный и есть искуснейший архитектор, и велел сделать начертание городу, применяя его к местному пространству. За неимением белой земли работники брали муку и на поле, грунт которого был черный, начертили ею род круговидного залива. Две прямые его основания заключали внутреннюю окружность, имеющую вид македонской хламиды, которая становится уже в равной мере. Царю понравилось это начертание. Как вдруг большие разных родов птицы в несчетном множестве, поднявшись с моря и с озер, подобно тучам слетели на сие место и выклевали всю муку. Это

знамение смутило и самого Александра; однако прорицатели успокоили и ободрили его, уверяя, что город, им основываемый, будет изобильнейший и в состоянии питать многонародных людей.

Итак, Александр велел приставленным к этой работе людям приступить к делу, между тем предпринял он длинный путь к прорицалищу Аммона, сопряженный со многими трудами, неудовольствиями и двумя опасными обстоятельствами. Одно есть безводие, ибо в продолжение нескольких дней надлежит идти степью; другое – южный ветер, который мог подняться с силою во время похода по глубоким пескам на необозримой равнине, как сие случилось в древности, когда Камбиз предпринял такой же поход. Ветер, подняв песчаные холмы и взволновав все поле, засыпал и погубил войско его, состоявшее из пятидесяти тысяч людей. Почти всем приходили на мысль эти бедствия, но отвлечь Александра от того, на что он решился, было весьма трудно. Счастье, исполняя с послушанием предначертания его, сделало его твердым и непреклонным в намерениях своих; пылкий дух его, действуя с непреклонным упорством, не уступал и самым бездушным вещам, хотел преодолеть не только неприятелей, но местоположения и самое время.

Впрочем, люди более верили оказанной ему богом помощи в тогдашнем походе и в трудном его положении, нежели прорицаниям, впоследствии ему изреченным; оные проистекли от той, свыше ниспосланной ему помощи. Во-первых, ниспадшие от Зевса обильные дожди не только освободили войско от страха претерпеть жажду, но освежили распаленный и сухой песок, который, сделавшись влажным, оселся; отчего воздух стал чище и к дыханию способнее. Потом, когда смешались знаки, по которым проводники находили дорогу, и воины блуждали по незнанию оной и отставали одни от других, то появились вороны, которые приняли на себя указание дорог; они летели вперед, спешили, когда войско шло за ними, ожидали его, когда оно отставало и медлило, а что всего удивительнее, по уверению Каллисфена, криком своим во время ночи они призывали тех, кто сбивался с пути и тем приводили их на прямую дорогу.

Пройдя степь, он прибыл в город, где прорицатель Аммона поздравил его именем от имени бога, якобы отца его. Когда Александр спросил, не укрылся ли от него кто-либо из убийц отца его, то прорицатель напомнил ему не говорить неприличных речей, ибо отец его не есть смертный. Александр, изменив форму вопроса, спрашивал, всех ли Филипповых убийц наказал; также желал знать касательно того, соизволяет ли бог сделаться ему владыкой всех народов. Прорицалище дало ответ, что бог соизволяет и что Филипп совершенно отомщен. Александр после того приносил богу великолепные дары, а жителям раздал денег.

Вот что пишут большей частью писатели касательно полученных прорицаний! Александр в письме к своей матери пишет, что даны ему тайные прорицания, которые ей одной он откроет по возвращении своем. Некоторые повествуют, что прорицатель, желая приветствовать его ласково на греческом языке, вместо того, чтобы сказать «О пайдион» («О, дитя!»), по варварскому выговору переменил последнюю букву «н» на «с», и сказал «О пайдиос!» («О, сын Зевса!»). Эта ошибка выражения весьма была приятна Александру, а в народе распространилось, что бог назвал его сыном Зевса. Говорят также, что в Египте он был слушателем философа Псаммона и что более всего понравилась ему та мысль, что над всеми людьми царствует бог. Ибо все то, что начальствует и правит другими, есть природы божеской. Несмотря на то, сам он рассуждал о том с большей философией и говорил, что бог есть общий отец всем людям, но что он в особенности почитает своих добродетельных мужей.

Вообще он был высокомерен в отношении к варварам и показывал себя весьма уверенным в божественном своем происхождении, но перед греками с великой умеренностью и осторожностью выдавал себя за бога. При всем том в письме своем к афинянам о Самосе он пишет следующее: «Я бы вам не уступил славного и свободного города; вы владеете им, получив его от тогдашнего владыки, называвшегося моим отцом». При этом он разумел Филиппа. Впоследствии будучи некогда ранен стрелой и чувствуя сильную боль, сказал приятелям своим: «Это, друзья мои, есть кровь, а не влага*, какая из тела блаженных богов истекает». Некогда при сильном громе, который устрашил всех собеседников, софист Анаксарх сказал ему: «Не сделаешь ли ты, сын Зевса, что-либо сему подобное?» Александр, засмеявшись, отвечал: «Я не хочу стращать друзей своих, как ты приказываешь и называешь мой ужин дурным за то, что видишь на столе рыбу, а не головы сатрапов»*. В самом деле, говорят, что

Анаксарх сделал упомянутое замечание, когда царь послал Гефестиону несколько рыбок, уничижая и осмеивая, может быть, тех, кто гоняется за славой с великими трудами и опасностями, а между тем не более обыкновенных людей наслаждаются удовольствиями жизни. Из всего этого явствует, что Александр сам не верил своему божескому происхождению и не превозносился им, но что мнение о божестве своем употреблял, как средство к покорению себе народов.

По возвращении своем из Египта в Финикию он приносил богам жертвы и отправлял торжество, установив прения хоров киклических и трагических, которые были блистательны не только по приготовлениям, но и по усилиям состязавшихся. Цари кипрские были хорегами, подобно как в Афинах те, кто избирается племенами по жребию, для составления хоров. Честолюбие их превзойти друг друга было чрезвычайно. В особенности же соревнование было самое упорное между саламинцем Никокреонтом и солийцем Пасикратом, ибо им досталось по жребию поставить в хоре лучших актеров: у Пасикрата был Афинодор, у Некокреонта – Фессал, которому благоприятствовал сам Александр; однако он не обнаружил своего благоприятства как только тогда, когда подачей голосов Афинодор объявлен победителем. Удаляясь от зрелища, Александр сказал, что хвалит справедливость судей, но что он охотно бы уступил часть царства своего, дабы не видеть побежденным Фессала. Некогда афиняне наложили на Афинодора пеню за то, что он не явился к Дионисиевым зрелищам; Афинодор просил царя писать афинянам о его освобождении. Александр хотя не исполнил желания его, однако послал в Афины от себя количество денег, к которому Афинодор был осужден. Ликон Скарфийский*, отличавшийся на театре, прибавил некогда в комедию стих, которым просил себе десять талантов; Александр засмеялся и велел выдать ему требуемое количество.

Между тем Дарий прислал к Александру приближенных своих с письмом, в котором предлагал заплатить ему десять тысяч талантов за выкуп персидских пленников; уступить всю страну до Евфрата; выдать за него одну из дочерей своих и заключить дружбу и союз. Александр сообщить эти предложения своим друзьям. Парменион объявил: «Если бы я был Александром, то согласился бы на эти предложения!» – «И я, – возразил Александр, – если бы я был Парменионом». Дарию же он писал, что если приедет к нему, то может надеяться от него всякого снисхождения, в противном случае он сам к нему уже идет.

Но вскоре он раскаялся в своем поступке, когда Дариева супруга умерла в родах. Александр не скрывал своей горести, что потерял лучший случай показать свое милосердие. Он похоронил царицу великолепно, не пощадив никаких издержек. Один из евнухов по имени Тирей, из числа комнатных служителей царицы, взятых в плен вместе с женщинами, убежал из стана, приехал к Дарию и привез ему известие о смерти супруги его. Дарий в горести ударил себя в голову, заплакал и воскликнул: «О сколько жестока участь персов! Итак, супруга и сестра царя их не только попала в плен живая, но умерла в неволе и лежит, не удостоившись и царского погребения!» Служитель отвечал ему: «Государь, что касается до ее погребения и оказанных ей приличных почестей, ты не можешь жаловаться на жестокую судьбу персов. Как царица Статира при жизни своей, так и мать твоя и дети не были лишены нимало прежних почестей и благ; за исключением только возможности видеть свет твой, который бог Оромазд* вновь явит с большим сиянием; и по смерти твоя супруга не была лишена никаких украшений; она почтена и слезами самых врагов, ибо Александр по одержании победы столько же милосерден, сколько ужасен в сражении».

Дарий при этом душевном волнении и горести возымел непристойные подозрения; он отвел евнуха во внутренность шатра и сказал ему: «Если ты не пристал к македонянам вместе со счастьем персов, если я еще теперь твой государь Дарий, то заклинаю тебя, скажи мне, благоговенье перед великим светом Митры* и царской десницей – не оплакиваю ли я теперь самое легкое несчастье Статиры, и пока она была жива, не было ли достойнее жалости мое состояние? Не было бы сообразнее с нашим достоинством попасть лучше в руки какого-нибудь жестокого и неумолимого врага? Какая благоприличная связь могла побудить молодого человека к оказанию таких почестей жене врага своего?» Он продолжал говорить, когда Тирей бросился к ногам его, умолял не произносить столь оскорбительных речей – не обижать Александра, не бесславить усопшей сестры и супруги своей; не лишать и себя величайшего утешения в несчастьях своих, утешения, чтобы казаться побежденным человеком, который

превышает человеческую природу, но удивляться Александру, который более показал свое целомудрие к женам персидским, нежели свою храбрость против персов. К этим словам присоединил он ужасные клятвы и рассказал многие примеры воздержания и великодушия Александра. После чего Дарий вышел к приближенным своим, поднял руки к небу и молился богам так: «Боги, хранители родов и царств! Благоволите да восстановлю вновь персидское счастье и да оставлю его в том благоденствии, в котором я принял его, дабы одержавши верх, вознаградить Александра за благодеяния любезнейшим моим особам в моем несчастии. Но если настало уже определенное судьбой время, в которое надлежит, по зависти и превратности счастья, прекратиться персидскому могуществу, то кроме Александра да никто другой не воссядет на престол Кира!» В истине этих происшествий и слов удостоверяет большая часть писателей.

Покорив себе все области до Евфрата, Александр обратился к Дарию, который шел к нему с одним миллионом войска. Некто из приятелей Александра рассказал ему, как дело, достойное смеха, что служители в шутку разделились на две части, что у каждой части предводитель и полководец и что одного называют Александром, а другого Дарием, что они начали бросать друг в друга земляными глыбами, но потом дело дошло до кулачного боя, и наконец до такой степени воспламенились спором, что они воюют поленьями и каменьями, и нельзя их унять. Александр велел, чтобы предводители сразились сами; мнимого Александра вооружил он сам, а мнимого Дария – Филот. Войско смотрело на единоборство, принимая происходящее за предзнаменование будущего. Борьба была жаркая; победителем остался тот, кто назывался Александром, и в дар получил двенадцать селений с позволением носить персидскую одежду. Об этом повествует Эратосфен.

Большое сражение с Дарием не было дано при Арбелах, как о том пишут многие историки, но при Гавгамелах*, что на тамошнем языке значит «Верблюжий двор», ибо некто из древних царей, убежав от неприятелей на верблюде*, оставил его на сем месте, назначив ему на содержание доходы с некоторых селений.

Лунное затмение месяца боэдромиона случилось в начале афинского празднества таинств. В одиннадцатую же по затмении ночь, когда уже войска были одно у другого в виду, Дарий держал свою силу вооруженную и обходил ряды войска при свете многих факелов. Между тем македоняне отдыхали, и Александр находился перед своим шатром с прорицателем Аристандром, совершал некоторые тайные священнодействия и приносил жертвы богу Фобу, или Ужасу. Вся равнина, простирающаяся между Нифатом* и горами Гордиейскими, была освещена огнями персов; из стана варворов раздавался смешенный неопределенный гул, подобный шуму беспредельного моря. Старейшие из Александровых друзей, в особенности же Парменион, удивлялись множеству неприятелей и рассуждали между собою, что отразить такое войско, сделав на них явное нападение, – дело великое и трудное. Когда Александр совершил жертвоприношения, то они, прийдя к нему, уговаривали напасть на неприятеля ночью и темнотой ее закрыть то, что всего страшнее в будущей борьбе, но он сказал им достопамятные слова: «Я не краду победы!» Этот ответ некоторым показался ребяческим и суетным, как бы Александр шутил при предстоявшей великой опасности; по мнению других, напротив того, это доказывало, что он и на настоящие силы полагался и в отношении будущего основательно рассуждал, не давая побежденному Дарию повода вновь дерзнуть на новую битву и слагать вину на ночь и на темноту, как прежде на горы, на узкие проходы, на море; ибо Дарий, имея столько сил и обладая такими странами, не прежде перестанет воевать за неимением оружий и людей, как тогда, когда потеряет надежду и унизится духом и явным поражением уверится в своем бессилии.

По удалении друзей своих Александр лег спать в шатре; остаток ночи он провел в глубоком сне, против своего обыкновения, так что на заре пришедшие к нему полководцы были приведены в удивление и от себя уже приказали воинам завтракать. Между тем время принуждало их; Парменион вошел в шатер, стал подле ложа и два или три раза звал его по имени. Александр проснулся, и Парменион спрашивает его: «Государь, что сделалось с тобой? Ты спишь сном победителя, а не того, которому предстоит дать самое опасное сражение». Александр улыбнулся и сказал ему: «Разве ты не думаешь, что мы уже победители хотя бы потому, что освободились от скитания и преследования Дария, избегающего сражения на

стране обширной и разоренной?»

Не только перед сражением, но и в самой опасной битве явил он себя твердым и великими своим разумом и бодростью. В сражении левое крыло, где предводительствовал Парменион, несколько уклонилось и смешалось, ибо бактрийская конница с великим стремлением и силой ворвалась в македонскую пехоту, а Мазэй послал конницу дабы обойти фалангу и напасть на обоз. Парменион, будучи обеспокоиваем с обеих сторон, послал к Александру вестников с известием, что вал и обозы пропали, если он не пошлет с поспешностью сильное подкрепление спереди тем, кто стоял в тылу. Случилось, что в то самое время дал он своим воинам знак к нападению. Услышав просьбу о помощи, Александр сказал, что Парменион, наверное, не в своем уме и безрассудствует, и в волнении забывает, что победитель получает то, что принадлежит неприятелю, а если будет побежден, то не должен думать о деньгах и рабах, но о том, как умереть, сражаясь с честью и со славой.

Приказав сказать это Пармениону, он надел шлем; другие доспехи он надел еще прежде в шатре. Он носил верхнюю одежду сицилийской работы, препоясанную, сверху надевал льняную броню, двойную, из взятой при Иссе добычи. Шлем его, работы Феофила, был железный, но сиял подобно чистому серебру. Приложен был к нему щиток, также железный, унизанный драгоценными каменьями. Он держал нож удивительной закалки и легкости, подаренный ему царем китийцев*, ибо имел привычку в сражениях действовать большей частью ножом. Поверх всего носил хламиду, застегиваемую на плече, которая своим великолепием превосходила все то, что было на нем. Она была работы Геликона Старшего и подарена ему городом Родос в знак почтения. В сражениях он всегда был в ней. Пока он устраивал фалангу, раздавал приказания и наставления или осматривал что-либо, то сидел на другой лошади, щадя Букефала, который был уже не молод. Когда же надлежало приступить к делу, то приводили к нему Букефала, Александр пересаживался на него и начинал нападение.

Перед тем нападением он долго говорил с фессалийцами и другими греками; они кричали, чтобы он повел их на варваров, и тем внушили ему больше бодрости; он взял копье в левую руку, а правую простирая к небу, молился богам, как уверяет Каллисфен, да защитят и укрепят греков, если действительно он рожден Зевсом! Прорицатель Аристандр в белой одежде, с золотым на голове венком, скакавший рядом, показал орла, поднимающегося над головой Александра, и направляющего свой полет прямо на неприятелей. Это явление внушило великую бодрость всем, видевшим оное. Воины призывали и одушевляли друг друга, фаланга, следуя бегом за наступающей на неприятеля конницей, волновалась, подобно морю. Персы уклонились прежде, нежели передовые сошлись; преследование было сильное; Александр теснил разбитое войско к самому центру, где находился Дарий. Сквозь устроенных впереди воинов он увидел его издали – в глубине царского отряда. Дарий отличался от других своей красотой и ростом; он сидел на высокой колеснице, огражденный множеством блистательных конных, которые вокруг оной тесно были сомкнуты и устроены для принятия неприятеля. Но Александр показался им вблизи весьма страшным; опрокинув бегущих к тем, кто еще стоял, он привел их в ужас и большую их часть рассеял. Храбрейшие и благороднейшие из них, будучи убиваемы пред царем и падая друг на друга, препятствовали преследованию и, издыхая, поражали еще неприятелей и коней их. Дарий, видя все эти бедствия, когда уже передовые силы опрокидывались на него, так что трудно было поворотить колесницу и проехать, ибо колеса были удерживаемы кучами трупов, а лошади, будучи ими окружены и закрыты, становились на дыбы и делали возницу беспомощным, бросил колесницу и доспехи, вскочил, как говорят, на молодую кобылицу и предался бегству. По всем вероятностям, не успел бы он тогда убежать, когда бы снова не прискакали другие гонцы от Пармениона, призывающие на помощь Александра, ибо на стороне Дария собиралась великая сила и оказывала сопротивление. Вообще обвиняют Пармениона в том, что в этом сражении вел себя слабо и недеятельно, или потому что от старости несколько охладела смелость его, или, как Калисфен уверяет, не терпя власти и могущества Александра и ревнуя его. Александр, досадуя на Пармениона за этот призыв, не объявил воинам истины, но велел дать знак к отступлению, как бы для прекращения кровопролития и по причине наступления ночи. Он устремился к тому месту, где была опасность, но на дороге узнал, что неприятели совершенно разбиты и бегут.

Таков был конец сражения, после которого казалось уже, что персидская держава

разрушена. Александр, будучи провозглашен царем Азии, принес богам великолепные жертвы, а друзьям своим раздавал богатство, дома и начальства. Желая показаться грекам во всем величии, он писал им, что все насильственные правления уничтожаются и что города могут управляться независимо. Платейцам же в особенности писал, что он отстраивает их город заново за то, что праотцы их предали грекам свою область, дабы на ней сразиться за вольность отечества. Он послал и жителям Кротона в Италию часть добычи из уважения к доблести и мужеству атлета Фаилла, который во время персидских войн, когда другие города Италии предали греков их участи, снарядил свой собственный корабль и отправился на Саламин для принятия участия в опасности. Так Александр любил всякую добродетель и старался сохранить память похвальных деяний.

Вступая в Вавилонию, которая ему немедленно покорилась, был он удивлен более всего близ Экбатаны* огненной пропастью, из которой огонь беспрерывно поднимается, как бы из некоего источника; недалеко от пропасти видел он ток нефти, которая текла в таком обилии, что образовывала пруд. Нефть весьма походит на горную смолу, но так чувствительна к огню, что прежде, нежели коснется пламени, от одного сияния света загорается и воспламеняется промежуточный воздух. Тамошние жители, желая показать силу и свойство нефти, окропили ею слегка улицу, ведущую к дому, где царь остановился, и когда уже сделалось темно, то стоя на одном краю, приставили огонь к омоченному месту. Нефть тотчас загорелась; пламя распространилось с быстротой мысли и в мгновение ока достигло другого края, так что улица во всю длину была в огне.

Афинянин, по имени Афинофан, был из числа тех, кто прислуживал царю в бане, мазал его маслом и при этом умел приятными разговорами развеселить его. В бане был мальчик, весьма дурной и смешного вида, но который пел весьма приятно и назывался Стефаном. «Угодно ли, государь, – сказал Афинофан, – чтобы мы испытали над Стефаном действие нефти? Если уже и этого сожжет и не погаснет, тогда и я скажу, что сила ее непреодолима и ужасна». Мальчик сам охотно согласился, чтобы над ним произведен был опыт, но едва его вымазали и приблизили к нему огонь, как занялось такое пламя, до того оно объяло тело его, что Александр был приведен в страх и смятение. Когда бы тут, по счастью, не было в готовности множества сосудов с водой для умывания, то помощь, принесенная ему, не остановила бы распространения огня. И тогда с трудом погасили его, покрывшего все тело мальчика, который впоследствии довольно от того страдал.

Итак, по справедливости некоторые, желая сохранить басню посредством истины, думают, что нефть есть та отрава, которой Медея намазала венец и покрывало невесты, как сказано в трагедии*, ибо не от них самих и не сам собою занялся огонь, но разлился с великой быстротой от приближения пламени, не приметным для чувств прикосновением; лучи и излияния огня, ударяя издали, обыкновенно сообщают телам лишь свет и теплоту, но собираясь и зажигаясь в тех, которые имеют сухость воздуха и тучную в изобилии влагу, производят скорую перемену в самом веществе их.

Впрочем происхождение нефти заставляет недоумевать, не влага ли служит пищей пламени, стекаясь из земли, имеющей тучное и огнеродное свойство, ибо Вавилонская земля содержит в себе много огня, так что нередко ячменные зерна вспрыгивают и поднимаются из земли, как будто бы самое место вздрагивало от воспаления, а люди во время жары спят на мехах, наполненных водой. Гарпал, которому было поручено управление этой страной, возымел желание украсить греческими растениями царские дворцы и гульбища и преуспел в том; один плющ не мог быть разведен, но всегда портился. Это растение любит свежесть, а земля того края имеет огненное свойство. Отступление такого рода, когда они ограничены, может быть, менее причинят неудовольствия нетерпеливым читателям.

Александр завладел Сузами, нашел в царском дворце сорок тысяч талантов*, а драгоценностей и богатых вещей бесчисленное количество. Между прочим, говорят, найдено на пять тысяч талантов гермионской порфиры, которая тут лежала сто девяносто лет, но сохранила свою свежесть и блеск, как бы была новая. Говорят, что причиной тому краска, которая составлена для багряных порфир с медом, а для белых с белым маслом, ибо эти вещества сохраняют свой блеск и глянец на весьма долгое время. Динон* уверяет, что цари персидские заставляли привозить вместе с другими вещами из Нила и из Истра воду, которую

хранили в сокровищнице в доказательство великости своей власти и всеобщего обладания.

Собственно, так называемая Персида* есть область неприступная по причине гористого своего положения; при этом она охранялась храбрейшими персами после того, как Дарий спасся бегством. Некто, знающий оба языка, у которого отец был ликийцем, а мать персиянка, обязался быть ему проводником в не весьма длинном обходе для вступления в Персиду. Говорят, что когда еще Александр был ребенком, то Пифия предрекла, что волк Ликий покажет Александру дорогу к персам. Здесь умерщвлены были в великом множестве те, кто попал в плен. Сам Александр пишет, что он велел умертвить их, почитая это для себя полезным, что здесь нашел денег столько же, сколько в Сузах, и что другое богатство и драгоценности вывезены были на десяти тысячах парах лошаков и на пяти тысячах верблюдах.

Увидя большой кумир Ксеркса, поверженный теми, кто толпой стекался во дворец царский, он остановился и, обратив речь к нему, как живому, сказал: «Пройти ли мимо и оставить тебя в таком положении за поход твой на Грецию или поднять тебя за твой высокий дух и за твою доблесть?» Он молчал долго, размышляя, и прошел мимо. Желая успокоить своих воинов, он провел здесь четыре месяца, ибо время было зимнее.

Говорят, что когда он в первый раз сел на царский престол под золотым небом, то коринфянин Демарат, человек, преданный Александру и бывший другом отца его, заплакал, как старику свойственно, и сказал: «Сколь великого удовольствия лишились те греки, которые умерли прежде, нежели увидели Александра, сидящего на Дариевом престоле!»

Между тем как он намеревался идти вслед за Дарием, некогда веселился и пил вместе с своими приятелями. В пиршестве участвовали многие женщины, пришедшие к своим любезным, среди которых отличалась Таис, любовница Птолемея, ставшего впоследствии царем Египта. Она была родом афинянка, хвалила искусно Александра, шутила с ним и среди веселья осмелилась сказать речь, которая была прилична достоинству отечества ее, но выше ее состояния. Таис сказала, что в этот день принимала лучшую награду за труды, перенесенные ею в дальнем странствовании по Азии, и в который она могла глумиться над гордыми палатами персидских царей. «Я бы еще охотнее, – продолжала она, – подожгла в вакхическом торжестве дворец Ксеркса, сжегшего Афины; я бы сама подложила огонь в присутствии царя, дабы между всеми народами разнеслось, что женщины, сопутствующие Александру в походе, более отомстили персам за Грецию, нежели те знаменитые полководцы, победившие их во многих морских и сухопутных сражениях». Эти слова возбудили шум и рукоплескание; приятели царские друг друга ободряли наперебой; сам Александр был этим увлечен; он воспрянул и с венком на голове и с факелом в руке пошел впереди всех. Другие, следуя за ним с шумом и радостными восклицаниями, обступили царский дворец. Прочие македоняне, узнав о том, стекались с радостью, неся в руках факелы; они думали, что сожжение и истребление царских дворцов был поступок, обнаруживавший человека, мысли которого обращались к отечеству и который не имел намерения остаться среди варваров. Одни говорят, что это случилось без умысла; другие, с намерением*; однако все признаются в том, что Александр вскоре раскаялся в своем поступке и велел потушить пожар.

Он был от природы чрезвычайно щедр, и эта черта характера усилилась с умножением благополучных успехов его. Подарки сопряжены были с благожелательностью, и только с нею даяние подлинно есть подарок. Упомяну лишь немногие примеры. Аристон, предводитель пэонийцев, умертвив одного неприятеля, показал царю голову его со следующими словами: «У нас этот подарок ценится золотой чашей». «Но пустой, – сказал Александр, усмехнувшись, – а я тебе даю ее, полную вина, выпив за твое здоровье!» Некто из простых македонян гнал лошака, навьюченного царским золотом, но так как лошак не мог везти тяжесть далее, то он поднял на себя и нес ее. Царь увидя его, угнетенным под тяжестью, спросил его и узнал тому причину; когда же воин хотел сложить свою ношу, то он сказал ему: «Ободрись, пройди несколько далее и донеси эту ношу до шатра своего». Он более досадовал на тех, кто ничего от него не брал, нежели на тех, кто просил чего-нибудь. Фокиону писал он, что впредь не будет почитать его другом, если он откажется от даров его. Серапиону, молодому человеку из тех, с кем играл в мяч, Александр ничего не давал, ибо он ничего не просил. Некогда во время игры Серапион бросал мяч другим, а не ему. Александр спросил его: «Что же мне не даешь?» «Ты не просишь, государь!» – отвечал он. Александр засмеялся и сделал ему щедрый подарок. Протей, приятные

шутки которого забавляли царя за пиршеством, некогда впал у него в немилость. Друзья Александра просили за Протея, который между тем плакал. Александр сказал, что он мирится с ним. «Так дай, государь, – сказал он, – мне какой-нибудь залог верности». Александр велел ему выдать пять талантов.

Сколь чрезвычайно было богатство, которое он дарил друзьям и телохранителям своим, показывает писанное ему Олимпиадой письмо следующего содержания: «Ты и прежде оказывал благодеяния друзьям своим и был тем славен, однако ныне равняешь их с царями; ты производишь то, что они умножают своих друзей, а ты себя лишаешь их». Олимпиада много раз писала ему о том. Он хранил ее письма в тайне, только однажды распечатал письмо Гефестион, которое по обыкновению читал вместе с ним; Александр не словесно ему запретил, но, сняв свой перстень, приложил печать к устам Гефестиона.

Сын Мазэя, бывшего при Дарии в великой силе, управлял одной сатрапией. Александр дал ему другую, еще больше первой, но он отказался от принятия ее и сказал Александру: «Государь прежде был один у нас Дарий; ныне ты создал многих Александров». Александр подарил Пармениону дом Багоя* в Сузах; в нем, говорят, найдено платья на тысячу талантов. К Антипатру он писал, чтобы он имел при себе телохранителей, ибо злоумышляют на жизнь. Он посылал матери много подарков, но не позволял ей входить в его дела и наставлять в военных предприятиях. Когда она на то жаловалась, то он сносил кротко ее укоризны. Некогда Антипатр писал ему длинное против нее письмо. Александр прочитал его и сказал: «Антипатр не знает, что одна слеза матери изглаживает тысячу писем».

Александр заметил, что его приближенные совершенно предались неге и что роскошь их и пышность достигали до крайности, ибо теосец Гагнон имел серебряные гвозди в своей обуви; Леоннату привозили на многих верблюдах из Египта песок для телесных упражнений; у Филота для охоты было полотна на сто стадиев; видя, что мазались благовонной мазью прежде, нежели шли в баню те, у кого прежде не было и оливкового масла для мазания себя, что они везли с собой служителей, которые их терли и укладывали спать, Александр мягко и с философским благоразумием выговаривал им следующими словами: «Я удивляюсь, что вы, преодолевши столько трудов и дав столько сражений, забываете, что победившие приятнее засыпают, нежели побежденные; вы не видите, сравнивая свой образ жизни с персидским, что нежиться есть свойство рабское и трудиться есть дело самое царское. Может ли тот самостоятельно печься о своей лошади, очистить копье, шлем, чьи руки отвыкли касаться своего тела, столь им любимого? Разве вы не знаете, что совершенство победы состоит в том, чтобы не делать того, что делают побежденные?» Сильнейшей укоризной для них было то, что он предавался опасностям, трудам в походах и на охоте. Лакедемонский посланник, прибывший к нему в то время, когда он убил льва огромной величины, воскликнул: «Ты славно, Александр, подвигнулся со львом за царское достоинство!» Кратер поставил в Дельфах медное изображение этой охоты; оное представляло льва и псов; царя, борющегося со львом, и Кратера, помогающего ему. Над этим памятником частью трудился Лисипп, частью Леохар.

Таким образом Александр подвергался опасностям, упражняя себя и поощряя к мужеству других. Но приближенные его, по богатству и гордости своей, хотели уже нежиться и покоиться, скучали частыми походами и мало-помалу дошли до того, что злословили и порицали его. Сперва он переносил это с великой кротостью и говаривал, что царю прилично и слышать, и сносить хулы за оказываемые им благодеяния. Самые малые знаки его милостей обнаруживали великое благорасположение и уважение. Я представлю здесь немногие.

Некогда он писал к Певкесту и жаловался на него за то, что, будучи укушен медведем, уведомил о том других, а его нет. «Пиши ныне, как поживаешь, и не был ли ты покинут теми, кто провожал тебя на охоте; дабы за то наказать их». Гефестиону, во время его отсутствия по некоторым делам, писал, что во время охоты на ихневмона дротик Пердикки попал в Кратера, который получил рану бедра. После Певкестова выздоровления Александр писал благодарное письмо за него врачу его Алексиппу. Во время болезни Кратера он увидел сон, вследствие которого приносил за него жертвы, то же самое велел сделать Кратеру. Врачу Павсанию, который хотел дать Кратеру чемерицу, он писал письмо, в котором частью изъявлял ему о том свое беспокойство и частью напоминал ему, как употребить лекарство. Эфиальта и Кисса, которые принесли ему первое известие о бегстве Гарпала*, велел он сковать, как ложных

доносчиков. При отправлении назад в Македонию больных и старых, Эврилох из Эг записал себя в число больных. Когда же изобличили его в том, что он ничем не был болен, то он признался, что любил Телесиппу, которая уезжала в приморские области, и что он хотел за нею следовать. Александр расспросил, какая это была женщина; узнав, что она гетера, состояния свободного, он сказал Эврилоху: «Я делаюсь участником в любви твоей к Телесиппе, а так как она женщина свободная, то надлежит нам убедить ее словами или подарками, дабы она осталась с нами».

Достойно удивления, когда он имел время писать письма друзьям своим о таких малых предметах, как например, в одном письме он велит отыскать раба Селевка, убежавшего в Киликию; в другом хвалит Певкеста за то, что поймал Никона, раба Кратера; Мегабизу приказывает, рассуждая о рабе, убежавшего в храм, что можно будет поймать его, выманив из храма, но в самом храме не трогать его. Говорят, что в начале своего царствования, разбирая уголовные дела, приставлял руку к одному уху, когда говорил доносчик, дабы сохранить его свободным и не занятым в пользу обвиняемого, но впоследствии он был ожесточен многими доносами; при помощи некоторых истинных обстоятельств заставляли верить и ложным. В особенности же он терял терпение, забывал себя, становился жестоким и неумолимым, когда его злословили, ибо славу любил более самой жизни и царства.

Между тем он гнался за Дарием, предполагая, что опять будет с ним сражаться. Получив известие, что Дарий пойман Бессом*, он отпустил восвояси фессалийцев, дав им в награду, сверх жалованья, две тысячи талантов. Во время этого преследования, которое было долговременно и сопряжено с великими трудами, македоняне в одиннадцать дней прошли три тысячи триста стадиев; большая часть воинов впала в изнеможение, чему причиной было отсутствие воды. Здесь попались ему навстречу несколько македонян, которые с реки везли в мехах воду. Тогда был уже полдень. Видя Александра, страдавшего от жажды, они поспешно налили в шлем воды и принесли ему. Александр спрашивал их, кому везут воду; они отвечали: «Мы везем ее своим детям, но пока ты жив и здоров, мы можем нажить других, хотя бы теперь мы их потеряли». Александр взял в руки шлем, взглянул вокруг и увидел, что стоявшие около него всадники все с поникшими главами смотрели жадно на воду. Он возвратил шлем, поблагодарил их, не вкусив воды, сказал: «Если я один буду пить, то мои спутники лишатся бодрости». Всадники, будучи свидетелями его воздержания и великодушия, кричали, чтобы он вел их далее и полагался на них; они ударили по своим лошадям и говорили, что не устали, не чувствуют жажды и не почитают себя смертными, пока будут иметь такого царя.

Усердие у всех было равное; однако только шестьдесят человек ворвались с царем в неприятельский стан. Здесь они переходили по разбросанным кучам золота и серебра; оставляли позади себя едущие в разные стороны без возниц колесницы, наполненные женщинами и детьми, и преследовали тех, кто был впереди, полагая, что среди них находится Дарий. Они насилу отыскали его, лежащего в колеснице, пораженного многими копьями и едва дышащего. Однако он просил пить, и выпив холодной воды, сказал принесшему ее Полистрату: «Друг мой! Вот сколь горек край моего злополучия! Моего несчастия! Я не в состоянии возблагодарить за оказанную мне услугу, но Александр наградит тебя, а Александра – боги за милосердие его к матери, к жене и детям моим; я даю ему мое рукопожатие через тебя». Сказав это, взял он Полистрата за руку и испустил дух.

Александр подошел к тому месту, но не скрыл своей горести при этом зрелище; он снял свою хламиду, накинул на тело Дария и покрыл его. Впоследствии же поймав Бесса, он велел растерзать его следующим образом: два дерева были нагнуты в одну сторону; к каждому из них была привязана часть тела Бесса, потом были отпущены; каждое дерево, возвращаясь стремительно к первобытному направлению, оторвало привязанную к нему часть. В то же время Александр, украсивши тело Дария царским великолепием, отослал оное к его матери, а брата его Эксатра принял в число друзей своих.

После этого с отборнейшей силою вступил он в Гирканию, где увидел морской залив, пространством не меньшей Понта, но вода которого была преснее обыкновенной морской воды. Александр не мог узнать о нем ничего достоверного, но по догадкам заключал, что оный есть рукав Мэотидского озера. Впрочем от естествоиспытателей не была сокрыта истина; они много лет прежде Александрова похода писали, что из Внешнего моря вдаются внутрь земли четыре

залива, из которых самый северный есть тот, который называется Гирканским, или Каспийским морем*.

В этой стране некоторые варвары неожиданно напали на тех, кто вел коня Букефала, и отняли его. Этот случай немало огорчил Александра; он послал к ним вестника и грозил всех их истребить с женами и детьми, если не отдадут коня его. Когда же ему привели коня, и города добровольно покорились ему, то Александр поступал с ними милостиво и даже заплатил им несколько денег за освобождение Букефала.

Отсюда вступил он в парфянскую землю и, находясь в бездействии, в первый раз надел персидскую одежду. Этим средством он хотел либо приноровиться к местным обычаям, ибо к усмирению людей много содействует сходство во нравах и образе жизни; либо намерен был испытать мысли македонян касательно поклонений, приучая их мало-помалу сносить перемену и его уклонение от обыкновенного образа жизни. Однако он не принял мидийской одежды, которая была странной и варварской; не надел ни длинных шаровар, ни кандия, ни тиары, но, смешав прилично персидскую одежду с македонской, составил среднее, не столь пышное, как мидийское, но важнее персидского. Сперва надевал он эту одежду, принимая варваров или беседуя внутри дома с друзьями. Позднее в этом одеянии он выходил к народу и занимался делами. Для македонян зрелище это было неприятно; однако они удивлялись его великим достоинствам; они думали, что надлежало ему уступать в ином, что могло служить к удовольствию его и удовлетворению честолюбия. Сверх многих других примеров его мужества, они знали, что незадолго перед тем получил он в голень удар стрелой, от которого кость переломилась и вышла наружу. В другой раз был он поражен камнем в шею, и на глаза его разлился мрак, продолжавшийся немалое время; однако не переставал бросаться во все опасности, не щадя себя. Переправившись через реку Оксарт, которую почел он за Танаис, он разбил скифов и преследовал их на сто стадиев, хотя страдал между тем диареей.

Сюда прибыла к нему амазонка*, как повествуют многие историки, в числе которых Клитарх, Поликлет, Онесикрит, Антиген и Истр; но Аристобул, возвеститель Харет, Птолемей, Антиклид, Филон Фиванский, Филипп из Феангелы*, сверх того Гекатей Эретрийский, Филипп Халкидский, Дурис Самосский почитают это происшествие выдуманным. Кажется, что Александр сам подтверждает свидетельство последних, ибо, описывая подробно все происшествия в письмах своих к Антипатру, говорит, что царь скифский хотел выдать за него свою дочь, но об амазонке не упоминает. Много лет после того Онесикрит, как уверяют, читал Лисимаху, уже царствующему, четвертую книгу своего сочинения, в которой он пишет об амазонке. Лисимах спокойно улыбался и сказал ему: «Где же я в то время был?» Но как бы мы ни относились к этому рассказу, наше уважение к Александру не будет от того ни большим, не меньшим.

Боясь, чтобы македоняне не потеряли склонности к дальнейшим походам, он оставил свое войско там, где оно находилось, и с отборнейшими воинами, состоявшими в двадцати тысячах пехоты и трех тысячах конницы, вступил в Гирканию; он говорил, что варварам македоняне кажутся ныне сновидением и что если теперь, едва потреся Азию, македоняне удалятся, то ваврвары нападут на них, как на слабых женщин. Он позволил возвратиться в свое отечество тем, кто того хотел, но в тоже время свидетельствовался богами и людьми, что покоряя македонянам вселенную, они оставляют его с друзьями и с теми, кто добровольно желает за ним следовать. Почти теми же словами писано в письме к Антипатру; при том царь говорил, что когда он произнес эти слова, то все воскликнули: «Веди нас в любую сторону вселенной!» Как скоро это средство возымело свое действие, то ему нетрудно было привлечь и остальное войско; оно добровольно последовало за ним.

Между тем он еще более старался приноровить свой образ жизни к тамошним народам, которых приучал к македонским обычаям, полагая, что по удалении своем власть его более утвердится смешением и сообщением двух народов посредством взаимной приязни, нежели насилием. Это заставило его избрать тридцать тысяч детей, к которым приставил многих попечителей и велел обучать греческому языку и обращению с македонским оружием. Брак его с Роксаной, которая показалась ему прекрасной за пиршеством, был, конечно, заключен по любви, однако приличествовал настоящему положению дел. Персы были ободрены этой брачной связью и возымели к Александру великую любовь, ибо он, будучи самым

воздержанным человеком, не захотел иметь связь не по законам с той женщиной, которая покорила его.

Первейшие из друзей его были Гефестион и Кратер. Один ободрял его поступки и вместе с ним поменял образ жизни, между тем как другой пребывал тверд в отечественных обычаях. Итак, Александр употреблял Гефестиона в делах касающихся до варваров, а Кратера – в делах греческих и македонских. Вообще одного он более любил, а другого более уважал. Он почитал и называл Гефестиона другом Александра, а Кратера – другом царя. Это было причиной их раздора и взаимного неблагорасположения. Однажды в Индии ссора их дошла до драки; они обнажили мечи; друзья их спешили на помощь тому и другому; Александр прибежал и явно ругал Гефестиона, называл его безумным и неистовым, если не понимает, что когда отнимут у него Александра, то он будет ничем. Он жестоко выговаривал наедине и Кратеру. Потом свел их, примирил и клялся Аммоном и другими богами, что он их более всех любит, но если опять узнает, что они между собою ссорятся, то умертвит обоих, или того, кто первый начнет ссориться. По этой причине, говорят они, и в шутках уже ничего друг другу не говорили и не делали.

Что касается до Филота, сына Пармениона, то он был в великой славе у македонян по причине храбрости своей и терпеливости в трудах. После Александра никто, кроме Филота, не был столько щедр и столь предан друзьям своим; никто его не превышал в этих качествах. Некогда один из знакомых просил у него денег; он велел их выдать, а как управитель его объявил, что нет денег, то Филот сказал: «Что ты говоришь? Ужели нет у тебя ни чаши, ни одежды никакой?» Но будучи высокомерен и надут богатством своим, употребляя прислугу и ведя род жизни, неприличные частному лицу, он возбудил к себе подозрение и зависть, ибо важность его и высокость духа не были сопряжены с тонкостью и приятностью и наблюдением приличий, но, напротив того, с некоторою грубостью. Сам Парменион некогда сказал ему: «Сын мой! Будь пониже!» Он с давнего уже времени был на плохом счету у Александра. Когда Дарий был побежден в Киликии и бывшее в Дамаске богатство досталось македонянам, то в стан приведено было множество пленников, среди которых была молодая женщина, родом из Пидны, собою прекрасная, имя которой Антигона. Филот принял ее к себе. Как молодой человек и притом разгоряченный вином, рассказывал он своей любовнице с некоторым хвастовством свои славные военные подвиги, приписывая себе и отцу своему величайшие деяния, а Александра называл молодым человеком, который лишь через них пользовался именем начальника. Эти слова были пересказаны этой женщиной одному из знакомых своих; тот сообщил их другому, и наконец оные дошли до Кратера, который вызвал эту женщину и привел ее тайно к Александру. Царь, услышав это, велел ей продолжать свою связь с Филотом и пересказывать ему самому все то, что от него услышит.

Филот, будучи в совершенном неведении касательно злоумышления против него и любя Антигону, по гневу своему и по хвастливости своей говорил против царя многие неприличные речи. Александр, несмотря на столь сильное против Филота доказательство, терпел и хранил молчание, или полагаясь на приверженность к нему Пармениона, или боясь славы и могущества их. В это время один македонянин, по имени Димн, родом из Халастры*, злоумышляя на жизнь Александра, призывал некоего молодого человека, по имени Никомах, которого он любил, к принятию участия в заговоре против Александра. Никомах от того отказался, но сообщил о том брату своему Кебалину, который прийдя к Филоту, требовал, чтобы он представил его Александру, которому хотел сообщить нечто весьма нужное и важное. Филот, неизвестно по какой причине, не представил их под тем предлогом, что государь был занят важнейшими делами. Это случилось два раза. Подозревая уже Филота самого, они обратились к другому, и, будучи представлены Александру, объявили ему, во-первых, о злоумышлении Димна, потом упомянули с осторожностью, что два раза говорили о том Филоту, но что он ими пренебрег. Это известие уже до чрезвычайности раздражило Александра; когда же послан был человек для взятия Димна, который, защищаясь, был им убит, то Александр еще более был в беспокойстве, думая, что через него лишился доказательства к изобличению злоумышления. Как скоро обнаружилось негодование его к Филоту, то многие из тех, кто издавна ненавидел Филота, говорили уже явно, что царь оказывает великую беспечность, если почитает халастрийца Димна способным дерзнуть на столь важное дело в одиночку, что он лишь служитель, или лучше

сказать орудие, приводимое в действо могущественнейшей рукой; что надлежит искать злоумышления среди тех, кому была польза оное скрыть. Как скоро государь преклонил слух к этим речам, то наводимы были на Филота бесчисленные клеветы. Он был взят под стражу, допрашиваем и в присутствии царских друзей предаваем пыткам. В то же время Александр слушал слова его, стоя за занавесом. Когда Филот издавал жалобные крики, умолял униженно Гефестиона, то, говорят, Александр сказал: «И ты, Филот, будучи столь малодушен и слаб, дерзнул на столь важное дело?»

По смерти Филота Александр послал немедленно в Мидию людей и умертвил Пармениона; мужа, который содействовал в многом Филиппу и который один, или больше других, старейших друзей его, побудил Александра к предпринятию похода на Азию. Он пережил убиение двух сыновей своих, бывших при войске, а с третьим умерщвлен сам в одно время.

Эти поступки сделали Александра страшным друзьям его, особенно же Антипатру, который отправил тайно к этолийцам посольство и заключил с ними союз. Этолийцы боялись Александра, ибо он, узнав, что они разрушили Эниады*, сказал: «Не дети эниадян, но я сам за то их накажу».

Вскоре после того последовало убиение Клита*, которое, будучи описано просто, покажется более жестоким, чем убиение Филота; однако, сообразуя и причину, и время, мы найдем, что оно произведено царем без намерения, по некоему несчастью; и что злобный демон употребил гнев и пьянство Александра орудиями к погублению Клита. Это происшествие случилось следующим образом.

Некоторые путешественники, приехавшие со стороны моря, принесли Александру греческих плодов. Царь, удивляясь красоте и свежести их, велел призвать к себе Клита, дабы ему показать оные и уделить часть. Клит, по случаю, приносил тогда жертву; он оставил жертвоприношение и пошел к Александру, а между тем трое из назначенных к жертвоприношению овец последовали за ним. Царь, известившись об этом, сообщил его прорицателям Аристандру и лакедемонянину Аристомену. Оба они объявили, что это знамение предвещает злополучие. Александр немедленно велел приносить жертву за спасение Клита, ибо сам он за три дня увидел сон неприятный: ему казалось, что Клит в черной одежде сидел вместе с сыновьями Пармениона, которые все умерли. Клит не успел кончить жертвоприношение, пришел к столу, по принесении уже царем жертвы Диоскурам.

Началось веселое пиршество, за которым петы были стихи некоего Праниха или, по уверению других писателей, Периона, сочиненные на смех и в поругание полководцев, незадолго перед тем побежденных варварами*. Старейшие из собеседников негодовали, хулили как сочинителя, так и певца; между тем Александр и некоторые другие слушали его с удовольствием и велели ему продолжать. Клит, уже пьяный, будучи от природы нрава жестокого и дерзкого, оказывал досаду более всех и говорил, что не было прилично в присутствии варваров и врагов ругать македонян, которые при всем своем несчастье были гораздо лучше тех, кто над ними смеется. Александр сказал, что Клит защищает сам себя, называя трусость несчастьем. «Однако эта трусость, – возразил Клит, – спасла тебя, сына богов, тогда, когда ты обратил хребет мечу Спифридата; македонской кровью и ранами ты возвысился до того, что выдаешь себя за сына Аммона, не признавая более отцом своим Филиппа».

Александр, раздраженный этими словами, сказал: «Ужели думаешь ты, что ты, ничтожный человек, покойно можешь веселиться, говоря беспрестанно об мне подобные слова и возмущая против меня македонян?» – «Мы и теперь не веселимся, Александр, – отвечал Клит, – получая такую награду за труды наши; напротив того мы ублажаем тех, кто уже умер, прежде нежели увидели македонян, побиваемых мидийскими палками и просящих милости у персов, дабы иметь доступ к своему царю». Между тем как Клит изъяснялся с такою дерзостью и окружающие Александра восставали и поносили его, старейшие старались укротить шум. Александр, поворотясь к Ксенодоху Кордийскому и Артемию Колофонскому, сказал им: «Не кажется ли вам, что греки ходят среди македонян, как полубоги среди зверей?» Клит, нимало не уступая, кричал, чтобы Александр выражал свои мысли ясно или бы не звал к ужину людей свободных и говорящих смело; в противном случае пусть он живет лучше с варварами и рабами, которые будут поклоняться его поясу и белому хитону.

Александр, не будучи уже в состоянии удерживать своего гнева, схватил одно из поставленных при нем яблок, бросил и ударил Клита, а между тем искал свой кинжал. Аристофан, один из телохранителей, успел его унести, присутствующие обступили его и умоляли; он вскочил и македонским наречием звал щитоносцев; это был знак великого возмущения; он велел трубачу затрубить и ударил его кулаком за то, что тот медлил и не хотел повиноваться. (Впоследствии трубач этот был в уважении, будучи главной причиной, что в войске не сделалась тревога.) Между тем друзья его с трудом вытолкали из столовой Клита, который нимало не сделался уступчивее; он опять вошел в другие двери и с великим небрежением и дерзостью читал Еврипидовы стихи из «Андромахи»:

О сколь несправедлив в Элладе тот обычай!*

Тогда Александр вырвал у одного из копьеносцев копье, поразил оным Клита, который шел к нему навстречу и отдергивал занавес у дверей. Клит пал со стоном и ревом. Гнев Александра сразу же угас; он пришел в себя и, видя друзей, своих стоящих в безмолвии, успел вырвать копье из мертвого тела; но когда хотел ударить себя им в горло, то был успокоен телохранителями, которые схватили руки его и насильственно понесли его в спальню.

Всю ночь провел он в горести и плаче. На другой день, перестав кричать и рыдать, лежал безгласен, издавая тяжкие стенания. Друзья его, устрашенные молчанием его, вошли туда насильственно. Он не внял ничьим словам, но когда прорицатель Аристандр напоминал о знамении ему и виденный им о Клите сон, в доказательство того, что происшествие давно было определено судьбою, то Александр, казалось, уступил рассуждениям его.

Затем приведены были к нему философ Каллисфен, друг Аристотеля, и Анаксарх из Абдер. Каллисфен употреблял кроткие слова и нравственные пособия, стараясь овладеть душою его и успокоить горесть, не причиняя ему оскорбления. Алаксарх, напротив того, который с самого начала проложил в философии свою собственную дорогу и известен был тем, что он пренебрегал всеми своими знакомыми и подобными, войдя к нему воскликнул: «Ужели это Александр, на которого обращены взоры вселенной?.. А он лежит, плачет подобно невольнику, боясь законов и нареканий людей, которым он должен быть законом и правилом справедливости, ибо он победил для того, чтобы начальствовать и господствовать, а не для того, чтобы повиноваться другим, побежденный пустыми мнениями. Разве ты не знаешь, – продолжал он, – что Дике и Фемида заседают подле Зевса, дабы все то, что будет сделано господствующими, было законно и справедливо?» Этими словами Анаксарх облегчил горесть царя, но сделал нрав его высокомернее и склоннее к насильству; между тем он приобрел благосклонность и сделал ему отвратительной беседу Каллисфена, которая по причине его строгих правил и без того не была ему приятна. Говорят, что некогда за столом была речь о временах года и о погоде. Каллисфен был такого мнения, что Азия холоднее Греции, и зима там более жестокая; Анаксарх тому противоречил и спорил с ним. «Однако ты должен признаться, – сказал Каллисфен, – что здешний край холоднее, ибо там ты проводил зиму в одном дурном плаще, а здесь лежишь за столом, накрывшись тремя богатыми коврами». Эти слова чрезвычайно оскорбили Анаксарха.

Каллисфен равным образом причинял неудовольствие другим софистам и льстецам, ибо молодые люди оказывали ему внимание по причине красноречия его; старейшим же нравился он не менее своим поведением пристойным, важным и самодовольным, которое оправдывало повод его путешествия. Он приехал к Александру с достохвальным намерением выпросить у него позволения вновь населить свое отечество* и возвратить согражданам. Однако слава его вооружала против него зависть; он сам подавал повод к оклеветанию себя тем, что часто отказывался от приглашений Александра; важностью и молчаливостью в обращении, казалось, он не ободрял того, что происходило, и что ему ничто не нравилось. Александр даже сказал о нем следующий стих:

Я ненавижу мудреца, который для себя не мудр.

Говорят, что некогда за столом в присутствии многих собеседников, получив приказание

за чашей вина похвалить македонян, Каллисфен распространился об этом предмете с таким красноречием, что македоняне, вставая, рукоплескали и бросали на него венки. Александр сделал замечание, что, по словам Еврипида*, не трудно тому, кто имеет предмет прекрасный и говорит изящно. «Ты покажи нам свое искусство, – продолжал он, – хуля македонян, дабы они сделались лучшими, узнав свои недостатки». Итак, Каллисфен, обратившись с палинодией, говорил против македонян с великой смелостью; он представил, что несогласие и раздор греков были причиной возвышения и силы Филиппа, между прочим привел известный стих:

В народных мятежах и злой почтен бывает.

Эта речь возродила в македонянах великую и жестокую к Каллисфену ненависть. Александр заметил, что Каллисфен показал тем силу не столько красноречия своего, сколько силу неблагорасположения к македонянам.

Этот случай, по словам Гермиппа, был пересказан Аристотелю Стребом, чтецом Каллисфена. Каллисфен, заметя отчуждение царя от себя, удаляясь от него, два или три раза сказал ему:

Умер и храбрый Патрокл, далеко тебя превышавший*.

Итак, по-видимому справедливо, сказал Аристотель, что Каллисфен был велик и силен в речах, но что не было у него ума.

Впрочем, отказавшись с твердостью и философским духом от поклонения* Александру, один он громко обнаружил свои о том мысли, хотя лучшие и старейшие македоняне скрывали и только в тайне негодовали. Он тем избавил греков от великого посрамления, а Александра еще от большего, отвратив его от требования поклонения, но между тем он погубил себя, ибо казалось, что в этом случае более принудил, нежели убедил царя.

Харет из Митилены говорит, что Александр в пиршестве, выпив вина из фиала, подал его одному из своих друзей. Этот принял фиал, стал перед жертвенником и, выпив вина, сперва поклонился, а потом лобызал Александра и сел на свое место. То же самое сделали за ним по очереди и другие. Каллисфен принял фиал, и между тем, как царь разговаривал с Гефестионом, не обращал на него внимания, выпил вина и подошел, чтобы его поцеловать. Но Деметрий, прозванный Фидоном, сказал: «Государь! Не целуй его; он один тебе не поклонился». Александр уклонился от поцелуя, а Каллисфен громко сказал: «Так я уйду, имея меньше других на один поцелуй!»

Такова была причина вкравшегося в сердце государя отвращения к Каллисфену. Александр, во-первых, поверил словам Гефестиона, который утверждал, что Каллисфен обещал поклониться, но не исполнил своего обещания. Потом Лисимах и Гагнон приступили к нему с уверением, что софист ходит среди них с таким высокомерием, как будто бы он уничтожил тираннство, что молодые люди стекаются к нему и следуют за ним, почитая его одного человеком среди таких тысяч людей. Слова клеветников его казались достойными вероятности после того, как Гермолай был изобличен в злоумышлении на жизнь Александра*, ибо утверждали, что когда он предложил Каллисфену вопрос, каким образом человек может сделаться славнейшим, то Каллисфен отвечал: «Когда убьет славнейшего»; будто, побуждая Гермолая к этому предприятию, советовал ему не страшиться золотого ложа, но помнить, что он приближается к человеку, подверженному и болезням, и ранам. Впрочем никто из сообщников Гермолая не доносил на Каллисфена и в самых крайних муках. Сам Александр в письмах, которые тогда же писал Кратеру, Атталу и Алкету говорит, что молодые люди, будучи пытаемы, признались в преступлении, но никто более не имел в оном участия. Впоследствии он писал к Антипатру и среди прочих винил и Каллисфена. «Юношей, – пишет он, – закидали камнями македоняне, что касается до софиста, то я сам накажу, как его, так и выславших его ко мне и принимающих в города людей, которые против меня злоумышляли». В этих словах он явно обнаруживает свои мысли об Аристотеле, ибо Каллисфен был воспитан им по причине бывшего между ними родства; он был сын Геро, двоюродной сестры Аристотеля. Касательно смерти его одни говорят, что он повешен Александром, другие, что его держали в оковах и что

он умер от болезни. Харет пишет, что Каллисфена держали скованным в течение семи месяцев, дабы позднее судить его в Совете в присутствии Аристотеля, и что в те дни, в которые Александр был ранен в Индии, Каллисфен умер от ожирения и вшивой болезни*. Но это случилось позже.

Корифянин Демарат, будучи уже стар, возымел желание приехать к Александру. При свидании с ним он сказал, что великого удовольствия лишились греки, умершие прежде, нежели увидели Александра на Дариевом престоле. Однако он недолго пользовался милостью государя, умер от болезни и похоронен с великолепием; войско насыпало в честь его огромный курган, вышиной в восемьдесят локтей; прах его был привезен к морю на колеснице, великолепно украшенной и запряженной четырьмя конями.

Александр вознамерился вступить в Индию, но, видя войско уже обремененным множеством добычи и потому неудободвижимо, на рассвете дня, когда уже все было убрано, сперва он сжег обоз свой и обозы друзей своих, потом велел подложить огонь и под обозы других македонян. Эта мысль, казалось, была и труднее и опаснее, нежели исполнение ее и приведение в действо. Немногие македоняне тем были опечалены, но большая часть их с шумом и восклицаниями, в восторге разделяли нужные вещи тем, которые оных просили, а излишние жгли и истребляли и тем внушили Александру больше духа и охоты к предприятию сему. Впрочем он был уже страшен и неумолим в наказании виновных. Менандра, одного из этеров, которому поручил начальство над одной крепостью, предал смерти за то, что он не хотел там оставаться. Орсодата, одного из возмутившихся против него варваров, застрелил из лука собственной рукой.

В это время овца родила ягненка, который имел на голове нарост, формой и цветом напоминающий тиару, а по обеим сторонам – по паре яичек. Александр, мерзя этим уродом, велел очистить себя вавилонянам, которых имел обыкновение употреблять в подобных случаях. Касательно этого знамения он говорил друзьям своим, что беспокоится не за себя, но за них, страшась, чтобы бог, когда его не будет, не предал державы человеку недостойному и слабому. Однако случившееся потом благоприятное знамение разогнало его уныние. Один македонянин, по имени Проксен, который был хранителем царских постелей, копая землю для поставления царского шатра близ реки Окс*, открыл источник жирной и тучной влаги. Когда вычерпнута уже была верхняя влага, то точилось чистое и прозрачное масло, которое ни запахом, ни вкусом не отличалось от оливкового, а блеском и тучностью совершенно на оное походило, хотя тамошняя страна не производит масличных деревьев. Говорят, что вода Окса есть самая мягкая и что она покрывает жиром кожу купающихся в ней людей. Этот случай принес чрезвычайное удовольствие Александру, судя по тому, что он пишет к Антипатру, полагая это знамение одним из благоприятнейших ниспосланных ему богами. Однако прорицатели почитали это предзнаменованием похода, хотя славного, но сопряженного с большими трудами, ибо масло дано богом человеку к облегчению трудов.

В сражениях подвергался он многим опасностям и получил тяжелые раны. Причиной большой погибели войска его были недостаток в пище и дурного климата. Сам Александр, силясь превозмочь счастье смелостью, а силу мужеством, думал, что нет ничего непреодолимого для людей, исполненных бодрости, и что никакое укрепление не защитит робких. Говорят, что во время осады скалы Сисимитра, которая была крута и неприступна, видя воинов своих в унынии, Александр спрашивал Оксиарта, каков духом Сисимитр. Оксиарт отвечал, что он самый малодушный человек. «Итак, – сказал Александр, – ты говоришь, что скалу можно легко взять, когда тот, кто управляет ею, не крепок духом». Он действительно завладел ею, наведши страх на Сисимитра. Приступив к другой столь же крупной скале, обратясь к одному из младших македонян, именуемому Александром, он сказал ему: «Твой долг вести себя мужественно и по имени, которое ты носишь». Молодой человек действительно оказал чудеса храбрости и был убит. Это немало огорчило Александра.

При осаде Нисы македоняне медлили приступать к городу, ибо перед ним протекала глубокая река. Александр, несколько остановясь, сказал: «Недостойный я человек! Зачем не

научился плавать!» Он держал щит и хотел уже переправиться. <…> [7] Наконец по прекращении сражения прибыли к нему из осажденных городов посланники с прошениями. Он принял их в доспехах и без всякого украшения, чем внушил им страх. Когда принесена была подушка, то велел старшему из них, который назывался Акуфис, взять ее и сесть. Акуфис, удивясь его благосклонности и снисхождению, спрашивал: «Что мы должны сделать, дабы быть твоими друзьями?» Александр отвечал: «Чтобы жители сделали тебя своим правителем и чтобы они прислали ко мне сто лучших людей». Акуфис, усмехнувшись, сказал: «Государь, мне будет легче управлять, если пришлю к тебе самых дурных, а не самых лучших».

Таксил, как говорят, обладал частью Индии, которая пространством не уступала Египту*, производила прекраснейшие плоды и изобиловала пастбищами. Он был человек мудрый и, приветствовав Александра, сказал ему: «Какая нужда, Александр, сражаться нам друг с другом, если ты не для того прибыл, чтобы отнять у нас воду или нужную пищу, за которые только должны сражаться люди рассудительные, что касается до других вещей и приобретений, то если я или превышаю тебя, готов тебя благотворить, если же ниже тебя, то, получив от тебя благодеяние, не отказываюсь быть тебе благодарным». Александру так понравились эти слова, что взяв его за правую руку, сказал: «Ужели ты думаешь, что благодаря этим радушным словам наше свидание обойдется без сражения? Нет! Это тебе не поможет; я хочу состязаться с тобою благодеяниями, дабы ты, будучи столь добр, не превосходил меня щедростью». Он принял от него много даров, дал ему больше и наконец подарил за чашей тысячу талантов. Этим поступком он огорчил друзей своих*, но многих варваров заставил быть к себе благосклоннее.

Между тем храбрейшие индийцы, вступая в службу разных городов, защищали оные мужественно и причиняли Александру большой вред. В одном городе* они предали ему себя на условиях, но когда они удалились, то он поймал их на дороге и всех умертвил. Этот поступок омрачает военные подвиги его, хотя во всех других случаях вел он войну по законам и так, как царю прилично. Не менее этих воинов причинили ему беспокойства философы, которые поносили царей, перешедших к нему, а вольные народы против него возмущали. По этой причине Александр многих из них повесил.

Отношения его с Пором описаны им самим в письмах. Он говорит, что река Гидасп отделяла два войска, и что Пор, поставив слонов напротив него, стерег переправу. Между тем Александр производил днем в стане своем великий шум и тревогу, приучая тем варваров не бояться его, а в бурную и безлунную ночь, взяв часть пехоты и лучшую конницу и пройдя дальнее от неприятелей пространство, переправился на небольшой остров. Здесь полился сильный дождь; молния и громовые стрелы ударяли в войско. Видя некоторых убиваемых и опаляемых молниями, он отплыл с острова и переправился на противоположный берег. Река Гидасп* по причине бури неслась с великой быстротой, высоко поднимался от нее поток и со стремлением прорывался на берег, и туда потекла вода в великом количестве. Александр прошел с великим трудом это пространство по причине скользкого и разваливающегося грунта. Здесь, говорят, сказал он: «Поверите ли вы, афиняне, каким опасностям подвергаю себя, дабы заслужить похвалу от вас?» Так рассказывает Онесикрит, но Александр сам пишет, что воины бросили плоты и переплывали поток с оружиями в руках, будучи по грудь в воде.

После переправы он с конницей опередил пехоту двадцатью стадиями, рассуждая, что ежели неприятели нападут с конницей, то он одержит над ними верх, а если двинут фалангу, то и его пехота поспеет к нему присоединиться. Из этих предположений сбылось первое. Тысяча человек конницы и шестьдесят колесниц сошлись с ним и были им разбиты. Победителям достались все колесницы, конных умерщвлено до четырехсот. Пор заключил из этого, что сам Александр переправился; наступал на него со всей силою и оставил только некоторую часть войска для удержания других македонян от переправы. Александр, боясь слонов и великого множества неприятелей, сам ударил на левое крыло, а Кену велел учинить нападение на правое; те неприятели, которые были опрокинуты с обеих сторон, отступали к слонам и опять устроивались. По этой причине уже происходила смешенная и жаркая битва, и лишь на восьмой час неприятели начали предаваться бегству. Вот что пишет в письмах своих сам

[7] Текст в оригинале испорчен.

Александр, учредитель этой битвы*. Историки большей частью уверяют, что Пор был ростом более четырех локтей с пядью и по причине величины своей и огромности тела был со слоном в такой соразмерности, как всадник к лошади, хотя он сидел на самом большом слоне. Этот слон оказал удивительную понятливость и попечительность о царе, ибо пока этот был еще невредим, то он сам защищался с яростью и отражал неприятелей; когда же приметил, что царь впал в изнеможение от множества стрел и ран, то боясь, чтобы он не свалился, сам тихо опустился на колена, а хоботом брал с осторожностью стрелы по одному и выдергивал из тела его.

Наконец Пор был пойман. Александр спрашивал его: «Как мне поступить с тобою?» – «По-царски!» – отвечал он. Александр еще спросил, не желает ли он еще чего. Пор сказал: «В слове “по-царски” все заключается». Александр не только оставил ему с именем сатрапа область, над которой царствовал, но присоединил к ней еще страну, покорив независимый народ, ее населявший. На этой стране было пятнадцать народов, пять тысяч больших городов и великое множество селений. Он завоевал страну, в три раза пространнее упомянутой, над которой поставил сатрапом Филиппа, одного из своих друзей.

По сражении с Пором умер и Букефал, но не тотчас, как некоторые говорят, от ран, а во время лечения. Но Онесикрит уверяет, что Букефал сделался весьма слаб от старости, ибо тогда уже было ему тридцать лет. Лишение коня чрезвычайно огорчило Александра, которому казалось, что теряет в нем как бы некоего друга. Он построил город у Гидаспа и дал ему название Букефалии; говорят также, что лишившись собаки Перита, которую он сам вскормил и весьма любил, построил город, которому дал ее имя. Сотион уверяет, что слышал об этом от Потамона Лесбосского*.

Сражение с Пором охладило жар македонян и удержало их от дальнейшего похода внутрь Индии. Одержав с великим трудом верх над сим царем, который устроился против них с двадцатью тысячами пехоты и двумя тысячами конницы, они сильно противились Александру, который хотел переправиться через реку Ганг. Они узнали, что река в ширину имела тридцать две стадии, а в глубину сто оргий; противоположный берег ее был покрыт множеством пехоты, конницы и слонов. Говорили тогда, что цари гандаритов и пресиев* с восемью десятью тысячами конницы, двумястами тысяч пехоты, восемью тысячами военных колесниц и шестью тысячами слонов ожидали их. Это не было хвастовство. Андрокотт, недолго после этого воцарившийся, подарил Селевку пятьсот слонов и с шестьюстами тысяч воинов покорил всю Индию.

Александр лежал в неудовольствии и гневе, запершись в своем шатре; он почитал за ничто прежде произведенные им дела, если не переправится через Ганг. Казалось ему, что отступая, признавался в том, что был побежден. Между тем друзья его уговаривали его приличным образом, а воины, с плачем и воем приходя к дверям шатра, умоляли его. Он смягчился и отступил, между тем к умножению славы своей выдумывал многие хитрости. Он велел сделать оружия, конские ясли и уздцы больше и тяжелее обыкновенных, раскидал и оставил оные в тех местах. Он соорудил и жертвенник богам*, которым и до сих пор пресийские цари поклоняются и приносят жертвы по греческому обыкновению. Андрокотт, будучи еще весьма молод, видел самого Александра и впоследствии, как уверяют, многократно говаривал, что едва Александр не завладел всею Индией, ибо тогдашний царь был ненавидим за дурные свойства и пренебрегаем за низкое происхождение*.

Отюда Александр обратился к Океану морю, дабы оный видеть. Он велел построить много лодок с веслами и плотов, на которых войско было весьма медленно несомо по реке. Плавание не было совсем бездейственное и мирное; Александр, приставая к городам, высаживал войско и покорял их. Однако в так называемой стране маллов*, которые, говорят, были самым воинственным народом Индии, едва не был он изрублен. Он, разогнав со стен неприятелей стрелами, первый, по приставленной лестнице, влез на стену; между тем лестница переломилась, варвары собирались у стены, и Александр имел при себе весьма малое число воинов, был поражаем стрелами снизу. Собравшись с силами, вспрыгнул он в средину неприятелей и по счастью стал на ноги. При сильном потрясении доспехов его показалось варварам, что вокруг тела его разлился некоторый блеск и сияние; это заставило их убежать и рассеяться. Но, увидя его с двумя только оруженосцами, они стекались к нему, мечами и дротиками вблизи поражали его сквозь доспехи, между тем как он оборонялся. Один из них,

став несколько поодаль, пустил из лука стрелу с таким напряжением и силою, что она пробила броню и вонзилась в кости близ сосца. Александр, получив удар, отступил согнувшись; пустивший стрелу устремился на него с мечом; Певкест и Лимней стали перед ним; оба были ранены; Лимней сразу умер, а Певкест противоборствовал. Александр умертвил неприятеля, но сам получил многие раны; и наконец, будучи поражен в шею ударом дубины, он прислонился к стене, обратясь лицом к неприятелю. Между тем македоняне обступили его, вырвали у неприятелей уже бесчувственного и понесли в шатер. В стане говорили уже у нем, как о мертвом. Много трудов стоило спилить стрелу, которая была деревянная, после этого едва развязали броню, и занялись вынимáнием стрелы, острие которой вонзилось в одну кость; шириной оно было в три пальца, а длиной в четыре. Во время их действий царь впадал в обмороки, которые приближали его к смерти, но он пришел в себя, как скоро стрела была вынута. Избегши этой опасности и будучи еще слаб, долгое время лечился и наблюдал диету, но видя, что македоняне шумели у его дверей и желали его видеть, он надел плащ, вышел из шатра, принес жертвы богам и вновь продолжал свой путь по реке, а между тем покорял обширные области и большие города.

Александр поймал десять из тех гимнософистов, которые более всех побудили Саббу* возмутиться против него и причинили македонянам великое затруднение. Они почитались людьми, способными давать ответы сильные и краткие. Александр предложил им странные вопросы, сказав, что умертвит первого того, который не даст правильного ответа, а потом и других по очереди. Старший из них был назначен судьей. Первый на заданный вопрос, кого больше – мертвых или живых, ответил, что живых, ибо умерших уже нет. Второй на вопрос о том, земля или море более питает животных, ответил, что земля, ибо море есть часть ее. На вопрос, какое из животных самое хитрое, третий ответил, что самое хитрое – то животное, которое до этих пор не известно человеку. Когда четвертого спросили, с какими мыслями он склонил Саббу к возмущению, то он ответил, что желал, чтобы Сабба или со славою жил или со славою умер. Пятый на вопрос, что было, по его мнению, прежде, день или ночь, ответил, что день был прежде ночи одним днем. Когда при таком ответе царь изъявил удивление, то он добавил, что на странные вопросы и ответы должны быть странные. Александр потом спрашивал у шестого, чем можно лучше всего приобрести любовь других, и тот ответил, что будучи сильнейшим, не будешь страшным. Из трех остальных одного спросили, как из человека можно стать богом; тот ответил, что исполнивши то, что человеку исполнить невозможно. Другому задали вопрос, что сильнее – жизнь или смерть, и софист сказал, что жизнь, ибо она переносит столько бед. На вопрос, доколе человеку следует жить, последний отвечал, что пока он не посчитает, что смерть лучше жизни. После того Александр, обратившись к судье, велел ему объявить свое мнение; тот сказал, что они отвечали один другого хуже. «Так ты первый умрешь, – отвечал Александр, – за то, что так судишь». – «Нет, государь, – отвечал судья, – если твои слова не ложны, ибо ты сказал, что убьешь первого того, кто даст самый дурной ответ».

Впрочем, Александр одарил гимнософистов и отпустил их. Он послал Онесикрита к славнейшим и в уединении мирную жизнь ведшим гимнософистам и просил, чтобы они пришли к нему. Онесикрат был сам философом, из числа учеников киника Диогена. Говорят, что Калан принял его весьма грубо и дерзко и велел ему снять с себя одежду и нагому слушать его речи, ибо иначе не будет с ним говорить, хотя бы он послан был к нему Зевсом. Дандамис, напротив того, принял его снисходительнее и, услышав речи его о Сократе, Пифагоре и Диогене, сказал, что эти люди, по его мнению, были одарены великим умом, но что они слишком уважали обычаи. Другие говорят, что Дандамис ничего более не сказал, а только спросил, что побудило Александра придти сюда, пройдя столь долгий путь.

Таксил уговорил Калана идти к Александру. Настоящее его имя было Сфин, но поскольку, приветствуя других на индийском языке, вместо «здравствуй» употреблял слово «кале», то греки и прозвали его Каланом. Говорят, что он представил Александру картину его царства следующим способом. Он положил на землю сухую кожу, ступил ногой на один ее край, и все другие края, которые не были прижаты, поднялись вверх; Калан, ходя вокруг кожи, становился на край и показывал, что всегда бывает то же самое. Наконец, как скоро ступил он в средину кожи, тогда все края остались в покое. Этим подобием хотел он показать Александру, что

надлежало утвердиться в средине своего царства, а не странствовать вдали от него.

Плавание его по рекам к морю продолжалось семь месяцев. Он вступил в Океан на кораблях и отплыл к острову, который он назвал Скиллустидой*, а другие Псилтукой. Здесь он вышел на берег, принес жертву богам и, сколько было можно, осмотрел свойства берегов и моря, их омывающего. Потом, помолившись богам, чтобы ни один смертный после него не прешел пределов похода его, он поворотил назад. Между тем кораблям велел плыть кругом, имея по правую руку Индию. Предводителем флота сделал он Неарха, а главным кормчим – Онесикрата. Он продолжал путь свой сухим путем через область оритов, терпя крайний недостаток в съестных припасах, и потерял множество людей, так что едва вывел из Индии четвертую часть военной силы своей. Хотя у него было при вступлении в оную сто двадцать тысяч пехоты и пятнадцать тысяч конницы, но опасные болезни, дурная пища, великие жары и более всего голод большую часть их истребили. Они шли страной незасеиваемой, обитаемой людьми, живущими в нищете, имевшими только немного дурных овец, которые привыкли питаться морской рыбой, и потому мясо их было неприятно и имело дурной запах. Насилу в шестьдесят дней прошел сию землю. Достигши Гедрозии, войско уже было во всем изобилии, ибо окрестные цари и сатрапы позаботились об этом заранее.

Здесь Александр успокоил свое войско и с веселым торжеством пришел в семь дней Карманию. Восемь лошадей везли медленно его с друзьями, сидящего на некотором жертвеннике, утвержденном на высоком и видном четырехугольном помосте; между тем как он дни и ночи проводил в беспрерывном пировании. За ним следовало великое множество колесниц; одни осеняемые пурпуровыми и испещренными завесами, другие зелеными и всегда свежими ветвями. На колесницах везомы были другие друзья его и полководцы, украшенные венками и пьющие вино. Не было тут видно ни щита, ни шлема, ни копья; воины, держа фиалы, кружки и кубки, во всю дорогу черпали вино из больших бочек и кратеров и пили за здравие друг друга, между тем как одни шли медленно вперед, другие лежали за столом. Звук флейт и свирелей, пение, игра на лире, вакхический шум ликующих женщин всюду раздавались. Это беспорядочное и блуждающее торжество* было сопровождаемо и всеми забавами вакхической вольности, как бы сам Вакх тут находился и ликованию сопутствовал. По прибытии своем в царский дворец в Гедрозии, празднуя вновь, он успокоил войско. Говорят, что некогда он, сидя за пиршеством, смотрел на состязание хоров и что любимец его Багой*, бывший хорегом и одержавший победу, пройдя через театр в великолепном убранстве, сел подле него. Македоняне, увидя это, кричали, требовали, чтобы царь его поцеловал; шумели до тех пор, пока желание их не было исполнено.

Здесь возвратился к нему Неарх; Александр с удовольствием услышал известие о его плавании. Он принял намерение пуститься вниз по Евфрату с многочисленным флотом, объехать Аравию и Ливию и через Геракловы столпы вступить во Внутреннее море. Он велел строить в Тапсаке* разного вида корабли; уже собирались к нему отовсюду мореходы и кормчие, но трудный его поход внутрь Индии, рана, полученная с маллами, слух о великой гибели войска его, невероятность в его спасении побудили покоренные народы к возмущениям, а полководцам и сатрапам подали смелость удовлетворять своей несправедливости и хищничеству. Вся держава его всколебалась и была в волнении. Олимпиада и Клеопатра, в раздоре с Антипатром, разделили между собою царство; Олимпиада взяла себе Эпир, Клеопатра – Македонию. Александр, получив о том известие, сказал, что мать разумнее сделала, ибо македоняне не потерпят быть управляемы женщиной.

Эти обстоятельства заставили его отослать Неарха опять к морю; он имел намерение вести войну по всей приморской стране. Между тем продолжая свой путь, предал наказанию дурных правителей. Он сам убил Оксиарта, одного из детей Абулита, пронзив его копьем. Так как Абулит сам не приготовил никаких съестных припасов, а только принес три тысячи талантов деньгами, то Александр велел ему бросить эти деньги коням. Те, разумеется, не каснулись денег. «Какая же нам нужда, – сказал тогда Александр, – в таких приготовлениях?» После того посадил Абулита в темницу.

По прибытии своем в Персиду, во-первых, он роздал женщинам деньги, ибо у персидских царей было в обыкновении каждый раз, как приезжали в Персиду, давать каждой женщине по золотой монете. По этой причине некоторые из них нечасто приезжали в Персиду, а царь Ох ни

разу там не был и из скупости сам себя от родины отчуждил.

Найдя гроб Кира разрытым*, Александр предал смерти виновника того злодеяния, хотя он был из числа важнейших граждан города Пеллы; имя его Поламах. Александр прочитал надпись на Кировой гробнице и велел вырезать снизу перевод на греческом языке. Содержание ее было следующее: «Человек, кто бы ты ни был, и откуда бы ни пришел! (А что придет, я это знаю.) Я Кир, приобретший персам владычество. Не позавидуй мне в этом малом количестве земли, покрывающей мое тело». Эти слова живо тронули Александра, ибо уму его представились неизвестность и непостоянство дел человеческих.

Здесь Калан, будучи недолго обеспокоиваем болезнью желудка, просил о сооружении для него костра. Он был привезен к оному на коне, помолился богам, принес им за себя возлияния и в жертву часть своих волос и, входя на костер, приветствовал македонян и просил их тот день провести в веселье и пировать вместе с царем, уверяя, что вскоре он сам увидит его в Вавилоне. Сказав это, он лег на костер; покрылся плащом, не сделал никакого движения, когда огонь приблизился к нему, но сохраняя то положение, которое принял с самого начала, он принес себя в жертву, по древним законам мудрецов своего отечества. То же самое сделал в Афинах и гораздо после его другой индиец, который был знаком с Цезарем. До этих пор показывают его памятник, который называется «надгробие индийца».

Александр, возвратившись после этого зрелища, пригласил друзей и полководцев своих к ужину и предложил состязание в питье, назначив венок в награду победителю. Более всех отличился Промах; он выпил четыре меры вина, получил в награду венок ценой в один талант, но пережил победу свою тремя днями. По уверению Харета, сорок один человек умер от пьянства, ибо после пирования наступил весьма сильный холод.

Находясь в Сузах, он праздновал бракосочетания друзей своих. Сам женился на Дариевой дочери Статире, а благороднейших персиянок выдал за знатнейших македонян; за все прежние же браки македонян учредил он другое великолепное пиршество. Говорят, что число приглашенных к столу гостей простиралось до девяти тысяч человек и что каждому их них Александр подарил золотую чашу для возлияний. Он явил при этом случае великую щедрость, заплатив заимодавцам долги за должников девять тысяч восемьсот семьдесят талантов. Антиген Одноглазый записался в число должников ложно; он привел к столу одного человека, который уверял, что дал Антигену в долг денег, и получил оные. Однако он был изобличен в обмане, и царь, гневаясь на него, удалил его от двора и лишил начальства. Этот Антиген был славен военными подвигами. Будучи еще молод, он находился при осаде Перинфа под начальством Филиппа. Ему в глаз попала стрела из катапульты, и когда хотели ее вытащить, то он этого не позволил и не перестал сражаться, пока не отразил неприятеля и не запер его в городе. По этой причине оказанное ему бесчестие было для него весьма чувствительно; все думали, что он от горести и досады сам себя лишит жизни. Царь, боясь этого, смягчился и позволил ему оставить у себя полученные деньги*.

Те тридцать тысяч мальчиков, которых, уезжая, он велел учить и образовывать, которые уже были сильны и велики, показались ему прекрасными в телесных упражнениях, обнаруживали чрезвычайную легкость и проворство. Александр был тем весьма доволен, но македоняне впали в уныние и боялись, что царь уже менее им будет оказывать внимания. По этой причине, когда он отсылал к морю слабых и изувеченных, то македоняне говорили, что это было бесчестье и поругание и что он, употребив без пощады людей на все, пока у них были силы, ныне отвергает их от себя с посрамлением и отсылает в отечество и к родителям уже не в таком виде, в каком взял. Пусть он отпустит всех македонян как людей бесполезных, имея уже этих молодых плясунов, с которыми может идти покорять вселенную. Александр был оскорблен этими словами; он ругал их во гневе своем, прогнал от себя, а стражу поручил персам, из которых сделал копьеносцев и палиценосцев. Македоняне, видя его окруженным ими, а себя от него удаляемыми и поругаемыми, смирялись и, рассуждая сами с собою, находили, что ревность и гнев довели их почти до неистовства. Наконец, посоветовавшись между собою, без оружий, в одном хитоне пришли к его шатру, с плачем и криком предавали ему себя и просили, чтобы он с ними поступил, как с дурными и неблагодарными людьми. Александр был тронут, однако не допускал их к себе; они не отставали от него, но два дня и две ночи простояли в таком положении перед шатром его, рыдая и называя его своим государем. На

третий день он вышел; увидя их в жалком и униженном состоянии, долго сам плакал; выговаривал им за их поступки с умеренностью, говорил потом ласково и неспособных к войне уволил, одарив их весьма щедро*. Он писал к Антипатру, чтобы они во всех игрищах и зрелищах занимали первое место, украшенные венком. Детям тех, кто умер, было назначено жалованье.

По прибытии своем в Экбатаны Мидийские он привел в порядок нужнейшие дела и опять занялся празднествами и зрелищами. К нему прибыло из Греции до трех тысяч актеров.

Случилось, что в те дни Гефестион был болен лихорадкой. Как молодой военный человек, он не терпел строгой диеты, и коль скоро врач его Главк ушел в театр, он сел завтракать, съел жареного петуха и выпил большой стакан вина; от чего сделалось ему хуже, и он вскоре умер. Александр не перенес этой потери со здравым рассудком. Он велел немедленно остричь гривы лошадей и лошаков в знак траура и срыть башни с окрестных городов.

Несчастного врача распял. В стане он запретил на долгое время флейты и всякую музыку, пока от Аммона не былополучено прорицание, повелевавшее чтить Гефестиона и жертвовать ему, как герою. Употребляя войну как утешение в своей горести, он вышел в поле, как бы на ловлю людей: покорил народ коссейский*, и всех молодых людей предал смерти. Это называлось жертвой Гефестиону. На памятник его, погребение и другие украшения решил потратить десять тысяч талантов, и чтобы при этом художество и великолепие превзошли сами издержки. По этой причине он желал употребить, более всех мастеров, Стасикрата, который в своих изобретениях обещал всегда нечто исполинское, смелое и дерзкое. Незадолго до того Стасикрат, разговаривая с ним, уверил его, что гора фракийская, Афон, более всех способна принять какой-либо вид и быть образована наподобие человека; итак, предложил Александру сделать Афон долговечнейшим и славнейшим его кумиром; левой рукою обнимал бы город, населенный десятью тысячами людей, а правой изливал в море обильный ток воды. Александр не принял этого предначертания*, но по смерти Гефестиона он проводил время с мастерами, занимаясь вместе с ними изобретениями самыми странными и стоившими больших издержек.

Между тем как он продолжал путь свой к Вавилону, Неарх, который вновь прибыл к нему, вступив в Евфрат через Великое море, объявил, что встретились с ним какие-то халдеи, которые советовали, чтобы Александр берегся Вавилона. Однако Александр оставил это без внимания и шел к городу, на стенах которого увидел много воронов, которые ссорились между собою, друг друга клевали и некоторые из них упали перед ним. Потому донесено было ему на Аполлодора, полководца вавилонского, в том, что он принес жертву, дабы узнать судьбу его. Александр призвал к себе прорицателя Пифагора, который не отрицал сего дела. Он спросил его, каковы были внутренности жертв, и, узнав, что печень была с изъяном, воскликнул: «Увы, знамение дурно!» Однако не сделал ничего дурного Пифагору. Он жалел только, что не послушался Неарха.

Большей частью Александр проводил время вне Вавилона в шатре или разъезжал по Евфрату. Сверх того многие знамения тревожили его, как например: один смирный осел ударил копытом прекрасного и большого льва, которого держали в Вавилоне, и умертвил. Некогда Александр скинул платье, дабы мазаться маслом, и играл в мячик. Когда молодые люди, с ним игравшие, хотели взять опять платье, то увидели человека, сидящего в безмолвии на троне в царской одежде и с диадемой на голове; они спрашивали его, кто он таков. Он долго был безгласным, но, наконец опомнившись, сказал, что назывался Дионисием, что он родом из Мессении, что по некоторому на него доносу был привезен сюда с приморских областей и долго держан в оковах, что недавно предстал к нему Серапис, расторг его узы и привел туда, с приказанием надеть диадему и одежду, сесть на трон и молчать.

Александр, услышав это, по совету прорицателей человека сего погубил; между тем впал в уныние, лишился надежды на бога и подозревал друзей своих. Более всех боялся он Антипатра и детей его, из которых Иоал был главным виночерпием, а Кассандр прибыл к нему недавно из Македонии; увидя некоторых варваров, покланявшихся Александру, как человек, воспитанный в греческих обычаях и не видевший ничего подобного прежде, засмеялся несколько дерзко. Александр пришел в ярость, схватил его за волосы обеими руками и сильно ударил его головой о стену. В другой раз, когда Кассандр хотел нечто говорить против тех, кто доносил на Антипатра, Александр прервал речь его гневно и сказал: «Что ты говоришь? Могут

ли люди пройти такое пространство, не будучи обижены никем, а только для оклеветания?» Кассандр отвечал: «Это самое есть доказательство клеветы, что они далеко от того места, где можно их уличить во лжи». Александр, насмехаясь, сказал: «Вот это Аристотелевы софизмы говорят в защиту и в опровержение одного и того же. Но горе вам, если окажется, что вы обижаете этих людей». С того времени в душу Кассандра вкоренился столь сильно и глубоко страх, что по прошествии многих лет, когда уже царствовал над македонянами и обладал Грецией, ходя в Дельфах и осматривая кумиры, увидел он вдруг изображение Александра, он был так поражен сим зрелищем, что волосы у него стали дыбом; он вздрогнул, голова вскружилась и он с трудом пришел в себя.

Александр, предавшись тогда суеверному страху богов, был в таком беспокойстве и смущении духа, что всякий сколько-нибудь необыкновенный и странный случай почитал чудом и знамением. Дворец был наполнен людьми, приносящими жертву, очищающими и гадающими. Сколь губительно неверие и небрежение о богах, столь великое зло и суеверие, которое, подобно воде, всегда к низкой стороне текущей, наполняет душу безумием и страхом, как это тогда и с Александром случилось.

По принесении от Аммонова капища прорицания о Гефестионе, Александр оставил сетование и вновь предался веселью и пиршествам.

Он угостил великолепно Неарха и спутников его, потом выкупался по обыкновению и хотел уже спать, но по просьбе Медия* пошел к нему, дабы участвовать в веселье. Там он пил весь следующий день; сделался ему жар, хотя он не выпил и чаши Геракла, и почувствовал вдруг боль в спине, как будто был поражен копьем, как говорят некоторые. Все это пишется такими людьми, которые хотят придать трагическую и жалкую развязку великой драме. Аристобул пишет, что он был в сильном жару, чувствовал великую жажду и выпил вина. Это лишило его рассудка и прекратило его жизнь в тридцатое число месяца десия.

В древних записках писано о болезни его следующее. Восемнадцатого числа месяца десия Александр спал в бане. На другой день, умывшись в бане, он перешел в спальню и провел день с Медием, играя в кости; потом поздно умылся, принес жертву богам, вкусил пищу; ночью сделался ему жар.

Двадцатого числа он умылся, опять принес обыкновенную жертву и, сидя в бане с Неархом, слушал рассказы о его плавании и о Великом море. Двадцать первого провел таким же образом, но жар усилился, ночь провел беспокойную; на другой день жар был еще сильнее. Он был перенесен и поставлен у большой купели; здесь говорил с полководцами об упразднившихся местах и приказал назначить к оным испытанных людей. Двадцать четвертого, находясь в сильном жару, был поднят и принес жертву. Главнейшим предводителям велел пребывать во дворце, а полковникам и пятисотникам проводить ночь вне оного. Будучи перенесен в другую сторону дворца, двадцать пятого числа несколько уснул, но жар не уменьшился. Когда полководцы пришли к нему, то нашли безгласным, равно как и в двадцать шестое число. По этой причине македонянам показалось, что он умер. Пришедши к дверям, они кричали, грозили его друзьям, пока принудили их отворить двери. Они все прошли по одному в одном хитоне мимо его ложа. В этот же день Пифон и Селевк послали в храм Сераписа спросить, не нужно ли туда перевести Александра. Бог отвечал, чтобы они оставили его на месте. Двадцать восьмого к вечеру он умер. Это писано так, почти все слово в слово, в «Дневниках».

В то время никто не возымел подозрения, что он был отравлен, но по прошествии шести лет сделан был донос Олимпиаде, которая многих предала смерти, выбросила останки умершего уже Иола, как бы он влил Александру в питье яд*. Те, кто говорит, что Аристотель советовал Антипатру совершить сие дело и что через него яд привезен в Азию, утверждают, что о том рассказывал некто Гагнофемис, который будто бы слышал об этом от царя Антигона. Отравой была вода холодная, которую доставали с одной скалы близ Нонакриды*, собирая ее каплями в виде легкой росы в ослиное копыто, ибо никакой другой сосуд не терпит ее, потому что холодностью и остротой своей все разрушает. Но большей частью думают, что слух о его отравлении выдуман. Немаловажным тому доказательством почитают они то, что хотя полководцы были несколько дней в раздоре между собою и тело оставлено без присмотра в местах жарких и душных, однако не было никакого знака сильной порчи, но тело осталось

целым и нетронутым.

Роксана была в то время беременна и потому уважаема македонянами. Ревнуя всегда к Статире, она обманула ее подложным письмом, заставила придти к себе, умертвила ее с сестрой*, а тела их бросила в колодец, который и засыпала. Пердикка знал об этом и содействовал ей. Он был уже в величайшей силе и влек за собою Арридея*, как театральное безмолвное лицо, представляющее царскую стражу. Арридей был рожден Филинной, женщиной простою; он не был в полном уме по причине телесной болезни, которая не была в нем природная и не случалась сама собою. Напротив того, говорят, что в детстве обнаруживал он приятные и благородные наклонности, но был испорчен отравами Олимпиады и повредился в уме.

Цезарь

Сулла, достигши верховной власти, ни угрозами, ни обещаниями своими не мог развести Цезаря с Корнелией*, дочерью Цинны, управлявшего некогда самовластно Римом, и потому описал в казну ее приданое. Причиной ненависти к Цезарю Суллы было родство его с Марием. Марий Старший был женат на сестре Цезарева отца; от сего супружества родился Марий Младший, который Цезарю был двоюродный брат. Он не довольствовался тем, что Сулла, по причине своих занятий и множества убийств, сначала оставил его без внимания, но еще в молодости своей предстал перед народом и искал жреческой должности*. Сулла воспротивился тому и устроил все так, что Цезарь не имел успеха в своем домогательстве. Сулла намеревался уже умертвить его, и когда некоторые представляли ему, что он не имеет никакой причины к погублению сего мальчика, то Сулла отвечал им: «Вы безумны, если в этом мальчике не видите много Мариев». Когда эти слова пересказаны были Цезарю, то он скрылся и долгое время скитался по земле сабинян. Некогда, будучи переносим с одного места на другое по причине своей болезни, он попался ночью воинам Суллы, которые обозревали эти места и ловили скрывавшихся в них. Цезарь двумя талантами склонил начальника их, Корнелия, отпустить его. После того он немедленно пустился к морскому берегу и отправился в Вифинию, к царю Никомеду.

Он недолго у него пробыл, и при отплытии своем оттуда, при острове Фармакуссы* был пойман разбойниками, которые в то время имели великие флоты и бесчисленное множество кораблей и обладали морями. Сперва они требовали с него за выкуп двадцать талантов. Цезарь смеялся над ними, как над не знающими, кого они поймали, и обещал им заплатить за себя пятьдесят талантов. После того послал он в разные города своих спутников для сбора денег и остался с одним приятелем своим и двумя служителями среди киликийцев, этих кровожаднейших людей; несмотря на это, он настолько презирал их, что каждый раз, когда отдыхал, посылал сказать им, чтобы они не шумели. В течение тридцати восьми дней он весьма свободно шутил и играл с ними, как бы они были не стражами, а телохранителями его; сочинял стихи и речи и читал их разбойникам. Тех, кто не удивлялся ему, называл невеждами, варварами и нередко в шутках грозил, что он их повесит. Это было для них приятно; они приписывали все эти смелые выражения его простоте и шутливости. Наконец он получил из Милета деньги на выкуп, заплатил их и был освобожден, но вскоре после того в самой милетской пристани вооружил несколько судов и выступил против разбойников. Он застал их еще близ сего острова, когда стояли на якоре, и поймал большую часть из них. Деньги их взял он себе, как добычу, а разбойников заключил в темницу в Пергаме и поехал к управлявшему тогда Азией Юнку, который, как претор, должен был казнить преступников. Но когда Юнк, взиравший жадными глазами на отнятые у них деньги, количество которых было немалое, сказал, что на досуге подумает о пойманных, то Цезарь, оставя его в покое, возвратился в Пергам, вывел разбойников из темницы и распял так, как он в шутках им много раз предсказывал.

Между тем власть Суллы ослабевала; Цезарь был призываем приятелями в Рим. Он отплыл в Родос, дабы учиться у Аполлония*, сына Молона, слушателем которого был и Цицерон и который славился искусством своим в преподавании красноречия и хорошим поведением. Цезарь был от природы способен к политическому ораторству и весьма тщательно

совершенствовал свое дарование, так что он всеми признаваем был вторым оратором в Риме; первенство в красноречии по причине других своих занятий уступил он другим, желая первенствовать более властью и оружием. Походы и гражданские дела, которыми он приобрел верховную власть, были причиной, что он не достигнул высшей степени совершенства в красноречии, к которому влекли природные его способности. В своем ответе Цицерону о Катоне он просит не сравнивать слога воина со слогом искусного и великими способностями одаренного оратора, который долгое время упражнялся в красноречии.

Возвратившись в Рим, он донес на Долабеллу* в угнетении и разорении вверенной ему провинции; многие греческие города подтверждали в том донос его. Впрочем, Долабелла был оправдан. Цезарь, желая вознаградить усердие к нему греков, говорил в пользу их, когда они доносили на Публия Антония, которого обвиняли в дароприятии пред Марком Лукуллом, македонским претором. Цезарь имел великую силу в этой тяжбе, и Антоний перенес дело к трибунам под тем предлогом, что он не мог состязаться с греками в Греции с равной силою.

В самом Риме приобрел он великую похвалу речами своими, произнесенными в судах, и привлек к себе благосклонность народа своей приветливостью и ласковым обхождением. Он был внимателен к каждому не по летам своим. Стол его, угощения и пышность во всем придавали ему в народе силу, которая мало-помалу возрастала. Завистники его сперва думали, что влияние, которое он имел на народ, уменьшится вместе с истощением доходов его – и пренебрегали возрастающей силой его. Могущество его было уже велико, не легко ниспровергаемо и прямо обращено на всеобщий переворот в правлении. Поздно уже противники его почувствовали, что нет никакого столь маловажного начала, которое бы вскоре не сделалось великим, когда оно беспрерывно имеет действие и когда оказываемое ему презрение служит препятствием к его остановлению. Цицерон был тем, кто прежде всех понял Цезаря, кто страшился приятности поступков его, как вероломной тишины моря, кто в наружной кротости его и веселости усматривал таившуюся предприимчивость и твердость души. Он говаривал, что во всех его замыслах и поступках видится склонность к тираннической власти. «Но когда взгляну, – прибавляет он, – на волосы его, с таким старанием причесанные, когда посмотрю, как он почесывает голову одним пальцем*, то кажется мне, что этот человек не может иметь в уме своем злого умысла испровержения римской республики». Но это относится к позднейшему времени.

Цезарь получил первое доказательство народной к себе благосклонности тогда, когда, оспаривая у Гая Помпилия военное трибунство, был избран прежде его. Вторым и важнейшим доказательством было то, что по смерти тетки своей Юлии, Мариевой жены, говоря в похвалу ее блистательную речь к народу, он осмелился при выносе ее тела выставить Мариевы изображения. После управления Суллы тогда в первый раз были оные представлены народу, ибо Марии были объявлены врагами отечества. Некоторые громким криком изъявляли свое неудовольствие против Цезаря, но народ отвечал таким же восклицанием и с рукоплесканием принял эти изображения, удивляясь Цезарю, который, казалось, после многих лет возвращал в город из ада Мариевы почести.

Говорить надгробные речи в честь умершим старым женщинам было у римлян в обычае с давних времен, но говорить таковые речи в честь молодых не было еще в употреблении; Цезарь первый произнес речь над умершей своей женой. Этим также приобрел он некоторую благосклонность; он прельстил печалью своею народ и заставил себя уважать как человека кроткого и чувствительного. По смерти жены своей отправился он в Иберию в звании квестора при преторе Ветере*, которого он всегда уважал и сына которого позже, когда сам начальствовал, также сделал квестором. По возвращении своем из Иберии женился он третьим браком на Помпее*. Он имел от Корнелии дочь, которая была в замужестве за Помпеем Великим.

Великая расточительность его заставляла думать многих, что он великими издержками старается приобрести непрочную и кратковременную славу; в самом же деле покупал он то, что всего дороже, за самую малую цену. Говорят, что прежде нежели он получил какое-либо начальство, был должен до тысячи трехсот талантов. При всем том, имея надзор над Аппиевой дорогой, он издержал много своих денег, а, будучи эдилом, представил народу триста двадцать пар гладиаторов; пышностью же зрелищ, торжеств, пиршеств и великолепием во всем сему

подобном, помрачил честолюбивые старания своих предшественников и внушил гражданам такую к себе любовь, что каждый из народа искал новых чинов и новых почестей, которыми можно было вознаградить Цезаря.

Республика была тогда разделена на две стороны – приверженцев Суллы, которые были в великой силе, и сторонников Мария, которые не имели никакой важности, были угнетена и рассеяна. Цезарь решился восстановить ее. В то самое время, как эдильские зрелища и увеселения были во всем блеске своем, он велел тайно сделать изображения Мария и кумир богинь Победы с трофеями, и ночью поставил их на Капитолий. Поутру многие приходили смотреть на эти произведения, сияющие золотом, отделанные с великим искусством. Надписи, бывшие на них, напоминали победы над кимврами. Все удивлялись смелости того, кто выставил их на позор, и который не мог быть человеком неизвестным. Вскоре слух о том распространился по всему городу; народ собирался смотреть на них. Одни кричали, что Цезарь всеми поступками своими умышляет достигнуть верховной власти, восстановляя почести, погребенные законами и постановлениями народными, и что он испытывает народ, желая видеть, сделался ли тот ему послушным через забавы и увеселения, и позволить ли ему эти игрушки и перемены. Но приверженные к стороне Мария, ободряя друг друга, вдруг появились в великом множестве и с рукоплесканием обступили Капитолий. Многие из них проливали радостные слезы при воззрении на изображения Мария, превозносили похвалами Цезаря и говорили, что он один достоин быть в родстве с Марием. Когда сенат собрался для совещания об этом происшествии, то Лутаций Катул, человек, отличнейший среди тогдашних римлян, встал, говорил сильно против Цезаря и, между прочим, сказал известные слова: «Уже не подкопами, но осадными машинами Цезарь разрушает республику». Несмотря на это, Цезарь говорил речь в оправдание себя и убедил сенат в своей невиновности. Уважающие его вознеслись еще более, они ему советовали никому не уступать, уверяя его, что он будет первенствовать в республике и одержит верх над всеми противниками своими, но по воле народа.

В этих обстоятельствах умер верховный жрец Метелл; достоинства сего искали Сервилий Исаврийский и Катул, мужи знаменитейшие и имевшие великую силу в сенате*. Цезарь им не уступал; он предстал перед народом и также просил себе первосвященства. Обе стороны имели равные силы; Катул по причине большой важности своей, страшась еще более неизвестности, послал сказать Цезарю, чтобы он отстал от сего искания и предлагал ему великое количество денег. Цезарь отвечал, что он займет денег гораздо больше предлагаемого количества, но будет с ним состязаться. Уже настал день выборов; мать Цезаря провожала его со слезами из дому; он обнял ее и сказал: «Любезная родительница! Сегодня увидишь ты сына своего либо верховным жрецом, либо изгнанником». Собираемы были голоса и наконец после бывших прений Цезарь одержал верх и тем навел ужас на сенат и на патрициев, которые полагали, что он доведет народ до самых дерзостных поступков.

По этой причине Пизон и Катул порицали Цицерона за то, что он при открытии заговора Катилины пощадил Цезаря, хотя тот подал ему случай наказать его. Катилина, принявший намерение не только переменить правление, но уничтожить республику и все испровергнуть, и бежал из города тогда еще, когда не было достаточных против него доказательств и прежде нежели совершенно обнаружились его умыслы. Он оставил в городе преемниками своими в заговоре Лентула и Цетега.

Одобрил ли Цезарь тайно их злоумышление, придавал ли бодрости и силы заговорщикам, того подлинно неизвестно. Когда же в сенате были они совершенно изобличены, и Цицерон как консул отбирал у сенаторов мнения касательно наказания преступников, то все они, подававшие голоса прежде Цезаря, были того мнения, чтобы виновных казнить смертью. Но Цезарь, встав с места, говорил речь, искусно составленную, представляя сенату, что умертвить без суда и без крайней опасности мужей, знаменитых родом и достоинствами, не было сообразно ни с обычаем римлян, ни со справедливостью, что если они будут в оковах стрегомы в тех городах Италии, которые назначит сам Цицерон, до тех пор, пока Катилина не будет совершенно низложен, то позже в спокойное время сенат может решить участь каждого из них.

Мнение его показалось кротким и умеренным; речь его была сильна. К нему пристали не только те, кому следовало говорить после него, но даже многие из тех, кто говорил до него,

отказались от своего мнения и согласились с ним. Наконец пришла очередь говорить Катону и Катулу. Эти сенаторы смело противоречили ему, Катон при этом речью своей старался навести на Цезаря подозрение, вступил с ним в жаркий спор и произвел то, что заговорщики были приговорены к смерти. При выходе из сената многие из юношей, охранявших тогда Цицерона, устремились на Цезаря с обнаженными мечами, но Курион вывел его, покрыв, как говорят, своей тогой, и когда эти юноши взглянули на Цицерона, ожидали его приказания, то он дал им знак оставить его. Может быть, боялся он народа или почитал умерщвление его несправедливым и беззаконным. Впрочем, если это происшествие истинно, то мог ли Цицерон в книге своей о консульстве пропустить его? Как бы то ни было, позже обвиняли его в том, что он не воспользовался против Цезаря тогдашним благоприятным временем, но устрашился народа, который сильно защищал его. Когда по прошествии немногих дней Цезарь пришел в сенат и старался оправдать себя в подозрениях, которые к нему имели, то против него восстал великий шум, и заседание сената продолжалось долее обыкновенного времени. Народ, собравшись, обступил сенат и с криком требовал, чтобы Цезарь был выпущен. Катон страшился перемен, которые желали бы произвести бедные граждане, поджигавшие и весь народ и возлагавшие на Цезаря всю свою надежду, убедил сенат раздавать помесячно пшено, чем расходы государственные умножились ежегодно семью миллионами пятьюстами тысяч. Впрочем, совет Катона в тогдашних обстоятельствах рассеял весь страх, испроверг и уничтожил во время силу Цезаря, которому тогда следовало быть претором и который сею властью сделался еще страшнее.

Цезарь во время претуры своей не произвел ни малейшего беспокойства, с ним, напротив того, случилось следующее неприятное домашнее происшествие. Публий Клодий, молодой человек из рода патрициев, отличался богатством своим и красноречием, но наглостью своей и дурным поведением не уступал ни одному из тех, кто прославился самыми постыдными делами. Он был влюблен в Помпею, жену Цезаря, и ей было сие непротивно, но как женские покои были тщательно охраняемы и мать Цезаря, Аврелия, женщина добродетельная, имела строгий надзор над своей невесткой, то свидание их было сопряжено с большими затруднениями и опасностями.

У римлян есть богиня, которую они называют Доброю*, а греки – Женскою. Фригийцы, присваивая ее себе, уверяют, что она мать царя Мидаса; римляне почитают ее Дриадой, совокупившеюся с Фавном, а греки – таинственной матерью Диониса. По этой причине женщины, отправляющие ее празднество, украшают шатры виноградными ветвями, а при богине, согласно с мифологией, сидит священный змей. Ни одному мужчине не позволяется ни приходить к празднующим женщинам, ни быть дома, во время совершения священных обрядов; уверяют, что женщины в сем священнодействии сами исполняют многие обряды, сходные с орфическими. При наступлении праздника женатый консул или претор оставляет дом свой со всеми домашними мужского пола, а жена занимается украшением дома своего. Важнейшие обряды совершаются ночью; всеночно сопровождаются резвостью, забавами и шумной музыкой.

В том году празднество справляла Помпея. Клодий, будучи еще без бороды и потому надеясь, что не будет узнан, надел платье певицы и вошел в дом Цезаря, будучи совершенно похож на молодую женщину. Он нашел двери отворенными и был безопасно введен в дом рабыней, которой была известна связь его с Помпеей. Она побежала сказать о том Помпее и замешкала, между тем Клодий, не терпя быть долее на том месте, где был оставлен, блуждал по пространному дому, всегда избегая огней. Ему попалась навстречу служанка Аврелии, которая призывала его, как женщину, резвиться; Клодий отказывался. Она привела его к остальным и спрашивала, кто она и откуда. Клодий отвечал, что дожидается служанки Помпеи, которая называлась Аброй. Голос изобличил его; служанка тотчас побежала к освещенному месту и к толпе женщин, крича, что она поймала в доме мужчину. Женщины были встревожены. Аврелия медленно остановила обряды, покрыла священные вещи, велела запереть двери и ходила со свечами по всему дому, ища Клодия. Он был найден в горнице одной рабыни, куда убежал; женщины узнали его и вытолкали из дома. Возвратившись в дома свои, еще ночью рассказали они мужьям своим об этом происшествии.

На другой день разнеслось по всему городу, что Клодий предпринял беззаконное дело;

говорили, что он должен дать отчет в своем поступке не только тем, кого он оскорбил, но и республике, и богам. Один из трибунов обвинял торжественно Клодия в нечестии; важнейшие сенаторы соединились против него и обличали его в самых мерзких распутствах и в преступной связи с родной сестрой, бывшей в замужестве за Лукуллом. Но народ принял сторону Клодия, защитил его и оказал ему великую пользу, ибо судьи были тем приведены в страх. Цезарь развелся немедленно с женой, но будучи призван к суду, как свидетель в этом деле, объявил, что он ничего не знает касательно того, в чем обвиняют Клодия. Ответ этот показался весьма странным; доносчик спросил его: «Для чего же ты развелся с женой?» – «Для того, – отвечал он, – что я не хочу, чтобы на мою жену падала хоть тень подозрения». Одни говорят, что подлинно так Цезарь думал, как говорил; другие полагают, что он хотел этим угодить народу, который желал спасти Клодия. В самом деле Клодий был оправдан, ибо судьи объявили свои мнения темно и запутанно*; они не хотели ни подвергнуться гневу народному, осудив виновного, ни посрамить себя перед патрициями, оправдав его.

Цезарь после претуры получил в управление Иберию. Не будучи в состоянии успокоить своих заимодавцев, которые шумели и не позволяли ему выехать из города, прибегнул он к Крассу, богатейшему римлянину, который имел нужду в силе и предприимчивости его, дабы противиться намерениям Помпея. Красс обязался удовлетворить жестоких и неукротимых заимодавцев и поручился за него восемьюстами тридцатью талантами. Таким образом Цезарь отправился в свою провинцию. Говорят, что он на пути через Альпийские горы ехал через небольшое варварское местечко, обитаемое немногочисленными бедняками. Приятели его между собою в шутках спрашивали друг друга, нет ли и здесь честолюбивого искания властей, споров о первенстве и зависти сильнейших между собою. Цезарь сказал им без шуток: «Я бы лучше хотел быть первым в этом городе, нежели вторым в Риме». В другой раз, уже в Иберии, в свободное время читал он некоторое сочинение об Александре; он долгое время был в задумчивости и наконец заплакал. Приятели его с удивлением спрашивали о причине; он отвечал им: «Не достойно ли печали то, что Александр, будучи так молод, царствовал над таким множеством народов, а я до этих пор не произвел ничего великого?»

По прибытии своем в Иберию он обнаружил великую деятельность; в течение нескольких дней набрал десять когорт, которые причислил к двадцати прежним. Он пошел против каллаиков* и лузитанцев, победил их и дошел до Океана, покоряя те народы, которые до того времени не были подвластны римлянам. Устроивши лучшим образом все то, что относилось к войне, он управлял не хуже того делами, касающимися мира, водворил в городах согласие и более всего старался о прекращении тяжб между должниками и заимодавцами. Он постановил, чтобы заимодавцы ежегодно получали от должников своих только две части доходов, а остальной частью пользовались сами должники, доколе не уплатят всего долга. Таковыми распоряжениями он приобрел всеобщие одобрение и, снискавши великое богатство, обогативши в походах воинов своих, провозгласивших его императором, оставил эту провинцию.

Закон предписывал, дабы тот, кто желал почестей триумфа, находился вне города*, а кто искал консульства, был в самом городе и сам просил у народа сего достоинства. Цезарь прибыл в Рим к самому началу консульских выборов и, находя в этом законе препятствие к получению того и другого, просил у сената позволения искать консульства посредством друзей своих тогда, как он не был сам в городе. Катон сперва противился его требованию, ссылаясь на закон, но, заметя, что многие из сенаторов были задобрены Цезарем, уничтожил его домогательства, говоря в сенате речь, которая продолжалась целый день. Цезарь решился отказаться от триумфа и искать консульства.

По вступлении своем в Рим предпринял он дело, которым обманул всех, кроме Катона. Оно состояло в том, чтобы примирить между собою Помпея и Красса, сильнейших в республике граждан. Цезарь прекратил их раздор, подружил их, соединив в себе силу того и другого, и этим поступком, который все называли кротким и человеколюбивым, нечувствительным образом произвел переворот в республике, ибо не раздор Помпея с Цезарем, как большей частью полагают, но дружба их возродила в ней междоусобные брани. Они сперва соединились в намерении низложить аристократию, а потом поссорились. Катон, который многократно предвещал будущее, называем был тогда человеком беспокойным и докучливым,

а впоследствии благоразумным, но несчастливым советником.

Цезарь, огражденный связью Красса и Помпея, торжественно возведен был на консульское достоинство* вместе с Кальпурнием Бибулом. Едва получил он власть, как стал вводить законы, более приличные какому-нибудь дерзкому трибуну, нежели консулу; он предлагал, в угождение народа, раздачу земель и хлеба. В сенате отличнейшие мужи ему противоречили, и Цезарь, который давно искал случая перейти на сторону народа, начал кричать, что его против воли заставляют прибегнуть к народу и что он по необходимости должен угождать ему по причине непреклонности и жестокости сената. И в самом деле, он выбежал к народу; поставя близ себя с одной стороны Красса, а с другой – Помпея, спросил их, одобряют ли они его законы. Они отвечали, что одобряют их; и Цезарь просил их помогать ему против тех, кто грозил противиться ему с мечами. Они обещали, а Помпей примолвил, что он выступит против мечей с мечом, неся и щит с собою. Этот поступок Помпея оскорбил аристократов; они услышали слова, недостойные важности его и роняющие уважение к сенату; эти слова всем показались безрассудными и неистовыми, но народу были весьма приятны.

Цезарь хотел еще более воспользоваться силой и властью Помпея. Он выдал за Помпея дочь свою Юлию, которая была обручена с Сервилием Цепионом, а за Сервилия обещал выдать Помпееву дочь, которая также была обручена с Фавстом, сыном Суллы. Вскоре после того сам он женился на Кальпурнии, дочери Пизона, которого на будущий год назначил консулом. Все это заставляло Катона еще более возносить крики и жалобы; он говорил, возможно ли снести, чтобы верховная власть разделяема была посредством брачных связей, чтобы управление провинциями, войсками и силами республики передаваемо было друг другу за женщин.

Бибул, товарищ Цезаря в консульстве, препятствовал введению новых законов, но не могши ничего произвести и подвергаясь несколько раз опасности быть умерщвлен на форуме вместе с Катоном, заперся в своем доме и таким образом провел остальное время своего консульства. Помпей, женившись на Юлии, немедленно покрыл площадь оружиями и содействовал народу к утверждению предлагаемых законов и к назначению Цезарю всей Галлии на пять лет, как внутри, так и вне Альпийских гор, с придачей к оной и Иллирии, вместе с четырьмя легионами. Когда Катон хотел говорить против сего, то Цезарь повел его в темницу, думая, что он призовет на помощь трибунов. Но Катон следовал за ним в безмолвии, и Цезарь видя, что не только сенат, но и народ, из уважении к добродетели Катона, негодовал на это и за ним шел в унынии и молчании, Цезарь сам просил тайно одного из трибунов отнять у него Катона.

Что касается до других сенаторов, немногие из них собрались в сенат; большая же часть удалилась в неудовольствии на происходившее. Консидий, один из старейших сенаторов, сказал: «Сенаторы не собираются потому, что боятся оружий и воинов». – «Что же ты не боишься их и не сидишь дома?» – спросил его Цезарь. Он отвечал: «Старость заставляет меня не бояться ничего; остаток жизни моей так мал, что не стоит великой заботы».

Самым постыдным поступком Цезаря во время консульства его показалось избрание в трибуны Клодия, того самого Клодия, который осквернил его ложе и таинственные всеночные обряды. Он избран был Цезарем для того, чтобы погубить Цицерона. Цезарь не прежде выступил в поход, как по низвержении и изгнании Цицерона из Италии с помощью Клодия.

Таковы были дела Цезаря, предшествовавшие подвигам его в Галлии. Что касается до времени, в которое вел он впоследствии великие брани и предпринимал походы, которыми укротил и покорил Галлию, то здесь он как бы начал новую эпоху жизни и вступил в другое поприще новых предприятий. Он выказал себя воителем и вождем, не уступившим никому из тех, кто когда-либо прославился военачальством и сделались великими. Если сравним с ним Фабиев, Сципионов, Метеллов; полководцев, которые в его время или несколько прежде того прославились, как-то: Суллу, Мария, обоих Лукуллов и самого Помпея, слава которого до небес досягала по причине искусства его в войне, то Цезарь превосходил их всех своими делами. Одного превзошел он по трудности мест, в которых сражался; другого – пространством покоренных областей; третьего – по причине множества силы побежденных им неприятелей; иного – принимая во внимание странность и дикость нравов, которые он укротил; иного – кротостью и милосердием к пленным, или дарами и щедростью к своим соратникам, а всех – числом данных сражений и умерщвленных врагов. Менее чем в десять лет, в которые воевал в

Галлии, он взял более восьмисот городов, покорил триста народов, сразился с тремя миллионами людей в разные времена, один миллион положил на месте и столько же взял в плен живых.

Усердие и приверженность к нему войска были таковы, что самые обыкновенные и ничем не отличившиеся под предводительством других полководцев воины были непобедимы и стремились на все опасности, когда дело шло о славе Цезаря. Таков был Ацилий. В морском сражении при Массилии* он взошел на неприятельский корабль, и когда отрублена была у него правая рука мечом, то он, держа свой щит левой и ударяя им в лица неприятелей, разогнал их и овладел судном.

Таков был и Кассий Сцева. В сражении при Диррахии он потерял один глаз от стрелы, плечо его было прободено дротиком, бедро также, щитом своим встречал он удары ста тридцати стрел и звал к себе неприятелей, как бы хотел им сдаться; их пришло двое, он одному отрубил плечо мечом, другого поразил в лицо и поверг на землю, а сам убежал, меж тем как свои пришли к нему на помощь.

В Британии неприятели устремились на предводителей римских, которые попали в болотистое и водой покрытое место. Один из воинов Цезаря, который сам смотрел на происходившее там сражение, ворвался в средину неприятелей, оказал великие и чудные дела храбрости и спас предводителей, обратив неприятелей в бегство. Сам он, идучи позади всех с великим трудом через болото, попал в тинистые протоки, то плыл, то полз, наконец, едва спасся, но без щита. Цезарь, удивляясь его отважности, встретил его с радостью и восклицаниями, а он с печальным лицом и в слезах бросился к ногам Цезаря и просил прощения за то, что потерял щит.

В Ливии воины Сципиона завладели кораблем Цезаря; в нем находился Граний Петрон, который был назначен квестором. Все, находившиеся на корабле, взяты были в плен, но квестору объявлена была свобода. Петрон сказал, что воины Цезаря привыкли давать, а не получать жизнь, обнажил меч и умертвил себя.

Подобное честолюбие и отважность сам Цезарь посеял и возродил в них, ибо он награждал щедро и тем доказывал, что собирает войной и хранит богатство не для роскоши своей и неги, но для награждения великих дел. Он почитал себя богатым потому, что мог награждать достойнейших воинов. Он добровольно подвергался всем опасностям и не отказывался ни от какого труда. То, что он вдавался во все опасности, тому никто не удивлялся, ибо всем известно было его честолюбие, но всех изумляло его терпение в перенесении трудов, которые превышали телесные его силы. Он был сложением худ, телом бел и нежен, страдал головной болью и подвержен был падучей болезни, припадки которой, как говорят, приключились ему в первый раз в Кордубе*. Эта слабость тела его не служила ему поводом к неге, но, напротив того, военная служба была для него, как бы лекарством от болезни. Беспрестанными походами, умеренной жизнью, беспрерывным пребыванием на открытом воздухе боролся он с болезнью и укреплял таким образом тело свое против недугов. Большей частью спал он в носилках или в колеснице, употребляя для дела свой сон. Днем ездил он по городам, крепостям и укреплениям; подле него сидел служитель, который мог писать во время езды; за ним стоял один воин, вооруженный мечом. Он ездил с такою скоростью, что по выступлении из Рима, в восьмой день прибыл на берега Родана (Роны). Верховая езда была для него с малолетства легка. Он мог скакать во всю прыть, сложив руки крестом на спине. В этом походе приобрел он еще тот навык, что едучи верхом, диктовал письма и в одно время мог занимать двух писцов, а по свидетельству Оппия и более. Говорят также, что способ разговаривать с приятелями через письма изобретен Цезарем*, ибо время не позволяло ему с каждым лично переговаривать о нужных делах по причине множества занятий своих и величине города.

Простота его в кушанье доказывается следующим случаем. Некогда в Медиолане угощал его Валерий Леон, его знакомый. К столу подана была спаржа, в которую налили вместо чистого масла душистое. Цезарь ел спаржу спокойно, но заметя, что спутники его показывали неудовольствие, он выговорил им за то следующими словами: «Можно не употреблять того, что не нравится, но кто обнаруживает неудовольствие на сию грубость, тот сам показывает, что он груб и необразован». Некогда на пути дурная погода заставила его искать убежища в хижине

бедного человека. Он нашел не более одной комнаты, в которой только один человек мог поместиться. Цезарь сказал приятелям своим, что почтеннейшее место должно уступить отличнейшим, а покойнейшее слабейшим; потом велел Оппию отдохнуть в комнате, а сам с другими лег под навесом у дверей.

Первую Галльскую войну вел он с гельветами* и тигуринами, которые сожгли двенадцать городов и четыреста селений своих, и пошли вперед через римскую Галлию, по примеру древних кимвров и тевтонов. Смелостью своей не уступали они этим народам, а числом были им равны. Всех их было до трехсот тысяч, из которых сто девяносто тысяч были люди, способные к войне. Тигурины были разбиты на реке Арар*, не Цезарем самим, но посланным от него против них Лабиеном. Что касается до гельветов, то они на дороге напали неожиданно на Цезаря, который вел свое войско к одному союзному городу. Он успел убежать на крепкое местоположение, где собрал и построил свое войско. Подведен был ему конь, чтобы сесть; он сказал: «Я на него сяду, когда дело дойдет до победы, дабы преследовать неприятеля; теперь пойдем на него пешком». Он устремился пеший и вступил в сражение с неприятелем. Он разбил его после продолжительных и великих усилий. Самая большая трудность предстояла ему у обоза и вала неприятельского. Не только одни ратники упорно против него стояли, но жены их и дети защищались вместе с ними до смерти и были изрублены в куски, так что сеча едва прекратилась в полночь. Славную победу эту увенчал он прекраснейшим делом. Он принудил уцелевших от поражения варваров поселиться вместе и вновь занять оставленную ими область и разоренные города. Их было сто тысяч. Побуждением к тому был страх, что германцы перейдут реку и займут область, оставленную гельветами.

Вторую войну вел он с германцами уже за галлов, хотя незадолго перед тем в Риме заключил союз с германским царем Ариовистом*, но германцы были соседи, весьма беспокойные для подвластных ему народов. Не было сомнения, что найдя удобное время, они не остались бы спокойно в настоящем положении, но распространились бы далее и заняли бы Галлию. Цезарь заметил, что страшились этой войны военачальники его, особенно же те из знатных молодых римлян, которые прибыли к нему в той надежде, что под предводительством его будут иметь случай только обогащаться и жить роскошно. Он собрал войско и велел им удалиться и не подвергаться опасностям против желания своего, когда они столь робки и слабы духом. «Я возьму, – сказал он, – один десятый легион и с ним пойду на варваров. Я думаю, что неприятели, с которыми сразиться нам должно, не храбрее кимвров, что и я сам полководец не хуже Мария». После этого десятый легион послал к нему избранных чиновников и благодарил его за такой о нем отзыв; другие же легионы укоряли в робости своих начальников. Воины, исполненные бодрости, все последовали за ним в поход, продолжавшийся многие дни, и остановились на расстоянии двухсот стадиев от неприятеля. Уже самое действие Цезаря немало унизило бодрость Ариовиста. Не ожидая, чтобы Цезарь напал на германцев, наступления которых, по его мнению, римляне и выдержать не могли, он удивлялся смелости Цезаря и в то же время видел войско свое в замешательстве. Еще более унизили дух германцев гадания священных жен, которые, наблюдая водовороты, круговращения рек и шум потоков, предсказывают будущее. Они не позволяли Ариовисту вступить в бой прежде, нежели не воссияет новая луна. Цезарю было все сие известно; видя, что германцы стоят спокойно и ничего не предпринимают, решился лучше напасть на них тогда, когда они не имели охоты сражаться, нежели дожидаться наступления времени, которое по их мнению было для них благоприятно. Он приступал к укреплениям и холмам, занимаемым неприятелем, и так раздразнил германцев, что те в ярости своей вышли из стана и вступили в битву. Одержав над ними блистательную победу, он преследовал их до Рейна, на расстоянии в четырехста стадиев. Все это пространство было покрыто трупами и оружием. Ариовист успел переплыть Рейн с немногими воинами. Число убитых простиралось, как говорят, до восьмидесяти тысяч человек.

После этих подвигов оставил он на зиму войско свое у секванов*, а между тем, желая обратить внимание на то, что происходило в Риме, поехал в Галлию, лежащую при Паде и составлявшую часть вверенной управлению его провинции. Река Рубикон отделяет Италию от Галлии, лежащей пред Альпами. Во время своего здесь пребывания старался он об умножении своего влияния в народе. Многие римляне приехали к нему и каждый получал то, чего от него требовал. Все отправлялись от него, либо много уже получивши, либо надеясь получить.

Помпей нимало не приметил, что Цезарь в течение своего военачальства по очереди то оружием граждан покорял неприятелей, то отнятыми у неприятелей деньгами порабощал своих сограждан.

Получив известие, что белги, сильнейший из галльских народов, занимавшие третью часть Галлии, возмутились и собрали многочисленное войско*, Цезарь возвратился назад и пошел на них с великой поспешностью. Он напал на неприятелей в то время, когда они разоряли римских союзников, разбил совершенно многочисленную и соединенную их силу, которая сделала весьма малое сопротивление, и убил их столь великое множество, что римляне могли проходить озера и глубокие реки, ступая по телам их. Те из белгов, которые возмутились против него и которые жили на берегах Океана, покорились ему, не сражавшись с ним. Цезарь пошел потом на нервиев*, самый дикий и храбрый народ этой страны, поселенный в дремучих лесах. Они оставили семейства свои и имущества в чаще леса, как можно далее от неприятелей, а сами в числе шестидесяти тысяч человек напали неожиданно на Цезаря в то время, как он окопался валом, нимало не ожидая сражения. Они разбили конницу, обступили двенадцатый и седьмой легионы и изрубили всех начальников их. Когда бы Цезарь, схватив щит свой и разделив ряды сражавшихся перед ним, не устремился на варваров, и когда бы при такой его опасности десятый легион не спустился с высот и не расстроил рядов неприятельских, то ни один человек не остался бы в живых. Но теперь римляне, одушевленные смелостью Цезаря, сражались с мужеством, превышающим их силы; совсем они не смогли обратить в бегство нервиев, которые защищаясь, были изрублены римлянами. Говорят, что из шестидесяти тысяч спаслось только пятьсот человек, а из четырехсот сенаторов осталось в живых трое*.

По получении в Риме известия об одержанной победе, определено было сенатом приносить жертвы богами и праздновать пятнадцать дней сряду, чего никогда после какой-либо победы не бывало. Опасность показалась великой, ибо несколько народов в одно время восстали на римлян. Благорасположение народа к Цезарю соделало сию победу еще блистательнее, ибо одержавший ее был Цезарь.

Между тем Цезарь, устроивши дела в Галлии, опять проводил зиму на берегах Пада, для приведения в действо своих замыслов на республику. Не только те, кто искал начальства, пользуясь его щедротами и деньгами, подкупали народ, получали места и делали все то, что могло впредь возвысить его силу, но большая часть знаменитейших и сильнейших граждан, в том числе Помпей, Красс, претор Сардинии Аппий, проконсул Иберии Непот, съехалась в Лукку для свидания с ним, так что собралось там сто двадцать ликторов; сенаторов было у него более двухсот. Все они разъехались, посоветовавшись между собою и уговорившись, чтобы Помпей и Красс получили консульство; чтобы Цезарю даны были деньги и предводительство еще на пять лет*. Всем здравомыслящим людям показалось сие обстоятельство всего страннее; те самые, которые от Цезаря столько получили денег, настояли, или лучше сказать принудили, воздыхающий сенат назначить деньги Цезарю, как неимеющему. Катона тогда не было в Риме; его нарочно выпроводили на Кипр. Фавоний, подражатель Катона, противился этим предложениям, но так как слова его не имели никакого действия, то он выбежал наконец из сената и кричал народу; никто не обращал на него внимания; все пребывали в спокойствии; одни уважая Помпея и Красса, другие – и это большая часть – угождая Цезарю и питая себя надеждами на него.

Цезарь возвратился опять к галльскому войску. Он нашел Галлию объятую пламенем войны: два германских многочисленных народа* перешли Рейн незадолго до того, желая приобрести область для поселения своего. То были узипеты и тенктеры. Цезарь, в «Записках» своих описывая войну, которую вел с этими народами, говорит, что они послали к нему посланников и между тем, во время перемирия, напали на него на дороге, разбили его отряд, состоявший из пяти тысяч конницы и не ожидавший нападения восьмитысячного неприятеля. Варвары после того послали еще посланников, с намерением опять обмануть его, но он, удержав посланных, пошел на неприятеля, почитая безрассудством сохранять верность этим вероломным и клятвопреступным народам. Танузий* говорит, что когда сенат определил жертвы и торжество за эту победу, то Катон подал мнение выдать Цезаря варварам, дабы проклятие за вероломный поступок пало на виновника его и отвращено было от республики. Из народов, перешедших Рейн, изрублено было до четырехсот тысяч; только немногие из них

переправились вновь через Рейн и были приняты сугамбрами*, народом германским.

Цезарь, пользуясь этим предлогом и при этом горя славолюбием и желанием перейти Рейн с войском, навел мост через реку в таком месте, где она была весьма широка по причине разлития вод. Течение реки было быстро и сильно; носимые сверху бревна ударяли по сваям, на которых держался мост, и потрясали их. Цезарь утвержденными в реке большими выдававшимися вперед бревнами успокоил быстроту течения и произвел почти невероятное дело: он закончил мост в десять дней. Он перешел на противоположный берег; никто не смел выступить против него. Свевы, народ первенствующий среди германцев, убрались со всем своим имуществом в глубокие и лесистые долины. Цезарь опустошал огнем их область, одушевил бодростью тех, кто всегда были привержен к римлянам и возвратился опять в Галлию, пробывши в Германии не более восемнадцати дней.

Поход Цезаря против британцев славен по причине смелости, с которой он предпринял его. Он первый вступил с флотом в Западный океан и переплыл Атлантическое море, войском предводительствуя для завоеваний. Желая завладеть островом, в существование которого не верили по причине его величины, и который подавал многим писателям причину спорить между собою и утверждать, что он вовсе не существовал и что и имя, и бытие его выдуманы. Цезарь, так сказать, распространил римскую державу за пределы вселенной. Два раза переправлялся он туда с противоположной стороны Галлии* и во многих сражениях причинил более вреда неприятелю, нежели пользы своим, ибо у людей бедных и во всем нуждающихся ничего не было такого, что стоило труда взять. Этим не положил войне конца такого, какого желал, но взял заложников от тамошнего царя*, наложил подати и удалился от острова.

В Галлии получил он письма, которые хотели приятели его отправить к нему в Британию. Друзья его из Рима извещали его о смерти дочери его, Помпеевой супруги, которая умерла в родах. Горе, как Цезаря, так и Помпея, о кончине ее было чрезвычайным. Друзья одного и другого приведены были от того в смятение, ибо смертью Юлии прервано родство, которое содержало мир и согласие в колеблющейся уже республике. Рожденное ею дитя пережило мать свою только немногими днями. Народ римский, против воли трибунов, поднял тело Юлии и принес его на Марсово поле, где оно и было погребено.

Цезарь, имея многочисленные силы, должен был по необходимости разделять их на части для зимовки*, между тем как сам по обыкновению обратился к Италии. В отсутствие его Галлия вновь возмутилась, большие войска восставали со всех сторон, отрезали римлян в зимних жилищах их и нападали на их укрепления. Храбрейшие и многочисленные из возмутившихся во главе с Амбиоригом народом изрубили Котту и Титурия* со всем их войском; с шестьюдесятьютысячной армией окружили легион, состоявший под начальством Цицерона*; осаждали его и едва не завладели совершенно станом, ибо все воины были изранены; они защищались с великим упорством, превышающим силы их.

Когда об этом возвещено было Цезарю, который был далеко от тех мест, то он быстро возвратился, собрал всего семь тысяч человек и с ними спешил освободить Цицерона от осады. Это движение не укрылось от осаждавших его; они пошли навстречу Цезарю, расчитывая схватить все войско, так как презирали его малочисленность. Цезарь, обманывая их, всегда перед ними отступал; и наконец заняв место весьма выгодное и способное с малыми силами вступить в сражение с большим числом, он окопался. Он удерживал воинов своих от битвы и заставлял их поднимать валы и строить ворота, как бы он всего боялся, желая тем внушить в неприятелях еще большее к себе презрение. Наконец, когда они в надменной дерзости рассеянно на него напали, то Цезарь вышел из своих укреплений, разбил их и многих положил на месте.

Этот успех удержал от возмущения тамошних галлов. Между тем Цезарь объезжал среди зимы все области и обращал внимание на все новые их движения. Вместо потерянных им войск получил он из Италии три легиона. Два были посланы к нему от Помпея, из числа бывших под начальством его войск; третий был собран в Галлии, лежащей при Паде.

Между тем начали великую и опасную войну, издавна в мужественнейших народах тайно посеянную и питаемую влиятельнейшими людьми. Они уже получали новую силу великим числом молодых людей, собранными со всех сторон, оружиями, великим богатством воедино скопившимися, укрепленными городами, неприступными местоположениями. В то зимнее

время реки покрылись льдом, леса – снегами, поля наводнились потоками, дороги завалены в одних местах глубоким снегом, в других сделались ненадежными из-за течения потоков; это делало тщетными все усилия Цезаря против возмутившихся. От него отстало несколько племен, главнейшими же были арверны и карнуты*. Начальником всей этой силы был избран Верцингеториг, отца которого умертвили галлы, подозревая его в намерении похитить верховную власть.

Верцингеториг разделил на многие части силу свою, назначил многочисленных начальников и покорял себе все окрестные области до стран, прилежащих к реке Арар. Намерение его было возбудить к войне против Цезаря всю Галлию, между тем как в Риме многие против него восставали. Когда бы он это сделал несколько позже, при начале междоусобной брани, то Италия была бы подвержена опасностям не меньше тех, кто грозил ей во время нашествия кимвров.

Но Цезарь, который умел лучшим образом пользоваться всем тем, что относится к войне, особенно же временем, едва получил известие о возмущении этих племен, как возвратился к ним той же дорогой, какой прежде прошел, дабы быстротой и стремлением похода среди жестокой зимы доказать варварам, что на них наступает войско сильное и непобедимое. Там, где не было вероятно, чтобы какой-либо вестник или гонец с письмами мог скоро от него приехать, Цезарь явился со всею силою, разорял область, разрушал крепости, покорял города, приводил в повиновение отпавших. Против него объявили себя эдуи*, называвшиеся прежде братьями римлян и пользовавшиеся от них отличным уважением, но тогда они пристали к стороне мятежников, чем ввергли войско Цезаря в великое уныние. Двинувшись оттуда, прошел он землю лингонов*, дабы вступить в землю секванов, народа дружественного, который прикрывал Италию от нашествия других галлов. Здесь напали на него неприятели и обступили его многочисленными силами. Он решился вступить с ними в сражение и после многих и долгих усилий и великого кровопролития одержал над ними совершенную победу. При самом начале сражения был он в крайней опасности. Арверны показывают висячий в некотором храме меч, который почитают добычей, отнятой у Цезаря. Впоследствии Цезарь увидел этот меч и улыбнулся; приятели хотели его снять, но он их не допустил, почитая оный приношением, посвященным храму.

Большая часть неприятелей, убежавших тогда с царем своим, соединились в городе Алезии*. Между тем как Цезарь осаждал этот город, который казался неприступным по вышине стен и по множеству защищавших его войск, извне грозила ему опасность выше всякого описания. Храбрейшие воины из всех галльских народов, собравшись с оружиями в числе трехсот тысяч, шли к Алезии. В самом городе было не менее ста семидесяти тысяч воинов. Цезарь, оставаясь среди таких войск, осаждаемый ими, был принужден воздвигнуть к защите своей две стены, одну против города, другую против наступавших извне неприятелей; он знал, что когда бы эти две силы соединились, то погибель его была бы неминуема. По этой причине справедливо прославлены деяния его при Алезии, сопряженные с великой опасностью; в них обнаружил он более смелости и искусства, нежели во всех других войнах. Всего удивительнее покажется то, что ни находившиеся в городе неприятели, ни римляне, стерегшие стену, воздвигнутую против города, не знали, что Цезарь вступил в сражение с многочисленными внешними неприятелями и что разбил их. Они не прежде получили известие о победе, как услышали плач и вопли бывших в Алезии мужчин и женщин, которые увидели по обеим сторонам города множество щитов, украшенных серебром и золотом, окровавленные брони, сосуды и шатры галльские, несомые римлянами в стан их. Таким образом вся сия многочисленная сила, подобно сновидению или призраку, в один миг рассеялась и исчезла; большая часть ее пала на месте. Занимавшие Алезию, претерпевши много зла и наведши неприятелю великий вред, наконец сдались ему. Верховный вождь их Верцингеториг, взяв прекраснейшие оружия и украсив ими великолепно своего коня, выступил из города. Он объехал кругом сидящего на возвышении Цезаря, потом сошел с коня, бросил с себя свои доспехи, сел у ног Цезаря и пребыл в покое, пока был предан стражам для хранения до будущего триумфа*.

Цезарь давно имел намерение низложить Помпея; Помпей был тех же мыслей касательно Цезаря. С тех пор как погиб в Парфии Красс, который наблюдал за обоими, оставалось одному,

дабы сделаться величайшим, низвергнуть другого, имевшего власть в руках своих; другому, дабы сему не подвергнуться, предупредить ударом того, кого он боялся. Помпей незадолго перед тем начал бояться Цезаря; до того времени он пренебрегал им, думая, что ему нетрудно будет низложить того, кого он сам возвысил. Но Цезарь, который с самого начала помышлял о том, устранился подобно подвижнику от противников своих и, упражняясь в галльских битвах, укреплял военными трудами силу свою, возвысил деяниями славу и победами сравнился с Помпеем. К совершению своих замыслов подавали ему повод как сам Помпей, так и обстоятельства, и дурное управление в Риме. Искавшие начальства, поставив на площади столы с деньгами, бесстыдно подкупали граждан; народ, получая жалованье, собирался на площади и спорил в пользу того, от кого оное получал, не подачей голосов, но стрелами, мечами и пращами. Осквернив много раз трибуну кровью и убийствами, граждане расходились, оставляя республику в безначалии, как корабль, несомый волнами без кормчего. В таком волнении и безумии здравомыслящие люди почитали счастьем, когда бы с республикой ничего хуже не случилось, как только то, чтобы правление превратилось в единовластное. Много было таких, которые явно уже смели говорить, что ничто не могло исцелить язвы республики, как единовластие, и что надлежало принять это лекарство, приносимое самым кротким из врачей; они разумели под этим именем Помпея. Этот полководец, на словах притворяясь, что отказывался от этой части, но в самом деле употреблял тайно все средства, чтобы быть избранным диктатором. Катон и его единомышленники, согласившись между собою, склонили сенат избрать его одного консулом, дабы он, довольствуясь этим законным единоначалием, не домогался диктаторства. Сенат определил, чтобы он управлял провинциями на известное время. Ему даны были две провинции: Иберия и вся Ливия, которыми управлял посредством своих легатов и содержал в них войско, получая ежегодно от казны по тысяче талантов.

Между тем Цезарь послал своих приятелей в Рим и просил себе консульства и провинций, подобно Помпею. Помпей сперва молчал, но Марцелл и Лентул противились требованию Цезаря, которого они ненавидели, и к нужным речам прибавили они ненужные, служившие единственно к бесчестию и поруганию его. Они лишили права гражданства обитателей Нового Кома*, которых Цезарь незадолго перед тем поселил в Галлии. И Марцелл, бывший тогда консулом*, бил палками одного из сенаторов их, приехавших в Рим в качестве депутата, приговаривая при этом, что он придает ему эти знаки отличия в доказательство того, что он не римлянин, и велел ему, возвратившись, показать их Цезарю. По окончании Марцеллова консульства Цезарь давал важнейшим чиновникам черпать в изобилии собранное им в Галлии богатство. Он заплатил важные долги за трибуна Куриона*; консулу Павлу дал тысячу пятьсот талантов, которыми он построил на площади и посвятил богам славную базилику, которая воздвигнута на место прежней Фульвии. Помпей, устрашенный этим заговором, уже явно старался как сам, так и через друзей своих, чтобы был назначен преемник Цезарю в начальстве*. Он потребовал от него обратно воинов, которых отрядил к нему в помощь против галлов. Цезарь отослал их, подарив каждому воину по двести пятидесяти драхм.

Приведшие воинов этих к Помпею распространяли в народе неблагоприятные и неполезные слухи касательно Цезаря и самого Помпея испортили пустыми надеждами, уверяя, что войско привержено к нему, что Цезарь едва держится в Риме по причине зависти и развращенного правления, а в Галлии все войско готово при первом вступлении в Италию перейти к Помпею; столько-то Цезарь сделался им неприятным частыми походами и подозрительным из страха в искании верховной власти. Эти речи исполнили Помпея надменности; он нимало не заботился о собрании войска, как бы ничего не боялся; он думал, что довольно будет противиться намерениям Цезаря словами и мнениями, о которых Цезарь ни мало не заботился.

Говорят, что один из чиновников, посланных от Цезаря в Рим, стоял перед сенаторами во время заседания и, узнав наконец, что сенат не соглашается дать Цезарю управление на определенное время, ударив рукою по рукоятке меча своего, сказал: «Так вот кто даст!»

Впрочем, требования Цезаря основывались на благовидных предлогах. Он изъявил желание положить оружие, но требовал, чтобы и Помпей учинил то же самое, и чтобы они оба, сделавшись частными лицами, просили у сограждан своих какой-нибудь награды за свои услуги; он представлял притом, что те, кто хотел отнять власть у него, утверждали ее Помпею;

низвергая одного, делали тиранном другого. Курион, говоря о том народу именем Цезаря, заставлял его рукоплескать в знак одобрения. Некоторые бросали на него венки и цветы, как на победителя. Антоний, будучи трибуном, принес к народу письмо Цезаря касательно этих обстоятельств и прочел его против воли консулов. Но в сенате Сципион, тесть Помпея, предложил объявить Цезаря врагом отечества, если тот к назначенному сроку не положит оружия. Консулы вопрошали сенаторов сперва, хотят ли они, чтобы Помпей распустил войско; а потом, хотят ли того, чтобы Цезарь сделал тоже самое. На первый вопрос изъявили одобрение весьма немногие; на второй, кроме немногих, все. Когда Антоний опять предложил, чтобы оба сложили начальство, то все без исключения пристали к сему мнению, но Сципион и консул Лентул кричали, что не подачу голосов, но оружие должно употреблять против разбойника. Сенаторы после этого разъехались и надели траурную одежду для изъявления своего сетования о таковом раздоре.

Между тем от Цезаря получены вновь письма с умереннейшими предложениями. Он отказывался от других притязаний и просил, чтобы дана была ему Галлия по эту сторону Альпов и Иллирия с двумя легионами до получения в другой раз консульства. Оратор Цицерон, возвратившийся уже из Киликии и старавшийся о примирении обеих сторон, смягчил Помпея, который согласился отнять у Цезаря воинов. Цицерон убеждал друзей Цезаря, чтобы они согласились на принятие означенных провинций и шести тысяч воинов. Помпей соглашался и уступал, но Лентул, который был тогда консулом, сему противился; он ругал Антония и Куриона, прогнал их из сената с бесчестием и тем подал Цезарю благовиднейший предлог к раздражению своих воинов. Он показал им этих знаменитых чиновников, убежавших на наемных лошадях и в невольническом платье, ибо они переодевшись таким образом от страха, тайно выехали из Рима.

Цезарь имел при себе не более трехсот человек конницы и пяти тысяч тяжелой пехоты. Другую часть войска его, оставленную за Альпами, должны были привести к нему посланные от него чиновники. Но рассуждал, что в настоящее время для начала предприятия своего, при первом нападении, не столько имел нужды в великом множестве воинов, сколько надлежало изумить противников своей смелостью и быстротой, ибо казалось ему, легче было поразить их изумлением, когда они не верили, чтобы он мог отважиться на что-либо, нежели преодолеть их, сделав на них нападение с великими приготовлениями. Он велел военачальникам занять Аримин, галльский большой город, не имея при себе других оружий, кроме мечей, избегая, насколько можно, кровопролития и шума. Он вручил всю силу Гортензию, а сам провел тот день в присутствии всех и смотрел на упражнявшихся гладиаторов. До наступления вечера он принял обыкновенное попечение о своем теле, вошел в свои комнаты, пробыл несколько времени с теми, кто был приглашен к ужину, и когда уже смерклось, встал, приветствовал друзей своих и велел себя дожидаться, обещаясь возвратиться в скором времени. Некоторым из них сказано было наперед, чтобы они следовали за ним не одной дорогой, но разными; сам сел на наемную телегу и сперва поехал не той дорогой, которой ехать ему следовало, потом поворотил к Аримину. Когда прибыл он на берег Рубикона, реки, отделяющей Цизальпинскую Галлию от прочей Италии; когда представилось уму его, что уже приближается к опасному делу, то колеблемый великостью отважного предприятия, он остановился и, пребывая в одном положении, долго рассуждал сам с собою, склонялся то к одной мысли, то к другой. Несколько раз переменял намерение; много говорил о своем предприятии с друзьями своими, в числе которых был и Азиний Поллион, помышляя, началом каких бедствий для человечества будет переход его и какое будет о том суждение потомства. Наконец с некоторой яростью, как бы ввергаясь в будущее без всякого рассудка, произнес слова, обыкновенно употребляемые теми, которые вдаются в дерзкие и трудные предприятия: «Жребий брошен!» Он начал переправляться, шел уже вперед с великой поспешностью, до рассвета ворвался в Аримин и занял его. Говорят, что в ночи, предшествовавшей этой переправе, увидел он ужасный сон: ему показалось, что он совокупился с матерью*.

По занятии Аримина как бы отверзлись уже пространные врата брани на твердой земле и на море, как бы смешением пределов провинций смешивались и законы республики; казалось уже, что бегали в ужасе по Италии не какие-нибудь мужчины и женщины, как в другое время, но что целые города, восставая, проходили одни через другие, что Рим, как бы разными

потоками, наводненный бегущими со всех сторон и переселяющимися в него народами, не был уже в состоянии ни слушаться управляющего, ни быть управляемым рассудком. В такой буре и тревоге едва он сам от себя не был ниспровергнут. Всюду господствовали противоборствующие страсти и неистовое волнение. Не были спокойны и те, кто радовался переменам; сходясь во многих местах обширного города с теми, которые страшились всего и унывали, и гордясь будущими своими выгодами, вступали с ними в спор и ссорились. Сам Помпей, пришедший уже в изумление, был тревожим беспрестанно то одними, то другими; одни требовали у него отчета в том, что возвысил Цезаря против себя и против республики; другие порицали его за то, что отверг снисходительные предложения Цезаря и допустил Лентула ругаться над ним. Фавоний советовал ему топнуть в землю ногой, потому что Помпей некогда в сенате сказал с хвастовством, что не надлежало заботиться о военной силе, ибо куда ни пойдет, если топнет в землю ногой, наполнит войсками всю Италию. Впрочем, и в то время Помпей числом войск превосходил Цезаря, но никто не допускал его действовать свободно по своим мыслям. Разные ложные слухи, страх, вести, что уже неприятель близко, что все ему покоряется, заставили его предаться общему потоку; он обнародовал, что видит во всем беспорядок, и оставил город, приказав, чтобы сенат за ним следовал и чтобы не оставался в городе никто из тех, кто предпочитает отечество и свободу самовластью.

Консулы бежали из города, не принеся даже установленных перед дорогой жертв. Равным образом убежала и большая часть сенаторов; они брали с собою то, что могли из всего имнения, хватая оное, как чужое. Были люди, прежде приверженные к стороне Цезаря, которые тогда от ужаса были вне себя и без нужды были увлечены стремлением потока. Самое жалостное зрелище представлял Рим при наступлении такой бури, подобно кораблю, преданному отчаянными кормчими на произвол судьбы. Сколь ни было горестно оставить родину, однако римляне тогда из любви к Помпею отечеством почитали место изгнания своего, а Рим оставляли, как стан Цезаря. В этих обстоятельствах Лабиен, лучший друг Цезаря и легат его, усердно содействовавший ему во всех галльских бранях, убежал от него и пришел к Помпею. Цезарь послал к нему обоз его и деньги.

Домиций, предводительствуя тридцатью когортами, занимал Корфиний*. Цезарь расположился близ него станом. Домиций, почитая свои дела совершенно расстроенными, велел врачу, который был его рабом, подать яд и выпил то, что ему было дано, как человек, решившийся умереть. Вскоре после того узнал он, что Цезарь обходится весьма человеколюбиво с теми, кто попадался ему в плен. Это заставило его оплакивать самого себя и порицать за поспешность, с которой решился предать себя смерти. Врач успокоил его, уверив, что он дал ему не смертоносное, но усыпительное питье. Домиций был чрезвычайно этим обрадован, встал и пошел к Цезарю, который простил его; несмотря на то, он опять убежал к Помпею. Эти известия, полученные в Риме, успокоили граждан, так что многие из убежавших вернулись назад.

Цезарь присоединил к своему войску отряд Домиция и всех тех воинов, которые были собираемы в городах именем Помпея и которых успел он захватить. Умноживши таким образом свои силы и сделавшись страшным, шел уже на самого Помпея, но этот полководец не принял сражения. Он удалился в Брундизий, а консулов послал с силою в Диррахий, куда и сам скоро переправился при наступлении Цезаря, как в жизнеописании Помпея сказано будет подробнее. Цезарь хотел немедленно его преследовать, но не было у него судов. Он возвратился в Рим, сделавшись в шестьдесят дней без всякого кровопролития властителем всей Италии. Город был спокойнее, нежели как он ожидал; он нашел в нем и довольное число сенаторов, говорил с ними весьма кротко и снисходительно и просил их послать к Помпею посланников с пристойными условиями. Однако никто не послушался, или потому, что все боялись Помпея, ими оставленного, или думая, что Цезарь иначе думает, а только говорит так для виду.

Когда трибун Метелл не позволял ему брать денег из сокровищницы, приводя некоторые на то законы, то Цезарь отвечал, что война и законы не могут существовать вместе. «Если же тебе неприятно это видеть, – продолжал он, – то можешь отсюда удалиться; война не терпит свободы. Когда положу оружие и заключу мир, тогда возвратись и говори речи народу. Говоря это, – примолвил он, – я послабляю свои права, ибо ты мой, мои все те, кто против меня

восставали и которые теперь во власти моей». Сказав это Метеллу, пошел он к дверям сокровищницы, но так как не приносили ключей, то он послал за кузнецами и велел выломать двери. Метелл опять ему противился; некоторые за то его хвалили, и Цезарь с гневом грозил ему смертью, если не перестанет его беспокоить. «Разве ты не знаешь, молодой человек! Что для меня это труднее сказать, нежели сделать?» Эти слова заставили Метелла оробеть и удалиться; и все приготовления к войне были уже сделаны скоро и беспрепятственно.

Он поехал в Иберию, вознамерившись прежде выгнать оттуда Варрона и Афрания, Помпеевых легатов, покорить провинции, присоединить тамошние войска к своим и потом обратиться к Помпею, не имея уже позади себя ни одного неприятеля. Он подвергался многим опасностям, как сам в засадах, так и всем войском, которое терпело голод; однако неустанно преследовал неприятеля, вызывая его к сражению, и обводил рвами, пока не овладел неприятельским войском и станом. Предводители бежали к Помпею.

Когда он возвратился в Рим, тесть его Пизон советовал ему отправить к Помпею посланников с мирными предложениями, но Сервилий Исаврийский, угождая Цезарю, противоречил Пизону. Цезарь был избран сенатом в диктаторы, позволил возвратиться в Рим изгнанникам и сынам тех, кто при Сулле был несчастен; он возвратил им прежние права их, облегчил участь должников уменьшением лихвы, сделал некоторые другие распоряжения, но немногие. По прошествии одиннадцати дней сложил с себя диктаторство, сделал себя консулом вместе с Сервилием Исаврийским и продолжал военные действия.

Спеша в путь, он оставил большую часть войск позади себя и, взяв только шестьсот человек конницы и пять легионов, посадил их на суда*. Это было после зимнего поворота солнца в начале января, который соответствует афинскому месяцу посидеону. Переехав Ионнийское море, Цезарь занял Орик и Аполлонию*, а суда отправил назад для перевозки отставшего позади войска. Пока воины эти были на дороге, как люди, силы которых истощены были летами, утружденные частыми походами, жаловались на Цезаря, говоря между собою: «Куда этот человек приведет нас? Он влечет за собою туда и сюда и употребляет нас, как существа бездушные и не чувствующие трудов. Железо утомилось от ударов, а щит и броню надлежало бы уже щадить после столь долгого времени. Ужели по ранам нашим Цезарь не видит, что предводительствует смертными, что мы рождены чувствовать и страдать, как смертные? Сами боги не могут преодолеть зимнего времени и бурей на море; однако Цезарь ввергает нас в море, как будто бы он бежал от неприятелей, а не преследовал их». Говоря это, они продолжали путь свой медленно к Брундизию. Но по прибытии в этот город, не найдя Цезаря, который оттуда прежде отправился, они вскоре переменили мысли и порицали себя, называя предателями своего императора; порицали своих начальников за то, что не заставляли их идти поспешнее. Они сидели на высотах и смотрели на море и на Эпир, ожидая судов, на которых надлежало им переправиться к нему.

Между тем Цезарь, находясь в Аполлонии, чувствовал, что силы его, бывшие при нем, не были достаточны, чтобы сразиться с Помпеем, а как другие медлили к нему перейти, то будучи в недоумении и беспокойстве, решился на отчаянное предприятие: тайно от всех сесть на двенадцативесельное судно и переправиться в Брундизий в такое время, когда море было занимаемо неприятельскими флотами. Ночью, надев невольническое платье, взошел он на судно и сидел спокойно, как последний в нем человек. Река Аой* несла к морю судно; утренний ветер, который гнал далеко волны и при устье реки производил тишину, подувшим ночью с открытого моря сильным ветром вовсе был укрощен. Река, надувшись уже от морского прилива и противясь своим течением валам, сильно волновалась, отражалась и кругообращалась так, что кормчему при всех усилиях своих нельзя было идти далее. Он велел гребцам поворотить судно и переменить направление. Тогда Цезарь открыл себя, взял за руку кормчего, изумленного этим явлением, и сказал ему: «Дерзай, неустрашимый человек, ничего не бойся. Ты везешь Цезаря и счастье его, тебе сопутствующее». Пловцы, забыв бурю, принялись с великим усердием за весла и всеми силами гребли вперед. Но так как было невозможно идти далее, то Цезарь против воли своей позволил кормчему поворотить назад после того, как в судно поступило много воды, и при самом устье были подвержены великой опасности. Когда он возвращался в стан, то воины толпами его встречали, горько жаловались на него за то, что не надеялся и с ними одними победить, но беспокоился и подвергал себя опасности, дабы привести отсутствующих,

как бы не доверяя тем, которые были при нем.

Между тем Антоний прибыл к нему из Брундизия с войском. Цезарь, этим ободренный, вызывал к сражению Помпея, который стоял на выгодном месте и в изобилии получал с твердой земли и с моря все потребное, между тем как Цезарь с самого начала терпел недостаток, час от часу более удручавший его войско. Воины его питались какими-то кореньями, который ели с молоком. Иногда они сделали из этих кореньев хлебы и, устремившись к передовым стражам противников своих, бросали им оные, говоря при том, что пока земля будет производить эти коренья, до тех пор не перестанут осаждать Помпея*. Этот полководец не допустил, чтобы брошенные хлебы и сказанные ими слова дошли до войска, которое было в унынии и страшилось дикости и равнодушия ко всему противников своих, которые походили на свирепых зверей.

Между тем вокруг Помпеева стана происходили частые стычки. Цезарь во всех одержал верх, но в одном из них войско его было разбито, и он был в опасности потерять стан. Помпей напал на него, никто не выдержал его наступления; рвы уже были наполнены мертвыми, воины падали на валах и укреплениях своих, предавшись поспешному бегству. Цезарь выступил навстречу, силился остановить и построить бегущих, но все было бесполезно. Он хватался за знамена, но знаменосцы бросали их. Неприятели взяли тридцать два знамени. Жизнь Цезаря была в великой опасности: он наложил руку на одного высокого и сильного воина, который бежал с другими подле него, велел ему остановиться и обратиться к неприятелю. Воин тот в страхе и смятении поднял меч, чтобы его поразить, но щитоносец Цезаря успел отрубить ему руку.

Цезарь был в таком отчаянии, что когда Помпей по излишней ли осторожности, или по поле судьбы, положил конец столь великому делу и отступил, заключив противников в их укреплениях, то Цезарь, возвращаясь, сказал друзьям своим: «Сегодня победа была бы на стороне неприятелей, когда бы они имели человека, умеющего побеждать». Удалившись в ту ночь в шатер свой, лег он на постель и провел ночь самую беспокойную и в неприятнейших помышлениях*. Он обвинял себя в том, что предводительствовал неблагоразумно, ибо хотя перед ним была пространная область и богатые города македонские и фессалийские, он не перенес туда войны, но стоял на берегу моря, когда неприятели им обладали, и терпя во всем недостаток, более был сам осаждаем, ежели осаждал неприятеля оружием. Встревоженный и огорченный предстоявшими бедствиями, поднялся он с войском и решился идти в Македонию на Сципиона, надеясь либо привлечь туда Помпея, который должен был сражаться с ним, не получая со стороны моря припасов с равным изобилием, либо одержать верх над Сципионом, который был отделен от другого войска.

Это движение Цезаря внушило гордость войску Помпея и всем военачальникам, которые думали уже, что Цезарь побежден и бежит. Помпей был столько осторожен, что не хотел решить участи столь важного дела одним сражением, имея в изобилии все то, что было нужно к продолжению войны; он хотел истощать неприятельскую силу и бодрость, которая не могла быть долговременна. В самом деле, лучшие воины Цезаря были искусны и непреоборимы в сражениях, но по причине старости своей они не могли переносить трудностей, сопряженных с переменами места, с укреплением стана, с нападениями на стены, с ночными бдениями*; слабость телесная заставляла терять бодрость духа. Говорили тогда, что в Цезаревом стане распространилась заразная болезнь, которая произошла от дурной пищи. Важнее всего было то, что Цезарь не имел денег и терпел недостаток в припасах; казалось уже, что в короткое время войско его само собою исчезнет.

Все это заставляло Помпея не давать сражения. Мнение его одобрял один Катон, который щадил граждан. Увидев падших в последнем сражении неприятельских воинов, числом до тысячи человек, Катон заплакал, закрыл лицо и удалился. Но все другие называли Помпея боязливым, говорили, что избегает сражения, раздражали его, называя Агамемноном и царем царей; они уверяли, что он не хотел сложить верховной власти, веселясь тому, что было от него в зависимости такое множество полководцев, которые собирались в его шатре. Фавоний, который хотел подражать смелости Катона, показывая великое неудовольствие, говорил, что и в нынешнем году не удастся им поесть тускаланских фиг по причине Помпеева любоначалия! Афраний, недавно возвратившийся из Иберии, где он предводительствовал весьма дурно и был

обвиняем в том, что продал Цезарю войско, спрашивал, почему не сражаются с купцом, который купил у него провинции. Помпей, этими речами побуждаемый к сражению, против воли своей двинулся к преследованию Цезаря.

А Цезарь продолжал свой путь с великими затруднениями; никто ему не приносил съестных припасов; все его презирали по причине неудачного сражения. По взятии же фессалийского города Гомфы* он не только смог накормить армию, но освободил оную от болезни необыкновенным образом. Воины нашли в городе вина в большом количестве, пили оного много, во всю дорогу предавались удовольствиям и веселью. Пьянством они освободились от болезни, вновь возвратив здоровье.

Когда оба войска остановились при Фарсалии, то Помпей опять принял прежнее намерение; при том явились неблагоприятные знамения, и во сне он увидел дурной сон. Ему показалось, что видел на театре себя самого, и что римляне рукоплескали ему. Но другие военачальники были столь дерзки и так уверены наперед в победе, что Домиций, Спинтер и Сципион спорили между собою, кому из них достанется первосвященническое достоинство Цезаря. Многие посылали в Рим нанять заблаговременно дома, приличные людям, облеченным в сан консульский и преторский: они были уверены, что после войны немедленно получат эти начальства. Более всех оказывали нетерпение всадники, которые были одеты великолепно и гордились блеском своих оружий, хорошими конями, своей красотой, равно как и своим числом: их было семь тысяч, а у Цезаря не более одной тысячи. Пехота Цезаря также не могла сравниться числом с пехотой Помпея, которой противопоставлял сорок пять тысяч человек двадцати двум тысячам.

Цезарь, собрав своих воинов, объявил им, что Корнифиций ведет к нему два легиона и что они уже близко, что в Мегарах и в Афинах стоят пятнадцать когорт под предводительством Калена; потом спросил их, хотят ли они дожидаться прибытия войска или сами решаться на сражение. Все они громким криком изъявили согласие, просили его никого более не дожидаться, но принять все меры и все устроить так, чтобы как можно скорее вступить в бой с неприятелем. Между тем как он очищал священными обрядами свое войско и принес первую жертву, прорицатель сказал ему, что в три дня он вступит с неприятелем в решительное сражение. Цезарь спросил его, не видит ли какого-нибудь благоприятного знамения касательно конца битвы. «Ты сам себе можешь лучше ответить на этот вопрос, – сказал ему прорицатель. – Боги являют великую перемену и оборот в противную сторону в том, что ныне существует. Если ты уверен, что в настоящее время тебе хорошо, ожидай лучшего счастья; если же тебе худо, ожидай лучшего». Ночью перед сражением, обозревая стражи, увидел он около полуночи пламенник небесного огня, который пролетел над его станом и, становясь ярче и блистательнее, казалось, пал в стан Помпея. На рассвете замечено было, что в неприятельском стане господствовал панической страх. Впрочем, Цезарь, не ожидая, чтобы в тот день произошло сражение, поднялся с места, как бы хотел идти к Скотуссе.

Уже шатры были сняты, как соглядатаи, прискакавшие к нему, объявили, что неприятель двинулся и идет на него. Цезарь, обрадовавшись этому известию, принес богам моления свои, начал устраивать фалангу и разделил ее на три части. В средней поставил он Домиция Кальвина; левое крыло дал Антонию; правым же предводительствовал он сам, намереваясь сражаться в десятом легионе. Видя, что неприятельская конница устроивалась против сего легиона, и страшась блеска и множества всадников, велел неприметным образом с тыла двинуться шести когортам, которые поставил он позади правого крыла, и дал им наставление, как поступить при наступлении неприятельской конницы.

Что касается до Помпея, то он предводительствовал сам правым крылом*; левое было под начальством Домиция; в середине стоял Сципион, тесть Помпея. Вся конница устремилась к левому крылу, дабы обойти правое крыло неприятеля и разбить его совершенно на том месте, где находился сам неприятельский полководец. Всадники думали, что никакая глубина пехоты не устоит против них и что все неприятельское ополчение будет расстроено и разбито в прах нападением столь многочисленной конницы. Когда с обеих сторон надлежало дать знак к нападению, что Помпей велел тяжелой пехоте стоять в одном положении, плотно сомкнувшись, и таким образом ожидать нападения неприятелей, пока они будут в расстоянии, что брошенный дрот мог достать их. Цезарь говорит, что и в этом погрешил Помпей, ибо он не знал важности

первого с стремлением и быстротой произведенного нападения, каковой придает ударам силы, и до какой степени возбуждает дух воина, воспламеняемый общим движением. В ту самую минуту, когда хотел он двинуть фалангу, приступая уже к делу, увидел он одного из ратных начальников, человека ему преданного и в войне искусного, который внушал подчиненным своим бодрость и увещевал их сражаться всеми силами. Цезарь назвал его по имени и сказал: «Чего ожидать можем, Гай Крассиний, и в каком мы духе?» Крассиний протянул к нему руку и громко отвечал: «Мы славно победим, Цезарь! И сегодня же живого или мертвого меня похвалишь!» Сказав это, он первый ворвался в середину неприятелей, увлекши с собою своих сто двадцать человек. Он изрубил стоявших впереди воинов и продолжал идти вперед, поражая с великою силою, и получил удар мечом в рот, так что острие вышло в затылок.

Наконец вся пехота сошлась и сражалась; Помпеева конница с крыла гордо выступала, вытянув ряды, дабы обойти правое крыло Цезаря, но прежде нежели вступила в бой, выбежали против нее Цезаревы когорты. Они не употребляли по своему обыкновению дротов, бросая их издали, не поражали бедра и голеней неприятелей, но искали их глаза и ранили в лицо. Это делали они по наставлению Цезаря, который был уверен, что эти воины, не искусившиеся в военных трудах, не получавшие ран, будучи молодые люди, цветущие юностью и красотой, будут беречься более всего этих ударов, будут их избегать, боясь как настоящей опасности, так происходящего от них впоследствии безобразия. Это так и случилось. Эти воины не могли снести поднятых дротиков, потеряли бодрость при виде железа, сверкающего перед их глазами, отворачивались и закрывались, оберегая свое лицо. Пришедши в расстройство, обратились к позорному бегству и тем все дело испортили. Немедленно победившие их обошли пехоту и, нападая с тылу, поражали ее.

Как скоро Помпей увидел с другой стороны, что конница рассеялась и предалась бегству, не был уже, так сказать, тот, кто был прежде, забыл, что он Помпей Великий и подобно человеку, поврежденному в уме каким-либо богом, приведенному в изумление божественным гласом или знамением, безмолвный пошел он к своему шатру и там, сидя в бездействии, ожидал будущего, пока наконец все войско его было разбито. Неприятели всходили на вал и сражались с теми, которые стерегли стан. Тогда-то он, как бы прийдя в себя, сказал только эти слова: «Ужели и в стане?» Он скинул тотчас военную и полководческую одежду, надел платье, приличное беглецу, и тайно вышел из стана. Какой участи был он потом подвержен и каким образом был убит, предавшись египтянам, сказано в его жизнеописании.

Цезарь между тем прийдя к валу Помпеева стана и видя множество мертвых неприятелей и других убиваемых над ними, сказал со вздохом: «Этого им хотелось и до такой необходимости довели меня, что когда бы я, Гай Цезарь, совершивший величайшие брани, оставил свои войска, то был бы осужден на смерть!» Азиний Поллион говорит, что эти слова произнесены тогда Цезарем на латинском языке, но впоследствии написаны им на греческом. Убитые большей частью были рабы, умерщвленные при взятии стана. Воинов пало не более шести тысяч*. Цезарь поместил в своих легионах большую часть взятой им в плен пехоты. Многим знатнейшим людям даровал он свободу; в числе их был и Брут, после его умертвивший. Цезарь, не видя его нигде, был сперва в сильном беспокойстве; когда узнал, что Брут спасен и пришел к нему, то изъявил великую радость.

Победу эту предвещали многие знамения; достопамятнейшее есть то, что случилось в Траллах. В храме Победы стоял кумир Цезаря. Земля, на которой оный поставлен был, от природы крепкая и при том вымощена твердым камнем; несмотря на то, из этой земли у подножия Цезарева кумира возникла, говорят, пальма.

В Патавии некто Гай Корнелий, человек искусный в гаданиях, согражданин и знакомый Тита Ливия, сидел в тот день для наблюдения за полетом птиц. Во-первых, как говорит Тит Ливий, предузнал он время сражения и сказал присутствовавшим, что дело совершается и что противоборники сошлись. После того, продолжая свои наблюдения, увидел знамение, вспрыгнул с восторгом и вскричал: «Ты победил, Цезарь!» Предстоявшие были в изумлении, он снял с головы своей венок и поклялся, что не наденет его прежде, как когда самое дело не докажет истину его науки. Что это так случилось, о том свидетельствует Ливий.

Цезарь, возвратив независимость фессалийцам в дар за победу, в земле их одержанную, преследовал Помпея. Он переправился в Азию и дал независимость гражданам Книда из

угождения к Феопомпу*. Всем жителям Азии отпустил третью часть налогов. По прибытии своем в Александрию после убиения Помпея, Феодот принес ему голову сего полководца*; Цезарь отвратился от него с ужасом, но принял печать Помпея и заплакал. Он принял к себе всех друзей Помпея, которые блуждали по Египту, были пойманы царем, и оказал им благодеяние, а друзьям своим в Риме писал, что самое великое удовольствие, которое получил от своей победы, было то, чтобы всегда спасать некоторых из воевавших против него граждан.

Что касается до войны, которую вел он в Египте, одни думают, что она не была нужна, что предпринята из любви к Клеопатре, что была для него и бесславна, и опасна. Другие обвиняют в том царских чиновников, особенно же евнуха Потина, имевшего великую в правлении силу; незадолго перед тем он умертвил Помпея, изгнал Клеопатру и тайно злоумышлял против Цезаря, который, как уверяют, возымев подозрение, для предохранения своей жизни тогда в первый раз проводил ночи в пиршествах. Явные поступки Потина были столь же неприязненны, как и козни его; он действовал против Цезаря и говорил много к обесславлению его и к возбуждению против него ненависти; воинам его отмеривал самый дурной и старый хлеб, делая при том замечания, что они должны сие терпеть и быть тем довольны, ибо едят все чужое. За столом употреблял он сосуды деревянные и глиняные и говорил, что все серебряные и золотые сосуды у Цезаря за должные ему деньги. В самом деле отец тогдашнего царя* должен был Цезарю семнадцать миллионов пятьсот тысяч драхм. Цезарь прежде всего подарил детям его часть должной ему суммы, но тогда требовал десять миллионов для содержания войска. Потин советовал ему тогда выехать из Египта и заняться важнейшими делами и уверял его, что деньги получит после с благодарностью, но Цезарь отвечал ему, что не имеет нужды в египетских советниках. После того он вызвал к себе тайно Клеопатру.

Она взяла с собою только Аполлодора Сицилийского, одного из друзей своих, села в малую лодку и пристала ко дворцу при наступлении ночи; однако пройти тайно внутрь оного было невозможно. Клеопатра скрылась в узел постельных уборов и растянулась в нем во всю длину; Аполлодор, обвязав ремнем узел, принес его к Цезарю. Говорят, что Цезарь был пленен первой хитростью Клеопатры, которая показалась ему прелестной; он был побежден приятностью ее вида и разговора, примирил ее с братом с тем, чтобы она царствовала вместе с ним.

Во время пиршества, последовавшего за примирением, брадобрей, раб Цезаря, по робости которой всех на свете превосходил, не оставляя ничего без замечания, все подслушивая и любопытствуя все знать, понял, что полководец Ахилла и евнух Потин злоумышляли на жизнь Цезаря. Цезарь, будучи о том извещен, приставил стражу к мужеской половине дома и Потина умертвил. Ахилла убежал к войску и воздвиг против Цезаря войну тяжкую и опасную, ибо с самыми малыми силами должен был защищаться против всего города и войска*. Во-первых, был он подвержен опасности тем, что неприятели отрезали ему воду*, и все каналы и водопроводы были завалены неприятелями; во-вторых, по отнятии у него флота был он принужден удалить от себя опасность огнем, который от морской оружейной распространился до книгохранилища и превратил его в пепел*. В-третьих, когда при Фаросе дано было сражение, вспрыгнул он с валу в лодку и устремился на помощь сражавшимся, но как египтяне со всех сторон его окружали, то он бросился в море и вышел на берег вновь с великим трудом и опасностью*. Говорят, что в это время держал он несколько книжек, которых не выпускал из рук, несмотря на то, что на него обратили стрелы и он часто погружался в воду; одной рукою он поднимал книжки выше воды, а другою греб. Люди его немедленно были потоплены. Наконец, когда и царь перешел к неприятелям, то Цезарь напал на них, дал сражение и разбил их*. На месте легло много неприятелей, а египетский царь пропал без вести.

Цезарь после того отправился в Сирию, оставя Клеопатру царицей Египта. Вскоре она родила сына, которого александрийцы прозвали Цезарионом. Из Сирии Цезарь переехал в Азию, где уведомился, что Домиций, побежденный Фарнаком*, сыном Митридата, убежал в Понт с немногими силами. Между тем Фарнак, пользуясь неумеренно победой, не довольствуясь тем, что владел уже Вифинией и Каппадокией, хотел еще покорить Малую Армению и возбуждал против римлян всех тамошних царей и владетелей. Цезарь пошел на него немедленно с тремя легионами и дал ему великое сражение при городе Зеле*; он выгнал

Фарнака из Понта, принудил его бежать и совершенно истребил его войско. Он извещал бывшего в Риме приятеля своего Матия о быстроте этой победы следующими словами: «Пришел, увидел, победил»*. На латинском языке эти слова имеют одно окончание; краткость их сопряжена с некоторой приятностью.

Затем Цезарь переехал в Италию; прибыл в Рим в конце года и вторично был избран диктатором*. До него это достоинство целый год никогда не продолжалось. Цезарь был избран консулом и на следующий год. Он был порицаем за то, что возмутившихся воинов и умертвивших двух преторов Коскония и Гальбу, вместо всякого наказания, назвал мещанами*, дал из них каждому по тысяче драхм и отделил им в Италии пространную часть земли. Впрочем, его винили за неистовство Долабеллы*, и за сребролюбие Матия, и за пьянство Антония. Последний сломал дом Помпея и перестраивал его, как бы он был для него мал. Все это римлянам было неприятно. Хотя Цезарю известны были их проступки и был ими недоволен, однако необходимость заставляла его употреблять этих людей по причине перемен, которые предполагал произвести в правлении.

После сражения при Фарсале Катон и Сципион убежали в Ливию*; царь Юба помогал им, и они собрали важные силы. Цезарь решился идти против них. Он переправился в Сицилию около времени зимнего поворота солнца, и дабы военачальников своих лишить всякой надежды на замедление или отсрочку; он раскинул свой шатер на самом берегу моря. Как скоро подул благоприятный ветер, он сел на корабль и отправился с тремя тысячами пехоты и малым числом конницы. Высадив их на берег, он поворотил тайно назад, беспокоясь о прочей многочисленной силе, но встретил ее на море и привел к своему стану. Он узнал, что неприятели были ободрены некоторым древним прорицанием, которое уверяло их, что род Сципионов всегда будет побеждать в Ливии. Желая ли унизить шуткой неприятельского полководца Сципиона, или всерьез обратить к себе исполнение прорицания, – трудно постигнуть настоящей его цели, – Цезарь ставил всегда впереди ополчения, как полководца, некоего Сципиона Салутиона*, из дома Сципионов Африканских, которого имел при себе и который впрочем был человек ничтожный и всеми пренебрегаемый. Цезарь был принужден часто, вступая в сражение с неприятелями, вызвать его к бою. Воины его не имели ни довольно хлеба для себя, ни корма для лошадей. Они принуждены были кормить лошадей своих морской травой, с которой смывали соленость, и примешивали к ней, как бы для приправы, немного полевой травы.

Нумидийцы, страшные своим числом и быстротою своих движений, обладали местностью. Однажды, когда Цезаревы конные, будучи без дела, оставили лошадей служителям и, сидя спокойно, смотрели с удовольствием на одного ливийца, который перед ними плясал и играл на флейте с удивительным искусством. Неожиданно неприятели, обойдя их, напали на них; одних умертвили, других преследовали и вместе с ними ворвались в стан. Когда бы Цезарь сам, и вместе с ним Азиний Поллион, не поспешили к ним на помощь и на самом валу не остановили бегущих, то война была бы тогда же кончена. В другой раз так же дано было сражение, в котором неприятели одержали верх*. Цезарь остановил знаменосца, схватил за шею, поворотил его и сказал: «Вот где неприятели!»

Эти успехи ободрили Сципиона до того, что он хотел дать решительное сражение. Оставя на одной стороне Афрания, на другой Юбу, стоявших станом в некотором друг от друга расстоянии, он занялся укреплением одного места выше озера, близ города Тапса, дабы оно могло служить для всего войска его убежищем во время сражения. Между тем, в то время как он производил сию работу, Цезарь, пройдя с неимоверной скоростью болотистые места, имеющие потаенные выходы, одних обошел, на других напал спереди и обратил в бегство. Пользуясь благоприятными обстоятельствами и сопутствием счастья, одним устремлением занял он не только стан Афрания, но и стан нумидийцев, из коего Юба убежал. В несколько часов завладел тремя станами, умертвил пятьдесят тысяч неприятелей, не потеряв и пятидесяти воинов. Вот как некоторые описывают это сражение. Другие напротив того уверяют, что Цезаря и в деле не было, ибо в то самое время, как он строил войско, случились с ним обыкновенные его припадки. Как скоро почувствовал, что болезнь уже начинала действовать*, прежде нежели совсем ею быть одержанным и лишиться чувств, но уже колеблемый, был перенесен в одну из ближайших башен, где и пребывал он в тишине. Что касается до консулов и преторов,

спасшихся бегством, то некоторые, будучи схваченными, сами себя умертвили, а многих предавал смерти сам Цезарь*.

Цезарь хотел поймать Катона живым и с этим намерением спешил в Утику. Катон стерег этот город, и потому он не участвовал в сражении. Цезарь, узнав, что он сам себя умертвил, явно показал, что это было для него неприятно, но почему, неизвестно. Он сказал только: «О Катон! Я завидую твоей смерти, ибо ты позавидовал мне в славе спасти тебя». Впрочем, сочинение его об умершем уже Катоне не есть доказательство души укрощенной и примирившейся с ним. Пощадил ли бы он живого Катона, когда уже на бесчувственного излил столько гнева? С другой стороны, некоторые, судя по его кротости к Цицерону, к Бруту и к несчетному множеству других воевавших с ним, думают, что то сочинение есть произведение не ненависти, но политического честолюбия, и что к оному поводом было следующее. Цицерон написал похвалу Катону, и сочинение сие названо им «Катон». Многие читали эту книгу с великим удовольствием, как сочинение искуснейшего оратора о прекраснейшем предмете. Это было Цезарю неприятно: он почитал осуждением себя все сказанное в пользу человека, который лишился жизни через него. Он собрал многие нарекания на Катона и книгу свою назвал «Антикатон». И то и другое сочинение имеет многих защитников из уважения к Цезарю и Катону.

По возвращении своем в Рим из Ливии он произнес речь к народу о своей победе, уверяя, что покорил земли столько, что ежегодно принесет в общественную казну двести тысяч аттических медимнов зерна и три миллиона фунтов оливкового масла. Потом он торжествовал триумфы – египетский, понтийский и ливийский* – не над Сципионом, но над царем Юбой. Молодой сын сего царя, называвшийся также Юбой*, попался ему в плен и был показываем в сем триумфе. Он попал в счастливейший плен, посредством которого из варвара и нумидийца превратился в ученейшего греческого писателя. После триумфов Цезарь роздал воинам великие дары, а народ тешил пиршествами и зрелищами. На двадцати двух тысячах столах* угостил он почти всех граждан; он дал им зрелища гладиаторов и морское сражение в честь дочери своей Юлии, которая давно умерла.

Затем была произведена перепись народа. Вместо трехсот двадцати тысяч граждан найдено всего полтораста тысяч*. Такую-то пагубу принесла городу междоусобная война, и столько-то истребила народа, не считая бедствий, постигших Италию и другие провинции.

По окончании этих дел Цезарь был избран в четвертый раз консулом* и отправился в Иберию против Помпеевых сыновей. Они были еще молоды, но собрали важные по числу своему силы и оказывали смелость, которая делала их достойными военачальства. Цезарь доведен был ими до последней крайности. Сражение самое кровопролитное дано было при Мунде*. Цезарь, видя, что его воины были вытесняемы и с трудом могли устоять, бегал по рядам и кричал им, что если они уже ничего не стыдятся, пусть возьмут его и предадут мальчишкам. Ему удалось наконец с большим напряжением отразить неприятелей, которых умертвил тридцать тысяч; своих лучших воинов потерял он до тысячи*. После сражения сказал он друзьям своим, что много раз сражался за победу, но что ныне в первый раз сражался за жизнь свою. Победу эту одержал он на Дионисиевых празднествах, во время которых и Помпей Великий, как замечают, выступил в поход. От этого времени до последнего сражения прошло четыре года. Младший из детей Помпеевых убежал*, а по прошествии немногих дней Дидий принес Цезарю голову старшего.

Эта была последняя война, которую вел Цезарь. Ничто столько не огорчило римлян, как триумф, который он торжествовал после этого сражения, в котором не победил ни инородных владельцев, ни варварских царей. Истребив род и детей величайшего среди римлян мужа, гонимого судьбою, торжествовать потом над бедствиями отечества казалось непристойным, ибо, по-видимому, он веселился злом, в котором перед богами и людьми ничем другим не мог оправдать себя, как только тем, что произвел оное по необходимости. В прежних междоусобных бранях он никогда не посылал в Рим ни вестника, ни письма с извещением о победе, как бы он стыдился своей славы.

Впрочем, римляне преклонили главу перед счастьем сего мужа, приняли ярмо, на них наложенное и, почитая единоначалие отдохновением после междоусобных браней и бедствий, сделали его диктатором на всю жизнь. Это было явная тиранния: к безответственности

единовластии присоединена была беспрерывность. Цицерон предложил в сенате первые почести, великость которых была некоторым образом человеческая, но другие после него, прибавляя к ним чрезвычайные почести и стараясь в том превзойти друг друга, сделали тем Цезаря неприятным даже самым миролюбивым гражданам; странными и надутости преисполненными предписаниями они возбудили к нему ненависть. Думают, что ненавистники Цезаря не менее самых ласкателей содействовали к тому, дабы против него иметь сколько можно более предлогов и дабы оправдать свой против него умысел важностью его проступков, ибо по пресечении междоусобных браней, казалось, не было более причин жаловаться на него, и римляне не без основания воздвигли храм милосердия в знак благодарности за кротость его. В самом деле он простил многих из тех, кто против него поднял оружие, а некоторым из них дал почести и начальства; как например, Брут и Кассий получили от него преторское достоинство. Он не захотел, чтобы кумиры, воздвигнутые в честь Помпею, лежали на земле, но велел их восстановить. Цицерон при этом сказал, что Цезарь, подняв кумиры Помпея, утвердил свои. Когда его приближенные советовали ему окружить себя телохранителями и многие из них сами предлагали ему свои услуги, Цезарь заявил, что лучше однажды умереть, чем ежедневно ожидать смерти. Почитая приверженность народа лучшей и вернейшей стражей, он старался о приобретении оной угощениями и раздачей хлеба, и воинство привязывал к себе поселениями, из которых важнейшие были водворены в Карфагене и Коринфе*. По случаю эти города в одно время прежде были разрушены и ныне в одно время вместе восстановлены.

Что касается до знати, одним обещал на будущее время консульства и претуры; других утешал другими почестями и начальствами; всем льстил надеждой, старался показывать, что он начальствует по их воле. По смерти консула Максима, которому оставался еще один день быть в консульском достоинстве, Цезарь на один этот день сделал консулом Каниния Ребилия. Когда многие шли его поздравить и проводить по обыкновению, то Цицерон сказал: «Пойдем скорее, пока еще не кончилось его консульство».

Прежние великие и многочисленные его подвиги не позволяли его честолюбию и склонности природной к великим предприятиям наслаждаться спокойно трудами плодов своих, казалось, первые его дела будучи только побуждением и, так сказать, под гнетом к будущим, возрождали в нем мысли к большим предприятиям, и воспламеняли желанием к приобретению новой славы, как бы настоящей довольно уже насладился. Страсть эта была неким соревнованием с самим с собой, как бы к другому, и некоторый спор будущих его деяний с бывшими. Он имел намерение и готовился идти войной на парфян, и покорив их, имел намерение обойти Понт через Гирканию вдоль Каспийского моря и Кавказа и вступить в Скифию. Наконец, пройдя смежные с Германией области и саму Германию, возвратиться в Италию через Галлию и таким образом совершить круг римской державы, поставить Океан пределом ее отовсюду.

Между тем хотел он прокопать канал через коринфийский перешеек и приставил к делу сему Аниена. Также намеревался направить течение Тибра глубоким током от самого Рима к Цирцеям и впустить его в море у Таррацины, дабы тем доставить безопасность и удобность приезжающим в Рим для торговли. Сверх того он хотел высушить болота при Пометии и Сети* и превратить их в поля, которые могли быть обрабатываемы многими тысячами людей. Предначертано было сделать насыпи на ближайших к Риму берегах, которые были наводняемы морем, и очистить мели и подводные камни у Остийского берега, завести пристанища, достаточные для такого множества судов. Ко всему этому делаемы были приготовления.

Устройство календаря и исправление неровностей в летоисчислении, учиненное им с философическою точностью и приведенное к концу, было дело для всех чрезвычайно полезное*. Не только в самые древние времена у римлян периоды месяцев в отношении к году были перемешаны, от чего жертвоприношения и празднества мало-помалу перешли наконец в противоположные первоначальным времена года. Но и в тогдашнем кругообращении солнца народ не имел понятия о этих предметах; и только одни жрецы знали, в какой момент надо произвести исправление, и когда никто того не ожидал, вписывали прибавочный месяц, который назывался мерцедонием. Говорят, что Нума первый ввел этот месяц, изобретши это пособие к исправлению погрешностей касательно кругообращения небесных тел, однако действительное лишь на недолгое время. Об этом говорится в его жизнеописании. Цезарь

предложил лучшим философам и математикам решить задачу сию и создал особенное и точнейшее исправление в календаре, основанное на лучших методах. Оным римляне пользуются и поныне, и, по-видимому, менее других народов повержены ошибке касательно неровности месяцев. При всем том и это было порицаемо теми, для которых могущество его было тягостно и неприятно. Некто сказал в присутствии Цицерона, что «завтра взойдет созвездие Лиры». «Да! По указу!» – отвечал он, как будто бы и это явление принималось по желанию людей.

Самую сильную и смертельную к нему ненависть возбудило желание его быть царем. В глазах народа это было первейшей его виной; для тех, кто давно питал к нему вражду, это подавало им благовиднейший предлог. Те, кто хотел дать Цезарю царское достоинство, не преминули рассеять в народе, что по Сивиллиным писаниям тогда парфяне могут быть покорены, когда римляне пойдут на них под предводительством царя; в противном случае предприятие их останется тщетным. При возвращении Цезаря в Рим из Альбы они осмелились в приветствии своем назвать его царем. Народ был тем встревожен и самому Цезарю было то неприятно; он сказал, что называется Цезарем, а не царем; последовало всеобщее молчание, и Цезарь удалился мрачным и недовольным.

Некогда в сенате определены ему были чрезвычайные почести. Он сидел на рострах; когда консулы и преторы, за которыми следовал и весь сенат, приблизились к нему, Цезарь не встал перед ними, как бы предстали перед ним какие-нибудь частные лица; он отвечал только, что почести, которыми пользуется, более надлежало сократить, нежели распространить. Такой поступок его огорчил не только сенат, но и весь народ, который в лице сената почитал республику обруганной. Все те, кто мог не оставаться тут, удалились тотчас с печальным видом. Цезарь понял их неудовольствие; уходя немедленно к себе домой, снял с шеи своей тогу и кричал друзьям своим, что он готов предать себя тому, кто хочет его умертвить. Впоследствии он оправдывал свой поступок болезнью, ибо люди, одержимые ею, лишаются чувств, когда стоя должны говорить к народу; от чего они смущаются, колеблются и бывают подвержены головокружению. Но он не был болен. Цезарь хотел встать перед сенатом, но Корнелий Бальб, один из друзей его, или, лучше сказать, ласкателей, удержал его, сказав: «Ужели не помнишь, что ты Цезарь? Ужели не потребуешь, чтобы они тебе оказывали почтение, как человеку, превышающему их?»

К этим неудовольствиям народа присоединилось и оказанное трибунам оскорбление. Празднуемы были тогда Луперкалии. Касательно сего празднества многие пишут, что в древности оно было пастушеское торжество, отчасти подобное Аркадским Ликеям. Многие из благородных молодых людей и правителей бегают по городу нагие и для забавы и смеху бьют косматыми ремнями тех, кто им попадается. Многие из знатнейших женщин с намерением идут к ним навстречу и подставляют им обе руки, как ученик, для получения ударов. Рождающие детей думают, что будут от того счастливо рождать, а бесплодные, что это поможет рождать детей. Цезарь смотрел на эти забавы, сидя на рострах на золотом стуле, в триумфальной одежде. Антоний, тогдашний консул, был один из тех, кто участвовал в священном торжестве. Он пришел на форум; народ дал ему дорогу; он хотел надеть на Цезаря несомую им диадему, увитую лавровым венком. Раздались рукоплескания, но не громкие, от немногих приставленных на то людей. Цезарь отверг диадему, и весь народ зааплодировал. Антоний вторично принес диадему, и опять захлопали немногие; Цезарь ее не принял, и все вновь рукоплескали. Цезарь, видя из сего ответа неудовольствие народа, встал и велел отнести диадему на Капитолий. В то самое время найдены кумиры его, украшенные царскими диадемами. Трибуны Флавий и Марулл пришли и сорвали их с кумиров, поймали тех, кто первые Цезаря приветствовал царем, и повлекли их в темницу. Народ следовал за ними с рукоплесканием и называл их «Брутами», ибо Брут прекратил в Риме царское наследие и перенес всю власть к сенату и народу. Цезарь, раздраженный этим поступком, лишил Марулла и Флавия трибунского достоинства, обвиняя их в Народном собрании и вкупе ругаясь над самим народом, несколько раз называл этих мужей «брутами» и «киманцами»*.

Это происшествие заставило многих граждан обратиться к Марку Бруту, который родом со стороны отца происходил от древнего Брута, а со стороны матери от знаменитейшего дома Сервилиев; он был притом зять и племянник Катона. Почести и милости, которыми осыпал его

Цезарь, охлаждали в нем рвение к уничтожению единовластия; не только был он им спасен при Фарсале во время поражения Помпея, не только спас он многих из своих друзей, выпросил им у Цезаря прощение, но сверх того пользовался великим при нем доверием и в то время получил от него славнейшую претуру*, будучи предпочтен Кассию, который также его искал, в четвертый же год после того следовало ему быть консулом. Говорят, что Цезарь касательно претуры сказал, что требование Кассия справедливо, но что он не может обойти Брута. Когда уже заговор производился в действо, какие-то люди донесли Цезарю на Брута, но он не обратил на то никакого внимания. Но прикоснувшись рукой к своему телу, сказал им: «Брут подождет этой кожи». Почитая его достойным начальствовать за его добродетели, он думал, что ради сего начальства не будет к нему столь неблагодарен и не сделает дурного дела.

Те, кто желал перемен, либо обращал взоры на одного Брута, либо полагали всю свою надежду, но не смея говорить с ним прямо, наполнили ночью разными записками трибуну и стул, на котором сидел, как претор, занимаясь делами. Содержание записок было следующее: «Ты спишь, Брут!» или: «Нет! Ты не Брут!» Кассий, заметя, что эти напоминания мало-помалу возбуждали его честолюбие, приступал к делу сильнее, чем прежде, и раздражал его, питая сам некоторую личную вражду к Цезарю по тем причинам, о которых сказано мною в жизнеописании Брута. Цезарь сам имел к нему подозрение; некогда разговаривая со своими друзьями, сказал им: «Чего хочется Кассию, по вашему мнению? Он мне весьма не нравится; он слишком бледен». Некогда донесено ему было на Антония и Долабеллу, будто бы они предпринимали новые перемены. «Я не очень боюсь, – отвечал он, – этих жирных и хорошо причесанных; более боюсь тех бледных и тощих», разумея Кассия и Брута.

По-видимому, определения судьбы не только неожиданны, сколько неизбежны. Говорят, что в то время видны были необыкновенные знамения и явления. Может быть, в таком страшном происшествии не стоит упомянуть о воздушных сияниях и о звуках, которые раздавались ночью в разных местах, о уединенных птицах, которые слетели на площадь. Философ Страбон повествует, что тогда явились многие люди, несущиеся как бы в огне, что из руки невольника некоего воина исходило великое пламя, и казалось зрителям, что он горел; огонь погас, и человек ничего дурного в себе не чувствовал. Цезарь сам, по принесении жертвы, нашел закланное животное без сердца: сие знамение показалось неблагоприятным, ибо животное без сердца существовать не может. По уверению многих писателей какой-то прорицатель предсказал ему, чтобы в день, называемый идами месяца марта* он берегся великой опасности. Когда настал день, то Цезарь, идучи в сенат, пошутил с прорицателем, говоря ему: «Мартовские иды наступили!», на что прорицатель отвечал ему спокойно: «Да, наступили, но не прошли».

За день до смерти своей был он угощаем Марком Лепидом; он подписывал письма, по своему обыкновению, лежа. В разговоре рассуждаемо было, какая смерть самая лучшая. Цезарь, предупредив всех, сказал громко: «Неожиданная!» После этого, когда он предался сну вместе с женой, по своему обыкновению, то вдруг все двери и окошки спальни растворились; Цезарь был встревожен шумом и светом луны, которая освещала комнату; он заметил, что Кальпурния спала глубоким сном, но издавала тяжкие стенания и произносила неясные слова. Ей казалось, что она оплакивала умерщвленного супруга своего, держа его в объятиях своих. Иные говорят, что жена его увидела совсем другой сон. По постановлению сената было пристроено, как повествует Ливий, к дому Цезаря, для большего украшения и важности, возвышение*. Кальпурнии приснилось, что эта пристройка разрушилась; она жалела о ней и плакала. Поутру просила она Цезаря не выходить, если можно, из дома и отложить собрание сената; если же он нимало не уважает ее снов, то разведать о будущем другими средствами, гаданием и жертвоприношением. Он сам, по-видимому, не был без страха и подозрения. До того времени он не заметил в Кальпурнии женской слабости к суеверию, но тогда видел ее в сильном беспокойстве и страхе. Когда же и жрецы по принесении многих жертв объявили ему, что знамения неблагоприятны, то он решился послать Антония распустить сенат.

Но Децим Брут по прозванию Альбин, к которому Цезарь имел великую доверенность, так что назначил его вторым по себе наследником, но который участвовал в заговоре другого Брута и Кассия, боясь, чтобы Цезарь не отсрочил собрания сената и тем не обнаружился их умысел, смеялся над прорицателями и осуждал Цезаря, представляя ему, что сам подает причины сенату

жаловаться на него, что сенат обижается такими его поступками, что сенаторы собрались по его приказанию и что все готовы утвердить, чтобы он был провозглашен царем всех, вне Италии состоявших провинций и носил бы царский венец, странствуя по оным, как на суше, так и на море. «Если, – говорил он, – в то время, когда они тебя ожидают, получат приказание разойтись; если им объявить, что ты сегодня не будешь, а придешь в другой раз, когда Кальпурния увидит благоприятнейшие сны, то что скажут тогда твои завистники? Потерпят ли, чтобы кто-нибудь из друзей твоих осмелился доказать, что это не тираническая власть и что состояние их не рабское? Если ты, – продолжал он, – непременно хочешь беречься этого дня, как несчастного, то лучше самому идти в сенат и просить его отложить заседание». С этими словами Брут взял за руку и повел Цезаря. Едва они вышли из дома, как чужой невольник, который хотел с ним говорить, не будучи в состоянии приступить к нему по причине великого числа людей и тесноты, ворвался наконец в дом и, предав себя Кальпурнии, просил, чтобы его содержали под присмотром до того времени, как Цезарь возвратится, ибо хотел открыть ему важные дела.

Артемидор из Книда, который преподавал греческую словесность, и потому был в связи с Брутом и другими заговорщиками и знал все то, что происходило, пришел к нему с запиской, в которой заключалось все то, что он хотел ему сказать. Но видя, что Цезарь принимал другие записки и передавал их своим служителям, он пришел как можно ближе к нему, сказал: «Цезарь! Эту прочти один и скорее; в ней заключаются великие дела, которые до тебя касаются». Цезарь принял ее, но великое множество тех, кто ему попадался, помешали ему ее читать, хотя он несколько раз принимался. Он вступил в сенат, держа в руке одну эту записку. Некоторые говорят, что она подана ему другим, и что Артемидор к нему и не подходил, но был от него оттесняем во все время пути толпой окружавших его людей.

Это, может быть, есть игра случая. Но место, где совершилось сие ужасное происшествие, где сенат собирался и где был лежащий кумир Помпея, было здание, воздвигнутое Помпеем самим и служившее украшением его театру, а потому казалось, что некое высшее существо избрало и назначило нарочно сие место. Говорят, что Кассий перед убийством смотрел на кумир Помпея и в безмолвии призывал его, хотя впрочем не был он чужд Эпикурова учения; но, по-видимому, в то время и при наступлении опасности был он одушевлен исступлением и энтузиазмом, который заступил место прежних рассуждений. Антоний, верный друг Цезаря, одаренный телесной крепостью, был задержан вне сената Брутом Альбаном, который нарочно завел с ним продолжительный разговор.

При вступлении Цезаря сенаторы встали, изъявляя ему почтение. Брут и заговорщики обступили сзади стул его, другие, встречая его, присоединяли свои просьбы к просьбам Туллия Кимвра, который просил о возвращении из изгнания брата своего; они провожали Цезаря с просьбами до самого кресла. Цезарь сел и отказал им несколько раз; когда же они еще более приставали к нему, то он изъявил каждому порознь свое неудовольствие. Тогда Туллий, взяв обеими руками тогу его, сорвал ее с шеи, и это было знаком к нападению. Кассий дал ему мечом в затылок первый удар, но не смертельный и неопасный, будучи по-видимому смущен вначале сего великого предприятия. Цезарь, обратившись к нему, схватил меч и задержал его. В одно и то же время вскричали: раненый Цезарь по-латыни: «Злодей Каска! Что ты делаешь?», а Кассий по-гречески: «Брат, помоги!» Таким образом все началось. Те, кто ничего не знал о происходящем, были объяты ужасом и исступлением; они не смели ни бежать, ни защищать его, ни испустить голоса. Приготовившиеся к умерщвлению Цезаря, показав обнаженные мечи, обступили его вокруг; куда ни поворачивался он, всюду встречая одни мечи и наносимые ему в лицо и глаза удары, вращался между руками своих убийц подобно поражаемому дикому зверю. Положено было между ними нанести ему удар и принять участие к убиению. По этой причине и Брут нанес ему один удар в пах*. Некоторые уверяют, что Цезарь боролся с другими убийцами, вертелся туда и сюда и кричал, но, увидя Брута с обнаженным мечом, он накинул на голову свою тогу и предал себя их ударам. Случайно или с намерением убийц он был повлечен к подножию Помпеева кумира, который обагрился кровью Цезаря. Казалось, что Помпей присутствовал при наказании своего врага, наклоненного под ноги его и борющегося со смертью от множества полученных ударов. Говорят, что нанесено было ему двадцать три раны. Многие из заговорщиков также переранились, направляя столько ударов на одно тело.

По совершении убийства Брут выступил вперед, чтобы сказать нечто о происшедшем, но сенаторы, не имея силы ничего слушать, предались бегству и тем распространили беспокойство и страх в народе, который ничего не знал о случившемся. Одни запирали дома свои, другие оставляли свои лавки, все бежали одни к тому месту, дабы увидеть, что случилось, другие – оттуда, уже насмотревшись. Антоний и Лепид, первые друзья Цезаря, скрылись в чужих домах. Между тем Брут и другие заговорщики, еще горящие убийством и показывая обнаженные мечи, шли вместе из сената на Капитолий. Они не походили на бегущих, но казались веселыми и бодрыми, призывающими народ к вольности и принимали к себе отличных граждан, которые с ними встречались. Некоторые приставали к ним и шли вместе с ними, присваивая себе славу этого дела, как будто бы и они в нем участвовали; из числа их Гай Октавий и Лентул Спинтер впоследствии наказаны за свое тщеславие Антонием и молодым Цезарем, которыми они были умерщвлены; хотя не приобрели и той славы, ради которой умерли, ибо никто им не верил; да и наказавшие их не за деяние, но за помышление мстили им.

На другой день Брут и его сообщники сошли с Капитолия и говорили речи народу, который не изъявлял неудовольствия на происшедшее и не хвалил его, но молчанием своим показывал, что жалел о Цезаре и стыдился Брута. Сенат, желая предать все забвению и примирить разные стороны, определил чтить Цезаря, как бога, и не делать ни малейшей перемены во всем том, что он постановил во время управления своего, а заговорщикам назначил провинции и оказал приличные почести. Все думали, что все успокоилось и что дела устроены наилучшим образом.

Но когда распечатано было завещание Цезаря и найдено, что каждому римлянину назначен важный подарок*; когда увидели несомое через площадь тело его, изрубленное множеством ударов, то народное множество не сохранило более никакого порядка и спокойствия. Собрав с площади в кучу стулья, столы и рогатки, граждане подложили огонь и сожгли тело его*. Потом взяв горячие головни, побежали к домам заговорщиков, чтобы сжечь их; другие бегали по всем частям города, чтобы их поймать и растерзать; однако никто из них не попался им, все они скрылись.

Цинна*, один из Цезаревых друзей, увидел в прошедшую ночь странный сон. Приснилось ему, что Цезарь призывал его к ужину, что он от сего отказывался и что Цезарь тащил его за руку, хотя он не хотел и противился ему. Услышав, что на площади предается огню тело Цезаря, он пошел оказать ему последний долг, хотя сновидение устрашало его и он был одержим лихорадкой. Лишь показался он на площади, как некто в народе спросил другого, кто он такой; в ответ сказали ему, что это Цинна; имя его перешло ко всем от одного к другому, и начали говорить, что это один из Цезаревых убийц, ибо в числе их подлинно был некий Цинна*. Народ, думая, что это тот самый, схватил его и растерзал. Это происшествие навело страх на Брута и Кассия и на других заговорщиков, которые по прошествии немногих дней вышли из города. Что ими произведено и каков был конец их, сказано мною в жизнеописании Брута.

Цезарю было пятьдесят шесть лет от роду, когда его убили. Помпея пережил он не более чем на четыре года. Он ничего более не приобрел, как только имя начальства и верховной власти, за которой гнался всю жизнь свою с великими опасностями и которую насилу он приобрел и которая возбудила в согражданах его зависть. Однако великий гений-хранитель его, который во всю жизнь ему помогал и по смерти его мстил за его убиение, гоня на море и на суше его убийц и отыскивая их, пока не остался ненаказанным ни один из тех, кто хоть слегка или рукой коснулся этого злодеяния или помышлением в оном участвовали*.

Из всех происшествий человеческой жизни всего удивительнее то, что случилось с Кассием. Потерпев поражение при Филиппах, умертвил он себя тем самым ножом, который употребил против Цезаря.

Из сверхъестественных же явлений замечательнее всего было появление великой кометы, которая в течение семи дней после смерти Цезаря была видима с великим сиянием на небе, а потом исчезла. Удивительно также и тогдашнее помрачение солнечных лучей. Во весь тот год солнце восходило бледно и без блеска, оно испускало жар слабый и недействительный. Воздух был тяжел и мглист по причине слабости теплоты его, которая не могла его разжидить и разрешить; плоды недозрелые и несовершенные увядали по причине стужи окружавшего их

воздуха.

Призрак, явившийся Бруту, доказал более всего, что умерщвление Цезаря не было богам приятно. Оный состоял в следующем. Когда этот полководец у Абидоса намеревался перевести войско из Азии в Европу, то ночью отдыхал по обыкновению в шатре своем; он не спал, но размышлял, заботясь о будущем. Говорят, что он менее всех полководцев был склонен ко сну, и мог весьма долгое время сохранить себя бодрствующим. Послышался ему шум у дверей; посмотрев на ту сторону при слабом свете погасающей уже лампады, увидел он призрак человека необыкновенной величины и странного вида. Сперва он приведен был в смятение, но видя, что он ничего не делал и не говорил, но стоял в безмолвии у его ложа, спросил его: «Кто ты!» – «Я злой гений твой, Брут. Ты меня увидишь при Филиппах». «Увидимся!» – отвечал Брут смело, и призрак исчез с глаз. Впоследствии дал он сражение при Филиппах против Антония и молодого Цезаря. В первой битве он разбил неприятеля, устроившегося против него, преследовал его, овладел станом Цезаря. Он намеревался дать еще сражение; тогда ночью опять увидел тот самый призрак, который, однако, ничего ему не сказал. Брут понял, что было ему предопределено, и потому ввергался во все опасности, не щадя себя; однако в сражении не был убит. Когда войско его было разбито, то он убежал на какую-то скалу и, прижав грудь к обнаженному мечу, как говорят, при помощи некоего приятеля, который усилил удар, сам себя умертвил.

Фокион и Катон

Фокион

Оратор Демад, имевший в Афинах великую силу по причине угодливости своей македонянам и Антипатру, будучи принужден предлагать народу на утверждение многие постановления вопреки достоинству и обычаям отечества, говаривал, что он заслуживает прощение, поскольку управлял обломками сокрушившегося корабля республики. Сколь ни дерзко сие выражение, однако оно покажется истинным, если только применим его к управлению Фокиона, ибо что касается до Демада, то он сам был причиной кораблекрушения республики. Поведение и управление его были столь бесстыдны, что Антипатр сказал о нем, когда тот был уже глубоким стариком: «Он походит на закланную жертву, из которой более ничего не остается, кроме языка и желудка»*. Что касается до добродетели Фокиона, которая боролась с тяжкими обстоятельствами в лице жестокого противника, то ее славу помрачили и сделали неизвестной бедствия Греции. Не должно верить словам Софокла*, который представляет добродетель слабой, говоря:

Судьбою кто гоним, того ум покидает.

Когда счастье восстает против добродетельных мужей, то мы должны ему не более приписывать силы, как столько, сколько нужно, чтобы осыпать иных нареканиями и клеветами вместо почестей и похвал, которых они не заслуживают, и тем ослабить веру в добродетель.

Хотя, по-видимому, народ тогда наиболее ругается над достойными людьми, когда благоприятствует ему счастье, когда он вознесен могуществом и великими делами; однако случается сему противное: несчастья делают людей недовольными собой и удобораздражительными от малейшей причины; они впадают в уныние; слух их становится своенравен, чувствителен и легко возмущается от сильных представлений. Выговаривают ли народу за его проступки? Он думает, что ругаются над несчастиями его. Говорят ли ему свободно? Его презирают. Подобно как мед смертоносен в ранах и язвах телесных, так нередко истинные и разумные речи, если не суть мягки и снисходительны, колют и раздражают тех, кто находится в несчастиях. Стихотворец Гомер дает* приятному название «утешающее сердце», ибо оно уступает воспаленной от ярости душе, не борется с нею и не противодействует ей. Глазу, страждущему воспалением, приятны места тенистые и темные; он отвращается блеска и света. Равным образом общество, впадшее в непредвиденные напасти, есть нечто пугливое и

нежное, по слабости своей не терпящее сильных представлений, несмотря на то, что оные в таком случае ему более всего нужны, ибо обстоятельства не позволяют иначе исправить соделанные ошибки. Это состояние есть самое опасное для правителей. Оно губит в одно время и того, кто говорит к угождению народа, и еще более того, кто не старается ему угождать. Солнце, по уверению математиков, не вращается ни в одном направлении с небом, ни в направлении ему совершенно противном, но, шествуя стезею несколько косвенной, образует черту, свободно и отлого извивающуюся, и тем все сохраняет и всему дает лучшее растворение; равным образом и в управлении поведение слишком крутое и суровое, во всем противящееся желанию народа, неприятно и жестоко, а с другой стороны, управление, увлекаемое ошибками, к которым народ стремится, скользко и опасно. Управление и начальство уступающее тем, кто повинуется, делающее угодное, чтобы иметь право приказывать полезное людям, которые спокойно и охотно повинуются, когда не ведут их самовластно и насильственно; такое управление есть самое спасительное, но сопряжено с затруднениями, ибо важность нелегко смешивается с мягкостью, но когда одно с другим совокупляется, то это соединение составляет превосходнейшее и доброзвучное согласие, ту гармонию, которой и бог, так говорят, управляет миром, не употребляя насильства, но смягчая необходимость повиновения убедительностью разума.

Катон Младший находился в одном положении с Фокионом. В свойствах своих он не имел того приятного и любезного для народа; он не достиг в республике силы и знаменитости из благоприятства к себе народа. Цицерон говорит, что Катон действовал так, как бы он жил в республике Платона, а не среди выродившихся потомков Ромула. По этой причине отказано было ему в консульстве. По моему мнению, его уподобить можно плодам, которые показываются не вовремя. Им удивляются, любуются ими, но не употребляют их. Равным образом Катон, старинными нравами явившись много лет позже, нежели ему следовало, во времена испорченных нравов и всеобщей развращенности, хотя и приобрел великую славу и знаменитость, но не принес пользы в делах, ибо важность и величие добродетели его не были соразмерны тогдашним обстоятельствам. Он вступил в правление не в то время, когда отечество его было в упадке, подобно Фокиону, но тогда, когда оно было обуреваемо и потрясаемо неистовыми страстями. Хотя управлял, так сказать, парусами и веревками и присоединился к тем, которые были могущественнее, будучи удален от кормила и главного правления, при всем том воздвиг он против счастья сильное противоборство. Правда, что счастье наконец превозмогло и посредством других испровергло республику, но это произведено с трудом, медленно и только после долгого времени. Едва республика не одержала верх над счастьем посредством Катона и Катоновой добродетели.

Мы сравним Катона с Фокионом не по причине общего сходства, то есть потому, что они были оба добродетельные и государственные люди; нет сомнения, что мужество от мужества разнствует; напротив в Алкивиаде и Эпаминонде; и благоразумие от благоразумия – как в Фемистокле и Аристиде; и справедливость от справедливости – как в Нуме и Агесилае. Но добродетели Катона и Фокиона до самых крайних и едва приметных разностей представляют нам одни и те же черты, один вид, одни общие краски, впечатленные в их свойствах. Человеколюбие равною мерой в них сопряжено с суровостью, осторожность с храбростью, заботливость о других с бесстрашием о себе самих, удаление от всего непристойного и непривязанность к справедливости так в них соединены и связаны между собой, что нужен самый тонкий ум, как орудие для того, чтобы отыскать и разделить существующие между ними разности.

Известно всем, что Катон происходил от знаменитейшего рода, как будет показано после, и Фокион, сколько я могу судить, не был рода бесславного и не благородного. Когда бы он был сын делателя пестов, как говорит Идоменей, то Главкипп, сын Гиперида, в речи своей, в которой он собрал столько, сколько мог порицаний и злословий на Фокиона, не позабыл бы его низкого происхождения, и сам Фокион не получил бы столь благородного и разумного образования, чтобы в самой молодости быть участником Платоновой и впоследствии Ксенократовой беседы в Академии и с самого начала не оказать склонности и любви к благороднейшим занятиям. По уверению Дуриса, никто из афинян не видал, чтобы Фокион смеялся или плакал, чтобы он мылся в народной бане и держал руку вне плаща, когда был в

него одет. На поле и в походах ходил он всегда без обуви* и без плаща, исключая чрезвычайного и нестерпимого холода, так что воины говорили шутя, что должен быть сильный холод, когда видели Фокиона одетым.

Хотя свойствами душевными был он кротчайший и человеколюбивый, но с виду казался суровым и неприступным, так что незнакомые нелегко решались с ним заговаривать с глазу на глаз. Когда Харет говорил, что не счесть его угрюмого вида, и афиняне тому смеялись, то Фокион сказал им: «Этот угрюмый вид никогда вас не огорчил, но смех этих людей много раз заставлял город плакать». Равным образом и силы Фокиона, столь спасительные по хорошим и полезным мыслям, в них заключающимся, имели в себе повелительную, суровую и неприятную краткость. Зенон говаривал, что философу надлежит обмакивать слова в уме своем, прежде чем их произнести; и Фокионовы речи в не многих словах заключали много смысла.

Нет сомнения, что Полиевкт из Сфетта* то же самое разумел, когда говорил, что Демосфен есть оратор превосходнейший, а Фокион – сильнейший. Как монета при меньшей тяжести и величине имеет меньше цены, так сила речей состоит в том, чтобы под немногими словами много разуметь. Говорят, что некогда, между тем как народ собирался в театре, Фокион в размышлении ходил у скены* один. «Кажется, ты о чем-то размышляешь, Фокион», – сказал ему один из его друзей. «Это правда, – отвечал Фокион, – я думаю, нельзя ли чего-нибудь убавить от речи, которую хочу сказать афинянам». Демосфен имел великое презрение ко всем другим ораторам, но когда Фокион восставал против него, то он обыкновенно говаривал друзьям своим: «Поднимается секира на мои слова». Впрочем, это надлежит отнести более насчет характера Фокиона, ибо одно слово, одно мановение добродетельного мужа перевешивает тысячу острых мыслей и искусных периодов.

Фокион, будучи молодым, пристал к полководцу Хабрию и провождал его всюду, чем приобрел великую опытность в воинских делах. Между тем он исправлял Хабрия, человека неровных и необузданных свойств. Хотя Хабрий был от природы тяжел и недеятелен, однако в самых битвах приходил в жар и воспламенялся до того, что вместе с отважнейшими воинами ввергался в опасность с великою дерзостью. В самом деле это стоило ему жизни в Хиосе, где он первый устремился вперед с триерой и хотел силой сделать высадку. Фокион, в одно и то же время и остороженый, и деятельный, то воспринимал медленность Хабрия, то охлаждал и укрощал безвременный жар и стремительность его. Хабрий, человек добрый и справедливый, любил его, возводил в высшие степени; создал ему известность среди греков и пользовался его услугами в важнейших делах. В морском сражении при Наксосе* придал он Фокиону немалую честь и прославил его имя. Здесь Хабрий поручил ему начальство над левым крылом, где происходила сильная и упорная битва и где скоро было решено дело. Афиняне дали грекам первое морское сражение по освобождению своему от лакедемонского ига и, одержав полный успех, оказывали великую любовь к Хабрию и обратили особенное внимание на Фокиона, как на искусного военачальника. Битва эта дана была в то время, когда празднуемы были великие таинства. Хабрий определил, чтобы ежегодно в шестнадцатое число месяца боэдромиона раздаваемо было афинянам вино в память этого сражения.

После этого дела Хабрий велел Фокиону отправиться к островам с двадцатью кораблями для сбора налогов. Фокион сказал, что если посылает его воевать, то нужно дать ему большую силу; если же посылает к союзникам, то одного корабля довольно. Он отплыл на своей триере, вступил с городами в переговоры, обходился с теми, ктоторые управляли кротко и просто, и возвратился с многими отправленными от союзников кораблями, на которых везены были деньги.

Фокион был привержен к Хабрию; не только при жизни его оказывал ему почтение, но и по смерти его имел он всегда попечение о его родственниках и старался сделать сына его Ктесиппа человеком военным, хотя он видел его безрассудность и необузданность, однако не переставал его исправлять и скрывать пороки его. Только однажды, когда сей молодой человек беспокоил его в походе и докучал безвременными вопросами и советами и некоторым образом наставлял его и вмешивался в дела, касающиеся до полководства, Фокион воскликнул: «О Хабрий, Хабрий! Какую благодарность плачу тебе за твою дружбу, терпя твоего сына!»

Все те, кто в то время занимался общественными делами, разделили между собою, как бы по жребию, предводительство над войском и управлением в Народном собрании. Одни, в числе

которых был Эвбул, Аристофонт, Демосфен, Ликург и Гиперид, а другие, такие как Диопиф, Менесфей, Леосфен и Харет возвышались тем, что предводительствовали войсками и вели войну. Фокион вознамерился воскресить и соединить в себе управление Перикла, Аристида и Солона, состоявшее из того и другого, которое по этой причине он почитал совершеннейшим. Как говорит Архилох, сии мужи были:

На поле брани Марсу служили,
В мире Муз дары любили.

Фокион помнил, что сама Афина есть богиня войны и политики и что таковой почитается.

Фокион, приготовившись к тому и другому, в управлении старался всегда о сохранении мира и спокойствия; однако, будучи полководцем, предпринимал походы чаще не только своих современников, но и предшественников своих. Он не просил, не искал полководства, однако и не избегал его и не отказывался от него, когда афиняне его призывали. Известно, что сорок пять раз был он полководцем афинским и ни разу не присутствовал при избрании чиновников. Он был призываем афинянами и избираем всегда во время своего отсутствия. Бессмысленные люди дивились тому, что Фокион во многом противился народу и никогда не сделал и не сказал ничего единственно к угождению его; однако народ, подобно царям, которые употребляют льстецов только после умытия рук, употреблял для забавы своей приятных и веселых демагогов своих, но действуя разумно и со здравым рассудком, к верховному начальству призывал он всегда самого строгого и благоразумного правителя, который один более всех противился его желанию и стремлениям. Некогда прочтено полученное из Дельфов прорицание, в котором было писано, что все афиняне единогласны в мнении своем, но что один из них думает иначе, нежели другие. Фокион, выступив в средину афинян, сказал: «Не беспокойтесь, человек, которого вы ищете, это я! Мне одному не нравится все то, что вы желаете». В другой раз он говорил свое мнение народу; оно было одобрено и все на то согласились. Тогда Фокион, обратившись к друзьям своим, спросил: «Не сказал ли, забывшись, чего-нибудь дурного?»

Афиняне требовали некогда денег на какие-то жертвоприношения, и все давали; много раз они требовали их от Фокиона. «Требуйте у богатых, – сказал он, – я бы устыдился дать вам, не давши ничего ему», – показывая на заимодавца Калликла; афиняне однако не переставали кричать и требовать от него денег. Фокион сказал им следующий аполог: «Один робкий человек пошел на войну, вороны закричали, он сложил свои оружия и сидел спокойно, через некоторое время он поднялся, вороны опять закричали, и он опять остановился, наконец сказал: “Кричите себе сколько можете громче, вам не достанется меня клевать”». В другое время афиняне требовали, чтобы он вывел их против неприятелей, он не хотел. Афиняне называли его робким и малодушным. «Ни вам сделать меня отважным, ни мне сделать вас робкими, – сказал Фокион, – впрочем мы друг друга знаем». В некоторых трудных обстоятельствах народ был весьма недоволен им и требовал от него отчета в предводительстве: «Друзья мои, – сказал им Фокион, – подумайте прежде, как бы спасти себя!» Однажды он заметил, что афиняне во время войны были смирны и робки, а по заключении мира сделались дерзкими и порицали его в том, что он лишил их победы. «Счастье ваше, – сказал им Фокион, – что вы имеете полководца, который вас знает, а то бы вы давно погибли». Афиняне, споря с беотийцами из-за некоторой земли, не хотели с ними судиться, но намеревались объявить им войну. Фокион советовал им сражаться лучше словами, в которых они сильнее беотийцев, нежели оружиями, в которых они были слабее. Некогда Фокион говорил им о делах общественных; афиняне не хотели его слушать и не терпели, чтобы он говорил. «Вы можете, – сказал им Фокион, – принудить меня делать то, чего бы сделать не хотел, но никогда меня не заставите говорить против воли моей то, чего не должно». Демосфен, один из ораторов, противившихся ему в управлении республики, сказал ему некогда: «Тебя, Фокион, убьют афиняне». – «Если сойдут с ума, – отвечал Фокион, – а тебя – если придут в себя». Полиевкт из Сфетт советовал некогда афинянам объявить Филиппу войну; время было жаркое, и Полиевкт, будучи весьма жирен, запыхался, потел и часто пил воду для освежения себя. «Подлинно, – сказал Фокион, – вы должны поверить ему и объявить войну Филиппу. Только, как вы думаете, что будет делать со щитом и в панцире при наступлении неприятеля тот, кто, говоря вам свои мысли, находится в

опасности задохнуться?» Ликург поносил Фокиона пред народом и выговаривал ему особенно за то, что он советовал афинянам выдать Александру десять требуемых им граждан. Фокион сказал ему: «Я давал им много хороших и полезных советов, но они меня не слушаются!»

В Афинах был некто по имени Архибиад, прозванный Лаконцем: он отрастил себе предлинную бороду, носил всегда дурной плащ и имел суровый вид. Фокион, против которого в Совете производили великий шум противники его, призвал Архибиада, как свидетеля в истине слов своих, и попросил о поддержке. Архибиад встал и против ожидания Фокиона говорил так, как афинянам было приятно. Фокион взял его за бороду и сказал: «О Архибиад! Зачем же ты не выбрил ее?» Доносчик Аристогитон в собраниях народных выдавал себя за воинственного и храброго человека и поощрял народ к войне, но когда надлежало набирать воинов, то он пришел в Собрание на костыле с перевязанными ногами. Фокион, увидел его издали идущего, закричал писцу: «Впиши и Аристогитона, хромоногого и лукавого!» Эти черты заставляют удивляться, как человек, столь жестокий и суровый, приобрел прозвище Доброго. Конечно, трудно, однако возможно, чтобы один и тот же человек, подобно вину, был в одно время приятен и суров, как с другой стороны есть люди, которые кажутся сладкими, но они действительно суть самые неприятные и пагубные для тех, которые с ними имеют дело. Гиперид сказал некогда народу: «Афиняне! Не смотрите на то, что я горек; смотрите только, без пользы ли я таков?» Как будто бы люди боялись и отвращались только тех, кто им неприятен и ненавистен по причине своей алчности, а не тех, кто особенно употребляет свою силу к удовлетворению своей надменности и зависти, гнева или своенравия. Фокион никому из своих сограждан не сделал зла по вражде к нему; он и врагом никого из них не считал. Он был суров, непреклонен и неумолим настолько, насколько нужно было быть лишь против людей, которые противились тому, что он предпринимал для пользы отечества. Напротив того, в частной жизни был он ко всем благосклонен, приступен и человеколюбив до того, что помогал своим противникам в несчастии и когда находились в опасности, защищал их против их неприятелей. Некогда его порицали приятели его за то, что говорил в пользу некоего дурного человека, которого судили. Фокион им отвечал, что добродетельные люди не имеют нужды в защите. Доносчик Аристогитон, будучи осужден, послал просить к себе Фокиона, который послушался и пошел к нему в темницу; приятели его не пускали. «Оставьте меня, друзья мои! – сказал им Фокион. – В каком другом месте свидание с Аристогитоном может быть приятнее?»

Союзники и жители островов, считая как бы неприятельскими отправляемые из Афин корабли под начальством другого полководца, укрепляли свои стены, заваливали гавани, сгоняли из деревень в город скот и невольников, жен и детей. Напротив того, когда предводительствовал афинскими силами Фокион, они выезжали далеко к нему навстречу на собственных кораблях своих, украшенные венками, и с весельем провожали в свои города.

Когда Филипп, стараясь утвердиться на Эвбее, переводил туда из Македонии военные силы и посредством поставленных ими тираннов привязывал к своей стороне города, то Плутарх Эретрийский призывал туда афинян, предлагая им освободить сей остров от македонского владычества*. Фокион избран полководцем и послан туда с войском, однако незначительным. Афиняне надеялись, что к ним готовы были пристать тамошние жители, но Фокион нашел, что все было заражено изменою, предательством и подкупом, а потому он сам приведен был в великую опасность. Заняв холм, отделяемый глубокой рытвиной от Таминской равнины, он остановился на нем и держал вместе отборнейшие силы свои. Когда самые непокорные, многоречивые и строптивые воины оставляли стан и убегали домой, то Фокион велел начальникам оставлять их без внимания, ибо по своему бесчинству они были бы здесь бесполезны и вредны для сражающихся; между тем по возвращении своем в Афины, чувствуя свое преступление, менее стали бы кричать на него и менее его клеветать.

Когда неприятель наступил, то Фокион велел войску своему стоять спокойно с оружием в руках, пока он совершит жертвоприношение. Он занимался этим дольше обыкновенного, или не находя жертвы благоприятной, или желая заманить неприятелей ближе. Плутарх, думая, что Фокион медлит из робости, устремился на неприятеля с наемным войском. Конница, увидя движение и не терпя оставаться в бездействии, выступила из стана без всякого порядка и устройства и ударила на неприятеля. Передовые были разбиты, все рассеялись, и Плутарх убежал. Некоторые из неприятелей, приблизившись к самому валу, силились его срыть в той

мысли, что уже победа одержана над всем войском. В то самое время совершилась жертва; афиняне немедленно напали из стана на неприятеля, обратили в бегство и большую часть положили на месте; в самих укреплениях Фокион велел фаланге своей не двигаться с места, принимать и устраивать тех, которые прежде рассеялись в бегстве своем. Он сам с отборнейшими воинами ударил на неприятеля. Битва была сильная, все сражались мужественно, не щадя жизни своей. Талл, сын Кинея, и Главк, сын Полимеда, ознаменовали себя, сражаясь подле самого полководца; Клеофан в этом сражении также оказал великие услуги. Он звал конницу, предавшуюся бегству, кричал ей и увещевал ее, чтобы она возвратилась и не оставила полководца своего в опасности, чем произвел то, что она поворотила назад и подкрепила движения пехоты.

После этого сражения Фокион изгнал Плутарха из Эретрии; он овладел Заретрой, весьма важной по своему положению крепостью, ибо в этом месте остров имеет самую малую ширину, будучи объят с обеих сторон морями. Он отпустил всех взятых в плен греков, боясь, как бы афинские ораторы не ожесточили против них народ и не заставили его поступить с ними жестоко.

После этих подвигов Фокион отплыл в Афины. Вскоре союзники должны были пожалеть, что лишились его добродетели и справедливости, а афиняне познали его опытность и мужество, ибо Молосс, полководец, который после него управлял делами, вел войну столь неискусно, что он сам живым попал в плен.

Филипп, одушевленный надеждой, имея в уме своем великие предприятия, прибыл в Геллеспонт со всеми силами своими, дабы овладеть одновременно Херсонесом, Перинфом* и Византием. Афиняне решились послать войско на помощь этим городам. Ораторы действовали в пользу Харета. Он в самом деле отплыл туда, но не произвел ничего, достойного своих военных сил. Города, на помощь которым был он отправлен, не впустили в свои гавани его флота. Будучи всем подозрителен, он переходил без пользы с места на место; с союзников собирал деньги, а неприятелями был презираем. Народ, подстрекаемый ораторами, негодовал и раскаивался в том, что послал византийцам помощь. Фокион, восстав в Собрании, сказал: «Не должно сердиться на союзников, не имеющих доверенности к вашим полководцам, которые не внушают доверенности к себе. Эти-то полководцы делают вас страшными даже перед теми, кто без вашей помощи спасен быть не может». Эти слова сильно подействовали на народ; он переменил мысли, велел Фокиону собрать другие военные силы и отправиться в Геллеспонт. Это движение произвело великий перевес к спасению Византия, ибо Фокионова слава была уже велика. Леонт, который по своим добродетелям был отличнейший из византийских граждан, и с Фокионом знакомый по Академии, поручился за него городу; граждане не допустили Фокиона остановиться вне города, как он того хотел, но отворили свои ворота и приняли к себе афинян, которые не только вели себя весьма благоразумно и пристойно, не подали ни малейшей причины к жалобам, но в сражениях содействовали византийцам с великим усердием, по причине оказанной им доверенности. Филипп был тогда принужден отступить от Геллеспонта и навлек на себя презрение, хотя прежде был почитаем человеком непреоборимым и непобедимым. Фокион успел взять у него несколько кораблей и отнял города, охраняемые войсками его; во многих местах сделал высадки, опустошал и разорял область Филиппа и наконец возвратился в Афины, получив рану в сражении с неприятельскими войсками, которые уже собирались против него.

Мегаряне призывали тайно к себе афинян. Фокион, боясь, чтобы беотийцы не возымели к тому подозрения и не предупредили посылаемой в Мегары помощи афинян, по утру собрал народ и объявил ему предложение мегарян. Получив на то согласие, он велел затрубить в трубы, вооружил воинов и с народной площади повел их в Мегары. Он был принят охотно гражданами этого города, укрепил Нисею, от самого города до пристани построил две стены и таким образом соединил город с морем, который был уже вне опасности от неприятелей со стороны земли и зависел совершенно от афинян.

Афиняне, объявив уже открытую войну против Филиппа, избрали в отсутствии Фокиона другого полководца, дабы вести эту войну. Фокион, возвратившись в Афины с островов, представил народу, что было бы лучше принять предлагаемые мирные условия тогда, когда Филипп склонен к миру и чрезвычайно боялся опасностей войны. Один из тех, кто привык

лишь влачиться по гелиеи* и клеветать на лучших граждан, противоречил ему и спросил его: «Ты смеешь, Фокион, отговаривать афинян от войны, когда они уже с оружием в руках?» – «Да! – отвечал Фокион, – хотя я знаю, что в военное время я тебе начальник, а по заключении мира, ты – мне». Впрочем, усилия его были тщетны. Демосфен одержал верх; он предлагал афинянам перенести войну как можно далее от Аттики. «Друг мой! – сказал Фокион. – Не на то должно смотреть, в каком месте нам сразиться, но каким образом победить. В таком только случае война будет далеко от нас; если же будем побеждены, то все бедствия будут от нас близки!»

Афиняне были разбиты. Беспокойные и жаждущие новых перемен граждане влекли Харидема на трибуну и хотели, чтобы он предводительствовал*. Лучшие граждане были в великом страхе. При помощи совета Ареопага, молениями и слезами своими, с большим трудом они убедили народ предать судьбу республики Фокиону. Этот полководец почитал необходимым покориться предложениям Филиппа и принять умеренные его условия. Но когда Демад предложил, чтобы республика участвовала в общем мире греков и в собрании всех послов их*, то Фокион говорил, что на это не согласится, пока не узнает, какой мир Филипп намерен заключить с греками. Впрочем, тогдашние обстоятельства были причиною того, что мнение его отвергнуто. Вскоре афиняне раскаивались в заключенном мире, ибо были принуждены давать Филиппу корабли и конницу. «Вот чего боялся я и вот за что вам противился, – сказал им Фокион, – но вы однажды согласились, итак, не должно вам теперь роптать и унывать; вспомните, что и предки наши, то начальствовали, то покорствуя другим, но ведя себя хорошо и в одном и в другом случае, спасли и город сей, и всю Грецию».

По смерти Филиппа* он не допустил афинян приносить жертвы по случаю получения столь радостной вести; он представил им, что, во-первых, радоваться смерти неприятеля подло, и, во-вторых, что воинство, вступившее с ними в бой при Херонее, только одним человеком стало меньше.

Когда Демосфен поносил Александра, который уже подступал к Фивам, то Фокион говорил ему:

Дикого мужа почто раздражить ты хочешь, несчастный!*

Мужа, который, жаждет великой славы? Близ нас свирепствует пожар и ты хочешь бросить в огонь республику, но я не допущу, чтобы народ себя погубил, хотя бы он сам того хотел, ибо я единственно терплю для того быть его полководцем!» После разорения Фив Александр требовал, чтобы ему были выданы Демосфен, Ликург, Гиперид и Харидем. Собрание обратило на Фокиона глаза свои; несколько раз звали его по имени. Он встал и, взяв одного из друзей своих, которого он большую имел доверенность и с которым советовался о делах, представил его народу, сказал: «Эти люди до такой крайности довели республику, что если бы кто потребовал у меня этого Никокла, то я согласен и его выдать; что касается до меня, то умереть за всех вас почел бы я своим благополучием. Хотя я сострадаю, афиняне, этим несчастным фиванцам, которые нашли здесь убежище после разорения их отечества; однако пусть Греция оплакивает только одни Фивы! Поэтому лучше просить за обоих и смягчить победителя, нежели с ним сражаться!»

Говорят, что когда Александр получил первое постановление афинян, то он его бросил на землю, отворотился от посланников и ушел, но второе, принесенное к нему Фокионом, он принял, узнав от старейших, что и Филипп уважал этого мужа. Не только позволил он ему представить свои требования, но выслушал и советы его. Фокион представлял ему, что если он хочет спокойствия, то должен прекратить войну; ежели же ищет славы, то должен обратить оружие от греков к варварам. Он говорил еще много и столь сообразно со свойствами и намерениями Александра и до того укротил его, что сей государь сказал ему наконец: «Пусть афиняне обратят внимание на дела; если что-либо со мною случится, то начальство перейдет к ним». Он соединился частно с Фокионом узами дружбы и гостеприимства и имел к нему такое уважение, которым не многие пользовались из приятелей его, которые всегда при нем находились. Дурис пишет, что Александр, достигши величайшей славы и силы по разбитии Дария, никому не писал в письмах обыкновенное приветствие «Радости желаю»; что только в

письмах своих к Фокиону и Антипатру употреблял это приветствие. О чем упоминает также Харет.

Всем известно, что Александр послал Фокиону в подарок сто талантов. Фокион спросил тех, кто принес их ему: «Что это значит? Зачем Александр одному мне прислал эти деньги, хотя в Афинах так много граждан?» Посланные отвечали ему, что Александр его одного почитал добродетельным человеком. «Итак, – отвечал Фокион, – да позволит он мне и казаться, и быть всегда таковым». Посланные прошли за ним в дом его и увидели своими глазами его бедность; жена его месила хлеб, а Фокион сам черпнул воды из колодца и мыл себе ноги. Посланные еще более приступили к нему, показывали неудовольствие, говоря, что непристойно, чтобы друг царя их жил в столь бедном состоянии. Фокион показал им мимо шедшего бедного старика, завернутого в замаранный плащ, и спросил их: «Не почитаете ли вы меня хуже этого человека?» Они просили его не говорить таких непристойных речей. «Этот человек, – продолжал Фокион, – беднее меня, однако доволен своим состоянием. Итак, или я не употреблю этих денег и буду их иметь напрасно, или, употребляя, я навлеку на себя и на царя нарекание сограждан». Таким образом, деньги были вывезены из Афин. Поступок Фокиона доказал грекам, что человек, не имеющий нужды в таком множестве денег, богаче того, кто их давал. Александр досадовал на сей отказ Фокиона; он опять писал ему, что не почитает друзьям тех, кто в нем не имеет никакой нужды. Несмотря на то Фокион и тогда не принял подарка, а просил только об освобождении софиста Эхекратида, имбросца Афинодора и двух родосцев – Демарата и Спартона, которые были пойманы по некоторому доносу и задержаны в Сардах; Александр исполнил немедленно его желание. Отсылая Кратера в Македонию, Александр велел ему предложить Фокиону на выбор один из четырех азийских городов – Киос, Гергит, Миласы или Элею*, и при том объявить ему, что царь еще более осердится, если Фокион не примет города. При всем том Фокион отказался от принятия оного; Александр вскоре умер. И поныне показывается в Мелите* дом Фокиона, который отличается медными листами; в прочем он прост и без всяких украшений.

Он был женат на двух женах; о первой известно лишь то, что была сестрой ваятеля Кефисодота. Вторая была среди афинян столь славна своим целомудрием и простотою в образе жизни, сколь Фокион своим праводушием. Однажды афиняне смотрели в театре на новые трагедии. Когда актер, которому надлежало выступить на сцену, требовал у хорега маску, представляющую царицу, и многих великолепно убранных служительниц, а тот ему не давал, то актер сердился, не хотел выступить вперед и заставлял зрителей дожидаться. Хорег Меланфий, толкая его на сцену, кричал ему: «Разве ты не видишь, что жена Фокиона всякий день выходит на улицу с одною только служительницей? А ты кичишься и своим примером портишь наших жен». Эти слова были слышны зрителям, которые приняли с рукоплесканием и восклицаниями. Некоторая ионянка показывала жене Фокиона разные головные и шейные золотые уборы, унизанные драгоценными каменьями, и та сказала ей: «Все мое украшение есть Фокион, уже двадцать лет предводительствующий афинянами».

Сын его Фок изъявил желание в Панафинейском празднестве состязаться с другими в ристании апобатов*. Фокион дал ему на то позволение не потому, чтобы он желал победы сыну своему, но дабы молодой человек сделался крепче, упражняясь в телодвижениях, ибо он был поведения непорядочного и любил выпить. Фок одержал в играх победу; многие из его приятелей хотели ее праздновать. Фокион отказал другим и позволил одному изъявить сей знак дружбы. Прийдя сам к ужину, нашел он пышные приготовления и между прочим сосуды с вином и ароматами для умытия ног приходящих гостей. Он призвал сына своего и сказал ему: «Зачем ты, Фок, позволяешь другу своему портить таким образом и уничтожать твою дружбу?» Дабы вовсе отклонить молодого человека от его образа жизни, он отвез его в Лакедемон и причислил к молодым людям, которые там воспитывались по лакедемонскому постановлению. Этот поступок был неприятен афинянам; им казалось, что Фокион оказывал этим презрение к отечественным обычаям. Демад сказал ему: «Что ж мы, Фокион, не убеждаем афинян принять лакедемоский образ правления? Если ты прикажешь, я готов говорить и писать». – «Прилично тебе, – отвечал Фокион, – дышащему ароматами и носящему такой дорогой плащ, советовать афинянам завести у себя филитии* и прославлять Ликурга!»

Когда Александр писал, чтобы присланы были к нему триеры, и ораторы афинские

противились сему, то Совет просил Фокиона объявить о том свое мнение. Фокион сказал: «Я вам советую либо побеждать оружием, либо быть друзьями победителя».

Пифею, который тогда только начинал говорить к народу и уже показался человеком дерзким и многоречивым, Фокион сказал: «Не замолчишь ли ты, новокупленный раб народа?»

По прибытии в Аттику Гарпала, убежавшего от Александра с великим богатством, люди, которые имели привычку пользоваться общественными делами, наперерыв толпились вокруг него, продавая ему свои услуги. Гарпал бросил им, как приманку, весьма мало денег, а Фокиону послал семьсот талантов, предавая ему все свое имение, а с ним и себя самого. Фокион отвечал ему резко: «Беда тебе, Гарпал, если ты не перестанешь подкупать и развращать граждан». Гарпал тогда присмирел и отстал от него. Вскоре, когда афиняне начали советоваться о нем, увидел Гарпал с удивлением, что те, кто принял от него деньги, переменили мысли и вместо того, чтобы защищать, обвиняли его, дабы не открыть их мздоимства, а Фокион, который ничего от него не принял, в речи своей говорил нечто о его спасении, сколько позволяла польза общественная. Он опять приложил старание о приобретении его покровительства, но обхаживая его, видел, что Фокион, подобно крепости, ни с какой стороны не был подвластен золоту. Он успел, однако, привязать к себе и сделать другом своим зятя его Харикла; он во всем ему доверял, употреблял его в делах своих и тем был причиной его бесславия.

По смерти гетеры Пифоники, которую Гарпал нежно любил и которая родила ему дочь, хотел он соорудить ей великолепный памятник и препоручил Хариклу все попечение о нем. Это поручение было само по себе постыдно для Харикла, но совершение работы еще более послужило к его посрамлению. Памятник существует и поныне в Гермии, по дороге, ведущей из Афин в Элевсин, и не представляет ничего достойного тридцати талантов, ибо Харикл в такое количество поставил Гарпалу сию работу*. По смерти Гарпала Фокион и Харикл приняли дочь его к себе и имели о ней попечение. Когда Харикл был судим за деньги, взятые им у Гарпала, и просил Фокиона, чтобы он ему помог и предстал в суде вместе с ним, то он отказал ему, говоря: «Харикл! Я сделал тебя зятем своим только на справедливые дела».

Известие о смерти Александра принесено было афинянам Асклепиадом, сыном Гиппарха. Демад советовал народу не верить тому. «Когда бы Александр умер, – говорил он, – то давно бы по всей вселенной распространился дух от мертвого тела его». Фокион, видя, что народ был склонен к мятежу этой вестью и стремился к новым переменам, старался его укротить своими советами. Многие входили на трибуну и кричали, что Асклепиад говорит правду и что Александр точно умер. «Хорошо, – сказал Фокион, – если он этого дня мертв, то и завтра, и после завтра тоже будет мертв; следовательно, и вы можете советоваться между собою спокойно и безопасно».

Когда Леосфен ввергнул республику в Ламийскую войну и Фокион на то негодовал, то он спросил Фокиона с насмешкой, какую пользу тот оказал Афинам, будучи столько лет полководцем. «Немалую, – отвечал Фокион, – ту, что граждане погребаются в своих собственных могилах». Леосфен оказывал великую гордость и хвастовство в Народном собрании; Фокион сказал ему: «Молодой человек! Слава твоя похожа на кипарисы; они велики и высоки, но не приносят никакого плода». Гиперид, встав, спросил его: «Когда же ты посоветуешь афинянам воевать?» «Тогда, – отвечал Фокион, – когда увижу, что молодые люди захотят сохранять свое место в строю, когда богатые будут готовы вносить деньги, а ораторы перестанут грабить общественную казну». Многие изъявили удивление к силе, собранной Леосфеном, и спрашивали Фокиона, хорошо ли устоено сие войско, по его мнению. «Хорошо, – отвечал Фокион, – для одного стадия, но я страшусь долиха*, ибо республика не имеет более ни денег, ни кораблей, ни пехоты». Последовавшие происшествия доказали истину его речей. Сперва Леосфен прославился блестящими делами. Он выиграл сражение у беотийцев и прогнал Антипатра к Ламии. Тогда-то, говорят, афиняне, возымев великие надежды, торжествовали сии радостные вести и приносили часто жертвы богам. Когда некоторые для показания несправедливости мыслей Фокиона спрашивали его, неужели он не хотел произвести то же самое, то Фокион отвечал: «Очень бы хотел, но останусь при своих мыслях». Из войска получаемы были приятные новости, одни за другими, то письменно, то словесно, и Фокион спрашивал: «Когда же мы перестанем побеждать?»

По смерти Леосфена* та сторона, которая боялась, чтобы Фокион не был избран в

полководцы и не прекратил войны, подучила одного из неважных и неизвестных граждан сказать народу в Собрании, что он был другом Фокиону, что учился вместе с ним и что просит граждан беречь и щадить его, ибо другого Фокиона у них нет, и советует послать в войска Антифила. Афиняне согласились. Фокион выступил вперед и объявил народу, что он не учился вместе с этим человеком и что вовсе с ним незнаком. «Но с этого дня, – продолжал он, обернувшись к нему, – я делаю тебя другом своим, ибо ты подал народу совет, для меня полезный». Афиняне положили идти войной на беотийцев. Фокион противился сему намерению. Приятели говорили ему, что он погибнет, если будет противоречить афинянам. «Если я и поступки мои полезны отечеству, это несправедливо; если же я преступаю долг свой, то по делам!» Видя, что афиняне не переменили своих мыслей, но шумели, велел глашатаю объявить, чтобы все афиняне, которым минуло шестьдесят лет после первого похода, взяли бы с собою на пять дней запасов и тотчас за ним последовали из Собрания. Это объявление произвело великий шум, старики кричали и жаловались на него. Фокион говорил им: «Вам не должно это показаться странным, ибо я ваш полководец, которому от роду восемьдесят лет, и буду с вами». Он успел таким образом их успокоить и переменить мысли.

Микион с македонским и наемным войском опустошал приморскую сторону Аттики; он вышел в Рамнунте и делал набеги. Фокион вывел против него афинян. Многие из подчиненных его то и дело подбегали к нему, давали наставления, советовали ему эту возвышенность занять, туда послать конницу, здесь остановиться. «О, Геракл! – сказал Фокион. – Как много вижу здесь военачальников, как мало воинов!» Когда построил он свою пехоту, то один из воинов выступил впереди строя, но устрашившись противо выступившего ему неприятельского воина, опять отступил к строю. «Молодой человек, – сказал ему Фокион, – не стыдно ли тебе два раза оставлять свое место? Ты оставил то, в которое поставил тебя полководец, и то, которое ты сам выбрал?» Он напал на неприятелей, разбил их совершенно, умертвил Микиона и великое число неприятелей. Между тем и греческое войско в Фессалии одержало победу над Антипатром, к которому присоединился Леоннат и перешедшее из Азии македонское войско. Леоннат пал в сражении. Греческой пехотой предводительствовал Антифил; конницей – фессалиец Менон.

Но вскоре после этого Кратер перешел из Азии в Европу с многочисленным войском; дано было вновь сражение при Кранноне*, и греки были разбиты. Потери их были не очень тяжелы, на месте легло их немного, однако частью из-за неповиновения начальникам, которые были молоды и мягкосердечны, частью из-за старания Антипатра о привлечении городов на свою сторону греки разошлись и постыдным образом предали свою независимость. Антипатр прямо повел на Афины свое войско. Демосфен и Гиперид оставили город. Демад, который прежде не был в состоянии заплатить городу даже часть денежной пени, на которую был осужден (ибо, предложив народу семь раз постановления, противные законам, был объявлен бесчестным и не имел позволения говорить), теперь найдя удобный случай, внес предложение об отправлении к Антипатру полномочных послов для заключения мира. Народ, будучи в страхе, призывал Фокиона, объявляя, что ему одному верит. «Когда бы вы верили словам моим, – сказал им Фокион, – то теперь не рассуждали бы мы о сих делах». Постановление было утверждено. Фокион отправлен к Антипатру, который находился с войском в Кадмее и готовился вступить в Аттику. Первое прошение Фокиона состояло в том, чтобы Антипатр заключил мир на том месте, в котором он находился, но Кратер доказывал, что такое требование было несправедливо. «Фокион хочет, – говорил он, – чтобы мы оставались на земле своих друзей и союзников и разоряли ее тогда, когда мы можем содержать себя на земле своих неприятелей». Антипатр, взяв его за руку, сказал ему: «Окажем сие удовольствие Фокиону!» Все другие условия должны быть отданы на волю им, как при Ламии отданы были Антипатром на волю Леосфену.

По возвращении Фокиона в Афины народ, по необходимости, принужден был на все согласиться. Фокион возвратился опять в Фивы с другими посланниками, к которым афиняне причислили философа Ксенократа. Важность добродетели этого мужа, его слава и знаменитость в таком у всех были уважении, что, казалось, не гнездилось в душе человеческой такой надменности, свирепости и ярости, которая при одном воззрении на Ксенократа не восчувствовала бы к нему стыда и почтения. Несмотря на то, последовало совсем противоположное ожиданию афинян, по некоему бесчувствию и ненависти Антипатра ко всему

изящному. Во-первых, он не приветствовал Ксенократа, хотя других посланников принял весьма благосклонно. По сему случаю Ксенократ сказал: «Антипатр хорошо делает, что стыдится одного меня за те неприятности, которые намерен причинить республике». Сверх того когда Ксенократ начал говорить, то Антипатр не хотел его слушать, прерывал его речь, оказывал неудовольствие и заставил его молчать. На речь Фокиона Антипатр отвечал, что заключает мир и союз с афинянами с тем, чтобы они выдали ему Демосфена и Гиперида, чтобы управлялись по древним постановлениям, по которым право гражданства получалось по имению*; чтобы приняли в Мунихию македонское охранное войско и заплатили бы военные издержки и пени. Посланники были довольны этими условиями, находя их снисходительными. Один только Ксенократ сказал, что Антипатр поступает с афинянами снисходительно, если считает их невольниками, но если почитает их вольными, то поступает с ними жестоко. Когда Фокион просил Антипатра об освобождении города от охранного войска, то он отвечал ему: «Фокион! Мы готовы исполнить все то, чего ты желаешь, исключая того, что послужит к твоей и к нашей погибели». Другие говорят о том иначе, а именно, что Антипатр спросил Фокиона, ручается ли он, что республика останется в мире и ничего нового не предпримет, если он освободит афинян от охранного войска. Фокион, предавшись размышлению, молчал, между тем Каллимедонт по прозвищу Краб, человек дерзкий и не любящий народа, встав, сказал ему: «Если он, Антипатр, будет свое пустословить, ужели ты будешь его слушать и не сделаешь того сам, что думаешь!»

Итак, афиняне приняли охранное македонское войско, под предводительством Менилла, человека кроткого, одного из Фокионовых приятелей. Требование Антипатра о принятии охранного войска показалось афинянам надменным, более служащим к изъявлению горделивой и все презирающей власти, нежели служащим к занятию города для безопасности и спокойствия. Время, в которое случилось это неприятное происшествие, еще более умножило уныние афинян. Охранное войско вступило в город двадцатого боэдромиона, когда отправляются тайны и выносят Иакха* из Афин в Элевсин, и так как торжественное шествие было расстроено, то многим приходила мысль сравнивать прежние деяния богов с настоящими. Тогда во время блистательнейших успехов видны были таинственные явления и слышны голоса, внушавшие врагам изумление и ужас, а ныне при тех самых священнодействиях боги были свидетелями бедствий Греции; священнейшее и любезнейшее им время года поругано и посрамлено величайшим несчастьем. За несколько лет до этого додонские жрицы изрекли афинянам беречь мыс Артемиды*, чтобы другие не заняли. Повязки, которыми обвязываются таинственные ложи в те самые дни, когда их красили, получили вместо красного – цвет слабый и мертвый. Всего страннее то, что те вещи, которые тогда красили для частных лиц, получили надлежащий цвет. Один из посвященных в таинства, мывший поросенка в Канфарской бухте*, был схвачен акулой, которая проглотила нижнюю часть тела его до утробы. Этим, казалось, боги явно предзнаменовали афинянам, что они лишатся нижней и приморской части города, но сохранят верхнюю.

Впрочем, охранное войско не причиняло большого неудовольствия гражданам, и это должно приписать Мениллу. Число людей, которые по причине бедности своей лишились тогда гражданства, простиралось до двенадцати тысяч*. Одни из них, оставаясь в городе, были достойны жалости и казались обесчещенными; другие, оставившие по этой причине Афины и переселившиеся во Фракию, где Антипатр дал им город и землю, казались изгнанными из своего отечества неприятелем.

Смерть Демосфена в Калаврии и Гиперида в Клеонах, которая описана нами в другом месте, заставляла афинян вспомнить о Филиппе и Александре и желать их. Говорят, что по умерщвлении Антигона*, когда убийцы его начали оскорблять и угнетать народ, то один фригийский крестьянин, рывшийся в земле, будучи спрошен, что он делает, отвечал со вздохом: «Увы! Ищу Антигона!» То же самое могли сказать тогда многие афиняне, вспоминая гнев тех македонских царей, которые при всем величии и важности своей были кротки и снисходительны; они не походили на Антипатра, который притворялся частным лицом, носил дурной плащ и вел простую жизнь, но тем более казался несноснейшим и жесточайшим деспотом и тиранном для тех, кого он угнетал. Несмотря на то, Фокион многих избавил от изгнания, выпросил их у Антипатра; для некоторых изгнанников исходатайствовал позволение,

чтобы они жили в Пелопоннесе и не были принуждены, подобно другим, оставлять Грецию и удаляться за Керавнские горы и за мыс Тенар*. В числе последних находился и известный доносчик Гагонид. Фокион, управляя республикой кротко и справедливо, давал начальство лучшим и отличнейшим людям; беспокойных и мятежных, которые будучи лишены способов начальствовать и производить беспокойства и теряли от того свою силу, учил он жить спокойно за городом и заниматься земледелием.

Увидя некогда Ксенократа, который как иностранец взносил определенную подать, он хотел причислить его к гражданам, но Ксенократ отказался от принятия этого права, сказав, что он не хочет иметь участие в таком образе правления, будучи прежде отправлен посланником для того, чтобы оное не существовало.

Менилл некогда давал Фокиону дары и деньги. Фокион сказал ему: «Ты не лучше Александра, и причина, для которой должно мне принять сии деньги теперь, не есть приличнее той, для которой я прежде отказался от них». Менилл просил его взять деньги для Фока, сына своего. Фокион сказал ему: «Если Фок будет разумен и переменит образ жизни, то для него довольно того, что отец ему оставит, а как он ведет себя теперь, то для него все мало». Когда Антипатр требовал он него чего-то несправедливого, то Фокион отвечал ему резко: «Антипатр не может во мне иметь в одно время друга и льстеца». Антипатр сам говаривал, что у него в Афинах двое друзей – Фокион и Демад; что одного никогда не мог принудить принять что-нибудь, а другого не мог насытить, что бы ни давал ему. И Фокион гордился, как некоей добродетелью, бедностью своею, в которой состарился, будучи много раз полководец афинян и пользуясь дружбой царей; Демад, напротив того, хвастал богатством, которое употреблял против законов. По тогдашним афинским законам никому из иностранных не было позволено иметь участия в хорах; Хорег, преступающий этот закон, должен был платить по тысяче драхм за каждого. Демад собрал хор из ста человек иностранцев и в то же время внес в театр за каждого пени по тысяче драхм. Когда он женил сына своего Демею, то сказал ему: «Сын мой, когда я женился на твоей матери, то и сосед этого не знал, а на твою свадьбу делают издержки цари и владельцы».

Афиняне не переставали беспокоить Фокиона о том, чтобы он просил Антипатра освободить город от охранного войска. Не надеясь ли на успех этого предприятия, или, лучше сказать, видя, что народ из страха вел себя благоразумно, был тих и спокоен, Фокион отказывался от посольства; однако убедил Антипатра не требовать денег, но отстрочивать взыскание их от времени до времени. Граждане потому обратились к Демаду и просили его о выведении из Афин охранного войска. Демад охотно принял на себя это дело и отправился в Македонию вместе с сыном своим. Конечно, злой гений привел его туда в то время, когда Антипатр был уже одержим болезнью, а Кассандр, управлявший уже делами, нашел писанное Демадом к Антигону письмо, в котором он побуждал его явиться в Македонию и Грецию, уверяя что все висит на старой и гнилой нитке; он разумел под этим Антипатра. Как скоро Кассандр увидел Демада, то велел его поймать, наперед привел сына его и умертвил перед глазами отца и так близко от него, что кровь брызнула на Демада и обагрила его платье. После того Кассандр, упрекнув ему неблагодарностью и предательством, предал смерти*.

Антипатр умер, оставя по себе Полисперхонта полководцем, а Кассандра – тысяченачальником. Кассандр, будучи тем недоволен и желая предупредить соперников своих, послал Никанора сменить Менилла, начальника охранного войска, и занять Мунихию прежде, нежели смерть Антипатра сделалась известною. Это было исполнено, и по прошествии немногих дней афиняне, узнав, что Антипатр умер, обвиняли и хулили Фокиона за то, что он знал о том прежде, но умолчал из угождения к Никанору. Фокион не обращал внимания на их слова. Он переговорил с Никанором, заставил его быть к афинянам снисходительным и благосклонным и склонил его принять на себя некоторые издержки, дать народу игры и быть самому в них подвигоположником.

Между тем Полисперхонт, который имел попечение о царе* и хотел низвергнуть Кассандра, писал афинянам, что царь позволяет им восстановить демократическое правление и управляться по древним своим постановлениям. Все это было злоумышлением против Фокиона, как впоследствии он обнаружил поступками своими; намерение его состояло в том, чтобы покорить властью своей Афины, но не мог этого достигнуть, как после падения Фокиона,

которого только в таком случае можно было низвергнуть, когда изгнанные граждане завладели бы правлением, и трибуна была бы занята демагогами и доносчиками. Письмо Полисперхонта произвело в Афинах сильное движение. Никанор хотел говорить с афинянами в Пирее; они собрались, и Никанор предстал, доверил им жизнь свою, полагаясь на Фокиона. Деркилл, полководец находящегося тут войска, хотел его поймать, но Никанор, постигнув его намерение, убежал, явно показав, что хотел отомстить городу за предательство. Между тем афиняне жаловались на Фокиона за то, что он не удержал Никанора, но дал ему способы уйти. Фокион оправдывался тем, что он имел доверенность к Никанору и ничего дурного от него не ожидал, но что, впрочем, лучше хотел претерпеть, нежели сделать обиду. Эти слова показывают, конечно, его справедливость и благородство души, если бы дело касалось собственно его, но тот, кто за спасение отечества предавал опасности жизнь свою, будучи при том верховым полководцем и правителем его, не знаю, не преступал ли, поступая таким образом, в важнейшей и древнейшей обязанности к своим согражданам. Нельзя сказать и того, что он выпустил из рук Никанора, боясь ввергнуть в войну республику, и верность и справедливость помянул лишь для того, дабы и Никанор, уважая его, был покоен и не сделал афинянам какого-либо вреда. Нет сомнения, что он имел излишнюю доверенность к Никанору, ибо когда многие обвиняли Никанора и жаловались на него в том, что он нападал на Пирей, что перевозил наемное войско на Саламин и подкупал некоторых жителей Пирея, то Фокион не верил этим обвинениям. Он также не обратил никакого внимания на предложение Филомила из Лампгры, по которому надлежало всем афинянам быть с оружием в руках и повиноваться

Фокиону; сам полководец сохранял прежнюю беспечность, пока наконец Никанор не вышел из Мунихии вооруженный и не обвел рвом Пирей.

Между тем как сие происходило, афиняне шумели против Фокиона и оказывали ему пренебрежение, когда он хотел их вооружить и вывести в поле. В то время Александр, сын Полисперхонта, прибыл с войском, будто бы для оказания помощи жителям против Никанора, но по сути дела – чтобы ему удалось занять город, находившийся уже в колеблющемся и бедственном положении. Изгнанники, прежде присоединившиеся к нему, вступили немедленно в город. К ним присоединились иноземцы и люди, объявленные бесчестными; составлено было Народное собрание, смешанное из разных людей, без всякого устройства. Фокион был лишен начальства; вместо него избраны другие полководцы. Когда бы не увидели Александра разговаривающим под стеной с Никанором наедине, и когда бы эти частые их свидания не внушили афинянам подозрения, то город в то время не избегнул бы опасности.

Между тем оратор Гагнонид нападал на Фокиона и на приятелей его и обвинял их в предательстве. Каллимедонт и Харикл оробели и оставили Афины. Фокион и те из друзей его, которые при нем оставались, отправились к Полисперхонту. Вместе с ними вышли из города, по привязанности своей к Фокиону, платеец Солон и коринфянин Динарх*, которые пользовались дружбой и доверием Полисперхонта. Болезнь, случившаяся с Динархом, заставила их остановиться на несколько дней в Элатии*. В это время Агнонид убедил народ, а Архестрат писал предложение отправить к Полисперхонту посольство для доноса на Фокиона. Как те, так и другие прибыли в одно время к Полисперхонту, который вместе с царем проезжал фокидское селение Фариги, лежащее близ горы Акрурия, которая ныне называется Галатом. Здесь Полисперхонт поставил золотой балдахин, посадил под ним царя и своих друзей, велел схватить Динарха, немедленно по его прибытии, и предать мучительной смерти. После того он позволил другим афинянам говорить. Когда они в совете подняли великий шум и крик и обвиняли друг друга, то Агнонид, выступив в середину, сказал: «Посадите всех нас в одну железную клетку и отошлите в Афины, дабы мы отдали отчет в своих поступках». Эти слова заставили царя смеяться. Присутствовавшие в совете македоняне и иностранцы, не имея никакого дела и желая послушать посланников, давали им знать, чтобы они сделали здесь донос. Но в судьях не было беспристрастия. Фокион несколько раз начинал говорить, но Полисперхонт прерывал его всегда речь, и наконец, стукнув в землю тростью, заставил его отойти и молчать. Когда Гегемон сказал, что Полисперхонт может засвидетельствовать о привязанности и верности его к народу, то сей полководец отвечал ему с гневом: «Перестань обличать меня перед царем!» При этих словах царь вскочил, схватил копье и хотел поразить Гегемона, но Полисперхонт взял и удержал его, и таким образом совет был распущен.

В то же время Фокион и приятели его были окружены стражей. Те из приятелей его, которые были в отдалении, увидя это, обвернулись в плащи и спаслись бегством. Клит отвез Фокиона и других в Афины, будто бы для того, чтобы их предать суду; в самом же деле для умерщвления их как осужденных на смерть. Самое везение представляло горестное зрелище. Их возили на телегах через Керамик к театру. Тут Клит их остановил, пока правители собрали народ. От собрания не были удален ни раб, ни иноземец, ни обесчещенный гражданин; трибуна и театр были отворены для всех, как мужчин, так и женщин, без всякого различия.

Прочтено было письмо царя, который писал афинянам, что он уверен в предательстве этих людей, и что афинянам, как вольным и независимым, предоставлено судить их. Клит ввел их в театр. При воззрении на Фокиона отличнейшие граждане покрыли свое лицо, наклонили головы и плакали. Один из них осмелился сказать, что поскольку царь предоставляет суду народа столь важное дело, то было бы прилично выйти из собрания всем рабам и иноземцам. Но народ этого не утерпел; он кричал, что надлежало закидать камнями этих олигархов, этих ненавистников народа. В пользу Фокиона не осмелился уже никто более сказать что-либо. Фокиону стоило великого труда заставить себя слушать; он сказал народу: «Праведно ли или неправедно хотите умертвить нас?» – «Праведно!» – отвечало несколько голосов. «Как же вы можете это знать, не выслушав нас?» – продолжал Фокион. Но народ ничего не слушал; он подошел ближе и сказал: «Афиняне! Я признаю себя виновным и за свое управление достоин смертной казни, но этих людей, которые невинны, зачем хотите вы умертвить?» Некоторые отвечали: «За то, что они друзья твои!» Фокион удалился и более ничего не говорил. Гагнонид читал написанное им предложение, по которому следовало, чтобы народ объявил свое мнение, виновны ли они или нет. И если они признаны будут виновными, то следовало их предать смерти.

По прочтении этого предложения некоторые требовали, чтобы к нему было прибавлено: «Предать Фокиона мучительной смерти»; они хотели притом, чтобы принесено было колесо и чтобы призваны были палачи. Гагнонид, видя, что и Клит на это негодовал и, чувствуя варварство и мерзость оного поступка, сказал народу: «Граждане! Когда мы поймаем злодея Каллимедонта, тогда мы предадим его мучительной смерти. Что касается до Фокиона, то я ничего такого не предложу». Тогда один из добродетельных граждан сказал ему: «Ты хорошо делаешь! Если мы предадим Фокиона мучительной смерти, то как поступим с тобою?»

Предложение было утверждено, начали собирать голоса; никто не сидел, все стояли, большей частью цветами увенчанные; приговорили их к смерти. С Фокионом были Никокл, Фудипп, Гегемон, Пифокл, Деметрий Фалерский, Каллимедонет, Харикл и некоторые другие, которые не были пойманы, но также приговорены были к смерти.

Собрание было распущено и узников ввели в темницу. Эти несчастные, которых обнимали родственники их и друзья, шли с воплем и рыданием, Фокион, который шел с таким же лицом, с каким прежде во время своего полководства удалялся с Народного собрания, окруженный гражданами, внушал во всех удивление к своему спокойствию и твердости души своей. В то самое время неприятели его ругались над ним, бегая подле него; один из них пошел к нему навстречу и плюнул в лицо. Фокион, взглянув на архонтов, сказал: «Не уймете ли этого человека от бесчинства?»

По прибытии их в темницу Фудипп, увидя, что уже трут для них цикуту, в горести своей оплакивал свое злополучие, говоря, что он погибает с Фокионом несправедливо. «Ужели ты недоволен, что умираешь вместе с Фокионом?» – сказал ему Фокион. Некто спросил его, что прикажет сказать сыну своему: «Я завещаю ему не питать злобы к афинянам», – отвечал Фокион. Никокл, вернейший друг его, просил, чтобы он позволил ему прежде него принять отраву. «Любезный друг, – сказал ему Фокион, – твоя просьба жестока и горестна, но как я ни в чем тебе не отказывал в жизни моей, то позволю тебе и это».

По принятии всеми отравы, недоставало еще оной для Фокиона; тюремщик объявил, что он более не натрет, если не получит вперед двенадцати драхм, ибо за такую цену покупает известное количество. Сделалась от этого остановка. Фокион призвал одного из друзей своих и сказал: «Ужели в Афинах и умереть нельзя даром!» Он велел отдать требуемые деньги.

День смерти их был девятнадцатым днем месяца мунихиона. В этот самый день всадники едут по городу, отправляя торжество в честь Зевса. Из сих всадников одни сняли с головы

венцы свои; некоторые со слезами на глазах взглянули на двери темницы. Все те, кто не имел свирепой души и не был испорчен яростью и ненавистью, почли делом нечестивейшим, что не дождались и прошествия этого дня и что празднующий город осквернен казнью граждан.

При всем том враги Фокиона как бы недовольно удовлетворили своей злобе, хотели, чтобы и тело его было выброшено за пределы отечества и чтобы ни один из афинян не развел огня для сожжения его. Итак, никто из друзей его не осмелился коснуться мертвого тела его. Но некто по имени Конопион, который в подобных случаях услуживал за деньги, понес тело его за Элевсин и, взяв огонь из Мегариды, сжег его. Одна мегарянка со своими служительницами находилась тут, сделала на этом месте насыпь в честь Фокиону и принесла возлияния. Она спрятала на своей груди кости Фокиона, принесла их ночью в дом свой, зарыла при домашнем очаге и сказала: «Тебе, любезный очаг, препоручаю сии останки добродетельного человека! Ты возврати их отечественной гробнице, когда афиняне придут в себя и узнают свое преступление».

Немного времени прошло, и обстоятельства сами доказали афинянам, какого предстателя и хранителя справедливости и умеренности потерял народ в Фокионе. Они воздвигли ему медный кумир, а кости его погребли общественным иждивением. Гагнонида, одного из доносчиков, приготовили к смерти и сами умертвили. Сын Фокиона отыскал Эпикура и Демофила, которые убежали из города, и наказал их. Касательно Фока известно, что он был человек ничтожный. Он влюбился в женщину, которая была содержима с другими такого же рода женщинами в неблагопристойном месте. Услышав некогда в Ликее следующее рассуждение Феодора Безбожника*: «Если не стыдно освободить из неволи друга, то и подругу также; если не стыдно выкупить любимца, то не стыдно и возлюбленную»; применив к своей страсти слова эти, как бы оные были основательные, он выкупил эту женщину у содержателя.

Смерть Фокиона напомнила грекам участь Сократа. Настоящее преступление и несчастье города совершенно сходствовало с прежним.

Катон

Знаменитость и слава Катонова рода восприняли свое начало со времен прадеда Катона Младшего, мужа, который отличными качествами и добродетелями приобрел среди римлян великую силу, как сказано в его жизнеописании. Что касается Катона Младшего, то он остался сиротой с братом Цепионом и сестрой Порцией. Сервилия также была сестра этого Катона от одной матери*; все дети воспитывались в доме Ливия Друза, своего дяди с материнской стороны и который в то время управлял республикою, ибо он был искуснейший оратор и, сверх того, человека беспорочнейшего поведения, а высокостью духа не уступал ни одному римлянину.

Говорят, что Катон еще в малолетстве обнаруживал как голосом и видом, так и самими детскими занятиями дух совершенно непоколебимый, твердый и постоянный. Желания души не по летам его имели силу, способную к произведению важных дел. Будучи суров и неприступен льстецам, он тем более одерживал верх над теми, кто грозил ему и стращал его. Он вовсе не был склонен к смеху, и радость его изредка одной улыбкою разливалась на его лице. Не был он также и склонен гневу, но однажды осердившись, был неумолим.

В начале своего учения он был вял и медленно перенимал, но выученное помнил твердо и долго. Люди, одаренные остротою, скоро понимают, а те, кто с великим трудом и напряжением выучивают, долго помнят, ибо учение глубоко врезывается в их памяти. Учение для Катона было труднее по причине его недоверчивости. В самом деле, учение есть нечто страдательное; те скоро бывают убеждаемы, которые менее способны противоречить. По этой причине молодые люди скорее бывают убеждены, нежели старые, больные скорее, чем здоровые, и вообще те, в которых способность сомневаться слаба, легко перенимают. Катон, как говорят, повиновался своему наставнику и исполнял в точности его приказания, но желал знать причину всему и спрашивал всегда, для чего это так. Наставник его, по имени Сарпедон, был человек образованный и ученый и готовый скорее отвечать словами, нежели действовать кулаком.

Катон был еще ребенком, когда союзники республики* просили, чтобы им дано было право римского гражданства. И вот однажды Помпедий Силон*, военный и весьма знаменитый

человек, друг Друза, остановился на несколько дней в доме его. Он познакомился коротко с детьми и некогда сказал им: «Ступайте дети, попросите за нас дядю, чтобы он помог нам к получению прав гражданства». Цепион улыбнулся и изъявил на то охоту, но Катон, ничего не говоря, смотрел на чужестранцев пристально и сурово. «Что ты нам скажешь, мальчик?» – спросил Помпедий. – Не хочешь ли заступиться у дяди за иностранцев, подобно брату своему?» Катон не отвечал ничего; молчанием и видом своим, казалось, отказывал в его просьбе. Помпедий поднял его и, выставив за окошко, грозил бросить его, ежели он не обещает исполнить просьбу; он говорил суровым голосом и качал его несколько раз на руках за окошком. Катон сносил долго это испытание, не показав ни малейшего страха и робости. Помпедий поставил его на пол и сказал своим товарищам: «Какое счастье для Италии, что он еще малолетен! Когда бы он был в полном возрасте, то думаю, в народе не имели бы мы ни одного голоса в нашу пользу».

Некогда один из его родственников праздновал день своего рождения, пригласил к ужину детей, а в числе их и Катона. Дети, большие и малые, будучи праздны, играли в одном углу вместе. Они своею игрой представляли суд, подаваемы были жалобы, виновных сажали в тюрьму. Один прекрасный мальчик, «приговоренный судьями к заключению», был приведен в одну комнату другим старшим мальчиком для исполнения приговора; заключенный призывал на помощь Катона, который, вскоре узнав, в чем дело шло, пришел к дверям, растолкал тех, кто тут стоял и противился ему, и вывел мальчика; после того ушел домой в сильном гневе; за ним последовали и многие из детей.

Он был славен среди своих сверстников. Это доказывается тем, что когда Сулла, собрав молодых благородных юношей, готовил их для священного ристания, которое называется Троей, и поставил над ними двух предводителей, то молодые люди приняли первого из уважения к его матери, он был сын Метеллы, жены Суллы; другого же, Секста, племянника Помпея, они отказывались принять, не хотели упражняться и повиноваться ему. Сулла спросил, кого они хотели, и все закричали: «Катона!» Сам Секст уступил ему эту честь, как лучшему.

Сулла был связан дружбой с отцом Катона; иногда он допускал к себе детей и говорил с ними, хотя немногим оказывал свои ласки по причине важности своего достоинства, происходящего от великой силы и власти. Сарпидон, думая, что это обстоятельство весьма важно для чести и безопасности детей, часто водил их к Сулле, для изъявления ему своего почтения. Дом диктатора тогда ничем не отличался от лобного места по причине множества людей, которых туда приводили и пытали. Катону было тогда от роду четырнадцать лет. Видя выносимые из дому головы людей, которых называли знатными, и заметя, что между тем присутствующие тайно воздыхали, он спросил у своего наставника, зачем никто не убивает этого человека. Наставник отвечал ему: «Затем, что его более боятся, нежели ненавидят». – «Зачем ты не дал мне ножа, – сказал ему Катон, – чтобы я его убил и освободил отечество от рабства?» Сарпидон, услышав эти слова и видя в то же время взоры его и лицо, воспаленное гневом и яростью, был до того устрашен, что с тех пор присматривал за ним весьма прилежно и имел великую осторожность, чтобы Катон не сделал какого-либо отчаянного поступка.

В малолетстве спрашивали его, кого он больше всех любит. «Брата», – отвечал он; «Второго после брата кого?» – «Брата»; то же повторилось и третий раз и так далее; он давал все тот же ответ, пока наконец устали его спрашивать. Когда он вырос, то еще более доказал любовь свою к брату. До двадцатилетнего возраста ни разу не ужинал, не путешествовал, не приходил в Народное собрание без брата. Брат его мазался благовонным маслом, но Катон от того отказывался, будучи уже в образе жизни строг и суров. Когда хвалили Цепиона за воздержание и умеренность, то он говаривал: «Я подлинно таков, в отношении к другим, но когда сравню жизнь свою с жизнью Катона, то я нахожу, что нимало не отличаюсь от Сиппия!» (Этот Сиппий прославился негою и роскошью.)

Катон, достигнув достоинства Аполлонова жреца, переселился в другой дом. Он получил из отцовского имения на свою долю сто двадцать талантов и стал жить еще воздержаннее. Он сделал себе другом Антипатра Тирского, стоического философа, и прилежал в особенности к нравственному и политическому учению. Он был обладаем как бы вдохновенною страстью ко всем добродетелям, но в особенности возлюбил ту строгую справедливость, которая не может быть преклоняема ни снисхождением, ни угодливостью к другим. Он занимался также

усовершенствованием себя в красноречии, как в искусстве, служащем к управлению народа, почитая нужным, чтобы в политической философии, как бы в большом обществе, была, так сказать, некоторая военная сила. Однако он не упражнялся в красноречии вместе с другими; никто не слыхал, чтобы он произносил речи. Когда один из его друзей сказал ему: «Граждане осуждают тебя за молчание». – «Лишь бы не мою жизнь, – отвечал Катон, – я начну говорить тогда, когда должно будет мне говорить то, что заслуживает не быть умолчано».

Так называемая базилика Порция воздвигнута была Катоном Старшим во время его цензорства. В этом месте обыкновенно занимались делами трибуны. Одна колонна, казалось, мешала становить стулья для сиденья. Трибуны хотели ее снять или переставить. Это обстоятельство первое вывело Катона на народную площадь вопреки его желанию. Он восстал против трибунов, дал пробу своего красноречия и высокого духа и приобрел уважение своих сограждан. Речь его не имела прелестей свежести и искусственных украшений, но была проста, исполнена краткости и силы. При всем том с краткостью его мыслей была сопряжена приятность, пленяющая слух, и самые свойства его, обнаруживавшиеся в его речах, придавали его важности некоторую любезность и возбуждали улыбку. Голос его, необыкновенно громкий и достигающий слуха многочисленного народа, был неутомим и не легко прерываем. Нередко говорил он целый день и не уставал.

Он выиграл дело против трибунов и опять предался молчанию и упражнениям. Он укреплял свое тело сильными трудами, приучал себя сносить и жар, и снег с непокрытой головою, и путешествовать во всякое время пешим, между тем как приятели, его сопровождавшие, сидели на лошадях. Нередко Катон приближался то к одному, то к другому из них и разговаривал с ними, идя рядом. Терпение его и воздержание в болезнях также заслуживают удивление. Когда была у него лихорадка, то он сидел один и никого к себе не пускал, пока не почувствовал в себе верного облегчения и перемены болезни.

За ужином с приятелями он кидал жребий, кому взять кушанье первому. Когда не ему доставался, и приятели его просили брать прежде их, то он говорил, что это неприлично, ибо против воли Венеры*. Сперва пил он вино за столом только один раз и потом вставал, но со временем стал пить гораздо больше, так что нередко за вином просиживал ночи. Причиной тому друзья его полагали то, что общественные дела, которым Катон посвящал совершенно целый день, препятствовали ему заняться учеными предметами, а потому ночью и за столом беседовал с философами. Некто Меммий сказал некогда в беседе, что Катон целые ночи проводит в пьянстве. «А того не говорит, – перебил его Цицерон, – что и целые дни проигрывает в кости?»

Вообще Катон думал, что ему надлежало вести себя совершенно противоположно образу жизни и поведению своих современников, почитая оное дурным и имеющим нужду в великой перемене. Видя, что все любили и употребляли самую яркую красную порфиру, Катон носил темную*. Часто он приходил в Собрание после завтрака без обуви и без хитона не потому, что он хотел снискать славу этой странностью, но приучая себя стыдиться лишь того, что в самом деле постыдно, и пренебрегать пересудами людей. Получив после Катона, двоюродного брата своего, наследственное имение, стоившее сто талантов, он превратил его в деньги, которые давал нуждавшимся друзьям своим взаймы без процентов. Некоторые из них закладывали в казне поместья и невольников его; он давал им на то позволение или утверждал их поступок после.

Когда достиг лет, в которые почитал он нужным жениться, не будучи до того в связи ни с одной женщиной, обручен он был с Лепидой, которая прежде была обещана Метеллу Сципиону, но так как Сципион ей отказал и обручение было уничтожено, то Лепида была свободна. Однако Сципион раскаялся в своем поступке до вступления ее в брак с Катоном, употребил все средства и получил Лепиду. Катон, чрезмерно раздраженный этим поступком и воспалясь гневом, хотел начать тяжбу, но его друзья не допустили; молодость и досада заставили его отомстить Сципиону стихами, в которых он поносил его, употребив колкость Архилоха*, хотя не вдался в неблагопристойность и ребяческие шутки этого стихотворца. Он вступил в супружество с Атилией, дочерью Сорана. Это была первая женщина, которую он познал, однако не единственная, подобно Лелию, Сципионову другу, который, будучи счастливее Катона, в продолжении долговременной жизни своей не знал другой женщины,

кроме той, на которой он женился с самого начала.

В начале невольнической войны, которая называется иначе Спартаковой, войском предводительствовал Геллий, а Катон был в походе по воле своей, ради брата своего Цепиона, бывшего военным трибуном. Полководец вел войну так дурно, что Катон не имел случая употребить всю ревность свою и все способности к войне; однако при такой неге и роскоши тех, кто тогда составлял войско, Катон, показывая всегда любовь к порядку и в нужных случаях мужество, бодрость и благоразумие, казалось, ни в чем не уступал Катону Старшему. Геллий определил ему отличные почести и награды, которых Катон не принял и не присвоил себе, говоря, что он не сделал ничего, заслуживающего их. За эти поступки он почитаем был человеком странным.

При постановлении закона, запрещающего искавшим какого-либо начальства иметь при себе людей, которые знали имена граждан*, Катон один, домогаясь военного трибунства, повиновался этому закону и сам приветствовал и просил граждан, с которыми он встречался. Этими поступками был он неприятен даже тем, кто его хвалил. Чем больше они понимали, какое добро хотел он произвести, тем больше досадовали, что трудно было тому подражать.

По избрании его в военные трибуны он был отправлен в Македонию к полководцу Рубрию. При прощании с ним жена его была печальна и плакала. Один из друзей его, по имени Мунатий, утешая ее, сказал: «Будь покойна, Атилия; я буду его тебе беречь». – «Очень хорошо», – сказал на это Катон. Когда они прошли дневной путь, то после ужина Катон сказал ему: «Ты должен, Мунатий, сдержать слово, данное тобою Атилии, чтобы ни днем, ни ночью не отставать от меня». Он велел поставить в тот же покой две постели, и с тех пор Мунатий должен был спать подле Катона, который таким образом как бы в шутках берег его.

За ним следовали пятнадцать невольников, двое вольноотпущенников и четверо приятелей, которые ездили верхом, между тем как он сам шел пешком и разговаривал то с одним, то с другим. По прибытии его в стан полководец дал ему в управление один легион. Он почитал делом неважным и не царским показывать добродетельным лишь себя одного только человека. Он старался соделать себе подобными и подчиненных своих. Он не уменьшил страха к начальству, но присовокупил к тому разумные слова, которыми он наставлял и убеждал их и, употребляя то наказание, то почести, произвел великую в них перемену, так что трудно сказать, какое свойство умел он более внушить им: миролюбие ли или мужество, усердие ли к службе или справедливость; столько-то они были страшны врагам, кротки с союзниками, робки в причинении обид, жадны к похвалам. Катон приобрел от них то, что менее всего приобрести старался: славу, отличное уважение, благорасположение и любовь воинов. Исполняя сам по своей воле то, что другим приказывал; уподобляясь одеждою, образом жизни и пешей ходьбою более простым воинам, нежели военачальникам, хотя свойствами, высоким духом и красноречием превосходил всех военачальников и полководцев, нечувствительным образом внушил в воинах великую к себе привязанность. Ничем столько не возбуждается в ком-либо истинная ревность к добродетели, как отличным уважением и любовью к тому, который в ней наставляет. Те, кто хвалит добродетельных, но не имеет к ним любви и привязанности, уважают, правда, их славу, но не удивляются их добродетелям и не подражают им.

Катон известился, что Афинодор, прозванный Горбуном, имевший великие познания в стоической философии, жил тогда в Пергаме и был уже весьма стар. Он отвергал с великой твердостью связи и дружбу с царями и знатнейшими особами. Катон знал, что отнестись к нему письменно или через других было бы бесполезно; и так, воспользовавшись позволением закона отлучиться от войска на два месяца, отправился он в Азию, дабы видеться с этим мужем. Полагаясь на собственные добродетели, он надеялся, что не будет иметь неудачи в своей ловле. Он имел свидание с Афинодором, победил его, заставил переменить мысли, привел его с собою в войско в великой радости, гордясь так, как будто бы он завладел чем-либо знаменитее и блистательнее народов и царей, покоряемых в то время силой оружия Помпеем и Лукуллом.

Катон находился еще при войске, когда брат его, отправившись в Азию, занемог в Эне*. Катон, получив о том известие через письма, несмотря на то, что на море свирепствовали бури и не было тут довольно большого корабля, вступил в малое судно и пустился в море из Фессалоники, взяв только двух приятелей и трех невольников. Он едва не утонул в море; ему удалось спасти себя странным образом, но Цепиона уже не было в живых. Катон перенес эту

потерю не с твердостью, какой должно ожидать от философа. Он обнаружил великость горести своей не только слезами, обниманием мертвого тела, но и великими издержками при погребении его, сожжением вместе с ним драгоценных ароматов, великолепных одежд и сооружением на площади в Эне ему памятника из тесаного фасосского мрамора*, на что он издержал восемь талантов. Некоторые осуждали эти поступки, сравнивая их с обыкновенной его и простой жизнью, но в твердости его духа, в непреклонности его к удовольствиям, к страху, к просьбам они не видали чувствительной и нежной души его. Города и властители посылали к нему разные вещи для показания уважения своего к умершему. Катон не принял ни от кого денег, но оставлял у себя ароматы и украшения и платил то, чего оные стоили. Наследниками по Цепиону был он и дочь Цепиона. При разделе имения он ничего не потребовал за сделанные им при погребении издержки. Невзирая на эти и дальнейшие его безупречные поступки, нашелся, однако, человек, который писал, что Катон просеял сквозь решето прах своего брата, ища в нем расплавившегося в огне золота. Так-то этот писатель был верен, что не только меч свой, но и то, что писал пером, не подлежали ни ответственности, ни суду!

По окончании этого Катон был провожаем не только богословениями или похвалами, это слишком обыкновенно, но слезами тамошних жителей, которые беспрестанно держали его в своих объятиях, подстилали ему под ноги свои одежды, куда он проходил, и целовали руки его, каковую честь тогдашние римляне едва оказывали не многим верховным полководцам. Он захотел до вступления своего в управление странствовать по Азии, дабы обозреть ее, видеть нравы, образ жизни и силу каждой провинции; притом желал заодно угодить галатскому царю Дейотару, который звал Катона к себе, по причине дружбы с отцом его и гостеприимства. Он путешествовал следующим образом. На рассвете посылал вперед в то место, где намеревался остановиться, хлебопека и повара. Они вступали в какой-либо город спокойно и без всякого шума, никого не тревожа, делали потребные приготовления в гостинице, если в том городе Катон не имел знакомых или друзей еще от отца своего. Если же не было и гостиницы, то обращались к правителям, от которых получали дом, довольствуясь тем, какой им давали. Поскольку в требованиях своих они не употребляли угроз с городскими начальниками и не шумели, то нередко им не верили и пренебрегали ими так, что Катон часто заставал их еще в бездействии. Но увидя его самого, власти еще более им пренебрегали. Он сидел спокойно на поклаже и тем заставлял почитать себя человеком незначащим и робким. Он нередко призывал их к себе и говорил им следующее: «Недостойные люди! Перестаньте так дурно поступать с путешественниками; не все Катоны будут приезжать к вам. Смягчайте хорошим приемом власть тех, кто ищет только предлога, дабы у вас отнять насильственно то, что хотят получить с вашего согласия».

Говорят, что в Сирии случилось с ним нечто смешное. Он шел к Антиохии и увидел перед воротами города множество людей, стоящих рядом по обеим сторонам дороги. На одной стороне были молодые люди в праздничных одеждах, на другой стороне стояли мальчики в скромном безмолвии; некоторые носили белые одежды и венки; казалось, то были жрецы или правители. Катон, думая, что его более, нежели кого-либо другого, жители принимают с такими почестями, сердился на своих людей, которые были посланы вперед и не воспрепятствовали этим приготовлениям. Он велел своим приятелям слезть с лошадей и пошел с ними вперед. Уже были они близко от жителей, как один старый человек, который устраивал торжество и все приводил в порядок, держа в руке трость и венок, выступил навстречу Катону перед другими и, не оказав ему никакого приветствия, спрашивал, где оставили Деметрия и скоро ли он будет. Деметрий был прежде рабом Помпея, а как в то время всех взоры были обращены на этого полководца, то города оказывали Деметрию, по причине великой его силы при Помпее, такое уважение, какого он не заслуживал. Друзья Катона начали хохотать, не могли удержаться, идучи вперед через толпу народа. Катону тогда было досадно; он сказал только: «О злополучный город!» Впоследствии же сам он смеялся над этим случаем, когда рассказывал его и вспоминал о том.

Впрочем, Помпей сам заставил жителей Азии переменить обхождение свое к Катоном, которого они не знали. По прибытии своем в Эфес Катон пошел к Помпею для посещения его. Помпей был старше Катона, превосходил его славою и предводительствовал великими силами;

однако не принял его сидя, не остался на месте, но вскочил, пошел к нему навстречу, как бы важнейшему человеку, и подал ему руку. В самом приеме и среди приветствий Помпей говорил много в похвалу его, а еще более превозносил похвалами его добродетели, когда Катон удалился. С тех пор все обращали внимание на Катона; они удивлялись в нем тому самому, чем прежде в нем пренебрегали, познавая уже кротость его и великодушие. Впрочем, не укрылось от тамошних жителей, что внимание, оказываемое ему Помпеем, происходило более от уважения, нежели от любви его; они заметили, что он оказывал ему почтение в его присутствии, но радовался, когда Катон хотел его оставить. Хотя Помпей старался удерживать при себе других молодых людей, которые приезжали к нему, желая, чтобы они всегда были с ним, но Катона не просил остаться, как бы в присутствии его не имел полной власти, и был доволен, что он отправился; при всем том он препоручил ему жену и детей своих, чего он не сделал ни с одним из тех, кто отправлялся в Рим; он был притом связан с ним некоторым родством.

После этого Катон сделался известен всем городам, которые наперерыв оказывали ему почести, звали к себе и угощали. Катон говорил друзьям своим, чтобы они берегли его, дабы не сбылись слова Куриона*, его приятеля. Этот Курион, которому была неприятна суровость Катона, спрашивал его некогда, не имеет ли он желания после похода обозреть Азию. Катон отвечал, что таково его желание. «Ты хорошо сделаешь, – сказал Курион, – ты возвратишься оттуда гораздо приятнее и мягче».

Что касается до царя Дейотара*, то он, будучи уже стар, просил Катона к себе, для препоручения ему детей своих и всего дома. Он предлагал ему разные подарки и так много просил и беспокоил о принятии их, что Катон, раздраженный его поступками, провел у него ночь, прибыв около вечера, и на другой день в девять часов оставил его. Пройдя один день дороги, нашел он в Пессинунте подарки в большем количестве, нежели какие оставил, и письма от галатского государя, который вновь просил его о принятии подарков; и если он сам от них отказывался, то позволил бы оные взять своим приятелям, которые, конечно, весьма достойны многих подарков ради его дружбы, но что собственного имущества Катона не было на то достаточно. Катон нимало от того не смягчился, хотя приметил, что некоторые из друзей его прельщались подарками и жаловались на него. Он сказал им, что к всякому дароприятию можно найти благовидный предлог, и что, впрочем, его приятели будут участниками во всем том, что он имеет и что приобрел честно и справедливо. После того он отослал дары к Дейотару.

Он намеревался уже переправиться в Брундизий, и приятели его думали, что надлежало положить останки брата Цепиона на другой корабль*, но Катон сказал им, что скорее расстанется с душой, нежели с этим прахом. Он пустился в море. При переправе надлежало ему бороться с многими опасностями, хотя его приятели совершили ее довольно счастливо.

По возвращении своем в Рим Катон проводил время или дома с Афинодором, или на форуме, предстательствуя своим приятелям. Ему следовало уже просить квестуры, но он приступил к тому не прежде, как прочитав все законы касательно этого достоинства, расспросив у опытных людей обо всех подробностях и обняв всю силу сей должности. По этой причине вступив в оную, переменил он в казначействе служителей и писцов, которые имели всегда в руках своих все книги и законы. Новые начальники, по незнанию и неопытности имели всегда нужду в сих наставниках и учителях, которые не позволяли им получить какую-либо власть, но сами были начальниками в казначействе. Катон, приступив к делу с бодростью, не удовольствуясь званием квестора и сопряженными с ним почестями, но владея умом, духом и познаниями, хотел, чтобы писцы при нем были тем, чем они быть должны, а именно – служителями. Частью он изобличал их злоупотребления, частью исправлял их погрешности, когда они по неведению ошибались. Но так как они были бесстыдны и заискивали перед другими квесторами, а управлению Катона противились, то он первейшего из них выгнал из казначейства, изобличив его в обмане при разделе некоего наследства; на второго же донес за легкомысленное отношение к своим обязанностям. Цензор Лутаций Катул, человек, знаменитый по своему сану, а еще знаменитый по своим добродетелям, превосходивший всех римлян справедливостью и непорочностью нравов, восстал, чтобы его защищать. Он был друг Катона по сходству в образе жизни и всегда его хвалил. Будучи побежден справедливыми

представлениями Катона, он явно уже просил в пользу обвиняемого. Катон его не допускал к тому, но как Катул просил настоятельнее, то Катон наконец сказал ему: «Стыдно, Катулл, тебе, цензору, которому надлежит надзирать за нашими нравами, позволять управлять собою нашим служителям». При этих словах Катона Катул взглянул на него, как бы хотел отвечать, но ничего не сказав с досады или со стыда, удалился в молчании и смущении. Впрочем сей обвиняемый не был осужден. По отобрании голосов, число осуждающих превышало число разрешающих на один голос. Катул послал к Марку Лоллию (товарищу Катона в квестуре, который по причине болезни не находился при этом деле) и просил его помочь осужденному. Лоллий велел себя понести на носилках и по окончании уже суда подал голос в пользу обвиняемого. Невзирая на то, Катон никогда более не употребил этого писца, не выдавал ему жалованья и голос Лоллия почитал недействительным.

Таким образом он, унизив писцов и сделав их покорными себе, поступал во всем по-своему, в короткое время придал казначейству важность, какую имел сенат, так что все говорили и думали, что Катон уравнял квестуру с консульством. Во-первых, обнаружив, что многие частные лица издавна должны были казне, а казна также была многим должна, он произвел то, что казна никого не обижала и никто не обижал уже казны, требуя с одних настоятельно и неупустительно должных денег и выдавая другим то, что им следовало, охотно и без замедления. Народ чтил его, видя, что принуждены были платить те, кто думал лишить казну того, что ей следовало, а другие получили то, чего уже и не ожидали. Во-вторых, как многие часто предъявляли записки не в надлежащем порядке и предшественники его принимали ложные постановления, по чьей-либо просьбе или в угождение кому-либо, то никакое сему подобное дело не укрылось от взоров Катона. Возымев некогда сомнение в подлинности некоторого постановления, хотя многие свидетельствовали в его достоверности, он поверил ему и допустил его тогда только, когда предстали консулы и поклялись в его подлинности.

Число тех, кто за убийство некоторых граждан по второй проскрипции получил от Суллы до двенадцати тысяч драхм, было велико. Все их ненавидели, как злодеев и нечестивцев, однако никто не смел их наказать. Катон, призывая тех, кто несправедливо имели в руках своих общественные деньги, взыскивал оные и в то же время с гневом выговаривал им жестоко за беззаконные и злодейские их поступки. Те, кто находился в таком положении, были немедленно обвиняемы и в убийстве и, некоторым образом будучи наперед изобличены, предаваемы были суду и должному наказанию к общему удовольствию всех граждан; им казалось, что с казнью этих преступников изгладились следы тогдашнего тираннства и что они видели самого Суллу наказываемым в лице их.

Приятно было народу также постоянное беспрерывное прилежание Катона к делам. Ни один из его товарищей никогда не приходил в казначейство ранее и никогда не выходил позже его. Ни один раз он не пропустил Народного собрания и заседания сената, боясь и подстерегая тех, которые были готовы, из угождения к кому-либо, определить кому ни попало освобождение от долгов, или налогов, или выдачу денег. Он показывал своим согражданам общественную казну, очищенную от ябедников, неприступную обманам, наполненную деньгами, и научил их, что республика может быть богата, не употребляя несправедливости. Хотя сначала показался он сотоварищам своим неприятным и строптивым, однако впоследствии приобрел он любовь, ибо он брал на себя, за всех других, всю вражду, происходящую от того, что он не дарил общественных денег и не судил дел несправедливо. Он позволил им отговариваться перед теми, кто их просил о чем-либо или принуждал, невозможностью что-либо произвести против воли Катона. В последний день его квестуры он был почти всеми гражданами провожаем до своего дома. В то самое время он услышал, что многие из знатных, приятели Марцелла, обступили его в казначействе и заставили определить некоторую выдачу должных денег. Марцелл был с малолетства другом Катона и вместе с ним был лучшим квестором, но сам совершенно не умел отказывать тем, кто его просил, и склонен был угождать людям во всем. Катон немедленно вернулся в казначейство, нашел, что Марцелл уже был принужден внести в книгу запись о выдаче денег, требует книги, и в присутствии самого Марцелла, который стоял тут в безмолвии, стер запись. Сделав это, вывел его из казначейства и доставил в дом. Ни тогда, ни после Марцелл не жаловался на него за этот

поступок, но до конца был он связан с ним неразрывной дружбой.

Катон и по окончании своей квестуры не оставил казначейства без своего надзора. Ежедневно были там его люди, которые записывали все, что было там производимо. Катон купил за пять талантов книги, содержащие отчеты о государственном хозяйстве со времен Суллы до квестуры его, и всегда ими занимался.

В сенат приходил он первый и выходил последний. Между тем как другие долго не собирались, нередко сидел он и читал спокойно книгу, прикрывая ее своей тогой. Ни разу он не выезжал из города в продолжении того времени, когда собирал сенат. Впоследствии Помпей, видя, с какой непреклонностью и твердостью Катон противился всегда несправедливым его поступкам, старался всячески, чтобы Катон был занят защитой в суде кого-либо из друзей своих, или разбором тяжбы, или другими делами, дабы тем отвлекать его от сената. Катон скоро понял его умысел; он отказывался от всех дел и положил себе за правило во время заседания сената не заниматься более ничем другим. В самом деле он вступил в управление республикой не для славы, не для выгоды, не случайно или по счастью, подобно многим другим. Он посвятил себя управлению отечества, почитая то обязанностью добродетельного человека, и в полном уверении, что должно прилепляться к общественным делам с большим усердием, нежели как пчела к сотам. Он даже прилагал старание посредством своих друзей и знакомых, живших в других областях, чтобы ему были сообщаемы все дела, постановления, решения и важнейшие случаи, бывающие в провинциях. Некогда восстал он против трибуна Клодия, который умышлял великие к республике беспокойства и перемены и клеветал перед народом на жрецов и жриц. В числе последних была сестра Цицероновой жены Теренции Фабия, которая находилась в опасности. Катон посрамил Клодия и принудил его оставить Рим. Когда Цицерон за то его благодарил, то Катон отвечал: «Благодари не меня, а республику, для нее я все делаю и предпринимаю сии труды».

Этими поступками Катон приобрел великую славу. Однажды в суде по некоторому делу одна сторона предъявляла одного только свидетеля, то оратор противной стороны сказал судьям, что неприлично принимать свидетельство одного человека, хотя бы то был сам Катон. Когда говорили о каких-нибудь невероятных и странных делах, то многие имели обычай говорить, как бы в пословицу, что нельзя этому поверить, хотя бы сам Катон сказал. Некоторый дурной и роскошный человек говорил в сенате речь о простоте и умеренности. Амней восстал против него и сказал: «Можно ли терпеть слова человека, который обедает как Лукулл, строится как Красс, а проповедует нам как Катон?» Вообще людей невоздержанных и распутных, но важных и строгих на словах называли в насмешку Катонами.

Многие побуждали Катона искать должность трибуна, но он почитал неприличным употреблять и расточать силу столь великой власти и начальства, как действительное и крепкое лекарство, в делах неважных и бесполезных. Будучи тогда свободен от дел общественных, он отправился с книгами своими и философами в Луканию, где имел он поместья, в которых можно было препроводить время в благородных занятиях. На дороге встретил он множество навьюченных животных, обоз и служителей, от которых узнал, что Метелл Непот возвращается в Рим для искания консульства. Катон остановился, задумался и приказал своим спутникам поворотить назад. Приятели его удивились сей скорой перемене. «Разве вам неизвестно, – сказал Катон, – что Метелл страшен по собственной своей дерзости? Что он теперь по воле и с согласия Помпея едет в Рим и подобно молнии упадет неожиданно на общественные дела, чтобы все разрушить. Не время теперь жить в покое и странствовать; должно или низложить Метелла, или умереть с честью, сражаясь за отечество». При всем том друзья его убедили ехать прежде в свои поместья. Он прожил там недолго и потом возвратился в Рим. Он прибыл туда в вечеру. На другой день поутру, прийдя в Собрание, просил трибунства, дабы противиться Метелловым происками. Важность трибунства не столько состоит в том, чтобы действовать, сколько в том, чтобы останавливать и претить. И если с каким-то решением согласились все, исключая одного, то этот несогласный голос всегда одерживает над другими верх.

Сперва приставали к Катону немногие из друзей его, но когда узнано было его намерение, то почти все добрые и знакомые ему граждане стекались к нему, просили, ободряли его. Они представляли ему, что не отечество оказывает ему услугу, но он оказывает великую услугу отечеству и лучшим гражданам, тем более, что хотя много раз мог он получить спокойно это

достоинство, однако он от того отказывался, а ищет охотно его ныне, когда он должен бороться с большими опасностями за свободу и правление отечества. Говорят, что число граждан, которые из приверженности и усердия толпились вокруг него, было столь велико, что он находился в опасности и с трудом мог пробраться до площади. Катон был избран в трибуны с Метеллом и другими. Видя, что при избрании голоса консулов и граждан были подкупаемы, он укорял народ в речи своей и кончил ее тем, что поклялся донести на того, который будет раздавать деньги, кто бы он ни был, исключая Силана, по причине родственнической с ним связи. (Силан был женат на Сервилии, сестре Катона.) Итак, оставя его, Катон преследовал судом Луция Мурену, который посредством раздачи денег достиг того, что избран консулом вместе с Силаном. Закон позволяет обвиняемому приставлять к доносчику стражу, дабы все то, что он к обвинению готовит, не было сокрыто. Приставленный Мурeной к Катону человек следовал за ним повсюду и наблюдал за его поступками. Видя, что оные не были сопряжены со злоумышлением и несправедливостью, что он поступал благородно и снисходительно и приступал к доносу самым простым и справедливым образом, до того удивлялся его свойствам и возвышенности чувств, что, приближаясь к нему на площади или приходя к нему в дом, спрашивал его, намерен ли был в тот день заняться тем, что относилось к доносу. Если Катон говорил, что нет, то он ему верил и оставлял его. Когда началось судопроизводство, то Цицерон, будучи тогда консулом и защищая Мурену, в речи своей, издеваясь и шутя ради Катона над стоическими философами и над так называемыми их парадоксами, заставил судей смеяться. Катон улыбнулся и сказал предстоявшим: «Граждане! Какой у нас смешной консул». Впрочем, Мурена был оправдан; он не возымел, однако ж, к Катону чувств злого и безрассудного человека. Будучи избран консулом, он спрашивал его совета в важнейших делах, и в продолжение своего консульства он оказывал ему почтение и доверенность. Причиной этому был сам Катон, который только до сената и до трибуны был суров и страшен, защищая справедливость, но в прочем был ко всем снисходителен и благосклонен.

Еще до вступления его в трибунство, во время консульства Цицерона, Катон был подпорой его власти во многих трудных делах и довершил знаменитые и славные его подвиги против Катилины. Этот заговорщик, который устраивал совершенный переворот и пагубу римской республике и возжигал всюду мятежи и войны, был изобличен Цицероном и удалился из Рима. Лентул, Цетег и с ними многие другие, приобщенные к заговору и осуждавшие Катилину, как человека робкого и малодушного в своих предприятиях, приняли намерение разрушить город огнем, ниспровергнуть республику, взбунтовать покоренные народы и возбудить междоусобную войну. Их приготовления открылись, и Цицерон, как сказано в его жизнеописании, предложил сенату свое о них мнение. Силан, подавший первый голос, объявил, что, по его мнению, надлежало предать заговорщиков крайнему наказанию. Все сенаторы до Цезаря были согласны с Силаном. Но Цезарь, который был одарен отличным красноречием и желал, чтобы в Риме происходили беспокойства и перевороты, которые он хотел более возжигать, нежели потушить, почитая их средством, служащим к исполнению его замыслов, говорил речь, исполненную кротости и человеколюбия; он не допускал, чтобы сии граждане были преданы смерти без суда, но советовал, чтобы они были задержаны в заключении. Этой речью заставил он сенаторов переменить мысли, ибо они страшились народа; сам Силан отпирался от слов своих, утверждая уже, что он осуждал виновных не на смерть, но на заключение, ибо сие наказание должно почитать крайним для римлянина.

Как скоро произошла такая перемена и все обратились к кротости и милосердию, то Катон с гневом и жаром восстал немедленно против этого мнения, выговаривал сильно Силану в перемене мыслей и поносил Цезаря за то, что под видом любви к народу и под предлогом человеколюбия старался ниспровергнуть правление и стращал сенат, хотя надлежало бы ему за себя страшиться и довольствоваться тем, если бы удалось ему оказаться чистым и не подлежащим подозрению в таком деле, в котором столь явно и дерзко хотел вырвать из должной казни общих врагов; и по собственному его признанию не жалея ни мало об отечестве, которое находилось на краю погибели, он между тем оплакивал тех, кому не надлежало бы никогда родиться и которые смертью своею освободили бы республику от убийств и великих опасностей. Говорят, что из всех речей, произнесенных Катоном, одна эта речь существует, ибо Цицерон, тогдашний консул, научил самых лучших скорописцев некоторым знакам и малым

чертам, которые имели силу многих букв, и поставил их врозь по разным углам сената. Тогда еще не имели и не обучали писцов, пишущих краткими знаками, а только что открыты были первые следы этого искусства. Катон одержал тогда верх, заставил сенат переменить мнение и приговорить виновных к смерти.

Если не должно пропускать и малые черты свойств при изображении нравственного человека, то следует здесь заметить, что в то время, когда между Катоном и Цезарем происходил сильный и жаркий спор, и сенат обратил все внимание к ним одним, принесено было Цезарю малое письмо. Катон представил это обстоятельство как подозрительное и клеветал Цезаря до того, что многие желали и требовали, чтобы письмо было зачитано перед всеми. Цезарь подал письмо Катону, близ него стоявшему. Катон прочитал его; то было неблагопристойное письмо сестры его Сервилии, писанное к Цезарю, которого она любила, будучи им обольщена. Катон бросил его Цезарю назад, сказал ему: «Держи, пьяница!» – и обратился к прежнему предмету.

Вообще Катон был несчастен со стороны женщин своего рода. Одна сестра была поносима за связь свою с Цезарем. Еще бесстыднее были поступки другой сестры его, Сервилии же. Она была в замужестве за Лукуллом, славнейшим среди римлян человеком, которому родила сына, но за дурное поведение была им выслана из дому. Всего постыднее то, что и жена его Атилия не была чиста от сих пороков. Хотя она родила ему двух детей, однако Катон был принужден ее удалить за непристойное поведение.

После этого развода Катон женился на Марции, Филипповой дочери, которая казалась женщиной хорошего поведения и о которой много было говорено. Эта часть Катоновой жизни, как в театральной пьесе, загадочна и сомнительна. Фрасея, ссылаясь на достоверность Мунатия, собеседника и друга Катонова, повествует сие дело следующим образом. Между многими почитателями, или лучше сказать обожателями Катона, были такие, которых любовь к нему и уважение были виднее и блистательнее. В числе их был Квинт Гортензий, человек, знаменитый саном и добродетельного поведения. Желая быть не только знакомым и другом Катона, но некоторым образом соединиться узами родства с домом и родом его, он старался склонить его выдать за него дочь свою Порцию, которая была в замужестве за Бибулом и имела от него двух детей, с тем, чтобы от нее, как от доброй земли, получил и он детей. По мнению людей, говорил он, это непристойно, однако не противно природе и политике, дабы женщина в полном цвете и силе своей не оставалась в бездействии, теряя втуне свое плодородие или рождая своему мужу детей более нежели сколько ему нужно, отягощала тем дом его и приводила в бедность. Если достойные люди более будут сообщаться потомками, то они тем более распространят добродетель и разделят ее на многие семейства, от чего и республика более соединится и, так сказать, сольется в один состав сими родственными связями; что, впрочем, если Бибул слишком страстен к жене своей, то он возвратит ее немедленно после родов, соединившись как с Бибулом самим, так и с Катоном теснейшими узами – общими детьми. Катон отвечал на это, что он любит Гортензия и одобряет его желание соединиться с ним родством, но что почитает неприличным предложить о новом браке дочери своей, выданной за другого. Гортензий, переменив речь, не замедлил ему открыться и изъявить желание свое получить жену Катона. Она была еще в таких летах, в которых могла рожать, а у Катона было уже довольно детей. Нельзя сказать, чтобы Гортензий сделал это предложение Катону, зная равнодушие его к Марции, ибо в то время она была беременна. Катон, видя сильное желание и искание Гортензия, не противился ему более, но сказал только, что необходимо согласие и Филиппа, отца Марции. Когда Филиппу было о том представлено, то он дал позволение, но не иначе захотел обручить Марцию, как в присутствии самого Катона и с тем, чтобы он утвердил обручение. Хотя это и случилось несколько лет позже; однако я почел нужным привести его прежде времени, коснувшись женщин.

Лентул и его сообщники были казнены; Цезарь, боясь обвинений и доносов, сделанных на него сенату, прибегнул к народу, собрал к себе зараженные и испорченные слои общества и привел их в движение. Этими поступками Катон был настолько устрашен, что убедил сенат раздать неимущим и бедным гражданам некоторое количество хлеба, на что потребно было ежегодно тысячу двести пятьдесят талантов. Это снисхождение и милость сената уничтожили угрозы Цезаря.

Вскоре Метелл вступил в трибунство, производил беспокойство в Народном собрании и предложил народу закон, призывающий Помпея возвратиться поспешно в Италию с войском для защиты и спасения республики, которая будто была в опасности от Катилинина заговора. Это был только благовидный предлог. Цель и намерение такового закона были предать в руки Помпея все управление республики. В заседании сената Катон нападал на Метелла не с обыкновенной силой и стремительностью; он долго увещевал его с умеренностью и кротостью и наконец обратился к просьбам; он хвалил дом Метеллов, как за всегдашнюю их приверженность к аристократии. Дерзость Метелла еще более от того усилилась; воображая, что Катон уступает ему из робости и боится его, он презрел его и обнаружил свои мысли угрозами и наглыми словами, объявляя, что он совершит свои намерения вопреки воли сената. Тогда Катон переменил вид и голос, и речи, сказал наконец с твердостью: «Пока я жив, Помпей не вступит в город с оружием». Это заставило сенат думать, что никто из них не был покоен духом, не рассуждал здраво: поступки Метелла показывали некоторое неистовство, клонившееся из чрезвычайной злобы к погибели и сокрушению республики, а с Катоновой стороны обнаруживался энтузиазм добродетели, борющейся за законы и справедливость.

Когда настал день, в который надлежало собирать голоса народа об утверждении предлагаемого закона, то к Метеллу пристали на площади вооруженные чужеземцы, гладиаторы и служители; немалая часть народа желала Помпея, надеясь на новые перемены; он был притом подкрепляем Цезарем, который тогда был претором и потому имел великую силу. Что касается до Катона, то лучшие граждане более вместе с ним негодовали и более показывали себя обиженными подобно ему, нежели ему соседствовали. Весь дом его объят был страхом и унынием, многие их его друзей, которые заботились о нем, не евши и не ложась, провели ночь вместе с ним; жена и сестры были в большом беспокойстве и плакали. Но Катон был спокоен и бодр; он разговаривал со всеми, утешал их, ужинал по обыкновению, спал покойно и поутру был пробужен от глубокого сна Минуцием Термом, одним из его соначальников.

Он пошел вместе с Минуцием на форум; их провожали немногие, но многие их встречали и советовали им быть осторожными. Катон, остановившись близ площади, увидел храм Диоскуров*, окруженный вооруженными людьми, и ступени оного, охраняемые гладиаторами, а Метелл сидел наверху вместе с Цезарем; Катон обратился к друзьям своим и сказал им: «Какой наглый и вкупе робкий человек! Сколь многочисленную набрал толпу против одного, и то безоружного человека!» Он пошел вперед с Термом;

гладиаторы, стерегущие ступени, дали ему место, но никого более не пустили, и Катон едва успел повлечь за собою Минуция, взяв его за руку. Он пошел прямо к Цезарю и Метеллу и сел между ними, дабы тем прервать их общение. Этот смелый поступок привел их в изумление; лучшие граждане, удивляясь спокойствию духа и бодрости Катона, подошли ближе и громким криком ободряли его не робеть, а друг друга увещевали оставаться тут, быть вместе, не предавая ни свободы, ни того, кто за нее борется.

Общественный служитель принял в руки закон, но Катон не позволял ему читать его. Метелл взял у него книгу и читал. Катон вырвал из рук книгу, а когда Метелл, зная закон, читал его наизусть, то Терм рукою зажал Метеллу рот и не давал ему выговорить ни слова. Метелл, видя, что полагаемое ими ему сопротивление было непреодолимо, и примечая, что народ побежден и склоняется к полезнейшим мыслям, велел, чтобы из дому его прибежали на площадь воины с страшными криками. Это было исполнено; народ рассеялся, остался один Катон, на которого сверху сыпались каменья и поленья. Мурена, тот самый, на которого прежде доносил Катон, но который был оправдан, не оставил его в этом положении; он закрыл его своею тогой, кричал тем, кто бросал каменья, чтобы они перестали наконец, обнял Катона и, увещевая удалиться, увел его во храм Диоскуров. Метелл, увидя, что на площади никого уже не было и что его противники разбежались, думал, что одержал над ними верх. Он велел своим воинам опять удалиться и выступить вперед благопристойно, приступил опять к исполнению своего намерения. Однако его противники, опомнившись, возвратились опять на площадь и издали громкое и бодрость свою изъявляющее восклицание, так что сообщники Метелла были приведены в смущение и страх, думая, что их противники несутся на них, доставши где-либо оружие. Никто из них не остался на площади, но все они убежали. Как скоро они рассеялись, то предстал Катон, частью хвалил народ за его поступки, частью ободрял его; большая часть

граждан соединилась, чтобы всеми мерами низложить Метелла. Сенат собрался и снова положил помогать Катону и противиться закону, который вводил в Рим мятеж и междоусобную войну.

Но Метелл, дерзкий и непоколебимый в своих умыслах, видя своих приверженцев приведенным в страх Катоном, которого они почитали непреодолимым, внезапно бросился на площадь, собрал народ, много говорил против Катона для возбуждения против него народного негодования и кричал, что он должен бежать его тираннства и заговора против Помпея и что Рим раскается, оказывая столь великому человеку такое бесчестие. После того отправился он в Азию, дабы донести обо всем Помпею. Слава Катона была уже велика от того, что он уменьшил немало тяжесть трибунской власти и некоторым образом в Метелле унизил силу Помпея. Он заслужил еще большее одобрение тем, что не допустил сенату объявить Метелла бесчестным и лишить его трибунства, но противился такому намерению и говорил в защиту Метелла речь. Народ почитал доказательством умеренности и кротости, что он, низложив своего противника, не наступал уже на него и не ругался более над ним. Здравомыслящие граждане находили благоразумным и полезным то, что он не раздражал Помпея.

Вскоре после того Лукулл возвратился из похода, совершение и славу которого, казалось, похитил у него Помпей. Он находился в опасности быть лишенным триумфальных почестей. Гай Меммий возбуждал против него в народе и доносил на него не столько по своей к нему ненависти, сколько из угождения к Помпею. Катон, как по родству с Лукуллом, который был женат на Сервилии, сестре его, так и по тому, что почитал сие дело несправедливым, восстал против Меммия, претерпел от него многие обвинения и клеветы и был в опасности лишиться своего достоинства, как тираннического, но при всем том одержал верх над Меммием, принудил его отстать от доноса и более не вступать с ним в спор. Итак, Лукулл удостоился почестей триумфа и тем более привязался к Катону теснейшей дружбой, почитая его своим оплотом и защитой против Помпеевой силы.

Помпей, возвратившись из похода во всем величии по блистательным приготовлениям и по усердию, с которыми всюду его встречали, полагая, что его сограждане не откажут ему ни в чем, чего он только у них попросит, послал наперед просить сенат об отложении консульских выборов, дабы он мог при них находиться и помогать Пизону в искании консульства. Большая часть сенаторов была на то согласна. Что касается до Катона, то хотя отлагательство выборов казалось ему делом важным, но желая с первого разу уничтожить покушения и надежду Помпея, воспротивился его требованию, заставил сенат переменить и отказать ему в просьбе его. Это происшествие немало встревожило Помпея. Он думал, что во многом встретится препятствие, если Катон не сделается ему другом. У Катона было двое взрослых племянниц. Помпей послал за Мунатием, другом Катона, и изъявил желание жениться на старшей, а на младшей женить сына своего. Некоторые говорят, что он искал родных дочерей, а не племянниц Катона. Мунатий объявил о том Катону, жене его и сестрам. Они весьма обрадовались такому родству по причине славы и важности Помпея, но Катон нимало не поколебался и не долго рассуждал; он в тот же миг проник намерение Помпея и сказал другу своему: «Ступай, Мунатий, ступай к Помпею и скажи ему, что Катона нельзя уловить через женскую половину. Катон охотно примет его дружбу, и если Помпей намерен поступать по всей справедливости, то дружба Катона к нему будет сильнее всякой родственной связи, но, впрочем, он не выдаст Помпею никаких залогов против отечества». Женщинам было то неприятно; друзья Катоновы осуждали сей ответ, как грубый и надменный. Вскоре после того Помпей, желая дать консульское достоинство одному из друзей своих, посылал в трибы деньги; все говорили об этом подкупе, ибо деньги раздаваемы были в садах Помпея. Тогда Катон сказал жене и сестрам своим, что и ему надлежало бы по необходимости быть участником в поступках Помпея и покрыть себя бесчестием, если бы он согласился вступить в родство с Помпеем; и они признавались, что Катон хорошо поступил, отвергши предложение Помпея. Но если должно судить об этом деле по последовавшим обстоятельствам, то, кажется, Катон сделал великую ошибку, не приняв родства с Помпеем, но допустил его обратиться к Цезарю и заключить брак, который, соединив в одно могущество Цезаря и Помпея, уничтожил республику и едва не ниспроверг римской державы. Может быть, ничего такого не случилось, когда бы Катон, устрашившись малых проступков Помпея, не позволил ему впасть в важнейший: сделаться

частью силы другого. Но сему надлежало случиться после.

Лукулл был в раздоре с Помпеем по причине учиненных им в Понте порядков – каждый требовал, чтобы утверждены были его распоряжения. Катон помогал Лукуллу, явно обиженному Помпеем; Помпей был принужден уступить в сенате, обратился к угождению народа и предложил раздачу земли войску. Катон и здесь восстал против него и опроверг предложенный им закон. Помпей предался тогда Клодию, самому наглому из тогдашних трибунов. Он привязал к себе Цезаря, к чему сам Катон некоторым образом подал ему случай. Цезарь, возвратившись из Иберии, где он был претором, в одно время хотел просить консульства и требовал триумфа. Закон предписывает, чтобы ищущий консульства находился внутри города, а чтобы тот, кому следовал триумф, был вне оного. Цезарь просил у сената позволения искать консульства через других. Многие на то согласились, но Катон противился, заметя же склонность сената к угождению Цезаря, он проговорил весь день и тем препятствовал сенату дать на то свое согласие. Цезарь отказывался от триумфа, вступил немедленно в город, прилепился к Помпею и искал консульства. Он получил это достоинство, обручил Юлию с Помпеем, и таким образом две стороны, совокупившись силами, действовали против республики. Один предлагал закон о раздаче неимущим земли, другой защищал эти законы и помогал ему; Лукулл и Цицерон пристали к стороне Бибула, второго консула, и противились их действиям. Наиболее действовал против них Катон, которому уже дружба и связь Помпея с Цезарем, как не основанная на справедливости, казалась подозрительною. Он говорил, что боялся не раздачи земли, но мзды, какой за то потребуют те, кто угождает народу и улавливает его благосклонность.

Сенат был согласен с мнением Катона; многие из других граждан пристали к нему, негодуя на странные поступки Цезаря, который с консульской властью поступал по примеру самых дерзких и бесстыдных трибунов, постыдным и низким образом ища народной благосклонности. Цезарь и Помпей, устрашенные этим противоборством, решились употребить насилие. На Бибула, который шел из дому на площадь, опрокинута была корзина с навозом; нападают потом на его ликторов, ломают их палки, наконец, дело доходит до стрел, многие переранены, все бегут из собрания; Катон после всех удаляется медленными шагами, отворачиваясь и проклиная своих сограждан. Не только утверждено было предложение о раздаче земли, но притом положено, чтобы весь сенат обязался клятвой утвердить этот закон и защищать его, если кто будет против него действовать. Определено было важное наказание тому, кто бы не захотел дать клятву. Все по нужде поклялись, приводя себе на память участь древнего Метелла, который не захотел клясться в принятии подобного закона, за то народ равнодушно увидел его изгнанным из Италии. Женщины со слезами просили Катона уступить необходимости и принять клятву; друзья его тоже ему советовали. Тот, кто более других убедил его дать клятву, был Цицерон, который между прочим представил ему, что даже несправедливо думать, что он один может не повиноваться тому, что всеми общепринято; что не щадить себя, дабы переменить то, что переменить невозможно, было бы вовсе безрассудно и неистово; что всего хуже было бы, когда бы он оставил город, для которого все делает, и предал бы его мятежникам и возмутителям, как бы охотно бежал от трудов, которые за него претерпевают; что если Катону не нужен Рим, но Катон нужен Риму; что он нужен всем друзьям своим, особенно же ему, Цицерону, против которого Клодий готовит гибель посредством трибунства и прямо на него устремляется. Эти речи и просьбы, говоренные и дома, и на площади, смягчили Катона; он был против воли принужден приступить к клятве после всех других, исключая одного верного друга его Фавония.

Цезарь, вознесенный этими успехами, предложил другой закон, по которому почти всю Кампанию надлежало разделить* между неимущими и бедными гражданами. Никто ему не противоречил, кроме Катона. Цезарь велел вести его с трибуны в темницу; однако смелость Катона нимало от того не унизилась, но идучи вперед, говорил против этого закона и увещевал граждан унять тех, кто производит дела республики подобным образом. Сенат в унынии, лучшая часть народа с безмолвием и негодованием следовали за ним, так что не укрылось от Цезаря, сколь его поступок был неприятен всем, но в упорстве своем ожидал он, что Катон прибегнет к народу и обратится к просьбам, и потому продолжал вести его. Когда же уверился, что у Катона и в уме не было этого намерения, то побежденный стыдом и бесславием, сам

подучил одного из трибунов и заставил его отнять у стражи Катона.

Введением таковых законов и угождением народу они привязали его к себе до того, что Цезарю определено было начальствовать пять лет Иллирией и всей Галлией с четырьмя легионами, хотя Катон предсказывал гражданам, что они сами подачею голосов своих впускают тиранна в свою крепость. Вопреки закону, Публий Клодий, из патрициев переведенный в плебейское состояние, сделался трибуном; и поступал во всем сообразно их желанию, лишь бы в награду позволено ему было изгнать из Рима Цицерона. Консулами были назначены Кальпурний Пизон, тесть Цезаря, и Авл Габиний, наперсник Помпея, как называют его те, кому известны были образ жизни и характер его.

Хотя эти люди таким образом завладели правлением, хотя одни повиновались по приверженности к ним, другие – из страха; однако они боялись Катона, им было неприятно и тягостно, что одержали над ним с трудом верх, великими напряжениями и не без стыда для себя. Клодий не имел ни малейшей надежды изгнать Цицерона, пока Катон находился в Риме. Имея первой своей целью произвести в действо свой умысел по вступлении своем в трибунство, призвал он к себе Катона и представил ему, что, почитая его справедливейшим и бескорыстнейшим из римлян, готов самым делом подтвердить свои о нем мысли; что многие просят управления делами Кипра и желают быть туда посланными, но что его одного почитал он достойным этого поручения и охотно оказывает ему сию услугу. Катон вскричал, что это ловушка, против него устраиваемая, что это поругание, а не услуга; тогда Клодий гордо и презрительно отвечал: «Если ты мне за то не благодарен, то против воли своей должен будет отплыть». Он предстал немедленно перед народом, и закон об отправлении на Кипр Катона был утвержден*. Клодий не дал ему ни корабля, ни единого воина, ни единого общественного служителя, но отправил с ним только двух писцов, из которых один был вор и плут, другой же – клиент Клодия. Как бы покорение Кипра и Птолемея было дело маловажное, Клодий поручил сверх того Катону возвратить в Византий изгнанных оттуда граждан, дабы в продолжение его трибунства он как можно далее находился от Рима.

Будучи приведен в такую необходимость, Катон советовал Цицерону, изгоняемому уже Клодием, не противиться ему, не возбуждать в республике междоусобной войны, не производить кровопролития, но уступить обстоятельствам и соделаться вновь спасителем отечества. Между тем послал он наперед на Кипр к царю Птолемею друга своего Канидия, дабы убедить его уступить царство свое без войны, обнадеживая его притом, что не проведет жизни своей без почестей и доходов, ибо народ римский даст ему первосвященство богини*, чтимой в Пафосе. Между тем жил он на Родосе, занимаясь необходимыми приготовлениями и ожидая ответа.

В продолжение этого времени Птолемей*, царь египетский, ссорясь с своими подданными и гневаясь на них, оставил Александрию и отправился в Рим в надежде, что Помпей и Цезарь с войском приведут его в Египет и возвратят ему царство. Он желал прежде иметь свидание с Катоном и послал сказать ему о своем прибытии на Родос, надеясь, что Катон посетит его. Катон, который принял в тот день лекарство, отвечал, что если Птолемей хочет его видеть, то может прийти к нему. Птолемей пришел. Катон не вышел к нему навстречу, не встал со своего места, но приветствовав Птолемея, как обыкновенного человека, просил его сесть. Такой прием смутил Птолемея, который был приведен в удивление, находя при простой и неважной наружности такую надменность и важность. Но когда он начал говорить Катону о своих делах и услышал от него слова, заключавшие великий ум и смелые мысли; когда Катон порицал его поступки и доказывал ему, какого счастья себя лишает, сколь великим подвергается беспокойствам, до какой степени должен будет льстить римским вельможам, сколько приносить даров для удовлетворения их алчности, для насыщения которой деньгами едва было бы достаточно превратить в деньги весь Египет; когда он советовал ему возвратиться назад и мириться со своими подданными, обещаясь отправиться вместе с ним и постараться о примирении его с ними; тогда Птолемей как бы пришел в себя после неистовства и безумия, понял истину и мудрость Катона. Он хотел исполнить его советы, но приближенные его отговаривали. Вскоре после прибытия своего в Рим при первом приближении к дверям одного из правителей республики он вздохнул о своем безрассудстве, ибо пренебрег не речами мудрого человека, но как бы прорицанием некоего бога.

Птолемей Кипрский, к счастью Катона, отравил себя ядом. Разнесся слух, что осталось после него великое количество денег. Катон решился наперед ехать в Византий, а на Кипр послал племянника своего Брута, не имея большого доверия к Канидию. Он примирил изгнанников византийских с другими гражданами, водворил в городе спокойствие и после того отправился на Кипр. Богатство Птолемея, состоявшее в золотых чашах, столах, драгоценных камнях и порфире, было весьма важно и подлинно царское. Все это надлежало продать и превратить в деньги. Катон хотел все в точности исследовать сам, все продавать по самой высокой цене, быть везде самому, все считать; он не доверял обычаям той земли, подозревал всех служителей, торги, покупщиков, даже друзей своих; наконец сам говорил со всеми покупщиками, каждого из них заставлял прибавлять цены и таким-то образом продал весь товар. Эта недоверчивость огорчила всех его друзей и едва не произвела в Мунатии, вернейшем из них, гнева, почти непримиримого к нему. Это обстоятельство составляет самую колкую часть упреков и обвинений со стороны Цезаря в сочиненной им книге на Катона.

Впрочем, Мунатий свидетельствует, что причиной их разрыва было не недоверие к нему Катона, но его к нему небрежение и его собственная к Канидию ревность. Этот Мунатий издал о Катоне сочинение, которому в основном последовал Фрасея. Он пишет, что приехал на Кипр после всех и что ему отведено было самое дурное жилище, что он пришел к дверям Катона, но не был допущен по той причине, что Катон разбирал тогда какой-то сложный вопрос вместе с Канидием; что он на это жаловался Катону с кротостью, но получил некроткий ответ; ему ответствовано, что сильная любовь, как говорит Феофраст, не редко бывает причиной ненависти. «И ты, – продолжал Катон, – сердишься потому, что любя меня сильно, воображаешь, будто не столько много уважен, сколько тебе прилично. Я обращаюсь к Канидию чаще других как по причине опытности его, так и по доверенности моей к нему; он прибыл сюда с самого начала и показал себя бескорыстным». Эти слова сказаны были Катоном одному Мунатию наедине, но потом пересказаны им Канидию. Мунатий, узнав о том, более уже не ходил к столу Катона, не являлся на совет, когда был призываем. Катон грозил поступить с ним, как с ослушником, и взять с него залог*, но Мунатий, принебрегши его угрозой, уехал с Кипра и долгое время питал к нему неудовольствие. Впоследствии он имел разговор с Марцией, когда она еще жила с Катоном, а несколько дней после того был приглашен Баркой к ужину вместе с Катоном. Катон, придя после всех, когда уже другие занимали места свои, спросил, где ему садиться. Барка отвечал, что может сесть, куда ему угодно. Он осмотрел всех и сказал, что сядет подле Мунатия. Обойдя стол, он сел подле него, но в продолжение обеда не оказал ему более ни малейшей ласки. После этого по просьбе Марции Катон писал Мунатию, что хочет с ним переговорить. Мунатий пришел рано в его дом, и был удержан Марцией, пока все другие удалились. После чего вышел Катон, обнял его, поцеловал и оказал ему знаки своей к нему приязни. Я слишком подробно описал все эти обстоятельства, думая, что оные могут служить к показанию нравов и свойств, не менее важных произведенных деяний.

Катон собрал на Кипре без малого семь тысяч талантов. Боясь опасностей, сопряженных с долгим плаванием, он сделал множество ящиков, из которых каждый помещал в себе по два таланта и пятьсот драхм, и к каждому привязал по длинной веревке, на другом конце которой прицепил большой кусок пробочной коры, которая в случае кораблекрушения, плавая на поверхности моря, показывала бы место, в котором утонули ящики. Эти деньги привезены были в целости, кроме весьма немногих. Отчеты в управлении его с великой точностью были записаны в двух книгах, из которых он не сберег ни одной. Вольноотпущенник его по имени Филаргир вез с собою одну из них и, отправившись из Кенхрей, претерпел кораблекрушение и потерял книгу вместе с грузом. Другую книгу Катон имел при себе; по прибытии в Керкиру поставил он свои шатры на площади; моряки по причине холода разводили ночью многие огни, от которых загорелись шатры, и книга пропала. Царские чиновники, которые в то же время прибыли в Рим, могли заградить уста неприятелей Катона и других клеветников; при всем потеря книг огорчила его; он хотел представить народу счеты, не столько для верности, сколько для показания другим примера точности в подобных случаях, но завистливое счастье лишило его этого удовольствия.

Как скоро получено было известие о его прибытии, то все правители и священники, весь сенат, великая часть народа вышли к нему навстречу у реки, так что оба берега ее были

покрыты народом, и шествие его по реке нимало не отличалось от триумфа как великолепием, так и стечением народа, хотя впрочем многим казалось грубым и дерзким поступком, что, несмотря на присутствовавших преторов и консулов, он не остановился, не вышел к ним с корабля, но мимо их продолжал быстро свое плавание на царском корабле о шести рядах весел и не прежде остановился, как по прибытии всех кораблей в пристань. Когда деньги были везены через площадь, то народ был изумлен их множеством. Сенат собрался, изъявил Катону приличные похвалы и определил, чтобы дана ему была чрезвычайная претура* и чтобы он присутствовал в зрелищах в тоге, обложенной пурпуром. Катон не принял почестей; убедил сенат отпустить на волю Никия, управителя царского имения, засвидетельствовав о его верности и старании. Консулом был тогда Филипп, отец Марции. Вся важность и сила этого достоинства, казалось, перешла к Катону, ибо другой консул оказывал столько же уважения Катону за его добродетели, сколько Филипп сам по причине родства, которым был с ним связан.

Цицерон по возвращении своем из изгнания, на которое был осужден Клодием, имея великую силу, вырвал насильственно на Капитолии и уничтожил в отсутствии Клодия постановленные им там трибунские таблицы. Сенат собрался для рассуждения; Клодий принес жалобу; Цицерон говорил, что поскольку Клодий получил трибунство беззаконно, то все им предложенное и утвержденное должно быть почитаемо недействительным и ничтожным. Катону было это неприятно, он восстал против этого и говорил, что он в управлении Клодия вообще ничего не почитал разумным и полезным, но что уничтожающий постановления, сделанные Клодием во время его трибунства, уничтожает и все то, что произведено им на Кипре, так что отправление его туда будет почтено беззаконным, как определенное беззаконным начальником; что, конечно, Клодий переведен из патрициев в простые граждане и избран трибуном против законов, но что если он начальствовал несправедливо, подобно многим другим, то должен в этом дать отчет он сам, как употребивший во зло свою власть, не прилично уничтожать достоинство, которое им оскорблено. С этого времени Цицерон был в обиде на Катона; дружба их была надолго прервана; однако впоследствии они помирились.

Помпей и Красс имели свидание с Цезарем, перешедшим горы Альпийские. Они согласились между собою в другой раз искать консульства; по получении оного положено было уступить Цезарю в управление Галлию на столько же лет, на сколько дано было прежде, а им взять важнейшие провинции, с деньгами и военными силами. Это был заговор, цель которого была разделение римской державы и уничтожение республики. Многие из лучших граждан готовились тогда искать консульства, но Помпей и Красс, явившись на консульские выборы, всех заставили отказаться от этого искания. Однако Луция Домиция, зятя своего, Катон убедил не уступать им в сем подвиге; поскольку дело шло не о консульском достоинстве, но о римской свободе. В неиспорченной и здравомыслящей еще части граждан говорили тогда, что нельзя позволить, чтобы сила Красса и Помпея соединились и чтобы от того сделалась власть их тяжкой и нестерпимой, но что следовало бы у одного из них отнять консульство. Многие собирались к Домицию, увещевали и ободряли его приступить к делу, уверяя, что будут на его стороне при подаче голосов многие из тех, кто тогда из страха молчал. Помпей и его сообщники страшились их соединения, поставили засаду против Домиция, который до рассвета шел на Марсово поле при свете факелов. Служитель, шедший впереди и светивший Домицию, получив удар, упал мертвым перед ним. После него злоумышленники ранили и других; все разбежались, кроме Катона и Домиция. Хотя Катон получил рану в руку, однако удерживал Домиция, уговаривал его стоять твердо и до последнего дыхания продолжать за свободу и отечество борьбу с тираннами, которые уже показывают, каким образом будут употреблять власть, к которой стремятся такими несправедливыми поступками. Домиций не осмелился подвергнуться опасности, но убежал в дом свой. Консулами выбраны были Красс и Помпей.

Однако Катон не утомился; он предстал перед народом и искал себе претуры, дабы эта власть служила ему как бы оплотом в борьбе с ними, и дабы он мог действовать не так, как частное лицо против людей, облеченных верховной властью. Помпей и Красс, чувствуя, сколь страшен был бы им Катон, и видя, что претура через него получит силу, которой сделает он перевес консульству, приняли следующие меры: во-первых, неожиданно созвали они сенат и в такое время, когда многие того не знали, и провели решение, что те, кто избирается в преторы,

вступали в должность немедленно, а не по прошествии предписанного законами времени, в продолжение которого доносимо было на тех, кто подкупал голоса народные. Во-вторых, этим решением избавить себя от ответственности, возводили на преторское достоинство прислужников своих и приятелей, сами раздавали за них деньги и сами председательствовали при подаче голосов. Несмотря на то, Катон своей добродетелью и славой одержал верх над сими умыслами; большая часть народа, стыдясь его, почитала недостойным и постыдным делом продать голосами Катона, которого надлежало сделать претором республики, купив его за деньги. Итак, трибы, призванные прежде, подали голоса свои в пользу Катона. Помпей вдруг объявил, что он услышал гром, и этой ложью постыднейшим образом распустил Собрание, ибо по римским обычаям это знамение почитается злополучным, при каковых небесных явлениях ничего не предпринимают.

После этого, сыпя деньгами во множестве, они прогнали с Марсова поля лучших граждан и насильственным образом заставили вместо Катона избрать претором Ватиния. Повествуют, что те, кто столь беззаконно и безрассудно подал свой голос, немедленно после того разошлись и как бы бежали от стыда. Между тем другие граждане, соединясь на площади, изъявляли негодование на происшедшее. Получив позволение от трибунов, они составили тут же Собрание; Катон предстал и, как бы вдохновенный богами, предрек все то, чему надлежало совершиться над республикой, возбуждал народ против Красса и Помпея, представляя ему, что таковы их намерения и такова цель их правления, что они боятся, чтобы Катон, сделавшись претором, не ниспровергнул их замыслов. Наконец, когда он удалился в дом свой, то его одного сопровождало большее число граждан, нежели всех избранных тогда преторов.

Гай Требоний предложил вскоре разделить провинции между консулами на таком основании, чтобы даны были одному Иберия и Ливия, другому Сирия и Египет, с правом вести войну против кого они захотят и покорять страны, действуя сухопутными и морскими силами. Все другие потеряли надежду воспрепятствовать этому предложению и отказались говорить против него. Катон, перед подачей голосов, взошел на трибуну и хотел говорить; они ему назначили времени не более двух часов. А так как время это провел он в том, чтобы, говоря, наставлять своих сограждан и предсказывать им угрожавшие им бедствия, то по прошествии назначенного времени не позволяли ему более говорить. Катон хотел еще остаться, они послали ликтора, который стащил его с трибуны. Катон, стоя внизу, не переставал кричать; многие преклоняли к нему слух и вместе с ним негодовали; ликтор вторично схватил его и вывел вон из Собрания, но не успел его оставить, как Катон возвратился опять в Собрание и шел к трибуне, побуждая громким голосом граждан не оставлять его без помощи. Это было повторено несколько раз; Требоний, в досаде, велел отвести его в темницу. Народ последовал за Катоном и слушал то, что он говорил, идучи вперед, так что Требоний, будучи тем устрашен, отпустил его. Таким образом, Катон заставил их провести тот день, ничего не утвердивши. В следующие дни противники его успели склонить на свою сторону граждан, одних страхом, других подарками и деньгами. Аквилия, одного из трибунов, посредством вооруженных людей не допустили выйти из сената; самого Катона, который тщетно кричал, что загремел гром, вывели из Собрания; немалое число переранили, некоторых и умертвили, и наконец насильственно утвердили предлагаемый ими закон, так что многие граждане собрались в ярости своей и хотели низложить кумир Помпея, но Катон, придя к тому месту, не допустил их.

Вскоре после того предлагаемо было дать Цезарю провинции и войско. В этом случае Катон обратился уже не к народу, но к самому Помпею, представлял ему и предсказывал, что сажает себе на шею Цезаря; что он теперь сам того не примечает, но когда начнет чувствовать всю его тяжесть и всю его над собою власть, когда не будет ни в состоянии его с себя снять, ни в силах на себе носить, тогда должен будет вместе с ним пасть на республику, тогда-то вспомнит увещания Катона и удостоверится, что оные были столь же справедливы и выгодны, сколько для самого Помпея полезны. Помпей часто слушал эти слова, но пренебрегал ими и оставлял без внимания; полагаясь на свое счастье и на свое могущество, он не верил, чтобы Цезарь мог перемениться в отношении к нему.

В следующем году избран претором Катон. Кажется, что он не столько придал сему достоинству важности и величия, исполняя похвальным образом должность свою, сколько унизил и посрамил его, ибо нередко приступал к трибуне без хитона и без обуви, нередко в

таком состоянии присутствовал при уголовных делах, в которых решалась участь знаменитых граждан. Некоторые уверяют также, что он занимался делами после завтрака и выпив вина, но это ложно.

Честолюбивые люди развращали раздачей денег народ, который почитал дароприятие обыкновенной платой за работу свою. Дабы совершенно искоренить эту заразу из республики, Катон заставил сенат принять постановление, чтобы избранные к какому-либо начальству, хотя бы никто не доносил на них, были обязаны сами предстать перед судом и клятвенно дать отчет о своем избрании. Это предложение было неприятно тем, кто искал начальства, но еще неприятнее народу, который получал от того плату. Поутру, когда Катон пришел в Собрание, граждане толпою напали на него с криком, ругая его, бросали в него камнями. Все разбежались, множество народа вытеснило и его из Собрания; он был носим туда и сюда, и с трудом мог достигнуть трибуны. Взойдя на нее, смелым и твердым лицом вскоре успокоил шум и заставил народ перестать кричать. Он говорил им речь, приличную тогдашним обстоятельствам; граждане слушали его спокойно, и возмущение было совершенно укрощено. Сенаторы за то превозносили его похвалами. «Но я, – сказал Катон, – не хвалю вас за то, что вы оставили в опасности претора и не защитили его».

Искавшие начальства приведены были законом этим в недоумение; каждый из них боялся подкупить народ, боялся также, чтобы другие этого не сделали и тем не лишили его начальства. Вследствие этого они сошлись и согласились между собою, чтобы каждый из них положил в виде залога сто двадцать тысяч пятьсот драхм, чтобы потом все они искали начальства по справедливости и по законам, чтобы преступающий закон и употребляющий подкуп лишился положенных денег. Условившись между собою, избрали они хранителем, судьею и свидетелем этого условия Катона. Они принесли к нему деньги; условия заключили в его доме. Катон не захотел принять денег, а потребовал только от них поручителей. Когда день избрания наступил, то Катон стал подле председательствующего трибуна и, обращая великое внимание на подачу голосов, открыл, что один из положивших деньги нарушил закон. Он приказал ему уступить свою часть другим. Они удивлялись справедливости Катона и хвалили его, но не приняли денег, почитая преступившего условие довольно уже наказанным. Но Катон оскорбил этим поступком других граждан; он возбудил против себя зависть, ибо казалось, он себе присвоил силу сената, судов и правителей. Никакие добродетели не возбуждают столько зависти, сколько слава справедливости, ибо она сопровождается силою и доверием со стороны народа. Справедливый не только бывает почитаем наравне с мужественным, не только уважается как благоразумный, но сверх того бывает всеми любим; все на него полагаются, все доверяют ему. Напротив того, люди боятся мужественных и не доверяют благоразумным; при том они думают, что и те, и другие более природными способностями, нежели произволением отличаются. Мужество почитается душевной твердостью, благоразумие – способностью ума, но чтобы быть справедливым, стоит только захотеть; и потому люди стыдятся несправедливости, как порока произвольного.

Вот что заставляло видных людей вооружаться против Катона; они почитали себя изобличенными им в несправедливости. Помпею казалось, что слава Катона была уничтожением могущества; и потому он всегда возбуждал кого-нибудь к тому, чтобы поносить его. Таков между прочими был и Клодий, который опять пристал к Помпею и кричал, что Катон на Кипре много присвоил себе денег, и что он противится Помпею единственно потому, что тот отвергнул женитьбу на его дочери. Катон на это отвечал, что он, не имев при себе ни одного воина, ни одного всадника, привез в Рим с Кипра больше денег, нежели Помпей из походов и побед своих, которыми потряс вселенную; что он никогда не думал иметь Помпея зятем не потому, что его почитал этого недостойным, но по причине разномыслия им в управлении. «Когда мне давали провинцию после претуры, – говорил Катон, – то я от нее отказался; между тем Помпей одними провинциями управляет сам, иные передает другим; недавно уступил он Цезарю легион, в шести тысячах воинов состоящий, для продолжения войны в Галлии. Цезарь не от вас просил сей силы, а Помпей без вашего позволения ее отдал. Столь великая сила пехоты и конницы употребляется частными лицами к изъявлению друг другу благодарности и услуги. Помпей, называясь императором и полководцем, оставляет другим войска и провинции, а сам пребывает в городе, возбуждает при выборах мятежи,

произведя беспокойства, и тем явно устраивая себе, посредством безначалия, единовластие».

Таким образом Катон отражал нападения Помпея. Марк Фавоний был друг и подражатель Катона, так как Аполлодор Фалерский был подражателем древнего Сократа*; правила Катона производили в нем живейшее впечатление и овладели его душой столь сильно, что казался подобным человеку, упоенному вином и находящемуся в некотором исступлении. Он искал некогда единства, но не имел в том успеха. Катон, находясь при нем, заметил, что книга, в которую записывались имена, была писана вся одной рукою, обнаружил этот обман и, призвав на помощь трибунов, уничтожил тогдашний выбор. Когда же потом избран был эдилом Фавоний, то Катон содействовал ему в исполнении сей должности и управлял театральными зрелищами, в которых давал актерам венки, не золотые, но масляничные, подобно как на Олимпийских играх, вместо великолепных даров раздавал он грекам свеклу, латук, редьку и сельдерей, а римлянам сосуды с вином, свинину, смоквы, дыни и вязанки дров. Одни смеялись над простотой подарков; другие радовались, видя, что суровость и жестокость Катона несколько смягчалась и склонялась к веселью. Наконец Фавоний сам вмешался в народ и, сидя между зрителями, рукоплескал Катону, кричал ему, чтобы отличившимся дал награды и оказал почести, просил зрителей следовать его примеру, ибо он предоставил Катону всю свою власть. Между тем Курион, товарищ Фавония в эдильстве, раздавал в другом театре великолепные дары, но все зрители, оставя его, перешли к театру Фавония, забавлялись тем, что тот разыгрывал роль частного лица, а Катон – настоящего эдила и раздавателя наград. Катон поступал таким образом, дабы представить в смешном виде таковое честолюбие своих сограждан, научая их, что в шутливом виде должно шутить, что надлежит препровождать эти торжества, довольствуясь одной простой забавой без великолепных приготовлений, не употребляя столько забот и стараний в делах, никакого уважения не заслуживающих.

Сципион, Гипсей и Милон* искали консульства. Не только употребляли они обыкновенные уже и вместе с римским правлением сопряженные незаконные средства, как то: взятки и подкуп, но по наглости и безрассудству своему стремились прямо к междоусобной войне, убийствам и кровопролитиям. Некоторые тогда требовали, чтобы при выборах народных дан был надзор Помпею. Катон сперва противился этой мере, говоря, что Помпею от законов, а не законам от Помпея надлежит ожидать безопасности. Но безначалие было уже слишком продолжительно; ежедневно форум был окружен тремя войсками; зло доходило уже до крайности. Катон прежде, нежели бедствия довели республику до последней необходимости, признал нужным, чтобы Помпею дано было управление по воле сената; употребляя самое умеренное уклонение от закона вместо лекарства, для исправления величайшего неустройства, он решился лучше внести свободно единоначалие, нежели допустить, чтобы междоусобие кончилось единоначалием. Бибул, друг Катона, объявил в сенате свое мнение касательно избрания Помпея одного в консулы, утверждая, что либо дела под его управлением приведены будут в устройство, либо республика будет повиноваться лучшему из граждан. Катон встал и, против ожидания всех, одобрил это мнение, утверждая, что всякая власть лучше безначалия; что Помпей, как от него надеялся, лучшим образом употребит свою власть и сохранит в целости поверяемую ему республику.

Итак, Помпей один был избран консулом*. Он призвал Катона к себе в свой загородный дом; когда тот пришел к нему, то Помпей принял его с отличными знаками уважения и дружбы, объявил ему свою благодарность, просил его быть советником его и делить с ним власть. Катон отвечал ему, что прежде не говорил никогда из ненависти к Помпею и ныне не говорит из угождения к нему, но что все им сказанное клонилось к пользе республики; что будет давать ему советы частным образом, когда попросит его; общественно же будет говорить то, что кажется ему справедливым, и без его просьбы. Как сказал, так и делал. Во-первых, когда Помпей хотел определить новые наказания и важные пени против тех, кто прежде подкупал народ при подаче голосов, то Катон советовал ему предать забвению прошедшее и думать только о будущем; он представлял, что трудно определить, где надлежит остановиться, при исследовании ли прежних проступков, или при определении новейших наказаний за прежние преступления; будет обидно для виновных, которые будут наказываемы по закону, которого они не преступили. Во-вторых, когда начали производить суды над многими знаменитыми особами, в числе которых Помпей находил и друзей, и родственников своих, то он смягчался и

был склонен к снисхождению; тогда Катон упрекал его тем и побуждал к твердости. Помпей сам постановил законом, чтобы в судах никто не говорил похвал подсудимым, при всем том, сам сочинив похвалу Мунатию Планку, послал ее в судилище. Катон, который был в числе судей, зажал себе уши руками и не позволял читать это свидетельство. Планк исключил его из числа судей после того, как жалобы были выслушаны, но тем не менее был осужден. Вообще Катон приводил обвиняемых в недоумение; они не знали, как с ним поступить. Они не хотели его иметь в числе своих судей, но не смели его исключить. Многие были осуждены за то, что не хотели иметь Катона в числе своих судей, ибо, казалось, они не надеялись на свою справедливость; иных укоряли и ставили им в важную вину то, что они отказались принять в число судей предлагаемого им Катона.

Между тем Цезарь, который в Галлии, казалось, обращал все внимание на войско и действовал только оружием, в Риме употреблял дары, деньги и друзей своих к приобретению великой силы. Уже Катоновы предсказания заставили Помпея, который как бы во сне видел опасность перед собою, отстать от прежнего неверия к нему. Поскольку Помпей был исполнен нерешимости и робкой медлительности, не смел ни удержать Цезаря от его предприятий, ни действовать против него, то Катон решился искать сам консульства, дабы либо вырвать немедленно из рук Цезаря орудия, либо изобличить его замыслы. Соперниками его в искании консульства были двое из лучших граждан; из которых один был Сульпиций, к возвышению которого споспешествовала слава и влияние Катона. Итак, поступок его казался неблагодарным и несправедливым. Однако Катон не жаловался на него. «Удивительно ли, – говорил он, – что человек не уступает другому того, что он почитает великим благом». Когда он убедил сенат принять постановление, чтобы искавшие начальства просили о том народ сами, а не заставляли других ходить просить за себя, эта мера еще более ожесточила народ. Катон не только запретил ему брать плату, но лишил способа оказывать удовольствие и тем сделал его бедным и презрительным. Будучи притом сам неспособен просить за себя и желая более сохранить достоинство своего права и образа жизни, нежели получить достоинство власти, он просил сам и не допускал друзей своих делать все то, чем улавливается народ и приобретается его благосклонность; и потому не достиг он начальства.

Неудача в искании консульства ввергнула в уныние и горесть, сопряженную с посрамлением не только получивших отказ, но и родственников, и друзей. Однако Катон перенес ее с таким равнодушием, что в тот же день, намазавшись маслом, играл в мяч на Марсовом поле, и после завтрака пошел на площадь, и, по обыкновению своему, прохаживался по оной без туники и обуви. Цицерон справедливо порицает его, ибо хотя обстоятельства требовали тогда такого правителя, каков был Катон, однако он не приложил к получению его никакого труда, не старался о приобретении благосклонности народной приветливою речью, но и на будущее время потерял надежду на получение этого начальства, отказался от искания его, хотя он вторично просил претуры. Впрочем, Катон говорил, что не получил претуры некоторым образом против воли народа, которого принуждали силой или подкупили деньгами к избранию другого, но при консульском избрании не было никакого обмана; и так он заметил, что его свойства были противны народу, что перемениться из угождения к другим или, поступая таким же образом, подвергнуться равной участи было непристойно для здравомыслящего человека.

Между тем Цезарь, ворвавшись в средину воинственных народов и одержав над ними победу с величайшими опасностями, напал потом на германцев, с которыми заключил он мир и умертвил их триста тысяч. Многие побуждали народ римский к принесению благодарственных богам жертв; Катон, напротив того, советовал народу выдать Цезаря тем, против кого он нарушил законы, и не навлекать на республику наказания за это преступление. «Принесем благодарственные богам жертвы, – говорил он, – за то, что они не обращают на наших воинов наказания, какое заслужили неистовство и безумие полководца, но щадят республику». Это побудило Цезаря написать письмо, которое было читано в собрании сената и содержало ругательства и обвинение на Катона. По прочтении оного Катон встал и без досады и гнева, как бы с покойным духом наперед был к тому приготовлен, доказал сенату, что обвинения Цезаря против него походили на шутки и ругательства, изобретенные им для забавы и к возбуждению смеха. После того изложил он поведение Цезаря с самого начала, обнаружил все его замыслы не так, как враг, но как единомышленник и сообщник, и доказал, что если римляне

благоразумны, то должны страшиться не германцев и кельтов, но одного Цезаря. Слова эти имели такое действие и так переменили мысли слушателей, что друзья Цезаря раскаивались в том, что читали письмо его в сенате и тем подали Катону благоприятный случай говорить против Цезаря и обвинять его по всей истине и справедливости.

В сенате ничего не было утверждено, а только сказано, что было бы прилично назначить Цезарю преемника в управлении провинций. Приятели его требовали, чтобы Помпей равным образом сложил оружие и возвратил провинции, либо не принуждать к тому и Цезаря. Тогда Катон начал кричать, что уже сбываются его предсказания и что Цезарь ныне явно и насильственно употребляет против республики ту власть, которой он достиг обманами и хитростью. Эти слова не производили никакого действия в народе, который хотел, чтобы Цезарь был могуществен. Сенат одобрял мнения Катона, но боялся народа.

Когда же Аримин был занят Цезарем, когда возвещено было, что Цезарь идет на Рим с войском, тогда-то все, как народ, так и сам Помпей, обратили взоры свои на Катона, который один с самого начала предчувствовал все и первый явно предсказал намерения Цезаря. При этом Катон сказал: «Когда бы кто-либо поверил моим предсказаниям и послушался советов, то вы, граждане, не боялись бы ныне одного человека и на одного человека не полагали вашей надежды». Помпей отвечал на это, что Катон говорил как прорицатель, но что он поступил как настоящий друг. Катон советовал сенату вручить Помпею всю власть: одни и те же могут и причинять, и исцелять великие бедствия. Помпей, не имея в готовности военных сил и не видя усердия в тех, кого он собирал, оставил Рим; Катон решился за ним последовать. Он оставил младшего сына своего у Мунатия в Бруттии, а старшего взял с собою. Имея нужду в попечителе для дома и для дочерей своих, он взял опять Марцию, которая была уже вдовой и обладала большим богатством, ибо Гортензий, умирая, оставил ее наследницей всего своего имения. Цезарь, ругая Катона за этот поступок, в особенности поносит его за любостяжание и говорит, что он развелся с женой за деньги. Если была ему нужна жена, говорит он, зачем уступать ее другому; если в ней не имел нужды, зачем опять ее брать? Не послужила ли эта женщина оружием к улавливанию Гортензия? Не уступил ли ее Катон молодой, чтобы получить богатой? При этих обвинениях очень прилично сказать Еврипидовы стихи*:

О преступлениях начнем мы говорить.
Сказать, что робок ты, Геракл, есть преступленье.

Укорять в робости Геракла и обвинять в постыдном корыстолюбии Катона – одно и то же. Если же он поступил неприлично в сем браке по другим отношениям, то это должно быть предметом другого рассуждения. Катон принял в дом свой Марцию, передал ей дом и дочерей своих и последовал за Помпеем.

С этого дня, говорят, не стриг он более волос, не брил бороды, не надел на голову венка; он сохранил до конца жизни своей мрачный вид уныния и горести о бедствиях республики, хотя бы граждане его побеждали или были побеждаемы. В то время досталась ему по жребию Сицилия; он переехал в Сиракузы. Узнав, что Азиний Поллион прибыл в Мессену с неприятельскими силами, Катон послал спросить его о причине его приезда. Поллион взаимно спросил о причине происшедшей в делах перемены. Катон, известившись, что Помпей оставил совсем Италию и стоит при Диррахии, сказал: «Сколь дела божии темны и непонятны! Помпей был непобедим во всех неправильных и нерассудительных своих предприятиях, а ныне, когда он хочет спасти отечество, когда сражается за вольность, счастье его оставляет!» Он объявил, что он может выгнать из Сицилии Поллиона, но как ему было известно, что идет другое многочисленнейшее войско, то не хотел разорить остров сей войною. Он советовал сиракузянам предаться сильнейшему и тем спасти себя.

Оставив Сицилию, Катон прибыл к Помпею. Он держался всегда одного мнения затягивать войну, надеясь, что обе стороны примирятся, и не хотел, чтобы республика сама от себя обессилела войною и дошла до последней крайности, решив дело оружием. Соответственно с этими мыслями убедил он Помпея и других начальников определить законом: не грабить никакого подвластного Риму города, не предавать смерти ни одного римлянина вне сражения. Этим приобрел он себе великую славу, привлек на сторону Помпея многих, которые

прельщены были такой кротостью и человеколюбием.

Будучи послан в Азию на помощь тем, кто собирал там корабли и войско, взял он с собою сестру свою Сервилию и сына ее, рожденного от Лукулла. Она была вдовою, когда последовала за Катоном; находясь всегда под его присмотром, ведя по своей воле жизнь, какую он вел, она отчасти уничтожила обвинения, которые навлекла на себя дурным поведением. Впрочем, Цезарь в упреках, делаемых ей, не пощадил и Катона. Военачальники Помпеевы не имели, по-видимому, нужды в других услугах Катона. Он только убедил словами родосцев принять сторону Помпея, оставил среди них Сервилию с сыном ее и возвратился к Помпею, который имел уже при себе блистательные сухопутные и морские силы. Теперь-то наиболее Помпей изобличил сам себя в своих намерениях. Он хотел поручить Катону начальство над морскими силами; одних военных кораблей было не менее пятисот; либурнских и других легких и перевозных судов было несчетное множество. Но вскоре послушавшись совета своих приятелей, либо сам рассудив, что вся цель действий Катона была возвращение отечеству свободы; что Катон, приняв в свое управление столь великую силу, в тот самый день, в который преодолен будет Цезарь, потребует, чтобы он сложил оружие и покорился законам; Помпей переменил мысли (хотя о том говорил он прежде с Катоном) и поручил начальство над флотом Бибулу. Невзирая на то, он не приметил, чтобы усердие и рвение Катона уменьшились. Некогда в одном сражении при Диррахии Помпей, дабы возбудить войска к сражению, велел каждому из военачальников сказать что-либо воинам к одушевлению их; воины слушали хладнокровно и ничего не говорили. Катон явился после всех и, сколько время позволяло, изъяснив с великим жаром и страстью все то, чему научает философия о независимости, мужестве, смерти и славе, кончил речь свою воззванием к богам, как бы они тут присутствовали и были зрителями подвига, за отечество предпринятого. Эта речь произвела такое волнение и такие восклицания в одушевленном войске, что все предводители, исполненные лучшей надежды, устремились с жаром на противников. Они разбили и обратили их в бегство, но совершенной победы лишило их счастье Цезаря, употребившее в пользу его нерешимость Помпея и доверчивость его к такому благополучию, о чем сказано нами в жизнеописании Помпея. В то время все радовались и прославляли эту победу; Катон один оплакивал отечество, воздыхал о пагубном и несчастном любоначалии, видя, какое множество пало лучших граждан, сраженных своими соотечественниками.

Помпей, отправляясь в Фессалию, по следам Цезаря, оставил при Диррахии войско, деньги, многих родственников и друзей своих и над всеми начальником и хранителем Катона, который уже предводительствовал пятнадцатью когортами, ибо Помпей в одно и то же время не доверял ему и боялся его. Он знал, что если бы он потерпел поражение, то мог бы рассчитывать на Катона, как ни на кого другого, но если бы он победил Цезаря, то Катон, находясь при нем, не допустил бы его управлять всем по своей воле. Вместе с Катоном покинуты были в Диррахии многие из знаменитейших мужей.

После поражения при Фарсале Катон принял намерение: в случае смерти Помпея отправить в Италию всех своих воинов, а самому провести остаток дней своих в произвольном заточении, как можно далее от тираннии; если же Помпей был еще жив, то хотел непременно сохранить ему войско. С этим намерением он переправился в Керкиру, где находился флот; он хотел уступить Цицерону начальство, как бывший претор бывшему консулу. Цицерон не принял этого и отправился в Италию. Когда Помпей Младший по дерзости своей и безвременному высокомерию хотел наказать тех, кто отплывал в Италию, и прежде всех поймать Цицерона, то Катон в частной беседе укротил его гнев и тем явно Цицерона спас от смерти, а другим доставил безопасность.

Рассудив, что Помпей Великий обратился либо к Египту, либо к Ливии, Катон поспешил вслед за ним; он отплыл со всем своим войском, позволил тем, кто неохотно за ним следовал, удалиться и оставаться на месте. Достигши берегов Ливии, вдоль которой он плыл, встретил Секста, младшего сына Помпея, который объявил ему кончину отца своего в Египте. Эта новость поразила всех римлян. После Помпея, в присутствии Катона, повиноваться другому полководцу никто и слушать не хотел. Катон, уважая и жалея этих достойных людей, подавших опыты своей верности, не хотел оставить их в чужой стороне одних без помощи, без предводителя. Он принял начальство и пошел в Кирену. Жители приняли его охотно, хотя за

несколько дней прежде заперли ворота свои Лабиену. Здесь известился он, что Сципион, тесть Помпея, был принят царем Юбой, и что Аттий Вар, которому Помпей поручил правление Ливии, держался его стороны со своим войском. Катон в зимнее время вышел из Кирены сухим путем; собрав множество ослов, которые везли за ним воду, гнали много рогатого скота, и взял с собою колесницы и так называемых псиллов*, которые лечат от укусов змей, высасывают ртом яд и самых змей укрощают и усмиряют заговорами. Путешествие продолжалось семь дней сряду. Катон был всегда впереди, никогда не садился на лошадь или на другое животное; он всегда ужинал, сидя: с тех пор, как получил известие о поражении фарсальском. К другим знакам своей горести присоединил он то, что никогда не ложился, только во время сна. Он провел в Ливии зимнее время и выступил с войском оттуда, состоявшим из десяти тысяч человек без малого.

Дела Сципиона и Вара находились в дурном положении. Ссора их и несогласие были причиной тому, что они льстили Юбе и старались приобрести его благосклонность. Этот государь, обладая великими силами и сокровищами, был несносен своею надменностью и высокомерием. При первом свидании, которое хотел иметь с Катоном, поставил он свое седалище между Сципионовым и Катоновым. Катон, увидя это, поднял свой стул и переставил его в другую сторону; таким образом он посадил Сципиона между собой и Юбой, хотя Сципион был ему враг и даже сочинил книжку, содержавшую на него ругательство. Противники Катона ни во что не ставят этого поступка, а за то, что в Сицилии, ходя с Филостратом*, Катон давал ему, из уважения к философии, почтеннейшее место, они его поносят. Так Катон укротил высокомерие Юбы, который едва не превратил в сатрапов своих Сципиона и других полководцев римских. Он успел примирить их между собою. Все хотели, чтобы Катон принял начальство. Сципион и Вар первые уступали и предавали ему предводительство. Катон объявил, что не преступит законов, за которые воюет с тем, кто их преступает; и что будучи сам претором, не согласится начальствовать в присутствии проконсула. Сципион в самом деле был признан проконсулом, и по причине имени его многие надеялись, что война кончится благополучно – ибо в Африке начальствовал Сципион.

Сципион, получив верховное начальство, хотел, из угождения к Юбе, умертвить всех взрослых жителей Утики и разрушить сам город, как приверженный к стороне Цезаря. Катон этого не утерпел. Он громко говорил в совете против его намерения, заклинал всех богами и с великим трудом избавил несчастных жителей от сей жестокой участи. Частью по просьбе их, частью по желанию Сципиона, Катон принял на себя охранение города, дабы оный ни по воле, ни против воли не мог присоединиться к Цезарю. Положение его было крепко и весьма выгодно для того, который им обладал. Катон еще более его укрепил. Он собрал в нем великое количество пшена, поправил стены, поднял выше башни, окопал город крепким валом и обвел полисадами. Молодых жителей поставил в наружных укреплениях, отобрал у них оружие, других граждан удерживал в городе, всемерно стараясь, чтобы римляне не оказывали им обиды и не беспокоили их. Он посылал в стан оружие, деньги, запасы; и вообще город сей служил ему как бы военным складом. То же самое, что прежде советовал он Помпею, теперь советовал и Сципиону, а именно: не вступать в сражение с человеком воинственным и искусным, но длить время войны, ибо оно одно могло ослабить всю силу, поддерживающую тираннство. Сципион по надменности и упрямству своему презирал его советы. Некогда, укоряя в робости Катона, писал он ему: «Ты не довольствуешься тем, что сидишь в городе и за стенами, но и других не допускаешь исполнять смело свои предприятия в благоприятное время». Катон писал ему в ответ, что он готов перейти в Италию с конницей и пехотой, которые привел в Ливию, и обратить Цезаря от них к себе, но Сципион смеялся над его словами, и Катон явно показывал раскаяние в том, что уступил ему начальство, ибо Сципион не имел способностей хорошо вести войну, а если сверх ожидания был бы счастлив, то после победы не поступил бы кротко со своими согражданами. Такого был Катон мнения о нем; он говорил притом своим приятелям, что не имел хорошей надежды на окончание этой войны по причине неопытности и дерзости полководцев, но если каким-либо благополучием Цезарь будет преодолен, то он не останется в Риме, но удалится от жестокости и злобы Сципиона, который уже тогда употреблял суровые и надменные против многих угрозы.

Предсказания его сбылись более, нежели он ожидал. В поздний вечер прибыл из стана в

Утику гонец, три дня бывший на дороге, с известием, что при Тапсе* дано было кровопролитное сражение, что все потеряно, что Цезарь овладел станом, Сципион и Юба убежали с малым числом войска, другие силы погибли.

Эта новость, полученная в военное время и в темноте ночи, привела жителей в такое исступление, что едва они могли удержать себя в стенах их города. Катон, вышел к народу, останавливал тех, кого он встречал и которые бегали по городу и кричали, утешал их, уменьшал ужас и смущение, произведенное страхом, говорил им, что, может быть, дела не в таком находятся состоянии и что преувеличены рассказами. Он укротил тогда шум и беспокойство и с наступлением дня велел собраться в храме Зевса тремстам человекам, составлявшим его совет, которые были римляне, но жили в Ливии, занимаясь торговлей или отдачей в рост своих денег; также созвал и тех, кто был сенаторского достоинства и детей их. Между тем как они собирались, он пришел туда же с твердостью и спокойствием, как бы ничего нового не случилось, и держал книгу, которую читал; то была опись всем военным машинам, орудиям, запасам, стрелам и ратникам. Как скоро все собрались, то обратил речь свою сперва к тремстам советникам, похвалил он усердие и верность, оказанные во всех случаях советами, имением, делами своими, просил, чтобы они не разъехались, потеряв надежду и не думал бы каждый из них только о собственном побеге и спасении. Он представлял им, что когда останутся вместе – то Цезарь менее презрит, если будут вести с ним войну, и скорее их пощадит, если прибегнут к просьбам. Он, однако ж, просил их советоваться между собою о самих себе, говорил, что он не будет порицать их выбор; что если мысли их переменятся с переменой счастия, то припишет сие действию необходимости; если же они решились бороться с бедствиями и подвергаться опасностям за свободу отечества, то не только похвалит их, но будет удивлен их доблести и будет им содействовать как начальник и сподвижник, пока совершенно не решится судьба отечества. Отечество же их есть ни Гадрумет и ни Утика, но Рим, который много раз величием своим восставал из труднейших обстоятельств; что к спасению себя и к приведению в безопасность стеклись многие обстоятельства, из которых важнейшее то, что они воюют с человеком, которого многие дела влекут в одно время то в одну страну, то в другую, ибо Иберия пристала к Помпею Младшему; самый Рим не совсем приемлет узду, к которой не привык, но терпит ее с негодованием и при всякой перемене старается восстать против тиранна; что не должно избегать опасности, но следовать примеру самого врага, который не щадит жизни своей для совершения величайших несправедливостей, между тем как для них неизвестность войны кончится, если добьются успеха, счастливейшею жизнью, а если же будут побеждены, славнейшею смертью; что однако надлежало им советоваться между собою и что за прежнюю твердость их и верность он молит богов о помощи совершить им то, что они сочтут за лучшее.

Слова его многим внушили бодрость и надежду; его бесстрашие, великодушие и кротость заставили большую часть из них почти забыть настоящее свое положение и почитать Катона одного непобедимым полководцем и выше всех превратностей счастья; они просили его употребить имение их, оружия, самих их так, как он заблагорассудит, и что они предпочитали умереть, повинуясь ему, нежели спасти жизнь свою, изменив столь высокой добродетели. Некто предложил издать указ об освобождении рабам. Большая часть одобрили эту мысль, но Катон объявил, что не сделает этого, почитая такое постановление беззаконным и несправедливым, но что, если сами господа отпустят на волю молодых невольников, то охотно их примет на службу в войске. Многие обещались освободить их; Катон велел им записываться и удалился из собрания.

Вскоре получил он письма Юбы и Сципиона. Первый, скрываясь в горах с малым числом воинов, спрашивал у Катона, что он намерен предпринять; что если он оставит Утику, то будет его ожидать, а если намерен выдержать осаду, то придет к нему на помощь с войском. Сципион, стоявший на кораблях у некоего мыса недалеко от Утики, также ожидал его решения.

Катон рассудил у себя удержать гонцов до того времени, пока узнает мысли совета. Те из членов, которые были сенаторского достоинства, были на все готовы, они освободили немедленно своих рабов и вооружали их, но другие Триста были судовладельцами, занимающиеся денежными оборотами, и большая часть имущества их заключена была в невольниках. По этой причине слова Катоновы пребыли в душах их недолго: они были забыты.

Подобно пористым телам, которые легко принимают в себя теплоту и скоро ее выпускают, стоит лишь удалить огонь; так и Катон присутствием своим согревал их и воспламенял усердие, но когда они начали рассуждать наедине, то страх, внушаемый Цезарем, заставлял их забывать почтение к

Катону и терять чувства добра. «Кто мы, – говорили они, – и чьи повеления отваживаемся преступить? Не сей ли Цезарь, в руках которого ныне все могущество римлян? Кто из нас Сципион, Помпей, Катон? В то время, когда страх унизил души всех более, нежели сколько должно, мы смеем защищать римскую свободу и выступаем из Утики войною против того, кому Катон вместе с Помпеем Великим уступил Италию, убегая из оной? Мы даем свободу рабам, когда сами имеем не более свободы, как столько, сколько Цезарь хочет дать нам. Несчастные мы! Не лучше ли теперь же познать себя и прибегнуть к победителю, отправив к нему посланников?» Таковы были мысли умереннейших из них, но большая часть из них злоумышляла против сенаторов, надеясь, что если поймают их, то тем скорее укротят гнев Цезаря против себя.

Катон, подозревая в них перемену, не изобличал их в оной, писал Сципиону и Юбе, чтобы они были дальше от Утики по причине неверности совета Трехсот и отправил гонцов назад. Конница, которая спаслась от поражения и которой число было немаловажно, приблизилась к Утике и послала к Катону трех мужей, которые однако принесли ему три различные мнения от всего войска; одни хотели удалиться к Юбе, другие присоединиться к Катону, некоторые боялись вступить в Утику. Катон, узнав о том, велел Марку Рубрию присматривать за Тремястами, между тем как он спокойно принимал объявления тех, кто отпускал на волю своих рабов, не употребляя к тому никакого принуждения. Между тем, взяв с собою сенаторского достоинства граждан, вышел из Утики, говорил с начальниками конницы, просил их не оставлять на жертву столько сенаторов римских и не избирать полководцем своим Юбу вместо Катона, но лучше спасать себя и других, вступя в город, которым овладеть приступом было невозможно и в котором было запасов и орудий на многие годы. Сенаторы присоединили к этим его словам просьбы и слезы свои. Начальники конницы говорили о том с воинами; между тем Катон сел на некоторое возвышение и вместе с сенаторами ожидал ответа.

В то самое время пришел к нему Рубрий и с гневом жаловался на бесчинные и беспокойные поступки Трехсот, которые возмущали город и возбуждали к мятежу. Это известие привело в отчаяние всех: они предались плачу и рыданию. Катон старался ободрять их и послал просить совет Трехсот, чтобы они несколько потерпели. В то время посланные от конницы пришли к нему с предложениями, невесьма умеренными; они говорили им, что не имели нужды в жалованье Юбы и не боялись Цезаря, имея начальником своим Катона, но что запереться с пунийцами, людьми переменчивыми, казалось им опасным; что хотя пуниийцы теперь смирны, однако при наступлении Цезаря они нападут на них и предадут; что кто имеет нужду в содействии их и помощи, тот пусть изгонит из города или истребит всех пунийцев и тогда пусть призовет их в город, очищенный от варваров и от неприятелей. Эти предложения показались Катону жестокими и варварскими. Он ответствовал с кротостью, что посоветуется о том с советом Трехсот; снова возвратился в город и начал говорить сам. Но эти люди не употребляли уже из уважения к нему никаких оправданий и отговорок, но явно негодовали, когда их принуждали воевать против Цезаря, не имея к тому ни сил, ни склонности. Некоторые даже примолвили, что надлежало удержать сенаторов в городе до прибытия Цезаря. Катон оставил эти слова без внимания, притворясь не слышать их, ибо в самом деле был несколько тяжел на ухо. Когда же некто, придя к нему, сказал, что конница удаляется, то он, боясь, чтобы совет Трехсот не решился на что-либо отчаянное против сенаторов, вышел из города со своими приятелями и, видя, что конница уже была далеко, сел на лошадь и погнался за нею. Конные все с удовольствием видели его приближающимся, приняли к себе, просили вместе с ними спасаться. Говорят, что тогда Катон умолял их со слезами не оставлять сенаторов, простирал к ним руки свои, у некоторых сворачивал лошадей, хватался за их оружия, наконец удалось ему склонить их на тот день остаться и тем дать время сенаторам беспрепятственно скрыться.

Возвратившись в город вместе с ними, одних поставил он у городских ворот, другим предал на хранение крепость. Триста, боясь, чтобы они не были наказаны за их перемену, послали к Катону и просили его прийти к ним. Сенаторы, окружив его, не хотели его пустить,

говоря, что не предадут вероломным изменникам попечителя и спасителя своего. В самом деле в то время все находившиеся в Утике познали добродетель Катона; она была предметом уважения и удивления их; все были уверены, что в его поступках не вмешивалось ничего подложного и обманчивого. Человек, давно уже решившийся умертвить себя, переносил тяжкие труды и был в беспокойствах и заботах единственно о том, чтобы вывести других из опасности и тогда прекратить жизнь свою. Намерение себя умертвить не было тайно, хотя он никому о том не говорил. Он уступил тогда настояниям Трехсот и, утешив сенаторов, пошел один в совет. Советники объявили ему свою благодарность, просили его иметь к ним доверенность и употреблять их, как он заблагорассудит, но если они не Катоны и не имеют в себе Катонова духа, то должен он жалеть об их слабости, что они решились отправить к Цезарю посланников и просить помилования; что прежде всего и в особенности будут просить его о Катоне; что если он им откажет в этом, то они откажутся от принятия какого-либо со стороны его снисхождения и до последнего дыхания будут сражаться за Катона. Катон похвалил их благосклонность к нему и сказал им, что им надлежало немедленно послать к Цезарю посольство и просить себе спасения, но что он не имел в том нужды, ибо побежденные должны употреблять просьбы, и проступившиеся просить прощения; что касается до него, он не только во всю жизнь был непобедим, но и ныне побеждает и одерживает верх над Цезарем добродетелью и справедливостью; что Цезарь в этом должен ему уступить и считать себя побежденным, ибо ныне изобличен и обнаружен во всех своих против отечества злоумышлениях, в которых он прежде отпирался.

Сказав это, он оставил совет и, зная, что Цезарь со всем войском идет уже на город, сказал: «Увы, он идет на нас, как будто бы на мужей!» Он возвратился к сенаторам и советовал им не медлить долее, но спасаться, пока конница еще тут. Он запер городские ворота, оставив лишь те, которые вели к морю. Он разделил корабли между своими подчиненными, старался о благоустройстве города, укрощал несправедливости, унимал беспокойства, снабжал тех, кто остался без средств к существованию, пособиями на дорогу. В то самое время Марк Антоний, предводительствовавший двумя легионами, остановился близ города и послал предложить Катону о разделе между ними начальства. Катон не дал на то никакого ответа, но обратившись к друзьям своим, сказал: «И мы удивляемся, что дела наши погибли, когда видим, что честолюбие сопровождает нас до самой пагубы».

Узнав, что конные, выступая из города, грабили имения жителей, как бы почитали оное добычей, он побежал к ним поспешно, остановил передовых и вырвал у них награбленные ими вещи. Все другие же сами бросали и слагали похищенное со стыдом, потупляли глаза и в безмолвии удалялись. Катон, собрав жителей Утики, просил их не ожесточать Цезаря против Трехсот, но всем вместе стараться об общем спасении, стоя друг за друга. Потом обратился он опять к берегу и смотрел на тех из друзей своих и знакомых, которые по его совету пускались в море, прощался с ними и провождал их до берега. Он не склонил сына своего отплыть с другими, не почитая приличным принудить его удалиться от своего отца.

Некий римлянин по имени Статилий, человек молодой, но желающий казаться твердого нраву и подражать бесстрастию Катона, был побуждаем им к отплытию, ибо Статилий оказывал явную ненависть к Цезарю. Он не хотел оставить Утики. Катон, взглянув на стоика Аполлонида и на перипатетика Деметрия, сказал им: «Ваше дело смягчить его непреклонность и обратить к полезнейшим мерам»; после того продолжал провожать других и снабжать деньгами нуждающихся; в этом провел он всю ночь и большую часть следующего дня.

Когда Луций Цезарь, родственник Цезаря, был готов отправиться к нему со стороны Трехсот; он просил Катона помочь ему в сочинении убедительной речи, которую намеревался произнести в пользу их. «Что касается до тебя, – примолвил он, – не откажусь просить за тебя, взяв руку Цезаря, пасть к ногам его». Но Катон запретил Луцию просить за него. «Когда бы я хотел, – говорил Катон, – спасти себя милостью Цезаря, то стоило мне одному прямо к нему идти. Но я не хочу быть обязанным тиранну за беззаконные поступки его. Поступки его беззаконны, когда он властен дарить жизнь тем, кем обладать не имеет никакого права! Однако мы подумаем вместе с тобою, как тебе выпросить пощаду для Трехсот». Он занялся этим предметом вместе с Луцием, которому при отправлении его поручал сына и друзей своих. Он выпроводил его, обнял и возвратился домой. Призвав сына своего и своих приятелей, говорил с

ними о разных делах и между прочим запретил сыну вступать в общественные дела. «Заняться ими, – говорил он, – так, как достойно Катона, не терпят настоящие обстоятельства; заняться ими иначе – постыдно».

К вечеру пошел он в баню и, моясь, вспомнил про Статилия и громким голосом сказал: «Что ж ты, Аполлонид, выпроводил ли Статиллия, унизив несколько его надменный дух? Ужели отправился он, не простившись с нами?» – «Совсем нет, – отвечал ему Аполлонид, – хотя мы много ему говорили, но он горд и непреклонен; он говорит, что останется здесь и будет делать то же, что и мы». Катон улыбнулся и сказал: «Это после будет видно».

Умывшись, он ужинал со многими другими так, как имел обыкновение после несчастного сражения, после которого не ложился он, как только во время сна. Вместе с ним ужинали все его друзья и правители Утики. После ужина вино одушевило собеседников к приятным и ученым разговорам, которые обратились к разным предметам философии. Наконец, речь дошла до так называемых парадоксов или «странных мнений» стоиков, какие например суть, что один только добродетельный свободен, все злые – невольники. Перипатетик Деметрий, как можно было ожидать, говорил против этих мнений. Тогда-то Катон напал на него с великой силой, напряженным и громким голосом говорил долго в защиту своих правил с удивительным жаром так, что ни от кого не скрылась решимость его положить конец жизни своей и разом избавиться от всех бедствий. Когда он перестал говорить, то все погружены были в безмолвие и в уныние. Катон, желая их утешить и отвлечь от всякого подозрения, стал предлагать вопросы о настоящих делах, показывал заботу об отплывших, о тех, кто пустился в путь по безводной и варварской пустыне.

Таким образом, распустил он собеседников; потом проходился со своими приятелями, как он всегда делал после ужина, и дал начальникам стражей надлежащие приказания. Удаляясь в свою комнату, обнял сына своего и приятелей, оказал им более ласк, нежели как было у него в обыкновении, и тем возобновил подозрения их о своем намерении. Он вошел в свою комнату, лег и взял в руки диалог Платона о бессмертии души, прочитал большую часть книги и, подняв взор, не увидел висящего на стене меча. Сын его унес меч, когда он еще ужинал. Он призвал служителя и спросил его, кто взял его меч. Служитель молчал. Катон продолжал чтение, и после краткого времени, как бы не спешил и ничто его не побуждало, а только хотел знать, где меч, велел его принести. Прошло несколько времени, никто не приносил меча. Катон дочитал книгу и вновь призывал служителей, одного за другим, возвышая голос и требуя меча. Он ударил одного из них в лицо кулаком, окровавил себе руку, сердился, кричал уже громко, что сыном его и служителями предается он безоружным в руки неприятеля. Наконец, сын его вместе с приятелями прибежал к нему с плачем, обнял его, рыдал и умолял его. Катон встал и взглянул на всех сурово. «Давно ли, – сказал он, – и в каком месте изобличен я в безумии, сам того не приметив? Никто не наставляет меня, никто мне не доказывает, что то, что делаю, безрассудно; между тем препятствуя мне свободно пользоваться своими мыслями, меня обезоруживают! Для чего и не связывает великодушный сын отца своего? Для чего не сворачивает ему руки, пока Цезарь придет и найдет меня не в состоянии защищаться? Не против себя я имею нужду в мече, ибо удержав на короткое время дух, ударив голову единожды о стену, могу лишить себя жизни».

Так говорил Катон; сын его в слезах вышел из комнаты, а за ним и все другие. Остались у него Деметрий и Аполлонид, с которыми начал говорить спокойно. «Неужели и вы думаете насильственно удержать в жизни человека, достигшего уже таких лет, и сидя тут в безмолвии, стеречь его? Или вы пришли убедить меня словами, что не стыдно и не бесславно для Катона, когда у него не останется другого к спасению средства, ожидать его от противника? Что ж вы ничего не говорите? Что вы не переучиваете меня; для чего не убеждаете меня оставить прежние мысли и правила, в которых я состарился, и, сделавшись ныне умнее посредством Цезаря, быть за то ему еще более благодарным? Я о себе самом никакого еще решения не сделал; решившись единожды, я должен быть властен исполнить то, что я хочу. Я буду советоваться некоторым образом с вами, советуясь с теми правилами, которых вы, философы, сами придерживаетесь. Итак, удалитесь, не беспокоясь ни о чем, и скажите сыну моему, чтобы он не употреблял насилия против отца своего, если он не может его переуверить».

Деметрий и Аполлонид не сделали ему никакого противоречия; они заплакали и вышли.

Маленький мальчик принес ему меч. Катон взял меч, обнажил его и осмотрел. Видя, что острие и лезвие были целы, сказал он: «Теперь я сам себе хозяин!» Положил меч и опять принялся за книгу, которую, как говорят, прочитал два раза, потом заснул глубоким сном, так что это приметили и те, кто находились вне комнаты. Около полуночи призвал он вольноотпущенника своего Клеанта, врача, и Бута, которому более всех доверял в гражданских делах, приказал ему идти на берег, узнать, все ли уже отправились, и уведомить его, а врачу показал руку свою, которая распухла от удара, который дал он служителю, и велел ее перевязать. Это обрадовало всех, ибо думали, что Катон хочет жить. Вскоре пришел и Бут с известием, что все уже отправились и что остается лишь Красс по некоторым делам, но что и он вскоре отправится; притом он сказал ему, что на море сильный ветер и непогода. Катон, услышав это, вздохнул, жалея об отплывших. Он опять послал Бута к морю с приказанием узнать, не возвратился ли кто из отплывших и не имеет ли какой-либо нужды? В то же время петухи запели, и Катон опять заснул. Бут возвратился и сказал ему, что на пристанях все спокойно. Катон велел ему запереть дверь, лег на ложе, как бы он хотел остаток ночи проспать. Едва Бут вышел из комнаты, то он обнажил меч и вонзил его себе под грудь. Удар был несильный, по причине распухшей руки; он не умертвил себя тотчас, но в муках смерти упал с ложа и уронил столик со счетной доской, близ него стоявший, произвел великий шум, так что служители, услыша грохот, издали громкий крик, а сын его и приятели прибежали к нему. Они нашли его покрытым кровью; большая часть внутренностей его вывалилась, однако был он еще жив и смотрел на них. Это зрелище поразило всех горестью. Врач приблизился, хотел положить на место внутренность его, которая осталась невредима, и зашить рану. Катон, придя в себя и поняв его намерение, оттолкнул его, растерзал внутренность свою руками, открыл свою рану и умер.

В самое короткое время, в которое едва ли можно было думать, чтобы все в доме могли быть извещены об этом происшествии, а Триста были уже у его дверей. Вскоре собрался весь народ Утики. Все одним голосом давали ему имя отца, спасителя; одного его называли свободным и непобедимым. Они поступили таким образом, хотя в то же время имели известие, что Цезарь уже приближается. Но ни страх, ни лесть к победителю, ни междоусобный раздор и несогласие не уменьшили почтения их к Катону: они украсили великолепно тело его, составили торжественное шествие и похоронили его близ моря на том месте, где ныне воздвигнут ему кумир с мечом, и потом начали думать о спасении себя и города.

Цезарь, получив от переходивших к нему известие, что Катон не убежал, что не остается в Утике, между тем как выпроваживал других, а сам с сыном своим и приятелями ходил по городу безопасно, не мог понять намерения мужа, которого более всех уважал; он продолжал путь свой к городу весьма поспешно, но, узнав наконец о его смерти, сказал только: «О Катон! Я завидую твоей смерти, ибо ты позавидовал мне в славе спасти тебя!» В самом деле: когда бы Катон утерпел получить свое спасение от Цезаря, не столько бы помрачил славу свою, сколько возвысил славу Цезаря. Впрочем, неизвестно, как бы он с ним поступил; однако от Цезаря можно всегда ожидать хорошего.

Катону было сорок восемь лет, когда он кончил жизнь свою. Что касается до его сына, то Цезарь не оказал ему никакой обиды; впрочем, он был человек не великого духа и в отношении к женщинам не беспорочного поведения. Он жил впоследствии в Каппадокии у Марфадата, одного из своих приятелей, который был царского рода и у которого была прекрасная жена. Проводя в его доме больше времени, нежели как было бы прилично, он подверг себя чрез то разным насмешкам; о нем писали:

Катон уезжает завтра, после тридцати дней,

или:

Порций и Марфадат – два друга, у них одна «душа»!

(Жена Марфадата звалась Психеей, то есть «душой»), или еще:

Катон благодарен: у него «душа» царская.

Однако он изгладил это бесславие смертью своею, ибо, сражаясь при Филиппах за свободу против Цезаря и Антония, фаланга была уже разбита, Катон не хотел ни бежать, ни скрываться, но вызывал неприятелей и показывая себя, ободрял тех, кто еще вокруг него оставался, и пал, возбудив удивление к себе в неприятелях своих.

Катонова дочь не уступала отцу ни в чистоте нравов, ни в мужестве. Она была выдана замуж за Брута, умертвившего Цезаря. Она участвовала в заговоре против него и кончила дни свои достойно своего рода и своей добродетели, как в жизнеописании Брута сказано.

Что касается до Статилия, который хотел последовать примеру Катона и умертвить себя, то он не был к тому допущен философами. Впоследствии был вернейшим и полезнейшим подвижником Брута и погиб в сражении при Филиппах.

Демосфен и Цицерон

Демосфен

Сочинивший похвальные стихи Алкивиаду по случаю победы, одержанной в Олимпийском конном ристании, – Еврипид ли это, как господствующее мнение полагает, или другой кто; говорит, что счастливому человеку надлежит, во-первых, «иметь отечество славное». Но по моему мнению, Сосий Сенецион, человеку, желающему насладиться истинным счастьем, большая часть которого зависит от его характера и расположения духа, столько же безразлично происходить от бесславного и неизвестного отечества, как если бы родиться от безобразной и малорослой матери. Было бы смешно полагать, что Иулида, малая часть небольшого острова Кеоса, и остров Эгина, который один афинянин советовал стереть как гной с глаз Пирея*, могут дать хороших актеров и стихотворцев, но не в состоянии произвести когда-либо мужа, справедливо довольствующегося малым, разумного и великодушного. Искусства, которые имеют целью выгоду или славу, конечно, в бесславных и малых городах могут увядать, но добродетель, подобно растению крепкому и долговечному, во всяком месте пускает корни, когда только примется в хороших свойствах и в душе трудолюбивой. Того ради и я если не так живу и не так рассуждаю, как следует, то по всей справедливости не припишу этого недостатка неизвестности моего отечества, но одному себе.

Если кто поставил себе целью написать историю и извлечь оную из чтения многих чужих рассеянных и не легко находимых книг, имеет действительно нужду прежде всего в том, чтобы отечество его было славное, просвещенное и многолюдное, дабы он, пользуясь многоразличными книгами в изобилии, разыскивая и узнавая о происшествиях, которые хотя не дошли до сведения писателей, но сохранены в памяти людей и тем большую заслуживают доверенность, не оставит своего сочинения недостаточным во многих нужных обстоятельствах.

Что касается до меня, то я, обитая в малом городе* и живя в нем охотно, дабы он не сделался еще меньше, а в продолжение пребывания моего в Италии и в Риме не имея времени учиться римскому языку, как по причине гражданских дел, так и особ, которые посещали меня из любви к философии, уже поздно и в старости лет начал заниматься римскими сочинениями. Со мною случилось нечто необыкновенное, но истинное. Не столько из слов я понимал и узнавал дела, сколько из дел самых, с которыми несколько я был знаком, мог я постигать смысл слов, чувствовать же красоту латинского слога, быстроту, метафоры, гармонию и все то, чем речь украшается, хотя есть дело приятное и сопряженное с большим удовольствием, но оно не легко и прилично человеку, который имеет более свободного времени и находится еще в таких летах, которые способны к подобным усилиям и трудам.

По этой причине, описывая в этой книге, которая есть пятая сравнительных жизнеописаний, дела Демосфена и Цицерона, я буду исследовать свойства их и образ мыслей по их деяниям и управлению, но не намерен заняться суждением об их речах и показанием того, который из них приятнее или сильнее, ибо, как говорит Ион, мала на суше мощь дельфина. Не зная этого, Цецилий*, человек во всем неумеренный, осмелился сделать сравнение Демосфена с

Цицероном. Подлинно, когда бы всякий мог иметь перед глазами правило «Познай самого себя», тогда бы, может быть, оно не казалось божественной заповедью*.

По-видимому, божество, с самого начала вылившее, так сказать, Демосфена и Цицерона в один образ, посеяло в природе их многие сходства, как, например, честолюбие и любовь к свободе в гражданских делах, робость в войнах и опасностях. Оно смешало и многие из случайных обстоятельств. Я думаю, нельзя найти двух других ораторов, которые бы из низкого и неизвестного состояния сделались могущественными и великими; которые бы противились царям и тираннам, лишились бы дочерей, были бы изгнаны из отечества и с честью были призваны обратно, опять бы убежали и были бы пойманы своими неприятелями, и которые бы, наконец, с прекращением свободы граждан кончили и жизнь свою. Когда бы между природой и счастьем было состязание, как между художниками, то трудно было бы решить, природа ли создала сходнее сих мужей свойствами, или счастьем – случайными происшествиями. Сперва будем говорить о древнейшем из них.

Демосфен, отец Демосфена, был из числа отличных и благородных граждан, как свидетельствует Феопомп. Он прозывался Ножовщиком, ибо содержал большой завод и множество работников, которые делали мечи и ножи. Касательно его матери, о которой говорит Эсхин, оратор, будто бы она была дочь некоего Гилона, изгнанного из Афин по доносу в предательстве*, и некой варварки, я не могу утвердительно сказать, правду ли он говорит или ложь с намерением обесславить Демосфена. Демосфен остался после отца семи лет с хорошим достатком. Все имение его оценено было без малого в пятнадцать талантов. Но опекуны обидели его, частью присвоив себе его имение, частью не радея об оном до того, что не давали заслуженной платы учителям. По этой причине не был он, по-видимому, образован в изящных науках, как прилично благородному юноше; а еще был он слабого и нежного сложения, ибо его мать отвлекала его от телесных упражнений, и дядьки-наставники его не принуждали ими заниматься. С самого детства был он худощав и подвержен болезням, по этой причине молодые люди дали ему в насмешку за слабость тела ругательное прозвище Батал. Некоторые говорят, что сей Батал был флейтистом, изнеженным и женоподобным. Антифан* сочинил на него маленькую комедию, в которой представил его в смешном виде. Другие упоминают о Батале как о стихотворце, который писал неблагопристойные и сладострастные сочинения. Этим именем в то время афиняне называли и некоторую неблагопристойную часть тела. Демосфену сверх того дано было, как говорят, прозвание Арга, либо за дикие и суровые свойства его – некоторые стихотворцы называют «аргом» змею, – либо за его речь, как неприятной слушателям, по имени поэта, творца жестоких и неприятных слуху песен. В рассуждении этого довольно.

Касательно склонности его к красноречию, то оная, говорят, имела следующее начало. Оратор Каллистрат готовился говорить речь в судилище об Оропском деле*. Ожидание граждан по сему предмету было чрезвычайно, как по причине силы оратора, который был тогда в цвете славы своей, так и по самому делу, которое было знаменито. Демосфен, слыша, что учителя и дядьки сговорились между собою присутствовать на этом суде, упросил своего дядьку взять и его с собою. Дядька, имея знакомство с теми, у кого должность состояла в том, чтобы открывать судилища, достал место, на котором молодой Демосфен, сидя, мог слышать речи и быть невидим. Каллистрат чрезвычайно отличился и возбудил всеобщее удивление. В Демосфене возродилась ревность к славе Каллистрата, которого видел он провожаемым и поздравляемым многими гражданами, но еще сильнее было в нем удивление к могуществу слова, которому все покоряется, которое все укрощает. С тех пор он оставил всякое другое учение и детские забавы, начал сам упражняться в стихотворстве и посвящать ему свои труды, желая сделаться когда-нибудь оратором. Хотя в то время держал училище Исократ, но наставником Демосфена в красноречии был Исей*; потому как говорят некоторые, что Димофсен по причине сиротства не был в состоянии платить десять мин, положенную Исократом себе плату, или более потому, что он предпочел для цели своей красноречие Исея, которое было действеннее и хитрее. Гермипп уверяет, что ему попались записки неизвестного сочинителя, в которых писано, что Демосфен посещал училище Платона и получил от его беседы великую в красноречии пользу. Он упоминает о словах Ктесибия*, который пишет, что Демосфен получил тайно от сиракузянина Каллия и некоторых других сочинения о

красноречии Исократа и Алкидаманта* и занимался ими.

Выйдя из детского возраста, начал он судиться со своими опекунами и сочинять против них речи; однако они находили многие увертки, пересуды и отлагательства в этом деле. Демосфен, как говорит Фукидид, получил навык упражнением, выиграл тяжбу, но не без великой опасности и не без больших трудов. Впрочем, он не получил и малейшей части отцовского имения; но взамен того приобрел довольно смелости и навыка к произношению речей и вкусил приятность быть славным и сильным своими речами, после чего решился предстать перед народом и заняться делами общественными. Так как Лаомедонт из Орхомена говорит, желая избавиться от расстройства в селезенке, по совету врачей, занимался продолжительным беганьем; и исправив тем свое дурное сложение, со временем принял участие в торжественных подвигах и наконец показал себя совершеннейшим и первейшим скороходом; так и Демосфен, сперва для исправления своего состояния прибегнул к красноречию, но приобретши через то способность и силу, уже в политических делах, как в подвигах всенародных, первенствовал среди граждан, занимавшихся делами на ораторской трибуне. При первой речи, которую говорил, он был прерван шумом народа и осмеян по причине странности его речи, которой периоды, казалось, были запутаны, а доводы отделаны слишком искусственно и холодно. По-видимому слабость голоса, неясность языка и недостающее дыхание смешивали смысл его речи, по той причине, что периоды его были прерывисты. Он наконец отстал вовсе от Народного собрания и в унынии своем скитался в Пирее, где нашел его Эвном из Фрии*, бывший уже весьма стар. Он выговорил ему за то, что хотя слог его был весьма похож на Периклов, он изменял сам себе по своей робости и малодушию и вместо того, чтобы предстать перед народом с твердостью или приготовить свое тело к политическим подвигам, он давал ему вянуть от изнеженности.

Говорят, что и в другой раз Демосфен не получил также успеха, уходил домой, закрывшись платьем и погруженный в горести. Сатир, актер, который был ему приятель, последовал за ним и вступил с ним в разговор. Демосфен жаловался на свою участь и говорил, что хотя он трудолюбивее и старательнее всех тех, кто говорил к народу, хотя он на то истощил почти все телесные силы свои, однако не заслужил благодарности от народа, а между тем как слушают пьяниц, невежд и мореходов, которые занимают ораторскую кафедру, он один пренебрегается народом. «Ты правду говоришь, Демосфен, – сказал Сатир, – но я скоро этому помогу, если ты согласишься сказать при мне наизусть какие-либо стихи из Еврипида или Софокла». Демосфен исполнил его желание. После чего Сатир повторил те же стихи, но придал им такую силу и произнес их с такими телодвижениями, с таким приличным чувством, что Демосфену показались они совсем другими. Итак, уверившись, какую красоту и приятность придают речи телодвижение и произношение, он думал уже, что старание и упражнение бесполезны и почти ничто, если он не будет стараться о произношении того, что говорит, и о приличном телодвижении. После того он сделал себе для упражнения подземный покой, который существовал до нашего времени. Он приходил туда непременно каждый день, упражнялся в декламации и укреплял голос. Несколько раз по два и по три месяца сряду оставался тут, выбрив половину головы, дабы стыд препятствовал ему выйти оттуда, хотя бы он того и хотел.

Сверх того предметами его упражнений и трудов были разговоры, слова и дела с другими особами. Оставшись один, он немедленно сходил в место своих упражнений и проходил все дело по порядку, все то, что говорено в пользу какого-либо дела или против него. Когда слышал случайно какую-либо речь, то держал ее в своей памяти и располагал ее мысли и периоды. Он делал многоразличные перемены и поправки в речах, сказанных ему другими и от него другим. Это заставило говорить, что он не имел великих дарований, но что искусство и сила его речи были плодом трудов и усилий. Доказательством тому почитали то, что никто не слыхал, чтобы Демосфен говорил не готовившись; нередко в Собрании народ призывал его по имени, но он сидел и не выступал вперед, как только в том случае, когда он обдумал дело и был к тому готов. По этой причине был он осмеиваем многими демагогами, а Пифей, издеваясь над ним, сказал некогда, что его речи пахнут фитилем. Демосфен с колкостью ему отвечал: «Фитиль, Пифей, видит у меня совсем другое, нежели у тебя». Впрочем, он не только не отрицал, но, напротив, признавался, что не все то было у него написано, что он говорил; однако никогда не говорил, не

написавши прежде. Он доказывал, что кто говорил народу приготовясь, был человек преданный народу, ибо приготовление показывало уважение к нему; напротив того, не заботящийся о том, как народ будет думать о его речи, обнаруживал человека, склонного к олигархии, желающего все произвести более насилием, нежели убеждением. Доказательством того, что он не смел говорить не готовясь, полагают и то, что Демад иногда вставал и говорил вдруг в защиту его, когда народ против него шумел, а Демосфен никогда не оказал подобной помощи Демаду.

Итак, скажет кто, отчего Эсхин говорит, что сей муж, по причине смелости своих речей, был самый удивительный? Каким образом он один мог восстать и говорить против Пифона Византийского*, который с великой дерзостью и обильным потоком слов изъяснялся против афинян? Когда Ламах Смирнский сочинил похвальное слово царям Филиппу и Александру, весьма много злословил в нем на граждан Фив и Олинфа и читал оное в Олимпии, то Демосфен, восстав против него, описал исторически и с доказательствами, какие благодеяния получила Греция от фиванцев и халкидян*, и каких зол сделались виновниками те, кто льстил македонянам. Он до того убедил слушателей, что софист, устрашившись поднявшегося шума, удалился тайно из Собрания. По-видимому, сей муж, хотя думал, что другие поступки Перикла не были ему приличны, однако принял себе в образец важность его и наружный вид, равно как и правило не говорить вдруг и о всяком деле как попало. Почитая это основанием Периклова возвышения, он не искал славы, приобретаемой речами случайно, и не предавал по своей воле могущества своего на произвол судьбе; известно, что в речах, им вдруг произнесенных, более смелости и жара, нежели в написанных, если должно верить Эратосфену, Деметрию Фалерскому и комикам. Эратосфен говорит, что Демосфен в речах своих частно приходил в вакхическое исступление. Деметрий Фалерский упоминает о клятве, некогда народом произнесенной с размером, как бы в энтузиазме:

Клянусь землею, клянусь потоками и реками.

Из комиков один называет его «старой глупой говоруньей»; другой смеется над частым употреблением противоположений, говорит: «Он отнял как принял; Демосфен любит сие слово, переняв его». Может быть, Антифан намекает здесь на речь его касательно Галоннеса, которой Демосфен советовал афинянам не принять остров от Филиппа, но отнять у него*.

Впрочем, все признавались, что Демад, действуя природными дарованиями своими, был непреодолим речами, которые он говорил без всякой подготовки и превосходил приготовленные, обдуманные предначертания Демосфена. Аристон Хиосский приводит мнение Феофраста об ораторах. Когда его спрашивали, каковым кажется ему оратор Демосфен, то он отвечал: «Достоин своего города»; о Демаде же сказал: «Выше своего города». Тот же философ говорит, что Полиевкт из Сфетт, один из тех, кто в то время занимался управлением республики, уверял, что Демосфен был величайший оратор, но что Фокион был весьма силен в речи, ибо в кратчайших словах заключал больший смысл. Говорят также, что и сам Демосфен говорил своим приятелям каждый раз, как Фокион вставал, чтобы противоречить ему: «То поднимается секира на мои слова!» Впрочем, неизвестно, в отношении ли к силе речей этого мужа говорил это Демосфен или в отношении к его жизни и славе, почитая одно слово, одно мановение человека, пользовавшегося общим доверием, сильнее и действительнее многих искусных периодов.

Что касается до телесных недостатков, то Демосфен исправлял их так, как пишет Деметрий Фалерский, который при том уверяет, что слышал об этом от самого Демосфена, бывшего уже в старости. Он старался преодолеть и исправить неясность выговора и картавость свою тем, что брал в рот камешки и в таком состоянии произносил речи. Голос свой образовал тем, что, бегая или всходя на гору, в то же время с кем-нибудь разговаривал, произносил речь или стихи одним духом. Он имел у себя дома большое зеркало, против которого стоял и образовал свои телодвижения. Некогда, говорят, пришел к нему человек, просил его, чтобы он говорил в пользу его речь, и рассказывал ему о полученных от другого побоях. «Мне кажется, – сказал ему Демосфен, – с тобой не было ничего того, о чем ты говоришь». Когда же сей человек, возвыся голос, вскричал: «Как, Демосфен! Со мною этого не было?» – «Теперь-то, – сказал Демосфен, – я слышу голос оскорбленного и пострадавшего человека». Такое действие

приписывал он для убеждения слушателей звуку и телодвижением говорящего.

Народу чрезвычайно нравились его рукодвижения, но люди с тонким вкусом находили их низкими, неприличными и неблагородными. В числе последних есть и Деметрий Фалерский. Гермипп говорит, что когда спрашивали мнение Эсиона о прежних и новых ораторах, то он отвечал: «Слушая речи, первыми перед народом произносимые с важностью и приличием, должно было им удивляться, но речи Демосфена, будучи читаны, превышают те искусством и силою. Что письменные его речи исполнены суровости и колкости, о том говорить нечего; впрочем, при скорых ответах он употреблял насмешки. Когда Демад сказал: "Меня Демосфен хочет учить – свинья учит Афину!*" – "Но эту Афину, – отвечал Демосфен, – недавно в Колитте* поймали в блудодеянии". Один известный вор по прозвищу Медный хотел что-то сказать касательно бдений Демосфена и ночных его упражнений. "Понимаю, – сказал Демосфен, – тебе досадно, что у меня горит ночью светильник. Но вы, граждане, не удивляйтесь случающимся кражам, зная, что воры у нас медные, а стены глиняные"». Хотя я мог бы еще больше сказать о сем предмете, однако здесь остановлюсь. Что касается до его свойств и нравов, то надлежит познать оные по его деяниям и поведению в управлении.

Он вступил в общественные дела в начале Фокидской войны*, как уверяет сам и как явствует из его «Филиппик». Ибо последняя из речей сочинена вскоре по завершении войны, а самые первые касаются событий, непосредственно с нею связанных. По всему видно, что когда он готовился говорить речь против Мидия*, то ему было тридцать два года, а в это время он не имел еще ни малейшей силы и славы. По этой причине, мне кажется, боясь своего противника, примирился с ним за деньги,

Ибо, впрочем, не был он человек мягкий и кроткий*,

но твердый и жестокий во мщении. Демосфен, видя, что дело трудное и превышавшее силы свергнуть Мидия, человека большого богатства, красноречием и числом друзей, решился уступить тем, кто за него просил. Три тысячи драхм, по моему мнению, не смягчили бы жестокости Демосфена, когда бы он надеялся и мог одержать над ним верх.

При начале своего гражданского поприща предпринял он достохвальное дело защитить право греков против Филиппа и препираясь за оные достойным образом. В скором времени сделался он славным и знаменитым своим красноречием и смелостью. Греция удивлялась ему; великий царь оказывал к нему уважение, а при дворе Филиппа говорили о нем более, нежели о других демагогах, и ненавидевшие его признавались, что должны были бороться со славным человеком. Эсхин и Гиперид так о нем изъяснялись в речах своих против него.

Итак, я не знаю, как Феопомп мог сказать, что Демосфен был непостоянного свойства и что не мог долго быть преданным одним и тем же людям и делам. Известно напротив того, что он в правлении остался до конца преданным той стороне и тому порядку вещей, которым сначала себя привязал; и не только при жизни не изменился, но и жизнью пожертвовал, дабы только им не изменить. Он не был подобен Демаду, который, оправдывая перемену свою в правлении, уверял, что часто говорил сам против себя, но никогда против республики, а Меланоп, противившийся в правлении Каллистрату и переменяя мысли деньгами, от него полученными, обыкновенно говаривал народу: «Правда, мне Калликрат – враг, но пусть польза общества восторжествует!» А мессенец Никодем, предавшийся сперва Кассандру, потом принявший сторону Деметрия, уверял, что в его поступках не было противоречия, ибо всегда полезно повиноваться сильнейшим. Мы не можем сказать о Демосфене, равно как о них, чтобы он уклонялся от предначертанной себе дороги и чтобы на словах или на деле он изменил сам себе; напротив того, держась одного образа правления, как одной и той же неизменной мелодии, он в делах сохранил до конца один тон. Философ Панетий говорит, что в большей части его речей, как-то: в речах о венке, против Аристократа, об освобождении от податей и в «Филиппиках» держится он того правила, что похвальное и приличное само по себе предпочтительно. В речах этих он не ведет сограждан своих к тому, что самое приятное, самое удобное или полезное, но во многих местах думает, что безопасность и спасение свое должно почитать вторым после того, что похвально и прилично. Когда бы честолюбие его в делах, благородство его речей были сопряжены с храбростью воинской и чистотой в поступках, то не

был бы он причислен к числу ораторов, таким как Мерокл, Полиевкт и Гиперид, но удостоился бы высшей чести стоять наряду с Кимоном, Фукидидом и Периклом*.

Из числа его современников был Фокион. Хотя мысли его касательно правления не были одобряемы, ибо казалось, он был привержен македонянам; однако он по причине храбрости и справедливости своей ни в каком случае не почитается ниже Эфиальта, Аристида и Кимона. Но Демосфен не был, как говорит Деметрий, надежен в оружиях, не оградил себя крепко против дароприятия. Хотя был непобедим золотом, идущим из Македонии и от Филлиппа, но не избегал того, что текло из отдаленнейшей земли, из Суз и Экбатан, и давал себя под его власть; был человеком самым способным превозносить похвалами своих праотцов, но подражать им не был в состоянии. Он и славою своей жизни превзошел других ораторов (Фокиона я не полагаю в число их). Кажется, что он говорил народу с великой смелостью, что противился его желаниям, что укорял проступки – как можно видеть из его речей. Феопомп повествует, что афиняне требовали от Демосфена, чтобы он сделал донос на одного человека. Демосфен не повиновался им, они шумели, и Демосфен, встав, сказал им: «Афиняне, вы будете иметь во мне советника, хотя бы того не хотели, но я не буду доносчиком, хотя бы вы хотели этого». Поступок его с Антифонтом доказывает его аристократический дух. Антифонт был оправдан в Народном собрании, но Демосфен представил его Ареопагу, и не заботясь нимало, что из-за этого будет неприятен народу, он изобличил Антифонта в обещании, данном Филиппу сжечь морской арсенал. Совет осудил Антифонта, который был предан смерти. Демосфен донес и на жрицу Феориду в дурных поступках и в том, что научила служителей обманывать своих господ. Она была им осуждена к смерти и наказана.

Говорят также, что речь, которую Аполлодор произнес против полководца Тимофея и которой доказал, что сей был его должником, сочинена Демосфеном, равно как и речи против Формиона и Стефана, чем действительно Демосфен обесславил себя, ибо Формион говорил против Аполлодора речи, сочиненные Демосфеном, который, так сказать, из одной лавки продавал соперникам ножи друг против друга.

Касательно общественных речей, то против Андротиона, Тимократа и Аристократа сочинены им для других, до вступления его в общественные дела. Кажется, что ему было двадцать семь или двадцать восемь лет, когда он оные сочинял. Речь против Аристогитона произнесена им самим, равно и речь об освобождении налогов, из уважения к Ктесиппу, сыну Хабрия, как говорит он, а как другие уверяют, желая жениться на матери этого молодого человека. Однако он женился не на ней, а на какой-то женщине родом с Самоса, как повествует Деметрий Магнесийский* в сочинении об единоименных мужах. Неизвестно, была ли им произнесена речь против Эсхина о дурном отправлении обязанности посла; хотя Идоменей пишет, что Эсхин только тридцатью голосами избегнул осуждения. Но кажется, это ложно, если надлежит заключить по речам, сочиненным обоими о венке. Ни один из них не упоминает ясно и несомненно, чтобы их спор дошел до суда. Впрочем, другие могут лучше разобрать эти обстоятельства.

Что касается до политики Демосфена, то еще в мирное время можно было видеть, что он никаких дел царя македонского не оставлял без того, чтобы их не осуждать: при всяком случае он возбуждал и воспламенял афинян против него. По этой причине при дворе Филиппа много о нем говорили, и когда прибыло в Македонию посольство, состоявшее из десяти мужей, в числе которых был и Демосфен*, то Филипп выслушал их всех, но с большим старанием отвечал только на его одного речи. Однако он не оказал Демосфену равных почестей и ласк, как другим посланникам, но более старался привлечь к себе Эсхина и Филократа. И когда те хвалили Филиппа, говоря, что он искусно говорит, прекрасен собою и даже пить с приятелями горазд, то Демосфен, по зависти, принужден был смеяться над ними, говоря, что первая похвала прилична софисту, вторая женщине, а последняя губке более, нежели царю.

Между тем дела клонились к войне; Филипп не мог оставаться в покое, и афиняне были возбуждаемы к войне Демосфеном. Во-первых, он заставил их напасть на Эвбею, отданную тираннами во власть Филиппу; афиняне переправились на остров, одобрив предложение Демосфена, и изгнали македонян. Во-вторых, помог он византийцам и перинфянам*, с которыми македоняне вели войну. Он склонил народ предать забвению вражду и неприятности, причиненные один другому во время войны союзнической*, и послать к ним военную силу;

и эта-то сила спасла византийцев. Наконец, будучи отправлен посланником к другим грекам, он вступил с ними в переговоры и возбуждал их; он соединил всех, кроме немногих, союзом против Филиппа. Тогда собралось пятнадцать тысяч пехоты, две тысячи конницы, кроме городских сил. Деньги и жалованье вносимы были иностранному войску с охотою. В это-то время, как говорит Феофраст, когда требовали союзники, что взносы были определены, демагог Кробил сказал: «Война не знает определенной меры».

Греция была в беспокойстве, ожидая будущих происшествий; в союз вступали народы и города, а именно эвбейцы, ахейцы, коринфяне, мегаряне, жители Левкады и Керкиры, но Демосфену оставалось произвести труднейшее дело – склонить к вступлению в союз фиванцев, народ, который обладал страной, смежной с Аттикой, имел важные силы и в то время более других греков отличался в войне. Нелегко было отвратить фиванцев от Филиппа, который их привязал к себе многими благодеяниями, незадолго перед тем, во время Фокидской войны. Сверх того, по причине соседства двух народов, война и раздоры при всяком случае возобновлялись между ними.

Когда же Филипп, вознесенный успехами при Амфиссе*, напал неожиданно на Элатию и занял Фокиду, то афиняне были приведены в ужас; никто не смел взойти на трибуну, никто не знал, что говорить; все были в недоумении и молчали. Один Демосфен предстал перед народом и советовал ему соединиться с фиванцами. Он ободрил его, одушевил надеждою по обыкновению своему и был отправлен в Фивы вместе с другими посланниками: Филипп, как говорит Марсий*, также послал в Фивы македонян Аминта, Клеандра и Кассандра, фессалийца Даоха и Дикеарха, дабы противоречить Демосфену. Не укрылось от рассуждения фиванцев собственная польза их, но они имели перед глазами опасности войны, ибо фокидские раны еще не залечились. Сила оратора, как говорит Феопомп, возбудила их дух, воспламенила честолюбие и затмила умы до того, что они, будучи восторженны речами его к тому, что было похвально, забыли и страх, и рассуждение, и благодарность. Это дело, произведенное оратором, показалось столь великим и знаменитым, что не только Филипп немедленно послал вестников с мирными предложениями, но и Греция восстала и взирала на будущее с бодростью; не только афинские полководцы, но и сами беотархи повиновались Демосфену и исполняли его повеления; он управлял тогда Собранием фиванцев не менее, как и афинским; он был любим обоими народами и имел в обоих величайшую власть, не насильственным образом, но самым приличным, как пишет Феопомп.

Но, по-видимому, некоторые божественные судьбы, при кругообращении дел мира сего, в то время хотели предположить предел независимости греков, противились всем их действиями и являли многие будущего порабощения знамения. Среди прочих пифия издавала неприятные прорицания; в то время многие читали следующее древнее сивиллино изречение:

О, если б брани я Фермодонтской не зрел!
О, если б, как орел, и к облакам взлетел!
Кто побежден – в слезах, кто победил – погиб.

Касательно Фермодонта говорят, что это есть речка у нас близ Херонеи, впадающая в Кефис. Однако ныне нам не известно ни одного ручья, называющегося этим именем; я догадываюсь, что нынешняя речка Гемон называлась тогда Феромодонтом. Она протекает близ Гераклиона, где был греческий стан. Думать можно, что после сражения речка эта наполнилась кровью и трупами и поэтому она переменила свое имя*. Дурис говорит, что Фермодонт не есть река, но что во время войны какие-то люди, ставя шатры и копая землю, нашли малый каменный кумир и по бывшим на нем письмам узнали, что это Фермодонт, держащий в объятиях раненую амазонку. По этому случаю приводили другое прорицание:

Жди, птица черная, ты Фермодонтской брани,
Та человеческой тебя насытит плотью.

Впрочем, все это истолковать трудно. Говорят, что Демосфен, ободренный военными силами греков и получив смелость от такого множества сильных и усердных ратников,

вызывающих к сражению неприятеля, не позволял уже обращать внимание к прорицаниям и гаданиям. Он и пифию подозревал в сочувствии к Филиппу, напоминая фиванцам Эпаминонда, а афинянам Перикла, которые, почитая все это отговоркою малодушия, действовали только своими силами. До этого времени Демосфен был мужествен, но в сражении не оказал никакого дела похвального и соответствующего тому, что он говорил; он расстроил ряды и постыднейшим образом предался бегству, бросив оружие*, и не устыдившись, как говорил Пифей, надписи на щите своем, на котором было писано золотыми буквами: «В благой час!»

Филипп в первые минуты победы, восхищенный радостью, предался беспорядочному веселью, ругался над мертвыми в пьянстве и пел начало законопроекта, предложенного Демосфеном, топая ногою в такт*:

Демосфен, сын Демосфена, так народу предложил…

Но вскоре, протрезвившись и представив в уме своем великость объявшей его опасности, ужаснулся способностям и силе оратора, который в малую часть дня принудил его подвергнуться крайности за владычество и жизнь свою. Слух о том достиг персидского царя, который писал сатрапам давать Демосфену деньги и оказывать внимание более всех греков ему как человеку, который мог македонянина занять беспокойствами, производимыми в Греции, и отвлечь его от дальнейших походов. Эти обстоятельства открыты впоследствии Александром, которому попались в Сардах некоторые письма Демосфена и царских полководцев записки, в которых было показано пересланное к нему количество денег.

После этого несчастья, постигшего греков, ораторы противной Демосфену стороны, нападая на него, готовились донести на него и требовать от него отчета. Народ не только оправдал его, но оказал ему почтение, призывал его к управлению, как человека благомыслящего, даже когда из Херонеи были привезены и погребаемы кости умерщвленных граждан, то народ ему поручил произнести над ними похвальную речь. Народ не перенес, как пишет с высокопарностью Феопомп, случившегося несчастья малодушным и неблагородным образом, но изъявлением советнику почтения доказывал, что не раскаялся в том, что прежде утверждал. Итак, Демосфен произнес речь*; в предлагаемых народу законопроектах уже не ставил своего имени, но писал имена то одного, то другого из своих друзей, как бы избегая неблагоприятного демона и дурного счастья, пока наконец вновь ободрился, как скоро умер Филипп, который не намного пережил своего при Херонее успеха. Кажется, что это разумел последний стих в прорицании:

Кто побежден – в слезах, кто победил – погиб.

Демосфен получил тайно известие о смерти Филиппа*, и дабы одушевить афинян бодростью и доверенностью на будущее, он явился в Совет с веселым лицом и сказал, что увидел сон, по которому надлежит ожидать афинянам какого-то великого благополучия. Вскоре предстали люди, возвещавшие о смерти Филиппа. Афиняне приносили жертвы по случаю этого счастливого известия и определили Павсанию венок. Демосфен предстал перед народом в великолепной одежде, с венком на голове, хотя это было в седьмой день после смерти его дочери. В том свидетельствует Эсхин, который поносит его и укоряет в ненависти к своим детям. Но Эсхин сам слаб и малодушен, если плач и горесть почитал признаками души кроткой и нежной и если не одобряет того, чтобы переносить сии несчастия твердо и спокойно. Что до меня касается, то я не скажу, чтобы было похвально украшаться венком, приносить жертвы и веселиться по случаю кончины царя, который, среди успехов своих, поступил так кротко и человеколюбиво с афинянами в их несчастье. Не только богам противно, но и низко живому оказывать почтение, давать право гражданства, и как скоро он погиб от руки другого, то не уметь умерять свою радость, но ругаться над мертвым и воспевать песнь победную, как по оказании какого-либо важного подвига. То, что Демосфен предоставил женщинам плакать и рыдать по домашним несчастиям, а сам поступал так, как почитал полезным республике, то сие заслуживает похвалу; я почитаю свойством души мужественной и способной управлять то, чтобы всегда заботиться об общественном благе, предпочитать его домашним горестям и делам

и сохранять свое достоинство с большим старанием, нежели те, кто на театре представляет лица царей и владетелей. Они плачут и смеются не тогда, когда хотят, но как того требует игра и предмет, ими представляемый. Сверх того – если несчастного не должно оставлять без утешения, погруженным в горести; если должно употреблять слова, служащие к облегчению его и обращать его ум к приятнейшим предметам – подобно как страждущего глазною болезнью заставляем отводить глаза от ярких и резких красок и наводить на зеленые и нежные, – то откуда можно занять лучшее утешение, как не от благосостояния отечества, смешивая домашние происшествия с общественными, дабы лучшим изгладить худшее? Я принужден был говорить о том, заметив, что Эсхин своими рассуждениями многих смягчает и склоняет к жалости.

Уже греческие города, воспламеняемые Демосфеном, вновь вступали в союз. Фиванцы напали на охранное войско и многих воинов умертвили. Демосфен заранее готовил для них оружия. Афиняне вооружались, дабы вместе с ними вести войну; Демосфен господствовал на трибуне, писал в Азию царским полководцам и побуждал их воздвигнуть войну с той стороны против Александра, которого он называл мальчиком и Маргитом*. Но когда Александр, устроив дела своего государства, сам с войском явился в Беотию, то дерзость афинян унизилась, и дух Демосфена упал. Фиванцы, преданные ими, сразились одни и погубили себя. В Афинах происходили сильные тревоги; Демосфен вместе с другими избран был в посланники для отправления к Александру, но страшась гнева его, он отстал от посольства в Киферон* и возвратился назад. Александр требовал немедленно выдачи, как уверяют Идоменей и Дурис, десяти, а как другие отличнейшие писатели, восьми демагогов, а именно: Демосфена, Полиевкта, Эфиальта, Ликурга, Мерокла, Демона, Каллисфена и Харидема. В этом случае Демосфен, в речи своей, рассказал басню об овцах, которые выдали собак волкам, уподобляя себя и своих товарищей собакам, которые дрались за народ, а Александру дал имя свирепого волка. Он говорит притом народу: «Вы видите, что купцы, показывая на тарелке для пробы немного пшеницы, по ней продают весь товар. Так и вы, выдавая нас, неприметно предаете себя самих». О том упоминает Аристобул из Кассандрии. Между тем афиняне советовались и не знали, на что решиться. Демад, получив пять талантов от означенных мужей, объявил, что он отправится к царю посланником и будет просить его за них, – надеясь ли на его дружбу к себе или в ожидании, что найдет его спокойнее, как льва, пресыщенного убийством. Он в самом деле выпросил сих мужей и примирил Александра с республикой.

По удалении Александра Демад с другими был в великой силе, а Демосфен в унижении. Когда же Агис, царь спартанский, начал двигаться*, то и Демосфен двинулся вместе с ним, но ненадолго; он оробел, ибо афиняне не последовали его примеру, и Агис пал и силы лакедемонские сокрушились. Тогда производилось дело о венке против Ктесифонта*. Оно начато при архонте Херонде, несколько прежде Херонейского сражения, но решено было по прошествии десяти лет при Аристофонте; и пользуется большей известностью, чем любое из всех общественных дел, как по славе ораторов, так и по знаменитости судей. Хотя преследовали Демосфена приверженные к македонянам и бывшие в великой силе, однако судьи его оправдали с таким единодушием, что Эсхин не получил и пятой части голосов. Он немедленно оставил отечество и удалился на Родос и в Ионию, где провел остаток дней своих, преподавая красноречие.

Вскоре после того прибыл из Азии в Афины Гарпал, убежавший от Александра. Чувствуя себя виновным по причине своей расточительности и боясь Александра, который уже становился жесток к друзьям своим, Гарпал прибегнул к афинскому народу и предал ему себя вместе с деньгами и кораблями. Ораторы взирали с алчностью на его богатство и помогали ему, советуя афинянам принять и спасти просителя. Демосфен сперва советовал народу удалить от себя Гарпала и беречься, чтобы не ввергнуть республику в войну за дело ненужное и притом несправедливое. По прошествии немногих дней, при описи имения Гарпала, тот заметил, что Демосфен был прельщен царской чашею и любовался резьбою и видом ее. Гарпал попросил его взвесить чашу на руке и узнать тяжесть ее. Чаша оказалась очень тяжелой, и Демосфен спросил с удивлением, на сколько она тянет. «Потянет тебе двадцать талантов», – сказал Гарпал, улыбаясь. Как скоро настала ночь, то он послал ему чашу и двадцать талантов. Гарпал мог по лицу, и по изъявленной им радости, и по взорам узнать свойство человека, пристрастного к

деньгам. Демосфен не устоял и, побежденный дароприятием, сдался Гарпалу, подобно крепости, принявшей в себя чужое войско. На другой день Демосфен, окутав шею шерстью и обвязав лентами, пришел в Собрание. Когда граждане требовали, чтобы он встал и говорил, то Демосфен давал рукою знак, что голоса у него недостает. Забавники, шутя над ним, говорили, что Демосфену ночью зажала рот не жаба, а серебро. Скоро однако народ узнал о его дароприятии, и когда Демосфен хотел оправдаться, то народ его не допустил, негодовал и шумел. Некто в насмешку встал и сказал: «Отчего, афиняне, не слушаете того, кто имеет у себя чашу?»* Афиняне тогда выслали из города Гарпала, но боясь, чтобы с них не потребовали отчета в деньгах, похищенных ораторами, делали строгий обыск и осматривали тщательно все дома, исключая дома Калликла, сына Арренида. Он был новобрачен; обыск отменен потому только, что молодая супруга была внутри дома, как говорит Феопомп.

Демосфен, соображаясь с мыслями народа, предложил, чтобы Ареопаг расследовал дело и наказал тех, кто найдется виновным. Совет осудил его самого в числе первых; он явился к суду, был приговорен к пене в пятьдесят талантов и посажен в темницу. Стыдясь этого бесчестия и, как говорят, по причине телесной слабости не будучи в состоянии перенести заключения, он убежал из темницы, обманув одних из стражей, между тем как другие подавали ему способ скрыться. Говорят, что он в бегстве своем, находясь еще близ города, приметил, что некоторые из разномыслящих с ним граждан преследовали его; он хотел спрятаться, но они, назвав его по имени и подошедшие к нему ближе, просили его принять от них на дорогу денег, которые нарочно принесли к нему. Они уверяли его, что эта была единственная причина их преследования и советовали ему не унывать, но сносить с равнодушием случившееся с ним несчастье. При этих словах Демосфен еще более залился слезами и сказал: «Можно ли мне равнодушно перенести это несчастие, оставляя город, в котором неприятели таковы, каких в другой земле нельзя найти приятелей?»

Он не перенес с твердостью изгнания из отечества. Большей частью жил в Эгине и в Трезене, взирал на Аттику со слезами на глазах и говорил слова, неприличные и несогласные с тем духом, который он показывал в правлении. Говорят, что он, удаляясь из города, простер руки свои к крепости и сказал: «Могущественная Афина! Пусть приятны тебе три злейшие животные – сова, змея и народ!» Молодых людей, которые приезжали к нему и общались с ним, он отвлекал от дел общественных, говоря им, что когда бы снова показаны были ему две дороги, одна, ведущая к трибуне и к Народному собранию, другая прямо к погибели, и когда бы предвидел сопутствующие управлению бедствия: страх, зависть, клеветы, труды, то бросился бы он на ту дорогу, которая вела прямо к смерти.

Между тем, как он находился в изгнании, Александр умер*; греческие города вновь составляли союз; Леосфен оказал знаменитые подвиги, занял и осаждал в Ламии Антипатра. Оратор Пифей и Каллимедонт, прозванный Крабом, убежавшие из Афин, пристали к Антипатру и вместе с его друзьями и посланниками объезжали города и не допускали греков восстать против македонян и обращать внимание к афинянам. Но Демосфен присоединился к отправленным посланникам из Афин*, содействовал им и силился возбудить города к нападению на македонян и изгнанию их из Греции. Филарх говорит, что в Аркадии Демосфен с Пифеем ругали друг друга, ибо в Народном собрании один защищал македонян, другой греков. Говорят, что Пифей сказал: «Когда мы увидим, что в какой-либо дом носят ослиное молоко, то заключаем, что тут, конечно, кто-нибудь болен; город, в который придет посольство афинское, должно думать, что находится в дурном положении». Демосфен обратил против него сравнение и сказал: «И ослиное молоко принимается для здоровья, и афинское посольство для спасения страждущих приходит».

Афиняне были столь довольны поступками Демосфена, что народным постановлением позволено было ему возвратиться в Афины. Предложение о том сделано было Димоном из Пэания, племянником Демосфена. За ним послана была в Эгину триера. Когда он шел из Пирея в город, то не только все правители и жрецы, но и все остальные граждане выходили к нему навстречу и принимали его. Тогда, как Деметрий Магнесийский пишет, Демосфен, воздев к небу руки, назвал этот день для себя счастливейшим, возвращаясь в Афины славнее Алкивиада, ибо граждане принимали его не из принуждения, но убежденные им. Впрочем, ему надлежало заплатить денежную пеню, ибо закон не позволял освобождать от оной кого-либо из

благоприятства к нему. Афиняне выдумали средство обмануть этот закон. Во время жертвоприношения в честь Зевсу Спасителю они обыкновенно давали деньги тем, которые сооружали и украшали жертвенник; они по этому случаю поручили эту работу Демосфену и выдали ему пятьдесят талантов; и это-то количество он должен был платить народу.

Впрочем, недолго он наслаждался пребыванием в отечестве по своем возвращении. Вскоре греческие силы сокрушились. Сражение при Краноне дано было в месяце метагитнионе, а в боэдромионе охранное войско прибыло в Мунихию; в пианепсионе Демосфен умер следующим образом. Как скоро получено было известие, что Антипатр и Кратер идут на Афины, то Демосфен и его единомышленники успели убежать из Афин. Народ, по предложению Демада, приговорил их к смерти. Они рассеялись по разным городам; Антипатр посылал людей, дабы их ловить; предводителем их был Архий, прозванный Ловцом беглых. Этот Архий был родом из Фурий. Уверяют, что он играл некогда в трагедиях, и что эгинец Пол, превзошедший всех в театральном искусстве, был его учеником. Гермипп почитает Архия учеником оратора Лакрита, а Деметрий говорит, что он посещал школу Анаксимена*. Этот Архий, вырвав из храма Эака*, что в Эгине, убежавших в оный оратора Гиперида, марафонца Аристоника и Гимерея, брата Деметрия Фалерского, отослал их к Антипатру в Клеоны*, где они погибли. Говорят притом, что Гипериду отрезан был язык*.

Получив известие, что Демосфен сидел, как проситель, во храме Посейдона в Калаврии, Архий отправился туда на малых судах, высадил фракийских копьеносцев и говорил Демосфену, чтобы он вышел из храма и отправился бы вместе с ним к Антипатру, уверяя его, что никакой обиды от него не понесет. Демосфен в ту ночь увидел сон весьма странный. Казалось ему, что он представлял трагедию, состязался игрою с Архием, что отличился и что все зрители были на его стороне, но что по недостатку в великолепии и в нужных приготовлениях он был побежден и не получил награды. Когда Архий говорил ему с кротостью и обнадеживал его, то Демосфен, сидя на месте, взглянул на него и сказал: «Архий! Прежде не трогала меня твоя игра; и теперь не трогают твои обещания». Когда Архий начал ему грозить с яростью, то Демосфен сказал: «Вот это прорицание из македонского треножника! А все прежнее было выученная роль, но подожди немного; я хочу нечто написать моим домашним».

С этими словами он удалился во внутренность храма, взял лист, как будто хотел что-то писать, поднес ко рту трость и укусил ее, как обыкновенно делал, когда размышлял и готовился писать; несколько времени пребыл в сем положении, потом обвернулся плащом и опустил голову. Стоявшие при дверях воины смеялись над ним, почитая сие знаком малодушия, и называли его слабым и трусливым. Архий, подойдя к нему, говорил, чтобы он встал, повторил ему те же самые речи и вновь обещал примирить его с Антипатром. Когда Демосфен почувствовал, что принятая им отрава действовала в нем, то он открыл голову и, взглянув на Архия, сказал: «Теперь ты можешь играть роль Креонта* и бросить это тело без погребения. Что до меня касается, любезный Посейдон, я выхожу из святилища твоего еще живым, но Антипатр и македоняне не оставили неосквернным твой храм». Сказав это, он просил поддержать себя, ибо уже дрожал и не мог ходить, но едва выйдя оттуда и миновав жертвенник, упал, вздохнул и испустил дух.

Что касается до отравы, то Аристон говорит, что Демосфен принял оную из трости, как сказано. Но некто, по имени Паппа, историей которого пользовался Гермипп, уверяет, что Демосфен пал пред жертвенником и что на нем найдено начало письма: «Демосфен Антипатру…» и более ничего; что все дивились скорой его смерти, а стоявшие у дверей фракийцы рассказывали, что он взял рукою с тряпки яд, положил в рот и проглотил; они думали, что это было золото. Когда Архий спрашивал о том прислуживавшую ему рабыню, то она сказала, что Демосфен давно уже носил на себе тот узел, как некоторое предохранительное священное средство. Эратосфен сам пишет, что Демосфен хранил яд в пустом кольце и что кольцо это носил, как обруч. Было бы излишне рассказать о смерти его различные известия, которых весьма много. Упомяну лишь о Димохарете, родственнике Демосфена, который думает, что он не от яду лишился жизни, но что милосердием и промыслом богов был он вырван из рук зверских македонян и окончил жизнь скоро и беспечально. Он умер шестнадцатого числа месяца пианепсиона, в которое женщины постятся в храме богини и отправляют самый печальный день Фесмофорий*.

Народ афинский вскоре оказал Демосфену почести по достоинству и воздвигнул ему медный кумир, и определил, чтобы старший в роде его имел право кормиться в пританее*. На основании его кумира сделана известная надпись:

Коль Демосфенова б сравнилась с духом сила,
Эллады б никогда война не покорила.

Некоторые уверяют, что Демосфен сочинил сам эти стихи в Калаврии, намереваясь принять яд, но это совершенно ложно.

Незадолго перед приездом моим в Афины случилось следующее происшествие. Какой-то воин, будучи призван к суду начальником, положил бывшее у него малое количество золота в руки Демосфенова кумира, который стоял, сложа руки; подле него рос небольшой платан. Многие листья от этого дерева, или упав от подувшего случайно ветра, или будучи наложены тем, который скрыл золото, произвели то, что оное немало времени оставалось утаенным. Когда же воин возвратился и нашел золото; когда слух о том распространился по городу, то многие из остроумных людей, приняв предметом своих стихов бескорыстие Демосфена, сочиняли в честь его наперебой стихи.

Демад недолго наслаждался возрастающей своею силой. Правосудие божие привело его в Македонию, и те самые, кому он бесстыдно льстил, наказали его справедливым образом. Он и прежде был им неприятен, но тогда впал в проступок, от которого не мог оправдаться. Пойманы были письма, в которых он побуждал Пердикку напасть на Македонию и спасти Грецию, которая висела, по словам его, на гнилой и ветхой нитке – разумея Антипатра. Коринфянин Динарх обвинил его в сочинении этих писем, и Кассандр, будучи тем раздражен, умертвил его сына в объятиях отца, а потом велел умертвить и его самого. Тем Демад величайшими бедствиями почувствовал, что предатели прежде всех предают самих себя. И хотя Демосфен ему многократно это предсказывал, но он тому не верил.

Вот, Сосий Сенецион, жизнеописание Демосфена, собранное мною из того, что я читал или слышал о нем.

Цицерон

Мать Цицерона, Гельвия, как говорят, была происхождения благородного и вела себя похвально. Касательно отца его, то известия о нем весьма различны. Одни говорят, что он родился и жил в красильне, другие относят начало рода его к Туллу Аттию, который со славой царствовал над вольсками и с римлянами воевал мужественно. Тот, кто первый в роде том прозван Цицероном, по-видимому, был человек достопочтенный, ибо его потомки не отвергли этого прозвища; напротив того, оно было им приятно, хотя многими было осмеиваемо, ибо слово «кикер» ***(cicer)*** по-латыни значит некоторый род гороха; по-видимому, у него на краю носа был тупой нарост, подобный раздвоившемуся гороху, от коего получил и название. Когда Цицерон, жизнь которого здесь описывается, в первый раз искал начальства и вступал в правление, то приятели его полагали, что ему бы надлежало переменить свое имя, но он сказал им с некоторым хвастовством, что постарается сделать Цицерона славнее Катула и Скавра*. Будучи квестором в Сицилии, он посвятил богам серебряное приношение и написал на нем два первые имена свои: Марк и Туллий, а вместо третьего для шутки велел художнику вырезать подле букв горошину. Вот что повествуют о его имени.

Говорят, что мать Цицерона разрешилась им от бремени без всякой боли и муки, в третий день новогодних календ*, в который ныне правители приносят моления и жертвы богам за здравие императора. Кормилице его явился некий призрак и предсказал ей, что она кормит младенца, который будет великим благом для всех римлян. Хотя это почиталось сновидением и пустословием, однако Цицерон вскоре сам доказал, что то было истинное происшествие, ибо достигши возраста, в который надлежало учиться, он блеснул великими дарованиями и прославился среди детей до того, что родители их приходили в училище, дабы видеть своими глазами Цицерона и удостовериться в скорости, с которой он выучивал уроки, и в разуме, которым он отличался. Грубейшие же из них бранили своих детей за то, что они на улицах

ставили Цицерона посреди себя для изъявления ему своего уважения. Будучи одарен способностями, какие требует Платон от человека, склонного к учению и мудрости перенимать всякое учение, не пренебрегать никаким родом познаний и учености, он изъявил великую склонность к стихотворству. Существует еще малое сочинение четырехстопными стихами, писанное им в детстве, под названием «Главк Понтийский»*. Впоследствии, предавшись разнообразному учению, он показал себя римлянам не только славным оратором, но и превосходным стихотворцем. Слава его ораторства пребывает и поныне, несмотря на немалую перемену, происшедшую в слоге, но его стихотворения вовсе забылись и были пренебрежены*, ибо после него явилось множество славных стихотворцев.

По окончании детского обучения он был слушателем академика Филона, которого римляне более всех учеников Клитомаха* уважали за ученость и любили за нрав. Беседы с Муцием и другими мужами, управлявшими республикой и первенствовавшими в сенате, доставило Цицерону пользу и опытность в законах. Некоторое время был он и в походе под начальством Суллы во время Марсийской войны*. Но видя, что республика ввергласъ в междоусобную войну, из которой возникало неограниченное единовластие, он обратился к умозрительной ученой жизни, беседовал с греческими учеными и занимался науками, пока, наконец, Сулла одержал верх, и республика, казалось, несколько успокоилась.

В это время было продаваемо с публичного торга имение одного гражданина, он был убит под предлогом проскрипции. Оно куплено Хрисогоном, вольноотпущенником Суллы, за две тысячи драхм. Росций, сын и наследник умершего, негодуя на эту несправедливость, доказывал, что имение отца его стоило двести пятьдесят талантов. Сулла сердился, будучи изобличен в несправедливости, и, по наущениям Хрисогона, донес на Росция в отцеубийстве. Никто не помогал Росцию, все избегали, боясь жестокости Суллы. Молодой человек, не имея ни в ком защиты, прибегнул к Цицерону, который был побуждаем своими приятелями к защите Росция. Они представляли ему, что он не найдет в другой раз славнейшего и лучшего предмета к прославлению себя. Цицерон принял на себя оправдание Росция, имел в том успех и приобрел общее уважение, но боясь Суллы, отплыл в Грецию, распустив слух, что имеет нужду в поправке своего здоровья. Он в самом деле был худ и тощ, и по причине слабости желудка принимал малую и легкую пищу, и то в позднее время. Голос его был полон и громок, но жесток и необразован, и в речи, сильной и исполненной страсти, он возвышал его так, что заставлял страшиться за свое здоровье.

По прибытии своем в Афины Цицерон слушал Антиоха из Аскалона, будучи очарован обилием и приятностью его речей, хотя ему не нравились перемены, введенные им в философию. Антион в то время отстал уже от так называемой Новой Академии*, отделился от Карнеадовой секты, будучи тому побужден очевидностью и чувствами, или, как некоторые говорят, по некоему честолюбию и ссоре с учениками Клитомаха и Филона. Он принял большей частью стоическое учение, но Цицерон был привязан к Академической секте и оказывал к ней более внимания. Он имел намерение, если совершенно должен будет отказаться от дел общественных, то удалиться от форума и от управления, уехать в Афины и здесь провести жизнь свою в покое, занимаясь философией. Наконец, возвещено было, что Сулла умер. Тело Цицерона, укрепленное упражнениями, принимало здоровье молодости, голос его, будучи уже образован, становился приятен слуху, громок и соразмерен сложению его тела. Приятели его из Рима многократно писали ему и звали его туда; Антиох также побуждал его приступить к общественным делам. Цицерон опять изощрял свое красноречие как оружие, приводил в движение свои политические способности, образовал сам себя упражнением и посещал отличнейших риторов. По этой причине он отправился в Азию и беседовал с азийскими риторами Ксеноклом из Адрамиттия*, Дионисием Магнесийским и карийцем Мениппом, а на Родосе с ритором Аполлонием, сыном Молона и с философом Посидонием. Говорят, что Аполлоний, по незнанию римского языка, просил Цицерона произнести для упражнения своего речь на греческом языке. Цицерон послушался его охотно, полагая, что таким образом Аполлоний будет в состоянии лучше его поправить. По произнесении речи слушатели были приведены в удивление и наперебой превозносили его похвалами. Но Аполлоний, слушая Цицерона, не обнаружил радости, а когда он перестал говорить, то долгое время сидел, погруженный в задумчивость. Цицерону было это неприятно; Аполлоний сказал

ему: «Цицерон, я удивляюсь и хвалю тебя, но жалею об участи Греции, ибо те преимущества, которые нам оставались – ученость и красноречие, тобою передаются римлянам».

Цицерон стремился в гражданское поприще, исполненный уже надежды, но некоторое прорицание охладило его жар; он вопросил Дельфийского бога, каким образом мог он сделаться славнейшим человеком. Пифия повелела ему соделать путеводителями жизни своей природные склонности, а не мнение народное. Сперва жил он в Риме с великой осторожностью и приступал робко к исканию начальств. По этой причине был он в пренебрежении, даваемы были ему грубейшими римлянами легко ими расточаемые обыкновенные названия: «Грек!», «Схоластик!» Но будучи от природы честолюбив, поощряемый отцом и друзьями, он предался судебному красноречию и достиг первенства не постепенно, но вдруг, воссияв славою и превзойдя тех, кто на форуме говорил судебные речи. Уверяют, что и он был столь же недостаточен в искусстве декламации, как и Демосфен, и потому прилежно принимал наставления комика Росция и трагика Эзопа. Касательно Эзопа повествуют, что когда он представлял на театре Атрея, умышляющего мстить Фиесту, и кто-то из служителей вдруг пробежал мимо него, то он, будучи вне себя и в сильной страсти, ударил его жезлом и умертвил. Декламация немало содействовала Цицерону к убеждению слушателей. Он смеялся над теми ораторами, которые употребляли громкие крики, и говорил, что они по слабости своей прибегали к крику, как хромоногие к лошади. Остроумие его, способность шутить и насмехаться, казались свойствами приятными и приличными в судебном красноречии, но употребляя оные с излишеством, многим причинял неудовольствие и заставлял себя почитать человеком злословным.

Во время случившегося недостатка в пшенице был он избран квестором*. По жребию досталась ему Сицилия. Сперва он был неприятен тамошним жителям, которых принуждал посылать в Рим пшеницу, но впоследствии сицилийцы, испытав его рачительность, правосудие и кротость, почитали его более всякого другого начальника*. Некоторые из молодых знатных римлян, которые оказались виновными в трусости и в преступлении военных правил, были отправлены к сицилийскому претору. Цицерон сильно защищал их и освободил от наказания. Он гордился этими делами, но на пути в Рим, говорят, случилось с ним нечто смешное. В Кампании встретил он одного знаменитого римлянина, который, казалось, был его приятелем и спросил его, что думают и что говорят о деяниях его римляне. Он полагал, что уже наполнил Рим своим именем и славою дел своих. Приятель его вместо ответа спросил его: «Да где ж ты был, Цицерон, во все это время?»* Этот случай вверг Цицерона в крайнее уныние: он почувствовал, что молва о нем исчезла в городе, как в беспредельном море, и не произвела никакого впечатления, служащего к славе его. Впоследствии, рассуждая о том спокойно, он уменьшил свое честолюбие, почитая славу, к которой он стремился, чем-то неопределенным, которого невозможно было достигнуть. При всем том радоваться чрезвычайно похвалам и страстно любить славу – это осталось у него до конца и много раз потрясло самые основательные рассуждения.

Приступая с большим жаром к управлению общества, он почитал постыдным для политика, который производит дела общественные, быть нерачительным и небрежным в познании всего, касающегося до граждан, тогда как ремесленники, употребляющие к работе разные орудия и бездушные сосуды, не только знают имя, но место и пользу употребления каждого из них. По этой причине Цицерон старался узнавать не только имена людей, но место, где всякий из знакомых ему жил, и поместье, которым владел, и приятелей, с которыми водился, и самых его соседов. Едучи по Италии, он мог на всех дорогах показать поля и загородные дома своих приятелей.

Он имел небольшое, но достаточное к удовлетворению нужд своих имение и приобрел общее уважение тем, что никогда не принимал ни платы, ни даров за речи, в пользу кого-либо произнесенные. Бескорыстие его особенно обнаружилось в деле против Верреса, которое он принял на себя*. Этот Веррес был претором в Сицилии, где сделал великие несправедливости. Сицилийцы принесли на него жалобу, и Цицерон успел осудить его не потому, чтобы он говорил, но некоторым образом потому, что ничего не сказал. Преторы, по пристрастию к Верресу, отлагали часто решение дела, до последнего дня. Было уже очевидно, что не достало бы оного к произнесению речей и что суд не будет кончен. Цицерон встал с своего места,

сказал, что не имеет нужды в словах; он представил судей, сделал допрос и требовал, чтобы судьи подали голоса. В продолжение этого судопроизводства Цицерон сказал многие весьма острые слова. На римском языке «Веррес» ***(verres)*** значит боров. Один вольноотпущенник по имени Цецилий, которого подозревал в иудаизме, хотел удалить сицилийцев и говорить против Верреса*. «Какое дело иудею до свиньи?» – сказал Цицерон. У Верреса был взрослый сын, который был известен своим неблагопристойным поведением. Некогда Веррес поносил Цицерона теми самыми пороками, которые приписывали сыну его. «У себя дома, – сказал ему Цицерон, – должно бранить детей своих». Оратор Гортензий не осмелился прямо защищать Верреса; однако был убежден находиться при наложении на него пени; за что получил в награду сфинкса из слоновой кости. Цицерон сказал насчет Гортензия нечто двусмысленное и, когда тот ответил, что неискусен решать загадки, то воскликнул: «Однако же у тебя дома сфинкс!»*

Веррес был осужден. Цицерон наложил на него пени семьсот пятьдесят тысяч*. По этой причине был оклеветан в том, будто бы за деньги уменьшил пеню. Несмотря на то, сицилийцы из благодарности привезли ему из Сицилии много даров во время его эдильства. Цицерон не покорыстовался ими, но он воспользовался их благодарностью единственно для понижения в Риме цены на жизненные припасы.

У него было прекрасное поместье близ Арпина*, небольшие поля, одно близ Неаполя, а другое близ Помпеи. Теренция принесла ему в приданое сто двадцать тысяч драхм, а по некоторому наследству досталось ему еще девяносто тысяч. Это имение давало ему возможность жить приятно, хотя и умеренно, в сообществе греческих и римских ученых. Редко случалось, чтобы он садился за стол перед захождением солнца, не столько по причине множества своих занятий, сколько для сохранения здоровья, по причине слабости желудка. Касательно попечения о своем здоровье он был точен до излишества, употребляя растирания и ходьбу в определенной мере. Этим способом исправил он свое сложение и сохранил свое тело способным выдерживать великие труды, крепким и свободным от болезней.

Он уступил брату отцовский дом, и сам жил поблизости Палатина, дабы те, кто искал его благосклонности, не беспокоились ходить к нему далеко. Число граждан, приходивших к нему с изъявлением почтения, было не менее тех, которые уважали Красса за богатство, а Помпея за силу в войске, хотя эти мужи были тогда величайшие из римлян и всеми уважаемы. Сам Помпей искал благосклонности Цицерона, политика которого немало споспешествовала к его силе и славе.

При искании претуры со многими другими знаменитейшими гражданами он был избран первым из всех*. В этом звании он судил дела разумно и справедливо. Говорят, что Лициний Макр, человек, который и сам по себе был силен в городе и сверх того пользовался помощью Красса, будучи судим Цицероном за кражу, полагаясь на свою собственную силу и на старания друзей своих, между тем как судьи подавали свои голоса, Макр ушел домой, выбрил голову поспешно, надел белую тогу, как бы одержал верх, и опять хотел идти на площадь, но Красс встретил его у дверей и объявил ему, что всеми голосами судей осужден. Он возвратился домой, лег на постель и умер. Это происшествие принесло Цицерону славу, ибо казалось, его стараниями сие дело было решено справедливым образом.

Некий гражданин по имени Ватиний*, человек, в речах своих жестокий и оказывающий пренебрежение к правителю, имел шею, покрытую желваками. Некогда он пришел к Цицерону с просьбой. Цицерон не исполнял его желания и долго о том думал. Ватиний сказал: «Когда бы я был претором, то не был бы в недоумении касательно этого дела». Цицерон, обратясь к нему, сказал: «Да, но у меня нет такой большой шеи, как у тебя».

Оставалось ему два или три дня быть претором, как некто донес на Манилия в похищении общественных доходов*. Этот Манилий пользовался благосклонностью народа, ибо, казалось, гнали его за Помпея, которого он был другом. Он просил, чтобы назначен был день суда; Цицерон назначил ему один следующий день; народ за то негодовал, ибо преторы обыкновенно давали обвиняемым по крайней мере десять дней сроку. Трибуны народные привели его на трибуну, жаловались на него. Цицерон просил, чтобы позволено было ему говорить, и сказал, что всегда поступал, сколько законы позволяли, кротко и человеколюбиво; и потому было бы странно, когда бы он не поступил равным образом с Манилием. По этой причине он назначил

ему нарочно тот единственный день, которым он как претор мог располагаться, ибо отложить суд до другого начальника значило бы не хотеть ему помочь. Эти слова произвели в мыслях народа чрезвычайную перемену; граждане превозносили его похвалами и просили принять на себя защиту Манилия. Цицерон охотно согласился, особенно из уважения к Помпею, бывшему в отсутствии. Он явился вновь к народу и говорил речь, в которой сильно нападал на олигархов и на завистников Помпея.

Он возведен на консульское достоинство* для блага республики, стараниями аристократов не менее, как и народа; обе стороны помогли ему в том по следующему поводу. Произведенная Суллой перемена в правлении сначала показалась странной, но впоследствии привычка и время придали ей некоторую твердость; она была народу неприятна; однако были такие, которые хотели потрясти настоящее положение, для собственных выгод, а не для пользы общей переменить правление. Помпей вел еще войну с царями в Понте и Армении; в Риме не было достаточной силы к укрощению крамольников. Они имели своим предводителем Луция Катилину*, человека смелого, предприимчивого и хитрого. Сверх других великих преступлений был он некогда обвиняем в беззаконной связи со своей дочерью во время ее девства и умерщвлении родного брата. Страшась суда за эти преступления, он прибегнул к Сулле, которого упросил записать брата его в число тех, которые были назначены к проскрипции, как бы он был еще жив. Злонамеренные люди, имея этого Катилину своим вождем, дали друг другу многие залоги в верности и между прочим умертвили человека и каждый вкусил мяса его. Катилина развратил великое множество молодых людей в Риме, привлекая их к себе наслаждениями, пьянством и содействуя любви их к женщинам, и на все это употреблял великие издержки. Вся Этрурия, многие части Галлии по эту сторону Альп были готовы к возмущению. Сам Рим был склонен к перевороту по причине неравенства в состязаниях, ибо люди, знаменитые и славные своим родом, обнищали издержками на театры, на угощения, на искания начальств, на строения, а все богатство стекалось к людям низкого и презрительного происхождения. Нужно было только одно малое потрясение, и всякий человек, который имел некоторую смелость, мог ниспровергнуть республику, которая уже сама собою колебалась.

При всем том Катилина, желая занять наперед как бы некоторое крепкое положение, искал консульства. Он имел великую надежду получить консульство вместе с Гаем Антонием, человеком, который сам не имел способности водить ни к хорошему ни к дурному, но который, находясь под управлением другого, мог бы придать ему великую силу. Лучшие граждане предчувствовали это и потому старались о возвышении Цицерона на консульское достоинство. Народ охотно принял его изыскания*; Катилине было отказано, а Цицерон и Гай Антоний избраны консулами, хотя из тех, кто домогался консульства, один Цицерон был сыном римского всадника, а не сенатора.

Злоумышленники Катилины не были еще известны народу, но Цицерон в самом начале консульства своего встретил великие труды, которые были предвестниками будущих. С одной стороны, те, кому по законам Суллы было запрещено начальствовать* и которые не были ни бессильны, ни малочисленны, искали начальства и льстили народу. Они во многом справедливо и истинно винили самовластие Суллы, но не в надлежащее время и не надлежащим образом: они хотели произвести в республике перемену. С другой стороны, народные трибуны с такой же целью предлагали закон о составлении децемвирата, или неограниченного начальства, состоящего из десяти мужей. Они могли располагать всей Италией, всей Сирией и теми областями, которые незадолго до этого завоеваны были Помпеем; имели власть продавать общественные имущества, судить кого хотели, изгонять из отечества, заселять города, брать деньги из общественной казны, собирать и содержать воинов столько, сколько им было нужно. По этой причине к принятию этого закона* были склонны многие из знаменитых граждан и больше всего – Антоний, товарищ Цицерона в консульстве, надеявшийся быть одним из десяти. Казалось, ему известны были и замыслы Катилины, но он не оказывал на то неудовольствия по причине множества своих долгов. Это обстоятельство более всего устранило лучших граждан. Дабы исправить сие первое неудобство, Цицерон определил ему в управление Македонию, а сам отказался от предлагаемой ему Галлии. Этим одолжением он завладел Антонием и заставил его, как наемного актера, играть вторую после себя роль во всем, что касалось до спасения

отечества. Как скоро Цицерон уловил его и сделал себе покорным, то уже с большей бодростью сопротивлялся тем, которые вводили новые перемены. В сенате он говорил речь против предлагаемого закона и до того устрашил предлагающих оный, что они не смели ни в чем ему прекословить. Когда они вторично приступали к делу, уже приготовившись, и призывали к народу консулов, то Цицерон нимало того не устрашился; он велел сенату следовать за собою, явился перед народом и не только закон уничтожил, но силою своего красноречия заставил народных трибунов отстать от всех свои намерений.

Цицерон более всякого другого доказал римлянам, что красноречие может придать справедливому делу чрезвычайную приятность; что справедливость непреодолима, когда доказывается приличным образом; и что муж, разумно управляющий делами, обязан всегда предпочитать должное тому, что льстит, а словами – отделять от полезного то, что в нем неприятно. Доказательством приятности его речи служит то, что случилось во время его консульства. В прежнее время всадники сидели в театре, перемешанные с народом, где придется. Марк Отон, будучи претором*, первый для чести отделил всадников от других граждан и назначил им особое место, и поныне ими занимаемое. Народ почел сие бесчестием для себя. Как скоро Отон явился в театре, то граждане освистали его; всадники, напротив, приняли его с громким рукоплесканием, народ усилил свист, а всадники рукоплескание. Потом, обратившись друг против друга, они осыпали ругательствами; в театре господствовал великий беспорядок. Цицерон, узнав о происшедшем, пришел в театр, призвал народ к храму Беллоны и частью выговаривал ему, частью увещевал его. Граждане, возвратившись в театр, уже рукоплескали с жаром Отону и наперебой со всадниками изъявляли ему почтение и превозносили его.

Между тем сообщники заговора Катилины, сперва оробевшие и приведенные в страх, вновь ободрились, собирались, побуждали друг друга приняться за дело смелее, до возвращения Помпея, о котором говорили уже, что идет назад с войском. Более всех поощряли Катилину старые воины Суллы; они были рассеяны по всей Италии, но большая и самая храбрая их часть находилась в этрурских городах и снова мечтала о расхищении и разделении между собою готового богатства. Имея предводителем своим некоего Манлия, человека, отличившегося в войне под начальством Суллы, они приставали к Катилине и прибыли в Рим, дабы содействовать ему при выборах народных. Он вновь домогался консульства и умышлял умертвить Цицерона во время смуты, которой надлежало произойти при подаче голосов. Казалось, что само божество предзнаменовало эти события землетрясениями, молниями и видениями. Известия, получаемые от разных людей, были, конечно, справедливы, но недостаточны к изобличению Катилины, человека знаменитого и могущественного. По этой причине Цицерон, отложив день выборов, призвал Катилину в сенат и расспрашивал его о том, что было разглашаемо касательно его. Катилина, полагая, что в сенате много таких, которые желали переворота в правлении, и в то же время обнаруживая себя заговорщиком, дал Цицерону следующий неистовый ответ: «Есть два тела: одно худое и истощенное, но имеет голову, а другое сильное и великое, но без головы. Что ж дурного я делаю, если приставлю ему голову?» Под этими именами он разумел сенат и народ. По этой причине Цицерон еще более устрашился. Сильнейшие граждане и многие молодые люди привели его на Марсово поле, одетого в броню. Он нарочно показывал часть ее, спустив с плеч хитон, дабы показать взирающим на него опасность, в которой он находился. Граждане негодовали и собирались к нему, наконец при подаче голосов Катилина был отвержен, а были консулами избраны Силан и Мурена.

Вскоре после того, когда бывшие в Этрурии заговорщики собирались к Катилине, и назначенный к нападению день уже приближался, пришли в полночь к дому Цицерона первейшие и сильнейшие римские мужи: Марк Красс, Марк Марцелл и Метелл Сципион. Стукнув в двери, призвали они привратника, велели разбудить Цицерона и сказать ему о своем пришествии. Причина тому была следующая. Привратник Красса подал ему после ужина письма, принесенные неизвестным человеком, с надписями на имена разных особ, а одно для Красса без надписи. Красс прочитал одно это письмо; в нем объявляли ему, что будет произведено Катилиной великое убийство, и советовали выйти немедленно из города. Красс не распечатал других писем, но, пораженный угрожающей опасностью и желая отчасти

оправдаться в подозрении, падающем на него по причине дружбы его с Катилиной, он пришел к Цицерону с письмами. Цицерон, посоветовавшись с ними, на рассвете дня созвал сенат, принес письма и отдал тем, кому оные были назначены, с приказанием прочитать оные в слух. Во всех содержались известия о заговоре. Когда же Квинт Аррий, бывший претор, возвестил о собирании воинов в Этрурии; когда получено было известие, что Манлий с многочисленными отрядами показался в тамошних городах в ожидании нового в Риме переворота, то сенат определил поручить все дела консулам и чтобы они, приняв их на себя, управляли бы ими и спасали республику так, как они умели. Сенат это делает не часто, но только тогда, когда находится в большом страхе.

Цицерон, получив такую власть, поручил дела вне города Квинту Метеллу; городом же управлял сам и каждый день выходил на форум, сопровождаемый таким множеством людей, что при вступлении его в оный большая часть ее занимаема была теми, кто его сопровождал. Катилина, не терпя более отлагательства, решился сам вырваться из города и идти в войско к Манлию, а Марцию и Цетегу велел с мечами прийти поутру в дом Цицерона под видом приветствия, напасть на него и умертвить. Одна благородная женщина, по имени Фульвия*, известила о том Цицерона, она пришла к нему ночью и советовала беречься Цетега. Заговорщики пришли поутру к Цицерону, но вход к нему был им воспрещен; они негодовали и шумели у дверей его и тем умножили подозрение против себя. Цицерон, выйдя из своего дома, созвал сенат в храме Юпитера Статора, сооруженном в начале Священной дороги при входе на Палатин. Сюда прибыл и Катилина с другими под видом оправдания себя. Никто из сенаторов не утерпел сидеть на одной стороне с ним, все встали со скамьи и перешли на другую сторону. Катилина начал говорить, но громкий шум не позволил ему продолжать речь. Наконец Цицерон встал и велел ему удалиться из города. «Поскольку, – сказал он, – я действую словами, а ты оружием, то надлежит между мною и тобою быть стене». Катилина немедленно вышел из города с тремястами тяжело вооруженных воинов, окружил себя ликторами с секирами, как консул, поднял знамена и пошел к Манлию. Уже было собрано около двадцати тысяч войска, с которыми переходил из города в город и возмущал жителей против республики. Таким образом, война сделалась явною, и Антоний выслан с войском, дабы дать ему сражение.

Те из граждан, которые развращены были Катилиной и оставались еще в городе, были собраны и одобрены Корнелием Лентулом*, прозванным Сурой, человеком знаменитого происхождения, но проведшим жизнь беспутную, и за дурное поведение прежде исключенным из сената. Тогда был он вторично претором, как обыкновенно бывает с теми, кто снова приобретает потерянное сенаторское достоинство. Говорят, что прозвание Суры дано ему по следующей причине. Во времена Суллы, будучи квестором, он расточил весьма много общественных денег. Сулла, досадуя на него, в сенате требовал от него отчета. Но Лентул явился в сенате с гордостью, сказал презрительно, что не даст никакого отчета, и только подставляет голень, как обыкновенно делают дети, когда ошибутся, играя в мячик. По этой причине позван он Сурой, ибо «сура» по-латыни значит голень. В другой раз, будучи судим, он подкупил некоторых из судей и был разрешен только большинством двух голосов. Он жаловался, что подарок, данный им одному из двух судей, был лишний, ибо достаточно было бы для него быть разрешено одним голосом. Таков был от природы Лентул! Катилина еще более поощрял его ко злу, а некоторые лжегадатели и обманщики испортили пустыми надеждами. Они читали ему подложные стихи и прорицания и уверили, что по книгам Сивиллиным определено судьбою трем Корнелиям быть в Риме самодержавными; что из них двое, Цинна и Сулла, уже исполнили предречения судьбы, и что ему, как третьему Корнелию, божество принесет единовластие, которое ему надлежало непременно принять, а не терять, подобно Катилине, медленностью своею благоприятного времени.

Лентул не помышлял ни о чем маловажном и незначительном; намерение его было умертвить всех сенаторов и сколько мог других граждан, а город сжечь; никого не пощадить, разве только Помпеевых детей. Он хотел их похитить, иметь во власти своей и хранить как залог примирения с Помпеем, ибо уже наверно говорили о скором прибытии Помпея из большого похода. К нападению назначена была одна из ночей, в которой отправляли Сатурналии*. В дом Цетега принесены были мечи, пенька и сера, которые в оном и спрятаны. Избрав сто человек и разделив Рим на столько же частей, заговорщики назначили каждому по

жребию одну часть города, дабы многие в короткое время подложили огонь и город бы горел со всех сторон. Другим надлежало завалить водопроводы и умертвить тех, которые бы пришли черпать воду.

В то самое время, как это производилось, находились в Риме два посла племени аллоброгов*, народа, бывшего тогда в дурном положении и с нетерпением носившего иго римского владычества. Лентул сделал их своими сообщниками, почитая их полезными к возмущению Галлии и отделению ее от республики. Он дал им письма к тамошнему сенату и к Катилине; одним обещал независимость, а Катилине советовал возвратить вольность рабам и направить свой путь к Риму. Вместе с ними отправили они к Катилине письма с Титом, уроженцем Кротона. Заговорщики при неосновательности своей держали советы между собою в пьянстве и в присутствии женщин и не могли скрыть свои замыслы от Цицерона, который преследовал их в полном уме и с отличным благоразумием, не щадя никаких трудов. Многие вместе с ним выслеживали заговорщиков и зорко наблюдали за их поступками; он говорил тайно со многими из тех, кто только казался участником в заговоре и кому он доверял; и узнал о переговорах, происходивших между заговорщиками и иностранцами; он ночью подстерег кротонца с письмами и поймал его при тайном содействии аллоброгов.

На рассвете дня он созвал сенат в храме Согласия, прочел письма и выслушал доносчиков. Юния Силана объявил, что знает людей, которые слышали Цетега, говорящим, что будут умерщвлены три консула и четыре претора. Подобное тому известие принес и Пизон, бывший консул. Гай Сульпиций, один из преторов, был послан в дом Цетега, нашел в нем множество стрел и оружий, великое число мечей и ножей, вновь выточенных. Наконец, когда сенат определил прощение кротонцу, если он объявит все, Лентул был изобличен, сложил свое достоинство – он был тогда претором, – снял с себя в сенате обшитую пурпуром тогу и принял платье, соответственное настоящему бедственному положению. Он и его сообщники преданы были преторам для заключения в темнице без оков.

Уже наступал вечер, и народ, собранный воедино, ожидал окончания дела, как Цицерон вышел и объявил гражданам все то, что происходило. Сопровождаемый ими, он пришел в дом одного соседа своего и приятеля, ибо собственный его дом был занимаем женщинами, которые совершали тайные священнодействия в честь богини, которую римляне называют Доброю, а греки Женскою. Ей приносятся ежегодно жертвы в консульском доме женой или матерью консула в присутствии девевесталок. Вступив в дом своего соседа, Цицерон раздумывал, при весьма немногих приятелях своих, как поступить с пойманными. По кротости своего нрава и дабы не казалось, что он слишком самовластно действует своей силою и жестоко поступает с людьми, первейшими по роду своему и имевшими сильных в городе друзей, он был в нерешимости и боялся употребить последнее и приличное таким злодеяниям наказание. С другой стороны, поступая мягче, страшился он опасностей, которым они могли подвергнуть республику, ибо они, претерпев какое-либо наказание, умереннее смертной казни, не остались бы в покое, но дерзнули бы на все и к прежней злобе присовокупили бы новую ярость; сам он показался бы робким и малодушным тогда, когда и без того граждане не почитали его за весьма отважного человека.

Между тем как Цицерон колебался недоумением, женщины, приносившие жертву, увидели следующее знамение. Огонь на жертвеннике, казалось, уже потух, как вдруг из пепла и сгоревшей коры поднялось большее яркое пламя*. Все женщины были тем устрашены; посвященные девы советовали жене Цицерона Теренции поспешно идти к своему мужу и советовать ему приступить к исполнению того, что решился произвести в пользу отечества, ибо богиня издала великий свет, знаменуя ему славу и спасение. Теренция, женщина от природы честолюбивая, которая была нрава неспокойного и неробкого и, как говорит Цицерон, более принимала участие в политических его заботах, нежели делала его участником в домашних, пересказала ему все случившееся и возбуждала против заговорщиков. Такого же мнения были и брат его Квинт и Публий Нигидий, приятель его по любви к философии, чьи советы он выслушивал в самых важных делах, касающихся управления.

На другой день, когда в сенате было рассуждаемо о наказании заговорщиков, то Силан, у которого потребовали прежде других о том мнение, объявил, что надлежало их привести в темницу и предать последнему наказанию. С мнением его были согласны все сенаторы, один за

другим, до Гая

Цезаря, бывшего впоследствии диктатором. Он был тогда еще молод и в начале своего возвышения, но своим политическим поведением и надеждами уже пролагал ту дорогу, которой впоследствии шествуя, преобразил римское народоправление в единовластие. Умыслы его скрывались от других, но Цицерон имел многие против него подозрения, однако не получил от него никакого повода к изобличению. Много было таких, которые уверяли, что едва не был пойман, но что он вырвался у Цицерона. Некоторые говорят, что Цицерон нарочно не сделал доноса против него, боясь его силы и друзей, ибо было очевидно, что вместе с Цезарем скорее заговорщики были бы спасены, нежели наказаны.

Когда пришла очередь Цезаря сказать свое мнение, то он встал и объявил, что не надлежало умертвить их, но, описав в казну их имение, отвести их в те города Италии, которые будут назначены Цицероном, и стеречь в оковах до тех пор, пока не будет преодолен Катилина*. Это мнение было снисходительное, а говорящий был искуснейший оратор, и Цицерон оказал его мнению немалую поддержку. Он говорил об этих двух мнениях, но таким образом, что, казалось, частью одобрял прежнее мнение, частью мнение Цезаря. И все приятели его полагали, что мнение Цезаря было для него полезнее – ибо менее бы стали его винить, когда бы он умертвил заговорщиков, – и склонялись ко второму. Так, что уже и Силан, переменив мысли, отступался от своих слов и говорил, что не того разумел, чтобы предать их смерти, но что последним наказанием для римского сенатора почитал он заключение. Когда это мнение было объявлено, то Катул Лутаций первый ему противоречил; за ним говорил Катон и с такой силою взнес на Цезаря подозрение, что наполнил яростью и отважностью весь сенат – и заговорщики приговорены были к смерти. Касательно описания их имения в казну, тому противился Цезарь; он представлял, что когда уже отвергли снисходительную часть его мнения, то не надлежало привести в действо одну лишь самую жестокую. Многие хотели принудить его силою на то согласиться; он звал на помощь народных трибунов, но они его не слушались. Впрочем, Цицерон сам уступил ему и отстал от мнения касательно описания имения заговорщиков.

Вместе с сенаторами он пошел к заговорщикам; они не были все вместе: преторы стерегли их порознь. Цицерон взял с Палатина первого Лентула и вел его Священной дорогой и через форум, будучи окружен знаменитейшими мужами, которые служили ему вместо телохранителей. Народ с ужасом взирал на это зрелище и с безмолвием шел мимо его; молодые люди, в особенности удивленные и устрашенные этим зрелищем, думали, что совершаются некоторые священные отечественные жертвоприношения аристократической власти. Пройдя площадь, предал палачу Лентула и велел умертвить его. Таким же образом приводил и каждого из других и предавал смерти. Видя на форуме многих из участвовавших в заговоре, собранных вместе и не знавших того, что происходило, но ожидающих ночи, как бы еще зачинщики были живы и можно было их похитить, Цицерон громким голосом сказал им: «Они жили!» Это выражение употребляется римлянами в избежание дурного предзнаменования, когда хотят сказать, что кто-нибудь умер.

Уже был вечер, и Цицерон шел через форум в дом свой; граждане принимали его уже не в молчании и порядке, но с криками и рукоплесканиями, когда он шел мимо них; называли его спасителем и новым основателем Рима. Улицы были освещены; граждане ставили перед своими дверьми свечи и факелы; женщины с кровель светили ему из чести и желания видеть Цицерона, который шествовал торжественно, сопровождаемый знаменитейшими гражданами. Большая часть из них были люди, совершившие великие брани, удостоившиеся триумфа и завоевавшие республике немало земли и моря; они шли за ним, признаваясь друг другу, что многим из прежних полководцев и вождей народ римский обязан благодарностью за богатство, за корысти, за могущество свое, но безопасностью и спасением своим обязан он одному Цицерону, избавившему его от величайшей опасности. Не тому они удивлялись, что Цицерон препятствовал злодеянию и наказал виновников, но что величайшую из крамол, когда-либо бывших, он, так сказать, погасил самым малым злом, без тревоги и возмущения, ибо большая часть из тех, кто присоединился к Катилине, оставили его и удалились, как скоро узнали участь Лентула и Цетега. Катилина сразился с Антонием вместе с теми, кто у него оставался, и был убит, а войско его истреблено.

Несмотря на все это, были люди, приготовленные к тому, чтобы поносить Цицерона и делать ему зло. Предводителями их были Цезарь, которому в следующий год надлежало быть претором, Метелл и Бестия, будущие трибуны. Они получили начальство, когда Цицерону оставалось несколько дней управлять, и не допускали его говорить народу, но, поставив на рострах скамьи, не позволяли ему пройти; наконец позволили ему взойти для произнесения присяги касательно исправления своей должности с тем, чтобы сойти немедленно. Цицерон предстал, дабы присягнуть, и как скоро все утихло, то он произнес присягу, не древнюю, но свою новую; он клялся, что спас отечество и сохранил республику в целости*. Присягу эту повторил и весь народ. Цезарь и трибуны еще более досадовали и старались возбудить против Цицерона беспокойства. Они предложили закон об отозвании Помпея обратно с войском для низложения Цицеронова самовластия. К счастью для Цицерона и всего города, трибуном народным был тогда Катон, который противился их покушениям, пользуясь равной с ними властью, но гораздо большей славой. Он легко разрушил их замыслы и возвеличил до того консульство Цицерона, говоря в защиту его народу, что определены были ему величайшие почести, какие только кому-либо были определены, и дано ему было название «отца отечества». Он первый, кажется, получил сие название, данное ему Катоном в присутствии всего народа*.

Цицерон был тогда в Риме в величайшей силе, но многим становился он неприятен не потому, чтобы он сделал какое-либо дурное дело, но потому, что при всяком случае хвалил и прославлял себя. Нельзя было прийти ни в сенат, ни в Собрание, ни в суд, чтобы не слышать той же песни про Катилину и Лентула. Наконец он наполнил свои сочинения и книги похвалами о себе. Речи его, которые были сладостны и исполнены приятности, сделались от того неприятными и противными для слушателей; и эта докучливая привычка, как злобная судьба, никогда от него не отставала. Несмотря на это неумеренное его честолюбие, он нимало не был завистлив к славе других, но расточал обильно хвалы как современным ему отличным мужам, так и прежде бывшим, как можно видеть из его сочинений. Многие из достопамятных слов его дошли до нас. Об Аристотеле он говорит, что это река, катящая золото; о Платоновых разговорах уверяет, что когда бы Зевс захотел говорить человеческим языком, то говорил так, как пишет Платон. Феофраста обыкновенно называл своим услаждением. Когда спрашивали его, которая из речей Демосфена казалась ему лучшей, то он отвечал: «Самая длинная». Несмотря на то, некоторые из тех, кто выдает себя за почитателей Демосфена, привязываются к одному слову Цицерона, находящемуся в письме его, в котором он пишет друзьям своим, что, дескать, и Демосфен временами дремлет в речах своих; однако ж они забывают великие и удивительные похвалы, произнесенные им касательно этого мужа; забывают также, что те речи, к сочинению которых он приложил величайшее старание и которые писаны им против Антония, назвал он «Филиппиками»*.

Что касается до его современников, славных красноречием или ученостью, то нет ни одного из них, которого бы он не возвысил славы благосклонным о нем суждением, словесным или письменным. Он исходатайствовал перипатетику Кратиппу право римского гражданина в то время, когда уже начальствовал Цезарь; он произвел также то, что Ареопаг просил этого философа оставаться в Афинах и беседовать с молодыми людьми, как бы он был украшением их города. Есть письма Цицерона, одни к Героду*, другие к сыну своему, в которых советует ему учиться философии у Кратиппа, а с ритором Горгием запрещает всякое общение, виня того в том, что вводит молодого человека в негу и пьянство. Это письмо и другое, к Пелопу Византийскому, одни писаны на греческом языке с некоторой досадой. Цицерон справедливо порицает Горгия, если он был дурной и развращенный человек, каким в самом деле он казался, но в письме к Пелопу он жалуется малодушно на то, что Пелоп не заботился об исходатайствовании ему со стороны византийцев некоторых почестей и постановлений в его пользу.

Честолюбие его обнаруживалось как этими поступками, так и тем, что он, гордясь силой своего красноречия, увлекался далее пределов пристойности. Некогда говорил он речь в защиту Мунатия, который и был оправдан, но вскоре после того Мунатий преследовал судом Сабина, приятеля

Цицерона. Это воспламенило Цицерона таким гневом, что он сказал ему: «Ужели ты собственными силами, Мунатий, избегнул прежний суд, а не я навел мрак на судей в деле, в

котором сиял столь яркий свет?» Некогда хвалил он с трибуны Марка Красса и тем заслужил всеобщее одобрение. После немногих дней он поносил его, и когда Красс сказал ему: «Не на этом ли месте ты за несколько дней меня хвалил?», то Цицерон отвечал: «Да, я это сделал, но для упражнения; я испытывал свое искусство в дурном предмете». Красс некогда сказал перед народом, что никто из рода Крассов не жил в Риме долее шестидесяти лет, но вскоре он отпирался от своих слов и говорил: «Какая бы была нужда мне это сказать?» – «Ты знал, – отвечал Цицерон, – что римлянам будет приятно это слышать и через то ты старался им нравиться». Некогда Красс сказал, что любит стоические правила, ибо оные доказывали, что только добродетельный человек богат. Цицерон возразил: «Не более ли нравится тебе то правило, что все принадлежит мудрому». Известно, что Красса обвиняли в любостяжании. Один из сыновей Красса был весьма похож на некоего Аксия (что наводило подозрение на поведение его матери), и некогда он говорил в сенате речь, заслужившую всеобщее одобрение. Когда спрашивали Цицерона, что он об этой речи думает, то он отвечал: «Аксиос – Крассу»*.

Красс перед отъездом своим в Сирию желал лучше иметь Цицерона приятелем, нежели врагом; и потому, льстя ему, сказал, что желал бы у него поужинать. Цицерон принял охотно предложение. По прошествии нескольких дней друзья его говорили ему, что Ватиний хотел с ним мириться и соединиться дружбою – он был его неприятелем. «Не хочет ли и Ватиний ужинать у меня?» – спросил их Цицерон. Таков он был в отношении к Крассу. Самого же Ватиния, который имел на шее желваки и говорил в суде речь, Цицерон назвал пухлым оратором. Некогда сказали ему, что Ватиний умер, но вскоре получил верное известие, что он жив. «Пропади тот, кто так бесчестно солгал!» – сказал Цицерон. Когда Цезарь определил, чтобы земля кампанская была разделена между воинами, и многие в сенате на то негодовали, то Луций Геллий, который был весьма стар, сказал, что тому не бывать, пока он жив. «Так подождем немного, – сказал Цицерон, – Геллий не требует дальней отсрочки». Некто по имени Октавий, которого подозревали в том, что он родом из Ливии, при некотором судопроизводстве сказал, что ему не слышно Цицерона. «Однако у тебя ухо проколото»*, – сказал Цицерон. Метелл Непот сказал некогда, что Цицерон более людей погубил свидетельствами, нежели спас защищениями. «Я признаюсь, – возразил ему Цицерон, – что во мне более справедливости, нежели красноречия». Один молодой человек, которого подозревали в том, что он дал яд в пироге отцу своему, выдавал себя за смельчака и говорил, что будет ругать Цицерона. «Мне это будет приятнее, нежели твой пирог», – сказал ему Цицерон. Публий Сестий в некотором судопроизводстве принял Цицерона в число своих защитников вместе с некоторыми другими, но хотел все сам говорить и никому из них не дал слова молвить. Когда уже не было сомнения, что судьи его разрешают и подавали в пользу его голоса, то Цицерон сказал ему: «Пользуйся этого дня обстоятельствами, Сестий! Завтра ты будешь самым обыкновенным человеком». Публий Коста выдавал себя за законоискусника, но не имел ни знаний, ни дарований. Цицерон в некотором судопроизводстве звал его в свидетели. Коста сказал, что он ничего не знает. «Может быть ты думаешь, – сказал Цицерон, – что тебя спрашивают о законах?» Метелл Непот в некотором споре с Цицероном многократно спрашивал его: «Да кто отец твой, Цицерон?» – «Твоя мать, – сказал он Непоту, – сделала бы ответ этот для тебя труднее». В самом деле мать Непота была дурного поведения, а сам он человек весьма непостоянный. Некогда он сложил с себя вдруг трибунство и отплыл к Помпею в Сирию; оттуда возвратился таким же странным образом. Он похоронил с великим старанием Филагра, своего наставника, и на гроб его поставил каменного ворона. «Вот уж это ты умно сделал, – сказал ему Цицерон, – ибо наставник твой более научил тебя летать, нежели говорить». Некогда Марк Аппий в начале речи своей в суде сказал, что его приятель просил его употребить все свое старание, все красноречие и всю верность. «Ужели ты так жесток, – сказал ему Цицерон, – что не захочешь употребить ничего того, о чем просил тебя твой приятель?»

Прилично оратору употреблять колкости против своих неприятелей и соперников, но охота для смеха причинять другим неудовольствие навлекали на Цицерона великую ненависть. Я представлю здесь немногие тому примеры. Марка Аквилия, оба зятя которого были изгнанниками, называл он Адрастом*. Цицерон домогался консульства в цензорстве Луция Котты, который был большой охотник до вина. Во время избрания имея жажду, он просил воды и между тем как пил, сказал стоявшим вокруг приятелям: «Вы хорошо делаете, боясь, чтобы

цензор за меня не осердился за то, что я пью воду». Некогда встретив Вокония, который вел за собою трех безобразнейших дочерей, Цицерон произнес стих:

Без воли Фебовой он произвел детей!*

Марк Геллий, как подозревали, происходил от родителей несвободных. Некогда он читал в сенате письма громким и возвышенным голосом. «Не удивляйтесь тому, – сказал Цицерон, – это один из тех, кто был некогда глашатаем». Фавст, сын Суллы, управлявшего самодержавно Римом и многим определившего смерть по проскрипции, расточав свое богатство и будучи обременен долгами, объявил, что продает свое имение с публичного торга. Цицерон сказал: «Это обнародование нравится мне более, нежели обнародования отца его».

Таковые выражения делали его ненавистным для многих. Клодий и его сообщники восстали против него; поводом к тому было следующее. Клодий был молодой человек благородного происхождения, но дерзкий и наглый. Он влюбился в Помпею, жену Цезаря, и тайно вошел в ее дом, переодетый в платье певицы, в то время, когда в нем женщины приносили тайную и мужчинам невидимую жертву. Во всем доме не было ни одного мужчины. Клодий, будучи весьма молод и без бороды, надеялся, что может пройти к Помпее вместе с другими женщинами, не будучи никем примечен. Но вступив ночью в большой дом и не зная проходов, он блуждал по оному. Аврелия, служительница Цезаревой матери, увидя его, спросила об его имени. Клодий был принужден отвечать и сказал, что ищет служительницу Помпеи, по имени Абру. Аврелия поняла, что сей голос не был женский, издала громкий крик и созвала женщин. Они заперли двери, стали везде осматривать и наконец нашли Клодия в покое рабыни, вместе с которой он туда убежал. Это происшествие разнеслось по всему городу. Цезарь развелся с Помпеей и донес на Клодия в нечестии.

Цицерон был приятель Клодия, который с великим усердием содействовал ему против Катилины и служил ему телохранителем. Когда ж Клодий отвергал донос тем, что его и в Риме тогда не было, но жил в отдаленнейших поместьях, то Цицерон объявил, что Клодий в то время был у него в доме и говорил ему о некоторых делах. Это было справедливо; однако, казалось, что Цицерон донес на него не столько из любви к истине, сколько для оправдания себя перед своей женой Теренцией: она питала вражду к Клодию, по причине сестры его Клодии, которая, как подозревала Теренция, желала выйти замуж за Цицерона при содействии некоего Тулла. Этот Тулл был близкий друг Цицерона, часто ходил в дом Клодии, которая жила близ его, услуживал ей и тем подал такое подозрение Теренции, которая будучи женщина строптивая, управляла своим мужем и побудила его действовать и свидетельствовать против Клодия. Сверх того многие из знаменитейших мужей обвиняли Клодия в клятвопреступлении, в неприличном поведении, в подкуплении народа, в обольщении женщин. Лукулл представил рабынь, которые свидетельствовали, что Клодий имел связь с младшей из своих сестер: тогда та жила с Лукуллом. Было также сильное подозрение, что Клодий имел связь и с другими двумя сестрами своими – Терцией, супругою Марциея Рекса, и Клодией, которая была за Метеллом Целером. Ее прозвали Квандрантарией потому, что один из ее любовников послал к ней кошелек, в котором положил медные деньги вместо серебряных; мелкая медная монета называется квадрантом. Клодий более всего был поносим за связь его с этой сестрой.

Но в то время народ противился тех, которые соединились и свидетельствовали против него; и до того устрашил судей, что они поставили стражу вокруг судилища, и большей частью подавали свои мнения неясными, запутанными выражениями. Впрочем, число тех, которые его разрешили, было большее. Некоторые подозревали, что судьи были подкуплены. По этой причине Катул, встретив судей, сказал им: «Вы в самом деле для безопасности своей просили себе стражи; вы боялись, чтобы у вас не отняли полученных денег». Когда Клодий сказал Цицерону, что свидетельство его не было уважено судьями, то он отвечал: «Двадцать пять из них поверили мне, они-то тебя и осудили; остальные тридцать тебе не поверили, ибо не прежде тебя разрешили, как получив наперед деньги». Цезарь в сем судопроизводстве не дал свидетельства против Клодия; он объявил, что не обвинял в неверности жены своей, но развелся с нею потому, что супружество Цезаря должно быть чисто не только от дурных дел, но даже и от дурной молвы.

Таким образом Клодий вырвался из опасности и, будучи избран народным трибуном*, немедленно начал приступать к Цицерону; поднимал и вооружал против него граждан. Он приобрел любовь народа снисходительными законами; определил обоим консулам большие провинции, а именно: Пизону Македонию, Габинию Сирию. Многим бедным давал гражданство и вокруг себя имел вооруженных служителей. В Риме имели в то время великую силу Красс, Помпей и Цезарь. Первый вел явную войну с Цицероном. Помпей заставлял и того и другого искать своей благосклонности, а Цезарь готовился идти с войском в Галлию. Цицерон прибегнул к нему, хотя не был его другом. Он подозревал его со времени Катилинина заговора, но тогда изъявил желание быть при нем легатом. Цезарь на это согласился*, а Клодий, видя, что Цицерон вырвался из его трибунства, притворился, что желает мириться с ним. Он приписывал Теренции всю вину их разрыва, при всяком случае упоминал о Цицероне с благосклонностью, говорил о нем всегда ласково, как бы он не ненавидел и не сердился, но только жаловался на него умеренно, как прилично другу. Сею хитростью он совершенно рассеял страх Цицерона, который отказался быть легатом при Цезаре и вновь занялся делами общественными. Цезарь, досадуя на него, усилил Клодия, а Помпея совершенно отвлек от Цицерона; сам он объявил народу, что, по его мнению, непристойно и незаконно преданы были смерти без суда Лентул, Цетег и другие заговорщики. В этом-то состоял донос на Цицерона, которого призвали к оправданию себя. Цицерон надел печальное платье, отрастил волосы и бороду и, ходя по городу, умолял народ. Клодий всюду встречал его на улицах, имея при себе толпу дерзких и бесстыдных людей, которые, смеясь с наглостью на переодевание и на вид Цицерона, во многих местах бросая на него грязью и камнями, препятствовали ему искать заступления народа.

Несмотря на это, все почти сословие римских всадников переменило одежду вместе с Цицероном; не менее двадцати тысяч юношей за ним следовали и просили народ вместе с ним. Сенат собрался для постановления, чтобы народ переменил одежду, как бы во время общественной печали, но консулы тому противились. Клодий окружил вооруженными людьми курию, многие из сенаторов выбежали, но зрелище это не возбудило ни жалости, ни стыда; надлежало Цицерону либо бежать из города, либо оружием решить дело с Клодием. Он просил помощи у Помпея, который нарочно удалился из Рима и жил в поместьях своих при Альбане. Сперва Цицерон послал к нему с прошением зятя своего Пизона; потом и пришел к нему сам. Но Помпей, узнав о том, не захотел с ним видеться. Ему было стыдно этого мужа, который выдержал столько трудов за него и столь много говорил и действовал к его угождению. Но будучи уже зятем Цезаря, по просьбе его, предал Цицерона и забыл прежние услуги. Он вышел из своего дома другими дверьми и избегал свидания с ним. Таким образом преданный им и оставшись без защиты, прибегнул к консулам. Габиний был всегда к нему жесток; Пизон говорил с ним снисходительнее, увещевал его удалиться и уступить стремлению Клодия, перенести великодушно перемену обстоятельств и сделаться вновь спасителем отечества, которое за него страдало и было возмущаемо. Цицерон, получив такой ответ, рассуждал о том со своими приятелями. Лукулл советовал ему оставаться, уверяя его, что одержит верх над Клодием, но другие полагали, что надлежало ему бежать, ибо народ, пресыщенный неистовством и безрассудством Клодия, вскоре пожелает его. Цицерон принял совет, принес на Капитолий кумир Минервы, который долго имел у себя в доме и чрезвычайно чтил, и посвятил храму с надписью: «Минерве, хранительнице Рима». Он взял из приятелей своих проводников, вышел из города в полночь и шел пешком через Луканию, с намерением переехать в Сицилию.

Когда бегство его сделалось известным, то Клодий приступил к изгнанию его собиранием голосов и обнародовал не давать ему внутри Италии на пятьсот миль ни огня, ни воды, ни крова. Но это приказание мало было уважаемо, по причине приверженности жителей к Цицерону. Все принимали и провожали его, оказывая ему отличные ласки. Но в луканском городе Гиппонии, ныне называемом Вибон*, некий сицилиец, по имени Вибий, пользовавшийся дружбой Цицерона и получивший во время его консульства начальство над работниками, не принял его к себе в дом, а обещал ему назначить место в поместье для пребывания; Гай Вергилий, претор Сицилии, которому Цицерон оказал большие услуги, писал ему, чтобы он не приставал к Сицилии. Цицерон, огорченный этим, отправился в Брундизий, откуда попутным ветром пустился в море для переправы в Диррахий*, но подувший с

открытого моря ветер принудил его возвратиться назад на другой день; потом он пустился опять в море. Говорят, что, когда он прибыл в Диррахий и уже хотел сойти на берег, то сделалось землетрясение и колебание моря. Прорицатели заключили, что изгнание его будет непродолжительно, ибо эти происшествия знаменуют перемену.

Хотя многие посещали его из приверженности к нему, хотя греческие города спорили один с другим для оказания ему уважения, однако он был уныл, печален и все взоры свои обращал к Италии, подобно несчастным любовникам к предмету любви своей. Он обнаружил такое малодушие и бессилие, каких нельзя было ожидать от человека, который всю жизнь свою провел в унынии, хотя не редко просил он друзей своих не называть его оратором, но философом, ибо философию почитал главным предметом своих занятий, а красноречие употреблял по нужде, как орудие в управлении. Но, по-видимому, мнение людей имеет такую силу, что может стереть, точно краску, все рассуждения души и влить в управляющего обществом все страсти простого народа, если он только не будет всемерно остерегаться и обходиться с внешними обстоятельствами таким образом, чтобы иметь участие в делах самых, а не в страстях, от этих дел проистекающих.

Клодий, по изгнании Цицерона, сжег его дачи и дом, на месте которого построил храм Свободы*. Он продавал все его имение и объявлял о продаже его ежедневно; однако никто не имел охоты что-либо купить. Клодий, сделавшись страшным стороне аристократов и увлекая за собою народ, предавшийся наглости и буйству, нападал уже на Помпея и хотел уничтожить сделанные им во время его похода постановления. Помпей, будучи тем обесславлен, упрекал сам себя, что предал Цицерона и, раскаявшись в поступке своем, употреблял все средства вместе с друзьями своими для возвращения его в Рим. Клодий тому противился, но сенат постановил не решать ни единого из общественных дел, пока Цицерону не будет позволено возвратиться в Рим. В консульство Лентула беспокойства в Риме увеличились до того, что на форуме были ранены народные трибуны, а Квинт, брат Цицерона, прикинулся мертвым среди убитых и не был никем замечен. Впрочем, народ начал переменяться в мыслях. Трибун Анний Милон первый осмелился донести на Клодия в насильственных поступках; к Помпею пристали многие из римлян и из окрестных городов. Он пришел с ними на площадь, выгнал Клодия из оной и звал граждан к подаче голосов в пользу Цицерона. Говорят, что никогда ничего с таким единодушием не было утверждено народом*. Сенат, как бы соревнуясь с народом, определил: изъявить похвалу тем городам, которые приняли благосклонно Цицерона во время его изгнания, а дом его и дачи, разоренные Клодием, восстановить издержками общественными*.

Цицерон возвратился в Рим по шестнадцатимесячном изгнании. Жители разных городов встречали его с такой радостью и уважением, что употребленное впоследствии Цицероном выражение кажется недостаточно выразительным по сравнению с тем, что в самом деле происходило. Он говорил, что Италия внесла его в Рим на собственных плечах. Сам Красс, бывший ему врагом до изгнания его, в то время встречал его с удовольствием и мирился с ним, из угодности, как говорил он, к сыну своему Публию, который был почитателем Цицерона.

По прошествии малого времени Цицерон, пользуясь отсутствием в городе Клодия, прибыл на Капитолий со многими приятелями, сорвал и истребил трибунские книги, содержавшие указы, изданные в трибунстве Клодия*. Клодий на это жаловался, а Цицерон утверждал, что Клодий – родом патриций и, стало быть, принял трибунство беззаконно, а потому, что сделано в его трибунстве, не может быть действительным. Катон был этим оскорблен; он говорил Цицерону, что не хвалил Клодия и не был доволен его поступками, но почитал делом странным и насильственным, чтобы сенат определил уничтожение такого множества постановлений и дел, в числе которых находилось и все, касающееся управления его на Кипре и в Византии. Это было причиной ссоры Цицерона с Катоном; она не дошла до явного разрыва, только взаимная дружба их несколько охладела.

Вскоре после того Милон убил Клодия, и когда донесено было на него в смертоубийстве, то он представил Цицерона своим защитником. Сенат, боясь, чтобы не произошло в городе какое-либо беспокойство при опасности, в которой находился Милон, человек знаменитый и пылких свойств, поручил Помпею иметь надзор над этим судом и над всеми другими с тем, чтобы он позаботился о порядке и безопасности в городе и судилищах. Помпей занял еще ночью воинами возвышения, находящиеся вокруг форума. Милон, боясь, чтобы Цицерон не

смутился при этом необыкновенном зрелище и через то не защищал его слабо, уговорил его прибыть на форум в носилках и пребывать в покое, пока не соберутся судьи и не займут свои места. Цицерон, по-видимому, был робок не только при воззрении на оружия, но всегда со страхом начинал говорить, и при многих общественных речах едва переставал трепетать, лишь когда речь его принимала уже твердость и была во всей силе. Некогда, защищая Лициния Мурену, на которого доносил Катон, приложил он старание превзойти Гортензия, который заслужил всеобщее одобрение своей речью. Он не дал себе покоя во всю ночь и от большой заботы и бодрствования до того себя изнурил, что показался ниже себя самого. В деле Милона Цицерон был принесен на площадь и, увидя Помпея, сидящего на высоком месте, как бы среди военного стана, и сияющие оружия вокруг форума, смутился и с трудом начал речь, дрожа от страха и запинаясь. Между тем Милон бодро и мужественно предстал пред судом, не захотел ни отрастить волос, ни надеть темного платья. (Кажется, что эта самоуверенность была немалой причиной его осуждения*.) Однако Цицерон через то показался человеком, более чувствительным к опасности своих друзей, нежели робким.

Цицерон был принят в число жрецов, которых римляне называют авгурами, вместо молодого Красса, по убиении его парфянами. Потом досталась ему по жребию Киликия* и войско, состоявшее из двенадцати тысяч пехоты и двух тысяч шестисот человек конницы; он отплыл в эту провинцию. Ему было предписано, между прочим, покорить и привести в повиновение каппадокийцев и примирить их с царем Ариобарзаном. Цицерон устроил все дела к общему удовольствию без помощи оружия, заметя, что киликийцы после урона, претерпенного римлянами в Парфии*, и возникших в Сирии беспокойств были склонны к возмущению. Он не принял даров даже от царей, приносивших ему оные, а жителей освободил от угощений, которые они давали ему как правителю; между тем сам ежедневно угощал лучших людей, не с пышностью, но с приличием. Он не имел у себя привратника; никто не видал его лежащим; с утра стоя или ходя перед своим покоем, принимал тех, кто приходил к нему с приветствием. Говорят, что он никого не высек палками, ни на ком не разодрал одежд, никого не ругал во гневе и ни на кого не наложил пени, сопряженной с посрамлением. Найдя, что многие общественные деньги были похищены, заставил он похитителей заплатить оные и через то возвратил городам благосостояние; однако он, не сделав другого зла обидчикам, сохранил им честь. Цицерон вел войну и разбил разбойников, живших при Амане; за что войско провозгласило его императором*. Оратор Целий просил его о присылке к нему из Киликии барсов для некоего зрелища. Цицерон отвечал ему с некоторым хвастовством, что в Киликии нет леопардов: все убежали в Карию, досадуя на то, что только с ними одними ведется война, когда в Киликии всюду мир*.

Возвращаясь в Рим из провинции, он сначала причалил на Родосе, а затем остановился в Афинах, где провел некоторое время с удовольствием, воспоминая свое прежнее там пребывание. Он имел свидание с первейшими по учености мужами, посетил друзей своих и знакомых и, приобретая уважение и удивление Греции, возвратился в Рим в то время, когда уже все было как в лихорадке, и обстоятельства клонились к междоусобной войне.

В сенате определен был ему триумф; он объявил, что охотнее будет сам следовать за торжественной колесницей Цезаря, по заключении с ним мира. Он употреблял частные советы, писал Цезарю письма, просил самого Помпея, старался укрощать и успокоить обоих. Но зло было неисцелимо; Цезарь уже наступал на Рим; Помпей, не дождавшись его, оставил город со множеством лучших граждан. Цицерон не последовал за ним в бегстве; казалось, что хотел присоединиться к Цезарю. Приметно было, что он в самом деле колебался и был в сильном беспокойстве. Он пишет в письмах своих: «Куда обратиться? Я не решаюсь: Помпей имеет славный, похвальный повод к войне, но Цезарь лучше умеет пользоваться обстоятельствами и более способен спасать себя и друзей своих. Я знаю, от кого бежать, но не знаю, к кому». Требатий, один из друзей Цезаря, писал ему, что Цезарь думает, что для Цицерона полезнее присоединиться к нему и быть участником в его надежах, но что, если по старости своей отвергнет это предложение, то пусть едет в Грецию и живет там в покое, в отдалении от обоих. Цицерону показалось странным, что не сам Цезарь ему пишет; он отвечал с досадой, что не сделает ничего недостойного прежнего своего поведения. Вот что писано в его письмах.

Как скоро Цезарь отправился в Иберию, то Цицерон отплыл к Помпею. Он был принят

всеми с удовольствием. Но Катон наедине порицал его за то, что пристал к Помпею. «Мне, – говорил он, – было бы неприлично покинуть ту сторону, которую с самого начала я избрал, но ты был бы полезнее отечеству и друзьям, когда бы не пристал ни к какой стороне, а ожидал бы спокойно последствий. Без размышления и без нужды ты сделался врагом Цезарю и прибыл сюда для принятия участия лишь в великой опасности». Эти представления, равно как и то обстоятельство, что Помпей не употреблял его ни в каком важном деле, поколебали мысли Цицерона. Он сам тому виною, ибо не отрицал, что раскаивался; говорил с презрением о приготовлениях Помпея; скрытно порицал все принятые им меры; не воздерживался от насмешек и острых слов насчет союзников. Он ходил по стану с угрюмым, без тени улибки лицом, а между тем заставлял других смеяться, хотя не было в том нужды. Я приведу здесь некоторые из его слов. Домиций представил одного неспособного к войне человека, для занятия некоторого важного места в войске, и говорил, что он скромен и рассудителен: «Для чего ты не бережешь его в опекуны своим детям?» – спросил его Цицерон. Многие хвалили Феофана с Лесбоса, который был в войске начальником рабочего отряда, за то, что он утешил родосцев, потерявших свой флот. «Вот какое счастье, – воскликнул Цицерон, – иметь грека в начальниках!» Когда Цезарь уже преуспевал в своих предприятиях и некоторым образом осаждал союзников, то Лентул некогда заметил, что приятели Цезаря печальны; Цицерон сказал: «По твоему мнению, они на Цезаря сердиты?» Некто, по имени Марций, отправившийся незадолго перед тем из Италии, говорил о разнесшемся там слухе, будто бы Помпей осажден. «Так ты для того сюда приехал, – сказал ему Цицерон, – чтобы видеть это своими глазами и тогда только верить?» После поражения Ноний сказал, что надлежит иметь хорошие надежды, ибо в войске Помпея осталось семь орлов. «Твое утешение было бы превосходно, когда бы мы воевали с галками», – сказал ему Цицерон. Лабиен, ссылаясь на некоторые прорицания, утверждал, что наконец Помпей одержит верх над противником, Цицерон сказал: «Потребляя сию стратагему, мы потеряли ныне стан».

После Фарсальского сражения, в котором он не участвовал по причине болезни, когда уже Помпей предался бегству, Катон, имея в Диррахии многочисленное войско и сильный флот, просил Цицерона принять предводительство по законам, ибо Цицерон превышал его консульским достоинством. Цицерон отказался от начальства и не хотел принять участия в походе. Это было причиной того, что он едва не был убит. Молодой Помпей и его приятели называли его изменником и обнажили уже мечи; Катон с великим трудом, противясь им, вырвал у них Цицерона и выслал из войска. Цицерон приехал в Брундизий и остановился тут, ожидая Цезаря, который медлил в Азии и Египте по причине тамошних своих занятий. Когда ж получено было известие, что он прибыл в Тарент и оттуда сухим путем шел в Брундизий, то Цицерон обратился к нему. Он не был лишен надежды, однако боялся в присутствии многих свидетелей испытать расположение к себе победоносного неприятеля. Впрочем, не было ему нужды сказать или сделать что-либо, противное своему достоинству. Цезарь, увидя его гораздо впереди других шедшего к нему навстречу, сошел к нему, приветствовал его и, разговаривая с ним одним, продолжал свой путь несколько стадиев. С этого времени он оказывал ему отличное уважение и ласки, и когда Цицерон сочинил похвальное слово Катону, то Цезарь написал возражение, в котором хвалил красноречие и жизнь Цицерона как похожие на Перикла и Ферамена*. Сочинение Цицерона называется «Катон», а Цезаря – «Антикатон». Известно, что на Квинта Лигария донесено было в том, что он был одним из неприятелей Цезаря, и Цицерон хотел защитить его. Цезарь сказал приятелям своим: «Что нам мешает после столь долгого времени послушать Цицерона? Тем более, что дело уже решено: Лигарий – дурной человек и мне враг». Когда ж Цицерон начал говорить, то сильно на него подействовал; когда речь его, исполненная силы, страсти и разнообразных приятностей, лилась из уст его, то на лице Цезаря видны были разные краски и явно обнаруживали происходившие в душе его многоразличные движения. Наконец оратор коснулся фарсальского дела; Цезарь в сильной страсти вздрогнул всем телом, и из руки его выпало несколько записок. Он был принужден разрешить Лигария от обвинения.

После того как правление превратилось в единоначалие, Цицерон, отказавшись от дел общественных, занимался философией с теми молодыми людьми, которые оказывали к ней охоту и были знаменитейшие и первейшие в городе*. Через обхождение с ними Цицерон

приобрел опять великую силу. Главнейшее его занятие состояло в том, чтобы сочинять и переводить философические разговоры и вводить в римский язык диалектические и физические слова. Он первый или более всех римлян, как говорят, дал латинские названия таким словам, как «воображение», «сообразование», «сомнение», «постижение», «неделимое», «не имеющее частей», «пустота» и другие, этим подобные; и частью метафорами, частью по другим сходствам сделал их известными и ввел в употребление. Он употреблял для забавы способность свою к поэзии. Говорят, что когда он предавался охоте своей к ней, то в одну ночь сочинял по пятисот стихов.

Большую часть времени он проводил в своем поместье близ Тускула. Он писал своим друзьям, что ведет жизнь Лаэрта*, может быть шутя, по обыкновению своему, или из честолюбия, горя желанием заняться общественными делами и огорченный настоящим положением дел. Редко он приходил в город для приветствования Цезаря; он был из числа тех, кто первые подавали голоса свои в утверждение назначаемых ему почестей и сказать всегда что-нибудь новое в похвалу Цезаря и его деяний. Так на примере, когда Цезарь велел восстановить снятые и сверженные кумиры, воздвигнутые в честь Помпея, то Цицерон сказал: «Цезарь этим кротким поступком восстановил Помпеевы кумиры, а свои еще более утвердил».

Он имел намерение написать отечественную историю, присоединить к ней многие происшествия из греческой истории и поместить в ней все достопамятные сказания и басни, но удержали его от того многие общественные и домашние дела, постигшие его против воли; однако большую часть из них, кажется, навлек на себя сам. Во-первых, он развелся с женою Теренцией, которая во время войны не радела о нем настолько, что он предпринял путь без необходимых пособий, а даже по возвращении своем в Италию не был ею принят благосклонно. Она не приехала в Брундизий, где он жил долго, и когда ее молодая дочь предприняла сей дальний путь, то она не дала ей ни довольно проводников, ни приличного напутствия; самый дом показала она Цицерону пустым, обремененным великим множеством долгов. Таковы, говорят, самые благовиднейшие причины их развода. Но Теренция их отвергала, и Цицерон сам еще подкрепил ее оправдания лучшим образом, женившись после краткого времени на девице*, как Теренция разгласила, что по любви к красоте ее, а Тирон*, вольноотпущенник Цицерона, пишет, по причине ее богатства, желая расплатиться с долгами. Эта девица была весьма богата. Цицерон берег ее имущество, как наследник по доверию. Имея несколько сот тысяч долгу, был он убежден своими приятелями, несмотря на свою старость, жениться на сей девице, дабы освободиться от заимодавцев, пользуясь ее имением. Антоний упоминает об этом браке в возражениях своих на «Филиппики» и говорит, что Цицерон удалил от себя жену, подле которой состарился, и заодно весьма колко издевается над Цицероном как над домоседом, проведшим жизнь праздную и не воинственную.

Несколько времени спустя после его женитьбы умерла в родах дочь его, бывшая за Лентулом, с которым вступила в супружество по кончине Пизона, первого своего мужа*. Для утешения Цицерона стеклись отовсюду философы; однако это несчастье сильно его тронуло. Он развелся со второй женой, которая, казалось, обрадовалась смерти Туллии. В таком положении были домашние дела Цицерона*.

Что касается до заговора, составленного против Цезаря, то Цицерон в нем не участвовал, хотя был из числа близких приятелей Брута и, казалось, более всякого другого скучал настоящим положением республики и желал прежнего порядка вещей. Но заговорщики боялись его натуры, как не имеющей смелости, и лет его, в которые самые сильные характеры лишаются прежней храбрости.

Когда Брут и Кассий совершили замысел, когда друзья Цезаря соединились против них, и Рим вновь был в опасности впасть в междоусобную войну, то Антоний, будучи консулом, собрал сенат и говорил вкратце о единодушии; затем говорил Цицерон, долго и прилично настоящим обстоятельствам, и убедил сенат, подражая афинянам, предать забвению все*, касающееся до Цезаря, а Кассию и Бруту назначил провинции. Но ни одно из этих предложений не было исполнено. Народ, тронутый жалостью к Цезарю, как скоро увидел мертвое тело его, выносимое через площадь, и показываемую Антонием окровавленную его одежду, изрубленную мечами, придя в яростное исступление, искал заговорщиков на площади и побежал с огнем к их домам, дабы оные сжечь. Заговорщики предостереглись заранее; они

избегли сию опасность, но ожидая других, еще больших, оставили Рим.

Антоний имел уже великую силу; он был страшен для всех, ибо, казалось, он намеревался быть самовластителем. Но для Цицерона он был еще страшнее. Он видел, что сила Цицерона в городе опять возрастала и что Цицерон имел связь с сообщниками Брута; присутствие его было ему неприятно. Еще прежде существовала между ними некоторая неблагоприятность по причине разности их образа жизни. Цицерон, боясь этого сперва, решился отправиться с Долабеллой в Сирию в качестве легата. Но Гирций и Панса, которым следовало быть после Антония консулами, люди добродетельные и почитатели Цицерона, просили его не оставлять их; они обещали низложить Антония, если Цицерон останется в Риме. Хотя Цицерон не совсем им верил, однако оставил Долабеллу, обещал Гирцию и Пансе провести лето в Афинах и возвратиться в Рим, как только они получат консульства, и отправился один. Между тем плавание затянулось, и новые слухи, дошедшие к нему из Рима, извещали его, что в Антонии произошла удивительная перемена; что он во всем действует согласно воли сената; что нужно лишь присутствие Цицерона для приведения всего к лучшему устройству. Цицерон, упрекая сам себя в лишней осторожности, опять возвратился в Рим. Сперва надежды его не были обмануты; от радости и желания видеть его из города вылилось такое множество народа, что прием и приветствия, оказываемые ему у ворот и при входе его в городе, продолжались целый день. На другой день Антоний собрал сенат и звал Цицерона; тот не явился, а лежал в постели, под предлогом слабости после утомительной дороги. На самом же деле, он боялся козней Антония, ибо на пути внушено ему было некоторое к нему подозрение. Антоний, досадуя на его недоверчивость, послал воинов с приказанием привести его или сжечь его дом. Многие противились ему и упрашивали его; Антоний смягчился по принятии лишь залогов. С этого времени они действовали друг против друга. Вскоре молодой Цезарь прибыл из Аполлонии, принял наследство Цезаря и поссорился с Антонием, присвоившим из Цезарева имущества двадцать пять миллионов драхм.

Филипп, отчим молодого Цезаря, и Марцелл, женившийся на его сестре, пришли к Цицерону вместе с молодым человеком и условились в том, чтобы Цицерон действовал в пользу его в народе и в сенате своим красноречием и своей силою, а чтобы Цезарь доставлял ему безопасность оружием и деньгами, ибо при молодом Цезаре было уже немалое число тех воинов, которые служили в походах под предводительством Цезаря. Цицерон, кажется, имел еще важнейшую причину к принятию дружбы его. Еще при жизни Помпея и Цезаря приснилось ему, что он созвал на Капитолий некоторых из сенаторских детей, как будто бы Юпитеру угодно было одного из них сделать владыкою Рима; что граждане, стекаясь, в сильном ожидании обступили храм, и дети сидели с молчанием в своих пурпуром обшитых одеждах. Внезапно отворяются врата, и дети один за другим по очереди встают и обходят вокруг бога, а бог осматривал их и отсылал к великому их неудовольствию. Когда ж молодой Цезарь предстал, Юпитер протянул ему десницу и возвестил: «Римляне! Тогда будет конец вашим междоусобным браням, когда он будет вождем вашим». Вот какой сон, говорят, увидел Цицерон; вид молодого Цезаря врезался в память; Цицерон живо помнил его, хотя лично не знал. На другой день после этого он увидел этого мальчика, идучи на Марсово поле, когда молодые люди расходились по окончании своих телесных упражнений. Он первый явился Цицерону таким, каким показался во сне. Цицерон был тем изумлен и спросил, кто его родители. Отец его был Октавий, человек не из числа знаменитейших, а мать – Аттия, племянница Цезаря*. Цезарь, не имея своих детей, оставил ему по завещанию дом свой и все имущество. Говорят, что со времени сновидения Цицерон при всякой с ним встрече оказывал ему внимание, и Октавий принимал с удовольствием эти знаки расположения, ибо действием случая он родился в год консульства Цицеронова.

Впрочем, все это почиталось подлогом. Цицерон сблизился с Цезарем из-за ненависти своей к Антонию и по свойствам своим, которые не могли устоять против оказываемого ему почтения. Цицерон рассчитывал в делах присоединить к себе всю силу Цезаря. Этот молодой человек до того откровенно заискивал перед ним, что даже давал ему название отца. Брут сильно негодовал и в письмах своих Аттику порицал Цицерона за то, что тот привязался к Цезарю из страха к Антонию и тем невольности отечества содействовал, а себе приобретал снисходительного властелина. Но несмотря на то, Брут принял к себе Цицеронова сына,

которого нашел в Афинах в сообществе философов, дал ему место в войске и во многих случаях употреблял его с успехом.

Между тем сила Цицерона в Риме достигла уже величайшей степени; он одерживал верх над кем только хотел. Он низвергнул Антония, изгнал его из Рима и выслал против него консулов Гирция и Пансу, дабы воевать с ним; он убедил сенат дать Цезарю ликторов и знаки преторского достоинства, как защищающему отечество. Антоний был разгромлен*, но оба консула пали в сражении, после чего все военные силы присоединились к Цезарю. Сенат страшился уже молодого человека, которому счастье чрезвычайно благоприятствовало, старался почестями и награждениями отвлечь от него войско и уменьшить его силу, не имея уже после бегства Антониева никакой нужды в защитниках. Цезарь, устрашившись сего, подослал к Цицерону приятелей своих, которые уговаривали его и просили, чтобы он искал консульства вместе с Цезарем, делами управлял один как хотел, принял бы начальство и руководил бы по своей воле юношей, который только жаждал почестей и славы. Сам Цезарь признается, что боясь быть низверженным и лишенным защиты, воспользовался весьма кстати любоначалием Цицерона, обещал содействовать ему в получении оного.

Соблазненный посулами Цицерон, уже старый, вознесенный молодым человеком и им обманутый, помогал ему при выборах народных и склонил в пользу его сенат. Впрочем, приятели его тогда же его укоряли, а вскоре он почувствовал, что погубил сам себя и предал свободу римлян. Молодой Цезарь, усилившись и получив консульство, не желал более видеть Цицерона, заключил дружбу с Антонием и Лепидом и, совокупив свои силы, разделил с ними римскую державу, как некое поместье; более двухсот мужей определено было к смерти. Самое большее разногласие между ними произвела проскрипция Цицерона. Антоний не соглашался никаким образом мириться, когда бы Цицерон не погиб первый; Лепид поддержал мнение Антония, и Цезарь противился обоим. Они сошлись одни тайно в Бононии и пробыли вместе три дня на каком-то острове посреди реки, далеко от войска. Говорят, что в первые два дня Цезарь твердо защищал Цицерона, но в третий уступил и предал этого мужа. Жертвы, которые триумвиры друг другу приносили, были следующие: Цезарю надлежало предать Цицерона; Лепиду – брата своего Павла; Антонию – Луция Цезаря, который был ему дядей по матери*. До такой степени от ярости и бешенства забыли они рассудок и человечество или, лучше сказать, доказали, что нет зверя лютее человека, когда будет страсть его сопряжена с властью могущества.

Между тем как это происходило, Цицерон находился в поместьях своих в Тускуле, вместе с братом своим. Получив известие о проскрипциях, они вознамерились переехать в Астуру, приморское поместье Цицерона, а оттуда в Македонию к Бруту, ибо уже пронесся слух, что он имел многочисленную силу. Будучи погружены в горести и отчаяния, они продолжали путь свой на носилках. Дорогою они останавливались, ставили вместе свои носилки и оплакивали свои бедствия. Более унывал Квинт, представляя себе свое ужасное положение. Он говорил, что не взял ничего с собою из дома; у Цицерона также было весьма мало денег. Квинт признал за лучшее возвратиться назад, дабы взять в доме своем все нужное, а между тем Цицерон продолжал бы свой путь далее. Цицерон согласился; они обняли друг друга, поплакали и разошлись. Квинт через немного дней был предан служителями искавшим его и убит вместе с сыном своим. Цицерон прибыл в Астуру, нашел судно, сел на оное и, пользуясь погодой, приплыл до Цирцеи*. Кормчий хотел немедленно оттуда отправиться, но Цицерон, боясь ли моря, или не совсем еще потеряв доверие к Цезарю, вышел на берег и прошел пешком до ста стадиев, как бы хотел идти в Рим, но в душевном беспокойстве он переменил мысли и возвратился к морю в Астуру. Здесь провел он ночь в неприятных и беспокойных помышлениях. Между прочим пришло ему на ум пробраться тайно в дом Цезаря, умертвить себя на домашнем жертвеннике и обратить на него мстительную фурию, но страх мучений отклонил его от этого предприятия. Предавшись прежним беспокойствам и переменчивым своим мыслям, он велел служителям своим вести себя морем в Кайету*, где имел поместья и приятное жилище для летнего времени, когда дуют этесии*. Здесь находится малый храм Аполлонов близ моря. С кровли храма поднялось вместе несколько воронов и с криком пустились к судну Цицерона, несомому греблею к берегу. Они сели по обеим сторонам мачты; одни кричали, другие ударяли по концам снастей. Это знамение всем показалось

неблагоприятным. Цицерон вышел на берег, пришел в свою дачу и лег с намерением отдохнуть. Вороны большей частью теперь сидели на окошке и шумели; один из них прилетел к ложу, где лежал Цицерон, покрывшись, и клювом несколько отдернул платье с его лица. Как скоро служители это увидели, то упрекнули себя, что сами не защищают своего господина, но ожидают быть свидетелями его смерти, между тем как бессловесные твари ему помогают и заботятся о нем в столь незаслуженном несчастии. Частью просьбами, частью насильственно понесли его к морю на носилках.

В то самое время прибыли со служителями своими убийцы – сотник Геренний и тысяченачальник Попилий, которого некогда защищал Цицерон, обвиненного в отцеубийстве. Найдя двери запертыми, они постучались. Цицерона нигде не было видно; домашние уверяли, что не знали, где он. Но один молодой человек, получивший от Цицерона воспитание и образованный им словесностью и науками, бывший вольноотпущенником брата его Квинта, по имени Филолог, дал ему знать о носилках, которые несли к берегу тенистыми аллеями. Тысяченачальник взял с собою немногих, обошел ее. Геренний бегом шел по алее; Цицерон, заметив это, велел служителям остановиться и поставить на землю носилки, а сам по обыкновению, подперев левой рукой подбородок, смотрел пристально на убийц своих, обросший волосами, неопрятный, с лицом, истощенным от забот; между тем как Геренний поражал его, то все другие из жалости покрыли себе лица. Цицерон принял удар, вытянув шею навстречу мечу; ему было тогда от роду шестьдесят четыре года. Сходно с приказанием Антония отрублены ему были голова и руки, которыми писал «Филиппики». Цицерон назвал сам «Филиппиками» речи, писанные им против Антония и доселе известные под этим именем.

Когда эти члены были привезены в Рим, Антоний по случаю находился при избрании чиновников; увидя оные, он воскликнул: «Проскрипции уже кончились!»* Он велел поставить голову и руки на трибуну – зрелище, ужасное для римлян, которые, казалось, видели не Цицероново лицо, но образ души Антония. Впрочем, Антоний оказал некоторую умеренность и правосудие, выдав Филолога Помпонии, Квинтовой жене, которая, имея его в полной власти, предала его жестоким мучениям и, наконец, заставила его помалу отсекать свое собственное тело, жарить, а потом есть. Так повествуют об этом некоторые историки. Но Тирон, отпущенник Цицерона, ни словом не упоминает о предательстве Филолога.

Рассказывали мне, что по прошествии нескольких лет Цезарь некогда вошел в комнату одного из своих внуков*. Тот держал в руке одну Цицеронову книгу и, испугавшись, спрятал под тогой. Цезарь, увидя это, взял у него книгу и, стоя, пробежал большую часть ее; потом возвратил ее молодому человеку и сказал: «Этот муж, сын мой, был учен, весьма учен и любил свое отечество». Вскоре по одержании над Антонием победы Цезарь, будучи консулом, принял в соправители сына Цицерона, в консульство которого сенат велел низложить Антониевы кумиры, уничтожил почести, ему определенные, и притом определил, чтобы никто из Антониев впредь не назывался Марком. Таким образом божество предоставило дому Цицерона случай довершить наказание Антония.

Сравнение Демосфена с Цицероном

Таковы суть в жизни Демосфена и Цицерона достопамятнейшие случаи, которые дошли до моего сведения. Оставя сравнение способностей их к ораторству, я почитаю нужным не умолчать того, что Демосфен с великим напряжением обратил к красноречию все свои дарования, от природы полученные или упражнением приобретенные, и превзошел силою и выразительностью всех тех, кто против него восставал в судебных состязаниях и тяжбах, возвышенностью и великолепием слога тех, кто пишет для показания своего красноречия, и точностью и искусством – софистов. Цицерон, будучи чрезвычайно учен и разнообразен в речах своих, оставил немалое число собственных философических сочинений по академическому способу; и в самых речах своих, касающихся судебных дел и состязаний, открывается его желание выказать свои познания и ученость.

Из самых речей каждого из них можно распознать их характер. Слог Демосфена, будучи без украшений и забав, сжатый в силу и важность, не отзывался светильней, как над ним издевался Пифей, но трезвостью и заботливостью, известной его жестокостью и суровостью

нрава. Цицерон, часто увлекаемый к шутливости своею насмешливостью и обращая для пользы своей на смех и шутку важные предметы в судах, не щадил и приличия. Так, например, в речи, говоренной за Целия, он сказал, что Целий не поступает безрассудно, наслаждаясь удовольствиями при такой пышности и неге, ибо безумно не пользоваться тем, что можно, когда славнейшие философы все блаженство полагают в удовольствиях. Говорят, что когда Катон доносил на Мурену, то Цицерон, будучи консулом, защищал его и представил в смешном виде ради Катона странности так называемых парадоксов стоической секты. Громкий смех поднялся от слушателей и простирался до самых судей. Катон, спокойно улыбнувшись, сказал сидевшим подле него: «Граждане! Какой у нас смешной консул!» Цицерон был склонен к смеху и любил шутки; на лице его изображалось спокойствие и улыбка. На лице Демосфена, напротив того, была всегда важность, заботливость и задумчивость. По этой причине был он называем противниками своими, как сам говорит, своенравным и странным человеком.

Еще можно видеть в их сочинениях, что один искусно и никого не оскорбляя, касался своих собственных похвал, когда это было нужно для важнейших видов; хотя впрочем был осторожен и умерен. Неумеренная охота Цицерона к произнесению себя в своих речах обнаруживает ненасытную жадность к славе, когда он, например, кричит, что оружие должно уступить тоге, а триумфальный лавр – красноречию*. Наконец, хвалит он не только свои дела и подвиги, но и речи, им произнесенные и писанные, как бы он с юношеской бодростью спорил с софистами Исократом и Анаксименом, а не надлежало управлять римлянами – народом, который ужасен был в боях и страшен для врагов*. Быть сильным красноречием необходимо человеку, занимающемуся гражданскими делами, но прельщаться славою, происходящей от красноречия, легкомысленно и низко. С этой стороны Демосфен являет в себе больше высокости и величия духа; он признавался, что его способность была не что иное, как некоторая опытность, имеющая нужду в большой снисходительности со стороны слушателей, и почитал справедливо неблагородными ремесленниками, которые напыщены своим красноречием.

Впрочем, они оба были равносильны в народе и в управлении республики до того, что в них имели нужды вожди и полководцы; как-то: в Демосфене – Харет, Диопиф и Леосфен, а в Цицероне – Помпей и молодой Цезарь, как тот сам признается в записках своих*, писанных Агриппе и Меценату. Демосфен не имел того, что более всего может показать и испытать свойства человека, а именно: власти и начальства, которые приводят в движение всякую страсть и обнаруживают всякий порок; он и не дал опыта самому себе, ибо не управлял никаким важным начальством; он не предводительствовал силами, собранными им против Филиппа. Цицерон, напротив того, будучи послан в Сицилию квестором, в Киликию и Каппадокию проконсулом в такое время, когда любостязание было в полной силе, когда посылаемые полководцы республикой и преторы, почитая кражу низкой, предавались грабежу; когда не было постыдно брать чужое, и всякий был любим, который брал умеренно, – в такое время Цицерон явил пример великого пренебрежения к деньгам, отличного человеколюбия и доброты души. Будучи в самом Риме избран в консулы, но с властью императора и диктатора, в деле против сообщников Катилины он подтвердил слова Платона, который как бы вдохновенно изрек, что тогда общества успокоятся от зол, когда некоторым благим счастьем могущество и ум сойдутся со справедливостью.

Демосфена упрекают тем, что он корыстовался своим красноречием, ибо сочинял тайно речи Формиону и Аполлодору, которые между собою тягались в суде; его обвиняли в получении денег от царя; за взятки от Гарпала приговорен к уплате пени. Если мы скажем, что это ложь, хотя о том свидетельствуют многие, однако невозможно опровергнуть то, что Демосфен не имел бы духу отказаться от даров царских, предлагаемых ему с благосклонностью и уважением, и что это не было бы свойственно человеку, дающему в рост деньги свои мореходам. То, что Цицерон отказался принять дары от сицилийцев, будучи эдилом, от царя Каппадокии, будучи проконсулом, и когда бежал из Рима от своих приятелей, которые ему давали и просили взять, о том мы уже упомянули.

Изгнание одного служит к стыду его: он изобличен был в лихоимстве; изгнание другого служит к чести его и величайшей похвале, ибо он был гоним без вины за истребление злодеев. По этой причине никто не жалел об изгнании одного, но сенат при изгнании другого переменил

одежду, изъявил печаль и решился не подавать ни на что своего мнения прежде, нежели будет позволено Цицерону возвратиться. Цицерон в изгнании провел время в Македонии бездейственно; Демосфен во время своего изгнания совершил важнейшие политические дела. Как сказано в его жизнеописании, он содействовал грекам; изгонял посланников македонских; объезжал города, показав себя гражданином, превышавшим Фемистокла и Алкивиада в подобных обстоятельствах. По возвращении своем он опять вдался в прежнюю политику и продолжал противоборствовать Антипатру и македонянам, но Цицерон навлек на себя в сенате укоризны Лелия за то, что сидел в молчании тогда, когда Цезарь искал консульства вопреки законам, будучи еще очень молод. Брут также писал ему и упрекал его тем, что он вскормил тираннство более и тягчее того, которое им низвержено.

Что касается до смерти обоих, то один достоин жалости, ибо в старости лет своих, будучи несом служителями с места на место, бегая и скрываясь от смерти, которая немного времени прежде срока, определенного природой, постигла его, наконец был умерщвлен. Другой, хотя несколько и употребил стараний к сохранению своей жизни, однако достоин удивления как за приготовление и хранения яда, так и за употребление его. Когда храм бога не мог ему служить убежищем, то он, прибегнув к некоему высшему жертвеннику, вырвался из лап стражей и убежал от Антипатра, смеясь над его свирепостью.

Агис и Клеомен и Тиберий и Гай Гракхи

Агис и Клеомен

Агис

Не пристойно и не безрассудно мнение тех, кто полагает, что миф об Иксионе, который будто бы обнял вместо Геры облако, от которого породились кентавры, придуман для славолюбцев. Эти, обняв славу, как некоторый призрак добродетели, не производят ничего законного и заслуживающего одобрения; их поступки нечисты и смешаны; они обращаются то в одну, то в другую сторону, будучи увлекаемы завистью и страстями. Они подобны пастухам у Софокла, которые говорят о стадах своих:

Им служим мы – хотя владеем ими;
Их слушать мы должны – хотя они молчат.

Действительно, то же самое бывает с теми, кто в государственном управлении исполняет желания и прихоти народа; они служат, повинуются ему, желая получить название «демагогов» и «предводителей народных». Как корабельные служители, стоящие на передней части корабля, хотя видят лучше кормчего то, что впереди их, однако на него обращают внимание и его приказания исполняют: так правители народов, полагающие славу своею целью, не что иное суть, как служители народные, имеющие лишь одно имя начальников.

Совершенно добродетельный человек не имеет никакой нужды в славе, как только потому, что через нее получает способы действовать, приобретая доверие к себе других. Человеку еще молодому и честолюбивому позволено несколько гордиться и величаться своей славою, когда она происходит от добрых дел. Возрождающиеся и развивающиеся в молодых людях такого свойства добродетели не только утверждают похвалами в их расположении, как говорит Феофраст, но они возрастают по мере того, как возвышается дух их.

Чрезмерность во всем вредна, но в политическом честолюбии она пагубна; она ведет к неустройству и явному безумию тех, кто имеет в руках своих великую власть, когда для них не то славно, что похвально, но то лишь похвально и прекрасно, что, по их мнению, славно. Фокион сказал некогда Антипатру, который требовал от него чего-то несправедливого: «Ты не можешь иметь в Фокионе и друга, и льстеца!» То же самое или подобное этому можно сказать и народам: «Вы не можете иметь в одном человеке и начальника, и подчиненного». Тогда случилось бы с ними то же, что со змеею, у которой, как говорит басня, хвост возмутился

против головы, хотел в свою очередь начальствовать и не всегда следовать за нею. Приняв предводительство, он причинял вред и себе, идучи без всякого рассуждения, и ушибал голову, которая против природы своей должна была ползать вслед за слепыми и глухими членами. Мы видим, что то же самое случается и со многими из тех, кто, управляя, старается во всем угождать народу. Приведши себя в зависимость от черни, которая предается стремлению без всякого рассудка, они не были потом в состоянии ни исправить, ни остановить беспорядка.

Вот мысли, которые внушил мне ум мой касательно славы, происходящей от угождения народу, когда я рассуждал о могуществе ее по приключениям Тиберия и Гая Гракхов. Хотя они были одарены отличнейшими способностями и воспитаны лучшим образом, хотя поставили прекраснейшее дело целью своего гражданского управления; однако они погибли не столько из страха и бесславия – страха, побуждение которого не было неблагородно. Получив великие опыты благосклонности к себе народа и почитая себя должниками его, они думали, что было для них постыдно не платить ему тою же благодарностью. Соревнуя всегда полезными деяниями народу превзойти оказываемые им почести, будучи еще более почитаемы за поступки, клонящиеся к угождению его, они таким образом возжгли и себя к народу и народ к себе равным желанием и равным честолюбием угождать друг другу взаимно; они неприметно коснулись наконец таких областей, в которых уже нельзя было двигаться дальше, поскольку это не похвально, но и стыдно уже остановиться. Но ты сам можешь судить о том из повествования о них.

Мы противоставим Гракхам чету лаконских демагогов – царей Агиса и Клеомена. И эти, подобно римским, возвышая силу народа, желая восстановить правление прекрасное и справедливое, через долгое время вышедшее из употребления, были равно ненавистны сильным, которые не хотели отстать от любостяжания, к которому они привыкли. Двое лаконцев, хотя не были братья, однако держались одних и тех же мнений в управлении, чему подало повод следующее.

Как скоро вкралась в город лакедемонян страсть к золоту и серебру, как за стяжанием богатства последовала алчность и скупость, за употреблением его – роскошь, изнеженность и пышность, Спарта лишась своего первенства и достоинства своего, находилась в низком состоянии до того времени, как воцарились Агис и Леонид*. Агис, сын Эвдамида, был из рода Эврипонтидов, шестым царем после Агесилая, перенесшем в Азию свое оружие и бывшем в великой славе среди греков. От Агесилая родился Архидам, которого убили мессапии в Италии при Мандонии*. У Архидама было два сына: старший Агис и младший Эвдамид, который вступил на престол* по убиении Антипатром при Мегалополе бездетного брата его Агиса. От Эвдамида родился Архидам; от Архидама другой Эвдамид, от Эвдамида – Агис, тот самый, о котором здесь повествуется.

Царь Леонид, сын Клеонима из дома Агиадов, был восьмым после Павсания, одержавшим в Платеях над Мардонием победу. От Павсания родился Плистоанакт, от Плистоанакта Павсаний, а как тот убежал из Лакедемона в Тегею*, то вступил на престол старший сын его Агесиполид, который умер бездетен. Агесиполиду наследовал младший его брат Клеомброт*. У Клеомброта было два сына, Агесиполид и Клеомен. Первый царствовал недолго и умер бездетным. Клеомен*, воцарившись после него, лишился при жизни старшего сына своего Акротата, а по себе оставил Клеонима, который, однако, не вступил на престол; вместо него воцарился Арей, племянник Клеонима и сын Акротата. По убиении Арея при Коринфе вступил на престол сын его Акротат*, который также погиб в сражении при Мегалополе, будучи побежден тиранном Аристодемом. Он оставил беременной супругу свою, которая родила сына. Леонид, сын Клеонима, был его опекуном, но так как он умер в малолетстве, то царство перешло к Леониду*, несмотря на то, что он не весьма был гражданами любим. Хотя общий упадок и испорченность сказались на всех гражданах по причине развращения правителей, но Леонид более всех отстал от отечественных постановлений, ибо он долгое время влачился по дворам сатрапов, искал милости Селевка и, наконец, хотел ввести неприличным образом в греческие дела и в управление, ограниченное законами, азиатскую надменность.

Напротив того, другой царь Агис превосходил умом своим и великостью духа не только этого Леонида, но и почти всех предшественников своих, царствовавших после Агесилая Великого, хотя ему не было еще двадцати лет; хотя он был воспитан в богатстве и в неге

женщинами: матерью Агесистратой и бабкою Ахридамией, которые обладали в Лакедемоне большим количеством денег; однако он ополчился против удовольствий, снял с себя убор, который возвышал красоту лица его и обнажил себя от всякого великолепия и пышности. Он гордился лишь простым плащом, употреблял лаконские кушанья, бани и простой род жизни и явно говорил, что отказался бы от царской власти, если бы через нее не надеялся восстановить прежние законы и древние обычаи.

Начало разврата и испорченности правления лакедемонян должно отнести почти к тому времени, когда они, ниспровергнув афинское владычество, наполнили свой город золотом и серебром. Впрочем, пока существовало введенное Ликургом постановление о числе домов по наследству; пока отец оставлял сыну имение свое, то некоторым образом этот порядок и это равенство, пребывая неизменными, исправляли в городе другие неустройства. Это продолжалось до эфорства некоего Эпитадея, человека сильного, но надменного и злобного, который по причине ссоры с сыном предложил закон, которым всякому позволял оставлять по завещанию и дарить при жизни дом свой и свое имение кому хотел. Он ввел закон этот, удовлетворяя тем собственную злобу; другие приняли его из алчности и утвердили, тем самым погубив лучший образ правления. Сильные без удержу приобретали имущества и удаляли от наследства тех родственников, которым оно принадлежало. Вскоре все богатство стеклось в немногие руки; граждане впали в бедность, которая вместе с завистью и ненавистью к богатым сопровождаема была низкостью чувств и пренебрежением ко всему доброму и похвальному. Спартанцев оставалось не более семисот человек; из них, может быть, сто имели землю и наследство, все другие – чернь, неимущая и презренная, сидела в городе, защищая себя слабо и без усердия против внешних браней и подстерегая время к произведению перемены и переворота в настоящем положении дел.

По этой причине Агис, почитая делом достохвальным – как то в самом деле и было – уравнять граждан и дополнить недостающее число их, начал испытывать настроение народа. Молодые люди послушались его скоро и вопреки ожиданиям; вместе с ним они обратились к добродетели и для достижения свободы переменили прежний образ жизни, точно одежду. Но старейшие, в которых разврат уже глубоко вкоренился, находясь в таком состоянии, в каком бывают беглые рабы, приводимые к своему господину, – робели; они страшились Ликурга, а в то же время злословили на Агиса, который оплакивал настоящее положение отечества и желал возвратить Спарте прежнее достоинство.

Лисандр, сын Либия, Мандроклид, сын Экфана, и, наконец, Агесилай склонились к его намерениям и более возбудили честолюбие. Лисандр был славен среди сограждан; Мандроклид более всех греков обладал искусством вести тайные дела, сопрягая смелость с хитростью и благоразумием. Что касается до Агесилая, дяди Агиса, он отличался красноречием, но был малодушен и сребролюбив. Казалось, что к предприятию этому побуждаем он был сыном его Гиппомедонтом, молодым человеком, который прославился во многих сражениях и имел великую силу, приобретши приверженность к себе молодежи. На самом же деле истинная причина, побудившая Агесилая к принятию участия в производимой перемене, были великие долги, от которых надеялся он избавиться с переменой правления. Как скоро Агис привлек и его на свою сторону, то вместе с ним начал склонять свою мать, сестру Агесилая, которая в городе имела великое влияние по множеству своих друзей, приверженцев и должников, и посредством которой производились многие общественные дела.

Агесистрата сперва приведена была в изумление, она старалась отклонить от этого намерения сына своего, представляя ему, что предпринимаемое дело невозможное и бесполезное. Но Агесилай ей доказал, что оно увенчано будет успехом и послужит общим благом; царь просил ее пожертвовать ради славы его и честолюбия своим богатством. Он представлял ей, что деньгами не мог сравниться ни с каким из других государей, ибо иные служители сатрапов и рабы наместников Птолемея и Селевка были богаче всех вместе спартанских царей, но что если воздержанием, простотою и великодушием возвысится над негою и пышностью их и введет в общество благоустройство и равенство, то этим приобретет имя и славу истинно великого государя. Честолюбие юноши возвысило дух этих женщин; они переменились в мыслях, наполнились некоторым божественным восторгом к добру и, сами уже возбуждая Агиса, заставляли его ускорить своим предприятием. Они призывали друзей своих к

содействованию ему и говорили о том другим женщинам; зная, что лакедемоняне были всегда послушны женам своим и что более они вмешивались в общественные дела, нежели мужья их – в домашние.

В то время женщины в Спарте обладали великим богатством. Это обстоятельство затруднило предприятие Агиса и поставило ему преграду. Женщины восстали против него – не столько потому, что надлежало им отказаться от неги, в которой они полагали свое блаженство и которая прославляется теми, кто не знает цены добра, сколько потому, что они лишатся почестей и силы, которые приносило им богатство. Они обратились к Леониду и просили его, как старейшего, удержать Агиса и не допустить его к произведению в действо своих намерений. Леонид был расположен помогать богатым, но боясь народа, который желал перемены, он не противился явно Агису; только тайно искал средства испортить все дело. Он клеветал на Агиса перед правителями, будто Агис в награду за самовластие, которое приобрести старается, обещает бедным имение богатых, разделение полей, отпущение долгов – и таким образом покупает себе телохранителей, а не граждан для Спарты.

Тем не менее Агису удалось сделать Лисандра эфором и немедленно предложил через него геронтам закон, главные статьи которого были следующие: отпустить долги должникам и разделить землю; поля, которые простираются от лощины при Пеллене до Таигета, Малеи и Селласии*, разделить на четыре тысячи пятьсот участков, внешние же поля на пятнадцать тысяч. Эту землю разделить между периэками*, которые были способны носить оружие; землю же, лежащую выше этих пределов, разделить между самими спартанцами. Недостающее их число дополнить из окрестных жителей и иностранных, которые получили воспитание и учение, приличное свободному человеку, и притом были бы статны собою и во всей силе их возраста; из них составить пятнадцать фидитиев*, от двухсот до четырехсот человек, которым вести жизнь по образу своих праотцов.

Закон был предложен, но мнения геронтов разошлись. Лисандр, собрав граждан, говорил им о том, а Мандроклид и Агесилай просили их, чтобы они не оставили низложенным, – из угождения к немногим, которые презирают их, – достоинство своего отечества, но вспомнили бы как древние прорицания, которые им повелевали беречься пагубного для Спарты сребролюбия, так и новейшее, от Пасифаи полученное изречение. В Таламах был весьма уважаемый храм и прорицалище Пасифаи, которая, по мнению одних, есть одна из Атлантид, родившая Амона от Зевса; другие полагают, что это есть Кассандра, дочь Приама, которая здесь окончила свои дни*, и что названа Пасифаей оттого, что всем возвещала прорицания. Но Филарх уверяет, что это Дафна, дочь Амикла, убегая от преследующего ее Апполона, превращена в дерево, что у этого бога была она в почтении и получила от него дар пророчества. Прорицания, полученные от нее в то время, повелевали спартанцам сделаться равными, сообразно законам, с самого начала Ликургом утвержденным.

Наконец, царь Агис предстал с краткой речью и объявил, что делает величайший вклад в основание нового правления и первый дарует обществу свое имение, которое состоит в обширных полях и пастбищах, да сверх того в шестистах талантах наличными деньгами; что то же самое делают мать и бабка его, все друзья и родственники его, богатейшие из всех спартанцев.

Народ был приведен в изумление великодушием молодого человека, восхищался радостью тому, что после трехсот лет явился царь, достойный Спарты. Но другой царь Леонид тогда явно восстал против него. Он рассуждал, что будет принужден принести ту же жертву, но от сограждан не получит той же благодарности; что хотя все равно уступят обществу свое имущество, однако вся честь приписана будет лишь тому, кто первый подал тому пример; он спросил Агиса, почитает ли он Ликурга человеком справедливым и достойным уважения. Агис изъявил на то свое согласие, и Леонид продолжал: «Разве Ликург уничтожал долги или ввел в гражданство чужестранцев? Не он ли думал всегда, что Спарта не может благоденствовать, если не будет их от себя отчуждать?» Агис отвечал, что он не удивляется, если Леонид, который воспитан в чужих землях и взял жену из дома сатрапов, не знает, что Ликург вместе с деньгами уничтожил в городе и займы и долги; что он не любил в городах тех только иностранцев, правила которых и образ жизни не сходствовали со спартанскими; что их одних он отвергал; что не вел войны с лицами их, но боялся их обычаев и нравов, дабы оные не

смешались с нравами граждан и не возродили в них охоты к неге, к роскоши и любостяжанию; что Терпандру, Фалесу и Ферекиду*, которые были иностранцами, в Спарте оказываемо было великое уважение, ибо они песнопением своим и любомудрием содействовали и помогали Ликургу. «Ты хвалишь Экпрена, – продолжал он, – за то, что, будучи эфором, отрубил топором две из девяти струн на кифаре Фринида; ты хвалишь тех, которые равным образом поступили с Тимофеем*, – а меня порицаешь за то, что изгоняю из Спарты негу, пышность и надменность! Но для того ли они береглись в музыке надутости и излишества, дабы беспорядок, неравенство в состояниях, несходство в нравах не дошли до такой степени, не расстроили общество и не сделали его несогласным с самим собою?»

После того народ последовал за Агисом, – но богатые просили Леонида не оставлять их; они умоляли о помощи геронтов, власть которых состояла в том, чтобы наперед рассматривать дела, – и просьбами своими и стараниями произвели то, что число отвергших закон превосходило число одобривших оный в один голос. Лисандр, будучи еще эфором, решился преследовать судом Леонида, ссылаясь на некоторый древний закон, по которому не позволяется никому из потомков Геракла жениться и иметь детей от иностранки, а кто из них выедет их Спарты и переселится в другую землю, тот осуждается на смерть. Он подучил другим обвинять Леонида, а сам, вместе с другими эфорами, наблюдал так называемое знамение, которое состояло в следующем. Каждые девять лет эфоры в ясную, но безлунную ночь сидят вместе в безмолвии, взирая на небо; если в это время с одной стороны неба пролетит в другую звезда, то они судят царей, как преступивших обязанности свои к богам, и лишают их власти до того времени, пока не будет получено из Дельф или Олимпии прорицание, оправдывающее обвиняемых царей. Лисандр уверял, что он видел это знамение; донес суду на Леонида и представил свидетелей, которые утверждали, что он женат на азиатке, которая прежде была в замужестве за одним из Селевковых наместников, и имел от нее двоих детей; что он, будучи ненавистен жене, возвратился в отечество против своего намерения и присвоил себе царство, которое нашел он никем не занятым. В то самое время Лисандр понуждал Клеомброта, который был царского рода и зять Леонида, предъявить права свои на престол. Леонид, устрашенный этим нападением, убежал с мольбою на убежище, в храм Афины Меднодомной. Дочь его, оставя Клеомброта, пристала к отцу и вместе с ним умоляла за него. Леонид призываем был к суду, но так как он не исполнил этого приказания, то постановлением эфоров объявлен он отпадшим от царского достоинства, а на место его был возведен на престол Клеомброт.

Вскоре по прошествии определенного времени, Лисандр был сменен. Новые эфоры, уважив просьбы Леонида, позволили ему оставить свое убежище и в то же время обвинили Лисандра и Мандроклида за то, что они в противность законам хотели утвердить уничтожение долгов и новое разделение полей. Находясь в такой опасности, Лисандр и Мандроклид убедили царей соединиться между собою и презреть решения эфоров, представляя им, что все могущество этой власти происходит от несогласия царей между собою; что они пристают к тому, мнение которого лучшее, когда мнения другого противны пользе общественной, но когда цари будут одних мыслей, то власть их ничем не может быть уничтожена, и всякое противоречие со стороны эфоров будет беззаконно, ибо долг их управлять государством и решить дела, когда цари между собою в ссоре, но не имеют права вмешиваться в их управление, когда они единодушны. Цари, убежденные их представлениями, пришли на народную площадь со своими друзьями, заставили эфоров встать со своих кресел и избрали в эфоры других, в числе которых был и Агесилай. Они вооружили великое множество молодых людей, освободили узников и потому были страшны своим противникам, которым казалось, что они многих лишат жизни, несмотря на то не пострадал от них ни один человек. Когда Леонид вышел из Лакедемона и отправился в Тегею, то Агесилай послал других верных ему людей, которые окружили Леонида и проводили до Тегеи в совершенной безопасности.

Таким образом предприятие их шло с желаемым успехом. Никто не останавливал их, никто им не противился, когда один человек – Агесилай – все дело испортил и разрушил их предприятие. Позорнейшая страсть любостяжания была причиной уничтожения прекраснейшего и Лакедемону достойнейшего постановления. Агесилай имел обширные и плодоноснейшие поля, но был обременен долгами. Не будучи в состоянии их заплатить и не

желая лишиться своих полей, уверил он Агиса, что если введет в одно время уничтожение долгов и разделение полей, то от этого в городе произойдет великий переворот; если же сперва польстят помещикам уничтожением долгов, то они впоследствии тем удобнее примут разделение полей. Такого же мнения был и Лисандр, который также был обманут Агесилаем. Расписки должников, называемые у них клариями, снесены были на площадь, собраны в кучу и сожжены. Пламя поднялось, и богатые люди и ростовщики разошлись в унынии; Агесилай, как бы издеваясь, сказал, что никогда не видал блистательнейшего света, ни чистейшего пламени, какой видит ныне.

Народ требовал, чтобы и земля тотчас была разделена; цари дали приказание, чтобы это было исполнено, но Агесилай находил всегда затруднение и под разными предлогами отлагал приведение в действо этого дела, пока Агису надлежало выступить в поход: ахейцы, союзники лакедемонян, просили у них помощи, ибо этолийцы готовились вступить в Пелопоннес через Мегариду. Арат, полководец ахейский, собирал войско, дабы препятствовать их нападению, и писал о том эфорам.

Эфоры выслали немедленно Агиса, который был исполнен великих надежд по причине честолюбия и усердия воинов его. Они были большей частью люди молодые и бедные: освободившись уже от долгов и надеясь при том на разделение полей по возвращении из похода, они оказывали Агису чрезвычайную приверженность. Они были предметом удивления для всех городов, проходя весь Пелопоннес скромно, в величайшем порядке и без малейшего шума. Это поведение восхищало греков, которые помышляли, в каком устройстве было лаконское войско под предводительством великого Агесилая, или Лисандра, или древнего Леонида, когда воины оказывали столь много уважения к юноше, который был почти всех моложе в войске, и столько его боялись. Сам молодой царь, полагая славу свою в простоте и трудолюбии и в том, чтобы одежда и доспехи его не имели ничего особенного от других, привлекал тем к себе уважение и любовь народа. Но богатым не нравились эти действия, они боялись, чтобы сие не послужило примером низшему состоянию жителей всех городов и не побудило к беспокойству.

Присоединившись в Коринфе к Арату, который тогда держал совет касательно сражения и расположения войска, Агис показал и великое усердие к общему делу, и смелость, однако не дерзкую и не безрассудную. Он объявил союзникам, что, по мнению его, надлежало сразиться, не допуская, чтобы война была перенесена во внутренность Пелопоннеса, но, впрочем, он был готов исполнять приказания Арата, который был и старше его, и стоял во главе ахейцев; что он прибыл к ним как помощник и сподвижник, а не повелитель их и вождь. Однако Батон* из Синопы пишет, что Агис не хотел сражаться вопреки распоряжению Арата. По-видимому, он не читал того, что писал в свое оправдание сам Арат, который говорит, что почел полезнейшим впустить неприятелей внутрь Пелопоннеса по снятии уже всего хлеба с полей, а не решить участь Пелопоннеса одним сражением. Арат, приняв намерение не сражаться, распустил союзников, поблагодарив их; Агис удалился, привлекши любовь и уважение всех; между тем как в самой Спарте происходили важные беспокойства и перемены.

Агесилай был еще эфором. Избавившись от того, что прежде унижало его, он не воздерживался ни от какого несправедливого поступка, который приносил ему деньги. Против установленного порядка времени вставил он в число месяцев тринадцатый месяц, хотя круг года того не требовал, и вопреки законам взимал за него подати*. Боясь тех, кого он обижал и будучи ненавидим всеми, содержал он вооруженных людей, которые всегда окружали его, когда приходил в собрание. К одному из царей оказывал он явное презрение; в рассуждении же Агиса, он хотел дать заметить, что более по родственной с ним связи, нежели по его царскому достоинству имел к нему некоторое уважение. Он разглашал в Спарте, что вновь будет эфором.

Неприятели его решились не медлить; они составили заговор, привели открыто Леонида из Тегеи в Спарту и возвратили ему царство. Народ увидел его с удовольствием, негодуя за то, что был обманут в своем ожидании, ибо поля не были разделены. Агесилай обязан своим спасением сыну своему Гиппомедонту, молодому человеку, любимому всеми за свою храбрость, который упросил сограждан своих и тайно вывел его из города. Царь Агис укрылся в храме Афины Меднодомной; царь Клеомброт пришел в храм Посейдона с мольбою о защите. Леонид, казалось, был раздражен более против него. Он оставил Агиса и обратился с воинами к

Клеомброту. Он упрекал ему с яростью за то, что, будучи ему зятем, строил ему козни, лишил царства и изгнал из отечества.

Клеомброт не мог ничего ответить в оправдание; он сидел в страхе и безмолвии. Хилонида, дочь Леонида, которая прежде жалела о нанесенной обиде отцу ее, которая по вступлении на престол Клеомброта, отстав от него, утешала отца своего в несчастии, сидела вместе с ним в храме* в виде просительницы, а по бегстве его из Спарты носила печальную одежду, негодуя на своего мужа; эта Хилонида теперь, переменившись вместе с судьбою, сидела с мужем своим, как просительница, обхватила его руками, имея по обеим сторонам двух детей своих. Все удивлялись ее чувствам, все проливали слезы о доброте ее души и супружеской нежности, а она, коснувшись своей печально-небрежной одежды и растрепанных волос, сказала: «Отец мой, не жалость моя к Клеомброту облекла меня в эту одежду, придала мне сей печальный вид – нет! Это слезы прежней моей горести о твоих бедствиях, о твоем бегстве; слезы эти и теперь остаются на мне. Должно ли мне ныне, когда ты царствуешь и побеждаешь, проводить жизнь свою в горести или облечься в блистательную царскую одежду, видя убиваемым тобою супруга моего – первый предмет любви моей? Если он не может умилостивить тебя, если слезами жены его и детей своих не трогаешься ты, то ведай, что он за свое злоумышление к тебе жесточайшее получит наказание, нежели как ты сам ему желаешь, – прежде, чем умереть, он увидит смерть жены, так им любимой. Могу ли я после смерти его показаться перед другими женами? Я несчастная, которая не могла ни мужа, ни отца тронуть своими просьбами; которая и как супруга, и как дочь вместе со своими была несчастна и ими презренна! Если муж мой имел тогда какой-либо благовидный против тебя предлог, я его уничтожила, – я восстала против него, осудила его поступки. Но ты ныне сам делаешь его преступление извинительным, представляя царство предметом столь великим и завидным, что для него почитает справедливым убить зятя и не жалеть о своих детях».

Таковы были жалобы Хилониды! Она положила лицо на голову Клеомброта и обратила к предстоящим очи свои, томные и померкшие от печали. Леонид, посоветовавшись со своими друзьями, велел Клеомброту встать и удалиться из Спарты, а дочь свою просил не покидать его, остаться при отце, который столь сильно ее любил и который в знак своей нежности подарил ей жизнь ее мужа. Но никто не поколебал любви ее к мужу, она подала поднявшемуся с земли мужу одного сына, другого взяла на руки, поклонилась жертвеннику бога и вместе с ним вышла из храма. Когда бы Клеомброт не был испорчен пустой славой, то владея такой женой, почесть мог бы изгнание благополучием, превышающим самую царскую власть.

Таким образом Леонид изгнал Клеомброта, лишил начальства первых эфоров, избрал других на них место – и начал злоумышлять против Агиса. Сперва побуждал его выйти из храма и вместе с ним царствовать. Он говорил ему, что граждане его прощают как человека молодого и честолюбивого, обманутого Агесилаем. Но Агис, не доверяя ему, оставался в прежнем месте, и Леонид перестал его испытывать этими обманчивыми и лицемерными предложениями.

Между тем Амфарет, Дамохарет и Аркесилай ходили к Агису и проводили с ним время в разговорах; иногда выводили они его из храма и провожали в купальню, где он умывался; после чего был ими вновь приводим во храм. Они были его приятели. Но Амфарет, заняв незадолго перед тем у Агесистраты драгоценные чаши и одежды, злоумышлял против царя и его матери, желая оставить занятые вещи у себя. Он более всякого другого преклонял слух к Леониду и побуждал эфоров, из числа которых был и сам.

Поскольку Агис всегда пребывал в храме и только иногда имел обыкновение ходить в купальню, то решились поймать его, когда он выйдет из храма. Они подстерегли его, приветствовали и провожали его, разговаривая между тем с ним и шутя как с молодым человеком, приятелем своим, пока пришли в такое место, с которого поворачивалась дорога. Амфарет, по причине своего достоинства, схватив Агиса, сказал ему: «Агис! Я веду тебя к эфорам – ты должен дать отчет в своем управлении». Дамохарет, будучи силен и высок, накинул ему на шею свое платье и тащил его. Другие, которые были ими приготовлены, толкали его сзади. Никто ему не помогал – не было видно ни одного человека. Таким образом они ввергли его в темницу. Леонид тотчас туда поспешил с толпой наемных воинов и обступил темницу снаружи. Эфоры пришли к Агису, они призвали туда же и тех геронтов, которые были

одних с ними мыслей, дабы произвести над ним суд, и велели молодому человеку оправдаться в своих поступках. Агис усмехнулся, слыша эти притворные речи их. Амфарет объявил ему, что он раскается и получит наказание за свою дерзость. Другой эфор как бы благоприятствовал Агису и хотел ему показать средство избегнуть обвинения, спросил его, не был ли он принужден к совершению таковых поступков Лисандром и Агесилаем. Агис отвечал, что его никто не принудил; что он, соревнуя и подражая Ликургу, хотел ввести прежний образ правления. Тот же эфор опять спросил, не раскаивается ли он в своих поступках. Агис отвечал, что не раскаивается в своих добрых намерениях, хотя бы увидел себя доведенным до последней крайности. Тогда эфоры приговорили его к смерти.

Они велели служителям вести его к Дехаде – это есть отделение темницы, где предают смерти виновников, вешая их. Дамохарет, видя, что служители не смели коснуться Агиса, что сами наемные воины оказывали отвращение к сему жестокому поступку и не хотели его совершить, почитая нечестивым и беззаконным делом наложить руки на царское тело, с бранью и угрозами повлек сам Агиса в означенное место.

Между тем в городе многие уже узнали, что Агис пойман; у дверей темницы происходил шум; многие сбежались с огнями – мать и бабка его пришли и с криком умоляли, чтобы царь спартанский был судим гражданами и чтобы ему было позволено говорить перед ними. Это побудило противников поспешить с совершением своего намерения, боясь, что если больше людей соберется, то в ночи могут его похитить из рук их.

Агис, идучи к виселице, увидел одного служителя, погруженного в горести и обливающегося слезами. «Добрый человек, – сказал он, – перестань плакать; погибая столь несправедливо и беззаконно, я лучше моих убийц». Сказав это, предал он без всякого препятствия шею свою веревке.

Когда Амфарет пришел к дверям, то Агесистрата пала перед ним, умоляя его по причине бывшей между ними дружбы и приязни. Он ее поднял и сказал ей, что с Агисом не будет поступлено насильственно и жестоко и что она может войти к сыну, если только хочет. Агесистрата просила, чтобы позволено ей было вступить туда с матерью своею. Амфарет сказал, что ничто не препятствует. Он впустил обеих, велел опять запереть двери темницы – и предал убийцам сперва Архидамию, которая была весьма стара, провела жизнь свою, пользуясь великими уважением между своими согражданами. По смерти ее впустил он Агесистрату. Она вошла и увидела сына своего лежащим на земле, мать мертвую и еще висящую. С помощью служителей она сама сняла ее, положила ее подле Агиса и покрыла – потом, упав на сына своего, целовала его в лицо и сказала: «Твоя снисходительность, сын мой, твоя кротость, твое человеколюбие погубили тебя и нас». Амфарет, который сквозь дверь видел все происходившее и слышал крик, вступил во внутренность и сказал Агесистрате с гневом: «Когда ты одобряла поступки своего сына – то получишь и одно с ним наказание!» Агесистрата, приподнявшись к петле, сказала только: «Да послужит это на пользу Спарты!»

Когда это ужасное происшествие сделалось известным в Спарте и три тела были вынесены, то сколь ни был велик страх – однако он не удержал граждан изъявлять свою печаль по этому происшествию и обнаруживать свою ненависть к Леониду и Амфарету, ибо думали, что не случилось в Спарте ничего ужаснее и мерзостнее этого злодеяния с тех пор, как дорийцы поселились в Пелопоннесе. Известно, что на лакедемонского царя самые неприятели в сражениях нелегко поднимали руки, когда его встречали, но отворачивались от него – из страха и благоговения к его достоинству. Хотя лакедемоняне столь много имели сражений с другими греками, однако до времен Филиппа один Клеомброт убит при Левктрах, пораженный копьем. Мессенцы уверяют, что и царь Феопомп пал от руки Аристомена, но лакедемоняне говорят, что он был лишь ранен им. Впрочем, касательно этого происшествия мнения различны. В самой Спарте Агис первый из царей был умерщвлен эфорами, хотя он предпринял подвиг, похвальный и достойный Спарты – и в таких летах, в которых люди и погрешая заслуживают снисхождение. Он справедливее заслужил упреки своих друзей, нежели своих врагов – ибо по великой кротости и милосердию спас Леонида и вверил себя предателям.

Клеомен

По убиении Агиса Леонид не успел захватить брата его Архидама, ибо он немедленно убежал, но жену Агиса, которая имела новорожденного младенца, вывел он из дома ее и насильственно выдал замуж за сына своего Клеомена, хотя тот был еще слишком молод для брака, но Леонид хотел только, чтобы она не была в супружестве за другим. Агиатида, дочь Гилиппа, была наследницей великого имения; красотою превосходила всех гречанок и нрава была кроткого. Она употребила все просьбы, чтобы не быть принужденною выйди замуж, но все было тщетно. По вступлении в новый брак она питала к Леониду величайшую ненависть, но была доброй и нежной женой, ибо молодой Клеомен почувствовал к ней при самом с нею соединении страстную любовь и некоторым образом был тронут любовью ее к Агису и тем воспоминанием, которое она к нему сохранила. Он часто расспрашивал ее о происходившем и со вниманием слушал ее речи, когда она ему рассказывала о намерениях и предприятиях Агиса.

Клеомен был от природы человек честолюбивый и великого духа и не менее Агиса склонен к простоте и воздержанию, но не имел его излишней осторожности и кротости; в свойствах его была некоторая склонность к гневу и сильное стремление к тому, что единожды показалось ему похвальным. Управлять другими по воле их казалось ему всего прекраснее, но не менее того он почитал похвальным то, чтобы покорять людей, которые ему не повиновались, и насильственно обращать их к тому, что было для них полезно.

Он не одобрял того, что происходило тогда в Спарте. Граждане были прельщены беспечностью и забавами. Царь оставлял все дела правления, когда ничто ему не препятствовало жить бездейственно в роскоши и неге по своему желанию. Общественные дела были пренебрегаемы; каждый думал только о собственной пользе. Не было безопасно, после гибели Агиса, напоминать о трудолюбии и умеренности, о воздержании и равенстве.

Говорят, что Клеомен еще в отроческих летах слушал философию у Сфера из Борисфена*, который приехал в Лакедемон и занимался тщательно образованием отроков и юношей. Этот Сфер был один из первейших учеников Зенона Китийского. Он возлюбил в Клеомене мужественный дух и воспалил его славолюбие. Когда спрашивали у древнего Леонида, каков ему кажется стихотворец Тиртей, то он отвечал: «Он способен воспламенять души молодых людей». В самом деле стихотворения Тиртея наполняли таким восторгом сердца юношей, что они в сражениях не щадили жизни своей*. Что касается до стоических правил, то они несколько опасны для людей пылких и одаренных высоким духом, внушая им дерзость, но в душе кроткой и важной производят плоды самые сродные ей.

По смерти Леонида вступил на престол Клеомен. Он нашел граждан совершенно развращенными. Богатые, занимаясь своими удовольствиями и любостяжанием, не радели о делах общественных; народ по причине своего дурного домашнего положения имел к войне отвращение и не оказывал благородной склонности к приличному воспитанию своих детей. Сам царь имел лишь одно имя царя; вся власть была в руках эфоров. Клеомен положил в уме своем все переменить и произвести переворот в республике. Он имел другом своим Ксенара, который был его любимцем с малолетства. Лакедемоняне называют любовь «вдохновением»*. Клеомен начал выведывать мысли его; он расспрашивал у него, каков был Агис, каким образом и через кого приступил к своему предприятию. Ксенар сперва с удовольствием вспоминал о тех происшествиях и рассказывал Клеомену, как что случилось. Когда же он заметил, что Клеомен с жадностью слушал речи его, что предприятие Агиса производило в нем глубокое впечатление, что он хотел часто слушать одно и то же, то Ксенар с досадой выговаривал ему за это безрассудное намерение, а наконец перестал говорить и видеться с ним. Он не открыл никому причины с ним своей ссоры, но говорил, что Клеомену она известна.

Клеомен, встретив препятствие в Ксенаре и думая, что и другие одних с Ксенаром мыслей, положил произвести в действие свои намерения сам, думая, что в военное время скорее, чем в мирное, удастся ему произвести перемену в обществе. Он произвел разрыв между Спартой и ахейцами, которые, впрочем, сами подавали повод к жалобам. Арат, который имел великую силу среди ахейцев, предпринял с самого начала соединить пелопоннесцев в один союз. В этом состояла цель всех военных предприятий и долговременного управления Арата, который был уверен, что эти народы тогда только не будут бояться внешних врагов, когда соединятся между собою; уже все почти пристали к нему, исключая Лакедемон, Элиду и тех аркадян, которые находились в зависимости от Спарты. Арат вскоре после смерти Леонида

начал беспокоить аркадян и отрывал от союза с ними народы, смежные с ахейцами, испытывая через то лакедемонян и презирая Клеомена, как молодого и неопытного человека.

Это заставило эфоров выслать с войском Клеомена для занятия храма Афины в Бельбине*. Место это есть проход в Лакедемон, за которое в то время спартанцы были в споре с Мегалополем. Клеомен занял и укрепил его. Арат не показал на то никакого явного неудовольствия; он выступил ночью с войском и хотел овладеть Тегеей и Орхоменом. Но как те, кто обещался предать ему города эти, оробели, то Арат отступил, думая, что не приметили его движения. Клеомен в насмешку писал ему, как приятелю, спрашивая, куда он в эту ночь выступал. Арат отвечал ему, что, узнав о намерении Клеомена укрепить Бельбину, хотел ему воспрепятствовать. «Я верю, – писал взаимно Клеомен, – что это точно так; однако отпиши нам, если тебе это все равно – зачем ты взял факелы и лестницы?» Арата рассмешила эта шутка, и он стал спрашивать, кто этот молодой человек. Дамократ, который был изгнан из Лакедемона, сказал ему: «Если ты намерен что-либо произвести против лакедемонян, то поспешай, пока не выросли крылья у этого птенца».

Клеомен стоял в Аркадии с тремястами человек пехоты и малым числом конницы. Эфоры, страшась войны, велели ему отступить. По удалении его Арат взял Кафии. Эфоры опять послали Клеомена. Он взял Мефидрий и разорил Арголиду*. Ахейцы с двадцатью тысячами пехоты и тысячью конницы выступили против него под предводительством Аристомаха. Клеомен встретил их близ Паллантия* и хотел дать сражение. Арат, боясь его смелости, не позволил полководцу сразиться, но отступил и был за то порицаем ахейцами, осмеиваем и презираем лакедемонянами, число которых не простиралось выше пяти тысяч. Клеомен, вознесенный духом от этого успеха, оказывал перед гражданами великую смелость и напоминал им слова некоего из древних царей*, который говаривал, что лакедемоняне не спрашивают о неприятелях сколько их, но: «Где они?»

Он обратился на помощь к гражданам Элиды, на которых нападали ахейцы. Он устремился на них при Ликее; когда же они отступали, устрашил и разбил все войско их, многих умертвил или взял в плен, так что по Греции распространилось тогда, что и Арат убит. Однако сей полководец, воспользовавшись обстоятельствами искуснейшим образом, после проигранного сражения тотчас напал на Мантинею и против всякого ожидания завладел этим городом. Лакедемоняне, упав совершенно духом, противились военным предприятиям Клеомена. Этот царь решился призвать из Мессены брата Агиса, Архидама, которому следовало быть царем из другого дома, думая тем ослабить силу эфоров, когда царская власть вернет себе прежнюю полноту и будет в равновесии с эфорскою. Но убийцы Агиса, поняв его намерения и боясь мщения Архидама, когда бы он возвратился, приняли его, когда он прибыл в город, тайно сопровождали его и тотчас умертвили – быть может, против воли Клеомена, как думает Филарх – или будучи убежден к тому приятелями своими, предал сам Архидама. Но все равно, вся вина пала на них, ибо, казалось, они принудили к тому Клеомена.

Несмотря на то, Клеомен принял намерение произвести немедленно перемену в Спарте, склонил эфоров деньгами, чтобы те определили ему поход. Он также склонил к своим мыслям многих других посредством матери своей Кратесиклеи, которая была одушевлена честолюбием сына и щедро покрывала расходы его. Говорят, что хотя она не имела намерения выйти замуж, однако из уважения к сыну вступила в брак с человеком, который в городе пользовался великой силой и славой.

Клеомен выступил с войском и занял Левктры, местечко, принадлежавшее мегалополитанцам. Ахейцы быстро поспешили на помощь под предводительством Арата. Клеомен построился против них под самым городом; часть войска его была разбита. Поскольку перейти глубокую рытвину Арат им не дал, но остановил их преследование, то мегалополитанец Лидиад с досадой пустился вперед со всею конницей и, преследуя лакедемонян, бросился в место, пересекаемое виноградными садами, рвами и стенами; где войско его рассыпалось и уже с трудом могло оттоле убраться. Клеомен, видя его в таком состоянии, пустил на него критян и тарентинцев*. Лидиад защищался против них с великой храбростью и пал. Лакедемоняне, одушевленные новой бодростью, нападали с восклицаниями на ахейцев и разбили их совершенно. Число убитых было велико. Клеомен выдал мертвых по заключении перемирия, но тело Лидиада велел принести к себе, украсил его багряницей,

положил на него венок и в таком состоянии послал к мегалопольским воротам. Этот Лидиад есть тот самый, который сложил с себя самовластие, возвратил гражданам независимость и город свой присоединил к Ахейскому союзу.

Клеомен, гордясь таким успехом и думая, что если он, управляя делами по своему хотению, будет вести войну против ахейцев, то легко может одержать над ними верх, открыл свои мысли Мегистоною, мужу матери своей, представляя ему, что надлежало им избавиться от эфоров, сделать имения общими между гражданами введением равенства, пробудить Спарту от усыпления и вознести ее на высокую степень власти над Грецией. Мегистоной был убежден представлениями его и склонил к его намерению двух или трех приятелей своих.

Случилось, что в те самые дни один из эфоров, который спал в храме Пасифаи, увидел странный сон. Ему показалось, что на том месте, где эфоры сидели и занимались общественными делами, стояло только одно кресло, а другие четыре были сняты. Он был приведен от того в изумление, но в то самое время услышал, будто бы из внутренности храма, голос, который сказал ему, что это лучше для Спарты. Эфор рассказал свой сон Клеомену, который сперва смутился, думая, что по подозрению на него хотели искусить его словами, но он ободрился, уверившись в истине речей говорившего. Он взял с собою тех лакедемонян, которых подозревал, что будут противиться предприятию его, покорил приставшие к ахейцам города Герею и Альсею, снабдил запасами Орхомен и поставил свой стан перед Мантинеей. Этими долгими и беспокойными походами утомил он лакедемонян до того, что большая часть из них по их просьбе оставлена была им в Аркадии; между тем как он сам пошел в Спарту с наемным войском. Дорогою объявлял он о своем намерении тем, которые казались хорошо к нему расположенными. Он шел вперед медленно, дабы напасть на эфоров в то время, когда они ужинали.

Приблизившись к городу, послал он Эвриклида в дом, где ужинали эфоры, как бы он имел сообщить им некоторое известие из войска. Ферикион и Фебид, и двое из товарищей Клеомена, называемые мофаками*, следовали за ними с малым числом воинов. Между тем как Эвриклид еще разговаривал с эфорами, воины устремились с обнаженными мечами и поражали эфоров. Первый из них, Агесилай, упал с первого удара, показалось, что был убит, однако он, прижавшись к углу, выполз полегоньку из комнаты и не был никем примечен, перешел в малую комнату, это был храм, посвященный Страху. Он был всегда затворен, но тогда, по счастью, был открыт. Вкравшись в него, Агесилай запер дверь. Другие эфоры были убиты, равно как и более десяти человек из тех, кто пришел к ним на помощь. Однако не был убит ни один из граждан, которые оставались в покое и никому не препятствовали выходить из города. Сам Агесилай, который вышел из храма на другой день, был ими пощажен.

Впрочем, у лакедемонян посвящены храмы не только Страху, но и Смерти, и Смеху, и другим подобным страстям. Они чтут страх не так, как божество, которого они отвращаются, и не потому, чтобы он был им вреден, но в том уверении, что общество наиболее содержится страхом. По этой причине эфоры, по свидетельству Аристотеля, при самом вступлении в свое достоинство повелевали гражданам брить усы и повиноваться законам, дабы они не были к ним жестоки. Через бритье усов хотели они, по моему мнению, приучить молодых людей к повиновению и в самых неважных делах. Мне кажется, что наши предки мужеством почитали не бесстрашие, но страх порицания и бесславия, ибо люди, которые боятся законов, смелы и храбры против врагов, и те, кому страшно бесславие, не боятся никаких опасностей и трудов. Справедливо мыслил тот, кто сказал: «Где страх, там и стыд». И у Гомера* Елена говорит Приаму:

Страшен ты для меня и почтен, о свекор любезный!

Сей же стихотворец говорит о греческом войске:

Страшась своих царей, в безмолвии стоят.

Люди большей частью стыдятся тех, кого они боятся. По этой причине лакедемоняне посвятили близ трапезной эфоров храм Страху, почти сравнив это достоинство их с

единовластием.

На рассвете того дня Клеомен назначил к изгнанию восемьдесят человек из числа граждан. Он велел снять эфорские кресла, кроме одного, на котором надлежало ему сидеть и судить дела. Он созвал народ, оправдал себя перед ним в поступках своих. Он говорил, что Ликург придал царям геронтов; что республика таким образом управлялась долгое время, не имея нужды в другой власти; что впоследствии по причине чрезвычайной продолжительности мессенской войны, цари находясь в беспрестанных походах, не имели времени судить граждан, избрали некоторых из своих друзей и оставили их в городе вместо себя, назвав их эфорами или надзирателями; что они сперва были не что иное, как царские слуги, но потом, мало-помалу присваивая себе власть, неприметным образом составили собственное судилище; доказательством тому служит то, что и поныне, когда эфоры зовут царя явиться к ним, то он в первый и во второй раз отказывается, а когда и в третий раз призовут его, тогда он встает и идет к ним. Астерон, который придал этому достоинству великую силу и, так сказать, напряг его власть, был эфором нескольких поколений после установления царей. Если бы они, продолжал Клеомен, вели себя умеренно, то было бы полезнее терпеть, но когда этой похищенной властью уничтожили отечественное правление до того, что одних царей изгоняли, других умерщвляли без суда, когда угрожают гибелью тем, кто желает видеть вновь восстановленным прекрасное и божественное правление Спарты, – то уже не должно долее терпеть. Если бы можно было без пролития крови изгнать из Лакедемона терзающие его язвы, негу и пышность, долги и наймы и гораздо древнейшие бедствия – бедность и богатство, то почел бы я себя счастливейшим из царей; подобно врачу исцелил бы раны отечества, не причинив ему боли, но необходимость, в которой я находился, извиняется самим Ликургом, который, не будучи ни царем, ни правителем республики, но простым гражданином желающим получить престол, вышел на площадь вооруженный; царь Харилл, этим устрашенный, прибег к жертвеннику, но что, будучи добр и любя свое отечество, вскоре сам принял участие в действиях Ликурга и охотно согласился на перемену, предлагаемую им в правлении; таковым поступком Ликург сам доказал, что переменить правление без страха и насилия было весьма трудно. Что касается до меня, я поступил весьма милостиво с теми, кто восставал против благополучия Спарты, заставив их только удалиться. Теперь я для всех граждан делаю землю общей, освобождая их от долгов, намерен осмотреть иностранцев и сделать им разбор, дабы лучшие из них, сделавшись спартанцами, спасали республику оружием, и мы не видели бы более Лаконию, опустошаемую этолийцами и иллирийцами* за неимением защитников.

После этой речи Клеомен сделал свое имение общим; примеру его последовал Мегистоной, отчим его, за ним друзья его и наконец все другие граждане. Поля были разделены. Он назначил по части земли каждому из тех граждан, которых он изгнал, обещая их возвратить в город, как скоро все успокоится. Он дополнил число граждан лучшими из периэков, составил войско из четырех тысяч тяжеловооруженных граждан, которых научил вместо копья употреблять сариссу, действуя ею обеими руками, и держать щит за кольцо, а не за ремень.

После этого обратил он все внимание к воспитанию и образованию юношей. Сфер находился при нем и все с ним устраивал. Вскоре гимнасиям и общественным столам возвращен был приличный порядок и устройство; немногие по необходимости, но большая часть произвольно, обратились к благородному и истинно лаконскому роду жизни. Дабы несколько смягчить слово «единоначалие», Клеомен избрал в цари с собою брата своего Евклида. Тогда в первый раз случилось, что спартанцы имели двух царей от одного дома.

Арат и ахейцы, как известно было Клеомену, были уверены, что в такое время, когда дела его не имели твердого основания по причине введенных им перемен, он не выступит из Лакедемона и не оставит города в волнении и беспокойстве. Клеомен счел делом славным и не бесполезным показать неприятелю ревность и дух своего войска. Он напал на владения Мегалополя, причинил им великое разорение и собрал важную добычу. Наконец, когда попались ему в руки Дионисовы художники, которые шли из Мессены, то он построил театр на неприятельской земле, поставил в награду победителям сорок мин и провел один день, смотря на их игру не потому, что зрелища занимали его, но словно издеваясь над неприятелями и своим презрением показывая превосходство своей силы. Впрочем, из всех греческих и царских

войск одно его войско не было сопровождаемо актерами, фокусниками, плясуньями и певицами, но было чисто от всякого разврата, непристойности и неприличных празднований. Большую часть времени юноши препровождали в упражнениях, а старшие в том, чтобы учить юношей. Забавы их в свободное время состояли в обыкновенных веселых шутках и в том, чтобы говорить друг другу что-либо забавное в лаконском вкусе. Какая польза происходит от этого рода забавы, о том сказано в жизнеописании Ликурга.

Общим для всех наставником был сам Клеомен; простой род жизни его, от других не отличавшийся никакой пышностью, был представляем другим как образец воздержания и умеренности. Это обстоятельство произвело в греческих делах некоторый перевес в пользу его. Те греки, которые приходили к другим царям, не столько были изумлены богатством и пышностью их, сколько отвращались их надменности и гордости, жестокости и суровости, с которой обходились с другими. Напротив того, приступая к Клеомену, который был и назывался царем, не видя вокруг него ни пурпуровых одежд и ковров, ни пышных лож и носилок, ни толпы вестников и привратников; что не давал решения в малых записках и то с великим трудом, но сам в простой одежде принимал всякого, разговаривал с ним и давал ответы с кротостью и снисхождением; они были очарованы и привлекаемы им и говорили, что он один истинный потомок Геракла.

Ежедневный стол его был прост и весьма умерен; он состоял из трех лож. Когда он угощал посланников и других иностранцев, то прибавляли еще два ложа. Служители делали приготовления несколько блистательнее; оные не состояли ни в лакомых блюдах, ни в пирожных, но в том только, что кушанье подаваемо было в большем изобилии и вино было лучше. Клеомен некогда выговаривал одному из друзей своих, узнав что он, угощая некоторых иностранцев, подал им черной похлебки и ячменных лепешек, как то было в обыкновении на спартанских общих трапезах. Он представлял ему, что в таких обстоятельствах, и особенно в отношении к иностранцам, не следовало слишком точно держаться лаконских обычаев. По снятии стола, приносили треножник с медной чашей*, полною вина, два серебряных фиала мерой в два котила и немного серебряных чаш, из которых пил, кто хотел. Никто не заставлял пить по неволе. Не было здесь ни пения, ни музыки – их никто не требовал. Царь услаждал беседу разговорами своими, то расспрашивая гостей о разных делах, то рассказывая что-нибудь сам. Разговор его при всей важности своей не был без приятностей; хотя шутки были тонки и пристойны. Он почитал несправедливыми и непристойными те средства, которыми другие цари старались приобрести приверженность людей, улавливая и развращая их деньгами и подарками. Истинно царским и похвальным почитал он то, чтобы благосклонностью и словами приятными и внушающими доверенность привязывать к себе людей, с которыми имел дело, и делать их своими. По его мнению, между наемником и другом та разница, что одного привязываем к себе деньгами, другого нравственными свойствами и разговором.

Мантинейцы прежде всех призвали к себе Клеомена. При вступлении его в город ночью они с помощью его изгнали ахейское охранное войско и предали ему себя. Клеомен возвратил им законы их и правление и в тот же день возвратился в Тегею. Вскоре после того, обойдя Аркадию, пошел он к ахейскому городу Ферам. Намерение его было или дать тут сражение ахейцам, или заставить винить Арата в том, что он избегал сражения и предавал ему область. Ахейским войском предводительствовал тогда Гипербат, но вся власть была в руках Арата. Ахейцы выступили против Клеомена всем войском и стали близ Димы подле Гекатомбея. Клеомен приближался к ним. Он не почел выгодным остановиться между Димой, который был неприятельский, и ахейским войском. По этой причине смело вызывал ахейцев к бою и принудил их дать сражение. Он разбил их совершенно, опрокинул фалангу, многих положил на месте, многих взял в плен. Потом напал на Лангон, изгнал оттуда ахейское войско и возвратил город элейцам.

Это поражение обессилило ахейцев. Арат, который обыкновенно принимал предводительство через год, отказался тогда от этого достоинства и, несмотря на просьбы и мольбу своих сограждан, предал его другому. Этот поступок не похвален, ибо он предал другому кормило и сложил с себя звание кормчего – во время опаснейшей бури! Клеомен сперва делал ахейским полководцам самые умеренные предписания; однако вскоре отправил к ахейцам своих посланников, через которых требовал, чтобы ему уступлено было

предводительство; он обнадеживал их, что не будет от них ничего более требовать, и соглашался возвратить им тотчас земли их и пленников. Ахейцы были склонны к принятию этих условий. Они звали Клеомена в Лерну, где надлежало им собраться. Случилось в то самое время, что Клеомен после утомительной ходьбы напился холодной воды не ко времени. Это произвело в нем сильное кровотечение, от которого остановился голос его. Он отпустил знаменитейших ахейских пленников, отложил съезд и удалился в Лакедемон.

Этот случай погубил Грецию, которая тогда была еще в состоянии поднять себя от унизительного своего положения и освободиться от наглости и ненасытности македонян. Арат, из страха ли и недоверчивости к Клеомену, по зависти ли к его неожиданному благополучию почитал унизительным для себя, чтобы молодой, едва появившийся соперник лишил его славы и силы, которыми пользовался в продолжение тридцати трех лет и которые он возвысил до такой степени и держал в своих руках столь долго. Итак, он сперва старался отклонить ахейцев от предложений Клеомена, но так как они не обращали на слова его никакого внимания, изумленные смелостью Клеомена, напротив того, почитали справедливыми притязаниями лакедемонян, ибо они хотели восстановить в Пелопоннесе прежний порядок вещей, то Арат обратился к другому средству, которое никакому греку не могло быть прилично, но для него было бесчестно и совсем недостойно прежних его подвигов и прежнего управления. Он призывает Антигона в Грецию, наводняет Пелопоннес македонянами, которых он сам еще в молодости своей изгнал из Пелопоннеса, и освободил Акрокоринф. Этот Арат, который был подозрителен всем царям и со всеми был в раздоре, который того же Антигона поносил беспощадно* в оставленных им записках, в которых говорит, что много претерпел трудов и великим подверг себя опасностям, чтобы освободить Афины от охранного войска македонян – Арат ныне вводит их вооруженных в отечество, в дом свой, во внутренность женских чертогов, а между тем не хочет, чтобы потомок Геракла, царствовавший над Спартой, желавший обратить отечественное правление, как бы изнеженную гармонь к дорийскому тону, к умеренности и воздержанию, постановленному Ликургом, – не хочет, чтобы он назывался предводителем сикионян и тритейцев!* Избегая черного хлеба и грубого плаща лакедемонян и, в чем наиболее обвиняют Клеомена, – уничтожения богатства и исправления бедности, – подчинил себя и ахейцев деадеме и порфире македонян, покорил себя сатрапским повелениям, дабы не казалось, что исполняет волю Клеомена. С этой мыслью он празднует Антигонии* с жертвоприношением и, увенчанный цветами, воспевает песни в честь человека, который уже гнил. Впрочем, мы пишем об этом не для того, чтобы обвинить Арата – сей муж во многом был истинный грек, был велик, – мы жалеем только о слабости человеческой природы, которая и в свойствах самых превосходных и отлично созданных для добродетели не может произвести добро совершенное!

Когда ахейцы собрались опять в Аргосе, и Клеомен прибыл из Тегеи, то все были в надежде, что воспоследует мир. Но Арат уже заключил с Антигоном условия о важнейших делах. Боясь, чтобы Клеомен не совершил своего намерения, убедив народ словами или принудив силой, он потребовал от него, чтобы он вступил в Аргос один, взяв триста заложников для безопасности, либо приблизиться с войском к гимнасию, называемому Киларабис, и вступить с ахейцами в переговоры. Клеомен, услыша это предложение, сказал, что поступают с ним обидно; что надлежало наперед ему о том объявить, а не тогда оказывать к нему недоверчивость и отгонять от себя, когда он прибыл уже к воротам их. Он написал ахейцам письмо, в котором большей частью обвинял Арата. Арат также со своей стороны поносил его перед народом. Клеомен отступил с поспешностью. Он послал вестника для объявления ахейцам войны не в Аргос, но в Эгию*, как говорит Арат, дабы предупредить их приготовления.

Между тем ахейцы были в волнении; города возмущались; простой народ надеялся на разделение полей и на уничтожение долгов; главнейшие граждане во многих местах были недовольны Аратом; некоторые негодовали и за то, что он привел македонян в Пелопоннес. Клеомен, ободренный этими обстоятельствами, вступил в Ахайю. Напав неожиданно на Пеллену, он овладел ею, изгнал охранное войско с ахейцами; потом занял Феней* и Пентелий. Ахейцы, боясь измены, которая производилась в Сикионе и в Коринфе, послали туда из Аргоса конницу свою и наемное войско, дабы стеречь города эти, а сами в Аргосе торжествовали Немейские игры. Клеомен, помыслив весьма благоразумно, что если нападет на сей город

неожиданно, и в такое время, когда был наполнен празднующим и веселящимся народом, то произведет в нем величайшее смятение, ночью вел к стенам войско, занял над самым театром близ Аспиды место, которое было круто и неприступно, и тем привел народ в такое изумление, что никто не осмелился оказать сопротивление. Охранное войско взято в плен; граждане дали ему двадцать заложников, обязались быть союзниками лакедемонян и представили предводительство Клеомену.

Этот успех немало содействовал к умножению славы и силы этого государя. Древние спартанские цари употребляли все средства, чтобы присоединить к себе надежно Аргос, но не преуспели в том. Сам Пирр, искуснейший из полководцев, вступив в Аргос насильственно, не мог им овладеть, но сам в оном был убит и погубил большую часть своего войска. По этой причине все удивлялись быстроте и прозорливости Клеомена. Те, которые над ним смеялись, когда он говорил, что подражает Солону и Ликургу уничтожением долгов и уравнением имений, ныне уже не сомневались более, что он не был виновником перемены духа в спартанцах. До него спартанцы впали в такое унижение и до того были слабы в защите самих себя, что этолийцы, вступив в Лаконию, увели пятьдесят тысяч невольников, причем какой-то старый спартанец заметил, как говорят, что этолийцы принесли великую пользу Лаконии, облегчив ее от этой тяжести. По прошествии краткого времени, едва они обратились к древним обычаям и вышли на стезю прежнего образа жизни, как бы Ликург сам тут присутствовал и управлял ими, то оказали великие опыты храбрости и повиновения правителям, вновь приобретая Лакедемону владычество над Грецией и покоряя Пелопоннес.

По покорении Аргоса пристали к Клеомену Клеоны и Флиунт. Арат находился в то время в Коринфе, отыскивая тех, кто был под подозрением в приверженности к лакедемонянам. Это известие смутило его. Зная при том, что Коринф был склонен к Клеомену и хотел отстать от Ахейского союза, он звал граждан его на совещание, но в то самое время, прокравшись до городских ворот, сел на коня, который был ему подведен, и ускакал в Сикион. Многие из коринфян пустились верхом в Аргос, чтобы уведомить о том Клеомена. Арат говорит, что все кони под ними пали; что Клеомен жаловался на коринфян за то, что не поймали его, но позволили ему бежать; что Мегистоной приехал к нему со стороны Клеомена, который требовал у него сдачи Акрокоринфа*, в котором было ахейское войско – и обещал ему за то много денег. Арат ответствовал на это, что не он управляет уже делами, но дела управляют им. Сам Арат так повествует.

Клеомен после того, выйдя из Аргоса, присоединил к себе Трезен, Эпидавр и Гермиону* и прибыл в Коринф. Он обвел валом крепость, ибо ахейцы не хотели ее сдать. Призвав к себе друзей и поверенных Арата, он велел им взять в сохранение и правление дом его и имущество. Он опять послал к нему мессенца Тритималла с предложением, чтобы Акрокоринф был охраняем ахейцами и лакедемонянами вместе, Арату же обещал выдавать ежегодно вдвое против того, что он получал от царя Птолемея. Но Арат на то не согласился; он послал к Антигону сына своего с другими заложниками и склонил ахейцев утвердить постановление о выдаче Антигону Акрокоринфа. Клеомен после того вступил в область сикионян и разорил ее; по решению же коринфян, получил в дар все имение Арата.

Между тем Антигон с сильным войском прошел Геранию*, и Клеомен думал, что надлежало укрепить валами и стенами и охранять не Истм, но проходы Ония* и, сопротивляясь македонянам на каждом крепком положении, отражать их, а не вступать в сражение с фалангою, прекрасно обученной военному делу. Он производил в действо эту мысль и тем привел Антигона в недоумение. У него не было заготовлено довольно запасов, а прорваться через проходы, занимаемые Клеоменом, было нелегко. Он предпринял пройти ночью через Лехей*, но был отражен и потерял несколько воинов. Этот успех одушевил бодростью Клеомена; воины его, гордые победой, стали спокойно ужинать. Между тем Антигон был в великом унынии; необходимость заставила его употребить самые крайние средства. Он хотел перейти на мыс Герей, а оттуда перевести силу свою в Сикион на судах, но на это требовалось немало времени и больших приготовлений. К вечеру прибыли к нему морем из Аргоса люди, преданные Арату, и звали его в Аргос, ибо аргосцы возмутились против Клеомена. Тот, кто произвел этот переворот, был Аристотель; ему не трудно было склонить к мятежу народ, недовольный Клеоменом, ибо он не уничтожил долгов, как аргосцы надеялись. Арат взял у

Антигона полторы тысячи воинов и отплыл в Эпидавр, но

Аристотель не дождался его, собрал граждан и осаждал войско, занимавшее крепость. Между тем прибыл к нему на помощь из Сикиона Тимоксен с ахейским войском.

Клеомен узнал о том в полночь. Он призвал Мегистоноя и с гневом велел ему поспешно идти в Аргос на помощь к своему войску. (Мегистоной особенно горячо ручался за верность аргивян и не допустил Клеомена изгнать из города подозрительных граждан.) Он отпустил Мегистоноя с двумя тысячами воинов и продолжал наблюдать за Антигоном. Он ободрял коринфян, старавшись уверить их, что в Аргосе ничего важного не произошло и что произведено только некоторое беспокойство немногими людьми.

Мегистоной ворвался в Аргос, дал сражение и пал. Войско, охранявшее крепость, едва могло держаться и часто посылало просить у Клеомена помощи. Клеомен, боясь, чтобы неприятели, овладев Аргосом, не заняли проходов, не опустошали безбоязненно Лаконию, не осадили и самой Спарты, которая была без защиты, отвел от Коринфа свое войско. Он тогда же лишился этого города, в который вступил Антигон, и занял его охранным войском.

Клеомен пошел прямо к Аргосу и хотел овладеть им приступом; с таковым намерением собрал он на дороге все войско воедино. Он проломал своды под крепостью и таким образом вступил в него и присоединился к бывшему в нем войску, которое еще сопротивлялось ахейцам. Он занял внутри еще другие места, приставил лестницы и принудил неприятеля очистить улицы, приказав критянам действовать стрелами. Наконец увидя, что Антигон с пехотой сходит с высот на равнину, что конница его неслась к городу, он потерял всю надежду одержать над ним верх. Он собрал к себе все свое войско, вышел безопасно из города и продолжал путь свой вдоль стены его. Вот как Клеомен в короткое время произвел величайшие перемены, одним походом едва не сделался властителем почти всего Пелопоннеса – и в одно мгновение после того опять всего лишился. Из союзников его одни тотчас от него отстали, другие вскоре после того предали города свои Антигону.

После этого отступления ввечеру находился он в Тегее, где пришедшие к нему из Лакедемона возвестили о несчастье, которое для него было не меньше настоящего – о смерти супруги, которую страстно любил и чрезвычайно уважал, с которой и во время величайших успехов не мог жить в разлуке, но часто возвращался в Спарту для свидания с нею. Эта весть жестоко поразила его. Он был огорчен так, как молодой муж, лишившийся прекрасной и добродетельнейшей жены. Однако не унизил в таком несчастье твердости духа и не изменил величию души своей. Он не переменился ни в голосе, ни виде, но сохраняя прежнюю наружность, продолжал давать военачальникам нужные приказания и принимал меры к защите Тегеи. На другой день был уже в Лакедемоне. Он оплакал в доме своем с матерью и с детьми горестную потерю и обратил все мысли свои к делам общественным.

Птолемей*, царь египетский, обещал ему пособие, но за это требовал от него в залог мать его и детей. Клеомен несколько времени стыдился объявить это условие матери своей. Несколько раз приходил к ней, начинал разговор, но не мог его докончить. Она заметила это и спрашивала у друзей его, нет ли у царя на сердце тайны, которую он не может решиться сообщить ей. Наконец Клеомен осмелился открыть ей свои мысли; царица громко засмеялась: «Об этом-то несколько раз ты начинал мне объявлять и не смел? Посади нас скорее на корабль и пошли туда, где, ты думаешь, это слабое тело может еще быть полезно для Спарты, прежде нежели оно разрушится от старости, пребывая здесь в бездействии!» Когда все было приготовлено к отъезду, пошли они сухим путем к Тенару; военная сила предшествовала им вооруженная. Прежде нежели сесть на корабль, Кратесиклея отвела в храм Посейдона сына своего, погруженного в горести и смущение, обняла его, облобызала несколько раз и сказала: «Царь Лакедемонский, постараемся, как скоро выйдем из храма сего, чтобы никто не видал наших слез и не заметил в нас ничего недостойного Спарты. Одно это зависит от нас, все прочее воспоследует так, как угодно богу». Произнеся эти слова, она приняла спокойный вид и пошла на корабль, имея при себе детей Клеомена – и велела кормчему поспешно пуститься в море.

По прибытии своем в Египет узнала она, что Птолемей принял посланников и предложения от Антигона. Она слышала также, что ахейцы предлагали мир Клеомену, но что он, боясь за нее, не хотел прекратить войну без согласия Птолемея. Она писала сыну, чтобы он

действовал так, как прилично и полезно Спарте, и не боялся Птолемея из уважения к старухе и к малым детям. Такова была эта царица в несчастьях!

Антигон по взятии Тегеи занял и ограбил Орхомен и Мантинею. Клеомен был ограничиваем одной Лаконией. Он давал свободу илотам, которые могли дать пять аттических мин выкупа, и таким образом собрал пятьсот талантов. Также вооружил две тысячи воинов по македонскому образу, дабы противоставить их Антигоновым «белым» щитоносцам. В то самое время предпринял он дело великое и никем не ожиданное.

Город Мегалополь в то время и сам по себе не был ни менее, ни слабее Лакедемона*; при том он получил помощь от ахейцев и от Антигона, который стоял подле него, и, казалось, был призван ахейцами более стараниями мегалополитанцев. Клеомен решился этот город, так сказать, сорвать – быстрота и неожиданность этого предприятия не могут быть иначе выражены. Он велел своим воинам запастись кормом на пять дней и вывел свое войско в Селласию, будто для разорения Арголиды. Оттуда спустился он на владения Мегалополя и, отужинав у Ретея, поспешно устремился через Геликунт на Мегалополь. Находясь в недальнем от него расстоянии, послал он вперед Панфея с двумя лакедемонскими отрядами с приказанием занять пространство, находящееся между двумя башнями, которое, как он знал, было место самое безлюдное в Мегалополе. Между тем сам следовал за ним медленно. Панфей нашел не только то место, но и большую часть стен никем не охраняемыми, частью занял их, частью разрушил и умертвил всех попавшихся ему стражей. В то же время присоединился к нему Клеомен и уже был внутри города с войском своим прежде, нежели мегалополитанцы смогли это заметить.

Едва жители известились о приключившемся несчастье, как одни пустились бежать, унося все то, что могли взять с собою; другие собирались с оружием и шли навстречу неприятелю и хотели его остановить; им не удалось их отразить, однако дали время безопасно удалиться тем гражданам, которые искали спасения в бегстве. Итак, в городе оставалось не более тысячи человек; все другие с женами и детьми успели убежать в Мессену. Равным образом спаслись и те, кто защищал их и сражался. В плен попало весьма немного; в числе пленников были Лисандрид и Феарид, мужи знаменитые и сильные среди мегалополитанцев. Воины, взявшие их, привели тотчас к Клеомену. Лисандрид, увидя Клеомена издали, воскликнул громко: «Царь лакедемонский! Ты можешь ныне сделаться славнейшим человеком, совершив дело прекраснее и величественнее того, что ныне сделал». Клеомен, поняв, к чему клонились его речи, сказал ему: «Что ты под этим разумеешь, Лисандрид? Не хочешь ли ты, чтобы я сдал город обратно?» – «Так, – отвечал Лисандрид, – я советую тебе не разрушить этого великого города, но наполнить его друзьями, верными и постоянными союзниками, возвратив отечество мегалополитанцам и быть спасителем многочисленного народа!» Клеомен умолк на короткое время, потом сказал: «Трудно кому-либо поверить в то! Однако пусть слава одержит у нас всегда верх над выгодой!» Сказав это, он послал этих мужей в Мессену с вестником от себя и с объявлением, что возвращает город мегалополитанцам с тем, чтобы они были союзниками его и отстали от ахейцев. Хотя предложения Клеомена были столь кротки и снисходительны, однако Филопемен не допустил мегалополитанцев нарушить верности, данной ахейцам. Он говорил, что намерение Клеомена не то, чтобы возвратить жителям город, но вместе с городом взять и жителей. Он изгнал из Мессены Феарида и Лисандрида. Этот Филопемен есть тот самый, который впоследствии был первенствующим человеком между ахейцами и приобрел великую среди греков славу, как рассказано в жизнеописании его.

До того времени Клеомен сохранил город неприкосновенным и в такой целости, что никто не тронул ни малейшей вещи, но, получив это известие, он ожесточился и, придя в ярость, велел ограбить все имущества, кумиры и живописи отвести в Спарту. Он разрушил и низложил лучшие части города и отступил в Лакедемон, боясь Антигона и ахейцев. Впрочем, они его не потревожили, ибо в то время находились в Эгии на Совете. Арат взошел на трибуну и долго плакал, покрывши лицо плащом. Это привело в удивление присутствующих – все просили его говорить, и Арат объявил, что Мегалополь разрушен Клеоменом. Ахейцы пришли в изумление от этого внезапного и великого несчастья. Собрание было распущено, Антигон хотел идти на помощь, но войско его медленно собиралось с зимних жилищ своих. Антигон велел ему оставаться и с небольшим числом воинов вступил в Аргос. По этой причине и второе

предприятие Клеомена, которое казалось дерзким и неистовым, произведено однако с великой прозорливостью, как говорит Полибий. Клеомен знал, что македоняне были рассеяны по городам на зимовье и что Антигон с немногими воинами проводил зиму в Аргосе со своими друзьями. Он вступил в Аргоскую землю, рассуждая, что либо Антигон, побуждаемый в досаде стыдом, захочет с ним сразиться, и он его побьет, либо он не осмелится вступить в сражение и Клеомену подаст повод обесславить его в глазах аргивян. Сбылось в самом деле. Клеомен разорял и опустошал беспрепятственно всю страну, и граждане Аргоса с неудовольствием толпились у дверей Антигона и требовали от него с криком, чтобы он сразился или уступил предводительство тому, кто его храбрее. Но Антигон, как прилично благоразумному полководцу, почитая постыдным подвергнуться опасности безрассудно и оставить меры безопасности, а не то, чтобы слышать хулы и порицания людей, не выступил из Аргоса, но был тверд в намерениях своих. Клеомен дошел с войском своим до самых стен Аргоса, ругался над неприятелем, разорял все и отступил беспрепятственно.

Вскоре после того Клеомен, услышав, что Антигон идет на Тегею, дабы оттуда вступить в Лаконию, собрал наскоро своих воинов и, пустившись по другой дороге, на рассвете явился под Аргосом и принялся опустошать равнину. Он не рубил хлеба секирами и мечами, подобно другим, но велел бить длинными шестами наподобие сабли, как бы воины для препровождения времени и без всякого труда все портили и разрушали. Они пришли к самой гимнасии Киларабиса и хотели зажечь, но Клеомен их не допустил, ибо и прежний поступок его с Мегалополем почитал он более произведением гнева, нежели делом, заслуживающим похвалу. Антигон сперва отступил в Аргос, потом занял своими войсками горы и все проходы. Клеомен как бы нимало о том не заботился, но пренебрегал Антигоном, послал вестников с требованием ключей от храма Геры, дабы принести жертвы богине перед своим отступлением. Ругаясь таким образом и насмехаясь над неприятелем, он принес жертву вне запертого храма и отвел войско свое в Флиунт. Он прогнал тех, кто стерег Олигирт, и пришел в Орхомен. Этими подвигами не только своим гражданам он внушил бодрость и смелость, но самим неприятелям показался он полководцем искусным и способным производить великие дела. Силами одного города вести войну против македонского войска, всех пелопоннесцев и царской казны и не только сохранять Лаконию неприкосновенной, но самому разорять неприятельские области и покорять важные и могущественные города – это ли не признак необыкновенных способностей и великого духа.

Тот, кто первый сказал, что деньги суть нервы наших предприятий – кажется, разумел под этим более всего дела военные. Афиняне некогда хотели снарядить флот и отправить его в море, но так как не было у них денег, то Демад сказал им: «Прежде чем в море пуститься, надо хлеб месить». В начале Пелопоннесской войны союзники лакедемонские требовали от царя Архидама старшего, чтобы он определил налоги, какие кому следует внести. Царь отвечал им, что война питается неопределенной мерой. Как крепкие и долгое время упражнявшиеся борцы низлагают и побеждают искусных и проворных противников долготою времени, так Антигон, имея большие способы к продолжению войны, истощал Клеомена и одерживал над ним верх, который с великим трудом едва мог платить жалованье наемному войску и содержать своих граждан.

Впрочем, затяжная война могла быть полезной Клеомену, ибо внутренние дела Македонии обращали на себя внимание Антигона. В отсутствие его варварские народы делали набеги и опустошали Македонию. Верхние иллирийцы с многочисленным войском вступили тогда в его государство. Македоняне, будучи разоряемы, просили Антигона возвратиться. Когда бы случай произвел то, что Антигон получил бы это письмо незадолго перед сражением, то он простился бы тотчас с ахейцами и возвратился в свою землю. Но счастье, которое мелкими и ничего не значащими обстоятельствами решает величайшие дела, явило в этом случае силу и перевес одного мгновения, так что немедленно после данного при Селласии сражения, когда Клеомен потерял и войско, и город, прибыли вестники, призывающие Антигона. Это сделало бедствие Клеомена достойным жалости. Если бы он два дня удержался и отсрочил сражение, то не было бы нужды более сражаться; македоняне бы удалились, и он заключил бы с ахейцами такой мир, какой они хотели, а теперь, как уже сказано, по недостатку в деньгах, полагая всю надежду свою на оружие, был принужден, по свидетельству Полибия,

сразиться с двадцатью тысячами против тридцати тысяч.

Клеомен показал себя в самой битве удивительным полководцем, со всем жаром сражались под его командой и сограждане, не мог жаловаться и на наемное войско; несмотря на то, был он побежден по причине лучшего способа вооружения неприятеля и тяжести его фаланги. Филарх уверяет, что измена более всего испортила дела Клеомена. Во время самого сражения Антигон велел иллирийцам и акарнанцам обойти тайно и окружить лакедемонское крыло, которое было под предводительством Евклида, брата Клеомена, потом поставил в боевой порядок остальную силу свою. Клеомен смотрел с возвышенного места на его движение, но не видя нигде иллирийских и акарнанских оружий, возымел подозрение, как бы Антигон не употребил их с каким-либо подобным намерением. Он призвал к себе Дамотеля, который был начальником сторожевого отряда, и велел ему осмотреть, все ли безопасно в тылу и вокруг ополчения. Но Дамотель, как уверяют, будучи уже прежде подкуплен Антигоном, сказал ему, чтобы он о том не беспокоился, что вокруг все в порядке и чтобы он обратил внимание на наступающих спереди неприятелей и против них защищался. Клеомен, поверив ему, пошел на Антигона; он опрокинул македонскую фалангу стремлением своих спартанцев, гнал и поражал отступающих на пять стадиев. Но когда Евклид был уже окружен, то Клеомен остановился, увидел опасность, в которой он находился, и сказал: «Ты погиб, любезнейший брат! Ты погиб, храбрый воин, но ты будешь предметом подражания спартанских чад и песней наших жен!» Евклид в самом деле пал; неприятели, одержав здесь верх, неслись на Клеомена, который, видя своих воинов в расстройстве и не дерзающих более противостать неприятелю, думал только о своем спасении. Говорят, что пали многие из иноземного войска; спартанцы погибли все, из шести тысяч осталось только двести человек*.

По прибытии своем в Спарту Клеомен советовал гражданам, вышедшим к нему навстречу, открыть ворота Антигону. «Что касается до меня, – сказал он, – жив ли буду или мертв – я сделаю то, что полезно для Спарты». Видя женщин, стекающих к тем, кто вместе с ним убежал с поля сражения, снимающих с них доспехи, приносящих им пить, Клеомен вошел в свой дом, и когда молодая рабыня, из свободных гражданок Мегалополя, с которой жил после смерти жены своей, пришла к нему по обыкновению и хотела ему прислужить, как пришедшему из похода, то он не захотел ни пить, хотя томился жаждой, ни сесть, несмотря на свою усталость, но, вооруженный, оперся рукою на колонну, приклонил лицо к своему локтю и отдохнул на короткое время. Он обмыслил меры, которые надлежало предпринять, поспешил со своими друзьями в Гифий*, сел вместе с ними на приготовленные уже для них суда и пустился в море.

Антигон приступил к Спарте и завладел ею. Он поступил с лакедемонянами весьма кротко, не ругался над величием Спарты, не оказал к ней горделивого презрения, но возвратил ей законы ее и образ правления, принес жертвы богам и на третий день удалился, узнав, что в Македонии идет страшная война и что варвары опустошают ее. Он чувствовал уже припадки своей болезни, которая превратилась в злую чахотку и сильное харканье. Несмотря на то, он не отказался от трудов, но имел довольно духа, чтобы действовать в войне, так сказать, домашней, доколе не одержал великой победы и не истребил великого множества варваров, дабы потом умереть с большей славою. Филарх говорит, и это весьма вероятно, что он в самом сражении повредил внутренность громким криком. В беседах говорили, что, по одержании победы, Антигон кричал в радости громко: «О прекрасный день!» От чего пошла кровь в большом количестве, сделался у него сильный жар, и он умер. Вот что случилось с Антигоном.

Клеомен, отплывши с Киферы, пристал к другому острову – Эгилии*, откуда намеревался он переправиться в Кирену, когда один из друзей его, по имени Ферикион, человек, который в действиях обнаруживал дух великий и слова всегда употреблял высокопарные и надутые, придя к нему наедине, сказал: «Государь, на поле брани оставили мы славнейшую смерть, хотя все слышали, как мы говорили, что Антигон не иначе победит спартанского царя, как перешагнув через мертвое тело его. Мы еще можем найти смерть, ближайшую к первой по славе и доблести. Куда мы плывем безрассудно? Мы бежим от нее! Она близко от нас, а мы ищем ее вдалеке. Когда потомкам Геракла не постыдно быть порабощенными наследниками Филиппа и Александра, то мы выиграем много дороги, если предадим себя Антигону, который, без сомнения, столько же превосходит Птолемея, сколько македоняне египтян. Если же мы не

хотим быть под начальством тех, кто нанес нам поражение в честном бою, то почто делаем над собою властителем того, который не одержал над нами победы? Или на то, чтобы вдвойне показаться подлыми – во-первых, что бежим от Антигона; во-вторых, что льстим Птолемею? Или скажем мы, что ради матери твоей прибыли в Египет? Прекрасное, утешительное для матери зрелище, когда она станет показывать Птолемеевым женам в сыне своем, вместо царя – беглеца и пленника! Не лучше ли, пока владеем мы мечами своими, пока мы в виду Лаконии, освободить себя от гонений судьбы и оправдаться перед теми, кто лег в Селласии за Спарту? Уже ли мы будем сидеть в Египте, расспрашивая, кого Антигон поставил в Лакедемоне сатрапом?» Так говорил Ферикион. Клеомен ответствовал ему: «Малодушный человек! Ты желаешь того, что самое легчайшее и всем готовое – смерти; ты почитаешь себя мужественным, предаваясь бегству, которое постыднее прежнего. Многие и лучшие нас уступили неприятелю, или покинутые счастьем, или преодоленные превосходнейшим числом неприятелей, но человек, отказывающийся от трудов и опасностей, покоряющийся мнениям и порицаниям, собственно бывает побежден слабостью. Добровольная смерть должна быть деянием, а не бегством от деяний. Для себя одного и жить и умереть постыдно: ты меня к тому призываешь, желая избавиться настоящих бедствий, не производя через то ничего похвального и полезного. Что касается до меня, то я думаю, что ни тебе, ни мне не должно оставить надежду спасти отечество. Если же она нас оставит, то нам легко можно будет умереть, когда только захотим». Ферикион ничего на то не отвечал, но как скоро смог отлучиться, удалился на берег и сам себя умертвил.

Клеомен отплыл с Эгилии и пристал к Ливии. Сопровождаемый служителями египетского царя, он прибыл в Александрию и был представлен Птолемею. Сперва был он принят снисходительно и по обыкновению, но когда он обнаружил свой дух и явился царю человеком разумным; когда в ежедневном с ним обхождении он открывал, при лакедемонской простоте, приятность образованного человека; когда он не уничтожил своего высокого сана, не был преклоняем счастьем, и когда речи его показались царю сильнее и убедительнее речей тех, кто говорил ему из лести и к его угождению, то Птолемей раскаивался и жалел, что пренебрег таким мужем и предал его Антигону, который приобрел в одно время такую славу и силу. Он оказывал почести и ласки Клеомену, старался его ободрять, обнадеживая его, что пошлет его в Грецию с кораблями и деньгами и возвратит ему царство. Он давал ему ежегодно на содержание двадцать четыре таланта. Клеомен, живя скромно и бережливо, не только содержал ими себя и друзей своих, но большую часть этого количества употреблял на вспоможение и на облегчение участи тех, кто убежал из Греции в Египет.

Но старший Птолемей умер* прежде, нежели исполнил обещание свое отправить Клеомена в Грецию. По смерти его царская власть немедленно попала в руки людей развращенных, пьянствующих и подвластных женщинам. Клеомен был в пренебрежении. Сам молодой Птолемей до того был душою развращен женщинами и пиршествами, что тогда только почитался трезвым и бодрствующим, когда совершал обряды богослужения и ходил по царским палатам, держа тимпан для собирания денег на храм. Важнейшими государственными делами управляла Агафоклея, его любовница, ее мать Энанта, содержательница притона. Однако в самом начале возымели в Клеомене некоторую нужду. Птолемей, боясь брата своего Мага, имевшего посредством матери великую в войске силу, призывал к себе Клеомена и сделал его участником в тайных совещаниях, ибо он намеревался умертвить брата своего. Все члены совета были того мнения, что надлежало его умертвить; один Клеомен противился этому, говоря, что когда бы было возможно, то надлежало умножить число братьев царя ради надежности и безопасности власти его. Сосибий, один из царских любимцев, бывший в великой силе, заметил, что пока Маг жив, то они не могут быть уверены в верности наемного войска. Клеомен отвечал, что в рассуждении этого войска они могут быть спокойны, ибо в нем находится более трех тысяч пелопоннесцев, которые к нему привержены и при одном его мановении готовы предстать с оружием. Эти слова заставили тогда почитать Клеомена человеком верным и приверженным царю и притом придали ему некоторый вид могущества. Но впоследствии, когда робость Птолемея умножилась по причине его робости, когда – как обыкновенно бывает с теми, кто ни о чем не думает, – полагал он свою безопасность в том, чтобы всего бояться и никому не доверять, то Клеомен казался царедворцам страшным по

причине влияния, какое он имел в иноплеменном войске. Многие говорили тогда, что это лев, который вращается среди овец. В самом деле таким он являлся среди царских служителей, взирая спокойным оком на то, что вокруг него происходило.

Он устал уже просить кораблей и войска, но получив известие, что Антигон умер, что ахейцы заняты войною с этолийцами и что обстоятельства требовали его туда возвращения; при всеобщем волнении и разделении Пелопоннеса он просил об отправлении его обратно с одними своими друзьями, но требования его оставались без действия. Царь не слушал его, препровождая все время среди женщин, забав и пиршеств. Сосибий, первый его советник и управлявший всеми делами, думал, что Клеомен, оставаясь у них против воли, будет страшен, что с другой стороны было опасно выпустить из рук человека предприимчивого, бывшего притом зрителем слабости и недугов государства. Подарки не укрощали Клеомена, но подобно тому как Апис*, хотя живет, по-видимому, в изобилии и роскоши, однако всегда желает природного ему образа жизни, свободного беганья и прыганья по лугам и оказывает явное неудовольствие к пребыванию своему в руках жрецов, так и Клеомен не находил удовольствия в неге и тишине, подобно Ахиллу*:

Томимый грустью, в покое пребывал,
Желал лишь он войны, о битвах лишь мечтал.

В таком положении находились его дела, как прибыл в Александрию мессенец Никагор, человек, ненавидящий Клеомена, но притворявшийся его другом. Некогда он продал Клеомену прекрасное поместье, но не получил за то денег, я думаю, по недостатку в них у Клеомена или по причине его занятий и войны. По выходе своем с корабля, когда встретил он Клеомена, который прогуливался на берегу пристани, тот приветствовал дружески и спросил его, по какому делу приехал в Египет. Никагор ответствовал ему с такими же знаками дружбы и объявил ему, что привез царю прекрасных коней, обученных для войны. Клеомен усмехнулся и сказал: «Лучше бы привез ему певиц и блудниц; ими ныне более всего государь занят». Никагор тогда только улыбнулся, но через несколько дней напомнил Клеомену о проданном ему поместье и уверяя притом, что он не обеспокоил бы Клеомена, если бы не получил довольно убытку от продажи привезенных товаров. Клеомен отвечал, что у него ничего не осталось, чем бы ему заплатить. Никагор, раздраженный этим отказом, пересказал Сосибию остроту Клеомена насчет царя. Сосибий был рад доносу, но, желая иметь важнейшую причину раздражить против него царя, заставил Никагора написать против Клеомена письмо, в котором доносил, что Клеомен намеревался занять Кирену, если бы получил от царя корабли и войско. Никагор, написав это, отплыл. Сосибий, представив Птолемею письмо четыре дня после, как бы оно было подано ему тогда же, разгневал против Клеомена молодого государя. Положено было перевести Клеомена в большой дом, производить ему содержание по-прежнему, но не позволять ему из дома выходить.

Горестно было это для Клеомена, но надежда его на будущее совершенно исчезла от следующего случая. Птолемей, сын Хрисерма, любимец государя, обходился с ним все прежнее время дружески; они были между собою в тесной связи и говорили друг с другом откровенно. Клеомен, находясь в заключении, пригласил его к себе, Птолемей пришел, говорил с ним спокойно, дабы уничтожить всякое подозрение, и оправдывал царя. Уходя из дома и не заметя, что Клеомен сзади провожал его до дверей, бранил жестоко воинов, за то что стерегли небрежно и без всякой предосторожности страшного и дикого зверя. Клеомен сам слышал слова его и, прежде нежели Птолемей мог это заметить, пошел назад и объявил о том приятелям своим. Тогда все они, оставя всякую льстивую им прежде надежду, в ярости своей положили отомстить Птолемею за его несправедливость и оказанное им поругание и умереть, достойно сынов Спарты, не ожидая, чтобы их заклали, подобно откормленными для жертвоприношений животным. Не постыдно ли, говорили они, чтобы Клеомен, отвергший переговоры с Антигоном, человеком воинственным и деятельным, сидел в бездействии, ожидая, пока царь – этот жрец Кибелы* – будет иметь свободное время, оставя тимпан и оторвавшись от чаши с вином, прикончить пленников!

Все были одного мнения. В те дни по случаю Птолемей уехал в Каноп*; они распустили

слух, что царь освобождает Клеомента из-под стражи, а так как цари имели обычай посылать ужин и подарки тем, кого назначали к освобождению из темницы, то друзья Клеомена, приготовив ужин вне дома, послали его к нему, обманывая стражей, которые верили, что все было посылаемо царем. Клеомен приносил жертву, уделял стражам кушанья в изобилии, надел на голову венок и спокойно ел со своими друзьями.

Говорят, однако, что он приступил к делу скорее, нежели как намеревался, узнав, что один из служителей, знавших его намерение, провел ночь вне дома у женщины, которую он любил; боялись, чтобы сей человек не открыл их намерения. В самый полдень, когда стражи пьяные были погружены в сне, Клеомен надел хитон, распорол рукав правой руки и с обнаженным мечом вырвался вместе со своими приятелями, числом тринадцать человек, которые равным образом были вооружены. В числе их был хромоногий Гиппит, который сперва устремился вместе с другими с равной бодростью, но видя, что товарищи его шли медленнее из уважения к нему, он просил их умертвить его и не испортить всего дела, поджидая бесполезного для них человека. В то самое время один александрийский житель вел лошадь близ дверей; они отняли ее, посадили Гиппита и пустились бегом по улицам, призывая граждан к независимости. Но они, по-видимому, имели лишь столько духу, чтобы хвалить Клеомена и удивляться его смелости, но следовать за ним или помогать ему никто из них не отважился.

На Птолемея, сына Хрисерма, выходившего из дворца, напали трое из лакедемонян и умертвили его. Другой Птолемей, охранявший город, устремился на них на колеснице; они пошли против него, рассеяли его воинов и служителей, стащили его с колесницы и тоже умертвили. Потом они пошли в крепость в намерении разломать двери темницы и усилиться множеством узников, но стражи предупредили их и оградили вход. Клеомен, обманутый в сей надежде своей, блуждал по городу, но никто к нему не приставал, напротив того, все от него убегали и боялись его.

Итак, он отстал от своего предположения и сказал своим приятелям: «Что удивительного, если женщины управляют людьми, которые бегут от свободы!» Потом увещевал их умереть достойно его и своих детей. Гиппит первый был поражен одним из молодых товарищей по просьбе его; другие сами себя умертвили без малейшей слабости и робости – кроме Панфея, того самого, который первый занял некогда Мегалополь. Он был прекраснейший собою, одаренный лучшими способностями к лакедемонскому образованию. Царь любил его безмерно; он велел ему умертвить себя, когда увидит, что он и все другие лягут; они все пали. Панфей ходил ко всякому из них и поражал кинжалом, дабы узнать, нет ли кого среди них живого. Он ударил Клеомена в пяту и, увидя, что тот обратил к нему лицо, Панфей поцеловал его, сел подле него и пробыл тут до последнего дыхания Клеоменова, потом обнял мертвое тело его и в таком положении умертвил сам себя. Вот как кончил жизнь свою Клеомен, человек великого духа, правивший Спартой шестнадцать лет!

Это происшествие распространилось по всему городу. Хотя Кратесиклея была женщина великого духа, однако великость бедствия заставила ее изменить самой себе. Она обняла детей Клеоменовых и рыдала. Вдруг старший вырвался у нее из рук и бросился с кровли, ушибся жестоко, но не умер; и когда его подняли, то он кричал и негодовал за то, что препятствовали ему умереть.

Птолемей, узнав о происшедшем, велел повесить тело Клеомена, завернув в кожу дикого зверя, а детей его и мать с находившимися при ней женщинами – умертвить. Среди них была и жена Панфея, женщина прекрасная и величественная. Они лишь недавно сочетались браком и находились во всей силе любви, когда случилось первое несчастье Клеомена. Она хотела тотчас последовать за своим мужем, но родители ее не пускали, заперли и стерегли ее. Вскоре после того, накопив немного денег, она достала себе коня, убежала ночью, пустилась быстро к Тенару, села на корабль и отправилась в Египет. Приехав к мужу, она с удовольствием и терпением проводила с ним жизнь на чужой стороне. Эта-то женщина держала за руку влекомую воинами Кратесиклею, подбирала ее платье, ободряла ее. Несчастная царица сама не страшилась смерти, она просила только одной милости – умереть прежде детей Клеомена. Она были приведена на лобное место; исполнители царской воли сперва убили детей на глазах Кратесиклеи, потом умертвили и ее. Глядя на ужасное зрелище, она лишь промолвила: «Дети мои! Куда вы ушли!». Жена Панфея, взрослая и крепкая, опоясав свою одежду, спокойно и в

безмолвии оказывала последнюю услугу убиваемым женам и покрывала их, сколько ей можно было. Оставшись одна после всех, она убрала самою себя, опустила свою одежду, не позволила никому другому подойти и видеть себя, кроме того, кому следовало умертвить. И таким образом геройски кончила жизнь свою, не имея нужды, чтобы по смерти кто-нибудь другой убрал и покрыл ее. До такой степени стыдливость ее души сопровождала ее и по смерти, и осталась при ней как бы стража, которою она окружила свое тело еще при жизни.

Вот так Лакедемон в последнее свое время представлял в сем печальном зрелище женщин своих, соперничающими с мужчинами в твердости душевной, и показал, что истинная добродетель не подвержена поруганиям рока!

По прошествии немного времени, те, кто стерег тело Клеомена, увидели большую змею, обвившуюся вокруг его головы и скрывающую лицо его так, что ни одна плотоядная птица не смела к нему приблизиться. Это явление возбудило в царе суеверный страх, подавший женщинам повод к новым очищениям, ибо они уверились, что убиенный был муж, любимый богами, и превышал человеческую природу. Александрийцы приходили к сему месту, называли Клеомена героем и сыном богов, но ученые прекратили эти речи, уверивши их, что от согнившего вола родятся пчелы, от коня – шмели и от ослов – жуки; что человеческие тела, когда влажность в мозгу сольется и затвердеет – производят змей. Древние, может быть, будучи такого же мнения, чаще других животных представляют подле героев змей.

Тиберий и Гай Гракхи

Тиберий Гракх

Изложив предыдущую историю Агиса и Клеомена, мы противоположим им Тиберия и Гая – римскую чету, в которой увидим неменьшие бедствия. Они были дети Тиберия Гракха*. Хотя Тиберий был цензором, избран дважды в консулы, дважды удостоился почестей триумфа, но добродетели его были выше всех других его достоинств. По этой причине по смерти Сципиона, победившего Ганнибала, удостоился получить в супружество Корнелию, дочь его, хотя не только не был он другом Сципиону, но противником в правлении.

Говорят, что некогда Тиберий поймал на ложе своем пару змей; прорицатели, рассуждая об этом странном случае, не позволяли ни обеих змей убивать, ни обеих оставлять в живых, но утверждали, что убиение самца принесет смерть Тиберию, убиение самки – Корнелии. Тиберий, как по любви к супруге своей, так и потому, что почитал приличнее, чтобы он, как старший, умер прежде Корнелии, которая еще была молода, убил самца и оставил самку. Вскоре после того он умер, оставя двенадцать детей, прижитых с Корнелией. Она приняла на себя попечение о них и о доме и явила себя столь целомудренной, чадолюбивой и великодушной, что, казалось, Тиберий рассуждал весьма благоразумно, когда избрал смерть за такую жену. Хотя царь Птолемей* предлагал делить с нею царский венец и желал на ней жениться, однако ж она от того отказалась и проводила жизнь во вдовстве.

Она лишилась детей своих, кроме одной дочери, которая вступила в брак со Сципионом Младшим, и двух сыновей, Тиберия и Гая, которых жизнь здесь описываем. Корнелия воспитала их с таким тщанием, что хотя по признанию всех они были одарены превосходными способностями среди римлян, однако, казалось, они блистательными своим качествами более были обязаны образованию, нежели природе.

Как в Диоскурах, изображаемых художниками, несмотря на сходство их, открывается всегда разность между бойцом и наездником*, равным образом и при всем сходстве сих юношей в храбрости, целомудрии, щедрости, красноречии и великодушии, однако в делах их и управлении обнаруживались и возникли великие несходства, которые не неприличным почитаю изложить наперед.

Во-первых, Тиберий выражением лица, взором, движениями казался кротким и степенным; Гай, напротив того, был стремителен и горяч; один говорил народу, стоя скромно на одном месте; другой прежде всех римлян стал ходить по трибуне, спускал с плеча тогу в продолжение речи своей – подобно Клеону в Афинах, который, как уверяют, первый из

говорящих перед народом сорвал с себя одежду и ударил себя по бедру. Речь Гая была страшна и способна к возбуждению страстей; Тибериева была приятнее и более способна трогать. Слог Тиберия был чист и отделан с великим старанием; слог Гая – убедителен и цветущ. Что касается до образа их жизни в целом, то Тиберий любил простоту, Гай, хотя в сравнении с другими был воздержан и целомудрен, но в сравнении с братом был любитель нового и пышного. Друз упрекал ему тем, что он купил серебряные треножные столы и заплатил за каждый фунт веса тысячу двести пятьдесят драхм.

В нравах их открывалась такая же разность, какая в их речах. Один был скромен и кроток; другой стремителен и пылок до того, что в продолжение речи часто увлекаем был гневом против воли своей; тогда голос его возвышался, он произносил ругательства, слова его были запутаны. Дабы избавиться от этой напасти, употреблял он Лициния, своего служителя, человека разумного, который с инструментом*, употребляемым при учении пения, и которым возвышают или понижают тоны, стоял позади говорящего Гая, и когда замечал, что голос его становился жестче и выходил из тона от ярости, то издавал звук нежный, от которого Гай, умеряя напряжение страсти и голоса, смягчался и вскоре переходил к умеренному тону.

Таковы были разности, открываемые между ими! Что касается до храбрости их против неприятелей, справедливости к подчиненным, прилежания к общественным должностям, воздержания в удовольствиях – во всем этом они совершенно похожи один на другого. Тиберий был старше брата своего девятью годами. По этой причине между управлением одного и другого прошло несколько лет, и это обстоятельство немало способствовало к ниспровержению их предприятий, ибо они не в одно время процветали и не совокупили воедино своей силы, которая в таком случае сделалась бы великою и непреоборимою. Мы будем говорить порознь о каждом из них, начиная с первого.

Тиберий, по выходе своем из отроческих лет, до того славен был среди граждан, что удостоился священнического достоинства так называемых авгуров*, более по причине превосходных качеств своих, нежели знаменитого происхождения. Это доказывается поступком Аппия Клавдия, мужа, удостоившегося консульского и цензорского достоинств, и бывшего председателем римского сената, по причине своей важности, и высокостью духа превосходившего своих современников. Некогда, во время общей трапезы жрецов, призвал он к себе Тиберия, обласкал его и сам предложил ему выдать за него дочь свою. Тиберий изъявил с охотою свое согласие; обе стороны дали слово, и Аппий, вступая в свой дом, будучи еще в дверях, звал жену свою и громко ей кричал: «Антистия! Я просватал нашу Клавдию!» Жена с удивлением отвечала ему: «К чему такая поспешность? Разве Тиберия Гракха нашел ты ей в женихи?» Я знаю, что то же самое рассказывают некоторые писатели о Тиберии Гракхе, отце его, и Сципионе Африканском, но большая часть писателей повествуют сие так, как нами описано, а Полибий свидетельствует, что по смерти Сципиона Африканского Корнелия, не будучи им выдана, ни просватана ни за кого, вступила в брак с Тиберием по совету родственников, которые предпочли его всем другим.

Младший Тиберий, будучи в походе в Ливии под предводительством второго Сципиона, женившегося на сестре его, и живя под одним шатром с ним – вскоре постиг его свойства, способные к произведению дел великих и славных, и возбуждавшие любовь к его добродетели и ревность к подражанию ему. Благонравием и храбростью вскоре превзошел он всех молодых людей. Он первый влез на стену неприятельского города, как говорит Фанний*, уверяя притом, что и сам влез вместе с Тиберием и участвовал в том славном подвиге. Находясь в войске, он был всеми отлично любим, и когда оставил войско, то все о нем жалели.

По окончании этого похода был он избран квестором; по жребию досталось ему быть при консуле Гае Манцине, в походе против нумантинцев*. Этот консул был человек, впрочем, недурной и способный, но был самый несчастный из римских полководцев. Тем более в необыкновенных обстоятельствах и при противном счастье воссияли не только благоразумие и мужество Тиберия, но что всего удивительнее – почтение и уважение к начальнику, который, по причине множества бедствий, сам не помнил, что он полководец.

Манцин был разбит в больших сражениях и потому решился ночью оставить стан и отступить. Это было примечено нумантинцами; они заняли тотчас оставленный стан, напали на отступающих, поражали их с тыла, обходили со всех сторон войско и теснили к местам

неприступным, из которых вырваться было невозможно. Манцин, потеряв всю надежду пробраться и спасти войско силою, послал просить перемирия. Неприятели отвечали, что никому не верят, как только Тиберию, и требовали, чтобы он был послан к ним. Они были благорасположены к Тиберию как из уважения к нему самому, ибо много говорили о нем в войске, так и потому, что помнили отца его Тиберия, который вел войну с иберами, покорил многих из них, заключил мир с нумантинцами и всегда старался, чтобы народ римский сохранял оный свято и ненарушимо. Итак, молодой Тиберий, будучи послан к ним, вступил в переговоры; частью убедил их принять его предложения, частью согласился на их требования; заключил мир и тем явно спас двадцать тысяч римских граждан, кроме служителей и тех, кто следовал за войском, хотя не были к нему причислены.

Все вещи, оставленные в стане, попались в руки нумантинцам, которые грабили их. Между прочим были и таблицы, содержащие записки и рассчеты Тиберия по квесторскому его званию. Они были для него весьма важны, и потому, хотя войско было довольно далеко, он возвратился к городу в сопровождении трех или четырех приятелей своих. Он вызвал правителей Нуманции и просил о выдаче ему этих книг, ибо как скоро он не будет в состоянии дать отчет в издержанных деньгах, то тем подаст своим неприятелям причину к оклеветанию. Приятно было нумантинцам, что Тиберий имел в них нужду; они просили его войти в город, и между тем как он остановился, раздумывая, то они к нему приближались, брали за руки его и просили убедительно не почитать их более неприятелями, но употреблять как друзей своих и иметь к ним доверие. Тиберий решился исполнить просьбу их как потому, что желал получить обратно свои книги, так и потому, что боялся озлобить нумантинцев, оказывая им недоверчивость. По вступлении его в город, они предложили ему стол и просили настоятельно, чтобы он вместе с ними обедал. Потом они возвратили ему книги и позволили взять из вещей, какие ему угодно. Он ничего более не взял, как только ладан, который употреблял в общественных жертвоприношениях, изъявил нумантинцам свою благодарность, простился с ними и уехал.

По возвращении его в Рим примирение, им заключенное, было осуждаемо как постыдное и недостаточное Рима. Но друзья и родственники воинов, которые составляли важную часть народа, стекались к Тиберию, называли его спасителем великого множества сограждан, и все бесчестие дела этого приписывали они полководцу. Те, кто был недоволен обстоятельствами, советовали народу последовать примеру предков, которые бросили самнитам нагими полководцев своих*, согласившихся быть ими отпущенными, равным образом предали им квесторов и трибунов, которые участвовали и содействовали в заключении перемирия, обращая на них клятвопреступление и нарушение договора. В таких обстоятельствах народ римский обнаружил привязанность свою и усердие к Тиберию. Определено было предать нумантинцам консула Манцина нагим и связанным*, а всех других простили из уважения к Тиберию. Кажется, что ему помог и Сципион, бывший тогда в великой славе и силе среди римлян, но тем не менее порицали его за то, что он не избавил от наказания и Манцина и не приложил никакого старания в утверждении договора с нумантинцами, хотя оный был заключен Тиберием, родственником его и другом. Что касается главной причины разрыва между Сципионом и Тиберием, то оный был произведением честолюбия обоих и подстрекательством со стороны друзей Тиберия и софистов, однако не обнаружился жестокостью и злобою. Вероятным мне кажется то, что когда бы Сципион Африканский находился в Риме во время управления Тиберия, то сей не впал бы в те несчастия, которые с ним приключились. Но Сципион начальствовал в войне с нумантинцами, когда Тиберий предпринял ввести новые законы. Поводом к тому было следующее.

Римляне имели обычай отнятую войной у соседей своих землю частью продавать, частью делать ее общественной, раздавая ее бедным и неимущим гражданам, которые за нее вносили в казну весьма умеренный оброк. Когда же богатые стали давать более бедных, и тем их изгнали с полей, то определено было законом*: никому не иметь более пятисот югеров земли. Это постановление на короткое время обуздало жадность богатых и помогло бедным, за которыми оставались нанимаемые поля, и которые содержали себя участками, сначала им доставшимися. Но впоследствии, когда богатые люди подложными именами стали притязать себе эти оброчные земли, и наконец, уже явно и под своим именем занимали большую часть их,

бедняки, будучи из них вытесняемы, не имели более усердия к военной службе и не радели о воспитании детей до того, что вскоре вся Италия почувствовала недостаток в свободных людях, и поля покрылись скованными варварского происхождения невольниками; богатые заставляли возделывать оные, изгнав из них сограждан.

Гай Лелий, друг Сципиона*, предпринял исправить сие зло, но нашел великое препятствие со стороны сильных. Устрашась беспокойства, он отстал от этого помышления, за что получил название Мудрого или Благоразумного. (Слово «сапиенс» ***(sapiens)*** значит и то и другое.) Тиберий, достигнув народного трибунства, немедленно приступил к тому же предприятию. Большинство писателей уверяет, что к тому поощряли его ритор Диофан и философ Блоссий, из которых первый был изгнанником из Митилена, а другой, родом из италийского города Кумы, был приятелем Антипатра Тарсского*, с которым свел знакомство в Риме и который почтил его посвящением ему философских своих сочинений. Некоторые винят в том и Корнелию, мать его, которая часто упрекала сыновей своих в том, что римляне еще называли ее тещей Сципиона, а не матерью Гракхов. Другие полагают виновником тому некоего Спурия Постумия, который был сверстником Тиберия и соперником его в славе судебного красноречия. По возвращении из похода Тиберий нашел, что Спурий опередил его в славе и силе и был в великом уважении у граждан; и потому захотел, по-видимому, превзойти его, приступил к делу отважному, от которого должно было ожидать великой славы*. Впрочем, брат его Гай в одной книге пишет, что Тиберий, едучи в Нумацию через Тоскану, нашел, что вся страна была пуста и что обрабатывавшие землю и пасущие стада были иноплеменные и варварские невольники. Это внушило ему мысль, возродившую для них тьму бедствий. Впрочем, сам народ воспламенил его ревность и честолюбие, призывая его записками, прибиваемыми к портикам, стенам и памятникам, оказать помощь бедным гражданам к получению обратно общественной земли.

При всем том Тиберий составил закон о земле не один; он наперед просил совета у первенствующих славой и добродетелью граждан, из числа которых был первосвященник Красс, законоискусник Муций Сцевола, бывший тогда консулом, и Аппий Клавдий, его тесть. В самом деле никогда не было писано закона мягче и снисходительнее против такой несправедливости и алчности. Те, кому следовало бы за ослушание быть наказанными и оставить после уплаты пени земли, которыми пользовались противозаконно, получили лишь приказание принять плату за поля, которыми они владели несправедливо, и оставить оные гражданам, которым нужна была помощь.

При столь легкой и кроткой мере народ, забывая прошедшее, довольствовался тем, чтобы впредь не быть притесняемым. Но богатые и зажиточные, ненавидя закон сей по причине своей алчности, а законодатели – по гневу и негодованию на него, старались отвратить от этого народ, представляя, что Тиберий вводит новое разделение земли, дабы произвести переворот в республике и ниспровергнуть правление. Однако старания их были безуспешны. Тиберий, защищая славное и справедливое дело с таким красноречием, которое могло и худший предмет украсить и представить в прелестном виде, был силен и непреоборим, когда, став на окруженной многочисленным народом трибуне, говорил в защиту бедных, что и дикие звери, обитающие в Италии, имеют логовище, что у каждого из них есть нора и убежище, между тем как люди, которые, сражаясь, умирают за Италию, более ничего не имеют, кроме воздуха и света; что они без домов, без твердого местопребывания скитаются с женами и детьми; что полководцы обманывают их, когда поощряют сражаться с неприятелем за гробы и храмы свои, ибо ни у кого из такого множества римлян не было ни отеческого домашнего жертвенника, ни прародительского кладбища, но что они сражаются лишь и умирают за негу и богатство других и, называясь владыками вселенной, не имеют ни одиного комка собственной земли.

Никто из противников не мог опровергнуть эти с великим духом и истинной страстью изливавшиеся речи. Народ приходил от того в исступление и чрезвычайно волновался. Итак, противники Тиберия, перестав противоборствовать ему, обратились к Марку Октавию, одному из трибунов, молодому разумному и степенному человеку и близкому приятелю Тиберия. По этой причине Октавий, стыдясь Тиберия, уклонялся от них, но многие из сильнейших граждан приступали к нему с просьбами до того, что он, как бы по принуждению, противопоставил себя Тиберию и не допускал утвердить закон.

Вся сила трибунского достоинства состоит в том, чтобы препятствовать утверждению чего-либо. Если один из трибунов противится предлагаемому закону, то все другие не могут ничего произвести. Тиберий, огорченный этой препоною, отстал от упомянутого кроткого закона и предложил уже тот, который народу был приятнее, а для обидчиков жесточе; он уже требовал, чтобы они оставили земли, которыми завладели вопреки прежним законам. Уже между ним и Октавием происходили почти ежедневно на трибуне споры, и хотя они с чрезвычайным усилием и упорством друг другу противоречили, однако, говорят, они друг на друга не произнесли никакой хулы, при всем гневе их не вырвалось друг у друга ни одного неприличного слова. По-видимому, природные хорошие свойства и тщательное воспитание не только в вакхических празднествах*, но и в самом упорном честолюбии и в гневе не оставляют человека и удерживают его в пределах благопристойности. Между тем Тиберий, видя, что под закон, им предлагаемый, подпадает и Октавий, который занимал многие общественные земли, просил его не противиться ему более, обещая заплатить то, чего оные стоили, из своего имения, хотя оно не было значительно. Но Октавий от этого отказался, и Тиберий издал приказ, которым остановил действие всех властей, доколе не будут отобраны голоса граждан касательно закона. К дверям храма Сатурна приложил свою собственную печать*, дабы квесторы не могли ничего ни вносить, ни выносить; на неповиновавшихся преторов наложил пеню, и таким образом все чиновники были приведены в такой страх, что каждый отстал от исправления возложенной на него должности. В таком положении дел богатые граждане переменили одежды и ходили по форуму в униженном и жалостном виде; между тем они тайно злоумышляли на Тиберия и подговорили людей к умерщвлению его. Сам Тиберий подпоясался разбойничьим ножом, который называется долоном*, и это всем было известно.

С наступлением назначенного дня он призывал народ к подаче голосов, но богатые унесли все урны*, от чего происходили большие беспорядки. Тиберий мог употребить насилие, управляя множеством народа, который уже собирался к нему, но Манлий и Фульвий, мужи, удостоившиеся консульства, приступая с просьбами к Тиберию, брали его за руки, проливали слезы и умоляли отстать от своего начинания. Тиберий, представляя уже в уме своем могущие вперед от того произойти бедствия и уважая сих мужей, спросил их: «Чего вы хотите, чтобы я сделал?» Они отвечали ему, что не были способны подать ему в том совет, а только просили его предать сие дело суду сената; просьбы их убедили Тиберия. Сенат между тем собирался, но ничего не производил, ибо богатые имели в нем большую силу. Итак, Тиберий решился на дело незаконное и некроткое – лишить Октавия трибунства, не находя другого способа к утверждению предлагаемого закона.

Сперва он употреблял ласковые слова, брал его за руки, просил уступить и угодить народу, которого требования были справедливы и который через то получит награду, хотя малую, за великие труды и опасности, которым подвергается. Но Октавий отверг его просьбы, и тогда Тиберий объявил, что, начальствуя вместе с Октавием и споря друг с другом с равною властью о важнейших делах, они не могут провести год своего управления без явной войны, и, стало быть, остается только одно: один из них должен лишиться полномочий. Тиберий предложил Октавию заставить народ подать голоса сперва о нем, уверяя, что, если угодно гражданам, то он сделается немедленно частным лицом и сойдет с трибуны. Когда же Октавий на это не согласился, то Тиберий объявил ему, что он сам заставит граждан подать голоса касательно Октавия, если он не переменит прежних мыслей.

После объяснений Тиберий распустил Собрание. На другой день собрался народ; Тиберий взошел на трибуну, опять старался убедить Октавия, но так как тот был неумолим, то Тиберий предложил закон о лишении Октавия трибунства и призывал граждан к подаче голосов. Народ разделялся на тридцать пять триб; как скоро семнадцать подали голоса и осталось отобрать голоса только одной трибы, дабы Октавия лишить своего достоинства, то Тиберий велел остановиться и вновь обратился к просьбам: обнял Октавия, поцеловал перед глазами всего народа, заклинал его не допустить быть преданным бесчестию, а его заставить упрекать в суровом и жестоком поступке. Октавий, говорят, слушал эти речи не совсем с равнодушием и не без внутреннего движения; глаза его наполнились слезами, он долго молчал, но как скоро взглянул на стоящих вместе богатых и зажиточных, то, по-видимому, из уважения к ним и боясь со стороны их бесславия, он решился подвергнуться всем опасностям и с твердым духом

сказал Тиберию, чтобы он сделал, что хотел. Итак, закон был утвержден; Тиберий велел одному из вольноотпущенников стащить с трибуны Октавия. Он употреблял в общественные служители собственных своих отпущенников. Это обстоятельство придавало влекомому насильственно и с поруганием Октавию еще более жалости. Народ устремился на него; богатые бросились к нему и распростерли перед ним руки; Октавий, вырвавшись с трудом из рук народа, убежал, но верного служителя его, впереди стоявшего и защищавшего его, лишили глаз против воли Тиберия, который, узнав о беспокойстве, побежал с поспешностью в то место, где оное происходило.

После этого закон о разделе земли был утвержден. К разбору этого дела и разделу земли избрано трое мужей: Тиберий, Аппий Клавдий, тесть его, и Гай Гракх, брат его; в Риме тогда его не было; он находился в войске под Нуманцией под предводительством Сципиона. Таким образом, спокойно и без препятствия с чьей-либо стороны Тиберий совершил это дело; после чего вместо Октавия сделал трибуном Муция, клиента своего, человека не из числа известных в городе. Сильнейшие граждане были всем этим недовольны; они страшились возвышения Тиберия; в сенате ругались над ним, и когда он просил, по обыкновению, шатра от общества, дабы пользоваться им во время раздела земли, то они ему в том отказали, хотя многие получали шатер при отправлении и не столь важных препоручений. На расходы назначили ему по девять оболов в день. Все это сделано по предложению Публия Назики, который был исполнен непримиримою враждою против него, ибо он обладал весьма много общественной земли и с яростью видел себя принужденным отказаться от оной. Эти обстоятельства воспламеняли негодование народа. При случившейся скоропостижной смерти одного из друзей Тиберия, когда на мертвом теле показались дурные знаки, то граждане кричали, что он отравлен ядом, стекались к выносу его, подняли одр и присутствовали при сожжении тела. Подозрение их в отравлении его не было неосновательно. Мертвое тело лопнуло и полилось такое множество испорченной влаги, что она погасила огонь; и когда подложен был оный опять, то не принимался до тех пор, как мертвый не был перенесен в другое место, где после многих трудов насилу сожгли его. Этот случай подал Тиберию повод к вящему раздражению народа; он надел печальное платье, представил народу своих детей, просил его принять их с матерью под свой покров, как он уже отчаивался в своей жизни.

По смерти Аттала Филометора* Эвдем, уроженец Пергама, представил завещание, в котором назначен был наследником царя народ римский. Тиберий, желая угодить народу, внес предложение, чтобы казна пергамского царя, по привезении в Рим, была употреблена на вспоможение в земледелии и в заведении орудий тем гражданам, которым доставалась в удел земля. Касательно городов, принадлежащих царству Аттала, он говорил, что сенату не следовало решить их участь, но что он о них предложил народу мнение. Эти слова более всего оскорбили сенат. Помпей, встав со своего места, сказал, что он живет в соседстве с Тиберием, и потому знает, что пергамец Эвдем привез Тиберию царскую диадему и порфиру как человеку, который располагал вскоре быть в Риме царем. Квинт Метелл укорял Тиберия следующими словами: «Когда отец твой был цензором, то каждый из нас возвращался домой после ужина; граждане гасили огни, боясь, чтобы ему не казалось, что они более должного проводят время в беседах и пиршествах, а тебя ночью провождают с огнями самые наглые и недостаточные из числа народной черни». Тит Анний*, человек, который, впрочем, не был из числа честных и примерных, но который почитался непреоборимым по причине хитрости вопросов и ответов своих; вызвался некогда доказать Тиберию, что он обесчестил трибуна, товарища своего, которого достоинство по законам свято и неприкосновенно. Эти слова произвели великую тревогу; Тиберий, вскочив, созвал народ, дал приказание привести Анния и хотел принести на него жалобу. Но Анний, чувствуя, что и красноречием и славою должен был ему уступить, укрылся под щитом своей находчивости и просил Тиберия, чтобы тот перед началом речи дал ему краткий ответ на вопрос его. Тиберий согласился; все успокоилось, и Анний сказал: «Положим, что ты вздумаешь меня бесчестить и ругать и что я призову на помощь одного из твоих соправителей; если он придет ко мне, и ты прогневаешься на него, то неужели ты лишишь его начальства?» Этот вопрос, говорят, привел Тиберия в такое замешательство, что хотя он был одарен способностью говорить вдруг и с великой смелостью, однако не мог ничего на то ответить.

Тиберий распустил тогда Собрание. Заметя, что поступок его с Октавием не только вельможам, но и самому народу показался жестоким – ибо достоинство трибунства, до того времени почитавшееся важным и почтенным, было им унижено и поругано – он говорил народу со страстью исполненную речь, из которой некоторые доводы не неприлично здесь изложить, дабы подать понятие о силе и глубокомыслии.

Народный трибун, говорил он, лицо священное и неприкосновенное, ибо посвящен народу и защищает его, но если он, вопреки своему назначению, обижает народ, уменьшает его силу, отнимает у него право подавать голоса, то он тем сам себя лишает чести, ибо не исполняет того, за что оную получил. В противном случае, если трибун вздумал разрушить Капитолий и сжечь морской арсенал, то надлежало бы и тогда оставить его в этом звании. Однако поступая таким образом, он только дурной трибун, а если он уничтожает власть народа, то вообще не трибун. Но странно ли было бы, чтобы трибун мог вести в темноту консула, а чтобы народ не мог отнять у трибуна власть, когда он употребляет ее против того, который дал ему оную? И трибун и консул равно избираемы бывают народом. Хотя царское достоинство кроме того, что вмещает в себе все власти, освящено величайшими священнодействиями. Однако Тарквиний был изгнан Римом за его несправедливость, а древнее правление, создавшее Рим, за наглые поступки одного человека уничтожено. Что в Риме почтеннее и святее дев, охраняющих и содержащих нетленный огонь? Однако преступившая из них свой долг бывает зарыта в землю живой, ибо своим нечестием против богов уничтожает неприкосновенность, которою они ради богов пользуются. По этой причине и трибун, обижающий народ, не может иметь права на неприкосновенность, которой пользуется ради народа, ибо он уничтожает силу, которая делает его сильным; и если он законно получил трибунское достоинство голосами большей части триб, то он еще законнее может оного лишиться, когда все трибы отвергнут его подачей голосов. Хотя нет ничего святее и неприкосновеннее приношений богам; однако никто не препятствует народу употреблять оные, трогать с места и переносить так, как ему угодно. Итак, позволено ему и трибунскую власть, как некое приношение, передавать другому. А что эта власть не есть неотъемлема и неприкосновенна, то сие явствует из того, что много раз имевшие оную сами от оной отказывались и слагали с себя. Эти были главные статьи оправдания Тибериева.

Приятели его, видя угрозы и замыслы противников, почли нужным, чтобы он на следующий год искал вновь трибунства. Тиберий старался угодить народу предложением новых законов; он предложил уменьшить годы военной службы, давать право переносить дела от судей к народу; к тогдашним судьям, которые были сенаторского достоинства, придал такое же число из сословия всадников. Таким образом он уже всеми средствами уменьшал силу сената, более увлекаемый гневом и упорством, нежели водимый рассудком к тому, что почитал справедливым и полезным. Между тем, как подаваемы были голоса касательно этих законов, замечено было, что противная сторона превозмогла, ибо не весь народ был собран; во-первых, начал он ругать других трибунов и тем длил время, потом распустил и Собрание, приказав народу собраться на следующий день. Тиберий первый вышел на форум; с видом униженным и со слезами в глазах умолял он народ, и наконец объявил, что боялся, чтобы его неприятели не вломились ночью в дом его и не умертвили его. Этими представлениями он привез народ в такое расположение, что великое множество людей обступило его и дом его и провело тут всю ночь, охраняя Тиберия.

На рассвете дня, тот, кто кормит цыплят, употребляемых в гаданиях, принес их на площадь и подал им корм. Птицы не выходили из клетки, а когда человек довольно потряс клетку, то вышла одна из них, но и эта не коснулась корма, но подняла левое крыло, вытянула ногу и опять убежала в клетку. Этот случай привел на память Тиберию прежнее знамение: у него был шлем, который надевал в сражениях, и был великолепно и отлично украшен. Змеи неприметно вползли в оный, снесли яиц и вывели змеев. По этой причине Тиберия сильно беспокоило сие знамение. Однако узнав, что народ собирается на Капитолии, он хотел туда идти, но прежде нежели вышел из дому, ушиб ногу об порог: удар был столь силен, что ноготь большого пальца расщепился, и кровь вытекала из обуви. Пройдя несколько далее, он увидел на левой руке воронов, которые дрались на кровле; много людей проходило мимо Тиберия, однако камень, спущенный одним из воронов, пал подле ноги его. Этот случай остановил самых

дерзких из сопровождавших его. Но Блоссий из Кум, находившийся при нем, сказал, что стыдно и жалко, если Тиберий, сын Гракха, племянник Сципиона Африканского, защитник римского народа, испугавшись ворона, не послушается призывающих его граждан; что неприятели его не обратят в смех этого непристойного поступка, но будут кричать, что это есть поступок тираннский и что Тиберий издевается над народом. Между тем прибежали к нему с Капитолия многие из друзей его, советуя ему спешить, ибо дела там были в хорошем положении. Действительно, сперва все шло лучшим образом. Едва он показался, как народ издал радостное восклицание, принял его с усердием, когда он всходил, и становился вокруг него, дабы никакой незнакомый человек не мог к нему приблизиться.

Но как скоро Муций стал опять призывать трибы к подаче голосов, то уже ничто не происходило с обыкновенным порядком по причине шума стоявших по краям граждан; они, будучи теснимы, толкали сами противников, которые хотели ворваться в средину и вмешаться в собрание. И в то же время Фульвий Флакк*, человек сенаторского достоинства, взойдя на видное место, и, поскольку не было можно, чтобы голос его достиг до Тиберия, давал рукою знак, что хотел сказать нечто Тиберию наедине. Тот велел народу распуститься, и Флакк, с трудом приблизившись к нему, возвестил, что заседание сената открылось, но богатые не могут склонить консула на свою сторону, а потому решились сами умертвить Тиберия, собрав с этим намерением многих вооруженных рабов и приятелей своих.

Как скоро Тиберий возвестил о том своим друзьям, то они немедленно подпоясали свои тоги и, ломая копья общественных служителей, которыми эти удерживают народ, передавали друг другу, показывая, что они этими отломками будут защищаться против наступающих на них противников. Стоявшие вдали удивлялись этим действиям и спрашивали, что это значит. Тиберий коснулся рукою головы, показывая этим движением, что он находится в опасности – ибо голос его не мог быть слышан. Противники его, увидя сие движение, побежали в сенат и возвестили, что Тиберий просит диадему и что знаком того было прикосновение рукою головы. Это известие встревожило всех. Назика* просил консула помочь республике и низвергнуть тиранна. Консул отвечал с кротостью, что он не начнет употреблять насилия и никого из граждан не умертвит без суда, а если народ, убежденный или принужденный Тиберием, утвердит что-либо вопреки законам, то он сие уничтожит. Тогда Назика воспрянув сказал: «Консул изменяет республике; итак, кто желает помочь законам, тот следуй за мною!» Сказав это, покрыл он голову краем своей одежды и пошел к Капитолию, каждый из последовавших за ним, обвернув руку тогой, теснил тех, кто попадался ему на дороге; никто им не препятствовал по причине важности сих мужей; все бегали от них и друг друга сваливали с ног. Одни с собою несли из дому палицы и палки; другие, хватая обломки и ножки разломанных бегущим народом скамей, шли к Тиберию и поражали стоявших перед ним граждан, которые предавались бегству и были убиваемы. Некто схватил Тиберия за платье, который, спустив с себя тогу и бегая в одном хитоне, споткнулся и упал на кучу падших прежде него людей. Между тем, как он вставал, то Публий Сатурей, один из соправителей его, дал ему первый в голову удар обломком скамьи; второй удар присваивал себе Луций Руф, который гордился своим «достохвальным» делом*. Других граждан убито до трехсот человек; они поражаемы были камнями и поленьями, а железом никто.

С тех пор как в Риме уничтожилась царская власть, первый сей мятеж, как говорят, кончился с кровопролитием и убийством: все другие, хотя бы и нелегкие и отнюдь не по ничтожным причинам возникшие, были прекращаемы взаимным друг другу снисхождением – страхом вельмож к народу и уважением народа к сенату. Казалось, что и тогда Тиберий уступил бы легко, если бы с ним употребили мягкие средства, и что он сделался бы снисходительнее, если бы приступили к нему без убийства и ран, ибо вокруг него было не более трех тысяч человек, но, по-видимому, возмущение против него произведено более гневом и ненавистью к нему богатых, нежели предъявляемыми ими предлогами. Доказательством тому служит то, что мертвое тело его бесчеловечно и беззаконно ими поругано. Они не дали позволения поднять и похоронить ночью тело его просившему о том брату, но вместе с другими мертвыми бросили его в реку. Но ярость и этим одним не ограничилась: они без суда изгоняли из отечества друзей его, а тех, кто попадал им в руки, убивали. В числе их погиб и ритор Диофан. Гая Биллия заперли в ящик, в который впустили ядовитых змей и таким образом умертвили его. Блоссий из

Кум был приведен к консулам и допрошен; он объявил, что все сделано им по приказанию Тиберия. При этом Назика спросил его: «А если бы Тиберий велел тебе сжечь Капитолий?» Блоссий сперва противоречил, говоря, что Тиберий бы никогда этого не потребовал. Когда же многие делали ему тот же вопрос, то он отвечал: «Если бы он приказал, то долг мой требовал, чтобы я исполнил его приказание, ибо Тиберий не дал бы такого распоряжения, когда бы оно не было народу полезно». Блоссий избегнул опасности и позже уехал в Азию, к Аристонику, а когда дела Аристоника были проиграны*, то Блоссий умертвил себя.

Сенат, желая приласкать народ в настоящих обстоятельствах, не противился более разделу полей и предложил народу вместо Тиберия избрать распорядителем по этому делу другого. Граждане подачей голосов избрали Публия Красса, родственника Гракха. Дочь его Лициния была супругой Гая Гракха. Хотя Корнелий Непот говорит, что Гай был женат на дочери не Красса, но Брута, который за победы над лузитанцами удостоился триумфа*. Но историки большей частью повествуют о том так, как мы пишем.

Между тем народ был оскорблен убиением Тиберия и явно показывал, что выжидал времени к отмщению; уже и Назике угрожали жалобами перед судом. Сенат, страшась за него, определил без нужды отправить его в Азию, ибо граждане, встречаясь с ним, не скрывали своего к нему негодования, но, пылая злобою, кричали против него везде, где он им попадался, называли его тиранном, нечестивцем, осквернившимся кровью человека неприкосновенного и священного – место в городе самое священное и почтенное. Итак, Назика оставил Италию, хотя был облечен важнейшим первосвященством: он был главный и первый из жрецов. Скитаясь в унынии по разным странам без цели, вскоре кончил дни свои поблизости Пергама. Не должно удивляться тому, что народ римский до такой степени возненавидел Назику, когда рассудим, что и Сципион Африканский, более которого народ никого не любил, едва не лишился народной благосклонности, во-первых, за то, что в Нуманция, известившись о смерти Тиберия, произнес следующий из Гомера стих*:

Так и другой да погибнет, кто сотворит таковые.

Потом, когда Гай и Фульвий спрашивали его в Народном собрании, что думает о смерти Тиберия, то он дал на то ответ, которым изъявлял, что не одобрял его поступков. Это было причиной, что народ с тех пор криком своим прерывал его речь, хотя прежде никогда этого не делал. Сципион, гневом увлеченный, ругал народ. В жизнеописании Сципиона рассказано о том подробнее.

Гай Гракх

Гай Гракх, боясь ли противников или желая возродить против них зависть, не показывался в Народном собрании и вел жизнь уединенную, словно человек, который не только унижен и подавлен в настоящее время, но намеревающийся и впредь отказаться от дел общественных. Это подало повод некоторым говорить, что он не одобрял поступков Тиберия и что отвергает их. Впрочем, он был весьма молод, девятью годами моложе брата своего, который умер, не достигши и тридцати лет. В продолжение времени мало-помалу обнаруживая свойства, чуждые праздности, неги, роскоши и любостяжания, и приготовляя способности свои к красноречию, как крылья к возвышению своему в гражданском управлении, явно показывал, что не останется в покое. Некогда произнеся речь в защиту Ветгия, некоего из друзей своих, который был судим, возбудил в народе радостный восторг и исступление и доказал, что другие ораторы в сравнении с ним были не что иное, как дети. Это опять внушило сильнейшим страх; они много говорили, что не надлежало допустить Гая к должности трибуна.

Между тем случайно досталось ему по жребию быть квестором в Сардинии при консуле Оресте*. Это было чрезвычайно приятно неприятелям его и не опечалило Гая. Будучи человек воинственный и образованный в военных делах не менее, как и в судебном, но ужасаясь еще гражданского поприща и трибуны и не будучи в состоянии противиться призывающим его друзьям и народу, он находил удовольствие в том, чтобы удалиться из отечества. Правда, многие того мнения, что он был демагогом, самым необузданным и стремительнее Тиберия в

искании благосклонности народной, однако это ложно; напротив того, кажется, что он более по принуждению, нежели по произволу бросился в гражданское поприще. Оратор Цицерон пишет, что Гай избегал всех общественных должностей и решился жить в покое, но что брат его явился ему во сне и сказал: «Почто же ты медлишь,

Гай? Нет способа уйти. Нам обоим предопределена одна жизнь и одна смерть в управлении нашем в пользу народа».

По прибытии своем в Сардинию, Гай подавал всевозможные опыты доблести и даже превосходил других юношей подвигами против неприятелей, справедливостью к подчиненным, уважением и приверженностью к полководцу, а воздержанием, кротостью и трудолюбием он превышал и старших. В случившуюся в Сардинии жестокую и нездоровую зиму полководец требовал с городов одежды для воинов. Жители послали в Рим просить увольнения от этой повинности. Сенат уважил их просьбу и велел полководцу снабдить одеждой воинов каким-либо другим способом. Полководец не знал, что делать; воины страдали; Гай, переезжая из города в город, заставлял жителей по своей доброй воле посылать одежды войску и помогать римлянам. Когда об этом возвещено было в Риме, то сенат, почитая это подготовительным средством к улавливанию народной благосклонности, был приведен в беспокойство. По прибытии в Рим из Ливии от царя Миципсы послов с объявлением, что царь, из дружбы к Гаю Гракху, послал к полководцу в Сардинию пшеницу, то сенат с негодованием выгнал их. Потом определено было отправить в Сардинию на смену войско, а Оресту оставаться тут, полагая, что Гай, по причине своей должности, останется при Оресте. Как скоро Гай о том был уведомлен, то с досадой отплыл из Сардинии и, показавшись в Риме неожиданно*, был за то обвиняем его неприятелями. Да и народу показался поступок неприличным, что квестор оставляет провинцию прежде начальника. Донесено было на него цензорам, Гай просил позволения говорить и до того переменил мысли слушателей, которые под конец были убеждены, что он уехал, претерпев величайшие обиды. Он сказал, что находился на военной службе двенадцать лет, хотя другие служат только десять; что был квестором при полководце три года, хотя законом позволено возвращаться после одного года; что он единственный из всего войска приехал в Сардинию с полным кошельком, а вывез его пустым; и что все другие, опорожнив винные сосуды, с которыми приехали в Сардинию, привезли их назад наполненными золотом и серебром.

После этого взнесены были на него другие жалобы и обвинения. Его винили в том, что он возбуждал к мятежу союзников и что был сообщником открывшегося во Фрегеллах заговора*. Но Гай, уничтожив все подозрения, явился чистым и немедленно решился искать трибунства. Все известнейшие люди явно ему в том противились; при выборе находилось такое число народа, стекшееся в городе из всей Италии, что для многих не доставало домов, и так как Марсово поле не вмещало множества граждан, то они, стоя на кровлях и черепицах, подавали свои голоса.

При всем том власть имущие до такой степени противились народу и до того унизили надежду Гая, что он избран, не первым, как он надеялся, но четвертым. Однако достигнув трибунства*, он вскоре сделался первым из трибунов, как потому, что он в красноречии был сильнее всякого другого, так и потому, что жестокая участь брата его, которую он оплакивал, подавала ему великую смелость. К этому предмету при всяком случае он обращал народ, напоминая ему о происшедшем и приводя в пример праотцов своих, которые объявили войну фалискам за поруганного трибуна своего, по имени Генуций, и Гая Ветурия приговорили к смерти за то, что он не встал перед трибуном, проходившим через форум. «Однако перед вашими глазами, – говорил он, – знатные побивали Тиберия деревянными обломками и влекли с Капитолия через весь город мертвое тело его, дабы бросить его в реку; перед глазами вашими и умерщвляемы были без суда пойманные его приятели, хотя по отечественным обычаям нашим к дверям обвиненного в уголовном преступлении и не являющегося в суд рано поутру приходит трубач и трубою зовет его к суду; и прежде этого судьи не произносят над ним приговора. Вот сколь они были осторожны в своих приговорах».

Этими словами поколебав народ, имея притом голос самый громкий и сильный, он предложил два закона. Первым запрещаемо было лишенному какого-либо начальства от народа искать оное в другой раз. Вторым давалось право народу судить правителя, изгнавшего без суда

гражданина. Первый из этих законов явно служил к обесчещению Марка Октавия, которого Тиберий исключил из числа трибунов, другой касался Попилия*, ибо он, будучи претором, изгнал друзей Тиберия. Попилий не предстал перед судом, но убежал из Италии. Что касается до первого закона, то оный уничтожен самим Гаем, который объявил, что он щадит Октавия из уважения к просящей о нем матери своей Корнелии. Народ уважил сию причину и согласился на предложение Гая, почитая Корнелию не менее ради детей ее, нежели ради отца. Впоследствии воздвигнут был ей медный кумир с надписью: «Корнелия, мать Гракхов». Упоминаются и слова Гая касательно матери своей, весьма колкие и площадные, сказанные одному из своих противников. «Ты, – сказал он, – хулишь Корнелию, родившую Тиберия?» Поскольку же сей человек был известен своею развратною жизнью, то Гай продолжал: «Что подает тебе смелость сравнивать себя с нею? Разве ты родил подобно ей? Однако всем римлянам известно, что она долее спит без мужа, нежели ты…» Такова была ядовитость речей его. Из того, что им писано, можно собрать многие этому подобные черты.

Из тех законов, которые он предложил в угождение народу и для уменьшения власти сената, один касался заведения поселений и раздачи бедным общественной земли; другой касался военных: он предписывал давать военнослужащему одежду из общества, не вычитая за нее из жалованья ничего, и не принимать в военную службу человека моложе семнадцати лет; третий касался союзников: все италийцы получали равное с римскими гражданами право; четвертым определено было, чтобы пшено продавалось бедным за сходнейшую цену*; пятый касался постановления судей: этим законом чрезвычайно уменьшил силу сенаторов, ибо они одни судили тяжбы и потому были страшны всадникам и народу. Гай присоединил к тремстам человек, из которых суды состояли, такое же число всадников и, таким образом, тяжбы решаемы были обще шестьюстами человек*.

При введении этого закона он употреблял чрезвычайное старание и употребил при том следующее средство: до него бывшие демагоги говорили народу речь, обратясь лицом к сенату и к так называемому Комитию; Гай первый обратился в другую сторону, лицом к форуму, и в таком положении говорил народу*. С того времени все следовали его примеру – и таким образом этим малым уклонением и переменою положения он произвел весьма важный переворот и отчасти преобразил правление из аристократического в демократическое, показывая тем, что говорящий должен обращать внимание на народ, а не на сенат.

Когда же народ не только принял закон этот, но дал Гаю власть избрать судей из числа всадников, то сила его сделалась некоторым образом монархической. Сам сенат принимал его советы, ибо он всегда советовал ему то, что было сообразно с достоинством сената. Так, например, закон, предложенный им касательно пшеницы, присланной пропретором Фабием из Иберии, был самый кроткий и похвальный. Гай убедил сенат продать хлеб, а деньги возвратить городам и выговорить Фабию за то, что делает власть республики тягостной и несносной тамошним жителям. Этим поступком он приобрел в провинциях великую славу и любовь.

Он определил еще выслать из Рима колонии для населения городов, исправить дороги и построить житницы. Во всех этих предприятиях он принимал на себя начальство и распоряжение; нисколько не утомляясь от стольких важных дел, все производилось с удивительною скоростью и старанием, как будто бы он одним только занимался. Самые враги, которые его боялись и ненавидели, были изумлены его деятельностью и скорым исполнением всех дел. Народ приходил в удивление, видя его окруженным множеством подрядчиков, художников, посланников, государственных людей, воинов и ученых. Обходясь со всеми свободно и приятно, сохраняя важность в самом снисхождении и поступая с каждым из них так, как было прилично, он тем изобличил в злобной клевете тех, кто называл его страшным, надменным и самовластным. Он обладал искусством угождать и приобретать любовь обхождением и поступками своими более, нежели речами, произносимыми на трибуне.

Более всего занялся он исправлением дорог, приложив старание, чтобы в них польза была соединена с приятностью и красотой. Дороги проводимы были прямые по местам твердым, устилаемы обтесанным камнем и утверждались насыпным песком. Лощины, которые пересекались рытвинами и протоками, были засыпаемы и соединяемы мостами; между тем возвышения с обеих сторон были сравниваемы и принимали ровный и приятный вид. Сверх того, он измерил все дороги милями – каждая миля содержит восемь стадиев без малого, – и

поставил каменные столбы для показания расстояний. По обеим сторонам дороги поставил еще другие камни, менее одни от других отстоящие, дабы путешествующие верхом могли удобнее влезать на лошадей, не нуждаясь в подставке или посторонней помощи.

За эти дела народ превозносил его и был в готовности доказать свою благодарность. Гай некогда в речи к народу сказал, что он будет просить граждан об одной милости, и если оной достигнет, то почтет ее выше всего, а если нет, то нимало не будет на них жаловаться. Эти слова заставили думать, что он будет искать консульства и трибунства. Когда наступили выборы консульские, и все были в беспокойстве, то показался он на Поле, сопровождая Гая Фанния, и вместе со своими друзьями старался об избрании его в консулы. Это придало Фаннию великий перевес, он был избран консулом, а Гай в другой раз трибуном; он не искал и не просил этого достоинства, но народ избрал его по своей к нему благосклонности.

Между тем видя, что сенат явно враждовал против него и что приверженность к нему Фанния охладела, он вновь привязал к себе народ новыми законами, предлагая послать поселения в Тарент и в Капую и уделяя латинянам право римского гражданства. Сенат, боясь, чтобы сила его не сделалась совершенно непреоборимою, прибегнул, для отвращения от него народа, к новому и необыкновенному способу: он старался взаимно льстить и угождать народу вопреки своей пользы.

В числе трибунов был некто Ливий Друз, человек, который родом и воспитанием не был ниже никакого римлянина; сверх того красноречием и богатством мог сравняться с теми, кто наиболее был силен и уважаем за эти преимущества. К этому-то Друзу обратились тогда знаменитейшие граждане; они уговаривали его действовать против Гая и соединиться с ними против него, не употребляя насилия и не противореча желанию народа, но ведя себя так, чтобы ему было приятно, и угождая ему и в тех случаях, в которых было бы приличнее изъявлять негодование.

Ливий, предоставив ради этой цели сенату всю власть своего трибунства, предложил законы, которые не имели целью ни пользы, ни чести республики и единственно для того, чтобы превзойти Гая в угождении и ласкательстве народу, как бы в представлении комедии. Этим поступком сенат явно обнаружил, что не сердился на распоряжения Гая, но хотел лишь всеми мерами низвергнуть его или унизить. За то, что Гай определил завести две колонии и назначил в оные лучших граждан, они винили его в развращении народа, а между тем, когда Ливий учредил двенадцать колоний и в каждую посылал по три тысячи бедных, то они ему содействовали. За то, что Гай уделял землю бедным, с тем, чтобы каждый из них платил в казну оброк, они его ненавидели как ласкателя народного, а Ливий, освобождавший от этого оброка получивших землю, нравился им. Один оскорблял их тем, что дал латинянам равные с римлянами права; когда же другой предложил народу, чтобы и в походе не было позволено бить палками никого из латинян, то они поддержали этот закон. Сам Ливий в речах своих к народу всегда уверял, что предлагаемые им законы угодны сенату, пекущемуся о пользе народа – и это была единственная польза, которую произвел своими поступками, ибо народ сделался благосклоннее к сенату, хотя он прежде подозревал и ненавидел знаменитейших мужей. Ливий укротил и смягчил это злопамятство и неудовольствие, ибо народ уверился, что он по воле и согласию сильных старается ему нравиться и угождать.

Народ чрезвычайно полагался на приверженность и правосудие Друза, ибо в предлагаемых законах, казалось, не думал он о себе и о своих выгодах. Основателями поселений выслал он других и совсем не касался управления денег, между тем как Гай всегда принимал на себя все важнейшие дела. Когда же Рубрий, один из трибунов, предложил заселить Карфаген, разрушенный Сципионом, Гай, которому досталось по жребию привести это в исполнение, отплыл в Ливию для заселения означенного города, то Друз, пользуясь его отсутствием и действуя уже сильнее против него, старался произвести к себе благосклонность народа и привязать его к себе, употребляя на то клеветы, рассеваемые на Фульвия. Этот Фульвий был другом Гая, избранный ему в товарищи в деле о разделе земель. Он был человек беспокойный, явно ненавидимый сенатом, подозреваемый и другими гражданами, ибо, казалось, он возмущал союзников и подстрекал тайно италийцев к отпадению от римлян. Эти подозрения не были доказаны и обнаружены; однако сам Фульвий придал им вероподобие, будучи человек дурных и немиролюбивых правил. Обстоятельство это стало причиной падения

Гая; на него обратилась вся ненависть, которую имели к Фульвию, и когда Сципион Африканский, без всякой явной причины, умер скоропостижно и на теле его были найдены знаки побоев и насилия – как сказано в его жизнеописании, – то обвинения большей частью падали на Фульвия, который был врагом Сципиону и в тот самый день поносил его на трибуне. Некоторое подозрение коснулось и Гая, ибо хотя с первейшим и величайшим из римлян поступлено было столь злодейским образом, однако дело осталось без наказания и не было сделано никаких исследований. Народ этому воспротивился и уничтожил суд, страшась, чтобы Гай при разборе дела не был изобличен в участии. Но это случилось несколько раньше.

Гай, занимаясь в Ливии заселением Карфагена, который назвал он Юнонией, то есть Городом Геры, встретил, как говорят, многие препятствия от богов. Древко первого знамени, которое ветер вырывал из рук знаменосца, удержавшего его с великим усилием, было изломано. Вихрь также рассеял и жертвы, лежащие на жертвенниках, и разбросал их далее знаков, которые показывали городскую черту; самые знаки эти вырвали волки и понесли далеко. Несмотря на то, Гай устроил и привел в порядок все дела в течение семидесяти дней и возвратился в Рим, получив известие, что Друз притеснял Фульвия и что обстоятельства требовали его присутствия.

Луций Опимий, человек, приверженный к олигархии и сильный в сенате, искал в прежний год консульства, но не имел в том успеха, ибо Гай представил народу Фанния и тем уничтожил его старания. Но в теперешнее время, при содействии многих приверженцев его, не было сомнения, что он достигнет консульства и что, достигши оного, низвергнет Гая, сила которого некоторым образом начинала увядать. Народ был пресыщен подобным управлением, ибо много уже было таких, которые искали его благосклонности, между тем как сенат поневоле им уступал.

Гай, по возвращении своем, во-первых, переселился с Палатинского холма в ту часть города, что лежала ниже форума, как более простонародную, где жили большей частью бедные и простые граждане; после того предложил остальные законы, дабы утвердить оные голосами народа. Чернь стекалась со всех сторон Италии; сенат склонил консула Фанния изгнать из города всех тех, кто не был настоящим римляном. Когда сделалось известным необыкновенное и странное приказание никому из союзников и друзей римского народа не появляться в Риме в те дни*, то Гай со своей стороны издал указ, в котором порицал консула и обещал союзникам оказать помощь, если они останутся в городе. Впрочем, он не исполнил своего обещания, но увидя одного из своих знакомых, с которым связан узами гостеприимства, влекомым ликторами Фанния, он прошел мимо и не защитил его – боясь ли обнаружить уменьшающуюся силу свою, или не желая, как сам говорил, подать своим неприятелям провод к драке и бою, как они того искали.

Он навлек на себя гнев своих товарищей по следующей причине. Народу надлежало смотреть на площади сражение гладиаторов. Многие из правителей построили вокруг форума места для смотрения и отдавали оные в наем. Гай велел им снять оные, дабы бедные граждане могли смотреть даром; однако никто не повиновался. Гай, дождавшись ночи накануне зрелищ, собрал всех работников, бывших у него, сломал эти места и на другой день показал народу место упраздненным. Он явил себя через то народу человеком твердым, но соправителей своих оскорбил наглым и насильственным поступком. Это было причиной, что он не получил третьего трибунства; в пользу его было подано много голосов, но соправители лживо и коварно обнародовали имена избранных, хотя, впрочем, это подлежит сомнению. Гай не перенес равнодушно неудачи, и когда неприятели его над ним смеялись, то, говорят, он сказал им следующие слишком дерзкие слова, что их смех сардонический*, и что они не понимают, какой мрак навело на них его управление.

По избрании в консулы Опимия неприятели Гая уничтожили многие из введенных им законов и хотели переменить сделанное им о Карфагене распоряжение. Они тем раздражали его, дабы найти случай умертвить его, когда бы он подал им к тому повод. Гай несколько времени терпел, но будучи подстрекаем своими приятелями, а особенно Фульвием, он решился опять собрать своих приверженцев для сопротивления консулу. Говорят, что содействовала ему его мать, которая нанимала тайно людей в других областях и посылала их в Рим, переодетых женщинами, о чем упоминается загадочно в письмах к сыну ее, но другие уверяют, что все эти

поступки были ей весьма неприятны.

В тот день, в который Опимий хотел уничтожить законы, обе стороны заранее заняли Капитолий. По принесении консулом жертвы некто из его ликторов по имени Квинт Антиллий, неся внутренность жертвы к той стороне, где стояли Фульвиевы сообщники, сказал им: «Дайте место добрым, вы дурные граждане!» Некоторые говорят, что с этими словами обнаружил руку и показал им ее в неблагопристойном виде, поругаясь над ними. Антиллий был убит на месте, пораженный большими стилями, которые, говорят, на то и были сделаны. Это убийство привело народ в смущение, но в предводителях произвело противное действие. Гай досадовал и делал укоризны своим за то, что они подали тем повод к жалобе неприятелям своим, которые того и желали. Опимий, напротив того, как бы получил уже повод, был тем весьма доволен и поощрял народ к отмщению.

Случившийся сильный дождь принудил граждан разойтись. На рассвете следующего дня консул собрал сенат и занимался делами; между тем несколько человек, положив на одр нагой труп Антиллия, несли нарочно его через форум мимо сената с плачем и рыданием. Хотя Опимий знал то, что происходило, однако притворялся, что был тем удивлен. Сами сенаторы вышли к ним, а когда одр положен был на землю, то оказывали великое сострадание, как бы над великим и ужасным бедствием. Большая часть народа чувствовала ненависть и ужас к этим олигархам за то, что сами, умертвив на Капитолии Тиберия Гракха, бывшего трибуном, бросили труп его в реку, между тем как Антилий, ликтор, может быть, несправедливо пострадавший, но сам бывший виновником своего несчастья, лежит на площади, окруженный римским сенатом, оплакивающим его и как бы с почестью выносящим наемного человека, дабы тем удобнее умертвить единственного гражданина, пекущегося о пользе народной.

Сенаторы, возвратившись в сенат, приказали консулу Опимию спасать республику, как он может, и низложить тираннов*. Консул велел наперед сенаторам приняться за оружие и каждому всаднику приказал поутру принести с собою двух вооруженных служителей. Фульвий также приготовлялся и собирал людей. Гай, уходя с форума, стал перед изображением отца своего, долго на него смотрел пристально, не сказав ничего, заплакал, вздохнул и удалился. Народ, увидев это, был тронут жалостью к Гаю; граждане укоряли себя, как людей робких, предающих этого человека, они пришли к его дому и провели ночь у его дверей, но не в таком виде, в каком были те, кто стерег Фульвия. Эти провели ночь в рукоплесканиях и восклицаниях, предавались питью, хвастали, следуя примеру Фульвия, который первый напился пьян, говорил и поступал весьма дерзко и неприлично летам своим. Напротив того, те, кто находился при Гае, были спокойны, как бы при общем бедствии отечества, и заботясь о будущем, караулили и отдыхали по очереди.

На рассвете дня с трудом они разбудили спящего от пьянства Фульвия, вооружились бывшими в его доме оружиями, которые он отнял у галлов, победивши их во время своего консульства, и с великими угрозами и криком спешили занять холм Авентинский. Но Гай не захотел вооружиться, он вышел в тоге, как бы хотел идти на площадь, опоясавшись малым кинжалом. При самом выходе из дома жена его бросилась пред ним и, обняв одной рукою его, другой сына, говорила ему: «Не к трибуне отпускаю тебя, Гай, как народного трибуна и законодателя, как прежде; не к славной войне тебя отпускаю, дабы подвергнувшись общей всем участи, по крайней мере, оставил ты мне почтенную причину сетования, – ты подвергаешь себя ударам Тибериевых убийц; похвально, что ты безоружен, дабы лучше претерпеть, нежели причинить что-либо худое. Но ты погибнешь без всякой для общества пользы. Дурная сторона уже преобладает; насилием, мечом решаются уже суды. Когда бы брат твой пал под Нуманцией, то мертвое тело его было бы нам выдано неприятелем, а ныне, может быть, и я должна буду обратить свои моления к какой-либо реке, к какому-либо морю, дабы узнать, где твое тело сокрыто. На каких богов, на какие законы можно уже полагаться после погибели Тиберия?» Так Лициния рыдала. Гай, освободившись тихо от руки ее, шел с друзьями своими в безмолвии; она хотела взять его за платье, но упала на пол и долго лежала безгласна, пока служители подняли ее бесчувственную и понесли к брату ее, Крассу.

Как скоро все соединились вместе, Фульвий, убежденный Гаем, послал на форум младшего из детей своих с жезлом глашатая. Юноша был прекрасен собою; он предстал с приличием и стыдливостью и со слезами на глазах обратился со словами примирения к консулу

и сенату. Присутствующие большей частью были склонны к вступлению в переговоры, но Опимий объявил, что им не надлежало склонять сенат к примирению посредством вестников, но самим явиться в суд, как преступным гражданам, предать себя и таким образом укротить гнев сената. Он велел юноше или не приходить более, или возвратиться с требуемым ответом. Гай хотел, как говорят, идти и оправдаться перед сенатом, но другие не были на то согласны. Фульвий послал опять сына своего с такими же предложениями. Но Опимий, спеша вступить в бой, поймал тотчас юношу и отдал под стражу и в то же время наступал на Фульвия с многочисленной пехотой и критскими стрелками, которые, в особенности поражая и раня сообщников Фульвия, привели их в расстройство.

Они предались бегству; Фульвий убежал в старую и оставленную баню, но вскоре был найден и умерщвлен вместе со старшим сыном своим. Никто не видал, чтобы Гай сражался; он негодовал на происходившее и удалился в храм Дианы. Здесь хотел он умертвить себя, но был удержан вернейшими своими приятелями Помпонием и Лицинием. Они, находясь при нем, отняли у него нож и побудили его бежать. Тогда он, говорят, преклонив колено и воздев руки к богине, проклял народ римский, моля, чтобы в возмездие за его неблагодарность и предательство он никогда не перестал рабствовать. В самом деле, когда объявлено было всепрощение, то большая часть народа переменила мысли в сторону врагов Гракхов.

Между тем Гай предавался бегству; враги его наступали; и настигли его на деревянном мосту*. Двое из приятелей его побудили его идти далее, сами остановили преследователей и, сражаясь перед мостом, никого не пропускали; они были убиты. Вместе с Гаем бежал один служитель по имени Филократ. Все, как бы наперебой, призывали их бежать быстрее, но никто не помогал; никто не дал Гаю коня, которого он просил. Уже преследователи были весьма близко, он успел не многим прежде убежать в священную рощу Эриний*; здесь Филократ поразил и умертвил его, а за ним и себя. Но некоторые говорят, что оба они пойманы живыми, что служитель обнял своего господина и что никто не мог поразить Гая прежде, нежели Филократ не пал под многими ударами. Голову Гая отрубил и нес один гражданин, но она была отнята у него неким Септумулеем, другом Опимия. До начала битвы обещано было тому, кто принесет головы Гая и Фульвия, равновесное количество золота. Голова Гая была принесена Опимию Септумулеем, воткнутая на копье; принесены были весы, на которые была поставлена и потянула семнадцать фунтов и две трети, ибо Септумулей и в этом оказал себя нечестивым и мерзостным человеком: он вынул мозг из головы и влил в нее растопленный свинец. Те, кто принес голову Фульвия, не получили ничего, ибо были из простолюдин. Тела как его, так и других были брошены в реку; число убитых простиралось до трех тысяч человек. Имения их отобраны в народную казну, женам их запрещено сетовать. Лицинию, жену Гая, лишили приданого. Поступок их с младшим сыном Фульвия был самый свирепый: он не поднял руки ни против кого, не был в числе сражавшихся, но до начала сражения пришел к ним с мирными предложениями; он был ими пойман и после сражения умерщвлен. Впрочем, более этого и других деяний своих Опимий огорчил народ тем, что построил храм Единомыслия; казалось, он гордился и величался и некоторым образом торжествовал над убиением такого множества граждан. По этой причине ночью, под надписью храма, некоторые прибавили следующий стих:

Дело безмыслия, храм творит единомыслия.

Таким образом сей Опимий первый, будучи консулом, действовал с властью диктаторской и предал смерти без суда сверх трех тысяч граждан, Гая Гракха и Фульвия Флакка, из которых последний удостоился консульства и триумфа, первый же превышал всех сверстников своих доблестью и славою. Опимий не воздержался и от похищения денег*. Будучи отправлен посланником к Югурте, царю нумидийскому, он был им подкуплен. Изобличенный в постыднейшем дароприятии, он состарился в бесчестии, ненавидимый и поругаемый народом, который в этом случае был усмирен и унижен, но вскоре после того явил, какую любовь и приверженность имел к Гракхам. Он сделал им кумиры, поставил на том месте и освятил места, на которых они были умерщвлены, принося им все произведения годовых времен. Многие им ежедневно приносили жертвы и поклонялись им, как бы приходили к храму богов.

Корнелия, говорят, перенесла это несчастье с великим духом и твердостью. О священных

местах, на которых дети ее были побиты, она говорила: «Мои дети имеют достойные себя гробницы». Она провела жизнь близ Мизен*, нимало не переменив обыкновенного образа жизни; у нее было много друзей, и по склонности своей к гостеприимству она держала хороший стол. При ней всегда находились греки и ученые; все цари принимали от нее и посылали к ней подарки. Повествуя деяния и образ жизни отца своего Сципиона Африканского тем, кто приходил к ней и пребывал у нее, она услаждала их, но возбуждала к себе удивление, когда без слез и без изъявления горести рассказывала о бедствиях детей своих, как о некоторых происшествиях прежних времен. По этой причине казалось многим, что от старости и великих бедствий она лишилась ума и сделалась бесчувственна – но те поистине бесчувственны, которые не знают, что великий дух, благородное происхождение и хорошее воспитание много способствуют к перенесению печалей; и что счастье нередко одерживает верх над доблестью, остерегающегося впасть в бедствия, но что оно в самых бедствиях не отнимает у нее твердости к перенесению их с благоразумием.

Сравнение Агиса и Клеомена с Тиберием и Гаем Гракхами

Приведя к концу и это повествование, остается сравнить одних с другими и рассмотреть их жизни.

Касательно Гракхов даже те, кто за все их хулил и ненавидел, не осмелились сказать, чтобы они не были более всех римлян одарены лучшими способностями к приобретению добродетели, и чтобы они не получили отличного воспитания и образования. Агис и Клеомен свойствами своими кажутся сильнее Гракхов; они не получили надлежащего образования, но были воспитаны в таких нравах и в таком образе жизни, от которых гораздо прежде развратилось не одно поколение; несмотря на то, сами они явили себя наставниками другим в простоте и воздержании. Гракхи в то время, когда величие Рима было во всем блеске своем, когда существовало рвение к похвальным делам, стыдились оставить добродетель, как бы по наследству от их отцов и прародителей им переданную. Другие хотя происходили от родителей, которые шли противной им стезею; хотя приняли отечество в дурном и болезнующем состоянии, однако тем нимало не охладели в стремлении своем к добру. Бескорыстие Гракхов, равнодушие их к деньгам оказываются тем, что они среди власти и управления республикой сохранили себя чистыми от несправедливых стяжаний. Что касается до Агиса, то он изъявил бы негодование, когда бы похвалили его за то, что ничего не принял чужого, ибо он согражданам уступил собственное свое имение, состоявшее из шестисот талантов наличными деньгами, исключая других стяжаний. Сколь постыдным почел бы несправедливое приобретение тот, кто считал любостяжанием иметь более других, хотя и справедливым образом?

Что касается до предприимчивости и смелости в переменах, ими производимых, то величием своим далеко два лакедемонянина превосходили двух римлян. Эти занимались в своем управлении исправлением дорог, населением городов; самые дерзкие их предприятия состояли в том, что Тиберий хотел вновь разделить общественные земли, а Гай смешать суды и придать к числу судей триста человек из сословия всадников. Но Агис и Клеомен в преднамереваемых им переменах, думая, что исцелять и отсекать поврежденные члены помалу и по частям значило то же, что отсекать головы гидре, как говорит Платон, произвели в делах тот переворот, который мог сразу переделать общество и избавить его от всех зол. Может быть, справедливее сказать, что они уничтожили тот переворот, который все бедствия возродил, что устроили республику и привели ее в первоначальное ее состояние.

Можно заметить и то, что важнейшие римляне противились деяниям Гракхов, но предприятия Агиса, приведенные к концу Клеоменом, имели своим прекраснейшим и славнейшим образцом отечественные о воздержании и равенстве ретры, одни, утвержденные Ликургом, а другие – Аполлоном. Важнее всего то, что управлением Гракхов могущество Рима нисколько не возвысилось, тогда как деяния Клеомена в краткое время дали Греции возможность увидеть Спарту господствующей над Пелопоннесом и борющейся с сильнейшими тогдашнего времени народами за верховное владычество. Цель борьбы ее была освобождение Греции от иллирийских и галатских оружий и возвращение ее под управление потомков

Геракла.

Мне кажется, что и кончина этих людей обнаруживает различие их добродетелей. Гракхи погибли, сражаясь со своими гражданами и предавшись бегству. Агис умер почти по своей воле, дабы никто из граждан не был умерщвлен. Клеомен, обруганный и оскорбленный, хотя решился отомстить за себя, но как обстоятельства того ему не позволили, то умертвил сам себя бестрепетно.

Взирая на дела их с иной стороны, мы открываем, что Агис не успел оказать никакого военного подвига, но был наперед умерщвлен. Многим же и славным победам Клеомена можно противоположить Тиберием возобновленные стены Карфагена – дело немаловажное, – примирение заключенного им при Нуманции; он спас двадцать тысяч римских воинов, которые не имели другой к спасению надежды. Гай и здесь, и в Сардинии оказал в походах великую храбрость. Из этого можно заключить, что они оба сравнились бы с первыми римскими полководцами, когда бы не погибли прежде времени.

Что касается до управления гражданского, Агис, кажется, действовал слабее и, будучи Агесилаем обманут, не сдержал данного гражданам слова о новом разделе земли. Вообще он не из робости и слабости не исполнил того, что предпринял и чего обещал гражданам; напротив того, Клеомен приступил к перемене правления с большей смелостью и насилием. Он умертвил эфоров беззаконно, хотя, преобладая оружием, легко было ему их преклонить на свою сторону или изгнать из Спарты, откуда он действительно изгнал немалое число других граждан. Без крайней нужды употреблять железо не есть дело ни врачевания, ни политики, но доказательство малого искусства и в том и в другом; притом в последнем, сверх жестокости, открывает и несправедливость. Ни один из Гракхов не начинал междоусобного кровопролития. Гай, как говорят, и поражаемый не обратился к обороне. Хотя в военных делах был мужествен и горяч, но в мятеже явил себя совершенно недеятельным. Он вышел из дому безоружным, когда началось сражение, удалился и вообще показал, что он больше заботился о том, чтобы не причинять никому зла, нежели, чтобы самому не пострадать. Итак, бегство и того и другого должно почитать знаком не робости, но заботливости о других, ибо надлежало или уступить наступающим, или, оставаясь на месте, защищаться и действовать для того, чтобы не пострадать.

Самый большой упрек, который можно сделать Тиберию, есть тот, что он исключил из числа трибунов своего товарища, а Гаю – что искал вторично трибунства. Смерть Антиллия несправедливо и ложно приписывали Гаю: он погиб против желания Гая и к великому его неудовольствию. Оставя и не упоминая об убиении эфоров, можно заметить, что Клеомен освободил рабов и царствовал в самом деле один, и лишь на словах вдвоем, сделав участником власти брата своего Евклида, происходящего из одного дома; склонился приехать к нему из Мессены и был умерщвлен, но Клеомен, не показав виновников его смерти, утвердил тем подозрение, что сам был тому виной. Напротив того, Ликург, которому, казалось, он подражал, уступил по своей воле царство сыну брата своего Хариллу, но боясь, чтобы по случаю дитя не умерло и на него не пало бы подозрение в его смерти, он долго странствовал вне отечества и в Спарту возвратился только тогда, когда у

Харилла родился наследник престола. Впрочем, и среди греков нет другого, который бы сравнился с Ликургом.

То, что в управлении Клеомена видны великие несправедливости и дерзкие перемены, о том уже мною замечено. Те, кто осуждает нрав двух спартанцев, обвиняют Клеомена в том, что он с самого начала был склонен к самовластию и к войне. Что касается Гракхов, то и ненавидящие их не могли их винить ни в чем более, как в безмерном честолюбии, но признавались, что Гракхи, против свойств своих, воспаленные гневом в борьбе со своими противниками, предали наконец свое управление произволу слепого случая, как бы дуновениям ветра, ибо что касается до первого предмета их управления, может ли быть что-либо похвальнее и справедливее оного, когда бы богатые насильственно и самовластно не предприняли уничтожить закон и не довели до необходимости одного страшиться за себя, другого мстить за брата, умерщвленного без суда, без приговора правителей?

Итак, из всего сказанного всякий может видеть существующие между ними разности. Если же должно мне сказать свое мнение о каждом из них, то я полагаю, что Тиберий

превышал всех добродетелью; что молодой Агис менее всех проступился, и что Гай немало должен уступить Клеомену в смелости и деятельности.

Деметрий и Антоний

Деметрий

Кто первый понял, что искусство и чувства наши между собою сходны, тот, по моему мнению, весьма хорошо постиг в отношении их суждения, тех и других силу, посредством которой могут оные познавать вещи противоположные. Но на этом, однако, сходство заканчивается; они разнствуют между собой в рассуждении цели, к которой относится то, о чем судят. Чувства столь же мало созданы для различения как белого, так и черного; как сладкого, так и горького; как мягкого и уступающего, так жестокого и противодействующего; но дело их состоит в том, чтобы прийти в движение от всех встречающихся им предметов и передать разуму все то, что производит на них впечатление. Искусства, соединяясь с разумом для избрания и отклонения того, что им чуждо, смотрят на первое преимущество и с великим тщанием, на другое – случайно и только для предохранения себя. Так, например, врачебное искусство взирает на болезнь, а музыка – на разногласие, для произведения противоположного. Напротив того, искусства, самые совершенные, каковы суть: воздержание, правосудие, благоразумие, которые должны судить не только о похвальном, справедливом и полезном, но и о вредном, постыдном и несправедливом, не могут хвалить того незлобия, которое гордится лишь неопытностью в дурном, не почитают его глупостью и незнанием того, что преимущественно знать нужно человеку, который хочет жить правильно и благоразумно.

Древние спартанцы принуждали илотов в праздники пить много вина; потом, приводя их на пиршества, показывали молодым людям следствия пьянства. Что до меня касается, то я думаю, что исправление одних людей, соединенное с развращением других, есть дело, противное человеколюбию и политике; но почитаю небесполезным ввести в жизнеописания одну или две пары людей, которые во власти и в великих делах сделались известны своими пороками и употребили во зло свою силу. Намерение мое не то, чтобы испестрить этим свое сочинение лишь к удовольствию и препровождению времени читателей: я подражаю фиванцу Исмению, который, показывая ученикам своим и тех, кто хорошо играл на флейте, и тех, кто играл дурно, говаривал им: «Так должно играть» или: «Так играть не должно». Антигенид также думал, что молодые люди с большим удовольствием будут слушать хороших флейтистов, когда научатся узнавать дурных, – и мы, по моему мнению, будем ревностнейшими созерцателями и подражателями жизни добродетельных мужей, если не останемся несведущи в жизни дурных и всеми порицаемых.

Итак, эта книга должна содержать жизнеописание Деметрия Полиоркета и императора Антония, мужей, которые собою утвердили мнение Платона, что великие натуры производят великие пороки, равно как и великие добродетели. Оба были равно склонны к питью, любви, войне; были щедры, пышны, надменны; подобные же сходства открываем и в судьбе их. Не только в продолжение жизни своей они имели великие успехи и великие неудачи, много приобрели и много потеряли, внезапно впадали в несчастья и неожиданно опять восставали из них; но и кончили жизнь свою одинаково: один, попав в руки неприятелю, другой – будучи весьма близок к тому, чтобы подвергнуться той же участи.

У Антигона от жены Стратоники, дочери Коррага, было двое сыновей; одного назвал Деметрием, в честь брата, другого Филиппом, в честь отца. Так о том свидетельствует большая часть историков; некоторые уверяют, что Деметрий был не сыном, но племянником Антигона, и что в младенчестве он лишился отца, а так как Антигон женился вскоре на его матери, то он был почитаем его сыном. Филипп, который был немногими годами моложе Деметрия, умер еще в молодости.

Деметрий был несколько ниже отца своего, хотя тот был велик ростом. Красота его лица была удивительна и чрезвычайна, ни один из живописцев не выразил ее в совершенстве. На лице его соединялись приятность и важность, суровость и любезность; с молодостью смешана

была некоторая героическая наружность и царская сановитость, которую представить было весьма трудно; равным образом и свойства его были таковы, что пленяли и ужасали людей. Будучи самого приятного обхождения, в питье, неге и пиршествах самым роскошным из царей, в действиях обнаруживал величайшую деятельность, твердость и постоянство. По этой причине он ставил себе в образец Диониса, который более всех богов был весьма искусен вести войну, переходил скоро из войны в мир и легко склонялся к веселью и удовольствию.

Деметрий был чрезвычайно отцелюбив, а изъявляемым к матери уважением доказывал он, что чтил и отца своего более по истинной любви, нежели из лести к его могуществу. Говорят, что Деметрий пришел некогда прямо с охоты к отцу своему, который принимал посланников, он приблизился к нему, поцеловал его и сел подле него, держа между тем в руке охотничий дротик. Когда посланники, получив ответ, уже удалялись, то Антигон громким голосом сказал им: «Возвестите вашему господину и о том, что мы так согласны между собою». Он почитал некоторым утверждением царской власти и доказательством могущества согласие и доверие к сыну. До какой же степени власть замкнута и до того исполнена недоверчивости и неблагорасположения, что величайший и старейший из Александровых наследников радуется тому, что не боится своего сына, но допускает его к себе тогда, когда он стоит подле него с дротиком! В самом деле, один сей дом, на протяжении многих поколений, был чист от подобных бедствий. Можно сказать, что из потомков Антигона один только Филипп* умертвил своего сына. Между тем почти все другие поколения представляют нам убиение многих детей, матерей, жен. Умерщвлять братьев своих – подобно как геометры выдвигают некоторые условия – почиталось неким обыкновенным требованием, позволительным царям для их безопасности.

То, что Деметрий был от природы человеколюбив и привержен к друзьям своим, тому можно представить следующий пример. Митридат, сын Ариобарзана*, был по причине сверстничества близким приятелем Деметрия и искал благосклонности Антигона; он не был и не казался дурным человеком. Но по некоторому сновидению Антигон возымел к нему подозрение: ему казалось, что он шел по пространнойё прекрасной равнине и сеял опилки золотые; из них сперва возникла золотая жатва, но когда он вскоре возвратился туда, то не нашел ничего более, кроме срубленной соломы. Он печалился и беспокоился о том, как показалось ему, что кто-то говорил, будто бы Митридат отправился в Эвксинский Понт для уборки золотой жатвы. Это видение смутило Антигона; он сообщил о том своему сыну, заклявши его никому о том не рассказывать и дав знать о своем намерении непременно убить Митридата. Деметрий весьма был огорчен сею вестью, и когда молодой приятель его пришел к нему по обыкновению для препровождения с ним времени, то Деметрий, будучи связан клятвой, не осмелился ему ничего сказать, ни обнаружить дело голосом; но отведя его несколько в сторону от друзей своих и будучи с ним наедине, писал на земле острием копья следующие слова: «Беги, Митридат!» Митридат понял, что это значило, и ночью убежал в Каппадокию. Вскоре судьба совершила наяву сон, виденный Антигоном. Митридат завладел обширной и богатой областью и был родоначальником понтийских царей, которые прекращены были римлянами в восьмом от него колене. Вот примеры природной любви к кротости и правосудию.

Как среди стихий Эмпедокла*, по причине вражды и дружбы их, существует некоторый раздор и война, в особенности между теми, что бывают близко одни от других и касаются друг друга, так беспрерывно продолжавшаяся между всеми наследниками Александра война становилась между некоторыми из них явственнее от прикосновения мест и обстоятельств и тем больше воспламенялась. В таком отношении тогда находился Антигон к Птолемею. Первый имел пребывание во Фригии. Узнав, что Птолемей переправился с Кипра в Сирию, разорял и покорял города либо склонял их к измене, он послал против него сына своего Деметрия, которому тогда было от роду двадцать два года, и в первый раз получил в важных обстоятельствах верховное начальство над войском. Неопытный молодой человек, вступив в бой с полководцем Александровой палестры, который сам дал многие великие сражения, был побежден при городе Газы, потерял восемь тысяч пленных и пять тысяч убитыми. Он лишился шатра своего, казны и вообще всего обоза. Но Птолемей все это отослал к нему обратно, вместе с друзьями его, с кротким и благородным объявлением, что им должно воевать не за все вместе,

но за славу и верховное владычество. Деметрий принял вещи и молился богам не быть долгое время должником Птолемею в этом одолжении, но вскоре заплатить ему тем же. Как свойственно молодому человеку, он не потерял духа, будучи низложен в начале своих предприятий, но подобно опытному и разумному полководцу, испытавшему в жизни своей многие повороты судьбы, старался он о собирании войска и заготовке оружий. Он держал в повиновении города и учил собирающееся войско.

Антигон, получив известие о поражении, сказал: «Птолемей теперь победил безбородых юношей, но скоро будет иметь дело с мужами». Дабы не унизить и не угнести духа сына своего, он не противился ему, когда он просил позволения еще сразиться, но дал на то свое согласие. Спустя немного времени Килл, полководец Птолемея, прибыл в Сирию с сильным войском, дабы выгнать изо всей области Деметрия, которым пренебрегал по причине первого поражения. Но Деметрий напал на него вдруг, когда он того не ожидал, и привел его в такой страх, что завладел неприятельским станом вместе с полководцем*. Он захватил семь тысяч человек военнопленными и великое множество денег. Он радовался по одержании победы не тому, что он получил, но тому, что мог возвратить; не столько радовали его богатство и слава, им приобретенные сею победою, сколько случай оказать благодарность Птолемею за человеколюбивый поступок. Впрочем, он не сделал того, что хотел, а писал отцу своему. Получив от него позволение поступить так, как за благо рассудит, он одарил богато Килла и друзей его и отослал к Птолемею. Эта неудача заставила Птолемея выступить из Сирии и побудила расстаться с Келенами Антигона, который радовался победе и желал видеть своего сына.

После этого Деметрий был послан для покорения аравийского племени набатеев*. Он находился в великой опасности, зайдя в степи безводные; но, однако, изумив варваров своим бесстрашием и смелостью, он отступил, забрав великую добычу и отняв у них семьсот верблюдов.

Селевк, прежде этого лишенный Вавилонии Антигоном, впоследствии завладел опять этой страной своими собственными силами и отправился с войском для покорения народов, смежных с Индией, и областей, лежащих вокруг Кавказа. Деметрий, надеясь застать Месопотамию без защиты, переправился внезапно через Евфрат и ворвался в Вавилон. Он взял одну из двух крепостей ее, выгнал из нее охранное войско Селевка, оставил в ней семь тысяч человек, позволив воинам своим грабить область и брать с собою как добычу все то, что они могли захватить, и возвратился в приморские области, таким образом укрепив владычество Селевка. Разоряя область, Деметрий как бы отказывался от всех прав на нее.

Между тем Птолемей осаждал Галикарнасс; Деметрий быстро обратился на помощь городу и вырвал его из рук Птолемея*. Слава, приобретенная этим предприятием, внушила Деметрию и Антигону чрезвычайное желание возвратить вольность всей Греции, порабощенной Кассандром* и Птолемеем. Никакой царь не вел войны достохвальнее и справедливее. Богатство, которое они собирали в то самое время, как унижали варваров, издерживали теперь в пользу греков для приобретения славы и чести. Когда решено было плыть флотом в Афины, то некто из друзей Антигона сказал: «Если возьмем сей город, то надлежит его оставить за собою, как лестницу, переброшенную на берег Греции». Но Антигон отверг совет, он сказал, что лучшая и твердейшая лестница есть любовь и приверженность граждан, а что Афины, как некоторое возвышенное и видимое всей вселенной место, вскоре своей славой ко всем народам распространит их деяния. Деметрий с пятью тысячами талантов серебра и флотом, состоявшим из двухсот пятидесяти кораблей, отплыл в Афины. Город был управляем Деметрием Фалерским именем Кассандра*, а в Мунихии было охранное войско. Действуя с благоразумием и пользуясь благоприятством судьбы, Деметрий явился перед Пиреем двадцать шестого фаргелиона, когда никто того не предвидел. Едва корабли вблизи показались, то все готовились к принятию их, как бы оные были Птолемея. Полководцы поздно уже узнали, чьи они были; они обратились к обороне; произошла тревога и беспокойство, как необходимо бывает тогда, когда надлежит защищаться против неприятеля, который делает неожиданно высадку. Деметрий нашел, к счастью, входы к пристани не загражденными, вступил в оные. Будучи уже всеми видим, дал с корабля знак, которым требовал, чтобы все успокоились и не шумели. Это было исполнено; он поставил подле себя вестника и объявил,

что отец его послал в добрый час освободить афинян, изгнать охранное воинство и возвратить им древние их законы и правление.

Когда это было возвещено, то афиняне, сложив перед ногами щиты, плескали руками, издавали восклицания, просили Деметрия выйти на берег, называя его спасителем и благодетелем. Деметрий Фалерский и его приятели, считая, что надлежит принять сильнейшего противника, хотя бы он не захотел исполнить ничего того, что обещает, отправили к нему с изъявлением покорности посланников, которые были приняты Деметрием благосклонно и отправлены обратно вместе с Аристодемом Милетским, отцовским другом. Он позаботился о Деметрии Фалерском, который в сем перевороте правления более страшился граждан, нежели неприятелей; уважив славу и добродетели этого мужа, Деметрий выслал его под прикрытием в Фивы, как тот просил. Что касается до Деметрия, то он объявил афинянам, что при всем своем желании видеть Афины, однако, не прежде это сделает, как по совершенном их освобождении и по изгнании охранного войска. Он запер Мунихию рвом и валом и отплыл в Мегары, которые были занимаемы войсками Кассандра.

Известившись, что в Патрах находится Кратесиполида, бывшая супруга Александра, сына Полисперхонта*, женщина, славная своею красотой, и что она охотно желает с ним видеться, Деметрий, оставив войско близ Мегар, шел далее, имея при себе немного легких воинов. Он отделился и от них и поставил особо свой шатер, дабы скрыть от всех посещение сей женщины. Некоторые из неприятелей, проведав об этом, неожиданно напали на него. Деметрий, будучи в великом страхе, надел дурной плащ, вырвался от них бегом и едва не попал в постыдный плен по причине своего невоздержания. Неприятели взяли шатер его с деньгами и удалились.

Между тем Мегары были взяты; воины готовились их грабить; но афиняне многими просьбами выпросили мегарянам пощаду. Деметрий, изгнав охранное войско, возвратил гражданам независимость. В то самое время вспомнил он о философе Стильпоне, славном человеке, который решился провести жизнь в тишине. Деметрий призвал его и спросил, не унес ли кто у него чего-либо. «Нет! – отвечал Стильпон. – Я никого не видел, кто бы похищал науку». Между тем почти все рабы были тайно отняты у жителей, и когда Деметрий при прощании говорил ласково с Стильпоном и наконец сказал ему: «Я оставляю город ваш свободным!» – «Ты правду говоришь, – сказал ему Стильпон, – ибо ты не оставил нам ни одного раба».

Возвратившись опять в Мунихию, расположился станом перед нею, изгнал охранное войско, срыл крепость и тогда уже, удовлетворяя желанию призывавших его афинян, вступил он в их город, созвал народ и возвратил ему древнее его правление. Он обещал им при том именем отца своего, что привезено будет к ним сто пятьдесят тысяч медимнов хлеба и корабельного леса на сто триер. Таким образом, афиняне восстановили демократию, которой были лишены в продолжение пятнадцати лет. Хотя после Ламийской войны и сражения при Кранноне правление их называлось олигархическим; однако на самом деле царило единовластие по причине великой силы Деметрия Фалерского.

Деметрий явил себя великим и блистательным своими благодеяниями; но афиняне сделали его своими неумеренными почестями, ему определенными, несносным и ненавистным. Они прежде всех дали Деметрию и Антигону наименование царей – наименование, которого они отвращались – оно оставалось еще у потомков Филиппа и Александра, не будучи разделяемо и сообщаемо другим. Они прозвали их богами-спасителями и, уничтожив достоинство архонта-эпонима, ежегодно избирали «жреца спасителей», имя которого они писали в начале постановлений и договоров; они постановили, чтобы изображения Деметрия и Антигона вышиваемы были на пеплосе* вместе с богами. Место, на которое Деметрий вышел в первый раз из колесницы, посвятили богам, соорудили на нем жертвенник Деметрию Сходящему; к коленам аттическим* прибавили два: Деметриаду и Антигониду; Совет, состоящий из пятисот членов, – ибо каждое колено избирало по пятидесяти советников – сделали они шестисотным.

Но самое чрезвычайное изобретение принадлежит Стратоклу – так назывался изобретатель этого премудрого и удивительного раболепия. Он предложил, чтобы граждане, отправляемые Собранием к Антигону и Деметрию, назывались не посланниками, а феорами, подобно тем в греческих празднествах, которые приносят в Дельфах и в Олимпии узаконенные

жертвы со стороны своих городов.

Этот Стратокл был человек наглый и всю жизнь свою провел в распутстве; своей дерзостью и бесстыдством, казалось, хотел подражать своевольству древнего Клеона. Он имел у себя дома гетеру Филакион. Некогда она купила ему на рынке мозги и шеи: «О! – сказал он. – Ты купила то, чем мы играем, как мячиком, занимаясь общественными делами». Когда афиняне потерпели поражение в морском сражении при Аморгосе*, то он, опередив всех вестников, пришел на площадь через Керамик, увенчанный цветами, и объявил гражданам, что они одержали победу; он предложил принести благодарственные жертвы и разделить мясо по коленам. Вскоре после того прибыли те, кто привел остатки кораблей после этого несчастного сражения; народ с гневом призывал Стратокла; он предстал с дерзостью перед шумящим народом и сказал: «Что же дурного с вами случилось, если я заставил вас два дня веселиться?» Таково было бесстыдство и наглость Стратокла.

Но было еще нечто другое, по выражению Аристофана – жарче огня. Другой льстец, превосходящий Стратокла низостью, предложил народу принимать Деметрия каждый раз, как он приедет в Афины, с торжественными обрядами, как Деметре и Дионисию. Кто в этой торжественной встрече превзойдет других великолепием и пышностью, тому давать денег из общественной казны для сооружения богам некоторого памятника. Наконец, месяц мунихион переименован в деметрион; последний день месяца назван деметриадой, а Дионисиевы праздники – Деметриями. Впрочем, божество многими знамениями изъявляло на это свое негодование. Пеплос, на котором по постановлению народному были вышиты изображения Деметрия и Антигона вместе с Зевсом и Афиной, был несом через Керамик и разорван восставшей вдруг бурей. Вокруг жертвенников этих новых богов земля произрастила во множестве цикуту, хотя сие растение редко растет в Аттике. В тот день, в который отправлялись Дионисии, торжество было отложено по причине не вовремя наступившего холода и выпавшего инея; также морозом побило не только все виноградные лозы и смоковницы, но испортило большую часть зеленеющего еще посева. По этой причине Филиппид, неприятель Стратокла, пишет о нем в комедии следующее:

Твое нечестие навлекло те морозы,
Что виноградные нам повредило лозы.
Богини мантия тобою раздрана
И смертным честь богов тобой присвоена.
Вот губит что народы, не комиков забавы.

Филиппид был в милости у Лисимаха и уважении; через него народ получил от этого царя многие благодеяния. Когда царь встречал или видел его при начле какого-либо дела или похода, то почитал это хорошим предзнаменованием. Сверх того, Филиппид был уважаем за свои свойства, ибо он никому ничего не открывал и вовсе не имел свойственного придворным любопытства. Некогда Лисимах, для изъявления ему своей любви, спросил его: «Филиппид! Что мне тебе уделить?» – «Что тебе угодно, государь, – отвечал Филиппид, – кроме своей тайны». Я нарочно противоположил одного другому: оратору народному – театрального стихотворца.

Самая бессмысленная и странная почесть определена Деметрию по предложению Дромоклида из Сфетт. Он предложил, чтобы для посвящения в Дельфах щитов, просили наперед от Деметрия прорицания! Я выпишу здесь это постановление слово в слово: «В добрый час да утвердит народ, чтобы был назначен один из афинян, который пришел бы к Зевсу Спасителю, и по принесении жертв вопросил Спасителя, каким образом народ самым благочестивым, приличным и скорым образом может совершить посвящение приношений; какое он даст прорицание, то народ и исполнит». Вот каким образом, издеваясь над ним, они его испортили тогда, когда и без того не был он совсем здравого рассудка!

Находясь в Афинах в то время без занятий, он женился на Эвридике, которая происходила от древнего Мильтиада и прежде была супругой Офельта, властителя Кирены; по смерти же его она опять возвратилась в Афины. Афиняне почли сей брак за милость, оказанную их городу. Впрочем, Деметрий охотно сочетался браком и имел многих жен, среди которых была в

уважении и имела большую важность Фила* – как по праву дочери Антипатра, так и потому, что была прежде супругою Кратера, которого более всех других Александровых наследников македоняне любили и по смерти. Деметрий был еще очень молод, когда отец его советовал ему на ней жениться, несмотря на неравенство лет, ибо она была гораздо старше его, а так как он не показывал к тому охоты, то Антигон сказал ему на ухо Еврипидов стих:

Для выгоды своей женись и против воли*.

Он прилично заменил одно слово другим, имеющим равное окончание. Впрочем «уважение», оказываемое Деметрием к Филе и другим женам, не препятствовало ему иметь связь со многими гетерами и свободными женщинами, и он более всех тогдашних царей был порицаем за склонность свою к этим удовольствиям.

Между тем Антигон призывал Деметрия, дабы воевать с Птолемеем за Кипр: надлежало повиноваться. Он жалел, что должен оставить начатую за Грецию войну, которая была славнее и похвальнее. Он послал к Клеониду, Птолемееву полководцу, стерегущему Сикион и Коринф, предлагая денег с тем, чтобы он оставил эти города независимыми. Но Клеонид не согласился, и Деметрий, посадив поспешно на суда войско, отплыл на Кипр. Он дал сражение Менелаю, брату Птолемея, и одержал над ним победу. Вскоре явился сам Птолемей с многочисленным войском и флотом. Сначала они грозили друг другу и изъявляли хвастливые предложения. Птолемей советовал Деметрию отплыть прежде, нежели быть растоптанным всею собравшейся силою. Деметрий говорил, что отпустит его, если обещает освободить от охранного войска Коринф и Сикион. Эти обстоятельства не только двух соперников, но и всех других государей держали в беспокойстве, по причине неизвестности о будущем, ибо одержавший победу приобретал немедленно не только Кипр и Сирию, но первенство над всеми.

У Птолемея было сто пятьдесят кораблей. Он велел Менелаю выступить из Саламина с шестьюдесятью кораблями и в самом жару сражения напасть на Деметрия с тылу и расстроить его ополчение. Деметрий противопоставил этим шестидесяти кораблям десять, ибо такое число достаточно к заграждению узкого входа пристани. Он выстроил свое сухопутное войско, расположил его на выдающихся в море оконечностях и с флотом, состоявшим из ста восьмидесяти кораблей, выступил против неприятеля. Нападение его было сильно и стремительно; он разбил совершенно Птолемея, который после этого поражения убежал поспешно с восьмью только кораблями – не более этого числа осталось у него из такого множества кораблей! Все другие погибли в сражении, а семьдесят были взяты в плен вместе с людьми. Множество служителей, приближенных Птолемея и женщин, а также оружие, деньги и машины, которые в перевозных судах стояли на якоре близ берега – все без исключения досталось в руки Деметрию*; он все взял и привел в свой стан. Среди пленных была и известная Ламия, которую сперва уважали за искусство – она довольно хорошо играла на флейте, – но которая впоследствии прославилась любовью к ней Деметрия. Хотя в тогдашнее время красота ее уже начинала увядать; однако, уловив гораздо моложе себя Деметрия, овладела им совершенно своею приятностью. Казалось, он был любовником одной ее, а других женщин любимцем.

После морского сражения Менелай уже более не сопротивлялся; он предал Деметрию Саламин, корабли, тысячу двести человек конницы и двенадцать тысяч тяжелой пехоты.

Победа эта блистательна и славна; Деметрий придал ей более красоты своею кротостью и человеколюбием: он похоронил великолепно тела неприятелей, отпустил пленников, а афинянам подарил из взятой добычи тысячу двести полных доспехов. Вестником с победой к отцу послал он милетца Аристодема, первенствующего лестью между всеми придворными и приготовившего, по-видимому, употребить при этом самую большую лесть. Переправившись с Кипра на твердую землю*, он велел бросить якорь, не причалив к земле судна, на котором спутникам своим приказал стоять спокойно, а сам сел на ботик и вышел на берег один. Он шел к Антигону, который, ожидая конца сражения, был в сильном беспокойстве, в таком расположении, в каком бывает человек, заботящийся о великих делах. Узнав о прибытии Аристодема, он пришел в большее против прежнего беспокойство, с трудом мог удержать себя дома и посылал друзей своих и служителей одних за другими, дабы спросить у Аристодема о

происшедшем. Аристодем никому не отвечал ни слова; тихими стопами и с важным лицом шел он в безмолвии к Антигону, который, будучи от того приведен в исступление и не терпя долее неизвестности, встретил его у самых дверей, сопровождаемого уже великим множеством народа, стекающегося во дворец царский. Будучи уже близко, Аристодем простер руку к Антигону и воскликнул громко: «Здравствуй, царь Антигон! Мы победили в морском сражении царя Птолемея; во власти нашей Кипр и шестнадцать тысяч восемьсот пленных». Антигон отвечал ему: «И ты здравствуй, Аристодем! Но за то, что так долго мучил нас, ты будешь наказан: ты не скоро получишь подарка за радостную весть».

Тогда в первый раз народ провозгласил Антигона и Деметрия царями. На Антигона надели диадему его приятели; Деметрию послал диадему отец, который в письме называл его царем. Жители Египта, известившись о том, провозгласили также царем и Птолемея, дабы не казалось, что унизились духом по причине претерпенного поражения. Таким образом, наследники Александра из ревности подражали друг другу в принятии этого названия. Впрочем, диадему начал носить Лисимах, равно как и Селевк, когда занимался делами греческими, ибо он еще прежде обходился с варварами как царь. Что касается до Кассандра, хотя и называли его царем и писали ему как царю, однако он в письмах подписывался по-прежнему.

Принятие царского титула означало не только дополнение к имени и изменение наружного вида; оно произвело перемену в мыслях сих мужей, вознесло их дух, придало их образу жизни и сообществу важность и надутость, ибо они, подобно трагическим актерам, вместе с одеянием меняли и поступь, и голос, и приветствия, и самый образ сидения. С этого времени они сделались насильственнее в своих притязаниях, оставив притворство, которое прежде делало их во власти несколько мягче и снисходительнее к подданным. Такую-то силу имело одно выражение льстеца, и такую-то перемену произвело оно во вселенной.

Антигон, вознесенный подвигами Деметрия на Кипре, немедленно предпринял поход против Птолемея. Он сам предводительствовал пехотой сухим путем, а Деметрий сопровождал его с многочисленным флотом. Касательно будущего окончания этой войны, Медий, друг Антигона, увидел следующий сон. Казалось ему, что Антигон со всем войском участвовал в двойном пробеге*. Сперва с жаром и быстротою; но вскоре сила его мало-помалу уменьшилась; наконец, поворотив назад, он сделался слаб, задыхался и с трудом переводил дух. Антигон встретил в походе великие затруднения, а Деметрий находился в великой опасности от непогоды и великой бури быть прибитым к берегам, крутым и неприступным. Он потерял множество кораблей и возвратился без всякого успеха.

Антигону тогда было без малого восемьдесят лет; по причине великого роста его и тяжести телесной более, нежели по причине старости, в походах было трудно его носить. Итак, он употреблял своего сына, который и по своей опытности и по благоприятству счастья хорошо управлял важнейшими делами. Что касается до его неги, роскоши и склонности к питью, то Антигон все это сносил равнодушно. Деметрий во время мира, будучи свободен от дел, предавался наслаждениям необузданно и безмерно; но во время военное он вел себя так благопристойно, как человек, по природе самый воздержанный. Говорят, что в то время, когда Ламия совершенно уже им обладала, Деметрий, приехав из дальней страны, целовал с горячностью Антигона, который сказал ему смеясь: «Ты думаешь, сын мой, что целуешь Ламию!» Некогда в продолжение нескольких дней он предавался пьянству и для извинения своего говорил отцу, что беспокоил его флюс. «Так, – отвечал Антигон, – я это знаю, но скажи, какой это был флюс, хиосский или фасосский?*» Узнав некогда, что сын снова болен, Антигон пошел его навестить и в дверях встретил одного пригожего мальчика. Войдя к сыну своему, он сел подле него и взял его за руку. Деметрий сказал, что только что жар его оставил. «Да, это правда, мой сын, – отвечал Антигон, – он мне попался навстречу у самых дверей». Он переносил эти беспорядки с кротостью по причине великой деятельности Деметрия. Скифы, когда предаются пьянству и веселью, чуть щелкают тетивами своих луков, как бы через то возбуждали свой дух, расслабленный удовольствием. Что касается до Деметрия, то, предаваясь наслаждениям или занявшись делами, употреблял и то и другое без примеси. Впрочем, тем не менее, был он страшен военными приготовлениями.

Он казался полководцем искуснейшим в приготовлении военных сил, нежели в их

употреблении. Он хотел, чтобы у него все было в изобилии на случай нужды, имел ненасытное желание сооружать корабли и машины в большом виде и находил в созерцании этого великое удовольствие. Имея от природы великие дарования и изобретательный ум, он не обращал способностей своих к забавам и к бесполезному препровождению времени, подобно другим царям, занимавшимся игрою на флейте, живописью или чеканкой. Аэроп*, царь македонский, когда не имел дела, мастерил столики и подсвечники. Аттал Филометор разводил лекарственные травы, не только белену и черемицу, но еще цикуту, волчий корень и живокость, которые он сам сеял и сажал в царских садах, стараясь узнавать свойства соков плодов их, которые собирал вовремя. Парфянские цари хвастали тем, что сами выглаживали и изощряли острия стрел. Что касается до Деметрия, то сама ремесленная работа его была царская; в занятиях его видно было величие, ибо в произведениях его, вместе с великим его старанием и склонностью к искусствам, обнаруживались некоторая высокость ума и величие духа, так, что оные казались делами, достойными не только его царского разума и богатства, но и царской его руки. Оные величиной своею поражали изумлением даже приятелей, а красотою тешили даже врагов. Сказанное здесь много есть более строгая истина, нежели пышные выражения. Неприятели, стоя на берегу, удивлялись его кораблям пятнадцатью или шестнадцатью рядами весел, плававшим мимо их. Машины, называемые «Градобрателями», притягивали взоры осажденных, как сами события это доказывают. Лисимах, жесточайший из врагов Деметрия и воевавший с ним когда тот осаждал Солы, город киликийский, послал просить его, чтобы он показал ему свои машины и корабли. Деметрий показал ему оные, и Лисимах с изумлением удалился. Родосцы, выдержав долговременную осаду против него, по прекращении войны просили у него несколько машин, дабы они остались у них, как памятник его могущества и их храбрости.

Он вел войну с родосцами, которые были в союзе с Птолемеем, и приставил к стенам их самый большой «Градобратель». Основанием машины был четвероугольник; каждый бок оного был шириною сорок восемь локтей; в вышину имела она шестьдесят шесть локтей; по верху бока ее становились уже основания и сходились. Внутри имели многие ярусы и отделения; передняя часть ее, обращенная к неприятелю, отворялась; в каждом ярусе было окошко, из которого выбрасываемы были разного рода стрелы. Машина была наполнена воинами, способными ко всякому роду военных действий. Она была тверда и не качалась при движении своем; но стоя прямо на своем основании и сохраняя равновесие, шла вперед с великим шумом и силою. Она ужасала душу, но вместе с тем радовалала глаза зрителей.

В продолжение войны принесены были ему с Кипра две железные брони, каждая весом в сорок мин. Оружейник Зоил, желая показать их крепость и силу, пустил в них, с расстояния двадцати шести шагов, стрелу из катапульты. Она попала в броню, но железо осталось цело; только на нем видна была легкая царапина, как бы нанесенная стилем. Одну из этих броней носил Деметрий, другую – эпирец Алким, человек, самый воинственный и самый сильный из тех, кто находился при Деметрии; он носил все оружие весом в два таланта, между тем, как полные доспехи других весили один талант. Этот Алким пал на Родосе, сражаясь близ театра.

Родосцы дали сильный отпор Деметрию, который, не производя против них ничего важного, с досадой продолжал осаду, ибо родосцы, захватив корабль, везший письма, одеяла и платья, присланные к нему от его супруги Филы, отослали все к Птолемею. Они не подражали учтивости афинян, которые во время войны с Филиппом, поймав гонцов с письмами, прочитали оные все, но не распечатали письма ему от Олимпиады. Они отослали его Филиппу запечатанным. Хотя это происшествие оскорбило Деметрия, однако, когда получил благоприятный случай причинить родосцам взаимное неудовольствие, он от того воздержался. В это время Протоген, уроженец Кавна, писал картину, представляющую историю Иалиса*; работа приблизилась к концу, как Деметрий завладел картиной в одном предместье. Родосцы послали глашатая и просили его пощадить сию работу и не испортить ее. Деметрий отвечал им, что скорее сожжет изображения отца своего, нежели испортит столь великое произведение художества. Говорят, что Протоген писал сию картину семь лет. Аппелес, увидя ее, приведен был в такое изумление, что недостало у него голоса к изъявлению чувств своих; и после некоторого времени сказал: «Великий труд! Удивительная работа! Но не достает в ней грации, с которой труды живописца достигли бы неба». Эта картина была привезена вместе с другими в

Рим и сгорела во время пожара.

Между тем родосцы выдерживали осаду с упорством; Деметрий искал только предлога снять оную*. Афиняне примирили его с ними на следующем условии: чтобы родосцы были союзниками Антигона и Деметрия только не в войне с Птолемеем.

Афиняне звали на помощь Деметрия, ибо город их был осаждаем Кассандром. Он приплыл с флотом, состоявшим из трехсот тридцати кораблей и с многочисленным войском. Не только изгнал из Аттики Кассандра, но преследовал его до Фермопил, заключил союз с беотийцами и взял Кенхрию. Он покорил Филу и Панакт, укрепления, занимаемые Кассандром в Аттике, и возвратил их афинянам. Этот народ, и прежде употреблявший без меры лесть, истощивший все почести, в тогдашнее время умел изобрести еще новые почести: он назначил Деметрию местом пребывания задний дом Парфенона*. Здесь он и жил. Говорили, что Афина принимала к себе и угощала Деметрия – однако он был гость не самый скромный и жил не так благопристойно, как бы следовало жить в доме богини-девы. Отец его, узнав некогда, что Филиппу, другому сыну его, отведены были покои в доме, где находились три молодые женщины, ничего не сказал ему, но в присутствии его, призвав человека, отвечающего за постой, сказал: «Не выведешь ли ты моего сына из этой тесноты?»

Но Деметрию, хотя и следовало бы чтить Афину если не для чего другого, то по крайней мере, как старшую сестру – ибо он желал, чтобы называли его младшим ее братом, – осквернил Акрополь своими мерзкими насилиями до такой степени, что казалось, что это место тогда было чище, когда Деметрий проводил время с известными гетерами Хрисидой, Ламией, Демо и Антикирой. Из уважения к городу почитаю неприличным описать обстоятельно другие его поступки; однако же не должно пройти молчанием добродетели и целомудрие Дамокла. Он был в отроческих летах и не избегнул внимания Деметрия, ибо само прозвище его изъявляло красоту его; он был прозван Дамокл Прекрасный. Ни дары, ни обольщения, ни угрозы не действовали на него. Он избегал палестры и гимнасии и ходил мыться в простую баню. Деметрий, подстерегши одного его, вошел туда. Дамокл, видя себя беспомощным, снял крышку с медного котла и бросился в кипящую воду. Он погубил сам себя незаслуженным и недостойным образом; но обнаружил дух, достойный отечества своего и своей красоты. Сколь различно поведение Клеэнета, Клеомедонтова сына! Он выпросил у Деметрия, чтобы отцу его отпущена была пеня в пятьдесят талантов, к которой он был приговорен, и принес от него письмо к народу. Он тем не только посрамил себя, но встревожил всю республику. Народ освободил Клеомедонта от платежа пени, но постановил, чтобы никто из сограждан не приносил от Деметрия писем. Деметрий, известившись о том, вознегодовал; и афиняне, вновь приведенные в страх, не только уничтожили постановление, но и тех, кто оное предложил или говорил в пользу оного, частью убили, частью изгнали – и притом вынесли решение, чтобы народ афинский почитал благочестивым в отношении к богам и справедливым в отношении к людям все то, что царь Деметрий повелит. Когда же кто-то из лучших граждан сделал замечание, что Стратокл безумствует, предлагая народу таковые постановления, то Демохар из Левконоя сказал: «Напротив, он бы безумствовал, когда бы не безумствовал». В самом деле, Стратокл своею лестью много выигрывал, а Демохар за свои слова был оклеветан и изгнан из города. Так-то поступали афиняне тогда, когда, казалось, они были независимы и освобождены от охранного войска.

Деметрий вступил в Пелопоннес; никто из противников не осмелился ему противостать; они бежали, оставляя ему города. Деметрий принял на свою сторону так называемый Скалистый берег* и Аркадию, исключая Мантинею. Он освободил Аргос, Сикион и Коринф, дав сто талантов охранявшему оные войску. Когда наступали в Аргосе праздники Гереи, то он принял звание подвигоположника, участвовал в торжествах греков и женился на Деидамии, дочери Эакида, царя молоссов, и сестре Пирра. Он сказал сикионянам, что они живут не в том месте, где следовало, и заставил их переселиться туда, где ныне стоит их город, который вместе с местом переменил и имя, и назван Деметриадой.

На Истме составлен был Всеобщий совет, куда стеклось великое множество народа. Деметрий был избран вождем Греции, как прежде Филипп и Александр. Гордясь настоящим своим счастьем и великим могуществом, он во многом почитал себя лучше их. Впрочем, Александр никого из царей не лишил этого наименования, а себя не называл царем царей, хотя

он многим дал царства и название царей. Деметрий же, смеясь над теми, кто давал название царя кому-либо другому, кроме отца его и ему, слушал с удовольствием, когда на пиршествах при наливании чаш говорили: «За здравие Деметрия царя! Селевка – начальника слонов! Птолемея – начальника флота! Лисимаха – хранителя казны! Агафокла – властителя Сицилии!» Когда сие доходило до ушей других царей, то они смеялись; один только Лисимах изъявлял досаду, как будто бы Деметрий почитал его скопцом – обыкновенно в казнохранители избирали евнухов. Впрочем, Лисимах чрезвычайно его ненавидел и, понося его за любовь к Ламии, говаривал, что в первый раз видел блудницу, выходящую на трагическую сцену. Деметрий в ответ говорил, что его блудница чище Лисимаховой Пенелопы.

Возвращаясь в Афины, он писал народу, что по прибытии своем намеревался немедленно быть посвященным в таинства и совершить все обряды от низших до созерцательных. Но это было противно законам, и прежде того никогда не бывало. Малые таинства совершались в месяце анфестерионе, а Великие – в боэдромионе*; дабы получить созерцательную степень, надлежало, по крайней мере, чтобы после Великих протек один год. Когда прочтено было письмо Деметрия, то факелоносец* Пифодор один осмелился сему противиться; но тщетно: Стратокл изъявил свое мнение называть и почитать месяц мунихион афнестерионом. Таким образом, ввели Деметрия в таинства в Агре*. После этого месяц мунихион сделался опять из анфестериона боэдромионом, чем совершился остаток посвящения: Деметрий принял степень «созерцателя». По этой причине Филиппид, ругая Стратокла, писал:

Годичный целый срок в единый месяц сжал.

И еще – насчет постоя в Парфеноне:

Не ты ли превратил в приют наш замок,
Богини девственной блудниц пустил ты в дом?

Хотя в то время совершены в городе многие непристойные и противозаконные поступки, но всех более оскорбило афинян данное им приказание собрать две тысячи талантов и внести их немедленно. Взыскание было скорое и строгое. Деметрий, увидя деньги собранными, велел их выдать Ламии и ее приятельницам на румяна и притирания. Посрамление, более нежели убыток, и молва, более самого дела, оскорбили афинян. Некоторые говорят, что он так поступил с фессалийцами, а не с афинянами. Сверх того, Ламия и сама собрала со многих граждан своего рода налог, желая угостить царя. Пиршество, по причине своего великолепия, столько прославилось, что описано Линкеем Самосским. По этой причине кто-то из комиков очень удачно назвал Ламию истинным «Градобрателем». А Демохар из Сол назвал Деметрия «Мифом», ибо у него также была Ламия*. Сила, которую имела над ними Ламия, и любовь его к ней не только в женах Деметрия, но в самых его друзьях возбуждали зависть и ревность. Некогда отправлены были им посланники к Лисимаху, который им в свободное время показывал в бедрах и в мышцах рубцы глубоких ран, полученных от львиных когтей, и рассказывал, как он боролся со львом, с которым Александр его запер. Посланники, смеясь, говорили Лисимаху, что у царя их на шее знаки угрызения страшного зверя – Ламии. Удивительно то, что хотя Фила была ему неприятна, по причине ее лет, однако он был прельщен Ламией и долго любил ее, несмотря на то, что прелести ее увяли. Некогда Ламия за пиршеством играла на флейте, и Деметрий спрашивал у Демо, прозванной Бешеной: «Какова тебе кажется Ламия?» – «Старухой, государь!» – отвечала она. В другой раз были поданы к столу сласти, и Деметрий сказал Демо: «Видишь, сколько мне присылает Ламия?» – «Моя мать, – отвечала она, – пришлет к тебе еще более, если ты будешь и ее любить».

Упоминается опровержение Ламии так называемого Бокхорисова суда*. Некто в Египте влюбился в гетеру Тониду, которая запросила с него много денег. Влюбленный увидел ее во сне, желание его удовлетворилось, и он успокоился. Тонида, однако, требовала за то платы и подала в суд. Царь Бокхорис, уведомившись о сей тяжбе, велел бывшему любовнику положить потребованное количество денег в сосуд и поводить оный перед глазами гетеры, а между тем Тониде – ловить тень его, ибо мечтание есть некоторая тень истины. Ламия считала, что суд сей

несправедлив, ибо тень не освободила Тониду от любви к деньгам, а сновидение прекратило любовь к ней молодого человека. Но довольно о Ламии.

Судьба и деяния мужа, о котором говорим, обращают повествование о нем как бы из комического представления в трагическое. Когда все другие цари составили союз против Антигона и совокупили свои силы, то Деметрий выступил из Греции и присоединился к отцу своему, который не по летам своим горел желанием сразиться и тем более воспламенил его. Кажется, что когда бы Антигон хотя несколько сделался бы снисходительнее и смягчил чрезвычайное свое любоначалие, то сохранил бы до конца себе и оставил бы сыну первенство над всеми царями. Но будучи от природы надменен и горд и на словах не менее, как и на деле, дерзок, он раздражал и ожесточал молодых и могущественных своих противников. Он говорил, что сих союзных и восставших против него царей, как слетевших клевать зерна птиц, разгонит одним камнем и стуком. У него было более семидесяти тысяч пехоты, десяти тысяч конницы, семьдесят пять слонов; у противников: шестьдесят четыре тысячи пехоты, десять тысяч пятьсот человек конницы, четыреста слонов и сто двадцать колесниц. Как скоро войска были в недальнем друг от друга расстоянии, то в душе Антигона произошла перемена, которая касалась более его надежды, нежели намерения. Хотя он в сражениях был обыкновенно высокопарен и дерзок, употреблял громкий голос и грозные слова и нередко, шутя и говоря что-нибудь смешное, при начале сражения изъявлял свою неустрашимость и презрение к неприятелю, однако в теперешнее время был задумчив и молчалив; он показал сына своего войскам и объявил его по себе преемником. Всего более удивило то, что он долго говорил в шатре один с сыном, хотя прежде не имел обычая советоваться с ним тайно, но держался всегда своих мыслей, давал сам приказания и действовал по своим собственным предначертаниям. Говорят, что Деметрий, будучи еще очень молод, спрашивал его, когда снимутся с лагеря, и Антигон с гневом сказал ему: «Ужели боишься, что ты один не услышишь трубы?»

В теперешнее время дурные знамения унижали их дух. Деметрий увидел во сне Александра в блистательном вооружении, который спросил его: «Какой пароль дадут во время сражения?» Деметрий отвечал: «Зевс и Победа!» – «Так я уйду к противникам, – сказал он, – ибо они меня приемлют». Фаланга уже выстроилась, как Антигон, выходя из своего шатра, споткнулся, упал ничком и ушибся. Он встал, простер руки к небу и молился богам, да дадут ему или победу или смерть нечувствительную прежде, нежели быть побежденным. Между тем началось сражение. Деметрий, предводительствуя многочисленнейшей и лучшей конницей, сошелся с Селевком, сыном Антиоха*, сражался с отличной храбростью и разбил неприятеля; но преследуя безвременно бегущих с большим жаром и честолюбием, он испортил все дело. Поворотив назад, он не мог уже соединиться с пехотой, ибо слоны стали между ним и ею. Между тем Селевк, видя, что пехота остановилась без подкрепления конницы, хотя не нападал на нее, но только стращал и обступал, показывая, будто бы хотел на нее напасть, и тем давал ей время перейти на его сторону. Это и случилось: важная часть пехоты отделилась от Антигона и по своей воле перешла к Селевку. Все войско предалось бегству. Многие уже устремлялись на Антигона; один из приближенных его сказал: «Они бегут на тебя, государь!» – «Кого же другого, кроме меня, имеют они целью? – отвечал Антигон. – Но Деметрий придет ко мне на помощь». Он до конца на это надеялся, смотрел вокруг, не идет ли его сын; между тем вдруг посыпалось на него множество стрел; он пал; прислужники и друзья его покинули; при мертвом теле оставался один Форак из Лариссы.

Так решилось это сражение!* Победившие цари расчленили, как некое огромное тело, владения, бывшие под управлением Антигона и Деметрия, присваивали себе оные и присоединяли к областям, которыми прежде владел каждый из них*. Деметрий предался бегству с пятью тысячами пехоты и четырьмя тысячами конницы и быстро ускакал в Эфес. Все думали, что он, по недостатку в деньгах, не воздержится от того, чтобы не ограбить храма. Но он, боясь в свою очередь, как бы воины его не сделали этого, вышел с поспешностью из Эфеса и обратил свое плавание к Греции, полагая всю надежду на афинян, ибо у них оставил он и корабли, и деньги, и жену Деидамию. Он думал, что самое безопасное для него убежище – была приверженность к нему афинян. Он продолжал свой путь с поспешностью и находился при Кикладских островах, как встретил афинских посланников, которые просили его не вступать в их город, ибо народ определил не принимать в оный никого из царей. Что касается до

Деидамии, то они выслали ее в Мегары с почестями и приличным ее достоинству провожанием. Получив сие объявление, Деметрий был от ярости вне себя; хотя перенес свое несчастье с равнодушием и при таком перевороте явил себя не униженным и не малодушным. Для него было горестно, что он вопреки ожиданиям своим обманулся в афинянах и что видимая их приверженность оказалась на деле пустой и притворной. По-видимому, самое ничтожное доказательство приверженности народов к царям и владыкам суть чрезвычайные почести, которых все достоинство состоит в доброй воле оказывающих оные; но когда производит их страх, то не имеют к ним доверия. Народы делают одни и те же постановления и когда боятся, и когда любят. По этой причине разумные государи, полагаясь на собственные свои деяния и поступки, а не на кумиры, живопись и на поклонение народа, или верят им как знакам почестей, или не верят им, почитая их плодами принуждения. Нередко народ, в то самое время, в которое оказывает почести, ненавидит тех, кто вынуждает у него оные и принимают с гордостью и высокомерием.

Деметрий почитал себя оскорбленным, но не будучи в состоянии отомстить афинянам, сделал через посланников легкие укоризны и требовал, чтобы ему возвращены были корабли его, среди которых был один с тринадцатью рядами весел. Получив оные, он пристал к Истму*. Дела его были в дурном положении: охранные войска были выгоняемы из крепостей; все переходили к неприятелям его. Оставив в Греции Пирра, он отплыл в Херсонес. Он причинил вред Лисимаху и в то же время обогащал свое войско добычей и держал его вместе. Оно уже начинало мало-помалу становиться опять грозной силой. Лисимах был оставлен другими царями, ибо нимало не казался умереннее Деметрия, а напротив того, он был для них страшнее по причине большей его силы.

Вскоре после того Селевк просил у Деметрия через посланников в супругу себе Стратонику, дочь Деметрия и Филы. Он имел от персиянки Апамы сына Антиоха; но думал, что его государство могло быть достаточно для многих наследников и что он имел нужду в родстве с Деметрием, ибо известно было ему, что и Лисимах женился на одной дочери Птолемея, а Агафокл, сын его, на другой. Предлагаемое родство с Селевком было для Деметрия неожиданным благополучием. Он взял дочь свою и отплыл в Сирию со всеми кораблями своими; делал вынужденные остановки и пристал к Киликии, которую взял Плистарх, получив ее в удел от царей после сражения с Антигоном. Плистарх был братом Кассандра. Почитая себя обиженным тем, что Деметрий вышел на его берег, и дабы обвинить Селевка в том, что он мирится с общим неприятелем без согласия других царей, он отправился к брату своему.

Деметрий, известившись о том, отправился с морского берега к Киндам и, найдя в сокровищнице еще тысячу двести талантов, взял оные, успел сесть на корабль и поспешно отплыл. Уже прибыла к нему и Фила, жена его. Селевк встретил его при Россосе*. Свидание их было свободно от подозрения и злоумышлений и поистине царское. Сперва Селевк угостил Деметрия, приняв его на корабль с тринадцатью рядами весел. Они беседовали, веселились и проводили целые дни вместе без телохранителей и без оружия. Селевк наконец взял Стратонику и торжественно отправился в Антиохию.

Деметрий завладел Киликией и послал жену свою Филу к брату ее Кассандру для уничтожения Плистарховых жалоб. Между тем Деидамия приехала к нему из Греции, пробыла с ним несколько времени и умерла от болезни. Деметрий заключил мир с Птолемеем посредством Селевка; положено было между ними, чтобы он женился на Птолемаиде, дочери Птолемея.

До сих пор поступки Селевка похвальны, но когда он предлагал Деметрию, чтобы он уступил ему Киликию за некоторое количество денег, и, получив отказ, требовал с гневом сдачи Сидона и Тира*, то он этим показал себя человеком насильственным и несправедливым, ибо, покорив власти своей пространную страну от Индии до Сирийского моря, был еще столь беден и до того нуждался, что для получения двух городов гнал родственника своего, столь много пострадавшего от превратностей судьбы. Он тем торжественно доказал истину мнения Платона, который советует тому, кто желает быть истинно богатым, умерять свою алчность, а не умножать имение. Кто не перестанет быть алчным к богатству, тот никогда не освободится от бедности и недостатка.

Несмотря на то, Деметрий не устрашился; он объявил, что хотя бы потерпел тысячу

других поражений, как при Ипсе, однако не согласится за такую цену сделать Селевка своим зятем. Он усилил города охранным войском. Узнав, что Лахар, пользуясь раздором афинян, хотел получить верховную власть, Деметрий надеялся, что легко завладеет городом, как скоро предстанет перед его стенами. Он переправился через море в безопасности с сильным флотом. Но на берегах Аттики настигнут был бурей и потерял много кораблей; множество людей погибло. Он сам спасся и вел войну с афинянами, но, не имея успеха, послал собирать морские силы, сам переехал в Пелопоннес и осадил Мессену. Он подверг себя великой опасности, приступая к стенам этого города, ибо стрела из катапульты попала ему в лицо и сквозь челюсть прошла в рот. Исцелившись от раны и покорив некоторые города, отпадшие от него, он опять вступил в Аттику. Он покорил Элевсин и Браврон и стал разорять область. Захватив корабль, везший в

Афины груз пшена, он повесил купца и корабельщика. Другие купцы и корабельщики, боясь подобной участи, не возили уже более хлеба в Афины – и сие произвело в городе голод. Сверх хлеба они нуждались и во всем прочем; медимн соли покупали за сорок драхм; медимн пшена за триста. Афиняне несколько отдохнули, увидя показавшиеся близ Эгины сто пятьдесят судов, присланных на помощь Птолемеем. Но оные убежали, как скоро собралось к Деметрию до трехсот кораблей, частью из Пелопоннеса, частью же с Кипра. Тиранн Лахар оставил город и убежал.

Хотя афиняне определили смерть тому, кто упомянет о мире с Деметрием, однако немедленно отворили ему ближайшие ворота и выслали к нему посланников. Они не ожидали от него никакого снисхождения; но находились в крайне нужде, во время которой случились с ними многие страшные происшествия, среди которых упоминают о следующем. Отец и сын сидели в комнате, лишенные уже всякой надежды к сохранению жизни своей, как с потолка упала мертвая мышь. Увидя ее, они вскочили и начали за нее драться. В то время и философ Эпикур, говорят, кормил своих учеников бобами строго по счету.

В таком-то положении находился город! Деметрий, вступив в оный, велел гражданам собраться в театре; он оградил сцену воинами и занял логий* копьеносцами, а сам спустился, подобно трагическим актерам, верхним ходом – чем еще более привел в ужас афинян; но начало его речи было прекращение их страха. Он не употребил жестокого голоса и укорительных речей, но жаловался на них легко и дружески, простил им, роздал сто тысяч медимнов пшена и постановил начальства, какие были народу приятнейшие. Оратор Драмоклид, видя, что народ в восторге издавал восклицания и что демагоги наперебой старались превзойти друг друга похвалами в честь Деметрия, предложил: предать царю Деметрию Пирей и Мунихию. Предложение было принято народом, и Деметрий поставил охранное войско на Мусее*, дабы афиняне, переменившись когда-нибудь в мыслях своих, не навели ему новых беспокойств и забот.

Имея уже во власти своей Афины*, Деметрий строил козни против Лакедемона. В Мантинее встретил его царь Архидам, которого Деметрий разбил и потом вступил в Лаконию. Перед самою Спартой дано было другое сражение: он взял в плен пятьсот человек, умертвил двести и едва не завладел городом, который до того времени никем не был взят. Но кажется, ни в каком другом царе счастье не обнаружило столь великих и быстрых переходов; никогда в других случаях не явил себя столь переменчивым, то малым, то великим, никогда из высокой степени не вверглось в унижение и из слабого состояния не восставало к могуществу. По этой причине, говорят, что Деметрий в противных переворотах счастья произносил стих из Эсхила:

Ты вознесло меня, ты ныне низлагаешь!

В то время, когда дела его поправлялись и сила его и власть возрастали, возвещено ему было, что Лисимах завладел городами, которыми он владел в Азии; что Птолемей отнял Кипр – исключая Саламин, и что в сем городе осаждал он мать и детей его, которые там оставались. Однако счастье подобно женщине, о которой пишет Архилох:

Коварная несла одной рукою воду,
Другой огонь,

хотя этими страшными и неприятными известиями отвело его из Лакедемона, однако вновь подало ему надежду к новым великими делам. Поводом к тому было следующее.

По кончине Кассандра старший сын его Филипп управлял недолго македонянами и умер вскоре*. Другие сыновья его, Антипатр и Александр, были между собою в раздоре. Первый умертвил свою мать Фессалонику, другой звал к себе на помощь из Эпира Пирра, из Пелопоннеса Деметрия. Пирр успел прийти прежде и в награду за оказанную Александру помощь присвоил себе великую часть Македонии и был уже страшным для него соседом. Александр, получив письма от Деметрия, приближавшегося с войском, боясь его еще более, по причине его славы и знаменитости, выехал к нему навстречу к Дию*, где принял и приветствовал дружески, но объявил ему, что обстоятельства не имели более нужды в его присутствии. Это возбудило между ними взаимные подозрения. Некогда Деметрий шел к Александру, который пригласил его на пир. Некто возвестил ему, что Александр умышлял умертвить его за вином. Это известие нимало смутило Деметрия: он ненадолго остановился по дороге, и велел предводителям держать войско вооруженным, а проводникам своим и служителям, которых было у него более, нежели у Александра, приказал вступить вместе в комнаты и оставаться тут, пока он не встанет. Эта предосторожность привела Александра в такой страх, что он не осмелился исполнить своего умысла. Деметрий, притворившись, что на этот раз не имел расположения к питью, поспешно удалился, а на другой день готовился к походу под тем предлогом, что случились какие-то неожиданные дела. Он просил у Александра извинения за скорый отъезд, уверяя его, что в свободное время он охотнее пробудет с ним больше времени. Александр радовался, что Деметрий по своей воле, а не из вражды оставлял его области. Он провожал его до Фессалии. По прибытии своем в Лариссу они, строя друг другу козни, опять приглашали друг друга к столу. Это именно и предало Александра в руки Деметрия. Дабы не казалось, что он остерегается Деметрия и тем не заставить его самого остерегаться, претерпел он то, что сам медлил совершить, лишь для того, чтобы Деметрий не избегнул устраиваемых против него козней. По приглашению Деметрия он пришел к ужину. Среди пиршества Деметрий встал; Александр, устрашившись, сделал то же самое и следовал за ним к дверям. Деметрий дошел до дверей, где стояли его телохранители, сказал только: «Бейте следующего за мною». Он вышел – телохранители убили Александра, равно как и друзей его, прибежавших к нему на помощь. Говорят, что один из них, будучи убиваем, сказал, что Деметрий опередил их только одним днем.

Ночь, как легко понять можно, проведена в тревоге. На другой день македоняне были в беспокойстве, страшась Деметриевой силы. Но как никто на них не наступал, а Деметрий послал им сказать, что желает иметь переговоры и оправдаться в своих поступках, то они ободрились и решились принять его дружелюбно. По прибытии своем он не имел нужды в долгих речах. Македоняне, ненавидя Антипатра как убийцу своей матери* и не имея лучшего, провозгласили Деметрия царем своим и привели его с собою в Македонию. Перемена эта не была противна и другим македонянам; они всегда помнили и ненавидели Кассандра за злодеяния его над родом умершего Александра Великого. Если оставалась еще некоторая память умеренности древнего Антипатра, то и это служило к пользе Деметрия, который был женат на Филе, дочери его; рожденного от нее сына Деметрий назначил преемником своей власти. Оный был уже в юношеских летах и находился при нем в войске.

Среди столь великого благополучия он получает известие, что его мать и дети отпущены Птолемеем, который при этом осыпал их почестями и дарами; узнает также, что его дочь, выданная им замуж за Селевка, уже в супружестве за Антиохом, сыном Селевка, и провозглашена царицей народов внутренних областей Азии. Это случилось следующим образом. Антиох влюбился в Стратонику, которая была молода, но уже родила сына от Селевка. Он мучился любовью и боролся всеми силами, в конце концов уверившись, что желание его чудовищно и, словно обезумев, искал способа лишить себя жизни и мало-помалу привести в изнурение свое тело, оставя всякое о нем попечение и воздерживаясь от пищи под предлогом некой болезни. Врачу Эрасистрату нетрудно было понять, что Антиох был влюблен; но желая узнать предмет его любви, в чем состояла вся трудность, он проводил целые дни в его комнате, и когда входила туда какая-нибудь прекрасная женщина, то он смотрел пристально на лицо

Антиоха, наблюдая за теми членами тела, которые наиболее изменяются, когда душа в беспокойстве. Он открыл, что в Антиохе не происходило никакой перемены, когда входили в комнату другие, но когда Стратоника к нему приходила, или одна или с Селевком, с ним делалось все то же, что и с Сапфо*: голос немел, показывался огненный румянец, помрачались очи, выступал быстро пот, пульс бился беспорядочно – и наконец, когда душа его совершенно покорялась, следовала бледность, тоска и исступление. Эрасистрат заключил из того, по справедливости, что когда бы сын царский любил другую, то не сохранил бы молчания до конца своей жизни; но казалось ему опасным обнаружить свои догадки. Однако, полагаясь на любовь Селевка к сыну, он наконец решился и объявил ему, что болезнь молодого человека есть любовь – любовь неисцелимая, которой удовлетворить невозможно. Селевк, приведенный от этих слов в изумление, спросил врача: «Почему она неисцелима?» – «Потому, – отвечал Эрасистрат, – что он влюблен в мою жену». – «И ты, Эрасистрат, – сказал ему Селевк, – будучи моим другом, не уступишь свое ложе сыну моему, когда ты видишь, что он единственная моя опора?» – «Однако ты сам, будучи его отцом, – отвечал Эрасистрат, – не сделал бы этого, когда бы Антиох влюбился в Стратонику». – «О если бы, – воскликнул Селевк, – кто бы из богов или людей переменил его мысли и обратил страсть к Стратонике! Друг мой, я бы охотно уступил царство, чтобы сохранить жизнь Антиоха». Эти слова выговорил Селевк с сильным чувством, обливаясь слезами. Эрасистрат схватил его за руку и сказал ему: «Государь! Ты не имеешь нужды в Эрасистрате; ты и отец, и супруг, и царь, и ты можешь быть лучшим врачом своего дома». После того Селевк созвал весь народ и объявил, что он решился постановить над верхними областями царем Антиоха, а царицей Стратонику, дабы они жили в брачном союзе; что надеется, сын его, привыкши во всем ему повиноваться и быть послушным, не будет противиться этому браку, а если жена его находит в том затруднение, как в деле необычайном, то он просит друзей своих наставить ее и увещевать, дабы она почитала пристойным и позволительным лишь то, что царю угодно и что сопряжено с пользой государства. Вот что подало повод к бракосочетанию Антиоха и Стратоники.

Деметрий владел уже Македонией и Фессалией. Он занимал большую часть Пелопоннеса, а по ту сторону Истма – Мегарами и Афинами. Он пошел войною на Беотию. Сперва предлагаемы были ему умеренные о дружбе условия; но когда Клеоним, царь спартанский, прибыл в Фивы с войском, то беотийцы ободрились и возмутились против него, будучи поощряемы феспийцем Писидом, который первенствовал среди всех силою и славою. Деметрий подвел свои машины к Фивам и осаждал их. Клеомен, устрашившись, вышел тайно из города, а беотийцы в ужасе сдались. Деметрий поставил попечителем и правителем историка Иеронима. Он изъявил великую кротость, особенно по отношению к Писиду; когда тот попал в плен, то Деметрий не сделал ему зла, но принял его дружелюбно и поставил в Феспиях полемархом.

Вскоре после того Лисимах был пойман Дромихетом*. Деметрий при этом известии устремился на Фракию, надеясь занять ее, как лишенную защиты. Тогда беотийцы опять против него возмутились, а о Лисимахе получено было известие, что выпущен из неволи; Деметрий с яростью возвратился назад и нашел, что беотийцы были побеждены в сражении сыном его Антигоном. Он осадил опять Фивы.

Между тем Пирр сделал набег на Фессалию и показался у самых Фермопил. Деметрий, оставя Антигона при осаде, сам обратился к Пирру, который предался бегству с поспешностью. Оставив в Фессалии десять тысяч пехоты и тысячу конных, он опять приступил к Фивам и подвел машину, называемую «Градобратель»; но по причине величины своей и тяжести она с такими трудностями и столь медленно была подвигаема, что за два месяца едва прошла вперед две стадии. Беотийцы защищались мужественно. Деметрий часто заставлял воинов своих сражаться с великой для них опасностью, более из упрямства, нежели по нужде. Антигон, видя, что многие из них были убиваемы и сжалясь над ними, сказал ему: «Государь! Для чего нам губить без нужды этих воинов?» Деметрий отвечал ему с досадой: «А тебе почему это неприятно? Разве умирающим должен ты давать содержание?» Но дабы не казалось, что не щадит только других, сам подвергался равным опасностям с сражающимися воинами, получил рану острой стрелой сквозь шею и находился в дурном положении; при всем том не отстал от своего предприятия, но взял Фивы вторично. По вступлении его в город жители были в великом

страхе: они боялись, что он поступит с ним жестоким образом. Он умертвил тринадцать человек, несколько выслал из города, а других простил. Итак, Фивы, которые еще десять лет не были населены*, в один год были взяты два раза.

Между тем наступало Пифийское празднество. Деметрий позволил себе дело совсем необыкновенное. Поскольку этолийцы занимали узкие проходы вокруг Дельф, то он учредил торжество и игрища в Афинах, утверждая, что в сем городе было приличнее поклоняться Аполлону, который издревле у афинян в почтении и почитается родоначальником их племени*.

Из Афин Деметрий отправился в Македонию. Не будучи способен оставаться в покое и видя, что македоняне в походах оказывали ему более внимания, а дома были беспокойны и склонны к мятежам, он вступил в Этолию с войском и разорил область. Оставя в ней Пантавха с немалой частью войска, обратился он на Пирра, между тем как сам Пирр шел на него. Но так как на пути разошлись, то один опустошал Эпир, а другой, сошедшись с Пантавхом, вступил с ним в сражение; он находился так близко от своего противника, что они друг друга ранили; Пирр разбил Пантавха, убил великое множество неприятелей и взял пять тысяч в плен. Это происшествие было пагубно для Деметрия. Македоняне не столько возненавидели Пирра за полученную над ними выгоду, сколько исполнились к нему удивления, ибо он произвел своею рукой важнейшие дела. Имя его после этого сражения было славно и знаменито среди македонян. Многие из них говаривали, что в нем одном видели совершенное подобие Александровой отважности, между тем как другие цари, в особенности же Деметрий, подражали, как бы на сцене, одной важности и гордости великого Александра.

В самом деле, Деметрий облекал себя театральною пышностью. Не только носил на голове великолепную кавсию с двумя повязками и надевал золотом обшитую порфиру, но сделал себе обувь из чистой порфиры и вызолоченную. По приказанию его долгое время ткали хламиду, работы удивительной: на ней представлен был мир и видимые на небе явления. Работа осталась недоконченной при перемене обстоятельств; никто не осмелился надеть сию хламиду, хотя впоследствии много было в Македонии царей, любящих пышность.

Не одной только наружностью оскорблял Деметрий народ, не привыкший к подобным зрелищам; подданным его была неприятна его нега и роскошь, особенно же его несообщительность и неприступная важность: то не имел он времени принять к себе, то был суров и жесток к тем, кого принимал. Он продержал у себя два года афинское посольство, хотя уважал афинян более других греков. Когда из Лакедемона прибыл к нему один посланник, то Деметрий, почитая себя обиженным, был в великой досаде. Он спрашивал у него: «Как? Неужели лакедемоняне прислали ко мне посланником тебя одного?» – «Да, государь, одного к одному», – отвечал посланник также с лаконской краткостью. В один день он вышел из дворца несколько проще обыкновенного и, казалось, склонен был слушать то, что ему говорили. Некоторые прибежали к нему и подали письменные прошения. Он принял их и держал в своей хламиде; народ тому радовался и следовал за ним. Как скоро он пришел на мост через Аксий*, то, развернув хламиду, выбросил все просьбы в реку. Этот поступок причинил македонянам величайшее неудовольствие: им казалось, что он не царствует, но измывается над ними. Они сами вспоминали или слушали тех, кто вспоминал, сколь Филипп был кроток и снисходителен в подобных случаях. Некогда одна старая женщина беспокоила его на дороге и просила настоятельно, чтобы выслушал ее; Филипп сказал ей, что не имеет времени. «Так перестань царствовать!» – воскликнула она с досадой, и это произвело над ним такое действие, что он обратил внимание на ее дело, возвратился домой, отложил все другие занятия и несколько дней принимал тех, кто с ним хотел говорить, начиная от старухи. В самом деле, никакое занятие столько царю не прилично, как оказание правосудия. Арес – тиранн, как говорит Тимофей, а закон есть «царь надо всем сущим», по словам Пиндара. Гомер говорит, что цари получают от Зевса не осадные машины, не медноносые корабли, но законы и суд, дабы спасать и хранить*. Он называет учеником и собеседником Зевса не самого воинственного или самого несправедливого и жестокого царя, но справедливейшего из всех*. Деметрий, напротив того, принимал с удовольствием прозвание, несходное с тем, которое носит царь богов: Зевса величают Защитником, Хранителем городов, а Деметрий получил название Полиоркета – Покорителя городов. Таким образом, невежественная сила привела порок на место того, что похвально и прилично, сопрягая несправедливость со славою.

Деметрий, будучи опасно болен в Пелле, едва не лишился Македонии, ибо Пирр с великой быстротой дошел до Эдессы. Однако, оправившись, он прогнал его без труда и заключил с ним договор. Он не хотел быть в войне с человеком, который всегда мог ему мешать и остановить его на каждом шагу, не давая исполнить свои предначертания. Он помышлял не о маловажном деле – о завоевании бывших под властью его отца областей. Приготовления его не уступали великости его намерений и надежд. У него было уже собрано девяносто восемь тысяч пехоты и без малого двенадцать тысяч конницы; он снарядил флот, состоящий из пятисот кораблей, которые строились в Пирее, Коринфе, Халкиде и близ Пеллы. Он сам переезжал с места на место, учил, что надлежало делать, и сам работал с другими. Все удивлялись не только множеству его кораблей, но и величине их. До него никто не видал корабля с пятнадцатью и шестнадцатью рядами весел. Впоследствии Птолемей Филопатор* построил корабль в сорок рядов, длиною в двести восемьдесят локтей, а вышиною (до украшения носовой надстройки) – сорока восьми. На нем было корабельных служителей до четырехсот человек, а гребцов – четыре тысячи. Сверх того в проходах гребцами и на палубе помещалось немногим менее трех тысяч воинов. Но этот корабль служил только для вида; он мало отличался от неподвижных зданий, не приносил никакой пользы, был предметом хвастливости, ибо с великим трудом и опасностью трогался с места. Напротив, Деметриевы корабли при всей красоте своей не были неспособны к сражениям; великолепное их устройство не препятствовало употреблению их; быстрота их и польза были более достойны удивления, нежели сама величина.

Когда такая сила, какой после Александра никто не имел, воздвигалась на Азию, то против Деметрия составили союз Селевк, Птолемей и Лисимах. Потом они послали посланников к Пирру с предложением учинить нападение на Македонию, не уважая договора, которым Деметрий не столько его освободил от опасности войны, сколько себе дал возможность воевать с кем хотел. Пирр принял их предложения, и Деметрий, еще медлящий, был со всех сторон угрожаем войною. В одно и то же время Птолемей с многочисленным флотом пристал к Греции и отделял ее от Деметрия; Лисимах из Фракии и Пирр с Эпира вступили в Македонию и разоряли ее. Деметрий, оставя сына своего в Греции и обратясь к обороне Македонии, устремился сперва на Лисимаха; между тем получает он известие, что Пирр занял Берою. Как скоро весть эта распространилась среди македонян, то в войске не было уже никакого устройства: все плакали и рыдали, были исполнены гнева к Деметрию и ругали его; хотели его оставить и уйти – как они говорили, домой, в самом же деле – к Лисимаху. По этой причине Деметрий рассудил за благо стать как можно далее от Лисимаха; и обратиться на Пирра; первый был македонянином, соплеменником и многим знакомый со времен Александра, а Пирр, пришелец и иноземец, как полагал Деметрий, не мог быть предпочтен ему македонянами. Но он совершенно обманулся в своих мыслях: как скоро стал он станом близ Пирра, то воины его, всегда удивлявшиеся блистательным военным подвигам Пирра, и привыкши издревле почитать способнейшим царствовать того, кто более отличался оружием, вдобавок узнав, что Пирр поступил милостиво с теми, кто попался ему в плен, желая отстать от Деметрия и присоединиться либо к одному, либо к другому из его противников, оставляли его сперва тайно и мало-помалу, потом все войско пришло явно в движение и возмутилось против него. Наконец некоторые осмелились прийти к Деметрию и советовали ему убежать и спасаться, ибо уже македоняне утомились, воюя за его негу. Эти слова показались Деметрию самыми кроткими в сравнении с теми, которые слышал от других и которые были исполнены жестокости и наглости. Он вошел в свой шатер и, подобно комическому актеру, а не царю, надел темное платье вместо прежней великолепной хламиды и тайно удалился. Большая часть воинов обратилась немедленно к грабежу и, вырывая шатер его друг у друга, между собою сражалась. Пирр показался и голосом укротил их и завладел станом. Он разделил с Лисимахом всю Македонию, которой твердо обладал Деметрий в продолжение семи лет.

Деметрий, лишившись таким образом своего царства, убежал в Кассандрию*. Фила, супруга его, будучи безутешна и не терпя видеть опять в состоянии обыкновенного смертного и изгнанником несчастнейшего из царей Деметрия, потеряв всю надежду и возненавидев его судьбу, которая была постояннее в злополучии, нежели в благоденствии, приняла яд и умерла. Деметрий, приняв намерение собрать остатки своего политического кораблекрушения, отплыл в Грецию и собирал своих полководцев и друзей, которые там находились. Подобие, которое в

Софокловой трагедии* употребляет Менелай, описывая свое счастье:

Подобно колесу вращается мой рок,
Пременой веселясь, в покое не бывает.
Так вида своего луна не сохраняет
В две ночи никогда, безвестная сперва,
Младой выводит зрак; прекрасна и полна,
Над нами шествует небесною стезею
И, превзойдя своей сама себя красою,
Опять теряется и падает в ничто,

можно бы лучше приноровить к счастью Деметрия, к его возвышению, упадку, возобновлению силы и унижению. Хотя тогда казалось уже, что его могущество упало и исчезло, однако оно воссияло вновь. Некоторые силы стекались к нему и мало-помалу оживляли его надежду. В первый раз тогда он проходил из города в город как частное лицо, без царских украшений. Некто, увидя его в Фивах в таком положении, приноровил к нему довольно удачно стихи Еврипида*:

Божественный свой вид на смертный превратив,
Является теперь на берегах Исмена*.

Деметрий, наконец, опять вступив на «царский путь» надежды, окружил себя силою и величием власти. Он возвратил фивянам независимость, афиняне же от него отпали. Они выключили Дифила, который был поставлен жрецом Спасителей, из числа архонтов-эпонимов и определили, чтобы опять избираемы были архонты по прежним постановлениям. Они вызывали Пирра из Македонии, ибо Деметрий был уже сильнее, нежели как они полагали. Деметрий, исполненный гнева, приступил к городу и осадил его тесно. Народ послал к нему философа Кратета*, мужа славного и многоуважаемого. Деметрий, частью снисходя на его просьбы в пользу афинян, частью приняв его советы касательно того, что почитал для себя полезным, снял осаду, собрал все свои корабли, посадил на них одиннадцать тысяч человек пехоты с конницей и отправился в Азию, дабы отнять у Лисимаха Карию и Лидию.

В Милете был он принят Эвридикой, сестрой Филы, везшей с собою Птолемаиду, одну из дочерей Птолемея, которая прежде была помолвлена с ним при посредничестве Селевка. Деметрий женился на ней с согласия Эвридики. После брака он немедленно обратился к городам, из которых одни приставали к нему по своей воле, другие были покоряемы силою. Он покорил Сарды; несколько Лисимаховых полководцев перешли к нему с деньгами и с войском. При нашествии на него Агафокла, сына Лисимаха, с войском, Деметрий направил путь к Фригии; он надеялся, заняв Армению, возмутить Мидию и утвердиться во внутренних областях Азии, где было много мест, служащих к убежищу и отступлению, когда бы был вытесняем неприятелем. Агафокл шел за ним вслед, Деметрий одерживал над ним верх во всех стычках; но как ему отрезали все способы к продовольствию и к снисканию корма, то он находился в большой нужде, и воины начали подозревать, что он их уводит в Армению и Мидию. Между тем голод усиливался; при переправе через Лик* река унесла и потопила множество его воинов по причине их неосторожности. Эти несчастья не удержали воинов от насмешек; некто написал на его шатре первые стихи из трагедии Эдипа, с малым изменением*:

О, чадо старика слепого Антигона,
Какая то страна, в которую мы пришли?

Наконец к голоду присоединились и болезни, как обыкновенно бывает тогда, когда люди едят по нужде какую ни попадя пищу. Потеряв не менее восьми тысяч человек, он отвел остальных назад. По прибытии своем в Тарс он имел намерение оставить неприкосновенной область, которая была тогда во владении Селевка и тем не подать ему никакого повода к неудовольствию; но это было невозможно, ибо войско находилось в крайней нужде, а Агафокл

укрепил проходы на Тавре. По этой причине Деметрий написал

Селевку письмо, содержавшее длинные жалобы на свою судьбу: он просил его тронуться жалостью над родственником, который претерпел несчастия, которые могли бы возбудить соболезнование в самых врагах. Селевк был действительно тронут; он писал своим полководцам, чтобы Деметрия содержать царски, а войску его доставлять съестные припасы в изобилии. Но Патрокл, который, казалось, был человеком разумным и верным другом Селевка, придя к нему, представлял, что издержки, употребленные на содержание Деметриевых воинов, ничто, только прилично ли позволять Деметрию, самому стремительному и предприимчивому из всех царей, иметь пребывание в своей земле, когда ныне находится он в таком положении, которое и самым умеренным от природы людям внушает смелость и склонность к оказанию обиды. Слова эти столь подействовали на Селевка, что он выступил в Киликию с многочисленным войском.

Деметрий, изумившись скорой перемене Селевка и придя в страх, отступил к крепчайшему положению на Тавре и послал к Селевку посланников, прося о позволении ему покорить какой-нибудь из независимых варварских народов, дабы провести там остаток жизни своей, перестав странствовать и скитаться; если же Селевк на то не согласится, то содержать его войско зимой, не гнать его в такое время, когда он всего лишился, и не предать на произвол своим неприятелям. Но Селевк, подозревая его, объявил, что позволяет ему, если он хочет, провести два зимних месяца в Катаонии*, выдав в залог первейших своих друзей. Между тем Селевк ограждал проходы, ведущие в Сирию. Деметрий, будучи заперт со всех сторон, подобно зверю, по необходимости обратился к обороне своей: он делал набеги на страну и одерживал над Селевком победу всякий раз, как вступал с ним в сражение. Некогда были пущены на него колесницы, вооруженные серпами, Деметрий, обойдя их, обратил в бегство, выгнал тех, кто укреплял проходы в Сирию, и занял оные.

Уже дух его был вознесен этими успехами. Видя воинов своих, исполненных бодрости, готовился он дать решительное сражение Селевку, который со своей стороны был в дурном положении. Он не принял, из страха и недоверчивости, присланной к нему Лисимахом помощи и не решался один вступить в сражение с Деметрием, боясь его отчаяния и переменчивости счастья, которое всегда приводило его из крайнего положения в величайшее благополучие. Но в это время Деметрий тяжко занемог. Болезнь привела его в чрезвычайное расслабление и совершенно расстроила дела, ибо воины его частью перешли к неприятелю, частью разбежались. Только по прошествии сорока дней сделалось ему легче. Он взял остальное войско и направил путь свой к Киликии; но только для виду, дабы уверить в том неприятелей, а ночью, не подав знака трубою, поворотил в другую сторону, перешел гору Аман и разорял страну, под ним лежащую, вплоть до Киррестики*.

Селевк последовал за ним и поставил стан свой подле него. Деметрий в ночное время обратился в сторону вражеского стана. Селевк долго этого не замечал и спал покойно, когда некоторые перебежчики пришли к нему и открыли ему опасность, в которой он находился. Селевк вскочил в испуге, велел затрубить в трубы и, надевая обувь, кричал своим приближенным: «Мы имеем дело со страшным зверем!» Деметрий, заключив по тревоге неприятелей, что они извещены о его приближении, отвел поспешно свое войско. С наступлением дня уже Селевк учинил на него нападение; Деметрий послал одного из своих военачальников на одно крыло и получил некоторую выгоду над неприятелем. Тогда Селевк, слезши с коня, снял шлем и с одним щитом пошел навстречу наемным воинам; он показывал им себя, просил их перейти к нему и наконец понять, что он, щадя их, а не Деметрия, столько времени отлагал сражение. Все они приветствовали его, называли царем своим и переходили к нему. Деметрий, который претерпел столько превратностей в жизни своей, старался избегнуть и сей последней: он убежал к вратам Аманским* и, забившись в чащу с весьма немногим числом друзей и последователей, провел тут ночь, намереваясь, если будет возможность, занять дорогу, ведущую к Кавну*, и пробраться до тамошнего моря, где надеялся найти корабли; но узнав, что не было у них даже на тот день съестных запасов, он переменил мысли. Между тем прибыл к нему приятель его Сосиген, неся в поясе четыреста золотых монет. Надеясь с помощью этих денег дойти до моря, они шли в темноте к узким проходам, но так как на них горели костры неприятельские, то они оставили эту дорогу и опять отступили к прежнему месту, однако не

все, – ибо некоторые убежали, а остальные не были одушевлены равной бодростью. Когда некто осмелился сказать, что надлежало предать себя Селевку, то Деметрий, обнажив меч, хотел себя умертвить; но друзья его обступили и утешали, и наконец убедили на то решиться. Он послал к Селевку и предался ему.

Селевк, получив это известие, сказал: «Деметрий обязан своим спасением не своей судьбе, но моей; она вместе с другими благами подает мне случай изъявить свое милосердие и свою снисходительность». Он призвал своих прислужников, велел им поставить шатер царский и делать все нужные приготовления к великолепному приему и содержанию Деметрия. При Селевке находился Аполлонид, бывший некогда другом Деметрия. Селевк выслал его к Деметрию, дабы тем его успокоить и внушить бодрость, удостоверить его, что он идет к родственнику и зятю своему.

Как скоро Селевк обнаружил мысли свои, то сперва не многие, потом почти все его приятели бросились к Деметрию наперебой, стараясь предупредить друг друга: они думали, что Деметрий будет немедленно в великой силе при Селевке. Этот случай превратил жалость Селевка в зависть, а неблагомыслящим и завистливым людям подал повод отвратить его от этой мысли и поколебать его человеколюбие, пугая его тем, что в тот же самый миг, при первом появлении Деметрия, произойдут в войске великие беспокойства.

В то самое время как Аполлонид пришел с радостью к Деметрию, и другие следовали с приятнейшими известиями со стороны Селевка; как только Деметрий после таких несчастий и бедствий – несмотря на то, что почитал сдачу себя постыдною – начал раскаиваться в первых помышлениях, ободренный надеждою и доверяясь Селевку, – прибыл к нему Павсаний, имея около тысячи человек конницы и пехоты. Ими он обступил Деметрия неожиданно, удалил от него всех и, не представив его лицу Селевка, отвел на Херсонес Сирийский*. Здесь приставлена была к нему сильная стража. Впрочем, от Селевка прислана была к нему приличная прислуга, и назначено было для ежедневного содержания его значительное количество денег. Сверх того отведены были ему царские ристалища и места для прогулок и заповедники для охоты. Позволено было всякому из тех, кто с ним убежал, находиться при нем. Приходили к нему иногда некоторые от Селевка с утешительными словами, они советовали ему не унывать, ибо по прибытии Антиоха и Стратоники он немедленно будет отпущен.

Деметрий, находясь в сем положении, послал приказание сыну своему и своим полководцам и друзьям, бывшим в Коринфе и в Афинах, не верить более ни письмам его, ни печати, но как бы он умер, охранять для Антигона города и все владение. Антигон, получив известие о задержании отца своего, был весьма огорчен, надел печальное платье, писал всем царям и самому Селевку и просил их за отца, обещаясь выдать им все то, что у него еще оставалось, и изъявляя готовность свою дать себя прежде всего в залог вместо отца. Многие города и владельцы, исключая Лисимаха, просили вместе с ним. Один Лисимах обещал Селевку много денег, если умертвит Деметрия. Селевк, который и прежде ненавидел Лисимаха, тем более почел его человеком свирепым и беззаконным. Он стерег Деметрия для Антиоха и Стратоники и отлагал время, желая, чтобы Деметрий был им обязан своим освобождением.

Деметрий сперва перенес равнодушно свое несчастье; он привыкал уже к настоящему положению своему. Сперва он упражнял свое тело, занимался охотой и ристанием, сколько было ему позволено; но впоследствии мало-помалу сделался тяжел и неповоротлив, предался совершенно пьянству и игре и большую часть времени проводил в этих занятиях или потому, что он разгонял мысли о настоящем несчастии своем, приходящие ему тогда, когда он был в трезвом положении, и пьянством скрывал свои помышления; или потому, что уверился наконец, что это была жизнь, которую издавна желал и за которой гнался, что по безрассудству своему и по любви к пустой славе заблуждался и удалился от оной, причиняя и себе и другим беспокойство, ища в оружиях, во флоте, в станах то счастье, которое ныне нашел неожиданно в бездействии, в праздности, в покое. В самом деле – какая есть другая цель браней и опасностей дурных царей, которые в безрассудстве своем не только не знают, что более гонятся за негою и наслаждением, нежели за добродетелью и благоприличием, но которые действительно не умеют наслаждаться и веселиться?

Деметрий на третьем году своего заключения от бездействия и неумеренного употребления пищи и вина впал в болезнь и умер. Он прожил пятьдесят четыре года. Селевк

был порицаем за его поступок и чрезвычайно раскаивался в подозрении, которое прежде возымел к Деметрию, и в том, что не последовал примеру варвара-фракийца Дромихета, который поступил человеколюбиво и как царю прилично с попавшим ему в руки Лисимахом.

Похороны его отправлены были с чрезвычайной и театральной пышностью. Антигон, получив известие, что везут прах его отца, выступил со всеми кораблями и встретил его близ островов. Он принял его урну, которая была из цельного золота, и поставил ее на самый большой предводительский корабль. Города, к которым приставали, налагали на урну венки и посылали людей, которые с печальным видом должны были провожать прах и присутствовать при погребении. По прибытии флота в Коринф урна была видима на передней части корабля, украшенная царской порфирой и диадемой; при ней стояли молодые воины в оружиях. Ксенофонт, превосходнейший из тогдашних флейтистов, сидел подле нее и играл священную песню, с которой согласовалось движение весел, с размером производимое, от чего при всяком обороте песни происходил некоторый шум, какой бывает на похоронах, когда бьют себя в грудь. Самое жалкое зрелище для собравшегося на берегу народа представлял сам Антигон, плачущий и в униженном виде. По оказании праху разных в Коринфе почестей и принесений ему воинов, оный был перевезен в Деметриаду, где и поставлен, как в городе, который носил имя усопшего, созданном им из малых городков, существовавших вокруг Иолка.

Деметрий оставил по себе Антигона и дочь Стратонику от Филы; двух Деметриев – одного, прозванного Тощим, от жены-иллириянки, а другого, обладавшего Киреной, от Птолемаиды; от Деидамии оставил Александра, который провел жизнь свою в Египте. Говорят также, что он имел сына Коррага от Эвридики. Род его непрерывно царствовал до Персея, при котором римляне завоевали Македонию.

Приведши к концу македонскую пьесу, время уже представить римскую.

Антоний

Оратор Антоний, которого умертвил Марий за то, что он держался стороны Суллы, был дедом Марка Антония. Отец его, Антоний, прозванный Критским*, хотя ничем не отличился и не прославился в гражданском управлении, однако был добрым и честным человеком, щедрым при оказании помощи, как можно видеть из следующего примера. Он был не богат и потому жена не позволяла ему оказывать свою щедрость. Один из знакомых пришел к нему и просил денег; у Антония их не было; он приказывает мальчику налить воды в серебряную чашу и принести к нему. Мальчик сие исполнил; Антоний мочил свою бороду, как бы хотел бриться, и когда мальчик вышел под каким-то предлогом, то Антоний дал приятелю своему чашу, дабы употребить на то, чего он хотел. Между тем в доме служители стали искать чаши; Антоний, видя, что жена его сердилась и хотела, чтобы каждый из них был допрашиваем, признался в своем поступке и просил прощения.

Жена этого Антония, по имени Юлия, была из рода Цезарей и могла сравниться со знаменитейшими и добродетельнейшими женщинами. Она воспитала Марка Антония по смерти отца его и вышла замуж за Корнелия Лентула, который был предан смерти Цицероном за соучастие в заговоре Катилины. Таков, по-видимому, был повод и начало сильной вражды Антония к Цицерону. Антоний говорит, что и мертвое тело Лентула только тогда было им выдано, когда его мать просила о том жену Цицерона. Но по признанию всех, это ложь, ибо никто из казненных тогда Цицероном заговорщиков не был лишен погребения.

Антоний в молодости своей был чрезвычайно красив; но дружба и близкое обхождение с Курионом пристали к нему, как настоящая зараза, и были пагубны для него. Этот Курион*, человек, предавшийся грубейшим удовольствиям, дабы сделать себе подвластным Антония, приучил его к пьянству, распутству и расточительности. Это ввергло Антония в тяжкий и неприличный по летам его долг, простиравшийся до двухсот пятидесяти талантов; Курион поручился за него; но отец Куриона, узнав о том, выгнал Антония из своего дома. Антоний пристал тогда на короткое время к Клодию, самому наглому, самому бесстыдному из тогдашних демагогов, который своим стремлением возмущал республику. Но вскоре, пресытившись его неистовством и устрашившись тех, кто против Клодия восставал, он оставил Италию и переехал в Грецию, где проводил свое время, упражняясь в военных трудах и

занимаясь красноречием. Он подражал так называемому азийскому слогу, который был тогда в великом употреблении и имел большее сходство с образом его жизни, исполненным хвастовства и надутости, тщеславия и непомерного честолюбия.

Габиний*, муж консульский, плывший на корабле в Сирию, уговаривал его отправиться вместе с ним к войску; но Антоний объявил, что не желает ехать как частное лицо. Будучи произведен в начальники конницы, он последовал за Габинием в поход. Сперва Антоний был послан на Аристобула*, который возмутил иудеев против римлян; он первый взлез на важнейшее укрепление и выгнал Аристобула из всех остальных. Потом дал ему сражение, разбил с малым числом войско, многократно превосходившее его силы, и, кроме немногих, умертвил всех неприятелей. Сам Аристобул с сыном своим взят был в плен. Вскоре после этого Птолемей предлагал Габинию за десять тысяч талантов вступить вместе с ним в Египет и помочь ему занять его царство. Большая часть военачальников тому противилась; Габиний, хотя уже и был порабощен десятью тысячами талантов, не решился предпринять поход. Но Антоний, жаждущий великих дел и угождая Птолемею*, который просил его о том, побудил Габиния к предприятию этого похода.

Римляне больше войны боялись дороги, ведущей к Пелусию, ибо надлежало им идти по глубоким и безводным пескам близ так называемых промоины и болот Сербонидских, которые египтяне называют «Выдохами Тифона»* (вероятно, составляются отливом Красного моря на том месте, где оное отделяется самым узким перешейком от моря Внутреннего). Антоний, будучи отряжен полководцем, не только занял узкие проходы, но взял и большой город Пелусий, одержал верх над охранявшей его стражею и тем не только обезопасил дорогу войску, но и полководцу внушил твердейшую о победе надежду. Честолюбие его было спасительно для самых неприятелей. Птолемей, по вступлении своем в Пелусий побуждаемый гневом и ненавистью, хотел предать смерти египтян, но Антоний противился ему и удержал его от такого поступка. В сражениях, которые в войне этой были и велики и часты, Антоний совершил знаменитые подвиги как смелостью духа, так и прозорливостью полководца. Он обошел наконец неприятелей с тылу и этим движением явно вручил победу тем, которые сражались спереди. По этой причине он удостоился надлежащих почестей и отличий. Оказанное уважение к мертвому Архелаю* не осталось без замечания. Антоний был с ним знаком и соединен узами гостеприимства; он вел войну по необходимости; но когда Архелай пал, то он отыскал мертвое тело его, украсил царским великолепием и предал земле. Этими поступками он заставил александрийцев много о себе говорить, а своим соратоборцам явил в себе человека с блистательными свойствами.

К его качествам присоединялась внешность, которая имела в себе благородную важность: продолговатый подбородок, широкий лоб, нос с горбинкой, казалось, делали мужественный его вид сходным с изваянными и живописными изображениями Геракла. По некоему древнему сказанию, Антонии были Гераклиды, и он происходил от Антона, сына Геракла. Антоний старался придавать сему сказанию достоверность видом своим, как сказано, и деяниями. Всякий раз, когда ему надлежало показаться перед большим числом людей, он застегивал хитон на бедре, препоясывался длинным мечом и сверху накидывал грубый военный плащ*. Те самые свойства, которые кажутся другим несносными, как-то: хвастовство, насмешки и явная склонность к питью, обыкновение садиться подле воина, который ел, приходить к столу воинов и есть вместе с ними – все это внушало воинам удивительную к нему благосклонность и приверженность. Самая влюбчивость его не была без приятности, ибо через нее многих привлекал к себе, содействовал влюбленным и слушал с удовольствием насмешки других насчет его любовных дел. Щедрость его, дары, которыми осыпал воинов и друзей расточительной рукою, положили блистательное начало его силы, и когда он сделался великим, то еще более умножили его могущество, которое было потрясаемо множеством его погрешностей. Я приведу всего один пример. Некогда велел он выдать одному из своих приятелей двести пятьдесят тысяч денариев. Это количество выражается латинским словом «декиес» (***decies***)*. Управитель его удивился и, желая показать ему великость этого количества, положил деньги на место, мимо которого надлежало пройти Антонию. Тот и в самом деле спросил, что это такое. «Количество, которое ты приказал выдать», – отвечал управитель. Антоний, поняв его неприглядную хитрость, сказал ему: «Я думал, что декиес

гораздо больше, а это мало! Прибавь еще столько же». Но это случилось в позднейшее время.

Римская республика была уже в раздоре; аристократы пристали к Помпею, бывшему в Риме, а демократы призывали из Галлии Цезаря, который был с оружием в руках. Курион, друг Антония, перешедши к стороне Цезаря, заставил и Антония перейти к нему же. Будучи силен в народе своим красноречием, сыпля без пощады деньгами, доставляемыми ему Цезарем, Курион сделал Антония народным трибуном, а впоследствии жрецом в числе тех, кто наблюдает полет птиц и называются авгурами.

Антоний, достигши трибунства, принес немалую пользу тем, кто действовал в пользу Цезаря. Во-первых, когда консул Марцелл предлагал предать Помпею набранные уже войска, с позволением собирать новые, то Антоний тому противоречил и сделал постановление, чтобы собранная сила была отправлена в Сирию на помощь Бибулу, воевавшему с парфянами, и чтобы не повиновались Помпею, когда бы он стал набирать новых воинов. Во-вторых, когда сенаторы не принимали писем Цезаря и не допускали их читать, то Антоний, будучи силен своею властью, читал эти письма и многие мысли переменил, ибо показалось, что требования Цезаря, содержавшиеся в оных, были умеренны и справедливы. Наконец, когда в сенате предложены были два вопроса – угодно ли им, чтобы Помпей распутил свое войско, и должно ли Цезарю сделать то же, – то некоторые из сенаторов требовали, чтобы Помпей сложил оружие, а почти все, кроме немногих, хотели, чтобы сложил оное и Цезарь. Тогда Антоний, встав, спрашивал, не хотят ли, чтобы и Помпей и Цезарь вместе сложили оружие и распустили войска. Все приняли это мнение с великой радостью, превозносили Антония с восклицанием и требовали, чтобы отобраны были голоса. Но консулы на это не соглашались. Друзья Цезаря делали новые предложения, которые казались умеренными. Катон противоречил им, а Лентул, бывший тогда консулом, выгнал из сената Антония, который при выходе своем оттуда произносил на них проклятия; потом надел платье рабское, нанял вместе с Квинтом Кассием* телегу и уехал к Цезарю. По прибытии к нему Кассий и Антоний жаловались громко, что в Риме нет никакого уже порядка и устройства, ибо самые трибуны не имели свободы говорить, но всяк, кто защищает права, изгоняется и подвергает опасности жизнь свою.

После чего Цезарь вступил в Италию с войском. Это заставило Цицерона писать в «Филиппиках», что Елена была поводом к Троянской, а Антоний – к Междоусобной войне; но это совершенно ложно. Гай Цезарь не был до того стремителен, не был увлекаем гневом из своих предначертаний до того, чтобы начать войну против отечества лишь за то, что Кассий и Антоний, дурно одетые, убежали к нему на наемной телеге. Нет, он давно решился на этот поступок и только искал к тому предлога – и этот случай подал ему благовидный повод к началу войны. К покорению всех людей влекла его, как прежде Александра и некогда Кира, неукротимая любовь к власти и неистовое желание быть первым и величайшим, чего невозможно было достигнуть, не низложивши наперед Помпея.

Он прибыл в Рим, занял его, изгнал из Италии Помпея, приняв намерение прежде всего обратиться к бывшим в Иберии Помпеевым войскам, а потом по снаряжении флота переправиться против Помпея. Он поручил Рим претору Лепиду, а Антонию, который был трибуном, предал в управление войска и Италию. Антоний вскоре приобрел любовь воинов тем, что большей частью вместе с ними упражнялся, ел и пил и дарил им, что только мог; но всем другим был неприятен, ибо по причине своей беспечности был невнимателен к тем, кто был обижаем и принимал с досадою тех, кто ему приносил жалобы; сверх того был порицаем за связь его с чужими женщинами. Вообще власть Цезаря, которая, судя по его делам, менее всего походила на тиранническую, сделалась ненавистной его друзьям, в числе которых Антоний был обвиняем более всех, ибо, имея великую власть, предавался большим бесчинствам. Несмотря на то, Цезарь, по возвращении своем из Иберии, пренебрег всеми жалобами, приносимыми на Антония, и употреблял его в войне, как человека деятельного, храброго и способного управлять войском; он и не ошибся нимало в своем мнении.

Переправившись с малыми силами через Ионийское море из Брундизия, он отослал назад суда, приказав Габинию и Антонию посадить на них войско и немедленно перевести его в Македонию*. Габиний не осмелился пуститься в море в зимнее время и в бурную погоду, а хотел вести войско сухим путем и длинной дорогой; но Антоний, беспокоясь о Цезаре, оставленном среди многочисленных неприятелей, отразил триеры Либона, стоявшие пред

устьем пристани, обступив их многими мелкими судами и посадив на корабли восемьсот конных и двадцать тысяч пехоты, пустился в море. Вскоре был он замечен и преследуем неприятелями. Он вырвался из сей опасности, ибо сильный южный ветер поднимал на море страшные валы и составлял глубокие впадины, с которыми неприятельские триеры должны были бороться. Между тем Антоний был морем носим на судах к скалам и мелководью; он не имел никакой к спасению надежды, как вдруг с залива подул сильный либ*, который погнал валы от земли в открытое море. Антоний с помощью этого ветра удалился от земли и, плавая безопасно, увидел берег, покрытый обломками судов, ибо ветер выбросил на оный преследовавшие его корабли. Их погибло немалое число; Антонию попалось в руки много людей и денег. Он занял Лисс* и внушил Цезарю великую бодрость, прибыв к нему вовремя с многочисленной силой.

Антоний отличался во многих и частых сражениях, которые были даны в то время. Он два раза пошел навстречу Цезаревым воинам, которые бежали стремглав, остановил их, заставил их опять напасть на преследующих – и победил. За эти дела был он уважаем после Цезаря более всех. Сам Цезарь обнаружил, какое имел о нем мнение: когда надлежало дать последнее и всю войну решившее сражение при Фарсале, то он сам предводительствовал правым крылом, а левое поручил Антонию, как способнейшему из всех бывших под начальством его полководцев.

По одержании победы Цезарь был провозглашен диктатором. Сам он преследовал Помпея. Он сделал Антония начальником конницы и послал в Рим. Это достоинство в присутствии диктатора есть в республике второе; в отсутствии же его – первое и почти единственное, ибо по избрании диктатора все начальства уничтожаются, а трибунство одно остается в своей силе.

Долабелла, бывший тогда трибуном, человек молодой и жаждущий новых перемен, предлагал уничтожить долги*. Он уговаривал Антония, который был ему другом и хотел всегда угождать народу, содействовать ему и принять участие в его намерениях. Но Азиний и Требеллий представляли Антонию противное. По случаю, он возымел сильное подозрение, что Долабелла оскорбил его честь, обольстив жену его. Он был обижен до того, что в гневе отослал от себя свою жену, – она была его родственницей, дочерью Гая Антония, бывшего консулом вместе с Цицероном. Он пристал к партии Азиния и вел с Долабеллой открытую войну. Долабелла занял форум, дабы утвердить закон насильственно. Когда и сенат определил, что надлежало употребить против Добалеллы оружие, то Антоний напал на него, дал ему сражение, некоторых из сообщников его умертвил и своих несколько потерял. Этим поступком он навлек на себя ненависть народа; но всем добрым и здраворазмышляющим людям образ жизни его был уже противен: они ненавидели его, как говорит Цицерон, им внушало омерзение его постоянное пьянство, чрезвычайные издержки, связи с развратными женщинами. Днем он спал или прохаживался, еще не протрезвев; ночи проводил в шумных забавах, театрах, свадьбах мимов и шутов.

Говорят, что некогда он пировал на свадьбе мима Гиппия и всю ночь провел в питье; поутру народ звал его на форум – он пришел, обремененный пищей, и его стало рвать, то один из друзей его подставил ему свою тогу. В числе тех, кто имел великую над ним силу, были и мим Сергий, и Кифериса, такого же разбору женщина, его любовница. Когда Антоний ездил по городам, то она была несома на носилках, которые были сопровождаемы почти таким же числом служителей, как носилки его матери. Сверх того, противно было римлянам, что в его путешествиях, как бы в шествиях торжественных, носимы были для показу золотые чаши; что раскидываемы были на дороге шатры, поставляемы великолепные столы для обеда при рощах и близ рек; что в колесницы запрягаемы были львы; что в домах честных мужчин и женщин отдавали покои женщинам бесчестным и арфисткам. Все взирали с негодованием на эти поступки, ибо в то самое время как Цезарь находился вне Италии, на поле и с великими трудами и опасностью истреблял остатки великой войны, другие, пользуясь его властью, жили в роскоши и неге, измываясь над согражданами.

Эти обстоятельства умножили беспокойство и позволили войску предаваться ужасным наглостям и грабежу. По этой причине Цезарь, возвратившись в Рим, простил Долабеллу и, будучи избран в третий раз консулом, принял в соправители Лепида, а не Антония. Когда

продавали дом Помпея, то Антоний его купил, но когда требовали у него денег, то он оказывал неудовольствие. Он сам говаривал, что не участвовал в походе Цезаря в Ливии потому, что не получил награды за прежние свои подвиги.

Цезарь укротил его безрассудства и безобразия, не оставив без замечания его проступков. Антоний переменил образ жизни и соединился узами брака с Фульвией, бывшей некогда в супружестве с демагогом Клодием – женщиною, которая менее всего думала о пряже и хозяйстве или о том, чтобы управлять скромным человеком; ее мысли простирались далее, она хотела управлять правителем и начальствовать над полководцем. Фульвии должна быть обязана Клеопатра за покорность Антония к женодержавию, ибо она приняла его уже, так сказать, ручным и приученным к тому, чтобы повиноваться женщинам. При всем том Антоний шутками и забавными поступками старался смягчить ее суровость. Так, например, когда после победы, одержанной в Иберии, граждане вышли навстречу Цезарю, то и Антоний последовал примеру других. Вдруг разнеслось по Италии, что неприятели наступают и что Цезарь умер. Антоний возвратился в Рим, надел платье рабское, ночью пришел в дом свой и сказал служителям, что у него есть письмо от Антония к Фульвии. Он был к ней допущен, обвернутый в плащ. Фульвия в сильном беспокойстве, прежде нежели взять письма, спрашивала, жив ли Антоний. Но он безмолвием вместо ответа подал ей письмо; и когда она распечатала его и начала читать, то Антоний обнял и поцеловал ее. Хотя много таковых примеров его шутливости, но я изложил здесь только один для примера.

Цезарь возвращался уже из Иберии; первейшие граждане вышли к нему навстречу на несколько дней дороги от Рима. Он оказал Антонию отличное уважение. Едучи по Италии на колеснице, он имел подле себя Антония, за ним следовали Брут Альбин и Октавиан, сын племянницы его, который впоследствии принял название Цезаря и весьма долго управлял Римом. Цезарь, будучи избран консулом в пятый раз*, принял Антония в соправители. Желая сложить с себя сие достоинство и передать его Долабелле, он предложил о том сенату. Но Антоний сильно тому противился и ругал Долабеллу, который отвечал ему ругательствами. Цезарь, стыдясь этого бесчинства, удалился. В другой раз он предстал, дабы провозгласить Долабеллу консулом; Антоний кричал, что знамения богов тому препятствуют. Цезарь уступил Антонию и оставил Долабеллу, который был в великой досаде. Кажется, что Цезарю противен был Долабелла не менее, чем Антоний. Говорят, что когда кто-то хотел сделать их подозрительными, то Цезарь сказал: «Я боюсь не этих жирных и хорошо причесанных, но вот тех бледных и худых», – показывая на Брута и Кассия, которые впоследствии составили против него заговор и умертвили его.

Впрочем, Антоний, хотя и против воли, подал им благовиднейший предлог. Римляне праздновали Ликеи или так называемые у них Луперкалии. Цезарь в триумфальной одежде, сидя на трибуне на форуме, смотрел на людей, бегающих взад и вперед; многие из благородных юношей и чиновников бегали по городу, намазанные жиром, и в шутку ударяли мохнатыми ремнями тех, кто им попадался. Антоний, который сперва бегал среди них, оставя эти древние обычаи, обвил вокруг диадемы лавровый венок, прибежал к трибуне и, будучи приподнят теми, кто с ним бегал, наложил оный на голову Цезаря, показывая тем, что ему приличествовало быть царем. Цезарь отклонился и отказывался от сей почести: народ был тем доволен и плескал руками. Антоний опять хотел наложить диадему, и Цезарь опять удалил его от себя. Долго происходил сей род борьбы; когда Антоний принуждал Цезаря, то рукоплескали немногие из его приятелей; когда Цезарь отказывался от сей почести, то рукоплескал ему весь народ с восклицаниями. Удивительное дело! Люди, которые в самом деле терпели царскую власть, страшились имени царя, как уничтожения свободы. Цезарь встал с трибуны с досадою, снял с шеи свою тогу и кричал, что он дает себя умертвить тому, кто хочет. Венец, который наложен был на одну из его статуй, был сорван трибунами, народ с похвалами и рукоплесканием провожал их; но Цезарь лишил их трибунского достоинства.

Этот случай умножил бодрость Брута и Кассия. Они собрали вернейших своих друзей к совершению своего умысла и были в недоумении, рассуждая об Антонии. Все хотели принять его в соучастники, но Требоний тому противился. Он объявил им, что когда они вышли навстречу Цезарю, возвращавшемуся из Иберии, то он путешествовал вместе с Антонием, жил под одним шатром с ним и слегка и с великой осторожностью старался узнать мысли его.

Антоний понял его, и хотя отверг это предложение, однако не донес на него Цезарю, но сохранял тайну с верностью. После того они советовались между собою, по умерщвлении Цезаря, не умертвить ли и Антония. Но Брут удержал их: он представил им, что дело это, на которое дерзают, имеет целью защиту законов и прав и должно быть чисто и не осквернено никакой несправедливостью. Впрочем, боясь силы Антония и важности его достоинства, назначили некоторых заговорщиков, которым было предписано при вступлении Цезаря в сенат, когда уже надлежало делу совершиться, разговаривать с Антонием о важных делах, удерживая его снаружи.

Дело производилось так, как они между собою условились. Цезарь пал в сенате; и Антоний надел немедленно рабское платье и скрылся. Когда же он узнал, что заговорщики ни на кого более не нападают, а были собраны вместе на Капитолии, он убедил их сойти, взяв в залог сына его. Кассия пригласил к ужину он, а Брута – Лепид. Созвав сенат, Антоний предлагал амнистию и назначить провинции Кассию и Бруту. Сенат утвердил его предложение, равно как и то, чтобы ничего того не переменять, что установлено Цезарем. Антоний вышел из сената, прославляемый и превозносимый всеми, ибо казалось, он прекратил междоусобную войну и в делах трудных и в беспокойствах необыкновенных поступил с великим искусством и благоразумием. Но вскоре слава, которой он пользовался в народе, поколебала эти благие начинания. Антоний имел верную надежду по низвержении Брута быть первым в Риме человеком. При выносе Цезарева тела он по обычаю говорил на форуме похвальное ему слово. Видя, что народ был им прельщен и слушал его с удовольствием и жаром, он к похвалам примешал трогательное описание смерти его. В заключении, потрясая его окровавленным и мечами изрубленным платьем и называя совершивших это убийство извергами и человекоубийцами, он воспламенил граждан такой яростью, что они, собравши деревянные скамьи и стулья, сожгли ими на форуме тело Цезаря; потом, схватив головни с костра, побежали к домам заговорщиков и совершили на оные нападение.

Брут и его сообщники вышли из города, а друзья Цезаря присоединились к Антонию. Кальпурния, Цезарева супруга, доверила ему большую часть денег и перевезла к нему в дом для хранения. Счетом их было всего четыре тысячи талантов. Ему достались в руки и книги Цезаря, в которых было записано все то, что он намерен был сделать. Антоний вписывал в них, кого хотел; одних делал консулами, других сенаторами; иных возвращал из заточения или освобождал из заключения – как будто бы все это определено было самим Цезарем. По этой причине римляне всех их в насмешку называли харонитами*, ибо они, будучи изобличаемы, прибегали к запискам, оставшимся после мертвого человека. Антоний поступал во всем как самовластный правитель. Он был консулом, один брат его, Гай, – претором, другой, Луций, – народным трибуном.

Дела находились в таком положении, как прибыл в Рим молодой Цезарь*, сын племянницы умершего, оставшийся по завещанию наследником его имения. В то время, когда Цезарь был умерщвлен, он находился в Аполлонии. Он немедленно присоединился к Антонию, как другу приемного отца своего, и напоминал ему о бывших у него в залоге деньгах: по завещанию Цезаря надлежало выдать каждому римлянину по семидесяти пяти денариев. Антоний, сперва презирая его как молодого оратора, говорил ему, что он безумствует, что у него нет ни здравого рассудка, ни добрых приятелей, ибо хочет на себя взять тяжесть нестерпимую – наследство Цезаря. Когда же Октавий не обращал внимания на его речи, а требовал имущество, то Антоний речами своими и поступками стал всячески унижать его. Антоний противился ему, когда он домогался трибунства; когда поставил в полном согласии с постановлением народа золотой престол отцу своему в театре, то Антоний пригрозил заключить его в темницу, если не перестанет заискивать у народа. Когда же молодой Цезарь предал себя Цицерону и всем тем, кто ненавидел Антония; когда он привлек на свою сторону сенат посредством их, меж тем как сам старался народ привязать к себе и собирал старых воинов из их поселений, то Антоний, приведенный в страх, вступил с ним в переговоры на Капитолии – и они примирились. Ночью тогда Антоний увидел странный сон: казалось ему, что правая рука его поражена громом. А по прошествии некоторых дней разнесся в городе слух, что Цезарь строил против него козни. Цезарь хотел перед ним оправдаться, но не убедил. Вражда оживилась вновь.

Оба они, объезжая Италию, собирали войска, которые были уже распущены по домам, обещая им великую плату; воинов, которые еще были с оружием, наперебой старались привлечь на свою сторону. Цицерон, имея тогда в Риме великую силу, возбуждал всех против Антония и, наконец, убедил сенат объявить его врагом отечества, а Цезарю послать ликторов и преторские украшения; Пансу же и Гирция послать с войском для изгнания из Италии Антония – они были тогда консулами. Они вступили в сражение с Антонием при Мутине*; Цезарь находился вместе с консулами и сражался. Они победили Антония, но сами легли на поле брани.

Антоний, предавшись бегству, претерпевал многие бедствия, из которых тягчайший был голод. Но по природе своей в крайних обстоятельствах он становился выше себя самого и, будучи несчастен, уподоблялся истинно доблестному мужу. Чувствовать долг и добродетель есть свойство, общее всем тем, кто находится в нужде и несчастье; однако в превратностях счастья не все имеют силу исполнять то, что почитают похвальным, и убегать того, чего отвращаются. Напротив того, многие по слабости уступают привычке; ум их преклоняется перед необходимостью. Антоний был в то время удивительным для войска примером. После такой неги и пышности он пил без отвращения испорченную воду, ел даже плоды и коренья. Говорят, что войско, переваливая Альпы, употребляло в пищу и кору древесную, и животных, которые почитаются нечистыми.

Антоний направлял свой путь к находящимся по ту сторону гор войскам. Ими предводительствовал Лепид, который, казалось, был другом Антония и с его помощью получил великую пользу от Цезаря. Антоний расположился станом близ него; но как не было ему оказано дружелюбной встречи, то он решился на отважное дело. После поражения он не чесал волос и отрастил себе длинную бороду. Он надел и темную одежду, пришел к валу Лепидова стана и начал говорить воинам. Это печальное зрелище и слова его трогали их жалостью и привлекали к нему. Лепид, боясь их перемены, велел затрубить в трубы и тем заглушить Антония. Воины еще более жалели о нем и вступили с ним в переговоры посредством Лелия и Клодия, которых послали к нему, переодетых в платье бесчестных женщин. Лелий и Клодий советовали Антонию приступить к валу безбоязненно, ибо многие желали его принять и умертвить Лепида, если он того хотел. Антоний не позволил им поступить таким образом с Лепидом, но на другой день начал переправляться с войском через реку. Он первый вошел в воду и плыл к противоположному берегу, видя уже, что многие из Лепидовых воинов простирали к нему руки и срывали вал. Он вступил в стан: все ему покорилось; с Лепидом поступил он весьма кротко. Он обнял его и назвал своим отцом, оставил ему название и почести, принадлежащие верховному полководцу, между тем как в самом деле он управлял всем. Это заставило пристать к нему и Мунатия Планка, который с многочисленной силою находился не в дальнем от них расстоянии. Вознесенный этими силами, он опять перешел Альпы и вступил в Италию, предводительствуя семнадцатью легионами пехоты и десятью тысячами конницы. Сверх того, для охранения Галлии оставил он шесть легионов под начальством Вария, одного из его приятелей и товарищей в питье, которому давали прозвание Котилия*.

Цезарь, заметя склонность Цицерона к свободе, не обращал уже на него внимания. Между тем посредством друзей своих он звал Антония к переговорам. Антоний, Лепид и он сошлись на малом острове посреди реки* и три дня провели вместе. Условиться им между собою было не трудно. Они разделили, как отцовское имение, всю Римскую державу*. Всего труднее было согласиться между собою в отношении осужденных на смерть мужей. Каждый хотел погубить своих неприятелей и спасти друзей. Наконец ярость к тем, кого они ненавидели, заставила их забыть и уважение к родственниками, и благосклонность к друзьям: Цезарь уступил Антонию Цицерона; Антоний уступил Луция Цезаря, дядю своего по матери; Лепиду позволено умертвить родного брата своего Павла. Другие говорят, что Лепид уступил им Павла, которого они хотели умертвить. По моему мнению, не было ничего ужаснее и бесчеловечнее этого размена. Взамен убийству давая убийство, они равно губили тех, кого уступали другим, и тех, кого другие им предавали; но они были тем несправедливее в отношении к друзьям своим, которых предавали смерти, хотя не чувствовали к ним ненависти*.

По заключении примирения воины, окружавшие их, требовали, чтобы дружба их

скрепилась некоторым образом и чтобы Цезарь женился на Клодии, дочери Фульвии, супруги Антония. Они на это согласились. Триста человек было умерщвлено ими по проскрипции. По убиении Цицерона Антоний велел отрубить голову и правую руку, которой Цицерон писал против него речи. Голова была принесена к нему; Антоний взирал на нее с удовольствием и от чрезмерной радости несколько раз хохотал. Потом, насытившись этим зрелищем, велел поставить ее на трибуне, как будто бы он ругался над своим счастьем и не срамил собственной власти. Дядя его, Луций Цезарь, будучи отыскиваем и преследуем, прибегнул к сестре своей. Убийцы хотели насильственно войти в ее покой; но она, став в дверях и растянув руки, кричала несколько раз: «Вы не убьете Луция Цезаря, если не умертвите наперед меня, родившую вашего императора!» Этим поступком она вырвала у них и спасла брата своего.

Власть этих трех мужей была римлянам тягостна. Более всего винили Антония, который был старше Цезаря и могущественнее Лепида. Он опять впал в прежнюю сладострастную и развращенную жизнь, как скоро переменились обстоятельства. К общему дурному о нем мнению присоединилась и ненависть немалая из-за дома, в котором он имел пребывание и который принадлежал некогда Помпею – великому мужу, которому за воздержание, за правильный и простой род жизни они столько же удивлялись, как и за триумфы, которых он трижды удостоился. Римляне с неудовольствием видели дом сей запертый для полководцев, военачальников и посланников, которых толкали с ругательством от дверей, между тем как был наполнен мимами, фокусниками, пьянствующими льстецами, и им-то расточаемы были деньги, доставляемые самым насильственным и жестоким образом. Не только продаваемы были имения и дома умерщвляемых, жен и родственников которых клеветали; не только налагаемы были самые тягостные налоги; но когда триумвиры известились, что у весталок хранились в закладе вещи, принадлежавшие гражданам и иноземным, то послали и взяли их. А так как Антонию все было еще мало, то Цезарь предложил ему разделить с ним государственную казну. Они разделили между собою и войско. Выступая в поход в Македонию против Брута и Кассия, они поручили Лепиду Рим.

Переправившись в Македонию, они начали войну и расположились станом близ своих противников. Антоний выстроился против Кассия, а Цезарь против Брута. Цезарь не произвел ничего важного, между тем как Антоний побеждал всюду и во всем имел успех. В первом сражении Цезарь был совершенно разбит Брутом, потерял стан и едва успел вырваться у преследовавших его неприятелей. Он удалился, как сам пишет в записках своих, перед сражением по причине сна, виденного одним из его приятелей. Но Антоний победил Кассия. Впрочем, некоторые пишут, что и Антоний не был в сражении, и что он пришел после, когда уже его воины гнались за неприятелем. Кассий, по собственной его просьбе и приказанию, был умерщвлен Пиндаром, одним из вернейших его вольноотпущенников: он не имел известия о победе, одержанной Брутом. По прошествии немногих дней дано было еще сражение. Брут был побежден и сам себя умертвил. Антоний приписывал себе всю славу победы, тем более что Цезарь был тогда болен. Он стал перед мертвым Брутом и немного его укорял за брата своего Гая* – которого Брут умертвил в Македонии, мстя за Цицерона; но сказав, что надлежало в том винить более Гортензия, нежели Брута, он велел умертвить его над гробом Гая, а на Брута накинул свою пурпуровую мантию, которая стоила очень дорого. Он велел одному из своих вольноотпущенников позаботиться о погребении. Впоследствии узнав, что этот человек не сжег мантию вместе с телом Брута и что много утаил из денег, назначенных для погребении, Антоний умертвил его.

После сражения Цезарь отправился в Рим – казалось, что он по причине болезни не мог прожить долго. Антоний поехал к восточным областям для сбора денег; он проехал через Грецию с многочисленным войском. Как он, так и Цезарь обещали каждому воину по пяти тысяч драхм, и потому надлежало налагать подати и взыскивать деньги с некоторым насилием. Сперва Антоний поступал с греками благосклонно; он не был для них высокомерен и тягостен. Для препровождения времени он слушал ученые беседы, смотрел на игры и был вводим в священные тайны; в судах оказывал себя справедливым судьею. Ему было приятно слышать, что называли его другом греков, а еще более другом афинян; он принес городу многие дары. Мегаряне, по ревности своей к афинянам, хотели также показать ему что-нибудь прекрасное. Они просили его посмотреть на их здание Совета. Антоний вошел и осмотрел его. Когда они

спросили его, каковым ему кажется, Антоний ответил: «Он, правда, мал, однако… гнил». Он смерил при этом храм Аполлона Пифийского, как бы хотел его соорудить, в чем он дал сенату обещание.

Оставя в Греции Луция Цензорина, он переехал в Азию и вкусил тамошнее богатство. Цари приходили к нему на поклон, и царицы, стараясь превзойти одна другую дарами и прелестями, искали его благосклонности. Между тем как Цезарь в Риме был утомлен мятежами и войной*, Антоний, свободный и безмятежный, вовлечен был страстями в обыкновенный образ жизни. Кифареды Анаксеноры*, флейтисты Ксуфы, плясуны Метродоры и множество других подобных потешников, превосходящих наглостью и шутовством все язвы, приведенные им из Италии, стекались к его двору, которым они управляли. Бесстыдство дошло до крайности, ибо все туда стремились. Вся Азия, уподобляясь городу, о котором говорит Софокл*, была наполнена и курениями и пеанами и воздыханиями. При вступлении Антония в Эфес предшествовали ему женщины в уборе вакханок, мужчины и отроки, одетые сатирами и панами. В Эфесе ничего не было более видно, как плющ, тирсы, повсюду звучали псалтерии, свирели и флейты; жители называли его Дионисом Благодатным и Кротким. Конечно, он был таков не для всех, но для большей части других он был Дионисом Свирепым и Диким. Он отнимал у благородны людей имение, угождая льстецам и извергам. Из них некоторые требовали – и получили – имение многих людей живых, как будто бы они были уже мертвы. Он подарил дом одного магнесийца одному повару, который, говорят, на одном ужине отличился своим искусством. Наконец, когда он вторично обложил податями города. Тут Гибрей осмелился сказать речь за Азию, частью в площадных и со вкусом,

Антония сходных, выражениях: «Если ты можешь взыскать с нас по два раза в год подати, то можешь нам сотворить по два лета и по две осени!» Смело и выразительно напомнив, что Азия уже уплатила двести тысяч талантов, он воскликнул: «Если ты не получил подати, то – требуй их с тех, кто их принял; но если ты получил, и нет их у тебя, то мы погибли!» Этими словами он сильно тронул Антония, который не знал всего того, что происходило, не столько от нерадения, сколько по своей простоте, по которой доверял тем, кто его окружал. В самом деле, он был от природы прост и не скоро узнавал свои ошибки; но открыв причиненные его именем, он сильно раскаивался, признавался в том перед людьми, которые были им обижены, и был велик как в награждениях, так и в наказаниях; однако скорее преступал границы умеренности, награждая, нежели наказывая. Что касается до колких шуток его и насмешек, то они имели в самих себе свое лекарство; он позволял отвечать себе такими же шутками и насмешками. Ему было столь же приятно осмеивать, как и быть осмеиваным. Это свойство причинило большой вред в его делах. Полагая, что те, кто в шутках говорил ему смело и откровенно, не могли льстить ему в делах важных, он легко был уловляем их похвалами. Он не знал, что некоторые льстецы, вмешивая в ласкательства смелые представления, как некоторую кисловатую приправу, отнимают тем происходящее от них пресыщение. Своей дерзостью и говорливостью за чашей вина они производили то, что уступчивость и снисхождение в делах нужных казались делом не угождения их, но убедительности его ума.

Таковы были свойства Антония! К ним присоединилось последнее зло: любовь к Клеопатре – любовь, которая возбудила и воспламенила до неистовства многие еще скрывавшиеся в нем и усыпленные страсти, которая испортила и искоренила все то, что в нем было еще хорошего и похвального. Он попался в ее сети следующим образом. Предпринявши парфянскую войну, он послал сказать Клеопатре, чтобы она выехала к нему навстречу в Киликию, дабы отвечать на учиненные против нее доносы в том, что она давала пособия Кассию и помогала ему в войне против него. Деллий, посланный к ней от Антония, увидя красоту ее и познав ее красноречие и лукавство, вскоре уверился, что Антоний не решится сделать такой женщине какое-либо огорчение и что она будет иметь над ним величайшую силу. Итак, он начал льстить египтянке и советовал ей, чтобы она, подобно Гере у Гомера*, приехала в Киликию нарядная и не боялась Антония, самого кроткого и снисходительного из полководцев. Клеопатра поверила словам Деллия и судя по действию, какое прежде имели ее прелести над Цезарем и Кнеем, сыном Помпея, она надеялась легко покорить себе Антония. Те узнали ее еще молодою, неопытною в делах, но в том возрасте, в котором красота женщин во всем блеске своем и ум их уже в полной зрелости*. Она приготовила много богатых даров,

деньги и убранства, какие можно иметь женщине царского состояния в благополучных обстоятельствах; но возлагая главную надежду на себя самое, на свои очаровательные прелести, она приехала к Антонию.

По пути она получила много писем от самого Антония и от его друзей, в которых звали ее скорее; но она до того презрела их и насмехалась над ними, что плыла вверх по Кидну* на ладье, которой передняя часть была позолоченная; поднятые паруса были пурпуровые; гребля производилась серебряными веслами по такту флейты, при звуке свирелей и кифар. Сама Клеопатра возлежала под золотой сенью, убранная с таким великолепием, с каким представляется Афродита. Мальчики, уподоблявшиеся живописным эротам, стояли по обеим сторонам с опахалами. Прекраснейшие из ее прислужниц, убранные нереидами и харитами, одни были у кормила, другие у канатов; берега наполнены были благоуханием от великого множества курений; жители частью провожали ее по обеим берегам, частью из города выходили, дабы ее видеть. С площади вышло к ней навстречу такое множество народа, что наконец Антоний, сидевший на трибуне, остался один. Слух распространился, что Афродита идет в торжестве к Дионисию для счастья всей Азии.

Антоний послал пригласить ее к ужину, но она просила его, чтобы он пришел к ней. Желая с самого начала показать некоторое снисхождение и угодливость, он исполнил ее желание. Приготовления, которые он нашел, превосходили всякое ожидание; но всего более изумило его множество огней. Они сверкали и были видимы со всех сторон, в разных наклонениях и положениях, составляя прямоугольники и круги так, что трудно было оторвать взгляд или представить зрелище прекраснее. На другой день, угощая ее взаимно, он старался превзойти ее великолепием и вкусом; но, будучи принужден уступить ей и в одном и в другом и признавая себя побежденным, он первый смеялся сам над грубостью и неопрятностью своих приготовлений. Клеопатра, видя в самых шутках Антония грубого воина и необразованного человека, употребляла сама те же шутки без пощады и с великою уже смелостью. Красота ее, как говорят, сама по себе не была чрезвычайна и не такова, чтобы поразить взирающих на нее; но обхождение с нею неминуемо уловляло сердца, и ее вид, при сладости разговора и при всех поступках ее и обнаруживающих приятностях ее нрава, оставлял в душе некоторое неизгладимое впечатление. Язык ее, как мусикийское многострунное орудие, легко обращался к любому наречию, так что она весьма с немногими варварами говорила через переводчика. Большей частью она давала ответы сама разным народам, как-то: эфиопам, троглодитам*, евреям, арабам, сирийцам, мидийцам и парфянам, хотя бывшие до нее цари не могли выучиться и египетскому языку, а некоторые забыли и македонское наречие.

Клеопатра до того овладела Антонием, что тот позволил увезти себя в Александрию, хотя в то самое время Фульвия, жена его, воевала в Риме с Цезарем за него, а парфянские войска вступили в Месопотамию, и полководцы царя провозгласили Лабиена парфянским наместником* и готовились занять Сирию. В Александрии Антоний, предаваясь забавам и удовольствиям, свойственным юноше, не имеющему никакого занятия, в наслаждениях расточал самое драгоценное достояние – время, как говорит Антифон. Они составили союз, который назвали «Союз неподражаемых», и ежедневно угощали друг друга, расточая несчетное количество денег. Врач Филот, родом из Амфиссы*, рассказывал деду моему Ламприю, что в то время он находился в Александрии, где учился врачебной науке. Один из царских поваров, с которым он имел знакомство, предложил ему, как молодому человеку, показать великолепие и приготовления стола. Филот был введен в поварню, где увидел великие приготовления и среди прочих восемь кабанов, которых жарили. Он удивился множеству тех, кто собирался на пир. Повар засмеялся и сказал, что ужинают вместе немногие, около двенадцати человек; но что подаваемое кушанье должно быть в совершенстве, а совершенство сие одна минута может испортить, ибо Антоний, может быть, захочет есть теперь же или после некоторого времени, или, если случится, несколько отложить, выпив вина или занявшись разговорами. По этой причине готовилось много ужинов, а не один, ибо нельзя было угадать времени. Филот при том рассказывал, что по прошествии некоторого времени был он принят на службу к старшему из детей Антония, рожденного от Фульвии, и что иногда ужинал у него с другими приятелями, когда молодой человек не был приглашен к столу отца своего. Некогда один врач своею говорливостью за ужином беспокоил собеседников; Филот прервал его многоречие следующим

софизмом: «Кому жарко, тому должно давать пить холодной воды; у кого жар, тому некоторым образом жарко; так тому, у кого жар, должно давать пить холодной воды». Этот софизм смутил врача и заставил его молчать, а молодой Антоний, будучи весьма доволен, засмеялся и сказал: «Филот! Я дарю тебе все это!» – показав ему стол, покрытый многими большими чашами. Филот отказывался от принятия этого подарка и никак не думал, чтобы такому молодому человеку было позволено столь много дарить; но вскоре после того один из прислужников взял сосуды, принес к нему в корзинке и говорил ему, чтобы он скрепил своею печатью расписку. Филот боялся и не хотел принять их, тогда посланный сказал ему: «Что же ты, несчастный! Боишься принять подарок? Или ты не знаешь, что дающий есть сын Антония, который может все эти сосуды и золотые дарить? Послушай меня, возьми ты все это деньгами; может быть, отец пожелает которую-нибудь из сих чаш по причине их древности и уважаемой отделки». Вот что дед мой много раз слышал рассказывающим самого Филота.

Между тем Клеопатра, раздробив лесть на многие части, – а не на четыре, как полагал Платон, – при всяком случае, важном или забавном, изобретая всегда некоторое новое удовольствие и приятность, порабощала себе Антония, ни днем ни ночью не выпуская его из сетей своих. Она вместе с ним играла в кости, пила, ездила на охоту и смотрела, когда он упражнялся в оружиях, а ночью, когда он приходил к дверям и окошкам простолюдинов и шутил с теми, кто был внутри домов, то она провожала его, шаталась с ним в платье простой служанки – ибо и Антоний старался переодевать себя таким образом; по этой причине нередко возвращался домой, будучи попотчеван ругательствами, а иногда и побоями. Эти поступки были многим подозрительны и неприятны; но вообще александрийцы забавлялись его шутками и отвечали на оные довольно остро и приятно. Они говаривали, что Антоний показывал римлянам трагическую маску, а им комическую.

Рассказывать все его забавные поступки было бы чрезвычайно глупо. Я приведу лишь следующий. Некогда он удил рыбу; но ничего ему не попадалось. Ему было то досадно, ибо Клеопатра находилась рядом. Он велел рыбакам тайно нырять в воду и прицеплять к удочке рыбы, наловленные ими прежде. Два или три раза он вытащил рыбу – хитрость не укрылась от египтянки. Она притворилась удивленной, рассказывала о том своим приятелям и просила их в следующий день находиться при ловле. Многие вошли в рыбачьи лодки; Антоний пустил уду; Клеопатра велела одному из своих рыбаков предупредить других нырнуть и нацепить на уду понтийскую вяленую рыбу. Антоний, полагая, что попалась рыба, тащил ее. Все хохотали. «Оставь, император, – сказала тогда Клеопатра, – уду нам, царям фаросским и канопским; твоя ловля – города, области и цари».

Антоний проводил время в этих забавах и ребячествах, как получил два неприятных известия: одно из Рима – что Луций, его брат, и Фульвия, жена его, сперва боровшиеся друг с другом, потом ведшие войну вместе против Цезаря, потерпели поражение и убежали из Италии; другое, не менее того неприятное – что Лабиен, предводительствуя парфянами, разоряет области Азии от Евфрата и Сирии до Лидии и Ионии. Тогда-то он, как бы воспрянув от сна и протрезвев, двинулся, дабы остановить стремление парфян. Он дошел до Финикии, но, получив от Фульвии письма, исполненные плача и жалоб, обратил путь свой в Италию с двумястами кораблями. На дороге попались ему навстречу бегущие друзья его; он узнал от них, что виновницей войны была Фульвия, женщина, от природы надменная и сварливая, которая надеялась отвлечь Антония от Клеопатры, когда бы в Италии поднялось какое-либо беспокойство.

Между тем Фульвия, делом случая, на пути к нему, в Сикионе, умерла от болезни, и это обстоятельство облегчило переговоры его с Цезарем. По прибытии Антония в Италию Цезарь показал, что ни в чем его не обвиняет; сам Антоний слагал на Фульвию всю вину ссоры их. Друзья не допускали их войти в дальнейшие изъяснения и примирили их; они разделили между собою Римскую державу, полагая Ионийское море границей своего владения. Восточные провинции отданы в управление Антония, западные – Цезарю; Ливия уступлена Лепиду. Они уговорились между собою, что когда сами не захотят быть консулами, то будут возводить на сие достоинство друзей своих по очереди.

Эти условия, казалось, удовлетворяли обеим сторонам; однако была нужна важнейшая связь – судьба представила ее. Октавия была старшей сестрой Цезаря, но не от одной матери,

ибо она родилась от Анхарии, а Цезарь от Аттии. Цезарь любил чрезвычайно сестру свою, ибо она, как говорят, была женщиной необыкновенной и удивительной. Она осталась после недавно умершего супруга своего Гая Марцелла; Антоний также был вдовцом после смерти Фульвии. Он не отрицал связи своей с Клеопатрой, но не признавал брака с нею, ибо рассудок в нем боролся еще с любовью к египтянке. Все желали брака Антония с Октавией, полагая, что эта женщина, будучи одарена при редкой красоте отличною скромностью и разумом, соединяясь с Антонием и приобретши его любовь, как можно было ожидать от женщины с такими качествами, сделается общей спасительницей и соединит обе стороны. Это было принято обеими сторонами. Антоний и Цезарь прибыли в Рим; брак Антония с Октавией совершился, хотя законами не позволялось женщине выходить замуж по смерти мужа до прошествия десяти месяцев; но сенат постановлением своим сократил этот срок.

В то время Секст Помпей*, сын Помпея, занимая Сицилию, производил в Италии грабежи и множеством своих разбойничьих судов, которыми управляли пираты Мен и Менекрат, сделал то, что ни один корабль не смел выходить на море*. Когда же Секст принял к себе мать Антония, которая убежала из Италии с Фульвией, то этот благосклонный поступок склонил Антония к примирению. Они сошлись на Мисенском мысе. Помпей пристал туда со своим флотом; Антоний и Цезарь поставили близ берега сухопутные свои силы. Они условились между собою, чтобы Секст владел Сицилией и Сардинией, очистил бы море от разбойников и послал бы в Рим определенное количество пшена. После того они пригласили друг друга к ужину, бросили жребий, и Помпею первому досталось угощать их. Антоний спросил его: «Где будет ужин?» – «Там, – отвечал Помпей, показав на главный, о шести рядах весел корабль, – там отцовский дом, оставленный Помпею!» Он сказал это, упрекнув Антония, который занимал дом, принадлежавший отцу. Утвердив корабль свой многими якорями и наведши мост от мыса до корабля, он принял их благосклонно. Беседа их была оживлена: они шутили насчет связи Антония с Клеопатрой. Между тем пират Мен подошел к Помпею и сказал ему на ухо, чтобы никто не слышал: «Хочешь, Секст, я подрублю якорные канаты и сделаю тебя владыкою не Сицилии и Сардинии, но всей Римской державы?» Помпей, услышав это, несколько позадумался и наконец сказал ему: «Мен, тебе бы следовало это сделать, не сказывая мне о том наперед; теперь я доволен тем, что имею; не мне быть клятвопреступником». После этого Цезарь и Антоний угостили его взаимно, и он отплыл в Сицилию.

По заключении этого договора Антоний отправил в Азию Вентидия для удержания парфян от дальнейших успехов. В угождение Цезарю он принял достоинство жреца первого Цезаря. Они действовали в политических и великих делах единодушно и дружественно. Только в играх, в которых они проводили вместе время, Антоний к великой досаде своей всегда должен был уступать Цезарю. При нем был некоторый египетский прорицатель из числа тех, кто рассуждает о судьбе человека по часу его рождения. Этот человек, в угождение ли Клеопатре или потому, что в самом деле так думал, говорил смело Антонию, что его счастье величайшее и знаменитейшее, помрачается счастьем Цезаря и советовал ему жить как можно далее от этого молодого человека. «Твой гений, – говорил он, – боится гения Цезаря; он горделив и высок, когда один; когда же приблизится к нему, то унижается, становится невидным». Эти слова египтянина утверждаются самыми происшествиями. Говорят, что каждый раз, когда они бросали жребий или играли в кости для препровождения времени, то Антоний всегда проигрывал. Много раз заставляли они драться своих петухов и перепелов, и Цезаревы всегда побеждали. Антоний, досадуя на это втайне и имея уже к египтянину более веры, оставил Италию и передал Цезарю домашние дела свои. Октавия провожала его до Греции, где родила ему дочь.

Он провел зиму в Афинах, где получил известие о первых подвигах Вентидия. Этот полководец победил парфян и умертвил Лабиена и Франипата*, важнейшего из полководцев царя Гирода. Антоний по этому случаю давал грекам пиры и исполнял обязанности афинского гимнасиарха. Сняв знаки своего достоинства, он выходил из дома в греческом длинном плаще, в белой обуви, с тростью гимнасиарха, брал за шею борющихся юношей и разнимал их. При выступлении своем в поход он взял венок из священного масличного древа и, по увещанию некоторого прорицателя, наполнил сосуд водою из Клепсидры* и взял с собою.

Между тем Пакор, сын царя парфянского, с многочисленным войском вступил опять в

Сирию. Вентидий, сошедшись с ним при Киррестике, разбил его, умертвил великое множество парфян, в числе их и самого Пакора, который пал в первых рядах. Это дело есть одно из достопамятнейших; римляне полностью отомстили за претерпенные при Крассе несчастия и опять загнали парфян, которые в трех сражениях сряду были разбиты наголову, в пределы Мидии и Месопотамии. Вентидий не захотел преследовать далее парфян, боясь зависти Антония, а между тем покорял области, отпавшие от римлян. Он осадил в Самосате Антиоха, царя Коммагены*, и когда сей предлагал дать тысячу талантов и повиноваться во всем Антонию, то Вентидий велел отправить посланников к самому Антонию, котрый был уже близко и не позволял Вентидию заключить мир с Антиохом, желая, чтобы хотя одно это дело носило его имя и не все было бы кончено Вентидием. Между тем осада Самосаты была продолжительна; жители, потеряв надежду на заключение мира, обратились к обороне. Антоний не мог ничего произвести, был пристыжен, раскаялся и довольствовался тем, что взял с Антиоха триста талантов. Он привел в порядок некоторые дела в Сирии и возвратился в Афины. Вентидию он оказал приличные почести и послал его в Рим, дабы удостоиться триумфа. До этого времени получил триумф за победы над парфянами один Вентидий* – человек, неизвестный по роду своему, но пользовавшийся Антониевой к себе дружбою, которая давала ему возможность совершать величайшие деяния. Употребив сие обстоятельство лучшим образом, Вентидий утвердил общее мнение касательно Цезаря и Антония, что они оба были счастливы в войне, действуя через других, нежели сами собою. Ибо Сосий, полководец Антония в Сирии, производил также важные дела, и Канидий, оставленный им в Армении, побеждая армян, иберов и альбанов, дошел до Кавказских гор. Этими успехами он распространил среди варварских народов имя и славу свою.

Между тем Антоний, имея вновь некоторое неудовольствие на Цезаря, отплыл в Италию с тремястами кораблями. Брундизий не принял его флота, и он пристал в Таренте. Отсюда, соглашаясь на просьбы Октавии, отправил ее к брату (она провожала его из Греции и была беременной, хотя имела уже вторую дочь от него). Она встретила Цезаря на дороге и говорила ему в присутствии друзей его Агриппы и Мецената, заклиная и умоляя его не сделать ее из счастливейшей женщины самою несчастною. «Ныне все взирают на меня, – говорила она, – я сестра одного императора и супруга другого. Но если зло одержит верх, и война начнется – вам неизвестно, кому определено быть победителем, кому побежденным, но как в одном, так в другом случае я буду несчастной». Эти представления тронули Цезаря; он прибыл в Тарент с мирными расположениями. Для всех присутствующих восхитительное было зрелище видеть сильное войско, пребывающее в покое на твердой земле, и многие корабли, стоящие в тишине близ берега, между тем как друзья и приятели Антония и Цезаря встречались и приветствовали друг друга. Антоний сделал первое угощение – Цезарь и в том оказал удовольствие сестре своей. Они условились между собою, чтобы Цезарь дал Антонию два легиона для продолжения войны с парфянами, а Антоний ему сто медноносых триер. Октавия при том, сверх договора, выпросила у мужа двадцать легких судов для брата, а у этого тысячу человек для своего мужа. Таким образом они разошлись. Цезарь немедленно занялся войною с Помпеем, желая иметь Сицилию; Антоний переехал в Азию, поручив Цезарю Октавию и детей своих, рожденных от нее и от Фульвии.

Между тем любовь к Клеопатре – сие жестокое зло, которое долгое время казалось усыпленным и покорившимся здравому рассудку – вновь оживилась и возгорелась с приближением Антония к Сирии. Дабы употребить иносказательное выражение Платона о необузданном и невоздержанном коне, он пнул ногою все спасительные и благопристойные помышления и послал Фонтея Капитона привезти Клеопатру в Сирию. По прибытии ее он подарил ей и присоединил к ее владениям не малую область, но всю Финикию, Келесирию*, Кипр и важную часть Киликии; сверх того ту область Иудеи, которая производит бальзам, с частью Набатейской Аравии, что обращена к Внешнему морю. Эти уступки весьма оскорбили римлян, хотя Антоний многим частным людям давал тетрархии и царскую над многими народами власть; у многих же и отнимал ее, как, например, у иудейского царя Антигона*, которому сверх того отрубил он голову, несмотря на то, что прежде ни одного из царей римляне не подвергали такому наказанию. Но в почестях, оказываемых Клеопатре, всего противней была для римлян позорная побудительная причина. Неудовольствие усилилось,

когда Клеопатра родила ему близнецов, и Антоний мальчику дал имя Александра, а девочке Клеопатры, прозвал одного «Солнцем», а другую «Луной». Будучи способен хвастаться и тщеславиться и постыднейшими делами, он говаривал, что величие Рима обнаруживается не тем, что берут у других, но тем, что дарят; что многочисленное потомство и рождение будущих царей умножает знать. «Таким образом предок мой, – говорил он, – обязан рождением своим Гераклу, который не вверял одной-единственной женщине размножения своего потомства, не боялся ни Солоновых законов, ни несчастий за нарушение постановлений касательно деторождения, но давал полную волю своей натуре, чтобы положить начало многих родов и поколений».

По убиении Гирода сыном его Фраатом, который принял царство, многие из парфян бежали из Парфии, и среди них – Монес, человек знаменитый и сильный. Он прибегнул к Антонию, который, сравнив участь Монеса с участью Фемистокла и не желая уступать богатством и великодушием царям персидским, подарил ему три города: Лариссу, Аретусу и Гиераполь, священный город, который прежде называли Бамбикой*. Когда же царь парфянский уверил Монеса в своей благосклонности, то Антоний охотно отослал его обратно, надеясь тем обмануть Фраата, обещая заключить с ним мир, если возвращены будут римлянам отнятые у Красса знамена и те военнопленные, которые оставались еще в живых. Антоний отправил в Египет Клеопатру и продолжал поход в Парфию через Аравию* и Армению. Здесь собрались его силы и союзные цари. Их было весьма много; важнее всех был армянский царь Артабаз, который ставил шесть тысяч конницы и семь тысяч пехоты. Антоний осмотрел войско: настоящих римлян было у него шестьдесят тысяч пехоты; конницы из иберов и кельтов до десяти тысяч; конницы из легкой пехоты и других народов до тридцати тысяч. Впрочем, эти великие приготовления и столь многочисленная сила, устрашившая индийцев за Бактрианой и потрясшая всю Азию, остались бесполезными – и Клеопатра одна тому была виною. Спеша провести с нею зимнее время, Антоний начал войну прежде времени* и действовал с беспокойным духом, как будто бы он не был в полном уме, но действием отравы или очарования был вне себя; он обращался мыслями к предмету любви своей, более думал о том, как бы скорее возвратиться, нежели как победить неприятеля.

Во-первых, ему бы следовало зимовать в Армении, успокоить войско, утомленное походом в восемь тысяч стадиев, и с наступлением весны, прежде нежели парфяне поднялись из зимовья, занять Мидию. Вместо того он, не дождавшись этого времени, шел вперед с поспешностью, и оставив Армению по левую руку и достигнув Атропатены*, опустошал ее. Осадные машины его воины везли на трехстах возах. В числе их была машина, называемая таран, длиною восемьдесят футов. Когда бы какая-нибудь из них попортилась, то было невозможно починить ее вовремя, ибо растущие во внутренности Азии деревья мягки и недлинны. Антоний, идучи с поспешностью, оставил машины позади себя как помеху, препятствующую скорости его движения; для охранения их приставил он Статиана, начальника возов. Он осадил большой город Фраaты; в нем находились жены и дети царя мидийского. Когда же нужда доказала ему на деле, какую он сделал ошибку, оставя назади машины, то дабы подступить к городу ближе, он велел поднять насыпь: работа эта совершалась медленно и с великими трудами. Между тем Фраат с многочисленным войском выступил против него и, узнав, что возы с машинами остались назади, послал на них сильную конницу. Статиан был ею обступлен и погиб с десятью тысячами воинов. Парфяне завладели машинами и истребили их. Они взяли в плен многих людей, среди них и царя Полемона*.

Эти обстоятельства, как легко понять можно, ввергли в уныние войско Антония, претерпевшее неожиданно такое поражение в самом начале войны. Армянский царь Артабаз, видя, что дела римлян находились в дурном положении, удалился со своими силами, хотя он был главнейшим сей войны виновником. Между тем парфяне с надменностью явились перед осаждающими римлянами и употребляли угрозы, соединенные с поруганием. Дабы не усилилось уныние и неудовольствие воинов, остающихся в бездействии, Антоний взял десять легионов, три преторские тяжеловооруженные когорты и всю конницу и вывел их для добывания корма. Он надеялся этим средством заманить неприятеля как можно далее и вступить в открытое с ним сражение. Он прошел день дороги и, видя, что парфяне обтекают его кругом с намерением напасть на него на походе, он дал в стане знак к сражению, но между тем

велел снять шатры, как будто бы его намерение было отвести войско, а не сразиться. Он шел мимо неприятельского войска, которое образовало вид полумесяца, дав приказание коннице пуститься на неприятеля, как скоро передовые ряды его будут на таком расстоянии, что тяжелая пехота могла бы вступить с ними в дело. Устройство римлян явилось взорам противостоявших парфян выше всякого описания. Они с удивлением смотрели, как римляне проходили мимо в равном расстоянии друг от друга, без шума, с безмолвием, потрясающие своими дротиками. Знак был поднят, и конница римская поворотила на них с криком; они приняли ее и вступили с нею в сражение, ибо по причине малого пространства стрелы их на нее не могли действовать; но в то же время пехота вступила в бой с криком и стуком оружий; кони неприятельские были тем испуганы, и парфяне предались бегству, прежде нежели дело дошло до ручного боя. Антоний напирал на них сильно и имел великую надежду, что этим сражением кончит совсем войну или, по крайней мере, большую часть оной. Пехота преследовала парфян на пятьдесят стадиев, а конница на полтораста. Когда стали считать убитых и пойманных неприятелей, то нашли тридцать человек пленных и только восемьдесят убитых. Это ввергло римлян в уныние и горесть. Они рассуждали, что если, побеждая, убивают так мало, то проиграв сражение, они могут потерять столько же, сколько прежде потеряли при возах.

На другой день, приготовившись, шли они к Фраатам в свой стан. По дороге они встретили сперва немногих парфян, потом несколько больше, наконец и все войско, как будто бы свежее, непобежденное, которое вызывало его и римлян к сражению, отовсюду на них наступая. Римляне достигли стана с великими трудами и опасностью. Мидийцы сделали на насыпь вылазку и навели страх на первые ряды римлян. Антоний, придя от того в гнев, употребил против оробевших так называемую «десятинную казнь» – он разделил воинов на десятки и из каждого предавал смерти по одному человеку, кому достался жребий, другим велел вместо пшена раздать ячмень.

Война для обеих сторон была страшна, а последствия еще страшнее. Антоний ожидал голода, ибо уже не было возможности доставать корм без боя и без потери многих людей. С другой стороны, Фраат, зная, что парфяне менее всех были способны проводить зиму под открытым небом и терпеть суровости погоды, ибо уже приближалось осеннее равноденствие, и воздух становился густым и сырым, боялся, чтобы они не покинули его, между тем как римляне стали бы переносить все трудности и оставаться тут.

Итак, прибегнул он к следующему обману. Известнейшие из парфян, встречаясь с римлянами при собирании корма и в других случаях, обходились с ними мягче: они допускали их кое-что брать; хвалили их мужество; называли их храбрейшими людьми, которыми даже царь их по справедливости удивлялся. Потом, подъезжая ближе и сидя покойно на конях своих, они поносили Антония за то, что он, при всем желании Фраата мириться и пощадить такое число храбрых воинов, не дает тому повода, но ожидает приближения жесточайших врагов голода и зимы, которых и тогда избегнуть римлянам трудно, когда парфяне стали бы их провожать, оказывая им пособие. Эти речи были многими пересказываемы Антонию, который смягчался надеждою на примирение; однако не прежде послал к царю парфянскому посольство, как спросил тех парфян, которые изъяснялись с таким дружелюбием, действительно ли согласны таковые их слова с мыслями царя их. Получив уверение, что не надлежало ему нимало страшиться и не доверять, он послал некоторых из своих приятелей со вторичным требованием, чтобы были возвращены знамена и пленные, дабы не казалось, что он был доволен лишь тем, что мог убежать и спастись. Царь парфянский отвечал, чтобы он об этом не беспокоился, и обещал ему мир и безопасность, как скоро отступит. Итак, Антоний по прошествии немногих дней отправился в обратный поход. Хотя он был искусен обходиться с народом и способнее всех тогдашних современных ему полководцев управлять войском словами, однако тогда от стыда и уныния не захотел сам ободрить воинов, но препоручил исполнение этого Домицию Агенобарбу. Некоторые на то негодовали, почитая себя пренебрегаемыми, но большая часть поняла причину и была тронута. Они тем более почитали долгом своим повиноваться полководцу и оказывать ему взаимное уважение.

Антоний намеревался отступить той же дорогою, по гладким безлесным равнинам, но некий мард*, знавший хорошо парфянские нравы и доказавший римлянам свою верность в сражении подле осадных машин, пришел к Антонию и советовал ему взять дорогу направо,

держаться гор и не подвергать тяжелую пехоту действию стрел и нападению многочисленной конницы на ровных и открытых полях. Он представлял ему, что Фраат, желая произвести сие злоухищрение, заставил его снять осаду кроткими предложениями. Мард обещал быть римлянам указателем кратчайшей дороги и более изобилующей съестными припасами. Антоний, услышав слова марда, советовался о своем положении; он не хотел показывать недоверчивости к парфянам после примирения; но краткость дороги и поход по местам населенным были для него приятны; он требовал удостоверения у марда, который согласился быть скованным до того времени, как приведет войско в Армению. Он действительно был скован и два дня вел войско беспрепятственно. На третий день Антоний, нимало не думая о парфянах, продолжал путь свой с бодрым духом без всякой осторожности. Но мард нашел плотину при устье реки, недавно сорванную, и воды ее, разлившиеся в большом количестве по дороге, по которой надлежало римлянам пройти. Он понял, что это было дело парфян, которые хотели затруднить и замедлить поход римлян, поставя им реку преградою. Он сказал Антонию быть осторожным, ибо неприятель должен быть близко. Между тем как Антоний строил пехоту и готовил стрельцов и пращников к нападению на неприятелей, парфяне явились и, объезжая войско, показывали, что хотят его окружить и напасть со всех сторон сразу. Но легкое римское войско устремилось на них; парфяне причиняли большой вред стрелами, но и сами претерпевали не меньший – свинцовыми ядрами и метальными копьями – и наконец отступили. Они повторяли нападение до тех пор, пока галлы, сомкнувшись, не устремились на них и рассеяли так, что в тот день уже их более не было видно.

Антоний после этого случая понял, как надлежало ему поступать. Он оградил не только тыл, но и фаланги войска многими пращниками и метателями дротиков, придав войску вид прямоугольника. Коннице дано было приказание опрокидывать нападающую конницу неприятелей, но не преследовать ее далеко при отступлении ее. Таким образом, парфяне в продолжение четырех дней сряду причиняли римлянам столько же вреда, сколько римляне им причиняли, от чего жар их охладел; под предлогом наступления зимы они помышляли уже об отступлении.

В пятый день Флавий Галл, человек воинственный и предприимчивый, предводитель отряда, явившись к Антонию, просил у него побольше легких воинов из тылового охранения и конницы из головного отряда, обещаясь произвести великое дело. Антоний исполнил его желание. Флавий отразил очередное нападения парфян, но, не следуя прежним предначертаниям, сам не отступал и не присоединился мало-помалу к тяжелой пехоте. Он стоял твердо и вступал в сражение с великой смелостью. Начальники тыла, видя его отрезываемым, посылали к нему и звали назад, но он не слушался. Квестор Титий схватил знамя, хотел поворотить назад и ругал Галла за то, что погубил многих мужественных людей. Галл отвечал ему такими же ругательствами и приказывал своим воинам оставаться. Титий отступил, а между тем, как Галл теснил сильно противостоящих ему неприятелей, неприметным образом многие из них обошли его с тылу. Стрелы сыпались на него со всех сторон; он послал просить подкрепления. Те, кто предводительствовал тяжелой пехотой, в числе которых был и Канидий, человек, имевший великую силу при Антонии, кажется, сделали немалую ошибку. Вместо того чтобы обратить на неприятеля всю пехоту разом, они посылали на подкрепление по малому числу воинов, а когда сии были побеждены, то посылали других, и таким образом мало-помалу ужас и бегство охватили чуть ли не все войско, когда бы сам Антоний спереди с тяжелой пехотою не прибыл бы поспешно, не пустил бы третьего легиона сквозь бегущих на неприятеля и тем не остановил дальнейшего его преследования. Пало не менее трех тысяч человек, а к шатрам перенесено раненых пять тысяч. В числе их был и Галл, пронзенный четырьмя неприятельскими стрелами; раны его были неисцелимы. Между тем Антоний в слезах и в глубокой горести, ходя вокруг, осматривал и ободрял воинов, которые с веселым лицом брали его за руки, называли его своим императором, просили удалиться, позаботиться о своем здоровье, не горевать о них, уверяя его, что от его спасения зависит их собственное.

Вообще в те времена ни один полководец не собирал войско, которое бы превосходило войско Антония храбростью, твердостью и молодостью воинов. Сверх того, уважением к полководцу, покорностью, сопряженной с любовью и усердием, по которому предпочитали собственному спасению внимание и благосклонность Антония, ни знатные, ни известные, ни

начальники, ни подчиненные, нимало не уступали древнейшим римлянам. Тому, как уже нами замечено, было много причин: знаменитый род Антония, сила речей, простодушие, склонность дарить и дарить богато, приятность его шуток и разговора. Тогда, соболезнуя им, принимая участие в их трудах и страданиях и уделяя всякому то, чего бы ни попросили, он одушевил больных и раненых большим усердием, нежели самых здоровых.

Между тем неприятели, утомленные уже сражением, до того возгордились победой и такое оказывали к римлянам презрение, что провели всю ночь близ стана, надеясь расхитить оставленные шатры и богатство римлян, как скоро бы те предались бегству. На другой день они собирались еще в большем числе; говорят, что у них было не менее сорока тысяч конницы, ибо царь, твердо уверенный в победе, послал и своих телохранителей; сам он ни в одном сражении не присутствовал. Антоний хотел говорить речь воинам и велел себе подать темное платье, дабы показаться им в жалостнейшем виде; но приятели его тому противились; он явился в пурпуровой полководческой мантии и в речи своей хвалил тех, кто победил, и порицал тех, кто предался бегству. Одни просили его быть добрым; другие, оправдываясь перед ним, предавали ему себя для наказания десятинной казнью или другим образом, если ему угодно; только бы он перестал унывать и печалиться. Тогда Антоний, подняв руки свои к небу, молился богам: если они предопределили ему несчастье взамен прежнего его благополучия, то да обратят его на него самого, а войску его даруют безопасность и победу.

На другой день римляне продолжали путь свой, оградив себя с большей осторожностью. Парфяне, наступая на них, находили то, чего они не ожидали. Они думали, что идут на добычу и грабеж, а не на сражение; но встречая множество стрел и свинцовых ядер и видя римлян свежих и крепких своим усердием, они теряли свою бодрость. Они напали на римлян, когда сии спускались с каких-то покатистых холмов, и поражали их, встречая медленный со стороны их отпор. Тогда щитоносцы поворотились к ним, заперли внутри своего ополчения легких воинов и сами стали на одно колено, держа впереди щиты; стоявшие позади их подняли свои щиты выше их, а за ними то же делали и другие. Это положение, образуя род кровли, имеет в себе нечто театральное и служит сильнейшей оградой против стрел, которые скользят по щитам. Парфяне, почитая преклонение колена признанием бессилия и усталости, спустили луки и, взяв дротики свои, подошли ближе к римлянам. Тогда римляне, издав военный крик, встали вдруг и, поражая парфян копьями, передних умертвили, а всех других обратили в бегство.

Нападения продолжались и в следующие дни; римляне прошли весьма малую часть дороги. Уже войско начинало чувствовать голод; пшено доставали они боем и то в малом количестве; они не имели и орудий, нужных к молотьбе – большую часть их кинули, ибо возовой скот частью издох, частью вез больных и раненых. Говорят, что аттический хеник пшена продавался по пятидесяти драхм, а ячменный хлеб против равного весу серебра. Когда они прибегли к травам и кореньям, то находили мало из тех, которые им были известны, и будучи принуждены есть такие, которых прежде никогда не ели, они вкусили зелья, которое приводило в неистовство и наконец причиняло смерть. Тот, кто употреблял оное, никого более не помнил и не знал, а занимался только одной работой – переворачиванием камней, как бы это было дело весьма важное. Поле было покрыто людьми, которые, наклоня голову, вырывали и переставляли камни. Наконец их рвало желчью, и они умирали, ибо у них не было уже вина – единственного противоядия против сей отравы. Число погибших было велико. Парфяне, между тем, не отставали. Говорят, что Антоний несколько раз произносил следующие слова: «О, десять тысяч!» Удивляясь воинам Ксенофонта, которые, пройдя дорогу длиннее из Вавилонии и сражаясь с многочисленнейшими неприятелями, при всем том сохранили себя в целости.

Парфяне, не получив успеха в своих намерениях прорвать и расстроить войско, будучи уже многократно побеждены и обращены в бегство, начали опять приступать дружелюбно к тем, кто отделялся от войска для снискания корма и пищи. Они показывали им спущенные тетивы луков своих и говорили, что уже возвращаются назад; что этим преследованием кончилось их мщение; что немногие из мидян будут идти за ними на два или три дня дороги не для того, чтобы их беспокоить, но для охранения дальнейших селений. Эти слова были сопровождаемы ласками и знаками дружбы. Римляне были тем ободрены, и Антоний, узнав о том, желал уже продолжать путь свой равнинами, ибо дорога по горам, как говорили ему, была безводна. Он намеревался так поступить, как из неприятельского войска прибыл к нему некто

по имени Митридат, двоюродный брат того Монеса, который некогда прибегнул к Антонию и получил от него в дар три города. Митридат просил, чтобы вышел к нему кто-либо, умеющий говорить по-парфянски или по-сирийски. Когда вышел к нему Александр, уроженец Антиохии, приятель Антония, то он объявил свое имя и, приписывая причину своего поступка благодарности Монеса к Антонию, спросил Александра: «Не видишь ли впереди тех частых и высоких гор?» Он отвечал, что видит их, а Митридат продолжал: «Под ними парфяне всем войском поставили засаду против вас. За этими горами простираются обширные поля; парфяне ждут, что вы, обманутые ими, туда обратитесь, оставив горную дорогу. Эта дорога, правда, встретит вас жаждой и трудностями, вам знакомыми; но знайте, что если Антоний пойдет равниною, то участь Красса ожидает его».

С этими словами Митридат удалился. Антоний был в сильной тревоге; он созвал друзей своих и проводника-марда, который не был разного с Митридатом мнения: он знал, что и без неприятелей дорога по равнинам была сопряжена с многими неудобствами; что по ней можно было заблудиться и с трудом найти дорогу. Напротив того, дорога горами не имела другого неудобства, кроме безводия в продолжение одного дня пути. Итак, Антоний переменил мысли и вел войско ночью, приказав воинам запастись водою. Многие из них, не имея сосудов, наполнили водою свои шлемы и несли их; другие же несли ее в мехах. Движение его вперед было замечено парфянами, которые, против своего обыкновения, преследовали его ночью, и когда солнце взошло, они уже достигли задних рядов римлян, которые от бдения и трудов были в дурном положении, ибо в ту ночь прошли двести сорок стадиев; они впали в чрезвычайное уныние, когда увидели, что неприятели так скоро их догнали, не ожидая этого. Между тем жажда усиливалась от битвы, ибо они шли вперед, защищаясь. Те, кто шел впереди, нашли по дороге реку с холодной и прозрачной, но горькой и ядовитой водой. Выпив оной, они чувствовали боли и резь в животе; и жажда их воспалялась еще сильнее. Хотя мард предупредил их и предсказывал последствия от употребления сей воды, однако воины не менее того пили, отталкивая тех, кто хотел их удержать. Антоний, ходя между ними, просил их еще потерпеть на самое короткое время, ибо не в дальнем расстоянии была река с хорошей водой; остальная же дорога была гориста и вовсе неспособна к тому, чтобы действовать на ней конницей, что совершенно от них отвлечет неприятелей. Он отозвал воинов, которые еще сражались, и велел тут остановиться, дабы отдохнуть в тени.

Между тем как раскидывали шатры, а парфяне, по своему обыкновению, немедленно удалялись, опять явился Митридат. Когда Александр вышел к нему навстречу, то через него советовал Антонию успокоить войско в самое короткое время, потом подняться и спешить к реке; что парфяне не намерены переправляться через эту реку, а будут только преследовать до оной римлян. Александр, известив о том Антония, принес от него Митридату множество золотых чаш, из которых он принял столько, сколько мог спрятать под платьем, и удалился. Еще до наступления ночи римляне пустились в путь, не будучи обеспокоиваемы неприятелем; но они сами сделали для себя ночь эту самой беспокойной и страшной. Воины убивали и грабили тех, кто имел у себя золото или серебро, расхищали обоз Антония, брали и разделяли между собою богатые чаши и столы. Войско было в тревоге и смятении, ибо все думали, что неприятели напали на них и что часть их разбита и отрезана. Антоний призвал к себе одного из своих телохранителей, который был его вольноотпущенником и назывался Рамном, заставил его клясться в том, что он его поразит мечом, как скоро ему прикажет, и отрубит голову Антонию, дабы он не попался живой в руки неприятелей и дабы они не узнали его мертвого. Приятели его были тронуты до слез; мард старался ободрить Антония, уверяя его, что река близко, ибо некоторая влажная испарина и прохладный ветер веял со стороны реки, отчего дыхание становилось легким и приятным. Он представлял ему, что, судя по времени похода, приближаются к концу, ибо немного оставалось до рассвета. Между тем другие возвещали, что тревога произошла от алчности и несправедливости воинов. По этой причине Антоний, желая привести в порядок войско, которое от долготрудного похода было в неустройстве, велел остановиться до отдыха. Уже рассветало, и в войске водворилось устройство и спокойствие; стрелы парфянские едва достигли тыла войска; легким воинам дан был знак к нападению; тяжелая пехота покрыла себя по-прежнему щитами и в таком положения принимали стрелы неприятеля, которые не смели к ней приблизиться. Между тем передние мало-помалу

подвигались вперед – и река открывалась взорам их. Антоний выстроил на берегу конницу лицом к неприятелю и прежде всего перевозил больных; уже и сражавшиеся воины могли свободно и спокойно пить, ибо как скоро парфяне увидели реку, то спустили руки и, превознося, похвалили мужество римлян, говорили им, чтобы они переправлялись в покое. После спокойной переправы воины несколько отдохнули, потом шли далее, не доверяя слишком парфянам.

В шестой день после последнего сражения достигли они реки Аракса, отделяющей Мидию от Армении. По причине глубины и быстроты ее переправа была трудная. В войске разнеслось, что неприятели сидят тут в засаде и нападут на них, когда будут переправляться. После беспокойной переправы вступили они в Армению. Как будто бы они видели сию землю после долговременного морского путешествия, они поклонились ей, плакали от радости и обнимали друг друга. Продолжая путь свой страною, изобилующею всем, и употребляя все неумеренно после великого недостатка, они впадали в водянку и диарею.

Здесь Антоний осмотрел войско и нашел, что потеря его простиралась до двадцати тысяч человек пехоты и четырех тысяч конницы; более половины их погибло от болезней, а не от неприятелей. Поход от Фраат продолжался двадцать семь дней; в это время римляне победили парфян в восемнадцати сражениях; но победы были несовершенные, ибо они преследовали неприятелей недолго и несильно. Это-то явно доказало, что измена Артабаза, царя армянского, лишила Антония способов к счастливому совершению сей войны. Когда бы при нем находились те шестнадцать тысяч конницы, которых Артабаз вывел из Мидии, которые были вооружены подобно парфянам и приучены с ними сражаться, когда бы они стали преследовать и умерщвлять неприятелей, обращенных в бегство римлянами, то парфяне не были бы в состоянии, будучи однажды разбиты, опять оправляться и возобновлять нападения. По этим причинам все во гневе побуждали Антония наказать армянина. Но Антоний, поступая весьма благоразумно, не упрекал его изменой и не лишил его обыкновенных ласк и почестей по причине слабости войска и недостатка, который оно претерпевало. Но впоследствии он вступил опять в Армению, заманил к себе Артабаза многими обещаниями и приглашениями, поймал его, привез в Александрию в оковах и торжествовал триумф. Этим поступком он более всего опечалил римлян, ибо им казалось, что он предавал египтянам из уважения к Клеопатре то, что служило украшением и славою их отечества. Но это случилось несколько позже.

А тогда, продолжая путь свой в холодную пору при беспрерывном снеге и спеша возвратиться, он потерял в пути еще восемь тысяч человек. Сам он, приехав с немногими на место, лежащее близ моря между Беритом и Сидоном и называемое Белое селение, ожидал Клеопатру. Она медлила, и Антоний был погружен в тоску и беспокойство; вскоре предался он пьянству; в самом питье не мог успокоиться, но часто вставал и вскакивал, дабы посмотреть, не идет ли Клеопатра. Наконец она приехала на корабле и привезла с собою множество платья и денег для воинов. Некоторые уверяют, что платье она привезла действительно, но что деньги Антоний раздавал от себя, показывая будто бы она их давала.

Между тем царь Мидии поссорился с Фраатом, царем парфянским. Ссора началась разделом отнятой у римлян добычи. Мидийский царь возымел подозрение и страх, что Фраат намерен был лишить его царства. Он звал на помощь Антония, обещая воевать вместе с ним всеми силами. Это предложение внушило Антонию великую надежду, ибо он получил конницу и стрельцов, которых недостаток был единственной причиной тому, что он не победил совершенно парфян; присоединив же их к себе, казалось, он более одолжил, нежели просил. Он готовился предпринять поход опять через Армению, соединиться с мидийским царем на берегах Аракса и потом начать военные действия.

Между тем Октавия в Риме желала приехать к Антонию. Цезарь побуждал ее, как говорят, не потому, чтобы он хотел ей тем угодить, но потому, чтобы найти благовидную причину к началу войны, когда бы со стороны Антония оказано было ей поругание и презрение. По прибытии своем в Афины она получила от Антония письмо с приказанием дожидаться его тут; он уведомлял ее о своем намерении предпринять поход. Октавия была тем огорчена; она поняла, что это значило; однако спрашивала его, куда он прикажет послать все то, что она везла с собою. Она в самом деле везла великое множество военных одежд, много лошадей и денег и дары приятелям его и предводителям войска. Сверх того две тысячи избранных ратников,

украшенных великолепно всеоружиями, подобно преторским когортам. Некто по имени Нигер, друг Антония, посланный к нему от Октавии, говорил о том Антонию, присоединив достойные и приличные похвалы Октавии.

Клеопатра, видя, что Октавия идет тою же с ней стезею, и боясь, чтобы ласковое ее обхождение и угодливость к Антонию, присоединенные к скромности ее и к силе Цезаря, не сделались непреоборимы и не овладели сердцем ее супруга – притворилась, что сама влюблена в Антония; она утомила свое тело малою пищею; когда он к ней приходил, то восторг и радость изображались в ее взорах; когда уходил – то казались томными и печальными. Часто она старалась показываться плачущей; но утирала и скрывала свои слезы, как будто бы хотела, чтобы он того не приметил. Это происходило в то время, когда Антоний готовился из Сирии идти в Мидию. Льстецы, действуя в ее пользу, бранили Антония как жестокого и нечувствительного человека, губящего несчастную женщину, которая на него одного возлагала всю надежду свою; они говорили, что Октавия из уважения к своему брату идет к нему по делам, что она пользовалась именем его супруги, а между тем Клеопатра, царствующая над многими народами, называется его любовницей; что, впрочем, она не отвергает этого названия, не почитает его низким, пока может его видеть и быть вместе с ним; но как скоро она будет удалена от него, то не переживет разлуки. Этими представлениями до того они разнежили и смягчили Антония, что он, боясь, чтобы Клеопатра не лишилась жизни, возвратился в Александрию, а союз с мидийским царем отложил до весны – хотя парфяне тогда были между собою в раздоре. Впоследствии он приехал к нему, заключил с ним союз и сговорил его дочь, еще малолетнюю, за одного из сыновей Клеопатры. По возвращении своем он обратил все внимание к междоусобной брани.

По возвращении Октавии из Афин Цезарь, почитая ее оскорбленной, велел ей жить в своем доме; но она объявила, что не оставит дом супруга своего. Она просила его, если по другим каким-либо причинам не решился вести войну с Антонием, то не заботился бы о ее делах, ибо и слышать постыдно, что двое из величайших императоров римских, один по любви своей к женщине, другой по ревности одной женщины к другой, ввергают римлян в междоусобную войну. Эти слова утвердила она своими поступками. Она жила в доме Антония, как бы он сам был тут, пристойно и благородно и пеклась не только о своих детях, но и о тех, кто родился от Фульвии. Она принимала к себе приятелей Антония, которые приезжали в Рим для искания начальства или по делам своим, и помогала им получить то, чего они просили у Цезаря.

Но этим поведением она без умысла вредила Антонию. Он был ненавидим как за то, что оскорблял столь редкую женщину, так и за сделанный им в Александрии между детьми своими раздел, который обнаруживал не только надменность и гордость, но и ненависть к римлянам. Собрав народ в гимнасии, поставил он на серебряный помост два золотых престола, один себе, другой Клеопатре; детям же другие, пониже. Во-первых, он провозгласил Клеопатру царицей Египта, Кипра, Ливии и Келесирии; соцарствующим же ей Цезариона, который почитался сыном первого Цезаря, оставившего Клеопатру беременной. Во-вторых, рожденных от него и от Клеопатры детей провозгласил царями царей; одному из них, Александру, уделил Армению, Мидию и всю парфянскую землю, которую думал покорить; Птолемею же дал Финикию, Сирию и Киликию. В то же время он представил народу Александра в мидийской одежде, с тиарой и прямою китарой, а Птолемея – в сапогах, македонском плаще и кавсии с диадемой. Последний наряд употребляем был царями после Александра, а первый мидянами и армянами. Дети обняли своих родителей. Антоний к одному приставил телохранителей из армян, к другому из македонян. Клеопатра как тогда, так и после показывалась народу в священном облачении Исиды и была называема новою Исидой*.

Цезарь доносил сенату об этом; часто обвинял Антония перед народом и ожесточал римлян против него. Антоний со своей стороны посылал людей жаловаться на Цезаря. Важнейшие его жалобы были следующие. Во-первых, Цезарь, отняв у Помпея Сицилию, не дал ему части этого острова; во-вторых, заняв у него корабли для продолжения войны, не возвратил их более; в-третьих, отнял власть у Лепида*, их соправителя, лишил его чести и сам пользуется войском, областями и доходами, Лепиду присоединенными; в-четвертых, наконец, он поделил почти всю Италию между своими воинами, не оставя для его воинов ничего. Цезарь в свое

оправдание говорил, что он лишил власти Лепида, который насильственными поступками употреблял ее во зло; что он разделит с Антонием то, что занял вооруженной рукою, когда и Антоний разделит Армению с ним; что воинам его не следует иметь ничего в Италии, имея во власти своей Мидию и Парфию, которые присоединили к Римской державе, сражавшись со славою под предводительством своего императора.

Антоний находился в Армении, когда получил эти известия. Он велел немедленно Канидию с шестнадцатью легионами идти к морю; между тем сопровождаемый Клеопатрой он прибыл в Эфес; сюда собирались со всех сторон морские силы, состоявшие из восьмисот кораблей с перевозными судами. Из них двести доставлены были ему Клеопатрой с двадцатью тысячами талантов, вместе со съестными припасами для всего войска. Антоний, по совету Домиция и некоторых других, велел Клеопатре отплыть в Египет и там дожидаться окончания войны; но она, страшась, чтобы Антоний не примирился опять посредством Октавии, склонила Канидия великим множеством денег говорить Антонию, что было несправедливо удалять женщину, давшую ему столько пособий, и сверх того было бы вредно лишить через то бодрости египтян, которые составляли великую часть морской силы; что Клеопатра не уступала в разуме никому из бывших при войске царей, ибо она долго управляла большим государством и долговременным с ним обхождением привыкла действовать в великих делах. Эти представления одержали верх, ибо судьба определила, чтобы Цезарь получил верховную власть. Морские силы собрались; Антоний и Клеопатра прибыли на Самос, где проводили время в наслаждениях. Как всем царям, владельцам и тетрархам, народам и городам, бывшим между Сирией и Мэотидой, между Арменией и Иллирией, предписано было наперед посылать и возить все военные приготовления, так и всем Дионисовым художникам* надлежало встречать их на Самосе.

Между тем как почти во всех окрестных странах света раздавались плач и стенание, на одном острове в продолжение многих дней слышны были звуки флейт и кифар; театры были наполнены народом; хоры состязались в победе. Каждый город посылал на Самос быка для принесения жертвы; цари соревновались во взаимных угощениях и великолепных дарах. Многие тогда рассуждали: каковы же будут у них победные празднества, если приготовления к войне празднуют с таким великолепием?!

По окончании веселий Антоний дал на поселение Дионисовым художникам Приену*; сам отплыл в Афины и опять занялся забавами и театрами.

Клеопатра, ревнуя почестям, оказанным в Афинах Октавии, которая была весьма любима народом, старалась приобрести благосклонность народа многими подарками. Афиняне со своей стороны, определили ей разные почести с народным постановлением; они послали к ней в дом посланников, в числе которых был и Антоний как афинский гражданин. Он предстал перед ней и говорил речь от имени города. Он послал в Рим своих людей для изгнания из дома его Октавии. Она вышла, как говорят, взяв с собою всех детей Антония, кроме старшего сына Фульвии, который находился при отце. Она оплакивала свою участь, ибо и она казалась одной из причин к сей войне. Римляне, особенно же те, кто видел Клеопатру и знал, что та ни красотою, ни молодостью не превосходила Октавии, жалели не о ней, но об Антонии.

Цезарь, узнав о скорости и великости приготовлений, был приведен в беспокойство; он боялся, чтобы не быть принужденным сразиться в то же лето. Он имел во многом нужду; поборы были тягостны жителям. Они были принуждены приносить четвертую часть своих доходов; вольноотпущенники восьмую часть своего имения; все жаловались громко на Цезаря; во всех частях Италии происходили беспокойства. По этой причине величайшею ошибкою Антония полагают отсрочку войны: он дал Цезарю время приготовиться и успокоить мятежи, ибо жители пока взносили деньги, шумели, а взнеся оные, успокоились.

Между тем Титий и Планк, мужи консульские из числа Антониевых друзей, будучи оскорблены Клеопатрой за то, что они противились ее желанию быть в походе, убежали к Цезарю и донесли ему об Антониевом завещании, которого содержание было им известно. Оно хранилось у весталок. Цезарь просил о присылке оного; но они отказали и объявили ему, что если хочет его получить, то должен сам прийти к ним. Цезарь пришел и получил завещание. Он читал его сперва один и заметил некоторые места, которые могли служить к обвинению Антония. Потом созвал сенат и читал завещание; но большая часть сенаторов слушала его с

неудовольствием: им казалось странным и неприличным заставлять живого давать отчет в том, чего он желал, чтобы было исполнено по смерти его. Более всего Цезарь нападал на статью завещания о погребении Антония, который определил, чтобы его тело, хотя бы он умер в Риме, вынесено было через форум и послано в Александрию к Клеопатре. Кальвизий, друг Цезаря, порицал Антония за следующие поступки: он подарил ей пергамское книгохранилище, в котором было двести тысяч книг; за пиршеством, в присутствии многих, встал и растирал ее ноги, бившись с нею об заклад*; он терпел, чтобы эфесяне в присутствии его приветствовали Клеопатру своею госпожею; часто занимаясь на трибуне решением дел царей и тетрархов, принимал от нее любовные письма – письма, писанные на ониксе и хрустале – и читал их; во время речи Фурния, знаменитейшего и красноречивейшего римлянина, Клеопатру несли через площадь на носилках, а Антоний, увидя ее, вскочил, оставил дела недоконченными и, взявшись за ее носилки, провожал ее. Большая часть обвинений Кальвизия казалась ложной.

Друзья Антония, ходя по Риму, просили за него народ, они отправили к Антонию Геминия, дабы упросить его не допустить себя быть лишенным начальства и объявленным врагом римлян. Геминий приехал в Грецию, но был подозрителен Клеопатре, ибо ей казалось, что он действовал в пользу Октавии. За ужином был осыпаем насмешками и посажен для поругания на последнее место. Он сносил все, выжидая время, чтобы поговорить наедине с Антонием. Когда же ему приказано было объявить за ужином, зачем приехал, то он сказал, что о других делах можно поговорить в трезвом состоянии, но что он и пьяный и трезвый знает то, что все пойдет хорошо, если Клеопатра уберется в Египет. Эти слова возбудили негодование Антония, а Клеопатра сказала ему: «Ты хорошо сделал, Геминий, что признался во всем без пытки». По прошествии немногих дней Геминий убежал и отправился в Рим. Льстецы Клеопатры удалили и других друзей Антония, которые не терпели их наглости и безумия, в числе которых был и Марк Силан и историк Деллий. Последний говорит, что страшился злоумышления Клеопатры на жизнь свою, в чем удостоверил его врач Главк. Он поссорился с Клеопатрой за ужином, сказав, что им подают к столу уксус, между тем как Сармент в Риме пьет фалернское вино*. Этот Сармент был мальчиком, который забавлял Цезаря; римляне называют сих мальчиков «диликиа».

Как скоро Цезарь сделал уже достаточные приготовления, то постановлением народным объявлена была Клеопатре война; Антоний лишен начальства, которое он уступил женщине. Цезарь говорил при том, что Антоний отравлен зельями и не управляет уже собою, и что против римлян ведут войну евнух Мардион, Потин, рабыня Ирада, убирающая волосы Клеопатре, и Хармион, которые управляют важнейшими делами государства.

В начале войны явились следующие знамения. Пизавр*, город, населенный Антонием на берегу Адриатического моря, провалился от землетрясения и был поглощен землею. Из одного мраморного кумира Антония в Альбе несколько дней беспрестанно выступал пот, хотя многие его вытирали. Во время пребывания его в Патрах храм Геракла был сожжен молнией. Из Гигантомахии в Афинах борей вырвал изображение Диониса и забросил в театр. Известно, что Антоний относил к Гераклу свой род, но подражал образу жизни Диониса и назывался «новым Дионисом». Та же буря, свирепствовавшая в Афинах, из числа многих кумиров повалила лишь Эвменовы и Атталовы колоссы, на которых было имя Антония. Главный корабль Клеопатры назывался «Антониада». На нем случилось следующее неблагоприятное знамение. Ласточки высидели птенцов на передней части оного; но другие ласточки прилетели и выгнали первых и истребили птенцов.

Наконец собрались все силы Антония; у него оказалось не менее пятисот военных кораблей, в числе которых много было о восьми и десяти рядах весел, украшенных с великой пышностью. Войска было сто тысяч; двенадцать тысяч конницы. Ему помогали подвластные цари Бокх Ливийский, Тархондем, царь Верхней Киликии, Архелай Каппадокийский, Филадельф Пафлагонский, Митридат Коммагенский и Садал, царь Фракии. Все они находились при нем. Полемон послал войско из Понта, Малх из Аравии и Ирод из Иудеи; то же сделал и Аминт, царь Ликаонии и Галатии. На помощь Антонию была послана сила и от мидийского царя. У Цезаря военных судов было двести пятьдесят; пехоты восемьдесят тысяч; конницы столько же, сколько у противников. Что касается до пространства их владений, то Антоний имел в своей власти все земли, от Евфрата и Армении до Ионийского моря и Иллирии; Цезарь

от Иллирии до Западного океана и от Океана до Этрурского и Сицилийского морей. Области Ливии, противоположные Италии, Галлии и Иберии до Геракловых столпов были во владении Цезаря; от Кирены до Эфиопии – в области Антония.

Этот полководец был в такой зависимости от Клеопатры, что несмотря на превосходство своих сухопутных сил над неприятелями, он хотел в угодность ей решить войну морскими силами, хотя видел он, что по недостатку в мореходах его корабленачальники ловили путников на дорогах, погонщиков, жнецов, молодых людей из Греции, без того уже много претерпевающей. Несмотря на то, и этих людей мало было к дополнению всех судов, большая часть которых имела нужду в людях и плавала с великим трудом. Цезарь, полагая всю надежду свою на суда, невысокие и огромные, построенные для пышности, но неповоротливые, быстрые и снабженные достаточным числом людей, держал морские силы в Брундизии и Таренте. Он послал сказать Антонию, чтобы не медлил, но шел бы вперед со своими силами; что он уступает для его кораблей берега и пристани, не препятствуя ему пристать к оным, а сам отступит с сухопутными войсками на один день езды от моря, пока Антоний не высадит войско и не поставит стан. Антоний отвечал Цезарю такою же хвастливостью, предлагал ему решить дело единоборством несмотря на то, что он был старше, а если ему не нравится, то сразиться войсками на Фарсальском поле, как некогда Цезарь и Помпей. Между тем как Антоний приставал к Акцию, к месту, где ныне Никополий*, Цезарь, предупредив его, переправился через Ионийское море и занял в Эпире место, называемое Торина. Антоний был в большом беспокойстве, ибо сухопутная сила его была еще позади. Но Клеопатра шутя говорила, что нет никакой беды, что Цезарь сидит у Торины, как у ложки*.

На рассвете дня, когда неприятели наступали на флот Антония, то сей полководец, боясь, чтобы они не захватили кораблей его без ратников, вооружил гребцов, поставил их на палубе для виду, велел поднять вверх с обеих сторон весла в готовности грести и обороняться и расположил корабли при устье залива близ Акция. Цезарь, обманутый сею хитростью, отступил. Антоний весьма искусно отрезал у неприятелей воду, окружив ее укреплениями; в окрестных местах вода была дурна и в малом количестве. Он поступил великодушно с Домицием* против желания Клеопатры. Домиций, уже больной горячкою, сел на маленькое судно и перешел к Цезарю. Хотя Антонию было это весьма неприятно, однако он отослал к нему его вещи, друзей и служителей. Но Домиций, перейдя к Цезарю, в скором времени умер, как бы от того, что неверность и измена его не осталась сокрытой. От Антония к Цезарю перешли цари Аминт и Дейотар.

Морская сила не имела ни в чем успеха, она была медленна при оказании какого-либо подкрепления. Это заставило Антония опять обратиться к пехоте. Сам Канидий, начальник сухопутного войска, при такой опасности переменил мнение. Он советовал отослать Клеопатру, отступить во Фракию или Македонию и решить дело сухопутным сражением, тем более, что Диком, царь гетов*, обещал подкрепить его многочисленным войском. Он представил, что нет в том стыда, если уступят море Цезарю, который в сицилийской брани приучил свое войско в морском деле, но то было бы странно, когда бы Антоний, полководец, искуснейший в военных сухопутных движениях, не употребил многочисленной пехоты и таких приготовлений, но ослабил бы их, разделив по кораблям. Несмотря на это, мнение Клеопатры, чтобы решить дело кораблями, превозмогло, между тем как сама она помышляла, как бы предаться бегству и становиться не там, где бы присутствие ее было нужно к одержанию победы, но там, откуда легче было ей ускользнуть, как скоро сражение было бы проиграно.

От стана до места, где стоял флот, простиралась укрепленная дорога, по которой Антоний обыкновенно ходил, ничего не подозревая. Один служитель уведомил Цезаря, сколь было бы легко поймать Антония, когда он шел по той дороге. Цезарь велел поставить засаду; но воины, выскочив прежде времени, успели поймать только проводника Антония, шедшего впереди; Антоний с трудом спасся бегством.

Когда решено было дать морское сражение, то он сжег все корабли египетские, кроме шестидесяти. На другие большие и лучшие корабли, от триер до декер, посадил двадцать тысяч тяжеловооруженных воинов и две тысячи стрельцов. Тогда кто-то из пехотных начальников, который сразился в бесчисленных сражениях за Антония и имел тело, покрытое рубцами ран, увидя Антония, шедшего мимо его, сказал ему со слезами: «О, император! Почто ты, забыв эти

раны и этот меч, полагаешь надежду на сие дурное и слабое дерево? Пусть на море сражаются финикийцы и египтяне; ты нам дай землю, на которой привыкли стоять твердо и либо умирать, либо побеждать неприятелей». Антоний ничего на это не ответил; но только видом лица и рукою дал ему знак, чтобы он был покоен – и пошел далее. Он не был сам уверен в успехе. Когда кормчие хотели оставить на земле паруса, то Антоний велел их брать с собою – под тем предлогом, что никто из неприятелей, которые предадутся бегству, не вырвались из рук их.

В первые четыре дня море волновалось от сильного ветра и удерживало обе стороны от сражения. В пятый день оно успокоилось; сделалась тишина, и обе стороны сошлись. Антоний и Попликола предводительствовали правым крылом; Целий – левым; в середине были Марк Октавий и Марк Инстей. Цезарь поставил на левом крыле Агриппу, а сам стал на правом. Сухопутным войском Антония предводительствовал Канидий, Цезаря – Тавр. Оба войска поставлены были в боевом порядке и стояли спокойно на берегу моря. Между тем Антоний, объезжая свои корабли на гребном судне, ободрял воинов и увещевал их сражаться, как на твердой земле, полагаясь на тяжесть кораблей. Кормчим велел он принимать спокойно нападения неприятелей, как бы стояли на якорях, и стеречь всегда узкое устье залива. Говорят, что Цезарь, ночью встретив человека, который гнал осла, спросил его, кто он таков, и получил такой ответ: «Меня зовут Эвтих, а осла – Никон»*. По этой причине впоследствии Цезарь, украшая то место носами вражеских кораблей, поставил тут же осла и погонщика из бронзы*.

Обозрев все устройство сил, он поехал на судне к правому крылу и был приведен в удивление, видя неприятелей, стоящих спокойно в узком проливе. Казалось точно, что корабли стояли на якорях. Он долго так и думал и потому удерживал свои корабли, которые отстояли от неприятельских несколько стадиев. В шесть часов поднялся с моря ветер; Антониевы воины, не терпя долее медленности и полагая, что высокие и огромные корабли их непреодолимы, двинули свое крыло. Цезарь обрадовался, видя это движение; он велел правому крылу грести назад, дабы еще более отвлечь неприятеля от залива и узкого устья; и обходя его легкими гребными судами своими, вступать в бой с кораблями, которые по причине огромности своей и малого числа людей были медлительны и неповоротливы.

Сражение уже началось; но корабли друг на друга не нападали и не сталкивались. Корабли Антония по причине тяжести своей не имели быстроты, которая придаст ударам таранов силу и действия. Корабли Цезаря, напротив того, не только предостерегались от лобовых столкновений, страшась острых медных бодил, они не смели ударять на них и с боков, ибо носы их судов легко сокрушались, ударив на какую бы ни было сторону кораблей, сплоченных из больших четвероугольных бревен, связанных между собою железом. Итак, дело походило на сухопутное сражение или, лучше сказать, на приступ к стенам, ибо три или четыре корабля Цезаря, обступив один из Антониевых кораблей, действовали щитами, копьями, дротиками и огнеметами; между тем как Антониевы воины с деревянных башен ударяли вниз из катапульт. Когда Агриппа вытянул одно крыло для обхода неприятеля, то Попликола, будучи принужден выступить к нему навстречу, оторвался от центра, который был от того в тревоге, и вступил в бой с Аррунтием. Дело еще не было решено, и сражение было всеобщее, как вдруг увидели шестьдесят кораблей Клеопатры, которые поднимали паруса и сквозь сражавшихся предавались бегству. Оные стояли позади больших и, пробиваясь сквозь них, произвели великое смятение. Неприятели смотрели с удивлением на эти корабли, которые, пользуясь ветром, держались Пелопоннеса.

Здесь Антоний явно доказал, что не был водим ни разумом полководца, ни разумом храброго мужа и что не был управляем своим рассудком. Некто сказал шутя, что душа влюбленного живет в чужом теле; и Антоний был влеком женщиной, как бы он составлял одно с нею существо и двигался ее движением. Едва увидел он отплывающим ее корабль, то, забыв все, изменив тем, кто за него сражался и умирал, убежал от них, перешел в пентеру, в которую вошли с ним только сириец Алекс и Сцеллий, погнался за тою, которая ввергла его в напасть и которой надлежало совершить его погибель*.

Клеопатра, узнав его корабль, подняла знак и велела остановиться. Антоний приблизился и был взят на ее корабль. Он не видал Клеопатры, и она его не видала. Он пошел один на нос корабля и сидел в молчании, охватив голову руками. Между тем показались либурны*, которые пустились за ним в погоню по приказанию Цезаря. Антоний велел поворотиться против них и

отразил их; но лаконец Эврикл нападал на него с неукротимостью, потрясая на палубе копьем, как бы хотел пустить в него. Антоний показался ему на передней части корабля и спросил: «Кто ты, преследующий Антония?» – «Я Эврикл, сын Лахара, – отвечал он, – пользуясь счастьем Цезаря, мщу за смерть отца своего!» Этому Лахару, по доносу на него в разбое, отрублена была голова по приказанию Антония. Впрочем, Эврикл не напал на корабль Антония, но, ударив медным бодилом на один из главных кораблей (их было два), поворотил кругом, и когда оный стал к нему боком, то Эврикл завладел им, да еще одним судном, на котором были великолепные уборы столовые.

Освободившись от Эврикла, Антоний принял прежнее положение и сидел в покое. Он три дня провел один на носу корабля, то ли гневаясь на Клеопатру, то ли стыдясь ее. Он пристал к Тенару. Здесь женщины Клеопатры сперва заставили их друг с другом говорить, потом убедили разделить стол и постель.

Уже немалое число грузовых судов и некоторые из друзей собирались к нему после поражения с известием, что морская сила погибла, но сухопутная сила, по их мнению, еще держится. Антоний послал к Канидию гонца с приказанием как можно поспешнее отступать с войском в Азию через Македонию. Намереваясь переправиться из Тенара в Ливию, он взял один корабль, нагруженный деньгами и дорогими царскими вещами, серебряными и золотыми, и отдал его своим приятелям с приказанием разделить все между собою и искать себе спасения. Они плакали и отказывались от принятия их; но Антоний благосклонно и дружески утешал их, упросил взять вещи и отпустил их. К Феофилу, управлявшему Коринфом, он писал, чтобы он заботился об их безопасности и скрыл их, пока они найдут случай умилостивить Цезаря. Этот Феофил был отец Гиппарха, который был в великой силе при Антонии и который прежде всех вольноотпущенников перешел к Цезарю и потом поселился в Коринфе.

В таком положении находился Антоний. Его флот в Акции держался долго против Цезаря, претерпел великий вред от бури, которая ударяла прямо по кораблям, и только в десятом часу прекратил сражение. Убито было не более пяти тысяч человек; в плен взято триста кораблей, как сам Цезарь пишет в своих записках. Немногие воины знали о бегстве Антония; те, кто о том слышал, сперва не верили, чтобы Антоний, оставя девятнадцать легионов непобежденной еще пехоты и двенадцать тысяч конницы, убежал, как будто бы много раз не испытал превратностей судьбы и не был искушен во многих переворотах сражений и битв. Воины желали его видеть, ожидали его, думали, что он откуда-либо явится к ним; они показали такую верность к нему и такую твердость, что и уверившись уже в бегстве его, оставались еще семь дней вместе, пренебрегая всеми предложениями, которые делал им Цезарь. Наконец войско оставлено было и полководцем Канидием, который ночью убежал. Будучи всеми покинуты и преданы своими начальниками, они перешли к победителю.

Цезарь после того отправился в Афины, помирился с греками и остающееся после войны количество пшена роздал городам, которые были в жалостнейшем положении*, ибо у них отняты были деньги, невольники и домашний скот. Прадед мой Никарх рассказывал, что все его сограждане были принуждены носить на плечах определенную меру пшена до моря близ Антикиры*, что их погоняли бичами; что они один раз снесли сию ношу, а в другой раз, когда уже пшено было измерено и люди хотели его поднять, получено было известие, что Антоний побежден – и это послужило к спасению города; воины и чиновники Антония разбежались тотчас, а жители разделили пшено между собою.

Антоний, достигнув Ливии, послал наперед Клеопатру из Паретония* в Египет, а сам пребывал в обширной пустыне, скитаясь по ней с двумя друзьями, из которых один был грек по имени Аристократ, ритор, другой римлянин по имени Луцилий. Я писал в другом месте, что Луцилий, дабы дать время Бруту убежать при Филиппах, предал сам себя преследовавшим его воинам, которые приняли его за Брута. Антоний поймал его, сохранил ему жизнь и потому он остался до конца верным и твердым в дружбе. Наконец и тот, кому вверены были ливийские силы, отстал от него. Антоний хотел себя умертвить; но приятели его удержали. Он прибыл в Александрию и нашел, что Клеопатра решилась на великое и смелое предприятие. Перешеек, отделяющий Красное море от Египетского и некоторым образом служащий границей Азии и Ливии, на том месте, где оно суживается, и ширина его от моря до моря самая малая, имеет триста стадиев, Клеопатра предприняла перевести суда из одного моря в другое, пустить их в

Аравийский залив с великим множеством денег и силою и поселиться за твердой землею, избегая рабства и войны. Но как первые корабли, перевозимые по ее приказанию, были сожжены петрейскими арабами, а Антоний надеялся, что войско при Акции держалось его стороны, то эти обстоятельства побудили Клеопатру оставить это предначертание и занять проходы.

Антоний покинул город, расстался с друзьями и, сделав на море насыпь у Фароса, устроил себе жилище. Он проводил здесь дни, избегая общества людей, говорил, что ему нравится образ жизни Тимона и хочет ему подражать, претерпев от людей то же, что и он; что друзья его оказали себя против него неблагодарными и неверными, и потому уже не верил человеческому роду и не любит его.

Что касается до Тимона, известно, что он был афинянин и жил примерно в годы Пелопоннесской войны, как видно из театральных сочинений Аристофана и Платона, которые показывали его на сцене как человеконенавистника и злого человека. Он избегал всякого общества с людьми. Одного Алкивиада, который был еще молод и дерзок, любил он и оказывал ему ласки. Когда Апемант изъявил удивление и спрашивал тому причину, то Тимон отвечал: «Я люблю этого молодого человека, ибо предвижу, что он будет виновником великих бедствий для афинян». Иногда он допускал к себе Апеманта одного по причине сходства их свойств и потому, что тот подражал образу его жизни. Некогда в праздник возлияний* они пиршествовали одни. «Какой у нас прекрасный пир, Тимон!» – сказал Апемант. «Да, – отвечал Тимон, – когда бы еще тебя тут не было…» Говорят, что некогда во время Народного собрания Тимон взошел на трибуну, заставив всех молчать и ожидать чего-то великого по причине странности этого явления. Он сказал: «Афиняне! У меня есть небольшое место в городе, где растет смоковница; на нем уже многие из сограждан удавились. Я намерен построить тут дом и потому решился объявить наперед всенародно, что если будет угодно кому-нибудь из вас, то пусть удавится теперь, пока я не срубил дерево». По смерти его он погребен в Галах близ моря; но возвышенные части берега развалились, волна выступила на берег и сделала его гробницу неприкосновенной. На ней была следующая надпись:

Окончив дни, на сей я погребен земле.
Не спрашивайте кто. Да пропадите все!

Эта надпись сочинена, говорят, самим Тимоном; следующая известная надпись есть сочинение Каллимаха:

Я – Тимон Мизантроп; но ты вперед своею скорей дорогой иди!
Кляни меня ты всей душою, да только мимо проходи!

Впрочем, это малейшая часть того, что рассказывают о Тимоне.

Канидий сам привез к Антонию известие, что сухопутные силы, бывшие при Акции, для них потеряны. Антоний узнал также, что Ирод, царь иудейский, с некоторыми легионами и когортами перешел к Цезарю, что равным образом и другие властители отстают от него и что более ничего не остается, кроме Египта. Эти известия не смутили его; но как будто бы он отказался с удовольствием от всякой надежды, дабы в то же время избавиться от заботы, он оставил свою приморскую жизнь, которую называл тимонийской. Клеопатра приняла его во дворце; он обратился к пирам, питью и раздаче денег. Он записал в эфебы сына Клеопатры, рожденного от Цезаря, а Антуллу, сыну своему, рожденному от Фульвии, надел тогу совершеннолетнего юноши без пурпура*. По этому поводу Александрия несколько дней была наполнена пиршествами, веселиями и ликованиями. Прежний «Союз неподражаемых» был распущен, а вместо него составлен другой, нимало не уступающий первому в неге, роскоши и пышности; они назвали его «Союзом смертников». В этот союз записывались друзья их, которые хотели умереть вместе с ними; они проводили время в наслаждениях, угощая друг друга по очереди. Между тем Клеопатра собирала всевозможные и самые сильные смертоносные зелья, испытывала, которые из них легче прекращают жизнь, и заставляла принимать оные тем, кто был приговорен к смерти. Она узнала, что яды скороубивающие

причиняют смерть мучительную; но что действующие слабо не имели скорости. Она начала испытывать силу ядовитых животных и сама смотрела, как одно животное пускаемо было на другое. Она занималась этим ежедневно и открыла, что лишь укус аспида наводил усыпление и дремоту, без судорог и стонов; из тела укушенного выступал легкий пот; чувства притуплялись так, что человек не желал вставать или сидеть, но уподоблялся спящему глубоким сном человеку.

В то же время отправлены были ими посланники к Цезарю в Азию*; Клеопатра просила, чтобы Египет был предоставлен ее детям, а Антоний желал жить в Афинах как частное лицо, если Цезарю не угодно было, чтобы он имел пребывание в Египте. Не имея друзей или не доверяя им потому, что они переходили к Цезарю, они отправили к нему посланником учителя детей своих Эвфрония, ибо Алекс из Лаодикии, которого познакомил в Риме с Антонием Тимаген и более всех греков был при нем в силе, который служил Клеопатре сильнейшим орудием к пагубе Антония и более всех отвращал мысли его от Октавии, был послан к Ироду, дабы удержать его от перемены, остался у него, изменил Антонию и, полагаясь на Ирода, осмелился явиться к Цезарю; но Ирод ни мало не помог ему – он был немедленно задержан, приведен в свое отечество в оковах и там по приказанию Цезаря предан смерти. Так-то Алекс еще при жизни Антония получил наказание за свое вероломство.

Цезарь отверг предложения Антония, но Клеопатре отвечал, что не откажет ей в умеренных ее требованиях, если она умертвит либо удалит от себя Антония. Он послал вместе с Эвфронием и своего вольноотпущенника Фирса*, человека не глупого, который был весьма способен вести переговоры между молодым полководцем и надменной женщиной, чрезвычайно гордящеюся своими прелестями. Этот Фирс, имея случай разговаривать с нею дольше других, был отлично ею уважаем и тем внушил подозрение Антонию, который велел высечь его бичами и потом отпустил к Цезарю. Он писал ему, что Фирс, не воздавая ему уважения и оказывая презрение, разгневал его в такое время, когда бедствия соделали его вспыльчивым и раздражительным. «Если же тебе это неприятно, – продолжал он, – то высеки и повесь находящегося у тебя вольноотпущенника* моего Гиппарха; тогда мы не будем друг друга ничем попрекать». Дабы уничтожить его подозрение и жалобы, Клеопатра оказывала ему чрезвычайное внимание. День рождения свой она праздновала с умеренностью, приличною своему положению; день рождения его праздновала с таким чрезвычайным блеском и великолепием, что многие из приглашенных к ужину гостей пришли бедными и возвратились домой богатыми. Между тем Агриппа часто призывал Цезаря в Рим и писал ему, что тамошние обстоятельства требуют его присутствия*.

Итак, война тогда была отложена. Но по прошествии зимы Цезарь вступил в Египет через Сирию, а полководцы его через Ливию. По взятии Пелусия распространился слух, что Селевк сдался не против воли Клеопатры. Дабы отвергнуть сей слух, Клеопатра предала Антонию детей и жену Селевка, чтобы их умертвили. В то же время она переносила в хранилище и в гробницу, здание великолепное, отличное изяществом и высотою своею, пристроенное к храму Исиды, самые дорогие царские вещи, золото, серебро, смарагд, жемчуг, эбен, слоновую кость, корицу; да сверх того много факелов и пеньки. Цезарь, заботясь о богатстве, боялся, чтобы Клеопатра в отчаянии не умертвила себя и не сожгла всего богатства; по этой причине время от времени посылал к ней людей, которые подавали ей хорошие надежды, между тем как он с войском продолжал свой путь к городу.

Он остановился подле Конского ристалища; Антоний выступил против него, сражался с отличной храбростью, разбил конницу Цезаря и преследовал ее до стана. Гордясь победой, он возвратился во дворец и поцеловал Клеопатру, будучи еще в доспехах; он представил ей воина, который отличился в сражении более всех. Клеопатра подарила ему в знак отличия золотой шлем и золотую броню. Воин взял дары и ночью перебежал к Цезарю.

Антоний опять послал к Цезарю, вызывая его к единоборству. Цезарь отвечал, что Антонию открыты многие пути к смерти. Антоний, рассудив, что не было смерти лучше той, которую мог найти в сражении, решился сделать нападение в одно время с моря и с твердой земли. За ужином, говорят, он приказывал служителям наливать ему больше вина и прислуживать с большим усердием, ибо неизвестно, будут ли то же делать завтра, не будут ли они служить другим господам, между тем как он будет лежать мертвым и обратится в ничто.

Видя, что приятели его при этих словах плакали, он сказал им, что не выведет их на сражение, в котором он более ищет славной смерти, нежели победы и спасения.

Говорят, что около полуночи, когда город был погружен в покой и уныние, ожидая в страхе будущей участи своей, вдруг раздались согласные тоны разных орудий и шум множества людей, которые шли с восклицаниями и прыганиями сатирическими, подобными лику Диониса. Толпа, казалось, направилась через середину города к воротам, обращенным к неприятелю, и здесь усилившийся шум наконец смолк. По мнению тех, кто рассуждал об этом происшествии, сие знаменовало, что Антоний был оставлен тем богом, которому подражал и уподобить себя старался.

На рассвете дня Антоний, поставив пехоту на холмах, лежащих перед городом, смотрел на корабли, которые выступали для нападения на неприятелей. Он стоял спокойно в ожидании того, что оные произведут. Едва корабли приблизились к Цезаревым, как мореходы приветствовали их веслами, и когда корабли Цезаря отвечали им тем же приветствием, то они перешли к нему, и таким образом флот, составленный из всех соединенных кораблей, обратился к нападению на город. В то же самое время как Антоний это увидел, был он оставлен немедленно конницей, которая также перешла к Цезарю; пехота его была разбита; он возвратился в город и кричал, что предан Клеопатрой тем, с которыми он за нее сражался.

Клеопатра, страшась его гнева и отчаяния, убежала в гробницу, опустила западную дверь, которая была крепка замками и затворами, и к Антонию послала сказать, что она умерла. Антоний поверил этому известию, и сказал сам себе: «Что ж ты медлишь, Антоний! Судьба отняла у тебя единственный повод любить жизнь!» Он вошел в покой и, развязывая броню, сказал: «О, Клеопатра! Я не жалею, что лишился тебя, ибо вскоре буду там, где ты; жалею только, что я, великий полководец, позволил женщине превзойти меня твердостью!» У Антония был верный служитель по имени Эрот. Еще прежде он заставил его обещать, что тот убьет его, когда нужда потребует. Теперь он требовал у него исполнения данного слова. Эрот извлек меч, поднял его, как бы хотел ударить Антония, но, отворотив лицо, умертвил сам себя и упал к ногам его. «Славно, Эрот, – сказал ему Антоний, – не смогши сам сделать то, что должно, ты меня тому учишь». Потом он ударил себя ножом в живот и опустился на ложе. Удар был не смертельный; как скоро он лег, то кровь перестал течь; он пришел в себя и просил присутствующих, чтобы они его умертвили. Все бегали от него, между тем как он кричал и мучился; наконец прибыл от Клеопатры писец Диомед, который имел повеление привести его к ней в гробницу.

Узнав, что она была жива, Антоний с удовольствием велел служителям поднять себя и понести на руках к дверям этого обиталища. Клеопатра не отворила их; но, показавшись на окне, спустила к нему веревки и цепи. Антоний был к ним привязан; Клеопатра и две женщины, которых одних приняла с собою в гробницу, тянули его вверх. Те, кто тут находился, уверяли, что не видали жалостнее этого зрелища. Антоний, обрызганный кровью и чувствующий мучения смерти, был поднимаем Клеопатрой и, вися в воздухе, простирал к ней руки. Поднять его нелегко было для женщин; Клеопатра, напрягая свои силы и вытягиваясь, с трудом держала веревку, между тем как стоявшие внизу люди ободряли ее и помогали ей. Она приняла его таким образом, положила на ложе, рвала над ним свою одежду, ударяла себя в грудь, стирала лицом своим с него кровь, называла его своим государем, мужем, императором. Едва она не забыла собственных зол своих из жалости к нему.

Антоний успокоил ее рыдания, просил себе вина, или потому что действительно хотел пить, или потому что надеялся этим способом скорее прекратить свою жизнь. Выпив вина, он советовал ей, если есть еще надежда, спасти себя без посрамления; более всех друзей Цезаря доверять Прокулею; просил не оплакивать его за последние превратности, но почитать блаженным за прежнее его благополучие, ибо он был знаменитейшим человеком, имел великую силу и, будучи римлянином, побежден ныне не постыдным образом.

Уже он находился при последнем издыхании, как Прокулей прибыл со стороны Цезаря. Когда Антоний ударил себя ножом и был перенесен к Клеопатре, то один из телохранителей по имени Деркетей подобрал нож, спрятал его, вышел из города тайно и убежал к Цезарю, которому первый возвестил о смерти Антония. Он показал ему и окровавленное оружие. Цезарь, услышав это, вошел во внутренность своего шатра и оплакал человека, бывшего ему

родственником, соправителем и сотрудником во многих делах и сражениях. Потом собрал друзей своих и читал им писанные к Антонию со справедливыми и снисходительными предложениями письма, на которые Антоний давал всегда ответы гордые и надменные. Он послал Прокулея, дабы, если будет можно, взять Клеопатру живой: он боялся за ее богатство, притом почитал славнейшим украшением своего триумфа привезти ее в Рим с собою. Хотя Клеопатра не захотела иметь свидание с Прокулеем, однако между ними начались переговоры в гробнице: он стоял извне близ дверей, которые были крепко заперты и только имели отверстие для прохода голоса. Клеопатра просила оставить ее царство своим детям; Прокулей советовал ей надеяться и во всем верить Цезарю.

Осмотревши это место, Прокулей известил обо всем Цезаря, который послал Галла* для вступления с нею в переговоры. Он пришел к дверям и нарочно длил речь; между тем Прокулей приставил лестницу и вошел в то окошко, в которое женщины приняли Антония. Он спустился немедленно с двумя служителями к дверям, у которых стояла Клеопатра, слушая Галла. Одна из женщин, запершихся с Клеопатрой, вскричала: «Несчастная Клеопатра! Ты поймана!» Клеопатра оглянулась, увидела Прокулея и хотела себя умертвить – она была препоясана разбойничьим мечом; но Прокулей, прибежавши поспешно и схватив ее обеими руками, сказал ей: «Ты обижаешь, Клеопатра, и себя, и Цезаря; отнимая у него случай показать свое милосердие, ты заставляешь клеветать кротчайшего из полководцев, как человека неверного и жестокого». Он отнял у нее меч и тряхнул ее платье, дабы видеть, не скрывает ли она у себя яд. Цезарь послал к ней вольноотпущенника своего Эпафродита с приказанием стеречь ее живую и иметь о ней величайшее попечение; впрочем доставлять ей всевозможные удовольствия и отраду.

Цезарь вступил в город, разговаривая с философом Арием* и держа его за руку, дабы этим оказываемым ему отличным уважением сделать его славным и почтенным среди сограждан. Вступив в гимнасий, он взошел на некоторый помост. Народ в изумлении и страхе пал пред ним. Цезарь велел всем встать и сказал, что освобождает народ от всякой вины – во-первых, ради основателя города Александра; во-вторых, из уважения к красоте и великости города; в-третьих, из угождения к приятелю своему Арию. Этот философ, пользуясь уважением к себе Цезаря, многих у него выпросил. В числе их был и Филострат, человек, который в способности говорить без подготовки был искуснейший из тогдашних софистов; он выдавал себя за академического философа, хотя это нимало ему не приличествовало. У Цезаря его свойства вызывали отвращение, и он не принимал просьбы. Тогда Филострат, отрастив седую свою бороду и надев темное платье, ходил следом за Арием и всегда произносил следующий стих:

Спасают мудрые, коль они мудры, мудрых.

Цезарь, узнавши о том и желая более освободить Ария от зависти, нежели Филострата от страха, простил его.

Что касается до Антониевых детей, то Антулл, рожденный от Фульвии, был выдан Феодором, его дядькой, и предан смерти. Когда воины отрубили ему голову, то Феодор, сняв с шеи драгоценнейший камень, который носил Антулл, зашил его в своем поясе. Он был допрашиваем и не признавался в краже. Наконец она обнаружилась, и он был распят. Дети Клеопатры содержались под стражей с воспитателями своими благородным образом. Цезарион, сын Цезаря, выслан был матерью с большим богатством в Индию через Эфиопию. Но Родон, другой педагог, подобный Феодору, побуждал его возвратиться назад под тем предлогом, что Цезарь зовет его на царство. Говорят, что когда Цезарь посоветовался, как решить его участь, Арий сказал ему:

Многоцезарство не благо есть…*

Впоследствии, по смерти Клеопатры, Цезарь умертвил его.

Многие цари и полководцы просили позволения похоронить Антония. Цезарь не лишил этого удовольствия Клеопатру. Она погребла его сама с царским великолепием, получив

позволение употребить все, что она хотела. От такой горести и боли сделалась с нею горячка; грудь ее воспалилась от частых ударов, и на ней открылись раны. Клеопатра была тем довольна, ибо этим предлогом можно ей было воздержаться от пищи и прекратить беспрепятственно жизнь свою. При ней был врач Олимп, ее знакомый, которому открыла свое намерение и которого употребляла как советника и помощника к умерщвлению себя, по уверению самого Олимпа, издавшего описание этих событий. Но Цезарь, поняв ее намерение, угрозами расправиться с ее детьми привел ее в такой страх, что она, побежденная, позволила себя лечить и кормить, как Цезарь хотел.

Цезарь сам, по прошествии нескольких дней, пришел ее видеть и утешить. Она лежала на постели в дурном настроении. Когда Цезарь вошел к ней, то она, вскочив в одном хитоне, пала пред ним; голова и лицо ее представляли нечто дикое, голос дрожал, глаза померкли от слез; на груди ее видны были многие кровоподтеки*. Тело ее не было в лучшем состоянии, как и душа ее. Однако ее приятности и наглая уверенность в своей красоте не совсем еще погасли и, несмотря на печальное ее состояние, блистали и выказывались сквозь движения ее лица. Цезарь просил ее прилечь и сам сел подле нее. Она стала оправдываться, приписывала свои поступки необходимости и страхом перед Антонием. Но Цезарь опровергал всякое ее оправдание, изобличал ее, и она обратилась к прошениям и к возбуждению жалости, как женщина, весьма желающая жить. Наконец она вручила ему опись своего богатства. Когда ж Селевк, один из попечителей ее дома, обличал ее в том, что она не все объявила, но иное скрыла, то она вспрыгнула, взяла его за волосы и била в лицо. Цезарь улыбался и старался ее успокоить. «Не ужасно ли это, Цезарь, – сказала она ему, – ты удостоил меня своего посещения и говоришь со мною в несчастном моем положении, а мои рабы доносят на меня, что я отложила кое-что из женских вещей, не для своего украшения, но для принесения Октавии и Ливии твоей, дабы через них сделать тебя милостивее и сострадательнее». Цезарю было приятно это слышать; он думал, что она желает жить, и потому сказал, что оставляет все то, что она скрыла, и что он поступит с нею с великодушием, превышающим ее ожидания. С этими словами удалился. Он думал, что обманул ее, но был сам ею обманут.

Корнелий Долабелла, молодой человек знаменитого рода, был из числа друзей Цезаря; он чувствовал склонность к Клеопатре и, угождая ее просьбе, послал сказать ей тайно, что Цезарь едет сухим путем в Сирию, а ее вместе с детьми намерен был отправить через три дня. Услышав это, Клеопатра сперва просила у Цезаря позволения принести возлияния над гробом Антония. Он позволил; Клеопатра была принесена к гробнице Антония, пала на его гробе со своими женщинами и говорила следующее: «Любезный Антоний! Я прежде погребла тебя свободными руками, ныне приношу тебе возлияния как пленница, которую стерегут и которой запрещают мучить ударами и плачем сие тело, сберегаемое единственно для украшения триумфа над тобою! Не ожидай от меня более других почестей и возлияний – это последние, тебе приносимые: Клеопатру от тебя удаляют. При жизни ничто нас не разлучило; но ныне, может быть, смертью своею мы поменяемся местами: ты римлянин и лежишь здесь; я, несчастная, буду лежать в Италии и тем только буду участницей твоего отечества. Но если боги тамошнего края имеют какую-либо силу и власть – ибо здешние изменили нам, – то не предай живую твою жену, не презри себя во мне поругаемого триумфом, сокрой, похорони меня здесь с собою. Из несчетных моих горестей самая тяжкая и жестокая есть кратковременная жизнь, которую я провела без тебя».

Так она говорила, рыдая, украсила гроб Антония, поцеловала его и потом велела приготовить себе баню. Умывшись, она легла и обедала великолепнейшим образом. Между тем некоторый поселянин, шедший с поля, нес с собою корзинку. Стражи спрашивали, что он несет; он открыл корзинку, снял листья и показал, что она наполнена смоквами. Все удивлялись красоте и величине их. Неизвестный улыбнулся и просил их отведать. Стража, не подозревая ничего, велела ему войти. После обеда Клеопатра послала к Цезарю запечатанное письмо, удалила от себя всех бывших при ней, кроме двух верных ей женщин, и заперла двери. Цезарь, распечатав письма, читает просьбы ее и заклинания, чтобы она была похоронена вместе с Антонием. Он тотчас понял, что это значило, и хотел спешить сам к ней на помощь; однако послал людей с величайшей поспешностью узнать о Клеопатре. Но дело кончилось скоро. Они пришли бегом и застали стражей, ничего не знающих о происходящем – открывают двери и

находят Клеопатру мертвой, лежащей на золотом ложе, украшенном с царским великолепием. Ирада, одна из ее женщин, умирала у ног ее, а Хармион, уже слабая и колеблющаяся, поправляла на голове ее диадему. «Вот что прекрасно, Хармион!» – сказал с гневом один из посланных. «Да, – отвечала она, – это прекрасно и прилично преемнице стольких царей!» Она ничего более не сказала и мертвая упала у ложа.

Говорят, что вместе со смоквою принесен был к ней аспид, покрытый сверху листьями: так велела Клеопатра, дабы змея ужалила ее без ее ведома. Когда же она, снимая смокву, увидела ее, то сказала: «Так она здесь!» – обнажила свою руку и подставила аспиду. Другие говорят, что Клеопатра держала аспида в сосуде с водой, что она долго дразнила его золотым веретеном, пока аспид не бросился и не вцепился в ее руку. Впрочем, истины никто не знает, ибо между прочим говорили, что она имела яд в полой булавке, которую скрывала в своих волосах; однако на ее теле не показались ни пятна, ни другие знаки яда. В горнице также не было найдено змеи; однако говорили, что увидели следы ее ползания у моря, к которому обращена была горница окошками. Другие уверяли, что на руке Клеопатры видели две легкие, едва приметные царапины; Цезарь, кажется, поверил сему свидетельству, ибо во время триумфа везено было изображение Клеопатры, на коем представлен был аспид, впившийся в ее тело. Таким-то образом об этом повествуется!

Цезарю было неприятно, что она прекратила жизнь свою; однако он удивился ее благородству. Он велел похоронить великолепно и с царскими почестями тело ее вместе с Антонием. По приказанию его погребены были с честью и женщины ее.

Клеопатра умерла тридцати девяти лет; она царствовала двадцать два года и более четырнадцати управляла вместе с Антонием. Антонию, как говорят одни, было пятьдесят три, а по уверению других, пятьдесят шесть лет. Изображения его были низложены, но Клеопатрины остались на месте, ибо один из ее друзей по имени Архибий дал Цезарю тысячу талантов, дабы с ними не было поступлено, как с Антониевыми.

Антоний оставил от трех жен семерых детей. Антулл, старший из них, умерщвлен Цезарем. Других приняла Октавия и воспитывала вместе со своими. Клеопатру, дочь Клеопатры, Цезарь выдал замуж за Юбу, самого образованного из царей. Антония, рожденного Фульвией, возвеличил он до того, что после Агриппы и детей жены его Ливии Антоний был и считался третьим. Октавия имела двух дочерей от Марцелла и одного сына того же имени. Цезарь сделал его сыном и зятем своим, а одну из дочерей ее выдал за Агриппу; поскольку же Марцелл умер вскоре после брака, и Цезарь не мог избрать из числа других друзей своих зятя, который бы имел все его доверие, то Октавия предложила, чтобы Агриппа женился на дочери Цезаря и развелся бы с ее дочерью. Сперва согласился на то Цезарь, потом и Агриппа. Октавия выдала дочь свою за Антония, а Агриппа женился на дочери Цезаря. У Октавии оставалось две дочерей: на одной женился Домиций Агенобарб, на другой, которая называлась Антонией и славилась своею красотой и добродетелью, женился Друз, сын Ливии и пасынок Цезаря. От них родился Германик и Клавдий. Последний был впоследствии императором. Из детей Германика, Гай, управлявший недолго и безрассудно, был умерщвлен с женою и детьми; Агриппина вышла за Клавдия Цезаря, имея от Агенобарба сына Луция Домиция. Клавдий, усыновив ее сына, назвал его Нероном Германиком. Этот тот есть Нерон, царствовавший в наше время, умертвивший свою мать и безумием и безрассудством своим едва не ниспровергший Римскую державу. Он был потомком Антония в пятом колене.

Сравнение Антония с Деметрием

Мы увидели, что как Деметрий, так и Антоний претерпели великие превратности. Рассмотрим, во-первых, каким способом достигли они могущества и знаменитости. Один получил силу готовою от отца своего Антигона, который был сильнейшим из Александровых наследников, и прошел с боями и покорил себе большую часть Азии прежде, нежели Деметрий достигнул юношеских лет. Антоний, будучи сын человека доброго, но невоинственного и не оставившего ему никакого средства к прославлению себя, осмелился присвоить себе власть Цезаря, которая нимало ему не принадлежала по родству; он сделал сам себя наследником того владения, которое Цезарь приобрел великими трудами. Он имел такую силу, что, опираясь на

одни свои собственные силы, успел разделить Римскую державу на две части, из которых избрал и взял себе важнейшую. Много раз, в отсутствии своем, посредством помощников и заместителей, он побеждал парфян и прогнал до Каспийского моря варварские кавказские народы. Доказательствами великой власти его служит то самое, за что его порицают. Антигон был доволен тем, что Деметрий вступил в брак с Филой, дочерью Антипатра, как бы она была лучше его, несмотря на неровность лет. Напротив того, брак Антония с Клеопатрой бесславил его, хотя эта царица могуществом и блеском превосходила всех современных царей, кроме Арсака. Но Антоний возвеличил себя до того, что другим казался достойным получить более, нежели он сам желал.

Что касается до намерения, с которым они приобрели власть, то Деметрий не заслуживает нарекания: он хотел владычествовать и царствовать над людьми, привыкшими быть управляемы царской властью; но намерение Антония было жестокое и тиранническое: оно имело целью порабощение римского народа, незадолго избегшего единовластия Цезаря. Самое важное и значительное из деяний, им произведенных, – война с Кассием и Брутом, которую он вел для того, чтобы лишить свободы отечество и сограждан своих. Деметрий, прежде нежели быть к тому принужденным необходимостью, старался об освобождении Греции, об изгнании из городов охранного войска, а Антоний гордился тем, что убил в Македонии освободителей Рима. В Антонии более всего хвалят щедрость и великость даров; но и в этом Деметрий превышает его, ибо он подарил неприятелям столько, сколько Антоний не давал и друзьям своим. Он заслужил похвалу за то, что велел похоронить с честью Брута, но Деметрий похоронил всех убитых неприятелей, а попавшихся ему в плен отослал к Птолемею с деньгами и подарками.

В счастье оба они были наглы, преданы неге и наслаждению; однако никто не скажет, чтобы Деметрий, проводя время в удовольствиях и забавах, потерял случай к произведению чего-либо: он занимался весельями в праздное и свободное время. Его Ламия, подобно баснословной, занимала его для препровождения времени и для отдохновения; но когда он обращался к военным приготовлениям, то копье его не было увито плющом, шлем не пахнул благовонными духами. Он не выходил на поле брани из женских чертогов убранный и блистающий, но усыпляя вакхические ликования и веселые сообщества, он превращал себя, говоря словами Еврипида, в служителя убийственного Ареса. Он не сделал ни малейшей ошибки из склонности к неге и удовольствиям. Другое дело Антоний: представляемая на картинах Омфала отнимает у Геракла палицу и снимает с плеч его львиную шкуру, так и Клеопатра, очаровав Антония и снимая часто с него доспехи, убедила оставить великие дела и необходимые походы и забавляться и проводить время с нею на берегах Канопа и Тафосириса*. Наконец, подобно Парису*, убежав с поля сражения, скрылся он в объятиях ее; но Парис убежал в чертоги, будучи побежден, а Антоний, гоняясь за Клеопатрой, убежал и предал победу.

Далее. Деметрий, подобно Лисимаху и Птолемею, женился на многих женах. Это не было непозволительно, но введено в употребление царями македонскими после Александра и Филиппа. Он уважал жен, с которыми соединился браком. Но Антоний, во-первых, взял двух жен, чего никто из римлян не осмелился сделать; потом изгнал от себя свою единоплеменную и законную жену, угождая иностранке, не соединившейся с ним по законам. По этой причине брак одному не причинил никакого несчастья, на другого же навлек величайшие напасти. Но в поведении Антония мы не находим столь неблагочестивого поступка, происходящего от разврата, какой видим в поведении Деметрия. Историки пишут, что на Акрополь не позволялось впускать собак, ибо эти животные совокупляются явно. Но Деметрий в само обиталище девственной богини вводил блудниц и бесчестил многих афинских женщин. Жестокость – зло, которое, как можно бы подумать, менее всего соединено с негою и наслаждениями, – это зло сопряжено со склонностью Деметрия к удовольствиям; не только не воспрепятствовал, но, напротив того, принудил умереть ужаснейшей смертью прекраснейшего и добродетельнейшего афинянина, который не хотел предать себя поруганию. Можно заметить, что Антоний обижал себя, а Деметрий – других своим невоздержанием.

В отношении к родителям Деметрий не заслуживает ни в чем упрека. Антоний, напротив того, выдал брата своей матери, дабы умертвить Цицерона – что само по себе нечестиво и

жестоко. Антоний и едва бы заслужил прощение и тогда, когда бы смерть Цицерона была наградою за спасение своего дяди. Касательно и клятвопреступления и вероломства, оба заслуживают нарекание, ибо один поймал Артабаза, другой убил Александра; но Антоний имел благовидный к тому предлог, будучи оставлен и предан в Мидии Артабазом; но некоторые говорят, что Деметрий составил ложные обвинения для оправдания своего злодеяния и мстил человеку, который не только не обидел его, но сам им был обижен.

В рассуждении военных дел – Деметрий совершал подвиги сам; напротив того, там, где не было Антония, полководцы его одерживали знаменитые и преславные победы.

Оба по собственной вине лишились всего, но не равным образом. Один был оставлен македонянами, которые восстали против него; другой оставил тех, кто за него ввергал в опасность жизнь свою. Итак, один виновен в том, что он сделал к себе воинов своих неблагорасположенными; другой – в том, что не воспользовался благосклонностью и верностью, которую к себе произвел в воинах своих.

Ни одного из них смерть не заслуживает похвалы; но смерть Деметрия более достойна порицания. Он терпел плен, заключение в темнице и довольствовался тем, что выиграл три года, в которые предавался еде и питью, подобно животному. Антоний, правда, освободился от жизни трусливо, жалким и постыдным образом, однако прежде, нежели его противник сделался властелином его тела.

Дион и Брут

Дион

Симонид говорит, любезный Сенецион, что Илион не гневается на коринфян, которые участвовали в походе вместе с ахейцами, ибо Главк*, которого предки были коринфяне, помогал троянцам с великим усердием. Равным образом ни римляне, ни греки не должны жаловаться на Академию, приемля равное в ней участие посредством сей книги, содержащей жизнеописание Диона и Брута. Один из них был слушателем самого Платона, другой напитан его учением; оба они, как бы вышедши из одной палестры, устремились к величайшим подвигам. Нет ничего удивительного, если они, произведя сходные и совершенно подобные дела, утвердили мнение в добродетели своего руководителя, что только тогда дела политические получают вместе величие и изящность, когда могущество и счастье совокупляются с благоразумием и справедливостью. Как Гиппомах, учитель борьбы, говаривал, что узнает издали людей, которых он учит, хотя бы он увидел их, несущих с рынка кусок мяса; равным образом надлежит, чтобы правила мужей, получивших одинаковое образование, сопровождали их деяния и сообщали им некоторое согласие и гармонию, соединенную с приличием.

Сверх того, судьба их обоих, будучи одна и та же более по случайностям, нежели по их выбору, придает жизни их великое сходство. Они оба умерщвлены, прежде нежели достигли цели, к которой направляли свои деяния с великими трудами. Но что всего удивительнее, бог обоим предзнаменовал кончину их, ибо как одному, так и другому явился неблагоприятный признак. Те, кто отвергает подобные мнения, уверяют, что ни одному человеку, имеющему здравый рассудок, не явится никогда никакой дух или призрак; что дети, слабые женщины и люди, от бессилия лишенные ума, при заблуждении души или дурном расположении тела принимают пустые и странные мнения, имея в себе самого злого духа – суеверие. Но если Дион и Брут, мужи глубокомысленные и любомудрые, нелегко уловляемые и обольщаемые страстью, приведены были призраком в такое расположение, что они объявили о том и другим, то не будем ли мы тогда принуждены принять самое странное из древних мнений, будто бы злые духи, завидуя добродетельным людям и противясь их деяниям, наводят на них беспокойство и страх, которым потрясают их доблесть, боясь, чтобы они, оставаясь незыблемы и непреклонны в добре, не удостоились после смерти своей лучшей участи, нежели доля самих духов.

Но мы отложим это рассуждение до другого времени, а в этой книге жизнеописаний, которая есть двенадцатая, наперед представим древнейшего из них.

Дионисий Старший, достигнув верховной власти, женился вскоре после того на дочери Гермократа*, гражданина сиракузского. Тиранния не была еще твердо основана, как сиракузяне возмутились против него и посрамили супругу его столь беззаконным и ужасным образом, что она, не терпя поругания, прекратила жизнь свою. Дионисий, получив вновь власть и усилившись опять, соединился браком с двумя женщинами. Одна была локрийка* по имени Дорида, другая – землячка Аристомаха, дочь Гиппарина, мужа, первенствовавшего среди сиракузян и бывшего соправителем Дионисия, когда тот был избран в первый раз полномочным полководцем во время войны. Говорят, что Дионисий женился на обеих в один и тот же день и что никому ни тогда, ни после не было известно, с которой из них имел прежде свидание. Во все время оказывал он им равное внимание; они ужинали вместе с ним, а ночи проводили по очереди. Народ сиракузский желал, чтобы их землячка была предпочитаема чужестранке, но Дорида родила прежде старшего в Дионисиевом роде сына, который служил ей подпорою. Аристомаха долгое время была бездетна, хотя Дионисий весьма желал иметь от нее детей. Он даже умертвил мать Дориды, обвиняя ее в том, что она испортила Аристомаху отравами.

Дион был брат Аристомахи. Сперва он был уважаем благодаря сестре, но впоследствии, обнаружив силу своего ума, сам уже приобрел любовь Дионисия. Сверх других знаков благосклонности дано было Дионисием казнохранителям предписание отпускать Диону все то, что он потребует, и в тот же день доносить ему о том. Возвышенные чувства, высокий дух и твердость души, которыми был одарен, усилились в нем еще более, когда Платон, по некоторому божественному счастью и без всякого человеческого помышления, пристал к Сицилии. По-видимому, некоторое божество, издалека приготовляя сиракузянам начало свободы и уничтожение тираннии, привело Платона из Италии в Сиракузы. Оно свело с ним Диона, который был еще весьма молод, но из всех учеников Платона был самый способный к учению и самый скорый к перенятию правил добродетели, как о том пишет Платон и самые дела доказывают. Будучи воспитан под властью тиранна в низких чувствах, привыкши к жизни рабской и боязливой, к пышной прислуге, к неумеренной неге, к образу мыслей, полагающему все счастье в наслаждениях и любостяжении, едва вкусил он правила философии, руководствующие к добродетели, как душа его вскоре восхитилась, и судя о других по своей собственной готовности к принятию того, что похвально, с юношеской простотой и добросердечием он думал, что те же слова произведут над Дионисием то же действие, какое произвели над ним. Он приложил великое старание, чтобы Дионисий в свободное время видел и слышал Платона.

Они сошлись; добродетель вообще была предметом разговора их; более всего спорили между собою о мужестве. Платон утверждал, что тиранны менее всех людей мужественны. Потом, обратившись к справедливости, он научал, что жизнь самая блаженная есть жизнь людей справедливых, самая несчастная – несправедливых. Тиранн был недоволен этими речами, которые как будто изобличали его; он досадовал, что присутствующие принимали слова Платона с восхищением и были ими очарованы. Наконец, придя в ярость, спрашивал его, зачем он приехал в Сицилию. Платон отвечал ему: «Я ищу добродетельного человека». – «Клянусь богами, – отвечал тиранн, – ты словами своими показываешь, что еще его не нашел».

Дион думал, что этим кончится гнев Дионисия; он провожал до триеры Платона, который спешил к отплытию. На той же триере отправился в Грецию спартанец Поллид. Дионисий просил его тайно убить Платона во время плавания или, по крайней мере, продать его. «Ибо, – говорил Дионисий, – он оттого нимало не будет несчастливым по причине своей справедливости: он будет равно блаженным и в рабском состоянии». Поллид, приехав на Эгину, в самом деле продал Платона, ибо тогда жители этого острова вели войну с афинянами и определили, чтобы всякий попавшийся к ним в руки афинянин был продаваем на Эгине*.

Несмотря на все это, Дионисий не оказывал Диону менее почестей или доверия. Ему поручаемы были важнейшие посольства; он был отправлен в Карфаген и заслужил отличное уважение своим поведением. Дионисий терпел его смелые речи; Дион мог говорить ему бесстрашно то, что он думал. Примером этому служит укоризна, сделанная Дионисию касательно Гелона. Когда некоторые над ним смеялись в присутствии Диона, то Дионисий заметил, что Гелон сделался действительно смехом Сицилии*. Присутствующие находили эту шутку чрезвычайной. Дион в досаде сказал: «Однако ты достиг верховной власти потому, что

граждане поверили тебе ради Гелона, но ради тебя никому они более не верят». В самом деле Гелон представил единоначалие в прекраснейшем виде, а Дионисий – в самом безобразном.

У Дионисия было трое детей от локриянки и четверо от Аристомахи, из которых две дочери, Софросина и Арета. Софросину выдал он замуж за сына своего Дионисия, Арету – за брата своего Феорида, по смерти которого Дион женился на Арете, которая была ему племянницей. Дионисий впал в болезнь, которая неминуемо вела его ко гробу. Дион решился ему говорить в пользу детей, рожденных от Аристомахи. Но врачи, в угождение тому, кому надлежало получить наследство, не дали ему времени. Тимей говорит, что

Дионисий попросил усыпительного лекарства, – и врачи, дав ему оное, лишили чувств, соединив сон со смертью*.

Когда в первый раз собрались при Дионисии Младшем его приятели для совещания, то Дион говорил речь о выгодах отечества, столь приличную обстоятельствам, что умом своим показал других советников детьми, а свободою мыслей – рабами тираннии, дающими с низостью и робостью молодому Дионисию советы, большей частью к угождению его. Поскольку они более всего боялись опасности, грозившей державе Дионисия со стороны карфагенян, то Дион привел их в изумление, обещав Дионисию, если тому нужен мир, отправиться немедленно в Ливию и прекратить войну выгоднейшим образом; если же он решится вести войну, то он обязывался снарядить и содержать на собственном иждивении пятьдесят триер, дабы действовать ими на море.

Дионисий был чрезмерно удивлен его великодушием и весьма доволен преданностью; но те, кто думал, что блеск Диона помрачал их, а сила его унижала, воспользовались немедленно этим началом и не щадили ничего того, что могло разгневать молодого Дионисия против Диона; они уверяли, что Дион морскими силами подрывает его власть, что хочет перенести все могущество к сыновьям Аристомахи, племянникам своим. Самое явное и сильное побуждение к зависти и ненависти было различие образа его жизни и несообщительность его с льстецами. Завладев с самого начала обществом и беседой молодого и дурно воспитанного тиранна, посредством лести и удовольствий они заводили его в любовные дела и забавы, старались пристрастить к вину, к женщинам и к другим постыдным увеселениям; ими смягчали его власть, подобно железу в огне, которая подданным казалась кроткою; однако она лишилась излишней жестокости и сделалась слабее более по беззаботности властителя, нежели кротости его. Мало-помалу слабость эта, умножаясь и распространяясь, ослабила и наконец расторгла адамантовые цепи*, которыми Дионисий Старший, как сам говаривал, оставил связанной его державу. Говорят, что в продолжение девяноста дней сряду молодой Дионисий предавался беспрерывно пьянству, двор его, во все это время неприступный для людей умных и рассуждений важных, был наполнен пьянством, шутками, песнями, плясками и неблагопристойностями.

Итак, Дион был неприятен им, ибо он не склонялся к удовольствиям и забавам молодости; они клеветали на него, придавая его добродетелям имена, приличные пороку. Степенность его называли высокомерием; благородную смелость – дерзостью; наставления его казались укоризнами; неучастие в проступках, которыми они предавались, называлось презрением. Впрочем, Дион от природы имел в себе некоторую важность и суровость, которая делала его неприступным и несообщительным. Не только он был противен и не мог нравиться молодому человеку, которого слух был изнежен лестью, но те самые, которые близко его знали и любили его простоту и благородные свойства, порицали его обхождение, ибо он вел себя с теми, кто имел с ним дело, грубее и тяжелее, нежели как следовало в общественных делах. Платон впоследствии, как бы вдохновенный, писал ему, чтобы он берегся своенравия, как свойства, сопряженного с одиночеством. Дион в тогдашнее время был весьма нужен Дионисию по причине государственных дел, ибо он один мог утвердить и сохранить колеблющуюся тираннию; однако он знал, что был первым и сильнейшим при дворе не по любви к нему, но по нужде в нем, хотя противен Дионисию.

Почитая причиною сему невежество и необразованность Дионисия, он старался приучить его к благородным занятиям, внушить вкус к рассуждениям ученым и наставительным, дабы он перестал бояться добродетели и привык находить удовольствие в том, что прекрасно и похвально. Впрочем, Дионисий не был от природы из числа самых дурных тираннов, но отец

его держал дома взаперти, боясь, чтобы он не возвысился духом и чтобы беседа со здравомыслящими людьми не внушила ему умысла против него и через то он не отнял у него власти. Молодой Дионисий, ни с кем не общаясь и будучи совершенно неопытен, как говорят, мастерил тележки, подсвечники, деревянные стулья и столы.

Отец его столько был недоверчив, до того всех подозревал и остерегался, что не позволял брить свою голову бритвами, но некоторые из приближенных обжигали ему волосы тлеющим углем. В покой его не мог входить ни брат его, ни сын, одетые как попало: до вступления в оный надлежало каждому скинуть платье и надеть другое, дабы стража увидела его совершенно голым. Некогда Лептин, его брат, описывая ему некоторое место, взял копье у одного из телохранителей и очертил им положение оного, Дионисий за то чрезвычайно осердился и умертвил того, который дал ему копье. Он говорил, что остерегается своих друзей потому, что были люди умные и лучше хотят управлять, нежели быть управляемы. Марсия, человека, которого он сам возвысил и которому поручил некоторое начальство, предал он смерти, ибо показалось ему во сне, что Марсий его убивает, как будто бы это видение представилось ему во сне от помышлений и рассуждений Марсия наяву. Вот до какой степени был пуглив тот, кто сердился на Платона за то, что он не считал его мужественнейшим человеком! Такими-то бедствиями была душа его наполнена по причине его малодушия!

Дион, видя молодого Дионисия, так сказать, искаженного невежеством и развращенного, советовал ему заняться учением и употреблять все средства к тому, чтобы первый из философов приехал в Сицилию; по прибытии же его предать ему себя, дабы образовать душу свою в добродетели учением и таким образом употребить тому божественному и превосходному образцу, повинуясь которому все существующее из неустроенного и беспорядочного состояния превращается в благоустроенный и прекрасный мир, что он таким образом составит блаженство, и свое собственное и всех граждан, которые, будучи ими управляемы умеренно и справедливо, с отцовской благосклонностью, будут добровольно исполнять то, что ныне в унынии исполняют, по необходимости, из страха к его власти, что он из тиранна сделается царем их. Ибо адамантовые цепи не те, которые отец его почитал таковыми, – страх, насилие, множество кораблей и десятитысячная стража варваров, но любовь, усердие и приверженность, внушаемые добродетелью и справедливостью, что, хотя эти средства мягче тех жестоких, однако через них существование начальства получает твердость и силу. И наконец, без них правитель народа показывает, что не имеет в себе истинного честолюбия и великодушия, когда он будет только великолепно одеваться, гордиться пышностью и богатой отделкой своего дворца, а между тем разумом и знанием обходиться с людьми не будет превышать нимало самого простого человека, и чертог души его не будет украшен с приличием, достойным царскому сану.

Таковы были частые увещания Диона. Он вмешивал в них и некоторые речи Платона – и тем внушил Дионисию сильную и, так сказать, неистовую страсть к учению Платона и к беседе с ним. В Афинах были получены многие письма от Дионисия, многие просьбы от Диона. Из Италии пифагорейские философы побуждали Платона отправиться в Сицилию овладеть молодой душой, увлекаемой страстями, великой властью и могуществом, и обуздать ее важнейшими рассуждениями. Платон, устыдившись себя самого, как говорит сам, дабы не казалось, что он силен лишь на словах, а по своему произволу ни на что не решается, надеясь при том, что очистив одного человека, как важнейшего члена тела, он будет в состоянии исцелить всю болезненную Сицилию, повиновался их советам.

Но противники Диона, страшась перемены Дионисия, побудили его вызвать из ссылки Филиста*, человека, образованного учением и весьма сведущего в свойствах тираннов, дабы иметь его оплотом своим против Платона и философии. Этот Филист при самом основании тираннии был ревностнейшим ее защитником и сохранил Дионисию крепость, в которой долго начальствовал. Говорили, что он имел связь с матерью Дионисия Старшего, которому было об этом известно. Когда же Лептин без ведома Дионисия выдал за Филиста одну из двух дочерей своих, которых родила ему женщина, другому принадлежавшая, но обольщенная им, то Дионисий прогневался на него, сковал жену Лептина и держал в заключении, а Филиста изгнал из Сицилии. Филист убежал к каким-то приятелям своим к Адриатическому морю, где, имея свободное время, сочинил большую часть своей «Истории». При жизни Дионисия Старшего он

не возвращался в свое отечество; по смерти его, как уже сказано, зависть противников Диона заставила его вызвать обратно в Сиракузы как человека, весьма полезного им и вернейшего тираннии.

Филист по возвращении своем сделался подпорою тираннии. Тиранну доносили на Диона, будто бы он составил заговор с Феодотом и Гераклидом для ниспровержения его власти. Дион надеялся, по-видимому, по прибытии Платона отнять у тираннии самовластие и неограниченную силу и сделать Дионисия властителем законным и умеренным, а когда б он на то не согласился и не смягчился, то решился низвергнуть его и возвратить сиракузянам вольность. Он не любил демократии, но предпочитал ее тираннии для тех, кто не мог у себя учредить благоразумную аристократию.

Дела находились в сем положении, как Платон прибыл в Сицилию. При первой встрече оказаны были ему чрезвычайные ласки и почести. Когда он вышел из триеры, то готова была для него царская колесница, великолепно украшенная. Тиранн принес жертву богам, как будто бы державе его приключилось какое-либо необыкновенное благополучие. Благопристойность в пиршествах, благочиние двора, кротость самого тиранна во всех делах общественных подавали гражданам чрезвычайные надежды на перемену. Во всех обнаружилось вдруг стремление к наукам и к философии. Царский дворец, как говорят, был наполнен песком по причине великого множества людей, занимавшихся геометрией. По прошествии немногих дней приносима была при дворе отечественная жертва. Глашатай по обыкновению молился: «Да пребудет владычество непоколебимым на многие годы!» Дионисий, который стоял подле него, сказал ему: «Не перестанешь ли проклинать меня?» Эти слова огорчили Филиста и сообщников его, они думали, что сила Платона от времени и привычки будет непреоборима, когда беседа немногих дней до такой степени переменила мысли молодого человека.

Итак, уже не по одному и не тайно, но все явно поносили Диона; они говорили, что он явно старается очаровать и покорить себе Дионисия красноречием Платона, дабы Дионисий оставил добровольно свою власть, а между тем он бы передал ее детям Аристомахи, племянникам своим. Некоторые притворно негодовали, что афиняне, прибывшие туда некогда с великими морскими и сухопутными силами, все пограбили прежде, нежели завладели Сиракузами, между тем как ныне они посредством одного софиста ниспровергают тираннию Дионисия, убедивши его оставить десять тысяч телохранителей, четыреста триер, десять тысяч конницы и многократно ее превосходящую пехоту, дабы в Академии искать таинственного верховного блага, стараться быть блаженным через геометрию, предав Диону и Дионовым племянникам блаженство, состоящее в могуществе, в богатстве, в наслаждениях.

Эти слова сперва возродили подозрение, но вскоре гнев Дионисия и ссора его с Дионом еще более обнаружились. Принесено было к нему тайно письмо, писанное Дионом карфагенским правителям; в нем Дион советовал им, когда будут вести с Дионисием мирные переговоры, то ни к чему не приступать без его ведома, уверяя их, что через него они заключат прочный мир. Дионисий прочел это письмо Филисту и, посоветовавшись с ним, как говорит Тимей, обманул Диона ложным с ним примирением. При свидании с ним он жаловался слегка на него и сказал ему, что мирится с ним; потом привел его одного на берег моря под крепость, показал ему перехваченное письмо и обвинил в том, что он соединяется с карфагенянами против него. Дион хотел оправдаться, но Дионисий его не допустил, велел мореходам немедленно посадить его на лодку в том положении, в каком он находился, и высадить на берег Италии*.

Приказание его было исполнено. Оно показалось всем жестоким; дом тиранна наполнился скорбью – из-за женщин*. Город был в тревоге, ожидая новых перемен и переворотов по причине беспокойства одних об изгнании Диона и недоверчивости других к тиранну. Дионисий заметил это и был в страхе; он утешал друзей своих и женщин, уверяя, что не изгнал, но удалил на время Диона, дабы во гневе своем не быть принужденным поступить с ним еще хуже по причине его своенравия. Он дал свойственникам Диона два корабля с приказанием положить в них все то, чего они хотели, из имения и служителей Диона и отвести к нему в Пелопоннес. Имущество Диона было велико; домашние его уборы были великолепны и равнялись царским. Оные были вывезены его приятелями; оставшееся имение отсылаемо было женщинами и приятелями его так, что Дион был среди греков славен имением своим и богатством.

Великолепие изгнанника обнаружило всем могущество Дионисиевой державы.

Дионисий после изгнания Диона перевел Платона в крепость и под видом гостеприимства приставил к нему почетную стражу, дабы он не отплыл вместе с Дионом, будучи свидетелем оказанного ему оскорбления. Время и обхождение заставили его – как зверя, привыкшего терпеть прикосновение руки человеческой, – сносить беседы и разговоры Платона. Он возымел к нему тираническую любовь – хотел, чтобы Платон взаимно его любил и уважал более всех, предлагал предать ему управление и власть, если он не будет предпочитать дружбы Дионовой его дружбе. Эта страсть Дионисия была для Платона наказанием, ибо Дионисий, подобно несчастным любовникам, был вне себя от ревности. В короткое время он многократно приходил в ярость, потом мирился с ним и просил прощения; он имел чрезвычайное желание слушать речи Платона, быть приобщену к его философии, но в то же время стыдился тех, кто его отвлекал от этого и уверял, что Платон испортит его. Между тем случилась некоторая война; Дионисий отослал от себя Платона, обещавши к лету призвать Диона обратно. Однако обманул его; он только переслал к нему доходы с его земель, а у Платона просил извинения, что не исполнил в назначенное время своего обещания по причине продолжающейся войны, но уверял его, что по заключении мира он призовет немедленно Диона. Он требовал, чтобы Дион был покоен, не предпринимал ничего нового и не поносил его перед греками.

Платон старался исполнить его желание. Он обратил Диона к любомудрию и держал его в Академии. Дион жил в Афинах в доме Каллиппа, одного из своих приятелей; но для препровождения времени купил поместье, которое он впоследствии, отправляясь в Сицилию, подарил Спевсиппу*. Он более всех имел обращение и беседовал с этим афинянином, сообразно с желанием Платона, который хотел, чтобы нрав Диона был смягчаем и становился благосклоннее от беседы его, исполненной приятности и тонких шуток, которыми Спевсипп отличался. По этой причине Тимон в «Силлах»* называет его хорошим шутником. Когда Платон принял на себя составление хора мальчиков, то Дион имел попечение об учении их и заплатил все издержки. Платон позволил ему оказать перед афинянами сию щедрость, которая более приобретала Диону благосклонности, нежели славы.

Дион посещал и другие города Греции, принимал участие во всех торжествах с отличнейшими и опытными в политике людьми и проводил время с ними, не показывая ни горделивой пышности, ни надутости и высокомерия в обращении своем; поступки его обнаруживали воздержание, добродетель и мужество, склонность к учению и философии. Этим поведением приобрел он любовь и уважение всех; города общественными постановлениями оказывали ему почести. Лакедемоняне дали ему право спартанского гражданина, презрев гнев Дионисия, который тогда оказывал им сильное пособие в войне с афинянами.

Говорят, что мегарянин Птеодор некогда пригласил Диона к себе в дом. Этот Птеодор был человек богатый и сильный в своем отечестве. Дион увидел у дверей его множество народа и приметил, что Птеодор казался очень занятым и был почти неприступен. Он взглянул на своих приятелей, которые оказывали на то неудовольствие и досаду, и сказал им: «Зачем жаловаться на него? Разве мы не поступали таким же образом, когда были в Сиракузах?»

По прошествии некоторого времени Дионисий, завидуя Диону и боясь его по причине оказываемой ему греками любви, перестал пересылать доходы его, а имение поручил своим поверенным. Дабы рассеять дурное мнение, которое внушали философам поступки его с Платоном, он призвал к своему двору множество людей, которые казались учеными. Желая по честолюбию своему превосходить всех в рассуждениях об ученых предметах, он был принужден употреблять некстати то, что слышал поверхностно от Платона. По этой причине он опять желал иметь его при себе, обвинял сам себя за то, что не воспользовался им и не узнал от него всего того, что мог узнать. Как свойственно тиранну, необузданному в своих желаниях, стремительному в своих прихотях, он опять обратился к Платону, употребил все средства и убедил Архита* и других пифагорейцев призвать Платона и быть поруками в его обещаниях, ибо посредством их в первый раз начались знакомство и связь с Платоном. Архит послал к Платону Архедама, а Дионисий – корабли и приятелей своих, дабы просить Платона отправиться в Сицилию. Сам Дионисий писал определенно, что Диону не будет им оказано никакое снисхождение, если Платон не согласится приехать в Сицилию; если же он согласится, то Дион все получит. Жена и сестра Диона писали ему и советовали просить Платона

повиноваться Дионисию и своим отказом не подавать ему предлога против себя. Это побудило Платона приехать в третий раз в пролив Сицилийский.

Да гибельно еще измерит он Харибду*.

По прибытии своем Платон произвел в Дионисии великую радость и опять одушевил надеждой Сицилию, которая желала и употребляла все средства, чтобы Платон одержал победу над Филистом, а философия над тираннией. Женщины оказывали ему великое уважение; Дионисий сам имел к нему особенное доверие, какое ни к кому более не имел: он мог приходить к нему, не будучи прежде обысканным. Часто Дионисий давал ему подарки и деньги, но Платон их не принимал. Аристипп* из Кирены, который тогда находился при дворе, сказал: «Дионисий без убытка может быть великодушен, ибо дает мало нам, хотя и просим у него много, а дает много Платону, который ничего не берет».

После первых приветствий Платон начал говорить о возвращении Диона; Дионисий отложил это дело до другого времени. Вскоре последовали жалобы и неудовольствия, которые Дионисий от других скрывал; он старался почестями и ласками отвлечь Платона от дружбы с Дионом. Платон сам сначала не хотел обнаружить обманы и неверность Дионисия в исполнении данного обещания; он терпел все и принимал довольный вид. Таково было расположение одного к другому! Они думали, что никто того не заметил. Между тем Геликон Кизикский*, один из учеников Платона, предсказал затмение солнца. Оно случилось так, как Геликон говорил. Дионисий, дивясь его уму, подарил ему один талант серебра. Аристипп, шутя, сказал другим философам: «И я могу предсказать нечто обыкновенное». Они просили его изъясниться. «Я вам предсказываю, – отвечал он, – что в скором времени Платон и Дионисий будут врагами». Наконец Дионисий продал имение Диона и вырученные от того деньги присвоил себе. Он велел Платону, который имел пребывание в саду близ дворца, жить среди наемных воинов, которые давно ненавидели его и хотели умертвить за то, что он уговаривал Дионисия сложить с себя насильственную власть и жить без телохранителей.

Платон находился в крайней опасности. Архит, получив о том известие, послал к Дионисию посольство и тридцативесельное судно. Он требовал, чтобы Платон был отпущен, представляя, что он приехал в Сиракузы, полагаясь на его поручительство в своей безопасности. При прощании с Платоном Дионисий ласками и угощениями старался заставить его предать их ссору забвению. Он не утерпел однако, чтобы не сказать ему следующее: «Неужели ты, Платон, будешь меня жестоко бранить и порицать перед философами, твоими приятелями?» Платон улыбнулся и отвечал: «Не дай бог, чтобы в Академии была такая скудость в разговорах, чтобы нужно было кому-нибудь вспомнить о тебе». Таким-то образом Дионисий выпроводил Платона. Однако то, что Платон пишет сам, не совсем согласно с этим повествованием.

Дион был разгневан такими поступками Дионисия, но вскоре воспламенился желанием вести с ним войну, узнав, как поступил Дионисий с его женою. На это обстоятельство намекает и Платон в письме своем к Дионисию. Оно состояло в следующем. По изгнании Диона, отсылая от себя Платона, велел ему тайно разведать, не будет ли неприятно Диону, когда бы жена его была выдана замуж за другого, ибо носился в городе слух, неизвестно, истинный ли, или выдуманный теми, кто ненавидели Диона, что он не был доволен этим браком и что не жил в согласии со своею супругой. Платон по прибытии своем в Афины, поговорив обо всем с Дионом, писал Дионисию письмо, которого прочее содержание могло быть непонятно всякому, но что касалось до этого предмета, то один Дионисий мог его разуметь; он уведомлял, что переговорил об известном деле с Дионом, который изъявил величайшее неудовольствие, когда Дионисий оное произведет в действо. Как тогда существовали многие надежды к примирению их, то Дионисий оставил свою сестру в покое и позволил ей жить в одном доме с сыном Диона. Когда всякая надежда к примирению исчезла, когда Платон в другой раз отослан был с неудовольствием, то Дионисий выдал сестру против воли ее за Тимократа, одного из своих любимцев. В этом случае он не подражал снисходительности отца своего, когда Поликсен, который был женат на сестре его Тесте, сделался также ему врагом и, страшась его, убежал из Сицилии, то Дионисий Старший призвал к себе сестру свою и жаловался, зачем она не

объявила о намерении своего мужа, которое было ей известно. Но она без робости и страха отвечала ему: «Ужели ты, Дионисий, почитаешь меня столь презренной и малодушной женщиной, что я, зная наперед о бегстве своего мужа, не отправилась вместе с ним и не сделалась участницей его судьбы? Будь уверен! Я того не знала, а то было бы для меня славнее называться женою беглого Поликсена, нежели сестрою царствующего Дионисия». С такой благородной смелостью отвечала ему Теста; тиранн был изумлен; сиракузяне дивились добродетели сей женщины до того, что и по низвержении тираннии оставили ей почести и прислугу царскую, а по смерти ее все граждане провожали ее тело до гроба. Это отступление, я надеюсь, не бесполезно для читателей.

Дион после того обратил уже мысли к войне. Платон, частью из уважения к гостеприимной связи с Дионисием, частью по причине своей старости*, удерживал его от войны, но Спевсипп и другие приятели Диона содействовали ему и побуждали спасать Сицилию, простирающую к нему руки и охотно его приемлющую. Во время пребывания Платона в Сиракузах Спевсипп, имея более обхождения с жителями, старался узнавать их мысли. Сперва он был устрашен вольностью, с которой ему говорили против Дионисия, почитая ее искушением со стороны тиранна, но со временем он поверил им, ибо у всех было на языке одно: все просили и звали Диона – без кораблей, без военных сил; они требовали, чтобы он приехал к ним на ладье и предал сицилийцам одного себя и свое имя для нападения на Дионисия. Спевсипп пересказал все это Диону, который, ободрившись, начал собирать тайно и через других наемное войско, скрывая свое намерение. Ему содействовали многие из политиков и философов, как-то: Эвдем Кипрский, по случаю смерти которого Аристотель сочинил «Рассуждение о душе», и Тимонид Левкадский. Они представили ему и фессалийца Мильта, прорицателя, участвовавшего в академических беседах. Число граждан, изгнанных тиранном из Сиракуз, простиралось до тысячи человек, но не более двадцати пяти человек приняли участие в сем деле, все другие оробели и отстали от него.

Сборным местом назначен был остров Закинф; здесь собирались воины, число которых едва простиралось до восьмисот человек. Все они были люди, отличившиеся во многих и важных походах и искусившиеся в военных трудах; опытностью и смелостью превышали всех и притом были способны воспламенить и одушевить бодростью то множество воинов, которое Дион надеялся найти на Сицилии.

В первый раз, как они услышали, что предприятие их имеет целью нападение на Сицилию и Дионисия, они были поражены удивлением и лишились бодрости, полагая, что Дион ввергается в отчаянное предприятие по безумной ярости и неистовству своему или по неимению лучшей надежды. Они сердились на своих предводителей, которые с самого начала не назвали неприятеля, против которого были назначены. Когда же Дион в речи своей представил им слабую сторону Дионисиева владычества и показал им, что он ведет их не как воинов, но как предводителей, ибо сиракузяне и другие сицилийцы давно уже готовы к возмущению. Когда, после Диона, говорил им речь Алкимен, первенствующий среди ахейцев славой рода своего, который с ним ратоборствовал, то они на все согласились*.

Тогда была середина лета; на море дули этесии, луна была в полноте своей. Дион, уготовивши великолепную жертву Аполлону, пошел торжественно в храм с воинами, украшенными всеоружием. По принесении жертвы они возлегли на закинфском поприще, и Дион их угощал; они удивлялись множеству золотых и серебряных чаш и столов, которых великолепие превышало всякое богатство частного лица. Они рассуждали, что человек, уже немолодой и обладающий таким имением, не вдался бы в столь дерзновенное предприятие, когда бы не имел твердой надежды и верных друзей, которые подавали ему оттуда сильную помощь и подкрепление.

По принесении возлияний и окончании обыкновенных молитв вдруг луна исчезла. Дион нимало не удивился этому явлению, ибо ему были известны эклиптические периоды; он знал, что луна помрачается, когда Земля находится между нею и солнцем. Но так как нужно было некоторое утешение воинам, которых смутило сие явление, то прорицатель Мильт, став в средине их, увещевал быть спокойными и ожидать лучшего успеха, ибо божество предзнаменовало затмение чего-либо знаменитого, что не было ничего знаменитее державы Дионисия и что они помрачат ее блеск, коль скоро достигнут Сицилии. Это толкование было

объявлено Мильтом всем воинам, что же касается до пчел, которые показались вокруг кораблей Диона и составили рой на корме, то он сказал наедине Диону и приятелям своим, что он боялся, чтобы его дела не были сперва славны, но по прошествии краткого времени не лишились цвета своего и не увяли.

Говорят также, что Дионисию явились от бога многие чрезвычайные знамения. Орел вырвал копье из рук одного телохранителя, поднял его вверх и пустил в глубину моря. Вода морская, которая омывала берег при крепости, в продолжение одного дня была пресной; все те, кто вкушал ее, могли в том увериться. У Дионисия родились поросята, которые имели все члены свои в надлежащем порядке, но были без ушей. Прорицатели доказывали, что это знаменовало возмущение и непокорность народа, ибо граждане уже перестанут слушаться тираннии, сладость морской воды знаменовала сиракузянам перемену печальных и тяжких обстоятельств в приятнейшие; орел есть служитель Зевса; копье – знак начальства и владычества; итак, величайший из богов намеревается уничтожить и ниспровергнуть владычество Дионисия. Об этих происшествиях свидетельствует Феопомп.

Дионовы воины поместились в двух грузовых кораблях; за ним следовало одно небольшое судно и два тридцативесельных. Сверх оружий, которые имели при себе воины, Дион вез две тысячи щитов, великое число стрел и копий, множество запасов, дабы ничего недоставало у воинов во время их морского плавания, ибо они предавались морю и ветрам и боялись приблизиться к твердой земле, получив известие, что Филист стоял при Япигии* с кораблями и подстерегал их. Плавание их при тихом и слабом ветре продолжалось двенадцать дней; в тринадцатый они были близ сицилийского мыса Пахина. Кормчий советовал немедленно выступить на берег, уверяя, что если удалятся от твердой земли и оставят мыс добровольно, то многие дни и ночи проведут бесполезно на открытом море в ожидании, среди лета, южного ветра. Но Дион, боясь высадить своих воинов на берег, столь близкий от неприятелей, и желая пристать несколько далее от них, объехал Пахин. Вскоре восстал сильный северный ветер, поднял великую бурю и удалил суда от Сицилии; при появлении Арктура* ударили громы и молнии, которые навели грозу и сильный дождь. Мореплаватели были тем приведены в смятение; они не знали, где находятся, как вдруг увидели, что корабли их были устремлены волнами на Керкину, острову близ Ливии, и прямо к самому крутому и скалистому месту. Едва корабли не были выброшены и сокрушены о камни и с великим трудом и усилием прошли мимо, отпихиваясь баграми, пока наконец непогода утихла, им попалось навстречу судно, и они узнали, что находились при так называемых Головах Большого Сирта*. Безветрие ввергло мореплавателей в уныние; они были носимы по морю, как вдруг с земли поднялся тихий южный ветер тогда, когда они ни мало не ожидали столь неожиданной перемены. Ветер мало-помалу усиливался; они распростерли паруса сколько могли более и, помолившись богам, легким ветром неслись в Сицилию. В пятый день они пристали к Миное*, сицилийскому городу, бывшему под властью карфагенян.

Синал, карфагенский начальник, находившийся тогда в сем городе – он был приятель Диону и связан с ним узами гостеприимства, – не ведая, что Дион тут находился и что корабли эти ему принадлежали, принял меры, чтобы не допускать воинов выйти на берег; но они выбежали с оружием и, никого не убивая – ибо это было им запрещено Дионом, по причине дружбы его с Синалом, – вместе с бегущими ворвались в город и завладели им. Наконец оба начальника встретились и приветствовали друг друга; Дион возвратил город Синалу, не сделав жителям никакого вреда, а Синал угощал воинов и приготовлял для Диона то, что было для него нужно.

В то время Дионисий не был в Сиракузах; он незадолго перед тем отплыл с восьмьюдесятью кораблями в Италию. Это обстоятельство одушевило бодростью воинов Диона. Когда он говорил воинам, чтобы они отдохнули здесь несколько дней после претерпленных на море долговременных трудов, то они сами того не захотели и воспользовались благоприятным временем; они просили Диона вести их в Сиракузы – Дион выгрузил здесь лишние оружия и другие вещи и просил Синала, когда обстоятельства позволят, переслать их к нему. После того он направил свой путь к Сиракузам. В самом походе прежде всех пристали к нему двести человек конницы из числа граждан Акраганта, живущих близ Экнома*, примеру их последовали жители Гелы.

Слух о его прибытии вскоре достиг Сиракуз. Тимократ, который был уже сожителем Дионовой супруги, как предводительствующий в городе приверженцами отправил немедленно к Дионисию вестника с письмами, извещающими о прибытии Диона. Между тем сам наблюдал за движениями и беспокойствами граждан: все они были готовы к возмущению, но из страха и недоверчивости оставались еще в покое. С посланным от Тимократа вестником случилось нечто необыкновенное. Переправившись в Италию, он прошел в область регийцев и спешил идти в Кавлонию* к Дионисию, как дорогою встретил знакомого ему человека, который нес недавно принесенное в жертву животное. Он взял у него часть мяса и продолжал поспешно свой путь. Проходив некоторую часть ночи, он утомился, захотел отдохнуть и лег в лесу близ дороги. Волк, привлеченный запахом, пришел к тому месту, взял мясо, привязанное к суме, и унес его вместе с сумою, в которой находились письма. Вестник, проснувшись и не найдя писем, долго блуждал и искал сумы, но не мог найти ее. Он принял намерение не являться к тиранну без писем, но спастись бегством. Итак, Дионисию надлежало поздно и от других получить известие о возгоревшейся в Сицилии войне.

Между тем к Диону, идущему вперед, присоединились камаринцы*. Сиракузяне, жившие на полях, возмутились и стекались к нему толпами. Вместе с Тимократом стерегли Эпиполы леонтинские кампанские воины*; Дион распустил ложный слух, что он намерен обратить оружие на их города. Они тому поверили, кинули Тимократа и пошли на помощь к своим согражданам. Когда это было возвещено Диону, который стоял при Акрах, то он поднял еще ночью своих и пошел к реке Анапу, отстоящей от города десять стадиев. Он остановился у реки, принес жертву и молился восходящему солнцу. В то же время и прорицатели именем богов возвестили ему победу. Присутствующие, видя, что у Диона на голове венок по причине жертвоприношений, вдруг, как бы сговорясь, по собственному побуждению надели венки. Число тех, кто присоединился к нему дорогою, простиралось до пяти тысяч человек. Хотя были они вооружены дурно и как попало, они дополняли своим усердием недостаток в вооружении, так что, когда Дион двинулся вперед, то они пустились бегом с великой радостью, призывая друг друга к свободе.

Отличнейшие и знатнейшие из сиракузян, бывшие в самом городе, одетые в белое платье, встретили его у городских ворот; между тем простой народ нападал на приятелей тиранна и хватал так называемых «осведомителей» – людей беззаконных и богоненавистных, которые, ходя по городу, смешивались с сиракузянами, старались все узнавать и переносить тиранну слова и мысли граждан. Они прежде всех получили наказание; их убивали палочными ударами. Тимократ, не будучи в состоянии присоединиться к тем, кто охранял крепость, сел на лошадь, вырвался из города и, предаваясь бегству, всех исполнял страха и смятения, представляя силы Диона больше, нежели они были в самом деле, дабы не подавать виду, что он оставил город, устрашившись незначительной силы. В то самое время показался и Дион, идущий в голове войска в блистательном вооружении. По одну сторону был его брат Мегакл, по другую – афинянин Каллипп, оба украшенные венками. Из иноземных сопровождали Диона сто человек телохранителей; других в надлежащем устройстве вели военачальники. Сиракузяне смотрели на это шествие, как на священное и богам приятное торжество свободы и законного правления, возвращающегося в город их после сорокавосьмилетнего отсутствия.

Дион, вступив в город Теменитскими воротами и звуком трубы предписав молчание, возвестил, что Дион и Мегакл, пришедшие для низложения тираннии, освобождают от тиранна сиракузян и других сицилийцев. Желая говорить гражданам сам, он шел далее через Ахрадину; между тем сиракузяне по обеим сторонам дороги ставили столы, чаши и жертвы. Когда он проходил мимо них, то они бросали ему под ноги цветы и плоды и, как бога, сопровождали его своими молениями. Под крепостью и Пентапилами* стояли солнечные часы, высокие и всем видимые, сооруженные Дионисием. Дион, взойдя на них, говорил речь и поощрял граждан к защите своей свободы. Граждане, ликуя, изъявляли ему свою благодарность и провозгласили Диона и брата его Мегакла полномочными полководцами. По желанию их и просьбе, граждане избрали еще двадцать правителей, из которых половину составляли люди, возвратившиеся с Дионом из изгнания. Прорицателям казалось знамением весьма счастливым то, что Дион, говоря речь, попрал ногами славу и плод расточительности тиранна; но поскольку то были солнечные часы, на которых он стоял, когда был избран в полководцы, то они страшились,

чтобы дела его не приняли какого-либо быстрого переворота. Дион занял Эпиполы, освободил граждан, которые тут были задержаны, и обвел стенами крепость.

В седьмой день прибыл Дионисий в крепость, а Диону привезены были на возах оружия, оставленные у Синала. Он разделил их среди граждан. Всякий из них вооружался, кто как мог; все рвались в бой.

Дионисий послал сперва к Диону посланников лично, дабы испытать его. Дион им объявил, чтобы они обратились ко всему сиракузскому, уже свободному, народу. Посланники говорили именем тиранна речи кроткие и снисходительные; Дионисий обещал им умерить налоги и освободить их от походов, которые будут предприняты без согласия их. Сиракузяне смеялись над этими предложениями. Дион отвечал посланникам, чтобы Дионисий не вступал с ними в переговоры, если наперед не сложит своей власти; что, сложивши ее, он по связи родства будет сам ему содействовать, сколько от него зависит, во всех справедливых и рассудительных его требованиях. Дионисий, казалось, был доволен этим ответом; он опять отправил посланников с предложением, чтобы пришли к нему в замок некоторые из сиракузян, дабы переговорить с ними о пользе общей, узнать их требования и представить им свои. Посланы были к нему граждане с одобрения Диона. Из крепости распространился слух среди сиракузян, что Дионисий отказывается от тираннии, более из уважения к себе, нежели к Диону. Но это была хитрость и притворство тиранна и козни, устраиваемые против сиракузян. Он задержал немедленно в крепости присланных к нему из города граждан, а наемных воинов, напоив несмешанным вином, на рассвете дня пустил на стену, которой обвели сиракузяне крепость.

Это нападение было совершенно неожиданно; воины с великой дерзостью и шумом срывали стену и неслись на сиракузян; никто не смел остаться на месте и обороняться, исключая иностранных Дионовых воинов. Едва услышали они шум, то и спешили на помощь своим, но сами не знали, каким образом помочь, не могши ничего понять по причине криков и тревоги бегущих сиракузян, которые смешались с ними и расстраивали их ряды. Наконец, Дион, видя, что никто не слышал его голоса, решился показать им на деле то, что следовало им сделать. Он первый бросается в середину варваров; вокруг него происходит опасная и кровопролитная битва, ибо воины неприятельские знали его столь же хорошо, как и свои. Неприятели с громким криком все вдруг на него устремились. Дион по причине лет своих был уже тяжел и неспособен к такому роду сражений; однако он выдерживал нападение с силою и жаром и отражал противников; он получил удар в руку копьем; броня его едва могла выдержать стрелы и рукою наносимые удары копьем, ибо она была поражаема сквозь щит многими копьями и дротами. Оные нагнулись, и Дион упал; он был вырван у неприятелей воинами своими и назначил им в предводители Тимонида. Разъезжая по городу верхом, он удержал сиракузян от бегства, подвинул иноземных воинов, которые стерегли Ахрадину, и повел их на неприятелей. Будучи свежи и бодры, эти воины напали на неприятелей, утомленных трудами и уже отчаивающихся в успехе предприятия своего. Они надеялись первым устремлением и нападением завладеть всем городом, но вопреки ожиданиям, встречая воинов мужественных и твердых, отступали к крепости. Греки уже напирали сильнее, когда неприятели начали уклоняться. Отступление их превратилось в бегство; они заперлись в своих стенах, убив семьдесят четыре человека у Диона, а потеряв множество своих. Победа была блистательна. Сиракузяне подарили иноземному войску сто мин, а иноземное войско поднесло Диону золотой венец.

Между тем Дионисий послал вестников к Диону с письмами от его родственниц. На одном письме была следующая надпись: «Отцу от Гиппарина». Так звали сына Диона, хотя Тимей называет его Аретеем, в честь Ареты, его матери, но я думаю, что в этом должно более верить Тимониду, который был другом и товарищем Диона. Письма эти были прочтены перед сиракузянами; оные содержали просьбы и моления со стороны женщин. Сиракузяне не хотели, чтобы письмо Гиппарина к нему было распечатано при всех, однако Дион распечатал его против их желания. Оно было писано Дионисием, который хотя на словах относился к Диону, но в самом деле обращался к сиракузянам; содержание письма имело вид просьбы и оправдания, но все сочинено с намерением оклеветать Диона. Дионисий напоминал ему о ревностном содействии, оказанном им в утверждении тираннии; грозил ему поступить жестоко

с любезнейшими ему особами – сестрою, сыном и женою; делал ему сильные упреки и жаловался на него. Более всего раздражали Диона даваемые ему советы: не уничтожить, но утвердить тираннию, не освобождать людей, ненавидящих его и злопамятных, но самому начальствовать и заботиться о безопасности друзей и родственников своих.

Между тем как это было читаемо, сиракузяне вместо того, чтобы удивляться, как бы должно было, твердости и великодушию Диона, который за долг и справедливость противился силе родства, возымел к нему страх и подозрение, будто бы он должен был по необходимости щадить тиранна. Итак, они обратили глаза свои на других предводителей. Более же всего привело их в движение известие, что Гераклид возвращается в Сиракузы.

Гераклид сей находился в числе изгнанников, он был искусный полководец, известный тем, что тиранны препоручали ему военачальство; но он не имел твердости в своих мыслях, был легкомыслен и менее всего способен к управлению совместными делами, сопряженными с властью и славой. Находясь в Пелопоннесе, он отделился от Диона и принял намерение напасть на тиранна с собственными силами. Он прибыл в Сиракузы на семи триерах и трех судах. Он нашел, что Дионисий заперт в крепости и что сиракузяне были в волнении. Немедленно он начал искать благосклонности народа, будучи одарен от природы некоторой приятностью в речах и способностью привлекать к себе народ, который требовал уже, чтобы ему льстили. Он мог тем легче прельстить сиракузян и склонить на свою сторону, что они не любили важности Диона, как свойства тяжелого и неприличного в гражданском управлении. Народ, управляя уже сам и сделавшись своевольным и наглым, не довольствовался приобретенными правами гражданства: он хотел, чтобы ему угождали.

Во-первых, граждане, собравшись на площади, по собственному почину избрали Гераклида начальником флота. Когда же Дион предстал и жаловался на них, говоря, что данное Гераклиду начальство есть уничтожение вверенной ему прежде власти, ибо уже он не остается полномочным полководцем, если другой будет управлять морскими силами, то сиракузяне, против желания своего, опять отняли начальство у Гераклида. Дион после того призвал Гераклида к себе в дом, выговаривал ему слегка за то, что он неприлично и вредно ссорится с ним за славу в таких обстоятельствах, когда малейшее обстоятельство может быть пагубным для общества. Потом собрал он народ, сделал Гераклида начальником морских сил и убедил граждан дать ему такую же стражу, какую имел он сам. Гераклид, хотя по наружности и на словах оказывал к Диону великое уважение, говорил о своей к нему благодарности и следовал за ним с покорностью, исполняя его приказания, но между тем тайно развращая и поощряя народ и людей, склонных к перемене, причинял беспокойство Диону, который находился в чрезвычайно сомнительном положении: предлагая о выпуске Дионисия из крепости с условием перемирия, возбуждал против себя клевету, ибо, казалось, он его щадил и старался о его спасении, продолжая осаду, дабы таким образом не причинять гражданам неудовольствие – казалось, он хотел длить войну, дабы этим средством начальствовать и держать их в повиновении.

В Сиракузах был человек по имени Сосид, известный среди граждан своею наглостью и дурными поступками и который почитал избытком свободы позволение простирать смелость до дерзости. Этот Сосид, злоумышляя против Диона, некогда в Собрании встал и бранил сиракузян за то, что они не понимали, что, освободившись от пьяного и безумного властелина, поставили над собою тиранна, бодрственного и трезвого. Таким образом, показав себя явным врагом Диону, он оставил тогда Собрание. На другой день он пустился бежать голый по городу с окровавленной головой и лицом, показывая тем, что бежит от людей, его преследующих. В сем виде прибежал он к Собранию и говорил, что иноземные воины Диона хотят его умертвить. Он показывал раны на своей голове. Многие негодовали и восставали против Диона за столь ужасный и тираннический поступок, как будто бы он убийствами и гонением хотел отнять у граждан право говорить свободно. Хотя тогдашнее Собрание было беспокойно и шумно, однако Дион предстал – и оправдался. Он доказал, что Сосид был братом одного из телохранителей Дионисия, который через него склонил Сосида к возмущению города, не имея уже другого средства ко спасению себя, кроме неверности и междоусобия граждан. Между тем врачи осматривали рану Сосида и открыли, что она причинена более поверхностным резаньем, нежели ударом, наносимым с силою: удар мечом, по причине тяжести своей, вдастся внутрь, но

рана Сосида была вовсе наружная; сверх того она имела несколько начал, ибо Сосид, разрезывая сам себя, по причине боли переставал и опять начинал. Между тем некоторые из известных людей принесли в Собрание бритву; они рассказывали, что им попался навстречу окровавленный Сосид, который уверял, что бежит от иноземных воинов Диона, которые незадолго перед тем ранили его, что, дабы удостовериться, они побежали вперед, но не видели ни одного человека, а только нашли бритву под пустым камнем, откуда Сосид отошел. Дело Сосида было уже в дурном виде; к сему изобличению присоединилось свидетельство его служителей, которые уверяли, что Сосид ночью вышел один из дома с бритвой. Доносившие на Диона удалились; народ приговорил Сосида к смерти и примирился с Дионом.

Однако сиракузяне тем не менее подозревали наемных воинов особенно тогда, когда сражения с силами тиранна производились на море, ибо Филист прибыл из Япигии на помощь Дионисию со многими триерами. Сиракузяне уже думали, что в наемных сухопутных воинах не имели более нужды к продолжению войны; они думали, что и воины должны быть в зависимости от них, как от мореплавателей, приобретающих могущество кораблями. Они еще более вознеслись полученным на море успехом, победив Филиста, с которым поступили с жестокостью и варварством. Эфор говорит, что Филист умертвил сам себя, когда корабль его был пойман; Тимонид, который вместе с Дионом с самого начала принимал участие в действиях, уверяет в письме своем к философу Спевсиппу, что Филист был пойман живым, ибо триера его была выброшена на берег. Сиракузяне сняли с него броню, обнажили его тело и ругались над ним, несмотря на его старость, потом отрубили ему голову и предали его тело малым детям с приказанием тащить его через Ахрадину и бросить в каменоломню. Тимей, представляя поругание в большем виде, говорит, что малые дети тащили по городу мертвое тело Филиста, взяв его за хромую ногу, между тем как сиракузяне смеялись, видя влекомым за ногу того, который сказал некогда старшему Дионисию, что он должен бежать тираннии, не сидя на быстром коне, но будучи влеком за ногу. Впрочем, Филист говорил эти слова Дионисию, как сказанные другим, а не как свои собственные.

Впрочем, Тимей, хоть и имея справедливый предлог к порицанию Филиста за верность его и усердие к тираннской власти, но не перестает ругать и поносить его. Может быть, позволительно тем, кто был оскорблен Филистом при его жизни, простирать ярость свою и до бесчувственного его тела; позднейшие же писатели, которые не были им оскорблены, но пользуются его сочинениями, обязаны из уважения к славе его не упрекать ему с поруганием и посрамлением теми бедствиями, которым превратность счастья может подвергнуть и самого добродетельного человека. Эфор также поступает неблагоразумно, превознося похвалами Филиста, который, несмотря на великое искусство облекать в благовидные причины и оправдывать несправедливые поступки и дурные свойства и находить красивые выражения и обороты, не может при всех своих стараниях освободить сам себя от обвинения в том, что он был человек самый преданный тираннам и что он оказывает чрезвычайное уважение и удивление к неге, силе, богатству и бракосочетаниям тираннов. Тот, конечно, поступает весьма разумно, кто не хвалит дел Филиста и не ругается над его участью.

По смерти Филиста Дионисий предложил Диону сдать ему крепость, оружие и наемное войско с полным, на пять месяцев, жалованьем, но с условием, чтобы ему было позволено ехать в Италию, дабы там иметь пребывание, обладая так называемым Гиатом, сиракузской землей, обширной и плодоносной, которая простиралась от моря во внутренность земли. Дион не принял этого предложения; он велел Дионисию обратиться к сиракузянам, но те, надеясь поймать живым Дионисия, прогнали его посланников. Дионисий после того предал крепость управлению Аполлократа, старшего сына своего, а сам, пользуясь попутным ветром, положил на суда все то, что для него было дороже и любезнее, и отплыл так, что Гераклид, начальник кораблей, не мог того заметить. Сиракузяне поносили Гераклида и кричали против него. Тогда Гераклид подучил Гиппона, одного из демагогов, предложить народу разделение полей под тем предлогом, что основание свободы есть равенство, а рабства – бедность и неимение собственности. Гераклид, поддерживая Гиппона и возмущая народ против Диона, который противился сему предложению, убедил сиракузян утвердить предложение Гиппона, отнять у иноземного войска жалованье и избрать других полководцев, дабы освободиться от суровости Диона. Подобно больным после долговременной болезни – сиракузяне после долговременного

тираннства, так сказать, желая подняться на ноги тотчас и быть управляемы, как народ всегда независимый, сами расстраивали свои дела и ненавидели Диона, который, подобно врачу, хотел держать их на строгой и благоразумной диете.

Они обрались для избирания новых начальников в самой средине лета, но страшные громы и неблагоприятные предзнаменования, продолжавшиеся пятнадцать дней сряду, удерживали от того народ, объятый суеверным страхом. Наконец демагоги, выждав постоянного ведра, приступили уже к сему делу; но в то же время один бык, запряженный в телегу, впрочем, привыкший видеть многочисленный народ, озлобясь, не известно от чего, на погонщика, вырвался из-под ярма и устремился к театру. Он заставил народ встать и рассеяться без всякого порядка, потом пустился бежать и прыгать по той части города, которая впоследствии была занята неприятелем, и произвел всюду тревогу. Несмотря на все это, сиракузяне избрали двадцать пять военачальников, в числе которых был и Гераклид. Они подсылали тайно людей к иноземным воинам Диона, старались отделить их от него и привязать к себе, обещая сделать их участниками гражданства. Но сии воины, исполненные верности и усердия к нему, отвергли предложения сиракузян; взяли Диона и, оградив его своими оружиями, вывели из города. Они никого не обижали, но упрекали неблагодарностью и вероломством тех, кто им попадался навстречу. Сиракузяне, презирая их и за малое их число и за то, что воины не сделали на них нападение прежде, будучи притом многократно многочисленнее, устремились на них, надеясь одержать над ними верх в самом городе и всех их умертвить.

Дион, дойдя до необходимости либо сразиться с гражданами, либо умереть с иноземными воинами, умолял сиракузян, простирал к ним руки, показывал им на крепость, наполненную выказывающимися из-за стен неприятелями, которые смотрели на происходящее. Но наконец видя, что не мог укротить граждан и что слова демагогов, подобно ветру на открытом море, управляли городом, он велел воинам удержаться от нападения, но обратиться на них с криком и стуком оружия. Никто из сиракузян не остался на месте, они предались бегству по улицам, хотя никто не преследовал их. Дион немедленно поворотил своих воинов и вел их в Леонтины. Сиракузские правители, сделавшись посмешищем в глазах женщин и желая загладить свой стыд, опять вооружили граждан и погнались за Дионом. Они застали его при переправе через реку и, приблизившись к нему, начали стычку; однако видя, что Дион не терпел уже их поступков с прежней кротостью и отцовским снисхождением, но в гневе своем обращал на них иноземное войско и выстраивал его, они отступили к городу, предавшись к бегству еще постыднейшему. Из них пало немного.

Леонтинцы приняли Диона с честью; воинов его привязали к себе жалованьем и приобщением их к гражданству своему. Они отправили к сиракузянам посольство и требовали, чтобы этим воинам оказано было справедливое удовлетворение. Сиракузяне послали в Леонтины посланников для обвинения Диона. В Леонтинах собрались все союзники и разбирали сие дело; сиракузяне признаны виновными, но они не исполнили приговора союзников; они уже были избалованы и гордились тем, что никому не повиновались, но имели полководцев, которые раболепствовали им и боялись их.

Между тем в Сиракузы прибыли посланные от Дионисия триеры под начальством неаполитанца Нипсия; они везли осажденным хлеб и деньги. Дано было сражение на море; сиракузяне одержали победу и отняли четыре корабля у неприятелей. Исполняясь высокомерия, они в радости своей предались питью и неистовым забавам и по причине безначалия забыли все полезные меры; думая, что обладают уже крепостью, они лишились и города. Нипсий заметил, что все жители обуяны безумием, что до глубокой ночи предавались пьянству и занимались игрою на флейтах; что полководцы сами участвовали в сих празднествах и не смели употребить принуждения против людей пьянствующих, он воспользовался временем лучшим образом и сделал к стене приступ. Он завладел стеною, разрушил ее и впустил в город варваров, приказав им поступить с теми, кто попадется, как они хотят и как могут. Вскоре сиракузяне почувствовали беду; будучи в смятении и изумлении, они поднимались навстречу врагу медленно и с трудом. Они терпели все ужасы, каким подвергается город, побежденный неприятелем: мужчин умерщвляли, детей и женщин, издававших жалобные вопли, увлекали в крепость; стены разрушали. Полководцы были в отчаянии; они не могли использовать граждан

против неприятелей, которые во всех частях города были перемешаны с ними.

Таково было положение города; опасность грозила уже и Ахрадине. Вся надежда жителей опиралась на одного человека; все о нем думали; никто не смел назвать; они стыдились своего безрассудства и неблагодарности к Диону. Наконец необходимость превозмогла; союзники и всадники одним голосом вскрикнули: призвать Диона и вызвать пелопоннесцев из Леонтин. Как скоро они осмелились сие произнести, то сиракузяне издавали восклицание, проливали радостные слезы, они молились богам, чтобы Дион явился, желали его лицезрения, вспоминали о мужестве и решимости его в опасных случаях; говорили, как сам был неустрашим, как другим придавал бодрости и заставлял их без страха вступать в бой с неприятелями. Они послали к нему немедленно из числа союзников Архонида и Телесида, из числа конных – Гелланика и еще четверых. Они пробежали дорогу верхом, скача во весь опор, и прибыли в Леонтины уже около вечера. Соскочив с лошадей, они пали к ногам Диона в слезах и рассказали ему несчастье, постигшее сиракузян. Между тем стекались к нему жители Леонтин и пелопоннесские воины, подозревая по поспешности и по просьбам гонцов, что в Сиракузах случилось что-нибудь новое. Дион тотчас привел их в Собрание; все собирались с великим усердием. Тогда Архонид и Гелланик предстали, возвестили в коротких словах великость своих бедствий и просили иноземных воинов защитить сиракузян, забыть зло, от них претерпленное, ибо они наказаны более того, что желали даже те, кто был оскорблен.

Они перестали говорить, и все Собрание пребывало в молчании. Дион встал и начал говорить; но слова его прерываемы были обильными слезами его. Иностранные воины, принимая участие в его печали, ободряли его и просили не унывать. Дион, придя несколько в себя, говорил им следующее: «Пелопоннесские воины и вы, союзники! Я собрал вас сюда, дабы посоветоваться с вами о вас самих, ибо мне неприлично рассуждать долее о себе самом в то время, когда Сиракузы погибают. Если я не буду в состоянии спасти их, то я пойду и погребу себя среди пожара и разрушения отечества моего. Но вы, если еще желаете ныне помочь нам, безрассуднейшим и несчастнейшим, то восстановите упадший город Сиракузы; он ваше творение! А если по справедливому неудовольствию на сиракузян вы предаете их участи своей, то молю богов, да получите достойное воздаяние за прежнее мужество ваше и усердие ко мне! Воспоминайте, однако, что Дион тогда не оставил вас, когда вы были оскорблены, и ныне не оставляет своих граждан в несчастном их положении». Он продолжал еще говорить, как воины поднялись с восклицанием и просили, чтобы он повел их поспешно в Сиракузы. Посланники сиракузские обняли и целовали его, моля богов да изольют на Диона и на воинов его всякое благополучие. Как скоро все успокоились, то Дион дал приказание приготовиться немедленно к походу и, отужинав, собраться на том же месте с оружием: он решился идти ночью на помощь к сиракузянам.

Между тем в Сиракузах Дионисиевы военачальники, в продолжение дня причинивши городу великое зло, с наступлением ночи удалились в крепость, потеряв немного людей. По этой причине сиракузские демагоги, ободрившись и надеясь, что неприятели после того, что над ним совершили, останутся в покое, советовали вновь гражданам отказать Диону; если он придет с иноземными воинами, то не принимать его; не уступать иностранцам, как лучшим себя, чести своей, но спасать город и свободу самим. Итак, сиракузяне опять послали к Диону. Полководцы запрещали ему продолжать свой путь; всадники и известнейшие граждане побуждали его идти поспешнее. Эти вести заставили Диона приближаться к городу медленно и спокойно.

С наступлением ночи неприятели Диона заняли ворота, дабы запретить ему войти в город. Но Нипсий выпустил опять из крепости наемных воинов, которые уже были многочисленнее и одушевлены большей бодростью; он срыл остальную часть стены, пробежал город и грабил его; уже воины Дионисия убивали не только мужчин, но женщин и детей; они занимались мало грабежом, а более обратились к убийству, ибо Дионисий, потеряв всю надежду и крайне возненавидя сиракузян, хотел некоторым образом погрести под развалинами города упадающее свое могущество. Для предупреждения помощи, оказываемой городу Дионом, они употребили самое быстрое и деятельное к разрушению и погибели средство – огонь. В ближайшие места они подкладывали факелы и свечи; в дальние пускали из луков каленые стрелы. Из сиракузян одни бегали и были уловляемы и умерщвляемы на улицах; другие, входя в домы, были вскоре

понуждаемы выходить из них по причине огня, ибо многие дома горели и валились на тех, кто бегал туда и сюда.

Это несчастье заставило всех согласиться и отворить ворота Диону. Получив прежде известие, уже неприятели заперлись в крепости, Дион продолжал свой путь медленно. Солнце было уже высоко, как попались ему навстречу всадники, которые объявили ему о вторичном взятии города; за ними предстали некоторые из его противников, которые просили его спешить. При усилившихся бедствиях города Гераклид сам послал к нему своего брата, потом Феодора, дядю своего, с прошением, чтобы он помог городу, что никто уже не сопротивляется неприятелям, что он сам ранен, и город находится в опасности вскоре быть разрушенным и сожженным.

Дион находился в шестидесяти стадиях от городских ворот, когда получил эти известия. Он объявил воинам об опасности, которая грозила Сиракузам, велел им ускорить своим походом и уже вел их не шагом, но бегом, между тем как вестники один за другим приходили к нему и просили поспешать. Пользуясь чрезвычайным усердием и быстротой войска, Дион вступил в так называемый Гекатомпед. Сперва пустил на неприятелей легкое войско, дабы сиракузяне, видя их, ободрились, а сам устраивал пехоту и тех граждан, которые к нему стекались, составлял из них прямоугольники и назначал им предводителей, дабы, нападая с разных сторон в одно время, навести тем больший ужас.

Устроивши войско, он принес богам моления и повел его через город на неприятелей. Сиракузяне шумели, радовались, издавали радостные восклицания, смешанные с молениями богам; Диона называли спасителем и богом, а воинов его братьями и согражданами. В таких обстоятельствах не было ни одного человека, столь любящего себя и жизнь свою, который бы не показывал, что он более беспокоился об одном Дионе, нежели обо всех других, ибо Дион первый ввергался в опасности сквозь огонь и кровь, по телам мертвым, лежащим на площади. Неприятели были страшны и в крайнем ожесточении; они выстроились близ ограды, к которой трудно было приблизиться. Более всего приводил в смятение воинов Диона и затруднял шествие их огонь, распространившийся в домах и освещавший их со всех сторон. Они ступали на дымящиеся развалины, проходили с опасностью жизни под падающими великими обломками зданий и шли вперед сквозь дым, смешанный с густой пылью, и между тем старались быть всегда вместе и не разрывать строя. Наконец, они сошлись с неприятелем; теснота и неровность места принудили их сражаться малым числом. Крик и усердие сиракузян укрепляли их; они вытеснили Нипсия; большая часть воинов его спаслась бегством в крепость, который был не в дальнем оттуда расстоянии; оставшиеся вне крепости и рассеявшиеся были преследуемы и уловляемы воинами Диона. Положение города не позволяло тогда гражданам радоваться победе, предаваться радости и изъявлять Диону благодарность, приличную такому подвигу; они обратились к домам своим и в продолжение целой ночи с трудом успели потушить пожар.

С наступлением дня никто из демагогов не остался в городе; они произнесли сами себе приговор и убежали. Гераклид и Феодот пришли к Диону и предали ему себя; они признавали себя виновными и просили Диона, чтобы он с ними поступил великодушнее, нежели как они с ним поступили; говорили, что Диону как человеку, украшенному всеми добродетелями в высочайшей степени, прилично было показать себя обладателем своего гнева пред теми, кто явил себя против него неблагодарными, и кто ныне, признавая себя побежденным его добродетелью, уступает ему то, что прежде оспаривали. Таковы были речи Гераклида. Друзья Диона советовали ему не щадить сих злых и завистливых людей, но выдать Гераклида воинам и изгнать из города обольстителей народа – заразу, столь же пагубную, как и самая тиранния. Дион старался успокоить их и говорил им, что другие полководцы более всего упражняются в оружиях и войне; но что касается до него, то он в Академии учился долгое время обуздывать свой гнев, укрощать зависть и упорство; что свойства эти обнаруживаются благосклонностью не к одним друзьям своим и добрым людям, а тогда, когда кто, будучи обижен, забывает оскорбления и поступает милостиво с теми, кто перед ним проступился; что он желает доказать, что превосходит Гераклида не столько могуществом и благоразумием, сколько добротою и справедливостью, ибо в этом состоит истинное превосходство, что хотя бы никто из людей не оспаривал славы военных подвигов, однако счастье всегда их себе присваивает;

что если Гераклид неверен и злобен по зависти к нему, то и он не должен равномерно из гнева помрачать свою добродетель, ибо хотя мщение признано законами справедливее обиды, прежде нанесенной, однако по природе и то и другое есть произведение слабости; что сколь ни жестока и упряма злоба, однако свирепость ее простирается не до того, чтобы человек не переменился, побежденный оказанными ему многократно благодеяниями.

Основываясь на этих рассуждениях, Дион простил Гераклида. Потом, занявшись восстановлением укрепления, велел каждому сиракузянину срубить и принести по одной свае. Ночью между тем, как сиракузяне отдыхали, он привел своих воинов и заставил их окружить крепость палисадом. Как граждане, так и неприятели днем приведены были в удивление красотою и скоростью, с которой укрепление было воздвигнуто. Дион похоронил убитых сиракузян и выкупил тех, кто был взят в плен, которых было не менее двух тысяч. Он созвал народ. Гераклид предстал и предложил избрать Диона полководцем с полной властью над сухопутными и морскими силами. Лучшие граждане приняли с удовольствием это предложение и хотели избрать его; но морской и ремесленный народ зашумел, досадуя, что Гераклид теряет начальство над морскими силами; они думали, что, хотя Гераклид не стоил никакого уважения, однако он был благосклоннее к народу и покорнее Диона. Дион исполнил их желание: он возвратил Гераклиду начальство над морскими силами; но противился желанию их о раздаче домов и земель поровну, и, уничтожив прежде принятые о том постановления, он тем опечалил народ. Итак, Гераклид, воспользовавшись опять этим обстоятельством, старался привязать к себе отплывших с ним воинов и мореходов во время пребывания своего в Мессене и побуждал их против Диона, который будто бы хотел присвоить себе верховную власть. Между тем посредством спартанца Фарака он заключил тайно договор с Дионисием. Но первейшие сиракузяне начали это подозревать; в стане господствовал мятеж, следствием которого в Сиракузах был недостаток в съестных припасах. Дион уже находился в недоумении; самые его приятели укоряли его за то, что он возвысил к своей гибели Гераклида, человека дурных свойств, сварливого и испорченного завистью.

Когда Фарак остановился близ Неаполя, города акрагантской области, то Дион вывел сиракузян, но хотел дать ему сражение в другое время. Гераклид и его моряки кричали, что Дион не хочет решить войны сражением, но имеет намерение ее длить, дабы всегда начальствовать. Дион был принужден дать сражение и потерял его. Поражение не было важно; сами воины были тому виною, придя в расстройство от несогласия и раздора своего. Дион готовился вновь к сражению, приводил войско в порядок, побуждая его к битве. При наступлении ночи он получил известие, что Гераклид поднялся с якоря всем флотом и отплыл к Сиракузам с намерением завладеть этим городом, а ему и войску запереть ворота. Дион взял немедленно сильнейших и усерднейших воинов, ночью поскакал к городу и в третий час дня был уже у ворот его, пробежав семьсот стадиев. Гераклид, видя, что при всех своих усилиях опоздал, отплыл назад и блуждал без цели. Он встретил спартанца Гесила, который сказал ему, что он, как некогда Гилипп, отправлен из Спарты, дабы быть вождем сицилийцев. Гераклид принял его охотно, привязался к нему, как к орудию, служащему для избавления себя от Диона, и представил его союзникам. Он послал вестника в Сиракузы и требовал, чтобы граждане приняли спартанского предводителя. Дион отвечал, что у сиракузян довольно предводителей; что, впрочем, если обстоятельства требуют непременно спартанца, то он и сам спартанец, получив право спартанского гражданина. После того Гесил отказался от предводительства, а отправясь к Диону, примирил с ним Гераклида, который обязался самыми страшными клятвами сохранить верность Диону. Гесил также поклялся отомстить за Диона и наказать Гераклида, если он будет злоумышлять против него.

В то же время сиракузяне распустили морскую силу – ибо в ней не было уже нужды; при том содержание ее стоило много, а сверх того она подавала повод к раздору между начальниками. Осада крепости продолжалась после того, как укрепление было воздвигнуто. Никто не помогал осажденным; хлеба у них не было более; наемное войско было непокорно. Сын Дионисия, не имея более надежды держаться в крепости, заключил перемирие с Дионом, предал ему оный с оружием и другими приготовлениями и, снарядив пять триер, взял свою мать и сестер и отправился к отцу своему. Дион выпроводил его в безопасности. Ни один из жителей сиракузских не утерпел, чтобы не быть зрителем его отплытия; все они кричали и

жалели, что и отсутствующие не видели того дня и солнца, освещающего свободные Сиракузы. Если и доныне бегство Дионисия почитается величайшим и славнейшим примером превратности рока, то какова долженствовала быть тогдашняя радость сиракузян, и сколько могли гордиться те, кто с малыми пособиями низвергнул самое страшное из бывших когда-либо владений.

По отплытии Аполлократа Дион шел в крепость. Женщины не дождались, чтобы он вступил в оный; они выбежали за ворота крепости. Аристомаха вела сына Диона; Арета в слезах следовала за нею, не зная, как ей приветствовать и принять Диона, будучи в замужестве за другим. Дион обнял сперва сестру, потом сына. Аристомаха, подводя к нему Арету, сказала: «Дион! Мы были несчастны после твоего изгнания. Ты возвратился с победою и рассеял скорби всех нас, кроме ее одной. Я, несчастная, видела ее при жизни твоей принужденною быть женой другого. Теперь, когда судьба соделала тебя нашим властелином, то каких ты мыслей тогдашней необходимости? Должна ли она приветствовать тебя как дядю или как мужа?» Так говорила Аристомаха; Дион заплакал и обнял жену свою с нежностью. Он предал Арете сына и велел идти ей в дом его, в котором он сам имел пребывание после того, как предал крепость сиракузянам.

Достигнув цели своего намерения, он не прежде насладился настоящим благополучием, как оказавши друзьям благодарность и раздав союзникам подарки, а в особенности знакомым своим, как в Афинах, так и в войске, некоторые почести и награды; он превзошел своим великодушием силы свои. Между тем сам вел жизнь простую и воздержную, довольствуясь тем, что попало. Не только Сицилия и Карфаген ему удивлялись, но вся Греция обращала взоры на него в таком его благополучии. Хотя его современники никого не почитали столь великим, хотя никакого полководца мужество и счастье не являлись в таком блеске, однако Дион показывал такую кроткую умеренность в одежде, в прислугах, в столе, как будто бы он обедал всегда в Академии с Платоном, а не проводил времени среди иноземных воинов, которым ежедневные наслаждения и пресыщение служат утешением после трудов и претерпленных опасностей. Платон писал ему, что все люди во вселенной обращают взоры на одно место, но Дион, по-видимому, обращал взоры на одно предместье одного города – на Академию; он знал, что тамошние зрители и судьи не удивляются никакому подвигу, никакому смелому предприятию, никакой победе, но взирали только на то, пользуется ли он с благополучием и мудростью счастьем своим, ведет ли он себя умеренно и кротко среди дел великих. Впрочем, Дион нимало не старался уменьшить и смягчить свою важность в обхождении и непреклонную суровость к народу, хотя обстоятельства требовали, чтобы он был приятного обращения, и Платон, как я уже заметил, порицал его и писал ему, что своенравие есть спутница уединения. Но, по-видимому, Дион от природы был неспособен к приятности и угодливости и при том старался отвлечь сиракузян от крайнего своевольства и неги, к коим они привыкли.

Между тем Гераклид опять начал строить козни против него. Когда звали его в Совет, то он отказался идти туда под тем предлогом, что, как честный человек, он будет присутствовать в Собрании других граждан*. Потом обвинял Диона в том, что он не срыл крепости и не позволил народу сломать гробницу Дионисия и выбросить его прах, как народ того хотел; что он вызывает из Коринфа советников и правителей, не почитая граждан к тому способными. В самом деле Дион призывал коринфян, надеясь по прибытии их тем удобнее установить тот образ правления, о котором помышлял. Он имел намерение ограничить совершенную демократию, которая, по словам Платона, не есть правление, но торжище всех родов правления; составить и устроить правление по образу лаконскому и критскому, смешенное из народного правления и царской власти, в котором бы аристократия имела над всем надзор и управляла важнейшими делами. Он знал, что коринфское правление клонилось более к олигархии и что в немногих общественных делах требовали мнения народа. Будучи уверен, что Гераклид наиболее тому воспротивится, будучи человек беспокойный, переменчивый и мятежный, он побудил к умерщвлению его тех самых людей, которых прежде от того удерживал и которые того хотели. Они пришли в дом Гераклида и умертвили его. Смерть его причинила сиракузянам великое неудовольствие. Дион, сделав ему великолепные похороны, провожал мертвого с войском. Он говорил о том сиракузянам, и они уверились наконец, что город их не перестал бы никогда быть в беспокойстве, пока Гераклид и Дион вместе занимались общественными

делами.

При Дионе находился афинянин по имени Каллипп. Приятель его Платон говорит, что Дион познакомился с ним не по склонности к философии, но по мистагогиям и повседневному общению. Он провожал Диона в поход и был им уважаем; вместе с Дионом вступил он в Сиракузы прежде других его приятелей, с венком на голове. В военных действиях был он славен и знаменит. Видя, что лучшие друзья Диона погибли на войне и что по смерти Гераклида народ сиракузский оставался без предводителя, а воины Диона обращали внимание более всех на него, Каллипп решился на самое гнусное дело в полной надежде, что в награду за убийство друга своего достанется ему Сицилия. Некоторые уверяют, что он получил наперед от неприятелей двадцать талантов, которыми подкупил и испортил некоторых из иностранных воинов, употребив к тому самое коварное и злобное средство. Он доносил Диону речи воинов на его счет, действительно воинами произнесенные либо им самим выдуманные, и получил такую власть по причине доверия к нему Диона, что по приказанию его он говорил тайно с кем хотел с открытостью все то, что он думал о Дионе, дабы таким образом открыть тех, кто был к Диону неблагорасположен. Следствием этого ухищрения было то, что Каллипп вскоре отыскал и собрал всех злонамеренных и дурных людей. Если же кто не принимал его речей и объявлял о том Диону, то тот советовал ему не тревожиться и не негодовать, ибо Каллипп поступает так, как ему приказано.

Между тем, как заговор созрел, Дион увидел страшный и чудовищный призрак. Он сидел под вечер в одной галерее своего дома один, погруженный в задумчивость. Вдруг послышался ему шум; он оглянулся в обе стороны галереи – было еще светло – и увидел женщину высокую, одеждой и лицом нимало не отличавшуюся от представляемых на театре Эринний; она держала метлу и мела дом. Дион, ужаснувшись, оробел, призвал своих друзей и рассказал им виденное. Он просил их оставаться при нем и спать вместе с ним, будучи в совершенном исступлении и боясь, чтобы чудовище вновь не явилось очам его, когда бы он остался один. Но этого более не случилось. По прошествии немногих дней сын его, который выходил уже из детского врозраста, с печали и досады, началом которых была какая-то ребяческая шутка, бросился с кровли и умертвил себя*.

В сем положении Диона Каллипп еще более приступал к совершению злодеяния; он рассеял слух среди сиракузян, что Дион, оставшись бездетным, решился призвать Аполлократа, сына Дионисия, и сделать его своим наследником, ибо он был племянником жены и внуком сестры его. Уже Дион и женщины начали подозревать Каллиппа; доносы доходили к ним со всех сторон; но Дион, по-видимому, раскаявшись в поступке своем с Гераклидом и почитая его убиение некоторым пятном жизни и деяний своих, досадуя всегда и скучая, много раз говаривал, что он готов умереть и что предает себя умертвить тому, кто только хочет, если уже надлежит ему жить и остерегаться не только своих врагов, но и своих друзей. Каллипп, видя, что женщины делали тщательные разыскания по этому делу, устрашился и пришел к ним со слезами, опровергая доносы, против него учиненные, и обещал дать им такое ручательство, какое они хотят. Они требовали, чтобы он дал им великую клятву. Она состоит в следующем: тот, кто клянется приходить в храм богинь Фесмофор и по принесении некоторых жертв надевает на себя порфиру богини, берет зажженный факел и произносит клятву. Каллипп совершил эти обряды; он произнес клятву, но до того над богами смеялся, что, дождавшись праздника Коры, той самой богини, которой он клялся, совершил убийство. Он не уважил, может быть, дня богини потому, что нечестие против нее было бы всегда неизбежно, хотя бы сей мистагог и в другое время умертвил ее миста.

Участниками в заговоре были многие. Дион сидел вместе с друзьями своими в горнице, где была ложа для сидения. Из заговорщиков одни окружили снаружи дом, другие стали у дверей дома и окошек дома. Закинфийцы, которым надлежало нанести удар, вступили к Диону в хитонах без мечей.

В то же время бывшие вне заперли и стерегли двери; другие бросились на Диона, старались его задушить, но, не имея в том успеха, они просили меч. Никто не смел открыть дверей, ибо внутри при Дионе было много людей; но каждый думал, что предав его, будет в состоянии спасти себя – и потому не смели ему помочь. Произошла некоторая медленность – между тем сиракузянин Ликон подал в окошко одному закинфийцу меч, и этим мечом

умертвили Диона*, который долго был в руках их и трепетал, подобно жертве, назначенной к закланию.

Немедленно после того бросили в темницу сестру его и супругу, которая была беременна. Арета в темнице с великим трудом разрешилась от бремени мальчиком, которого сии женщины решились вскормить, убедив к тому тюремщиков, что оказалось нетрудным, так как дела Каллиппа уже находились в сомнительном положении.

Каллипп сначала, умертвив Диона, был силен и обладал Сиракузами; он писал о том в Афины, город, которого после богов ему надлежало более всех бояться и уважать, осквернивши себя таким злодеянием. Но, по-видимому, справедливо сказано, что город сей производит мужей превосходнейших по своей добродетели и самых дурных по своим порокам – подобно земле Аттики, которая производит и лучший мед и самую ядовитую цикуту. Каллипп недолго заставил жаловаться на судьбу и на богов за то, что они оставляли без наказания человека, который своим беззаконным поступком приобрел себе такую силу и власть. Скоро получил он достойное наказание. Он хотел взять Катану, но в то время лишился и Сиракуз. При этом случае, говорят, он сказал: «Я потерял город и приобрел терку»*. Он учинил нападение на мессенцев и потерял большую часть воинов, в числе которых были и те, кто умертвил Диона. Ни один город в Сицилии не принимал его к себе, все его ненавидели и отвергали. Наконец он занял Регий. Он находился в дурном положении, с трудом содержал наемное войско и наконец был убит Лептином и Полисперхонтом, по случайности – тем самым мечом, которым, говорят, поражен был Дион. Меч сей узнали по величине. Он был короток, подобно лакедемонскому, но сделан весьма искусно и красиво. Такое-то Каллипп получил возмездие за свое злодейство.

Что касается до Аристомахи и Ареты, то они были выпущены из темницы. Сиракузянин Гикет, который был один из приятелей Диона, принял их к себе и оказывал им приличное уважение; но убежденный словами неприятелей Диона, приготовил корабль под тем предлогом, что намерен отправить их в Пелопоннес, и на пути велел их умертвить и бросить в море. Иные говорят, что они потоплены живые, а вместе с ними и дитя Ареты. Гикет также получил достойное наказание за свои преступления: он был пойман и умерщвлен Тимолеонтом. Сиракузяне умертвили и двух дочерей его, мстя за Диона, как сказано подробнее в жизнеописании Тимолеонта.

Брут

Предком Марка Брута был Юний Брут, которому римляне воздвигли среди кумиров царей своих медный кумир с обнаженным мечом, для показания того, что он совершенно низложил Тарквиниев. Древний Брут, подобно закаленному железу, будучи от природы свойств жестоких и не смягченных учением, увлечен яростью к тираннам до убийства продных сыновей. Что касается до Брута, которого здесь описываем жизнь, то он усовершенствовал душу учением и правилами философии и, возбудив к великим предприятиям свойства свои важные и кроткие, имел лучшие расположения ко всему тому, что похвально и пристойно. И даже те, кто ненавидит его за заговор против Цезаря, приписывают ему все то, что в том поступке благородно, а все дурное и жестокое Кассию, который был другом Брута, но не имел простодушия и чистоты Брутовой души. Сервилия, мать Брута, производила род свой от Сервилия Ахалы*. Когда Спурий Мелий стремился к единовластию и возмущал народ, то Ахала пришел в Народное собрание, имея под мышкою кинжал, стал близ Мелия, как будто бы хотел с ним говорить, и когда Мелий к нему наклонился, то он поразил его кинжалом и умертвил. Все согласны в том, что Брут происходит от этого Сервилия, но те, кто не любит Брута и не благорасположен к нему за убиение Цезаря, уверяют, что он не происходит от Брута, который изгнал Тарквиниев, ибо род его пресекся умерщвлением детей его, но от некоего плебея, сына управителя Брута, и незадолго перед тем достигнул начальства. Философ Посидоний пишет, что только взрослые дети Брута погибли, так как повествуется о них, но что остался один младенец, от которого происходил род* Марка Брута, что некоторые из современных ему знаменитых мужей этого рода имели сходство в лице с Брутовым кумиром. Но этого довольно касательно его происхождения.

Сервилия, мать Брута, была сестрой философа Катона, которого более всех римлян Брут

принял себе в образец; он был ему дядя, а потом сделался тестем его. Можно вообще сказать, что не было ни одного греческого философа, который был бы чужд Бруту и которого бы он не был слушателем, но преимущественно он прилепился к философии Платона. Он не был слишком привержен к Новой и Средней Академии, но более любил Древнюю. Он оказывал особенное уважение Антиоху из Аскалона, брат Арист которого был Бруту другом и жил вместе с ним. Хотя Арист уступал в красноречии многим философам, но благопристойной жизнью и кротостью души равнялся с первейшими. Эмпил (о котором часто упоминается в письмах Брута и его приятелей как о человеке, жившем вместе с ним) был оратором и оставил малое, но не дурное сочинение под заглавием «Брут», касательно убиения Цезаря.

Брут был одарен способностью говорить с обилием на латинском языке в делах общественных. Но на греческом он старался показывать некоторую важность и краткость лаконскую, которая видна из некоторых его писем. Например, уже в начале войны он писал пергамцам: «Я слышу, что вы дали денег Долабелле. Если вы выдали их по своей воле, то признайтесь, что это мне обидно; если против воли, то докажите это, давши мне добровольно». Самосцам он писал: «Совещания ваши недеятельны; пособия медленны, рассудите, какой последует конец». Им же пишет о патарцах: «Ксанфии, презрев мои благодеяния, своим безрассудством сделали отечество гробом своим. Патарцы, доверившись мне, пользуются совершенной независимостью. Вы можете избрать либо совет патарцев, либо участь ксанфиев». Таков слог известнейших его писем.

Будучи еще весьма молод, он отправился вместе с дядей на Кипр против Птолемея. Когда тот умертвил сам себя, то Катон, пребывая на Родосе по нужным делам, послал на Кипр одного из друзей своих по имени Канидий для хранения денег царских. Но боясь, что Канидий не воздержится от похищения, Катон писал Бруту, чтобы он поехал немедленно на Кипр из Памфилии, где он находился для поправки своего здоровья после болезни. Брут послушался приказания, хотя и против воли своей; он стыдился Канидия, отверженного Катоном с бесчестием, и как молодой человек любящий учение, почитал данное ему поручение неблагородным и неприличным себе. Однако он и в этом случае оказал себя усердным и заслужил похвалу Катона. Имение Птоломея было превращено в деньги, и Брут отправился в Рим с большей частью денег.

Когда Помпей и Цезарь, будучи в раздоре, принялись за оружие, и держава римская была возмущена, то казалось, что Брут изберет сторону Цезаря, ибо отец его был прежде умерщвлен по приказанию Помпея*. Несмотря на сие, Брут, имея правилом предпочитать общественные дела частным и признавая причину Помпея к войне справедливее Цезаревой, присоединился к Помпею, хотя прежде, встречаясь с ним, не приветствовал его, почитая великим преступлением говорить с убийцею отца своего. Однако тогда, покорствуя Помпею как правителю отечества, отплыл он в Сицилию в качестве легата при Сестии, которому эта провинция досталась по жребию. Но как в Сицилии нельзя было произвести ничего важного, и уже Цезарь и Помпей сошлись, дабы решить сражением судьбу Рима, то Брут прибыл в Македонию добровольно для принятия участия в военных трудах. Говорят, что Помпей был так доволен и до того удивлен его поступком, что когда Брут приблизился к нему, то он встал и в присутствии всех обнял его как знаменитейшего человека. В походе Брут все время, в которое не находился при Помпее, проводил с книгами в ученых упражнениях. Он занимался этим и перед последним большим сражением. Тогда была средина лета, жара была нестерпимой, войско стояло при местах болотистых. Бруту долго не несли шатер служители его; он утомился от трудов; насилу мог около полудня мазаться маслом, немного поел и, между тем как другие спали или были заняты мыслями и заботами о будущем, Брут писал до вечера, занимаясь сокращением «Истории» Полибия.

Говорят, что Цезарь в это самое время заботился о нем и приказал наперед своим военачальникам, чтобы они не убивали в сражении Брута, но щадили его, чтобы они поймали его, если он сдастся добровольно, а если будет противиться и сражаться, то оставить его и не принуждать. Он поступал таким образом из уважения к матери Брута, Сервилии. Цезарь знал, что в молодости своей Сервилия была страстно влюблена в него и что в то самое время, как любовь их была во всей силе, родился Брут; по этой причине он полагал отчасти, что Брут рожден от него. Говорят, что когда сенат занимался важнейшими делами касательно Катилины,

заговор которого едва не погубил республику, то Катон и Цезарь стояли и спорили между собою. В то самое время принесено было Цезарю малое письмо; он читал его с молчанием. Между тем Катон кричал, что Цезарь поступает обидно, принимая письма от неприятелей, многие также шумели. Цезарь подал Катону письмо, и Катон прочитал его; оно было неблагопристойного содержания и писано сестрою его Сервилией. Катон бросил его Цезарю, примолвив: «Держи, пьяница!» Потом опять обратился к прежнему предмету. Так-то страсть Сервилии к Цезарю была в Риме известна!

После проигранного при Фарсале сражения Помпей удалился к морскому берегу; между тем стан был осажден; Брут неприметно пробрался воротами, ведущими к месту болотистому, покрытому водою и заросшему тростником. Ночью убежал он в Лариссу, откуда писал Цезарю, который обрадовался, узнав, что Брут был жив, он вызвал его к себе и не только простил его, но имел его при себе в числе тех, кого он наиболее уважал. Никто не мог сказать, куда убежал Помпей, все были в недоумении; Цезарь, едучи дорогою вместе с одним Брутом, спрашивал его мнения. По некоторым догадкам Брута показалось Цезарю, что он лучше всех судил о бегстве Помпеевом и потому, оставя все другие советы, он направил путь свой к Египту. Помпей, как справедливо догадался Брут, пристал к берегам Египта, где и совершилось над ним определение судьбы.

Брут смягчил Цезаря по отношению к Кассию. Он защищал и галатского царя Дейотара, но важность обвинений превозмогла над ним. Несмотря на то, Бруту удалось просьбами своими сохранить Дейотару большую часть его царства. Говорят, что Цезарь, слыша его речи в первый раз, сказал друзьям своим: «Не знаю, чего хочет этот молодой человек, но чего уж хочет, того хочет сильно, по твердости души своей». Брут нелегко и не всякого просителя слушался из угождения; он исполнял лишь то, о чем рассудил, и свободная воля находила достойным; но обратившись к чему-нибудь, действовал с жаром и стремлением. Он был непреклонен к несправедливым требованиям и не смягчался лестью. Почитая постыдным для человека великого быть побежденным просьбами людей, бесстыдно просящих, – что иные называют стыдливостью и робостью – он обыкновенно говаривал, что те, кто не умеет отказывать ни в чем, по его мнению, нечестно провели свою молодость.

Цезарь, отправляясь в Ливию против Катона и Сципиона, поручил Бруту Предальпийскую Галлию – к счастью этой провинции, ибо все другие области по наглости и алчности тех, которым вверено было управление их, были разоряемы как земли, покоренные войною. В то же время Брут старался о прекращении прежних бедствий Галлии и был утешением жителей ее, благодарность их всю относил он к Цезарю. Когда тот, по возвращении своем, путешествовал по Италии, то города, бывшие под управлением Брута, были для него приятнейшим зрелищем; сам Брут причинил ему удовольствие своим приятным сообществом и старанием об умножении его славы.

Тогда было несколько преторских должностей. Виднейшую из них, которая называется городской*, казалось, следовало получить Бруту или Кассию. Одни говорят, что они по прежним причинам были в тайной между собою ссоре, которая умножилась от этого домогательства, несмотря на то, что были связаны родством, ибо сестра Брута была в замужестве за Кассием. Другие уверяют, что раздор их произведен самим Цезарем, который тайно обнадеживал то одного, то другого в своей к нему милости. Он распалил их до такой степени, что они были в явной между собою вражде. Слава и добродетели Брута были в борьбе с блистательными и смелыми подвигами Кассия против парфян*. Цезарь слышал их речи и, рассуждая о требованиях их со своими друзьями, сказал: «Требования Кассия справедливее, но должно дать Бруту предпочтение». Кассий получил другую претуру, и не столько был благодарен за то, что ему досталось, сколько был гневен за то, которого не получил.

Брут пользовался могуществом Цезаря столько, сколько хотел. От него зависело быть первым другом Цезаря и сильнейшим при нем человеком, но сообщество Кассия его от того отвлекло. Хотя он с ним еще не примирился после первой их ссоры, однако друзья его советовали ему не допускать, чтобы ласки Цезаря прельщали и смягчали его, избегать тираннской благосклонности и милости, которыми он не столько чтил его добродетели, сколько ослаблял твердость и унижал дух.

Между тем Цезарь не был совершенно без добродетели относительно к Бруту – ему

доносили на него; и хотя Цезарь боялся возвышенных чувств, важности и друзей его, однако имел доверие к его нраву. Когда сказали ему, что Антоний и Долабелла помышляют о новых беспокойствах, то он сказал, что не эти жирные и хорошо приглаженные его беспокоят, но бледные и сухие, намекая на Брута и Кассия. Некоторые донесли ему некогда на Брута и советовали беречься его. Цезарь, коснувшись рукою груди, сказал: «Ужели вы думаете, что Брут не дождется этого куска мяса…» Этим показывал он, что после него Бруту более, нежели кому-нибудь, было назначено иметь великую силу. В самом деле, Брут, без сомнения, сделался бы первым человеком в Риме, когда бы утерпел несколько времени быть вторым после Цезаря, позволив бы силе его истощиться и увянуть славе, приобретенной победами. Но Кассий, человек стремительный и пылкий, более ненавидящий Цезаря, нежели тираннию, воспламенил и возбуждал Брута. В самом деле, Бруту несносна была власть, а Кассий ненавидел властелина. Он имел многие причины к неудовольствию на него, между прочим и ту, что Цезарь отнял у него львов, которых Кассий закупил заранее, намереваясь занять должность эдила. Они оставлены были в Мегарах и достались Цезарю, когда город был взят Каленом*. Эти звери причинили великую гибель мегарянам. Когда неприятель завладел городом, то жители сломали замки и разбили цепи львам, надеясь, что они воспрепятствуют вступлению неприятеля. Но звери устремились на самих жителей, рвали их на части, когда они бегали безоружными, так что и в самих неприятелях сие зрелище возбудило сострадание.

Такова, по мнению некоторых, была причина злоумышления Кассия на Цезаря. Но это несправедливо. С самого начала Кассий имел природную ненависть, злобу к тираннам, которая обнаружилась еще в детстве. Он ходил в одно училище с сыном Суллы Фавстом. Тот говорил с великой надменностью в кругу других детей, превознося единовластие своего отца. Кассий встал со своего места и бил его кулаками. Опекуны и родственники Фавста хотели подать на него в суд и начать тяжбу, но Помпей их удержал. Он призвал к себе Кассия и Фавста и спрашивал у них, как дело происходило. Говорят, что Кассий сказал тогда: «Ну, Фавст, осмелься только при нем выговорить те слова, за которые я рассердился, и я опять разобью тебе лицо». Таких свойств был Кассий!

Между тем слова приятелей, письма и похвалы граждан призывали и побуждали Брута к делу. На кумире Брутова предка, низложившего власть Тарквиниев, они писали: «О, если бы и ныне был Брут!» или «О, когда бы жил Брут!». В продолжение его претуры трибуна наполнена была ежедневно записками со следующими словами: «Брут, ты спишь!», или: «Нет! Ты не настоящий Брут!». Виною всему этому были Цезаревы льстецы, которые выдумывали для него разные новые почести, возбуждавшие зависть, и на его кумиры наложили ночью диадему, дабы тем приманить народ приветствовать его царем вместо диктатора. Но последовало тому противное – как сказано подробнее в жизнеописании Цезаря.

Когда Кассий начал испытывать мысли друзей своих касательно заговора против Цезаря, то все изъявили свое согласие, если только Брут будет предводителем их, ибо к предприятию этого дела они имели нужду не в руках или смелости, но в знаменитости такого мужа, каков был Брут, который нанес бы первый удар и своим присутствием утвердил справедливость этого дела; в противном случае они при совершении дела не будут иметь бодрости, а, совершив оное, будут более подозреваемы, ибо народ стал бы думать, что Брут не отказался бы от этого дела, когда бы побудительная причина его была похвальна.

Кассий, рассудив о том, первый начал говорить с Брутом после бывшего между ними раздора. Примирившись и оказав друг другу ласки, Кассий спрашивал его: «Намерен ли ты присутствовать в сенате в новолуние месяца марта? Я узнал, что друзья Цезаря будут предлагать о провозглашении его царем». Брут сказал, что не будет в сенате. «Но если позовут нас?» – спросил Кассий. «Мое дело уже, – отвечал Брут, – не молчать далее, но защищать свободу и умереть за нее». Кассий, ободренный этими словами, сказал ему: «Какой римлянин утерпит, чтобы ты умер за свободу прежде его? Ужели ты не знаешь себя, Брут? Или ты думаешь, что твое преторское седалище бывает расписано ткачами и винопродавцами, а не первейшими и лучшими мужами? Они от других преторов требуют раздачи денег, театров и гладиаторов, от тебя же, Брут, требуют как долг отеческий – уничтожения тираннии. Они все готовы для тебя терпеть, если ты окажешь себя таким, каким желают и ожидают тебя». С этими словами Кассий обнял Брута. Примирившись таким образом между собою, они обратились к

друзьям своим.

Гай Лигарий был из числа Помпеевых друзей, за что был он обвиняем перед Цезарем, который простил его. Однако Лигарий не столько был благодарен Цезарю за оказанное ему снисхождение, сколько был ему врагом, ненавидя ту власть, от которой находился в опасности погибнуть. Он был близкий друг Бруту. Некогда Брут посетил его в болезни и сказал ему: «О, Лигарий! В такое-то время ты болен!» Лигарий привстал, опершись на свой локоть, взял его за руку и сказал: «Брут! Если ты помышляешь о чем-либо достойном себя – то я здоров!»

Испытывая мысли своих знакомых, на которых могли полагаться, они сообщили им свое намерение и делали их участниками заговора. Они выбирали не одних своих приятелей, но и тех, которые были известны, как люди отважные и презирающие смерть. По этой причине, хотя к Цицерону имели они великое доверие, хотя любили его более всех, однако утаили от него заговор: они боялись, чтобы к природной робости Цицерона не присоединилась старческая осторожность и чтобы он, желая привести мыслями своими в совершенную безопасность всякое обстоятельство, не охладил жара их ревности в исполнении дела, требующего быстроты. Брут пропустил из числа друзей своих и Статилия, эпикурейского философа, и Фавония, подражателя Катона. Во время разговора с ними и философских бесед Брут старался издалека выведать их мысли. Фавоний был того мнения, что междоусобная война хуже беззаконного единоначалия; Статилий сказал: «Здравомыслящему и разумному человеку не прилично беспокоиться и подвергаться опасностям за дурных и безрассудных людей». Лабеон, в присутствии которого происходил сей разговор, противоречил тому и другому. Брут тогда замолчал под предлогом, что трудно было решить их спор, но впоследствии сообщил Лабеону свое намерение, которое принято им охотно. Решено было приобщить к числу заговорщиков другого Брута, прозванного Альбином*, хотя он не был человек предприимчивый и смелый, однако имел великую силу по причине множества гладиаторов, которых содержал для увеселения римлян. Цезарь имел к нему доверие. Когда Кассий и Лабеон говорили о том Альбину, то он ничего им не отвечал, но, встретив наедине Брута и узнав, что он глава этого предприятия, объявил, что будет ревностно ему содействовать. Брутова слава привлекла великое число важнейших мужей к предприятию участия в деле сем. Они не связались клятвою, не дали друг другу слов верности с приношением жертвы, но так умели скрыть в себе самих свое намерение, что хотя заговор был предзнаменуем богами посредством гадания, призраков и жертв, однако никто не верил, чтобы оный существовал.

Брут чувствовал, что первейшие римляне, известные своими высокими чувствами, родом и добродетелями, были в зависимости от него, понимая всю опасность, которая им угрожала, старался вне дома казаться спокойным и твердым, но дома, особенно ночью, он не мог быть таковым. Часто заботы против воли его побуждали от сна, часто, предаваясь глубокой задумчивости и представляя себе трудности, сопряженные с этим предприятием, не мог скрыть от жены своей, которая покоилась вместе с ним, что он преисполнен необыкновенного смятения и вращал в уме своем какую-нибудь мысль, тяжкую и трудную к исполнению.

Порция, как выше сказано, была дочерью Катона; Брут, который был ему племянником, женился на ней по смерти первого мужа ее*. Она была еще молода и имела от него малолетнего сына, по имени Бибул. Поныне существует книга, им написанная, под названием «Воспоминания о Бруте». Порция, женщина мудрая, любящая мужа своего и исполненная высоких чувств и ума, не прежде решилась спросить у мужа своего о тайных его помышлениях, как по испытании самой себя следующим образом. Она взяла ножик, которым стригут ногти брадобреи, велел выйти из своей комнаты всем прислужницам своим и сделала сама в своем бедре глубокую рану. Кровь полилась рекой, вскоре почувствовала она страшные боли и сильный от раны происходящий жар. Брут был в беспокойстве и в великой горести. Порция среди самой сильной боли сказала ему следующее: «Брут, я дочь Катона, я перешла в твой дом не для того, чтобы, подобно наложницам участвовать в твоем ложе и столе, но дабы разделить с тобою радости и печали. Твое поведение по отношению ко мне совершенно беспорочно, но какое доказательство любви и благодарности могу дать тебе, если я не разделяю с тобой тайных твоих страданий и забот, имеющих нужду в доверии? Я знаю, что женщина, по природе своей, не имеет твердости к сохранению тайны, но, Брут, хорошее воспитание и обращение с добродетельными людьми имеют на свойства человека некоторое влияние. Я дочь Катона и

сверх того жена Брута. Я испытала себя в том, в чем сама на себя не полагалась; а ныне узнала, что и самая сильная боль не может победить меня». Сказав это, она показала ему рану и рассказала опыт, проделанный над самой собою. Брут был поражен изумлением, он поднял руки к небу и молился богам, да позволят они ему совершить счастливо сей подвиг и тем явиться достойным мужем Порции! После того он приложил старание к исцелению ее.

Когда назначено было собраться сенату, в заседании которого полагали, что и Цезарь хотел присутствовать, то заговорщики решились совершить свое намерение. Они думали, что только в этом случае могли быть вместе, не возбуждая подозрения, и что все знаменитейшие и первейшие мужи будут находиться вместе с ними и по совершении великого дела немедленно объявят себя защитниками свободы. Казалось им при том, что самое место было предлагаемо им богами и благоприятствовало им. То была зала в одной из бывших вокруг театра галерей, в ней стоял кумир Помпея, воздвигнутый ему городом, после того он украсил сие место галереями и театром. Сюда созван был сенат в середине марта месяца – в день, который называется мартовскими идами. Казалось, некоторое божество ведет Цезаря для наказания перед Помпеем.

С наступлением дня Брут вышел из дома, подпоясавшись кинжалом, о котором знала лишь одна супруга его, другие заговорщики собрались в доме Кассия и повели на площадь сына его, который тогда надел так называемую тогу совершеннолетнего человека. С площади они пошли в галерею Помпея, где и оставались в ожидании скорого прибытия Цезаря в сенат. Здесь, по справедливости, мог бы удивиться хладнокровию сих мужей и спокойствию их среди опасности тот, кто знал их намерение. Многие из них, будучи преторами и долженствуя заниматься общественными делами, не только слушали с кротостью просителей и тяжущихся, как бы их мысли были совершенно свободны, но каждый из них судил и решал дела в полном уме и с надлежащим вниманием. Когда кто-то из осужденных не хотел покориться решению Брута и кричал, что он на то не согласен, и хотел перенести дело к Цезарю, то Брут, взглянув на предстоявших, сказал: «Мне Цезарь не запрещает поступать по законам и никогда не запретит».

Впрочем, случай навел им тогда многие беспокойства. Первое и главное было то, что Цезарь медлил прийти в сенат, хотя прошло уже несколько часов: жертвоприношения были не благознаменательны, и потому супруга его удерживала его дома, а прорицатели запрещали выходить. Во-вторых, некто из знакомых Каски подошел к нему, взял его за руку и промолвил: «Ты от меня скрывал тайну, Каска, но Брут все мне объявил». Каска был приведен в изумление, но приятель его засмеялся и продолжал: «Да откуда же ты, счастливец, так скоро разбогател, что хочешь домогаться эдильства?» Вот как близок был Каска, обманутый двусмыслием, обнаружить тайну! Попилий Ленат, муж сенаторского достоинства, приветствовал Брута и Кассия с изъявлением отличного усердия, шепнул им на ухо: «Желаю вам совершить то, что у вас на уме, и советую не медлить; дело уже не есть тайна».

Сказав это, он отстал от них, внушив им сильное подозрение, что предприятие их было обнаружено.

В то же время кто-то прибежал к Бруту из дома и возвестил ему, что жена его умирает. Порция, будучи погружена в горесть и не в силах перенести великость беспокойства, едва могла удержать себя дома; при малейшем шуме или крике, подобно женщинам, объятым вакхическим исступлением, она вспрыгивала, спрашивала каждого, кто приходил с площади, что делает Брут, посылала людей одного за другим, наконец, силы телесные не могли выдержать долго продолжавшегося душевного беспокойства – она ослабела и истощилась. Порция была вне себя от неизвестности. Она не успела войти в горницу, но опустилась и впала в некоторое исступление и обморок – цвет лица ее изменился, голос совершенно исчез. Рабыни ее при виде сем издали громкие вопли, соседи собрались к дверям дома ее, вскоре распространился слух, что она умерла, однако вскоре искра жизни возожглась в ней: она пришла в себя, и женщины имели о ней попечение. Брут, получив это известие, был встревожен, однако горесть не заставила его отстать от общего дела, чтобы в страсти обратиться к домашнему беспокойству.

Уже дано было знать заговорщикам, что приближается Цезарь, несомый на носилках. Он имел намерение по причине неблагознаменательных жертвоприношений ничего важного не утверждать в сенате, но отложить дела до другого времени под предлогом болезни. Как скоро

он встал с носилок, то Попилий Ленат, который прежде пожелал Бруту и Кассию доброго успеха в своем предприятии, бросился к нему и говорил с ним долго; Цезарь стоял и слушал его с вниманием. Заговорщики – назовем их этим именем – не могли слышать его слов, но догадывались по подозрению, которое имели на него, что целью этого разговора был донос на их умысел. Бодрость их упала; они взглянули друг на друга, подавая друг другу знак лицом – не дожидаться того, чтобы поймали их, но немедленно умереть от собственной руки своей! Уже Кассий и некоторые другие наложили руки на рукояти и извлекли кинжалы, бывшие под тогами; но Брут заключил по виду Лената, что он просил Цезаря настоятельно, а не доносил на кого-либо; он ничего не сказал своим товарищам, ибо среди них находилось много посторонних людей, но веселым лицом успокоил их. Через минуту Ленат поцеловал руку Цезаря и удалился; он тем явно доказал, что говорил с Цезарем о себе и о собственных делах своих.

Между тем сенат собрался в зале; некоторые из заговорщиков окружили стул Цезаря, как будто бы хотели с ним говорить; Кассий, говорят, обращаясь лицом к кумиру Помпея, призывал его, как бы он его понимал. Требоний повел Антония к дверям и на долгое время задержал его разговором вне залы.

При вступлении Цезаря сенаторы встали; когда он сел, заговорщики немедленно окружили его и пустили вперед Туллия Кимвра, который просил за изгнанного брата своего. Они все умоляли Цезаря вместе с Кимвром, брали его за руки, целовали его в голову и грудь. Цезарь сперва отвергал их моления, но как они не отставали, то он вскочил, и в то же время Туллий обеими руками сорвал с плеч его тогу; Каска, стоявший позади его, первый обнажил меч и поразил его в плечо неглубоко. Цезарь схватил за рукоять меч его и вскричал на латинском языке: «Изверг Каска, что ты делаешь?» Каска на греческом языке звал брата своего и просил у него помощи. Цезарь, уже поражаем многими, озирался кругом и хотел вырваться сквозь них, как увидел Брута, извлекающего меч против него; тогда он выпустил руку Каски, которую держал, покрыл голову тогою и предал свое тело ударам их. Заговорщики в тесноте, нанося многие удары мечами на одно тело, поражали друг друга, так что и Брут получил рану в руку, содействуя другим в совершенстве убийства; все они были обрызганы кровью.

Таким образом был убит Цезарь. Брут, став в средине, хотел говорить и старался ободрить сенат; но сенаторы от страха предались беспорядочному бегству; у дверей происходил шум и началась давка, хотя никто не гнался за ними, не принуждал их выйти, ибо было принято твердое намерение не убивать никого более, но призывать всех к свободе. Однако все заговорщики изъявили желание при совещании своем предприятия умертвить еще и Антония, человека наглого, преданного единовластию и приобретшему в войске силу коротким обхождением с воинами; он был от природы смел и предприимчив и при том имел тогда консульскую власть, будучи товарищем Цезаря в сем достоинстве. Но Брут противился этому намерению, во-первых, опираясь на справедливость, во-вторых, имея надежду, что Антоний переменится, ибо полагал, что он как человек, одаренный великими способностями, любивший честь и славу, как скоро не станет Цезаря, будет содействовать отечеству в приобретении свободы, увлеченный примерами других к тому, что было похвально. Таким образом Брут спас Антония, который в тогдашнем ужасе надел простое платье и бежал.

Брут и его приятели направили свое шествие на Капитолий; имея руки окровавленные и показывая обнаженные мечи, они призывали граждан к освобождению. Шум и крик раздавался по городу; бегающий взад и вперед народ умножал смятение. Но как никто не был убиваем и ничьих вещей не грабили, то сенаторы и многие из плебеев, ободрившись, взошли на Капитолий, где находились заговорщики. Собрался народ, и Брут говорил речь, приличную совершившемуся делу, стараясь успокоить народ. Граждане одобряли его и кричали ему, чтобы он сошел вниз. Заговорщики, ободрившись, сошли на форум; они следовали один за другим, но многие из знаменитейших граждан окружили Брута, провожали его торжественно с Капитолия и привели на трибуну. Народ, хотя и состоял из смешанной толпы граждан и имел намерение шуметь, однако видом этим приведен был в страх; все ожидали будущего чинно и безмолвно. Брут предстал; все утихли и дали ему говорить. Что не всем нравилось случившееся, это обнаружилось тем, что когда Цинна начал говорить и обвинять Цезаря, то они пришли оттого в сильный гнев и ругали Цинну. Это заставило заговорщиков опять уйти на Капитолий. Брут,

боясь осады, отослал назад отличнейших мужей, которые сопровождали его; он не хотел, чтобы они подвергались тем же опасностям, когда не участвовали в вине его.

На другой день сенат собрался в храме Земли. Антоний, Планк и Цицерон говорили о всепрощении и единодушии. Определено было не только, чтобы заговорщикам была предоставлена свобода, но чтобы консулы предложили мнение, какие почести им оказать. Постановив это, сенаторы разошлись. Антоний послал на Капитолий сына своего в залог, Брут с другими заговорщиками вышел оттуда. Тогда все, смешавшись с ними, приветствовали их и брали за руки. Антоний принял к себе в дом и угостил Кассия; Лепид угощал Брута; остальные угощаемы были другими, смотря по тому, как связаны с кем-либо узами дружбы и знакомства. На другой день поутру сенат опять собрался; сперва определены были Антонию почести за то, что укротил начало междоусобных браней; потом изъявлена была благодарность Бруту и его товарищам; наконец последовало разделение провинций: Бруту назначен был Крит, Кассию – Ливия, Требонию – Азия, Кимвру – Вифиния, другому Бруту – Галлия, при Эридане лежащая.

За этим рассуждаемо было о завещании и о погребении Цезаря. Антоний требовал, чтобы завещание было прочтено, а тело его было вынесено не тайно и с честью, дабы не раздражать народ. Кассий сильно тому противоречил; но Брут уступил желанию Антония и согласился с ним; это – вторая ошибка Брута. Он был порицаем за то, что пощадил Антония и воздвигнул против заговорщиков страшного и непреодолимого противоборника; позволение же, данное Антонию, похоронить Цезаря так, как он хотел, была также весьма важная ошибка. В завещании Цезаря отказываемо было каждому римлянину по семидесяти пяти драхм; народу оставлены были и сады, лежащие за рекою, где ныне храм Фортуны. Это обстоятельство возбудило в гражданах удивительную благосклонность и любовь к умершему. Когда же тело Цезаря было принесено на форум, и Антоний, по обыкновению говоря над умершим похвальную речь и заметя, что толпы народа были ею тронуты, начал возбуждать в них жалость, взяв окровавленное платье Цезаря, раскрыл его и показывал на нем проколотые места и множество ран. Уже не было более никакого порядка и устройства: одни кричали, что должно умертвить убийц, другие, как было некогда при демагоге Клодии, срывая стулья и столы с лавок, сносили их в одно место и составили огромный костер, на который положили мертвое тело и сожгли его среди многих храмов, среди священных и неприкасаемых мест. Как скоро пламя поднялось, то многие граждане с разных сторон бросились, схватили горящие головни и бегали к домам убийц Цезаря с намерением их сжечь. Но заговорщики, укрепившись в них заранее, отразили опасность.

Некий гражданин по имени Цинна, занимавшийся стихотворством, не только не участвовавший в убийстве Цезаря, но бывший ему другом, увидел во сне, что Цезарь звал его к ужину, но что он от того отказывался; Цезарь просил его, принуждал и наконец взял за руку, привел в место, преобширное и мрачное; он следовал за ним против воли, исполненный изумления. В ту ночь, когда увидел он сон сей, сделался ему жар, однако поутру, когда тело было вынесено, стыдясь не присутствовать при погребении Цезаря, вышел на форум в то время, когда народ предавался уже своей ярости. Как скоро он вышел, то народ принял его за того самого Цинну, который незадолго перед тем ругал Цезаря в Собрании – он был народом растерзан.

Этот несчастный случай, наряду с переменой в поведении Антония, привел заговорщиков в такой страх, что они оставили город и жили сперва в Антии, надеясь возвратится опять в Рим, как скоро все успокоится и охладится ярость народа. Они ожидали, что это легко случится в народе, которого стремления быстры и непостоянны. Они полагались на приверженность к ним сената, который оставил без наказания тех, кто растерзал Цинну, но отыскивал и задерживал тех, кто напал на дома их. Сам народ, уже досадуя, что Антоний присвоил себе верховную власть, желал Брута и ожидал, что он приедет в Рим, дабы присутствовать в зрелищах, которые должен был дать по долгу претора. Но Брут, зная, что многие из воинов, бывших с Цезарем в походах и получившие от него земли и города, злоумышляли против него и мало-помалу стекались в город, не осмелился приехать в Рим. Народ и в отсутствии его был зрителем игр, которые происходили с отличным великолепием и великими издержками*. Брут купил многих зверей и велел всех употребить в играх, запретив продавать кого-нибудь из них или оставлять. Он сам приехал в Неаполь, где нашел множество Дионисиевых художников. Друзьям своим

писал о некоем Канутии, который отличался на театрах, и просил их, чтобы они его уговорили ехать в Рим, ибо не надлежало употреблять принуждение против кого-либо из греков. Он писал также и Цицерону и просил его непременно присутствовать при играх.

В таком положении находились дела, как последовала новая перемена. Молодой Цезарь приехал в Рим. Он был сыном племянницы Цезаря, который в завещании своем оставил его наследником после себя и усыновил его. Во время умерщвления Цезаря он находился в Аполлонии, занимаясь учением, и ожидал своего дядю, который намеревался вскоре идти в поход на парфян. Как скоро узнал он о случившемся, то сразу приехал в Рим. Он принял имя Цезаря для приобретения себе благосклонности народа, раздавал гражданам отказанные им по завещанию деньги, одержал верх над Антонием и с помощью денег собрал и составил партию из тех, кто служил в походах под предводительством Цезаря. Цицерон из ненависти к Антонию содействовал молодому Цезарю, но Брут, сильно его укоряя, писал Цицерону, что не властелин ужасен, но властелин, его ненавидящий; что он старается ввести только умеренное рабство, ибо говорит и пишет, что Цезарь добр и кроток. «Однако предки наши, – продолжал Брут, – не терпели и кротких владык. Что касается до меня, в настоящее время я не могу решиться ни воевать, ни заключать мира: я решился только – не рабствовать; я удивляюсь Цицерону, который страшится междоусобной и опасной войны, а между тем не боится постыдного и бесславного мира; и в награду за низвержение Антониева тираннства он тщится сделать молодого Цезаря тиранном отечества».

Вот что писал Брут в первых письмах своих! Уже одни приставали к Антонию, другие к молодому Цезарю; войска продавали себя как бы с публичного торгу, переходя к тому, который больше давал. Брут, потеряв надежду восстановить свободу, решился оставить Италию. Он пошел сухим путем через Луканию к приморскому городу Элее*. Отсюда Порции надлежало возвратиться в Рим; она старалась скрыть глубокую горесть свою, но несмотря на твердость ее души, одна картина обнаружила ее чувства. На ней изображено было происшествие из греческой истории – прощание Гектора с Андромахой. Андромаха брала дитя от своего супруга и взирала на него с чувством. Порция, смотря на картину, была тронута до слез изображением собственного бедствия; она несколько раз в день приходила к картине и проливала слезы. Ацилий, один из Брутовых друзей, читал при этом стихи, которые Андромаха говорит Гектору*:

Ты, Гектор, мне отец, ты матерь мне почтенна,
Ты вместо брата мне, ты нежный мне супруг.

Брут улыбнулся и сказал: «Но мне неприлично сказать Порции, что Гектор говорит Андромахе:

Займись веретеном и пряслицей своей, работу наделяй рабыням…

Хотя она по природной телесной слабости не может принять участия в великих предприятиях, но духом своим она, подобно нам, будет сражаться за отечество». Вот что повествует Бибул, сын Порции.

Брут отправился из Элии в Афины. Народ принял его благосклонно с похвалами и почестями*. Он жил в доме одного приятеля своего и был слушателем философии академика Феомнеста и перипатетика Кратиппа; он проводил с ним время в ученых беседах. Казалось, он вел жизнь праздную, ничем не занимаясь, однако он делал приготовления к войне, не подавая к тому вида. Он послал в Македонию Геростратa для привлечения к своей стороне находившихся там войск и старался привязать к себе молодых римлян, которые в Афинах учились. В числе их был и сын Цицерона, которого Брут превозносит похвалами и говорит о нем: «Сплю ли я или бодрствую, всегда удивляюсь юноше столь благородному и ненавидящему тираннов». Приступив к делу уже явно, узнал он, что римские корабли, нагруженные деньгами, ехали из Азии в Рим, на них находился претор, человек ему знакомый и добрый. Брут отправился к нему навстречу в Карист. Он имел с ним свидание, уговорил его сдать ему корабли и потом сделал великолепный пир, ибо это случилось в день его рождения. Когда начали пить и делать

возлияния за победу Брута и свободу римлян, то Брут, желая еще более одушевить гостей, велел подать себе чашу еще больше и, взяв ее, без всякой причины произнес сей стих:

Вы губите меня, злой рок и сын Латоны*.

Рассказывают при том, что когда он вышел из своего шатра, дабы вступить в сражение при Филиппах, то дал войску пароль «Аполлон». По этой причине полагают произнесенный им стих предзнаменованием его погибели.

Антистий дал ему пятьсот тысяч драхм из тех денег, которые вез в Италию. Воины, скитавшиеся еще по Фессалии, остатки войска Помпея, стекались к нему охотно. Брут отнял у Цинны пятьсот конных, которых он вел к Долабелле в Азию. Прибыв в Деметриаду* в то время, когда вывозили из этого города в пользу Антония многие оружия, которые были сделаны по приказанию первого Цезаря для употребления в войне парфянской, Брут завладел ими.

Претор Гортензий уступил ему Македонию; окрестные цари и владетели присоединились к нему. В то же время получил он известие, что Гай, брат Антония, переправился из Италии и шел прямо к войскам, которые собраны были Ватинием в Эпидамне и Аполлонии. Брут, желая его предупредить, поднял вдруг своих воинов и пошел местами неудобопроходимыми, между тем как валил на них снег. Он опередил далеко тех, кто вез продовольствие, и был уже в недальнем от Эпидамна расстоянии, как от усталости и голода впал в булимию, или волчий голод. Эта болезнь бывает с утомленными людьми и животными, особенно тогда, когда снег идет – от того ли, что от охлаждения и сжимания тела весь жар, будучи задержан внутри, переваривает вдруг пищу; или оттого, что тающий снег поднимает испарение, тонкое и пронзительное, которое проницает тело и гонит из него теплоту, которая рассеивается вне тела. Пот, выступающий при этой болезни, производится теплотою, которая погашается на поверхности тела, встречаясь со стужею. Но касательно этого предмета мы рассуждали пространнее в другом месте.

Брут впал в обморок; ни у кого не было в войске ничего съестного; спутники его были вынуждены прибегнуть к самим неприятелям. Они подошли к воротам города и просили хлеба у стражей, которые, узнав о случившемся с Брутом, принесли ему еду и питье. За эту услугу Брут, завладев городом, не только с воинами, но и со всеми жителями поступил милостиво. Между тем Гай Антоний, приступив к Аполлонии, звал к себе находившихся вблизи воинов. Но так как они ушли к Бруту, и Гай видел, что и жители Аполлонии были к Бруту привержены, то оставил сей город и шел к Буфроту. Во-первых, на дороге потерял он три когорты, которые были изрублены Брутом. Потом, когда он предпринял силою пройти места близ Биллиды, занятые прежде неприятелем, то он дал сражение Цицерону и был им разбит. Брут употреблял этого Цицерона как полководца и много произвел посредством его. Застав Гая, отделенного от войска своего болотистыми местами, он не позволил учинить нападение на него, но обошел его конницею, велел щадить воинов, надеясь, что они вскоре будут принадлежать им. Надежда его исполнилась. Неприятельское войско предало ему себя и полководца своего, так что военные силы Брута были уже многочисленны. Он долгое время оказывал Гаю уважение и не лишил его знаков военачальства – хотя, говорят, из Рима многие, между прочим и Цицерон, писали ему и советовали умертвить Гая. Когда же Гай начал иметь тайные переговоры с военачальниками и произвел беспокойство, то Брут посадил его на корабль и велел стеречь. Обольщенные Гаем воины, удаляясь в Аполлонию, призывали туда Брута; но он отвечал им, что у римлян этого нет в обычае и что они должны прийти к полководцу сами и испросить себе прощение в своих проступках. Они это исполнили и получили от него прощение.

Он уже намеревался ехать в Азию, как получил известие о случившейся в Риме перемене. Сенат усилил молодого Цезаря для изгнания Антония. Как же скоро Цезарь изгнал его из Италии, то был уже сам страшен сенату, просил себе консульства вопреки закона и содержал многочисленное войско, в котором республика не имела никакой нужды. Видя, что это неприятно было сенату и что он обращал взоры свои на Брута, назначив и утвердив за ним провинции*, Цезарь был приведен в страх. Он послал к Антонию и предложил ему свою дружбу, окружил войсками город и получил консульство. Он еще не был в юношеских летах;

ему было не более двадцати лет, как сам говорит в записках своих. Немедленно он подал в суд жалобу на Брута и его товарищей в убийстве без суда мужа, украшенного первейшими достоинствами. Он назначил доносчиками на Брута Луция Корнификия, а на Кассия – Марка Агриппу. Брут и Кассий были осуждены за неявку в суд, ибо судьи были принуждены подавать против них свои голоса. Говорят, что когда глашатай с трибуны призывал Брута по обыкновению к суду, то народ вздохнул явно; лучшие граждане, поникнув головами, стояли в безмолвии; Публий Силиций не скрыл своих слез – за эту вину вскоре после того был он причислен к проскриптам и лишен жизни. После того Цезарь, Антоний и Лепид, примирившись, разделили между собою провинции. Они назначили к проскрипции и умертвили двести человек – в числе их был и Цицерон.

Когда об этом возвещено было Бруту в Македонии, то был он принужден писать Гортензию об умерщвлении Гая Антония, мстя тем за Брута Альбина* и Цицерона, из которых один был его другом, другой родственником. Впоследствии Антоний, поймав в Филиппах Гортензия, умертвил его над гробом брата своего. Впрочем, уверяют, что Брут более стыдился вины, за которую умерщвлен Цицерон, нежели соболезновал о его участи. Он жаловался на бывших в Риме приятелей своих, представляя им, что если рабствуют, то в том виновны более они сами, нежели властелин их; что они терпят видеть своими глазами то, что и слышать долженствовало быть для них несносным.

Он переправился в Азию с войском, уже сильным, и собирал морскую силу в Вифинии и Кизике. Он посещал города, водворял в них устройство, занимался делами тамошних владельцев. Он призывал Кассия в Сирию из Египта, напоминая ему, что они скитаются для собирания войск, которыми бы могли низложить тираннов и освободить отечество, а не приобретения себе власти: и так надлежало бы им помнить цель свою и всегда на нее смотреть, не удаляться от Италии, но туда спешить и помогать гражданам. Кассий послушался и шел к нему; Брут выступил ему навстречу. Они сошлись в Смирне, в первый раз после того, как расстались в Пирее и отправились один в Сирию*, другой в Македонию. Они были весьма довольны и одушевлены бодростью, полагаясь на бывшие у каждого из них силы. Они вышли из Италии в виде самых презренных изгнанников, без денег, без оружия, без единого военного корабля, без одного воина, не имея на своей стороне ни одного города, а по прошествии весьма малого времени они сошлись с кораблями, с пехотой, с конницей, с деньгами, имея силы, достойные того, чтобы вести войну за верховную власть в Риме.

Кассий хотел оказывать Бруту и получать от него равные почести, но Брут большей частью предупреждал его и сам приходил к Кассию, который был старше его летами и по своему сложению не мог переносить труды наравне с Брутом. Касательно их было такое мнение, что Кассий был искусен в военном деле, но жесток в гневе своем и более управлял страхом, а в кругу знакомых своих предавался веселью и шуткам. О Бруте же говорят, что он за свою добродетель был любим войском, обожаем друзьями, уважаем отличнейшими людьми, что не был ненавидим и неприятелями. Он был несравненной кротости; имел душу возвышенную, не был обладаем ни гневом, ни наслаждениями, ни любостяжанием; был тверд и непреклонен в том, что почитал похвальным и справедливым; уверенность на справедливость намерений его более всего способствовала к умножению славы его и благосклонности к нему. Римляне не были твердо уверены, что и Помпей Великий, низвергнув Цезаря, возвратил законам силу их; напротив того, они полагали, что он предоставит себе верховную власть и будет утешать народ именем консульства и диктаторства или какой-либо другой кратчайшей властью. О Кассии же, который был человек пылкий и стремительный и во многих случаях преступал пределы справедливости для своих выгод, римляне полагали, что он воевал, странствовал и подвергался опасностям не столько для возвращения гражданам вольности, сколько для приобретения владычества. Еще прежде их люди вроде Цинны, Мария и Карбона, поставя отечество добычей и наградой за победу, почти явно воевали для получения верховной власти. Но Брута и самые его неприятели не упрекали в сем намерении. Антоний, как многие слышали, говорил, что, по его мнению, один Брут напал на Цезаря, привлеченный видимым блеском этого поступка и мыслию, что оный похвален, а другие посягнули на жизнь этого мужа из ненависти и зависти к нему. Из всего того, что Брут пишет, видно, что он более полагался на свою добродетель, нежели на силу. Аттику писал он почти перед приближением опасности, что

положение его есть самое счастливое, ибо одержавши победу – освободит народ римский, а умирая – избавится от рабства, что хотя впрочем все их дела были в твердом и безопасном положении, не известно лишь то, будут ли жить или умирать со свободою. Об Антонии Брут говорил, что он получил достойное наказание за свое безрассудство, ибо он дал себя в придачу Октавию, когда мог быть сопричастен к Брутам, Кассиям и Катонам; и если он теперь не будет побеждать вместе с Октавием, то вскоре должен будет с ним же сразиться. Он весьма хорошо предсказывал будущее.

Брут издержал свои деньги на снаряжение многочисленного флота, который мог обладать всем внутренним морем; находясь в Смирне, просил у Кассия часть денег, которых он собрал великое множество. Друзья Кассия не допускали его давать денег Бруту; они говорили ему: «Несправедливо, чтобы Брут брал у тебя и расточал на приобретение благосклонности войска те деньги, которые ты хранишь бережливо и собираешь, возбуждая против себя зависть». Несмотря на то, Кассий дал ему третью часть денег своих.

Они опять разлучились для исполнения своих предначертаний. Кассий взял Родос и поступил с жителями жестоко, хотя отвечал тем, которые при вступлении называли его царем и государем: «Я не царь и не государь, но убийца и наказатель того, кто был царем и государем». Брут требовал от ликийцев денег и войска. Но как демагог Навкрат убедил города отстать от него и занять несколько холмов, дабы препятствовать ему идти далее, то Брут послал на них конницу в то время, когда они обедали, и истребил шестьсот человек; потом занимал крепости и малые города и отпускал всех без выкупа, желая привязать к себе народ благосклонностью. Но ликийцы оказывали большое упрямство: они изъявляли досаду за вред, от него претерпеваемый, и презирали его кротость и снисхождение. Наконец он загнал в Ксанф храбрейших из них и осаждал город.

Осажденные пытались бежать, ныряя в реку, которая протекала подле города, но попали в сети, брошенные во всю длину на дно. На краях их были привешены колокольчики, которые давали знать о том, который попадался в сети. В одну ночь ксанфийцы сделали вылазку на римские машины и бросили в них огонь. Римляне принудили их запереться в своих стенах. Между тем сильный ветер гнал к стенам пламя, которое распространилось на ближайшие дома. Брут, боясь, чтобы город не был разрушен, велел помогать ему и гасить огонь.

Но ликийцы вдруг были объяты необыкновенным и непостижимым отчаянием, которое можно уподобить страстной любви – к смерти. Все вместе, свободные и невольники, большие и малые, с женами и детьми бросились на неприятелей, которые хотели помочь им к погашению огня, и гнали их со стен; они сами приносили тростник, дрова и другие удоборазгорающие вещи, желая обратить на город огонь, подавая ему пищу и всеми способами стараясь, чтобы он распространился и усилился. Когда же пламя разлилось всюду, объяло со всех сторон город и вспыхнуло с великой силою, то Брут, с душою, терзаемой от печали, разъезжая верхом вне города, старался им помогать; он простирал к жителям руки, просил их щадить и спасать город; но никто не оказывал к нему внимания; не только мужчины, женщины губили себя всеми средствами, но малые дети, одни с криком и восклицанием прыгивали в огонь, другие бросались с городских стен; иные подставляли шеи под меч отцов своих, обнажали себя и просили, чтобы поразили их. По разрушении города нашли женщину, которая повесилась на веревке, на шее ее висел мертвый младенец, между тем как она зажженной свечою хотела поджечь дом. Зрелище это было ужасно; Брут не мог видеть его, но, услышав о том, не мог от слез удержаться. Он обнародовал, что даст награду воину, который будет в состоянии спасти хоть одного ликийца. Говорят, что всех граждан, которые не противились спасению, было не более полутораста. Таким образом, ксанфийцы после нескольких веков, как бы совершая определенный судьбою круг погибели своей, пробудили воспоминания своею смелостью об участи своих предков, которые равным образом во время войны с персами сожгли город свой и погубили сами себя*.

Брут, видя, что Патары* упорствовали против него, не решился приступить к городу, боясь со стороны их такого же отчаяния. Он имел у себя в плену несколько женщин и отпустил их без выкупа. То были жены и дочери знаменитейших граждан; представляя Брута человеком добродетельнейшим и справедливейшим, они убедили своих отцов и мужей уступить ему и сдать город. За этим и все другие предавались ему и находили в нем, вопреки ожиданиям,

доброго и снисходительного человека. В то самое время, как Кассий принудил всех родосцев приносить к нему золото и серебро*, сколько было у каждого – из чего составилось количество восьми тысяч талантов, – а на город сверх того наложил пени в пятьсот талантов – Брут, взыскав с ликийцев полтораста талантов и не сделав им более никакого вреда, отправился в Ионию.

Он произвел многие достопамятные дела, воздавал почести и наказания тем, которые их заслуживали. Я опишу здесь то, что принесло более удовольствия ему и знаменитейшим римлянам. Когда Помпей Великий, лишенный Цезарем верховной власти, убежал и пристал к египетскому городу Пелусию, то опекуны малолетнего царя составили совет вместе с друзьями своими. Мнения их не были между собою согласны. Одни хотели Помпея принять, другие выгнать из Египта. Некий хиосец, по имени Феодот, обучавший царя риторике за деньги, но удостоенный тогда заседать в совете, за неимением лучших людей, утверждал, что как те, кто хотел принять к себе Помпея, так и те, кто хотел его отпустить, равно погрешали, что в настоящем положении дел полезно только одно – принять и умертвить Помпея. Оканчивая речь свою, он примолвил: «Мертвый не кусается». Совет присоединился к его мнению – и Помпей Великий лежал мертвый на берегу моря – пример невероятных и неожиданных превратностей счастья – произведение ораторского искусства и красноречия Феодота, как сам софист сей говорил с хвастливостью. По прошествии некоторого времени прибыл в Египет Цезарь. Советники царские погибли, получая достойное своей жестокости наказание. Но Феодот, заимствовав у счастья несколько времени для проведения бесславной, бедной и скитающейся жизни, не укрылся от Брута, который разъезжал по Азии; он был к нему приведен и наказан – и, таким образом, сделался он известнее смертью своей, нежели жизнью.

Между тем Брут призвал Кассия в город Сарды. Кассий шел к нему с друзьями своими. Все войско вооруженное провозгласило обоих императорами. Как бывает в делах великих среди людей, у которых много друзей и подчиненных полководцев, они имели причины друг друга винить и жаловаться прежде, нежели заняться чем-либо другим: прямо с дороги они вошли в комнату, заперлись одни и без всяких свидетелей сперва изъявили жалобы свои друг на друга, потом начали друг друга упрекать и обвинять; наконец в сильной страсти они говорили друг другу смело и откровенно и даже плакали. Друзья их удивлялись жару и гневу, с которым они говорили, боялись, чтобы от этого не были дурные последствия, но вступить к ним было им запрещено. Однако Марк Фавоний, подражатель и почитатель Катона, который предавался философии не со здравым рассудком, но с некоторым исступлением и неистовством, хотел к ним войти, несмотря на то, что служители удерживали его. Трудно было остановить Фавония, когда он к чему-либо устремлялся. Он был во всем неукротим и горяч. Он ни во что не ставил сенаторского своего достоинства, но киническою смелостью часто успокаивал гнев тех, кто принимал в шутку безвременные его представления. Он вломился в двери, пробравшись насильно сквозь тех, кто его удерживали, и вошел к Бруту и Кассию, важным голосом произнося стихи, которыми Гомер заставляет говорить Нестора:

Внемлите мне! Ибо меня моложе оба*.

Кассий засмеялся при этих словах, но Брут прогнал Фавония, называя его настоящим псом и лжепсом*. Однако этим прекратилась их ссора, и они немедленно помирились. Кассий приготовил ужин, а Брут пригласил своих приятелей. Все уже сидели, как пришел и Фавоний после бани. Брут свидетельствовал, что он пришел незваный и велел ему садиться на верхнее ложе. Фавоний прошел насильственно и сел на среднее*. Пиршество проведено в приятных шутках и философских разговорах.

На другой день по доносу сардийцев в похищении денег Брут осудил и предал бесчестию Луция Оцеллу, римлянина, бывшего претором, к которому он имел доверие. Это происшествие немало огорчило Кассия. Он сам за несколько дней сделал выговор наедине двум в том же изобличенным друзьям своим, потом простил их и продолжал употреблять по-прежнему. По этой причине он жаловался на Брута как на человека, слишком строгого, наблюдающего законы и любящего справедливость в такое время, в котором нужны были благоразумие и снисходительность. Брут советовал ему вспомнить иды марта, в которых они убили Цезаря,

хотя не сам он разорял народ, но собою подкреплял тех, кто это производил; он говорил, что если какой-либо предлог может оправдать пренебрежение к справедливости, то лучше было бы терпеть друзей Цезаря, нежели сносить бесчинства, оказываемые своими. «Терпя друзей Цезаря, мы были бы порицаемы в малодушии; терпя своих, мы будем обвиняемы в несправедливости в то самое время, как должны переносить труды и опасности». Таковы были правила Брутовы.

Когда они решились уже переправиться из Азии в Европу, то, говорят, Брут видел великое знамение. Он был от природы бдителен, сон его продолжался самое короткое время, как по причине воздержания его, так и множества занятий. Днем он никогда не спал, ночью отдыхал только тогда, когда не имел никакого дела и не с кем было ему говорить, ибо все предавались сну. Уже война возгорелась, он был обременен важнейшими делами и заботился о будущем. С вечера после кушанья несколько дремал, потом в остальную часть ночи занимался нужнейшими делами. По приведении их в порядок он посвящал время чтению до третьей части ночи, когда обыкновенно начинали приходить к нему сотники и тысячники. Он намеревался уже перевести войско свое из Азии; шатер его был освещен слабым светом среди глубокой ночи; в стане его господствовала тишина. Брут был погружен в задумчивость и рассуждал сам с собою; ему казалось, что кто-то вошел – взглянул на дверь – и увидел страшный и необыкновенный призрак: тело чудовищное и ужасное, которое в молчании стояло перед ним. Брут осмелился спросить его: «Кто ты, из богов ли или людей, и зачем ты пришел ко мне?» Призрак отвечал ему: «Я злой твой гений; ты увидишься со мной при Филиппах». Брут, нимало не смутившись, отвечал: «Увижусь».

Призрак исчез, Брут позвал к себе своих служителей. Никто из них ничего не видел и не слышал никакого голоса. Брут бодрствовал остаток ночи и на рассвете дня пришел к Кассию и рассказал ему виденное. Кассий, который был последователь эпикурейского учения и имел привычку спорить с Брутом касательно сих предметов, сказал ему: «По нашему учению, Брут, мы полагаем, что не все в самом деле чувствуем и видим, что нам кажется чувствовать и видеть. Чувства неверны и обманчивы, а ум еще скорее может их двигать и без всякой причины превращать во всякие виды, ибо воображение подобно воску: душа человеческая, будучи в одно время и образуемая и образующая, имеет способность сама себя легко превращать и образовывать в разные виды. Это явствует из бывающих во сне перемен и сновидений, производимых при малейшей причине воображением, которое возбуждает различные впечатления и мечтания. Душа имеет от природы способность всегда двигаться. Движение ее есть мечтание и мысль. Твое тело, утомленное трудами, приводит душу в беспокойство и смущение. Впрочем, нет никакой верности, чтобы существовали духи и гении, а хотя бы и были, то они не имеют ни вида человеческого, ни голоса или силы, которые бы простирались на нас. Я бы весьма желал, чтобы мы могли полагаться не только на множество пехоты, конницы и кораблей, но и на вспоможение богов, будучи поборниками священнейшего и похвальнейшего дела». Этими словами Кассий успокоил Брута.

При выступлении воинов на корабли два орла опустились сверху вместе на первые знамена и провожали их, принимая пищу от воинов, пока не достигли Филиппов. Здесь, за день до сражения, они улетели.

Народы, через которые войско шло, были покорены прежде Брутом. Если еще оставался непокоренным какой-либо город или властитель, Брут и Кассий принуждали его покоряться и завладели страною до моря. При острове Фасосе Норбан* с войском занимал узкие проходы и места при Симболе. Брут и Кассий обошли его, принудили отступить и оставить позицию. Едва они не завладели всею его силою – ибо Цезарь по причине болезни оставался позади; но Антоний поспешил к нему на помощь с такой удивительной скоростью, что Брут едва тому мог поверить. Цезарь прибыл туда по прошествии десяти дней. Он расположился станом близ Брута, а Антоний – близ Кассия. Между ними простиралась равнина, которую римляне называют «Филиппийские поля» ***(campi Philippi).***

Римские силы, в это время сходящиеся одни против других, были самые многочисленные. Числом своим войско Брута немногим уступало войску Цезаря; но оно возбуждало удивление блеском и красотою своих оружий. Большая часть их были из золота и серебра, обильно употребленного. Хотя во всех других случаях Брут приучал своих подчиненных

военачальников к умеренности и простоте, однако он думал, что драгоценные вещи, находящиеся на теле воинов, возвышают дух честолюбивых людей и умножают храбрость корыстолюбивых, ибо они будут защищать оружие как свою собственность.

Цезарь, принесши на валу жертву очищения, раздал воинам немного пшена и по пяти драхм на жертвоприношение. Но Брут, как будто бы для изобличения недостатка или скупости противников, во-первых, по обыкновению очистил войско на открытом поле; потом раздал по ротам множество жертв и каждому воину по пятидесяти драхм. Брут и Кассий превосходили противников своих тем, что воины любили их и были к ним привержены. При самом очищении случилось знамение, которое показалось Кассию неблагоприятным: ликтор подал ему венок верхом вниз. Говорят, что прежде этого на каких-то играх и торжествах упала на землю несомая золотая статуя Победы, принадлежавшая Кассию, ибо несший ее споткнулся. Сверх того, в стане показывались ежедневно многие плотоядные птицы; рои пчел собирались внутри вала на одном месте. Прорицатели отделили его от стана, стараясь избавить Кассия от суеверия, которое неприметно отводило его от эпикурейского учения, а воинами совершенно уже овладело. По этой причине Кассий не имел охоты немедленно решить дело сражением; он хотел длить войною время, будучи сильнее деньгами, но количеством оружий и воинов уступая противникам. Брут, напротив того, еще прежде хотел решить дело скорее, либо возвратить отечеству свободу, либо избавить от бедствия народы, обремененные налогами, походами и другими беспокойствами, а теперь конница его в разных стычках отличалась и одерживала верх, что внушало бодрость. Переход некоторых воинов к неприятелю и подозрение, что многие последуют их примеру, заставили многих друзей Кассия в совете принять сторону Брута. Ателлий, один из приятелей последнего, противился тому и советовал дождаться зимы. Когда Брут спросил его, почему он думает, что по прошествии года будет ему лучше, то Ателлий отвечал: «Если ни чем другим, то хоть, по крайней мере, я подольше проживу». Эти слова были неприятны Кассию и всем причинили неудовольствие. Однако решено было дать сражение на другой день.

Брут был одушевлен надеждами; за ужином занялся философскими рассуждениями и лег отдохнуть. Касательно Кассия Мессала* говорит, что он ужинал у себя с немногими приятелями, был задумчив и молчалив, хотя по природе не был таков. После ужина он сжал крепко Мессале руку, как обыкновенно делал для изъявления дружбы своей, и сказал ему по-гречески: «Мессала! Будь мне свидетелем, что меня, как и Помпея Великого, принуждали одним сражением решить участь отечества. Дух во мне бодр, взирая на судьбу, которой несправедливо было бы не доверять, хотя бы советы наши были неосновательны». Эти были последние слова, которые Кассий сказал Мессале, как тот свидетельствует; потом он обнял его. Еще раньше пригласил Мессала на другой день, в который было его рождение, к себе на ужин.

На рассвете дня выставлен был в станах Брута и Кассия красный плащ как знак будущего сражения. Брут и Кассий сошлись в середине своих войск. Кассий сказал: «Брут! Даст бог, да одержим мы победу и да проведем вместе в благополучии остальное время жизни; но поскольку важнейшие из человеческих деяний суть самые неизвестные, и сражение может решиться не так, как мы надеемся, и, следственно, нелегко будет нам друг с другом видеться, то скажи мне, что ты думаешь о бегстве и кончине своей?» Брут отвечал: «Кассий! Будучи молод и неопытен, выговорил, не знаю как, великое слово в философии: я винил Катона за то, что он умертвил сам себя, почитая делом незаконным и неприличным добродетельному мужу бежать от своей судьбы, не принимать со спокойным духом того, что с нами случится. Теперь в настоящем положении я переменил мысли. Если богу не угодно венчать успехами дело наше, то я не имею нужды попытать в другой раз счастье и делать новые приготовления: я освобожу себя от бед и буду благодарить счастье, ибо, принесши в идах марта в жертву отечеству жизнь свою, я провел после того другую жизнь, свободную и славную». При этих словах Кассий улыбнулся; он обнял Брута и сказал ему: «Одушевленные сими мыслями, мы пойдем на неприятелей и либо победим их, либо не будем их бояться, если они нас победят».

После того начали они рассуждать об устройстве войска в виду приятелей. Брут просил предводительства правого крыла, которым, по мнению всех, более приличествовало управлять Кассию по причине его лет и опытности. Несмотря на то, Кассий уступил его Бруту и велел Мессале с отборнейшим легионом построиться в правом крыле. Брут вывел немедленно

конницу в великолепном вооружении; пехота сделала нападение не с меньшей быстротою.

Тем временем воины Антония проводили рвы к полю с болот, подле которых расположились, дабы отрезать Кассия от моря. Войско Цезаря пребывало в покое; по причине болезни самого его тут не было. Воины его нимало не ожидали, чтобы неприятели дали сражение, они полагали, что будут только делать набеги на сию работу и тревогою беспокоить работающих. Они не обращали внимания на тех, кто выстроился против них, а только удивлялись издаваемым со рвов крикам, которые все больше умножались, не понимая, что это значило.

Между тем предводителям войска разносимы были, по приказанию Брута, записки, на которых означен был пароль. Брут сам объезжал верхом легионы и ободрял их; немногие успели выслушать передаваемый пароль; большая часть воинов, не дождавшись команды, устремились совокупно на неприятелей с восклицанием. От этого беспорядка произошла неровность в движении и разделении в легионах; сперва легион Мессалы, потом те, вместе с которыми он стоял, прошли мимо Цезарева левого крыла. Они коснулись слегка его края, умертвили немногих, обошли сие крыло и вломились в стан. Цезарь пишет в своих записках, что Марк Арторий, один из приятелей его, увидел во сне, будто бы кто-то ему говорил, чтобы Цезарь оставил стан и перешел в другое место. Вследствие сего, незадолго до нападения он был вынесен из стана. Разнесся слух, что он умер, ибо пустые носилки его были пробиты дротиками и копьями. В стане были умерщвлены все уловляемые неприятели. До двух тысяч лакедемонян, которые незадолго перед тем прибыли как союзники, были изрублены.

Те, кто не обошел войска Цезаря, но ударил на него спереди, обратили в бегство весьма легко приведенного в смятение неприятеля, учинив нападение на него, истребили в бою три легиона и ворвались в стан вместе с бегущими, увлеченные жаром и стремлением победы; вместе с ними находился и Брут. Обстоятельства показали побежденным то, чего победители не знали. Побежденные ударили сзади на отделившуюся часть неприятельской фаланги на том месте, где правое крыло оторвалось для преследования. Правда, им не удалось опрокинуть центр, который вступил с ними в сражение, однако левое крыло Кассия, которое было в беспорядке и не знало того, что происходило, было ими опрокинуто и преследуемо до стана, который воины разрушали, не имея при себе ни одного из полководцев своих. В самом деле, Антоний, как говорят, уклонившись при первом нападении, отступил в болото, а Цезаря, который вышел из стана, нигде не было видно; некоторые уверяли Брута, что умертвили его, показывали на окровавленные мечи и рассказывали, каков он был собою и каких лет. Уже и центр отразил с великим кровопролитием устремившихся против него неприятелей; казалось, что Брут одержал совершенную победу, между тем как Кассий почитал себя побежденным. Одна эта мысль испортила все дело. Брут не дал помощи Кассию, почитая его победителем, а Кассий не дождался Брута, полагая, что он разбит; однако Мессала почитает доказательством победы то, что у неприятелей отнято три орла и многие другие знаки, а неприятель не отнял у них ни одного.

Брут, отступая от стана Цезаря, который был совершенно опустошен, удивлялся тому, что не видел по обыкновению высокого полководческого шатра Кассия и что другие шатры также не были на своих местах, ибо при вторжении неприятеля в стан все было им разрушено и испровержено. Те, кто был зорче других, уверяли его, что видны в стане Кассия блестящие шлемы и множество серебряных щитов, носимых туда и сюда; казалось им, что ни число виденных, ни вооружение их не походили на оставленных в стане стражей. Сверх того, не находили далее великого числа мертвых, какому надлежало быть при совершенном поражении многих легионов. Это обстоятельство ввергло Брута в подозрение о случившемся несчастье. Он оставил охранное войско в неприятельском стане, отзывал назад преследующих неприятеля и собирал их, дабы подать помощь Кассию.

С этим полководцем случилось следующее. Неприятно ему было, во-первых, нападение Брутова войска, которое устремилось, не получив ни пароля, ни приказа. Потом, когда оно, одержав вверх, немедленно занялось грабежом, помышляя о своей прибыли, не заботясь о том, как обойти и окружить неприятеля, то Кассий также досадовал на происходившее. Между тем, действуя более с медленностью и отлагательством, нежели с рассуждением и решимостью, он был обойден правым крылом неприятеля. Конница немедленно отделилась и обратилась в

бегство к морю; видя, что и пехота начинала также отступать, Кассий старался удержать ее и внушить бодрость. Когда один знаменосец предался бегству, то Кассий вырвал у него знамя и воткнул в землю перед собою. Но уже и те, кто окружал его, неохотно оставались вместе. Итак, он был принужден отступить с немногими на холм, с которого можно было видеть то, что происходило на равнине. Однако он ничего не видал, разве только стан, который разоряли неприятели – ибо он был близок. Окружавшие его увидели приближавшееся великое число конных, которых послал Брут. Кассию показалось, что это были воины неприятельские. Несмотря на то, он послал Титиния, одного из тех, кто его провожал, дабы узнать, кто они такие. Титиний не укрылся от приближавшейся конницы; как скоро воины увидели человека знакомого и верного Кассию друга, то они издали радостные восклицания; знакомые обнимали его, слезая с лошадей; другие, окружив его, воспевали пэаны и стучали оружиями по причине чрезвычайной радости своей; но то было причиной величайшего зла. Кассий думал, что Титиний в самом деле захвачен неприятелями. Он сказал только эти слова: «Итак, из любви к жизни я утерпел видеть друга своего, захваченным неприятелем!» и удалился в удаленный шатер, взяв с собою одного из отпущенников своих, по имени Пиндар, которого во время несчастий, постигших Красса, он имел у себя в готовности для умерщвления себя, как скоро нужда потребовала. Кассий тогда избегнул руки парфян; но теперь, подняв на голову свою хламиду, обнажил шею и велел Пиндару себя умертвить. Голова его была найдена отделенною. Что касается до Пиндара, то после убийства Кассия никто его более не видел. Это заставило некоторых думать, что он умертвил Кассия без его приказания. Вскоре после того показались конные и Титиний, украшенный ими венком, возвратился к Кассию. Но как скоро по плачу и крикам рыдающих друзей его узнал он о случившемся несчастье полководца и об ошибке его, то обнажил меч и, упрекая себя в медлительности, умертвил себя.

Брут, уверившись в поражении Кассия, продолжал свой путь и, будучи уже близ стана, узнал о его смерти. Он плакал над его телом, называл Кассия последним римлянином, ибо Рим не мог более произвести человека с возвышенными чувствами. Он украсил тело Кассия и отослал в Фасос, дабы похороны его в стане не причинили какого-либо беспорядка. Потом, собрав воинов, утешал их и, видя, что они были лишены всего нужного, обещал на каждого по две тысячи драхм в замену того, что они потеряли. Слова его ободрили их; они удивились великости дара, провожали Брута с восклицаниями и прославляли его, ибо он один в сражении между четырьмя императорами оставался непобедимым. Самое дело доказывало, что он по справедливости надеялся быть победителем. С немногими только легионами он опрокинул всех встретившихся ему неприятелей. Когда бы он употребил в дело все войско, когда бы большая часть его воинов не устремилась на неприятельские когорты, оставя назади неприятелей, то ни одна часть их не осталась бы непобедимою.

Со стороны Брута пало восемь тысяч человек вместе со служителями их, которых Брут называл бригами. Со стороны противников, по уверению Мессалы, пало более чем вдвое. По этой причине они были в великом унынии, пока служитель Кассия, по имени Деметрий, не пришел к вечеру к Антонию, неся хламиду и меч, снятые им с убитого. Когда эти вещи были принесены к нему, то внушили неприятелю такую бодрость, что они на другой день вывели свою силу, вооруженную и готовую к бою. Между тем оба войска Брута были в колеблющемся и нетвердом положении. Собственное его войско было обременено множеством пленников и имело нужду в большем охранении, а войско Кассия нелегко переносило перемену начальника; при том, будучи побеждено, оно завидовало и имело ненависть к тем, кто победил. Брут принял намерение вооружить войско, но удержать от битвы. В числе пленников находилось много рабов, которые, вращаясь среди воинов, внушили подозрение; Брут велел их всех умертвить. Что касается до людей свободного состояния, то он освободил их, говоря, что они были их рабами и пленниками, но что он почитает их гражданами и свободными. Приметя, однако же, что приятели его и полководцы не могли мириться с ними, он скрыл их и выслал в безопасности.

В числе пойманных были мим по имени Волумний и шут Саккулион. Брут не почитал их достойными своего внимания; но приятели его привели их к нему и жаловались, что они и ныне не перестают насмехаться и ругаться над ними. Брут, будучи занят другими заботами, молчал; но Мессала Корвин требовал, чтобы они были крепко сечены в шатре, потом были выданы

нагие неприятельским полководцам, дабы пристыдить их тем, что они в самом походе имели нужду в таких собеседниках и товарищах. Некоторые из присутствующих засмеялись; но Публий Каска, который поразил Цезаря прежде других, сказал: «Мы непристойно совершаем тризну по умершему Кассию, смехом и шутками. Но ты, Брут, покажи, как чтить память полководца, наказывая или спасая тех, кто будет над ним ругаться и поносить его». Брут отвечал им с досадой: «Что же вы у меня спрашиваете и не делаете с ними, что хотите?» Этот ответ его почли они за изъявление согласия против сих несчастных, которых отвели и умертвили.

Брут после того выплатил воинам обещанные деньги; выговаривал им слегка за то, что они не дождались пароля и без повеления устремились на неприятеля в некотором беспорядке, и обещал, если они будут сражаться мужественно, предать на расхищение им два города – Фессалонику и Лакедемон. Один сей поступок в жизни Брута остается без оправдания. Правда, Антоний и Цезарь дали соратникам своим гораздо ужаснейшие награды: они изгнали почти изо всей Италии древних ее жителей, дабы предать своим соратникам поместья и города, на которые не имели ни малейшего права, но цель войны сих последних была лишь та, чтобы начальствовать и обладать, а Бруту по причине мнения, какое все имели о его добродетели, не было позволено ни побеждать, ни спасать иначе, как употребив к тому справедливость и приличие, особенно после смерти Кассия, который был обвиняем в том, что и Брута побуждал к принятию мер насильственных.

Подобно, как в плавании, едва сломится кормило, то мореход старается прибить или приноровить к нему доску или дерево, хотя нескладно, но как необходимость велит; так Брут, управляя великими силами, при столь колеблющемся состоянии дел не имея при себе полководца, равного ему в могуществе и важности, был принужден употреблять тех, кто находился при нем, и поступать так, как они желали. Теперь он должен был думать о том, чем бы исправить Кассиевых воинов. Ими трудно было управлять; в стане они были дерзки и наглы по причине безначалия; неприятели страшились по причине прежнего поражения.

Между тем дела Цезаря и Антония не были в лучшем состоянии; они получали съестные припасы с великим трудом; войско их стояло на низком месте и ожидало тяжкой зимы, будучи окружено болотами. После сражения полились осенние дожди, наполнившие шатры илом и водою, которая замерзала от холода. Таково было их положение, когда получили известие о случившемся с воинами их несчастии. Корабли Брута напали на многочисленное войско, перевозимое Цезарем из Италии, и истребили его. Весьма немногие из оного спаслись, но и те были принуждены от голода употреблять в пищу паруса и канаты кораблей. Это известие заставило их решить скорее войну сражением прежде, нежили Брут мог узнать о столь счастливом для него происшествии, ибо в один и тот же день дано было сражение как на море, так и на твердой земле. Действием более случая, нежели беспечности предводителей флота, Брут не знал об этом успехе, хотя прошло двадцать дней. Он бы не дал вторичного сражения, имея съестные припасы на долгое время и занимая столь прекрасное положение, что и зима не вредила его войску, и неприятели не могли его вытеснить из занимаемого им места. Сверх того безопасное обладание морем и победа, одержанная сухопутными силами, внушали ему великие надежды и одушевляли бодростью. Но, по-видимому, Римская держава уже не могла более быть управляема многими; она требовала единоначалия, и потому божество хотело удалить того, который один препятствовал человеку, могущему ею управлять. Оно скрыло от Брута известие о счастливом происшествии, хотя он был близок к получению оного. Брут намеревался уже дать сражение, как за день до того Клодий, прибежавший поздно вечером к нему из неприятельского стана, известил его, что Цезарь, узнав о погибели флота, спешит вступить с ним в сражение. Никто не имел веры к словам этого человека, который не имел никакого истинного известия, а говорит только ложь к угождению их.

В ту же самую ночь, говорят, призрак опять явился Бруту в том самом виде, но не сказал ему ни одного слова и удалился. Публий Волумний, человек любомудрый, соратовавший Бруту с самого начала, не упоминает об этом явлении, но говорит, что первый орел был облеплен пчелами; что у одного из начальников воинских выступало на руке розовое масло, и хотя часто его стирали, однако оное всегда показывалось; что перед самым сражением два орла сошлись над промежутком, бывшим между двумя войсками, и дрались. По всему полю господствовало

глубокое молчание; все на них взирали; орел, который был на стороне Брута, был принужден уступить другому и улететь. Известно также, что когда ворота стана были отворены, то знаменосцу попался прежде всех эфиоп, которого воины изрубили на куски, почитая появление его дурным предзнаменованием.

Брут вывел фалангу, поставил ее против неприятеля и долгое время оставался в одном положении, ибо при осматривании войска внушены были ему подозрения и сделаны доносы на некоторых воинов. Он видел также, что конница не имела охоты к началу сражения, но взирала на то, что произведет пехота. Вдруг Камулат, человек воинственный и отлично уважаемый Брутом за храбрость его, проехал мимо Брута и передался неприятелю. Брут, видя это, впал в великую горесть. Частью обладаемый гневом, частью боясь большей перемены и предательства, он повел войско немедленно на неприятелей, когда солнце склонялось уже к девятому часу, одержал верх там, где сам находился, и шел вперед, напирая на левое крыло неприятеля, которое отступало перед ним. Конница усилила его, учинив нападение на расстроенную неприятельскую пехоту.

Другое крыло было вытянуто далеко предводителями, которые боялись обхода; числом своим оно уступало неприятелям; по этой причине оно отделилось в центре и, сделавшись слабее, не могло выдержать нападения неприятеля. Оно предавалось бегству. Неприятели, прорезав его, немедленно обступили Брута, который среди опасностей для одержания победы оказал и умом, и рукою все подвиги доблестного полководца и храброго воина; но самый успех, полученный в прежнем сражении, послужил к его вреду. Неприятели, которые были им побеждены в первом сражении, тогда же погибли. Но из Кассиевых воинов, предававшихся бегству, немногие легли на месте, а те, кто спасся, были объяты страхом от первого поражения и исполнили большую часть войска робости и неустройства.

Здесь Марк, сын Катона, сражался среди отборнейших и благороднейших юношей; он утомился, но не предался бегству, не уступил неприятелю; действуя своею рукою, объявляя имя свое и отца своего, он, наконец, пал среди множества мертвых неприятелей. Равным образом пали многие из отличнейших мужей, защищая Брута.

В числе приятелей его был и Луцилий, человек мужественный. Видя несколько варварских конных, которые в преследовании нимало о других не заботились, но стремились прямо на Брута, решился удержать их с опасностью своей жизни. Отстав несколько от Брута, он объявил сам воинам, что он Брут. Они ему поверили, ибо Луцилий просил их, чтобы они повели его к Антонию, на которого более полагался, боясь Цезаря. Эти конные, радуясь находке и думая, что счастье им отменно благоприятствовало, повели Луцилия к Антонию. Уже было темно; они послали от себя вперед несколько гонцов с известием. Антоний, исполненный радости, вышел навстречу к тем, кто вел Луцилия, между тем стекались к нему все те, кто слышал, что ведут Брута живого; одни почитали его достойным жалости за свою участь; другие недостойным своей славы за то, что он сделался добычей варваров из любви к жизни. Когда конные были уже близко, то Антоний остановился и был в недоумении, как принять Брута. Луцилий, приведенный к нему, сказал смело: «Антоний! Никто не поймал Марка Брута, и никто из неприятелей не поймает его. Нет! Счастье не будет столь сильно над добродетелью. Брут, живой или мертвый, найдется где-нибудь, но в положении, достойном себя. Что касается до меня, то я обманул твоих воинов – и за то не отказываюсь принять самое жестокое наказание». Так сказал Луцилий; слова его всех изумили. Антоний, взглянув на тех, кто привел его, сказал им: «Товарищи! Вы негодуете за обман, почитая себя оскорбленными; но будьте уверены, что вы обрели находку важнее той, которую вы искали. Вы искали врага, но привели ко мне друга. Клянусь богами, я не знал бы, как поступить с Брутом, когда бы он был приведен ко мне живой. Дай бог мне всегда встречать таких приятелей вместо врагов!» Сказав это, он обнял Луцилия и поручил его одному из своих друзей; и впоследствии он употреблял его во всех случаях, как верного и постоянного друга.

Брут среди темноты перешел через ручей, которого берега были круты и покрыты лесом. Он недалеко прошел, но расположился в какой-то лощине, перед которой стояла большая скала. Вокруг него было немного полководцев и друзей. Он взглянул на небо, которое было все в звездах, и произнес два стиха, из которых Волумний сохранил один:

О, Зевс! Ты не забудь виновника сих зол!*

Волумний говорит, что забыл другой стих. По прошествии малого времени Брут, называя по имени каждого из приятелей своих, падших перед ним в сражении, вздохнул о Лабеоне и Флавии тяжелее, нежели о других. Лабеон был его наместник, а Флавий – начальник рабочего отряда. Между тем один из его спутников, имея жажду и приметя, что и Брут равно жаждал, взял шлем и побежал к реке. Послышался шум на одной стороне; Волумний пошел, дабы видеть, что это значило; за этим последовал щитоносец Дардан. Возвратившись после короткого времени, они спрашивали о воде. Брут, улыбнувшись, выразительно сказал Волумнию: «Она выпита, но принесут нам другую». За водой послали того самого, который ходил прежде; он едва не был пойман неприятелями, получил рану и с трудом спасся.

Брут полагал, что в сражении убито немного. Статилий вызвался пробраться через неприятелей – ибо иначе нельзя было это исполнить, обозреть стан и дать знак огнем, если найдет тамошние дела в хорошем состоянии, и опять возвратиться к нему. Статилий дал знак огнем, ибо действительно прошел до стана, но долго не возвращался. Брут сказал: «Если Статилий жив, то придет». Однако при возвращении своем попался он неприятелю и был убит.

Ночь уже была глубокая. Брут, сидя на месте, приклонился к невольнику своему Клиту и говорил с ним; Клит молчал и плакал. Брут призвал щитоносца своего Дардана и говорил с ним наедине. Наконец, напомнив Волумнию на греческом языке о времени их учения и упражнений, он просил его держать вместе с ним меч и усилить удар. Волумний отверг это предложение; все другие были в таком же расположении. Некто сказал, что надлежало бежать далее, а тут не оставаться. «Да, – отвечал Брут, – бежать, но только посредством рук, а не ног». Он подал руку каждому из них со спокойным и веселым лицом и сказал: «Для меня утешительно то, что не обманулся ни в ком из приятелей моих; я жалуюсь только на счастье в рассуждении отечества, а себя почитаю блаженнее победителей, ибо не только вчера или в прежнее время, но и ныне оставляю я по себе славу в добродетели, которую ни деньгами, ни оружиями не оставят по себе победившие; но всегда будет известно, что несправедливые, погубив справедливых, злые – добрых, начальствуют так, как им неприлично».

После этих слов он просил друзей своих спасать себя и сам пошел несколько далее с двумя или тремя приятелями, в числе которых был и Стратон, с которым Брут познакомился и подружился во время совместного обучения риторикой. Он поставил его весьма близко к себе, схватил обнаженный меч обеими руками за рукоятку, упал на него и умер. Другие говорят, что не он сам, но Стратон, по усиленным просьбам Брута, подставил ему меч, отворотивши лицо, что Брут упал грудью на него быстро, пронзил себя и весьма скоро умер.

Мессала, друг Брута, помирившись с Цезарем, некогда в досужное время привел к нему этого Стратона и со слезами сказал ему: «Цезарь! Вот человек, который оказал моему Бруту последнюю услугу». Цезарь принял благосклонно Стратона и имел при себе во всех подвигах и в сражении при Акции. Он был один из отличнейших греков, бывших при нем. О Мессале говорят, что когда Цезарь хвалил его впоследствии за то, что при Акции служил ему с великой ревностью, хотя при Филиппах был самым жарким его врагом, защищая Брута, то он отвечал: «Цезарь! Я всегда держался справедливейшей и лучшей стороны».

Антоний, найдя мертвое тело Брута, велел его покрыть великолепнейшей из своих пурпуровых мантий. Узнав впоследствии, что эта мантия была украдена, он велел умертвить похитителя. Прах Брута отослал он к матери его, Сервилии.

Касательно Порции, жены Брута, упоминает философ Николай и вслед за ним Валерий Максим, что она хотела умереть, но как приятели удержали ее, уговаривали и стерегли, то она, схватив уголья с огня, проглотила их, зажала рот и таким образом себя задушила. Однако существует письмо Брута к приятелям своим, в котором он жалуется на них и оплакивает Порцию, которая была ими оставлена и в болезни решилась прекратить жизнь свою. Впрочем, Николаю*, по-видимому, не было известно время описанного им происшествия, ибо упомянутое письмо, если оно не подделанное, дает знать о болезни, любви к мужу и роде смерти сей женщины.

Сравнение Диона с Брутом

Как в одном, так и в другом из мужей сих мы открываем много хорошего. Во-первых, они сделались великими при весьма малых пособиях. Эта сторона в Дионе прекраснее: ему никто не оспаривал начальства, как Бруту Кассий, к славе и добродетели которого не имели равного доверия, но который в войне подал не меньшие опыты смелости, искусства и деятельности; некоторые ему одному приписывают все начало дела и почитают его зачинщиком заговора, составленного против Цезаря в то время, когда Брут пребывал в покое. Дион, напротив того, приобрел сам друзей и сотрудников в своем предприятии, равно как и оружия, и корабли, и военную силу. Однако Дион, подобно Бруту, не приобрел посредством войны ни богатства, ни могущества, но сам пожертвовал своим богатством для продолжения войны и для спасения граждан издержал наперед все то, что служило к содержанию его в изгнании. Сверх того Бруту и Кассию не было позволено жить в покое и безопасности после побега своего из Рима; они были осуждены к смерти, были преследуемы и по необходимости прибегнули к войне, окружили себя оружиями, более подвергаясь опасности для себя, нежели для своих граждан. Дион, напротив того, в изгнании проводил жизнь спокойнее и приятнее изгнавшего его тиранна, но для спасения Сицилии бросился добровольно в опасность.

Впрочем, не равно было сиракузянам освободиться от Дионисия, а римлянам от Цезаря. Один, не отрекаясь названия тиранна, наполнял Сицилию несчастиями и бедствиями; хотя напротив того, владычество Цезаря, при самом его составлении, причиняло противившимся ему немалые беспокойства; но когда оно было принято или все ему покорилось, то показалось тираннством лишь по имени и по виду, в самом же деле не произвело ничего жестокого и тираннического. Тогда, когда уже самые обстоятельства требовали единоначалия, Цезарь явил себя кротчайшим врачом, самими богами данным римлянам. По этой причине народ римский жалел о Цезаре и сделался неумолим и жесток к убившим его. Но Дион навлек на себя неудовольствие и подозрение граждан тем, что выпустил из Сиракуз Дионисия и не разрушил гробницы первого тиранна.

В самых военных делах Дион показал себя таким полководцем, в котором ничего нельзя опорочить: он действовал превосходно во всем том, что сам предпринимал, исправляя и восстанавливая то, что было испорчено другими. Что касается до Брута, то, кажется, не поступил он благоразумно, давши последнее решительное сражение, а когда он его потерял, то не нашел никакого средства к восстановлению себя, но предал все надежды свои и впал в отчаяние, не осмелившись бороться с судьбой даже столько, сколько боролся Помпей, хотя мог полагаться еще на надежду, на войско, а кораблями обладал совершенно морем.

Самое тяжкое из обвинений, которое можно сделать Бруту, есть то, что хотя он был обязан жизнью милости Цезаря; хотя спас столько, сколько хотел пленников, будучи почитаем его другом и предпочтен многим другим, однако сделался его убийцей. Этого упрека нельзя сделать Диону, напротив того, будучи родственником и другом Дионисию, старался он о сохранении и восстановлении дел его, а когда был им изгнан из отечества, оскорблен в лице жены его и лишен имения, то объявил ему войну законную и справедливую.

Но не должно ли, может быть, смотреть на это с противной стороны? То, что служит к величайшей похвале сих мужей – вражда и ненависть к тираннам – это свойство чисто и без смешения. Не имея причины жаловаться на Цезаря лично, он подвергал себя опасности за свободу общую. Другой не воевал бы с тираннами, если б сам не претерпел личного оскорбления. Это доказывается и письмами Платона, из которых явствует, что Дион низложил Дионисия, который отверг его, а не сам от него отстал. Сверх того, польза общественная сделала Брута другом Помпею, хотя был ему врагом и противником Цезарю, ибо он полагал лишь одну справедливость правилам вражды и дружбы. Но Дион был подпорой Дионисию, когда тот имел к нему доверие, а когда он лишился его, то по гневу своему вел против него войну. По этой причине не все друзья его думали, что он, изгнав Дионисия, не утвердит за собою власти и не обольстит граждан именем, которое было мягче имени тираннии. Что касается до Брута, то самые неприятели его утверждали, что один он из числа посягнувших на жизнь Цезаря имел от начала до конца ту цель – возвратить римлянам древнее правление.

Сверх того – борьба с Дионисием не была равна борьбе с Цезарем: не было ни одного знакомого Дионисию, который бы не презирал его за то, что он проводил большую часть

времени в пьянстве, игре, в обществе женщин. Но принять в ум свой разрушить владычество Цезаря, не устрашиться способностей, могущества, счастья того, которого одно имя не позволяло царям парфянским и индийским предаваться сну – было действием души необыкновенной, которой силу никакой страх не мог поколебать. По этой причине едва Дион показался в Сицилии, то присоединились к нему многие тысячи людей; но слава Цезаря и после его падения поддерживала его друзей; имя его возвысило того, который его принял, и ребенок беспомощный сделался первым из римлян, которые приняли его, как противоядие против могущества и вражды Антония. Если скажут, что Дион изгнал Дионисия великими сражениями, а Брут убил Цезаря безоружного и никем не охраняемого – то это-то самое есть произведение великого искусства и полководческих способностей, а именно: застать неохраняемым и безоружным человека, огражденного величайшей силою. Брут не вдруг, не один или с немногими напал на Цезаря и умертвил его; он гораздо прежде составил умысел и напал на него со многими сподвижниками, из которых ни один из них ему не изменил. Или он в миг познал лучших людей, или, оказав предпочтение тем, кто поверил ему, сделал их лучшими. Но Дион, либо обманувшись в своем выборе, поверил себя дурным людям, либо употребляя их, сделал их из хороших дурными, но ни того ни другого неприлично претерпевать благоразумному человеку. Платон порицает его за то, что избрал таких людей, которые впоследствии погубили его.

Дион пал, и никто за него не отомстил; но Брута похоронил с честью сам Антоний, неприятель его. Цезарь сохранил и почести, которые были ему назначены. В Медиолане, городе в Предальпийской Галлии, стоял медный кумир. Он в совершенстве представлял Брута и был прекрасно изваян. Цезарь некогда его увидел, сперва прошел мимо, потом несколько остановился и в присутствии многих, призвав правителей города, сказал им, что жители города суть его неприятели, ибо имеют в себе его врага. Они отрицали того и смотрели друг на друга в недоумении, не зная, кого он разумел. Цезарь, обратясь к кумиру, принял вид суровый и сказал: «Не враг ли мой тот, кто здесь стоит?» Они были приведены в изумление и пребывали в глубоком молчании. Но Цезарь улыбнулся, похвалил галлов за то, что они тверды в дружбе и в беде, и приказал им оставить кумира Брута на месте.

Артаксеркс

Артаксеркс Первый*, превосходивший кротостью и великодушием всех персидских царей и прозванный Долгоруким, потому что имел правую руку длиннее левой, был сыном Ксеркса. Второй Артаксеркс, жизнь которого здесь описывается, был сыном Артаксерксовой дочери и прозван Мнемоном. У Дария и Парисатиды* было четверо детей, из которых Артаксеркс был старшим, вторым был Кир, за ними Остан и Оксатр. Кир назывался так по имени древнего Кира, который получил свое имя от солнца – Киром персы называют солнце. Артаксеркс назывался прежде Арсиком, но Динон дает ему имя Оарс. Хотя Ктесий ввел в свои сочинения многообразную смесь невероятных и странных басен*, однако неправдоподобно, чтобы он не знал имени царя, которому служил и которого лечил вместе с женой, матерью и детьми.

Кир с самого младенчества имел в себе нечто сильное и пылкое. Артаксеркс казался во всем сдержанней и имел от природы страсти спокойнее. Он женился на добродетельной женщине по воле своих родителей и продолжал сохранять брак, когда они хотели, чтобы он с нею развелся. Царь, умертвив ее брата, намеревался предать и ее той же участи; но Арсик прибегнул с просьбами к своей матери и пролитием многих слез с трудом удалось ему произвести то, что она была спасена и не разведена с ним. Мать более любила Кира и хотела, чтобы он наследовал в царстве отцу своему. По этой причине, когда Дарий занемог, то она вызвала Кира из приморских областей. Кир возвращался в полной надежде, что его мать успела произвести то, чтобы он был назначен преемником престола. Парисатида имела тот благовидный предлог, который употребил и древний Ксеркс по совету Демарата*, а именно, что она родила Арсика, когда Дарий был подданным, а Кира, когда уже Дарий царствовал. При всем том она не убедила Дария. Старший сын был назначен преемником и переименован Артаксерксом; Кир назначен сатрапом Лидии и полководцем в приморских областях.

Вскоре по кончине Дария царь уехал в Пасаргады, где персидским жрецам надлежало совершить над ним царские обряды. Там стоит храм богини войны, которую можно бы уподобить Афине. Тот, над которым совершаются обряды, вступает в храм, слагает свою одежду и надевает ту, которую носил древний Кир, прежде нежели соделался царем; затем он ест меру сухой смоквы, заедает фисташками и выпивает чашу кислого молока. Совершаются ли и другие обряды, того неизвестно. Между тем как Артаксеркс приготовлялся к совершению этих обрядов, приходит к нему Тиссаферн, ведя с собою одного из жрецов, который имел надзор над образованием Кира по установленным правилам и научил его мудрости магов. Казалось, ему более, нежели какому-либо другому персу, долженствовало быть прискорбно, что Кир не сделался царем. По этой причине донос его на Кира показался достоверным. Он донес, что Кир имел намерение спрятаться в храме и в ту минуту, в которую царь снимал одежду, напасть на него и умертвить. Одни говорят, что Кир был схвачен по этому доносу; другие – что он в самом деле находился в храме и был выдан жрецом, который его скрывал. Уже определена была ему смерть; Парисатида, держа его в своих объятиях, обвила его своими волосами, прижала шею его к своей и рыданием и молениями избавила от смерти Кира, который вновь был отправлен к приморским областям. Впрочем, Киру не нравилось сие начальство. Он не столько помнил прощение, ему оказанное, сколько задержание, которому его подвергли, и в ярости своей более, чем прежде горел желанием получить царство.

Некоторые говорят, что он возмутился против царя за то, что не получал от него на стол достаточного количества денег. Кто это говорит, тот представляет Кира слишком простым. Ведь помимо всего прочего за ним стояла мать, которая позволяла ему брать и издерживать столько, сколько хотел, из ее доходов. Богатство его доказывается множеством наемного войска, которое он содержал посредством своих друзей в разных местах, как пишет о том Ксенофонт. Он собрал воинов не в одном месте: скрывая еще свои приготовления, под разными предлогами имел в разных местах людей, которые набирали воинов. Между тем Парисатида старалась уничтожить подозрения Артаксеркса; сам Кир писал ему с покорностью: то просил у него пособий, то доносил взаимно на Тиссаферна, притворяясь, что имел к нему ревность и был с ним в раздоре.

В свойствах царя была некоторая медлительность, которую некоторые почитали снисходительностью. В самом деле, сначала казалось, что он подражал кротости и милосердию соименного ему Артаксеркса: он был благосклонен и доступен к тем, кто хотел его видеть; воздаваемые им почести и дары превосходили заслуги, а от наказаний он отнял бесчестие и посрамление. Он оказывал благосклонность и снисхождение, принимая дары с таким же удовольствием, с каким оные ему приносили, или с каким их принимали, когда он их давал. Не было столь малого дара, которого бы он не принял охотно. Некто, по имени Омис, принес ему необыкновенной величины гранат. Артаксеркс принял его и сказал: «Клянусь Митрой! Когда бы этому человеку поручили малый город, то он вскоре сделал бы и его великим!»

Во время одного путешествия жители приносили ему разные дары, какие кто мог. Один земледелец, не найдя вскорости ничего, побежал к реке, черпнул руками воды и принес ее Артаксерксу. Царь был столько доволен, что послал ему золотую чашу и тысячу дариков. Когда лаконец Евклид говорил ему с великой дерзостью, то Артаксеркс велел тысяченачальнику сказать ему: «Тебе можно говорить царю то, что хочешь, а ему и говорить и делать». Некогда на охоте Тирибаз показал Артаксерксу, что его кандий* был разодран. Артаксеркс спросил его, что же теперь делать. «Государь, – сказал Тирибаз, – ты надень другой кандий, а этот отдай мне». Артаксеркс исполнил его желание, но при этом сказал: «Я тебе даю, Тирибаз, этот кандий, но запрещаю его носить». Тирибаз, однако, не уважив запрещения, – он был человек не дурной, но легкомысленный и ветреный – надел тотчас кандий и наложил на себя золотые вокруг шеи украшения, какие носят царские жены. Все на это негодовали – ибо это не было запрещено; но царь засмеялся и сказал Тирибазу: «Позволяю тебе носить золотые уборы, как женщине, а кандий – как сумасшедшему».

В трапезе царя персидского никто не имел участия, кроме матери его и супруги, из которых одна сидела выше, другая ниже его. Артаксеркс призывал к столу Остана и Оксатра, которые были моложе его. Колесница царицы Статиры была для персов приятнейшим зрелищем. Она была всегда без занавесок. Царица позволяла женщинам простого состояния

подходить к ней и приветствовать ее. По этой причине царица была весьма любима народом.

При всем том некоторые беспокойные и перемену любящие люди думали, что управление требует Кира, человека с великими дарованиями, отличного воина, любящего своих друзей, и что обширность владения имели нужду в царе с духом великим и жадным к славе. Итак, Кир, полагаясь столько же на тех, кто был в верхних областях, как и на тех, кто его окружал, решился начать войну. Он писал лакедемонянам, чтобы они ему помогли и прислали к нему людей, обещаясь дать тому, кто придет пеший – коня, кто приедет верхом – колесницу с парою, имеющим села даст города, и что жалованье ратникам будет выдаваемо не числом, но мерою. Говоря о себе с великим хвастовством, он уверял, что имел сердце больше брата своего, что был ученее его и лучше знал учение магов; что более его пил и выносил вина; и что его брат от малодушия и неги ни на охоте не сидит на коне, ни в сражениях на колеснице. Лакедемоняне послали Клеарху скиталу с приказанием повиноваться во всем Киру*.

Кир двинулся на царя с многочисленной варварской силою и с греческим наемным войском, состоявшим без малого из тринадцати тысяч. Он находил разные предлоги к сокрытию своего похода; однако не долго скрывался. Тиссаферн прибыл к царю с известием о его походе. При царском дворе господствовало великое беспокойство; вся вина войны падала на Парисатиду; приятели ее были подозреваемы и обвиняемы. Более всего досаждала Парисатиде Статира, которая в горести своей кричала: «Где данные уверения? Где просьбы мои? Ибо ты избавила того, кто злоумышлял на жизнь своего брата, и тем ты погрузила нас в войну и в жестокие бедствия!» С того времени Парисатида, ненавидя Статиру и будучи от природы злобная и жестокая во гневе и злопамятстве, искала случая ее умертвить. Динон пишет, что злоумышление свое она совершила во время войны; Ктесий говорит, что после. Невероятно, чтобы последний не знал времени, будучи очевидным свидетелем дела; он и не имел причины добровольно переменить время, в котором случилось рассказываемое им происшествие, хотя, впрочем, его повесть часто бывает неверная, отклоняясь от истины к баснословному и драматическому; но что касается до этого происшествия, то оно, конечно, случилось в то время, в которое Ктесий полагает его.

Кир, продолжая путь далее, получил известие, что царь не был намерен тотчас дать ему сражение и не спешил с ним сойтись; что он оставался в Персиде, пока туда не соберутся к нему все войска. Он вырыл ров в ширину десять сажень и столько же в глубину на пространстве четырехсот стадиев; но при всем том дал время Киру перейти его и быть не в дальнем расстоянии от Вавилона. Тирибаз, как говорят, прежде всех осмелился сказать, что не надлежало убегать сражения, уступать Мидию и Вавилон и самую Сузу и удаляться в Персиду, имея силу многочисленнее неприятельской и великое число сатрапов и полководцев, которое могли лучше Кировых и сражаться и подавать советы.

Это представление заставило Артаксеркса немедленно решиться на сражение. И вот с войском, состоявшим из девятисот тысяч, в великолепном вооружении, показавшись неожиданно, изумил и привел в смятение неприятелей, которые были не устроены и не вооружены из презрения к нему и самонадеянности; и Кир едва мог выстроить свое войско среди шума и криков. Артаксеркс вел свое войско медленно и в глубоком молчании. Совершенный порядок оного привел в удивление греков: они ожидали от такого множества народа – криков, беспорядочных движений, смятения и неустройства. Артаксеркс весьма разумно поставил и лучшие серпоносные колесницы перед своею фалангой против греков, дабы разорвать их ряды стремительным нападением прежде, нежели войска сошлись.

Это сражение повествуется многими. Но Ксенофонт живым описанием только что не представляет перед глазами все дело, как бы оно происходило теперь, а не прежде. Он, заставляя читателя принимать во всем участие, ввергается в опасности, подобно действующим лицам. Итак, было бы безрассудно оное описывать; можно только коснуться тех обстоятельств, которые Ксенофонтом пропущены, хотя достойны быть упомянуты.

Место, на котором оба войска выстроились, называется Кунакса* и отстоит от Вавилона на пятьсот стадиев. Перед сражением Клеарх советовал Киру стоять позади лакедемонян и не вдаваться в опасность. «Что ты говоришь, Клеарх? – воскликнул Кир. – Ты хочешь, чтобы я был недостойным царского достоинства, которого я желаю?!» Кир сделал важную ошибку, бросившись с дерзостью и без предосторожности в самую средину опасности. Но Клеарх

сделал не меньшую, если не большую ошибку, не захотел противопоставить греков царю, но растянул до реки правое крыло, дабы не быть обойденным. Если он ни о чем так не заботился, как о безопасности и о том, чтобы ничего дурного не претерпеть, то было бы лучше оставаться дома. Но кто прошел с войском десять тысяч стадиев от моря, не будучи никем принуждаем, а для того только, чтобы посадить Кира на престол царский, а потом искал места и устраивал силу свою не так, как бы спасти своего вождя и нанимателя, но как бы привести в безопасность и в состояние спокойно сразиться с неприятелем, тот, по-видимому, от страха о настоящей опасности забыл помышления о целости всего дела и потерял из виду цель своего военачальства. То, что никто из царских полководцев не выдержал бы нападения греков, что по отражении их, по бегстве или смерти царя Кир одержал бы победу, мог спастись и царствовать, то явствует из последовавших происшествий. По этой причине более дерзости Кира должно винить осторожность Клеарха, ибо она погубила и Кира, и его дело. Когда бы сам царь рассудил, куда поставить греков, дабы они были ему как можно менее вредны, то не нашел бы другого места, как отдаленнейшего от себя и от своих. С этим расположением поражение, им претерпенное, не было бы замечено, а Кир был изрублен прежде, нежели мог получить какую-либо пользу от Клеарховой победы. Кир, впрочем, знал, что ему было полезнее: он велел Клеарху выстроиться в средину. Клеарх сказал, что он печется, дабы дело шло к лучшему, и все испортил.

Греки разбили персов, как хотели и, преследуя их, зашли далеко. Кир сидел на чистокровном, но слишком горячем коне по кличке Пасак, как пишет Ктесий. Против него выступил Артагерс, начальник кадусиев*, и громко кричал ему: «О ты, посрамивший прекраснейшее и многопочитаемое имя Кира, несправедливейший и безрассуднейший человек, ты ведешь сих презренных греков гибельным путем на расхищение персов. Ты надеешься умертвить государя и брата своего, у которого есть слуги тысячу раз лучше тебя, как вскоре ты сам это испытаешь, ибо ты скорее положишь здесь свою голову, нежели увидишь лицо царское». Сказав это, он бросил в него дрот; броня выдержала удар; Кир не был ранен, но покачнулся, ибо удар был сильный. Артагерс своротил свою лошадь. Кир ударил в него и попал; острие дротика пронзило Артагерса сквозь шею у ключицы. Таким образом он, по призванию почти всех, умерщвлен самим Киром. Касательно смерти Кира, Ксенофонт пишет просто и коротко, ибо он не находился при этом происшествии. Итак, ничто не может быть препятствием, если я приведу здесь порознь повествования Динона и Ктесия.

Динон пишет, что по умерщвлении Артагерса Кир бросился стремительно в середину выстроившихся перед царем воинов и поразил коня его. Царь упал с коня. Тирибаз посадил его немедленно на другого и сказал ему: «Государь! Помни этот день; он не должен быть предан забвению!» Кир опять ударил на брата и повалил Артаксеркса. При третьем нападении царь в великой досаде сказал предстоявшим: «Уж лучше вовсе не жить!» И выступил против Кира, который дерзко и неосторожно бросался на удары противников. Царь ударил в него дротиком; окружающие также стреляли. Кир упал, как одни говорят, от удара Артаксеркса, а по словам других, от удара карийца, которому царь, в награду за этот подвиг, дал право, чтобы перед его рядами носили на копье золотого петуха. Персы называют карийцев «петухами», по причине гребней, которыми те украшают шлемы свои.

Повествование Ктесия, сокращенное мною по возможности, есть следующее. Кир умертвил Артогерса, устремился на самого царя, а царь обратился на него – оба в глубоком молчании. Арией, приятель Кира, бросил прежде копье в царя, но его не ранил. Царь, пустив дрот в Кира, не попал в него, однако поразил и умертвил Сатиферна, человека храброго и верного Киру. Кир бросил дротик в царя, дротик пробил броню и ранил его в грудь, острие вонзилось в нее на два пальца. Артаксеркс от этого удара упал с коня. Вокруг него происходила тревога и бегство, он поднялся и с немногими, в числе которых был Ктесий, занял ближайший холм и пребывал в покое. Кир, попавший в гущу неприятелей, был увлечен далеко разгорячившимся конем. Уже было темно, неприятели его не знали, а друзья искали его. Гордясь победой, исполненный смелости и жара, он стремился далее с криком: «Расступитесь, оборванцы!» Эти слова были им повторены несколько раз на персидском языке; народ расступался и кланялся ему. Между тем с головы его спала тиара. Один молодой перс по имени Митридат, проскакав мимо него, поразил его дротиком в висок близ глаза, не зная, кто он

такой. Кровь лилась ручьями из раны его, голова у него вскружилась, он впал в обморок и свалился с коня, который убежал и блуждал один. Служитель того, кто поразил Кира, поднял соскользнувший с коня его чепрак, обагренный кровью. Кир с трудом пришел в себя; несколько евнухов, тут бывших, старались посадить его на другую лошадь и спасти. Он был слаб, но хотел ходить сам; евнухи приподняли и понесли его. Будучи в изнеможении, он не мог стоять на ногах; но почитал себя победителем, слыша, что бегущие называли Кира царем и просили пощады. Между тем несколько кавнийцев, люди бедные и несчастные, которые следовали за войском царским, отправляя самую грязную работу, вмешались как приятели в число тех, кто окружал Кира. Когда они заметили наконец, что платье на бронях было красное, между тем как у царских воинов было белое, они догадались, что то были неприятели. Один из них поразил сзади дротиком Кира, не зная его. Жила у подколенья была прорезана; Кир упал – ударился раненым виском о камень и умер. Таково повествование Ктесия, в которой он мучительно убивает Кира, как бы рубит тупым ножом и, наконец, насилу его добивает.

По умерщвлении его Артасир, око царево, случайно проехал мимо места, где он лежал. Он, увидя рыдающих евнухов, спросил вернейшего из них: «Кто это, кого ты так оплакиваешь, Париск?» Евнух отвечал ему: «Не видишь ли ты, Артасир, лежащего здесь мертвого Кира?» Артасир был приведен в удивление, он велел евнуху успокоиться и оберегать мертвого, а сам поскакал к Артаксерксу, который уже был лишен всякой надежды и находился в крайне слабости от раны и жажды. Он объявил ему с радостью, что собственными глазами видел Кира мертвым. Сперва Артаксеркс хотел идти сам к тому месту и велел Артасиру вести себя; но боясь греков, о которых говорили, что преследуют их, и что они всех победили, решились они послать большее число воинов для обозрения. Послано было тридцать человек с факелами.

Артаксеркс находился в опасности умереть от жажды; евнух Сатибарзан бегал в окрестностях и искал для него воды; но в тех местах воды не было, а достать было далеко. После многих трудов он нашел наконец одного бедного кавнийца*, который нес в дурном мехе до восьми котил испорченной воды. Сатибарзан взял ее и принес к царю; он выпил всю воду, и когда спрашивали его, не показалась ли ему вода эта отвратительной, то он поклялся богами, что никогда не пил с большим удовольствием столько вина, ни воды легче и чище. «Если я, – продолжал он, – не буду в состоянии наградить при жизни человека, который тебе дал эту воду, то молю богов, да сделают они его богатым и счастливым».

Между тем посланные от него возвратились с великой радостью, возвещая ему о неожиданном благополучии. Уже царь был ободрен и множеством стекающихся вновь к нему воинов; он сошел с холма при свете многих огней. Придя к мертвому, которого голова и правая рука были отсечены по некоему персидскому закону, Артаксеркс велел подать к себе голову, взял ее за густые и длинные волосы и показывал тем, кто еще сомневался и предавался бегству. Воины были приведены в удивление и поклонялись царю. Вскоре собралось вокруг него до восьмидесяти тысяч человек; он вступил опять в стан, из которого, по уверению Ктесия, вышел на битву с четырьмястами тысячами воинов*. Динон и Ксенофонт полагают, что число сразившихся было гораздо больше. Что касается до числа убитых, то Ктесий говорит, что к Артаксерксу принесено было девять тысяч мертвых, и что, как ему показалось, число легших на поле брани простиралось до двадцати тысяч. Может быть, это сомнительно; но Ктесий уже явно лжет, когда говорит, что был сам послан к грекам вместе с закинфянином Фалином и некоторыми другими. Ксенофонт знал, что Ктесий находился при царе. Он упоминает о нем и дает знать, что читал его книги. И так, когда бы Ктесий приехал к грекам и служил переводчиком в таких важных переговорах, то Ксенофонт не пропустил бы его имени, ибо он назвал и закинфянина Фалина. Но Ктесий был человек безмерно честолюбивый и при том приверженный Клеарху и Лакедемону; он всегда находит и для себя в повествовании место при всяком случае и упоминает с великой похвалой о Клеархе и лакедемонянах.

После сражения Артаксеркс послал богатые и славные дары сыну Артагерса, убитого Киром; равным образом почтил он дарами Ктесия и других. Он отыскал кавнийца, который уступил ему мех с водою, и сделал его из неизвестного и бедного знаменитым и богатым. Наказания, которым подверг он провинившихся перед ним, довольно кротки. Один мидиец по имени Арбак перешел к Киру во время сражения и потом, когда Кир пал, перешел к Артаксерксу, который открыл в нем робость и малодушие, а не измену и злонамеренность, и

потому велел посадить ему на шею голую блудницу и целый день носить ее, ходя по торжищу. Другому, который не только перешел к неприятелю, но к этому поступку присовокупил ложь, сказав Артаксерксу, что он умертвил двух неприятелей, Артаксеркс велел проколоть язык тремя иглами. Он воображал и хотел, чтобы другие верили и говорили, что он сам умертвил Кира, и с этой мыслью послал дары к Митридату, который прежде всех поразил Кира, и велел сказать ему: «Царь чтит тебя этими дарами за то, что ты принес к нему чепрак найденной тобою Кировой лошади». Кариец, которой ударил в подколенье Кира, от чего он пал, просил и себе даров; Артаксеркс велел ему сказать через тех, с которыми послал оные: «Царь дает тебе дары в награду за вторую хорошую весть, ибо Артасир первый, а ты второй принесли ему известие о кончине Кира». Митридат удалился в молчании и великой горести. Но несчастный кариец по своей глупости предался некоторой общей человекам страсти. Испорченный, по-видимому, настоящим благополучием и надеясь приобрести что-либо выше своего состояния, он не хотел, чтобы полученные им дары почитались наградою за хорошую весть; он досадовал и кричал, что не другой кто, а он сам умертвил Кира и что несправедливо лишен принадлежащей ему славы. Царь, услыша это, был до того раздражен, что велел отрубить ему голову. Но его мать, которая тут находилась, сказала ему: «Государь! Не поступи так кротко с этим негодным карийцем; он от меня получит награду, достойную за слова, которые осмеливается произносить». Царь ей позволил, и Парисатида велела палачам мучить его десять дней, потом выколоть ему глаза и в уши влить растопленной меди, пока наконец он не умер.

Равным образом погиб вскоре и Митридат по своему безрассудству. Он был приглашен к ужину, где были евнухи как царя, так и матери его; он пришел в той одежде и в том золотом убранстве, которые получил от царя. Когда начали пить, то евнух, который имел большую силу при Парисатиде, сказал ему: «Прекрасную тебе, Митридат, подарил царь одежду, прекрасные ошейники и нарукавники. Какой дорогой меч! Сколь ты блажен и славен в глазах всех!» Митридат, уже будучи пьян, отвечал: «Это все пустяки, Спарамиз! Я заслужил у царя большие и богатейшие дары за оказанную мною в тот день услугу». Спарамиз, улыбнувшись, отвечал: «Я тебе не завидую, Митридат; однако как греки говорят, что истина – в вине, то прошу сказать, какая тут слава сыскать чепрак, свалившийся с лошади, и принести его царю?» Он говорил это не потому, что не знал истины, но желая возбудить честолюбие и обнаружить перед присутствующими мысли этого человека, который от вина сделался говорлив и невоздержан. Митридат сказал с дерзостью: «Вы говорите что хотите о чепраках и тому подобном, а я вам скажу начистоту, что Кир убит этою рукою. Я бросил копье не понапрасну, как Артагерс; я попал и поразил его, хотя не прямо в глаз, но в висок; он упал на землю, он умер от этого удара». Присутствующие, предвидя уже конец и несчастье Митридата, склонили головы. Тот, кто угощал их, сказал: «Митридат! Будем теперь есть и пить, поклоняясь гению, хранящему царя, оставим речи, которые выше нас».

После того евнух пересказал Парисатиде слова Митридата; она донесла о том царю, который вознегодовал, как будто бы через то он был изобличен и терял лучшее и сладчайшее удовольствие от победы. Он хотел, чтобы и персы и греки верили несомненно, что при нападении и в стычке он нанес и получил удар, что был сам ранен, но убил Кира. Итак, он велел предать смерти Митридата, посадив его в корыта. Наказание в корытах состоит в следующем. Берут два корыта, которые сделаны так, что можно приноровить одно к другому; в одном из них кладут навзничь наказываемого, потом накладывают другое корыто таким образом, что голова, руки и ноги его остаются снаружи, а прочее тело закрыто. Ему дают есть, а если он не хочет, то принуждают его, коля ему глаза. Как скоро он поест, то наливают ему в рот мед, смешанный с молоком, и обливают им ему лицо. Потом поворачивают его глазами к солнцу. Множество мух садятся на него и покрывают ему лицо. Следствия пищи и питья производят внутри корыт гнилость и порчу, от которой родятся черви, которые точат тело, впиваясь внутрь его. Когда страдалец умрет, то снимают верхнее корыто и находят тело съеденным, а в утробе целые рои гнездящихся и пожирающих червей. Таким образом Митридат умер, мучимый в продолжение семнадцати дней.

Оставался еще царский евнух, отрубивший голову и руку Кира, по имени Масабат, на которого мстила Парисатида. Он не подавал никакого повода против себя. Парисатида устроила следующую против него хитрость. Эта коварная женщина весьма искусно играла в кости. До

войны она играла часто в оные с царем; по окончании войны она с ним примирилась, старалась быть всегда вместе, играла и шутила с ним, знала все его любовные дела, в которых сколько могла ему помогала. Одним словом, она оставляла ему как можно менее времени быть со Статирой, ибо она ненавидела ее до чрезвычайности и хотела иметь над царем силу более всякого другого. Некогда, найдя его без занятия и расположенного к забавами, она предложила ему играть в кости по тысячи дариков. Она дала ему выиграть и заплатила деньги. Притворяясь, что ей то было досадно и что чрезвычайно о том жалела, она предложила ему начать опять игру, назначить вместо денег играть на евнуха. Царь согласился. Она сделал условие, чтобы побежденный уступил победителю одного евнуха, которого победитель себе выберет, за исключением только пяти вернейших ему евнухов. После того стали играть.

Парисатида, занявшись игрой с большим вниманием, при удачном бросании костей выиграла и получила Масабата, ибо он не был в числе выговоренных. Прежде нежели царь мог иметь какое-либо подозрение, она предала его мучителями и велела содрать с него живого кожу; тело его было воткнуто на трех колах, а кожа была особо растянута.

Царь был возмущен и разгневан на Парисатиду за такой поступок; но она со смехом и иронией отвечала ему: «Как ты мил и забавен! Ты сердишься за старого дурного евнуха, а я, проиграв тысячу золотых монет, молчу и должна быть довольна!» Царь раскаялся, познав обман, но пребывал в покое. Статира, которая во всем противилась Парисатиде, досадовала на случившееся, говоря, что Парисатида, мстя за Кира, губила жестоким и беззаконным образом евнухов, верных рабов царских.

Тиссаферн, обманув вероломным образом Клеарха и других полководцев и нарушив клятву, поймал их и отослал к царю в оковах. Клеарх просил Ктесия, как тот уверяет, достать ему гребень. Он исполнил его желание; Клеарх причесал себе голову и, будучи доволен услугой, подарил ему свой перстень, дабы он служил знаком дружбы его друзьям и родственникам в Лакедемоне; на печати были вырезаны пляшущие кариатиды*. Притом Ктесий говорит, что посылаемые Клеарху кушанья отнимали и съедали скованные с ним вместе воины, которые давали ему самую малую часть; что он тому помог, заставив посылать Клеарху большее количество, а воинам давать особо другое кушанье; что все это делал в угодность и по желанию Парисатиды; что ежедневно посылал к Клеарху с другими кушаньями четверть барана; что Клеарх просил его скрыть в мясе малый нож, послать его к нему и не допустить его ожидать конца жизни от жестокости царя, что он из страха не исполнил это; что царь обещал клятвенно своей матери, которая просила за Клеарха, не убивать его, но что будучи убежден потом Статирой, он велел умертвить всех, кроме Менона*; что после этого Парисатида злоумышляла против Статиры и уготовила ей отраву. Но это повествование Ктесия неправдоподобно, и причины, которые он тому приводит, вовсе безрассудны, ибо возможно ли, чтобы Парисатида за Клеарха решилась на столь ужасное дело и дерзнула бы умертвить законную царя супругу, с которой он прижил детей, назначенных ему наследниками? Нет сомнения, что Ктесий сделал это трагическое описание, дабы более почтить память Клеарха. Он говорит также, что тела других умерщвленных полководцев растерзаны псами и птицами; но что на тело Клеарха вихрь нанес большую кучу песка, засыпал его и закрыл; что тут были посеяны финики и в короткое время выросла прекрасная финиковая роща, которая осенила сие место, так что и царь раскаялся, что умертвил Клеарха, почитая его как мужа, угодного богам.

Парисатида, ненавидя Статиру и будучи исполнена зависти, ибо сила ее над царем происходила из почтения, но сила Статиры была велика и твердо основана на любви и доверии царя к ней, покусилась на ее жизнь. К этому злодеянию подала повод следующая, по ее мнению, важная причина. При ней была служительница верная, которая имела великую над ней силу; имя ее Гигия. Динон утверждает, что она содействовала ей в составлении яда, а Ктесий, что она только знала о том против воли своей. Принесшего к ней яд Ктесий называет Белитаром, а Динон – Меланфом.

После бывших между ними подозрений и неудовольствий обе женщины начали опять встречаться и вместе ужинать; однако боясь и остерегаясь друг друга, они ели одно кушанье и с одних тарелок. В Персии есть малая птичка, из которой ничего не выбрасывается во время еды, ибо она вся состоит внутри из жиру: по этой причине думают, что питается воздухом и росой. Она называется ринтак. Ктесий говорит, что Парисатида разрезала птичку малым ножом,

которого одна сторона была намазана ядом, вытерла его об одну часть птички, чистую и не отравленную часть положила в рот и ела сама, а другую подала Статире. Динон говорит, что Меланф, а не Парисатида, разрезав птицу, подал кушанье с ядом Статире. Эта царица, умирая в страшных муках и судорогах, чувствовала сама, от чего, и внушила царю подозрение к матери своей, ибо ему известна была свирепая и зверская душа ее. Итак, он немедленно приступил к отысканию виновников, поймал и предал пытке служителей и стольников своей матери. Гигию долго держала у себя Парисатида и не выдавала царю, который не переставал ее требовать. После некоторого времени царь, узнав, что Гигия выпросила позволенье у Парисатиды пойти ночью в свой дом, велел поставить засаду; она была поймана и приговорена к смерти. Отравители по законам персидским наказываются следующим образом. Голова виновного кладется на широкий камень, потом бьют ее и давят другим камнем, пока не сокрушат ее. Так-то умерщвлена была и Гигия. Впрочем, Артаксеркс не сделал и не сказал ничего неприятного Парисатиде; по желанию ее он послал ее в Вавилон, сказав, что пока она будет жива, то никогда сам не увидит Вавилона. В таком-то состоянии находился дом Артаксеркса.

Этот государь употребил столько стараний на то, чтобы захватить соратовавших Киру греков, сколько и на то, чтобы преодолеть Кира и удержаться в царстве; однако не имел в том успеха. Греки, потеряв Кира, своего предводителя, и лишившись полководцев своих, вырвались, так сказать, из самой столицы царя и возвратились в свою землю доказать свету, что великость персов и царя их состояла в золоте, в неге, в женщинах, а все прочее было надменность и пустая пышность. Греция оживилась бодростью и презрела варваров. Лакедемонянам показалось уже непозволительным не избавить от рабства населяющих Азию греков и не прекратить унижения, ими претерпеваемого. Сперва они послали в Азию Фиброна, потом Деркиллида*; оба вели войну, но не произвели ничего важного. Итак, лакедемоняне поручили войско царю Агесилаю, который, переправившись в Азию, начал немедленно действовать и приобрел великую славу. Он разбил Тиссаферна в открытом сражении и отнял у него разные города. Между тем как это происходило, Артаксеркс понял, каким образом надлежало вести войну. Он послал в Грецию родосца Тимократа с великим количеством золота и с приказанием подкупать в греческих городах людей, которые имели более силы, и тем возбудить к войне греков против лакедемонян. Тимократ это исполнил: сильнейшие города составили союз против лакедемонян; Пелопоннес был в волнении; правители лакедемонские вызывают обратно из Азии Агесилая, который отправляясь назад, говорят, что из Азии изгоняется тридцатью тысячами стрельцов царских. На персидской монете выбит был стрелец.

Царь персидский лишил лакедемонян и владычества над морем посредством афинянина Конона, который действовал вместе с Фарнабазом. Конон после сражения при Эгоспотамах находился в Египте не потому, что он искал безопасности, но ожидая перемены в обстоятельствах, как погоды на море. Чувствуя, что его предначертания имели нужду в силе, а царская сила имела нужду в разумном начальнике, он послал к царю письмо, в котором открывал ему намерения. Он велел подателю письма представить оное посредством критянина Зинона или Поликрата из Менды*, первый был танцовщик, а второй врач, а если их не окажется, то через врача Ктесия. Уверяют, что Ктесий, получив это письмо, вписал в него от себя, чтобы он был послан к Конону, как человек нужный в делах, имеющих быть произведенными при море. Но Ктесий говорит, что царь от себя возложил на него это препоручение.

Артаксеркс после морского сражения, выигранного при Книде Фарнабазом и Кононом, лишил лакедемонян владычества над морем; он обратил к себе всю Грецию и утвердил славный с греками мир, названный Анталкидовым. Этот Анталкид был спартанец, сын Леонта. Служа царю, он произвел то, что все греческие города и острова, прилежащие к Азии, уступлены были лакедемонянами и платили ему подать по заключении мира – если унижение и предательство Греции можно назвать миром, когда никакая война не имела для побежденных конца, столь позорного.

Артаксеркс, по уверению Диона, всегда ненавидел лакедемонян, почитая их бесстыднейшими людьми, но полюбил чрезмерно одного только Анталкида, который приехал к нему в Персию. Некогда за ужином послал Анталкиду цветочной венок в благовонном и драгоценном масле. Все удивлялись сему особенному знаку милости. Анталкид, конечно, мог

быть таким образом осмеян и получить такой венок, так как посрамил в Спарте Леонида и Калликратида. Когда некто сказал при Агесилае: «Горе тебе, Греция! Уже и лакедемоняне приняли сторону мидов!», то сей государь сказал: «Неправда! Скажи лучше, что миды приняли сторону лакедемонян!» Однако эти красивые выражения не уменьшили бесчестия самого дела. Лакедемоняне погубили свое могущество, сразившись бесславно при Левктрах, но слава Спарты погибла по заключении помянутого договора. Пока спартанцы первенствовали в Греции, то царь называл Анталкида своим другом и гостем; когда же они, будучи разбиты при Левктрах и находясь в дурном положении, просили у него денег и выслали в Египет Агесилая, то Анталкид отправился к Артаксерксу и просил его оказать пособие лакедемонянам; но Артаксеркс до того им пренебрег и такое оказал к нему презрение, что Анталкид, отправившись назад, был осмеиваем своими неприятелями и, боясь эфоров, уморил себя голодом.

К царю Артаксерксу прибыли фиванец Исмений и Пелопид, одержавший победу при Левктрах; от Пелопида он не потребовал ничего неприличного; Исмений, от которого он требовал поклонения, бросил перед собою на пол свой перстень, потом нагнувшись, поднял его, и тем показал, будто бы поклонился царю. Афинянину Тимагору, который послал ему тайное через писца Белурида письмо, принесшее ему большее удовольствие, он подарил десять тысяч дариков; и когда Тимагор попросил коровьего молока по причине своей болезни, то Артаксеркс велел, чтобы за ним вели во всю дорогу восемьдесят коров для доения. Сверх того подарил ему ложе и служителей, которые бы оное стлали, как будто бы греки не умели стлать постели; он дал ему и носильщиков, которые несли его до самого моря, по причине слабости его здоровья. Когда он находился при царе, то дан был ему такой великолепный ужин, что Остан, брат царя, сказал ему: «Тимагор! Помни этот стол; не за малые услуги он предлагается тебе с таким великолепием». Этими словами он более упрекал его за предательство, нежели напоминал ему полученную милость. Впрочем, афиняне приговорили Тимагора к смерти за дароприятие.

Артаксеркс только одним поступком усладил греков за оскорбления, им нанесенные – умерщвлением ненавистнейшего им и враждебнейшего Тиссаферна. Этому содействовала Парисатида, умножившая неудовольствие к нему Артаксеркса. Впрочем, гнев царя против своей матери не был продолжителен. Он примирился с нею и отозвал ее, зная, что она имела ум и дух, соответствующие с царским достоинством; при том не было уже более повода подозревать им друг друга и причинять неудовольствия, находясь вместе. Парисатида после того, угождая во всем царю и не оказывая ни в чем противления, пользовалась великой при нем силою и получила от него все то, что желала. Она заметила, что Артаксеркс был страстно влюблен в Атоссу, одну из дочерей своих. Артаксеркс скрывал и обуздывал свою страсть наиболее из уважения к своей матери, хотя имел уже тайное свидание с Атоссой. Парисатида, подозревая это, оказывала сей девице более любви, чем прежде, хвалила Артаксерксу красоту и свойства ее, как достойные украшать царский трон. Наконец она убедила его жениться на ней и признать ее законной женой, не заботясь нимало о мнениях и законах греков; она уверила его, что он сам есть закон для персов и поставлен от бога судить то, что честно и что постыдно. Некоторые писатели, среди которых и Гераклид из Кимы, уверяют, что Артаксеркс женился не только на Атоссе, но и на другой дочери своей, Аместриде, о которой вскоре мы будем говорить. Что касается до Атоссы, то отец имел к ней такую любовь после брака, что хотя у нее была на теле проказа, он нимало не возымел к ней отвращения; он молился за нее Гере и одной ей из всех богов поклонялся, касаясь рукою земли. Сатрапы и приятели его послали к сей богине столько даров по его приказанию, что пространство в шестнадцать стадиев между храмом и царским двором было покрыто золотом, серебром и пурпуровыми коврами и конями.

Артаксеркс послал свои войска в Египет под предводительством Фарнабаза и Ификрата, но несогласие сих полководцев было причиной того, что предприятие осталось без успеха. Он пошел сам на кадусиев* с тремястами тысячами пехоты и десятью тысячами конницы. Он вступил в страну гористую, туманную и не производящую никаких плодов посредством посева, но питающую грушами, яблоками и иными подобными плодами воинственных и отважных жителей. Артаксеркс неприметно подверг свое войско великим недостаткам и опасностям: нельзя было ничего съестного ни достать на месте, ни издалека привезти. Надлежало употребить в пищу обозных животных; с трудом можно было купить за шестьдесят драхм ослиную голову; не из чего было изготовить царю ужин. Оставалось уже немного и лошадей;

все другие были съедены.

В таких обстоятельствах Тирибаз, человек, который своею храбростью достигнул первых степеней, но который был часто отвергаем царем за его ветреность, и тогда находился в презрении и унижении, Тирибаз спас царя и войско. У кадусиев было два царя; каждый из них стоял с войском особо. Тирибаз пришел к Артаксерксу и объявил ему о том, что намерен был предпринять. Он отправился сам к одному из царей, а к другому послал тайно своего сына. Каждый из них обманывал одного из царей, уверяя, что другой царь посылает посольство к Артаксерксу и старается заключить с ним мир и союз один, и потому советует из благоразумия сделать предложение прежде, обещаясь при том его поддержать. Оба царя поверили ему; каждый из них думал, что другой ему завидует, один послал посланников с Тирибазом, другой с сыном Тирибаза.

Случившееся между тем замедление внушило Артаксерксу подозрение к Тирибазу и подало повод к доносам. Царь был в отчаянии, раскаивался, что поверил Тирибазу и слушал доносы его неприятелей. Когда же возвратился и Тирибаз, и сын его, ведя с собою кадусиев, и с обоими царями заключен мир и договор, то Тирибаз, будучи уже знаменит и силен, отправился назад с царем, который при этом случае доказал свету, что робость и малодушие не всегда суть порождение неги и пышности, как некоторые полагают, но низких свойств души, испорченной дурными правилами. Ни золотые украшения, ни киндий, ни убор в двенадцать тысяч талантов, всегда носимый царями, не препятствовал ему трудиться и переносить все неудовольствия и тяжести, как последний воин. Он носил на себе колчан, держал в руке пельту и шел впереди дорогами гористыми и крутыми, оставив коня своего. Войско окрылялось и укреплялось новою силою, видя его крепость и бодрость, ибо он переходил ежедневно двести стадиев дороги и более.

По прибытии своем среди зимы в царскую станицу, где были чрезвычайные и великолепные рощи и сады среди страны безлесной и голой, он велел воинам рубить дрова в садах, не щадя ни кипарисов, ни сосен. Воины на то не решались, жалея о столь красивых и больших деревьях. Артаксеркс взял секиру и сам срубил самое большое и прекрасное дерево. Воины после того стали рубить деревья, разводили много огней и провели ночь удобно.

Артаксеркс в обратном походе потерял множество людей, а лошадей почти всех. Полагая, что им пренебрегали из-за дурного окончания похода, он подозревал первейших мужей; многих умерщвлял из гнева, а еще более из страха. В тиранах робость есть свойство самое кровожадное; надеянность на себя делает человека снисходительным и кротким и освобождает от подозрений. По этой причине звери самые пугливые и робкие никогда не делаются ручными и смирными, но благородные звери имеют доверие к человеку и по причине своей бодрости не избегают его ласки.

Артаксеркс, будучи уже в летах, заметил, что его сыновья, споря о царстве, старались о приобретении себе друзей среди знатных и сильных. Благоразумнейшие из них думали, что ему надлежало оставить царство Дарию, как он сам получил его по праву первородства; но младший Ох, будучи стремительных и пылких свойств, имел в государстве немалое число приверженных и надеялся склонить в свою пользу отца своего посредством Атоссы. Он оказывал к ней внимание и обещал на ней жениться и вместе с нею царствовать по смерти отца своего. Слух носился, что он имел с нею тайную связь еще при жизни Артаксеркса, но Артаксеркс ничего о том не знал.

Царь, желая лишить Оха надежды на получение царства, дабы он не дерзнул на подобное Киру покушение и новые войны и опасности не постигнули царства, провозгласил царем Дария, которому было от роду пятьдесят лет, и позволил ему носить китару прямую. У персов был закон, чтобы провозглашенный царем просил себе подарка, а чтобы провозгласивший дал все то, что от него было бы потребовано, если это было возможно. Дарий просил у него Аспасию, которую Кир любил более всех женщин и которая тогда была царской наложницей. Она была родом из Фокеи в Ионии, происходила от благородных родителей и получила отличное воспитание. Она была привезена к Киру во время ужина вместе с другими женщинами, которые, садясь подле него, с удовольствием принимали его шутки и ласки, между тем как она стояла близ ложа в молчании. Кир звал ее, но она не повиновалась. Когда служители хотели привести к нему, то она сказала: «Горе тому, кто наложит на меня свою руку». Предстоявшим

показалась она неприятной и грубой, но Киру понравилась; он рассмеялся и сказал тому, кто привел сих женщин: «Ужели не видишь, что ты привел ко мне только одну благородную и не испорченную женщину?» После того он начал оказывать ей особенное внимание, любил ее более всех и прозвал Мудрой. После смерти Кира она попала в плен, когда стан был расхищаем.

Дарий этой просьбой причинил отцу неудовольствие. Ревность варваров в любви жестока, не только приблизившийся к царской наложнице, но и опередивший на дороге колесницы, на которых они везутся, и проехавший между ними наказывается смертью. Хотя Артаксеркс женился на Атоссе по любви против законов, однако он содержал триста шестьдесят отличной красоты наложниц. Когда Дарий просил у него Аспасию, то он сказал, что она женщина вольная, и позволил ему взять ее, если только она хочет, а если нет, то не принуждать ее. Когда же Аспасия, против ожидания царя, приняла предложение Дария, то Артаксеркс отдал ее, принуждаемый законом, но вскоре после того отнял. Он сделал ее жрицей Артемиды, которой поклоняются в Экбатанах и которую называют Анаитидой, дабы она провела остальную жизнь свою в целомудрии. Он хотел через то некоторым образом наказать не жестоко, но умеренно и с некоторой шуткой сына своего. Но Дарий перенес это не равнодушно, то ли от того, что мучила его любовь к Аспасии, то ли почитая себя оскорбленным и осмеиваемым отцом своим.

Тирибаз, приметя в нем сие расположение, старался ожесточить его еще более, ибо в участи Дария он видел и свою, по следующей причине. У царя было много дочерей; он обещал выдать Апаму за Фарнабаза, Родогуну – за Оронта, Аместриду – за Тирибаза. Он в самом деле выдал их так, как обещал; но обманул Тирибаза одного и сам женился на Аместриде; вместо которой обручил с Тирибазом младшую Атоссу. Когда же царь, влюбившись в сию, как сказано выше, женился и на ней, то Тирибаз возымел к нему сильную злобу как человеку легкомысленному, непостоянных свойств и неровного нрава, то был он в силе и в числе первейших, то становился неприятным царю, был им отвергаем; однако он не терпел с благоразумием никакой перемены. В могуществе был несносен по причине надутости своей; в несчастии не был унижен и покоен, но надменен и высокомерен.

Тирибаз, подкладывая огонь к огню, воспалял Дария. Он говорил ему: «Прямая китара не приносит никакой пользы тем, кто сам не старается восстать. Как ты безрассуден! Когда твой брат посредством гинекея пробирается к трону; когда у отца твоего душа слаба и непостоянна и ты думаешь, что право твое на наследство твердо основано? Можно ли надеяться, чтобы тот, кто для ничтожной гречанки преступил закон, у персов священнейший, сдержал ненарушимо свое обещание в важнейших делах? Не равно ли Оху не получить царства, а тебе оного лишиться? Оху никто не воспрепятствует жить благополучно частным лицом, но тебе, как провозглашенному царем, должно либо не царствовать, либо не жить».

Справедливы слова Софокла:

Ко злу своей бег стремит поспешно убежденный,

ибо дорога к тому, чего мы желаем, гладка и покатиста. Люди большей частью желают дурного по незнанию своему и неопытности в хорошем. Величие власти и страх Дария к Оху подавали Тирибазу к тому повод. Нельзя сказать, что Киприда также не была в том виновна по причине отнятия Аспасии.

Дарий предал себя Тирибазу; число заговорщиков умножилось. Один из евнухов открыл царю злоумышление и способ, каким хотели оное произвести в действо. Он знал точно, что они намеревались войти ночью в его чертог и умертвить, когда он лежал. Артаксеркс, услыша это, думал, что было безрассудно быть беззаботным в такой опасности и пренебречь донос, и еще безрассуднее поверить ему, не изобличивши никого. Он поступил следующим образом: велел евнуху находиться при заговорщиках и следовать за ними; в чертоге своем, позади ложа, прорубил дверь и покрыл ее завесою. При наступлении назначенного часа, о котором знал он от евнуха, он остался на своем ложе и не прежде встал, как увидел лицо каждого из тех, кто шел на него. Как скоро они извлекли кинжалы и устремились к нему, он поднял поспешно занавес, удалился во внутренний покой и ударил за собою дверьми, призывая с криком телохранителей. Убийцы, которых он увидел в лицо, не произведши ничего, удалились бегом и советовали

Тирибазу удалиться, ибо все открыто. Они все разделились и убежали. Телохранители царские погнались за Тирибазом, который многих умертвил и наконец получил издали удар дротиком и пал.

Дарий вместе с детьми своими был приведен к Артаксерксу, который, собрав царских судей, поручил им произвести над ним суд. Он не присутствовал в суде; Дария обвиняли вместо него другие. Артаксеркс велел служителям записывать мнение каждого из судей и приносить к нему. Мнения всех были согласны; они приговорили Дария к смерти. Служители взяли его и отвели в другую близкую комнату. Призван был палач; он пришел с острым, как бритва, ножом, которым отсекают головы виновникам. Увидя Дария, он пришел в изумление, он отступил к дверям, озираясь, как бы он не имел ни сил, ни смелости наложить убийственную руку на царя. Но так как судьи ему грозили снаружи и повелевали ему исполнить приговор, то он поворотился, взял Дария за волосы одною рукою, наклонил его и отрезал ему голову. Некоторые говорят, что суд происходил в присутствии царя и что Дарий, будучи изобличен, пал пред ним ниц, умолял его и просил помилования; Артаксеркс в ярости своей встал, извлек свой меч и поражал его, пока он не умер; потом вышел на двор, поклонился солнцу и сказал персам: «Ступайте и веселитесь и другим расскажите, что великий Оромазд наказал тех, кто имел беззаконные и безбожные намерения».

Таков был конец заговора. Ох, ободряемый Атоссой, имел уже великие надежды; однако он боялся оставшегося из законных детей Ариаспа, а из побочных – Арсама. Ариасп не потому, что был старше Оха, но по причине своей кротости, правоты и снисходительности, почитался персами достойным престола. Арсам был умен и любезен отцу. Это не скрывалось от Оха, который злоумышлял против обоих. Будучи коварен и кровожаден, он употребил свою природную жестокость против Арсама, а коварство и лукавство против Ариаспа. Он подослал к нему некоторых евнухов и приближенных к царю людей, которые переносили его угрозы и страшные слова, будто бы произнесенные отцом его, который решился предать его мучительной и постыдной смерти. Слова эти повторяемы были ему ежедневно под видом тайны с уверением, что царь еще медлит, то намеревается вскоре исполнить свое намерение, и тем ввергли его в такой страх, в такое смятение и отчаяние, что он приготовил яд самый сильный, выпил его и прекратил жизнь свою. Царь, известившись о его смерти, оплакал его и подозревал причину. По причине слабости своих лет он не был в состоянии делать разыскания и изобличить виновников. Любовь его к Арсаку усилилась, он явно показывал, что более к нему имел доверие и говорил о том откровенно. По этой причине Ох недолго откладывал свое намерение; он подговорил Арпата, сына Тирибаза, и посредством его умертвил Арсама. Малейшее обстоятельство могло уже прекратить жизнь Артаксеркса по причине его глубокой старости. Недолго он выдержал приключившееся с Арсамом несчастье. Он погас от горести и уныния, прожив девяносто лет и царствовав шестьдесят два. Он почитается кротким и милостивым к подданным; это мнение умножилось особенно по вступлении на престол Оха, его сына, который жестокостью и кровожадностью превзошел всех своих предшественников.

Арат

Философ Хрисипп, любезный Поликрат, страшась, я думаю, дурного значения некой древней пословицы, приводит ее не так, как она в самом деле говорится, но так, как она, по его имению, лучше, а именно:

Кто похвалит отца, как не счастливый сын?

Но Дионисодор из Трезена, опровергая Хрисиппа, приводит пословицу в настоящем ее виде; смысл ее таков:

Кто похвалит отца, как несчастливый сын?

Он говорит, что эта пословица заграждает уста людей, которые будучи сами по себе ничтожны и укрываясь под щитом добродетелей своих предков, твердят только о похвалах их.

Но для того, в ком от природы, по выражению Пиндара, блистает благородство праотцов, как, например, в тебе, который старается уподобиться лучшему из домашних примеров, было бы счастливо вспоминать о знаменитых особах своего рода, всегда говоря о них или слыша тех, кто о них говорит. Не по недостатку в собственных похвальных качествах заимствуют славу свою от чужих похвал, но свои собственные заслуги придавая к ним, прославляют их и как начальников своего рода, и как наставников жизни.

По этой причине я сочинил и посылаю тебе жизнеописание Арата, твоего согражданина и праотца, которого ни славою своей, ни силою ты не посрамляешь. Не потому, чтобы я думал, что ты из детства не приложил старания узнать в точности его деяния, но дабы души детей твоих, Поликрата и Пифокла, питались домашними примерами, частью слыша, частью читая те, которым подражать они должны. Почитать себя лучше всякого есть свойство человека самолюбивого, а не любящего добродетель.

С тех пор как город Сикион расстался с неумеренной дорийской аристократией, былой гармонии пришел конец, и начались раздоры между честолюбивыми демагогами. Город не переставал быть в беспокойстве и страдать, переменяя одного тиранна за другим, пока, по умерщвлении Клеона, избраны были правителями Тимоклид и Клиний, мужи знаменитейшие, имеющие великую силу среди граждан. Правительство начинало уже основываться твердо, как Тимоклид умер, а Абантид, сын Пасея, помышляя о приобретении себе верховной власти, умертвил Клиния. Одних из его друзей и родственников изгнал, других умертвил. Он хотел умертвить и сына его, Арата, который остался семи лет. При случившемся в доме беспокойстве ребенок выбежал вместе с другими и без помощи скитался по городу в страхе. Случайно вошел он неприметно в дом сестры Абантида, по имени Сосо, бывшей в замужестве за Профантом, братом Клиния. Эта женщина, имея благородную душу и думая, что дитя прибегло к ней по внушению некоего бога, скрыла его в доме своем и ночью выслала тайно в Аргос.

Таким образом Арат был вырван из опасности и убежал; в нем с самого начала возникла и возросла жестокая ненависть к тираннам. Он был воспитываем в Аргосе, как прилично благородному человеку, у друзей и знакомых отца своего; тело его достигало отличной крепости и роста; и потому он предал себя упражнениям в палестре. Он состязался в пятиборье и получал венки. В изображениях его обнаруживается атлетический вид*; разум и царская важность, на лице его показывающиеся, не могут сокрыть многоедения и насильственных работ, свойственных атлету. По этой причине, может быть, менее, нежели сколько следует государственному человеку, занимался он учением; хотя впрочем он был способнее говорить приятно, нежели думают те, кто судит о том по оставленным им запискам, которые он сочинял мимоходом и с поспешностью, не заботясь о выборе слов.

Спустя некоторое время Диний и диалектик Аристотель устроили заговор против Абантида, который имел привычку находиться при ученых их беседах на площади и спорить с ними; в разгар одного из таких споров умертвили его. Пасей, отец Абантида, присвоил себе верховную власть, но Никокл коварно умертвил его и объявил себя верховным правителем. Говорят, что сей Никокл был весьма похож лицом на Периандра, сына Кипсела, как перс Оронт на Алкмеона*, сына Амфиарая, и один молодой лакедемонянин – на Гектора. По уверению Миртила, сей лакедемонянин был растоптан множеством людей, которые стекались смотреть на него, когда узнали об этом сходстве.

Никокл правил уже четыре месяца, в которые причинил гражданам много зла и был в опасности лишиться города, против которого этолийцы злоумышляли. Арат был еще отроком, пользовался великим уважением, по причине своего благородства и великого духа, который не оставался в бездействии, но исполнен был огня и не по летам его умеряем основательным рассуждением. По этой причине изгнанники обращали на него особенное внимание; Никокл не оставил этого без замечания: он тайно наблюдал за Аратом и его движениями. Он не боялся, чтобы Арат приступил к какому-либо делу, соединенному с великими опасностями, но только подозревал, что он имел сношения с царями, которые были связаны узами дружбы и гостеприимства с отцом его. Арат в самом деле предпринял идти той же дорогою, но Антигон*, при всех своих обещаниях, не радел и длил время; надежда же на Египет и Птолемея* была дальняя, и Арат решился собственными силами низложить тиранна.

Он сообщил свое намерение прежде всех Аристомаху и Экделу; один был изгнанник из

Сикиона, а другой – аркадянин из Мегалополя, человек любомудрый и опытный в делах, был прежде в Афинах учеником академика Аркесилая. Они приняли охотно предложение Арата. Он говорил о том с другими изгнанниками, из которых немногие, стыдясь отказаться от столь похвального предприятия, приняли в нем участие, но большая часть из них старались удерживать Арата, полагая, что его смелость была произведением неопытности.

Арат помышлял уже о занятии в сикионской области некоторого места, откуда можно будет нападать на тиранна и воевать с ним, как прибыл в Аргос один сикионянин, убежавший из темницы. Он был братом Ксенокла, одного из изгнанников; будучи представлен им Арату, он донес ему, что стена на том месте, которое он перескочил и убежал, внутри почти вровень с землей, примыкая к местам каменистым и возвышенным, и снаружи не совсем неприступна, если приставлены будут лестницы. Арат, услыша это, послал Ксенокла с двумя служителями своими, Севтом и Техноном, для обозрения стены. Он имел намерение, если только окажется возможным, тайно и одним ударом решиться на все, чем вести долговременную войну с тиранном, оставаясь частным лицом. Ксенокл возвратился к Арату, измерив высоту места, и говорил ему касательно этого положения, что оно не есть неприступно и непроходимо, но что трудно приблизиться незаметно: мешают собаки одного огородника, хоть и маленькие, но сердитые и производящие такой шум, что ничем не возможно их унять. Арат после того приступил немедленно к делу.

Запасаться оружием было тогда делом обыкновенным, ибо почти все в те времена делали друг на друга набеги и употребляли засады. Плотник Эвфранор построил совершенно явно лестницы; ремесло его уничтожило всякое подозрение, хотя он был из числа изгнанников. Каждый из друзей Арата в Аргосе дал ему из малого числа своих людей по десяти человек; сам он вооружил тридцать своих служителей, а посредством Ксенофила, первого из разбойничьих предводителей, нанял также немного воинов; им было сказано, что учиняется набег на царских лошадей в сикионской области. Большая часть из них посланы были вперед порознь к башне Полигнота, с приказанием им там оставаться. Послан вперед и Кафисий с четырьмя спутниками в легком вооружении. Им было предписано прийти к огороднику ночной порою, сказать ему, что они путешественники, остаться у него на ночь и запереть его вместе с собаками, ибо не было другой дороги к стене. Лестницы были складные, их положили в корзинки, покрыли и отправили вперед на возах.

Между тем в Аргосе показались некоторые лазутчики Никокла, о которых говорили, что они ходят по городу тайно и наблюдают за Аратом. Арат поутру рано вышел на площадь и при всем народе проводил время со своими приятелями; потом намазался маслом в гимнасии, взял из палестры несколько из тех молодых людей, с которыми он обыкновенно пил и веселился, и возвратился домой. После некоторого времени явились на площади и его служители; один нес венки, другой покупал факелы, иной говорил с женщинами, которые за пиршеством обыкновенно играют и поют. Лазутчики были этим введены в заблуждение и, смеясь, говорили друг другу: «Нет ничего малодушнее тиранна! Никокл, обладая столь большим городом и такою силою, страшился молодого человека, который расточает в ежедневных забавах и попойках все то, что служит к содержанию его в изгнании».

Таким образом они были обмануты и оставили Аргос. Арат после завтрака выступил и соединился при башне Полигнота с воинами. Он вел их в Немею, где объявил им свое предприятие. Он ободрял многими обещаниями и, дав им пароль «Аполлон Победоносец», повел их к городу. Он шел то поспешно, соображаясь с вращением луны, то останавливал свое движение, дабы дорогою пользоваться ее светом, а на закате луны как раз подойти к городу близ стены. Здесь встретил его Кафисий; он не завладел собаками, которые успели убежать, но запер огородника. Это известие ввергло в уныние воинов; они хотели воротиться, но Арат их убедил, обещая, что поведет их сразу назад, если собаки подымут громкий лай. Он послал вперед с лестницами людей, которыми предводительствовали Экдел и Мнасифей, а сам следовал за ними медленно. Собаки начинали уже лаять громко и бегали за Экделом, который, однако, дошел до стены и благополучно приставил лестницы. Между тем, как они входили на стену, то сдающий утреннюю стражу* прошел дозором с колокольчиком, сопровождаемый многими огнями и с великим шумом. Аратовы воины притаились под лестницами, как могли, им не стоило большого труда скрыться, но находились уже в крайней опасности, когда другая

стража шла навстречу первой с противоположной стороны. Когда и эта прошла мимо, не заметя их, то Мнасифей и Экдел взошли немедленно на стену прежде всех. Они заняли подходы по обеим сторонам стены и послали Технона к Арату, советуя ему, чтобы он шел немедленно.

Невелико было расстояние от огорода до стены и башни, где караулил большой сторожевой пес. Он не почувствовал приближения их, или потому, что от природы был ленив, или от того, что устал днем от беганья; однако маленькие собаки огородника снизу разбудили его; он сперва ворчал и лаял незначительно и лениво, но когда они шли мимо, то начал лаять уже громче. Около места этого раздавался сильный лай, так что страж, бывший на противоположной стороне, спрашивал с громким криком псаря, на кого собаки так жестоко лают и нет ли тут чего нового. Псарь с башни отвечал также громко, что нет никакой опасности, но что собака озлилась от света стенохранителей и звона колокольчика. Эти слова ободрили Аратовых воинов, они подумали, что псарь участвует в их предприятии, что скрывает их и что в городе многие другие граждане им содействуют. Приблизившись к стене, они находились в новой опасности; восход по лестницам был продолжителен; они шатались, когда не всходили тихо и поодиночке; время понуждало, ибо петухи уже пели, и почти начинали показываться те, кто с полей вез на продажу в город разные вещи. По этой причине Арат взошел с поспешностью, хотя только сорок человек взошли перед ним. Он принял еще несколько человек снизу и пошел прямо в дом тиранна и правительства. Здесь наемные воины ночевали. Арат вдруг напал на них, схватил всех и никого не умертвил. После того немедленно послал к приятелям своим и каждого из них звал из дома. Они стекались со всех сторон; день уже рассветал; театр наполнился народом; граждане были в беспокойстве при неверном еще слухе и не знали ясно того, что происходило. Наконец, глашатай предстал и объявил народу, что Арат, сын Клиния, призывает граждан к свободе.

Тогда-то они, поверив тому, чего издавна ожидали, устремились все вкупе к дверям тиранна с огнем. Они зажгли дом, пламя поднялось столь высокое, что было видимо в Коринфе, жители которого, приведенные в удивление этим явлением, едва не поспешили на помощь городу. Что касается до Никокла, то он успел выйти из города подземным ходом и убежать. Воины вместе с сикионянами потушили пожар и грабили дом. Арат тому не препятствовал, он отдал сверх того гражданам и все прочие имения тираннов. Ни один человек не был убит или ранен ни со стороны нападающих, ни со стороны противников. Судьба сохранила подвиг сей чистым и не осквернённым кровью единоплеменною.

Арат позволил возвратиться в город восьмидесяти гражданам, изгнанным Никоклом, а равно и изгнанным прежними тираннами, их было не менее пятисот человек; скитание их продолжалось до пятидесяти лет. Они были большей частью бедны и, возвращаясь, заявляли притязания на то, чем прежде обладали. Они занимали свои поместья и дома, приводя в великое недоумение Арата, который видел, что Антигон извне злоумышлял против города и завидовал ему, по причине его свободы; внутри граждане были в беспокойстве и междоусобии.

По этой причине в настоящем положении он принял разумнейший совет присоединить Сикион к Ахейскому союзу. Хотя сикионяне были дорийцами по происхождению, однако приняли добровольно и имя, и правление ахейцев*, которые тогда не были еще ни знамениты, ни могущественны. Большей частью, города их были немноголюдны; они не обладали ни достаточною, ни плодовитою землей; они населяли приморскую страну, которая не имела пристаней; море омывало берега крутые и скалистые. При всем том они доказали, что сила Греции непреоборима всякий раз, когда она устроена хорошо, соединена единоначалием и имеет разумного предводителя. Они не составляли и малейшей части Греции во время цветущего ее состояния; в ту пору все вместе не имели сил и одного значащего города, но благоразумием, единодушием, покорностью, повиновением без зависти тому, кто был выше всех добродетелью, не только себя сохранили свободными среди сильных республик и владетелей, но старались о защите и возвращении независимости большей части других греков.

Что касается до свойств Арата, то он был благоразумным политиком, имел чувства возвышенные, более радел об общественных делах, нежели о своих собственных, ненависть к тираннам была в нем жестокая, польза общественная была всегда мерой дружбы и вражды его. По этой причине он был не столько верным другом, сколько врагом снисходительным и кротким, переменяя мысли по обстоятельствам. Более всего целью его стараний были

единодушие народов, соединение городов, единомыслие Совета с Народным собранием. Он был несмел и робок в открытых сражениях, но украдкой и хитростью произвести что-либо, напасть скрытно на города и на тираннов, он был самый способный и искусный. По этой причине произведши вопреки всем ожиданиям многие дела, в которых употребил смелость, доказал тем, что многие дела возможные оставил неисполненными по излишней осторожности. Как иные звери зорки в темноте, днем бывают слепы, ибо сухость и тонкость влаги в глазах их не терпит соединения со светом; так некоторые люди, одаренные великими способностями и умом, в открытых и смелых делах легко смущаются и робеют, а только в тайных и скрытых бывают бодры и мужественны. Эта неровность в человеке великих качеств происходит от недостатка в учении и философии; они производят добродетель, как плод самородный и дикий, без помощи науки. Но это лучше изъяснять примерами.

Арат, присоединив к ахейцам и себя, и город, служил в походах конным и был любим начальниками за свою покорность, ибо хотя он дал обществу в залог свою собственную славу и силу своего отечества, однако повиновался, как последний ратник, полководцу ахейцев, хотя б он был из Димы или Тритеи, или другого меньшего города. Царь Птолемей прислал ему в подарок двадцать пять талантов, Арат их принял и роздал своим гражданам, которые во многом нуждались, особенно же для выкупа пленных.

Видя, что изгнанники были неутешны, что беспокоили тех, кто владел их именем, и что город был в опасности погибнуть, Арат, не находя никакого спасения, как милости Птолемея, решился отправиться к нему и выпросить денег, дабы посредством их прекратить раздоры. Он отплыл из Мефоны*, что выше Малеи, надеясь переправиться в Египет с поспешностью, но сильный ветер и великие волны, ударяющие с открытого моря, принудили кормчего уклониться от пути. С великими трудами пристали к неприятельскому городу Адрии*. Он был под властью Антигона и имел его охранное войско. Арат успел выйти на берег и удалился от моря на довольное расстояние, имея при себе Тиманфа, одного из своих приятелей. Они скрылись в лесистом месте и провели ночь в беспокойстве. Вскоре после того начальник охранного войска пришел на корабль и искал Арата, но был обманут его служителями, которым было приказано говорить, что Арат убежал и отплыл на Эвбею. Начальник объявил неприятельским груз, корабль и людей и задержал их.

Арат по прошествии немногих дней находился уже в крайнем положении, когда, к счастью его, римский корабль пристал к тому месту, в котором он находился, то скрываясь, то обозревая окрестности. Корабль отправлялся в Сирию; Арат убедил корабельщика принять его и завести в Карию. Он был действительно завезен, претерпев опять на море не меньшие опасности. Из Карии, после долгого времени, переправился в Египет. Он имел свидание с царем, который был к нему благорасположен, ибо Арат приобрел его благосклонность, пересылая к нему из Греции живописные картины. Арат был тонким знатоком этих произведений искусства, он собирал всегда лучшие и изящнейшие и отсылал к Птолемею посредством Памфила и Меланфа.

В то время еще процветала слава сикионской музы и живописного искусства, изящность которого одна оставалась еще неиспорченной. Апеллес сам, уже пользуясь громкой известностью, прибыл в Сикион и вступил в сообщество тамошних живописцев, заплатив талант; он более имел нужды в их славе, нежели в искусстве. По освобождении Сикиона Арат истребил немедленно изображения тираннов, но долго не мог решиться истребить картину, представлявшую тиранна Аристрата, жившего во времена Филиппа. Она была написана всеми учениками Меланфа. И сам Апеллес принял в ней участие, как повествует Полемон, путешественник. Аристрат был представлен стоящим при колеснице, на которой стояла богиня Победы. Работа была удивительная; Арат сначала был смягчен искусством, но после, увлекаемый ненавистью к тираннам, приказывал истребить живопись. Живописец Неалк, друг Арата, умолял его со слезами, но не мог его убедить; наконец он сказал ему: «Арат, должно воевать против тираннов, а не против изображений их. Итак, оставим колесницу и Победу, а я уберу Аристрата». Арат на то согласился; Неалк изгладил Аристрата, а вместо его написал финиковое дерево; более же ничего не осмелился написать. Говорят однако, что ноги Аристрата под колесницей уцелели. Любовью к искусству Арат приобрел благосклонность царя; и познакомившись с ним короче, еще более привлек его любовь к себе и получил от него в дар

своему отечеству полтораста талантов. Арат взял с собою сорок и отправился немедленно в Пелопоннес, а остальные были присланы к нему царем в разные времена и малыми количествами.

Велика была услуга доставить своим согражданам такое количество денег, ибо другие полководцы и демагоги, получая от царей даже малую толику суммы, обижали, порабощали и продавали свои отечества, но всего важнее то, что этими деньгами произвел он мир и согласие между бедными и богатыми и всему народу доставил спокойствие и безопасность. Умеренность же этого мужа в таком могуществе удивительна. Будучи избран полномочным судьею и примирителем в деле изгнанников, не захотел он быть один, но избрал еще пятнадцать граждан себе в помощники, с которыми после многих трудов и великих беспокойств ему удалось устроить все дела и произвести мир и дружбу между гражданами. За эту услугу не только граждане все вместе оказали ему приличные почести, но и особо изгнанники воздвигли ему медный кумир со следующими элегическими стихами: «Советы и подвиги этого мужа, в Греции произведенные, достигают столпов Геракловых. Мы, Арат, по возвращении нашем в отечество, за твои добродетели и за справедливость твою посвятили кумир твой, как спасителя, спасителям богам, ибо ты отечеству своему возвратил равенство и божественные законы».

По окончании этого дела Арат своими заслугами был уже выше зависти своих сограждан, но это причиняло царю Антигону неудовольствие. Он хотел либо совсем приобрести к себе его дружбу, либо поссорить его с Птолемеем. Он оказывал Арату разные ласки, которые он неохотно принимал. Некогда принося в Коринфе жертву богам, послал часть оной в Сикион к Арату, а за ужином в присутствии многих собеседников сказал: «Я думал, что этот молодой сикионянин от природы только любит свободу и сограждан своих, но он, по-видимому, умеет судить о жизни и поступках царей. Прежде он пренебрегал мною и надежды свои простирал за море; он удивлялся египетскому богатству, слонам и флотам и великолепию двора, а ныне рассмотрел тамошние дела вблизи, понял, что все это есть только представление театральное и декорации, и потому обратился ко мне; я принимаю к себе молодого человека и имею намерение употреблять его во всех случаях, а вас прошу почитать его приятелем». Эти слова подали повод завистливым и злонамеренным людям писать наперебой Птолемею много дурного насчет Арата, так что и Птолемей послал письма Арату и жаловался на него. С такою-то завистью и злобой сопряжена самая страстная дружба владельцев и царей, которую они ищут с такою ревностью и жаром.

Арат, будучи избран ахейцами полководцем в первый раз, разорил лежащие на другом берегу Локриду и Калидонию. Он пошел на помощь беотийцам с десятью тысячами воинов, но опоздал; сражение было уже дано, и беотийцы разбиты были этолийцами при Херонее, где пали беотарх Абеокрит и с ним тысяча человек.

По прошествии одного года, предводительствуя войском, предпринял он овладеть Акрокоринфом, имея целью в этом предприятии пользу не одних сикионян или ахейцев; он хотел изгнать оттуда македонское охранное войско, которое держало в порабощении всю Грецию. Харет, афинский полководец, одержал верх в одном сражении над царскими полководцами, прислал к афинскому народу, что он одержал победу, которую можно назвать Марафонской сестрой. Дело Арата без ошибки можно почитать равным подвигу фиванца Пелопида и афинянина Фрасибула против тираннов их отечества; только деяния Арата тем преимущественнее, что он напал не на греков, а на владычество чужое и иноплеменное.

Известно, что Коринфский перешеек, разделяя одно море от другого, соединяет нашу твердую землю с Пелопоннесом. Акрокоринф есть высокая гора, выходящая из средины Греции. Находящееся в ней охранное войско отрезает сообщение с внутренностью Пелопоннеса за Истмом и препятствует проходу войск, равно и всяким промыслам на море и на твердой земле. Кто занимает эту гору охранным войском, тот – обладатель всей Греции. По этой причине младший Филипп называл Коринф не в шутку, но в самом деле кандалами Греции. Все, особенно же цари и правители, желали владеть этим положением.

Старание Антигона завладеть этим местом не уступало страсти самого неистового любовника; он ни о чем более не думал, как об отнятии его хитростью у занимающих оный, ибо не было никакой надежды что-либо произвести явным нападением. Александр, во власти которого было это место, умер, говорят, будучи отравлен Антигоном. Никея, жена Александра,

вступила во владение и стерегла Акрокоринф. Антигон, подсылая к ней Деметрия, своего сына, подавая приятную надежду женщине старой вступить в брак с сыном царя, молодым и прекрасным человеком, уловил ее, употребив на то сына своего, как приманку. Однако ж Никея не предала ему крепости, но стерегла ее с великим тщанием. Антигон притворялся, что не заботится о нем, и торжествовал в Коринфе брак сына своего с нею, давал зрелища, учреждал пиршества ежедневно, как человек, который от радости ни о чем более не думал, как о забавах и наслаждениях. В один день, когда на театре должен был петь Амебей, Антигон провожал туда Никею, которую несли на носилках, великолепно украшенных. Она радовалась оказываемым ей почестям и была весьма далека, чтобы помышлять о том, чему надлежало случиться. Как скоро пришли к тому месту, где дорога обращается к крепости, Антигон велел нести Никею в театр, а сам, простясь и с Амебеем и с брачными торжествами, пошел прямо в Акрокоринф, напрягая свои силы не по летам своим. Он нашел ворота запертыми, стал стучать в них посохом, приказывая отпереть. Воины, внутри бывшие, прийдя в изумление, отворили. Заняв таким образом это место, он не мог скрыть своего удовольствия, но пил и шутил прямо на улицах и площадях, и сей старый человек, претерпевший столько превратностей в жизни своей, теперь сопровождаемый флейтистами с венками на голове, предаваясь веселью, брал всех за руки и приветствовал. Вот так радость, не умеряемая рассудком, более печали и страха потрясает душу, выводит человека из себя самого.

Антигон, завладев Акрокоринфом, как сказано, стерег его теми воинами, на которых он более полагался, и назначил им начальником философа Персея. Арат предпринял завладеть крепостью еще при жизни Александра, но так как ахейцы заключили с ним союз, то Арат тогда отказался от этих мыслей. Впоследствии подало ему повод к нападению на крепость следующее происшествие. В Коринфе было четверо братьев, родом сирийцы. Один из них, по имени Диокл, находился в крепости в числе наемных воинов. Другие трое братьев, украв царское золото, пришли в Сикион к Эгию, одному меняле, которого Арат употреблял в делах, касавшихся до его промысла. Часть золота они продали тотчас, а другую часть один из них, по имени Эргин, менял постепенно, приходя к Эгию. Таким образом он коротко познакомился с Эгием, который завел с ним разговор об охранном войске крепости. Эргин сказал ему, что идучи к брату в крепость, увидел на скалистой стороне отлогую расселину, ведущую к той стороне, где стена крепости самая низкая. Эгий сказал ему в шутку: «Приятель! За малое количество золота вы расстраиваете доходы царские, когда можете один час продать за великое множество денег? Разве ворам, когда они будут пойманы, не предстоит однажды умереть так же, как и изменникам?» Эргин засмеялся и обещал Эгию испытать Диокла, ибо на других братьев своих не весьма полагался. По прошествии немногих дней он возвратился к Эгию, обещая привести Арата к той части стены, где высота ее не более пятнадцати футов, и что во всем ему будет содействовать вместе с Диоклом.

Арат обязался заплатить им шестьдесят талантов, если дело кончено будет благополучно; в противном случае, если только с ними спасется, дать каждому дом и талант денег. Надлежало оставить в залоге у Эгия шестьдесят талантов для Эргина и братьев его. Арат не имел их, а занять не хотел, дабы через то не подать подозрения в своем предприятии. Он взял большую часть своих чаш и золотые уборы своей жены и заложил у Эгия вместо денег. Арат имел столь возвышенные чувства и такую страсть к похвальным деяниям, что хотя знал, что Фокион и Эпаминонд почитались справедливейшими и добродетельнейшими людьми единственно потому, что отказались от больших даров и предпочли добродетель деньгам, однако ж он соглашался издерживать тайно свое имение, приносить его в жертву в таких предприятиях, в которых надлежало подвергнуться опасности ему одному за всех своих сограждан, которые даже не знали того, что происходило. Кто не удивился бы ему, кто и ныне не принял бы участия в великодушии этого мужа, который покупал за деньги столь великую опасность, который закладывал вещи, почитаемые драгоценнейшими, дабы ночью быть введенным в гущу неприятелей, где жизнь его находилась в опасности, принял от них в залог одну надежду на совершение славного дела и более ничего!

Дело само по себе было опасное, но оно сделалось опаснейшим из-за недоразумения, которое произошло с самого начала по неведению. Служитель Арата, по имени Технон, был послан вместе с Диоклом для обозрения стены. Он никогда не видел прежде Диокла в лицо, но

думал, что узнает его по описанию Эргина, который говорил, что брат его кудряв, черноват и без бороды. Придя на условленное место за городом, – место называлось Петух, – он ожидал, что Эргина придет вместе с Диоклом. Между тем старший брат Эргина и Диокла, по имени Дионисий, который не знал того, что происходило, и не имел участия в этом предприятии, но был похож на Диокла, пришел случайно к тому месту. Технон, обманутый сходством описанных ему признаков лица, спросил его, имеет ли какое-либо с Эргином дело? Дионисий отвечал, что он брат Эргина, и Технон совершенно уже удостоверился, что говорит с Диоклом. Не спрося его имени, не дождавшись другого какого-либо от него знака, он подает ему руку и начинает говорить об условиях с Эргином и расспрашивает его о том. Дионисий, приняв ошибку его с хитростью, оказывал во всем согласие и, поворотивши в город, вел его мало-помалу далее, разговаривая с ним и не подавая никакого подозрения. Уже был он близко от города и почти хотел его схватить, как, к счастью, встретил их Эргин. Он понял ошибку и опасность, дал знак Технону, чтобы он убежал, оба пустились бежать и пришли к Арату. Однако Арат не потерял надежды. Он послал немедленно Эргина с деньгами к Дионисию, дабы просить его никому о том не говорить. Эргин то исполнил; он возвратился к Арату и привел с собою брата своего Дионисия. Как скоро сей попался им в руки, то они уже не выпустили, но связали его и держали взаперти, между тем сами готовились к приступу.

Все было уже готово; Арат велел своим воинам провести ночь в вооружении и, взяв четыреста отборнейших воинов, из которых, однако, немногие знали то, что происходило, вел их к воротам Коринфа, что обращены к Герею. Тогда была самая средина лета; луна была во всей полноте, ночь безоблачная и ясная, они боялись, чтобы их оружия, отражая свет луны, не были замечены стражами; уже передовые были близко от города, как с моря поднялись облака, покрыли город и окрестные места, и наступала темнота. Здесь воины сели и снимали обуви, дабы ступая голыми ногами на лестницы, не производили стука и не скользили. Эргин, взяв семь молодых людей, одетых по-дорожному, тайно приблизились к воротам; они убили начальника стражи и стрегущих вместе с ним воинов. В то же время приставлены были лестницы; Арат поспешно заставил сто человек влезть, а другим велел следовать за собою, сколько могли скорее. Он схватил лестницы и через город с сотней человек шел к крепости, исполненный радости, что не был замечен, и надеясь, что его предприятие увенчается успехом. Идучи далее, встретили они с огнем стражу, состоящую из четырех человек, которая не видала их, ибо они были еще в тени, бросаемой луною, но между тем они видели тех, кто шел к ним навстречу. Арат велел своим прижаться к стенам и развалившимся зданиям и составил засаду на идущих. Троих они поймали и умертвили, четвертый, пораженный в голову мечом, убежал, крича, что неприятели в городе. Вмиг затрубили трубы, жители все воспрянули от сна; улицы наполнились бегающими взад и вперед людьми; огни блистали со всех сторон; иные внизу в городе, другие в крепости; глухой крик раздавался всюду.

Между тем Арат продолжал всюду дорогу к крутизнам с великим усердием и соревнованием. Сперва он шел медлительно и с великим трудом, ибо заблудился, не находя тропинки, которая скрывалась между скалами и крутизнами и оканчивалась у стены многими извилинами. Но к удивлению всех, луна проглянула сквозь облака, блеснула и осветила им самую трудную часть дороги, пока достигли той части стены, которой они искали. Здесь облака опять сошлись, луна скрылась, и сделалось темно.

Оставшиеся за воротами невдалеке от Герея Аратовы воины, в числе трехсот человек, ворвавшись наконец в город, в котором происходил страшный шум и горели всюду огни, не могли попасть на дорогу, по которой шел Арат, и найти следов его; будучи устрашены, они все вместе прижались к некоему осененному месту скалы и пребывали тут в большом беспокойстве и нетерпении. Когда же воины с крепости ударили на Арата и сражались с ним, то шум и восклицания раненых простирались до низу, и крик, невнятный и глухой, отзывался в горах – не было известно, откуда он происходил. Они были в недоумении и не знали, в которую сторону обратиться, как Архелай, предводитель царского войска, с многими ратниками шел в гору на Арата с восклицаниями и при звуке труб. Он прошел мимо трехсот воинов, которые поднявшись вдруг, как бы из засады, напали на него и умертвили первых из них. Они ввергли в страх Архелая и его воинов, разбили их и преследовали до тех пор, пока те не разбежались и не рассеялись по городу. Едва они разбили это войско, как Эргин пришел к ним со стороны тех,

кто сражался наверху, с известием, что Арат вступил в сражение с неприятелями, которые обороняются упорно, что у стен происходит жаркая битва и что нужно ему быстрое пособление. Воины требовали, чтобы их повели к Арату; всходя на гору, они голосом давали знать о себе и ободряли своих. Уже луна в полноте своей отражалась в доспехах их, которые являлись неприятелям в большом множестве по причине дальности места. Свойство ночи, повторяя звуки, производило то, что восклицания, казалось, происходили от большого числа людей, нежели сколько в самом деле было. Наконец, соединенными силами они отразили неприятелей, взошли на вершину и заняли крепость. Уже и день рассветал, и солнце освещало их подвиг. Остальная сила пришла из Сикиона к Арату. Коринфяне встречали ее с радостью у ворот и ловили царских ратников.

Когда уже все опасности миновались, то Арат сошел из крепости в театр, куда собрался многочисленный народ, желая видеть его лицо и слышать то, что он хотел говорить коринфянам. Арат, поставя у входа по обеим сторонам ахейцев, выступил сам на сцену, одетый в броню. Труды и ночное бдение изменили его лицо так, что радость души и гордость духа были угнетены тяжестью и слабостью телесною. Как скоро он показался, то чувства народа к нему обнаружились разными ласками. Он взял в правую руку копье и оперся на него, наклонив несколько колено и тело свое, и стоял долгое время в сем положении, принимая с молчанием рукоплескания и восклицания граждан, которые превозносили похвалами его доблесть и благословляли его счастье. Когда они перестали и успокоились, то Арат, собравшись с силами, говорил им в пользу ахейцев речь, приличную сему делу. Он убедил коринфян пристать к Ахейскому союзу, возвратил им от городских ворот ключи, которые со времен Филиппа тогда в первый раз были в руках их. Он отпустил взятого в плен Антигонова полководца Архелая, но умертвил Феофраста, ибо тот не хотел выйти из города. Что касается до Персея, то по взятии крепости он бежал в Кенхреи. Говорят, что впоследствии, когда во время ученого прения некто сказал, что один мудрый кажется ему полководцем, то он отвечал: «Клянусь богами! Это правило Зенона некогда и мне чрезвычайно нравилось! Но ныне наставленный сикионским юношей, я переменил мысли». Многие писатели упоминают об этих словах Персея.

Арат покорил немедленно Герей и пристань Лехей, завладел двадцатью пятью царскими кораблями, взял пятьсот лошадей и четыреста сирийцев, которых продал. Акрокоринф охраняли ахейцы с четырьмястами человек тяжелой пехоты, пятьюдесятью псарями и таким же числом собак, которых держали в крепости.

Римляне, удивляясь Филопемену, назвали его последним греком, как бы после него уже не родился среди греков ни один великий человек. Что касается до меня, то я бы назвал последним и новейшим греческим подвигом сие деяние Арата, которое как по смелости духа, так и по счастию, с которым произведено, может сравниться со знаменитейшими деяниями, как то вскоре доказали самые события. Мегаряне, отставши от Антигона, присоединились к Арату; Трезен и Эпидавр вошли в Ахейский союз. При первом своем походе он вступил в Аттику, переправился на Саламин и разорил его. Он употреблял, как хотел, ахейскую силу, которая была теперь как бы выпущена из темницы. Он отпустил свободных афинян без выкупа, и это было первым побуждением к возмущению их против Антигона. Он сделал Птолемея союзником ахейским и дал ему верховное начальство над сухопутными и морскими их силами. Арат имел такое влияние среди ахейцев, что хотя был избираем в полководцы через год, ибо каждый год избирать одного и того же не было позволено, но он советами и мыслями своими всегда управлял республикой. Все видели, что он ни богатство, ни славу, ни дружбу царскую, ни выгоду родного отечества – одним словом, ничего в свете не ставит выше умножению сил ахейцев. Он был уверен, что города, сами по себе слабые, могут спасаться лишь соединением своим, когда будут обязаны между собою общей пользой. Подобно членам тела, которые, находясь в соединении с другими, дышат и живут, но будучи отторгнуты и отделяясь одни от других, не питаются более и гниют; так и города погибают от тех, которые отторгают их от общего состава, но возрастают один от другого, когда сделаются членами какого-либо великого тела и управляются общим надзором и попечением.

Лучшие из окрестных народов были независимы. Арат, жалея об аргивянах, которые были в порабощении, умыслил умертвить тиранна их Аристомаха. Он желал в то же время и возвратить городу свободу в награду за воспитание, от него полученное в детстве, и

присоединить его к Ахейскому союзу. Найдены были люди, которые осмеливались приступить к сему делу; ими предводительствовали Эсхил и прорицатель Харимен. У них не было мечей, ибо иметь их у себя было запрещено тиранном под строгим наказанием. Арат сделал для них в Коринфе малые ножи и зашил их в мешках, которыми навьючил лошаков, везших незначащие вещи, и переслал в Аргос. Прорицатель Харимен приобщил к сему делу одного своего приятеля; Эхил и его сообщники, досадуя на это, начали действовать сами. Они отделились от Харимена, который, приметя это и осердясь, донес тиранну на заговорщиков в то время, когда они решились напасть на него. Большая часть из них успели убежать с площади и прибыли в Коринф.

Однако по прошествии краткого времени Аристомах был убит рабами, а власть его успел захватить Аристипп – тиранн пагубнее первого. Арат, взяв всех молодых ахейцев, которые при нем находились, поспешил на помощь Аргосу, надеясь, что и жители будут ему помогать усердно, но народ сей уже привык рабствовать добровольно; никто не приставал к Арату, и он отступил, наведши на ахейцев обвинение в том, что они в мирное время употребили военные действия. Мантинейцам, как судьям в деле сем, подана Аристиппом жалоба, а так как Арат не являлся для оправдания своего, то Аристипп выиграл дело, и Арат был приговорен к пене в тридцать мин.

Между тем Аристипп, ненавидя и боясь Арата, умышлял на жизнь его при содействии царя Антигона. Во всех местах были люди, приставленные к умерщвлению его и искавшие благоприятного времени, но для правителя нет стражи лучше любви подчиненных, истинной и верной. Когда народ и знаменитейшие люди боятся не начальника, но за начальника, тогда он смотрит, так сказать, многими глазами, слышит многими ушами и предвидит все то, что может произойти. По этой причине я хочу здесь остановить свое повествование и описать образ жизни, которую заставило Аристиппа вести завидное самовластие и величие славного и ублажаемого всеми единовластия.

Аристипп, имея Антигона союзником, содержа для охранения себя множество воинов, не оставив в городе ни одного из неприятелей своих живым, заставил своих телохранителей стоять вокруг дома в колоннаде; после ужина выгонял немедленно всех своих служителей, запирал сам вместе со своей любовницей ворота дворовые и входил с нею в верхнюю малую горницу, которая запиралась опускною дверью в полу. На нее ставил он ложе и спал, сколько можно спать человеку, исполненному страха и беспокойства. Мать наложницы его брала лестницу и запирала ее в другой комнате, а поутру опять приставляла к дверям и вызывала славного тиранна, который, подобно пресмыкающемуся гаду, выползал из норы своей! В то самое время человек, который не оружием и насилием, но по законам и за свои добродетели всегда имел в руках своих верховную власть, будучи одет в простой плащ, а не в хламиду, и показав себя явным врагом всех когда-либо бывших тираннов, оставил по себе и до нынешнего дня продолжающееся знаменитое среди греков потомство. Между тем немногие из тираннов, занимавших крепости, содержавших телохранителей для безопасности своей, скрывавшихся за оружиями, за крепкими вратами, за опускными дверями, не многие избегли смертного удара, подобно зайцам; не осталось после них ни дома, ни рода, ни гробницы, которой бы память была почитаема.

Впрочем, Арат не имел удачи ни в тайных, ни в явных своих покушениях на Аристиппа, предприняв завладеть Аргосом. Однажды приставил он лестницы и взошел с немногими воинами на стену с великою дерзостью и умертвил стражей, которые бросились на помощь к тому месту, но так как уже рассветало, то тиранн нападал на него отовсюду. Аргивяне, как будто бы не для их свободы давали сражение, но отправляли только Немейские игры, сидели в совершенном спокойствии, как справедливые и беспристрастные зрители того, что происходило. Арат, защищаясь мужественно, получил удар копьем в бедро, но удержался в занимаемом им месте и не был вытеснен до самой ночи при всех нападениях неприятелей. Если бы он выдержал нападение ночью, то без сомнения достигнул бы своей цели, ибо тиранн готовился уже к побегу и многие из вещей своих послал вперед на корабли, но никто не известил о том Арата; притом не доставало у него воды, и по причине раны он сам не мог действовать, и ахейцы отступили.

Отчаявшись в получении успеха этим способом, он вступил в Арголиду и опустошал ее.

При реке Харета дал он жаркое сражение Аристиппу, но навел на себя нарекание тем, что не вовремя оставил поле брани и выпустил из рук победу. Войско его по общему признанию одержало верх и шло далее, преследуя неприятелей, но Арат, не столько принуждаемый теми, кто его окружал, сколько не полагаясь на успех и оробев, отступил к стану в смятении. Воины его возвратились с погони, досадовали, что позволили неприятелям воздвигнуть над собою трофей, тогда когда они победили их и умертвили гораздо более, нежели сколько потеряли сами. Арат, устыдившись их, опять решился дать сражение за трофей и через день выстроил войско, но приметя, что число неприятелей умножилось и что они более ободрились своим успехом, он не осмелился с ними сражаться, но, заключив перемирие, похоронил тела убиенных и отступил.

Стараясь изгладить эту ошибку своим искусством в политике и приятности обхождения, он склонил Клеоны пристать к Ахейскому союзу. Он отправлял в Клеонах Немейские игры под тем предлогом, что оные с древних времен принадлежали этому городу более, нежели какому-либо другому народу. Аргивяне также со своей стороны отправляли Немейские игры, и тогда в первый раз была нарушена подвижникам оказываемая безопасность и полная свобода. Ахейцы продавали как неприятелей всех тех, которые, подвизавшись в Аргосе, проходили через их область и попадались им в руки. Столько-то Арат был жесток и неукротим в ненависти к тираннам!

По прошествии некоторого времени Арат получил известие, что Аристипп злоумышлял на Клеоны и что он страшился его, ибо тот тогда находился в Коринфе. Он дал приказание собраться войску, неся с собою на несколько дней запасов. Он пошел потом в Кенхреи, желая обмануть Аристиппа и заманить к нападению на Клеоны во время своего отсутствия. Это так и случилось. Аристипп немедленно вышел из Аргоса с войском. Арат, возвратившись в Коринф из Кенхреи, ночью занял дороги своими войсками и повел ахейцев, которые следовали за ним с таким благоустройством, с такою скоростью и усердием, что не только на дороге, но и по вступлении в Клеоны, еще ночью устроившись к сражению, не были примечены и скрылись от Аристиппа. С наступлением дня городские ворота отворились, затрубили трубы, и Арат при громких восклицаниях быстро ударил на неприятелей, обратил в бегство и преследовал их по той дороге, куда он полагал, что отступит Аристипп, ибо в этих местах было много поворотов в сторону. Преследование продолжалось до самых Микен. Тиранн был пойман и умерщвлен, как пишет Диний, неким критянином по имени Тригикс; из других пало более тысячи пятисот человек. Арат, получив столь блистательный успех и не потеряв ни одного человека, однако не взял и не освободил Аргоса, ибо Агий и младший Аристомах ворвались в город с царской силою и заняли его.

Несмотря на то, он этим подвигом уничтожил упреки, злоречие, насмешки и ругательства тех, кто, льстя тираннам, в угодность им говорил, что у ахейского полководца в сражениях делается в желудке большая тревога; что голова у него кружится и берет его одурь, как скоро трубач станет подле его; что, выстроив свое войско и дав им пароль, спрашивает у своих починенных предводителей, не имеет ли кто нужды в его присутствии, – ведь жребий уже брошен! – а затем удаляется, ожидая издали окончания дела. Эти слова имели такую силу, что философы в училищах, рассуждая, от робости ли, или от дурного и холодного сложения тела происходит при видимых опасностях трепетание сердца и изменение цвета на лице, приводили в пример Арата, которого почитали они хорошим полководцем, но с которым в сражениях будто бы случились сии перемены.

По умерщвлении Аристиппа он немедленно злоумышлял на Лидиада из Мегалополя, тиранна отечества своего. Лидиад был от природы человек благородный и человеколюбивый. Он подобно другим самовластителям не вдался в эту несправедливость из невоздержания и алчности, но как молодой человек великого духа был вознесен любовью к славе, принял без размышления ложные и пустые слова касательно верховной власти, представляющие ее как приобретение божественное и удивительное, и он сделался тиранном, но вскоре пресытился величием самовластия. Ревнуя к Арату, который был тогда во всей славе своей, и боясь его козней, принял похвальнейшее намерение освободить себя от ненависти, от страха, от окружающих себя стражей и телохранителей и сделаться благодетелем своего отечества. Он призвал Арата, отказался от своей власти и город свой присоединил к Ахейскому союзу.

Ахейцы превозносили его и избрали полководцем своим. Лидиад, желая превзойти славою Арата, предпринимал разные дела, которые казались ненужными, и между прочим хотел выступить с войском против лакедемонян. Арат противился ему и тем заставил думать, что завидует Лидиаду. Когда тот вторично был избран полководцем, то Арат явно ему противодействовал и старался о том, чтобы предводительство дано было другому, ибо он сам, как замечено выше, предводительствовал ахейцами через год. Лидиад пользовался всеобщим расположением до третьего предводительства; он и Арат управляли попеременно через год, но наконец он объявил себя явным врагом Арата, много раз обвинял его перед ахейцами и наконец был ими отвергнут, ибо оказалось, что он притворными свойствами состязался с истинной и чистой добродетелью. Эзоп говорит, что некогда кукушка спрашивала у малых птиц, зачем они бегут от нее. Они ей отвечали: «Затем, что ты будешь когда-нибудь ястребом». Равным образом на Лидиада, со времени его тираннии, падало всегда некоторое подозрение, которое уменьшало доверенность к его преображению.

Арат имел успех и в действиях своих против этолийцев, которых ахейцы хотели встретить перед Мегарской областью. Агис, царь Лакедемонский, прибыл с войском и побуждал ахейцев к сражению, но Арат тому противился. Он слушал равнодушно ругательства и насмешки, которыми его осыпали, называя его человеком малодушным, трусом, но видимое посрамление не могло принудить его отстать от своих полезных предначертаний. Он отступил перед неприятелями, которые прошли Геранию и вступили в Пелопоннес без сражения. Когда же они подступили вдруг к Пеллене и заняли город, то Арат показал уже себя другим человеком. Он более не медлил, не дожидался, чтобы сила его собралась воедино с разных сторон, но с тем войском, которое при нем находилось, быстро устремился на неприятелей, которые хотя и побеждали, но по причине беспорядка и наглости своей были уже весьма слабы, ибо, вступив в Пеллену, воины рассеялись по домам и, грабя их, ссорились между собою, теснили одни других и дрались за деньги. Полководцы их и предводители похищали жен и дочерей пелленцев и, снимая с головы шлемы свои, надевали на них, дабы никто другой их не брал, но дабы по шлему можно было узнать, кому какая женщина принадлежала. Между тем как они находились в сем положении и в таких занятиях, вдруг было извещено, что Арат наступает. Изумление этолийцев было такое, какому должно быть среди столь великого беспорядка; прежде нежели все могли узнать опасность, те, кто у ворот в предместьях города сошелся с ахейцами, были разбиты и предавались бегству. Будучи преследуемы таким образом, они исполнили недоумения тех, кто собирался и спешил к ним навстречу.

Во время этого смятения одна из пленниц, дочь Эпигета, знаменитого человека, отличная красотою и ростом своим, сидела в храме Артемиды, где поставил ее начальник отборного отряда, выбравший ее себе, надевши на нее шлем свой; услыша шум, внезапно она выбежала, стала на дверях храма и сверху взглянула на сражавшихся, имея на голове шлем. Она показалась гражданам существом, превышающим человека, а неприятелям, которые думали, что это есть божественный призрак, внушила ужас и исступление, так что никто не обратился к обороне своей. Пелленцы говорят, что кумир богини остается всегда неприкосновенным; что когда жрица подвинет его и вынесет, то никто не смеет прямо на него взглянуть; что все отворачиваются от него; что он не только есть зрелище страшное и ужасное для людей, но делает еще и деревья бесплодными и портит плоды в тех местах, мимо которых пронесут его; что в то время жрица вынесла сей кумир, обращала его всегда лицом к этолийцам и тем привела их в исступление и лишила рассудка. Но Арат вовсе не упоминает о том в записках своих, он говорит, что, обратив в бегство этолийцев, ворвался вместе с бегущими в город, выгнал их из него и умертвил семьсот человек. Это дело было прославлено в Греции, как величайшее. Живописец Тиманф написал картину, на которой с великой точностью представлено это происшествие. Но так как против ахейцев составляли союз многие сильные народы, то Арат немедленно начал переговоры с этолийцами и при содействии Панталеонта, сильнейшего между этолийцами гражданина, не только заключил с ними мир, но еще вступил с ними в союз.

Впоследствии, желая освободить Афины, Арат навлек на себя порицание ахейцев, ибо, несмотря на заключенное с македонянами перемирие, он предпринял завладеть Пиреем. Но Арат в записках своих опровергает это обвинение и винит в том Эргина, того самого, который ему помогал при взятии Акрокоринфа. Он уверяет, что Эргин по своей воле приставил к Пирею

лестницу, которая подломилась; что, будучи преследуем, он звал часто Арата, как бы он тут находился, и что этой хитростью он обманул неприятелей и убежал. Однако это оправдание не кажется убедительным. Нет никакой вероятности, чтобы Эргин, не занимающий никакой должности и при том сириец, сам предпринял столь важное дело, если бы он не имел Арата предводителем, если от него не получил силы и повода для нападения. Не два и не три раза, но многократно Арат сам доказывает это, приступая к Пирею, подобно несчастным любовникам к предмету любви своей. Неудачи его не утомляли, но как всегда случалось, что он был близок к достижению своего намерения, то это было причиной, что он дерзал снова приступать к сему предприятию. Однажды даже переломил он себе бедро, бегая через фриасийское поле. Когда его лечили, то прорезали ему бедро несколько раз, и долгое время он в походах был носим при войске на носилках.

По смерти Антигона вступил на престол Деметрий*. Арат уже с большим напряжением приступал к Афинам и презирал македонскую силу. Однако он был разбит при Филакии Битием, полководцем Деметрия; иные говорили, что он умер, другие – что взят в плен. Диоген, который тогда охранял Пирей, послал письмо в Коринф, приказывая ахейцам выступить из этого города, ибо Арат умер. Он находился в Коринфе, когда получено было письмо Диогена; посланные от него позабавили коринфян и, заставивши их смеяться, они удалились. Сам царь послал из Македонии корабль для привезения к нему скованного Арата. Афиняне превзошли сами себя легкомыслием и лестью к македонянам, украсив себя венками, как скоро получили известие, что Арат умер. По этой причине Арат во гневе своем выступил против них с войском и дошел до самой Академии, но, убежденный представлениями афинян, он не сделал им никакого вреда. Афиняне наконец, познав его добродетели и стремясь после смерти Деметрия к приобретению своей независимости, звали к себе Арата. Хотя тогда не он был полководцем ахейским и по причине долговременной болезни лежал в постели, однако заставив себя нести на носилках, обратился для оказания городу доброй услуги. Он убедил Диогена, начальника охранного войска, выдать афинянам Пирей, Мунихию, Саламин, Суний за полтораста талантов, из которых двадцать Арат дал сам городу. После этого пристали к ахейцам Эгина и Гермиона, большая часть Аркадии вошла в Союз. Македоняне был заняты войной со смежными народами; этолийцы были союзниками ахейцев, и потому могущество их чрезвычайно возрастало.

Арат желал исполнить данное давно обещание освободить Аргос и досадовал на то, что этот соседственный город был во власти тиранна. Он послал предложить Аристомаху отказаться от своей власти и присоединить город к ахейцам, и, подражая Лидиаду, лучше быть полководцем великого народа с честью и славою, нежели одного города тиранном, всеми ненавидимым, и находиться всегда в опасности. Аристомах послушался, просил Арата о доставлении к нему пятидесяти талантов, дабы заплатить войску и распустить его. Деньги были к нему доставлены. Лидиад, который тогда был еще полководцем, желая из честолюбия, чтобы ахейцы почитали сие дело произведением его, представляя Аристомаху, что Арат есть самый жестокий и несправедливый враг тираннов, убедил его предаться попечению его и сам представил его ахейцам. В этом случае Совет ахейский наиболее обнаружил любовь свою и доверенность к Арату, ибо как скоро Арат тому противился, то ахейцы с гневом отвергли Аристомаха. Впоследствии Арат, смягчившись, опять начал сам говорить в пользу его; Совет вскоре утвердил охотно все то, что он предложил, и принял в Союз Аргос и Флиунт. По прошествии одного года и Аристомах был избран полководцем.

Будучи уже в уважении у ахейцев и желая вступить в Лакедемонскую область, Аристомах вызывал из Афин Арата, но Арат писал ему, чтобы он не предпринимал этого похода. Он не хотел, чтобы ахейцы вступили в сражение с Клеоменом, воителем дерзким, который возвысился смелыми предприятиями, но так как Аристомах непременно того захотел, то Арат повиновался его приказанию и находился при нем в походе. Однако когда у Паллантия явился Клеомен, то Арат удержал Аристомаха от сражения, за то Лидиадом был обвиняем перед Советом ахейским. Он оспаривал ему при избрании предводительства, но Арат одержал над ним верх и в двенадцатый раз был избран полководцем.

Во время этого предводительства был он разбит Клеоменом при Ликее и предался бегству. Он скитался всю ночь, все думали, что он умер; снова слух распространился опять по всей Греции; однако он спасся, собрал своих воинов и, не довольствуясь тем, чтобы удалиться в

безопасности, он воспользовался обстоятельствами с великим благоразумием и, когда никто того не ожидал и не думал о том, напал он неожиданно на мантинейцев, которые были союзники Клеомена, взял город их, поставил в нем охранное войско и дал бывшим в нем иностранцам право гражданства. Таким образом он, побежденный, приобрел ахейцам то, что другие не приобрели, побеждая.

При вторичном нашествии лакедемонян на Мегалополь Арат спешил на помощь городу, но не решился подать случай Клеомену, который весьма желал вступить в сражение с ним. Он противился мегалополитанцам, которые принуждали его сражаться. Он бы вообще неспособен к открытым сражениям, но в то время он уступал неприятелю числом и имел дело с человеком смелым и молодым, будучи сам в таких летах, когда смелость погасается и честолюбие умеряется рассудком. Он полагал, что ему следовало бы сохранить через осторожность приобретенную им славу, которую Клеомен старался приобрести смелыми предприятиями и которой прежде не имел.

Даже тогда, когда легкое войско учинило нападение, прогнало спартанцев до стана и рассеялось по шатрам, – и тогда Арат не двинулся на неприятеля, но, ставши перед рвом, остановил тяжелую пехоту и не допустил ее перейти. Лидиад, досадуя на происходящее, поносил Арата, звал к себе конницу, прося ее идти на подкрепление тем, кто преследовал неприятеля, дабы не предать победы и не оставить его в то время, когда он подвизался за отечество. Собралось к нему много храбрых воинов, которыми усилившись, напал на правое крыло неприятелей, разбил их и преследовал, но был увлечен жаром и честолюбием без всякой осторожности к местам крутым, усаженным деревьями и пресекаемым широкими рвами. Здесь Клеомен напал на него, и Лидиад погиб, сразившись с отличным мужеством в славнейшем деле перед вратами отечества. Воины его убежали к фаланге, привели в расстройство тяжелую пехоту и причинили поражение всему войску. Арата чрезвычайно винили за это несчастие, ибо казалось, он предал Лидиада. Ахейцы, в ярости своей, отступая, принуждали его следовать за ними в Эгий. Здесь они собрались и определили не давать Арату денег и не содержать наемного войска, но чтобы платил воинам от себя, если хочет вести войну. Арат, претерпевши такое поругание, хотел немедленно оставить печать и сложить военачальство; однако рассудив о том со спокойным духом, перенес равнодушно оскорбление, повел ахейцев к Орхомену и дал сражение Мегистоною, отчиму Клеомена. Он одержал над ним верх, умертвил триста человек и захватил Мегистоноя в плен.

Хотя он имел обыкновение предводительствовать войском через год, однако, когда настала его очередь, он отказался от полководства; вместо его был избран Тимоксен. Неудовольствие его против народа ахейского было только предлогом, – который считали неправдоподобным, – чтобы отказаться от начальства; истинная же причина – тогдашнее опасное положение ахейцев. Уже Клеомен не нападал по-прежнему медленно и осторожно; он не был более связан гражданскими властями, но умертвив эфоров, разделив землю, дав права гражданства многим иностранным, он получил власть неограниченную. Он наступал на ахейцев и требовал, чтобы они признали его своим верховным предводителем. По этой причине порицают Арата, как кормчего, который при таком положении дел, при такой буре и волнении выпустил из рук кормило, предал его другому, когда было похвально и против воли ахейцев принять верховную власть и спасать общество; если же он не полагался более на силу ахейцев, то надлежало бы лучше уступить Клеомену, а не предавать вновь Пелопоннеса варварам, приняв македонское войско, наполнив Акрокоринф иллирийским и галатским оружием. Не было прилично сделать начальниками в городах, под мягким именем «союзников», тех, кто в военных действиях побеждал, в политических делах обманывал, а в записках своих ругал. Хотя бы Клеомен был человек беззаконный и самовластный, назовем его таким; однако праотцами его были Гераклиды, а отечеством Спарта, которой последнего гражданина должен был предпочесть в верховном правительстве первому македонянину тот, кто сколько-нибудь уважал греческое благородство. Однако Клеомен просил себе у ахейцев начальство, обещая за честь и звание оказать городам многие услуги. Антигон, напротив того, будучи объявлен верховным предводителем сухопутных и морских сил ахейцев, принял не прежде, чем обещали ему в награду за его предводительство Акрокоринф; он совершенно подражал Эзопову охотнику. Он не прежде, так сказать, сел верхом на ахейцев, которые его призывали и подставляли ему спину,

как «наложив на них узду» охранным войском и полученным от них залогом. Арат силится всеми мерами оправдать себя в этом необходимостью. Однако Полибий уверяет, что он гораздо прежде сей необходимости, боясь смелости Клеомена, имел тайные сношения с Антигоном и подучил мегалополитанцев просить ахейцев о призвании на помощь Антигона; они чаще других были угнетаемы войною, ибо Клеомен всегда разорял их область. То же самое повествует и Филарх, которому не следовало бы верить, если бы о том не свидетельствовал Полибий, ибо Филарх по своей приверженности к Клеомену приходит в восторг, когда речь заходит о Клеомене и Арате, и в истории своей, как бы в судебной палате, одного винит, другого защищает.

Ахейцы лишились Мантинеи, которой завладел опять Клеомен. Они потерпели поражение в большом сражении при Гекатомбее и впали в такое отчаяние, что немедленно позвали Клеомена в Аргос предложить ему верховное предводительство. Но получив известие, что Клеомен идет с силою и уже находился при Лерне, Арат, будучи тем устрашен, послал к нему посланников, которые просили его прибыть к ним, как к друзьям и союзникам, только с тремястами человек, а если не доверяет им, то принять от них заложников. Клеомен сказал, что это есть ругательство и насмешка, и отступил назад, написав ахейцам письмо, в котором содержались многие жалобы и обвинения на Арата. Арат также писал письма против Клеомена. Ругательства и брани их дошли до того, что они не щадили ни брака, ни жен.

После того Клеомен послал вестника с объявлением ахейцам войны. Он едва не отнял у них Сикион посредством предательства, но должен был отстать от этого предприятия, напал на Пеллену и занял город, откуда убежал ахейский полководец. Вскоре после того занял он Феней* и Пентелий. Тогда аргивяне присоединились к нему; Флиунт принял охранное войско. У ахейцев не оставалось уже ничего верного из всего того, что они приобрели. Арат видел со всех сторон опасности; весь Пелопоннес был потрясаем, города были возмущаемы от тех, кто желал новых перемен.

Никто уже не оставался в покое и не был доволен настоящим положением. Многие из сикионян и коринфян явно уже имели сношение с Клеоменом, будучи еще прежде не благорасположены к Союзу, желая получить верховное владычество. В этих обстоятельствах Арат, которому дана была неограниченная власть, умертвил в Сикионе тех, которые были подкуплены, но когда попытался нарядить следствие и наказать изменников в Коринфе, то вконец ожесточил тем народ, который уже был склонен к возмущению и недоволен ахейским правлением. Жители собрались в храме Аполлона и призывали Арата, решившись умертвить или поймать его прежде, нежели восстать против ахейцев. Арат пришел к ним, ведя за собою своего коня, как будто бы им верил и нимало их не подозревал. Многие из них вскочили, ругали его и обвиняли, но Арат со спокойным лицом и кроткими словами велел им сесть и не кричать беспорядочно; также он велел и тем, кто был у дверей, войти внутрь, и между тем, как он говорил, удалился медленными шагами, как бы хотел кому-нибудь отдать своего коня. Таким образом он, уходя, говорил без смущения с теми коринфянами, которые ему попадались навстречу, велел им собраться в храме Аполлона, и таким образом, находясь неприметно близ крепости, он вскочил на коня, дал приказание Клеопатру, начальнику охранного войска, охранять тщательно Акрокоринф, ускакал в Сикион; за ним следовало только тридцать из воинов его, другие отстали от него и рассеялись. Коринфяне вскоре узнали о его побеге и погнались за ним, но не поймали его. Потом они призвали Клеомена и предали ему город, но Клеомен почитал ничем то, что получил, в сравнении с тем, что потерял, не поймав Арата. После того присоединились к нему жители так называемой Акты* и предали ему свои города; Клеомен запер и обвел частоколом Акрокоринф.

В Сикион сошлась большая часть ахейцев и в общем собрании избрали полководцем Арата с полной властью. Он составил стражу из своих соотечественников, хотя управлял ахейцами тридцать три года и был первейшим из греков по могуществу и славе своей, но тогда был беспомощен, недостаточен, истощен силами, как бы отечество претерпело кораблекрушение, он был носим среди опасных бурь и волнений. Этолийцы, у которых он просил помощи, отказали ему; афиняне были уже готовы помочь ему по своей к нему любви, но Эвриклид и Микион удержали их. Арат имел в Коринфе имение и дом, Клеомен сам ни до чего не коснулся и других не допустил; он призвал к себе друзей его и надзирателей над имением,

велел им все беречь так, как людям, обязанным дать отчет Арату в управлении своем. Он послал к нему частно Трифила и после него Мегистоноя, отчима своего, и делал ему многие обещания, между прочим предлагал дать ему ежегодного дохода двадцать талантов. Он превзошел Птолемея вдвое, ибо Птолемей посылал ежегодно к Арату по шесть талантов; он требовал, чтобы его признали полководцем ахейским и чтобы он вместе с ними стерег Акрокоринф. Арат отвечал, что не он управляет делами, но дела управляют им. Этот ответ показался Клеомену насмешкой; он вступил в Сикионскую область, разорял и опустошал ее, а город осаждал три месяца, между тем как Арат выдерживал осаду и был в недоумении, принять ли Антигона с условием предать ему Акрокоринф, ибо царь македонский не хотел иначе оказать помощь ахейцам.

Ахейцы собрались в Эгии, звали туда Арата. Пройти к ним было опасно, ибо Клеомен стоял станом перед Сикионом; притом граждане удерживали его, говорили, что не позволят ему подвергнуть себя опасности, когда неприятели стояли столь близко. Самые женщины и малые дети окружали его, как общего отца и благодетеля, удерживали и проливали слезы; однако Арат ободрил и утешил их, поехал верхом к морю, взял с собою десять человек приятелей своих и сына своего, который уже был в юношеских летах. Они сели на суда, которые тут нашли, и переправились в Эгий. Здесь происходило собрание, в котором положено было призвать Антигона и предать ему Акрокоринф. Арат послал к нему с другими заложниками и сына своего. Коринфяне, негодуя, расхитили его имение и подарили дом его Клеомену.

Антигон приблизился уже с войском; он вел двадцать тысяч македонской пехоты и тысячу четыреста конных. Арат украдкой от неприятелей вышел к нему навстречу морем в Пеги* вместе с демиургами. Он не весьма полагался на Антигона и не доверял македонянам. Он чувствовал сам, что сделался великим и сильным по мере того, как причинял вред македонянам, и что первая и важнейшая цель его правления была вражда его к Антигону. Однако находясь в крайней необходимости и при таких обстоятельствах, в которых начальствующие должны повиноваться, он решился на этот тяжкий шаг. Наконец возвещено было Антигону, что Арат приближается. Он принял сопровождавших просто и по обыкновению, но Арата при первой встрече принял с особым уважением и, находя в нем человека доброго и разумного, приблизил к себе на правах друга. Арат не только был ему полезен в важных делах, но в свободное время имел дар нравиться царю более всякого другого. Хотя Антигон был молод, но постигнув свойства этого мужа, которые делали не только способнее к царской дружбе более всех ахейцев, но и македонян, бывших при нем, употреблял его во всех случаях; тогда сбылось и знамение, которое боги явили ему при жертвоприношении. Говорят, что незадолго перед тем Арат принес жертву, во внутренности которой нашли две желчи, окруженные одним жиром. Прорицатель сказал ему, что вскоре будет у него тесная дружба с теми, кто суть злейшие его неприятели. Арат пропустил это без внимания, ибо он вообще мало имел доверия к жертвам и гаданиям, но более действовал умом своим. Впоследствии, когда война продолжалась с успехом, Антигон сделал в Коринфе пиршество, к которому пригласил много гостей, а Арата посадил выше себя. Вскоре после того приказал он накинуть на себя платье и спрашивал Арата, не холодно ли ему. Арат отвечал, что он очень зябнет, и Антигон велел ему сесть ближе, принесен был ковер, которым служители покрыли обоих. Тогда-то Арат вспомнил о жертвоприношении, начал смеяться и рассказал царю знамение и прорицание. Впрочем, это случилось несколько лет спустя.

Находясь в Пегах, они поклялись взаимно в верности и обратились на неприятелей. В окрестностях Коринфа происходили сражения; Клеомен был укреплен, и коринфяне защищались с усердием. Между тем аргивянин Аристотель, друг Арата, послал к нему тайно вестника, обещая возмутить Аргос против Клеомена, если Арат придет туда с войском. Арат сообщил о том Антигону и с тысячью пятьюстами воинов отправился из Истма в Эпидавр на судах с великой поспешностью. Аргивяне, возмутившись, напали на клеоменовых воинов и заперли их в крепости. Клеомен, получив о том известие и боясь, чтобы неприятели, заняв Аргос, не отрезали ему отступления в свою область, оставил Акрокоринф ночью и шел на помощь Аргосу. Он успел войти в город и одержал над противниками некоторые выгоды, но вскоре после того Арат прибыл туда, а следом царь показался со своей силою. Клеомен отступил в Мантинею.

После этого происшествия все города опять пристали к Ахейскому союзу, а Антигон занял Акрокоринф. Арат, будучи избран полководцем ахейцами, убедил их принести в дар Антигону имение тираннов и изменников. Аристомах в Кенхреях был предан мучениям и утоплен. Этот поступок навлек на Арата сильное порицание, ибо он позволил предать беззаконной смерти человека не дурного, но которого он сам употреблял и которого склонил сложить с себя тиранническую власть и присоединиться к Ахейскому союзу вместе со своим городом.

Уже начинали ставить в вину Арату и другие неприятные случаи. Во-первых, винили его за то, что ахейцы принесли в дар Антигону Коринф, как некое неважное местечко; что позволили ему ограбить Орхомен и поставить в нем македонское охранное войско; при том утвердили не писать никакому другому царю и не посылать посольства против воли Антигона; они были принуждены содержать и давать жалованье македонянам; они совершали жертвы, игры и возлияния в честь Антигона, чему пример подали сограждане Арата; они приняли к себе в город Антигона, которого угощал у себя Арат. Во всем винили Арата, не ведая, что как скоро он предал Антигону бразды правления, то был увлечен стремлением царской власти и не владел уже более одного голоса, которого смелое употребление было всегда опасно. Впрочем, Арат был явно огорчен многими поступками Антигона, как например, поступком с кумирами. Антигон велел восстановить низложенные кумиры тираннов в Аргосе, а кумиры тех, кто взял Акрокоринф, и которые до того стояли, велел низложить, исключая кумира Арата. Хотя Арат убедительно просил его переменить мысли, однако же Антигон не уважил его просьбы.

Поступки ахейцев с Мантинеей не могут назваться достойными греческого народа. Когда они завладели городом, посредством Антигона, то умертвили первых и славнейших мужей, а других частью продали, частью послали в Македонию в оковах; жен и детей их превратили в невольников; третью часть собранных денег разделили между собою, а две трети отдали македонянам. Так поступили они по праву мщения, ибо хотя и тяжко обойтись таким образом с единоплеменным и родством связанным народом из гнева, но, как говорит Симонид, в нужде сладостно и вовсе не жестоко утешить и успокоить свой дух, огорченный и воспаленный гневом. Но то, что впоследствии учинено с этим городом, не оставляет Арату ни пристойного, ни необходимого предлога к оправданию себя. Когда ахейцы получили от Антигона в дар этот город и решились его населить, то Арат, будучи полководцем, избран при том основателем города и определил, чтобы оный не назывался более Мантинеей, но Антигонией – имя, которое сохранил город и поныне. Таким образом, «любезная Мантинея»* совсем исчезла; город носит имя того, кто погубил и умертвил граждан.

После того Клеомен проиграл большое сражение при Селласии, оставил Спарту и отплыл в Египет. Антигон поступил с Аратом со всей справедливостью и благосклонностью, отправился в Македонию, где занемог и послал в Пелопоннес наследника престола Филиппа, который едва достиг юношества, с приказанием обращать внимание к Арату, через него иметь сношение с городами и сделаться известным ахейцам. Арат принял Филиппа и, внушив ему великую привязанность к себе, честолюбие и ревность к делам Греции, отослал его в Македонию.

По смерти Антигона* этолийцы, презирая ахейцев за их недеятельность, которые, привыкнув защищаться чужими руками и укрываться под щитом македонян, проводили время в праздности и беспорядке, напали на Пелопоннес. Они опустошили города Патры и Димы, так сказать, мимоходом; потом вступили в Мессению и разоряли ее. Арат досадовал на происходящее, видя, что тогдашний полководец Тимоксен был в нерешимости и медлил, ибо время полководства его приходило к концу; и будучи сам избран полководцем после него, принял начальство пятнадцатью днями прежде, нежели как следовало, дабы подать помощь мессенцам. Собрав ахейцев, мало искусившихся в оружиях и духом ослабших к военным предприятиям, он был побежден при Кафиях. Его винили в том, что предводительствовал в сем деле слишком горячо и дерзко; он унизился духом и потерял всю надежду так, что, хотя впоследствии этолийцы подавали ему случай напасть на них, однако он от того удержался и позволил им предаваться в Пелопоннесе всевозможным бесчинствам с великою наглостью и необузданностью. Ахейцы опять простирали руки к Македонии и призывали Филиппа обратиться к греческим делам, надеясь, что он по причине благосклонности и доверенности

своей к Арату будет поступать с ними кротко и охотно исполнять их желания.

Но Апеллес, Мегалей* и другие придворные тогда в первый раз стали клеветать на Арата. Царь, будучи убежден их словами, содействовал его противникам и старался об избрании Эперата в ахейские полководцы. Когда же Эперат был вовсе пренебрегаем ахейцами, а Арат не радел о делах, и ничего полезного не производилось, то Филипп познал, что сделал важную ошибку. Он обратился опять к Арату и предался ему; дела имели во всем успех; сила и слава Филиппа возрастали. По этой причине Филипп был в зависимости от него, как обязанный ему своими успехами и возвышением.

Арат показал себя человеком, искусным управлять не только демократией, но и царством. Правила и свойства его являлись во всех действиях этого государя, наводя на них некоторую блистательную краску. Снисхождение молодого Филиппа к проступившимся лакедемонянами, кроткое с критянами обхождение, которым в немногие дни привязал к себе весь их остров, поход против этолийцев, которого следствия были чрезвычайно действительны, прославили Филиппа, как послушного, а Арата – как благоразумнейшего.

По этой причине придворные еще более завидовали ему и, не могши ничего произвести тайными доносами, ругали его уже явно и с великой дерзостью и нахальством оскорбляли его за пиршествами. Злоба их дошла до того, что однажды после ужина, когда Арат уходил в свой шатер, они преследовали его, кидая на него камнями. Филипп пришел в такой гнев, что наложил на них двадцать талантов пени, но впоследствии их умертвил, приметя, что они старались портить и расстроить дела его. Но при благоприятствующем счастье душа его исполнилась высокомерия; в ней возникли многие страсти, а врожденные в нем пороки, преодолев принуждение, противное его природе, мало-помалу обнаруживались и показывали его свойства во всей наготе их. Во-первых, он посрамил ложе молодого Арата. Эта связь долгое время была скрыта, ибо Филипп жил в доме их, как гость. Потом становился жестче к греческим республикам и явно уже отдалял от себя Арата.

Начало к взаимному подозрению подали мессенские дела. Мессенцы были в раздоре между собою. Арат опоздал прийти к ним на помощь, а Филипп, придя в город днем прежде его, внушил в гражданах ярость одних к другим. Предводителей мессенских спрашивал, ужели у них нет законов против черни. Разговаривая же частно с вожаками народа, говорил: «Ужели у вас нет рук против тираннов?» Этими словами обе стороны ободрились, и власти хватали демагогов, а те, собрав народ, умертвили начальствующих и без малого двести человек других.

Это жестокое дело было подстроено Филиппом, который ожесточил еще более мессенцев друг против друга. Арат, по прибытии своем в Мессену, оказывал явное на это негодование и не удержал сына своего, который делал Филиппу жестокие упреки и укоризны. Этот молодой человек весьма любил Филиппа и между прочим сказал ему: «Поступив таким образом, ты более мне не кажешься прекрасным, но самым дурным». Филипп ему противоречил, хотя в продолжение речи молодого Арата показывал, что в ярости своей хотел говорить, и часто издавал незначащий крик. Однако, как будто бы перенес с кротостью представления старого Арата и был от природы снисходителен и умерен, он подал ему руку, поднял с театра и повел его к Ифомате для принесения жертвы Зевсу и для обозрения места. Ифомата* есть положение, столь же крепкое, как и Акрокоринф, и когда в ней охранное войско, то овладеть ею весьма трудно и наступающие нелегко к нему могут приблизиться. Филипп, взойдя наверх, принес жертву, и когда прорицатель подал ему внутренности вола, то он подхватил их обеими руками, показывал Арату и фаросцу Деметрию*, подносил то к тому, то к другому и спрашивал, что они видят в них: занимать ли ему крепость или возвратить его мессенцам? Деметрий, рассмеявшись, сказал: «Если в тебе душа прорицателя, то ты оставишь сие место, если же душа царская, то схватишь вола за оба рога»; он разумел Пелопоннес, давая тем знать, что если бы Филипп занял Ифомату и Акрокоринф, то весь Пелопоннес был бы ему покорен и в его власти. Арат долго безмолвствовал; Филипп просил его сказать свое мнение. Арат сказал ему: «Государь! Много высоких гор на Крите и в областях беотийцев и фокейцев; много скал возвышается над поверхностью земли. Есть и в Акарнании на берегу моря и в твердой земле многие места, чрезвычайно крепкие и неприступные; ты не занял ни одного из них, однако все довольно повинуются повелениям твоим. Одни разбойники гнездятся в скалах и имеют убежище на крутых местах. Для царя нет ничего крепче и могущественнее доверенности и

милости к народам. Эти свойства открывают тебе и Пелопоннес, и Критское море; на том основываясь, ты, будучи еще так молод, сделался одних предводителем, других государем». Арат продолжал говорить, как Филипп возвратил прорицателю внутренность, а Арата взяв за руку, сказал: «Так будем идти той же стезею». Как бы он был принужден к тому Аратом, который отнимал у него город.

Арат уже удалялся от двора и мало-помалу прекращал короткую связь с Филиппом. Когда сей государь переехал в Эпир и просил Арата быть при нем, то он отказался и остался в Пелопоннесе, боясь обесславить себя принятием участия в его поступках. Филипп потерял постыдным образом корабли, которые были отняты у него римлянами; он не имел ни в чем успеха, возвратился в Пелопоннес и опять предпринял обманывать мессенцев, но так как его замыслы не утаились, то он явно уже обижал их и разорял их область. Арат порвал окончательно с ним. Он уже сведал об оскорблении, оказанном его сыну обольщением его жены, и был тем весьма огорчен; однако скрывал это от сына своего, ибо он бы ничего более не приобрел, но узнал бы только оказанное ему оскорбление, и не имея способов отомстить.

Впрочем в Филиппе, кажется, произошла великая и странная перемена: из царя кроткого и юноши целомудренного сделался он мужем невоздержанным и тиранном жесточайшим. Но, может быть, это не есть перемена свойства, но в свободное время обнаружение злобы, долго скрывавшейся из страха. То, что страх и уважение к Арату были чувствами, внушенными ему при самом воспитании, доказал он самыми поступками своими к нему. Имея желание умертвить его и думая, что пока Арат будет в живых, то он не может быть свободным, а еще менее царем или тиранном, он не употребил никакой насильственной меры, но велел Тавриону, одному из своих полководцев и друзей, прекратить жизнь его самым неприметным образом, лучше всего действием яда и во время его отсутствия. Таврион завел знакомство с Аратом и дал ему яд, не сильный и не скородействующий, но производящий сперва легкий жар и несильный кашель и медленно превращающийся в чахотку. Арат скоро познал, что он был отравлен, но так как не было никакой пользы обнаруживать это, то переносил свое состояние с кротостью и молчанием, как обыкновенную болезнь. Только однажды, будучи в своей комнате и харкнув кровью в присутствии одного из друзей своих, когда тот увидел это и удивился, то Арат сказал ему: «Вот, Кефалон, это есть плоды царской дружбы!»

Он умер в Эгии, будучи в семнадцатый раз полководцем. Ахейцы желали похоронить его в этом городе и воздвигнуть ему памятники, приличные его деяниям, но сикионяне почитали несчастием, что тело его не будет погребено у них. Они убедили ахейцев позволить им взять его. Так как по древнему закону не было позволено никого хоронить внутри города, а закон сей был сопряжен с великим суеверием, то послали в Дельфы вопросить о том пифию, которая дала следующий ответ: «Сикион! Ты хочешь быть гробом Арата, могущественного мужа, усопшего во дни священного торжества. Знай, что оскорбление, оказываемое его праху, есть нечестие против земли, неба, моря».

Ахейцы были весьма довольны, получив это прорицание, сикионяне в особенности, превратив свое сетование в торжество, подняли в Эгии мертвое тело и с венками на голове, с белыми одеждами, понесли его в свой город среди пеанов и ликований. Они избрали место возвышенное и похоронили Арата, как основателя и благодетеля их города. Место и поныне зовется Аратием. Жители приносят ему две жертвы: одну в тот день, в который он освободил город от тираннии в пятое число месяца десия, по афинскому счислению – анфестериона. Эту жертву называют жертвой Избавительною. Другую совершают в день его рождения. Первую жертву совершал служитель Зевса Избавителя, вторую – жрец Арата, имея головную повязку, не всю белую, но с пурпуровыми пятнами; песни при звуке кифары воспеваемы были дионисиевыми искусниками; гимнасиарх сопровождал торжество, предводительствуя детьми и отроками; за ними следовал Совет с венками на голове и кто хотел из других граждан. И поныне жители хранят некоторые следы этого торжества и почитают те дни священными. Большая часть установленных почестей истреблены временем и обстоятельствами.

Таков был и так жил старший Арат! Что касается до его сына, то Филипп, человек от природы беззаконный, наглость которого соединена была с свирепостью, употребил против него отравы не смертоносные, но приводящие в неистовство и лишающие ума, и так, что тот имел странные и буйные стремления к непристойным и пагубным делам. Хотя смерть постигла

его в молодых и цветущих летах, но она не была несчастием, а освобождением от зол. Филипп за свои злодеяния получил достойное наказание от Зевса, покровителя дружбы и гостеприимства. Будучи побежден римлянами, он предал им свою участь, потерял завоеванные области, выдал все корабли свои, кроме пяти, обязался заплатить тысячу талантов; дал в залог сына своего, из снисхождения получил Македонию и земли. Умерщвлением отличнейших и благороднейших мужей он внушил всему государству своему ужас и ненависть к себе. Среди всех этих бедствий он имел то счастье, что родил сына, украшенного великими добродетелями, но завидуя ему за уважение, которое оказывали ему римляне, он умертвил его. Власть свою передал он другому сыну, Персею, который почитается не настоящим его сыном, но подкидышем, рожденным от швеи Гнафении. Этот Персей послужил украшением Эмилиева триумфа, и здесь прекратилось царское наследие Антигона, между тем как род Арата продолжается до нашего времени в Сикионе и Пеллене.

Гальба

Ификрат, полководец афинский, требовал, чтобы наемный воин любил богатства и удовольствия, дабы он сражался отчаяннее, ища средства к удовлетворению своим желаниям. Но другие полководцы хотят, чтобы войско, подобно телу, носимому на носилках, никогда не двигалось по собственному побуждению, но соображалось бы с волею полководца. По этой причине Павел Эмилий, приняв в Македонии войско, которое много болтало, любопытствовало все знать и вмешивалось во все дела полководца, дал приказание, чтобы каждый воин имел руку в готовности и меч поострее, а о других делах будет заботиться он сам. Платон, признаваясь, что хороший правитель и полководец ничего не может произвести, когда войско испорчено и не одушевлено одним духом, полагает, что добродетель повиновения, подобно добродетели царствования и управления, имеет нужду в хороших свойствах и в философском образовании, которое с великим тщанием умеряло бы пылкость и стремительность нрава кротостью и человеколюбием. Свидетельствами и доказательствами истины Платоновой мысли, что в правлении нет ничего страшнее военной силы, которая действует с необразованным и безрассудным стремлением, есть то, что случилось с римлянами после смерти Нерона.

Демад, по смерти Александра, уподоблял македонскую силу Киклопу, лишенному зрения, ибо она двигалась по разным направлениям без порядка и без рассудка. Римская держава претерпевала бедствия и потрясения, подобные титанским; будучи с разных сторон терзаема, она сражалась многократно сама с собою, не столько из-за властолюбия избираемых императоров, сколько от жадности и необузданности войска, которое одного правителя изгоняло посредством другого, как гвоздь гвоздем. Дионисий называл ферского тиранна, управлявшего десять месяцев фессалийцами и потом умерщвленного, – театральным тираном, издеваясь над скорою превратностью его судьбы; но дом Цезарей, Палатин, в меньшее время принял в себя четырех императоров; одного вводили в оный между тем, как выводили другого, как бывает на сцене. Для страждущих при этих обстоятельствах утешением служило только лишь то, что они не имели нужды употреблять другое наказание против виновных, ибо видели их убивающих друг друга. Но всех прежде и справедливее умерщвлен тот, кто обольстил войско и научил его ждать от перемены Цезаря благ, какие он сам же обещал, и таким образом назначением награды посрамил похвальнейшее дело, ибо после этого возмущение против Нерона было не что иное, как предательство.

Нимфидий Сабин, который, как сказано, был префектом претория* вместе с Тигеллином, видя, что дела Нерона были в отчаянном положении и что он хотел убежать в Египет, убедил воинство провозгласить императором Гальбу, как бы Нерона не было в Риме и он уже убежал. Он обещал каждому из придворных и так называемых преторианцев по семи тысяч пятьсот драхм, а другим воинам, бывшим вне Рима, по тысячи двести пятьдесят – такое количество невозможно было собрать иначе, как подвергнуть род человеческий в тысячу раз большим бедствиям, нежели какие он претерпел от Нерона. Это обещание погубило в тогдашнее время Нерона, а вскоре и самого Гальбу. Одного предали в надежде получить награду; другого умертвили, не получивши никакой; наконец ища того, который бы им дал столько же, они

истребили себя в междоусобиях и предательствах прежде, нежели достигнули того, чего хотели. Рассказывать подробно все обстоятельства есть долг прагматической истории; что касается до меня, я должен довольствоваться описанием достопамятнейших бедствий в делах Цезарей.

Сульпиций Гальба, как всем известно, был богатейший из частных лиц, вступивших в дом Цезарей. Знаменитый родом своим, происходя из дома Сервиев, он гордился более всего родством своим с Катулом, человеком, который добродетелью и славою превышал своих современников, хотя добровольно уступил другим власть и силу. Гальба имел еще некоторое родство с Ливией, супругой Августа, и по ее предстательству покинул Палатин для получения консульства. Он отлично предводительствовал войсками в Германии и, будучи проконсулом в Ливии, заслужил самые высокие похвалы. Умеренность его, простота образа жизни, бережливость в издержках по достижении им императорского достоинства заставили порицать, как скупость, ту маловажную славу, которую приобрел он своим пристойным поведением и воздержанием. Он был послан правителем в Иберию Нероном, когда тот еще не научился бояться граждан в важных достоинствах. Гальба, который от природы был кроток, почитаем был сверх того осторожным и благоразумным по причине своей старости.

Между тем изверги прокураторы* с великой жестокостью и бесчеловечием разоряли провинции его. Гальба не мог им оказать помощи; но соболезнуя жителям и некоторым образом разделяя с ними обиды, претерпеваемые ими, подавал тем некоторое облегчение осуждаемым и продаваемым.

На Нерона сочинены были стихи, которые разносились и распевались повсюду. Гальба не препятствовал тому и в отличие от прокураторов не изъявлял на то негодование. Это тем более заставило жителей его любить. Они привыкли уже к нему, ибо он управлял ими около восьми лет. В это время Юний Виндекс, претор Галлии, восстал против Нерона. Говорят, что и прежде явного Виндексова возмущения Гальба получил от него письма, к которым он не имел веры. Он не доносил на него и не говорил никому, подобно другим правителям, которые посылали полученные письма Нерону, и тем, сколько от них зависело, испортили дело, в котором сами впоследствии участвовали, признаваясь, что они сделались предателями себя самих, не менее как и его. Когда же Виндекс явно предпринял войну, то писал он Гальбе и предлагал ему принять начальство и предать себя Галлии – телу сильному, но имеющему нужду в голове; что в Галлии было сто тысяч вооруженных людей и что можно было вооружить еще большее число. Гальба спрашивал совета у друзей своих. Одни советовали ему подождать до тех пор, пока увидит, какое движение и направление примет в Риме сие возмущение. Но Тит Виний, начальник легиона, сказал ему: «Ты, Гальба, что думаешь о том? Спрашивать, остаться ли нам верными Нерону, есть уже доказательство, что мы не остаемся таковыми. Нерон уже нам враг, и потому надлежит или не отвергать дружбы Виндекса, или немедленно на него донести и воевать с ним за то, что он лучше хочет, чтобы римляне имели тебя над собою начальником, нежели Нерона тиранном».

После того Гальба издал указ, в котором назначил день для освобождения тех, кто имел нужду в вольности. Молва и речи людей, распространившись еще прежде, заставили собираться великое множество людей, которые желали новых перемен. Едва Гальба показался на трибуне, то все единогласно приветствовали его императором. Но он не принял тотчас этого названия; он обвинял Нерона, оплакивал знаменитейших мужей, убиенных им, и объявил, что, посвящая свои услуги отечеству, не хочет назваться ни Цезарем, ни императором, но только полководцем сената и римского народа.

Что Виндекс поступил хорошо и разумно, призвав Гальбу к предводительству, то сие засвидетельствовал сам Нерон. Он притворялся, что презирал Виндекса и ни во что не ставил движения галлов, но, получив известие о Гальбе, опрокинул стол, за которым завтракал после купанья. Несмотря на то, когда сенат объявил Гальбу врагом отечества, то Нерон, желая шутить и показать перед друзьями своими свою неустрашимость, сказал, что он имел недурной случай к получению денег, в которых он нуждается; что когда усмирит галлов, то получит в добычу их богатство по праву войны, а что касается до имения Гальбы, то он может теперь же располагать им и продать его, ибо он объявлен уже врагом. После того он велел продавать имение Гальбы; Гальба, известившись о том, велел продавать имение Нерона в Иберии и находил больше

покупщиков, нежели Нерон.

Уже многие отпадали от Нерона; все присоединились к Гальбе, только Клодий Макр в Ливии, а в Галлии Вергиний Руф, предводитель германского войска, действовали особо с различными намерениями. Клодий, по жестокости и алчности своей занявшись убиением людей и расхищением их имущества, не решался ни удержать власти, ни оставить ее. Вергиний, предводительствуя сильнейшими легионами, которые многократно провозглашали его императором и принуждали принять сие достоинство, говорил, что сам не примет верховного начальства и не позволит, чтобы оно было отдано человеку, который не будет избран сенатом. Эти обстоятельства сперва немало тревожили Гальбу; когда же войска Вергиния и Виндекса некоторым образом насильственно вовлекли в большое сражение своих полководцев – как возниц, не возмогших удержать вожжей; когда Виндекс умертвил сам себя с двадцатью тысячами падших галлов, когда распространился слух, что все жители требовали после сей великой победы, чтобы Вергиний принял верховную власть, или опять пристать к Нерону, – тогда Гальба, придя в великий страх, писал Вергинию, предлагая ему действовать совместными усилиями и сохранить римлянам и владычество и свободу. Потом он удалился с друзьями в Клунию, город иберийский, где жил несколько времени, раскаиваясь о произошедшем и желая лучше вести спокойную жизнь, к которой он привык, нежели заняться чем-нибудь полезным для своих намерений.

Как-то в начале лета под вечер прибыл из Рима некий вольноотпущенник по имени Икел, бывший семь дней в дороге. Узнав, что Гальба отдыхал один, он пошел поспешно в его покой, открыл дверь против воли служителя, вошел внутрь и возвестил Гальбе, что и при жизни Нерона, когда еще не знали, где он находился, сперва войско, потом народ и сенат провозгласили императором Гальбу, что вскоре после того обнародования была смерть Нерона; что однако он, Икел, не поверил возвестившим о том, но пришел сам к мертвому телу, увидел мертвого и потом выехал из Рима. Это известие одушевило надеждой Гальбу. Великое множество народа стеклось к дверям его дома; он внушил им бодрость; хотя скорость, с какой известие было получено, казалась невероятной. По прошествии двух дней Тит Виний прибыл с некоторыми другими из стана и принес ему постановление сената. Виний был возведен в почетный чин; отпущеннику Гальба подарил золотые перстни; он был уже называем Марцианом Икелом и был первым среди отпущенников.

В то же время в Риме Нимфидий Сабин* и не мало-помалу, и не медленно, но вдруг все дела прибрал к рукам своим, думая, что Гальба уже старый, был в таких летах, что едва имел силы быть перенесенным в Рим на носилках – ему было тогда семьдесят три года, а войска, бывшие в Риме, прежде благоприятствовавшие Нимфидию, а тогда от одного его зависящие, почитали его благодетелем своим по причине обещанного дара; Гальбу же – должником. Он велел немедленно Тигеллину, своему товарищу, сложить с себя меч, а между тем он принимал и угощал консульских и преторских мужей, употребляя еще в приглашениях имя Гальбы. В стане подучил многих говорить, что должно послать к Гальбе и просить себе навсегда начальником Нимфидия одного, без товарища. Служащие к чести его и могуществу поступки сената, который называл его «благодетелем», приходил ежедневно к его дверям и просил его предлагать и утверждать все постановления, увлекали далее его дерзость, так что в короткое время почитатели его не только ему завидовали, но и страшились его. Когда консулы назначили общественных служителей для отвезения новому императору постановлений сената и дали им за своею печатью так называемые двойные грамоты*, при показании которых правители в городах ускоряют на почтовых переменах отправление письмоносцев, то Нимфидий чрезвычайно негодовал за то, что отправили их, не взяв у него ни печати, ни воинов. Говорят, что он имел к консулам дурное намерение, но укротил свой гнев, когда они употребили перед ним оправдания и просьбы. Желая угодить народу, он не препятствовал ему убивать тех из Нероновых любимцев, которые ему попадались. Гладиатор Спикул был подложен под влачимые кумиры Нерона и умерщвлен на площади. Некоторого доносчика, по имени Апоний, они повергли на землю и взвалили на него телеги, везшие каменья; многие были растерзаны; некоторые и без всякой вины их. Эти поступки заставили Маврика, одного из лучших знаменитейших людей, сказать в сенате: «Я боюсь, что мы скоро будем жалеть о Нероне».

Таким образом, Нимфидий, приближаясь к цели своей надежды, не отвергал слухи, что он

сын Гая Цезаря, правившего после Тиберия. Гай, по-видимому, был еще очень молод, имел связь с его матерью, женщиной приятной наружности, которая была дочь одной швеи и Каллиста, вольноотпущенника Цезаря. Однако связь ее с Гаем последовала по рождении Нимфидия. Полагали, что он был сыном гладиатора Мартиана, в которого Нимфидия влюбилась по причине его славы; казалось, что он, по сходству лица, действительно принадлежал Мартиану. Не скрывая того, что он был сыном Нимфидии, он приписывал себе одному все дело низложения Нерона. Не почитая достойной себя наградой почести, ему оказываемые, и деньги, которыми располагал; не довольствуясь тем, что имел при себе Спора, Неронова любимца, которого призвал к себе еще в то время, когда тело Нерона было сжигаемо на костре, и называл Поппеей, – он простирал свои виды на наследство Римской державы. Он действовал в свою пользу, частью посредством некоторых женщин и сенаторов, которые тайно ему содействовали. Геллиана, одного из друзей своих, послал он в Иберию, дабы проведать, в каком состоянии находились дела Гальбы.

Между тем по смерти Нерона все покорялись Гальбе. Вергиний Руф* был еще в нерешительности; он причинял беспокойства Гальбе, который боялся, что Вергиний, предводительствовавший сильным войском, одержав при том победу над Виндексом и обладая Галлией, важной частью Римской державы в то время, которая в сих беспокойствах была склонна к возмущению, не послушался тех, кто звал его к принятию верховной власти. Никто не имел столь великого имени, ни такой славы, как Вергиний; он был деятельнейшей причиной того, что Рим освободился и от тираннии, и от войны с галлами. Однако он, пребывая тверд в своих первых предначертаниях, представлял сенату избрание императора. Несмотря на то, когда смерть Нерона была обнародована, то войско приставало опять к Вергинию, и некто из трибунов, бывших в шатре, обнажив меч, предложил ему принять верховную власть или смерть. Когда ж Фабий Валент, начальник одного легиона, сделал первый присягу Гальбе, и из Рима получены были письма касательно того, что утверждено было сенатом, то Вергиний, хоть и с великим трудом, успел убедить воинов к провозглашению императором Гальбы. Когда Гальба назначил ему преемником Флакка Гордеония, то Вергиний принял его, вручил ему военную силу и сам пошел навстречу Гальбе, который продолжал свой путь далее. При нем находился Вергиний, которому он не оказывал явно ни гнева, ни уважения. Причиной этому частью был сам Гальба, который стыдился Вергиния, частью – друзья его, особенно же Тит Виний, который, будучи побуждаем завистью, хотел удалить Вергиния, однако он не знал, что этим содействовал Вергиниеву гению-хранителю, который вывел этого мужа из браней и бед, постигших других полководцев, и довел его до безмятежной жизни и старости, исполненной мира и спокойствия.

В Нарбоне, галльском городе, встретили, приветствовали Гальбу посланники сената; они просили его явиться скорее народу, который желал его видеть. Гальба в принятии других и в обхождении был снисходителен и прост. Хотя Нимфидий послал к нему многочисленные царские приборы Нерона, служащие к угощению; однако Гальба употреблял свои собственные и был за то похваляем, ибо показывал себя человеком возвышенных чувств и не занимающимся пустой пышностью. Но вскоре Виний, доказывая ему, что эти простые и благородные поступки суть не что иное, как низкое искание народной благосклонности и хитрость того, который почитает себя недостойным ничего великого, заставил его употреблять деньги Нерона и при угощениях обнаруживать царскую пышность. Вообще, старец показывал, что он мало-помалу будет во всем покорен Винию.

Этот Виний был до последней степени и более всякого другого падок к деньгам и покорен женщинам. Будучи еще молод и находясь под начальством Кальвизия Сабина в первом походе своем, ввел ночью в стан в военном одеянии жену полководца, женщину невоздержную, и обесчестил ее в самом жилище начальника, называемом римлянами «принкипиа»*. За это преступление Гай Цезарь посадил его в оковы; по смерти этого Цезаря был он по счастью освобожден. Ужиная некогда у Клодия Цезаря украл серебряную чашу. Цезарь, узнав о том, призвал его к ужину и на другой день.

Виний пришел, и Цезарь велел служителям не приносить к нему и не ставить перед ним ничего серебряного, но все глиняное. Итак, это дело, по причине кротости Цезаря принявшее комический оборот, оказалось более достойным смеха, нежели гнева. Но то, что Виний делал за

деньги, обладая Гальбой и имея великую силу, подало одним повод, а другим справедливую причину ко многим трагическим происшествиям и великим напастям.

Нимфидий, по возвращении к нему Геллиана, посланного дабы быть некоторым образом соглядатаем поступков Гальбы, слыша, что префектом двора и телохранителем назначен Корнелий Лакон и что вся власть в руках Виния; что Геллиану никогда не удалось стать близ Гальбы, ни говорить с ним наедине, ибо все его подозревали и караулили, был этим встревожен. Он собрал предводителей войска и говорил им, что Гальба – старец кроткий и добрый, но действует своим умом, что им управляет Лакон и Виний неблагоразумно. Итак, прежде нежели они получат неприметно ту власть, какую имел Тигеллин*, надлежало послать к императору от воинства посланников, которые объявят ему, что, удаливши от себя сих двух друзей своих, он будет для всех тем приятнее и вожделеннее. Эти слова не убедили воинов, им казалось странным и несовместным наставлять императора старого, как молодого человека, теперь только начинающего чувствовать свою власть, каких друзей употреблять и каких нет. Итак, Нимфидий пошел другой стезей. Он писал Гальбе и стращал его: то уверял, что в городе происходят тайные беспокойства, то – что Клодий удерживает в Ливии суда с хлебом, что германские легионы в движении, что он получил о силах сирийских и иудейских такие же известия. Но как Гальба не обращал к нему большого внимания и не верил его словам, то Нимфидий решился приступить к делу до его прибытия. Хотя Клодий Цельс из Антиохии, человек разумный, любящий его и верный ему, старался его отклонить, говоря, что, по его мнению, ни один квартал Рима не провозгласит Нимфидия императором. Однако многие смеялись его словам, и Митридат Понтийский, издеваясь над лысиной и морщинистым лицом Гальбы, говорил: «Ныне он для римлян что-нибудь значит; но как скоро покажется, то будет посрамлением тех дней, в которые носил наименование Цезаря».

После того решено было в полночь привести Нимфидия в стан и провозгласить его императором. Но первый из трибунов, Атоний Гонорат, при наступлении вечера созвал подчиненных воинов своих, бранил и себя и их за то, что в столь короткое время приняли столько намерений без всякого рассудка, без избрания лучших мер, как будто бы злым духом были водимы из предательства в предательство. «К первым поступкам нашим, – говорил он, – служат подлогом преступления Нерона. Но теперь, предавая Гальбу, можем ли мы винить его в умерщвлении матери и жены? Какой игрою на театре и представлением трагедии он срамит нас? Однако мы и Нерона не за такие поступки утерпели оставить; мы оставили его, поверив Нимфидию, что он оставил нас прежде и убежал в Египет. Не принести ли в жертву за Нероном и Гальбу? Не избрать ли в Цезари рожденного от Нимфидии, убив родственника Ливии, как убили сына Агриппины? Не лучше ли наказать Нимфидия за его злодеяния, быть мстителями Нерона и верными и добрыми хранителями Гальбы?» Эти слова трибуна заставили присоединиться к нему всех воинов, они приходили к другим и просили их утвердиться в верности к императору и убедили большую часть из них. Поднят был громкий крик; Нимфидий, поверив ли, как некоторые говорят, что воины зовут его, или спеша предупредить тех, кто колебался и шумел, вышел к ним при свете многих факелов, имея при себе в книжке речь, сочиненную Цингонием Варроном, которую он вытвердил для произнесения перед воинами. Найдя запертыми ворота стана и на стенах вооруженных воинов, он приведен был в страх; приблизившись к ним, он спрашивал, чего хотят и по какому приказанию они стоят под ружьем. Все подняли один голос, что они Гальбу признают императором. Нимфидий, идучи вперед, изъявлял также свое согласие и велел то же делать и своим провожатым. Стоявшие у ворот воины дали ему пройти с немногими – и вдруг бросили в него каменья. Удар принял Септимий своим щитом; между тем, многие неслись с обнаженными мечами. Нимфидий убежал, будучи преследуем и наконец убит в доме одного воина. Мертвое тело было повлечено на открытое место, обведено решеткой и днем выставлено напоказ всем желающим его видеть.

Таким образом кончилась жизнь Нимфидия. Гальба, получив о том известие, велел предать смерти тех из его сообщников, которые не были убиты вместе с ним. В числе их был Цингоний, сочинивший речь, и Митридат Понтийский. Всем казалось, что Гальба хотя справедливо, однако не по законам и не снисходительно велел убить без суда людей не безызвестных. Все ожидали другого рода правления, будучи обмануты по обыкновению слухами, которые в начале распространяют. Еще больше умножилось неудовольствие граждан,

когда Петроний Турпилиан, человек консульский и верный Нерону, получил приказание умереть. Что Гальба умертвил в Ливии Макра с помощью Валента, тому он имел благовидный предлог: он боялся их, ибо они были с оружиями и предводительствовали войсками. Но ничто бы не препятствовало послушать оправдания Турпилиана, человека старого и безоружного, когда кто намеревается действительно соблюсти в управлении ту умеренность, которую обещает. Итак, поступки эти были порицаемы.

Он находился уже от города около двадцати пяти стадиев, как встретил толпу бесчинствующих и шумящих гребцов, которые, отовсюду стекавшись, заняли заранее дорогу. Это были те гребцы, из которых Нерон составил отряд и превратил в воинов. Теперь они предстали, требуя утверждения в звании своем; не допускали никого из тех, кто выходил навстречу, ни видеть, ни слышать императора; но шумели – просили для своего отряда знамен и места. Гальба отложил это до другого времени и велел идти далее. Они, почитая сию отсрочку знаком отказа, сердились и следовали за ним, издавая громкие крики. Некоторые из них обнажили мечи. Гальба велел коннице напасть на них. Никто из них не выдержал нападения; одни были оставлены на месте, другие предавались бегству и были умерщвляемы. Знамение не доброе и не благоприятное: вступление Гальбы в город сопровождаемо было кровопролитием и убиением великого множества народа. Прежде, может быть, иные презирали его, почитая слабым и старым; теперь он сделался для всех страшным и ужасным.

Желая показать великую перемену в рассуждении чрезвычайных подарков и пышности Нерона, Гальба, казалось, не соблюдал приличия. Некогда Кан играл за ужином на флейте – игра его почиталась превосходною. Гальба похвалил его, велел подать себе ларчик и, взяв несколько золотых монет, отдал их Кану, сказав, что дарит ему из своих денег, а не из общественных. Он велел с великим насилием взыскать подарки, розданные Нероном актерам и бойцам, исключая десятой доли. Но как от того получил весьма мало и то с большими трудами – ибо большей частью получившие деньги расточили их, будучи люди невоздержные, помышляющие лишь о настоящем дне, то Гальба взыскивал оные с тех, кто купил или принял что-либо от них. Это взыскание было без границы, оно простиралось весьма далеко и касалось многих. Гальба себя обесславил, а Виний навлек на себя зависть и негодование, ибо, сделав императора мелочным и малодушным в отношении к другим, между тем сам пользовался всем с расточительностью, все принимал и продавал. Гесиод говорит, что должно пресыщаться вином, когда бочка начинается и кончается. Виний, видя, что Гальба был стар и слаб, упивался своим счастьем, которое, казалось, что в одно время начиналось и оканчивалось.

Виний поступал обидно со старцем: во-первых, потому что худо управлял; во-вторых, потому что порицал или останавливал все правильные меры, принимаемые самим Гальбой, как, например, при наказании Нероновых прислужников. Гальба умертвил многих – среди них Гелия, Поликлита, Петина и Патробия. Народ рукоплескал, издавал восклицания, когда вели их через форум, называя все зрелище прекрасным и любезным богам, ибо как боги, так и люди требовали в жертву Тигеллина, учителя и наставника Нерона в тираннстве. Но Тигеллин успел занять наперед Виния великими залогами. Турпилиан погиб, будучи ненавидим за то, что не предал и не ненавидел Нерона, при всех его злодействах; хотя впрочем он не участвовал ни в одном из важных его преступлений, а тот, кто и Нерона сделал достойным смерти, а по соделании его таковым оставил и предал – ничего не претерпел в пример всем, что дающие могли всего надеяться и все получить от Виния. Римский народ никакого зрелища столь не жаждал, как видеть Тигеллина влекомым на казнь; он не переставал во всех театрах и ристалищах требовать его, но ему было за то выговорено императорским эдиктом, в котором было сказано, что Тигеллину остается уже жить недолго, ибо истаивает чахоткою, а между тем император просил народ не раздражать его и не делать владычества его тираническим. Смеясь над негодующим народом, Тигеллин приносил жертвы за свое спасение и учредил великолепное пиршество, а Виний, отужинав у императора, встал и пошел к нему в торжестве, ведя с собою дочь свою, которая была вдовою. Тигеллин пил за ее здоровье и подарил ей двести пятьдесят драхм серебра, а главной своей наложнице велел снять с шеи убор и надеть на нее. Убор сей оценили в двести тысяч.

После этого уже и самые умеренные поступки были представляемы в дурном виде, как, например, прощение, оказанное галлам, возмутившимся вместе с Виндексом. Казалось, не

милосердие императора, но подкупление Виния подало им облегчение в податях и право гражданства. Таковы были неудовольствия народа против правительства; но воины, не получая подарка, сперва утешались надеждою, что Гальба, если не даст обещанного количества, то, по крайней мере, столько, сколько дал Нерон. Гальба, слыша жалобы их, сказал слово, достойное великого государя, что он привык набирать, а не покупать воинов. Когда они о том узнали, то воспылали дикой и жестокой против него ненавистью. Казалось, не только он лишал их подарка, но постановлял закон и научал тому последующих императоров.

Впрочем, беспокойство в Риме было не явно; некоторое почтение к присутствующему Гальбе заставило медлить и охлаждало желание к новым переменам. Поскольку не было никакого явного предлога к перевороту, то это отчасти укрощало и скрывало некоторым образом их неудовольствие. Но те, кто сперва находился под начальством Вергиния, а тогда были в Германии под начальством Флакка, почитая себя достойным великих наград за сражение с Виндексом и ничего не получая, не могли быть утешены своими начальниками. Флакк был слаб по причине сильной подагры и не опытен в делах; они к нему не имели никакого уважения. Некогда при всенародных зрелищах трибуны и ротные начальники желали, по римскому обыкновению, благоденствия императору Гальбе; войско сперва зашумело; но так как они продолжали свои моления, то толпа в ответ кричала: «Если достоин!»

Такие и этим подобные поругания оказываемы были часто легионами Тигеллина. Прокураторы Гальбы писали ему о том. Гальба, боясь, что презирали его не только по причине старости своей, но и по причине бездетства, намеревался усыновить одного из благороднейших юношей и назначить преемником своей власти. Это был Марк Отон, человек благородного происхождения, но негой и склонностью к наслаждению испорченный с самого детства до того, что немногим в Риме уступал в разврате. Как Гомер часто величает Александра «мужем леповласой Елены», не имея другого отличия, которое бы служило к Парисовой славе; так и Отон прославился в Риме браком своим с Поппеей*, которую любил Нерон во время ее сожития с Криспином, но еще уважая свою жену и боясь матери, он подослал Отона для испытания Поппеи. Отон был его друг и товарищ по причине своего распутства; Нерону были приятны даже насмешки Отона насчет его скупости и скряжничества. Говорят, что некогда Нерон, мазавшись драгоценным и благовонным маслом, брызнул им на Отона. На другой день Отон, принимая его к себе, поставил с разных сторон многие золотые и серебряные трубы, из которых благовонное масло вдруг полилось, как вода, и облило гостей. Отон имел связь с Поппеей прежде Нерона, обольщал ее надеждами на связь с Нероном и заставил развестись с мужем. Она вышла замуж за Отона, который не довольствовался тем, что обладал ею, и досадовал, что должен был делить с другим. Поппее не была неприятна, как говорят, ревность Отона. Она не пустила к себе Нерона в отсутствие своего мужа, или желая тем отнять пресыщение любви, или, как другие говорят, не желая супружества с Цезарем; хотя по причине своего распутства не отвергала иметь его любовником. Отон был в опасности лишиться жизни. Странно то, что Нерон, убивший жену* и сестру ради брака своего с Поппеей, пощадил одного Отона.

Отон пользовался благосклонностью Сенеки, который убедил Нерона послать его претором к лузитанцам на берег Океана. Отон в сем звании был для подчиненных не дурным и не тягостным начальником, ибо знал, что это начальство дано ему для сокрытия и смягчения его заточения. Когда Гальба возмутился против Нерона, то Отон прежде всех правителей к нему присоединился, принес все серебро и золото, которое было у него в чашах и столах, и дал его для перелития в монету; сверх того подарил Гальбе служителей своих, которые были обучены прислуживать государю. Сверх того был верен во всем Гальбе; он показал себя в опытности в делах не менее всякого другого и в продолжение нескольких дней дороги сидел с Гальбой на одной колеснице. По пути он приобрел благосклонность Виния своим обхождением и подарками и уступкой ему первого места при Гальбе. Таким образом, он еще тверже был вторым после него, но превосходил тем, что не навлекал на себя зависти, содействовал просителям в нуждах их даром, будучи ко всем приветлив и снисходителен. Более всего он оказывал помощь военным людям, многих производил в высшие чины, частью прося о них императора, частью Виния и отпущенников Икела и Азиатика, которые были в большой силе при дворе. Всякой раз как он угощал Гальбу, он подкупал когорту, которая охраняла

императора, каждому воину давая по золотой монете; казалось, он делал это дабы более почтить императора, между тем как он действовал против него и старался приобрести благосклонность воинов.

Когда Гальба начал помышлять о наследнике, то Виний предложил ему Отона. Он это делал не даром, но в надежде выдать за Отона дочь свою.

Отон дал ему обещание жениться на ней, как скоро был усыновлен Гальбой и обнародован преемником державы. Гальба при всяком случае предпочитал общее благо собственному. Он искал не того, который был ему приятнейшим, но того, кто мог быть полезнейшим римлянам. Нет сомнения, что он не избрал бы Отона наследником собственного имения своего, зная его невоздержание и расточительность, равно как и то, что он утопал в долгах, простиравшихся до пяти миллионов. По этой причине, услышав предложение Виния, он замолчал и с кротостью отложил свое завещание до другого времени. Он сделал консулом и товарищем своим Виния; казалось, что он в начале нового года объявит преемника. Военные люди желали, чтобы Отон был избран предпочтительнее других.

Между тем, как он еще медлил и рассуждал о том, возгорелась германская война. Все вообще военные люди ненавидели Гальбу за то, что не дал им обещанного подарка, но германские воины имели собственные неудовольствия. Во-первых, они досадовали за Вергиния Руфа, с бесчестием отверженного Гальбой, во-вторых, за то, что воевавшие с ними галлы получили от него подарки, что все те были наказываемы, которые не приставали к Виндексу, которому один Гальба оказывал благодарность, одного он по смерти чтил и праздновал его память общественными приношениями, как бы им одним он был возведен на императорский престол. Такие слова уже громко разглашаемы были в войске, как настало первое число первого месяца, называемое январскими календами. Флакк собрал воинов к себе для принятия присяги, которую они по обычаю приносят императору. Воины собрались к нему, низложили и изломали изображение Гальбы, сами поклялись в верности сенату и народу римскому и разошлись. Предводители войска начали бояться безначалия столько же, как и возмущения. Некто из них сказал другим: «Что с нами делается, соратники? Мы и другого начальника не избираем и настоящего не сохраняем, как будто бы мы отвергли не Гальбу, но всякого начальника и самое над собою начальство. Оставим Флакка Гордеония, он не что иное, как тень и призрак Гальбы. Только на один день дороги отстоит от нас Вителлий, управляющий остальной Германией; отец его был цензором, трижды удостоился консульства и некоторым образом управлял вместе с Клавдием Цезарем. Бедность, которой его упрекают, служит доказательством его доброты и высоких чувств. Изберем его, соратники; докажем свету, что мы лучше иберов и лузитанцев умеем избирать императора».

Между тем как одни на то соглашались, а другие нет, один знаменосец вышел тайно из стана и возвестил о том Вителлию, который ночью угощал многих приятелей у себя. Слух сей распространился в войске, и Фабий Валент, предводитель легиона, приехав на другой день с многими конными, приветствовал Вителлия императором. В прежние дни Вителлий, казалось, отвергал и отказывался от власти, боясь ее великости, но тогда, будучи, говорят, обременен вином и обеденной пищей, выступил в средину и согласился на все. Воины дали ему название Германика; он не принял имени Цезаря. Вскоре и войско Флакка, забыв свою похвальную и демократическую присягу, данную сенату, поклялось в верности императору Вителлию и обязалось исполнять его повеления.

Таким образом Вителлий был провозглашен императором в Германии. Гальба, известившись об этом возмущении, не откладывал более усыновления. Зная, что некоторые из друзей его хотят ходатайствовать за Долабеллу*, остальные же за Отона, между тем как он ни того, ни другого не одобрял, вдруг, не сказав никому ни слова, призвал Пизона*, сына Красса и Скрибонии, которых Нерон умертвил, – молодого человека, который к прочим своим добродетелям присоединил благопристойность и строгость нравов в высшей степени. Гальба пошел в стан, дабы провозгласить его Цезарем и наследником. При самом его выходе из двора показались важные знамения, а как скоро он начал в стане частью говорить, частью читать, то столько раз ударили громы и засверкали молнии, такой дождь пролился и такой туман распространился по стану и по городу, что, без сомнения, божество не принимало и не одобряло усыновления, что ничего доброго от того не воспоследует. Воины были унылы и

недовольны, ибо и тогда не получали подарка.

Однако присутствующие удивлялись Пизону, который голосом и видом своим показывал, что принимал сию милость без восхищения, хотя не без чувства; напротив того, на лице Отона видно было, что он был исполнен негодования и гнева, лишась надежды, которую он прежде имел и едва не достигнул. Он почитал причиной неисполнения надежд своих ненависть и неблагорасположение к нему Гальбы. По этой причине он беспокоился и о будущем. Боясь Пизона, ненавидя Гальбу и гневаясь на Виния, удалился он, возмущенный многоразличными страстями. Кинуть совершенно надежду и отказаться от всего не позволяли ему халдеи и гадатели, всегда при нем бывшие, особенно же Птоломей, который основывался на прежних частых предсказаниях своих, что Нерон не убьет Отона, но умрет прежде него и что Отон переживет и будет начальствовать над римлянами, а как первое сбылось, то он просил Отона и в последнем не отчаиваться. Не менее побуждали его и те, кто тайно принимал участие в его неудовольствии и негодовал на оказываемую ему неблагодарность. Многие из тех, кто при Тигеллине и Нимфидии были в чести, тогда будучи отвержены и унижены, приставали к нему, принимали участие в его печали и раздражали гнев.

Между тем Ветурий и Барбий, из которых один был оптион, а другой тессерарий*, – первый соответствует помощнику центуриона, а другой, его помощник, разносит пароли воинам – и с ними Ономаст, отпущенник Отона, приходя к воинам, одних обольщали деньгами, других надеждами. Воины были уже испорчены и искали только благовидного предлога, ибо когда бы войско было здравомыслящее и верное, то не было бы возможно, чтобы оно возмутилось за четыре дня, которые прошли между усыновлением и убиением. Пизон и Гальба были умерщвлены в шестой день после усыновления (по римскому исчислению, восемнадцатый перед февральскими календами).

В этот день рано поутру Гальба приносил жертву в Палатине в присутствии друзей своих. Жрец Умбриций, взяв в руки внутренность животного и взглянув на нее, сказал без всяких околичностей, что весьма ясно, что видит знамения великого возмущения и опасность со злоумышлением, висящую над императором – божество словно само отдавало Отона, который стоял позади Гальбы и обращал великое внимание на то, что говорил и показывал Умбриций. Он был в сильном беспокойстве, от страха изменялся беспрестанно в лице, как вдруг появился отпущенник Ономаст и сказал, что архитекторы уже дома ожидают его. Эти слова означали время, в которое надлежало Отону выйти навстречу воинам. Он сказал, что купил ветхий дом и что хочет показать продавцам места, которые требуют починки. Он удалился, сошел на форум через так называемый Тибериев дом и шел к площади, где стоял Золотой столб, к которому примыкают все проложенные по Италии дороги.

Число тех, кто первые здесь приняли Отона и поздравили императором, простиралось, говорят, не более двадцати трех. По этой причине, хотя был в опасностях душою тверд и дерзок, не по неге тела и женоподобия души своей он оробел и хотел отстать, но присутствующие не пускали его; они с обнаженными мечами, обходя его носилки, велели его поднять, между тем как Отон несколько раз кричал, что погиб и побуждал носильщиков нести скорее. Некоторые слышали эти слова и не столько были встревожены, сколько приведены были в удивление по причине малого числа тех, кто дерзнул на сие дело. Между тем, как несли его через форум, попались им воины в таком же числе, потом приставали к ним другие по три и по четыре; они все соединились и провозгласили его Цезарем, поднимая вверх мечи свои. Трибун Марциал, охранявший стан, как говорят, ничего не сказал; он был поражен этой неожиданностью и, испугавшись, позволил им войти. Как скоро Отон был уже во внутренности стана, то никто ему не противился. Те, кто не знал того, что происходило, будучи по одному и по два окружаемы теми, кто все знал и был участниками заговора, сперва из страха, потом по убеждению последовали за ними.

Гальба получил вскоре на Палатине это известие в присутствии еще жреца, когда внутренность жертвы была еще на руках их, так что и те, кто к подобным явлениям не имеет никакой веры, были приведены в изумление и удивлялись божеству. С площади стекался многоразличный народ; Виний, Лакон и некоторые отпущенники с обнаженными мечами окружили Гальбу; Пизон вышел и говорил с телохранителями, которые стерегли двор.

К иллирийскому легиону, который стоял у Випсаниевого портика, послан был Марий

Цельс, человек храбрый, дабы предупредить его.

Гальба хотел выступить, но Виний не допускал его; Цельс и Лакон, напротив того, его побуждали и сильно упрекали Виния. Вдруг распространился слух, что Отон убит в стане. Вскоре Юлий Аттик, человек, довольно значащий среди телохранителей, пришел с обнаженным мечом и кричал, что убил врага Цезаря; он пробрался сквозь толпу и показал Гальбе окровавленный меч свой. Гальба, взглянув на него, сказал: «Кто тебе приказал?» Аттик отвечал: «Верность и присяга, которую я тебе дал». Народ криком своим изъявлял одобрение и плескал руками; Гальба вошел в носилки, желая принести жертву Юпитеру и показаться гражданам.

Как скоро достигнул форума, то как будто бы ветер переменился, получил он известие, что Отон обладает войском; как бывает обыкновенно среди великого множества народа, одни кричали ему, чтобы он воротился, другие, чтобы шел вперед; одни – ничего не бояться, другие – не верить; носилки, как среди волнения моря, были носимы туда и сюда и беспрестанно были в опасности опрокинуться. Сперва показалась конница, потом тяжелая пехота, которая неслась через Павлову базилику и издавала один громкий крик – чтобы частные лица разошлись. Народ бегал, но не расходился; он всходил на галереи и возвышенные места площади, дабы смотреть, как на некое зрелище. Как скоро Атилий Вергилион бросил на землю изображение Гальбы, то это было знаком к началу нападения; на носилки были пущены дроты; но как в них не попали, то приблизились с обнаженными мечами. Никто не защищал Гальбу, никто их не останавливал – кроме одного человека, по имени Семпроний Денс, сотника; его одного, среди стольких тысяч, узрело Солнце достойным Римской державы; он не получил от Гальбы никакого особенного благодеяния, но повинуясь долгу и закону, он стал перед носилками. Сперва поднял он палку, которой сотники наказывают виновных воинов, и кричал нападающим, чтобы они щадили императора, но как они вступили с ним в сражение, то он обнажил меч и долгое время защищался, пока наконец не получил рану в подколенок и упал.

Носилки были опрокинуты у так называемого Курциева болота *(Lacus Curtius),* и Гальба вывалился на землю; воины, стекшись, поражали его, одетого в броню. Гальба, подставляя горло, говорил им: «Разите, если это полезно римскому народу». Он получил многие удары в бедра и в руки, а убил его, как многие говорят, воин пятнадцатого легиона, по имени Камурий. Иные называют его Теренцием, другие Леканием или Фабием Фабулоном. Говорят, что, отрубив голову и не могши ее держать по причине ее лысины, он нес ее в своем плаще. Те, кто был с ним, не позволяли ее скрывать, но понуждали всем показать свой подвиг; он наткнул на копье голову старца, который был кротким правителем, первосвященником и консулом; потом шел бегом, подобно вакханкам, часто оборачиваясь и потрясая копьем, окропляемым кровью. Когда голова принесена была к Отону, то он вскричал: «Это ничего, соратники! Голову Пизона покажите мне!» Вскоре была и она принесена. Молодой Пизон, будучи ранен, убежал, догнан неким Мурком и умерщвлен при храме Весты. Умерщвлен и Виний, хотя он признавался, что был сообщником заговора против Гальбы, он кричал, что умирает вопреки желанию Отона. Однако воины отрезали голову и ему и Лакону и принесли к Отону, требуя награды. Как говорит Архилох:

Упало мертвых семь, и мы попрали их –
Убийц нас тысяча…

Так в тогдашнее время многие из тех, кто не имел участия в убиении Гальбы, показывали руки и тоги свои в крови и просили даров, подавая Отону просьбы. По просьбам их отыскано было впоследствии сто двадцать человек, которых Вителлий отыскал и всех умертвил.

В стан пришел и Марий Цельс, которого многие винили в том, что он убеждал воинов помогать Гальбе; воины требовали, чтобы он был умерщвлен, но Отон того не захотел. Однако, боясь противоречить воинам, сказал, что убьет Цельса еще не скоро. Он велел связать его и предал самым верным людям своим для охранения.

Немедленно собран был сенат. Как будто бы сенаторы были уже не те, или как будто бы боги были уже другие, они сошлись и принесли Отону клятву, которую он сам дал и не сохранил. Они провозгласили его Цезарем и Августом тогда, когда еще обезглавленные тела в

консульских одеждах валялись по площади. Когда в сих головах уже не было никакой нужды, то голова Виния продана его дочери за две тысячи пятьсот драхм; голову Пизона получила его жена Верания по просьбе ее, а голова Гальбы – рабу Патробию*. Этот раб, взявши ее и всеми средствами надругавшись над нею, бросил ее туда, где погребают тела тех, кого казнят по приказанию Цезарей. Место это называют Сессорием. По приказанию Отона тело Гальбы было взято Гельвидием Приском, а похоронено ночью вольноотпущенником Аргием.

Такова была участь Гальбы, человека, который ни родом, ни богатством не уступал многим римлянам, а родом и богатством вместе первенствовал среди всех своих современников; который в продолжение пяти царствований жил с честью и славою. Он более своею славою, нежели своею силою низложил Нерона. Ни один из умертвивших его не был почтен достойным верховной власти; они и сами себя не почитали таковыми. Гальба был призван к сему достоинству, повинуясь призывающим, и своим именем умножил смелость Виндекса. Движение его, в начале называемое мятежом и беспокойством, превратилось в междоусобную войну, как скоро получило начальником мужа, достойного правления. По этой причине полагая, что не он принимает правление, но себя дает правлению, хотел начальствовать над теми, кто покорился Тигеллину и Нимфидию, как Сципион, Фабриций и Камилл управляли древними римлянами. Обремененный старостью, был он в отношении к войску истинным императором и достойным древних времен Рима; но предал себя Винию и Лакону и своим отпущенникам, которые все продавали за деньги, – так же как Нерон отдал себя во власть самым жадным людям, – и не оставил никого, кто бы желал его власти, хотя многие соболезновали о его смерти.

Отон

На другой день поутру новый император пришел на Капитолий и принес жертву. Он велел привести к себе Мария Цельса, принял его благосклонно, говорил с ним и советовал ему лучше забыть причину оказанной ему обиды, нежели помнить прощение. Цельс отвечал с благородством и чувством, что самая вина его служит доказательством его верности, ибо ставится ему в вину сохранение верности к Гальбе, которому он не был обязан никакой благодарностью. Все присутствующие уважили обоих, довольно было и войско. В сенате Отон говорил с великой кротостью и снисхождением. Часть времени, которое оставалось ему быть консулом, уступил Вергинию Руфу; он оставил консульское достоинство всем тем, кому оно было назначено Нероном и Гальбой. Он наградил священством особ, которым сие следовало по летам их и славе. Сенаторам, изгнанным при Нероне и возвратившимся при Гальбе, отдал имущества, которые оставались еще непроданными. Первейшие и знаменитейшие мужи, приведенные прежде в ужас, как будто бы правление вдруг попало в руки какой-либо фурии или злого духа, а не человека, одушевились лучшей надеждой к верховной власти, которая, так сказать, им улыбалась.

Равным образом и всех других римлян ничто столько не усладило и не привязало к императору, как наказание Тигеллина. Забыто было уже, что он мучился страхом наказания, которое республика требовала, как общественный долг, и что он претерпевал жесточайшие болезни телесные; между тем благоразумные люди почитали последним и стоящим многих смертей наказанием его мерзкое и срамное общество с подлейшими женщинами и распутство, которому по невоздержанию своему предавался еще, несмотря на то, что претерпевал мучения смерти. Однако многие досадовали еще, зачем он видит свет солнечный, которого многие знаменитые люди лишились из-за него. Отон послал воинов поймать его в имении близ Синуессы; он там жил в надежде убежать далее, ибо тут стояли корабли. Посланного для задержания его старался он склонить деньгами, дабы он его пропустил, но не имел в том успеха. Несмотря на то, он дал ему тем не менее подарки, просил его подождать, пока он выбреет себе голову; взял бритву и перерезал себе горло.

Цезарь, доставив народу это справедливейшее удовольствие, не вспомнил никакой частной обиды, самому ему оказанной. В угождение народу сперва не отвергал даваемого ему в театрах прозвания Нерона; и когда некоторые поставили на открытых местах Нероновы изображения, то он тому не препятствовал. Клувий Руф говорит, что в Иберии получены были

грамоты, которые даются в дорогу гонцам с письмами; в них имя Нерона было приложено к имени Отона. Отон, заметив, что лучшим гражданам было то неприятно, перестал оное принимать.

Таким образом, правление его утверждалось, но войско беспокоило его тем, что советовало ему беречься знатных, не верить им и угнетать их или потому, что, из приверженности к императору, в самом деле боялось за него, или искало предлог, дабы все тревожить и возмущать. Когда Отон послал Криспина для приведения из Остии семнадцатой когорты, и Криспин готовился еще ночью к отъезду и клал оружия на возы, то самые дерзкие из воинов кричали, что Криспин имел в уме своем пагубные намерения; что сенат предпринимает новые перемены; что везут оружия не для Цезаря, но против Цезаря. Эти слова были разнесены по войску и раздражали многих; одни хватались за возы, другие умертвили двух сотников и самого Криспина, которые им противились. Все, наконец, вооружились, призывали друг друга на помощь Цезарю и устремились на Рим. Узнав, что у Отона ужинало восемьдесят сенаторов, они обратились к дворцу, говоря, что уже настало время к умерщвлению Цезаревых врагов всех вместе. Город был в великом смятении, все боялись, что будет грабеж; двор был в тревоге; Отон в недоумении. Хотя он страшился за сенаторов, но сам был им страшен; он видел, что они, испуганные и безгласные, вперили взоры свои на него; из них некоторые с женами и детьми пришли к ужину. Отон послал префектов с повелением переговорить с воинами и укротить их; и в то же время велел приглашенным к ужину сенаторам выйти другими дверьми. Они едва успели вырваться сквозь воинов, которые теснились к залу и спрашивали, куда делись враги Цезаря? Отон, стоя на ложе, много говорил к успокоению их, употреблял просьбы, не щадил и слез своих и с трудом их отослал. На другой день, подарив каждому воину по тысяче двести пятьдесят драхм, он вступил в стан и, хваля войско за усердие и приверженность к нему, говорил, что некоторые из них строят козни и что они представляют с дурной стороны умеренность его и постоянство воинов. Он изъявлял желание, чтобы воины ненавидели сих зломыслящих людей и содействовали ему в отыскании их. Все одобрили его речи и просили о наказании виновных. Отон взял двух воинов, о которых никто не стал бы жалеть, когда бы они были наказаны, и удалился.

Одни удивлялись перемене Отона, верили ему и начинали его любить; другие почитали все действием необходимости по обстоятельствам политики и думали, что он старается приобрести благосклонность народа по причине угрожающей войны, ибо уже получено было верное известие, что Вителлий принял достоинство и силу императора. Гонцы часто приходили с объявлением, что Вителлий продолжает путь свой далее. Другие извещали, что войска в Паннонии, Далмации и Мезии согласно с предводителями своими признали Отона. Вскоре получены были от Муциана и от Веспасиана дружественные письма, один из них был в Сирии, другой в Иудее; оба предводительствовали сильными войсками. Эти обстоятельства ободрили Отона, который писал Вителлию и увещевал его мыслить так, как прилично воину, обещаясь ему дать много денег и город, в котором может провести в тишине спокойную и приятную жизнь. Вителлий отвечал ему сначала притворной покорностью, но впоследствии, будучи раздражены один на другого, они писали друг другу письма в неблагопристойных и ругательных выражениях; и хотя оные были не ложные, однако каждый из них безрассудно и смешно приписывал другому те постыдные дела, которые были общи обоим, ибо трудно сказать, в котором из них были в меньшей степени распутство, нега, неопытность в военном деле и множество долгов по причине прежней бедности.

Говорили тогда о разных знамениях и призраках. Известия о них были сомнительны и не основаны на достоверных свидетельствах, но все видели, что на Капитолии кумир Победы, стоящий на колеснице, выпустил из рук вожжи, словно не мог их более держать; кумир Гая Цезаря, стоящий на острове посреди реки, поворотился в вечеру лицом к востоку, хотя не было ни землетрясения, ни сильного ветра. Это последовало, как говорят, в те дни, в которые Веспасиан явно уже решился приступить к делу. Случившееся на реке Тибре приключение почитаемо было многими дурным предзнаменованием. Хотя время года было такое, в которое реки разливаются, однако никогда столь высоко не поднимался Тибр и не причинял столько вреда, разлившись и потопив великую часть города, более же всего ту, где продается хлеб, так что в продолжение нескольких дней чувствовали великий недостаток в хлебе.

По получении известия, что Цецина и Валент, полководцы Вителлия, заняли уже Альпы, воины возымели подозрение на Долабеллу, человека знаменитого происхождения, что он помышлял о произведении беспокойства. Боясь ли Долабеллу или другого кого-либо, Отон, ободрив его, послал в город Аквин. Назначая чиновников, которые должны были следовать за ним в походе, он назначил в лице их и Луция, Вителлиева брата, не прибавив и не убавив почести, которыми он пользовался. Он заботился о матери и супруге Вителлия, дабы они не имели никакой опасности о своей жизни. Хранителем Рима оставил Флавия Сабина, брата Веспасиана, оказывая ли через то уважение к Нерону – ибо Сабин получил от Нерона начальство, которого лишил его Гальба, – или возвышая Сабина для показания большего доверия и благосклонности к Веспасиану.

Отон остался в Бриксилле*, италийском городе, лежащем на берегу Эридана, а с войском послал Мария Цельса, Светония Паулина, а также Галла и Спурину, людей знаменитых, которые, однако, не могли действовать в делах своими собственными предначертаниями по причине беспорядка и наглости воинов. Они не хотели повиноваться другим, потому что император получил от них верховную власть. Впрочем, положение неприятелей не было в хорошем состоянии, воины также не повиновались предводителям и по той же причине были дерзки и своевольны. Однако они были опытны в военном деле и не избегали трудов, ибо были к ним привычны. Напротив того, воины Отона были слабы от бездействия и праздности, проведши большую часть жизни в театрах и празднествах; они прикрывали свое малодушие наглостью и надутостью и притворялись, что отказывались от предписываемых трудов, как бы они были ниже их достоинства, а не потому, что они не могли их перенести. Спурина, употребляя принуждение, был в опасности лишиться жизни; они не пощадили никакого поругания и хулы против него, называя его предателем и губителем Цезаревых дел и обстоятельств. Некоторые, напившись допьяна, уже ночью пришли к шатру его и просили денег на дорогу, потому что намеревались ехать к Цезарю, дабы на него донести.

Спурине и делу Отона помогли ругательства, которыми осыпали их при Плаценции Вителлиевы воины, кои, подступая к стенам, насмехались над воинами Отона, стоявшими на стенах, называя их скоморохами, плясунами, зрителями Пифийских и Олимпийских игр, не видавшими никогда ни войны, ни походов, гордящимися лишь тем, что отрубили голову безоружному старцу – они разумели Гальбу, – но не смеющими сойти со стен и вступить в открытое сражение с храбрыми воинами. Эти ругательства до того их оскорбили и воспламенили, что они обратились к Спурине и просили его употребить их, обещая не отказываться ни от каких опасностей, ни трудов. Неприятель сделал жаркий приступ к городу с великим множеством машин. Спурина одержал верх, отразил неприятеля, нанеся ему огромные потери, и сохранил в целости славный город, который благосостоянием своим ни которому не уступал в Италии.

Впрочем, Отоновы полководцы вели себя и с городами, и с частными лицами снисходительнее Вителлиевых. Цецина один из них ни голосом, ни видом не имел в себе ничего приятного. Он был отвратителен и страшен величиною тела своего, носил галльские широкие шаровары и платье с длинными рукавами и в таком виде говорил с римскими воинами и предводителями войска. Жену его сопровождали отборные всадники; она сама сидела на коне и была великолепно украшена. Что касается до другого полководца, Фабия Валента, то жадность его не могли насытить ни похищения, ни кража, ни взятки от союзников. Казалось, это было причиной медленности его похода, и потому он не поспел к первому сражению. Другие обвиняют Цецину за то, что он спешил присвоить себе победу по прибытии Валента, что он сделал и другие маловажные ошибки, что несвоевременно и не с надлежащим мужеством дал сражение, которое едва не расстроило все дело Вителлия.

Цецина, отраженный от Плаценции, бросился на Кремону, город также богатый и многолюдный. Анний Галл, который шел на помощь Спурине в Плаценцию, известившись дорогою, что плацентинцы одержали верх, но что находилась в опасности Кремона, перешел туда с войском и стал подле неприятелей. Другие предводители также шли на помощь полководцу. Цецина поставил засаду из пехоты в лесистых местах, а коннице велел выступить вперед и, когда неприятели вступят с нею в бой, то мало-помалу отступать, убегая до тех пор, пока не заведут их в засаду. Но перебежчики возвестили об этом Цельсу. Он выступил с лучшей

конницей, но во время преследования вел себя осторожно, окружил засаду, привел ее в тревогу и звал из стана пехоту свою. Казалось, что когда бы она пришла вовремя и последовала за конницей, то ни один из неприятелей не уцелел, но все войско Цецины было бы истреблено. Но Паулин, придя на помощь медленно и поздно, был обвиняем в том, что из осторожности не действовал достойно своей славы. Многие из воинов обвиняли его в измене и раздражали Отона, хвастая, что сами победили; но что, по малодушию полководцев, победа не была совершенно одержана. Отон не столько не верил им, сколько не хотел показывать, что им не верит. Он послал к войску брата своего Титиана и префекта Прокула, которому была дана вся власть, Титиан был только для виду. Цельс и Паулин пользовались именем советников и друзей, но в делах не имели ни силы, ни власти. Дела неприятелей также находились в дурном положении, особенно же в войске, состоящем под начальством Валента. Когда возвещено было сражение при засаде, то воины его досадовали, что сами тут не находились, не защищали своих, которых тут пало великое множество. Валент с трудом удержал их и просил не бросаться на него. Потом поднялся и присоединился к Цецине.

Отон при прибытии своем в стан при Бедриаке – малом городе близ Кремоны – собрал совет для рассуждения о сражении. Прокул и Титиан советовали дать сражение, пользуясь бодростью войск после одержанной победы, не дожидаясь, чтобы жар их охладел и чтобы сам Вителлий прибыл из Галлии. Паулин сказал, что у неприятеля собраны все силы и ничего у него не достает, чтобы дать сражение; но что Отон ожидает из Мезии и Паннонии силу не меньше настоящей, если он хочет выждать удобного для себя, а не для неприятелей времени; что воины, которые ныне исполнены бодрости, несмотря на малочислие свое, не будут действовать с меньшим жаром, когда присоединится к ним большее число воинов, и будут сражаться с большими силами. Сверх того, они, находясь в полном изобилии, могут длить войну, когда неприятели, напротив того, находясь в неприятельской земле, от долгого времени будут чувствовать недостаток. Мнение Цельса было согласно с мнением Паулина. Анний Галл не присутствовал на совете, ибо, упав с лошади, лечился от ушиба. Отон требовал его мнения на письме, и Галл отвечал ему не спешить, но дождаться войска из Мезии, которое уже в дороге. Но Отон не был этим убежден; те, кто побуждал его дать сражение, превозмогли.

Причины тому у разных писателей различны, но нет сомнения, что так называемые преторские воины, которые заступали место телохранителей и которые тогда испытали труды похода, главнейше содействовали к убеждению Отона дать сражение, вспоминая удовольствие, забавы и спокойную жизнь Рима. Кажется, то Отон сам не мог долее снести неизвестность по причине слабодушия своего и непривычки к заботам и мыслям об опасности своей. Будучи утомлен ими, он спешил, закрыв глаза броситься, так сказать, со скалы и предать все судьбе. Так о том повествует оратор Секунд, который писал письма для Отона. Некоторые уверяют, что обоим войскам приходило в ум сойтись и, согласившись между собою, избрать в императоры лучшего из своих полководцев; или собрав сенат, предоставить ему избрание императора. Нимало не удивительно, чтобы эти мысли приходили в ум благоразумных, опытных воинов и настоящих римлян в такое время, когда ни один из называющихся императором не был ими уважаем; им казалось ужасным претерпеть ныне то, что прежде граждане претерпевали друг от друга из-за Суллы и Мария, из-за Цезаря и Помпея, и оставить державу римскую в награду обжорливости и пьянству Вителлия или неге и распутству Отона. Цельс знал об этих мыслях и нарочно отлагал сражение, надеясь, что дело кончится без сражения и опасностей. Напротив того, Отон из страха ускорял сражение.

Он опять удалился в Бриксилл и в этом сделал ошибку не столько потому, что лишил сражающихся стыда и честолюбия, которое им внушало его присутствие, но он увел с собою лучшую и храбрейшую конницу и пехоту для охранения себя и тем отнял у войска важнейшие силы.

В те самые дни дано было сражение при Эридане. Цецина хотел навести мост для переправы, а воины Отона ему препятствовали и сражались; но так как они не могли ничего произвести, то положили факелы в намазанных серой и смолой судах, которые поднявшийся вдруг ветер нес по воде прямо к неприятелям. Сперва показался дым, потом распространилось сильное пламя. Неприятели в смятении прыгали в реку, опрокидывали суда и предавались неприятелям, в которых возбуждали хохот. Германцы, сойдясь с Отоновыми гладиаторами на

малом острове реки, одержали над ними верх и немалое число их истребили.

Между тем, как сие происходило, воины Отона, бывшие в Бедриаке, стремились с яростью к сражению; Прокул вывел из Бедриака и расположился станом в пятидесяти оттуда стадиях, но так неискусно и нелепо, что хотя тогда была весна и по окрестным полям текли реки и источники неиссякаемые, однако войско было томимо жаждою. На другой день он хотел идти на неприятеля, пройдя не менее ста стадиев. Но Паулин его удерживал; он советовал ему подождать, не утомлять воинов и прямо с дороги не вступать в сражение с воинами, вооруженными и устроенными на досуге, между тем, как они должны будут пройти столь длинный путь со своими обозами и служителями. Между тем, как полководцы были между собою не согласны, приехал к ним нумидийский гонец с письмами от Отона; он повелевал им не медлить долее и не откладывать битвы, но идти немедленно на неприятеля. Приказание его было исполнено. Цецина, известившись об их приближении, был приведен в смятение; он оставил немедленно все работы у реки и пришел в стан. Воины были уже вооружены и получили от Валента пароль; между тем, как легионы выстраивались, полководцы выслали вперед лучшую конницу.

В первых рядах Отонова войска распространился слух от неизвестной причины, что Вителлиевы полководцы хотели перейти к Отону. Как скоро они приблизились, то они приветствовали их дружелюбно и называли товарищами; но как Вителлиевы воины отвечали на их приветствия не с лаской, но с гневом и с военным восклицанием, то приветствовавшие впали от того в уныние, а другие возымели подозрение, что те, кто приветствовал неприятеля, изменили им. Это первое обстоятельство смутило их в то время, когда неприятели уже начинали битву. Сверх того, ничто не было производимо в порядке; обозы, несясь туда и сюда между сражающимися, приводили их в расстройство. Самое местоположение отделяло одних воинов от других, будучи пресекаемо рвами и ямами; воины, боясь их и желая обойти, были принуждаемы вступить в сражение с неприятелем малыми отрядами и без всякого устройства. Только два легиона, из них один Вителлиев, называющийся «Хищник», а другой Отонов, и назывался «Заступник», выбравшись на гладкое и открытое поле, вступили в правильное сражение и долго дрались между собою. Отоновы воины были сильны и храбры, но тогда в первый раз они испытывали в сражении силы свои; напротив того, Вителлиевы были искусны в боях, но уже старые и истощенные. Отоновы устремились на них, вытеснили, отняли знамя и умертвили почти всех, составлявших первые ряды. Тогда Вителлиевы, воспаляясь стыдом и яростью, напали на противников, убили легионного легата Орфидия и отняли много знамен.

На гладиаторов, которые отличались своим искусством и бодростью в боях, навел Альфен Вар так называемых батавов. Это суть лучшие германские всадники, населяющие остров, обтекаемый Рейном. Немногие из гладиаторов выдержали их нападение; большей частью они убегали к реке и попадали в когорты неприятелей, там устроенные, и, защищаясь, были ими все изрублены.

Постыднее всех сражались преторские воины; они не осмелились вступить в сражение с неприятелями, но, предаваясь бегству, сквозь тех, кто еще не был побежден, исполнили их страха и смятения. Несмотря на то, многие из Отоновых воинов разбили тех, кто стоял против них, прорвались сквозь побеждающих неприятелей и убежали в стан.

Прокул и Паулин не осмелились туда возвратиться; они уклонились, боясь воинов, ибо они всю вину поражения слагали на своих полководцев. Но Анний Галл принимал в город воинов, собиравшихся к нему после поражения; он утешал их тем, что сражение было не решительно, и что они во многих местах разбили неприятелей. Марий Цельс собрал важнейших чиновников и предлагал им советоваться о пользе общей; они говорили, что после этого несчастия и стольких избиений воинов Отон сам, если он человек добрый, не решится более испытать счастья, когда и Катон и Сципион, не захотевшие покориться победителю Цезарю после сражения при Фарсале, заслужили укоризну тем, что погубили в Ливии многих храбрых мужей без всякой пользы, несмотря на то что они сражались за свободу Рима. Хотя счастье непостоянно и благоприятствует то одному, то другому, однако оно не может отнять у доблестных людей одного лишь блага, а именно принятие и после неудачи благоразумнейших мер. Эти слова убедили чиновников; они начали испытывать воинов и заметили, что желали мира. Титиан советовал предложить противникам перемирие; Цельс и Галл приняли на себя

обязанности ехать к Цецине и Валенту и вступить с ними в переговоры. Им попались навстречу сотники, которые известили их, что войско двинулось уже к Бедриаку, а что полководцы послали их для заключения мира. Цельс и Галл были тем довольны и предлагали им возвратиться назад и вместе с ними идти к Цецине. Приближаясь к войску, Цельс был в опасности быть умерщвленным, ибо впереди шли те конные, которые прежде были им побеждены при засаде. Видя приближающегося Цельса, они немедленно устремились на него с громким криком. Сотники удерживали их, став перед Цельсом; другие предводители кричали, чтобы они не трогали Цельса; наконец Цецина, известившись о происходящем, бросился в ту сторону и остановил наглость конницы. Он принял Цельса дружелюбно и вместе с ним шел к Бедриаку

Между тем Титиан раскаялся в отправлении посланников; он опять велел влезть на стены воинам, которые казались храбрейшими, а других побуждал к подкреплению их. Но как скоро Цецина приблизился верхом к городу и протянул к воинам руку, то никто уже не хотел сопротивляться; одни со стен приветствовали воинов, другие отворяли ворота, выходили и смешивались с идущими. Никто не употреблял насилия; они принимали и приветствовали друг друга. Все поклялись в верности Вителлию и пристали к нему.

Так большей частью описывают это сражение те, кто был при нем, признаваясь, впрочем, что сами не знают в точности всех обстоятельств по причине беспорядка и неустройства, с которыми оно происходило. Долго после того, когда я проезжал через это поле, Местрий Флор, муж консульский, который находился в числе тех, кто сражался за Отона не по своей воле, но по принуждению, показав мне древний храм, рассказывал, что после сражения, придя к тому месту, увидел такую груду мертвых, что люди, стоявшие наверху храма, могли доставать мертвые тела с обеих сторон, что он искал тому причины, но не мог ни сам ее найти, ни от других узнать. Он полагал, что в междоусобных войнах, когда одна сторона разбита, то бывает много мертвых, ибо воины не ловят живых, потому что не могут употреблять уловляемых сограждан. Касательно же накопления в одно место сих мертвых, то трудно отгадать тому причину.

Отон сперва получил неверное известие. Лишь потом появились раненые и рассказали о битве с большей достоверностью. При этом менее можно удивляться друзьям его, которые ободряли его и советовали ему не отчаиваться, но любовь и приверженность к нему воинов превосходили ожидание. Никто из них не покинул его, никто не перешел к неприятелю, никто не искал собственного спасения, когда дела императора были в отчаянии. Они все вместе пришли к дверям, называли его своим императором и, когда он вышел к ним, то они издавали крики, брали его за руки, падали пред ним, плакали, просили не оставлять их, не предать неприятелям, но пока в них дыхание, употреблять и души их и тела в свою пользу. Они все вместе о том умоляли. Один из самых неизвестных воинов, подняв меч, сказал: «Знай, Цезарь, что все расположены к тебе так, как я», – и умертвил себя. Однако ничто не поколебало Отона. С веселым и спокойным лицом обратил он взоры свои на все стороны и сказал: «Соратники! Этот день я почитаю блаженнее того, в который вы меня провозгласили императором, видя в вас такую приверженность и принимая от вас такие доказательства любви. Но не лишайте меня важнейшего знака любви – позволения мне умереть с похвалою за столь многочисленных и замечательных граждан. Если я сделался достойным римского владычества, то мне не должно щадить жизни своей за отечество. Знаю, что победа противников не тверда и не решительна; есть известие, что войско наше из Мезии не на много дней дороги уже отстоит и идет к Адриатическому морю. С нами Азия, Сирия, Египет, войска, воюющие с иудеями; у нас сенат, в наших руках жены и дети неприятелей. Но мы не с Ганнибалом, не с Пиром, не с кимврами ведем войну за Италию, мы воюем с римлянами – как мы, так и неприятели, и побеждая, и побеждаемы, равно обижаем отечество. Благополучие победителя есть отечеству гибель. Поверьте, что я могу умереть похвальнее, нежели начальствовать, ибо я не вижу, могу ли причинить римлянам столько пользы, одержав верх, сколько принесши себя в жертву, дабы восстановлен был мир и согласие, и дабы Италия не узрела в другой раз такого дня».

Сказав это, он отвергнул с твердостью тех, кто ему противоречил и отсоветовал, и велел своим друзьям и находившимся при нем сенаторам удалиться; тем, кто уезжал, давал он письма и к городам, приказывая, чтобы их провожали с честью и безопасно. Призвав к себе племянника

своего Кокцея, который был еще весьма молод, он ободрял его и советовал ему не бояться Вителлия, которого он сохранил мать, жену и род, заботясь о них, как о своих; что он не усыновил его, хотя того хотел, но отложил до другого времени, дабы мог вместе с ним управлять, когда бы он одержал победу, а будучи побежден, не погиб вместе с ним. «Еще я завещаю тебе, сын мой, в последний раз, не совсем забыть и не слишком помнить, что твой дядя был Цезарем». По окончании сих речей он услышал у своих дверей шум и крик! Воины грозили умертвить сенаторов, которые хотели удалиться, если не останутся и не уйдут, оставя императора. Отон, заботясь о них, выступил опять и уже не с кротостью и просьбами, но с суровостью и гневом взглянув в ту сторону, где происходило больше шуму, заставил воинов со страхом и трепетом удалиться.

Вечером он захотел пить и выпил немного воды. У него было два меча; он долго испытывал острие их; один из них отдал, а другой взял в руки. Он призвал служителей, говорил с ними ласково и дал им денег, одному более, менее другому, не так как бы он не щадил денег, как чужих, но сохраняя должную во всем умеренность и давая то, что каждому по достоинству следовало. Отославши их, он остальную часть ночи проспал так, что служители его могли слышать, что он спал глубоким сном. На заре, призвав отпущенника, вместе с которым распорядил дела касательно отъезда сенаторов, велел узнать о них. Отпущенник возвестил, что они уехали и что каждый из них взял то, в чем имел нужду. «Ступай и ты и явись воинам, – сказал ему Отон, – если не хочешь умереть от них жестокой смертью, как будто бы ты помог мне умереть».

Он вышел, и Отон, поддерживая прямо меч обеими руками и упав на него всей силою, вздохнул только раз, почувствовал боль и тем дал знать стоявшим извне о своей смерти. Служители подняли вопль; стан, город немедленно наполнились плачем. Воины с криком вбежали в двери, плакали, жалели, укоряли себя за то, что не сохранили императора и не удержали его от смерти, которую принял за них. Никто из них не отстал и не перешел к стоявшим вблизи противникам. Они воздвигли костер, украсили мертвое тело и вынесли его, будучи в полном вооружении. Те, кто мог подойти и поддержать одр, гордились своим счастьем. Из других одни приходили и, падая пред ним, целовали его рану; другие брали его за руку или поклонялись ему издали; иные, подкладывая под костер факелы, сами себя умертвили, хотя ни от умершего не получили ни одного благодеяния, ни от победителя не боялись ничего претерпеть. Но, кажется мне, ни один из законных государей или тираннов не имел никогда столь живой и неистовой любви к владычеству, как сколько воины сии желали быть под управлением Отона. Любовь к нему не прекратилась с жизнью его, но пребыла в них, превратившись в непримиримую ненависть к Вителлию. О чем упомянуто будет в надлежащее время.

Воины, похоронив в земле прах Отона, не сделали гроба его завидным ни величиной насыпи, ни пышной надписью. Я видел в Бриксилле скромный гроб с надписью, которую можно перевести так: «Памяти Марка Отона». Отон умер тридцати семи лет; он управлял три месяца. Те, кто порицает его жизнь, столько же многочисленны и столь же знамениты, как и те, кто прославляет смерть его. Он жил не лучше Нерона, но умер благороднее.

Когда Поллион, один из префектов, требовал от воинов, чтобы они присягнули немедленно в верности Вителлию, то они на то негодовали. Узнав, что оставалось еще несколько сенаторов, но отпустили их, но Вергинию Руфу причинили много забот, ибо, пришедшие к нему с оружиями, требовали от него, чтобы он принял верховную власть или пошел к победителю, как посланник от них. Руф почитал безумием принять начальство от побежденных, когда не принял его прежде от побеждающих, боясь идти посланником к германцам, которые думали, что он принудил их во многом поступить против своего желания, тайно вышел из дому другими дверьми и убежал. Когда воины узнали об этом, то дали присягу и, получив прощение, присоединились к Цецине.

Примечания

Предисловие

(Примечания к предисловию Е. В. Желтовой)

Стр. 5 *...его жизнеописание легко восстанавливается по его же произведениям.* – Греческий писатель IV в. н. э. Евнапий во введении к своим «Жизнеописаниям философов и софистов» заметил, что «божественный Плутарх излагает свое жизнеописание в разрозненном виде в своих сочинениях».

Стр. 6 *...он был свидетелем посещения Греции римским императором Нероном в 66 году и иллюзорного «освобождения» этой провинции.* – Это событие произвело такое впечатление на Плутарха, что в своем сочинении «О том, почему божество медлит с воздаянием» (гл. 32) он заставляет судей загробного мира смягчить причитающиеся Нерону кары за проявленное им эллинофильство.

Стр. 8 *...диатрибы...* – Диатриба – особый вид диалога с воображаемым противником, особенно популярный среди философов-киников.

Стр. 9 *...«Застольные беседы» в девяти книгах и «Пир семи мудрецов»...* – Следует отметить, что разбираемые в этих произведениях вопросы поражают своим разнообразием, а иногда и нелепостью, например: что появилось раньше, курица или яйцо? Почему мясо загнивает скорее при луне, чем при солнце? Почему женщины не едят сердцевину латука? Холоднее ли или горячее женская природа, чем мужская? Какая музыка предпочтительна за обедом? Почему мы не доверяем осенним снам? Правильно ли поступали, проводя совещания за вином?

Стр. 11 *...мы можем составить представление о том, кто находился в фокусе интереса древнейших биографов: это были по преимуществу монархи или профессиональные деятели культуры – философы, поэты, музыканты* . – Так, первый биографически оформленный энкомий (похвальное слово) «Эвагор» был написан Исократом и посвящен кипрскому царю. Признанный «классик» жанра Аристоксен Тарентский составил несколько биографических циклов, посвященных философам, флейтистам и трагическим поэтам.

Стр. 11 *...а не сплетня или вымысел* . – Справедливости ради следует заметить, что дух сенсации, сплетни не был чужд и Светонию, ведь именно ему принадлежал сборник «О знаменитых блудницах».

Стр. 11 *...в виде отдельных биографий* . – Эти 4 сохранившиеся биографии Гальбы, Отона, Артаксеркса и Арата (не путать с поэтом Аратом) в данном издании добавляются к «Параллельным жизнеописаниям».

Стр. 12 *...об их литературном творчестве биограф сознательно умалчивает.* – Здесь представляется уместным вспомнить величайшего греческого драматурга Эсхила, который в своей автоэпитафии ставит себе в заслугу участие в войне против персов и ни словом не упоминает о своих драмах.

Стр. 14 *...как Рим начал осознавать себя преемником и соперником Греции.* – Соревновательное начало (агональный дух) вообще было присуще грекам и во многом обусловило высокий уровень их культурных достижений в различных областях (от атлетики до поэзии, философии и науки). См. об этом: *Зайцев А. И.* Культурный переворот в Древней Греции VIII–V вв. до н. э. Изд. 2-е, испр. и перераб. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2000.

Стр. 16 *...вместо третьего...* – Обычно каждый римлянин имел три имени: преномен (собственно имя, например Гай или Марк), номен (родовое имя, например, Юлий или Туллий) и когномен (прозвище, полученное одним из предков и закрепившееся за данным ответвлением рода, например Цезарь или Цицерон).

Стр. 17 *...Спиридоном Дестунисом...* – Спиридон Юрьевич Дестунис (1782–1848) – грек, родившийся на о. Корфу; учился в Московском университетском пансионе, состоял на русской службе, в 1818 году был послан консулом в Смирну, а с 1826 года жил в Санкт-Петербурге. С. Дестунис изучал византийских историков и печатался в «Журнале министерства народного просвещения».

Сравнительные жизнеописания

Примечания к «Сравнительным жизнеописаниям» Плутарха составлены самим переводчиком этого текста С. Дестунисом. Однако, учитывая, сколько времени прошло с первой публикации этого перевода и какие изменения произошли за этот срок в наших знаниях об эпохе античности, редакция сочла себя вправе внести исправления и дополнения в отдельные комментарии и несколько «осовременить» их язык. Подготовка текста и примечаний к изданию выполнена О. А. Королевой.

Стр. 25 *Кто в голоде и жажде лучше бы захотел вкусить яств феаков…* – Феаки – в греческой мифологии чудесный народ, великолепные мореходы, с которыми никто не сравнится мастерством. Если к ним попадают потерпевшие кораблекрушение, феаки считают своим долгом доставить их на родину. Переводчик, вероятно, имеет в виду лотофагов – еще один чудесный народ греческой мифологии; согласно Гомеру, они дают путникам отведать лотоса, после чего путники забывают о родном доме и навсегда остаются на острове лотофагов. *(Примеч. ред.)*

Стр. 27 *Плутарх родился в Херонее…* – Херонея – город в Беотии, между рекой Кефис и горой Фурий, известный победой Филиппа над греками в 338 году до Р. Х. и победой Суллы над Архелаем в 85 году до Р. Х.

Стр. 28 *…каков был Кв. Сосий Сенецион… которому Плутарх посвятил «Сравнительные жизнеописания» свои…* – Исключая жизнеописание Арата, которое Плутарх посвятил Поликрату Сикионскому, потомку Арата.

Стр. 29 *…по уверению митрополита Иоанна Евхаитского…* – Святитель Иоанн Маврон, митрополит Евхаитский, жил при императоре Константине Мономахе (I в.), способствовал распространению просвещения в Византии. Оставил 77 писем, несколько «Слов» и ряд ямбических стихотворений: эпиграммы на предметы культа в искусстве, загадки, рассказ о первом знакомстве с семьей императора и т. п. Существует и этимологический лексикон Иоанна.

Стр. 30 *Весьма вероятно, что он был любим и уважаем Траяном, которому посвятил собрание достопамятных изречений полководцев и царей.* – Это сочинение многие не признают Плутарховым.

Стр. 33 *Первый перевод издан на французском языке при восстановлении наук Амио в царствование Генриха II, в 1558году.* – Амио настолько прославился этим переводом, что, несмотря на невысокое свое происхождение, был определен наставником к французским принцам, сыновьям Генриха II. Прежде чем получить эту должность, он управлял Беллозанским аббатством, которое дано было ему за перевод греческого романа «Феаген и Хариклея».

Тесей

Тесей – легендарный аттический герой, основатель и царь Афин.

Стр. 37 *…так и я, Сенецион!* – Сосий Сенецион – друг императора Траяна, был консулом четыре раза; один раз при Нерве, прочие же при Траяне.

Стр. 37 *…как говорит Эсхил…* – В трагедии «Семеро против Фив». Вестник, именуя Этеоклу каждого из неприятельских военачальников, спрашивает, кого кому из них намерен противопоставить.

Стр. 37 *Военной славой они блистали оба…* – Гомер. «Илиада», VII, 281. Речь идет о Гекторе и Аяксе.

Стр. 38 *…происходит со стороны отца от Эрехтея и от первых автохтонов; со стороны матери – от Пелопа.* – Тесей считается шестым потомком Эрехфея, или Эрихтония, который почитался сыном Гефеста и Геи – или Афины, или Кранаи, внучки Краная, второго царя афинского. То есть Тесей происходил от первородных жителей этой страны – автохтонов. Впрочем, полагают, что это царство было основано Кекропом Египтянином, который вывел колонию из Саита в 2448 году от сотворения мира, за 1556 лет до Р. Х. Вот ряд первых царей: Эрехтей I – Пандион I – Эрехтей II – Кекроп II – Пандион II – Эгей – Тесей. Пелоп – сын Тантала, привез с собой в Пелопоннес великие сокровища, найденные им в горе Сипил, и ими распространил свою власть, как свидетельствует Плутарх.

Стр. 38 *...основал небольшой город Трезена...* – Трезена – древний город на восточном берегу Пелопоннеса, получил свое название от имени Триза, брата Питфея.

Стр. 38 *...какой Гесиод...* – Гесиод (ок. 700 до н. э.) – знаменитый стихотворец, сочинения которого, прежде всего поэмы «Труды и дни» и «Теогония», дошли до наших дней.

Стр. 38 *То же самое говорит и Аристотель.* – В «Никомаховой этике», IX, 1. Впрочем, стих Гесиода, приведенный выше, толкуется различно. Иные вместо слова «друг» ставят «наемник»; другие переводят: «Отдавай другу своему плату, какую ты обещал» или: «Условленною мздой да будет друг доволен».

Стр. 38 *Он страшился пятидесяти Паллантидов...* – Паллант – брат Эгея. Паллантиды, или сыновья Палланта, думая, что Эгей бездетен, почитали себя наследниками его царства. Эгей был уверен, что они, узнав о Тесее, умертвили бы как его самого, так и его сына.

Стр. 38 *...когда Эгей признал его своим сыном.* – Имя Тесей происходит от слова 0eaij, что значит «положение» и «усыновление».

Стр. 39 *...нежели Силланиона и Паррасия...* – Силланион (ок. 114 олимпиады) – древнегреческий скульптор. Паррасий (2-я пол. V в. до н. э.; ок. 96 олимпиады) – знаменитый живописец, современник Зевксида.

Стр. 39 *...он остриг только переднюю часть головы, подобно абантам...* – Абанты – древние жители острова Эвбея.

Стр. 39 *...ни у мисийцев...* – Мисийцы (мизийцы) – фракийский народ, обитавший в западной части Малой Азии.

Стр. 39 *...как свидетельствует о том Архилох...* – Архилох (род. в 650 году н. э.) – греческий лирический стихотворец, живший во времена Ромула.

Стр. 40 *...убив, по несчастию, Ифита, удалился в Лидию и долгое время служил там Омфале, осудив себя на то самовольно за убийство своего друга...* – Осквернившиеся убийством осуждали себя на самовольное изгнание и налагали на себя произвольное наказание для очищения от содеянного преступления. Ифит – сын Эврита, царя Эхалии на острове Эвбея; оказал Гераклу многие услуги, но обуянный безумием Геракл сбросил Ифита со стен Тиринфа. Омфала – царица Лидии, вдова Тмола, сына Тантала.

Стр. 40 *В землях Эпидавра встретил он Перифета...* – Эпидавр – город в Арголиде на берегу Саронийского залива. Перифет – сын Гефеста и Антиклеи, носил железную палицу и убивал путников, просивших у него в Эпидавре приют.

Стр. 40 *...наказал он Синиса Питиокампа, или сгибателя сосен...* – Синис, победив кого-нибудь в единоборстве, нагибал две сосны, привязывал к каждой из них одну руку и одну ногу несчастного и отпускал деревья принять естественное свое положение.

Стр. 41 *...в Кроммионе...* – Кроммион – городок между Коринфом и Мегарами.

Стр. 41 *Всем известно, говорят они, что Эак почитается беспорочнейшим человеком того времени, что Кихрей Саламинский боготворим в Афинах...* – Эак – сын Зевса и нимфы Эгины, благочестием и справедливостью приобрел особенную любовь богов, которые внимали всем его мольбам. Кихрей – сын Посейдона и Саламины, царь острова Саламин.

Стр. 41 *Далее, в Герме, умертвил Дамаста, прозванного Прокрустом...* – Вероятно, это ошибка. Между Элевсином и Афинами мы не знаем никакого места, которое бы так называлось. Павсаний называет это место *Эрганой.* Прокруст (известен под именами Дамаст и Полипемон) – знаменитый разбойник. Дамаст имел два ложа; приходящих к нему, если они были высоки ростом, клал на короткое и обрубал им ноги; малорослых же клал на длинное и вытягивал. По этой причине назван он Прокрустом *(Prokroustes),* то есть «Насильственно вытягивающим».

Стр. 41 *Так принес он в жертву Бусириса, задушил Антея в борьбе, Кикна победил в единоборстве...* – Бусирис – царь египетский, сын Посейдона, приносил в жертву Зевсу всех чужестранцев. Связав Геракла, хотел принести и его в жертву; но герой разорвал путы и умертвил злодея и его сына. Антей – царь Ливии, сын Посейдона и богини земли Геи. Уничтожал чужестранцев, вызывая их на бой; Гея придавала ему новые силы, как скоро он касался земли. Кикн – сын Ареса и Пелопии.

Стр. 42 *Продолжая путь свой, дошел он до Кефиса, на берегах которого встретился с мужами из рода Фиталидов...* – Кефис – небольшая река в Аттике. Фиталиды – потомки

Фитала, принявшего в дом свой Деметру. Он получил от нее в подарок смоквы и научил афинян сажать их и обрабатывать; за что они оказывали ему и потомству его великие почести.

Стр. 42 *…ныне называется гекатомбеоном.* – Гекатомбеон – первый месяц в афинском календаре, приходился на июнь-июль.

Стр. *42…одни явно шли против города во главе сПаллантом со стороны Сфетта; другие устроили засаду в Гаргетте…* – Сфетт – местечко в Аттике с храмом Паллады. Здесь имели свое пребывание Паллантиды. Гаргетта – населенный пункт на берегах Еврипа.

Стр. 42 *…и глашатаи не кричат никогда, по обыкновению других жителей Аттики, слова: «Акуэте Леой».* – «Слушай, народ!» Леос значит *народ,* и леосом назывался вестник.

Стр. 42 *…жителей Тетраполиса.* – Тетраполис, или Четыреградие, состоял из городов Иноя, Провалинф, Марафон и Трикоринф.

Стр. 43 *…как о том повествует Филохор.* – Филохор Афинянин, современник Птолемея Филопатора, жил за 200 лет до Р. Х. Написал историю Афин в 17 кн.

Стр. 43 *…обязались по договору посылать к нему каждые девять лет по семи юношей и по семи девиц…* – Это место можно понимать так, что афиняне приносили дань ежегодно в продолжение девяти лет.

Стр. 43 *…были пожираемы Минотавром…* – Минотавр, чудовище, у которого голова была воловья, а все тело человеческое, рожден Пасифаей, супругой царя Миноса. Она влюбилась в вола по гневу Посейдона, который мстил Миносу за то, что тот не принес ему прекрасного вола в жертву.

Стр. 43 *…в сочинении «Государственное устройство Боттии»…* – Боттийцы жили на берегу Фракии вблизи города Фессалоника.

Стр. 43 *…и поселились в Иапигии…* – Иапигия (ныне Апулия) – область в Италии.

Стр. 44 *…Минос есть царь и законодатель…* – Греческая традиция знает двух Миносов, которых Плутарх смешивает. Первый – сын Зевса Астерия и Европы, славился своею мудростью. Второй же – внук первого, сын Ликаста и Иды, именно он наложил дань на афинян.

Стр. 44 *Впрочем, Гелланик…* – Гелланик – историк родом из Митилены, живший до Геродота. Был и другой Гелланик, родом из Милета. Неизвестно, о котором из них упоминает автор.

Стр. 44 *Симонид пишет, что данный Эгеем парус не был белый, но алый, выкрашенный соком цветов ветвистого дерева дуба…* – Симонид (556–468 до н. э.) – стихотворец с о. Кеос. Под «дубом» понимается дерево, которое Линней называет *Quercus Coccifera.* Оно растет в южных широтах, ягоды его (а не цветы), наполнены малыми червячками, которые дают червленый цвет.

Стр. 44 *…в то время афиняне не занимались еще мореплаванием.* – По свидетельству Гомера, афиняне послали под Трою пятьдесят кораблей; но это были транспортные суда. Фукидид уверяет, что афиняне приобрели могущество на море через 10 или 12 лет после Марафонской битвы, спустя почти семьсот лет после осады Трои.

Стр. 44 *…взял их из пританея…* – Пританей – здание, где заседали и обедали за государственный счет пританы, то есть дежурные члены афинского государственного Совета, занимавшиеся текущими делами.

Стр. 44 *…месяца мунихиона…* – Мунихион – месяц в афинском календаре, соответствующий апрелю-маю.

Стр. 45 *…подало повод назвать богиню Эпитрагией.* – То есть «восседающей на козле».

Стр. 45 *Ферекид говорит…* – Ферекид – греческий автор (VI в. до н. э.), легендарный учитель Пифагора и Фалеса.

Стр. 45 *…поспешил к Кноссу…* – Кносс, или Гносс, – главный город острова Крит, находился в некотором отдалении от моря, у подножия горы Ида.

Стр. 46 *…включил в Гомерово «Заклинание мертвых»…* – Так называется 11 кн. «Одиссеи», где повествуется о сошествии Одиссея в царство мертвых.

Стр. 46 *…хиосец Ион…* – Ион Хиосский (V в. до н. э.) – греческий поэт, сочинял трагедии и драмы, считался самым значительным поэтом после «трех великих трагиков» (Эсхил, Еврипид, Софокл).

Стр. 46 *…родом из Амафунта…* – Амафунт – город на острове Кипр.

Стр. 46 *...месяца горпиея...* – Горпией (горпей) – македонское название метагитниона, месяца афинского календаря, соответствовавшего августу-сентябрю.

Стр. 46 *...смешаны с печалью и унынием.* – Ибо первая удостоилась бессмертия как супруга Вакха, а вторая подверглась общей участи.

Стр. 46 *...пристал к Делосу.* – От этого произошел обычай у афинян отправлять ежегодно в Делос посольство для принесения жертв.

Стр. 47 *Этот танец делосцы называют «журавль», как пишет Дикеарх. Тесей также плясал во круге жертвенника Кератона...* – Вероятно, эта пляска названа «журавлем» потому, что журавли летают кругообразно. Новейшие путешественники нашли, что она и поныне в употреблении у греков, которые называют ее «кандией» и «критской пляской». Дикеарх – ученик Аристотеля, родом из Мессины, сочинитель книги под названием «Спартанская республика», которую читали ежегодно спартанским детям по приказанию эфоров. Он же сочинил книгу об образе жизни греков. Керас – «рог»; Плутарх в другом месте говорит, что жертвенник Кератон был составлен из рогов животных; Каллимах в «Гимне Аполлону» говорит, что оный составлен из рогов кинфских козлят. Отличительной особенностью этого жертвенника было то, что рога не были ни связаны, ни склеены между собой.

Стр. 47 *...обряд введен в память Гераклидов* ... – Потомки Геракла после изгнания из Пелопоннеса прибыли в Афины, держа в руках ветви в знак моления.

Стр. 47 *Корабль, на котором отправился и возвратился Тесей, был тридцативесельный; афиняне хранили его в целости до времен Деметрия Фалерского.* – То есть 1000 лет после смерти Тесея. Этот герой возвращался в Афины в 1235 году до Р. Х. Каллимах, современник Деметрия, который жил за 280 лет до Р. Х., пишет, что в его время афиняне продолжали посылать на Делос этот самый корабль.

Стр. 48 *Праздник Осхофорий...* – Этот праздник справлялся следующим образом; избирали несколько благороднейших из каждого племени юношей, отцы и матери которых были еще живы. Они брали в руки виноградные ветви с гроздьями и бежали из храма Вакха к храму Афины Скирадии близ Фалирейской пристани. Кто первый туда прибегал, тому давали пить чашу вина, смешанного с медом, сыром, мукой и маслом. За ними следовал хор, поющий песни в честь юношей. Несколько женщин из числа богатейших сопровождали их с корзинами в руках. Всеми же предводительствовал провозвестник, держа трость, обвитую ветвями.

Стр. 48 *...и построил один, для всех общий пританей и совет на том месте, где стоит и поныне.* – В пританее давались пиршества после какого-либо счастливого случая. В середине огромного здания был род храма, посвященного Гестии, в честь которой поддерживался неугасимый огонь.

Стр. 48 *Весь город назвал Афинами и учредил общее жертвоприношение, которое называется Панафинеи.* – Некоторые переводят это место иначе, а именно: «Он построил… и совет на том месте, где стоит и поныне. Крепость и город назвал Афинами». Праздник Афиней прежде отправлялся в честь Афины городскими жителями. Тесей сделал его общим для всех жителей Аттики – и потому дано ему название *Панафиней,* которые справлялись как Большие, так и Малые. Первые праздновали через каждые пять лет 23 числа месяца гекатомбеона, а Малые – ежегодно 20 числа месяца фаргелиона. На Больших выносили таинственный пеплос, или покрывало Афины, на котором изображены были победы богов над гигантами и достопамятные подвиги героев.

Стр. 48 *...установил Метэкии...* – Метэкии – праздник переселения. Фукидид называет его праздником общего поселения.

Стр. 49 *Но не утонет никогда.* – Уподобление неблагородно, но выразительно. Когда Сулла взял Афины и предал мечу жителей города, некоторые из них спросили у Дельфийского оракула, не настал ли последний час их города. Жрица, намекая на приведенное здесь древнее прорицание, отвечала: «Что было в месте, то уже приближается к концу».

Стр. 49 *...столь известный всем столп...* – Этот столп воздвигнут пелопоннесцами и существовал до Кодра, во время которого был разрушен Гераклидами, завладевшими Мегарами. Император Адриан, воздвигнув в Афинах памятник между древним и новым городом, надписал на одной стороне: «Здесь Афины, древний град Тесея»; а на другой: «Здесь град Адрианов, а не Тесея».

Стр. 49 *...учредил он игры Истмийские, желая, чтобы греки торжествовали эти установленные им игры в честь Посейдону, так как Олимпийские, установленные Гераклом, в честь Зевса.* – Иные говорят, что он только возобновил игры, установленные Сисифом в честь Меликерта, по прошествии 550 лет. Игры эти, по мнению других, заведены Гераклом, или Ифитом, в 3174 году от сотворения мира.

Стр. 49 *...в память Меликерту…* – Меликерт – сын царя Фив Афамаса и Ино, дочери Кадма. Ино бросилась с сыном в море, убегая от обезумевшего мужа, и была превращена в богиню, называемую Левкофеей. Сын ее известен под именем Палемона. Коринфский царь Сисиф велел отправлять праздник Истмий на том месте, где он нашел их тела.

Стр. 50 *...именуемого феорида, как о том повествуют Гелланик и Андрон Галикарнасский* . – Феорида – корабль, отправляемый ежегодно с несколькими афинянами, дабы присутствовать при общенародных играх или при других священных торжествах. Об историке Андроне сведений не сохранилось.

Стр. 50 *Тесей отправился в Эвксин… соратоборствуя Гераклу в предприятии против амазонок…* – Эвксин (Эвксинский Понт) – Черное море. Амазонки – в греческой мифологии девы-воительницы, предположительно обитавшие в Малой Азии или, как утверждает в «Прометее» Эсхил, в Ливии. Согласно мифам, с амазонками бились многие герои – например, Беллерофонт, Ахилл и, конечно же, Геракл. Считалось, что именно амазонки основали город Эфес и построили в нем храм Артемиды Эфесской – одно из семи чудес света. – *Примеч. ред.*

Стр. 50 *...и Геродор…* – Геродор – древнегреческий писатель, автор «Истории Геракла».

Стр. 50 *...не дали бы сражения близ Пникса и Мусея…* – Пникс – место в Афинах близ Акрополя. Здесь проводились народные собрания. Мусей, или Мусейон, – малый холм в городе напротив Акрополя. Мусей – легендарный стихотворец, живший до Гомера, здесь читал свои сочинения и на этом месте погребен.

Стр. 50 *...будто бы они прошли Боспор Киммерийский по льду…* – Боспор Киммерийский – пролив между Мэотидой (Азовским морем) и Черным морем.

Стр. 51 *...отправляют торжество Боэдромий.* – Боэдромион – третий месяц афинского календаря, соответствующий сентябрю. Боэдромии – бег и крики в память радостных восклицаний, которые издавали афиняне, когда пришел к ним на помощь Ксуф, правитель Пелопоннеса.

Стр. 51 *...учинив на них нападение из Палладия, Ардетта…* – Палладион – большая площадь в Афинах близ храма Паллады. Ардетт – место, на котором давали присягу.

Стр. 51 *...что близ храма Геи Олимпийской…* – По мнению Плутарха, Геей Олимпийской названа луна потому, что она, подобно гениям или демонам, не столь совершенна, как боги, и не столь несовершенна, как человеческая природа. Может быть, астрономы этим хотели показать, что луна есть тело, само по себе не имеющее света, подобно Земному шару.

Стр. 51 *...в Халкиду…* – Халкида – город на острове Эвбея.

Стр. 51 *...от которой имел сына Ипполита…* – Ипполит рожден амазонской царицей. Тесей женился потом на Федре, сестре Девкалиона, царя Критского, а Ипполита послал в Трезену к своей матери Эфре. Федра увидела его на некоем торжестве, влюбилась в него страстно и открылась ему в любви. Но Ипполит был целомудрен. Федра в ярости оклеветала его перед Тесеем, который, поверив ее словам, просил Посейдона наказать виновного насильственной смертью. Прошение отца было исполнено: чудовище, вышедшее из глубины моря, устрашило коней, которые везли Ипполита. Кони понесли, опрокинули его колесницу, и несчастный погиб. Стихотворцы прибавляют, что Артемида, уважая целомудрие Ипполита, просила Асклепия возвратить ему жизнь, дабы иметь его своим собеседником.

Стр. 52 *...произошла пословица: «Не без Тесея»…* – Так говорили о делах, осуществленных с чужой помощью.

Стр. 52 *...в его жизнеописании.* – Это жизнеописание не сохранилось.

Стр. 52 *...показываются в Элевферах…* – Элевферы – город на границе Беотии и Аттики.

Стр. 52 *Дружба его сПирифоем…* – Пирифой – царь племени лапифов, сын Иксиона.

Стр. 52 *...среди лапифов.* – Лапифы – храбрые фессалийцы. Гомер называет их героями, а Овидий рассказывает о вражде лапифов с кентаврами.

Стр. 52 *...свидание в Трахине…* – Трахина – город в Фессалии у подножия горы Эта.

Стр. 53 *...в храме Артемиды Орфии...* – Орфия – «Восходящая».

Стр. 53 *...не далее Тегеи.* – Тегея – город в Аркадии, на границе Арголиды.

Стр. 53 *...отвез ее в город Афидны... отправился с ним в Эпир...* – Город Афидна, или Афидны, лежал на север от Афин, близ Марафона. Эпир – область в западной стороне Греции, на побережье Ионийского моря.

Стр. 53 *...для похищения дочери Аидонея, царя молоссов, который называл жену Персефоной, дочь – Девой...* – Молоссы – племя в Эпире, проживали близ Амвракийского залива. Персефона – в греческой мифологии богиня царства мертвых, дочь Деметры, похищеннная Аидом. Дева (Кора) – другое имя Персефоны

Стр. 53 *...нашествие тиндаридов...* – Тиндариды – сыновья царя Тиндара, Кастор и Поллукс (или Полидевк), иначе называются Диоскурами, сыновьями Дия, или Зевса (Зевс считался их божественным отцом, а Тиндар – земным).

Стр. 53 *...щадили Академию...* – Академия находилась в 6 стадиях от Афин и включала в себя гимнасию и сад, окруженный стеной, с крытыми аллеями. Под тенью платанов и других деревьев протекала речка. Известно, что Платон здесь преподавал свою философию.

Стр. 54 *...усыновил их так, как Пилий усыновил Геракла.* – Чтобы быть допущенным к тайнам Элевсинским, надлежало вступить в гражданское сословие, что могло быть осуществлено через усыновление.

Стр. 54 *...названы Анактами от явления звезд...* – По мифу Диоскуры были превращены в зодиакальное созвездие Близнецов. Электрические огни, показывающиеся на мачтах кораблей во время бури, почитались знаком присутствия Диоскуров.

Стр. 54 *Климена с Эфрою, Питфеевою дщерью.* – См. «Илиада», III, 144.

Стр. 54 *Историк Истр...* – Истр – писатель родом из Александрии, ученик Каллимаха.

Стр. 55 *...произнеся на афинян проклятие в Гаргетте, на месте, называемом ныне Аратерий, отплыл на Скирос...* – Афиняне на протяжении многих лет столь живо ощущали это проклятие, что дабы укротить Тесееву тень, определили приносить ему жертвы и оказывать божеские почести. Скирос – остров между островами Эвбея и Лесбос.

Стр. 55 *...при архонте Федоне...* – Федон – архонт в 3 году 76 олимпиады, за 474 года до Р. Х.

Стр. 55 *...обитавших на Скиросе варваров.* – Эо были долопы, которых афиняне изгнали и разделили между собой их землю.

Ромул

Ромул – легендарный основатель Рима.

Стр. 56*...пеласги, странствуя по разным странам света и покорив многие народы, поселились в этом месте и назвали город этим именем в ознаменование силы своего оружия .* – Пеласги – древнейшее население Греции. Будучи изгнаны из Аркадии, поселились в Фессалии, откуда после пяти поколений были изгнаны куретами и лелегами, рассеялись по Эпиру, Македонии, Италии, Эвбее, Криту и Азии. Слово «Рома» (Рим) в переводе с греческого означает «сила, крепость».

Стр. 56 *...некоторые убежавшие троянцы...* – То есть те, кто ушел с Энеем.

Стр. 56 *...брошены были к берегам Тиррении...* – Тиррения – Этрурия, ныне область Тоскана в Италии.

Стр. 56 *...вокруг горы Паллантий.* – Речь о месте, заселенном аркадянами спустя несколько времени после взятия Трои, на горе близ реки Тибр.

Стр. 56 *...обычай целовать в уста своих родственников и мужей...* – Другие авторы думают иначе о начале сего обычая; а именно, что мужья через него узнавали, не пили ли их жены вина – что было женщинам запрещено.

Стр. 57 *...которому во многом следовал Фабий Пиктор.* – Квинт Фабий Пиктор (III в. до н. э.) – римский бытописатель, после сражения при Каннах послан был в Дельфы для совещания, автор истории Рима от Энея до 2-й Пунической войны.

Стр. 57 *Наследие царей альбских, происходивших от Энея, дошло до двух братьев, Нумитора и Амулия.* – Альба – город латинов близ Рима. От Энея до Амулия считается до

тридцати царей и около 350 лет.

Стр. 57 *...называются «германами».* – Лат. *Fratres Germanii.* Варрон называет это место Гермалум, а Фест – Кермалум или Цермалум. Плутарх говорит в другом сочинении, что римляне поздно стали употреблять букву *Г* , соответственно, это место должно было называться Керман.

Стр. 58 *...дикая смоковница, которую называли Руминальской, как многие думают – от Ромула, или от того, что под тенью ее покоились стада во время жары, жуя корм, или, справедливее, потому, что дети были под нею вскормлены. Древние латиняне румами называли сосцы. И поныне называют Руминой…* – «Жевать корм» по-латински *ruminari.* В другом месте Плутарх называет эту смоковницу Руминой.

Стр. 58 *...праздник называется Ларентами.* – Ларенты, иначе Ларенталии, – два праздника, первый из которых справлялся в апреле и был посвящен возлюбленной Геркулеса, а другой – в декабре и был посвящен кормилице Ромула.

Стр. 58 *Место это называется Велабр…* – Велабр – низина между Палатинским и Капитолийским холмами, куда стекалась во множестве вода. К Аветинскому холму надлежало тогда переправляться на лодках. В последующие времена это болото было засыпано и застроено.

Стр. 59 *...эти дети были посланы в Габии…* – Габии – древний город в Лации, в двенадцати милях от Рима. Дионисий Галикарнасский уверяет, что Ромул и Рем учились греческому языку, музыке и пр.

Стр. 61 *...храмом бога Асила.* – Плутарх принимает за имя бога название святилища (греч. – *asylon,* «неприкосновенное»). Дионисий Галикарнасский пишет, что в его время это место было посвящено Юпитеру. Ромул сперва назначил беглецам для жительства холм Сатурний, названный впоследствии Капитолийским.

Стр. 61 *Рем выбрал крепкое место на горе Авентине, которое и названо Реморией, ныне же называется Ригнарием.* – Некоторые авторы упоминают о месте *Remuria* , или *Remoria* , а Дионисий пишет, что Авентин и Ремурия – не одно и то же.

Стр. 62 *...он перескочил через ров и был убит на месте…* – Перескочив через ров, он сказал: «Неприятель также легко его перескочит». Целер, поражая его, отвечал: «Вот как граждане отразят его!»

Стр. 62 *...каждый всыпал в оный горсть той земли, с которой пришел, и смешали все вместе* . – Исидор думает, что эти плоды и земля, которую бросали в ров, служили напоминанием начальникам поселения, чтобы они доставляли все потребности жизни и соблюдали бы тишину и мир между жителями, пришедшими из разных стран, и тем составили бы из них один народ.

Стр. 62 *...впрягши в оный быка и корову…* – Бык и корова символизировали плодородие в браке.

Стр. 62 *...не оставляя ни одной обращенной в противоположную сторону.* – Быть может, это было сделано в знак того, что стены не будут разрушены.

Стр. 62 *...до майских календ.* – Римский календарь был лунным, а дни считались по нонам, идам и календам. Нонами назывались шесть дней месяцев марта, мая, июня и октября, со 2 по 7 число, а в другие месяцы – со 2 по 5. По окончании нон начинались иды, которые продолжались восемь дней, т. е. в месяцах марте, мае, июне и октябре до 15 числа, а в другие месяцы – до 13. После ид следовали календы, которые продолжались до 1 числа следующего месяца включительно. Римляне говорили не: «Такой-то день месяца», но: «Такой-то день до нон (или ид, или календ) такого-то месяца». Например, по римскому счислению 2, 3, 4, и 5 января – это 5, 4, 3 и 2 числа январских нон; 6, 7, 8, 9 января и далее – 8, 7, 6, 5 январских ид, 14, 15, 16 и так далее января они считали 19, 18, 17 числами февральских календ, а последнее число месяца называли 2 днем тех же календ. Одиннадцатый день до майских календ соответствует 21 апреля.

Стр. 62 *...который называли Парилии.* – Парилии – праздник Палес, богини пастухов.

Стр. 63 *...Антимахом Теосским, стихотворцем, в третий год шестой олимпиады.* – Антимах (V–IV вв. до н. э.) – греческий поэт, последователь Гомера. Историки не согласны между собой о времени основания Рима. Варрон полагает оное в третьем году шестой

олимпиады, то есть за 754 года до Р. Х. Фабий Пиктор – в конце седьмой олимпиады, за 749 лет до Р. Х. Дионисий Галикарнасский – в первом году седьмой олимпиады.

Стр. 63 *...жил Тарутий...* – Имеется в виду Луций Тарутий Фирман, которого Цицерон в трактате «О дивинации» называет своим другом, весьма искусным в халдейских науках.

Стр. 63 *...и называлось легионом, ибо набирали в него самых воинственных.* – От слова *legere* – набирать, выбирать. Дионисий говорит, что вся колония состояла из 3300 человек. Ромул разделил их на три равные части, или трибы. Каждая триба имела своего начальника, или трибуна. Триба разделялась на десять курий, а курия на такое же число декурий. Число домов составляло не более тысячи.

Стр. 63 *Советники названы патрициями...* – Патриции не все были сенаторами, но составляли сословие, из которого выбирали сенаторов.

Стр. 64 *...стали называть их «отцами, внесенными в списки».* – Греч. «отцы причисленные».

Стр. 64 *...одних назвал «патронами», то есть покровителями; других «клиентами», или покровительствуемыми* . – Патроны первоначально избирались из числа патрициев, но не из числа сенаторов. Если бы сенаторы, единственные тогда судьи, были одновременно и патронами, это причинило бы великий беспорядок. Связь патронов с клиентами была столь же действительна, как родство. Не только плебеи, но города и республики имели своих патронов.

Стр. 64 *...и платили их долги.* – То есть давали им потребные издержки в тяжбах, платили за них пени, доставляли пособия для поддержания их сана и проч.

Стр. 64 *...не принуждали клиента свидетельствовать против своего патрона, ни патрона против своего клиента.* – Клиент или патрон, преступивший свой долг, считался изменником, его предавали проклятию и всякий мог его умертвить.

Стр. 65 *Но Валерий Антиат полагает... и Юба...* – Квинт Валерий Антиат – римский историк, жил во времена Суллы, его сочинения не сохранились. Юба – нумидийский царевич, в детстве был привезен в Рим как заложник, научился греческому и латыни и сделался знаменитым историком. Он сочинил на греческом языке «Историю Рима». Август впоследствии возвратил ему часть отцовского владения. Плутарх отзывается о нем с похвалой.

Стр. 65 *...прозванного Аоллием...* – От греческого слова, значащего «различный, собранный».

Стр. 65 *...в которое отправляется праздник Консуалий.* – Дионисий считает этот праздник тождественным аркадскому праздником Иппократий.

Стр. 66 *...позволяется лишь полководцу...* – Варрон говорит, что всякий римлянин мог удостоиться этой почести, хотя бы он был простой воин, когда снимал доспехи с неприятельского полководца и умерщвлял его.

Стр. 67 *...не один Антигон...* – Имеется в виду царь Македонии.

Стр. 67 *...под бременем которых погибла.* – Пизон и другие историки уверяют, что Татий поступил с Тарпеей таким образом за то, что она под видом измены отечеству хотела обмануть сабинян. Это подтверждается и тем фактом, что по смерти ее похоронили в Капитолии и долгое время римляне совершали возлияния на ее гробнице.

Стр. 67 *...по словам Сульпиция Гальбы...* – Имеется в виду прадед императора Гальбы, автор «Римской истории».

Стр. 67 *Повествуемое... и Антигоном...* – Антигон – греческий историк из города Карист, жил во времена Птолемея II.

Стр. 68 *...ныне дворец Регии...* – После царей римских здесь было пребывание так называемого *Regis sacrorum,* или *Sacrificuli,* то есть царя-жертвоприносителя.

Стр. 69 *...назывались «квиритами»...* – Дионисий Галикарнасский уверяет, что каждый гражданин Рима назывался римлянином, но все вместе они звались квиритами. Слово «квириты» образовано от имени бога Квирина – божества сабинян, которое вошло в римский пантеон после заключения Ромулом мира с Титом Татием. По преданию, Ромул после смерти был отождествлен с Квирином.

Стр. 69 *...называется поныне Комитием...* – Комитий находился у подножия холма Палатин. Близ этого места цари построили храм Вулкану, где сенат собирался для обсуждения важнейших дел.

Стр. 70 *...легионы состояли уже из шести тысяч пеших и шестисот конных.* – Исследователи находят в этом рассуждении две важные ошибки, а именно, что в каждом легионе было 600 человек конницы и что легион состоял уже тогда из 6000 человек пехоты. По свидетельству других писателей, при Ромуле в легионе было не более 200 конных. Со временем число их возросло до 300–400, но никогда до 600. Марий (по словам Ливия, Сципион Африканский) умножил легион до 6 тысяч человек. Во время Ромула легион состоял из трех тысяч воинов, позднее число пехотинцев умножилось до 4 тысяч.

Стр. 70 *...одежду с пурпуровой обшивкой.* – Эта длинная одежда называлась «тога претекста» и была белой; дети знатных людей носили ее до шестнадцати лет, а девицы до замужества. Что во время Ромула было знаком отличия для детей сабинянок, то впоследствии сделалось общим для всех. Юноши, принимая «тогу мужских лет», снимали с себя *буллу* (полый золотой или серебряный шарик) и приносили ее ларам (домашним богам).

Стр. 70 *Татий жил там, где ныне храм богини Монеты…* – Татий занимал Капитолий и Квиринал. Монета – Мнемосина, мать Муз. Юнона Монета – «дающая советы», «напоминающая». В храме ее делали деньги, от чего последние и получили название монет.

Стр. 70 *...когда Гай Цезарь…* – Имеется в виду император Калигула.

Стр. 70 *...носили щиты аргосские.* – Арголийские щиты имели вид продолговатого четвероугольника. Сабинские щиты были круглыми.

Стр. 70 *...праздники Матроналий и Карменталий.* – В праздник Матроналий замужние женщины угощали рабов и прислуживали им за столом; они принимали подарки от своих мужей (а мужья получали от жен подарки к празднику Сатурналий). Матроналии справлялись в честь не только сабинянок, но и божеств – Марса и Юноны Луцины. Карменталии – праздник, справлявшийся в первые дни января близ ворот Карменталис; богиню Карменту просили о плодородии жен и счастливом рождении детей.

Стр. 71 *Праздник Луперкалий, судя по времени, в которое отправляется, кажется, есть праздник очищения, ибо происходит во дни, почитаемые несчастливыми…* – Луперкалии справлялись одиннадцатого февраля в честь бога Фавна, которого называли Луперком, потому что он охранял стада от волков.

Стр. 71 *Гай Ацилий повествует,* – К. Ацилий Глабрион – народный трибун, сочинил «Историю» на греческом языке.

Стр. 71 *...употребляют обряд, называемый «перискилакисм»* .– От греческого слова «щенок». Гекате приносили в жертву щенков.

Стр. 71 *...начертывают на небе нужное им пространство.* – Птицегадатели определяли на небе участок, пролетающие через который птицы считались символизирующими что-либо.

Стр. 72 *...шедших из Лаврента…* – Другие авторы пишут: из Лавиния. Лаврент и Лавиний находились весьма близко один от другого.

Стр. 72 *...близместа, называемого Армилустрия…* – Так называлось большое строение на холме Авентин. Слово *Aemilustrvium* значит «очищение оружия», ибо в этом месте ритуальными обрядами очищали войско в октябре.

Стр. 72 *Древние латиняне…* – Римляне называли их *Prisci Latini.*

Стр. 73 *...у Ферентинских ворот.* – Ворота, через которые направлялись в город Ферентий.

Стр. 73 *Первые из тосканских народов – вейенты…* – Жители Вейи, столицы Этрурии. Этот город лежал на горе; Дионисий Галикарнасский сравнивал его с Афинами в размерах и богатстве.

Стр. 73 *...Аристомен принес…* – Аристомен – полководец пелопонесского города Мессена, непримиримый враг лакедемонян.

Стр. 74 *Глашатай кричит: «Продаются сардийцы!»* – Другие писатели с большей справедливостью говорят, что этот обычай введен по покорении консулом Тиберием Семпронием Гракхом острова Сардия, жители которого были проданы. Провозвестник кричал: *«Sardi venales, alius alio nequiori»* («Продаются сардийцы одни злее других!»).

Стр. 74 *Ромул носил алого цвета исподнее платье, а сверху пурпуром обшитую тогу…* – Он надевал на тело *Sagum,* или военное длинное платье, а сверху *Paludamentum,* или епанчу пурпурного цвета, обшитую дорогой порфирой, которая завязывалась на спине.

Стр. 74 *…и Сципион Африканский…* – Речь идет о Сципионе Африканском Младшем – сыне Луция Эмилия Павла, усыновленном Публием Сципионом. Он во всем противился Гракхам, на сестре которых был женат. Полагают, что он был ею отравлен. О причине его смерти не сделано никаких изысканий.

Стр. 75 *Солнце затмилось…* – Солнечное затмение произошло в первый год 16 олимпиады, то есть за 716 лет до Р. Х., 26 марта. Можно предположить, что именно в этот день погиб Ромул.

Стр. 75 *…повествуется греками об Аристее Приконнесском…* – Аристей – историк и стихотворец, уверявший, что душа его способна покидать тело и возвращаться.

Стр. 76 *Касательно Клеомеда…* – По преданию, Клеомед обезумел оттого, что судьи на Олимпийских играх лишили его награды, которая по справедливости ему следовала.

Стр. 76 *…по словам Гераклита, сухая душа есть лучшая.* – Гераклит (VI–V вв. до н. э.) – великий греческий философ, считавший огонь началом всех вещей.

Стр. 80 *В течение двухсот тридцати лет ни один муж не осмелился покинуть жены своей…* – Дионисий Галикарнасский говорит, что первый развод случился после 550 года от основания Рима, за 231 год до Р. Х., в консульство М. Помпония Матона и Паррия Массона.

Стр. 80 *Спурий Карвилий первый развелся с женой, и то по причине бесплодия ее* . – Он клялся перед цензорами, что любит свою жену нежно, а разводится с нею, дабы сдержать данную при бракосочетании клятву: жениться лишь для того, чтобы иметь детей. При всем том народ ненавидел Спурия, почитая его поступок опасным для всех примером.

Ликург

Ликург (IX–VIII в. до н. э.) – легендарный спартанский законодатель.

Стр. 81 *О законодателе Ликурге не можем сказать вообще ничего, что бы не было подвержено сомнению* . – Вероятно, что Плутарх написал жизнеописание Ликурга прежде других. Подобно Ксенофонту, он очень был пристрастен к спартанцам и к их нравам. Он издал одно сочинение о лакедемонских обычаях, а другое о лакедемонских изречениях (в русском переводе «Древние обычаи спартанцев» и «Изречения спартанцев» – *Примеч. ред.).* Ликурга почитал он истинным мудрецом.

Стр. 81 *…современник Ифита…* – Ифит установил Олимпийские игры за 884 года до Р. Х. Однако прошло 108 лет прежде нежели стали их употреблять в летоисчислении; а потому первой считается олимпиада 776 года до Р. Х. На протяжении игр воюющие народы наблюдали обыкновенно заключаемое на это время перемирие.

Стр. 81 *…подобно Эратосфену и Аполлодору…* – Эратосфен (ок. 276–194 до Р. Х.) – древнегреческий географ и поэт, ученик стихотворца Каллимаха, хранитель Александрийской библиотеки, прославился многими историческими и географическими сочинениями, которые не сохранились. Аполлодор (ок. 143 до Р. Х.) – древнегреческий писатель, автор «Мифологической библиотеки» и истории Греции от взятия Трои до 158 олимпиады (не сохранилась).

Стр. 81 *…то Тимей думает…* – Тимей (ок. 356 – ок. 260 до Р. Х.) – сицилийский историк, автор историй Сицилии, Италии и Греции.

Стр. 81 *…называет отца Ликурга не Эвномом, но Пританидом.* – По изгнании Гераклидами из Лакедемопа Тирамена, сына Ореста, царство досталось Эврисфену и Проклу, сынам Аристодима, который был внук Ила, сына Геракла. Эврисфен и Прокл не разделили царства, но управляли им вместе. Всего удивительнее то, что это диархия, или двуначалие, продолжалась и после них. От Эврисфена произошло тридцать царей, от Прокла двадцать семь. От Агиса, сына Эврисфена, получило свое название, поколение Агидов; другое царствующее поколение называлось Эвритионидами по имени Эвритиона, внука Прокла или Патрокла.

Стр. 81 *По свидетельству Диэвхида…* – Диэвхид (Евтихид) – древнегреческий историк, автор «Истории Мегар».

Стр. 81 *…спартанцы поработили илотов…* – Илоты – первоначально жители приморского города Илы, покоренного спартанцами. Впоследствии всех невольников в Спарте стали называть илотами.

Стр. 82 *...назвал егоХарилаем…* – Имя Харилай можно перевести как «Радость народа».

Стр. 82 *...противиться его возвышению во время молодости.* – Разумеется, Ликург был тогда молод, ибо брат его, который царствовал, умер в молодости.

Стр. 83 *...склонил дружбой или просьбой Фалеса, одного из них…* – Поэта Фалеса, родом с Крита, нужно отличать от мудреца того же имени, современника Солона и семи греческих мудрецов, который жил через 200 лет после Ликурга.

Стр. 83…с *роскошью ионян…* – Первые ионийские поселения основаны приблизительно за 1050 лет до Р. Х., то есть примерно за 150 лет до Ликурга. По преданию, за этот короткий срок ионийцы успели «развратиться» и предаться роскоши и неге.

Стр. 83 *...потомками Креофила.* – Креофил – гостеприимен Гомера; предание гласит, что Ликург имел свидание с Гомером.

Стр. 83 *...были у немногих одни только отрывки, ибо стихи эти переходили из рук в руки по частям и без всякой связи* . – Согласно легенде, до Ликурга единого текста гомеровских поэм не существовало. По другой версии легенды, тексты Гомера были упорядочены не Ликургом, а Солоном *(Примеч. ред.).*

Стр. 83 *...без всякой примеси.* – По свидетельству Геродота, это разделение было в употреблении у фракийцев, скифов и других варварских народов.

Стр. 83 *...кроме спартанца Аристократа, сына Гиппарха…* – Аристократ – греческий историк, автор «Спартанской истории».

Стр. 84 *Гермипп перечислил…* – Гермипп – греческий историк, ученик Каллимаха, описавший жизни философов и законодателей.

Стр. 84 *...в храм Афины Меднодомной…* – Этот храм видел Павсаний, который говорит, что он стоял на самом высоком месте города.

Стр. 84 *...учреждение геронтов.* – Герусия – совет старейшин. Слово «сенат» происходит от лат. *senex* – «старец».

Стр. 84 *Сфер уверяет…* – Сфер – греческий философ и писатель, ученик Зенона, автор жизнеописаний Ликурга и Сократа, а также сочинения о Спартанской республике.

Стр. 85 *...равно сумме своих множителей.* – 6=1+2+3 и 28=1+2+4+7+14 суть совершенные числа, то есть натуральные числа, равные сумме всех своих правильных делителей.

Стр. 85 *Зевсу Силланийскому и Афине Силланийской…* – Вероятно, Силланийский – искаженное «эллинский», истолкованное как эпитет божеств. – *Примеч. ред.*

Стр. 85 *...Кнакион есть река…* – Кнакион – река, впадающая в Эврот близ Спарты.

Стр. 85…о *чем упоминает и Тиртей…* – Тиртей – греческий элегический стихотворец VII века до Р. Х., родом из Афин.

Стр. 86 *...избран был первым эфором…* – Геродот и Ксенофонт уверяют, что должности эфоров были установлены самим Ликургом; но мнение Аристотеля и других авторов, которые полагают их установление позже, кажется достовернее. Вряд ли Ликург, поддерживавший аристократию, мог учредить этот род трибунов, которые возвышались над народом и царями. Должно думать, что эфоры были сперва советниками царей, которые во время своего отсутствия препоручали им верховную власть. Они избираемы были народом, но не из народа. Их было пятеро, как и правителей в Карфагене. Власть их продолжалась не долее одного года. Хотя она была поначалу малозначимой, однако со временем сделалась неограниченной. Они первенствовали в народных собраниях, собирали голоса, объявляли войну, заключали мир, вступали в переговоры с иностранными государствами, определяли, какие силы надлежало собирать, и проч. Аристотель находит в них следующие неудобства: 1. Власть выше царской. 2. Избрание от народа. 3. Право судить не по письменным законам. 4. Позволение жить как хочется – что ниспровергало все постановления республики, ибо эфоры жили в роскоши и великолепии. Можно сравнить их с римскими трибунами и с венецианскими инквизиторами.

Стр. 86 *...обладали лучшими землями…* – Земля лакедемонская гориста и бесплодна; территории Аргоса и Мессены плодородны и орошаются многими реками.

Стр. 86… *каковы суть богатство и бедность…* – Даже после Ликурга лакедемоняне столь ревностно придерживались его правил, что наложили пеню на одного молодого человека, купившего наследство за дешевую цену. Они почитали несправедливым покупать вещь

дешевле ее стоимости и потому сочли этого юношу слишком корыстолюбивым.

Стр. 86 *...мог приносить семьдесят медимнов ячменю мужчине... и соразмерную сему часть жидких продуктов.* – Мужчина – отец семейства. Жидкие продукты – масло и вино.

Стр. 86 *«Вся Лакония представляется наследством многих братьев, недавно разделившихся между собой».* – Как писал Г. Ферран, «постановление Ликургово походило на монашеский орден. Этот орден принимал в себя ежегодно несколько послушников, которые принадлежали ордену вообще, а не частному какому-нибудь лицу. В этом ордене имя семейства было вовсе неизвестно. Все принадлежало ордену. Ликург до того истребил всякое понятие собственности, что не терпел ее в самом браке… Ликург хотел составить и составил войско из целого народа».

Стр. 87 *Гражданам надлежало всем есть вместе...* – Они ели вооруженными, дабы постоянно оставаться в готовности.

Стр. 88 *...был, как говорят, слеп...* – Ликург сам говорил своим приятелям: «Не прекрасно ли, друзья мои, доказать на самом деле богатство таким, каково оно есть: слепым!»

Стр. 88 *Диоскорид...* – Ученик Сократа.

Стр. 89 *...просить свою часть...* – Цари получали две части для того, говорит Ксенофонт, чтобы они могли одну дарить тому, кого почтут достойным подарка.

Стр. 89 *...полемархи ему отказали.* – Полемархи, или военачальники, во время войны предводительствовали *морой* – полком под начальством царей. В мирное время они наблюдали за порядком в городе и надзирали за общественным питанием.

Стр. 89 *...как бы в школу мудрости и воздержания.* – По мнению Ксенофонта, эти столы служили молодым людям училищем, в котором они образовались, слушая беседу старых и почтенных мужей.

Стр. 89 *...видели свободных наставников...* – У других греков наставниками большей частью выступали рабы.

Стр. 89 *...каждый из них брал в руку из хлеба шарик...* – Этим шариком они вытирали руки после еды, а потом бросали его собакам.

Стр. 89 *...один из понтийских царей...* – Речь о Дионисии, тиранне Сиракуз, как говорит в другом месте Плутарх. Цицерон подтверждает последнее.

Стр. 90 *...древнего Леотихида...* – Леотихид (ум. 469–468) – греческий военачальник, прославившийся в морском сражении при Микале.

Стр. 90 *Ликург назвал узаконения эти ретрами...* – Ретра – изречение оракула. Ликург назвал так свои постановления, чтобы подчеркнуть их важность.

Стр. 90 *...и называть их государынями.* – Переводчик использует это слово, чтобы передать греч. «Деслина» и лат. «Домина» – «госпожа». – *Примеч. ред.*

Стр. 91 *...стыдливость сопровождала их всюду...* – «Нагие мужчины для целомудренных женщин – статуи», – говорит Ливий.

Стр. 91 *...необходимостью эротической, а не геометрической...* – То есть прелесть любви, а не принуждение. Странно, что Платон и Плутарх, нравоучительные философы, хвалят эти постановления, которые Еврипид порицает в «Андромахе», представляя спартанок не слишком целомудренными.

Стр. 91 *«Ты еще никого не родил, кто бы мог и мне уступить некогда место».* – Время бракосочетания было назначено законом. Кто не женился в срок, того подвергали наказанию. Закон запрещал неравные браки. Девиц выдавали замуж без приданого, дабы богатство (или бедность) не препятствовали склонности сердца.

Стр. 92…с *вершины Таигета...* – Таигет – горный кряж в Греции, на юге полуострова Пелопоннес.

Стр. 93 *...по свидетельству Платона, был раб ничем от других не отличный.* – Зопир – фракийский невольник. Платон полагает его виновником испорченности Алкивиада.

Стр. 93 *...снимали с них хитон...* – Хитон – род короткой рубашки. Его носили на голом теле.

Стр. 93 *...подстилали под себя так называемые ликофоны...* – Имеется в виду волчец.

Стр. 94… *и растет в длину.* – По легенде, каждые десять дней эфоры заставляли спартанцев раздеваться донага и проверяли объемы их талий; недостаточно худощавых

ожидало наказание.

Стр. 94 *...на жертвеннике Артемиды, прозванной Орфией.* – Полагают, что эта Артемида Орфия есть та же Артемида Таврическая, статуя которой была привезена в Спарту Орестом. Вероятно, что бичевания заменили человеческие жертвы, которые некогда приносились богине. Ликург хотел, чтобы его сограждане превзошли всех людей твердостью.

Стр. 95 *«...в которых рук не протягивают».* – Руки протягивали побежденные. Вероятно, Ликург запретил своим согражданам игры, в которых они могли приучиться быть побежденными.

Стр. 95 *...беспокоил Демарата...* – Демарат – спартанский царь, правивший в 515–491 годах до Р. Х.; будучи изгнан из Спарты, нашел убежище при персидском дворе.

Стр. 96 *...перед вратами Селинунта...* – Селинунт – город на Сицилии.

Стр. 97 *...напрасно Терпандр и Пиндар сопрягали музыку с мужеством.* – Терпандр (VII в. до Р. Х.) – великий греческий стихотворец, прибавивший три струны к прежним четырем струнам лиры и переложивший на стихи Ликурговы законы. Пиндар (ок. 518–442) – великий греческий поэт, по имени которого названа пиндарическая (высокая лирическая) поэзия.

Стр. 97 *Лакедемонский же стихотворец говорит...* – Имеется в виду поэт Алкман, уроженец Лидии, которого призвали в Спарту для того, чтобы он воодушевлял спартанцев в войне своими песнями и музыкой.

Стр. 97 *...играть Касторову песню.* – То есть песню, сочиненную в честь Кастора и Поллукса.

Стр. 98 *Ликург был человек самый воинственный и весьма опытный полководец* .– Ксенофонт придерживается этого же мнения; он говорит, что Ликург усовершенствовал военное искусство.

Стр. 98 *Филостефан приписывает...* – Филостефан – греческий историк, друг Каллимаха.

Стр. 99 *По свидетельству Сосибия...* – Сосибий – лакедемонский грамматик.

Стр. 99 *...не был избран в число трехсот мужей.* – Триста – отряд царских телохранителей.

Стр. 99 *...умер Брасид.* – Брасид – спартанский полководец, погиб в сражении против афинян близ Амфиполя, одержав победу над врагом.

Стр. 100 *...повелел обвертывать его красным покрывалом и масличными листьями.* – Элиан говорит, что не всех граждан погребали таким образом, но лишь отличавшихся на ратном поле.

Стр. 101 *Он выгонял из города чужестранцев, без пользы приезжающих...* – Он принимал всякого чужестранца, который соглашался повиноваться законам, и наделял его участком земли, который не мог быть передан другому.

Стр. 101 *Новые речи вводят новые суждения...* – Ксенофонт приписывает перемену, происшедшую в Спарте, чужестранным нравам. Но эти нравы были введены в Спарту самими лакедемонянами, которые, забыв предписания своего законодателя, распространились по всей Греции и напали на Азию. Тогда-то иноземное золото и иноплеменные нравы вступили в Спарту, извратили ее учреждения и наконец ее погубили.

Стр. 101 *...подать столь худое понятие Платону о Ликурге и его законах.* – Жестокость лакедемонян по отношению к илотам известна по сочинениям многих писателей. Рабское положение илотов обнаруживалось во всем: они носили шапки из собачьей кожи и платье из бараньей шкуры, им запрещалось обучаться искусствам, каждый день получали они по несколько ударов палкой.

Стр. 101 *...после великого землетрясения...* – Это землетрясение случилось в 77 олимпиаду, в царствование Архидама, за 469 лет до Р. Х. Во время этого землетрясения погибло 20 тыс. спартанцев. Плутарх упоминает о нем в жизнеописании Кимона.

Стр. 102 *...окончить добровольно жизнь свою, достигнув уже тех лет...* – Лукиан говорит, что он умер в возрасте 85 лет.

Стр. 102 *...наполнил город сребролюбием и негой.* – Покорив Афины, Лисандр привез в Лакедемон богатую добычу и четыреста семьдесят талантов серебра.

Стр. 103…с *помощью скиталы...* – Скитала – повязка из кожи, или пергамента, которой

обвивали трость во всю длину; на ней писали письма, а потом посылали ее военачальнику, у которого была точно такая же трость. Он обвивал скиталой свою трость и так прочитывал послание.

Стр. 103 *...слова Стратоника.* – Стратоник – греческий музыкант, кифаред, славился своим остроумием. Никокл, царь Кипра, был столь уязвлен его шутками, что велел отравить Стратоника.

Стр. 103 *...сечь за то лакедемонян.* – Считалось, что наставники должны отвечать за погрешности своих воспитанников (а лакедемоняне воспринимались как таковые в отношении других греческих народов).

Стр. 104 *...молния упала на гроб его…* – Римляне и греки почитали тех людей, которых поражала молния.

Стр. 104 *...близ Аретусы.* – Аретуса – город в Македонии, на берегу Эгейского моря.

Стр. 104 *...умер в городе Кирре…* – Кирра – город в Фокиде.

Стр. 104 *...Аристоксен…* – Аристоксен (ок. 350 до Р. Х.) – греческий писатель, автор жизнеописаний философов и трактата о музыке.

Нума

Нума Помпилий – легендарный второй царь Рима, правивший в 715–673/ 672 до н. э.; по легенде, установил законы, разделил граждан на сословия и ввел религиозные обряды.

Стр. 104 *...около пяти поколений…* – Поколение охватывает 30 лет. Полагают, что Пифагор прибыл в Италию в 50 олимпиаду, или около 580 лет до Р. Х. в царствование Сервия Туллия. Итак, Нуму и Пифагора разделяют 136 лет.

Стр. 105 *...вспомоществовал ему в устроении государства.* – Дионисий Галикарнасский доказывает, что это выдумка.

Стр. 105 *...сабиняне же почитали себя лакедемонскими переселенцами.* – Дионисий пишет, что в малолетстве царя Эвнома, опекуном которого был Ликург, часть лакедемонян, не стерпев суровости законов, бежала в Италию. Некоторые из них присоединились к сабинянам, заимствовавшим от лакедемонян отдельные обычаи касательно войны, простоты и суровости в образе жизни.

Стр. 105 *...сделав пристойное к тому начало.* – Плутарх начинает с описания смерти Ромула, жизнь которого он описал после жизни Нумы.

Стр. 105 *В пятый день месяца июля…* – Скорее следует писать: в седьмой день пятого месяца.

Стр. 105 *...число которых было сто пятьдесят человек, определили, чтобы каждый из них по очереди в царской одежде приносил богам узаконенные жертвы и творил суд именем Квирина и Татия шесть часов дня и шесть часов ночи.* – Плутарх сам пишет в жизнеописании Ромула, что их было двести. Мнения историков по этому поводу расходятся. Тит Ливий и Дионисий Галикарнасский пишут, что сенат разделился на десятки и что каждый десяток управлял по жребию пять дней; царскую же одежду носил один из десятки.

Стр. 106 *...и принять царское достоинство.* – Интеррекс, собрав народ, сказал: «Римляне! Изберите себе царя; сенат дает свое согласие и утвердит ваш выбор, если вы изберете человека, достойного быть наследником Ромулу». Народ из почтения и благодарности за то, что представлен ему этот выбор, уступил свое право сенату.

Стр. 106 *...родился в Курах…* – Куры – город к северу от Рима.

Стр. 107 *...вместе с нимфой Эгерией…* – Эгерия – нимфа источника, возлюбленная Нумы Помпилия. Овидий говорит, что по смерти Нумы Диана, сжалившись над горем Эгерии, превратила ее в источник.

Стр. 107 *...фригийцы об Атисе, вифинцы о Геродоте, аркадяне об Эндимионе…* – Атис (Аттис) – пастух, возлюбленный богини Кибелы. Эндимион – возлюбленный Селены (Дианы). О вифинском Геродоте сведений не сохранилось.

Стр. 107 *...что Форбант, Гиакинф и Адмет были любимы Аполлоном, равно как и Ипполит Сикионский.* – Форбант – царь Аргоса, освободил остров Родос от великого множества змей, после смерти был перенесен Аполлоном на небо (созвездие Змееносца).

Гиакинф – любимец бога Аполлона, после смерти превращенный в цветок гиацинт. Адмет – царь Фессалии, стада которого, по мифу, пас Аполлон. Ипполит – сын Ропала, царя Сикиона.

Стр. 107 *...любил Пиндара и его стихотворения…* – Согласно преданию, бога Пана встречали в лесу певшим стихи Пиндара.

Стр. 107 *...удостоило Архилоха и Гесиода великих почестей по их смерти…* – Брошенное в море тело Гесиода, как гласит легенда, вынесли на берег дельфины Аполлона. Убийца Архилоха был изгнан жрицей из Дельфийского храма.

Стр. 107 *...другой бог по его смерти имел попечение о погребении.* – Лисандр при осаде Афин занял Декелею, где находились гробницы предков Софокла. По преданию, Дионис явился Лисандру во сне и повелел ему позволить похоронить Софокла в Декелее. Лисандр сперва не послушался, но, получив вторичное повеление божества, позволил афинянам похоронить умершего поэта и сам присутствовал при погребении.

Стр. 107 *...не являлось Залевку…* – Залевк – законодатель италийских локров, современник Пифагора.

Стр. 107 *...как говорит Вакхилид…* – Вакхилид – греческий поэт.

Стр. 109 *...облекся в царскую одежду…* – Одежда эта – вид тоги – называлась трабеей. У царей она была пурпуровой с белыми просветами.

Стр. 110 *...от греческого названия остроконечной шляпы.* – Греч. «пилос», лат. *pileus* – род остроконечной шляпы, которую завязывали под подбородком.

Стр. 110 *...называли они «камиллом»…* – По-гречески *амфифалис,* то есть «с обеих сторон цветущий», лат. *patrimus et matrimus.* Гермеса называли «Касмиллом», этимология этого слова неясна.

Стр. 110 *Тимон Флиунтский пишет…* – Тимон (320–230 до Р. Х.) – греческий философ, оратор, ученик Пиррона, пользовался покровительством македонского царя Антигона Гоната.

Стр. 111 *...состояли большей частью из муки…* – Говорят, что Пифагор делал из теста изображение животных и приносил оные в жертву. Известно, что умерщвлять животных почитал он непозволительным.

Стр. 111 *...как свидетельствует Эпихарм…* – Эпихарм (VI–V в. до Р. Х.) – древнегреческий поэт, автор многочисленных комедий.

Стр. 111 *Нума дал Мамерку имя Эмилия, желая показать приятность и сладость его речей.* – Плутарх производит имя «Эмилия» от греч. *Wmulios* – «ласковый».

Стр. 111 *...поставили на площади два медных кумира – Пифагору и Алкивиаду.* – Эти две статуи были установлены во время войны с самнитами.

Стр. 111 *...которых римляне называют «понтификами», уверяя притом, что он был первым из них.* – Понтификов было четверо, все из патрициев. Первый назывался верховным понтификом. В 453 году от основания Рима к первым четырем прибавились еще четыре понтифика, уже из плебеев. Во времена Суллы понтификов насчитывалось двенадцать.

Стр. 111 *...принадлежат жрецам.* – Не позволялось ни наводить новый мост, ни перестраивать существующие без принесения жертв, ибо реки почитались священными.

Стр. 111 *...по велению некоего прорицания.* – Плиний пишет, что, когда Гораций Коклес защищал этот мост, римляне долго не могли его подрубить, по причине железа, которым он был связан. С того времени постановили, чтобы этот мост был из одного дерева.

Стр. 112 *...во время квестуры Эмилия.* – По современному русскому изданию Плутарха – при цензоре М. Эмилии Лепиде. – *Примеч. ред* .

Стр. 112 *Однако и деревянный построен…* – Этот мост находился под холмом Авентин.

Стр. 112 *...во время тираннства Аристона…* – Аристон – сторонник Митридата, защищал Афины против Суллы.

Стр. 112 *...обращенными из окружности к одному средоточию.* – Автор говорит о параболических зажигательных зеркалах.

Стр. 112 *...подобно женщинам, родившим троих детей.* – Женщины, родившие троих детей, распоряжались своим имением без опекуна. Это право называлось *jus trium liberorum.*

Стр. 113 *...сопровождали их ликторы.* – Эта честь дана была триумвирами в 712 году от основания Рима.

Стр. 113 *...надлежало только весталке клятвой подтвердить…* – Известно, что

весталок, вопреки словам Плутарха, никогда не заставляли клясться, но довольствовались простым их уверением.

Стр. 113 *...воздвиг Весте...* – Веста (греч. Гестия) – богиня огня.

Стр. 113… *и не может почесться важнейшей и превосходнейшей частью вселенной* . – Пифагорейцы считали, что все небесные тела (и Солнце в том числе) вращаются вокруг «мирового огня». Круглая форма храма Весты заимствована у этрусков и не связана со следованием пифагорейскому учению. – *Примеч. ред* .

Стр. 113 *...надзор над обрядами, касающимися погребения.* – В храме Либитины покупали все нужное для погребения.

Стр. 113 *...или, как ученейшие из римлян рассуждают, Афродита...* – В Дельфах находился храм Афродиты Эпитимвии («Надгробной»), именем которой вызывали тени усопших.

Стр. 114 *Название свое получили, как я думаю, от своей должности.* – Слово *fetialis* этимологически не связано с греч. *omti* – «говорить».

Стр. 114 *Римские фециалы часто ходили к народу...* – Не более двух раз. В первый раз требовали удовлетворения за обиду и давали тридцатидневный срок. Не получив требуемого, фециалы возвращались в сенат и позволяли ему объявить войну. После чего отправлялись в страну неприятелей и в присутствии трех свидетелей объявляли причины войны и бросали наземь окровавленное и обожженное с одного конца копье.

Стр. 115 *...которую совершают с прыганьем.* – От *saltare* – «прыгать». Праздник продолжался несколько дней, и каждый день завершался великолепным ужином.

Стр. 115 *...на головах медные шлемы...* – Шлемы эти назывались *apices* по причине их острого кончика.

Стр. 115 *...образуют кривой вид...* – Фест говорит, что эти щиты имели выемки по обеим сторонам. Некоторые утверждают, что они были круглыми.

Стр. 116 *...советовали не садиться на хиникс; не мешать огня ножом; отправляясь в путь, не оглядываться назад; приносить жертвы небесным богам числом неровные, а подземным – ровные* . – Хиникс – мера объема, сорок восьмая часть медимна, примерно равна норме питания на один день. Не мешать огня ножом – не раздражать человека в гневе. По учению пифагорейцев, бог есть дница, а злой дух – двойственность. Нечетные («неровные») числа суть символ согласия, ибо не могут делиться; четные же могут быть разделены на две равные части.

Стр. 116 *...не совершать излияний богам из необрезанной виноградной лозы; не приносить жертвы без муки; кланяться богам, обращаясь во все стороны, и после сего садиться.* – Вино из необрезанной лозы отличается дурным вкусом, а мука есть лучший дар природы. Во все стороны поворачивались, поклоняясь благому гению.

Стр. 116 *...обоим богам.* – То есть Пику и Фавну.

Стр. 117 *...два демона...* – Речь о благих гениях, покровителях людей. Отрицательное значение слово «демон» получило в Новом Завете.

Стр. 117 *...дактили с горы Иды.* – Диодор пишет, что дактили с горы Ида научили людей отправлять Самофракийские мистерии. Кроме того, дактилям поклонялись как изобретателям употребления огня и ковки железа.

Стр. 117 *...названо Иликием, от греческого слова...* – На самом деле это слово образовано от лат. *elicio* – «выманивать».

Стр. 117 *...приносят всенародные и частные, на полевых межах, одушевленные жертвы* . – Праздник Терминалий справляли в феврале. Нума, дабы приучить граждан довольствоваться своим и не похищать земли чужой, велел каждому поставить межевые камни. Нарушителей межи разрешалось убивать.

Стр. 117 *...которые назвал «пагами» (pagus).* – *Pagus* – село; отсюда образовано слово *pagani* – сельские жители, крестьяне.

Стр. 118 *...которым позволялось продавать детей своих.* – По Ромулову закону отец имел власти над сыном больше, нежели над рабом, ибо мог продавать сына до трех раз, в каком бы тот ни был возрасте, а раба не мог продавать более одного раза. После третьей продажи сын переставал зависеть от отца.

Стр. 118 *...он удвоил число одиннадцать и ввел дополнительный после февраля месяц, называемый римлянами мерцедин, который состоял из двадцати двух дней. Однако все это имело нужду со временем еще в больших исправлениях* . – Мерцедоний – последний месяц года, в который платили за наем, отчего он и получил свое название. Исправления были внесены при Юлии Цезаре, когда был введен юлианский календарь с високосным годом.

Стр. 119 *...получил название свое от Афродиты... от имени Майи... от имени Юноны.* – Плутарх производит название апреля от afroj – пена (один из эпитетов Афродиты – Пеннорожденная). Майя – одна из Плеяд, дочь Атланта. Макробий производит название месяца от имени бога этрусков Майюса. Вместо Нра «Гера» (лат. Юнона) некоторые исследователи читают Hpr «Геба», «молодость».

Стр. 119 *...старшие называются «майорес» (major), а младшие – «юниорес» (iunior).* – Овидий полагает, что это имя происходит от *jungere* – «соединять», в память объединения сабинян с римлянами.

Стр. 119 *Домициан дал двум следующим месяцам свои имена...* – Домициан назвал сентябрь «германиком», а октябрь «домицианом». Нерон назвал апрель «нероний», май «клавдивием», а июнь «германиком».

Стр. 119 *...во время Августа...* – Август запирал его три раза, в том числе в 750 году от основания Рима, перед Рождением Спасителя (ср. пророчество Исаии). Между тем, на протяжении семи веков храм этот запирался всего пять раз. Нерон запирал его пять раз, невзирая ни на войну, ни на мир.

Стр. 119 *...во время консульства Марка Атилия и Тита Манлия...* – В 518 году от основания Рима.

Стр. 120 *Приятный, тихий сон не гонит он очей.* – Цитата из Вакхилида.

Стр. 120 *...прозванные по этой причине «Рексами»...* – Рексами имели право называться только Эмилии и Марции. Помпонии, Пинарии и Мамерки не имели этого прозвания.

Стр. 121 *Тело его не было предано огню...* – Плиний говорит, что Сулла первый из римлян велел себя сжечь после смерти.

Стр. 121 *...во время консульства Публия Корнелия и Марка Бебия...* – В 573 году от основания Рима, спустя 470 лет после смерти Нумы.

Стр. 122 *...когда гром, как говорят, поразил его.* – Его дворец загорелся, жена его, дети и он сам погибли в огне.

Стр. 123 *...Сатурновых времен...* – Согласно мифам, Сатурн предшествовал Юпитеру.

Стр. 124 *...воздерживались от вина...* – Пьянство и нарушение супружеской верности Ромул почитал важнейшими преступлениями женщин. Первое подает повод к другому, а это ведет к остальным преступлениям. Строгость наказания была в последующие времена смягчена тем, что женщины лишались только своего приданого.

Стр. 126 *...вся Италия обагрилась кровью и покрылась трупами.* – В войне с альбанцами и латинами.

Солон

Солон (ок. 640 – ок. 560 до н. э.) – афинский политический деятель, поэт и законодатель.

Стр. 127 *Грамматик Дидим в возражении своем Асклепиаду о законах Солоновых приводит слова некоторого Филокла...* – Дидим – александрийский грамматик, автор около 4000 сочинений (вследствие многочисленности которых получил прозвище Халкен Дерос – человек с железными кишками). Асклепиад – грамматик из вифинийского города Мирлеи, который впоследствии назван Апамеей; жил за 200 лет до Р. Х. О Филокле ничего не известно.

Стр. 127 *...происходил от Кодра.* – Кодр – последний царь Афин, погиб в битве с дорийцами.

Стр. 127 *...по свидетельству Гераклида Понтийского...* – Гераклид Понтийский – греческий философ и писатель, ученик Платона и Аристотеля, автор «Жизнеописаний славных мужей».

Стр. 127 *...«искусному бойцу»...* – См. Софокл, «Трахинянки», 442.

Стр. 127 *...тереться сухой мазью...* – Бойцы натирались мазью, состоявшей из масла,

воска и песка.

Стр. 127… *где зажигали священные факелы при беге во время торжеств.* – В Афинах 3 раза в году проходил бег с факелами: в праздник Панафиней, в праздник Гефеста и в праздник Прометея. Молодые люди бегали один за другим с зажженным факелом. Победителем почитался тот, чей факел не гас во время бега.

Стр. 128 *...употребить слова Гесиода…* – Этот стих Гесиода, который часто повторял Сократ, гласит: «В работе нет стыда, но праздность лишь постыдна» («Труды и дни», 309).

Стр. 128 *...подобно Протису, построившему Массалию, который приобрел любовь кельтов, обитавших по реке Родан* . – Протис (Прот) – фокеец, основавший город, который известен ныне как Марсель. Юстин пишет, что он женился на дочери Нанна, царя кельтов. Родан – река Рона.

Стр. 129 *Периандрсозвал их…* – Периандр – тиранн Коринфа, один из «семи мудрецов».

Стр. 129 *...рыбаки острова Косс…* – Косс – остров в Эгейском море.

Стр. 129 *...послан в Приену…* – Приена – ионийский город в Малой Азии.

Стр. 129 *...оставленная Бафиклом.* – Бафикл (2-я пол. VI в. до Р. Х.) – греческий скульптор.

Стр. 130… *с Анахарсисом…* – Анахарсис – скифский царевич, которого греки уважали за остроумие и глубокие познания. Погиб по возвращении на родину, по совершении обряда в честь Кибелы.

Стр. 130 *...повествует… Патек…* – Патек – греческий историк-пифагореец.

Стр. 131 *...внезапно выбежал на площадь с покрытой головою.* – Шляпу носили больные по предписанию врачей. Солон вышел таким образом, дабы показать, что вырвался из рук тех, кто стерег его как безумца.

Стр. 132…к *мысу Колиада…* – Колиада – мыс в Аттике, в двадцати стадиях от Афин. Здесь стоял храм Афродиты Колиады.

Стр. 132 *...на берегах Асопа…* – Речь об острове Саламин, получившем свое название от Саламины, дочери Асопа.

Стр. 133 *Иподле воинов стал Афины премудрой.* – См. «Илиада», II, 557 и 558.

Стр. 133 *...сыны Аякса…* – Аякс Теламонид – греческий герой, правитель Саламина, участвовал в осаде Трои.

Стр. 133 *...назван островом «Ионийским».* – Афиняне считали своим предком Иона, сына Аполлона. Ионией первоначально называлась Аттика, впоследствии так стали называть область греческих поселений в Малой Азии.

Стр. 133 *...не допустить кирреян…* – Кирреяне – жители Кирры, города на Коринфском заливе, совершали набеги на Дельфы. Постановлением амфиктионов Дельфам была оказана помощь. Оракул объявил полководцам, которые вели войну против Кирры, что они возьмут Кирру только тогда, когда волны моря омоют его область. По совету Солона это прорицание исполнили тем, что посвятили земли Кирры Аполлону – тем самым земли дельфийские простирались до самого моря.

Стр. 133 *...сообщников Килона…* – Килон – афинский аристократ, пытавшийся установить в Афинах тираннию.

Стр. 134 *...отняли Нисею…* – Нисея – пристань города Мегары.

Стр. 134 *Эпименид из Феста…* – Об Эпимениде рассказывали много чудесного. Он сочинил великое множество стихов. Фест – город на острове Крит.

Стр. 134 *...сыном нимфы Бласты и новым куретом.* – Куреты – демонические существа, входившие в свиту Великой Матери. По мифу, они заглушали бряцанием оружия и криками плач младенца Зевса, чтобы не услышал кровожадный Кронос. О нимфе Бласте ничего не известно.

Стр. 134 *...заставил их в сетованиях по умерших быть спокойнее…* – То есть запретил бить себя, рвать волосы и проч.

Стр. 134 *«Как слеп человек в отношении к будущему! Если бы афиняне предвидели зло, имеющее произойти от этого места, то сгрызли бы оное своими зубами».* – Его предсказание исполнилось спустя 270 лет, когда Антипатр принудил афинян принять македонский гарнизон.

Стр. 134 *...из священного масличного древа…* – Это дерево стояло в ограде храма Афины

Полиады. Считалось, что это то самое дерево, которое произвела Афина в своем споре с Посейдоном.

Стр. 135 *Фаний Лесбосский повествует…* – Фаний – греческий писатель, современник Теофраста, автор исторических и философских сочинений.

Стр. 135 *…а в другом – Питтак…* – Питтак – один из «семи мудрецов», правитель Митилены, который, успокоив раздоры сограждан, отказался от власти. Поэт Алкей осмеивал Питтака в своих стихах, но Питтак пренебрегал насмешками. О Тинноде ничего не известно.

Стр. 136…*назвал… сисахфией.* – Сисахфия – буквально «стряхивание бремени».

Стр. 136 *…среди которых и Андротион…* – Андротион – греческий историк.

Стр. 137 *…времени называли хреокопидами.* – То есть «обманывающими заимодавцев».

Стр. 138 *…законы Драконта…* – Драконт – афинский политик и законодатель, первый установил смертную казнь за прелюбодеяние и другие преступления. Жестокость законов Драконта вошла в поговорку («драконовские меры»).

Стр. 138 *…оратор Демад…* – Демад – афинский оратор, сторонник македонян.

Стр. 138 *…названы пентакосиомедимнами.* – Пентакосиомедимны – «пятисотмерники», платили по одному таланту в общественную казну. Зевгиты – «упряжники»: кто имел пахотную упряжку, тот, как считалось, обладал достаточными средствами, чтобы идти на войну в полном вооружении; поэтому зевгиты считались полноправными гражданами.

Стр. 139 *…составил совет Ареопага…* – Ареопаг – холм, посвященный богу Аресу, на котором в огражденном месте собирались судьи; судейский совет также назывался ареопагом. По законам Солона членами ареопага могли быть только бывшие архонты. В ареопаге было два седалища; одно называлось седалищем неблагоразумия, другое – седалищем обиды; на первом сидел преступник, на другом доносчик.

Стр. 139 *…которых было четыре…* – По изгнании Писистратидов Клисфен умножил число фил до десяти.

Стр. 139 *…обращается кэфетам…* – Эфеты – судьи, выносившие решения по делам об убийствах.

Стр. 139 *…которая из двух одержит победу.* – Авл Геллий говорит, что таковой гражданин лишался имущества и изгонялся из города.

Стр. 139 *…по праву закона…* – По законам Солона, богатые наследницы выходили замуж не за чужого, а за ближнего родственника.

Стр. 140… *они едят вместе квитовое яблоко.* – Квитовому яблоку (айве) древние приписывали полезные свойства, в том числе способность делать дыхание легким и приятным. Суть требования состояла в том, что муж и жена должны стараться друг другу понравиться.

Стр. 140 *«Тебе ль, несчастный, в брак вступить!»* – Цитата из несохранившейся трагедии Еврипида.

Стр. 141 *…ходить к чужим гробам…* – Родственникам позволялось посещать гробницы, но чужим это запрещалось; ибо для алчности нет ничего священного.

Стр. 141 *…и наказывать праздных.* – Кто трижды был изобличен в праздности, того объявляли бесчестным.

Стр. 141 *…позволил умерщвлять прелюбодея…* – Оратор Лисий говорил о смертоубийстве в защиту этого закона следующее: «Вы видите, афиняне, какой пени подвергается законом изнасиловавший женщину, коей обольстителя позволяется умертвить. Законодатель почитал более достойными наказания обольстителей; ибо одних наказывает смертью, других некоторою пеней. В самом деле, похитители ненавидимы бывают женщинами, против которых употребляют насилие; но обольстители до того развращают душу, что заставляют жен отвращаться от мужей своих, делаются господами в домах, так что неизвестно, мужу ли принадлежат дети или обольстителю».

Стр. 142 *…продавать дочерей и сестер своих…* – То есть выдавать замуж за деньги.

Стр. 142 *…определил он сто драхм награды; на Олимпийских – пятьсот.* – Солон уменьшил награды победителям.

Стр. 142 *…не от сыновей Иона…* – Геродот говорит, что Ион, сын Ксуфа, имел четырех сыновей – Гелеона, Эгикора, Аргада и Оплита.

Стр. 142 *…в Аттике нет ни рек, постоянно текущих…* – Аттические речки Илисс и

Эридан часто пересыхали.

Стр. 143 *...назван сикофантейном.* – То есть «указывающим на смокву». Сикофант – доносчик, также клеветник.

Стр. 143 *Укусившую кого-нибудь собаку повелевает выдавать ему привязанною к шесту в четыре локтя длиной.* – Этот закон и многие другие приняты римлянами. В консульство Т. Ромилия и К. Ветурия в 293 году от основания Рима отправлены были в Афины посланники для изучения законов Афин и других греческих полисов.

Стр. 143 *...учреждение общественного стола, что называет он «параситейн»* . – Каждая фила приносила ежемесячно жертвы и учреждала пиршество, в котором участвовали поочередно все граждане. Слово «парасит» первоначально значило товарища по жертвоприношению за столом. Впоследствии так стали называть объедал.

Стр. 143 *Кратин, комический стихотворец…* – Кратин (520–423 до Р. Х.) – афинский драматург, основатель старшей афинской комедии. Современник Софокла и Еврипида.

Стр. 143 *...из фесмофетов…* – Фесмофеты – архонты-судьи, осуществляли надзор над исполнением законов.

Стр. 143 *В тот день, когда один месяц кончится и начинается другой.* – См. «Одиссея», XIV, 162.

Стр. 143 *...считали до тридцатого числа.* – Месяц делился на три декады. После второго десятка, или 20 числа, считали таким образом: десятое число кончающегося месяца (21), девятое число кончающегося месяца (22) и так далее.

Стр. 144 *...могут привыкнуть к его законам.* – Можно отметить и следующие Солоновы законы, о которых упоминает Диоген Лаэрций: – Опекун не должен жить в одном доме с матерью несовершеннолетнего. – Опекуном не должен быть тот, кто может быть наследником после несовершеннолетнего. Резчику печатей не позволяется оставлять у себя слепок вырезанной им печати. – Кто кривого лишит глаза, тот должен лишиться обоих глаз. – Архонт, напившийся пьяным, должен быть казнен. – Кто откажется кормить отца и мать, объявляется бесчестным, как и промотавший свое имение, и тот, кто, застав жену в прелюбодействе, продолжает с нею жить. – Дневного вора надлежит доставлять в суд; ночного позволяется убивать.

Стр. 144 *При устье Ниловом, близ брега Канобидова…* – Одно из семи устьев Нила.

Стр. 144 *Псенофиса из Гелиополя и Сонхиса из Саиса…* – Гелиополь и Саис – египетские города: второй в Дельте, первый выше Дельты.

Стр. 144 *...повесть об Атлантиде…* – Платон утверждал, что передает сказание об Атлантиде со слов Солона.

Стр. 147 *В это время Феспид…* – Феспид ввел в хор актера, который, во время отдохновения хора, рассказывал повесть о каком-нибудь знаменитом муже. Первой трагедией этого нового вида была «Алкестида» Еврипида.

Стр. 147 *...ты худо представляешь гомеровского Одиссея…* – См. «Одиссея», IV, 242–258.

Стр. 147 *...позволил ему набирать и содержать их столько, сколько хотел…* – Коринофоров («носителей палицы») насчитывалось 400 человек.

Стр. 148 *...повесть или басню, которая была занимательна для афинян…* – Эта повесть гласила, что народы острова Атлантида завладели большей частью Африки и Европы и угрожали Греции и Египту, но были побеждены афинянами.

Стр. 149 *...принадлежащим ему по родству…* – Мать Платона происходила от брата Солона, Дропида.

Стр. 149 *...желая соорудить и украсить Атлантиду…* – См. диалог «Критий».

Стр. 149 *Писистрат начал править во время архонства Комия, а Солон умер при Гегестрате…* – Писистрат стал правителем в 1 году 55 олимпиады, за 560 лет до Р. Х. Солон скончался во 2 году 55 олимпиады, за 559 лет до Р. Х. По свидетельству Диогена Лаэрция, он прожил 80 лет.

Попликола

Публий Валерий Попликола – один из первых консулов (в 509–507, 504 до н. э.) Рима после изгнания царей. Вел войны с Порсеной, этрусками и сабинянами.

Стр. 149… *происходил от того древнего Валерия …* – Имеется в виду сабинянин Валерий Волез, переселившийся в Рим вместе с Татием.

Стр. 149…*достигший престола средствами беззаконными и нечестивыми и употреблявший власть свою не так, как царь…* – Он умертвил своего тестя Сервия Туллия и вступил на престол без согласия сената и народа.

Стр. 149 *...которая умертвила сама себя…* – Тит Ливий пишет, что эта добродетельная женщина призвала мужа, отца, родственников и друзей, объявила им в кратких словах о своей беде, просила об отмщении за свою честь и в ту же минуту поразила себя мечем. Между тем Луций Юний вырвал из груди Лукреции окровавленный меч и клялся отомстить за учиненное ей бесчестие; все другие поклялись в том же.

Стр. 150 *...Тарквиний Коллатин…* – Луций Тарквиний, сын Арнуса Тарквиния, племянник Тарквиния Гордого; он назвался Коллатином, ибо был правителем Коллации.

Стр. 150 *...было весьма приятно сенату и ободрило консулов.* – Этим закончилась в Риме царская власть.

Стр. 150 *Брут, человек непреклонный и жестокий во гневе своем, выбежал на площадь…* – Дионисий Галикарнасский говорит, что об этом деле рассуждали в сенате с умеренностью, но не могли согласиться, чести ли или пользе дать преимущество, и потому предложили решать народу, который, к бессмертной славе своей, большинством голосов предпочел первое.

Стр. 151 *...имел от нее многих детей.* – Ливий говорил только о двух; Плутарх следует мнению тех, кто уверяет, что у Брута было много детей и что от одного из них происходил Брут, убийца Юлия Цезаря.

Стр. 151 *...не избавился от этого прозвания.* – Он притворился глупым, дабы обмануть жестокость Тарквиния, который умертвил его отца и брата. По-латыни «брутус» – «глупый, безумный».

Стр. 153 *Аппий, угрожая народу…* – Аппий Клавдий Слепой (III в. до н. э.) – римский государственный деятель, цензор, консул. Построил первый римский водопровод и проложил дорогу от Рима до Капуи (Аппиева дорога).

Стр. 153 *...по имени того Виндиция.* – Церемония отпущения на волю, или *Vindicta,* состояла в том, что претор слегка ударял невольника по голове палкой или, по другим сведениям, давал ему пощечину.

Стр. 153 *...посвятили ее Марсу.* – Это поле еще во времена Ромула было посвящено Марсу. (Вероятно, рассуждая о «присвоении» Тарквиниями Марсова поля, Плутарх подразумевает, что они посвятили это поле этрусскому богу войны, которого римляне отождествляли с Марсом. – *Примеч. ред* .)

Стр. 153 *...составился близ города нынешний остров, почитаемый священным.* – Ныне остров Сан-Бартоломео. Прежде на этом острове стоял храм Эскулапа.

Стр. 153 *«Между двумя мостами».* – Речь о мостах Фабриция и Цестия.

Стр. 154…*на местах священных…* – Между Вейями и Тибром.

Стр. 154 *...некое божество издало этот голос…* – Считается, что это был голос Пана.

Стр. 154 *...по свидетельству оратора Анаксимена, не был оных изобретателем.* – Анаксимен Ритор – греческий оратор, приближенный Александра Великого, прославился историческими сочинениями. Надгробные речи вошли в обиход у греков после Марафонского сражения.

Стр. 155 *...в сопровождении такого множества ликторских связок и секир…* – Каждого консула сопровождали двенадцать ликторов; у Валерия, поскольку он был единственным консулом, ликторов насчитывалось двадцать четыре.

Стр. 155 *...на Велии…* – Велия – холм к востоку от Форума, между Палатином и Эксвилином.

Стр. 155 *...храм Победы, называемый Вика Пота.* – Вика Пота – римская богиня победы.

Стр. 155 *Он позволил всем искать и получать консульское достоинство.* – Первым плебеем, добившимся консульства, был Луций Секстий; это произошло через сто сорок пять

лет после описываемых событий.

Стр. 156 *...имение называется «пекулиа».* – Лат. *pecus* – мелкий домашний скот.

Стр. 156 *...избирать двух квесторов...* – Должность квестора состояла в том, чтобы печься о доходах и монетах республики. Сверх того они имели надзор над знаменами, над продажей добычи и над контрибуциями. Они принимали и угощали посланников. Полководец не мог получить триумф, не подав квестору верного счета об отнятой у неприятеля добыче.

Стр. 157 *...чести посвящения, как ему не принадлежащей, уступить ему не захотели и побуждали Горация искать ее себе* . – Посвященный храм назывался всегда именем посвятившего, поэтому честь посвящения была столь завидна.

Стр. 157 *«Бросьте мертвого куда хотите; я не приемлю в печали участия»...* – Приносить жертвы богам с печальным лицом считалось дурным предзнаменованием.

Стр. 158 *Первый храм... сгорел во время междоусобных войн. Второй воздвигнут Суллой, но посвящен Катуллом по смерти Суллы.* – Имеется в виду война Суллы с Марием. Этот храм сгорел во 2 году 174 олимпиады. Второй храм Сулла украсил его мраморными колоннами, привезенными из Афин, из храма Зевса Олимпийского Юпитера. Катулл посвятил храм за 14 лет до его сожжения.

Стр. 158 *Храм этот также сгорел во время возмущения Вителлия, и Веспасиан сверх других благополучных успехов имел счастье видеть окончание этого храма, снова им построенного...* – Имеется в виду осада Вителлием Флавия Сабина в Капитолии в 69 году до Р. Х. Строительство храма было окончено в 70 году.

Стр. 158 *Домициан построил его и посвятил в четвертый раз.* – В 81 году от Р. Х., в первый год своего правления.

Стр. 158 *...из пентельского мрамора...* – Пентеликон – гора близ Афин, добываемый на ней мрамор славился своей белизной.

Стр. 158 *Тарквиний... убежал в Клузий...* . – Клузий – город этрусков.

Стр. 158 *...начал строить город Сигнурию...* – Сигнурия – крепость, построенная во время второго консульства Попликолы.

Стр. 159 *Гораций...* – Потомок того Горация, который остался победителем в сражении между Горациями и Куриациями в царствование Тулла Гостиллия.

Стр. 159 *...в третий раз избранный консулом...* – В 247 году от основания Рима.

Стр. 159 *...дано ему прозвание Сцевола...* – Лат. *scaveus* – «левый».

Стр. 160 *Афинодор, сын Сандона...* – Афинодор – греческий философ-стоик.

Стр. 161 *Доныне виден на Священной улице, которая ведет к горе Палатин, кумир той девы на коне* . – По словам Дионисия Галикарнасского, в его время статуя уже исчезла.

Стр. 161 *...сохраняя тем в памяти народа вечную благодарность к нему за его благодеяния.* – Дионисий говорит, что римляне послали ему в подарок стул из слоновой кости, жезл, золотой венец и триумфальную одежду.

Стр. 161 *...двери домов отворялись на улицу.* – Близ его дома поставили медного вола, который символизировал, что он своими победами восстановил земледелие.

Стр. 162 *...пять тысяч семейств...* – Пять тысяч семейств составляли по крайней мере 20 тыс. человек, полагая в каждом из семейств по четыре человека.

Стр. 162 *...по реке Аниена.* – Аниена (ныне Тевероне) – приток Тибра.

Стр. 162 *...ни одному из римских домов.* – В Риме было два дома Клавдиев, патрицианский носил имя Марцелл. Из этого семейства вышли тридцать три консула, пять диктаторов, семь цензоров и император Тиберий.

Стр. 163 *...предал правление преемникам своим...* – В 251 году от основания Рима.

Стр. 163 *...приносил по одному квадранту.* – Квадрант – четверть асса. Асс первоначально равнялся фунту меди, но в описываемое время квадрант являлся уже самой мелкой римской монетой.

Стр. 163 *После чего уносят тело для погребения.* – В Греции и в Риме мертвых хоронили за городом. Внутри города погребали только основателей и тех, кто оказал великие услуги отечеству.

Стр. 163 *...Мессалы...* – То есть все Валерии, которые известны под прозванием Максимов, Корвинов, Потитов, Левинов, Флакков.

Фемистокл

Фемистокл (524–429 до н. э.) – афинский государственный деятель и полководец.

Стр. 166 *…из местечка Фреарры.* – Фреарра – место на морском берегу близ Пирея.

Стр. 166 *По матери он был незаконнорожденным, как видно из следующих стихов …* – Цитата из сочинений поэта Амфикрата. Незаконнорожденным у афинян назывался тот, чья мать была чужестранка, хотя бы брак был законный по всем другим отношениям. По предложению Перикла определено было лишать гражданских прав детей, рожденных от матери-чужестранки. Впоследствии этот закон был отменен народом из сочувствия к тому же Периклу, который, лишившись во время моровой язвы своих детей, сохранил только сына, рожденного Аспазией из Митилены.

Стр. 166 *Неанф к этому прибавляет…* – Неанф (II в. до Р. Х.) – греческий историк и оратор; родом из Кизика.

Стр. 166 *…собирались в Киносарге…* – Киносарг – огороженное место, где находились жертвенники Гераклу и некоторым другим богам. Здесь должны были собираться незаконнорожденные, дабы они не могли «заразить» настоящих граждан. Геракл как незаконнорожденный считался покровителем Киносарга.

Стр. 166 *…он связан был родством с Ликомидами, ибо возобновил во Флии храм, общий всем Ликомидам…* – Ликомиды – семейство филы Кекропида, имели надзор над жертвоприношениями и обрядами, совершаемыми в честь Деметры и других богинь, и пели песнь, сочиненную древним стихотворцем Мусеем.

Стр. 167 *Стесимброт, правда, уверяет, что Фемистокл был слушателем Анаксагора и учился у естествоиспытателя Мелисса…* – Стесимброт – греческий историк, автор сочинения «О Фемистокле, Фукидиде и Перикле». Анаксагор – великий греческий философ, друг Перикла. Мелисс – греческий философ и военачальник, ученик Парменида.

Стр. 167 *…сохранил как бы по наследству от Солона.* – По свидетельству Плутарха древнейшие мудрецы занимались единственно наукой правления, или политикой. Фалес первый из греческих философов обратился к изучению природы.

Стр. 167 *…повествует философ Аристон.* – Аристон – греческий философ-перипатетик.

Стр. 168 *…издалека предусматривая будущее.* – Фукидид говорит: «Фемистокл был способнейший человек предусматривать будущее».

Стр. 168 *…так называемый лаврийский доход…* – Лаврий – гора в Аттике близ мыса Сунион, там находились серебряные рудники, приносившие Афинам значительный доход.

Стр. 168 *…дабы воевать против эгинян.* – Остров Эгина находится близ Пирея.

Стр. 168 *…он благовременно употребил ревность и гнев афинян против эгинян для приготовления их к войне с персами.* – Фукидид говорит, что Фемистокл воспользовался также страхом перед новым нападением персов, слух о военных приготовлениях которых дошел до Греции.

Стр. 168 *…будучи уверен, что сухопутными силами едва были они в состоянии воевать с соседственными народами, но морскими могли защищаться против варваров и начальствовать над Грецией. Как говорит Платон, из твердых пеших он сделал их гребцами и мореходами.* – Афиняне до Фемистокла не были морским народом. Их торговые суда были весьма несовершенны. Война с персами научила афинян морскому делу. Платон говорит не в похвалу Фемистоклу. Он утверждает, что морские победы оказались пагубными для республики, ибо граждане, предавшись мореплаванию, совершенно развратились.

Стр. 169 *…грозил превратить вскоре дом его в деревянного коня.* – Дурийский конь есть тот самый деревянный конь, которого ахейцы по совету Одиссея, посвятив Афине, оставили перед воротами Трои. Иначе говоря, Фемистокл грозил Филиду полным разорением.

Стр. 169 *…уроженца города Гермион…* – Гермион – приморский город в Пелопоннесе, на Арголийском заливе.

Стр. 169 *Этот род прения был тогда в великом уважении и многие в том полагали всю свою славу* . – Правители и богатейшие граждане давали народу трагедии, в которых старались превзойти друг друга как великолепием и украшениями зрелища, так и достоинством

сочинителя трагедии. Народ чрезвычайно любил эти зрелища. Отличившийся в них по решению назначенных судей объявлялся победителем.

Стр. 169… *Фриних сочинил трагедию; Адимант был архонтом.* – Фриних (VI–V в. до Р. Х.) – греческий трагический поэт, современник Эсхила, первым среди драматургов использовал в творчестве не только мифологические, но и современные исторические темы. Адимант был архонтом в последнем году 75 олимпиады, через 3 года после Саламинской битвы.

Стр. 169 *Симонид Кеосский…* – Симонид (ок. 556 – ок. 467 до Р. Х.) – выдающийся греческий поэт, описал в стихах битвы при Марафоне и Саламине.

Стр. 169 *…успел изгнать его из города остракизмом.* – Неизвестно, кем остракизм был введен; одни авторы утверждают, что Писистратом, другие – Клисфеном. Гражданин, опасный для общества по своему могуществу, изгонялся из Афин на десять лет. Способ изгнания состоял в следующем: каждый гражданин брал кусок черепицы, на котором писал имя того, кого хотел изгнать. Правители считали черепки; надлежало, чтоб их было 6 тысяч. Тот, чье имя чаще других встречалось на черепках, изгонялся.

Стр. 169 *…Фемистокл поймал и умертвил его за то, что повелениями варвара осмелился осквернить греческий язык…* – Афиняне не лучше поступили с посланниками Дария, отца Ксеркса, которые требовали также земли и воды; их бросили в колодец со словами: «Вот вам земля и вода! Можете отнести своему государю». Геродот пишет, что Ксеркс не посылал к афинянам послов, помня, как обошлись с послами Дария.

Стр. 170 *…вывел на Темпейские поля…* – Темпейская долина находилась в Фессалии, на границе Македонии.

Стр. 170 *…дабы охранять узкий проход.* – На суше греки защищали проход Фермопилы, а на море их флот готовился защищать Эвбейский пролив.

Стр. 170 *…числом своих кораблей они одни превышали все другие народы.* – По свидетельству Геродота, у афинян было 127 кораблей, а у всех других греков 151. Из этого числа 20 судов принадлежали также афинянам, которые отдали их халкидянам.

Стр. 170 *Неприятельский флот пристал к Афетам. Эврибиад, устрашенный множеством устроившихся против него кораблей и узнав, что еще двести плавают около Скиафоса…* – Афеты – приморский город в Магнесии, при входе в Фермейский залив. Скиафос – остров к северу от Артимисия, где стоял греческий флот. Этим кораблям надлежало обойти Эвбею и войти в Эврипы. Удайся этот маневр, греческий флот оказался бы в окружении.

Стр. 170 *Фемистокл принял деньги, как Геродот повествует, и отдал Эврибиаду.* – Эвбейцы послали к Фемистоклу 30 талантов. Геродот уверяет, что он дал пять Эврибиаду, три коринфскому начальнику Адиманту, а прочее оставил себе.

Стр. 170 *…священного корабля…* – Так назывался корабль, отпраляемый ежегодно афинянами на Делос для пренесения жертв Апполону. Всего священных кораблей было пять.

Стр. 170 *Происходившие тогда с кораблями варваров битвы…* – В три дня было дано три сражения.

Стр. 170 *…и потому говорил о битве при Артемисии…* – Это сочинение Пиндара не сохранилось.

Стр. 171 *…выше Гестиэи…* – Гестиэя – приморский город на острове Эвбея.

Стр. 171 *…произошло в Фермопилах…* – Фермопилы – узкий горный проход в Локриде, между горой Эта и морем. В этом проходе спартанский царь Леонид с тремястами воинов остановил многочисленное персидское войско. В сражении погибли все спартанцы, кроме одного. Битва произошла в тот самый день, в который состоялось и морское сражение при Артемисии. Впоследствии в Фермопилах была сооружена в честь павших гробница Полиандрион и воздвигнуты памятные столпы. Надпись на лакедемонском столпе гласила: «Странник! Возвести лакедемонянам, что мы тут легли, повинуясь законам их».

Стр. 171 *…дабы склонить их, если можно, перейти к стороне афинян…* – Напомним, что ионяне – жители приморской греческой области в Малой Азии – являлись выходцами из Аттики.

Стр. 171 *Греки…* – Здесь разумеются одни пелопоннесцы и афиняне; прочие греки или пристали к персам, или были покорены ими.

Стр. 171 *...поднял машину, как говорится в трагедиях…* – Имеется в виду известное выражение «бог из машины». В древних трагедиях появление бога, который появлялся на сцене с помощью машин, разрешало запутанные сюжетные коллизии.

Стр. 171 *...змей в эти дни оставил храм и сделался невидим.* – Этот змей считался стражем афинского Акрополя, его кормили в храме Афины мукой с медом.

Стр. 172 *...Саламин в том прорицании назван божественным, а не злополучным и несчастным…* – В прорицании сказано: «Божественная Саламина! ты погубишь сынов жен, хотя бы Деметра рассеялась или собралась». Фемистокл утверждал, что если бы угроза касалась Афин, пифия назвала бы Саламину злополучной, а не божественной. Это было второе прорицание, данное афинянам жрицей Аполлона.

Стр. 172 *...по два обола…* – Обол составлял шестую часть драхмы.

Стр. 172 *...исчезла голова Горгоны от кумира богини.* – Имеется в виду щит Афины, на котором изображена была Горгона.

Стр. 173 *Эврибиад сказал…* – В «Изречениях царей и полководцев» Плутарх, повторяя Геродота, говорит, что это был Адимант, полководец коринфский.

Стр. 173 *...что афиняне нашли и город вольный…* – Афиняне хотели переселиться в Италию, в город Сибарис в Лукании.

Стр. 173 *Некий эретрийский военачальник…* – Эретрия – город на острове Эвбея.

Стр. 173 *...подобно сепии…* – Имеется в виду кальмар.

Стр. 173 *...узрели сову…* – Сова считалась священной птицей Афины. Явление птиц справа от наблюдателя принималось за благое предзнаменование, слева – за дурное.

Стр. 173 *Этот Сикинн был родом перс…* – Вероятно, здесь у автора ошибка. Геродот пишет, что Фемистокл послал в персидский стан человека, ему преданного. Эсхил говорит: «Грек, пришедший от афинян…»

Стр. 174 *...Аристид, сын Лисима, приметив то первым, прибыл к шатру Фемистокла…* – Аристид находился в изгнании на Эгине. Он прибыл ночью к греческому флоту, пробравшись через линию неприятельских кораблей, чтобы принести грекам это известие.

Стр. 174 *...как Фанодем пишет…* – Фанодем – греческий писатель, автор сочинения «Аттические древности».

Стр. 174 *...так называемых Керат.* – Керата – «рога», каменистое место между Элевсином и Мегарами.

Стр. 174 *Он сидел на золотом троне…* – Этот золотой (или серебряный) престол достался афинянам, которые посвятили его Афине вместе с золотым мечом Мардония, взятым в Платейском сражении.

Стр. 174 *...воссиял великий и яркий свет, и с правой стороны некто чихнул…* – Пламя почиталось счастливым предзнаменованием, когда было видимо на алтарях или на чьей-либо голове. Все события, происходившие справа от наблюдателя, считались благими предзнаменованиями.

Стр. 174 *...и принести всех в жертву Дионису Оместу («Свирепому»)…* – Равным образом острова Хиос, Тенедос и Лесбос принесли человеческие жертвы Вакху Омодию. Но афиняне лишь единожды поступили таким образом.

Стр. 174 *...как совершенно знающий о том…* – Эсхил участвовал в этой битве.

Стр. 175 *Аминий из Декелеи…* – Аминий – брат великого трагика Эсхила.

Стр. 175 *Мертвое тело его, несомое с обломками кораблей, узнала Артемисия…* – Артемисия – правительница Галикарнасса, которая привела на помощь Ксерксу пять своих кораблей. Историки восхваляют ее мужество и благоразумие. В сражении она отступила последней. Афиняне обещали десять тысяч драхм тому, кто приведет Артемисию живой.

Стр. 175 *...по Фриасийской долине до самого моря раздался звук и голос, как будто бы великое множество людей вместе выносили таинственного Иакха.* – Фриасия – долина между Элевсином и Афинами. По словам Геродота, голос раздался за несколько дней до сражения, когда персы начали опустошать Аттику. Афинский изгнанник Дикей, находившийся при Ксерксе, первый услышал голос и дал знать о том царю. Статую Иакха – божества Элевсинских мистерий, иногда отождествлявшегося с Дионисом-Вакхом – выносили во время отправления

мистерий.

Стр. 175 *...которые простирают руки от Эгины перед триерами, как бы эакиды, призванные на помощь молениями перед началом сражения.* – Эакиды – потомки Эака, царя острова Эгина. Эак при жизни был столь благочестив и правосуден, что боги сделали его судьей в царстве мертвых. Молитвам к Эаку приписывали великую силу для спасения Греции.

Стр. 175 *...одержали... прекрасную и знаменитую победу...* – Саламинское сражение произошло 20 боэдромиона (или 12 сентября) 1 года 75 олимпиады, за 480 лет до Р. Х. Греки потеряли сорок кораблей, а персы – двести.

Стр. 175 *Аристиду не нравилось это предложение...* – Геродот говорит, что этот ответ дан был Фемистоклу Эврибиадом.

Стр. 176 *...были в опасности всего лишиться.* – Ксеркс оставил в Греции Мардония с тремястами тысячами воинов. Другие силы возвратились через Фракию к Геллеспонту. Во время обратного пути персы сильно страдали от недостатка в припасах. По прибытии к Геллеспонту Ксеркс нашел мост сорванным бурей и был принужден переправляться на рыбацкой лодке.

Стр. 176 *...брали дощечку с жертвенника...* – Речь о жертвеннике Посейдона.

Стр. 176 *...они подарили ему лучшую в городе колесницу и выслали с ним триста юношей...* – По свидетельству Геродота, Фемистоклу первому была оказана такая почесть.

Стр. 176 *...при отправлении следующих Олимпийских игр...* – Спустя три года после битвы.

Стр. 177…с *острова Сериф...* – Сериф – один из Кикладских островов.

Стр. 177 *Таковы суть достопамятные его изречения.* – Цицерон сохранил нам и следующее слово Фемистокла. Симонид предлагал ему научиться наукам памяти; Фемистокл отвечал: «Лучше научи меня науке забвения; я чаще вспоминаю то, чего не хочу помнить, а не забываю то, что хочу».

Стр. 177 *...предпринял возобновить Афины...* – Стены Афин и большая часть домов были разрушены персами; целыми оставались только те дома, в которых жили персидские полководцы.

Стр. 177 *Под предлогом посольства он прибыл в Спарту.* – Фукидид говорит, что лакедемоняне и их союзники, страшась морской силы афинян, не хотели, чтобы те заново укрепили свой город – мол, если варвары опять на Грецию нападут, то завладеют этими самыми стенами и в них укрепятся. Они утверждали, что в таком случае Пелопоннес будет наилучшим убежищем. Фемистокл посоветовал афинянам отпустить спартанских посланников, а его самого и других знатных горожан отправить в Лакедемон, когда новые стены будут уже столь высоки, что обеспечат городу надежную защиту. По прибытии в Спарту Фемистокл долго избегал встречи со спартанскими старейшинами, говорил, что ожидает других посланников, и удивляется, что они еще не прибыли. Поначалу спартанцы верили Фемистоклу, но наконец получили достоверное известие о строительстве афинских стен.

Стр. 178 *...показав судьям масличное дерево.* – По мифу, Посейдон ударил в землю трезубцем и произвел коня в подарок Аттике, однако судьи предпочли коню маслину.

Стр. 178 *...как говорит комической стихотворец Аристофан...* – В комедии Аристофана «Всадники» (стих 812) Клеон (под «маской» колбасника по имени Агоракрит. – *Примеч. ред.)* сравнивает услуги свои с Фемистокловыми; противник его говорит: «О Граждане! Слышите ли, что он говорит? Ты ли равен Фемистоклу, который, нашедши наш город пустым, сделал его полным, который, угощая его, состряпал ему Пирей; ничего у него не отнял из прежних выгод, но дал ему сверх того много новой рыбы?»

Стр. 178 *...трибуну на Пниксе, которая смотрела на море, обратили впоследствии так называемые тридцать тиранов к твердой земле...* – Пникс – место народного собрания в Афинах. Тридцать тиранов – олигархи, захватившие власть в Афинах после поражения города в Пелопоннесской войне. Это произошло через 76 лет после Саламинского сражения, в 404 году до Р. Х.

Стр. 178 *...греческий флот пристал кПагасам...* – Пагасы – приморский город в Магнесии.

Стр. 178 *...переменил мнение пилагоров.* – «Амфиктионии – религиозные союзы соседних

народов для общего почитания какого-нибудь божества без всякого отношения к их племенному родству. Первоначальной целью амфиктионий были общие жертвоприношения и празднества в честь почитаемого божества при его храме, затем защита этого храма и его сокровищ, скоплявшихся от частных и общественных приношений, и наказание святотатцев. В праздничных собраниях могли происходить при случае и совещания о политических делах, имевших общий интерес для жителей данной местности, так что амфиктионии постепенно приобрели влияние и на политические отношения. Во время праздников объявлялись священные перемирия, которые много способствовали смягчению ужасов постоянных войн и неурядиц между греками. В Греции было несколько амфиктионий, но наиболее важное значение между ними имели Дельфийско-фермопильская и Делосская» (из книги В. В. Латышева «Очерк греческих древностей»). Амфиктионы делились на гиеромнемонов и пилагоров; первые являлись религиозными представителями племен, а вторые выступали как политические представители. – *Примеч. ред.*

Стр. 178 *...Левтихида, Ксанфиппа храброго…* – Левтихид – спартанский царь. Ксанфипп – афинский военачальник.

Стр. 179 *…был изгнан за мидизм…* – То есть за поддержку мидян (персов).

Стр. 180…с *Павсанием…* – Павсаний – спартанский царь, возглавил битву с Мардонием при Платеях.

Стр. 180 *По умерщвлении Павсания…* – Осужденный на смерть, Павсаний укрылся в храме Паллады, двери которого затем завалили камнями снаружи. Когда его вывели из храма, он настолько ослабел от голода, что тотчас испустил дух.

Стр. 180 *...и отправился в Керкиру; этому городу оказал он некогда услугу.* – Керкира (ныне Корфу) – остров в Ионическом море. После разгрома персов греки хотели наказать Керкиру за неучастие в войне, но Фемистокл убедил остальных полководцев, что жестокость по отношению к тем, кто держался в стороне, подвергнет Грецию большей опасности, нежели нашествие варваров.

Стр. 180 *...владеть Левкадой…* – Левкада – остров в Ионическом море, близ побережья Акарнании.

Стр. 180 *...царю молосскому.* – Молоссы – племена, обитавшие в Эпире.

Стр. 180 *...странным и необыкновенным образом.* – Странность заключалась в том, что он сидел у жертвенника, держа царского сына.

Стр. 181 *...сел на корабль вПидне.* – Пидна (Питна) – македонский город в Пиерии.

Стр. 181 *По прибытии своем в Киму…* – Кима – город на ионийском побережье Малой Азии.

Стр. 181 *Он убежал в Эги…* – Эги – город в Малой Азии.

Стр. 181 *Дай ночи глас, совет, дай ночи ты победу!* – То есть повинуйся тому, что советуют ночные сновидения.

Стр. 182…к *одному из вельмож царских дверей.* – Дверьми называли греки двор персидских государей (ср. Оттоманская Порта).

Стр. 182 *Харон из Лампсака…* – Харон – греческий писатель, автор «Истории персов».

Стр. 182 *...и Фемистокл представился сыну его Артаксерксу.* – Фемистокл прибыл ко двору персидского царя в 1 году 79 олимпиады, за 464 года до Р. Х.

Стр. 182 *...явился сперва к Артабану…* – Артабан – начальник телохранителей, убил Ксеркса и советовал Артаксерксу убить его брата Дария.

Стр. 183 *...и просил Аримана…* – Ариман – пехлевийский вариант имени древнеиранского божества Ангро-Майнью, олицетворения мирового зла, брата и противника «Великого Света» Ахура-Мазды (Ормузда). – *Примеч. ред.*

Стр. 183 *...был он наставлен в учении магов.* – Маги – *зд.:* древнеиранские жрецы. Учение магов – зороастризм. – *Примеч. ред.*

Стр. 183 *...он просил проехать на коне через город Сарды, с кидаром на голове, подобно царям.* – Это считалось величайшим знаком милости. Кидар – вид головного убора.

Стр. 184…ему *даны были три города – Магнесия, Лампсак и Миунт на хлеб, на вино и на рыбу.* – Магнесия, Лампсак, Миунт – города Малой Азии. Фемистокл получал из Магнесии 50 талантов дохода. Вокруг Лампсака рос лучший виноград. Миунт славился как рыбой, так и

мясом. Восточные цари имели обычай награждать своих любимцев городами и даже провинциями.

Стр. 184 *...когда Мать богов...* – Мать богов – иначе Великая Мать, Кибела, Рея. Ее обычно изображали на колеснице, запряженной четырьмя львами. Перед колесницей бежали жрецы-корибанты.

Стр. 184 *...соорудил в Магнесиихрам Диндимены...* – Диндимена – Мать богов (см. выше), эпитет связан с горой Диндим в Галатии – местом пребывания богини.

Стр. 185 *...выпив воловью кровь, а по мнению некоторых – приняв скородействующий яд...* – Вероятнее всего, цикуту. Что касается воловьей крови, она считалась смертоносной для того, кто выпьет ее горячей, поскольку быстро свертывается. Фукидид говорит, что Фемистокл умер от болезни.

Стр. 185 *...его не должно верить Андокиду...* – Андокид (439– ок. 390 до Р. Х.) – знаменитый афинский оратор, один из Десяти ораторов.

Стр. 185 *Филарх...* – Филарх – греческий историк III века до Р. Х. Родился, по одним сведениям, в Афинах, по другим – в Египте. Написал историческое сочинение своего времени в 28 томах.

Стр. 185 *...самый неученый человек может понять, что то выдумка.* – По свидетельству Фукидида, прах Фемистокла был перенесен его родственниками из Магнисии и тайно захоронен в Аттике. Но Павсаний говорит, что прах его был перенесен в Афины, причем в Парфенон поместили рельеф с изображением этого события.

Стр. 186…у *философа Аммония.* – Аммоний – греческий философ, учитель Плутарха.

Камилл

Марк Фурий Камилл (ум. 364 до н. э.) – римский полководец и государственный деятель, «второй основатель» Рима.

Стр. 186 *...тогдашнее состояние республики.* – В те времена вновь обострились разногласия по поводу раздела земли. Народ требовал, чтобы каждому гражданину досталась равная доля. Аппий Клавдий советовал подкупить народных трибунов. Народ, обманутый в своих ожиданиях, избрал вместо консулов военных трибунов, причем из плебеев.

Стр. 186 *...и избирал военных трибунов для управления республикой.* – Должность военных трибунов введена в 443 году до Р. Х.

Стр. 186 *...дом Фуриев не был еще весьма знаменит.* – В роду Фуриев были как патриции, так и плебеи.

Стр. 186 *Камилл сам себя первый прославил...* – Камиллы *(camilli)* – в Древнем Риме мальчики и девочки, прислуживавшие при жертвоприношениях.

Стр. 186 *...получил он цензорство – достоинство, бывшее в те времена в великом почтении.* – Камиллу тогда было двадцать девять лет. Цензоры, трудившиеся вдвоем, обладали обширной властью, они ведали состоянием и доходами граждан, надзирали за храмами, добычами, водами, заставляли жениться, исправляли нравы, исключали из сената недостойных сенаторов, лишали римских всадников их достоинства.

Стр. 187 *...в неприятельской земле проводить зиму и лето.* – В 351 году от основания Рима впервые был поставлен зимний лагерь.

Стр. 187 *Римляне обвиняли в том предводителей...* – Трибуны Виргиний и Маний Сергий осаждали Вейи, причем Сергий вел активные действия, а Виргиний его прикрывал. Фалиски и капенаты напали на Сергия, а осажденные также сделали вылазку. Римляне стали отступать, решив, что против них выступили объединенные силы всей силы Этрурии. Сергий из гордости не просил помощи у своего товарища, который мог спасти его. В итоге было убито множество римлян.

Стр. 187 *...идти войною на Фалерии и Капену.* – Фалерии и Капена – города этрусков.

Стр. 188 *...который казался искуснее других в науке гадания.* – Римляне считали этрусков чрезвычайно сведущими в магии и гадании.

Стр. 188 *...при совершении так называемых Латинских празднеств...* – Эти празднества справлялись всеми латинскими народами, а римляне на них председательствовали. В жертву

Юпитеру Лацийскому приносили вола. Если кому не доставалось части закланного вола, жертвоприношение считалось не состоявшимся.

Стр. 188 *...совершить великие игры и соорудить храм богине, которую римляне называют Матерью Матутой.* – Великие игры *(Ludi magni)* – игры в честь Юпитера, Юноны и Минервы. Матер Матута – богиня-покровительница женщин; по некоторым толкованиям, первоначально была богиней зари. – *Примеч. ред* .

Стр. 188 *...и что претерпела Ино от наложницы своего мужа.* – Ино – сестра Семелы, матери Вакха, после смерти ставшая богиней Левкофеей; ее муж Афамант был влюблен в одну из своих рабынь. В честь Ино римляне установили празднества, в которые запрещено было рабам входить в ее храм. Впускали лишь одну рабыню, представлявшую любовницу Афаманта; ее били и щипали. Богине Левкофее матери представляли чужих детей, ибо своих детей она лишилась, но спасла чужого (по мифу, Ино воспитала Вакха вместо Селены, испепеленной сиянием Юпитера).

Стр. 189 *Сказав это...* – Считалось, что богиня судьбы Немезида наказывает тех, кто кичится своим счастьем, и что после великих успехов обязательно должна случиться беда.

Стр. 189 *...моление его услышано, ибо с ним случилось малое несчастье после великого благополучия* . – Ливий говорит, что это сочли не исполнением молитвы, но предзнаменованием будущего его изгнания.

Стр. 189 *...некоторые из присутствовавших отвечали, что богиня хочет, соглашается и охотно последует за ними* . – У Ливия это событие описано иным образом. Он говорит, что прекраснейшие молодые люди из всего войска, одетые в белые одежды, вступили с благоговением в храмы, совершив предварительно очищение по этрусскому обряду. Один из них спросил богиню: «Хочешь ли, Юнона, идти в Рим?» Другие ответили за богиню, что она согласна.

Стр. 191 *Это составило восемь талантов золота. Сенат, воздавая римским женам должную благодарность...* – Тит Ливий говорит, что решено было взять золото весом от каждой матроны и заплатить деньгами.

Стр. 191 *...говорены были в честь их подобающие похвальные речи.* – Эта честь была оказана им после того, как они собрали свои золотые украшения, чтобы заплатить выкуп галлам.

Стр. 191 *...близ Эоловых островов.* – Эоловы острова – Липарские острова в Тирренском море. По свидетельству многих авторов жители этих островов занимались морским разбоем.

Стр. 191 *...избрать Камилла военным трибуном...* – В 361 году от основания Рима.

Стр. 191 *...были воспитываемы и образовываемы к общежитию.* – По свидетельству Диодора Сицилийского, первые учителя, которых содержали на общественные средства, появились у греков, а между греками первым ввел в употребление этот обычай сицилийский законодатель Харонд. Римляне позаимствовали этот обычай у греков через галлов.

Стр. 193 *...или тысячи пятисот драхм (греческими деньгами).* – Римский денарий равнялся стоимостью афинской драхме и состоял из десяти ассов (асс равнялся 12 унциям меди).

Стр. 193 *...исполнены богиней Дике...* – Дике – в греческой мифологии богиня правосудия, наказывающая несправедливость. Платон называет ее вершительницей справедливости в круговороте душ.

Стр. 193 *...была смерть цензора Гая Юлия.* – Вместо Юлия был избран Марк Корнелий. Поскольку вскоре после этого Рим пал, римляне впоследствии из суеверия не только не избирали вместо умершего цензора другого, но и товарища его заставляли сложить свое достоинство.

Стр. 193 *Галлы, народ кельтский...* – Имеются в виду галаты – кельтские племена, осевшие на центральном плоскогорье Малой Азии (III в. до Р. Х.).

Стр. 193 *...перевалив Рипейские горы...* – Рипейские (Рифейские) горы – Урал.

Стр. 193 *...близ сенонов и битуригов...* – Сеноны – кельтское племя, занимавшее территорию в бассейне реки Сена. Битуриги – кельтское племя, обитавшее на территории современной Франции.

Стр. 195… *их было до сорока тысяч пехоты...* – А галлов почти вдвое больше. Поэтому

римлянам пришлось растянуть фланги и ослабить центр строя.

Стр. 196 *Сражение это дано было во время летнего солнцеворота в полнолуние – в тот самый день, в который прежде случилось великое бедствие Фабиев.* – В древних римских календарях указано 18 июля – «день Аллиев» *(Dies Alliensis).* Битва произошла в 364 или 366 году от основания Рима; Дионисий Галикарнасский относит его к 98 олимпиаде, за 381 год до Р. Х.

Стр. 196…о *том рассуждали мы на другом месте.* – В сочинении «Римские вопросы».

Стр. 196 *...первую при Левктрах, вторую при Керессе…* – Во 2 году 102 олимпиады, за 371 год до Р. Х.

Стр. 196 *...персы в шестой день месяца боэдромиона побеждены были греками при Марафоне, в третий при Платеях и в то самое время при Микале; в двадцать пятый – при Арбелах.* – Соответственно, 3 году 72 олимпиады, во 2 году 75 олимпиады и во 2 году 112 олимпиады.

Стр. 196 *...во время полнолуния боэдромиона…* – В 4 году 100 олимпиады.

Стр. 196 *Александр разбил при Гранике полководцев царских в месяце фаргелионе…* – Битва при Гранике состоялась в 3 году 111 олимпиады.

Стр. 196 *...Каллисфен, Дамаст…* – Каллисфен (ок. 370 – ок. 327 до Р. Х.) – греческий историк, ученик и родственник Аристотеля, находился при Александре во время его похода, был казнен по обвинению в заговоре против царя. Дамаст – греческий историк, современник Геродота.

Стр. 196 *Седьмого числа этого месяца греки, будучи побеждены Антипатром при Кранноне, погибли окончательно; и прежде того, сразившись с Филиппом при Херонее, были также несчастны.* – Соответственно в 3 году 110 олимпиады и в 3 году 114 олимпиады.

Стр. 196 *...переправившиеся с Архидамом…* – Архидам – спартанский царь, прибыл на помощь тарентинцам и был убит в сражении, а его войско истреблено.

Стр. 196 *Фивы разорены были Александром…* – Во 2 году 111 олимпиады.

Стр. 197 *...былиразбиты кимврами…* – В 649 году от основания Рима. Римляне потеряли в этом сражении 80 тыс. человек.

Стр. 197 *...хранится троянский палладий…* – Троянцы верили, что палладий спустился с неба в знак покровительства Афины.

Стр. 197 *...самофракийские кумиры привезены были в Трою Дарданом…* – Дардан – легендарный предок троянцев, сын Зевса. Самофракийские кумиры – домашние боги *(Dii magni),* привезенные Дарданом; впоследствии Эней переправил их в Италию. Дионисий Галикарнасский говорит, что видел их в одном старом храме в Риме.

Стр. 198 *...дабы они могли убежать в какой-нибудь из греческих городов* . – Альбин привез их в этрусский город Цера. Весталки пробыли в Цере достаточно долго.

Стр. 198 *...дабы упомянуть с надутостью о гипербореях и о Великом море.* – Гипербореи – в греческой мифологии чудесный народ, обитающий на крайнем севере мира, любимцы бога Аполлона. Время от времени Аполлон садится на колесницу и отправляется к гипербореям, чтобы отдохнуть среди них. Гипербореи живут блаженной жизнью, пируют и веселятся, поют и танцуют. – *Примеч. ред* .

Великое море – Средиземное море.

Стр. 199 *...обратилась к Ардее…* – Ардея – римская колония в области рутулов.

Стр. 201 *...в храме Юноны были посвященные гуси…* – В память этого события в храме установили золотое изображение гуся. Каждый год организовывали шествие, на котором торжественно проносили гуся в великолепном убранстве, а собаку вешали.

Стр. 203 *Галлы были разбиты с большим уроном* . – Однако Полибий говорит, что галлы приняли золото и возвратились безопасно в свою страну.

Стр. 203 *...соорудил храм Молве и Слуху…* – Имеется в виду римский бог Аий Локутий («вещий голос»).

Стр. 204 *...говорили они о голове, найденной еще свежей при основании Капитолия…* – При основании Капитолия в царствование Тарквиния Гордого была найдена в земле окровавленная человеческая голова. Этрусские прорицатели хотели обратить это знамение в пользу своих единоземцев, однако были вынуждены признать, что место, где нашли голову,

будет главой Италии.

Стр. 205 *Военные трибуны, предводительствовавшие войском, стали у Мецийской горы…* – То есть недалеко от Ланувия.

Стр. 207 *…избран был Квинт Капитолин…* – По свидетельству Тита Ливия диктатором избрали Корнелия Косса, который сделал начальником конницы Квинта Капитолина.

Стр. 207 *…избран был военным трибуном.* – В 3 году от основания Рима.

Стр. 208 *…памятником счастливейших подвигов и величайшего злополучия.* – Манлий своими подвигами заслужил, среди прочего, два муральных венка (присуждались тому, кто первый во время приступа всходил на стены неприятельского города) и восемь цивических венков (за спасение жизни граждан в сражении). Родственники Манлия постановили, что никто из потомков не может зваться Марком Манлием.

Стр. 208 *…призывали в шестой раз к достоинству военного трибуна…* – В 372 году от основания Рима.

Стр. 208 *…остался в стане с небольшим числом воинов.* – Ливий говорит, что он стоял на возвышенности с резервом и смотрел на битву.

Стр. 208 *…город Сатрия…* – У Тита Ливия – Сатрик.

Стр. 209 *…Камилл содействовал и помогал им, дабы проступок их предан был забвению и дабы они пользовались правами римского гражданства* . – В 378 году от основания Рима.

Стр. 209 *…более пятисот югеров.* – Югер – древнеримская мера площади, приблизительно соответствует 0,29 га.

Стр. 210 *…избрали диктатором пятый раз Камилла.* – В 387 году от основания Рима.

Стр. 211 *…тринадцать лет по взятии галлами Рима.* – Точнее, через 23 или 25 лет.

Стр. 211 *Умер также и Камилл.* – В 388 году от основания Рима.

Перикл

Перикл (ок. 495–429 до н. э.) – афинский государственный деятель, реформатор.

Стр. 212 *Антисфен…* – Антисфен – греческий философ, ученик Сократа, основатель школы киников. Исмений известен тем, что был послан Пелопидом к царю Артаксерксу. Антисфен хотел сказать, что, как Исмений, посвятил всю жизнь музыке и ему некогда было заняться образованием сердца и ума.

Стр. 213 *…узрев Зевса в Писе или Геру в Аргосе… Филемоном…* – Статуя Зевса в Олимпии работы великого греческого скульптора Фидия считалась одним из семи чудес света. Статуя Геры в Аргосе была изваяна Поликлитом. Филемон (365–264 до Р. Х.) – греческий поэт, автор многочисленных комедий.

Стр. 213 *Это есть десятая книга…* – Если считать по одному жизнеописанию, биография Перикла будет девятой; если же по две, то жизнеописания Перикла и Фабия Максима – пятые. По рукописи, хранящейся в Королевской библиотеке в Париже, жизнеописанием Деметрия начиналась третья часть сочинений Плутарха.

Стр. 213 *Ксанфипп, победивший при Микале…* – Эта победа (479 до Р. Х.) была одержана в тот самый день, когда Аристид и Павсаний победили персидские войска при Платеях. Микале – мыс в северной части Милетской бухты.

Стр. 213 *…того Клисфена…* – Клисфен – царь Сикиона, выдал свою дочь Агаристу за афинянина Мегакла. От этого брака родились Клисфен, о котором здесь упоминается, и Иппократ, отец Мегакла и Агаристы, матери Перикла.

Стр. 213 *Бессмертными прозван он «Кефалегерет* ». – Это слово составлено по подобию гомеровского эпитета «Нефелигерет» («Тучегонитель», о Зевсе) и означает «Многоголовый, великоголовый».

Стр. 214 *Эвполид в комедии «Демы», спрашивая о каждом демагоге…* – Эвполид – афинский драматург. Телеклид – греческий комедиограф. Дем – территориальная единица, на которую делились триттии – составные части аттических фил; *зд* . в значении «племена». – *Примеч. ред* .

Демагог – букв. «вождь народа», политический деятель, выступающий от имени народа.

Стр. 214 *…великим софистом…* – Софист – *зд.* мудрец.

Стр. 214 *Платон представляет одно лицо…* – Платон – комический поэт, современник Аристофана. Хирон – в греческой мифологии мудрый кентавр, наставник Ахиллеса.

Стр. 214 *…был слушателем и Зенона…* – Зенон Элейский (ок. 490 – ок. 430 до Р. Х.) – великий греческий философ, ученик Парменида, считался основоположником диалектики.

Стр. 214 *Тимон из Флиунта…* – Тимон (ум. 230 до Р. Х.) – греческий философ, ученик Пиррона.

Стр. 214 *…из Клазомен.* – Клазомены – город в Малой Азии.

Стр. 215 *…имела некоторую сатирическую часть.* – Обычно трагики давали четыре представления, последнее из которых всегда было сатирическим: герой выставлялся на осмеяние. Примером такого рода сатиры может служить «Киклоп» Эсхила.

Стр. 216 *В то же время переменил он обыкновенный образ жизни* . – Перикл вступил в должность в семьдесят третью олимпиаду, за 488 лет до Р. Х.

Стр. 216 *…как Саламинский корабль…* – Саламинский корабль – один из священных кораблей, который ежегодно отправлялся на Делос с приношениями. Критолай – философ-перипатетик, в 155 году до Р. Х. вместе с Карнеадом и Диогеном отправился послом в Рим.

Стр. 217 *…еще слова Фукидида…* – Речь о зяте Кимона, предводителе олигархов, который не имеет отношения к знаменитому историку.

Стр. 217 *«…истребить Эгину, как гной с глаз Пирея»…* – Остров Эгина в те времена обладал морским могуществом и препятствовал укреплению Афин на море.

Стр. 217 *Жалованьем за присутствие в театрах и судах…* – Деньги, предназначенные для войны, использовали для увеселения народа; отсюда название «феоретические» – «зрелищные». Каждому гражданину давалось из общественной казны 3 обола в качестве платы за место в театре. Многие суды в Афинах состояли из граждан, которые получали по одному оболу за каждое дело, которое они рассматривали.

Стр. 217 *…не был ни архонтом, ни фесмофетом, ни царем, ни полемархом.* – Архонтов было девять; они избирались по жребию. Первый назывался архонт *эпиним* – по его имени обозначался год; он ведал завещаниями, отказами и театром. Второй архонт *(басилевс)* ведал религиозными вопросами. Третий архонт *(полемарх)* командовал войском и надзирал за иноземцами. Шесть других архонтов назывались *фесмофетами* (см. примеч. в жизнеописании Солона).

Стр. 218 *…напали на Танагрскую область.* – Танагра – город в Беотии на границах Аттики.

Стр. 218 *…пристал с оружием к единоплеменным …* – Здесь разумеются не афиняне в целом, но филы, на которые делились горожане.

Стр. 218 *…опустошал царские области…* – То есть принадлежащие персидскому царю.

Стр. 218 *…можноли верить Идоменею…* – Идоменей – греческий историк, ученик Эпикура, автор «Истории Самофракии».

Стр. 219 *…из Алопеки…* – Алопека – местечко в Аттике, в филе Антиохия.

Стр. 219 *…отправил он тысячу поселенцев в Херсонес; пятьсот – на Наксос; на Андрос половину этого числа; во Фракию тысячу – для поселения вместе с бизальтами; других отправил в Италию при возобновлении Сибариса, который переименован в Фурии.* – Херсонес – имеется в виду Херсонес Фракийский на Геллеспонте. Наксос и Андрос – острова в Эгейском море. Бизальты – фракийское племя, обитавшее на западном берегу реки Стримон. Сибарис – город на западном побережье Тарентинского залива, был разрушен жителями Кротона за 510 лет до Р. Х. Город Фурии на месте Сибариса был основан в 444 году до Р. Х.

Стр. 219 *…общую казну греков перевел из Делоса к себе…* – Деньги, которые ежегодно взносились греческими городами для продолжения войны с персами, хранились на острове Делос в храме Аполлона под надзором казнохранителей-эллинотов («эллинских казначеев»). Перикл перенес эту казну в Афины.

Стр. 220 *…живописец Агафарх…* – Агафарх (V в. до Р. Х.) – греческий художник.

Стр. 221 *Парфенон Гекатомпедон…* – Парфенон, храм Девы Афины, назывался Гекатомпедоном («Стофутовым») потому, что был построен на месте храма, сожженного персами, который имел 100 футов в длину.

Стр. 221… *Длинная стена, о которой говорит Сократ…* – Длинные стены были построены после 461 года до Р. Х. между Афинами и портом Пирей. Эти стены были столь широки, что по ним могли проехать два воза в ряд.

Стр. 221 *…подвигоположником…* – Подвигоположник давал награду от себя.

Стр. 221 *Пропилеи, или вход в акрополь…* – Пропилеи – монументальный вход в афинский Акрополь, построены в 437–431 годах до Р. Х.

Стр. 222 *«Итак, пусть все будет на мой счет, а не на ваш, – продолжал Перикл, – я напишу собственное свое имя на сих зданиях».* – В афинском Акрополе хранилось до 9700 талантов. В начале Пелопоннесской войны там оставалось около 6000 талантов. Вряд ли Перикл был настолько богат, чтобы заплатить такую сумму из личных средств.

Стр. 223 *…называют друзей его новыми писистратидами…* – Речь о телохранителях, которыми окружил себя Писистрат.

Стр. 224… *покрыв голову платьем…* – Так поступали люди, желавшие совершить самоубийство.

Стр. 224…к *ахейцам во Фтиотиде…* – Ахейцы – *зд.* греки.

Стр. 224 *Толмид, сын Толмея, полагаясь на прежние удачи…* – Он ограбил Пелопоннес, сжег карфагенские корабли, победил сикионское войско и взял Халкиду и Коринф.

Стр. 225 *…убит при Коронее…* – Это случилось во 2 году 85 олимпиады, за 20 лет до смерти Перикловой.

Стр. 225 *…поход в Херсонес…* – Имеется в виду Херсонес Фракийский на Геллеспонте.

Стр. 225 *…сикионцы в Немее…* – Немея – город в Арголиде, известен происходившими поблизости от него играми. Сикион – город в Пелопоннесе.

Стр. 225 *Из Ахайи…* – Ахайя – северная часть Пелопоннеса. Римляне называли Ахайей Грецию в целом.

Стр. 225 *Он вступил в Понт…* – То есть в Черное море.

Стр. 225 *…жителям Синопы…* – Синопа – город на южном берегу Черного моря.

Стр. 225 *…хотели вновь завоевать Египет…* – По словам Фукидида, афиняне некогда владели частью территории Египта, но были изгнаны персами в 1 году 80 олимпиады.

Стр. 226 *…на лбу медного волка…* – Этот волк стоял близ большого жертвенника в память того, что волк убил разбойника, который ограбил Дельфийский храм и скрывался в густых лесах.

Стр. 227 *…родом из Милета…* – Милет – город в Малой Азии.

Стр. 227 *…Деянирой…* – Деянира – последняя жена Геракла.

Стр. 228 *…Кир…* – Имеется в виду Кир Младший, сын Дария Второго и брат Артаксеркса. По воле отца он управлял Малой Азией, попытался завладеть престолом и погиб в сражении.

Стр. 228 *…родом из Фокеи…* – Фокея – город в Малой Азии.

Стр. 228 *…за городПриену.* – Приена – город в Малой Азии.

Стр. 228 *…перс Писсуфн…* – Писсуфн, управлявший Сардами, имел тайные сношения с главными гражданами Самоса, которые поддерживали персов. С его помощью самосцы после отбытия Перикла свергли демократию и выдали персам афинский гарнизон.

Стр. 229 *…клеймили у них на лбах знак совы…* – Фукидид не упоминает о подобных варварских поступках.

Стр. 229 *Народ самосский впрямь великий грамотей* ! – Из потерянной комедии «Вавилоняне». «Полиграмматос» значит «имеющий много букв, ученый, грамотный».

Стр. 229 *Перикл употребил при осаде машины…* – В 4 году 84 олимпиады, за 441 год до Р. Х.

Стр. 230 *Дурис Самосский…* – Дурис – греческий историк, ученик Теофраста, автор исторических сочинений о македонской эпохе.

Стр. 230 *…и по обыкновению произнес при погребении их ту речь…* – Оратора назначал ареопаг. Фукидид сохранил речь, произнесенную Периклом в честь погибших в начале Пелопоннесской войны.

Стр. 230 *…возгорелась Пелопоннесская война.* – Пелопоннесская война началась в 431 году до Р. Х.

Стр. 230 *Керкиряне претерпевали нападение от коринфян.* – Жители Керкиры (ныне Корфу) враждовали с Коринфом из-за владения городом Эпидамн в Иллирии. Обе стороны просили помощи афинян, которые сначала отказали керкирянам, но вскоре заключили с ними союз по совету Перикла. Коринфяне отправили послов в Спарту, обвиняя Афины в несправедливых поступках. В итоге Спарта объявила войну Афинам.

Стр. 230 *...привязать к себе остров, столь сильный на море…* – Керкиряне имели в своем распоряжении 120 кораблей.

Стр. 231 *...если бы он в предводительстве не произвел ничего великого и блистательного.* – Фукидид не упоминает о подобных замыслах Перикла; он говорит, что Перикл приказал Лакедемонию и двум другим предводителям, Диотиму и Протею, не вступать в сражение с коринфянами, если только те не предпримут высадку на Керкиру.

Стр. 231 *...прибыли после сражения.* – Сражение это было кровопролитно, но победа сомнительна. Обе стороны хотели возобновить битву, но тут появились двадцать афинских кораблей, опоздавших к началу боя. Не зная, чьи это корабли, обе стороны устрашились.

Стр. 231 *...Потидея…* – Потидея – город на полуострове Паллена, впоследствии Кассандрия.

Стр. 231 *...когда посольство из Спарты прибыло в Афины…* – Лакедемоняне требовали изгнать из Афин тех граждан, которые участвовали в злодеяниях Килона (в том числе Перикла как родича Мегакла), снять осаду Потидеи, признать независимость Эгины и прекратить вражду с мегарянами. Перикл заявил, что лакедемоняне поступают так единственно из зависти к благосостоянию Афин и что афиняне возвратят независимость тем народам, которые были самостоятельны при заключении последнего мира с Лакедемоном, если спартанцы сделают то же самое.

Стр. 231 *...засеяли священную землю…* – Имеется в виду территория между Мегаридой и Аттикой, посвященная Элевсинским богиням; обрабатывать ее считалось святотатством.

Стр. 231 *Мегаряне, защищаясь в убийстве Анфемокрита…* – Фукидид об этом не упоминает.

Стр. 232 *Им мстя, у Аспасии двух блудниц отнимают.* – Таким образом, продолжает поэт, из-за трех бесчестных женщин произошла война между греками! В другой комедии говорится, что причиной войны был страх Перикла подвергнуться участи Фидия, сооружившего статую Афины (см. ниже).

Стр. 232 *Фидий заключен был в темницу…* – Скульптора Фидия обвиняли в том, что он представлением новых лиц портит истину истории, которая приносила столь много чести Афинам и основателю города Тесею. В сочинении о мире, которое приписывают Аристотелю, сказано: «Фидий, который изваял статую Афины в Акрополе, изобразил себя самого в средине щита богини с таким искусством, что все части статуи распались бы, когда бы захотели снять его изображение».

Стр. 232 *...по причине связи его с Анаксагором.* – Философ Анаксагор отвергал богов, признавая единственным источником жизни Нус – разум. Обвиненный противниками Перикла в безбожии, был вынужден покинуть Афины.

Стр. 233 *...вступили в Аттику вместе со своими союзниками, под предводительством царя Архидама* . – Во 2 год 87 олимпиады.

Стр. 233 *...дошли они до Ахарн…* – Ахарны – поселение в Аттике, недалеко от Афин.

Стр. 234 *На него нападал и Клеон…* – Клеон, предмет насмешек Аристофана, по происхождению был сыном кожевника, добившийся расположения народа дерзостью и бесстыдством.

Стр. 234 *Сатиров царь!* – Царем сатиров поэт называет Перикла, вероятно, по причине распутной жизни, в которой его обвиняли неприятели.

Стр. 234 *Пагубная моровая язва в первый раз обнаружилась в городе…* – Самая страшная чума, о которой упоминает античная история, живыми красками описана Фукидидом, который сам ею переболел.

Стр. 234 *...вооружил сто пятьдесят кораблей…* – На этих кораблях было четыре тысячи пехоты и четыреста конных. К ним присоединись и пятьдесят кораблей с Хиоса и Лесбоса.

Стр. 235 *...осадил священный Эпидавр…* – Эпидавр – город в Арголиде, известен храмом

бога Асклепия.

Стр. 235 *...но болезнь ему препятствовала.* – Фукидид об этом не упоминает.

Стр. 235 *...некоторый пентатл…* – Пентатл – атлет, одержавший победу в пяти состязаниях (кулачный бой, метание диска, бег, прыжки и борьба).

Стр. 235 *...целый день провел с Протагором…* – Протагор из Абдеры (ок. 480410 до Р. Х.) – виднейший греческий софист, учитель Перикла, преподавал риторику и, как утверждали современники, приобрел себе этим более богатства, нежели Фидий своими изящными произведениями.

Стр. 236 *...египетский царь…* – Вероятно, Инар, союзник Афин.

Стр. 236 *...впоследствии одержал победу при Аргинусских островах над флотом пелопоннесцев и был умертвлен со своими товарищами по приговору народа.* – Казнили восьмерых, причем шестерых приговорили к смерти единственно за то, что после сражения они не похоронили своих убитых. Сократ был в числе судей и отказался подать голос против обвиняемых. Аргинусские острова – острова у побережья Малой Азии, рядом с Лесбосом; между Митиленой и Кимой.

Фабий максим

Фабий Максим (275–203 до н. э.) – римский полководец и государственный деятель, противник Ганнибала.

Стр. 237 *...многочисленный и знаменитый род Фабиев.* – В войне против Вейи сражались триста шесть Фабиев; все они были убиты.

Стр. 237 *Фодии названы Фабиями* .– Вероятнее всего мнение Плиния, который производит имя Фабиев от лат. *Faba* – «боб»; может быть, имя это связано с искусством Фабиев в разведении этого растения, сходственно с простотою тех веков, в которые земледелие было занятием лучших людей. Так, имя Лентулов происходит от лат. *Lentula* – «чечевица», а Цицеронов от лат. *Cicer* – «горох».

Стр. 238 *Начиная от Рулла…* – Квит Фабий Максим Рулл пять раз был консулом, один раз диктатором (в 453 году от основания Рима) и одержал над самнитами, этрусками и другими народами знаменитые победы. Назван он величайшим потому, что, будучи цензором в Риме, разделил плебс на четыре городские трибы.

Стр. 238 *И теперь существует речь…* – Цицерон хвалит Фабия за красноречие, которое, подобно Фукидидову, было мужественным и лишенным пустой вычурности.

Стр. 238 *В первом своем консульстве удостоился триумфа за победу над лигурийцами.* – Фабий был консулом в первый раз в 521 году от основания Рима; во второй – в 526 году, за десять лет до вступления в Италию Ганнибала; в третий раз в 559 году, то есть на третий год Пунической войны, после сражения при Каннах; в четвертый в 540 году и пятый в 545 году, когда он взял Тарент. Лигурийцы (лигуры) – италийское племя, населявшее верхнюю Италию.

Стр. 238 *По прошествии нескольких лет Ганнибал вступил в Италию. Он одержал победу при реке Требии…* – Ганнибал вступил в Италию в 1 году 141 олимпиады, за 216 лет до Р. Х. Река Требия берет начало в Апеннинах и впадает в По выше Пьяченцы. Ганнибал прежде того одержал победу при Тессине над Корнелием Сципионом, но она не была решительной.

Стр. 238 *«Марс потрясает своим оружием* ».– Эти записки хранились издревле в Пренесте, Цере и других городах. Мальчик вынимал их из сундука в ответ желающим знать будущее. На одной из этих записок были слова: «Марс потрясает» и т. д.

Стр. 238 *...консула Гая Фламиния…* – Гай Фламиний Непот был консулом в первый раз в 531 году от основания Рима, за 223 года до Р. Х., вместе с Публием Фурием Филом.

Стр. 239 *Что касается до поражения при Требии, то ни консул, писавший об оном…* – Битва при Требии произошла в 555 году от основания Рима; консул Тиберий Семпроний Лонг писал сенату, что дурная погода вырвала победу из его рук.

Стр. 239 *...претор Помпоний, получив известие о сем поражении, собрал народ* … – В отсутствии консулов претор обыкновенно занимал их место.

Стр. 239 *Фабий избран диктатором* .– Диктатором назначался один из консулов. Поскольку консул Фламиний погиб в сражении, а консул Сервилий был в войске, то народ

назвал Фабия «продиктатором», или наместником диктатора. Тит Ливий говорит, что из уважения к славе Фабия его потомки просили позволения называть его диктатором.

Стр. 239 *Он назначил начальником конницы Луция Минуция…* – У Полибия и Тита Ливия – Марка Минуция Руфа.

Стр. 240 *Один из консулов…* – Речь о консуле Сервилии.

Стр. 240 *…рассмотрены были многие тайные и пророческие книги, которые римляне называют Сивиллиными…* – Сивиллы – пророчицы, в священном экстазе предрекавшие будущее. Свои предсказания сивиллы давали в стихотворной форме – гекзаметром. Традиция насчитывает от двух до десяти сивилл, каждую из которых называли по месту обитания; по сей день наиболее известны дельфийская и кумская сивиллы. – *Примеч. ред* .

Кумская сивилла принесла Тарквинию Старшему девять Сивиллиных книг, требуя за них триста золотых монет. Царю показалось дорого – она сожгла три книги и за остальные хотела ту же цену. Тарквиний почел ее безумной. Она сожгла еще три – и царь дал ей требуемую сумму, а книги передал на хранение жрецам.

Стр. 240 *…обещал принести богам к концу весны в жертву весь приплод коз, овец, быков и свиней…* – Это приношение называли «священной весной». Все, кто рождался между 1 марта и 1 мая, посвящались богам. Впоследствии обет ограничили только животными – ягнятами, козлятами и пр.

Стр. 240 *…учредить мусические и театральные зрелища…* – Первоначально римские игры представляли собой состязания в цирке, к которым позднее добавились театральные представления.

Стр. 240 *…что все составляет восемьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят три драхмы и два обола.* – Плутарх здесь отступает от Ливия, по свидетельству которого было обещано 333 333 х/э ассов. Десять ассов составляли денарий (греческую драхму), значит, 33 333 денария и 31/ асса равны 13 талантам, 55 минам и 83 драхмам. Сумма, названная Ливием, составляет 5 талантов, 55 мин, 33 драхмы и 2 обола.

Стр. 240 *…прославлять силу троицы…* – По учению пифагорейцев и платоников триада есть совершенное число. Плутарх называет его началом множества.

Стр. 240 *…первое из нечетных и начало множества…* – Ибо единица не есть количество.

Стр. 240 *…удаляясь от его конницы.* – Конница Ганнибала состояла из нумидийцев.

Стр. 241 *…вести войска к Казину.* – Казина – город в области вольсков.

Стр. 243 *…он отступил в безопасности, исполнив себя крайнего высокомерия, а воинов своих – дерзости.* – Ливий пишет, что он потерял пять тысяч человек, а карфагенян умертвил шесть тысяч.

Стр. 244 *…как с сыном своим поступил Манлий Торкват…* – Тит Манлий Империос Торкват, будучи в третий раз консулом в 414 году от основания Рима, за 340 лет до Р. Х., отрубил голову своему сыну за то, что тот ослушался отца и вступил в поединок с неприятельским военачальником.

Стр. 244 *…мнение тех философов…* – Имеются в виду стоики.

Стр. 244 *Фабий на это не согласился.* – По свидетельству Полибия, Фабий дал Минуцию выбор – командовать по очереди или разделить легионы; Минуций предпочел последнее.

Стр. 245 *Минуций послал вперед легкое войско, потом конницу…* – По словам Полибия, отряд насчитывал пятьсот человек конницы и пять тысяч пехоты.

Стр. 246 *Теренций Варрон, человек низкого рода…* – Варрон был сыном мясника, трудился под началом отца, а когда приобрел достаточно богатства – начал заниматься общественными делами. Покровительствуя гражданам самого низкого состояния, он приобрел любовь черни, что позволило ему стать квестором, эдилом, претором и наконец консулом.

Стр. 246 *…тогда набрано было восемьдесят восемь тысяч воинов.* – В те времена у римлян имелись четыре легиона пехоты численностью каждый четыре тысячи пехотинцев и двести конных. Численность легиона могла быть при необходимости увеличена до пяти тысяч пехоты и 300 конных, к которым придавали столько же пеших латинян и втрое больше конницы, благодаря чему общая численность возрастала до 10 тысяч пехоты и 800 конных.

Стр. 247 *…Эмилия Павла…* – Луций Эмилий Павел был консулом в первый раз вместе с Ливием Салинатором за год до прибытия Ганнибала в Италию. Они вели войну в Иллирии. По

возвращении Саллинатору присудили штраф за то, что он неровно разделил добычу между воинами – или за похищение общественных денег. Павел сумел оправдаться.

Стр. 247 *...на реке Ауфида, близ местечка, называемого Канны…* – Ауфида (ныне Офанто) – река в Италии, впадает в Адриатическое море. Канны – поселение в Апулии; место сражения носит название *Campo di sangue* – «Кровавое поле».

Стр. 247 *...видя смелость полководца и многочисленность его войска…* – Тит Ливий пишет, что римское войско состояло из 90 тыс. пехоты и 8100 конницы; Полибий дает 80 тыс. пехоты и 9600 конницы. У Ганнибала было не более 40 тыс. пехоты и 10 тыс. конницы.

Стр. 248 *Это-то было причиной величайшего поражения римлян.* – Кроме того, Ганнибал использовал военную хитрость: 500 нумидийцев по его приказу перешли к римлянам и во время сражения напали на римлян с тыла.

Стр. 248 *...убежал в город Венусию…* – Венусия (Венузия) – город в Апулии, отечество Горация.

Стр. 248 *...в обоих станах поймано не менее десяти тысяч.* – По словам Полибия, римлян погибло 70 тысяч, в плен взято 10 тысяч. Ганнибал потерял четыре тысячи галлов, полторы тысячи африканцев и испанцев и около двухсот конных. Тит Ливий говорит, что римлян погибло 450 тыс. пехоты и 2700 конницы.

Стр. 249 «*Ты умеешь побеждать, но пользоваться победой не умеешь!»* – По легенде, Ганнибал впоследствии признал свою ошибку и часто восклицал: «Канны! Канны!»

Стр. 249 *...ибо приятны божеству поклонения только счастливых людей.* – Римляне верили, что празднество этой богини надлежит справлять только тем, кто не испытывает горести. Римлянки надевали белое. Тит Ливий замечает, что тогда не было ни одной римлянки, которая бы не носила траура.

Стр. 250 *...но предстал, дабы принять начальство, действовать законами и гражданами в надежде, что они могут еще восстановить себя.* – Валерий Максим пишет, что сенат и народ хотели избрать Варрона в диктаторы, но он отказался. Фронтин говорит, что он отрастил себе волосы и бороду, ел стоя и отказался от всех достоинств, предлагавшихся народом.

Стр. 250 *...как говорит Посидоний…* – Посидоний – греческий философ-стоик, автор «Истории» в 52 книгах.

Стр. 250 *...граждан Метапонта…* – Метапонт – город в Лукании, на Тарентинском заливе.

Стр. 250 *...некий воин…* – Тит Ливий говорит это о Марцелле и дает воину имя Луций Банций. Другие авторы называют его Статилием.

Стр. 251 *Город Тарент…* – Тарент – город в Италии, греческая колония.

Стр. 251 *Некий бруттиец…* – Бруттийцы – жители области Бруттий (ныне Абруццо).

Стр. 252 *...которых Марцелл привел из Сицилии…* – По свидетельству Тита Ливия, в Италию войска привел не Марцелл, а его товарищ Левин. Регий (Реджо) – город на южной оконечности Апеннинского полуострова.

Стр. 252 *...обвиняли его в вероломстве и жестокости.* – Тит Ливий говорит, что многие бруттийцы погибли вследствие застарелой ненависти к ним – или для сокрытия того, что Тарент был взят изменой.

Стр. 252 *В народную казну внесено три тысячи талантов.* – Тит Ливий называет цифру втрое большую.

Стр. 252 *«Оставим тарентинцам разгневанных их богов!»* – Тарентинцы изображали своих богов вооруженными по примеру лакедемонян, от которых они происходили. Аполлон бросал стрелы, Юпитер потрясал молниями и т. д. По этой причине Фабий и называет их разгневанными.

Стр. 252 *...он показал себя не таким знатоком, как Марцелл…* – Марцелл по взятии Сиракуз увез в Рим прекраснейшие статуи.

Стр. 253 *...сказал некогда в сенате, что он, а не Фабий причиной тому, что Тарент взят* . – Тит Ливий говорит, что в сенате судили Марка Ливия; друзья, говоря в его пользу, назвали его виновником возвращения Тарента. Фабий ответил: «Признаюсь, что взятие Тарента есть дело Ливия; сей город не был бы взят, когда бы прежде он не потерял его».

Стр. 253 *...избрали в консулы сына его.* – Квинта Фабия Максима, который был консулом

после четвертого консульства своего отца, на шестом году войны.

Стр. 253 *«…Так мы, так праотцы наши, возвысили Рим, детям своим и родителям всегда предпочитая благо отечества* ». – Тит Ливий говорит, что молодой Фабий находился с войском под стенами города Суэссула, когда к нему приехал отец с посланием от сената; все стражи, уважая его достоинство, позволили ему проехать беспрепятственно, но когда он доехал до двенадцатой стражи, консул приказал воинам исполнить свой долг. Часовые приказали Фабию спешиться, он подчинился, а потом сказал сыну: «Сын мой, я хотел испытать, чувствуешь ли ты, что ты консул».

Стр. 253 *…провожал на войну консула – сына своего.* – Квинта Фабия Максима Гургита, консула в 462 году от основания Рима, за 292 года до Р. Х. После поражения от самнитов сенат хотел его отозвать, но отец обещал служить под началом сына в качестве наместника. Гургес одержал потом великую победу над самнитами и удостоился триумфа.

Стр. 254 *Корнелий Сципион…* – Публий Корнелий Сципион, получивший прозвище Африканского.

Стр. 254 *…у него были обязанности верховного жреца.* – Верховным жрецам не разрешалось покидать Италию.

Стр. 254 *Определили, чтобы Сципион взял лишь находившиеся в Сицилии войска и триста человек из бывших с ним в Иберии, которые были ему вернее всех* . – Тит Ливий пишет, что Сципиону позволили взять с собой семь тысяч добровольцев. Триста воинов – силодуры – принесли Сципиону клятву верности.

Стр. 255 *…получено известие о взятии в плен нумидийского царя, о сожжении в одно время двух станов…* – Нумидийский царь – Сифакс. Станы – имеются в виду лагери Гасдрубала и Сифакса.

Стр. 255 *…отплыл из Италии…* – В 551 году от основания Рима.

Стр. 256 *Покорению Самоса Периклом можно противоположить взятие Тарента…* – Взятие Самоса знаменито, но Тарент предан изменой.

Стр. 257 *…простиралось до шести талантов.* – Судя по числу освобожденных, которых было 247, и полагая по 250 драхм на человека, сумма составит 61 750 драхм; так как в таланте 6000 драхм, получается, что Фабий заплатил 10 талантов и одну треть.

Алкивиад

Алкивиад (ок. 450 – ок. 404 до н. э.) – афинский государственный деятель и полководец.

Стр. 258 *…отца родоначальником Эврисака…* – Эврисак – сын героя Аякса Теламонида, почитался в Афинах как герой и удостоился жертвенников.

Стр. 258 *…в сражении с беотийцами.* – Во 2 году 83 олимпиады, за 447 до Р. Х., афинянами командовал Толмид, который погиб в этом сражении.

Стр. 258 *Опекунами у Алкивиада были родственники его: Перикл и Арифрон …* – Агариста, мать Перикла, приходилась двоюродной сестрой Алкмеону, деду Диномахи, матери Алкивиада.

Стр. 258 *…упоминает Антисфен…* – Антисфен (ок. 450 – ок. 360 до Р. Х.) – греческий историк и философ; родом из Афин.

Стр. 258 *…в которых осмеивает Феора…* – В комедии «Осы», 44–47. По-гречески *коракс* значит «ворон», а *колакс* – «льстец». Алкивиад, картавым выговором, выразил свойства Феора, который был подлым льстецом; называя же его вороном, он хотел, может быть, показать его алчность.

Стр. 258 *Архипп…* – Архипп – комический поэт, современник Аристофана.

Стр. 258 *…волочит епанчу!* – Длинная накидка, волочившаяся по земле, считалась у греков и римлян признаком изнеженного, женоподобного мужчины.

Стр. 259 *Употребление плектра…* – Плектр – палочка для извлечения звука на струнных инструментах.

Стр. 259 *…первая бросила флейту, а другой и кожу содрал с флейтиста.* – Афина изобрела флейту, но выбросила ее, заметив, что игра на этом инструменте безобразит ее лицо. Кожу бог Аполлон содрал с сатира Марсия, который посмел состязаться с ним в умении играть

на флейте.

Стр. 259 *...исключена из числа благородных упражнений.* – Аристотель в своей «Политике» приписывает игре на свирели или на флейте силу возбуждать страсти, а не укрощать их.

Стр. 259 *Антифонт…* – Антифонт – афинский оратор.

Стр. 260 *...в сопровождении их с шумом.* – Греческое слово, здесь употребленное автором, выражает обыкновение молодых людей в Афинах ходить после ужина по городу с музыкой и в масках и производить разные шалости.

Стр. 260 *...не захотел войти к Аниту.* – Афиней представляет этот поступок Алкивиада с лучшей стороны. Он говорит, что Алкивиад вошел в дом Анита с одним бедным приятелем своим, Фрасиклом, выпил за здоровье Фрасикла и велел служителям нести в его дом половину золотых сосудов.

Стр. 260 *...поселившегося в Афинах иностранца.* – В Афинах назывались *метэками* чужестранцы, получившие позволение поселиться в Аттике, но не имевшие прав афинских граждан.

Стр. 260 *...собранные от того сто статеров…* – Статер – греческая серебряная монета достоинством две драхмы.

Стр. 261 *Клеанф говорил…* – Клеанф (ок. 350 – ок. 230 до Р. Х.) – знаменитый греческий философ-стоик, ученик Зенона и учитель Хрисиппа.

Стр. 261 *...в походе против Потидеи…* – Считается, что этот поход состоялся во 2 году 86 олимпиады.

Стр. 262 *В сражении при Дилии…* – Дилий – храм Аполлона в Беотии. Афинский полководец Гиппократ занял его, но был изгнан беотийцами.

Стр. 262 *...предстал перед народом и подарил ему имение и дом свой…* – Он подарил свое имение народу; впрочем, некоторые авторы полагают, будто бы он подарил его Алкивиаду.

Стр. 263 *...забыл о перепеле…* – Молодые люди в Афинах находили удовольствие в том, чтобы разводить перепелов, которых употребляли в пищу.

Стр. 263 *...Антиох, кормчий, поймал ее и отдал Алкивиаду; и с тех пор был для него весьма любезен.* – Этот Антиох, которому Алкивиад поручил флот в свое отсутствие, оказался виновником поражения афинян.

Стр. 263 *...пробежать оное без труда…* – Это значит, что Алкивиад одержал победу в состязании колесниц, лично в нем не участвуя.

Стр. 263 *Эфесяне поставили для него шатер, великолепно украшенный; хиосцы кормили его коней и доставляли множество жертвенных животных; лесбосцы снабжали вином и всем потребным для гостей, которых у него было много.* – Философ Антисфен говорит, что Хиос содержал лошадей Алкивиада, а Кизик поставлял животных для жертвоприношений. Он уверяет, что эти города оказывали Алкивиаду такое уважение не только в то время, когда он находился в Олимпии, но и во всех его путешествиях и походах. Эфес доставлял ему великолепные шатры; Лесбос – вино. Эти четыре города, которые были в союзе с Афинами, оказались как бы подвластны Алкивиаду.

Стр. 264 *...из Перитеды…* – Перитеда – местечко в Аттике.

Стр. 264 *Никий был лакедемонянским поверенным, или проксеном…* – Вместо Никия в некоторых изданиях Плутарха на этом месте стоит Алкивиад. Впрочем, Плутарх в жизнеописании Никия говорит, что он, а не Алкивиад, оказал покровительство лакедемонским пленникам. Фукидид сообщает, что род Алкивиада был издревле соединен гостеприимством с лакедемонянами, дед его отказался от этой связи, но Алкивиад хотел ее возобновить и потому оказал помощь пленникам. Проксен (гостеприимец) – гражданин, обязанный принимать в своем доме представителей другого города, угощать их и оказывать им содействие в делах.

Стр. 265 *...заключенный мир называли Никиевым.* – Никиев мир был заключен на 10 году Пелопоннесской войны (421 до Р. Х.).

Стр. 265 *...город Панакт…* – Панакт – крепость на границе Аттики и Беотии. Беотийцы завладели ею, но обязались отдать крепость лакедемонянам в том состоянии, в котором она находилась, дабы те передали Панакт афинянам и в обмен бы получили крепость Пилос.

Однако беотийцы срыли укрепления; афиняне подозревали, что это было сделано с согласия лакедемонян.

Стр. 265 *...не хотел взять запертых на Сфактерии неприятелей...* – На седьмом году Пелопоннесской войны афинский полководец Демосфен завладел важной крепостью Пилос, откуда мог совершать набеги на Лакедемон. Лакедемоняне всячески старались выгнать афинян из Пилоса. После поражения на море часть войска лакедемонян оказалась в блокаде на острове Сфактерия, лежащем против Пилоса. Однако Никий не сумел овладеть островом, тогда как Клеон (см. Жизнеописание Перикла), при всей своей неопытности, высадился на Сфактерии, умертвил многих неприятелей, а остальных привел в Афины.

Стр. 265 *...союз с аргосцами, мантинейцами и элейцами.* – Этот союз был заключен в 1 году 90 олимпиады, за 420 лет до Р. Х.

Стр. 266 *...заставил их дать как можно далее от Афин опасное сражение, в котором победа, ими одержанная, не доставила им никакой значительной пользы; в случае же поражения Лакедемону было бы трудно спасти себя.* – Сражение при Мантинее дано было в 3 году 90 олимпиады. Афиняне и союзники потерпели поражение. Алкивиад говорил, что после Мантинейского сражения лакедемоняне, хотя и вышли победителями, не полагались уже на свои силы. Это сражение следует отличать от битвы 362 года до Р. Х. при том же городе.

Стр. 266 *...так называемая Тысяча мужей...* – Эта Тысяча сражалась при Мантинее против лакедемонян и одна осталась непобежденной. По возвращении в отечество, воспользовавшись уважением народа, они захватили власть и держались восемь месяцев при помощи лакедемонян; однако в конце концов их свергли.

Стр. 266 *...дабы совершенно сблизить его с афинскими силами.* – Таким образом афиняне могли доставлять помощь против лакедемонян по морю.

Стр. 266 *...склонил он и патрейцев...* – Патры – главный город Ахайи при входе в Коринфской залив. Коринфяне, сикионцы и другие не позволяли патрейцам строить эти стены.

Стр. 266 *...в храме Аглавлы.* – Аглавла – дочь Кекропа, жрица Афины. Исполняя прорицание, она принесла себя в жертву, чтобы тем самым даровать победу отечеству в войне с элевсинцами. Афиняне посвятили ей рощу и храм близ Акрополя.

Стр. 266 *...вместо отеческих знаков...* – Отеческие знаки афинян – Афина, сова и маслина.

Стр. 266 *...выражает Аристофан следующими словами...* – В комедии «Лягушки», 1425–1431. Дионис нисходит в Аид, ища хорошего поэта; находит Эсхила и Еврипида и, не зная, кому из них отдать предпочтение, говорит: «Я возьму того, кто скажет что-либо полезное для республики. Какого вы мнения об Алкивиаде?» Еврипид: «А какого мнения о нем республика?» Дионис: «Она любит его и ненавидит. Но скажите, что вы о нем думаете?» Еврипид: «Я ненавижу гражданина, который медлителен в оказании отечеству пользы, а скор в делании ему зла; который умеет находить все способы себе, для отечества никакие». Дионис: «Прекрасно! А ты как думаешь?» Эсхил: «Не должно кормить льва во граде». Дионис: «Право, не знаю, на что решиться; один сказал мудро, другой ясно».

Стр. 267 *...поступок его с живописцем Агафархом...* – Говорят, что Алкивиад застал Агафарха у одной своей любовницы и хотел отомстить ему, задержав у себя.

Стр. 267 *...взял одну из плененных в Мелосе женщин...* – Мелос – один из Кикладских островов, принадлежал лакедемонянам. Афиняне завладели им под предводительством Алкивиада. Жителей острова, способных носить оружие, умертвили, а женщин и детей взяли в плен.

Стр. 267 *...Архестрат...* – Архестрат – греческий поэт.

Стр. 267 *По смерти его они приступили уже к делу, посылая при всяком случае к обижаемым сиракузянами так называемые союзнические пособия...* – Через два года после смерти Перикла афиняне послали корабли на помощь леонтинцам против сиракузян. На следующий год они отправили еще больше кораблей. Но сицилийцы помирились между собой и вернули корабли. Раздосадованные афиняне наказали полководцев; Софокла и Пифодора изгнали из города, а Эвримедону присудили крупный штраф.

Стр. 268 *...наступали Адонии...* – Адонии – празднества в честь Адониса, любимца Афродиты, справлялись весной и продолжались два дня. Первый день был посвящен печали;

носили траурную одежду, перед дверями домов ставили гробы и проч. Второй день был радостным, праздновалось возвращение Адониса к Афродите из загробного мира.

Стр. 268 *Искажение герм…* – Статуи Гермеса (гермы) имели вид четырехугольных столбов и ставились перед дверями храмов и частных домов.

Стр. 268 *…Сиракузы…* – Сиракузы – коринфское поселение, основанное Архием, потомком Геракла.

Стр. 268 *…гиерофанта…* – Гиерофант – верховный жрец Элевсинских мистерий.

Стр. 269 *…измеряя часы водою…* – В афинских судах использовали разновидность водяных часов, которые отмеряли время, отведенное на выступления истца и ответчика.

Стр. 269 *…он вышел со своими товарищами…* – Поход начался во 2 году 91 олимпиады. Трагический исход его описан в жизнеописании Никия.

Стр. 270 *…было послано Саламинское судно…* – О Саламинском корабле см. жизнеописание Перикла. Алкивиад отправился не на этом корабле, а на собственном, сопровождая Саламинский.

Стр. 271 *…сын Кимона из Лакиады, обвиняет Алкивиада, сына Клиния из Скамбониды…* – Лакиада и Скамбонида – местечки в Аттике.

Стр. 271 *…таинственные их обряды…* – Известны Великие и Малые мистерии. Допущенный к Малым мистериям назывался мистом. Через год его посвящали в Великие мистерии, и лишь тогда он получал право войти во храм и назваться эпонтом – созерцателем.

Стр. 271 *…вопреки законам и постановлениям Эвмолпидов…* – Эвмолп считается учредителем мистерий, хранителями которых выступали его потомки Эвмолпиды. Глашатаи принадлежали к другому роду, происходящему от Керика, сына Гермеса.

Стр. 271 *…укрепить Декелею…* – Декелея – городок в Аттике, на границе Беотии. Лакедемоняне, владея Декелеей, не позволяли афинянам доставлять в город серебро из Лаврийских копей, получать доходы с своих поместий и пр.

Стр. 272 *…носил на себе милетскую епанчу.* – В Милете изготавливали из льна весьма тонкие и дорогие материи.

Стр. 272 *«Это та же женщина!»* – Из трагедии Еврипида «Орест», 120. Елена посылает свою дочь Гермиону принести возлияния на гроб Клитемнестры и посвятить ей свои волосы; но вместо того, чтобы остричь все, как следовало в столь важном случае, Гермиона остригла малую часть волос, дабы не убавить своей красоты. Электра, заметив это, говорит: «Это та самая женщина!..»

Стр. 273 *Один из садов своих…* – Сатрапы (наместники) персидского царя имели обширные сады, в которых забавлялись охотой.

Стр. 273 *…из Дирады…* – Дирада – местечко в Аттике.

Стр. 274 *Когда усилились и всем завладели так называемые «пять тысяч», которых в самом деле было только четыреста…* – Дабы при перемене правления сохранить хотя бы подобие народоначалия, употребили они следующее средство: избирали пять председателей, которые назначали сто человек; каждый из тех назначал по три других. Эти четыреста человек имели верховную власть в своих руках и обещали народу созывать при необходимости совет из пяти тысяч граждан. Власть четырехсот продержалась несколько месяцев.

Стр. 275 *…при Аспенде…* – Аспенд – город в Памфилии, на южном побережье Малой Азии.

Стр. 275 *…плавал к Книду и Косу.* – Кос – остров у побережья Карии. Книд – город на западной оконечности Карии.

Стр. 275 *…и что афиняне преследуют его.* – Фрасибул с пятьюдесятью кораблями отправился из Самоса, дабы опередить Миндара и занять Геллеспонт.

Стр. 275 *…при Абидосе…* – Абидос – город во Фригии, на Геллеспонте. Город Сест находился на противоположной стороне пролива.

Стр. 276 *…Алкивиад достал себе коня, неизвестно каким образом обманул стражей и убежал в город Клазомены.* – Ксенофонт говорит, что Алкивиад с шестью кораблями отправился из Клазомена и прибыл в Херсонес Фракийский, где стоял афинский флот. Оттуда он по суше добрался до Сеста и предложил морякам сдаться. Когда присоединились к нему сорок кораблей, он отправился в Пропонтиду. По прибытии на Проконнес, малый остров,

лежащий против Кизика, он узнал, что Миндар находился в Кизике вместе с Фарнабазом, при сухопутном войске. Алкивиад целый день отдыхал на Проконнесе, а на следующий день напал на неприятеля.

Стр. 277 *Фрасилл при Эфесе был разбит, и эфесяны, к стыду афинян, воздвигли медный трофей* . – Фрасилл был разбит при Эфесе через год после победы при Кизике. Трофеи обыкновенно ставились деревянные, чтобы при необходимости их легко можно было уничтожить. Однако эфесяне воздвигли медный трофей, чтобы увековечить память о поражении афинян.

Стр. 277 *...напасть на Халкедон…* – Халкедон – город на Босфоре.

Стр. 277 *...завладел Селимбрией…* – Селимбрия – город на Пропонтиде, к западу от Византия.

Стр. 277 *...афиняне не против селимбрийцев поднимают оружие.* – Смысл тот, что афиняне воюют не с селембрийцами, а с находящимися в их городе спартанцами.

Стр. 278 *...взял с них только деньги…* – Ксенофонт говорит: двадцать талантов.

Стр. 278 *После сражения никто из византийцев не был убит или изгнан…* – Взятие Византия произошло в 4 году 92 олимпиады, за 409 лет до Р. Х.

Стр. 279 *...возвратился в Афины.* – Алкивиад не возвратился прямо в Афины, но отправился сначала на Самос, потом вошел в Керамический залив, где собрал сто талантов, вернулся на Самос; с Самоса отправился в Парос; отсюда в Лаконский залив и наконец прибыл в Афины.

Стр. 279 *...писанное Критием…* – Критий, дядя Платона по матери, прославился своими стихами. Впоследствии был одним из тридцати тираннов и отличился от других жестокостью.

Стр. 280 *...отправляются Плинтерии…* – Плинтерии – ежегодное празднество в честь Афины Агравлы. Свое название праздник получил от слова, означающего «мыть», ибо в этот день мыли статую богини.

Стр. 280 *...совершаемые дорогою при выносе Иакха.* – Дорога, которою шла процессия из Афин в Элевсин, называлась Священной. Праздник продолжался девять дней. На шестой день несли в Элевсин статую Иакха, сына Деметры и Зевса.

Стр. 280 *...усмирить и унизить Агиса…* – Агис – спартанский царь, супругу которого обольстил Алкивиад.

Стр. 280 *...взяв жрецов, мистов и мистагогов…* – О мистах см. выше. Мистагоги – жрецы мистерий.

Стр. 281 *...близ Бисанты…* – Бисанта (Бизанфа) – фракийский город на Пропонтиде.

Стр. 282 *...оставил афинский стан, собрал нескольких иноплеменных воинов и вел войну сам…* – Алкивиад оставил афинский флот на Самосе в 1 году 93 олимпиады. Несчастное для афинян сражение при Эгоспотамах было дано в 4 году той же олимпиады.

Стр. 282 *...при Эгоспотамах…* – Эгоспотамы («Козья река») – поселение на побережье Херсонеса Фракийского.

Стр. 283 *...похоронила великолепным образом.* – Она похоронила его в местечке Мелисса. Афиней пишет, что, проезжая мимо этого места, видел гробницу Алкивиада, на которой император Адриан поставил статую белого мрамора и велел ежегодно приносить в жертву вола.

Стр. 283 *...в Гиккарах…* – Гиккары – городок на Сицилии.

Стр. 284 *...и умертвили его, как сказано, когда он выскочил из огня.* – Алкивиад умер в возрасте сорока лет. Историк Эфор у Диодора описывает его смерть иначе. Он говорит, что Алкивиад открыл намерение Кира Младшего поднять оружие против своего брата Артаксеркса и известил о том Фарнабаза, дабы он уведомил царя. Фарнабаз это исполнил, но присвоил себе всю честь открытия. Алкивиад, подозревая хитрость Фарнабаза, хотел сам ехать к царю, но Фарнабаз в Пафлагонии возбудил против него народ, который и умертвил «чужака».

Гай марций

Гай (Гней) Марций Кориолан – легендарный римский полководец.

Стр. 284 *От него произошел Анк Марций…* – Нума выдал дочь за Марция, сына того Марция, который убедил Нуму принять царское достоинство.

Стр. 284 *…и Цензорин, дважды римским народом избранный цензором…* – Имеется в виду Гай Марций Рутилий, избранный в 489 году от основания Рима. В другой раз был избран цензором вместе с Гнеем Корнелием Блазием – и за это получил прозвание Цензорин.

Стр. 285 *…когда Тарквиний, царствовавший в Риме, потом сверженный с престола, после многих битв и поражений решился в последний раз испытать свое счастье.* – Последнюю попытку вернуть трон Тарквиний предпринял в 258 году от основания Рима, за 496 лет до Р. Х. Он умер в том же году в кампанийском городе Кумы.

Стр. 285 *…перед глазами диктатора…* – Диктатором был Авл Постумий Альб, второй римлянин, возведенный в это достоинство. Сражение, о котором здесь упоминается, произошло при озере Ригилла.

Стр. 285 *…из уважения к аркадянам, названными прорицалищем желудоедами…* – Это прорицание сохранилось у Геродота.

Стр. 285 *…этот день, победный в июльских идах, посвящен Диоскурам.* – Об этом чуде Дионисий Галикарнасский говорит утвердительно. Но Ливий пишет только, что диктатор Постумий посвятил храм Кастору.

Стр. 286 *Он женился по ее просьбе и желанию и, прижив детей, жил всегда с матерью в одном доме.* – У Ливия мать Марция названа Ветурией, а жена Волумнией; Плутарх ниже называет ее Виргилией.

Стр. 286 *…Маний Валерий…* – Брат Валерия Попликолы, шестидесятилетний старец, уважаемый народом.

Стр. 286 *…выслал к ним снисходительнейших и более приверженных к народу старцев .* – По свидетельству Тита Ливия, Менений Агриппа вышел к народу в одиночестве. Дионисий говорит, что сенат избрал десять мужей.

Стр. 287 *Он требовал от сената позволения избрать предстателями для беспомощных граждан пять человек, которых теперь называют народными трибунами.* – Это случилось в 261 году от основания Рима, за 493 года до Р. Х., в консульство Спурия Кассия и Постума Коминия.

Стр. 287 *…Юния Брута…* – Его настоящее имя было Луций Юний.

Стр. 289 *…Сотер (спаситель), Каллиник (победитель); по виду Фискон, Грип (востроносый); по добродетели: Эвергет (благодетель), Филадельф (братолюб); по счастью: Эвдемон (благополучный) (так назван второй из Баттов)… Некоторым государям даны прозвания на смех: Антигон Досон, Птолемей Лафир (горох).* – Сотер – прозвание египетского царя Птолемея Лага, данное ему родосцами за помощь, оказанную им при осаде Родоса Деметрием Полиоркетом. Каллиник – прозвание Селевка Четвертого, царя Сирии. Фискон (Тучный) – прозвание Птолемея Шестого, царя Египта. Грип (Орлиный нос) – прозвание сирийского царя Антиоха. Эвергет – прозвание египетского царя Птолемея Третьего; Птолемей Второй носил прозвание Филадельф. Эвдемон – прозвание киренского правителя Батта. Досон (Обещающий) – прозвание македонского царя Антигона. Лафир – прозвание египетского царевича Птолемея, сына Птолемея Фискона.

Стр. 290 *…во время войны обстоятельства не позволили запастись хлебом из чужой страны .* – Дионисий Галикарнасский говорит, что народ удалился на священную гору незадолго до равноденствия осеннего. Поля остались без присмотра до зимнего поворота солнца, когда народ примирился с патрициями. Это потерянное в бездействии время имело пагубные последствия; рабочие лошади пали от голода, невольники убежали.

Стр. 290 *…прибыло посольство от велитрийцев* … – Велитры – город в области вольсков.

Стр. 291 *…в Афинах первый, подкупивший деньгами судей, был Анит…* – Анит был послан афинянами на помощь осаждаемой лакедемонянами крепости Пилос. Встречный ветер не позволил ему пройти мыс Малея, и он возвратился в Афины, а Пилос вскоре сдался неприятелю. Афиняне обвиняли Анита в измене и предали его суду. Дабы спасти свою жизнь, он подкупил судей. По уверению Диодора Сицилийского, он первым употребил в Афинах это средство.

Стр. 291 *…по словам Платона, спутника уединения…* – Платон пишет Диону: «Не забывай, что можно действовать лишь тогда, когда это нравится людям; упрямство есть спутник уединения».

Стр. 292 *Присутствующие в сенате трибуны…* – Трибунов первоначально было пятеро, но вскоре их число удвоилось. Прежде нежели народ оставил священную гору, было принято постановление о неприкосновенности трибунов. Трибуны имели право наложить вето на любые решения сената. Место их было у дверей сената, в который они вступали лишь тогда, когда консулы их призывали, чтобы узнать мнение народа.

Стр. 293 *…трибуны сами пришли к нему с эдилами…* – Эдилы – городские магистраты, первоначально помощники трибунов. Они надзирали за состоянием домов, улиц, рынков, торговлей и проч. Эдилов, избираемых из числа патрициев, называли курульными эдилами.

Стр. 294 *…случившийся поход против антийцев…* – Поводом к этой войне стало нападение антийцев на корабли царя Гелона, которые возвращались из Рима в Сицилию. Римляне попытались уладить конфликт миром, а затем пошли на антийцев войной; лишь тогда последние признали свою неправоту.

Стр. 295 *…насильственно произвели то, что голоса были подаваемы не по центуриям, а по трибам; дабы бедный, беспокойный, ни о чем похвальном не помышляющий народ имел перевес над богатыми, знатными и военными* .– Римские граждане разделялись по имущественному признаку на шесть классов, которые содержали 193 центурии. К первому классу относились богатейшие граждане, он состоял из 80 центурий; три следующих имели по 20 центурий, пятый класс содержал 30 центурий, а последний – класс беднейших – всего одну. Сюда также следует присоединить 18 центурий римских всадников, две центурии ремесленников и две центурии свирельщиков. Каждая центурия голосовала так, как решалось на предварительном собрании ее членов, то есть дела решались большей частью двумя или тремя первыми классами. Кроме того, народ римский разделялся на 20 триб – родовых объединений (впоследствии число триб возросло до 35). В трибах бедняки, как более многочисленная группа, имели перевес в подаче голосов. Если бы римляне подавали голоса по центуриям, Марций был бы оправдан; трибуны, дабы его погубить, избрали подачу голосов по трибам.

Стр. 295 *…в искании верховной власти…* – Общественными деньгами, говорил трибун Деций, он приобретает себе приверженцев и телохранителей для достижения верховной власти. Пусть он докажет, что имел право располагать добычей, не нарушая законов; он должен отвечать на это обвинение, а не ослеплять нас блеском своих венков и множеством ран.

Стр. 295 *…он был приговорен на вечное изгнание.* – Трибуны приговорили его к заточению, а не к смерти, опасаясь, что граждане не согласятся на казнь.

Стр. 295 *…обнял мать и жену, плачущих и рыдающих, увещевал их сносить терпеливо случившееся…* – Дионисий прибавляет, что он поручил их попечению своих детей; одному было десять лет, другой еще не вышел из младенчества.

Стр. 296 *Вступил в град мужей враждебных.* – См. «Одиссея», IV, 246.

Стр. 296 *…сел спокойно у очага…* – Очаг в доме посвящался богине Весте и считался священным местом и убежищем. Здесь садились те, кто просил покровительства хозяина.

Стр. 298 *…так называемые тенсы…* – Тенсы – род колесниц, на которых перевозились статуи богов.

Стр. 299 *…против города Цирцеи…* – Цирцеи – город в области вольсков на юге от Таррацины, ныне Монте-Чирчелло.

Стр. 299 *…взял приступом Толерий, Лабики, Пед и Болу…* – Эти города были взяты в консульство Спурия Навтия и Секста Фурия (488 до Р. Х.). Дионисий называет и некоторые другие города, взятые Кориоланом, в том числе Кориолы.

Стр. 300 *…а сенат, в Собрании рассуждая о таком предложении, не принял его и препятствовал поступить по оному…* – Дионисий говорит, что сенат, может быть, хотел испытать твердость народа или уничтожить подозрение в том, что патриции заставили Марция идти на Рим войной. Вероятно также, что это решение проистекало из свойственной римлянам гордости отвергать мир, когда военные обстоятельства им не благоприятствовали.

Стр. 300 *…оставил осаду Лавиния…* – Дионисий говорит, что Марций превратил осаду в блокаду, дабы голодом принудить жителей к сдаче.

Стр. 300 *…отправить к Марцию посланников…* – Посланниками назначены были пять славнейших мужей, бывших консулов, а именно: Марк Мануций, Постумий Коминий, Спурий

Ларций, Публий Пинарий и Квинт Сульпиций. Они говорили Кориолану, что сенат хотел его возвратить, но что несообразно с величием Рима объявлять об этом определение, пока он действует как неприятель.

Стр. 301 *...римляне опять отправили к нему посольство…* – Второе посольство состояло из десяти консуляров.

Стр. 301 *...бросил, как говорится, священный якорь…* – Священный якорь употребляли в чрезвычайных случаях.

Стр. 302 *Голубоокая Афина ему то в мысли вложила.* – См. «Одиссея», XXI, 1.

Стр. 302 *В ум народа внушил.* – См. «Илиада», IX, 459.

Стр. 302 *Вообразил ли то сам, иль боги так повелели.* – См. «Одиссея», IX, 339.

Стр. 302 *Тако в своей душе размышлял я великой.* – См. «Одиссея», IX, 299.

Стр. 302 *Сердце в могучей груди противна мысль волновала.* – См. «Илиада», I, 188.

Стр. 302 *Но не уверила храброго, доблестного Беллерофонта.* – См. «Илиада», VI, 161.

Стр. 303 *Попликола умер еще прежде…* – В 251 году от основания Рима, за 15 лет до этого события.

Стр. 305 *...и все, что могло служить к славе их.* – Дабы навсегда сохранить память об этом, решили вырезать на стеле похвалу этим женщинам.

Стр. 305 *...ставили в храме…* – Этот храм был построен на Латинской дороге *(Via Latina)* в 4000 шагах от Рима, на том самом месте, где мать смягчила просьбами своего сына. Валерия как спасительница республики стала главной жрицей.

Стр. 305 *...воображательной способности души представилось нечто похожее на мечту, как то и во сне кажется нам, что мы слышим и видим, не слыша и не видя* . – Тулл хотел, чтобы Кориолан сложил с себя власть, а потом дал отчет о своих действиях; но Кориолан хотел сначала отчет, а уже потом сложить власть.

Стр. 306 *...умертвили его.* – Марций погиб в 266 году от основания Рима, в консульство Спурия Навтия и Секста Фурия. Однако Фабий Пиктор, предшественник Дионисия и Тита Ливия, уверяет, что он жил у вольсков до глубокой старости.

Стр. 306 *...не показали к нему никакого знака почтения или гнева.* – Дионисий пишет, что римляне оплакивали его и всенародно, и частно.

Стр. 307 *Ссора их дошла до битвы и кровопролития.* – Через несколько лет после смерти Марция римляне выставили войско против вольсков и эквов, которые не могли договориться между собой о главенстве. Споры между вольсками и эквами постепенно переросли в вооруженный конфликт, но римляне не стали пользоваться ситуацией и предпочли отступить.

Стр. 309 *...ни Метелл…* – Квинт Цецилий Метелл Македонский, присоединивший к Риму Македонию и Ахайю, был консулом в 611 году от основания Рима.

Тимолеонт

Тимолеонт (411–337 до н. э.) – греческий полководец, освободил Сицилию от карфагенян.

Стр. 310 *...и сам был вскоре умертвлен изменническим образом…* – Дионисий Младший оставил Сиракузы в первый раз в 1 году 106 олимпиады, за 354 года до Р. Х. Дион был убит в 3 году той же олимпиады афинянином Калиппом, который владел Сиракузами 13 месяцев и пал от того же меча, которым он поразил Диона.

Стр. 310 *В десятый год изгнания своего Дионисий, собрав иноземное войско, изгнал Нисея…* – В 3 году 108 олимпиады, за 346 лет до Р. Х. Обстоятельства возвращения его малоизвестны, ибо сочинения сицилийских писателей Филиста и Тимея не дошли до нас. Во время десятилетнего изгнания он жил в Италии у локров. Нисей – италийский военачальник, покоривший Сиракузы.

Стр. 310 *...сицилийцы решились отправить в Грецию посольство и просить помощи у коринфян, не только по причине родства их с ними…* – Сиракузы были основаны колонистами из Коринфа.

Стр. 311 *В войне коринфян с аргивянами и клеонийцами…* – Аргивяне и клеонийцы завладели Коринфом в 4 году 96 олимпиады, за 393 года до Р. Х.

Стр. 312 *...между тем как другие обнажили мечи и вскоре умертвили Тимофана.* –

Диодор пишет, что Тимолеонт умертвил своего брата на площади и что это событие вызвало в городе беспорядки; в то же время прибыли сиракузские посланники с просьбой о помощи.

Стр. 313 *...противился всегда предприятиям Леосфена.* – В так называемой Ламийской войне, в ходе которой Леосфен вначале теснил Антипатра, но был убит при осаде Ламии.

Стр. 313 *...увидели во сне богинь…* – Имеются в виду Деметра и Персефона.

Стр. 314 *...опустился на то место Италии, к которому кормчие направляли свой бег.* – По свидетельству Диодора, Тимолеонт сперва пристал к Метапонту; сюда прибыл карфагенский корабль, доставивший ему предписание возвратиться в Грецию, однако Тимолеонт не подчинился.

Стр. 314 *...как брачный подарок.* – Когда невеста в первый раз снимала перед мужем покрывало, она получала подарки – от мужа, от родственников и друзей. Эти подарки назывались «анакалиптрия» – снятие покрывала – и вручались на третий день свадьбы.

Стр. 314 *Гикет, одержав над Дионисием в сражении победу и заняв большую часть Сиракуз, запер его в крепости на так называемом Острове…* – Гикет, терпя недостаток в припасах, снял осаду Сиракуз и отступил в свою область. Дионисий преследовал его, но Гикет дал сражение, в котором погибли три тысячи воинов Дионисия. Остров (иначе Ортигия) – часть Сиракуз.

Стр. 315 *...к сицилийскому городу Тавромению…* – Тавромения (ныне Таормина) – город на Сицилии. По свидетельству Диодора, этот город построил Андромах. Историк Тимей, сын Андромаха, сочинил в том числе «Историю Сицилии».

Стр. 315 *...как финикийцам…* – Финикийцы и их потомки карфагеняне считались весьма коварными людьми. Их вероломство и коварство вошли в пословицу: *Punica Fraus, Punica fides* – то есть «Финикийский обман, финикийская верность».

Стр. 315 *...карфагеняне занимали их пристань…* – У карфагенян было 150 военных кораблей, 50 тыс. человек и 300 колесниц.

Стр. 316 *...жители малого города, посвященного Адрану…* – Адран – город у подножия Этны. В этом городе находился храм бога Адрана, которого римляне отождествляли с Марсом.

Стр. 317 *...кто в течение десяти лет пользовался ею спокойно, а после предприятия против него Диона двенадцать лет провел в трудах и войнах* . – Дионисий Младший наследовал своему отцу в 1 году 103 олимпиады, за 368 лет до Р. Х. Дион прибыл из Греции на Сицилию в 355 году до Р. Х. Дионисий бежал в Италию, однако акрополь Сиракуз оставался за ним и был сдан Тимолеонту в 241 году до Р. Х.

Стр. 317 *Сестра и вместе жена его была предана необузданным и поноснейшим желаниям и своевольству неприятелей, претерпела насильственную смерть с детьми своими и была брошена в море* . – Имеется в виду Софросина, дочь Дионисия Старшего и Аристомахи. Это убийство совершили локры, к которым Дионисий бежал из Сиракуз.

Стр. 317 *...обучал певиц пению и спорил с ними о театральных песнях и гармонии* . – Некоторые писатели уверяют, что Дионисий, страдая от бедности, был вынужден открыть училище в Коринфе и срывал свою злобу на детях.

Стр. 318 *...оттряхивал свой плащ…* – Тем самым он показывал, что у него нет кинжала или другого оружия.

Стр. 318 *Филипп Македонский…* – Имеется в виду Филипп II (382–336 до Р. Х.), отец Александра Великого. Он прибыл в Коринф в 4 году 110 олимпиады, дабы присутствовать в общем собрании греков, и был избран предводителем в войне против персов.

Стр. 318 *...о стихах и трагедиях, оставленных Дионисием Старшим…* – Дионисий Старший имел склонность к стихотворству. За свои сочинения он получил в Афинах, в праздник Вакха, награду.

Стр. 318 *...Диоген Синопский…* – Диоген (ок. 412–323 до Р. Х.) – греческий философ-киник, тот самый, который жил в бочке.

Стр. 318 *...Филистовы восклицания…* – Филист (433–356 до Р. Х.) – греческий историк и полководец, современник обоих Дионисиев, был Старшим из них изгнан, а Младшим возвращен из изгнания. Погиб в морском сражении с Дионом.

Стр. 319 *...вышли на берег в Фуриях…* – Фурии – афинская колония на месте города Сибарис в Южной Италии.

Стр. 321 *...окружающие город болота…* – Эти болота назывались Лисимения и Сирако; от последнего Сиракузы получили свое название.

Стр. 323 *...как говорит Афанид.* – Афанид – греческий историк, автор «Сицилийской истории».

Стр. 323 *...кумир Гелона…* – Он победил Гамилькара, прибывшего на Сицилию на двухстах кораблях с 300 тыс. воинов во 2 году 75 олимпиады.

Стр. 323 *...и жить вЛеонтинах…* – Леонтины – город на Сицилии, к северу от Сиракуз.

Стр. 323 *...тиранн Аполлонии…* – Аполлония – город в северной части Сицилии.

Стр. 324 *...пристают кЛилибею…* – Лилибей – мыс на Сицилии, обращенный к Африке; здесь находились владения карфагенян.

Стр. 325 *...река Кримис…* – Кримис – река в западной части Сицилии.

Стр. 326 *Из десяти тысяч убитых неприятелей три тысячи были карфагеняне.* – По свидетельству Диодора, они составляли Священный полк. Всего было убито 10 тысяч и взято в плен 15 тыс. человек.

Стр. 327 *...завладели Дельфами и участвовали с ними в святотатстве.* – Это подало повод к так называемой Священной войне. Суд амфиктионов приговорил фокейцев к уплате нескольких талантов за святотатство, а поскольку денег у них не было, решили конфисковать их земли в пользу храма. Один из фокейских начальников, по имени Филомил (а не Филомид), убедил фокейцев завладеть сокровищами Дельфийского храма, чтобы получить средства на ведение войны. Последняя продолжалась 10 лет: Филомил был побежден и бросился со скалы, его преемника Ономарха убили свои же воины, равно как и остальные фокейские начальники погибли насильственною смертью. Войну закончил македонский царь Филипп, завоевавший Фокею.

Стр. 327 *Щитами малыми мы взяли те щиты…* – Эти щиты были похищены в Дельфийском храме.

Стр. 327 *Когда Тимолеонт вступил в Калаврию…* – Речь о сицилийской области, а не о Калабрии на Апеннинском полуострове.

Стр. 328 *Коринфянки уже выходят из домов.* – Пародия на 214 стих из трагедии Еврипида «Медея». У Еврипида Медея, выходя к собравшимся женщинам, говорит им: «Коринфянки, я вышла из чертогов».

Стр. 328 *...на берегу потока Абол.* – Абол – река на Сицилии, между Катаной и Сиракузами.

Стр. 328 *...зарекою Лик…* – Лик – река в южной части Сицилии.

Стр. 329 *Города Акрагант и Гела…* – Эти города находились в западной части Сицилии.

Стр. 329 *...острова Кеос…* – Кеос – один из Кикладских островов.

Стр. 330 *Стихотворения Антимаха Колофонского… картины Никомаха…* – Антимах (V–IV в. до Р. Х.) – греческий поэт и ученый, автор эпической поэмы «Фиваида». Никомах – греческий живописец.

Стр. 330 *...храм богине Автоматии…* – Автоматия («Произвольность») – богиня случайности и счастья.

Стр. 331 *...в Милах…* – Милы – город на севере Сицилии. Ныне Милаццо.

Стр. 331 *...мусическими, конными и гимнастическими играми…* – Гимнастические игры состояли из бега, борьбы и других упражнений. В Мусикийских играх стихотворцы и певцы состязались в своем искусстве.

Эмилий павел

Луций Эмилий Павел Македоник (228–160 до н. э.) – римский полководец и политик, победил последнего македонского царя Персея.

Стр. 332 *...«сколь был велик он и каких свойств»…* – См. «Илиада», XXIV, 629.

Стр. 332 *Демокрит утверждает…* – Великий греческий философ Демокрит (460–371 до Р. Х.) утверждал, что видимые предметы «изображаются» в воздухе. Всякое изображение предмета производит другое, подобное ему, но меньше, второе порождает третье, но еще меньше, и так далее. Самый малый образ доходит до глаза и создает в нем восприятие

предмета. Демокрит также считал, что эти изображения возбуждают в людях мысли, хорошие или дурные, в зависимости от предметов, которые они представляют.

Стр. 332 *...предпринял я ныне описать тебе...* – Плутарх обращается здесь в Сосию Сенециону, которому посвятил свои «Жизнеописания».

Стр. 333 *Большая часть прославившихся из сего рода мужей были благополучны, пребывая тверды в добродетели.* – От Луция Эмилия, который был консулом в 270 году от основания Рима и победил вольсков, до Луция Павла, который погиб в сражении при Каннах в 537 году от основания Рима, было много Эмилиев, прославившихся своими делами.

Стр. 333 *...своего товарища...* – Имеется в виду Варрон.

Стр. 333 *...знаменитейших и величайших мужей...* – По окончании второй Пунической войны в Риме насчитывалось много полководцев (Семпроний,

Альбин, Фабий, Марцелл, Сципионы, Фульвий, Сульпиций Цетег, Метелл и другие), которые в короткое время возвели Рим на высочайшую степень славы.

Стр. 333 *...так называемых авгуров...* – Авгуры имели обширные полномочия – могли распускать народные собрания, отменять их решения, лишать консулов их достоинства и пр. Ни одно постановление не имело силы без их утверждения.

Стр. 333 *...которое почитали некоторой почестью и искали для оной славы...* – Молодые люди знатного происхождения вступали в число авгуров в начале гражданской карьеры.

Стр. 334 *...война между римлянами и Антиохом Великим...* – Война против сирийского царя Антиоха началась в 561 году от основания Рима, через 80 лет после поражения при Каннах.

Стр. 334 *...опытнейшие полководцы обратились к нему...* – Консул Глабрион и двое Сципионов.

Стр. 334 *Он победил тамошних варваров в двух сражениях...* – Эмилий вел войну в Испании в 564 году от основания Рима, за 190 лет до Р. Х. Ливий пишет, что Эмилий был разбит бастенами при городе Ликон и потерял 6000 человек, но в следующем году одержал победу над лузитанами, убил 18 тысяч и взял в плен 33 200 человек.

Стр. 334 *...дочери Мазона...* – Папирий Мазон, будучи консулом, победил корсиканцев в 523 году от основания Рима.

Стр. 334 *Старший усыновлен сыном Фабия Максима... а младший – сыном Сципиона Африканского...* – По мнению других авторов – внуком Фабия Максима. Он назван Квинтом Фабием Эмилианом; от него родился будущий оратор К. Фабий. Сципион Африканский Старший был женат на Эмилии, дочери Эмилия, погибшего при Каннах. Имя молодого Эмилия, усыновленного Сципионом, – Публий Корнелий Сципион Эмилиан. По разрушении Карфагена он принял, подобно Сципиону Старшему, название Африканского.

Стр. 334 *...за сыном Катона...* – Имеется в виду цензор Марк Порций Катон.

Стр. 334 *...одно маленькое поле было для них достаточно...* – Валерий Максим пишет, что их земля гораздо более имела господ, нежели требовала работников.

Стр. 335 *...выступил против живших у подножья Альп лигуров, которых называют еще лигустинцами .* – Лигуры – италийское племя, обитавшее на территории от нынешней Генуи до Монако.

Стр. 335 *...простирая свои плавания до столпов Геркулесовых.* – То есть до Гибралтара.

Стр. 335 *...в то время римляне воевали с македонским царем Персеем и были недовольны полководцами своими...* – Вторая Македонская война против Персея началась в 585 году от основания Рима, за 169 лет до Р. Х. Войну вели Лициний Красс, потом Гостилий Манцин и, наконец, Марций Филипп.

Стр. 336 *...до того разбили они в Фессалии Филиппа, освободили греков от македонян и, что всего важнее, победили Ганнибала...* – Римляне под предводительством Тита Квинкция Фламинина победили Филиппа Пятого Македонского (197 до Р. Х.). После этой победы Фламинин объявил на Истмийских играх о независимости греков. Ганнибал, оставив Карфаген, бежал в Сирию к царю Антиоху Великому, а по заключении мира между Антиохом и римлянами обратился за помощью к царю Вифинии Прусию. Тот, страшась войны с римлянами, хотел выдать Ганнибала, но Ганнибал принял яд.

Стр. 336 *Антигон, сильнейший из наследников и полководцев Александровых,*

приобретший и себе и роду своему царское достоинство, имел сына по имени Деметрий, от которого родился Антигон, прозванный Гонат… – Антигон I Одноглазый (ок. 380–330) – военачальник Александра Великого, отнял Вавилон у Селевка и первым из диадохов (полководцев и преемников Александра) назвался царем. Погиб в сражении при Ипсе. Деметрий – Деметрий Полиоркет. Антигон Гонат (ок. 319–239) – царь Македонии.

Стр. 336 *…призвали Антигона, племянника умершего государя…* – Речь об Антигоне Досоне, сыне Алкионея, побочного сына Антигона Гоната.

Стр. 336 *…и был доволен наложенной на него умеренной денежной пеней.* – Филипп заплатил тысячу талантов; одну половину тотчас, другую через десять лет.

Стр. 336 *…но умер от печали…* – Филипп умер в 179 году до Р. Х., на 60-м году жизни и 40-м году правления.

Стр. 337 *В конном сражении разбил Публия Лициния…* – Публий Лициний Красс был консулом в 583 году от основания Рима. Сражение, о котором здесь упоминается, было дано у горы Осса. Персей после победы предложил заключить мир, но Лициний потребовал от царя признать, что он обязан царством своим милости римлян.

Стр. 337 *…приставший к Орею…* – Орей – город на северном побережье острова Эвбея.

Стр. 337 *…ворвался в Элимию…* – Элимия – область в Македонии, на границе с Эпиром.

Стр. 337 *…обратился к дарданам…* – Дарданы – иллиро-фракийское племя, обитавшие на севере Македонии и на юго-востоке нынешней Сербии.

Стр. 337 *…живущих на Истре галлов, называемых бастарнами…* – Бастарны – древние племена, расселившиеся по нижнему Дунаю около 200 до н. э. Вопрос о происхождении этих племен спорен. – *Примеч. ред.*

Стр. 337 *Слух распространился, что варвары согласились за деньги ворваться в Италию…* – Полибий говорит, что Генфий действительно принял участие в войне и хотел вступить в Италию.

Стр. 337 *…вручить ему предводительство в Македонской войне.* – Тит Ливий говорит, что Македония досталась по жребию Эмилию, а Италия Лицинию.

Стр. 338 *…так называемых параватов.* – Параватами назывались пешие воины, которые стояли подле всадников и заступали их место, когда последние погибали в сражении. Когда Персей узнал о приближении бастарнов, он послал Антигона к их царю Клондику. Клондик ответил, что не сделает ни шага вперед, если не получит обещанных денег.

Стр. 338 *…в Медике…* – Медика – область во Фракии, на восток от Македонии.

Стр. 339 *…на каждого из союзных военачальников потребовано было у него по тысяче золотых монет…* – Ливий говорит, что обещано было каждому всаднику по десять, каждому пехотинцу по пять, а каждому военачальнику по тысяче золотых монет.

Стр. 339 *…велел поймать и сковать римских посланников, приехавших к нему.* – Этими посланниками были Марк Перпенна и Луций Петиллий. Их освободили только после завоевания претором Апицием всей страны и взятия в плен царя Гентия, его жены, сыновей, брата и приближенных. Война продолжалась тридцать дней.

Стр. 340 *Ночным стражам велел он караулить без копий…* – Тит Ливий говорит: без щита, ибо щиты римские были столь велики, что воины, опершись на них, могли спать стоя. Эмилий первым ввел смену караулов в полдень.

Стр. 341 *…через Перребию в Пифий…* – Перребия – северная часть Пеласгиотиды в Фессалии. Пифий – храм Аполлона.

Стр. 341 *…и остановился близ Гераклия, как будто бы хотел объехать на кораблях неприятельские войска.* – Гераклий (Гераклея) – город в Фессалии, на побережье Фермского залива. Тит Ливий пишет, что Эмилий послал претора Октавия с флотом в Гераклею, дабы заставить Персея думать, что на него хотят напасть с моря.

Стр. 342 *…не мог уже выступить без великого пролития крови и убиения людей.* – Персею советовали усилить укрепленные города гарнизонами и продолжать войну, но царь отверг это предложение, опасаясь осады столицы.

Стр. 342 *…тогда был уже конец лета…* – По уверению Тита Ливия, это случилось после летнего солнцестояния.

Стр. 342 *…и вновь заблестит, став против солнца.* – Тит Ливий пишет, что некий воин

по имени Гай Сульпиций Галл предсказал войску затмение, получив позволение от Эмилия; такова была причина того, что римляне не устрашились этим явлением.

Стр. 343 *…смешанное с пеонийцами.* – Пеоняне населяли северную часть Македонии.

Стр. 344 *…некто по имени Посидоний…* – Не следует путать этого Посидония с известным историком.

Стр. 344 *…тела пелигнов и марруцинов…* – Пелигны, марруцины – италийские племена.

Стр. 345 *Говорят, что осталось на месте до двадцати пяти тысяч человек неприятелей; римлян пало, как говорит Посидоний, сто, а по свидетельству Назики, восемьдесят человек .* – По свидетельству Тита Ливия, македонян пало двадцать тысяч, в плен взято одиннадцать тысяч, у римлян же погибли всего сто человек.

Стр. 345 *…и победа одержана до десяти.* – То есть в три часа пополудни.

Стр. 345 *…еще в самой нежной молодости…* – Ему было семнадцать лет.

Стр. 346 *Так судьба, отложив до другого времени зависть свою…* – Плутарх намекает на смерть детей Эмилия, последовавшую по возвращении его в Рим.

Стр. 346 *…вступил в Пеллу.* – Пелла – столица Македонии, находилась к северо-западу от Пидны.

Стр. 346 *По прибытии своем в Амфиполь, а после того в Галепс…* – Амфиполь – город в Македонии, на восток от Пеллы, в устье реки Стримон. Галепс – город на полуострове Сифония, на побережье Торонского залива.

Стр. 346 *…чтохочет поступить с критянами по-критски.* – Жители острова Крит считались великими лжецами. «Критяне всегда лжецы», – говорит Каллимах в «Гимне Зевсу»; эти слова повторены апостолом Павлом в послании к Титу (Тит, 1: 12).

Стр. 347 *…о данном италийцами сражении при Сагре…* – Сагра – река в области Бруттий. Локры в числе 10 тыс. человек разбили жителей Кротона, войско которых насчитывало 130 тыс. человек.

Стр. 347 *Когда Антоний восстал против Домициана…* – Луций Антоний Сатурнин – наместник Верхней Германии. Полагаясь на помощь германцев, восстал против Домициана и принял титул императора, но был убит в сражении наместником Ретии Луцием Аппием Максимом Норбаном.

Стр. 347 *…в городе разнесся слух, что Антоний убит, что войско его разбито и ни малейшей части его не осталось .* – Светоний говорит, что в тот день, когда дано было это сражение, в Риме орел покрыл своими крыльями статую Домициана и издал громкий крик. Вероятно, этого было довольно, чтобы заставить народ говорить о победе над Антонием.

Стр. 348 *Он просил быть представленным Эмилию.* – Тит Ливий говорит, что Персей спрятался в темном углу храма.

Стр. 349 *«Фидий точно изобразил Гомерова Зевса!»* – Тит Ливий говорит, что Эмилия поразила эта статуя: ему показалось, что он видит перед собой самого Зевса.

Стр. 349 *…прибыли десять посланных от сената чиновников.* – Эти десять легатов прибыли с тем, чтобы помочь Эмилию устроить дела в Македонии.

Стр. 349 *…греки удивлялись…* – Эмилий, по словам Тита Ливия, отличался от большинства римлян утонченностью манер и вежливостью обхождения.

Стр. 350 *Устроивши все дела лучшим образом…* – В заключение этолийцу Андронику и беотийцу Неону, приближенным Персея, отрубили головы.

Стр. 350 *…но сохранять ее благоустройством и согласием.* – Македонию разделили на 4 области; жителям запрещалось брать себе жену из другой области. Все аристократы с детьми старше пяти лет в качестве заложников были увезены в Рим.

Стр. 350 *…в один час полтораста тысяч человек превращены в невольников, семьдесят городов было разграблено.* – Причиной этой жестокости Ливий полагает помощь, которую жители Эпира оказывали Персею.

Стр. 350 *…каждому воину досталось не более одиннадцати драхм.* – Но Тит Ливий говорит, что каждому конному досталось по 400 денариев, а пехотинцу – по 200.

Стр. 350 *…сошел в Орик…* – Орик – приморский город в Эпире.

Стр. *352…они несли серебряные деньги в сосудах, число которых простиралось до семисот пятидесяти…* – 750 сосудов содержали 2950 талантов.

Стр. 352 *…священную чашу, стоившую десяти талантов золота; она была украшена драгоценными каменьями и посвящена Эмилием богам…* – На эту статую ушло более 550 фунтов золота.

Стр. 352 *…называемые антигонидами, селевкидами и фериклиями…* – Столовые приборы называются по именам царских династий – антигониды и селевкиды – и по имени художника Ферикла – фериклии.

Стр. 353 *…по словам Гомера, дабы те лишь счастливыми почитались, которых счастье и несчастье в равной мере следует одно за другим.* – См. «Илиада», XXIV, 525.

Стр. 354 *…очистил его жертвами по обыкновению…* – То есть провел войсковой смотр, который всегда завершался принесением очистительной жертвы.

Стр. 354 *Что касается до Персея, хотя Эмилий жалел о нем и усердно старался ему помочь, однако не мог для него ничего сделать.* – Из отрывка Диодора следует, что Персей был посажен в темницу и что с ним обращались как со злодеем. Позднее усилиями Эмилия Лепида его перевели в другую тюрьму, где он и умер два года спустя.

Стр. 356 *…молодые и сильные из них подняли и понесли одр его; старейшие за ними следовали, называя Эмилия благодетелем и спасителем отечеств их* . – Оказанная ему честь, говорит Валерий Максим, тем славнее, что передняя часть катафалка была украшена македонским триумфом.

Пелопид

Пелопид (ок. 410–364 до н. э.) – фиванский военачальник, друг Эпаминонда, военный и политический реформатор.

Стр. 358 *…некий сибарит…* – Сибариты – жители города Сибарис, греческой колонии в Италии. Выгодное положение города, богатство и могущество, по выражению Афинея, ввергли горожан в такую негу, что она вошла в пословицу. Дабы ничто не прерывало их сна, они запретили все искусства, производящие шум, и изгнали даже петухов.

Стр. 359 *По этой причине Калликратид…* – Калликратид – спартанский полководец, участник Пелопоннесской войны, погиб в морском сражении при Аргинусах.

Стр. 359 *…при Андросе…* – Андрос – один из Кикладских островов.

Стр. 359 *…Тимофейсказал…* – Тимофей (ум. 354 до Р. Х.) – афинский политический деятель и военачальник, один из основателей Второго Афинского морского союза.

Стр. 360 *…будучи подобен Капанею…* – Капаней – один из семи полководцев, осаждавших Фивы, чтобы возвратить трон Поллинику, сыну Эдипа. Согласно Еврипиду, Зевс поразил Капанея молнией, когда тот поднимался по лестнице на стену Фив.

Стр. 360 *…сражения при Мантинее…* – Мантинея – город в Аркадии. Упоминаемое здесь сражение произошло в 3 году 90 олимпиады, за 418 лет до Р. Х. Другое сражение при Мантинее состоялось в 362 году до Р. Х. – Эпаминонд разгромил спартанцев, но сам погиб.

Стр. 361 *…поспешил на помощь к ним спартанский царь Агесиполид…* – По повествованию Фукидида предводительствовал войском царь Агис, а не Агесиполид.

Стр. 361 *После сражения спартанцы показывали себя внешне друзьями и союзниками фиванцев…* – В Пелопоннесской войне спартанцы были союзниками Фив. С помощью Спарты Фивы подчинили Беотию, но под конец войны навлекли на себя неудовольствие спартанцев тем, что дали убежище изгнанным из Афин во время правления тридцати тиранов; кроме того, фиванцы отказались принять мир, заключенный Анталкидом с царем Персии.

Стр. 361 *…убедили спартанца Фебида, который с войском проходил через Беотию, неожиданно занять Кадмею …* – Фебид шел с войском на помощь македонскому царю Аминте против города Олинф, когда Леонтид, один из двух полемархов, предложил ему занять крепость. Это случилось в 3 году 99 олимпиады, за 382 года до Р. Х. Кадмея – акрополь Коринфа, получил название по имени Кадма, легендарного основателя города.

Стр. 361 *…во время празднования Фесмофорий…* – Праздник Фесмофорий справлялся в честь Деметры как устроительницы земледелия.

Стр. 361 *Вся Греция удивлялась странному поступку лакедемонян…* – Лакедемоняне наложили на Фебида штраф в размере 16 талантов и 40 мин пени.

Стр. 362 *…при полемархах…* – Верховная власть в Фивах находилась в руках беотархов. При спартанцах правили, видимо, полемархи, власть которых ограничивалась внутренним управлением.

Стр. 364 *…но от других скрыл истину, выдумав слова, ему сказанные будто бы Архием касательно другого дела.* – Плутарх, описывая этот разговор в сочинении «О демоне Сократа», говорит, что Харон возвратился к ним с веселым лицом и объявил всем речи Архия.

Стр. 365 *…одни… пошли к Леонтиду и Гипату…* – Леонтид и ипат не были в числе гостей, поскольку Архий надеялся, что к нему придет одна из первых женщин города, и не хотел, чтобы Леонтид это узнал.

Стр. 366 *…он осадил крепость, делал приступы со всех сторон, дабы изгнать спартанцев и освободить Кадмею до прибытия новой силы из Лакедемона* .– Диодор Сицилийский и Ксенофонт пишут, что на другой день после случившейся в Фивах перемены афиняне послали Пелопиду пять тысяч человек пехоты и пятьсот конницы под предводительством Демофона. Из других беотийских городов также поступила помощь, так что численность войска составила в итоге 12 тыс. человек, с которыми Пелопид осадил акрополь и принудил лакедемонян.

Стр. 366 *…столь похожее на Фрасибулово…* – Фрасибул освободил Афины в 94 олимпиаду, за 401 год до Р. Х. и за 23 года до освобождения Фив Пелопидом.

Стр. 366 *К этому-то военачальнику подослал Пелопид одного знакомого ему купца…* – Диодор Сицилийский пишет, что царь Клеомброт без позволения эфоров уговорил Сфодрия занять Пирей. У Сфодрия было до 10 тыс. человек.

Стр. 367 *Он дошел до Элевсина, но тут воины его оробели; движение его было замечено…* – Они надеялись придти в Пирей ночью, но день застал их в Элевсине. Они отступили, грабя область и уводя стада. Лакедемоняне отозвали Сфодрия и хотели его наказать, но сын Сфодрия Клеоним через своего друга Архидама, сына Агесилая, добился освобождения отца.

Стр. 367 *…напасть на Орхомен…* – Орхомен – город в Беотии.

Стр. 368 *Латона родила не посреди двух деревьев, но посреди двух ключей. Близ этого места есть Птой…* – По мифу, Аполлон и Артемида были рождены Латоной (Лето) на острове Делос между двумя деревьями – пальмой и оливой. Птой – храм и оракул Аполлона.

Стр. 368 *…повествование о Пифоне и Титии.* – Пифон – чудовище, гигантский змей, отпрыск матери-земли Геи, охранял Дельфийский храм и был убит Аполлоном, которому он мешал войти в святилище. Титий – великан, сын Зевса, супруга которого внушила Титию страсть к Латоне, матери Аполлона и Артемиды. Когда Титий попытался овладеть Латоной, Аполлон и Артемида застрелили его из луков.

Стр. 368 *…по свидетельству Эфора…* – Эфор (ок. 405–330 до Р. Х.) – греческий ритор и историк, автор «Греческой истории».

Стр. 369 *…не Эврот и не пространство, лежащее между Бабиками и Кнакионом, производит мужественных и твердых воинов…* – Эврот – река в Спарте. Молодые спартанцы купались в ней во все времена года. Между Бабиками и Кнакионом происходили народные собрания спартанцев.

Стр. 369 *…изречение Паммена…* – Паммен – фиванский военачальник, был послан с 5000 воинов на помощь отпавшему от персидского царя Артабазу (356 до Р. Х.). У этого Паммена воспитывался как заложник Филипп, будущий царь Македонии и отец Александра Великого.

Стр. 369 *Тако народу народ да содействует, племени племя.* – См. «Илиада», II, 363.

Стр. 369 *…что Иолай…* – Иолай – племянник и возница Геракла.

Стр. 369 *…ибо Платон любовника называет «другом боговдохновенным».* – В диалоге «Федр» (255b) Платон утверждает, что любовь есть лучшая путеводительница в жизни. Любовь, по его мнению, состоит в том, чтобы стыдиться того, что постыдно и искать того, что похвально. Человека, одушевленного такою любовью, называет он боговдохновенным.

Стр. 369 *Отряд оставался непобежденным до самого сражения при Херонее* .– В сражении при Херонее царь Македонии Филипп победил греков и привел их в зависимость. Сражение произошло в 3 году 110 олимпиады, за 338 лет до Р. Х.

Стр. 370 *…со времени бесчестного поступка Лая…* – Лай – царь Фив, отец Эдипа, похитил Хрисиппа, сына Пелопса. В наказание Лая Гера наслала на Фивы чудовище Сфинкс.

Стр. 370 *…посвятили они город свой богине…* – Имеется в виду Гармония, дочь Ареса, выданная замуж за Кадма.

Стр. 371 *…они приводили в пример из древних Менекея, сына Креонта, и Макарию, дочь Геракла; из позднейших – мудрого Ферекида…* – Менекей – сын фиванского царя, принес себя в жертву, чтобы спасти Фивы от разорения. Макария пожертвовала собой, чтобы спасти Афины, которые осаждал царь Эврисфей, преследовавший детей Геракла. Упомянутого Ферекида не следует путать с философом того же имени.

Стр. 371 *…богиня явилась ему во сне в Авлиде…* – Авлида – приморский город в Беотии, место сбора ахейцев, отправлявшихся к Трое. Встречный ветер долго мешал кораблям отплыть; наконец прорицатель Калхас объявил, что плавание не будет благополучным, пока Агамемнон не принесет в жертву Артемиде свою дочь Ифигению.

Ксенофонт пишет, что Пелопид заявил персидскому царю: ненависть лакедемонян к фиванцам проистекает из того, что фиванцы не последовали за Агесилаем в поход против персов и запретили ему принести в Авлиде такую же жертву, какую принес Агамемнон.

Стр. 372 *…претерпевая поражение, какого никогда с ними не случалось.* – Это сражение описано также Ксенофонтом. Касательно числа убитых писатели не согласны между собой. Ксенофонт говорит, что пало 1000 спартанцев и 400 фиванцев; Диодор дает 4000 спартанцев и 300 фиванцев; Павсаний – более 1000 спартанцев и 47 фиванцев.

Стр. 372 *Впоследствии будучи беотархами оба, они вступили в Пелопоннес.* – Вторжение в Пелопоннес последовало через два года после сражения при Левктрах, данного в 4 году 102 олимпиады, за 371 год до Р. Х. Повод к вторжению подали аркадяне, которые просили у фиванцев помощи против лакедемонян.

Стр. 372 *…вел войско прямо против Спарты, переправился через реку Эврот, взял многие неприятельские города…* – Поход продолжался не дольше 85 дней.

Стр. 372 *…и аркадяне…* – Аркадяне жили в отдельных неукрепленных деревнях и потому не в состоянии были защищаться против спартанцев. Эпаминонд заставил аркадян основать укрепленный город Мегалополис.

Стр. 373 *…отняли у спартанцев Мессению…* – Мессения – независимая область Пелопоннеса, покоренная спартанцами в 1 году 14 олимпиады, за 724 года до Р. Х. Лакедемоняне владели Мессенией до 369 года, когда Эпаминонд помог мессенцам вернуть свободу.

Стр. 373 *…через Кенхрей…* – Кенхрей – коринфский порт на перешейке.

Стр. 373 *Эпаминонд снес с кротостью обвинение…* – Эпаминонд сказал судьям: я готов умереть, но требую только, чтобы в приговоре было написано – я осужден из-за того, что принудил фиванцев против воли их унизить Спарту.

Стр. 374 *Александр Ферский вел явную войну со многими фессалийцами и тайно против всех их злоумышлял…* – Ясон был избран фессалийцами правителем за свою храбрость. Он управлял пять лет и был убит своим братом Полидором. Фессалийцы избрали правителями Полидора и его второго брата Полифрона, но последний убил первого и превратил правление в самовластие. Однако вскоре

Полифрон был убит Александром, о котором здесь упоминается, и который был сын Полидора.

Стр. 374 *В это время Птолемей воевал с Александром, царствовавшим в Македонии.* – Аминта II – царь Македонии, отец трех сыновей – Александра, Пердикки и Филиппа; кроме того, у него был побочный сын Птолемей, который в 1 году 103 олимпиады убил Александра и три года правил Македонией. Птолемея умертвил Пердикка, который в 359 году погиб в сражении и которому наследовал его брат Филипп – будущий отец Александра Великого.

Стр. 375 *…по некоему неудовольствию на Эпаминонда…* – Недовольство фиванцев вызвало то обстоятельство, что в последнем сражении при Коринфе, где Эпаминонд одержал победу над лакедемонянами, он не стал преследовать побежденных. Эпаминонда обвиняли в измене и заставили сложить достоинство беотарха.

Стр. 376 *…они со стыдом отступили назад.* – В походе участвовало 8000 пеших фиванцев и 600 человек конницы. Александр не был в состоянии им противиться; он просил у афинян помощи и получил 30 кораблей и 1000 человек. Испытывая недостаток припасов,

фиванцы решили отступить. Конница Александра бросилась в погоню; войско фиванцев было бы уничтожено, если бы воины не постановили передать командование Эпаминонду, который своими мудрыми действиями спас соотечественников.

Стр. 376 *В Мелибееи Скотуссе…* – Мелибея и Скотусса – города в Фессалии.

Стр. 377 *…почтил лакедемонянина Анталкида…* – Анталкид был послан в Персию во 2 году 98 олимпиады, за 387 лет до Р. Х., и заключил с персами мир, который называется его именем. По договору царю Персии отдавались все греческие города в Азии. Пелопид прибыл к персидскому двору спустя 22 года после Анталкида.

Стр. 377 *…произвели над Тимагором суд и умертвили его…* – Ксенофонт пишет, что Тимагор по возвращении был казнен по доносу своего товарища Леона, который убедил афинян, что Тимагор во всем действовал согласно с Пелопидом.

Стр. 379 *…у так называемых Киноскефал…* – То есть собачьих голов, название дано по причине сходства вершины горы с головой собаки.

Стр. 379 *Уже Пелопид лежал.* – Пелопид погиб во 2 году 104 олимпиады, за 363 года до Р. Х. В следующем году пал и Эпаминонд – в битве при Мантинее.

Стр. 380 *…как полагал его Филист…* – Филист служил военачальником у Дионисия Старшего и описал его жизнь.

Стр. 380 *Диагору, бывшему некогда победителем в Олимпии и увидевшему сынов своих и внуков, увенчанных на тех самых играх.* – Диагор – греческий атлет, один из сыновей которого, Дорин, стал победителем 87 олимпиады.

Стр. 381 *…получил он достойное наказание за свои беззакония.* – Тиранн Ферский был убит в 3 году 105 олимпиады, за 358 лет до Р. Х., через восемь лет после Пелопида. Ликофрон и Тисифон успели привлечь воинов на свою сторону деньгами и захватили верховную власть в Фессалии. Впоследствии они были побеждены Филиппом Македонским, который возвратил фессалийцам независимость.

Марцелл

Марк Клавдий Марцелл (268–208 до н. э.) – римский полководец и государственный деятель, командовал армией, осаждавшей Сиракузы.

Стр. 381 *…получил прозвание Марцелл…* – Из сочинения Тита Ливия явствует, что прозвание Марцелла дано было прежде другому Марку Клавдию, бывшему в 433 году от основания Рима консулом и четыре года потом диктатором.

Стр. 382 *…по словам Гомера…* – См. «Илиада», XIV, 36.

Стр. 382 *Едва прекратилась первая с карфагенянами война…* – Первая Пуническая война продолжалась 23 года. Она началась в 264 году до Р. Х. и закончилась в 241 году заключением мирного договора. Четыре года спустя галлы дошли до Аримина (Римини). Бойи, возмутившись, убили царей своих Ата и Галита и обратились с оружием друг на друга. Оставшиеся в живых после междоусобного сражения возвратились в свою область. Пять лет спустя галлы вновь начали готовиться к войне под тем предлогом, что Фламиний разделил в Пицене земли, отнятые у Галлии Цизальпийской. Через восемь лет после упомянутого раздела земли началась война – в консульство Эмилия Папа и Сетилия Регула (528 год от основания Рима, 3 год 138 олимпиады, за 226 лет до Р. Х.).

Стр. 382 *Инсубры…* – Инсубры – галльское племя, обитавшее между рекой По и Альпами.

Стр. 382 *…так называемых гезатов…* – Гезаты – галльское племя, обитавшее между Альпами и рекой Рона.

Стр. 383 *…говорят, что ни прежде, ни впоследствии столько тысяч римлян не было в оружиях…* – По свидетельству Полибия римляне имели 150 тыс. пехоты и 6 тыс. конницы, а в случае необходимости могли выставить 700 тыс. пехоты и 70 тыс. конницы.

Стр. 383 *…и зарыть в землю живых в месте, называемом рынком Волов, двух греков и двух галлов, по мужчине и женщине в обоих случаях.* – Эта жертва была принесена в 528 году от основания Рима, за 226 лет до Р. Х. для предотвращения взятия Рима галлами и греками. Та же жертва была повторена 10 лет спустя, после сражения при Каннах.

Стр. 383 *…Фламиния…* – Фламиний известен тем, что шесть лет спустя был разбит Ганнибалом при Тразименском озере.

Стр. 383 *…через землю пиценов…* – Пицен – нынешние окрестности Анконы.

Стр. 383 *…показались три луны.* – Это явление называется параселены – ложные луны в виде «полукруглых радуг».

Стр. 383 *Фламиний получил письма, но не распечатал их до тех пор, как не дал сражения, в котором разбил варваров и разорил их область.* – Фламиний обязан победой не своим талантам (он дал сражение в таком месте, где сзади его подпирала река), но ратному искусству и благоразумию трибунов и храбрости войска. Воинам первого ряда дали копья триариев, чтобы удерживать галлов на расстоянии, а затем, когда воинский пыл врагов остыл, воины придвинулись ближе к неприятелю и сковали его действия.

Стр. 383 *Тиберий Семпроний…* – В 591 году от основания Рима, за 163 года до Р. Х., консулами были Тиберий Семпроний Гракх и Маний Ювентий Тальна. За первым была в замужестве дочь Сципиона Старшего Корнелия, мать Тиберия и Гая Гракхов.

Стр. 384 *…находясь вне города…* – В Померии, пространстве между городом и городской стеной.

Стр. 384 *…он назначил консулами Назику и Марция.* – Марций возвратился из Галлии, а Назика с Корсики. Вместо них избраны были Публий Корнелий Лентул и Гней Домиций Агенобарб.

Стр. 384 *…так называемые интеррексы…* – Интеррексы – чиновники, которых назначал сенат для избрания царя. В годы республики интеррексами называли временных магистратов.

Стр. 384…к *Ацеррам…* – Ацерры – поселение на реке Аддуй, к западу от Кремоны. Римляне осаждали Ацерры, а галлы хотели принудить их снять осаду и для того отправили часть своего войска против римского города Кластидий на южном берегу реки По.

Стр. 384 *Марцелл, известившись о том, оставил при Ацеррах своего товарища…* – В отсутствие Марцелла город Ацерры был взят его товарищем Сципионом, который оттуда пошел к Медиолану, дабы осадить этот город.

Стр. 384…у *Кластидия…* – Тит Ливий говорит, что этот город находился в горной Лигурии.

Стр. 387 *Вскоре после того Ганнибал вступил в Италию…* – Ганнибал вступил в Италию спустя четыре года после войны с галлами.

Стр. 388 *…что по смерти одного из консулов…* – Постумий Альбин был консулом вместе с Тиберием Семпронием Гракхом в 539 году от основания Рима. Он был убит галлами в лесу Литана. Галлы подрубили все деревья у дороги, чтобы малейшее движение заставило бы их упасть. Едва Альбин вступил в лес, галлы свалили несколько деревьев, которые упали на соседние; таким образом большая часть римских воинов и лошадей была раздавлена. Те, кто уцелел, пали под мечами галлов. Последние отрубили Альбину голову, оправили его череп в золото и употребляли при возлияниях.

Стр. 388 *Марцелл сам сложил с себя власть…* – Марцелл был из плебеев, как и его товарищ Семпроний. Патриции, не желая терпеть консулов-плебеев, заставили авгуров объявить избрание Марцелла неугодным богам. Марцелл, как истинный гражданин, отказался от чести, которую неохотно соглашались уступить ему сограждане.

Стр. 389 *…не решился принять его вызова.* – За два дня до этого состоялось жаркое сражение под стенами Нолы. Ганнибал хотел взять город приступом; Марцелл напал на него и заставил отступить. Потери с обеих сторон были бы значительно больше, если бы не поднялась буря.

Стр. 389 *…были принуждены предаться позорному бегству, потеряв мертвыми до пяти тысяч человек…* – Погибли 5 тыс. человек, в плен взято 600. Удалось убить также нескольких слонов, а 2 захватить живыми. Со стороны римлян погибло менее 1000 человек.

Стр. 389 *Марцелл был избран консулом в третий раз…* – Марцелл стал консулом в третий раз в 3 году 141 олимпиады, в 538 году от основания Рима, за 214 лет до Р. Х. Он снова разбил Ганнибала под Нолой, и если бы Клавдий Нерон с конницей напал на Ганнибала с тыла, как Марцелл предполагал, карфагеняне были бы истреблены.

Стр. 389 *…по смерти царя Гиерона в Сиракузах происходили беспокойства.* – Гиерон,

правитель Сиракуз, верный союзник Рима, умер в 215 году до Р. Х. Сын его Гелон погиб ранее, поэтому правителю наследовал его внук, пятнадцатилетний Гиерон. Этот юноша переметнулся к карфагенянам и заключил с ними союз. Однако вскоре он был убит, и в Сиракузах начались беспорядки.

Стр. 389 *...под предводительством Аппия.* – Аппий Клавдий был послан на Сицилию претором. Юный Гиерон насмехался над римскими посланниками; он спросил: «Кто же на самом деле победил при Каннах? Я слышал такие удивительные рассказы об этом сражении, что желаю знать все подробности». Также он требовал, чтобы римляне возвратили ему золото, пшено и другие подарки, полученные ими от его деда, и чтобы они поставили реку Гимера общим пределом владений, если хотят возобновить прежние договоры.

Стр. 390 *...был оскорбляем Гиппократом...* – Гиппократ и его брат Эпикид происходили от сиракузян, но родились в Карфагене. Они прибыли к Гиерону в качестве посланников и заключили с ним союз. После убийства царя (в котором, по уверениям некоторых писателей, участвовал и римский претор) они остались в Сиракузах, чтобы отвлечь жителей от союза с римлянами.

Стр. 390 *...Эвдокс и Архит...* – Эвдокс (Евдокс) Книдский (ок. 406–355 до Р. Х.) – греческий математик, географ, астроном, врач и и законодатель. Архит из Тарента (ок. 400–365 до Р. Х.) – греческий философ, математик, политик и полководец. По словам Диогена Лаэрция, Архит считался изобретателем механики, а также семь лет командовал войсками своего отечества и ни разу не был побежден.

Стр. 391 *...наконец, сам корабль, уже пустой, был повергаем на стены или, будучи пущен, падал в глубину* . – Машина, которой Архимед поднимал корабли Марцелла и погружал их в воду, имела вид журавля и называлась *хористион* .

Стр. 391 *...называлась самбукой...* – Самбука – струнный музыкальный инструмент, похожий на арфу.

Стр. 391 *...весом десять талантов...* – Талант как мера веса имел разные значения. По разным оценкам, камень, брошенный Архимедом, весил от 40 до 200 кг. Полибий, Плутарх и Тит Ливий вовсе не упоминают о зажигательных зеркалах, коими, по преданию, Архимед будто бы сжег флот Марцелла.

Стр. 392 *Не перестать ли нам сражаться с этим геометрическим Бриареем...* – Бриарей – один из трех гекатонхейров (сторуких великанов), потомков Урана и Геи, наделенных чрезвычайной силой.

Стр. 393 *...чтобы после смерти изобразили на гробнице его цилиндр, содержащий в себе шар, и надписали соотношение их объемов.* – На гробнице Архимеда действительно поставили цилиндр, содержащий круг. Вскоре после покорения римлянами Сиракуз горожане впали в такое невежество, что забыли, где покоится прах этого великого человека. Цицерон, бывший квестором через 137 лет после Архимеда, с великим трудом отыскал его гробницу, заросшую тернием! Итак, восклицает Цицерон, знаменитейший греческий город, некогда славный своей ученостью, не знал бы местонахождения гробницы величайшего своего гражданина, если бы уроженец Арпина не открыл его!

Стр. 393 *...завладел Мегарами, древнейшим из сицилийских городов, разбил войско Гиппократа при Акриллах...* – Мегары – город на Сицилии; не нужно смешивать его с греческим городом того же имени. Акриллы – город на Сицилии южнее Сиракуз. Гиппократ вышел из Сиракуз ночью с десятью тысячами пехоты и пятьюстами конными, дабы соединиться с Гимильконом, который высадил 20 тысяч пехоты, 3 тысячи конницы и 12 слонов. Марцелл напал на Гиппократа близ Акрилл и разбил его.

Стр. 393 *...заметил, что одна башня, хотя была охраняема с надлежащим старанием...* – Это событие, послужившее причиной взятия Сиракуз, случилось на третьем году осады.

Стр. 393 *...называемые Гексапилы.* – Гексапилы («Шестивратные») – городские ворота.

Стр. 393 *Завладев этими частями, Марцелл на рассвете дня вступил в город...* – Осада Сиракуз продолжалась три года. Тит Ливий оставил подробнейшее описание этой осады.

Стр. 394 *...жителям Энны...* – Энна – город на Сицилии, известный тем, что именно здесь, по мифу, Аид похитил Персефону.

Стр. 394 *…древний город, называемый Энгий…* – Энгий – город на Сицилии, к северу от Энны. В нем находился храм Великих Матерей – Кибелы, Геры и Деметры. Мирион командовал критянами при осаде Трои вместе с Идоменеем.

Стр. 395 *Он отправился в Рим…* – Марцелл перед отъездом из Сицилии победил в большом сражении Эпикида и Ганнона, у которых, сверх множества пленных, взял восемь слонов.

Стр. 396 *…называл Беотийское поле орхестрой Ареса…* – Беотийское поле получило свое название по причине множества сражений, которые на нем происходили. Орхестра – в театре круглая площадка для исполнения хоровых песен.

Стр. 396 *…и самые боги влекомы были в оный плен и несомы в триумф…* – Тит Ливий замечает, что Марцелл подал этим пагубный пример, ибо со временем стали воины грабить храмы повсюду.

Стр. 397 *…и позволил сиракузянам начать жалобу.* – Едва сиракузяне прибыли в Рим, как новые консулы бросили жребий, кому какие провинции достанутся. Сицилия выпала Марцеллу. Это привело сиракузян в крайнее смущение, ибо они боялись его мести. Марцелл охотно согласился поменяться провинциями.

Стр. 397 *Марцелл поступил с ними так, как другие полководцы не позволили бы поступить с иными неприятелями.* – Когда сиракузяне кончили свою жалобу, то Левин, товарищ Марцелла, приказал им выйти из сената, но Марцелл хотел отвечать в их присутствии.

Стр. 397 *Он стоял у дверей в сенат .* – Пока это дело разбиралось в сенате, Марцелл пошел к Капитолию набирать новых воинов.

Стр. 399 *Дабы не быть принужденным против своей воли назначить диктатора, он отправился ночью в Сицилию.* – Левин хотел назначить диктатором Валерия Мессалу, начальника флота. По требованию народного трибуна сенат приказал, чтобы консул назначил диктатором того, кого хочет народ; а буде он откажется, назначение предоставить претору; если и претор откажется, то право предоставить трибунам. Консул не согласился назначить диктатором Фульвия, запретил претору вмешиваться не в свое дело и отправился на Сицилию.

Стр. 399 *…пошел к Канузию.* – Канузий – город в Апулии.

Стр. 399 *Кажется, что Марцелл был разбит, сделав во время сражения некоторое движение некстати .* – Ливий приписывает поражение не Марцеллу, но дурному поведению воинов, их медлительности.

Стр. 399 *…он приказал отмерять ячмень вместо пшена тем когортам, которые были разбиты.* – Это наказание было обыкновенным для римлян. Марцелл приказал центурионам стоять целый день на ногах с обнаженным мечом и без поясов.

Стр. 400 *Он отступил медленно в Кампанию и провел лето в городе Синуессе для успокоения своего войска .* – Тит Ливий говорит, что он пошел в Венузию. Синуесса – город в Лации, на границе Кампании, славился своими термальными источниками.

Стр. 401 *…жрецы тому воспрепятствовали, почитая непристойным заключить двух богов в одном и том же храме.* – По свидетельству Ливия, первосвященники противились этому посвящению по той причине, что позволялось посвящать храм только одному богу. Ведь в противном случае, когда боги явили бы какое-либо знамение, трудно было бы понять, которого из богов надлежит умилостивить.

Стр. 401 *…почитая оное дурным для себя предзнаменованием.* – Марцелл не успел посвятить некоторые из этих храмов. Посвящение совершил его сыном четыре года спустя.

Стр. 401 *…Бантии и Венусии…* – Бантия и Венусия – города в Апулии.

Стр. 401 *…узнав, что римляне посылают войска к Локрам Эпизефирийским, поставил он засаду близ холма Петелия…* – Консулы приказали Цинцию, находившемуся на Сицилии, перейти к Локрам с флотом и одновременно дали сигнал к выступлению тарентскому гарнизону. Ганнибал устроил засаду у Петелии – города в Бруттии – и разгромил этот отряд.

Стр. 402 *…сорок человек из них были фрегеллийцы…* – Фрегеллы – город в области вольсков.

Стр. 402 *Криспин жил немного дней после него и умер от полученных ран.* – Криспин умер под конец года, назначив диктатором Манлия Торквата.

Стр. 402 *Он оказал удивление к странной смерти его, снял с него перстень…* – Ганнибал

снял с руки Марцелла перстень, написал к жителям города Салапия письмо от имени консула и запечатал его этим перстнем. Однако Криспин успел уведомить все окрестные города о смерти своего товарища.

Стр. 402 *...и послал ее сыну Марцелла.* – Ливий пишет, что Ганнибал похоронил тело Марцелла на том месте, на котором он его нашел.

Стр. 403 *...в Линде...* – Линд – город на острове Родос.

Стр. 403 *...и умер в молодых летах вскоре после брака с дочерью Августа.* – В 731 году от основания Рима, за 23 года от Р. Х. Род Марцелла продолжался 185 лет. Дочь Августа, о которой здесь упоминается, – это известная своим дурным поведением Юлия, которая по смерти Марцелла была выдана за Марка Агриппу, потом за Тиберия и наконец умерла в заточении на пустынном острове Пандатария, близ Кампанийского побережья.

Стр. 403 *Октавия, его мать, соорудила книгохранилище...* – По свидетельству Светония, эту библиотеку посвятил Цезарь, а не Октавия.

Стр. 403 *Вероятно, что фиванцы в присутствии полководцев не поступили бы жестоко с орхоменийцами.* – Жители Орхомена издавна враждовали с фиванцами; эта вражда усиливалась тем обстоятельством, что орхоменийцы поддерживали лакедемонян. После смерти Эпаминонда некоторые фиванцы-изгнанники вознамерились с помощью орхоменийцев устроить в Фивах переворот, но заговор был раскрыт, фиванцы напали на Орхомен, перебили всех взрослых мужчин, детей и женщин продали. Это произошло в 104 олимпиаду.

Аристид

Аристид (ум. ок. 467 до н. э.) – афинский политик, первый архонт Афин, законодатель и реформатор.

Стр. 406 *Но Деметрий Фалерский...* – Деметрий Фалерский (350–283 до Р. Х.) – греческий философ и писатель, ученик Теофраста, 10 лет управлял Афинами как наместник македонского правителя Кассандра. После смерти Кассандра бежал из Афин к Птолемею Лагу, царю Египта. Наследник Лага Птолемей Филадельф посадил Деметрия в темницу, где он и скончался от укуса змеи.

Стр. 406 *Аристид был архонтомэпонимом...* – Афиняне избирали ежегодно девять архонтов. По имени первого из них (эпонима) назывался год.

Стр. 406 *...называемы были пентакосиомедимнами.* – О пентакосиомедимнах см. примечание к жизнеописанию Солона. Хорег – предводитель хора, ему полагалось брать на себя расходы по постановке драмы, содержанию актеров и хора, а также оплачивать декорации.

Стр. 406 *Панетий доказывает...* – Панетий с Родоса – греческий философ-стоик, известен тем, что сопровождал Сципиона Младшего Африканского в путешествии по Азии и Египту.

Стр. 407 *...после Евклида...* – Евклид – имеется в виду греческий философ, учитель Платона.

Стр. 407 *Идоменей притом свидетельствует...* – Идоменей из Лампсака – греческий философ, ученик и друг Эпикура.

Стр. 407 *...по изгнании тиранов...* – Речь о детях Писистрата, Гиппии и Гиппархе. Первый был убит во 2 году 66 олимпиады Аристогитоном и Гармодием, второй изгнан из Афин в 1 году 67 олимпиады. Клисфен, сын Мегакла и внук Алкмеона, восстановил законы Солона и немного их реформировал.

Стр. 408 *...и его не бросят в Варафрон.* – Варафрон – глубокая расщелина недалеко от Афин, куда сбрасывали преступников.

Стр. 408 *Эсхилову трагедию...* – Речь о трагедии «Семеро против Фив». Вестник, пришедший к Этеоклу, произносит эти слова об Амфиарае, одном из семи полководцев.

Стр. 409 *...за сожжение Сард...* – Аристагор из Милета убедил афинян послать помощь ионянам, отпавшим от персидского царя. Воины, приплывшие на афинских кораблях, взяли приступом и сожгли город Сарды.

Стр. 409 *...пристал всем флотом...* – Флот этот состоял, как уверяет Корнелий Непот в «Жизни Мильтиада», из 500 кораблей, которые перевезли в Грецию 200 тыс. пехоты и 10 тыс.

конницы.

Стр. 409 *Присоединяясь к Мильтиадову мнению о сражении…* – В военном совете немногие были согласны с Мильтиадом в плане сражения. Геродот уверяет, что Мильтиад склонил на свою сторону Каллимаха, который был полемархом и имел власть, равную власти остальных полководцев. Сражение при Марафоне произошло в 3 году 72 олимпиады, за 490 лет до Р. Х.

Стр. 409 *...устремляли свои усилия против колен Леонтиды и Антиохиды.* – Афиняне и платейцы сражались с великим упорством на правом и на левом флангах. Однако персы и саки, заметив слабость афинского центра, напали на него и опрокинули. Поначалу помочь центру не представлялось возможным, но когда неприятель был уже разбит на флангах, персидский отряд в центре попал в окружение.

Стр. 410…*боясь, чтобы они не застали города без защитников, с девятью коленами обратились с поспешностью в Афины, куда и прибыли в тот самый день.* – Они хотели обойти мыс Сунион на Саронском заливе, дабы занять Афины прежде, нежели войско успеет вернуться. Корнелий Непот говорит в «Жизни Мильтиада», что Марафон отстоит от Афин на сорок миль. Персидский флот дошел до Фалеры, но отступил.

Стр. 410 *...факелоносец Каллий.* – Факелоносец при гиерофанте был весьма важным лицом в Элевсинских мистериях.

Стр. 410… *и повязки на голове.* – Цари и жрецы в древние времена носили на голове повязки или диадемы.

Стр. 410 *...после Фаниппа…* – Фанипп был архонтом в 3 году 72 олимпиады.

Стр. 410 *...прозвания Орлов и Ястребов…* – Орлами и Ястребами называли себя некоторые сирийские и египетские цари после Александра Великого. Полиоркет – Деметрий Полиоркет, сын Антигона. Перун– Селевк Третий; Орел – Пирр, царь Эпира. Никатор (Победитель) – Селевк Первый.

Стр. 412 *...произнес молитву, совсем противоположную Ахилловой…* – См. «Илиада», XVI, 97. Ахилл говорит: «Даже Зевс, Афина и Аполлон, да никто из троян и аргиян, сколько их ни есть, не избегнет смерти, но мы одни избавимся гибели и одни да сокрушим стены Трои!»

Стр. 412 *По прошествии трех лет, когда Ксеркс, пробираясь через Фессалию и Беотию, хотел напасть на Аттику…* – В 1 году 75 олимпиады, за 480 лет до Р. Х.

Стр. 412 *...небольшой остров Пситтали́я…* – Пситтали́я – остров между Саламином и побережьем Аттики. Ксеркс занял этот остров ночью по той же причине, по которой Аристид изгнал оттуда персов.

Стр. 413 *Фемистокл, желая его спасти, отвратил греков от предпринятого ими намерения идти к мосту* . – Этой хитростью Фемистокл принудил Ксеркса оставить Европу.

Стр. 413 *...обещал им именем царя воздвигнуть их город, обогатить их и сделать властителями над другими греками…* – Геродот пишет, что Мардоний послал в Афины македонского царя Александра.

Стр. 414 *...выслали их из города без ведома афинян.* – Эфоры держали афинских посланников десять дней, обманывая их под разными предлогами, а между тем укрепляли Истм (Пелопоннесский перешеек), чтобы преградить персам путь в Пелопоннес. Лишь когда афиняне пригрозили согласиться на предложения персов, спартанцы вывели войско.

Стр. 414 *...в Орестии…* – Орестия – город в Аркадии.

Стр. 414 *Прорицатель Тисамен…* – Прорицалище обещало Тисамену пять великих побед. Лакедемоняне изъявили желание иметь его своим прорицателем, но он потребовал принятия в число спартанских граждан; первоначально ему отказали, но при наступлении персов даровали это право и Тисамену, и его брату Гегию.

Стр. 416 *Ламптриец Эсхин и ахарнянин Агасий…* – Ламптры и Ахарны – селения в Аттике.

Стр. 417 *Персы, оставив мертвого, предались бегству* . – Геродот пишет, что персы после гибели их начальника устремились на афинян с великой яростью, чтобы отомстить за него. Афиняне призвали все войско и, когда пехота приблизилась, персы отступили на две стадии.

Стр. 417 *...он требовал себе левое крыло, на которое долженствовали учинить нападение греки…* – Имеются в виду греки, которые по своей воле или по принуждению воевали на

стороне персов; их насчитывалось до 50 тыс. человек.

Стр. 417 *...их одних переводит туда и сюда, как илотов, и противопоставляет их отборнейшим войскам* . – Геродот уверяет, что афинские вожди охотно заняли бы это место, но опасались вызвать неудовольствие спартанцев.

Стр. 418 *...греки решились перевести далее свой стан и занять положение, в котором была в изобилии вода, ибо все ручьи и ключи, близ их текущие, были испорчены и осквернены неприятельской конницей* . – Греки стояли близ источника Гаргафия, но поскольку вода этого источника была испорчена неприятельской пехотой, они решили отступить к острову на реке Асоп.

Стр. 418 *...дабы принудить Амомфарета оставить свое положение* . – После ухода Павсания Амомфарет оставил свое место и пошел за другим отрядом, который был в десяти стадиях от него.

Стр. 420 *...умертвил Мардония, ударив его камнем в голову, как предсказано ему было Амфиарайским прорицалищем.* – Мардоний командовал десятью тысячами воинов и умертвил великое число неприятелей. Но когда он пал, все войско бросилось бежать. Амфиарай – прорицатель, один из семи полководцев, осаждавших Фивы. Он был поглощен землей вместе с колесницей и лошадьми, и на том месте, где это произошло, недалеко от Оропа, города на границе Аттики и Беотии, построили храм, в котором было прорицалище – оно находилось глубоко под землей. Мардоний посылал гонцов не только в это прорицалище, но и во все другие в окрестностях – так его беспокоил успех сражения.

Стр. 420 *...убежали с Артабазом.* – Артабаз предводительствовал отрядом из 40 тыс. человек и был недоволен главенством Мардония. Едва персы стали отступать, он поспешил уйти с поля битвы, благополучно прибыл в Византий и переправился в Азию. За исключением его отряда, спаслись всего три тысячи персов.

Стр. 420 *...пало всего тысяча триста шестьдесят человек.* – Диодор пишет, что число погибших со стороны греков составило до 10 тыс. человек.

Стр. 422… *чтобы каждый год собирались в Платеях пробулы и феоры…* – Ежегодно происходило в Платеях общее собрание греков, также приносились жертвы Зевсу Избавителю в благодарность за победу; а каждые пять лет справляли Игры свободы, в ходе которых вооруженные воины бегали вокруг жертвенника Зевса.

Стр. 422 *...месяца мемактериона…* – Мемактерион – месяц афинского календаря, соответствующий ноябрю-декабрю.

Стр. 422… *и Гермесу Подземному…* – То есть Психопомпу – проводнику душ умерших в загробном мире.

Стр. 423 *...весь греческий флот…* – Флот стоял в гавани фессалийского города Паги.

Стр. 424 *...бросил в море раскаленные железные куски.* – Это действие толкуется различно. Быть может, оно означало, что жизнь клятвопреступника должна погаснуть, подобно огню в этих кусках железа; или что проклятие клятвопреступника тогда забудется, когда брошенное в море железо всплывет на поверхность.

Стр. 425 *Факелоносец Каллий…* – Тот самый, который после сражения при Марафоне обогатился найденным в яме сокровищем.

Стр. 426 *Но Кратер…* – Кратер – греческий писатель; возможно, речь о полководце Александра Великого, который оставил после себя «Дневники», где описаны походы Македонца.

Стр. 426 *...смерть Пахета…* – Пахет – афинский полководец, прославившийся во время Пелопоннесской войны покорением города Митилена на острове Лесбос.

Стр. 426 *...упоминают и об остракизме Аристида, но нигде не говорят о наложенной на него пене.* – По свидетельству Корнелия Непота он умер через четыре года после изгнания Фемистокла.

Стр. 426 *...по четыре драхмы на день.* – Четыре драхмы – достаточно крупная сумма; из комедии Аристофана «Ахарняне» явствует, что послы получали по две драхмы суточных.

Стр. 426 *...давать на содержание то же самое, что победителям на Олимпийских играх.* – Победившие на Олимпийских играх афиняне получали содержание от государства, подобно пританам и другим государственным чиновникам.

Марк катон

Марк Порций Катон, иначе Катон Старший (234–149 до н. э.) – римский политический деятель, образец римского гражданина.

Стр. 427 *...называют «новыми людьми»...* – У римлян благородными *(nobiles)* назывались граждане, которые могли представить изображения своих предков и, следовательно, подтвердить древность рода; тех, кто мог представить только свои изображения, называли новыми *(novi);* те же, кто не мог представить ни отцовских, ни своих изображений, считались неблагородными *(ignobiles).*

Стр. 427 *Сперва назывался он третьим именем своим – Приском...* – Полное его имя было Марк Порций Приск. Порций – родовое имя, а Катон – прозвание.

Стр. 428 *...будучи семнадцати лет...* – То есть чуть ранее сражения при Каннах (216 до Р. Х.).

Стр. 428 *...только в жажде просил уксусу...* – Уксус с водой освежает.

Стр. 428 *Мания Курия, трижды удостоившегося триумфа.* – Маний Курий Дентат получил дважды триумф в свое первое консульство в 464 году от основания Рима за то, что завершил войну с самнитами и победил сабинян. Третий триумф он получил во второе консульство за победу над Пирром.

Стр. 428 *...надев эксомиду...* – Эксомида – туника без рукавов. Ее носили рабы и ремесленники, поскольку в ней удобнее было работать.

Стр. 430 *...по его мнению, надлежало их продавать и не кормить без пользы.* – «Пусть отец семейства, – говорит Катон, – продает старых быков шерсть, кожу, старую соху, старые железные вещи, раба старого, раба больного; пусть продает все лишнее. Он должен быть склонее более продавать, а не покупать».

Стр. 430 *...которые должно орошать и очищать.* – То есть сады, огороды и тому подобное.

Стр. 432 *...одна рыба продается дороже быка.* – Рыба стоила в Риме очень дорого.

Стр. 432 *Когда Эвмен, царь пергамский, приехал в Рим...* – Эвмен, царь Пергама, приехал в Рим в 172 году до Р. Х., чтобы принести жалобу сенату на македонского царя Персея, который на обратном пути устроил ему в Дельфах засаду. Эвмен был ранен, но избегнул смерти.

Стр. 433… *принять сторону изгнанных ахейских граждан.* – Эти ахейцы в числе тысячи человек были направлены в Рим, чтобы оправдаться по обвинению в заговоре с целью предать свое отечество македонскому царю Персею. Римляне приказали им жить в разных городах Италии. После семнадцати лет Полибий, который был в числе этих людей, исходатайствовал им позволение возвратиться в отечество. К тому времени их в живых оставалось триста человек.

Стр. 434 «*Испанией по эту сторону».* – Имеется в виду северная Испания. Римляне разделили страну на Испанию Ближнюю и Дальнюю. Император Август позднее разделил Испанию на три области – Тарраконскую, Бетийскую и Лузитанскую.

Стр. 434 *...просил помощи соседственных кельтиберов.* – Кельтиберы обитали между реками Дуро и Таг.

Стр. 434 *...в том сражении...* – Это сражение состоялось при Эмпории, приморском городе в восточной Каталонии.

Стр. 434 *Катон велел в один день срыть стены всех городов, находившихся по эту сторону реки Бетис...* – Катон, пользуясь страхом, который он навел на всех жителей областей за Ибером, написал всем начальникам укрепленных городов с повелением разрушить немедленно все укрепления и уверением, что не иначе простит им, как если это будет в точности исполнено. Каждый из начальников думал, что повеление дано ему одному и немедленно приступал к исполнению. Бетис (ныне Гвадалквивир) – река в Испании.

Стр. 434 *...покорил племя лацетанов...* – Лацетаны – племя, обитавшее на территории между Пиренейскими горами и рекой Ибер (ныне Эбро).

Стр. 435 *Когда консул Тиберий Семпроний начальствовал во Фракии и на Истре...* – Ливий пишет, что Семпроний был послан в верхнюю Италию против бойев, а не на Дунай.

Стр. 435 *…Селевк Никатор…* – Имеется в виду полководец Александра Македонского, основатель династии Селевкидов.

Стр. 435 *Тит Фламинин…* – Тит Квинкций Фламинин, победитель македонского царя Филиппа V, возвративший грекам независимость.

Стр. 435 *…патрейцев и эгийцев.* – Патры и Эги – города в Ахайе.

Стр. 436 *…как некогда персы обошли узкий проход и обступили греков…* – Речь о знаменитом спартанцев с персами сражении в проходе Фермопилы.

Стр. 436 *…на горе Каллидром…* – Каллидром – высочайшая часть гор Ита и Эта.

Стр. 436 *…одних фирмийцев…* – Фирмий – римская колония в Пицене.

Стр. 437 *Тотчас по окончании сражения послан он был в Рим самовестником своих подвигов.* – Днем прежде Катона отправлен был с известием о победе Луций Корнелий Сципион, однако он прибыл в Рим после Катона.

Стр. 437 *Так он содействовал Петилию, нападавшему на Сципиона.* – Двое из народных трибунов донесли на Сципиона Африканского, что он получил от царя Антиоха известное количество денег для заключения мира.

Стр. 437 *…обратившись к трибунам.* – Луций обратился к Публию Корнелию Сципиону Назике и народному трибуну Тиберию Симпронию Гракху, которые избавили его от заключения в темницу, однако имение его было конфисковано.

Стр. 437 *…преследовал судом Сервия Гальбу…* – Сервий Сульпиций Гальба, будучи претором, вел войну с лузитанцами, но показал себя вероломным и жадным. По этой причине Катон и выступил против него.

Стр. 438 *…как гидру…* – Гидра – обитавшая в Лернейском болоте многоглавая змея, у которой вместо одной отрубленной головы вырастало несколько новых. Геракл победил ее, догадавшись прижигать отрубленные головы раскаленным железом.

Стр. 438 *…назначил председателем сената…* – Председатель сената *(Princeps Senatus*) не имел особенных преимуществ перед остальными сенаторами.

Стр. 440 *…фессалийца Скопада…* – Скопад – богач из фессалийского город Краннон. Он предложил Сократу оставить неблагодарные Афины и приехать к нему, но Сократ отказался.

Стр. 440 *…базиликой.* – Базилика – торговый или судебный зал.

Стр. 443 *…по жалобе граждан Оропа.* – Повод к посольству подало то обстоятельство, что афиняне ограбили зависимый от них Ороп. Жители Оропа обратились с жалобой к римскому сенату, который поручил рассмотреть жалобу сикионянам. Поскольку афиняне не явились к назначенному сикионянами времени, их оштрафовали на 500 талантов. Однако сенат уменьшил штраф до 100 талантов, но афиняне и этого не заплатили. Все закончилось разрушением Коринфа Муммием.

Стр. 445 *…почитать тираннию лучшим украшением при своем погребении…* – В Сиракузах при Дионисе Старшем произошло восстание; Дионисий решился бежать, но один из друзей убедил его остаться словами, что верховная власть есть лучшее украшение для погребения.

Стр. 445 *Он написал книги о разных предметах и сочинения исторические.* – Катон написал много сочинений, которые не сохранились, исключая книги о сельских занятиях.

Стр. 446 *…нумидийскому царю Масиниссе…* – Масинисса (ок. 240–149 до Р. Х.) – царь племени массилиев в Восточной Нумидии; в начале второй Пунической войны поддерживал Карфаген, но в 206 году перешел на сторону Рима. Конница Масиниссы сыграла решающую роль в победе Сципиона над Ганнибалом в 201 году.

Стр. 446 *…который унизил их уменьшением их могущества и обременительным налогом* . – Сципион отнял у них все корабли, заставил отказаться от владений вне Африки, возвратить Масиниссе его области и заплатить римлянам десять тысяч талантов.

Стр. 447 *Един разумен он; другие – тени мертвы.* – См. «Одиссея», X, 495. Цирцея говорит это о Тиресии, к которому в аид сходит Одиссей.

Стр. 447 *Вскоре Сципион…* – Имеется в виду Публий Сципион Африканский Младший, сын Павла Эмилия.

Стр. 447 *…сын его удостоен был консульства* . – Внук Катона был консулом вместе с Квинтом Марцием Рексом.

Стр. 447 *Салоний…* – Катон Салоний оставил двух сыновей – Луция Катона и Марка Катона. Первый был консулом в 665 году от основания Рима вместе с Гнеем Помпеем Страбоном; второй – отец философа Катона, народный трибун, Катон Младший Утический.

Стр. 448 *Однако Гесиод…* – В поэме «Труды и дни», 300.

Стр. 448 *…сказал Гомер…* – См. «Одиссея», XIV, 223. Одиссей так говорит о себе Эвмею, своему пастуху.

Филопемен

Филопемен (253–183 до н. э.) – стратег Ахейского союза.

Стр. 451 *…знакомство с Аркесилаем…* – Аркесилай – (ок. 315 – ок. 240 до Р. Х.) – древнегреческий философ, глава платоновской Академии после Кратета, основатель так называемой Средней академии.

Стр. 451 *…от насильственной власти Аристодема…* – Аристодем – тиранн Мегалополя (271–255 до Р. Х.); родом из Фигалии в Аркадии.

Стр. 451… *назвал его последним из греков, ибо после него Греция не произвела ни одного человека великого и достойного ее.* – Павсаний говорит, что победитель персов Мильтиад был первым, а Филопемен последним, кто оказал услуги всей Греции.

Стр. 452…я *получаю наказание за свой дурной вид…* – Павсаний говорит, что ростом и телосложением никто из пелопоннесцев не превосходил Филопемена, но что лицом он был безобразен.

Стр. 453…к *сочинениям Эвангела…* – Об этом писателе упоминает Арриан, автор сочинения «Поход Александра», который пишет, что сочинения Эвангела изобиловали недостатками.

Стр. 453 *…напал неожиданно на Мегалополь…* – Это произошло в 222 году до Р. Х. Причина нападения состояла в том, что Мегалополь принадлежал к Ахейскому союзу, который призвали на помощь против лакедемонян македонского царя Антигона Досона. Антигон стоял с малым отрядом в трех днях пути от Мегалополя. Часть горожан успела уйти в Мессену, остальные погибли в сражении.

Стр. 453 *Царь Антигон…* – Антигон Досон был опекуном Филиппа, сына Деметрия Полиоркета, но за свои заслуги и достоинства был избран македонянами царем.

Стр. 453 *…занявшего высоты при Селласии и все узкие проходы…* – Селласия – город в Лаконии, поблизости от которого находились два холма с узким проходом между ними. Клеомен поставил укрепления на вершинах холмов, чтобы преградить неприятелю вход в Лаконию.

Стр. 454 *Антигон, одержав победу…* – В итоге Антигон завладел Спартой, а Клеомен бежал в Египет.

Стр. 455 *…он отплыл на Крит…* – На Крите тогда шла междоусобная война.

Стр. 455 *…на реке Лариссе…* – Ларисса служила границей между Элидой и Ахайей.

Стр. 455 *…усилил Ахейский союз…* – Ахейский союз был образован в 280 году до Р. Х. в результате объединения государств Пелопоннеса, которые таким образом стремились противостоять влиянию и могуществу Македонии. В центральной Греции существовало аналогичное объединение – Этолийский союз. Из-за внутренних распрей Ахейский союз фактически распался еще до поражения македонян при Пидне (168 до Р. Х.).

Стр. 455 *…искали милости Птолемея…* – Имеется в виду египетский царь Птолемей Эвергет, сын Птолемея Филадельфа.

Стр. 456 *Так Гомер изображает нам Ахилла…* – См. «Илиада», XIX. Фетида приносит своему сыну Ахиллу выкованные Гефестом доспехи.

Стр. 457 *…вели войну с Маханидом…* – После сражения при Селласии и бегства Клеомена в Египет лакедемоняне покорились Антигону, но впоследствии вернули себе независимость и избрали двух царей, Агисиполида и Ликурга, последнему из которых наследовал Маханид. Описанное здесь сражение произошло в 207 году до Р. Х.

Стр. 457 *…впереди ахейских стрельцов и тарентинцев…* – Имеются в виду не жители италийского города Тарента, а особый род легких всадников, каждый из которых вел по две

лошади.

Стр. 459 *…по просьбе гортинцев…* – Гортина – город на острове Крит.

Стр. 460 *…осаждали Гифий.* – Гифий – город в Лаконии, первая гавань спартанцев.

Стр. 461 *Набис умер, будучи коварно убит этолийцами.* – Набис, которому было не продержаться против ахейцев и римлян, обратился за помощью к этолийцам. Они послали тысячу человек пехоты и триста конных под предводительством Алексамена, которому дали тайное поручение умертвить тиранна и завладеть Спартой. Алексамен убил Набиса, но вместо того, чтобы расположить к себе жителей Спарты, предал город грабежу. Спартанцы восстали и изгнали Алексамена, после чего Филопемен заставил их присоединиться к Ахейскому союзу.

Стр. 462 *В продолжение войны, которую вели римляне в Греции против Антиоха…* – Антиох Великий начал войну с римлянами в 191 году до Р. Х. Зиму он провел в Халкиде, где влюбился в молодую дочь некоего Клеоптолема, женился на ней и предался забавам и удовольствиям; военачальники и все войско последовали его примеру.

Стр. 462 *…одержав победу над Антиохом…* – Антиох дважды терпел поражения от римлян: в первый раз при Фермопилах от Мания Ацилия Глабриона (191 до Р. Х.), а на следующий год при Магнесии от Луция Корнелия Сципиона (190 до Р.Х.).

Стр. 463 *…селение Колониду.* – Колонида – поселение в Мессении.

Стр. 464 *…в подземное место, называемое Фисаврос…* – Фисаврос также значит «сокровище»: в военное время в этой яме прятали общественную казну.

Стр. 465 *…она несома была сыном ахейского полководца Полибием…* – Полибий (ок. 200–120 до Р. Х.) – знаменитый греческий историк, в молодости командовал ахейской конницей.

Стр. 465 *…при взятии и сожжении Коринфа…* – Коринф был разрушен римлянами через 37 лет после смерти Филопемена, в 146 году до Р. Х.

Стр. 465 *Ни Муммий, ни посланные сенатом…* – Римский сенат послал десять легатов, которые вместе с консулом Муммием обратили Грецию в римскую провинцию. Полибий произнес перед легатами речь в защиту Филопемена.

Тит

Тит Квинкций Фламинин (ок. 227–174 до н. э.) – римский полководец и политик, «покоритель Македонии» и «освободитель Греции».

Стр. 466 *…Тита Квинкция Фламинина.* Фламининов не следует смешивать с Фламиниями – плебейским родом, представитель которого Гай Фламиний (III в. до Р. Х.) потерпел поражение от Ганнибала у Тразименского озера и погиб в этой битве.

Стр. 466 *…в Нарнию и Коссу…* – Нарния – город в Умбрии. Косса – город в Этрурии.

Стр. 466 *…досталось ему вести войну с Филиппом и македонянами.* – Римляне объявили войну македонскому царю Филиппу, который заключил союз с Ганнибалом. Он напал на афинян, которые обратились за помощью к Риму. Консул Публий Сульпиций Гальба высадился в Греции с войском летом 200 года до Р. Х. Впрочем, он действовал не слишком решительно, поэтому македоняне сумели сохранить свои силы и положение.

Стр. 467 *…при реке Апсос…* – Ливий называет эту реку Аой.

Стр. 467 *…через Дассаретиду, мимо Лика…* – Дассареты – иллирийское племя, обитавшее на западной границе Македонии. Лик – главный город дассаретов.

Стр. 468… *человека, первенствующего в Эпире…* – Ливий называет его «принцепсом эпиротов» и говорит, что он послал к Фламинину пастухов.

Стр. 469 *Ахейцы, прервав союз с Филиппом, определили вести войну с римлянами против него* . – Фламинин приложил немало усилий к тому, чтобы отвлечь ахейцев от союза с македонянами.

Стр. 469 *…когда они хотели принять и охранять город Опунт, то жители оного…* – Опунтийцы, локры по происхождению, не хотели принимать этолийцев, которых считали вероломными.

Стр. 469 *Тит, сошедшись с Филиппом…* – Переговоры происходили близ Никеи, на берегу Малейского залива. В первый день Фламинин с берега говорил с Филиппом, который

находился на корабле. На другой день Филипп сошел с корабля, и встреча продолжилась на берегу.

Стр. 469 *...по влиянию Брахилла…* – Брахилл – сторонник Филиппа, впоследствии, назло римлянам, избранный беотархом, был убит своими политическими противниками.

Стр. 469 *Тит также послал своих поверенных…* – Поскольку наступила зима и военные действия прекратились, Фламинин послал гонцов в сенат, дабы уведомить Рим о состоянии дел, и позволил Филиппу поступить так же.

Кроме того, посланников к сенату отправили этолийцы, ахейцы, афиняне и царь Аттал.

Стр. 470 *...они не могли выдержать тяжести тесно сомкнутых щитов и сильного удара выставленных копий.* – Греческое построение фалангой македоняне приняли и видоизменили столь радикально, что на несколько столетий македонская фаланга стала основной боевой единицей античного мира (Эмилий Павел в победной для римлян битве при Пидне в 168 году до н. э. пришел в трепет при виде фаланги македонян). Царь Филипп, отец Александра Великого, установил принципы формирования фаланги: 1024 шеренги по 16 воинов глубиной. Основное вооружение фалангитов составляли сариссы – копья длиной до 7 метров и весом до 8 кг. При атаке первые пять рядов фаланги опускали сариссы параллельно земле (расстояние между наконечниками копий каждого ряда равнялось приблизительно 90 см), остальные одиннадцать рядов поднимали копья в воздух, чтобы отражать метательные снаряды противника. Римский легион в эпоху Фламинина насчитывал до 5 тыс. человек, которые образовывали в боевом порядке три линии, каждая из десятипятнадцати рядов; линии делились на манипулы, которые в бою выступали основными тактическими единицами. Вооружение легионеров составляли мечи и метательные дротики. В противостоянии римлян и македонян легион, разделенный на манипулы, каждая из которых в сражении обладала определенной тактической свободой и маневренностью, имел существенное тактическое преимущество перед грозной, но неповоротливой фалангой. – *Примеч. ред* .

Стр. 471 *...в том винили этолийцев…* – Полибий пишет, что в первой стычке македоняне напали на римлян с таким жаром, что если бы не этолийская конница, удержавшая высоты, римляне обратились бы в бегство.

Стр. 471 *...на пагубу Гиматии…* – Гиматия – область Македонии, здесь употребляется как обозначение Македонии в целом.

Стр. 471 *Эти строки сочинил Алкей…* – Имеется в виду не знаменитый греческий поэт Алкей, который жил за 600 лет до Р. Х., а современник Тита, о котором ничего не известно.

Стр. 472 *Он взял в залог Деметрия, одного из сыновей Филиппа, и отправил его в Рим.* – Перемирие с Филиппом было заключено в 197 году до н. э. Поскольку для мирного договора требовалось решение сената, Фламинин отправил гонцов в Рим, а в ожидании их возвращения стороны обязались блюсти перемирие, причем Филипп в подтверждение своей доброй воли выплатил римлянам контрибуцию и выдал им заложников, в том числе своего младшего сына Деметрия. – *Примеч. ред* .

Стр. 472 *...пойдя на заключение мира…* – По мнению Тита Ливия, Фламинин заключил мир, потому что замечены были приготовления Антиоха к переправе в Европу.

Стр. 472 *Деметриаде и Халкиде…* – Халкида – город на острове Эвбея. Деметриада – город, построенный Деметрием Полиоркетом в Магнесии.

Стр. 473 *...для освобождения Баргилияма…* – Баргилиям – город в Карии.

Стр. 474 *...философа Ксенократа…* – Ксенократ из Халкедона (ок. 395–312 до Р. Х.) – греческий философ, ученик Платона, с 339 года стоял во главе Академии. Как чужестранец он должен был платить подать в размере 12 драхм. Кто уклонялся от этих выплат, того арестовывали и продавали как невольника.

Стр. 475 *...может быть, также причиной этому были ревность и зависть к почестям, оказываемым Филопемену.* – Тит Ливий приводит и другие причины – приближение зимы, продолжительность осады, недостаток припасов и страх перед Антиохом, грозившим переправиться в Европу.

Стр. 476 *...а наместником его назначили Тита по причине уважения к нему греков.* – Тит Фламинин прибыл в Рим в 194 году до Р. Х. Война с Антиохом началась два года спустя.

Стр. 476… *осаждал Навпакт…* – Навпакт – город в Этолии, недалеко от входа в

Коринфский залив.

Стр. 477 *…остров Закинф…* – Закинф (Зант) – остров на северо-запад от Пелопоннеса.

Стр. 477 *…и войны с Антиохом…* – Антиох потерпел сокрушительное поражение при Магнесии. Римляне требовали выдачи Ганнибала, но тот успел бежать на Крит, откуда перебрался в Вифинию.

Стр. 480 *…Аристоник…* – Аристоник – побочный сын Эвмена, то есть брат Аттала III Филометора, последнего пергамского царя. На смертном одре Аттал назвал своим наследником народ римский. Однако Аристоник завладел царством, разгромил римского консула Публия Лициния Красса, но был побежден в 130 году до Р. Х.

Пирр

Пирр (319–272 до н. э.) – царь Эпира, полководец, пытавшийся создать великую державу на Средиземном море.

Стр. 483 *Над феспротами и молоссами, как повествуют, после потопа царствовал первый Фаэтонт, один из тех, кто прибыл в Эпир…* – Древнее Эпирское царство разделялось на три части: Хаония, Феспротия и Молоссия. Хаония лежала к северу и граничила с Иллирией и Македонией; Феспротия находилась на Ионийском море, а Молоссия граничила с Фессалией. Потоп – имеется в виду Девкалионов потоп, по мифу уничтоживший весь человеческий род, кроме Девкалиона, легендарного предка греков, и его жены Пирры. Греческие историографы относили этот потоп к 1530 году до Р. Х.

Стр. 483 *…при Додоне…* – Додона – город в Молоссии, где находился оракул Зевса.

Стр. 483 *По прошествии долгого времени Неоптолем, сын Ахилла, привел людей, захватил страну и оставил по себе царское поколение так называемых Пирридов, ибо Неоптолем в детстве был прозван Пирром, и один из законных детей его, рожденных от Ланассы, дочери Клеодема, сына Гилла, назван был также Пирром* . – Гилл – один из сыновей Геракла, поэтому эпирские цари считали себя потомками по отцовской линии от Ахилла, а по материнской – Геракла. Пирр, сын Неоптолема, умер в младенчестве; царство досталось его брату, рожденному от Андромахи, жены Гектора; ему наследовал Пиел, другой сын Андромахи. Неоптолем после кратковременного царствования был умерщвлен Форестом, сыном Агамемнона, в Дельфийском храме.

Стр. 483 *Таррип…* – Таррип – царь древнего Эпира из рода Пирридов, правивший в 395–361 годах до Р. Х., сын молосского царя Адмета, к которому обратился Фемистокл, покинув Афины. После смерти отца Таррип был отправлен опекуном в Афины, где получил возможность ознакомиться с эллинскими обычаями и наукой. Полученные знания помогли ему реформировать Эпир.

Стр. 483 *УТаррипа был сын Алкет…* – Алкет I – царь древнего Эпира из рода Пирридов, правивший в 361 году до Р. Х. Он оставил двух сыновей, Неоптолема и Ариббу, которые царствовали вместе. После смерти Неоптолема Арибба управлял один (ум. 342 до Р. Х.). Ему наследовал не его сын Эакид, а сын Неоптолема, Александр, брат Олимпиады. Он получил престол с помощью своего зятя, Филиппа Македонского. После него царствовал Эакид, сын Ариббы.

Стр. 483 *…во время Ламийской войны…* – Ламийская война (323–321 до Р. Х.) велась греками против македонского владычества после смерти Александра Македонского. Это сражение состоялось при фессалийском городе Ламия, афинский полководец Леосфен разбил Антипатра.

Стр. 483 *…возмутившись против Эакида…* – Потомки Неоптолема и Аррибы боролись за власть в Эпире. Дом Неоптолема поддерживали македонские цари, дом Эакидов – их противники.

Стр. 484 *…вместе со своей супругой…* – Юстин называет эту царицу Бероей и говорит, что она вела свой род от эпирских царей.

Стр. 485 *…предали себя Неоптолему.* – Имеется в виду Неоптолем III Младший, двоюродный брат Пирра.

Стр. 485 *…Александра, сына Роксаны…* – Роксана, жена Александра Великого, родила

ему сына, также Александра. Мать и ребенка убил Кассандр в 311 году до Р. Х.

Стр. 485 *В великой битве при Ипсе…* – Битва при Ипсе – сражение, в котором полководцы Александра Лисимах, Селевк, Птолемей и Кассандр объединили силы против Антигона Одноглазого. Битва состоялась во Фригии близ города Ипс летом 301 года до Р. Х. Антигон погиб, а его сын, Деметрий Полиоркет, бежал в Грецию.

Стр. 485 *…одной из дочерей Береники, которая родила ее от Филиппа до вступления в супружество с Птолемеем.* – Береника – жена и сестра Птолемея I, ранее была замужем за знатным македонянином Филиппом.

Стр. 485 *…прибыл в Эпир…* – Пирр прибыл в Эпир в 298 году до Р. Х.

Стр. 485 *…в Пассароне…* – Пассарон – город близ Додоны.

Стр. 486 *…требовал Стимфею, приморскую часть Македонии…* – Стимфея – город в Иллирии, недалеко от Аполлонии. Приморская часть Македонии – часть Иллирии на Ионическом море, которую покорили древние македонские цари. Другие области лежали на юг от Эпира, их населяли греки.

Стр. 487 *…наклоном головы и надменностью речей…* – Александр Великий держал голову несколько наклоненной и говорил надменно. Льстецы старались ему в этом подражать.

Стр. 488 *…как в жизнеописании Сципионовой сказано.* – Жизнеописание Сципиона не дошло до нас. Плутарх рассказывает этот анекдот в жизнеописании Тита.

Стр. 488 *Полководец Полисперхонт!* – Полисперхонт (385 – ок. 303 до Р. Х.) – один из полководцев Александра Великого, регент Македонии после смерти наместника Антипатра.

Стр. 488 *Железа острием два брата меж собою наследство разделят.* – Еврипид, «Финикиянки», 67. Это проклятие произносит Эдип над своими сыновьями, Этеоклом и Полиником.

Стр. 489 *…дошел до Эдессы…* – Эдесса – город в Македонии; ранее назывался Эгами и являлся столицей македонских царей до тех пор, пока Филипп, отец Александра Великого, не перенес столицу в Пеллу.

Стр. 489 *…шел на Беррою…* – Берроя – большой македонский город к югу от Эдессы.

Стр. 490 *…сев на нисейского коня…* – Нисейские кони, славившиеся своей статью и резвостью, получили название от обширной равнины Нисея в Мидии.

Стр. 490 *…и македоняне тотчас узнали его по блеску перьев и по рогам, стоящим на нем* . – Вероятно, Пирр подражал в Александру Великому, который, выдавая себя за сына Зевса-Аммона, носил на шлеме козлиные рога.

Стр. 491 *Противясь вновь возрастающей силе Деметрия…* – Деметрий продолжал владеть Фессалией, Беотией, Афинами и почти всем Пелопоннесом.

Стр. 491 *…если они благоразумны, то никакого государя не впустят более в свой город и не отворят ему ворот своих* . – Давая этот совет, Пирр имел в виду, что Деметрия необходимо лишить такого важного места, как Афины.

Стр. 491 *…Пирр лишился Македонии и удалился в Эпир.* – Пирр владел половиной Македонии не более двух лет.

Стр. 491 *Битвы и ратного шума желал.* – См. «Илиада», I, 491–492.

Стр. 491 *Римляне воевали с тарентинцами.* – Поводом к войне стало то, что тарентинцы оказали враждебный прием римскому флоту из 10 кораблей, который вошел в их гавань.

Стр. 492 *…он подтвердил Еврипидово мнение…* – См. «Финикиянки», 528–529.

Стр. 493 *После смерти Агафокла…* – Агафокл (361–289 до Р. Х.) – тиранн Сиракуз, в 311 году потерпел жестокое поражение у реки Гимера от карфагенян, и все союзники его покинули. В этих обстоятельствах он не нашел иного средства к спасению, кроме как посадить лучшие свои войска на 16 кораблей, выступить тайно из Сиракузской гавани, которую блокировали карфагеняне, и отправиться в Африку для нападения на Карфаген.

Стр. 493 *…не могли миновать Япигский мыс…* – Япигский мыс – оконечность полуострова Калабрия.

Стр. 494 *Пирр, взяв их, отправился в Тарент.* – Пирр прибыл в Италию в 280 году до Р. Х.

Стр. 495 *Дионисий говорит… Иероним уверяет…* – Дионисий Галикарнасский (I в. до Р. Х.) – древнегреческий историк и ритор, автор «Римских древностей» в 20 томах, из которых до

нас дошло только 11. Иероним Кардийский – историк, современник Александра Македонского, сочинил «Историю», содержащую описание эллинистического периода от смерти Александра, в походе которого Иероним принимал участие, до смерти Пирра в 272 году до Р. Х.

Стр. 498 *Гай Фабриций и Квинт Эмилий, римские консулы…* – Гай Фабриций Лусцин и Квинт Эмилий Пап – консулы 282 и 278 годов до Р. Х.

Стр. 498 *…при городе Аскулуме.* – Аскулум – город в Апулии на границе с Луканией.

Стр. 499 *…Птолемей, прозванный Керавном…* – Птолемей II Керавн («Молния») – царь Македонии, правивший в 280–279 до Р. Х., сын египетского царя Птолемея I Сотера и Эвридики, дочери Антипатра. По смерти Лисимаха и Селевка он завладел Македонией, но через восемнадцать месяцев правления умерщвлен галлами. Это случилось за два года до того, как Пирр, по повествованию Плутарха, получил о том известие. Между тем царствовали в Македонии один за другим Мелеагр (май-июнь 279 до Р. Х.), Антипатр II (279 до Р. Х.), Сосфен (279–278 до Р. Х.) и Антигон II Гонат (277–273 до Р. Х.). Надо полагать, что Плутарх разумеет лишь то, что македоняне предпочитали Антигону Пирра из уважения к его способностям.

Стр. 500 *Самое крепкое их место был Эрик…* – Эрик – крепость на западе Сицилии, на высокой горе. Здесь находился знаменитый храм Венеры Эрицинской.

Стр. 501 *…в скором времени.* – Пирр оставил Сицилию в 1 году 126 олимпиады, за 276 лет до Р. Х.

Стр. 502 *…на Мания Курия…* – Маний Курий Дентат– консул с Луцием Корнелием Лентулом Кавдином в 275 году до Р. Х.

Стр. 502 *…приводить его в беспорядок и замешательство.* – Пирр потерял в этом сражении 20 или, по свидетельству других авторов, 30 тысяч человек.

Стр. 502 *Он возвратился в Эпир…* – Пирр возвратился в Эпир в 274 году до Р. Х. Опасаясь вмешательства римлян, он объявил, что ожидает от Антигона, Птолемея и других греческих царей помощи, а сам тем временем тайно вышел в море и оставил гарнизон в крепости Тарента, который вскоре сдался римлянам.

Стр. 502 *…в царствование Антигона…* – Имеется в виду Антигон II Гонат.

Стр. 503 *…в храме Афины Итонийской…* – Афина Итонийская получила свое прозвание, по мнению одних авторов, от Итония, одного из сыновей Амфиктиона, по мнению других – от фессалийского города Итона. Афине Итонийской посвящено было два храма, один в Фессалии близ Лариссы, другой в Беотии близ Херонеи.

Стр. 503 *…Эакиды…* – Эак – сын Зевса и Эгины, прадед Неоптолема, родоначальник эпирской царской фамилии – Эакидов.

Стр. 503 *Этот Клеоним был царского рода… Вместо него царствовал в Спарте Арей.* – Клеоним – сын спартанского царя Клеомена II; Арей (309–265 до Р. Х.) – сын старшего, рано умершего брата Клеонима, Акротата.

Стр. 503 *…Архидамия…* – Архидамия – бабка царя Агиса, пользовалась большим уважением по причине своего богатства.

Стр. 505 *Знаменье то лишь благое, чтобы сражаться за Пирра.* – Перефразированный стих из «Илиады», XII, 243.

Стр. 506 *…из Аптеры…* – Аптера – город на западной стороне острова Крит.

Стр. 507 *…при Навплии.* – Навплия – город близ Аргоса, на берегу Арголидского залива.

Стр. 507 *…побежали к Аспиде…* – В Аргосе каждые пять лет справляли торжество в честь Геры – Гереи. Во время празднества молодые люди состязались между собой: над театром было возвышение; здесь к самому крутому месту – Аспиде (то есть «Щиту») – прибивали медный щит, который снять было весьма трудно. Все юноши испытывали свои силы, и кому удавалось снять щит, тот объявлялся победителем и в награду получал миртовый венок и медный щит.

Стр. 509 *…близ гробницы Ликимния…* – Ликимний – в греческой мифологии сын микенского царя Электриона и фригийской рабыни Медии, сводный брат Алкмены, дядя Геракла. Был убит Тлеполемом, сыном Геракла. – *Примеч. ред* .

Стр. 509 *…обошелся весьма кротко и человеколюбиво со всеми его друзьями* . – После смерти Пирра Антигон Гонат вступил во владение Македонией, а Эпир достался Александру, второму сыну Пирра. Милон, оставленный в Таренте начальником эпирского гарнизона, сдался

римскому полководцу Папирию Курсору.

Гай марий

Гай Марий (ок. 157–86 до Р. Х.) – римский полководец и политический деятель.

Стр. 510 *...третье прозвание у римлян…* – У римлян первое имя *(praenomen*) отличало одного человека от другого; таковы суть имена Марк, Луций, Публий, Квинт, Авл, Гай и проч. Второе имя *(nomen gentilitium)* означало род – Корнелий, Туллий, Кассий, Помпей. Третье имя (*cognomen*) служило для обозначения особых качеств того или иного человека или рода в целом – например, Сципион, Лентул, Цицерон, Катон. К этим трем именам придавалось еще четвертое (*agnomen*), которое принадлежало одному лицу, – Африканский, Цензорин, Азиатский, Македонский, Назика и проч. В первые годы республики более было в употреблении первое собственное имя, в позднейшие времена чаще употребляли имена третье или четвертое.

Стр. 510 *...в Арпинской области…* – Арпин – город вольсков, потом самнитов на реке Фибрен, отечество Цицерона.

Стр. 510 *...когда Сципион Африканский осаждал Нуманцию.* – Сципион Африканский Младший (ок. 185–129 до Р. Х.) – римский полководец и политический деятель, консул 147 и 134 годов до Р. Х., приемный внук Сципиона Старшего. В первое консульство захватил и разрушил Карфаген, завершив 3-ю Пуническую войну, во второе – подавил восстание нумантинцев в Испании. Нуманция – город в Северной Испании, недалеко от истока реки Дуро.

Стр. 511 *...пользуется креслом с изогнутыми ножками…* – Это кресло называлось «курульным» *(Sella curulis)* и было украшено слоновой костью. На нем сидели не только эдилы, но и преторы с консулами, почему консульские и преторские должности называли *Magistratus curules.*

Стр. 512 *...он уже вышел из звания клиента. Это не совсем было справедливо, ибо не всякое достоинство освобождает получившего оное и род его от патронства, но закон дает это право лишь тем, кто удостоился почетного кресла.* – От клиентства освобождали консульство, претура и высшее эдильство.

Стр. 512 *Внешняя Иберия.* – Внешняя Иберия – юго-западная часть Испании.

Стр. 512 *Цецилий Метелл…* – Квинт Цецилий Метелл – консул с Марком Юнием Силаном в 645 году от основания Рима, за 109 до Р. Х. Был прозван Нумидиком, поскольку воевал с Югуртой, нумидийским царем.

Стр. 513 *...при котором он находился начальником над работниками.* – Начальник над работниками *(Praefectus Fabrorum)* – важный чин в римском войске. В Древнем Риме существовала *Collegia Fabrorum* (Коллегия работников), чьим символом был двуликий Янус.

Стр. 513 *...большой город Багу…* – Бага – торговый город в Нумидии.

Стр. 513 *...выпросили у него Турпилия, освободили, не сделав ему никакого оскорбления. По этой причине был он обвиняем в предательстве.* – Жители Баги убили всех римских воинов, спасся только Турпилий. Это и послужило основой подозрения, которое на него пало.

Стр. 513 *Сын Метелла был тогда еще очень молод.* – По свидетельству Саллюстия, сыну Метелла, известному впоследствии под прозванием Пия, было тогда 20 лет; чтобы получить консульство, надлежало достигнуть 43 лет.

Стр. 513 *...оставалось только двенадцать дней до консульских выборов, как Метелл отпустил его* . – Метелл отпустил Мария за двенадцать дней до консульских выборов, надеясь, что тот не приедет в Рим вовремя, но обманулся в своих расчетах.

Стр. 514 *...что ему можно хвастать перед народом собственными ранами, а не памятниками умерших и чуждыми изображениями* . – Патриции хранили изображения своих предков, сделанные из мрамора или металла. Марий как человек новый *(novi,* см. примеч. к жизнеописанию Марка Катона) не мог представить ничего подобного.

Стр. 514 *...каковы Бестия и Альбин…* – Луций Кальпурний Бестия – консул 111 года до Р. Х., Спурий Постумий Альбин – консул 110 года. Они вели войну против Югурты, но не преуспели, во многом по причине хитрости Югурты.

Стр. 515 *...от Внешнего моря…* – Имеется в виду Северное море.

Стр. 515 *...все продвигались вперед и в несколько лет пробежали войной всю обширную землю.* – Сегодня прародиной германских племен признается Северная Европа, (побережье Северного моря, Ютландия, бассейны рек Рейн, Везер и Эльба). – *Примеч. ред.*

Стр. 515 *...что киммерийцы...* – Киммерийцы – по Геродоту, кочевое племя, обитавшее в Причерноморье. Около 675 года до н. э. киммерийцы уничтожили государство фригийцев, а около 600 года, как говорит Геродот, их разгромил лидийский царь Алиатт. – *Примеч. ред.*

Стр. 516 *...до Герцинскихлесов.* – Имеется в виду Гарц на территории современной Германии. Иногда Герцинским называли Тюрингский лес.

Стр. 516 *...в рассказе о киммерийцах в «Вызывании теней».* – См. «Одиссея», XI, 14–19.

Стр. 516 *...в то время по справедливости названы кимврами.* – Плутарх хочет сказать, что германцы кимврами называли разбойников.

Стр. 516 *Многие римские войска, многие полководцы, защищавшие Заальпийскую Галлию, были ими захвачены и бесславно погибли...* – В 640 году от основания Рима, за 114 лет до Р. Х., кимвры только приблизились к Альпам. В следующем году консул Папирий Карбон был разбит кимврами при Норее; однако и после этого они не вторглись в Италию. Кимвры утвердились на северной стороне Альп и соединились с тигуринами, гельветским племенем. Римляне послали против них войско; консул Кассий Лонгин и его товарищ Марк Аврелий Скавр были разбиты «варварами» в 647 году от основания Рима, причем первый погиб. Кимвры двинулись в Галлию, объединились с амбронами и вновь разбили за рекой Родан 80-тысячное римское войско под предводительством консула Манлия Максима и проконсула Квинта Сервилия Цепиона (105 до Р. Х.). Эти поражения внушили римлянами такой страх, что они ожидали тех же ужасов, какими запомнилось нашествие галлов.

Стр. 517 *...и это подало повод в шутку называть всякого трудолюбивого и постоянного человека, хваля его, «Мариевым лошаком».* – Еще уверяют, что воины были названы так потому, что Марий заставлял их носить на себе свои вещи для сокращения обозов.

Стр. 518…к *получению консульства в третий раз...* – Марий был консулом в третий раз в 651 году от основания Рима, за 103 года до Р. Х., вместе с Луцием Аврелием Орестом.

Стр. 518 *Канал этот и поныне называется его именем.* – Этот канал назывался *Fossa Mariana.* Он начинается близ нынешнего французского города Арль и тянется до Средиземного моря. По окончании войны Марий подарил его городу Марселю за оказанную помощь.

Стр. 518 *...через Норик...* – Норик – область восточных Альп, часть нынешней Баварии и Австрии.

Стр. 520 *То, что Александр Миндский пишет о коршунах, достойно удивления.* – Об этом сочинителе ничего не известно. Минд – город в Карии, области Малой Азии.

Стр. 520 *...из Америи и Тудертии...* – Америя, Тудертия – города в Умбрии.

Стр. 520 *...из Пессинунта...* – Пессинунт – древний галатский город у горы Диндим во Фригии, центр почитания богини Кибелы.

Стр. 520…к *месту, называемому Аквами Секстиевыми...* – Аквы Секстиевы *(Aquae Sextiae)* – первый город, построенный римлянами в Галлии в 630 году от основания Рима, получил свое имя от основателя Гая Секстия. Ныне город Экс недалеко от Марселя.

Стр. 523 *Более ста тысяч варваров были частью пойманы живые, частью умерщвлены.* – По уверению Ливия убито 200 тысяч человек, в плен взято 90 тыс. человек. Сражение состоялось в 652 году от основания Рима, за 102 года до Р. Х.

Стр. 524 *...заставив их поклясться перед медным волом...* – Назначение этого вола неизвестно; быть может, кимвры поклонялись ему как богу.

Стр. 524 *...через реку Эридан...* – Эридан – мифическая река, отождествлявшаяся с рекой По.

Стр. 525 *...пойманы в Альпах секванами.* – Секваны – кельтское племя, жившее между Сеной и Роной.

Стр. 525 *...а месту сражения положили быть равнине близ Верцелл.* – Верцеллы (ныне Верчелли) – город в Северной Италии, в области Пьемонт. Равнина, на которой было дано сражение, называлась *Campi Paudii.*

Стр. 525 *...как пишет Сулла...* – Сулла написал историю своей жизни *«Commentarii de*

rebus suis». Закончить сочинение он не успел.

Стр. 526 *Катул об этом сам повествует…* – Лутаций Катул сочинил историю своего консульства. Цицерон говорит, что в стилистике он подражал Ксенофонту

Стр. 526 *Говорят, что число умерших вдвое более.* – В этом сражении, по уверению Тита Ливия, было убито 140 тыс. неприятелей. По словам Веллея Патеркула, римского историка, римлян погибло 300 человек.

Стр. 527 *…народ называл его третьим основателем Рима…* – Вторым основателем Рима называли Камилла.

Стр. 527 *…но отправил триумф вместе с Катулом…* – Марий был консулом, а Лутаций – проконсулом.

Стр. 527 *…тысячу камерийцев…* – Неизвестно, кого здесь разумеет Плутарх, – жителей ли Камерина, города умбров, или Камерии, города сабинян.

Стр. 528 *Повествует Рутилий, человек правдолюбивый и добрый, но личный неприятель Мария, что тот достиг в шестой раз консульства…* – Публий Рутилий Руф – римский историк и философ-стоик, консул 105 года до Р. Х., автор «Истории Рима» и собственного жизнеописания. Вскоре после шестого консульства Мария Рутилия обвинили в хищениях и изгнали из Рима. Марий был консулом в шестой раз в 654 году от основания Рима.

Стр. 528 *Кроме Валерия Корвина…* – Марк Валерий Корвин (371–271 до Р. Х.) – римский полководец, шестикратный консул. Первый раз был избран консулом на 23-м году жизни, за 348 лет до Р. Х. в награду за победу в поединке над чрезвычайно рослым галлом.

Стр. 528 *…предложил закон о раздаче земли.* – Аппиан пишет, что этот закон касался земель, которыми завладели кимвры в Северной Италии и которые отняты были у них Марием; по данной причине эти земли уже принадлежали римлянам, а не прежним хозяевам.

Стр. 528 *Он говорил, что у него не так толста шея…* – Этим он хотел сказать, что не был высокомерным и горделивым, ибо толстая шея почиталась признаком надменности.

Стр. 529… *что дал ему волю стремиться явно, посредством оружий и убийств, к самовластью и к ниспровержению правления.* – Сатурнин имел намерение сделаться властелином Рима, сообщники называли его царем.

Стр. 529 *Народ принял охотно это решение…* – Сенат и лучшие граждане желали возвращения Метелла в Рим. Общему желанию противился долгое время народный трибун Публий Фурий, сын вольноотпущенника, несмотря на то, что сын Метелла пал к его ногам в присутствии народа и со слезами умолял его. За свою любовь к отцу молодой Метелл был прозван Пием, то есть благочестивым. В следующем году Фурий был обвинен по этому делу своим преемником, трибуном Гаем Капулеем, и растерзан гражданами.

Стр. 530 *Самые воинственные и многолюдные народы Италии составили союз против Рима и едва не разрушили его владычества* . – Народы Лация, которые считались союзниками Рима и оказывали ему поддержку, многократно требовали равных прав с римлянами. Народный трибун Марк Ливий Друз сделал по этому поводу предложение, которое отвергли, а сам Друз был убит в Народном собрании неизвестно кем. Это дало повод союзникам восстать против римлян. Первые подали пример марсы, с которыми заключили союз пелигны, самниты, кампанцы и луканцы. Война началась в 663 году от основания Рима, за 91 год до Р. Х., продолжалась три года с переменным успехом и была прекращена больше благодаря благоразумию сената, нежели силе.

Стр. 531 *…советовали ехать в Байи…* – Байи – город в Кампании, известный своими горячими сернистыми источниками. Богатейшие римляне старались иметь поместья в этой области.

Стр. 531 *…что Корнелия…* – Корнелия – жена Мария.

Стр. 532 *…города Таррацина…* – Таррацина – италийский город на южном краю Помптинских болот в области вольсков.

Стр. 533 *…от Минтурн…* – Минтурны – город на границе с Кампанией недалеко от устья реки Лирис.

Стр. 533 *…называемый Энарией.* – Энария, или Питекуса, – остров у берегов Кампании.

Стр. 534 *По всем городам разослано уже было объявление искать везде Мария…* – После того как Марий бежал, консулы Сулла и Помпей остались в Риме абсолютными властителями и

объявили Мария и его сообщников врагами отечества.

Стр. 534 *...приговорил к выплате четырех медных монет.* – Этот штраф наложили более в бесчестие, нежели в наказание.

Стр. 535 *...так называемой Марики…* – Марика – италийская нимфа, почитавшаяся у реки Лирис близ Минтурн в посвященной ей роще. Отождествлялась с Венерой.

Стр. 535 *...пристал к острову Менинг…* – Остров Менинг расположен у берегов Северной Африки близ Малого Сирта.

Стр. 536 *...на остров Керкина…* – Остров Керкина расположен к северу от Менинга.

Стр. 536 *...консулы были в раздоре между собою и принялись за оружия.* – Гней Октавий и Луций Корнелий Цинна были консулами в 667 году от основания Рима, за 87 лет до Р. Х., еще до отъезда Суллы. Цинна клялся Сулле держаться его стороны, но едва тот отправился в поход, как Цинна решил призвать обратно Мария и, будучи противником аристократии, предложил законопроект, по которому всем полугражданам и вольноотпущенникам даровались недостающие права. Октавий противился его замыслам. Вскоре на форуме произошло жестокое вооруженное столкновение, в ходе которого было убито до 10 тыс. человек. Цинна отрешили от консульства и принудили покинуть Рим.

Стр. 536 *Цинна собрал в разных областях Италии войско…* – Римские союзники, требования которых поддерживал Цинну, стекались к нему в таком количестве, что вскоре собралось у него тринадцать легионов.

Стр. 537 *...был он сверженс трибуны и умерщвлен.* – Голова этого консула была выставлена на всеобщее обозрение.

Стр. 538 *...которых назвал «бардиеями».* – Происхождение этого названия неизвестно. Некоторые полагают, что это были иллирийцы.

Стр. 538 *Марк Антоний, славный оратор…* – Марк Антоний – знаменитый римский оратор, дед триумвира Марка Антония. Цицерон, который слышал его, удивлялся его красноречию.

Стр. 539 *Обезглавленные тела убиенных были выбрасываемы на улицы и попираемы ногами…* – Головы всех знаменитых особ выставили на площади; под угрозой смертной казни было запрещено хоронить их тела.

Стр. 540 *...историк Гай Пизон…* – Гай Пизон – римский философ-стоик.

Стр. 541 *...он сам себя умертвил.* – Он умер через четыре года после своего отца. См. жизнеописание Суллы.

Лисандр

Лисандр (ум. 395 до н. э.) – спартанский полководец.

Стр. 542 *В Дельфийском храме на сокровищнице аканфийцев …* – Города Греции имели поблизости от Дельфийского храма своего рода приделы, в которых хранились приношения каждого города. Эти приделы называли сокровищницами. Аканф – поселение андрийцев на Стримонском заливе во Фракии, близ канала, вырытого Ксерксом для проведения персидского флота. Город Аканф находился под властью афинян, но спартанский полководец Брасид дал ему независимость.

Стр. 542 *...убежавшие из Коринфа в Лакедемон бакхиады…* – Бакхиады – знатный коринфский род; получили свое имя от Бакхида, сына Примниса, потомка Геракла. Они управляли Коринфом на протяжении двухсот лет (с 839 по 658 год до Р. Х.). Правление их было олигархическим. Их род не вступал в родство с другими семействами. Бакхиады были изгнаны из Коринфа Кипселом, отцом Периандра, получившим верховную власть.

Стр. 542 *Аристотель, доказывая…* – Пс-Аристотель, «Проблемы», 30. Он доказывает, что все великие люди, как-то: Эпименид, Сократ, Платон и пр., были меланхолического склада.

Стр. 543 *...и выслали Лисандра для принятия начальства над морскими силами* . – В 1 году 93 олимпиады, за 408 года до Р. Х.

Стр. 543…о *прибытии в Сарды Кира…* – Кир – сын персидского царя Дария II и младший брат царя Артаксеркса II Мнемона, с которым он вел междоусобную войну за престол.

Стр. 544 *…он дал ему тысячу дариков.* – Дарики – золотые монеты, введенные персидским царем Дарием I. На них был изображен царь с луком.

Стр. 544 *Когда же Алкивиад отплыл с Самоса в Фокею…* – Алкивиад имел намерение собрать с афинских союзников деньги, в которых нуждался для содержания флота, и потому отправился в Фокею или в Клазомены. Это путешествие стало причиной его падения.

Стр. 544 *…прибытие Калликратида…* – Калликратид – спартанский флотоводец, живший в V–IV веке до Р. Х.; принял начальство над флотом в 3 году 93 олимпиады, за 406 лет до Р. Х.

Стр. 546 *Все те, кто ему поверил, были умерщвлены* . – Демократов погибло до 300 человек; около тысячи лучших граждан бежали к персидскому сатрапу Фарнабазу, который принял их благосклонно, каждому дал по золотой монете и отправил их на жительство в крепость Клавдос. Это случилось в 4 году 93 олимпиады.

Стр. 546 *…было непристойно следовать тиранну Поликрату Самосскому.* – Поликрат Самосский (VI в. до Р. Х.) – тиранн Самоса; ему приписывается это ужасное правило.

Стр. 546… *отправляясь к отцу своему в Мидию…* – Царь Дарий II, отец Кира, находился в походе против кадусиев.

Стр. 547 *…в Элеунте…* – Элеунт – город на южной оконечности Херсонеса Фракийского при входе в Геллеспонт. Лампсак – город на берегу Геллеспонта.

Стр. 548 *…подозревая их несколько в измене.* – Подозрение в измене пало на Адиманта, одного из афинских полководцев, ибо после поражения флота от лакедемонян он не был казнен вместе с Филоклом. Впрочем, Лисандр освободил его за то, что он противился известному жестокому постановлению афинян об отрезании большого пальца пленным спартанским воинам.

Стр. 548…к *царю Эвагору.* – Эвагор – царь кипрского города Саламин, правивший в 410–374 до Р. Х. Покорил большую часть Кипра, но после десятилетней войны с персами был вынужден ограничиться властью над Саламином и платить дань. Состоял в дружбе с афинянами и способствовал их сближению с персами против спартанцев.

Стр. 548…ему *достались все афинские корабли, кроме «Парала»…* – «Парал» – корабль, на котором доставлялись известия, считался священным, как и «Саламиния».

Стр. 548 *В один час прекратил он войну самую долговременную, подверженную многоразличным переменам, самую странную напастями и превратностями.* – Пелопоннесская война началась во 2 году 87 олимпиады, за 431 год до Р. Х.

Поражение при Эгоспотамах случилось в 1 году 94 олимпиады, за 404 года до Р. Х. Война продолжалась 27 лет.

Стр. 549 *…свидетельством Даимаха…* – Полагают, что это Даимах из Платей, о котором упомянуто в сравнении Солона с Попликолой. Он сочинил «Историю Индии»; Страбон почитает его баснословным писателем.

Стр. 550 *…поступать столь жестоко с греками?* – То есть отрезать большой палец руки.

Стр. 550 *Феопомп…* – Имеется в виду Феопомп, уроженец Афин, живший примерно в то время. Не следует путать его с известным историком Феопомпом, который жил позже.

Стр. 550 *Лисандр со всеми кораблями опять отправился в Азию.* – Лисандр после победы завладел Византием, Халкидоном на Босфоре, Митиленой и некоторыми другими городами во Фракии.

Стр. 550 *Одних самосцев лишил земли и предал город изгнанникам.* – Только самосцы остались верны афинянам; они изгнали аристократов, но впоследствии были покорены Лисандром.

Стр. 550 *…для всех греков было весьма приятно, что Лисандр возвратил эгинцам город их, которого они долгое время были лишены; что поселил вместе мелосцев и скионеев…* – Эгинитяне были изгнаны с острова афинянами на первом году Пелопоннесской войны. Мелос – один из Кикладских островов; жители его поддерживали Лакедемон и потому были изгнаны афинянами на 16-м году Пелопоннесской войны. Скиона – город на фракийском полуострове Паллена.

Стр. 551 *Афиняне, по совету Ферамена, Гагнонова сына, приняли эти предложения.* –

Афиняне долго не соглашались разрушить Длинные стены по требованию лакедемонян. По прошествии трех месяцев, когда многие уже умирали от голода, Ферамен убедил горожан принять тяжкие условия победителя.

Стр. 551 *...один фокеец спел начало хора из Еврипидовой «Электры»...* – В жизнеописании Никия говорится, что афинские пленники, читая в Сицилии стихи Еврипида, смягчили сердца победителей и получили свободу. Здесь же стихи великого трагика спасают его отечество от неизбежной гибели.

Стр. 551 *...было жестоко разрушить и уничтожить город, столь славный и таких мужей производящий.* – Элиан пишет, что лакедемоняне вопросили Дельфийское прорицалище относительно разорения Афин и получили ответ, что не должно разорять общего жертвенника Греции.

Стр. 551 *...онучредил в городе тридцать правителей...* – Имеются в виду тридцать тираннов.

Стр. 552 *...а все деньги, которые у него оставались...* – Эти деньги он получал от Кира в качестве пособия, сумма которого достигала 470 талантов.

Стр. 552 *...послал их в Лакедемон с Гилиппом, тем самым, который некогда предводительствовал лакедемонянами в Сицилии.* – Гилипп был послан на помощь осажденным сиракузянам и способствовал изгнанию и поражению афинян. См. жизнеописание Никия.

Стр. 552 *...вынул из каждого довольно денег...* – Диодор полагает, что сумма похищенных денег составляла 300 талантов. Клеарх, отец Гилиппа, за подобное хищение был приговорен к смерти, но бежал.

Стр. 552 *...в Керамике водится много сов...* – Керамик – квартал гончаров в Афинах. Слуга Гилиппа подразумевал под названием «Керамик» кровлю, покрытую черепицами. Сова, любимая птица Афины, изображалась на афинских монетах, которые всюду были в ходу по причине обширной торговли.

Стр. 552 *...а шесть оболов драхмой, ибо такое число можно обхватить рукой.* – Первоначально вместо монет служили небольшие остроконечные железные прутья *(obelus);* словно «драхма» происходит от слова «хватать».

Стр. 553 *...также посвятил Диоскурам золотые звезды, которые исчезли еще до сражения при Левктрах* . – Эти золотые звезды были, без сомнения, украдены, а так как это случилось перед сражением при Левктрах, их пропажу сочли предзнаменованием поражения лакедемонян.

Стр. 553 *Дельфиец Александрид...* – Александрид – греческий историк, автор сочинения об истории посвящений Дельфийскому храму.

Стр. 553 *...по имени Херил...* – Херилов было трое. Первый, родом с Самоса, жил около 78 олимпиады и описал стихами победу афинян над Ксерксом. Второй, бывший при Лисандре, родом из Спарты, был также стихотворцем; третий описал дурными стихами подвиги Александра Великого.

Стр. 555 *...город афитейцев...* – Афит – город на фракийском полуострове Паллене.

Стр. 555 *...афиняне прежде всех напали из Филы на Тридцать тираннов и одержали над ними верх* . – Афиняне, изгнанные Тридцатью тираннами, собрались в Фивах и под предводительством Фрасибула заняли крепость Фила на границах Беотии и Аттики, откуда вели войну с тираннами.

Стр. 556 *Царь Агис по смерти своей...* – Царь Агис II умер в 3 году 95 олимпиады, за 398 лет до Р. Х.

Стр. 556 *...будучи перенесен вГерею...* – Герея – большой город в Аркадии на границе с Элидой. Агис прибыл туда из Дельф, где принес богам десятую часть добычи, отнятой в Элиде.

Стр. 557 *Это прорицание...* – Об этом прорицании говорится в жизнеописании Агесилая и в рассуждении Плутарха «О том, что пифия больше не прорицает стихами».

Стр. 557 *...в число тридцати советников...* – Лакедемонские цари во время походов брали себе на службу большое число советников.

Стр. 558 *...дал должность раздавателя мяса...* – Плутарх в «Застольных беседах» замечает, что должность эта не считалась низкой и что всегда назначали на нее важного

человека.

Стр. 558 *Геракловы потомки…* – Внуки Гилла, сына Геракла, возвратились в Пелопоннес и заняли Аргос, Мессену и Лакедемон. Мессена досталась Кресфонту, Аргос – Темену, а Лакедемон – сыновьям третьего брата, Аристодема, Эврисфену и Проклу. Эти последние царствовали вместе. Первый оставил по себе сына Агиса, от которого произошел дом Агидов. У Прокла был сын Сой, от сына которого произошел другой царствующий дом – Эврипонтиды.

Стр. 560 *Фиванцев обвиняют в том, что они в Авлиде раскидали с алтаря жертву…* – Царь Агесилай, собрав свой флот в Гересте на Эвбее, хотел, по примеру Агамемнона, принести в Авлиде, беотийском городе, жертву Артемиде. Но фиванцы этому воспрепятствовали, напали на него во время жертвоприношения и разбросали части жертв с жертвенника.

Стр. 560 *...будучи подкуплены деньгами царя персидского…* – После многих побед, одержанных Агесилаем над персами в Азии, сатрап Фарнабаз послал в Грецию некоего родосца Тимократа с большим количеством денег, дабы возбудить города к объявлению войны лакедемонянам и тем принудить Агесилая оставить Азию, – в чем он абсолютно преуспел.

Стр. 560 *...дабы возжечь в Греции войну против лакедемонян…* – Война началась следующим образом: подкупленные персидским царем фиванцы уговорили локров ограбить поле, за которое фиванцы и фокейцы спорили между собой. Фокейцы в ответ вступили в Локриду и опустошали ее. Андроклид и его сообщники убедили тогда фиванцев напасть на фокейцев, которые обратились за помощью к лакедемонянам; последние охотно объявили войну фиванцам.

Стр. 560 *...весьма сходные и соответственные с поступками единоземцев своих Геракла и Диониса…* – Геракл и Дионис, покровители слабых и гонимых, считались отечественными богами фиванцев.

Стр. 560 *...в Галиарте…* – Галиарт – древний город Беотии на южном берегу озера Копаида.

Стр. 561 *Памятник Алкмене…* – Алкмена – мать Геракла.

Стр. 561 *...союзного города Панопея…* – Панопей – город в Фокиде, в двадцати стадиях от Херонеи.

Стр. 562 *...как сражение при Делии, так и при Галиарте…* – Сражение при Делии было дано на 8-м году Пелопоннесской войны, за 424 года до Р. Х. Афиняне потерпели сокрушительное поражение. Сражение при Галиарте произошло за 395 лет до Р. Х.

Стр. 562 *...убежал в Тегею, где провел свою жизнь, как проситель, в храме Афины.* – В Тегее был храм Афины, которой поклонялись под именем Алеи. Жители Пелопоннеса имели к храму великое уважение; все скрывавшиеся в храме находились в безопасности и были неприкосновенны. Павсаний оставил двух сыновей, Агесиполида и Клеомброта, которые царствовали один за другим.

Стр. 562 *...как говорит Феопомп…* – Феопомп (ок. 377–300 до Р. Х.) – древнегреческий историк, родом из Хиоса, ученик Исократа. Прославился историческими сочинениями, от которых сохранились фрагменты.

Сулла

Луций Корнелий Сулла (138–78 до н. э.) – римский полководец и государственный деятель.

Стр. 563 *Руфин, один из предков его…* – Публий Корнелий Руфин был консулом дважды, в 464 и 477 годах от основания Рима, то есть за 290 и 277 лет до Р. Х. В 479 году его исключили из сената цензоры Гай Фабриций и Квинт Эмилий

Пап – за то, что у него дома было почти 10 фунтов столового серебра. По свидетельству Веллея Патеркула, Сулла был шестым после Руфина.

Стр. 563 *...в тысячу нуммов…* – Четыре нумма, или сестерция, составляют денарий, или греческую драхму.

Стр. 565 *...дано ему было имя Суллы…* – Истинное происхождение этого имени неизвестно. Одни производят его от слова *sus* , по примеру некоторых других римских фамилий, каковы *Suillii* и *Porcii* . Макробий говорит, что во время войны с Ганнибалом

Корнелий Руфин, рассматривавший Сивиллины книги, получил прозвание Сивилла, а со временем это прозвище превратилось в «Сулла».

Стр. 564 *«Сулла есть шелковичная ягода, усыпанная мукой».* – Этими и подобными острыми словами, как пишет Плутарх в рассуждении о болтливости, афиняне так озлобили против себя Суллу, что тот, покорив город, предал их мечу

Стр. 564 *...во время первого консульства полководца…* – В 647 году от основания Рима, за 107 лет до Р. Х.

Стр. 564… *свел дружбу с Бокхом, царем нумидийским.* – Саллюстий в «Югуртинской войне» называет его царем мавров, или мавританов, которые жили на запад от Нумидии.

Стр. 565 *...поймал вождя тектосагов… убедил марсов…* – Тектосаги – кельтское племя, жившее на юге Франции. Марсы – народ, обитавший в Средней Италии. Однако здесь речь идет о племени, обитавшем в Вестфалии на обоих берегах реки Липпа. Они вступили в Галлию в намерении соединиться с тевтонами и вторгнуться в Италию. Сулла убедил их примкнуть к римлянам.

Стр. 565 *...когда советует беречься честолюбия, как злобнейшего демона и пагубнейшего для тех, кто ему предается.* – Плутарх намекает на то место трагедии Еврипида «Финикиянки» (стих 531), где Иокаста напоминает своим детям не предаваться честолюбию, которое, как говорит она, есть несправедливая богиня и разоряет дома, в которых поселяется.

Стр. 565 *...сделавшись эдилом…* – В обязанности эдилов входил надзор за публичными играми, которые обыкновенно они проводили за свой счет для приобретения народной благосклонности. Сулла исполнил ожидания народа, дав ему великолепные игры, на которых было до ста львов.

Стр. 565 *...грозил Цезарю…* – Секст Юлий Цезарь – дядя Гая Юлия Цезаря, которому было тогда восемь лет.

Стр. 565 *...истинная же причина та, чтобы удержать Митридата…* – Митридат отравил царя каппадокийского Ариарата VII, отправил в изгнание Ариарата VIII, а Каппадокию отдал своему малолетнему сыну, который также назывался Ариаратом. Каппадокийцы восстали против него и избрали царем Ариобарзана с согласия римского сената. Но вскоре Ариобарзана изгнал армянский царь Тигран, который возвратил царство сыну Митридата. Ариобарзан просил защиты у римского сената, который предписал Сулле возвратить ему царство.

Стр. 566 *...посланник царя Арсака.* – Арсак – родовое имя парфянских царей.

Стр. 566 *...родом халдей…* – Халдеи – так греки и римляне называли вавилонян, которые считались астрологами и предсказателями.

Стр. 566 *Однако же Сулла избежал участи Тимофея…* – Тимофей – последний из великих афинских полководцев, победил лакедемонян на море при Левкаде, покорил много городов и островов, но при осаде Византия за 354 года до Р. Х. его товарищ Харис выдал Тимофея афинянам, которые осудили его к выплате восьми талантов пени. Не будучи в состоянии заплатить такое количество денег, он убежал в Халкиду, где и умер.

Стр. 567 *...согласие с Метеллом…* – Имеется в виду Квинт Цецилий Метелл Пий, сын Метелла Нумидика; Сулла во время своей диктатуры был вместе с ним консулом (80 до Р. Х.).

Стр. 567 *...близ Лаверны…* – Лаверна – роща богини Лаверны, которая считалась покровительницей воров.

Стр. 568… *был он избран в консулы…* – В 666 году от основания Рима, за 88 лет до Р. Х. Это было первое консульство Суллы.

Стр. 570 *...увидел во сне богиню, которой римляне поклоняются, приняв ее от каппадокийцев…* – Речь идет о богине Кибеле, которой поклонялись в Азии.

Стр. 570…к *храму Земли…* – В храме Земли нередко происходили заседания сената.

Стр. 571 *Но Сулла, не заботясь ни о нем, ни о суде, отправился против Митридата* . – Другая причина, побудившая Суллу ускорить свой отъезд, состояла в том, что он боялся участи своего товарища Квинта Помпея, умерщвленного войском, над которым народ дал ему предводительство. Сулла поспешил в Капую, где было собрано войско, и переправился в Грецию.

Стр. 571 *Азию он отнял у римлян, Вифинию и Каппадокию у царей их.* – Союзническая война и междоусобные раздоры подали Митридату случай успешно напасть на римлян. Жители

Азии приняли его с радостью по причине претерпеваемых ими от римских правителей угнетений. Римские полководцы Луций Кассий, Маний Аквилий, Квинт Оппий, Мануций Руф и Гай Попилий были им побеждены; некоторые попали к нему в руки; он поступил с ними жестоко.

Стр. 571 *...управлял в Понте и Боспоре…* – Понтийское царство находилось в северной части Малой Азии и граничило на западе с рекой Галис, на юге с Каппадокий и Армений, на востоке с Колхидой. Под Боспорским царством надо понимать область при входе в Мэотиду (Азовское море) между Черным и Каспийским морями.

Стр. 571 *...мыса Малеи…* – Малея – самый южный мыс Пелопоннеса.

Стр. 572 *...взять без всякой потери Верхний город…* – Верхним городом назывались Афины по отношению к Пирею.

Стр. 572 *Он срубил деревья в Академии, обилующем ими предместии; то же сделал и в Ликее.* – Академия и Ликей были гимнасиями. Академия находилась в 6 стадиях к северу от Афин, имела большой сад с аллеями и была окружена стеной. Ликей находился к востоку и имел тенистые места для прогулок.

Стр. 572 *Из Эпидавра и Олимпии…* – Эпидавр – город, в котором находился богатейший храм Асклепия. В Олимпии, что в Элиде, хранились великие сокровища.

Стр. 572 *...из царских подарков…* – Лидийский царь Крез подарил Дельфийскому храму среди других дорогих вещей четыре серебряные бочки. Большая часть дельфийского богатства была расхищена еще во время так называемой Священной войны фокейцами за 265 лет до Суллы.

Стр. 573 *...а Флакка Фимбрией.* – Консул Валерий Флакк был послан с войском в Азию против Митридата и Суллы, погиб от руки Фимбрии, своего легата.

Стр. 573… *тиранн Аристион.* – Аристион был оставлен в Афинах Архелаем с гарнизоном численностью 2000 человек, с помощью которых он сделался властелином города. Он выдавал себя за ученика и последователя эпикурейской философии. Аппиан замечает, что самые жестокие тиранны греческих городов, со времен семи мудрецов до Аристиона, были те, кто себя выдавали за философов.

Стр. 573 *...растущей вокруг акрополя травой…* – Имеется в виду девичья ромашка, по-гречески «парфенос», то есть «Дева» (Афина). Сосуды, в которых держали масло, назывались лекифами и были кожаными.

Стр. 574 *...в Керамике…* – В Афинах было два Керамика: один внутри города, квартал гончаров, а другой – вне городских стен, близ Академии. Там находился некрополь.

Стр. 574 *...при Гептахалке…* – Гептахалк – храм в западной части Афин.

Стр. 574 *...Двойные ворота.* – Двойные ворота (Дипилон) – одни из двенадцати ворот Афин, ведущие к Академии; прежде назывались Фриасийскими воротами.

Стр. 574 *...случился потоп.* – Имеется в виду Девкалионов потоп.

Стр. 574 *...воздвигнутое Филоном.* – Филон – знаменитый архитектор, живший за 300 лет до Р. Х. Построенная им в Пирее оружейная считалась прекрасным произведением искусства и была столь обширна, что на занимаемом ею пространстве могли бы поместиться сто кораблей. Валерий Максим пишет, что Филон отдал отчет о своей работе в театре с таким красноречием, что народ был восхищен как самой речью его, так и ораторским искусством.

Стр. 575…к *самой Титоре…* – Титора (или Титорея) – город в Фокиде в 80 стадиях от Дельф, на дороге к горе Парнас.

Стр. 575 *...Элатийской равнины…* – Элатийская равнина – равнина близ города Элатия, где протекала река Кефис. Жители Элатии выдержали осаду Так-сила, за что римляне возвратили им независимость.

Стр. 576 *...указав на бывший акрополь Парапотамиев …* – Геродот указывает город Парапотамии в числе тех, которые были сожжены Ксерксом (480 до Р. Х.) в Фокиде. Этот город не восстанавливался.

Стр. 579 *...в город Мелитию…* – Мелития – большой город во Фтиотиде в Фессалии.

Стр. 579…у *Тилфоссия…* – Тилфоссий – гора близ источника Тильфусы в Беотии, в 50 стадиях от Галиарта. У источника была гробница мифического прорицателя Тиресия.

Стр. 580 *Болота были наполнены кровью, а озеро трупами мертвых .*– Архелай

скрывался целый день в болотах под телами мертвых, а потом бежал на Эвбею, где собирались находившиеся в Греции Митридатовы войска.

Стр. 580 *В то самое время Цинна и Карбон…* – Гней Папирий Карбон – один из самых горячих приверженцев Мария. Цинна избрал сам себя консулом, не спросив мнения народа.

Стр. 580 *…оставить Азию…* – Под Азией здесь подразумеваются области, которыми римляне владели в Малой Азии: Иония, Фригия, Лидия, Кария и пр.

Стр. 581 *…в страну медов…* – Меды – одно из многочисленных фракийских племен. Область Медика лежит во Фракии у горы Пангей на реке Нест.

Стр. 581 *…в Филиппах…* – Филиппы – город недалеко от Амфиполя, в той части Македонии, которая принадлежала прежде Фракии. Имя свое получил от Филиппа Македонского, отца Александра Великого. Известен сражением, в котором Кассий и Брут были побеждены Антонием и Октавианом (42 до Р. Х.).

Стр. 582 *…при Фиатирах…* – Фиатиры – город в Лидии, недалеко от Пергама.

Стр. 582 *Фимбрия, видя такую в них перемену и боясь Суллы, как врага непримиримого, сам себя умертвил в своем стане* . – Фимбрия, зная, что воины его преданы Сулле, подкупил одного раба, который, прийдя в стан Суллы как перебежчик, хотел его умертвить. Но его поймали, воины в ярости окружили стан Фимбрии; тот бежал в Пергам в храм Асклепия и поразил себя мечом. Рана оказалась не смертельной; тогда он прибегнул к помощи раба и наконец покончил с собой.

Стр. 582 *Сулла наложил на всю Азию вообще двадцать тысяч талантов пени…* – Сулла собрал в Эфесе главных граждан азийских городов, выговаривал им за отпадение от римлян и присудил к выплате всех военных издержек, грозя в противном случае поступить с ними как с неприятелями. Городам пришлось продать гимнасии, общественные здания и гавани для выплаты означенной суммы.

Стр. 582 *…грамматиком Тираннионом.* – Тираннион (I в. до Р. Х.) – грамматик школы Аристарха Самофракийского, родом из понтийского города Амис. Был дружен с Цицероном и учил его детей.

Стр. 583 *…скепсийца…* – Скепсий – город в Малой Азии в Мизии на горе Ида.

Стр. 583 *…отплыл в Эдепс…* – Эдепс – город на севере Эвбеи. Здесь находились знаменитые купальни с серной теплой водой, посвященные Гераклу.

Стр. 583 *…имевших под начальством своим четыреста пятьдесят когорт.* – Когорта составляла десятую часть легиона, то есть в 45 легионах насчитывалось до 225 тыс. человек. Сулла переправился в Италию с 40 тыс. человек.

Стр. 583…у *горы Тифаты…* – Тифата – гора в Кампании к северу от Капуи.

Стр. 583 *…консул Норбан…* – Гай Норбан – консул вместе с Луцием Корнелием Сципионом в 671 году от основания Рима, за 83 года до Р. Х.

Стр. 584 *…при Фиденции…* – Фиденция – город Цизальпинской Галлии между Пармой и Плаценцией.

Стр. 584 *После этого происшествия Марий, имевший под начальством своим при Сигнии восемьдесят пять когорт…* – В 672 году от основания Рима, за 82 года до Р. Х., консулами были Гней Папирий Карбон в третий раз и Гай Марий. Сигния – город в области вольсков.

Стр. 585 *…в Пренесте…* – Пренесте – укрепленный город в Лации на границе с эквами.

Стр. 585 *…и Фенестелла…* – Луций Фенестелла (ум. 19 от Р. Х.) – римский историк, живший во времена Августа и Тиберия. Написал «Анналы», которые охватывают время от периода царей до падения республики.

Стр. 585 *Карбон, начальник стороны противников, ночью убежал из своего войска и отплыл в Ливию.* – Карбон по прибытии в Африку, не считая здесь себя в безопасности, отправился на остров Коссура, лежащий между Африкой и Сицилией, дабы оттуда плыть в Египет. Он был пойман, приведен к Помпею и умерщвлен.

Стр. 586 *…до Антемны…* – Антемна – город в нескольких километрах к северу от Рима на реке Тибр.

Стр. 587 *…по его приказанию, проучивают некоторых дурных людей.* – Это убийство происходило во Фламиниевом цирке, близ храма Беллоны, богини войны. В храме был большой зал, где проходили заседания сената.

Стр. 587 *…последние слова сказаны каким-то Фуфидием…* – Фуфидий говорил Сулле: «Мы должны некоторым оставить жизнь, дабы над кем-нибудь господствовать».

Стр. 588 *…и был убит человеком, гнавшимся за ним.* – Число умерщвленных по проскрипции составило 4700 человек, среди которых было 2000 сенаторов и римских всадников. Плутарх не упоминает обо всех зверствах Суллы, без сомнения, щадя чувства читателя.

Стр. 588 *…чтобы избежать плена, умертвил сам себя.* – Марий хотел бежать подземным ходом, но, заметив, что он окружен войсками Суллы, приказал своему рабу умертвить себя.

Стр. 588 *Поступок Луция Катилины…* – Луций Сергий Катилина (ок. 108– 62 до Р. Х.) – глава заговора, получившего от него свое имя. Заговор раскрыл Цицерон.

Стр. 588 *…убил он Марка Мария…* – Марк Марий – именитый гражданин, родственник Гая Мария, был любим народом.

Стр. 588 *…и умыл в ней руки свои.* – У дверей языческих храмов был сосуд с водой, которую почитали священной и в которой умывали руки входящие в храм для очищения.

Стр. 589 *Триумф его был пышен по своему богатству и необыкновенной добычи, отнятой у Митридата…* – Триумф продолжался два дня. В первой несено было 15 тыс. фунтов золота и 115 тыс. фунтов серебра, взятого в добычу в войне с Митридатом; во второй же день – 13 тыс. фунтов золота и 6 тыс. фунтов серебра, которые при пожаре Капитолия спас Марий-младший и которые хранились в Пренесте.

Стр. 589 *Некто Марк Лепид, человек дерзкий и неприятель Сулле, против воли его был избран народом в консулы…* – Марк Эмилий Лепид – консул вместе с Квинтом Лутацием Катуллом в 676 году от основания Рима, за 78 лет до Р. Х.

Стр. 590 *…и лисиод…* – Лисиод – актер, игравший женские роли в мужском платье.

Стр. 590 *…в глубокой древности Акаст, сын Пелия, был одержан сею болезнью, а в последующие времена стихотворец Алкман, богослов Ферекид, Каллисфен Олинфский, которого содержали в темнице, равно и законоискусник Муций* . – Акаст – сын Пелия и Астидамии. Участвовал в походе аргонавтов. После своего отца занял трон в Иолке. Алкман (VII в. до Р. Х.) – древнегреческий поэт, видный представитель хоровой лирики. Из его стихотворений сохранилось несколько отрывков. Родом из лидийского города Сард, в молодости был невольником, получил свободу в Спарте. Был весьма прожорлив. Ферекид (VI в. до Р. Х.) – греческий философ с острова Сирос, учитель Пифагора. Каллисфен (ок. 370 – ок. 327 до Р. Х.) – племянник и ученик Аристотеля, сопровождал Александра Македонского в походах. Публий Муций Сцевола – консул вместе с Кальпурнием Пизоном в 621 году от основания Рима, за 133 года до Р. Х., считается основателем гражданского права.

Стр. 591 *…примирил дикеархийцев…* – Дикеархия – город в Кампании, который римляне называли Путеолами. Близ города находилось прекрасное имение Суллы, где он умер.

Стр. 592 *«У себя львы, у чужих лисицы».* – Смысл этой пословицы такой, что спартанцы в своем отечестве соблюдали строгий образ жизни, а вне отечества, особенно в Ионии, предавались роскоши и неге. Впрочем у Аристофана читаем эту пословицу так: «Дома львы, в сражении лисицы».

Кимон

Кимон (ок. 504–449 до н. э.) – афинский государственный деятель, стратег; вождь олигархической группировки, активный участник борьбы за создание Афинского морского союза.

Стр. 595 *…в сражениях с галлами.* – Галлы ворвались в Грецию под предводительством Бренна за 279 лет до Р. Х. и опустошили Фессалию и Фокиду, но были разбиты при Дельфах. В Азии они поселились в одной из областей Фригии, которая получила название Галатии.

Стр. 596 *…подле Стирея…* – Стирей – город в 120 стадиях от Херонеи.

Стр. 596 *…однако думаем, что благодеяние Лукулла простирается и на нас…* – Плутарх жил через двести лет после Лукулла; столь великий промежуток времени не ослабил благодарности херонейских жителей к этому человеку. Дасье справедливо замечает, что

Плутарх сделал Лукулла бессмертным, ибо он один сохранил нам полное жизнеописание этого занимательного человека.

Стр. 597 *...можно почесть достоверным.* – По мифологии, Геракл простер свои походы на восток до царства амазонок; на запад через Африку до Гибралтарского пролива, откуда через Пиренеи и Альпы прибыл в Италию. Дионис ходил на восток, в Индию. Персей, сын Зевса и Данаи, умертвил в Африке медузу Горгону, освободил Андромеду, дочь эфиопского царя Медея, от морского чудовища и покорил персов. Поход Ясона в Колхидлу за золотым руном всем известен.

Стр. 597 *...как видно из стихотворений Архелая и Меланфия, в честь Кимона сочиненных.* – Архелай Элегический (V в. до Р. Х.) – древнегреческий поэт и философ, учитель Сократа, был родом из Милета или из Афин. Меланфий (IV в. до Р. Х.) – древнегреческий художник, жил во времена Тридцати тиранов и прославился написанием портретов.

Стр. 597 *...не был в состоянии заплатить пятьдесят талантов пени, в которой его осудили.* – Причина осуждения Мильтиада к выплате пени следующая: он побудил афинян предпринять поход против острова Парос, но это предприятие не увенчалось успехом. По уверению Корнелия Непота и Юстина, Мильтиад умер в темнице, и Кимон согласился вступить в нее и надеть на себя оковы, дабы ему позволили похоронить отца.

Стр. 597 *...этот живописец, изображая в галерее, называемой тогда Писианактовой, а ныне Расписной, плененных троянок, представил Эльпинику в лице Лаодики* . – Расписная, или Пестрая, – название, вероятно, связано с многочисленными живописными изображениями, украшавшими галерею, работами Полигнота и Микона; последний работал за деньги. Лаодика – дочь царя Приама, супруга Геликаона. По преданию, бросилась со скалы от горя по умершему сыну.

Стр. 598… *но явно сочетался с ней браком…* – Корнелий Непот говорит то же самое, ибо по афинским законам брат мог жениться на сестре, родившейся от другой матери.

Стр. 599 *По-видимому, этим она давала ему знать о смерти, там его ожидавшей.* – Павсаний бежал в храм Афины Меднодомной; но лакедемоняне заложили двери храма, и Павсаний постепенно ослабел от голода. Перед смертью его вынесли из храма, и вскоре он испустил дух.

Стр. 599 *...занимали город Эион…* – Эион – город близ устья реки Стримон в 25 стадиях от Амфиполя. Диодор полагает, что взятие Эиона произошло в 3 году 77 олимпиады, за 470 лет до Р. Х.

Стр. 600 *Остров населяем был долопами…* – Долопы – племя, жившее в Фессалии на границе с Эпиром, откуда потом переселилось на некоторые из островов Эгейского моря.

Стр. 601 *...почти через восемьсот лет после его смерти…* – Тесей умер за 1205 лет до Р. Х., прах его перевезли в Афины за 468 лет до Р. Х., через 737 лет после смерти. (Применительно к Тесею и другим героям древности датировки весьма условны. – *Примеч. ред.)*

Стр. 601… *который был еще очень молод.* – Софоклу тогда было двадцать восемь лет.

Стр. 601 *Архонт Апсефион…* – Апсефион был архонтом в 4 году 77 олимпиады, за 469 лет до Р. Х.

Стр. 602 *Богатства Скопадов…* – Скопады – богатейший род Фессалии с резиденцией в городе Краннон.

Стр. 602 *...во время гимнопедий.* – Гимнопедии – праздник в честь Аполлона, справлявшийся в Спарте нагими отроками и юношами.

Стр. 602 *...они распространили среди греков зерна, служащие к пище…* – Из мифологии известно, что Триптолем, сын элевсинского царя Келея, объезжал

Грецию на колеснице, запряженной драконами, учил жителей земледелию и тем самым смягчил их грубые нравы.

Стр. 604 *...по эту сторону Хелидонских островов. Он вышел из Книда и Триопия…* – Хелидонские острова, или Скалы, – три утесистых острова к востоку от Родоса. Книд – город в Карии, на побережье Херсонеса Книдского.

Стр. 604…к *городу фаселитов…* – Фаселис – город на восточной границе Ликии.

Стр. 604 *...Тифравст был тогда начальником царского флота, а Ферендат* –

предводителем сухопутного войска .– Тифравст – побочный сын Ксеркса, Ферендат – племянник царя Артаксеркса.

Стр. 604 *...по свидетельству Фанодема, с флотом, состоявшим из шестисот кораблей, а по словам Эфора – из трехсот пятидесяти.* – Фанодем – древнегреческий писатель, автор «Аттических древностей». Диодор пишет, что персидский флот состоял из 340, а греческий из 250 кораблей.

Стр. 604 *Наконец после великих усилий греки, обратив в бегство варваров, убивали их, брали в плен, получали в добычу шатры их, наполненные сокровищами.* – Диодор пишет, что Кимон употребил перед вторым сражением хитрость. Он одел храбрейших афинян в персидское платье, посадил их на отнятые у неприятелей корабли и послал в персидский стан, где их приняли за своих.

Стр. 605 *...от Кианейских скал…* – Кианейские скалы – так называемые «блуждающие» скалы при входе в Черное море, Симплегады из мифа об аргонавтах.

Стр. 606 *...от жены его клейторянки…* – Клейтор – город в Аркадии, известный своим источником, вода которого будто бы вызывала отвращение к вину.

Стр. 607 *...случилось землетрясение, сильнейшее изо всех до того времени бывших.* – Это землетрясение случилось в 4 году 77 олимпиады, за 469 лет до Р. Х, во время землетрясения погибло 20 тыс. лакедемонян. Фукидид пишет, что землетрясение сочли карой Посейдона за то, что спартанцы вывели из его храма спрятавшихся там илотов и умертвили.

Стр. 608 *Лакедемоняне призывали опять афинян к себе на помощь против ифомских мессенцев и илотов. Афиняне пришли, но лакедемоняне, боясь их смелости и блистательной славы, их одних изо всех союзников отослали назад, как людей беспокойных* .– Фукидид упоминает только об одном походе Кимона к лакедемонянам. Ифома – крепость близ Мессены. Лакедемоняне осаждали ее десять лет, но в конце концов позволили жителям Ифомы свободно покинуть Пелопоннес. Афиняне отдали им город Навпакт в Локриде.

Стр. 608 *...из Анафлиста…* – Анафлист – местечко в Аттике.

Стр. 608 *По заключении мира…* – Этот мир был заключен в 3 году 81 олимпиады, за 454 года до Р. Х.

Стр. 609 *...но посидониец…* – Посидония – город в Лукании.

Стр. 609 *...покорял окрестные города и искал случая напасть на Египет.* – Афиняне еще в 3 году 80 олимпиады, за 458 лет до Р. Х. послали 200 кораблей на помощь египтянам, восставшим против персидского царя Артаксеркса и избравшим в цари Инара. Сперва они разбили персов и завладели большей частью Мемфиса, но по прошествии двух лет были побеждены персами, потеряли свои корабли, и только немногие из них возвратились в Грецию. Кимон отправился в Египет в 3 году 82 олимпиады. Он послал царю Амиртею, который держался еще против персов, несколько кораблей, которые, однако, не смогли помочь.

Лукулл

Луций Лициний Лукулл (ок. 117–56 до Р. Х.) – римский полководец и политический деятель; сторонник Суллы.

Стр. 610 *Дед Лукулла…* – Дед Лукулла также звался Луцием Лицинием Лукуллом, в 603 году от основания Рима, за 151 год до Р. Х., был консулом вместе с Авлом Постумием Альбином и начальствовал в Иберии. Отец Лукулла, претор в Сицилии, был обвинен за взятки.

Стр. 611…с *оратором Гортензием и историком Сизенной…* – Квинт Гортензий (114–50 до Р. Х.) – знаменитый римский оратор. Луций Корнелий Сизенна (119–67 до Р. Х.) – римский историк, описавший эпоху Суллы.

Стр. 612 *Молодой Птолемей…* – Неизвестно, о каком из Птолемеев идет речь – об Авлете, Дафире или Александре.

Стр. 612 *...в Питане.* – Питана – город в Мизии недалеко от Пергама.

Стр. 613 *...сделался убийцей друга своего и полководца…* – Имеется в виду консул Луций Валерий Флакк.

Стр. 613 *...при Лекте…* – Лект (Лектон) – юго-западная оконечность Троады, напротив северного побережья острова Лесбос.

Стр. 613 *По заключении мира Митридат удалился в Эвксин.* – Первый мир с Митридатом был заключен в Дардане в 669 году от основания Рима, за 85 лет до Р. Х.

Стр. 613 *Когда митиленцы…* – Митилена – главный город острова Лесбос. Элея – город в Малой Азии напротив Лесбоса.

Стр. 614 *Многие хотели возобновить войну с Митридатом…* – Вторую Митридатову войну (83–81 до Р. Х.) спровоцировал проконсул Лициний Мурена, оставленный в Азии Суллой с двумя легионами и желавший прославиться. Он напал на область Митридата и разграбил Команы, в которых был весьма богатый храм. Митридат в сражении разбил его. Третья война (74–63 до Р. Х.) началась по той причине, что Митридат заключил союз с Серторием и не хотел уступать Вифинию, которую отдал римлянам ее последний царь Никомед.

Стр. 614 *Сверх того Цетег…* – Публий Корнелий Цетег – претор 679 года от основания Рима. Был сторонником Мария, но после поражения от Суллы перешел на сторону последнего.

Стр. 615 *…а Метелл…* – Квинт Цецилий Метелл Пий – консул 80 года до Р. Х., сын Метелла Нумидика.

Стр. 615 *…чтобы охранять Пропонтиду…* – Пропонтида – Мраморное море.

Стр. 616 *Когда Архелай…* – Архелай, полководец Митридата, побудил царя к заключению мира с Суллой и, оказавшись под подозрением в предательстве, бежал к Мурене в 671 году от основания Рима, за 83 года до Р. Х. Его сын был верховным жрецом в Команах; внук Архелай стал царем Каппадокии в 36 году до Р. Х. вместо Ариобарзана III.

Стр. 617 *…на горе Адрастии.* – Адрастия – полоса земли на берегу Пропонтиды, от Кизика до Пария, по имени города, некогда находившигося на этом месте. Гора, здесь упоминаемая, называлась Диндим; не следует путать ее с горой того же имени в Галатии, где поклонялись Кибеле.

Стр. 617 *…и таким образом с двух сторон осаждал город…* – Город Кизик был расположен на острове, но так близко от берегов Мизии, что соединялся с сушей двумя мостами.

Стр. 617 *…есть озеро, называемое Даскилийским…* – Даскилийское озеро – небольшое озеро в Вифинии, которое соединялось с морем; имя свое получило от города Даскилион.

Стр. 617 *…настало время празднества Персефоне.* – Персефона считалась покровительницей Кизика, который, по словам Аппиана, дан был ей в приданое от Зевса.

Стр. 618 *…веду ливийского флейтиста на понтийского трубача.* – Под ливийским флейтистом подразумевается южный ветер, под понтийским трубачом – северный.

Стр. 618 *…на реке Риндака… из Аполлонии…* – Риндак – река, отделяющая Вифинию от Мизии и впадающая в Пропонтиду. Аполлония – город в Вифинии.

Стр. 619 *…при реке Граника…* – Река Граник протекает с юга на север через Мизию и впадает в Пропондиту недалеко от Кизика. Здесь Александр Великий одержал первую победу над персами.

Стр. 619 *Лукулл, вступив в Кизик, был принят с отличными почестями и любовью* . – Кизикийцы учредили в его честь игры Лукуллии.

Стр. 619 *…в Ахейской пристани…* – Ахейская пристань находилась рядом с Сигейским мысом, близ устья реки Скамандр.

Стр. 620 *…Приапской…* – Приап – город в Мизии, на Пропонтиде, недалеко от входа в Геллеспонт; имя свое получил от бога Приапа, которому здесь поклонялись.

Стр. 620 *…до Фемискиры…* – Фемискира – плодоносная равнина в Понтийской области, на запад от Амазии. В древности славилась тем, что тут будто бы жили амазонки. Далее к западу жили тибуртинцы, за ними же халдеи, которых не должно смешивать с халдеями Вавилонии.

Стр. 620 *…от Кабиры…* – Кабира – укрепленный город во времена Митридата. Помпей переименовал его в Диосполь, впоследствии получил имя Себастия.

Стр. 620 *…обладает Тигран…* – Тигран II Великий – царь Армении 95–56 до Р. Х. До смерти отца находился в заложниках у парфян. После вступления на престол распространил свое владычество над Сирией, Месопотамией и Ассирией, отнял некоторые области у парфян. В 69 году до Р. Х. был разбит под Тигранакертом, все приобретенные земли отошли к римлянам.

Стр. 621 *...вокруг Амиса…* – Амис – укрепленный город в Понте близ устья реки Галис. Аппиан уверяет, что Лукулл встретил здесь жестокое сопротивление.

Стр. 623 *...в Фарнакии…* – Фарнакия – город в Понте на берегу моря. Построен Фарнаком, дедом Митридата, во время второй Пунической войны.

Стр. 624 *...славу Муммия.* – Луций Муммий – римский полководец, во время войны с Ахейским союзом разрушил Коринф (146 до Р. Х.).

Стр. 624 *Город был основан афинянами…* – Амис был основан милетцами, впоследствии заселен афинянами.

Стр. 625 *Аппий Клодий…* – Луций Аппий Клодий – народный трибун, известен своей наглостью и непримиримой враждой с Цицероном.

Стр. 626 *...«при Дафне».* – Дафна – пригород Антиохии, столицы Сирии.

Стр. 626 *...царь Гордиены.* – Гордиена – область у истока реки Тигр.

Стр. 627 *«Малый сосуд не может вместить в себе дельфина!»* – Гордый софист почитал этот город малым, хотя он был крупным торговым центром, многолюднейшим и знаменитейшим в Вавилонии. Плиний насчитывает в нем до 600 тыс. жителей.

Стр. 627 *...на месте, называемом Сафа.* – Сафа – город на берегу реки Тигр.

Стр. 628 *...из прекрасных произведений Сфенида.* – Сфенид – родом из Олинфа, современник Александра Великого, скульптор, как и его брат Лисистрат.

Стр. 628 *...владевший Боспором…* – Имеются в виду земли при Боспоре Киммерийском, соединяющие Мэотиду (Азовское море) с Эвксинским Понтом (Черным морем) – то есть Крым и Кубань.

Стр. 629 *...в следующие дни шел он через область Софену… указав им вдали видимые горы Тавра…* – Софена – область Великой Армении, граничила на западе с Евфратом. Страна, которой шел Лукулл, есть нынешний Диарбекир. Тавр – цепь гор, начинающихся в Киликии на Средиземном море и тянущихся к Армении и далее к северной Азии.

Стр. 629 *...вместо награды была отрублена голова…* – Тигран посчитал, что вестник имел намерение поднять переполох среди его подданных.

Стр. 630 *...то были адиабенцы…* – Адиабена – наибольшая область Ассирии.

Стр. 630 *Равным образом Таксил…* – Таксил – вероятно, тот самый полководец Митридата, который сражался в Греции с Суллой и был им разбит.

Стр. 631 *...из которых семнадцать тысяч носили железные латы…* – Не только всадники, но и лошади этой конницы были покрыты латами.

Стр. 632 *...погибло войско Цепиона…* – Квинт Сервилий Цепион – проконсул, который вместе с консулом Гнеем Маллием Максимом был разгромлен кимврами и тевтонами в 105 году до Р. Х. Из всего войска уцелели лишь полководцы и десять воинов.

Стр. 633 *Философ Антиох… Страбон, другой философ…* – Антиох (ок.130 – ок. 68 до Р. Х.) – древнегреческий философ-платоник, родом из Аскалона в

Палестине; Цицерон был его слушателем. Страбон (64/63 до Р. Х. – 23/24 по Р. Х.) – древнегреческий географ и историк.

Стр. 633 *Он завладел царскими сокровищами, а город предал на расхищение.* – Лишь греки были ограждены от разорения. Также Лукулл оказал покровительство женам знатнейших людей.

Стр. 634 *...за оказание ему союзнической помощи.* – Аппиан говорит, что парфянский царь изъявил желание оставаться нейтральным.

Стр. 634 *...и весьма опечалился, что поля еще зеленые…* – Лукулл полагал, что хлеб уже поспел, как можно было ожидать в южном крае.

Стр. 635…к *столице Тиграна Артаксаты…* – Артаксата – главный город Великой Армении на северном берегу Аракса, построен армянским царем Артаксом во время пребывания у него Ганнибала.

Стр. 635 *...стояли мардийские конные стрелки…* – Марды жили в восточной части Мидии, на границе с Гирканией.

Стр. 636 *...варвары называют его Нисибидой…* – Нисибида – город к юго-западу от Тигранокерта, был укреплен двойной стеной, вдоль которой тянулся глубокий ров. Здесь хранились царские сокровища.

Стр. 636 *...приступом завладел Нисибидой в короткое время.* – Дион Кассий пишет, что Лукулл долго осаждал Нисибиду и завладел ею зимой, при сильной буре, которая принудила осажденных оставить внешнюю стену.

Стр. 636 *...не будучи ласков и приветлив к воинам своим и почитая началом унижения и бесчестия власти все то, что делается к угождению подчиненных.* – Дион Кассий говорит, что Лукулл не умел приобретать любовь воинов ласками и подарками, был взыскателен и строг.

Стр. 637 *...победил Фабия и идет на Сорнатия и Триария…* – Фабия оставили в Понте с отрядом, который разбил Митридат. Фабий потерял 500 человек и с остальными бежал в Кабиру, где Митридат его осадил. Триарий, который привел свежие войска к Лукуллу из Азии, заставил Митридата удалиться от Кабиры, одержал над ним победу и преследовал до Коман в Каппадокии. Но в следующем году ему пришлось сразиться с Митридатом при Газиуре, и он потерпел сокрушительное поражение.

Стр. 639 *Лукулл возвратился в Рим…* – Лукулл возвратился в Италию в 687 году от основания Рима, после семи лет отсутствия.

Стр. 639…с *великими просьбами и стараниями насилу могли склонить народ определить ему триумф.* – Лукулл удостоился триумфа лишь в 691 году от основания Рима, через три года после своего прибытия в Рим.

Стр. 640 *...и политический период…* – Под словом «период» здесь подразумеваются четыре великих состязания Греции: Олимпийские, Пифийские, Немейские и Истмийские игры. Победить в периоде значило одержать победу во всех этих играх.

Стр. 641 *Стоик Туберон…* – Квинт Элий Туберон – племянник Сципиона Младшего, философ, юрист и историк, весьма уважаемый Цицероном, который говорит, что суровость его слова соответствовала суровости его жизни.

Стр. 641 *...назвал его «Ксерксом в тоге».* – Имеется в виду, что Ксеркс прокопал Афонский канал, дабы прошли его корабли, а через Геллеспонт навел мост.

Стр. 641 *...в Тускуле…* – Тускул – укрепленный город близ Рима.

Стр. 642 *...процветала сочинениями Карнеада посредством Филона…* – Карнеад из Кирены (214–129 до Р. Х.) – древнегреческий философ, глава Платоновской Академии и основатель так называемой Новой (третьей) Академии. Филон из Лариссы (110–88 до Р. Х.) – основатель так называемой четвертой Академии, бежал во время войны с Митридатом из Афин в Рим, где преподавал свое учение. Цицерон был его учеником и другом.

Стр. 643 *Книга известна под названием «Лукулл».* – 2-я книга «Академики».

Стр. 644 *...подобно Орфеевым последователям, над которыми шутит Платон…* – «Государство», II. Некоторые думают, что Плутарх вместо Мусея, о котором говорит Платон, ошибочно поставил Орфея. Но Мусей и его сын Эвмолп были последователями Орфея. Следовательно, со стороны Плутарха нет никакой ошибки.

Никий

Никий (ок. 469–413 до Р. Х.) – афинский государственный деятель, стратег, вождь умеренно демократической группировки, выступавшей за прекращение Пелопоннесской войны.

Стр. 647…с *Тимеем.* – Тимей (ок. 356 – ок. 260 до Р. Х.) – древнегреческий историк, родом из сицилийского города Тавромениона, автор «Истории», где также описал историю Сицилии с древнейших времен до смерти Пирра. Цицерон хвалит его цветущий и красивый слог; по уверению Свиды он без разбора собирал разные предания и сказки.

Стр. 647…с *Дифилом…* – Дифил (III в. до Р. Х.) – греческий комический писатель, драматург, родом из Синопа.

Стр. 647 *Геракл будто бы поможет сиракузянам ради Коры…* – Кора (Персефона), похищенная Аидом, была покровительницей Сицилии. Геракл получил приказ от Эврисфея привести Кербера, трехглавого пса, охранявшего вход в аид. Это был двенадцатый и последний его подвиг.

Стр. 647 *...граждан Эгесты…* – Эгеста – город на западе Сицилии, основан троянцем Эгестом.

Стр. 647 *Геракл сам был обижен Лаомедонтом…* – Лаомедонт, троянский царь, должен

был ежегодно давать морскому чудовищу одну деву по жребию, дабы предохранить свою землю от разорения. По жребию эта участь досталась Гесионе, его дочери. Геракл обещал Лаомедонту освободить ее и в награду потребовал коней, происходящих от Зевса. Лаомедонт согласился, но обманул Геракла, убившего чудовище.

Стр. 648 *...название Котурна.* – Котурны – высокая обувь, которую носили преимущественно трагические актеры, представлявшие героев, дабы казаться выше ростом. Поскольку один котурн можно было надеть на обе ноги, этим именем также называли человека, который не был привержен ни к одной из политических группировок.

Стр. 649 *...малый храмик...* – Вероятно, внутренний храм в большом храме.

Стр. 649 *...будучи хорегом, многократно получал награду...* – Фила, хорег которой признавался победителем, получала в награду треножник в храме Вакховом с посвятительной надписью.

Стр. 649 *Посылаемые на остров из разных городов хоры для пения в честь Аполлона...* – Важнейшие греческие города посылали ежегодно на Делос, родину Аполлона, хоры, которые пели песни богу в день его рождения. Предводителями хоров были богатые и известные люди (хореги). Священное посольство называлось феорией, а корабль, на котором оно отправлялось на Делос, феоридой.

Стр. 649 *...на Ренею...* – Ренея – остров близ Делоса; на нем находилось кладбище делосцев.

Стр. 649 *В одном из Пасифонтовых диалогов...* – Пасифонт – малоизвестный автор диалогов на философские темы, родом из Эретрии. Его обвиняли в том, что некоторые из своих диалогов он подписывал именем Эсхина Сократика, афинского философа.

Стр. 650 *...имел в Лавриотике многие богатые руды...* – Лавриотика – горы в Аттике, недалеко от мыса Суний; в древности тут были богатые серебряные рудники.

Стр. 650 *Что он у матери сын первый, покупной!* – Богатые афинянки, не имевшие детей, но желавшие стать матерями, притворялись беременными, покупали тайно чужое новорожденное дитя и выдавали за свое, чем обманывали мужей своих. Аристофан в комедии «Женщины на празднике Фесмофорий» ясно намекает на этот обычай следующими словами: «Я видела другую женщину, которая говорила, что уже десять дней мучается родами, пока не купила ребенка».

Стр. 650 *...в комедии «Марикант»* ... – «Марикант» – комедия Эвполида, сочиненная на Гипербола.

Стр. 650 *Клеон у Аристофана грозит...* – В комедии «Всадники» эти слова сказаны не Клеоном, а противником его Агоракритом.

Стр. 651 *...выдавал себя за сына Дионисия, прозванного Медным...* – Дионисий (V в. до Р. Х.) – оратор и стихотворец; был прозван «Медным» потому, что советовал афинянам ввести в употребление медные деньги.

Стр. 651 *...недоверчивость народа к Антифонту из Рамнунта...* – Фукидид говорит, что народ не доверял Антифонту по причине его чрезмерного красноречия. Рамнунт – местечко на восточном берегу Аттики.

Стр. 651 *Во Фракии афиняне, под предводительством Каллия и Ксенофонта, разбиты были халкидянами. В Этолии они имели неудачу под начальством Демосфена; тысячу человек потеряли на Делосе, где предводительствовал Гиппократ.* – Афиняне были разбиты халкидянами на 4-м году Пелопоннесской войны, за 427 лет до Р. Х. Неудача в Этолии – 7-й год Пелопоннесской войны, за 424 года до Р. Х. Третье описываемое событие произошло на 9-м году Пелопоннесской войны, за 422 года до Р. Х.

Стр. 652 *...взял он Киферу...* – Кифера – остров напротив южного берега Пелопоннеса, известен культом Афродиты. Никий завладел островом в 424 году до Р. Х.

Стр. 652 *...вскоре занял остров Миною. Потом, выступив оттуда, покорил Нисею.* – Нисея – пристань города Мегары, соединялась с городом длинной стеной. Миноя – островок у самого берега, напротив пристани. Никий завладел Миноей в 425 году до Р. Х., а Нисеей – тремя годами позже.

Стр. 652 *Он разорял приморские области Лаконии, разбил лакедемонское войско, вышедшее против него, взял Фирею, которую занимали эгинцы, и привел пойманных живых в*

Афины. – Все это случилось по взятии острова Кифера. Фирея – город на границе Лаконии с Арголидой, принадлежал лакедемонянам, которые отдали его для поселения изгнанным афинянам и эгинцам.

Стр. 652 *По укреплении Пилоса…* – Пилос – крепость на западе Пелопоннеса в Мессении. Перед ним остров Сфактерия, образующий подобие пристани. Афинский полководец Демосфен, заметив выгодное положение этого места, завладел им и укрепил его, дабы оттуда производить набеги на Лаконию.

Стр. 654 *Как тот, так и другой пали при Амфиполе в одной и той же битве.* – Клеон погиб в данном при Амфиполе сражении вместе с неприятельским полководцем Брасидом в 422 году до Р. Х.

Стр. 654 *…заключили перемирие на год.* – Перемирие заключено в 421 году до Р. Х. с намерением начать переговоры и приступить к заключению прочного мира.

Стр. 654 *…войне предопределено продолжаться трижды девять лет…* – Фукидид говорит, что еще в начале войны было сказано, что она продолжится три девятилетия.

Стр. 654 *…и поныне называют Нишевым.* – Мир заключался на 50 лет. Другие города Греции были им недовольны, ибо афиняне и лакедемоняне присвоили себе право решать их участь, и потому желали нарушить Никиев мир. Это побудило Афины и Лакедемон заключить между собой союзный договор.

Стр. 655 *…а Панакт…* – Панакт – крепость в Аттике на границе с Беотией. Находилась во власти беотийцев, которые передали ее лакедемонянам; а те хотели возвратить Панакт афинянам в обмен на Пилос.

Стр. 656 *…из Перитед…* – Перитеды – местечко в Аттике.

Стр. 657 *…родственник тираннов.* – Имеются в виду Писистратиды.

Стр. 659 *…местечко Гиккары…* – Гиккары – город на северном побережье Сицилии, недалеко от Эгесты; в Пелопоннесскую войну он был разграблен афинянами и затем передан сегестийцам.

Стр. 660 *…не претерпевая ни малейшего вреда от тех неприятельских сил, в которых должен был уступать сиракузянам.* – Сиракузяне превосходили афинян в коннице, а афиняне своих противников – в пехоте.

Стр. 660 *Убито неприятелей немного…* – Сиракузян было убито 260 человек, а афинян только 50.

Стр. 660 *…удалился в Наксос…* – Здесь Наксос – город на Сицилии.

Стр. 660 *…пристал к Тапсу, высадил войско и занял Эпиполы…* – Тапс – мыс недалеко от Сиракуз. Эпиполы – укрепление в северо-западной части Сиракуз, возвышение с крепкой стеной.

Стр. 662 *…и длиной власов далеко превосходивших Гилиппа?* – Лакедемоняне отращивали волосы согласно с постановлением Ликурга, другие греки волосы стригли.

Стр. 663 *…напал неожиданно и взял Племмирий…* – Племмирий – мыс близ Сиракуз. Здесь Никий укрепился и организовал продовольственную базу. В морском сражении сиракузяне потеряли 11, а афиняне – 3 корабля.

Стр. 663 *…но искусством коринфского кормчего Аристона…* – Аристон посоветовал корабленачальникам высадить моряков на берег для обеда. Афиняне, будучи обмануты, сошли с кораблей, а сиракузяне, быстро поев на берегу, а не в городе, неожиданно напали на афинян.

Стр. 665 *Никий, пораженный этим…* – Во время всего сражения Никий оставался в стане.

Стр. 665 *…далеки от мыслей Леонта Византийского…* – Леонт Византийский – философ-перипатетик, ученик Аристотеля.

Стр. 666 *…и метеоролесхи…* – Метеоролесхи – люди, которые толковали полеты метеоров или другие небесные явления.

Стр. 666 *Протагор был изгнан…* – Протагор (ок. 480 – ок. 410 до Р. Х.) – древнегреческий философ, основатель школы софистов, раб и ученик Демокрита. Он сочинил книгу о богах, которая была публично сожжена в Афинах, а сам Протагор выслан из города.

Стр. 668 *Он обнажил меч, поразил себя, но не умер, ибо неприятели бросились на него и схватили.* – Демосфен обходил Сиракузы с юга, а Никий ночью ушел вперед; в итоге

Демосфен попал в окружение и сдался с шестью тысячами войска, выдвинув условие, что пленникам сохранят жизнь.

Стр. 668…к *реке Асинар…* – Асинар – небольшая река к югу от Сиракуз.

Стр. 669 *…демагог Диокл…* – Диокл – вождь сиракузских демократов, законодатель. Разработал строгие законы и тщательно следил за их исполнением. Среди прочих назначил он смерть тому, кто придет на площадь с мечом. Однажды было получено известие, что неприятель показался поблизости. Диокл схватил меч и побежал к стене, но тут услышал, что на народной площади начинаются беспорядки, и бросился туда. Некто сделал ему замечание, что, мол, он сам уничтожает свои законы, являясь на площадь с мечом. «Я не уничтожаю, но утверждаю их», – ответил Диокл и, извлекши меч, поразил себя.

Стр. 669 *…заставить работать в каменоломнях…* – Каменоломня, из которой сиракузяне построили свой город, была весьма обширна и глубока, так что могла служить темницей.

Стр. 669 *Гилипп требовал, чтобы афинские полководцы живые приведены были в Спарту…* – По повествованию Диодора, некий старец по имени Николай, лишившийся двух детей во время этой войны, предстал перед народом и трогательной речью старался склонить сограждан к состраданию. Они хотели уже последовать его совету, когда Гилипп произнес речь против афинян, дабы воспламенить соотечественников мщением.

Стр. 669 *…и одну котилу воды.* – Котила – мера жидкости (0,27 л). Диодор пишет, что каждому давали по два хиникса муки и что этого было вполне достаточно, поскольку два хиникса составляли восемь котил.

Красс

Марк Лициний Красс (115–53 до н. э.) – римский полководец и политический деятель.

Стр. 670 *У нее была прекрасная загородная дача* . – Весталки не отказывались от своего имения, ибо могли оставить служение и выйти замуж.

Стр. 671 *…как говорил Архидам…* – Архидам II (ум. ок. 427 до Р. Х.) – царь Спарты, правивший в 469–427 годах до Р. Х. Речь идет о словах Архидама, сказанных в начале Пелопоннесской войны.

Стр. 672 *…за то ему давали шляпу…* – Неизвестно, шляпа ли это или верхнее платье; иные считают, что здесь имеется в виду род повозки или носилок.

Стр. 672 *Какое терпение в человеке, по правилам которого есть различие между бедностью и богатством!* – Плутарх удивляется тому, что этот Александр пренебрег богатством, хотя был философом-перипатетиком. Известно, что перипатетики почитали богатство одним из благ жизни, между тем как стоики, полагая верховное благо в добродетели, между богатством и бедностью не видели никакой разности.

Стр. 672 *Как скоро Цинна и Марий одержали уже верх…* – Цинна и Марий одержали верх в 667 году от основания Рима, за 87 лет до Р. Х.

Стр. 673 *…по получении известия о смерти Цинны.* – Луций Корнелий Цинна, будучи в четвертый раз консулом, пал под мечами восставших воинов, когда Сулла еще находился в Азии.

Стр. 673 *…Малаку…* – Малака – город на юге Испании, основанный финикийцами, ныне Малага.

Стр. 674 *…происходя от отца, обесславленного в Риме и до крайности ненавистного всем гражданам…* – Гней Помпей Страбон был искусным полководцем, но его хорошие качества отягощались множеством дурных, особенно же жадностью к деньгам. Он был поражен молнией в шатре. Ненависть народа к нему была столь велика, что толпа во время похорон сбросила его тело с погребального костра и потащила в реку. Он умер незадолго перед возвращением Мария и Цинны в Рим.

Стр. 675 *…спросили Сициния…* – Гней Сициний – народный трибун, выступавший с нападками на всех знаменитых людей того времени.

Стр. 675 *«У него сено на рогах».* – Это римская пословица: *«Foenum habet in cornu»;* так говорили о людях опасных и смелых.

Стр. 676 *…близ Салин.* – Вероятно, Салина Гераклея, местечко в Кампании близ Везувия, между Геркуланумом и Помпеями.

Стр. 677 *…сенаторы выслали против него обоих консулов.* – Имеются в виду консулы Луций Геллий Попликола и Гней Корнелий Лентул (72 год до Р. Х.). Аппиан уверяет, что у Спартака было до 70 тыс. человек.

Стр. 677 *Дано было жестокое сражение; Кассий был разбит, потерял множество людей и едва сам избегнул смерти.* – Аппиан повествует, что Спартак, одержав победу над консулами, умертвил над гробом Крикса, предводителя германского отряда, триста человек из плененных римлян. Он хотел двинуться на Рим с многочисленным войском, но передумал и встал при Фуриях на Тарентском заливе.

Стр. 677 *Многие знаменитые люди последовали за ним в поход…* – Красс, по свидетельству Аппиана, вывел в поле шесть легионов, а сверх того присоединил к себе легионы прежних консулов.

Стр. 677 *…дабы вновь возжечь невольническую войну…* – Невольническая война в Сицилии завершена за девятнадцать лет до этого консулом Манием Аквилием.

Стр. 677 *…на Регийском полуострове.* – Под Регийским полуостровом подразумевается нынешняя южная Калабрия.

Стр. 678 *…близ Луканского озера…* – Луканское озеро – озеро на севере Лукании недалеко от Тирренского моря, близ Посидонии.

Стр. 678 *…и Лукулла из Фракии…* – Марк Теренций Варрон Лукулл – консул 73 года до Р. Х., брат Луция Лукулла, победителя Митридата; усыновлен неким Теренцием Варроном.

Стр. 679 *…по получении консульства…* – Красс и Помпей были вместе консулами в первый раз в 684 году от основания Рима, за 76 лет до Р. Х.

Стр. 679 *Что касается до его цензорства…* – Красс был цензором за 65 лет до Р. Х.

Стр. 680 *…в город Луку…* – Лука – город в Верхней Италии, принадлежал провинции, управляемой Цезарем; здесь составился первый триумвират в 698 году от основания Рима.

Стр. 681 *…любя страстно свою жену…* – Имеется в виду Юлия, дочь Юлия Цезаря.

Стр. 682 *…в народном постановлении о Крассе…* – Постановление народное, или декрет, которым он был назначен проконсулом в Сирии и получил командование войском. Это постановление предложено народным трибуном Титом Требонием, верным сообщником триумвиров.

Стр. 682 *В двенадцатом часу…* – Двенадцатым часом римляне называли последний час дня.

Стр. 683 *Город называли греки Зенодотией* .– Зенодотия – крепость в Месопотамии между городами Ихна и Никефорий на Евфрате.

Стр. 683 *…и занять Вавилон и Селевкию…* – Город Селевкия построен царем Селевком Никатором на западном берегу реки Тигр, в трех стадиях от Вавилона. В древности считался одним из величайших городов и населен был греками.

Стр. 683 *…в Иераполе…* – Иераполь или «Священный город» – город поклонения сирийской богине Деркето, или Атаргатис, отождествлявшейся с

Афродитой. Находился к северу от Алеппо. Лукиан пишет, что там был богатейший в мире храм.

Стр. 683 *При выходе из храма, у самых врат, упал молодой Красс, а на него и отец его.* – Красс ограбил и Иерусалимский храм, похитив из него все драгоценности, которые стоили более 10 тыс. талантов.

Стр. 683 *…от Арсака…* – Имеется в виду Арсак XIV (Гирод II) – парфянский царь, правивший в 57–37 годах до Р. Х.

Стр. 684 *…и квестор Кассий.* – Гай Кассий Лонгин (85–42 до Р. Х.) – римский полководец и политический деятель, впоследствии стал главой заговора против Цезаря.

Стр. 684 *Артабаз, царь армянский…* – Артабаз (совр. написание Артавазд) – армянский царь, правивший в 55–34 годах до Р. Х., сын Тиграна II, побежденного Лукуллом и Помпеем.

Стр. 684…у *Зевгмы…* – Зевгма – город на западном берегу Евфрата, к северу от Иераполя. Его название значит «мост», ибо Селевк Никатор здесь составил из судов мост, который связал железными цепями.

Стр. 685 *...по имени Абгар...* – Абгар – имя правителей города Эдесс.

Стр. 685 *...Гирод...* – Фраат III, парфянский царь, убит сыновьями своими Гиродом (Ородом) и Митридатом. Первый взошел на престол по праву старшинства, но был свергнут братом. Пафяне так сильно ненавидели Митридата за его жестокость, что они восстали и изгнали его при поддержке Сурены. Митридат искал убежища у римского проконсула в Сирии Габиния, затем собрал войска и завладел Селевкией, где его настиг Сурена, осадил и умертвил.

Стр. 688 *...из маргианского...* – Маргиана – северная область парфянского царства, сопредельная на севере со Скифией, на востоке с Бактрией, на западе с Гирканией. Здесь находился город Антиохия, построенный Антиохом Сотером.

Стр. 688 *...он употреблял притирания...* – У мидян существовал обычай румяниться; см. «Киропедию» Ксенофонта.

Стр. 690 *...жители тамошнего города Карры; они советовали ему убежать тайно с ними в Ихны...* – Карры – город на северо-западе Месопотамии. Ихны – небольшой город к югу от Карр.

Стр. 693…и *выступил в Сирию с пятьюстами конных.* – Кассий благополучно прибыл в Сирию и в следующем году защитил ее от парфян, которых разбил при Антиохии и при Антигонии.

Стр. 693 *...называемых Синнаками...* – Синнаки – город в северной части Месопотамии, на границе Армении.

Стр. 694 *Впрочем должно полагать, что об этом скорее догадываются, нежели знают верно...* – Дион Кассий приводит и другое известие о Крассе, а именно то, что он, будучи тяжело ранен, заставил умертвить себя одного римлянина, дабы не попасть живым в руки неприятеля. Парфяне влили ему в горло расплавленное железо, дабы насытить его жадность к деньгам.

Стр. 695 *С палок их свисали кошельки...* – Кошельки несли, возможно, чтобы показать сребролюбие Красса.

Стр. 695 *...представил ему неблагопристойные книги Аристида, содержащие в себе так называемые «Милетские повести».* – Неизвестно, когда жил сей Аристид, уроженец Милета; мы знаем только, что он, помимо других сочинений, оставил так называемые «Милетские повести», во времена Суллы переведенные на латинский язык римским писателем Сисенной.

Стр. 695 *Сколь мудрым показался Эзоп селевкийцам, когда они видели Сурену, который нес впереди суму...* – Известна басня Эзопа, что человек носит две сумы: одну впереди, а другую позади себя; в первую кладет ошибки других, а во вторую свои; из того следует, что всякий скорее видит ошибки чужие, нежели собственные.

Стр. 695 *...и скиталам.* – Скитала (сциталис) – род ядовитой змеи. Древние думали, что опасен только хвост этой змеи, а передняя часть безвредна.

Стр. 695 *...из Тралл...* – Траллы – город в Малой Азии.

Стр. 696 *...и в исступлении и восторге пел песню...* – Стихи из трагедии Еврипида «Вакханки», 1168–1171. Агава, дочь Кадма, охваченная неистовством Вакха, растерзала своего сына Пенфея, приняв его за дикого зверя, и возвратилась домой, неся торжественно его голову. Таким образом Вакх наказал Пенфея за то, что тот не признавал его богом.

Стр. 696 *...сына своего Пакора...* – Пакор I, соправитель своего отца Гирода II, был наголову разбит через четырнадцать лет после поражения Красса Публием Вентидием Бассом, полководцем Марка Антония. Сражение произошло на западном берегу Евфрата.

Стр. 696 *Фраат, другой сын...* – Фраат IV – парфянский царь, незаконный сын Гирода II, получивший царство после смерти Пакора. Перебил всех сводных братьев, а затем умертвил отца. Этот Фраат послал Августу в подарок отнятого у Красса орла и другие знамена.

Стр. 699 *Если должно тебе делать зло, говорит Еврипид, если не можешь быть покойным и не умеешь пользоваться настоящими благами...* – Из трагедии Еврипида «Финикиянки», 524. Этеокл говорит своей матери: «Если надлежит нарушать справедливость, то только тогда, когда через это можно достигнуть царства».

Стр. 699 *Скандию и Менду...* – Скандия и Менда – города, взятые и разоренные Никием за приверженность лакедемонянам.

Серторий

Серторий Квинт (ок. 122-72 до н. э.) – римский полководец, сторонник Мария и Цинны в их борьбе с Суллой.

Стр. 700 *...двое было известных Аттисов, один сириец, а другой аркадянин…* – Первый Аттис – в греческой мифологии бог фригийского происхождения, связанный с оргиастическим культом Великой матери богов Кибелы (или Диндимены). Его убил кабан, посланный Зевсом. О втором ничего не известно.

Стр. 700 *Двое было Актеонов, и оба растерзаны, один своим псами, а другой приятелями* . – Первый Актеон – в греческой мифологии страстный охотник, увидевший купающуюся нагую Артемиду, за это превращенный в оленя и растерзанный собственными псами. Другой Актеон – из Коринфа, Плутарх обстоятельно пишет о нем в «Застольных беседах».

Стр. 700 *Два города имеют имена благовонных растений: Хиос и Смирна…* – Хиос – один из Кикладских островов в Эгейском море, название получил от слова *ion* («фиалка»). Город Смирна свое имя получил от благовонной смолы (мирры).

Стр. 701 *...уроженец сабинского города Нурсия…* – Нурсия – город в Сабинских горах в Умбрии.

Стр. 701 *...Серторий находился в войске под предводительством Цепиона.* – Квинт Сервилий Цепион – проконсул вместе с консулом Кнеем Манлием, в 649 году от основания Рима, был разбит галлами и кимврами. Из двух римских отрядов спаслись только полководцы и десять человек, в числе которых был и Серторий.

Стр. 701 *...он послан был в Иберию военным трибуном при преторе Дидии и остановился зимовать в кельтиберийском городе Кастулоне.* – Туллий Дидий был консулом вместе с Квинтом Цецилием Метеллом в 656 году от основания Рима, а на следующий год отправился в Испанию в звании проконсула, взяв с собою Сертория. Кастулон – город в Ближней Испании, на реке Гвадалквивир.

Стр. 702 *Уже начиналась Марсийская война…* – Марсийская (Союзническая) война началась в 664 году от основания Рима, за 90 лет до Р. Х., в консульство Луция Юлия Цезаря и Публия Рутилия Лупа.

Стр. 703 *Наконец Марий умер; вскоре был умерщвлен и Цинна* . – Старший Марий умер за 86 лет до Р. Х. Цинна погиб два года спустя. Младший Марий был избран в консулы вместе с Гнеем Папирием Карбоном в 82 году до Р. Х.

Стр. 704 *...убежал в Новый Карфаген…* – Новый Карфаген находился в Мурсии (Испании); ныне Картахена.

Стр. 704 *...проплыл Гадесский пролив…* – Ныне Гибралтарский пролив.

Стр. 704 *...и называются Островами блаженных.* – Нынешние Канарские острова. Страбон полагал, что Елисейские поля и жилища блаженных, описанные Гомером, суть нынешняя Андалусия и Гранада.

Стр. 705 *...на мавританский престол…* – Мавританцы жили на западном побережье северной Африки (ныне Марокко).

Стр. 705 *...и взял город Тингис…* – Тингис – мавританский город, ныне Танжер.

Стр. 705 *...здесь лежит Антей* . – Антей – сын матери-земли Геи, прикасаясь земле, получал необыкновенную силу. Он заставлял всех приезжих бороться с собой и убивал их. Та же участь ожидала и Геракла, который пришел к Антею на пути за золотыми яблоками Гесперид, но Геракл оторвал Антея от земли и задушил. Что касается исполинских костей, найденных Серторием, то, если это не есть выдумка, надлежит думать, что это кости какого-либо вымершего животного.

Стр. 705…у *него было греческое войско, состоящее из ольвийцев и микенцев…* – Микены – город в Пелопоннесе недалеко от Аргоса, легендарная столица Агамемнонова. Ольвия – милетская колония в районе устья Борисфена (Днепра).

Стр. 707 *...проливе у Менарии…* – Менария – город в Испании, к востоку от реки Бетис.

Стр. 707 *...бывшего проконсулом другой Иберии…* – То есть Испании Таррагонской.

Стр. 707 *...из Нарбонской Галлии…* – Нарбонская Галлия – римская провинция на территории нынешней южной Франции.

Стр. 708 *...в город Оску...* – Оска (ныне Уэска) – город в северной Испании.

Стр. 709 *У иберов есть обычай, чтобы люди, окружающие полководца, умирали вместе с ним, когда он падет в сражении. Они называли таковую связь «Посвящением».* – У галлов воины, посвящавшие себя таким образом, назывались силодурами.

Стр. 709 *...зарекой Ибер...* – Ибер (ныне Эбро) – река в Испании.

Стр. 710 *...покорил харикитан...* – Харикитаны – кельтиберское племя.

Стр. 711 *...Лаврон.* – Город Лаврон находился на восточной границе Бетики или же, по другим сведениям, недалеко от Валенсии.

Стр. 711 *...при Сукроне...* – Сукрон – река в восточной части Испании.

Стр. 712 *...на Сегунтийской равнине...* – Сегунция (Сагунция) – город в Испании, недалеко от нынешней Нумансии.

Стр. 713 *...зимовал у вакцеев...* – Вакцеи – кельтиберское племя.

Стр. 715 *«Какие законы, – сказал он своим приближенным, – предпишет нам Серторий, когда будет сидеть на Палатинском холме...»* – Можно заметить, что Плутарх употребляет здесь выражения того века, в котором жил сам, а не того, в котором жил Серторий. Во время Плутарха императоры строили дворцы на Палатине, но при Сертории на этом холме дворцов не было и в помине.

Стр. 717 *...Серторий был умерщвлен ударами многих, не могши защищаться.* – Аппиан уверяет, что Серторий отчасти сам виноват в своей гибели, поскольку он не доверял бывшим при нем римлянам, поступал с ними неблагосклонно, сделал телохранителями своими испанцев, предался роскоши и проч.

Эвмен

Эвмен (362–316 до н. э.) – личный секретарь Александра Великого, один из диадохов.

Стр. 717 *...кардиец...* – Кардия – город во Фракии.

Стр. 717 *...Филипп возвысил Эвмена более всего потому, что был связан с отцом его узами дружбы и гостеприимства* . – Корнелий Непот говорит, что Эвмен исполнял при Филиппе должность первого писца семь лет. Он замечает, что у римлян это звание не было в уважении, но у греков считалось почтенным: первый писец участвовал во всех тайных совещаниях.

Стр. 718 *...когда Александр женил друзей своих на персиянках.* – Имеется в виду знаменитое бракосочетание в Сузах, когда Александр женился на дочерях персидских царей – младшей дочери Артаксеркса III Оха и старшей дочери Дария III Кодомана, а его ближайшим сподвижникам пришлось взять замуж «азиатских женщин». Всего в этот день сочетались браком около 10 000 македонян и греков. – *Примеч. ред.*

Стр. 718 *...в сопровождении Ментора...* – Этот Ментор есть брат родосца Мемнона, одного из лучших полководцев Дария.

Стр. 718… *отправляя Неарха с флотом во Внешнее море...* – Неарха отправили с флотом исследовать побережья Индии и Персии.

Стр. 718 *Вскоре после того Гефестион умер.* – Гефестион, любимец Александра, умер в 1 году 114 олимпиады, за 322 года до Р. Х. На его похороны было истрачено 12 тысяч талантов.

Стр. 718 *По смерти Александра пехота отделилась от друзей, или этеров его.* – Этеры (гетайры), иначе «друзья» – царская дружина, конный отряд телохранителей македонского царя. Поводом к раздору, о котором говорит Плутарх, стало избрание преемника Александру. Командир македонской пехоты Мелеагр требовал избрать новым царем Арридея, слабоумного сводного брата Александра. Гетайры, от имени которых говорил Пердикка, настаивали на избрании царем еще не родившегося сына Александра от персиянки Роксаны. Неарх предлагал в цари сына Александра от наложницы Барсины – незаконнорожденного. После долгих споров согласились на компромисс – царями провозглашались Арридей (под именем Филиппа) и Александр, сын Роксаны; регентом при царях назначили Пердикку – на том основании, что якобы именно ему умирающий царь передал свой перстень со словами: «Достойнейшему». Антигон получил Фригию, земли на Геллеспонте – Леоннат, Фракию – Лисимах, Египет – Птолемей, Вавилонию – Селевк, Сирию – Лаомедонт, а Эвмен получил в управление еще не

завоеванные Пафлагонию и Каппадокию. Управление Грецией доверили Антипатру и Кратеру; первого назначили стратегом-автократором (то есть верховным главнокомандующим), а второго – простатом (гражданским управителем). Пердикке как регенту подчинялись все войска в Азии.

Стр. 719 *...до Трапезунта.* – Трапезунт – город на границе Колхиды.

Стр. 719 *...просил его оказать помощь Антипатру и осаждаемым в Ламии македонянам* . – После смерти Александра Великого греки попытались свергнуть иго македонян. Афинский полководец Леосфен победил Антипатра и запер его в фессалийском городе Ламия. Леоннат освободил Антипатра, но был разбит греками и погиб в сражении. Антипатр же с помощью Кратера вновь принудил греков к повиновению.

Стр. 719 *Он показал Эвмену письма Клеопатры…* – Клеопатра, сестра Александра Великого, выдана замуж за Александра, царя Эпира. На ее брачном торжестве был убит Филипп Македонский. Клеопатра была умерщвлена по приказанию Антигона, не желавшего ее нового брака с Птоломеем.

Стр. 719 *...и не желая от царей удаляться.* – Речь об Арридее-Филиппе и сыне Александра Великого Александре.

Стр. 719 *Пердикка надеялся привести в исполнение свои предначертания собственными силами…* – Пердикка собирался напасть на Птолемея, который заключил союз с Антипатром и Кратером, и отнять у него Египет; но, опасаясь Антипатра и Кратера, которые могли переправиться из Македонии с войском, оставил Эвмена для защиты Азии.

Стр. 720 *...он писал Алкету…* – Алкет – брат Пердикки.

Стр. 721 *...увидят его кавсию…* – Кавсия – род кожаной шляпы, которая защищала от дождя и от солнца.

Стр. 721 *...а сам с большей частью сил своих пошел с Неоптолемом на Эвмена* . – Войско Кратера состояло из 20 тыс. пехоты, большей частью македонян, и 2 тыс. конницы. У Эвмена было столько же пехоты из разных народов и 5 тыс. конницы.

Стр. 723 *...по умерщвлении Пердикки в египетском мятеже…* – Регент Пердикка обратился против Птолемея, чтобы силой привести того в повиновение. При переправе через Нил, в которой он потерял множество своих воинов, македоняне до того ожесточились против него, что взбунтовались и умертвили Пердикку. Войско возвратилось в Азию, а верховная власть досталась Антипатру.

Стр. 723 *...и провел зиму в Келенах.* – Келены – город во Фригии.

Стр. 723 *...Алкет, Полемон иДоким…* – Этих троих вместе с Эвменом осудили на смерть. После падения Эвмена они попали в руки Антигону и были казнены.

Стр. 723 *...по причине предательства…* – Эвмену изменяли два раза: в первый раз некий Пердикка с 3500 человек оставил его, но пойман был Финиксом, полководцем Эвмена. В сражении, о котором идет речь, Аполлонид перешел к Антигону со всей конницей.

Стр. 724 *Он убежал в Норы…* – Норы (Нара) – крепость во Фригии на каменной скале. С Эвменом осталось шестьсот человек.

Стр. 725 *Осада была еще продолжительна…* – Диодор говорит, что осада продолжалась целый год.

Стр. 726… *и что Кассандр с Полисперхонтом были в ссоре.* – Антипатр перед смертью назначил Полисперхонта, старейшего из Александровых полководцев, правителем и царским опекуном, а своего сына Кассандра сделал хилиархом и подчинил Полиперхонту. Но Кассандр не желал подчиняться, строил козни против Полиперхонта, и в итоге это привело к кровопролитной войне.

Стр. 726 *Он послал к нему Иеронима…* – Иероним Кардийский – друг и соотечественник Эвмена, автор «Истории диадохов» и «Истории эпигонов».

Стр. 726 *...которые хранились в Квиндах…* – Квинда (Кинда) – крепость в восточной части Киликии.

Стр. 726 *...предводителям аргираспидов.* – Аргираспиды – «серебряные щиты», отряд ветеранов в войске Александра численностью три тысячи человек.

Стр. 726 *...они на словах приняли Эвмена дружелюбно* … – Эвмен соединился с аргираспидами в 3 году 115 олимпиады.

Стр. 726 *Продолжая путь свой к верхним областям…* – Эвмен пошел из Киликии в Финикию, а затем, испугавшись приближения Антигона, двинулся в глубь материка, к Сузам, где к нему присоединились сатрапы верхних провинций – Бактрии и Парфии – с 18 700 человек пехоты и 4600 конных.

Стр. 727 *Он занял их очень много…* – Диодор говорит, что он занял 400 талантов.

Стр. 727 *…предпринял перейти реку Паситигр…* – Паситигр – река в Мидии, впадающая в Персидский залив.

Стр. 728 *Немедленно отвел он свое войско и занял стан* . – Войска разошлись и остановились в трех стадиях одно от другого. Антигон отправил послов к македонянам, находившимся в войске Эвмена, предлагая им перейти на его сторону. Македоняне отвергли эти предложения. Эвмен похвалил их верность и рассказал басню о льве, который влюбился в одну девицу и, дабы заполучить возлюбленную, согласился, чтобы ему вырвали зубы и остригли когти, после чего был с презрением отослан прочь. То же хочет сделать Антигон, продолжал Эвмен. Спустя несколько дней, узнав от перебежчиков, что Антигон готовится идти в область Габиену, чтобы пополнить припасы, Эвмен решил его опередить. Обманутый Антигон пустился в погоню с конницей, нагнал Эвмена и заставил задержаться. После стычки Антигон отступил на зимние квартиры в Мидию, а Эвмен остался в Габиене.

Стр. 728 *…так что передовые от задних отстояли почти на тысячу стадиев.* – Диодор полагает 37 дней дороги.

Стр. 729 *Здесь Антигон совершенно разбит был, но конницей одерживал верх над противниками, ибо Певкест сражался весьма слабо.* – У Антигона было 22 тыс. пехоты, 9 тыс. конницы и 65 слонов. Певкест бежал при первом же столкновении с конницей Антигона; вероятно, Антигон подкупил его и заранее договорился с ним об отступлении. Сразу после пленения Эвмена Певкест перешел на службу к Антигону с 10 тыс. воинов. – *Примеч. ред.*

Стр. 731 *Сам Антигон, ненавидя аргираспидов как людей свирепых и беззаконных, предал их Сибиртию, который управлял Арахосией…* – Командира аргираспидов Антигена заживо сожгли. Позднее по приказу Антигона были казнены еще 300 человек. Арахосия – область в Парфии.

Агесилай

Агесилай II (444 – ок. 361 до н. э.) – спартанский царь, «образец правителя», по выражению Ксенофонта.

Стр. 733 *Архидам, сын Зевксидама…* – Архидам II умер во 2 году 88 олимпиады, царствовал сорок два года.

Стр. 733 *…от Лампидо…* – Лампидо (Лампридо) – дочь царя Леонтихида от второго брака. После смерти Зевксидама, своего сына от первого брака, Леотихид выдал Лампидо за Архидама, сына Зевксидама.

Стр. 733 *…назывались агелами…* – Слово «агела» значит «стадо», в Лакедемоне так называли юношеские группы.

Стр. 734 *…прибыл из Сицилии в Спарту Алкивиад…* – Алкивиад прибыл в Спарту во 2 году 91 олимпиады.

Стр. 734… *Агис…* – Агис II, возвращаясь из Дельф, где он посвятил богине десятую часть добычи, умер в Аркадии в 3 году 95 олимпиады.

Стр. 735 *…власть эфоров и геронтов…* – Геронты (старейшины) стали управлять Спартой вследствие реформы Ликурга; их было двадцать восемь. Эфоры появились в царствование Феопомпа. Их было пятеро; они могли отрешать и приговаривать к смерти самих царей.

Стр. 736… *две тысячи отборных воинов из вновь вступивших в гражданство…* – Имеются в виду илоты, получившие свободу за свои заслуги.

Стр. 736 *Между тем как силы его собирались в Гересте…* – Гереста – город на острове Эвбея.

Стр. 737 *…дал ему должность раздавателя мяса…* – Раздатчик мяса являлся своего рода интендантом.

Стр. 738 *В начале войны Тиссаферн…* – Фарнабаз управлял северной, а Тиссаферн – южной частью Малой Азии.

Стр. 738 *…и Агесилай принялся за нее охотно…* – Тиссаферн объявил Агесилаю, что если тот не оставит Азию, он будет считать его врагом; Агесилай отвечал: «Благодарю Тиссаферна за то, что он нарушением клятвы сделал богов себе врагами, а грекам союзниками».

Стр. 738 *…что десять тысяч греков, под предводительством Ксенофонта, дошли до моря…* – Речь идет о знаменитом походе 10 тыс. греческих наемников, которые последовали за Киром Младшим, а после его смерти совершили беспримерный пеший переход из Верхней Персии к Черному морю. Это поход описал Ксенофонт в своем «Анабасисе».

Стр. 738 *Он полагал, что Агамемнон благоразумно поступил…* – См. «Илиада», XXV, 295.

Стр. 739 *…ибо персидский царь вскоре послал от себя Тифравста, который после того отрубил ему голову…* – Виновницей смерти Тиссаферна считали Парисатиду, мать царя Артаксеркса, которая видела в Тиссаферне человека, предавшего ее второго сына Кира.

Стр. 739 *Тогда Агесилай назначил Писандра начальником морских сил и ошибся…* – По свидетельству Ксенофонта, Писандр был человек честолюбивый и предприимчивый, но не имел нужного опыта.

Стр. 741 *…будучи уже велик и силен, был в опасности быть исключенным из Олимпийских игр* . – На Олимпийских играх состязались не только взрослые, но и юноши, им старались подбирать соперников по силам.

Стр. 741…к *карийцу Гидриею…* – Гидрией – правитель Карии, наследовал своей сестре Артемизии, супруге Мавзола.

Стр. 742 *…стихи Тимофея…* – Тимофей Милетский (450–360) – греческий поэт и музыкант.

Стр. 742 *…которым он наслаждается в Экбатане и Сузах…* – В Сузах персидские цари зимовали, а в Экбатане держали двор летом.

Стр. 742 *Несчастные греки! Сколь варварские бедствия вы изобрели для самих себя* ! – Еврипид, «Троянки», 764.

Стр. 743 *…ибо такое число привезено в Афины и в Фивы и роздано демагогам, возбудившим эти народы к войне против Спарты.* – Союз против лакедемонян был устроен Тифравстом, новым правителем Малой Азии, потому, что Агесилай продолжал войну. Тифравст послал в Грецию родосца Тимократа с 50 талантами, этими деньгами Тимократ подкупил демагогов в Фивах, Коринфе, Аргосе и Афинах, и эти города объявили войну лакедемонянам.

Стр. 743 *Одни трохалы…* – Трохалы – племя, обитавшее во Фракии. От них получил свое название город Траллы в Малой Азии.

Стр. 743 *…что при Коринфе дано было великое сражение…* – Сражение при Коринфе состоялось во 2 году 96 олимпиады, союзников пало 2800 человек, а спартанцев только 8.

Стр. 743…у *Нарфакия.* – Нарфакий – гора в области Фтия.

Стр. 743 *…велел двум морам…* – Мора состояла из пятисот, семисот или девятисот воинов.

Стр. 744 *…побежденного при Книде на море Фарнабазом и Кононом.* – Это морское сражение уничтожило навсегда владычество Спарты на море. Оно произошло в 3 году 96 олимпиады, за 394 года до Р. Х. Лакедемонцы потеряли пятьдесят кораблей.

Стр. 745… *и умертвив полководца их Толмида.* – Толмид погиб в 447 году до Р. Х.

Стр. 745 *По возвращении в Спарту…* – Агесилай возвратился в Спарту в 4 году 96 олимпиады.

Стр. 745 *…но оставил в прежнем положении и двери своего дома, которые так обветшали, что, казалось, были те самые, которые построил Аристодем.* – Аристодем – правнук Геракла, отец Эврисфена и Прокла, родоначальников двух царских династий в Спарте.

Стр. 745 *Канатром называют изображения грифов и трагелафов, на которых носят девочек в торжественные дни.* – Канатра – корзина из тростника. Трагелаф – олень.

Стр. 745 *…уговорил сестру свою Киниску послать колесницу на Олимпийские игры…* – Женщины на олимпийские состязания не допускались, но они могли наравне с мужчинами

выставлять свои колесницы.

Стр. 746… *и взял Длинные стены со стороны твердой земли…* – Длинные стены соединяли город Коринф с гаванью.

Стр. 746 *Тогда Агесилай говорил, что аргивяне сами себя изобличают в великой робости, ибо, почитая эти игры делом важным и великим, не осмелились за оные сразиться* . – Плутарх заставляет Агесилая совершить эти дела одним походом, но Ксенофонт в «Греческой истории» говорит, что Агесилай после взятия Длинных стен возвратился в Спарту. Истмийские игры справлялись в честь Посейдона.

Стр. 747 *…по взятии Герея…* – Герей – святилище Геры недалеко от Коринфа.

Стр. 747 *Не успели фиванцы от него удалиться, как он получил известие, что лакедемонская мора была изрублена в куски Ификратом* . – Эта мора занимала гавань и крепость Лифеон близ Коринфа и состояла из амиклейцев, которые хотели возвратиться в отечество на праздник Гиакинфий. Неподалеку от Коринфа Ификрат напал на них и всех истребил.

Стр. 747 *Тогда лакедемоняне решились заключить с царем мир.* – Мир с персами был заключен во 2 году 98 олимпиады. Главным его условием было согласие греков уступить персам все греческие города в Малой Азии.

Стр. 748 *Когда Фебид сделал беззаконное дело, в мирное время завладев Кадмеей…* – Фебид шел с отрядом в город Олинф во Фракии, но, проходя вблизи Фив, по совету фиванца Леонтиада захватил фиванский акрополь Кадмею и тем поставил Фивы в зависимость от Спарты. См. жизнеописание Пелопида.

Стр. 748 *…он не только спас Фебида…* – Фебида лишили командования и приговорили к выплате 100 тыс. драхм.

Стр. 749 *…незадолго перед тем воевал он с флиунтцами…* – Жители Флии, города неподалеку от Коринфа, не хотели принимать чужеземцев, как лакедемоняне того требовали. По этой причине Агесилай в 1 году 100 олимпиады принудил их силой и оставил во Флии гарнизон.

Стр. 750 *Агесилай, видя, что другой царь Клеомброт не имел охоты воевать с фиванцами, оставив закон, который его увольнял от похода и которым прежде пользовался…* – Ксенофонт говорит, что Агесилаю поручили командовать по причине большего опыта – другой царь, Клеомброт, был весьма молод.

Стр. 751 *…ибо четырнадцатого скирофориона…* – Скирофорион и гекатомбеон – месяцы афинского календаря. Первый соответствует июню-июлю, а второй – июлю-августу.

Стр. 752 *В том сражении пало тысяча лакедемонян…* – Спартанцев пало до 400 человек, по уверению Ксенофонта. Диодор говорит, что потери лакедемонян составили 4000 человек, а фиванцев – всего 300 человек.

Стр. 752 *Ксенофонт говорит…* – Ксенофонт, «Пир», 1.1.

Стр. 752 *…ибо происходили гимнопедии…* – Гимнопедии – македонский праздник, на котором дети плясали нагими и пели гимны и пеаны. В плясках могли принимать участие и взрослые.

Стр. 754 *…заняли Иссорий…* – Иссорий – возвышенность в Спарте.

Стр. 755 *…имея войска, присланные из Сицилии от тамошнего владетеля…* – Дионисий Старший, тиранн Сиракуз, прислал на помощь лакедемонянам двадцать кораблей.

Стр. 755 *После Мантинейского сражения…* – Это сражение состоялось на 14-й год Пелопоннесской войны. Спартанцы разгромили аргивян, мантинейцев и афинян.

Стр. 755 *Между тем Эпаминонд начал заселять Мессену…* – Мессения (Мессена) – область в Пелопоннеса, в древности имела своих царей, но была покорена спартанцами. Часть изгнанников осела в городе Навпакт на Коринфском заливе, часть перебралась на Сицилию и основала город Мессену.

Стр. 756 *…и напали на город.* – Второй поход на Спарту состоялся во 2 году

104 олимпиады, за 363 года до Р. Х.

Стр. 756 *…как Диоскорид повествует…* – Диоскорид – бытописатель, автор несохранившегося сочинения о Лакедемонской республике.

Стр. 757 *Еще более обесславил он себя тем, что предался Таху, египетскому*

полководцу. – Египет был покорен Камбизом за 525 лет до Р. Х. В 460 году до Р. Х. египтяне восстали и избрали в цари Инара. С того времени они пользовались относительной независимостью и имели собственных царей, одним из которых был Тах. Агесилай прибыл к Таху во 2 году 104 олимпиады, за 363 года до Р. Х.

Стр. 757 *Всем показалось недостойным делом то, что человек, почитаемый в Греции, чья слава распространилась по всему миру, мог предоставить себя к услугам варвара, возмутившегося против своего государя, продать за деньги свое имя и славу, служить наемником и собирателем наемных войск* . – Ксенофонт хвалит этот поступок Агесилая, который, видя, что Тахос готовится к войне против персов, охотно принял его предложение. Агесилай надеялся таким образом выказать благодарность за помощь царя лакедемонянам, а также рассчитывал возвратить отошедшие Персии греческие города в Малой Азии.

Стр. 758 *Тах, лишенный помощи наемного войска, убежал.* – Тах бежал в Персию и был милостиво принят Артаксерксом, который назначил его полководцем над своими войсками в Египте.

Стр. 758 *...житель Мендеса…* – Мендес – город в нижнем Египте.

Стр. 759 *С того времени дела Нектанебида были в хорошем и безопасном положении.* – Нектанебид владел Египтом до 3 года 107 олимпиады (350 год до Р. Х.). После поражения от Артаксеркса II он бежал в Эфиопию. С тех пор и до Персидского похода Александра Великого Египет находился под властью персов.

Стр. 759 *...которое называют пристанью Менелая.* – Пристань Менелая – порт в области Мармарика.

Стр. 760 *Сын его Архидам был преемником царской его власти…* – Архидам царствовал до 3 года 110 олимпиады. Сын его Агис спустя пятнадцать лет погиб в Аркадии в сражении с Антипатром. См. жизнеописание Агиса.

Помпей

Помпей Великий (106-48 до н. э.) – римский полководец и государственный деятель, триумвир, товарищ, а затем противник Юлия Цезаря.

Стр. 760 *Прометей в Эсхиловой трагедии…* – Имеется в виду несохранившаяся трагедия «Освобожденный Прометей». Эти слова Прометей обращает к Гераклу.

Стр. 760 *...римляне ни к одному другому полководцу не показали столь сильной и свирепой ненависти, как к Страбону, отцу Помпея.* – Гней Помпей Страбон (Косой) был консулом в 665 году от основания Рима, за 89 лет до Р. Х., и своими подвигами в Союзнической войне удостоился триумфа. Причиной ненависти к нему народа, кроме его алчности, было нежелание Страбона сопротивляться Марию и Цинне.

Стр. 760 *Луций Филипп…* – Луций Марций Филипп, один из великих ораторов своего времени, был консулом вместе с Секстом Юлием Цезарем в 663 году от основания Рима.

Стр. 762 *...в Аскуле.* – Аскул – город в Пицене (ныне Асколи), взятый Помпеем Страбоном во время Союзнической войны после долговременной осады. Страбон жестоко наказал жителей Аскула, которые умертвили римского претора.

Стр. 762 *...вскричал: «Таласию! Таласию!»* – См. жизнеописание Ромула. Народ римский хотел сказать, что решение суда в пользу отца Помпея надлежит приписать браку Помпея с Антистеей.

Стр. 763 *Помпею было тогда двадцать три года…* – Помпей родился в 647 году от основания Рима.

Стр. 763 *...в Ауксиме…* – Ауксим – город в Пицене.

Стр. 763 *...прирекe Эзии…* – Эзий – река, разделявшая Пицен и Умбрию.

Стр. 765 *...что Карбон пристал туда с морскими силами…* – Гней Папирий Карбон бежал с малым числом своих приверженных на остров Коссира южнее Сицилии, но был схвачен Помпеем, привезен на Сицилию и казнен.

Стр. 765 *Гай Оппий…* – Гай Оппий – римский историк, описал войну против сына Помпея в Испании, также составил «Жизнь славных мужей», в которой восхвалял Цезаря.

Стр. 766 *...против Домиция.* – Гней Домиций Энобарб, тесть Цинны, был консулом в 658

году от основания Рима.

Стр. 766 *...какое имел Марий незадолго перед тем…* – За семь лет до этих событий, в 667 году от основания Рима.

Стр. 767 *Народ назвал «Максимами», или «Великими» двоих: Валерия за то, что он примирил его с сенатом, с которым был в ссоре, и Фабия Рулла…* – Валерий – Манлий Валерий, брат Валерия Попликолы, примиривший народ с сенатом в 261 году от основания Рима. Фабий Рулл – Квинт Фабий Максим Рулл, пять раз был консулом. См. жизнеописание Фабия Максима.

Стр. 768 *Помпей возвел Лепида на консульское достоинство…* – Марк Эмилий Лепид и Квинт Лутаций Катул были консулами в 676 году от основания Рима.

Стр. 769 *...но стоял очень долго перед Мутиной, городом галльским, защищаемым Брутом.* – Мутина (ныне Модена) – город в Цизальпинской Галлии. Брут – Марк Юний Брут, отец того Брута, который убил Цезаря.

Стр. 770 *«Не проконсулом, – отвечал Филипп, – но вместо консулов»…* – *Prokonsul* – должность, достоинство, *«pro Consule»* значит «вместо консула».

Стр. 771… *или забыл услуги, полученные от него в Сицилии…* – Перпенна уступил Помпею Сицилию, когда последний прибыл на остров для истребления партии Мария.

Стр. 772 *...ничего так не желал, как видеть возобновленной власть сию.* – Первоначально правом судить владели сенаторы, но по причине их злоупотреблений Гай Семпроний Гракх предложил ввести в число судей римских всадников. Сулла отнял у всадников это право, а Помпей возвратил им его.

Стр. 772 *Он был почтен во второй раз триумфом и возведен на консульское достоинство…* – Второго триумфа Помпей удостоился в 683 году от основания Рима. На следующий год его избрали консулом.

Стр. 774 *Они разрушили и ограбили храмы – дидимский, кларосский, самофракийский; храм Хтонии в Гермионе, Асклепия в Эпидавре, Посейдона на Истме, на мысе Тенаре и на острове Калаврии; Аполлона в Акции и на острове Левкаде; Геры на Самосе, в Аргосе и на мысе Лакинии* . – Кларосский храм – храм в ионийском городе Кларос с оракулом Аполлона. Дидимский храм – храм в ионийском городе Милет. Самофракийский храм – храм на острове Самофракия, посвященный Кабирам. Гермиона – город в Пелопоннесе. Хтония («Подземная») – эпитет Деметры. Тенар – мыс на юге Пелопоннеса. Калаврия – остров близ Арголиды. Акций – мыс в западной Греции, при входе в Амвракийский залив; у этого мыса Октавиан Август разгромил Антония. Левкада – остров недалеко от мыса Акций; на нем находился храм Аполлона. Лакиний – мыс в нижней Италии, недалеко от Кротона.

Стр. 774 *Пираты приносили в Олимпе…* – Олимп – город в Киликии, основное пристанище разбойников.

Стр. 774 *...поймали дочь Антония…* – Оратор Марк Антоний, дед триумвира, был послан в 632 году от основания Рима с флотом против морских разбойников и удостоился триумфа, но впоследствии разбойники захватили его дочь в ее поместье в Кампании.

Стр. 775 *Габиний…* – Авл Габиний был народным трибуном в 686 году от основания Рима.

Стр. 775 *Один из консулов…* – Консулами были Гай Кальпурний Пизон и Маний Ацилий Глабрион.

Стр. 775 *Росций…* – Луций Росций Отон – один из народных трибунов, ненавидимый народом.

Стр. 777 *...в Коракесии…* – Коракесин – крепость на скале в Киликии, пристанище разбойников.

Стр. 777 *...в Солах…* – Солы – город в Киликии.

Стр. 777 *...в Ахайе…* – Ахайя – северная часть Пелопоннеса. Дима – город в Ахайе, против острова Кефалления.

Стр. 777…с *Метеллом…* – Квинт Метелл – сын Метелла Долматика, был консулом в 685 году от основания Рима.

Стр. 778 *...как пишет Гомер…* – См. «Илиада», XXII, 207.

Стр. 780 *Сначала стоял он в стане на крепкой и неприступной горе, которую вскоре*

оставил, как безводную . – Митридат занял эту позицию, дабы воспрепятствовать Помпею, но недостаток в припасах вынудил оставить укрепления.

Стр. 781 *...в Синору…* – Синора – крепость на границах Великой Армении.

Стр. 781 *...призванный туда молодым Тиграном…* – Тигран – младший сын царя Тиграна, женившийся на дочери Митридата. Его назначили наследником, поскольку прочии сыновья Тиграна восстали против своего отца. Однако и сам Тигран-младший вскоре взбунтовался и бежал к Фраату, царю Парфии.

Стр. 781 *...царем Софены.* – Софена – область на юге Армении, граничащая с Месопотамией.

Стр. 782 *Иберы простираются до Мосхийских гор…* – Мосхийские горы отделяли Колхиду от Грузии и Великой Армении.

Стр. 782 *...через реку Кирн…* – Река Кирн (ныне Кура) состоит из двух рукавов; один из них течет с западной части Кавказа, другой с северо-западных гор Армении.

Стр. 782 *...околореки Фермодонт…* – Река Фермодонт, как считалось, впадает в Черное море недалеко от восточной границы Пафлагонии.

Стр. 782 *...населяют гелы и леги.* – По мнению Страбона эти народы обитали в горах на южном побережье Каспийского моря.

Стр. 783 *...Помпей хотел идти в Гирканию и к Каспийскому морю…* – Гирканское и Каспийское моря суть одно и то же; восточная часть Каспийского моря называлась Гирканской, а западная – Каспийской.

Стр. 783 *...от царей элимеев…* – Элимеи обитали в горах между Мидией, Сузианой и Персидой.

Стр. 783 *...в Гордиену…* – Гордиена – юго-восточная часть Армении. Здесь находился город Тигранокерт, столица Тиграна.

Стр. 783 *...до Арбелитиды.* – Арбелитида – область Ассирии.

Стр. 783 *Такого-то была происхождения Стратоника* ! – См. «Илиада», VI, 211.

Стр. 783 *В крепости, называемой Новой…* – Крепость Кенон (Новая) находилась, по уверению Страбона, на реке Лик недалеко от Кабиры.

Стр. 783 *...от Монимы…* – Монима – дочь грека Филопемена, пленница Митридата.

Стр. 783 *Феофан говорит…* – Феофан Митиленский – греческий историк, друг и спутник Помпея во время похода в страны Закавказья.

Стр. 784 *...под предводительством Триария…* – Триарий – *зд.* легат, наместник. Лукулл был наголову разбит Митридатом за три года до описываемых событий.

Стр. 784 *...живущих около Амана…* – Аман – горный кряж, отделяющий Сирию от Каппадокии.

Стр. 784 *Потом покорил Иудею…* – При взятии города и храма после долговременной осады было убито двенадцать тысячи иудеев.

Стр. 785 *...воздвигнув римлянам прекрасный и славный театр…* – Театр Помпея был построен недалеко от Тибра. В нем помещалось до 40 тыс. зрителей.

Стр. 785 *...вокруг так называемой Петры…* – Петра – город в северной Аравии, в окрестностях которого обитали набатейцы.

Стр. 785 *...через Скифию и Пэонию…* – То есть через нынешние Польшу и Венгрию.

Стр. 786 *...обизобретении вообще.* – Имеется в виду лекция о подборе материала для речи.

Стр. 786 *Муция…* – Муция – дочь Квинта Муция Сцеволы и сестра Метелла Непота. Помпей имел от нее троих детей.

Стр. 787 *...обизбрании в консулы Пизона.* – Марк Публий Пизон Кальпурниан, один из легатов Помпея, был избран консулом в 693 году от основания Рима.

Стр. 787 *Хотя триумф…* – Триумф Помпея последовал в 693 году от основания Рима.

Стр. 788 *...пятеро его детей…* – Аппиан говорит: пять сыновей и две дочери.

Стр. 788 *...и коммагенского царя…* – Коммагены обитали в северной части Сирии, на границах Каппадокии и Киликии.

Стр. 788… *но в самом деле ему было около сорока.* – Помпей родился в 648 году от основания Рима (106 лет до Р. Х.), следовательно, ему тогда было 45 лет.

Стр. 789 *В это время Цезарь, возвратившийся из похода…* – Цезарь возвратился из Испании в 693 году от основания Рима и стал консулом в 694 году; Цицерон оставил Рим в 695 году.

Стр. 789 *…некоторым образом консульство превратил в трибунат.* – Консулы всегда выступали заодно с сенатом и противодействовали трибунам.

Стр. 790 *…всякийраз как он потрясал своей тогой, громко восклицали: «Помпей!»* Дион Кассий относит эти события к 698 году от основания Рима.

Стр. 791 *Цицерон был возвращен законным порядком…* – Возвращение Цицерона в Рим состоялось в 697 году от основания Рима

Стр. 791… *некоторым образом опять сделал Помпея властителем моря и твердой земли, которыми римляне обладали* .– Тогда Риму грозил голод, поэтому Помпею поручили снабжение города припасами и дали ему полномочия претора в Италии и за ее пределами на пять лет.

Стр. 791 *…на помощь к царю Птолемею.* – Птолемей Авлет, сын Птолемея Лафира, озлобив против себя подданных, бежал в Рим, дабы просить помощи. Пророчество сивиллы не позволило римлянам оказать ему военную помощь, поэтому Птолемей отправился в Эфес, под защиту богини Дианы.

Стр. 791 *Тимаген пишет…* – Тимаген – греческий историк, родом из Александрии, славился красноречием.

Стр. 792 *Достигнув такими средствами консульства…* – В 669 году от основания Рима, за 55 лет до Р. Х.

Стр. 793 *Помпей хотел похоронить ее в Альбании…* – Альбаний – поместье Помпея близ города Альбы в Лации. Юлия умерла в 700 году от основания Рима.

Стр. 793 *Красс погиб в парфянском походе…* – Красс погиб со своим войском в 701 году от основания Рима.

Стр. 793 *И каждый часть получил…* – См. «Илиада», XV, 189. Здесь разумеются сыны Сатурна: Юпитер, Нептун и Плутон, разделившие мир на три владения.

Стр. 794 *Но вскоре вновь возникло безначалие* .– Это безначалие возникло в 702 году от основания Рима. Беспокойство усилилось, когда Милон убил народного любимца Клодия.

Стр. 795 *…дабы хвалить Планка.* – Имеется в виду Тит Мунаций Планк Бурса, против которого выступал Цицерон.

Стр. 796 *Хотя Цезарь знал, с каким намерением Помпей требовал у него воинов, однако отослал, одарив их щедро* .– Дион Кассий описывает это событие иначе. Помпей требовал у Цезаря легион и устроил так, что ему и Цезарю следовало отдать Бибулу, отправлявшемуся против парфян, по одному легиону. Оба эти легиона впоследствии воевали за Помпея. Цезарь каждому воину, отсылая от себя легион, дал по 250 драхм.

Стр. 797 *…трибун Курион, который был им освобожден от непомерного множества долгов…* – Скрибоний Курион был одарен великими способностями и любим народом, но по причине своей невоздержанности задолжал 250 талантов.

Стр. 798…к *реке Рубикон…* – Рубикон – река между Цизальпинской Галлией и Умбрией.

Стр. 799 *…в Диррахий.* – Диррахий – ныне Дуррес, город в Албании, на берегу Адриатического моря.

Стр. 799 *…обвиняет Помпея в том, что он более подражал поступкам Фемистокла, нежели Перикла…* – Фемистокл при наступлении варваров убедил афинян оставить город и спастись на кораблях; Перикл, напротив, заперся в городе и принудил к отступлению неприятеля, который испытывал недостаток в съестных припасах.

Стр. 800 *…в Берое…* – Береа – город в Македонии, недалеко от Фермского залива.

Стр. 800 *Многие цари и владетели присоединились также к Помпею.* – В Фессалонике при Помпее находилось, сверх консулов, двести сенаторов.

Стр. 800 *К нему пристали Лабиен…* – Тит Атий Лабиен – герой галльской войны, один из самых знаменитых легатов Цезаря, изменивший ему и перешедший на сторону Помпея. Убит в битве при Мунде в Испании за 45 лет до Р. Х.).

Стр. 801 *…через землю афаманов…* – Афаманы – народ, обитавший на территории между Эпиром и Фессалией.

Стр. 802 *«Друзья, – кричал он, – неужели и в нынешний год не удастся нам поесть тускульских фиг?»* – Тускулан – область Лация, здесь находилось поместье Цицерона. Эта область славилась фигами.

Стр. 803 *...род которого происходил от этой богини.* – Цезарь вел свой род от Юла, сына Энея и внука Венеры.

Стр. 804 *По умерщвлении Крассиана…* – Цезарь отыскал его тело после сражения и похоронил с почестями.

Стр. 805 *Помпей, увидев подымающуюся пыль, догадался о поражении конницы* . – Цезарь пишет, что с его стороны пало 30 офицеров и 200 воинов; по уверению других авторов, он потерял 1200 человек. Со стороны Помпея убито 15 тыс., в плен взято 24 тыс. человек. Сражение состоялось в 706 году от основания Рима (48 год до Р. Х.).

Стр. 805 *...стихи Гомера…* – См. «Илиада», XI, 544.

Стр. 805 *Азиний Поллион…* – Гай Азиний Поллион – римский историк, описавший междоусобную войну.

Стр. 806 *...царя Дейотара…* – Дейотар – правитель галатов в Малой Азии. Помпей присоединил к его владениям Малую Армению, а сенат даровал ему титул царя. Цезарь лишил Дейотара Малой Армении, но оставил титул.

Стр. 806 *Как все прекрасно в душах благородных!* – Стих из неизвестной трагедии Еврипида.

Стр. 807…к *философу Кратиппу…* – Кратипп – греческий философ-перипатетик, у которого учился сын Цицерона.

Стр. 808 *...и царя Птолемея…* – Имеется в виду Птолемей Дионисий, сын Птолемея Авлита. Он погиб в сражении с войском Цезаря, и на нем прервался род Птолемеев.

Стр. 808 *...под власть того самого Арсака…* – Арсак (Арсакид) – парфянский царь.

Стр. 808 *...вел войну против сестры своей и находился с войском в Пелусии…* – Сестра – знаменитая Клеопатра. Пелусий – город в восточном устье Нила.

Стр. 812 *...не может сравнить его с Агесилаем и сам Ксенофонт, которому, за его добродетели, позволено, как в награду, писать и говорить то, что хочет об этом государе* . – Плутарх, вероятно, здесь хочет сказать, что похвалы, приписываемые Ксенофонтом Агесилаю, преувеличены; ибо Ксенофонт представляет своего героя идеалом правителя.

Александр

Александр Македонский (Великий, 356–232 до н. э.) – великий полководец античности, завоеватель, покоритель Азии.

Стр. 815 *...был родом со стороны отца Гераклид, происходя от Карана…* – Каран – потомок Геракла, по преданию, оставил свое отечество, переселился в Македонию и основал царство.

Стр. 815 *...брата ее Ариббы.* – Арибба – царь Эпира, дядя Олимпиады. После смерти Ариббы брат Олимпиады Александр с помощью своего зятя Филиппа завладел Эпиром.

Стр. 815 *...Аристандр из Тельмесса…* – Аристандр – прорицатель, сопровождавший Александра в его походах. Жители ликийского города Тельмесс, уроженцем которого был Аристандр, славились своими способностями к гаданию и прорицанию.

Стр. 816 *...вокруг тирсов…* – Тирс – жезл, увитый плющом и виноградной лозой, атрибут Диониса. Такие жезлы носили вакханки.

Стр. 816 *Он лишился того глаза…* – Диодор говорит, что Филиппу в глаз попала стрела при осаде Мефоны во Фракии.

Стр. 816 *Александр родился в шестой день первого десятка месяца гекатомбеона…* – Александр родился в 1 году 106 олимпиады, за 356 лет до Р. Х.

Стр. 816 *...Гегесий…* – Гегесий (320–280 до Р. Х.) – греческий философ, последователь киренской философской школы

Стр. 816 *...покоривший уже Потидею…* – Потидея – город во Фракии на полуострове Паллена; впоследствии Кассандрия. Этот город был взят в 3 году

105 олимпиады.

Стр. 816 *Он радовался тому, и прорицатели умножали его радость, объявляя, что сын его, родившись при получении трех побед, будет непобедим* . – Филипп при получении этих приятных известий воскликнул: «О, судьба! За толикие благополучия дай мне малое несчастье!»

Стр. 817 *...для рапсодов...* – Рапсоды – странствующие певцы, исполнявшие на торжествах, пирах и поэтических состязаниях отрывки эпических поэм.

Стр. 818 *...себя называл Фениксом, Александра – Ахиллом, а Филиппа – Пелеем...* – Феникс – в греческой мифологии воспитатель героя Ахилла. Пелей – отец Ахилла, царь Фтии в Фессалии.

Стр. 819 *...город Стагиры, отечество Аристотеля...* – Стагира – город во Фракии. Аристотель прибыл в Македонию за 343 года до Р. Х., когда Александру было уже тринадцать лет.

Стр. 819 *...при Миезе...* – Миеза – город в Эмафии, недалеко от фессалийской границы.

Стр. 819 *...он участвовал в тайном и глубоком учении, которое перипатетики называют собственно акроаматическим и эпоптейским...* – Акроаматическое – иначе эзотерическое учение, предназначенное для избранных учеников. Учение «для всех» называлось экзотерическим. Эпоптеи – посвященные в Элевсинские мистерии, достигшие третьей степени посвящения.

Стр. 819 *...как повествует Онесикрит.* – Онесикрит – ученик Диогена Синопского, участник похода Александра в Индию, описал жизнь Александра, взяв за образец «Киропедию» Ксенофонта.

Стр. 819 *...велел Гарпалу...* – Гарпал – друг юности и казначей Александра, во время Индийского похода растратил часть государственных средств и бежал в Грецию с пятью тысячами талантов.

Стр. 819 *...дифирамбы Телеста и Филоксена.* – Телест – греческий поэт, родился на Сицилии. Филоксен – уроженец острова Кифера; поэт и музыкант; тиранн Сиракуз Дионисий Старший сослал его в катакомбы за «вольнодумство».

Стр. 820 *...посланными Ксенократу в подарок пятьюдесятью талантами...* – Ксенократ из этих пятидесяти талантов оставил себе 3000 аттических драхм (полталанта), а остальное отослал назад, сказав, что Александру приходится кормить много людей, поэтому царю деньги нужнее.

Стр. 820 *...в поход против византийцев...* – В 1 году 110 олимпиады.

Стр. 820 *Тот, кто готовился из Европы переправиться в Азию...* – Филипп в 4 году 110 олимпиады был избран верховным вождем похода против персов.

Стр. 820 *...за Арридея, сына Филиппа...* – Арридей – побочный сын Филиппа.

Стр. 821 *...умертвил Филиппа...* – Филипп умер в 1 году 111 олимпиады, за 336 лет до Р. Х.

Стр. 821 *Невесту, жениха и тестя вместе с ними.* – Еврипид, «Медея», 288. Еврипид говорит о Креонте, Креусе и Ясоне, которым грозит отомстить Медея. Александр разумел Аттала, Клеопатру и Филиппа.

Стр. 822 *...царя трибаллов.* – Трибаллы – фракийская народность, населявшая территорию между Дунаем и Моравой.

Стр. 822 *...требовали у него выдачи Филота...* – Филот (Филота) – командир кадмейского гарнизона.

Стр. 822 *...ибо фокейцы и платейцы имели важные жалобы на фиванцев.* – Платейцы враждовали с фиванцами, которые в начале Пелопоннесской войны убедили лакедемонян разрушить стены Платеи.

Стр. 823 *...надлежало приписать гневу и мщению Диониса.* – По мифу, Дионис родился в Фивах. Его мать Семела – дочь фиванского царя Кадма.

Стр. 823 *...в Крании...* – Крании (Кранион) – кипарисовая роща близ Коринфа, там находился гимнасий.

Стр. 823 *...бывший в Либетрах...* – Либетры – македонский город в Пиерии. Там находилось святилище Орфея.

Стр. 824 *Аристобул пишет...* – Аристобул – греческий историк, сопровождал

Александра в его походах. Арриан называет Аристобула достовернейшим из историков деяний Александра.

Стр. 824 *...ублажая Ахилла за то, что он при жизни нашел верного друга, а по смерти великого глашатая славных дел своих.* – Друг Ахилла – Патрокл, глашатай его славы – Гомер.

Стр. 824 *...не желает ли видеть лиру Александра.* – Имеется в виду Парис, сын троянского царя Приама.

Стр. 824 *«...я ищу лиру Ахилла, на которой он воспевал славу и подвиги храбрых мужей».* – См. «Илиада», IX, 189.

Стр. 824 *...месяц десий...* – Десий – *зд.* дополнительный месяц, «второй артемисий», вставленный Александром в календарь текущего года; это обычно делалось раз в несколько лет.

Стр. 825 *Полководцы Ресак и Спифридат...* – Спифридат – сатрап Ионии, Ресак – зять Дария.

Стр. 825 *Со стороны Александра, по уверению Аристобула, пало всего тридцать четыре воина, из которых девять были пешие. Александр велел соорудить им медные кумиры...* – По свидетельству Арриана, погибли 25 гетайров, 60 конных и 30 пехотинцев. Памятник поставили одним гетайрам; впоследствии консул Цецилий Метелл перевез этот памятник в Рим.

Стр. 826 *...он спешил очистить от неприятелей приморские области до Финикии и Киликии.* – Вероятно, речь идет о Памфилии – прибрежной области на юге Малой Азии.

Стр. 826 *Они уверяют, что море, по некому божественному счастью, отступило перед Александром, хотя впрочем оно всегда ударяет с великой силой в берега и редко обнажает выдающиеся мелкие скалы, лежащие под хребтом крутых и утесистых гор этой земли.* – Страбон так описывает это место: между Ликией и Памфилией есть узкий проход по берегу моря, которым следовало идти Александру. Гора Климакс возвышается над Памфилийским морем и оставляет на берегу дорогу, которая бывает сухой, когда море спокойно, так что можно по ней пройти, но покрывается водой при волнении. Когда Александр пришел сюда, море волновалось; однако он, полагаясь на свою удачу, двинулся вперед, причем воинам пришлось шагать по пояс в воде.

Стр. 826 *...прошел так называемую «Лестницу»...* – «Лестница» – горная цепь вдоль восточного побережья Ликии.

Стр. 826 *...кумир умершего Феодекта...* – Феодект – греческий оратор и поэт, ученик Аристотеля.

Стр. 826 *...он покорил противившихся ему писидян, занял Фригию и взял город Гордий...* – Писидяне (писидийцы) – малоазийское племя, обитавшее у горного хребта Тавр; славились тем, что до Александра никто – даже персидский царь – не мог их покорить. Гордий – поселение во Фригии, древняя столица этой области Малой Азии; здесь родилась одна из наиболее известных легенд об Александре – предание о «гордиевом узле». – *Примеч. ред* .

Стр. 826 *...получил известие о смерти Мемнона...* – Мемнон с Родоса – греческий наемник на службе у персидского царя Дария, один из лучших полководцев того времени. По свидетельству античных историков, именно Мемнона Александр опасался более всего. После сражения при Гранике Мемнон многократно досаждал Александру партизанскими по сути вылазками, но в мае 333 года до н. э. он неожиданно скончался от болезни; как писал Диодор, «смерть Мемнона погубила все дело Дария». – *Примеч. ред* .

Стр. 827 *...Дарий, будучи царским астандом...* – Астанд – у персов царский гонец; вероятно, здесь идет рочь о старшем астанде – так сказать, почтмейстере.

Стр. 827 *...в водах замерзшей реки Кидн.* – Кидн – река, впадавшая близ Тарса в Средиземное море.

Стр. 827 *...македонянин по имени Аминт...* – Аминт (Аминта) – македонский изгнанник, поступивший на службу к персидскому царю из-за ненависти к Александру.

Стр. 828 *...по свидетельству Харета...* – Харет – придворный Александра, автор жизнеописания царя. Это сочинение не сохранилось.

Стр. 829 *...не только не коснулся этих женщин...* – Александр в сопровождение Гефестиона пришел к пленницам и сказал Сисигамбе, матери Дария, которая приняла Гефестиона за Александра: «Ты не ошиблась; и это Александр». Так пишет Квинт Курций; однако Александр в письме к Пармениону утверждал, что не видел Статиры.

Стр. 830 *...он сказал Аде…* – Ада – дочь царя Карии, после смерти своего брата Мавсола вступила в брак с другим братом, Гедриеем. Когда и тот умер, Пиксодор, третий брат Ады, лишил ее власти. Александр возвратил Аде царство.

Стр. 831 *...они связали его кумир цепями, пригвоздили к основанию и называли его александристом.* – Вероятно, здесь Аполлон – финикийский бог Мелькарт, отождествлявшийся с Аполлоном как солнечное божество. – *Примеч. ред* .

Стр. 831 *...живущих при Антиливане.* – Антиливан – горный хребет, параллельный Ливанскому хребту.

Стр. 832 *...и город в тот день был взят.* – Осада Тира продолжалась семь месяцев, потери македонян составили не менее 400 человек, потери осажденных – не менее 7000 человек.

Стр. 832 *...Клеопатре…* – Клеопатра – сестра Александра.

Стр. 833 *Завладев Египтом…* – Покорение Египта состоялось во 2 году 112 олимпиады, за 331 год до Р. Х. Македонян встречали как избавителей от гнета персов.

Стр. 833 *...и сказал следующие стихи…* – См. «Одиссея», IV, 334.

Стр. 834 *...есть кровь, а не влага…* – См. «Илиада», V, 340. Диомед ранил Афродиту в руку.

Стр. 835 *«Яне хочу стращать друзей своих, как ты приказываешь и называешь мой ужин дурным за то, что видишь на столе рыбу, а не головы сатрапов* ». – Диоген Лаэрций повествует иначе, Аристарх сказал в ответ Александру, что царь был великолепен, но ему недоставало головы одного сатрапа – Нипокреона Кипрского (который был врагом Аристарха). Впоследствии Аристарх дорого заплатил за эти слова – он попал в руки Нипокреону, который велел истолочь его заживо в мельничной ступе.

Стр. 835 *Ликон Скарфийский…* – Скарф – город в Локриде, неподалеку от Фермопил.

Стр. 836 *...бог Оромазд…* – Оромазд (Ормузд, древнеиран. Ахура-Мазда) – благое божество, «Истинный Свет». Его противник – бог мрака Ангро-Майнью (пехлев. Ариман).

Стр. 836 *...перед великим светом Митры…* – Митра – в иранской традиции бог клятвы и соблюдения договоров, хранитель закона мироздания, также солярное божество, которое в религии ранних Ахеменидов считалось верховным божеством пантеона. В правление в Персии парфянской династии сложился митраизм – культ Митры как верховного бога, заимствовавшего статус Ахура-Мазды. Митраистский миф творения гласит, что Митра был рожден скалой, вступил в борьбу за власть с солнцем, затем заключил со светилом мир и обменялся клятвой, потом убил Первого Быка, созданного Ахура-Маздой, и из тела животного произошли все полезные растения. – *Примеч. ред* .

Стр. 837 *Большое сражение с Дарием не было дано при Арбелах, как о том пишут многие историки, но при Гавгамелах…* – Расстояние между селением Гавгамелы и городом Арбелы составляло 600 стадиев (около 100 км). Что касается численности персидского войска, Арриан говорит о 40 000 конных и 1 000 000 пехоты; с ним согласны Квинт Курций и Диодор. Современные исследователи, учитывая склонность античных авторов к преувеличению, считают, что эти цифры следует сократить минимум в десять раз. – *Примеч. ред.*

Стр. 837 *...некто из древних царей, убежав от неприятелей на верблюде…* – Имеется в виду царь Дарий I, сын Гистаспа, который после поражения в битве со скифами спасся от голодной смерти при помощи верблюда.

Стр. 837 *...простирающаяся между Нифатом…* – Нифат – горный хребет, отделяющий Армению и Ассирию от Мидии.

Стр. 838 *...царем китийцев…* – Китион – город на острове Кипр.

Стр. 840 *...был он удивлен более всего близ Экбатаны…* – Экбатана – столица Мидии. Страбон называет область, в которой находится источник нафты (нефти), Артакеной.

Стр. 840 *...что нефть есть та отрава, которой Медея намазала венец и покрывало невесты, как сказано в трагедии…* – Одежда и венец, которые послала Медея сопернице своей Креусе.

Стр. 841 *Александр завладел Сузами, нашел в царском дворце сорок тысяч талантов…* – Сузы – столица персидских царей, главный город области Сузиана. По свидетельству Диодора, Александр нашел в слитках золота и серебра на 40 тысяч талантов, а монстами – на 9 тысяч

талантов.

Стр. 841 *Динон уверяет…* – Динон из Колофона (IV в. до Р. Х.) – греческий писатель, автор «Истории Персии».

Стр. 841 *…так называемая Персида…* – Персида (Парсида) – область в Мидии.

Стр. 842 *Одни говорят, что это случилось без умысла; другие, с намерением…* – Арриан уверяет, что Александр намеренно сжег царские дворцы, вопреки стараниям Пармениона.

Стр. 843 *…дом Багоя…* – Багой – египетский евнух, любимец царя Артаксеркса Оха; убил своего покровителя и возвел на престол Дария Кодомана. Последний заставил его выпить чашу с ядом.

Стр. 844 *…первое известие о бегстве Гарпала…* – В 3 году 112 олимпиады, за 330 лет до Р. Х.

Стр. 844 *…пойман Бессом…* – Бесс – правитель Бактрии.

Стр. 845 *…они много лет прежде Александрова похода писали, что из Внешнего моря вдаются внутрь земли четыре залива, из которых самый северный есть тот, который называется Гирканским, или Каспийским морем.* – Так думали о Каспийском море во времена Александра, хотя Геродот гораздо раньше писал, что Каспийское море – отнюдь не залив.

Стр. 846 *Сюда прибыла к нему амазонка…* – Уже Арриан называл это известие вымыслом.

Стр. 846 *…многие историки, в числе которых Клитарх, Поликлет, Онесикрит, Антиген и Истр; но Аристобул, возвеститель Харет, Птолемей, Антиклид, Филон Фиванский, Филипп из Феангелы…* – Клитарх – сын Динона, участника походов Александра, в своем жизнеописании царя опирался на сочинение Каллисфена. Истр – ученик Каллимаха, издатель многих исторических сочинений. О Поликрите, Антигене, Антиклиде и Филоне сведений не сохранилось. Птолемей – Птолемей Лаг.

Стр. 848 *В это время один македонянин, по имени Димн, родом из Халастры…* – В 4 году 112 олимпиады, за 329 лет до Р. Х., Александр находился в Дрангиане. Халастра – город в Македонии.

Стр. 849 *…разрушили Эниады…* – Эниады – город в Акарнании, в устье реки Ахелой.

Стр. 849 *Вскоре после того последовало убиение Клита…* – Клит Черный – македонский военачальник, любимец Александра, кормилица которого Гелланика была сестрой Клита.

Стр. 849 *…сочиненные на смех и в поругание полководцев, незадолго перед тем побежденных варварами* . – Это были Андромах, Менедим и Карин, которых под начальством Фарнуха послали против Спитамена на помощь македонянам, осажденным в Мараканде. Они со всем войском были изрублены неприятелем.

Стр. 850 *О сколь несправедлив в Элладе тот обычай!* – Из трагедии Еврипида «Андромаха», 694. Стих далее гласит:

Одержит войско ли победу над врагами?
Народ, не воинов, возносит похвалами –
Вождю лишь одному приписывает честь.

Стр. 851 *…свое отечество…* – Отечеством Каллисфена был Олинф, многолюдный и богатый город, разоренный Филиппом за 348 лет до Р. Х.

Стр. 852 *…по словам Еврипида…* См. – «Вакханки», 267.

Стр. 852 *Умер и храбрый Патрокл, далеко тебя превышавший.* – См. «Илиада», XXI, 107.

Стр. 852 *…от поклонения…* – Проскинеза (поклонение) заключалась в том, чтобы пасть ниц перед царем и поцеловать землю.

Стр. 853 *…как Гермолай был изобличен в злоумышлении на жизнь Александра…* – Гермолай на охоте убил кабана прежде Александра и за это был предан постыдному наказанию.

Стр. 853 *…Каллисфен умер от ожирения и вшивой болезни.* – Диоген Лаэрций говорит, что Каллисфена сначала держали в железной клетке с червями, а затем отдали на съедение львам. Юстин пишет, что его искалечили, потом отрезали ему нос и и возили его повсюду в клетке; Лисимах из жалости дал ему яд, дабы прекратить его мучения. Арриан удивляется тому, что историки столь расходятся в описаниях события, которому были свидетелями.

Стр. 854 *…близреки Окс…* – Окс – река, отделяющая Бактриану от Согдианы. Ныне – Амударья.

Стр. 855 *Таксил, как говорят, обладал частью Индии, которая пространством не уступала Египту…* – Александр переправился через реку Инд близ Певкалета и вступил во владения Таксила, главный город которого, называвшийся Таксилой, отстоял от Инда на один день дороги. Это произошло во 2 году 113 олимпиады, за 327 лет до Р. Х. Диодор называет Таксила Мофитом и пишет, что Александр дал ему прозвище Таксил.

Стр. 855 *Этим поступком он огорчил друзей своих…* – Мелеагр, один из друзей, сказал за пиршеством: «Я желаю, чтоб Александр по крайней мере в Индии нашел человека, который стоил бы тысячу талантов». Александр отвечал, что завистливые люди сами себе служат наказанием.

Стр. 855 *В одном городе…* – Массага – город в области ассакинов. Арриан в защиту Александра говорит, что воины обязались служить ему, но ночью убежали.

Стр. 855 *Река Гидасп…* – Гидасп, соединяясь с Акесином, впадает в Инд.

Стр. 856 *…этой битвы.* – Сражение состоялось во 2 году 113 олимпиады, за 327 лет до Р. Х.

Стр. 857 *Сотион уверяет, что слышал об этом от Потамона Лесбосского.* – Потамон из Митилены жил во времена императора Тиберия в Риме. Сотион был его учеником и описал деяния Александра в Индии.

Стр. 857 *…цари гандаритов и пресиев…* – Пресии – племя, населявшее берега Ганг. Главный город пресиев назывался Паливофра; развалины его сохранились близ Патны. Гандариты обитали на юг от пресиев, в устье Ганга.

Стр. 857 *Он соорудил и жертвенник богам…* – Имеются в виду жертвенники двенадцати Олимпийским богам.

Стр. 857 *…тогдашний царь был ненавидим за дурные свойства и пренебрегаем за низкое происхождение* . – Этот царь был сыном брадобрея, при помощи царицы умертвил законного царя и завладел престолом.

Стр. 857 *…в так называемой стране маллов…* – Маллы обитали на обоих берегах Гидраота и были союзниками оксидраков с Инда.

Стр. 858 *…побудили Саббу…* – Сабба – вождь одного из индийских племен. Он покорился Александру, но после возмутился против него. Гимнософисты – брахманы, индийская каста, которых греки называли «нагими мудрецами».

Стр. 859 *…к острову, который он назвал Скиллустидой…* – Остров Скиллустида, по свидетельству Арриана, лежал не в море, но в западном рукаве Инда. Недалеко от устья Инда македоняне наблюдали прилив и отлив и были сильно этим удивлены.

Стр. 860 *Это беспорядочное и блуждающее торжество…* – Арриан замечает, что об этом пьяном торжестве Александра не упоминает ни Птолемей, ни Аристобул.

Стр. 860 *…любимец его Багой…* – Этого Багоя не следует путать с евнухом того же имени, о котором упоминалось выше.

Стр. 860 *…в Тапсаке…* – Тапсак – торговый город в Сирии, на западном берегу Евфрата.

Стр. 861 *Найдя гроб Кира разрытым…* – Гробница Кира находилась в Пасаргадах, древней столице Персии, построенной Киром на том месте, где он победил мидов.

Стр. 862 *Царь, боясь этого, смягчился и позволил ему оставить у себя полученные деньги.* – Александр сперва велел воинам объявить свои долги; но так как они подозревали в этом повелении некоторую хитрость и продолжали скрывать свои задолженности, царь приказал поставить множество столов с деньгами и, по предъявлении свидетельств, платить, не спрашивая имени должника.

Стр. 862 *…говорил потом ласково и неспособных к войне уволил, одарив их весьма щедро.* – Число возвратившихся в Македонию составляло до 10 тыс. человек. Ими командовал Кратер, назначенный правителем Македонии вместо Антипатра.

Стр. 863 *…народ коссейский…* – Коссеи – независимое племя, обитавшее в горах, которые отделяли Мидию от Сузианы и Персиды.

Стр. 863 *Александр не принял этого предначертания…* – По уверению Лукиана, Александр счел этого художника за льстеца, проникся к нему отвращением и больше к себе не

призывал.

Стр. 864 *...по просьбе Медия…* – Медий из Лариссы – друг царского виночерпия Иоллая, один из бесстыднейших льстецов, втершийся в доверие к царю после смерти Гефестиона.

Стр. 865 *...как бы он влил Александру в питье яд.* – Арриан считает отравление Александра выдумкой. С другой стороны, версия об отравлении кажется достаточной правдоподобной, если принять во внимание тот факт, что царский виночерпий был сыном Антипатра, наместника Македонии; последний незадолго до кончины Александра получил приказ прибыть в Вавилон и, быть может, опасаясь кары за слишком самостоятельную политику, решил нанести упреждающий удар. – *Примеч. ред* .

Стр. 865 *...которую доставали с одной скалы близ Нонакриды…* – Нонакрида – город в Аркадии, недалеко от города Феней.

Стр. 865 *Ревнуя всегда к Статире, она обманула ее подложным письмом, заставила придти к себе, умертвила ее с сестрой…* – Младшая сестра Статиры была выдана замуж за Гефестиона. Роксана вместе с сыном впоследствии погибла в Македонии от руки Кассандра. Побочного сына Александра по имени Геракл умертвил Полисперхонт.

Стр. 865 *...и влек за собою Арридея…* – Арридей под именем Филиппа был признан царем, но по причине слабоумия ему назначили в опекуны Пердикку. После пятилетнего царствования он был лишен жизни вместе с супругою Эвридикой; за этим убийством стояла мать Александра Олимпиада, через год после этих событий сама умерщвленная Кассандром.

Цезарь

Гай Юлий Цезарь (100–44 до н. э.) – выдающийся римский государственный деятель и полководец, первый единоличный правитель («император») демократического Рима.

Стр. 866 *...Цезаря с Корнелией…* – Гай Юлий Цезарь родился в 654 году от основания Рима, за 100 лет до Р. Х., в шестое консульство Мария, 12 числа месяца квинтилия, который в честь его впоследствии переименован в юлий (июль). На шестнадцатом году своей жизни он лишился отца, на семнадцатом году женился на Корнелии, дочери Цинны, по совету Мария, отказавшись от брака с Коссуцией, дочерью богатого римского всадника.

Стр. 866 *...и искал жреческой должности.* – По словам Светония и Веллея Патеркула, Цезарь еще при Марие был фламином – жрецом Юпитера; но Сулла лишил его этого достинства.

Стр. 866 *...при острове Фармакусса…* – Фармакусса – остров у побережья Ионии, недалеко от Милета.

Стр. 867 *...дабы учиться у Аполлония, сына Молона…* – Аполлоний из Алибанды (город в Карии) – ритор, о котором уважительно отзывался в своих сочинениях Цицерон. Он брал деньги за обучение, но возвращал их, когда видел, что ученик не имеет способностей к красноречию.

Стр. 867 *...донес на Долабеллу…* – Гней Корнелий Долабелла – консул вместе с Марком Туллием Декулой в 673 году от основания Рима, за 81 год до Р. Х.; впоследствии претор Македонии.

Стр. 868 *...на волосы его, с таким старанием причесанные, когда посмотрю, как он почесывает голову одним пальцем…* – Подобная прическа считалась знаком женоподобия и изнеженности,

Стр. 868 *...при преторе Ветере…* – Ветер – претор области Бетика в Испании.

Стр. 868 *...женился он третьим браком на Помпее.* – Помпея – дочь Квинта Помпея Руфа, зятя Суллы; Плутарх считает ее третьей женой Цезаря, после Корнелии и Коссуции, с которой Цезарь был обручен, но так и не женился на ней.

Стр. 869 *...Сервилий Исаврийский и Катул, мужи знаменитейшие и имевшие великую силу в сенате* .– Публий Сервилий Исаврийский и Квинт Лутаций Катул – римские государственные деятели и военачальники. Первый в 679 году от основания Рима победил в Киликии морских разбойников и завладел их городом Исавр; второй был консулом в 676 году от основания Рима и противился действиям Лепида.

Стр. 871 *У римлян есть богиня, которую они называют Доброю…* – Бона Деа (Добрая

богиня) – в римской мифологии богиня-мать, к таинствам которой мужчины не допускались. Торжества в честь богини справлялись в мае в ее храме на Авентинском холме, а в декабре – в доме консула или претора, жена которого приносила богине жертвы от имени всего римского народа. Публия Клодия, проникшего в дом Цезаря во время праздника Боны Деа, обвинили в святотатстве. – *Примеч. ред* .

Стр. 872 *...ибо судьи объявили свои мнения темно и запутанно…* – Имеется в виду, что римские судьи на табличках для голосования обозначали свое решение одной буквой – сокращая такие слова, как «оправдываю», «осуждаю» и «воздерживаюсь».

Стр. 872 *Он пошел против каллаиков…* – Каллаики – племена, обитавшие на северо-западном побережье Испани. Лузитаны – древнее население Португалии.

Стр. 872 *...дабы тот, кто желал почестей триумфа, находился вне города…* – Искавший триумфа имел всегда в своем распоряжении войско, с которым впускать его в Рим было опасно.

Стр. 873 *...торжественно возведен был на консульское достоинство…* – В 695 году от основания Рима, за 59 лет до Р. Х.

Стр. 875 *В морском сражении при Массилии…* – Массилия – ныне Марсель. Сражение, о котором здесь упоминается, произошло в начале междоусобной войны, когда Помпей ушел в Грецию, а Цезарь двинулся на Испанию, дабы отнять ее у Помпея. Массилия оказала ему серьезное сопротивление, но сдалась после долговременной осады.

Стр. 875 *...в Кордубе.* – Кордуба (ныне Кордова) – древний город в Испании, столица области Бетика; в Кордубе располагалась ставка римского претора.

Стр. 876 *Говорят также, что способ разговаривать с приятелями через письма изобретен Цезарем…* – То есть писать письма тем приятелям, которые находились в одном городе с адресатом.

Стр. 876 *...с гельветами…* – Гельветы – общее имя галльских племен, обитавших между Роной и Рейном, в Юре и Ретийских Альпах.

Стр. 876 *...на реке Арар…* – Арар (ныне Сона) – река, впадающая в Рону у Лиона.

Стр. 877 *...заключил союз с германским царем Ариовистом…* – Ариовист – германский царь, в годы консульства Цезаря считался союзником римского народа, однако впоследствии перешел через Рейн, занял большую часть Галлии и укрепился в области секванов.

Стр. 877 *...у секванов…* – Секваны – многочисленное галльское племя, обитавшее на территории нынешних Франш-Конте, Бургундии и Эльзаса.

Стр. 878 *...белги, сильнейший из галльских народов, занимавшие третью часть Галлии, возмутились и собрали многочисленное войско…* – Цезарь в своих записках говорит, что они не отпадали от римлян, ибо никогда не были им подвластны; но объединились с другими, опасаясь, что римляне, завладев всей Галлией, покорят и их.

Стр. 878 *...пошел потом на нервиев…* – Нервии – галльское племя, обитавшие на территории Намюра.

Стр. 878 *Говорят, что из шестидесяти тысяч спаслось только пятьсот человек, а из четырехсот сенаторов осталось в живых трое.* – Сражение с белгами состоялось в 697 году от основания Рима, за 57 лет до Р. Х.

Стр. 879 *...чтобы Цезарю даны были деньги и предводительство еще на пять лет.* – Это случилось в конце третьего проконсульства Цезаря. Плутарх не описывает третьего похода Цезаря в Галлию.

Стр. 879 *...два германских многочисленных народа…* – Узипеты – германское племя, обитавшее близ восточного устья Рейна. Тенктеры – германское племя, обитавшее к югу от узипетов, в окрестностях нынешних Кельна и Бонна. О войне с узипетами и тенктерами Цезарь рассказывает в «Записках о галльской войне».

Стр. 879 *Танузий говорит…* – Танузий Гемин – римский историк, друг Цицерона.

Стр. 879 *...были приняты сугамбрами…* – Сугамбры (сигамбры) – германское племя, обитавшее на берегах Рейна.

Стр. 880 *Два раза переправлялся он туда с противоположной стороны Галлии…* – Цезарь в первый раз переправился в Британию в 699 году от основания Рима, во второй раз – год спустя. Возвратившись из последнего похода, он получил известие о смерти своей дочери

Юлии.

Стр. 880 *...от тамошнего царя…* – Этот царь звался Кассивелауном и владел землями на территории нынешних графств Миддлсекс, Хартфорд и Букингемшир.

Стр. 880 *Цезарь, имея многочисленные силы, должен был по необходимости разделять их на части для зимовки…* – Причиной дефицита продовольствия была засуха.

Стр. 880 *...изрубили Котту и Титурия…* – Оба легата Цезаря, Котта и Титурий Сабин, с легионом и пятью когортами, попали в окружение в области эбуронов (ныне окрестности Ахена). Римляне погибли почти все.

Стр. 880 *...под начальством Цицерона…* – Имеется в виду Квинт Туллий Цицерон – брат оратора Марка Туллия Цицерона.

Стр. 881 *...главнейшими же были арверны и карнуты.* – Арверны и карнуты – галльские племена, обитавшие в долине Луары.

Стр. 881 *Против него объявили себя эдуи…* – Эдуи – галльское племя, союзники Рима, обитавшие на территории между реками Луара и Сена.

Стр. 881 *...прошел он землю лингонов…* – Лингоны – галльское племя, обитавшие у подножия Вогезов.

Стр. 881 *...в городе Алезии.* – Алезия – город галльского племени мандубиев.

Стр. 882 *...пока был предан стражам для хранения до будущего триумфа.* – Верцингеторига заковали в цепи, а семь лет спустя, когда отмечался триумф, он был провезен по Риму и наконец казнен.

Стр. 883 *...обитателей Нового Кома…* – Новый Ком – колония на берегу озера Комо.

Стр. 883 *И Марцелл, бывший тогда консулом…* – Марк Клавдий Марцелл был консулом вместе с Сервием Сульпицием Руфом в 703 году от основания Рима, за 51 год до Р. Х.

Стр. 883 *Он заплатил важные долги за трибуна Куриона…* – Гай Скрибоний Курион, человек с большими талантами, из врага сделался Цезарю приятелем, когда последний заплатил его долги, составлялвшие 250 талантов. О консуле Павле см. жизнеописание Помпея.

Стр. 883 *...чтобы был назначен преемник Цезарю в начальстве.* – Вскоре после этого назначение получил Луций Домиций Агенобарб, зять Катона и противник Цезаря.

Стр. 885 *Говорят, что в ночи, предшествовавшей этой переправе, увидел он ужасный сон: ему показалось, что он совокупился с матерью.* – Светоний пишет, что Цезарь видел этот сон в испанском Кадисе в свою бытность квестором и что тогда же ему предсказали, что он будет властителем мира.

Стр. 886 *Домиций, предводительствуя тридцатью когортами, занимал Корфиний.* – Десять когорт составляли легион, то есть силы Домиция были весьма значительны. Корфиний – город на реке Атерн в области Абруццо.

Стр. 887 *...взяв только шестьсот человек конницы и пять легионов, посадил их на суда.* – Цезарь сам говорит – 15 тыс. пехоты и 500 человек конницы.

Стр. 887 *Цезарь занял Орик и Аполлонию…* – Оба города находятся в Иллирии: Аполлония – к югу от Диррахия, а Орик – на границе Эпира.

Стр. 888 *Река Аой…* – Аой – река, впадающая при Аполлонии в Адриатическое море; Дион Кассий называет ее Анас, Страбон – Асас.

Стр. 889 *...говоря при том, что пока земля будет производить эти коренья, до тех пор не перестанут осаждать Помпея.* – Это случилось при Диррахии, где Цезарь запер Помпея, хотя сам терпел недостаток в хлебе. Цезарь называет корень, который употребляли воины, харой. По мнению исследователей, это разновидность дикой капусты.

Стр. 889 *...в неприятнейших помышлениях.* – Цезарь признается, что потерял 960 человек, многих знатных всадников, 32 знамени и проч. Два сражения, о которых упоминает Плутарх, были даны в один день.

Стр. 890 *...по причине старости своей они не могли переносить трудностей, сопряженных с переменами места, с укреплением стана, с нападениями на стены, с ночными бдениями…* – Воины Цезаря в предыдущем году из Галлии вступили в Италию через Альпы, дошли до южной ее части, оттуда возвратились в Галлию, перешли Пиринеи и вступили в Испанию; наконец оттуда возвратились в Италию и пришли в Брундизий.

Стр. 890 *По взятии же фессалийского города Гомфы…* – Гомфы – город в западной

Фессалии, близ границы Эпира. Цезарь приступил к нему со всех сторон, завладел городом и предал его на разграбление воинам, дабы тем устрашить другие города.

Стр. 891 *Что касается до Помпея, то он предводительствовал сам правым крылом…* – Цезарь говорит обратное, а именно – что Помпей стоял на левом крыле с двумя легионами.

Стр. 893 *Воинов пало не более шести тысяч.* – Цезарь пишет, что с его стороны пало двести человек, в том числе тридцать храбрейших центурионов.

Стр. 893 *…из угождения к Феопомпу.* – Феопомп из Книда – друг Цезаря. Не следует смешивать его с историком того же имени.

Стр. 893 *…принес ему голову сего полководца…* – Голову Помпея Цезарь предал огню и над прахом его построил храм в честь богини Немезиды, который существовал еще во времена императора Адриана.

Стр. 894 *…отец тогдашнего царя…* – Птолемей Авлет, отец тогдашнего царя, в консульство Цезаря объявил себя другом и союзником римлян; по этой причине он выплатил Цезарю крупную сумму и пообещал еще столько же. Он умер в 704 году от основания Рима, оставив наследниками дочь Клеопатру и сына Птолемея Дионисия под опекою римского народа.

Стр. 894 *…ибо с самыми малыми силами должен был защищаться против всего города и войска.* – Цезарь с 3200 человек пехоты и 800 конницы занял крепость и оборонялся не только против всех жителей Александрии, но и против войска Ахиллы.

Стр. 894 *…неприятели отрезали ему воду…* – Цезарь с невероятной скоростью вырыл колодцы, которые позволили избежать недостатка в воде.

Стр. 894 *…распространился до книгохранилища и превратил его в пепел.* – Александрийское книгохранилище было основано Птолемеем Сотером и до того умножено его преемниками, что во времена Цезаря в нем насчитывалось 400 тыс. книг. Это книгохранилище соединялось с Мусеем в той части города, которая называется Брухион, близ царского дворца, где укрепился Цезарь.

Стр. 894 *…когда при Фаросе дано было сражение, вспрыгнул он с валу в лодку и устремился на помощь сражавшимся, но как египтяне со всех сторон его окружали, то он бросился в море и вышел на берег вновь с великим трудом и опасностью* . – Фарос – остров, известный своим маяком, был соединен с городом посредством насыпи, длиной в семь стадиев. Таким образом рейд разделялся на две гавани, из которых восточная называлась Азиатской, а западная Африканской. Они соединялись между собой проходами, над которыми были наведены высокие мосты. На одном из мостов и состоялось сражение, в котором Цезарь спасся, бросившись в челнок; поскольку он носил пурпурную мантию, неприятели засыпали его стрелами и копьями. Он скинул мантию, которая досталась неприятелям и служила впоследствии украшением их трофея.

Стр. 894 *…когда и царь перешел к неприятелям, то Цезарь напал на них, дал сражение и разбил их.* – По приказанию Цезаря войско из киликийцев, сирийцев и финикийцев под предводительством некоего Митридата двинулось в Египет сухим путем. Египетское войско выступило против него; однако Цезарь одержал победу в кровопролитном сражении.

Стр. 894 *…побежденный Фарнаком…* – Фарнак по смерти своего отца стал волей Помпея царем Боспора. Он обладал Херсонесом Таврическим и Таманью и хотел воспользоваться несогласием римлян для получения царства. Он завладел Колхидой, Арменией, Каппадокией и Понтом и разбил Домиция Кальвина, которого Цезарь послал против него. Это побудило Цезаря оставить Египет и идти против Фарнака, который после поражения был умерщвлен своим наместником Александром.

Стр. 895 *…при городе Зеле…* – Зела – поселение недалеко от Амазиса. Близ того места находилось поле, где за несколько лет перед тем лет Митридат одержал победу над легатом Триарием. Цезарь воздвиг новый трофей рядом со старым.

Стр. 895 *…следующими словами: «Пришел, увидел, победил».* – Лат. *«Veni, vidi, vici»*. Эта битва завершилась буквально в мгновение ока.

Стр. 895 *…вторично был избран диктатором.* – После сражения при Фарсале Цезарь был избран сенатом в диктаторы; это произошло в 707 году от основания Рима, за 47 лет до Р. Х. Получив о том известие в Александрии, Цезарь назначил Антония начальником всей

конницы и послал его в Рим для успокоения граждан.

Стр. 895 *...вместо всякого наказания, назвал мещанами…* – Точнее, «горожанами» (квиритами). Ветеранов это оскорбление заставило возвратиться в строй.

Стр. 895 *...его винили за неистовство Долабеллы…* – Цезарь вместо наказания через некоторое время назначил Долабеллу консулом, тем самым позволив ему пропустить обязательную «ступень» претуры.

Стр. 895 *После сражения при Фарсале Катон и Сципион убежали в Ливию…* – Катон был оставлен Помпеем при Диррахии с пятнадцатью когортами. После данного при Фарсале сражения он переправился в Коркиру, куда прибыли Сципион, Афраний, Лабиен и другие именитые римляне. Все вместе они решили двинуться в Африку и обратиться к Юбе, явному врагу Цезаря.

Стр. 895 *...некоего Сципиона Салутиона…* – Вероятно, прозвище Салутион связано со словом *a1ax* – неблагопристойный, постыдный.

Стр. 896 *В другой раз так же дано было сражение, в котором неприятели одержали верх.* – По замечаниям многих исследователей, Плутарх пропускает многие достопамятные происшествия и многие события описывает иначе, нежели Цезарь, который был их главным действующим лицом.

Стр. 896 *...болезнь уже начинала действовать…* – Имеется в виду падучая болезнь (эпилепсия).

Стр. 896 *Что касается до консулов и преторов, спасшихся бегством, то некоторые, будучи схваченными, сами себя умертвили, а многих предавал смерти сам Цезарь.* – Афраний и Фавст, сын Суллы, с 1500 человек хотели бежать в Испанию, но были пойманы Публием Ситтием и преданы смерти. Сципион хотел бежать туда же на корабле, но при Гиппоне у побережья Нумидии встретился с флотом Ситтия и умертвил сам себя.

Стр. 897 *Потом он торжествовал триумфы – египетский, понтийский и ливийский…* – Плутарх забывает первый и важнейший триумф, а именно галльский. При отправлении это триумфа ось торжественной колесницы переломилась пред храмом Счастливого Случая; это сочли неблагоприятным знамением.

Стр. 897 *...называвшийся также Юбой…* – Этот Юба является автором многих исторических и географических сочинений, которые не сохранились. Август впоследствии вместо отцовского царства дал ему области в Мавритании и женил на Клеопатре Селене, дочери Марка Антония и Клеопатры.

Стр. 897 *...На двадцати двух тысячах столах…* – Поскольку за каждым столом сидели по трое, по четыре или по пяти человек, то число угощаемых составляло до 200 тыс. человек.

Стр. 897 *Вместо трехсот двадцати тысяч граждан найдено всего полтораста тысяч.* – Исследователи находят здесь три ошибки. Во-первых, не Цезарь, а Август исчислил народ римский; во-вторых, число граждан еще до Цезаря и Помпея выросло до трехсот двадцати тысяч человек; в-третьих, по прошествии восемнадцати лет Август, проведя перепись, насчитал в Риме 4 миллиона 63 тысячи человек. Считается, что Плутарх ошибочно посчитал гражданами только тех, кто получал хлеб от казны хлеб; их действительно было триста двадцать тысяч, а Цезарь сократил их число до ста пятидесяти тысяч человек.

Стр. 897 *...Цезарь был избран в четвертый раз консулом…* – Он был консулом один в 709 году от основания Рима, за 45 лет до Р. Х.

Стр. 897 *...при Мунде.* – Мунда – город в Испании, недалеко от нынешней Малаги.

Стр. 897 *...которых умертвил тридцать тысяч; своих лучших воинов потерял он до тысячи.* – Помпей потерял до тридцати тысяч воинов и 300 всадников; потери Цезаря составили три тысячи человек.

Стр. 897 *Младший из детей Помпеевых убежал…* – Секст Помпей спасся бегством с несколькими конными и скрывался у кельтиберов до смерти Цезаря.

Стр. 898 *...и воинство привязывал к себе поселениями, из которых важнейшие были водворены в Карфагене и Коринфе* . – В 608 году от основания Рима. Первое основал Сципион Африканский Младший, второе – Муммий. Оба поселения были восстановлены в 710 году от основания Рима, за 44 года до Р. Х.

Стр. 899 *...при Пометии и Сети…* – Эти города принадлежали в древности вольскам.

Стр. 899 *Устройство календаря и исправление неровностей в летоисчислении… было дело для всех чрезвычайно полезное* . – Исправление календаря Цезарь предпринял до отбытия в Испанию против сына Помпея. Юлианским календарем, который ввел Цезарь, католическая Европа пользовалась до XVI века, а православная и протестантская – еще дольше.

Стр. 901 *…несколько раз называл этих мужей «брутами» и «киманцами».* – Брут в переводе с латыни значит «глупый, безумный». Киманцы – жители города Кимы в Ионии – слыли глупцами.

Стр. 901 *…и в то время получил от него славнейшую претуру…* – Так называемая *Praetura Urbana.* С 387 до 511 года от основания Рима избирали в Риме одного претора, потом стали избирать двух, *Praetor urbanus* и *Praetor Peregrinus;* с увеличением населения Рима умножалось и число преторов. Во время Цезаря их было шестнадцать.

Стр. 902 *…в день, называемый идами месяца марта…* – 15 марта.

Стр. 902 *…было пристроено… к дому Цезаря, для большего украшения и важности, возвышение* . – Дома частных людей были с ровными кровлями; только храмы имели щипец или возвышение.

Стр. 904 *…и Брут нанес ему один удар в пах.* – Дион Кассий пишет, что Цезарь, получив от Брута смертельный удар, сказал ему: «И ты, сын мой!».

Стр. 904 *Но когда распечатано было завещание Цезаря и найдено, что каждому римлянину назначен важный подарок…* – Цезарь за полгода до смерти написал завещание, которое отдал для хранения весталкам. Он назначил наследником Гая Октавия, внука своей сестры; народу отказал сады за Тибром, каждому гражданину по 300 сестерциев (75 денариев).

Стр. 905 *…и сожгли тело его.* – Тело его было сожжено на площади, где Антоний говорил речь перед приведенным в исступление народом, хотя следовало бы сжечь его на Марсовом поле.

Стр. 905 *Цинна, один из Цезаревых друзей…* – Народный трибун Гай Гельвий Цинна пользовался уважением Цезаря за свой поэтический дар.

Стр. 905 *…и начали говорить, что это один из Цезаревых убийц, ибо в числе их подлинно был некий Цинна.* – Имеется в виду Луций Корнелий Цинна, на сестре которого Цезарь был прежде женат. Он получил от Цезаря преторское достоинство, но после смерти Цезаря называл его тиранном и сложил знаки претуры под тем предлогом, что получил последнюю незаконно.

Стр. 905 *…пока не остался ненаказанным ни один из тех, кто хоть слегка или рукой коснулся этого злодеяния или помышлением в оном участвовали* . – Светоний замечает, что ни один из убийц Цезаря не прожил и трех лет после его убийства.

Фокион

Фокион (398–318 до н. э.) – афинский политический деятель и полководец, сорок пять раз избиравшийся стратегом.

Стр. 907 *«Он походит на закланную жертву, из которой более ничего не остается, кроме языка и желудка».* – Желудок закланного животного не сжигали, а начиняли и подавали к столу, язык же сжигали после обеда в честь Гермеса.

Стр. 907 *…словам Софокла…* – Из трагедии «Антигона», 563.

Стр. 908 *…Гомер дает…* – См. «Илиада», IX, 90.

Стр. 909 *На поле и в походах ходил он всегда без обуви…* – Среди древних греков и римлян ходить босиком было весьма обыденно; у спартанцев же это было предписано законом.

Стр. 910 *…Полиевкт из Сфетта…* – Сфетт – местечко в филе Акамантида в Аттике. Полиевкт – афинский оратор, современник Фокиона, которого осмеивали за развратную жизнь и необыкновенную тучность.

Стр. 910 *…ходил у скены…* – Скена – в древнегреческом театре временная постройка для переодевания и выхода актеров.

Стр. 910 *В морском сражении при Наксосе…* – В 4 году 100 олимпиады за 375 лет до Р. Х. афиняне дали это сражение лакедемонянам, пришедшим на помощь осажденному городу и острову Наксосу, под предводительством Поллида.

Стр. 914 *…Плутарх Эретрийский призывал туда афинян, предлагая им освободить сей*

остров от македонского владычества . – Имеется в виду тиранн Эретрии, лишенный власти Филиппом Македонским. После свержения Плутарх бежал к афинянам.

Стр. 915 *...овладеть... Перинфом...* – Перинф, впоследствии Гераклея, – большой город на берегу Пропонтиды (Мраморного моря), к западу от Византия. Осада Перинфа была продолжительной.

Стр. 916 *...по гелиеи...* – Гелиея – афинское судилище – орган политического контроля за должностными лицами. Судебную власть представляли 6000 присяжных судей, ежегодно выбираемых из всех граждан старше 30 лет.

Стр. 916 *...афиняне были разбиты. Беспокойные и жаждущие новых перемен граждане влекли Харидема на трибуну и хотели, чтобы он предводительствовал.* – Имеется в виду сражение при Херонее в Беотии в 3-м году 110 олимпиады, за 336 лет до Р. Х. Харидем – афинский оратор, враг македонян; он бежал в Азию к Дарию, но был им впоследствии умерщвлен в 333 году до Р. Х. за свои смелые речи.

Стр. 916 *...в собрании всех послов их...* – Имеется в виду Коринфский союз, заключенный в 337 году до Р. Х. греческими городами-государствами с Филиппом II. Филипп был провозглашен верховным главнокомандующим союзного войска в войне против персов.

Стр. 916 *По смерти Филиппа...* – Филипп умер в 1 году 111 олимпиады, за 336 лет до Р. Х.

Стр. 916 *«Дикого мужа почто раздражить ты хочешь, несчастный* !…» – «Одиссея», IX, 494. Так говорит Одиссею один из товарищей его, когда тот, удаляясь от неистового Циклопа, не переставал раздражать чудовище словами.

Стр. 918 *...Киос, Гергит, Миласы или Элею...* – Киос – город в Вифании на Пропонтиде; Гергит – городок в Северной Троаде близ Лампсака на Геллеспонте; Элея – город в Этолии, Миласы – город в Карии.

Стр. 918 *...в Мелите...* – Мелита – западный район Афин.

Стр. 918 *...в ристании апобатов.* – Апобаты – воины-атлеты, участники конных состязаний, которые, стоя рядом с возницей, должны были во время бега спрыгивать с колесницы и вскакивать обратно.

Стр. 919 *...завести у себя филитии...* – Филитии – совместные воинские трапезы, на которых было принято рассказывать о подвигах, совершенных на благо государства.

Стр. 919 *Памятник... не представляет ничего достойного тридцати талантов, ибо Харикл в такое количество поставил Гарпалу сию работу.* – Павсаний говорит, что это был один из прекраснейших памятников Греции.

Стр. 920 *Хорошо... для одного стадия, но я страшусь долиха...* – Стадий, или поприще, – пространство длиной 125 шагов; на таком пространстве подвизались в беге. Долихом назывался бег по стадию двенадцать раз вперед и двенадцать назад, что составляло 24 стадия, то есть около 4 км. Фокион хотел сказать, что афиняне успешно могли начать войну, но не в состоянии были ее продолжать.

Стр. 920 *По смерти Леосфена...* – Леосфен погиб во время осады Ламии, получив удар камнем по голове.

Стр. 921 *...дано было вновь сражение при Кранноне...* – Краннон – город в Фессалии, резиденция могущественного рода Скопадов. Здесь во время Ламийской войны в 322 году до Р. Х. Кратер разбил соединенное войско афинян и этолийцев.

Стр. 922 *...чтобы управлялись по древним постановлениям, по которым право гражданства получалось по имению...* – Диодор свидетельствует, что никто не пользовался правом гражданства, если не имел собственности по крайней мере на 2000 драхм, или двадцать мин.

Стр. 923 *...когда отправляются тайны и выносят Иакха...* – Иакх – в греческой мифологии божество, связанное с Деметрой, Персефоной, Дионисом и Элевсинскими мистериями. Кумир Иакха выносили из Афин в Элевсин на шестой день празднества.

Стр. 923 *...додонские жрицы изрекли афинянам беречь мыс Артемиды...* – Додонские жрицы – жрицы святилища Зевса в Додоне. Под мысом Артемиды разумеется пристань в Мунихии, где находился храм Артемиды.

Стр. 923 *...в Канфарской бухте...* – Канфарская бухта – одна из трех пристаней Пирея,

гавани Афин.

Стр. 923 *...простиралось до двенадцати тысяч.* – Число оставивших свое отечество афинян составило 22 тыс. человек; в городе осталось только 9000 граждан.

Стр. 923 *...по умерщвлении Антигона…* – Антигон I Одноглазый (ок. 380–301 до Р. Х.) – полководец Александра Македонского, царь Азии, погиб в сражении при Ипсе против Лисимаха и Селевка в 4 году 119 олимпиады.

Стр. 923 *...и удаляться за Керавнские горы и за мыс Тенар.* – Керавнские горы – горы на северной границе Эпира, отделяющие эту область от Македонии и Иллирии. Тенар – самый южный мыс Пелопоннеса.

Стр. 924 *...предал смерти.* – Демад был умерщвлен во 2 году 115 олимпиады, за 319 лет до Р. Х.

Стр. *925…имел попечение о царе…* – Имеется в виду слабоумный царь Арридей, сводный брат Александра Великого, сын царя Филиппа.

Стр. 926 *...коринфянин Динарх…* – Динарх – последний из так называемых десяти аттических ораторов.

Стр. 926 *...в Элатии.* – Элатия (Элатея) – большой город в Фокиде.

Стр. 929 *...Феодора Безбожника…* – Феодор Безбожник (330–270 до Р. Х.) – древнегреческий философ родом из Киренеи, за свои мнения был изгнан из своего отечества и из Афин и нашел убежище у Птолемея.

Катон

Марк Порций Катон Младший (Утический) (95–46 до н. э.) – римский политический деятель, судебный оратор, философ; противник Цезаря, сторонник Гнея Помпея.

Стр. 929 *...от одной матери…* – Мать Катона, сестра Ливия Друза, повторно вышла замуж за Квинта Сервилия Цепиона. От этого брака родилось четверо детей, а именно: Цепион, о котором здесь упоминается, и три дочери. Одна из них была матерью Марка Брута, другая была замужем за Луцием Лукуллом, третья за Силоном.

Стр. 930 *...союзники республики…* – Этими союзниками были италийские народы, независимые от Рима и оказавшие ему существенную поддержку.

Стр. 930 *...Помпедий Силон…* – Помпедий Силон – один из главных предводителей италийцев, происходил из племени марсов. После многих славных дел, в конце союзнической войны, был убит в сражении Метеллом Пием.

Стр. 932 *...ибо против воли Венеры.* – «Венерой» назывался наиболее удачный бросок костей, когда все четыре кости падали разными очками; самый неудачный бросок назывался «собакой».

Стр. 932 *Видя, что все любили и употребляли самую яркую красную порфиру, Катон носил темную* . – Фунт тирского пурпура стоил тысячу денариев, или драхм. Фиолетовый, или темный пурпур, стоил сто драхм.

Стр. 933 *...употребив колкость Архилоха…* – Архилох (род. в 650 до Р. Х.) – греческий стихотворец, почитается изобретателем язвительных стихотворений, написанных ямбическим размером. Он писал их с такой колкостью, что один из его неприятелей, на которого он сочинил стихи, с горя удавился.

Стр. 933 *...иметь при себе людей, которые знали имена граждан…* – Имеются в виду рабы-номенклаторы, работа которых состояла в том, чтобы знать имя всякого гражданина и подсказывать господину своему, ибо почиталось знаком уважения называть каждого по имени.

Стр. 934 *...в Эне.* – Эн – фракийский город в устье реки Гебр, против острова Самофракия.

Стр. 934 *...фасосского мрамора…* – Фасос – остров, лежащий близ берегов Фракии, в устье реки Нест, при входе в Стримонский залив.

Стр. 936 *...слова Куриона…* – Гай Скрибоний Курион – отец Куриона, известного трибуна, который прославился своими нападками на Цезаря, но перешел на его сторону для борьбы с Помпеем.

Стр. 936 *...царя Дейотара…* – Дейотар – тетрарх галатов, за услуги, оказанные Помпею

во время войны с Митридатом, получил часть Понта и другие земли вместе с царским титулом. Позднее, после поражения при Фарсале, перешел на сторону Цезаря.

Стр. 937 *...и приятели его думали, что надлежало положить останки брата Цепиона на другой корабль...* – В древности господствовало суеверие, что корабль, на котором находится мертвое тело, не мог благополучно совершить плавание.

Стр. 944 *...увидел храм Диоскуров...* – Храм Диоскуров стоял к югу от площади Римского форума, на холме Палатин.

Стр. 948 *...почти всю Кампанию надлежало разделить...* – Кампания – земли в Средней Италии, славящиеся необыкновенным плодородием и присвоенные сенатской знатью.

Стр. 949 *...и закон об отправлении на Кипр Катона был утвержден.* – Остров Кипр находился тогда под властью Птолемея Кипрского, побочного сына Птолемея IX Лафира и брата Птолемея Авлета, царя Египта. Он был весьма скуп и отказался выкупить Клодия, который попал в руки морских пиратов. Клодий за это мстил ему и объявил остров Кипр, славящийся своим богатством, римской провинцией. На Кипр он послал Марка Порция Катона, для которого долго искал благовидный предлог, чтобы удалить из Рима.

Стр. 949 *...первосвященство богини...* – Имеется в виду Афродита, которой поклонялись в Пафосе, Амафунте и других городах Кипра.

Стр. 949 *Птолемей... царь египетский...* – Птолемей XII Авлет – царь Египта в 80–58, 56–51 годах до Р. Х., сын Лафира, отец Птолемея XIII и Клеопатры.

Стр. 951 *...и взять с него залог...* – Имеется в виду так называемый *Pignora capere.* По римским обычаям, если призванный к суду гражданин не являлся, в его дом посылали общественного служителя, который брал из дома какую-нибудь вещь в знак непокорности ответчика.

Стр. 952 *...чтобы дана ему была чрезвычайная претура...* – Претором по закону можно было стать с 39 лет, Катону же тогда было 38 лет.

Стр. 956 *...так как Аполлодор Фалерский был подражателем древнего Сократа...* – Аполлодор Фалерский – ученик Сократа, уважение и любовь к которому доходили до неистовства. Известен по Платоновым сочинениям «Пир» («Симпосион») и «Федон».

Стр. 956 *Сципион, Гипсей и Милон...* – Имеются в виду Квинт Цецилий Метелл Сципион, тесть Помпея; Публий Плавтий Гипсей, квестор при Помпее в годы войны с Митридатом; и Тит Анний Милон, известный тем, что умертвил Клодия.

Стр. 956 *...Помпей один был избран консулом...* – Помпей был консулом в 702 году от основания Рима, за 52 года до Р. Х., но вскоре избрал в товарищи своего тестя Метелла Сципиона.

Стр. 960 *...сказать Еврипидовы стихи...* – Из трагедии «Геракл».

Стр. 962 *...так называемых псиллов...* – Псиллы – африканское племя; высасывали из раны яд укушенного змеей человека. Они славились и тем, что заговаривали змей, поэтому римляне называли «псиллами» всех заклинателей змей.

Стр. 963 *...ходя с Филостратом...* – Филострат Египтянин выдавал себя за академика, но беспорядочною жизнью походил на эпикурейца.

Стр. 964 *...при Тапсе...* – Тапс и Гадрумет (см. ниже) – города в области Бизация, южной части владений древнего Карфагена.

Демосфен

Демосфен (384–322 до н. э.) – величайший афинский оратор и политический деятель.

Стр. 973 *...что Иулида, малая часть небольшого острова Кеоса... и остров Эгина, который один афинянин советовал стереть как гной с глаз Пирея ...* – Остров Кеос – один из Кикладских островов в Миртосском море, между южной оконечностью Эвбеи и Кифносом, недалеко от аттического мыса Суний. Город Иулида – родина стихотворцев Симонида и Бакхилида. Остров Эгина мал, но во времена Перикла, который произнес эти слова, он был силен на море и мешал афинянам. Славный актер Пол (о котором ниже) был родом с Эгины.

Стр. 973 *...в малом городе...* – Имеется в виду Херонея – город в Беотии.

Стр. 974 *...Цецилий...* – Цецилий – греческий ритор из сицилийского города Калакты,

автор литературно-критических трудов; жил во времена императора Августа, был другом Дионисия Галикарнасского.

Стр. 974 *Подлинно, когда бы всякий мог иметь перед глазами правило «Познай самого себя», тогда бы, может быть, оно не казалось божественной заповедью.* – Правило «Познай самого себя» было написано над дверями Дельфийского храма, и потому Плутарх называет его божественным.

Стр. 974 *...некоего Гилона, изгнанного из Афин по доносу в предательстве...* – Гилон был обвинен в передаче неприятелю принадлежавшего афинянам городка Нилфей на Таврическом полуострове. Это обвинение заставило его удалиться из своего отечества на киммерийский Боспор, где он женился на богатой скифской женщине и прижил с ней двух дочерей; младшую из них, Клеобулу, выдали за отца Демосфена.

Стр. 975 *...Антифан...* – Антифан (405–330 до Р. Х.) – греческий комический поэт, родом из Кариста на острове Эвбея, современник Демосфена.

Стр. 975 *...оратор Каллистрат готовился говорить речь в судилище об Оропском деле.* – Каллистрат – славнейший из афинских ораторов, весьма уважаемый народом. В 4 году 100 олимпиады (378 до Р. Х.) был стратегом вместе с Тимофеем и Хабрием, а во 2 году 106 олимпиады (356 до Р. Х.) – архонтом. После победы македонян бежал из Афин и построил город во Фракии. Обманутый оракулом, возвратился в Афины и был умерщвлен в 355 году до Р. Х. разгневанным против него народом. Ороп – пограничный город на проливе Эврипа. Фиванцы завладели этим городом в 3 году 104 олимпиады. Афинский полководец Хабрий был обвинен в том, будто бы он содействовал фиванцам. Каллистрат говорил речь против него. Демосфену тогда было шестнадцать лет.

Стр. 975 *...наставником Демосфена в красноречии был Исей...* – Исей – один из десяти наиболее влиятельных афинских ораторов, родом из Халкиды, что на Эвбее. Умер после 353 года до Р. Х.

Стр. 975 *Гермипп... упоминает о словах Ктесибия...* – Ктесибий – историк, современник Птолемея II Филадельфа. Гермипп жил несколько позже и описал жизни ученых (ок. 200 до н. э., «Жизнеописания»).

Стр. 975 *...о красноречии Исократа и Алкидаманта...* – Алкидамант – древнегреческий ритор и софист IV столетия до Р. Х., ученик Горгия и Исократа, родом из Элеи. Исократ (436–338 до Р. Х.) – греческий оратор, основатель знаменитой школы риторики.

Стр. 976 *...из Фрии...* – Фрия – местечко в Аттике между Афинами и Элевсином.

Стр. 977 *...он один мог восстать и говорить против Пифона Византийского...* – Пифон славился своим красноречием и был на службе у Филиппа, который посылал его в греческие города как своего агента. Он многократно вступал с Демосфеном в жаркий спор.

Стр. 977 *...и халкидян...* – Область Халкидика во Фракии была заселена жителями Халкиды, что в Эвбее. К этой области принадлежит город Олинф.

Стр. 978 *...намекает здесь на речь его касательно Галоннеса, в которой Демосфен советовал афинянам не принять остров от Филиппа, но отнять у него.* – Галоннес – небольшой остров между островом Лемнос и берегом Фессалии. Он принадлежал афинянам. Пираты некогда завладели им и занимали его, пока Филипп Македонский их не выгнал. Когда афиняне изъявили на остров свои права, то Филипп объявил, что отдаст его афинянам в качестве подарка. Но Демосфен утверждал, что афиняне должны не принять, но отнять остров, как свою собственность.

Стр. 979 *...свинья учит Афину* ! – Известная пословица, употребляемая, когда невежды или глупцы учат умных людей, ибо свинья для древних воплощала глупость.

Стр. 979 *...в Колитте...* – Колитт – местечко в Аттике, принадлежавшее Эгейской филе.

Стр. 979 *...вначале Фокидской войны...* – Фокидская, или Священная, война началась во 2 году 106 олимпиады, за 356 лет до Р. Х. Фокейцы обработали земли, принадлежавшие Дельфийскому Аполлону, чем оскорбили святыни Аполлонова храма. Беотийцы, локрийцы и фессалийцы защищали права Дельфийского храма, а афиняне и лакедемоняне объявили себя союзниками фокейцев, которые одерживали верх, пока Филипп не вмешался и не прекратил войну на девятом ее году совершенным унижением фокейцев.

Стр. 979 *...говорить речь против Мидия...* – Поводом к тяжбе с Мидием стало

следующее: когда на Дионисиевых празднествах Демосфен предводительствовал хором своей филы, то Мидий, поссорившись с ним в театре, дал ему пощечину и разодрал на нем праздничную одежду. Демосфен в речи своей против него представил поступок Мидия преступлением против государства и религии.

Стр. 979 *Ибо, впрочем, не был он человек мягкий и кроткий…* – «Илиада», XX, 467. Речь идет об Ахилле.

Стр. 980 *…то не был бы он причислен к числу ораторов, таких как Мерокл, Полиевкт и Гиперид, но удостоился бы высшей чести стоять наряду с Кимоном, Фукидидом и Периклом.* – Меланоп в речи против Тимократа называет Демосфена негодяем, вором и проч.

Стр. 981 *…как повествует Деметрий Магнесийский…* – Деметрий Магнесийский – писатель цицероновской эпохи, сочинил книгу «Об одноименных писателях и поэтах».

Стр. 981 *…когда прибыло в Македонию посольство, состоявшее из десяти мужей, в числе которых был и Демосфен…* – Демосфен был в числе посланников во 2 году 109 олимпиады, за 344 года до Р. Х.

Стр. 982 *…помог он византийцам и перинфянам…* – Филипп осадил Перинф в 3 году 110 олимпиады, за 339 лет до Р. Х., но не смог им завладеть, ибо византийцы оказывали поддержку перинфянам. Филипп с половиной своего войска пошел против Византия и осаждал его, но осажденные получали помощь от всех греков.

Стр. 982 *…во время войны союзнической…* – Союзническая война (357–355 до Р. Х.), которую вели афиняне с отпавшими от них союзниками – членами Второго Афинского морского союза – Хиосом, Родосом, Византием и др. В 355 году Афины вынуждены были признать полную автономию восставших и фактический распад союза.

Стр. 982 *…при Амфиссе…* – Амфисса – город в Локриде, недалеко от Дельф. Амфиссийцы учинили нападение на Дельфийский храм, и амфиктионы в наказание объявили им войну и по внушению Эсхина предводительство в этой войне отдали Филиппу. Это дало возможность Филиппу ворваться в середину Греции и укрепится в фокидском городе Элатея. В 338 году до Р. Х. битва при Херонее решила успех Филиппа в Греции.

Стр. 982 *…как говорит Марсий…* – Марсий – греческий историк из Пеллы, брат Антигона, полководца Александра Македонского. Он написал «Македонскую историю» с древнейших времен до переправы Александра из Египта (331 до Р. Х.).

Стр. 983 *…после сражения речка эта наполнилась кровью и трупами, и поэтому она переменила свое имя.* – Имеется в виду народная этимология слова «кровь» *(haima)* и названия реки *Haimon.*

Стр. 983 *…он расстроил ряды и постыднейшим образом предался бегству, бросив оружие…* – Сражение при Херонее, которым навсегда оказались ниспровергнуты благосостояние и свобода греков, дано было в 3 году 110 олимпиады, за 338 лет до Р. Х. Демосфен, убегая с поля брани, зацепился платьем за тернии и, воображая, что пойман неприятелем, просил пощады.

Стр. 983 *Филипп… предался беспорядочному веселью, ругался над мертвыми в пьянстве и пел начало законопроекта, предложенного Демосфеном, топая ногою в такт…* – Демад, который был в числе пленных, сказал ему с важностью: «Государь! Судьба дает тебе случай играть роль Агамемнона, и ты представляешь нам Ферсита!» Эти слова вразумили Филиппа.

Стр. 984 *Демосфен произнес речь…* – Эта речь сохранилась, но Дионисий Галикарнасский считает ее подложной.

Стр. 984 *Демосфен получил тайно известие о смерти Филиппа…* – Павсаний умертвил Филиппа во время бракосочетания дочери царя с Александром Эпирским.

Стр. 985 *…он называл мальчиком и Маргитом.* – Маргит – глупец, на которого Гомер сочинил забавную поэму. Он умел считать только до пяти.

Стр. 985 *…в Киферон…* – Киферон – лесистая гора на границе Аттики и Беотии.

Стр. 986 *Когда же Агис, царь спартанский, начал двигаться…* – Между тем как Александр воевал в Азии, Агис III в 333 году до Р. Х. образовал союз против македонян и склонил большинство пелопоннесских государств к отделению от Македонии. Антипатр, полководец Александра, вступил в Пелопоннес, дал неприятелю сражение и окончательно победил его.

Стр. 986 *Тогда производилось дело о венке против Ктесифонта* . – Ктесифонт предложил народу наградить Демосфена золотым венком за то, что тот восстановил афинские стены, употребив на это много своих денег. Эсхин противился этому предложению, доказывая, что Демосфен не достоин награды из-за дурных дел своих. Демосфен защищался знаменитой речью «О венке». Речь его поныне существует и почитается образцовым произведением красноречия.

Стр. 986 *«Отчего, афиняне, не слушаете того, кто имеет у себя чашу?»* – Остроумный намек на следующий обычай греков: в пиршествах тот, до кого доходила круговая чаша, пел песню или говорил речь, которую другие должны были слушать с вниманием и безмолвием.

Стр. 987 *Между тем, как он находился в изгнании, Александр умер…* – Александр умер в 1 году 114 олимпиады, за 323 года до Р. Х.

Стр. 987 *…посланникам из Афин…* – То были ораторы Полиевкт и Гиперид.

Стр. 988 *…учеником оратора Лакрита… школу Анаксимена.* – Лакрит – софист родом из Фаселиса, ученик Исократа. Анаксимен – греческий оратор и историк родом из Лампсака в Малой Азии, ученик Зоила. Он сопровождал Александра Великого и описал его жизнь в «Истории Александра».

Стр. 988 *…из храма Эака…* – Эак – сын Зевса и нимфы Эгины, отец Пелея и Теламона; царь острова Эгина.

Стр. 988 *…в Клеоны…* – Клеоны – город в Пелопоннесе между Аргосом и Коринфом.

Стр. 988 *Говорят притом, что Гипериду отрезан был язык.* – В «Жизнеописаниях десяти ораторов» Плутарх говорит, что Гиперид сам себе откусил язык, дабы не открыть государственных тайн.

Стр. 989 *Теперь ты можешь играть роль Креонта…* – В трагедии Софокла «Антигона» Креонт, царь Фив, запрещает под страхом смертной казни предать земле тело Полиника, Эдипова сына.

Стр. 989 *…отправляют самый печальный день Фесмофорий.* – Праздник Фесмофории отправляли большей частью женщины в память Деметры-Законодательницы. В Элевсине праздник продолжался пять дней в месяце пианепсионе.

Стр. 989 *…имел право кормиться в пританее.* – Пританей – здание, где заседали и обедали за государственный счет пританы, то есть дежурные члены афинского государственного Совета, занимавшиеся текущими делами.

Цицерон

Марк Туллий Цицерон (106-43 до н. э.) – величайший римский политический деятель, оратор, писатель; консул 63 года.

Стр. 990 *…славнее Катула и Скавра.* – Эти прозвища значат: Катул – «Щенок», а Скавр – «Кривоногий».

Стр. 991 *…разрешилась им от бремени… в третий день новогодних календ…* – Цицерон родился в 648 году от основания Рима, за 106 лет до Р. Х. В тот же год родился и Помпей.

Стр. 991 *…существует малое сочинение четырехстопными стихами, писанное им в детстве, под названием «Главк Понтийский* ». – «Главк Понтийский» – мифологическая поэма о беотийском рыбаке, который, поев некой травы, бросился в море и превратился в божество. Сочинение Цицерона потеряно.

Стр. 991 *…но его стихотворения вовсе забылись и были пренебреженны…* – На восемнадцатом году своей жизни Цицерон перевел стихотворение «Явления» греческого писателя Арата на латинский язык стихами; сочинил героическую поэму о Гае Марии, которая была весьма одобрена, и поэму о своем консульстве. Все эти произведения утеряны.

Стр. 991… *более всех учеников Клитомаха…* – Клитомах (II–I вв. до Р. Х.) – древнегреческий философ-скептик, родом из Карфагена, ученик Карнеада, представитель так называемой Новой академии Платона.

Стр. 991 *Некоторое время был он и в походе под начальством Суллы, во время Марсийской войны.* – Эта война иначе называется Союзнической. Цицерон был в походе на 18-м году своей жизни под начальством Гн. Помпея Страбона.

Стр. 992 *…Новой Академии…* – Новая и Средняя Академии, основателем которых был

Аркесилай, учила, что невозможно иметь достоверные понятия о мире и что чувства обманывают человека.

Стр. 992 *…из Адрамиттия…* – Адрамиттия – город в малоазийской области Мизия.

Стр. 993 *…был он избран квестором.* – В 679 году от основания Рима, на 31-м году своей жизни.

Стр. 993 *…почитали его более всякого другого начальника.* – Цицерон сам прославляет свое правление Сицилией и оказанные ему почести в речи «За Гн. Планция».

Стр. 993 *«Да где ж ты был, Цицерон, во все это время?»* – Цицерон рассказывает: «В Кампании в Путеолах, где всегда бывает множество римлян, частью для удовольствия, частью из-за теплых источников Байи, спросил его один из его знакомых: давно ли он выехал из Рима и что там нового? Цицерон отвечал ему, что он едет из провинции. – “Вероятно из Африки?” – “Нет, – сказал Цицерон с досадой, – я еду из Сицилии”. Некто, бывший тут и хотевший показаться сведущим, спросил: “Как, разве ты не знаешь, что Цицерон был квестором в Сиракузах?”»

Стр. 994 *…в деле против Верреса, которое он принял на себя.* – Этот славный процесс проходил в 684 году от основания Рима, за 70 лет до Р. Х., в консульство Помпея и Красса. По делу Верреса существуют семь превосходных речей Цицерона.

Стр. 994 *Один вольноотпущенник по имени Цецилий, которого подозревал в иудаизме, хотел удалить сицилийцев и говорить против Верреса.* – Квинт Цецилий Нигер, родом сицилиец. Он служил квестором при Верресе и выдавал себя за его неприятеля, по наущению самого Верреса, дабы тем опровергнуть жалобы сицилийских представителей. Цицерон обнаружил эту хитрость.

Стр. 994 *«Однако же у тебя дома сфинкс!»* – Сфинкс сей был столь мал, что Гортензий носил его всегда с собой; он был из коринфского металла. Известно, что мифологический сфинкс предлагал фиванцам загадки и пожирал того, кто не мог их решить.

Стр. 994 *Цицерон наложил на него пени семьсот пятьдесят тысяч.* – Полагают, что в это место вкралась ошибка или что Плутарх следовал другим источникам. 750 тыс. драхм составляют 125 талантов, но Цицерон в речи своей доказывает, что Веррес похитил в Сицилии 40 миллионов сестерциев, или 10 миллионов драхм, и требует, чтобы он по римским законам заплатил сто миллионов сестерциев, или 25 миллионов драхм.

Стр. 994 *…близ Арпина…* – Арпин – город в области древних вольсков.

Стр. 995 *…он был избран первым из всех.* – Цицерон был избран претором в 688 от основания Рима, за 66 до Р. Х.

Стр. 995 *Некий гражданин по имени Ватиний…* – Публий Ватиний – консул 707 года от основания Рима, в 47 году до Р. Х.

Стр. 995 *…как некто донес на Манилия в похищении общественных доходов.* – Кассий Манилий – народный трибун, предложил народу сменить Лукулла в предводительстве.

Стр. 996 *Он возведен на консульское достоинство…* – Цицерон был консулом в 690 году от основания Рима, за 64 до Р. Х.

Стр. 996 *Они имели своим предводителем Луция Катилину…* – Луций Сергий Катилина (ок. 106–62 до Р. Х.) – римский политик, разоблаченный Цицероном как заговорщик против римского республиканского строя. Катилина был претором (68 год до Р. Х.) в Африке и возвратился в Рим, желая получить консульство, но против него было выдвинуто обвинение в недобросовестном управлении провинцией, что лишило его возможности выдвигать свою кандидатуру на выборах консулов в 65 году до Р. Х. Катилина был разочарован и тогда вместе с другими недовольными подготовил план захвата власти.

Стр. 996 *Народ охотно принял его изыскания…* – Цицерон был избран не подачей голосов или баллотированием по обыкновению, но единодушным изъявлением желания народа.

Стр. 996 *…те, кому по законам Суллы было запрещено начальствовать…* – Имеются в виду сыновья тех, кто был изгнан Суллой по проскрипции.

Стр. 997 *…к принятию этого закона…* – Этот закон, озаботивший сенат, был предложен трибуном Публием Сервилием Руллом. Цицерон произнес речь, говорил против него и принудил отказаться от своего предложения.

Стр. 997 *Марк Отон, будучи претором…* – Цицерон называет его Луцием Отоном в речи

«За Мурену». Речь Цицерона об Отоне не сохранилась.

Стр. 999 *Одна благородная женщина, по имени Фульвия… известила о том Цицерона…* – Фульвия имела связь с Квинтом Курием, человеком знатного происхождения, изгнанным из сената за свою порочную жизнь. Когда же Фульвия, по причине его бедности, хотела его покинуть, то он открыл ей заговор и надежды свои – и Фульвия донесла обо всем Цицерону.

Стр. 999 *…Корнелием Лентулом…* – Публий Корнелий Лентул Сура за 8 лет до заговора был консулом (71 до Р. Х.), но впоследствии его исключили из сената.

Стр. 1000 *К нападению назначена была одна из ночей, в которой отправляли Сатурналии.* – Сатурналии продолжались во времена Цицерона три дня, в которые все предавались забавам и наслаждению. Это время казалось заговорщикам самым удобным для совершения своих замыслов.

Стр. 1000 *…племени аллоброгов…* – Аллоброги – кельтское племя в Нарбоннской Галлии, обитавшее между реками Рона и Изер.

Стр. 1001 *…как вдруг из пепла и сгоревшей коры поднялось большее яркое пламя.* – У Теренции, супруги Цицерона, была сестра Фабия, весталка, и, следовательно, у Цицерона была возможность произвести огонь для ободрения народа.

Стр. 1002 *Когда пришла очередь Цезаря сказать свое мнение, то он встал и объявил, что не надлежало умертвить их, но, описав в казну их имение, отвести их в те города Италии, которые будут назначены Цицероном, и стеречь в оковах до тех пор, пока не будет преодолен Катилина.* – Историк Саллюстий Крисп, очевидец этих происшествий, говорит, что Цезарь предложил держать виновников вечно в темницах в разных городах, не позволяя, чтобы когда-либо это дело было упоминаемо перед сенатом или народом.

Стр. 1003 *…он клялся, что спас отечество и сохранил республику в целости.* – Трибуны вступали в должность 10 декабря, а консулы 1 января. Консулы, слагая свое достоинство, клялись в том, что исполняли обязанности справедливо и не преступали законов.

Стр. 1003 *…и дано ему было название «отца отечества». Он первый, кажется, получил сие название, данное ему Катоном в присутствии всего народа.* – Катон перед народом, а Катул перед сенатом, председателем которого он был, дали ему это наименование.

Стр. 1004 *…те речи, к сочинению которых он приложил величайшее старание и которые писаны им против Антония, назвал он «Филиппиками* ». – Речи, произнесенные Демосфеном перед афинянами против Филиппа, называются «Филиппиками».

Стр. 1004 *…к Героду…* – Герод – ученый афинянин, которому Цицерон поручил надзор за своим сыном, обучавшимся в Афинах.

Стр. 1005 *…«Аксиос – Крассу».* – Это выражение на греческом языке можно понимать так: «Достоин Красса», или «Достойный сын Красса», и наконец: «Аксий, сын Красса».

Стр. 1005 *«Однако у тебя ухо проколото»…* – Мавританцы и другие варварские народы Африки прокалывали себе уши и надевали серьги. Это был также знак рабского состояния.

Стр. 1006 *…называл он Адрастом.* – Адраст – мифический царь Аргоса, который выдал своих дочерей за Тидея, изгнанного из Этолии, и за Полиника, изгнанного из Фив.

Стр. 1006 *Без воли Фебовой он произвел детей* ! – Это стих о Лане, царе Фив, сыном которого был Эдип.

Стр. 1008 *…будучи избран народным трибуном…* – Публий Клодий Пульхр (ок. 93–52 до Р. Х.) был избран народным трибуном в 696 году от основания Рима, за 58 лет до Р. Х., прежде, нежели получил трибунат. Клодий был усыновлен плебейским семейством.

Стр. 1008 *Цезарь на это согласился…* – Цезарь сам предложил Цицерону ехать с ним в качестве легата, как Цицерон пишет в письме к Аттику. (Аттик, Тит Помпоний – римский всадник, ближайший друг Цицерона.)

Стр. 1009 *…ныне называемом Вибон…* – Вибон – город в Нижней Италии, в области бруттийцев на западном побережье.

Стр. 1009 *…откуда попутным ветром пустился в море для переправы в Диррахий…* – Цицерон, пробыв некоторое время в Диррахии, отправился в Фессалоники вслед за своим другом Гнеем Планцием, который был квестором при преторе Апулее.

Стр. 1010 *Клодий, по изгнании Цицерона, сжег его дачи и дом, на месте которого построил храм Свободы.* – Цицерон в одной из речей описывает, как жестоко поступили с

домами его городским и загородными: мраморные колоны и все приборы были перенесены в дома консулов, деревья пересажены, а дом сожжен.

Стр. 1010 *Говорят, что никогда ничего с таким единодушием не было утверждено народом.* – В 697 году от основания Рима, за 57 лет до Р. Х., консулами были Публий Корнелий Лентул Спинтер и Квинт Цецилий Метелл Непот; первый всемерно поддерживал возвращение Цицерона, а второй содействовал Клодию.

Стр. 1010 *...а дом его и дачи, разоренные Клодием, восстановить издержками общественными.* – Цицерон пишет Аттику, что за дом его заплачено ему из казны 2 миллиона сестерциев, или 500 тыс. драхм; за тускуланское поместье 500 тыс. сестерциев, или 125 тыс. драхм; за формианское поместье 250 тыс. сестерциев, или 62 500 драхм; но он не был доволен этой оценкой, и все граждане почитали ее низкой.

Стр. 1010 *...сорвал и истребил трибунские книги, содержавшие указы, изданные в трибунстве Клодия.* – Цицерон хотел избавиться от этих трибунских книг еще в то время, когда Клодий находился в Риме, но тот остановил его с помощью своего брат Аппия и вырвал их из его рук.

Стр. 1011 *Кажется, что эта самоуверенность была немалой причиной его осуждения.* – Милон избрал своими защитниками Красса, Гортензия и Цицерона. Гортезий говорил за него с великим красноречием; Цицерон, стараясь его превзойти, не знал покоя всю ночь. Милон был осужден; он жил в заточении при Массилии (ныне Марсель), куда Цицерон послал ему свою речь. Милон, прочитав ее, сказал: «Счастье мое, что Цицерон не произнес этой речи; тогда бы я не ел здесь такой вкусной рыбы».

Стр. 1011 *Потом досталась ему по жребию Киликия...* – Цицерону было тогда 55 лет.

Стр. 1011 *...киликийцы после урона, претерпенного римлянами в Парфии...* – Парфяне, по истреблении войска Красса, вступили в римские области и осаждали Антиохию.

Стр. 1012 *Цицерон вел войну и разбил разбойников, живших при Амане; за что войско провозгласило его императором.* – Плутарх весьма легко упоминает о военных действиях Цицерона, каковые описаны в письме оратора к Аттику. Хотя у него было мало войска, однако поход его достопамятен. Он напал на жителей горы Аман, которые жили разбоем, разрушил их крепости и завладел главным городом другого разбойничьего народа, который оказал ему сильное сопротивление. Он замечает, что занимал лагерем то самое место, где против Дария стоял при Иссе Александр; полководец, продолжает Цицерон, получше меня и тебя. В Риме происходили публичные моления по случаю его успехов.

Стр. 1012 *...в Киликии нет леопардов: все убежали в Карию, досадуя на то, что только с ними одними ведется война, когда в Киликии всюду мир.* – Марк Целий Руф, современник и друг Цицерона, был в тот год эдилом и имел нужду в зверях, дабы потешить ими народ. Впрочем, Цицерон пишет ему, что дал приказание ловить барсов.

Стр. 1014 *...и Ферамена.* – Ферамен (ок. 455–404 до Р. Х.) – афинский политический деятель, живший в конце Пелопоннесской войны; всегда выступал в пользу мира. После поражения Афин в Пелопоннесской войне (431–404) стал одним из руководителей олигархической коллегии Тридцати тиранов, но после выступления против террористической политики Крития был казнен.

Стр. 1014 *...Цицерон, отказавшись от дел общественных, занимался философией с теми молодыми людьми, которые оказывали к ней охоту и были знаменитейшие и первейшие в городе.* – Эти юноши были Панса, Гирций и Долабелла. Цицерон в своем письме шутя сравнивает себя с Дионисием, который, будучи изгнан из Сиракуз, стал учителем в Коринфе.

Стр. 1014 *...ведет жизнь Лаэрта...* – См. «Одиссея», I, 190.

Стр. 1015 *...женившись после краткого времени на девице...* – Ее звали Публилия, дочь некоего Публия. Цицерону тогда был 61 год.

Стр. 1015 *...а Тирон...* – Тирон был воспитан с малолетства в доме Цицерона, который, заметив его способности, имел над ним попечение и образовывал его. Тирон было весьма полезен своему господину, который его чрезвычайно любил.

Стр. 1015 *...первого своего мужа.* – Туллия выходила замуж три раза. Она была весьма уважаема за свое поведение и ученость; умерла на 32-м году жизни.

Стр. 1015 *В таком положении были домашние дела Цицерона* . – Он удалился от общества

в одно из своих имений в области вольсков, на один из островов реки Астура в Лации.

Стр. 1015 *...подражая афинянам, предать забвению все...* – По изгнании афинским полководцем Фрасибулом из Афин Тридцати тиранов, все прошедшее было предано забвению.

Стр. 1017 *Отец его был Октавий, человек не из числа знаменитейших, а мать – Аттия, племянница Цезаря* . – Гай Октавий – сенатор, отец первого римского императора Гая Юлия Цезаря Октавиана Августа. Неприятели Октавия, в особенности Антоний, упрекали его, что дед его был вольноотпущенником. Аттия – дочь Юлии, младшей сестры Юлия Цезаря.

Стр. 1017 *Антоний был разгромлен...* – Сражение при Мутине (Модене) дано в 711 году от основания Рима, за 43 года до Р. Х.

Стр. 1018 *...Цезарю надлежало предать Цицерона; Лепиду – брата своего Павла; Антонию – Луция Цезаря, который был ему дядей по матери.* – Луций Эмилий Павел – консул в 704 году от основания Рима, был подкуплен Цезарем, как сказано в его жизнеописании. После сражения при Мутине он согласился на то, чтобы его брат и Антоний объявлены были врагами отечества. Луций Юлий Цезарь – консул в 690 году от основания Рима, известен своей приверженностью к республиканской стороне. Как тот, так и другой были спасены; первый одним центурионом, другой своей сестрой, матерью Антония.

Стр. 1018 *...до Цирцеи.* – Цирцея – мыс на побережье Лация.

Стр. 1019 *...в Кайету...* – Кайета – город к югу от Цирцеи, ныне Гаэта. Между этим городом и Формией лежало поместье Цицерона.

Стр. 1019 *...дуют этесии.* – Этесии – северо-восточные сухие ветры, постоянно дующие летом на Средиземном море.

Стр. 1019 *Когда эти члены были привезены в Рим, Антоний по случаю находился при избрании чиновников; увидя оные, он воскликнул: «Проскрипции уже кончились!»* – Кассий говорит, что Фульвия, жена Антония, бывшая прежде замужем за Клодием, взяла голову Цицерона, плюнула на нее, вытащила язык и проколола его шпилькой для волос.

Стр. 1020 *...из своих внуков.* – Гай (ум. 2 после Р. Х.) и Луций (ум. 4 после Р. Х.) – любимцы своего деда, дети Марка Випсания Агриппы от Юлии, дочери императора Августа.

Стр. 1021 *...оружие должно уступить тоге, а триумфальный лавр – красноречию.* – Цицеронов стих: *Cedant arma togae, concedat laurea linguae.*

Стр. 1021 *...который ужасен был в боях и страшен для врагов.* – Стих из неизвестной трагедии Эсхила.

Стр. 1021 *...как тот сам признается в записках своих...* – Август описал свою жизнь в трех книгах, из которых сохранились несколько отрывков.

Агис

Агис IV (ок. 262–241 до н. э.) – царь лакедемонян, правивший с 244 года, сын Эвдамида II.

Стр. 1025 *...до того времени, как воцарились Агис и Леонид.* – Можно полагать, что это случилось в 4 год 133 олимпиады, за 245 лет до Р. Х.

Стр. 1025 *...Архидам, которого убили мессапии в Италии при Мандонии.* – Архидам III – царь лакедемонян из рода Эврипонтидов, правивший в 360–338 до Р. Х. Город Мандоний (Мандурий) лежит в Калабрии, к западу от Брундизия.

Стр. 1025 *...вступил на престол...* – Эвдамид I вступил на престол во 2 год 112 олимпиады, за 331 лет до Р. Х., и правил до ок. 305 года.

Стр. 1025 *...а как тот убежал из Лакедемона в Тегею...* – Павсаний II (годы правления 409–395 до Р. Х.) был осужден лакедемонянами за то, что не отомстил за смерть Лисандра в сражении при Гелиарте и бежал в храм Афины в Тегее в 3 году 96 олимпиады, за 394 года до Р. Х.

Стр. 1025 *...наследовал младший его брат Клеомброт.* – Клеомброт I – царь лакедемонян, правивший в 380–371 годах до Р. Х. Был убит в сражении при Левктрах.

Стр. 1025 *...Клеомен...* – Клеомен II– царь лакедемонян, правивший в 370–309 годах до Р. Х.

Стр. 1025 *...воцарился Арей... вступил на престол сын его Акротат...* – Арей I – царь

лакедемонян, правивший в 309–265 годах до Р. Х. Был убит в сражении под Коринфом. Акротат – царь лакедемонян, правивший в 265–262 годах до Р. Х. Был убит в сражении при Мегалополе.

Стр. 1025 *...но так как он умер в малолетстве, то царство перешло к Леониду…* – Арей II – царь лакедемонян, правивший в 262–254 годах до Р. Х. Родился уже после гибели своего отца Акротата. Леонид II – царь лакедемонян, правивший в 254–243, 241–235 годах до Р. Х.

Стр. 1027 *...при Пеллене до Таигета, Малеи и Селласии…* – Пеллена – город в Аркадии, близ Сикиона, Малея – самый южный мыс Пелопоннеса. Селласия – город в Лаконии к северо-востоку от Спарты.

Стр. 1027 *...между периэками…* Периэки – жители городов, состоявших под властью спартанцев и не имевшие политических прав.

Стр. 1027 *...из них составить пятнадцать фидитиев…* – Фидитии – при Ликурге воинские подразделения по 15 человек, собирающиеся за общим столом. В дальнейшем значение этого слова изменилось.

Стр. 1028 *В Таламах был весьма уважаемый храм и прорицалище Пасифаи, которая, по мнению одних, есть одна из Атлантид, родившая Амона от Зевса; другие полагают, что это есть Кассандра, дочь Приама, которая здесь окончила свои дни…* – Считается, что Кассандра умерла в Микенах. Таламы – город в юго-западной стороне Лаконики. Пасифая – дочь Гелиоса, супруга царя Миноса, влюбившаяся в быка и родившая Минотавра. Атлантиды – дочери титана Атланта, превратившиеся в созвездие Плеяд. Амон – бог солнца в египетской мифологии.

Стр. 1028 *...Терпандру, Фалесу и Ферекиду…* – Терпандр – древнегреческий поэт и музыкант, родом из Антиссы на острове Лесбос, жил за 650 лет до Р. Х. Терпандр развивал жанр священного песнопения, исполнявшегося в честь бога под аккомпанемент лиры и флейты. Фалес – товарищ Терпандра, уроженец Крита. По легенде именно Фалес перенес местные традиции хорового пения в Спарту. Ферекид Сиросский (584/558–499/498 до Р. Х.) – древнегреческий космолог, прозванный Богословом; считается первым греческим прозаиком.

Стр. 1029 *...отрубил топором две из девяти струн на кифаре Фринида; ты хвалишь тех, которые равным образом поступили с Тимофеем…* – Фринид – известный кифарист, жил во времена Еврипида, прибавил к семи струнам лиры еще две. Тимофей – стихотворец и музыкант, умножил число струн до двенадцати.

Стр. 1031 *...Батон из Синопы пишет…* – Батон – историк, сочинил «Историю Фессалии и Персии»; неизвестно, когда он жил.

Стр. 1031 *...вставил он в число месяцев тринадцатый месяц, хотя круг года того не требовал, и вопреки законам взимал за него подати* . – Год у спартанцев был лунным, состоял из месяцев тридцатидневных и двадцатидневных и имел 354 дня; но так как это не соответствовало солнечному ходу, то в известное время прибавляли к двенадцати месяцам еще один. Агесилай прибавил месяц не в надлежащее время.

Стр. 1032 *...в храме…* – Имеется в виду храм Посейдона в Тенаре на юге Пелопоннеса.

Клеомен

Клеомен III (ок. 260–219 до н. э.) – царь лакедемонян, правивший в 235–221 до н. э.

Стр. 1035 *...слушал философию у Сфера из Борисфена…* – Сфер Боспорский – знаменитый философ-стоик и историк III века до Р. Х., соратник Клеомена III, автор философских сочинений «О спартанском государственном устройстве», «О Ликурге и Сократе» (не сохранилось). По смерти Клеомена удалился в Египет к Птолемею IV Филопатору. Борисфен – город в устье Борисфена, или Днепра.

Стр. 1035 *...стихотворения Тиртея наполняли таким восторгом сердца юношей, что они в сражениях не щадили жизни своей.* – Тиртей – греческий элегический стихотворец VII века до Р. Х., родом из Афин, был хром; по приказанию прорицалища избран спартанцами в полководцы во время второй мессенской войны. Поэт с таким жаром воодушевлял своими стихами спартанцев, что они одержали абсолютную победу.

Стр. 1036 *...называют любовь «вдохновением».* – Платоническое понятие: то есть «быть одушевленным любовью к добродетели». Долг любовника состоял в том, чтобы приучать своего возлюбленного к добру.

Стр. 1036 *...в Бельбине.* – Бельбина – город по дороге от Мегалополя к Спарте.

Стр. 1037 *...взял Мефидрий и разорил Арголиду.* – Мефидрий и Арголида – города, лежащие в северной части Аркадии, близ границ Ахайи.

Стр. 1037 *...близ Паллантия…* – Паллантий – город в Аркадии к югу от Мантинеи. Эвандр, герой древнеримской мифологии, отсюда перевел колонию в Италию и построил город Палаций, от которого Палатинский холм получил свое название.

Стр. 1037 *...некоего из древних царей…* – Имеется в виду Агис II – лакедемонский царь из династии Эврипонтидов, правивший в 426–402 годах до Р. Х.; сын Архидама II.

Стр. 1038 *...пустил на него критян и тарентинцев.* – Тарентинцы – род легкой конницы, сражающейся на расстоянии при помощи дротиков; критяне – легкое пехотное войско. К тому времени происхождение воинов не имело значения.

Стр. 1038 *...называемые мофаками…* – Мофаки – дети спартанцев и илоток, воспитывавшиеся вместе с молодыми свободными спартанцами.

Стр. 1039 *И у Гомера…* – Первая цитата – «Илиада», III, 3; вторая – «Илиада», IV, 431.

Стр. 1040 *...опустошаему юэтолийцами и иллирийцами…* – Этолийцы, подобно ахейцам, объединялись в союз и совершали частые набеги на Пелопоннес. Иллирийцы служили в войске Пирра и македонских царей.

Стр. 1041 *...приносили треножник с медной чашей…* – Или кратер – сосуд, в котором была вода, смешанная с вином.

Стр. 1043 *...призывает Антигона… того же Антигона поносил беспощадно…* – В первом случае имеется в виду Антигон III Досон, македонский царь, правивший в 227–221 годах до Р. Х. Во втором случае Плутарх ошибается: врагом Арата был Антигон II Гонат, правивший в 289–239 годах до Р. Х.

Стр. 1043 *...и тритейцев!* – Тритея – город в Ахайе близ Патр.

Стр. 1043 *...празднует Антигонии…* – То есть празднество в честь Антигона.

Стр. 1044 *...не в Аргос, но в Эгию…* – Эгия – главный город Ахайи на Коринфском заливе и, соответственно, в удалении от Аргоса. В этом городе тогда заседали ахейские советники.

Стр. 1044 *Напав неожиданно на Пеллену… занял Феней…* – Пеллена – город на восточной границе Ахайи недалеко от Сикиона. Феней находился на границе между Ахайей и Аркадией; принадлежал Аргосу.

Стр. 1045 *...требовалу него сдачи Акрокоринфа…* – Акрокоринф – акрополь на горе, возвышавшейся над Коринфом, высотой в 575 м над уровнем моря.

Стр. 1045 *...присоединил к себе Трезен, Эпидавр и Гермиону…* – Трезен, Эпидавр и Гермиона – города, лежащие на Арголидском полуострове на восточной стороне Пелопоннеса.

Стр. 1045 *...прошел Геранию…* – Герания – гора на Коринфском проливе.

Стр. 1045 *...но проходы Ония…* – Оний – горы, простиравшиеся от Герании к северо-западу.

Стр. 1045 *...через Лехей…* – Лехей – западная пристань Коринфа на Коринфском заливе, на расстоянии 12 стадиев от города, с которым соединялась длинными стенами.

Стр. 1047 *Птолемей… царь египетский…* – Имеется в виду Птолемей III Эвергет, правивший в 246–221 годах до Р. Х.

Стр. 1047 *Город Мегалополь в то время и сам по себе не был ни менее ни слабее Лакедемона…* – Мегалополь – город в южной части Аркадии, недалеко от Мессении. Был основан Эпаминондом за 366 лет до Р. Х. и населен жителями трех малых городов, дабы противостать нападениям лакедемонян.

Стр. 1051 *...спартанцы погибли все, из шести тысяч осталось только двести человек .* – Это сражение, которым кончилось владычество спартанцев, было дано в 3 году 139 олимпиады, за 222 года до Р. Х.

Стр. 1051 *...в Гифий…* – Гифий – пристань в Лаконике. Здесь стояла морская сила лакедемонян.

Стр. 1051 *...пристал к другому острову – Эгилии…* – Эгилия – остров к югу от Киферы, близ Крита.

Стр. 1053 *...старший Птолемей умер…* – Птолемей Эвергет умер в 1 году 140 олимпиады, за 219 лет до Р. Х.

Стр. 1054 *...подобно тому как Апис...* – Апис– бог плодородия в облике быка в египетской мифологии. Был связан с Осирисом. Живого быка, воплощение Аписа, содержали в специальном помещении – Апейоне.

Стр. 1054 *...подобно Ахиллу...* – См. «Илиада», I, 491–492.

Стр. 1055 *...этот жрец Кибелы...* – Данное упражнение весьма презиралось.

Стр. 1055 *...уехал в Каноп...* – Каноп – город, лежащий на западном устье Нила, в нескольких километрах от Александрии.

Тиберий гракх

Тиберий Гракх (162–133 до н. э.) – политический деятель Древнего Рима, народный трибун 133 года.

Стр. 1057 *...дети Тиберия Гракха.* – Тиберий Семпроний Гракх Старший (220–150 до Р. Х.) – римский государственный деятель, консул 577 года от основания Рима, за 177 лет до Р. Х. Первого триумфа удостоился во время своей претуры за победу над испанцами, второго – во время консульства за покорение возмутившихся сардинцев и корсиканцев.

Стр. 1057 *...царь Птолемей...* – Имеется в виду Птолемей VI Филометор – царь Египта, правивший в 180–145 годах до Р. Х.

Стр. 1058 *Как в Диоскурах... открывается всегда разность между бойцом и наездником...* – Из близнецов-Диоскуров Поллукс (Полидевк) считался «бойцом», а Кастор «наездником».

Стр. 1058 *...с инструментом...* – Имеется в виду малая флейта из слоновой кости *(ebarneola fistula).*

Стр. 1059 *...так называемых авгуров...* – Жрецы-авгуры при общественных делах и предприятиях наблюдали за полетом птиц и потому имели великую силу, ибо могли остановить важнейшие дела или дать им ход. Сперва было их девять, Сулла умножил их число до четырнадцати.

Стр. 1059 *...говорит Фанний...* – Гай Фанний – консул 122 года до Р. Х., зять Гая Лелия Мудрого.

Стр. 1059 *...по жребию досталось ему быть при консуле Гае Манцине, в походе против нумантинцев* . – Гай Гостилий Манцин – консул 617 года от основания Рима за 137 лет до Р. Х., вместе с Эмилием Лепидом. Нуманция – город древних кельтов в Испании на реке Дурия (Дуэро). Через четыре года после сражения жителей города с Манцином Нуманция была разрушена Сципионом Младшим.

Стр. 1060 *...бросили самнитам нагими полководцев своих...* – Имеются в виду Спурий Постумий Альбин и Тит Ветурий Кальвин – консулы 334 года до Р. Х., которые в 433 году от основания Рима, за 321 год до Р. Х., были заперты самнитами в Кавдинском ущелье и должны были «пройти под ярмо». Римский сенат отвергнул заключенный ими мир и послал консулов и военачальников к самнитам; однако те не сделали им никакого зла, а только препроводили обратно, упрекая римлян в вероломстве.

Стр. 1060 *Определено было предать нумантинцам консула Манцина нагим и связанным...* – Гай Манцин, нагой и связанный, был послан к воротам нумантинцев, которые также не приняли его и не причинили ему никакого вреда; римляне приняли его обратно.

Стр. 1061 *...то определено было законом...* – Закон этот назывался Лицинийским, ибо введен народными трибунами Лицинием Столоном и Секстием Латераном в 387 году от основания Рима, за 367 год до Р. Х.

Стр. 1061 *Гай Лелий, друг Сципиона...* – Гай Лелий Мудрый (185–115 до Р. Х.) – консул 140 года до Р. Х., сын Гая Лелия, который известен верной дружбой к Сципиону Африканскому. Младший Сципион, подражая ему, свел такую же тесную дружбу с его сыном.

Стр. 1061 *...был приятелем Антипатра Тарсского...* – Антипатр Тарсский (II до н. э.) – греческий стоик, схоларх, равно как и Блоссий.

Стр. 1062 *...от которого должно было ожидать великой славы.* – Тиберий достигнул трибуната в 620 году от основания Рима, за 134 года до Р. Х.

Стр. 1063 *...не только в вакхических празднествах...* – Плутарх намекает на 317 стих

трагедии Еврипида «Вакханки». Тирезий говорит, что женщина целомудренна и в вакхическом торжестве не развратится.

Стр. 1063 *К дверям храма Сатурна приложил свою собственную печать…* – Храм Сатурна стоял на форуме и служил не только государственным казнохранилищем, но и архивом, где хранились все акты о доходах.

Стр. 1063 *…который называется долоном…* – Долон – трость, в которой скрывался кинжал. От слова doloj, то есть «хитрость», «обман».

Стр. 1063 *…унесли все урны…* – В римских комициях было два рода урн; одна называлась *cistae* и имела большое отверстие, из которого граждане брали таблицы для подачи голосов; другая называлась *sitellae* и имела малое отверстие, в которое граждане бросали таблицы. Эти-то урны и унесены были знатью.

Стр. 1065 *По смерти Аттала Филометора…* – Аттал III Филометор – последний царь Пергама, правивший в 139–133 годах до Р. Х.

Стр. 1065 *Тит Анний…* – Тит Анний Руф – консул 626 года от основания Рима, за 128 лет до Р. Х.

Стр. 1068 *…в то же время Фульвий Флакк…* – Марк Фульвий Флакк – консул 125 года до Р. Х., был умерщвлен вместе с Гаем Гракхом.

Стр. 1068 *Назика…* – Публий Корнелий Сципион Назика, прозванный Серапионом, великий понтифик 141–132 годов до Р. Х., консул 138 года до Р. Х., правнук Гнея Помпея, во второй Пунической войне был убит в Испании вместе со своим братом. Будучи богатейшим землевладельцем, Назика был по необходимости врагом Тиберия.

Стр. 1068 *…гордился своим «достохвальным» делом.* – Тиберий был убит, хотя на народных трибунов распространялась неприкосновенность. Он был трибуном четыре месяца.

Стр. 1069 *…а когда дела Аристоника были проиграны…* – Аристоник – побочный сын пергамского царя Эвмена II. Недовольный завещанием царя Аттала III, он поднял восстание, завладел Пергамским царством, разбил и взял в плен консула Публия Лициния Красса в 623 году от основания Рима, но в следующем году был побежден консулом Марком Перпенной и казнен.

Стр. 1069 *…но Брута, который за победы над лузитанцами удостоился триумфа.* – Децим Юний Брут был консулом с Назикой в 616 году от основания Рима, за 138 лет до Р. Х.

Стр. 1070 *…из Гомера стих…* – См. «Одиссея», I, 47.

Гай гракх

Гай Гракх (153–121 до н. э.) – брат Тиберия, политический деятель, народный трибун 123 и 122 годов.

Стр. 1070 *…при консуле Оресте.* – Луций Аврелий Орест – консул 628 года от основания Рима за 126 лет до Р. Х.

Стр. 1071 *…показавшись в Риме неожиданно…* – В конце 630 года от основания Рима, за 129 до Р. Х.

Стр. 1071 *…открывшегося во Фрегеллах заговора.* – Фрегеллы – город в области вольсков. Консул Марк Фульвий Флакк предложил (125 до Р. Х.), чтобы всем италийским союзникам дано было право гражданства. Это предложение не было принято, и вследствие этого города объединились против Рима. Фрагеллы были первым городом, где вспыхнуло восстание. Претор Луций Опимий, тот самый, который впоследствии умертвил Гая, был послан против мятежников, наказал виновных смертью и разрушил город.

Стр. 1071 *…достигнув трибунства…* – Гай Гракх избран в трибуны в 630 году от основания Рима.

Стр. 1072 *…другой касался Попилия…* – Публий Попилий Ленат был претором в том году, в который был умерщвлен Тиберий, а в следующем 132 году – достигнул консульства.

Стр. 1073 *…четвертым определено было, чтобы пшено продавалось бедным за сходнейшую цену…* – Это был первый «хлебный закон», заложивший основу тех раздач хлеба, которые впоследствии достигли высочайшей степени.

Стр. 1073 *Гай присоединил к тремстам человек, из которых суды состояли, такое же*

число всадников и, таким образом, тяжбы решаемы были обще шестьюстами человек. – Аппиан и Веллей Патеркул говорят, что Гай совершенно лишил сенат права судить и предал его одним всадникам.

Стр. 1073 *...Гай первый обратился в другую сторону, лицом к форуму, и в таком положении говорил народу* . – В Народном собрании, которое происходило на форуме, сенаторы сидели особо, а против них народ. Между ними было возвышение, комиций, на котором сидели правители, председательствующие в собрании, и с которого произносили речи.

Стр. 1076 *...не появляться в Риме в те дни...* – Во время избрания правительственных особ, что происходило летом.

Стр. 1076 *...смех сардонический...* – Сардонический смех, то есть горестный или злобный. Павсаний производит это слово от растущей в Сардинии ядовитой травы, которая возбуждала непроизвольный и смертельный смех.

Стр. 1077 *...и низложить тираннов.* – Консулам в таком случае давалась неограниченная власть; они имели право ввести военное положение.

Стр. 1079 *...на деревянном мосту.* – Имеется в виду мост Сублиций.

Стр. 1079 *...в священную рощу Эриний...* – Или богини Фурины; по мнению некоторых авторов, она являлась покровительницей воров.

Стр. 1080 *Опимий не воздержался и от похищения денег.* – Луций Опимий в 642 году от основания Рима, за 115 лет до Р. Х. был послан сенатом в Африку для разбирательства ссоры между Адгербалом, сыном Миципсы, и Югуртой. Вместе с другими посланниками был подкуплен Югуртой. За свое преступление изгнан из Рима и умер в Диррахии в большой нужде.

Стр. 1080 *...близ Мизен...* – Мизены – город в Кампании на мысе Мизены.

Деметрий

Деметрий I Полиоркет (336–283 до н. э.) – македонский царь в 306–286 до Р. Х. (с перерывами), сын Антигона I Одноглазого. Полиоркет значит «Градоосадитель», ибо Деметрий владел искусством осаждать и брать города.

Стр. 1086 *...один только Филипп...* – Филипп V Македонский, правивший в 221–179 годах до Р. Х., известен тем, что был побежден римлянами. Старшего сына царя, Деметрия, римляне уважали, за что отец его и убил. См. жизнеописание Эмилия Павла.

Стр. 1086 *Митридат, сын Ариобарзана...* – Ариобарзан – царь Понта и Каппадокии умер в 4 году 110 олимпиады, за 337 лет до Р. Х., и оставил по себя наследником Митридата, о котором здесь упомянуто. По мнению некоторых, он был внуком Ариобарзана.

Стр. 1086 *...среди стихий Эмпедокла...* – Эмпедокл (490–430 до Р. Х.) – греческий философ. Согласно его учению, мир состоит из четырех стихий-первоначал: земля, вода, воздух, огонь; любой предмет и любое явление состоят из комбинации этих четырех стихий.

Стр. 1087 *...завладел неприятельским станом вместе с полководцем.* – Это сражение было дано в 3 году 117 олимпиады, за 310 лет до Р. Х.

Стр. 1087 *...аравийского племени набатеев.* – Набатеи – арабское племя, обитавшее в степях на пространстве от Евфрата до Красного моря. Столица набатейского царства – город Петра, от которого вся область получила название Петрейской Аравии.

Стр. 1088 *...и вырвал его из рук Птолемея.* – В 4 году 118 олимпиады, за 305 лет до Р. Х.

Стр. 1088 *...порабощенной Кассандром...* – Кассандр (355–298 до Р. Х.) – один из диадохов, сын Антипатра. Вытеснил из Македонии ее правителя Полисперхонта и в 306 году до Р. Х. принял царский титул.

Стр. 1088 *Город был управляем Деметрием Фалерским именем Кассандра...* – Деметрий Фалерский (ок. 360– ок. 280 до Р. Х.) – афинский философ и государственный деятель, своими способностями и красноречием возвысился до того, что Кассандр, покорив Афины, сделал его правителем. Он управлял Афинами десять лет (317–307 до Р. Х.) к великому удовольствию граждан, которые воздвигли ему 360 статуй. Но как скоро они получили независимость, то низвергли все кумиры и преследовали Деметрия как верного Кассандру человека. Он убежал в Египет и был принят благосклонно царем Птолемеем I, но наследник Птолемей II Филадельф удалил его от себя, и Деметрий умер в нищете.

Стр. 1089 *...Кратесиполида, бывшая супруга Александра, сына Полисперхонта…* – Александр, сын Полисперхонта, был убит в 3 году 116 олимпиады, за 312 лет до Р. Х. Его супруга Кратесиполида, женщина редкой красоты и высокого духа, заняла города Сикион и Коринф, покоренные ее мужем, и содержала множество воинов.

Стр. 1090 *...вышиваемы были на пеплосе…* – Пеплос – священная одежда, в которую ежегодно, в праздник Панафиней, наряжали древнюю статую Афины, хранившуюся в Эрехтейоне. Пеплос украшался изображением борьбы богов с гигантами.

Стр. 1090 *...к коленам аттическим…* – Со времен законодателя Клисфена (VI в. до Р. Х.) афинское гражданство делилось на десять аттических колен, или фил.

Стр. 1090 *...при Аморгосе…* – Аморгос – остров в Эгейском море, недалеко от Наксоса.

Стр. 1091 *...и имела большую важность Фила…* – Фила – старшая дочь Антипатра, женщина отличных достоинств; была выдана за Кратера, оказавшего помощь Антипатру в Ламийской войне. Осталась вдовой после гибели Кратера в сражении с Эвменом.

Стр. 1092 *Для выгоды своей женись и против воли* . – Из трагедии «Финикиянки», 395. Антигон заменил фразу «должно служить» на «должно жениться».

Стр. 1092 *...все без исключения досталось в руки Деметрию…* – Это сражение дано на Кипре в 4 году 118 олимпиады, за 305 лет до Р. Х.

Стр. 1093 *Переправившись с Кипра на твердую землю…* – Арестодем переправился в Сирию, где Антигон основал на реке Оронт город Антигонию, столицу своих владений.

Стр. 1094 *...участвовал в двойном пробеге.* – Имеется в виду пробег из конца в конец стадиона и обратно (ок. 370 м).

Стр. 1094 *...хиосский или фасосский?* – Лучшими винами в то время почитались вина с островов Фасос и Хиос.

Стр. 1095 *...Аэроп… царь македонский…* – Аэроп – царь Македонии из рода Теменидов, правивший в 396–393 годах до Р. Х. Он достигнул царства, убив малолетнего македонского царя Ореста, опекуном которого являлся.

Стр. 1096 *...Протоген, уроженец Кавна, писал картину, представляющую историю Иалиса…* – Линд, Иалис и Камир – сыны Охима, брата бога солнца Гелиоса, получили царство Родоса от отца и основали три города, которым дали свои имена. Протоген был родом из Кавна, города в Карии, бывшей под властью родосцев.

Стр. 1096 *...Деметрий искал только предлога снять оную.* – Эта осада продолжалась целый год; она закончилась в 302 году до Р. Х.

Стр. 1096 *...задний дом Парфенона.* – Позади Парфенона было особое здание – Описфодотос, которое служило сокровищницей афинян.

Стр. 1097 *...так называемый Скалистый берег…* – Скалистый берег – прибрежная часть Пелопоннеса напротив Аттики.

Стр. 1098 *Малые таинства совершались в месяце анфестерионе, а Великие – в боэдромионе…* – То есть в феврале и сентябре – между Малыми и Великими таинствами лежало шесть месяцев. Малые таинства служили приготовлением к Великим.

Стр. 1098 *...то факелоносец…* – Дадух, или факелоносец, был вторым священником при совершении таинств, а иерофант – первым.

Стр. 1098 *...таинства в Агре.* – Агра – место близ Афин, где отправлялись Малые таинства.

Стр. 1099 *...ибо у него также была Ламия.* – В греческой мифологии Ламия – ливийская царица, превратившаяся в чудовище после того, как ревнивая Гера убила ее детей. В горе Ламия укрылась в пещере, похищала и пожирала чужих детей. По этой причине она была страшилищем для малых детей, которых пугали Ламией.

Стр. 1099 *...так называемого Бокхорисова суда.* – Бокхорис – древний египетский царь, правивший в 732–726 годах до Р. Х.; судья и законодатель, славившийся своею мудростью.

Стр. 1100 *...сыном Антиоха…* – Антиох I Сотер (324–261 до Р. Х.) – царь Сирии из династии Селевкидов с 281 года.

Стр. 1100 *Так решилось это сражение!* – Это достопамятное сражение дано при Ипсе, малом фригийском городе, в 4 году 119 олимпиады, за 301 год до Р. Х. Другого описания, кроме как у Плутарха, этого сражения мы не имеем.

Стр. 1100 *...которыми прежде владел каждый из них.* – Царство Антигона заключало в себе большую часть Малой Азии, Армению, Сирию, Финикию до границ Египта, Месопотамию и Кипр. Селевку после того достались Сирия, Армения и Месопотамия; Лисимаху – часть Малой Азии до Тавра; Плисфену, брату Кассандра, – Киликия. Птолемей не получил ничего, ибо не участвовал в сражении.

Стр. 1101 *...он пристал к Истму.* – За 298 лет до Р. Х.

Стр. 1102 *...при Россосе.* – Россос – город в северной Сирии.

Стр. 1102 *...сдачи Сидона и Тира...* – Тир и Сидон – города в Финикии, против Кипра.

Стр. 1103 *...и занял логий...* – Логий – узкая площадка перед скеной, где выступали актеры.

Стр. 1103 *...на Мусее...* – Мусей (холм Муз) – каменная гора в Афинах близ Пникса, где происходило Народное собрание афинян.

Стр. 1103 *Имея уже во власти своей Афины...* – Взятие Афин случилось за 267 до Р. Х.

Стр. 1104 *По кончине Кассандра старший сын его Филипп управлял недолго македонянами и умер вскоре.* – Кассандр умер в 298 году до Р. Х., а Филипп, сын его, в следующем году.

Стр. 1104 *...к Дию...* – Дий – город, лежащий близ фессалийской границы в Македонии.

Стр. 1105 *...как убийцу своей матери...* – Кассандр умертвил не только Олимпиаду, мать Александра, но и жену его Роксану и сына Александра. Подкупленный Кассандром Полисперхонт убил другого сына Александра, Геракла.

Стр. 1105 *...с ним делалось все то же, что и с Сапфо...* – Имеется в виду известная ода Сапфо:

…Лишь тебя увижу, – уж я не в силах
Вымолвить слова.
Но немеет тотчас язык, под кожей
Быстро легкий жар пробегает, смотрят,
Ничего не видя, глаза, в ушах же –
Звон непрерывный.
Потом жарким я обливаюсь, дрожью
Члены все охвачены, зеленее
Становлюсь травы, и вот-вот как будто
С жизнью прощусь я…

(***перев. В. Вересаева)***

Стр. 1106 *…Лисимахбыл пойман Дромихетом.* – Дромихет – царь гетов, живших при Дунае. После многих сражений с Лисимахом он запер его в безводном месте и принудил сдаться со всем войском, однако впоследствии отпустил Лисимаха.

Стр. 1107 *…Фивы, которые еще десять лет не были населены…* – Фивы спустя двадцать лет после первого их разрушения восстановлены Кассандром.

Стр. 1107 *…и почитается родоначальником их племени.* – Афиняне называли Аполлона отечественным богом, ибо полагали его отцом Иона, родоначальника ионян.

Стр. 1108 *…через Аксий…* – Аксий – большая река, протекающая при Пелле, столице Македонии.

Стр. 1108 *Гомер говорит, что цари получают от Зевса не осадные машины, не медноносые корабли, но законы и суд, дабы спасать и хранить* . – Плутарх намекает на «Илиаду», I, 238.

Стр. 1108 *…но справедливейшего из всех.* – «Одиссея», XIX, 179. Речь идет о Миносе, царе Крита.

Стр. 1109 *…Птолемей Филопатор…* – Птолемей IV Филопатор – царь Египта, правивший в 221–204 до Р. Х.

Стр. 1110 *…в Кассандрию.* – Город Кассандрия построен Кассандром в 314 году до Р. Х. на перешейке полуострова Паллена,

на месте древнего поселения Потидея.

Стр. 1110 …*в Софокловой трагедии*… – Трагедия эта утеряна.

Стр. 1110 …*стихи Еврипида*… – Из трагедии «Вакханки».

Стр. 1110 …*на берегах Исмена.* – Диркея – источник, Исмен – ручей в Фивах.

Стр. 1111 …*философа Кратета*… – Кратет из Фив (IV в. до Р. Х.) – философ-киник, ученик Диогена Синопского, прославился многими сочинениями, в том числе и трагедиями.

Стр. 1111 …*при переправе через Лик*… – Лик – река во Фригии, впадает в Меандр при городе Колоссы.

Стр. 1111 …*стихи из трагедии Эдипа, с малым изменением*… – В начале Софокловой трагедии «Эдип в Колоне».

Стр. 1112 …*в Катаонии*… – Катаония – южная часть Каппадокии.

Стр. 1112 …*до Киррестики.* – Киррестика – северная область Сирии, между Коммагеной и Антиохийской долиной, получила свое имя от главного города Кирра.

Стр. 1113 …*к вратам Аманским*… – Аманские ворота – узкий проход, ведущий из Сирии в Киликию.

Стр. 1113 …*к Кавну*… – Кавн – город, лежит в Карии – против Родоса.

Стр. 1114 …*отвел на Херсонес Сирийский.* – Херсонес – город в области Апамены в Сирии. Антигон назвал его Пеллой; Селевк, который расширил город, назвал его Апамеей по имени своей супруги Апамы; так как этот город находился между рекой Оронт и озером, то его позднее назвали Херсонесом, или «полуостровом».

Антоний

Марк Антоний (82–32 до н. э.) – римский политический деятель и полководец, консул 44 года до Р. Х., триумвир с 43 года. Покончил жизнь самоубийством, потерпев поражение от Октавиана при Акции.

Стр. 1115 *…прозванный Критским…* – Он так прозван по причине войны, которую вел на Крите против пиратов в 74–71 годах до Р. Х. В 71 году потерял все свои корабли.

Стр. 1116 *Этот Курион…* – Имеется в виду римский сенатор Гай Скрибоний Курион (ок. 84–49 до Р. Х.). Сперва он был другом Помпея, но, будучи подкуплен Цезарем, примкнул к его стороне.

Стр. 1116 *Габиний…* – Авл Габиний– консул 696 года от основания Рима, за 58 лет до Р. Х. В следующий год отправился проконсулом в Сирию, которую жестоко угнетал, так что в 700 году был изгнан из Рима.

Стр. 1116 *…был послан на Аристобула…* – Аристобул II (ум. 49 до Р. Х.) – последний независимый царь (67–63 до Р. Х.) Иудеи, первосвященник иудеев. В 63 году был побежден Помпеем, взят в плен и привезен в Рим; но в 56 году нашел способ убежать, собрал новую армию и вновь потерпел поражение.

Стр. 1117 *…и угождая Птолемею…* – Птолемей Авлет, отец Клеопатры, истощил свою казну, раздавая деньги римской знати. Он был объявлен союзником римского народа. В 63 году до Р. Х. в Александрии вспыхнуло восстание; Птолемей просил помощи у Помпея, но тщетно. Скрывался в Эфесе до тех пор, пока Габиний не привел его в Рим.

Стр. 1117 *…и болот Сербонидских… которые египтяне называют «Выдохами Тифона»…* – Сербонидское болото имеет в окружности 1000 стадиев. Оно отделяется от моря узкой полосой. Южные ветры покрывают поверхность воды тонким песком, так что она кажется твердой землей. Приближающийся к болоту неминуемо погибает. По преданию там похоронен Тифон – стоглавое чудовище, сын Геи, боровшийся с Зевсом и брошенный им в Тартар.

Стр. 1117 *…к мертвому Архелаю…* – Архелай – сын Архелая, полководца Митридата. Береника, которая правила Египтом вместо отца своего, сделала его супругом своим и

соправителем. Дион Кассий говорит, что Габиний, покорив Египет, умертвил Аристобула.

Стр. 1117 *...и сверху накидывал грубый военный плащ.* – Дабы она походила на львиную шкуру, которую носил Геракл.

Стр. 1118 *Это количество выражается латинским словом «декиес» (decies).* – *Decies sestertium* значит десять раз сто тысяч, или миллион сестерциев, или 250 000 драхм, что равняется 41 таланту и 40 минам.

Стр. 1118 *...вместе с Квинтом Кассием...* – Квинт Кассий Лонгин – народный трибун вместе с Антонием.

Стр. 1119 *...и немедленно перевести его в Македонию.* – Македония под управлением римлян стала обширнее, чем прежде.

Стр. 1119 *...подул сильный либ...* – Либ – юго-западный ветер, дующий от Италии к Адриатике.

Стр. 1120 *...занял Лисс...* – Лисс – город в южной части Иллирии, в Далмации.

Стр. 1120 *Долабелла, бывший тогда трибуном, человек молодой и жаждущий новых перемен, предлагал уничтожить долги.* – В 707 году от основания Рима, за 47 лет до Р. Х. Публий Корнелий Долабелла предпринял мятеж в Риме, полагая, что Цезарь погибает в Александрии.

Стр. 1121 *Цезарь, будучи избран консулом в пятый раз...* – В 710 году от основания Рима, за 44 года до Р. Х.

Стр. 1123 *...в насмешку называли харонитами...* – Хароните – то есть друзья Харона. По-латыни *orcini;* так назывались и рабы, которые получили свободу по завещанию своего господина.

Стр. 1123 *...молодой Цезарь...* – Имеется в виду Гай Юлий Цезарь Октавиан, впоследствии прозванный Августом. Плутарх везде называет его Цезарем.

Стр. 1124 *Они вступили в сражение с Антонием при Мутине...* – Мутина (ныне Модена) – город в Цизальпинской Галлии, которой управлял Децим Альбин Брут. Антоний осадил город под предлогом наказать этого Брута как убийцу Цезаря, на самом же деле – для завладения провинцией.

Стр. 1125 *...давали прозвание Котилия.* – Котилия – от слова «котила» – меры для жидких веществ (0,27 л чистого вина).

Стр. 1125 *...посреди реки...* – Имеется в виду река Рен, ныне Рено, впадающая в По у Болоньи.

Стр. 1125 *Они разделили, как отцовское имение, всю Римскую державу.* – При первом разделении провинций Цезарю досталась Африка; Сардиния и Сицилия – Лепиду; Испания и Нарбоннская Галлия – Антонию; Италией и восточными областями обладали Кассий и Брут.

Стр. 1125 *...но они были тем несправедливее в отношении к друзьям своим, которых предавали смерти, хотя не чувствовали к ним ненависти .* – Аппиан пишет, что назначено было 300 человек из сенаторского и 2000 из всаднического сословий.

Стр. 1126 *...за брата своего Гая – которого Брут умертвил в Македонии...* – Гай Антоний был назначен правителем Македонии вместо Квинта Гортензия, но прибыл туда, когда уже Брут обладал этой провинцией. О смерти его см. жизнеописание Брута.

Стр. 1127 *...был утомлен мятежами и войной...* – Цезарь по возвращении в Рим вынужден был вести войну со своей властолюбивой тещей и супругой Антония Фульвией и с Луцием Антонием, который был консулом в 41 году. Эти беспокойства кончились только тогда, когда Луций был пойман в Перузии, а Фульвия бежала к своему мужу.

Стр. 1127 *Кифареды Анаксеноры...* – Анаксенор – известный музыкант, служивший при дворе Цезаря. Его сограждане-магнесийцы соорудили ему статую в театре. Антоний подарил ему доходы с четырех городов.

Стр. 1127 *Вся Азия, уподобляясь городу, о котором говорит Софокл...* – В трагедии «Царь Эдип», 4, говорится о чуме, опустошающей Фивы.

Стр. 1128 *...подобно Гере у Гомера...* – «Илиада», XIV, 162, где Гера хочет нарядиться, дабы обольстить Зевса.

Стр. 1128 *...в полной зрелости.* – Клеопатре было тогда 24 года.

Стр. 1129 *...плыла вверх по Кидну...* – Кидн – река в Киликии; выше устья Кидна лежит

Тарс – главный киликийский город.

Стр. 1129 *...троглодитам...* – Троглодиты – пещерные люди, обитавшие на западной стороне Красного моря.

Стр. 1130 *...провозгласили Лабиена парфянским наместником...* – Квинт Лабиен – римский полководец, сын Тита Лабиена, перешедшего от Цезаря к Помпею; был послан Кассием и Брутом к Гироду I, парфянскому царю, с просьбой о помощи. После сражения при Филиппах он остался в Парфии и побудил царя вести войну. Под его предводительством парфяне завладели Сирией, Киликией и другими областями до Карии и Ионии. В 39 году до Р. Х. разбит легатом Антония Публием Вентидием; убит в Киликии.

Стр. 1130 *...из Амфиссы...* – Амфисса – главный город озольских локров в Греции.

Стр. 1132 *...Секст Помпей... сын Помпея...* – Секст Помпей (ок.75–35 до Р. Х.) – римский полководец и политический деятель, второй сын Помпея, после сражения при Мунде бежал в северную область Испании, но после смерти Цезаря возвратился в южные области и завладел многими городами. Сенат уступил ему имение, принадлежавшее его отцу, но так как Октавиан преследовал его под тем предлогом, что он участвовал в смерти Цезаря, то он собрал флот и завоевал Сицилию и Сардинию. После многих превратностей он был побежден Октавианом в морском сражении и бежал в Вифинию, где и был умерщвлен Тицием, полководцем Антония.

Стр. 1132 *...ни один корабль не смел выходить на море.* – В Риме начался голод, что вызвало сильное возмущение против Цезаря и Антония.

Стр. 1133 *Этот полководец победил парфян и умертвил Лабиена и Франипата...* – Римляне одержали две победы над парфянами: одну на горе Тавр (Лабиен спасся бегством и скрылся в Киликии, где был пойман и умерщвлен), другую на горе Аман, где Франипат лишился жизни.

Стр. 1133 *...из Клепсидры...* – Клепсидра – источник близ афинского Акрополя. Клепсидра значит «водяные часы»: в известные времена источник изобиловал водой, а в другие засыхал.

Стр. 1133 *...Коммагены...* – Коммагена – северная область Сирии. Самосата – главный город.

Стр. 1134 *До этого времени получил триумф за победы над парфянами один Вентидий...* – Публий Вентидий Басс – римский политический деятель и полководец; консул 43 года до Р. Х. Вентидий, как подчиненный другому полководцу, не мог получить триумфа; но эта победа была столь важна для римлян, что для него сделали исключения из общего правила.

Стр. 1135 *...Келесирию...* – Келесирия, то есть долинистая Сирия, – долина, или равнина, простирающаяся между Ливаном или Антиливаном.

Стр. 1135 *...у иудейского царя Антигона...* – Антигон (Маттафия) – младший сын Аристобула II, был поставлен парфянами царем в Иудее. На исходе шестимесячной осады Иерусалима попал в руки Гая Сосия и в 37 году до Р. Х. был предан постыдной смерти Антонием.

Стр. 1135 *...Лариссу, Аретусу и Гиераполь, священный город, который прежде называли Бамбикой.* – Все три города находились в Сирии. Ларисса – в области Апамены на западном берегу Оронта; Аретуса также на Оронте, более к югу; Гиераполь – в области Киррестика.

Стр. 1135 *...через Аравию...* – Аравия – *зд.* часть Месопотамии, населяемая арабами.

Стр. 1135 *Антоний начал войну прежде времени...* – Поход Антония против парфян последовал в 718 году от Р. Х. за 36 лет до Р. Х.

Стр. 1136 *...достигнув Атропатены...* – Атропатена – южная часть Мидии, между Арменией и Большой Мидией.

Стр. 1136 *...среди них и царя Полемона.* – Полемон I – царь Понта, правивший в 38–8 годах до Р. Х.; из парфянского плена был освобожден с помощью денег

Стр. 1138 *...некий мард...* – Марды – племя, жившее на южном берегу Каспийского моря; были независимы от персов.

Стр. 1145 *...показывалась народу в священном облачении Исиды и была называема новою Исидой.* – Исида – в древнеегипетской мифологии одна из наиболее почитаемых богинь, культ которой впоследствии широко распространился в Малой Азии, Сирии, Греции, Италии и проч.

Посвященная Исиде одежда была испещрена всеми красками, ибо могущество богини простирается на всю природу.

Стр. 1146 *...отнял власть у Лепида...* – Марк Эмилий Лепид (ок. 89–12 до Р. Х.) – римский триумвир, консул 46 года до Р. Х. После победы, одержанной над Секстом Помпеем, требовал себе Сицилию и вел войну с Октавианом, который запер его в стане и принудил сдаться. Он отказался от власти и жил в Италии под надзором.

Стр. 1146 *...так и всем Дионисовым художникам...* – Дионисовы художники – актеры, музыканты и другого рода забавники, которые в вакхических празднествах показывали свое искусство.

Стр. 1146 *...Приену...* – Приена – город в Ионии, в устье Мендра.

Стр. 1147 *...за пиршеством, в присутствии многих, встал и растирал ее ноги, бившись с нею об заклад...* – Об этом поступке мнения различны. Вероятно, можно его объяснить обычаем азиатских женщин заставлять своих рабынь тереть им ноги – что почитается ими как наслаждение.

Стр. 1148 *...фалернское вино.* – Фалернское вино производилось в Кампании; Гораций прославил его в своих сочинениях.

Стр. 1148 *...Пизавр...* – Пизавр – город Умбрии, недалеко от Римини; ныне Пезаро.

Стр. 1149 *...приставал к Акцию, к месту, где ныне Никополий...* – Акций – мыс в Акарнании при входе в Амбракийский залив, со знаменитым храмом Аполлона. Против этого мыса построен Цезарем Октавианом город Никополий в честь победы над объединенным флотом Марка Антония и Клеопатры, в морской битве у Акция.

Стр. 1149 *...сидит у Торины, как у ложки.* – Торина – по-гречески «кухонная ложка». Клеопатра говорит: «Какая тут беда, что Цезарь сидит у очага!»

Стр. 1150 *Он поступил великодушно сДомицием...* – Домиций Энобарб – один из убийц Цезаря. После сражения при Филиппах он собрал малый флот в Ионийском море и беспокоил триумвиров, но после помирился с ними и присоединился к Антонию.

Стр. 1150 *...царь гетов...* – Геты – племена, обитавшие к северу от Фракии на берегах Дуная.

Стр. 1151 *«Меня зовут Эвтих, а осла – Никон».* – Эвтих значит «Благополучный», а Никон – «Победитель».

Стр. 1151 *...украшая то место носами вражеских кораблей, поставил тут же осла и погонщика из бронзы .* – Здесь основан и Никополий, населенный жителями окрестных разоренных городов и украшенный многими памятниками.

Стр. 1152 *...погнался за тою, которая ввергла его в напасть и которой надлежало совершить его погибель .* – Это достопамятное морское сражение, которое решило судьбу Римской империи, дано в 728 году от основания Рима, за 31 год до Р. Х.

Стр. 1152 *...показались либурны...* – Либурн – род легкого и быстрого судна.

Стр. 1153 *...померился с греками и остающееся после войны количество пшена роздал городам, которые были в жалостнейшем положении...* – По свидетельству Диона Кассия, Цезарь наказал города за приверженность Антонию денежным штрафом и лишением многих прав.

Стр. 1153 *...близ Антикиры...* – Антикира – город в Фокиде на Коринфском заливе.

Стр. 1153 *...из Паретония...* – Паретоний – город с пристанью в области Мармарика к западу от Египта. Он был укреплен и служил египтянам заслоном.

Стр. 1154 *...в праздник возлияний...* – Праздник возлияний, или кувшинов, – так назывался второй день праздника Анфестерий, отправляемого в Афинах в честь Диониса. Первый день назывался Пифигии, или «открытие бочек»; второй Хоэс, или «винные сосуды (кувшины)»; третий Хитрес, то есть «горшки», ибо варили овощи и приносили Гермесу.

Стр. 1155 *...надел тогу совершеннолетнего юноши без пурпура.* – Тога – в Риме знак совершеннолетия.

Стр. 1155 *...отправлены были ими посланники к Цезарю в Азию...* – Антоний и Клеопатра отправили к Цезарю много послов, предлагая ему чрезвычайное количество денег. Наконец послан был к нему Антониев сын Антил с золотом; Цезарь принял золото, но нисколько не сделался уступчивее. Наконец, боясь, что Антоний убежит в Галлию или спалит богатства

Клеопатры, он послал к нему Фирса.

Стр. 1156 *Он послал вместе с Эвфронием и своего вольноотпущенника Фирса…* – Цезарь Октавиан через Фирса внушил Клеопатре, что влюблен в нее. Эта хитрость имела желаемый успех.

Стр. 1156 *…то высеки и повесь находящегося у тебя вольноотпущенника…* – Невольников поднимали за подмышки и в таком положении секли.

Стр. 1156 *…тамошние обстоятельства требуют его присутствия.* – Ветераны, не получившие обещанной награды, взбунтовались. Цезарь Октавиан отправился в Италию в разгар зимы; он доехал только до Брундизия, но его появление успокоило мятежников.

Стр. 1158 *…послал Галла…* – Гай Корнелий Галл (ок. 69–26 до Р. Х.) – римский поэт и государственный деятель; приверженец Октавиана и в качестве полководца помог ему одержать победу над Антонием и Клеопатрой в Египте.

Стр. 1159 *…с философом Арием…* – Арий Дидим (I до Р. Х. – I после Р. Х.) – стоик, придворный философ и друг Цезаря Октавиана.

Стр. 1160 *Многоцезарство не благо есть…* – Парафраза «Илиады», II, 204. У Гомера: «Многоцарствие не благо есть; один царь да будет».

Стр. 1160 *…на груди ее видны были многие кровоподтеки.* – Дион Кассий пишет, что, напротив, она ждала Цезаря в великолепной комнате, лежа на прекрасном ложе, но была одета небрежно, ибо это ей шло. Вокруг нее были изображения Юлия Цезаря, письма которого она хранила у себя на груди.

Стр. 1164 *…и Тафосириса.* – Тафосирис – древний сакральный центр Осириса в дельте Нила, близ Александрии.

Стр. 1164 *…подобно Парису…* – См. «Илиада», III, 340–448.

Дион

Дион Сиракузский (ок. 410–353 до н. э.) – тиранн Сиракуз, ученик и друг Платона, зять Дионисия I и Дионисия II.

Стр. 1166 *…ибо Главк…* – Главк – царь ликийцев в Малой Азии, союзник троянцев, внук Беллерофонта. Убит Аяксом в битве за тело Патрокла. См. «Илиада», VI, 119–234.

Стр. 1167 *Дионисий Старший, достигнув верховной власти… женился вскоре после того на дочери Гермократа…* – Дионисий Старший (ок. 432–367 до Р. Х.) – тиранн Сиракуз с 406 года, сын незнатного сиракузского гражданина; пользуясь внутренними беспокойствами и войной с карфагенянами, достиг верховной власти. Гермократ – вождь аристократической партии в Сиракузах, в 412 году до Р. Х. начальствовал над флотом, посланным на помощь лакедемонянам; убит в 408 году.

Стр. 1167 *…соединился браком с двумя женщинами. Одна была локрийка…* – Локры – город в Нижней Италии. Брак Дионисия последовал в 3 году 95 олимпиады, за 398 лет до Р. Х.

Стр. 1168 *…чтобы всякий попавшийся к ним в руки афинянин был продаваем на Эгине.* – Диодор пишет, что Дионисий сам продавал Платона на площади и что философы выкупили его за 20 мин. Впрочем, Платон не упоминает в своих письмах об этой продаже.

Стр. 1168 *…Гелон сделался действительно смехом Сицилии.* – Гелон – тиранн Сиракуз, распространил свое господство на всю Сицилию. Умер в 3 году 75 олимпиады, за 478 до Р. Х. Он управлял 17 лет и удостоился по смерти почестей, воздаваемые героям. *Ge^s* по-гречески «смех».

Стр. 1169 *…соединив сон со смертью.* – Дионисий Старший умер после 38-летнего управления во 2 году 103 олимпиады, за 367 лет до Р. Х. Узнав, что трагедия его в Афинах получила награду, он так обрадовался, что учредил пиршество и пил так много, что у него случился сильный жар.

Стр. 1169 *…адамантовые цепи…* – Адамант – в греческой мифологии созданный Геей металл, железнее железа и тверже алмаза. Циклопы, дети Геи, выковали адамантовые цепи, но были сами в них закованы Кроном, который устрашился их силы, и сброшены в Тартар.

Стр. 1171 *…вызвать из ссылки Филиста…* – Филист (433–356 до Р. Х.) – греческий историк, советник Дионисия Младшего. Сочинил «Историю Сицилии», «Историю Египта» и

«Историю Дионисия Старшего». Его сочинения не дошли до нас. Цицерон называл его вторым Фукидидом.

Стр. 1173 *...и высадить на берег Италии.* – Это случилось в 3 году 105 олимпиады, за 358 лет до Р. Х.

Стр. 1173 *...из-за женщин.* – Имеются в виду сестра Диона Аристомаха и его супруга Арета.

Стр. 1173 *...подарил Спевсиппу.* – Спевсипп – сын Потоны, сестры Платона.

Стр. 1174 *...Тимон в «Силлах»...* – Тимон из Флиунта (ум. 230 до Р. Х.) – греческий философ, оратор, ученик Пиррона. «Силлы» – род сатирического стихотворения, в котором осмеивались знаменитые мужи. Тимон в трех книгах «Силл» осмеивал философов-догматиков.

Стр. 1174 *...убедил Архита...* – Архит Тарентский (ок. 428–365 до Р. Х.) – греческий математик и астроном, государственный деятель и полководец. Последователь пифагорейской школы.

Стр. 1175 *Да гибельно еще измерит он Харибду.* – См. «Одиссея», XII, 428. Этот стих Платон применяет сам к себе.

Стр. 1175 *Аристипп из Кирены...* – Аристипп из Кирены (435–360 до Р. Х.) – греческий философ, ученик Сократа, основатель киренайской (гедонической) школы. Долго жил при дворе Дионисия и имел большой успех, обладая умением приспосабливаться к обстоятельствам. По этой причине Диоген Синопский называл его «царской собакой».

Стр. 1175 *...Геликон Кизикский...* – Геликон Кизикский, известен и как Евдокс Книдский (400–356 до Р. Х.) – греческий математик и астроном.

Стр. 1176 *...частью по причине своей старости...* – Платону было тогда семьдесят лет от роду.

Стр. 1177 *...то они на все согласились.* – Дион предпринял поход в 4 году 105 олимпиады, за 357 лет до Р. Х.

Стр. 1178 *...при Япигии...* – Япигия – древнее название итальянской провинции Апулия, южной части Апеннинского полуострова.

Стр. 1178 *...при появлении Арктура...* – Арктур – звезда в созвездии Волопаса, восход которой приходится на конец августа.

Стр. 1178 *...при так называемых Головах Большого Сирта.* – Большой и Малый Сирты – небольшие заливы на северном берегу Африки, с многочисленными мелями и подводными камнями.

Стр. 1179 *...к Миное...* – Миноя – город на южном берегу Сицилии, к западу от Агригента.

Стр. 1179 *...близ Экнома...* – Экном – крепость на горе к востоку от Агригента, на реке Гимера.

Стр. 1179 *...в Кавлонию...* – Кавлония – город на южном берегу Италии в области Бруттия.

Стр. 1180 *...присоединились камаринцы.* – Камарина – большой город на южном берегу Сицилии к востоку от Гелы.

Стр. 1180 *...кампанские воины...* – Кампанцы – италийский народ, служивший в наемной армии сицилийских тиранов.

Стр. 1180 *...и Пентапилами...* – Пентапилы, или Пятивратие, – великолепное сооружение с пятью проемами, служившее входом в город.

Стр. 1193 *...как честный человек, он будет присутствовать в Собрании других граждан.* – Таким образом Гераклид дал знать, что не является приверженцем аристократии, и тем самым распалил ненависть сиракузского народа к Диону.

Стр. 1194 *...сын его... бросился с кровли и умертвил себя.* – Сын Диона, Гиппарин, был развращен Дионисием и предался неге и роскоши. Дион хотел его исправить, но молодому человеку была столь несносна строгая и воздержанная жизнь, что он умертвил себя.

Стр. 1195 *...умертвили Диона...* – Дион умер на 55 году своей жизни, через 4 года по возвращении.

Стр. 1195 *«Я потерял город и приобрел терку».* – «Терка» по-гречески – «катана».

Брут

Марк Юний Брут (85–42 до н. э.) – римский политический деятель, наместник в Цизальпинской Галлии с 46 года, претор 44 года. Вместе с Кассием возглавил заговор против Юлия Цезаря.

Стр. 1196 *...от Сервилия Ахалы.* – Гай Сервилий Структ Ахала – консул 478 года до Р. Х., был приверженцем диктатора Луция Квинтия Цинцината.

Стр. 1196 *...но что остался один младенец, от которого происходил род...* – Дионисий Галикарнасский доказывает, что род древнего Брута прекратился убиением его детей.

Стр. 1197 *...ибо отец его был прежде умерщвлен по приказанию Помпея.* – Марк Брут, отец Брута, был привержен Лепиду, сторонники которого по смерти Суллы пожелали присвоить себе верховную власть. В 77 году до Р. Х. Помпей был отправлен против Лепида на север Италии и осадил Мутину, где против него вел сражение Брут со своим войском. Но после долгой осады Брут сдался, и Помпей предал его смерти.

Стр. 1199 *Виднейшую из них, которая называется городской...* – Претура разделялась на городскую и иностранную. Городская претура занималась разбором дел между римскими гражданами; иностранная – между римскими гражданами и чужеземцами или же между самими чужеземцами. Первая была почетнее.

Стр. 1199 *...с блистательными и смелыми подвигами Кассия против парфян.* – Кассий по смерти Красса получил начальство в Сирии, разбил парфян и остановил их успехи.

Стр. 1200 *...был взят Каленом.* – Квинт Фуфий Кален – народный трибун, был послан Цезарем в Грецию с войском, дабы не допустить расширения власти Помпея. После сражения он занял Мегары и Афины.

Стр. 1202 *...другого Брута, прозванного Альбином...* – Децим Юний Брут Альбин (ок. 84–43 до Р. Х.), римский политический и военный деятель, один из военачальников Цезаря. В 48–47 годах наместник Трансальпийской Галлии. Участвовал в заговоре против Цезаря в 44 году до Р. Х.

Стр. 1202 *...женился на ней по смерти первого мужа ее.* – Первый муж ее был Марк Кальпурний Бибул, консул вместе с Юлием Цезарем в 59 году до Р. Х.

Стр. 1207 *...которые происходили с отличным великолепием и великими издержками.* – Имеются в виду Аполлоновы игры *(Ludi Apollinares)* – благодарственные празднества в честь бога Аполлона в Древнем Риме, устраивались ежегодно 5 июля.

Стр. 1208 *...к приморскому городу Элее.* – Элея – город на тирренском побережье Лукании, основанный греками. Город прославился философской школой, которая была основана Ксенофаном из Колофона.

Стр. 1208 *...читал при этом стихи, которые Андромаха говорит Гектору...* – «Илиада», VI, 429–430; далее приведена строка 491.

Стр. 1208 *Народ принял его благосклонно с похвалами и почестями* . – Афиняне воздвигли Бруту и Кассию медные статуи подле статуй Гармодия и Аристогитона, афинских юношей, составивших заговор для убиения тираннов Гиппия и Гиппарха в 514 до Р. Х.

Стр. 1209 *Вы губите меня, злой рок и сын Латоны* . – См. «Илиада», XVI, 849.

Стр. 1209 *...которых он вел к Долабелле в Азию. Прибыв в Деметриаду...* – Публий Корнелий Долабелла (ок. 69–43 до Р. Х.) – римский политический деятель, в 43 году – правитель Сирии по смерти Цезаря. Деметриада – город в Фессалии у Пагасейского залива, построенный Деметрием Полиоркетом.

Стр. 1210 *...назначив и утвердив за ним провинции...* – Сенат одобрил все то, что было произведено Брутом, и уступил ему в правление Македонию, Иллирию и Эпир.

Стр. 1211 *...мстя тем за Брута Альбина...* – Брут Альбин, желая переехать в Македонию, попал в руки Антониевым воинам и сам лишил себя жизни.

Стр. 1211 *...и отправились один в Сирию...* – Кассий, отделившись от Брута, обратился к Сирии, где он еще прежде был в большом уважении, и без труда захватил ее. Он намеревался наказать Клеопатру за оказанную ею помощь партии Цезаря.

Стр. 1213 *...во время войны с персами сожгли город свой и погубили сами себя.* – Имеется в виду завоевание Лидийского царства в 546 году до Р. Х., когда Кир Старший победил Креза.

Стр. 1213 *...Патары…* – Патара – город к востоку от устья Ксанта, славен прорицалищем Аполлона.

Стр. 1213 *...Кассий принудил всех родосцев приносить к нему золото и серебро…* – Причина жестоких поступков Кассия с родосцами была та, что они гордо выступили против него с флотом и показывали ему издали на скалу, к которой привязывали военнопленных. Он разбил их в двух сражениях.

Стр. 1214 *Внемлите мне! Ибо меня моложе оба.* – См. «Илиада», I, 259.

Стр. 1214 *...называя его настоящим псом и лжепсом* . – Пес и лжепес – прозвище киников (от *kyon* – «пес»).

Стр. 1215 *...и сел на среднее.* – К одному столу ставили обыкновенно три ложа. Сторона против среднего считалась почетной, ибо оставалась пустой и оттуда подавали кушанье.

Стр. 1216 *...Норбан…* – Гай Норбан вместе с Децидием Саксом был послан Антонием и Цезарем, дабы утвердиться в Македонии в то время, когда Брут и Кассий были еще заняты в Лидии и Ликии.

Стр. 1217 *...Мессала говорит…* – Марк Валерий Мессала Корвин – консул 31 года, был предан сперва Бруту и Кассию, а впоследствии стал другом Августа.

Стр. 1224 *О, Зевс! Ты не забудь виновника сих зол!* – См. Еврипид, «Медея», 332.

Стр. 1226 *...Николаю…* – Николай Дамасский (I в. по Р. Х.) – философ-перипатетик, друг Августа. Он сочинил «Всеобщую историю» в 140 томах, из которой сохранились только отрывки.

Артаксеркс

Артаксеркс II Мнемон – персидский царь, правивший в 404–358 до н. э., старший сын Дария II. В начале правления вел борьбу за престол с младшим братом Киром, правителем Малой Азии.

Стр. 1229 *Артаксеркс Первый…* – Артаксеркс I Лонгоман – персидский царь, правивший в 465–424 годах до Р. Х.

Стр. 1229 *У Дария и Парисатиды…* – Дарий II – персидский царь, правивший в 423–404 годах до Р. Х., побочный сын Артаксеркса I. Парисатида – сестра Дария II от другой матери.

Стр. 1229 *...Ктесий ввел в свои сочинения многообразную смесь невероятных и странных басен…* – Ктесий Книдский (ок. 400 до Р. Х.) – уроженец Карии, долгое время жил при Артаксерксе II в качестве придворного врача. Он сочинил историю Персии и Ассирии. Его считают большим выдумщиком.

Стр. 1229 *...по совету Демарата…* – Демарат – спартанский царь, правивший в 510–491 до Р. Х., лишен Клеоменом царского сана, жил при дворе Дария I и Ксеркса I.

Стр. 1231 *...его кандий…* – Кандий – царская мантия, или порфира.

Стр. 1231 *...лакедемоняне послали Клеарху скиталу с приказанием повиноваться во всем Киру.* – Клеарх (ок. 450–401 до Р. Х.) – спартанский полководец, во 2 году 92 олимпиады, за 411 лет до Р. Х., был послан своим отечеством в Византий для восстановления в нем мира и согласия, но вместо того жестоким образом угнетал граждан, за что был порицаем лакедемонскими властями. Во 2 году 94 олимпиады, за 403 года до Р. Х., он был вновь направлен в Византий, но вынашивал собственные планы по созданию государства в районе проливов, соединяющих Черное и Средиземное моря. Тогда спартанцы послали против него отряд во главе с Панфедом, который разбил его в сражении и принудил бежать в Азию, после чего Клеарх поступил на службу Киру Младшему.

Стр. 1232 *...называется Кунакса…* – Кунакса – деревня на левом берегу Евфрата в Вавилонии.

Стр. 1233 *...начальник кадусиев…* – Кадусии – племя, обитавшее в северной части Мидии, вдоль Каспийского моря.

Стр. 1235 *...одного бедного кавнийца…* – Кавн – город в Карии, против острова Родос.

Стр. 1235 *...вышел на битву с четырьмястами тысячами воинов.* – Ксенофонт говорит, что у царя было 1 200 000 воинов, но в действительности было только 900 000.

Стр. 1238 *...пляшущие кариатиды.* – Кариатиды – жрицы храма Артемиды в Кариях в

области Лаконика. Перед статуей Артемиды кариатиды, или лакедемонские девы, совершали пляски.

Стр. 1238 *...кроме Менона...* – Менон – соперник Клеарха, претендовавший на первое место среди полководцев греческих наемников Кира; родом из Лариссы в Фессалии. Ксенофонт представляет его человеком дурных свойств и называет предателем.

Стр. 1239 *Сперва они послали в Азию Фиброна, потом Деркиллида...* – Фиброн (ум. 322 до Р. Х.) – предводитель спартанских наемников в Азии в 1 году 95 олимпиады, за 398 лет до Р. Х. Деркиллид – спартанский военачальник, преемник Фиброна. С 399 года принял команду над спартанским войском в Малой Азии.

Стр. 1240 *...из Менды...* – Менда – город на полуострове Паллена во Фракии.

Стр. 1242 *Он пошел сам на кадусиев...* – Поход против кадусиев последовал в 4 году 98 олимпиады, за 385 лет до Р. Х..

Арат

Арат (271–213 до н. э.) – греческий политический деятель и полководец, стратег Ахейского союза.

Стр. 1248 *В изображениях его обнаруживается атлетический вид...* – Посвятившие себя атлетике заранее привыкали много есть, дабы быть сильнее. По этой причине назывались обжорами. Чтобы умерить вредное воздействие обильной еды, они занимались тяжелыми физическими работами, особенно орудуя лопатой и заступом.

Стр. 1248 *...на Периандра... на Алкмеона...* – Периандр (ок. 660–585 до Р. Х.) – тиранн Коринфа, политика которого была направлена против родовой знати. Причислен к семи греческим мудрецам. Алкмеон – мифологический герой похода эпигонов, известен как убийца своей матери Эрифилы.

Стр. 1249 *...но Антигон...* – Имеется в виду Антигон II Гонат.

Стр. 1249 *...и Птолемея...* – Имеется в виду Птолемей II Филадельф.

Стр. 1250 *...сдающий утреннюю стражу...* – Четвертая и последняя смена ночной стражи.

Стр. 1252 *...правление ахейцев...* – Ахейский союз – федерация древнегреческих городов в Пелопоннесе, являлся объединением двенадцати городов Ахайи: Патры, Дима, Фары, Тритайя, Леонтион, Эгейра, Пеллена, Эгион, Бура, Киринейя, Олен и Гелика. При Арате к союзу присоединились Коринф, Эпидавр, Мегара и другие города: начался расцвет Ахейского союза. Каждый город управлялся самостоятельно и в общее собрание посылал по одному из депутатов, которые съезжались весной и осенью. Ими были избираемы высшие должностные лица: стратег, или полководец, который был председателем совета, с правом переизбрания через год; наварх (начальник флота) и гиппарх (начальник конницы). В советники, или помощники, стратегу давались 10 человек, которые назывались демиургами.

Стр. 1253 *...из Мефоны...* – Мефона – город на побережье Мессении.

Стр. 1253 *...к неприятельскому городу Адрии.* – Адрия – город в Италии, но здесь разумеется какой-то другой город.

Стр. 1265 *По смерти Антигона вступил на престол Деметрий.* – Антигону Гонату наследовал сын его Деметрий II Этолийский (269–229 до Р. Х.) – царь Македонии, правивший в 239–229 годах до Р. Х. Сыну его Филиппу было два года; приближенные избрали опекуном мальчика Антигона Досона, брата Деметрия.

Стр. 1268 *...занял он Феней...* Феней – город в Аркадии на границе с Ахайей.

Стр. 1269 *...так называемой Акты...* – Акта, или Скалистый берег, – большой полуостров у горы Афон между Сингским и Стримонским заливами.

Стр. 1270 *...в Пеги...* – Пеги – город в Мегариде.

Стр. 1272 *...«любезная Мантинея»...* – Так называет этот город Гомер: «Илиада», II, 607.

Стр. 1272 *По смерти Антигона...* – Антогон III Досон (263–220 до Р. Х.) – царь Македонии 229–221 годов до Р. Х.; наследником его стал племянник, правивший под именем Филиппа V.

Стр. 1272 *Но Апеллес, Мегалей...* – Апеллес – один из опекунов Филиппа; Мегалей – его

секретарь.

Стр. 1273 *...Ифомата…* – Ифомата – святилище Зевса на горе Ифома в Мессении.

Стр. 1274 *...фаросцу Деметрию…* – Деметрий Фаросский – предводитель иллирийцев, служивших при войске Филиппа V.

Гальба

Сервий Сульпиций Гальба (3 до н. э. – 69 н. э.) – римский император с 68 года, консул 33 года и наместник многих провинций.

Стр. 1278 *...был префектом претория…* – Префект претория – командир преторианцев, императорских телохранителей; назначался из всадников.

Стр. 1278 *...изверги прокураторы…* – Прокураторы – поставленные в провинциях императорские чиновники, которые собирали доходы и были независимы от проконсулов.

Стр. 1280 *...Нимфидий Сабин…* – Нимфидий Сабин – префект претория, обогащенный имением убиваемых знаменитых граждан, любимец Нерона.

Стр. 1281 *...так называемые двойные грамоты…* – Двойные грамоты – сложенные вместе и скрепленные печатью две таблички (по-гречески *diplomata),* предоставляли льготы предъявителю.

Стр. 1281 *Вергиний Руф…* – Луций Вергиний Руф – консул 63 года, достиг в последующее беспокойное время великого уважения, отказался от императорского достоинства, предложенного иллирийскими легионами в 68 году. Умер в 84 году.

Стр. 1282 *...называемом римлянами «принкипиа».* – Принкипиа – место, где стояли боевые знамена и алтари богов. По этой причине место почиталось священным.

Стр. 1283 *...ту власть, какую имел Тигеллин…* – Тигеллин – префект претория при Нероне, участвовал во всех его беспорядках.

Стр. 1287 *...прославился в Риме браком своим с Поппеей…* – Поппея Сабина (31–65 по Р. Х.) – первая красавица Рима, дочь сенатора Тита Оллия и Поппеи Сабины Старшей, умерщвленной по приказанию Мессалины, супруги императора Клавдия. Она была замужем за Руфрием Криспином, префектом претория, которому родила сына. Впоследствии – вторая жена императора Нерона.

Стр. 1287 *...убивший жену…* – Октавия – дочь императора Клавдия и Мессалины, первая жена императора Нерона. Впоследствии сослана на остров Пандатария и умерщвлена, дабы Поппея заняла ее место.

Стр. 1289 *...хотят ходатайствовать за Долабеллу…* – Корнелий Долабелла – родственник Гальбы, брат императора Авла Вителлия. Был сослан под гласный надзор в Аквин, потом умерщвлен по приказанию Вителлия.

Стр. 1289 *...призвал Пизона…* – Луций Кальпурний Пизон Фруги Лициниан – сын Марка Лициния Красса и Скрибонии; со стороны отца происходил он от триумвира Красса, со стороны матери от Помпея. Ему был 31 год.

Стр. 1289 *...один был оптион, а другой тессерарий…* – Оптион и тессерарий – военные чины. Оптион – помощник центуриона и лицо, его замещающее; тессерарий – помощник оптиона, отвечающий за организацию караулов и передачу паролей.

Стр. 1292 *...рабу Патробию.* – Патробий – один из подлейших вольноотпущенников Нерона.

Отон

Марк Сальвий Отон (32–69 н. э.) – римский император в январе-апреле 69 года; друг Нерона, консул во времена правления Гальбы.

Стр. 1297…в *Бриксилле…* – Бриксилл – город на реке По.